Джек ЛОНДОН

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

II том



МОЯ БОЛЬШАЯ КНИГА

Избранные произведения. Том II

Джек Лондон

Аннотация
Джек ЛОНДОН. Избранные произведения. Том II
БОГ ЕГО ОТЦОВ. (сборник)
- Бог его отцов
- То, чего никогда не забыть...
- Человек со шрамом
- Сила женщины
- Дочь северного сияния
- Женское презрение

ЛУННЫЙ ЛИК. (сборник)
- Лунный лик
- Золотое ущелье
- Планчет
- Местный колорит
- Любимцы Мидаса
- Рассказ укротителя леопардов
- Любительский вечер

РАССКАЗЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ. (сборник)
- Дом Мапуи
- Китовый зуб
- Мауки
- Ях! Ях! Ях!

Язычник
Страшные Соломоновы острова
Непреклонный белый человек
Потомок Мак-Коя
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ. (сборник)
Белые и желтые
Король греков
Набег на устричных пиратов
Осада «Ланкаширской королевы»
Проделка Чарли
Димитрий Контос
Желтый платок
СЫН ВОЛКА. (сборник)
Белое Безмолвие
Сын Волка
На Сороковой Миле
В далекой стране
За здоровье того, кто в пути
Право священнослужителя
Мудрость снежной тропы
Жена короля
Северная Одиссея
ДЕТИ МОРОЗА. (сборник)
В дебрях севера
Закон жизни
Нам-Бок лжец

Заклинатель духов
Жители Солнечной Страны
Болезнь Покинутого Вождя
Киш, сын Киша
Смерть Лигуна
Красавица Ли-Ван
Лига стариков
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ. (сборник)
Любовь к жизни
Бурый Волк
История Киша
Путь ложных солнц
Трус Негор
СИЛА СИЛЬНЫХ. (сборник)
Сила сильных
По ту сторону черты
Неслыханное нашествие
Враг всего мира
Морской фермер
РОЖДЕННАЯ В НОЧИ. (сборник)
Рожденная в ночи
Безумие Джона Харнеда
Когда мир был юным
Польза сомнения
Крылатый шантаж
Горсти костяшек

Война
Под палубным тентом
Убить человека
Мексиканец
Сэмюэл
Неслыханное нашествие
Встреча в хижине
Путь белого человека
Неожиданное
Мечта Дебса
СМОК БЕЛЛЬЮ. (сборник)
Вкус мяса
Мясо
На Бабий ручей
Малыш видит сны
Человек на другом берегу
Состязание на первенство
СМОК И МАЛЫШ. (сборник)
Повесть о маленьком человеке
Как вешали Калтуса Джорджа
Ошибка мироздания
Яичная афера
Ферма Тру-Ля-Ля
Тайна женской души
ПРИНЦЕССА. (сборник)
Принцесса

Красное божество
Как аргонавты в старину
Золотой самородок
КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ. (сборник)
Когда боги смеются
Отступник
Гадкая женщина
Просто мясо
Китаеза
Держи на запад
«Френсис Спейт». Рассказ об истинном происшествии
Любопытный отрывок
Кусок мяса
ХРАМ ГОРДЫНИ. (сборник)
Храм гордыни
Кулау-прокаженный
Прощай, Джек
«Алоха Оэ»
Чун А-чун
Шериф Коны
ДОРОГА. (сборник)
Признание
Держись!
Картинки
«Сцапали»

Исправилка
Бродяги, проходящие ночью
Бродяги и хваты
Две тысячи бродяг
«Быки»
Там, где расходятся дороги
На конце радуги
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

Аннотация

Джек Лондон — американский писатель, настоящее имя Джон Гриффит Чейни (1876–1916). Читая его нельзя остаться равнодушным. Одним нравится сила, борьба и победа над стихией. Другие ценят любовь к жизни. Третьи восхищаются нравственным выбором героев. Всё это ждет читателя в двухтомном издании избранных произведений автора.

Во второй том вошли сборники рассказов и очерки.

Содержание:

БОГ ЕГО ОТЦОВ
Бог его отцов
То, чего никогда не забыть…
Человек со шрамом
Сила женщины
Дочь северного сияния
Женское презрение
ЛУННЫЙ ЛИК
Лунный лик
Золотое ущелье
Планчет
Местный колорит

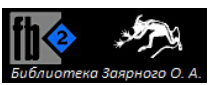
Любимцы Мидаса
Рассказ укротителя леопардов
Любительский вечер
РАССКАЗЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ
Дом Мапуи
Китовый зуб
Мауки
Ях! Ях! Ях!
Язычник
Страшные Соломоновы острова
Непреклонный белый человек
Потомок Мак-Коя
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ
Белые и желтые
Король греков
Набег на устричных пиратов
Осада «Ланкаширской королевы»
Проделка Чарли
Димитрий Контос
Желтый платок
СЫН ВОЛКА
Белое Безмолвие
Сын Волка
На Сороковой Миле
В далекой стране
За здоровье того, кто в пути

Право священнослужителя
Мудрость снежной тропы
Жена короля
Северная Одиссея
ДЕТИ МОРОЗА
В дебрях севера
Закон жизни
Нам-Бок лжец
Заклинатель духов
Жители Солнечной Страны
Болезнь Покинутого Вождя
Киш, сын Киша
Смерть Лигуна
Красавица Ли-Ван
Лига стариков
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
Любовь к жизни
Бурый Волк
История Киша
Путь ложных солнц
Трус Негор
СИЛА СИЛЬНЫХ
Сила сильных
По ту сторону черты
Неслыханное нашествие
Враг всего мира

Морской фермер
РОЖДЕННАЯ В НОЧИ
Рожденная в ночи
Безумие Джона Харнеда
Когда мир был юным
Польза сомнения
Крылатый шантаж
Горсти костяшек
Война
Под палубным тентом
Убить человека
Мексиканец
Сэмюэл
Неслыханное нашествие
Встреча в хижине
Путь белого человека
Неожиданное
Мечта Дебса
СМОК БЕЛЛЬЮ
Вкус мяса
Мясо
На Бабий ручей
Малыш видит сны
Человек на другом берегу
Состязание на первенство
СМОК И МАЛЫШ

Повесть о маленьком человеке
Как вешали Калтуса Джорджа
Ошибка мироздания
Яичная афера
Ферма Тру-Ля-Ля
Тайна женской души
ПРИНЦЕССА
Принцесса
Красное божество
Как аргонавты в старину
Золотой самородок
КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ
Когда боги смеются
Отступник
Гадкая женщина
Просто мясо
Китаеза
Держи на запад
«Френсис Спейт». Рассказ об истинном происшествии
Любопытный отрывок
Кусок мяса
ХРАМ ГОРДЫНИ
Храм гордыни
Кулау-прокаженный
Прощай, Джек

«Алоха Оэ»
Чун А-чун
Шериф Коны
ДОРОГА
Признание
Держись!
Картинки
«Сцапали»
Исправилка
Бродяги, проходящие ночью
Бродяги и хваты
Две тысячи бродяг
«Быки»
Там, где расходятся дороги
На конце радуги
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ



Джек ЛОНДОН
Избранные произведения
Том II



БОГ ЕГО ОТЦОВ

(сборник)



Несколько рассказов, посвященных жизни на Аляске во времена золотой лихорадки. Сборник о том, как суровые условия жизни на севере обнажают человеческие души и показывают их такими, какими они есть на самом деле.

Бог его отцов

1

Кругом был густой, первобытный лес — место шумных комедий и мрачных трагедий. Здесь борьба за существование велась с той злобой, на какую способен только дикарь или зверь. За господство в Стране Радуги еще не боролись ни англичане, ни русские. И янки пока стояли в стороне, словно выжидая, когда смогут пустить в ход свое золото. Огромные волчьи стаи гнались за стадами оленей, отбивали старых и слабых самцов и беременных самок, — так происходило много-много поколений назад, так происходило и теперь. Немногочисленные туземцы все еще почитали своих вождей, преклонялись перед шаманами, изгоняли злых духов, сжигали ведьм, сражались с соседями и поедали их с превеликим аппетитом. Но каменный век кончался. По неведомым дорогам, через не обозначенные на картах пустыни стали все чаще и чаще появляться сыны белокурой, голубоглазой и неугомонной расы. Случайно или с известным намерением, в одиночку или малочисленными группами,

они являлись непонятно как и откуда, — и либо умирали в стычках с туземцами, либо, победив, шли дальше. Вожди высылали против них своих воинов, шаманы неистовствовали, — но все было напрасно: ибо камню не победить стали! Подобно волнам огромного моря, они проникали в леса и горы, пробирались по рекам или же вдоль берегов на собаках. Это были сыны великого и могучего племени. Их было чрезвычайно, неисчислимо много, но этого не знали, об этом не догадывались укутанные в меха обитатели Севера… Много неведомых пришельцев из далеких стран нашли здесь смерть — и они встречали смерть при морозном блеске северного сияния так же мужественно, как их братья — в раскаленных песках пустыни или в дышащих смертоносными испарениями тропических чащах. Они умирали, но за ними шли другие, которым тоже предстояло либо умереть, либо победить. Великое, неведомое племя добьется своего, ибо так сказано в книге его судеб.

Было около полудня. Горизонт был выкрашен алым цветом — бледным на западе и густым на востоке, — обозначая положение невидимого полярного солнца. Не было ни дня, ни ночи. В тесном объятии слились мрак и свет — умирающий

день встретился с нарождающимся днем. Птица кильди робко пела свою вечернюю песенку, а реполов громко приветствовал наступающее утро. Вдоль поверхности Юкона с жалобными визгами и стонами проносились стаи птиц; над застывшими водами насмешливо хохотал лун.[1]

У берега стояли в два-три ряда челноки, сделанные из березовой коры. Копья с наконечниками из моржовой кости, костяные резные стрелы, луки, грубые сети и многое другое указывало на то, что лосось идет на нерест. Близ берега в беспорядке стояли палатки, из которых доносились голоса рыбаков. Молодые люди боролись друг с другом и ухаживали за девушками, а пожилые *скво,* ведя неторопливый разговор, сучили веревку из молодых корней и побегов. Подле них забавлялись дети — дрались, возились или же вместе с собаками, огромными волкодавами, катались по грязной земле. Несколько поодаль, по ту сторону лужка, находился другой лагерь, состоявший всего из двух палаток. Это был лагерь бледнолицых. Его положение обеспечивало обитателям полную безопасность. Лагерь был расположен выше лагеря индейцев, находившегося в сотне ярдов от

[1] Примечания: 1
Лун — птица из породы нырков. *(Примеч. ред.).*

них. На всякий случай от палаток дорожка вела прямо к берегу, к пирогам.

Из одной палатки неслась капризный плач больного ребенка, которого мать старалась успокоить и убаюкать колыбельной. У догорающего костра разговаривали двое: американец и метис.

— Да! Я люблю церковь, как может любить только преданный сын. Моя любовь к ней так велика, что дни свои я проводил, спасаясь от нее, а ночи… ночи в мечтах о мщении. Послушайте!

В голосе метиса слышалось явное раздражение.

— Послушайте. Я родом с Красной Реки. Мой отец такой же белый, как и вы. Вся разница в том, что вы — американец, а он — англичанин, или, что называется, джентльмен. Мать моя была дочерью вождя, и я стал мужчиной. И вот словно кому-то захотелось узнать, какая такая кровь течет в моих жилах. Ведь я был по отцу белым и к тому же всегда жил с белыми. Была там одна белая, которая частенько ласково поглядывала на меня. Она была из богачей. У ее отца, француза по происхождению, было много всякого добра: земли, лошадей и прочего. Он считал, что девушка не должна иметь собственного мнения. Вот почему его так разозлило все то, что потом произошло.

У девушки же оказалось собственное мнение, благодаря которому мы вскоре и очутились перед священником. Но нас опередил ее отец, который черт знает что наговорил священнику. Кончилось тем, что священник отказался венчать нас. Вы понимаете, как все это вышло. Вначале церковь отказалась признать мое рождение, а затем и брак. Что же, как не церковь, принудило меня пролить человеческую кровь? Правда, ясно теперь, что я имею полное основание любить церковь? Я несколько раз ударил священника по его бритой физиономии и вместе с девушкой помчался в Форт-Пьер, где священником был более сговорчивый и добрый человек. Но за нами вслед помчались ее отец, брат и всякие там другие люди. Дрались мы до тех пор, пока я не вышиб из седла троих человек, а остальных заставил повернуть восвояси. Мы с девушкой ушли в горы и леса, где стали жить невенчанными.

Но как вам понравится продолжение моего рассказа! Женщина — такое странное существо, что ни одному мужчине не понять ее. Между прочим, я в схватке выбил из седла отца моей любимой; остальные преследователи впопыхах проехали по его телу. Вскоре я забыл об этом, а она… Она не забыла. Оказалось, что в тихие

мирные вечера, когда мы лежали при свете звезд, она переживала все тот же страшный час. Это стояло между нами. Словно третье лицо сидело у нашего костра и делало нас чужими друг другу. Она пыталась бороться, но не могла забыть тот страшный час… Видно было по всему — и по ее глазам, и по прерывистому дыханию, — как она страдает.

Вскоре она родила девочку и скончалась. Чтобы найти ребенку кормилицу, я направился к родным моей матери… Но вдруг все вспомнили, что мои руки обагрены кровью, — правда, по милости церкви. Вспомнили также, что меня повсюду ищет полиция. Меня спас дядя, брат моей матери, начальник конной полиции. Он на время укрыл меня, а затем дал лошадей, корм и все прочее. Я ускакал к Гудзонову заливу, где было очень немного белых. Жил я спокойно, так как белые ни о чем не расспрашивали меня. Я работал и проводником, и погонщиком собак, и охотником, — работал до тех пор, пока моя дочь не подросла и не превратилась в высокую и красивую девушку.

Вам, конечно, известно, какие дурные мысли и дела рождаются в долгую суровую зиму. Начальник поселка был очень предприимчивый и

жестокий человек. Он не отличался ничем таким, что могло бы привлечь к нему женщин, но он стал заглядываться на мою девочку! Господи Боже мой! Для того чтобы ему легче было обделать свое скверное дело, он надумал послать меня в далекий путь. Так он и сделал, — бессердечный, жестокий человек! У моей девочки была непорочная, белая душа — белая, как и ее тело. Она не выдержала этого ужаса — и умерла.

Я вернулся домой в холодную, ненастную ночь. Я отсутствовал несколько месяцев, и мои собаки, подъезжая к дому, заметно хромали. На меня, не говоря ни слова, как-то странно смотрели и туземцы и белые, и я, неизвестно почему, почувствовал гнетущий страх. Но прежде всего я накормил собак и поел сам. Затем обратился к соседям за разъяснениями. И вот все, точно по уговору, отступили от меня: они страшились меня и моего гнева. Слово за слово, мне все же рассказали всю историю, печальную историю, удивляясь моему поразительному спокойствию.

Выслушав, я немедленно отправился в дом начальника, причем — уверяю вас — был тогда спокойнее, чем теперь, когда рассказываю вам. Тот при виде меня перепугался насмерть и стал звать белых на помощь; но они отказались, счи-

тая начальника достойным наказания. Тогда он побежал к священнику, но я последовал за ним. Однако пастор стал на моем пути и начал говорить о том, что человек, объятый гневом, прежде всего должен подумать о Боге. Я напомнил о своих отцовских правах и потребовал, чтобы он дал мне пройти, но он заявил, что к начальнику я пройду только через его труп… Опять на моем пути стала церковь, все та же церковь! Я не совладал с собой — и переступил через труп священника, а затем отправил начальника вслед за моей дочерью, к Богу — к недоброму Богу — Богу белых людей.

Поднялась страшная суматоха, и я понял, что мне необходимо скрыться. Я пересек Страну Великого Раба и по долине реки Маккензи дошел до вечных снегов, миновал Белые Горы и по Юкону добрался сюда. И с тех пор, кроме вас, я не видел ни одного белого. Вы — первый и, возможно, последний. Я теперь постоянно живу с туземцами. Это простые, бесхитростные люди, которые относятся ко мне с уважением. Я пользуюсь у них большим влиянием, настолько большим, что каждое мое слово для них закон. Что я говорю — говорят и они. Что я думаю — думают и они. И вот я от имени всех нас требую, чтобы вы ушли. Вы не нужны нам. Если с нашего позволения

вы присядете у наших костров, то вслед за вами придут и ваша церковь, и ваши священники, и ваши боги. Знайте и помните: каждого белого, который заглянет к нам, я заставлю отречься от веры его отцов. Для вас я делаю единственное исключение. Примите это во внимание — и уходите. Чем скорее вы уберетесь отсюда, тем будет лучше для вас.

— Я не могу и не должен отвечать за моих одноплеменников, — сказал белый, с задумчивым видом набивая трубку.

— Но мне достаточно знать ваш род, — произнес метис. — Вас очень много, и вы прокладываете дорогу для других. Со временем они явятся сюда и завладеют всем в стране, но при мне этого не будет. Мне говорили, что англичане уже у устья Большой Реки и что русские дошли до нижнего течения Юкона.

Гей Стокарт взглянул на метиса.

— Разве Юкон впадает в Берингово море? — с изумлением спросил он, так как, подобно своим соплеменникам, предполагал, что Юкон впадает непосредственно в Ледовитый океан.

— Не знаю. Знаю только, что в нижнем течении Юкона собралось очень много русских. Если хотите, можете сами убедиться в этом. Кстати,

вы и вернетесь к своим. Не советую вам идти на Койокук, — не советую вам, как вождь, которому покорны все воины и все жрецы.

— А если я все-таки не послушаюсь вас и не отправлюсь ни к русским, ни к англичанам?

— Тогда вы отправитесь к вашему злому богу — богу белых!

Над горизонтом стояло багрово-красное, задернутое легкими тенями солнце. Батист Красный поднялся с места, слегка кивнул головой и среди красноватых сумерек направился в свой лагерь.

2

Гей Стокарт очень энергично, хотя и коротко, выругался. Тотчас же его жена подняла глаза и пристально посмотрела на реку. Она отличалась удивительной способностью догадываться о настроении и планах мужа по тем ругательствам, которые он произносил. По этой самой причине она определила, что данный случай заслуживает особого внимания. Большой челнок, весла которого ярко сверкали на заходящем солнце, пересекал реку, направляясь к берегу. Гей Стокарт внимательно наблюдал за каноэ. В трех гребцах, работавших удивительно ритмично, не было ничего странного, но внимание янки привлек

красный платок, повязанный вокруг головы одного из них.

— Билл! — крикнул Гей Стокарт. — Эй, Билл!

Из соседней палатки, зевая, потягиваясь и протирая заспанные глаза, выглянул огромный, несколько неуклюжий человек. Бросив случайно взгляд на реку, он тотчас же пришел в себя.

— Ах, черт! Зачем это принесло его сюда!

Гей Стокарт покачал головой и сделал шаг назад, чтобы достать ружье.

— А его, действительно, надо было бы подстрелить, — заметил Билл. — Не то, чего доброго, он все нам испортит.

Однако Гей Стокарт отказался от своей мысли. Тем временем каноэ причалило к берегу, и из него кроме двух индейцев вышел белый со странным головным убором.

— Приветствую вас на манер Павла Тарсийского! Да будет с вами мир и радость.

Его появление и приветствие были встречены холодным молчанием.

Приезжий продолжал:

— Приветствую Гея Стокарта, великого грешника и богоотступника. Знаю, что вашим сердцем владеет великий бог наживы, а умом — злой дух. Знаю еще, что в одной палатке с вами живет ваша

любовница. Зная это, я, Стордж Оуэн, посланник Божий, приказываю вам раскаяться и очиститься от всякой скверны!

— Да оставьте вы кликушеский тон! — с раздражением вскричал Гей Стокарт.

Стордж Оуэн, миссионер и ставленник Господа на земле, вернулся к каноэ и распорядился, чтобы вынесли на берег все его вещи. Гей Стокарт приблизился к нему.

— Послушайте! — сказал он, коснувшись плеча миссионера. — Вы какого мнения насчет своей безопасности?

— Моя жизнь, равно как и смерть, в руках Господа, и в Его саду я лишь работаю по Его заветам.

— Ах, да бросьте же эти слова! Вас не пугает мученическая смерть?

— Да исполнится воля Господа.

— Хорошо. Если вы очень хотите, воля Господа исполнится именно здесь. Но все же я считаю своим долгом предупредить вас и дать вам совет. От вас зависит, принять его или не принять. Заявляю вам, что, оставаясь здесь, вы сами себя обрекаете на смерть, — и не только себя, но и нас, Билла, мою жену…

— Она не христианка!

— Повторяю, что вы смертельно угрожаете

всем нам. Последнюю зиму я провел и пострадал вместе с вами, и знаю, что вы очень добрый человек. Конечно, я считаюсь с вашей почтенной миссией, но все же очень прошу вас хоть немного подумать о последствиях. Тут живет Батист Красный — не индеец, а человек одного с нами происхождения. С одной стороны, он так же упрям и стоек, как и я когда-то, а с другой — так же фанатичен, как вы теперь. Раз только вы сойдетесь, я умываю руки, — умываю даже в том случае, если вы пригрозите мне вечным пребыванием в аду. Поняли меня? Если поняли, то немедленно воспользуйтесь моим советом и убирайтесь отсюда. Уезжайте вниз по реке. Вы попадете к русским, среди которых найдете много священников. Они, наверное, помогут вам пересечь Берингово море и вернуться в цивилизованный мир. Послушайтесь меня и оставьте нас как можно скорее.

— В сердце моем Господь, а в руке — Евангелие Его, и мне нечего бояться ни козней дьявола, ни козней человеческих, — торжественно ответил миссионер. — Я все же встречусь с этим ужасным человеком и попытаюсь воздействовать на него словом Божьим. Лучше вернуть в лоно христианства одну заблудшую овцу, чем обратить тысячу

язычников. Сильный во зле будет так же силен и в добре. Примером тому может служить Савл, ушедший в Дамаск, с тем чтобы пригнать в Иерусалим пленных христиан. Сказано в Евангелии следующее: «И послышался ему голос Спасителя: — Павел, за что преследуешь меня? — И с того дня Павел перешел на сторону Господа Иисуса Христа и потом был велик и ревностен в спасении душ человеческих». И, подобно Павлу Тарсийскому, я работаю в саду Божьем и из любви к Нему терплю напасти и горести, насмешки и презрение, боль и страдания.

Он тут же обратился к своим лодочникам:

— Не забудьте захватить чайник, мешок с чаем, олений окорок и котелок.

После того как прибывшие с ним люди — им же обращенные в христианство — вышли на берег, все трое, не выпуская из рук дорожных принадлежностей, опустились на колени и возблагодарили Бога за благополучное прибытие на место.

Гей Стокарт смотрел на всю эту церемонию с насмешливым и неодобрительным видом. Он отличался слишком трезвым взглядом на вещи, и подобные торжественные проявления были всегда чужды ему.

Между тем из своей палатки выглянул Батист. Глядя на все то, что происходит в лагере белых, он вспоминал о женщине, которая жила с ним в лесистых горах, вспоминал и о дочери, похороненной где-то около сурового Гудзонова залива.

3

— Батист, перестанем говорить об этом. Да не то что говорить, — и думать об этом нечего. Я согласен с вами, что этот человек очень плохо понимает житейские дела и просто глуп, но при всем том я не могу отречься от него.

Гей Стокарт замолчал. Видно было, что эти слова выражали всю его душу, всю грубую этику его существования.

— Послушай, Батист, — продолжал он после паузы. — Он уже давно надоел мне. Против своей воли он сделал мне много плохого. Но опять же… Как это ты не хочешь понять, что мы с ним одной расы? Он белый и… Да будь он даже негр, я не позволил бы себе спасти свою жизнь за счет его жизни.

— Хорошо! — заявил Батист Красный. — Я сделал вам большое одолжение, дав право выбора. Я теперь ухожу от вас, но скоро вернусь, — вернусь со всем моим народом. И тогда вам опять придет-

ся выбирать: либо я убью вас, либо вы откажетесь от своего Бога. Если же вы хотите, чтобы я оставил вас в покое, отдайте мне миссионера. Если вы этого не сделаете, вы погибнете. Мое племя ненавидит всех вас, даже ваших младенцев. Вот посмотрите: наши дети завладели вашими лодками.

Он указал на реку. Нагие индейские ребятишки на лодках белых неслись по течению. Очутившись за пределами ружейного выстрела, они взялись за весла и стали торопливо грести по направлению к берегу.

— Отдайте нам миссионера, и я верну вам лодки, — сказал Батист Красный. — Хорошенько обдумайте мое предложение. Я не хочу, чтобы вы торопились.

Гей Стокарт покачал головой. Он взглянул на жену, державшую у груди ребенка, и сердце его дрогнуло.

Его сомнения разрешил миссионер, который после решительного заявления Батиста подошел совсем близко.

— В моей душе нет страха, — сказал он. — И я хоть сейчас готов идти к неверующим. У нас еще достаточно времени, — я верю в чудо и надеюсь, что к одиннадцатому часу мне удастся обратить

язычников на путь истинный.

— Вот вам удобный случай! — шепнул Билл на ухо Стокарту. — Самое лучшее будет, если он пойдет к ним заложником. Пусть они делают там с ним, что хотят.

— Нет, — твердо ответил Стокарт. — Я обещал ему, что мы поведем переговоры вполне честно. Тут, Билл, все равно что на войне, и поэтому надо считаться с правилами войны. Он до сих пор вел себя очень честно, даже предостерег нас, и поэтому я не смею нарушить мое слово.

— Он все равно исполнит свое обещание.

— Я знаю это, но тем больше оснований для меня быть таким же честным. Я не должен допустить, чтобы он оказался честнее меня. Ведь ты понимаешь, что если мы отдадим ему миссионера, то раз и навсегда покончим с этим делом. Как же, по-твоему, отдать?

— Нет… — колеблясь, произнес Билл.

— Вот видишь! И ты не решаешься!

Билл смутился, покраснел и перестал спорить. Батист Красный терпеливо ожидал ответа.

Гей Стокарт подошел к нему и сказал следующее:

— Послушай, Батист. Тебе известно, что я пришел сюда, чтобы идти дальше на Койокук. Ты

знаешь, что у меня не было никаких дурных тайных мыслей. Их не было тогда и нет теперь. И вдруг приходит сюда этот священник. Ведь не я же привел его сюда. Он пришел бы сюда независимо от того, здесь я или нет. Но теперь, раз он здесь, и раз он — мой одноплеменник, я обязан стать на его защиту. Если ты, Батист, и весь твой народ будете добиваться своего, вам будет хуже. В вашем поселке замрет жизнь, точно после голода, ваш лагерь опустеет. Конечно, мы пострадаем, но и твои люди…

— Но те мои люди, которые останутся в живых, будут пользоваться миром и спокойствием, и их слух не будут раздражать чужие слова о чужих богах.

Гей Стокарт и Билл пожали плечами и ушли, а Батист Красный вернулся к себе.

Стордж Оуэн созвал своих людей, и они все вместе стали молиться. Стокарт и Билл срубили несколько высоких сосен и сделали из них брустверы, вполне пригодные для защиты.

Ребенок уснул. Жена Стокарта положила его на шкуры и стала помогать мужчинам. Вскоре лагерь белых был защищен с трех сторон; четвертая сторона имела естественную защиту в виде очень крутого откоса. Покончив с укреплениями

из бревен, Стокарт и Билл принялись расчищать склон от кустарника. В это время из неприятельского лагеря стали доноситься призывы шаманов, возбуждавших индейцев, и грохот барабанов.

— Всего хуже то, что индейцы думают захватить нас врасплох, — сказал Билл, когда они с топорами на плечах возвращались в лагерь.

— Конечно, они ждут ночи, когда нам будет очень трудно целиться.

— В таком случае, быть может, лучше нам начать? — И Билл тотчас же сменил топор на ружье.

Над толпой индейцев отчетливо возвышался один из шаманов, и Билл прицелился в него.

— Готово? — спросил он.

Гей Стокарт открыл ящик с боеприпасами, устроил в безопасном месте жену и дал Биллу знак.

Тот выстрелил.

Шаман упал. Внезапно наступившая тишина немедленно сменилась яростными воплями, и на склон обрушился поток стрел.

— То же самое я сделаю с метисом… — заряжая ружье, пробормотал Билл. — Готов поклясться, что попаду ему в самую переносицу.

— Не выйдет, — сказал Стокарт, мрачно качая

головой.

Они наблюдали, как Батист уговаривал своих соплеменников. Некоторые из них рвались в бой, но большинство воинов, охваченные страхом, бросились бежать и вскоре очутились вне зоны выстрела.

Настроение Сторджа Оуэна изменилось. Еще совсем недавно, готовый в одиночку отправиться в стан неверующих — уповая на чудо и готовый на мученичество, — он почувствовал, как его мало-помалу оставляет возбуждение. Страстный порыв проповедника уступил место чувству самосохранения. Вместо надежды на чудо пришел физический страх, а любовь к Богу сменилась любовью к жизни.

Ему было знакомо это состояние. Он вдруг вспомнил, как однажды, в критический момент, когда всем находящимся в лодке угрожала опасность, он в числе прочих бросил весла и, поддавшись общей панике, стал молить Бога сохранить ему жизнь.

Это воспоминание было неприятно ему. Ему стало стыдно, ибо он снова почувствовал, как слаб его дух и немощно его тело. Любовь к жизни… Да, это было сильнее его, и он не мог бороться с этим могучим инстинктом. Его отвага — если только

это можно было назвать отвагой — была вызвана религиозным фанатизмом, между тем как отвага Стокарта и Билла коренилась в глубоко заложенных в них убеждениях. Любовь к жизни говорила и в них, но расовые традиции были сильнее. И они боялись смерти, но не хотели жизни, купленной ценой вечного позора.

Стордж Оуэн встал, весь охваченный готовностью самопожертвования. Он было уже занес ногу, желая перелезть через укрепления и проникнуть во вражеский лагерь, как вдруг, дрожа и стеная, подался назад.

«Господи, как я слаб!.. Кто я, что осмеливаюсь идти против велений Господа моего? Еще до моего рождения все было вписано в книгу судеб. Смею ли я, жалкий червяк, испортить хоть одну страницу этой книги? Да свершится воля Господня!»

Он снова занес ногу, но вдруг к нему подскочил Билл и, не говоря ни слова, сильно ударил. Миссионер от неожиданности готов был закричать, но Билл, уже забыв о нем, все свое внимание обратил на его спутников. Те почти не обнаружили страха и принялись помогать Гею и Биллу.

— Притащите сюда миссионера! — обратился Стокарт к Биллу, после того как перестал шеп-

таться со своей женой.

Спустя несколько минут Стордж стоял перед ним с крайне растерянным видом, и Стокарт сказал ему:

— Повенчайте нас — да поскорее!

Он прибавил, обратившись к Биллу:

— Кто его знает, чем это еще кончится: поэтому я думаю, что лучше всего будет привести в порядок свои дела.

Индианка беспрекословно повиновалась желанию своего белого господина. Она относилась к подобной церемонии совершенно безразлично и к тому же считала себя женой Стокарта с того самого момента, как вошла в его дом.

Свидетелями венчания были спутники миссионера, которого не переставал торопить Билл. Гей подсказывал жене ответы, а к известному моменту, за неимением кольца, обвил ее пальцем свой указательный палец.

— Поцелуйтесь! — торжественно провозгласил Билл.

Стордж Оуэн был до того раздавлен, что не мог даже протестовать.

— А теперь окрестите ребенка!

— И по всем правилам! — приказал Билл.

В качестве купели подошла большая чашка с

водой. Как только кончился обряд крещения, ребенка отнесли в безопасное место. Затем развели костры и стали готовить ужин.

Уже заходило солнце, и ближе к северу небо окрасилось в кроваво-красный цвет. День угасал, все длиннее становились тени, и все тише становилось в лесу. Слабее и слабее доносились голоса птиц, и наконец на землю опустилась ночь.

Между тем у индейцев с каждой минутой становилось все более шумно; сильнее прежнего грохотали барабаны, оглушительные звуки которых смешивались с голосами людей.

Однако и у них шум прекратился, едва только солнце опустилось за горизонт. Всю землю заполнили мрак и ничем не нарушаемое молчание. Гей Стокарт подошел к укреплениям, опустился на колени и стал наблюдать в просветы между бревнами.

Послышавшийся плач ребенка отвлек его внимание. Мать склонилась над ребенком, и он тотчас же снова заснул. Воцарилось глубокое молчание… Откуда-то донеслось громкое пение реполовов. Ночь близилась к концу.

На открытом месте показалась группа людей, и тотчас же послышался характерный шум стрел, а в ответ им прозвучали ружейные выстрелы.

Вдруг копье, брошенное опытной и сильной рукой, пронзило женщину из Теслина, и почти одновременно стрела, проникнув меж бревен, попала в руку миссионера.

Бой разгорался. Вскоре весь участок земли у бруствера был завален трупами, но оставшиеся в живых индейцы неслись вперед со стремительностью морских волн. Стордж Оуэн скрылся в палатке, а его спутники были сметены людской волной. Гею Стокарту невероятными усилиями удалось пробиться вперед и очистить вокруг себя место. Чья-то темная рука вытащила крохотного ребенка из-под мертвого тела матери и со всего размаху ударила его о бревна.

Кольцо дикарей становилось все тесней, а стрелы и копья падали все чаще. Поднялось солнце и залило поле битвы яркими лучами. Уже во второй раз индейцы устремились на Стокарта, но он опять, действуя одним топором, отразил нападение. Люди падали у его ног, а он попирал ногами мертвых и умирающих.

Солнце поднималось все выше, и все громче пели птицы. Индейцы временно отступили, а Гей, от усталости едва державшийся на ногах, воспользовался перерывом и оперся на топор.

— Клянусь душой своей, — вскричал Батист

Красный, — ты мужчина! Отрекись от своего бога — и ты будешь жив!

Стокарт отрицательно мотнул головой.

— Смотрите! Женщина! — Стордж Оуэна вывели и поставили рядом с метисом.

Он был невредим — только несколько царапин на руке. Глаза его блуждали с выражением величайшего ужаса. Его неверный взор остановился на могучей фигуре Гея Стокарта, который, несмотря на множество ран, с самым бесстрашным видом опирался на топор. Все существо этого человека дышало неукротимой отвагой, гордостью и удивительным спокойствием. И Стордж Оуэн почувствовал непреодолимую зависть к человеку, который с таким ясным, открытым взором встречает смерть. Во всяком случае, уж если кто-нибудь из них и походил на Христа, так не он, Стордж Оуэн, а Гей Стокарт.

Он вдруг почувствовал слепое озлобление против предков, которые из поколения в поколение передали ему слабость духа, — и одновременно им овладел великий гнев против Творца, создавшего его таким жалким и слабым. Даже для более сильного человека при таких условиях был неизбежен религиозный крах, а со Сторджем Оуэном случилось то, что и должно было случиться. Из-за

страха перед людьми он восстал против Бога. Еще недавно в своем бескорыстном служении Богу он вознесся так высоко, но вознесся лишь для того, чтобы стремительно пасть. Только теперь ему стало ясно, насколько бессильна и беспочвенна всегда была его вера, если у него не было силы духа отстоять ее.

— Где же великий Бог твой? — насмешливо спросил Батист Красный.

— Я не знаю… Я ничего не знаю.

Он весь похолодел и был подобен малому ребенку, отвечающему на вопросы законоучителя.

— Но ты веришь в Бога?

— Верил.

— А теперь?

— А теперь не верю.

Гей Стокарт вытер струившуюся по лицу кровь и улыбнулся. Стордж Оуэн взглянул на него с любопытством. Стокарт не принимал никакого участия в разговоре, стоял в стороне, и слова Батиста едва достигали его слуха.

А тот сказал следующее:

— Послушайте все вы, что я вам скажу: я отпускаю этого человека, не причинив ему зла. Пусть он идет с миром и возьмет с собой в дорогу все необходимое. Он придет к русским и расскажет

их священникам о стране Батиста Красного, — о стране, где не признают никакого бога.

Индейцы проводили миссионера до склона горы и там задержались с ним — в ожидании развязки.

Батист Красный обратился к Гею Стокарту:

— Ты слышал, что я сказал: здесь нет никакого Бога.

Тот, не ответив, продолжал улыбаться.

Один из молодых индейцев взял копье наперевес.

— Веришь ли ты в Бога?

— Да, я верю в Бога моих отцов.

Батист Красный подал знак, и молодой индеец пронзил копьем грудь Гея Стокарта.

Стордж видел слоновый наконечник, прошедший навылет, видел, как Стокарт, по-прежнему улыбаясь, закачался и стал медленно опускаться на землю. Одновременно он услышал хруст сломавшегося и упавшего на землю древка. Когда все кончилось, он отправился вниз по реке — с тем чтобы рассказать русским о стране Батиста Красного — о стране, где не признают никакого Бога.

То, чего никогда не забыть…

Фортюн Ла-Пирль бежал по снегу, спотыкаясь на каждом шагу, плача и проклиная свою судьбу, Аляску, Ном, карты и того человека, которого он пырнул ножом. Горячая кровь уже застыла на его пальцах. Страшная картина неотступно стояла перед его глазами и жгла мозг. Он видел человека, ухватившегося за край стола и медленно опускавшегося на пол, — разбросанные вокруг фишки и карты, — мгновенный трепет, охвативший всех присутствовавших и сменившийся напряженной тишиной, — крупье, остановившихся на полуслове, и жетоны, как бы замершие на столах, — испуганные лица, — бесконечный момент общего молчания — и многое другое. И вдруг услышал страшный рев, а за ним — призывы к мести, которые, казалось, сейчас гнались по его следам и свели с ума чуть ли не весь город.

«Все черти преисподней спущены с цепей!» — криво усмехнулся он про себя, снова нырнув в непроглядный мрак и направляясь к реке.

Многочисленные огни заструились из всех открытых дверей, из всех палаток, хижин и танцевальных залов, выбросивших на улицу

множество народа, охваченного неутолимой жаждой мщения и погони за преступником. Рев людей и вой собак беспощадно терзали его уши и ускоряли бег. Он бежал все дальше и дальше, а звуки за ним мало-помалу стали ослабевать, и через некоторое время ярость погони сменилась озлоблением от неудачных и бесцельных поисков.

Но одна тень неотступно неслась за ним. Время от времени поворачивая назад голову, он различал эту тень, которая то принимала неясные очертания на бесконечном снежном фоне, то мигом поглощалась глубокими тенями, отбрасываемыми какой-нибудь хижиной или вытащенной на берег лодкой.

Фортюн Ла-Пирль ругался, как женщина, — слабо, жалко, с ясными намеками на то, что скоро иссякнет источник слез, и все дальше уносился в лабиринт наваленного льда, палаток и пробных ям. Он то и дело налетал на протянутые по всем сторонам веревки, кучи мусора и бессмысленно вколоченные палки и на каждом шагу спотыкался о горки беспорядочно сваленного и примерзшего леса, принесенного течением. Иногда ему чудилось, что погоня за ним окончательно прекратилась, и тогда он сбавлял шаг, причем его

голова кружилась, а сердце колотилось до того сильно, что вызывало мучительные приступы удушья. Но через минуту он убеждался в том, что жестоко ошибался, ибо сбоку, неведомо откуда и как, снова появлялась та же неотступная тень и снова заставляла его сломя голову уноситься вперед. Внезапная мысль, как молния, пронеслась в его голове и оставила по себе холодную дрожь, которая так знакома суеверным людям. Тень приняла в его глазах типичные символические формы, которые понятны только игрокам. Молчаливая, неумолимая и неотвратимая, она представлялась ему воплощением его собственной судьбы, которая подошла к нему вплотную в тот самый момент, когда игра закончилась и надо было платить наличными деньгами за фишки и жетоны.

Фортюн Ла-Пирль твердо верил, что у каждого человека бывают такие редкие и замечательные моменты, когда его мозг, окончательно освободившись от власти пространства и времени, выступает вперед совершенно нагой, шествует по граням вечности и читает великие факты из открытой книги судеб. Он не сомневался в том, что именно такой момент наступил для него; и вот почему, когда он снова устремился прочь

от берега и понесся по заснеженной тундре, его нисколько не испугало то, что преследующая его тень будто приняла более четкие очертания и значительно приблизилась к нему. Подавленный сознанием полной беспомощности, он вдруг остановился посреди белого поля и резко повернулся назад. Тотчас же его правая рука высвободилась из рукавицы, и высоко поднятый револьвер сверкнул в бледном сиянии звезд.

— Не стреляйте! Я безоружен.

Тень приобрела более конкретные черты, и при первых же звуках человеческого голоса у Фортюна Ла-Пирля подогнулись колени и он почувствовал в желудке резкие спазмы.

Весьма возможно, что при иных обстоятельствах совершенно иначе выстроились бы все последующие события, но все дело было в том, что Ури Брам не имел при себе оружия в ту ночь, когда он сидел на жестких скамьях Эльдорадо и видел, как Фортюн Ла-Пирль убил человека. Этим же обстоятельством объясняется и другой факт, заключавшийся в том, что Ури понесся по Большому Пути в обществе такого неподходящего для него компаньона, как Ла-Пирль. Но, так или иначе, он снова повторил:

— Не стреляйте! Разве вы не видите, что я со-

вершенно безоружен?

— В таком случае, черт вас побери, чего ради вы гонитесь за мной? — спросил игрок, опустив револьвер.

Ури Брам пожал плечами.

— Сейчас этот вопрос не представляет большой важности. Я хочу, чтобы вы пошли со мной.

— Куда?

— В мою палатку, на самом конце стоянки.

Фортюн Ла-Пирль снова опустил носок мокасины в глубокий снег и хорошо подобранным набором ругательств постарался убедить Ури Брама, что тот сумасшедший.

— Кто вы, — закончил он свою тираду, — и кто я? И с какой стати я должен по вашему желанию всунуть голову в петлю? Скажите пожалуйста!

— Я — Ури Брам! — очень просто ответил тот. — И моя хижина находится недалеко, в конце лагеря. Я не знаю, кто вы такой, но я собственными глазами видел, как вы вытрясли душу из живого человека. На ваших руках до сих пор осталась его кровь, — его красная кровь; и, словно на второго Каина, рука всего рода человеческого поднялась на вас. Вам негде приклонить голову, а у меня имеется хижина, которая…

— Ради вашей собственной матери, замолчи-

те! — перебил его Фортюн Ла-Пирль. — Или я тут же превращу вас во второго Авеля! Вот клянусь вам, чем вы только хотите, что я сделаю именно так, как я только что сказал! Подумайте, глупый вы человек, что тысячи людей гонятся по моим следам, ищут и рыщут по всем направлениям, — и как же я при таких условиях смогу найти защиту и приют в вашей хижине? Я хочу и должен убежать как можно дальше, дальше, дальше! Ах, какие подлые свиньи! Правду сказать, я испытываю огромное желание повернуть назад и полоснуть некоторых из них. Будет одна, но настоящая и прекрасная схватка, и я покончу со всем этим грязным делом. Паршивая игра эта жизнь. И ну ее к черту!

Он на мгновение остановился, подавленный всей тяжестью несчастья, свалившегося на него, и Ури Брам решил воспользоваться этой минутой слабости. Этот человек никогда не отличался особенным красноречием, и речь, которую он сейчас произнес, была самая длинная за всю его жизнь, за исключением той, которая будет приведена несколько позже и в другом месте.

— Вот потому-то я и говорю вам про мою хижину. Я могу спрятать вас в ней так, что никто и никогда не найдет вас, а пищи у меня сколько

угодно. Ведь, так или иначе, вам все равно нечего делать и некуда деться. Собак у вас нет, да и вообще ничего нет, а море замерзло. Ближайший от нас пост — Сент-Майкель. Погонщики разнесли весть о вас по всей округе, до самого Анвига. Вы сами видите — у вас нет ни единого шанса на спасение. Так вот, по-моему, вам остается одно: переждать у меня, пока вся эта буря уляжется. О вашей истории все позабудут через месяц или даже того меньше — забудут и те, что поедут в Йорк, и те, что останутся здесь. Уверяю вас, что вы удерете под самым их носом, а они и не заметят этого. У меня имеются свои собственные представления о справедливости. Когда я выбежал из Эльдорадо и понесся за вами по берегу, то я меньше всего думал о том, чтобы поймать вас и выдать полиции. У меня свои собственные воззрения, которые не имеют ничего общего с их воззрениями.

Он замолчал при виде того, как убийца вынул из кармана молитвенник. При мерцающем желтоватом свете северного сияния на северо-востоке, с обнаженными на морозе головами и голыми руками, положенными на священную книгу, два человека обменялись клятвой, согласно которой Ури Брам обещал никогда не

выдавать Фортюна Ла-Пирля, что впоследствии и выполнил.

На пороге его хижины игрок помедлил с минуту, еще раз подумав про себя о странном поведении этого человека, который вдруг пожелал спасти его. И на ту же минуту им снова овладели сомнения… Но он вошел.

При свете свечи он успел заметить, что хижина довольно обустроена и что никаких посторонних людей в ней нет. Он начал быстро свертывать папиросу, в то время как хозяин занялся приготовлением кофе. Благодаря приятной теплоте его мускулы несколько размякли, и он слегка, с полупритворной небрежностью и ленью откинулся назад, причем ни на миг не отрывал взора от лица Ури, которое пристально изучал сквозь кольца дыма. Это было крупное и значительное лицо, и сила его была того странного свойства, которое не сразу поддается определению и характеристике. Морщины шли очень глубоко и кое-где были похожи даже на шрамы, а в резких, серьезных чертах лица не имелось ни намека на юмор или сердечность. Под высоко и далеко выступающими вперед лобными костями, за густыми пушистыми бровями сидели серые и холодные глаза. Скулы значительно выдавались,

образуя глубокие впадины. Подбородок и челюсти говорили о силе, а узкий лоб — об упрямстве, а в случае необходимости — и о безжалостности. Все остальное: нос, губы, голос, линии рта — было чрезвычайно сурово. Фортюн Ла-Пирль увидел перед собой человека, который издавна привык ограничиваться собственным обществом и редко искал совета у кого-либо. Это был человек, которому приходилось по ночам очень много бороться с собой и демонами, но который подымался на заре с таким выражением лица, что никто и никогда не мог бы догадаться, что думает и как живет этот отшельник. Фортюн — сам по себе существо поверхностное и легкомысленное — никак не мог разобраться в этом замкнутом, но несомненно глубоком человеке. Он мог бы еще понять его, если бы тот пел, когда бывал весел, и вздыхал бы, когда ему было грустно. Но не представлялось никакой возможности расшифровать эти скрытые черты, как нельзя было и измерить эту замкнутую душу.

— А ну-ка, помогите мне, господин Человек! — приказал ему Ури, когда чашки с кофе были опорожнены. — Нам надо устроиться так, чтобы никакие визитеры не застали нас врасплох.

Считаясь с удобствами хозяина, Фортюн назвал

свое имя; он оказался очень ловким помощником. Ложе Ури стояло у стены, почти в самом конце хижины, и представляло собой весьма примитивное сооружение, так как основа его состояла из сплавных, неотесанных бревен, покрытых мхом. Неотделанные концы в ногах подымались вверх неровным рядом. В той части лежанки, что была поближе к стене, Ури содрал мох и вытащил три доски. Образовавшееся отверстие было заполнено: Фортюн принес из кладовой несколько мешков с мукой и положил на пол, как раз под раскрытым четырехугольником. Поверх муки Ури положил несколько длинных, так называемых «морских», мешков, которые, в свою очередь, были затянуты несколькими полотнищами меховых шкур и одеялами. Покрытый шкурами, которые тянулись от одного конца ложа до другого, Фортюн Ла-Пирль мог лежать совершенно спокойно, нисколько не боясь привлечь внимание чересчур любопытных посетителей, которые могли сколько угодно смотреть на кровать Ури и все равно считали бы, что она пуста.

В продолжение нескольких последующих недель повсюду был произведен ряд самых тщательных обысков, причем не была пропущена ни единая хижина или палатка. Однако Фортюн

лежал в своем убежище так же спокойно, как ребенок в колыбели. Собственно говоря, на хижину Ури Брама вообще никто не обращал внимания. Меньше всего кто-либо мог подумать, что именно здесь скрывается преступник, убивший Джона Рандольфа. Когда же миновала пора усиленных обысков и поисков, Фортюн начал преспокойным образом разгуливать по хижине, раскладывая вечный пасьянс и раскуривая бесконечные папиросы. Несмотря на то что его экспансивная натура любила веселье, шум, шутки, остроумие и неподдельный смех, он довольно быстро привык к молчаливости своего хозяина. За исключением действий и планов преследователей, состояния дорог и цен на собак им и говорить-то было не о чем. Да и об этом они беседовали довольно редко и очень коротко.

Фортюн занялся было разработкой систем для игры в карты, и целые часы и даже дни проходили в том, что он тасовал и сдавал, тасовал и сдавал, записывал всевозможные комбинации карт, составлял таблицы, а затем снова тасовал и сдавал. Но в конце концов и это занятие адски приелось ему, и, опустив голову на стол, он предавался сладкому мысленному созерцанию веселых и шумных картежных домов, которые

были открыты всю ночь, в которых по очереди работали крупье и надзиратели, а шарик рулетки неугомонно звенел и вертелся от зари до зари. В такие моменты сознание полного одиночества и крушения всех надежд действовало на него столь ошеломляюще, что он по целым часам сидел, устремив взор в одну точку и ни на мгновение не меняя позы. В иные же моменты его дурное настроение находило себе некоторый выход в страстных и горестных излияниях. В конце концов, жизнь мало улыбалась ему, и он не взял от нее того, чего жаждал.

— Ну и поганая же игра — жизнь! — повторял он каждый раз по-иному, и только в этом отношении были какие-то перемены, так как каждый раз звучали новые нотки озлобления. — Собственно говоря, мне всю жизнь не везло и не везет. Вероятно, я был проклят уже при самом рождении, и горе я стал пить вместе с молоком матери. Просто-напросто кто-то неудачно бросил кости, и вот вся игра пошла криво! Но я-то разве виноват в этом? Разве мать смела упрекать меня в этом? Но она упрекала, она во всем винила только меня — и всегда винила! Почему она не повела меня по иному пути? Почему мне не помогли другие люди? И чего ради и зачем я попал в Ситль? По-

чему я, как грязная свинья, жил в Номе? И как так случилось, что я попал в Эльдорадо? Кому это нужно было? Ведь как все это вышло! Я шел к Большому Питу за спичками — вот и все! Почему у меня как раз вышли спички? И зачем мне захотелось курить? Ну разве вы не видите, как все обстоятельства и факты складывались против меня! Все на свете, все люди — все было против меня — и еще чуть ли не до моего появления на свет Божий! Уж так кто-то подстроил, чтобы никогда и нигде мне не улыбались ни надежда, ни радость! А, черт бы все это побрал! Как мне не везет! Ну, скажите на милость, чего ради на моем пути стал Джон Рандольф, которому вздумалось в одно и то же время назначить ставку и поставить фишку? Все из-за него, мерзавца, вышло, и я очень рад, что расправился с ним именно так, как он того заслуживал. Ну почему он не сумел держать язык за зубами и предоставить удаче хоть единственный раз повернуться ко мне лицом? Ведь он прекрасно знал, в каком паршивом положении я нахожусь и что не сегодня-завтра я останусь без гроша в кармане. И почему я не сумел вовремя овладеть собой и задержать свою же руку? Ах, почему? Почему, почему?

И Фортюн Ла-Пирль буквально катался по полу,

неистово вопрошая судьбу: почему так ужасно и несчастно сложилась его жизнь.

Во время таких приступов отчаяния Ури Брам обычно не произносил ни слова, не выражал даже знаком своего отношения к делу, но, казалось, глаза его с каждым мгновением становились тусклее и тупее, и видно было по всему, что состояние Фортюна его решительно не интересует.

Ведь, в конце концов, между этими двумя существами не было абсолютно ничего общего, и этот факт до сих пор заставлял неоднократно задумываться убийцу и спрашивать самого себя: ну чего ради этот человек вдруг заступился за него и взял его под свою защиту и покровительство?

А между тем время выжидания естественно близилось к концу. Ведь известно, что даже самая острая жажда справедливого возмездия с течением времени уступает место жажде золота. Убийца Джона Рандольфа уже успел попасть в местные анналы, и о нем начали мало-помалу забывать. Если бы он внезапно снова появился, то граждане Нома, конечно, на время задержали бы свои приготовления в путь-дорогу и воздали бы справедливости все то, что ей следует, но, ввиду того, что о местопребывании Фортюна Ла-Пирля до сих пор ничего и никому не было известно, во-

прос об его поимке лишился остроты, потеряв все особенности проблемы, которую надо немедленно разрешить. Назрели более насущные вопросы. На дне рек и вдоль берегов было золото, были рубины. В самом недалеком будущем должна была открыться вода, — и многочисленные граждане Нома все свои мысли посвящали тому, чтобы отправиться в места, где чудеснейшие вещи можно достать по неслыханно дешевой цене.

И вот однажды ночью Фортюн Ла-Пирль стал помогать Ури Браму запрягать собак, и в скором времени оба отправились по зимнему санному пути в южном направлении. Собственно говоря, нельзя было это направление называть *южным,* потому что несколько восточнее Сент-Майкеля они оставили море, пересекли водораздел и пошли по Юкону до самого Анвига, на расстоянии нескольких сот миль от устья великой реки. Затем они взяли на северо-восток, прошли Койокук, Тананау, Минук, обошли Большой Поворот у Форта Юкона, в двух местах пересекли полярный круг и через Плоскогорья направились на юг. В общем, это был очень утомительный путь, и Фортюн снова стал удивляться: чего ради Ури Брам пошел с ним, но тот заявил ему, что у него на Игле имеются участки, где в настоящее вре-

мя работают люди. Игль лежал почти на самой границе, и на расстоянии нескольких миль от него, над бараками Форта Кьюдахи, уже трепетал в воздухе английский флаг. А затем шли: Даусон, Нелли, Пять Пальцев, Уинди-Арм, Карибу-Кроссинг, Линдерманн, Чилкут и Дайэ.

На следующее утро после того, как миновали Игль, они поднялись очень рано. Это была их последняя стоянка, после которой им предстояло расстаться. Фортюн чувствовал себя на редкость хорошо и легко. Все вокруг уже предвещало весну и дышало ею. Дни становились все длиннее. Путь шел уже по индейской территории. Полная свобода была совсем близко, солнце вернулось, и с каждым днем убийца все ближе подходил к желанной границе. Мир был велик, безграничен, и надежды и мечты расцветали с былой силой.

Во время завтрака Фортюн Ла-Пирль беспечно насвистывал и напевал веселенькие песенки. Ури Брам неторопливо запрягал собак. Но когда все было готово и Фортюну буквально не стоялось на месте, Ури Брам подтолкнул к костру свежее полено и уселся на нем.

— Приходилось ли вам когда-нибудь слышать о Пути Дохлой Лошади? — спросил он.

При этом он сосредоточенно взглянул на Фор-

тюна, который покачал головой, желая выразить страшное возмущение по поводу такой непредвиденной отсрочки.

— Да, бывают иногда такие встречи, — встречи при таких обстоятельствах, которых никогда нельзя забыть, — продолжал Ури медленно и очень тихо, — и вот мне лично пришлось однажды при таких особенных обстоятельствах встретиться с одним человеком на Пути Дохлой Лошади. Надо вам сказать, что в 1897 году на Белом Перевале пострадало так много народу, что и передать нельзя, — так что название этого места дано вполне правильно и разумно. Лошади там падали буквально как москиты, и от Скагуэ до озера Беннет лежали целые горы лошадиных трупов, которые гнили без конца. Кони издыхали на Скалистых Горах, отравлялись на Сэммитте и помирали от голода на Озерах. Они падали на дороге, там же, где стояли, или тонули в реках под тяжестью наваленной на них ноши. Они разбивались чуть ли не в куски о скалы, спотыкались о камни и ломали себе спины, падая с поклажей. Нередко случалось, что они так утопали в грязи, что их не было и видно. Там они задыхались в жидком иле или же напарывались на сваи, вбитые в подпочву, и разрывали себе внутренности.

Случалось, что хозяева застреливали их тут же на месте или же загоняли до смерти. Лошади околевали, и тогда люди возвращались на берег и покупали новых лошадей. Многие даже не заботились о том, чтобы прикончить несчастных животных, а снимали с них седла и подковы и бросали их там, где те падали. Сердца людей окаменели. Люди озверели, — все люди, которые проходили по Пути Дохлой Лошади.

Но был там один человек с сердцем Христа и его же терпением. Это был такой порядочный и честный человек, какого редко встретишь. Как только караван останавливался на полуденный отдых, он немедленно снимал поклажу с лошадей и тем давал им возможность хоть сколько-нибудь отдохнуть. Он платил по пятьдесят долларов и больше за сто фунтов корма для них. Собственные одеяла он неоднократно подстилал под седла лошадей, у которых были слишком натерты спины. А другие люди натирали седлами такие раны на спинах лошадей, что туда при желании могло пройти хорошее ведро. Другие, видя, что с копыт лошадей спали подковы, не обращали на это никакого внимания и гнали животных до тех пор, пока копыта несчастных не превращались в одну сплошную кровоточащую рану. А этот

человек тратил последние деньги на подковные гвозди. Знал я обо всем этом только потому, что мы спали с ним на одном ложе и ели из одной миски. Знал я это потому, что мы стали с ним братьями на том самом пути, где все остальные люди доходили до крайних лишений и умирали с богохульственными проклятиями на устах. Как бы он ни устал, он всегда находил время для того, чтобы ослабить или же подтянуть подпругу, и очень часто в его глазах стояли слезы, когда он смотрел на это море ужаса и несчастья. При подъеме в горы, когда кони спотыкались чуть ли не на каждом шагу и подымались на передних ногах, точно кошки на стену, случалось всего больше несчастий, и весь путь был устлан скелетами лошадей, скатившихся вниз. И он всегда стоял здесь, — стоял в отвратительной, адской вони, всегда имея наготове нужное подбадривающее слово или ласку, причем не сходил с места до тех самых пор, пока мимо него не проходил весь караван. Если же какая-нибудь лошадь проваливалась, этот человек задерживал все движение до тех пор, пока лошадь не была спасена, и никто из нас не осмеливался в такие минуты перечить ему или же становиться на его пути.

Почти в самом конце нашего перехода один че-

ловек, который успел за это время погубить около пятидесяти лошадей, вздумал купить наших лошадей, но мы взглянули на него и на наших коней — горных лошадок из Восточного Орегона. Он предлагал нам пять тысяч долларов, и мы готовы были уже согласиться, но тут вспомнили о ядовитых травах Сэммитта, о проходе через Скалистые Горы, и человек, которого я привык считать братом моим, не сказал ни слова в ответ, но разделил весь табун на две равные части: в одной были его лошади, а в другой — мои; затем он взглянул на меня, и мы без слов поняли друг друга. Я погнал его лошадей в одну сторону, а он моих — в другую, мы взяли в руки наши ружья и перестреляли всех лошадей до единой, в то время как человек, загнавший пятьдесят лошадей, ругал нас на чем свет стоит. Но тот человек, с которым мы сошлись как братья на Пути Дохлой Лошади…

— Да ну о чем там разговаривать! — воскликнул Фортюн Ла-Пирль и криво усмехнулся. — Ведь вы говорите о Джоне Рандольфе! Чего уж там!

Ури кивнул головой и сказал:

— Я очень рад, что вы поняли меня.

— Я готов! — ответил Фортюн, и прежняя, привычная горечь снова проступила в его чер-

тах. — Делайте что нужно, но делайте поскорее.

Ури Брам поднялся на ноги.

— Всю мою жизнь я верил в Бога! — заявил он. — Я верил и верю, что он любит справедливость. Я верю, что он и теперь глядит на нас и выбирает, на кого должен пасть его жребий. Я верю, что он желает проявить свою собственную волю с помощью моей правой руки. И до того сильна моя вера в Него, что я хочу предоставить нам обоим равные шансы, и пусть Господь Бог сам свершит суд свой и расправу.

При этих словах сердце Фортюна исполнилось невыразимой радости. Он не знал того, что касалось Бога Ури, но верил в свое собственное счастье и верил, что это счастье стало улыбаться ему с той самой ночи, как он бежал по снегу вдоль берега.

— Но, — заметил он, — у нас ведь только один револьвер!

— Мы будем стрелять по очереди, — ответил Ури и, выбросив барабан из кольта Фортюна, начал внимательно осматривать его.

— А карты пусть решат, кому стрелять первому!

Кровь Фортюна взыграла при мысли о том, что ему сейчас придется взять в руки карты. Он полез

в карман и вынул колоду. О, теперь он нисколько не сомневался в том, что счастье не оставит его! Он подумал о возрождающемся солнце, когда снял карту для сдачи. Он стасовал карты, и Ури открыл для него короля пик, а для себя двойку. Когда противники стали отмерять пятьдесят шагов по обе стороны их стоянки, Фортюн чувствовал, что вот-вот для него откроется заповедная область бесконечного блаженства.

— Если Господу Богу угодно будет задержать мой удар и вы убьете меня, то мои собаки и нарты будут ваши, — сказал ему Ури. — Запродажную бумагу, уже готовую, вы найдете в моем кармане.

И произнеся эти слова, Ури совершенно спокойно вытянулся во весь свой огромный рост и остановился против дула револьвера.

Фортюн бросил беглый взгляд на солнце, заливавшее ярким искрящимся светом океан, и взял на прицел. Он был очень осторожен и внимателен. Два раза подряд он опускал оружие, потому что весенний ветер слишком шумно потрясал сосны. А на третий раз он опустился на колени, крепко, обеими руками схватил револьвер и выстрелил. Ури сделал полуоборот на месте, вскинул руки, дико заметался на один лишь момент

и рухнул на песок. Но Фортюн тут же понял, что попал не совсем удачно, потому что в противном случае Ури не вертелся бы.

Когда Ури, превозмогая слабость, с трудом поднялся на колени и потребовал револьвер, Фортюн вздумал было еще раз выстрелить, но тотчас же отбросил эту мысль. Счастье до сих пор достаточно улыбалось ему, и он боялся, что оно снова повернется к нему спиной, если он сплутует. Нет, он честно сыграет свою игру! К тому же Ури был слишком тяжело ранен, и ему будет не под силу твердо держать в руках тяжелый кольт.

— Ну, куда же делся ваш Бог? — иронически спросил он, передавая раненому револьвер.

И Ури ответил:

— Господь Бог еще не произнес своего слова! Берегитесь и приготовьтесь к тому, чтобы выслушать Его!

Фортюн повернулся к нему лицом, но стал несколько вполоборота для того, чтобы меньшую площадь своего тела подставить под выстрел. Ури, как пьяный, заерзал на месте, но тоже выжидал, желая воспользоваться некоторым затишьем, когда ветер не так сильно качал деревья. Револьвер был слишком тяжел, и эта тяжесть внушала ему такие же сомнения, как и Фортюну. Но

он крепко держал его в вытянутых руках, затем поднял над головой и начал медленно опускать вниз и вперед. Когда в поле его зрения попала левая сторона груди противника, он спустил курок. Фортюн не завертелся на месте, но сразу потускнели, а затем погасли веселые огоньки в глазах убийцы Джона Рандольфа, и когда залитый солнечным светом снег стал вдруг темнеть и чернеть, игрок в последний раз проклял неверное счастье, которое и на этот раз сыграло с ним скверную шутку.

Человек со шрамом

Джейкоб Кент всю жизнь страдал непомерной жадностью. С течением времени эта жадность породила хроническое недоверие к людям, которое так извратило его ум и характер, что сделало его страшно неприятным человеком. Кроме того, он страдал галлюцинациями, которые зачастую овладевали всем его существом. С детства он был ткачом и работал за ткацким станком вплоть до того времени, как клондайкская золотая лихорадка отравила его кровь и заставила бросить насиженное место.

Его хижина стояла как раз на полпути между Шестидесятой Милей и рекой Стюарт, и те люди, которые привыкли проходить по дороге на Даусон, смотрели на него как на своего рода грабителя-барона, который неуклонно взимает пошлину и дань со всех тех, кто пользуется его разбитыми дорогами. Но, ввиду того что большинству этих рыцарей наживы с реки Стюарт не были знакомы подобные исторические фигуры и названия, они отзывались о Джейкобе Кенте в несколько более примитивных выражениях, в которых главную роль играли весьма живопис-

ные и выразительные прилагательные.

Надо отметить, что эта хижина вовсе не принадлежала ему, а в свое время была построена двумя золотоискателями, которые пригнали сюда плот специально для этой хижины. Это были очень добродушные парни, и после того, как они бросили свой домик, путешественники, которые прекрасно знали этот путь, стали всегда останавливаться в нем на ночь. Это было очень удобно, так как избавляло их от необходимости разбивать собственный лагерь и тратить зря массу времени. Постепенно сложился неписаный закон, согласно которому каждый последний путник приготовлял вязанку дров для следующего гостя. Редкая ночь проходила без того, чтобы здесь не находили себе приюта от пяти до двадцати человек.

Джейкоб Кент решил воспользоваться создавшимся положением вещей и через некоторое время въехал в хижину полноправным хозяином. С тех пор установились новые порядки, и усталые путники должны были уже платить по доллару с человека за привилегию спать на голом полу. Джейкоб Кент исправно отвешивал золотой песок из их мешков и так же исправно отвешивал его с солидным «походом» в свою

пользу. Мало того, он устроился так, что случайные постояльцы кололи для него дрова и носили воду. Конечно, это был форменный грабеж, но так как его жертвы отличались крайне добродушным характером, то не спорили, не кричали и нисколько не препятствовали ему преуспевать за их счет.

Однажды, в апрельский полдень, Джейкоб Кент сидел у своих дверей и грелся в лучах воскресающего весеннего солнца. В эту минуту он удивительно походил на жадного паука, который поглядывает на дорогу в ожидании жирных мух. У его ног простирался Юкон — огромное море льда, которое двумя изгибами исчезало на севере и юге и имело добрых две мили от одного берега до другого. Вдоль его суровой груди пробегал санный путь шириной восемнадцать дюймов и длиной две тысячи миль. Можно было смело утверждать, что никакой другой путь на белом свете не выслушивал такого невероятного количества отборных ругательств, как этот.

Сегодня Джейкоб Кент чувствовал себя исключительно хорошо. В последнюю ночь он побил рекорд в том отношении, что в его хижине нашли себе приют двадцать восемь человек. Конечно, нельзя сказать, чтобы все постояльцы остались

довольны ночлегом, так как некоторые из них — человека четыре — всю ночь провели под лежанкой, на которой он спал. Но тем не менее в его мешочек прибавилось изрядное количество золотого песку. Этот мешочек с его блестящим желтым богатством в одно и то же время был для Кента источником и всех его радостей, и всех горестей. Небо и ад залегли в нем. Принимая во внимание, что его домик в одну комнату стоял совершенно одиноко, можно было понять, что Джейкоб Кент жил в непрестанном страхе, что рано или поздно его ограбят. Это было чрезвычайно легко проделать бородатым отчаянным людям, которые заглядывали к нему. Ему часто снилось, что в его домик врываются бандиты, и он просыпался в состоянии неописуемого ужаса. Всего чаще его сновидения посещала одна компания, которую он уже успел прекрасно изучить, причем больше всего приглядeлся к главарю с бронзовым лицом и шрамом на правой щеке. Этот парень очень часто попадался ему на глаза, и только из-за него он вырыл вокруг хижины множество потайных ям, где и прятал свое добро. После рытья каждой новой ямки он несколько ночей спал спокойно, пока в его сны снова не врывался человек со шрамом и снова не покушался на

его сокровища. Кент просыпался посреди самой отчаянной схватки, вскакивал с ложа и прятал золото в новом, еще более потайном месте. Нельзя сказать, чтобы эти видения сами по себе и, так сказать, непосредственно мучили его. Но он верил в предчувствия, в силу внушения и в астральную проекцию живых персонажей, которые в настоящую минуту, независимо от того, где они находились, мысленно покушались на его имущество. Вот почему он продолжал безжалостно эксплуатировать всех тех, кто переступал порог его дома, и в то же время невыразимо страдал с каждой новой песчинкой золота, попадавшей в его мешок.

В то время как он сидел так, греясь в чудесных лучах солнца, его посетила мысль, которая заставила подскочить на месте. Все радости его жизни сконцентрировались на том, что он взвешивал и перевешивал свое золото. Но в этом занятии имелась тень, которая омрачала всю его радость и заключалась в том, что его весы были слишком малы. Действительно, он мог на них взвесить максимум полтора фунта за один раз, а между тем его запас был уже по меньшей мере в три раза больше. Ему ни разу до сих пор не удавалось взвесить все свое золото сразу, и это лишало

его огромного счастья, которое заключалось в том, чтобы видеть все свои богатства собранными воедино. Лишенный этой возможности, он чувствовал, что одновременно лишается и половины блаженства. Мало того, он считал, что из-за такой незначительной причины умаляется сам по себе факт обладания богатством. И вдруг у него мелькнула идея, каким образом разрешить столь важную проблему, — вот это и заставило его вскочить на ноги. Он внимательно осмотрел дорогу слева и справа. Никого и ничего подозрительного не было. Кент вошел в хижину.

В несколько секунд стол был очищен, и Джейкоб Кент поставил на него весы. На одну чашку он положил тяжесть, равную по весу пятнадцати унциям, а другую чашку сбалансировал соответствующим количеством золотого песку. Затем он переложил песок на ту чашку, где лежали гири, и снова сбалансировал вторую чашку соответствующим количеством песку. Таким образом он высыпал весь имевшийся в его распоряжении золотой запас — и облегченно передохнул. Он задрожал от восторга, безмерно восхищенный. Тем не менее он продолжал старательно вытряхивать мешок, до последней золотой песчинки и до тех пор, пока одна чашка не коснулась стола.

Равновесие он восстановил тем, что прибавил к первой чашке пенни и пять зерен с другой чашки. Он стоял, откинув голову назад и испытывая неведомое доселе блаженство. Мешок его был пуст, но нагрузочная способность весов возросла неимоверно. Он мог теперь взвешивать на них любое количество песку — от малой песчинки до нескольких фунтов. Мамона глубоко запустила свои пальцы в его сердце. Солнце продолжало катиться к закату, и теперь лучи его, лизнув порог, упали на чашки весов, доверху нагруженные сверкающим золотом. Драгоценные горки, похожие на золотые груди бронзовой Клеопатры, чудесно отражали мягкий, ровный свет. Исчезли время и пространство.

— Черт побери! Да вы, никак, производите здесь золото! Верно я говорю?

Джейкоб Кент стремительно подался назад и схватил свое двуствольное ружье, которое находилось под рукой. Но когда взор его упал на лицо непрошеного гостя, он остолбенел и снова подался назад. *Это был человек со шрамом!*

Гость глядел на него с большим любопытством.

— О, все в порядке! — успокоительно сказал он. — Не подумайте только, что я собираюсь

сделать что-нибудь плохое вам или же вашему проклятому золоту!

— Но вы как будто бы нездоровы! — прибавил он после минуты размышления. — Что с вами? — И он указал на пот, который катился с лица Кента, и на его подкашивающиеся ноги. — Но почему же вы ничего не говорите? — продолжал он, видя, как тот делает усилия для того, чтобы перевести дух. — Может быть, что-нибудь случилось с вами? В чем дело? Да говорите же!

— О… от… куда… это… у вас? — Кент, наконец, собрался с силами и, подняв дрожащий указательный палец, показал на страшный шрам на лице незнакомца.

— А, это один матрос, с которым я вместе плавал, нанес мне швайкой удар. Швайка полетела в меня с бом-брамселя. Ну а теперь, когда вы наконец снова обрели дар речи, разрешите узнать, что случилось с вами? В настоящее время я хочу знать только одно: что с вами? Черт побери, вы так взволнованы, так дрожите… И почему это вас так заинтересовал мой шрам? Я и это хочу знать! Ну, говорите!

— Нет, нет! — ответил Кент, упав на стул и сделав при этом болезненную гримасу. — Меня просто так заинтересовало.

— А вам приходилось когда-либо видеть подобную штуку? — подозрительно спросил гость.

— Никогда в жизни!

— Ну, и как же: нравится вам мой шрам?

— Да, нравится!

Кент одобрительно кивнул головой, решив всячески ублажать этого странного визитера и совершенно не ожидая того взрыва возмущения и негодования, с которым были встречены его старания быть вежливым.

— Эх вы, глупая, старая мокрая курица! Как вы смеете говорить, что этот позор, которым всемогущий Господь Бог украсил мое лицо, вам нравится! Что вы хотите этим сказать?

И тут почтенный и пылкий сын моря разразился таким бешеным потоком типично восточных ругательств, что в одну кучу были свалены и боги и дьяволы, и ныне здравствующие люди и их предки и потомки, и метафоры и чудища. И все это было преподнесено с таким хулиганским мастерством, что Джейкоб Кент был буквально парализован. Он еще больше подался назад и поднял над головой руки, точно выжидая, что вот-вот над ним будет учинено физическое насилие. У него был при этом такой испуганный и одновременно смешной вид, что незнакомец

вдруг замолчал, остановившись посреди замечательного и на редкость красочного ругательства, и разразился оглушительным хохотом.

— Солнце растопило верхний слой льда на дороге, — между отдельными пароксизмами веселости произнес Человек со Шрамом. — Теперь путь совсем испортился, и вы должны благодарить Господа Бога за то, что он послал вам такое счастье в моем лице. А ну-ка, дорогой мой, растопите вашу печку, а я тем временем распрягу моих собак и накормлю их. Но смотрите не жалейте дров: там их много! И времени, чтобы нарубить дров, у вас тоже хватит. Да, кстати, захватите с собой ведро и принесите сюда воды. И поживее! Не доводите меня до того, чтобы я показал вам, как надо работать: вам же хуже будет!

Это была совершенно неслыханная вещь! Джейкоб Кент стал разводить огонь, наколол дров, принес воду — словом, занялся обычными хозяйственными услугами для гостя!

Когда Джим Кардижи оставлял Даусон, его голова была забита рассказами и анекдотами о подлости этого придорожного Шейлока, а в пути от многочисленных жертв ему пришлось услышать еще больше о художествах этого человека. Вот почему, с чисто матросской любовью

к матросским же штукам, он решил проучить этого молодца. Он не мог, конечно, не обратить сразу же внимания на то, какой эффект — и эффект совершенно неожиданный — произвело его появление, но он не имел ни малейшего понятия о том, какую роль в этом деле сыграл шрам на его щеке. Однако, не понимая этого, он видел ужас, вызванный одним видом его лица, и решил эксплуатировать его самым беззастенчивым образом, — как это сделал бы любой современный торгаш, желающий выгодно сбыть тот или иной товар.

— Лопни мои глаза, если мне приходилось когда-нибудь видеть такого проворного парня, как вы! — в восторге вскричал он, склонив набок голову и следя за тем, как возится хозяин. — По-моему, вы совершенно напрасно выехали на Клондайк, где вам нечего делать! Вам бы стоять во главе хорошего трактира — вот это для вас настоящее дело! Мне, правда, очень часто приходилось слышать о вас от товарищей по работе, но я понятия не имел о том, на что вы способны. Прямо молодец!

Джейкоб Кент испытывал непреодолимое желание выстрелить в гостя из своего ружья, но магическое действие шрама было слишком силь-

но. Ведь перед ним сидел настоящий Человек со Шрамом — тот самый человек, который так часто грабил его во время кошмарных снов! Он видел перед собой воплощение того существа, чья астральная форма так часто проектировалась в его видениях. Сколько раз этот человек покушался на его добро, и теперь — в этом не могло быть никаких сомнений — он явился сюда в реальной человеческой оболочке для того, чтобы овладеть наконец его богатством. Ах, этот шрам! Кент так же был не в силах оторвать своих глаз от него, как не мог бы остановить биение своего сердца. Как он ни пытался, взор его возвращался к этому шраму так же неизбежно, как магнитная стрелка к полюсу.

— Я вижу, что мой шрам здорово-таки мешает вам! — прогремел Джим Кардижи, вдруг глянув поверх своих одеял и встретившись с напряженным взором хозяина. — Я вам вот что посоветую — и, по-моему, будет лучше всего для вас, если вы сделаете то, что я прикажу вам. Лягте-ка спать, потушите лампу и не глядите на меня: тогда и не увидите моего шрама. Слышите вы, старая швабра: лягте, говорю я вам, и не выводите меня из себя.

Джейкоб Кент так нервничал, что вынужден

был вместо одного раза трижды дунуть на огонь, чтобы погасить его. После этого он, не снимая даже мокасин, забрался под одеяла.

Матрос, лежа на своем весьма жестком ложе, очень скоро захрапел, а Кент, устремив глаза во мрак ночи и не спуская пальца с курка своего ружья, решил ни на минуту не закрывать глаз и бодрствовать всю ночь. Ему не удалось спрятать свои пять фунтов золота, которые до сих пор еще лежали в его патронном ящике у самого изголовья. Но, несмотря на все старания, он скоро уснул под невыносимой тяжестью, упавшей на его сердце. Если бы он не задремал в таком состоянии, весьма возможно, что демон сомнамбулизма не был бы вызван, и Джиму Кардижи не пришлось бы на следующий день промывать золото Джейкоба Кента.

Огонь в печи боролся, пока мог, а затем погас. Мороз мало-помалу стал проникать через законопаченные мхом щели в стенах и охладил комнату. Собаки снаружи постепенно умолкли, перестали ворочаться, свернулись на снегу и мечтами унеслись в чудесные небесные страны, где имеется огромное количество лососины, но совсем нет собачьих погонщиков и их помощников.

Матрос спал как бревно, между тем как Кент, весь во власти чудовищных снов, все время беспокойно ворочался с боку на бок. Около полуночи он вдруг сбросил с себя одеяла и поднялся. Интересно отметить, что все последующее он проделал без малейшего проблеска света. Весьма возможно, что он не раскрывал глаз из-за царившей вокруг темноты, но возможно и то, что он не подымал век только из боязни снова увидеть страшный шрам. Так или иначе, факт таков, что, ничего не видя, он открыл свой патронный ящик, вынул из него что-то, плотно зарядил ружье, причем не просыпал ни песчинки, забил заряд двойным пыжом, после чего все убрал и снова завернулся в свои одеяла.

Когда дневное светило наложило свои серостальные пальцы на пергаментное окно хижины, Кент немедленно проснулся. Повернувшись на локте, он открыл патронный ящик и заглянул в него. То, что он увидел в нем, или вернее — то, чего он не увидел там, произвело на него довольно странное впечатление, — если принять во внимание его крайне неврастенический темперамент. Он посмотрел на спящего на полу человека, тихо опустил крышку ящика и снова лег на спину. На его лице появилось выражение совершенно

необычного для него спокойствия. Ни единый мускул не дрогнул. Никто не мог бы заметить ни малейшего следа душевного волнения или возбуждения. Он лежал так довольно долго, причем ни на миг его мысль не переставала работать, а когда он наконец поднялся с лежанки и начал двигаться по комнате, то представлял собой хладнокровного уравновешенного человека, который все проделывал без малейшего шума и спешки.

Случилось так, что тяжелый деревянный гвоздь был вбит в бревенчатое стропило как раз над головой Джима Кардижи. Джейкоб Кент, работая чрезвычайно тихо и осторожно, достал полудюймовую веревку и перекинул ее через этот гвоздь так, что оба конца веревки свесились до пола. Один конец он обмотал вокруг своей талии, а на другом сделал подвижную петлю. После того он взвел курок ружья и положил его на расстоянии вытянутой руки на кучу ремней из оленьей кожи. Страшным усилием воли он принудил себя смотреть на шрам, накинул подвижную петлю на голову спавшего Джима, натянул веревку тяжестью собственного тела, которое немного отклонилось в сторону, а затем схватил ружье, намереваясь выстрелить при первой же необходимости.

Джим Кардижи проснулся, вздрогнул и устремил дикий взор на два направленных в его сторону стальных дула.

— Где он? — спросил Кент, немного ослабив веревку.

— Ах ты, подлец…

Кент без дальнейших слов снова подался в сторону и тяжестью тела натянул веревку.

— Мерзавец… подл…

— Где он? — повторил Кент.

— Что? — спросил Джим, когда хозяин дал ему возможность на миг перевести дух.

— Золотой песок!

— Какой такой золотой песок? — ничего не понимая, спросил матрос.

— Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю! Где мой песок?

— Понятия не имею о нем. Черт тебя побери, за кого же ты, в конце концов, принимаешь меня? Что я — сейф, что ли? На кой черт он мне?

— Может быть, знаешь, а может быть, и не знаешь, но, так или иначе, я решил душить тебя до тех самых пор, пока ты не скажешь. И имей в виду: если ты поднимешь руку, то я тут же на месте уложу тебя!

— Силы небесные! — прорычал Джим, когда

веревка снова натянулась.

Кент на время несколько ослабил нажим, и матрос, поворачивая голову во все стороны, словно для того, чтобы уменьшить трение, сумел растянуть петлю настолько, что передвинул ее почти на подбородок.

— Ну! — вскричал Кент, надеясь, что матрос сейчас же признается во всем.

Но Джим только усмехнулся в ответ.

— Жулик ты и прохвост, вот что я скажу тебе! — ответил он. — Можешь убираться со своей веревкой ко всем чертям!

Как он и предвидел, трагедия мало-помалу начала превращаться в фарс. Ввиду того что Кент был гораздо легче Кардижи, все его усилия приподнять мнимого вора в воздух ровно ни к чему не приводили, и ноги матроса все время оставались на полу. Затылком же своим он упирался в подвижную петлю.

Поняв, что ему не удастся сразу задушить противника, Кент решил душить его постепенно и медленно и тем заставить признаться в краже. Но Человек со Шрамом не выражал ни малейшего желания подвергнуться медленному удушению. Прошло пять, десять, пятнадцать минут, и доведенный до отчаяния Кент опустил своего

пленника на пол.

— Ладно! — произнес он, вытирая обильный пот, выступивший на его лице. — Я не повешу тебя, а просто-напросто застрелю. Имеются такие люди, которых никакая веревка не берет. Ладно!

— Милый мой, ты только пол попортишь, если таким образом отправишь меня на тот свет, — сказал Джим, стараясь как-нибудь выиграть время. — Нет, дружище, ты лучше послушай меня, и я дам тебе дельный совет. Или, что будет еще лучше, давай вместе подумаем, что нам делать. Ты говоришь, что потерял золото, и утверждаешь, что я знаю, куда оно делось. А я говорю, что не знаю, куда оно делось. Так вот давай подумаем…

— Силы небесные! — крикнул Кент, стараясь в точности передать интонацию матроса. — Это ты мне самому предоставь. Я уж сам подумаю, что да как мне сделать. Ты лежи смирно, не шевелись, или же, ей-богу, я без лишних слов уложу тебя на месте.

— Ради моей матери…

— Пусть Господь Бог сжалится над ней, если она действительно любит тебя. Ты что там делаешь?

Он предупредил какое-то подозрительное движение матроса, приставив к его лбу холодное дуло ружья.

— Говорю же я тебе: лежи спокойно и не шевелись! Если сдвинешься с места хоть на волосок, не жить тебе на свете!

Принимая во внимание, что Кент ни на миг не спускал пальца с курка ружья, легко себе представить, какая адская работа предстояла ему. Но он был ткач, и вот почему матрос в несколько минут был связан по рукам и ногам. Закончив эту часть работы, он вытащил пленника наружу и положил его у самой стенки хижины, после чего устремил свой взор на реку и стал следить за тенями, отбрасываемыми солнцем на землю.

— Ну, теперь вот что я скажу тебе! — обратился он к матросу. — Я даю тебе времени до двенадцати часов, а потом…

— А потом? — спросил тот.

— А потом я отправлю тебя прямехонько на тот свет. Если же ты честно признаешься во всем, то я оставлю тебя в таком положении, пока мимо не проедет ближайший пикет конной полиции.

— Пропади я на месте, если я знаю, чего ради ты сошел с ума. Говорю я тебе, что я невиновен, а ты, черт тебя знает зачем, пристал ко мне и строишь из меня дурака… Старый ты проклятый разбойник… Ты…

И тут Джим Кардижи дал волю своему богатому

и красочному языку, причем на сей раз превзошел даже самого себя. Для того чтобы удобнее было слушать такие замечательные богохульства, Кент вынес из хижины стул и с комфортом уселся на нем.

После того как матрос исчерпал весь свой — казалось бы, неисчерпаемый — запас ругательств и проклятий, он вдруг замолчал, глубоко задумался и стал напряженно следить за движением солнца, которое, по его мнению, неприлично быстро бежало теперь к западному полушарию. Его собаки, удивленные тем, что их до сих пор не запрягли, собрались вокруг него. Его беспомощность вызвала полное сочувствие со стороны животных, которые поняли, что случилось что-то неладное, хотя никак не могли понять причины и характер несчастья. Теснясь все ближе и ближе к нему, они мрачными завываниями стали выражать ему свое собачье соболезнование.

— Чук! Чук! Прочь, сиваши! — крикнул он, стараясь какими-то особыми судорожными движениями отогнать их от себя.

При этом он убедился, что находится на краю покатости. Отогнав собак на приличное расстояние, он задумался над вопросом: какого рода и откуда взялась эта покатость? Он не видел ее,

но только понимал и чувствовал, что она непременно должна быть. Ему не потребовалось много времени для того, чтобы прийти к определенному и вполне удовлетворившему его заключению.

Он начал с того, что человек — каждый человек, по самой природе своей очень ленив. Человек всегда делает только то, что необходимо, но никак не больше. Когда он строит себе хижину, то, естественно, нуждается в земле для крыши. Этих предпосылок было вполне достаточно для логического вывода, что строитель этой хижины брал ту землю, которая была поближе к нему. Теперь Джиму Кардижи было ясно, что он лежит на краю ямы, из которой Джейкоб Кент брал землю для крыши своей хижины.

Он подумал, что можно извлечь значительную пользу из этого открытия, а затем все свое внимание обратил на ремни из оленьей кожи, которыми были опутаны его руки и ноги. Руки его были связаны на спине, и оттого, что он все время держал их в снегу, они были совершенно мокрые. По опыту он знал, что оленья кожа от сырости растягивается, — вот почему он теперь без видимых усилий растягивал ремни все больше и больше.

Он жадно и пристально следил за дорогой, и

когда вдруг на отдаленном белом фоне ледяного затора мелькнула какая-то черная точка, он тоскливо взглянул на солнце, которое уже подходило к зениту. Снова и снова он видел вдали черную точку, которая то поднималась на ледяные холмы, то пропадала в снежных провалах. Но он не смел следить за нею более настойчиво, боясь возбудить тем подозрение своего врага. Как-то раз Джейкоб Кент поднялся на ноги и начал, ни с того ни с сего, напряженно вглядываться вдоль дороги, чем насмерть испугал Джима Кардижи. Но нарты в это время неслись по участку дороги, параллельному ледяному затору, скрылись из виду, — и таким образом опасность для матроса миновала.

— О, я погляжу еще, как тебя за такие штуки повесят! — угрожающе крикнул Джим, стараясь во что бы то ни стало привлечь внимание Кента. — Да, за такие штуки по головке тебя не погладят, и я уверен, что мы еще встретимся с тобой… в аду! Да, дорогой мой!

— А мне вот что еще интересно знать! — вскричал он после небольшой паузы. — Веришь ли ты, приятель, в привидения?

По тому, как вздрогнул Кент, он понял, что попал в яблочко, и продолжал:

— Ведь ты знаешь, что привидение вправе посещать того человека, который не исполняет своего слова. Вот почему ты не имеешь никакого права застрелить меня до восьмой черты… то есть до двенадцати часов дня. Если же, черт лохматый, ты позволишь себе такую подлость, так уж будь уверен, что я стану являться к тебе, когда только можно и нельзя будет! Уж я влезу тебе в печенки, попомнишь ты меня! Ты слышишь, что я говорю тебе? Если ты застрелишь меня раньше на минуту или даже на секунду, то не избавиться тебе никогда от моих визитов!

Кент недоверчиво и неуверенно взглянул в его сторону, но не выражал желания поддержать разговор.

— По каким часам ты будешь считать? Какая здесь долгота? Как ты будешь знать, что твои часы верно показывают?

Кардижи упорствовал, тщетно надеясь привлечь к себе внимание Кента.

— Ты будешь считать по местному времени или же по Гринвичу? Помни, негодяй, если ты застрелишь меня раньше времени, то я ни на минуту не дам тебе покоя! Я честно предупреждаю тебя. Я вернусь. Ну, а раз у тебя нет часов, как же ты будешь знать точное время? Вот что мне

интересно! Но почему ты молчишь?

— Я отправлю тебя на тот свет как раз вовремя! — ответил наконец тот. — У меня имеются тут солнечные часы!

— Никуда они не годятся! Ведь надо принять во внимание отклонение стрелки на 32 градуса!

— Не беспокойся: у меня часы верно показывают.

— Но как ты выверил их? Компасом?

— Нет! Я выверяю их всегда по Полярной звезде!

— Верно?

— Верно!

Кардижи заворчал и бросил украдкой взор на дорогу. Нарты, на расстоянии какой-нибудь мили, как раз в эту минуту поднимались на покатость, и собаки неслись во всю прыть — удивительно легко и быстро.

— Сколько осталось до черты? — спросил Джим.

Кент подошел к своим примитивным часам и взглянул на них.

— Три дюйма! — ответил он после внимательного осмотра их. — Еще три дюйма до полудня!

— Но имей в виду, что до того, как выстрелить, ты должен закричать: «Восемь склянок!»

Кент согласился и на это условие, и оба погрузились в молчание. Ремни на кистях Джима совсем растянулись, и он начал осторожно работать руками за спиной.

— Сколько осталось? — спросил он.

— Один дюйм!

Матрос слегка зашевелился, желая убедиться, что он успеет вовремя сделать то, что задумал, и сбросил с рук первые обороты ремней.

— Сколько осталось?

— Полдюйма!

Как раз в этот момент Кент услышал шум полозьев по снегу и обратил взгляд в сторону дороги. Погонщик лежал вытянувшись на нартах, а собаки неслись по прямой дорожке, ведущей к хижине. Кент живо повернулся и вскинул ружье к плечу.

— Постой! Ты еще не отсчитал восьми склянок! Увидишь, я замучу тебя своими визитами!

Кент смутился. Он стоял у солнечных часов, на расстоянии каких-нибудь десяти шагов от своей жертвы. Человек в нартах, должно быть, понял, что происходит что-то неладное. Он вскочил на колени и жестоко стегнул бичом собак.

Тени упали на шест. Кент посмотрел на часы.

— Приготовься! — торжественно приказал

он. — Восемь ск…

Но за крохотную долю секунды до того, как Кент договорил, Джим Кардижи свалился в яму. Кент задержал выстрел и подбежал к краю ямы. Бах! Ружье разрядилось прямо в лицо матроса, который уже успел вскочить на ноги. Но из дула не показался огонь, а вместо того огненная лента вырвалась с другой стороны ствола, чуть ли не у самой собачки, и Джейкоб Кент рухнул на землю. Собаки выскочили на берег и потащили нарты по его телу. Погонщик соскочил на снег в тот самый момент, как Джим Кардижи выбрался из ямы.

— Джим! — воскликнул вновь прибывший, который сразу узнал приятеля. — В чем дело? Что тут случилось?

— Что случилось? Да ничего особенного! Я побаловался немного, для собственного здоровья! В чем дело, ты спрашиваешь? Эх ты, дурак, дурак! Ты сначала помоги мне совсем сбросить ремни, а там я тебе все расскажу. Да ну, живей, не то я так всыплю тебе!..

— Уф! — вскричал он, когда приятель начал работать своим складным ножом. — В чем дело? Я сам страшно хотел бы знать, в чем тут дело. Пока я еще сам ни черта не понимаю. Может быть, ты поможешь мне разобраться в этой чепухе? А?

Кент был мертв, когда они перевернули его на спину. Старое, тяжелое, заряжающееся с дула ружье лежало рядом с ним. Стальные части оторвались от деревянных. У самого приклада, близ правого ствола, зияло отверстие с развороченными краями, длиной несколько дюймов. Матрос поднял ружье и стал с большим любопытством рассматривать его. При этом из отверстия потекла струя желтого песка, и только тогда Джим Кардижи все понял.

— Черт, вот черт! — вскричал он. — Наконец-то я понял! Вот куда делось пропавшее золото! Черт побери меня, а заодно и тебя, если я сейчас же не примусь за промывку этого добра! Беги, Чарли, скорее за тазом для промывки!

Сила женщины

Полы палатки заколыхались, и внутрь заглянула заиндевевшая волчья голова.

— И! Ги! Чук! Сиваш! Чук, отродье дьявола! — раздались со всех сторон негодующие крики.

Бэттлс со всего размаху ударил собаку оловянной тарелкой, и та тотчас же исчезла. Луи поправил полы палатки и стал отогреваться у печки. Снаружи было очень холодно. Несколько дней назад спиртовой термометр лопнул на 68 градусах ниже нуля, а холод меж тем все усиливался. Трудно было сказать, когда именно кончится страшная стужа.

Разве только боги вынудят, — в противном случае лучше не отлучаться в такой мороз из палатки и не дышать студеным воздухом. Многие очень часто вовсе не считаются с этим и простуживаются насмерть, — простуживают легкие. Вскоре после того появляется сухой, отрывистый и частый кашель, который усиливается от запаха жарящегося сала. Одним словом, дело кончается тем, что весной или летом в мерзлой земле выжигается яма, куда сбрасывается человеческий труп, покрывается таким же мерзлым мхом и оставля-

ется там навсегда, — в несомненной уверенности, что в заказанный час мертвец встанет в полной сохранности. Для людей мало верующих и сомневающихся в воскресении из мертвых трудно указать более подходящую страну, чем Клондайк, для того, чтобы умереть в ней. Конечно, из этого далеко не следует, что здесь так же хорошо жить, как и умирать.

Вне палатки было очень холодно, но не слишком тепло было и внутри ее. Вокруг единственной печки собрались все обитатели палатки и то и дело спорили за лучшее местечко. Почти половину палатки занимали в беспорядке набросанные сосновые ветки, на которых были разостланы пушистые шкуры. Остальную часть пола покрывал утоптанный мокасинами снег, и тут же валялись разные горшки, чашки и другие принадлежности арктического лагеря.

Печка была накалена докрасна, но находившаяся в нескольких шагах от нее ледяная глыба выглядела так, точно только что была взята с реки. Давление снаружи заставляло тепло палатки подниматься кверху. В том месте потолка, где проходила печная труба, находился маленький круг сухой парусины. Несколько дальше, с трубой в центре, шел большой круг сырой парусины. Вся

же остальная палатка — потолок и стены — была почти на полдюйма покрыта сухим белым кристаллическим инеем.

— *Ох*... Ох... Ох... — послышались страдальческие стоны молодого человека, спавшего закутавшись в меховые шкуры; он оброс бородой, был очень бледен, и у него был болезненный вид. Он не просыпался, а между тем его стоны становились все громче. Тело то и дело вздрагивало и судорожно сжималось, — точно вся постель была покрыта крапивой, из которой оно тщетно пыталось освободиться.

— Надо хорошенько растереть его, — сказал Бэттлс.

Тотчас же несколько человек, искренне желавших помочь больному, стали безжалостно растирать, мять и щипать его.

— Ах, чертовская дорога, — пробормотал тот едва слышно и, сбросив с себя шкуры, уселся на постели. — Черт возьми. Ведь чего только я ни делал: много ходил, бегал, закалял себя всевозможными способами, и при всем том в этой богопротивной стране я оказался изнеженнейшим из изнеженнейших.

Он подошел к огню, сгорбившись уселся около него и взял папироску.

— Не подумайте, пожалуйста, что я жалуюсь. В конце концов, я всегда, в любую минуту могу взять себя в руки. Мне просто стыдно за себя, вот и все. Я сделал каких-нибудь тридцать миль, а разбит и слаб так, точно какой-нибудь хилый франтик, которому пришлось пройти несколько миль по отвратительному деревенскому шоссе. Вот в том-то и вся штука. Дайте-ка закурить.

— Нечего отчаиваться, молодой человек, — отеческим тоном сказал Бэттлс и протянул горевшую ветку. — Со всеми происходит одно и то же. Вы думаете, что со мною было иначе? Ничего подобного. Господи Боже мой, если бы вы знали, до чего я мерз и коченел. Бывало так, что мне требовалось целых десять минут для того, чтобы приподняться с места и стать на ноги, — так все ныло, трещало и болело во мне. А судороги какие были. Меня прямо-таки сворачивало в узлы, — и весь лагерь чуть ли не полдня должен был возиться со мной. На мой взгляд, вы переносите все легче, чем кто-либо из нас. Потерпите, миленький мой, будет и такое время, когда мы, старички, будем почивать в могиле, а вы будете носиться по этой стране точно так же, как мы теперь. Счастье ваше в том, что вы не жирны и не склонны к ожирению. Ох, этот жир многих отправил на тот

свет раньше времени.

— Вы говорите — жир?

— Вот именно, я говорю про жир. Ничего нет хуже, как отправиться в дорогу с толстяком.

— Вот никогда не слышал.

— Ну вот, теперь слышали. Имейте в виду, молодой человек, что толщина нисколько не мешает, если требуется непродолжительное, хоть и очень сильное напряжение, но что та же толщина очень мешает, когда нужно длительное и устойчивое усилие. Где стойкость и выносливость, там нет места жиру. Приходилось ли вам видеть, как тощая, голодная собака вгрызается в кость? Точно так же и нам частенько приходится вгрызаться в дело и работать долго-долго не покладая рук: в таком случае необходимы худые, жилистые товарищи. Толстяки тут никуда не годятся.

— Что верно, то верно, — вставил свое слово Луи Савуа. — Я знавал одного человека — толстого-претолстого. Просто буйвол. И вот встретился этот толстяк на Сульфур-Крике с очень худеньким человечком по имени Дон Мак-Фэн. Вы, наверное, знаете этого Дона Мак-Фэна; он ирландец, небольшого роста, с рыжими волосами. Встретились они и пошли вместе. Шли они, шли, очень долго, днем и ночью. Толстяк очень

уставал, часто садился или ложился на снег, а худенький все время подталкивал его и кричал, точно на малого ребенка. Толкал он его до тех самых пор, пока они не дошли до моей хижины. Тут толстяк как залег спать, так целых три дня не сползал с моей постели. Готов поклясться, что другого такого толстяка я еще не видел. Уж было, действительно, в нем жиру, как вы говорите.

— Это, вероятно, был Аксель Гундерсон, — сказал Принс.

А Бэттлс прибавил:

— Правда, Аксель Гундерсон — самый толстый человек, который когда-либо был здесь. Я должен вам сказать, что он — исключение, которое подтверждает правило. А вот взглянули бы вы на его жену, Унгу. Женщина она небольшая, весит всего-навсего фунтов сто с лишним, но на ней только мясо и ни одной лишней унции жиру. Она удивительно вынослива и здорова, а о муже заботится так, как лучше и желать нельзя. Нет ничего такого на земле, над землею или под землею, чего она не достала бы для него.

— Ну что ж... раз человек любит... — заметил кто-то.

— Ах, да не в этом только дело.

— Послушайте, господа, — сказал Чарли Ситка,

который сидел на ящике со съестными припасами. — Вот вы все рассказываете про жир, про толстых людей, про стойкость женщин и про любовь. Рассказываете вы очень хорошо, и я невольно вспомнил о том, что случилось очень давно, много лет тому назад, когда страна эта была еще совсем-совсем юной и когда человеческие костры были так далеки один от другого, как звезды на небе. Вот тогда-то мне и пришлось повстречаться с одним толстяком и худенькой женщиной. Да, братья мои, женщина она была маленькая, но сердце ее было больше, чем жирное сердце мужчины. Что и говорить, стойкая была женщина! Нам пришлось вместе совершить очень изнурительное путешествие — дойти до самых Соленых Вод. Морозы стояли лютые, снег лежал глубокий, и, ко всему этому, мы голодали. Но любовь в женщине была сильнее всего остального. Не думаю, чтобы что-либо было выше любви.

Он замолчал и стал топором переносить кусочки льда с широкого деревянного обрубка в горшок, в котором оттаивала питьевая вода.

Все уселись поближе к огню, поплотнее, а Чарли, устроившись удобнее прежнего, продолжал:

— Должен сказать, господа, что кровь у меня,

как и у всех сивашей, красная, но зато сердце белое. Первым я обязан недостаткам моих предков, вторым — достоинствам моих друзей и товарищей. Еще будучи мальчиком, я узнал великую правду — я узнал, что наша земля отдана вам и что сивашам нечего думать о соперничестве с вами. Олени и медведи обречены на вымирание — та же участь ждет и нас. Узнав и поняв это, я вошел в ваши хижины и приблизился к вашим кострам и, как видите, вполне уподобился вам. На своем веку я видел очень многое, узнал многие странные вещи и, скитаясь по нашей стране, встречался и сталкивался с самыми различными людьми. Я смотрю на все точно так, как и вы. Я знаю людей и сужу о них опять же на ваш манер. Вот почему я думаю, что вы не истолкуете в плохую сторону, если я расскажу кое-что плохое про одного из ваших. И я полагаю, что, если я отзовусь с похвалой о ком-нибудь из нашего племени, вы не скажете: «Чарли Ситка — сиваш; глаза его лживы, а речи его недостоверны». Не так ли?

Все в один голос выразили Чарли свое согласие.

— Ну вот. Женщину звали Пассук. Я купил ее у племени, которое живет на взморье. Мое сердце не рвалось к ней, и мои взгляды не искали ее

взглядов. Ее глаза всегда были потуплены; она была робка и боязлива, как вообще все девушки, попавшие в неволю к людям, о которых раньше не имели представления. Итак, говорю, я не думал ухаживать за ней. К тому же я в то время задумал большой переход. Мне требовался человек, который помог бы мне кормить и гнать собак и грести. Выбор мой пал на Пассук.

Я, кажется, еще не говорил вам, что находился на службе у правительства. Взяли меня на военное судно вместе с нартами, с собаками, с запасами провизии и вместе с Пассук. Пошли мы на север и добрались до самых льдов Берингова моря, где и сошли: я, Пассук и собаки. Мне дали деньги, карту земель, которых еще никто из нас до сих пор не видел, и тюк. Этот тюк был хорошо упакован и защищен от влияния погоды; я должен был доставить его на китобойное судно, которое было затерто льдами у берегов великой реки Маккензи. Да, велика Маккензи, но все же нет реки больше нашего Юкона, — Юкона, отца всех рек.

Однако все это не важно. Рассказ мой не имеет никакого отношения ни к китобойному судну, ни к зиме, проведенной мною среди льдов Маккензи. Весной, к тому времени, когда дни стали длиннее,

а снег кое-где почернел, мы отправились на юг, к Юкону. Тяжело было идти. При помощи багров и весел мы шли вверх по течению до самой Сороковой Мили. Зима стояла очень суровая, и нас всех достаточно измучил мрак и холод, всего же больше — голод. На каждого человека Компания выдавала только сорок фунтов муки и двадцать фунтов солонины, бобов совсем не было. Собаки днем и ночью выли от голода; люди совсем отощали, а лица их пожелтели и сморщились. Сильные слабели, а слабые умирали. Немало было и цинготных среди нас.

Как-то ночью мы все сошлись у компанейских складов; пустые полки еще сильнее дали нам почувствовать пустоту наших желудков. Мы сидели и тихо разговаривали при свете очага, так как свечи хранили для тех, кому суждено будет прожить до весны.

Беседовали мы до тех пор, пока не решили отправить кого-нибудь из нас в Соленые Воды, — пусть, мол, узнают о наших страданиях. Тут взгляды всех встретились на мне; все знали, что я опытный человек. Я им сказал:

— До Миссии семьсот миль. Эту дорогу и всю остальную мне придется пройти на лыжах, так что дайте мне лучших собак и много пищи. Я

пойду, а со мной вместе пойдет Пассук.

Все согласились со мною — все, кроме Джеффа, здорового, толстого янки. Говорил он со мною, да и вообще со всеми, уж очень свысока. Послушать его, так он был не менее моего опытен, чуть не родился на лыжах и вырос, вскормленный молоком оленьей самки. Он настаивал на том, что должен идти вместе со мной. Я, дескать, могу заболеть, свалиться от усталости, и в таком случае он один доставит куда следует известие о нашем горестном состоянии. Был я тогда очень молод и не знал, что такое янки. Не мог я знать, что в нем говорит только жир и что хитрый янки говорит одно, а думает другое. Одним словом, получили мы лучших собак, лучшую пищу и втроем — Пассук, Джефф и я — отправились в путь-дорогу.

Конечно, большинству из вас приходилось бегать по девственному снегу, работать рулевым шестом и воевать с речным льдом. Поэтому не буду распространяться о трудностях пути и скажу лишь, что в иной день мы делали десять миль, а в иной и все тридцать, — но чаще десять. Несмотря на то что мы как будто взяли много пищи — и хорошей пищи, все же ее оказалось недостаточно. Собаки находились в очень жалком состоянии и не способны были работать. На Белой реке из трех

пар нарт осталось уже две пары, а мы прошли только двести миль. Мы старались ничего не терять, и мясо павших собак немедленно попадало в желудки живых.

До самой Пелли мы не видели ни одного человека, ни одного дымка. Я предполагал в Пелли раздобыть кое-какие припасы и заодно оставить здесь Джеффа, который не переставал жаловаться на трудности дороги. Однако меня ожидало большое разочарование. Местный фактор встретил меня в самом удрученном состоянии духа, указал мне на пустые провизионные склады и на могилу миссионера, обнесенную для защиты от собак высокой каменной оградой.

Тут же я увидел нескольких индейцев. Я обратил внимание на то, что среди них не было ни детей, ни стариков. Ясно было, что и немногие из оставшихся в живых дотянут до весны.

После этого мы с легкими желудками и тяжелым сердцем пошли дальше. От Миссии, расположенной у самого моря, нас отделяли пятьсот миль глубокого снега и столь же глубокого, ничем не нарушаемого безмолвия. Ко всему тому присоединилась темнота, и в полдень солнце лишь на несколько минут слабым туманным пятном показывалось на горизонте. Однако дорога

была лучше прежнего, я немилосердно гнал собак и оставался в дороге возможно большее время.

Я уже говорил о том, что всю дорогу пришлось идти на лыжах, отчего ноги болели и покрылись незаживающими ранками. Наши муки с каждым днем росли, и дошло до того, что однажды утром, когда мы подвязывали лыжи, Джефф разрыдался как ребенок. Желая помочь ему, я посадил его на передок более легких нарт. Он для собственного удобства снял лыжи, а вследствие неровностей дороги его мокасины оставляли глубокие следы в снегу, куда попадали собаки задних нарт.

Я довольно резко указал ему на это, — он обещал быть внимательнее, но тотчас же нарушил свое слово. Не стерпев, я ударил его кнутом, и после того дело пошло на лад: собаки больше не проваливались. Когда дело касалось физических страданий или жира, Джефф был сущим ребенком.

В то время как Джефф лежал у огня и стонал, Пассук готовила пищу, по утрам помогала мне запрягать собак, а вечером — распрягать их. Она с необыкновенным вниманием следила за собаками, и этим, а также и многим другим оказывала мне в пути неоценимую помощь. По простоте душевной я считал, что она обязана все это делать, и

никогда не задумывался над причинами ее усердия. У меня было много других забот, к тому же я был слишком молод и мало понимал женщин. Лишь впоследствии я стал кое-что понимать.

А тем временем Джефф вел себя недостойным образом. Собаки находились в самом жалком состоянии, а он пользовался каждым удобным случаем, чтобы пристроиться на задок нарт. Пассук вызвалась следить за одной парой нарт — таким образом его совсем освободили от каких-либо обязанностей. Утром того же дня я выдал ему причитающуюся на его долю пищу и вынудил его пойти вперед. Мы с Пассук занялись упряжкой собак и значительно позже его двинулись в путь; тем не менее приблизительно в полдень, когда на горизонте показалось солнце, мы обогнали его. Мы заметили замерзшие слезы на его щеках — и все же пошли дальше, мимо него.

Остановившись на ночь, мы приготовили для него пищу и постель; желая указать наше местонахождение, мы развели большой костер. Он пришел к нам лишь через несколько часов, — пришел, прихрамывая, и тотчас же набросился на пищу, затем с бесконечными стонами вытянулся на постели и заснул. Не подумайте, что он был болен, — ничего подобного; он просто с трудом

переносил тяготы дороги, очень быстро уставал и страдал от неудовлетворенного голода. Но уверяю вас, что мы с Пассук уставали нисколько не меньше его — ведь на наших плечах лежали все обязанности и труды. Главная и единственная беда была в том, что он был чересчур жирен… Он ничего не делал, но мы честно делились с ним провизией.

Как-то мы набрели в Белом Безмолвии на две странствующие человеческие тени. Это были белые — мужчина и мальчик. Каждый из них имел по одеялу, на котором спал по ночам. У них были небольшие запасы муки, которую они разбавляли водой и пили. Взрослый мужчина сказал мне, что у них осталось только восемь маленьких мерок муки, — между тем до Пелли оставалось не меньше двухсот верст. Он добавил, что следом за ними идет индеец, который, несмотря на получаемый от них ежедневный паек, вдруг начал отставать. Я не поверил им, зная по опыту, что индеец не отстал бы, получай он ежедневный паек, — и не дал им из своих припасов. Они пытались было стащить самую жирную (и однако неописуемо худую) собаку, но я пригрозил им револьвером и приказал убираться подобру-поздорову. Они повиновались и, пошатываясь, точно пьяные,

пошли дальше по Стране Белого Безмолвия, по направлению к Пелли.

К тому времени у нас остались лишь три собаки и одни нарты. На собак было больно смотреть: кожа да кости. Известное дело: если мало дров, огонь хилый и в хижине холодно. Нам это было слишком понятно. Провизии осталось совсем мало, — и вследствие этого холод сильнее давал себя чувствовать; мы все до того почернели, что нас, пожалуй, не узнала бы родная мать. Всего больше мучили нас ноги. Я лично по утрам всегда обливался потом от мучительных усилий сдержаться и не закричать от боли. Пассук же по-прежнему шла впереди нас и за все время не издала ни единого стона. А попутчик наш, мужчина, стонал, а временами даже вопил.

На Тридцатой Миле течение отличается большой быстротой, и вот почему там всегда очень много полыний и трещин. Однажды он вышел раньше нас и отдыхал, когда мы подходили к нему. Оказалось однако, что между нами — полынья, которую он успел раньше обойти. Обходя, он так расширил полынью, что для вас оказалось совершенно невозможным перейти через нее. Нам оставалось одно: найти ледяные мостки, что мы и сделали. Перебросили через полынью ледяной

мостик, и Пассук, как более легкая, пошла первая; на всякий случай она взяла с собой длинный шест, который держала поперек; но будучи очень легкой, она без всяких усилий, не сняв даже лыж, перешла через полынью. Очутившись на той стороне, она сделала попытку перетащить собак, но у тех не было ни шестов, ни лыж, — и они были унесены быстрым течением. Я сделал все, что от меня зависело, и поддерживал нарты до тех самых пор, пока хватило сил. Конечно, корму в них осталось совсем мало, но все же можно было предполагать, что на неделю хватит. Как бы там ни было, собаки погибли в быстром течении.

На следующее утро я разделил весь жалкий остаток провизии на три равные части, отдал Джеффу его часть и сказал ему, что теперь он может поступать, как ему заблагорассудится. Нарт и поклажи, дескать, у нас уже нет, и мы пойдем вперед легко и быстро. Но он обиженным тоном заговорил с нами совсем не по-товарищески и уже совсем не так, как мы того заслуживали. Он стал жаловаться на боль в ногах, но ведь у нас с Пассук ноги-то не меньше болели. С собаками кто, как не мы, возился? Он вдруг самым решительным образом заявил, что скорее умрет на месте, чем сделает хоть один шаг дальше. Тут Пассук,

недолго думая, взяла свои шкуры, я — горшок и топор, и мы двинулись было дальше, но Пассук вдруг взглянула на паек Джеффа и сказала:

— Стоит ли бросать на ветер столько пищи?

Я молчал. Для меня товарищ всегда останется товарищем.

Тут Пассук заговорила о всех тех, кто остался на Сороковой Миле, указала мне на то, что среди них есть очень много людей гораздо более достойных, чем наш попутчик, и напомнила, что все возложили на меня свои последние надежды… Видя, что я по-прежнему молчу, она быстро выхватила из-за моего пояса револьвер — и, как говорится, Джефф преждевременно отправился к праотцам.

Я стал упрекать Пассук, но в данном случае мои слова не оказали на нее ни малейшего действия, и она даже не подумала раскаяться в своем поступке. В глубине души я сознавал, что она безусловно права.

Чарли замолчал и снова стал бросать кусочки льда в горшок с питьевой водой.

Все молчали, и время от времени по их спинам пробегала дрожь от непрестанного воя продрогших на морозе и сетующих на свою судьбу собак.

Чарли продолжал свой рассказ:

— Шли дни за днями, а мы с Пассук, подобно

двум слабым теням, пробирались по беспредельной снежной равнине. Всего не расскажешь… Одним словом, стали мы приближаться к Соленым Водам и там только набрели на индейца, который также подобно тени плелся по направлению к Пелли.

Я, конечно, не ошибся, предположив, что белые мужчина и мальчик нечестно делились с ним. Оказалось, что они оставили ему провизии едва-едва на три дня. Покончив с мукой, он стал кормиться мокасинами, но и от мокасин осталось уже немного. Индеец был со взморья и обо всем рассказал Пассук, которая понимала и говорила на его языке. Он до сих пор не бывал на Юконе, совсем не знал дороги и направлялся к Пелли.

— Далеко ли до Пелли? Две ночевки? Может быть, десять? Сто?

Он ничего не знал, кроме того, что идет на Пелли. Возвращаться на родину было невозможно, и оставалось одно: идти вперед.

Он не затрагивал вопроса о пище, так как видел, что и мы нуждаемся. Когда Пассук смотрела на меня и индейца, она напоминала мне птичью самку, чувствующую, что весь ее выводок в смертельной опасности. Я сказал ей следующее:

— Этого человека обманули, и поэтому я дам

ему из наших запасов.

На одно мгновение мне почудилась радость в ее глазах, но вдруг она нахмурилась и долго не отводила взора от меня и индейца. Наконец она сказала следующее:

— Нет. До Соленых Вод далеко, а смерть подстерегает нас. Лучше будет, если эта смерть заберет чужого человека и пощадит моего Чарли.

Мы не помогли бедняге, который пошел своей дорогой. А Пассук всю ночь проплакала, и я впервые видел ее плачущей.

«Нет, — подумал я, — тут что-то есть. Не станет она без причины плакать. Нет дыма без огня». Я решил, что она расстроилась под влиянием дорожных бедствий.

Странная, очень странная штука — жизнь. Много я думал об этом, а все же ни к чему не пришел. Чем больше думаю, тем меньше понимаю. И откуда только берется это странное желание жить, — жить во что бы то ни стало! В конце концов, что такое жизнь? Обыкновенная игра, с той лишь особенностью, что в ней никто никогда не выигрывает. Жить — это много работать и так же много страдать, страдать до тех самых пор, пока не подберется противная старость и не бросит нас на холодный пепел потухшего костра. Нет,

что там ни говори, а жизнь — тяжелая штука!.. В страдании человек родится, в страдании же испускает последний вздох свой, — и все дни и все часы его исполнены горести и мук. Странное дело: вот смерть уже распахнула свои объятия, а бедный человек все еще борется, обратив взор назад, рвется к жизни. А ведь сама-то смерть приятна! Скверно только одно: жизнь и все живое. И при всем том мы страстно любим жизнь и ненавидим смерть. Странно, очень странно!

Днем, в пути, мы почти не разговаривали с Пассук, к вечеру же так уставали, что как мертвые валились на землю… А утром, чуть свет, уже снова были на ногах и продолжали свой путь. Мы плелись, точно какие-то мертвецы, и все вокруг нас было так же мертво. На своем пути мы не встречали ни единого живого существа: ни птички, ни белки, ни кролика… Река застыла и в своих белоснежных покровах не издавала ни звука.

В деревьях застыл сок. Было холодно точно так же, как теперь. Звезды стояли над головой и, большие-пребольшие, прыгали и танцевали в воздухе. Днем в небе пылало северное сияние. Тогда чудилось много солнц — солнца были повсюду, куда ни взглянешь. Воздух сверкал и переливался, как драгоценные камни, а снег был

словно алмазная пыль. Повторяю, мы были не то как мертвые, не то как пьяные и совсем забыли о том, что такое время. Одна мысль была у нас: достичь Соленых Вод. Туда были направлены наши глаза, туда стремились наши души, туда плелись наши ноги.

Мы отдыхали около Тэхкина и совершенно не заметили этого; мы смотрели на Белого Коня, но не видели его; мы ступали по неровной почве Великого Ущелья, но не чувствовали этого. Мы ничего не видели и не чувствовали. Дошло до того, что, часто падая от усталости на землю, мы инстинктивно обращались лицом к тем же Соленым Водам. Наши запасы подходили к концу, но мы продолжали делиться поровну. Пассук чувствовала себя очень плохо, а у Карибу-Кроссинг она совсем ослабела.

На следующее утро мы уже не пошли дальше, а лежали на земле под одним одеялом. Это дорога многому научила меня: я стал понимать женскую душу и ценить женскую любовь, — вот почему я решил остаться на месте и рука об руку с Пассук встретить смерть.

Это случилось в восьмидесяти милях от Миссии, и мы могли видеть Чилкут, высоко над лесом несущий свою гордую, открытую ветрам главу.

Только теперь заговорила Иассук. Она говорила со мной, почти касаясь губами моего уха. Теперь ей уже не был страшен мой гнев, и она стала раскрывать передо мной свою душу — рассказывать о своей любви и о многом другом, чего я тогда не понимал:

— Чарли, я была хорошей женой своему мужу, а мужем моим был ты. Я разводила для тебя огонь, варила пищу, кормила твоих собак, вместе с тобой работала веслами — и никогда ни на что не жаловалась. Я ни разу не сказала, что в доме моего отца теплее и лучше, чем под одним одеялом с тобой, — не говорила я и того, что в Чилкуте я ела больше, чем теперь. Когда ты говорил, я слушала и не пропускала ни слова. Когда ты приказывал, я повиновалась. Ведь это так, Чарли?

И я неизменно отвечал:

— Да, это так...

Она продолжала:

— Когда ты в первый раз пришел в Чилкут, ты, даже не взглянув на меня, купил меня — так, как другие покупают собаку. Купил и увез. И тогда сердце мое восстало против тебя и наполнилось болью и страхом. Но это было очень давно. С тех пор ты совсем изменил свое отношение ко мне. Последнее время ты любил меня так, как

добрый хозяин любит свою собаку. Правда, твое сердце оставалось холодным по-прежнему, и в нем не было места для меня, но все же я не могу жаловаться: ты был и оставался справедлив ко мне. Я повсюду следовала за тобой, и ничто, ни опасность, ни страх, не остановили меня. Я всегда сравнивала тебя с другими мужчинами и видела, что ты не похож на них, ибо ты честен, как ни один из них: слова твои разумны и вески, а язык правдив.

И мало-помалу я стала гордиться тобой — и мое сердце рвалось только к тебе, и мои мысли были только о тебе. Ты был для меня как солнце в середине лета — как золотое летнее солнце, которое день и ночь остается на небе. И куда бы я ни смотрела, я видела мое солнце — я видела тебя… Но, Чарли, твое сердце оставалось холодно, и не было в нем местечка для меня.

Тогда я сказал ей:

— Это все верно, что ты только что мне сказала. Сердце мое было холодно, и не было в нем места для тебя. Но это было и прошло. Теперь мое сердце подобно снегу весной — тогда, когда к нам снова возвращается солнце. Тогда все тает, тогда шумит и бурлит вода, распускаются деревья и зеленеют травы. Весной кричат и поют птицы;

все поет и радуется тому, что уходит зима. Теперь, Пассук, все пойдет по-иному, потому что я узнал женщину и любовь.

Она просияла и еще больше склонилась ко мне, желая, чтобы я прижал ее к своему сердцу. Она тихо сказала:

— Я так рада. — И после того долго лежала почти без всякого движения, опустив голову на мою грудь. Через некоторое время она произнесла: — Я очень устала и плохо себя чувствую, но все же хочу кое-что рассказать тебе.

Это было давно, когда я была еще девочкой и жила в Чилкуте. Я играла одна в комнате, заваленной кожами. Дома никого не было: мужчины ушли на охоту, а женщины и дети помогали им свозить мясо. Вдруг в мою комнату заглянул огромнейший бурый медведь и словно вздохнул. Очевидно, он только что проснулся от зимней спячки и был очень голоден; отощал он до того, что шерсть клочьями висела на нем. В это время мой брат только что вернулся с охоты; увидев зверя, он бросился на него с горящей головней, а собаки тем временем, еще не освободившись от упряжи, напали на медведя сзади. Поднялся ужасный шум. Все кожи были разбросаны по комнате, в борьбе разбили и разломали все в хижине

и чуть ли не опрокинули саму хижину. В конце концов брат убил медведя, но медвежьи когти оставили на его лице немало следов. Разглядел ли ты того человека, который недавно повстречался нам? Обратил ли ты внимание на его рукавицы и руки? Чарли, это был мой брат. И я все же сказала, что ему не надо давать пищи, — и он пошел своей дорогой, в Белое Безмолвие, без пищи.

Так вот, друзья мои, какова была любовь Пассук, умершей на снегу близ Карибу-Кроссинг. Она любила той любовью, выше которой ничего на свете нет, и братом пожертвовала ради человека, поведшего ее на муки и смерть. Перед смертью, за минуту до того, как закрылись ее глаза, она взяла своими холодеющими руками мою руку и просунула ее под свою шубку, до самой поясницы. Я нащупал что-то очень твердое и понял тогда, почему Пассук отощала и преждевременно умерла: оказалось, что все время она съедала лишь половину своего ежедневного пайка, а остальную половину сохраняла для меня.

Она сказала мне:

— Дорога Пассук здесь кончилась, а тебе, Чарли, идти дальше. Твой путь лежит на Чилкут, к Хэнс-Миссии и дальше, к самому морю. Но ты пойдешь еще дальше — ты пройдешь много неизвестных

земель, переплывешь очень много рек, и все годы твои будут полны почестей и славы. А в великом пути своем ты пройдешь мимо многих очень хороших женщин, но ни одна из них не даст тебе больше любви, чем дала и могла бы тебе еще дать Пассук.

Я прекрасно знал, что эта женщина говорит чистую правду, но один Бог знает, что за безумие вдруг овладело мною. Отшвырнув от себя туго набитый мешок, я стал клясться, что не сделаю ни шагу дальше и умру вместе с Пассук.

Ее ослабевшие глаза ласково и с благодарностью взглянули на меня и наполнились слезами. Она прошептала:

— Чарли Ситка всегда был честнейшим из людей и никогда не нарушал своего слова. Он должен сам знать это и не тратить напрасно слов здесь, откуда так близко к Карибу-Кроссинг. Значит, он опять забыл про несчастных жителей Сороковой Мили, которые дали ему часть из последних своих запасов с тем, чтобы он пошел куда следует и рассказал о том, что следует. Пассук всегда гордилась своим мужем — пусть же он встанет, привяжет к ногам лыжи и пойдет своей дорогой, тогда Пассук умрет спокойно. Гордость ее не будет попрана.

Когда она похолодела в моих объятиях, я похоронил ее, подобрал мешок с провизией, подвязал лыжи и, собрав последние силы, пошел дальше. У меня подкашивались ноги, глаза ничего не видели, голова кружилась, а в ушах стоял невообразимый шум.

Я продолжал свой путь, и все время мне казалось, что со мной рядом, поддерживая меня, идет Пассук. Когда я без сил падал на холодный снег и засыпал, она будила меня и выводила на правильную дорогу. Только она спасла меня.

В полубезумном состоянии, преследуемый кошмарными видениями, шатаясь как пьяный, я добрался до Хэнс-Миссии, что лежит у моря.

Чарли отбросил полотно палатки.

Уже был полдень. Роняя холодный скупой свет на Гендерсон, на горизонте стоял солнечный диск, а по обе стороны его играло северное сияние. В воздухе сверкал иней. Почти у самой палатки, подняв к небу длинную морду, выла собака с ощетинившейся, заиндевевшей шерстью.

Дочь северного сияния

— Итак, вы хотели бы жениться на мне? Нет, вы — как бы это сказать? — вы слишком ленивый человек, а это нехорошо. Уверяю вас, что ленивый человек никогда не назовет меня своей женой.

Вот как говорила Джой Молино Джеку Харрингтону. Накануне она то же самое, только по-французски, говорила Луи Савуа.

— Послушайте, Джой!

— Нет! Зачем же я стану выслушивать вас? По-моему, вы поступаете очень нехорошо, что так много времени уделяете мне и ничего не делаете. Подумайте, как вы станете добывать пропитание для своей семьи? Ведь у вас нет золота. А вот другие имеют очень большой запас золотого песка.

— Напрасно, Джой, вы так думаете. И я достаточно работаю. Нет дня, чтобы я не рылся либо там, либо здесь. Вам известно, что я только что вернулся и что мои собаки измотались вконец. Работаю я не меньше других, да вот счастья нет. Иным везет, и они добывают массу золота, а вот я — ни черта!

— Ах, не то вы говорите! Вот помните про того человека? Ну, вот тот самый Мак-Кармак, кото-

рый вместе с женой ушел на Клондайк и там нашел золото… Вы почему не пошли с ним? Вот другие пошли — и разбогатели.

— Как же вы не знаете, что я в то время работал на Тананау и не имел никакого представления ни об Эльдорадо, ни о Бонанце? А потом уже было слишком поздно.

— Это только отговорка — и больше ничего. Вы вообще любите увиливать.

— Как вы сказали?

— Я говорю, что вы вообще любите увиливать. Вот, например, есть такое хорошее местечко на Эльдорадо. Явился туда некий человечек, набил там колышков и ушел. Никто не имеет понятия о том, что с ним после того приключилось. В течение шестидесяти дней он должен использовать свое право. После того туда набежит масса народу. Желая добыть право на участок и нужную бумагу, все понесутся туда с быстротой ветра, а кто успеет — разбогатеет. Уж их-то семьи не будут нуждаться.

Слова Джой живо заинтересовали Джека Харрингтона, но он скрыл это и спросил самым равнодушным тоном:

— А когда срок?

— Я уже говорила об этом Луи Савуа, — продол-

жала Джой, не обращая никакого внимания на вопрос Джека. — Я так думаю, что он не упустит этого дела.

— А, черт бы его взял!

— Да, Луи Савуа сказал мне следующее: «Джой, я человек сильный и выносливый, и собаки у меня сильные. Я попытаюсь. А пойдете ли вы за меня замуж, когда я выиграю это дело?» И я сказала ему… Я сказала…

— Что же вы сказали ему?

— Я сказала ему: «Если Луи Савуа выиграет дело, я, конечно, буду его женой».

— А если он не выиграет?

— А если он не выиграет, то — как бы вам сказать? — то Луи Савуа не будет отцом моих детей.

— А если я выиграю?

— Если вы выиграете? Ха-ха! Да никогда вы не выиграете!

Она расхохоталась. Ее смех действовал на Джека Харрингтона самым раздражающим образом, но все же он должен был признать, что даже злой ее смех чудесно ласкает ухо.

Джек Харрингтон не был исключением и давно привык к такому отношению Джой Молино. Она заставляла страдать всех своих поклонников, не только его одного. В подобные минуты она была

прелестна; в подобные минуты, словно цветок, раскрывался ее рот. От острых поцелуев мороза нежно розовело лицо, а глаза зажигались тем несравненным прекрасным огнем, какой составляет неотъемлемую особенность женщин.

— Ну, а если я выиграю? — настойчиво повторил Харрингтон.

Джой Молино перевела взгляд с собаки на человека и обратно.

— Что скажешь, Волчий Клык? Если Джек Харрингтон окажется сильным и добьется своего, выйдем ли мы с тобой замуж за него? Твое мнение, Волчий Клык?

Волчий Клык весь насторожился и зарычал.

— Однако очень холодно! — вдруг с чисто женской непоследовательностью сказала Джой Молино. Она поднялась с места и стала приводить в порядок собачью упряжку.

Джек Харрингтон продолжал с бессмысленным видом смотреть на нее. Уже с самого начала их знакомства он в присутствии девушки как-то глупел, но, с другой стороны, то же знакомство прибавило ему терпения.

— Эй, Волчий Клык, вперед! — крикнула Джой Молино, вскакивая в нарты.

Собаки тронулись с места и понеслись по на-

правлению Сороковой Мили. Харрингтон, не сходя с места, искоса, но внимательно следил за девушкой. Там, где путь раздваивался и уходил на форт Кьюдахи, Джой Молино на время остановила собак и затем повернула назад.

— Эх вы, лентяй! — воскликнула она. — Одно слово: лентяй. Волчий Клык, скажи ему: если он выиграет, я его жена!

В самом скором времени вся Сороковая Миля знала про готовящийся поединок между Луи Савуа и Джеком Харрингтоном. Стали держать пари и загадывать на разные лады — кто выиграет и на ком остановится выбор Джой Молино. Точно весь городок разделился на две части, и каждая часть мечтала отстоять своего любимца. Началась борьба из-за лучших собак, которые должны были иметь огромное значение для исхода поединка. Кроме того, что соперники стремились обладать любимой женщиной, ими еще владела мысль о золотых рудниках, оцениваемых по меньшей мере в миллион долларов.

Как только распространился слух о том, что Мак-Кармак открыл золотые россыпи, почти вся округа, за исключением отдельных лиц, как Джек Харрингтон и Луи Савуа, работавших на западе, двинулась вверх по Юкону. Оленьи пастбища и

небольшие речки захватывались самым беспорядочным образом.

Так же случайно было занято одно из богатейших золотом мест — Эльдорадо.

Олаф Нельсон отмерил себе пятьсот футов, поставил должный знак, набил колышки — и исчез. В то время ближайшее явочное отделение находилось в полицейском помещении в форте Кьюдахи, который лежал напротив Сороковой Мили, по другую сторону реки. Как только зародились легендарные слухи об Эльдорадо, стало известно, что Олаф Нельсон захватил часть земли на Нижнем Юконе. Олафа Нельсона не было на месте, и никто не знал, где он. Вот почему золотоискатели с нескрываемой жадностью глядели на участок, принадлежащий пропавшему без вести счастливчику. Но, ввиду того что еще не истек шестидесятидневный срок, никто не имел права посягать на собственность Олафа Нельсона. Между тем несколько десятков людей уже делали все необходимые приготовления, чтобы по истечении срока, как говорится, сорваться с места и устремиться по направлению форта Кьюдахи.

Но жители Сороковой Мили в общем относились ко всему этому очень спокойно. Городок отдал всю свою энергию на то, чтобы снабдить

всем необходимым Джека Харрингтона и Луи Савуа. До явочного отделения было сто миль, и все полагали, что оба соперника должны в пути четыре раза менять собак. Конечно, последняя смена собак должна иметь решающее значение, вот почему оба соревнователя наибольшее внимание уделяли тому, чтобы обеспечить себя лучшими собаками для последних двадцати пяти миль. Благодаря всему этому цены на собак достигли небывалой высоты.

И тут-то все подумали о Джой Молино. Мало того, что она являлась чуть ли не единственной причиной этой истории, — она обладала еще лучшими собаками на протяжении от Чилкута до Берингова моря. В качестве ведущей собаки Волчий Клык не имел себе равных — и, безусловно, тот счастливец, который имел бы в своей упряжке Волчьего Клыка, мог быть наполовину уверенным в победе. Нечего говорить о том, что Джой положительно замучили просьбами, но она оставалась непоколебима и ни за что не хотела расставаться с любимой собакой. Для обоих лагерей оставалось единственным утешением то, что никто из конкурентов не воспользуется собакой.

В общем, мужчина создан так, что совершенно не в состоянии проникнуться психологией жен-

ского изощренного ума. Это относится в равной степени к мужчинам, живущим замкнутой или же открытой жизнью. То же самое случилось и с мужчинами Сороковой Мили. Они были слишком просты для того, чтобы проникнуть в хитрые замыслы Джой Молино: они и признавались впоследствии, что так до конца и не поняли загадочной натуры этой женщины, которая родилась и выросла при свете северного сияния и отец которой жил здесь и вел крупную торговлю мехами задолго до того, как позднейшие обитатели Сороковой Мили задумали путешествие на Север. Но, конечно, все это не оказало на Джой никакого влияния и нисколько не лишило ее специфических женских качеств. Мужчины отчасти понимали, что она играет ими, но смысл и глубина игры были скрыты от них. Они видели лишь часть раскрытых карт, но главный свой козырь Джой Молино показала лишь в самом конце игры — вот почему мужчины чуть ли не до самого последнего момента пребывали в состоянии ослепления.

Прошла неделя, в течение которой значительная часть горожан временно перешла на то место, откуда должны были отправиться Джек Харрингтон и Луи Савуа. Все вели самый строгий

счет времени, так как намеревались прибыть на место за несколько дней до истечения срока и таким образом отдохнуть самим и дать отдохнуть собакам. По дороге они встретили многих жителей Даусона, стремившихся к той же цели — к участку Олафа Нельсона.

Спустя два дня после отъезда конкурентов Сороковая Миля начала посылать смены собак, — первую на семьдесят пять миль, вторую на пятьдесят пять и третью на двадцать пять миль от Сороковой Мили; последняя смена была так прекрасно подобрана, что почти весь поселок несколько часов провел на пятидесятиградусном морозе, подробно разбирая необыкновенные достоинства собак. В последнюю минуту к месту сборища приехала на своих собаках Джой Молино. Она подошла к Лону Мак-Фэну, который заведовал запряжкой Харрингтона, и не успела оглянуться, как он отвязал Волчьего Клыка и запряг его впереди собак Харрингтона. После того, не медля ни секунды, он помчался по направлению Юкона.

— Бедняжка Савуа! — раздалось со всех сторон.

Джой Молино ничего не ответила, лишь вызывающе сверкнула глазами и вернулась домой.

Была полночь. На участке Олафа Нельсона со-

бралась добрая сотня закутанных в меха людей, которые предпочли шестидесятиградусный мороз теплому жилищу и мягкой уютной постели. Некоторые из них уже занимались предварительными работами. Небольшой полицейский отряд должен был следить за тем, чтобы соревнование велось по всем правилам. Было отдано строгое распоряжение, чтобы никто не вбивал колышков до последней секунды последнего, шестидесятого дня. На Крайнем Севере такие приказы отличаются удивительной, почти сверхъестественной силой. Нарушителей пуля поражает с быстротой молнии.

Стояла ясная и холодная ночь. Северное сияние разбросало по всему небу зыбкие, причудливые цвета. Точно могучие руки Титана воздвигли над землей огромные арки: от горизонта до зенита плыли розоватые, холодные и ярко-блещущие волны света, а к звездам шли широкие зеленовато-белые искристые полосы.

Полицейский, закутанный в медвежью шубу, выступил вперед и вытянул руку. Тотчас же поднялась невообразимая суета. Золотоискатели стали поднимать на ноги собак, распутывать постромки и запрягать. После того все, один за другим, с колышками в руках начали подходить

к отмеченному месту. Они так хорошо знали этот участок, что все могли проделать с завязанными глазами. По второму сигналу полицейского они сняли с себя все лишнее и, оставив самое необходимое, насторожились.

— Внимание!

Шестьдесят пар рук сбросили рукавицы, и шестьдесят пар ног стали твердо на искристый снег.

— Вперед!

Соревнователи мигом рассеялись по всем направлениям и с непередаваемой быстротой стали вбивать колышки и знаки. Вслед за тем они вскочили в нарты и понеслись вдоль по замерзшей реке. Снова повторилась прежняя суета: нарты налетали на другие нарты, одна собачья упряжка набрасывалась на другую; животные ощетинивали шерсть и скалили клыки, — а от всего этого в воздухе стоял непрерывный шум. Все понимали, что пришел важный, самый главный момент, и у каждого из соревнователей имелись друзья, которые старались помочь ему. Мало-помалу из общей кучи выскальзывали отдельные нарты и пара за парой скрывались из виду.

Джек Харрингтон по опыту знал, что предстоит великая суета, и спокойно ждал возле своих нарт.

Близ него, в таком же выжидательном положении стоял Луи Савуа, внимательно следивший за своим соперником — одним из лучших погонщиков собак на Севере. Оба двинулись в путь лишь после того, как окончательно улегся шум. Им пришлось сделать добрые десять миль, прежде чем они догнали ушедших раньше.

По обе стороны пути тянулись безграничные снежные поля. Если бы кто-нибудь сделал попытку обогнать другого, эта попытка ничем хорошим не окончилась бы, так как его собаки по брюхо ушли бы в снег. Оставалось одно: лежать ничком на подпрыгивающих нартах и терпеливо ждать.

Совершенно однообразная дорога шла на расстоянии пятнадцати миль — от Бонанцы и Клондайка до Даусона.

Там ожидала первая смена, но Харрингтон и Савуа сменили собак на две мили выше остальных. Они воспользовались общей суматохой и обогнали добрую половину нарт. Выехав на широкий Юкон, Джек Харрингтон и Луи Савуа имели впереди себя каких-нибудь тридцать человек — не больше.

Возбуждение росло с каждой минутой.

В месте наиболее сильного течения открытая вода на расстоянии мили шла между двух огром-

ных масс льда. Она лишь недавно покрылась легкой коркой льда и превратилась в ровную упругую поверхность, скользкую, как навощенный пол.

Выехав на эту дорогу, Харрингтон, придерживаясь одной рукой за нарты, привстал на колени и отчаянно захлопал бичом. Каждый удар его сопровождался непередаваемыми ругательствами. Собаки, почуяв под ногами плотный гладкий лед, помчались во всю прыть. Мало кто из постоянных жителей Севера так ловко правил собаками, как Джек Харрингтон. Когда Луи Савуа показалось, что его соперник начинает обгонять его, он стегнул собак, прибавил ходу и все время стремился к тому, чтобы морды его передних собак касались задка нарт Джека Харрингтона…

Харрингтон решил не терять ни секунды, — и едва только к его нартам вплотную подали свежую смену, он с резким криком прыгнул в новые нарты и, не переставая ни на секунду кричать и щелкать бичом, помчался дальше. Точно так же поступил со своей сменой Луи Савуа. В то же время оставленные обоими соперниками собаки были на пути других соревнователей и усиливали шум и замешательство. Впереди всех несся Харрингтон, на долю которого выпала

честь расчищать путь. Вслед за ним, не отставая, мчался Савуа.

Между тем мороз крепчал и дошел до шестидесяти градусов ниже нуля. Опасно и невозможно было оставаться без движения. Зная это, Харрингтон и Савуа время от времени соскакивали с нарт и с бичами в руках бежали сзади собак, до тех пор, пока не согревались, после чего снова садились в нарты.

Таким образом, то на нартах, то бегом они миновали вторую и третью смену. Остальные золотоискатели растянулись позади них миль на пять. Многие из них еще пытались обогнать гонщиков из Сороковой Мили, но все их попытки были тщетны. Лишь Луи Савуа не отставал от Харрингтона.

На третьей смене, на двадцать пятой миле от Сороковой Мили, вплотную к нартам Харрингтона подъехал Дон Мак-Фэн. Увидев впереди упряжки Волчьего Клыка, Джек Харрингтон поверил в свою окончательную победу. Он знал, что с такой запряжкой он не пропадет. Нет такой запряжки на свете, которая могла бы обогнать его теперь! Луи Савуа увидел Волчьего Клыка и понял, что его дело проиграно. Тогда он стал проклинать самого себя, а вместе с тем коварную

женщину, Джой Молино.

В то же время он не забывал о деле. Впереди него, разбрасывая во все стороны искристую пыль, мчался Джек Харрингтон — и Савуа решил не отставать от него и бороться за свое счастье до последнего момента. Уже рассеивались тени и стало светлее на юго-востоке, а соперники все мчались и мчались, не переставая изумляться тому, что сделала женщина, Джой Молино.

Сороковая Миля встала чуть свет, сбросила с себя теплые постельные меха и высыпала на дорогу, откуда можно было видеть Юкон на протяжении нескольких миль, — до ближайшего изгиба. Несколько в стороне от всех стояла Джой Молино, и пространство между ней и блестящей колеей дороги было совершенно свободно. Люди сидели вокруг горящих костров и заключали последние пари, ставя золотой песок и табак. Больше всего ставок было на Волчьего Клыка.

— Едут! — завизжал мальчик-туземец, забравшийся на вершину сосны.

На груди Юкона, у самого изгиба, на белом снегу показалось черное пятно. Тотчас же показалось и второе пятно. По мере того как эти пятна росли, на значительном расстоянии стали обозначаться и другие пятна. Мало-помалу можно было раз-

глядеть очертания нарт, собак, а затем и людей, лежавших вытянувшись на нартах.

— Волчий Клык идет первым, — шепнул полицейский агент, повернувшись к Джой.

Та только улыбнулась.

— Десять против одного за Харрингтона, — крикнул один из местных золотых королей и достал из кармана мешок с золотым песком.

— Всего только? — спросила Джой.

Полицейский агент неодобрительно покачал головой.

— У вас есть при себе хоть сколько-нибудь золотого песку? — спросила Джой, обращаясь к агенту.

Тот показал ей свой мешок с золотом.

— На пару сотен наберется? Ладно! В таком случае я принимаю пари.

Она продолжала загадочно улыбаться. Полицейский чиновник глядел, не отрываясь, на дорогу и что-то соображал.

Харрингтон и Савуа все еще стояли на коленях и немилосердно хлестали собак; впереди по-прежнему шел Харрингтон.

— Десять против одного за Харрингтона! — снова закричал богач, вызывающе размахивая туго набитым мешочком.

— Принимаю пари! — заявила Джой.

Чиновник повиновался и пожал плечами, словно желая сказать, что допускает это исключительно ради такой женщины, как Джой Молино.

Уже прекратились пари, и наступила почти могильная тишина.

Словно судно на море под жестоким ветром, качаясь и ныряя, мчались нарты. Несмотря на то что морда передовой собаки все еще касалась задка нарт Харрингтона, Луи Савуа имел очень мрачный вид.

А Джек Харрингтон не разжимал губ и не смотрел ни вправо ни влево. Его упряжка шла по-прежнему твердо и ритмично, а Волчий Клык, растянувшись во всю длину, опустив голову почти до земли, ничего не видя и изредка слабо подвывая, великолепно вел остальных собак.

Все затаили дыхание. По-прежнему царила мертвенная тишина, время от времени нарушаемая скрипом полозьев и свистом бичей.

Вдруг воздух рассек зычный призыв Джой Молино:

— Эй, Волчий Клык, Волчий Клык!

Волчий Клык, услышав призыв, тотчас же свернул с дороги и направился в сторону своей

госпожи. За ним покорно последовала вся запряжка — нарты на одно мгновение перегнулись, и Джек Харрингтон как стрела вылетел на снег. Едва только Савуа мелькнул мимо него, Харрингтон вскочил на ноги и стал с отчаянием следить за тем, как его соперник несется вдоль речки, по направлению к явочной конторе.

— Да, он ловко правит собаками! — сказала Джой Молино, обращаясь к полицейскому чиновнику. — Я не сомневаюсь, что он придет первым.

Женское презрение

1

Все же случилось так, что Фреда и миссис Эпингуэлл наконец встретились. Фреда была гречанка по происхождению и танцовщица по профессии. По крайней мере, она выдавала себя за гречанку, хотя многие сомневались в этом, принимая во внимание то обстоятельство, что ее классическое лицо моментами выражало слишком много силы. Кроме того, адские огни, которые часто зажигались в ее глазах, в свою очередь зарождали сомнения относительно ее происхождения. Некоторым людям — только мужчинам! — были знакомы эти ее особенности, и кто видел их раз, не забыл их до сего дня и, надо думать, не забудет до смерти.

Она никогда не говорила о себе лично, и в минуты, когда она находилась в абсолютно спокойном состоянии, ее греческое происхождение говорило само за себя. Ее меха считались лучшими во всей стране, начиная с Чилкута и кончая Сент-Майкелем, и имя ее очень часто срывалось с уст мужчин.

Но тут же надо указать на то, что миссис Эпингуэлл была женой полицейского начальника и, значит, с точки зрения общественного положения стояла очень высоко, так как ее орбита проходила между самыми выдающимися представителями избранного даусоновского общества, которое среди обывателей было известно под названием «официальная свора». Чарли Ситке пришлось однажды проделать с ней очень тяжелый путь в то время, когда голод сделал человеческую жизнь дешевле фунта муки, и, по его мнению, она была выдающейся женщиной, равной которой почти не было в округе. Правда, Чарли был индеец, и критерий его был весьма примитивен, но слово его было веско и к вердикту его всегда прислушивались.

Обе женщины, каждая в своем роде, были типичными покорительницами мужских сердец, но жизненные пути их не имели между собой ничего общего, ни единой точки соприкосновения. Миссис Эпингуэлл царила в своем собственном доме и затем в Бараках, где, главным образом, подвизалось молодое поколение. Не стоит уж говорить об официальном круге, в состав которого входили люди, причастные и к полиции, и к суду, и т. д.

Что же касается Фреды, то она царила в городе, но ее почитателями были те же самые люди, которые занимали весьма важные официальные посты в Бараках и которых миссис Эпингуэлл кормила и угощала чаем и консервами в своей нагорной хижине из необструганных досок.

Каждая из них прекрасно знала о существовании другой, но жизненные цели их были диаметрально противоположны, и, несмотря на то что они часто слышали друг о друге и отличались чисто женским любопытством, внешне они не проявляли никакого интереса. Такое положение, безо всяких осложнений, могло бы продолжаться до бесконечности, если бы в город не явилось новое лицо в образе натурщицы, которая прибыла на превосходной упряжке по первому льду и которой сопутствовала космополитическая репутация. Лорен Лизней, венгерка родом, очень привлекательная женщина с артистическим лицом, ускорила ход событий, и из-за нее, главным образом, миссис Эпингуэлл оставила свой дом на Холме и явилась к Фреде; а Фреда, со своей стороны, на время оставила те места, где ее чаще всего можно было встретить, и посетила губернаторский бал, к непередаваемому смятению всех присутствовавших на нем.

Все это, конечно, старая-престарая история, о которой в свое время знал чуть ли не весь Клондайк, но вся штука в том, что даже в Даусоне весьма немногие знали истинную причину всего случившегося. Кроме этих нескольких людей, никто не мог дать себе точный отчет в поступках как жены полицейского начальника, так и гречанки-танцовщицы. И на долю не кого иного, как Чарли Ситки, выпала честь познакомить и этих немногих с настоящими фактами дела. С его уст сорвались слова, которые подняли завесу над некоторыми довольно таинственными обстоятельствами. Весьма сомнительно, чтобы сама Фреда пожелала рассказать обо всем какому-нибудь писателю. Точно так же невероятно, чтобы миссис Эпингуэлл намекнула кому-нибудь об этом. Очень может быть, что они и сказали кое-что, но это не похоже на них.

2

Имелись основания думать, что Флойд Вандерлип был сильный человек. Тяжелая работа и весьма неудовлетворительная пища не представляли для него ничего ужасного: по крайней мере, так отзывались о нем те, которые знавали его в первые годы пребывания на Клондайке. В ми-

нуты опасности он держал себя как лев, и когда ему пришлось проявить власть над несколькими сотнями умирающих от голода людей, все отметили, что не было человека, который спокойнее его выдерживал бы блеск солнца или вид направленного на него ружейного дула. Однако у него имелась одна слабость, которая вытекала из его положительных качеств, но все же отличалась отрицательными свойствами. Его отдельные качества характеризовались большой силой, но им недоставало координации. Вот, например, несмотря на то что он обладал очень влюбчивым характером, он чуть ли не по доброй воле провел несколько лет — лет очень скучных и бледных — на Севере, где занимался охотой на оленей, ловлей лососей и добычей золота. К тому времени, когда он вбил достаточное количество угловых и центральных кольев на богатейших клондайкских участках, эта любовная лихорадка снова дала о себе знать и окончательно овладела им, когда он занял подобающее место в обществе в качестве общепризнанного «короля Бонанцы». Тут вдруг он вспомнил об одной девушке, которая жила в Штатах, и проникся убеждением, что она все время ждет его и что жена, вообще говоря, есть очень приятное приобретение для человека,

который живет и работает несколько дальше пятьдесят третьего градуса широты. Он написал соответствующее письмо, вложил в него нужное количество денег на расходы, приданое и т. д. и адресовал его на имя Флосси. Флосси? Да! Ну, человек смышленый поймет все остальное. Словом, он построил очень уютный домик на своем участке, другой домик купил в Даусоне и сообщил обо всех этих новостях своим приятелям.

И вот где и когда сказалось вышеупомянутое отсутствие координации между мыслью и действием. Ждать было страшно скучно. К тому же долго сдерживаемая страсть не пожелала терпеть никаких отсрочек. Флосси была еще только в пути, но зато Лорен Лизней находилась рядом. И она была здесь, и ее космополитическая репутация волочилась за ней. Правда, она была уже не так молода, как в те годы, когда позировала в самых великосветских художественных студиях и когда принимала у себя кардиналов и князей. Само собой понятно, что финансы ее находились в незавидном состоянии. Живя в свое время очень широко и даже роскошно, она теперь без всякого отвращения подумывала о связи с «королем Бонанцы», состояние которого было столь велико, что выражалось шестизначными цифрами. По-

добно мудрому солдату, который после многих лет тяжелой службы удаляется на покой в уютное местечко, она приехала на Север с единственной целью — выйти замуж. Вот почему в один прекрасный день, когда Флойд Вандерлип покупал в универсальной лавке столовое белье для Флосси, Лорен Лизней одарила его таким взглядом, после которого все остальное было сделано чрезвычайно легко.

Когда мужчина свободен, ему прощается многое, что ставится ему же на вид, когда он связан по рукам и ногам семейными узами. Та же самая история произошла и с Флойдом Вандерлипом. Со дня на день должна была приехать Флосси, и вот почему в городе хоть и туманно, но много говорили о том, что Лорен Лизней катается на его упряжке по главной улице. Кроме того, она сопровождала сотрудницу «Звезды Канзаса», которая сделала несколько фотографических снимков его владений на Бонанце, и присутствовала при том, как эта репортерша написала огромную статью в шесть колонок касательно тех же золотоносных участков.

Они вместе и по-королевски обедали в домике Флосси, на ее же столовом белье. Мало того, люди обращали внимание на некоторые его визиты,

и, хотя ни в чем предосудительном его, казалось бы, нельзя было обвинить, — все же создалась атмосфера, благоприятствующая острым языкам мужчин и насмешкам женщин. Только миссис Эпингуэлл не обращала на все это ни малейшего внимания. Отдаленный шум болтливых языков доносился до нее очень слабо, потому что она привыкла хорошо относиться к людям, верить в них и им и закрывала уши для всяких сплетен. Она слушала, но не слышала.

Совсем иначе обстояло дело с Фредой. У нее не было никаких оснований любить мужчин, но, по странному устройству души, она всегда рвалась к женщинам — к тем самым женщинам, которых, казалось бы, она должна была любить еще меньше. И она всем сердцем рвалась к Флосси, которая находилась теперь на Большом Пути и не побоялась отправиться на холодный, жестокий Север повидать человека, не имеющего больше терпения жить без нее. Фреде она рисовалась слабенькой, беспомощной девушкой со слабо очерченным ртом и прелестными пухлыми губками, с развевающимися солнечными волосами и чудесными глазами, в которых всегда и неизменно отражались все простенькие и милые пустячки жизни. Но в то же время она видела

Флосси с завязанными от мороза носом и ртом устало ковыляющей за собаками в пути. Вот почему однажды на танцевальном вечере Фреда улыбнулась Флойду Вандерлипу.

Весьма мало мужчин были созданы так, что улыбка Фреды могла оставить их абсолютно равнодушными и спокойными. Во всяком случае, Флойд Вандерлип к числу этих стоиков не принадлежал. Внимание, выраженное натурщицей-венгеркой, заставило его несколько по-иному посмотреть на себя, а несомненный интерес к нему, проявляемый теперь Фредой, совсем вскружил ему голову. Несомненно, в нем имеются некоторые достоинства и качества, на которые женщины сразу же обращают внимание! Какого рода и сорта эти достоинства, он сам не имел ни малейшего представления, но считался с фактом их существования — вот почему и возгордился сверх меры. Ясно, что мужчина, которому удалось чуть ли не сразу привлечь внимание двух женщин, — интересный и даже необыкновенный мужчина! Когда-нибудь, когда у него будет побольше времени, он специально займется самоанализом и постарается определить, какие такие в нем замечательные особенности, но в настоящее время он возьмет то, что богам угодно

послать ему. И мало-помалу им стала овладевать одна робкая мысль: собственно говоря, что он нашел во Флосси? И следствием этой мысли было определенное сожаление по поводу того, что он слишком поторопился с вызовом девушки.

Конечно, серьезно считаться с Фредой в данном случае не приходилось. Его участки на Бонанце были очень богаты и многочисленны, и все это делало его человеком значительным, который должен был учитывать занимаемое им общественное положение.

Ясно, что при сложившихся обстоятельствах он может принимать всерьез только Лорен Лизней. Только она — настоящая, вполне подходящая для него женщина! Она в свое время очень широко и открыто жила и сумеет теперь должным образом использовать его богатство и придать желательный блеск и тон его дому.

Но Фреда улыбалась, и продолжала улыбаться до тех самых пор, пока он не стал встречаться с ней довольно-таки часто. Тогда она, в свою очередь, начала кататься по главной улице на его собаках, что заставило призадуматься венгерку-натурщицу, которая в ближайшее свидание буквально ослепила его своими князьями, кардиналами и забавными интимными анекдотами

из придворной и даже королевской жизни. Она показала ему также несколько очень милых посланий, неизменно начинавшихся «Моя дорогая Лорен!» и кончавшихся «Преданный вам до гроба». На некоторых письмах имелась собственноручная подпись какой-то ныне здравствующей королевы.

В глубине души Флойд искренне удивлялся, что такая знатная женщина уделяет ему столько внимания и посвящает ему чуть ли не все время. Но натурщица вела свою игру довольно искусно, очень часто проводила лестные параллели между ним и теми благородными и великосветскими персонажами, которые были вызваны в жизнь главным образом ее пылкой фантазией, и довела его до того, что он совершенно потерял чувство меры и стал искренне жалеть о том, что был до сих пор лишен всех прелестей и утех жизни.

Но все же Фреда более тонко проводила свою политику. Если она кому-либо льстила, то этот человек не догадывался о лести. Если она сходила со своего пьедестала, то никто не замечал этого. Если человек чувствовал, что она интересуется им, то чувство это было до того утонченное, что мужчина долго не мог понять, что, собственно говоря, происходит и почему он удостоился такой

несомненной чести. Вот таким-то образом она крепко захватила в свои сети Флойда Вандерлипа и каталась на его собаках.

В это именно время все и случилось, и ошибка обнаружилась. Слухи о частых встречах танцовщицы с Флойдом росли с каждым днем, принимали все более и более определенный характер и наконец докатились до ушей миссис Эпингуэлл. Она, в свою очередь, много думала о Флосси и представляла себе, с каким трудом, с какими мучениями бедняжка пробирается в своих мокасинах по бесконечным снежным полям, — вот чем объясняется то, что супруга полицейского начальника пригласила однажды Флойда Вандерлипа на чай и после того стала приглашать его в свой нагорный домик все чаще и чаще. Тут Вандерлип окончательно потерял голову и, что называется, потонул в море блаженства и самодовольства. Нет, никогда до сих пор на мужчину не производилась подобная атака! Шутка ли сказать, на него посягают сразу три женщины, причем четвертая находится в пути и в самом скором времени предъявит к нему точно такие же претензии.

Три женщины — и какие женщины!

Но вернемся к миссис Эпингуэлл и к той ошиб-

ке, которую она допустила. Об этом деле она очень осторожно и издалека заговорила не с кем иным, как с Чарли Ситкой, который продал собак гречанке. При этом ни одно имя не было упомянуто. Легкий намек был дан только тогда, когда миссис Эпингуэлл сказала:

— Она… ужасная женщина.

На что индеец, из головы которого не выходила натурщица, ответил в тон:

— Она… ужасная женщина.

Он был вполне согласен с тем, что возмутительно становиться между мужчиной и девушкой, которая едет сюда, чтобы выйти замуж за этого самого мужчину.

— Я уверена, Чарли, что это очень простая девушка! И подумай только: она едет в чужую, неведомую страну, где у нее нет ни единого друга, ни единого человека, которому она могла бы довериться. Мы должны что-нибудь сделать для нее.

Чарли Ситка обещал оказать содействие и удалился, нисколько не сомневаясь в том, что дурная женщина — это Лорен Лизней, и восхищаясь благородством миссис Эпингуэлл и Фреды, которые пожелали помочь совершенно не знакомой им Флосси.

Надо сказать, что миссис Эпингуэлл была так же правдива и открыта, как ясный, погожий день. Чарли Ситке, которому пришлось однажды побывать с ней за Холмами Белого Безмолвия, выпала честь навсегда запомнить ее лучистый взгляд, ясно звучащий голос и подкупающую откровенность. У нее была совершенно особая манера отдавать приказания и подходить ко всякому делу прямо и с надлежащей стороны. Познакомившись с Флойдом Вандерлипом и достаточно узнав его характер, она не отважилась подойти к нему с обычной для нее меркой. Но, решив дойти до конца, она не остановилась перед тем, чтобы спуститься в город и поехать к Фреде, причем сделала это посреди белого дня, на виду у всех, и все наблюдали, как она остановилась у двери танцовщицы. Она, равно как и муж ее, стояли выше всяких сплетен и пересудов. Она пожелала видеть эту женщину, говорить с ней — и не видела причины, почему бы ей не сделать этого.

И вот в один прекрасный день, когда термометр показывал ниже шестидесяти градусов, она остановилась на снегу перед дверью Фреды и в продолжение пяти минут вела разговор с горничной танцовщицы. На ее долю выпало сомнительное удовольствие повернуться спиной

к двери и пойти назад, в свой дом, причем сердце ее было полно досады по поводу такого отношения к ней.

Но кто такая эта женщина, которая не пожелала принять ее? — задала она себе вопрос.

Могло показаться, что все вывернулось наизнанку. Ведь правильнее было бы допустить, что именно гречанка пришла к ней, жене полицейского начальника, и не была принята, — а вышло наоборот. Во всяком случае, миссис Эпингуэлл могла утверждать одно: если бы Фреда пожелала явиться к ней, на гору, — независимо от причины и повода, — она очень радушно допустила бы ее к своему очагу, у которого они уселись бы как две женщины и говорили бы просто как две женщины.

Но вышло так, что она преступила границы условности и сама же унизила себя, потому что, очевидно, ее мысли и ее образ действий не сходились с мыслями и приемами женщин из города. Ей было стыдно, что она довела себя до такого позора, и вот почему в ее сердце скопилось много недовольства против Фреды.

А между тем Фреда не заслужила такого отношения. Миссис Эпингуэлл удостоила ее высокой чести и явилась к ней — к женщине, потерявшей

свое положение в обществе, и Фреда, храня традиции своей прежней жизни, ни в коем случае не могла допустить этого. О, в глубине души она поклонялась этой женщине, и для нее не было и не могло быть большей чести и радости, как принять ее в своей хижине и говорить с ней бесконечно долго… Но, глубоко уважая миссис Эпингуэлл, относясь также с известным уважением к себе, хотя, по мнению многих, она находилась уже за пределами уважения, она вынуждена была отказаться от того, чего так страстно желала.

Не успев еще опомниться от недавнего посещения миссис Мак-Фи, жены местного пастора, которая тотчас же по приходу набросилась на нее с бесконечными и оскорбительными упреками, она никак не могла уяснить себе причины этого последнего визита. Она никак не могла представить себе, какую такую беду она наделала, в чем провинилась, и поэтому была уверена, что та женщина, которая сейчас ждет у ее двери, не пришла сюда с целью миссис Мак-Фи: предать проклятию ее грешную душу.

В таком случае, чего ради она явилась? Несмотря на все любопытство, которое обуревало ее, она облачилась в непроницаемую броню тех людей, которые не имеют права на гордость, и, сидя

в своей комнате, дрожала, точно девушка под первыми ласками возлюбленного. Если миссис Эпингуэлл очень страдала, возвращаясь к себе, то она страдала отнюдь не меньше ее, и, чтобы хоть немного утешить боль, зарылась головой в подушку и так, с сухими глазами и пересохшими губами, немая, лежала долго, без всякого движения.

Миссис Эпингуэлл прекрасно и глубоко изучила человеческое сердце. В этом отношении она имела право считать себя знатоком, так как с почти одинаковой легкостью разбиралась в деяниях цивилизованных людей и варваров. Она понимала и улавливала одни и те же примитивные импульсы у голодного волкодава и умирающего от голода человека и заранее могла предсказать, как при одинаково сложившихся обстоятельствах поступит каждый из них. Для нее всякая женщина прежде всего была женщиной, независимо от того, облачена она в пурпур или же носит лохмотья. И вот почему на Фреду она смотрела только как на женщину. Она нисколько не удивилась бы, если бы была любезно принята танцовщицей и завела с ней разговор на общую, обеим понятную тему. Точно так же ее не очень удивило бы, если бы Фреда приняла ее сурово и

некорректно, что вполне можно было ожидать от такой женщины. Но то, как поступила по отношению к ней танцовщица, было выше ее понимания и в то же время страшно разочаровало ее. Из этого можно было легко сделать тот вывод, что она совершенно не усвоила себе точки зрения Фреды. И это очень хорошо. Некоторые точки зрения мы можем усвоить лишь с большим трудом и путем известного самопожертвования, и — повторяю — это очень хорошо для всего мира, что в некоторых случаях широта взглядов и познаний изменяет многочисленным миссис Эпингуэлл. Осквернение нельзя понять без того, чтобы не коснуться грязи, которая всегда и везде пребывает в липком состоянии. Но многих подобные неприятные эксперименты не останавливают. Собственно говоря, все это не имеет большого значения для нашего рассказа, за исключением того, что миссис Эпингуэлл возвращалась домой очень огорченная, а сердцу Фреды она стала милей и ближе, чем когда бы то ни было.

3

И таким-то образом дела шли в продолжение целого месяца. Миссис Эпингуэлл прилагала все старания к тому, чтобы ослабить действие чар

греческой танцовщицы на Флойда Вандерлипа, хотя бы до приезда Флосси. Флосси, неустанно, изо дня в день пробираясь по ужасающе тяжелой дороге, все ближе и ближе подходила к месту, где ее должен был ждать возлюбленный. Фреда, со своей стороны, отчаянно боролась против венгерки, а венгерка не останавливалась ни перед чем в намерении и стремлении получить долгожданный приз. А мужчина, из-за которого весь сыр-бор разгорелся, носился между ними, как легкий челнок, не помня себя от гордости и моментами считая себя вторым дон-жуаном.

В том, что Лорен Лизней в конце концов все-таки овладела им, был виноват он — и только он. Чрезвычайно интересно и поучительно проследить за тем, как мужчина овладевает девушкой, но совершенно невозможно представить те приемы, которыми пользуются женщины, когда они хотят покорить мужчину. Вот почему ни один пророк на свете не мог бы за двадцать четыре часа предсказать, что сделает Флойд Вандерлип. Весьма возможно, что вся прелесть венгерки заключалась в том, что она была прекрасным и очаровательным животным. Возможно и то, что она околдовала его старыми как мир баснями о дворцах и князьях. В конце концов, легко

допустить, что она просто-напросто ослепила его — человека, который всегда жил и работал в самых примитивных и некультурных условиях, — и довела его до того, что он согласился бежать с ней вниз по реке и обвенчаться в Сороковой Миле.

Остановившись на этом намерении, он купил у Чарли Ситки собак — ясно, что такой шикарной женщине, как Лорен Лизней, одной пары нарт было слишком мало, — а затем направился вверх по реке, с тем чтобы отдать распоряжения управляющему его участками на Бонанце на время своего отсутствия.

В общем, он довольно туманно дал понять, что ему нужны собаки для перевозки леса с мельницы к шлюзам, но Чарли Ситка сразу все понял и тем подтвердил слухи о своей догадливости.

Он согласился представить к известному сроку требуемых от него собак, но едва Флойд Вандерлип повернулся к нему спиной с тем, чтобы уехать на свой участок, как Чарли Ситка в неописуемом смятении духа побежал к Лизней.

Не может ли она сказать ему, куда уехал мистер Вандерлип? Он условился достать этому джентльмену к известному сроку собак, но некий бесчестный человек, а именно — немецкий ку-

пец Мейерс, закупил чуть ли не всех свободных собак и тем страшно поднял на них цену. Ему необходимо повидаться с мистером Вандерлипом, потому что из-за этого самого бесчестного человека он на целую неделю опоздает против обусловленного срока. Так вот, не знает ли она, куда делся мистер Вандерлип? Поехал вверх по реке? Очень хорошо! Он тотчас же отправится по его следам и сообщит ему о непредвиденной и неприятной отсрочке. Верно ли он понял ее, что джентльмену нужны собаки в пятницу вечером? Собаки действительно необходимы к этому дню? Это, конечно, очень неприятно, но во всем опять же виноват этот бесчестный немец. Животные уже стоят на пятьдесят долларов дороже — каждое! — и если ему придется платить такую высокую цену, то его потери будут огромны. Он должен узнать, согласен ли мистер Вандерлип на такие дополнительные расходы. Она думает, что он согласится? В качестве его друга она даже готова поручиться за него и выдать разницу заранее? А он ничего против того не будет иметь? Это очень хорошо, что она так заботится об его интересах! Значит, она говорит, что в пятницу ночью? Очень хорошо! Собаки будут на месте к условленному времени.

Ровно через час Фреда уже была поставлена в известность, что бегство назначено на ночь пятницы. В то же время она узнала, что Вандерлип уехал в Бонанцу, и, таким образом, ее руки были связаны.

В пятницу утром по льду прибыл Деверо, государственный почтальон, с почтой. Вместе с почтой он привез сведения о Флосси. Он проехал мимо ее стоянки на Шестидесятой Миле. Люди и собаки находились в хорошем состоянии. Надо думать, что она приедет на следующий день.

Услышав это, миссис Эпингуэлл почувствовала значительное облегчение. Находясь в данную минуту на реке, Флойд Вандерлип был в безопасности, а затем, как только гречанка-танцовщица снова попытается овладеть им, ей помешает невеста, которая к тому времени уже будет здесь. Но в тот же день, после обеда, огромный сенбернар, доблестно защищавший ее дверь, был опрокинут голодной сворой только что прибывших малемутов. Он скрылся секунд на тридцать под этой серой взлохмаченной массой, но в самую критическую минуту был спасен двумя сильными людьми, которые с топорами в руках бросились на выручку. Еще две минуты — и можно было бы с уверенностью сказать, что он был бы разо-

рван на части и что части эти были бы унесены в желудках наступавших врагов. Но и при удачно сложившихся для него обстоятельствах он был здорово потрепан. Чарли Ситка первым делом постарался исправить нанесенные повреждения, причем больше всего внимания отдал правой передней лапе, которая слишком долго оставалась в челюсти малемута.

Когда, покончив с делом, он надел рукавицы и собрался было уйти, разговор случайно коснулся Флосси и, само собой разумеется, «этой скверной женщины». Тут же Чарли Ситка заметил, что «она» собирается сегодня ночью бежать вместе с Флойдом Вандерлипом, и нерешительно добавил, что в это время года бывает больше всего несчастий в дороге.

Вот почему миссис Эпингуэлл рассердилась на Фреду больше, чем когда бы то ни было. Она написала короткую записку, адресовала ее человеку, который был во всем виноват, и передала ее посланцу с наказом ждать Флойда Вандерлипа у устья реки Бонанцы. Другой индеец с письмом от Фреды ждал Вандерлипа на том же стратегическом пункте. Вот как случилось, что собственник богатейших участков на Бонанце, к заходу солнца весело возвращаясь на своих нартах домой,

получил эти два письма одновременно. Письмо Фреды он тотчас же разорвал на клочки. Нет, он ни за что не желает видеть ее! Ему этой ночью предстоят более важные дела! Кроме того, при создавшемся положении вещей она вышла из круга. Но миссис Эпингуэлл! Он постарается исполнить ее желание — или нет, не так! Все то, на что только он будет способен, он постарается сделать для нее и таким образом пойти навстречу ее желаниям. Он отправится на губернаторский бал и там внимательно выслушает все то, что она имеет сказать ему. Судя по тону записки, можно было думать, что речь пойдет о довольно важных вещах. Очень может быть… Тут он усмехнулся.

Черт побери! Но какой он счастливчик! Ему адски везет с женщинами. Разорвав письмо на мелкие части и пустив их по морозному ветру, он стегнул собак и направился к своей хижине. Сегодня вечером устраивался маскарад, и ему предстояло еще найти костюм, который после бала в Опере, несколько месяцев назад, он швырнул бог знает куда. Кроме того, ему надо было побриться и пообедать. Таким образом, поневоле создавалось впечатление, что из всех заинтересованных лиц он единственный не знал о том, что Флосси находится так близко.

— Пригони собак ровно в полночь к проруби у больницы! Но смотри не подведи меня! — сказал он Чарли Ситке, который счел своевременным уведомить его, что все собаки уже собраны, за исключением одной, которая к условленному времени тоже будет на месте. — Вот мой мешок! Вот весы! Отвесь песку, сколько тебе нужно, и не приставай ко мне больше с этими пустяками. Мне некогда: я тороплюсь на бал.

Чарли Ситка отвесил столько золотого песку, сколько ему причиталось, и после того отнес Лорен Лизней письмо, в котором — по его мнению — имелись точные указания относительно встречи у больничной проруби ровно в полночь.

4

Дважды Фреда посылала специальных послов в Бараки, где бал был уже в полном разгаре, но оба посла вернулись к ней без ответа. Тогда она сделала то, на что была способна только Фреда, а именно: она надела меха, маску и лично отправилась на губернаторский бал.

Но в городе установился обычай — не совсем оригинальный, по мнению многих, — к которому, однако, местная «официальная свора» издавна привыкла. По-своему это был очень мудрый

принцип, так как он способствовал «естественному отбору» обычных посетителей подобных балов и защищал жен официальных лиц от всевозможных неприятных эксцессов. Для каждого бала избирался особый комитет, единственная обязанность которого заключалась в том, что члены его должны были стоять у дверей и предлагать всем входящим приподнимать маску. Большинство мужчин всячески отбояривались от подобной чести, но почти всегда случалось так, что в комитет входили именно те лица, которым эта почетная роль меньше всего улыбалась.

Даже местный капеллан был слишком мало знаком с лицами городских жителей для того, чтобы указать, кого можно допустить в высокое собрание, а кого надо выставить за дверь, но в еще более тяжелом положении оказывались другие достойные граждане, которым выпадала роль привратников и которые довольно охотно эту роль принимали. Что касается миссис Мак-Фи, то за эту честь она готова была пожертвовать всеми своими шансами на будущее спасение. Однажды она была избрана, но пропустила ужасное трио, которое достаточно наскандалило до тех пор, пока удалось установить личности безобразников. С тех пор на должность привратников

избирались лица, на которых можно было вполне положиться, но которые всегда с большой неохотой принимали предложение.

В эту ночь у дверей стоял Принс. На него было произведено известное давление, и вышло так, что он не успел опомниться, как был определен на «должность», которая угрожала ему тем, что он в кратчайший срок растеряет половину своих закадычных друзей — и только для того, чтобы вторая половина могла позабавиться и повеселиться в полное свое удовольствие. Трое или четверо, которым он уже отказал в пропуске, были те самые люди, которых он давно и прекрасно знал по дороге и по работе, — настоящие и верные товарищи, но совершенно неподходящие для такого избранного общества! Он уже подумывал о том, как бы отказаться от этой отвратительной обязанности и сдать свой пост, как вдруг перед ним, в круге света, отбрасываемого лампой, остановилась женщина.

Фреда! Он мог бы поклясться, что это была именно она, — хотя бы уже по одним мехам, не говоря об ее своеобразной манере держать голову. Вот кого он всего менее ожидал видеть на этом вечере! Он был о ней гораздо лучшего мнения и никак не мог допустить, что она отважится на

позор отказа или — если пройдет — на презрение женщин.

Он отрицательно повел головой, даже не вглядевшись в нее. Он слишком хорошо знал Фреду для того, чтобы ошибиться. Но она подошла ближе к нему, еще ближе… Она приподняла черную шелковую маску и мгновенно опустила ее. В продолжение одного молниеносного, но вечного мгновения он глядел на это лицо… Ведь не без основания говорили в городе, что Фреда играет мужчинами, как ребенок мыльными пузырями. Ни единого слова не было произнесено ни им ни ею, но Принс отступил назад — и через пару минут был позорно смещен с поста, на котором не мог удержаться с должным достоинством.

Гибкая, стройная женщина, каждое движение которой было исполнено чувства изумительного ритма и силы, стала прокладывать себе путь среди многочисленных гостей, то останавливаясь около одной группы, то искусно огибая и разглядывая другую. Мужчины тотчас же признали ее меха и удивлялись: это были те самые мужчины, которым в скором времени предстояло дежурить у входных дверей. Они удивлялись, но никто из них не выразил желания что-нибудь сказать по поводу ее столь неожиданного появления.

Иначе обстояло дело с дамами. У них был более наметанный глаз, который сразу различил эти прекрасные линии тела и чудесное умение носить платье и держать себя. Тут же они решили, что новая гостья не принадлежит к их кругу. Между прочим, наибольшее внимание привлекли меха Фреды.

Миссис Мак-Фи, появившись из верхней комнаты, где уже все было приготовлено для пира, уловила взгляд ослепительных вопрошающих глаз из прорезей в шелковой полумаске и вздрогнула.

Она старалась вспомнить, где и когда она видела эти глаза, и тотчас же перед ее взором встал гордый и непокорный образ женщины, которую она однажды безуспешно пыталась направить по стезе добродетели.

Вот почему эта добрая женщина сама ступила на стезю сильного и праведного гнева и пошла по пути, который вскоре привел ее в общество миссис Эпингуэлл и Флойда Вандерлипа.

Миссис Эпингуэлл как раз только что нашла случай и предлог, чтобы поговорить с Вандерлипом. Ввиду того что Флосси находилась уже совсем близко, жена полицейского начальника решила пойти прямо к своей цели, и едкая вра-

зумительная речь так и готова была сорваться с ее уст, как вдруг дуэт превратился в трио. Она обратила — и не без удовольствия — внимание на слабый иностранный акцент, с каким были произнесены слова: «Прошу прощения, сэр!» — с этими словами женщина в мехах остановила Флойда. Миссис Эпингуэлл вежливо кивнула головой в знак того, что она временно отпускает своего кавалера.

Но в этот миг в воздух поднялась высокоморальная длань миссис Мак-Фи, в результате чего шелковая черная маска была сорвана с лица ошеломленной женщины. Очаровательнейшее лицо и пара блестящих глаз были выставлены напоказ тем, кому угодно было смотреть, а угодно это было всем присутствующим. Флойд Вандерлип был страшно сконфужен. Положение требовало решительных действий со стороны человека, который не теряется ни при каких обстоятельствах, но Флойд едва ли точно сознавал, что, собственно говоря, случилось. Он с самым беспомощным видом стал озираться вокруг.

Не менее его была смущена и миссис Эпингуэлл. Она ничего не понимала. Настоятельно требовалось какое-нибудь разъяснение, которое, казалось, висело уже в воздухе, и его наконец

сделала сама миссис Мак-Фи.

— Миссис Эпингуэлл, — начала она резким фальцетом, — мне доставляет огромное удовольствие познакомить вас с Фредой Молуф, *с мисс Фредой Молуф, если только я не ошибаюсь!*

Фреда невольно повернулась. С открытым лицом она чувствовала себя словно во сне, словно голой посреди всех этих замаскированных людей, которые тесным кругом обступили ее. Ей казалось еще, что она попала в голодную волчью стаю, которая вот-вот разорвет ее на части. Очень может быть, что некоторые из них чувствовали к ней определенную жалость, но мысль об этом еще более ожесточила ее. О, в таком случае она предпочитает их презрение! Она была очень упорна, эта женщина! И раз ей уже удалось загнать добычу в самую середину стаи, то все равно, здесь ли миссис Эпингуэлл, нет ли ее, она уже не отступит и не выпустит добычи из рук.

Но тут миссис Эпингуэлл сделала нечто весьма странное. «Вот, наконец, эта Фреда, — подумала она, — вот эта танцовщица и губительница мужчин!» И эта женщина не пустила ее в свой дом!

Она мгновенно почувствовала отвратительное состояние этой женщины с открытым лицом, почувствовала так остро, точно все это произошло

с ней лично. Очень может быть, что эти чувства были вызваны чисто саксонской ненавистью к борьбе с безоружным врагом. Может быть также, что бой при равных условиях сулил ей больше радости при победе. Вероятнее всего, что в данном случае оба импульса оказали свое влияние; но, так или иначе, она сделала очень странную вещь.

Как только послышался тоненький, дрожащий от ненасытной злобы голосок миссис Мак-Фи и Фреда невольно повернулась, миссис Эпингуэлл в свою очередь повернулась, сняла маску с лица и поклонилась гречанке, словно знакомой. И тут наступил второй молниеносный и бесконечный миг, когда обе женщины пристально смотрели друг на друга. У одной глаза сверкали с чисто метеорическим блеском. Она горела желанием ринуться в бой и в то же время заранее страдала и заранее бранила себя за то оскорбительное, тяжелое и невыносимо смешное положение, в которое сама себя поставила. Вся она была похожа на пламенный, прекрасный и готовый каждое мгновение извергнуться вулкан.

А другая женщина стояла совершенно спокойно, с холодными глазами и невозмутимо ясным выражением лица. Сильная сознанием

собственного достоинства, полная уверенности в себе, бесстрастная, непоколебимая — она в эту минуту была похожа на статую, высеченную из холодного, сурового мрамора. Какая бы пучина сейчас ни разверзлась перед ней, она все равно переступила бы через нее. Она не думала ни о каких мостах, не считала, что она снисходит до кого-то или же чего-то. Нет, весь вид ее говорил о том, что она стоит перед женщиной, совершенно равной ей во всех отношениях. Обе они были женщины, и на платформе этой общности она сейчас твердо и уверенно стояла.

И именно это обстоятельство бесило Фреду. Ничего подобного она не переживала бы, будь она другой породы или происхождения; но в данном случае ее душа реагировала совершенно правильно, и Фреда могла постигнуть самые глубочайшие глубины психологии миссис Эпингуэлл и верно понять, что руководило ею.

«Почему вы не отдернете края вашего платья от меня? — готова была закричать она в эту первую, ослепительную и одурманивающую, минуту. — Плюньте на меня, издевайтесь надо мною, и это будет большей милостью для меня, чем то, что вы сейчас делаете!»

Она задрожала. Ноздри ее раздулись, но она тут

же овладела собой, вернула поклон и обратилась к Флойду Вандерлипу.

— Идемте со мной, Флойд, — очень просто сказала она. — Вы мне нужны!

— Что такое, что?.. — в запальчивости начал он и тотчас же замолчал, найдя в себе достаточно силы и такта, чтобы не продолжать в начатом духе. Но про себя он подумал: «Что за черт! Бывал ли какой-либо другой человек в таком дурацком положении, как я сейчас?»

Слова, которые он готов был произнести, остановились у него в горле, прилипли к небу. Он пожал своими могучими плечами и в нерешительности и вместе с тем умоляюще посмотрел на обеих женщин.

— Ради Бога, простите, но разрешите мне одну минутку переговорить с мистером Вандерлипом! Мне нужно до вас переговорить с ним.

Несмотря на то что миссис Эпингуэлл произнесла эти слова очень тихо и голосом, похожим на флейту, в каждом слоге чувствовалась большая и подавляющая сила.

Мужчина взглянул на нее с большой признательностью. Конечно, он был сейчас всецело на ее стороне.

— Мне очень жаль! — ответила Фреда. — Но

я никак не могу сделать этого. У меня просто времени не хватит. Мистер Вандерлип должен немедленно отправиться со мной.

Условные, общепринятые фразы с удивительной легкостью срывались с ее уст, но в душе она не могла не улыбнуться при мысли о том, до чего эти слова незначительны и слабы. Уж лучше было бы, если бы она кричала: тут это было бы более уместно.

— Но, мисс Молуф, разрешите узнать, кто вы такая, что разрешаете себе командовать мистером Флойдом Вандерлипом?

При этих словах на лице Флойда отразилось большое облегчение, и в знак одобрения он кивнул головой. О, миссис Эпингуэлл вызволит его из этой неприятности!

Но Фреда тем временем приготовилась к ответу.

— Я... я... — начала она нерешительно, но женский ум тотчас же пришел к ней на помощь. — Но позвольте, разрешите узнать, кто вы такая, что задаете мне подобный вопрос?

— Я?! Я — миссис Эпингуэлл и...

— Ах, вот как! — резко воскликнула Фреда. — В таком случае, вы — жена капитана, который, значит, приходится вам мужем! Я — только тан-

цовщица, не больше, но все же позволю себе спросить вас: зачем вам понадобился этот человек?

— Ну, знаете, такое неслыханное поведение! — не выдержала миссис Мак-Фи, готовая броситься в атаку, но миссис Эпингуэлл, одним взглядом запечатав ее уста, подошла к делу с новой стороны.

— Ну, мистер Вандерлип, раз мисс Молуф сделала такую «заявку» на вас и так торопится, что не может уступить мне вас даже на пару минут, я вынуждена обратиться непосредственно к вам. Вы ничего не имеете против того, чтобы побеседовать со мною с глазу на глаз?

Челюсти миссис Мак-Фи сомкнулись с видом полнейшего удовлетворения. Дело принимало такой оборот, что можно было надеяться на полную ликвидацию инцидента.

— Ну… ну… конечно… Что значит… — пробормотал Вандерлип. — Я очень буду рад… — В надежде на скорое избавление он сделался гораздо разговорчивее.

В конце концов, все мужчины не больше чем стадные животные, прирученные и выученные. И тут надо указать на то, что в свое время гречанке пришлось иметь немало дела с дикими самцами человеческой породы. Услышав послед-

ние слова Флойда Вандерлипа, она повернулась в его сторону с таким дьявольским огнем в ярко блещущих глазах, какой бывает только у покрытой блестками укротительницы диких зверей, когда она взглянет на льва, который вдруг ни с того ни с сего начал развивать чрезвычайно вредную теорию о пользе независимости. Точно ударом бича зверь во Флойде был немедленно укрощен.

— То есть... я хотел сказать... что несколько попозже я... весь в вашем распоряжении. Завтра, миссис Эпингуэлл, завтра...

Он старался облегчить свое состояние уверением, что если бы он остался дольше на балу, то навлек бы на себя еще большие неприятности. К тому же, сказал он себе, надо торопиться: приближается час встречи у госпитальной проруби. Господи Боже мой! А ведь он никогда до сих пор не относился с доверием к Фреде! Но в данную минуту она великолепна!

— Я очень благодарна вам, миссис Мак-Фи, за то, что вы помогли мне снять маску, — колко произнесла Фреда.

Миссис Мак-Фи, на время потеряв дар речи, вернула маску, сорванную с непрошеной гостьи.

— Спокойной ночи, мисс Молуф! — приветливо

сказала миссис Эпингуэлл, которая держала себя с необыкновенным достоинством, даже сознавая свое поражение.

Фреда вежливо ответила миссис Эпингуэлл, хотя испытывала непреодолимое желание броситься к ее ногам и молить о прощении, — нет, не о прощении, но о чем-то, чего она сама не могла выразить, но что было одним из самых страстных желаний за всю ее жизнь.

Флойд Вандерлип хотел подать ей руку, но она настигла свою жертву посреди стаи, и то чувство, которое некогда побуждало римских императоров вести побежденных врагов за своей победной колесницей, подсказало Фреде, что она должна пойти вперед. Флойд Вандерлип последовал за ней, стараясь хоть как-то собраться с мыслями.

5

На дворе стоял лютый мороз.

До дома танцовщицы им надо было пройти всего лишь четверть мили, но и за этот короткий промежуток времени замерзшее дыхание совершенно опушило лицо Фреды, а большие усы Вандерлипа так облипли льдом, что ему больно было раскрывать рот и говорить. При зеленоватом свете северного сияния можно было

видеть, что ртуть в термометре, висевшем с наружной стороны дверей, замерзла. Тысячи собак, слившись в непередаваемо жалобном хоре, изливали перед бесстрастными и равнодушными звездами свои вековечные жалобы и молили о милосердии.

Все в воздухе застыло и не шевелилось. Для собак не было ни палатки, где бы они могли укрыться от холода, ни малейшей лазейки, через которую они могли бы пробраться в теплый уголок. Кругом была стужа, немилосердная стужа, и они лежали на открытом воздухе, вытянув свои ноющие от тяжелой дороги мускулы, и волчьим воем выли в небо.

Первое время ни Фреда, ни Флойд не проронили ни слова. Пока горничная помогала своей госпоже снять меха, Флойд подбросил дров в печь. Затем девушка удалилась с вещами в другую комнату, а Флойд, склонившись над раскаленной печью, согревал верхнюю губу, которая все еще не повиновалась ему. Покончив с этим делом, он свернул папиросу и стал лениво следить за поднимающимися в воздух ароматными кольцами дыма.

Фреда бросила мимолетный взгляд на часы. До полуночи оставалось еще полчаса. Каким обра-

зом удержать его? Сердился ли он на нее за то, что она проделала? Какое настроение у него сейчас? Каким образом лучше всего подойти к нему?

Эти вопросы проносились в ее голове вовсе не потому, что она не была уверена в себе. Нет, нет, нисколько! Если понадобилось бы, то она удержала бы его под револьверным дулом до той самой минуты, когда Чарли Ситка выполнит ее поручение. И Деверо тоже.

В ее распоряжении было очень много способов, и сознание этого еще более разжигало ее презрение к мужчинам и, в частности, к ее гостю. Когда она опустила голову на руку, перед ее мысленным взором мгновенно и ярко пронеслись картины ее собственного детства с его мрачным началом и трагическим концом, и на один момент ею овладело большое желание дать Вандерлипу урок. Господи! Да, он был бы хуже и ниже всякого зверя, если бы на него не подействовал этот рассказ, да еще в ее изложении! Но… Он не стоит этого, он не стоит, чтобы она так волновалась из-за него…

Свеча стояла справа от нее, и в то время, как она думала об этих вещах, которые были столь же священны, как и постыдны для нее, Флойд Вандерлип любовался розовой прозрачностью ее уха. Она обратила на это внимание, настроилась

соответствующим образом и повернула голову так, чтобы четко вырисовался ее профиль, который занимал не последнее место в сокровищнице ее прелестей. Она, конечно, не была виновна в том, что природа наделила ее такой красотой, но знала, что как женщина она стоит очень высоко. Она давно изучила все безупречные линии своего лица и, хотя нисколько не нуждалась в том, умела при желании выставить свою красоту в наиболее привлекательном свете и виде.

Свеча начала мигать. Уже по самой своей природе Фреда не могла сделать что-либо не грациозно, но, как бы против собственной воли, она еще более подчеркнула свою чарующую красоту, когда подалась вперед и поправила красный фитиль средь желтого пламени. Затем она снова опустила голову на руку и начала сосредоточенно глядеть на Флойда; а нет такого мужчины на свете, который оставался бы равнодушным, когда на него пристально глядит красивая женщина.

Она не очень торопилась начать разговор. Если ему нравилось такое промедление, то ей оно нравилось еще больше. Он устроился очень комфортно, услаждая свои легкие никотином, а глаза — тем, что не отрывал их от прекрасной женщины. В комнате было тепло, уютно, в то

время как у госпитальной проруби начиналась дорога, по которой предстояло пробираться в продолжение мучительно долгих и невыносимо студеных часов…

Он чувствовал, что должен сердиться и во всяком случае выразить недовольство по поводу той сцены, которую Фреда устроила ему на балу, но, как ни странно, он не испытывал в душе никакой досады. Собственно говоря, ровно ничего не случилось бы, если бы в дело не вмешалась эта уродливая и подлая баба Мак-Фи! Будь он губернатором, он облагал бы тяжелым налогом, в сто унций за три месяца, всех этих христианских акул и витающих в небесах коршунов.

Надо отдать справедливость Фреде: она вела себя как настоящая леди и с точки зрения приличия не уступала самой миссис Эпингуэлл! Вот чего он никогда не ожидал от этой танцовщицы! Он по-прежнему пристально вглядывался во Фреду, причем дольше всего останавливался на ее глазах, за глубоко серьезным выражением которых он не мог видеть таящуюся на дне еще более глубокую насмешку.

Черт возьми, какая очаровательная женщина! Но почему она так пристально глядит на него? Уж не хочет ли она — тоже — выйти за него замуж?

А почему бы и нет! Не она одна мечтает об этом! Что касается ее внешности, то она не оставляет желать ничего лучшего. Она прелестна. И молода! Гораздо моложе Лорен Лизней. Ей должно быть двадцать три, двадцать четыре года, — максимум двадцать пять. К тому же ей не угрожает полнота: это сразу бросается в глаза. Чего нельзя сказать о Лорен! Не может быть сомнения в том, что с тех пор, как она перестала позировать, она сильно пополнела. Но ничего! Предстоящая дорога поубавит на ней жиру! Он заставит ее бегать на лыжах впереди собак. Это средство одинаково на всех действует и никогда не изменяет!

Но вдруг его мысль перенеслась к тому времени, когда они будут жить во дворце под ленивым небом Средиземного моря. Что тогда будет? Как тогда будет выглядеть Лорен? Ведь там не будет ни дороги, ни мороза, ни голода, а жизнь потечет страшно однообразно и монотонно. Это не может не отразиться на ней, и она с каждым днем будет стареть и полнеть. В то время как эта Фреда…

Он бессознательно вздохнул и горько пожалел о том, что не родился в Турции, и… и вернулся на Аляску.

— Ну?

Стрелки часов указывали ровно полночь. Пора

было отправляться на условленное место у госпитальной проруби.

— О!

Фреда вздрогнула и сделала это так же очаровательно, как это делают все женщины, желающие соблазнить мужчину. Когда мужчина убежден в том, что женщина, заглядевшись на него, совершенно забыла обо всем окружающем, он должен быть на редкость хладнокровным и стойким, чтобы найти в себе достаточно силы подняться с места, попрощаться и пойти по своим делам.

— Я как раз хотел спросить вас, по какому делу вы желали видеть меня, — сказал Вандерлип, подвигая свое кресло поближе к креслу Фреды.

— Флойд! — произнесла она, по-прежнему глядя ему в глаза. — Флойд, я страшно устала от подобной жизни. Я хочу уехать отсюда. Я не могу оставаться здесь до тех пор, пока вскроется река. Я умру, если останусь здесь так долго. Я нисколько не сомневаюсь, что будет именно так, как я говорю вам: я умру, я не в состоянии выдержать. Я хочу бросить все это и уехать — уехать как можно скорее.

Она с немым призывом положила свою ладонь на его руку, которая повернулась и сделалась западней, цепко держащей свою добычу.

«Вот еще одна женщина, которая сама бросается ко мне на шею!» — подумал он и сказал себе, что ничего особенного не приключится с Лорен, если ей придется немного подождать у проруби.

— Ну?

Теперь этот вопрос, мягко и с тоской, задала Фреда.

— Но я не знаю, что мне ответить вам! — поспешил он сказать, удивляясь тому, что дело подвигается вперед гораздо скорее, чем он думал. — Я лично ничего лучшего и не желал бы. Ведь вы, Фреда, сами прекрасно понимаете и знаете это!

Он накрыл ее ладонь своей рукой. Она кивнула головой. Стоит ли удивляться тому презрению, которое она питала ко всему мужскому роду!

— Но, видите ли… Я помолвлен… Вы, конечно, и об этом знаете. Сюда приезжает девушка, на которой я должен жениться. Собственно говоря, я сам не знаю, что случилось со мной, когда я сделал ей предложение, но все дело в том, что я был тогда так непростительно молод, так глупо горяч…

— Да, я знаю это, но все же говорю вам, что я должна как можно скорее уехать отсюда! — продолжала она, как бы не обращая никакого внимания на то препятствие, которое он выдви-

нул в виде извинения. — Я мысленно перебрала всех местных мужчин и пришла к твердому убеждению, что…

— Что для этого дела я — наиболее подходящий?

Она признательно улыбнулась ему за то, что он избавил ее от необходимости сделать такое мучительное признание. Он привлек ее головку к своему плечу, и аромат ее волос сильно ударил ему в голову — так сильно, что он вдруг почувствовал, что один пульс, общий пульс бьется, бьется, бьется там, где соприкасаются их ладони. С точки зрения чисто физиологической, это явление вполне понятно и легко может быть объяснено, но для человека, обнаружившего его впервые, оно представляется чрезвычайно странной и чудесной вещью. Дело в том, что до сих пор Флойд Вандерлип чаще сжимал рукоятки лопат, чем женские ручки, и это ощущение было теперь полно для него новизны и неведомой доселе прелести.

Фреда покорно опустила голову на его плечо, ее волосы так забавно щекотали его щеку, ее глаза встретились с его глазами, и они были так мягки, они светились такой нежностью, что ничего удивительного не было в том, что на время он

совершенно потерял голову. Если он изменил Флосси, то почему бы ему не изменить и Лорен? Не виноват же он в том, что все женщины пристают к нему и не дают возможности быть таким аккуратным, каким он сам хотел бы быть. Ну вот, теперь он просто не в состоянии торопиться!

Денег у него несметное количество, и если правильно разобраться, то Фреда — единственная женщина, которая могла бы извлечь из его богатства настоящую пользу. Если бы он женился на ней, то, несомненно, все мужчины завидовали бы ему! Но не надо торопиться. Нужно быть как можно осторожнее и осмотрительнее.

— Приходилось ли вам когда-либо мечтать о дворцах? — спросил он.

Она отрицательно повела головой.

— Ну, а я, признаться, подумывал об этом и подумывал совсем недавно, но вот теперь я пришел к убеждению, что от жизни во дворцах становишься страшно ленивым и рыхлым.

— Совершенно верно! — поспешила она успокоить его. — Такая жизнь хороша на время. Сам по себе мир создан великолепно, но прежде всего и больше всего мы нуждаемся в разнообразии. Часть времени мы должны работать напряженно, не покладая рук, а другая часть должна

пройти в абсолютном отдыхе. Хорошо совершить увеселительную прогулку по южным морям, а затем на миг завернуть в Париж. Зиму провести в Южной Америке, а лето — в Норвегии. Несколько месяцев приятно пожить в Англии.

— В хорошем обществе?

— Ну, само собой разумеется. В лучшем обществе! А после всего этого опять закатиться на Гудзонов залив и покататься на собаках. Ведь вы сами понимаете, что главная прелесть для всех нас заключается в перемене обстановки. Такой сильный человек, как вы, полный энергии, не может, конечно, выдержать долгую жизнь во дворцах. На год вас там не хватит! Это хорошо для изнеженного, женственного мужчины, но не для вас — никоим образом. Ведь вы мужчина, самый настоящий мужчина!

— Вы так думаете?

— Да не думаю, а знаю! Это так ясно! Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, как сильно влечет к вам женщин?

Его наивное сомнение было очаровательно.

— Нет, к вам страшно влечет! И почему? Да очень просто: только потому, что вы настоящий тип мужчины! В вас есть все то, что нужно: сила, мускулы, смелость. Короче говоря, вы — мужчи-

на! Этим сказано все!

С этими словами она снова бросила мгновенный взгляд на часы. Они показывали половину первого ночи. Она дала Чарли Ситке льготных тридцать минут, и теперь ей было совершенно не важно, когда приедет Деверо. Ее дело было сделано.

Вот почему она легко подняла голову, естественно рассмеялась, высвободила свою руку, поднялась с места и позвала девушку:

— Алиса, подайте, пожалуйста, мистеру Вандерлипу его *парку*. Его перчатки лежат на полке, возле печки.

Флойд Вандерлип ровно ничего не понимал.

— Разрешите мне, Флойд, поблагодарить вас за любезность, которую вы оказали бедной женщине. Ваше время было бесценно для меня, и теперь я могу сказать, что вы сделали доброе дело. Вот что, милый мой. Если по выходе из моего дома вы повернете влево, то таким образом всего быстрее доберетесь до госпитальной проруби. Спокойной ночи! Я иду спать.

Флойду Вандерлипу пришлось прибегнуть к довольно резким выражениям для того, чтобы дать выход своему разочарованию и смущению. Алиса не любила присутствовать при том, как мужчи-

ны ругаются, и она уронила *парку* Вандерлипа на пол, а поверх нее бросила его рукавицы. После того она двинулась в сторону своей госпожи, но испортила ей уход тем, что Фреда споткнулась о лежавшую на полу *парку*. Флойд Вандерлип бросился к ней и, сильно сжав ее кисть, заставил подняться на ноги. Но она только рассмеялась в ответ. Она нисколько не боялась мужчин. Разве ей не приходилось выносить от них самое ужасное — и все же выжить?

— Только не будьте грубы! — наконец произнесла она. — А затем я скажу вам следующее: я передумала! — И она взглянула на свою плененную кисть. — Я решила не идти еще спать и посидеть с вами. Сядьте и вы и, чем быть смешным, будьте лучше умником и устраивайтесь поудобнее. У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы?

— Да-с, дорогая леди, есть! И вам придется на них ответить! — Он все еще не выпускал своей добычи. — Что вам известно относительно проруби? Что это значит? Впрочем, об этом мы успеем еще поговорить. Каждый вопрос — в свое время!

— О Господи, да ничего особенного тут не случилось. Просто-напросто у Чарли Ситки было назначено свидание с одной дамой, которую вы,

быть может, случайно знаете. Ввиду того, что должного опыта у Чарли нет, и так как он не хотел, чтобы там присутствовал человек, очарование которого известно каждому и всякому, он попросил меня как-нибудь помочь ему. Вот и все! Теперь они уехали и уже с полчаса, пожалуй, несутся по снежному пути.

— Что такое? Уехали — и без меня?! Но ведь он индеец!

— Ну, видите ли, о вкусах не спорят! В особенности о женских вкусах!

— Но подумайте: в каком положении я-то очутился! Я потерял четыре тысячи долларов на собаках, лишился прехорошенькой женщины — и ровно ничего взамен не получил. За исключением вас, конечно! — прибавил он после мгновенного раздумья. — И, строго говоря, за вас это не такая уж дорогая цена!

Фреда пожала плечами.

— Я предлагаю вам собраться как можно скорее. Я займу у знакомых пару собачьих упряжек, и мы сумеем через несколько часов уехать!

— Нет, знаете, я уж лучше пойду спать!

— А я вам советую уложиться, и, по-моему, это будет гораздо лучше для вас. Пойдете ли вы спать или не пойдете, но клянусь всеми чертями, что,

когда сюда подадут собак, я увезу вас! Очень может быть, что вы дурачили меня, но я-то принял ваши дурачества всерьез, и соответственно с этим и поступлю. Вы слышите, что я говорю вам?

Он снова до мучительной боли сжал ее кисть, но улыбка на ее губах расцвела еще ярче прежнего, и казалось, что она напряженно прислушивается к чему-то снаружи. Вдруг послышался звон колокольчиков, затем — мужской голос, визг полозьев по снегу, и чьи-то нарты, показавшись из-за угла, остановились у самого дома Фреды.

— Ну, а теперь-то вы отпустите меня и дадите мне спать? — И, сказав это, Фреда широко распахнула двери. В теплую комнату ворвался мороз, и тотчас же на пороге, на фоне пламенеющего северного сияния, в клубах пара, показалась женщина в потертых от дороги мехах, которые доходили ей до колен. Женщина нерешительно оглянулась, сняла повязку с носа, и глаза ее зажмурились от яркого пламени свечи. Флойд Вандерлип остолбенел.

— Флойд! — закричала девушка с радостным вздохом облегчения и бросилась к нему.

Что оставалось ему делать, как не расцеловать эту охапку мехов! Впрочем, это была прехорошенькая охапочка, которая с очень усталым, но

счастливым видом прижалась к любимому.

— Ах, Флойд, как это хорошо было с вашей стороны, что вы прислали мне с Деверо свежую упряжку собак! — промолвила охапка. — В противном случае я никак не добралась бы сюда раньше завтрашнего дня!

Флойд Вандерлип, ровно ничего не понимая, взглянул на Фреду, и вдруг в его глазах зажегся новый огонь: он сразу все понял.

— Ну да, я хорошо сделал, что послал Деверо? — спросил он.

— Но, дорогой мой, неужели же вы не могли еще немного подождать? — спросила в свою очередь Флосси.

— О, мне уже надоело ждать, и ждать, и ждать! — решительно ответил он, подняв Флосси так, что ее ноги совершенно оторвались от пола, и вышел с ней на улицу.

В эту же ночь совершенно неожиданная вещь приключилась с его преподобием, миссионером Джеймсом Брауном, который жил среди туземцев на несколько миль ниже по Юкону и который всю свою жизнь и все свои помыслы отдавал тому, чтобы индейцы шли по пути, ведущему непосредственно в рай, придуманный белым человеком. Он был разбужен каким-то неведомым

ему индейцем, который отдал в его распоряжение не только душу, но и тело женщины, после чего немедленно удалился. Эта женщина была довольно полна, и красива, и сердита, и с уст ее несся безостановочный поток нехороших слов. Это страшно шокировало почтенного священника, который был еще сравнительно молод. С точки зрения простодушной паствы, присутствие в его хижине женщины могло быть истолковано очень невыгодно для него, но, к счастью, эта женщина оставила его дом и пешком направилась в Даусон, едва только забрезжил свет на востоке.

Прошло некоторое, довольно продолжительное, время, и Даусон был буквально потрясен. Лето уже почти миновало, и население праздновало прибытие одной важной дамы из виндзорского королевского рода. В ее честь были устроены лодочные состязания, и чуть ли не весь Юкон высыпал на берег и следил за тем, как Чарли Ситка, привстав с сиденья и подняв в воздух блестевшее на солнце весло, подходил первым к старту. Во время гонок миссис Эпингуэлл, которая за это время многое узнала и еще больше усвоила, впервые со дня скандального бала увидела Фреду.

Миссис Мак-Фи долго не могла успокоиться и рассказывала всем, что «публично, совершенно

не считаясь с общественным мнением», миссис Эпингуэлл подошла к танцовщице и протянула ей руку. Как передавали и остальные свидетели этого инцидента, Фреда в первую минуту от неожиданности подалась назад, но затем обе женщины разговорились, и Фреда, гордая и важная Фреда, упала на плечо миссис Эпингуэлл. Никто в точности не знал, за что именно миссис Эпингуэлл должна была извинить и простить гречанку-танцовщицу, но Даусон был потрясен тем, что жена полицейского начальника сделала «это»: по мнению большинства, миссис Эпингуэлл поступила неприлично.

В заключение необходимо сказать еще пару слов о миссис Мак-Фи. Она купила отдельную каюту на первом отъезжающем пароходе и увезла с собой теорию, разработку которой закончила в молчаливые ночные часы бесконечного переезда. Суть этой теории сводилась к тому, что в смысле раскаяния Север безнадежен из-за царящего здесь холода. Ну кого можно испугать в холодильнике адовыми огнями? Несомненно, многие найдут этот взгляд слишком догматическим, но теория миссис Мак-Фи всецело основывается на нем.

ЛУННЫЙ ЛИК

(сборник)



Это своеобразная микроэнциклопедия американской «внутренней» жизни, дающая представление о том, что же происходило с американским гражданином (по преимуществу белым) в те годы и как в соответствии с образом жизни этой страны формировался характер среднего американца.

Это рассказы о взаимоотношениях между людьми, так в рассказе «Лунный лик», когда одного человека раздражает в другом буквально всё, его круглое лицо, напоминающее лунный лик, манера смеяться, постоянное благодушное настроение, и даже его имя, то этот самый человек готов на всё чтобы избавиться от этой персоны...

Лунный лик

У Джона Клэверхэуза было абсолютно лунообразное лицо. Вы, конечно, знаете этот тип — широкие скулы, совершенно теряющийся в щеках подбородок и широкий, толстый нос, как центр, находящийся на равном расстоянии от всех точек периферии кругоподобного лица! Вполне возможно, что именно поэтому я его ненавидел, — он раздражал меня всем своим видом, и я не сомневался в том, что земля тяготится его присутствием.

Повторяю, что я ненавидел Джона Клэверхэуза. И вовсе не потому, что он мне сделал то, что общество признает дурным. Ничего подобного. Зло, причиняемое им, было совершенно особого, глубокого, утонченного свойства; оно было крайне обманчиво, неуловимо и совершенно не допускало определенного словесного выражения.

Такие явления в определенный период жизни известны всем нам. Случайно мы встречаем человека, о существовании которого минуту тому назад и не подозревали, и тем не менее говорим в первый же момент: «Мне не нравится этот человек».

Почему он нам не нравится?

Ах, да мы сами не знаем почему; мы знаем только, что не нравится. Мы почувствовали к нему антипатию — вот и все! Такого рода чувство я, испытывал к Джону Клэверхэузу.

Какое право имел этот человек на счастье и благополучие? А между тем он был ярко выраженным оптимистом: всегда был весел и смеялся; все на свете хорошо, черт его возьми! Господи, как меня оскорбляло то, что он счастлив! Другие люди могли смеяться, сколько угодно, — это меня ничуть не беспокоило. Я сам много смеялся, пока не встретил Джона Клэверхэуза.

Его смех! Он раздражал и бесил меня, как ничто другое под солнцем не могло раздражать и бесить меня. Этот ужасный, отвратительный смех гнался за мной повсюду, преследовал, захватывал меня, как клещами, и не выпускал. Во сне и наяву я слышал его… Словно какая-то огромная, дьявольская трещотка издавала эти звуки, которые со всех сторон доносились ко мне и безжалостно рвали струны моего сердца. На рассвете он мчался ко мне через поля и нарушал мои легкие утренние грезы… А в мучительные полуденные часы, когда сонно повисала зелень, в глубь леса удалялись птицы и от зноя замирала

вся природа, — я слышал чудовищное «ха-ха, хо-хо»... Эти звуки поднимались к небу, душили все, хотели затмить солнце. А в темные ночи оттого перекрестка, где Джон Клэверхэуз сворачивал к себе по дороге из города, доносился все тот же проклятый, раскатистый, истерический хохот и будил меня, и заставлял содрогаться в корчах, и глубоко вонзать ногти в ладони.

Однажды я тихонько загнал его скот на его же вспаханные поля, а утром услышал крикливый голос:

— Ну, что же, это бывает! Каждая скотинка ищет, где лучше. Вот и выбрала пастбище пожирнее.

У него была собака Марс, прекрасное, огромное животное, полугончая, полуищейка. Марс был его лучшим другом, с которым он никогда не расставался. Но однажды я воспользовался отсутствием хозяина и угостил Марса бифштексом со стрихнином. Уверяю вас, что на Джона Клэверхэуза это не произвело никакого впечатления. Его смех был ясен и задушевен по-прежнему, и по-прежнему лицо его напоминало полнолуние.

В другой раз я поджег его скирды, а на следующий день — это было воскресенье — я его встретил, как всегда радостного и веселого.

— Куда это вы? — спросил я, увидев его на перекрестке.

— За форелями, — сказал он, и лицо его сияло, как полный месяц. — Вы знаете, ведь я брежу форелями.

Ну можно ли найти другого такого невозможного человека? Весь хлеб его пропал, и я знал, что он не был застрахован. Джону Клэверхэузу грозил голод, жестокая зима, а он шел за форелями. И если бы печаль хоть сколько-нибудь изогнула его брови или удлинила лицо и сделала его менее похожим на луну, если бы хоть раз в жизни он сбросил с лица свою отвратительную улыбку, я уверен, что простил бы ему факт его существования. Нет, под ударами судьбы он становился все беззаботнее и веселее! Я однажды намеренно оскорбил его. Он удивленно улыбнулся:

— Вы хотите, чтобы я дрался с вами? — медленно спросил он и рассмеялся. — Господи, как вы наивны! Хо-хо! Вы меня уморите. Хи-хи-хи… Хо-хо-хо…

Ну, что бы вы сделали на моем месте? Это переполнило чашу моего терпения. Господи, как я ненавидел его! Потом еще эта фамилия! Клэверхэуз! Что за фамилия, что за абсурдная фамилия! Клэверхэуз! Милостивый боже, *почему* Клэверх-

эуз? Я бы ему многое простил, если бы его звали Смитом, Брауном или Джонсом. Но Клэверхэуз! Имеет ли право на существование человек с такой фамилией? Я спрашиваю вас. Вы говорите: «нет», и я говорю: «нет!»

У меня хранилась закладная на его имение. Приняв во внимание тяжелое его положение после пожара, я прекрасно понимал, что он не сумеет уплатить по закладной, и, следовательно, осталось только найти ловкого и искусного кулака и продать ему закладную. Это я сделал, и Джону Клэверхэузу было дано только несколько дней на вывоз имущества из имения, в котором он жил более 20 лет. Я спустился вниз, чтобы посмотреть на него. Он встретил меня, весело подмигивая тарелкообразными глазами; свет все больше и больше озарял его лицо, и через несколько секунд оно уже было похоже на полную, ясную луну, высоко стоящую в небе.

— Ха-ха-ха! — засмеялся он. — Забавный случай! Дайте я вам расскажу, это замечательно!

Он стоял внизу, почти у самой воды; в это время с горы отвалился огромный ком глины, скатился в воду и забрызгал Джона Клэверхэуза.

Подобного приступа адского хохота я еще не слышал. Джон Клэверхэуз остановился только на

мгновение, чтобы выждать, пока я присоединюсь к его бешеному веселью.

— Я не вижу тут ничего смешного, — сухо и коротко сказал я.

Он взглянул на меня с удивлением, а спустя несколько мгновений его лицо уже снова светилось, как полная летняя луна.

— Ха-ха!.. Ничего смешного?! Хи-хи! Неужели вы не чувствуете? Хо-хо-хо! Ну, вот, видите ли, лужа…

Я повернулся и оставил его.

Наступил конец — дольше терпеть его я был не силах.

«Так или иначе с ним нужно покончить, дьявол его побери!» — рассуждал я.

Необходимо, наконец, освободить от его присутствия бедную землю… В этой мысли меня все больше укреплял чудовищный смех, который, словно по пятам, гнался за мной. Конец!..

Я горжусь тем, что всегда чисто, педантично и аккуратно обделываю свои делишки. Когда у меня мелькнула мысль убить Джона Клэверхэуза, я решил сделать это так, чтобы никогда в жизни мне не пришлось устыдиться содеянного. К тому же я ненавижу неприкрытое зверство. Мне отвратительно зрелище голого кулака, наносящего

смертельный удар. Убить Джона Клэверхэуза (о, что за имя!) надо было искусно, артистически… И таким образом, чтобы на меня не пало ни малейшее подозрение.

Спустя неделю, после сосредоточенного раздумья я выработал необходимый план. Я приобрел пятимесячную болонку-суку и все свое время стал посвящать ее дрессировке, причем главное внимание обращал на процесс *возвращения.* Я научил Беллону приносить палки и разные другие вещи, которые бросал далеко в воду, и строго наказывал ее, если она хоть сколько-нибудь впивалась зубами в дерево! В самом скором времени результаты дрессировки меня вполне удовлетворили, и я решил перейти к выполнению своей непосредственной цели.

Зная закоренелую слабость Джона Клэверхэуза и его любовь к собакам, я подарил ему Беллону.

— Нет, вы шутите! — сказал он мне и улыбнулся так, что в одно мгновение озарилось все его круглое лицо. — Вы смеетесь надо мной! Странно, может быть, но мне почему-то всегда казалось, что вы относитесь ко мне без всякой симпатии. Не правда ли, очень смешно, что я так ошибался?

И с этими словами он покатился со смеху.

— Как ее зовут? — спросил он в промежутке

между двумя пароксизмами смеха.

— Беллона!

— Хи-хи! — захихикал он. — Какое странное имя!

Я заскрежетал зубами и с усилием произнес:

— Это жена Марса, вашего покойного Марса.

— Значит, Беллона — вдова! О! Хо-хо-хо!.. Хе-хе…

Я не в состоянии был выдержать эту пытку и убежал. Спустя неделю, в субботу вечером, я сказал ему:

— Если не ошибаюсь, вы в понедельник уезжаете?

Он кивнул головой и улыбнулся.

— Значит, вам не удастся более полакомиться форелями, которыми вы бредите?

Он не уловил моей насмешливой нотки и заявил с прерывистым смехом:

— Нет, завтра утром я думаю попытаться…

Таким образом я убедился в своем предположении и в восторге от своих планов направился домой. Увидя его утром с сеткой и мешком из тонкой рогожи за плечами, я понял, куда он направляется. Я пересек по диагонали пастбище и по кустарнику, незамеченный, поднялся на верхушку горы, откуда свободно, не выдавая своего

присутствия, мог следить за происходящим на берегу.

Вскоре я увидел Джона Клэверхэуза, за которым вприпрыжку неслась Беллона; оба, видимо, были в самом приподнятом настроении; короткий, отрывистый лай собаки поминутно сливался с глубокими, басовыми нотками смеха ее хозяина, который, сбросив на землю мешок и сетку, вынул из кармана нечто, весьма похожее на толстую сальную свечку. Но я прекрасно знал, что это была не свечка, а кусок «гиганта», которым он взрывал форелей: новый, оригинальный способ ловли рыбы. Он завернул трубку в вату, зажег ее с одного конца и бросил в воду.

С быстротой молнии Беллона бросилась за трубкой, и я едва удержался, чтобы не закричать от радости. Клэверхэуз завопил изо всех сил, но напрасно. Тогда он стал бросать в собаку комьями земли и камнями, а та продолжала плыть до тех пор, пока не схватила зубами «гиганта», и только после этого повернула к берегу. Джон Клэверхэуз сразу сообразил, какая опасность ему угрожает, и немедленно обратился в бегство… Беллона, конечно, бросилась за ним. Я никогда не представлял себе, что неуклюжий Джон Клэверхэуз способен так быстро бегать… Но все его усилия

были тщетны…

Беллона догнала его, и в ту же секунду блеснула искра… другая, поднялся клуб дыма, раздался взрыв, и через секунду на том самом месте, где стояли человек и собака, не оказалось ничего: только огромная яма в земле.

«Смерть от несчастного случая во время противозаконной рыбной ловли!» — вот как формулировал суд гибель Джона Клэверхэуза. Полагаю, что я имею право гордиться тем артистическим способом, коим покончил с моим злейшим врагом. О зверстве — нет и помину: мне не приходится краснеть. Надеюсь, что вы согласны со мной.

Теперь уже не раздается адский хохот Джона Клэверхэуза и горное эхо не повторяет и не множит его. Уже не видно его толстого, лунообразного лица…

Теперь спокойны дни мои и крепки сны…

Золотое ущелье

Это происходило в зеленом сердце ущелья. Мрачные откосы расступились и образовали уютный, укромный уголок, весь напоенный мягкостью, нежностью и покоем.

Казалось, все вокруг отдыхает, и даже шумный, быстрый ручей, протекая вдоль ущелья, замедлял свой торопливый бег. По колени в воде, низко опустив голову, с полузакрытыми глазами стоял рыжий, с ветвистыми рогами олень.

По одну сторону ручья, почти у воды, начиналась небольшая зеленая лужайка, которая доходила до самой подошвы сурово нахмуренной стены. А по другую сторону, прислонясь к стене ущелья, подымался высокий откос, покрытый изумрудной травой, почти сплошь испещренной желтыми, лиловыми и золотистыми цветами… Внизу стены снова смыкались, и ущелье заканчивалось множеством скал, нагроможденных друг на дружку, затянутых мхом и укрытых, как ширмами, ветвями деревьев и высокими травами. Наверху, теряясь на расстоянии, в неопределенных очертаниях вырисовывались поросшие лесом холмы и верхушки гор. А еще дальше, слов-

но облака или причудливые белые минареты, залегли снежные вершины Сиерры…

Пыль не проникала в ущелье, и вся растительность была чиста и свежа. Трава выглядела, как новый бархат… По другую сторону ручья три тополя бросали на землю белые, медленно кружащиеся в воздухе хлопья. На пологом откосе росла манцанита, наполнявшая воздух нежным, весенним ароматом. Кое-где стаей мгновенно замерших мотыльков стояли пышные разноцветные лилии, каждое мгновение, казалось, готовые подняться в воздух. Часто попадался мадрон — арлекин лесов! — который наполнял воздух сладким запахом своих желтовато-белых, как воск, ландышеподобных колокольчиков.

Ветер замер, и под тяжестью ароматов застыл воздух — чистый и прозрачный, насыщенный сладостью цветов и растворенного солнечного света. Изредка мелькали бабочки; со всех сторон доносилось дремотное жужжание горных пчел… Ручей почти бесшумно протекал вдоль ущелья, и едва-едва слышалось его тихое-тихое бормотание.

Внутри ущелья всякое движение принимало легкие колебательные формы. Вверх и вниз подымались солнечные лучи и мотыльки. Жуж-

жание пчел переливалось в журчание ручья. Зыбь звуков сливалась с зыбью цветов в одно нежное, легкое и неопределенное, что олицетворяло собой дух ущелья — дух мира и покоя, но не смерти, — движения, но не действия, — дух тишины, говорящей о жизни, лишенной усилий и какой бы то ни было борьбы…

Рыжий олень, подчинившись духу ущелья, стоя в воде, задремал… Время от времени под журчание ручья лениво трепыхались его уши… Нечего было тревожиться… все спокойно — все… Но вдруг уши оленя напряглись и вытянулись кверху. Тонкие, трепетные ноздри потянули воздух… Олень не мог проникнуть глазами за зеленую ограду, но его слух уловил подобие человеческого голоса… Вот голос зазвучал тверже и определеннее, слегка нараспев… Послышался лязг железа о камень. Олень заржал и так стремительно рванулся вперед, что один прыжок перенес его на зеленый бархатный луг, по которому, оглядываясь и прислушиваясь, он стал тихо пробираться, а затем, как видение, исчез из виду.

Человеческий голос все приближался, и уже можно было расслышать слова песни… Одновременно слышалось, как кто-то карабкается по стене, и тогда вспугнутый дух ущелья бежал

по следам рыжего оленя. Зеленые ширмы были раздвинуты чьей-то дерзкой рукой, и из-за них выглянул человек, быстрым взглядом окинувший все вокруг. По его взгляду можно было судить, что это человек толковый. Оглянув все вокруг, он стал подробно осматривать все детали и только после того удовлетворенно воскликнул:

— Ах, черт возьми! Да ведь здесь — сущий рай… Все, что угодно: и лес, и ручьи, и луг, и горный откос! Настоящий приют отдохновения.

Это был белобрысый человек, с веселыми и добродушными глазами. На подвижном лице его каждая мысль, каждое внутреннее движение отражались, как в зеркале.

Словно рябь на поверхности воды, по лицу его быстро пробегали мысли. В общем он выглядел белобрысым, но трудно было определить как цвет его лица, так и цвет редковатых, давно нечесаных волос.

Только глаза были определенного ярко-синего цвета… В глазах этих сверкала чисто детская наивность и добродушный смех, но по ним же можно было судить и о большой доле самоуверенности и твердой воли — следствии жизни, полной скитаний, волнений и всевозможных случайностей.

Новоприбывший безусловно знал себя и цену себе.

Выбросив вперед кирку, лопату и таз для промывки золота, он вслед за этим и сам пробился вперед. На нем были старые брюки, черная ситцевая рубашка, грубые, подбитые гвоздями сапоги и самой неопределенной формы шляпа, говорившая о многолетней борьбе с непогодой, зноем и дымом.

Человек выпрямился во весь рост, жадно оглядел тайный уголок и так же жадно стал вдыхать аромат горного сада. Глаза его превратились в узенькие голубые щелки, лицо скорчилось от восторга, и он радостно улыбнулся.

— Ах, как хорошо здесь! И пахнет как чудесно! Куда там вашим духам и одеколонам!

Ясно было, что он привык разговаривать сам с собой. У него было очень подвижное лицо, которое тотчас же выдавало его настроение и мысли.

Он опустился на землю, припал к воде и медленно стал тянуть ее.

— Вкусно как! — произнес он, оторвавшись от воды и не спеша вытирая губы. После того, все еще лежа на животе, он пытливо стал вглядываться в окружающие откосы, изучая горную породу. Это был взгляд опытного, знающего свое

дело человека. Затем он поднялся на ноги и снова стал смотреть на откосы.

— Хорошо! — сказал он и поднял с земли свои инструменты. Ловко переступая с камня на камень, он перешел на ту сторону ручья, набрал немного земли и бросил ее в таз. Присев на корточки, погрузил таз в ручей и стал вращать его, отчего все частицы земли закружились в воде. Крупные легкие частицы всплывали кверху, и ловким движением он выбрасывал их. Иногда, чтобы ускорить дело, он пальцами выбирал со дна крупные, ненужные частицы.

В непродолжительном времени в тазу остался только мелкий ил и песок. Тогда человек перешел ко второй части своей работы, которая требовала наибольшей аккуратности и осторожности. Наконец, когда после продолжительной промывки в тазу, кроме воды, казалось, ничего не осталось, он чрезвычайно искусным поворотом таза выплеснул всю воду и открыл на дне тончайший, как мазок краски, слой черного песка, среди которого после внимательного осмотра обнаружил небольшую золотую крупинку. Затем человек краем таза набрал струйку воды и снова быстро завертел таз, отчего черные песчаные крупинки в возрастающем количестве стали подниматься

кверху. После значительных усилий он обнаружил вторую крупинку, снова слил воду и стал зорко следить за каждой уходящей песчинкой… Вот почти у края таза что-то блеснуло. Мелькнула золотая блестка, крохотная, едва-едва видная, но золотоискатель заметил ее и быстрым движением спустил обратно в таз. Точно так же он открыл вторую, третью и четвертую блестку. Он, как пастух, собирал свое стадо золотых крупинок, любовно следя за каждой из них. Наконец, ушел весь песок, оставив по себе только золотой след. Человек внимательно пересчитал крупинки и обычным искусным поворотом таза сбросил их в воду вслед за песком.

— Семь! — сказал он, с жадным блеском в глазах подымаясь на ноги. — Семь! — повторил он настойчиво, словно боясь забыть эту цифру. Долго после того он с любопытством смотрел на откос. Во всех его движениях чувствовался страстный охотник, напавший на свежий след зверя.

Наконец он сделал несколько шагов вниз по ручью, набрал полный таз земли и снова занялся промывкой.

— Пять! — сказал он по окончании работы и, как прежде, повторил: — Пять!

Он несколько раз проделал подобные операции,

обнаруживая все меньшее и меньшее количество золотых крупинок. Последняя промывка дала единственную блестку, и тогда золотоискатель решил сделать перерыв; он разложил костер из сухих веток и закоптил на нем таз. Закончив эту работу и внимательно осмотрев таз, он удовлетворенно кивнул головой: на таком фоне ни единая блестка не убежит от его зоркого взгляда.

Он спустился еще ниже по ручью, и следующая промывка дала ему опять одну блестку. Последующий ряд промывок, несмотря на самую тщательную работу, золота не дал совсем. Но странное дело: по мере того как уменьшалось количество золота, повышалось радостное настроение золотоискателя; неудачи не только не огорчали его, но, напротив, убеждали в чем-то предполагаемом и желанном. Наконец он вскочил на ноги и воскликнул:

— Лопни я на месте, если это не здесь!

После того он стал подниматься вверх по течению от того места, где начал работу. Число золотых блесток все росло.

«Четырнадцать, восемнадцать, двадцать одна, двадцать шесть», — запоминал он. У пруда он наскочил на тридцать пять блесток.

— Жаль! Это можно было бы уже сохранить, —

произнес он с сожалением и выплеснул воду.

Солнце стояло высоко.

Человек все шел вперед и вперед, вверх по течению, промывал таз за тазом, причем число золотых крупинок снова стало уменьшаться.

— Замечательно! — опять воскликнул он, обнаружив в последнем тазу единственную крупинку. Пять-шесть промывок ничего не дали… Тогда он поднялся на ноги и радостным взглядом окинул окрестность.

— Да-с, госпожа жила! — сказал он, словно обращаясь к кому-то, засевшему в откосах. — Такое-то дело, сударыня! Дело мое в шляпе, и не сомневайся, что я завладею тобой.

Он поднял голову и взглянул на солнце, застывшее в безоблачной лазури. Затем пошел вниз по ручью, вдоль выкопанных им ямок, немного пониже пруда, перешел через ручей и исчез за деревьями. Но еще долго доносился оттуда его голос.

Через некоторое время раздался стук подкованных сапог; зеленые ветви подались вперед, отшатнулись и, словно в какой-то борьбе, заколыхались взад и вперед. Послышался скрип и типичный шум тяжелого металла, бьющегося о камень. Голос человека с каждой минутой стано-

вился все выше и резче. Что-то крупное и грузное пробивалось вперед, наконец сквозь ветви просунулась лошадиная голова, затем показалась и вся лошадь, а над нею дождем посыпались сорванные листья. Лошадь с изумленным видом оглянулась вокруг, потом опустила морду и стала жадно есть сочную траву; вслед за ней вышла вторая лошадь без седока, но с мексиканским седлом, видимо, служившим уже много лет. Наконец вышел и человек, который расседлал лошадей и стал готовиться к привалу: он вынул сковородку, кофейник, разные другие принадлежности и при помощи камней и хвороста разложил большой костер.

— Вот хочется есть! — громко произнес он. — Кажется, наелся бы железных опилок и гвоздей.

Он приподнялся и, нащупывая в кармане спички, случайно взглянул на откос. Пальцы, сжимавшие коробок, разжались, и рука из кармана показалась пустой.

— Нет, надо еще раз попытаться, — сказал он и спустился к ручью. — Знаю, что ничего из этого не выйдет, а попытаться нужно. Обед не убежит!

На расстоянии нескольких футов от первых ямок он начал рыть второй ряд. Уже длиннее стали тени; солнце стояло на крайнем западе,

а человек начал третий ряд ямок. Он наметил себе план: изрезать весь откос поперечными рядами ямок. Человек обратил внимание на то, что больше всего золота давал центр, в то время как по краям редко попадались одна-две блестки. По мере повышения линии уменьшались, из чего золотоискатель вполне логично заключил, что где-нибудь наверху линия превратится в точку. Рисунок, таким образом, походил на опрокинутое V.

Конечной целью являлась верхушка, и золотоискателя всего более интересовал вопрос, в каком месте окажется эта верхушка, — конец золотоносной жилы.

— Пожалуйте сюда, сударыня! — сказал он. — Будьте любезны!

— Ну что ж, — продолжил он немного погодя, — если вам не угодно пожаловать сюда, мне придется подняться к вам. Будьте уверены!

С каждой новой пробой ему приходилось спускаться к ручью для промывки; по мере подъема по откосу пробы становились все богаче, и вскоре человек начал ссыпать золотой песок в небольшую жестянку, которую небрежным движением отправлял в карман.

Солнце уже скрылось. Надвинулись и сгусти-

лись сумерки, превратившись в вечерний мрак, и только тогда, когда стало трудно различать крупинки золота, человек опомнился и прекратил работу. Он выпрямился и с притворным ужасом воскликнул:

— Господи! А про обед-то я и забыл.

Перебравшись в темноте через ручей, он разжег костер и закусил бобами и лепешками с салом. Костер угасал. Человек, сидя возле него, курил трубку, вслушивался в ночной шум и следил за игрой лунных лучей. Затем приготовил постель, снял сапоги, улегся и до самого подбородка натянул одеяло. В свете луны он походил на мертвеца; но это был живой мертвец, который вдруг поднялся и, уверенно глядя в направлении к откосу, сказал:

— Спите спокойно, госпожа жила! Спокойной ночи!

Разбудили его первые лучи солнца. Он проснулся, стал озираться вокруг и вспомнил все события последнего дня.

Одеваться ему пришлось недолго: натянул сапоги — и весь туалет. После некоторого колебания, нерешительно переводя взгляды с костра на откос и обратно, он сказал себе:

— Главное, Билль, не торопись. — И принялся

разводить костер. — Ну, скажи на милость, чего лететь? Ведь ясно, что госпожа жила не уйдет. Так что и подкрепиться можно. Слышишь, Билль?

Убедив себя окончательно этими словами, он направился к реке, в которую опустил лесу, и через несколько минут вернулся к костру с несколькими чрезвычайно быстро пойманными форелями. После завтрака он сразу же направился к откосу, но у ручья им овладела новая мысль.

— А не мешало б сделать разведку вдоль ручья, — сказал он себе. — Кто его знает, может, здесь и засел кто-нибудь?

Тем не менее он переправился через ручей и усердно принялся за работу, которую без малейшего перерыва закончил только к сумеркам. Тело его совершенно одеревенело; он с усилием выпрямил спину, потянулся и сказал:

— Как вам нравится! Опять не обедал сегодня.

— Ну и подлые же эти жилы, — рассуждал он, устраиваясь на ночь. — Совсем отшибают память. — Он тотчас же добавил, обращаясь к склону: — Спокойной ночи, сударыня!

Поднявшись с зарей, он тотчас же приступил к работе, точно забыл про усталость. Не давая себе отдыха, копал, наполнял таз землей, бегом спускался к воде, промывал и после того опять бегом

подымался вверх, причем задыхался, пыхтел и радостно ругался.

Теперь он работал на высоте ста ярдов над водой. Бока опрокинутого V уже приняли определенные очертания и убеждали золотоискателя в скором достижении цели.

Наконец он решил:

— Еще два ярда выше той манцаниты и ярд вправо — вот там-то оно и будет!

После этого, оставив постепенный подъем по откосу, он отправился к намеченному месту, набрал полный таз земли и спустился с ним для промывки к ручью. Золота не оказалось, как не оказалось и в следующих десяти-двенадцати тазах. Тут человек, совершенно забыв про свое человеческое достоинство, осыпал себя самыми замысловатыми и отборными ругательствами.

Спустившись снова к последнему ряду ямок и принявшись за прерванную работу, он стал убеждать себя:

— Возьмись за ум, Билль! Слышишь, возьмись за ум. Пора тебе понять, что сразу счастья не ухватишь. Только шаг за шагом, только постепенно.

По мере того как бока V сближались, жила углублялась; теперь золотые песчинки попадались только на глубине 30 дюймов. Работа с

каждым разом становилась все трудней. «Черт знает, куда она еще заберется!» — пробормотал золотоискатель, продолжая, однако, работать. С другой стороны, с каждым разом в тазу оставалось все больше и больше золота. Каждая промывка давала на двадцать, тридцать и даже пятьдесят центов золота, а последний таз принес золота на целый доллар. После этого человек решил отдохнуть.

— Готов биться об заклад, что кого-нибудь черт принесет сюда! — произнес он, почти засыпая, и вдруг приподнялся:

— Послушай, Билль, завтра надо пройтись по окрестностям и узнать, что слышно. Понял? Завтра и без всяких разговоров!

На следующий день он поднялся раньше солнца. Первые лучи упали на него, когда он уже взбирался по откосу.

Взойдя наверх, он заметил, что находится посреди пустынной местности. По всем направлениям уходили высокие гряды гор. На востоке, на далеком расстоянии, высились белые гребни Сиерры. На юге и севере тянулись те же бесконечные, но менее высокие горы. На западе горы постепенно понижались, переходили в отлогие холмы, заканчивающиеся, в свою очередь, беско-

нечной равниной.

Человек долго и сосредоточенно оглядывался вокруг. Вдруг сравнительно близко ему почудилась тоненькая струйка дыма. Но после внимательного осмотра он убедился, что такое впечатление производит синеватая мгла, сгустившаяся в глубине ущелья.

Не медля больше и несмотря на тяжелую обувь, он с легкостью горной козы спустился в ущелье. Казалось, он заранее знал, какой камень грозит падением. И действительно, под его ногами сыпались камни, но это нисколько не останавливало его; он не опирался, а пользовался только мгновенной точкой опоры, которая давала ему возможность переноситься все дальше и дальше. Иногда в качестве опоры он выбирал выступ скалы, узловатый корень, куст, за который схватывался рукой. Наконец последний скачок сбросил его с совершенно отвесной стены на плоскую почву, а вслед за ним осыпалось несколько тонн песка и гравия.

Первый таз принес ему золота более чем на два доллара. Этот таз он набрал в верхушке V. Слева и справа процент золота был самый незначительный. Золотой след все глубже и глубже уходил в землю, и к полудню ямки имели уже

до пяти футов глубины. В то же время каждый таз приносил золота на три-четыре доллара. Возрастающий процент золота начал беспокоить золотоискателя.

— Черт возьми, Билль! Дьявольская штука предстоит тебе. Тут, кажется, столько золота, что тебе и в жизнь не вывезти его, — и он ухмыльнулся при мысли о такой необыкновенной перспективе.

В эту ночь он долго не мог уснуть. Напрасно призывал сон, закрывал глаза, уходил с головой под одеяло… Жажда золота брала верх; она овладела всем его существом, и полусонный, усталый человек поминутно бормотал: «Хоть бы скорей солнце взошло!»

Наконец он уснул, но проснулся, когда звезды только-только стали терять свою яркость; еще стояли утренние сумерки, когда он позавтракал и стал подниматься по откосу к тайнику жилы.

В первом выкопанном им ряду были только три ямки; он, наконец, подходил к главному источнику золота, к которому приближался постепенно и настойчиво в течение четырех дней.

— Ну, сударыня, теперь не уйдешь от меня! — бормотал он, уходя все глубже и глубже.

Четыре фута… пять футов… шесть футов… а

он копал, хотя работа становилась все тяжелее. Вдруг кирка с визгом прошлась по камню. Человек пристально вгляделся в него и принялся разбивать выветрившийся кварц, который множеством мелких камней рассыпался под каждым ударом.

Лопата ушла в рыхлую руду, и перед глазами мелькнуло что-то желтое. Человек уронил лопату и опустился на корточки. Он взял кусок кварца в руки и стал отрывать приставшую к нему землю.

— Вот так штука! — воскликнул он.

То, что он держал в руке, наполовину состояло из кварца, а наполовину из чистого золота. Он бросил комок в таз и пошел дальше. В попадающихся комках почти не видно было золота, но сильные пальцы опытного золотоискателя разбивали рыхлый, слабый кварц до тех пор, пока обе руки его не блестели от покрывшего их золота. Таз постепенно наполнялся. В некоторых кусках кварц настолько истлел, что его было меньше, чем золота; изредка попадались слитки чистого золота. Один комок, которому лом угодил в самое золотое сердце, заискрился, как куча драгоценных камней. Человек залюбовался его игрой и стал поворачиваться во все стороны.

— Черт возьми! Да тут только одно золото! — Он добавил торжественно: — Отныне ты будешь прозываться «Золотым ущельем».

Продолжая сидеть на корточках, он набирал слитки и сбрасывал их в таз. Вдруг ему почудилось, что где-то вблизи упала тень, хотя никакой тени не было. Захватило дыхание, и сердце словно поднялось к самому горлу. Затем он постепенно успокоился, но все еще не подымался, не оглядывался. Он получил от кого-то предостережение и старался понять ту таинственную силу, то неведомое, что стало угрожать ему. Имеются токи, которые человек, как слишком несовершенное существо, не в состоянии определить, он может только слегка ощутить их. Такое состояние переживаешь, когда видишь, что на солнце набегает легкое облако. Золотоискатель почувствовал, что между ним и жизнью только что пробежало что-то сумрачное и грозное. Пронеслась тень, тень смерти, его смерти.

Он инстинктивно порывался вскочить и лицом к лицу встретиться с неведомой опасностью, но самообладанием покорил темный страх и по-прежнему сидел на корточках и перебирал слитки золота. Все же он не решался оглянуться, хотя уже знал уверенно, что за ним или над ним

кто-то стоит.

Тогда он с притворным интересом стал рассматривать кусок руды в своих руках, переворачивал его, срывал приставшую землю… И в то же время никак не мог отделаться от сознания, что *что-то* постороннее через его плечо смотрит на то же золото.

Он весь насторожился, превратился в слух, пока, наконец, не расслышал дыхание того, кто стоял позади. Глаза его стали искать какое-нибудь оружие, но видели только золото, повсюду золото, которое в это мгновение потеряло всю свою условную ценность. В настоящем случае и верный лом не мог бы оказать помощи, ибо золотоискатель сам себе устроил западню. Он находился на глубине шести-семи футов, и голова его не достигала уровня земли.

Он не потерял самообладания, рассуждал по-прежнему трезво и ясно; он понимал, что положение его безнадежно и все же продолжал скрести землю со слитков золота и бросать их в таз. Ничего другого ему не оставалось! Он прекрасно сознавал, что рано или поздно ему придется подняться и повернуться лицом к лицу к опасности. Время уходило, и приближался решительный момент… Мокрая, насквозь про-

потевшая рубаха с резким ощущением холода пристала к телу… Близка смерть… Он умрет здесь — здесь, над найденным кладом!

Он сидел, все сидел, очищал золото и думал, как ему встать.

Он мог бы молнией повернуться, мгновенно выбраться из ямы и, независимо от рода опасности, броситься на нее. Или, быть может, подняться медленно, неторопливо и, словно невзначай, увидеть врага? Инстинкт и пылкий характер подсказывали ему первое, в то время как чувство самосохранения и свойственная ему осторожность настаивали на втором.

А пока он так сидел и размышлял, сверху раздался оглушительный звук, и по телу человека пробежала огненная струя. Он рванулся кверху, но, не успев приподняться, свалился. Он весь съежился, — съежился, как лист, которого внезапно коснулся огонь. Подогнув под себя ноги, сдавленный крохотным пространством, он упал грудью на таз золота, а лицом зарылся в землю. По всему телу его прошла сильная дрожь, за нею судорога… Легкие механически набрали много воздуха, а затем медленно-медленно стали выпускать его, и в момент, когда весь воздух вышел наружу, тело человека сразу сплюснулось и замерло.

А наверху, несколько наклонившись над ямой, с револьвером в руке стоял человек. Он долго глядел на безжизненное скрюченное тело, затем опустил револьвер на колено и уселся с таким расчетом, чтобы все время видеть яму и человека. Затем он вытащил из кармана простую толстую бумагу и насыпал на нее немного табака. Не отрывая ни на мгновение глаз от ямы, он свернул себе толстую, большую папиросу, закурил ее и с наслаждением затянулся.

Курил он не спеша. Раз папироса потухла, но он снова зажег ее. Наконец он отбросил в сторону окурок, приподнялся и подошел к яме. Не выпуская револьвера из правой руки, он обеими руками оперся на края ямы и стал на мускулах спускаться вниз. Когда до дна осталось не больше ярда, он прыгнул вниз.

Но не успели еще ноги его коснуться дна, как ловко направленный и страшный удар в колени лишил его равновесия. Поднятую правую руку с револьвером новопришедший вынужден был опустить вниз, и не успел он еще упасть на дно, как раздался выстрел. Вся яма наполнилась густым едким дымом, на несколько мгновений скрывшим все очертания. Незнакомец упал навзничь, а золотоискатель, как кошка, прыгнул на

него, удачным ударом отвел его руку вверх, и следующая пуля с глухим шумом ударилась в земляную стену.

Теперь борьба велась главным образом за револьвер. Каждый стремился завладеть оружием и направить его на другого. Дым в яме постепенно рассеялся, и пришедший, все еще оставаясь в прежнем положении, мог осмотреться. Но вдруг его ослепила горсть песка, брошенная ему в глаза. Он вздрогнул, и от этого ослабели руки, державшие револьвер. Через секунду опустился мрак над ним, а затем и мрак исчез…

Но золотоискатель еще долго стрелял, стрелял до тех пор, пока не выпустил последнего заряда. После того он отбросил револьвер и, прерывисто дыша, сел на ноги убитого.

— Мерзавец такой! — захлебываясь, сказал он. — Ишь умница! Дал мне всю работу сделать, а затем стреляет мне в спину. Ловкий молодец!

Он едва не заплакал от усталости и злобы. Он стал вглядываться в лицо убитого, но из-за насыпанной земли трудно было распознать черты.

— Впервые в жизни вижу его, — сказал он наконец. — Очевидно, какой-то самый обыкновенный воришка; порядочный человек в спину не будет стрелять.

Он стал нащупывать спину и грудь с левой стороны.

— Слава богу, навылет прошла, — заключил он радостно. — Зато уж я показал ему! Будет другой раз стрелять!

Он снова нащупал рану, и лицо его омрачилось.

— Как бы не разболелась, — пробормотал он. — Надо поскорее убраться отсюда.

Он выполз из ямы и направился к своему биваку.

Через полчаса он вернулся к яме с вьючной лошадью. Растегнутая рубаха позволяла видеть грубую повязку, наложенную на рану. Он с трудом передвигал левой рукой, что, однако, не мешало ему пользоваться ею. Он просунул под мышки убитого веревку, вытащил его из ямы и после того стал собирать золото. Эта работа отняла несколько часов; он часто отдыхал, угрюмо потирал рану и бормотал:

— Вот мерзавец! В спину стреляет!

По окончании работы, когда все золото самым надежным образом было навьючено на лошадь, он сделал мысленный подсчет.

— Черт возьми! Фунтов четыреста будет, — воскликнул он. — Ну допустим, фунтов двести

кварца и земли, остается двести золота. Слышишь, Билль, двести фунтов золота! Это значит, что ты владеешь капиталом в сорок тысяч долларов!

Он восторженно провел рукой по голове и вдруг нащупал рубец, который тянулся на несколько дюймов. Золотоискатель вспомнил, что его задела вторая пуля незнакомца.

— Ах, негодяй! Убить меня хотел! Но вот видишь, я лучше тебя. За зло отплачу добром и похороню тебя как следует…

С этими словами он сбросил вниз мертвое тело и засыпал его землей. Навьюченного золота было слишком много для одной лошади, и поэтому часть поклажи пришлось переложить на верховую лошадь. И все же кирку, лопату, таз, разную другую мелочь надо было оставить на месте, чтоб не обременять лошадей.

Солнце стояло в зените, когда золотоискателю с лошадьми удалось пробраться сквозь чащу. Путь был очень затруднителен; животные нередко подымались на дыбы; как-то раз верховая лошадь упала, и для того, чтоб поднять ее на ноги, пришлось снять тюк.

Кругом стояла тишина, и только звяканье подковных копыт нарушало ее. Изредка доноси-

лась ругань золотоискателя, грубый окрик или нетерпеливое понукание. Вдруг золотоискатель затянул песню, и по мере того как он подвигался вперед, звуки песни ослабевали, и снова прежняя тишина вернулась в «Золотое ущелье».

Словно по пятам золотоискателя вернулась тишина, а вслед за ней по тем же пятам пробрался и дух ущелья.

Опять полусонно зажурчал, зашептал ручей, полусонно зажужжали горные пчелы. В ароматном воздухе падали и подымались кверху, плыли белоснежные цветы виргинских тополей… Там и сям с едва слышным шелестом мелькали бабочки. А надо всем этим ласково и безмятежно светило солнце. Кто-то пришел, оставил следы на лужайке, изрыл весь горный склон, убил себе подобного и ушел! Здесь снова сумрачно и мирно… Промчалась бурная жизненная струя, на миг возмутила величественный покой горного ущелья и унеслась дальше…

Планчет

— Это мое право! Я хочу знать, — сказала девушка.

Голос ее прозвучал твердо; в нем не было ни намека на просьбу, и все же чувствовалось, что эта решимость завершала собой длинный период просьб. Но не словами молила она, а всем своим существом…

Губы ее были немы, но глаза, все лицо, даже фигура изображали вопрос. Он знал это и все же не отвечал. И тогда, не в силах сдержать себя, она задала вопрос.

— Это мое право! — повторила девушка.

— Я знаю, — ответил он беспомощно.

Она ждала и все время не отрывала глаз от толстых сучьев и больших пней, которые озарялись теплым, мягким, ласкающим светом. Казалось, сияют сами по себе пни, так много вобрали они в себя света. Девушка смотрела, но не видела; она слышала, но не различала журчание ручейка, который протекал внизу, на дне оврага.

Она снова взглянула на мужчину.

— Итак, — сказала она с твердостью и полная уверенности, что тот сейчас повинуется ей.

Она сидела совершенно неподвижно, прислонясь к стволу упавшего дерева. Мужчина лежал почти рядом с ней, одной рукой опираясь на землю, а другой поддерживая голову.

— Милая, милая Лют! — пробормотал он.

Она вздрогнула при звуке его голоса; она не оттолкнула его, но тотчас же почувствовала необходимость бороться против обаяния этого мягкого, притягательного голоса. Словно каждая нотка, каждый звук обещал счастье и покой… Его ласковые слова, как и прикосновение, были мужественны, сильны и почти всегда бессознательны. Он всегда смутно чувствовал потребность в ласке, которая была частью его самого, дыханием его искренней и большой души…

Она потянулась к нему; он хотел взглянуть на ее лицо, но она строго и внушительно посмотрела на него из-под ровных, тонких бровей, и он покорно опустил голову на ее колени. Рука ее ласково коснулась его волос, а лицо приняло заботливое и нежное выражение. Но, когда он взглянул на нее, ее серые глаза были опять неумолимы.

— Что я могу тебе еще сказать? — начал он. — Я не могу на тебе жениться — ни на тебе, ни на какой-либо другой женщине. Ты прекрасно знаешь, как я люблю тебя, — больше всего в жизни.

Я неоднократно взвешивал тебя и все остальное прекрасное на свете, и ты перетягивала. Чтобы всегда жить с тобой, я готов на все, но я бессилен, совершенно беспомощен. Я не могу на тебе жениться и никогда не смогу.

Он хотел овладеть собой и сжал губы, но голова его невольно и беспомощно стала склоняться к ее коленям; она остановила его.

— Крис, ты, может быть, женат?

— Нет, нет, — горячо воскликнул он, — я никогда не был женат. Я хочу жениться только на тебе и не могу.

— В таком случае?..

— Нет, нет, — прервал он, — не расспрашивай меня!

— Но я имею право знать это.

— Я знаю. Я знаю все и тем не менее ничего не могу сказать тебе.

— Ты не подумал обо мне, Крис, — мягко продолжала она.

— Нет! Не то.

— Ты не подумал обо мне. Ты не хочешь знать, сколько мне приходится дома терпеть из-за тебя.

— Я не предполагал, что твои так плохо ко мне относятся, — с горечью сказал он.

— Они почти не выносят тебя. Конечно, в твоем

присутствии они этого не показывают, но они уже давно ненавидят тебя. Мне приходится все это сносить. Конечно, не всегда так было. Сначала они любили тебя. Чуть ли не так, как я любила тебя. Это было четыре года назад. Время шло — год, два года — и вдруг они восстали против тебя. Их нельзя винить. Ты не говорил ни слова, и им вдруг показалось, что ты разбиваешь мою жизнь. Ведь ты подумай: прошло четыре года, а ты ни разу не заговорил о свадьбе. Что же они могли подумать? Именно то, что и думают: будто ты разбиваешь мою жизнь.

Говоря это, она продолжала ласково перебирать его волосы, сама страдая от боли, которую причиняла любимому человеку.

— Они очень любили тебя вначале. Разве можно тебя не любить? Как дерево притягивает влагу из почвы, так ты притягиваешь любовь всего живого. Словно ты на все имеешь какие-то особые права, и все направляется к тебе со всех сторон. Тетя Мильдрэд и дядя Роберт находили, что другого, подобного тебе, нет. Как солнце в небе, ты единственный на земле. Они считали меня счастливейшей из девушек, ибо мне удалось завоевать любовь такого человека, как ты. Да, они очень любили тебя. Тетя, иногда желая позлить дядю,

задорно поглядывала на него и говорила: «Когда я подумаю о Крисе, мне самой хочется помолодеть». А дядя отвечал: «Нисколько не осуждаю тебя, дорогая, нисколько. А если можешь помолодеть, пожалуйста, ничего не имею против». И снова и снова, без конца они поздравляли меня с твоей любовью.

И они прекрасно знали, что я так же люблю тебя. Как я могла помешать этому? Как я могла помешать той огромной чудесной вещи, которая вторглась в мою жизнь и совершенно поглотила ее? Четыре года, Крис, четыре года я жила только тобой одним. Каждый миг принадлежал только тебе. Я просыпалась с мыслью о тебе, я засыпала с мыслью о тебе. Каждое мое действие, каждая мысль, каждый жест были от тебя. Издали, даже не присутствуя, ты направлял все мои мысли. Ты неизменно присутствовал во всем малом и великом в моей жизни.

— Я и не подозревал, что так подавляю, — пробормотал он.

— Ты ничего не подавлял. Ты давал мне полную свободу и, напротив, был моим послушным рабом. Умело, нисколько не оскорбляя, ты делал за и для меня все. Ты предупреждал все мои желания, хотя я даже не намекала на них. Всего больше

мне нравилось то, что ты не был суетлив. Видишь ли, со стороны казалось, что ты ровно ничего не делаешь, а оказывалось, что все делалось именно тобой и удивительно к месту.

Да, я была рабой, но это было рабство любви. Именно любовь заставила меня так покориться, отдать тебе все мои помыслы и дни. Ты не вторгался в мои мысли — нет, постепенно и незаметно ты проник в них и всегда, всегда был в них. А в какой степени, тебе никогда не узнать…

Но по мере того как проходило время, тетя и дядя все меньше любили тебя. Они стали беспокоиться: что будет со мной? Ты портил мою жизнь. Моя музыка? Ведь ты знаешь, как я мечтала о музыкальной карьере, и все мои мечты о ней потускнели. Когда я встретилась с тобой, мне было двадцать лет, и я хотела ехать в Германию продолжать музыкальное образование. Это было четыре года назад, а я все еще здесь, в Калифорнии.

У меня были другие поклонники, ты прогнал их. Нет, нет, я не то хочу сказать, не ты, а я прогнала их. Что мне было до них, до всего остального на свете, раз ты был здесь! Но, повторяю, дядя и тетя начали беспокоиться. Пошли пересуды, разговоры, сплетни. Ты продолжал молчать, а

я удивлялась. Я знала, что ты любишь меня. Но мне так много приходилось выслушивать против тебя от дяди и тети, которые были для меня как родители. Я не могла защищать тебя и просто отказывалась спорить. Я ушла в себя. Что мне оставалось делать, что делать?

Он застонал от боли, снова опустил голову на ее колени и молчал.

— Я стала скрытной, и тетя Мильдрэд уже больше не выслушивала моих исповедей. Книга моего детства закрылась. Какая это была чудная книга, Крис! Я готова плакать, когда вспоминаю об этом. Но все равно. На мою долю выпало много счастья. Я рада, что откровенно могу говорить о любви к тебе; эта откровенность так сладостна. Я люблю тебя, Крис, я люблю тебя и даже не в состоянии выразить, в какой мере… Ты помнишь то Рождество, когда мы встречали сочельник вместе с детьми? Мы играли в жмурки; ты поймал меня за руку и так стиснул ее, что я закричала от боли. Я ничего не сказала тебе, но мне было страшно больно, и ты не можешь себе представить, до чего это было в то же время и сладко. Черным и синим запечатлелись следы твоих пальцев. Твоя память на руке оставалась в течение недели, и как часто я целовала ее, Господи! Я волновалась и

сердилась, что она исчезала постепенно. Я хотела снова ушибить руку, лишь бы синяк продлился. Мне была противна возвращающаяся белизна рук. Это смешно, Крис, но я не в состоянии объяснить, как я люблю тебя!

Наступило молчание, во время которого она продолжала проводить по его волосам, безучастно следя за большой серой белкой, резвой и веселой, снующей взад и вперед на отдаленной прогалине хвойного леса. Затем ее внимание привлек красногрудый дятел, энергично постукивавший клювом по упавшему дереву.

А Крис все не поднимал головы; напротив, он еще плотнее прижал свое лицо к ее коленям, между тем как высоко вздымавшаяся грудь выдавала его волнение.

— Ты должен мне все сказать, Крис, — мягко сказала девушка. — Эта таинственность убивает меня. Я должна знать, почему мы не можем пожениться. Неужели так всегда будет продолжаться? Правда, мы встречаемся очень часто, но продолжительные промежутки меня измучили. Неужели, Крис, никогда не наступит то время, когда мы всецело будем принадлежать друг другу? Я не отрицаю, Крис: в наших отношениях есть очень много хорошего, даже прекрасного, но

временами так хочется чего-то другого, большего. Я хочу, чтоб ты весь принадлежал мне, чтобы все дни, всю жизнь мы провели вместе. Я хочу, чтобы мы жили теперь так, как будем жить, когда поженимся… — Она прервала себя на полуслове. — Ах да, я забыла: ведь мы никогда не поженимся. Крис, почему? Я должна знать, почему.

Он поднял голову и заглянул в ее глаза. Это была его привычка: смотреть прямо в глаза, с кем бы он ни говорил.

— Я думал о тебе, Лют, — начал он угрюмо. — Напрасно ты сомневаешься. Я думал о тебе с самого начала. Мне необходимо было уехать из-за тебя. Я знал это, понимал и все же… я не уехал. Боже мой, что мне было делать? Я любил тебя… не могу ехать… не был в силах. Я остался и каждый день менял свои решения. Это была ужасная слабость, непоправимая ошибка. Наконец, я собрался с силами и ушел — теперь ты знаешь почему. Теперь ты знаешь. Я ушел, но долго там не оставался и хотя знал, что мы не можем пожениться, все же вернулся к тебе. Теперь я снова с тобой. Прогони меня, Лют, прогони. У меня самого нет сил уйти. Прогони меня, Лют.

— Но зачем тебе уходить? — спросила она. — К тому же прежде чем прогнать тебя, я должна

знать, почему я прогоняю.

— Не спрашивай меня.

— Нет, скажи мне, — произнесла она с нежным приказанием в голосе.

— Не надо, Лют, не вынуждай меня, — взмолился он.

— Нет, ты должен мне сказать. Это твой долг по отношению ко мне.

Он колебался.

— Если бы я это сделал… — начал он и решительно закончил: — Я никогда не простил бы себе этого. Нет, я не расскажу, и не вынуждай меня, Лют. Ты пожалела бы точно так же, как и я.

— Если что-нибудь… если имеются препятствия, если какая-то тайна действительно мешает…

Она говорила медленно, с длинными паузами, выбирая наиболее деликатный способ передачи своей мысли.

— Крис, я люблю тебя так глубоко, как только возможно для женщины любить, я в этом убеждена. И если бы ты мне сказал сейчас «Пойдем», я пошла бы за тобой, пошла бы, не оглядываясь, куда бы ты ни повел меня. Я сделалась бы твоим пажом. Ты — мой рыцарь, Крис, и ты не можешь сделать ничего дурного. Твоя воля — моя воля! Раньше я боялась мнения света. С тех же пор, как

ты вошел в мою жизнь, я не считаюсь с ним больше. Мне смешно думать о нем. Повторяю, если ты скажешь хоть одно слово, я пойду за тобой.

— Нет, нет, — вскричал он, — я не смею звать тебя, я не смею и докажу тебе это.

Он решительно выпрямился и готов был заговорить. Он взял и сжал ее руку. Словно ища выражения, он готов был открыть свою тайну. Воздух содрогнулся. Девушка приблизилась, чтоб услышать, но он глядел прямо перед собой и медлил. Его рука разжималась; девушка ободряюще стала сжимать ее и все же чувствовала, как решимость оставляет его. Он не будет говорить, она это знала; знала и твердо верила, что не говорит он потому, что не может.

Она безнадежно смотрела перед собой, с тяжелым гнетущим чувством на сердце, точно навсегда умерли для нее надежда и счастье. Она следила за лучами солнца, которые разбивались о красные стволы деревьев, — следила равнодушно, чисто механически. Словно издалека и чуждая всему, словно оторвавшись от земли и потеряв связь со всем окружающим, с деревьями и цветами, которые она так любила, она смотрела без интереса, апатично…

Но вдруг она почувствовала беспричинное лю-

бопытство. На прогалине стояло буковое дерево в полном цвету, и она смотрела на него, точно впервые видела его. Ее взгляд как прикованный остановился на желтой кисти «Диогеновых фонарей»... Обыкновенно цветы вызывали в ней легкую, мгновенную дрожь удовольствия, теперь же ничего подобного не было. Она разглядывала цветок подобно тому, как курильщик опиума разглядывал бы поток, заградивший путь его больному воображению. В ушах у нее звучал голос ручья, хриплого, старого богатыря, впавшего в детство и бормочущего сонные фантазии. Но, против обыкновения, шум ручья не возбудил ее воображения; она трезво сознавала, что это простой звук воды, протекающей меж камней глубокого оврага, — и больше ничего.

Взгляд ее проник за «Диогеновы фонари» и упал на открытую поляну. На откосе, по колени в диком овсе, паслись две ярко-золотистых на солнце, одинаковых, как на подбор, лошади. Их новая, весенняя шерсть отливала цветными блестками, которые сверкали, как огненные бриллианты.

Девушка почти с ужасом подумала о том, что одна из лошадей принадлежит ей. Долли, подруга ее детства, ее девичьих грез, горестей и восторгов. Глаза ее увлажнились при виде той, на шее ко-

торой она выплакала столько слез, и мгновенно она пришла в себя, сбросила настроение отчужденности; стремительная в страсти и печали, она снова вернулась в мир, чтоб сделаться живой частью его.

Мужчина, совершенно ослабев, подался вперед и со стоном уронил голову на ее колени, а она наклонилась к нему и мягко и надолго прижалась губами к его волосам.

— Вставай, Крис, пойдем! — сказала она почти шепотом.

Голос ее прервался полурыданиями, но она тотчас же поднялась и сжала губы.

Его лицо было бледно, почти мрачно, до того он был потрясен борьбой, которую только что вынес. Они не взглянули друг на друга и направились прямо к лошадям. Она прислонилась к шее Долли, в то время как он подтягивал ремни. Потом она собрала в одну руку поводья и стала ждать. Он взглянул на нее с мольбой о прощении, и ее глаза ответили ему.

Опершись ногой на его руку, она легко прыгнула в седло. Безмолвные, не глядя друг на друга, они повернули лошадей и поехали по узкой тропинке, вьющейся вдоль темного бора, откуда выехали на открытую поляну, к залегшим внизу

пастбищам.

Тропинка постепенно превращалась в протоптанную скотом дорожку, а дорожка — в проселочную дорогу, которая ниже сливалась с большой дорогой. Они понеслись вниз по отлогим бурым горам Калифорнии до того места, где ряд перекладин отмечал начало большой дороги. Девушка осталась на своей лошади, а мужчина слез и начал вынимать перекладины.

— Постой, постой! — закричала она, прежде чем он дотронулся до двух нижних перекладин.

Она сделала несколько шагов назад, затем прошла вперед, и животное небольшим безукоризненным прыжком пронеслось над перекладинами. Глаза мужчины засверкали, и он стиснул кулаки.

— Красавица моя, красавица! — воскликнула девушка, подавшись вперед и прижавшись щекой к шее кобылы в том месте, где шерсть отливала ярким пламенем на солнце.

— Если хочешь, поменяемся лошадьми, — предложила она, когда перекладины снова оказались на месте. — Ты до сих пор не знаешь, что за прелесть моя Долли.

— Нет, нет, — запротестовал он.

— Ты, очевидно, думаешь, что она слишком

стара и для тебя не подходит. Ей действительно шестнадцать лет, но все же из десяти лошадей девять она всегда перегонит. И при всем том она очень спокойна и никогда не сбрасывает. — Она вдруг торжественно произнесла: — Послушайте, сэр, вызываю вас на поединок и утверждаю, что моя Долли побьет вашего Бана. Затем предлагаю вам самому прокатиться на моей Долли, достоинств которой вы не знаете и не цените.

Обрадовавшись новому развлечению, они живо принялись обмениваться седлами.

— Как я рада, — заметила Лют, — что родилась в Калифорнии и могу ездить верхом, как мужчина. Готов?

— Готов!

— К старой мельнице, — крикнула она, когда лошади ринулись вперед.

— Есть! — ответил он.

По гладкой, ровной дороге вздымались клубы пыли. Всадники совершенно пригнулись к лошадям, на полном ходу делали повороты, не замедляя хода, проносились через легкие деревянные настилы и с дробным, звучным грохотом мчались по железным мостам.

Они шли бок о бок, приберегая животных к финишу. За группой белых дубков дорога на

протяжении нескольких сот ярдов совершенно выпрямилась и открывала в самом конце старую, полуразрушенную мельницу.

— Начинаем! — вскрикнула девушка и всем корпусом подалась вперед, прильнула к шее лошади, отпустила поводья и через несколько минут оказалась впереди Криса.

— Хлопни ее по шее! — крикнула она ему.

Крис исполнил это, и тотчас же Долли вынесла его впереди Бана.

До мельницы оставалось около ста ярдов.

Девушка пришпорила лошадь, но не переставала следить за своей Долли, которая медленно опережала ее.

— Побита на три корпуса! — победоносно воскликнула Лют, когда они миновали мельницу и поехали шагом.

— Теперь, сэр, вы видите, на что способна моя старая кобыла.

— В сравнении с ней Бан — настоящий медведь, — согласился Крис.

— Понимаешь, Крис, — возбужденно сказала Лют, — моя Долли хороша тем, что в ней есть горячность и нет глупости. Несмотря на свой возраст, она очень умна.

— В том-то и дело, — возразил Крис, — вместе

с молодостью прошла и глупость. Я уверен, что в молодости она не мало раз сбрасывала тебя.

— Ничего подобного! — ответила Лют. — Я положительно не припомню случая, когда бы она дурила. За всю свою жизнь она не становилась на дыбы, не лягалась, не сбрасывала, никогда, ни разу.

Тяжело дыша после скорого бега, лошади продолжали идти шагом. Дорога вилась по низко лежащей долине, кое-где пересекаемой горными ручьями. Со всех сторон доносилось монотонное, усыпляющее бормотание косилок и зычные крики рабочих, собиравших сено. На западе подымались зеленые горы, а восточные, обращенные к солнцу, уже были выжжены и приняли желтовато-бурый оттенок.

— Как хорошо здесь! — сказала Лют. — Чудная Сономская долина! Вот лето, а вот и весна.

Глаза и лицо ее сияли любовью к родине. Она перевела взгляд на фруктовые сады и виноградники. Легкой, нежной дымкой залег повсюду пурпур, залег в полях и садах, в ущельях гор и долинах. А дальше, выше, среди горных вдоль и поперек изрезанных ручьями хребтов, где крупные откосы были усыпаны кустами манзаниты, Лют увидела свободный участок, на котором

дикая трава еще не утеряла своего девственно-зеленого цвета.

— Ты знаешь это место? — спросила она, указывая на далекую долину.

Крик ужаса заставил ее обернуться. С дико раскрытыми глазами, раздутыми ноздрями, Долли взвилась на дыбы. Крис припал к ее шее, чтобы помешать ей упасть на спину, и одновременно пришпорил ее, чтобы заставить опустить передние ноги, которыми она била по воздуху.

— Долли, Долли! — начала с упреком Лют, но, к ее удивлению, лошадь опустила голову, выгнула спину, прыгнула в воздух и опустилась на землю с выпрямленными ногами.

— Гениальный прыжок! — воскликнул Крис, в то время как кобыла собиралась сделать второй прыжок.

Лют удивлялась поведению своей лошади и любовалась умением Криса править; он оставался совершенно хладнокровен и, казалось, получал удовольствие от диких прыжков Долли. Лют отвела Бана в безопасное место и, оглянувшись, случайно поймала взгляд Долли. Глаза лошади, почти выскочив из орбит, выражали слепое, животное безумие; розоватый оттенок белка исчез и сменился белизной, похожей на

матовый мрамор. Долли выпрямилась так, что спина, шея и морда представляли почти прямую линию; такое положение позволило ей закусить удила, и она с неимоверной быстротой понеслась по прямой дороге.

Впервые Лют действительно испугалась. Она пришпорила в погоню Бана, но тот не был в состоянии поспевать за взбесившейся кобылой и стал понемногу отставать. Лют видела, как с перекинутой через седло ногой, прилегши на бок и ухватившись рукой за гриву, Крис боролся с лошадью.

Долли мелькнула в чаще и с безумной быстротой помчалась по узкому берегу, к группе дубов, о стволы которых она хотела сбить всадника.

Лют поехала по диагонали, миновала кустарник и оказалась впереди Долли. Из кустарника до нее доносился ужасный треск сучьев и бурелома. Наконец кобыла проломилась в открытое место и, изможденная, вся в мыле, упала на мягкую траву.

Крис все еще сидел на ее спине. Рубашка его изорвалась в клочья. Руки были изодраны и изранены, а по лицу из раны у виска струилась кровь.

— Как хорошо! — крикнул он, вложив в голос

всю сердечность, на которую был способен, но в данное время ее было немного, потому что он перенес слишком сильное нервное потрясение.

— Неподалеку ключ, — сказала Лют, обвив шею Криса, и, оставив лошадей невзнузданными, они прошли в прохладные заросли, к месту, где с едва слышным звоном у подножия горы протекала кристально чистая вода.

— А ведь ты говорила, что Долли никогда не сбрасывает, — сказал Крис, несколько успокоившись.

— Я отказываюсь понять что-либо. Впервые в жизни я видела, как она поднимается на дыбы.

— Может быть, какой-нибудь открывшийся застарелый ушиб, — сказал Крис и пожал плечами.

Они вернулись к лошадям и подвергли Долли самому внимательному осмотру, который, однако, ничего не дал. Все было в порядке и никаких следов укола, укуса или ранения не оказалось.

— Не иначе как какое-то бесовское наваждение, — сказала Лют. И они засмеялись при этой мысли, ибо оба были типичными продуктами XX века, здоровые, нормальные духом, любящие прекрасное и возвышенное, но вовремя останавливающиеся у той границы, где кончается реальное и начинается суеверие.

Лют стала укорачивать стремена.

— Зачем это? — спросил Крис.

— Я поеду на Долли.

— Нет, этого не будет, — заявил Крис. — Так лошадей не воспитывают. После всего того, что случилось, я обязан поехать на ней.

Они медленно, часто останавливаясь, поехали к дому.

* * *

— Кто едет за почтой? — послышался из-за деревьев женский голос.

Лют захлопнула книгу и вздохнула.

— Мы не предполагали сегодня ехать верхом, — сказала она.

— Позволь, я поеду, — предложил Крис. — Ты оставайся здесь, а я поеду и вмиг вернусь.

Она покачала головой.

— Кто едет за почтой? — настаивал голос.

— А где Мартин? — закричала Лют.

— Не знаю, — ответил тот же голос. — Его, вероятно, куда-нибудь увел с собой Роберт. Право, Лют, кроме тебя и Криса, никого нет. Довольно валяться в гамаке.

— Хорошо, тетя! Мы едем! — закричала Лют, вылезая из гамака.

Через несколько минут, в костюмах для верховой езды, они седлали лошадей. Они поехали по графской дороге, а затем свернули на шоссе к Глен Эллену. Маленький городок полностью заснул под палящими лучами солнца, а местный почтмейстер с большим трудом удерживался, чтобы не заснуть, когда перевязывал пачку писем и газет.

Спустя час всадники свернули с большой дороги и поехали по коровьей тропинке вниз к крутому берегу, желая до возвращения на дачу напоить лошадей.

— Долли как будто совершенно забыла про вчерашнее, — сказал Крис, указывая на вошедшую по колени в воду Долли.

Из чащи послышался перепелиный треск, и кобыла подняла голову, навострила уши… Крис наклонился и почесал у нее за ушами, что, очевидно, доставило ей большое удовольствие, — она опустила голову и прислонилась к плечу Бана.

— Настоящий котенок, — заметила Лют.

— А между тем после ее вчерашней дикой выходки я никогда не смогу довериться ей, — сказал Крис.

— А я так по-прежнему доверяю ей, — сказала Лют и добавила: — Конечно, на Бане ты в большей

безопасности. Это твоя лошадь; она тебя никогда не обманет.

Они повернули лошадей и отъехали от ручья. Долли остановилась, чтобы мордой смахнуть с колена муху, а Бан протеснился по узкой тропинке. Пространство было слишком узко для того, чтобы он мог вернуться, и Крис пустил его вперед.

Это случилось так быстро, что Лют едва успела заметить. Сверху и снизу был почти отвесный берег. На тропинке едва-едва можно было поместиться пешеходу. Между тем Бан взвился на дыбы, поднялся в воздух и в следующую минуту уже лежал спиной на тропинке.

Крису оставалось одно: выскочить из седла, что он и сделал, бросившись в сторону и вниз. До подножия скалы было около двенадцати футов. Крис удержался в перпендикулярном положении, но, подняв голову, увидел падающую на него лошадь и, как кошка, отскочил в сторону. Через мгновение Бан пронесся мимо него с тем ужасным криком, который иногда издают смертельно раненные лошади.

Крис ободряюще взглянул на стоящую наверху Лют.

— Я начинаю привыкать к этому, — с улыбкой ответила она ему.

— Я так и думал, — сказал он спустя несколько минут, когда стоял подле скатившейся лошади. — Последний раз я сидел сегодня верхом на Бане. Едем, Лют, домой.

На верхушке обрыва он повернулся и заглянул вниз.

— Прощай, Бан! — крикнул он с навернувшимися слезами. — Прощай, товарищ! — Он обратился к Лют: — Моей вины тут нет!

— Да, — сказала Лют. — Все это вышло так неожиданно, точно чья-то рука схватила его за поводья.

— Клянусь, что это была не моя рука. Между прочим, он шел на слабом поводу. Значит, чья-то посторонняя рука…

Мартин принял из рук Лют Долли, почти не выразив удивления при виде пешего Криса, который несколько отстал от девушки.

— Ты сумеешь застрелить лошадь? — спросил Крис.

Тот кивнул головой, затем добавил:

— Да, сэр! — и снова кивнул головой.

— Прекрасно, — сказал Крис. — Сходи к реке, там лежит Бан с переломленной спиной.

* * *

— Ах, вот и вы, сэр! А я повсюду ищу вас.

Крис отбросил сигару, потом подошел и наступил на нее ногой.

— Ты никому не говорила про Бана? — спросил он.

Лют отрицательно покачала головой.

— Они сами узнают. Мартин не замедлит рассказать. Но не расстраивайся так из-за этого, — сказала она после минутной паузы, взяв его за руку.

— Я знал его с рождения. Как это все странно! Какой-то непонятный импульс, как удар молнии, подействовал на него. Все это произошло в течение одной секунды, не больше. Похоже на самоубийство или покушение на убийство.

— Ведь бывает, Крис, что лошади сходят с ума, — сказала Лют. — Это чисто случайно, что ты два дня подряд испортил под собой лошадей.

— Возможно, — сказал он и поднялся вместе с Лют. — Но зачем я вдруг так понадобился?

— «Планчет»!

— Ах, «Планчет»! Как-то до сих пор мне не приходилось с нею иметь дело.

— Да и нам не приходилось, — ответила Лют. —

Разве только одна миссис Грантли…

— Ах, и миссис Грантли будет? Очаровательное существо!

Они остановились между двух огромных деревьев, которые стояли у входа в столовую. Наверху, сквозь кружевную ткань ветвей, сияли звезды. Внизу свечи озаряли окруженную деревьями площадку. За столом три-четыре человека следили за начертанием «Планчет».

Крис взглянул на тетю Мильдрэд и дядю Роберта, уже разрыхленных жизнью и все же довольных ею, несмотря на целый ряд полученных от нее пощечин. Затем он перевел взгляд на черноглазую хрупкую мистрис Грантли и остановился на четвертой личности, величественном господине с массивной головой, седые виски которого оттеняли юношескую свежесть лица.

— Кто это? — шепнул Крис.

— Некий Бартон. Поезд опоздал, и вот почему ты не видел его за обедом. Очень крупный капиталист, хоть с виду не выдумает пороху.

Она прижалась к нему, и они пошли дальше.

— Роберт, где дети? — послышался голос тети Мильдрэд. — Надо начинать, становится холодно.

— Мы здесь! — закричала Лют, отходя от Кри-

са.

Тетя Мильдрэд плотнее закуталась в шаль и торопила начать. На столе лежал белый чистый лист бумаги, поверх которой на трех ножках ходила маленькая треугольная дощечка; две ножки несли подвижные медные колесики, а третья, помещенная в вершине треугольника, — карандаш.

— Кто начинает? — спросил дядя Роберт.

С минуту длилось молчание, затем тетя Мильдрэд решительно положила руку на дощечку и сказала:

— Ведь кому-нибудь из нас придется для удовольствия других сыграть роль дурака. Я начинаю!

— Молодец женщина! — воскликнул муж. — М-с Грантли, начинайте!

— Я? — спросила дама. — При чем же я тут? Сила, или как вы ее там назовете, точно так же вне меня, как и вне вас. Какого это рода сила, я не могу сказать, но знаю, что эта сила имеется. Я убеждена, а теперь ваша очередь убедиться. М-с Стори, коснитесь дощечки легко, но твердо, и ничего не делайте по своей личной воле.

Присутствующие молча окружили тетю Мильдрэд, которая положила руку на «Планчет»; но

в продолжение нескольких минут ничего не случилось, и «Планчет» оставалась неподвижной и безмолвной.

— Потерпите! — посоветовала м-с Грантли. — Никоим образом не противодействуйте влечению, которое, может быть, возникает в вас; но, повторяю, сами ничего не делайте. Вы почувствуете импульс, бороться с которым вы не будете в состоянии. Влияние возникает помимо вашей воли.

— Однако влиянию не мешало бы поторопиться, — заметила тетя Мильдрэд после нескольких минут неудачных попыток.

— Еще немного… еще минуту… — начала м-с Грантли, и вдруг рука тети Мильдрэд задергалась и задвигалась и послышалось царапание карандаша по бумаге. В конце следующих пяти минут тетя Мильдрэд сделала усилие и отняла свою руку.

— Какие-то каракули, — сказал дядя Роберт, глядя на исписанную бумагу.

— Да, — сказала м-с Грантли, — совершенно невозможно прочитать… Очевидно, влияние еще не начало работать. Не попробует ли кто-нибудь другой? Например, вы, мистер Стори?

Дядя Роберт, улыбаясь, подошел к столу и

опустил руку на дощечку, и тотчас же его лицо приняло серьезное выражение. Его рука начала двигаться, и послышался скрип карандаша по бумаге.

— Черт возьми! — пробормотал он. — Это становится любопытно. Посмотрите-ка сюда. Уверяю вас, что точно кто-то водит моей рукой.

— Ну, Роберт, без глупостей, — пригрозила ему жена.

— Да ведь я говорю тебе, что не я это делаю, — ответил он с негодованием. — Влияние, как говорит м-с Грантли! Черт возьми, да взгляните на этот росчерк; я никогда не делаю росчерков.

— Будьте серьезны, — сказала м-с Грантли. — «Планчет» не любит легкомысленного отношения.

— Ну, я думаю, теперь довольно, — произнес Роберт, снимая руку. — Посмотрим! Лют, у тебя молодые глаза.

— Ой, какие росчерки! — воскликнула Лют, взглянув на бумагу. — Посмотрите, два разных почерка.

Она прочитала:

Вдумайся в следующую фразу:

«Безусловно, я — дух положительный,

а не отрицательный. Всего выше на свете любовь, за которой следуют мир и душевная гармония. Твоя душа».

— А теперь другим почерком, — сказала Лют и продолжала читать:

«Бульфорк 96, Дикси 16, Золотой якорь 65, Золотая гора 13, Джим Бутлер 70, Джембо 76, Полярная звезда 42, Браун-Хот 16, Железная Крыша 3».

— «Железная крыша» — 3. Однако довольно низко, — пробормотал мистер Бартон.

— Роберт, ты опять сплутовал? — воскликнула тетя Мильдрэд.

— Нет, не сплутовал, — ответил он. — Моя воля бездействовала.

— Подсознательный дух, — предположил Крис. — Вы просмотрели сегодня в газетах биржевые цены?

— Не сегодня, а на прошлой неделе.

— День или год, для подсознательного духа не имеет никакого значения, — сказала м-с Грантли. — Подсознательный дух никогда ничего не забывает.

— Да что за теософическая чепуха такая! — вос-

кликнул дядя Роберт.

Крис пожал плечами.

— Безусловно, необходимо известное серьезное отношение, — сказал он, опустив руку на «Планчет». — Попытаюсь и я. Попрошу вас, господа, не смеяться и даже не улыбаться. Ведь неизвестно, какая оккультная кара может постигнуть вас.

— Ну, хорошо, я буду умником, — воскликнул дядя Роберт. — Но все-таки я предпочел бы улизнуть отсюда.

Едва только Крис опустил на «Планчет» руку, как дощечка задвигалась, быстро и равномерно.

— Посмотри на него, — шепнула Лют своей тетке. — Как он бледен!

Некоторое время слышалось ровное царапанье карандаша, но вдруг что-то словно ужалило Криса, и он отдернул руку. Он вздохнул, затем зевнул, отошел от стола и огляделся вокруг с любопытством только что проснувшегося человека.

— Я, кажется, написал что-то, — сказал он.

— Я думаю, — сказала довольным тоном м-с Грантли, поднимая лист бумаги и вглядываясь в него.

— Прочтите вслух, — сказал дядя Роберт.

— Слушайте, написано следующее:

«ОСТЕРЕГАЙСЯ!
ОСТЕРЕГАЙСЯ! ОСТЕРЕГАЙСЯ!
Крис Дунбар, я намереваюсь убить тебя. Я сделал уже два покушения на твою жизнь, но неудачно. Третье мне удастся. Я настолько уверен в этом, что не боюсь тебе сказать это. Я не должен объяснять причины. Ты сам знаешь. Зло, которое ты делаешь…»

— Вот и конец, тут обрывается, — сказала м-с Грантли, положила бумагу на стол и взглянула на Криса, который сделался центром внимания, но тем не менее зевал от овладевшей им сонливости.

«Я уже сделал два покушения на твою жизнь»… — повторила м-с Грантли.

— На мою жизнь? — спросил Крис. — Да на мою жизнь никто не покушался. Господи, как мне хочется спать!

— Послушай, Крис, — сказал дядя Роберт, — ты забываешь, что мы имеем дело с бескровным и бесплотным духом. Надо думать, — шутливо добавил он, — что на твою жизнь покушались невидимые и неведомые существа. Может быть, рука какого-нибудь духа пыталась ночью заду-

шить тебя.

— Крис! — воскликнула невольно Лют. — Сегодня днем как будто чья-то рука схватила за повод Бана. Помнишь?

— Я пошутил, — возразил он.

— Но все-таки, — начала Лют и замолчала.

М-с Грантли насторожилась.

— А что такое случилось сегодня днем?

Сонливость Криса исчезла.

— А знаете, меня самого начинает это интересовать, — сказал он. — Сегодня днем Бан сломал себе спину. Он бросился с обрыва и едва-едва не увлек меня.

— А если я не ошибаюсь, — сказала м-с Грантли, — вы вчера сильно ушиблись, катаясь на лошади м-с Стори? Вот вам и два покушения. — И с этими словами она торжествующе оглядела присутствующих.

— Пустяки! — сказал дядя Роберт с улыбкой на лице, но с легким раздражением в голосе. — Таких вещей теперь не бывает. Послушайте, милая барыня, мы живем в XX веке, и средневековые суеверия к нам не пристали.

В это время м-с Грантли опустил руку на «Планчет».

— Кто ты? — спросила она. — Твое имя?

Все головы наклонились над столом, следя за тотчас же задвигавшимся карандашом.

— Дик! — вскричала тетя Мильдрэд с легкой истерической ноткой в голосе.

Муж ее выпрямился, и впервые лицо его приняло серьезное выражение.

— Это подпись Дика, — сказал он. — Я узнал бы ее среди тысячи других.

— Клянусь Иовом, это удивительно! — воскликнул мистер Бартон. — В обоих случаях почерк совершенно одинаков. Ловко, очень ловко! — добавил он.

— Дик Кертиз, — прочла вслух м-с Грантли. — Кто это Дик Кертиз?

— Отец Лют, — сказала тетя Мильдрэд. — Это мой брат. Он умер, когда Лют было несколько недель, и она получила нашу фамилию.

Оживленный разговор продолжался, а Лют в это время видела картины детства — картины, созданные ею самой, и в которых участвовал ее отец, никогда в жизни не виденный ею. У нее сохранилась его сабля, несколько старинных фотографий, много воспоминаний, слышанных ею из чужих уст, и все это послужило ей материалом для предполагаемого портрета отца.

Ее размышления были прерваны восклицани-

ем м-с Грантли.

— Позвольте мне сделать маленькое испытание. Пусть мисс Стори поговорит с «Планчет».

— Нет, нет, умоляю вас, — вступилась тетя Мильдрэд. — Это слишком опасно. Я не люблю, когда шутят с покойниками. Я боюсь. Отпустите меня спать, а сами оставайтесь хоть до утра. — И она удалилась.

Едва только Лют опустила руку на дощечку, ею тотчас же овладело неопределенное чувство ужаса от игры со сверхъестественным… Дядя был совершенно прав: в XX веке они занимаются тем, что носит характер средневековья. И все же она не могла отделаться от инстинктивного чувства страха, который передался ей от диких обезьяноподобных предков, боявшихся темноты…

Затем она вдруг почувствовала слабое любопытство. Другое видение завладело ее представлением — на этот раз она видела мать, которую также не знала живой. Этот образ, — более смутный и туманный, чем образ отца, — был окружен ореолом нежности, доброты и кротости и вместе с тем выражал характер решительный и твердый.

— Другой почерк, — сказала м-с Грантли, когда рука Лют перестала двигаться. — Женский почерк, и подписано «Марта». Кто это Марта?

Лют нисколько не удивилась и просто сказала:

— Это моя мать. А что она говорит?

Она чувствовала легкую истому, и все время пред ее глазами стоял образ матери.

> «Милое дитя мое! — читала м-с Грантли. — Не придавай значения его словам, в которых он был опрометчив. Не скупись в своей любви. Любовь никогда не повредит тебе. Отрицать любовь — грех. Повинуйся внушениям сердца твоего и никогда не совершишь дурного. Но повинуйся гордости твоей, повинуйся мнению света и тех, которые восстанавливают тебя против побуждений твоего сердца, и ты согрешишь. Не обращай внимания на слова твоего отца. Он поймет мудрость моего совета. Люби, дитя мое, и люби крепко. Марта».

— Дайте мне взглянуть, — сказала Лют, схватив бумагу и пожирая глазами написанное; она дрожала от переполнившей ее неизъяснимой любви к матери.

Послышались приближающиеся шаги дяди Роберта, проводившего тетю Мильдрэд, и Лют сказала:

— Ничего не говорите ему про второе послание, и тете Мильдрэд не говорите. Это только напрасно взволнует их. И вообще довольно будет на сегодня «Планчет». Забудем обо всех этих глупостях.

— Глупости, милая? — возмущенно сказала м-с Грантли, но в это время вошел дядя Роберт.

* * *

— Где ты пропадал все утро?

— Там, куда я намерен тебя взять после обеда.

— Не мешало бы справиться и с моим желанием.

— Я справился с ним и знаю, что оно совпадает с моим. Хочу тебе показать лошадь, которую я нашел.

— О, какой ты милый! — воскликнула она с восторгом, но тотчас же ее лицо приняло озабоченное выражение.

— Настоящий калифорнийский пони, — продолжал Крис. — Но что с тобой?

— Не будем больше ездить верхом, — сказала Лют. — Или хоть на некоторое время отложим. Право, мне это уже несколько надоело.

Он с удивлением посмотрел на нее, но она твердо выдержала его взгляд.

— Я знаю, Крис, что это очень глупо, но я ничего не могу поделать с собой. Конечно, это суеверие. Но что, если действительно что-то есть? Кто знает? Может быть, наука очень догматична, отрицая невидимое, которое слишком тонко, слишком возвышенно для того, чтоб поддаться научным исследованиям и точной формулировке. Во мне зародилось сомнение, а я слишком люблю тебя, чтоб рисковать тобой. Не забудь, что я женщина.

— Но можно ли серьезно относиться к такой чепухе, как «Планчет»? — сказал Крис.

— Но чем же объяснить тогда подлинный почерк моего отца, который признал дядя Роберт? Как объяснить все остальное? Ведь это очень странно, Крис.

— Не знаю, Лют. Я не могу точно ответить тебе, но уверен, что в самом недалеком будущем наука объяснит эти явления.

— Так или иначе, — созналась Лют, — но я горю нетерпением еще что-нибудь узнать от «Планчет». Доска все еще в столовой, там никого нет, и мы можем попытаться.

— Это забавно! — Крис взял ее за руку.

Через несколько минут они уже были в столовой. «Планчет» долгое время упорствовала;

Крис хотел было заговорить, но Лют, у которой начались подергивания в руке и предплечье, остановила его. Затем карандаш начал писать:

> «Есть знание, превыше знания человеческого разума. Не сознание рождает любовь, а сердце, которое выше разума, логики и философии. Верь своему сердцу, дочь моя, и если разум тебе повелевает верить возлюбленному, смейся над разумом и его холодными теориями. Марта».

— Одного я не могу объяснить, — сказала после паузы Лют. — Посмотри на почерк. Мелкий, старинный, типичный почерк предшествующего поколения.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что действительно веришь в это послание от мертвых? — прервал Крис.

— Не знаю, Крис, я, право, ничего не знаю.

— Абсурд! — воскликнул Крис. — Твое воображение опутала паутина. Кто умер, тот умер; он — прах, он — достояние червей. Мертвые? Я смеюсь над мертвыми, ибо их нет, ибо я отрицаю их власть, как и власть привидений, оборотней и т. д.

Почти незаметно он опустил руку на «Планчет»,

которая тотчас же задвигалась. Оба от неожиданности вздрогнули. Послание было коротко:

«ОСТЕРЕГАЙСЯ!
ОСТЕРЕГАЙСЯ! ОСТЕРЕГАЙСЯ!»

Крис бравадой хотел покрыть изумление, но Лют не скрывала своего ужаса и опустила свою дрожащую руку на его руку.

— Довольно, Крис, довольно! Я жалею, что мы начали. Оставим мертвых в покое. Это нехорошо; это, должно быть, очень нехорошо. Я вся дрожу, и мне кажется, что душа моя дрожит так же, как и тело. Сознаюсь, что я поражена. *В этом есть смысл.* Я чувствую живую связь с той тайной, которая мешает тебе жениться на мне. Если бы отец жил, он защитил бы меня от тебя. Мертвый, он пытается сделать то же. Его руки, его призрачные, невидимые руки подняты над тобой.

— Ну успокойся! — сказал Крис. — Все это ерунда! Мы просто играли со сверхъестественными силами, — с явлениями, которые науке еще не известны. Вот и все! Психология слишком молодая наука, а подсознательный дух, можно сказать, только что открыт. И пока его законы ждут формулировки, все явления, исходящие от него, кажутся нам таинственными и сверхъесте-

ственными. Что же касается «Планчет»...

Он внезапно замолчал, ибо, желая подчеркнуть свое замечание, он положил руку на дощечку, и в тот же миг какая-то сила завладела его рукой и вместе с карандашом направила по бумаге.

— Нет, с меня довольно! — воскликнула Лют, указывая на послание, которое гласило:

«Ты не можешь избегнуть ни меня, ни кары, которой подлежишь»

Лют смяла исписанный лист бумаги и убрала «Планчет».

— В самом деле, оставим это, — сказал Крис. — Я не думал, что это тебя так расстроит. Все объясняется тем, что наше возбужденное состояние сделало условия крайне благоприятными для этих мистических проявлений.

— Что нам делать, не знаю, — сказала Лют, когда они медленно шли по дороге. — Необходимо что-нибудь придумать. Ты надумал что-нибудь?

— Надумал сказать тете и дяде.

— То, чего не сказал мне?

— Нет! То, что я сказал тебе. Я не имею права сказать им больше, чем тебе.

Она отозвалась после минутного раздумья:

— Не говори им ничего. Они не поймут тебя. Я

не понимаю, но верю в тебя, на что они не способны. Их беспокойство только усилится.

— Остается одно, — сказал он едва слышно. — Мне следует уйти, и я это сделаю. Теперь я не слаб.

— Не упрекай себя в слабости, — воскликнула она и быстро перевела дух. — Во всем только я виновата. Это я помешала тебе уйти раньше. Я передумала, Крис: оставим все как есть. Мы уверены в своей любви, и пусть все остальное будет как будет.

— Но лучше было бы, если бы я ушел.

— Но я не хочу, чтобы ты ушел, Крис! Ты знаешь это. А теперь довольно об этом. Слова не помогут, зачем же говорить?.. Может быть, будет такой день, когда ты придешь и скажешь мне: «Лют, все устроилось, все хорошо. Лют, меня не связывает больше тайна, и я свободен. Будет этот день или не будет, но зачем нам лишать себя того малого, что еще в нашей власти? Я забыла про все эти глупости и, чтобы доказать это, согласна пойти с тобой после обеда смотреть новую лошадь, хотя предпочла бы, чтобы ты несколько дней не ездил. Как ее зовут?»

— Команч, — ответил он. — Я уверен, что она тебе понравится.

* * *

Крис лежал на спине, прислонившись головой к обнаженной, далеко уходящей вперед каменной глыбе. Его внимательный взгляд был направлен через овраг к противоположному склону, на котором в изобилии росли деревья. Слышались звон стальных подков о камень и изредка мягкий шум сорвавшегося камня, который долго скатывался с горы и, наконец, с сильным всплеском падал в поток, с диким ревом пробирающийся меж скал. Доносился треск раздвигаемого кустарника, и иногда в рамке листвы мелькала золотисто-коричневая амазонка Лют.

Она выехала на открытое место, где рыхлая песчаная почва отказывалась приютить деревья и травы, остановила лошадь у края спуска и взглядом смерила расстояние. На сорок футов ниже склона лежала небольшая терраса с прочной насыпью из скатившейся земли и щебня.

— Это хорошая проба! — крикнула она через овраг.

Животное, осторожно, твердо и спокойно передвигая передними ногами, задними нащупывало почву и попеременно то теряло, то снова находило точку опоры. Лошадь вышла на террасу

резвым, свободным шагом, который придавал много прелести ее спокойной грации, непринужденности и всем движениям.

— Браво! — воскликнул Крис и зааплодировал.

— Такой умной лошади я еще не видела, — ответила Лют, которая снова поднялась наверх и направила лошадь к деревьям.

Через некоторое время она снова появилась внизу и остановилась у потока, возле утеса, за которым свирепо бурлил водоворот. Налево, на несколько футов ниже, была небольшая куча щебня, доступ к которой преграждал громадный камень. Единственным способом достичь щебня был прыжок через выступ утеса. Движение левой руки Лют выдало Крису ее намерение.

— Лют! — закричал он. — Держи свободнее поводья.

— Я верю в Команча, — последовал ответ.

— Ни одна лошадь из тысячи не сделает этого.

— А Команч именно такая лошадь, — возразила она.

Она пришпорила Команча, и тот чисто, тесно сблизив передние ноги, поднялся на задние, с полуповоротом налево прыгнул и попал прямо на крошечную кучу щебня. Легкий прыжок перенес его через ручей; здесь Лют подстегнула

его, направила вверх по откосу и через минуту остановилась перед Крисом.

— Ну, — сказала она и тотчас же добавила: — Купи его во что бы то ни стало, он стоит того! Никогда в жизни я еще не была так уверена в лошади.

— Его хозяин говорит, что до сих пор еще не было случая, чтоб он оступился.

— Если ты не купишь, я куплю его! Он гибок, как кошка, и, по-моему, им можно управлять шелковыми нитками. Крис, ты не должен отказать мне.

Крис улыбнулся в знак согласия и стал менять седла. Через несколько минут они уже спускались по склону к проселочной дороге.

— Мы не прямо домой!

— Ты забываешь про обед, — предупредил Крис.

— Но я помню про Команча, — возразила она. — Мы поедем и купим его, а обед подождет!

Они повернули лошадей и медленно поехали по Нап-Капионской дороге вниз к Напской долине. Иногда они подымались на сотни футов выше потока, снова спускались и пересекали его. Они долго ехали в глубокой тени гладкоствольных кленов и величественных сосен, после чего

поднялись на открытые хребты гор, где была сухая и потрескавшаяся на солнце почва.

На четверть мили вперед перед ними расстилалась прямая, ровная дорога, окруженная с одной стороны угрюмыми, неприступными откосами, а с другой — крутой стеной оврага, кривыми уступами сбегающего к потоку. Они увидели пропасть, залитую солнцем и почти сплошь изрезанную узкими и глубокими расщелинами, вобравшими в себя весь мрак ночи. По неподвижному воздуху безустанно разливались звуки быстро несущейся воды и неумолчный говор горных пчел.

Лошади шли легкой рысью. Крис ехал почти у самого края оврага, заглядывал вниз и не переставал восторгаться.

— Посмотри, — вдруг закричал он.

Лют подалась вперед и увидела, как с гладкого утеса прозрачной лентой, легким, неомраченным дыханием срывался поток воды. Он падал в течение многих веков и все же казался неподвижным…

Нематериальный и легкий, как газ, и неизменный в составе и по форме, как близлежащие горы, ручей с безупречной красотой свергался вниз, к стене деревьев, за зеленой ширмой которых он

неведомо куда исчезал, — быть может, превращался в потайной водоворот, грохот которого разносился по окрестности…

Они пронеслись мимо.

Отдаленным глухим ропотом стал уже доноситься шум падающей воды; он то сливался с говором пчел, то совсем замирал.

Во власти одного порыва Лют и Крис взглянули друг на друга.

— О Крис! Как хорошо здесь, как хорошо жить!

Он ответил ей теплым, нежным взглядом.

Они постепенно подымались на высоты, и, казалось, лошадям передалось то возбуждение, которое чувствовали всадники.

Не было никакого признака, предчувствия, предупреждения…

Лют ничего не слышала, но вдруг, за секунду перед тем как лошадь упала, девушка почувствовала, что нарушено единство, с которым неслись обе лошади. Она повернула голову и тотчас же увидела, что Команч падает. Команч не оступился и не споткнулся. Точно его кто-то сразу оглушил страшным ударом… Он упал на землю, но в силу инерции подскочил кверху, глухо застонал и стал скатываться вниз по откосу…

Лют спрыгнула с лошади и, не помня себя от

ужаса, побежала к краю пропасти… Крис вылетел из седла, но правой ногой запутался в стремени и делал напрасные усилия освободиться. Спуск был слишком крутой, и нельзя было надеяться на то, что страшное падение в бездну будет чем-нибудь задержано.

Прижав руку к груди, Лют почти спокойно стояла у края обрыва, и образ погибающего Криса заслонился в ее глазах образом отца, который поднял грозную, призрачную руку и занес ее над лошадью и всадником.

Лют видела, каких усилий стоило Крису высвободить ногу из стремени… Она видела еще, как умный Команч цеплялся за каждый выступ, желая хоть на миг снова овладеть равновесием… Крис вдруг вытянул руку и ухватился правой рукой за молодой куст… Стремя натянулось — казалось, оно сейчас разорвется от напряжения, но через сотую долю секунды корень растения вырвался из рыхлой почвы и вместе с конем и человеком исчез из виду…

Лют оглянулась вокруг…

Одна на свете… Возлюбленный ее ушел — ушел навсегда и унес свою тайну с собой. Словно он никогда и не существовал — остался только след подков Команча.

— Крис! — закричала горестно Лют и повторила: — Крис!

Но напрасно.

Из глубины доносился только говор пчел и — изредка — всплески воды.

— Крис! — закричала Лют в третий раз и медленно опустилась на пыльную дорогу.

Она почувствовала, как прикоснулась к ней забытая Долли; она прильнула головой к шее лошади и стала ждать. Она сама точно не понимала, зачем и чего ждет, но инстинктивно сознавала, что, кроме ожидания, жизнь ничего не сохранила для нее…

Местный колорит

— Я не понимаю, почему бы тебе не использовать своих обширных знаний, — сказал я ему. — Такой энциклопедист, как ты, который к тому же обладает даром выражать свои мысли, с твоим стилем…

— …в достаточной степени газетным, — нежно прервал он меня.

— Вот именно! Ты мог бы прекрасно заработать.

Но он в задумчивости скрестил пальцы и пожал плечами:

— Плохо оплачивается; я пробовал.

Он добавил после паузы:

— Но все же оплачивалось и печаталось… И меня даже почтили принятием на шестьдесят дней в Хобо.

— В Хобо? — осведомился я.

— В Хобо. — Его взгляд остановился на моей книге и пробежал по нескольким строкам в то время, как он сказал мне следующее: — Видишь ли, милый друг, Хобо — это особое место заключения, в котором собраны бродяги, нищие и всевозможные человеческие отбросы. Слово само

по себе красиво и имеет свою историю. Оно французского происхождения. По-настоящему оно звучит: *Hautbois; haut* — значит высокий, а *bois* — дерево. По-английски получается нечто вроде гобоя, деревянного музыкального инструмента. Замечательное дело! Удивительный скачок! Словцо это, перейдя через океан в столицу Северо-Американских Штатов, неведомо по каким причинам изменило свой смысл. В Европе музыкальный инструмент, а в Америке — хулиган. А затем постепенно, по мере того как искажают его смысл, искажают и произношение, и в конце концов получается Хобо.

Я прислонился к спинке кресла и про себя удивлялся этому человеку с энциклопедическим умом, этому простому бродяге, Лейсу Кле-Рандольфу, который чувствовал себя у меня как дома, который очаровывал моих гостей, как и меня, ослеплял блеском и изысканными манерами, тратил мои карманные деньги, курил мои лучшие папиросы и разборчивым взглядом пробегал по моим книжным полкам.

Он подошел к книжному шкафу и взглянул на «Экономические основы общества» Лориа.

— Ты знаешь, я люблю говорить с тобой, — заметил он. — Ты не односторонний человек и

получил основательное образование. Ты очень много читал, даешь свое, как ты там называешь, экономическое толкование истории (с презрительной улыбкой!) и с течением времени выработал свой индивидуальный взгляд на жизнь. Но твои социологические суждения и теории в корне испорчены отсутствием соответствующих практических знаний. Разница между нами та, что — прости великодушно! — я больше твоего читал и к тому же знаю практическую сторону жизни. Понимаешь ли, я пережил свою жизнь, обнажил ее, ухватился за нее обеими руками, пристально вглядывался в нее, ощупывал ее, видел плоть и кровь ее и, как чистый интеллектуалист, не был сбит с толку ни страстями, ни предрассудками. Вот это все, чего недостает тебе и чем владею я, необходимо для ясных и трезвых взглядов на действительность. — Он вдруг воскликнул: — А! Право, интересное место! Послушай!

И своим удивительно ясным голосом он прочел мне вслух несколько строк из книги Лориа, причем по ходу чтения давал свои меткие объяснения и замечания, популярно разъяснял запутанные и непонятные места, по-своему освещал исследуемый вопрос, останавливался на тех пунктах, которые, очевидно, самому автору были

не совсем понятны, — одним словом, искрой своего яркого гения, огненным вдохновением великого ума оживил тяжелые, скучные и безжизненные страницы.

Уж много времени прошло с тех пор, как Лейс Кле-Рандольф впервые постучался у черного входа Айдльальда и покорил сердце Генды. Теперь Генда была холодна, как ее родные норвежские горы, хотя в иные минуты по-прежнему разрешала более приличным бродягам помещаться на черной лестнице и доедать остатки с нашего стола. Но это было безусловно исключительным явлением, что какой-то оборванец, ночной бродяга нарушил священные статуты кухонного царства и задержал обед; больше того — в это самое время Генда отводила ему самый теплый угол, где бы он мог отдохнуть. Ах, эта Генда, этот Подсолнечник с мягким сердцем и мгновенно загорающейся симпатией!

Лейс Кле-Рандольф очаровал ее, и мне доставляло искреннее удовольствие смотреть на нее. У нее вдруг возник новый проект: предложить ему костюм, нужды в котором я никогда больше не почувствую.

— Ну, конечно, — сказал я, — он мне совершенно не нужен. — И мысленно представил себе мой

серый костюм с порванными карманами. — Но все же тебе следовало бы сначала починить карманы.

Лицо Подсолнечника вдруг омрачилось.

— Нет, — сказала она. — Я про черный костюм говорю.

— Черный! — начал я с легким раздражением, словно не веря ее словам. — Ведь я его надеваю довольно часто и даже сегодня вечером думаю надеть.

— У тебя имеются другие костюмы, и получше, — торопливо сказала она. — К тому же он уже блестит.

— Блестит?!

— Еще не блестит, но скоро будет блестеть. А человек этот, правда, почтенный, очень милый, вежливый, и я уверена, что он…

— Знавал лучшие дни?

— Вот именно! Жизнь у него была тяжелая, суровая, и белье вконец изорвалось. Ведь у тебя много костюмов.

— Пять! — уточнил я, считая и темно-серый рыболовный костюм с порванными карманами.

— А у него ни одного… И дома ничего нет…

— Даже Подсолнечника, — сказал я, обняв ее. — Вот почему он заслуживает все. Отдай ему мой

черный костюм. Нет, дорогая, даже не черный, а самый лучший. Небо примет это во внимание и должным образом вознаградит меня.

— Какой ты милый! Какой ты милый! — Подсолнечник направился к двери и с порога послал мне очаровательный, обольстительный взгляд. — Ты настоящий душка.

Она вскоре вернулась робкая, с кающимся лицом.

— Я… я дала ему одну из твоих белых рубах. На нем дешевая, отвратительная бумажная рубаха. При твоем костюме это выглядело бы смешно и глупо. Потом у него были совсем стоптанные ботинки, и я отдала ему твои, с узкими носами, старые.

— Старые?

— Ну да! Ведь они страшно жали.

Уже семь лет прошло со дня первого визита к нам Лейса Кле-Рандольфа. Он часто с тех пор наезжал, и никто из нас никогда заранее не знал, как долго он думает оставаться. Никто не знал и того, когда он приедет, ибо он был подобен комете, странствующей в небесной выси.

Бывало, он приезжает чисто и хорошо одетый, недавно расставшись с высокопоставленными знакомыми, такими же друзьями, как и я.

А иногда — усталый, грязный, скверно одетый, он буквально приползал ко мне неведомо откуда, не то из Монтанаса, не то из Мексики. И, пробыв неопределенное время, не говоря ни слова, не спрашивая совета, весь во власти своего Wanderlust'a, снова уходил — уходил в далекий, мистический и великий мир, который почему-то называл «путем».

— Я не решался уйти до тех пор, пока не поблагодарю вас от всего сердца, — сказал он в тот вечер, когда надел мой лучший костюм.

Сознаюсь, я был искренно поражен, взглянув на него поверх газеты. Я увидел вполне приличного, даже слегка надменного господина, свободного в манерах и развязного в разговоре. Подсолнечник был прав: этот человек безусловно знал лучшие дни, раз черный костюм и свежая рубашка могли произвести такую метаморфозу. Я невольно привстал и поздоровался с ним, как с равным. И вот именно в это время меня покорила обаятельность Кле-Рандольфа. Эту ночь он провел в Айдльальде, затем — следующую и много других ночей. Он был из тех людей, которых нельзя не любить.

Подсолнечник искренно любил его, что же касается меня, то тот же Подсолнечник — свидетель, как часто в отсутствие моего приятеля я гадал о

дне возвращения Лейса — любимого Лейса.

И при всем том об этом человеке мы ровно ничего не знали. Знали только, что он родился в Кентукки; все остальное оставалось покрыто мраком неизвестности. Он никогда не заговаривал об этом. Он всегда хвастал полным противоречием между рассудком и чувством. Весь мир и все явления в нем для него представлялись проблемами. По виду было крайне трудно судить о нем. Часто в разговоре он пользовался всевозможными наречиями, не избегал жаргона; иногда проскальзывал настоящий воровской жаргон, и по лицу, разговору, различным деталям Лейс выглядел преступником. Иной раз это был культурный, вылощенный джентльмен, философ и ученый. Иногда в его разговоре вспыхивали искры большого, неподдельного чувства, ощущался крупный человек, которым он когда-то был, но все это исчезало раньше, чем я успевал разобраться в нем. Это был человек под маской, но маска никогда не приподнималась, и настоящего человека мы не знали.

— Итак, значит, вас за журнальную деятельность почтили шестьюдесятью днями тюремного заключения, — сказал я. — Оставьте в покое Лориа и расскажите мне подробно, как это слу-

чилось.

— Что ж, если вам угодно выслушать… — и он с коротким смехом положил ногу на ногу. — Это случилось в городе, которого мы не назовем, — начал он. — И вот в столице, прекрасной, чудной столице с пятидесятитысячным населением, где мужчины раболепствуют из-за долларов, а женщины из-за нарядов, мне пришла в голову замечательная мысль. Мысль, как каждая мысль, казалась очень заманчивой, и к тому же у меня были совершенно пустые карманы. Собственно говоря, это была старая мысль, которая давно питалась соками моих мозгов. Видите ли, я хотел примирить Канта со Спенсером. Конечно, я примирить их не мог, но просто хотел написать сатиру.

Я нетерпеливо махнул рукой, но он оборвал меня.

— Позвольте, должен же я вам обрисовать то свое душевное состояние, при котором все это случилось. Итак, мысль явилась. Любопытно, какую статью может написать бродяга, хулиган! Написал и отправился в редакцию. Цербер в образе чахоточного юноши в лифте поднял меня наверх.

«Желтоликий юноша, — молвил я, — прошу те-

бя покорно указать мне путь к „святая святых“».

Он удостоил меня усталым презрительным взглядом.

«Вам кого угодно?»

«Редактора, лилейный мой!»

«Какого редактора? — огрызнулся он, как бультерьер. — Драматического? Спортивного? Общественного? Политического? Телеграфного? Телефонного? По отделу хроники? Какого?»

«Не знаю какого. Редактора, — заорал я во все горло. — Только редактора! Главного!»

«Ах, Спарго!» — догадался он.

«Ну, конечно, Спарго, — подтвердил я. — Кого же еще?»

«Вашу карточку позвольте».

«Что такое? Мою?!»

«Карточку! И скажите, по какому делу», — и анемичный цербер смерил меня таким дерзким взглядом, что я достаточно решительно коснулся его худой груди своим кулаком.

Лейс рассеянно взглянул на длинный пепел своей сигары и повернулся ко мне.

— Знаешь, Анак, ты не в состоянии оценить то наслаждение, которое можно себе доставить, если умело разыграть буффона, шута, просто клоуна. Ты, если бы даже захотел, не мог бы это

сделать. Тебе помешали бы эти жалкие мелкие условности и неукоснительные правила приличия. Конечно, разыграть дурака, совершенно не заботясь о последствиях, не может человек-домосед, почитающий законы и обязанности гражданина.

Одним словом, я узрел несравненного Спарго. Это был крупный, мясистый человек, с полным, потным, красным лицом и двойным подбородком. Когда я вошел, он говорил или, вернее, ругался по телефону и направил на меня испытующий взгляд. Повесив на место трубку, он выжидательно посмотрел на меня.

«Вы очень занятой человек?» — спросил я.

Он кивнул головой.

«Стоит ли в конце концов? — спросил я. — Стоит ли так трудиться? Разве жизнь воздаст вам по трудам вашим? Взгляните на меня. Я не пашу и не жну».

«Кто вы такой? Что вам угодно?» — неожиданно зарычал он и напомнил мне собаку, жадно раздирающую кость.

«Ваш вопрос, милостивый государь, я нахожу вполне уместным, — сознался я. — Прежде всего я — человек; во-вторых, угнетенный американский гражданин. Подобно немногим, я не обременен

ни профессией, ни ремеслом, ни надеждами, но, подобно Исаву, я лишен похлебки. Резиденция моя — мир; кровля моя — небо. Я один из лишенных собственности как движимой, так и недвижимой; я — санкюлот, пролетарий, или, проще говоря, бродяга».

«То есть порождение сатаны?»

«Нет, прекрасный сэр, не то; бродяга — это человек, совратившийся с пути истинного, но человек…»

«Достаточно! — закричал он. — Что вам нужно?»

«Денег!»

Он вздрогнул и потянулся к открытому ящику, где, вероятно, лежал револьвер, но передумал и закричал:

«Это не банк!»

«Знаю! К тому же, сэр, я не захватил с собой чека для обмена на наличные деньги; но, сэр, я захватил с собой мысль, которую, с вашего позволения и любезного действия, превращу в наличные. Одним словом, что вы имеете против „Воспоминаний бродяги“, очерка из бродяжнической жизни? Принципиально приемлема ли такая статья? Жаждут ли ее ваши читатели? Умоляют ли слезно о ней? Могут ли быть счастливы

без нее?»

С минуту мне казалось, что его хватит апоплексический удар, но он смирил волнение крови и заявил, что ему нравится мой сильный характер. Я поблагодарил и уверил его, что я сам достаточно люблю его. Затем он предложил мне сигару и высказал предположение, что мы сговоримся.

«Имейте в виду, — сказал он, протянув мне бумагу и карандаш, — что легкомысленной философии и напыщенной фразеологии, к которой вы имеете склонность, я не потерплю. Главным образом, дайте *колорит,* местный оттенок, приправьте его частицей чувства, но, ради Бога, избегайте снотворного начала в духе политической экономии. Не касайтесь социализма, социологии и тому подобной дряни. С начала до конца дайте конкретные факты, трескучие жизненные факты, хрустящие, звонкие, интересные факты, — поняли?»

Я понял и занял у него доллар.

«Не забудьте про местный *колорит»,* — бросил он мне вдогонку.

— Анак, этот местный колорит и подвел меня. Анемичный цербер ухмыльнулся, когда усадил меня в лифт.

«Что получил по шее, а?»

«Нет, бледноликий юноша, нет, лилия моя, — сказал я, проводя мимо его носа бумагой. — Не по шее я получил, а работу, понимаешь? Через три месяца я буду главным редактором у вас, и тогда ты у меня попрыгаешь», — с этими словами я смазал его по физиономии.

— Но как вы могли это сделать, Лейс! — закричал я, словно видя перед собой чахоточного мальчика.

Лейс сухо засмеялся.

— Милый друг мой, вот опять недоразумение! Вами овладело типичное, стереотипное волнение. Оставьте в покое ваш темперамент. Вы, право, не способны к рациональным суждениям. Цербер! Господи, о ком вы говорите! Потухающая искра, потускневшая блестка, слабо пульсирующий, умирающий организм… По-моему, он даже не проблема! В мертворожденных, недоношенных и хилых нет никакой проблемы! И цербер для меня не проблема.

— Местный колорит? — сказал я.

— Ах, да, — сказал он, — я опять уклонился от темы. Ну, и вот — пошел я со своей бумагой в железнодорожный двор (чтобы набраться местного колорита), уселся на ступеньках пульмана и написал чепуху. Конечно, она вышла довольно

остроумной и даже блестящей. Я нашпиговал ее социальными парадоксами, меткими ударами по властям и привел несколько конкретных фактов. С точки зрения бродяги, наиболее прогнившим социальным элементом является полиция. Я решил открыть глаза добрым людям и доказал чисто математически, что обществу гораздо дороже стоит преследовать, исправлять и арестовывать бродяг, чем в качестве гостей через определенные промежутки времени помещать их в лучших отелях. Я достаточно развил это положение, привел должные факты и цифры, указал на расходы по содержанию полиции, судов и тюрем и т. д. Уверяю вас, что это было очень убедительно и совершенно верно; я написал в легком юмористическом тоне, который вызывал смех и некоторое волнение, словно от укола. Главным образом, я указывал на то, что бродяг надувают самым жестоким образом. Общество, желая обезвредить себя от бродяг, отпускает громадные средства, на которые «бывшие люди» могли бы жить припеваючи, а между тем они гниют в тюрьмах. Я вывел на чистую воду одного из полицейских; не забыл также и известного Соль-Гленгарта, самого зловредного из людей и судей. Я указал на все его гражданские провин-

ности, которые хорошо были известны всему городу, но имени его не назвал, а придерживался безличного тона, который, однако, ни у кого не вызывал сомнения относительно верности местного колорита. Не угодно ли тебе послушать часть моего заключения:

«Мы никогда не забываем, что находимся за бортом; наши пути — не их пути; наши способы отличны от способов всех других людей. Мы бедные, заблудшие овцы, отуманенные и забитые, мы плачем о корке хлеба и прекрасно сознаем всю свою беспомощность, ненужность и весь позор. И мы можем воскликнуть, как восклицают наши братья за морем: „Наша гордость в том, чтобы не хранить в душе и следа гордости“. Человек забыл нас, и Господь оставил нас.

О нас помнят только судьи, которые дорожат нашим отчаянием, нашей преступностью, ибо из наших вздохов и слез они куют свои ярко блестящие доллары». Очевидно, я недурно изобразил Соль-Гленгарта.

«Черт возьми! — крикнул Спарго, мигом просмотрев мою рукопись. — Ловкий удар, милый мой!»

Я направил выразительный взгляд на карман его сюртука, и он передал мне одну из лучших си-

гар, которые я когда-либо курил, после чего снова стал просматривать рукопись. Во время чтения он два или три раза вопросительно взглянул на меня поверх листа, но ничего не сказал, пока не закончил.

«Послушай, ты! Где ты до сих пор работал?» — спросил он.

«Мой первый опыт», — сказал я, дергая одной ногой и слегка симулируя замешательство.

«Какое хочешь жалованье?»

«О нет, только не жалованье! — воскликнул я. — Только не жалованье. Покорно благодарю вас. Я человек свободный, американский гражданин, и ни один человек не посмеет сказать, что мое время принадлежит ему».

«А как ты узнал, что я состою при полиции?» — быстро спросил он.

«Я не узнал, но только догадывался, что вы готовитесь к этому, — ответил я. — Вчера утром какая-то очень добрая женщина подала мне три сухаря, кусок сыра и кусок древнейшего шоколадного пирога — все это завернутое в последний номер Clarion'a, из которого я, к великой радости своей, узнал, что кандидат Cowbell'я в шефы полиции не прошел. Точно так же я узнал, что муниципальные выборы на носу, ну и помножил

два на два. Как видите, очень просто».

Он встал, сердечно потряс мою руку и опорожнил свой туго набитый портсигар. Я убрал новые сигары и продолжал попыхивать старой.

«Вы подойдете! — радостно заявил он и указал на мою работу. — Эта дрянь — наш первый выстрел. С вашей помощью мы состряпаем еще много таких выстрелов. Знаете, такого человека, как вы, я ищу уже много лет. Идемте к издателю. — Я отрицательно покачал головой. — Ну же, идем, — настаивал он. — Без глупостей! Вы необходимы Cowbell'ю, он давно жаждет вас, ищет повсюду и не будет знать покоя, пока вы не будете принадлежать ему».

Спустя только полчаса Спарго сдался.

«Но помните, — сказал он, — что всегда, когда бы вы ни обратились ко мне, я приму вас и выдам вам дукаты».

Я поблагодарил его и попросил сейчас же выдать мне гонорар за работу. Узнав, что гонорар выдается по четвергам после напечатания, я попросил у Спарго несколько монет взаймы и получил тридцать долларов.

Я намеревался сунуть церберу пять долларов, но, к моему удивлению, он наотрез отказался. Тогда я схватил его за шиворот, выбил из него то

небольшое количество духа, которое еще было в нем, согнул его пополам и опустил в его карманы две монеты в пять долларов, но только лифт тронулся, как обе монеты покатились за мной вдогонку.

Не успел я завернуть за угол, как за плечом моим раздался голос:

«Здорово, бродяга! Куда?»

Это был Чи-Слим, с которым я однажды встретился, когда был сброшен с парохода в Джэконсвилле.

Тут с губ Лейса заструился жаргонный поток, и я остановил его.

— Ах да! — весело воскликнул он. — Я и забыл, что вы не знаете нашего жаргона. Одним словом, Слим рассказал мне, что за городом находятся наши парни. Мы и пошли туда. Приняли меня очень хорошо и даже решили все вместе немедленно собрать милостыню и после годичной разлуки со мной должным образом почтить мое возвращение. Но я, ни слова не говоря, выкинул свою выручку, и Слим немедленно пошел за напитками. Удивительно, какое количество вина можно купить на тридцать долларов, и не менее удивительно то, какое количество вина могут выпить двадцать молодцов. Это была замечатель-

ная, величественная оргия под открытым небом. В качестве этюда примитивной животности это собрание преступников и бродяг было верхом совершенства. Для меня в пьяном человеке всегда есть что-то чарующее, и будь я президентом Соединенных Штатов, я непременно учредил бы «Общедоступные курсы практического пьянства». Они имели бы большой успех, уверяю вас.

Но к делу! В результате оргии на следующий день рано утром всю нашу шайку схватили и отвезли в тюрьму. После завтрака, часов в десять, нас выстроили всех в ряд в присутствии судьи в пурпурной мантии, с крючковатым носом и блестящими бисерными глазами. Словом, перед Соль-Гленгартом.

«Джон Амброз», — вызвал клерк, и Чи-Слим поднялся, продемонстрировав опытность бывалого человека.

«Бродяга, Ваша честь», — сказал судебный пристав, и его честь, не удостоив подсудимого даже взглядом, проронил: «Десять дней», и Чи-Слим сел.

Разбирательство пошло дальше с однообразием и монотонностью часового механизма: пятнадцать секунд на человека, четыре человека в минуту! Грязные лица поднимались и тотчас

же, как марионетки, опускались. Клерк называл фамилию, пристав — вину, судья — приговор, и человек садился. Ну да, просто? И превосходно.

«Л. К. Рандольф!» — вызвал клерк.

Я встал, но в процессе судопроизводства произошла заминка. Клерк что-то шепнул судье, а пристав улыбнулся.

«Если не ошибаюсь, мистер Рандольф, вы — журналист», — сладко сказал его честь.

Я очень удивился его заявлению, ибо в перипетиях последнего вечера и утра я совершенно забыл про Cowbell, а теперь увидел себя на краю пропасти, которую сам себе вырыл.

«Это мое личное дело, ваша честь».

«Вы, очевидно, очень интересуетесь местными делами, — сказал он и взял в руки Gowbell. — Колорит хорош, безусловно, — пояснил он, одобрительно подмигнув глазом, — картина сделана великолепно и широкими мазками. Предполагаю, что судью, которого вы так хорошо обрисовали, вы взяли из жизни?»

«Не могу сказать, ваша честь! Это, собственно говоря, интуиция. Я просто намечал тип, как он мне представлялся».

«Но все-таки, сэр, местный колорит безусловно имеется», — продолжал он.

«Несколько ниже», — объяснил я.

«Значит, судья не взят из жизни?»

«О, нет», — смело заявил я.

«А могу осведомиться, сколько вы получили за эту работу?»

«Тридцать долларов, ваша честь».

«Гм, хорошо! — И его тон резко переменился. — Имейте в виду, молодой человек, что местный колорит — вещь очень дурная, а потому приговариваю вас к тридцати дням заключения, что при вашем желании могу заменить штрафом в тридцать долларов».

«Увы! Я истратил все свои деньги, кутнул вчера».

«И еще тридцать дней за неразумную трату заработка. Следующий!» — обратился он к клерку.

Лейс чиркнул спичкой, зажег потухшую сигару и раскрыл лежащую на коленях книгу:

— Возвращаясь к нашему разговору, хочу спросить тебя, Анак, не находишь ли ты, что, хотя Лориа к вопросу о раздвоении личности подходит с большой осторожностью, тем не менее он упускает из виду один весьма важный факт, а именно…

— Да, — сказал я рассеянно, — да!

Любимцы Мидаса

Уэд Этчелер умер — покончил самоубийством. Было бы неправдой сказать, что его смерть явилась полной неожиданностью для той небольшой компании, в которой он чаще всего бывал. И при всем том, мы, наиболее близкие его друзья, никак не ожидали такого трагического конца. До известной степени можно допустить, что мы были подготовлены к этому какими-то, на первый взгляд, непонятными, подсознательными обстоятельствами.

До того, как случилась эта смерть, сама мысль об ее возможности была бесконечно далека для нас, но в ту самую минуту, когда мы узнали, что Уэд Этчелер умер, нам показалось, что мы уже очень давно ждали его кончины и были уверены, что иначе и не могло быть. Так сказать, методом обратного анализа, вспомнив его тяжелое душевное состояние, мы легко объяснили себе этот факт. Я пишу «тяжелое душевное состояние» и подчеркиваю это выражение. Молодой, красивый, вполне обеспеченный материально, как правая рука известного магната «короля трамвая» Эбена Хэля, Уэд Этчелер, казалось бы,

ни на что в общем не мог жаловаться. И, тем не менее, мы видели, как под воздействием какого-то неведомого и всепоглощающего горя его гладкий, чистый лоб избороздили морщины. Мы видели также, как его густые, черные кудри поредели и посеребрились, словно молодые побеги под палящим солнцем в засуху. Никто из нас не мог забыть того, как посреди самого буйного веселья, которого в последнее время он все чаще и все более жадно искал, — никто, повторяю, не мог забыть, как им вдруг овладевали глубокая рассеянность и мрачное настроение. В такие минуты, когда наши шалости доходили до апогея, внезапно, без всякой видимой причины, глаза его тускнели, лоб прорезали морщины, а лицо судорожно подергивалось от невыносимых нравственных мук… Он стискивал руки и, казалось, на краю пропасти боролся с какой-то неведомой нам опасностью.

Он никогда не говорил нам о своем горе; мы же были достаточно корректны и не расспрашивали его. Но все равно это ничего бы не прояснило. Если бы даже он поделился с нами своей тревогой, если бы даже мы знали все, ни наша помощь, ни наши силы не отвратили бы страшных событий.

С тех пор, как умер Эбен Хэль, при котором он

состоял в качестве доверенного и ответственного секретаря (кроме того, приемного сына и полноправного компаньона!), он не появлялся больше в нашей компании. Как я узнал теперь, он перестал встречаться с нами вовсе не потому, что ему разонравилось наше общество. Нет! Его горе было так велико, что он просто боялся нарушить наше веселое и радостное настроение и, с другой стороны, не был уверен в том, что найдет у нас утешение. В то время мы ничего не знали, ничего не понимали, так как было обнародовано завещание Эбена Хэля, который назначил Уэда единственным наследником своего многомиллионного богатства и в специальном примечании оговорил, что право Уэда распоряжаться им абсолютно ничем не ограничивается. Родственники покойного не получили ни единого цента наличными и ни единой акции. Что же касается семьи, то Эбен Хэль указал в завещании, что Уэду Этчелеру предоставляется неограниченное право выдавать вдове и сиротам любые суммы и в любые сроки по своему усмотрению. Все это было бы еще понятно, если бы семья покойного считалась неблагополучной или сыновья вели себя неподобающе в обществе. При подобных обстоятельствах в этом бессмысленном завеща-

нии можно было бы отыскать хоть крохотный проблеск разума. Но семейное счастье Эбена Хэля вошло у нас в поговорку, и много пришлось бы потрудиться тому чудаку, который пожелал бы найти более здоровое, чистое и прекрасное поколение, чем его сыновья и дочери… Если бы еще его жена… Но кто же не знает, что эту редкую женщину мы любовно называли «мать Гракхов».

Понятно, что в продолжение нескольких дней только об этом непонятном завещании и говорили. Но возбужденная обывательщина была окончательно разочарована, когда узнала, что никакого процесса не предвидится и никто не собирается оспаривать прав Уэда Этчелера.

Еще только на днях Эбен Хэль упокоился в своем замечательном мраморном мавзолее, и вот уже не стало и Уэда Этчелера… Сообщение об этом напечатано в сегодняшних утренних газетах. И я как раз только что получил от него по почте письмо, которое, судя по всему, было отправлено незадолго до того, как он ушел из жизни. Письмо это, которое сейчас лежит предо мной, — это, собственно, его рассказ, дополненный рядом газетных выдержек и копиями из писем. Как он сообщал мне, оригиналы этих же писем он передал в руки полиции. Меня лично

он просил, используя гласность, предупредить и предостеречь общество от страшной опасности, угрожающей его существованию. Он полагал, что читателям небезынтересно будет познакомиться с той ужасной серией трагических происшествий, невинной жертвой которых он стал.

Я счел наиболее благоразумным опубликовать все его послание ко мне.

* * *

Удар разразился в августе 1899 года, как раз после моего возвращения с летнего отдыха. Но в то время мы еще ничего не знали. В школах нас не приучили к восприятию таких страшных возможностей. Мистер Хэль открыл письмо, прочел его и со смехом перебросил на мой письменный стол. Просмотрев его, я в свою очередь расхохотался:

— Какая глупая шутка! Во всяком случае, мистер Хэль, письмо это свидетельствует о довольно дурном вкусе авторов!

Дорогой Джон, я посылаю тебе точную копию этого странного послания.

«Канцелярия „Л. М.“
17 августа 1899 года.

Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю. Предлагаем вам реализовать известную часть вашего имущества с тем, чтобы выручить наличными деньгами двадцать миллионов долларов. Эту сумму мы просим вас уплатить нам или же нашим агентам. Благоволите обратить внимание на то, что мы никоим образом не намерены торопить вас. Если вы найдете это для себя более удобным, то можете уплатить нам деньги в десять, пятнадцать или же двадцать сроков, но предупреждаем вас, что меньше одного миллиона за раз мы никак не можем принять.

Убедительно просим вас, любезный мистер Хэль, верить нам, что никакие дурные чувства к вам в данном случае не руководят нами. Мы принадлежим к тому интеллигентному пролетариату, число членов которого неуклонно выросло за последние годы девятнадцатого столетия. Всестороннее изучение экономических наук вынудило нас выбрать этот путь, который имеет ряд преимуществ и, в первую голову, дает возможность орга-

низовать очень крупные и выгодные операции, не имея основного капитала. До сих пор мы работали вполне успешно и позволяем себе надеяться, что и с вами нам удастся завязать приятные и удовлетворительные отношения.

Просим вас отнестись с должным вниманием к изложению нашей тактики. В основе нынешней социальной системы лежит право собственности. И это право *индивидуума* владеть своей собственностью покоится, как показали последние весьма тщательные исследования, исключительно и безусловно на *силе.* Одетые в кольчугу рыцари Вильгельма Завоевателя раздробили и поделили Англию только с помощью обнажённого меча. Мы уверены, вы согласитесь с нами, что подобное положение сохраняет свою силу в отношении всех феодальных владений. С изобретением пара и последовавшей вслед за тем Индустриальной Революцией появился на свет божий Капиталистический Класс в современном значении этого слова. Капиталисты чрезвычайно быстро взяли верх над прежней

аристократией. Рыцари индустрии очень ловко вытеснили с арены потомков рыцарей войны. Мозг, а не мускулы, играет теперь главную роль на всех поприщах человеческого существования. Но подобное положение вещей точно так же зиждется на *силе.* Перемена заключалась лишь в *качественном* отношении. Прежние феодальные бароны грабили мир огнем и мечом. Нынешние же денежные бароны эксплуатируют мир тем, что поработили все мировые экономические силы, которые работают в их пользу. Остается в силе прежнее положение: не труд, а мозг! И вот что дает возможность побеждать более сильным в коммерческом и интеллектуальном отношении.

Мы, „Л. М.“, не желаем оставаться на положении наемных рабов. Мощные тресты и промышленные организации (к которым принадлежите и вы) препятствуют нам занять то место, на какое мы имеем право благодаря нашим способностям. Почему? Да только потому, что у нас нет капитала! Мы принадлежим к „неумытым“, но с той разницей, что

мы одарены первоклассными умами и лишены всяких этических и социальных предрассудков. В качестве наемных рабов, которые должны начать работу рано и закончить ее поздно, как бы экономно мы ни жили, нам не удалось бы и за шестьдесят лет (да и в двадцать раз по шестьдесят лет!) собрать достаточно денег для того, чтобы успешно бороться с нынешними могущественными капиталистическими объединениями. Тем не менее мы решили выступить на арену. Мы бросаем отважный вызов мировому капиталу. Хочет он бороться или же не хочет, все равно: бороться ему придется!

Мистер Хэль, наши интересы настоятельно диктуют нам необходимость требовать от вас двадцать миллионов долларов. Хоть мы и даем вам известный срок для реализации ваших ценностей, все же предлагаем вам не очень затягивать выплату денег. Если вам угодно принять наши условия, потрудитесь поместить соответствующее объявление в некрологическом отделе „Утреннего Света“. После этого мы выработаем

совместный план получения причитающихся с вас денег. Лучше всего, если вы назначите для этого любой день до 1 октября. Если же наше условие будет отвергнуто вами, то с целью доказать вам серьезность своих намерений мы убьем человека на Восточной Тридцать Девятой улице. Это будет рабочий. Этого человека не знаете как вы, так и мы. Вы представляете собой известную силу в современном обществе. Точно так же мы представляем собой силу — силу новую! Без гнева и злобы мы сошлись с вами в бою. Если вам угодно будет серьезно разобраться в нашем предложении, то вы согласитесь, что оно — чисто делового характера. Вы — верхний жернов, мы — нижний, и эта человеческая жизнь будет размолота между нами. Вы еще можете спасти его, если своевременно согласитесь на наши условия.

Некогда жил король, который был проклят тем, что превращал в золото все, чего бы ни касался. Его именем мы воспользовались как нашим официальным фабричным клеймом. Надо думать, что в свое время, желая избавить себя от подражателей, мы заявим на него авторские права.

С совершенным уважением,
Любимцы Мидаса».

Милый Джон, представьте себе, как развеселило нас это письмо. Нельзя отрицать, что идея была очень недурна, но было бы очень смешно, если бы мы хоть сколько-нибудь серьезно отнеслись к такому забавному предложению. Мистер Хэль сказал, что сохранит письмо как литературный курьез и сунул его в какой-то ящик своего бюро. Естественно, через пару дней мы совершенно забыли о нем. Но представьте себе наше изумление, когда, разбирая утром 3 октября полученную почту, мы наткнулись на следующее письмо:

«Канцелярия „Л. М.“
1 октября 1899 г.
Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю. Милостивый Государь! Вашу жертву

постигла та судьба, которая была ей предназначена. Час тому назад на Восточной Тридцать Девятой улице убит рабочий ударом ножа в сердце. В то время, как вы будете читать это наше письмо, его тело уже будет перенесено в морг. Сходите и полюбуйтесь делом рук ваших.

Если к 14 октября вы, придерживаясь своей прежней тактики, не выполните наших требований, то с той же целью доказать всю серьезность наших намерений мы убьем полисмена на углу Польк-стрит и Клермон-авеню — на углу или же поблизости тех мест.

С сердечным приветом,
Любимцы Мидаса».

Мистер Хэль снова рассмеялся. Весь его мозг был во власти предстоящей крупной сделки с чикагским синдикатом, касающейся приобретения всех местных городских железных дорог, и поэтому он продолжал диктовать своей стенографистке, не удостоив письмо хоть сколько-нибудь серьезного внимания. Не знаю почему, но на меня это письмо произвело очень тяжелое впечатление. «А что, если все это вовсе не шутка?»

— спросил я самого себя и невольно схватил утреннюю газету.

Я наткнулся именно на то, что нужно. Как и подобало незначительному существу из низшего класса, *ему* было посвящено всего несколько строк, загнанных куда-то в угол, рядом с аптекарским объявлением. Заметка гласила следующее:

«Сегодня утром, в начале шестого, на Восточной Тридцать Девятой улице убит ударом ножа в сердце рабочий Пет Лескаль, направлявшийся на завод. Неизвестный убийца скрылся. Полиция еще не успела выяснить причин этого злодеяния».

— Это невозможно! — воскликнул Эбен Хэль, когда я прочел ему эту заметку. Но видно было по всему, что инцидент произвел на него впечатление, потому что после обеда, всячески обвиняя себя в том, что обращает слишком большое внимание на такие пустяки, он попросил меня навести в полиции справку о положении вещей. К моему непередаваемому удовольствию, в участке полицейского инспектора меня буквально подняли на смех, но я все же добился от них обещания, что в ночь на 14 октября угол Польк-стрит и Клермон-авеню будет особенно тщательно патрулироваться. И мы забыли об

этом инциденте. Так прошли две недели, когда почта снова принесла нам такое послание:

«Канцелярия „Л. М.“
15 октября 1899 г.
Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю. Многоуважаемый сэр! Ваша вторая жертва пала в точно назначенное время. Мы нисколько не торопимся, но для того лишь, чтобы усилить давление на вас, мы отныне станем убивать еженедельно. Для того же, чтобы избежать нежелательного вмешательства полиции, мы будем извещать вас об убийстве либо одновременно с событием, либо чуть-чуть раньше. В надежде, что вы находитесь в добром здравии, просим принять уверения в полном уважении.

Любимцы Мидаса».

Мистер Хэль тут же схватил газету и, быстро отыскав интересующую нас заметку, прочел вслух следующее:

«**Возмутительное убийство**
Джозеф Донагю, лишь сегодня ночью специально назначенный на дежурство

в Одиннадцатом Участке, убит наповал выстрелом в голову. Убийство совершено при полном освещении уличных фонарей на углу Польк-стрит и Клермон-авеню. Поистине устои нашего общества окончательно подгнили, если охранители его мира и спокойствия гибнут подобным образом, чуть ли не на виду у всех. До сих пор полиции не удалось получить ни малейших указаний на то, кем и почему был убит Джозеф Донагю».

Мистер Хэль еще не успел дочитать, как к нам явился сам полицейский инспектор в сопровождении двух лучших сыщиков. Они были сильно встревожены и взволнованы не на шутку. Несмотря на то, что факты были крайне немногочисленны и просты, мы очень долго всячески разбирали трагическое происшествие. Уходя, полицейский офицер уверил нас, что им будут приняты чрезвычайные меры для того, чтобы преступники были схвачены и понесли должную кару. Он также заявил, что не мешает поставить несколько человек для личной охраны как мистера Хэля, так и меня. Кроме того, несколько человек были размещены на отдельных постах

вокруг дома и служб. Спустя неделю, ровно в час пополудни, мы получили следующую телеграмму:

«Канцелярия „Л. М.“
21 октября 1899 г.

Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю. Многоуважаемый сэр! Нам крайне неприятно констатировать факт, что вы совершенно не понимаете нас. Мы узнали о том, что вы окружили себя лично и ваш дом вооруженными людьми, из чего заключили, что вы принимаете нас за самых обыкновенных преступников, способных напасть на вас и силой забрать двадцать миллионов. Смеем уверить вас, что, предполагая это, вы крайне далеки от понимания наших истинных намерений.

Если вам угодно будет несколько более трезво вдуматься в положение вещей, то вы, конечно, легко поймете, что ваша жизнь крайне дорога нам. Не бойтесь! Ни за что на свете мы не причиним вам никакого вреда. Напротив, вся наша тактика заключается именно в том, чтобы

дорожить вашей жизнью и избавить вас от какого бы то ни было зла. Ваша смерть ровно ничего не может дать нам. Если бы она была нам нужна, то, будьте уверены, мы давно покончили бы с вами. Хорошенько подумайте над этим, мистер Хэль! Как только вы согласитесь выдать нам требуемые деньги, все ваши беспокойства и волнения кончатся. Поэтому мы усиленно рекомендуем вам как можно скорее рассчитать охранников и сократить ненужные расходы.

Еще до истечения десяти минут с момента получения вами этой телеграммы в Брентвуд-парке будет задушена молодая девушка-нянька. Тело ее можно будет найти в кустах за дорожкой, влево от музыкальной эстрады.

С сердечным приветом,
Любимцы Мидаса».

В тот же миг мистер Хэль схватил телефон и предупредил полицейского инспектора о готовящемся убийстве. Инспектор ответил, что тотчас сообщил в главную квартиру и одновременно послал людей в Брентвуд-парк. Ровно через пять

минут он снова позвонил нам и сказал, что тело, еще теплое, найдено в указанном месте. В тот же вечер все газеты пестрели сенсационными, крупно набранными заметками о новом Джеке-Душителе. Наряду с осуждением неслыханной жестокости газеты упрекали полицию в полной беспомощности. Мы снова заперлись с инспектором, который Господом Богом заклинал нас все держать в глубокой тайне, уверяя, что весь успех дела зависит от нашего молчания.

Как нам известно, мистер Хэль был железный человек. Он ни за что на свете не хотел сдаваться. Ах, Джон, это было странно, это было ужасно — таинственное нечто, слепая сила во мраке. Мы не могли бороться, не могли строить какие-либо планы, и нам оставалось только сидеть сложа руки и ждать… Недели следовали за неделями, и регулярно каждую неделю, так же регулярно, как всходило солнце на небе, к нам приходило сообщение о смерти какого-нибудь человека — мужчины или женщины, виновного или совершенно невинного — убитого нами, именно нами, так, как будто мы убили его нашими же руками. Стоило мистеру Хэлю произнести только одно слово, и эта бойня немедленно прекратилась бы. Но суровым и жестоким стало его сердце, и он

ждал. Между тем все глубже и глубже становились морщины на его лице, суровее глядели глаза, мрачнее сжимались губы, и все лицо старилось с каждым днем, с каждым часом. По-моему, нет нужды, Джон, говорить вам о том, что я лично переживал в этот страшный период. Вам стоит для этого просмотреть приложенные при сем письма и телеграммы Любимцев Мидаса, а также вырезки из газет для того, чтобы получить должное представление о всех случаях убийств, организованных этими злодеями.

Вы, вероятно, еще обратите свое внимание на то, что они часто письменно предупреждали мистера Хэля о махинациях его коммерческих врагов и некоторых секретных манипуляциях его конкурентов. Казалось, что Любимцы Мидаса все время держат руку на пульсе всего делового и финансового мира. Они весьма часто обладали сведениями, которых наши агенты никоим образом не могли получить. Между прочим, сделанное ими своевременное предупреждение спасло мистеру Хэлю пять миллионов долларов. А в другой раз они послали нам телеграмму, предупреждающую о готовящемся покушении на моего патрона со стороны анархиста. Мы арестовали этого человека, как только он явился к нам,

и передали его в руки полиции, которая нашла у него изрядную порцию нового взрывчатого вещества, вполне достаточного для взрыва целого броненосца.

Мы упорствовали. Мистер Хэль держал себя молодцом и ни за что не хотел уступать. Он стал тратить уже по сто тысяч в неделю на «секретную службу». Были призваны на помощь многочисленные пинкертоны и специальные детективные агентства, к которым присоединились тысячи лиц, числящихся у нас на службе. Все вместе они находили тысячи улик. Сотни людей были арестованы. Тысячи были взяты на подозрение, но ничего более или менее серьезного обнаружить не удавалось. Любимцы Мидаса чуть ли не каждый раз меняли свои способы общения с нами. Каждый агент, являвшийся к нам с поручением от их имени, немедленно подвергался аресту, но неизменно каждый раз оказывалось, что это были совершенно невинные люди, которые сами не знали, что делают и какое поручение выполняют. Еще нужно указать на то, что описание их примет никогда не совпадало с приметами, которые нам сообщали раньше. В последний день декабря мы получили следующее письмо:

«Канцелярия „Л. М.“
31 декабря 1899 г.

Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю. Многоуважаемый сэр! Применяя все ту же тактику — с ней, смеем надеяться, вы уже достаточно познакомились! — мы решили выдать сегодня пропуск из сей юдоли слез полицейскому инспектору Байингу, с которым благодаря нам вы так близко в последнее время сошлись. По своему обыкновению, он в настоящее время находится в своем кабинете. В тот момент, как вы просматриваете наше письмо, он испускает последнее дыхание.

С сердечным приветом,
Любимцы Мидаса».

Я бросил письмо и подбежал к телефону. Можете представить мою радость, когда я услышал бодрый голос инспектора. Но, продолжая разговор, я вдруг услышал, как его голос начинает замирать, слова сменяются отчаянным хрипом и тут же уловил звук падающего на пол тела. Затем чей-то чужой голос окликнул меня, передал привет от Любимцев Мидаса и повесил трубку.

С быстротой молнии я соединился с главной полицейской квартирой и предложил начальнику немедленно послать людей в кабинет инспектора Байинга. Я продолжал стоять у телефона, когда через несколько минут мне сообщили, что инспектора нашли плавающим в луже крови, при последнем издыхании. Не было никаких свидетелей, и никто не мог дать ни малейших сведений о том, как все произошло.

После этого мистер Хэль довел свои расходы на секретную службу до четверти миллиона в неделю. Он решил во что бы то ни стало выйти победителем из этой страшной игры. Сумма наград, назначенных за поимку преступников, достигла десяти миллионов. Вы имеете приблизительное представление о его богатстве и можете понять, как широко он поставил это дело. Он постоянно утверждал, что в данном случае ему дороже всего принцип, а не деньги сами по себе, и все его поступки вполне подтверждали и подчеркивали благородство его намерений. Была призвана на помощь полиция всех крупных городов. Мало того: в дело вмешалось правительство Соединенных Штатов, и вопрос приобрел общегосударственное значение. Были ассигнованы значительные средства из государственных фон-

дов на поиски Любимцев Мидаса и одновременно объявлена мобилизация всех правительственных агентов. Но все напрасно! Любимцы Мидаса продолжали свою страшную работу с прежней регулярностью и последовательностью, которой, казалось, ничто не могло помешать.

В то же время, напрягая последние силы в борьбе, мистер Хэль никак не мог, однако, смыть ту кровь, которая пролилась по его вине. Конечно, формально он был совершенно не виноват, и обвинять его в прямом убийстве не отважился бы самый строгий состав присяжных заседателей, — но все же известная доля вины в смерти того или иного человека лежала на нем. Как я уже писал раньше, достаточно было одного его слова — и бойня прекратилась бы. Но он категорически отказывался произнести это слово. Он настаивал на том, что речь идет о неприкосновенности и безопасности всего общества, и дело вовсе не в том, что тот или иной трус постыдно сбежит со своего поста, жизненная справедливость требует, чтобы малая часть принесла себя в жертву ради большинства, ради всего остального человечества. И все же кровь была на нем, и он чувствовал это, и с каждым днем становился все угрюмее и удрученнее. Он как бы прикрывал своих соучаст-

ников, которые безжалостно убивали грудных младенцев, детей, взрослых, пожилых, стариков, причем эти ужасные убийства происходили не только в нашем городе, но в самом скором времени распространились по всей стране.

Как-то раз, в середине февраля, когда мы сидели в библиотеке, раздался сильный стук в дверь. Я подошел к двери, открыл ее и нашел на ковре в коридоре следующее послание:

«Канцелярия „Л. М.“
15 февраля 1900 г.

Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю. Многоуважаемый сэр! Неужели же ваша душа не возмущается той страшной кровавой жатвой, которая является делом ваших рук? Быть может, мы несколько абстрактно вели до сих пор наши переговоры и дела с вами? В таком случае разрешите нам перейти к более конкретным действиям. Как вам известно, мисс Аделаида Ледлоу, молодая девушка, столь же талантлива, сколь красива. Она — дочь вашего старого и лучшего друга, судьи Ледлоу, и нам случайно стало известно, что в свое время, когда она была еще ребенком, вы носили ее на руках. Она — близкая подруга вашей дочери и в настоящее время находится у вас в гостях. Так вот, разрешите довести до вашего сведения, что в настоящую минуту, когда вы читаете это наше письмо, визиту мисс Ледлоу пришел преждевременный конец.

Сердечно преданные вам,
Любимцы Мидаса».

Господи Боже мой! Вы можете представить

себе, Джон, что было с нами, когда мы прочли эти строки! Мы немедленно бросились в гостиную, но там девушки не оказалось. Тогда мы поспешили в ее комнаты, в которых она всегда останавливалась, когда приезжала к Хэлям. Дверь была заперта, но мы высадили ее собственными телами. Она лежала мертвая. Видно было, что она одевалась, готовясь поехать в оперный театр. Ее задушили подушками, снятыми с кровати. Тело ее еще хранило теплоту, а со щек еще не успел сбежать румянец. Разрешите мне не продолжать описание этого ужаса. Я не сомневаюсь, что вы ясно помните все газетные отчеты по этому делу.

Поздно ночью мистер Хэль пригласил меня к себе и потребовал поклясться Господом Богом, что я всегда буду помогать ему действовать в том же направлении и не скомпрометирую его имени, если бы даже для этого пришлось пожертвовать всем его имуществом, до последнего цента.

На следующий день он поразил меня своим превосходнейшим настроением. Мне казалось сначала, что последнее трагическое происшествие должно страшно подействовать на него, — и только впоследствии убедился, до чего он на самом деле был потрясен… Весь день он шутил, оставался очень веселым, остроумным,

словно нашел, наконец, выход из создавшегося ужасного положения. А на следующее утро он был найден мертвым в постели, с ясной улыбкой на похудевшем челе: он покончил самоубийством с помощью удушливого газа. Полиция и власти пошли нам навстречу, позволив официально объяснить смерть Эбена Хэля разрывом сердца. Нам казалось, что будет гораздо полезнее, если мы скроем правду, но в общем-то это нам совершенно не помогло. Впрочем, никто и ничто не могло уже помочь нам!

Едва я вышел из комнаты покойного, как — увы, слишком поздно — мне подали следующее экстраординарное письмо.

«Канцелярия „Л. М.“
17 февраля 1900 г.

Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю. Многоуважаемый сэр! Мы надеемся, что вы простите наше столь скорое обращение к вам спустя только три дня после последнего печального происшествия. Но то, что мы имеем сейчас сказать вам, не терпит отлагательства: это заявление крайней важности. Мы подумали о том, что вы, быть может, пожелаете скрыться

от нас. Само собой разумеется, для этого имеется только один путь, который для вас так же ясен, как и для нас. Но мы хотим уведомить вас, что даже этот единственный путь тоже отрезан для вас. Вы можете умереть, но умрете побежденным и признавшим свое поражение. Обратите внимание на следующее: *Мы являемся неотъемлемой частью ваших владений. Вместе с вашими миллионами мы перейдем к вашим наследникам навсегда!*

Мы — неизбежное! Мы — кульминационный пункт индустриальной и социальной несправедливости. Мы падаем на голову общества, которое вскормило нас таковыми. Мы — удачливые неудачники нашей эпохи, мы — бичи и скорпионы упадочной цивилизации.

Мы — создания вывернутого наизнанку социального подбора. Силе мы противоставим нашу силу. Выдержать и победить может только сила. Мы верим, что выживут только те, кто умел приспособиться. Вы втоптали в грязь ваших наемных рабов и поэтому выжили. По вашему приказанию военные вожди во время нескольких десятков кровавых забастовок, как собак, перестреляли рабочих — и вот что помогло вам выжить! Мы нисколько не жалуемся на подобные результаты, так как знаем, что и мы сами подчинены тем же самым стихийным законам. Теперь возникает лишь один вопрос: *при нынешних социальных условиях кто из нас переживет другого?* Вы уверены, что вы наиболее приспособлены. Мы же верим, что мы-то всех крепче. Разрешение этого вопроса мы предоставим времени и естественным законам.

С сердечным приветом,
Любимцы Мидаса».

Джон, вы все еще удивляетесь, почему я уклонялся от веселья и избегал друзей? Стоит ли

продолжать дальнейшие объяснения? Ведь этот рассказ раскроет вам все карты, до единой. Три недели назад умерла Аделаида Ледлоу. С тех пор я стал жить в ожидании и страхе. Вчера состоялось мое утверждение в правах наследства, о чем было доведено до всеобщего сведения, а сегодня, несколько минут назад, мне сообщили, что женщина средних лет убита в Гольден-Гэт-парке, недалеко от Сан-Франциско. Телеграммы утренних газет принесли все подробности этого кошмарного убийства — подробности, которые вполне сходятся с теми, которые я узнал, так сказать, авансом.

Борьба бесполезна. Бороться с неизбежным я не могу. Я всей душой был предан мистеру Хэлю и сделал все, что было в моих силах. Признаться, я сам не понимаю, почему за такую преданность я должен быть *так* вознагражден. Я не смею обмануть выраженное мне доверие, как и не смею нарушить данное слово. Но все же я решил, что не буду больше участником этой бойни. Те большие миллионы, которые я получил на днях, я возвращаю законным наследникам. Пусть крепкие и выносливые сыновья Эбена Хэля попробуют отстоять свои права и богатства.

Еще до того, как это письмо попадет в ваши

руки, меня уже не будет в живых. Любимцы Мидаса — всемогущи. Полиция абсолютно беспомощна. Я узнал из достоверных источников, что подобные же письма получали и получают другие миллионеры, но неизвестно, кто и что получал, потому что стоило кому-нибудь из них поднять шум, как на его уста накладывалась печать вечного молчания. Те же, кто сдерживался, пожинали ту же кровавую жатву, что и мы. Игра подходит к концу. Федеральное правительство ровно ничего не может сделать. Мне сообщили, что подобные организации возникли уже и в Европе. Общество потрясено в самых своих основах. Малые княжества и великие державы — не больше чем топливо, которое ждет своего пожара. Вместо масс, восстающих против класса, теперь класс восстал против классов. Мы, стражи человеческого прогресса, повергнуты во прах. Закон и порядок обанкротились самым постыдным образом.

Власти убедительно просили меня держать все это в глубокой тайне. Пока я мог, я делал это; теперь же я больше не в силах молчать. Это превратилось в вопрос общественной важности — в вопрос, чреватый чрезвычайно тяжелыми последствиями, и я полагаю, что мой долг заключается в том, чтобы до ухода из сей жизни предупредить всех о страшной опасности. Последняя моя просьба к вам, Джон, сводится к тому, чтобы вы обнародовали мое письмо к вам. Не бойтесь ничего! Судьба всего человечества ныне в ваших руках. Пусть пресса выпустит это миллионными тиражами! Пусть электрические провода разнесут это по всему миру! Где бы люди ни встретились и ни разговорились, пусть первым делом говорят об этом! И тогда, когда общество вдумается в создавшееся положение вещей, пусть оно поднимется во всей своей силе и мощи и уничтожит это гнусное порождение наших дней.

Примите прощальный привет от вашего

Уэда Этчелера.

Рассказ укротителя леопардов

Глаза его неизменно хранили мечтательное и отсутствующее выражение, и это вместе с печальным, мягким, как у девушки, голосом говорило о какой-то глубокой и безысходной меланхолии. Он был укротителем леопардов, но по внешнему виду этого никак нельзя было сказать. Повсюду, где бы он ни проживал, его профессиональная обязанность заключалась в том, что в присутствии многочисленной публики он входил в клетку с леопардами и нервировал эту публику, демонстрируя самые разнообразные опасные фокусы с хищными зверями, а получаемое им вознаграждение всегда было пропорционально успеху у зрителей.

Как я уже заметил, он нисколько не походил на укротителя. Узкогрудый и узкоплечий, довольно анемичного вида, этот человек, казалось, всегда был подавлен не столько безысходным горем, сколько сладостной и мягкой печалью, тяжесть которой имела такой же сладостный и мягкий характер.

В течение целого часа я пытался выудить из него какой-нибудь интересный рассказ, но в

конце концов пришел к заключению, что он абсолютно лишен фантазии. Если верить ему, то ничего романтичного, рискованного и страшного в его профессии не было. Ничего, кроме серого однообразия и беспредельной скуки.

Львы? Да, с ними ему тоже приходилось иметь дело. Это чепуха! Самое главное — всегда быть трезвым. Любой человек с обыкновенной палочкой в руках может укротить льва. Он лично однажды за полчаса укротил царя лесов. Надо уметь вовремя ударить его по носу и, когда лев опускает голову, умело отставить ногу. Когда же лев нацеливается на ногу, надо быстро отвести ногу назад и снова ударить его по носу. Вот и вся премудрость!

С тем же мечтательным выражением в глазах и неспешным, спокойным потоком слов он показал мне свои раны. У него было много ран, из коих одну он получил совсем недавно. Разозлившаяся тигрица до самой кости рванула ему плечо. Я увидел также аккуратно заштопанное место на пиджаке, куда пришелся отчаянный укус. Вся его правая рука, начиная от плеча, пострадала от когтей и клыков тигрицы так, что, казалось, будто бы несколько минут была под молотилкой. Но все это — пустяки, сказал он мне. Вот только

старые раны надоедают в дождливую погоду. Только с ними ему и приходится возиться…

Вдруг его лицо прояснилось, точно он вспомнил что-то очень интересное, и я сразу понял, что ему так же хочется рассказать, как мне слушать.

— Я думаю, вам уже приходилось слышать об одном укротителе львов, которого ненавидел другой человек? — осведомился он.

Не дождавшись моего ответа, он выдержал паузу и с задумчивым видом поглядел на льва, лежавшего в клетке напротив.

— У него зубы болят! — пояснил он мне. — Ну, так вот, слушайте! Самый шикарный номер этого укротителя заключался в том, что в присутствии публики он вкладывал свою голову в пасть льва. Человек, ненавидевший его, терпеливо посещал каждое представление в надежде, что рано или поздно лев загрызет его. Он следовал за цирком буквально по всей стране. Годы шли за годами, и этих лет прошло уж так много, что враг постарел, и укротитель львов постарел, да и сам лев стал совсем стареньким. И, наконец, в один прекрасный день враг дождался своего: сидя на представлении, он увидел, как лев сомкнул челюсти так, что не потребовалась даже докторская помощь: чистая была работа!

Рассказчик поглядел на свои ногти с таким видом, который можно было бы назвать забавным, если бы в нем не сквозило столько безысходной печали.

— Да, — вдруг снова заговорил он, — вот что я называю настоящим терпением, и это вполне в моем духе. Но это не было в духе одного парня, которого я тоже в свое время знавал. Это был маленький, худенький, поганенький французик, который занимался жонглерством и шпагоглотанием. Он называл себя де Виллем, и у него была прелестная женка. Она работала на трапеции и лучше всего проделывала номер, который заключался в том, что она падала с купола на сетку, протянутую чуть ли не над самой ареной, причем во время падения успевала несколько раз перекувырнуться в воздухе. Она здорово делала это!

У де Вилля был такой же горячий темперамент, как горяча была его рука, а рука его была горяча, как мгновенный удар лапы тигра. Однажды кто-то из наших коллег назвал его пожирателем лягушек, а, может быть, и того хуже, — и вот что выкинул де Вилль. Он загнал обидчика в самый угол, к деревянной доске, в которую он обычно втыкал свои бесчисленные ножи, и проделал это так быстро, что несчастный не успел опомниться

и в присутствии публики буквально был пригвожден к доске массой ножей, которые в тело не впились, но пришпилили одежду.

Он был так пришит к доске, что клоунам долго пришлось выдергивать ножи, прежде чем он обрел свободу. Об этом стало известно всем нашим, и никто уже больше не осмеливался задевать его или приставать к его жене. А надо вам сказать, была она довольно легкомысленная штучка, и если бы не страх перед де Виллем…

Но у нас работал один паренек, по фамилии Уэллос, который ничего на свете не боялся. Он был укротителем львов и тоже проделывал трюк с головой в пасти льва. Он мог проделать этот фокус с любым львом, но предпочитал Августа, старого, очень добродушного льва, на которого всегда можно было положиться.

Как я сказал вам, Уэллос — мы все звали его «Король Уэллос!» — не боялся ничего на свете, ни мертвого, ни живого! Это был отчаянный парень! В своем роде он действительно был король. Однажды он напился вдребезги пьяным, и многие не побоялись заключить пари, что он все-таки вставит свою голову в пасть Августа, причем даже не пустит в ход свой хлыст. Так оно и было.

Мадам де Вилль… — Он замолчал. Позади

нас раздался какой-то шум, и мой приятель неторопливо оглянулся. За нами стояла клетка, разделенная пополам. В одной половине находилась обезьяна, которая все время прыгала у прутьев решетки и вдруг просунула одну лапу в соседнюю половину, где проживал огромный серый волк, мигом схвативший приманку. Лапа вытягивалась все больше и больше, словно была эластичной, и товарищи несчастной обезьяны подняли неимоверный визг… Вокруг не оказалось ни одного служителя, так что укротителю леопардов пришлось встать, сделать шага два вперед и ударить волка по носу легонькой палочкой, которая была у него в руках. После того он с печальной, извиняющейся улыбкой вернулся на место и продолжал так, как будто бы никакого перерыва и не было.

— …смотрела на Уэллоса, а Уэллос — на нее, а де Вилль весьма мрачно глядел на обоих. Мы предостерегали Уэллоса, но напрасно. Он смеялся над нами, смеялся и над де Виллем, которого однажды даже сунул головой в кадку с клейстером. Видно было по всему, что он ищет ссоры с ним.

От клейстера у де Вилля был страшно забавный вид. Я долго возился с ним, пока помог ему окончательно почиститься. Но он был холоден, как

огурец, и ни разу не ругнулся. Все же я заметил злобный огонек в его глазах и вспомнил, что точно такой же огонек я часто видел в глазах хищных зверей. Поэтому я счел своим долгом сделать Уэллосу последнее предупреждение. Он снова рассмеялся, но все-таки с тех пор стал меньше засматриваться на мадам де Вилль.

Так прошло несколько месяцев.

Ничего такого не происходило, и я уже начал было надеяться, что и впредь ничего не случится. Мы тем временем все дальше двигались на Запад и остановились, наконец, в Сан-Франциско. Все, что я вам сейчас расскажу, произошло во время дневного представления, когда весь цирк был полон женщин и детей. Мне понадобился Рыжий Денни, один из главных лакеев, который взял у меня карманный нож да так и не отдал.

Проходя мимо одной из уборных, я заглянул в нее через дырку в парусине, желая узнать, нет ли тут моего Денни. Его тут не оказалось, но как раз против моего глаза сидел Король Уэллос, в трико, дожидаясь своего номера в клетке со львами. Он с большим любопытством следил за ссорой двух артистов, работавших на трапеции. Все остальные, находившиеся в уборной, с таким же интересом следили за ссорой, — все, за исклю-

чением де Вилля, с нескрываемой ненавистью и пристально смотревшего на Уэллоса, который, как и все остальные, был слишком увлечен сценкой, чтобы отвлечься на де Вилля.

Но через дырку в парусине я лично все видел. Де Вилль вынул из кармана носовой платок, сделал вид, будто бы вытирает им пот с лица (день действительно был очень жаркий!) и в то же время обошел Уэллоса сзади. Он ни разу не остановился, только взмахнул платком и дошел до двери, где на мгновение остановился и бросил быстрый взгляд назад. Этот взгляд заморозил меня на месте, потому что, наряду с ненавистью, я прочел в нем самое доподлинное торжество.

«Де Вилль задумал что-то недоброе! — сказал я себе. — За ним надо последить». И я с огромным облегчением вздохнул, когда увидел, что де Вилль вышел из помещения цирка и вскочил в вагон электрического трамвая, который должен был доставить его к себе домой в пригород.

Через несколько минут я попал непосредственно в здание цирка, где, наконец, нашел Денни. Наступила очередь Уэллоса с его опасным номером в клетке львов — номером, который всегда оказывал сильное впечатление на публику. Сегодня он почему-то был в очень плохом настро-

ении и так разъярил всех львов, что те подняли отчаянный рев на весь цирк. За исключением, конечно, Августа, который был слишком старым, жирным и ленивым для того, чтобы вообще из-за чего-либо раздражаться. Под конец Уэллос ударом бича поставил старичка на колени, и тот со своим обычным радушным видом раскрыл огромную пасть, в которую укротитель всунул свою голову. Вдруг челюсти Августа сомкнулись, раздался какой то странный звук — и все было кончено…

Прежняя, мягкая, какая-то упорная улыбка проступила на лице укротителя леопардов, и грустное, отсутствующее выражение снова вернулось в его глаза.

— Вот так и погиб Король Уэллос! — сказал он низким, печальным голосом. — После того как всеобщее возбуждение немного улеглось, я воспользовался подходящей минутой, нагнулся над покойником и понюхал его голову. И чихнул.

— Вы хотите сказать… что?.. — спросил я, задыхаясь от волнения.

— Я хочу сказать, что то был нюхательный табак! — ответил он. — Именно табаком посыпал де Вилль голову Уэллоса, когда проходил мимо него. У старого Августа никаких злых намерений

не было. Он просто чихнул!

Любительский вечер

Мальчик у лифта с проницательным видом улыбнулся про себя. Когда он поднимал ее наверх, то обратил внимание на блеск в ее глазах и румянец на щеках. Маленькая кабинка, казалось, вся наполнилась лучистой теплотой от ее с трудом сдерживаемой энергии. А теперь, когда они спускались вниз, та же кабинка была холодна, как ледник. Исчезли блеск глаз и румянец щек. Она нахмурила брови, и тот крохотный кусочек глаза, который мальчик сумел разглядеть, был холоден и отливал сталью.

О, он прекрасно знал все эти симптомы! Он был очень наблюдателен и знал эту черту за собой точно так же, как знал, что рано или поздно, с годами, он тоже сделается репортером! Обязательно репортером! А в ожидании он терпеливо изучал жизнь, которая неустанными потоками стремилась вниз и вверх по лифту этого восемнадцатиэтажного небоскреба. Он весьма сочувственно открыл перед ней дверцу своей каретки и еще какое-то время после того следил за ней, когда она пошла по улице.

Особая крепость ощущалась в ее походке, и

в этой крепости больше сказывалась природа, нежели городская мостовая. Крепость эта была очень утонченного свойства, в ней ощущалась изящная твердость, она дышала мужественностью, которая так редко свойственна женщине, и можно было с уверенностью сказать, что она унаследована от нескольких поколений искателей и борцов — людей, которые долго и упорно работали головой и руками. Далекие призраки этих людей маячили теперь из туманного прошлого, формировали дух девушки и помогали ей стать умелой устроительницей жизни.

Она была слегка раздражена, и самолюбие ее определенно страдало.

— Я заранее знаю, что вы можете и собираетесь мне сказать! — мягко, но решительно перебил ее редактор, когда она, наконец, удостоила его взглядом. — Вы уже достаточно мне сказали! — продолжал он (бессердечно — по крайней мере, теперь, когда она снова мысленно все переживала, она была уверена, что он разговаривал с ней самым бессердечным образом). — Вы никогда до сих пор не занимались газетным делом. Вы совершенно неприспособленны, недисциплинированны, не знаете азов! Вы, вероятно, кончили высшую школу. Возможно даже, что вы побы-

вали в нормальной школе или колледже. Вы были очень сильны в английском языке. Ваши приятельницы восторгались тем, как чудесно вы пишете и как прекрасно, и как литературно и так далее, и так далее. Вы решили, что легко можете заняться газетным делом и пожаловали теперь ко мне. Ну, так вот: мне очень неприятно говорить вам это, но никаких свободных вакансий у нас в настоящее время нет. Если бы вы только знали, сколько жаждущих...

— Но раз у вас никогда нет вакансий, — в свою очередь перебила она его, — как же у вас устроились те, кто в настоящее время работают? Как я могу доказать и показать вам, на что я способна, если мне не суждено когда-либо попасть в число избранных?

— А это уж зависит от вас самой сделать себя незаменимой в деле! — последовал суровый ответ. — Станьте необходимой — вот и все!

— Но как же мне это сделать, раз не представляется подходящего случая?

— Найдите этот случай!

— Но каким образом? — настаивала она, делая весьма нелестный вывод об умственных способностях редактора.

— Каким образом? Ну, знаете, это уж ваше дело,

а не мое! — решительно сказал он и встал как бы в знак того, что аудиенция окончена. — Дорогая моя, я должен уведомить вас, что только за последнюю неделю у меня перебывало восемнадцать барышень, желавших поступить к нам в редакцию, и у меня нет достаточно времени для того, чтобы обучать каждую в отдельности. Те функции, которые я выполняю здесь, гораздо сложнее обязанностей инструктора из школы журналистов.

Она вскочила в вагон трамвая и всю дорогу, пока ехала, сотни раз мысленно переживала эту сцену объяснения с редактором.

«Но каким образом?» — повторяла и повторяла она про себя и снова задала себе этот вопрос, когда взбежала на третий этаж, где жила вместе с сестрой. «Каким образом?»

Она была очень упряма, как настоящая шотландка, несмотря на то что уже очень давно рассталась с родиной. И к тому же она действительно должна была найти способ проявить свои способности. Они с сестрой приехали из маленького, захолустного городка с тем, чтобы сделать в столице карьеру. Джон Виман был бедный землевладелец. В последнее время его дела пошли совсем плохо, и стесненные обстоятельства вы-

нудили Эдну и Летти начать самостоятельную жизнь. Год пребывания в школе и вечерние занятия стенографией и машинописью показались им вполне достаточными для того, чтобы двинуться из родного города на завоевание столицы и... жизни. Они нисколько не сомневались, что их доблестные стремления к самостоятельной жизни завершатся успехом. Они были уверены, что столица кишит малоопытными стенографистками и машинистками, число которых с их приездом увеличится всего-навсего на два человека. Это не так важно!

Тайная мечта Эдны заключалась в том, чтобы сделаться журналисткой. Она предполагала сначала найти какую-нибудь случайную работу, а уже после того, в свободное время, выяснить, какую именно рубрику в газете она может освоить профессионально. Но, к сожалению, эта случайная работа ей, как и Летти, не попадалась, и с каждым днем все сильнее таяли их крохотные средства, между тем как цена на комнату нисколько не уменьшалась, а печь с неукротимой жадностью пожирала огромное количество топлива. В настоящее время они жили на последние крохи.

— Но ведь здесь живет Макс Ирвин! — сказала

Летти, опять возвращаясь к наболевшему вопросу. — Это журналист с именем. Сходи, повидайся с ним, Эдна. Он знает, что к чему, и я уверена, что он все с удовольствием сообщит и тебе.

— Я ведь не знакома с ним! — возразила Эдна.

— Во всяком случае ты не знакома с ним точно так же, как и с тем редактором, к которому ты ходила сегодня.

— Да... — протянула, в какой-то мере соглашаясь с сестрой, Эдна, — но все-таки это не одно и то же.

— По-моему, нет большой разницы между ним и теми, кого ты будешь интервьюировать, когда станешь настоящей журналисткой.

Летти старалась подбодрить сестру.

— С такой точки зрения я этот вопрос не рассматривала! — отозвалась Эдна. — В сущности, ты права! Какая разница, интервьюировать ли Макса Ирвина для какой-нибудь газеты или того же Макса Ирвина для себя лично? Я могу посмотреть на это как на практику, и больше ничего. Сейчас же схожу и поищу его адрес в «Справочнике».

— Знаешь, Летти, — заявила она с очень решительным видом чуть позже, — я уверена, что при первом же подходящем случае я сумею написать именно так и именно то, что нужно! Я *чувствую,*

что во мне есть эта самая жилка. Не знаю только, понимаешь ли ты, что я хочу сказать!

Летти поняла и покачала головой.

— Посмотрим, как ты возьмешься за дело! — мягко произнесла она.

— Я задамся целью во что бы то ни стало найти подобный случай! — уверенно заявила Эдна. — Все подробности моего ближайшего налета я сообщу тебе в течение сорока восьми часов.

Летти всплеснула руками.

— Господи Боже! — воскликнула она. — Вот так газетная жилка! Постарайся все это проделать в двадцать четыре часа, и тогда ты будешь молодцом!

— …Мне так неприятно, что я беспокою вас! — закончила свою вступительную речь Эдна, обращаясь к Максу Ирвину, знаменитому военному корреспонденту и ветерану-журналисту.

— Что вы! Что вы! — с умоляющим видом замахал тот рукой. — Вы совершенно не беспокоите меня! Если вы сами за себя не будете говорить, кто же тогда станет говорить за вас? Я прекрасно понимаю, в каком вы сейчас положении. Вы хотите стать сотрудницей «Intelligencer», стать немедленно, но не имеете предварительной подготовки и практики. Прежде всего позвольте

осведомиться, имеется ли у вас объект, на котором вы могли бы испытать свои таланты? Здесь, в городе, проживает с десяток человек, одна строка о которых раскроет пред вами все сезамы. После того уже от вас одной, от вашей ловкости зависит: победить или пасть! Вот вам, например, сенатор Лонгбридж или же Клаус Инскип, трамвайный король, или Лен, или Мак-Чесней…

Он выдержал паузу.

— Но я ведь ровно никого из них не знаю! — уныло произнесла Эдна.

— Да в этом нет никакой необходимости! Знаете ли вы кого-нибудь, кто знал бы их? Или же кого-нибудь, кто знает кого-то, кто знает их?

Эдна покачала головой.

— Тогда нам нужно что-нибудь придумать! — весело сказал Макс Ирвин. — Да, милая моя, вам надо что-нибудь также изобрести! Ну, давайте подумаем!

Он замолчал и на минуту задумался, наморщив лоб и закрыв глаза. Она не отрывала от него взгляда, внимательно изучая его лицо, как вдруг его голубые глаза широко раскрылись и весь он просиял.

— Готово! Но нет, подождите еще минуту!

И в продолжение этой минуты он, казалось,

изучал ее, изучал до тех пор, пока под его взглядом ее щеки не покрылись густым румянцем.

— Да, — сказал он наконец с загадочным видом, — вам придется этим заняться, хотя я еще не знаю, насколько это вам удастся. Во-первых, благодаря этому вы сумеете проявить тот талант, которым, возможно, обладаете, а, во-вторых, то, что вы преподнесете читателям «Intelligencer», будет им в тысячу раз приятнее и интереснее, чем бог весть какие сведения о сенаторах и магнатах всего мира. Речь идет о том, чтобы провести любительский вечер в Лупсе.

— Я… я… не совсем понимаю вас, — до Эдны еще не дошла идея Макса Ирвина. — Что это за Лупс? И что такое «любительский вечер»?

— Ах, Господи, я и забыл, что вы из провинции! Ведь вы предупредили меня. Но тем лучше, если только, конечно, в вас есть настоящая журналистская жилка. Это будет ваше первое впечатление, а первое впечатление, как известно, самое сильное, непосредственное и безошибочное, свежее и яркое. Лупс — так называется одно увеселительное место — находится почти на конце города, близ парка. Там имеются игрушечная железная дорога, искусственные озера, оркестры, театр, дикие животные, кинематограф и так далее, и так далее.

Большинство людей отправляются туда, чтобы посмотреть животных и поразвлечься, а остальные зрители присутствуют там с единственной целью: следить за веселящейся публикой. Чисто демократическое, очень живое, веселое варьете на вольном воздухе — вот что такое Лупс!

Он помолчал и продолжал:

— Но вас больше всего касается театр. Там ставятся в основном водевили, в которых участвует несметное количество исполнителей: жонглеры, акробаты, гимнасты, танцовщики и танцовщицы, певцы-солисты, певцы-хористы, имитаторы и так далее, и так далее. Все эти исполнители — профессиональные артисты, для которых работа здесь является единственным источником доходов. Многие из них получают превосходный гонорар. Большинство — народ бродячий, кочевой, который работает там, где есть вакансия. Сегодня артист у Обермана, завтра в «Орфеусе», затем в «Лувре», «Альказаре» и так далее. Значительная часть их изъездила всю территорию нашего государства. В общем, жизнь у них довольно занятная, и к тому же работа оплачивается весьма хорошо для того, чтобы кандидатов всегда было больше, чем нужно.

— Теперь вот что, милая моя! Администрация

этого заведения, чтобы привлечь еще больше публики, выдумала нечто, что назвала «любительскими вечерами». Что это за «вечера»?

Два раза в неделю, после того как профессиональные артисты заканчивают представление, сцена и вообще весь театр отдаются в полное распоряжение любителей. Право критики остается за той же публикой, которая, таким образом, является арбитром, — по крайней мере, она считает себя таковым, что в общем одно и то же. Зрители платят денежки, получают полное удовольствие, а администрация театра прекрасно зарабатывает на этом, что и требуется доказать! Но, видите ли, фокус заключается в следующем: эти любители — вовсе не любители! За свои выступления они получают наличные денежки. В лучшем случае их можно характеризовать как «профессионалов-любителей». Понятно, что администрация театра нигде не найдет таких дураков, которые пожелали бы бесплатно выйти на потеху и осмеяние публики, а случается, что зрители временами буквально сходят с ума. Это — самое лучшее и веселое развлечение для публики. Вот в этом и заключается ваша работа, которая, предупреждаю вас, требует сильных и здоровых нервов. Вам надо два раза подряд выступить на этих

«любительских вечерах», которые даются, если не ошибаюсь, по средам и субботам, а после того изложить в литературной форме ваши впечатления. Для читателей «Sunday Intelligencer» это будет такое удовольствие…

— Но… но… — заикаясь начала Эдна, — я… я…

Максу Ирвину нетрудно было уловить слезы и нотку разочарования в ее голосе.

— Я понимаю вас! — мягко начал он. — Вы, конечно, ждали чего-то другого, более интересного и привлекательного. Но мы все так начинаем. Вспомните-ка того адмирала королевского флота, который начал свою карьеру с того, что мыл палубу и чистил ручки дверей! Вы обязаны пройти всю трудную школу ученичества или же сразу бросайте все к черту! Ну, что! Как решили?

Резкость, с какой был поставлен этот последний вопрос, буквально ошеломила ее. В первую же минуту смущения она заметила, как тень разочарования начала расплываться по его лицу.

— В конце концов, рассматривайте это как пробу! — сказал он. — Правда, проба эта очень тяжелая, но тем лучше! Теперь вам как раз время взяться за дело! Так что?

— Я попытаюсь, — неуверенно произнесла она и подумала о том, какие прямолинейные, резкие

и торопливые люди — все те, с кем ей до сих пор пришлось встретиться в этом большом городе.

— Господи Боже мой! — воскликнул Макс Ирвин, — когда я начинал мою карьеру… Если бы вы только знали, с каких омерзительнейших, скучнейших и противнейших дел начал я! И только после того, спустя довольно продолжительный и тяжелый промежуток времени, я перешел, наконец, на полицейскую и бракоразводную хронику. Но я работал настойчиво, шел к своей цели прямо и, как видите, ни на что жаловаться не смею. Вам повезло больше моего: вы сразу начинаете с работы для воскресного приложения. Конечно, и это не бог весть какая удача, но что из этого следует? Делайте свое дело, и больше ничего! Покажите сперва, на что вы способны, а все остальное приложится.

Далее вы получите более ответственную работу, которая повлечет за собой и более ответственное положение, и более высокое жалованье. Ну, а теперь извольте отправляться в Лупс и проделать все то, что я вам наметил.

— Но в качестве кого и с чем мне выступить? — неуверенно спросила Эдна.

— В качестве кого? Ну, это совсем пустяки! Петь умеете? Нет? Тем лучше! Там вовсе не требуется

голос. Визжите, пищите, делайте все, что вам заблагорассудится. За это вы получаете деньги и обязаны вызвать возмущение публики отвратительным исполнением тех или иных номеров. Имейте в виду следующее: после исполнения номера вам необходимо обзавестись каким-нибудь покровителем, который состоял бы при вас в течение всего вечера. Не бойтесь никого и ничего! Работайте вовсю! Двигайтесь между любителями, толкайте их, задевайте, изучайте, фотографируйте… в уме и так далее. Усвойте все особенности тамошней атмосферы, тамошних красок, странностей. Погрузитесь в Лупс с головой… Что это значит? Ну, милая, уж вам самой надо понять, что все это значит! Вы там на месте выясните, что делать и с чего начать! Старайтесь чутьем понять, что нужно читателям «Sunday Intelligencer».

Он добавил:

— Найдите строгий, скупой, выдержанный стиль! Пусть ваша фраза будет сильна, конкретна, выразительна, образна. Избегайте общих мест и расплывчатости. Сделайте естественный подбор. Схватите наиболее разительное, яркое, броское, а на остальное не обращайте никакого внимания. Дайте *картину!* Если вы найдете должное словес-

ное обрамление этой картине, то «Intelligencer» будет ваш! Я вот еще что советую вам. Просмотрите несколько старых номеров этого журнала и постарайтесь разобраться в общем тоне помещенных там рассказов. Содержание вашего очерка вы сначала изложите в заголовке, а затем, в самом изложении, вы детально разработаете фабулу и все прочее. Приберегите на конец что-нибудь наиболее пикантное и интересное. Если редактор найдет, что вы слишком размазали, то он много помарает, но конец сохранит, и в общем весь ваш рассказ произведет должное впечатление. Вот и все, что я могу вам сказать. Все остальное вы сами должны понять и разработать уже в соответствии со своим вкусом и разумением.

Оба одновременно поднялись, и Эдна почти восторженно смотрела на этого человека, который сыпал меткими, быстрыми замечаниями и умело разъяснял ей все то, чего она не знала, но так жадно хотела узнать.

— И помните еще вот что, мисс Виман! Если вы человек честолюбивый, то вы ни в коем случае не можете ограничить свою цель и стремления вот этакими статеечками самого незначительного удельного веса. Избегайте рутины. Помните, что такая работа носит всегда несколько трюковый

характер. Владейте ею, но ни в коем случае не давайте ей овладеть вами. Эту форму вы во что бы то ни стало должны осилить, потому что если она вам не дастся, то ничто другое, литературное, не будет вам доступно. Короче говоря, вложите в это маленькое дело всю свою индивидуальность, рассмотрите его внутри, снаружи, с боков, сверху, снизу, но оставайтесь сами собой: помните это неукоснительно. А теперь позвольте пожелать вам всего доброго!

Они вместе дошли до дверей и обменялись крепким рукопожатием.

— И еще одна вещь! — остановил он поток ее благодарности. — До того как вы сдадите материал, принесите мне просмотреть его. Я думаю, что смогу внести в него две-три не лишних поправки.

Эдна нашла хозяина Лупса.

Это был полный, тяжелый мужчина, с необыкновенно густыми бровями, довольно мрачного вида, не выпускавший изо рта сигару. Как она узнала, его фамилия была Саймс. Эрнст Саймс.

— Что делаете? — резко спросил он, почти не дав ей открыть рот.

— Лирическая певица, солистка, сопрано! — быстро, согласно совету Ирвина, ответила она.

— Фамилия как? — снова спросил хозяин, даже не удостаивая ее взглядом.

Она замялась. Она так стремительно занялась своим делом, что даже не подумала о том, чтобы обзавестись сценическим именем.

— Какое-нибудь имя есть у вас? Сценическое имя, фамилия? — нетерпеливо воскликнул Саймс.

— Нэн Белейн! — придумала она в один миг: — *Белейн!*

Он нацарапал ее фамилию в своей записной книжке.

— Готово! Вам выступать в среду и субботу!

— А сколько я буду получать? — осведомилась новая артистка.

— По два с половиной за выступление. За два выступления — пять! Выплата по первым понедельникам после второго выступления.

И, не сочтя даже нужным бросить ей «до свидания!», он повернулся к ней спиной и снова погрузился в газету, от которой она оторвала его своим приходом.

Эдна явилась в среду вечером, очень рано. Она захватила с собой Летти; театральный костюм положила в футляр из-под телескопа. Простой платок, занятый у прачки, старая юбка, занятая у

поденщицы, седой парик, взятый на прокат у костюмера по двадцати пяти центов в вечер, — вот был и весь ее костюм. После долгих размышлений она остановилась на роли старой ирландки, поющей горестные песни по случаю отъезда ее единственного сына.

Несмотря на то что они пришли очень рано, театральная машина работала уже во всю. На сцене шло представление, оркестр играл, а публика время от времени аплодировала. Любителей набралось и набилось такое множество, что они попадались на каждом шагу, загромождали кулисы, проходы, даже часть сцены, всем мешали, становились у всех на дороге и сильно тормозили закулисную работу. Особенно досаждали они профессионалам, которые, как и следовало ожидать, считали себя несравненно выше и поэтому смотрели на любителей как на форменных париев и обращались с ними крайне грубо и надменно. Эдна попала в водоворот. Ее немилосердно толкали, пихали, швыряли, но это нисколько не мешало ей самым внимательным образом наблюдать за всем и в то же время с отчаянным видом прижимать к груди свой футляр с платьем и искать уборную.

После долгих поисков она, наконец, нашла

уборную, занятую тремя любительницами-«леди», которые с невероятным шумом и отвратительным визгом возились около единственного зеркала. Ее собственный наряд был до того прост, что отнял у нее совсем немного времени, и она вскоре рассталась с тремя леди, заключившими временное вооруженное перемирие и внимательно следившими за ней. Летти неотступно была при ней, и, призвав на помощь невероятное терпение и такое же упорство, они, наконец, добрались до какой-то кулисы, откуда кое-как могли видеть, что происходит на сцене.

Маленький черненький юркий и изящный человек во фраке и цилиндре выделывал какие-то красивые, неторопливые па и подпевал себе тонюсеньким, крохотным голоском. Похоже, песня его была патетического характера. Когда голос, казалось, совсем было изменил ему, какая-то громадная женщина, с копной светлых волос на голове, грубо протискалась между Эдной и Летти, наступила им на ноги и с презрительным видом растолкала их по сторонам.

— Вот паршивые любители! — прошипела она, пройдя мимо, и через минуту оказалась уже на сцене, отвешивая грациозные поклоны публике, в то время как маленький черненький человечек

все еще вытанцовывал свои замысловатые па.

— Здорово, девочки!

Это приветствие, произнесенное очень протяжно и с особенной вокальной лаской в каждом слоге, заставило Эдну несколько податься в сторону от неожиданности. Гладко выбритое, луноподобное лицо посылало ей самую добродушную улыбку на свете. По наряду соседа можно было судить, что он готовится изобразить типичного, узаконенного театрального босяка, несмотря на отсутствие неизбежных бакенбард.

— Ну, это чепуха! Приклеить их — дело одной секунды! — объяснил он, заметив легкое недоумение в ее глазах и размахивая бутафорскими бакенбардами. — От них страшно потеешь! — продолжал он свое объяснение и затем заключил свою речь вопросом: — А вы что работаете?

— Лирическая певица, сопрано! — ответила Эдна, стараясь проявить как можно больше развязности и уверенности.

— А на какого дьявола вам делать это? — бесцеремонно спросил он.

— А так, шутки ради! — в том же тоне отозвалась она.

— Как только мои глаза остановились на вас, я тотчас же понял это. Послушайте, барышня, а не

работаете ли вы для газеты, а?

— За всю мою жизнь я видела только одного редактора газеты, — уклончиво ответила она, — и надо вам сказать… что мы с ним сразу не поладили.

— Вы что, за работой пришли к нему?

Эдна беспечно кивнула головой, напрасно пытаясь как можно скорее найти предлог для того, чтобы переменить тему разговора.

— Ну, и что же он сказал вам?

— А сказал он мне вот что: за одну последнюю неделю у него перебывало целых восемнадцать барышень таких же, как я.

— Что называется, сразу заморозил, так, что ли? — Молодой человек с луноподобным лицом расхохотался и ударил себя по бедрам. — Как видите, мы тоже не лишены наблюдательности. Воскресные газеты страшно хотят напечатать что-нибудь такое насчет «любительских вечеров», но нашему хозяину не очень это улыбается. При одной мысли об этом у него глаза на лоб выскакивают.

— А вы что работаете? — спросила девушка.

— Кто? Я? Я сегодня играю босяка, трампа. Разве вы не знаете: я — Чарли Уэлш!

Она поняла, что это имя должно было сразу

бросить яркий свет на его носителя, но ее хватило только на то, чтобы вежливо сказать:

— Ах, вот как!

Она чуть-чуть не рассмеялась, увидев, как от разочарования вытянулось лицо ее собеседника, но она скрыла свое смешливое состояние.

— Нет, послушайте, милая моя! — резко произнес он. — Это невозможно! Не может быть, чтобы вы были здесь и никогда не слышали о Чарли Уэлше! Не иначе как вы слишком молоды. Поймите же, я — единственный, единственный настоящий любитель! Несомненно, вам приходилось видеть меня! Я — повсюду. При желании я легко мог бы сделаться профессионалом, но играть любителя гораздо выгоднее.

— Но что значит «единственный»? — осведомилась она. — Мне интересно знать, что это такое!

— Конечно, конечно! — очень галантно отозвался Чарли. — Я сейчас дам вам самые исчерпывающие сведения. Единственный — это несравненный, неподражаемый. Это человек, который любое дело делает лучше всякого другого человека! Вот и все! Поняли?

Эдна поняла.

— Для того, чтобы еще больше убедить вас, — продолжал он, — я попрошу вас внимательно

посмотреть на меня. Я — единственный настоящий любитель, который знает, может и умеет все! Сегодня я показываю босяка. Имейте в виду, что имитировать гораздо труднее, чем в самом деле играть. Любительское искусство — самое настоящее, самое высокое искусство! Изволите видеть! Я могу делать все, начиная с чтения монологов до характерных танцев в голландских пантомимах. Помните же: я — Чарли Уэлш, Единственный Чарли Уэлш!

И таким образом, в то время как маленький черненький человечек и дородная светловолосая женщина исполняли свои изящные танцы, а затем сменились другими профессионалами, Чарли Уэлш посвящал Эдну во все особенности театральной жизни, снабжал ее самой разнообразной и превосходной информацией, которую девушка старательно откладывала в своей памяти на потребу читателям «Sunday Intelligencer».

— Ах, вот и он! — вдруг воскликнул Чарли. — Его светлость ищет вас. Вам первой выступать: вы начинаете программу. Не обращайте внимания на публику, когда выйдете на сцену. Работайте, как настоящая леди, и больше ничего!

В этот момент Эдна почувствовала, как ей изменяет журналистское самолюбие, и она готова

была отдать все на свете зато, чтобы очутиться где-нибудь в другом месте. Но режиссер, точно леший, наскочил на нее и отрезал отступление. Она ясно слышала вступительную музыку оркестра и по наступившей тишине в зале поняла, что публика ждет ее выхода.

— Ну, иди же! — прошептала над ее ухом Летти и ободряюще пожала ей руку. С противоположной стороны она услышала решительный голос Чарли Уэлша:

— Да не робейте! Чего там!

Но у нее было такое состояние, точно ноги ее приросли к полу и никак не могут оторваться. Она в бессилии прислонилась к ближайшей стене. Оркестр снова сыграл вступительную фразу, и Из публики послышался единственный голос, произнесший отчетливо до ужаса:

— Вот оробела! Подбодрись, Нэн!

По театру прокатился оглушительный хохот, и Эдна отскочила еще дальше от сцены. Но в ту же минуту могучая рука антрепренера опустилась на ее плечо и быстрым, сильным толчком выдвинула ее вперед, к рампе. Публика прежде всего увидела его плечо и руку, поняла, что разыгралось за кулисами, и залпом аплодисментов приветствовала решительность директора. В

зале воцарился такой хаос, что звуки оркестра совершенно тонули в нем, и Эдна отметила такое интересное явление: смычки с большим усердием гуляли по скрипкам, а ни единого звука не было слышно. При таких условиях она никак не могла начать свой номер и поэтому, упершись руками в бока и до крайности напрягая слух, она спокойно стояла и ждала, пока публика, наконец, угомонится; она не знала, что в таком шуме заключается любимейший прием местной аудитории, умеющей смущать исполнителей.

Вскоре Эдна уже вполне овладела собой. Она успела осмотреть весь зрительный зал, от верхних до нижних ярусов, увидела безграничное море улыбающихся, очень веселых лиц, которые, волну за волной, изрыгали чисто звериный хохот, — и тогда взыграла ее холодная шотландская кровь. Оркестр старался по-прежнему, но по-прежнему не слышалось ни звука, и тогда Эдна придумала следующее: в свою очередь не издавая ни единого звука, она начала шевелить губами, жестикулировать руками, покачиваться из стороны в сторону, — словом, проделывать все то, что полагается певице на сцене. Желая заглушить голос Эдны, публика начала еще более неистовствовать и шуметь, но девушка с

невозмутимым спокойствием продолжала свою пантомиму. Казалось, так будет тянуться до бесконечности, как вдруг вся аудитория, словно по уговору, замолчала, желая услышать певицу, и только теперь убедилась в шутке, которую та сыграла с ней. На одно мгновение в зале воцарилась абсолютная тишина. Слышны были только звуки оркестра, и видны беззвучно шевелящиеся губы исполнительницы. Окончательно убедившись в хитрости Эдны, публика снова разразилась оглушительными аплодисментами и тем признала полную победу любительницы. Этот момент Эдна сочла наиболее подходящим для своего ухода. Отвесив глубокий поклон, она стремительно убежала со сцены и очутилась в объятиях Летти.

Самое ужасное миновало, и весь остаток вечера она провела среди любителей и профессионалов, беседовала, слушала, замечала, доискивалась значения многочисленных явлений, с которыми она столкнулась впервые, и мысленно все записывала. Чарли Уэлш продолжал свою роль гида и добровольного ангела-хранителя и делал это так удачно, что к концу вечера Эдна считала себя начиненной всем необходимым для статьи. Но она условилась с директором, что выступит у него два раза, и ее самолюбие требовало, чтобы

она выполнила обещание. Кроме того, в течение нескольких дней между обоими выступлениями у нее возникли некоторые сомнения технического порядка и их необходимо было проверить. Вот почему в субботу вечером она снова очутилась в Лупсе, рядом с сестрой, держа в руках футляр из-под телескопа и платье для сцены.

Директор, казалось, ждал ее, и она уловила выражение облегчения в его глазах, когда он первый увидел ее. Он поспешил к ней навстречу, поздоровался и отвесил почтительнейший поклон, который не имел ничего общего с его обычными людоедскими манерами. Когда он поклонился, она заметила через его плечо ироническую усмешку Чарли Уэлша, который был тут же.

Но сюрприз только еще начинался. Директор деликатно попросил Эдну познакомить его с сестрой, после чего чрезвычайна мило побеседовал с обеими и все время держал себя выше всяких похвал. Он дошел даже до того, что отвел Эдне отдельную уборную, к неописуемой досаде трех леди, с которыми она познакомилась в первый вечер. Эдна ничего не понимала до тех пор, пока не встретилась в коридоре с Чарли Уэлшем, пролившим свет на загадочное поведение Саймса.

— Здравствуйте, милая! — приветствовал он

девушку. — Что, вышли уже на вольную дорогу, и теперь все как по маслу пошло?

Она ответила ему ясной улыбкой.

— А все это потому, что людоед принимает вас за репортершу! — пояснил Чарли. — Ну и забавно было смотреть, как он лебезил перед вами. А теперь скажите мне вполне честно: вы и вправду репортерша?

— Ведь я уже говорила вам про мою связь с редакциями газет! — ответила она. — Я абсолютно честна была и тогда, и теперь!

Но Чарли Уэлш недоверчиво покачал головой.

— Впрочем, это не так важно! — сказал он. — Дело такое! Если вы репортерша, то, когда будете писать, катните этак строчки две-три и на мой счет. А если же вы не репортерша, то… и не надо! Вот и все! Скажу вам только одно: не пристали вы к нашему двору, не ваше это дело!

После того как она исполнила свой номер с темпераментом настоящего любителя, директор возобновил свое наступление. Наговорив ей кучу любезностей, он сразу нажал на педаль:

— Позволяю себе надеяться, что вы ничего дурного о нас не скажете? — спросил он весьма многозначительно. — Ведь вы тоже находите, что у нас все обстоит как нельзя лучше, не так ли?

— О, — с самым невинным видом ответила она, — вам теперь уж никак не удастся убедить меня еще раз выступить! Я знаю, что понравилась и вам, и публике, но клянусь, что я больше не в силах… не могу никак!

— Позвольте, позвольте, ведь вы знаете, о чем я говорю! — произнес он таким тоном, что мигом снова проступили все его бульдогские черты.

— Нет, нет, я никак не могу! — продолжала Эдна. — Пребывание в вашем театре слишком отражается на моих нервах.

Он окинул ее смущенным взглядом и прекратил свой допрос. Но в понедельник утром, когда она, согласно условию, пришла за расчетом, он, в свою очередь, смутил ее:

— Тут, очевидно, вышло какое-то недоразумение! — нагло солгал он. — Если я не ошибаюсь, мы с вами говорили только об оплате проезда. Мы всем платим только за проезд. Кто же платит любителям за выступления? Если бы утвердилась подобная система, то наша игра потеряла бы и прелесть, и смысл. Нет, Чарли Уэлш обманул вас — вот и все! Он не получает ни цента за свои выступления у нас. Повторяю, ни один любитель ничего не получает. Прямо смешно даже думать об этом. Пятьдесят центов я могу вам дать: за

проезд ваш и сестры. И, — слащаво добавил он: — позвольте вам от имени администрации Лупса выразить глубокую благодарность за ваши милые и очень удачные выступления.

Согласно обещанию Эдна в тот же день отправилась к Максу Ирвину со своей статьей, переписанной на машинке. Пробегая ее, старый журналист время от времени покачивал головой и все время поддерживал беглый огонь метких, отрывистых замечаний.

— Хорошо! Так, верно! Подмечено правильно! Психология чудесная! Хорошая мысль! Схвачено как следует! Превосходно! Сильно! Метко! Живо! Картинно, очень картинно! Превосходно! Превосходно!

Дойдя до точки на последней странице, он поднял руку и произнес следующее:

— Милая мисс Виман, от души поздравляю вас. Должен вам сказать, что вы превзошли все мои ожидания и требования, которые были весьма и весьма велики. Вы — журналистка, самая настоящая журналистка! У вас есть именно то, что для этого дела требуется, теперь я окончательно убедился в этом. Я нисколько не сомневаюсь, что «Intelligencer» примет вашу статью с превеликим удовольствием. Он обязан принять ее. А если он

не примет, то другие газеты с радостью ухватятся за нее.

— Позвольте, позвольте! — воскликнул он минутой позже, и лицо его приняло озабоченное выражение. — Почему вы не коснулись оплаты за выступления? Ведь вы помните, что я специально подчеркнул эту особенность «любительских вечеров».

— Нет, этого нельзя допустить! — сердито произнес он и покачал головой, когда она сказала ему, как расплатился с ней Саймс! — Вы во что бы то ни стало должны получить у него гонорар. Но как бы устроить это? Давайте подумаем.

— Ах, мистер Ирвин, не стоит! — сказала она. — Вы и без того достаточно потрудились для меня. Позвольте мне воспользоваться вашим телефоном, и я снова поговорю с ним. Может быть, он согласится теперь уплатить мне.

Он освободил для нее место за своим письменным столом, и она взяла в руку трубку.

— Чарли Уэлш болен, — начала она, когда ее соединили с театром. — Что? Что? Нет, я не Чарли Уэлш. Чарли Уэлш болен, и его сестра хочет узнать, может ли она явиться в контору, чтобы получить за него?

— Скажите сестре Чарли Уэлша, что Чарли Уэлш

собственной персоной был сегодня в конторе и получил все, что ему причиталось! — последовал грубый и резкий, как обычно, ответ Саймса.

— Прекрасно! — продолжала Эдна. — А теперь Нэн Белейн желает узнать, может ли она сегодня вечером явиться с сестрой в контору и получить гонорар, причитающийся Нэн Белейн?

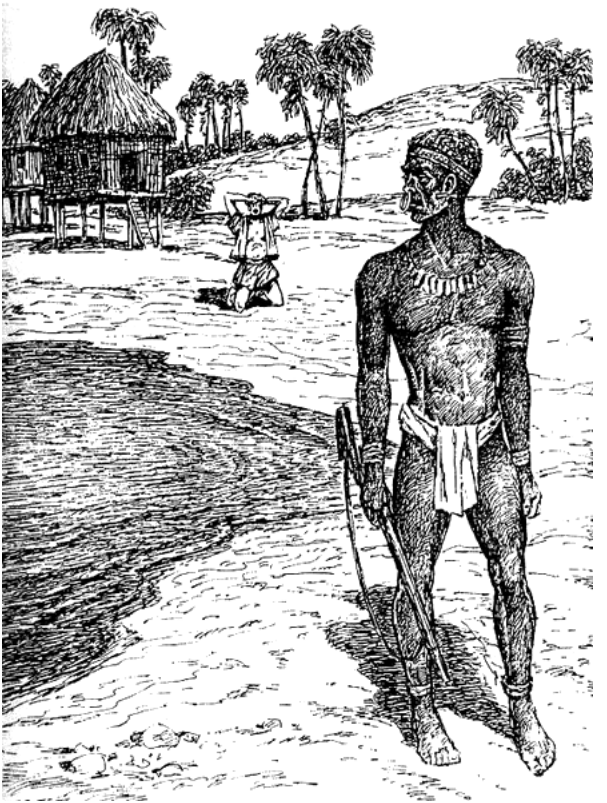
— Что он говорит? Что он говорит? Что он сказал? — возбужденно спросил Макс Ирвин, когда Эдна повесила трубку.

— Он сказал, что Нэн Белейн слишком яркая для него птичка, и добавил, что она может явиться сегодня вечером с сестрой и получить гонорар, а заодно и полный расчет.

— И еще одна вещь! — остановил он поток ее благодарности, когда, как и в первый визит, проводил ее до дверей. — Теперь, когда вы доказали мне свои права на звание журналиста, окажите мне честь и разрешите дать вам рекомендательное письмо в редакцию «Intelligencer».

РАССКАЗЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ

(сборник)



Этот цикл рассказов иногда переводился у нас как сказки, что соответствует другому значению слова в английском языке. Думается, что его можно было бы по-русски именовать и сказания, намекая на некоторое своеобразие отразившихся в нем полинезийской и меланезийской культур. Для англоязычного читателя слово Океания значит гораздо больше, чем для жителей Восточной Европы. Океания состоит из одного крупного островного государства — Новой Зеландии с архипелагами бесчисленных островов.

Французская часть Полинезии включает в себя Маркизские острова, Таити и др., не безразличные Джеку Лондону.

Во времена Лондона эти населенные пункты находились в сфере влияния Великобритании, Германии, Франции, Японии, США и некоторых южноамериканских государств, например, Чили. На основных из них существовало губернаторское или судейское правление иностранцев. Конечно, из богатств этих островных земель завоеватели пытались выжать всё, что могли...

Дом Мапуи

Плавно скользила под слабым бризом тяжелая, неуклюжая «Аораи». Капитан, ловко лавируя, лег в дрейф как раз против опасной полосы прибоя. Атолл Хикуэрэ слегка возвышался над водой; во время прилива песчаный круг измельченного коралла, в сто ярдов шириной и двадцать миль в окружности, поднимался от трех до пяти футов над уровнем моря. Дно обширной зеркальной лагуны изобиловало жемчужными раковинами, и с палубы шхуны, находившейся за узким кольцом атолла, можно было различить водолазов, поглощенных работой. Вход в лагуну оставался недоступным даже для торговых шхун. При благоприятном ветре гребные суда пробирались туда по извилистому мелкому каналу, но шхуны разгружались и нагружались вне его пределов; туда они посылали свои небольшие лодки.

Без промедления «Аораи» спустила лодку, и около полудюжины темнокожих матросов, с одними лишь ярко-красными повязками на бедрах, проворно вскочили в нее. Они разместились у весел, а место на корме у руля занял молодой человек, одетый в белое — отличительный признак

европейца под тропиками. Но это не был чистокровный европеец. Золотая кровь полинезийца просвечивала сквозь его светлую, позолоченную солнцем кожу и рассыпала золотистые блики в мерцающей синеве его глаз. Рауль, Александр Рауль, был младшим сыном Марии Рауль, зажиточной квартеронки, владевшей полудюжиной торговых шхун.

Пересекая водоворот, образовавшийся у самого входа, скользя и взлетая на пенистые, бурлящие волны, лодка прокладывала себе путь к зеркальному спокойствию лагуны. Молодой Рауль выпрыгнул на белый песок и обменялся рукопожатием с высоким туземцем. Грудь и плечи этого человека были великолепны, но обрубок правой руки с выдававшейся на несколько дюймов и побелевшей от времени костью свидетельствовал о столкновении с акулой, которая положила конец его благоденствию и превратила в льстеца и проныру, добивающегося ничтожных подачек.

— Вы слыхали, Алек? — были его первые слова. — Мапуи нашел жемчужину — и какую! Никогда такой жемчужины не вылавливали в Хикуэрэ и во всем Паумоту. Да такой вы нигде не сыщете. Купите ее. Она сейчас у него. И помните, что я первый сообщил вам о ней. Он простак и

продаст дешево. Есть у вас табак?

Вверх по берегу Рауль направился к хижине, скрытой пандановым деревом. Рауль был судовым приказчиком своей матери, и на нем лежала обязанность объезжать острова всего Паумоту и скупать местные сокровища — копру, раковины и жемчуг.

Судовым приказчиком он был недавно, в этом звании отплывал лишь второй раз, и недостаток опытности в оценке жемчуга доставлял ему немало тайных мучений. Но когда Мапуи показал ему жемчужину, он постарался скрыть свое восхищение под равнодушием делового человека.

Жемчужина поразила его. Величиной она была с голубиное яйцо безукоризненной формы. Ее опаловая белизна искрилась отраженными лучами всех красочных тонов. Она казалась живой. Рауль никогда не видел ничего подобного. Когда Мапуи опустил жемчужину ему на руку, ее вес удивил его и убедил в том, что это действительно редкий экземпляр. Он тщательнее рассмотрел ее в карманную лупу. Ни единого пятнышка, ни малейшего изъяна! Безукоризненно чистая, она, казалось, растворяется в воздухе.

В тени она неясно светилась, словно молодой месяц. Она была такой прозрачно-белой, что,

опустив ее в стакан воды, он с трудом нашел ее там. Быстро и ровно упала она на дно, и это свидетельствовало о превосходном весе.

— Хорошо. Что ты хочешь за нее? — спросил он с напускной небрежностью.

— Я хочу… — начал Мапуи, а за его спиной закивали такие же темные, как его, лица двух женщин и девочки, выражая свою полную солидарность с его желанием. Их головы наклонились вперед; сдерживаемое нетерпение оживляло их лица; жадностью горели глаза.

— Я хочу дом, — продолжал Мапуи. — Дом с крышей из гальванизированного железа и восьмиугольными стенными часами. Он должен быть сорока футов в длину, с террасой вокруг. Хочу, чтобы в доме была большая комната с круглым столом посредине и с восьмиугольными часами на стене. Там должны быть четыре спальни, по обе стороны большой комнаты, а в каждой спальне — железная кровать, два стула и умывальник. Позади дома кухня — хорошая кухня с горшками, кастрюлями и печкой. И дом ты должен построить на моем острове, на Факарава.

— Все? — недоверчиво спросил Рауль.

— В доме должна быть швейная машина, — громко заявила Тефара, жена Мапуи.

— Не забудь о восьмиугольных часах на стене, — прибавила Наури, мать Мапуи.

— Да, это все, — подтвердил Мапуи.

Молодой Рауль засмеялся. Он хохотал долго и искренно. Но в то же время в уме решал арифметическую задачу.

Никогда в жизни он не строил домов, и его познания в этой области были туманны. Продолжая смеяться, он вычислял стоимость проезда на Таити за материалом, стоимость материала и обратного путешествия на Факараву, расходы по выгрузке материала на берег и по постройке дома. Общая сумма достигала четырех тысяч французских долларов, не считая страховки — четыре тысячи французских долларов, или же двадцать тысяч франков. Это невозможно. Откуда он мог знать стоимость такой жемчужины? Двадцать тысяч франков — изрядная сумма денег; к тому же деньги были материнские.

— Мапуи, — сказал он, — ты большой дурак. Назначь цену наличными деньгами.

Но Мапуи покачал головой, и вместе с ним качнулись три головы за его спиной.

— Я хочу дом, — повторил он. — Дом в сорок футов длиною, с террасой вокруг.

— Да, да, — прервал его Рауль. — Я слыхал о

твоем доме, но так дело не пойдет. Я даю тебе тысячу чилийских долларов.

Четыре головы дружно качнулись, отказываясь дать согласие.

— И на сто чилийских долларов товара.

— Я хочу дом, — снова начал Мапуи.

— Что толку в доме? — задал вопрос Рауль. — Первый же ураган сметет его с лица земли. Тебе бы следовало это знать. Капитан Рэффи говорит, что и сегодня нам не миновать урагана.

— Не на Факарава, — ответил Мапуи. — Там местность значительно выше. На этом острове, да. Каждый ураган может смести Хикуэрэ. У меня будет дом на Факарава. Он должен быть сорока футов в длину, с террасой вокруг…

И Рауль еще раз выслушал повествование о доме. Несколько часов потратил он, стараясь выбить навязчивую идею из головы Мапуи. Но жена Мапуи, и мать, и дочь Нгакура поддерживали его в этом решении.

Выслушивая в двадцатый раз детальное описание требуемого дома, Рауль сквозь открытую дверь заметил причалившую к берегу вторую лодку со шхуны. Матросы оставались на веслах, что указывало на необходимость немедленного возвращения.

Первый помощник «Аораи» выпрыгнул на берег и, обменявшись фразой с одноруким туземцем, поспешил навстречу Раулю. Внезапно стало темно: поднявшийся вихрь затмил солнце. На поверхности лагуны Рауль различил приближающуюся зловещую полосу волн, вздутых ветром.

— Капитан Рэффи передает вам, что, оставаясь здесь, вы попадете в дьявольскую переделку, — объявил помощник.

— Если здесь имеются какие-нибудь раковины, придется вернуться за ними позже — вот что говорит капитан. Барометр упал до двадцати девяти семьдесят.

Бешеный порыв ветра ударил по пандановому дереву, под которым сидел Рауль, и понесся сквозь пальмовую рощу, сбрасывая спелые кокосы, со стуком падавшие на землю. Издалека приближался дождь, слышался злобный рев ветра, вздымающего воду лагуны пенистыми, мятущимися валами. С резким шумом первые капли дождя упали на листья, когда Рауль вскочил на ноги.

— Тысячу чилийских долларов получай наличными, Мапуи, — сказал он. — И на двести чилийских долларов товара.

— Я хочу дом, — твердил тот.

— Мапуи! — воскликнул Рауль, стараясь перекричать шум ветра. — Ты дурак!

Он выбежал из хижины и вместе с помощником стал пробираться по берегу к лодке. Лодки не было видно. Тропический ливень окутал их плотной завесой; они различали лишь почву под ногами да злобные маленькие волны лагуны, хлещущие и разъедающие песок.

Какая-то фигура выпрыгнула из-под завесы дождя. То был однорукий Хуру-Хуру.

— Получили жемчужину? — крикнул он в самое ухо Раулю.

— Мапуи дурак! — последовал ответный крик, и через секунду они потеряли друг друга в низвергающемся потоке дождя.

Полчаса спустя Хуру-Хуру с берега атолла, обращенного к морю, увидел, как подняли обе лодки, и «Аораи» повернулась носом к открытому морю. Неподалеку показалась другая шхуна; она неслась с моря на крыльях шквала, затем легла в дрейф и спустила на воду лодку. Он узнал ее. Это была «Орогена», принадлежавшая Торики — полукровке-торговцу, самолично выполнявшему обязанности судового приказчика. И в данный момент, несомненно, он сидел на корме своей шлюпки. Хуру-Хуру отрывисто рассмеялся. Он

знал, что Мапуи год назад взял в долг у Торики товар.

Шквал затих. На зеркальной поверхности лагуны сверкали горячие лучи солнца. Но воздух оставался удушливым и вязким, тяжесть его давила на легкие и затрудняла дыхание.

— Вы слышали новость, Торики? — спросил Хуру-Хуру. — Мапуи нашел жемчужину. Никогда такой жемчужины не вылавливали ни в Хикуэрэ, ни в Паумоту, ни где бы то ни было. Мапуи — простак. К тому же он вам должен. Помните, что я первый сообщил вам. Есть у вас табак?

И Торики направился к травяной хижине Мапуи. Он был человек наглый и глуповатый. Беззаботно взглянул он на удивительную жемчужину — бросил лишь один взгляд, — а затем спокойно опустил ее в карман.

— Тебе повезло, — сказал он. — Прекрасная жемчужина. Я открою тебе кредит.

— Я хочу дом, — начал было ошеломленный Мапуи. — Дом в сорок футов длиною…

— В сорок футов, рассказывай своей бабушке! — был ответ торговца. — Тебе надо уплатить долг — вот и все. Ты был должен мне двенадцать сотен чилийских долларов. Прекрасно! Теперь ты ничего мне не должен. Счет погашен. А кроме то-

го, я открываю тебе кредит на двести чилийских. Если, добравшись до Таити, я выгодно продам жемчужину, я тебе открою кредит еще на одну сотню. Итого три сотни. Но помни: только в том случае, если хорошо продам жемчужину. Я ведь могу и потерять на ней.

Мапуи, горестно сжав руки, сидел с опущенной головой. У него отняли жемчужину. Вместо дома пришлось уплатить долг. И ничего осязаемого он не получил.

— Ты дурак, — сказала Тефара.

— Ты дурак, — повторила Наури, его мать. — Зачем ты дал ему в руки жемчужину?

— Что мне было делать? — оправдывался Мапуи. — Я ему должен. Он знал, что у меня есть жемчужина. Вы сами слышали — он просил ее показать. Я ему ничего не говорил. Он знал. Кто-то сказал ему. А я ему был должен.

— Мапуи дурак, — повторила, как попугай, Нгакура.

Ей было двенадцать лет, и она не давала себе отчета в происходившем.

Мапуи дал выход своим чувствам, закатив ей пощечину.

А в это время Тефара и Наури заливались слезами и с женским упрямством продолжали его

укорять.

Хуру-Хуру со своего наблюдательного поста на берегу увидел третью шхуну, которая легла в дрейф у входа в лагуну и спустила шлюпку. Это была «Хира»: удачное название, так как шхуна принадлежала Леви, немецкому еврею, самому богатому из всех скупщиков жемчуга, а Хира, как известно, — таитянский бог рыбаков и воров.

— Слыхали новость? — бросился Хуру-Хуру к высадившемуся на берег Леви, толстому человеку с массивными, неправильными чертами лица. — Мапуи нашел жемчужину. Не было еще такой жемчужины ни в Хикуэрэ, ни во всем Паумоту, ни где бы то ни было на свете. Мапуи дурак. Он продал ее Торики за четырнадцать сотен чилийских. Я подслушал и знаю. Торики глуповат. Вы можете дешево купить у него жемчужину. Не забудьте, что я первый сообщил. Есть у вас табак?

— Где Торики?

— В доме капитана Линча, пьют абсент. Он сидит там уже целый час.

И пока Леви и Торики пили абсент и торговались, Хуру-Хуру подслушивал. Он узнал, что они сошлись на неслыханной цене — двадцать пять тысяч франков!

В это время «Орогена» и «Хира», подплыв ближе

к берегу, начали стрелять из пушек и сигнализировать. Когда оба торговца и капитан вышли на берег, обе шхуны поспешно отплывали, спуская гроты и бом-кливера, спасаясь из пасти шквала, который пришпоривал их и гнал по белеющей пеною воде.

Затем дождь поглотил их.

— Они вернутся, когда пройдет шквал, — сказал Торики. — Разумней было бы и нам не оставаться здесь.

— Барометр, должно быть, упал еще ниже, — заметил капитан Линч.

Это был седобородый морской волк, слишком старый, чтобы продолжать службу; он понимал, что для него с его астмой Хикуэрэ — единственное подходящее место для жизни. Он вошел в дом проверить барометр.

— Великий Боже! — услышали они его восклицание и бросились вслед за ним взглянуть на стрелку, остановившуюся на двадцать девять двадцать.

Все трое снова вышли, на этот раз озабоченно и внимательно поглядывая на море и на небо. Шквал утих, но небо оставалось мрачным. На море показались обе шхуны и присоединившаяся к ним третья; на всех парусах они возвращались

назад. Но ветер изменил направление, и паруса безжизненно повисли, а пять минут спустя ветер внезапно подул с другой стороны, отшвырнул шхуны назад, и стоявшие на берегу видели, как в один момент снасти были сорваны.

Громко, глухо угрожая, шумел прибой; шли тяжелые, вздувшиеся бесчисленные валы. Ослепительно вспыхнула страшная полоса молнии, мощными раскатами загрохотал гром.

Торики и Леви бросились сквозь завесу дождя к своим лодкам, прыгающим на волнах подобно испуганным гиппопотамам. Когда обе лодки выскользнули из прохода, мимо них пронеслась в лагуну лодка с «Аораи».

На корме, ободряя гребцов, стоял Рауль. Он не в состоянии был выбросить из головы мысль о жемчужине и возвращался, готовый уплатить за нее Мапуи домом.

Он высадился на берег под гремящим, захлестывающим ливнем, таким густым, что ничего не видно было вокруг, и столкнулся с Хуру-Хуру.

— Слишком поздно, — крикнул Хуру-Хуру. — Мапуи продал ее Торики за четырнадцать сотен чилийских, а Торики уступил ее Леви за двадцать пять тысяч франков. А Леви продаст ее во Франции за сто тысяч франков. Есть ли у вас табак?

Рауль почувствовал облегчение. Настал конец всем его тревожным колебаниям. Ему не нужно было больше беспокоиться, хотя жемчужина и не досталась ему. Но он не поверил Хуру-Хуру. Мапуи еще мог продать ее за четырнадцать сотен чилийских, но чтобы Леви, знаток жемчуга, заплатил за нее двадцать пять тысяч франков!.. Это казалось преувеличением. Рауль решил расспросить капитана Линча. Но, подойдя к дому старого моряка, он застал его взирающим широко раскрытыми глазами на барометр.

— Что он показывает? — с беспокойством спросил капитан, протирая очки и снова вглядываясь в прибор.

— Двадцать девять десять, — ответил Рауль. — Этого я еще никогда не видел.

— Ну, еще бы! — фыркнул капитан. — Пятьдесят лет я плавал по всем морям, а такого падения барометра еще не видывал. Слушайте!

На секунду они притихли. Прибой грохотал и сотрясал дом. Они вышли. Шквал миновал. На расстоянии мили они различили лежавшую в дрейфе «Аораи» с обвисшими парусами. Она ныряла и безумно металась на страшных волнах, стройной процессией катившихся на северо-восток и яростно взлетающих на коралловый берег.

Один из матросов указал на зияющую пасть канала и покачал головой. Рауль поглядел в ту сторону и увидел вскипающую белую пену и мятежные волны.

— Я думаю, придется на ночь остаться с вами, капитан, — сказал он. Затем, повернувшись к матросу, приказал ему втащить лодку на берег и приискать себе и товарищам убежище на ночь.

— Ровно двадцать девять, — возвестил капитан Линч, возвращаясь со стулом в руках после вторичного обследования барометра.

Он сел и стал смотреть на море. Показалось солнце; духота все увеличивалась. Мертвое затишье продолжалось. Волнение же на море росло.

— Понять не могу, откуда эти волны? — возмущенно проворчал Рауль. — Ветра нет, но посмотрите на море, полюбуйтесь-ка этой волной!

Волна, увлекавшая десятки тысяч тонн воды и растянувшаяся на несколько миль, потрясла неустойчивый атолл, дрогнувший словно при землетрясении. Капитан Линч испугался.

— Боже милостивый! — воскликнул он, приподнимаясь со стула и снова падая на него.

— Но нет же ветра, — продолжал недоумевать Рауль. — Понимаю, если бы был ветер.

— Дождетесь и ветра; нечего скучать по нем, —

раздался угрюмый ответ.

Оба погрузились в молчание. Пот выступил на их коже мириадами маленьких капель; эти капельки, сливаясь вместе, образовали большие капли, те в свою очередь соединялись и струйками стекали на землю. Дышать было трудно, особенно тяжело пришлось старику. А море заливало берег и лизало стволы кокосовых пальм, подступая почти к ногам Рауля и капитана.

— Никогда так не поднимался уровень воды, — заметил капитан Линч, — а я уже одиннадцать лет живу здесь. — Он посмотрел на часы. — Сейчас три часа.

Мимо медленно прошли подавленные горем мужчина и женщина; за ними тянулась пестрая свита мальчуганов и собачонок. Они остановились позади дома и после долгих колебаний уселись на песок. Пять минут спустя другая семья притащилась с противоположной стороны; мужчины и женщины несли домашний скарб. И скоро сотни людей различного возраста и пола столпились вокруг жилища капитана. Он подозвал одну только что прибывшую женщину с грудным ребенком на руках и, расспросив ее, узнал, что вода смыла ее дом в лагуну.

Дом капитана был расположен на самой вы-

сокой площадке атолла. Уже во многих местах мощные волны пробили настоящие бреши в тонком коралловом кольце и слились с водой лагуны. Кольцо имело двадцать миль в окружности, а максимальная его ширина достигала ста ярдов. Был разгар сезона ловли жемчуга, и сюда собрались туземцы со всех окружающих островов, даже таких отдаленных, как Таити.

— Здесь тысяча двести человек: мужчин, женщин и детей, — сказал капитан Линч. — Интересно, сколько останется к утру.

— Но почему нет ветра? Вот что хотелось бы мне знать, — спросил Рауль.

— Не волнуйтесь, молодой человек, не волнуйтесь; вам и без того придется поволноваться.

Не успел капитан Линч закончить фразу, как громадная водяная масса обрушилась на атолл. Морская вода забурлила под их стульями, на три дюйма покрыв землю. Унылый испуганный вопль вырвался из толпы женщин. Дети, цепляясь за них руками, с ужасом смотрели на несметные валы и жалобно плакали. Цыплята и кошки в смятении перебегали по воде и в поисках убежища взлетали и карабкались на крышу дома капитана. Один туземец, с новорожденными щенятами в корзине, влез на кокосовую пальму

и на высоте двадцати футов от земли прикрепил корзину. Сука в отчаянии барахталась внизу в воде, визжа и лая.

А солнце все еще ярко светило, и мертвый штиль продолжался. Капитан и Рауль сидели, наблюдая за волнами и бешено раскачивавшейся «Аораи». Капитан Линч смотрел на быстро несущиеся огромные горы воды, затем закрыл лицо руками, чтобы избавиться от этого зрелища, и немного погодя вошел в дом.

— Двадцать восемь шестьдесят, — спокойно объявил он, вернувшись.

В руках он держал веревку, сложенную в кольцо. Разрезав ее на несколько кусков, по пятнадцать футов в каждом, один кусок он передал Раулю, один оставил себе, а остальные распределил между женщинами, советуя им выбрать крепкое дерево и взобраться на него.

Легкий ветерок повеял с северо-востока, и, почувствовав свежее дыхание воздуха на щеках, Рауль оживился. Он увидел «Аораи» с поставленными парусами, удалявшуюся от берега, и пожалел, что не на борту. Там он, конечно, был бы спасен; что же касается атолла… Море вторгалось сюда, почти сбивая его с ног, и он наметил себе дерево. Но, вспомнив о барометре, побежал к дому и

столкнулся с капитаном Линчем, шествовавшим в том же направлении; вместе они вошли в дом.

— Двадцать восемь двадцать, — сообщил старый моряк. — Похоже на то, что светопреставление начинается… а это еще что?

Казалось, что-то несется навстречу, рассекая воздух. Дом дрожал и колебался; они услышали монотонные отголоски мощной, звучной ноты. Окна дребезжали. Разбились две чашки. Ворвалась струя сквозного ветра и, ударив по капитану и Раулю, заставила их пошатнуться. Противоположная дверь с треском захлопнулась; щеколда сломалась. Белая дверная ручка упала на пол и разбилась. Стены комнаты трепетали, словно стенки баллона, который наполняют газом. Раздался гул, похожий на ружейный выстрел, и морская пена окатила стену дома. Капитан Линч взглянул на часы. Было четыре часа. Он надел пальто из грубого сукна, снял с крючка барометр и спрятал его во вместительный карман. Снова море с тяжелым гулом ударило в дом, и хрупкое строение заколыхалось и немного сдвинулось со своего фундамента, осев под углом в десять градусов.

Рауль вышел первым. Ветер подхватил его и завертел, увлекая вперед. Рауль заметил, что ветер

дует с востока. С большим усилием он бросился на песок и, съежившись, старался удержаться. Капитан Линч, уносимый ветром, словно клок соломы, повалился на него. Два матроса с «Аораи», спустившись с кокосовой пальмы, на которую взобрались, поспешили к ним на помощь: согнувшись вдвое, чтобы противостоять ветру, они отвоевывали каждый дюйм пути.

Суставы старика окоченели, и он не мог подняться на дерево. Матросы, связав короткие куски веревки, втянули его наверх и привязали к верхушке дерева, в пятидесяти футах над землей. Рауль обвил своей веревкой ствол ближайшего дерева и ждал. Ветер сбивал с ног. Никогда Рауль не представлял себе такой жестокой силы ветра. Волны перебрасывались через атолл, сбегая в лагуну, и скоро он вымок до колен. Солнце скрылось, спустились свинцовые сумерки. Несколько капель дождя, секшего почти горизонтально, ударили его, словно свинцовые пули. Брызги соленой пены хлестали по лицу, будто осыпая пощечинами. Щеки горели; слезы выступали на его глазах, разъеденных соленой водой. Несколько сот туземцев разместились на деревьях, и Рауль не прочь был посмеяться над этими гроздьями людей, украсившими верхушки. Будучи урожен-

цем Таити, он ловко согнулся вдвое, обхватил руками ствол, прижал к нему ступни и начал взбираться на дерево. На верхушке он нашел двух женщин, двух детей и мужчину. Маленькая девочка сжимала в руках кошку.

С высоты своего гнезда он сделал рукой приветственный знак капитану, и отважный патриарх ответил ему тем же. Небо пугало Рауля. И действительно, оно словно придвинулось ближе, казалось, опускалось на его голову и из свинцового превратилось в черное. Внизу, на земле, оставалось еще много народу. Люди толпились у подножия деревьев и цеплялись за стволы. В нескольких группах молились, и мормонский миссионер ободрял их. Чарующий звук, ритмичный и слабый, как нежная песня сверчка, на секунду коснулся его слуха, и в этот момент Рауль смутно подумал о небе и небесной музыке. Он оглянулся и увидел у подножия другого дерева большую группу людей, державшихся за веревки и друг за друга. Он видел их напряженные лица и согласно движущиеся губы. Звуки не достигали его слуха, но он понял, что они пели гимны.

Ветер все усиливался. Измерить силу ветра Рауль был не в состоянии. Этот ураган давно уже смел всякое представление о ветре, но Ра-

уль все же как-то угадывал, что ветер дует еще сильнее. Неподалеку упало дерево, вырванное с корнями, и попадали на землю живые гроздья. Волна омыла эту полосу песка и поглотила людей. События развивались быстро. Он увидел коричневое плечо и черную голову на бурлящей белизне лагуны. А через секунду все исчезло. Падали другие деревья и ломались точно спички. Мощь ветра изумляла Рауля. Дерево, на котором он приютился, гнулось; одна из женщин плакала и прижимала к себе маленькую девочку, а та в свою очередь цеплялась за кошку.

Мужчина, державший другого ребенка, коснулся руки Рауля и указал ему вниз. Тот взглянул и увидел мормонскую церковь, которая неслась по воде словно пьяная. Она сорвалась с фундамента, ветер и волны подхватили ее и влекли к лагуне. Страшная водяная гора приподняла ее и понесла, швыряя о стволы кокосовых пальм. Гроздья человеческих тел осыпались, будто спелые кокосы. Отливающая волна оставила их на земле; некоторые лежали неподвижно, другие метались и корчились. Они странно напоминали муравьев. Рауль не был потрясен. За той гранью, какую он переступил, человек не ведает ужаса. Спокойно, как на обычное явление, смотрел он на

следующую волну, очистившую песок от человеческих останков. Третья волна, чудовищнее всех до сей поры им виденных, увлекла мормонскую церковь в лагуну, и церковь, полузатопленная, гонимая ветром, поплыла в темноту, напомнив Раулю ветхозаветный Ноев ковчег.

Он посмотрел в сторону дома капитана Линча и с изумлением увидел, что дома нет. Действительно, события чередовались быстро. Рауль заметил, что многие из приютившихся на деревьях теперь спускаются на землю. Но ветер все усиливался — Рауль мог судить об этом по тому дереву, на котором сидел. Оно не качалось больше, сгибаясь и выпрямляясь. Теперь оно казалось почти неподвижным и, согнутое ветром, дрожало мелкой дрожью. Дрожь эта вызывала тошноту. Мелкая, частая, она была подобна вибрированию камертона или язычка варгана[2] и действовала в высшей степени неприятно. И хотя корни крепко держали дерево, оно не могло противостоять такому напору и должно было подломиться.

А вот и еще одно дерево погибло. Он не заметил, как оно упало, и видел только уцелевшую половину ствола. Расслышать ничего было нельзя, так

---

[2] Примечания: 2

Музыкальный инструмент — железная полоса, согнутая лирой, с вставленным посредине стальным язычком.

как все звуки — и треск деревьев, и человеческие вопли отчаяния — терялись в этом величественном необъятном грохоте моря и ветра. Когда подломилось дерево капитана Линча, Рауль как раз смотрел в ту сторону и видел, как ствол бесшумно сломался пополам.

Верхушка дерева с тремя матросами с «Аораи» и старым капитаном понеслась к лагуне. Она не коснулась земли и словно плыла по воздуху, как огромный клок соломы. Он следил за ее стремительным полетом, пока она не достигла моря. Напрягая зрение, он заметил, что капитан Линч машет ему на прощание рукой.

Теперь Рауль решил не терять времени. Он дотронулся до туземца и подал знак, что пора спуститься на землю. Мужчина на это соглашался, но женщины оцепенели от ужаса, и туземец предпочел остаться с ними. Рауль обвязал веревку вокруг ствола и скользнул вниз. Поток соленой воды пронесся над его головой. Он задержал дыхание и с силой отчаяния уцепился за веревку. Волна отхлынула, и под прикрытием ствола он передохнул. Он едва успел надежней закрепить веревку, как его снова накрыла волна. Одна из женщин спустилась и присоединилась к нему. Туземец остался на дереве с другой женщиной,

двумя детьми и кошкой.

Рауль еще раньше заметил, как постепенно редеют группы, жмущиеся у подножия деревьев. Теперь та же участь грозила и ему. Он собрал все силы, чтобы противостоять напору волн, но женщина, присоединившаяся к нему, заметно слабела. Непрерывно заливаемый волнами, он удивлялся, что и он, и женщина — оба еще целы и невредимы. Наконец, вынырнув еще раз, он увидел, что остался один. Он поднял голову. Вершина дерева исчезла; мелкой дрожью дрожал расщепленный ствол. Итак, он был спасен. Корни еще крепко держались, а верхушка была срезана начисто. Рауль начал взбираться по стволу. Но, ослабев, продвигался медленно, и волна за волной окатывали его, пока он не поднялся над ними. Там он привязал себя к стволу и приготовился встретить ночь.

Окутанный тьмой, он чувствовал себя очень одиноким. Временами ему казалось, что наступил конец света, и он — единственный человек, оставшийся в живых. А ветер все усиливался, с каждым часом крепчал. Около одиннадцати часов, по вычислениям Рауля, ветер достиг предельного напряжения. То было страшное чудовище, неистово вопящая фурия; разруши-

тельный вихрь налетал беспрерывно, неустанно. Раулю казалось, что он сам стал легким и словно эфирным и теперь несется вперед, с невероятной быстротой прорывая непроницаемую толщу материи. Ветер перестал быть воздушным течением. Он казался плотным, как вода или ртуть. У Рауля было такое чувство, что этот воздух можно осязать и рвать на куски, точно мясо; казалось, можно ухватиться за него и держаться, повиснув на нем, как на выступе скалы.

Ветер давил его. Рауль не мог сопротивляться его порывам, не мог дышать. Ветер растягивал его легкие, как пузыри, врывался в рот и ноздри. Ему казалось в эти моменты, что тело его пухнет, переполняясь песком. И только прижав губы к стволу дерева, он мог вздохнуть. Неутомимый напор ветра истощил его силы. Тело и мозг изнемогали. Он больше ни на что не смотрел, не думал и впал в полусознательное состояние. Только одна мысль еще мерцала в сознании: «Так вот что такое ураган!» Эта мысль, обрываясь, снова возникала в нем, подобно случайным вспышкам слабого пламени. Из состояния полного отупения он снова возвращался к ней: «Так вот что такое ураган!»

И опять погружался в оцепенение…

Бешеный натиск урагана длился от одиннадцати ночи до трех часов утра. В одиннадцать часов сломалось дерево, куда взобрался Мапуи с семьей. Мапуи выплыл на поверхность лагуны, прижимая к себе свою дочь Нгакуру. Только островитяне южных морей могут вынести такой удушающий вихрь и волнение. Пандановое дерево, к которому он привязал себя, беспрестанно переворачивалось в бурлящей пене. Мапуи цеплялся за него, то ныряя вместе с ним, то высовываясь из воды, и, напряженный, увертывался от грозящих ударов. Лишь благодаря необычайной ловкости мог он выплывать вместе с Нгакурой на поверхность, чтобы набраться воздуха. Но воздух был пропитан водой от летящих брызг и потоков дождя, падающего отвесно, сплошной завесой.

Оставалось пересечь лагуну, проплыть десять миль до противоположного берега атолла. Швыряемые из стороны в сторону стволы деревьев, бревна, обломки лодок и разрушенных домов убивали девятерых из десяти несчастных, переплывавших лагуну.

Полузадушенные, изнемогающие, быстро попадали они в эту дьявольскую ступку и здесь, искалеченные, разбитые, превращались в бесформенные трупы. Но Мапуи повезло. На спасение

у него был один шанс из десяти, и этот шанс выпал ему благодаря извечным капризам судьбы. Истекающий кровью, Мапуи был выброшен на берег. Левая рука Нгакуры была сломана; пальцы правой раздроблены; щека и лоб ободраны до кости. Мапуи обхватил ствол уцелевшего дерева и, держа девочку, прижался к нему, глубоко, прерывисто вбирая воздух. А в это время волны с лагуны омывали его до колен, иногда поднимаясь до талии.

Около трех часов ярость урагана начала стихать. К пяти часам подул свежий, резкий бриз, а в шесть наступило затишье и засияло солнце. Волнение на море улеглось. На берегу еще не совсем утихшей лагуны Мапуи видел разбитые тела тех, кому не удалось спастись. Несомненно, Тефара и Наури были среди них. Он побрел вдоль берега, осматривая трупы, и нашел свою жену, которая лежала, наполовину погруженная в воду. Он сел возле нее и заплакал — стал испускать резкие, животные стоны. Вдруг она пошевельнулась и застонала. Он стал ближе присматриваться к ней. Она не только была жива, но на теле ее не оказалось даже никаких ран. Просто она спала. Ей также выпал один шанс из десяти.

Из тысячи двухсот человек в живых оказалось

триста. Мормонский миссионер и жандарм сделали перепись. Лагуна кишела трупами. Ни одного дома, ни одной хижины не было видно. На всем атолле не осталось камня на камне. Из каждых пятидесяти кокосовых пальм уцелела одна, но и та была искалечена, и ветер сбил все орехи. Пресной воды не было. Вода в мелких водоемах, до краев переполненных дождем, оказалась насыщенной солью. Из лагуны вытащили несколько промокших мешков с мукой. Оставшиеся в живых вырезали сердцевину из упавших кокосовых пальм и съедали ее. Вырывая в песке ямы и покрывая их обломками железных крыш, они сооружали повсюду маленькие норы и вползали в них. Миссионер устроил грубый перегонный куб, но не в силах был перегнать воду для трехсот человек. К концу второго дня Рауль, купаясь в лагуне, заметил, что жажда его слегка утихла. Он сообщил эту новость, и тотчас же триста человек мужчин, женщин и детей вошли по шею в лагуну и утолили жажду, впитывая воду порами кожи. Мертвецы плавали вокруг, и все новые трупы поднимались со дна. На третий день оставшиеся в живых похоронили своих покойников и стали ждать пароходов.

Тем временем Наури, оторванная ураганом от

своей семьи, совершила путешествие, полное приключений. Уцепившись за грубую доску, которая поранила ее и покрыла все тело занозами, она на волнах перелетела через атолл в открытое море. Здесь, под страшными ударами водяных гор, она потеряла свою доску. Наури была старая шестидесятилетняя женщина, но, как уроженка Паумоту, она сжилась с морем. Плывя во тьме, испуганная, задыхающаяся, она ловила каждый глоток воздуха. Вдруг ее больно ударил в плечо кокосовый орех. В одно мгновение в голове ее созрел план. Она схватила орех. В продолжение следующего часа она поймала еще семь кокосов. Связанные вместе, они образовали спасательный пояс, который сохранял ей жизнь, но в любой момент мог превратить ее тело в кашу. Она была толстой женщиной и сильно страдала от ударов. Но ураганы ей были не в новинку, и, не переставая молиться своему богу акул, чтобы сохранил ее от них, она выжидала, пока утихнет ветер. Однако к трем часам она находилась в таком отупении, что ничего уже не сознавала. В таком же состоянии она была и в шесть часов, когда наступил штиль. И только выброшенная на берег, она пришла в себя.

С ободранной кожей, с окровавленными ру-

ками и ногами, ползла она, выкарабкиваясь из затягивающих ее волн отлива, пока не оказалась за их пределами.

Она знала, куда ее выбросили волны. Несомненно, то был маленький островок Такокота. Здесь не было лагуны. Никто тут не жил. Хикуэрэ находился в пятнадцати милях отсюда. Видеть Хикуэрэ она не могла, но знала, что он расположен к югу. Дни шли; она питалась кокосами, на которых приплыла. Они заменяли ей воду и пищу. Но она не могла напиться и наесться вдосталь. Спасение было проблематично. Она видела на горизонте дым пароходов, но разве можно было надеяться, что какой-нибудь пароход подойдет к заброшенному, необитаемому Такокота?

Первое время ее мучили трупы. Море упорно выбрасывало их на берег, и она, пока не истощались силы, с таким же упорством бросала их назад в море, где акулы подхватывали их и пожирали. Когда она ослабевала, трупы окаймляли берег, и, испытывая суеверный ужас, она уходила как можно дальше, в глубь острова.

На десятый день последний кокосовый орех был съеден, и она корчилась от мучительной жажды. Еле передвигая ноги, она бродила по берегу в поисках орехов. Странно было, что во-

круг плавает столько трупов и нет ни одного ореха, тогда как, казалось бы, кокосов должно быть больше. Наконец она прекратила поиски и, совершенно изможденная, легла. Приближался конец. Оставалось только ждать смерти.

Выйдя из оцепенения, она начала медленно сознавать, что все время, не отрываясь, смотрит на клок ярко-рыжих волос на голове одного из трупов. Волна ближе прибила труп, а затем оттащила обратно. Он перевернулся, и Наури увидела, что лица у него нет. Эти ярко-рыжие волосы казались ей знакомыми. Она не старалась опознать труп. Она ждала смерти, и ей мало было дела до того, кем мог быть этот ужасный мертвец.

Но через час она медленно приподнялась и пристально уставилась на труп. Огромная волна отбросила его дальше, куда не достигали меньшие волны. Да, Наури не ошиблась: эта копна ярко-рыжих волос могла принадлежать одному только человеку в Паумоту — Леви, немецкому еврею, скупавшему жемчуг и увозившему его на «Хире». Итак, ясно одно: «Хира» погибла. Божество рыбаков и воров отвернулось от скупщика жемчуга.

Она подползла к мертвому. Рубашка его была разодрана, и она увидела на трупе кожаный пояс

для денег. Затаив дыхание, она с усилием расстегнула пряжку. Это оказалось гораздо проще, чем она ожидала. Торопливо поползла она по песку, волоча за собой пояс. Она расстегивала карман за карманом, но они были пусты. Куда же он ее спрятал? В последнем кармане она нашла ее — первую и единственную жемчужину, купленную им в это плавание. Она отползла на несколько шагов, подальше от зловонного пояса, и осмотрела находку. Это была та самая жемчужина, найденная Мапуи и отнятая у него Торики. Она взвесила ее на руке и осторожно стала перекатывать по ладони. Но подлинной ее красоты она не замечала. В ней она видела дом, так заботливо построенный мысленно Мапуи, Тефарой и ею. Всякий раз, взглянув на жемчужину, она видела дом во всех его деталях, включая и восьмиугольные часы на стене. Для этого стоило жить.

Она оторвала полоску от своей юбки и крепко привязала жемчужину к шее. Затем побрела вдоль берега, задыхаясь, охая, но упорно продолжая искать кокосовые орехи. Неожиданно она нашла один и, осмотревшись кругом, другой. Разбив орех, она выпила сок, который был уже испорчен, и съела сердцевину. Немного позже она нашла разбитую лодку, в которой недоставало ко-

лышка, заменяющего уключину. Наури не теряла надежды и к концу дня нашла колышек. Каждая находка была счастливым предзнаменованием.

Жемчужина оказалась талисманом. К вечеру Наури увидела глубоко сидящий в воде деревянный ящик. Когда она вытаскивала его на берег, в ящике что-то тарахтело — там оказалось десять жестянок с лососиной. Колотя по лодке, она пробила одну жестянку: показался сок, и Наури высосала его. В продолжение нескольких часов вытаскивала она по кусочкам лососину из жестянки.

Еще восемь дней ждала она, что ее спасут. За это время она успела прикрепить колышек к лодке, привязав его волокнами кокосовых орехов и употребив в дело все, что осталось от ее юбки. Лодка была в трещинах, и Наури никак не удавалось сделать ее непроницаемой для воды, тогда она решила использовать вместо черпака скорлупу кокосового ореха. С большим трудом соорудила она весло. Куском жестянки обрезала до самых корней все свои волосы и из них сплела веревку. С помощью этой веревки она привязала трехфутовую палку к доске от ящика, зубами выгрызла клинья и этими клиньями укрепила веревку, скрепляющую весло.

На восемнадцатый день, дождавшись прилива, она в полночь спустила на воду лодку и поплыла обратно на Хикуэрэ. Эта старая толстая женщина от непосильной работы потеряла весь свой жир; остались кости да кожа, да жилистые мускулы. Лодка была большая, и управлять ею должны были трое сильных людей. Но Наури гребла одна, пользуясь самодельным веслом. Лодка сильно протекала, и много времени уходило на вычерпывание воды. В ясном дневном свете Наури высматривала Хикуэрэ, но тщетно. За кормой исчезла Такокота, словно потонула в море. Жгучие лучи солнца палили обнаженное потное тело Наури. Оставалось еще две жестянки с лососиной; она пробила в них дыры и выпила сок. Терять время на вытаскивание по кусочкам лососины она не смела. Течение уносило ее к западу, и все время она должна была бороться с ним, направляя лодку на юг.

С приближением сумерек она выпрямилась в лодке и, наконец, увидела Хикуэрэ. Его пышные кокосовые пальмы исчезли. И лишь кое-где видела она ободранные уцелевшие деревья. Теперь Наури приободрилась.

Она оказалась значительно ближе к цели, чем предполагала. Течение все относило ее к западу.

Борясь с ним, она продолжала грести. Связывающая весло веревка растянулась, и Наури теряла много времени, скрепляя ее. То и дело она вычерпывала воду. Через каждые два часа приходилось работать черпаком. А течение все время относило ее к западу.

К заходу солнца Хикуэрэ находился в трех милях от нее, на юго-востоке. Было полнолуние; к восьми часам Наури приблизилась к острову на одну милю. Еще час изо всех сил боролась она с течением, но земля была все так же далеко. Наури находилась в самом центре течения; лодка была очень большая, а весло несоразмерно маленькое; много времени и сил тратила Наури на вычерпывание воды. Вдобавок старуха сильно ослабела. Несмотря на все ее усилия, лодку относило на запад.

Наури произнесла молитву богу акул, соскользнула за борт и поплыла. Вода освежила ее; вскоре лодка осталась далеко позади, а через час Наури значительно приблизилась к берегу. Но тут-то и надвинулась опасность: прямо перед ней, на расстоянии двадцати шагов, широкий плавник разрезал воду. Она решительно поплыла на него. Неторопливо акула скользнула в сторону, обогнула Наури справа и стала кружиться возле. Та,

не отрывая глаз от плавника, продолжала плыть. Когда он исчезал, она опускала лицо в воду и высматривала акулу. Когда плавник снова появлялся, она плыла дальше. Чудовище обленилось, она это видела. Несомненно, оно насытилось после урагана. В противном случае, оно, разумеется, накинулось бы на нее. Длиной акула была в пятнадцать футов и одним движением челюстей могла перерезать ее пополам.

Но нельзя было терять столько времени из-за акулы. Плыла Наури или останавливалась, но течение по-прежнему влекло ее прочь от земли. Прошло полчаса, и акула расхрабрилась. Не видя ничего угрожающего со стороны Наури, она придвинулась ближе, все суживая круги, и, скользя, нагло таращила на нее глаза. Наури знала: рано или поздно акула наберется храбрости и бросится на нее. И старуха решила сделать первый шаг. Эта мысль была вызвана отчаянием. Одинокая старуха, заброшенная в море, ослабевшая от голода и тяжелой работы, отважилась напасть на этого морского хищника, предупреждая его нападение.

Она продолжала плыть, выжидая удобного случая. Наконец акула лениво проплыла мимо, всего лишь в восьми шагах от нее. Старуха рванулась

к ней, словно переходя в наступление. Акула яростно взмахнула хвостом; его жесткая чешуя содрала с Наури кожу от локтя до самого плеча. Поспешно уплывая, акула все расширяла круги и, наконец, скрылась.

…В норе, вырытой в песке и покрытой сверху обломками железной крыши, лежали и спорили Мапуи и Тефара.

— Если б ты сделал так, как я говорила, — в тысячный раз повторяла Тефара, — спрятал бы жемчужину и не говорил о ней никому, она была бы сейчас у тебя.

— Но ведь Хуру-Хуру был со мной, когда я открыл раковину, — сколько раз мне повторять!

— А теперь у нас не будет дома. Рауль сказал мне сегодня, что если б ты не продал жемчужину Торики…

— Я ее не продавал. Торики отнял ее у меня.

— Если б ты не продал жемчужину, он дал бы тебе пять тысяч французских долларов, а это равняется десяти тысячам чилийских.

— Он поговорил с матерью, — пояснил Мапуи. — Она знает толк в жемчуге.

— А теперь жемчужина потеряна, — жаловалась Тефара.

— Я уплатил долг Торики. Ведь я был должен

ему тысячу двести.

— Торики умер, — крикнула она. — О его шхуне никто ничего не слыхал. Она погибла вместе с «Аораи» и «Хирой». Разве Торики откроет тебе кредит на триста долларов? Нет, потому что Торики умер. А если б ты не нашел жемчужину, был бы сейчас должен Торики тысячу двести? Нет, Торики умер, а мертвому ты не мог бы заплатить.

— Ведь и Леви не заплатил Торики, — сказал Мапуи. — Отдал ему клочок бумаги, за который в Папеэтэ Торики мог бы получить деньги. А теперь Леви умер и не может заплатить; и Торики умер, бумага пропала, и жемчужина погибла. Ты права, Тефара. Я упустил жемчужину и ничего не получил за нее. А теперь давай спать.

Но вдруг он поднял руку и прислушался. Откуда-то доносились звуки, словно кто-то с трудом, тяжело дышит. Чья-то рука нерешительно ощупывала циновку, служившую вместо двери.

— Кто там? — крикнул Мапуи.

— Наури, — послышался ответ. — Не можешь ли ты сказать, где мой Мапуи?

Тефара испуганно вскрикнула и схватилась за руку мужа.

— Привидение! — пролепетала она. — Привидение!

У Мапуи лицо пожелтело от ужаса. Он слегка придвинулся к дрожащей жене.

— Добрая женщина, — выговорил он, заикаясь и силясь изменить голос. — Я хорошо знаю твоего сына. Он живет на восточном берегу лагуны.

Раздался вздох, Мапуи почувствовал некоторую гордость: он одурачил привидение.

— Но откуда ты пришла, старуха? — спросил он.

— С моря, — был унылый ответ.

— Так я и знала! Так и знала! — закричала Тефара, покачиваясь из стороны в сторону.

— С каких это пор Тефара ночует в чужом доме? — послышался из-за циновки голос Наури.

Мапуи боязливо и укоризненно посмотрел на жену: ведь это ее голос их выдал.

— А с каких пор Мапуи, мой сын, отрекся от своей старой матери? — продолжал голос.

— Нет, нет, я не отрекался, Мапуи не отрекался от тебя, — закричал он. — Я не Мапуи. Говорю тебе, он живет на восточном берегу лагуны.

Нгакура приподнялась на кровати и начала плакать. Циновка заколыхалась.

— Что ты делаешь? — спросил Мапуи.

— Я хочу войти, — сказал голос Наури. Конец циновки приподнялся. Тефара пыталась нырнуть

под одеяла, но Мапуи цеплялся за нее. Ему нужно было за кого-нибудь уцепиться.

Они боролись друг с другом, дрожали, стуча зубами, и пристально расширенными глазами смотрели на поднимающуюся циновку. И, наконец, увидели медленно входившую Наури. Морская вода струйками стекала с нее. Юбки на ней не было.

Они отскочили, вырывая друг у друга одеяло Нгакуры, чтобы прикрыться им.

— Вы могли бы дать матери хоть глоток воды, — жалобно сказало привидение.

— Дай ей воды, — приказала Тефара дрожащим голосом.

— Дай ей воды, — повторил приказание Мапуи, обращаясь к Нгакуре.

И вдвоем они вытолкнули Нгакуру из-под одеяла. Через минуту, выглядывая украдкой из-за жениной спины, Мапуи увидел, что привидение пьет. Когда же оно протянуло дрожащую руку и положило ее на руку Мапуи, он почувствовал ее тяжесть и убедился, что это не привидение. Тогда он встал, таща за собой Тефару, и через несколько минут все они слушали повествование Наури. А когда она рассказала о Леви и положила жемчужину на руку Тефары, та убедилась, что

свекровь ее жива.

— Утром, — сказала Тефара, — ты продашь жемчужину Раулю за пять тысяч французских долларов.

— А дом? — спросила Наури.

— Рауль построит дом, — отвечала Тефара. — Он говорит, что дом будет стоить четыре тысячи долларов. А на одну тысячу он нам даст товаров в кредит. Одна тысяча французских равняется двум тысячам чилийских.

— И дом будет в сорок футов длиною? — допытывалась Наури.

— Ну, конечно, — ответил Мапуи, — в сорок футов.

— И в средней комнате будут восьмиугольные часы на стене?

— Конечно! И круглый стол.

— Дайте же мне чего-нибудь поесть, я голодна, — с довольным видом сказала Наури. — А после этого мы ляжем спать, я устала. Завтра мы еще поговорим о доме, прежде чем продавать жемчужину. Лучше было бы взять тысячу французских наличными. Приятнее иметь деньги, чем кредит на покупку товаров у купцов.

Китовый зуб

Это произошло давно на островах Фиджи, в селении Реве, в миссионерском доме. Джон Стархэрст поднялся и громко заявил о своем намерении проповедовать Евангелие племенам всего Вити-Леву. Вити-Леву, иначе — «Великая Страна» — самый большой остров в группе, состоящей из многих больших островов и множества мелких. На побережье Вити-Леву приютилась горсточка белых людей: то были миссионеры, торговцы, рыбаки и дезертиры с китобойных судов. Жизнь их всегда висела на ниточке. Под окнами их домов нередко поднимался дым жарких печей, а мимо дверей тащили на пиршества тела убитых.

Лоту — богопочитание — распространялось медленно и нередко ползло вспять, подобно раку. Вожди, объявлявшие себя христианами и с восторгом принятые в лоно Церкви, имели прискорбное обыкновение впадать в грех, соблазняясь мясом какого-нибудь давно намеченного врага. Съесть либо быть съеденным — таков был закон страны, и власть его над страной обещала быть очень продолжительной. Иные вожди, например Таноа, Туйвейкозо и Туикилакила,

поедали своих собратьев сотнями. Но среди этих ненасытных первое место занимал Ра Ундреундре, проживавший в Такираки. Он вел счет своим трофеям. Ряд камней перед его хижиной символизировал тела, съеденные им. Этот ряд простирался на двести тридцать шагов в длину, а камней в нем было восемьсот семьдесят два. Каждый камень соответствовал одной жертве. Ряд этот оказался бы и длиннее, если бы Ра Ундреундре не получил коварного удара копьем в крестец во время схватки в зарослях Сомо-Сомо. И Ра Ундреундре был подан на стол Наунгавули, ничтожный ряд камней которого отмечал всего лишь сорок восемь побед.

Изнуренные тяжелой работой, истощенные лихорадкой, миссионеры твердо стояли на посту и упорно выполняли свой долг. Временами, впадая в отчаяние, они все же надеялись на какое-то чудо, вроде благодарного сошествия святого духа в виде огненных языков, которое принесло бы им великую жатву душ.

Но людоеды Фиджи оставались по-прежнему упорными. Курчавоголовые лакомки не желали отказываться от своих горшков с мясом, пока жатва была обильна. Иногда пленных бывало слишком много, и каннибалы, шантажируя мис-

сионеров, тайком распускали слух, что в такой-то день произойдет процедура избиения и состоится пиршество. Миссионеры спешили откупить жизнь жертв и раздавали пачки табака, коленкор и связки бус. Уступая этот избыток живого мяса, вожди тем не менее получали большую прибыль от подобных сделок, ибо всегда имели возможность совершить нападение на другие селения и захватить еще пленных.

Вот при каких обстоятельствах объявил Джон Стархэрст о своем намерении проповедовать слово Божие по побережью Великой Страны. Он сказал, что начнет с горных твердынь у верховьев реки Ревы. Его слова были приняты с изумлением и ужасом.

Проповедники из туземцев даже прослезились. Два товарища-миссионера всеми силами пытались его отговорить. Повелитель острова Ревы заявил, что жители гор несомненно сделают с ним «каи-каи», или иначе — съедят, и что он, повелитель Ревы, познавший Лоту, вынужден будет идти на них войной, а жители гор непобедимы, это он хорошо знал. Они могут спуститься вниз по реке и разгромить селение Реву — это повелитель острова Ревы тоже прекрасно знал. Но что было ему делать? Если же Джон Стархэрст

все-таки хочет туда отправиться, он будет съеден, а тогда вспыхнет война и сотни людей погибнут.

К вечеру того же дня депутация вождей Ревы посетила Джона Стархэрста. Он терпеливо их выслушал, спокойно с ними поговорил, но ни на шаг не отступил от своего решения. Своим товарищам-миссионерам он заявил, что вовсе не намерен стать мучеником; он лишь выполняет волю Бога, призвавшего его и повелевшего проповедовать Евангелие жителям Вити-Леву.

Торговцам, убеждавшим его особенно пылко, он сказал:

— Ваши доводы ничего не стоят. Вами руководит лишь опасение понести убытки в ваших делах. Ваши интересы сводятся к накоплению денег, мой же — к спасению душ человеческих. Язычники этой темной страны должны быть спасены.

Джон Стархэрст не был фанатиком. Он первый стал бы возражать против такого обвинения. Он был в высшей степени практичным и рассудительным человеком. В благих результатах своей миссии он не сомневался и лелеял мечту зажечь в душах горных жителей искру священного огня и открыть им путь к новой жизни; и новая жизнь разольется затем вглубь, вширь и вдаль

— по всей Великой Стране, от моря и до моря, до самых отдаленных островов, затерянных в океане. Мягкие серые глаза его не горели огнем безумия; им руководила спокойная решимость и непоколебимая вера во всемогущего Бога.

Нашелся лишь один человек, который одобрил его намерение. Это был Ра Вату. Он ободрял его и предложил ему проводников до подножия первых холмов. Джону Стархэрсту доставило величайшую радость поведение Ра Вату. Закоснелый язычник, Ра Вату — с сердцем таким же черным, как его поступки, — начинал как будто исправляться. Он даже поговаривал о принятии христианства. Правда, уже три года тому назад он выразил подобное желание — и был бы принят в лоно Церкви, если бы Джон Стархэрст не воспротивился его намерению захватить с собой всех своих четырех жен. И с экономической, и с этической точки зрения Ра Вату был противником моногамии. Кроме того, его оскорбила такая неосновательная придирка миссионера, и, желая продемонстрировать свою полную независимость, он взмахнул дубиной над головой Стархэрста. Стархэрст спасся лишь благодаря тому, что успел подскочить к Ра Вату и плотно к нему прижаться. Он сжимал его до тех пор, пока

не подоспела помощь. Но теперь все было забыто и прощено. Ра Вату готов стать членом Церкви, и не только как обращенный язычник, но и как раскаявшийся полигамист. Он уверял Стархэрста, что лишь ждет смерти своей самой старой, больной жены.

В одном из каноэ Ра Вату Джон Стархэрст направился вверх по тихому течению Ревы. На каноэ он должен был плыть два дня до того места, где судоходство на реке прекращается.

Вдали виднелись громады туманных гор, поднимающихся к самому небу: то был горный хребет Великой Страны. Весь день Джон Стархэрст, не отрываясь, с жадным нетерпением смотрел в ту сторону.

Временами он тихо молился. Иногда к его молитве присоединялся Нарау, туземец-проповедник, семь лет назад принявший христианство после того, как был спасен от пылающей печи доктором Джемсом Эллери Брауном. Этот доктор внес за него грошовый выкуп: несколько пачек табака, два шерстяных одеяла и большую бутылку целебного бальзама.

Только в последний момент, после двадцатичасовых молитв в полном уединении, ухо Нарау удостоилось услышать глас, призывающий его

идти в горы с Джоном Стархэрстом.

— Господин, я иду с тобой, — объявил он.

Джон Стархэрст с тихой радостью приветствовал его решение. Поистине Господь Бог не оставит его — Джона Стархэрста, если даже такое слабое существо, как Нарау, вызвалось сопровождать его.

— Я действительно не из храбрых, я — слабейший из сосудов господних, — объяснял Нарау в первый день пути.

— Ты должен верить, крепко верить, — сказал ему миссионер.

В тот же день другое каноэ отправилось в путь вверх по течению Ревы. Но оно шло позади и старалось держаться незаметно. Это каноэ тоже принадлежало Ра Вату. В нем находился Эрирола, двоюродный брат Ра Вату и преданный его слуга. Всю дорогу он не выпускал из рук маленькой корзинки, где лежал китовый зуб.

Это был великолепный китовый зуб — шесть дюймов длины, идеальной формы, слегка пожелтевший, с красноватым оттенком от времени. Зуб был собственностью Ра Вату. С появлением на Фиджи китового зуба связан любопытный обычай. Вот в чем он заключается: всякий, получивший китовый зуб, не имеет права отказать в просьбе

тому, кто этот зуб ему подарил. Просьбы могли быть самые разнообразные: можно требовать и человеческой жизни, и братского союза между племенами. И ни один уроженец Фиджи не обесчестит себя отказом ее исполнить, раз китовый зуб им уже принят. Иногда просьба откладывается на некоторое время или выполнение ее замедляется, но последствия всегда неизбежны.

К концу второго дня пути Джон Стархэрст остановился почти у самых истоков Ревы, в деревне одного вождя, по имени Монгондро.

Утром он рассчитывал отправиться пешком, в сопровождении Нарау, к вершинам туманных гор, казавшихся вблизи бархатисто-зелеными. Монгондро, старый маленький вождь, кроткого нрава, приветливый, близорукий, страдающий слоновой болезнью, не питал больше склонности ко всем треволнениям войны. Миссионера он встретил с радушным гостеприимством, дал ему пищу со своего стола и даже завязал с ним спор на религиозные темы. Монгондро обладал любознательным умом и весьма обрадовал Джона Стархэрста, обратившись к нему с просьбой объяснить сущность и происхождение бытия.

Кратко рассказав вождю о сотворении мира по Книге Бытия, Джон Стархэрст увидел, что Монгон-

дро глубоко взволнован. Несколько минут старый маленький вождь молча курил. Затем, вынув изо рта трубку, печально покачал головой.

— Этого не могло быть, — сказал он. — Я, Монгондро, в юности умел работать стругом. И все же мне требовалось три месяца, чтобы сделать каноэ, маленькое каноэ, совсем маленькое. А ты говоришь, что вся земля и вода созданы одним человеком…

— Нет, созданы одним Богом, единым истинным Богом, — перебил его миссионер.

— Это все равно, — продолжал Монгондро, — значит, все: земля, вода, деревья, рыба, леса, горы, солнце и луна и звезды созданы в шесть дней! Нет, нет. Говорю тебе, в юности я был ловким человеком, и все же мне нужно было три месяца, чтобы сделать одно небольшое каноэ. Это — сказка для маленьких детей, и ни один взрослый человек ей не поверит.

— Но я же взрослый человек, — заметил миссионер.

— Это верно, ты взрослый. Но мой темный разум не в состоянии постичь то, чему ты веришь.

— Говорю тебе, я верю, что все сотворено в шесть дней.

— Да, ты так говоришь; да, да, — успокоитель-

ным тоном забормотал старый людоед.

А когда Джон Стархэрст и Нарау улеглись спать, в дом вождя прокрался Эрирола и после дипломатической беседы протянул старику китовый зуб. Старый вождь долго держал зуб в руке. Это был превосходный китовый зуб, и Монгондро хотелось его заполучить.

Но он угадывал просьбу, какая последует за подарком. Нет, нет! Китовый зуб великолепен, и всякому лестно было бы его иметь, но все же старик с бесконечными извинениями вернул его Эрироле.

С первыми проблесками рассвета Джон Стархэрст был уже на ногах и в своих высоких кожаных сапогах зашагал по тропинке сквозь заросли. По его стопам следовал верный Нарау, а голый проводник, подданный Монгондро, указывал им дорогу к ближайшей деревне. В полдень они пришли туда. Отсюда путь им показывал новый проводник. Позади, на расстоянии мили от них, пробирался Эрирола, с китовым зубом в корзинке, привязанной за плечами. Два дня он шел по следам миссионера, в каждом селении предлагая вождям китовый зуб. Но все от него отказывались. Эрирола являлся тотчас же после ухода миссионера, а потому вожди догадывались, какая

просьба их ждет, и предпочитали уклониться.

Миссионер и Нарау направлялись по прямому пути в горы, а Эрирола избрал мало кому известную тропинку и опередил их. Он явился в укрепленные владения вождя Були из Гатока. Були не был осведомлен о скором прибытии Джона Стархэрста. Китовый зуб был великолепен — редкий экземпляр — и окраска его казалась необыкновенной. Зуб был предложен в присутствии посторонних. Були из Гатока восседал на лучшей своей циновке, окруженный главными советниками; три раба опахалами отгоняли от него мух. Из рук своего глашатая удостоил он принять китовый зуб, подарок Ра Вату, доставленный сюда, в горы, двоюродным братом Ра Вату, Эриролой.

Рукоплескания сопровождали передачу подарка; группа советников, глашатаи и рабы с опахалами восторженно кричали хором:

— А! вои! вои! вои! А! вои! вои! вои! А! табуа леву! вои! вои! А! мудуа, мудуа, мудуа!

— Скоро придет сюда один белый, — начал Эрирола после длительной паузы. — Это — миссионер; он будет здесь сегодня. Ра Вату желает получить его сапоги. Он хотел бы подарить их своему доброму другу Монгондро. А вместе с са-

погами он пошлет ему и ноги белого. Монгондро — старик, зубы у него плохие. Постарайся непременно, Були, чтобы ноги были доставлены вместе с сапогами, а туловище может остаться здесь.

Були уже не рад был китовому зубу; он нерешительно оглянулся вокруг. Но ведь подарок уже принят.

— Такая мелюзга, как миссионер, ничего не значит, — ободрял Эрирола.

— Конечно, на такую мелюзгу, как миссионер, нечего обращать внимание, — ответил Були, овладев собой. — Монгондро получит сапоги. Вперед, молодцы! Ступайте втроем или вчетвером! Идите по тропе навстречу миссионеру. Постарайтесь же доставить сюда сапоги.

— Слишком поздно, — сказал Эрирола и прошептал: — Слышишь! Он идет сюда.

Пробравшись сквозь густой кустарник, Джон Стархэрст, а за ним Нарау выступили вперед. Высокие сапоги, намокшие при переходе через поток, на каждом шагу выбрасывали тонкие струйки воды. Стархэрст оглядел всех горящими глазами. Воодушевленный непоколебимой верой, не испытывая ни страха, ни сомнения, он ликовал, глядя на раскинувшуюся перед ним крепость. Он знал, что с сотворения мира он был

первым белым человеком, вступившим в эту горную крепость Гатока.

Зеленые хижины лепились по крутым горным склонам или нависали над бурной Ревой. По обе стороны вздымались отвесные скалы. Узкое ущелье озарялось солнцем не больше чем на три часа. Ни кокосовых пальм, ни бананов нигде не было видно, но буйная тропическая растительность покрывала горы, проникая в каждую выбоину и трещину, и легкие зеленые гирлянды ниспадали с острых выступов скал. В глубине ущелья, с высоты восьмисот футов мощным потоком низвергалась Рева, и воздух в скалистой крепости дрожал и гудел в унисон с грохотом водопада.

Джон Стархэрст увидел, как из дома вышел сам вождь Були и с ним его свита.

— Я принес вам благую весть, — приветствовал их миссионер.

— Кто послал тебя? — спокойно спросил Були.

— Бог.

— Это имя неизвестно в Вити-Леву, — усмехнулся Були. — Каких островов, селений или долин он повелитель?

— Он повелитель всех островов, всех селений, всех долин, — торжественно прозвучал ответ Джона Стархэрста. — Он — владыка неба и земли,

и я принес вам его слово.

— А прислал ли он китовый зуб? — послышался дерзкий вопрос.

— Нет, но драгоценнее всякого китового зуба…

— У нас в обычае, чтобы вожди обменивались подарками и посылали китовый зуб, — перебил его Були. — Или твой повелитель скряга, или ты дурак, если пришел в горы с пустыми руками. Посмотри, более щедрый человек тебя опередил.

С этими словами он показал китовый зуб, полученный от Эриролы.

Нарау застонал.

— Это китовый зуб Ра Вату, — шепнул он Стархэрсту. — Я его хорошо знаю. Теперь мы погибли.

— Вещь красивая, — сказал миссионер, поглаживая свою длинную бороду и поправляя очки. — Ра Вату позаботился о том, чтобы нас здесь хорошо приняли.

Но Нарау снова застонал и отошел от того, за кем так преданно следовал.

— Ра Вату скоро станет христианином, — заявил Стархэрст, — я принес тебе весть о Лоту.

— Не нужно мне твоего Лоту, — гордо ответил Були. — Я хочу, чтобы тебя сегодня же прикончили дубиной.

Були дал знак одному из своих рослых горцев, и

тот, выступив вперед, замахнулся дубиной. Нарау стремглав бросился в ближайший дом, пытаясь спрятаться под защиту женщин среди циновок. Джон Стархэрст прыгнул вперед и обхватил руками шею палача. Теперь, когда ему не угрожала неминуемая смерть, он пустил в ход все свое красноречие. Зная, что защищает свою жизнь, он, однако, не испытывал ни страха, ни волнения.

— Ты совершишь злое дело, если убьешь меня, — говорил он палачу. — Я ничего плохого не сделал ни тебе, ни Були.

Он так крепко уцепился за шею горца, что остальные не осмеливались пустить в дело дубину.

В такой позе он отстаивал свою жизнь и убеждал дикарей, громко требовавших его смерти.

— Мое имя Стархэрст, — спокойно говорил он. — Я работал на Фиджи в течение трех лет и не просил за это никакой награды. К вам я пришел для вашего же блага. Зачем меня убивать? Разве это принесет кому-нибудь выгоду?

Були украдкой бросил взгляд на китовый зуб: правитель Гатоки уже был щедро вознагражден.

Толпа голых дикарей окружила миссионера. Они затянули песнь смерти — песнь раскаленной печи — и заглушили обличавший их голос.

Но Стархэрст ловко обхватывал тело палача, не давая возможности нанести смертельный удар. Эрирола усмехался, а Були рассердился.

— Прочь, дураки! Нечего сказать, хорошая молва распространится по берегу: целая дюжина против одного безоружного, слабого, как женщина, миссионера! И он вас осиливает!

— Послушай, Були, — стараясь перекричать шум свалки, воззвал миссионер. — Я и тебя одолею. Мое оружие — истина и справедливость, и ни один человек не может мне противостоять.

— Ну, подойди ко мне, — отвечал Були. — Мое оружие — всего лишь жалкая, ничтожная дубина, и, как ты сказал, она против тебя бессильна.

Толпа расступилась, и Джон Стархэрст очутился лицом к лицу с Були, опиравшимся на огромную, сучковатую дубину.

— Что ж, подходи, миссионер! — вызывающе кричал Були, — победи меня!

— Не сомневайся, я подойду и одолею тебя, — ответил Джон Стархэрст. Протерев очки и снова надев их, он шагнул вперед. Були поднял дубину и ждал.

— Прежде всего, заметь, что моя смерть никакой пользы тебе не принесет, — возобновил свои доводы миссионер.

— За меня ответит моя дубина, — сказал Були.

И на каждый довод миссионера он давал один и тот же ответ, зорко следя, чтобы предупредить ловкий маневр белого человека, бросающегося на шею палачу.

И теперь, только теперь, Джон Стархэрст почувствовал, что смерть близка. Он не пытался ее избежать. С непокрытой головой стоял он под ярким солнцем и громко молился — непонятная фигура неизбежного белого человека, который с Библией, с пулей или бутылкой рома настигает смущенного дикаря в его собственных укреплениях. Таким предстал Джон Стархэрст перед Були из Гатока в его скалистой крепости.

— Прости им, ибо они не ведают, что творят, — молился он. — О Господи, сжалься над Фиджи. Имей сострадание к Фиджи. О Иегова, внемли моей молитве ради него, твоего сына, который всех нас привел к тебе. От тебя мы пришли и молим — прими нас опять к себе. Но ты всемогущ и можешь ее спасти. Простри свою длань, о Господи, и спаси Фиджи, несчастных людоедов Фиджи.

Були потерял терпение.

— Теперь я тебе отвечу, — пробормотал он, замахиваясь дубиной.

Нарау, скрывавшийся в хижине среди женщин,

услышал тяжелый удар и содрогнулся. Затем раздалась песнь смерти, и он понял, что тело его друга-миссионера волокут к печи.

Он слышал слова:

— Осторожней! Осторожней несите меня. Ибо я подвижник моей страны. Благодарю тебя! Благодарю! Благодарю тебя!

Потом из шума выделился одинокий голос и спросил:

— Где мужественный человек?

Сотни голосов проревели в ответ:

— Сейчас его приволокут к печи и изжарят.

— Где трус? — снова прозвучал одинокий голос.

— Убежал, чтобы донести, — загудела в ответ толпа. — Убежал, чтобы донести! Убежал, чтобы донести!

Нарау застонал в тоске. Слова старой песни были правдивы. Он был трусом — и ему оставалось только пойти и донести.

Мауки

Он весил сто десять фунтов. Волосы у него были курчавые — негритянские, и весь он был черен — своеобразно черен, без всякого синеватого или красноватого отлива, — черен, как черная слива. Его звали Мауки, и он был сын вождя. У него имелось три *тамбо.* Тамбо в Меланезии соответствует табу. Оба эти слова — одного и того же полинезийского происхождения. Три тамбо Мауки налагали на него следующие запрещения: во-первых, он никогда не должен был здороваться за руку с женщиной или позволять ей прикасаться к нему, а также к его вещам; во-вторых, он не смел есть ракушек и пищу с огня, на котором они жарились; в-третьих, он не должен был притрагиваться к крокодилу и ездить в каноэ, где находится хотя бы самая крохотная часть — скажем, зуб — крокодила.

И зубы у него были черные, но иного оттенка. Они были густо-черные, пожалуй, как сажа. Такими они стали в одну ночь, когда его мать натерла их минеральным порошком, добытым ею в горах за Порт-Адамсом. Порт-Адамс — приморское селение на Малаите, а Малаита — самый

дикий остров Соломоновой группы, — такой дикий, что до сих пор ни торговцы, ни плантаторы не сумели там обосноваться. Начиная с первых рыбаков и торговцев сандаловым деревом и кончая современными вербовщиками рабочих, снаряженными автоматическими ружьями и гранатами, все белые искатели приключений погибали и погибают на Малаите от томагавков и разрывных снайдеровских пуль. И теперь, в двадцатом столетии, Малаита все еще остается проклятым местом для вербовщиков, нанимающих здесь рабочих, которых затем отправляют на плантации соседних, более цивилизованных островов, где они получают жалованье тридцать долларов в год. Туземцы этих цивилизованных островов слишком эмансипировались и сами не желают работать на плантациях.

Уши Мауки были проколоты, но не в одном или двух местах, а во многих. В одной из небольших дырок он носил глиняную трубку. Более широкие отверстия не годились для этой цели, так как трубка проскакивала насквозь. В самых больших дырах каждого уха у него обычно были продеты куски дерева четырех дюймов в диаметре. Окружность этих дыр равнялась приблизительно двенадцати с половиной дюймам. В своих вкусах

и склонностях Мауки уподоблялся католику. Во всех остальных, меньших размеров дырах он носил самые разнообразные предметы: пустые ружейные патроны, гвозди для подков, медные винты, кусочки веревок, обрывки хвороста, пучки зеленых листьев и по вечерам красные цветы гибиска. Ясно, что карманы не нужны были в его обиходе. Кроме того, у него и не могло быть карманов — вся его одежда состояла из куска коленкора шириной в несколько дюймов. В волосах он носил перочинный нож, защемив лезвием жесткий локон.

Но самым ценным предметом являлась ручка от фарфоровой чашки, подвешенная к черепаховому кольцу, которое пронизывало хрящ его носа.

Невзирая на все эти украшения, у Мауки все же было приятное лицо. Он был действительно миловиден, с любой точки зрения, а для меланезийца являлся образцом красоты. Единственным его недостатком было полное отсутствие мужественности: лицо нежно-женственное, почти девичье, мелкие, правильные, тонкие черты, бесхарактерный подбородок и бесхарактерный рот. Лоб, челюсти и нос не носили ни малейшего отпечатка силы или характера. Только в глазах

можно было уловить намек на те неведомые качества, какие ставили его значительно выше остальных людей, даже не способных его понять, — это: отвага, настойчивость, бесстрашие, воображение и сметливость. Когда они случайно проявлялись в каком-нибудь необычайном поступке, окружающих охватывало изумление.

Отец Мауки был вождем племени, обитавшего в Порт-Адамсе, и, таким образом, Мауки, с самого рождения живший у моря, сделался как бы животным земноводным. Он был хорошо знаком с жизнью рыб и устриц, и рифы являлись для него открытой книгой. И управлять каноэ он также умел. Он научился плавать на втором году жизни. В семь лет он мог задерживать дыхание на целую минуту и нырял на дно, на глубину тридцати футов. В этом возрасте он был похищен жителями лесов, не умевшими плавать и боявшимися соленой воды. И теперь Мауки видел море лишь издали, сквозь просветы в джунглях или с открытых уступов гор. Он стал рабом старого Фанфоа, старшего вождя двух десятков селений, рассеянных в зарослях Малаиты. В тихое утро поднимающийся к небу дым служил для белых людей, бороздящих море, показателем того, что джунгли Малаиты обитаемы. Белые не проника-

ли в глубь Малаиты. Однажды, в дни погони за золотом, они сделали эту попытку, но оставили там свои головы, которые скалят теперь зубы с закопченных бревен лесных хижин.

Когда Мауки исполнилось семнадцать лет, у Фанфоа вышел запас табака. Ему очень недоставало табака. То было тяжелое время для всех его селений. Фанфоа допустил ошибку. Суо была очень мелкой гаванью, и большая шхуна не могла бросить там якорь. Весь берег зарос мангиферами, свисающими над темной водой. Это была хорошая западня, и в нее попали два белых человека в маленьком кече. Они приехали вербовать рабочих, и у них имелся большой запас табака и много товаров, не говоря уже о трех ружьях и несметном количестве патронов. Здесь, в Суо, не было прибрежных селений, и жители лесов приходили к морю. На кече дела шли великолепно. В первый день записалось двадцать рабочих. Даже старый Фанфоа записался. И в тот же день толпа завербованных снесла головы двум белым, перебила весь экипаж и сожгла кеч. После этого события в течение трех месяцев во всех селениях было много табака и всяких товаров. Затем явилось военное судно. Оно метало снаряды, проникающие на мили в глубь острова, выгоняя

испуганных жителей из их селений. Туземцы отступили дальше, в чащу лесов. На берег высадились отряды белых, которые сожгли деревни со всем запасом табака и со всеми товарами. Кокосовые пальмы и бананы были срублены, поля таро[3] уничтожены, свиньи и куры перебиты.

Фанфоа считал это хорошим уроком, но табака у него опять не было. И молодые люди его племени были слишком напуганы, чтобы пойти на вербовочные суда. Вот почему Фанфоа приказал отвести своего раба Мауки вниз к морю и записать рабочим за пол-ящика табака; кроме табака, авансом были выданы ножи, топоры, коленкор и бусы как плата за работу Мауки на плантациях. Мауки, очутившись на борту судна, пришел в ужас. Он походил на агнца, ведомого на заклание. Белые люди были свирепыми существами. Иными они быть не могли, ибо не отважились бы тогда разъезжать вдоль берегов Малаиты и заходить в гавани — двое белых на судне, переполненном чернокожими; ведь на каждой шхуне находилось от пятнадцати до двадцати негров-матросов и часто свыше шестидесяти и семидесяти завербованных негров-рабочих.

---

[3] Примечания: 3
Тропическое растение, корни которого идут в пищу.

Вдобавок им всегда грозила опасность со стороны прибрежных жителей. Внезапное нападение — и весь экипаж шхуны мог быть вырезан. Поистине белому человеку нужно быть жестоким. Кроме того, у них имелись дьявольские приспособления: ружья, стрелявшие необычайно быстро и далеко; железные и медные предметы, заставлявшие шхуну двигаться даже во время штиля, и ящики, которые разговаривают и смеются совсем, как живые люди. Да, Мауки слыхал еще об одном белом: то был самый могущественный дьявол, он мог, по желанию, вынимать все свои зубы и снова вставлять их на место.

Мауки отвели в нижнюю каюту. На палубе остался на страже один белый с двумя револьверами. В каюте сидел другой белый, держа перед собой книгу, где чертил какие-то странные знаки и линии. Он осмотрел Мауки, точно тот был курицей или поросенком, заглянул ему под мышки и записал что-то в книгу. Затем протянул пишущую палочку Мауки; тот только прикоснулся к ней, но этого было достаточно, чтобы отметить в книге его согласие работать в течение трех лет на плантациях Мунглимской мыльной компании. Он этого не подозревал, ему ничего не объяснили; задача же суровых белых людей

состояла в наблюдении за точным выполнением обязательства, и в этом поддержкой им являлись все могущество и весь флот Великобритании.

На борту находились и другие чернокожие из неведомых, далеких стран. Белый человек отдал им приказание, и они выдернули из волос Мауки длинное перо, коротко обрезали ему волосы и обернули его бедра куском ярко-желтого коленкора.

Много дней провел он на шхуне, посетил столько стран и островов, сколько ему и не снилось, и наконец был высажен на берег в Новой Георгии и поставлен на работу по расчистке джунглей и срезыванию тростника. Только теперь узнал он, что такое работа. Даже у Фанфоа ему не приходилось так работать. Эта работа ему не понравилась. Работали с рассвета и до темноты, а есть полагалось всего лишь два раза в день. И пища была однообразная. По целым неделям ничего не давали, кроме сладкого картофеля и риса. День за днем, неизменно, его заставляли очищать кокосовые орехи от скорлупы, и много дней и недель подряд он поддерживал огонь, на котором коптили копру; наконец у него заболели глаза. Тогда его поставили рубить деревья. Топором он владел великолепно, и позднее его зачислили в

партию, строившую мост. Один раз его, в виде наказания, заставили прокладывать дорогу. Иногда он служил матросом на китобойных судах, привозивших копру с дальних берегов, или вместе с белыми выплывал на ловлю рыбы динамитом.

Между прочим он немного усвоил английский язык и мог объясняться теперь со всеми белыми и со всеми завербованными рабочими, говорившими на тысяче всевозможных наречий. Он немало узнал также и о белых людях и, в частности, убедился, что они верны своему слову. Если они обещали дать ему табак — он его получал. Если они грозили выбить из рабочего «семь склянок» — неизменно эти «семь склянок» они из виновного выбивали. Мауки не понимал, что значит «семь склянок», но эти слова слышал часто и заключил, что «семь склянок» обозначают зубы и кровь. Он узнал и кое-что иное: никто не бывал наказан и избит без вины. Даже когда белый человек напивался, — а это случалось нередко, — никогда он не наносил удара, если порядок не был нарушен.

Мауки не любил плантации. Он ненавидел работу — ведь он был сыном вождя. Уже десять лет прошло с тех пор, как Фанфоа похитил его из Порт-Адамса, и Мауки стосковался по своему

дому. Он тосковал даже по Фанфоа. И наконец сбежал. Он ушел в лес, надеясь пробраться к южному берегу, украсть каноэ и уехать в Порт-Адамс. Но схватил лихорадку, был пойман и, полумертвый, доставлен назад.

В следующий раз он убежал вместе с двумя малаитскими мальчиками. Они прошли двадцать миль вдоль берега и спрятались в одном селении, в хижине вольного человека с острова Малаита. Но темной ночью явились двое белых и бесстрашно, в присутствии всех жителей селения, выбили «семь склянок» из беглецов, связали их, точно поросят, и впихнули на китобойное судно. А из человека, который их спрятал, семь раз выколотили по «семи склянок», судя по его выбитым зубам, содранной коже и вырванным волосам. На всю жизнь отбили они у него охоту давать приют беглым рабочим.

Еще год проработал Мауки, а затем его взяли слугой в один дом. Там у него была хорошая пища, много свободного времени и нетрудная работа по уборке дома. Он прислуживал белому человеку, подавая ему во все часы дня и ночи виски и пиво. Это ему нравилось, но жизнь в Порт-Адамсе нравилась еще больше. Он должен был отработать два года — слишком большой срок для Мауки,

охваченного мучительной тоской по родине. За год работы на плантации он поумнел, а сейчас, служа в доме, имел возможность бежать. Ему поручено было чистить винтовки, и он знал, где висит ключ от чулана. Был составлен план бегства, и однажды ночью десять мальчиков с Малаиты и один из Сан-Кристобаля ускользнули из рабочих бараков и подтащили к берегу одну из китобойных лодок. Это Мауки раздобыл ключ и открыл замок, висевший на лодке. Мауки же принес двенадцать винчестеров, большой запас патронов, ящик динамита с детонатором и фитилем и десять ящиков с табаком.

Дул северо-западный муссон, и по ночам они плыли к югу, а днем прятались на уединенных, необитаемых островках или втаскивали лодку в кустарник у берегов больших островов. Наконец они достигли Гвадалканара, поплыли вдоль берега, затем пересекли пролив у острова Флориды. Здесь они убили мальчика из Сан-Кристобаля, голову его спрятали, а туловище, руки и ноги зажарили и съели. Малаита находилась теперь в двадцати милях, но ночью сильное течение и изменивший направление ветер помешали им доплыть до берега. Рассвет застал их на расстоянии нескольких миль от цели путешествия.

И с рассветом пришел катер с двумя белыми, не испугавшимися одиннадцати малаитских негров, вооруженных двенадцатью ружьями. Мауки с товарищами был отправлен в Тулаги, где проживал великий белый, господин над всеми белыми. Великий белый господин назначил суд, после чего беглецов связали, дали им по двадцать ударов плетью и оштрафовали на пятнадцать долларов каждого. Затем их отослали назад на Новую Георгию, где белые выбили из них «семь склянок» и поставили на работу. Но теперь Мауки уже не был слугой в доме. Он был зачислен в партию прокладывающих дорогу рабочих. Штраф в пятнадцать долларов уплатили белые, от которых он сбежал, и Мауки было сказано, что он должен отработать эти деньги, иными словами — работать лишних шесть месяцев. И, кроме того, его доля украденного табака обошлась ему еще в один добавочный год.

Теперь от Порт-Адамса его отделяли три с половиной года. Однажды ночью он украл каноэ, спрятался на островке в проливе Маннинг, затем пересек пролив и стал пробираться вдоль восточного берега Изабеллы. Когда было пройдено уже две трети пути, его поймали белые, обитавшие у лагуны Мериндж. Спустя неделю он убежал от

них и скрылся в зарослях кустарника. На Изабелле леса были необитаемы, а все приморские жители были христианами. Белые назначили за поимку Мауки премию в пятьсот пачек табака. Всякий раз, когда Мауки пробирался к морю, чтобы похитить у кого-нибудь лодку, прибрежные жители пускались за ним в погоню. Так прошло четыре месяца. Когда премия повысилась до тысячи пачек табака, он был пойман и возвращен на Новую Георгию, на работу по прокладке дороги. Тысяча пачек табака стоила пятьдесят долларов, и Мауки должен был уплатить эти деньги, то есть работать еще год и восемь месяцев. Теперь Порт-Адамс отодвинулся на пять лет.

Тоска по родине становилась все мучительнее и сильнее. Ему вовсе не улыбалось четыре года терпеливо трудиться, покорно ожидая возвращения домой. И через некоторое время его вновь поймали при попытке бежать. На этот раз о нем донесли мистеру Хэвби, уполномоченному Мунглимской мыльной компании; последний осудил его как неисправимого. Компания владела плантациями на островах Санта-Круц, отделенных от Новой Георгии несколькими сотнями миль. Туда они отсылали неисправимых рабочих с Соломоновых островов. Туда отправили и Мауки,

но он не доехал до места назначения. Шхуна остановилась в Санта-Анна, и ночью Мауки сбежал, доплыл до берега, стянул у торговца два ружья и ящик с табаком и в каноэ добрался до Кристобаля. Малаита лежала на севере, в пятидесяти или шестидесяти милях; но, достигнув пролива, Мауки был захвачен небольшим штормом и отнесен назад к Санта-Анна. Здесь торговец надел на него кандалы и продержал у себя до возвращения шхуны из Санта-Круц. Оба ружья вернулись к торговцу, но за ящик с табаком Мауки должен был работать еще год. В общем он теперь был должен компании шесть лет работы.

На пути к Новой Георгии шхуна бросила якорь в проливе Марау, находящемся на юго-востоке от Гвадалканара. С кандалами на руках Мауки поплыл к берегу и скрылся в лесу. Шхуна ушла, но поставщик Мунглимской компании, находившийся на берегу, предложил за поимку Мауки тысячу пачек табака, и лесные жители привели Мауки, к счету которого прибавился еще год и восемь месяцев. До прибытия шхуны он опять пытался бежать, на этот раз на китобойной лодке, с ящиком украденного табака. Но шквал, налетевший с северо-запада, выбросил его на берег Уджи, где туземцы-христиане отняли табак и

доставили Мауки проживавшему там мунглимскому поставщику. За отнятый туземцами табак он должен был заплатить дополнительным годом работы. И в итоге получилось восемь с половиной лет.

— Придется отослать его на Лорд Хов, — объявил мистер Хэвби. — Там живет Бэнстер. Пусть они встретятся друг с другом. Или Мауки одолеет Бэнстера, или Бэнстер — Мауки. А мы выиграем в обоих случаях.

Если выйти из лагуны Мериндж у Изабеллы и направиться на север по магнитной стрелке, то, сделав сто пятьдесят миль, можно увидеть выступающие над водой коралловые берега Лорд Хова. Лорд Хов — коралловое кольцо, приблизительно ста пятидесяти миль в окружности, в наиболее широких местах достигающее ста ярдов, — поднимается кое-где на десять футов над уровнем моря. Внутри песчаного кольца находится огромная лагуна, усеянная коралловыми рифами. Ни с географической, ни с этнографической точки зрения Лорд Хов не относится к группе Соломоновых островов. Это настоящий атолл, а Соломонова группа состоит из возвышенных островов. Обитатели Лорд Хова — полинезийцы, а Соломоновой группы — меланезийцы. Еще до

сих пор продолжается наплыв западных полинезийцев на берега Лорд Хова; сюда пригоняет их большие многовесельные каноэ юго-восточный пассат. Очевидно, что в период северо-западных пассатов к берегам Лорд Хова прибивает меланезийцев.

Никто не посещает Лорд Хова, иначе именуемый Онтонг-Ява. Компания «Томас Кук и сын» не продает туда билетов, и туристы не подозревают о существовании этого острова. На нем даже нет ни одного белого миссионера. Его пять тысяч жителей отличаются мирным нравом и пребывают в первобытном состоянии. Но они не всегда были миролюбивы. «Руководство для мореплавателей» отмечает их враждебность и коварство. Составители «Руководства», очевидно, не знают о событии, смягчившем обитателей атолла; несколько лет тому назад они напали на одно судно и вырезали весь экипаж, за исключением второго помощника. Этот человек, случайно оставшийся в живых, донес о происшествии своим белым братьям. С тремя торговыми шхунами он вернулся на Лорд Хов. Капитаны ввели суда в лагуну и начали проповедовать Евангелие белого человека: проповедь сводилась к тому, что право убивать белых людей принадлежит лишь белому

человеку, а остальные низшие расы должны от этого воздерживаться. Шхуны плавали по лагуне, разрушая и уничтожая все. На узком песчаном кольце негде было скрыться, лесов не было. Выстрелы метко поражали туземцев, служивших прекрасной мишенью. Деревни были сожжены, каноэ разбиты, куры и свиньи истреблены, и самое ценное — кокосовые пальмы — срублены. Это длилось около месяца. Затем шхуны ушли, но ужас перед белым человеком глубоко прожег души островитян, и никогда больше не осмеливались они причинить ему зло.

Макс Бэнстер, представитель вездесущей Мунглимской мыльной компании, был единственным белым на Лорд Хове. Не зная, как от него отделаться, компания загнала его на этот остров, самый отдаленный и затерянный, какой можно было найти. Другого человека на это место трудно было подыскать, и пришлось удовольствоваться Бэнстером. Это был плотный, рослый немец с каким-то изъяном в мозгу. Полусумасшествие — так можно было определить его состояние, относясь к нему снисходительно. Это был буйный забияка и трус, самый дикий из всех дикарей на острове. Трусость его граничила с подлостью. Принятый Мыльной компанией

на службу, он получил место на Саво. Потом его хотели заменить чахоточным колонистом, но Бэнстер избил его и полуживого отослал обратно на привезшей его шхуне.

В следующий раз мистер Хэвби избрал заместителем Бэнстера молодого гиганта из Йоркшира. Этот йоркширец заслужил репутацию кулачного бойца и драку предпочитал еде. Однако Бэнстер не желал драться. Он превратился в настоящего ягненка, но всего лишь на десять дней; затем приступ лихорадки и дизентерии свалил с ног йоркширца. Тогда Бэнстер явился к нему и, издеваясь, стащил с постели и стал топтать ногами. Страх перед тем, что произойдет, когда его жертва оправится, заставил Бэнстера бежать на катере в Гувуту. Здесь он проявил себя, избив молодого англичанина, уже изуродованного пулей буров, пробившей ему бедра.

Тогда-то мистер Хэвби и отправил его на Лорд Хов — самое заброшенное место на земном шаре. В честь своего прибытия он осушил полубочонок джина и выпорол старого, больного астмой помощника со шхуны, доставившей его сюда. После ухода шхуны он созвал туземцев на берег и предложил им сразиться с ним врукопашную, пообещав победителю ящик табака. Он повалил

трех туземцев, но четвертый быстро его свалил и вместо табака получил пулю, пробившую ему легкие.

Так началось правление Бэнстера на Лорд Хове. В главном селении было три тысячи жителей, но стоило появиться там Бэнстеру, как даже среди бела дня оно становилось словно вымершим и пустым. Мужчины, женщины и дети, едва завидев его, убегали. Даже собаки и свиньи уступали ему дорогу. Сам король не считал для себя унижением прятаться от него под циновку. Оба первых министра тряслись от страха перед Бэнстером, не допускавшим никаких возражений и доводов и разрешавшим все спорные вопросы только кулаками.

И Мауки явился сюда на Лорд Хов, чтобы отработать под наблюдением Бэнстера восемь с половиной долгих лет. Убежать отсюда было немыслимо. Что бы ни случилось — отныне Бэнстер и Мауки были тесно связаны друг с другом. Бэнстер — ярко выраженный тип дегенерата — больше походил на зверя. А Мауки был первобытным дикарем.

И оба отличались сильной волей и настойчивостью.

Мауки не имел никакого представления о

своем новом господине. Его никто не предупреждал, и он, конечно, считал Бэнстера похожим на всех остальных белых людей, поглощающих в изобилии виски, правящих страной и предписывающих законы, — на белых людей, которые держат свое слово и никогда без причины не бьют мальчика. Бэнстер находился в лучшем положении. Он знал все о Мауки и горел желанием укротить его и подчинить. У его повара была сломана рука и вывихнуто плечо, и Бэнстер назначил Мауки поваром и слугой в доме.

И Мауки скоро узнал, что белые люди бывают разные. В день отхода шхуны Бэнстер приказал ему купить цыпленка у Самизи, миссионера, уроженца Тонгана. Но Самизи переправился на другой берег лагуны и должен был вернуться только через три дня. Мауки вернулся с этой вестью. Дом Бэнстера стоял на сваях, на высоте двенадцати футов над песком. Мауки взобрался по крутой лестнице и вошел в комнату. Бэнстер потребовал цыпленка. Мауки раскрыл рот, намереваясь сообщить об отсутствии миссионера, но Бэнстеру не было дела до объяснений. Он ударил его кулаком. Удар пришелся по лицу и подбросил Мауки на воздух. Тот пролетел в дверь, миновал узкую веранду, сломал перила и упал на землю.

Его разбитые губы превратились в кашу, рот был полон крови и выбитых зубов.

— Посмей еще раз со мной разговаривать, — кричал Бэнстер, побагровев от бешенства и грозно взирая на него через сломанные перила.

Мауки еще никогда не встречал такого белого и потому решил смириться и остерегаться ошибок. Он видел, как были избиты гребцы с лодки, а один закован в кандалы и на три дня оставлен без пищи в наказание за сломанную уключину. Он также слышал всякие пересуды в деревне и понял, почему Бэнстер взял себе третью жену. Конечно, всем было известно, что он захватил ее насильно. Его первая и вторая жены были погребены на белом коралловом кладбище, и глыбы коралла стояли на могилах. Ходила молва, что они умерли от его побоев. И с третьей женой он обращался скверно — Мауки сам это видел.

Напрасны были все старания не прогневать белого человека, казалось, злившегося на все — даже на жизнь. Если Мауки молчал, Бэнстер его бил и называл упрямой скотиной. Когда Мауки начинал говорить, он бил его за непокорные речи. Если Мауки был серьезен, Бэнстер обвинял его в злоумышлении и на всякий случай избивал. Когда же он старался быть веселым и улыбался,

Бэнстер принимал это как насмешку и издевательство над господином и повелителем — и награждал палочными ударами.

Бэнстер был сущим дьяволом. Туземцы давно расправились бы с ним, если бы позабыли урок, преподанный им тремя шхунами. Пожалуй, они все-таки отплатили бы ему, если бы был лес, куда можно скрыться. Они знали: убийство белого человека, каков бы он ни был, привлечет военное судно, и белые убьют провинившихся и срубят драгоценные кокосовые пальмы. Гребцы с лодок страстно мечтали при первой возможности опрокинуть — как бы случайно — лодку и потопить Бэнстера. Но Бэнстер зорко следил за ними и не допускал этой случайности.

Но Мауки был из другого теста; уразумев, что бегство невозможно, пока жив Бэнстер, он твердо решил его убить. К несчастью, трудно было найти удобный случай. Бэнстер всегда был настороже. Ни днем ни ночью не расставался он с револьвером. Он никому не позволял идти позади него; Мауки это запомнил после побоев. Бэнстер знал, что этого добродушного и, пожалуй, миловидного малаитского мальчишку следует опасаться больше, чем всех туземцев Лорд Хова. Это сознание увеличивало удовольствие при выполнении

составленной им для Мауки программы издевательств. Мауки оставался покорным, принимал наказание и ждал.

Все белые люди уважали его тамбо, но не так относился к ним Бэнстер. Мауки полагалось две пачки табака в неделю. Бэнстер передал табак жене и приказал Мауки получать его из ее рук. На это Мауки согласиться не мог — и остался без табака. Таким же путем его лишали обеда, и часто он ходил голодный. Затем ему приказали приготовить кушанье из ракушек, водившихся в лагуне. Этого сделать он не мог, ибо ракушки были тамбо. Шесть раз он отказывался притронуться к ракушкам и шесть раз был избит до потери сознания. Бэнстер знал, что мальчик скорее согласится умереть, но все же принял его отказ как явный бунт и убил бы Мауки, если бы мог заменить его другим поваром.

Одним из излюбленных приемов представителя Мунглимской компании был следующий: Бэнстер хватал Мауки за жесткие волосы и ударял его головой об стену. Другой прием заключался в том, чтобы прижечь горящим концом сигары тело застигнутого врасплох Мауки. Бэнстер называл это прививкой, и Мауки выносил такую прививку по нескольку раз в день. Однажды, в

припадке ярости, Бэнстер вырвал ручку от чашки из носа Мауки и разодрал хрящ.

— Ну и морда! — было единственным его замечанием, когда он увидел нанесенное им повреждение.

Кожа акулы подобна наждачной бумаге, но кожа рыбы-ската жестче терки. Туземцы южных морей употребляют ее вместо деревянного струга для полировки каноэ и весел. У Бэнстера была рукавица, сделанная из кожи этой рыбы. Впервые он испробовал ее на Мауки: одним взмахом руки он содрал всю кожу от шеи до лопатки. Бэнстер был в восторге. Он угостил рукавицей жену, а затем испробовал ее на всех гребцах. Очередь дошла и до первых министров. С искаженными лицами они должны были смеяться и принимать это как шутку.

— Ну, смейтесь же, черт возьми, смейтесь! — приговаривал он.

Ближе всех познакомился с рукавицей Мауки. Ни один день не проходил без такой «ласки». Бывало, боль всю ночь не давала ему заснуть, а Бэнстер часто забавлялся и снова раздирал полузажившее тело. Мауки терпел и ждал, поддерживаемый уверенностью, что рано или поздно пробьет его час. Он обдумал все, до мель-

чайших подробностей, когда долгожданный день наконец наступил.

Однажды утром Бэнстер поднялся в таком настроении, что готов был выбить «семь склянок» из всей вселенной. Он начал с Мауки и закончил им же, а в промежутках избивал свою жену и колотил подряд всех своих гребцов. За завтраком он назвал кофе помоями и выплеснул горячий напиток в лицо Мауки. В десять часов Бэнстер дрожал от озноба, а спустя полчаса горел в лихорадке. Приступ был необычайно сильный. Болезнь быстро приняла угрожающий характер. То была болотная лихорадка. Дни шли, а Бэнстер все слабел и не поднимался с постели. Мауки выжидал и следил, а тем временем ссадины его заживали. Он приказал туземцам вытащить на берег катер, выскоблить дно и посмотреть, нет ли повреждений. Туземцы повиновались: они думали, что распоряжение исходит от Бэнстера. Но Бэнстер в это время был без сознания и никаких распоряжений не давал. Удобный случай представился, но Мауки все еще ждал.

Наконец кризис миновал, и Бэнстер стал выздоравливать; он находился в полном сознании, но лежал слабый, как ребенок. Мауки уложил все свои драгоценности, включая и ручку от фар-

форовой чашки, в дорожный сундук, после чего отправился в селение и переговорил с королем и двумя его главными министрами.

— Этот парень Бэнстер, он — хороший парень, вы его много любите? — спросил он.

Те в один голос поспешили объяснить, что они совсем не любят представителя торговой фирмы. Министры излили все накопившееся в них негодование, перечисляя обиды, нанесенные им. Король не выдержал и заплакал. Мауки резко прервал их.

— Вы меня знаете; мой — большой человек, господин моей страны. Вы не любите того парня, белого господина, и я не люблю. Будет совсем хорошо, если вы отнесете сто кокосовых орехов, двести кокосовых орехов, триста кокосовых орехов и положите на катер. Потом кончите и пойдете спать, как добрые парни. Все канаки — спать, как добрые парни. Будет большой шум в доме. Вы не слышите этот большой шум. Вы совсем спите, крепко и еще крепче.

Такой же разговор Мауки имел с гребцами лодок. Затем он приказал жене Бэнстера вернуться к родным. Если б она отказалась, он был бы в большом затруднении, ибо его тамбо не разрешало ему прикасаться к ней руками.

Дом опустел, и Мауки отправился в спальню, где дремал в постели Бэнстер. Сначала Мауки спрятал револьверы, затем надел рукавицу из кожи ската.

Первый удар, нанесенный Бэнстеру рукавицей, совершенно содрал кожу с носа.

— Ну что — хорошо? — усмехаясь, оскалил зубы Мауки в перерыве между ударами: одним ударом он ободрал кожу со лба, другим — со щеки. — Смейся же, черт возьми, смейся!

Мауки исполнял свою работу в совершенстве, и канаки, прячась по домам, слышали «большой шум» — рев Бэнстера, продолжавшийся час или больше.

Когда Мауки справился с этим делом, он отнес компас и все ружья и патроны на катер и приступил к погрузке ящиков с табаком. Пока он этим занимался, из дома выскочило страшное, лишенное кожи существо и побежало с воплями к берегу, где упало на песок, корчась и визжа под палящими лучами солнца. Мауки посмотрел в ту сторону и задумался. Затем подошел, отрезал ему голову и, завернув ее в циновку, спрятал в ящик на корме катера.

Канаки так крепко спали в тот долгий, знойный день, что не видели, как катер отчалил, вышел из

пролива и направился к югу, подгоняемый юго-восточным пассатом. Никто не видел, как катер подошел к берегам Изабеллы, а затем совершил томительный переезд на Малаиту. Он прибыл в Порт-Адамс с таким количеством ружей и табака, какое и не снилось туземцам. Но здесь Мауки не остановился. Ведь он захватил с собой голову белого человека, и только лес мог служить ему приютом. Он ушел в селения лесных жителей, застрелил старого Фанфоа и несколько вождей и стал повелителем всех селений. После смерти его отца в Порт-Адамсе правил его брат, и оба народа — приморские жители и лесные — заключили союз. На новом острове Малаите, среди его двухсот воинственных племен, не было народа сильней и могущественней, чем народ Мауки.

Страх Мауки перед британским правительством уступал место страху перед всемогущей Мунглимской мыльной компанией. Однажды пришло к нему известие, что компания требует с него долг — восемь с половиной лет работы. Он объявил ей свое согласие уплатить все. Вслед за этим появился неизбежный белый человек, капитан шхуны, единственный белый за все время правления Мауки, проникший в леса и возвратившийся оттуда невредимым. Он не только

вернулся живым, но унес с собой семьсот пятьдесят долларов в золотых соверенах — плату за восемь с половиной лет работы плюс стоимость нескольких ружей и ящиков табака.

Мауки весит уже не сто десять фунтов. Он отпустил брюшко и имеет четырех жен. У него много всяких вещей: ружья и револьверы, ручка от фарфоровой чашки и превосходная коллекция голов лесных жителей. Но дороже всей коллекции ценит он голову, великолепно высушенную и сохранившуюся, со светлыми волосами и рыжеватой бородой, — голову, завернутую в полосу тончайшей ткани. Когда Мауки отправляется за пределы своих владений воевать с соседними племенами, он неизменно достает эту голову и в уединении своего дворца из зеленых веток и травы долго, с торжеством ее созерцает. И в эти часы безмолвие смерти спускается на селение, и ни один младенец не осмеливается нарушить глубокую тишину. Высоко чтут на Малаите эту голову, — этот могущественный талисман, завладев которым, Мауки обрел власть и величие.

Як! Як! Як!

Он был шотландец и большой любитель виски. Поглощал он виски в огромном количестве, пропуская первую рюмочку ровно в шесть часов утра, а затем, с небольшими перерывами, тянул виски в течение всего дня, вплоть до отхода ко сну, что бывало обычно в полночь. Из двадцати четырех часов он посвящал сну лишь пять, а в продолжение остальных девятнадцати часов неизменно и неукоснительно пребывал в состоянии опьянения. Я провел с ним восемь недель на атолле Улонг и ни разу не видел его трезвым. Вполне понятно: его сон был так непродолжителен, что парень не успевал протрезвиться. Пьянство он возвел в систему; он был самым добросовестным, методичным, непробудным пьяницей, какого мне когда-либо приходилось видеть.

Его звали Мак-Аллистер. Это был старик, нетвердо державшийся на ногах. Руки его дрожали, как у паралитика; особенно это было заметно, когда он наливал себе виски, но я ни разу не видел, чтобы он пролил хотя бы каплю. Он прожил в Меланезии двадцать восемь лет, скитаясь по германской Новой Гвинее и германским Соло-

моновым островам, и настолько сжился с этим уголком земного шара, что усвоил и местное варварское наречие, известное под названием «beche-de-mer».

Так, в разговоре со мной вместо того, чтобы сказать «солнце взошло», он говорил «солнце встал»; «он будет каи-каи» означало, что обед подан, а «мой живот гуляет» означало боль в животе.

Маленький, сухощавый, сморщенный, казалось, он насквозь пропитан жгучим спиртом, а снаружи опален солнцем. Обожженный кусок кирпича, еще не остывший, полный неугомонной жизни, он двигался порывисто, припрыгивая, словно автомат. Ветру ничего не стоило опрокинуть его и смести. Он весил девяносто фунтов.

Властно управлял он атоллом.

Атолл Улонг имеет сто сорок миль в окружности. Придерживаясь указаний компаса, можно было ввести судно в лагуну. Население атолла состояло из пяти тысяч полинезийцев — высоких, статных мужчин и женщин. Многие были ростом в шесть футов и весили около двухсот фунтов. От ближайшей земли Улонг отстоял на расстоянии двухсот пятидесяти миль. Дважды в год сюда заглядывала маленькая шхуна, вывозившая копру. Единственным белым на Улонге

был Мак-Аллистер, жалкий торговец и непробудный пьяница. И он правил Улонгом и его пятью тысячами дикарей, держа их в железных тисках. Если он говорил им «приходите», они немедленно шли к нему; приказывал уйти — и они уходили. Они никогда не противоречили его воле и беспрекословно исполняли его требования. Он отличался сварливостью и придирчивостью, свойственными старым шотландцам, и вечно вмешивался в личные дела туземцев. Когда Нугу, дочь короля, пожелала выйти замуж за Ханау, жившего на другом берегу атолла, отец дал согласие, но Мак-Аллистер не разрешил, и свадьба не состоялась. Однажды король захотел купить у главного жреца маленький островок в лагуне, но Мак-Аллистер воспротивился. Король был должен компании сто восемьдесят тысяч кокосовых орехов и, пока он не уплатил долга, не имел права истратить на что-либо другое хотя бы один орех.

Народ и король не любили Мак-Аллистера. Вернее, они глубоко его ненавидели, и мне было известно, что в продолжение трех месяцев все население, со жрецами во главе, тщетно молило богов о ниспослании ему смерти. Они насылали на него самых страшных своих злых духов, но Мак-Аллистер не верил в них, и духи не имели

над ним никакой власти. Этот пьяница-шотландец казался неуязвимым. Они подбирали остатки пищи, которой касались его губы, пустые бутылки из-под виски, кокосовые орехи, выеденные им, и даже его плевки — и произносили над ними всевозможные заклинания. Но Мак-Аллистер оставался здравым и невредимым. Он был необычайно здоровым человеком. Никогда не болел лихорадкой, никогда не простуживался, не кашлял; дизентерия щадила его; злокачественные язвы и всякие накожные болезни, от которых страдали в этом климате и черные и белые в равной мере, словно избегали его. Он был так пропитан алкоголем, что бациллы погибали. Я представляю себе, как они, придя в соприкосновение с насыщенными алкоголем испарениями его тела, тотчас же испепелялись. Никто его не любил, даже бациллы, а он любил только виски и жил себе припеваючи.

Я был в недоумении. Я не мог понять, почему пять тысяч туземцев покорно терпят гнет этого сморщенного карлика. Чудом казалось, что он до сих пор не погиб. Местное население не походило на трусливых меланезийцев, оно отличалось гордым и воинственным характером. На большом кладбище, на могилах, покоились реликвии

минувших кровавых дней: лопаты для китового жира, старинные ржавые штыки и кортики, медные болты, железные обломки руля, гарпуны, бомбы, брусья; все это могло быть завезено сюда лишь каким-нибудь китобойным судном; а старинные медные монеты шестнадцатого века подтверждали предание о первых навигаторах — испанцах. Много кораблей погибло у берегов Улонга. Около тридцати лет назад китобойная шхуна «Бленнердэль», войдя в лагуну для ремонта, подверглась нападению, и весь экипаж был вырезан. Таким же образом погиб и экипаж судна «Гаскет», торговавшего сандаловым деревом. Большое французское судно «Тулон», застигнутое штилем возле атолла, было взято островитянами на абордаж и после жестокой схватки затоплено в проливе Липау. Капитан и несколько матросов спаслись на баркасе. О гибели одного из ранних исследователей этих морей свидетельствуют также испанские монеты. Все это достоверные исторические факты, записанные на страницах «Руководства по мореплаванию на юге Тихого океана». Но мне суждено было узнать иные факты, нигде не отмеченные. Повторяю, меня изумляло, почему пять тысяч первобытных дикарей так долго щадят жизнь этого пьяницы,

дегенерата и деспота.

Однажды в жаркий день я сидел с Мак-Аллистером на веранде, любуясь лагуной, искрившейся, словно драгоценные камни. За нами, на расстоянии сотни ярдов от пальмовой рощи, ревел прибой, бросаясь на рифы. Жара стояла невыносимая. Мы находились под четвертым градусом южной широты, и солнце стояло как раз над головой; лишь несколько дней назад оно на пути своем к югу пересекло экватор. Не только ветра — даже ряби не было на поверхности лагуны. Период юго-восточных пассатов закончился раньше обычного, а северо-западный пассат еще не начинал дуть.

— Ни к черту не годятся их танцы, — сказал Мак-Аллистер.

Я только что вскользь заметил, что полинезийские танцы значительно красивее папуасских, а Мак-Аллистер из духа противоречия это отрицал. Было слишком жарко, чтобы затевать спор, и я ничего не ответил. Кроме того, я ведь никогда не видел танцев жителей Улонга.

— Я докажу вам, — добавил он и подозвал чернокожего, уроженца Нового Ганновера, завербованного рабочего, исполнявшего у него обязанности повара и домашнего слуги.

— Эй ты, послушай, скажи королю, пусть сейчас же придет ко мне.

Негр ушел и вернулся в сопровождении первого министра. Этот, смущенный, стал бормотать бессвязные извинения. Короче, оказалось, король спал, и его нельзя тревожить.

— Король совсем крепко, хорошо спит, — закончил он свои объяснения.

Мак-Аллистер так рассвирепел, что первый министр тотчас же убежал и вернулся с королем. Это была великолепная пара; особенно хорош был король — не менее шести футов и трех дюймов ростом. В чертах его лица просматривалось что-то орлиное; такие лица часто встречаются у индейцев Северной Америки. Его внешность вполне соответствовала высокому сану правителя страны. Глаза его сверкнули, когда он выслушал Мак-Аллистера, но, быстро овладев собой, он повиновался и приказал собрать сотни две лучших танцоров селения, мужчин и женщин. И в течение двух бесконечных часов они танцевали под ярким, палящим солнцем. Вот за такие издевательства они и ненавидели его, а он вовсе не замечал их ненависти; наконец он их отпустил с ругательствами и насмешками.

Рабское смирение этих гордых дикарей было

возмутительно. Как объяснить его? В чем секрет его власти? С каждым днем мое недоумение возрастало. Видя бесчисленные примеры его неограниченной власти, я не мог найти подходящий ключ к разгадке тайны.

Однажды я случайно поделился с ним своим огорчением по поводу несостоявшейся покупки двух великолепных оранжевых раковин. В Сиднее такие раковины стоят пять фунтов. Я предложил владельцу двести пачек табака, он же требовал триста. Когда я так необдуманно рассказал обо всем Мак-Аллистеру, тот немедленно послал за владельцем раковин, отнял их у него и отдал мне. Больше пятидесяти пачек табака он не позволил мне уплатить. Негр взял табак и, казалось, был в восторге, что так легко отделался. Я же решил держать впредь язык на привязи. Тайна могущества Мак-Аллистера продолжала меня мучить. Я дошел до того, что обратился за разъяснением прямо к нему, но он только прищурился, принял глубокомысленный вид и налил себе виски.

Как-то ночью я ловил в лагуне рыбу вместе с Оти, тем самым негром, у которого купил раковины. Тайком я прибавил ему еще сто пятьдесят пачек, и он стал относиться ко мне с уважением,

доходившим до какого-то почитания; это было странно и смешно, ибо он был вдвое старше меня.

— Как назвать вас, канаков? Все вы — словно малые дети, — обратился я к нему. — Этот парень, торговец, ведь он — один. Племя канаков большое, много людей. Люди дрожат, как собаки, в большом страхе перед этим парнем, торговцем. Ведь он вас не съест, не загрызет. Почему у вас такой большой страх?

— Ты говоришь, племя канаков пусть убьет его? — спросил он.

— Пусть он умрет, — ответил я. — Племя канаков убивало много белых людей, давно-давно. Почему же оно боится этого белого парня?

— Да, мы много убивали, — последовал ответ. — Клянусь тебе! Не сосчитать! Много дней назад! Когда-то — я был совсем молодой — большой корабль останавливается возле острова. У них нет ветра. Нас много людей — канаков — подплывает в каноэ; много-много каноэ. Мы пришли взять этот большой корабль. Клянусь, мы взяли корабль; было большое сражение. Два, три белых парней — стреляют, как дьяволы. Мы не боимся. Взбираемся на борт, вскакиваем на палубу; много людей, я думаю, может быть, пятьдесят раз по

десять. Одна белая Мэри на корабле. Никогда я прежде не видел белую Мэри. Много белые парни убиты. Шкипер не умирает; пять, шесть белые парни не умирают. Шкипер кричит. Белые парни дерутся; спускают лодки. Потом все бросаются туда. Шкипер берет с собой белую Мэри. Потом они взмахивают веслами очень быстро, очень сильно. Мой отец — храбрый человек. Он бросает дротик. Этот дротик летит туда, где белая Мэри. Он не останавливается. Клянусь, он насквозь пролетает через белую Мэри. Она умирает. Мой не боится. Большое племя канаков тоже не боится.

Гордость старого Оти была задета: он быстро сдернул свою набедренную повязку и показал мне несомненный шрам от пули. Прежде чем я успел что-нибудь ему сказать, его удочка внезапно опустилась. Он дернул ее, пытаясь вытащить, но рыба запуталась в разветвлениях коралла. Бросив укоризненный взгляд на меня за то, что я отвлек его внимание, он полез в воду, спустив сначала ноги; затем, очутившись в воде, перевернулся и нырнул, следуя за удочкой на самое дно. Глубина достигала двадцати ярдов. Я наклонился и стал следить за движениями его ног, становившихся все менее отчетливыми; они слабо отсвечивали в фосфоресцирующей воде.

Спуститься на глубину двадцать ярдов — иначе шестьдесят футов — было пустяком для него, старого человека, по сравнению с возможной потерей такой драгоценности, как леса и крючок. Мне казалось, что прошло пять минут, но в действительности через минуту он уже выплыл на поверхность. Он бросил в каноэ большую десятифунтовую треску. Леса и крючок были невредимы, последний застрял в пасти рыбы.

— Возможно, — безжалостно начал я опять, — что прежде вы ничего не боялись. А теперь вы сильно боитесь этого торговца.

— Да, мы сильно боимся, — согласился он с видом человека, не желающего продолжать разговор. В течение получаса мы в полном молчании вытаскивали и снова забрасывали наши удочки. Затем к нам подплыли акулы, и, потеряв по крючку, мы стали ждать, когда они уплывут.

— Мой расскажет всю правду, — прервал молчание Оти, — и твой будет знать, почему мы боимся.

Я зажег свою трубку и приготовился слушать. Историю, рассказанную мне Оти на этом ужасном жаргоне «beche-de-mer», я передаю понятным английским языком, но характер и порядок повествования — сохраняю.

— Это произошло после того, как мы возгордились. Мы много раз сражались с этими странными белыми людьми, проживающими на воде, и всегда мы их побеждали. И у нас бывали убитые, но какое это имело значение по сравнению с огромными богатствами и всевозможными товарами, которые мы находили на кораблях? И вот однажды, лет двадцать или двадцать пять назад, какая-то шхуна вошла прямо через пролив в лагуну. Это была огромная шхуна с тремя мачтами. На ней находилось пять белых людей и около сорока матросов — чернокожих с Новой Гвинеи и Новой Британии; она пришла на ловлю морских улиток. У противоположного берега лагуны, возле Паулу, она бросила якорь. Лодки ее рассеялись по всей лагуне, и, причаливая к берегу, матросы заготовляли впрок улиток. Так они разбрелись во все стороны и стали слабыми и беззащитными, ибо многие из ловцов очутились на расстоянии пятидесяти миль от шхуны, а другие забрались еще дальше.

Король и старшины созвали совет, и я попал в число тех, кто весь вечер и всю ночь разъезжал в каноэ по лагуне, оповещая жителей Паулу о предстоящем утром нападении на стоянки ловцов и приказывая им завладеть тем временем шхуной.

Все мы, развозившие этот приказ, очень устали от долгой гребли, но все-таки приняли участие в атаке. На шхуне оставались двое белых — шкипер и второй помощник — и с полдюжины черных матросов. Шкипера и трех матросов мы захватили на берегу и убили их, но раньше шкипер уложил из своих двух револьверов восьмерых. Видишь ли, мы сражались всерьез.

Шум битвы оповестил помощника о случившемся. Он погрузил съестные припасы и бочонок с водой на маленькую лодку с одним парусом. Она была совсем маленькой, длиной не более двенадцати футов. Мы направились к шхуне; нас было тысяча человек, и наши каноэ рассеялись по всей лагуне. Мы дули в раковины, распевали воинственные песни и ударяли веслами по бортам каноэ. Что мог сделать один белый человек и трое черных матросов? Они были бессильны, и помощник это знал.

Белые люди — сущие дьяволы. Я многих видал, я уже старик, и теперь я понял, почему белые люди завладели всеми островами на море. Потому что они дьяволы! Здесь вот ты сидишь со мной в каноэ. Ты почти что мальчик. Ты не умный, ты не знаешь многого, о чем я рассказываю тебе каждый день. Когда я был ребенком, я больше

знал о рыбах и о море, чем знаешь ты сейчас. Я уже старик, а могу нырнуть на самое дно, и ты не можешь следовать за мной. Ну, к чему ты пригоден? Не знаю, разве что драться умеешь. Тебя я не видел в битве, но все же думаю, что ты подобен своим братьям и будешь сражаться, как дьявол. И подобно своим братьям, ты — дурак. Вы не знаете поражений. Вы деретесь, пока не умрете, а тогда уже поздно, и вы так и не поймете, что вас победили.

Теперь послушай, как поступил этот помощник. Мы направились к нему, и наши каноэ покрыли всю лагуну; мы дули в наши раковины; тогда он с тремя чернокожими спустился со шхуны в маленькую лодку и устремился к проливу. Ну, разве он не дурак? Умный человек не пустился бы в море в такой крохотной лодке. Ее борта едва на четыре дюйма поднимались над водой. Двадцать каноэ с двумя сотнями крепких молодцов помчались за ней. Мы делали пять футов, пока черные матросы продвигались только на один. У него не было никакой надежды, но он — дурак. Он встал, держа в руке винтовку, и начал стрелять. Стрелял он плохо, но когда мы подошли ближе, многие из наших были ранены и убиты. И все же ему не на что было надеяться.

Помню, он все время курил сигару. Когда мы были уже в сорока футах и быстро приближались, он бросил винтовку, поджег сигарой палочку динамита и швырнул в нас. Он зажигал одну палочку за другой и быстро швырял их. Теперь я знаю, что он расщеплял концы фитилей и вставлял туда спички, поэтому динамит и воспламенялся так быстро. Фитили были слишком короткие; иногда палочки разрывались в воздухе, но большая часть их попадала в каноэ. И всякий раз, попав в каноэ, динамит уничтожал его. Из двадцати каноэ десять были разнесены на куски. И каноэ, где я находился, погибло таким же образом; погибли и два человека, сидевшие возле меня. Динамитная палочка упала между ними. Другие каноэ повернули назад и обратились в бегство. Тогда помощник громко закричал: «Ях! Ях! Ях!» И снова поднял винтовку. Многие из бежавших были убиты. А чернокожие в лодке все время гребли. Ты видишь, я правду сказал: этот помощник — настоящий дьявол.

Но это не все. Покидая шхуну, он поджег ее. Весь порох и динамит он сложил наверху, и эта куча могла ежеминутно взорваться. Сотни наших находились на борту, пытаясь потушить огонь и заливая его водой, и в это время шхуна

взорвалась. Таким образом, все, ради чего мы боролись, для нас погибло. А убитых было больше, чем когда-либо. Порой у меня бывают скверные сны, даже теперь, в старости; и во сне я слышу крик этого помощника: «Ях! Ях! Ях!» Он кричит громовым голосом: «Ях! Ях! Ях!»

Но все-таки всех их рыболовов, рассеявшихся по берегу, перебили.

Помощник уплыл через пролив в своей маленькой лодке, и мы не сомневались, что гибель его неизбежна. Разве могла этакая крохотная лодка с четырьмя людьми продержаться на волнах океана? Прошел месяц, и однажды утром, в промежутке между двумя шквалами, вошла в лагуну шхуна и бросила якорь перед самым селением. Король и вождь долго и серьезно совещались, и было постановлено завладеть шхуной, но не ранее чем через два-три дня. А пока мы, следуя своему обычаю, прикинулись дружелюбно настроенными и поплыли к шхуне в наших каноэ, нагруженных всяким добром: связками кокосовых орехов, курами и поросятами. Но едва мы подошли к борту, как люди с палубы начали обстреливать нас из винтовок. Отплывая назад, я увидел помощника, уплывшего в море в маленькой лодке. Он подскочил к самому борту и,

приплясывая, закричал:

— Ях! Ях! Ях!

После полудня от шхуны отчалили три небольшие лодки, переполненные белыми людьми. Люди высадились на берег и пронеслись по селению, пристреливая всякого, попадавшегося им на пути. Все куры и поросята также были перестреляны. Те, кому удалось избежать смерти, уплыли в каноэ подальше в лагуну. Оглядываясь, мы видели наши дома, объятые пламенем. Немного позже к нам присоединились каноэ, подъехавшие со стороны Нихи, из деревни на северо-востоке, у пролива Нихи. Эти люди были единственными оставшимися в живых; их селение, подобно нашему, было сожжено второй шхуной, вошедшей в пролив Нихи.

Когда опустилась тьма, мы направились на запад к Паулу, но около полуночи услыхали вопли женщин, и вскоре нас окружила флотилия каноэ. Это было все, что осталось от Паулу, также обращенного в пепел третьей шхуной, вошедшей в пролив Паулу. Да, этот помощник со своими черными матросами не потонул. Они добрались до Соломоновых островов, и там он рассказал своим белым братьям обо всем случившемся на Улонге. И его братья обещали ему прийти и наказать нас.

Они явились на трех шхунах, и наши три селения были стерты с лица земли.

Что мы могли предпринять? Утром, когда поднялся ветер, две шхуны настигли нас на середине лагуны. Дул сильный пассат, и многие из наших каноэ были затоплены. Ружья не переставали греметь. Мы рассыпались во все стороны, подобно мелкой рыбешке; нас было так много, что тысячи человек спаслись на островках, окаймляющих атолл. Но шхуны продолжали гонять нас по всей лагуне. Ночью мы ускользнули от них. Но на следующий день или дня через два-три шхуны неизменно появлялись и гнали нас в другой конец лагуны. Так продолжалось долго. Мы больше не считали убитых и не вспоминали о наших потерях. Правда, нас было много, а их мало. Но что мы могли сделать? Я находился в одной из двадцати каноэ, наполненных людьми, не боявшимися смерти. Мы напали на самую маленькую шхуну. Они осыпали нас градом пуль. Они бросали динамитные палочки в наши каноэ; когда закончились все динамитные палочки, они лили на нас кипяток. И ружья не переставали трещать. Те, чьи каноэ потонули, были пристрелены во время попытки спастись вплавь. А помощник, прыгая и танцуя на крыше рубки, кричал: «Ях!

Ях! Ях!».

Все дома на самых маленьких островках были сожжены. Ни одного поросенка, ни одной курицы не осталось. Наши колодцы они наполнили трупами или забросали обломками коралла. Нас было двадцать пять тысяч на Улонге до прихода трех шхун. Теперь нас пять тысяч. После ухода шхун нас осталось только три тысячи.

Наконец трем шхунам надоело гонять нас взад и вперед. Они направились в Нихи, на северо-восток, и оттуда стали теснить нас, отгоняя на запад. Их девять лодок были спущены на воду. Они обшарили каждый островок перед тем, как двинуться дальше. Они гнали нас упорно, настойчиво, изо дня в день. Ночью все три шхуны и девять лодок составляли сторожевую цепь, тянувшуюся через лагуну от края и до края, и нам невозможно было ускользнуть.

Однако бесконечно преследовать нас они не могли. Лагуна была невелика, и все мы, оставшиеся в живых, были загнаны наконец на песчаную отмель на западе. За ней простиралось открытое море. Там нас собралось десять тысяч человек. Мы усеяли песчаную отмель от самого края лагуны до берега, где разбивались волны прибоя. Было так тесно, что мы не могли лежать. Мы

стояли бок о бок, плечо к плечу. Два дня они продержали нас там. Помощник взбирался на мачту, издевался над нами и кричал: «Ях! Ях! Ях!» Мы раскаивались в том, что месяц назад осмелились причинить ему и его шхуне вред. Пищи у нас не было, и мы стояли на ногах два дня и две ночи. Маленькие дети умирали; старые и слабые умирали; раненые умирали. И хуже всего то, что у нас не было воды, чтобы утолить жажду, и в продолжение двух дней палящее солнце пекло наши головы; тени не было. Многие мужчины и женщины входили по пояс в воду и тонули; прибой выбрасывал их трупы на берег. Появились ядовитые мухи. Иные мужчины поплыли к борту шхуны, но были застрелены все до одного. А мы, оставшиеся в живых, горько раскаивались в том, что, возгордившись, напали на шхуну с тремя мачтами, явившуюся к нам ловить морских улиток.

На утро третьего дня к нам подъехали в маленькой лодке шкиперы трех шхун и помощник. Они держали перед собой винтовки и револьверы и начали переговоры. Они заявили, что им надоело нас убивать, и поэтому они прекращают бойню. А мы им сказали, что горько раскаиваемся и никогда больше не тронем ни одного белого человека;

в знак покорности мы посыпали наши головы песком. Все женщины и дети подняли вой, прося воды, и некоторое время ничего нельзя было расслышать. Затем мы узнали о назначенном нам наказании. Мы должны были наполнить три шхуны копрой и морскими улитками. Мы согласились; нам нужна была вода, мы ослабели, и мужество нам изменило: мы поняли, что в искусстве сражаться мы — дети по сравнению с белыми, которые дерутся, как дьяволы. Переговоры были закончены, и помощник вскочил на ноги и начал нас высмеивать и кричать: «Ях! Ях! Ях!» Затем мы отплыли в наших каноэ и принялись за поиски воды.

Много недель трудились мы, вылавливая и высушивая улиток, собирая кокосовые орехи и приготовляя из них копру. Днем и ночью поднимался клубами дым над всеми островами Улонга; так несли мы кару за наше неправедное дело. Эти дни смерти навсегда запечатлелись в нашей памяти, и мы поняли, что нельзя вредить белому. Постепенно шхуны наполнились копрой и улитками. Наши кокосовые пальмы были ободраны. Три шкипера и помощник созвали нас всех для важной беседы. Они выразили радость по поводу того, что мы приняли к сведению пре-

поданный нам урок, а мы повторили в тысячный раз, что раскаиваемся и клянемся больше этого не делать. И опять мы посыпали песком наши головы. Шкиперы сказали, что все это прекрасно, но они желают о нас позаботиться и оставят нам своего дьявола, чтобы мы вспоминали их всякий раз, как почувствуем влечение причинить зло белому человеку. Помощник еще раз посмеялся над нами и прокричал: «Ях! Ях! Ях!» Затем шесть наших людей, которых мы считали мертвыми, были доставлены с одной из шхун на берег. После этого шхуны подняли паруса и направились через пролив к Соломоновым островам.

Шесть наших людей, спущенных на берег со шхуны, явились первыми жертвами страшного дьявола, посланного к нам шкиперами.

— Появилась страшная болезнь? — прервал я его, догадавшись о проделке белых: на борту шхуны свирепствовала заразная болезнь, и шесть пленников были умышленно заражены.

— Да, страшная болезнь, — продолжал Оти. — Это был неумолимый дьявол. Самые старые люди никогда не слыхали о таком дьяволе. Жрецы, оставшиеся в живых, были убиты нами, потому что не могли его победить. Зараза распространялась. Я уже говорил, что на песчаной отмели мы

стояли плечом к плечу — десять тысяч человек. Когда болезнь ушла от нас, в живых осталось три тысячи. Все наши кокосовые орехи пошли на копру, и начался голод.

— Этот парень, торговец, — прибавил в заключение Оти, — он — грязный парень. Он — как слизь, дохлое мясо и воняет. Он собака, больная собака, и мухи ползают по собаке. Мы не боимся этого торговца. Мы боимся, потому что он белый. Мы знаем, много знаем: нехорошо убивать белого человека. Этот человек, эта больная собака, торговец — за него заступятся много братьев; белые люди сражаются, как дьяволы. Мы не боимся этого проклятого торговца. Иногда он много мучает канаков, и канаки хотят убить его; но канаки помнят дьявола; канаки слышат: помощник кричит: «Ях! Ях! Ях!» — и канаки не убивают торговца.

Оти насадил на крючок кусок макрели, вырвав его зубами из живой, еще трепещущей рыбы, и крючок с приманкой, поблескивая и белея в воде, опустился на дно.

— Акула больше не гуляет, — сказал Оти.

— Я думаю, мы поймаем много рыбы.

Его леса дернула. Он поспешно ее вытащил, и на дне каноэ забилась, разевая пасть, большая треска.

— Солнце взойдет, и я отнесу этому проклятому торговцу подарок — большую рыбу, — сказал Оти.

Язычник

В первые я встретился с ним в бурю; и хотя мы выдержали ее на одной шхуне, я взглянул на него, лишь когда судно было уже разбито в щепки. Несомненно, я и раньше видал его на борту, вместе с остальным канакским экипажем, но не обратил на него внимания, ибо «Petite Jeanne» была довольно-таки переполнена людьми. Кроме восьми или десяти канакских матросов, белого капитана, помощника, судового приказчика и шести каютных пассажиров, она везла из Ранжироа восемьдесят пять палубных пассажиров, жителей Паумоту и Таити; то были мужчины, женщины и дети, каждый со своими корзинами, не говоря уже о матрацах, одеялах и узлах с платьем. В Паумоту кончился «жемчужный» сезон, и все рабочие руки возвращались на Таити; мы шестеро — каютные пассажиры — были скупщиками жемчуга. В эту полудюжину входили два американца, один китаец — А-Чун — самый белый из всех виденных мною китайцев, один немец, один польский еврей и я.

То был удачный сезон. Ни один из нас не имел причины жаловаться; довольны были и восемь-

десят пять палубных пассажиров. Все хорошо поживились и теперь с надеждой смотрели вперед, предвкушая отдых и хорошее времяпрепровождение в Таити.

Конечно, «Petite Jeanne» перегрузили. Вместимость ее была всего лишь семьдесят тонн, и шхуна никакого права не имела нести на себе и десятую долю того сброда, какой находился у нее на борту. Трюм, под люками, был битком набит жемчужными раковинами и копрой. Даже чулан был полон ими. Чудом казалось, что матросы могли справляться со шхуной. На палубах совсем не было движения. Матросам, чтобы добраться до нужного места, приходилось карабкаться вперед и назад вдоль перил.

В ночное время они прогуливались по спящим, которые, как ковром, устилали палубу. Могу поклясться, что они устилали ее двойным ковром! О, здесь были даже свиньи и цыплята, и кульки с мясом, а всякое свободное местечко было разукрашено связками кокосов и кистями бананов! По обе стороны между фок- и грот-вантами протянули бурундук-тали так низко, чтобы унтер-лисель[4] мог свободно раскачиваться; а

[4] Примечания: 4

Унтер-лисель — рангоутовое дерево, употребляемое при повороте косого паруса.

с бурундук-талей свешивалось по пятидесяти кистей бананов.

Плавание обещало быть не особенно спокойным, даже если бы мы и совершили переезд в два или три дня, что могло произойти лишь при сильных юго-восточных пассатах. Но ветер дул слабо. Спустя пять часов он затих после нескольких угасающих вспышек. Штиль продолжался всю ночь и следующий день; то был один из тех сияющих зеркальных штилей, когда одна только мысль открыть глаза и посмотреть на море причиняет головную боль.

На второй день умер человек, — житель восточных островов, один из лучших водолазов в лагуне. Оспа — вот от чего он умер; хотя непонятным казалось, каким образом занесло оспу на борт судна: при нашем отплытии из Ранжироа о ней ничего не было слышно. Однако сомнений быть не могло — один человек умер, и трое были больны. Положение было безвыходное. Мы не могли отделить больных, не могли и ухаживать за ними. Мы были набиты здесь, как сардины. После ночи, последовавшей за первой смертью, оставалось только гнить и умирать, ибо в ту ночь улизнули на большом вельботе штурман, судовой приказчик, польский еврей и четыре

туземца-водолаза. Больше мы о них не слыхали. Наутро капитан приказал продырявить остальные лодки, и мы застряли на судне.

В этот день умерло двое; на следующий — трое, а затем число сразу возросло до восьми. Любопытно было наблюдать, как это действовало на нас. Туземцы стали добычей немого, тупоумного страха. Капитан — он был французом, а звали его Удуз — нервничал и болтал без умолку. Его даже стало трясти. Это был огромный, мясистый человек, весивший по крайней мере двести фунтов. Вскоре он стал походить на дрожащее желе из жира.

Немец, американцы и я насосались шотландским виски и решили париться допьяна. Теория была великолепна: если мы пропитаем себя алкоголем, все проникшие в нас микробы оспы немедленно будут сожжены в пепел. И теория оправдала себя, хотя я должен сознаться, что и капитан, и А-Чун уцелели от оспы. Француз вовсе не пил, а А-Чун ограничивался одной выпивкой в день.

Ну и славное же было времечко! Солнце — на своем пути к Северному полушарию — стояло как раз над головой. Ветра не было, но часто налетали шквалы; через пять минут или через полчаса

все затихало, а затем нас затоплял дождь. После каждого шквала грозно выглядывало солнце, поднимая с палуб облака пара. Пар был скверный. Нам он казался туманом смерти, насыщенным миллионами бацилл. Когда мы видели, как он поднимается над мертвыми и умирающими, мы всегда принимались пить; обычно мы из разных напитков приготовляли необыкновенно крепкую смесь. Кроме того, мы взяли себе за правило угощаться добавочной порцией всякий раз, когда сбрасывали мертвецов за борт — к кишащим вокруг корабля акулам.

Так продолжалось с неделю. Затем кончилось виски. Это оказалось кстати, ибо иначе я бы не выжил. Только совершенно трезвый человек мог пережить то, что затем последовало. Вы согласитесь с этим, когда узнаете, что нас осталось лишь двое: я и язычник — так по крайней мере назвал его капитан Удуз, когда я впервые его заметил. Но возвратимся назад. В конце недели, когда вышло все виски и скупщики жемчуга были трезвы, я случайно взглянул на висевший в кают-компании барометр. В Паумоту он обычно стоял на 29,90 и часто колебался между 29,85 и 30,00 или даже 30,05. Я же увидел его стоящим ниже 29,62: это могло протрезвить самого пьяного скупщика

жемчуга, когда-либо испепелившего микробов оспы в шотландском виски.

Я обратил на это внимание капитана Удуза, но тот заявил, что вот уже несколько часов наблюдает падение барометра. Мало что можно было сделать, но, принимая во внимание все обстоятельства, с этим малым он справился превосходно. Он убрал часть парусов, оставив только штормовые, растянул леера[5] и ждал ветра. Но когда поднялся ветер, капитан допустил ошибку — он заставил шхуну лечь в дрейф на левый галс. Конечно, когда находишься к югу от экватора, такая мера правильна, если — вот в чем затруднение — если только ты не стоишь на пути урагана.

Да, мы оказались как раз на его пути. Я мог судить об этом по тому, как непрестанно усиливался ветер и падал барометр. На мой взгляд, капитан должен был повернуть шхуну так, чтобы ветер дул с левого борта, а затем, когда барометр перестанет падать, лечь в дрейф. Мы спорили до тех пор, пока в его голосе не послышались истерические нотки, но уступить он не хотел. Хуже всего то, что мне не удалось привлечь на свою сторону

---

[5] Примечания: 5

Леер — туго вытянутая веревка, у которой оба конца закреплены.

остальных: скупщиков жемчуга. Мог ли я знать море — все его капризы — лучше, чем опытный капитан? Вот что они думали, и я это знал.

Конечно, поднялось страшное волнение. Я никогда не забуду первых трех волн, обрушившихся на «Petite Jeanne». Она накренилась, как накреняются все суда, ложась в дрейф, и первая волна хлынула на палубу. Поручни предназначались только для здоровых и сильных людей, но и им они не пригодились, когда женщины и дети, бананы и кокосы, свиньи и дорожные корзины, больные и умирающие, подхваченные волной, визжащей, стонущей массой понеслись вдоль палубы.

Вторая волна загромоздила палубы брусьями от поручней, а когда корма шхуны погрузилась в воду и нос высоко взметнулся к небу, несчастные со всем своим багажом съехали на корму. Это был поток человеческих тел. Люди неслись, кто головой вперед, кто вперед ногами, перекатывались, извивались, корчились, давили друг друга. Кое-кому удавалось ухватиться рукой за стойку или веревку; но тяжесть тел, напиравших сзади, заставляла разжать руку. Я видел, как один, летевший головой вперед, ударился о бимсы на штирборте. Голова его треснула, словно яичная

скорлупа. Я понял, к чему все это может привести, вскочил на крышу кают-компании, а оттуда перелез на грот-мачту. А-Чун и один из американцев пытались последовать моему примеру. Но я опередил их на целый прыжок. Американец был смыт с кормы, словно соломинка; А-Чун ухватился за штурвал и удержался на месте. Какая-то огромная женщина — вагина племени Раратонга — налетела на него и обхватила рукой его шею. Она весила не меньше двухсот пятидесяти фунтов. Свободной рукой он уцепился за канакского рулевого, и как раз в этот момент шхуна легла на правый борт.

Поток человеческих тел, двигавшийся вдоль левого борта, между рубкой и поручнями, внезапно изменил направление и понесся на штирборт. Все были снесены — вагина, А-Чун и рулевой; могу поклясться, что я видел, как А-Чун, выпуская из рук поручни, усмехнулся мне с философской покорностью. Третья волна — самая большая — причинила меньше вреда. К тому времени почти все успели перебраться на такелаж. Внизу оставалось, может быть, человек двенадцать; несчастные, полузадохшиеся, оглушенные, захлебывающиеся люди катались по палубе или пытались забраться в какое-нибудь безопасное

местечко. Их снесло за борт вместе с двумя оставшимися разбитыми лодками. В промежутках между волнами мне и другим скупщикам жемчуга удалось поместить пятнадцать женщин и детей в кают-компанию и закрыть люк. Но в конце концов это принесло им мало пользы. А ветер? Несмотря на весь мой опыт, я никогда не поверил бы, что ветер может дуть с такой силой. Он не поддается описанию. Разве можно описать кошмар? Так же точно немыслимо дать представление об этом ветре. Он срывал с нас одежду. Я говорю: «срывал» — именно так и было. Но я не прошу вас верить. Я лишь рассказываю то, что сам видел и чувствовал. Бывают минуты, когда я сам перестаю себе верить. Однако все это я пережил. Можно ли пережить встречу с таким ветром? Он был чудовищен, и самым ужасным казалось то, что он все усиливался и усиливался.

Представьте себе бесчисленные миллионы и биллионы тонн песка. Этот песок несется со скоростью девяносто, сто, сто двадцать и более миль в час. Далее представьте себе, что он невидим, неощутим — и при этом сохраняет плотность и вес песка. Представьте себе все это, и вы получите смутное представление о налетевшем на нас ветре.

Быть может, сравнение с песком неправильно. Сравним его с грязью, невидимой, неосязаемой, но тяжелой. Нет, и это слишком слабо! Считайте, что каждая молекула воздуха представляла собой грязевую отмель. Затем постарайтесь вообразить сплошную массу таких молекул. Нет, я не нахожу слов! Словами можно изобразить лишь обычные явления жизни, но язык становится бессильным перед таким чудовищным ветром. Гораздо лучше было бы, если бы я остался при своем первоначальном намерении и не пытался дать описание.

Но одно я должен сказать: волны, поднявшиеся на море, были разбиты, придавлены ветром. Мало того: казалось, ураган, разинув пасть, поглотил весь океан, заполнил то пространство, где раньше был воздух.

Конечно, паруса давно были сорваны. Но у капитана Удуза имелось на «Petite Jeanne» то, чего я никогда еще не видел на шхунах южных морей, — морской якорь. То был конический парусиновый мешок, в отверстие которого вставлен огромный железный обруч. Морской якорь, падающий в воду, походил на коршуна, взлетающего к небу, но имелась и некоторая разница: он оставался у самой поверхности воды и сохранял

перпендикулярное положение. Длинный канат соединял его со шхуной. В результате «Petite Jeanne» поплыла носом к ветру и навстречу морю. Действительно, наше положение улучшилось бы, если бы мы не находились на пути шторма. Правда, ветер вырвал наши паруса из ревантов, сломал верхушки мачт, спутал все снасти, но все же мы, вероятно, выпутались бы благополучно, если бы не попали в самый центр шторма. Вот это-то и решило нашу судьбу. Я был оглушен, находился в состоянии какого-то оцепенения и ослабел от напора ветра. Я уже готов был сдаться и умереть, когда центр урагана захватил нас. Мы попали в полосу полного затишья. Не было ни малейшего дуновения ветерка. Это оказывало болезненное действие.

Вспомните, как сильно напряжены были у нас мускулы, когда мы боролись с чудовищным давлением ветра. И вдруг давление сразу прекратилось. Помню, у меня было такое чувство, словно я вот-вот распадусь, разлечусь на части. Казалось, все атомы моего тела отделяются друг от друга и непреодолимо рвутся в пространство. Но это длилось одно мгновение. Гибель надвигалась.

В центре шторма не было ветра, и на море поднялось волнение. Волны прыгали, бились,

взметались к самым облакам. Не забудьте: этот чудовищный ветер дул от каждой точки окружности в направлении центра штиля. Поэтому и волны стали надвигаться со всех сторон. В центре не было ветра, чтобы их остановить. Они вырывались, словно пробки со дна бочек; в их продвижении не заметно было ни системы, ни постоянства. То были сумасшедшие волны. Они вздымались по крайней мере на восемьдесят футов. Нет! То были вовсе не волны: ни один человек никогда не видел таких волн.

Скорее они походили на брызги, чудовищные брызги — вот и все! Брызги в восемьдесят футов вышиною. Восемьдесят футов! Больше восьмидесяти! Они перебрасывались через верхушки мачт. То был смерч, извержение. Они были пьяны. Они падали где и как попало. Сталкивались, налетали и обрушивались друг на друга или разлетались тысячами водопадов. Этот центр урагана не был океаном — ни одному человеку не снился такой океан. То был хаос, адский хаос — дьявольский кладезь взбесившейся морской воды.

А «Petite Jeanne»? Не знаю, что сталось с нею. Язычник говорил мне впоследствии, что и он не знает. Она была буквально разодрана, расколота надвое, затем превращена в массу раздроблен-

ного, горящего дерева и, наконец, уничтожена. Придя в себя, я увидел, что нахожусь в воде и плыву машинально, хотя — если можно так выразиться — я уже на две трети утонул. Не помню, как я очутился в воде. Я видел, как «Petite Jeanne» разлетелась на части, должно быть, в тот самый момент, когда я потерял сознание.

Теперь, когда я пришел в себя, мне оставалось только использовать все преимущества своего положения, но эти «преимущества» сулили мало хорошего. Снова дул ветер, волны уменьшились, и я понял, что выбрался из центра урагана. По счастью, вблизи не было акул. Ураган разогнал прожорливую стаю, которая окружала обреченное на гибель судно и кормилась мертвецами.

Было около полудня, когда «Petite Jeanne» разлетелась в щепки, и, должно быть, часа два спустя мне удалось уцепиться за крышку от люка шхуны. В то время лил дождь, и я совершенно случайно натолкнулся на крышку. Короткий обрывок бечевки болтался на ручке; я понял, что могу считать себя в безопасности по крайней мере в течение суток — в том случае, конечно, если не явятся акулы. Часа три спустя мне послышались голоса. Все это время я тесно прижимался к крышке и, закрыв глаза, сосредоточивал свое

внимание на работе легких, стараясь вдыхать достаточное количество воздуха, чтобы не задохнуться и в то же время не наглотаться воды. Дождь перестал, а ветер и море затихли. Вот тогда-то я и увидел на расстоянии двадцати футов капитана Удуза и язычника, примостившихся на крышке от другого люка. Они боролись за обладание ею — во всяком случае француз боролся.

— Paien noir![6] — завопил он и лягнул ногой канака.

На капитане Удузе из одежды остались лишь тяжелые, грубые сапоги. Язычнику он нанес жестокий удар по рту и подбородку и едва не оглушил его. Я думал, парень отплатит ему той же монетой, но он удовольствовался тем, что уныло отплыл на десять футов в сторону. Всякий раз, как волна пригоняла его ближе, француз, руками цеплявшийся за крышку, лягал его обеими ногами и, лягаясь, называл канака черным язычником.

— Эй ты, белая скотина! — заревел я. — За пару сантимов я до тебя доберусь и утоплю!

Только сильная усталость помешала мне выполнить угрозу. Одна мысль об усилии, какое

---

[6] Примечания: 6
Paien noir — черный язычник, безбожник (*фр.*).

требовалось, чтобы переплыть к нему, вызывала тошноту. Поэтому я окликнул канака и решил разделить с ним люковую крышку. Отоо — так его звали (он произносил свое имя протяжно: «О-т-о-о») — сообщил мне, что он уроженец Бора-Бора, самого западного острова из группы Товарищества. Как я впоследствии узнал, он захватил люковую крышку первым, а затем, встретившись с капитаном Удузом, предложил ему воспользоваться ею, а тот в благодарность за эту услугу отогнал его пинками.

Вот каким образом я впервые встретил Отоо. Он не был забиякой; он являлся воплощением кротости, мягкости и доброты, хотя и был шести футов ростом, мускулистый, словно римский гладиатор. Да, забиякой он не был, но не был и трусом. В его груди билось львиное сердце; в последующие годы я видел, как он шел на такие опасности, перед которыми я бы отступил. Я хочу сказать, что, избегая заводить ссору, он никогда не отступал перед надвигающейся бедой. А раз Отоо начинал действовать — тогда «берегись мели!». Я никогда не забуду, как он отделал Билля Кинга. Случилось это в германском Самоа. Билль Кинг был провозглашен чемпионом-тяжеловесом американского флота. То был человек-зверь,

настоящая горилла, один из тех парней, что бьют здорово и наверняка умеют управлять своими кулаками. Он затеял ссору, ударил и дважды пихнул ногой Отоо, пока тот осознал необходимость драться. Думаю, бой закончился через четыре минуты; к концу этого времени Билль Кинг оказался несчастным обладателем четырех поломанных ребер, сломанной руки и вывихнутого плеча. Отоо понятия не имел о науке бокса. Он дрался по-своему, но Биллю Кингу пришлось пролежать три месяца, пока он не оправился от урока, полученного им на берегу Апии.

Но я забегаю вперед. Мы поделили люковую крышку и поочередно пользовались ею. Один лежал ничком на крышке и отдыхал, в то время как другой, по шею погрузившись в воду, придерживался за крышку обеими руками. В течение двух суток, без перерыва, то отдыхая на крышке, то погружаясь в воду, мы носились по океану. К концу второго дня я почти все время бредил; по временам мне случалось слышать, как бормочет и бредит Отоо на своем родном языке. Мы постоянно погружались в воду и благодаря этому не умерли от жажды, хотя морская вода и солнце для нас были равносильны рассолу и пеклу. Кончилось тем, что Отоо спас мне жизнь, ибо очнулся я

на берегу, в двадцати футах от воды, защищенный от солнца листьями кокосовой пальмы. Конечно, не кто иной как Отоо притащил меня сюда и укрепил надо мной листья, отбрасывавшие тень. Он лежал рядом. Я снова потерял сознание. Когда я пришел в себя, была прохладная звездная ночь. Отоо прижимал к моим губам кокосовый орех.

Из всего экипажа «Petite Jeanne» спаслись только мы двое. Капитан Удуз, должно быть, погиб от истощения, так как спустя несколько дней к берегу прибило крышку от его люка. Целую неделю Отоо и я прожили с туземцами атолла; затем нас подобрал французский крейсер и доставил на Таити. Тем временем мы совершили обряд обмена именами. В южных морях этот обряд связывает людей крепче, чем братство по крови. Инициатива была моя, а Отоо пришел в восторг, когда я заговорил об этом.

— Вот это хорошо, — сказал он по-таитянски. — Ведь мы вместе провели два дня на устах смерти.

— А смерть не разжала уст, — с улыбкой ответил я.

— Ты совершил славное дело, господин, — сказал он, — и у смерти не хватило подлости заговорить.

— Зачем ты называешь меня господином? —

спросил я, делая обиженный вид. — Разве мы не обменялись именами? Для тебя я — Отоо, для меня ты — Чарли. И для меня ты на вечные времена будешь Чарли, а я для тебя — Отоо. Таков обычай. И даже после нашей смерти, если нам случится жить где-нибудь в надзвездном мире, даже тогда ты будешь для меня Чарли, а я для тебя — Отоо.

— Да, господин, — ответил он, и глаза его засверкали от радости.

— Ну вот, ты опять! — негодующе вскричал я.

— Разве важно то, что произносят мои уста? — возразил он. — Ведь это только уста. Мысленно же я всегда буду звать тебя Отоо. Когда бы я ни подумал о себе, я буду думать о тебе; и если кто назовет меня по имени, я вспомню о тебе. И в надзвездном мире, во все времена ты будешь для меня Отоо. Так ли я говорю, господин?

Я скрыл улыбку и кивнул ему головой.

Мы расстались в Папеэтэ. Я остался на берегу, чтобы оправиться от перенесенного потрясения, а он на катере отплыл к своему родному острову Бора-Бора. Спустя шесть недель он вернулся. Я очень удивился, так как раньше он рассказал мне о своей жене, о том, что возвращается к ней и думает навсегда отказаться от далеких путешествий. После первых приветствий он спросил

меня, куда я собираюсь отправиться. Я пожал плечами; это был трудный для меня вопрос.

— Я хочу странствовать по всему свету, — ответил я наконец, — по всему свету: изъездить все моря, посетить все острова, какие только есть на земном шаре.

— Я еду с тобой, — просто сказал он. — Моя жена умерла.

У меня никогда не было брата, но, вспоминая отношения, какие мне приходилось наблюдать между братьями, я начинаю сомневаться: способен ли брат относиться так, как относился ко мне Отоо. Для меня он был и братом, и отцом, и матерью. Знаю одно: благодаря Отоо я стал более справедливым и честным человеком. Я мало заботился о мнении других людей, но должен был оставаться честным в глазах Отоо. Помня о нем, я не осмеливался себя запятнать. Я был для него идеалом и боюсь, что из любви ко мне он меня наделял несуществующими добродетелями.

Бывали минуты, когда я подходил к самому краю пропасти, и только мысль об Отоо удерживала меня от прыжка. Его гордость мной передавалась и мне; и не делать того, что подорвало бы его гордость, стало первым правилом моего кодекса чести.

Естественно, я не сразу понял, каковы были его чувства ко мне. Он никогда не критиковал, никогда не осуждал меня. Лишь мало-помалу мне открывалось его преувеличенное мнение о моей особе, и постепенно я стал понимать, как сильно его оскорбил бы поступок, недостойный моего лучшего «я».

В продолжение семнадцати лет мы не разлучались; семнадцать лет он всегда был рядом со мной, бодрствуя во время моего сна, ухаживая за мной, когда я болел, сражаясь за меня и получая раны. Он записывался на те же корабли, что и я, и вместе мы избороздили Тихий океан, от Гавайских островов до мыса Сиднея, от Торресова пролива до Галапагос. Мы занимались вербовкой чернокожих на всем протяжении от Новогебридских островов и островов на экваторе до Луизиады, Новой Британии, Новой Ирландии и Нового Ганновера. Трижды мы терпели кораблекрушение: У островов Джильберт, Санта-Крус и Фиджи. Мы скупали и продавали все, что попадалось под руку, — жемчуг, жемчужные раковины, копру, черепах, — и кое-как сводили концы с концами.

Это началось в Папеэтэ, сейчас же после того, как Отоо заявил мне о своем решении объездить

со мной все моря и острова. В те дни в Папеэтэ был клуб, где собирались скупщики жемчуга, торговцы, капитаны и разношёрстные авантюристы южных морей. Игра шла азартная, пили много; боюсь, что я засиживался за карточным столом дольше, чем следовало бы. Но как бы поздно я ни уходил из клуба, Отоо всегда ждал меня, чтобы проводить домой.

Сначала я улыбался, затем пожурил его. Наконец сказал напрямик, что в няньке не нуждаюсь. С тех пор, выходя из клуба, я его уже не видел. Однако спустя неделю я совершенно случайно обнаружил, что он по-прежнему провожает меня до дому, скользя в тени манговых деревьев, окаймлявших улицу. После этого я стал раньше возвращаться домой. В дождливые и бурные ночи, в самый разгар кутежа меня неотвязно преследовала мысль об Отоо, печально стоящем на страже под проливным дождем. Да, действительно, благодаря ему я изменился к лучшему. Однако он воздействовал на меня не строгостью. О христианской морали он не имел понятия. Все туземцы Бора-Бора приняли христианство, но Отоо был язычником — единственным неверующим человеком на всем острове — подлинным материалистом, не сомневающимся в том, что

смертью кончается все. Он верил только в честную игру. В его кодексе чести низость являлась едва ли не таким же серьезным преступлением, как и зверское убийство, и, думаю, он скорее стал бы уважать убийцу, чем человека, способного на подлые делишки.

Что же касается меня, то он всегда возражал против тех моих поступков, которые могли бы мне повредить. Игру он допускал, он и сам был страстным игроком, но игру до поздней ночи считал вредной для здоровья. Ему случалось видеть, как люди, не заботившиеся о своем здоровье, умирали от лихорадки. Он не давал обета трезвости и в сырую погоду не прочь был глотнуть спиртного. Однако он знал, что спирт хорош лишь в умеренном количестве. Он видел, что, злоупотребляя им, многие гибли либо на всю жизнь оставались калеками. Отоо всегда заботился о моем благополучии. Он думал о моем будущем, обсуждал мои планы и интересовался ими больше, чем я сам. Сначала, когда я еще не подозревал о его интересе к моим делам, ему приходилось угадывать мои намерения, как например в Папеэтэ — там я размышлял о том, входить ли мне в компанию с одним плутом, моим земляком. Операция с гуано была рискованной. Конечно, тогда я не знал, что

он мошенник; этого не знал и ни один белый в Папеэтэ. Отоо также не был известен этот факт, но он видел, как туго идет дело, и выведал все, не дожидаясь моей просьбы. Много моряков со всех концов света заглядывают на Таити, и Отоо, еще только подозревая, отправился к ним и терся среди них до тех пор, пока не собрал достаточно данных, подтверждающих его предположение. История была замечательная — с этим Рудольфом Уотерсом! Отоо рассказал мне ее, а я не поверил; но, когда я припер Уотерса к стенке, он сдался без ропота и на первом же пароходе уехал в Окленд. Признаюсь, сначала я сердился на Отоо за то, что он сует нос в мои дела. Но я знал, что он руководствуется не какими-либо корыстными побуждениями, и вскоре мне пришлось признать его мудрость и осторожность. Моей выгоды он никогда не упускал из виду — глаза у Отоо были проницательные и дальнозоркие. В конце концов я стал с ним советоваться, и мои дела он знал лучше, чем я сам. Объяснялось это тем, что мои интересы он принимал ближе к сердцу, нежели я. Я был молод и беспечен. Долларам я предпочитал романтику, спокойной жизни — приключения. Счастье, что нашелся человек, заботившийся обо мне. Знаю, что не будь Отоо, я бы давно погиб.

Позвольте вам привести один из многочисленных примеров. Еще до того, как я отправился в Паумоту за жемчугом, у меня имелся некоторый опыт в вербовке чернокожих. Отоо и я застряли на берегу Самоа — «сели на мель», но тут мне посчастливилось поступить вербовщиком на один бриг; на тот же бриг записался матросом Отоо. В последующие шесть лет мы, часто меняя суда, избороздили всю Меланезию. Когда мне приходилось на лодке подплывать к берегу, Отоо всегда стремился занять место у рулевого весла. Обычно вербовщика высаживали на берег. Сторожевая лодка, всегда наготове, держалась на расстоянии нескольких сот футов от берега, тогда как лодка вербовщика от берега не отходила. Когда я сходил со своим товаром на сушу, Отоо пересаживался на корму, где лежал прикрытый брезентом винчестер. Экипаж лодки был вооружен ружьями системы Снайдера, также скрытыми под брезентом. Пока я спорил и убеждал курчавых каннибалов наняться рабочими на плантации Квинслэнда, Отоо стоял на страже. И часто-часто его тихий голос предупреждал меня о подозрительных действиях дикарей или о назревающей измене. Иногда первым предостережением мне служил неожиданный ружейный

выстрел, сбивающий негра. И когда я подбегал к лодке, рука Отоо втаскивала меня на борт. Помню однажды, когда мы служили на корабле «Санта-Анна», наша лодка села на мель, и в этот момент дикари взбунтовались. К нам на помощь ринулась сторожевая лодка, но до ее прибытия несколько десятков дикарей могли стереть нас с лица земли. Отоо одним прыжком очутился на берегу, запустил обе руки в товары и стал разбрасывать во все стороны табак, бусы, томагавки, ножи, куски коленкора.

Перед этими богатствами каннибалы устоять не могли; пока они дрались за обладание сокровищем, мы отпихнули лодку, вскочили в нее и отъехали на сорок футов. Через четыре часа я заполучил на этом берегу тридцать рекрутов.

Случай, особенно мне запомнившийся, произошел на Малаите — самом диком острове из восточной группы Соломоновых островов. Туземцы встретили нас удивительно дружелюбно; как могли мы знать, что в течение двух лет жители всей деревни собирали коллекцию голов, предназначенную для обмена на голову белого человека? Эти негодяи все охотятся за головами, а особенно ценят головы белых. Тому, кто заполучит голову белого, должна была перейти вся

коллекция.

Как я уже упомянул, встретили они нас очень дружелюбно; в тот день я отошел на сотню шагов от лодки. Отоо своевременно предостерег меня; разумеется, я попал в беду, как всегда бывало в тех случаях, когда я не слушался его совета.

О своей опасности я узнал лишь тогда, когда со стороны мангиферового болота показалась целая туча копий.

Штук двенадцать по крайней мере были направлены на меня. Я пустился бежать, но наткнулся на копье. Оно вонзилось мне в икру, и я упал. Дикари бросились ко мне. Все они размахивали своими томагавками на длинных рукоятках, намереваясь отрубить мне голову. Спеша завладеть добычей, они мешали друг другу. Воспользовавшись этой суматохой, я стал кататься по песку и избежал многих ударов.

В этот момент явился Отоо, Отоо-борец. Он раздобыл где-то тяжелую боевую дубину, в рукопашном бою оказавшуюся гораздо полезнее ружья, и ворвался в самую гущу дикарей. Благодаря этому они не могли пронзить его копьями, а томагавки, казалось, им только мешали. Он сражался за меня, как викинг. Своей дубиной он действовал поистине удивительно: черепа ди-

карей лопались, словно перезрелые апельсины. Разогнав толпу, он схватил меня на руки, пустился бежать и тогда только получил первые раны. Четыре копья задели его. Добежав до лодки, он схватился за винчестер, и ни одна пуля не пропала даром. Затем мы добрались до шхуны и стали залечивать раны.

Семнадцать лет мы прожили вместе. Он сделал меня человеком. Не будь его, я либо отошел бы в небытие, либо и по сей день оставался бы судовым приказчиком или вербовщиком.

Однажды он мне сказал:

— Ты растрачиваешь свои деньги, затем находишь работу, добываешь еще больше. Сейчас тебе нетрудно зарабатывать; когда же ты состаришься, деньги будут потрачены, а заработать ты уже не сможешь. Я это знаю, господин. Я изучал привычки белых; я видел много стариков, которые некогда были молоды и, как и ты, могли зарабатывать. Теперь же они старые и нищие; им остается только ждать, когда какой-нибудь молодчик вроде тебя сойдет на берег и угостит их рюмочкой.

Чернокожий раб на плантациях. Он зарабатывает двадцать долларов в год. Он работает много; надсмотрщик работает мало и только разъезжает

верхом, наблюдая за чернокожими. Он получает тысячу двести долларов в год. Я — матрос на шхуне. В месяц я зарабатываю пятнадцать долларов, так как считаюсь хорошим матросом. Я исполняю тяжелую работу. А у капитана на палубе натянут тент, и пиво он пьет из длинных бутылок. Я ни разу не видел, чтобы он тянул канат или работал веслом. Он получает сто пятьдесят долларов в месяц. Я — простой матрос, он — навигатор. Господин, я думаю, тебе следовало бы изучить навигацию.

И Отоо побуждал меня учиться. На первую мою шхуну он поступил вторым помощником и гораздо больше меня гордился моим командованием.

Затем он пошел дальше:

— Господин, капитану хорошо платят. Но судно находится на его попечении, и на нем всегда лежит тяжкое бремя. Гораздо лучше платят судовладельцу, который живет на берегу, держит много слуг и пускает в оборот свои деньги.

— Все это верно, но ведь шхуна стоит пять тысяч долларов, и притом старая шхуна, — возразил я. — Я состарюсь раньше, чем накоплю такую сумму.

— Белый может разбогатеть в самый короткий срок, — заявил он, указывая на берег, окаймлен-

ный кокосовыми пальмами.

В то время мы находились у Соломоновых островов и, плывя вдоль восточного берега Гвадалканара, нагружали наш корабль слоновыми орехами.[7]

— Между устьями этой реки и следующей — расстояние в две мили, — сказал он. — Равнина тянется далеко в глубь страны. Сейчас эта земля ничего не стоит. Но кто знает? Быть может, через год или два за нее будут платить большие деньги. Здесь удобная якорная стоянка. Большие пароходы могут подходить к самому берегу. Старый вождь отдаст тебе эту землю, простирающуюся на четыре мили в глубь острова, за десять тысяч пачек табака, десять бутылок водки и ружье; все вместе будет тебе стоить не больше ста долларов. Затем ты поручишь это дело комиссионеру, а через год или два продашь землю и обзаведешься своим собственным судном.

Я последовал совету Отоо, он оказался прав — так и получилось, но не через два года, а через три. Затем подвернулось дело с полями на Гвадалканаре — двадцать тысяч акров, аренда у государства на девятьсот девяносто девять лет по

---

[7] Примечания: 7
Jury-nuts — орехи южноамериканской пальмы.

цене, обусловленной в договоре. Этот контракт я продержал у себя ровно девяносто дней, затем продал его за большие деньги одной компании. И, как всегда, Отоо все предусмотрел и не упустил случая. По его совету я взялся за ремонт «Донкастера», купленного мной на аукционе за сто фунтов, и теперь, по погашении сделанных затрат, приносящего чистой прибыли три тысячи. Он же посоветовал мне приобрести плантацию на Саваи и заняться торговлей кокосовыми орехами на Уполу.

По морю мы скитались теперь меньше, чем в былые дни. Я разбогател, женился и зажил широко, но Отоо остался все тем же Отоо старых дней: он бродил вокруг дома или топтался в конторе, не вынимая изо рта своей деревянной трубки; по-прежнему носил шиллинговую рубашку и четырехшиллинговую повязку вокруг бедер. Мне никак не удавалось заставить его тратить деньги. Наградой ему могла быть только любовь, и мы на нее не скупились. Дети его обожали, а если бы можно было его избаловать, моя жена неминуемо сделала бы его другим человеком.

А дети? Он буквально поставил их на ноги. Он учил их ходить, ухаживал за ними, когда они болели. По мере того как они подрастали, он брал

их с собой в лагуну и там превращал в амфибий. Он рассказывал им о жизни рыб и о том, как их ловить, — больше, чем знал об этом я. То же самое можно сказать и о лесном царстве. В семь лет Том знал такие охотничьи уловки, о каких я и не подозревал. Шестилетняя Мэри бесстрашно карабкалась по скользкой скале, а я видал многих сильных мужчин, которые перед этим отступали. Шести лет Франк умел доставать шиллинг со дна моря, на глубине двадцати футов.

— Мой народ на Бора-Бора не любит язычников, все мои соотечественники — христиане; а я не люблю христиан Бора-Бора, — сказал он однажды, когда я убеждал его воспользоваться принадлежащими ему по праву деньгами и на одной из наших шхун посетить родной остров. Я надеялся, что это путешествие заставит его расходовать деньги.

Я говорю «на одной из наших шхун», хотя в то время все они по закону принадлежали мне. Я с ним долго спорил, уговаривая войти со мной в компанию.

— Мы — товарищи с того дня, как потонула «Petite Jeanne», — сказал он наконец. — Но если этого желает твое сердце, оформим наше товарищество. Работы у меня нет никакой, расходы

огромные: я вдосталь ем, пью, курю, а ведь это, я знаю, стоит больших денег. Я не плачу за игру на бильярде, так как пользуюсь твоим бильярдом, но все же деньги уходят. Только богатый человек может позволить себе удовольствие удить рыбу на рифе. Страшно подумать, сколько стоят крючки и леса! Да, следует нам оформить наше товарищество. Деньги мне нужны. Я буду получать их у старшего клерка.

Итак, бумаги были написаны и засвидетельствованы, но через год я стал ворчать.

— Чарли, — сказал я ему, — ты — старый, злой обманщик, скупердяй и жалкий краб! За этот год тебе причитается несколько тысяч. Эту бумагу дал мне старший клерк. Здесь сказано, что за год ты взял ровно восемьдесят семь долларов и двадцать центов.

— А разве мне следует еще что-нибудь получить? — спросил он с озабоченным видом.

— Говорю тебе — несколько тысяч.

Его лицо прояснилось, словно он почувствовал громадное облегчение.

— Это хорошо! — сказал он. — Смотри, чтобы старший клерк правильно вел записи. Когда-нибудь мне эти деньги понадобятся, и тогда вся сумма должна быть налицо, до последнего

цента.

И, помолчав, свирепо добавил:

— Если же случится какая-нибудь недостача, то пострадает жалованье клерка.

Как я впоследствии узнал, все это время в сейфе американского консула хранилось завещание Отоо, составленное Каррутерами, по которому я являлся единственным наследником.

А затем наступил конец, обрывающий все дела человеческие. Случилось это на Соломоновых островах — там, где в дни необузданной юности мы столько вместе работали. И вот мы снова приехали сюда, главным образом для того, чтобы устроить себе праздник: затем нам нужно было наведаться в наши владения на острове Флорида, а, кроме того, мы хотели разузнать, выгодно ли промышлять жемчугом в проливе Мболи. Мы бросили якорь у острова Саво, куда заглянули для покупки диковинных жемчужин. Море у берегов Саво кишит акулами. Обычай дикарей — бросать своих мертвецов в море, а это, естественно, привлекает сюда акул. Судьбе угодно было, чтобы маленькая перегруженная туземная пирога, на которой я плыл, перевернулась. Четверо дикарей и я уцепились за нее, а шхуна находилась на расстоянии сотни ярдов от нас. Я стал кричать, чтобы

нам прислали лодку, как вдруг один из дикарей поднял вой. Он крепко держался за край кормы и несколько раз вместе с кормой погружался в воду — что-то тянуло его вниз. Затем он разжал руки и скрылся под водой. Акула утащила его.

Три оставшихся негра пытались вскарабкаться на перевернутую вверх дном пирогу. Я кричал, ругался, ударил кулаком ближайшего, но остановить их не мог. Они обезумели от ужаса, а ведь пирога едва ли могла выдержать и одного из них. Под тяжестью троих она стала стоймя, потом опрокинулась на бок, и они снова очутились в воде. Тогда я бросил пирогу и поплыл к шхуне, надеясь, что лодка подберет меня. Один из негров решил отправиться со мной; молча плыли мы бок о бок, изредка ныряя и высматривая акул. Вопли негра, оставшегося у пироги, известили нас о его гибели. Пристально вглядываясь в воду, я заметил огромную акулу, скользнувшую как раз подо мною. Она была не меньше шести футов в длину — я разглядел ее прекрасно. Негра, плывшего рядом со мной, она схватила поперек туловища и поплыла вместе с ним; его голова, плечи и руки поднимались над водой, бедняга испускал раздирающие душу крики. Таким образом акула тащила его на протяжении нескольких футов,

а затем вместе с ним исчезла под водой. Я плыл вперед, надеясь, что это была последняя акула, болтавшаяся, так сказать, без дела. Но вскоре появилась еще одна. Была ли это та же самая, что атаковала нас раньше, или она в другом месте успела плотно позавтракать, я не знаю. Во всяком случае, она не особенно спешила. Теперь я не мог плыть так быстро, как раньше, ибо тратил силы на то, чтобы держаться позади нее, и наблюдал за ней, когда она перешла в наступление. По счастью, мне удалось обеими руками хватить ее по носу и оттолкнуть, причем она круто повернула и чуть не увлекла меня под воду. Затем она снова начала приближаться ко мне, все суживая круги. Вторично я от нее ускользнул, проделав тот же маневр. При третьей атаке неудача постигла обе стороны. Акула увернулась как раз в тот момент, когда я собирался ударить ее по носу. Шершавая, словно полированная бумага, она содрала мне кожу с руки, от локтя до плечей — на мне была нижняя рубаха без рукавов.

К тому времени я был истощен борьбой и потерял надежду на спасение. Шхуна все еще находилась на расстоянии двухсот футов. Лицо мое было в воде, и я наблюдал за приготовлениями акулы к очередной атаке. В этот момент

какое-то темное тело заслонило меня от акулы. То был Отоо.

— Господин, плывем к шхуне, — сказал он так весело, словно все это было одной лишь шуткой. — Я знаю акул. Акула — мне друг.

Я повиновался и медленно поплыл вперед; Отоо плыл возле меня, все время держась между мной и акулой, парируя ее нападения и подбадривая меня. «Такелаж на боканцах ни к черту не годится, и они прилаживают фалы», — пояснил он минуту спустя, а затем нырнул, чтобы отразить нападение. Шхуна находилась на расстоянии тридцати футов, когда я выбился из сил и едва мог плыть. С палубы нам бросали веревку, но она падала слишком далеко от нас. Акула, поняв, что ей не могут причинить вред, осмелела. Несколько раз она едва меня не схватила, но в самый последний момент на помощь являлся Отоо… Конечно, сам он в любое время мог спастись, но не хотел меня оставить.

— Прощай, Чарли! Видно, пришел конец, — задыхаясь, выговорил я.

Я чувствовал, что конец близок: через секунду я закину руки и пойду ко дну.

Но Отоо рассмеялся мне в лицо и сказал:

— Я покажу тебе новый фокус, и акуле от него

не поздоровится.

Он отстал, заслонив меня от акулы, приготовлявшейся к новой атаке.

— Немного левее! — крикнул он мне вслед. — Там канат на воде. Левее, господин, левее!

Я повернул налево и слепо ринулся вперед. К тому времени я начал терять сознание. Когда рука моя схватилась за канат, с палубы шхуны донесся крик. Я повернулся и взглянул. Нигде не видно было Отоо. Но через секунду он вынырнул на поверхность воды. Кисти обеих рук его были оторваны, из ран хлестала кровь.

— Отоо! — тихо позвал он. И любовь, звучавшая в его голосе, светилась в устремленных на меня глазах.

Теперь — только теперь, в последнюю минуту жизни, — он назвал меня этим именем.

— Прощай, Отоо! — воскликнул он. И скрылся под водой. Меня подняли на борт, и я без чувств упал в объятия капитана.

Так погиб Отоо — Отоо, который спас меня, сделал человеком и пожертвовал собой, чтобы еще раз спасти мне жизнь. Мы встретились с ним в пасти урагана, а расстались у пасти акулы; семнадцать лет дружбы протекло между этими двумя событиями; думаю, я с полным правом

могу заявить, что никогда еще такая дружба не связывала двух людей — черного и белого. И если действительно око Иеговы всевидящее, то не последним в его царстве будет Отоо, язычник с острова Бора-Бора.

Страшные Соломоновы острова

Несомненно, Соломоновы острова — обездоленная и неприветливая группа островов. На свете, конечно, существуют места и похуже. Но новичку, который не в состоянии понять жизнь и людей в их изначальной неприглядной грубости, Соломоновы острова могут показаться поистине страшными.

Действительно, лихорадка и дизентерия неутомимо разгуливают там, больные отвратительными накожными болезнями встречаются на каждом шагу, а воздух насыщен ядом, который проникает в каждую пору, царапину или ссадину, порождая злокачественные язвы. Многие, избежавшие смерти на Соломоновых островах, возвращаются на родину жалкими развалинами. Известно также и то, что туземцы Соломоновых островов — народ дикий, пристрастный к человеческому мясу и склонный коллекционировать человеческие головы. Отважным поступком считается у них напасть на человека сзади и нанести ему меткий удар томагавком, рассекающим спинной хребет у основания головного мозга. Не менее справедливы и слухи о некоторых остро-

вах, как например о Малаите, где общественное положение человека определяется количеством совершенных им убийств. Головы являются там меновой ценностью, предпочтение всегда отдается голове белого человека. Очень часто несколько селений месяц за месяцем складывают свои припасы в общий котел, пока какой-нибудь отважный воин не преподнесет им свежую, окровавленную голову белого человека и не потребует у них котел.

Все сказанное — истинная правда; а между тем иные белые живут десятки лет на Соломоновых островах и, покидая их, испытывают тоску и желание вернуться. Человеку, имеющему намерение обосноваться там надолго, необходимо обладать известной осторожностью и своего рода счастьем. Помимо этого, он должен принадлежать к особому разряду людей. Его душа должна быть отмечена клеймом непреклонного белого человека. Ему надлежит быть неумолимым. Он должен невозмутимо встречать всевозможные непредвиденные сюрпризы и отличаться безграничной самоуверенностью, а также расовым эгоизмом, убеждающим его, что в любой день недели белый человек стоит тысячи чернокожих, а в воскресный день ему позволительно уничто-

жать их в большем количестве. Все эти качества и делают белого человека непреклонным. Да, имеется еще одно обстоятельство: белый, желающий быть непреклонным, не только должен презирать другие расы и быть высокого мнения о себе, но и обязан не давать воли воображению. Ему нет надобности вникать в нравы, обычаи и психологию черных, желтых и коричневых людей, ибо вовсе не этим способом белая раса проложила свой царственный путь по всему земному шару.[8]

Берти Аркрайт не был непреклонным. Он был слишком чувствителен, отличался утонченной нервной организацией и обладал избытком воображения. Жизнь представляла для него несоразмерно большой интерес. Он отдавался всецело и трепетно своим впечатлениям. И поэтому Соломоновы острова являлись для него самым неподходящим местом. Он не имел намерения основаться там надолго. Пятинедельное пребывание на Соломоновых островах до прибытия следующего парохода казалось ему вполне достаточным, чтобы удовлетворить ту тягу к

[8] Примечания: 8

Типичная философия империалистов, считающих цветные расы «навозом», предназначенным для удобрения капиталистической «цивилизации».

примитивному, какая обуяла все его существо. По крайней мере, так говорил он, хотя и в иных выражениях, туристкам на «Макамбо»; они восхищались его героизмом, ведь то были дамы-туристки, обреченные пребывать на скучной и безопасной палубе парохода, пробирающегося между Соломоновыми островами.

На борту находился еще один мужчина, но дамы не обращали на него внимания. Это было маленькое, сгорбленное существо с морщинистой кожей цвета красного дерева. Его имя, занесенное в список пассажиров, не представляет интереса, но другое его имя — капитан Малу — являлось для негров заклятым именем; им они пугали маленьких детей на всем пространстве от Нового Ганновера до Новогебридских островов. Он культивировал дикарей, страдал от лихорадок и всяких лишений и с помощью снайдеров и бичей надсмотрщиков сколотил себе пятимиллионное состояние, заключавшееся в морских улитках, сандаловом дереве, перламутре, черепаховой кости, слоновых орехах, копре, земельных участках, торговых станциях и плантациях. В сломанном мизинце капитана Малу заключалось больше силы, чем во всей особе Берти Аркрайта. Но дамы-туристки привыкли судить лишь по

внешнему виду, а Берти, несомненно, обладал красивой наружностью.

Берти разговорился с капитаном Малу в курительной комнате и сообщил ему, что намерен познакомиться с яркой, кровожадной жизнью Соломоновых островов. Капитан Малу признал такое стремление честолюбивым и достойным похвалы. Но лишь спустя несколько дней он заинтересовался Берти, когда этот молодой искатель приключений пожелал показать ему свой автоматический пистолет калибра 44. Берти объяснил устройство механизма и продемонстрировал его, вынув обойму с патронами.

— Это совсем просто, — сказал он, вкладывая обойму назад. — Таким образом оно заряжается и разряжается, видите? Затем мне остается лишь нажать собачку восемь раз подряд возможно быстрее. Посмотрите на этот предохранитель. Потому-то он мне так нравится. Он вполне безопасен. Сомнений быть не может. — Он опять вынул обойму. — Сами посудите, насколько это безопасно.

Он держал дуло револьвера на уровне живота капитана Малу, и голубые глаза капитана пристально следили за ним.

— Не лучше ли повернуть его в другую сторо-

ну? — спросил капитан.

— Но он совершенно безопасен, — уверял его Берти. — Я вытащил обойму. Вы понимаете, он теперь не заряжен.

— Огнестрельное оружие всегда заряжено.

— Но уверяю же вас, он не заряжен!

— Все равно, отведите дуло в сторону.

Голос капитана Малу звучал тихо и невыразительно, но глаза, не отрываясь, смотрели на дуло револьвера, пока оно не отклонилось в сторону.

— Я готов держать пари на пять фунтов, что оно не заряжено, — с жаром предложил Берти.

Но тот покачал головой.

— Ну, так я вам докажу.

Берти поднял револьвер и приложил дуло к виску с явным намерением спустить курок.

— Одну секунду, — спокойно сказал капитан Малу, протягивая руку. — Дайте мне взглянуть.

Он направил револьвер в сторону моря и нажал собачку. Последовал оглушительный выстрел, и одновременно механизм выбросил горячий дымящийся патрон вбок, вдоль палубы.

У пораженного Берти отвисла челюсть.

— Значит, я вставил обратно обойму, — попытался он объяснить. — Должен сознаться, что это было очень глупо.

Он смущенно захихикал и опустился в кресло. Кровь отлила от его лица, и под глазами появились темные круги. Руки его дрожали и никак не могли поднести папиросу ко рту. Он слишком любил жизнь, а сейчас он видел себя с размозженной головой, распростертым на палубе.

— Но право же, — бормотал он, — право…

— Это прекрасное оружие, — сказал капитан Малу, возвращая ему автоматический пистолет.

На борту «Макамбо» находился комиссар, возвращавшийся из Сиднея, и с его разрешения судно остановилось в Уджи, чтобы опустить на берег миссионера. В Уджи стоял кеч «Арла» под командой капитана Ганзена. «Арла» являлась одним из многих судов, принадлежавших капитану Малу, и он соблазнил Берти предложением пересесть на «Арлу» и совершить четырехдневный рейс вдоль берегов Малаиты, где предполагалось вербовать рабочих. После этого «Арла» должна была доставить его на плантации Реминдж, тоже принадлежавшие капитану Малу; там Берти остановится на неделю, а затем отправится в Тулаги, местопребывание правительства, где воспользуется гостеприимством комиссара. Капитан Малу, отдав еще два других распоряжения, в дальнейшем не оставшиеся без последствий, исчезает

со страниц этого рассказа. Одно распоряжение получил капитан Ганзен, другое — мистер Гарривель, управляющий плантациями Реминдж. По характеру обе инструкции были сходны: предписывалось предоставить возможность мистеру Бертраму Аркрайту познакомиться с суровой и кровожадной жизнью Соломоновых островов. И многие шептались, что капитан Малу пообещал ящик с шотландским виски тому, кто поможет мистеру Аркрайту пережить исключительные приключения.

— Да, Шварц всегда отличался упрямством. Видите ли, он повез четырех матросов из своего экипажа в Тулаги, где их должны были выпороть — официально, вы понимаете; а затем отправился с ними на вельботе обратно. Был ветер, и лодка перевернулась. Потонул только Шварц. Конечно, это несчастный случай.

— Несчастный случай? Действительно так? — спросил Берти лишь слегка заинтересованный; он внимательно рассматривал чернокожего у руля.

Уджи исчез за кормой, и «Арла» плавно скользила по залитому солнцем морю, направляясь к заросшим лесом берегам Малаиты. Рулевой, овладевший вниманием Берти, был украшен гвоздем,

продетым сквозь носовой хрящ. Вокруг его шеи висело ожерелье из пуговиц от брюк. В отверстия, продырявленные в ушах, были вставлены: ключ от коробки консервов, сломанная ручка зубной щетки, глиняная трубка, медное колесо от будильника и несколько ружейных патронов. На груди красовалась подвешенная к шее половина фарфоровой тарелки. Около сорока в таком же духе разукрашенных чернокожих бродило по палубе; пятнадцать человек составляли команду судна, остальные были недавно завербованными рабочими.

— Конечно, это был несчастный случай, — сказал помощник «Арлы» Джэкобс, стройный, с темными глазами, походивший скорее на профессора, чем на моряка. — Джонни Бедипп пережил приблизительно то же. Он возвращался с несколькими высеченными матросами, и они опрокинули лодку. Но он умел плавать не хуже их, и двое из них потонули. Он же пустил в дело подножку для гребцов и револьвер. Несомненно, это был несчастный случай.

— Обычное явление, — заметил шкипер. — Видите вон того человека у руля, мистер Аркрайт? Он — людоед. Шесть месяцев назад он вместе с остальной командой утопил капитана «Арлы».

Они напали на него на этой самой палубе, как раз на корме, возле бизань-мачты.

— Палуба была в ужасном виде, — прибавил помощник.

— Так ли я понял?.. — начал Берти.

— Да, да! — сказал капитан Ганзен. — Это несчастный случай; он утонул случайно.

— Но палуба?..

— Вот именно. По секрету я, так и быть, скажу вам: они пустили в дело топор.

— Вот эта самая ваша команда?

Капитан Ганзен утвердительно кивнул головой.

— Прежний шкипер был слишком уж беспечен, — объяснил помощник. — Он не успел повернуться, как они его прикончили.

— У нас нет никакой власти над ними, — пожаловался шкипер. — Правительство обычно на стороне негров и защищает их против белых. Вы не имеете права стрелять первым. Вы должны предоставить первый выстрел негру, иначе закон обвинит вас в убийстве и сошлет на Фиджи. Вот почему здесь так часты всякие несчастные случаи.

Позвали к обеду, и Берти со шкипером спустились вниз, оставив помощника на палубе.

— Следите внимательно за этим черным дьяволом — Ауики, — предостерег, уходя, шкипер. — Мне он не внушает доверия. Я уже несколько дней к нему приглядываюсь.

— Есть, — ответил помощник.

Обед уже кончился, а шкипер дошел лишь до середины своего повествования о резне на пароходе «Шотландские Вожди».

— Да, — продолжал он, — это было лучшее судно на всем побережье. И вот, не успев повернуть вовремя, оно устремилось прямо на рифы; большая флотилия каноэ направилась к нему. На борту находились пять белых и команда из двадцати чернокожих, уроженцев Санта-Крус и Самоа, а спасся только судовой приказчик. Кроме того, там было шестьдесят завербованных рабочих. И они все были каи-каи…

— Каи-каи?

— О, прошу извинения, это значит — они были съедены. Было еще одно судно «Джемс Эдвард», чудесно оснащенное…

В это время с палубы донесся резкий окрик помощника и дикие вопли. Раздалось три выстрела, затем послышался отчетливый всплеск воды. Капитан Ганзен мгновенно взбежал по трапу, и перед глазами Берти сверкнул блестящий

револьвер, выхваченный на бегу капитаном. Берти поднялся значительно медленнее и нерешительно высунул голову в отверстие люка. Но, казалось, ничего не произошло. Помощник, дрожа от возбуждения, стоял с револьвером в руке. Вдруг он отскочил, полуобернувшись назад, словно опасность угрожала с тыла.

— Один из туземцев упал за борт, — сказал он неестественным, натянутым тоном. — Он не умел плавать.

— Кто? — спросил шкипер.

— Ауики, — последовал ответ.

— Но подождите, ведь я слышал выстрелы, — говорю вам, выстрелы, — сказал Берти в страшном волнении, почуяв какое-то загадочное приключение, к счастью, уже миновавшее.

Помощник набросился на него рыча:

— Это наглая ложь! Не было ни одного выстрела. Негр упал за борт.

Капитан Ганзен смотрел на Берти тусклыми, немигающими глазами.

— Но я… я ведь думал… — начал Берти.

— Выстрелы? — задумчиво произнес капитан Ганзен. — Выстрелы? Вы слышали хоть один выстрел, мистер Джэкобс?

— Ни одного, — ответил мистер Джэкобс.

Шкипер с торжеством посмотрел на своего гостя и сказал:

— Несомненно, несчастный случай. Идемте вниз, мистер Аркрайт, и покончим с обедом.

Эту ночь Берти спал в каюте капитана, крохотной комнатке, отделенной от большой кают-компании. Передняя переборка была украшена стойкой с ружьями. Под койкой стоял большой ящик; вытащив его, Берти нашел там запас боевых припасов, динамита и несколько коробок с детонаторами. Он предпочел взять себе койку у противоположной стены. На маленьком столе, совсем на виду, лежал журнал «Арлы» — Берти не подозревал, что капитан Малу распорядился его приготовить. Берти прочел в нем, что 20 сентября два матроса упали за борт и утонули. Берти читал между строк и понимал, в чем тут дело. Дальше он узнал, что одна китобойная лодка с «Арлы» подверглась нападению лесных жителей у берегов Суу и потеряла трех матросов; что шкипер застал повара за варкой человеческого мяса на огне судовой печи; мясо было приобретено командой на берегу в Фуи; случайный взрыв динамита при сигнализации уничтожил матросов одной лодки. Там рассказывалось о ночных нападениях; о бегстве из портов и ожидании рассвета; о нападе-

ниях лесных жителей в мангиферовых зарослях и флотилий приморских жителей — в больших проливах. С монотонной настойчивостью перечислялись там случаи смерти от дизентерии. С испугом отметил он, что от дизентерии погибло двое белых, находившихся на борту «Арлы» в качестве гостей.

— Должен сказать вам, — заявил Берти на следующий день капитану, — что я просмотрел ваш журнал.

Шкипер был недоволен и даже рассердился, что судовой журнал был оставлен в каюте.

— Все эти случаи смерти от дизентерии — вздор, все равно как и случайные прыжки за борт, — продолжал Берти. — Что, собственно, означает эта дизентерия?

Шкипер откровенно выразил восторг по поводу проницательности гостя, хотя сначала с негодованием отрицал это предположение, а затем любезно уступил:

— Видите ли, мистер Аркрайт, дело обстоит так: эти острова и без того пользуются дурной славой. С каждым днем все труднее становится заполучить на службу белого человека. Предположим, человек убит. Компания должна за большие деньги нанять другого. Но если человек умер

просто от болезни, тогда все в порядке. Новички болезней не боятся, их страшит быть убитыми. Поступая на «Арлу», я полагал, что шкипер ее умер от дизентерии. А потом уже стало поздно. Контракт был заключен.

— И кроме того, — прибавил мистер Джэкобс, — слишком уж часто бывают несчастные случаи. Это может вызвать подозрения. Во всем вина правительства. Иначе белый человек не имеет возможности защищаться от негров.

— Да, вспомните «Принцессу» и ее помощника-янки, — подхватил шкипер. — На ней находилось пять белых, не считая правительственного агента. Капитан, агент и приказчик причалили к берегу в двух лодках. Все они были убиты — все до единого. На борту остались помощник, боцман и около пятнадцати матросов из Самоа и Тонга-на. Толпа негров бросилась к ним с берега. При первом же натиске была перебита вся команда и боцман. Помощник захватил три сумки с патронами и два винчестера и забрался на краспицсалинг. Он единственный остался в живых, и нечего удивляться, что он совсем обезумел. Он стрелял из одного ружья; наконец его уже невозможно было держать в руках, настолько оно накалилось; тогда он взял другое. Палуба

была вся черная от толпы негров. Он прогнал их. Он сбивал их, когда они скакали за борт, и продолжал стрелять, когда они схватились за весла. Тогда они бросились в воду и пустились вплавь, а он, обезумевший, уложил еще шестерых. А как, по-вашему, он поплатился за это?

— Сослали на семь лет на Фиджи, — злобно фыркнул помощник.

— Правительство заявило, что он не имел права стрелять, когда они прыгнули за борт, — пояснил шкипер.

— Вот почему они умирают теперь от дизентерии, — закончил помощник.

— Невероятно! — сказал Берти, испытывая сильное желание поскорее закончить свое путешествие.

Позднее он разговорился с чернокожим, на которого ему указали как на каннибала. Его звали Сумасои. Он провел три года на плантациях в Квинслэнде, побывал и на Самоа, и на Фиджи, и в Сиднее; служа матросом на шхуне для вербовки рабочих, посетил Новую Британию, Новую Ирландию, Новую Гвинею и острова Адмиралтейства. Он был большой шутник и в разговоре с Берти следовал примеру шкипера. Да, он съел много людей. Сколько? Он не может всех при-

помнить. Да, и белых людей тоже, их мясо очень вкусно, если только они не больные. Однажды Сумасои съел больного.

— Плохое дело! — воскликнул он при этом воспоминании. — Мой совсем заболел после него. Живот много болел.

Берти содрогнулся и осведомился относительно голов. Да, на берегу Сумасои хранил несколько голов, хорошие головы — высушенные на солнце и прокопченные. Есть голова капитана шхуны. С длинными бакенбардами. Сумасои продал бы ее за два соверена. Есть у него и несколько детских голов, но плохо сохранившихся, он их уступит за десять шиллингов.

Спустя пять минут Берти очутился возле одного негра, пораженного страшной накожной болезнью; он сидел рядом с ним на верхней ступеньке трапа. Берти отстранялся от него и после расспросов узнал, что это проказа. Он поспешил вниз и старательно вымылся антисептическим мылом.

Много раз в течение дня приходилось ему прибегать к антисептическим средствам: почти у каждого туземца на борту были злокачественные язвы.

У мангиферовых болот «Арла» бросила якорь; вдоль перил борта был протянут двойной ряд

колючей проволоки. Видимо, дело было нешуточное; увидев вереницу каноэ с дикарями, вооруженными дротиками, луками, стрелами, а также снайдерами, Берти горячее, чем когда-либо, пожелал, чтобы его поездка уже закончилась.

Весь вечер после захода солнца туземцы вертелись в своих каноэ у борта судна. И нагрубили помощнику, когда тот приказал им отправляться на берег.

— Будьте спокойны, я сейчас разделаюсь с ними, — сказал капитан Ганзен, спускаясь вниз.

Вернувшись, он показал Берти палочку динамита, прикрепленную к рыболовному крючку. Дело в том, что бутылочка из-под хлоридина, с содранной этикеткой, и кусок самого безобидного фитиля могут всех ввести в заблуждение. Эта бутылочка одурачила и Берти, и туземцев. Капитан Ганзен поджег фитиль и зацепил рыболовным крючком набедренную повязку одного туземца; туземец рванулся, охваченный страстным желанием удрать на берег, и второпях позабыл сорвать с себя повязку. Он бросился бежать, а фитиль шипел и трещал за его спиной; туземцы перепрыгивали через проволочное заграждение, цепляясь за колючки. Ужас охватил Берти. И капитан Ганзен разделял его чувство: он забыл

о двадцати пяти своих рабочих, оплаченных по тридцать шиллингов каждый. Все они бросились за борт вместе с прибрежными жителями, а за ними следовал чернокожий с шипящей бутылкой из-под хлоридина.

Берти не видел, взорвалась ли бутылка; но помощник кстати разрядил на корме палочку настоящего динамита, никому не причинившего вреда; Берти же готов был на суде поклясться, что один негр был разорван на куски.

Исчезновение двадцати пяти рабочих обошлось «Арле» в сорок фунтов; никакой надежды не могло быть на их возвращение, раз они добрались до леса. Шкипер и помощник решили потопить свое горе в холодном чае. Этот холодный чай содержался в бутылках из-под виски, и Берти не понимал, что, собственно, они поглощают. Он только видел, что оба усиленно пьют и серьезно обсуждают, доносить ли правительству о случае со взорвавшимся негром под видом случайного падения в воду или смерти от дизентерии. Вскоре они погрузились в сон, и Берти, единственному белому на борту, ничего иного не оставалось, как нести вахту. До самого рассвета стоял он на опасном посту, со страхом ожидая нападения с берега или восстания экипажа.

Больше трех суток стояла «Арла» у берега, и каждую ночь шкипер и помощник вдребезги напивались холодным чаем, предоставляя Берти нести вахту. Они знали, что ему можно довериться, а он в равной мере был убежден, что донесет об их поведении капитану Малу, если останется в живых. Наконец «Арла» бросила якорь у плантации Реминдж, на Гвадалканаре, и Берти, сойдя на берег, с облегчением вздохнул, обмениваясь рукопожатием с управляющим. Мистер Гарривель был подготовлен к приему гостя.

— Вы, пожалуйста, не беспокойтесь, если настроение наших негров-рабочих покажется вам несколько странным, — сказал мистер Гарривель, таинственно отводя его в сторону. — Поговаривают о восстании, и, действительно, имеются кое-какие подозрительные признаки, но я лично убежден, что это пустая болтовня.

— А сколько… сколько негров у вас на плантации? — с замирающим сердцем спросил Берти.

— В настоящее время четыреста, — ободряюще ответил мистер Гарривель, — но нас трое — с вами, да еще шкипер и помощник с «Арлы»; мы прекрасно справимся с чернокожими.

Берти пошел навстречу Мак-Тавишу, заведующему складами, но тот почти не обратил

внимания на вновь прибывшего и, волнуясь, заявил о своем намерении оставить службу.

— Я женатый человек, мистер Гарривель, я не могу дольше здесь оставаться. Бунт неизбежен, это ясно как день. Негры готовы к восстанию, и здесь повторятся ужасы Хохоно.

— Что это за ужасы Хохоно? — спросил Берти, после того как удалось убедить заведующего складами остаться здесь до конца месяца.

— А он имел в виду плантации Хохоно на Изабелле, — пояснил управляющий. — Там негры убили пятерых белых, живших на берегу, захватили шхуну, убили капитана и помощника и все до одного бежали на Малаиту. Но я всегда говорил, что там, на плантациях Хохоно, белые были слишком беспечны. Нас не удастся поймать врасплох. Идемте, мистер Аркрайт, я вам покажу вид с нашей веранды.

Берти был поглощен размышлениями, каким бы образом ему убраться поскорей в Тулаги к комиссару, и вид мало его занимал.

Он все еще придумывал способ, когда совсем близко, за его спиной, раздался выстрел из ружья. И в ту же секунду мистер Гарривель стремительно схватил его, почти вывернув ему руку, и втолкнул в комнату.

— Ну, скажу вам, дружище, вы были на волосок от смерти, — заявил управляющий, ощупывая его, чтобы узнать, не ранен ли он. — Я ужасно огорчен. Никогда не думал, чтобы среди бела дня…

Берти побледнел.

— Вот так же они напали на прежнего управляющего, — вступил в разговор Мак-Тавиш. — А какой был славный парень! Они размозжили ему голову здесь, на веранде. Видите это темное пятно между лестницей и дверью?

Берти счел момент благоприятным, чтобы выпить коктейль, приготовленный и поданный ему мистером Гарривелем, но в это время вошел человек в костюме для верховой езды.

— Ну, в чем дело? — спросил управляющий, взглянув на вошедшего. — Опять река разлилась?

— К черту реку, речь идет о неграх. Они выскочили из тростника в двенадцати шагах от меня, и раздался выстрел. Это был снайдер, а стрелявший держал ружье у бедра. Хотел бы я знать, где он достал этот снайдер? О, прошу извинения! Рад познакомиться с вами, мистер Аркрайт.

— Мистер Браун, мой помощник, — представил его мистер Гарривель. — Ну, давайте-ка выпьем.

— Но где он взял снайдер? — настаивал мистер Браун. — Я всегда советовал не держать оружие в конторе.

— Оружие лежит на своем месте, — раздраженно ответил мистер Гарривель.

Мистер Браун недоверчиво усмехнулся.

— Идем, посмотрим, — предложил управляющий.

Берти последовал за ними в контору, где мистер Гарривель с торжеством указал на большой ящик, стоявший в пыльном углу.

— Отлично, но откуда же этот негодяй достал снайдер? — упорствовал мистер Браун.

В это время Мак-Тавиш приподнял крышку. Управляющий вздрогнул и сорвал крышку. Ящик оказался пуст. Все переглянулись, онемев от ужаса. Гарривель, обессилев, упал на стул.

Мак-Тавиш злобно выругался.

— А что я твердил постоянно? Этим чернокожим слугам нельзя доверять.

— Дело становится серьезным, — согласился Гарривель, — но мы выкрутимся. Этим кровожадным неграм нужна хорошая встряска. Пожалуйста, господа, не выпускайте из рук ружей и во время обеда, а вы, мистер Браун, будьте добры приготовить сорок или пятьдесят палочек

динамита; покороче обрежьте фитили. Мы их проучим. А теперь, господа, обед подан.

Берти ненавидел рис и сойю[9] и принялся за яичницу.

Он почти покончил со своей порцией, когда Гарривель положил себе на тарелку яичницу.

Он взял кусок в рот и тотчас же, ругаясь, выплюнул.

— Это уже второй раз, — зловеще объявил Мак-Тавиш.

Гарривель все еще откашливался и отплевывался.

— Что — вторично? — содрогнулся Берти.

— Яд, — последовал ответ. — Повар будет повешен.

— Таким вот образом и погиб бухгалтер на мысе Марш, — заговорил Браун. — Ужасная смерть. На судне «Джесси» рассказывали, что его нечеловеческие вопли были слышны на расстоянии больше трех миль.

— Я закую повара в кандалы, — пробормотал Гарривель. — К счастью, мы вовремя это обнаружили.

Берти сидел, словно парализованный. В его

---

[9] Примечания: 9
Мясное кушанье с пряной приправой.

лице не было ни кровинки. Он пытался говорить, но слышались лишь нечленораздельные звуки и хрип. Все с тревогой смотрели на него.

— Не говорите, не надо говорить, — воскликнул Мак-Тавиш напряженным голосом.

— Да, я съел ее, всю съел, целую тарелку! — вскричал Берти, словно человек, внезапно вынырнувший из-под воды и еле переводящий дух.

Страшное молчание длилось еще полминуты, и в их глазах он читал свой приговор.

— В конце концов, возможно, это не был яд, — мрачно проговорил Гарривель.

— Позовите повара, — сказал Браун.

Вошел, скаля зубы, черный мальчишка-повар с проколотым носом и продырявленными ушами.

— Смотри сюда, Ви-Ви, что это значит? — заорал Гарривель, указывая на яичницу.

Вполне естественно, что Ви-Ви перепугался и смутился.

— Добрый господин каи-каи, — пробормотал он, оправдываясь.

— Пусть он съест ее, — посоветовал Мак-Тавиш. — Это будет лучшим испытанием.

Гарривель наполнил ложку и бросился к повару, но тот в ужасе обратился в бегство.

— Все ясно, — торжественно заявил Браун. —

Он не хочет ее есть.

— Мистер Браун, не окажете ли вы любезность пойти и заковать его в кандалы? — Затем Гарривель беззаботно повернулся к Берти: — Все в порядке, дружище; комиссар разделается с ним, а если вы умрете, будьте покойны — его повесят.

— Я не думаю, что правительство пойдет на это, — возразил Мак-Тавиш.

— Но господа, господа, — закричал Берти, — подумайте все же обо мне!

Гарривель соболезнующе пожал плечами:

— Грустно, дружище, но это туземный яд, и мы не знаем противоядий. Соберитесь с духом и успокойтесь, а если…

Два громких ружейных выстрела прервали его речь. Вошел Браун, зарядил винтовку и присел к столу.

— Повар скончался, — объявил он. — Лихорадка. Внезапный приступ.

— Я только что говорил мистеру Аркрайту, что с туземным ядом мы не умеем бороться, не знаем никаких противоядий…

— Кроме джина, — прибавил Браун.

Гарривель обозвал себя безмозглым идиотом и бросился за бутылкой джина.

— Сразу, друг мой, сразу, — наставлял он Берти,

который отхлебнул две трети из большого стакана с чистым спиртом и, задыхаясь, кашлял, пока из глаз его не полились слезы.

Гарривель пощупал пульс, делая вид, что не может его прощупать, и усомнился в наличии яда в яичнице. Браун и Мак-Тавиш тоже стали сомневаться, но Берти уловил оттенок неискренности в их тоне. Он больше не мог ни есть, ни пить и украдкой стал щупать себе пульс под столом. Конечно, пульс все учащался, но Берти не догадался приписать это действию джина.

Мак-Тавиш с винтовкой в руке ушел на веранду, чтобы произвести рекогносцировку.

— Они толпятся возле кухни, — было его донесение. — И у них невероятное количество снайдеров. У меня есть план обойти их с другой стороны и напасть с фланга. Нанести первый удар, понимаете? Вы идете, Браун?

Гарривель, сидя за столом, продолжал есть, а Берти обнаружил ускорение пульса на пять ударов. Но все же при звуках начавшейся стрельбы он вскочил с места. Среди треска снайдеров гулко выделялись выстрелы из винчестеров Брауна и Мак-Тавиша; пальба сопровождалась диким визгом и воплями.

— Наши обратили их в бегство, — заметил Гар-

ривель, когда голоса и выстрелы, удаляясь, стали замирать.

Едва только Браун и Мак-Тавиш вернулись к столу, последний снова отправился на рекогносцировку.

— Они достали динамит, — объявил он.

— Тогда и мы пустим в ход динамит, — предложил Гарривель.

Все трое положили по полдюжине палочек в свои карманы, зажгли сигары и направились к двери.

И вот тогда-то и произошел взрыв. Впоследствии обвиняли в этом Мак-Тавиша, и он согласился, что действительно использовал динамита больше, чем следовало. Как бы то ни было, а дом взорвался — он поднялся под углом, а затем снова осел на фундамент. Почти вся посуда, стоявшая на столе, разбилась вдребезги, а стенные часы с недельным заводом остановились. Вопя о мщении, все трое ринулись в беспросветную тьму ночи, и началась бомбардировка.

Вернувшись, они не нашли Берти. Он кое-как дотащился до конторы, забаррикадировался там и свалился на пол; его терзали пьяные кошмары, он умирал от тысячи всевозможных смертей, а вокруг него шел бой. Утром он проснулся совсем

разбитый и с головной болью от джина. Он выбрался из конторы и увидел, что солнце стоит на своем месте, — вероятно, и Бог не покинул неба, ибо хозяева Берти были целы и невредимы.

Гарривель убеждал его погостить подольше, но Берти настоял на немедленном отплытии на «Арле» в Тулаги, где он и засел безвыходно в доме агента вплоть до прибытия парохода. Пароход был тот же самый, и дамы-туристки были те же, и Берти снова превратился в героя, а на капитана Малу по-прежнему никто не обращал внимания. Из Сиднея капитан Малу выслал два ящика с лучшим шотландским виски. Он не мог решить, кому отдать предпочтение: капитану ли Ганзен или мистеру Гарривель, — кто из двух во всем блеске развернул перед Берти Аркрайтом жизнь Соломоновых островов?

Непреклонный белый человек

— Чернокожий никогда не поймет белого человека, так же и белый не поймет чернокожего, пока черный остается черным, а белый — белым. Так говорил капитан Уудворд. Мы сидели в трактире Чарли Робертса в Апиа и вместе с самим хозяином пили «Абу-Гамид» — напиток, приготовленный Чарли Робертсом по рецепту Стивенса, который изобрел прославивший его «Абу-Гамид» во время своих блужданий по Нилу, где его мучила необычайная жажда, — Стивенса, автора книги «С Китчепером до Хартума», — Стивенса, который погиб при осаде Лэдисмит.

Капитан Уудворд, плотный, невысокий, уже пожилой, весь обожженный солнцем от сорокалетнего пребывания под тропиками, с необыкновенно красивыми, ласковыми карими глазами, каких я у мужчин никогда не видел, производил впечатление человека с большим опытом. Шрам на его лысом черепе возвещал об интимном знакомстве с томагавком негра, другой шрам тянулся вдоль правой стороны его шеи: то был след от стрелы, посланной вдогонку и прошедшей насквозь. Он объяснял, что в тот

момент очень торопился, а стрела задержала его бегство; он понимал, что ему нельзя терять время, отламывая конец и вытаскивая стрелу, а потому он проткнул ее насквозь. В настоящее время он был капитаном «Саваи», большого парохода, который набирал рабочих с Запада для немецких плантаций на Самоа.

— Добрая половина всех недоразумений возникает из-за тупости белых, — сказал Робертс, приостанавливаясь, чтобы отхлебнуть из своего стакана и выругать довольно добродушно слугу-самоанца. — Если бы белый человек хоть немного постарался вникнуть в психологию негров-рабочих, большей части неурядиц можно было бы избежать.

— Я встречал нескольких, кто претендовал на понимание негров, — ответил капитан Уудворд, — и всегда замечал, что эти люди первые подвергались каи-каи, то есть были съедены. Посмотрите на миссионеров в Новой Гвинее и на Новогебридских островах — на Эрраманге — этом острове мучеников, и на прочих островах. Вспомните австрийскую экспедицию, все участники которой были изрублены в куски на Соломоновых островах, в зарослях Гвадалканара. А эти торговцы с многолетним опытом, хваста-

ющие, что ни один негр их не тронет! Их головы и по сей день украшают стропила сложенных из каноэ хижин. Старый Джонни Симонс, двадцать шесть лет блуждавший по неисследованным областям Меланезии, клялся, что негр для него — открытая книга и никогда не причинит ему вреда. Он погиб у лагуны Марово в Новой Георгии. Черная Мэри и старый одноногий негр, оставивший другую ногу в пасти акулы, когда нырял за рыбой, убитой динамитом, вдвоем отрубили ему голову. А Билли Уоттс, с ужасной репутацией истребителя негров, способный устрашить самого дьявола! Я помню, мы стояли у Маленького мыса в Новой Ирландии — вы этот мыс знаете; там негры украли у Билли пол-ящика табака, предназначенного для продажи и стоившего ему около трех с половиной долларов. В отместку он, внезапно нагрянув, застрелил шестерых негров, уничтожил все их боевые каноэ и сжег две деревни. А четыре года спустя у этого же Маленького мыса он, в сопровождении пятидесяти негров из Буку, шнырял вдоль берега, вылавливая морских улиток. Не прошло и пяти минут, как все они были мертвы, исключая троих негров, которым удалось спастись в каноэ. Не говорите же мне о каком-то понимании негров! Миссия белого че-

ловека — насаждать плоды цивилизации во всем мире. Это достаточно серьезное и хлопотливое дело. Где уж тут заниматься психологией негров!

— Совершенно верно, — сказал Робертс. — И в конце концов — вовсе нет надобности понимать негров. Именно эта тупость белого человека и обеспечивает ему наибольший успех в его миссии распространения цивилизации…

— И внедрения в сердце негра страха божьего, — добавил капитан Уудворд.

— Возможно, вы правы, Робертс. Пожалуй, эта тупость создает успех, и, конечно, одним из видов ее является неумение разбираться в психологии негров. Но одно несомненно: белый должен управлять неграми, независимо от того, понимает он их или нет. Это неизбежно. Это судьба.

— Одним словом, белый человек непреклонен. Для негра он является олицетворением судьбы, — заметил Робертс. — Сообщите белому человеку о жемчужине в какой-нибудь лагуне, на берегах которой живут десятки тысяч воинственных каннибалов, и он устремится туда, захватив около полудюжины канакских водолазов и будильник вместо хронометра, — явится на первом попавшемся судне вместимостью в пять тонн, где они будут набиты, как сельди в бочке. Шепните ему,

что на Северном полюсе золотая жила, и это же неутомимое белое создание тотчас же отправится в путь, прихватив с собой кирку, лопату, кусок сала и самый усовершенствованный аппарат для промывки золота. И не сомневайтесь, он доберется до места. Намекните ему, что за раскаленной докрасна стеной ада есть бриллианты, и мистер Белокожий атакует и снесет стену и заставит самого старого сатану рыть и копать. Вот что значит быть тупым и непреклонным.

— Но интересно, как относится черный человек к этой непреклонности, — поинтересовался я.

Капитан Уудворд усмехнулся. Глаза его блеснули, словно он о чем-то вспомнил.

— Мне тоже любопытно было бы узнать, что думали, а быть может, и до сих пор думают об одном непреклонном белом человеке негры с Малу. Он был с нами на «Герцогине», когда мы посетили Малу, — пояснил он.

Робертс приготовил еще три порции «Абу-Гамида».

— Это случилось двадцать лет назад. Его звали Саксторф. То был, несомненно, самый глупый человек, какого я когда-либо встречал, но он был непреклонен как сама смерть. Он обладал единственным талантом: умением стрелять. Я помню,

как познакомился с ним здесь, в Апиа, двадцать лет назад. Вас еще здесь не было, Робертс. Я ночевал в гостинице голландца Генри, там, где сейчас рынок. Слыхали вы когда-нибудь об этом Генри? Он контрабандным путем снабдил оружием мятежников, продал свою гостиницу, но спустя шесть недель был убит в Сиднее, в каком-то кабаке, во время драки.

Но вернемся к Саксторфу. Однажды ночью мне не давали уснуть две кошки, устроившие концерт во дворе. Я выскочил из постели и с кувшином воды в руке подошел к окну. Но в этот момент услыхал шум раскрывшегося окна в средней комнате. Раздалось два выстрела, и окно захлопнулось. Я не могу передать вам, как быстро все это произошло. Не более десяти секунд: окно раскрылось, два револьверных выстрела, окно закрылось. И он, этот неизвестный, даже не поинтересовался узнать о результате. Он и так знал. Вы понимаете, он знал! Кошачий концерт прекратился, и на утро во дворе нашли два окоченелых трупа оскорбителей тишины. Я был поражен. И по сей день меня это изумляет. Прежде всего, было темно, лишь звезды светили и Саксторф стрелял без прицела; затем — он стрелял так быстро, что оба выстрела почти слились,

и наконец он знал, что попал в цель, и не позаботился даже в этом убедиться.

Спустя два дня он явился ко мне на борт. Я был тогда помощником на «Герцогине», шхуне в сто пятьдесят тонн вместимостью, предназначенной для вербовки негров. Должен вам сказать, что в те времена вербовка негров была делом нешуточным. Тогда не было никаких правительственных инспекторов, и ни один из нас не мог рассчитывать на какую-либо поддержку или защиту со стороны власти. Работа была тяжелая — делай или умри! — а если дело принимало скверный оборот, мы никому не жаловались. Мы охотились за неграми по всем островам южных морей, куда только нам удавалось проникнуть. Итак, Сакторф явился на борт, — Джон Сакторф, как он себя назвал. Это был маленький рыжеватый человек — рыжеватые волосы, цвет лица и глаза тоже рыжеватые. Ничего особенного в нем не было. Его душа казалась такой же бесцветной, как и вся его внешность. Он заявил, что остался без гроша и хочет поступить на судно в качестве кого угодно: юнги, повара, судового приказчика или простого матроса. При этом признался, что не знаком ни с одной из названных профессий, но желал бы научиться. Мне он был не нужен, но

меня тогда так поразила его стрельба, что я зачислил его обыкновенным матросом на жалованье три фунта стерлингов в месяц.

Он действительно очень старался чему-нибудь научиться, я это могу подтвердить. Но у него ни к чему не было способностей. Он столько же разбирался в компасе, сколько я в приготовлении этого напитка, предложенного нам Робертсом. А рулем он управлял так, что ему я обязан своими первыми седыми волосами. Никогда не рисковал я доверить ему штурвал при сильном волнении. Непостижимой тайной оставалось для него и умение обращаться с парусами. Он никогда не мог отличить шкота от тали; путал фок-кливер с бом-кливером. Прикажешь ему убрать грот — и не успеешь оглянуться, как он уже опустил бизань-рею. Плавать он не умел, а три раза умудрился упасть за борт. Но он всегда был весел, никогда не страдал морской болезнью и был самым услужливым человеком, какого я когда-либо знал. Однако был очень необщителен. Никогда не рассказывал о себе. Ничего мы о нем не знали, и вся история его жизни начиналась для нас лишь с момента его появления на «Герцогине». Где он научился так хорошо стрелять, ведали, должно быть, одни звезды. Он был янки — вот все, что

мы определили по его акценту. И больше ничего о нем не знали.

Ну, а теперь мы подходим к самой сути дела. На Новогебридских островах нам не повезло: завербовав всего четырнадцать негров за пять недель, мы с юго-восточным ветром поплыли на Соломоновы острова. На Малаите тогда, как и сейчас, вербовка шла успешно. Мы подошли к северо-западной части Малаиты — Малу. Место для стоянки там неудобное. Возле берега и дальше — к морю тянутся рифы, но мы благополучно их обогнули и взрывом динамита подали неграм сигнал о своем прибытии, приглашая их к нам вербоваться. В течение трех дней никто не являлся. Негры сотнями подплывали к нам в своих каноэ, но только смеялись, когда мы показывали им бусы, коленкор, топоры и заводили разговор о выгодах работы на плантациях Самоа.

На четвертый день все изменилось. Записалось сразу пятьдесят человек; их поместили в трюм с правом, конечно, появляться и на палубе. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, как подозрителен был этот внезапный наплыв рабочих, но в то время мы предполагали, что какой-нибудь могущественный вождь снял запрет и разрешил вербовку. Наутро пятого дня наши две лодки

отправились, как обычно, к берегу. Вторая лодка шла позади для прикрытия первой в случае восстания. На шхуне оставались все пятьдесят негров. Они лениво слонялись по палубе, болтали, курили, некоторые спали. Саксторф и я с четырьмя матросами составляли всю команду шхуны. В обеих лодках сидели на веслах уроженцы острова Джильберт. В первой находился капитан, судовой приказчик и вербовщик; в другой, остановившейся на расстоянии ста ярдов от берега, распоряжался второй помощник. Обе лодки были хорошо вооружены, хотя никакой опасности не ждали.

Четыре матроса, включая и Саксторфа, занялись чисткой перил на корме. Пятый матрос с винтовкой стоял на карауле возле чана с водой, перед грот-мачтой. А я находился на носу, где возился с гафелем. Потянувшись за трубкой, отложенной в сторону, я услышал выстрел, раздавшийся на берегу. Я моментально вскочил, чтобы узнать, в чем дело, но тотчас же свалился на палубу, оглушенный сильным ударом в затылок. Прежде всего у меня мелькнула мысль, что какая-то рея упала на меня сверху, но, не успев даже удариться о палубу, я услышал дьявольскую трескотню винтовок со стороны лодок. Кое-как

повернувшись на бок, я увидел матроса, стоявшего на карауле. Два рослых негра держали его за руки, а третий сзади замахивался томагавком.

Я и сейчас вижу этот чан с водой, грот-мачту, тройку чернокожих, окруживших матроса, и топор, опускающийся сзади на его голову; все это было залито ослепительным солнечным светом. Я был словно зачарован этим возникшим перед моими глазами видением смерти. Мне казалось, что опускается томагавк с невероятной медлительностью. Затем я увидел, как топор вонзился в затылок, ноги матроса подломились, и весь он грузно осел. Негры еще два раза ударили его топором, чтобы наверняка прикончить. Затем я получил два удара по голове и решил, что пришел мой конец. И негодяй, нанесший мне эти удары, вероятно, был того же мнения. Я не мог шевельнуться и лежал, беспомощно наблюдая, как они отрезали голову часовому. Должен сказать, что они проделали это ловко. Видно, в достаточной мере напрактиковались…

Ружейная пальба, доносившаяся с лодок, прекратилась, и у меня не было никаких сомнений в том, что все наши перебиты и всему пришел конец. Я получил отсрочку на несколько минут, после чего они должны были вернуться и за моей

головой. Вероятно, они снимали головы матросам на корме. Человеческие головы высоко ценятся на Малаите, в особенности — головы белых. Они занимают почетные места в хижинах приморских жителей. Я не знаю, какие декоративные цели преследуют жители лесов, но и они любят головы не меньше, чем эти прибрежные жители.

Смутная надежда спастись все же меня не оставляла, и я пополз на руках к лебедке, где постарался подняться на ноги. Оттуда была видна корма, и на крыше каюты я заметил три головы моих трех матросов, в течение многих месяцев служивших на шхуне. Негры увидели меня и направились в мою сторону. Я полез за револьвером, но, очевидно, его у меня отняли. Не могу сказать, чтобы я был особенно испуган. Я много раз был близок к смерти, но на этот раз смерть заглянула мне в лицо. Мной овладело какое-то отупение и равнодушие ко всему.

Негр, шедший впереди, вооружился большим кухонным ножом и, приближаясь, корчил гримасы, словно обезьяна, предвкушая удовольствие изрубить меня. Но это ему не удалось. Он тяжело рухнул на палубу, и кровь хлынула у него изо рта. Как во сне, я услышал выстрел, а затем еще и еще. Негры, один за другим, падали мертвыми.

Постепенно я стал приходить в себя. Ни одна пуля не пропала даром. С каждым выстрелом падал какой-нибудь негр. Я приподнялся, сел возле лебедки и посмотрел в ту сторону, откуда раздавались выстрелы. Там, на краспис-салинге, примостился Саксторф. Как он забрался туда, я себе не представляю, но он захватил с собой два винчестера и большой запас патронов. Там он занимался тем единственным делом, к какому у него были способности.

Я не раз присутствовал при стрельбе и всяких побоищах, но подобного зрелища никогда не видел. Сидя возле лебедки, я наблюдал эту картину. Я ослабел и пребывал в каком-то оцепенении, и все происходившее казалось мне сном. Бах-бах-бах — бахала винтовка, и с таким же равномерным стуком падали негры на палубу. Изумительное зрелище! После первой попытки добраться ко мне, когда больше дюжины выбыло из строя, негры остолбенели. Но Саксторф ни на минуту не прерывал стрельбы. В это время несколько каноэ и две лодки, вооруженные снайдерами и винчестерами, захваченными с наших лодок, прибыли с берега. Обстрел, которому они подвергли Саксторфа, был ужасен. Но, на его счастье, негры опасны лишь в рукопашном бою.

Они не умеют стрелять и целиться, держа ружье у плеча. Они стреляют сверху в ниже стоящего противника, прикладывая ружье к бедру. Когда ружье Саксторфа нагревалось, он сменял его другим. Он именно это и имел в виду, когда брал с собой две винтовки.

Поразительна была быстрота, с какой он стрелял. И ни одного промаха. Да, этого человека можно было назвать непреклонным. Именно быстрота и делала эту бойню такой ошеломляющей и страшной. Он не давал неграм опомниться. Когда рассудок стал возвращаться к ним, они стремглав бросились в воду, конечно, опрокидывая каноэ. Саксторф продолжал палить. В воде метались черные тела, а пули, одна за другой, настигали их. Ни одна не пролетела мимо, и я отчетливо различал звук, с каким они вонзались в тело.

Рассеявшись по воде, негры вплавь спешили к берегу. То был настоящий ковер плывущих голов. Я поднялся и в каком-то полусне следил, как эти головы рассекали волны, а иные уже не двигались. Пули пролетали большое расстояние. Один лишь человек добрался до берега, но едва он поднялся на ноги, как пуля Саксторфа настигла и его. Удивительный выстрел! И двух негров, под-

бежавших вытащить раненого из воды, Саксторф также подстрелил.

Я решил, что побоище кончилось. Но опять прозвучал выстрел. Из кают-компании выскочил негр, бросился к борту, но на полпути упал замертво. Кают-компания, должно быть, была переполнена неграми: я насчитал по крайней мере двадцать человек. Они выбегали оттуда поодиночке и бросались к борту, но ни одному не удалось спастись. Это напомнило мне охоту на загнанного зверя. Черное тело внезапно появлялось из кают-компании, раздавался выстрел — и негр падал. Несомненно находившиеся внизу не подозревали о положении дел на палубе и продолжали выскакивать, пока не были убиты все до последнего.

Саксторф некоторое время выжидал, а затем спустился на палубу. Из всего экипажа «Герцогини» уцелели только мы двое. Я был серьезно ранен, а он, когда в стрельбе уже не было надобности, превратился в самого беспомощного человека. Под моим руководством он промыл мои раны на голове и зашил их. Изрядная порция виски подкрепила меня и придала силы приняться за работу. Ничего иного не оставалось делать. Все остальные были убиты. Саксторф попытался

поднять паруса, а я помогал ему. И тут он снова проявил всю свою тупость и неповоротливость. Он не мог справиться с парусами. А когда я потерял сознание и упал, дело, казалось, обернулось для нас скверно.

Очнувшись, я увидел, что Саксторф беспомощно сидит на перилах и ждет моих распоряжений. Я приказал ему осмотреть раненых и выяснить, нет ли между ними способных выполнить хоть какую-нибудь работу. Он набрал шесть человек. Помню, у одного была сломана нога; но его руки, по словам Саксторфа, были целы. Я лежал в тени, отгоняя мух и инструктируя Саксторфа, который командовал своими больными. Он заставлял этих несчастных негров натягивать каждую веревку, пока не нашел, наконец, фалы. Один негр, натягивая веревку, выпустил ее из рук и упал мертвый. Остальных Саксторф отколотил и заставил продолжать работу. Когда грот и фока-зейль были поставлены, я велел ему поднять якорь. С большим трудом я добрался до штурвала, намереваясь управлять рулем. Не понимаю, как это случилось, но Саксторф не только не поднял якоря, а опустил и второй, и мы еще основательнее ошвартовались.

В конце концов ему все же удалось поднять

оба якоря и поставить стаксель и кливер. Шхуна двинулась вперед. Наша палуба представляла собой жуткое зрелище. Всюду валялись мертвые и умирающие негры. Они лежали везде, во всех закоулках. Кают-компания была полна ими; они уползали с палубы и прятались там. Я заставил Саксторфа и его полуживую команду выбросить за борт мертвецов. Но в море были выброшены и мертвые, и умирающие. Акулы поживились в этот день. Конечно, и четыре наших матроса отправились за борт. Но головы их мы положили в мешок с грузом, чтобы они не приплыли случайно к берегу и не попали в руки негров.

Наших пятерых пленников я рассчитывал использовать как матросов, но они приняли иное решение. Выбрав удобный момент, они попытались перескочить за борт. Саксторф убил двоих и пристрелил бы и тех троих, что уже спустились за борт, если б я не воспротивился. Мне надоела эта бойня, а кроме того, ведь они помогли шхуне сдвинуться. Но мое великодушие ни к чему не привело: акулы сожрали всех троих.

Когда мы вышли в открытое море, у меня началось что-то вроде воспаления мозга. И «Герцогиня» лежала в дрейфе все три недели, пока я болел. Наконец мы добрались до Сиднея. А

эти негры с Малу запомнили на веки вечные полученный урок, что с белыми надо держаться осторожней. Для них Сакторф явился, конечно, непреклонным белым человеком.

Чарли Робертс протяжно свистнул и сказал:

— Да, пожалуй, это так. Ну, а Сакторф, что с ним сталось?

— Он занялся тюленьим промыслом и стал знаменитым охотником. В продолжение шести лет он менял службу одну за другой на шхунах, плававших между Викторией и Сан-Франциско. На седьмой год его шхуна была захвачена русским крейсером в Беринговом море. Ходят слухи, что весь экипаж был сослан на соляные копи в Сибирь. С тех пор я ничего о нем не слыхал.

— Насаждать цивилизацию, — бормотал Робертс. — Приобщать к цивилизации весь мир. Да, это дело. И, полагаю, кто-нибудь должен заниматься таким насаждением.

Капитан Уудворд потер шрам на своей лысине.

— Я уже исполнил свой долг, — сказал он. — Сорок лет такой жизни… Это будет моим последним рейсом. А затем я вернусь на родину отдыхать.

— Держу пари, — воскликнул Робертс, — что вы умрете во всеоружии на своем посту, а не дома — в своей кровати. Выпивка за счет проигравшего.

Капитан Уудворд охотно принял пари; но я лично думаю, что выиграет Чарли Робертс.

Потомок Мак-Коя

Шхуна «Пиренеи», под тяжестью груза пшеницы глубоко осев железными бортами в воду, лениво покачивалась, и человек без труда взбирался на нее с маленького каноэ. Когда он поравнялся с перилами и мог заглянуть внутрь, ему показалось, что он видит легкий, еле заметный туман. Это казалось скорее обманом зрения: словно какая-то пленка внезапно покрыла его глаза. Он почувствовал желание сорвать ее и в этот момент подумал, что уже стареет и пришла пора посылать в Сан-Франциско за парой очков.

Шагая через борт, он бросил взгляд вверх на высокие мачты и затем на помпы. Они бездействовали. На этом огромном судне, казалось, все было в порядке, и он недоумевал, почему оно подняло сигнал бедствия. Он подумал о своих счастливых островитянах и надеялся, что это не болезнь. Может быть, шхуна терпела недостаток в воде или провизии. Он пожал руку капитану, исхудавшее лицо которого и утомленные озабоченные глаза ясно говорили о каком-то большом затруднении. В ту же минуту вновь прибывший почувствовал слабый, трудно определимый за-

пах, напоминавший запах горелого хлеба, и все же иной.

С любопытством он посмотрел вокруг. В двадцати шагах от него матрос с изнуренным лицом конопатил палубу. Взгляд его остановился на этом человеке, и внезапно он увидел поднявшуюся из-под его рук тонкую, дымящуюся спираль, которая, клубясь, взвивалась и таяла. Наконец он вступил на палубу. Слабый жар охватил его голые ноги, быстро пронизывая затверделые, огрубевшие ступни. Теперь он понял, что постигло шхуну. Он быстро оглядел многочисленную толпу истощенных матросов, нетерпеливо уставившихся на него. Взгляд его ласковых карих глаз коснулся их, точно благословение, укрощая и окутывая их как бы мантией великого покоя.

— С каких пор она горит, капитан? — спросил он, и голос его был так мягок и спокоен, что походил на голубиное воркование.

Сначала капитан поддался овладевшему им чувству покоя и умиротворения, но сознание всего, что он вытерпел и терпит, больно ударяло, и злобное раздражение охватило его. Чего ради этот оборванец — поселенец[10] в грязных штанах

---

[10] Примечания: 10

Beach-comber — поселенец островов Тихого океана.

и бумажной рубахе — внушает ему, измученному и изнемогающему, такие вещи, как мир и покорность? Капитан не старался разобраться в этом — бессознательное волнение, испытанное им, вызывало в нем досаду.

— Пятнадцать дней, — коротко ответил он. — Кто вы?

— Мое имя — Мак-Кой, — последовал ответ, и в тоне слышалось участие и соболезнование.

— Я спрашиваю, вы лоцман?

Мак-Кой обратил свой умиротворяющий взгляд на высокого широкоплечего человека с угрюмым, небритым лицом, который подошел к капитану.

— Я такой же лоцман, как и всякий, — был ответ Мак-Коя. — Мы все здесь лоцманы, капитан, и я знаю каждый дюйм этих вод.

Но капитан горел нетерпением.

— Мне нужно кого-нибудь из начальства. Я хочу переговорить с ними, и как можно скорей.

— Тогда я и в этом могу вам служить.

Опять это коварное внушение покоя, а под ногами яростное горнило корабля! Брови капитана нетерпеливо и нервно поднялись, и кулак сжался, словно для удара.

— Кто вы, черт возьми? — спросил он.

— Я здесь главное должностное лицо, — был

ответ, и голоса мягче и нежнее нельзя было вообразить.

Крупный, широкоплечий человек разразился грубым хохотом, звучавшим скорее истерично, чем весело. Оба — он и капитан — недоверчиво, удивленно рассматривали Мак-Коя. Было невероятно, что этот босоногий поселенец занимал такой высокий пост. Его грубая бумажная блуза без пуговиц открывала обросшую седыми волосами грудь и демонстрировала полнейшее отсутствие рубахи. Старая соломенная шляпа едва покрывала его седые растрепанные волосы. До половины груди спускалась нечесаная патриархальная борода. В любой лавке готового платья за два шиллинга его одели бы совершенно так же, как был одет сейчас, когда стоял перед ними.

— Родственник Мак-Коя с «Боунти»? — спросил капитан.

— Он мой прадед.

— А! — сказал капитан и затем, опомнившись, прибавил: — Мое имя — Давенпорт, а это мой первый помощник, мистер Кониг.

Они обменялись рукопожатием.

— А теперь к делу.

Капитан говорил быстро, необходимость крайней спешки заставляла его быть немного-

словным.

— Под нами огонь уже больше двух недель. Каждую минуту этот ад может вырваться наружу. Вот почему я держал на Питкэрн. Я хочу ее доставить на берег или просверлить ее и спасти корпус.

— В таком случае вы ошиблись, капитан, — сказал Мак-Кой. — Вам следовало бы направиться к Мангареве. Там прекрасный берег в лагуне, где вода точно в мельничной запруде.

— Но мы ведь здесь, разве не так? — спросил помощник. — И в этом все дело. Мы здесь, и мы должны что-нибудь предпринять.

Мак-Кой добродушно покачал головой.

— Здесь вы ничего не сделаете. Здесь негде пристать, даже негде бросить якорь.

— Ерунда! — сказал помощник. — Ерунда! — повторил он, когда капитан сделал ему знак выражаться помягче. — Не говорите мне таких нелепостей. Где же причаливают ваши лодки, шхуны, катера, — что у вас там имеется? Ну, отвечайте же мне.

Мак-Кой улыбнулся так же мягко, как говорил. Его улыбка была лаской, объятием, обвивавшим усталого матроса и пытающимся приобщить его к тишине и спокойствию безмятежной души

Мак-Коя.

— У нас нет шхун или катеров, — возразил он. — И мы втаскиваем наши каноэ на вершину скалы.

— Не продемонстрируете ли вы это? — фыркнул помощник. — Каким же образом вы плаваете дальше, к другим островам, а? Расскажите мне!

— Мы далеко не заходим. Как губернатор Питкэрна, я иногда путешествую. Когда я был помоложе, я совершал много поездок — иногда на торговых шхунах, а чаще на миссионерском бриге. Но теперь он ушел, и мы зависим от идущих мимо судов. Иногда их здесь проходит немало — до шести в год. В другое время за целый год, а не то и больше, не проходит ни одного. Ваше — первое за семь месяцев.

— И вы хотите мне рассказать… — начал помощник.

Но капитан Давенпорт вмешался:

— Довольно об этом. Мы теряем время. Что можно предпринять, мистер Мак-Кой?

Старик обратил свои карие, ласковые, как у женщины, глаза по направлению к берегу, и оба — капитан и помощник — следили за его взглядом, вернувшимся от одинокой скалы Питкэрна к матросам на баке, и тревожно ждали объявления

какого-нибудь определенного решения. Мак-Кой не торопился. Он обдумывал спокойно и медленно, как человек, который никогда не подвергался мучительному издевательству жизни.

— Ветер сейчас слабый, — наконец сказал он. — Здесь сильное течение к западу.

— Вот это нас и отнесло к подветренной стороне, — прервал его капитан, желая засвидетельствовать свою опытность в морском деле.

— Да, это вас и отнесло, — продолжал Мак-Кой. — Хорошо, но сейчас вам не удастся пробраться против течения. А если и пройдете, здесь негде пристать. Ваша шхуна погибнет.

Он смолк; капитан и помощник обменялись взглядами, полными отчаяния.

— Но я скажу вам, что вы можете сделать. Бриз посвежеет сегодня ночью, приблизительно около полуночи. Видите те перистые облака и их скопление на подветренной стороне вон там? Оттуда, с юго-востока, и придет сильный ветер. До Мангаревы триста миль. Отправляйтесь туда! Там прекрасное ложе для вашей шхуны.

Помощник покачал головой.

— Зайдем в каюту и посмотрим на карту, — предложил капитан.

В маленькой каюте Мак-Коя охватила удуш-

ливая, ядовитая атмосфера. Проникавшие сюда струи невидимого газа щипали и разъедали ему глаза. Пол был горячий, почти невыносимо горячий для его голых ног. Тело покрылось потом. Почти с испугом он оглядывался вокруг. Эта жара внутри поражала. Казалось невероятным, что каюта до сих пор не загорелась. Он чувствовал себя словно в раскаленной печи, где жара с каждой секундой могла еще больше усилиться и иссушить его, как стебелек травы.

Когда он поднял одну ногу и потер горячую ступню о свои штаны, помощник дико, озлобленно засмеялся.

— Преддверие ада, — сказал он. — Преисподняя прямо внизу, под вашими ногами.

— Большая жара! — вскрикнул Мак-Кой, вытирая лицо ярким носовым платком.

— Вот Мангарева, — произнес капитан, наклоняясь над столом и указывая черную точку на карте. — А здесь на пути лежит другой остров. Почему бы нам не направиться к нему?

Мак-Кой не смотрел на карту.

— Это остров Кресчент, — ответил он. — Он необитаем и поднимается всего лишь на два-три фута над водой. Есть лагуна, но входа в нее нет. Нет, Мангарева — ближайший пункт, пригодный

для вас.

— Итак, пусть Мангарева, — сказал капитан, прерывая ворчливое возражение помощника. — Ладно. Созовите команду на корму, мистер Кониг!

Матросы повиновались, устало волоча ноги по палубе, с трудом пытаясь ускорить шаги. Полное изнеможение проглядывало в каждом их движении. Вышел послушать и кок из своего камбуза, возле него приютился юнга.

Когда капитан Давенпорт разъяснил положение и объявил о своем намерении плыть к Мангареве, поднялся шум. Среди гула встревоженных голосов слышались неотчетливые выкрики возмущения, из некоторых групп ясно доносились проклятия, отдельные слова и целые фразы. На миг выделился резкий голос кокнея;[11] заглушая остальных, он взволнованно кричал:

— Радуйтесь! Пятнадцать дней мы на этом плавучем аду, и он хочет теперь снова заставить нас плыть на нем в море.

Капитан не мог усмирить их, но присутствие Мак-Коя подействовало, и они стали спокойнее. Ропот и проклятия замерли. Вся толпа, кроме

---

[11] Примечания: 11
Cockney — презрительная кличка уроженцев Лондона.

нескольких с тревогой обращенных на капитана лиц, молчаливо и печально повернулась к зеленеющим вершинам и крутым берегам Питкэрна.

Нежный, как дуновение зефира, раздался голос Мак-Коя:

— Капитан, мне казалось, я слышал, кто-то говорил, что они голодают.

— Ну да, и мы тоже! — был ответ. — За последние два дня я съел один сухарь и кусочек лососины. Мы всю провизию поделили. Видите ли, обнаружив огонь, мы немедленно заколотили все входы вниз, чтобы потушить его. А уже после выяснилось, как мало провизии оставалось в кладовой. Но было слишком поздно. Мы не посмели проникнуть в трюм. Они голодны? Я голоден не меньше их.

Он снова заговорил с матросами, и опять поднялся ропот и проклятия. Лица их были искажены животной яростью. Второй и третий помощники присоединились к капитану и стали позади него на юте. Их лица были сосредоточены и бесстрастны. Бунт команды, казалось, надоел им больше, чем кому-либо. Капитан Давенпорт вопросительно посмотрел на старшего помощника, а тот только пожал плечами в знак своего полного бессилия.

— Вы видите, — сказал капитан Мак-Кою, — немыслимо заставить матросов покинуть спасительную землю и уйти в море на горящем судне. Оно было для них плавучим гробом больше двух недель. Они выбились из сил и изголодались, достаточно уже вытерпели они на этой шхуне. Мы постараемся добраться до Питкэрна.

Но ветер был слабый, подводная часть «Пиренеи» окутана водорослями, и шхуна не могла двигаться против сильного западного течения. К концу второго часа она была отнесена на три мили назад. Матросы работали ревностно, как будто их усилия могли помочь шхуне в борьбе с враждебными стихиями. Однако упорно — и на левом и на правом галсе — ее уносило к западу. Капитан беспокойно ходил вперед и назад, иногда останавливаясь, чтобы понаблюдать за вьющимися струйками дыма и проследить их до тех участков палубы, откуда они вырывались. Плотнику было поручено разыскивать такие места, и, когда ему удавалось найти, он старательно, все плотней и плотней их конопатил.

— Ну, что же вы думаете? — спросил, наконец, капитан Мак-Коя, наблюдавшего работу плотника с детским интересом и любопытством.

— Я думаю, было бы лучше отправиться на Ман-

гареву. С ветром, который уже приближается, вы будете там завтра вечером.

— Но что, если огонь вырвется наружу? Это возможно каждую минуту.

— У вас ведь наготове шлюпки. Тот же ветер пригонит ваши шлюпки к Мангареве, если судно запылает.

Капитан Давенпорт на момент задумался, а затем Мак-Кой услыхал вопрос: этот вопрос он не хотел бы слышать, но знал, что он непременно последует.

— У меня нет карты Мангаревы. На общей карте это только мушиное пятнышко. Я не знаю, где искать вход в лагуну. Не можете ли вы присоединиться и вести шхуну вместо меня?

Спокойствие Мак-Коя было невозмутимо.

— Хорошо, капитан, — сказал он с такой непринужденностью и беспечностью, как будто принимал приглашение на обед. — Я отправлюсь с вами на Мангареву.

Снова команда была созвана на корму, и капитан с выступа юта обратился к ней с речью:

— Мы старались справиться со шхуной, но вы видите, насколько нас отнесло. Ее подхватило течение скоростью в два узла. Этот джентльмен, уважаемый Мак-Кой, — главное должностное ли-

цо и губернатор острова Питкэрна. Он отправится с нами на Мангареву. Итак, вы видите — положение не столь уж опасно. Он не предложил бы этого, если бы полагал, что может проститься с жизнью. Положим даже, что это риск, но, если он по своей воле пришел к нам и принял его, — тем более это обязывает нас. Что вы скажете о Мангареве?

На этот раз возмущения не последовало. Присутствие Мак-Коя, его уверенность и спокойствие производили должное впечатление. Команда тихо совещалась. Убеждать их почти не пришлось. Они были настроены единодушно и своим депутатом выставили кокни. Этот почтенный человек был подавлен сознанием героизма, проявленного им и его товарищами, и с горящими воодушевлением глазами он закричал:

— Клянусь Богом! Если он готов, — и мы готовы! — Слышалось одобрительное бормотание расходящейся команды.

— Один момент, капитан, — сказал Мак-Кой, когда тот отвернулся, отдавая приказания помощнику. — Я должен сначала съездить на берег.

Мистер Кониг, как пораженный громом, уставился на сумасшедшего, по его мнению, Мак-Коя.

— Ехать на берег! — воскликнул капитан. — Но

зачем? Плыть туда на вашем каноэ? Ведь это отнимет у вас по крайней мере три часа.

Мак-Кой, измерив глазами расстояние до земли, подтвердил:

— Да, сейчас шесть часов. Мне нужно быть на берегу до девяти. Раньше десяти народ не соберется. Ночью ветер начнет свежеть, и вы можете двинуться к берегу и завтра на рассвете подобрать меня.

— Во имя здравого смысла и рассудка, — вспылил капитан, — для чего вам собирать народ? Разве вы не знаете, что моя шхуна горит?

Мак-Кой оставался ласковым, подобно морю в летний день, тихую гладь которого ничто не могло смутить.

— Конечно, капитан, — мирно произнес он воркующим голосом, — я знаю, что ваша шхуна горит. Поэтому я и еду с вами на Мангареву. Но я должен получить разрешение ехать с вами. Это наш обычай. Губернатор оставляет остров только в самых крайних случаях. Интересы народа поставлены на карту, и поэтому они — народ — имеют право запретить или позволить. Но они разрешат, я это знаю.

— Вы уверены?

— Вполне уверен.

— Ну, а если вы заранее знаете, что они позволят, зачем же хлопотать и добиваться этого? Подумайте о задержке — ведь целая ночь.

— Это наш обычай, — последовал невозмутимый ответ. — Я — губернатор и должен сделать распоряжения относительно управления островом в мое отсутствие.

— Но до Мангаревы всего лишь двадцать четыре часа пути, — заметил капитан. — Предположите, что на обратный путь против ветра вам потребуется в шесть раз больше времени, и все же вы вернетесь к концу недели.

Мак-Кой улыбнулся своей широкой, доброй улыбкой.

— На Питкэрн идет очень мало кораблей — обычно из Сан-Франциско или со стороны мыса Горн. Мне повезет, если я вернусь через шесть месяцев. А очень возможно, что буду отсутствовать целый год, и, возможно, мне придется ехать в Сан-Франциско искать судно, которое доставит меня обратно. Мой отец однажды покинул Питкэрн с намерением вернуться через три месяца, а прошло два года, прежде чем мы его увидели. И, наконец, ведь вы страдаете от недостатка провизии. Если вам придется пересесть в шлюпки и погода испортится — много дней пройдет, пока

вы доберетесь до земли. Утром я могу привезти вам на двух каноэ провизии. Лучше всего будут сушеные бананы. Когда бриз начнет свежеть, вы правьте к берегу. Чем ближе вы будете, тем больше провизии я смогу доставить вам. До свиданья!

Он протянул руку, и капитан Давенпорт сжал ее, не спеша выпустить. Казалось, он цеплялся за него, как утопающий матрос за спасательный буй.

— Могу ли я быть уверен, что вы вернетесь утром? — спросил он.

— Да, вот именно! — вскричал помощник. — Разве мы можем знать, что он не удерет, спасая свою шкуру?

Мак-Кой не отвечал. Он ласково и снисходительно смотрел на них, и казалось, непоколебимая уверенность его духа передается им.

Капитан разжал руку, и Мак-Кой, бросив последний, как бы благословляющий взгляд на команду, перелез через фальшборт и спустился в каноэ.

Ветер посвежел, и «Пиренеям», несмотря на свою грузную подводную часть, удалось отвоевать у западного течения шесть миль. Питкэрн находился с подветренной стороны на рассто-

янии трех миль. Капитан Давенпорт различил два идущих к шхуне каноэ. Снова Мак-Кой вскарабкался на борт и вступил на горячую палубу. За ним втащили массу связок сушеных бананов; каждая связка была обернута сухими листьями.

— А теперь, капитан, — сказал он, — скорее в путь — спасать драгоценную жизнь. Вы видите, я не мореплаватель, — объяснял он спустя несколько минут, стоя на корме возле капитана, взгляд которого блуждал вверх и по сторонам, как бы оценивая проворство «Пиреней». — Вы должны доставить ее к Мангареве. Когда мы станем приближаться к земле, я проведу ее туда. Какова сейчас ее скорость?

— Одиннадцать узлов, — ответил капитан Давенпорт, бросив взгляд на бурлящую позади воду.

— Одиннадцать! Дайте рассчитать: если она будет держаться этой скорости, мы увидим Мангареву завтра утром, между восемью и девятью часами. Проведу ее к берегу около десяти или — самое позднее — к одиннадцати. И тогда окончатся все ваши мучения.

Капитану почти казалось, что благословенный момент уже наступил, — столько убедительности было в словах Мак-Коя. Больше двух недель

находился он в страшном напряжении, управляя этим горящим судном, и начинал чувствовать, что этого более чем достаточно.

Резкий порыв ветра ударил его в затылок и засвистел в ушах. Он, мысленно измерив его силу, посмотрел за борт.

— Ветер все крепнет, — объявил он. — Наша старуха теперь уже ближе к двенадцати узлам, чем к одиннадцати. Если так будет продолжаться, мы высадимся на берег сегодня ночью.

Весь день шхуна с грузом огня неслась по пенистому морю. С наступлением ночи бом-брамсели и брам-стеньги были спущены, и шхуна мчалась в темноте, преследуемая громким, все усиливающимся ревом волн. Попутный ветер оказал свое действие: на корме и на баке засветилась радостная надежда. Во вторую вахту какая-то беспечная душа затянула песню, а с восьми склянок пела вся команда.

Капитан Давенпорт приказал принести ему одеяла и расстелить на палубе над кают-компанией.

— Я забыл, что значит сон, — объявил он Мак-Кою. — Я измучился. Но вы будите меня обязательно, когда сочтете нужным.

В три часа утра его разбудило осторожное при-

косновение руки Мак-Коя. Он, придерживаясь за люк, быстро вскочил, еще оцепенелый от тяжелого сна. Ветер гремел свою боевую песнь в такелаже, и разъяренное море швыряло «Пиренеи». Все, что находилось на середине шхуны, перекатывалось от одного борта к другому, и палуба непрерывно заливалась водой.

Мак-Кой что-то кричал, но что — он не мог расслышать. Он протянул руку, схватил того за плечо и привлек так близко, что ухо почти касалось губ Мак-Коя.

— Теперь три часа, — донесся голос Мак-Коя, все еще напоминавший воркование, но странно заглушенный и далекий. — Мы прошли двести пятьдесят миль. Остров Кресчент лишь в тридцати милях где-то во мраке впереди. На нем нет огней. Если мы будем так нестись, то ударимся об него — и погубим и себя и шхуну.

— Вы думаете, следует лечь в дрейф?

— Да, — лечь в дрейф до рассвета. Это задержит нас всего только на четыре часа.

Таким образом, шхуна «Пиренеи», со своим грузом, под щелкающими зубами шторма, легла в дрейф, сражаясь и рассекая налетающие волны. Это была скорлупа, наполненная пламенем; на ее поверхности скопилась маленькая группа людей

и выбивалась из сил, помогая ей бороться.

— Это совсем необычно — такой шторм, — говорил Мак-Кой капитану, стоя под ветром возле каюты. — В это время года не должно быть штормов. Но с погодой творится что-то неладное. Пассатов сейчас не должно быть, а между тем они дуют. — Он указал рукой во мрак, точно его глаза пронизывали тьму на сотни миль. — Это идет с запада. Там где-то происходит нечто страшное: ураган или что-то вроде этого. Наше счастье, что мы так далеко к востоку. Но это еще небольшой порыв и не последний. Я могу вам сказать с уверенностью.

К концу ночи сила ветра снизилась до нормальной. Но при свете дня появилась новая опасность. Воздух мутнел. На море расстилался туман или, вернее, жемчужная мгла, сгущаясь, подобно туману, заволакивала зрение, пеленой укрывала море и переливалась, пронизанная солнцем, его лучезарным сиянием.

Палуба «Пиреней» дымилась значительно сильнее, чем в предыдущий день. Бодрое настроение капитана, его помощников и команды исчезло. С подветренной стороны камбуза слышалось всхлипывание юнги. Это было его первое путешествие, и смертельный страх сжимал его

сердце. Капитан бродил как потерянная душа, нервно покусывая усы, и мрачно хмурился, тщетно стараясь найти какой-нибудь выход.

— Что вы думаете? — спросил он, остановившись возле Мак-Коя, который приготовил себе завтрак из жареных бананов и кружки воды.

Мак-Кой покончил с последним бананом, опорожнил кружку и неторопливо оглянулся вокруг. В его глазах светилась улыбка сочувствия, когда он сказал:

— Что ж, капитан, шансы у нас равные — добиться своего или сгореть. Ваша палуба не вечна, она не выдержит. В это утро она еще горячей. Нет ли у вас пары туфель для меня? Моим голым ногам становится невесело.

Шхуна зачерпнула две больших волны и завертелась на месте. Первый помощник выразил желание всю эту воду спустить в трюм, если бы только это было возможно сделать, не поднимая люков. Мак-Кой наклонился над нактоузом и установил направление курса «Пиреней».

— Я бы держал ее больше к ветру, капитан, — сказал он. — Ее отнесло течением, когда она лежала в дрейфе.

— Я уже повернул на румб, — последовал ответ. — Разве этого не достаточно?

— Я бы взял на два румба, капитан. Этот ветер пришпорил западное течение, и оно гораздо быстрее, чем вы представляете.

Капитан Давенпорт примирился на полутора румбах и затем, в сопровождении Мак-Коя и первого помощника, отправился наверх высматривать землю. Паруса были подняты, и шхуна шла со скоростью десяти узлов. Море позади нее заметно утихало, изнемогая. Но жемчужный туман не рассеивался, и около десяти часов капитан Давенпорт стал беспокоиться. Вся команда была на своих местах, готовая, при первом предупреждении о земле впереди, бешено налечь на работу и изменить курс «Пиренеи». Эта земля впереди, ее риф, омываемый бурунами, может неожиданно вынырнуть в таком тумане, и тогда гибель неизбежна.

Прошел еще час. Три вахтенных наверху напряженно всматривались в жемчужную туманность.

— Что если мы пропустим Мангареву? — внезапно спросил капитан Давенпорт. Мак-Кой, не отводя взгляда, спокойно ответил:

— Что ж, поплывем дальше. Нам больше ничего не остается делать. Весь Паумоту перед нами. Мы можем плыть тысячу миль среди рифов и атол-

лов. Где-нибудь мы должны будем высадиться.

— Пусть так, будем плыть. — Капитан Давенпорт объявил о своем намерении спуститься на палубу. — Мы прошли мимо Мангаревы. Один Бог знает, где лежит ближайшая земля. Я жалею, что не повернул ее еще на ту половину румба, — признался он через минуту. — Это проклятое течение дьявольски забавляется над мореплавателем.

— Старые моряки называли Паумоту — Опасный Архипелаг, — сказал Мак-Кой, вернувшись на корму, — и отчасти из-за этого самого течения.

— Я однажды беседовал с одним бравым моряком в Сиднее, — сказал мистер Кониг. — Он занимался торговлей в Паумоту и говорил мне, что за страховку платят восемнадцать процентов. Правда ли это?

Мак-Кой улыбнулся и подтвердил.

— Но они не страхуют, — объяснил он. — Судовладельцы ежегодно сбрасывают двадцать процентов со стоимости своих шхун.

— Боже мой, — простонал капитан Давенпорт. — И значит, через пять лет шхуна ничего не стоит! — Он грустно покачал головой и пробормотал: — Скверные воды, скверные воды!

Они снова вошли в каюту — для справки по

большой карте, но ядовитые пары заставили их, задыхающихся, выскочить на палубу.

— Здесь вот остров Моренгаут, — указал капитан на карту, разложив ее на палубе над каютой. — Он не дальше ста миль в подветренную сторону.

— Сто десять. — Мак-Кой с сомнением покачал головой. — Сделать это возможно, но очень трудно. Я могу подвести ее к берегу, но рискую посадить на риф. Скверное место, очень скверное.

— Мы рискнем, — решил капитан Давенпорт, принимаясь намечать курс.

После полудня часть парусов была спущена из боязни пройти мимо земли ночью. Во вторую вахту команда снова обрела бодрость. Земля, казалось, была уже совсем близко, и утром их страдания должны были кончиться.

И наступило утро — ясное, с пламенеющим тропическим солнцем. Юго-восточный пассат превратился в восточный и погнал «Пиренеи» по волнам со скоростью восьми узлов. Капитан произвел вычисления по лагу, особенное внимание уделяя скорости течения, и объявил, что остров Моренгаут находится на расстоянии десяти миль. Шхуна проплыла десять миль и затем еще десять, а вахтенные с верхушек трех мачт не

видели ничего, кроме свободного простора моря, залитого солнцем.

— Но земля там, я говорю вам, — кричал им с юта капитан Давенпорт.

Мак-Кой снисходительно улыбнулся, но капитан грозно сверкнул на него обезумевшими глазами, схватил свой секстант и погрузился в хронометрические вычисления.

— Я знал, что я прав, — почти кричал он, закончив вычисления.

— Двадцать один градус пятьдесят пять минут южной, один градус тридцать шесть минут две секунды западной. Вы понимаете? Еще восемь миль под ветром. Какие итоги у вас, мистер Кониг?

Старший помощник взглянул на свои цифры и тихо объявил:

— Двадцать один, пятьдесят пять — правильно; но долгота у меня — один, тридцать шесть, сорок восемь. Это значительно приближает нас.

Но недоверие капитана Давенпорта к его цифрам выразилось в таком презрительном молчании, что заставило мистера Конига заскрежетать зубами и неистово выругаться про себя.

— Назад! — приказал капитан рулевому. — Три румба — и так держать! Так!

Затем он вернулся к своим цифрам и проверил

вычисления. С лица его струился пот. Он кусал свои усы, губы и карандаш, уставившись на цифры, точно человек, объятый ужасом перед лицом неведомого призрака. И внезапно с ожесточением он порывисто скомкал исчерченный лист в кулаке и, швырнув его, придавил ногой. Мистер Кониг злорадно засмеялся и отвернулся, а капитан Давенпорт, прислонившись к каюте, в продолжение получаса не произнес ни слова, сосредоточенно и безнадежно следя за направлением ветра.

— Мистер Мак-Кой, — резко прервал он, наконец, молчание. — На карте обозначена группа островов, но неизвестно, сколько их, — около сорока миль к норду или норд-норд-весту — группа Актеон. Что они собой представляют?

— Там их четыре, все низменные, — отвечал Мак-Кой. — Первый к юго-востоку, Матуэри — необитаем, входа в лагуну нет. Затем идет Тенарунга. Там когда-то кое-кто жил, теперь, вероятно, все переселились. Во всяком случае, для шхуны там нет входа, только для лодок, — всего шесть футов глубины. Вехауга и Теуа-Раро — два других. Пристать нельзя, жителей нет, острова очень низменные. Шхуна «Пиренеи» у этой группы пристать не может. Там она непременно

разобьется.

— Послушайте! — капитан Давенпорт был в бешенстве. — И жителей нет, и пристать нельзя. На какой же тогда черт существуют острова?..

— Ну, хорошо, — зарычал он, точно разъяренный терьер, — карта указывает на целый рой островов к норд-весту. Что же там? Можно ли пристать хоть к одному?

Мак-Кой спокойно соображал. Он не обращал внимания на карту. Все эти острова, рифы, отмели, лагуны, проливы и расстояния были зафиксированы в его памяти. Он знал их, как горожанин — дома, улицы и переулки родного города.

— Папакена и Ванавана находятся на вест или вест-норд-вест, в сотне миль, может быть, немного больше, — сказал он. — Один необитаем, и я слышал, что жители с другого переселились на остров Кадмус. И все равно — ни к одному пристать нельзя. Есть еще Ахуноуи в ста милях к норд-весту. И тоже нельзя причалить, и людей нет.

— Прекрасно, а еще два острова за сорок миль от них? — настойчиво спрашивал капитан, поднимая голову от карты.

Мак-Кой покачал головой.

— Парос и Манухунги — ни прохода к ним, ни жителей. Ненго-Ненго, в свою очередь, в сорока милях за ними — тоже нет жителей, и пристать нельзя. Но есть остров Хао. Это как раз то, что нам нужно. Лагуна протяжением тридцать миль и пять миль в глубь острова. Там народу немало. Вы свободно найдете лагуну. И любое судно может пройти туда.

Он кончил и участливо смотрел на капитана Давенпорта, который, наклонив голову над картой, с циркулем в руках, глубоко вздыхал.

— Может быть, есть где-нибудь еще лагуна, куда можно войти, ближе, чем на острове Хао?

— Нет, капитан, это ближайшая.

— Итак, значит, триста сорок миль. — Капитан Давенпорт говорил спокойно, решительно. — На мне ответственность за жизнь этих людей, и я не хочу подвергать их опасности. Я доставлю шхуну, в каком бы она ни была состоянии, на Актеон. А она ведь — прекрасное судно, — с сожалением прибавил он, меняя курс корабля и уделив еще больше, чем когда-либо, внимание западному течению.

Час спустя небо затянулось тучами. Юго-восточный пассат еще держался, но океан обратился в шахматную доску, на которой состязались

шквалы.

— Мы будем там в час, — уверенно заявил капитан Давенпорт. — В крайнем случае — в два часа. Мак-Кой, ведите ее к первому же берегу, где есть люди.

Солнце больше не появлялось, и в час не было ни малейшего признака земли. Капитан Давенпорт смотрел за корму на кильватер изменившей направление шхуны.

— Боже милостивый! — воскликнул он. — Восточное течение! Посмотрите же!

Мистер Кониг не поверил. Мак-Кой был в нерешительности, хотя и сказал, что в Паумоту можно ждать и восточного течения. Через несколько минут шквал подхватил «Пиренеи» и повернул от ветра. С повисшими парусами тяжело закачалась она под боковыми ударами волн.

— Где лот? Ну-ка, живей, вы там! — капитан Давенпорт держал бечевку лота и заметил отклонение к северо-востоку. — Да взгляните же! Держите ее сами!

Мак-Кой и помощник попробовали и почувствовали натяжение и неистовое дрожание бечевки, увлекаемой стремительным течением.

— Скорость — четыре узла, — сказал мистер Кониг.

— Восточное течение вместо западного, — заметил капитан Давенпорт, бросая укоризненный, негодующий взгляд на Мак-Коя, как бы обвиняя его в этом.

— Это одно из оснований, капитан, почему в этих водах за страховку берут восемнадцать процентов, — живо ответил Мак-Кой.

— Вы никогда не можете быть уверены. Течения здесь постоянно меняются. Был тут человек, который писал книги, — забыл его имя, — на яхте «Каско». Он проплыл мимо Такароа, в тридцати милях от нее, и попал на Тикен, все благодаря перемене течений. Теперь вас отнесло в сторону, и вам лучше бы держать на пять румбов.

— Но насколько же это течение отнесло нас? — раздраженно спросил капитан. — Разве я могу теперь знать, насколько надо повернуть?

— Я не знаю, капитан, — очень вежливо сказал Мак-Кой.

Ветер изменил направление, и шхуна с дымящейся палубой, мерцавшей в ясном сером свете, поплыла прямо в подветренную сторону. Но затем ее отнесло назад, и, поворачивая то на правый, то на левый галс, пересекая зигзагами свой след, она расчесывала море перед островами Актеон, которых вахтенные, наблюдая с мачты,

не заметили.

Капитан Давенпорт потерял всякое самообладание. Его ярость приняла форму мрачного молчания, и все послеполуденное время он провел, шагая по корме или стоя, прислонившись к мачте.

С наступлением ночи он, даже не посоветовавшись с Мак-Коем, повернул шхуну, направив ее к северо-западу. М-р Кониг, украдкой заглянув в карту и в нактоуз, и Мак-Кой, открыто и невинно исследовав компас, уже знали, что они плывут к острову Хао. В полночь шквалы прекратились и появились звезды. День обещал быть ясным, и капитан Давенпорт ободрился.

— Утром я произведу наблюдения, — говорил он Мак-Кою, — хотя на какой мы широте — загадка. Но я применю метод Семнера и определю это. Знакомы ли вы с его методом?

После этого он объяснял Мак-Кою метод Семнера во всех деталях. День оказался действительно ясным; пассат дул неизменно с востока, и шхуна так же неизменно забирала по девять узлов. Капитан и помощник определяли местоположение по методу Семнера; их вычисления совпали, в полдень они снова совпали, и они проверили утренние наблюдения полуденными.

— Еще двадцать четыре часа, и мы будем там, — уверял капитан Мак-Кой. — Это чудо, что палуба нашей старухи держится. Но это не может так продолжаться. Она не выдержит. Посмотрите на нее, она дымится с каждым днем все сильней. А ведь какая это была крепкая палуба; она не так давно проконопачена заново во Фриско. Я был ошеломлен, когда первый раз прорвался огонь, а мы задраили…[12] Посмотрите, что это!

Он резко оборвал и, с отвисшей челюстью, уставился на спираль дыма, которая, клубясь, вилась с подветренной стороны бизань-мачты, в двадцати футах от палубы.

— Но как же он пробрался туда? — спросил он возмущенно.

Внизу дыма не было. Прокрадываясь с палубы, защищенный от ветра мачтой, дым по какой-то прихоти уплотнялся и становился видимым только на этой высоте. Извиваясь, он пополз от мачты и на мгновение повис над головой капитана, точно какое-то угрожающее предзнаменование. В следующий момент ветер развеял его, и челюсть капитана Давенпорта водворилась на место.

— Как я уже говорил, когда мы в первый раз

---

[12] Примечания: 12
Задраить — закрыть все отверстия.

задраили, я был поражен. Такая крепкая палуба и все же пропускала дым, как решето. И с тех пор мы конопатили и конопатили ее. Давление внизу должно быть ужасным, коль выталкивается столько дыма.

После полудня небо опять стало пасмурным, задули ветры и заморосил дождь. Ветер менял направление; он несся то с юго-востока, то с северо-востока, а в полночь «Пиренеи» внезапно была подхвачена резким порывом с юго-запада, откуда ветер продолжал уже непрерывно дуть.

— Мы не будем на Хао раньше десяти или одиннадцати часов, — жаловался капитан Давенпорт в семь часов утра, когда мимолетная надежда, забрезжившая с появившимся солнцем, была сметена хмурыми облачными массами, надвинувшимися с востока. И в следующую минуту он жалобно спрашивал:

— Что с этими течениями?

Наблюдающие с верхушек мачт не могли ничего сообщить о земле, и день прошел в смене дождливых затиший и сильных шквалов. С наступлением ночи с запада начали набегать тяжелые бурные волны. Барометр упал до 29,50. Ветра не было, а зловещее волнение все усиливалось. Вскоре шхуна бешено качалась на

чудовищных валах, нескончаемой процессией выступавших из мрака на западе. Паруса убрали с такой быстротой, какая только была возможна при дружных усилиях обеих вахт. Когда работа была закончена, из толпы утомленной команды стали доноситься ропот и жалобы; голоса в полной тьме звучали особенно угрожающе. Вызванная на корму вахта со штирборта, чтобы все принайтовить и укрепить, открыто выражая свое озлобление, с большой неохотой взялась за работу. В каждом медленном, вялом движении матросов была угроза. Воздух стал влажным и вязким, точно слизь; ветра не было; и матросы, прерывисто дыша, казалось, мучительно томились и задыхались. На лицах и на руках выступил пот. А капитан Давенпорт, с лицом, еще более осунувшимся и измученным, с глазами, помутневшими и остановившимися, был подавлен предчувствием неминуемой беды.

— Это все пройдет к западу, — сказал Мак-Кой, стараясь ободрить его. — В худшем случае мы будем задеты лишь краем циклона.

Но капитан Давенпорт не желал слушать утешений. При свете лампы он перечитывал главу в своем «Сокращенном курсе», разъясняющую правила поведения для командиров судна во

время циклонов. Царившее молчание нарушалось заглушенным плачем юнги, доносившимся откуда-то с середины судна.

— Замолчать! — проревел неожиданно капитан с такой силой, что все на борту вздрогнули, а перепуганный виновник от страха разразился диким воплем.

— Мистер Кониг, — сказал капитан дрожавшим от ярости и раздражения голосом, — не будете ли вы добры пошевелиться и заткнуть глотку палубной шваброй этому мальчишке?

Но туда пошел Мак-Кой, и через несколько минут успокоенный мальчик заснул.

Незадолго до рассвета воздух заколебался от первых дуновений, появившихся с юго-востока; быстро крепли они и постепенно превращались в резкий бриз. Вся команда была на палубе в ожидании, что последует за этим.

— Теперь все благополучно, капитан, — сказал Мак-Кой, став рядом с ним. — Ураган идет к западу, а мы к югу от него. Этот бриз только отголосок. Он не будет усиливаться. Вы можете поднять паруса.

— Но какой толк в этом? Куда я буду держать? Это уже второй день без наблюдений; мы должны были увидеть остров Хао вчера утром. Какое

взять направление: север, юг, восток? Ответьте мне, и я в один миг поставлю паруса.

— Я не моряк, капитан, — сказал Мак-Кой своим спокойным голосом.

— А я продолжал себя считать таковым, — был ответ, — пока не попал в Паумоту.

В полдень с наблюдательного поста раздался крик: «Буруны впереди!». Шхуна повернула в сторону, и все паруса один за другим были спущены и убраны. Она скользила по волнам, борясь с течением, которое угрожало увлечь ее на буруны. Все работали как сумасшедшие, кок и юнга, сам капитан Давенпорт и Мак-Кой — все помогали. Еле-еле спаслись. Это была низкая отмель — мрачное, гибельное место, над которым непрерывно разбивались волны, — место, где ни один человек не мог жить и даже ни одна морская птица не осмеливалась там спуститься. «Пиренеи» приблизилась к ней на сто ярдов, прежде чем ветер отнес ее в сторону, и в этот момент измученная команда, закончив работу, разразилась потоком проклятий на голову Мак-Коя — Мак-Коя, который явился к ним, предложил плыть на Мангареву, обманом увлек их от безопасного острова Питкэрна на верную гибель в этом коварном, ужасном, необъятном море. Спокойная душа

Мак-Коя оставалась невозмутимой. Он улыбался им с бесхитростной, ласковой благосклонностью, и благородство его и доброта, казалось, проникли в их омраченные, темные души, пристыдив их и успокоив. Смущенно замерли проклятия на их губах.

— Скверные воды! Скверные воды! — бормотал капитан Давенпорт, пока шхуна прорывалась, но внезапно он остановился, увидев отмель, которая должна была находиться прямо за кормой и оказалась уже с наветренной стороны «Пиреней», быстро приближаясь. Капитан сел и закрыл лицо руками. И старший помощник, и Мак-Кой, и вся команда увидели то, что видел он. Восточное течение, омывающее с юга эту отмель, влекло их на нее, а с севера от отмели такое же быстрое западное течение подхватило корабль и относило его дальше.

— Я слышал об этом Паумоту прежде, — простонал капитан, отнимая руки от побледневшего лица. — Капитан Мойендель рассказывал мне о нем после того, как потерял здесь свое судно. Я тогда втихомолку смеялся над ним. Прости мне, Боже, я смеялся над ним! Что это за отмель? — оборвал он, спросив Мак-Коя.

— Я не знаю, капитан.

— Почему же вы не знаете?

— Потому что я никогда ее прежде не видел и никогда о ней не слыхал. Я полагаю, ее и на карте нет. Эти воды никогда не были вполне исследованы.

— Значит, вы не знаете, где мы находимся?

— Не более, чем вы, — мягко ответил Мак-Кой.

В четыре часа пополудни вдали показались кокосовые пальмы, словно вырастая из воды. Немного позже над морем поднялась низменная поверхность какого-то атолла.

— Теперь я знаю, капитан, где мы. — Мак-Кой опустил бинокль. — Это остров Решения. Мы в сорока милях от острова Хао, и ветер встречный.

— Тогда ведите нас к этому берегу. Где здесь можно пристать?

— Пристать могут только каноэ. Но теперь, раз мы знаем, где находимся, — мы можем направиться к острову Барклай-де-Толли. Он всего лишь в ста двенадцати милях отсюда на норд-норд-вест. С этим ветром мы будем там завтра утром около девяти часов.

Капитан Давенпорт обследовал карту и стал размышлять.

— Если мы разобьем здесь шхуну, нам все равно придется в лодках плыть на Барклай-де-Толли, —

прибавил Мак-Кой.

Капитан отдал распоряжения, и «Пиренеи» опять понеслась, бороздя негостеприимное море.

На следующий день в полдень на дымящейся палубе «Пиренеи» поднялся бунт. Течение усилилось, ветер ослабел, и «Пиренеи» отнесло к западу. Вахтенный заметил остров Барклай-де-Толли к востоку, едва различимый с мачты, и в продолжение целых часов шхуна тщетно пыталась приблизиться к нему. Все время, подобно миражу, высились на горизонте кокосовые пальмы, видимые только с верхушки мачты. С палубы их не видно было — скрывала выпуклость земного шара.

Снова капитан Давенпорт совещался с Мак-Коем и картой. Макемо лежит в семидесяти пяти милях к юго-западу. Его лагуна — тридцать миль длины, и вход туда великолепный. Когда капитан отдал приказания, команда отказалась повиноваться. Они объявили, что уже достаточно с них плавания с этим огненным адом под ногами. Там была земля. Что ж с того, если шхуна не может к ней пристать? Они могут это сделать в лодках. Ну и пусть она сгорит! Их-то жизни ведь что-нибудь для них значат! Они верно служили шхуне, теперь они будут служить себе. Оттолкнув второго

и третьего помощника, они бросились к лодкам и стали готовить их к спуску. Капитан Давенпорт и старший помощник с револьверами в руках приближались к юту, когда Мак-Кой, взобравшись на крышу каюты, начал говорить.

Он обращался к матросам, и при первом звуке его мягкого, кроткого, как воркование, голоса они остановились. Его неизреченная ясность и мир простирались к ним. Ласковый тон и простота мысли изливались на них магическим потоком и против их воли укрощали. Много давно забытых чувств пробудилось в них; некоторые вспомнили колыбельные песни детства, покой материнских объятий перед сном. Не было больше ни раздоров, ни опасностей, ни огорчений во всем мире. Все было, как должно было быть. И само собой разумелось, что они должны повернуться спиной к земле и снова пуститься в море, с адским пламенем под своими ногами.

Мак-Кой говорил просто, но неважно было, что он говорил. Вся его личность — его «я» — говорила гораздо красноречивее всех слов, какие он мог сказать. Это было загадочное влияние его души, проникающее до сокровенных глубин человеческого существа, — излучение духа, пленительного, ласково-смиренного и беспредельно

могучего. Это был яркий свет, озаривший темные склепы их душ, — власть чистоты и кротости, значительно более сильная, чем та, какая таилась в блестящих смертоносных револьверах капитана и его помощника.

Матросы нерешительно переминались с ноги на ногу, не двигаясь с места. Но те, что отвязали лодки, снова их укрепили. Затем, по одному, по двое, начали смущенно расходиться.

Лицо Мак-Коя светилось детской радостью, когда он спускался с крыши каюты. Смута прекратилась. И в сущности никакой смуты он не предотвращал. Мятеж вовсе и не начинался, ибо в том благословенном мире, где он — Мак-Кой — обитал, ему не было места.

— Вы загипнотизировали их, — сказал ему мистер Кониг насмешливо и тихо.

— Это хорошие ребята, — последовал ответ. — У них добрые сердца. Они пережили тяжелое время, работали без устали и будут работать изо всех сил до конца.

У мистера Конига не было времени отвечать. Голос его гремел, когда он отдавал приказания; матросы бросились исполнять их, и шхуна медленно поворачивалась от ветра, пока ее нос не устремился в сторону Макемо.

Ветер был совсем слабый и после захода солнца почти прекратился. Стояла невыносимая жара, люди на носу и на корме тщетно пытались заснуть. Палуба была слишком горячей, чтобы лежать на ней, и ядовитые пары, проникая сквозь пазы, ползли точно злые духи и, подкрадываясь в ноздри и горло неосторожных, вызывали припадки кашля и чиханья. Звезды лениво мерцали на темном небосклоне, и полная луна, поднявшись с востока, осветила мириады клубков, волокон и паутинных пленок дыма, которые сплетались, извивались и кружились вдоль палубы, над бортами и вверху — вокруг мачт и вантов.

— Расскажите мне, — сказал капитан Давенпорт, протирая свои болевшие глаза, — что случилось с экипажем «Боунти», после того как он достиг Питкэрна. В отчете я читал, что они сожгли «Боунти» и что их разыскали только через несколько лет. Что же происходило за это время? Мне всегда хотелось это узнать. Это были люди с петлей на шее. Там находились также несколько туземцев. Были и женщины, что с самого начала предсказывало несчастье.

— Да, несчастье произошло, — ответил Мак-Кой. — Это были скверные люди. Они ссорились из-за женщин. Один из мятежников, Вилльямс,

потерял жену. Все женщины были таитянки. Его жена, охотясь за морскими птицами, упала со скалы. Тогда он отнял жену у одного из туземцев. Все туземцы были возмущены этим и убили почти всех мятежников. Оставшиеся перебили туземцев. Женщины помогали. Туземцы убивали друг друга. Все убивали. Это были ужасные люди. Тимити был убит двумя туземцами в то время, когда они расчесывали его волосы в знак дружбы. Белые их подослали, а после этого сами же их умертвили. Туллалу был убит своей женой. Она хотела белого мужа. Они очень злые. Бог отвратил от них свое лицо. К концу второго года все туземцы были перебиты; погибли и все белые, кроме четырех: Юнга, Джона Адамса, Мак-Коя — моего прадеда и Квинталя. Последний был тоже очень дурным человеком. Однажды его жена поймала для него слишком мало рыбы, и он откусил ей ухо.

— Это был отвратительный сброд, — воскликнул мистер Кониг.

— Да, они были очень скверные, — подтвердил Мак-Кой и продолжал дальше мягко и невозмутимо рассказывать о крови и похотливости своих преступных предков. — Мой прадед избежал убийства, чтобы умереть от собственной руки.

Он сделал перегонный куб и приготовил алкоголь из кореньев одного растения. Квинталь ему помогал, и они вместе все время напивались. Под конец Мак-Кой заболел белой горячкой, привязал себе на шею камень и прыгнул в море.

— Жена Квинталя, которой муж откусил ухо, тоже погибла, упав со скалы. Тогда Квинталь явился к Юнгу и потребовал его жену, а потом пришел к Адамсу. Адамс и Юнг боялись Квинталя. Они знали, что он убьет их. И они убили его топором. Затем умер Юнг. И кончились все раздоры.

— Ну, конечно же, — усмехнулся капитан Давенпорт. — Ведь больше некого было убивать.

— Вы видите, Бог скрыл от них свой лик, — сказал Мак-Кой.

Утром ветра не было — лишь совсем слабое дуновение с востока, и капитан Давенпорт натянул все паруса и повернул на левый галс. Он боялся этого ужасного западного течения, которое уже столько раз издевалось над ним, лишая его убежища. Весь день и всю ночь было спокойно. Матросы, получив уменьшенную порцию бананов, недовольно ворчали. Они ослабели и жаловались на боли в желудке, вызванные банановой диетой. Весь день течение относило «Пиренеи» к западу; не было ветра, чтобы на-

править шхуну к югу. В первую ночную вахту на юге показались кокосовые пальмы; их пышные верхушки поднимались над водой: несомненно, здесь был низменный атолл.

— Это остров Таэнга, — объявил Мак-Кой. — Сегодня ночью нам необходим бриз, иначе мы пропустим Макемо.

— Что случилось с юго-восточным пассатом? — спросил капитан. — Почему его нет? В чем дело?

— Это из-за испарений с больших лагун, их ведь так много, — объяснял Мак-Кой. — Испарения расстраивают всю систему пассатов. Они могут даже повернуть ветер в обратную сторону и пригнать штормы с юго-запада. Это опасный архипелаг, капитан.

Капитан Давенпорт смотрел на старика и готов был выругаться, но сдержался.

Присутствие Мак-Коя словно душило проклятия, шевелившиеся в его мозгу и клокочущие в горле. Влияние Мак-Коя очень возросло за все эти дни, а их насчитывалось немало, пока они были вместе. Капитан Давенпорт в море считал себя неограниченным властелином, он никого не боялся и никогда не пытался обуздывать свой язык, а сейчас почувствовал, что не в состоянии выругаться в присутствии этого удивительного

старика с женственными карими глазами и кротким голосом.

Осознав это, он был страшно поражен. Ведь старик-то был всего-навсего потомок Мак-Коя — Мак-Коя, мятежника с «Боунти», бежавшего от петли, которая ждала его в Англии, — Мак-Коя, бывшего воплощением зла в те далекие времена крови и разврата и погибшего такой ужасной смертью на острове Питкэрн.

Капитан Давенпорт не был религиозен, но в это мгновение он почувствовал безумное желание броситься к ногам другого и сказать ему, — а что — он не знал. Это было чувство более властное, чем мысль. Странное сознание собственного ничтожества владело им в присутствии этого человека, простодушного, как ребенок, ласкового, как женщина.

Но, конечно, так унизить себя на глазах помощников и команды он не может. И все-таки гнев, порождавший проклятия, еще бушевал в нем. Внезапно он ударил стиснутым кулаком по крыше каюты и закричал:

— Послушайте, старик, я не хочу сдаваться. Это Паумоту дурачит и издевается надо мной и доводит меня до сумасшествия. Я отказываюсь сдаться. Я намерен гнать дальше эту шхуну и буду

плыть и плыть через Паумоту до Китая, но найду, где пристать. Если все ее покинут, я останусь один. Я покажу этому Паумоту. Оно не посмеет меня дурачить. Шхуна — хорошая старуха, и я буду бороться за нее до тех пор, пока останется хоть одна доска, на которой можно стоять. Вы слушаете меня?

— И я останусь с вами, капитан, — сказал Мак-Кой.

Ночью с юга подул слабый ветер, и раздраженный капитан, со своим грузом огня, следя за отклонением к западу и выпрямляя курс, временами терял терпение и ругался вполголоса, чтобы не услышал Мак-Кой.

Дневной свет позволил различить пальмы, поднявшиеся из воды на юге.

— Это подветренная часть Макемо, — сказал Мак-Кой. — Немного дальше к западу находится Катиу. Там мы можем пристать.

Но течение между двумя островами — особенно сильное — увлекло их к северо-западу. И в час дня они увидели вставшие над водой пальмы Катиу, которые вскоре вновь исчезнут.

Немного позже, в тот момент, когда капитан заметил новое течение с северо-востока, подхватившее «Пиренеи», вахтенные с мачт объявили о

кокосовых пальмах на северо-западе.

— Это — Рарака, — сказал Мак-Кой. — До нее мы не доберемся без ветра. Течение уносит нас к юго-западу. Но надо следить. Несколькими милями дальше течение отклоняется к северу и делает петлю по направлению к северо-западу. Оно нас отнесет от Факаравы, а у Факаравы мы как раз можем пристать.

— Ну и пусть относит ко всем чертям! — вспылил капитан. — Все равно мы еще найдем, где пристать.

Но положение на «Пиренеях» становилось критическим. Палуба была настолько горяча, что, казалось, еще на несколько градусов больше — и она воспламенится. В некоторых местах даже толстые подошвы башмаков не защищали, и опасение обжечь ноги вынуждало матросов ускорять шаги. Дым усилился и стал более едким. Глаза у всех воспалились, все кашляли и задыхались, словно больные туберкулезом. После полудня лодки отвязали и снабдили всем необходимым. В них уложили несколько оставшихся связок сушеных бананов, а также инструменты помощников. Капитан Давенпорт положил в баркас даже хронометр, опасаясь, что палуба может вот-вот вспыхнуть.

Этот страх угнетал их всю ночь, и на рассвете они смотрели друг на друга, как бы удивляясь, что «Пиренеи» еще держится и они все еще живы; глаза их запали, а серые лица были страшно измучены.

Торопливо, иногда бессознательно ускоряя шаги, капитан, забыв о своем достоинстве, почти бегом осматривал палубу судна.

— Теперь вопрос нескольких часов, если не минут, — объявил он, вернувшись на корму.

Крик: «Земля!» донесся с мачты. С палубы земли не было видно, и Мак-Кой поднялся наверх, а капитан воспользовался удобным случаем, чтобы облегчить себе душу, хорошенько выругавшись. Но проклятия его внезапно замерли, когда он увидел на воде в направлении к северо-востоку темную линию. Это был не шквал, а бриз — прерванный пассат, отклонившийся на восемь румбов своего пути и теперь снова принявшийся за дело.

— Держите прямо, капитан, — сказал Мак-Кой, едва успев добежать до кормы. — Это восточный берег Фаваравы, мы войдем в пролив с поднятыми парусами, полным ходом, и ветер будет с борта.

Через час кокосовые пальмы и земля были

видны с палубы. Чувство, что конец «Пиренеи» близок, угнетало каждого. Капитан Давенпорт приказал опустить три лодки и велел их подтянуть к корме; в каждой поместился матрос, чтобы отталкивать ее от бортов. Совсем близко, на расстоянии не более двух кабельтов, шхуна обогнула берег атолла, очерченный пенной линией прилива.

— Приготовьтесь, капитан, повернуть через фордевинд, — предупредил Мак-Кой.

Минутой позже земля словно расступилась, открывая узкий пролив в огромную зеркальную лагуну, длиной в тридцать и шириной в десять миль.

— Пора, капитан!

В последний раз обошли вокруг мачт рея, когда шхуна послушно направилась в пролив. Едва поворот был сделан, даже не сложив еще в бухту веревок, помощники и команда в паническом ужасе бросились на корму. Еще ничего не произошло, но все были уверены, что вот-вот несчастье разразится. Мак-Кой хотел пройти вперед на свое место на носу, чтобы вести судно, но капитан схватил его за руку и оттащил.

— Сделайте это отсюда, — сказал он. — Палуба не безопасна… В чем дело? — спросил он. — Мы

совсем не двигаемся!

Мак-Кой улыбнулся.

— Вам мешает течение, капитан. Со скоростью семи узлов несется морской отлив из этого пролива.

К концу следующего часа шхуна продвинулась только на расстояние, равное ее длине. Но ветер стал свежее, и она прорвалась вперед.

— Часть людей пусть садится в лодки! — скомандовал капитан.

Еще голос его звучал, и матросы только-только принялись усаживаться, как середина палубы в огне и в дыму взлетела вверх, часть ее застряла в парусах и такелаже, а остальное рухнуло в море. Ветер был с борта, и это спасло сжавшихся на корме людей. Сплошным потоком ринулись они к лодкам, но голос Мак-Коя, полный незыблемого спокойствия, убеждал их, что времени хватит, и они остановились.

— Не спешите, — говорил он. — Нужен порядок. Спустите этого мальчика в лодку, пожалуйста.

Рулевой, потерявший голову от ужаса, бросил штурвал, и капитан подоспел как раз вовремя, чтобы схватить спицы колеса и помешать течению подхватить судно и ударить о берег.

— Лучше бы вы позаботились о лодках, — ска-

зал он мистеру Конигу. — Подтяните одну ближе, вплотную к корме! В самый последний момент я прыгну в нее.

Мистер Кониг колебался, но затем шагнул за борт и спустился в лодку.

— Держите ее на полрумба, капитан!

Капитан вздрогнул. Он полагал, что остался один на шхуне.

— Да, да, есть полрумба, — ответил он.

Посередине «Пиренеи» зияло пылающее горнило, откуда вырывались необъятные клубы дыма и, поднимаясь к мачтам, совершенно скрывали переднюю часть корабля. Мак-Кой, под защитой бизань-вантов, продолжал свою тяжелую работу и вел шхуну по извилистому проливу. Огонь распространялся по палубе от места взрыва к корме. Развевающиеся вверху на грот-мачте паруса исчезли в пламени. Передних парусов они не могли видеть, но знали, что те еще держатся.

— Только бы огонь не охватил всех парусов, прежде чем она войдет в лагуну, — простонал капитан.

— Она успеет войти, — уверенно заявил Мак-Кой. — Времени еще много. Она должна войти. А в лагуне мы повернем ее; дым от нас отнесет, и огонь не достигнет кормы.

Язык пламени взвился к бизань-мачте, жадно потянулся к нижнему ярусу парусов и, не добравшись до них, исчез. Сверху горящий обрывок веревки упал прямо на голову капитана Давенпорта. Он с необычайной поспешностью, как человек, ужаленный пчелой, взмахнул рукой и сбросил горящий обрывок.

— Какое направление, капитан?

— Норд-вест-вест.

— Держите ее вест-норд-вест.

Капитан повернул руль и установил его.

— Вест-норд, капитан.

— Есть вест-норд.

— Теперь вест.

Медленно, румб за румбом, войдя в лагуну, шхуна описала круг и стала под ветер; и румб за румбом, со спокойной уверенностью, как будто в их распоряжении была еще тысяча лет, Мак-Кой нараспев оглашал изменения курса.

— Еще румб, капитан.

— Есть румб.

Капитан Давенпорт на несколько спиц повернул штурвал, затем быстро оттянул назад, тормозя шхуну.

— Так держать!

— Есть.

Несмотря на ветер, который дул теперь с кормы, жара была невыносимая, и капитан Давенпорт мог только искоса бросать взгляды на пактоуэ. Он вынужден был отнимать от штурвала то одну, то другую руку, чтобы потереть и заслонить свои щеки, покрытые волдырями. Борода Мак-Коя ерошилась и топорщилась, и запах горелых волос заставил капитана Давенпорта с тревогой посмотреть на него. Руки капитана сверху покрылись волдырями, и, поочередно оставляя штурвал, он освежал их, прикладывая к брюкам. Паруса бизань-мачты исчезали один за другим под натиском огня, принуждая двух людей съеживаться и закрывать лицо.

— Теперь, — сказал Мак-Кой, осторожно бросив взгляд вперед на нижний берег, — четыре румба, и пусть она плывет!

Обрывки и клочья пылающих веревок и парусов, задевая их, падали вокруг. Смолистый дым от горящего куска веревки у ног капитана вызвал жестокий приступ кашля, но штурвала капитан все же не выпустил.

Шхуна внезапно ударилась, нос ее поднялся, и она едва не остановилась. Град горящих обломков, упавших от толчка, посыпался на них. Шхуна снова двинулась и вторично ударилась. Своим

килем она раздробила хрупкий коралл, пошла дальше и ударилась в третий раз.

— Держите прямо, — сказал Мак-Кой. — Пробрались? — мягко спросил он минутой позже.

— Она не слушается руля, — был ответ.

— Ну, хорошо. Она сворачивает. — Мак-Кой посмотрел за борт. — Мягкий белый песок. Лучшего нельзя и требовать. Великолепное ложе!

Когда шхуна сделала поворот от ветра, столб дыма и пламени вырвался на юте. Капитан Давенпорт выпустил штурвал из-за нестерпимой боли от ожогов. Он добрался до фалиня лодки, стоявшей внизу, затем остановился, высматривая Мак-Коя, который держался в стороне, чтобы дать ему спуститься.

— Вы — первый, — крикнул капитан, хватая его за плечо и почти перебрасывая через борт.

Пламя и дым были нестерпимы, и он поспешил сейчас же за Мак-Коем. Оба они, обхватив веревку, вместе соскользнули в лодку. Матрос на носу, не ожидая приказаний, перерезал фалинь ножом. Весла, лежавшие наготове, ударили по воде, и лодка помчалась.

— Прекрасное ложе, капитан, — бормотал Мак-Кой, оглядываясь назад.

— Да, прекрасное ложе и все благодаря вам, —

был ответ.

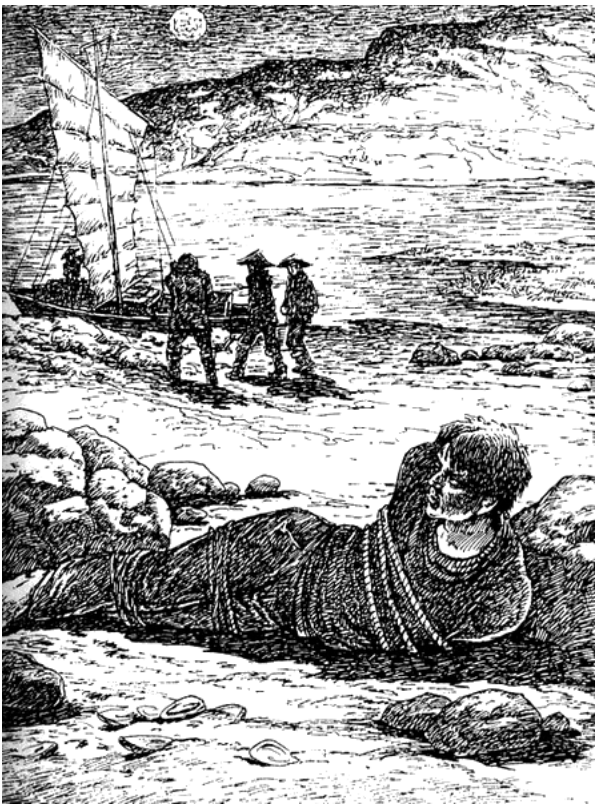
Три лодки неслись к белому коралловому берегу. За ним, на краю кокосовой рощи, виднелось несколько покрытых травой хижин, и десятка два возбужденных туземцев широко открытыми глазами взирали на пылающее судно, подплывшее к их земле.

Лодки причалили, и они сошли на белый берег.

— А теперь, — сказал Мак-Кой, — я должен подумать о возвращении на Питкэрн.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ

(сборник)



В огромном заливе Сан-Франциско обитает большое количество разной, в том числе промысловой, рыбы, которую ловят целые флотилии рыбаков. Для пресечения нарушения многочисленных правил ведения лова и борьбы с браконьерами и был создан рыбачий патруль, у которого были свои поражения и победы...

Основной нерв в рассказах рыбачьего патруля — не столько преследование браконьеров, а их душевный мир — психологический рисунок (внутренний сюжет): дерзость и коварство, соревнование в хитрости и изобретательности, что не менее интересно. Такое занятие не исключало и применения оружия в безвыходном положении, хотя те и другие участники «соревнований» старались избегать откровенных убийств. Греки и китайцы промышляли для своих семейств. Поднимать излишний шум им было никак невыгодно.

Белые и желтые

Залив Сан-Франциско настолько велик, что нередко во время штормов бывает опаснее для океанских судов, чем сам океан в минуты своего гнева. В водах залива водится множество всякой рыбы, и поверхность его постоянно бороздят кили всевозможных рыбачьих лодок, которыми управляют рыбаки самых разных национальностей. Чтобы охранять рыбу от этого пестрого рыбачьего населения, было издано немало мудрых законов и существует специальный рыбачий патруль, в обязанности которого входит их соблюдение. Временами рыбачьему патрулю приходится трудно: в истории его насчитывается не один убитый дозорный и не одно поражение, но память о множестве погибших при незаконной ловле рыбаков свидетельствует и об одержанных им победах.

Самыми отчаянными среди рыбаков считаются китайцы, занимающиеся ловлей креветок. Креветки обычно ползут по дну огромными стаями, направляясь к пресной воде, и, добравшись до нее, снова поворачивают обратно в море. Во время приливов и отливов китайцы опускают на дно большие сети, креветки заползают в их

зияющие пасти и оттуда отправляются уже непосредственно в кипящие котлы. В этом не было бы ничего худого, если бы петли сетей не оплетались настолько густо, что самая крошечная рыбешка, только-только народившаяся на свет и не имеющая даже дюйма в длину, не в состоянии пройти сквозь них. Прелестные берега мыса Педро и Пабло, где расположены поселки рыбаков, занимающихся ловлей креветок, сделались просто отвратительными от зловония, издаваемого мириадами разлагающихся рыб. И вот в обязанности рыбачьего патруля входит и борьба с этой хищнической ловлей.

В шестнадцать лет я прекрасно умел управлять парусной лодкой и знал воды залива, как свои пять пальцев. Поэтому Рыболовная комиссия завербовала мой шлюп «Северный Олень», и я сделался на время помощником патрульного. Для начала нам пришлось немало поработать среди греческих рыбаков в Верхней бухте и реках, где с места в карьер пускались в ход ножи и люди давали арестовывать себя только под угрозой револьверных дул. Поэтому мы с восторгом встретили приказание отправиться в Нижнюю бухту, где китайцы занимались ловлей креветок.

Нас было шестеро в двух лодках. Чтобы не вы-

звать подозрений, мы вышли, когда стемнело, и бросили якорь у выступа скалы, известной как мыс Пинола. Когда восток побледнел при первых проблесках зари, мы снова пустились в путь и, круто держась берегового ветра, стали пересекать бухту вкось по направлению к мысу Педро. Утренний туман клубился и стлался по воде, закрывая от нас все окружающее. Мы начали отогреваться горячим кофе, после которого нам предстояло прескучное занятие — выкачивать из шлюпа воду, ибо «Северный Олень» каким-то непостижимым образом дал изрядную течь. Полночи ушло на перекладывание балласта и исследование швов, но весь наш труд пропал даром. Вода продолжала проникать в лодку, и мы, согнувшись вдвое в кубрике, едва успевали выкачивать ее.

После кофе трое из нас перешли на другую лодку — это была лодка с реки Колумбия для ловли лососей, — оставив нас троих на «Северном Олене». Оба судна шли вместе, пока солнце не показалось над горизонтом. Его горячие лучи рассеяли завесу тумана, и мы увидели перед собой, точно на картине, всю флотилию ловцов креветок, растянувшихся большим полумесяцем, между рожками которого было добрых три мили.

Каждая джонка была привязана к буйку, обозначавшему место, где заброшена сеть для креветок. Не было заметно никакого движения, все словно замерло.

Мы тотчас сообразили, в чем дело. Очевидно, китайцы в ожидании отлива, когда удобнее всего поднимать со дна тяжелые сети, улеглись спать в кубриках. Это обстоятельство было нам как нельзя более на руку, и мы быстро выработали план действий.

— Пусть каждый из ваших двух подручных бросится на какую-либо джонку, — прошептал Легрант со своего лососного судна. — А вы сами поскорее ловите третью. Мы сделаем то же самое и таким образом наверняка захватим по крайней мере шесть джонок.

Затем мы разделились. Я перевел «Северного Оленя» на другой галс, прошел с подветренной стороны мимо одной из джонок, взял к ветру грота шкот и обогнул корму джонки так медленно и на таком близком расстоянии, что один из патрульных легко перешагнул через ее борт. Тогда я отвел лодку, снова наполнил грот и направился ко второй джонке.

До сих пор тишина была полная, но в этот момент на первой джонке, которую захватило

судно Легранта, поднялся шум. Послышались пронзительные восточные завывания, затем револьверный выстрел и вслед за ним еще худший вой.

— Ну, теперь пиши пропало. Они подняли тревогу, — сказал Джордж, второй патрульный, стоявший рядом со мной на крыше кубрика.

В это время мы находились как раз посредине флотилии и тревога распространялась с невероятной быстротой. Палубы джонок покрылись заспанными полуголыми китайцами. Тревожные крики и вопли ярости понеслись над спокойной гладью воды, где-то громко затрубили в морскую раковину. Я увидел, как направо от нас капитан джонки перерубил пополам якорный канат и бросился помогать своей команде, поднимавшей огромный, грубый люгерный парус. Но налево, на другой джонке, головы только еще начинали просовываться снизу, поэтому я повернул «Северного Оленя» и подошел к ней почти вплотную, так что Джордж без труда вскочил на палубу.

Теперь весь флот уже оказался в движении. В придачу к парусам китайцы извлекли длинные весла, и разбегающиеся джонки разрезали воды бухты по всем направлениям. Я остался один на «Северном Олене» и лихорадочно высматривал

для себя третью джонку. Первая попытка захватить одну из них кончилась полной неудачей, потому что намеченная мной джонка распустила свои паруса и с невероятной быстротой устремилась против ветра. Она шла на целых полрумба круче «Северного Оленя», и я невольно почувствовал уважение к этому неуклюжему судну.

Сознавая, что преследование бесполезно, я отошел, ослабил грота-шкот и сдрейфовал на фордевинд; таким образом, джонки оказались ниже меня по отношению к ветру и, следовательно, в менее выгодном положении.

Джонка, которую я наметил, нерешительно покачивалась впереди «Северного Оленя», но, когда я сделал широкий поворот, чтобы удобнее взять ее на абордаж, паруса ее внезапно надулись, и она метнулась в сторону, а смуглые матросы на ее борту согнулись над веслами, ритмически издавая дикие крики. Но я был готов к этому. Я сразу пошел к ветру, положил руль на борт и, навалившись на него всем телом, стал постепенно отдавать на ходу грот, чтобы по возможности ослабить силу удара. Два весла на правом борту джонки были немедленно смяты, и вслед затем обе лодки с треском столкнулись. Бушприт «Северного Оленя», точно чудовищная лапа, до-

тянулся до грубо сколоченной мачты джонки и разнес в куски и ее, и большой парус.

Это вызвало взрыв яростных криков. Огромный китаец, отвратительный и жуткий, с изуродованным оспой лицом и желтым шелковым платком на голове, уперся шестом в нос «Северного Оленя» и начал расталкивать сцепившиеся суда. Я отдал кливер, подождал, пока «Северного Оленя» отнесло к корме, выскочил на борт джонки с концом в руке и ошвартовался. Рябой китаец, повязанный желтым платком, с угрожающим видом приблизился ко мне, но я опустил руку в задний карман брюк, и он остановился в нерешительности. Я был безоружен, но горький опыт научил китайцев относиться с должным почтением к задним карманам американцев, а я только на это и рассчитывал, чтобы удержать его и всю разъяренную команду на приличном расстоянии.

Я приказал ему бросить якорь у носа джонки, на что он ответил «Не понимай». Команда тоже заявила, что не понимает, и хотя я совершенно ясно объяснял им знаками, чего я от них требую, они упорно не желали ничего понимать. Убедившись, что настаивать бесполезно, я сам пошел вперед, освободил канат и отдал якорь.

— Ну, теперь пусть четверо из вас перейдут

в мою лодку, — громко сказал я, показывая на пальцах, что четверо из них должны отправиться со мной, а пятый остаться на джонке. Желтый Платок колебался, но я строго повторил приказание (вложив в него гораздо больше свирепости, чем сам чувствовал в эту минуту) и опять поднес свою руку к заднему карману. Желтый Платок тотчас же исполнился благоговения и, бросая исподлобья мрачные взгляды, перешел с тремя китайцами на борт «Северного Оленя». Я быстро отдал перлинь и, оставив кливер спущенным, направил судно к той джонке, на которой находился Джордж. Вдвоем мы могли легче справиться, да к тому же у Джорджа был при себе револьвер, который очень пригодился бы нам в случае, если бы дело приняло худой оборот. С этой джонки мы также перевели четырех китайцев на «Северного Оленя», а одного оставили на месте.

С третьей джонки у нас прибавилось еще четверо пассажиров. За это время лодка Легранта успела набрать целую дюжину пленных и подошла к нам, порядком перегруженная.

Неудобство заключалось в том, что судно было очень невелико, и патрульные, тесно сжатые между своими пленниками, оказались бы в случае столкновения в слишком невыгодном

положении.

— Придется вам выручить нас, — сказал Легрант.

Я посмотрел на своих пленных, которые толпились в кубрике и на рубке.

— Могу взять троих, — ответил я.

— Возьмите лучше четверых, — предложил он, — а я заберу к себе Билля (Билль был третий патрульный). — Мы здесь точно сельди в бочке; а на случай потасовки один белый на двух желтых самая настоящая пропорция.

Обмен был произведен, и лодка Легранта, подняв свой шпрюйтовый парус, направилась вниз по заливу к болотам, окружающим Сан-Рафаэль.

Я наставил кливер и последовал за ними на «Северном Олене». Сан-Рафаэль, где мы должны были передать властям наших пленников, сообщается с бухтой через длинную, извилистую болотистую речку, судоходную лишь во время прилива. Теперь же как раз начинался отлив и нам необходимо было торопиться, чтобы не потерять полдня в ожидании следующего прилива.

Но береговой ветер с восходом солнца стал спадать и налетал теперь лишь слабыми порывами. Судно Легранта перешло на весла и скоро оставило нас далеко позади себя. Несколько китайцев

толпились в передней части кубрика, близ трапа, и когда я нагнулся через борт, чтобы слегка выбрать кливер-шкот, кто-то дотронулся до моего кармана. Я сделал вид, будто ничего не заметил, но, взглянув мельком на Желтый Платок, понял, что хитрый китаец успел убедиться в пустоте того самого кармана, который держал его до сих пор в почтительном страхе. Положение становилось тем более серьезным, что за время погони за джонками на «Северном Олене» набралось много воды, которая начинала теперь заливать уже пол кубрика. Китайцы указали на прибывающую воду и вопросительно взглянули на меня.

— Да, — сказал я. — Много-много вода. Наша скоро-скоро потонут, если ваша не будет черпать. Понимай?

Нет, они не «понимай». По крайней мере они все отрицательно покачали головами, хотя тут же начали весьма оживленно переговариваться на своем языке. Я приподнял несколько палубных досок, достал из-под них пару ведер и стал знаками приглашать своих пленников приняться за работу. Но они только засмеялись в ответ, причем одни забрались в кубрик, а другие влезли в рубку.

Их смех не предвещал ничего хорошего. В нем

чувствовались угроза и озлобление, которые отражались в их мрачных взглядах. Желтый Платок, обнаружив, что мой карман пуст, стал вести себя очень дерзко и беспрестанно шнырял среди других пленников, страстно убеждая их в чем-то.

Сдерживая раздражение, я спустился в кубрик и начал вычерпывать воду. Но не успел я взяться за дело, как бугель перенесся на другую сторону, парус вдруг наполнился, и «Северный Олень» сильно накренился. Поднялся дневной ветер. Джордж был отъявленный пресноводный моряк, так что мне пришлось бросить вычерпывание и взяться вместо этого за руль. Ветер дул прямо с мыса Педро и с высоких гор, лежавших за ним, он налетал на нас неровными порывами, от которых паруса то выпячивались, то лениво полоскались.

Кроме того, Джордж был самый беспомощный и неумелый человек, какого мне когда-либо приходилось видеть. Не говоря уже о природной неуклюжести и непригодности, он был чахоточный, и я знал, что если он возьмется за вычерпывание, то это еще, чего доброго, вызовет у него кровохарканье. Однако вода все прибывала и положение становилось критическим. Я снова приказал китайцам взяться за ведра. Но они только вызывающе рассмеялись в ответ на

мое приказание. Те из них, кто сидел в каюте по щиколотку в воде, оживленно переговаривались со своими товарищами, стоявшими на рубке.

— Вы бы лучше взяли свое ружье да заставили бы их выкачивать, — сказал я Джорджу. Но он отрицательно покачал головой, ясно показывая всем своим видом, что боится. Китайцы понимали это так же хорошо, как и я, и их наглость становилась просто невыносимой. Сидевшие в каюте взломали ящики, где хранилась провизия; к ним присоединились стоявшие на рубке, и все вместе они устроили пир из наших сухарей и консервов.

— Пусть их, не все ли равно,[13] — сказал Джордж слабым голосом.

Я дрожал от бессильного гнева.

— Если мы сейчас же не приберем их к рукам, то потом будет поздно. Нужно во что бы то ни стало припугнуть этих негодяев.

Вода поднималась все выше и выше, а порывы ветра, предвещавшие устойчивый бриз, усиливались с минуты на минуту. В промежутках между этими порывами пленники, успевшие к тому

[13] Примечания: 13

— Наплевать нам на это, — сказал Джордж дрожащим голосом. — *По всей видимости некорректный перевод, поэтому прилагается перевод из другого источника. Примечание верстальщика.*

времени уничтожить дочиста наши недельные запасы, собирались толпой то на одном, то на другом борту, так что «Северный Олень» качался, точно скорлупа. Желтый Платок подошел ко мне и, указывая пальцем на свою деревушку, виднев-шуюся на берегу у мыса Педро, дал мне понять, что если я поверну «Северного Оленя» в этом направлении, чтобы высадить их на берег, то они начнут вычерпывать воду. Теперь вода в каюте доходила до самых коек, и постели были уже под-мочены. В кубрике же она поднималась на целый фут от пола. Тем не менее я отказал и прочел на лице Джорджа глубокое разочарование.

— Если вы не наберетесь храбрости, они скрутят нас и вышвырнут за борт, — сказал я ему. — Дай-те-ка мне ваш револьвер, если хотите уцелеть.

— Лучше бы, — трусливо пробормотал он, — высадить их на берег. Я по крайней мере совсем не желаю потонуть из-за горсти каких-то грязных китайцев.

— А я так не желаю сдаваться этой горсти грязных китайцев из страха потонуть, — горячо возразил я.

— А поэтому вы готовы пустить ко дну «Се-верного Оленя» и всех нас, — захныкал он, — не понимаю, что в этом хорошего.

— У каждого свой вкус, — сказал я.

Джордж ничего не ответил, и я увидел, что он весь дрожит. Он был вне себя от страха и одинаково боялся угрожающих китайцев и поднимающейся воды. А я больше воды и китайцев боялся, как бы он под влиянием страха не натворил какой-нибудь беды. Я заметил, что он бросает тоскливые взгляды на маленький ялик, шедший у нас на буксире за кормой. Как только ветер немного затих, я притянул ялик к борту. Глаза Джорджа загорелись надеждой, но прежде чем он успел угадать мое намерение, я прорубил топором хрупкое дно, и ялик наполнился водой до самого борта.

— Умирать, так вместе, — сказал я, — и если вы дадите мне свой револьвер, то вода будет выкачана в два счета.

— Их слишком много, — захныкал он, — нам ни за что не справиться с такой оравой.

Я с презрением повернулся к нему спиной. Лодка Легранта давно уже скрылась из виду за маленьким архипелагом, называемым Морские Острова, так что с этой стороны нельзя было ожидать никакой помощи. Желтый Платок развязно подошел ко мне, шлепая ногами по воде, покрывавшей пол кубрика. Мне не понравилось

выражение его лица. Я отчетливо ощущал, что за угодливой улыбкой, которую он старался изобразить на своей отталкивающей физиономии, таится злая мысль. Я так резко приказал ему отойти, что он тотчас же повиновался.

— Эй ты, держись подальше! — скомандовал я. — И не сметь подходить ко мне!

— Почему такой? — спросил он с оскорбленным видом. — Мой говорила много-много хороший вещи.

— Не надо говорила много-много, — резко ответил я, ибо для меня было ясно теперь, что он понял весь наш разговор с Джорджем. — Зачем говорила? Твой не умела говорить.

Он язвительно усмехнулся:

— Мой много-много знает. Мой честный китаец.

— Ладно, — ответил я. — Пусть твой сначала выливает много-много вода. Потом будем много-много говорить.

Он покачал головой, указывая через плечо на своих товарищей.

— Не можно делать. Много-много плохой китайцы, много-много злой. Мой думать…

— Назад! — крикнул я, заметив, что рука его исчезла под блузой, а тело напряглось для прыжка.

Он разочарованно отступил и вернулся обратно в каюту. Судя по гаму, который тотчас же донесся оттуда, Желтый Платок, очевидно, держал совет со своими товарищами. «Северный Олень» глубоко сидел в воде и едва подвигался вперед. При сильном волнении он несомненно пошел бы ко дну, но ветер дул с берега и был настолько слаб, что едва морщил поверхность залива.

— Я думаю, что вам следовало бы направить судно к берегу, — сказал вдруг Джордж, и я тотчас же понял по его тону, что страх заставил его принять какое-то решение.

— А я этого не думаю, — ответил я лаконично.

— Я вам приказываю, — сказал он вызывающе.

— Мне приказано доставить этих пленных в Сан-Рафаэль, — возразил я.

Мы оба повысили голоса, и китайцы, заслышав спор, тотчас повылезали из каюты.

— Ну, а теперь направитесь ли вы, наконец, к берегу? — Это произнес Джордж, и я увидел перед собой дуло его револьвера. У него хватило мужества направить его на меня, в то время как трусость мешала ему пригрозить этим же револьвером пленникам.

Мой мозг пылал. Я ясно представил себе вдруг весь ужас создавшегося положения — стыд по-

терять пленников, трусость и низость Джорджа, встречу с Легрантом и другими патрульными и жалкие объяснения, которые мы сможем привести в свое оправдание. Затем я вспомнил, с каким трудом досталась мне победа, и вот теперь, когда она, казалось, была уже в руках, добыча вдруг ускользала от меня. Уголком глаза я видел, что китайцы столпились у дверей каюты и торжествующе подмигивают друг другу. Так нет же, не бывать этому!

Я быстро поднял руку и опустил голову. Первым движением я поддал вверх дуло револьвера, а вторым отклонил голову от пули, которая со свистом пролетела мимо. Одной рукой я схватил руку Джорджа, а другой револьвер. Желтый Платок и его шайка кинулись ко мне. Теперь или никогда! Напрягши все силы, я неожиданно толкнул Джорджа им навстречу. Затем я так же быстро отскочил назад, вырвал револьвер из его пальцев и сбил его с ног. Он упал под ноги Желтому Платку; тот споткнулся, и оба они скатились в зияющий люк в палубном полу, с которого была снята крышка. Не теряя времени, я направил на них свой револьвер, и дикие китайские рыбаки тотчас же стали приседать и отвешивать мне поклоны.

Но я быстро убедился, что стрелять по врагам, которые нападают, и по людям, которые просто отказываются повиноваться, далеко не одно и то же. Китайцы же по-прежнему упорно отказывались выполнить приказание, даже когда я с револьвером в руке потребовал, чтобы они спустились вниз. Они не обращали внимания на мои угрозы и упорно продолжали сидеть в затопленной каюте и на рубке, не проявляя никакого желания сдвинуться с места.

Прошло пятнадцать минут; «Северный Олень» погружался все глубже и глубже, а грот его лениво висел в полном штиле. Но возле мыса Педро я заметил на воде темную полосу, которая быстро приближалась к нам. Это был устойчивый ветер, которого я так долго ждал. Я окликнул китайцев и указал им на темную полосу воды. Они ответили радостными криками. Затем я указал на парус и на воду, накопившуюся на «Северном Олене», и объяснил им жестами, что, когда ветер достигнет паруса, мы непременно перевернемся. Но они вызывающе смеялись, ибо знали, что в моей власти пойти на фордевинд, отдать грот, чтобы обезветрить его, и таким образом избежать катастрофы. Однако решение мое было твердо. Я натянул грот на фут или на два, повернулся вместе с ним и,

упершись ногами, налег спиною на румпель. Такое положение давало мне возможность одной рукой натягивать парус, а другой держать револьвер. Темная линия все приближалась, и китайцы то и дело переводили взгляды с нее на меня, не в силах скрыть своей тревоги. Мой ум, воля и выносливость были противопоставлены их уму, воле и выносливости, и весь вопрос заключался в том, кто из нас дольше выдержит ожидание неминуемой смерти и не сдастся.

Затем налетел ветер. Грот туго натянулся, блоки оживленно затрещали, гик поднялся вверх, парус выпятился, и «Северный Олень» стал крениться все больше, больше, до тех пор, пока правый борт не очутился под водой; за ним скрылись окна каюты, и залив начал переливаться через борт кубрика. Судно накренилось так быстро, что китайцы, сидевшие в каюте, попадали друг на друга и скатились на правую сторону; они барахтались там, извиваясь в воде, причем тем, кто лежал внизу, грозила серьезная опасность захлебнуться.

Ветер слегка посвежел, и «Северный Олень» накренился еще сильнее прежнего. С минуту я думал, что судно погибло, и понимал, что еще один такой порыв — и «Северный Олень» неминуемо

пойдет ко дну. Пока я раздумывал, сдаваться мне или нет (не прекращая, однако, своего маневра), китайцы запросили пощады. Мне кажется, что это были самые сладостные звуки, которые я когда-либо слышал. Тогда, и только тогда я пошел на фордевинд и отдал грот. «Северный Олень» начал медленно выпрямляться, но, когда он стал на ровный киль, в нем оказалось столько воды, что я усомнился в возможности спасти его.

Но китайцы, точно сумасшедшие, кинулись в кубрик и принялись вычерпывать воду ведрами, кастрюлями, горшками и всем, что попадалось им под руку. С каким удовольствием я следил за тем, как вода перелетала через борт! И когда «Северный Олень» снова гордо и прямо закачался на волнах, мы помчались с попутным ветром и поспели как раз вовремя, чтобы переправиться через топкие места и войти в болотистое устье.

Упорство китайцев было сломлено, и они сделались такими шелковыми, что, когда мы подходили к Сан-Рафаэлю, они, с Желтым Платком во главе, уже держали наготове швартовый канат. Что же касается Джорджа, то это была его последняя экспедиция с рыбачьим патрулем. По его словам, такие вещи были ему не по душе, и он полагал, что с него будет достаточно и места

конторщика на берегу. Мы тоже так думали.

Король греков

Рыбачьему патрулю никак не удавалось захватить Большого Алека. Он хвастливо заявлял, что никому не удастся взять его живым, и рассказывал при этом, что многие уже пытались взять его мертвым, но безуспешно. Говорили также, что двое патрульных, которые хотели захватить его мертвым, погибли сами. А между тем никто так систематически и дерзко не нарушал законов о рыбной ловле, как Большой Алек.

Его прозвали Большим Алеком за богатырское сложение. Он был шести футов трех дюймов ростом, а могучая грудь и широкие плечи вполне соответствовали этой высоте. У него были великолепные мускулы, твердые как сталь, и среди рыбаков ходили тысячи легенд о его необычайной силе. Он был так же дерзок и властен духом, как могуч телом, и заслужил благодаря этому еще и другую кличку — Король греков.

Рыбачье население состояло главным образом из греков; они почитали Большого Алека и повиновались ему как своему вождю. И, сознавая себя их главой и вождем, он дрался за своих соплеменников, брал их под свое покровительство,

спасал их, когда они попадались в лапы закона, и в беде объединял их под своим руководством для сопротивления.

В прежние дни рыбачий патруль не раз пытался поймать его, но все эти попытки кончались неудачно. Со временем от этого предприятия окончательно отказались; поэтому, когда пронесся слух, что Большой Алек приехал в Бенишию, я с нетерпением искал случая увидеть его. Но мне не пришлось гоняться за ним. Со своей обычной дерзостью он тотчас же по приезде сам явился к нам. В то время Чарли Легрант и я служили под начальством патрульного Карминтеля, и мы все трое находились на «Северном Олене», готовясь к маленькой экспедиции, когда Большой Алек появился на борту. Карминтель, по-видимому, знал его, ибо они при встрече пожали друг другу руки; на меня же и на Чарли Большой Алек не обратил ровно никакого внимания.

— Я приехал сюда на месяц-другой половить осетров, — сказал он Карминтелю. Глаза грека при этом вызывающе блестели, и мы заметили, что наш патрульный потупился.

— Ладно, Алек, — сказал Карминтель тихим голосом, — я не стану мешать вам. Пойдемте в каюту, потолкуем, — добавил он.

Когда дверь каюты закрылась за ними, Чарли многозначительно подмигнул мне. Но я был еще очень юн и не знал ни людей, ни того, на что способны некоторые из них, а потому ровно ничего не понял из этой сцены. Чарли тоже не счел нужным ничего объяснять мне, но я все же почувствовал, что происходит что-то неладное.

Оставив их совещаться, мы, по предложению Чарли, сели в нашу шлюпку и поплыли к старой Пароходной пристани, где стоял ковчег Большого Алека. Ковчег — это плавучий дом, небольшой по размерам, но вместительный и удобный; он так же необходим рыбаку, как сети и лодки. Нам обоим очень хотелось взглянуть на ковчег Большого Алека, ибо было известно, что он не раз служил ареной отчаянных схваток и весь изрешечен пулями. Мы в самом деле увидели дыры от пуль (забитые деревянными втулками и закрашенные), но их оказалось гораздо меньше, чем я ожидал. Чарли заметил мое разочарование и расхохотался; чтобы утешить меня, он тут же рассказал доподлинную историю об одной экспедиции, которая отправилась в плавучий дом, чтобы захватить там Большого Алека. При этом предпочиталось, конечно, взять его живым, но в крайнем случае решено было заполучить его

хотя бы мертвым. После битвы, длившейся полдня, патрульные уехали в поврежденных лодках, потеряв одного человека убитым и трех ранеными. Когда же на следующее утро они вернулись с подкреплением, то нашли только колья, к которым был привязан накануне ковчег Большого Алека. Сам же ковчег исчез на несколько месяцев в бесконечных зарослях суизинских камышей.

— Но почему же его не повесили за убийство? — спросил я. — Ведь Соединенные Штаты несомненно достаточно могущественны, чтобы совершить правосудие над таким человеком.

— Он сам отдался в руки властей, и его судили, — ответил Чарли. — Ему пришлось раскошелиться на пятьдесят тысяч долларов, чтобы выиграть процесс, и он выиграл его с помощью лучших адвокатов страны, пустивших в ход все свое крючкотворство. Каждый грек-рыболов внес свою долю в эту сумму. Большой Алек распределял и собирал налог, как самый настоящий король. Соединенные Штаты, может быть, и очень могущественны, братец ты мой, да только факт остается фактом — Большой Алек настоящий король внутри государства, король, имеющий свою территорию и своих подданных.

— Ну, а что вы сделаете сейчас, если он в самом

деле примется ловить осетров? Ведь он наверняка будет ловить их «китайской лесой».

Чарли пожал плечами.

— Там видно будет, — произнес он загадочно.

«Китайская леса» — хитрое приспособление, изобретенное народом, имя которого она носит. С помощью простой системы поплавков, грузил и якорей, тысячи крючков — каждый на отдельной лесе — свешиваются на расстоянии от одного до шести футов над дном. Все дело тут в крючке: у него нет бородки, и ее заменяет длинный конусообразный конец, острый, как иголка. Эти крючки находятся всего лишь на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, и когда они, точно бахрома, тысячами свешиваются над дном на протяжении нескольких сот морских саженей, то служат непреодолимым препятствием для рыбы, которая идет по дну.

Осетр, например, всегда идет низом, взрывая дно, точно свинья, и его в самом деле часто называют «водяной свиньей». Наколовшись на первый подвернувшийся крючок, осетр в испуге делает прыжок и наскакивает на десяток других крючков. Тогда он начинает отчаянно метаться, и крючки, прикрепленные к множеству отдельных удочек, один за другим вонзаются в нежное

мясо осетра и крепко держат злополучную рыбу, пока ее не вытащат. Поскольку ни один осетр не может пройти сквозь «китайскую лесу», это хитрое изобретение в законах о рыбной ловле называется западней, а самый способ ловли, неизбежно ведущий к полному истреблению осетров, считается противозаконным. И мы нисколько не сомневались, что Большой Алек, открыто и дерзко попирая закон, поставит именно эту лесу.

Прошло несколько дней после посещения Большого Алека, и в течение этого времени мы с Чарли зорко следили за ним. Он пробуксировал свой ковчег мимо Соланской пристани и остановился в большой бухте у Тернеровской верфи. Мы знали, что в этой бухте в изобилии водятся осетры, и не сомневались, что король греков намерен незамедлительно приступить к делу. Во время приливов и отливов вода в бухте бурлила, точно в мельничном лотке, то убывая, то прибывая, так что поднять, спустить или установить «китайскую лесу» можно только при стоячей воде. Поэтому мы с Чарли решили зорко наблюдать в это время за бухтой с Соланской пристани.

На четвертый день я, лежа на солнце на краю пристани, увидел ялик, отчаливший от отдаленного берега по направлению к бухте.

Я тотчас же поднес бинокль к глазам и стал следить за яликом, не упуская ни одного движения весел. В ялике было два человека, и, хотя нас разделяла добрая миля, я все же узнал в одном из них Большого Алека. Прежде чем ялик вернулся к берегу, я вполне убедился, что грек поставил лесу.

— Большой Алек поставил «китайскую лесу» в бухте Тернеровской верфи, — сказал в тот же день Чарли Легрант Карминтелю. На лице нашего патрульного промелькнуло выражение досады.

— В самом деле? — рассеянно спросил он, и это было все.

Чарли закусил губу, сдерживая гнев, повернулся и вышел.

— Послушай-ка, малец, ты как, не из трусливых будешь? — обратился он ко мне в тот же вечер, когда мы кончили мыть палубы «Северного Оленя» и собрались ложиться спать.

У меня от волнения сдавило горло, и я мог только кивнуть головой.

— Ну, в таком случае, — глаза Чарли заблестели решимостью, — нам с тобой придется самим заняться Большим Алеком, наперекор Карминтелю. Согласен ты помочь мне? Дело не легкое, разумеется, но мы справимся, — прибавил он, помолчав.

— Конечно, справимся! — восторженно подтвердил я.

Он повторил: «Конечно, справимся!», на этом мы пожали друг другу руки и легли спать.

Но задача, которую мы взяли на себя, действительно была не из легких. Чтобы обвинить человека в незаконной рыбной ловле, нужно было поймать его на месте преступления со всеми вещественными доказательствами: крючками, лесами, рыбой. Это значило, что мы должны захватить Большого Алека в открытых водах, где он мог легко заметить наше приближение и приготовить нам одну из тех теплых встреч, на которые он был мастер.

— Ничего другого тут не придумаешь, — сказал мне Чарли однажды утром. — Если нам удастся подойти к нему борт о борт, то шансы будут равны; значит, выход один — попытаться подойти к нему. Идем, паренек!

Мы были в колумбийской лодке для ловли лососей, в той самой, на которой охотились за китайскими рыбаками. Наступило время стоячей воды, и мы, обогнув Соланскую пристань, увидели Большого Алека за работой — он обходил свою лесу и выбирал рыбу.

— Поменяемся местами, — сказал Чарли, —

правь прямо ему в корму, как будто мы идем к верфи.

Я взялся за руль, а Чарли сел на среднюю скамью и положил возле себя револьвер.

— Если Алек начнет стрелять, — предостерег он, — ложись на дно и правь оттуда, так, чтобы видна была одна только рука.

Я кивнул головой, и мы замолчали. Лодка мягко скользила по воде, и Большой Алек все больше и больше приближался к нам. Мы видели его уже совсем ясно. Он вылавливал багром осетров и бросал их в лодку, тогда как его товарищ очищал крючки и снова опускал их в воду. Тем не менее, когда мы очутились на расстоянии пятисот ярдов от них, могучий рыболов заметил нас.

— Эй, вы! Чего вам тут надо? — крикнул он.

— Продолжай править, — прошептал Чарли, — сделай вид, будто ты ничего не слышишь.

Прошло еще несколько тревожных минут. Рыбак зорко следил за нами, а мы с каждой секундой приближались к нему.

— Убирайтесь-ка восвояси, если дорожите своей шкурой, — крикнул он, точно сообразив вдруг, кто мы такие. — Ну, живее! Не то худо будет!

Он приложил винтовку к плечу и стал целиться в меня.

— Уберетесь ли вы теперь наконец? — спросил он.

Я услыхал, как Чарли заскрежетал от досады.

— Поворачивай, — шепнул он мне. — На этот раз дело сорвалось.

Я повернул руль, отдал парус, и наша лодка сразу отошла на несколько румбов. Большой Алек наблюдал за нами, пока мы не отчалили достаточно далеко; тогда он снова принялся за работу.

— Оставьте-ка вы лучше Большого Алека в покое, — сказал нам довольно сердито Карминтель в тот же вечер.

— Значит, он вам жаловался, так что ли? — многозначительно осведомился Чарли.

Карминтель смутился и покраснел.

— Говорю вам, оставьте его в покое, — повторил он. — Это опасный человек; нам не так много платят, чтобы стоило с ним связываться.

— Да, — тихо ответил Чарли, — я слыхал, будто за то, чтобы оставить его в покое, платят гораздо лучше.

Это был прямой вызов Карминтелю, и мы увидели по выражению его лица, что удар попал не в бровь, а в глаз. Ибо ни для кого не было тайной, что Большой Алек так же охотно давал взятки, как и вступал в драку, и что за последние годы

не один патрульный пользовался деньгами греческого короля.

— Вы хотите сказать… — вызывающе начал Карминтель.

Но Чарли резко оборвал его.

— Я ничего не хочу сказать, — ответил он. — Вы слышали, что я сказал, и если на вас шапка горит…

Он пожал плечами. Карминтель метнул на него яростный взгляд, но не произнес больше ни слова.

— Чего нам не хватает, так это воображения, — сказал мне однажды Чарли, когда мы сделали попытку подкрасться к Большому Алеку на рассвете и были снова встречены стрельбой.

После этого в течение многих дней я ломал себе голову, пытаясь изобрести способ, с помощью которого два человека в открытом море могли бы схватить третьего, недурно владеющего винтовкой и никогда не расстающегося с ней. Во время стоячей воды можно было неизменно видеть Большого Алека, который, не скрываясь, среди бела дня открыто и дерзко работал со своей «китайской лесой». И обиднее всего было то, что каждый рыбак от Бенишии до Валлехо был прекрасно осведомлен о том, как Король греков

издевается над нами. Карминтель тоже мешал нам, нарочно заставляя следить за ловлей железниц в Сан-Пабло; таким образом, мы могли уделить Королю греков лишь очень немного времени. Но так как жена и дети Чарли жили в Бенишии, то мы избрали это место своей штаб-квартирой и постоянно возвращались туда.

— Я кое-что придумал, — сказал я по прошествии нескольких бесплодных недель. — Мы дождемся стоячей воды, и когда Большой Алек отправится с рыбой на берег, выйдем в лодке и захватим лесу. Это заставит его потратить время и деньги на новую лесу, а мы тем временем придумаем, как захватить и вторую. Если мы не можем поймать его, то по крайней мере отобьем охоту заниматься ловлей в этих местах, понял?

Чарли согласился, что мысль недурная. Мы стали поджидать случая. Как только наступило время между приливом и отливом и Большой Алек, собрав рыбу с лесы, вернулся на берег, мы вышли на нашей лодке. Мы знали расположение лесы по береговым знакам и были уверены, что без труда разыщем ее. Прилив только что начинался, когда мы поплыли вниз к тому месту, где по нашим предположениям находилась леса, и бросили рыбачий якорь. Мы спустили его на

коротком канате, так что он едва касался дна, и медленно потащили его за собой, пока он не задержался; лодка тоже вдруг остановилась твердо и неподвижно.

— Вот она, — воскликнул Чарли. — Ну-ка помоги мне тащить.

Мы стали вместе вытаскивать веревку, пока не показался якорь, а за ним и осетровая леса, зацепившаяся за одну из его лап. Десятки смертоносных крючков заблестели перед нами, когда мы стали освобождать якорь. Но лишь только мы направились вдоль лесы, как резкий удар по лодке заставил нас вздрогнуть. Мы оглянулись, но, ничего не заметив, снова вернулись к своей работе. Через минуту раздался второй такой же резкий удар, и планшир между Чарли и мной разлетелся в щепки.

— Похоже на пулю, парнишка, — сказал Чарли задумчиво. — И далеко же стреляет этот Большой Алек. Он стреляет бездымным порохом, — прибавил он, посмотрев в сторону берега, находившегося на расстоянии мили от нас. — Вот почему мы не слышим выстрела.

Я взглянул на берег, но не заметил там ничего похожего на Большого Алека; он несомненно прятался за каким-нибудь утесом, держа нас в своей

власти. Третья пуля ударила по воде, отскочила рикошетом, со свистом пролетела над нашими головами и снова упала в воду позади лодки.

— Пожалуй, пора убираться, — хладнокровно заметил Чарли. — Как ты на этот счет, парень?

Я был вполне согласен с ним и добавил со своей стороны, что леса, собственно, совсем не так уж нужна нам.

Вслед за этим мы подняли якорь и наставили шпрюйтовый парус. Стрельба сразу прекратилась, и мы уехали с неприятным сознанием, что Большой Алек, наверное, смеется над нашим поражением.

Но дело обстояло хуже. На следующий день, когда мы проверяли сети на рыболовной пристани, Король греков начал смеяться и издеваться над нами перед целой толпой рыбаков. Лицо Чарли потемнело от гнева, но он сдержался, пообещав только Большому Алеку непременно засадить его за решетку. Тут Большой Алек начал хвастаться, что ни одному патрулю никогда не удавалось поймать его, да никогда и не удастся, а рыбаки поддакивали ему и уверяли, что иначе и быть не может. Они пришли в такое сильное возбуждение, что, казалось, вот-вот открыто кинутся на нас, но Большой Алек, опираясь на свой королев-

ский авторитет, успокоил их.

Карминтель также смеялся над Чарли, отпускал по его адресу иронические замечания и всячески изводил его. Но Чарли сдерживался, хотя по секрету заявил мне, что решил во что бы то ни стало изловить Большого Алека, хотя бы ему пришлось посвятить этому весь остаток жизни.

— Не знаю, как я добьюсь этого, — говорил он, — но добьюсь непременно. Это так же верно, как то, что меня зовут Чарли Легрант. В свое время меня обязательно осенит, уж будь покоен.

И действительно, в свое время его осенило совершенно неожиданным образом.

Прошел целый месяц, в течение которого мы постоянно ходили вверх и вниз по реке и по заливу, не имея ни одной свободной минуты, чтобы заняться нашим рыбаком, а тот в это время преспокойно ловил рыбу «китайской лесой» в бухте Тернеровской верфи. Однажды днем нас вызвали по патрульному делу в плавильню. И тут-то совершенно неожиданно нам представился долгожданный случай. Он явился под видом беспомощной яхты, набитой людьми, страдавшими морской болезнью, и мы лишь с большим трудом распознали в ней тот благоприятный случай, которого мы так давно ждали. Это была

большая яхта-шлюп; она находилась в совершенно беспомощном положении, потому что муссон дул без малого с силой настоящего шторма, а на борту ее не было ни одного настоящего моряка.

Мы с некоторым любопытством наблюдали с пристани Сельби за неумелыми маневрами, имевшими, по-видимому, целью поставить яхту на якорь, и за столь же неумелыми попытками спустить ялик, который должен был отправиться к берегу. Какой-то очень жалкого вида человек в грязной парусиновой одежде, едва-едва не потопив ялик в огромных волнах, бросил нам конец и вылез на берег. Он так нетвердо стоял на ногах, точно пристань опускалась и поднималась под ним; оправившись немного, несчастный моряк рассказал нам о своих злоключениях, то есть, вернее, о злоключениях яхты, с которой он прибыл.

Единственного опытного моряка на борту, человека, от которого они все зависели, вызвали телеграммой обратно в Сан-Франциско, и они попробовали продолжать путь одни. Однако сильный ветер и волнение в бухте Сан-Пабло оказались не под силу новоиспеченным морякам. Вся команда больна, никто не имеет представления о том, что нужно делать, да и не умеет ничего делать. Они подошли к плавильне с тем, чтобы

оставить здесь яхту или отыскать кого-нибудь, кто отвел бы ее в Бенишию. Короче говоря, не знаем ли мы какого-нибудь моряка, который согласился бы доставить яхту в Бенишию. Чарли посмотрел на меня. «Северный Олень» спокойно стоял на якоре. От патрульной работы мы были свободны до полуночи. При этом ветре мы могли смело дойти до Бенишии в два-три часа, провести несколько часов на берегу и вернуться в плавильню с вечерним поездом.

— Ладно, капитан, — сказал Чарли приунывшему яхтсмену, который бледно улыбнулся, услыхав этот титул.

— Я только владелец, — объяснил он.

Мы доставили его на яхту несравненно лучше и быстрее, чем сделал это он, переправляясь с яхты на берег, и убедились собственными глазами в полной беспомощности пассажиров. Их было человек двенадцать мужчин и женщин, и все они так сильно страдали, что не могли даже как следует порадоваться нашему появлению. Яхта неистово качалась, и владелец, не успев ступить на нее, тотчас же свалился и разделил общую участь. Никто из них не был в состоянии хоть чем-нибудь помочь, так что нам с Чарли пришлось вдвоем освободить запутавшийся привод,

поставить парус и поднять якорь.

Это было тяжелое, хотя и недолгое путешествие. Каркинезский пролив представлял собой настоящий вулкан брызг, и мы стремительно прошли его на фордевинде, причем большой грот во время этого отчаянного бега попеременно то опускал, то вздымал к небу свой гик. Но пассажиры ни на что не обращали внимания и оставались равнодушны ко всему. Двое или трое, среди них и владелец, барахтались в кубрике, вздрагивая каждый раз, когда яхта стремительно взлетала на гребень волны или с головокружительной быстротой ныряла вниз, и только изредка бросали тоскливые взоры в сторону берега. Остальные лежали на полу каюты на подушках. Время от времени раздавался чей-нибудь стон, но большей частью они лежали совершенно неподвижно, точно мертвецы.

Когда мы подошли к Тернеровской верфи, Чарли направил яхту в бухту, так как там было спокойнее. Бенишия уже виднелась перед нами, и мы шли по сравнительно спокойным водам, как вдруг увидели перед собой силуэт лодки, танцевавшей на волнах. Было как раз время стоячей воды. Мы с Чарли переглянулись. Мы не обменялись ни единым словом, но яхта вдруг на-

чала проделывать самые необычайные маневры, меняя каждую минуту направление и кружась по воле ветра, как будто на руле ее сидел самый отъявленный любитель. Это было прелюбопытное зрелище для моряка. Можно было подумать, что яхта сама оторвалась откуда-то и, как безумная, носилась по бухте, лишь временами подчиняясь чьей-то воле, делавшей отчаянные усилия, чтобы направить ее в Бенишию.

Владелец яхты забыл про свою болезнь и с тревогой озирался на нас. Пятно лодки становилось все больше и больше, пока мы не разглядели, наконец, Большого Алека и его товарища с петлей осетровой лесы, обернутой вокруг утка. Они оставили работу, чтобы посмеяться над нашими усилиями. Чарли надвинул на глаза свой шлем, и я, не рассуждая, последовал его примеру, хотя никак не мог угадать, для чего, собственно, он разыгрывает всю эту комедию.

Мы подошли к лодке так близко, что, несмотря на ветер, расслышали слова Большого Алека и его помощника: они ругали нас со всем презрением, которое чувствуют к любителям профессиональные моряки, особенно, когда любители разыгрывают из себя таких дураков.

Мы с грохотом пронеслись мимо них, и я уви-

дел, что ничего не произошло. Чарли усмехнулся, заметив разочарование, отразившееся на моем лице, и закричал:

— Стой на шкотах для поворота! — Он круто повернул руль, и яхта послушно и быстро стала поворачиваться. Грот дал слабину, спустился, пронесся над нашими головами вслед за гаком и с треском закрепился на бугеле. Яхта сильно накренилась, и больные пассажиры с воплями отчаяния покатились по полу каюты, свалившись все в одну груду у коек левого борта.

Но нам было не до них. Яхта, выполнив маневр, пошла против ветра и стала на ровный киль. Теперь мы неслись прямо на лодку. Я увидел, как Большой Алек прыгнул через борт, а его товарищ ухватился за наш бушприт. Затем раздался треск в тот момент, когда яхта ударила лодку, и ряд толчков, когда разбитый ялик прошел под нашим дном.

— Ну, теперь каюк его винтовке, — пробормотал Чарли и вскочил на палубу, чтобы посмотреть, нет ли Большого Алека где-нибудь на корме.

Ветер и море быстро остановили наше движение вперед, и нас стало относить обратно к тому месту, где была лодка. Черная голова и смуглое лицо Алека показались на поверхности совсем

близко от нас. Грек ничего не подозревал и был страшно возмущен тем, что принимал за неловкость любителей. Мы вытащили его на борт. Король греков с трудом переводил дыхание, так глубоко пришлось ему нырять, чтобы не попасть под наш киль.

В следующий момент, к великому изумлению и ужасу владельца яхты, Чарли сидел в кубрике верхом на Большом Алеке, а я помогал ему связывать Короля греков веревками. Владелец взволнованно бегал вокруг нас и требовал объяснений. Но в это время товарищ Большого Алека приполз с бушприта на корму и с опаской заглянул через перила в кубрик. Чарли схватил его за шиворот, и тот растянулся на спине рядом с Большим Алеком.

— Еще веревок! — крикнул Чарли, и я поспешил исполнить приказание.

Разбитый ялик вяло покачивался неподалеку от нас; я наставил паруса, а Чарли взялся за руль и направил яхту к нему.

— Эти люди — закоренелые преступники, — объяснил он рассерженному владельцу, — они постоянно нарушают законы рыбной ловли и охоты. Вы видели, что, когда мы поймали их, они занимались своим преступным делом, и вас,

несомненно, вызовут свидетелем на суд.

Тем временем мы подошли к ялику, за которым волочилась оборвавшаяся леса. Чарли вытащил сорок или пятьдесят футов лесы, на конце которой бился молодой осетр, прочно запутавшийся в ее острых безбородых крючках. Чарли отрезал ножом этот кусок лесы и бросил его в кубрик рядом с пленниками.

— А вот и вещественное доказательство; улика номер один для публики, — продолжал Чарли, — присмотритесь хорошенько и к этой штуке, чтобы вы могли опознать ее на суде, да заодно запомните также место и время, где преступники были пойманы.

Затем, перестав кружить и вилять, мы с триумфом пошли прямо в Бенишию, а в кубрике лежал крепко связанный Король греков, в первый раз захваченный рыбачьим патрулем.

Набег на устричных пиратов

Из всех начальников рыбачьего патруля, с которыми нам приходилось служить, лучшим был Нейль Партингтон. Таково мое мнение, да и Чарли полностью согласен со мной.

Партингтон был честный малый, и притом не из трусливого десятка; правда, он требовал от нас беспрекословного повиновения при исполнении служебных обязанностей, но наши отношения носили, тем не менее, вполне товарищеский характер, и Нейль предоставлял нам такую свободу действий, к которой мы не всегда бывали подготовлены, как это покажет настоящий рассказ.

Семья Нейля жила в Оклэнде, на Нижней бухте, в шести милях по морю от Сан-Франциско. Однажды, когда мы делали рекогносцировку среди китайцев, занимавшихся ловлей креветок у мыса Педро, Партингтон получил известие, что его жена серьезно заболела, и через час «Северный Олень» при свежем попутном ветре уже шел полным ходом в Оклэнд. Мы вошли в Оклэндский лиман и стали на якорь. В следующие дни, покуда Нейль находился на берегу, мы с Чарли подтянули снасти, перебрали балласт, почисти-

лись, одним словом, привели шлюп в полный порядок.

Когда же мы покончили с этим, время стало тянуться медленно и тоскливо. Жена Нейля была опасно больна, и нам предстояло простоять на якоре целую неделю в ожидании кризиса. Мы с Чарли целыми днями слонялись по докам, стараясь найти какое-нибудь занятие, и таким образом набрели на устричную флотилию, стоявшую у Оклэндской городской пристани. В основном это были славные оснащенные лодочки, быстроходные и прочные, и мы с небрежным видом уселись на краю пристани, чтобы как следует рассмотреть их.

— Недурной улов, — сказал Чарли, указывая на устриц, разложенных на палубе одного из судов на три груды по величине.

Разносчики со своими тележками останавливались на самом краю пристани, и из их переговоров и споров я узнал рыночную цену устриц.

— На этом судне по меньшей мере на двести долларов устриц, — высчитал я. — Интересно бы знать, сколько времени они потратили на такой улов?

— Три-четыре дня, — ответил Чарли. — Недур-

ной заработок: по двадцать пять долларов в день на брата.

Лодка, о которой шла речь, называлась «Призрак» и стояла прямо под нами. Команда ее состояла из двух человек. Один — приземистый коренастый парень с необычайно длинными, точно у гориллы, руками, другой — высокого роста, хорошо сложенный малый, с ясными голубыми глазами и копной прямых черных волос. Этот контраст между цветом волос и глаз был так необычен и так резко бросался в глаза, что мы с Чарли задержались на пристани дольше, чем хотели.

И правильно сделали. Вскоре к краю пристани подошел толстый пожилой человек — по виду и костюму зажиточный купец — и остановился рядом с нами, глядя вниз на палубу «Призрака». Он, по-видимому, был чем-то рассержен и чем дольше смотрел на судно, тем больше раздражался.

— Это мои устрицы, — произнес он наконец. — Я знаю, что это мои устрицы. Сегодня ночью вы совершили набег на мои устричные отмели и ограбили их.

Оба парня с «Призрака», высокий и приземистый, посмотрели наверх.

— Мое почтение, Тафт! — сказал низенький

человек с наглой развязностью (среди плавучего населения бухты он был известен под кличкой Осьминог, которую получил за свои длинные руки). — Мое почтение, Тафт! — повторил он с тем же нахальством. — Чего это вы там разворчались?

— Это мои устрицы — вот что я говорю. Вы украли их с моих отмелей.

— Уж больно вы догадливы, как я посмотрю, — насмешливо ответил Осьминог, — и всегда вы так узнаете своих устриц, где бы ни увидели их?

— Нет, а по-моему, — вмешался высокий человек, — устрицы всегда остаются устрицами, откуда бы вы их ни выловили, они совершенно одинаковы во всем заливе, да и на всем свете, уж если на то пошло. Мы совсем не желаем ссориться с вами, мистер Тафт, но не хотим также, чтобы вы заявляли, будто это ваши устрицы, и обзывали нас ворами и грабителями. Попробуйте-ка раньше доказать, что это ваш товар, а потом уже говорите.

— Я уверен, что это мои устрицы, даю голову на отсечение! — прорычал мистер Тафт.

— Докажите это, — заявил высокий человек, который, как мы узнали после, носил кличку Дельфин за свое замечательное умение плавать.

Мистер Тафт беспомощно пожал плечами. Разумеется, он не мог доказать, что это его устрицы, как бы он ни был в этом уверен.

— Я отдал бы тысячу долларов, чтобы засадить вас в тюрьму, — крикнул он, — и готов заплатить сто долларов тому, кто уличит и задержит вас обоих.

Со всех лодок раздались взрывы смеха, ибо остальные хищники тоже прислушивались к разговору.

— Устрицы стоят дороже, — колко заметил Дельфин.

Мистер Тафт нетерпеливо повернулся и отошел. Чарли уголком глаза незаметно проследил за тем, куда он пошел, и через несколько минут, когда мистер Тафт скрылся за углом, мой товарищ лениво поднялся на ноги. Я последовал за ним, и мы побрели в противоположную сторону.

— Ну, теперь живо! — прошептал Чарли, когда мы скрылись из глаз устричной флотилии.

Мы тотчас же переменили направление и помчались, кружа по боковым улицам, вдогонку за мистером Тафтом, тучная фигура которого виднелась впереди.

— Нужно условиться с ним насчет вознаграждения, — объяснял Чарли, пока мы нагоняли

владельца устричных отмелей. — Нейль задержится здесь по крайней мере еще неделю, и мы с тобой могли бы тем временем заработать кое-что. Что ты скажешь?

— Конечно, конечно, — сказал мистер Тафт, когда Чарли представился и объяснил ему свое намерение. — Эти грабители ежегодно обкрадывают меня на тысячи долларов, и я готов заплатить сколько угодно, лишь бы избавиться от них, — да, сэр, сколько угодно. Как я уже сказал, я дам вам по пятидесяти долларов за каждого и буду считать, что и это еще дешево. Они ограбили мои отмели, сорвали мои значки, терроризировали моих сторожей и в прошлом году убили одного из них. Я не мог доказать, что это дело их рук. Все было сделано ночью. Кроме убитого сторожа, никаких следов преступления не было. Сыщики ничего не нашли. Никто не может ничего поделать с этими людьми, и нам ни разу не удавалось задержать хотя бы одного из них. Поэтому я и говорю, мистер — как ваша фамилия, я не расслышал?

— Легрант, — ответил Чарли.

— Так вот, мистер Легрант, я чрезвычайно благодарен за помощь, которую вы мне предлагаете. И буду рад, очень рад, сэр, всячески содействовать

вам. Мои сторожа и люди в вашем распоряжении. Вы можете в любое время найти меня в Сан-Франциско в моей конторе или протелеграфировать туда же за мой счет. Не стесняйтесь в расходах. Я покрою ваши издержки, каковы бы они ни были, если только, разумеется, они будут целесообразны. Положение стало просто невыносимым; необходимо принять решительные меры, чтобы выяснить, наконец, кому принадлежат эти устричные отмели — мне или этой шайке разбойников.

— А теперь отправимся к Нейлю, — сказал Чарли, когда мы проводили мистера Тафта на поезд в Сан-Франциско.

Нейль Партингтон не только не стал отговаривать нас от этого предприятия, но, напротив, выразил готовность помочь нам. Мы с Чарли ничего не знали об устричном промысле, тогда как его голова была настоящей энциклопедией по этой части. Час спустя он повел нас к одному греку, юноше лет семнадцати или восемнадцати, который знал как свои пять пальцев всю подноготную устричного хищничества.

Тут я считаю нужным сказать, что мы с Чарли были в патруле чем-то вроде добровольцев, тогда как Нейль Партингтон считался штатным

патрульным и получал определенное жалованье. Чарли и я были как бы его сверхштатными помощниками и получали только то, что зарабатывали, то есть известный процент со штрафов, налагавшихся на уличенных нами нарушителей законов о рыбной ловле. Таким образом, мы считали, что имеем полное право на всякое случайно подвернувшееся вознаграждение. Мы предложили Партингтону поделиться с ним тем, что получим от м-ра Тафта, но патрульный и слышать не захотел об этом. Он заявил, что очень рад оказать услугу людям, которые столько раз выручали его.

Мы устроили настоящий военный совет и выработали следующий план действий.

На Нижней бухте нас почти никто не знал в лицо; но поскольку «Северный Олень» был всем известен как патрульное судно, мы решили, что я, вместе с молодым греком (его звали Николаем), отправлюсь на каком-нибудь невинном суденышке к острову Аспарагусу, чтобы присоединиться там к флотилии устричных хищников. В этом месте, судя по рассказам Николая, мы легко могли накрыть хищников во время ловли устриц и арестовать их, таким образом, на месте преступления. Чарли же должен был остаться на

берегу со сторожами мистера Тафта и нарядом полицейских, чтобы в нужную минуту прийти нам на помощь.

— У меня есть на примете подходящая лодка, — сказал Нейль в заключение. — Это ветхий негодный шлюп, который стоит теперь в Тибуране. Вы с Николаем можете переправиться туда на пароме, нанять его за какие-нибудь гроши и отправиться прямо к отмелям.

— Желаю вам удачи, ребята, — сказал он через два дня, прощаясь с нами. — Помните только, что это очень опасные люди, и будьте осторожны.

Нам с Николаем удалось очень дешево нанять шлюп. Натягивая паруса, мы со смехом решили, что он еще невзрачнее и хуже, чем нам его описывали. Это было большое плоскодонное судно с четырехугольной кормой, оснащенное, как шлюп, с треснувшей мачтой, никуда не годным такелажем и ржавым приводом; оно было очень неповоротливо и плохо слушалось руля. Кроме того, от него отвратительно пахло угольной смолой, так как все оно было вымазано этим вонючим составом — от штевня до кормы и от крыши каюты до киля. А в довершение во всю длину каждого борта тянулась большими белыми буквами надпись: «Угольная смола Мэгги».

Путешествие от Тибурана до Аспарагуса мы совершили без всяких приключений, но при этом очень забавлялись всю дорогу.

К острову мы подошли на следующий день. Флотилия устричных хищников, — приблизительно около дюжины судов, — стояла на якоре у так называемых «Заброшенных отмелей». «Угольная смола Мэгги», подгоняемая легким ветерком, медленно вошла в середину флотилии, и хищники высыпали на палубы, чтобы посмотреть на нас. Мы с Николаем, ознакомившись за время путешествия с нравом нашего ветхого корвета, управляли им самым неловким образом.

— Что это такое? — спросил кто-то.

— А попробуй-ка угадай, если можешь, — отозвался другой.

— Будь я проклят, если это не Ноев ковчег, — воскликнул Осьминог с палубы «Призрака».

— Эй, вы там, капитан! — крикнул другой шутник. — Из какого порта держите путь?

Мы не обращали внимания на насмешки и продолжали править с ловкостью самых зеленых новичков, делая вид, будто «Угольная смола Мэгги» поглощает целиком наше внимание. Я повернул ее к ветру и поставил повыше «Призрака», а Николай побежал вперед, чтобы спустить

якорь. Он сделал это, должно быть, очень неумело, потому что цепь запуталась и якорь не достал до дна.

Мы с Николаем изобразили ужасное волнение, изо всех сил стараясь распутать цепь. Как бы то ни было, мы ловко провели хищников, и они с величайшим наслаждением принялись издеваться над нашей неловкостью.

Но цепь никак не желала распутываться, и мы, под градом насмешек и всевозможных язвительных советов, стали дрейфовать, пока не наскочили на «Призрак».

Бушприт его проткнул наш грот и проделал в нем дыру величиной с ворота гумна. Осьминог и Дельфин, сидя на рубке, корчились от смеха, предоставив нам самим как угодно выпутываться из беды. После долгих неловких усилий это, наконец, удалось нам. Затем мы распутали якорную цепь и отдали приблизительно триста футов ее. Поскольку под нами было не больше десяти футов глубины, то длина каната давала «Угольной смоле Мэгги» возможность передвигаться по кругу с диаметром в шестьсот футов, а на этом пространстве она могла прийти в соприкосновение по меньшей мере с половиной флотилии.

Устричные хищники стояли близко друг от

друга на коротких канатах, так как погода была тихая. Они громко запротестовали, увидев, что мы по невежеству выбросили такую непомерно длинную якорную цепь. И они не ограничились одним только протестом, а заставили нас снова поднять цепь и выбросить всего-навсего тридцать футов.

Достаточно убедив их в своей неловкости, мы спустились вниз, чтобы поздравить друг друга с успехом и приготовить ужин. Не успели мы поесть и вымыть посуду, как к борту «Угольной смолы Мэгги» подошел ялик, и на палубе раздались тяжелые шаги. Затем в отверстии двери показалось жестокое лицо Осьминога, и он вошел в каюту в сопровождении Дельфина. Не прошло нескольких минут, как к борту подошел другой ялик, а за ним еще и еще, пока, наконец, к нашей каюте не собралась вся флотилия.

— Где это вы слямзили такую старую калошу? — спросил приземистый волосатый человек с жестокими глазами, похожий с виду на мексиканца.

— Мы ее не слямзили, — ответил Николай на том же жаргоне, поддерживая, таким образом, предположение, что мы действительно украли «Угольную смолу Мэгги». — А если бы и так, что

же из этого?

— Да ничего, а только я не в восторге от вашего вкуса, — насмешливо ответил мексиканец. — Я уж лучше сгнил бы на берегу, чем польстился на этакую лохань. Ведь она поди сама об себя спотыкается.

— Откуда же нам было знать это, покуда мы ее не испробовали? — заявил Николай с таким наивным видом, что все покатились со смеху. — А как вы ловите устриц? — поспешно спросил он. — Нам их требуется много, целая куча; для них-то мы и приехали, для устриц то есть…

— А на что они вам? — спросил Дельфин.

— Ну, конечно, на то, чтобы приятелям раздавать, — ехидно ответил Чарли, — ведь и вы, как я понимаю, делаете с ними то же самое.

Это вызвало новый взрыв смеха, и по мере того как наши гости становились веселее, мы все больше убеждались, что у них нет ни малейшего подозрения относительно того, кто мы и чего хотим.

— Никак это я тебя видел на днях в Оклэндских доках? — спросил меня вдруг Осьминог.

— Верно, — смело ответил я, решив идти напролом. — Я как раз смотрел на вас, ребята, и соображал, стоит нам заняться устрицами или

нет. Ну вот и сообразил, что это прибыльное дельце, потому-то мы и явились сюда. То есть, — поспешно добавил я, — если вы, ребята, не будете иметь ничего против.

— Вот что я скажу вам, — ответил Осьминог, — вам придется поворочать мозгами и раздобыть себе судно получше этого. Мы не желаем срамиться с таким старым ящиком. Поняли?

— Конечно, — ответил я. — Вот только продадим устрицы и сейчас же обделаем все это в лучшем виде.

— Если вы окажетесь подходящими и надежными ребятами, — продолжал он, — что ж, пожалуй, работайте с нами! Но если нет (тут голос его сделался суровым и угрожающим), ну, тогда уж вам не сдобровать. Поняли?

— Конечно, — ответил я.

После ряда подобных советов и предостережений разговор сделался общим, и мы узнали, что в эту же ночь предполагается совершить набег на отмели. Гости просидели у нас около часа и на прощание предложили нам принять участие в набеге, так как «чем больше народа, тем веселее».

Затем они сели в свои лодки и отчалили.

— Приметил ты этого низенького малого, что

смахивает на мексиканца? — спросил Николай, когда они разъехались. — Это Барки, из «Спортивной шайки», а малый, приехавший вместе с ним, — Спиллинг. Теперь они оба выпущены из тюрьмы под залог в пять тысяч долларов.

Мне не раз приходилось слышать о «Спортивной шайке». Этот отряд хулиганов и преступников терроризировал нижние кварталы Оклэнда. Две трети этой шайки постоянно пребывали в государственных тюрьмах за разные преступления, начиная с лжесвидетельства и мошенничества при выборах и кончая убийством.

— Это не настоящие устричные хищники, — продолжал Николай. — Они торчат здесь просто из озорства, да, кстати, чтобы подработать несколько долларов. Нам придется следить за ними в оба.

Мы сидели в кубрике, обсуждая подробности нашего плана, как вдруг около одиннадцати часов со стороны «Призрака» раздался шум весел. Мы подтянули наш ялик, бросили в него несколько мешков и поехали к «Призраку». Все ялики находились в сборе, так как решено было сделать набег всем сообща.

К моему удивлению, глубина воды едва дотягивала теперь до одного фута, а между тем, когда

мы бросали якорь, она достигала не менее десяти футов глубины. Это был большой июньский отлив во время полнолуния, и так как он должен был продолжаться еще полтора часа, то можно было ожидать, что место, где мы стояли на якоре, под конец совсем высохнет.

Отмели мистера Тафта находились в трех милях от места нашей стоянки, и мы долго гребли в полном молчании вслед за другими лодками. Время от времени наша лодка садилась на мель, а весла почти постоянно задевали дно. Наконец мы оказались в полосе мягкой тины, которую вода покрывала всего на каких-нибудь два дюйма. Дальше лодки не могли плыть. Хищники тотчас же выскочили за борт и потащили волоком свои плоскодонные ялики. Мы двинулись вслед за ними.

Круглый лик луны временами скрывался за быстро бегущими облаками, но наши спутники двигались с уверенностью, выработанной долгой практикой. Полоса тины тянулась приблизительно с полмили, затем мы вошли в глубокий канал и снова сели на весла. По обеим сторонам пролива тянулись высокие сухие отмели, на которых виднелись груды мертвых устриц. Наконец мы достигли места, где собирали устриц.

Два человека, сторожившие одну из отмелей, окликнули нас и приказали нам удалиться. Но Осьминог, Дельфин, Барки и Спиллинг поплыли вперед, за ними последовали все остальные, и, таким образом, тридцать человек, занимавшие по меньшей мере пятнадцать лодок, стали грести прямо на сторожей.

— Эй, убирайтесь-ка лучше подобру-поздорову, — угрожающе крикнул Барки, — или мы понаделаем столько дыр в ваших лодках, что они и в патоке потонут.

Сторожа благоразумно отступили перед такими превосходными силами и поплыли по каналу, направляясь к берегу. Ничего другого от них и не требовалось.

Мы вытащили лодки на край большой отмели, рассыпались во все стороны и стали собирать устриц в мешки. Время от времени луна выходила из-за облаков, и тогда мы совершенно ясно видели перед собой больших устриц.

Когда мешки наполнялись, их относили в лодки и брали оттуда другие. Мы с Николаем часто в тревоге возвращались к лодке с полупустыми мешками, но всякий раз натыкались на какого-нибудь хищника, который относил полный мешок или возвращался с пустым.

— Не беспокойтесь, — сказал Николай, — торопиться нечего. Они будут уходить все дальше и дальше, так что им потребуется скоро очень много времени, чтобы доносить мешки до лодок. Тогда они начнут ставить наполненные мешки стоймя, на краю отмелей, чтобы собрать их во время прилива, когда к ним можно будет подъехать на яликах.

Прошло добрых полчаса, и прилив уже начинался, когда произошло следующее. Оставив хищников за работой, мы украдкой вернулись к лодкам, бесшумно оттолкнули их от берега и связали их все вместе в одну нескладную флотилию. Как раз когда мы сталкивали последнюю лодку, нашу собственную, подошел один из хищников. Это был Барки. Он моментально сообразил, в чем дело, и кинулся на нас; но мы сильно оттолкнулись, и он очутился в воде, которая покрыла его с головой. Выбравшись снова на отмель, он тотчас же поднял крик, предупреждая товарищей об опасности.

Мы гребли изо всех сил, но флотилия, которую мы тащили за собой, сильно замедляла движение. С отмели донесся револьверный выстрел, за ним второй и третий, затем начался повальный обстрел. Пули так и шлепались вокруг нас. Но

густые облака закрыли луну, и в наступившей темноте стрельба продолжалась уже наугад. В нас могли попасть только случайно.

— Недурно было бы иметь теперь паровой катер, — сказал я, с трудом переводя дыхание.

— А еще лучше, если бы луна больше не показывалась, — ответил, также задыхаясь, Николай.

Дело подвигалось медленно, но каждый взмах весел отдалял нас от отмели и приближал к берегу, пока, наконец, стрельба не замерла вдали. И когда луна выплыла снова, мы были уже вне опасности. Вскоре мы уже отвечали на оклики с берега; две полицейские лодки, с тремя гребцами в каждой, тотчас же подошли к нам. Приветливое лицо Чарли склонилось над нами, он с жаром пожимал нам руки, восклицая:

— Ай да молодцы! Ну и молодцы же вы оба!

Когда флотилия причалила к берегу, мы с Николаем и одним из сторожей пересели на весла в одну из полицейских лодок, а Чарли стал у руля. Две другие полицейские лодки следовали за нами, и так как луна светила теперь очень ярко, то мы легко разыскали хищников на уединенных отмелях. Как только мы приблизились, они открыли стрельбу из своих револьверов, и мы быстро отступили.

— Торопиться некуда, — сказал Чарли. — Вода быстро прибывает, и когда она будет им по горло, весь пыл наших молодцов улетучится.

Итак, мы легли на весла, ожидая, чтобы прилив сделал свое дело. После большого отлива вода стремительно бежала теперь обратно, точно по мельничному лотку, и самый лучший пловец в мире не сделал бы против течения трех миль, которые отделяли хищников от их шлюпок, а между ними и берегом были мы, преграждая бегство в этом направлении. Вода между тем быстро заливала отмели и через несколько часов должна была неминуемо покрыть их с головой.

Стояла удивительно тихая погода, и луна светила ярким ровным светом. Мы наблюдали за хищниками в ночной бинокль, рассказывая при этом Чарли о нашем плавании на «Угольной смоле Мэгги». Наступил час, затем два часа ночи, хищники столпились на самой высокой отмели, стоя там по пояс в воде.

— Вот что значит сообразительность, — говорил Чарли. — Тафт целые годы старался поймать их, но он шел на них открыто, опираясь на грубую силу, и потерпел неудачу. А вот мы поработали головой…

В эту минуту я уловил едва слышный плеск

воды и поднял руку в знак молчания. Обернувшись, я указал товарищам на круги, медленно расходившиеся по воде не далее как в пятидесяти футах от нас. Мы ждали, затаив дыхание. Через минуту вода в шести футах от нас расступилась и на поверхности в лунном свете показалась черная голова и белое плечо. Послышался звук, как будто человек не то фыркнул от удивления, не то просто с шумом выпустил дыхание; затем голова и плечо скрылись.

Мы несколько раз ударили по воде веслами и пошли по течению. Четыре пары глаз следили за поверхностью воды, но нигде не показывалось ни малейшей ряби, и мы так и не увидели больше черной головы и белых плеч.

— Это Дельфин, — сказал Николай. — Его и среди дня ни за что не поймаешь.

Без четверти три хищники запросили, наконец, пощады.

Мы услышали крик о помощи и безошибочно узнали голос Осьминога. На этот раз, когда мы приблизились, никто уже не пробовал стрелять в нас. Осьминог, действительно, находился в опасном положении. Из воды торчали лишь головы и плечи его товарищей-хищников, которые связались вместе, чтобы лучше устоять против

течения; но ноги Осьминога не доставали до дна, так что товарищи должны были поддерживать его над водой.

— Ну, ребята, — весело сказал Чарли, — теперь вы в наших руках и уйти вам некуда. Если вы будете артачиться, мы вас оставим здесь, и вода живо вас прикончит. Но если вы будете паиньками, мы переведем вас поодиночке на борт и спасем всех до единого. Что вы на это скажете?

— Согласны, — хрипло ответили они хором, выбивая зубами мелкую дробь.

— Ну так подходите поодиночке, начиная с самого маленького.

Первым попал на борт Осьминог, и он, право, полез в лодку очень охотно, хотя счел нужным запротестовать, когда констебль надел на него наручники. Вслед за ним подняли Барки, совершенно размякшего и смирившегося после долгого сидения в воде. Когда в нашу лодку набралось десять человек, мы отошли, и вслед за нами стала нагружаться вторая лодка. Третьей лодке досталось только девять пленников. Таким образом, оказалось, что мы захватили двадцать девять хищников.

— А Дельфина-то вы все-таки не поймали, — сказал Осьминог с торжеством, словно побег его

товарища уменьшал цену нашей победы.

Чарли рассмеялся.

— Зато мы видели, как он фыркал и пыхтел, точно задыхающаяся свинья, когда плыл к берегу.

Мы привели в устричный домик смиренную и дрожащую от холода банду хищников. На стук Чарли дверь распахнулась, и нас обдало приятной волной теплого воздуха.

— Вы можете здесь обсушиться, ребята, и напиться горячего кофе, — сказал Чарли, когда все они вошли в дом.

Каково же было наше удивление, когда внутри мы увидели у огня Дельфина с кружкой дымящегося кофе в руках. Мы с Николаем, точно по уговору, посмотрели на Чарли. Он весело расхохотался.

— И тут тоже одна только сообразительность, ребята. Уж если ты что-нибудь разглядываешь, так гляди со всех сторон, а то что толку и смотреть-то? Я увидел берег и оставил там пару констеблей, чтобы они наблюдали за ним. Вот и все.

Осада «Ланкаширской королевы»

Мне кажется, что самым трудным делом за все время нашей службы в рыбачьем патруле была осада большого четырехмачтового английского судна, которую мы с Чарли вели в течение двух недель.

Дело это представляло собой самую настоящую и даже довольно трудную математическую задачу, и нам только по счастливой случайности удалось найти метод, который позволил правильно ее решить.

После набега на устричных хищников мы вернулись в Оклэнд; прошло еще целых две недели, прежде чем жена Нейля Партингтона оказалась вне опасности и начала выздоравливать. Таким образом, мы ровным счетом через месяц повернули нос «Северного Оленя» к Бенишии. Когда кошка отлучается, мышки начинают пошаливать: за четыре недели нашего отсутствия рыбаки повадились очень дерзко нарушать законы о рыбной ловле. Миновав мыс Педро, мы тотчас же заметили много признаков усиленной деятельности ловцов креветок, а в заливе Сан-Пабло увидели в Верхней бухте широко раскинувшуюся

флотилию рыбачьих лодок, на которых тут же стали торопливо вытаскивать сети и наставлять паруса.

Одного этого было достаточно, чтобы вызвать подозрения, и мы тотчас же пустились вслед за ними. И действительно, на первой и единственной лодке, которую нам удалось поймать, мы нашли незаконную сеть. В сетях для ловли сельдей расстояние между петлями должно быть по закону не меньше семи с половиной дюймов от узла до узла, тогда как в захваченной нами сети это расстояние не превышало трех дюймов. Это было явное нарушение закона, и мы тут же задержали обоих рыбаков. Одного Нейль Партингтон взял с собой, чтобы тот помогал ему управлять «Северным Оленем», а мы с Чарли перешли ко второму в захваченное судно.

Однако флотилия мчалась на всех парусах к Петалумскому берегу, и за весь остальной путь по заливу Сан-Пабло мы не встретили больше ни одного рыбака. Наш пленник — бронзовый от загара бородатый грек — мрачно сидел на своей сети, в то время как мы правили его судном. Это была новая лодка для ловли лососей с реки Колумбия; она, по-видимому, совершала свой первый рейс и шла великолепно. Чарли похва-

лил судно, но наш пленник продолжал угрюмо молчать, делая вид, что не обращает на нас никакого внимания, и мы вскоре решили, что это на редкость необщительный малый.

Мы миновали Каркинезский пролив и зашли в бухту у Тернеровской верфи, где вода была значительно спокойнее. Там стояло несколько английских железных парусных судов, ожидавших груза пшеницы, и там же, на том самом месте, где был захвачен Большой Алек, мы совершенно неожиданно наткнулись на ялик с двумя итальянцами, при которых оказалась вполне оборудованная «китайская леса» для ловли осетров. Эта встреча явилась полной неожиданностью как для нас, так и для них, и мы налетели на ялик, прежде чем успели что-нибудь сообразить. Чарли едва успел вовремя привести лодку к ветру, чтобы подойти к ним. Я же побежал на нос, бросил им конец и приказал закрепить его. Один из итальянцев обвернул его вокруг утки, в то время как я поспешно спускал наш большой шпрюйтовый парус. Когда все было готово, наше судно сдрейфовало на корму и тяжело потащилось за яликом.

Чарли пошел вперед, чтобы перевести добычу в нашу лодку, но когда я начал подтягивать ялик

к борту, итальянцы отпустили конец. Нас тотчас же стало относить, между тем как они, взявшись за две пары весел, погнали свое легкое суденышко прямо против ветра. Этот маневр привел нас в некоторое замешательство, потому что мы никак не могли рассчитывать догнать их на веслах в своей тяжелой и сильно нагруженной лодке. Но тут к нам на помощь неожиданно пришел наш пленник. Его черные глаза вдруг засверкали, а лицо загорелось от сдерживаемого возбуждения; он одним прыжком очутился на носу и поставил парус.

— Я часто слышал, что греки ненавидят итальянцев, — смеясь сказал Чарли, направляясь к рулю.

Никогда в жизни мне не приходилось видеть, чтобы один человек так страстно желал поймать другого, как это было с нашим пленником во время погони за яликом итальянцев. Глаза его метали искры, ноздри трепетали и расширялись. Чарли правил рулем, а он парусом, и хотя Чарли был проворен и ловок, как кошка, грек едва сдерживал свое нетерпение.

Итальянцы были отрезаны от берега, ближайшая точка которого находилась на расстоянии доброй мили от них. Если бы они попытались

добраться до нее, то мы, идя под полным ветром, догнали бы их прежде, чем они успели бы пройти одну восьмую этого расстояния. Но они были слишком умны, чтобы сделать подобную попытку, и продолжали грести изо всех сил против ветра вдоль правого борта большого корабля «Ланкаширская Королева». Однако за судном находилась открытая полоса воды, отделенная от берега добрыми двумя милями; туда они также не решались войти, потому что мы обязательно нагнали бы их прежде, чем они покрыли бы это расстояние. Поэтому, когда они очутились у носа «Ланкаширской Королевы», им не оставалось ничего другого, как обойти ее и пойти вдоль другой стороны судна к корме, что опять-таки значило пойти по ветру и дать нам таким образом преимущество.

Мы же на своей лодке для ловли лососей, держа круто к ветру, повернули оверштаг и срезали нос кораблю. Затем Чарли повернул руль и направил нашу лодку вдоль левого борта корабля, а грек, распустив шкот, даже осклабился от удовольствия. Итальянцы успели уже пройти половину длины корабля, но сильный ветер подгонял нас сзади гораздо быстрее, чем они могли двигаться на веслах. Мы все быстрее нагоняли их, и я, вытя-

нувшись на носу, уже готовился зацепить ялик, как вдруг он совершенно неожиданно нырнул под огромную корму «Ланкаширской Королевы».

Погоня, таким образом, вернулась к своей исходной точке. Итальянцы гребли вдоль правого борта корабля, а мы, снова круто приведя судно к ветру, медленно продвигались вслед за ними, борясь против ветра. Затем они снова обогнули нос и начали грести вдоль левого борта, а мы перешли на другой галс, срезали нос и погнались за ними по ветру. И снова, как только я нацелился, чтобы зацепить ялик, он нырнул под корму судна и, таким образом, опять очутился вне опасности. Мы продолжали делать круг за кругом, и каждый раз ялик в последнюю минуту спасался тем, что нырял под корму.

Тем временем судовая команда заметила, что происходит что-то необычное, и мы увидели над собой целый ряд голов, смотревших через борт на наше состязание. Всякий раз, как ялик ускользал от нас под корму, они издавали радостные крики одобрения и перебегали на другую сторону «Ланкаширской Королевы», чтобы следить, как будет идти погоня против ветра. Они осыпали нас и итальянцев шутками и советами и так разозлили нашего грека, что он по крайней мере один раз в

каждый круг поднимал кулак и яростно грозил команде. Они подметили это и всякий раз встречали его жест шумным весельем.

— Вот так цирк! — крикнул кто-то.

— А еще спорят о морских ипподромах, чем тебе не состязание! — поддержал другой.

— Бега! Шестидневные бега! — объявил третий. — Кто отвечает за итальянцев?

На следующем галсе против ветра грек предложил Чарли поменяться местами.

— Пустите меня править лодкой, — попросил он, — я их пристукну, от меня не уйдут.

Это был удар по профессиональной чести Чарли, ибо он очень гордился своим умением управлять парусной лодкой. Однако он передал руль пленнику и занял его место у паруса. Мы сделали еще три круга, и грек убедился, что не может достигнуть на этом судне большей скорости, чем Чарли.

— Эй, бросьте-ка лучше это дело, — посоветовал сверху один из моряков.

Грек свирепо нахмурил брови и по обыкновению погрозил кулаком. Между тем я тоже не дремал. Голова моя усиленно работала, и я, наконец, набрел на удачную идею.

— Сделаем еще круг, Чарли, — сказал я, — толь-

ко один раз.

Когда мы снова пошли против ветра, я прикрепил к канату небольшой крючок — кошку, как его называют моряки, — который я заметил в люке для откачивания воды. Другой конец каната я привязал к кольцу на носу и, спрятав кошку, стал ждать удобного случая, чтобы воспользоваться ею. Они еще раз прошли вдоль левого борта «Ланкаширской Королевы», и мы снова устремились за ними, подгоняемые ветром. Мы все больше нагоняли ялик, и я притворился, что хочу поймать его таким же приемом, как раньше. Корма ялика была меньше чем в шести футах от нас, и итальянцы вызывающе смеялись, собираясь снова нырнуть под корму корабля. Но в эту минуту я неожиданно выпрямился и бросил кошку. Она крепко впилась в борт ялика и отдернула его назад, веревка натянулась, и наше судно приблизилось.

Наверху среди столпившихся моряков раздались возгласы сожаления, которые быстро сменились ликованием, когда один из итальянцев, вынув длинный складной нож, перерезал канат. Но мы оттянули их из безопасного места, и Чарли, стоя у задних парусов, перегнулся и ухватил ялик за корму. Все это заняло не больше

секунды, ибо в тот момент, когда первый итальянец перерезал веревку, а Чарли уцепился за корму, второй итальянец ударил его веслом по голове. Чарли выпустил ялик и без чувств упал на дно лодки, оглушенный ударом. Итальянцы же налегли на весла и снова улизнули под корму судна.

Грек, взяв руль и шкот, пустился в погоню за итальянцами вокруг «Ланкаширской Королевы», в то время как я занялся Чарли, на голове которого быстро вырастала огромная шишка. Наши зрители — матросы — были в диком восторге, и все, как один человек, приветствовали удиравших итальянцев. Чарли сел, держась одной рукой за голову и тупо оглядываясь кругом.

— Ну, теперь уж им не уйти, — сказал он, вытаскивая свой револьвер.

Когда мы делали следующий круг, он пригрозил итальянцам оружием, но они упорно продолжали грести, не обращая на нас никакого внимания.

— Если вы не остановитесь, я буду стрелять, — угрожающе крикнул Чарли.

Но это не произвело на них никакого впечатления, и они ничуть не испугались даже тогда, когда Чарли дал несколько выстрелов, едва не

задев их. Однако он ни в коем случае не стал бы убивать безоружных людей, и итальянцы знали это так же хорошо, как и мы. Поэтому они продолжали упорно кружиться вокруг корабля.

— Ну, так мы загоняем их, — воскликнул Чарли. — Мы будем гонять их до тех пор, пока они не выбьются из сил.

Итак, погоня продолжалась. Мы раз двадцать обогнули «Ланкаширскую Королеву» и, наконец, заметили, что даже их железные мускулы начинают сдавать. Они выбивались уже из последних сил — еще несколько кругов, и дело было бы кончено. Но игра приняла вдруг новый оборот. Пока погоня шла против ветра, итальянцам всегда удавалось значительно опередить нас, так что в тот момент, когда мы огибали нос корабля, ялик, как правило, находился уже у середины подветренного борта. Но в этот последний раз, огибая нос, мы увидели, что они быстро поднимаются по сходням, которые им спустили с корабля. Это было сделано матросами и, очевидно, с согласия капитана. Когда мы подошли к тому месту, с которого итальянцы поднялись на борт, трап был уже поднят, а ялик качался на судовых баканцах, вне пределов досягаемости.

Разговор, который произошел между нами и

капитаном, был лаконичен и резок. Капитан решительно запретил нам подняться на борт «Ланкаширской Королевы» и отказался выдать беглецов. К этому времени Чарли был так же разъярен, как и наш грек. Он не только потерпел неудачу в этой долгой и смешной погоне, но вдобавок получил по голове удар, от которого потерял сознание. И причиной всех этих бед были те самые люди, которые ускользнули от него.

— Сбейте мне голову орехами, — с чувством заявил он, всаживая кулак одной руки в ладонь другой, — если этим парням удастся ускользнуть. Я останусь стеречь их здесь, хотя бы мне пришлось прождать их до конца жизни. И клянусь, что проживу столько, сколько нужно будет, чтобы поймать их, не будь я Чарли Легрант.

Тут-то и началась осада «Ланкаширской Королевы», осада, памятная в истории как рыбаков, так и рыбачьего патруля.

Когда «Северный Олень», отказавшись от бесплодного преследования рыбачьей флотилии, подошел к нам, Чарли попросил Нейля Партингтона прислать ему его собственное судно для ловли лососей, снабдив его одеялами, провизией и рыбачьей печкой. На закате произошел обмен судов, и мы распрощались с нашим греком, ко-

торому предстояло отправиться в Бенишию и сесть в тюрьму за нарушение законов о рыбном промысле. После ужина мы с Чарли выстаивали попеременно четырехчасовые вахты вплоть до восхода солнца. В эту ночь рыбаки не сделали никакой попытки ускользнуть, хотя с корабля спустили для разведки шлюпку, чтобы, по-видимому, выяснить, свободен ли берег.

На следующий день мы убедились, что нам придется вести настоящую осаду, и выработали план действий, стараясь по возможности обеспечить себе некоторый комфорт. Нам сильно помог в этом отношении док у берега Бенишии, известный под именем Соланской пристани. Случайно мы открыли, что «Ланкаширская Королева», берег Тернеровской верфи и Соланская пристань составляют как бы три угла большого равностороннего треугольника. Расстояние от корабля до берега, т. е. та сторона треугольника, по которой должны были бежать итальянцы, равнялась другой стороне его от Соланской пристани до берега, которую нужно было пройти нам, чтобы достигнуть берега раньше итальянцев. Но так как мы на парусах двигались гораздо быстрее, чем они на веслах, то могли смело позволить им пройти половину их стороны, прежде чем пуститься самим

в погоню по своей стороне. Если бы мы дали им пройти больше половины этого расстояния, то они, несомненно, достигли бы берега раньше нас, а если бы тронулись в путь прежде, чем итальянцы дошли до середины этой линии, то они также несомненно успели бы спастись опять на судне.

Мы установили воображаемую границу от конца пристани до ветряной мельницы, стоявшей на берегу. Она как раз перерезала пополам ту сторону треугольника, по которой должны были бежать на берег итальянцы. Благодаря этой линии мы легко могли определить, до какого места следует допустить наших беглецов, прежде чем пуститься в погоню. День за днем мы следили в бинокли, как они не спеша гребли по направлению к пункту, обозначавшему половину пути, и лишь только они становились на одну линию с мельницей, мы тотчас же бросались в лодку и наставляли паруса. Но, заметив наши приготовления, они поворачивали и медленно возвращались обратно к «Ланкаширской Королеве» в полной уверенности, что мы их не поймаем.

Чтобы обеспечить себя на случай штиля, когда наше парусное судно становилось совершенно беспомощным, мы держали наготове легкий

ялик с веслами. Но в те дни, когда ветер спадал, нам приходилось пускаться в путь от пристани в тот же момент, когда итальянцы отчаливали от корабля. Ночью же необходимо было сторожить в непосредственном соседстве с кораблем. Так мы с Чарли и делали, отстаивая по очереди четырехчасовые вахты. Однако итальянцы предпочитали, видимо, для своих вылазок дневное время, так что наши долгие ночные бдения были совершенно напрасны.

— Меня больше всего бесит то, — говорил Чарли, — что мы лишены своего честно заслуженного сна, тогда как эти мошенники преспокойно высыпаются каждую ночь. Но это им даром не пройдет, — грозился он. — Я проморю их на этом корабле, пока капитан не потребует с них за харчи. Это так же верно, как то, что осетр не треска!

Перед нами была мучительная задача. Пока мы бодрствовали, они не могли убежать, но, с другой стороны, пока они были настороже, мы никак не могли их поймать. Чарли не переставал ломать себе голову над этой проблемой, но сообразительность, казалось, на этот раз изменила ему. Для этой задачи существовало, по-видимому, единственное решение — набраться терпения и ждать. Это была игра в ожидание: кто сумеет

дольше выждать, тот и выиграет. Наше бешенство еще более усилилось, когда мы увидели, что друзья итальянцев установили целую сигнализацию, при помощи которой они переговаривались с ними с берега. Таким образом, мы ни на минуту не могли ослабить осаду. Кроме того, вокруг Соланской пристани вечно слонялись какие-то подозрительного вида рыбаки, следившие за всеми нашими движениями. Нам не оставалось ничего другого, как только «закусить губу и молчать», как выразился Чарли, а между тем эта осада отнимала у нас время и не давала возможности заняться чем-нибудь другим.

Дни шли за днями, а положение не изменялось, хотя нельзя сказать, чтобы итальянцы не делали попыток изменить его. Раз ночью друзья с берега выехали в ялике и попробовали ввести нас в заблуждение, чтобы тем временем дать своим приятелям возможность спастись. Это не удалось им только от того, что боканцы корабля были плохо смазаны. Услыхав скрип боканцев, мы бросились преследовать чужую лодку и подошли к «Ланкаширской Королеве» как раз в тот момент, когда итальянцы спускали ялик. В другой раз, тоже ночью, целая флотилия яликов сновала вокруг нас в темноте, но мы, точно пиявки, держались

у своего судна и расстроили их план, так что они под конец разозлились и стали осыпать нас бранью. Чарли смеялся про себя, сидя на дне лодки.

— Это хороший признак, парнишка, — сказал он мне. — Когда люди начинают браниться, это значит, что они теряют терпение. А как только они потеряют его, тут уж недолго и голову потерять. Запомни мои слова. Если мы сумеем выдержать характер, то они в один прекрасный день забудут об осторожности и мы сцапаем их.

Но они не забывали об осторожности, и Чарли должен был признать, что это один из тех случаев, когда все приметы оказываются несостоятельными. Их терпение, казалось, нисколько не уступало нашему; вторая неделя осады потянулась так же медленно и однообразно, как первая. Но тут заснувшее было воображение Чарли снова оживилось, и он изобрел хитрый план.

В Бенишию случайно приехал новый патрульный Питер Бойлен, совершенно незнакомый рыбакам, и мы втянули его в нашу игру. Мы держали все это в строжайшей тайне, но друзья с берега какими-то неисповедимыми путями пронюхали о нашей затее и предупредили осажденных итальянцев, чтобы те были настороже.

В намеченную ночь мы приступили к выпол-

нению своего плана: Чарли занял наш обычный пост в ялике у борта «Ланкаширской Королевы». Когда совсем стемнело, Питер Бойлен вышел в море на ветхой утлой лодчонке, из тех, которые можно поднять одной рукой и унести под мышкой. Услышав, что он приближается, шумно ударяя веслами по воде, мы немного отъехали в темноту и подняли весла. Поравнявшись с трапом, он весело окликнул якорного вахтенного «Ланкаширской Королевы» и спросил его, где стоит «Шотландский Вождь» (другое судно, ожидавшее пшеницы). Но в этот момент его лодка вдруг опрокинулась, и матрос, стоявший на якорной вахте, бегом спустился по трапу и вытащил его из воды. Этого только ему и нужно было — попасть на борт корабля; Питер Бойлен надеялся, что ему позволят подняться на палубу, а там, пожалуй, сведут и вниз, чтобы согреться и обсушиться. Но негостеприимный капитан задержал его на нижней ступеньке трапа. Ноги нашего товарища болтались в воде, и он так дрожал от холода, что мы не выдержали, вышли из темноты и взяли его в лодку.

Шутки и насмешки проснувшейся команды прозвучали далеко не сладко в наших ушах. Даже оба итальянца, взобравшись на борт, долго и

ехидно издевались над нами.

— Ладно, ладно, — сказал Чарли таким тихим голосом, что только я расслышал его, — я очень рад, что мы не смеемся первыми. Прибережем наш смех напоследок, не так ли, паренек?

Он похлопал меня по плечу, но мне показалось, что в голосе его звучит больше решимости, чем надежды.

Мы могли бы, конечно, обратиться к судебной власти и вступить на английское судно именем государства, но в инструкциях рыболовной комиссии говорилось, что патрульные должны избегать осложнений, а в данном случае, если бы мы обратились к высшей власти, инцидент мог бы окончиться славным международным конфликтом.

Вторая неделя осады подходила к концу, а дело обстояло все так же. Утром четырнадцатого дня наконец наступила перемена, но в странной форме, совершенно неожиданно как для нас, так и для тех, кого мы хотели поймать.

Мы с Чарли возвращались к Соланской пристани после обычного ночного бдения у борта «Ланкаширской Королевы».

— Это что!? — воскликнул Чарли в изумлении. — Во имя разума и здравого смысла, что это

такое? Видал ты когда-нибудь этакое несуразное судно?

Он имел полное основание удивляться, ибо у пристани стоял баркас самого необычайного вида. Его, собственно, нельзя было назвать и баркасом, но все же он скорее напоминал баркас, чем что-либо другое. Судно это имело семьдесят футов в длину, но при этом было очень узко и лишено всяких надстроек, отчего и казалось гораздо меньше своей настоящей величины. Баркас этот был весь сделан из стали и выкрашен в черный цвет. Посредине его, несколько отклоняясь к корме, поднимались три трубы на большом расстоянии друг от друга; нос же, длинный и острый, как нож, ясно говорил о том, что судно очень быстроходно. Проходя под кормой, мы прочли имя судна, написанное мелкими белыми буквами: «Молния».

Мы с Чарли сгорали от любопытства. Через несколько минут мы были уже на борту и беседовали с механиком, наблюдавшим с палубы восход солнца. Он очень охотно удовлетворил наше любопытство, и мы скоро узнали, что «Молния» пришла из Сан-Франциско уже после того как стемнело. Это была, так сказать, ее пробная поездка, а принадлежала она Сайласу Тэйту, юному калифорнийскому миллионеру, страстно

увлекающемуся быстроходными яхтами. Разговор перешел на турбины, прямое применение пара, устройство лопаток, рычагов, кранов — но во всем этом я ровно ничего не понимал, ибо был знаком только с парусными судами. Однако последние слова механика все же привлекли мое внимание.

— Четыре тысячи лошадиных сил и сорок пять миль в час, хотя это может показаться вам просто невероятным, — закончил он с гордостью.

— Повторите-ка, дружище, повторите, — взволнованно воскликнул Чарли.

— Четыре тысячи лошадиных сил и сорок пять миль в час, — повторил механик, добродушно усмехаясь.

— А где владелец? — тотчас же осведомился Чарли. — Нельзя ли мне переговорить с ним сейчас?

Механик покачал головой.

— Нет, не думаю. Он, видите ли, спит.

В этот момент на палубу вышел молодой человек в синей форме; он прошел дальше на корму и стал наблюдать за восходом солнца.

— Вот он; это и есть мистер Тэйт, — сказал механик.

Чарли подошел к владельцу яхты и начал

что-то с жаром ему говорить; молодой человек с интересом слушал его. Он, должно быть, расспрашивал о глубине у берега близ Тернеровской верфи, потому что я видел, как Чарли объяснял ему это жестами. Через несколько минут он вернулся к нам в необычайно приподнятом настроении.

— Ну, пойдем, парнишка, — сказал он. — Айда, прямо в доки! Теперь они в наших руках.

Счастье, что мы покинули «Молнию» в этот момент, потому что вскоре около нее появился один из шпионивших рыбаков. Мы с Чарли заняли наши обычные места на конце пристани, немного впереди «Молнии», над нашей собственной лодкой; оттуда мы могли с полным комфортом наблюдать за «Ланкаширской Королевой». До девяти часов все было спокойно; затем мы увидели, что итальянцы удалились от парохода и направились по своей стороне треугольника к берегу. Чарли принял равнодушный вид, но прежде чем они покрыли четверть расстояния, шепнул мне:

— Сорок пять миль в час… Ничто не спасет их… Они наши!

Итальянцы медленно гребли и находились уже почти на одной линии с мельницей. Обычно в этот момент мы прыгали в свою лодку и

наставляли паруса. Ожидавшие этого маневра итальянцы, похоже, очень удивились, увидев, что мы не двинулись с места.

Когда они очутились как раз на одной линии с мельницей, на одинаковом расстоянии от берега и от судна и несколько ближе к берегу, чем мы когда-либо допускали до сих пор, у них зашевелились какие-то подозрения. Наблюдая за ними в бинокль, мы увидели, что они встали в ялике, пытаясь разгадать, что мы собираемся сделать. Шпион, сидевший рядом с нами на пристани, также был в полном недоумении. Он не мог понять, почему мы бездействуем. Итальянцы стали грести к берегу, но затем опять остановились и начали внимательно оглядываться, точно подозревая, что мы спрятались где-то поблизости и сейчас бросимся на них. Но на берегу показался какой-то человек и замахал платком в знак того, что путь к берегу свободен. Это заставило их решиться. Они налегли на весла и ринулись вперед. Чарли все еще ждал. Только когда они прошли три четверти пути от «Ланкаширской Королевы», так что от берега их отделяла лишь одна четверть всего расстояния, он хлопнул меня по плечу и крикнул:

— Они наши! Они наши!

Мы пробежали несколько шагов и вскочили на борт «Молнии». В одно мгновение носовые и кормовые концы были отданы, и «Молния» стремительно двинулась вперед. Шпионивший рыбак, которого мы оставили на пристани, вынул револьвер и быстро выстрелил пять раз в воздух. Итальянцы поняли предостережение и начали грести, как сумасшедшие.

Но если они гребли, как сумасшедшие, то как назвать наше движение? Это был настоящий полет. Мы с такой страшной быстротой разрезали воду, что по обе стороны носа яхты вздымались большущие пенящиеся волны, тогда как с кормы нас жадно преследовал огромный гребнистый вал, готовый, казалось, каждую минуту обрушиться на борт и уничтожить нас. «Молния» вся дрожала, трепетала и гудела, точно живое существо. Ветер, который мы поднимали своим движением, напоминал настоящий ураган — ураган, летевший со скоростью сорока пяти миль в час. Мы не могли устоять против него и едва переводили дыхание, задыхаясь и кашляя. Он относил дым, выходивший из труб, назад, под прямым углом к ним. Мы мчались со скоростью экспресса.

— Мы просто налетели на них, — говаривал

Чарли впоследствии, рассказывая об этом приключении, — и я думаю, что трудно придумать более точное выражение для описания нашей погони.

Что касается итальянцев, то у меня осталось впечатление, что не успели мы тронуться в путь, как уже настигли их. Разумеется, нам пришлось замедлить ход задолго до того, как мы нагнали ялик, но, несмотря на это, мы все же вихрем промчались мимо них и должны были повернуть обратно и описать дугу между ними и берегом. Они продолжали сильно грести, при каждом ударе приподнимаясь на скамьях, пока не увидели на промчавшемся судне меня и Чарли. Это совершенно лишило их мужества. Они сложили свои весла и мрачно сдались.

— Ну, Чарли, — сказал Нейль Партингтон, когда мы позднее рассказывали ему об этом на пристани, — я все же не вижу, в чем проявилась на этот раз ваша хваленая сообразительность?

Но Чарли был верен своему коньку.

— Сообразительность? — спросил он, указывая на «Молнию». — А это что же? Вы только посмотрите на нее. Если уж это не сообразительность, то я хотел бы знать, что же такое сообразительность? Конечно, — добавил он, — на этот раз

сообразительность проявил другой, но все равно она свое дело сделала.

Проделка Чарли

Может быть, самым смешным, но в то же время самым опасным из подвигов рыбачьего патруля была поимка двадцати озлобленных рыбаков в один заход. Это было настоящее Ватерлоо для рыбаков, ибо такого жестокого удара им никогда еще не наносил ни один рыбачий патруль. Однако это явилось вполне заслуженным ответом на дерзкий открытый вызов, который они бросили закону.

Во время так называемого «открытого сезона» рыбакам разрешается ловить лососей сколько им будет угодно и сколько могут выдержать их лодки. Но при этом ставится одно важное ограничение: им воспрещается забрасывать сеть от захода солнца в субботу до его восхода в понедельник. Это мудрое постановление рыболовной комиссии объясняется необходимостью дать лососям возможность подняться к верховьям реки, где они мечут икру. И этот закон, за редким исключением, всегда свято соблюдался греческими рыбаками, занимающимися ловлей лососей для консервных фабрик и для рынка.

Однажды в воскресенье утром какой-то прия-

тель сообщил Чарли по телефону из Коллинсвиля, что целая компания рыбаков вышла в море с сетями. Мы с Чарли сейчас же вскочили в нашу парусную лодку и отправились на место беспорядков. С легким попутным ветром мы прошли Каркинезский пролив, пересекли Суизинскую бухту, миновали маяк Корабельного острова и наткнулись на целую флотилию рыбаков, занятых ловлей лососей.

Но тут я должен сначала описать способ, которым они ловили рыбу. Сети, употребляемые для этой цели, носят название жаберных сетей. Петли такой сети имеют обычно форму ромба, и расстояние между узлами не должно быть меньше семи с половиной дюймов. В длину они имеют от пяти до семи и даже до восьмисот футов, тогда как ширина их бывает не больше нескольких футов. Эти сети не закрепляются, а плывут по течению, причем верхний край поддерживается на воде поплавками, а нижний оттягивается вниз свинцовыми гирьками.

Благодаря такому устройству сеть держится в течении отвесно и преграждает путь всякой крупной рыбе, поднимающейся вверх по реке. Лососи плывут обычно близко к поверхности и попадают головой в петли; однако пройти сквозь

них им мешает ширина тела, а назад они не могут вырваться, потому что их задерживают зацепившиеся за петли жабры. Чтобы поставить такую сеть, нужно не меньше двух человек — один при этом гребет, а другой, стоя на корме, осторожно выбрасывает сеть. Когда она вся уже растянута поперек течения, рыбаки крепко привязывают один конец ее к лодке и плывут по течению, волоча сеть за собой.

Когда мы подошли к преступной флотилии, лодки находились на расстоянии двухсот — трехсот ярдов друг от друга, и река, насколько хватал глаз, была сплошь усеяна сетями и рыбачьими лодками.

— Одно мне обидно, парнишка, — сказал Чарли, — что у нас не тысяча рук, чтобы схватить их всех разом. При таком положении нам удастся изловить не больше одной лодки, потому что, пока мы будем возиться с ней, все остальные вытащат сети — и поминай как звали.

Приблизившись, мы не заметили, однако, никаких признаков суматохи или волнения, неизменно возникавших при нашем появлении. Вместо этого каждая лодка спокойно оставалась у своей сети, а рыбаки не обращали на нас ни малейшего внимания.

— Странно, — пробормотал Чарли. — Не узнали они нас, что ли?

Я ответил, что это невозможно, и Чарли согласился со мной. Однако перед нами был целый флот, управлявшийся людьми, которые, пожалуй, даже чересчур хорошо знали, кто мы такие, но обращали на нас в этот момент не больше внимания, чем если бы мы были какой-нибудь нагруженной сеном плоскодонкой или увеселительной яхтой.

Тем не менее, дело, по-видимому, обстояло не так просто, ибо, когда мы подошли к ближайшей сети, рыбаки, которым она принадлежала, отвязали от нее свою лодку и медленно поплыли к берегу. Другие лодки, однако, по-прежнему не проявляли ни малейших признаков беспокойства.

— Что за странность? — заметил Чарли. — Ну что ж, конфискуем по крайней мере сеть.

Мы спустили парус, подобрали конец сети и начали вытаскивать ее в лодку. Но в ту же минуту мимо нас по воде просвистела пуля, и вдали слабо прозвучал ружейный выстрел. Это рыбаки, высадившиеся на берег, стреляли в нас. Как только мы снова взялись за сеть, мимо пронеслась вторая пуля, на этот раз едва не задев нас. Чар-

ли закрутил конец сети вокруг шпильки и сел. Выстрелы прекратились. Но как только он снова начал поднимать сеть, стрельба возобновилась.

— Придется бросить, — сказал он, выбрасывая конец сети через борт, — вы, ребята, как видно, сильнее привязаны к ней, чем мы, ну и получайте вашу сеть.

Мы подплыли к следующей сети, потому что Чарли хотел выяснить, имеем ли мы дело с организованной демонстрацией или только со случайным сопротивлением. При нашем приближении оба рыбака покинули свою сеть и направились к берегу, между тем как первые два вернулись обратно и снова привязали свою лодку к той сети, которую мы вынуждены были оставить. У второй сети нас опять встретили ружейными выстрелами, которые смолкли лишь тогда, когда мы отступили; этот маневр повторился и у третьей сети.

Потерпев, таким образом, полное поражение, мы отошли, наставили парус и поплыли обратно в Бенишию. Прошло еще несколько воскресений, в течение которых рыбаки продолжали упорно нарушать закон. Но мы, не имея в своем распоряжении вооруженной силы, были совершенно бессильны что-либо предпринять. Рыбакам, как

видно, пришелся по вкусу этот новый способ борьбы, и они старались использовать его вовсю, в то время как мы лишены были какой бы то ни было возможности проучить их.

Как раз в это время Нейль Партингтон вернулся из Нижней бухты, где он пробыл несколько недель. С ним явился и Николай, молодой грек, помогавший нам при набеге на устричных хищников, и оба они присоединились к нам. Мы тщательно разработали план действий. Было решено, что, пока мы с Чарли будем вытаскивать сети, они устроят на берегу засаду для тех рыбаков, которые высадятся на берег, чтобы стрелять в нас.

План был хорош. Даже Чарли признал это. Но рыбаки оказались куда хитрее. Они предупредили нас, устроив со своей стороны засаду на берегу, и захватили в плен Нейля и Николая. Таким образом, как только мы с Чарли снова попытались завладеть сетями, мимо наших ушей опять засвистели пули. Когда же мы снова отступили, они освободили Нейля и Николая. Наши товарищи имели довольно смущенный вид по возвращении из плена, и Чарли немилосердно высмеивал их. Но Нейль не оставался в долгу. Он язвительно осведомлялся у Чарли, куда девалась

его сообразительность и почему она не помогла ему до сих пор выпутаться из беды.

— Дайте сроку, придет время — придумаю, — сулил нам Чарли.

— Очень возможно, — соглашался Нейль, — беда только, что лососей истребят к тому времени окончательно и сообразительность ваша, пожалуй, никому уже не понадобится.

Нейль Партингтон, очень недовольный этим приключением, уехал в Нижнюю бухту, забрав с собой Николая, и мы с Чарли снова оказались предоставленными самим себе. Это означало, что воскресная ловля будет производиться беспрепятственно, пока Чарли не осенит какая-нибудь удачная идея. Я немало ломал себе голову над тем, как обуздать греков, то же делал и Чарли, и мы придумывали тысячи планов, которые при более детальном рассмотрении оказывались никуда негодными.

Рыбаки, между тем, чувствовали себя превосходно и хвастались по всей реке, что одержали над нами победу. Вскоре мы заметили, что и остальное рыбачье население начинает выказывать нам неповиновение. Мы потерпели поражение, и они перестали уважать нас, а потеряв к нам уважение, стали относиться прене-

брежительно. Чарли они прозвали старой бабой, а я получил кличку молокососа. Положение становилось просто невыносимым, и мы понимали, что должны во что бы то ни стало нанести грекам оглушительный удар и тем вернуть себе уважение, которым мы пользовались раньше.

Однажды утром нас, наконец, осенила идея. Мы находились на пароходной пристани, где обычно пристают речные пароходы; там мы наткнулись на кучку береговых рабочих и зевак, столпившихся вокруг заспанного молодого парня в высоких морских сапогах, который рассказывал им о своих злоключениях. По его словам, он был рыбаком-любителем и ловил рыбу для местного рынка в Берклее, а Берклей находился в тридцати милях от этих мест в Нижней бухте. Прошлой ночью, рассказывал парень, он закинул сеть и прилег маленько вздремнуть на дно лодки. Когда он открыл глаза, было уже утро, и лодка тихонько ударялась о столбы пароходной пристани в Бенишии. Затем он увидел впереди речной пароход «Апаш», на котором два матроса снимали с пароходного колеса запутавшиеся обрывки его сети. Короче говоря, пока он спал, его якорный огонь потух, и «Апаш» прошел по его сети. Разорванная в клочья сеть каким-то образом зацепилась за

пароход и пробуксировала лодку на тридцать миль в сторону.

Чарли толкнул меня локтем. Я тотчас же понял его мысль и возразил:

— Но где же нам взять пароход?

— Да он нам вовсе и не нужен, — ответил он, — пойдем к Тернеровской верфи. Мне пришла в голову одна мысль, которая, может быть, сослужит нам хорошую службу.

Итак, мы отправились на верфь; Чарли тотчас же повел меня к «Марии-Ревекке», которая стояла в доке, где ее чистили и приводили в порядок. Это была плоскодонная шхуна, которую мы оба хорошо знали. Она поднимала груз в сто сорок тонн, а такой большой парусности, как у нее, не было ни у одной шхуны в заливе.

— Как живешь, Оле? — приветствовал Чарли огромного шведа в синей блузе, который смазывал куском свиной кожи щеки гротового гафеля.

Оле буркнул что-то непонятное, не выпуская трубки изо рта и не отрываясь от работы. Капитан шхуны, плавающей по заливу, должен уметь делать все то, что делают его матросы.

Оле Эриксен подтвердил предположение Чарли, что «Мария-Ревекка» тотчас после спуска отправится по реке Святого Иоакима в Стоктон

за грузом пшеницы. Затем Чарли изложил ему свой план, и Оле Эриксен отрицательно покачал головой.

— Да только один крюк, один хороший крюк, — молил Чарли.

— Нет, никак не можно, — сказал Оле Эриксен, — дер «Мария-Ревекка» будет цеплялась за каждый мель с этот крюк. Мой не хочет потерять дер «Мария-Ревекка». Мой больше ничего не имейт.

— Нет, нет, — поторопился объяснить Чарли, — мы можем привинтить крюк снаружи и укрепить его изнутри гайкой. Как только он сделает свое дело, мы спустимся в трюм, отвинтим гайку, и крюк отпадет. Затем мы законопатим дыру деревянным клином, и «Мария-Ревекка» снова будет в полной исправности.

Оле Эриксен долго упрямился, но под конец, после хорошего обеда, которым мы угостили его, сдался.

— Ладно, мой согласна, — сказал он, ударяя своим огромным кулаком по ладони. — Только вы должен поторопиться мит дер крюк. Дер «Мария-Ревекка» будет спущен на вода в сегодняшний ночь.

Была суббота, и Чарли в самом деле надо было

поторопиться. Мы отправились к кузнецу верфи, и он под руководством Чарли выковал большой, тяжелый, основательно изогнутый стальной крюк. Затем мы поспешили обратно к «Марии-Ревекке» и пробуравили в ее лике у кормы дыру. Я просунул снаружи конец крюка, а Чарли изнутри крепко закрепил его гайкой. Таким образом, крюк спускался на фут ниже дна шхуны: он был изогнут наподобие серпа, только кривизна его была несколько больше.

К вечеру того же дня «Марию-Ревекку» спустили на воду и закончили все приготовления для того, чтобы на следующее утро отправиться вверх по реке. Чарли и Оле внимательно изучали вечернее небо, стараясь угадать, будет ли ветер, ибо без хорошего бриза наш план был обречен на неудачу. Но оба они решили, что все приметы обещают на завтра сильный западный ветер — не обыкновенный дневной бриз, а полушторм, который начинал уже подниматься.

На следующее утро их предсказания оправдались. Солнце ярко светило, но в Каркинезском проливе уже завывал ветер, походивший скорее на настоящий шторм, нежели на полушторм, и «Мария-Ревекка» вышла с двумя рифами на гроте и одним на фоке. В проливе и Суизинской бухте

нам пришлось довольно тяжко, но когда мы вошли в более закрытые воды, ветер ослабел, хотя паруса оставались по-прежнему наполненными.

Миновав маяк Корабельного острова, мы отпустили рифы и по указанию Чарли приготовились поднять большой рыбачий стаксель-леер, а грот-марсель, свернутый в эзельфогте на верхушке мачты, мог быть наставлен в любую минуту.

Мы летели точно на крыльях на фордевинде, с фоком на правом борту и гротом на левом, и еще издали увидели флотилию рыбаков, занятую ловлей лососей. Как и в то памятное воскресенье, когда они одержали над нами свою первую победу, вся река, насколько хватал глаз, была усеяна лодками и сетями. Только у правого берега пролива рыбаки оставили узкое пространство для прохода судов, вся же остальная часть реки была покрыта широко раскинутыми сетями. Нам, собственно, полагалось пройти по этому узкому проходу, но Чарли, стоявший на руле, направил «Марию-Ревекку» прямо на сети. Это нисколько не встревожило рыбаков, потому что суда, идущие вверх по реке, обычно бывают снабжены «башмаками» на конце киля и благодаря этому легко скользят по сетям, не задевая их.

— Ну! Теперь готово, — крикнул Чарли, когда

мы стремительно пересекли посредине линию поплавков, указывавших, где поставлена сеть. На одном конце этой линии находился маленький бочонок, заменявший буй, а на другом — лодка с двумя рыбаками. Буй и лодка тотчас же начали сближаться, и рыбаки, увидев, что мы тащим их за собой, подняли громкий крик. Несколько минут спустя мы зацепили вторую сеть, за ней третью и таким образом, перерезая флотилию посредине, стали нанизывать их одну за другой.

Рыбаки были поражены и ошеломлены до крайности. Как только мы зацепляли сеть, оба конца ее — буй и лодка — сходились и следовали за нашей кормой. Все это множество лодок и буев неслось за нами с головокружительной быстротой, так что рыбакам приходилось сосредоточить все свое внимание на том, как бы не разбиться друг о друга. Греки кричали как сумасшедшие, требуя, чтобы мы легли в дрейф; они думали, что это просто шутка подвыпивших матросов, ни минуты не подозревая, что вся затея — дело рук рыбачьего патруля.

Буксировать одну сеть — и то уже очень тяжело; поэтому Чарли и Оле Эриксен решили, что «Мария-Ревекка» даже при таком ветре не сможет протащить больше десяти сетей. Итак,

подцепив десять сетей и волоча за собой десять лодок с двадцатью рыбаками, мы повернули налево, в сторону от флотилии, и направились к Коллинсвилю.

Мы ликовали. Чарли с таким торжествующим видом правил рулем, точно вел победившую на гонках яхту. Два матроса, составлявшие команду «Марии-Ревекки», шутили и смеялись. Оле Эриксен потирал свои огромные руки, радуясь, как дитя.

— Ваша рыбачья патруль никогда не имел такой удача, как с Оле Эриксен, — сказал он; но как раз в этот момент за кормой резко щелкнуло ружье, и пуля, задев недавно выкрашенную каюту, ударилась в гвоздь и с резким свистом отскочила от него в сторону. Этого Оле Эриксен не мог вынести. Увидев, как пострадала свежая краска, которой он любовался с такой нежностью, он вскочил и потряс кулаком в сторону рыбаков, но тут вторая пуля ударилась в каюту в шести дюймах от его головы, и старый моряк пригнулся к палубе, укрывшись под бортом.

Все рыбаки были вооружены винтовками и, не долго думая, открыли по нам стрельбу. Мы попрятались от пуль, и даже Чарли пришлось бросить руль, чтобы укрыться. Если бы не тяжелые сети,

мы неминуемо попали бы в руки взбешенных рыбаков. Но сети, прочно прикрепленные к дну «Марии-Ревекки», удерживали ее корму по ветру, хотя и не очень твердо.

Чарли, лежа на палубе, едва мог дотянуться до нижних ручек штурвала, и править таким образом было очень неудобно. Оле Эриксен вспомнил, что в пустом трюме лежит большой лист стали. Это был собственно кусок стальной обшивки борта с парохода «Нью-Джерси», недавно потерпевшего крушение за Золотыми Воротами, в спасении которого «Мария-Ревекка» принимала очень деятельное участие.

Осторожно пробираясь ползком по палубе, два матроса, Оле и я притащили тяжелый лист наверх и установили его на корме, в виде щита между рыбаками и штурвалом. Пули со звоном ударялись об него, и он гудел, как мишень, но Чарли усмехался под своим прикрытием и хладнокровно продолжал править.

Итак, мы летели вперед, к Коллинсвилю, волоча за собой вопящую, взбешенную ораву греков, а вокруг нас со свистом летали пули.

— Оле, — сказал Чарли слабым голосом, — я не знаю, что нам теперь делать.

Оле Эриксен, лежавший на спине у самого

борта и улыбавшийся, глядя на небо, повернулся к Чарли.

— Мой думала, нам идти в Коллинсвиль, — сказал он.

— Но ведь мы не можем там остановиться, — простонал Чарли, — мне это и в голову не приходило раньше.

По широкому лицу Оле Эриксена медленно расплывалось выражение ужаса. К сожалению, это была правда. Мы имели дело с пчелиным роем, а остановиться в Коллинсвиле — значило бы сунуть голову в самый улей.

— У каждого из этих молодцов есть ружье, — весело заметил один из матросов.

— Да и нож вдобавок, — прибавил другой.

Теперь застонал Оле Эриксен:

— И что за черт таскал меня, шведский человек, путаться в этот историй, — рассуждал он с самим собой.

Пуля скользнула по корме и пролетела к штирборту, прожужжав, точно злобная пчела.

— Остается только одно — выбросить «Марию-Ревекку» на берег, а самим удрать, — заявил веселый матрос.

— И бросать так дер «Мария-Ревекка»? — спросил Оле с невыразимым ужасом.

— Можете оставаться, если желаете, только я не хотел бы быть даже за тысячу миль, когда эти ребята доберутся до нее, — сказал тот, указывая на разъяренных греков, которых мы тащили за собой на буксире.

В то время мы как раз поравнялись с Коллинсвилем и, вспенивая воду, проходили совсем близко от пристани.

— У меня одна надежда на ветер, — сказал Чарли, бросая украдкой взгляд на наших пленников.

— А что дер ветер? — сокрушенно ответил Оле. — Дер река и тот скоро кончился, а тогда, тогда...

В это время мы подошли к тому месту, где река разветвлялась. Влево от нас было устье Сакраменто, а вправо устье Святого Иоакима. Веселый матрос ползком пробрался вперед и перебросил фок, тогда как Чарли переложил руль вправо, и мы свернули в устье Святого Иоакима. Попутный ветер, который держал нас все время на ровном киле, теперь задувал с траверза, и «Мария-Ревекка» так сильно накренилась на левый борт, что, казалось, вот-вот перевернется.

Однако мы продолжали нестись вперед, а рыбаки по-прежнему тащились за нами. Их сети стоили значительно больше, чем те штрафы,

которые полагались за нарушение законов о рыбной ловле. Таким образом, разорвать сети и скрыться — что было очень легко сделать — совсем не улыбалось нашим пленникам. Кроме того, их удерживал около сетей инстинкт, тот самый инстинкт, который привязывает моряка к его кораблю; однако сильнее всего в них бушевала жажда мести, и они готовы были следовать за нами на край света, если бы только мы захотели тащить их за собой так далеко.

Ружейная пальба прекратилась, и мы пошли на корму взглянуть, как ведут себя наши пленники. Лодки тянулись за нами на неравном расстоянии друг от друга, но мы заметили, что первые четыре идут вместе. По-видимому, передняя лодка бросила с кормы конец следующей, и таким образом лодки, одна за другой, ловили концы, отделялись от своих сетей и подтягивались в одну линию с передней лодкой.

Быстрота, с которой мы неслись вперед, сильно затрудняла этот маневр. Иногда, несмотря на величайшее напряжение, им не удавалось подтянуться хотя бы на один дюйм; иногда же они двигались довольно быстро.

Когда все четыре лодки достаточно приблизились друг к другу, чтобы дать возможность

человеку перейти с одной на другую, в ближайшую к нам лодку перебралось из трех остальных по одному греку, причем каждый захватил с собой свою винтовку. Таким образом, в передней лодке собралось пять человек, и нам стало совершенно ясно, что они намерены взять нас на абордаж. Для того, чтобы привести этот план в исполнение, им нужно было порядком попотеть и потрудиться. Ухватившись за веревку, к которой были прикреплены поплавки сети, они с колоссальным трудом стали подтягиваться к судну. И хотя работа шла медленно и прерывалась частыми передышками, тем не менее греки все ближе и ближе подбирались к нам. Чарли улыбнулся, видя их усилия, и приказал:

— Отдайте-ка марсель, Оле!

Эзельфогт на топ-мачте развернулся, и парус с ниралом туго натянулся под свист пуль, посыпавшихся с лодок. «Мария-Ревекка» накренилась и понеслась вперед еще быстрее прежнего.

Но греки не сдавались. Быстрота движения мешала им подтягиваться к судну руками, и они, убедившись в этом, пустили в ход то, что моряки называют «хват-талями». Один из них, придерживаемый за ноги товарищами, перегибался далеко через нос и прикреплял блок к плавучему краю

сети; затем все вместе налегали на тали, пока блоки не сходились вместе; после этого маневр повторялся заново.

— Отдать стаксель-леер, — скомандовал Чарли.

Оле Эриксен взглянул на трепещущую от напряжения «Марию-Ревекку» и покачал головой:

— Это снесет ее мачты, — сказал он.

— А если вы не сделаете этого, то они снесут нам головы, — возразил Чарли.

Оле бросил тревожный взгляд на мачты, затем на лодку с вооруженными греками и согласился.

Все пять человек сидели на носу лодки — место ненадежное, когда судно идет на буксире. Я приготовился следить за тем, как пойдет их лодка, когда у нас наставят большой рыбачий стаксель-леер, который был несравненно больше марселя и распускался только при очень слабом ветре. «Мария-Ревекка» сильно рванула вперед, нос лодки нырнул в воду, и люди, сидевшие на нем, точно сумасшедшие, натыкаясь друг на друга, бросились к корме, чтобы спасти лодку от окончательной гибели.

— Это, пожалуй, поубавит им пылу, — заметил Чарли, продолжая, однако, с тревогой следить за движением «Марии-Ревекки», которая шла

теперь под гораздо большей парусностью, чем ей полагалось.

— Следующая остановка в Антиохии! — объявил веселый матрос на манер железнодорожного кондуктора, — а за ней Мерривезер!

— Иди-ка сюда поскорее, — позвал меня Чарли. Я пополз по палубе и поднялся на ноги только тогда, когда очутился рядом с ним под прикрытием листа стали.

— Достань из моего внутреннего кармана записную книжку. Так. Вырви листок и пиши то, что я тебе продиктую.

Вот что я написал:

> «Протелефонируйте в Мерривезер шерифу, констеблю или судье. Скажите им, что мы идем туда и чтобы они подняли на ноги весь город. Пусть вооружат все население и соберут его на пристани, иначе мы пропали».

— Теперь привяжи покрепче бумажку к этой свайке и стань тут, чтобы выбросить на берег.

Я сделал все, как он сказал. Тем временем мы приближались к Антиохии. Ветер свистел в снастях, и «Мария-Ревекка», сильно накренившись на один бок, неслась, точно морская гончая. Моря-

ки в Антиохии, увидев, что мы подняли марсель и стаксель — что было чрезвычайно рискованно при таком ветре, — стали собираться небольшими группами на концах пристани, стараясь разгадать, в чем тут дело.

Чарли на полном ходу стал поворачивать к берегу, и мы вскоре настолько приблизились к нему, что легко могли бы выпрыгнуть на пристань. Тогда он подал мне знак, и я бросил свайку. Она со стуком ударилась о доски пристани, подскочила на пятнадцать — двадцать футов и была подхвачена изумленными зрителями.

Все это произошло в один миг, ибо в следующий момент Антиохия была уже позади, а мы неслись вверх по реке Святого Иоакима к Мерривезеру, находившемуся на расстоянии шести миль оттуда. В этом месте главное течение реки выпрямляется в восточном направлении, и мы еще быстрее прежнего полетели на фордевинде, с фоком на штирборте.

Оле Эриксен, по-видимому, впал в полное отчаяние, но Чарли и оба матроса были исполнены весьма основательных надежд и держались очень бодро. Население Мерривезера состоит главным образом из углекопов, и так как день был воскресный, то можно было смело ожидать,

что все находятся в городе. Кроме того, углекопы никогда не питали особенной любви к греческим рыбакам и, несомненно, с готовностью должны были согласиться помочь нам.

Мы напрягли зрение, стараясь разглядеть город, и первое, что мы увидели, доставило нам огромное облегчение. Пристани были черны от собравшейся толпы. Подойдя ближе, мы увидели, что народ все прибывает, с оружием в руках спускаясь бегом по главной улице. Чарли взглянул назад на рыбаков с таким победоносным видом, какого я еще ни разу не замечал у него до этой минуты. Греки окончательно растерялись, увидев такое количество вооруженных людей, и попрятали свои винтовки.

Мы убрали марсель и стаксель и, подходя к главной пристани, перебросили грот. «Мария-Ревекка» повернула против ветра, и пленные рыбаки описали сзади нее большую дугу. Она продолжала идти вперед, пока не вышла из ветра; затем мы выбросили канаты и крепко привязали ее к пристани. Все это было выполнено под бурное ликование пришедших в восторг углекопов.

Оле Эриксен испустил глубокий вздох облегчения.

— Мой думал, никогда не видал больше жена и

дети, — сознался он.

— Почему же? Ведь мы были в полной безопасности, — возразил Чарли. Оле недоверчиво взглянул на него.

— Да, да, я говорю серьезно, — продолжал тот, — ведь нам стоило только освободиться от крюка, что я сейчас и сделаю, чтобы греки могли распутать свои сети.

Он спустился вниз, отвинтил гайку, и крюк выпал в воду. Когда греки вытянули свои сети в лодки и сложили их, мы передали своих пленников гражданской милиции, которая отвела их в тюрьму.

— Какой я был большой дурак, — сказал Оле Эриксен. Но он изменил свое мнение, когда восхищенные горожане, собравшись на борту, стали жать ему руки, а пара предприимчивых репортеров даже сфотографировала «Марию-Ревекку» и ее капитана.

Димитрий Контос

Из того, что я рассказывал о греческих рыбаках, не следует делать вывод, что это были в корне дурные люди. Совсем нет. Но это были люди грубые, жившие обособленными общинами и беспрестанно боровшиеся со стихией за свое существование. Они были далеки от законов, не понимали их и считали тиранией. При этом, конечно, особенно ограничивающими им казались законы о рыбной ловле, а поэтому и на рыбачий патруль они смотрели как на своего естественного врага.

Мы угрожали их жизни или, вернее, мешали им добывать средства к жизни, что во многих отношениях совершенно одно и то же. Мы отбирали у них незаконные приспособления и сети, которые стоили дорого и изготовление которых требовало много времени и труда. Мы мешали им ловить рыбу в определенное время года и тем самым лишали их возможности хорошо зарабатывать, что им удавалось бы, если бы нас не было. А когда мы арестовывали их, то за этим следовал суд и большие штрафы. В результате все они, конечно, смертельно ненавидели нас. Подобно тому как

собака является естественным врагом кошки, а змея — человека, так и мы, рыбачий патруль, являлись естественным врагом рыбаков.

Но чтобы доказать вам, что они были в такой же мере способны на великодушие, как и на ненависть, я расскажу о Димитрии Контосе. Димитрий Контос жил в Валлехо. После Большого Алека это был самый могучий, храбрый и влиятельный человек среди греков. Он не доставлял рыбачьему патрулю никаких хлопот, и нам, пожалуй, так и не пришлось бы никогда столкнуться с ним, если бы он не приобрел нового судна для ловли лососей. Эта лодка и послужила причиной всех бед. Он построил ее по собственной модели, которая несколько отличалась по внешнему виду от обыкновенных лодок этого типа.

К великому его удовольствию, судно оказалось очень быстроходным — быстроходнее всех лодок в заливе и реках. Вот это-то обстоятельство и заставило Контоса преисполниться необыкновенной гордости и чванства. Услыхав про наш набег на «Марии-Ревекке», набег, вселивший страх в сердца рыбаков, он послал нам в Бенишию вызов. Один из местных рыбаков передал его нам. Димитрий Контос заявлял, что в ближайшее воскресенье он выйдет из Валлехо, поставит

свою сеть на виду у всей Бенишии и будет ловить лососей; пусть-де патрульный Чарли Легрант поймает его, если сможет. Конечно, мы с Чарли не имели никакого понятия об особенности его новой лодки. Наша лодка была достаточно быстроходна, и мы не боялись состязания с каким угодно другим парусным судном.

Настало воскресенье. Слух о вызове распространился повсюду, так что все рыбаки и моряки Бенишии как один человек высыпали на пароходную пристань; глядя на эту толпу, можно было подумать, что тут должен состояться большой футбольный матч. Мы с Чарли относились скептически к вызову, но вид толпы убедил нас в том, что это не простая похвальба со стороны Димитрия Контоса.

После полудня, когда морской ветер подул сильнее, вдали показались его парус и лодка, идущая на фордевинде. В нескольких футах от пристани грек переменил галс и сделал театральный жест, словно рыцарь, выходящий на поединок. В ответ на это с пристани раздались дружеские приветствия, и Димитрий Контос бросил якорь в проливе в нескольких сотнях ярдов от нас. Затем он спустил парус и, поставив лодку по ветру, начал забрасывать сеть. Он выбросил немного,

не больше пятидесяти футов; однако дерзость этого человека поразила нас с Чарли. Мы только потом узнали, что сеть эта была старая и никуда не годилась. Правда, ею можно было еще поймать рыбу; но мало-мальски значительный улов изорвал бы ее в клочки. Чарли покачал головой.

— Сознаюсь, этот малый совершенно сбил меня с толку, — сказал он. — Что из того, что он выбросил только пятьдесят футов? Ведь он все равно не успеет собрать их, если мы тотчас же двинемся к нему. И чего ради он, собственно, явился сюда? Чтобы щегольнуть перед нами своей наглостью, да еще в нашем городе? Выходит, что так!

В голосе Чарли зазвучала обида, и он не переставал несколько минут возмущаться бесстыдством и озорством Димитрия Контоса.

Тем временем герой этого происшествия, небрежно развалившись на корме, следил за поплавком своей сети. Когда в сеть попадает крупная рыба, поплавки тотчас же начинают дергаться и таким образом предупреждают рыбака. По-видимому, это как раз и случилось, ибо Димитрий вытащил футов двенадцать сети и, продержав ее минуту в воздухе, бросил на дно лодки большого блестящего лосося. Толпа, стоявшая на пристани, встретила это громкими

восторженными криками. Такой дерзости Чарли уже никак не мог вынести.

— Идем, парнишка, — позвал он меня, и мы, не теряя времени, прыгнули в нашу лодку и наставили парус.

Толпа криком предупредила Димитрия, и пока мы отчаливали от пристани, он успел быстро отрезать ножом свою негодную сеть; его парус был наготове и тотчас затрепетал на солнце. Димитрий побежал на корму, наставил шкот и помчался по направлению к холмам Контра Косты.

В этот момент мы находились не больше чем в тридцати футах от него. Чарли ликовал. Он знал, что наша лодка быстроходна и что в умении управлять парусом с ним мало кто может поспорить. Он не сомневался, что мы догоним Димитрия, и я вполне разделял его уверенность. Но нам почему-то никак не удавалось настигнуть грека.

Дул славный попутный ветер. Мы быстро скользили по воде, но Димитрий медленно уходил от нас все дальше и дальше. Он не только шел быстрее, но даже на долю румба круче к ветру. Это особенно поразило нас, когда, огибая холмы Контра Косты, он перешел на другой галс и оста-

вил нас позади на добрую сотню футов.

— Фью! — свистнул Чарли, — не то его лодка настоящее чудо, не то к нашему килю прицепили пятигаллонную жестянку дегтя.

И действительно, было похоже на то. Когда Димитрий проходил мимо Сономских холмов по другую сторону пролива, мы оказались так безнадежно далеко от него, что Чарли приказал мне спустить шкот, и мы повернули назад в Бенишию. Рыбаки, стоявшие на пароходной пристани, осыпали нас градом насмешек, пока мы причаливали и привязывали лодку. Мы поспешили уйти, чувствуя, что очутились в дурацком положении. В самом деле, мы думали, что у нас хорошая лодка и что мы умеем управлять ею, а тут откуда ни возьмись явился вдруг человек, который нанес нам позорнейшее поражение.

Чарли горевал по этому поводу целых два дня. Затем нам снова сообщили, как и в первый раз, что в следующее воскресенье Димитрий Контос повторит свое представление. Чарли весь встрепенулся. Он вытащил нашу лодку из воды, вычистил ее, заново выкрасил дно, сделал какое-то изменение в ее киле, перебрал привод и просидел почти всю ночь с субботы на воскресенье, сооружая новый парус, гораздо больше

прежнего. Этот парус был так велик, что нам пришлось прибавить балласта и уложить на дно лодки сверх комплекта около пятисот фунтов старых рельсов.

Наступило воскресенье, а с ним явился и Димитрий Контос, чтобы снова дерзко бросить вызов закону. И в этот раз, точно так же как и в прошлое воскресенье, после полудня поднялся свежий ветер, и Димитрий снова отрезал футов сорок гнилой сети, наставил парус и умчался из-под нашего носа. Но он предугадал намерение Чарли, и его парус поднялся выше обыкновенного, а к заднему лику оказался прибавленным целый кусок холста.

Пока мы гнались друг за другом по направлению к холмам Контра Косты, никто из нас не выиграл ни ядра расстояния. Но, изменив галс к Сономским холмам, мы заметили, что Димитрий взял круче к ветру и идет быстрее нас. Однако Чарли правил нашей лодкой так ловко и искусно, что, казалось, дальше идти некуда, и судно мчалось быстрее, чем когда-либо.

Конечно, Чарли мог вытащить свой револьвер и выстрелить в Димитрия, но мы давно уже убедились, что неспособны стрелять в убегающего человека, виновного лишь в незначительном

проступке. Между рыбаками и патрульными существовало на этот счет как бы молчаливое соглашение. Если мы не стреляли по ним, когда они убегали, то и они в свою очередь не сопротивлялись, если нам удавалось их настигнуть. Точно так же и в этот раз Димитрий Контос убегал от нас, а мы только гнались за ним, стараясь захватить его. Но если бы наша лодка оказалась быстроходнее, если бы мы настигли его, он не стал бы сопротивляться и дал бы арестовать себя.

Благодаря широкому парусу и сильному ветру наше положение в Каркинезском проливе оказалось что называется «пиковым».

Нам приходилось все время быть настороже, чтобы не перевернуться; в то время как Чарли управлял рулем, я держал шкот в руке только с одним оборотом вокруг шпильки, готовый каждую минуту отпустить его. У Димитрия же дела было по горло, ибо он должен был один и править, и следить за парусами.

Но мы напрасно пытались изловить его. Его лодка действительно была быстроходнее нашей. И хотя Чарли правил не хуже, если не лучше грека, наша лодка все же не могла сравняться с его лодкой.

— Отдай шкот, — скомандовал Чарли, и, когда

мы пошли против ветра, к нам донесся насмешливый хохот Димитрия. Чарли покачал головой:

— Дело гиблое, — сказал он. — У Димитрия лодка лучше нашей. Если он захочет повторить еще раз свое представление, нам нужно будет придумать что-нибудь похитрее.

На этот раз из затруднения вывела моя сообразительность.

— А что, если в следующее воскресенье я погонюсь на лодке за Димитрием, а ты подождешь его на пристани в Валлехо да и сцапаешь, как только он там высадится?

Чарли подумал с минуту и хлопнул себя по колену.

— Прекрасная идея. Ты начинаешь, брат, шевелить мозгами. Честь и хвала твоему учителю. Только не следует загонять его слишком далеко, — продолжал он через минуту, — иначе он отправится в Сан-Пабло вместо того, чтобы вернуться домой в Валлехо, и я только зря простою на пристани, поджидая его.

Это было во вторник, а в четверг у Чарли возникло сомнение насчет моего плана.

— Все будут знать, что я отправился в Валлехо, и, конечно, Димитрий будет также осведомлен об этом. Боюсь, нам придется отказаться от этого

плана.

Возражение было основательное, и я весь остаток дня ходил повесив нос. Но ночью меня осенила новая мысль, и я, сгорая от нетерпения, разбудил Чарли, спавшего глубоким сном.

— Ну, — проворчал он, — что там еще? Дом горит?

— Нет, — ответил я, — не дом, а моя голова. Послушай-ка, что я придумал. В воскресенье мы оба побудем на берегу, пока не увидим Димитрия. Это усыпит все подозрения. А как только на горизонте покажется его парус, ты не спеша отправишься в город. Все рыбаки решат, что тебе просто стыдно оставаться на пристани, так как ты заранее уверен, что потерпишь поражение.

— Пока недурно, — согласился Чарли, когда я остановился, чтобы перевести дыхание.

— Даже очень хорошо, — с гордостью продолжал я. — Итак, ты небрежной походкой отправишься в город, но лишь только пристань скроется из виду, пускайся со всех ног к Дану Малонею. Бери его лошадку и шпарь что есть духу по проселочной дороге в Валлехо. Дорога превосходная, и ты прекрасно успеешь домчаться до Валлехо, пока Димитрий будет бороться с ветром.

— А относительно лошади я поговорю завтра же утром, — подхватил Чарли, без колебания принимая мой измененный план.

— Послушай-ка, — сказал он немного спустя, в свою очередь расталкивая меня.

Я слышал, как он хихикал в темноте.

— Послушай, парнишка, не кажется ли тебе, что это презабавная штука — рыбачий патруль и вдруг верхом на коне!

— Сообразительность! — ответил я. — Ведь это как раз то, что ты постоянно проповедуешь: забегай мыслью вперед твоего противника, и ты победишь его.

— Хе-хе, — хихикал он. — А если к мысли да прибавить еще славную лошадку, тут уж противнику крышка, не будь я твой покорный слуга Чарли Легрант.

— Только вот управишься ли ты один с лодкой? — спросил он в пятницу. — Не забывай, что мы поставили большой парус.

Я с таким жаром стал защищать свое умение править, что он перестал говорить об этом. Но в субботу он предложил мне снять с заднего лика целый холст. Разочарование, отразившееся на моем лице, заставило его отказаться от этой мысли, ибо я тоже гордился своим умением

управлять парусной лодкой и сгорал от желания выйти одному с большим парусом и пуститься по Каркинезскому проливу в погоню за убегающим греком.

По установившемуся обычаю воскресенье и Димитрий Контос оказались и на этот раз неразлучными. У рыбаков уже вошло в привычку собираться на пароходной пристани, приветствовать восторженными криками появление своего героя и насмехаться над нашим поражением. Димитрий, как всегда, спустил парус в двухстах ярдах от пристани и выбросил пятьдесят футов негодной сети.

— Я думаю, что эта дурацкая история будет тянуться до тех пор, пока у него не кончится гнилая сеть, — буркнул Чарли нарочно достаточно громко, чтобы его услышали греки.

— Тогда наша давал ему свой старый сетка, — тотчас же ехидно отозвался один из греков.

— Плевать я хотел, — ответил Чарли. — У меня тоже найдется старая сеть, пусть попросит, я так и быть подарю ему.

Все расхохотались, ибо считали, что могут позволить себе некоторую снисходительность по отношению к человеку, так жестоко одураченному, как Чарли.

— Ну, прощай, брат, — крикнул мне Чарли минуту спустя. — Я иду в город, к Малонею.

— Можно мне выйти в лодке? — спросил я.

— Пожалуй, если есть охота, — ответил он, повернулся и медленно направился к городу.

Димитрий вынул из своей сети двух больших лососей, и я вскочил в лодку. Рыбаки в самом веселом настроении столпились вокруг, и когда я начал наставлять парус, со всех сторон посыпались язвительные советы. Они предлагали друг другу самые смелые пари, утверждая, что я обязательно поймаю Димитрия, а двое из них, взяв на себя роль судей, торжественно попросили разрешения отправиться со мной, чтобы посмотреть, как я это сделаю.

Но я не торопился и нарочно мешкал, чтобы дать Чарли как можно больше времени. Поэтому я сделал вид, будто недоволен тем, как выбрал парус, и слегка переложил тали, которыми большой шпрюйт поддерживает верхний угол паруса. И только когда я почувствовал полную уверенность в том, что Чарли сидит уже верхом на маленькой лошадке Дана Малонея, я отчалил от пристани и предоставил большой парус ветру. Сильный порыв сразу наполнил его, и лодка, накренившись правым бортом, зачерпнула ведра

два воды. Такой пустяк случается даже с лучшими моряками, и хотя я тотчас же отдал парус и выровнялся, меня тем не менее осыпали градом саркастических замечаний, словно я совершил бог знает какую ошибку.

Когда Димитрий увидел в патрульной лодке только одного человека, да и то мальчишку, он решил поиграть со мной. Подпустив меня футов на пятнадцать, он сделал короткий галс, немного отдал шкот и вернулся к пароходной пристани. Там он стал делать короткие галсы, кружить и лавировать, к великому удовольствию сочувственно настроенных зрителей. Я ни на шаг не отставал от него и повторял все его маневры, даже когда он пошел прямо на фордевинд и перебросил свой большой парус — чрезвычайно опасная штука при таком ветре и с таким парусом, как у меня.

Он рассчитывал, что ветер и отлив, вызывавшие вместе довольно сильное волнение, окончательно погубят меня. Но я был в ударе и никогда в жизни не управлял лодкой так хорошо, как в этот день. Я был возбужден до крайности, мозг мой работал быстро и легко, руки ни разу не дрогнули, и я чутьем угадывал те тысячи мелочей, которые хороший лодочный моряк никогда не должен упускать из виду.

Вместо меня сам Димитрий чуть не потерпел аварию. Что-то случилось с его гафелем, который застрял и никак не мог спуститься до самого конца. Одно мгновение, которое ему удалось выиграть у меня при помощи ловкого маневра, он нетерпеливо возился с гафелем, стараясь спустить его вниз. Но я быстро нагнал его, и он был вынужден снова взяться за румпель и шкот.

Однако гафель продолжал беспокоить его. Димитрий перестал играть со мной и направился по пути в Валлехо. К великой моей радости, я на первом же галсе заметил, что могу идти немного круче к ветру, чем он. Вот когда ему был необходим помощник в лодке! Зная, что нас разделяет всего несколько футов, он не решался оставить руль и пройти на середину лодки, чтобы спустить гафель.

Димитрий, убедившись, что не может взять на этот раз так же круто к ветру, как делал это раньше, стал понемногу отдавать шкот и полегоньку травить его, чтобы уйти от меня. Я позволил ему опередить себя, пока шел против ветра, но затем стал нагонять его. Когда я приблизился, он притворился, что переходит на другой галс. Тогда я отдал шкот, чтобы обогнать его. Но это был всего-навсего ловкий трюк, и он тотчас же снова

перешел на прежний курс, тогда как я поспешно стал наверстывать потерянное расстояние.

Димитрий безусловно управлял лодкой гораздо искуснее меня. Мне то и дело казалось, что я вот-вот настигну его, но он ловким маневром одурачивал меня и ускользал из-под носа. К тому же ветер становился все сильнее, и мы должны были направить все свое внимание на то, чтобы не перевернуться. Что касается моей лодки, то она держалась только благодаря лишнему балласту. Я сидел, скорчившись у наветренного борта, и держал в одной руке руль, а в другой шкот; но так как шкот был только один раз обернут вокруг шпиля, то при сильных порывах ветра мне часто приходилось отдавать его. Из-за этого парус выводился из ветра, терял соответственное количество двигательной силы, и я, само собой разумеется, отставал от грека. Единственным утешением было то, что Димитрию тоже часто приходилось прибегать к этому маневру.

Сильный отлив, мчавшийся по Каркинезскому проливу прямо против ветра, поднимал необычайно бурные и злобные волны, которые то и дело перекатывались через борт. Я промок до костей, и даже парус был подмочен до половины лика. Один раз мне все-таки удалось перехит-

рить Димитрия, и нос моей лодки ударился в середину его судна. Вот когда мне недоставало в лодке товарища! Прежде чем я успел добежать на нос и перепрыгнуть через борт в лодку грека, тот оттолкнул мою лодку веслом и вызывающе рассмеялся мне в лицо.

Теперь мы находились как раз у выхода из пролива, где море всегда бывает особенно неспокойно. Здесь смешиваются воды Каркинезского и Валлехского проливов, как бы набегая друг на друга. Первый несет весь бассейн реки Напа, а во второй впадают все воды Суизинской бухты и рек Сакраменто и Святого Иоакима. И в том месте, где сталкиваются эти огромные массы воды, всегда происходит сильное волнение. К тому же на этот раз в заливе Сан-Пабло, на расстоянии пятнадцати миль оттуда, бушевал сильный ветер, нагоняя огромные волны. Отовсюду устремлялись противоположные течения, сталкиваясь, образуя водовороты и кипучие бездны. Большие злобные волны вздымались со всех сторон, обрушиваясь на нас одинаково часто как с подветренной, так и с наветренной стороны. И, заглушая все это смятение, покрывая всю эту безумную вакханалию стихий, накатывался, громыхая, огромный дымящийся вал из залива Сан-Пабло.

Я находился в таком же диком возбуждении, как и воды, плясавшие вокруг меня. Лодка шла великолепно, подымаясь и опускаясь на волнах, точно беговая лошадь. Я едва сдерживал радость, которую рождал во мне этот разгул стихий. Огромный парус, бушующие волны, ревущий ветер, ныряющая лодка — и наряду с этим я, пигмей, ничтожная точка среди этих гигантов! А между тем я управлял ими, я мчался по ним и над ними, торжествующий и победоносный!

И как раз в тот миг, когда я несся, словно герой-победитель, что-то со страшной силой ударилось об мою лодку, и она сразу остановилась, точно оглушенная. Меня подбросило вперед, и я упал на дно. Когда я вскочил на ноги, передо мной мелькнул зеленоватый, покрытый раковинами предмет, и я тотчас же узнал в нем ужас моряков — затонувшую сваю. Ни один человек не может уберечься от нее. Пропитанная водой свая плывет как раз под поверхностью, и заблаговременно заметить ее при сильном волнении совершенно невозможно.

По-видимому, она продавила весь нос лодки, потому что через несколько секунд судно наполовину заполнилось водой. Затем нахлынули две-три волны, и лодка стала тонуть, увлекаемая

на дно тяжелым балластом. Все это произошло так быстро, что я запутался в парусе и очутился под водой. Когда наконец, едва не задохнувшись, я вынырнул на поверхность, весел не было уже и следа: их, должно быть, унесло бурным течением. Я увидел, что Димитрий Контос оглядывается на меня, и услышал его злорадный и торжествующий голос, кричавший мне что-то. Он продолжал держаться своего курса, спокойно предоставив меня верной гибели. Не оставалось ничего другого, как пуститься вплавь, что в этом диком хаосе могло продлить мою агонию на несколько минут. Задерживая дыхание и работая руками, я ухитрился стащить с себя в воде тяжелые морские сапоги и куртку. Однако я сильно задыхался и скоро сообразил, что не так трудно держаться на воде, как дышать, плывя при таком ветре.

Огромные пенящиеся валы с залива Сан-Пабло били меня, кидали, покрывали с головой, а небольшие океанские волны душили, захлестывая глаза, нос и рот. Какие-то странные тиски сжимали мне ноги и тянули вниз, чтобы снова выбросить наверх в кипящем водовороте; и когда, напрягая все силы, я готовился перевести дыхание, огромный вал вдруг обрушивался на меня, и я глотал вместо воздуха соленую воду.

Дольше держаться было невозможно. Я больше дышал водою, чем воздухом, я тонул. Сознание начало покидать меня, голова кружилась. Я продолжал судорожно бороться, побуждаемый инстинктом, и барахтался в полубессознательном состоянии, как вдруг почувствовал, что кто-то перетягивает меня за плечо через борт лодки.

Некоторое время я лежал поперек скамьи, на которую меня бросили, лицом вниз, и изо рта моего выливалась вода. Немного погодя, все еще чувствуя себя слабым и бессильным, я повернул голову, чтобы посмотреть, кто был моим спасителем. И тут я увидел, что на корме со шкотом в одной руке и румпелем в другой сидит не кто иной, как Димитрий Контос и, добродушно усмехаясь, кивает мне головой. Он хотел было оставить меня на произвол судьбы, как он сам рассказывал после, но лучшая часть его души одержала верх и послала его ко мне на помощь.

— Ну как твой, ничего? — спросил он.

Я попробовал изобразить губами — да, потому что голос отказывался повиноваться мне.

— Твой хорошо правил лодка, — сказал он, — как настоящая мужчина.

Получить комплимент от Димитрия Конто-

са было очень приятно, и я вполне оценил эту любезность, но выразил свою признательность только кивком головы.

На этом разговор прекратился, потому что Димитрий Контос был занят своей лодкой, и я старался прийти в себя. Он причалил к Валлехской пристани, привязал лодку и помог мне выйти. В тот момент, когда мы оба очутились на пристани, из-за частокола, на котором сушились сети, вышел Чарли и опустил руку на плечо Димитрия Контоса.

— Он спас мне жизнь, Чарли, — запротестовал я, — и, по-моему, его нельзя теперь арестовывать.

На лице Чарли появилось выражение замешательства, которое тотчас же исчезло, как бывало всегда, когда он принимал какое-нибудь решение.

— Ничего не поделаешь, — сказал он ласково, — я не могу отступить от своего долга, а долг велит мне арестовать его. Сегодня воскресенье, а в его лодке лежат два лосося, которых он поймал сегодня. Что же мне делать?

— Но он спас мне жизнь, — настаивал я, не находя другого довода.

Лицо Димитрия Контоса потемнело от гнева,

когда он услышал решение Чарли. Он чувствовал, что с ним поступают несправедливо. Лучшая часть его души одержала верх, он совершил великодушный поступок, спас беспомощного врага, и в благодарность за это враг тащил его теперь в тюрьму.

На обратном пути в Бенишию мы оба были не в своей тарелке. Я стоял за дух закона, а не за букву его, а Чарли опирался именно на букву. По его мнению, другого выхода из положения не было. Закон ясно говорил, что в воскресенье нельзя ловить лососей. Он был патрульным, и его обязанностью было следить за исполнением закона. Вот и все. Он исполнил свой долг, и совесть его чиста. Тем не менее, мне казалось, что это несправедливо, и я очень жалел Димитрия Контоса.

Два дня спустя мы отправились в Валлехо на суд. Я был вызван в качестве свидетеля, и это была самая тяжелая обязанность, какую мне когда-либо приходилось выполнять. Я показал, что видел, как Димитрий поймал двух лососей, с которыми его задержал Чарли.

Димитрий взял адвоката, но дело его было безнадежно. Суд совещался всего пятнадцать минут и вынес ему обвинительный приговор. Он был присужден к уплате штрафа в сто долларов или

к тюремному заключению на пятьдесят дней. Тогда Чарли подошел к секретарю суда.

— Я вношу этот штраф, — сказал он, кладя на стол пять монет по двадцать долларов. — Это единственный выход, парнишка, — пробормотал он, обращаясь ко мне.

Слезы выступили у меня на глазах, и я схватил его за руку:

— Я сам заплачу… — начал я.

— Половину, — прервал он. — Конечно, я так и считал, что ты заплатишь свою половину.

Между тем, адвокат сообщил Димитрию, что Чарли уплатил также и его гонорар.

Димитрий подошел к Чарли и пожал ему руку, причем вся его горячая южная кровь бросилась ему в лицо. Не желая, чтобы мы превзошли его в великодушии, он заявил, что сам заплатит штраф и гонорар адвокату и чуть не вспылил, когда Чарли не позволил ему сделать этого.

Я думаю, что этот поступок Чарли, больше чем что-либо другое, внушил рыбакам уважение к закону. Сам Чарли высоко поднялся в их глазах, да и я заодно прославился как «малый, который умеет управлять лодкой». Димитрий Контос не только никогда больше не нарушал закона, но сделался нашим приятелем и при случае всегда

заворачивал в Бенишию поболтать с нами.

Желтый платок

— Я не думаю приказывать тебе, парнишка, — сказал Чарли, — но мне не хотелось бы, чтобы ты принимал участие в этом последнем набеге. Ты вышел здравым и невредимым из самых тяжелых стычек с отчаянными ребятами; подумай только, как будет обидно, если с тобой что-нибудь случится напоследок.

— Но не могу же я увильнуть от последнего набега, — возразил я с молодым задором. — Ведь какой-нибудь из них обязательно будет последним, ты сам понимаешь.

Чарли скрестил ноги, откинулся назад и стал обдумывать этот вопрос.

— Верно, брат. Но почему бы нам не назвать концом арест Димитрия Контоса. Ты вышел из него целым, здоровым и веселым, хотя и промок маленько. Я... я... — его голос оборвался, и он несколько секунд не мог докончить фразы. — Я никогда не простил бы себе, если бы с тобой что-нибудь случилось.

Я посмеялся над опасениями Чарли, но его привязанность и беспокойство глубоко растрогали меня, и я согласился считать, что последний на-

бег уже совершен. Мы провели вместе два года, и теперь я покидал рыбачий патруль, чтобы закончить свое образование. За это время мне удалось скопить из своего заработка достаточно денег, чтобы продержаться три года в высшей школе, и хотя занятия уже начались несколько месяцев назад, я собирался еще основательно подучиться к вступительным экзаменам.

Мои пожитки были аккуратно уложены в морской сундук, и я собирался было уже купить билет и отправиться по железной дороге в Оклэнд, когда в Бенишию явился Нейль Партингтон. «Северный Олень» должен был немедленно идти по патрульному делу в Нижнюю бухту, и Нейль заявил, что отправится прямо в Оклэнд. В Оклэнде жила семья Нейля, в которой я должен был поселиться на время учения в высшей школе; поэтому он решил, что мне лучше всего поставить свой сундук на борт «Северного Оленя» и поехать вместе с ним.

Сундук был перенесен, и часа в два-три пополудни мы подняли большой парус «Северного Оленя» и отчалили. Стояла отвратительная осенняя погода. Морской ветер, упорно дувший все лето, теперь затих, и его заменили капризные береговые ветры. Небо хмурилось, и мы были

не в силах определить, сколько времени займет переход. Мы тронулись в путь при самом начале отлива. Когда «Северный Олень» вошел в Каркинезский пролив, я бросил последний взгляд на Бенишию и на бухту Тернеровской верфи, где мы вели осаду «Ланкаширской Королевы» и поймали Большого Алека, Короля греков. У устья пролива я с неменьшим интересом оглянулся на то место, где несомненно утонул бы, если бы добрая половина души Димитрия Контоса потерпела поражение.

По заливу Сан-Пабло двигалась нам навстречу непроницаемая стена тумана, и через несколько минут «Северный Олень» пробирался уже наугад в сырой мгле. Чарли, сидевший на руле, казалось, был одарен особым чутьем, которое давало ему возможность находить дорогу в этом непроницаемом мраке. Он сам сознавался, что не знает, как это ему удается. Каким-то непостижимым образом он учитывал силу ветра, течение, расстояние, время, дрейф, и результаты получались удивительные.

— Как будто немного рассеивается, — сказал Нейль Партингтон через два часа после того, как мы вошли в полосу тумана. — Где мы теперь находимся, Чарли?

Чарли взглянул на часы.

— Шесть часов; отлив будет продолжаться еще три часа, — отозвался он как будто невпопад.

— Но где же мы находимся? — повторил настойчиво Нейль.

Чарли подумал минуту и ответил:

— Отлив немного отклонил нас от курса, но если туман сейчас рассеется, — а он, кажется, собирается сделать это, — вы увидите, что мы находимся не дальше чем на тысячу миль от Мак-Нирской пристани.

— Вы могли бы быть на несколько миль точнее, — проворчал Нейль недовольным тоном.

— Ладно же, — сказал решительно Чарли, — до пристани не меньше четверти и не больше полумили.

Ветер посвежел, и туман стал заметно редеть.

— Вот там Мак-Нир, — сказал Чарли, указывая прямо в туман, окружавший нас с подветренной стороны.

Мы пристально вглядывались по указанному направлению, как вдруг «Северный Олень» глухо ударился обо что-то и остановился. Мы бросились вперед и увидели, что его бушприт запутался в грязной оснастке короткой грубо сделанной мачты. Он столкнулся с китайской джонкой,

стоявшей на якоре.

В ту же минуту, как мы очутились на носу, пять заспанных китайцев, точно пчелы, гудя высыпали из каюты.

Впереди всех шел высокий мускулистый человек, его изрытое оспой лицо и желтый шелковый платок, повязанный вокруг головы, сразу бросились мне в глаза. Это был Желтый Платок, китаец, которого мы арестовали год назад за незаконную ловлю креветок; в тот раз он едва не потопил «Северного Оленя» и теперь снова чуть-чуть не пустил его ко дну, нарушив правила навигации.

— Что это вы, желтолицые язычники, стали на фарватере и не подаете никаких сигналов? — сердито закричал Чарли.

— Вы спрашиваете, почему они стоят здесь без сигналов? — спокойно отозвался Нейль. — Посмотрите и поймете.

Мы посмотрели в направлении, указанном Нейлем, и увидели, что открытый трюм джонки почти доверху заполнен только что наловленными креветками. Тут же вперемешку с креветками лежали мириады рыбешек величиной от четверти дюйма. Желтый Платок поднял сеть после прилива и, пользуясь туманом, самым наглым образом стал на фарватере, намереваясь еще раз

поднять сеть, когда после отлива снова установится стоячая вода.

— Так, — сказал Нейль, цедя слова сквозь зубы, — за всю мою разнообразную и обширную практику в качестве начальника рыбачьего патруля мне ни разу еще не удавалось так легко накрыть рыбаков. Что же нам теперь делать с ними, Чарли?

— Отведем джонку на буксире в Сан-Рафаэль, вот и все, — ответил Чарли, затем добавил, обращаясь ко мне: — Ты, парнишка, перелезай в джонку, а я брошу тебе буксирный канат. Если ветер уляжется, мы успеем пройти реку до низкой воды, переночуем в Сан-Рафаэле и завтра к полудню будем в Оклэнде.

Затем Чарли и Нейль снова занялись «Северным Оленем» и пустились в путь, взяв джонку на буксир. Я же, приняв на себя обязанность следить за добычей, отправился на корму джонки и начал управлять ею с помощью допотопного румпеля с широкими ромбоидальными отверстиями, через которые взад и вперед переливалась вода.

К тому времени туман совсем рассеялся, и показавшаяся в полумгле пристань Мак-Нира подтвердила нам, что предположение Чарли было вполне правильно. Пройдя вдоль западного

берега, мы обогнули мыс Педро на виду у рыбачьих поселков, где жили китайцы, занимавшиеся ловлей креветок. Увидев, что одна из их джонок тянется на буксире за хорошо знакомым патрульным судном, они подняли страшный шум.

С берега дул неровный порывистый ветер, для нас же было бы гораздо лучше, если бы он дул сильнее и устойчивее. Речка Сан-Рафаэль, по которой нам предстояло плыть, чтобы добраться до города и передать там наших пленников властям, протекала через обширные топи; из-за этого по ней было трудно идти при убывающей воде, а при низкой она становилась совсем несудоходной. Вода к тому времени убыла уже наполовину, и нам следовало торопиться. Но тяжелая джонка, тащившаяся сзади, задерживала ход «Северного Оленя».

— Прикажи-ка своим кули, чтобы они подняли парус, — крикнул мне наконец Чарли. — Не сидеть же нам в самом деле из-за них целую ночь в болоте.

Я повторил приказание Желтому Платку, который хриплым голосом неохотно передал его своим товарищам. Он был сильно простужен и корчился от судорожных приступов кашля, а глаза его были воспалены и налиты кровью. От этого

лицо китайца казалось еще более отталкивающим, а когда он бросил на меня злобный взгляд, я с содроганием вспомнил стычку, которая произошла между нами при его аресте в прошлом году.

Его команда угрюмо натянула фалы, и странный чужеземный парус, косой, выкрашенный в темно-коричневый цвет, затрепетал в воздухе. Мы шли с хорошим ветром, и, когда Желтый Платок натянул шкот, джонка пошла быстрее и буксир ослабел. Как ни быстро шел «Северный Олень», джонка обгоняла его, и, чтобы избежать столкновения, я взял немного круче к ветру. Но джонка продолжала обгонять, и через несколько минут я очутился на траверзе борта «Северного Оленя». Теперь оба буксирных каната натянулись под прямыми углами к обеим лодкам. Положение получалось очень забавное.

— Отдай канат! — крикнул я. Чарли колебался.

— Да не бойся, — прибавил я, — ничего не случится. Мы пройдем реку на этом галсе, а вы будете все время сзади до самого Сан-Рафаэля.

После этого Чарли отдал буксир, и Желтый Платок послал одного из китайцев на нос, чтобы выбрать канат. Я едва разглядел в сгущающихся сумерках устье Сан-Рафаэля и, когда джонка вошла в реку, с трудом мог различить берега. «Се-

верный Олень» находился в добрых пяти минутах хода позади нас, и мы все сильнее опережали его, быстро двигаясь по узкой извилистой реке. Зная, что позади находится Чарли, я совсем не боялся своих пяти пленников. Однако темнота мешала мне зорко следить за ними, и я переложил револьвер из заднего кармана брюк в боковой карман куртки, откуда его легче было достать.

Я боялся одного лишь Желтого Платка, а он прекрасно понимал это и, как покажут дальнейшие события, воспользовался этим. Он сидел в нескольких футах от меня у наветренного борта джонки. Я едва различал очертания его фигуры, но тем не менее заметил, что он медленно, очень медленно подвигается ко мне. Я стал внимательно следить за ним. Держа левую руку на румпеле, я засунул правую в карман куртки и нащупал револьвер.

Я увидел, что китаец придвинулся ко мне на несколько дюймов, и только собрался крикнуть ему «назад!» — слово уже трепетало на кончике языка, — как вдруг чья-то грузная фигура прыгнула на меня с подветренной стороны и одним ударом сбила с ног. Это был китаец из команды джонки. Он вцепился в мою правую руку так, что я не мог уже вытащить ее из кармана, а дру-

гой рукой зажал мне рот. Конечно, я сумел бы вырваться, освободить руку или рот и поднять тревогу, но в этот момент на меня навалился еще и Желтый Платок.

Я тщетно барахтался на дне джонки. Мои руки и ноги были крепко скручены, а рот завязан, как оказалось потом, чьей-то ситцевой рубахой. Желтый Платок взял румпель и стал шепотом отдавать приказания. По положению своего тела и по перестановке паруса, который смутно вырисовывался надо мной при свете звезд, я понял, что джонка направляется в устье маленькой болотистой речонки, впадавшей в этом месте в Сан-Рафаэль.

Через несколько минут мы тихо подошли к берегу и бесшумно спустили парус. Все китайцы соблюдали полную тишину. Желтый Платок присел на дно рядом со мной, и я слышал, как он старался подавить свой резкий отрывистый кашель. Прошло, должно быть, минут семь-восемь. Затем я услышал голос Чарли, в то время как «Северный Олень» проходил мимо устья речонки.

— Не могу сказать вам, до чего я рад, что наш парнишка благополучно покончил с рыбачьим патрулем, — ясно услышал я слова Чарли.

Тут Нейль сказал что-то, чего я не расслышал, и

затем голос Чарли продолжал:

— У парнишки несомненные способности к морскому делу, и если он, окончив школу, пойдет по этой части и отправится в дальнее плавание, то из него наверняка выйдет превосходный капитан.

Все это было очень лестно; но, лежа на дне лодки, связанный, в плену у моих же пленных, я, признаюсь, не испытал никакой радости от этой блестящей перспективы, с тревогой прислушиваясь, как замирают вдали голоса на «Северном Олене», удалявшемся по направлению к Сан-Рафаэлю. С «Северным Оленем» исчезла моя последняя надежда. Я никак не мог себе представить, что ожидает меня. Китайцы были людьми чужой расы, и из того, что мне приходилось слышать о них, я заключал, что они отнюдь не отличаются благородством и великодушием.

Подождав еще несколько минут, команда подняла косой парус, и Желтый Платок направил лодку к устью Сан-Рафаэля. Вода все убывала, и ему с трудом удавалось огибать илистые мели. Я надеялся, что джонка сядет на одну из них, но Желтый Платок благополучно вывел ее в залив.

Когда мы вышли из реки, между китайцами разгорелся шумный спор, разумеется, как я сразу

догадался, из-за моей особы. Желтый Платок что-то горячо доказывал, но остальные четверо не менее горячо возражали ему. Было очевидно, что он предлагал покончить со мной, а они боялись последствий. Я достаточно хорошо знал китайцев и потому не сомневался, что их удерживает один лишь страх. Однако я никак не мог разобрать, что они предлагают вместо жестокого плана Желтого Платка.

Легко представить себе, что я испытывал в то время, как жизнь моя висела, таким образом, на волоске. Спор перешел в ссору, и в самом разгаре ее Желтый Платок, выхватив тяжелый румпель, подскочил ко мне. Но его четыре товарища бросились к нему, и между ними завязалась неуклюжая борьба за румпель. Наконец Желтый Платок уступил и угрюмо вернулся на свое место к рулю, между тем как остальные стали упрекать его за горячность.

Вскоре после этого парус снова спустили, и джонка стала медленно двигаться на веслах. Я чувствовал, как она тихо врезается в мягкую тину. Трое китайцев — все они были в высоких морских сапогах — прыгнули через борт, а двое других подняли меня и передали высадившимся товарищам. Желтый Платок взял меня за ноги,

два других китайца за плечи, и процессия двинулась, поминутно увязая в топкой тине. Через некоторое время они зашагали по более твердой почве, и я понял, что меня выносят на берег. Я не сомневался в том, где мы находились. Это мог быть только один из скалистых островков Морского архипелага у берегов Приморского графства.

Добравшись до твердой песчаной полосы, китайцы бросили меня — не скажу, чтобы очень деликатно — на землю. Желтый Платок злобно пнул меня в бок, и все трио, шлепая по тине, отправилось назад к джонке. Через минуту я услышал, что они подняли парус, который заполоскал от ветра, когда китайцы выбрали шкот. Затем наступила тишина, и мне оставалось рассчитывать только на собственную ловкость, чтобы освободиться от связывавших меня пут.

Я вспомнил, как фокусники в цирке, извиваясь и корчась, освобождались от связывавших их веревок. Но как я ни барахтался, как ни изворачивался, узлы нисколько не ослабевали. Между тем, барахтаясь, я докатился до кучи двустворчатых раковин, которые, очевидно, остались там после какого-нибудь пикника. Это подало мне счастливую мысль. Мои руки были связаны за спиной; я

схватил ими раковину и покатился по берегу к скалам, о существовании которых я знал.

Я долго катался, ища подходящей щели. Наконец я нашел ее и засунул туда раковину. Затем я стал тереться веревкой, которая связывала мои руки, об острый край раковины. Но хрупкий край обломался, когда я слишком сильно налег на него. Тогда я покатился обратно к куче и набрал столько раковин, сколько смог захватить в обе руки. Много раковин я поломал, много раз обрезал себе руки, а в ногах у меня от напряжения и усилия начались судороги.

В то время как я, изнемогая от боли, лежал неподвижно, со стороны моря раздался знакомый голос, который окликал меня. Это был Чарли, он искал меня. Но кляп мешал мне ответить, и я только беспомощно пыхтел, в то время как его лодка проходила мимо острова и голос постепенно замирал вдалеке.

Я снова взялся за распиливание веревок, и через полчаса мне удалось наконец перетереть свои путы. Остальное было легко. Когда руки оказались на свободе, развязать веревки, связывавшие ноги, и вынуть кляп изо рта было делом одной минуты. Я обежал кругом острова, чтобы убедиться, что это действительно остров, а не

часть материка. Да, это, без сомнения, был остров из группы Морского архипелага, окаймленный песчаным берегом и кольцом целого моря тины. Ничего больше не оставалось, как ждать рассвета и постараться не окоченеть. Но ночь была необычайно холодная и сырая для Калифорнии, и ветер пронизывал меня до костей, вызывая мелкую дрожь.

Чтобы не замерзнуть, я раз десять обежал кругом острова и столько же раз перевалил через его скалистый хребет, и это, как оказалось потом, сослужило мне большую службу не только тем, что помогло согреться. Среди этих упражнений я вдруг вспомнил, что легко мог потерять что-нибудь, пока катался по песку. Обыскав свои карманы, я обнаружил отсутствие револьвера и перочинного ножа. Револьвер взял Желтый Платок, но нож я, должно быть, потерял в песке. Я принялся искать его, как вдруг услышал скрип уключин. Сначала я, конечно, подумал о Чарли, но сейчас же сообразил, что Чарли, конечно же, окликал бы меня. Меня охватило вдруг предчувствие опасности. Морские острова — пустынное место, и трудно представить, чтобы случайные посетители причалили к ним среди глубокой ночи. А что если это Желтый Платок? Скрип

уключин становился все явственнее. Я скорчился на песке и стал напряженно прислушиваться. Лодка (судя по частым ударам весел, маленький ялик) остановилась в тине, ярдах в пятидесяти от берега, и я услышал сухой резкий кашель. Сердце мое замерло — это был Желтый Платок. Чтобы отомстить, совершив преступление, которому помешали его более осторожные товарищи, он тайком ускользнул из поселка и вернулся ко мне один.

Мысли вихрем закружились в моей голове. Я был безоружен и совершенно беспомощен на этом крошечном островке, а желтый варвар, ненавидевший меня, очевидно, явился сюда за тем, чтобы расправиться со своей жертвой. Поэтому я решил, что любое место будет для меня безопаснее, чем остров, и тотчас же инстинктивно бросился к воде или, вернее, к тине. Когда Желтый Платок зашлепал по илу, направляясь к берегу, я вошел в тину и побежал, спотыкаясь, по тому же направлению, которого держались китайцы, когда высаживали меня на берег и возвращались обратно в джонку.

Желтый Платок, думая, что я лежу крепко связанный на берегу, не соблюдал никакой осторожности и шумно шлепал по воде. Это очень

помогало мне, и я под прикрытием его шума, сам стараясь двигаться как можно тише, успел пройти шагов пятьдесят, пока он добрался до берега. Затем я лег в тину и стал ждать. Тина была липкая и холодная, так что у меня зуб на зуб не попадал; однако я не рисковал подняться и побежать, боясь, как бы зоркий глаз Желтого Платка не заметил меня.

Выйдя на берег, китаец направился прямо к тому месту, где меня оставили связанным, и я даже пожалел немножко, что не могу увидеть его изумленного лица. Но это сожаление было очень мимолетно, ибо зубы мои выбивали от холода мелкую дробь.

О том, что он делал дальше, я мог только догадываться, ибо едва различал при тусклом свете звезд очертания его фигуры. Однако я не сомневался, что он первым делом обойдет берег, чтобы посмотреть, не приставала ли к острову какая-нибудь другая лодка. Узнать это было очень легко по следам в тине.

Убедившись, что меня не увезли с острова в лодке, он пустился на поиски, чтобы выяснить, что со мной случилось. Он наткнулся на кучу раковин и пошел по моим следам, освещая себе путь спичками. Каждый раз, как спичка вспыхивала,

я ясно видел его отталкивающую физиономию; когда же сера от спичек раздражала его легкие, он начинал кашлять, и признаюсь, что в эти минуты я, лежа в липкой тине, принимался дрожать еще сильнее.

Обилие моих следов смущало его. Затем ему, очевидно, пришло в голову, что я лежу где-нибудь в тине, потому что он прошел несколько ярдов по направлению ко мне и, остановившись, долго и тщательно осматривал темную поверхность. Желтый Платок был, вероятно, не дальше чем в пятнадцати футах от меня, и если бы он в эту минуту зажег спичку, то непременно обнаружил бы мое присутствие.

После этого он снова вернулся на берег и, вскарабкавшись на скалистый хребет, отправился искать меня, освещая себе путь спичками. Близость опасности заставила меня бежать дальше. Не решаясь встать и пойти, так как тина шумно захлюпала бы под ногами, я стал передвигаться по ней ползком на руках. Держась все время следов, оставленных китайцами, когда они шли с джонки на берег и обратно, я дополз наконец до воды. Здесь я дошел вброд до глубины в три фута и, свернув в сторону, поплыл параллельно берегу.

У меня мелькнула мысль захватить ялик Желтого Платка и удрать на нем, но в этот самый момент китаец вернулся на берег и, словно угадав мое намерение, зашлепал по тине, чтобы проверить, цел ли его ялик. Это заставило меня повернуть в обратную сторону. Полуплывя, полушагая, высунув из воды одну только голову и стараясь не плескать, я кое-как отошел футов на сто от того места, где китайцы высаживались из своей джонки. Затем я снова вошел в тину и растянулся на ней плашмя.

Желтый Платок опять вернулся на берег, обыскал весь остров и еще раз подошел к куче раковин. Я прекрасно понимал, о чем он думает. Никто не мог уйти с острова или подойти к нему, не оставив следов в тине, а между тем единственные имевшиеся следы шли от его ялика и от того места, где останавливалась первая джонка. Меня не было на острове, значит, я ушел по одному из этих двух следов. Он только что побывал у своего ялика и убедился, что я не ушел этим путем. Значит, я мог уйти только по тем следам, которые вели к джонке. И, чтобы проверить это, он сам направился по следу, оставленному китайцами, поминутно чиркая спички.

Дойдя до того места, где я лежал первый раз, он

открыл мои следы. Я понял это по тому, сколько времени он простоял там и как много сжег спичек. Он пошел по этим следам до самой воды, но на глубине трех футов Желтый Платок не мог больше различить их. С другой стороны, так как отлив все еще продолжался, то он легко заметил бы след, оставленный носом какой-нибудь джонки, точно так же, как и всякой другой лодки, если бы она пристала в этом месте. Но такого отпечатка не было, и китаец, как я понимал, был вполне убежден в том, что я скрываюсь где-нибудь в тине.

Но искать в темноте в море тины мальчика было все равно, что искать иглу в стоге сена, и он даже не попытался сделать это. Вместо этого он вернулся на берег и некоторое время побродил там. Я надеялся, что он откажется от своих поисков и уберется отсюда, ибо к этому времени я уже сильно страдал от холода. Наконец он зашлепал к своему ялику и отчалил. А что если это только уловка с его стороны? Что если он задумал выманить меня таким образом на берег?

Чем больше я об этом думал, тем больше мне казалось подозрительным, что он так нарочито громко шумел веслами, когда отъезжал. Итак, я остался лежать в тине. Я так сильно дрожал

от холода, что у меня заболели мускулы спины, и боль эта была еще мучительнее озноба. Мне нужно было величайшее напряжение воли, чтобы заставить себя оставаться в этом ужасном положении.

И хорошо, что я сделал это, ибо не прошло, должно быть, часу, как с берега послышался какой-то шум. Я стал напряженно всматриваться в темноту, но уши предупредили меня раньше глаз, уловив резкий, слишком хорошо знакомый кашель. Желтый Платок потихоньку вернулся на остров, подъехав к нему с другой стороны, и пришел на прежнее место, чтобы накрыть меня, если окажется, что я поддался на эту удочку.

Прошло несколько часов, и о Желтом Платке не было больше ни слуху ни духу. Тем не менее, я все еще боялся выйти на берег. С другой стороны, меня в такой же мере пугала мысль, что я не выдержу этого испытания и умру. Я никогда не представлял себе, что можно так страдать. Под конец я до такой степени застыл и окоченел, что даже перестал дрожать, но вместо этого мои мускулы и кости начали невыносимо болеть. Прилив уже давно начался, и меня мало-помалу стало относить к берегу. Высокая вода подошла в три часа, и в три часа я вылез на берег, еле живой;

в эту минуту я был так беспомощен, что если бы Желтый Платок набросился на меня, я не мог бы оказать ему никакого сопротивления.

Но Желтого Платка больше не было. Он, очевидно, отказался от мысли поймать меня и вернулся на мыс Педро. Однако мое положение было весьма плачевно, чтобы не сказать опасно. Я не мог ни стоять, ни тем более ходить. Промокшее, грязное платье сковывало меня, точно ледяной панцирь. Казалось, что мне никогда не удастся снять его. Мои пальцы так онемели и сам я так ослаб, что провозился не меньше часа над тем, чтобы снять сапоги. У меня не было сил разорвать кожаные шнурки, а узлы казались мне непреодолимым затруднением. Я колотил руками о камни, чтобы вызвать кровообращение. Минутами мне казалось, что я сейчас умру.

Прошло, по-моему, несколько столетий, прежде чем я освободился наконец от мокрого холодного платья. Вода была теперь совсем близко, и я с мучительными усилиями добрался до нее ползком и смыл тину со своего обнаженного тела. Я все еще был не в силах подняться на ноги и пойти, а лежать боялся. И мне не оставалось ничего другого, как медленно ползать взад и вперед по песку на манер улитки. Но даже это движение требовало

огромных усилий и вызывало мучительное болезненное ощущение во всем теле. Я продолжал это занятие, пока хватило сил; но когда восток побледнел при первых проблесках зари, я начал сдаваться. Небо загорелось розово-красным огнем, и золотой глаз солнца, показавшись над горизонтом, нашел меня в совершенно беспомощном состоянии. Я без движения лежал на раковинах, не будучи в силах шевельнуть ни одним мускулом.

Точно во сне я увидел знакомый грот «Северного Оленя», выскользнувший из речки Сан-Рафаэль при легком утреннем ветерке. Это видение несколько раз обрывалось, и есть промежутки, которых я, сколько ни стараюсь, никак не могу восстановить в памяти. Однако три вещи я помню отчетливо: первое появление грота «Северного Оленя»; момент, когда он бросил якорь в нескольких стах футов от меня и спустил маленькую шлюпку, и наконец гудящую раскаленную докрасна печь каюты и себя самого, закутанного в одеяла. Чарли немилосердно растирал и колотил мне плечи и грудь, а Нейль Партингтон вливал в рот чересчур горячий кофе, который обжигал мне язык и горло. Но жег он или нет, только скажу вам, что было это очень приятно. К тому времени,

когда мы пришли в Оклэнд, я был уже здоров и силен, как всегда, хотя Чарли и Нейль Партингтон боялись, чтобы у меня не началось воспаление легких. А миссис Партингтон в течение первых шести месяцев не переставала тревожно следить, не появятся ли у меня признаки чахотки.

Время летит. Мне кажется, что я не дальше как вчера был шестнадцатилетним парнем, служащим в рыбачьем патруле. Однако я знаю, что только сегодня утром пришел из Китая на купеческом корабле «Гарвестер», капитаном которого я состою. И знаю также, что завтра утром я отправлюсь в Оклэнд повидаться с семьей Нейля Партингтона, а оттуда загляну и в Бенишию к Чарли Легранту, чтобы потолковать с ним о старине. Нет, пожалуй, в Бенишию-то мне ехать незачем. Скоро я буду принимать самое непосредственное участие в одной свадьбе. Имя невесты — Алиса Партингтон, а так как Чарли обещал мне быть шафером, то ему все равно придется приехать в Оклэнд.

СЫН ВОЛКА

(сборник)



Сборник рассказов, повествующих о людях на суровом американском Севере. Здесь есть несколько сквозных персонажей, главный из которых — Меймлют Кид.

Белое Безмолвие

— Кармен не протянет, пожалуй, и пары дней. — Мэсон выплюнул ледышку и с сожалением посмотрел на собаку. Потом снова взял ее лапу в рот, продолжая обкусывать намерзший между пальцами лед.

— Никогда, знаешь, я не видел, чтобы собака с благородным именем была на что-нибудь годна!.. — сказал он, кончая работу и отбрасывая животное в сторону. — Они все какие-то чахлые и дохнут от излишней ответственности. Разве заболевают собаки с простенькими именами вроде Кассияр, Сиваш или Хески? Вот, посмотри на Шукума, — он…

Ттрах! Скелетообразный зверь сделал страшный прыжок, и его белые зубы промелькнули у самой глотки Мэсона.

— А-а, чтоб тебя… — Затрещина по уху, удар кнута — и животное уже лежало в снегу, слабо взвизгивая, а желтая пена бежала у него изо рта.

— Так вот, я говорю: Шукум — сам-то он как будто еле волочит ноги, а увидишь, он съест эту Кармен. Не пройдет и недели, как съест.

— А у меня предложение как раз обратное, —

отвечал Мельмут Кид, поворачивая замерзший хлеб, поставленный к огню. — Давайте-ка съедим лучше Шукума, пока он еще чего-нибудь не предпринял. Что ты скажешь на это, Руфь?

Индианка поставила чай на обломок льда и перевела глаза с Мельмут Кида на мужа и потом на собак. Она не сказала ничего. Все это было настолько банально, что и говорить не стоило. Впереди двести миль непрерывного пути с жалким шестидневным запасом для них самих, а для собак — ничего. А другого выхода нет. Двое мужчин и женщина сгрудились у огня и принялись за еду. Собаки лежали в упряжи — это была дневная передышка — и с жадностью следили за каждым проглатываемым куском.

— Сегодня последний завтрак, больше не будет, — заметил Мельмут Кид. — И я вам скажу, держите ухо востро с собаками, они становятся подозрительными. Что им стоит, в самом деле, при удобном случае перервать кому-нибудь глотку?

— А я был когда-то председателем в Эйварее и преподавал в воскресной школе!.. — Выпалив это, Мэсон погрузился в задумчивое созерцание своих дымящихся мокасинов и очнулся только тогда, когда Руфь поставила перед ним кружку

чая. — Вот хорошо, что у нас еще есть кирпичный чай! А я ведь видел, как он растет, — там, в Теннесси. Что бы я дал сейчас за горячий кусок пирога! Не беда, Руфь: больше ты голодать не будешь. И мокасинов носить тоже не будешь.

Женщина вся засветилась при этих словах, и в глазах ее заструилась и поплыла большая любовь к белому господину — первому белому человеку, какого она знала, и первому человеку вообще, который относился к ней — женщине — несколько лучше, чем к вьючному животному.

— Да, Руфь, — продолжал ее муж, переходя на тот невообразимый жаргон, на котором они только и могли объясняться между собою. — Погоди только, пока мы это все обделаем! Мы отправимся тогда По Ту Сторону. Мы возьмем лодку Белого Человека и поедем на Большую Соленую Воду. Да, скверная вода, тяжелая вода — целые горы — вверх и вниз, вверх и вниз, все время. И такая большущая, и такая длинная… Очень далеко. Ты десять раз ляжешь спать, и двадцать раз ляжешь спать, и сорок раз ляжешь спать (для наглядности он подсчитывал по пальцам). И все время вода, скверная вода. А потом мы приезжаем в большую деревню. Народу тьма — вот как москитов в прошлое лето. А вигвамы… о, какие высокие

вигвамы — десять елок, двадцать елок… Ха-йу?

Он беспомощно остановился, бросив умоляющий взгляд на Мельмут Кида. Потом на языке знаков добросовестно подытожил двадцать елок — точка в точку. Мельмут Кид улыбался несколько насмешливо, а у Руфи глаза стали совсем широкие от изумления и удовольствия. Ей показалось даже, что он шутит, и такая снисходительность особенно радовала ее бедное женское сердце.

— А потом ты влезаешь, ну, в коробку и — поехала! — Для иллюстрации он подбросил кверху свою пустую кружку и, ловко поймав ее, продолжал: — Пфф! Приехала вниз! О великие ученые люди! Ты едешь в Форт-Юкон, я еду в Северный Город — двадцать пять ночей и длинный шнурок между ними, все время шнурок. Я беру шнурок и говорю: «Алло, Руфь! Как вы там поживаете?», а ты мне: «Это мой милый муж?» А я отвечаю: «Да». А ты говоришь: «Не могу испечь хлеба, соды нет». А я тебе: «Посмотри-ка в шкафчике, под мукой». А потом — «до свиданья». Ты смотришь в шкафчик и находишь массу соды. И все время ты — в Форт-Юконе, я — в Северном Городе!

Руфь была настолько бесхитростно восхищена этой волшебной историей, что оба мужчины рас-

хохотались. Собачий рев сразу оборвал все чудеса По Ту Сторону, и пока удалось разнять визжащих и рычащих псов, женщина снарядила сани и все было готово к отъезду.

— Пшли! Черти! Хи-и! Пшли же! — Масон заработал кнутом, и когда собаки налегли, он сам сдвинул упряжку, подпирая ее шестом. Руфь последовала со второй упряжкой, оставляя с последней Мельмут Кида, который помог ей сдвинуться. Сильный и грубый, способный свалить быка ударом кулака, Мельмут Кид не мог привыкнуть бить измученных собак и всячески старался ободрять их, что погонщики делают весьма редко. Он даже чуть не плакал…

— Ну-ну! Пойдем, пойдем, бедные вы, колченогие бестии! — бормотал он после нескольких неудачных попыток самому сдвинуть сани. И в конце концов терпение его было вознаграждено, и с кряхтеньем и оханьем они поторопились догонять товарищей.

Разговоров больше не было: напряженная работа не допускала такой роскоши. Ибо из всех смертельно тяжелых работ северные переезды — самая тяжелая. Счастлив тот, кто может проделать свой дневной путь по наезженной дороге, хотя бы и ценой молчания!

Ибо из всех изнуряющих работ самая тяжелая — пробивать след по снегу. На каждом шагу тяжелые плетеные лыжи проваливаются так, что снег приходится на уровне козел. Теперь вверх, совершенно перпендикулярно вверх, так как уклонение на один дюйм в сторону грозит настоящей катастрофой: лыжа должна быть поднята до самой поверхности и ни за что не зацепиться. Теперь вперед, то есть вниз, — и другая нога осторожно поднимается перпендикулярно на расстоянии полуярда. Всякий, кто первый раз пробует такой способ передвижения, — если ему даже посчастливится спасти лыжи и не растянуться самому при неверном шаге, — через какую-нибудь сотню ярдов совершенно выбьется из сил. И всякий, кто вынесет целый дневной переезд наравне с собаками, залезает на ночь в свой меховой мешок столь довольный собой и гордый, что и словами не рассказать. А тот, кто может сделать переезд в двадцать ночевок, несомненно, достоин зависти богов.

Послеобеденное время тоже прошло с тою серьезностью и почти жутью в душе, какая рождается в Белом Безмолвии, — безмолвные путники тянули свою лямку. У природы много различных способов убедить человека в его смертности и

ничтожестве — безостановочное движение моря, бешеная сила бури, толчки землетрясений, долгие перекаты небесной артиллерии, но самым поразительным, поражающим до отупения, является воздействие Белого Безмолвия. Всякое движение останавливается, небо безоблачно и точно вылито из свинца; малейший шепот кажется святотатством, и человек становится робким и пугается звука собственного голоса. Он — единственный знак жизни среди призрачной пустыни этого мертвого мира, и он пугается своей дерзости и чувствует себя несчастным червяком, ничем больше.

Так тянулся день. В одном месте река делала крутую петлю, и Мэсон захотел скосить путь через перешеек. Но собаки не могли взять высокий берег. Один раз, другой — и хотя Руфь и Мельмут Кид подпирали сани, собаки не брали. Тогда налегли из последних сил. Несчастные животные, ослабевшие от голода, старались как могли. Еще, еще — и сани вскарабкались по крутому подъему. Но передняя собака забрала слишком вправо и запутала в веревки мэсоновские лыжи. Результат оказался самый плачевный: Мэсон был сбит с ног, одна из собак упала, и сани поползли вниз, таща все за собою.

Тррр! Бешено заходил длинный кнут по спинам собак, обрушиваясь на упавшую.

— Нельзя, Мэсон! — вмешался Мельмут Кид. — Несчастные бестии и так едва волочат ноги. Подожди, я припрягу своих.

Услышав последние слова, Мэсон удержал на мгновение кнут, но потом пустил еще раз его змеиные кольца по телу неудачницы. Кармен — это была Кармен — жалобно взвыла, зарылась на мгновение в снег, а потом упала на бок, вытянув ноги.

Это был трагический момент: околевающая собака и неминуемая ссора между двумя товарищами. Руфь переводила умоляющий взгляд с одного на другого. Но Мельмут Кид сдержал себя, хотя глаза его явно выражали неодобрение, и, нагнувшись над собакой, перерезал веревки. Ни слова не было сказано. Пришлось впрягать двойную упряжку в каждые из саней, и препятствие осталось позади. Сани тронулись, околевающая собака тащилась позади всех. Пока животное может передвигать ноги, его не пристреливают. Это последняя милость — тащиться вместе со своими, сколько хватит сил, в надежде на кусок мяса, если только людям посчастливится убить оленя.

Уже раскаиваясь в своем поступке, но слишком

упрямый, чтобы признаться в этом, Мэсон шел впереди каравана, совершенно не подозревая, что новая опасность висела над его головой. Шагах в пятидесяти от их дороги возвышалась могучая ель. Целые столетия она стояла здесь и целые столетия судьба уготавливала ей этот конец. Быть может, готовила она его также и для Мэсона.

Он остановился, чтобы подтянуть развязавшийся ремень сапога. Сани стали, и собаки, едва дыша, легли в снег. Тишина стояла жуткая. Ни малейшее дыхание не шевелило убранного инеем леса. Холод и молчание иной жизни, иных пространств убили душу и сомкнули уста испуганной природы. В воздухе задрожал вздох — они даже не услышали его, а скорее ощутили, как предчувствие движения в застывшей пустоте. И гигантское дерево, сломленное тяжестью снега и своих бесконечных лет, в последний раз сыграло свою роль в трагедии жизни. Человек услышал предостерегающий хруст и хотел отскочить, но было уже поздно — удар пришелся ему по плечу.

Внезапная опасность, близкая смерть — как часто Мельмут Кид стоял с ними лицом к лицу! Иглы ели еще не перестали дрожать, как он уже отдал свои короткие приказания и схватился за дело. Голос индианки тоже не дрогнул в праздных

стонах и жалобах, что непременно случилось бы с большинством ее белых сестер. По его приказу она бросилась всей тяжестью своего тела на сымпровизированный рычаг, стараясь уменьшить тяжесть дерева и прислушиваясь к стонам мужа, в то время как Мельмут Кид атаковал дерево топором. Сталь как-то весело звенела, въедаясь в замерзший ствол, и каждый удар сопровождался прерывистым вздохом работающего — «Ху! — Ху!».

Наконец Киду удалось освободить из снега то жалкое нечто, что совсем недавно было человеком. Но еще страшнее боли его товарища была тупая мука на лице женщины — ее взгляд, ничего не видящий, полный надежды и безнадежного вопроса. Немного было сказано. Все, кто с Севера, с детства научаются понимать тщету слов и безмерную ценность действий. При температуре в шестьдесят пять ниже нуля человек не может пролежать долго в снегу и остаться в живых. Поэтому сани разгрузили, и несчастного, завернутого в меха, положили на кучу ветвей. Перед ним развели костер — из того же дерева, которое его погубило. Позади лежащего и отчасти над ним был устроен отражающий экран из брезента, он собирал лучи тепла и направлял их на больного

— штука, которую знают все, изучавшие физику.

Люди, которые делят свое ложе со смертью, хорошо знают, когда прозвучит призыв. Мэсон был страшно изувечен. Это было ясно из самого поверхностного осмотра. Его правая рука, нога, а также спина были переломаны, все члены парализованы; не меньше были и внутренние повреждения. Только по стонам — редким и тихим — можно было догадаться, что он еще жив.

Надежды не было. И ничего нельзя было сделать. Жестокая ночь длилась — хорошая доза безнадежного стоицизма индианской расы — для Руфи, и новые глубокие борозды по бронзовому лицу Мельмут Кида. В конце концов, Мэсон страдал меньше всех: он уносился в Восточный Теннесси, в Великие Дымящиеся Горы, вновь переживая свое детство и юность. И самыми волнующими были обрывки песен давно забытого родного юга, когда он бредил о плавучих западнях, об охоте на выдру, о набегах за арбузами.

Для Руфи это был непонятный язык, но Кид понимал и переживал все — так переживал, как только может переживать человек, годами выброшенный из всего, что называется цивилизацией.

Утро привело умирающего в сознание, и Мель-

мут Кид наклонился к нему совсем близко, чтобы уловить его шепот.

— Помнишь, как мы собирались в Танана, — четыре года будет, когда тронется лед… Я не очень-то думал о ней тогда. А ведь она была больше для меня, чем хорошенькая, и был во всем этом… да, такой привкус восхищения, что ли. Знаешь, я только потом ее раскусил. Она была мне хорошей женой, Кид. Всегда плечо к плечу в трудную минуту. А уж что до переездов, сам знаешь, такую другую не найдешь. Ты помнишь, как она стреляла там, на Оленьих Порогах, чтобы дать время тебе и мне спуститься со скалы? Пули свистели по воде, как град, помнишь? А когда мы все голодали в Нуклукието? А когда был ледоход, а она бежала через реку за новостями? Да, она была мне хорошей женой, лучше, чем та, другая… Никогда не говорил тебе, да? Один-то раз пробовал говорить, помнишь, в Штатах? Потому же я и сюда попал. Мы выросли вместе. Я уехал, чтобы был предлог для развода. Она так и сделала.

Но все это не касается Руфи. Я надеялся все ликвидировать к будущему году и уехать на родину вместе с ней, но теперь поздно. Не отсылай ее, Кид, к ее племени. Для женщины чертовски тяжело возвращаться к своим. Ты подумай! Почти

четыре года на наших бобах и на нашем сале, и муке, и сушеных фруктах — и вернуться на рыбу и оленину. Ей будет очень тяжело: узнать нашу жизнь и наше обхождение, увидеть, что лучше, чем у своих, и в конце концов вернуться к ним. Позаботься о ней, Кид. И почему бы тебе… Впрочем, ты всегда сторонился женщин… Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок… он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь.

А если девочка… нет, этого не может быть… Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдает… Дай ему хорошее образование… а главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае — три или четыре дня. Вам надо идти дальше. Вы должны идти дальше! Помни, это моя жена, мой сын… Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со

мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

— Дай мне три дня! — взмолился Мельмут Кид. — Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, как все обернется.

— Нет.

— Только три дня.

— Уходите!

— Два дня.

— Это моя жена и мой сын, Кид. Не проси меня.

— Один день!

— Нет! Я приказываю!

— Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; я, может быть, подстрелю лося.

— Нет!.. Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу… Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней… скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, постой… надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид…

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва

слышные слова — признание умирающего, смирившего свою гордость.

— Прости меня… ты знаешь за что… за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа, Мельмут Кид натянул на себя парку, надел лыжи и, прихватив ружье, скрылся в лесу. Он не был новичком в схватке с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной, обреченной. Но Мельмут Кид колебался. Пять лет дружбы связывали его с Мэсоном — в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, зверь покинул страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвращался с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мельмут Кид увидел, что

индианка отбивается топором от окружившей ее рычащей своры. Собаки, нарушив железный закон своих хозяев, набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, то попадая в цель, то мимо; собаки, извиваясь, метались из стороны в сторону, яростно сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь исступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас сушеной рыбы был уничтожен, и им оставалось каких-нибудь пять фунтов муки на двести верст пути. Руфь вернулась к мужу, а Мельмут Кид освежевал еще не остывшее тело одной из собак, череп которой был раздроблен топором. Куски мяса он тщательно отобрал и спрятал, а шкуру и внутренности отдал собакам.

Утро принесло с собой новое беспокойство. Собаки набросились друг на друга. Кармен, которая все еще цеплялась за свое жалкое существование, была разорвана стаей. Кнут безостановочно колотил по их спинам. Они визжали и выли под

ударами, но отказывались сдвинуться, пока не были уничтожены последние, жалкие клочки: кости, шкура, шерсть — все исчезло.

Мельмут Кид принялся за дело, прислушиваясь к Мэсону, который уже опять пребывал у себя в Теннесси, разговаривал, бешено спорил и умолял давно забытых друзей и братьев.

Воспользовавшись близостью двух молодых елок, он с помощью Руфи соорудил нечто вроде мешка, какие делают иногда охотники, чтобы сохранить мясо от волков и собак. Одну за другой он пригнул к земле и друг к другу верхушки двух молодых елок и связал их ремнями из оленьей шкуры. Затем усмирил собак и впряг их в двое саней; на них он погрузил все, что у них было, за исключением мехов, в какие был завернут Мэсон. Он замотал и обвязал этот мех плотнее вокруг тела умирающего, прикрепив за два конца к верхушкам елок. Одного удара охотничьего ножа было достаточно, чтобы отпустить вершины и бросить тело высоко в воздух.

Руфь выслушала последние приказания мужа и не сопротивлялась. Бедняжка слишком хорошо была обучена покорности. С детства она привыкла подчиняться и видела, как и все другие женщины подчинялись господам земли, и ей

казалось законом природы, чтобы женщина не сопротивлялась. Кид разрешил ей одну вспышку горя, когда она целовала последний раз мужа — в ее племени так не делали, — потом отвел ее к передней запряжке и помог ей надеть лыжи. Тупо, инстинктивно она взяла кнут и веревку и «подняла» собак в дорогу. А он вернулся к Мэсону, который впал в коматозное состояние; и долго еще после того, как она скрылась из виду, он, сгорбившись у огня, ждал, надеялся, просил, чтобы смерть сама пришла к его товарищу.

Невесело оставаться одному с тяжелыми мыслями в Белом Безмолвии. Темная тишина ночи — добрая тишина. Она точно прячет, защищает человека, касается его тысячами неосязаемых прикосновений. Но яркое Белое Безмолвие, прозрачное и холодное, под тяжестью свинцового неба, — оно безжалостно.

Прошел час. Два часа. Но человек не умирал. В полдень солнце, не поднимаясь над южным горизонтом, разбросало вспышки огня по небу и так же быстро стерло их опять. Мельмут Кид поднялся, подошел к товарищу и посмотрел на него. Белое Безмолвие насмешливо следило за ним, и ему стало невыносимо страшно. Раздался короткий выстрел, и Мэсон взлетел в свою воз-

душную гробницу, а Мельмут Кид пустил собак бешеным галопом.

Сын Волка

Мужчина редко умеет ценить близких ему женщин — до тех пор, по крайней мере, пока не потеряет их. До его сознания совершенно не доходят тонкая атмосфера, излучаемая женщиной, пока он сам купается в ней; но стоит ей уйти — раскрывается и растет в его жизни пустота, и им овладевает странный голод по чему-то неопределенному, чего он не умеет назвать словами. Если друзья, окружающие его, так же неопытны, как и он сам, они будут сомнительно качать головами и предложат ему серьезно лечиться. Но голод будет все расти и становиться острее; он потеряет всякий интерес к событиям ежедневной жизни и станет раздражительным. И в один из дней, когда эта пустота станет совершенно невыносимой, на него снизойдет откровение.

Когда нечто подобное происходит на Юконе, мужчина достает себе лодку — летом или запрягает собак в сани — зимой — и едет на Юг. И через несколько месяцев, если он только привязан так или иначе к Северу, он возвращается назад с женой, которая отныне будет делить его привязанность к Северу и его труд. Все это

доказывает, конечно, прежде всего врожденный эгоизм мужчины. И одновременно может служить введением в описание приключений Скрэфа Маккензи, случившихся с ним очень давно, — раньше, чем страна Юкона была запружена «че-ча-квас'ами», еще тогда, когда Клондайк был известен только своими рыбосушильнями.

На Маккензи отразились его пограничное происхождение и жизнь пограничника. На лице его отпечаталось двадцать пять лет непрестанной борьбы с природой, из которых последние два года — и самые жестокие — он провел в поисках золота за пределами Полярного круга. Когда описанная выше болезнь захватила его, он нисколько не удивился, так как был человек практичный и много раз видел людей в таком же положении. Но он подавил все признаки болезни и только стал еще упорнее работать. Все лето он боролся с москитами и мок на берегу Стюарт Ривер, сплавляя лес вниз по Юкону до Сороковой Мили, и в конце концов построил себе такую комфортабельную хижину, какая только может быть сооружена в этой стране. Она выглядела настолько привлекательно и уютно, что несколько человек навязывались к нему в компаньоны, предлагая поселиться вместе. Но он наотрез от-

казывался и притом довольно грубо, что вполне соответствовало его сильному и решительному характеру, а сам, однако, закупил через почтовую станцию двойной запас провианта.

Скрэф Маккензи был человек практичный, как было сказано выше. Если он чего-нибудь хотел, он обыкновенно добивался своего, но при этом не отступал от ранее намеченного пути лишь настолько, насколько это было необходимо. Кровному сыну тяжелой нужды и тяжелого труда совсем не по душе было бесконечное путешествие в шестьсот миль по льду, две тысячи миль через Океан, да еще около тысячи миль до родных мест — и все это из-за какой-то одной жены. Жизнь слишком коротка для таких прогулок. Он собрал собак, погрузил в сани довольно странную поклажу и пустился прямиком между двумя водоразделами, восточные холмы которых подступали к Танане.

Он был смелым путешественником, а его собаки-волкодавы выносили на худшей пище более тяжелую работу и более длинные перегоны, чем всякая другая запряжка в Юконе. Через три недели он добрался до племени Стиксов Верхней Тананы. Те очень удивились его дерзости. За ними установилась плохая слава: говорили, что они

убивают белых людей из-за такой безделицы, как хороший топор или старое ружье. А он пришел к ним безоружный, и во всем его поведении была очаровательная смесь заискивающей скромности, фамильярности, холодной выдержки и наглости. Нужно хорошо набить руку и глубоко изучить душу дикаря, чтобы с успехом пускать в ход столь разнообразное оружие, но он был мастер своего дела и знал, когда уступить, а когда — наоборот — торговаться до исступления.

Прежде всего он отправился на поклон к вождю племени — Тлинг Тиннеху — и подарил ему пару фунтов черного чая и табака, чем и завоевал его несомненную благосклонность. После этого он смешался с толпой мужчин и девушек и объявил, что вечером дает потлач. Утоптали овальную площадку в сто шагов в длину и двадцать пять в ширину. По центру разложили большой костер, а по обеим его сторонам набросали кучи сосновых веток. Было устроено нечто вроде трибуны, и человек сто пели песни племени в честь прибывшего гостя.

Последние два года научили Маккензи сотне слов на их наречии, и он в совершенстве перенял их глубокие гортанные гласные, их языковые конструкции, близкие японским, все их вели-

чания, приставки и пр. Он произнес речь в их вкусе, удовлетворяя их врожденную склонность к поэзии потоками туманного красноречия и образными оборотами. Ему отвечали в том же духе Тлинг Тиннех и главный шаман. Потом он раздарил всякие мелочи мужчинам, принял участие в их пении и показал себя настоящим чемпионом в игре в пятьдесят две палки.

А они курили его табак и были довольны. Но молодые держали себя несколько вызывающе — петушились, поддерживаемые явными намеками беззубых матрон и хихиканьем девушек. Им пришлось столкнуться на своем веку всего с несколькими белыми — «Сыновьями Волка», но эти немногие научили их очень странным вещам.

Маккензи, конечно, отметил этот факт, несмотря на всю свою кажущуюся беспечность. Если сказать правду, то, лежа поздно ночью в своем спальном мешке, он снова и снова обдумывал все это — обдумывал серьезно — и выкурил не одну трубку, пока не составил план кампании. Из девушек ему понравилась только одна — Заринка, дочь самого вождя. По фигуре, чертам лица, росту и объему она несколько больше других соответствовала идеалу красоты белого человека и была

своего рода аномалией среди своих соплеменниц. Он возьмет ее, сделает своей женою и назовет ее — ах, он непременно назовет ее Гертрудой. Решив это окончательно, он повернулся на другой бок и сейчас же заснул, как настоящий сын своей всепобеждающей расы.

Это было сложное дело и тонкая игра, но Маккензи вел ее чрезвычайно хитро, с неожиданностью, которая озадачивала стиксов. Прежде всего он позаботился о том, чтобы внушить всем мужчинам племени, что он очень меткий стрелок и бесстрашный охотник, и вся деревня гремела от рукоплесканий, когда он подстрелил оленя на расстоянии шестисот ярдов. Однажды, поздно вечером, он отправился в хижину вождя Тлинг Тиннеха, сделанную из шкур карибу, очень много и громко говорил и раздавал табак направо и налево. Он, конечно, не преминул оказывать всяческое внимание шаману, ибо достаточно оценил его влияние и очень хотел сделать его своим союзником. Но это высокопоставленное лицо оказалось весьма надменным, решительно отказалось умилостивиться какими-либо жертвоприношениями, и с ним, видимо, приходилось считаться как с несомненным врагом в будущем.

Хотя случая подойти ближе к Заринке не

представилось, Маккензи бросил в ее сторону несколько взглядов, красноречиво и нежно предупреждавших ее об его намерениях. И она, конечно, прекрасно поняла их и не без кокетства окружила себя толпой женщин, так что мужчины не могли подойти к ней: это было уже начало победы. Впрочем, он не торопился; помимо всего, он прекрасно знал, что ей все равно ничего не остается, как думать о нем, а несколько дней подобных размышлений могли только помочь ухаживанию.

В конце концов однажды ночью, когда он решил, что пришло время, он неожиданно покинул прокопченное дымом жилище вождя и вошел в соседнюю хижину. Она, как и всегда, сидела среди женщин и девушек, и все они шили мокасины и спальные мешки. При его появлении все засмеялись и громко зазвучала веселая болтовня Заринки, обращенная к нему. Но потом вышло так, что все эти матроны и девицы были самым бесцеремонным образом выставлены за дверь одна за другой, прямо в снег, где им не оставалось ничего другого, как только спешно разнести по деревне интересную новость.

Его намерения были весьма красноречиво изложены на ее языке — его языка она не знала, и

по прошествии двух часов он поднялся.

— Так что Заринка пойдет в хижину Белого Человека, да? Ладно. Теперь я пойду говорить с твоим отцом, потому что он, может быть, думает иначе. И я дам ему много подарков, но пусть он не требует слишком много. А если он скажет — нет? Ладно. Заринка, значит, все-таки пойдет в хижину Белого Человека.

Он уже поднял шкуру входной двери, когда тихий возглас девушки заставил его вернуться. Она опустилась перед ним на колени на медвежью шкуру, с лицом, залитым внутренним светом — вечным светом Евы, — и застенчиво принялась развязывать его тяжелый пояс. Он смотрел на нее сверху вниз, растерянный, подозрительный, прислушиваясь к малейшему шуму снаружи. Но следующее ее движение рассеяло все его сомнения, и он улыбнулся от удовольствия. Она вынула из мешка с шитьем ножны из оленьей шкуры, красиво разукрашенные яркой фантастической вышивкой, потом взяла его большой охотничий нож, посмотрела почтительно на его острое лезвие, потрогала его пальцем и всунула в новые ножны. Затем она надела их снова на пояс.

Честное слово, это была сцена из средневековья — прекрасная дама и ее рыцарь. Маккензи под-

нял ее высоко на воздух, прижимая свои усы к ее красным губам: для нее это была чужеземная ласка Волка — встреча каменного века со стальным.

В воздухе стоял невообразимый гам, когда Маккензи с толстым узлом под мышкой широко распахнул дверь хижины Тлинг Тиннеха. Дети бежали по улице, стаскивая сухие сучья для потлача, крикливая женская болтовня удвоила свою интенсивность, молодые люди совещались мрачными группами, а из хижины шамана доносились зловещие звуки заклинания.

Вождь был один со своею подслеповатой женой, но Маккензи достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что новости его уже устарели. Поэтому он начал прямо с дела, выставляя напоказ расшитые ножны как предупреждение о состоявшемся уже соглашении.

— О Тлинг Тиннех, могучий вождь племени Стиксов и всей земли Танана, повелитель лососи и волка, и оленя, и карибу! Белый Человек стоит перед тобою с великим предложением. Много лун была пуста его хижина и много ночей провел он в одиночестве. И сердце его изглодало себя в молчании, и выросла в нем тоска по женщине, которая сидела бы рядом с ним в хижине и встречала бы его, вернувшегося с охоты, ярким огнем

и вкусным ужином. Странные вещи слышались ему в тишине: он слышал топанье маленьких ножек в детских мокасинах и звуки детских голосов. И однажды ночью снизошло к нему видение. И он пошел к Ворону, твоему отцу, великому Ворону, отцу племени Стиксов. И Ворон говорил с одиноким Белым Человеком и сказал ему так: «Подвяжи твои мокасины и надень твои лыжи, и положи в сани еды на много ночей, и положи в них еще красивые подарки для великого вождя Тлинг Тиннеха. Потому что ты должен теперь повернуть лицо твое в ту сторону, где весною солнце опускается за край земли, и ехать в страну этого великого вождя. Ты привезешь с собою богатые подарки, и Тлинг Тиннех — мой сын — примет тебя как отец. В хижине его есть девушка, в которую я вдохнул дыхание жизни для тебя. Эту девушку ты должен взять себе в жены».

О вождь, так говорил великий Ворон. И вот я кладу мои подарки к твоим ногам, и вот я здесь, чтобы взять твою дочь.

Старик запахнул свою меховую одежду с полным сознанием своего королевского достоинства, но ответил не сразу, так как в эту минуту вбежал мальчик и передал ему требование немедленно явиться на совет старейшин.

— О Белый Человек, которого мы прозвали Смертью Оленей и которого зовут еще Волком и Сыном Волка! Мы знаем, что ты происходишь из могущественного племени; мы гордимся таким гостем нашего потлача, но королевской лососи не пристало сходиться с мелкой лососью или Ворону сходиться с Волком.

— Нет, это не так! — воскликнул Маккензи. — В деревнях Волков я встречал не раз дочерей Ворона — жена Мортимера, и жена Тредгидю, и жена Барнаби, который вернулся после двух ледоходов, и о многих других женщинах я слышал, хотя глаза мои и не видели их.

— Сын, твои слова справедливы, но разве было что хорошее от таких встреч? Это то же, что воде сойтись с песком или снежным хлопьям сойтись с солнцем! А приходилось тебе встречать некоего Мэсона и его жену? Нет? Он приходил сюда вот уже десять ледоходов тому назад — первый из всех Волков. И вместе с ним приходил еще могучий человек, стройный и высокий, как молодой тополь, сильный, как дерзколицый медведь. И лицо у него было похоже на полную летнюю луну; его…

— О! — прервал Маккензи, узнав хорошо известную всему Северу фигуру. — Мельмут Кид!

— Он — самый могучий человек. Но не встречал ли ты женщину с ними? Она была родной сестрой Заринки.

— Нет, вождь, но я слышал о ней. Мэсон… Это было далеко, далеко на севере — старая сосна, отяжелевшая от долгих лет, раздавила его жизнь. Но любовь его была велика, и у него было много золота. Женщина взяла это золото и взяла своего мальчика, и ехала долго-долго, несчетное число ночей, к северному полуденному солнцу. Она и теперь живет там и не страдает от мороза и снега, полуночного летнего солнца и полуденной зимней ночи.

Новый посланец прервал их, принеся от совета категорическое требование явиться немедленно. Выталкивая его за дверь, Маккензи различил неясные тени вокруг костра совета, услышал ритмическое пение низких мужских голосов и понял, что шаман разжигает злобу народа. Надо было спешить. Он вернулся к вождю.

— Ну, я хочу взять твое дитя! И ты посмотри, посмотри сюда: вот табак, чай, много кружек сахара, теплые одеяла, платки — посмотри, какие плотные и большие. А это, видишь, настоящее ружье, и вот пули к нему, много пуль и много пороха.

— Нет, — возразил старик, видимо, борясь с искушением завладеть богатствами, разложенными вокруг него. — Ты слышишь, мой народ собрался. Они не хотят этой свадьбы.

— Ведь ты — вождь.

— Но мои юноши в большом гневе за то, что Волки берут их девушек и им не на ком жениться.

— Послушай, о Тлинг Тиннех! Раньше чем ночь перейдет в день, Волк направит своих собак к Горам Запада и еще дальше в страну Юкона. И Заринка будет впереди его собак.

— Но ранее того чем ночь дойдет до своей середины, мои юноши бросят собакам тело Волка, и его кости затеряются в снегу, пока весна не оголит их.

Это была атака и контратака. Бронзовое лицо Маккензи густо вспыхнуло. Он возвысил голос. Старая женщина, которая до этой минуты восседала равнодушной зрительницей, поползла к двери. Когда он оттащил ее и грубо толкнул на ее сиденье из шкур, он услышал, как пение сразу прекратилось и послышался гвалт многочисленных голосов.

— Еще раз я кричу тебе, о Тлинг Тиннех! Волк умирает, стиснув зубы, но с ним вместе уснут десять твоих самых сильных воинов, а они нужны

тебе, потому что приближается время охоты, а за ним время рыбной ловли. И еще раз говорю тебе: какая польза от моей смерти? Я знаю обычаи твоего народа: твоя доля в моем имуществе будет очень мала. Отдай мне твое дитя — и все это будет твоим. И опять же говорю тебе: придут мои братья, а их много, их земля никогда не бывает слишком заселена — и дочери Ворона принесут детей в жилищах Волков. Мой народ сильнее твоего народа. Так решила судьба. Согласись — и все это богатство будет твоим.

Снаружи заскрипели по снегу мокасины. Маккензи взвел курок ружья и вынул из-за пояса револьвер.

— Согласись, о вождь!

— А мой народ скажет «нет»?

— Согласись — и все это будет твоим! А с твоим народом я поговорю после.

— Волк хочет так? Хорошо, я беру его подарки, но говорю ему: берегись!

Маккензи пересмотрел еще раз приношения, посмотрел, не заряжено ли ружье, и завершил сделку калейдоскопически пестрым шелковым платком. В хижину вошел шаман с дюжиной молодцов, но Маккензи смело растолкал их и вышел на улицу.

— Собирайся! — коротко бросил он Заринке, проходя мимо ее хижины, и стал поспешно запрягать собак. Через несколько минут он уже шел на совет во главе своей запряжки, и женщина была с ним. Он занял место на верхнем конце огня, рядом с вождем. По левую сторону, несколько сзади, он поставил Заринку. Это место принадлежало ей по праву, а кроме того, не худо было обезопасить себя сзади, ибо момент был очень серьезный.

На другом конце многочисленные фигуры сидели на корточках у огня, и голоса их тянули песню давно забытых времен. Это пение со странным обрывающимся ритмом и частыми повторениями не было красиво. «Жуткое» — вот какое определение было наиболее точным. На самом конце, под наблюдением шамана, плясало около десяти женщин. Он сурово укорял тех из них, которые не умели всецело отдаться экстазу обряда. Почти скрытые тяжелыми массами черных волос, изгибая стан и словно разбитые во всех членах, они медленно раскачивались, и их тела извивались в такт беспрестанно меняющемуся ритму.

Это была дикая сцена: невероятный анахронизм. На Юге девятнадцатое столетие заканчивало последние годы своего последнего десятка, здесь царствовал первобытный человек — тень

восставшего из гроба доисторического пещерного жителя, забытый обрывок древнего мира. Желто-бурые собаки — волкодавы — лежали между своими хозяевами, одетыми в звериные шкуры, дрались из-за места, и отсветы костра отражались в их красных глазах и на оскаленных пенящихся зубах. Лес стеснился вокруг толпою неподвижно дремлющих привидений. Белое Безмолвие, отодвинутое на время в туманную глубину его, казалось, выжидало только минуту, чтобы прорваться в круг людей; звезды танцевали по небу большими скачками, как они делают это всегда в часы Великого Холода, а Духи Полюса тянули через все небо сверкающие одежды своей славы.

Скрэф Маккензи вряд ли ощущал дикое величие происходящего, переводя внимательный взгляд с одного лица на другое, вдоль ряда меховых фигур. На одно мгновение глаза его остановились на новорожденном ребёнке, сосавшем голую грудь матери, — и это при семидесяти с лишним градусах мороза. Он подумал о нежных женщинах своей расы и презрительно усмехнулся. И однако от тела вот такой нежной женщины произошел и он сам.

Пение и пляска кончились, и шаман стал красноречиво говорить. Ловко пользуясь запутанной

и обширной мифологией, он играл на доверчивости своих слушателей. Дело было серьезное. Творческим началом, воплощенным в Ворoне и в Вороне, он противопоставлял Маккензи — Волка — как начало воинственное и разрушительное. Борьба этих двух начал протекает не только в духовной сфере, нет, бороться должны люди, каждый за своего тотэма. Они — дети Джелкса Ворона, великого бога — Прометея, принесшего им огонь, а Маккензи — сын Волка, иначе говоря, сын Дьявола. Поэтому тот, кто вносит перемирие в эту вечную борьбу, кто отдает своих дочерей в жены исконному врагу, совершает гнуснейшую измену и величайшее святотатство. И не было такого резкого выражения и такого унизительного сравнения, какое шаман не употребил бы по отношению к Маккензи, изображая его как слугу и посланца сатаны. В продолжение его разглагольствований из гущи толпы слышалось сдержанное злобное рычание.

— О братья мои, велик Джелкс и всемогущ! Разве не принес он нам огонь, рожденный небом, чтобы мы могли согреться? Разве не он выпустил солнце, луну и звезды из их небесных ям, чтобы дать нам зрение? Не он ли научил нас побеждать духов Голода и Мороза? Но теперь Джелкс про-

гневался на детей своих, и их осталась всего одна горсть, и он не хочет уже помогать им. Потому что они забыли его и делают дурные дела и вступили на дурные пути, и принимают врагов в свои жилища, и сажают их к своему огню. И Ворон скорбит о преступлениях детей своих. Но если они воспрянут и покажут ему, что хотят вернуться, он выйдет из тьмы и поможет им. О братья, сегодня Принесший Огонь шепнул шаману свои повеления, и вот я передаю их вам. Пусть юноши уведут девушек в свои хижины. Пусть они вцепятся в глотку Волка, и пусть бессмертной будет их ненависть, и тогда женщины их принесут плод, и они размножатся и станут великим народом. И Ворон выведет племена наших отцов и дедов из страны Севера, и они снова оттеснят Волков и обратят их в пепел прошлогодних костров. И они завладеют всей страной! Вот повеление Джелкса, великого Ворона.

Это обещание пришествия Мессии вызвало бурю восторга в рядах стиксов. Все они вскочили со своих мест. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Все требовали Лисицу и не хотели успокоиться, пока один из юношей не выступил вперед и не начал говорить.

— Братья! Мудро говорил шаман. Волки уводят

наших женщин, и наши мужчины бездетны. Нас осталась какая-нибудь горсть. Волки отбирают наши теплые меха и дают взамен злых духов, запертых в бутылки, и одежды, сделанные не из шкур бобра или рыси, но из травы. И одежды эти не дают тепла, и наши воины умирают от непонятных болезней. Я, Лисица, не имею жены. А почему? Два раза уже девушки, которые нравились мне, уходили в становища Волков. Вот и теперь я собрал шкуры бобров, оленей и карибу и хотел заслужить милость Тлинг Тиннеха, чтобы жениться на дочери его, Заринке. И вот вы видите — лыжи надеты на ее ноги, чтобы идти впереди собак Волка. Я говорю не только за себя. Чего хотел я, того хотел и Медведь. Он тоже хотел быть отцом ее детей и много шкур собрал для этого. Я говорю за всех юношей, у которых нет жен. Волки жадны. Они всегда хотят получить лучшие куски. Во́ронам остаются одни объедки.

— Смотрите, вон Гукла, — вскрикнул он, грубо указывая на одну из женщин, которая была калекой. — Глядите, ее ноги такие же кривые, как бока березовой лодки. Она не может собирать сучья или носить за охотниками их добычу. Что же? Ее выбрали Волки?

— О! О! — кричали слушатели.

— А вот Маира, глаза которой перекошены злым духом. Даже маленькие дети пугаются при виде ее, и я слышал, что даже медведь уступает ей дорогу при встрече. Что же? Ее взяли?

И снова раздался дикий рев одобрения.

— А вон там сидит Пишета. Она не слышит моих слов. Она никогда не слышала крика совы и голоса своего мужа, и лепета своего ребенка. Она живет в Белом Безмолвии. Посмотрели ли на нее Волки? Нет! Им нужны лучшие куски — объедки они оставляют нам!

Братья, не будет этого больше! Никогда больше Волки не прокрадутся к нашим кострам. Настало время!

Огненный столб северного сияния — пурпурно-красный, зеленый, желтый — поднялся к зениту, соединяя горизонт с горизонтом. Закинув голову и вытянув руки, Лисица указывал на небо.

— Смотрите! Это встали души отцов ваших. Великие дела совершатся сегодня ночью!

Он отступил назад, а его место нерешительно занял другой юноша, выталкиваемый вперед товарищами. Он был на целую голову выше их всех, и его широкая грудь, несмотря на сильнейший мороз, была обнажена. Он переминался с ноги на ногу. Слова застревали у него в горле, и ему было,

видимо, очень не по себе. На лицо его страшно было смотреть, ибо чуть ли не половина его была когда-то снесена во время схватки. Наконец, он ударил себя в грудь сжатым кулаком, причем послышался глухой звук, как от барабана, и голос его полетел над толпой, как рев океанской пучины.

— Я — Медведь, я — Серебряное Копье и Сын Серебряного Копья. Когда мой голос походил еще на голос девочки, я уже убивал рысь, и оленя, и карибу. Когда он звучал, как голос росомахи, попавшей в западню, я перешел через Северные Горы и убил троих с Белых Берегов, а когда он стал походить на рев Чинуки, я встретил дерзколицего медведя и не уступил ему дороги.

Он остановился и выразительно провел рукой по своему обезображенному лицу.

— Я не умею говорить, как Лисица. Язык мой замерз, как река. Я не могу говорить долго. У меня мало слов. Вот Лисица говорит, что великие дела придут сегодня ночью. Ладно! Слова бегут у него с языка, как весенние потоки, но он слишком бережлив на дела. Сегодня ночью я буду бороться с Волком. Я свалю его, и Заринка будет сидеть у моего огня. Медведь сказал.

Несмотря на то что ад поднялся вокруг него,

Маккензи не сдвинулся с места. Понимая, насколько бесполезно ружье на таком близком расстоянии, он вынул оба револьвера и приготовился. Он знал, конечно, что в случае массового нападения надежды не было, но, верный своему гордому слову, готов был умереть со стиснутыми зубами. Но Медведь сдержал своих товарищей, отбросив самых дерзких назад ударами своих страшных кулаков. Когда шум немного стих, Маккензи оглянулся на Заринку. Она была изумительно хороша. Наклонившись вперед на своих лыжах, она стояла с раскрытыми губами и вздрагивающими ноздрями, как тигрица, готовая к прыжку. Ее большие черные глаза впивались в соплеменников со страхом и с вызовом. Напряжение ее было так велико, что она, казалось, перестала дышать. Одной рукой она судорожно схватилась за грудь, а в другой так же судорожно сжимала плетку, и стояла так, словно превращенная в камень. Под его взглядом она пришла в себя. Глубоко вздохнув, она отодвинулась назад, посмотрев на него глазами, в которых было нечто большее, чем любовь.

Тлинг Тиннех пытался говорить, но его заглушали. Тогда Маккензи выступил вперед. Лисица открыл было рот, чтобы крикнуть что-то, но Мак-

кензи с такой яростью замахнулся на него, что тот отскочил назад, подавившись собственным возгласом. Его поражение было встречено шумным смехом и привело его товарищей в несколько более спокойное состояние.

— Братья! Белый Человек, которого вы хотите называть Волком, пришел к вам с ласковыми словами. Он не обманщик: он не говорил вам лжи. Он пришел к вам как друг, как тот, кто хочет быть вашим братом. Но ваши юноши говорили по-своему, и время ваших слов прошло. Прежде всего я говорю вам, что у шамана неправедный язык, и что он лживый пророк, и что слова, которые он говорил, шептал ему не тот, кто принес Огонь. Уши шамана закрыты для голоса Ворона, и он сплетал хитрые выдумки и дурачил вас. У него нет никакой силы. Когда, помните, все собаки были убиты и съедены, когда внутренности ваши отяжелели от лохмотьев кожи и мокасинов, когда умирали старики, и умирали старухи, и умирали маленькие дети на иссохших грудях матерей, когда вся страна была во мгле и вы погибали, как лососи на берегу, — скажите, когда голод поселился у вас, сумел ли шаман послать удачу вашим охотникам? Наполнил ли он мясом ваши желудки? И еще раз говорю я — нет силы у

шамана. Вот! Я плюю ему в лицо!

Хотя все невольно отшатнулись при виде такого святотатства, шума не последовало. Некоторые женщины были сильно напуганы, а мужчин охватило возбуждение как бы в ожидании чуда. Все взгляды были направлены на две центральные фигуры. Шаман, сознавая всю опасность положения и чувствуя, что влияние его колеблется, открыл было рот, чтобы разразиться ругательствами, но отступил перед подавшейся вперед фигурой Маккензи, его поднятыми кулаками и горящими глазами. Маккензи презрительно усмехнулся и продолжал.

— Теперь я говорю Лисице и Медведю. Кажется, им понравилась эта девушка? Да? Так ведь я же купил ее раньше. Смотрите, Тлинг Тиннех опирается на ружье, и много еще другого добра лежит у его огня. Но мне хочется быть любезным с этими юношами. Лисице, у которого язык высох от лишних слов, я подарю пять длинных пачек табака. Это смочит ему язык, чтобы ему было удобнее побольше шуметь на совете. А Медведю, встречей с которым я горжусь, я дам так: одеяла — два, муки — двадцать кружек; табака — вдвое больше, чем Лисице. А если он согласится поехать со мной через Восточные Горы, я подарю еще

ружье, точь-в-точь такое, как у Тлинг Тиннеха.

Маккензи улыбался, отходя на свое место, но сердце его было полно опасений. Ночь все еще длилась. Девушка подошла к нему, и он внимательно слушал, какие штуки выделывает ножом Медведь во время схватки.

Постановили решить спор поединком. Вдоль костра была утоптана площадка длиной в шестьдесят мокасинов. Много было разговоров о поражении шамана. Некоторые, впрочем, утверждали, что он просто не хотел показывать свою силу. А другие вспоминали разные случаи из прошлого и соглашались с Волком. Медведь вышел на середину площадки с длинным охотничьим ножом русской работы в руках. Лисица обратил всеобщее внимание на револьверы Маккензи. Поэтому Маккензи снял пояс, надел его на Заринку и ей же поручил свое ружье. Она покачала головой с сожалением, что не умеет стрелять: редко приходилось женщине брать в руки такие драгоценные предметы.

— Слушай, если опасность будет грозить мне сзади, крикни громко «мой муж!» Нет, не так, еще раз: «мой муж!»

Он рассмеялся, когда она повторяла его слова, ущипнул ее за щеку и вошел в круг. Медведь пре-

восходил его не только ростом и силой, но и нож его был длиннее вершка на два. Скрэф Маккензи много раз смотрел в глаза людей при подобных же обстоятельствах, и теперь по одному взгляду он понял, что перед ним стоит настоящий мужчина. Но отблеск огня на стали заставил его гордо и радостно вздрогнуть — отблеск стали, сердца его расы…

Снова и снова оттеснял его Медведь до линии огня или выбивал из площадки в глубокий снег, и снова и снова ловкими приемами боксера он выбирался на середину. Ни разу из толпы окружающих не услышал он одобрительного возгласа, тогда как его противника поддерживали аплодисментами, советами, предостережениями. Но он только крепче стискивал зубы при каждом звоне скрещивающихся ножей, нападая и отражая удары со спокойной выдержкой сознающей себя силы. Вначале ему было как-то жаль своего противника, но потом это чувство потонуло в первобытном инстинкте самозащиты, а еще позже он уже все забыл — осталась лишь жуткая радость борьбы. Все десять тысячелетий культуры спали с него: это был пещерный дикарь, дерущийся за самку.

Два раза ему удалось задеть Медведя и благопо-

лучно вывернуться. Но на третий он попался и, чтобы спастись, должен был ухватиться за него свободной рукой: они сошлись тело с телом. Тут только почувствовал Маккензи всю ужасную силу своего противника. Мускулы его напряглись до судороги, а жилы готовы были лопнуть, и тем не менее русская сталь сверкала все ближе и ближе. Он попробовал податься назад, но этим только ослабил себя. Тесный круг меховых фигур сомкнулся еще теснее: все были уверены в развязке и не хотели упустить ни одной детали. Но вдруг Маккензи, отклонившись немного в сторону, неожиданно — боксерским приемом — ударил Медведя головой. Тот неловко откачнулся и потерял равновесие. В то же мгновение Маккензи нанес ему сильный удар и навалился на него всею тяжестью тела, отбросив за черту, в глубокий снег. Медведь вскочил, весь покрытый снегом.

— О мой муж! — голос Заринки дрожал от ужаса.

На звук спущенной тетивы Маккензи успел низко пригнуться к земле, и стрела с наконечником из рыбьей кости пролетела над его головой и впилась в грудь Медведя, который покачнулся и упал на своего припавшего к земле противника.

В одно мгновение Маккензи высвободился из-под него и уже стоял на ногах. Медведь лежал без движения, но по другую сторону костра шаман брал уже вторую стрелу.

Нож Маккензи сверкнул в воздухе. Целый сноп света прорезал темноту, когда он перелетал через костер. И шаман, из горла которого торчала теперь одна рукоятка, пошатнувшись, упал прямо в огонь.

Чик! Чик!.. Лисица завладел ружьем Тлинг Тиннеха и тщетно пытался зарядить его; услышав за собою смех Маккензи, он сейчас же поставил ружье на место.

— Та-к! Значит Лисица не умеет обращаться с этой игрушкой? Он, значит, совсем женщина? Ладно, дай его сюда, я научу тебя.

Лисица колебался.

— Дай сюда, я тебе говорю.

Лисица подошел к нему с видом побитой собаки.

— Вот, смотри: так, а потом так, — патрон вскочил на месте, и курок щелкнул.

— Лисица говорил, что великие дела совершатся сегодня ночью? Он правильно говорил. Великие дела совершились, но не много между ними было дел Лисицы. Что же, он все еще хочет

взять Заринку в свою хижину? Может быть, он собирается идти по пути, который проложили для него шаман и Медведь? Нет? Ладно!

Маккензи презрительно отвернулся и вынул свой нож из горла шамана.

— Может быть, еще кто-нибудь из юношей хочет попытаться? Волк будет валить их по двое и по трое, пока не переберет всех. Нет? Ладно. Тлинг Тиннех, еще раз отдаю тебе ружье. Если когда-нибудь тебе случится быть в стране Юкона, знай, что для тебя в хижине Волка всегда найдется место у огня и много еды. Ночь переходит в день. Я ухожу, но я могу еще раз вернуться.

Он казался им каким-то сверхъестественным существом, когда через толпу направился к Заринке. Она встала на свое место во главе запряжки, и собаки тронулись. Через несколько минут лес призраков поглотил их. Маккензи выждал, пока они скроются, и только тогда надел лыжи.

— А разве Волк забыл о пяти длинных пачках?

Маккензи с досадой обернулся к Лисице, но положение было слишком комично.

— Я дам тебе одну… короткую.

— Как Волк захочет, — покорно ответил Лисица, протягивая руку.

На Сороковой Миле

Когда Джим Белден Большой довольно легкомысленно высказал безобидное с виду предположение, что крупичатому льду это «вполне свойственно», он совершенно не представлял себе, что из этого выйдет. Точно так же и Лон Мак-Фэн, когда утверждал, что якорный лед «всегда так». Да и Бэттлс не предвидел ничего особенного, когда не согласился и заявил, что такого льда не существует вовсе и все это одна брехня.

— И это ты говоришь мне! — закричал Лон. — Когда мы уже не первый год здесь! И когда столько дней мы едим с тобой из одного горшка!

— Но ведь эта штука противоречит здравому смыслу, — настаивал Бэттлс. — Ты рассуди. Ведь вода теплее льда…

— Разница-то невелика.

— Ну все-таки теплее, если не замерзла. А ты говоришь — намерзает на дно.

— Только якорный лед, Дэвид, только якорный. И разве ты никогда не видел, как он скопляется? Вода прозрачная, как стекло, и вдруг, как облачко, комочки булькают и выплывают и выплывают, пока вся река не закроется от берега до берега,

точно выпавшим снегом.

— Гм! Гм! Пожалуй, и со мной так случалось, когда, бывало, клюкнешь малость у руля. Только все это булькало из соседней бутылки, а вовсе не из-под воды…

— И ты никогда не видел его на руле? Ни одной крошечки?

— Нет. Да и ты не видел. Это противоречит здравому смыслу. Это тебе скажет всякий.

Бэттлс обращался ко всем, сидящим вокруг огня, но все его доказательства предназначались для Лона Мак-Фэн.

— Здравый там или не здравый, а я тебе дело говорю. Последний раз, когда была низкая вода — год тому назад, я видел эту штуку вместе с Ситкой Чарлеем, когда мы спускались вниз по реке, ты помнишь — пониже Форта Надежды. Была осень, все как следует: солнце на золотых лиственницах и на осинах и в каждой струйке — солнце. И тут уж и зима, и синий туман с Севера — все вместе. Ты и сам это видел: когда бахрома льда по берегу и воздух звонкий и искрится, и ты чувствуешь его, ну, через все тело, и с каждым глотком прибавляется тебе жизни. Вот тут-то, милый мой, мир всегда кажется совсем маленьким, и такая, знаешь, непоседливость хватает тебя за пятки…

Ну вот, мы, значит, едем. Как я уже сказал, бахрома по берегу, а больше льда нигде, как вдруг индеец поднял весло и кричит: «Лон Мак-Фэн! Смотрите, смотрите туда! Хоть я и слышал об этом, а видать еще не видал!» Как вы знаете, ни Ситка Чарлей, ни я родились не здесь, ну, значит, обоим было внове. Мы и повисли по обеим сторонам лодки и глядим в воду. Ну так вот, я тебе говорю, совсем то же, что я видел, когда ловил жемчуг. Там только кораллы росли так со дна — целыми лесами и садами. Вот это и был якорный лед: он облепил все подводные камни и поднимался вверх, как белые кораллы.

Но самое удивительное зрелище было впереди. Когда мы проехали рифы, вода стала вдруг молочного цвета, и вся поверхность покрылась сразу, ну, такими кружками. Весной, когда рыба играет, бывает так, или еще когда идет дождь. Это поднимался якорный лед. И вправо, и влево, и далеко вокруг вода была такая же. А вокруг лодки была точно каша изо льда или густая похлебка. Облепила борта, облепила весла. Много раз до этого я переезжал через пороги и много раз после — и никогда не видел ничего подобного. Только раз в жизни и видел.

— Говори, тоже! — сухо заметил Бэттлс. — Дума-

ешь, поверю такому вздору? Скорее всего солнце испортило тебе глаза или осенний воздух сегодня укусил за язык.

— Собственными глазами я видел это, и, если бы Ситка Чарлей был здесь, он поддержал бы меня.

— Но факты остаются фактами, и никак ты их не обойдешь. Это противоречит законам природы — чтобы вода замерзала не сверху!

— Но мои же собственные глаза…

— Только не горячись, пожалуйста, — остановил его Бэттлс, видя, что вспыльчивая кельтская кровь товарища начинает уже бурлить.

— Значит, ты мне не веришь?

— Если ты так, черт возьми, уперся, что и слушать ничего не хочешь, то вот и не верю: я прежде всего верю законам природы и фактам.

— Так что же, я вру, по-твоему? — загремел Лон. — Ты спроси-ка лучше свою сивашку, пусть она тебе скажет, правду я говорю или нет.

Бэттлс весь вспыхнул. Ирландец невольно задел его. Жена его была наполовину белая — дочь русского купца-меховщика — и венчались они в православной Миссии в Нукато, — тысячу верст вниз по Юкону, — она была более высокого происхождения, чем обыкновенные сивашки и местные женщины. Все это были, конечно, такие

тонкости, которые понятны только жителям Севера.

— Все врешь! Теперь я вижу, — заявил Бэттлс решительно.

В ту же минуту Лон Мак-Фэн швырнул его на пол, а шесть человек, сидевших вокруг огня, бросились разнимать их.

Бэттлс поднялся, вытирая кровь вокруг рта.

— Это для меня не новость, только ведь удар за удар. Ты не подумал, что придется расплачиваться?

— Никогда ни один человек меня лгуном не называл. И так плохи мои дела еще никогда не были, чтобы долгов не платить. Так или иначе, как хочешь.

— У тебя по-прежнему 38,55[14]?

Лон кивнул.

— Ты бы лучше раздобыл более подходящий, а то мой прошибет через тебя дырки, что твой грецкий орех.

— Не беспокойся, пожалуйста; у моих пуль нюх-то хороший тоже. А где и когда прикажешь ждать тебя? У проруби место великолепное, не правда ли?

---

[14] Примечания: 14
Калибр револьвера. *(Прим. пер.)*

— Неплохо. Будь там через час, и тебе не придется сидеть в ожидании.

Оба надели рукавицы и вышли из хижины, не обращая внимания на возражения товарищей. Все вышло из-за пустяка. Но у людей упрямых и необузданных из пустяков часто вырастают весьма крупные последствия. А кроме того, обитатели Сороковой Мили, запертые полярной зимой, испортили себе пищеварение чрезмерной едой и вынужденным бездействием и стали раздражительными — совсем как пчелы в конце года, когда их ульи переполнены медом.

Никаких законов здесь не было. Конная полиция тоже еще была делом будущего. Каждый сам оценивал обиду и сам назначал наказание, соответствующее степени его раздражения. Редко приходилось прибегать к совместным действиям, и ни разу за всю жизнь поселка не была нарушена восьмая заповедь.

Джим Белден Большой созвал импровизированный митинг. Скрэфа Маккензи выбрали председателем и послали за отцом Рубо. Положение было довольно трудное, и они понимали это. Они, разумеется, могли бы силой предотвратить дуэль, и это было как раз то, чего они хотели, но такая мера противоречила бы их убеждени-

ям. Несмотря на то, что их примитивная этика признавала за каждым право отвечать на удар ударом, они не могли вынести мысли, что такие два товарища, как Бэттлс и Мак-Фэн, будут драться на смерть. Они, конечно, назвали бы трусом человека, который бы не принял вызова, но и согласие его им тоже казалось неправильным.

Топот мокасинов, громкие крики и пистолетный выстрел прервали их прения. Дверь отворилась, и вошел Мельмут Кид с дымящимся револьвером в руке и веселой усмешкой в глазах.

— Попал. — Он заменил пустой патрон и прибавил: — Уложил твою собаку, Скрэф.

— Желтого Клыка? — спросил Маккензи.

— Нет. Ту, вислоухую.

— Черт тебя дери! Эту-то с чего?

— Выйди и посмотри.

— Впрочем, может, и хорошо в конце концов. Он, пожалуй, их всех перекусал. Сегодня утром вернулся Желтый Клык, и его вырвало, во-первых, а, во-вторых, он чуть не сделал меня вдовцом. Прыгнул на Заринку — только она его здорово отделала, хотя и сама тоже хорошо получила. Тогда он опять убежал в лес. Надеюсь, и не вернется. А ты многих потерял?

— Одну, но зато самую лучшую, Шукума. Стал кидаться на всех сегодня утром, налетел, как сумасшедший, на запряжку Ситки Чарлея, ну, а те его мигом разорвали. А теперь две из них взбесились и тоже убежали. Немного у нас останется собак на весну, если мы ничего не придумаем.

— Да и людей не больше.

— А что такое? Что случилось?

— Да вот у Бэттлса и Мак-Фэна вышло недоразумение, и они разрешают его сейчас у проруби.

Весь инцидент ему подробно рассказали, и Мельмут Кид, привыкший к повиновению товарищей, взял на себя уладить дело. Он быстро составил план действий, и все обещали точно выполнить его.

— Видите ли, — закончил он, — мы не можем и не должны лишать их права драться. Но я не думаю, чтобы им захотелось драться после того, как они увидят все прекрасные последствия этого. Жизнь — игра, а люди — игроки. Они готовы ставить полную ставку, даже при расчете один на тысячу. Но отнимите у них эту ничтожную надежду — и они не захотят играть. — Потом он обратился к заведующему складом: — Пожалуйста, отмерь нам три сажени хорошей манильской полудюймовки.

Мы установим сегодня хороший прецедент, который останется у жителей Сороковой Мили на вечные времена, — обещал он. Затем он намотал веревку на руку и отправился с товарищами к проруби, чтобы вовремя захватить противников.

— А какое право он имел, черт возьми, трогать мою жену? — гремел Бэттлс в ответ на дружеские увещевания. — Нечего было ее трогать, нечего было ее трогать, — повторял он упрямо, шагая взад и вперед в ожидании Лона Мак-Фэна.

А Лон Мак-Фэн, с красным лицом и заплетающейся речью, поднял целое восстание против Церкви.

— Ладно, отец! — кричал он. — В таком случае я с легким сердцем завернусь в огненное одеяло и лягу на постель из раскаленных угольев. Но никогда и никто не скажет, что Лон Мак-Фэн проглотил оскорбление и даже руки не поднял в защиту. И не надо мне вашего вечного блаженства. И просить не буду. Тяжелая у меня была жизнь, но сердце всегда было на месте, вот что.

— Только не сердце, Лон, — возразил отец Рубо. — Это гордость толкает тебя на то, чтобы убить ближнего.

— Французские тонкости, — ответил Лон. И потом, собираясь уже отойти, прибавил: — А

панихиду будете служить, если мне не повезет?

Священник только улыбнулся и занял место впереди. Все ринулись за ним на широкую грудь молчаливой реки. Утоптанная маленькими санками тропинка вела к проруби. По обе стороны лежал глубокий нежный снег. Люди шли друг за другом и не разговаривали, а присутствие священника, одетого в черное, придавало шествию торжественный вид похоронной процессии. Это был теплый день для Сороковой Мили. Небо, переполненное своею тяжестью, ближе наклонилось к земле, а ртуть поднялась на необычайную высоту — двадцать ниже нуля. Но ничего радостного не было в этом тепле. Воздух был тяжелый, а облака висели неподвижно, обещая ранний снег. И земля, погруженная в свою спячку, относилась к этому совершенно равнодушно.

Когда дошли до проруби, Бэттлс, который во время пути, очевидно, еще раз вспомнил всю ссору, выпалил последний раз свое — «нечего было ее трогать», а Лон Мак-Фэн злобно молчал. Возмущение душило его, и он не мог говорить.

Несмотря на то что оба противника были очень заняты своими обидами, их очень удивляло поведение товарищей. Они ожидали насильственного вмешательства, и такое молчаливое разрешение

почти оскорбляло их. Как будто они могли рассчитывать на нечто большее со стороны людей, с которыми так сжились, и в их душе поднималось неясное чувство обиды: друзья идут сюда, как на какое-то парадное представление, и станут смотреть — без одного слова протеста — на то, как они убьют друг друга. Как будто они уже потеряли всякую ценность в глазах коммуны. Все происходящее совершенно озадачивало их.

— Ну, спиной к спине, Дэвид. И какое вы хотите расстояние? Пятьдесят или вдвое?

— Пятьдесят, — был злобный и короткий ответ.

Но вдруг свежая веревка, отнюдь не выставляемая напоказ, а просто обмотанная вокруг руки Мельмут Кида, привлекла внимание ирландца и вызвала в нем неопределенную тревогу.

— А на что тебе веревка?

— Ну, живее, — Мельмут Кид посмотрел на часы. — У меня тесто поставлено, и я вовсе не хочу, чтобы оно перекисло. Да и ногам холодно.

Все остальные тоже на все лады выказывали нетерпение.

— Но все же веревка-то зачем, Кид? Она совсем новая, и я думаю, что твой хлеб не такой уже и тяжелый, чтобы его поднимать веревкой.

Бэттлс оглядывался по сторонам. Отец Рубо, чувствуя, что комизм положения захватывает его, закрыл лицо рукавицей.

— Нет, Лон. Эта веревка не для хлеба, а для человека. — Мельмут Кид умел производить впечатление, когда это было нужно.

— Какого человека? — Бэттлс почувствовал вдруг ко всему происходящему какой-то интерес.

— Для второго.

— Для какого второго?

— Послушай, Лон, и ты тоже, Бэттлс. Мы поговорили тут немножко о ваших глупостях и решили вот что. Мы знаем, что остановить вас не имеем права…

— Я думаю, милый мой!

— Мы и не собирались. Но одну вещь мы можем сделать. Не только можем, но и должны. Мы должны сделать, чтобы эта дуэль осталась единственной в истории Сороковой Мили и чтобы это было на вечные времена уроком для всех «че-чаквас'ов», какие едут вверх или вниз по Юкону. Тот из вас, кто останется в живых, будет повешен на ближайшем дереве. А теперь можете начинать.

Лон подозрительно усмехнулся, но потом лицо его просветлело, и он воскликнул:

— Отмеривай, Дэвид, пятьдесят шагов! И мы

будем стрелять, пока кто-нибудь не упадет по-настоящему. Они не посмеют этого сделать! Это просто так, шуточки янки!

Он занял свое место с веселой улыбкой на лице, но Мельмут Кид остановил его.

— Лон, ты меня давно знаешь?

— Да, порядочно.

— А ты, Бэттлс?

— В высокую воду, в июне, будет пять лет.

— А было ли хоть раз за все это время, чтобы я не сдержал своего слова? И говорил ли вам это кто-нибудь?

Оба покачали головами, поглядывая на веревку, которая лежала рядом.

— Ладно. Так если я вам обещаю что-нибудь, вы поверите?

— Поверю, как твоей подписи, — сказал Бэттлс.

— Поверю, как в спасение души и во все святые слова, — прибавил поспешно Лон Мак-Фэн.

— Так слушайте! Я, Мельмут Кид, даю вам мое слово, — а вы знаете, что это значит, — что тот из вас, который не будет застрелен, повиснет вот на этой веревке ровно через десять минут после своего выстрела.

И он отошел назад, как Пилат, умывающий руки.

Все молчали. Небо опустилось еще ниже, и на землю полетели тонкие иглы мороза — правильные геометрические фигурки, нежные и легкие, как дыхание, но которые будут лежать всю долгую полярную зиму, пока не вернется солнце. У обоих в прошлом было зарыто много разбитых надежд, зарыто с проклятием или с насмешкой, но в душе всегда оставалась все же вера в бога — в Фортуну. Но эта милая усердная богиня была на этот раз исключена из игры. Они внимательно изучали лицо Мельмут Кида, но оно было так же таинственно, как лицо Сфинкса. Когда прошло несколько минут, все почувствовали, что надо заговорить. Наконец, молчание было прервано воем собаки со стороны Сороковой Мили. В этом диком вое был какой-то невероятный пафос отчаяния, потом он перешел в протяжное рыдание и постепенно замер.

— Охота рисковать, тоже! — Бэттлс поднял воротник своей куртки, растерянно выглядывая из него во все стороны.

— Великолепно сыграно, Кид! — воскликнул Лон Мак-Фэн. — Вся выгода банкомету, а играющим ни шиша! Да? Самому дьяволу так не сыграть, и черт меня возьми, если я ввяжусь в это!

На обратном пути, пока взбирались на обледенелый берег и шли по улице до Поста, нет-нет да и раздавались подозрительные покашливания, вроде застрявших в горле смешков, и все почему-то очень часто мигали, смахивая свет с ресниц. И вдруг снова раздался вой собаки, но уже совсем близко, и в нем были новые, угрожающие ноты. Какая-то женская фигура выскочила из-за угла. Кто-то крикнул: «Вот он, вот!» Индианский мальчик, окруженный полдюжиной перепуганных собак, задыхаясь, бежал к ним со всех ног. А позади всех, ощетинившись, несся серой молнией Желтый Клык. Все бросились бежать, кроме американца. Мальчик споткнулся и упал. Бэттлс остановился на мгновение, схватил его за шиворот и бросился к штабелям дров, куда уже взобрались некоторые из его товарищей. Желтый Клык, преследуя одну из собак, тоже повернул назад. Обезумевшее от страха животное сбило Бэттлса с ног и понеслось по улице. Мельмут Кид выстрелил. Желтый Клык перевернулся в воздухе, опрокинулся на спину, вскочил и одним прыжком бросился на Бэттлса.

Но этот роковой прыжок был предупрежден Лоном Мак-Фэном, который соскочил с дров и перехватил собаку на лету. Оба покатились в

снег. Лон крепко держал животное за горло на вытянутых вперед руках, а все лицо его и глаза были залиты брызгами вонючей собачьей слюны. Наконец Бэттлс, спокойно с револьвером в руке выжидавший подходящего момента, закончил схватку.

— Вот это была настоящая игра, Кид, — заметил Лон, поднимаясь на ноги и стряхивая снег с рукавов. — Тут и я заработал недурной процент.

Ночью, когда Лон Мак-Фэн, стосковавшись о всепрощающих объятиях Церкви, устремился в хижину отца Рубо, Мельмут Кид долго еще обсуждал случившееся.

— Да разве бы ты сделал? — приставал Маккензи. — Ну, предположим, они бы стреляли?

— А разве я когда-нибудь изменял своему слову?

— Нет-то нет, да я не об этом. Ты мне отвечай на вопрос. Мог бы ты или нет?

Мельмут Кид встал.

— Знаешь, Скрэф, я все время сам задаю себе этот вопрос и вот…

— Ну?

— Ну и вот — до сих пор ничего не мог ответить.

В далекой стране

Когда человек решается ехать в далекую страну, он должен быть готовым забыть очень многое из того, чему его учили с детства, и, наоборот, усвоить многие новые привычки, соответствующие новым условиям жизни; он должен оставить старые идеалы и старых богов и очень часто даже перевернуть вверх дном весь моральный кодекс, каким до этого времени руководствовался. Для людей, обладающих приспособляемостью простейших организмов, новизна такой перемены доставляет даже наслаждение; но для тех, кто уже окончательно сформировался в определенной среде, гнет изменившихся условий жизни совершенно невыносим; они сгибаются и душой и телом от непредвиденных лишений, принять которые они не могут, и этот надлом, связанный всегда с попытками противодействия, часто является для них источником самых разнообразных несчастий. Для таких лучше всего, конечно, как можно скорее вернуться опять на родину, затяжка неминуемо приведет их к гибели.

Человек, отказавшийся от европейской цивилизации и вставший лицом к лицу с первобытной

простотой Севера, может рассчитывать здесь на успех в отношении, обратно пропорциональном качеству и количеству своих безнадежно укрепившихся привычек. Если он из «подающих надежды», то, конечно, скоро заметит, что материальные удобства почти несущественны. В конце концов, замена изысканного меню грубой пищей, жестких башмаков — мягкими бесформенными мокасинами или пружинной постели — ямой в снегу — просто пустяк. Гвоздем обучения будет умение по-новому подойти ко всем вещам, но прежде всего к людям — своим товарищам. Прежняя выдержанная «воспитанность» должна будет уступить место прямоте, бескорыстию и терпимости. Этим, и только этим, он сможет добыть себе бесценную жемчужину — подлинные товарищеские отношения. Ему незачем будет говорить на каждом шагу «спасибо»; ему совсем не нужно раскрывать рта, и свою благодарность он должен доказать только на деле. Короче говоря, во всем действие должно будет заменить слово и смысл — вытеснить букву.

Когда весть о полярном золоте облетела весь мир и соблазн Севера ущемил все человеческие сердца, Картер Уэзерби бросил свое насиженное место клерка, перевел половину своих сбере-

жений на жену, а на остальное купил себе все необходимое для путешествия. По своей натуре он вовсе не являлся романтиком — романтизм был окончательно задавлен в его душе долголетней близостью к коммерческим операциям. Он просто устал от бесконечных трений на службе и надеялся, кроме того, хорошо заработать. Как и многие другие глупцы, он пренебрег путем старых пионеров Севера и в начале весны отправился в Эдмонтин; там, на свою беду, он связался с партией золотоискателей.

Собственно, ничего особенного в этой партии не было, за исключением разве ее планов. Целью ее, как и обычно, был Клондайк. Но дорога, какую они спроектировали по карте для достижения этой цели, положительно перехватывала дух у самых смелых туземцев, выросших среди опасностей и превратностей этого края. Даже Жак Баптист, сын туземной женщины из племени Чиппева и какого-то французского бродяги (он родился в хижине из оленьих шкур севернее шестьдесят шестой параллели и был выкормлен на соске из сырого сала) — даже Жак Баптист, хотя и нанялся ехать до линии вечного льда, все-таки с сомнением качал головой, когда спрашивали его совета.

Несчастливая звезда Перси Кёсферта, очевидно, стояла в своем апогее, когда он тоже присоединялся к компании аргонавтов. Он был очень обыкновенный человек, у которого размеры текущего счета в банке вполне соответствовали его культурным потребностям, а этим сказано очень много. Собственно говоря, у него не было никакого основания пускаться в такую авантюру, решительно никакого, за исключением, впрочем, чрезмерно развитого воображения, которое он принимал за прирожденный романтизм и жажду приключений. Очень и очень многие люди впадают в ту же роковую ошибку.

С первым дыханием весны партия двинулась по реке Элк-Ривер, вслед за тронувшимся льдом. Это была основательная флотилия, хорошо снабженная провиантом и сопровождаемая целой стаей так называемых «вояжеров», т. е. бродяг-метисов с их женами и детьми. Изо дня в день всем приходилось работать на лодках и челноках, бороться с москитами и всякими другими паразитами, обливаться потом и ругаться на переправах. Тяжелая работа всегда обнажает человеческую душу, и еще прежде чем озеро Атабаска осталось к югу, каждый из них успел показать себя во всем разнообразии своей окраски.

Картер Уэзерби и Перси Кёсферт оказались обжорами, лентяями и вечно ноющими брюзгами. Вся партия в целом меньше жаловалась на болезни и усталость, чем каждый из них в отдельности. Ни разу не случалось, чтобы они сами вызвались выполнить что-нибудь из тысячи и одной мелких обязанностей, какие неизбежны в пути. Если надо было принести ведро воды, лишнюю охапку дров, вымыть и вытереть посуду или перерыть багаж, чтобы найти ту или иную внезапно понадобившуюся вещь, эти прекрасные экземпляры цивилизации находили у себя вывихи, нарывы или другие заболевания, требовавшие всеобщего и неотложного внимания. Вечером они первыми уходили с работы, часто бросая ее неоконченной, а утром выходили последними — как раз перед завтраком. Они первыми садились за стол и были последними в приготовлении обеда; они первыми тянулись к чему-нибудь вкусному и никогда не замечали, что забирали чужую порцию. Когда их сажали на весла, они просто обмакивали их в воду, предоставляя лодке плыть по течению. Они думали, что никто этого не замечает, но товарищи ругали их сквозь зубы, а Жак Баптист открыто издевался над ними и посылал их к черту с утра до вечера. Впрочем, Жак Баптист не был, конечно,

джентльменом.

На Большом Невольничьем озере закупили собак с Гудзонова залива и также погрузили их в лодки вместе с запасом сушеной рыбы и другими заготовками. Челноки и лодки, увлекаемые быстрым течением Маккензи, скоро доплыли до земли Баррена.

После Большого Медвежьего озера «вояжеры», испуганные приближением совсем неведомых для них стран, стали сбегать один за другим, а когда экспедиция достигла Форта Доброй Надежды, то сбежали уже последние и самые смелые, пустившись назад по течению реки, которой они было так необдуманно доверились. Остался один Жак Баптист. Разве он не дал слова довести их до вечного льда?

От карт теперь уже не отрывались, но они оказались неточными, составленными от руки, кое-как, по слухам. Между тем надо было поторапливаться, так как летние солнцестояния уже кончились и надвигалась зима. Проплыв вдоль берега залива, через который Маккензи впадает в океан, они вошли в устье Малого Пиля. Тут начался тяжелый подъем — вверх по течению, и оба «нетрудоспособные» вели себя еще хуже, чем всегда.

Буксирный канат, и багры, и весла, и опять багры, и мели, и пороги, и переправы посуху — все эти мучения внушили одному из них полное отвращение к рискованным коммерческим операциям и раскрыли другому всю истинную ценность романтизма и необыкновенных приключений. В один прекрасный день они решительно взбунтовались и отказались работать, а когда Жак Баптист изругал их самыми последними словами, поползли прочь и хотели спрятаться. Но метис избил обоих и — окровавленных — снова поставил на работу. И тот и другой первый раз в жизни испытали, что такое насилие и побои.

Провозившись достаточно на порогах Малого Пиля, путешественники употребили остаток лета на переправу через водораздел между Маккензи и Вест-Рэтом. Эта маленькая речонка впадает в Паркюпайну, а та в свою очередь в Юкон, в том месте, где Великий северный путь пересекает Полярный круг. Но тут они были неожиданно застигнуты зимой: в один прекрасный день их лодки были затерты льдом, и им пришлось спешно переносить на берег весь багаж. В эту ночь река несколько раз замерзала и снова ломала лед; на утро она стала окончательно.

— Мы не можем быть более чем в четырехстах милях от Юкона, — решил Слопер, измеряя ногтем большого пальца расстояние по карте. Заседание совета, на котором оба «нетрудоспособные» вволю нахныкались, подходило к концу.

— Пост Гудзонова залива далеко позади. Больше постов не будет. Отец Жака Баптиста бывал здесь по делам мехопромышленной компании и даже отморозил себе два пальца на ногах.

— Черт тебя дери! — воскликнул кто-то из партии. — Неужели так и не встретим белых?

— Нет, белых больше не будет, — подтвердил назидательно Слопер. — Но от Юкона до Даусона всего пятьсот миль, а отсюда — добрая тысяча, пожалуй.

Уэзерби и Кёсферт ахнули в один голос.

— А сколько же времени понадобится на это, Баптист?

Метис подумал с минуту.

— Если будем работать, как в аду, и никто не будет отставать, — двадцать, сорок, пятьдесят дней. А если эти грудные младенцы потащатся с нами (он указал на «нетрудоспособных»), ничего не могу сказать. Может быть, когда ад промерзнет насквозь, а быть может, — и еще дольше.

Приготовили лыжи и мокасины. Кликнули

одного из товарищей, который вышел из избушки, стоявшей неподалеку от костра. Эта избушка была одной из многочисленных тайн Севера. Кто построил ее и когда? Никто не знал этого. Перед ней были две могилы с высокими кучами камней, и в них, возможно, была погребена тайна несчастных путешественников. Но кто закрыл камнями эти могилы?

Решительный момент наступил. Жак Баптист оставил на минуту возню с запряжкой, привязав непослушную собаку. Дежурный по кухне, молчаливо протестуя против перерыва в своей работе, бросил кусок сала в дымящийся котелок с бобами и подошел ближе. Слопер поднялся. Его фигура представляла смешной контраст с упитанными телами «нетрудоспособных». Желтый и слабый, приехавший из какой-то лихорадочной местности Южной Америки, он был неутомим в своих вечных скитаниях и на работе не отставал от других. Он весил, вероятно, не более девяноста фунтов, если считать вместе с охотничьим ножом, а его поседевшие волосы говорили, что весна к нему уже не вернется. Молодые упругие мускулы Уэзерби и Кёсферта были, вероятно, раз в десять больше, чем его, по объему, однако он мог бы загнать их обоих до смерти за один

день пути. Весь последний день он подбивал своих более сильных товарищей на этот тысячемильный, невообразимо трудный путь. Он был воплощением своей беспокойной расы, и тевтонское упрямство, соединенное с быстрой хваткой и предприимчивостью янки, помогало ему держать тело в полном подчинении духу.

— Пусть все, кто согласен продолжать путь на собаках, как только лед станет окончательно, скажет да!

— Да! — воскликнуло восемь голосов — восемь голосов тех, кто отлично сознавал все трудности и лишения на протяжении многих сотен верст мучительного пути.

— Кто против?

— Я, я! — первый раз оба «нетрудоспособные» были абсолютно заодно, и при том без малейшего нарушения личных интересов.

— И что вы с этим поделаете? Скажите, пожалуйста? — прибавил Уэзерби вызывающим тоном.

— По большинству! По большинству! — кричали остальные.

— Я знаю, конечно, что экспедиция может и не удастся, пожалуй, если вы не пойдете с нами, — очень мягко заметил Слопер. — Но я надеюсь,

что если мы все наляжем из последних сил, то, может быть, и обойдемся без вас как-нибудь. Что скажете, ребята?

Одобрительный гул был ответом.

— Но вот, видите… — озабоченно произнес Кёсферт. — Что же мне, собственно, тогда делать?

— Так вы не идете с нами?

— Н-нет.

— Тогда делайте, черт возьми, все, что вам угодно. Это нас не касается.

— Вычисляйте там и решайте вместе с вашим великолепным партнером, — прибавил тяжеловесный Вестернер, указывая на Уэзерби. — Когда придет время готовить обед или идти за дровами, он присмотрит, конечно, чтобы вы не сидели без дела.

— Значит, решено, — заключил Слопер. — Завтра утром мы снимаемся и первую передышку делаем в пяти милях отсюда, чтобы привести все в окончательный порядок и убедиться — не забыли ли чего.

На другой день сани уже скрипели железными полозьями, а собаки налегли на постромки, для которых они родились и в которых должны были умереть. Жак Баптист остановился рядом со Слопером, чтобы еще раз посмотреть на хижину.

Из трубы ее жалостно поднимался серый дымок. Оба «нетрудоспособные» стояли у дверей.

Слопер положил руку на плечо товарища.

— Жак Баптист, слышал ты когда-нибудь о килкенских котах?

Метис покачал головой.

— Так вот, друг ты мой, эти килкенские коты дрались до тех пор, пока от них не осталось ни шкуры, ни мяса, ни когтей — ничего! Понимаешь, — совсем ничего. Ладно. Теперь так. Эти двое работать не любят. И они не будут работать. Это мы все знаем. И вот они останутся вдвоем в этой хижине на всю зиму — очень долгую, очень темную зиму. Килкенские коты — а?

Француз в Баптисте пожал плечами, но индеец ничего не сказал. Впрочем, это движение плеч было достаточно красноречивым и почти пророческим.

Первое время в хижине все шло как по маслу. Грубые шутки товарищей заставили Уэзерби и Кёсферта сознательнее отнестись друг к другу и к своим обязанностям. Да, в конце концов, для двух здоровых людей работы было совсем немного. А возможность избавиться от побоев «собаки-метиса» вполне радовала их. Первое время каждый из них старался перещеголять товарища, и они

исполняли все свои несложные обязанности с таким рвением, что товарищи, изнывавшие в это время на трудном пути, вероятно, широко раскрыли бы глаза от удивления.

Ничего трудного и страшного не предвиделось. Лес, обступивший их с трех сторон, был неисчерпаемым запасом топлива. В нескольких шагах от хижины протекала Паркюпайна и, прорубив ее зимний покров, легко было достать кристально чистую, текучую воду. Впрочем, даже такое несложное дело скоро им надоело. Прорубь упорно замерзала, и приходилось часами обивать этот противный лед. Неизвестные строители хижины сделали сбоку нечто вроде кладовой для хранения запасов. Здесь и был сложен весь провиант, оставленный им товарищами. Пищи оказалось достаточно — без преувеличения хватило бы, чтобы откормить троих. Впрочем, в основном она была довольно грубая и не очень-то вкусная. Но сахара, во всяком случае, было вполне достаточно для двух нормальных людей; к несчастью, в этом отношении эти двое были скорее похожи на детей. Они не замедлили сделать открытие, что горячая вода, хорошо сдобренная сахаром, вещь очень недурная, и усердно поливали ею свои яблочные оладьи и мочили в ней корки хлеба. И,

конечно, кофе, чай и в особенности сухие фрукты тоже поглощали основательное количество сахара. Первое их столкновение произошло поэтому в связи с сахарным вопросом. А это вещь очень серьезная, когда двое людей, которым не уйти друг от друга, начинают ссориться.

Уэзерби любит потолковать о политике, тогда как Кёсферт, который всю жизнь только стриг купоны, предоставляя неизвестным силам заботиться об их ценности, ничего решительно не понимал в этом деле и отшучивался эпиграммами. Но клерк был слишком туп, чтобы оценить остроумие товарища, и напрасная трата красноречия раздражала Кёсферта. Он привык блистать в обществе, и полное отсутствие подходящей аудитории заставляло его почти страдать. Он чувствовал в этом какое-то личное оскорбление и бессознательно обвинял своего тупоголового товарища.

За исключением еды и других примитивных хозяйственных вопросов, у них не было решительно ничего общего — ни на одном пункте они не могли сойтись. Уэзерби был всю жизнь клерком и не знал, и не понимал ничего другого. Кёсферт — знаток в искусстве — сам писал масляными красками и не чужд был литературе.

Первый был невысокого полета и считал себя джентльменом — второй был, действительно, джентльмен и сознавал это. Следует, впрочем, заметить, что человек может быть настоящим джентльменом и не иметь ни малейшего понятия о чувстве товарищества. Клерк был настолько же чувствительным, насколько его товарищ эстетом, и его любовные похождения, по большей части выдуманные, — которые он любил размазывать на все лады, — производили на утонченного любителя искусства такое же впечатление, как аромат сточных труб. Он считал клерка грубым, нечистоплотным животным, которому место разве только в грязи вместе со свиньями, и при случае сообщил ему об этом. Тогда он услышал в ответ, что он сам желторотый сосун и паразит. Уэзерби не сумел бы объяснить, что он понимает под словом «паразит», но оно чем-то его удовлетворяло, а этого ему было вполне достаточно.

Уэзерби целыми часами распевал «Бостонского бродягу» или «Красивого юнгу», отчаянно фальшивя на каждой ноте, а Кёсферт чуть не плакал от бешенства и, наконец не вытерпев, бросался из хижины в лес. Но спасения не было. Мороз был такой, что долго выдержать не было возможности, и они снова оставались заперты в тесной

хижине вместе с кроватями, печкой, столом и всем прочим — на пространстве десять на двенадцать ярдов. Самое присутствие каждого из них являлось уже личным оскорблением другому, и они проводили время в угрюмом молчании, которое день ото дня становилось продолжительнее и злее. Очень часто брошенный одним взгляд или презрительное поджимание губ выводили из себя другого, хотя они и старались совершенно не замечать друг друга во время этих периодов молчания. И величайшее изумление вырастало понемногу в их душах: как это Господь Бог мог сотворить «такого»!

Работы не было, и досуг стал для них почти невыносим. А это, естественно, делало их еще более ленивыми. Они впали постепенно в своего рода физическую летаргию и не могли ее сбросить, так что малейшая обязательная работа возмущала их. Однажды утром, когда очередь готовить завтрак была за Уэзерби, он вылез из-под груды своих одеял и под храпение товарища зажег лампу и развел огонь. Вода в горшках замерзла, и умыться было нечем. Впрочем, это было ему безразлично. Пока вода оттаивала, он нарезал сало и принялся за ненавистное ему приготовление хлеба. Уже проснувшийся Кёсферт

посматривал на него из-под опущенных век. Разумеется, произошла бурная сцена, во время которой оба наговорили друг другу достаточно «теплых» слов, и в конце концов было решено, что каждый сам будет готовить себе завтрак. Неделю спустя Кёсферт тоже забыл умыться, что не помешало ему съесть завтрак с обычным удовольствием. Уэзерби злорадно усмехнулся. После этого происшествия глупая привычка умываться по утрам окончательно исчезла из их обихода.

Когда запас сахара и всяческих вкусных вещей стал подходить к концу, они испугались, как бы не прозевать своей порции, и из опасения, чтобы другой не съел больше, каждый из них объедался. От такого соревнования в обжорстве страдали не только сласти, но и они сами. Неподвижная жизнь и отсутствие свежих овощей испортили им кровь — и через некоторое время у них на теле стали появляться отвратительные красные прыщи. Но они не обратили никакого внимания на это предостережение. Потом начали опухать мускулы и суставы, на теле выступили черные пятна, а рот, десны и губы покрылись точно слоем густых сливок. Но общее несчастье их не сблизило, их взаимное отвращение росло по мере того, как болезнь развивалась.

Они совершенно перестали заботиться о своей внешности и сильно опустились. Хижина стала похожа на свиной хлев, кровати никогда не убирались, и подстилка из еловых веток никогда на них не менялась. Они очень жалели, что не могут целый день лежать под одеялами, потому что мороз был ужасающий и печка пожирала массу дров. Они обросли грязными волосами, а до их одежды не захотел бы дотронуться даже тряпичник. Но это их мало беспокоило. Они ведь были больны, и кроме того, никто не мог их видеть. А всякое движение причиняло им боль.

Ко всему этому прибавилась еще одна опасность — Северный Бред. Великий Холод и Великое Безмолвие породили его в декабрьскую тьму, когда солнце окончательно ушло за линию южного горизонта. Он проявился у каждого в соответствии с его характером. Уэзерби стал до крайности суеверным и против воли делал все возможное, чтобы воскресить в своей душе тени, уснувшие в соседних могилах. Это было увлекательное занятие, и мало-помалу они стали являться ему во сне, залезали к нему под одеяло и рассказывали о всех бедах и горестях, какие случились с ними при жизни. Он старался отодвинуться, чтобы избежать их холодного прикосновения; а

когда они прижимались плотнее, чтобы отогреть об него свои замерзшие члены, и рассказывали ему на ухо все, что должно еще произойти, он кричал на всю хижину. Кёсферт ничего не понимал — они давно уже перестали разговаривать друг с другом — и, разбуженный этими криками, инстинктивно хватался за револьвер. Потом он, нервно передергиваясь, садился на постель, и так, не смыкая глаз, просиживал всю ночь с дулом, направленным в сторону товарища. Кёсферт решил, что тот сходит с ума, и стал опасаться за свою жизнь.

У него болезнь приняла менее острую форму. Неизвестный человек, построивший бревно за бревном всю хижину, укрепил для чего-то на ее крыше флюгер. Кёсферт заметил, что флюгер этот всегда обращен к югу, и однажды, раздраженный его упорной пассивностью, повернул его на восток. Он ждал, не спуская с флюгера глаз. Но в воздухе не было ни малейшего движения, и флюгер остался на месте. Тогда Кёсферт повернул его к северу и дал себе клятву не трогать его до тех пор, пока ветер не повернет. Но воздух, оставаясь таким же — нездешне-спокойным, — пугал его, и часто среди ночи он вставал и бежал смотреть — не сдвинулся ли флюгер — совсем немножко;

самое маленькое уклонение успокоило бы его. Но нет: флюгер оставался неподвижным, неумолимым, как сама судьба. Воображение Кёсферта возбуждалось все больше и больше, и в конце концов эта мысль о флюгере стала для него навязчивой идеей. Иногда ему вдруг приходило в голову идти через лес, в том направлении, какое указывал флюгер, и тогда Бред окончательно завладевал его душой. Он жил теперь окруженный чем-то невидимым и непонятным, и тяжесть вечности, навалившаяся на него, казалось, готова была ежеминутно его раздавить. На Севере все оказывает такое сокрушающее действие — отсутствие жизни и движения, тьма, бесконечное, неестественное спокойствие всего окружающего, безмолвие, насыщенное призраками, и в нем — в этом безмолвии — каждое биение сердца кажется каким-то святотатством, торжественный лес, затаивший в себе что-то страшное, и, наконец, нечто невыразимое, чего нельзя определить словами.

Мир, который Кёсферт еще так недавно оставил, мир политических столкновений и грандиозных предприятий отошел куда-то совсем далеко. Изредка, правда, всплывали воспоминания — какие-то галереи и биржа, какая-то мешанина из

вечерних туалетов и социальных обязанностей, приятных мужчин и очаровательных женщин, которых он знал раньше, — воспоминания такие туманные, словно все это ему было ведомо много столетий назад на какой-то другой планете. Здесь реальными были его призраки. Стоя перед флюгером, с глазами, устремленными в полярное небо, он не мог заставить себя поверить, что существует какой-то Юг, в это самое мгновение напоенный шумом, жизнью и деятельностью. Нет, такого Юга не было, не было вовсе и людей — живых, рожденных женщинами, не было и не могло быть, чтобы кто-то там женился и выходил замуж. Позади этой черной линии горизонта тянутся опять черные пустынные пространства, а позади них — опять такие же — пустые и черные. И не было и нет солнечных стран, отяжелевших от запаха цветов. Это все у него — былые детские представления о рае. Залитый солнцем Запад, залитый благоуханиями Восток, улыбающаяся Аркадия, блаженные райские острова, — «Ха-ха-ха!» Смех рассек пустоту и испугал его. Нет, солнца не было. Вселенная, вся вселенная — мертва, холодна и черна, и живет в ней только он один. Уэзерби? Но в такие минуты Уэзерби в счет не шел. Ведь это был, в конце концов, какой-то

Калибан, чудовищное привидение, прикованное к нему, Кёсферту, с незапамятных времен в наказание за какое-нибудь забытое им преступление.

Кёсферт жил бок о бок со Смертью, окруженный мертвецами, обессиленный ощущением собственного ничтожества, раздавленный владычеством уснувших веков. Величие окружающего стирало его, уничтожало. Все вокруг было возведено в превосходную степень, за исключением его самого, — полное прекращение всякого движения, бесконечность покрытой снегом пустыни, высота неба и глубина безмолвия. Хоть бы повернулся этот чертов флюгер! Ударил бы гром, загорелся бы лес, или небо свернулось бы словно свиток, или рухнула вселенная — что-нибудь, что-нибудь! Нет, ничего. Безмолвие обступило его, и Северный Бред положил свои ледяные пальцы на его сердце.

Однажды, как какой-нибудь Робинзон, он открыл на берегу реки следы, едва заметные черточки от лапок кролика на нежной верхней снеговой корочке. Это было целое откровение. На Севере, значит, была жизнь. Он захотел найти его, этого кролика, посмотреть на него, подышать на него. Он совсем забыл о своих распухших ногах, нырял в глубоком снегу и приходил в экстаз

от своего открытия. Лес поглотил его, а кроткие полуденные сумерки быстро потухали, но он продолжал свои поиски, пока измученное тело не отказалось двигаться и он беспомощно не упал в снег. Он убедился, что следов не было, что это был один бред, — и рыдал, и проклинал свое безумие. Поздно ночью он дотащился до хижины на четвереньках, с отмороженными щеками и странно неподвижными ногами. Уэзерби неприязненно ворчал и не предложил ему своей помощи. Кёсферт колол иголкой пальцы ног и держал их перед печкой в надежде, что они отойдут. Через неделю у него открылась гангрена.

У клерка были свои заботы. В последнее время мертвецы все чаще и чаще выходили из своих могил и редко оставляли его одного, спал ли он или бодрствовал. Он всегда ждал их и всегда боялся, и не мог без дрожи проходить мимо двух могил. Однажды они пришли ночью, подняли его и погнали за дверь на работу. Он очнулся среди развороченных им камней в непередаваемом ужасе и дико бросился назад в хижину. Но, вероятно, он пролежал в снегу некоторое время, так как ноги и щеки оказались тоже отмороженными. Иногда настойчивое присутствие теней приводило его в бешенство, и он прыгал по хижине, рубил вокруг

себя воздух топором и опрокидывал все на своем пути. Во время таких припадков Кёсферт завертывался в одеяла и, взведя курок револьвера, следил за сумасшедшим, готовый выстрелить, если бы тот подошел слишком близко. Но однажды, придя в себя после окончания припадка, клерк заметил направленное на него дуло. Это возбудило его подозрительность, и с этой минуты он начал также бояться за свою жизнь. Они стали внимательно следить друг за другом и со страхом оборачивались, когда кто-нибудь из них случайно проходил за спиной другого. Подозрительность перешла мало-помалу в манию преследования, которая не оставляла их даже во сне. Из-за обоюдного страха они оставляли лампу на всю ночь, и оба, ложась спать, проверяли, достаточно ли в ней жира. Малейшего движения одного было достаточно для того, чтобы другой вскочил, и долгими молчаливыми часами они следили друг за другом из-под своих одеял, держа пальцы на спуске револьверов.

Из-за Северного Бреда, нервного напряжения и прогрессирующей цинги они потеряли всякое человеческое подобие и походили теперь на загнанных, затравленных зверей. Отмороженные щеки и носы почернели. Отмороженные пальцы

ног стали отваливаться по суставам — сначала отвалились первые, потом вторые. Каждое движение причиняло боль, но печка была ненасытна и требовала себе дань ценою пытки для несчастных изуродованных тел. Изо дня в день ей нужна была пища — в полном смысле слова, кровавая пища, — и они на коленях тащились в лес за дровами. Однажды, ползая в поисках сухого хвороста, они залезли с противоположных сторон в узкий проход под нависшими ветвями. И вдруг, совершенно неожиданно, две мертвые головы столкнулись.

Болезнь так изменила их, что узнать друг друга было невозможно. Они вскочили на ноги, крича от ужаса, и бросились бежать к дому на своих изувеченных культяпках. Столкнувшись у дверей хижины, они ныли и царапались, как звери, пока, наконец, не поняли своей ошибки.

Изредка у них бывали светлые промежутки, и в один из них они поделили поровну сахар — яблоко раздора. Каждый положил свой сахар в отдельный мешок и жадно прятал его в чулане: у каждого оставалось всего несколько чашек, и они совершенно перестали доверять друг другу. Но однажды Кёсферт ошибся. Еле двигаясь от боли, с трясущейся головой и полуслепыми глазами,

он пополз в кладовую и совершенно нечаянно вытащил мешок Уэзерби вместо своего.

Это случилось в первых числах января. Солнце уже перешло через свое самое низкое стояние, и теперь в полдень на южной стороне неба показывались желтые полоски света. На другой день после своей ошибки Кёсферт чувствовал себя лучше — и душой, и телом. Когда подошел полдень и забрезжил свет, он выполз наружу, чтобы полюбоваться мимолетным сиянием, которое было для него обещанием солнца вернуться. Уэзерби тоже чувствовал себя немного лучше и уселся рядом с ним. Они прикорнули в снегу под неподвижным флюгером и ждали.

Вокруг них застыла мертвая тишина. В других странах, когда вся природа замирает, все же ждешь движения воздуха или какого-нибудь голоска, который вот-вот затянет прерванную песню. На Севере ждать нечего. Два человека жили здесь, как два привидения, среди заколдованной тишины. Они не могли бы вспомнить ни одного звука в прошлом и не ждали звуков от будущего. Эта неземная тишина была извечна — спокойное безмолвие вечности.

Их глаза были обращены к северу. За их спинами где-то внизу, под высокими южными горами,

незримо для них катилось солнце по какому-то чужому небосклону. Они могли только следить за медленно занимающейся, неясной зарей. Бледный дымно-красный свет все разгорался. Он становился ярче, переходя из красно-оранжевого в пурпурный и шафранно-желтый. Эти отблески на северной стороне неба были так ярки, что Кёсферт не сомневался: за ними — солнце. Чудо — солнце, встающее с севера! И внезапно все краски с картины были убраны. Небо обесцветилось. Они затаили дыхание. Что это? Мелкая изморозь внезапно загорелась в воздухе, а на снегу лежало тонкое очертание флюгера. Тень! Настоящая тень! Они вскочили и поспешно повернули головы по направлению к югу. Тоненький золотой ободок чуть виднелся из-за занесенных снегом плеч горного кряжа; он улыбнулся им на одно мгновение и сейчас же исчез.

Когда они посмотрели друг на друга, в глазах их стояли слезы. Ими овладела какая-то необычайная нежность, и их неудержимо потянуло друг к другу. Солнце вернулось. Солнце завтра будет с ними опять, будет и послезавтра, и дальше, дальше… И каждый раз оно будет оставаться все дольше, и потом придет время, когда оно совсем не уйдет с неба, ни днем, ни ночью — не зайдет за

горизонт. И не будет ночи. Ледяные засовы зимы будут сломаны. И снова подует ветер, и ему будет отвечать лес. И земля будет купаться в блаженном сиянии, и жизнь вновь заиграет. Взявшись за руки, они уйдут от этого ужасного бреда и снова вернутся на Юг. Они оглянулись друг на друга, и их руки встретились — эти жалкие, изъеденные руки, опухшие и скрюченные в рукавицах.

Но обещанию солнца не удалось сбыться. Север — всегда Север, и странные силы правят здесь душой человека. И никогда не поймут их люди, не бывавшие в этой далекой стране.

Час спустя Кёсферт положил в печь кусок хлеба и стал обдумывать, что смогут сделать хирурги с его ногами, когда он вернется домой. Теперь «дом» не казался ему уже таким далеким. Уэзерби рылся в кладовке. Внезапно он разразился страшными ругательствами, которые потом странно оборвались. Тот — «другой» — украл у него сахар? И все-таки неизвестно, как бы повернулось еще все дело, если бы оба умерших не вылезли из-под камней и не стали лить ему в голову свои раскаленные слова. Потом они совсем спокойненько вывели его из кладовки, которую он даже забыл запереть. Это потому, что время пришло. Это потому, что сейчас должно было произойти

то самое, о чем они всегда рассказывали ему по ночам. Они повели его, не торопясь — так, совсем спокойненько, — к куче дров, и там они дали ему в руки топор. Потом они помогли ему отпереть дверь хижины и даже сами закрыли ее за ним — он ясно слышал, как она скрипнула и как щеколда шумно упала на свое место. И он знал, что они стоят за дверью и ждут, чтобы он сделал свое дело.

— Картер! Что вы, Картер!

Перси Кёсферт испугался, взглянув на лицо клерка, и поспешно загородился столом.

Картер Уэзерби приближался. Не торопясь, без возбуждения. И в лице его не было ни злобы, ни жалости, а скорее какое-то терпеливое послушание — тупой взгляд человека, который все равно должен что-то сделать и вот делает, — методически, не спеша.

— В чем дело, я вас спрашиваю?

Клерк двинулся назад, отрезая ему отступление к двери, но не произнес ни слова.

— В чем дело, Картер, в чем дело? Давайте обсудим…

Кёсферт быстро обдумал положение: улучив минуту, он ловким боковым движением очутился на постели, где лежал его «Смит-Вессон».

Прислонившись спиной к стене и не спуская глаз с сумасшедшего, он взвел курок.

— Картер!

Порох вспыхнул прямо в лицо Уэзерби, но он все же кинулся вперед, взмахнув топором. Топор врезался в позвоночник, и Перси Кёсферт сразу перестал ощущать свои нижние конечности. Тогда клерк навалился на него, хватая его за горло своими слабыми пальцами. Удар топора заставил Кёсферта выронить револьвер, и теперь, задыхаясь под тяжестью противника, он беспомощно шарил рукой по одеялу. Тут он вспомнил. Он просунул руку за пояс клерка и вытащил его охотничий нож. И они очень-очень крепко прижались друг к другу в этом последнем объятии.

Перси Кёсферт чувствовал, что силы оставляют его. Нижняя часть его тела уже отмерла. Мертвая тяжесть Уэзерби расплющивала его и держала неподвижным, словно капкан медведя. Хижина наполнилась знакомым запахом, и он сообразил, что это горит его хлеб. Но разве не все равно? Он ведь не понадобится ему. А в кладовке осталось еще полных шесть кружек сахара! Если бы он мог предвидеть все, что случится, он не экономил бы так последние дни. А флюгер, сдвинется он когда-нибудь или нет? Может быть, вот сейчас он

понемножку двигается? Почему бы и нет? Разве он не видел сегодня солнца? Вот он пойдет сейчас и посмотрит. Нет, сдвинуться невозможно. Никогда он не думал, что клерк такой тяжелый.

Как скоро остывает хижина! Вероятно, потух огонь. Холод наступает. Наверное, теперь ниже нуля, и дверь начинает промерзать изнутри. Он не может этого видеть, но отлично все знает по температуре воздуха — у него достаточно опыта. Вот теперь побелела нижняя петля двери. Узнают ли когда-нибудь люди, что случилось с ним? Как отнесутся к этому его друзья? Скорее всего они прочтут об этом в газете за кофе и будут потом обсуждать происшествие в клубе. Он видит их очень ясно. «Бедный Кёсферт, — шепчут они, — и совсем не плохой малый был в конце концов». Он улыбнулся похвале и пошел дальше, разыскивая турецкие бани. На улицах была знакомая толкотня. Смешно, что никто не обращает внимания на его мокасины из оленьей шкуры и дырявые немецкие носки. Лучше взять извозчика. А после ванны не худо бы зайти побриться. Нет, сначала он закусит. Бифштекс, картофель и зелень, — какое все свежее! А это что там такое? Сотовый мед — течет, как золотистая смола. Только зачем они принесли столько? Ха-ха, да ему же никогда не

съесть этого! Чистильщик сапог? Ну да, конечно. Он ставит ногу на ящик. Чистильщик смотрит на него с любопытством, и Кёсферт, вспомнив о мокасинах, поспешно уходит.

Трр!.. Это, наверное, флюгер. Нет, просто в ушах шумит. Да, ничего больше — просто в ушах шумит. Иней покрыл теперь уже щеколду. Пожалуй, и верхнюю петлю. Между проконопаченными балками в потолке появляются маленькие белые точки. Как медленно они нарастают. Нет, не так уж медленно. Вот эта — совсем новая. Теперь их уже так много, что не стоит считать. Вон там две срослись вместе. А вот к ним присоединяется третья. Только теперь это уже не точки и не пятнышки. Они сливаются вместе — и похожи на простыню или на саван.

Ну, что же, — он не один. Если когда-нибудь архангел Гавриил разбудит своей трубой молчание Севера, они встанут вместе, держась за руки, и вместе подойдут к великому белому трону. И Бог будет их судить, — да, сам Бог их будет судить!

И Перси Кёсферт закрыл глаза и погрузился в сон.

За здоровье того, кто в пути

— Наливай.

— Погоди, Кид, не будет ли уж слишком? Виски и спирт — и так уж здорово. А если еще бренди и перцовку, и…

— Говорят тебе, наливай. Кто приготовляет пунш, в конце концов, я или ты? — И Мельмут Кид блаженно улыбался сквозь клубы пара. — Если бы ты прожил здесь столько, сколько я, сын мой, и питался бы все время потрохами лососины и воспоминаниями о кроликах, ты бы знал, конечно, что Рождество бывает только раз в году. А Рождество без пунша — это все равно, что заявка без золота.

— Что правда, то правда, — согласился Джим Белден Большой, приехавший со своей заявки в Мэзи-Мэй, чтобы провести Рождество с товарищами, и питавшийся последние два месяца, как всем было известно, одной олениной. — А ты не забыл, какой «хуч» ты приготовил нам на Танане?

— А… знаю, о чем ты… Ну, ребята, и посмеялись бы вы, если бы видели, как перепилось все племя! А и было-то всего-навсего только здорово пере-

бродившее пойло из сахара да кислой закваски немного. Это было еще до тебя, — сказал Мельмут Кид, обращаясь к Стэнли Принсу, молодому технику, знатоку рудничного дела, приехавшему сюда года два назад. — Ни одной белой женщины не было тогда здесь, а Мэсон задумал жениться. Отец Руфи был вождем одного из племен на Танане и, конечно, упирался, как и все племя. Безвыходно, понимаете? Ну, что тут будешь делать — я пожертвовал последним фунтом сахара. Тонкая была работа, пожалуй, и за всю жизнь такой не запомню. Посмотрели бы вы только, как они гнались потом за нами вниз по реке!

— А женщина? — спросил француз-канадец Луи Савуа, начиная интересоваться рассказом; он уже слышал кое-что об этом разбойничьем деле прошлой зимой на Сороковой Миле.

Тогда Мельмут Кид — прирожденный рассказчик — передал без всяких прикрас историю северного Локинвара. Не у одного из этих закаленных искателей приключений сердце забилось сильнее и знакомая неясная тоска потянула на солнечные пастбища Юга, где от жизни можно было взять что-то еще, кроме бессмысленной борьбы с холодом и смертью.

— Мы переправились через Юкон как раз после

первого ледохода, — закончил Мельмут Кид, — а погоня была на берегу ровно через четверть часа. Но это как раз нас спасло: начался второй ледоход, и они были от нас отрезаны. Когда, наконец, им удалось добраться до Нуклукието, весь Пост уже приготовился встретить их. А что касается брачной церемонии, это уж вы спросите отца Рубо.

Иезуит вынул трубку изо рта, но не мог ничего сказать, выражая свое настроение только многозначительными улыбками, которым дружно аплодировали и католики, и протестанты.

— Черт возьми! — восклицал Луи Савуа, путаясь в словах: его, очевидно, захватила романтичность приключения. — О, ma petite индианка, мой Мэсон храбрый. Черт возьми!

Когда жестяные кружки с пуншем первый раз обошли вокруг стола, Бэттлс Неумолкающий вскочил на ноги и затянул любимую пьяную песню:

Учитель и Ворд-Бичер —
У них такой обычай —
Ругают корень сассафраса:
— Его мы запрещаем!

Но мы-то, мы-то знаем,

Не проведет сюртук и ряса!..

Рев пьяного хора подхватил:

— Его мы запрещаем!
Но мы-то, мы-то знаем,
Не проведет сюртук и ряса!
Не проведет сюртук и ряса!..

Рискованная смесь Мельмут Кида оказывала свое действие. Все лишения и ужасы северной жизни не задавили в них горячей радости жизни — и шутки, песни, и рассказы о всевозможных приключениях перекидывались с одного конца стола на другой. Они собрались сюда из дюжины различных стран и пили за все подряд. Англичанин Принс предложил тост за «дядю Сэма», скороспелого младенца Нового Света. Янки Бэттлс пил за королеву, «да благословит ее Господь», а Савуа и Мейерс — немецкий коммерсант — чокнулись за Эльзас-Лотарингию.

Тогда поднялся Мельмут Кид с кружкой пунша в руке и поглядел в замерзшее окно, на котором было по крайней мере три дюйма льда.

— За здоровье того, кто застигнут в пути сегодняшней ночью; да хватит ему провианта; да будут целы ноги у его собак; да не отсыреют его

спички!

Крак! Крак! — послышалась вдруг хорошо знакомая всем музыка собачьей плетки, потом визг мельмутовских собак и скрип полозьев около самой хижины. Разговоры замерли — все ждали, что будет.

— Опытный ездок: сначала о собаках, а уж потом о себе, — шепнул Мельмут Кид Принсу, когда послышалось щелканье зубов, волчье рычание и визг собак: их привычному слуху было ясно, что незнакомец кормит своих собак и отгоняет чужих.

Затем раздался ожидаемый стук в дверь, резкий и уверенный, — и незнакомец вошел в комнату. Ослепленный светом, он остановился на мгновение у двери, давая всем возможность разглядеть себя. Это была интересная фигура и весьма живописная в своем полярном меховом одеянии. Он был дюйма на два или на три выше шести футов, с хорошо развитой грудью и плечами; его гладко выбритое лицо стало ярко-алым от мороза; длинные ресницы и брови побелели от снега, и когда он снял свою шапку из волчьего меха, он, право, походил на сказочного царя-мороза, рожденного только сейчас волшебством ночи. Вышитый пояс с двумя крупными револьверами и охотничьим

ножом стягивал его кожаную куртку, а в руках он держал, кроме неизбежной собачьей плетки, прекрасное бездымное ружье самой новейшей конструкции. Когда он вошел, по его походке, вообще говоря, твердой и эластичной, можно было заметить, что он сильно устал.

Наступило неловкое молчание, но сердечный привет вошедшего: «здорово, ребята!» сейчас же привел всех в себя, и в следующее мгновение Мельмут Кид уже пожимал его руку. Хотя они никогда не встречались, оба достаточно слышали друг о друге и были рады познакомиться, и прежде чем приезжий успел произнести хотя бы одно слово в объяснение своего появления, он был уже представлен всем присутствующим, и в руке у него очутилась большая кружка пунша.

— Как давно проехали здесь крытые сани с тремя мужчинами и восемью собаками? — спросил он.

— Дня два тому назад. Вы за ними?

— Да, моя запряжка. Увели из-под самого носа, негодяи. Я, значит, выиграл уже два дня. Захвачу на следующем перегоне.

— Думаете, они пожалеют порох? — спросил Белден, чтобы поддержать разговор. Мельмут Кид занялся приготовлением кофе и старательно

нарезал сало и оленье мясо.

Незнакомец многозначительно погладил свои револьверы.

— Давно из Даусона?

— Выехал в двенадцать.

— Вчера в полночь?

— Сегодня.

Шепот изумления пробежал вокруг. И было от чего: теперь была полночь; значит — семьдесят пять верст трудного речного пути в течение двенадцати часов!

Разговор вскоре стал общим: вспоминали различные случаи из давнишних путешествий. Пока молодой незнакомец ел, Мельмут Кид внимательно изучал его лицо и очень скоро пришел к заключению, что это красивое, честное и открытое лицо ему, Киду, нравится. Оно было еще совсем молодое, хотя и тронутое уже резцом борьбы и тяжелого труда. Его голубые глаза, искрящиеся, когда он говорил, и мягкие, когда молчал, вероятно, делались стальными в минуты столкновений. Широкие скулы и квадратный подбородок свидетельствовали об упорстве и непреклонной воле. Но, несмотря на все эти черты могучей львиной натуры, в нем была какая-то мягкость, почти женственность, которая говори-

ла о его большой впечатлительности.

— Вот таким образом мы и сошлись со старухой, — говорил Белден, заканчивая очень пикантное повествование о своей женитьбе. — «Вот и мы, отец», сказала она. «Ну и черт с вами», ответил он ей. А потом мне: «Джим, ну, — ну, сделай что-нибудь толковое; вот мне надо вспахать сорок акров до обеда». А потом повернулся к ней и говорит: «А ты, Сали, ты иди, мой посуду». Я уж было обрадовался, но он вдруг посмотрел на меня, да как зарычит: «Иди сюда». Я так и пошел к нему, весь в муке!

— А дети у вас есть в Штатах? — спросил незнакомец.

— Нет. Сали рано умерла. Вот почему я здесь. — Белден стал задумчиво разжигать свою трубку, которая было погасла, и когда она задымилась, спросил: — А вы женаты?

Вместо ответа незнакомец открыл часы, снял их с ремня, заменявшего цепочку, и передал Белдену. Тот поправил лампу, внимательно осмотрел внутреннюю сторону крышки и с невольным восторженным восклицанием передал часы Луи Савуа. Этот несколько раз подряд воскликнул «черт возьми» и в свою очередь передал их Принсу, у которого, как все заметили, дрогнули

руки, а глаза стали необычайно нежными. Таким образом, часы переходили из одних корявых рук в другие, а на внутренней стороне их крышки была приклеена фотография женщины: одной из тех нежных, привязчивых женщин, о которых мечтают многие мужчины; у ее груди был ребенок. Те, кто еще не видел этого чуда, сгорали от любопытства; а те, кто видел, замолкали и становились задумчивыми. Все они умели смотреть в лицо голоду, болезни и внезапной смерти где-нибудь в пути, но изображение неизвестной женщины с ребенком на руках превращало их самих в женщин и детей.

— Я еще не видел малыша — мальчик, она пишет. Теперь ему уже два года, — сказал незнакомец, когда его сокровище вернулось к нему. Он пристально посмотрел на фотографию, потом захлопнул часы и отвернулся, но все успели заметить еле сдерживаемые слезы на его глазах.

Мельмут Кид предложил ему лечь на скамейку и отдохнуть.

— Разбудите меня в четыре, ровно в четыре. Только не позже. — С этими словами он лег и через минуту уже спал тяжелым сном уставшего человека.

— Ей-богу, молодец! — решил Принс. — Три

часа сна после семидесяти пяти миль на собаках, а затем опять в дорогу. Кто он такой, Кид?

— Это Джэк Уэстондель. Он приехал года три назад; работает как лошадь, но ему положительно не везет. Я никогда не встречался с ним, но Митка Чарлей много рассказывал мне о нем.

— Скверно, когда судьба забрасывает человека, у которого такая милая жена, да еще в такие молодые годы, в эту Богом забытую дыру, где каждый год стоит двух, проведенных где-нибудь в другом месте.

— Беда в том, что у него заявка скверная, а он упрям. Два раза промыл — и ничего.

Здесь разговор был прерван восклицанием Бэттлса, что инцидент исчерпан. И скоро опять грубое веселье заставило их забыть черные, долгие годы однообразной пищи и мертвящего труда.

Один Мельмут Кид как-то не мог уже больше отдаться веселью и все время тревожно поглядывал на часы. Потом он вдруг надел рукавицы и бобровую шапку и пошел рыться в кладовой.

Он не мог дождаться назначенного часа и разбудил гостя на четверть часа раньше. Молодой великан насилу поднялся, и ему пришлось растирать все тело, чтобы держаться на ногах. Он

вышел из хижины шатаясь, но собаки были уже запряжены и все готово к отъезду. Вся компания пожелала ему счастливого пути и удачной охоты, а отец Рубо, наскоро благословив его, увел всех в хижину; и не мудрено — не очень-то приятно стоять на семидесятиградусном морозе с открытыми ушами и голыми руками.

Мельмут Кид помог ему выбраться на дорогу и, горячо пожимая на прощание руку, сказал:

— Там, в санях, вы найдете сто фунтов лососиной икры. Это хватит собакам на столько же времени, на сколько хватало бы сто пятьдесят фунтов рыбы, а вы не найдете корма для собак в Пелли, как, возможно, рассчитывали. — Незнакомец посмотрел на него с удивлением, и глаза его вспыхнули. Но он не перебивал.

— Вы не достанете ни одного золотника ни для себя, ни для собак раньше, чем доедете до Файф-Фингерс, а это верных две тысячи миль. Постарайтесь потом добраться до открытой воды на Тридцатой Миле и тогда захватите большой пароход на Ле-Бардж.

— Почему вы так говорите? Разве слухи обо мне могли перегнать меня?

— Я ровно ничего не знаю. И больше — не хочу ничего знать. Знаю только, что запряжка, за кото-

рой вы гонитесь, никогда не была вашей: Ситка Чарлей продал ее этим людям прошлой весной. Но он говорил мне о вас как о честном человеке — и я верю ему. Теперь я увидел ваше лицо, и оно мне понравилось. И я видел — черт возьми, удержите же вашу соленую воду в глазах, — ну, видел вашу жену и, ну… — Кид снял рукавицу и вытащил кошелек.

— Нет, этого мне не надо, — и он судорожно сжал руку Мельмут Кида со слезами, замерзшими на щеках.

— Если так, то советую вам — не жалейте собак; лишь только какая упадет, обрезайте постромки и покупайте новую. И не скупитесь — хоть по десять долларов с фунта. Вы достанете их и в Файф-Фингерс, и в Литл-Салмон, и в Хутадинква. И еще следите за тем, чтобы ноги не были мокрые. Старайтесь, чтобы чулок хватало на перегон. А если нет — разводите огонь и меняйте в дороге.

Не прошло и четверти часа, как звон колокольчиков возвестил о прибытии новых посетителей. Дверь отворилась, и конный полисмен Северо-Западной Территории вошел в комнату в сопровождении двух погонщиков-метисов. Все они, — так же, как и Уэстондель, — были хорошо вооружены и выглядели очень усталыми. Ме-

тисы как местные уроженцы переносили путь сравнительно легко, но молодой полисмен совершенно изнемогал. Однако бульдожье упрямство его расы держало его на ногах и должно было держать до тех пор, пока он не свалится.

— Когда уехал Уэстондель? — спросил он. — Он ведь здесь останавливался, не правда ли?

Вопрос, собственно, был излишним, так как следы повествовали весьма обстоятельно. Мельмут Кид быстро взглянул на Белдена, и тот, сообразив, откуда дует ветер, отвечал неопределенно: — Да порядочно.

— Полно, дружище, говори прямо, — убеждал его полисмен.

— Вы, что же, сцапать его собираетесь, а? Он дел там наделал в Даусоне?

— Он нагрел Гарри Мак-Фарлэнда на сорок тысяч долларов; обменял их в конторе Компании на чек в Ситль, и если мы не догоним его, он, разумеется, получит по чеку. Когда он уехал?

По одному повелительному взгляду Мельмут Кида возбуждение погасло во всех глазах, и полисмен увидел вокруг себя неподвижные деревянные физиономии.

Он насел с расспросами на Принса, и хотя этому было ужасно трудно смотреть в честные, строгие

глаза земляка, он все же понес что-то несуразное по поводу трудной дороги.

Тогда полисмен обратился к отцу Рубо, который, безусловно, не мог солгать.

— Четверть часа тому назад, — ответил священник. — Но он отдыхал здесь четыре часа, и собаки тоже.

— Едет уже пятнадцать минут и отдохнул, о Боже! — бедный малый отшатнулся назад, чуть не падая от усталости и отчаяния. Он бормотал что-то о десятичасовом перегоне из Даусона и о том, что собаки загнаны.

Мельмут Кид протянул ему большую кружку с пуншем. Выпив ее, полисмен направился к двери, приказав погонщикам следовать за собой. Но теплая комната и перспектива отдыха были слишком соблазнительны, и они уперлись. Кид понимал немного их полуфранцузкий жаргон и прислушивался с тревогой.

Они божились, что собаки загнаны окончательно, что Сиваша и Бабет придется застрелить на первой миле, что остальные тоже не лучше и что во всех отношениях правильнее будет передохнуть.

— Одолжите мне пять собак, — сказал полисмен, поворачиваясь к Мельмут Киду.

Тот отрицательно покачал головой.

— Я дам вам чек в пять тысяч на капитана Константэйна. Вот мои бумаги, я уполномочен поступать по своему усмотрению.

Последовал тот же молчаливый отказ.

— Тогда я реквизирую их именем королевы!

Вопросительно улыбаясь, Кид взглянул на свой великолепный арсенал, и англичанин, почувствовав свое бессилие, повернулся к двери. Погонщики опять запротестовали, но он накинулся на них с яростью, называя бабами и собаками. Темное лицо старшего метиса вспыхнуло от гнева. Он встал и в хорошеньких выражениях пообещал полисмену путешествие на своих двоих, прибавив, что будет в восторге, когда тот свалится и останется один в снегу.

Молодой офицер собрал всю силу воли и быстро направился к двери, стараясь показать, что он уже отдохнул. Все видели, что это неправда, и оценили его гордые усилия. Ему не удалось скрыть болезненной судороги, перекосившей лицо. Обледеневшие собаки прикорнули в снегу, и было почти невозможно поднять их на ноги. Погонщики были обозлены, а потому били их жестоко, но несчастные звери только визжали и выли под ударами. Только когда отрезали Бабет

— передовую собаку, сани сдвинулись наконец с места.

— Грязное животное! Лгун! Черт возьми, вот негодяй оказался! Вор! Да хуже всякого индейца! — Было ясно, что вся компания возмущена до крайности. Прежде всего за то, что их так провели, а потом за поруганную этику Севера, где честность считается первым украшением настоящего мужчины.

— А мы еще помогали мерзавцу, когда все уже было известно! — Все глаза с упреком обернулись на Мельмут Кида, который поднялся из угла, где устраивал Бабет, и молча принялся разливать по кружкам остатки пунша.

— Холодная сегодня ночь, ребята, — очень холодная ночь сегодня, — начал он издалека свою защитительную речь. — Все вы бывали в пути, и все вы знаете, что это значит. Нельзя бить собаку, когда она упала. И потом, вы слышали только одну сторону. И я вам скажу еще, что ни вам, ни мне не приходилось ни разу есть из одного горшка или спать на одной постели с таким хорошим человеком, как Джэк Уэстондель. Прошлой осенью он отдал всю свою промывку — сорок тысяч — Джо Кастрелю, чтобы купить ему пай в Доминионе. Теперь он был бы уже миллионером.

А что сделал Кастрель, вы знаете? Уэстондель задержался в Сёркл-Сити, ухаживая за товарищем, который заболел цингой, а Кастрель в это время пьянствовал у того же Мак-Фарлэнда, пока не спустил все до последней крупинки. Его нашли потом мертвым в снегу. А несчастный Джэк лишился возможности ехать нынешней зимой к жене и ребенку, которого он еще не видел. Вы обратили внимание — он взял ровно столько, сколько прокутил его товарищ, — сорок тысяч. Ну и взял, и уехал. Что вы на это скажете?

Кид обвел глазами своих слушателей и, заметив, что выражение их лиц стало мягче, высоко поднял свою кружку.

— За здоровье того, кто в пути! Да хватит ему провизии! Да будут целы ноги его собак! Да не отсыреют его спички! И поможет ему Бог… Счастливый ему путь и…

— К черту конную полицию! — кричал Бэттлс под звон опустевших кружек.

Право священнослужителя

Это будет рассказ о человеке, не сумевшем оценить свою жену, а также о женщине, оказавшей ему слишком большую честь тем, что вышла за него замуж. Случайно в эту историю окажется впутанным один иезуитский священник, о котором говорили, что он никогда не лжет.

Священник этот был неотъемлемой собственностью страны Юкона — весьма полезной собственностью, но те двое попали сюда случайно. Они были одною из пород золотоискателей. В общем, существует два типа золотоискателей: одни несутся в центре золотого потока, другие плетутся в хвосте.

Эдвин Бентам и Грэйс Бентам были золотоискателями и, несомненно, плелись в хвосте, ибо, когда они приехали, Клондайкский 97-го года уже давно спустился вниз по реке и осел в голодном городе Даусоне. Когда Юкон закрыл свою лавочку и заснул под слоем снега в три фута, странствующая парочка оказалась у порога Файф-Фингерс, все еще на расстоянии многих дней пути от Золотого Города.

Осенью здесь было убито большое количество

скота, и отбросы лежали целыми кучами. Три «вояжера», сопровождавшие Эдвина Бентама и его жену, осмотрели эти запасы, сделали в уме маленькую арифметическую выкладку и, заметив поблескивание верного барыша, решили здесь остаться. Всю зиму они продавали кости и замерзшие кожи проголодавшимся запряжкам — и совсем дешево продавали, по доллару за фунт, почти по своей цене. Через шесть месяцев, когда солнце вернулось и Юкон ожил вновь, они надели тяжелые пояса с зашитыми в них деньгами и отправились обратно на Юг, где живут и до сих пор, рассказывая небылицы о Клондайке, которого никогда не видели.

Эдвин Бентам был от природы ленивым малым, и, если бы не жена, он, вероятно, с удовольствием присоединился бы к спекуляции мясом. Но жена, играя на его тщеславии, убедила его в том, что он сильный и вообще выдающийся человек и что такой, как он, конечно, легко преодолеет все трудности и, разумеется, добудет Золотое Руно. Ему ничего не оставалось, как стиснуть зубы, продать свою долю костей, купить сани и одну собаку и направить лыжи к Северу. Незачем упоминать, что лыжи Грэйс Бентам не отставали от него. И даже больше: проковыляв спереди три дня, муж

очутился сзади — и путь прокладывала уже жена. Впрочем, при каждой встрече позиции менялись. Таким образом, его мужское достоинство не могло быть поддано сомнению встречными, которые, как привидения, проскальзывали иногда мимо. Попадаются же и такие мужчины на свете.

Каким образом могло случиться, что такой мужчина и такая женщина соединились на всю жизнь, чтобы делить и горе и радость, — это к делу не относится. Об этом мы все и так знаем, а те, кто в это вмешиваются или хотя бы слишком близко подходят к таким вопросам, рискуют потерять один из лучших идеалов человечества, известный под названием нравственного миропорядка.

Эдвин Бентам был, собственно, мальчишкой, втиснутым по ошибке в тело взрослого человека, — мальчишкой, который с милой улыбкой мог обрывать крылья у бабочки, одно за другим, и в то же время постыдно отступать в ужасе перед каким-нибудь слабосильным парнем, раза в два меньше его ростом. Это был избалованный плакса под маской мужчины, с мужскими усами и с мужской фигурой, пролакированный самым незначительным слоем культурности и общепринятых условностей. Вот именно: это был клубмен,

пустой светский болтун; человек, который обращает социальные обязанности в грациозную забаву и несет всякий общепринятый вздор с неописуемой слащавой очаровательностью; человек, который много говорит — и плачет от зубной боли; человек, который, женившись на женщине, превращает ее жизнь в такой ад, какой не сумел бы ей уготовить и последний негодяй. Мы встречаем таких людей на каждом шагу, но редко представляем себе отчетливо, что это такое. Лучший способ узнать их до конца (кроме способа выйти за них замуж) — есть с ними из одного горшка и спать на одной постели в продолжение — ну, скажем, недели, — срока вполне достаточного.

Увидеть Грэйс Бентам — значило увидеть стройное существо, полуребенка. Узнать ее — значило узнать душу, которая раздавила сама себя и все же сохранила все очарование вечной женственности. Эта женщина поддерживала и ободряла своего мужа в его северных изысканиях, прокладывала для него дорогу в снегу, когда никто не мог этого видеть, и потом потихоньку плакала, считая себя недостаточно выносливой.

Таким образом, путешествовала эта странная парочка вниз по реке до Форта Селькирк, а затем

сто миль мрачной пустыней по реке Стюарт. А когда последние короткие дни кончились, мужчина лежал в снегу и всхлипывал, а женщина, кусая губы от невыносимой боли в ногах, уложила его в сани и помогла собаке дотащить его до хижины Мельмут Кида. Мельмут Кида не было дома, но Мейерс, немецкий коммерсант, поджарил хороший бифштекс из оленины и приготовил постель из свежих еловых веток.

Лэк, Лангэм и Паркер были крайне взволнованы, и не напрасно, если посмотреть на дело основательно.

— О Сэнди, скажи, пожалуйста, ты сумеешь отличить ссек от вырезки? Пойди к нам, посмотри, пожалуйста. — Это воззвание исходило из кладовки, где Лангэм безрезультатно сражался с непонятными для него кусками мороженой оленины.

— Поворачивайтесь же скорее с вашей стряпней! — командовал Паркер.

— Знаешь, Сэнди, будь другом, сбегай в Миссури Кэмп и займи у кого-нибудь немного корицы, — просил Лэк.

— Ну, ну, пошевеливайтесь! Почему ты… — но грохот упавших в кладовой консервов и мяса пресек строгий выговор.

— Ну, ступай теперь, Сэнди; опустишься до Миссури за минуту.

— Оставь его в покое, — перебил Паркер. — Как я буду месить тесто для бисквитов, когда стол грязный?

Сэнди остановился в нерешительности, но факт, что ведь он — «человек» Лангэма, оказался решающим. Он гордо отшвырнул в сторону кухонное полотенце и пошел помогать хозяину.

Эти многообещающие отпрыски богатых семейств явились на Север ради развлечения, с целой кучей денег, которые и прожигали, не стесняясь, и вдобавок еще с «человеком». Хорошо, впрочем, что двое из их компании отправились вверх по Белой Реке в поисках мифических залежей кварца, так что Сэнди приходилось разрываться только между тремя хозяевами, у каждого из которых были свои кулинарные пристрастия. Два раза за утро окончательный распад лагеря казался совершенно неизбежным и предотвращался только благодаря безмерной снисходительности того или другого из рыцарей круглой сковороды. В конце концов, их совместное творение — настоящий изысканный обед — было закончено. После этого они сели за игру в «разбойники», которая должна была решить, на

кого будет возложена одна очень важная миссия, и таким образом предотвратить все возможные пререкания по этому поводу.

Это счастье выпало на долю Паркера. Он причесался с пробором, надел рукавицы и медвежью шапку и направил свои стопы в хижину Мельмут Кида. Возвратился он в сопровождении Грэйс Бентам и Мельмут Кида, причем первая была очень огорчена, что ее муж не мог воспользоваться любезным приглашением, так как поехал осмотреть рудники у Гендерсон-Крика, а Кид чувствовал себя усталым после поездки вниз по реке Стюарт. Мейерс был тоже приглашен, но отказался, так как был весь поглощен интересным опытом квашения теста с помощью хмеля.

Ладно, без мужа, конечно, можно было обойтись, зато женщина — о, они не видели ни одной женщины за всю зиму, и пребывание ее здесь, одной ее, обещало новую эру в их жизни. Эти три молодые человека были людьми со средним образованием и джентльменами, но теперь они положительно дрожали над своим мясным супом, которого так долго были лишены. Возможно, что и Грэйс Бентам страдала от такого же голода; во всяком случае, этот первый веселый час после многих недель тьмы и холода значил для нее

очень много.

Но едва это удивительное первое блюдо, способ приготовления коего искусный Лэк заимствовал у своих родителей, было подано на стол, как послышался громкий стук в дверь.

— О, почему вы не входите, мистер Бентам? — спросил Паркер, вставший посмотреть, кто стучит.

— Моя жена здесь? — грубо спросил этот достойный человек.

— Здесь, конечно. Мы же вам оставили записку у Мейерса.

Паркер старался пустить в ход самые нежные ноты, внутренне изумляясь, что все это значит.

— Почему вы не входите? Мы ждали вас с минуты на минуту и вот оставили вам место. И главное, как раз вовремя: только что подали первое блюдо!

— Войди же, Эдвин, милый, — пролепетала Грэйс Бентам из-за стола.

Паркер, естественно, отодвинулся.

— Я пришел за женой, — грубо произнес Бентам, и в его интонации был неприятный привкус собственника.

Паркер задыхался. Он был на волоске от того, чтобы обрушить свой кулак в лицо противного

посетителя, но сдержался и отошел. Все встали. Лэк опустил голову и чуть не сказал:

— Неужели вы уйдете?

Затем началась обычная кутерьма прощания: — Так мило с вашей стороны… Ужасно жаль… Честное слово, бывает же так!.. Да неужели, в самом деле?.. Еще раз благодарю вас… Счастливо добраться до Даусона… — И так далее.

Ягненку помогли надеть куртку и вручили его затем хозяину-мяснику. После этого дверь захлопнулась, и они в отчаянии стояли вокруг опустевшего стола.

— Черт! — Лангэм не получил с детства достаточного образования по этой части, а потому его ругательства были слабы и однообразны. — Черт! — повторил он, смутно сознавая недостаточность этого словечка и напрасно стараясь подыскать более выразительное.

Можно смело назвать талантливой женщиной ту, которая умеет затушевывать слабые места ничтожного мужа, укреплять его неустойчивую душу своей непобедимой волей, вливать в него свою честолюбивую предприимчивость и побуждать к великим свершениям. Но еще более таланта и тактичности требуется для того, чтобы сделать это все так тонко, что вся честь останется

за мужем, а он сам искренне будет верить, что все это сделал он и только он.

Все это умела делать Грэйс Бентам. Приехав в Даусон с несколькими фунтами муки и многими рекомендательными письмами, она сделала все возможное, чтобы выпихнуть вперед своего большого младенца. Это она смягчила каменное сердце грубого варвара, который был председателем Компании, и завоевала его доверие. Но переговоры велись Эдвином Бентамом, и заявка была обещана ему. Это она таскала своего младенца вверх и вниз по ручьям и речкам, через мели и водоразделы, по самым диким заявкам. И все говорили в один голос: «Что за энергичный парень этот Бентам». Это она изучала карты и выспрашивала рудокопов, и вколачивала географические данные и всякие названия в пустую голову мужа, а все изумлялись, как он успел так хорошо узнать страну и все местные условия. В конце концов, все решили, что жена для него — обуза, и только немногие, более умные, ценили ее и жалели.

Она работала — он получал похвалы и вознаграждение. На Северо-Западной Территории замужняя женщина не может сама промывать золото либо получить заявку на берегу реки и

на кварцевые залежи. Поэтому Эдвину Бентаму пришлось пойти к комиссару золотых приисков и записать на себя заявку № 23, третья линия по Френч-Хиллю. А когда пришел апрель, они намывали по тысяче долларов в день, и впереди было еще много-много таких дней.

У подножия Френч-Хилля протекала речка Эльдорадо, и на речной заявке стояла хижина Клайда Уартона. В то время он не намывал ежедневно по тысяче долларов, но кучи нарытого песка все росли и росли, и приближалось время, когда они должны были пройти через промывные ящики и оставить на дне их в течение нескольких дней много сотен тысяч долларов. Он часто сидел в своей хижине, курил трубку и мечтал об удивительных вещах, в которых, впрочем, ни кучи драгоценного песка, ни полтонны золота в сейфе Компании не играли никакой роли.

И когда Грэйс Бентам мыла жестяные тарелки в своей хижине наверху, она часто смотрела вниз на Эльдорадо и тоже мечтала — конечно, тоже не о песке. Они часто встречались, ибо тропинки, ведущие на их заявки, пересекались, а кроме того, весной на Севере много о чем можно поговорить. Но ни разу ни один из них не открыл своего сердца ни блеском глаз, ни движением губ.

Так было вначале… Но однажды Эдвин Бентам проявил невероятную грубость. Подростки всегда грубы. К тому же, чувствуя себя королем Френч-Хилля, он вообразил о себе невесть что, забывая, насколько обязан всем жене. На этот раз Уартон слышал все, перехватил на тропинке Грэйс Бентам и высказывался весьма горячо. Грэйс почувствовала себя очень счастливой, хотя и не хотела слушать и заставила его пообещать никогда-никогда не говорить подобных вещей. Ее час еще не пришел.

Но вот солнце повернуло назад, на свою северную дорогу; черную ночь опять сменили стальные сумерки; снег стаял; вода вновь бежала по замерзшей земле; промывание золота началось снова. День и ночь желтая глина и речной песок пробегали через тонкие решета, оставляя свою дань смелым людям, пришедшим с Юга. И вот в это беспокойное, возбужденное время пришел час Грэйс Бентам.

Ко всем нам приходит этот час — ко всем, конечно, кто не слишком флегматичен. Очень многие добродетельны не потому, что у них какая-то прирожденная склонность к добру, а просто потому, что они слишком ленивы. Те из нас, кто знает минуты слабости, конечно, меня поймут.

Эдвин Бентам взвешивал намытое золото на прилавке у Форкса, — причем достаточное количество этого золота переходило через сосновый прилавок в карман трактирщика, — и вот в это время его жена спустилась с холма и скользнула в хижину Клайда Уартона. Уартон не ждал ее, но это нисколько не изменило дела. И многих горестей, и многих напрасных мучительных ожиданий можно было бы избежать, если бы этого ее поступка не заметил отец Рубо и не свернул бы в сторону от главной дороги к реке.

— Дитя мое!

— Погодите, отец Рубо. Я уважаю вас, хотя я и не вашей веры, но не становитесь между мной и этой женщиной.

— И вы понимаете, что делаете?

— Понимаю. И если бы вы были всемогущим Богом и могли бы низвергнуть меня в вечный огонь, я и тогда бы поспорил с вами.

Уартон усадил Грэйс на стул и заслонил ее с вызывающим видом.

— Вы сядете вот сюда и будете сидеть спокойно, — продолжал он, обращаясь к иезуиту. — Сначала буду говорить я, потом — вы.

Отец Рубо вежливо наклонил голову и сел. Он был человек уступчивый и научился ждать. Уар-

тон опустился на стул рядом с женщиной и взял ее руку в свои.

— Значит, вы меня, правда, любите и увезете отсюда? — Ее лицо приняло в себя все спокойствие, исходящее от этого человека, у которого она всегда могла найти теперь поддержку и защиту.

— Дорогая, вы помните, что я вам говорил тогда! Разумеется…

— Но как же вы это сделаете? А промывка?

— Неужели вы думаете о таких пустяках? Ну, например, я передам все дело отцу Рубо. Я вполне могу доверить ему расчет с Компанией.

— Только подумать! Я его никогда не увижу.

— Какое счастье!

— И уеду?.. Нет, Клайд, я не могу, я не могу…

— Уедете, уедете, конечно, уедете. Вы послушайте, как это все будет. Мы соберем кое-что и отправимся…

— А если он поедет за нами?

— Я ему переломаю ребра…

— Нет, нет! Только не драться, Клайд. Вы должны обещать мне.

— Ладно! Тогда я скажу товарищам, чтобы выгнали его с заявки. Они все видели, как он обращается с вами, и не очень-то его долюбливают.

— Нет, этого вы не должны делать. Вы не долж-

ны его обижать.

— Не понимаю. Что же тогда? Дать ему войти сюда и увести вас на моих глазах?

— Н-нет, — сказала она совсем тихо, нежно погладив его руку.

— Тогда предоставьте все дело мне и не волнуйтесь попусту. Я постараюсь не обидеть его. А он-то много беспокоился, обижены вы или нет?! В Даусон мы не вернемся. Я пошлю вперед весточку своим ребятам, чтобы провели мне лодку вниз по Юкону. А мы переберемся через водораздел и спустимся к ним по Индиан Ривер. Потом…

— А потом?

Ее головка лежала на его плече. Голоса их стали совсем тихими и нежно-ритмичными; каждое слово было лаской. Иезуит беспокойно задвигался на стуле.

— А потом? — повторила она.

— А потом мы поедем дальше и дальше, через пороги Уайт-Хорс и через Бокс-Кэнон.

— Да?

— И через Шестидесятую Милю. А потом будут озера, а потом Чилькут, Дайэ и доберемся до моря.

— Но, милый, я совсем не умею грести.

— Ах, какая глупенькая! Я возьму с собой Ситку

Чарлея. Он хорошо знает все реки и места для причала и вообще лучший знаток пути, даже среди индейцев. А у тебя будет только одно дело — сидеть в середине лодки и петь песни, и изображать из себя Клеопатру, и бороться с москитами. Нет, для москитов еще слишком рано — мы и тут в выигрыше.

— А потом, мой Антоний?

— Ну, а потом пароход в Сан-Франциско — и весь мир. Никогда больше не вернемся в эту проклятую дыру. Подумай только! Весь мир перед нами. Я продам здесь все. Мы и так достаточно богаты. Уолдверский Синдикат даст мне полмиллиона за остатки в земле, и еще столько же будет с этих куч, и еще столько же за Компанией. Мы поедем в Париж на выставку 1900 года. Мы поедем в Иерусалим, если ты пожелаешь. Мы купим дворец в Италии, и ты будешь изображать Клеопатру, сколько захочешь. Нет, ты будешь моей Лукрецией, Актеей и всем, чем захочет быть твое милое, маленькое сердце. Но ты не должна, никогда не должна…

— Жена Цезаря вне подозрений.

— Разумеется, но…

— Но разве я буду твоей женой?

— Я не об этом…

— Но ведь ты будешь любить меня совсем так же и никогда, никогда… о, я знаю, ты будешь такой, как и все. Ты устанешь, я тебе надоем и… и…

— Как ты можешь?!

— Обещай мне!

— Да, да, конечно, обещаю.

— Ты говоришь это так легко. Но как ты можешь знать? И как я могу знать? Я так мало могу дать, но это так много для меня. О Клайд, обещай мне, что никогда…

— Ну-ну, вот ты начинаешь уже сомневаться. До самого дня нашей смерти — ты это знаешь.

— Подумать! Я один раз говорила то же самое… ему… и вот…

— Ну ты не должна больше думать об этом, любимая моя девочка; никогда, никогда я…

И первый раз их дрожащие губы встретились. Отец Рубо смотрел на дорогу к реке, но ждать больше был уже не в состоянии. Он кашлянул и повернулся.

— Теперь ваша очередь, отец! — Лицо Уартона было залито огнем первого поцелуя. Голос его звенел гордым восторгом, когда он уступил право этому другому. Он не сомневался в исходе. Не сомневалась и Грэйс, и улыбка играла на ее лице, когда она посмотрела на священника.

— Дитя мое, — начал он, — сердце мое обливается кровью, когда я смотрю на вас. Это прелестный сон, но ведь он не сбудется.

— Почему, отец? Я же сказала «да».

— Вы не понимаете, что делаете. Вы не подумали о клятве, данной человеку, который называется вашим мужем. Мне приходится напомнить вам о святости этой клятвы.

— А если я вспоминаю, но все-таки откажусь?

— Тогда Бог…

— Какой Бог? У моего мужа Бог, которому я не хочу поклоняться. Богов много всяких…

— Дитя, так нельзя говорить! Нет, вы так не думаете, конечно. Я понимаю. У меня у самого тоже бывали такие минуты. — На одно мгновение он очутился в родной Франции, и лицо сидящей перед ним женщины с печальными глазами затянуло, словно туманом.

— А в таком случае, скажите, отец, разве мой Бог не отрекся от меня? Я не была хуже других женщин. Я терпела от него очень много. Почему я должна терпеть еще? Почему я не смею получить это счастье? Я не могу, я не хочу возвращаться к нему!

— Скорее вы отреклись от своего Бога. Вернитесь. Положите свою тяжелую ношу в его руки, и

тьма вокруг вас рассеется. О дитя мое…

— Нет, это все ни к чему. Сама посадила и сама буду поливать. Я пойду до конца. И если Бог накажет меня, я уж как-нибудь справлюсь. Вы, конечно, не поймете. Вы не женщина…

— Моя мать была женщиной.

— Но…

— И Христос родился от женщины.

Она не отвечала. Наступило молчание. Уартон нетерпеливо поглаживал усы и смотрел на дорогу. Грэйс уперлась локтями на стол, и ее лицо было серьезно и решительно. Улыбка исчезла. Отец Рубо нащупывал почву.

— У вас есть дети?

— Прежде я хотела, а теперь — нет. И я рада, что их нет.

— А матъ?

— Есть.

— Она вас любит?

— Да. — Ее ответы были едва слышны.

— А брат? Впрочем, он мужчина… А сестры есть у вас?

Она ответила кивком.

— Моложе вас? Намного?

— На семь лет.

— А об этом вы хорошо подумали? Да, об этом. О

вашей матери подумали? О сестре подумали? Она стоит сейчас на пороге своей женской жизни, и этот ваш дикий поступок может значить для нее очень много. Могли бы вы подойти к ней сейчас? Смотреть в ее молодое, чистое лицо, взять ее руку в свои или прижаться к ней щекой?

Его слова вызывали в ее мозгу яркие живые образы, и наконец она вскрикнула: — Не надо, не надо! — и отшатнулась, как собака, которая хочет избежать плетки.

— Но должны же вы прямо посмотреть на это все; и лучше сейчас, чем после.

В глазах его, которых она не могла видеть, была большая жалость, но на лице, напряженном и нервном, не было и тени снисхождения. Она подняла голову от стола, удерживая слезы, и старалась овладеть собой.

— Я уйду. Они не увидят меня никогда. И в конце концов забудут. Я для них словно умру. И… и я уйду с Клайдом… сегодня уйду.

Казалось, это был конец. Уартон выступил вперед, но священник остановил его движением руки.

— Вы хотите иметь детей?

Молчаливое «да».

— И молились о них?

— Часто.

— А вы подумали, что будет, если у вас будут дети, теперь?

На мгновение глаза отца Рубо остановились на человеке у окна.

Свет радости промелькнул по ее лицу. Потом она почувствовала сразу всю тяжесть того, что произойдет сейчас. Она с отчаянием подняла руку, но он продолжал.

— Можете вы представить невинного младенца у себя на руках? Мальчика? Свет отнесется мягче к девочке. Подумайте — ведь у вас самой молоко превратится в желчь! И вы сможете быть гордой и счастливой своим мальчиком, и будете смотреть на других детей?..

— О пощадите! Молчите!

— Несчастный козел отпущения за…

— Не надо! Не надо! Я вернусь. — Она упала на пол у его ног.

— Вот вырастет ваше дитя без одной дурной мысли, и когда-нибудь кто-нибудь грязно бросит ему в лицо самое любимое имя…

— Боже, Боже!

Она билась на полу. Священник вздохнул и помог ей подняться. Уартон бросился к ней, но она его остановила.

— Не подходите ко мне, Клайд. Я ухожу.

Слезы струились по ее лицу, и она не старалась вытереть их.

— После всего? Ты не уйдешь. Я не пущу тебя.

— Не трогай меня. — Она задрожала и попятилась.

— Буду! Ты моя! Слышишь, моя! — Потом он зарычал на священника. — О, какой же я был дурак, что дал вам распустить ваш глупый язык! Благодарите вашего Бога, что вы не простой смертный, а то бы я… Вы хотели воспользоваться привилегией своего сана. Ну, что ж, воспользовались! А теперь уходите из моего дома. Слышите, а то я забуду кто вы и что вы.

Отец Рубо поклонился, взял за руку Грэйс и направился к двери.

Но Уартон загородил им дорогу.

— Грэйс, ты сказала, что любишь меня.

— Да, сказала.

— А теперь?

— И теперь говорю.

— Повтори еще раз.

— Я люблю вас, Клайд, я вас люблю.

— Слыхали — вы, там? — закричал он. — И с такими-то словами вы пошлете ее назад, на вечную ложь и вечную муку с этим человеком?!

Но отец Рубо неожиданно втолкнул женщину в соседнюю комнату и запер дверь.

— Ни слова! — прошептал он Уартону, опустившись на стул в небрежной позе. — Помните, ради нее!

Вся комната вздрогнула от резкого удара в дверь, потом щеколда поднялась, и вошел Эдвин Бентам.

— Моей жены не видели? — спросил он после обмена приветствиями.

Оба отрицательно покачали головами.

— Ее следы спускаются от хижины вниз, — продолжал он испытующе. — И потом они обрываются на большой дороге, как раз против вас.

Его слушатели были на иголках.

— И вот я — я подумал…

— Она была здесь! — загремел Уартон.

Священник взглядом заставил его замолчать.

— Вы видели ее следы до самой хижины, сын мой? — Хитрый отец Рубо, — он очень старательно затоптал все следы, когда шел по тропинке час тому назад.

— Я не останавливался, не смотрел… — Его глаза подозрительно уставились на дверь, ведущую в другую комнату. Потом они вопросительно обратились к священнику. Этот покачал головой

отрицательно, но сомнения, по-видимому, не рассеялись.

Тогда отец Рубо прошептал тихую, короткую молитву и поднялся.

— Если вы сомневаетесь, ну, что же… — Он сделал вид, что хочет открыть дверь.

Священник не мог лгать. Эдвин Бентам часто слышал это и верил этому.

— Нет, отец, разумеется, нет! — возразил он поспешно. — Я только не понимал, куда это ушла жена, и подумал, что, может быть… Вернее всего, она у мистрисс Стэнтон на Френч-Гёлче. Какая славная погода, не правда ли? А новости слышали? Мука упала до сорока долларов за сто кило, и, говорят, «че-ча-квас'ы» целыми стадами отправились за ней вниз по реке. Ну, мне пора. До свидания.

Дверь захлопнулась, и из окна они видели, как он направился на Френч-Гёлч.

Несколько недель спустя, как раз после июньского половодья, два человека плыли в челноке посередине реки. Они нагнали плывущую ель и привязали к ней лодку. Это помогало парусу и увеличивало его слабую силу, как какой-нибудь буксир. Отец Рубо решил оставить верховье реки и вернуться в Минуук, к своей черной пастве. К

ним пришли белые люди, и теперь они оставили даже рыбную ловлю и отдавали слишком много времени некоему божеству, временное жилище которого было в бесчисленных черных бутылках. У Мельмут Кида тоже были кое-какие дела на низовье, и потому они путешествовали вместе.

Только один человек на всем Севере знал Павла Рубо — не отца Рубо, и это был Мельмут Кид. Только перед ним снимал священник свою официальную одежду и обнажал свою душу. И почему бы нет? Эти два человека достаточно знали друг друга. Разве не делили они между собой последний кусок рыбы, последнюю щепотку табака, последнюю и самую интимную мысль на пустынных пространствах Берингова моря, в мучительном лабиринте Большой Дельты, на ужасном зимнем пути от мыса Барроу до Паркюпайны?

Отец Рубо молчаливо дымил своей изношенной в путешествиях трубкой и смотрел на красный круг солнца, темневший дымным пятном на самом краю северного горизонта. Мельмут Кид вынул часы. Была полночь.

— Ладно, старый друг! — Кид, очевидно, продолжал прерванный разговор. — Бог, разумеется, простит эту ложь. Вот вам слова человека, кото-

рый хорошо сказал о лжи:

«Если губы ее сказали хоть слово, помни, что на твоих — печать молчания,

И пятно позора на том, кем выдана тайна.

Если Герварду тяжко, и самая черная ложь прояснит его горе, —

Лги, пока движутся твои губы и пока хоть один человек остался в живых, чтобы слушать твою ложь».

Отец Рубо вынул трубку изо рта и подумал вслух:

— Твой автор говорит правду, но не это мучит мою душу. Ложь или раскаяние — это зависит от Бога. Но все-таки, все-таки…

— Что все-таки? Ваши руки чисты…

— Не совсем! Кид, я много думал об этом, и факт остается фактом. Я знал — и все-таки заставил ее вернуться.

Звонкая песнь реполова донеслась с лесистого берега; вдали откликнулась куропатка; олень шумно фыркал, купаясь.

А два человека курили трубки и молчали.

Мудрость снежной тропы

Ситка Чарлей совершил невозможное. Быть может, другие индейцы не хуже его постигли мудрость снежной тропы, но он один постиг мудрость белого человека — честь тропы и ее закон. Однако это далось ему не в один день. Мозги туземцев туги на обобщения, и необходимо, чтобы факты повторялись часто, пока озарит настоящее понимание. Ситка Чарлей с детства постоянно вращался среди белых и мужественно решил связать свою судьбу с ними, раз навсегда отрезав себя от своего народа. Но уважая и даже обоготворяя могущество белых, он еще не разгадал самой его сущности — чести и закона. И только в результате опыта, накопленного годами, уразумел эту сущность. Чужак — он знал ее даже лучше, чем сами белые. Индеец — он совершил невозможное.

Из этого родилось у него презрение к собственному своему народу — презрение, обычно им скрываемое, но теперь вырвавшееся наружу в виде вихря многоязычных ругательств, сыпавшихся на головы Ка-Чукти и Гоухи. Они ползали перед ним, как пара ворчащих овчарок, слишком

трусливых, чтобы напасть, но недостаточно утерявших свою волчью природу, чтобы спрятать клыки. Они были некрасивы, как, впрочем, и сам Ситка Чарлей. Лица их были очень худы, а скулы усеяны безобразными струпьями; струпья эти то трескались, то снова замерзали на сильном морозе; глаза их сверкали мрачным блеском, порожденным голодом и отчаянием. Люди, находящиеся по ту сторону границы чести и закона, не заслуживают доверия. Ситка Чарлей знал это; поэтому-то он еще десять дней тому назад заставил их бросить ружья вместе с остальным лагерным скарбом. Ружья остались только у него и у капитана Эпингуэлла.

— Марш! Развести огонь, — скомандовал он, вынимая драгоценную коробку спичек и неразлучные с нею полоски сухой березовой коры.

Оба индейца угрюмо принялись за работу и стали собирать сухие ветки и валежник. Они были слабы, часто останавливались и, наклоняясь, ловили себя на бесцельных движениях или, спотыкаясь, ковыляли к месту костра, причем колени их стучали друг о дружку, как кастаньеты. После каждой принесенной охапки они с минуту отдыхали, словно от полного бессилия или смертельной усталости. Порой глаза их принимали

выражение терпеливого стоицизма и глухого страдания; а затем, казалось, «я» снова вспыхивало в них и как бы разражалось диким криком: «я, я, я жить хочу!» — доминирующей нотой всего одушевленного мира.

Легкий ветерок дохнул с юга, щипля неприкрытые части их тела, и вгонял мороз огненными иглами в их кости сквозь меха и мышцы. Поэтому, когда огонь разгорелся и на снегу оттаял влажный круг, Ситка Чарлей заставил своих упиравшихся товарищей помочь ему в установке прикрытия. То было примитивное сооружение — обыкновенное одеяло, натянутое параллельно костру с наветренной стороны и наклоненное под углом приблизительно в сорок пять градусов. Это одеяло преграждало путь холодному ветру и направляло тепло назад и вниз на тех, кто должен был укрыться под его защитой. Затем они набросали ложе из зеленых сосновых веток, чтобы тел их не касался снег. Когда эта работа была закончена, Ка-Чукти и Гоухи принялись за свои ноги. Обледенелые мокасины страшно износились от долгого путешествия, и острый лед береговых откосов изрезал их в клочья. Сиваш-ские носки были в таком же состоянии; когда они оттаяли и были сняты с ног, пальцы — почти все

изуродованные — рассказали несложную сказку снежной тропы.

Оставив их обоих просушивать обувь, Ситка Чарлей повернул назад по той же дороге, по какой пришел. У него тоже было сильное желание присесть у огня и расправить болевшие члены, но честь и закон не позволяли. Он с трудом продвигался по замерзшему полю; каждое движение вызывало протест, каждый мускул оказывал сопротивление. Там, где вода между откосами берегов затянулась коркой, ему несколько раз приходилось мучительно ускорять движения, когда хрупкий грунт под его ногами угрожающе колебался. В таких местах смерть приходила легко и быстро. Но он вовсе этого не хотел.

Его нараставшее беспокойство исчезло, когда над одной из излучин реки появились два индейца. Они спотыкались и стонали, как люди, обремененные тяжкой ношей; а между тем мешки на их спинах весили всего несколько фунтов. Он стал горячо их расспрашивать, и ответы, по-видимому, ободрили его. Он поспешил дальше. Вслед за индейцами шли двое белых, с двух сторон поддерживая женщину. Они тоже двигались, как пьяные, и члены их дрожали от утомления. Но женщина лишь слегка опиралась

на них, стараясь продвигаться вперед собственными силами. При виде ее лицо Ситки Чарлея озарилось мгновенно вспышкой радости. Он питал большое уважение к мистрисс Эпингуэлл. Он видел много белых женщин, но эта была первая, которая путешествовала с ним по снежной тропе. Когда капитан Эпингуэлл объяснил ему рискованное предприятие и предложил плату за услуги, он задумчиво покачал головой; ибо речь шла о неизведанном пути через унылые пустыни Севера, и он предвидел, что это будет одно из тех путешествий, в каких человек подвергается наибольшим испытаниям. Но когда он узнал, что жена капитана собирается сопровождать их, он начисто отказался от какого бы то ни было участия в этом деле. Будь это женщина его племени, ему было бы безразличнее… Но эти женщины с Юга… нет, нет, они были слишком мягки, слишком нежны для таких предприятий.

Ситка Чарлей не знал этого рода женщин. За пять минут перед тем ему и не снилось, что он возьмет на себя руководство экспедицией: но когда она пришла к нему со своей дивной улыбкой, со своей прямой и ясной английской речью и заговорила о деле, не упрашивая и не уговаривая, он немедленно согласился. Будь в

ее глазах слабость, просьба о сожалении, либо желание использовать прерогативы своего пола, он остался бы тверже стали. Но ее ясные глаза и ясно звенящий голос, ее полная откровенность и молчаливое утверждение равенства — все это лишило его всякого благоразумия. В тот момент он почувствовал, что перед ним женщина нового сорта. И еще раньше, чем они стали товарищами по путешествию, он понял, почему сыновья таких женщин покоряют землю и море и почему сыновья соплеменных ему женщин не могут устоять против них. Мягкая и нежная! День за днем он наблюдал за ней, усталой, изможденной, но неукротимой — и неустанно ему слышались эти слова: мягкая и нежная! Он знал, что ее ножки были рождены для ровных тропинок и земель, осиянных солнцем, что не знали они грубых мокасинов Севера, что их не целовали леденящие губы мороза. И он с изумлением наблюдал, как они целыми днями без устали и без отдыха были в движении.

Всегда у нее находились улыбка и ободряющее слово, в них она не отказывала даже последнему носильщику. По мере того как дорога становилась труднее и глуше, она, казалось, все крепла и набиралась новых сил. А когда Ка-Чукти и Гоухи

(которые хвастались, будто им известна всякая отметинка на этой дороге, как ребенку — кожаные полосы своего «тепи») наконец признались, что не знают, где находятся, она подала голос милосердия среди мужских проклятий. Она пела им в тот вечер до тех пор, пока они не почувствовали, что усталость свалилась с них и что они готовы встретить будущее с надеждой. А когда появился недостаток в пище и каждая скудная порция ревниво отмеривалась, она восстала против всех махинаций своего мужа и Ситки Чарлея, требуя и получая такой же паек, как и остальные, — не больше и не меньше.

Ситки Чарлей гордился своим знакомством с этой женщиной. Что-то новое и неизведанное вошло в его жизнь благодаря ее присутствию. До тех пор он сам себе был хозяином, поворачивался направо или налево без чьей-либо указки; он сформировал свой характер, следуя только своим импульсам, воспитал в себе мужество, не считаясь ни с чем, кроме своей воли. Теперь же он впервые почувствовал, что кто-то извне воззвал к его лучшим чувствам. Один только одобрительный взгляд ясных глаз, одно благодарное слово ясно звенящего голоса, одно легкое движение улыбчивых губ — и он шел много часов в бла-

женном опьянении. Это было новым стимулом для его мужества, ибо в первый раз в жизни он сознательно гордился своим знанием снежной тропы. Они вдвоем все время ободряли падавших духом товарищей.

Лица обоих мужчин и женщины просияли, когда они заметили его, так как, в конечном счете, он был тем посохом, на который они опирались. Но Ситка Чарлей, по своему обыкновению твердый, скрывая страдание и радость под железной невозмутимостью, спросил о состоянии остальных, сообщил им о расположении костра и продолжал свой обратный путь. Затем он встретил одного индейца, без ноши, прихрамывающего, со сжатыми губами и с глазами, отражавшими боль в ноге, в которой жизнь вела безнадежный бой со смертью. Для него было сделано все возможное, но в последний момент слабый и неудачливый должен погибнуть, и Ситка Чарлей видел, что индейцу оставалось жить лишь несколько дней. Долго продержаться он не мог, и Чарлей сказал ему несколько суровых, но ободряющих слов. Затем следовали еще два индейца, на которых он возложил обязанность помогать Джо, — четвертому белому члену экспедиции. Они покинули его. Ситка Чарлей одним взглядом угадал по

коварно затаенной упругости их движений, что они, в конце концов, сбросили с себя его власть. Поэтому он не был застигнут врасплох, когда в ответ на приказание вернуться на поиски покинутого он увидел блеск охотничьих ножей, выхваченных из ножен. Жалкое зрелище: трое истомленных людей, бросающие свои последние силы в лицо могучей Пустыни. Но двое отступили под свирепыми ударами прикладом и вернулись, как побитые собаки к своре. Два часа спустя, ведя между собой Джо и сопутствуемые Ситкой Чарлеем, замыкавшим шествие, они подошли к огню, где остальные члены экспедиции сгрудились под прикрытием навеса.

— Несколько слов, друзья, прежде чем мы ляжем спать, — сказал Ситка Чарлей, после того как индейцы проглотили свои скудные порции пресного хлеба. Он говорил с ними на их языке, предварительно сообщив белым суть своей речи.

— Несколько слов, друзья, для вашего же блага, чтобы вы могли остаться в живых. Я дам вам закон. Каждый, кто его нарушит, умрет. Повинен в этом будет только он один. Мы миновали Холмы Молчания и сейчас идем по верховьям Стюарта. Быть может, через одну, а не то через несколько

ночевок — во всяком случае в свое время, — мы доберемся до Юкона, где у людей есть много пищи. Поэтому будем лучше соблюдать закон. Сегодня Ка-Чукти и Гоухи, которым я приказал пролагать след, позабыли, что они мужчины, и убежали, как трусливые дети. Правда, они забыли, забудем и мы. Но впредь пусть помнят! А если случится, что они опять забудут, то…

Он небрежным, но угрожающим жестом схватился за ружье.

— Завтра они будут нести муку и следить за тем, чтобы белый человек Джо не оставался лежать на дороге. Чашки муки сосчитаны. Если к вечеру окажется нехватка хотя бы в одну унцию… Поняли? Были сегодня и другие забывчивые. Оленья Голова и Тройной Лосось бросили белого человека Джо в снегу. Пусть больше не забывают. С рассветом они пойдут вперед и будут пролагать след. Итак, вы знаете закон… Смотрите же в оба, чтобы его не нарушить!

Ситка Чарлей был не в силах сохранить сомкнутую линию. От Оленьей Головы и Тройного Лосося, пролагавших след впереди, до Ка-Чукти, Гоухи и Джо линия растянулась на милю с лишним. Все они спотыкались, падали и отдыхали кому когда казалось необходимо. Все они

напрягали последние остатки сил, влачились вперед, пока силы не истощались. Каждый раз, как человек падал, он был твердо убежден, что больше не встанет. И все же он поднимался снова и снова. Воля побеждала, и тело подчинялось ей; но каждая победа превращалась в трагедию. Индеец с отмороженной ногой уже полз вперед на коленях. Он редко отдыхал, так как знал, какой штраф взыскивает мороз. Даже губы мистрисс Эпингуэлл под конец застыли в каменной улыбке, и глаза ее смотрели, ничего не видя. Часто она останавливалась, прикладывая к сердцу руку в перчатке; у нее кружилась голова, и она тяжело дышала.

Белый человек Джо перешагнул предел страданий. Он больше не просил, чтобы его оставили в покое, не молил о смерти. Он был спокоен и доволен в своем безболезненном и бредовом состоянии. Ка-Чукти и Гоухи грубо тащили его вперед, причем на долю его выпадало немало свирепых взглядов и пинков. Им это казалось венцом справедливости. Сердца их были горьки от ненависти, тяжелы от страха. Почему они должны отягощать свою силу его слабостью? Ведь это была смерть. А если нет… они помнили о законе Ситки Чарлея и о ружье. По мере того

как день угасал, Джо стал все чаще падать; его так трудно становилось поднимать, что они все больше и больше отставали. Порой они все трое валились в снег — так утомлены были индейцы. А между тем на спинах их были и жизнь, и сила, и тепло. Мешки с мукой заключали в себе всю их жизненную потенцию. Они не могли не думать об этом, и в том, что произошло, не было ничего удивительного.

Они свалились подле бурелома, где тысячи саженей хвороста как бы сами просили спички. Рядом во льду была прорубь. Ка-Чукти посмотрел на дерево и на воду, то же сделал и Гоухи, а затем они посмотрели друг на друга. Ни одного слова не было произнесено. Гоухи зажег огонь; Ка-Чукти наполнил небольшую кружку водой и согрел ее. Джо разглагольствовал о вещах из иного мира на непонятном для них языке. Они намешали муки в горячую воду, пока не получилась густая жижица, и выпили много кружек этого напитка. Джо они не угощали, но его это не трогало. Его вообще ничто не трогало — даже его мокасины, дымившиеся среди угольев.

Кристальная снежная завеса падала вокруг них, мягко лаская и закутывая их в тесно облегающие белые одежды. И теперь их ноги могли бы

еще протоптать много следов, если бы судьба не отнесла тучи в сторону и воздух снова не стал бы прозрачен. Десятиминутная отсрочка могла бы их спасти. Но Ситка Чарлей, оглянувшись назад, увидел колонку дыма, поднимавшуюся над костром… и догадался. Он взглянул вперед на тех, кто были надежны, и на мистрисс Эпингуэлл.

— Итак, мои добрые друзья, вы опять позабыли, что вы мужчины. Хорошо. Очень хорошо. Будет меньше животов, требующих корма.

С этими словами Ситка Чарлей снова завязал мешок с мукой и взвалил его на спину поверх своей собственной ноши. Он расталкивал Джо до тех пор, пока боль не прорвалась сквозь блаженство бедняги и не подняла его на нетвердые ноги. Затем он вытолкнул его на тропу и указал ему направление. Оба индейца попытались улизнуть.

— Стой, Гоухи! И ты также, Ка-Чукти! Или мука дала твоим ногам столько силы, что они могут опередить быстрокрылый свинец? Не думайте, что вы сумеете обмануть закон. Будьте мужчинами хоть напоследок и радуйтесь, что умираете с полным брюхом. Марш! Прислонитесь спиной к дереву, плечом к плечу. Ну, марш!

Оба спокойно повиновались, ибо только будущее пугает человека, а не настоящее.

— У тебя, Гоухи, есть жена и дети и юрта из оленьей кожи в земле Чиппева. Какова твоя последняя воля на этот счет?

— Дай ты ей то, что принадлежит мне, как сказал капитан, — простыни, бусы, табак и коробку, издающую странные звуки, по обычаю белых людей. Скажи, что я умер на тропе, но не говори — как.

— А ты, Ка-Чукти, у которого нет ни жены, ни ребенка?

— У меня есть сестра, жена фактора в Кошиме. Он бьет ее, и она несчастна. Дай ей то, что мое по контракту, и скажи ей, что ей хорошо бы вернуться к своему племени. Если ты встретишь ее мужа, помни — убить его было бы добрым делом. Он бьет, а она боится.

— Рады ли вы умереть по закону?

— Рады.

— Тогда прощайте, мои добрые товарищи. Да воссядете вы перед полными горшками в теплых юртах, прежде чем угаснет день!

С этими словами он поднял ружье, и многократное эхо разбило молчание. Едва оно замолкло, как другие ружья заговорили в отдалении. Ситка Чарлей вздрогнул. Выстрел был не один, а ведь в экспедиции было еще только одно ружье. Он

бросил беглый взгляд на людей, лежавших так спокойно, странно и злобно улыбнулся мудрости снежной тропы… и поспешил навстречу людям с Юкона.

Жена короля

1

В старину, когда Север был еще молод, социальные и гражданские добродетели были немногочисленны и весьма просты. Когда бремя домашних забот становилось слишком тягостным и тихая грусть у камелька превращалась в непрерывный протест против мрачного одиночества, южные искатели приключений, за неимением лучшего, платили установленную цену и взамен получали туземных жен. Для женщин это было как бы предвкушением царствия небесного, так как — надо отдать справедливость белым проходимцам — они лучше обращались с женами и больше заботились о них, чем их краснокожие соперники. Белые, конечно, тоже были довольны такого рода сделкой; радовались и индейцы. Продав своих дочерей и сестер за шерстяные одеяла и устарелые ружья, променяв свои теплые меха на тонкий коленкор и дрянной виски, дети природы скоро и беззаботно умирали от истощения и иных заболеваний, связанных с благодатью высшей цивилизации.

В дни этой аркадской простоты Кол Галбрэт странствовал по тем местам и заболел на низовьях реки. Это было освежающим событием в жизни добрых сестер Святого Креста, которые дали ему убежище и лекарство, хотя им и не снилось, какой горячий эликсир вливается в его жилы от прикосновения их мягких рук и от нежного ухода. Кола Галбрэта стали волновать странные мысли, не покидавшие его, пока он не остановил своих взоров на Мэдилайн, одной из барышень Миссии. Однако он ничем не выдавал себя и терпеливо выжидал удобный момент. С наступлением весны он окреп, и когда солнце пустилось в небесах по золотому кругу, а по всей стране расплескалась радость и забилась жизнь, он напряг свое еще слабое тело и уехал.

Мэдилайн — барышня в Миссии — была сиротой. Ее белый отец однажды не уступил дороги серому медведю и погиб. Тогда ее мать, индианка, за неимением мужчины, который бы наполнил ее кладовую на зиму, пустилась на рискованный эксперимент и решилась переждать до движения лососей с пятьюдесятью фунтами муки и двадцатью пятью солонины. После этого маленькая Чук-Ра появилась на свет с помощью добрых сестер и должна была впоследствии носить дру-

гое имя.

Но у Мэдилайн все же еще были родные, ближайшим из которых считался забулдыга-дядя, разрушавший свои жизненные силы непомерным количеством привезенного белыми людьми виски. Каждый день он пытался вознестись в обитель богов, и, сообразно этому, ноги его искали кратчайшего пути к могиле. В трезвом виде он испытывал ужасные муки. Совести у него не было. Вот к этому-то престарелому прощалыге и явился Кол Галбрэт с официальным визитом, и в последовавшем затем разговоре они извели много слов и много табака. Были произнесены взаимные обещания, и в результате старый язычник захватил несколько фунтов сухой лососины, сел в свое каноэ из березовой коры и поплыл по направлению к Миссии Святого Креста.

Свету не дано знать, какие обещания он дал и что именно он наврал (сестры ведь никогда не сплетничают), но, когда он возвращался, на его черноватой груди висело медное распятие, а в каноэ сидела его племянница Мэдилайн. В ту же ночь была отпразднована пышная свадьба и потлач, так что в следующие два дня никто в деревне не ловил рыбы. Но уже наутро после свадьбы Мэдилайн отряхнула со своих мокасинов прах

низовьев реки и вместе с супругом, отпихиваясь баграми, перебралась на жительство к верховьям, в местность, именуемую Лоуэр-Коунтри. И во все последующие годы она была хорошей женой, делила с мужем все тяготы и варила ему пищу. Она не позволяла ему сбиться с пути, пока он не научился копить золотой песок и упорно работать. Наконец он разбогател и построил барак в Серкл-Сити; и так велико было его счастье, что люди, навещавшие его в семейном кругу, сильно ему завидовали.

Но Север начинал входить в возраст, и появились прелести цивилизации. До сих пор Юг посылал только своих сыновей; теперь же он изрыгнул новое нашествие — дочерей. Они не были ни сестрами, ни женами, но им удалось вбить мужчинам в головы новые идеи и наладить строй всей жизни согласно своим привычкам. Туземные женщины уже не сходились для плясок, не кружились с шумом по центральной площади в добром старом Вирджиниа-риле и не наслаждались веселым «Дэн Тэккером». Они снова впали в свой национальный стоицизм и жалобно наблюдали из бараков за нравами белых сестер.

Затем новое нашествие последовало через горы с плодоносного Юга. На этот раз появились жен-

щины, получившие большую власть в стране. Слово их было законом, а закон их был стальным. Они сурово относились к женам-туземкам, в то время как первые пришелицы смягчились и вели себя смиренно. Нашлись трусы, которые устыдились своего сожительства с дочерьми этой страны и стали глядеть с отвращением на своих темнокожих детей, но были и другие — мужчины, которые остались верными и гордились своими туземными браками. Когда вошло в обычай разводиться с женами-туземками, Кол Галбрэт сохранил свое мужское достоинство и в результате почувствовал на себе тяжелую руку женщин, позже всех пришедших, меньше всех знавших, но управлявших страной.

В один прекрасный день Эппер-Коунтри, которая лежит много выше Серкл-Сити, была объявлена богатой местностью. Собачьи упряжки возвестили об этом Соленым Водам. Нагруженные золотом суда повезли приманку по Тихому Океану; кабели и провода пели об этом; и мир впервые услышал о реке Клондайк и побережьях Юкона.

Кол Галбрэт спокойно жил все эти годы. Он был для Мэдилайн хорошим мужем, и она принесла ему благословение. Но со временем им овладело

какое-то недовольство. Он испытывал смутную тоску по людям своего племени, по жизни, из которой был исключен, — неопределенное, порой охватывающее человека желание порвать со всем и снова пережить зарю жизни. А между тем вниз по реке шли дикие слухи о чудесном Эльдорадо, яркие описания города, палаток и землянок и комические рассказы про разных «че-ча-квас'ов», прибывавших массами и ставивших вехи по всей стране. Серкл-Сити вымер. Все ушли вверх по реке и образовали новый, удивительный мир.

Кол Галбрэт, в конце концов, тоже забеспокоился и пожелал убедиться во всем собственными глазами. Поэтому после промывки он отвесил на больших весах Компании две сотни фунтов песка и взял чек на Даусон. Он поручил надзор за своим рудником Тому Диксону, поцеловал на прощание Мэдилайн, обещал вернуться до первого ледохода и взял билет на пароход.

Мэдилайн ждала — прождала все три месяца, пока светило солнце. Она кормила собак, уделяла много времени маленькому Колу, смотрела, как умирало короткое лето и как солнце пустилось в свой далекий путь к Югу. Она много молилась, по обычаю сестер Святого Креста. Темные дни

наступили, а с ними появилась и ледяная кора на Юконе, и короли Серкл-Сити возвращались на зимнюю работу в рудниках, но Кола Галбрэта не было. Правда, Том Диксон получил письмо: его люди привезли ей на санках новый запас сухой сосны на зиму. И Компания получила письмо, ибо собачьи упряжки привезли для кладовых Мэдилайн самую лучшую провизию, причем Компания уведомила, что ее кредит неограничен.

Во все времена мужчина считался главной причиной женских страданий. Мужчины держали язык за зубами, поругивая лишь одного из своих отсутствующих собратьев; что же касается женщин, они не думали им в этом подражать. Поэтому Мэдилайн без излишних проволочек услыхала странные вести о похождениях Кола Галбрэта и, между прочим, о некой греческой танцовщице, которая будто бы играет с людьми, как дети с куклами. Мэдилайн же была индианкой, и у нее не было ни одной подруги, у которой она бы могла спросить разумного совета. Она поочередно то молилась, то строила какие-то планы. Но однажды ночью она решилась, запрягла собак и, крепко привязав к саням маленького Кола, тайком выбралась из города.

Хотя Юкон еще не был закован, береговой лед

все нарастал, и с каждым днем река все больше превращалась в мутный ручеек. Только тот, кто сам это проделал, может знать, что вынесла Мэдилайн во время перехода в сто миль по береговому льду; никто другой не поймет тех трудностей и мучений, с какими она преодолела еще двести миль по крепкому льду, образовавшемуся после того как река замерзла по-настоящему. Но Мэдилайн была индианкой — со всем этим она справилась, и вот однажды вечером раздался стук в дверь Мельмут Кида. Кид накормил свору изголодавшихся собак, уложил спать здорового мальчугана и затем обратил свое внимание на утомленную женщину. Стягивая с нее обледенелые мокасины, он слушал ее рассказ и покалывал острием ножа ее ноги, чтобы узнать, до какой степени они отморожены.

Несмотря на исключительную мужественность Мельмут Кида, душа его была мягка и женственна, благодаря чему он мог завоевать доверие рычащего волкодава либо исторгнуть исповедь из самого холодного сердца. Но не он этого искал. Сердца сами раскрывались перед ним, как цветы перед солнцем. Известно было, что сам отец Рубо исповедовался ему, а мужчины и женщины Северной земли непрерывно стучались к нему

в дверь — дверь, у которой щеколда никогда не закладывалась. По мнению Мэдилайн, он не мог поступить неправильно или ошибиться. Она знала его с того самого времени, как связала свою судьбу с народом своего отца; и ее полудикому уму представлялось, что в нем сосредоточилась мудрость всех веков, что между его прозорливостью и будущим не могло быть преграждающей завесы.

Вся страна жила ложными идеалами. Общественное мнение Даусона не совпадало с воззрениями более ранней эпохи, и быстрый расцвет Севера таил в себе много нехорошего. Мельмут Кид видел это и знал насквозь Кола Галбрэта. Он знал также, что поспешность — мать всех зол, а кроме того, собирался дать хороший урок и пристыдить этого человека. Поэтому в ближайший вечер были призваны на совет Стэнли Принс, молодой рудничный эксперт, и Джэк Харрингтон Счастливый со своей скрипкой. В ту же ночь Бэттлс, который многим был обязан Мельмут Киду, запряг собак Кола Галбрэта, привязал к санкам Кола Галбрэта младшего и удрал в темноту по направлению к реке Стюарт.

2

— Так! Раз-два-три, раз-два-три. Теперь обратно. Нет, нет! Начинай снова, Джэк. Смотрите — вот так!

Принс показывал па, как человек, способный руководить котильоном.

— Итак: раз-два-три, раз-два-три. Назад! Ага! Вот так уже лучше. Попробуйте снова. Знаете, вы не должны смотреть себе под ноги. Раз-два-три, раз-два-три. Шаги помельче! Ведь вы не идете с шестом за собаками! Повторите еще раз. Вот так! Так и надо. Раз-два-три, раз-два-три.

Принс и Мэдилайн кружились и кружились в нескончаемом вальсе. Стол и стулья были отодвинуты к стене, чтобы увеличить пространство. Мельмут Кид сидел на скамье, подперев коленями подбородок, и с большим интересом наблюдал. Подле него сидел Джэк Харрингтон, пиликал на скрипке и следил за танцорами. Это обучение тремя мужчинами одной женщины создавало единственную в своем роде ситуацию. Самой патетической чертой обучения был, без сомнения, тот деловой вид, с которым они его выполняли. Ни одного атлета для поединка, ни одну овчарку для запряжки не тренировали так упорно, как ее.

Но они работали над хорошим материалом, ибо Мэдилайн, в противоположность большинству женщин своей расы, не приходилось в детстве носить большие тяжести и работать на снежных тропах. Вдобавок она была хорошо сложена и стройна, как ива, и обладала большой грацией, которой до сих пор никто не замечал. Вот эту-то грацию трое мужчин и старались подчеркнуть и оформить.

— Беда в том, что ее учили танцевать шиворот-навыворот, — бросил Принс сидящим на скамье, после того как усадил на стол свою запыхавшуюся ученицу. — Она быстро усваивает, но все-таки я мог бы достигнуть большего, если бы она никогда в жизни не протанцевала ни одного па. Но объясни мне, Кид, я не могу понять вот этого…

Принс повторил своеобразное движение плеч и головы, которое портило походку Мэдилайн.

— Ее счастье, что она была воспитана в Миссии, — отвечал Мельмут Кид. — Нагрузка, знаешь… и таскание тяжестей на голове… Другим индианкам тяжко приходится. Но она не ходила под ношей, пока не вышла замуж, да и тогда только в первое время. Видела и она плохие времена с этим своим супругом: они вместе пережили голод на Сороковой Миле.

— Сумеем ли мы эту привычку вытравить?

— Не знаю. Быть может, помогут продолжительные прогулки с тренерами. Во всяком случае, чего-нибудь можно будет достигнуть, не правда ли, Мэдилайн?

Она утвердительно кивнула головой. Если Мельмут Кид, который все знает, говорит это, — значит, так и есть. Это было все, что она знала.

Она подошла к ним, горя желанием начать снова. Харрингтон осматривал ее так внимательно, словно лошадь на ярмарке. По-видимому, зрелище было не безнадежно, ибо он спросил, внезапно заинтересованный:

— Что же получил этот ваш оборвыш-дядя?

— Одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок «хуча». Ружье поломанное. — Она произнесла это с досадой, как будто ей было обидно, что ее девичество было так низко оценено.

Она хорошо говорила по-английски, подражая в говоре своему мужу, но все же чувствовался индейский акцент — злоупотребление странными гортанными звуками. Ее инструкторы взялись даже за исправление этого недостатка, и не без успеха.

Скоро Принс обнаружил новое обстоятельство.

— Говорю тебе, Кид, — сказал он, — она не мо-

жет выучиться танцевать в мокасинах. Суньте ей ноги в туфли, а тогда — с богом, на паркет… Фью!

Мэдилайн подняла ногу и с сомнением оглядела свой бесформенный мокасин домашней работы. В прежние зимы, как в Серкл-Сити, так и на Сороковой Миле, она не одну ночь протанцевала в такой обуви, и тогда это не возбуждало никаких нареканий. Но теперь… теперь, если что-нибудь было не так, — об этом должен был знать Мельмут Кид, а не она.

А Мельмут Кид, действительно, знал и, кроме того, обладал верным взглядом. Поэтому он надел фуражку и варежки и спустился с холма, чтобы нанести визит мистрисс Эпингуэлл. Ее муж, Клод Эпингуэлл, — крупный государственный чиновник, считался важным лицом в городе. Однажды на губернаторском балу Кид обратил внимание на ее стройную маленькую ножку. Зная, что она столь же умна, как и красива, он не постеснялся попросить ее о небольшом одолжении.

После его возвращения Мэдилайн на несколько минут исчезла в смежной комнате. Когда она появилась вновь, Принс был ошеломлен.

— Клянусь Юпитером! — пролепетал он. — Кто бы мог подумать. Маленькая волшебница! Однако, сестрица…

— Английская женщина, — прервал его Мельмут Кид, — с английской ножкой. Эта девушка происходит от расы с маленькими ступнями. Мокасины только расширили ее ноги, но она не обезобразила их в детстве беготней за собаками.

Но это объяснение не сумело унять восторгов Принса. Коммерческий инстинкт Харрингтона был задет за живое, и, глядя на очаровательную форму ступни и сгиба, он мысленно повторял возмутительный список: «одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок „хуча“».

Мэдилайн была женой короля — короля, на чьи желтые сокровища можно было купить два десятка разодетых по моде кукол. И все же ее ноги никогда не знали другой обуви, кроме красной дубленой оленьей кожи. Сначала она с опаской оглядывала изящные туфельки из белого шелка; но она быстро поняла чисто мужское восхищение, какое светилось в глазах у мужчин. Лицо ее озарилось гордостью: на одно мгновение она была опьянена своим женским очарованием, но затем пробормотала с возрастающим презрением:

— А ружье поломанное…

Тренировка продолжалась. Ежедневно Мельмут Кид уводил ее гулять, чтобы исправить

походку и укоротить шаг. Узнать ее едва ли могли, ибо Кол Галбрэт и остальные старожилы были словно затерянные дети в толпе чужаков, наводнивших страну… А кроме того, у северного мороза острое жало, и нежные южные женщины, для защиты своих щек от его поцелуев, предпочитали носить парусиновые маски. С закрытым лицом и телом, укутанным в беличью «парку», мать и дочь могли бы встретиться на узкой тропинке и не узнать друг друга.

Учение быстро продвигалось вперед, вначале — медленно, но затем неожиданно пошло быстрее. Началось это с того момента, когда Мэдилайн примерила белые шелковые туфли и, так сказать, обрела самоё себя. В это мгновение она впервые стала гордиться своим ренегатом-отцом, независимо от того чувства достоинства, какое могло у нее быть. До сих пор она считала себя женщиной-чужеземкой низшей породы, вознесенной милостями своего повелителя. Муж казался ей богом, который вознес ее без всяких особых заслуг с ее стороны на свою божественную высоту. Но она никогда не забывала (даже после рождения маленького Кола), что она не принадлежит к его народу. Подобно тому, как он был богом, женщины его племени были богинями. Она могла себя

им противопоставлять, но никогда с ними себя не сравнивала. Быть может, близкое знакомство рождает презрение. Как бы то ни было, она, наконец, поняла этих непоседливых белых людей и взвесила их на правильных весах. Конечно, сознательно проанализировать она не могла, но все же в таких вопросах обладала чисто женской чуткостью. В тот вечер — с туфлями — она оценила внезапное, откровенное восхищение своих трех друзей; и впервые в жизни сравнение напрашивалось само собой. Речь шла, правда, только о ступне и сгибе, но… но сравнение, естественно, не могло остановиться на этом пункте. Она судила о себе по мерке своих белых сестер, пока их божественность не оказалась поколебленной. В конце концов, ведь они были только женщинами. Так почему же ей не подняться до их уровня? При этом она узнала, чего ей недостает, и из сознания своих слабостей выросла ее сила. Так упорно добивалась она своего, что ее три учителя часто до глубокой ночи удивлялись вечной тайне женственности.

Между тем приближались святки. Через неровные промежутки времени Бэттлс посылал с реки Стюарт вести о здоровье маленького Кола. Скоро они должны были уже вернуться. Не раз случай-

ный посетитель, услыхав плясовую музыку и ритмическое притоптывание, входил в дом, но заставал только пиликающего Харрингтона и остальных двух друзей, отбивающих такт или шумно спорящих из-за спорного па. Мэдилайн никто никогда не видел, так как она сломя голову убегала в смежную комнату.

В один из таких вечеров Кол Галбрэт ввалился в дом. Только что пришли утешительные вести с реки Стюарт, и Мэдилайн превзошла самоё себя не только в отношении походки, движений и грации, но и в женском лукавстве. Они затеяли остроумную словесную дуэль, и она блестяще защищалась; затем, поддаваясь временному опьянению своей силой, она задирала их, покоряла и увлекала. И инстинктивно они преклонились не перед ее красотой, умом или остроумием, а перед чем-то невыразимо женственным, чему мужчина покоряется, но чего он не умеет назвать. Комната сотрясалась от смеха и топота, когда они с Принсом кружились; Харрингтон выводил самые невероятные фиоритуры, в то время как Мельмут Кид, окончательно предоставленный самому себе, ухватил метлу и предавался безумному круговращению на свой риск и страх.

В этот момент дверь затряслась от сильного стука, и их быстрые взгляды заметили, как отодвигается засов. Но они уже пережили немало таких ситуаций. Харрингтон не оборвал ни одной ноты. Мэдилайн стрелой вылетела через открытую дверь во внутреннюю комнату; метла с шумом полетела под лавку; и в тот самый момент, когда Кол Галбрэт и Луи Савуа просунули свои головы в дверь, Мельмут Кид и Принс, обнявшись, кружились по всей комнате в диком шотландском вальсе.

Вообще говоря, индейские женщины не имеют привычки падать в обморок, но Мэдилайн была теперь ближе к обмороку, чем когда-либо в жизни. Целый час она просидела, сгорбившись на полу, слушая тяжелые голоса мужчин, то нараставшие, то ниспадавшие, словно гром. Как знакомые ноты слышанных в детстве мелодий, струились ей в душу все переливы голоса мужа, волнуя сердце и заставляя колени дрожать, пока она в полуобморочном состоянии не прислонилась к двери. Хорошо, что она не видела и не слышала его ухода.

— Когда вы думаете вернуться в Серкл-Сити? — просто спросил Мельмут Кид.

— Я еще мало думал об этом, — отвечал тот. —

Полагаю, что не раньше ледохода.

— А Мэдилайн?

При этом вопросе Кол покраснел и быстро опустил глаза. Мельмут Кид мог бы почувствовать к нему презрение, если бы меньше знал людей. Но теперь в нем все возмущалось против жен и дочерей, которые явились в эту землю и, не довольствуясь тем, что узурпировали места туземок, вселяли нечистые помыслы в головы мужчин и покрывали их позором.

— Я думаю, что ей хорошо живется, — поспешно отвечал король из Серкл-Сити и добавил, как бы извиняясь: — Я, знаете, поручил охрану своих интересов Тому Диксону, и он следит за тем, чтобы она получала все, что ей нужно.

Мельмут Кид положил свою ладонь на его руку и внезапно прервал его речь. Они вышли из дома. Над их головами северное сияние с пышной расточительностью щеголяло своими изумительными красками. У их ног расстилался сонный город. Где-то далеко собака подала одинокий голос. Король опять заговорил, но Кид сжал его руку, приглашая к молчанию. Звуки умножились. Одна за другой собаки подхватывали лай, и наконец многоголосый хор заполонил ночной воздух. Тому, кто впервые слышит эту колдов-

скую песню, впервые открывается и величайшая тайна Севера. Для того же, кто слышал ее, она звучит, как торжественный погребальный звон над потраченными усилиями. В ней — плач истязаемых душ, ибо в нее внедрилось наследие Севера, страдание неисчислимых поколений, напоминание живым и реквием по заблудшим овцам человечества.

Кол Галбрэт слегка вздрогнул, когда лай стал замирать, переходя в полуподавленные всхлипывания. Кид ясно читал его мысли и вместе с ним переживал все тяжелые дни невзгод и голодовок, и с ним же была терпеливая Мэдилайн, разделявшая страдания и опасности, никогда не отчаиваясь, никогда не жалуясь. Сетчатка его ума трепетала от целой вереницы картин, суровых и отчетливых; а десница Прошлого тяжелыми перстами сжала его сердце. Это был психологический момент. Мельмут Кид совсем уже был готов пойти со своей последней карты и выиграть игру, но урок пока еще был бы слишком слаб, и он решил переждать. Минуту спустя они пожали друг другу руки, и украшенные бусами мокасины короля, скрипя вниз по холму, вызывали громкие протесты оскорбленного снега.

Мэдилайн в своем оцепенении мало походила

на то шаловливое существо, чей смех за час перед тем был так заразителен и чей живой румянец и блестящий взгляд на время заставили ее учителей позабыть обо всем. Слабая и бессильная, сидела она в кресле в том же положении, в каком усадили ее Принс и Харрингтон. Мельмут Кид сердился. Так никогда ничего не выйдет. Когда придет момент свидания с супругом, она должна повести себя уверенно. Совершенно необходимо, чтобы она проделала все на манер белых женщин, иначе победа окажется вовсе не победой. Поэтому он говорил с ней сурово, не смягчал выражений и посвящал ее в слабости своего пола, пока она не поняла, что мужчины в сущности — простофили, а слово женщины для них — закон.

За несколько дней перед праздником Мельмут Кид вторично посетил мистрисс Эпингуэлл. Она быстро произвела смотр своим дамским тряпкам, нанесла продолжительный визит товарному отделению Компании и вернулась вместе с Кидом, чтобы познакомиться с Мэдилайн.

Затем наступил период, какого барак еще никогда не переживал. Во время кройки, примерки, приметывания, шитья и бесчисленных других удивительных и неведомых операций мужчины-заговорщики почти всегда выгонялись вон. В

такие дни бар раскрывал перед ними свои двойные, укрепленные против ветра двери. Все трое так часто наклонялись друг к другу и поднимали так много странных тостов, что зеваки уже учуяли запах неведомых россыпей, скрывающих неисчислимые богатства. И всем было известно, что несколько «че-ча-квас'ов» и, по крайней мере, один сторожил держали свое снаряжение наготове, позади стойки бара, готовые бежать по их следам в любой момент.

Мистрисс Эпингуэлл была способной женщиной. Поэтому, когда она вернула Мэдилайн ее воспитателям в самый день праздника, та оказалась настолько изменившейся, что они даже испугались. Принс накинул на нее одеяло с Гудзонова залива, отдав комический реверанс, — впрочем, скорее настоящий, чем притворный, а Мельмут Кид, ведя ее под руку, почувствовал, как тяжело ему будет играть свою привычную роль ментора. Харрингтон, у которого список покупок все еще не выходил из головы, тащился в арьергарде и ни разу в течение всей дороги до города не открывал рта. Когда они подошли к заднему входу бара, они сняли с плеч Мэдилайн одеяло и расстелили его на снегу. Выбравшись из мокасинов Принса, она прошла по одеялу в

новых шелковых туфельках. Маскарад был во всем разгаре. Она колебалась, но они толкнули дверь и ввели ее внутрь. Затем сами обежали кругом, чтобы войти через главный вход.

3

— Где Фреда? — спрашивали старожилы, в то время как «че-ча-квас'ы» столь же энергично вопрошали, кто такая Фреда. Имя ее, точно жужжание, наполняло бальный зал. Оно было у всех на устах. Седеющие «парни из кислого теста» (поденные работники на приисках, гордые своим званием) либо смотрели покровительственно на щеголеватых неженок и красноречиво лгали — ведь эти «парни из кислого теста» специально созданы для того, чтобы играть в мяч с истиной, — либо бросали на них дикие взгляды, полные возмущения по поводу их невежества. Около сорока королей с верховьев и низовьев состязались между собой; каждый считал, что находится на верном пути, и подкреплял свою догадку желтым песком своего королевства. Пришлось дать помощника весовщику, на котором лежала тяжелая обязанность взвешивать мешки, в то время как несколько игроков, державших в руках законы Фортуны, записывали ставки и

определяли фаворитов.

Которая же была Фреда? Раз за разом казалось, что греческая танцовщица обнаружена, но каждое открытие вносило панику в круг игроков и приводило к бешеной регистрации все новых и новых ставок со стороны тех, кто хотел себя обеспечить. Мельмут Кид заинтересовался состязанием, тем более, что его приход был встречен бурными возгласами кутил, знавших его за настоящего парня. Кид хорошо разбирался в походке и умел узнавать голоса; его выбор пал на чудесное создание, искрившееся в костюме «Северного Сияния». Но гречанка была слишком хитра даже для его прозорливости. Большинство охотников за золотом, по-видимому, высказывалось за «Русскую Боярышню», которая была самой грациозной во всем зале, а потому не могла быть не кем иным, кроме Фреды Молуф.

Во время кадрили разразилась буря восторга. Наконец-то ее открыли! На прежних балах, во время grand-rond, Фреда исполняла неподражаемое па с одной ей доступной вариацией. Когда объявили эту фигуру, «Русская Боярышня» выполнила это единственное в своем роде ритмическое движение. Целый хор возгласов («я же вам говорил!») потряс могучие стропила крыши… как

вдруг заметили, что «Северное Сияние» и еще одна маска, под названием «Дух Полюса», исполнили па так же хорошо. А когда два близнеца — «Собаки Солнца» и «Королева Мороза» сделали то же, весовщику дали еще одного помощника.

Бэттлс ворвался прямо со снежной тропы в самый разгар возбуждения и налетел на них, как зимний ураган. Его оттаявшие брови превратились в водопады; его обледенелые усы, казалось, были унизаны брильянтами и отражали свет радужными лучами, а пляшущие ноги скользили по ледышкам, приставшим к его мокасинам и немецким носкам. Северный танец — нечто совершенно непринужденное, ибо люди со снежных троп и приисков потеряли всякую разборчивость, если она когда-либо у них была. Только в высшем чиновничьем кругу условности еще сколько-нибудь соблюдались. Здесь же кастовые различия потеряли всякое значение. Миллионеры и нищие, погонщики собак и полисмены брались за руку с «дамами из центра» и кружились в хороводе, выкидывая самые замечательные коленца. Примитивные в своих удовольствиях, буйные и неотесанные, они проявляли не грубость, а скорее неуклюжее рыцарство, столь же подлинное, как и самая

утонченная вежливость.

В поисках греческой танцовщицы Кол Галбрэт устроился так, чтобы попасть в одну группу с «Русской Боярышней», на которую пало всеобщее подозрение. Но после того как он протанцевал с ней один круг, он готов был побиться об заклад на все свои миллионы не только, что она не Фреда, но и что рука его когда-то уже лежала на ее талии. Где и когда, — этого он сказать не мог. Но интригующее чувство чего-то знакомого так его мучило, что он обратил все свои старания на выяснение ее личности. Мельмут Кид, по его мнению, сделал бы лучше, если бы ему в этом помог, вместо того чтобы пригласить «Боярышню» на несколько туров и говорить ей что-то серьезное заглушенным голосом. Но усерднее всех ухаживал за «Русской Боярышней» Джэк Харрингтон. Один раз он отвел Кола Галбрэта в сторону, принялся строить самые дикие догадки относительно того, кто она такая, и утверждал, что он выиграет. Это раззадорило короля Серкл-Сити, ибо мужчина по природе своей — не одноженец, и он позабыл сразу о Мэдилайн и о Фреде для новых поисков.

Вскоре распространилась весть, что «Русская Боярышня» — не Фреда Молуф. Интерес возрастал. Дело становилось загадочным. Они знали

Фреду, хоть и не могли ее найти. Здесь же было нечто, что они нашли, но чего не знали. Даже женщины не могли ее распознать, а они знали каждую хорошую танцовщицу в городе. Многие принимали ее за даму из чиновничьего круга, решившуюся на безумную эскападу. Некоторые утверждали, что она исчезнет перед тем, как начнут снимать маски. Другие были в такой же мере уверены, что это репортерша канзасской газеты «Звезда», приехавшая описать их за девяносто долларов со столбца. А весовщики неустанно работали.

В час ночи все пары собрались в зал. Маски стали снимать среди взрывов веселья и смеха, точно в толпе беззаботных детей. Не было конца охам и ахам, когда поднималась маска за маской. «Северное Сияние» оказалось коричневой негритянкой, доход которой от стирки белья достигал пятисот долларов в месяц. Близнецы «Собаки Солнца» обнаружили усы на своих верхних губах и были опознаны: они оказались братьями — владельцами крупных приисков на Эльдорадо. Медленнее других размаскировывалась пара — Кол Галбрэт и «Дух Полюса». Напротив них стоял Джэк Харрингтон с «Русской Боярышней». Все уже сняли маски, а греческой танцовщицы все

еще не было. Все взоры обратились на эту группу. Кол Галбрэт в ответ на крики толпы поднял маску своей дамы. Прекрасное лицо и блестящие глаза Фреды засияли перед ними. Поднялась буря, но скоро утихла благодаря захватывающей таинственности «Русской Боярышни». Ее лицо все еще было закрыто, и Джэк Харрингтон боролся с ней. Танцоры от возбужденного ожидания хихикали и поднимались на цыпочки. Он резко дернул ее за изящную маску, и тогда… тогда раздался взрыв негодования со стороны веселящихся. Над ними подшутили. Они протанцевали весь вечер с туземкой, на которой лежало табу.

Но те, кто ее знал (а их было немало), быстро положили этому конец, и в зале воцарилось молчание. Кол Галбрэт подошел к Мэдилайн большими шагами и сердито заговорил с ней на чинукском жаргоне. Но она сохранила спокойствие, по-видимому позабыв о том, что являлась мишенью всех взглядов, и отвечала ему по-английски. Она не выказывала ни страха ни гнева, и Мельмут Кид трясся от удовольствия при виде ее благовоспитанной уравновешенности. Король чувствовал, что он высмеян, разбит наголову; его вульгарная сивашская жена переросла его.

— Пойдем, — наконец сказал он. — Пойдем

домой!

— Извини, — отвечала она, — но я обещала поужинать вместе с мистером Харрингтоном. А кроме того, ведь и танцы еще не кончились.

Харрингтон предложил ей руку, чтобы увести ее. Она выказывала явное намерение повернуть супругу спину, а в это время Мельмут Кид придвинулся ближе. Король Серкл-Сити был огорошен. Дважды его рука протянулась к поясу, и дважды Кид наклонялся, готовясь к прыжку. Но уходящая пара безопасно добралась до двери в столовую, где устрицы продавались по пяти долларов за порцию. Толпа вздохнула, разбилась на пары и последовала за ними. Фреда надулась и вошла в столовую вместе с Колом Галбрэтом. Но у нее было доброе сердце и хорошо подвешенный язык, и она стала раскрывать для него устрицы. Что она говорила — это неважно. Но его лицо попеременно то бледнело, то краснело, и он несколько раз свирепо выругал самого себя.

В столовой поднялся настоящий содом от криков и шума, но сразу прекратился, когда Кол Галбрэт подошел к столу своей жены. С момента, когда маски были сброшены, многие держали пари на кругленькие суммы, чем все это кончится. Все наблюдали с интересом, затаив дыхание.

Голубые глаза Харрингтона были спокойны, но под свисавшей скатертью на коленях у него покоился «Смит-Вессон». Мэдилайн подняла глаза случайно, без всякого любопытства.

— Могу я… могу я просить вас на следующий танец? — пролепетал король.

Жена короля бросила взгляд на свой наряд и кивнула головой.

Северная Одиссея

1

Сани пели свою вечную жалобную песню вместе со скрипом сбруи и дребезжанием колокольчика вожаков, но люди и собаки были утомлены и не издавали ни звука. Тропа была покрыта свежевыпавшим снегом. Они уже отъехали далеко, а между тем собаки, нагруженные камнеподобными кусками замороженной оленины, упорно прижимались к непротоптанной поверхности и не отставали с чисто человеческим упрямством. Тьма уже спускалась, но нечего было и думать о разбивке лагеря на эту ночь. Снег мягко падал сквозь неподвижный воздух — не хлопьями, а мелкими замерзшими кристаллами изящной формы. Было очень тепло — не больше десяти градусов ниже нуля, — и люди чувствовали себя хорошо. Мейерс и Бэттлс подняли наушники, а Мельмут Кид снял варежки.

Собаки уже днем были утомлены, но теперь они стали обнаруживать новую силу. Самые коварные из них стали проявлять какое-то беспокойство и протестовать против уз упряжи.

Они сопели, навострили уши и злились на своих более флегматичных братьев, подгоняя их многочисленными легкими укусами в зад. Те, словно дети, заражались их беспокойством и помогали распространять эту заразу дальше. Наконец вожак передних саней испустил резкий радостный крик, глубже вошел в снег и налег на ошейник. Остальные собаки последовали за ним. Постромки натянулись, санки понеслись вперед, а люди напирали на шесты и ускоряли бег, чтобы не попасть под ноги вьючных псов. Усталости целого дня словно и не было, и они стали криками подгонять собак. Животные отвечали радостным лаем. Они неслись сквозь сгущавшуюся тьму шумным галопом.

«Джи! Джи!» — кричали люди по очереди, когда их сани, наклоняясь, как корабли под ветром, свернули с тропы.

Затем — еще пробег в сто ярдов до затянутого пергаментом, освещенного окна, которое рассказывало свою сказку о родной хижине, о потрескивании юконской печки и дымящихся котелках с чаем. Но хижина подверглась нашествию. Около шестидесяти собачьих глоток зарычали угрожающим хором, и столько же мохнатых тел бросилось на собак, везших первые

сани. Дверь распахнулась, и человек, одетый в пурпурную форму северо-западной полиции, по колено вошел в гущу рассвирепевших животных, спокойно рассыпая успокоительные удары тяжелым концом хлыста. После этого люди пожали друг другу руки; таким образом Мельмут Кид был встречен в своей собственной хижине чужим человеком.

Стэнли Принс, который должен был его встретить — а на нем лежала обязанность заботиться об упомянутой выше юконской печи и горячем чае, — хлопотал вокруг гостей. Их было что-то около дюжины, — совершенно неописуемая толпа, едва ли не самая странная, когда-либо служившая королеве для охраны законности и перевозки почты. Все они были самого различного происхождения, но совместная жизнь создала из них единый тип — тип сухой и жилистый, с мускулами, развившимися на снежных тропах, с обожженными лицами и невозмутимыми душами, глядевшими прямо вперед ясным и неуклонным взором. Они ездили на собаках королевы, вселяли страх в душу ее врагов, ели ее скудный рацион — и были счастливы. Они жили подлинной жизнью, совершали подвиги, переживали романтические приключения, сами

о том не зная.

И чувствовали они себя совсем как дома. Двое из них растянулись на койке Мельмут Кида, распевая песенки, которые пели их французские предшественники в те дни, когда они впервые вступили на Северо-Западную землю и женились на индианках. Койка Бэттлса подверглась такому же нашествию, и три-четыре дюжих «гостя» уместились с ногами на его одеялах, слушая рассказ одного, который служил в речной бригаде под начальством Уолслея, когда тот пробивал себе путь в Хартум. А когда он кончил, один ковбой стал рассказывать о дворах и королях, о лордах и леди, которых он видел, когда Бэффало-Билль совершал турне по европейским столицам.

В углу двое метисов — бывшие товарищи по проигранной кампании — чинили сбрую и говорили о временах, когда Северо-Запад горел огнем восстания и Льюис Риль был королем.

Грубые остроты и еще более грубые шутки летели от одного к другому, а о великих опасностях на тропах и реках говорили как о вещах обыденных только для того, чтобы вспомнить о каком-нибудь юмористическом замечании или забавном происшествии. Принс увлекся этими неувенчанными героями, свидетелями того, как

делалась история, — людьми, которые принимали все великое и романтическое как слишком обычное и повседневное. Он угощал их своим драгоценным табаком с беспечной расточительностью, и падали ржавые цепи с воспоминаний, и воскрешались специально для него давно забытые странствия.

Когда разговор замер и путники, набив последние трубки, развернули туго скрученные спальные мешки, Принс обратился к своему товарищу за дальнейшими справками.

— Кто такой ковбой, ты знаешь, — отвечал Мельмут Кид, принимаясь за развязывание своих мокасинов. — Нетрудно также обнаружить британскую кровь в его соседе по постели. Что же касается остальных, то все они — дети прежних «coureurs du bois», смешанных с бог знает сколькими другими кровями. Те двое у двери принадлежат к поколению метисов времени усмирения. Этот парень, опоясанный шерстяным шарфом, — обрати внимание на его брови и скулы, — явный шотландец, выросший в дымном жилище своей матери. А тот красивый малый, что подложил куртку под голову, — это французский метис, — ты слышал его говор? Видишь ли, когда метисы восстали под предводительством

Риля, тогда чистокровки держались в стороне, и с тех пор они недолюбливают друг друга.

— А что представляет собой этот мрачный парень там у печки? Я готов поклясться, что он не говорит по-английски. Он весь вечер не раскрывал рта.

— Ошибаешься: он неплохо знает английский. Следил ли ты за его глазами, когда он слушал? Я следил. Но остальным он ни сват ни брат. Когда они говорили на своем patois, можно было видеть, что он ничего не понимает. Я и сам ума не приложу, кем бы он мог быть. Давай попытаемся узнать.

— Подбросьте-ка парочку поленьев в печку! — крикнул Кид, возвысив голос и глядя прямо на того, о ком шла речь.

Тот немедленно повиновался.

— В него где-то вколотили дисциплину, — заметил Принс тихо.

Мельмут Кид кивнул головой, снял носки и стал пробираться к человеку, лежавшему у печки. Там он повесил свою влажную обувь среди двух десятков таких же пар.

— Когда вы думаете прибыть в Даусон? — спросил он испытующе.

Человек несколько мгновений изучал его,

прежде чем ответить:

— Говорят, семьдесят миль. Так? Ну, стало быть, дня через два.

Можно было заметить лишь весьма слабый иностранный акцент, но не было ни неуверенности, ни нехватки в словах.

— Бывали вы прежде в этих местах?

— Нет.

— Северо-Западная Территория?

— Да.

— Родились там?

— Нет.

— Ну так где же, черт возьми, вы родились? Вы не из этих?

Мельмут Кид показал жестом на всех погонщиков и на обоих полисменов, улегшихся на койке Принса.

— Откуда вы взялись? Я видел такие лица, как ваше, но никак не могу припомнить, где.

— Я знаю вас, — сказал тот вместо ответа, переводя разговор на другое.

— Каким образом? Видели меня когда-нибудь?

— Нет. Ваш товарищ, тот священник в Пэстилике, много времени тому назад. Он спросил меня, видел ли я вас — Мельмут Кида. Он дал мне пищу. Слышали вы от него обо мне?

— О! Вы тот парень, который обменял шкурки выдры на собак?

Человек кивнул головой, вытряхнул свою трубку и показал свое нежелание продолжать беседу тем, что завернулся в свой мех. Мельмут Кид погасил жировую лампу и полез под одеяло, рядом с Принсом.

— Ну! Кто же он такой?

— Не знаю. Каким-то образом замял разговор и замкнулся, как раковина. Но все же это парень, достойный твоего любопытства. Я слыхал о нем. Все побережье дивилось на него лет восемь тому назад. Есть в нем, знаешь, что-то таинственное. Он пришел с Севера в середине зимы, пройдя много миль вдоль Берингова моря, и спешил так, точно дьявол гнался за ним по пятам. Никто не слыхал, откуда он пришел, но, должно быть, он явился издалека. Он был страшно утомлен, когда получил пищу от шведского миссионера в Заливе Головина, и осведомился о дороге на юг. Мы слышали об этом после. Затем он покинул береговую полосу и направился прямо через Нортон-Сунд. Ужасная погода, снежные бураны и сильные ветры; но он пробрался там, где тысяча других не могла не погибнуть. Он пропустил стоянку св. Михаила и добрался до Пэстилика. Потерял все,

кроме двух собак, и почти умирал от голода.

Он так спешил дальше, что отец Рубо снабдил его провизией, но не мог дать ему собак, ибо сам только и ждал моего приезда, чтобы отправиться в путь. Мистер Улисс был слишком умен, чтобы пуститься в дорогу без животных, и рыскал по окрестностям в течение нескольких дней. У него в санях лежал тюк великолепно выделанных шкурок выдры, — знаешь, морской выдры, которая идет на вес золота.

В Пэстилике жил старый Шейлок, русский купец, у которого было несколько собак, годных для живодерни. Торговались они недолго, но когда чужак снова отправился на юг, перед ним бежала большая свора собак. Мистер Шейлок приобрел шкуры. Я видел их, они великолепны. Мы вычислили и определили, что он заработал на собаках не меньше пятисот долларов за каждую. И это не потому, чтобы иностранец не знал цен на морскую выдру; он — индеец особого сорта, и немногое сказанное им показывает, что он повертелся среди белых.

После того как лед сошел с морских берегов, пришла весть с острова Нунивака, что он заезжал туда за провиантом. Затем он исчез из виду, и теперь я впервые за восемь лет слышу о нем. Итак,

откуда он приехал? И что там делал? И почему оттуда уехал? Он — индеец; был он неизвестно где; он научился дисциплине, необычной для индейца. Вот еще одна загадка Севера, которую тебе предстоит разгадать, Принс.

— Большое спасибо. Но у меня и без того довольно дела, — отвечал тот.

Мельмут Кид уже заснул и тяжело дышал, а молодой горный инженер вперил взор прямо в темноту и ждал того странного возбуждения, которое всегда приходило перед тем, как он впадал в забытье. И когда он, наконец, заснул, его мозг продолжал работать, и он, по своему желанию, тоже совершал путь сквозь белую неизвестность, пробивался вместе с собаками по бесконечным тропам и видел людей, живущих, трудящихся и умирающих, как и подобает людям.

На следующее утро, за несколько часов до зари, погонщики и полисмены двинулись в Даусон. Но власти, следящие за интересами ее величества и управляющие судьбами самых незначительных ее подданных, не дали почтарям отдохнуть. Через неделю они появились на реке Стюарт, нагруженные письмами для Соленых Вод. Собаки их, правда, были заменены свежими, но все же это были только собаки.

Люди надеялись на какое-нибудь убежище, где бы они могли отдохнуть. Кроме того, Клондайк был новой частью Севера, и им хотелось хоть краем ока взглянуть на Золотой Город, где драгоценный песок струился рекой и танцевальные залы чуть не рушились от непрерывных кутежей. Но они сушили свои носки и курили вечерние трубки с тем же увлечением, что и при первом посещении; только кое-кто из более дерзких носился с мыслью о дезертирстве и возможности перейти черзв неисследованные Скалистые горы на восток, а там по долине реки Маккензи достигнуть знакомой местности около Чипеуайэна. Двое-трое даже решили вернуться к себе домой по этой дороге, когда истечет срок их службы. И они принялись строить планы на будущее, обдумывая это рискованное предприятие, как горожанин обдумывал бы воскресную прогулку за город.

Человек со шкурками выдры казался очень взволнованным, хотя почти не принимал участия в дискуссии; наконец он отвел в сторону Мельмут Кида и некоторое время говорил с ним шепотом. Принс бросал в их сторону любопытные взоры, но тайна еще более сгустилась, когда оба они надели шапки и варежки и вышли за дверь.

Когда они вернулись, Мельмут Кид поставил на стол весы, отвесил шестьдесят унций золота и переложил их в мешок чужеземца. Затем к ним присоединился начальник погонщиков, и с ним заключили какую-то сделку. На следующий день отряд ушел вверх по реке, но человек с выдрами захватил несколько фунтов провизии и повернул назад, в сторону Даусона.

— Я не знал, что мне делать, — сказал Мельмут Кид в ответ на расспросы Принса. — Бедняга по той или иной причине хотел бросить службу, — по-видимому, это было для него весьма важно, хотя он и не говорил, в чем дело. Видишь ли, это так же, как в армии: он подписал контракт на два года, и единственное средство избавиться — это откупиться. Он не мог дезертировать и затем жить тут, а ему почему-то приспичило остаться в этой местности. Он сказал, что решился на это, когда попал в Даусон. Но никто его не знает, у него нет ни цента за душой, и я — первый человек, с которым он перемолвился словом. Поэтому он переговорил с вице-губернатором и условился с ним на тот случай, если он получит от меня денег… взаймы, понимаешь. Он сказал, что уплатит в течение года и, если я захочу, поведет меня на богатейшее место. Он его еще не видел, но знает,

что оно богатое.

Вот поди ж ты! Когда он вышел со мною на двор, он чуть не плакал. Клянчил и уговаривал, ползая передо мною по снегу, пока я его не поднял; болтал, как сумасшедший. Клялся, что он добивался этой цели много-много лет и теперь не может вынести разочарования. Я спрашивал, какая это цель, но он не хотел говорить. Он сказал, что они могут перевести его на другой участок санного пути, так что он попадет в Даусон только через два года, а тогда будет слишком поздно. Никогда в жизни не видел, чтобы человек так себя вел. А когда я согласился помочь ему, мне опять пришлось тащить его из снега. Я велел ему смотреть на это как на продовольственный вклад в его дело. Ты думаешь, он согласился на это? Нет, сударь! Он клялся, что отдаст мне все, что найдет; сделает меня богаче, чем может вообразить самый жадный человек… и тому подобные пустяки. Обычно человеку, который вкладывает свою жизнь и свой труд взамен материального вклада, очень трудно бывает расстаться даже с половиной того, что он нашел. За этим что-то скрывается, Принс, заметь себе это. Мы еще услышим о нем, если он останется в здешних местах…

— А если не останется?

— Тогда мое добродушие будет посрамлено, и я потеряю шестьдесят с лишним унций.

Вместе с долгими ночами пришла и стужа, и солнце начало свою старую игру в прятки вдоль южной снеговой линии, прежде чем пришли какие-либо вести о вкладе Мельмут Кида.

Но вот в одно темное утро, в начале января, тяжело нагруженная собачья запряжка подкатила к его хижине на низовьях реки Стюарт. Человек с выдрами явился, а рядом с ним шел другой — из тех, способ отливки которых боги теперь уже позабыли. Люди никогда не говорили о смелости и удаче, чтобы не назвать имени Акселя Гундерсона; ни один рассказ у лагерного костра о силе, выдержке и отваге не обходился без упоминания о нем. А когда разговор начинал угасать, его снова раздували рассказами о женщине, которая делила с ним судьбу.

Как уже замечено, при создании Акселя Гундерсона боги вспомнили свою прежнюю сноровку и сработали его по типу тех людей, которые рождались во дни молодости вселенной. Ростом в семь футов, он возвышался, подобно башне, в своем живописном костюме, сразу обличавшем в нем короля Эльдорадо: грудью, шеей и конечностями он напоминал исполинов. Для того, чтобы вы-

держать триста английских фунтов его костей и мускулов, лыжи его должны были быть на добрый ярд длиннее, чем у прочих людей. Лицо его, грубо обтесанное, с наморщенным лбом и массивными скулами, с немигающими бледно-голубыми глазами, само рассказывало о человеке, не знавшем никакого другого закона, кроме закона силы. Покрытые ледяными инкрустациями волосы его, цвета спелой ржи, точно дневным светом озаряли ночь и волною падали на его медвежью куртку. Морской навык смутно чувствовался в его походке, когда он опускался по узкой тропе, перегоняя собак; и он ударил рукоятью хлыста в дверь Мельмут Кида, словно северный морской король, во время набега на южные земли властно требующий пропуска в замок.

Принс засучил рукава на своих женственных руках и месил кислое тесто, непрестанно бросая взгляды на трех гостей — таких гостей, какие вряд ли еще когда-либо приходили под чей-нибудь кров. Чужеземец, которого Мельмут Кид прозвал Улиссом, все еще интриговал его; но главный его интерес теперь сосредоточивался на Акселе Гундерсоне и его жене. На ней отразился день, проведенный в пути, ибо она изнежилась в уютных хижинах с тех пор, как

ее муж разбогател, — и теперь она устала. Она отдыхала, прислонившись к его огромной груди, как стройный цветок к стене, лениво отвечая на добродушное подшучивание Мельмут Кида и приводя кровь Принса в странное волнение случайным взглядом своих глубоких темных глаз. Ибо Принс был молод и здоров, и долгие месяцы почти не видел женщин. А она была старше его и к тому же индианка. Но она не походила на тех туземных женщин, с какими он встречался: она много путешествовала, побывала, между прочим, и в его городе, как он понял из разговора, знала много из того, что знали женщины его расы, и еще много такого, чего они, естественно, знать не могли. Она могла состряпать блюдо из провяленной на солнце рыбы или устроить постель на снегу; а наряду с этим мучила их танталовыми муками, подробно рассказывая о тонких обедах, и вызывала странную тоску в их желудках упоминанием о некоторых яствах, которые почти изгладились у них из памяти. Она знала нравы северного оленя, медведя и маленького голубого песца, а также диких амфибий северных морей. Она искусилась в мудрости лесов и потоков, и повесть, начертанная людьми, птицами и зверями на нежной корочке снега, была для нее откры-

той книгой; и при всем том Принс мог уловить одобрительное подмигивание, когда она прочла устав лагеря. Эти правила были сочинены неистощимым Бэттлсом в те времена, когда кровь еще кипела; они отличались своей изящной простотой и юмором. Принс всегда поворачивал их к стене перед приходом дам. Но кто мог ожидать, что эта туземная женщина?.. Ну, да теперь уже было поздно.

Так вот какова была жена Акселя Гундерсона, женщина, чье имя и слава прошли по всему Северу рука об руку со славой ее мужа! За столом Мельмут Кид поддразнивал ее с фамильярностью старинного приятеля, а Принс тоже, преодолев робость первого знакомства, присоединился к нему. Но она сумела постоять за себя в неравном бою, в то время как ее муж, более туго соображающий, только одобрял ее. Он очень гордился ею: каждый взгляд его и каждое движение обнаруживали, какое важное место в его жизни она занимает. Человек с выдрами ел молча; в веселой схватке о нем позабыли, и задолго до того, как другие поели, он встал из-за стола и вышел на двор к собакам. Вскоре и его товарищи по путешествию натянули свои перчатки и «парки» и последовали за ним.

Снег не шел в течение многих дней, и сани скользили по хорошо утоптанной тропе к Юкону, точно по гладкому льду. Улисс вел первые сани; со вторыми шли Принс и жена Акселя Гундерсона, а Мельмут Кид с желтокудрым гигантом гнали третью запряжку.

— Это только попытка, Кид, — сказал Аксель, — но я думаю, что здесь будет дело. Он никогда там не был, но рассказывает правдоподобную историю; он показал мне старую карту, о которой я слышал, когда был в Хутенэ много лет назад. Я хотел, чтобы вы пошли с нами; но он — странный человек и поклялся, что просто-напросто бросит все к черту, если еще кто-нибудь войдет в дело. Когда я вернусь, я вам первому сообщу и поставлю вашу веху рядом с моей, а кроме того, возьму вас в половинную долю при постройке поселка.

— Нет! Нет! — воскликнул он, когда тот попытался прервать. — Я веду это дело и, когда вернусь, мне потребуется два ума. Если все пойдет гладко, это будет второй Крипль-Крик. Слышите, человече? Второй Крипль-Крик! Это не песчаный прииск, понимаете, а кварц, и если мы будем правильно его разрабатывать, мы его используем весь — миллион за миллионом. Я и прежде слыхал об этом месте, да и вы слыхали. Мы построим

город… тысячи рабочих… хорошие водные пути… пароходные линии… товарное движение… пароходы местного сообщения… быть может, железная дорога… лесопилки… электрическая станция… свой банк… коммерческая компания… синдикат… Тольки держите язык за зубами, пока я не вернусь.

Сани остановились там, где тропа пересекала устье реки Стюарт. Широкое пространство — бесконечное снежное море — расстилалось далеко на неведомый Восток. Лыжи были сняты с саней. Аксель Гундерсон пожал руку спутникам. Его большие подбитые лыжи погружались на добрых пол-ярда в мягкую, как пух, поверхность, утаптывая снег так, чтобы собаки бежали не проваливаясь. Жена шла по следу за санями, обнаруживая большую опытность в обращении с неуклюжей обувью. Тишина нарушилась прощальными ободрениями; овчарки завизжали, и человек с выдрами своим кнутом беседовал с непокорной собакой.

Через час поезд стал походить на длинную черту, проведенную карандашом по огромному листу белой бумаги.

2

Однажды ночью, много недель спустя, Мельмут Кид и Принс занимались решением шахматных задач с разорванного листка старого журнала. Кид только что вернулся из своих владений в Бонанце и отдыхал, готовясь к долгой охоте на оленей. Принс тоже провел на россыпях и тропах почти всю зиму и изголодался по одной неделе благословенной жизни в хижине.

— Заслонись черным офицером и дай шах королю. Нет, так не выйдет. Смотри, при следующем ходе…

— Зачем выдвигать пешку на два квадрата. Ее возьмут en passant и уберут слона с дороги.

— Погоди! Образуется прорыв и…

— Нет, она защищена. Валяй! Увидишь, что выйдет.

Было очень интересно. Кто-то успел дважды постучать в дверь, пока Мельмут Кид крикнул:

— Войдите!

Дверь распахнулась, и что-то ввалилось в комнату. Принс окинул это существо одним взглядом и вскочил на ноги. Ужас, отразившийся в его глазах, заставил Мельмут Кида быстро повернуться. Он тоже был ошеломлен, хотя повидал на сво-

ем веку немало страшного… Существо вслепую заковыляло к ним. Принс стал пятиться назад, пока не добрался до гвоздя, на котором висел его «Смит-Вессон».

— Господи, что это такое? — шепнул он Мельмут Киду.

— Не знаю. Похоже, что с голода и от мороза… — отвечал ему Кид, отходя в противоположный конец комнаты.

— Берегись. Оно, может быть, бешеное! — предупредил он, возвращаясь на место после того как запер дверь.

Нечто подошло к столу. Яркий свет жировой лампы привлек его взор. Это его забавляло, и оно разразилось каким-то старческим кудахтаньем, очевидно, означавшим веселое настроение. Затем он — ибо это существо было мужчиной — неожиданно отклонился назад, одернул свои кожаные штаны и запел песню, которую поют матросы, вертя кабестан, в то время как море ревет им в уши.

Янки едут вниз по речке…
Двинь, ребята. Двинь, двинь!
Кто ж у них за капитана?..
Двинь, ребята. Двинь, двинь!

Донатан Джонс из Каролины…

Двинь, ребята!..

Он неожиданно умолк, проковылял с чисто волчьим рычанием к полке с мясом и, прежде чем они могли воспротивиться, вцепился зубами в кусок сырой солонины. Между ним и Мельмут Кидом завязалась свирепая борьба, но безумная сила покинула его так же быстро, как и вселилась. И он, ослабев, отдал свою добычу. Общими усилиями они усадили его на табурет, и он всем корпусом навалился на стол. Небольшая доза виски подкрепила его, так что он мог погрузить ложку в сахарницу, поставленную перед ним Мельмут Кидом. После того как он слегка утолил голод, Принс, содрогаясь, поднес ему кружку слабого мясного сока.

Глаза странного существа сверкали мрачным безумием, которое то вспыхивало, то угасало при каждом глотке. На лице его почти не было кожи. Изможденное, с провалившимися щеками, это лицо весьма мало напоминало человеческое. Мороз полосовал его, и каждое новое дыхание вечного холода оставляло на полузалеченных рубцах новый слой струпьев. Эта сухая, жесткая поверхность была кроваво-черного цвета и

изборождена болезненными трещинами, обнажавшими сырое, красное мясо. Кожаная одежда его была грязна и в лохмотьях, а опаленный и прожженный по одному боку мех показывал, что он лежал на костре.

Мельмут Кид указал на место, где выдубленная на солнце кожа была отрезана полоска за полоской — ужасный знак голодовки.

— Кто вы такой? — тихо и отчетливо произнес Кид.

Человек не обратил на это никакого внимания.

— Откуда вы идете?

— Янки едут вниз по речке, — прозвучал писклявый ответ.

— Без сомнения, бедняга пришел вниз по реке, — сказал Кид, тряся его и стараясь привести в сознание.

Но человек вскрикнул от прикосновения и прижал руку к своему боку, очевидно, от боли. Он медленно поднялся на ноги, все еще налегая на стол.

— Она смеялась надо мной… так… с ненавистью в глазах… и она… не хотела… пойти…

Его голос ослабел, и он готов был упасть навзничь, если бы Мельмут Кид не ухватил его за

руки и не прокричал:

— Кто, кто не хотел пойти?

— Она. Унга. Она смеялась и ударила меня… так и так… А потом…

— Ну?

— А потом…

— А что — потом?

— А потом он лежал совсем тихо… в снегу — долгое время… Он все еще… там… в снегу…

Кид и Принс растерянно поглядели друг на друга.

— Он — в снегу?

— Она… Унга. Она взглянула на меня с ненавистью в глазах. А потом…

— Ну, ну…

— А потом она взяла нож. Вот так… и — раз, два… Она ослабела. Я шел очень медленно. А в том месте много золота, очень много золота.

— Где Унга?

Из всего того, что Мельмут Кид узнал, можно было заключить, что она умирает где-нибудь на расстоянии мили от дома. Он дико тряс человека и раз за разом повторял:

— Где Унга? Где Унга?

— Она… в… снегу…

— Продолжайте! — Кид жестоко сжимал кисть

его руки.

— И… я… был бы… в снегу… но… я… должен был… заплатить… долг. Это — тяжело… я должен был… заплатить… долг… заплатить долг… я… должен был…

Односложный лепет прекратился, когда он порылся в кармане и вынул мешочек из лосиной кожи.

— Долг заплатить… пять фунтов… золота… за вклад… Мель… мут… Киду… я…

Истомленная голова упала на стол, и Мельмут Кид уже не мог ее поднять.

— Это Улисс, — сказал он спокойно, бросая мешочек с золотым песком на стол. — Я думаю, с Акселем Гундерсоном и его женой все кончено. Давай сунем его под одеяло. Он — индеец: выживет, а тогда расскажет еще что-нибудь.

Когда они срезали с него одежду, на груди его обнаружились две незажившие ножевые раны, нанесенные умелой рукой.

3

— Я расскажу о том, что произошло, на свой манер; но вы меня поймете. Я начну сначала и расскажу о себе и о женщине, а потом о мужчине.

Человек с выдрами перешел поближе к печке, как делают все люди, которые долго были лишены огня и боятся, что дар Прометея может исчезнуть в любой момент. Мельмут Кид усилил огонь в жировой лампе и повернул ее так, чтобы свет ее падал на лицо рассказчика. Принс перегнулся всем корпусом через край койки и тоже стал слушать.

— Я — Наас, вождь и сын вождя, рожденный между закатом и восходом, среди темных волн, в отцовском умиаке. Всю ночь мужчины работали веслами, а женщины вычерпывали волны, заливавшие нас, и мы сражались с бурей. Соленая влага замерзала на груди моей матери, пока дыхание ее не прекратилось вместе с непогодой. Но я, — я возвысил свой голос над ветром и бурей… и остался в живых. Мы жили на Акатане…

— Где? — спросил Мельмут Кид.

— Акатан, что среди Алеутских островов, — Акатан, что позади Чигника, позади Кардалака, позади Унимака. Итак, я говорю, мы жили на Акатане, что лежит посреди моря, на краю света. Мы добывали из соленого моря рыбу, нерпу и выдру, и дома наши подпирали друг друга на скалистой полосе, между опушкой леса и желтой бухтой, где лежали наши каяки. Нас было

немного, и мир был очень мал. На востоке были чужие земли, острова, подобные Акатану. И мы думали, что весь свет — одни только острова, и были спокойны.

Я не походил на людей своего племени. В песке бухты валялись искалеченные мачты и покоробленные волнами планки такого судна, каких мой народ никогда не строил. И я помню, что на самой вершине острова стояла сосна, никогда раньше не росшая там, — гладкая, прямая и высокая. Говорили, что два человека взобрались на эту вышку, повертелись вокруг нее, и много дней наблюдали смену дня и ночи. Эти два вышли из моря на той лодке, куски которой валялись в бухте. Они были белы, как вы, и слабы, как дети, когда нерпа уходит и охотники возвращаются домой с пустыми руками. Я знаю об этом от старых мужчин и старых женщин, которые слышали это от своих отцов и матерей. Эти чужие белые люди сначала не могли освоиться с нашими обычаями. Но затем они окрепли от рыбы и тюленьего жира и стали жестоки. И они построили себе каждый по дому и взяли себе наших женщин; и со временем пошли у них дети. Так родился тот, кто стал отцом моего отца.

Я сказал уже — я не походил на свой народ,

потому что я носил в себе чужеземную кровь тех белых людей, которые вышли из моря. Говорят, что у нас были другие законы перед приходом этих людей; но белые были жестоки и воинственны и сражались с нашими людьми до тех пор, пока у нас не стало людей, которые бы осмелились биться с ними. Тогда они сделались вождями, отняли у нас наши старые законы и дали нам новые, и человек стал сыном своего отца, а не своей матери, как было у нас в обычае. И они постановили также, чтобы первородный сын получал все, чем владел его отец, а остальные братья и сестры должны были сами зарабатывать, чтобы не умереть. И дали нам еще другие законы. Они показали нам новые способы ловить рыбу и убивать медведей, живущих глубоко в лесу, и научили нас откладывать большие запасы на случай голода. И все это было хорошо.

Но когда они стали вождями и уже не было людей, которые могли бы противостоять их гневу, тогда начали они, эти странные белые люди, сражаться друг с другом. И тот, чью кровь я ношу в себе, всадил свое длинное копье на глубину руки в тело другого. Их дети возобновили бой, и дети их детей; и была между ними большая ненависть и много черных дел еще и в мое время,

так что в каждой семье оставалось только по одному человеку, чтобы передать дальше кровь тех, что жили до него. В моем роду я был один; от другого человека оставалась только девушка, Унга, которая жила со своей матерью. Ее отец и мой отец однажды ночью, оба, не вернулись с рыбной ловли; но после они были выброшены на берег большим приливом и крепко держали друг друга в объятиях.

Народ удивился, так как была вражда между обоими домами, и старики качали головами и говорили, что вражда будет продолжаться, если от нее родятся дети и от меня родятся дети. Они твердили мне это еще в детстве, до тех пор, пока я не поверил и не стал смотреть на Унгу как на врага: ведь она должна была стать матерью детей, которые будут враждовать с моими детьми. Я думал об этом изо дня в день, и когда дорос до отроческих лет, начал спрашивать, почему это должно быть так. А они отвечали: «Мы не знаем, но так поступали ваши отцы». А я удивлялся, почему же те, что придут, должны продолжать вражду уже отошедших, и не мог найти в этом смысла. Но народ говорил, что это должно быть так, а я был только отроком.

И еще они говорили, что я должен спешить,

чтобы моя кровь была старше и окрепла прежде ее крови. Это было легко, так как я был вождем, и народ смотрел на меня снизу вверх благодаря деяниям и законам моих отцов и богатству, которым я владел.

Любая девушка пришла бы ко мне, но я не находил ни одной по сердцу. А старики и матери советовали мне торопиться, так как в это время охотники уже предлагали большую плату за Унгу, а если ее дети окрепнут раньше моих, то мои наверно умрут.

Но я все не находил девушки — вплоть до одной ночи, когда я возвращался с рыбной ловли. Солнце светило вот так низко и прямо в глаза; ветер гулял на свободе, и каяки бежали вперегонку с белыми гребнями. Как вдруг каяк Унги перегнал меня, и она поглядела на меня вот так, а ее черные волосы развевались, как ночная туча, и щеки были влажны от брызг. Как сказано, солнце светило прямо в глаза, а я был еще отроком. Но каким-то образом мне все стало ясно, и я понял, что это кровь призывает кровь. Когда она пронеслась вперед, то на расстоянии двух ударов весел она оглянулась — поглядела так, как только эта женщина, Унга, умела глядеть, — и я опять понял, что это был призыв крови. Народ закричал, когда

мы обогнали ленивые умиаки и оставили их далеко за собой. Но она быстро работала веслами, а мое сердце было как надутое брюхо паруса, и я не мог ее обогнать. Ветер становился все свежее, море все белело, и, прыгая, как тюлени, с наветренной стороны корабля, мы неслись по золотой тропинке солнца.

Наас нагнулся так, что едва не соскользнул со стула, — в позе гребца, мысленно снова переживая гонку. Где-то там, сквозь печку, видел он подпрыгивающий каяк и развевающиеся косы Унги. Голос ветра звенел у него в ушах, и запах соли освежил ноздри.

— Но она пристала к берегу и, смеясь, бежала по песку к дому своей матери. И великая мысль пришла мне в ту ночь — мысль, достойная того, кто был вождем всего акатанского народа. Поэтому, когда взошла луна, я спустился к дому ее матери и поглядел на богатства Яш-Нуша, нагроможденные перед дверью, — богатства Яш-Нуша, сильного охотника, который задумал стать отцом детей Унги. Другие молодые люди тоже сваливали там свои богатства — и затем убирали их снова; и каждый юноша приносил большую кучу, чем предыдущий.

Я же улыбнулся луне и звездам и пошел к

своему дому, где было сложено мое добро. И я нагромождал свои богатства, пока моя куча не стала на все пальцы руки выше, чем куча Яш-Нуша. Здесь была рыба, вяленая на солнце и прокопченная, и сорок тюленьих шкур, и двадцать мехов (каждая шкура была завязана у морды и туго наполнена жиром), и еще шкуры медведей, которых я убивал в лесу, когда они по весне выходили из берлог. Были тут бусы и одеяла, и красные одежды, которые я выменял у народов, живших на Востоке. И я глядел на кучу Яш-Нуша и смеялся, ибо я был вождь на Акатане, и мое богатство было больше, чем богатство всех юношей, а мои отцы совершали подвиги и давали законы и на вечные времена вложили свое имя в уста народа.

И вот, когда настало утро, я спустился к бухте, поглядывая краем ока на дом матери Унги. Мой дар еще стоял нетронутым. А женщины улыбались и говорили друг другу хитрые слова. Я удивлялся, потому что такой цены никто до сих пор не предлагал, а ночью я увеличил груду и рядом с нею положил каяк из хорошо выдубленных шкур; каяк этот никогда еще не плавал по морю. Но днем он был на месте, на посмешище всем мужчинам. Мать Унги была лукава, а я рассердился — ведь позор покрыл меня перед всем

моим народом. Итак, в эту ночь я прибавил еще, пока куча не стала огромной, и втащил на нее мой умиак. А стоил он целых двадцати каяков. И на утро груды уже не было.

Тогда я стал готовиться к свадьбе, и даже народ, живший на Востоке, прибыл на пир, когда был дан знак потлача. Унга была старше меня на четыре солнца по нашему летосчислению. Я был только отроком, но я был вождем и сыном вождя, а остальное неважно.

Но какой-то корабль показал свои паруса над гладью океана и становился все больше, по мере дыхания ветра. С его желобов стекала прозрачная вода, а люди суетились и упорно работали у насосов. На носу стоял могучий человек, следивший за глубиной воды и отдававший приказания громовым голосом. Глаза его были бледно-голубого цвета глубоких вод, а на голове — грива, как у морского льва. Волосы же его были желты, как солома на юге, или льняные веревки, которые плетут корабельщики.

В последние годы мы издали видали корабли, но это был первый, зашедший в Акатанскую бухту. Праздник прервался, женщины и дети разбежались по домам, а мы, мужчины, натянули свои луки и ждали с копьями в руках. Но когда пе-

редние лапы судна нащупали бухту, чужие люди не обратили на нас внимания и занялись своим делом. Когда прилив кончился, они накренили шхуну и зачинили большую пробоину на ее дне. Поэтому женщины снова выползли из домов, и пир продолжался.

Когда прибой опять начался, чужеземцы спустили шхуну в глубокую воду и затем присоединились к нам. Они принесли подарки и вели себя дружелюбно, поэтому я дал им место на пиру и от широты своего сердца предложил им дары, какие дарил всем гостям, ибо это был день моей свадьбы, а я был вождем на Акатане.

Тот, с гривой морского льва, был тоже здесь — такой высокий и сильный, что каждый ждал, не затрясется ли земля от его шагов. Он долго, не отрывая глаз, смотрел на Унгу, со скрещенными руками — вот так — и оставался с нами, пока солнце не ушло и не пришли звезды. Затем он спустился вниз, к своему кораблю. После этого я взял Унгу за руку и повел ее в свой дом. И там началось пение и великий смех, а женщины говорили хитрые слова, по обычаю женщин в такое время. Но мы не обращали внимания. Затем народ оставил нас одних и разошелся по домам.

Еще не смолк последний шум, когда вождь

чужеземцев вошел в дверь. У них были черные бутылки. Мы пили из них и развеселились. Вы понимаете, я был только отроком и прожил всю жизнь на краю света. Поэтому кровь стала, как огонь, а сердце сделалось легким, словно пена, летящая с волны на утесы. Унга сидела молча в углу среди шкур, с расширенными глазами, как кажется, от страха. А тот, с гривой морского льва, глядел на нее и долго не отрывал глаз. Затем вошли его люди с тюками товаров, и он нагромоздил передо мною такое богатство, какого не было на всем Акатане. Тут были ружья, большие и малые, порох и заряды, и раковины, и блестящие топоры, и стальные ножи, и хитрые орудия, и странные вещи, подобных которым я никогда не видел.

Когда он знаками показал мне, что все это — мое, я решил, что он великий человек, раз такой щедрый. Но он также показал мне, что Унга должна уйти с ним на его корабль. Вы понимаете? Унга должна была уйти с ним на его корабль! Кровь моих отцов вдруг закипела во мне, и я хотел пронзить его своим копьем. Но дух, сидевший в бутылках, украл силу у моих рук, и он схватил меня за шею — вот так, и ударил головой о стену дома. И я ослабел, как новорожденный ребенок,

и мои ноги не захотели больше меня держать. Унга закричала, когда он потащил ее к двери, и цеплялась руками за все вещи в доме, пока они все на нас не упали. Затем он взял ее на свои большие руки, а когда она дергала его за желтые волосы, он смеялся, как смеется самец нерпы во время течки.

Я пополз к бухте и стал созывать свой народ. Но народ боялся. Только Яш-Нуш был мужчиной, а они били его веслом по голове, пока он не упал лицом в песок и больше не двигался. И они подняли паруса под звуки своих песен, и корабль отплыл вдоль по ветру.

Народ говорил, что это хорошо, потому что не будет больше борьбы кровей на Акатане, но я не говорил ни слова, выжидая полнолуния; тогда я нагрузил свой каяк рыбой и жиром и ушел на восток.

Я видел много островов и много народов, и я, живший на краю света, узнал, что свет очень велик. Я говорил знаками, но они не видели ни шхуны, ни человека с гривою морского льва, и все время указывали на восток. И я спал в неудобных местах, и ел противную пищу, и встречался со странными людьми. Многие смеялись, потому что считали меня пустоголовым; но иногда

старые люди поворачивали мое лицо к свету и благословляли меня, а очи молодых женщин становились мягкими, когда они расспрашивали меня о чужом корабле и об Унге, и о людях с моря.

Таким путем, через грозные моря и великие бури, прибыл я в Уналаску. Там я увидел две шхуны, но ни одна из них не была той, которую я искал. Поэтому я переправился на восток, а свет становился все обширнее. И на острове Упамоке не было никакой речи о корабле, и на Кадиаке, и на Атогнаке. И так я попал однажды в скалистую землю, где люди выдалбливали в горе большие пещеры. Там была и шхуна, но не та, какую я искал, и люди нагружали ее камнями, которые они выламывали. Это мне казалось ребячеством, потому что весь свет сделан из камня; но они дали мне пищу и поставили на работу. Когда шхуна сидела глубоко в воде, капитан дал мне денег и велел уходить.

Я спросил, куда они едут, и он указал на юг. Я сделал знак, что хочу ехать с ними; он сперва посмеялся, но потом, так как людей не хватало, взял меня для помощи при корабельных работах. Так научился я говорить по-ихнему, и натягивать канаты, и сворачивать тугие паруса при внезап-

ных шквалах, и отбывать свою смену у рулевого колеса. Но это не было мне чуждо, потому что кровь моих отцов была кровью мореходцев.

Я думал, что будет легко найти того, кого я искал, раз уж я попал к его собственному народу; но когда мы однажды подъехали к берегу и плыли через узкий проход в порт, я увидел почти столько же шхун, сколько у меня пальцев на руках. Другие корабли стояли у пристаней на протяжении нескольких миль, скученные, как мелкие рыбки; а когда я пошел мимо них, расспрашивая о человеке с гривой морского льва, они смеялись и отвечали мне на языках многих народов. И я узнал, что они прибыли из самых далеких стран.

И я пошел в город и начал смотреть в лицо каждого человека, но они были подобны треске, косяком идущей вдоль берега, и я не мог счесть их. И шум донимал меня до тех пор, пока я вовсе перестал слышать, и голова у меня закружилась от большого движения. Так шел я все дальше и дальше по землям, которые обжигали горячие лучи солнца, где богатые жатвы лежали на полях, где большие города были полны мужчинами, живущими, как женщины, с лживыми речами в устах и с сердцами, черными от жажды золота. А в это время мой народ на Акатане охотился и ло-

вил рыбу и был счастлив от мысли, что свет мал.

Но взгляд очей Унги, возвращавшейся с рыбной ловли, всегда был со мной, и я знал, что найду ее, когда придет мое время. Она шла предо мной по тропинкам сквозь вечернюю мглу или увлекала меня за собою по тучным полям, влажным от утренних рос; а глаза ее обещали так много, как может обещать только Унга — женщина.

Так обошел я тысячи городов. Иные люди были добры и давали мне пищу, иные смеялись, а иные ругали. Но я держал язык за зубами и шел по странным дорогам, и видел странные вещи. Порой я, вождь и сын вождя, работал на людей — людей с грубой речью и твердых как сталь, которые выжимали золото из пота и горя своих ближних. И все же ни слова не узнал я о том, что искал, пока не вернулся назад к морю, как тюлень к скалистому островку. Но то был другой порт, в другой стране, лежавшей к северу. И здесь я услыхал смутные рассказы о желтоволосом мореходце и узнал, что он — охотник за тюленями и что он уплыл в то время в океан.

Тогда я нанялся на тюленью шхуну вместе с ленивыми сивашами и поплыл по его непроторенному следу к северу, где охота была во всем разгаре. Мы провели в дороге много уто-

мительных месяцев и говорили со многими корабельщиками и много слышали о диких поступках того, кого я искал, но ни разу не повстречали его на море. Мы направились к северу, вплоть до островов Прибылова, и убивали тюленей в бухте целыми стадами, и втаскивали их теплые тела на корабль, пока по нашим желобам не заструились сало и кровь, и ни один человек не мог оставаться на палубе. Потом погнался за нами корабль, который стрелял в нас из больших пушек. Но мы все натягивали паруса, пока море не залило и не вымыло дочиста нашу палубу и мы не скрылись в тумане.

Говорили, что пока мы убегали со страхом в сердце, желтоволосый мореходец пристал к Прибыловым островам, прямо к фактории, а пока часть его людей справлялась со служащими Компании, остальные выгрузили со складов десять тысяч свежих шкур. Я говорю, что это слух, но я ему верю, ибо в то время, когда я странствовал по берегу, ни разу его не встречая, северные моря были полны рассказов о его необузданности и отваге, пока все три народа, чьи земли находятся в тех краях, не стали рыскать за ним на своих кораблях. И я слышал также об Унге, потому что капитаны громко восхваляли ее, и она постоянно

была с ним. Она переняла обычаи его народа, говорили они, и была счастлива. Но я знал лучше — знал, что ее сердце стремится назад к ее собственному народу у желтой бухты на Акатане.

Итак, прошло много времени, когда я вернулся к гавани, которая лежит у узкого прохода. Там я узнал: он пересек пояс великого океана, чтобы охотиться за нерпой на восток от теплой земли, что тянется к югу от русских морей. И я, успевший стать моряком, сел на корабль с людьми его племени и поехал вслед за ним на охоту за нерпой. И здесь было несколько кораблей с этой новой земли. Но мы взяли стадо тюленей с фланга и гнали его к северу в течение всей весны того года. А когда самки понесли плод и пересекали русские воды, наши люди стали роптать и очень боялись. Ибо там был туман, и каждый день люди пропадали со шлюпок. Они не хотели работать; поэтому капитан повернул корабль назад, по тому же пути, по которому приплыл.

Но я знал, что желтоволосый мореходец был бесстрашен и что он не отстанет от стада даже до русских островов, куда мало кто решается заходить. Поэтому я взял челнок и темной ночью, когда вахтенный прикорнул на фок-мачте, поплыл один к теплой, длинной земле. И я пошел

на юг, чтобы в заливе Иеддо встретить людей, необузданных и бесстрашных. И девушки в Иошиваре были малы и блестящи как сталь, и приятно было на них смотреть; но я не мог остановиться, так как знал, что Унга плывет у скалистых островов Севера.

Люди в заливе Иеддо сошлись со всех концов земли и не имели ни добра ни двора, а плавали под японским флагом. И с ними я поплыл в богатые бухты Медного острова, где наши солильни наполнялись шкурами. И в этом спокойном море мы не встретили людей, пока не были готовы к отплытию.

И вот однажды туман рассеялся от резкого ветра, и мы увидели, что на нас несется шхуна, а прямо за нею, в ее кильватере, дымящиеся трубы русского военного судна. Мы стали убегать по ветру, а шхуна подходила все ближе, подвигаясь на три фута в то время, как мы делали два. А на корме ее стоял человек с гривою морского льва и смеялся от избытка своей жизненной силы. И Унга была тут — я сразу узнал ее, но он послал ее вниз, когда над поверхностью моря заговорили пушки. Как я уже сказал, они делали три фута против наших двух, пока мы не увидели их зеленого руля, поднимавшегося при каждом прыжке. А я

стоял, шатаясь, у рулевого колеса и, обращенный спиной к русским пушкам, посылал проклятия. Ибо мы знали, что он хочет обогнать нас, чтобы удрать, пока нас поймают. И те сбивали наши мачты, пока мы не стали носиться по воле ветра, как раненая чайка. А он ушел за полосу горизонта — он и Унга.

Что могли мы сказать? Свежие шкуры сами за себя говорили. Поэтому они повезли нас в русский порт, а затем в глухую местность, где заставили нас работать в соляных копях. И некоторые умерли, а некоторые… не умерли.

Наас стянул одеяло со своих плеч, обнаруживая рубцеватую и корявую кожу, отмеченную легко узнаваемыми следами кнута. Принс поспешно прикрыл его, ибо смотреть на это было не очень приятно.

— Тяжело было нам жить там; иногда люди убегали на юг, но всегда возвращались. Поэтому, когда мы, пришедшие из Иеддо, поднялись ночью и отняли у стражи ружья, — мы двинулись на север. И земля эта была очень обширна, с равнинами, окруженными водой, и большими лесами. И пришли холода, и почва покрылась снегом, а никто из людей не знал дороги. Много утомительных месяцев мы странствовали по бескрайнему

лесу… Я теперь уже не помню, потому что пищи было мало, и мы часто ложились, чтобы умереть. Наконец мы дошли до холодного моря, но только троим из нас довелось взглянуть на него. Один, выехавший из Иеддо, был капитаном, и он знал наизусть расположение больших земель и того места, где люди могут переправляться из одной земли в другую по льду. И он повел нас… я не знаю как… это продолжалось так долго… пока осталось только двое. Когда же мы пришли к тому месту, то нашли пятерых из того чужого народа, который живет в той местности, и у них были собаки и шкуры; а мы были очень бедны. Мы сражались в снегу до тех пор, пока они умерли и капитан умер, а шкуры и собаки стали моими. Тогда я перебрался по льду, который уже вскрывался, и некоторое время плавал на льдине, пока западный ветер не вынес меня к берегу. Затем — залив Головина, Пэстилик и священник… А там — на юг, на юг, к теплым солнечным странам, где я странствовал раньше.

Но море больше не приносило выгоды, и те, кто плавал за нерпой, получали мало прибыли при большом риске. Команды рассеялись; капитаны и матросы больше не говорили ничего о тех, кого я искал. Поэтому я удалился от океана,

никогда не отдыхающего, и остался на суше, где деревья, дома и горы всегда сидят на одном месте и не двигаются. Я путешествовал далеко и узнал много вещей и даже способ писать и читать по книгам. Это хорошо, что я так делал, так как мне думалось, что Унга, должно быть, знает все это, и что я когда-нибудь, когда придет время… мы… вы понимаете… когда придет время.

Так я блуждал, как те маленькие рыбки, которые распускают парус по ветру, но не могут управлять рулем. Мои глаза и уши всегда были открыты, и я бывал среди людей, которые много путешествуют, ибо я знал, что им стоило только увидеть тех, кого я искал, чтобы сохранить их в памяти.

Под конец пришел человек, только что сошедший с гор, с обломками скалы, в которых золото лежало кусками величиной с горошины. И он слышал, он встречал, он знал их. Они были богаты, говорил он, и жили в том месте, где вытаскивали золото из земли.

Это было в дикой стране и очень далеко; но со временем я пришел в лагерь, скрытый между гор, где люди работали день и ночь, далеко от взгляда солнца. И все же время еще не пришло.

Я прислушивался к разговорам. Он уехал — они

уехали, как говорили, в Англию, чтобы объединить людей с большими деньгами — образовать компанию. Я видел дом, в котором они жили; он больше походил на старый замок. Ночью я влез через окно, чтобы видеть, как он с ней обращается. Я ходил из комнаты в комнату, и мне казалось, что так должны жить короли и королевы — так все было хорошо. И все они говорили, что он обращается с нею, как с королевой, а многие недоумевали, из какого же она племени, потому что в жилах ее текла другая кровь и она отличалась от акатанских женщин; но никто не знал, кто же она. Да, она была королевой. Но я был вождем и сыном вождя, и я заплатил за нее несчетнное количество шкур, лодок и бус.

Но зачем столько слов? Я был моряк и знал пути кораблей по морю. Я последовал за ними в Англию и затем в другие страны. Иногда я слышал о них рассказы, иногда читал в газетах. Но ни разу я не мог приблизиться к ним, потому что у них было много денег, и они ездили быстро, а я был беден. Затем их постигла неудача, и богатство ускользнуло от них, как завитушка дыма. Газеты в то время были полны этим; но потом о них уже ничего не стало слышно, и я узнал, что они вернулись туда, где еще можно было добывать

золото из земли.

Они были выброшены из мира, ибо теперь были бедны. Так странствовал я от лагеря к лагерю на север, до самого Кутенэ, где напал на след: они приходили и уходили, одни говорили — туда, другие — сюда; наконец, третьи сказали, что они пошли к побережьям Юкона. И я пошел по той и той дороге, все время переходя с места на место, так что, казалось, мне должен надоесть мир, который так велик. Но в Кутенэ я шел с одним метисом из северо-западных земель по скверной тропе, по длинной тропе… Метис был близок к смерти, когда настала голодовка. Он прежде ходил на Юкон по неизвестному пути через горы, и когда почувствовал, что его час приближается, он дал мне карту и открыл тайну одного места, и поклялся своими богами, что там много золота.

Затем люди толпами потянулись на север. Я был бедным человеком, я продал себя в погонщики собак. Остальное вы знаете. Я встретил его и ее в Даусоне. Она не узнала меня, ибо я в те времена был отроком, а ее жизнь с тех пор была такова, что у нее не было времени вспоминать о том, кто заплатил за нее неслыханную цену.

Ну, хорошо. Вы выкупили меня со службы. Я вернулся, чтобы повести дело по-своему. Ибо я

долго ждал, и теперь, когда он был у меня в руках, мне было не к спеху. Как сказано, я имел в виду повести дело по-своему, так как я перечитывал свою жизнь и вспоминал холод и голод в бесконечном лесу у русских морей. Как вы знаете, я повел его на восток — его и Унгу — на восток, куда многие уходили, но откуда мало кто возвращался. Я повел его на урочище, где кости и проклятия людей лежат подле золота, которое им не досталось.

Путь был долог, и тропа не протоптана. Наши собаки были многочисленны и много ели. И сани наши не могли служить нам после наступления весны. Мы должны были вернуться раньше, чем тронется река. Поэтому мы то там, то тут зарывали припасы, чтобы облегчить свои санки и устранить опасность голодовки на обратном пути. В Мэк-Квестшене было три человека, и около них мы устроили кладовую; так же мы поступили в Майо, где помещался охотничий лагерь с дюжиной жителей Пелли, перебравшихся через горы с юга. После этого, идя все дальше на восток, мы уже не встречали людей. Только спящая река, неподвижный лес и Белое Безмолвие Севера.

Как сказано, путь был долог, и тропа не протоптана. Иногда мы делали не более восьми или

десяти миль в день, а ночью спали как убитые. И ни разу им не пришло в голову, что я — Наас, вождь Акатана, судья беззаконных.

Теперь мы рыли маленькие ямы для провианта, и легко было ночью возвращаться по протоптанному следу и менять их место так, что можно было подумать, будто припасы расхищены росомахами. Затем еще есть места, где река образует пороги: там вода своевольна и сносит лед, и съедает его ниже по течению. На таком месте сани, которые я вел, провалились, и собаки тоже; а он и Унга думали, что это несчастный случай — и ничего больше. А на санках было много провизии; там же были самые сильные собаки. Но он смеялся, так как жизнь в нем была сильна, и давал мало пищи остальным псам, пока нам не пришлось вырезать их из упряжки одного за другим, и кормить ими их же товарищей. «Мы пойдем домой налегке, — говорил он, — переходя от ямы к яме без саней и собак». Это было правильно, так как провизия у нас почти истощилась, и последняя собака издохла в упряжке в ту самую ночь, когда мы добрались до золота и до человеческих костей и проклятий.

Чтобы достигнуть этого места — карта говорила правду — в сердце великих гор, — мы должны

были выдалбливать во льду ступени по отвесной скале. Мы искали позади ее долину, но долины не было. Снег расстилался далеко — гладкий, как большие хлебородные равнины, и повсюду вокруг нас могучие горы просовывали свои белые главы между звездами. И в середине этого странного плоскогорья, которое должно было быть долиной, земля и снег круто спускались вниз, к самому сердцу земли. Если бы мы не были моряками, наши головы закружились бы; но мы стояли на краю бездны и искали способа спуститься в нее. И вот, с одной стороны — с одной только стороны, стена обвалилась так, что спуск походил на наклон палубы во время кормовой качки. Я не знаю, почему это случилось, но это было так.

«Это пасть ада, — сказал он. — Давайте спустимся вниз».

И мы спустились. А на дне оказалась хижина, построенная каким-то человеком, из бревен, которые он накидал туда сверху. Это была очень старая хижина; люди умирали в ней поодиночке в разные времена, и на кусках березовой коры, которые валялись там, мы прочитали их последние слова и проклятия. Один умер от цинги; у другого товарищ похитил последнюю пищу и порох и

тайно бежал; третий был изувечен лысомордым медведем; четвертый охотился за добычей и умер с голоду и т. д. Они не хотели покинуть золота — и умерли подле него. А бесценное золото, которое они собрали, желтело на полу хижины, словно в волшебном сновидении.

Но душа у него была тверда и разум ясен — у того человека, которого я завел так далеко. «У нас нечего есть, — сказал он, — мы только посмотрим на это золото, откуда оно берется и много ли его здесь. Затем мы быстро уйдем, раньше чем оно ослепит нас и украдет разум. Таким образом, мы сумеем когда-нибудь вернуться сюда с большим запасом пищи и завладеть всем».

Поэтому мы осмотрели большую жилу, проходившую по стене колодца, как подобает настоящей жиле; и мы измерили ее, и проследили ее сверху донизу, и всадили вехи для заявки, и пометили их в знак нашего права. Тогда, с коленями, дрожащими от голода, со слабостью в желудках и с сердцами, готовыми выпрыгнуть через рот, вскарабкались мы в последний раз по отвесной стене и повернули обратно.

На последнем перегоне мы волокли Унгу и часто падали, но, наконец, достигли ямы с провизией. И вот… там провизии не было. Это было

ловко сделано, потому что он подумал, что это росомахи; и он проклял их и своих богов. Но Унга была смела и положила свою руку в его, так что я отвернулся, чтобы сдержать свое сердце. «Мы отдохнем у костра, — сказала она, — до утра, и наберем силы из своих мокасинов». Поэтому мы разрезали верхние края наших мокасинов на узкие полоски и варили их полночи, чтобы разжевать и проглотить их. А наутро мы заговорили о нашей судьбе. Ближайшая яма была в пяти днях пути. Мы не могли до нее добраться. Нам нужно было найти добычу.

«Мы пойдем на охоту», — сказал он.

«Да, — сказал я, — мы пойдем на охоту».

И он решил, чтобы Унга оставалась у костра и берегла силы. И мы ушли: он — на поиски оленя, а я — к тому месту, куда я перенес провизию. Но я ел мало, чтобы они не заметили во мне большой силы. А к вечеру он много раз падал по пути в лагерь. А я притворялся, что очень страдаю от усталости, спотыкаясь на своих лыжах, точно каждый шаг был моим последним шагом. И мы набирались силы у своих мокасинов.

Он был великий человек. Его душа поддерживала его тело до последнего часа. И он не плакал громко, разве только о судьбе Унги.

На второй день я последовал за ним, чтобы не пропустить конца. Он часто ложился отдыхать. В ту ночь он чуть не умер; но наутро слабо выругался и снова вышел на охоту. Он был будто пьяный. Я внимательно наблюдал за ним, ожидая, что он сдастся. Но у него была сила сильного, и душа его была душой великана, потому что она поддерживала его тело в течение этого изнурительного дня. Он застрелил двух птармиганов, но не захотел их есть. Огня не требовалось; они и так давали жизнь; но он думал об Унге, и повернул к лагерю.

Он уже не шел, а полз по снегу на руках и коленях. Я подошел к нему и прочитал смерть в его глазах. Он бросил ружье и понес птицу в зубах, как собака. Я шел рядом с ним на ногах. И он смотрел на меня в минуты отдыха и удивлялся, что я так силен. Я видел это, хотя он уже не разговаривал, а когда его губы двигались, они двигались беззвучно.

Как сказано, он был великий человек, в сердце моем была жалость, но я перечитывал свою жизнь и вспоминал холод и голод в бесконечном лесу у русских морей. А кроме того, Унга была моей, и я заплатил за нее неслыханную цену шкурами, лодками и бусами.

Так прошли мы через белый лес, а Безмолвие тяжело налегало на нас, как мутный морской туман. И духи прошлого носились над нами в воздухе; и я увидел желтую бухту на Атакане, и каяки, вперегонку возвращавшиеся с рыбной ловли, и дома на опушке леса. И люди, сделавшиеся вождями, были тут законодатели, кровь которых я носил в себе и с кровью которых я обвенчался с Унгой. Да, и Яш-Нуш шел подле меня, с влажным песком в волосах, и в руках у него все еще было боевое копье, которое сломалось, когда он упал. И я понял, что время пришло, и увидел обещание в глазах Унги.

Как сказано, мы шли таким образом по лесу, пока дымный запах костра не ударил нам в ноздри. И я склонился к нему и вырвал птармиганов из его рта. Он повернулся на бок и стал отдыхать, а рука, на которой он лежал, медленно поползла к ножу, висевшему на бедре. Но я отнял у него нож, улыбаясь ему в лицо. Даже тогда он не понял. Тогда я стал представлять, точно я пью из черных бутылок и нагромождаю на снегу кучу всякого добра, и переживал снова все, что произошло в мою брачную ночь. Я не говорил ни слова, но он понял. И все-таки он не испугался. На губах его появилась усмешка холодного гнева, и он снова

собрал свои силы, когда узнал об этом. Было уже недалеко, но снег был глубок, и он тащился очень медленно. Однажды он так долго лежал, что я перевернул его и посмотрел ему в глаза. Иногда в них светилась жизнь, а иногда — смерть. А когда я отпускал его, он снова полз. Так мы пришли к костру.

Унга тотчас же прильнула к нему. Его губы двигались беззвучно, затем он указал на меня, чтобы Унга могла понять. А после этого он долгое время лежал на снегу очень тихо. И до сих пор он там, на снегу.

Я не говорил ни слова, пока не зажарил птармиганов. Тогда я заговорил с ней на ее родном языке, которого она не слыхала много лет. Она выпрямилась — вот так, — и ее глаза расширились от удивления. И она спросила, кто я такой и где научился этому говору.

«Я — Наас», — сказал я.

«Ты? — спросила она. — Ты?» — и подползла близко, чтобы взглянуть на меня.

«Да, — отвечал я. — Я — Наас, вождь Акатана, последний в моем роду, как ты — последняя в твоем».

И она засмеялась. Клянусь всем, что я перевидал, и подвигами, которые я совершил, я не хотел

бы вторично услышать такой смех. Он вгонял озноб в мою душу, когда я сидел там, в Белом Безмолвии, наедине со смертью и с женщиной, которая смеялась.

«Подойди, — сказал я, так как думал, что она помешалась. — Поешь этой пищи и двинемся в путь. Отсюда далеко идти до Акатана».

Но она спрятала лицо в его желтой гриве и смеялась так, что, казалось, небеса не могли вынести этого смеха. Я думал, что она обрадуется при виде меня, и поспешил вернуться к воспоминаниям прежних дней; но выходило как-то не так. «Пойдем, — крикнул я, с силой схватив ее за руку. — Путь далек и мрачен. Поспешим».

«Куда?» — спросила она, садясь и переставая смеяться. «На Акатан», — ответил я, ожидая, что лицо ее прояснится при мысли об этом. Но оно сделалось похожим на его лицо — со своей усмешкой холодного гнева.

«Да, — сказала она, — мы пойдем рука об руку на Акатан, ты и я. И будем жить в грязных хижинах и есть рыбу и сало, и наплодим целый выводок — выводок, которым мы будем гордиться все дни нашей жизни. Мы позабудем обо всем мире и будем счастливы, очень счастливы. Это хорошо, очень хорошо. Идем! Поспешим! Идем

назад на Акатан».

И она провела рукой по его желтым волосам и улыбнулась нехорошей улыбкой. И в глазах ее не было обещания.

Я сидел молча и удивлялся странности женщин. Я вернулся к той ночи, когда он оттаскивал ее от меня, а она кричала и дергала его за волосы — за волосы, с которыми она сейчас играла и не хотела расстаться. Тогда я вспомнил про выкуп, который дал за нее, и про долгие годы ожидания; и я обхватил ее крепко и потащил ее от него так же, как он сделал тогда. Но она упиралась так же, как в ту ночь, и боролась, как кошка за своего котенка. А когда костер был между нами и им, я отпустил ее, и она села и начала слушать. И я рассказал ей обо всем, что было в промежутках, обо всем, что случилось со мной в чужих морях, обо всем, что совершил я в чужих землях, обо всех моих поисках и голодных годах и об обещании, которое я носил в себе с самого начала. Да, я рассказал ей все, даже то, что произошло между мной и этим человеком в тот самый день и во дни еще недавние. И пока я говорил, я видел, как в глазах у нее нарастает обещание, яркое и большое, как наступление зари. И я прочел в них жалость и женскую нежность, любовь, сердце и

душу Унги. И я снова был отроком, потому что ее взгляд был взглядом Унги, когда она бежала со смехом от бухты к дому своей матери. И не стало жестокого беспокойства и голода и ожидания. Время пришло. Я почувствовал призыв ее груди, и казалось, что я должен прислониться к ней головой и позабыть обо всем. Она раскрыла мне свои объятия, и я прижался к ней.

Затем вдруг гнев вспыхнул в ее очах; рука ее была у моего бедра. И раз, и другой она ударила ножом.

«Пес! — засмеялась она и бросила меня в снег. — Свинья!» А затем стала смеяться, пока не послышался треск Безмолвия, и пошла к своему мертвецу.

Как я сказал, она ударила ножом раз и другой, но она была слаба от голода, и мне не суждено было умереть. И все же я намеревался остаться на месте и смежить глаза в последнем сне вместе с теми, чьи жизни пересеклись с моею и повели мои ноги по неведомым тропам. Но на мне лежал долг, который не позволял мне отдохнуть.

А путь был далекий, мороз лютый, и мало пищи. Пелли не настреляли оленей и расхитили мою кладовую. Так же поступили и трое белых людей, но они лежали худые и мертвые в своей

хижине, когда я проходил мимо.

После этого я ничего не помню до того времени, пока не пришел сюда и не нашел пищи и огня — много огня.

Окончив рассказ, он пригнулся к печке совсем близко, как бы ревниво. Долгое время тени от жировой лампы разыгрывали трагедии на стене.

— А Унга? — вскричал Принс, весь еще под сильным впечатлением рассказа.

— Унга? Она не захотела есть птармиганов. Она лежала, обняв руками его шею, глубоко спрятав лицо в его желтые волосы. Я близко придвинул костер, чтобы она не чувствовала холода, но она отползла в другую сторону. Я и там развел костер. Правда, это мало помогло, потому что она не хотела есть. И вот так лежат они до сих пор, там, на снегу.

— А вы? — спросил Мельмут Кид.

— Я не знаю. Но Акатан — мал, и у меня нет желания вернуться и жить на краю света. Да и от жизни теперь мало толка. Я могу пойти к Константину; он закует меня в кандалы, и затем они натянут веревку — вот так — и я крепко засну. Впрочем… нет. Я не знаю…

— Но, Кид, — запротестовал Принс, — ведь это — убийство.

— Молчи! — закричал Мельмут Кид, — ибо есть вещи, которых нам не понять… Кто здесь прав, кто виноват, мы решить не в силах; и не нам их судить.

Наас еще ближе придвинулся к печке. Спустилось Великое Безмолвие, а видения перед глазами трех людей появлялись и исчезали.

ДЕТИ МОРОЗА

(сборник)



Сборник историй о жизни племен Аляски и Алеутских островов, суровых обычаях севера и появлении белого человека в исконно индейских землях.

В дебрях севера

Утомительный путь по чахлой тундре — и за последними зарослями в самом сердце Барренса[15] путник найдет обширные леса и ласково смеющуюся природу. Но мир только теперь начинает знакомиться с Севером. Из смельчаков, время от времени забирающихся в эти края, ни один не вернулся назад и не мог поведать миру обо всем, что видел.

Что ж! Барренс — это Барренс, бесплодная арктическая пустыня, мрачная, холодная родина мускусного быка и тощего полярного волка. Итак, Эвери Ван Брант увидел перед собой унылое безлесное пространство, едва одетое лишаями и мхом. Пробираясь к северу, он достиг областей, никем не обозначенных на карте, и очутился среди несказанно богатых хвойных лесов, населенных неведомыми племенами эскимосов. Ван Брант намеревался проникнуть в эти неисследованные области — к этому его влекло честолюбие, заполнить пустые места на карте условными обозначениями горных цепей, водных бассейнов

---

[15] Примечания: 15
Barren — бесплодный. *(Прим. ред.)*

и извилистыми линиями рек; он с восторгом представлял себе эти неведомые леса и селения туземцев.

Эвери Ван Брант, или — определяя полностью его общественное положение — профессор Геологического института Э. Ван Брант был помощником начальника экспедиции и с группой участников этой экспедиции прошел миль пятьсот вверх по притоку Телона.

Теперь он вел свой отряд в одно из необследованных туземных поселений. За ним тащились восемь человек — двое из них были из Канады, французы по происхождению, а остальные — стройные крисы из Манитобы. Он один был чистокровным англосаксом, и его горячая кровь бурлила, призывая следовать традициям расы. Клайв и Гастингс, Дрэк и Ралэй, Генгест и Горса витали в его памяти, как бы сопровождая его, и он торжествовал при мысли, что первым из людей своей расы он входит в это далекое северное селение; спутники заметили, что усталость его прошла, и он бессознательно ускорил шаг.

Все население деревни высыпало навстречу: впереди шли мужчины, угрожающе сжимая в руках луки и копья, за ними робко жались женщины и дети. Ван Брант поднял правую руку

— понятный всем народам знак мира. Жители селения ответили ему тем же. Но вдруг, к его досаде, от толпы отделился одетый в звериные шкуры человек и, протянув ему руку, сказал:

— Алло!

Человек этот зарос бородой, щеки и лоб его были покрыты бронзовым загаром, но Ван Брант сразу узнал в нем соплеменника.

— Кто вы? — спросил он, пожимая протянутую ему руку. — Андрэ?

— Кто это — Андрэ? — спросил в свою очередь незнакомец.

Ван Брант пристально поглядел на него:

— Черт побери, вы, должно быть, давно здесь?

— Пять лет, — ответил тот, и в глазах его блеснул гордый огонек. — Но что мы стоим, пойдемте, потолкуем.

— Пусть идут за мной, — ответил он на взгляд, брошенный Ван Брантом на свой отряд. — Старик Тантлач позаботится о них. Идемте!

Он повернулся и зашагал. Ван Брант следовал за ним. Шли они по селению. Обтянутые оленьими шкурами жилища располагались в причудливом беспорядке, в зависимости от неровностей почвы. Ван Брант оглядел опытным взглядом селение и сделал подсчет.

— Двести человек, не считая детей, — заметил он.

Спутник кивнул:

— Около этого. А вот и мое жилище. Я поставил его в стороне — это гораздо удобнее. Садитесь! Когда ваши люди приготовят еду, я с вами поем. Я забыл вкус чая… Пять лет его не видел… А табак у вас есть?.. Благодарю! И трубка? Чудесно! Теперь еще спичку, и посмотрим, потеряло ли курение свою прелесть.

Он старательно зажег спичку и оберегал пламя, словно оно было единственным на свете, затем втянул в себя дым. Задержав его на несколько мгновений, он, наслаждаясь, медленно выпустил его. Затем откинулся назад. Лицо его смягчилось, и глаза слегка затуманились Он глубоко вздохнул, ощущая безмерное блаженство:

— Замечательно! Прекрасная штука!

Ван Брант сочувственно кивнул:

— Пять лет, говорите?

— Да, пять лет. — Он снова вздохнул. — Вам, полагаю, хотелось бы узнать, как это я попал сюда, что со мной было, и все такое. Мне почти нечего рассказывать. Я отправился из Эдмонтона за мускусными быками и, как и Пайк с остальными ребятами, потерпел неудачу, потерял спутников

и все припасы. Приходилось голодать, бывало очень скверно — это уж как полагается, я ведь один остался изо всей партии, — пока я ползком не добрался сюда, к Тантлачу.

— Пять лет, — задумчиво бормотал Ван Брант, словно стараясь что-то припомнить.

— В феврале исполнилось пять лет. Я перешел Грэт Слэв очень рано, в мае…

— Значит вы… Фэрфакс? — прервал его Ван Брант.

Собеседник кивнул.

— Погодите… Джон — кажется, верно — Джон Фэрфакс?

— Как вы узнали? — лениво спросил Фэрфакс, пуская дым кольцами.

— Газеты были полны этим, когда Преванш…

— Преванш! — внезапно привскочил Фэрфакс. — Мы потеряли его в горах.

— Но он выбрался оттуда и спасся.

Фэрфакс снова откинулся и продолжал пускать кольца дыма.

— Рад слышать, — задумчиво сказал он. — Преванш был молодцом и никогда не думал об опасности. Вы говорите, он спасся? Что ж, я очень рад…

Пять лет… Эта мысль сверлила мозг Ван Бран-

та, и невольно перед ним возник образ Эмилии Саутвейс. Пять лет… Стая каких-то диких птиц пролетела низко над землей, но, заметив человеческое жилье, повернула на север и исчезла в лучах тлеющего солнца. Ван Брант хотел проследить их полет, но солнце слепило ему глаза. Он посмотрел на часы — было около часа ночи. Облака на севере пылали, и кроваво-красные лучи озаряли мрачные леса зловещим светом. Воздух был тих и неподвижен, и самые слабые звуки доносились с ясностью призывного сигнала. Крисы и путешественники-канадцы поддались чарам этой тишины и переговаривались между собой, понизив голос до шепота, а повар старался не шуметь котелком и сковородкой. Где-то плакал ребенок, и из глубины леса подобно серебряной нити тянулось заунывное женское причитание:

— О-о-о-о-о-а-аа-а-а-аа-а-а-о-о-о-о-а-аа-а-аа-а…

Ван Брант вздрогнул и зябко потер руки.

— И они считали меня погибшим? — медленно спросил его собеседник.

— Что ж… вы не возвращались, и ваши друзья…

— Скоро забыли, — Фэрфакс вызывающе рассмеялся.

— Почему вы не выбрались отсюда?

— Отчасти из-за нежелания, отчасти по не зависящим от меня обстоятельствам. Видите ли, Тантлач, когда я с ним познакомился, лежал здесь со сломанной ногой — сложный перелом кости, — и я привел его в надлежащий вид. Я здорово ослабел и мне требовался хороший отдых. Я был первым белым человеком в их краях. Естественно, им я показался очень мудрым. Я научил их разнообразным вещам. Между прочим, обучил их и военной тактике: они покорили четыре соседних селения и стали хозяевами этой страны. Они дорожили мной настолько, что, когда я отдохнул и хотел возвращаться, они и слышать об этом не хотели. Они оказались очень гостеприимными, приставили ко мне стражу, следившую за мной днем и ночью. Тантлач просил меня остаться, обещая щедрое вознаграждение, а так как мне в сущности было безразлично, где жить, я согласился.

— Я встречался с вашим братом в Фрейбурге. Мое имя — Ван Брант.

Фэрфакс подался вперед и пожал ему руку:

— Вы были другом Билли, да? Бедняга Билли! Он часто говорил мне о вас.

— Странное место встречи, не правда ли? — прибавил он, оглядывая окружающую обстановку

и прислушиваясь к заунывному причитанию женщины. — Ее мужа загрыз медведь, и она теперь горюет.

— Животная жизнь! — поморщился с отвращением Ван Брант. — После пяти лет такой жизни цивилизация покажется вам, верно, очень привлекательной. Что вы на это скажете, а?

На лице Фэрфакса выразилось полнейшее безразличие.

— Право, ничего не могу вам сказать. В сущности, они очень порядочные люди и живут по своему разумению. К тому же они поразительно искренни. Ничего сложного — простое чувство не дробится здесь на тысячу утонченных переживаний. Любовь, страх, ненависть, злоба и счастье — все здесь выражается просто и откровенно. Может быть, это животная жизнь, но живется легко. Кокетства и ухаживаний они не знают. Если вы понравились женщине, она вам это попросту скажет. Если она вас возненавидит, не постесняется об этом вам сообщить. Если вам хочется, вы можете ее побить, но все дело в том, что она ясно себе представляет, чего вы от нее хотите, а вы знаете, чего она хочет от вас. Ни ошибок, ни взаимных недоразумений. Это имеет свою прелесть после лихорадки цивилизации. Нет, жизнь здесь

очень приятна, — прибавил он, помолчав. — Мне лучшей не надо, и я здесь останусь.

Ван Брант задумчиво опустил голову, и по губам его пробежала едва заметная улыбка. Ни кокетства, ни ухаживаний, ни взаимных недоразумений! Видно, Фэрфакс не легко переживал то, что Эмилия Саутвейс по недоразумению попала в лапы медведя. А надо признаться, что Карлтон Саутвейс был недурным медведем!

— Но вы все-таки уйдете со мною, — уверенно заявил Ван Брант.

— Нет, не уйду.

— А я думаю, что уйдете.

— Жизнь здесь очень легка и приятна, — решительно повторил Фэрфакс. — Я понимаю всех, и все понимают меня. Лето сменяется зимой, времена года представляются пятнами света и тени — словно перед нами изгородь, через которую проникают солнечные лучи. Время идет, и жизнь проходит, а затем… поминки в лесу и полная тьма. Прислушайтесь!

Он поднял руку, — серебряная нить женской печали прорезала мертвую тишину. Фэрфакс тихо начал подпевать:

— О-о-о-о-о-о-а-аа-а-аа-а-аа-а-о-о-о-о-о-а-аа-а-аа-а…

— Вы слышите? Представляете себе, а? Опечаленных женщин, погребальные причитания, меня с белыми волосами патриарха? Я завернут в звериные шкуры. Мое охотничье копье со мной… Кто скажет, что это не прекрасный конец?

Ван Брант холодно поглядел на него.

— Фэрфакс, вы сошли с ума. За пять лет такой жизни всякий ошалеет, а вы сейчас находитесь в нездоровых, гибельных условиях. А кроме того — Карлтон Саутвейс умер.

Ван Брант набил трубку и закурил ее, исподтишка наблюдая за собеседником. Глаза Фэрфакса сверкнули, кулаки сжались, и он привстал, но затем его мускулы ослабли, он сел и задумался. Майкель — повар Ван Бранта — подал знак, что еда приготовлена. Ван Брант движением руки отложил трапезу. Молчание тяжело нависло над ними, и он медленно вдыхал лесные ароматы — запах болот и увядших трав, смолистый аромат сосновых шишек и игл и дым очагов. Фэрфакс дважды безмолвно поглядел на него, но затем не выдержал:

— А… Эмилия?..

— Вдова, вот уже три года.

Снова наступило долгое молчание, наконец Фэрфакс с простодушной улыбкой нарушил его:

— Полагаю, что вы правы, Ван Брант. Я уйду с вами.

— Я был уверен в этом. — Ван Брант положил руку ему на плечо. — Конечно, знать ничего нельзя, но я думаю — в ее положении… ей делали предложения…

— Когда вы двинетесь в путь? — прервал его Фэрфакс.

— Когда мои люди отоспятся. Кстати, пойдем-те-ка поедим, Майкель, верно, сердится.

После ужина, когда крисы и канадцы, завернувшись в одеяла, сладко храпели, двое мужчин сидели у тлеющего костра. Им надо было о многом переговорить — политика, войны, научные экспедиции, подвиги и деяния людей, общие друзья, браки, смерти, — словом, все события за пять лет представляли интерес для Фэрфакса.

— Итак, испанский флот был блокирован в Сант-Яго, — говорил Ван Брант, когда молодая женщина легко прошла перед ним и остановилась рядом с Фэрфаксом. Она быстро взглянула на Фэрфакса, затем перевела тревожный взгляд на Ван Бранта.

— Дочь вождя Тантлача, принцесса в своем роде, — пояснил, покраснев, Фэрфакс. — Одна из причин, побудивших меня остаться. Том, это Ван

Брант — мой друг.

Ван Брант протянул ей руку, но женщина не шевельнулась, сохраняя суровую неподвижность статуи, соответствующую всему ее облику. Ее черты не смягчились, ни один мускул ее лица не дрогнул. Она смотрела ему прямо в глаза проницательным, испытующим взором.

— Она ничего не понимает, — рассмеялся Фэрфакс. — Ей в первый раз приходится знакомиться с моими друзьями... На чем вы остановились? Ах да! Итак, испанский флот был блокирован в Сант-Яго...

Том села на землю рядом с Фэрфаксом и снова впала в неподвижность, словно бронзовая статуя, лишь глаза ее перебегали с одного лица на другое, выпытывая правду. Под этим немым вопрошающим взглядом Эвери Ван Брант стал нервничать. В середине оживленного рассказа о сражении он внезапно ощутил горящий взгляд черных глаз, запутался и с трудом поймал нить своего рассказа. Фэрфакс, обняв руками колени и отложив трубку, внимательно вслушивался в его слова, торопил, когда тот медлил или запинался, и рисовал себе картину того мира, о котором старался забыть в течение пяти лет.

Прошел час, другой — и Фэрфакс нехотя под-

нялся:

— Итак, Кронье влопался, а? Ладно, подождите минутку, я сбегаю к Тантлачу. Он, верно, вас ждет, и я устрою вам встречу утром, после завтрака. Это вам удобно, не правда ли?

Он скрылся за соснами, и Ван Брант невольно поглядел прямо в горящие глаза Том. «Пять лет, — подумал он, — а теперь ей не больше двадцати. Поразительное существо!» Она была эскимоска, и можно было бы ожидать, что нос ее окажется совсем плоским, но он не был ни плоским, ни широким. «Смотри, Эвери Ван Брант, перед тобой орлиный нос с тонкими ноздрями — нос, какой бывает у леди белой расы, и уж несомненно есть капля индейской крови, — поверь, Эвери Ван Брант. И не нервничай — она тебя не съест, она всего лишь женщина, и к тому же — красивая!»

Тип восточной женщины, а не эскимоски. Большие прекрасные глаза широко открыты и лишь слегка напоминают о монгольском происхождении. «Том, ты — редкое, выдающееся явление! Среди этих эскимосов ты — чужая, даже если твой отец и принадлежал к их племени. Откуда пришла твоя мать? Или твоя бабушка? Том, дорогая, ты — красавица, ледяная, застывшая красавица с лавой Аляски в крови — прошу тебя, не гляди на

меня, не старайся выпытать мои мысли...»

Он рассмеялся и встал. Ее настойчивый взгляд смущал его. Какая-то собака бродила среди мешков с провизией. Он хотел убрать их в безопасное место до возвращения Фэрфакса. Но Том, запрещая, протянула руку и, глядя на него в упор, встала.

— Ты? — сказала она на арктическом наречии, общепонятном от Гренландии до мыса Барроу. — Ты?

Выражение ее лица пояснило все, что заключалось в этом «ты». Это был вопрос о том, почему он сюда пришел, какое отношение имеет к ее мужу, и еще многое другое.

— Брат, — отвечал он на том же наречии, указывая жестом на юг. — Мы братья — твой муж и я.

Она покачала головой:

— Нехорошо, что ты сюда пришел.

— Я высплюсь и уйду.

— А мой муж? — быстро спросила она.

Ван Брант пожал плечами. В нем шевельнулось смутное чувство стыда — стыда за кого-то или за что-то — и гнева против Фэрфакса. Румянец залил его щеки при взгляде на юную дикарку. Она была истинной женщиной. В этом заключалось все — женщина. Снова и снова та же проклятая

история, древняя, как праматерь Ева, и юная, как первый луч любви, блеснувший в очах молодой девушки.

— Мой муж! Мой муж! Мой муж! — пылко повторяла она; лицо ее потемнело, и в ее глазах он увидел неистовую нежность Вечной Женщины, Женщины-Самки.

— Том, — серьезно начал он по-английски. — Ты родилась в северных лесах и питалась мясом и рыбой, боролась с холодом и голодом и жила простой жизнью. А на свете существуют вещи очень сложные — ты их не знаешь и понять не можешь. Ты не знаешь воспоминаний об уюте далекой жизни и не поймешь тоски по лицу прекрасной женщины. А та женщина, Том, прекрасна и благородна. Ты была женой этого человека и ты ему отдалась вся, но твоя душа слишком проста для него. Слишком мал твой мир и прост, а ведь он пришел из другого мира. Ты его никогда не понимала и не можешь понять. Таков закон. Ты держала его в своих объятиях, но сердце этого человека, радовавшегося незаметной смене времен года и мечтавшего о варварском конце, никогда не принадлежало тебе. Мечта, туманная греза — вот чем он был для тебя. Ты тянулась к манящему образу и ловила тень; ты отдала себя

человеку и делила свое ложе с призраком. То же случалось в старину с дочерьми смертных, когда боги находили их прекрасными. Том, Том, я не хотел бы оказаться на месте Джона Фэрфакса, чтобы в бессонные ночи увидеть рядом с собой не золотую головку женщины, а темные косы самки, покинутой в лесах Севера.

Хотя она ничего не понимала, но так напряженно вслушивалась в его речь, словно от нее зависела ее жизнь. Имя мужа она разобрала и воскликнула на своем наречии:

— Да! Да! Фэрфакс! Мой муж!

— Бедная маленькая дурочка, как он мог быть твоим мужем?

Но она не понимала по-английски и думала, что он ее высмеивает. Ее лицо пылало немым, безрассудным гневом самки, и ему казалось, что она, как пантера, готова к прыжку.

Он выругался про себя и стал наблюдать, как гнев ее угасал и на лице появилось выражение мольбы — мольбы женщины, забывшей о своей силе и мудро прибегающей к слабости и беспомощности.

— Он мой муж, — кротко сказала она. — Я другого не знала. Я не могла знать другого. И не может быть, чтобы он от меня ушел.

— Кто говорит, что он от тебя уйдет? — резко спросил Ван Брант, раздраженный и обессиленный.

— Скажи ему, чтобы он не уходил от меня, — мягко отвечала она, и в голосе ее послышалось рыдание.

Ван Брант сердито толкнул ногой головешку костра и сел.

— Ты должен ему сказать. Он мой муж. Перед всеми женщинами он мой муж. Ты велик и силен, ты видишь, как я слаба. Смотри, я у ног твоих. От тебя зависит моя жизнь. Помоги мне!

— Вставай! — Он грубо поставил ее на ноги и сам встал. — Ты женщина. Тебе нельзя валяться в грязи у ног мужчины.

— Он мой муж!

— Да простит Христос всем мужчинам, — пылко воскликнул Ван Брант.

— Он мой муж! — повторяла она умоляюще.

— Он мой брат! — отвечал он.

— Вождь Тантлач — мой отец. Он правит пятью селениями. Я прикажу найти в пяти селениях девушку по твоему вкусу, и ты будешь жить со своим братом в полном довольстве.

— Я отдохну и уйду.

— А мой муж?

— Вот идет твой муж. Слышишь?

Из темного леса доносилось веселое пение Фэрфакса.

Как клубы черных туч затеняют ясный день, так песня Фэрфакса убила на ее лице жизнь и радость.

— Это язык его племени, — сказала она. — Это язык его племени. — Она повернулась легким, гибким движением молодого животного и скрылась в лесу.

— Все устроено, — воскликнул, появляясь, Фэрфакс. — Его высочество примет вас после завтрака.

— Вы ему все сказали? — спросил Ван Брант.

— Нет. Я ему ничего не скажу, пока у нас все не будет готово.

Ван Брант с тяжелым чувством поглядел на своих спящих спутников.

— Я буду рад, когда мы будем за сотни миль отсюда, — сказал он.

Том подняла шкуру над входом в юрту отца. С ним сидело двое мужчин, и все трое с любопытством посмотрели на нее. Но лицо ее было бесчувственно, и, войдя, она спокойно и безмолвно подсела к ним. Тантлач барабанил пальцами по рукоятке копья, лежащего на его коленях, и

лениво следил за движениями солнечного луча, проникшего через отверстие в шкурах. Справа, у его плеча, прикорнул Чугэнгэтт — шаман. Оба они были стариками, и усталость долгих лет жизни и борьбы виднелась в их глазах. Но против них сидел молодой Кин, любимец всего племени. Его движения были быстры и легки, и его черные глаза испытующе перебегали с одного старика на другого. И в глазах этих был вызов.

Все молчали. Время от времени проникали звуки извне, и издали слабо доносились — словно тени голосов — крики играющих детей. Собака просунула голову над порогом, хищно прищурилась, с ее белых клыков стекала пена. Постояв немного, она заворчала, как бы приглашая обратить на нее внимание, но, испуганная неподвижностью человеческих фигур, опустила голову и уползла. Тантлач равнодушно поглядел на свою дочь:

— Что у тебя с твоим мужем?

— Он поет чужие песни, — отвечала Том, — и лицо его стало другим.

— Да? Он говорил с тобой?

— Нет, но лицо у него другое, и в глазах новый огонек, и он сидит с Пришельцем у костра, и они все говорят, говорят без конца.

Чугэнгэтт прошептал что-то на ухо своему господину, и Кин, подавшись вперед, ловил слетавшие с его губ слова.

— Его зовет что-то в далекие края, — продолжала она, — и он сидит и прислушивается и отвечает песней на языке своего племени.

Снова Чугэнгэтт зашептал, снова Кин подался вперед, и Том замолчала, пока ее отец кивком головы не разрешил ей продолжать.

— Ты знаешь, о Тантлач, что дикие гуси, лебеди и маленькие утки рождаются здесь, на Севере. Но мы знаем, что они улетают в неведомые края перед лицом мороза. И хорошо знаем, что они всегда возвращаются, когда показывается солнце и освобождаются реки. Они всегда возвращаются туда, где родились. Родная земля зовет их, и они летят на ее зов. А теперь иная земля зовет, и зовет к себе моего мужа; это его родная земля, и он хочет отозваться на ее зов. Но он мой муж. Перед всеми женщинами — он мой муж.

— Хорошо ли это, Тантлач? Хорошо ли? — спросил Чугэнгэтт, и в голосе его зазвучали угрожающие ноты.

— Да, это хорошо! — смело воскликнул Кин. — Земля зовет своих детей, и все земли зовут своих детей домой. Дикие гуси, лебеди и маленькие ут-

ки слышат призыв, услышал его и Чужестранец, который слишком долго задержался у нас. Ему пора вернуться к себе. Он также услышал голос своего племени. Гуси спариваются с гусями, и лебедь никогда не спаривается с маленькой уткой. Нехорошо, если бы лебедь стал спариваться с маленькой уткой. И нехорошо, когда чужестранцы получают в жены наших женщин. Поэтому — пусть этот человек уйдет в свою страну, к своему племени.

— Он мой муж, — отвечала Том. — И он великий человек.

— Да, он великий человек, — Чугэнгэтт поднял голову с быстротой, напоминавшей о былой юношеской силе. — Он великий человек, он дал тебе силу, о Тантлач, и дал тебе могущество, и теперь тебя боятся по всей стране, боятся и трепещут. Он очень мудр, и его мудрость нужна нам. Он научил нас вести войну, защищать свое селение и нападать в лесу. Он ввел порядок в нашем совете и показал, как обсуждать дела и как обходить врагов обещаниями. Он научил нас ловить хитрыми ловушками дичь, собирать запасы пищи и хранить ее долгое время. Он лечил болезни и раны, полученные на охоте или на войне. Ты был бы хромым стариком, Тантлач, если бы к нам

не попал этот Чужестранец и не вылечил твоей ноги. Когда мы не знали, как поступить, мы шли к нему, и его мудрость всегда нам помогала. У нас могут появиться новые затруднения, и нам будет нужна его мудрость. Мы не можем отпустить его. Плохо будет, если мы позволим ему уйти.

Тантлач продолжал барабанить пальцами по древку копья, не подавая виду, что все это слышал. Том тщетно всматривалась в его лицо, а Чугэнгэтт весь съежился и поник, словно прожитые годы снова придавили его своей тяжестью.

— Лучше меня нет охотника! — Кин сильно ударил себя в грудь. — Я сам убиваю для себя дичь. Я радуюсь жизни, когда выхожу на охоту. Я радуюсь, когда ползу по снегу за крупным оленем и когда я изо всей силы натягиваю лук и пускаю быструю, смертоносную стрелу в сердце оленя — я радуюсь. Добыча других охотников никогда не бывает так вкусна, как моя. Я радуюсь жизни, радуюсь своей ловкости и силе. Я радуюсь, ибо сам добиваюсь всего, что мне нужно для жизни. Какая иная цель может быть в жизни? Зачем жить, если я недоволен собою и тем, что я делаю? И потому, что я доволен и радуюсь, я иду охотиться и ловить рыбу. А становлюсь сильнее потому, что охочусь и ловлю рыбу. Мужчина, что сидит в

своем жилище, греясь у костра, не будет сильным и смелым. Он не радуется, поедая мою добычу, и не наслаждается жизнью. Он не живет! Итак, я думаю, что будет лучше, если Чужестранец уйдет. Его мудрость не делает нас мудрыми. Когда он ловок и искусен, какая нужда нам быть ловкими и искусными? Ведь если нужда приходит, мы идем к нему за советом. Мы едим мясо его добычи, но оно невкусно. Его мудрость дает нам успех, но этот успех не дает радости. Мы не живем, когда он заботится о нас. Мы жиреем и становимся подобными женщинам. Мы боимся работы и забываем, как доставлять себе все, что нужно для жизни. Пусть этот человек уйдет, о Тантлач, и мы снова станем мужчинами! Я — Кин, мужчина, и я сам хожу на добычу!

Тантлач бросил на него пустой, ничего не выражающий взгляд. Кин ждал решения вождя, но губы старика не дрогнули, и он повернулся к своей дочери.

— То, что дано, нельзя отнять, — заговорила она. — Я была девочкой, когда явился среди нас Чужестранец — мой супруг. Я не знала мужчин и не знала обычаев мужчин, мое сердце знало лишь детские игры, когда ты, Тантлач, ты призвал меня к себе и отдал Чужестранцу. Ты, Тантлач! И ты

отдал меня этому человеку и дал этого человека мне. Он мой муж. Он спал у меня на груди, и его нельзя от меня оторвать.

— Хорошо, если бы ты помнил, о Тантлач, — вмешался Кин, бросая многозначительный взгляд на Том, — хорошо, если бы ты помнил: то, что дано, не может быть взято обратно.

Чугэнгэтт выпрямился.

— Устами твоими, Кин, говорит неразумная юность. Что касается нас с тобой, о Тантлач, мы старики и мы все понимаем. Мы тоже, бывало, глядели в глаза женщинам, и наша кровь пылала странными желаниями. Но годы охладили наш пыл, мы оценили хладнокровие; мы знаем, что молодое сердце легко разгорается и склонно к безрассудным поступкам. Мы знаем, что Кин был угоден твоим очам. Мы знаем, что ты обещал ему Том, когда она была еще ребенком. Но потом настали новые дни, к нам пришел Чужестранец, и мы мудро рассудили — ради общего блага нарушить обещание и отнять Том у Кина.

Старый шаман замолчал и посмотрел на Кина.

— И да будет известно, что я — Чугэнгэтт — посоветовал нарушить обещание.

— Я не принял на свое ложе никакой другой женщины, — сказал Кин. — Я сложил себе очаг,

готовил пищу и скрежетал зубами в одиночестве.

Чугэнгэтт движением руки дал понять, что его речь еще не кончена.

— Я старик, и слова мои мудры. Хорошо быть сильным и держать в руках власть. Еще лучше отказаться от власти, если так нужно для общего благополучия. В прежние годы я сидел с тобою рядом, Тантлач, и мой голос был первым в совете, и моего мнения спрашивали во всех делах. И я был силен и могуч. Я был величайшим человеком после Тантлача. Затем явился Чужестранец, и я увидел, что он искусен, мудр и велик. Он был мудрее и искуснее меня, и я понял, что он принесет больше пользы, чем приношу я. И ты склонил ко мне свой слух, Тантлач, и слушал мои слова и дал Чужестранцу власть, место рядом с собой и дочь свою. И наше племя благоденствовало при новых порядках, и пусть оно и дальше благоденствует, и пусть Чужестранец остается среди нас. Мы с тобой старики, о Тантлач, — ты и я, и это дело следует решать головой, а не сердцем. Слушай мои слова, Тантлач! Слушай мои слова! Пусть Чужестранец останется!

Наступило долгое молчание. Старый вождь размышлял, сохраняя неподвижность идола, а

Чугэнгэтт, казалось, весь ушел в далекое прошлое. Кин с вожделением глядел на женщину, а она, не замечая его, не сводила глаз с лица своего отца. Собака снова показалась на пороге; спокойствие людей придало ей смелости, и она подползла к ним. Обнюхав опущенную руку Том, она вызывающе насторожила уши, пробираясь мимо Чугэнгэтта, и прикорнула около Тантлача. Копье с шумом упало наземь, и собака с испуганным воем отскочила в сторону, зарычала и одним прыжком выскочила из юрты.

Тантлач переводил свой взор с одного лица на другое, долго и внимательно взвешивая все обстоятельства. Затем он с суровой властностью поднял голову и холодным, ровным голосом произнес свое решение:

— Чужестранец остается. Созови всех охотников. Пошли гонца в соседнее селение, пусть приведет сюда бойцов. Я не приму Пришельца. Ты, Чугэнгэтт, будешь говорить с ним. Передай ему, что он может идти с миром, если уйдет немедленно. Если придется биться — убивайте, убивайте, убивайте всех до последнего, но передай всем мое слово — Чужестранцу вреда не причинять: он муж моей дочери. Да будет так, как я сказал!

Чугэнгэтт встал и заковылял к выходу, Том последовала за ним; но когда Кин подошел к выходу, голос вождя заставил его остановиться:

— Кин, прислушайся к моему слову. Чужестранец остается. Чужестранцу вреда не причинять.

Благодаря полученным от Фэрфакса сведениям по военному искусству эскимосы не набросились на маленький отряд с дикими криками. Наоборот, они проявили большую сдержанность и самообладание и продвигались в молчании, переползая от прикрытия к прикрытию. Крисы и путешественники-канадцы шли вдоль берега речки. Видеть они ничего не могли и едва улавливали звуки, но инстинктом чувствовали жизнь в лесу и продвижение врага.

— Будь они прокляты, — пробормотал Фэрфакс. — Они не знали пороха, а я показал им, что это за штука.

Эвери Ван Брант рассмеялся, выколотил пепел из трубки, старательно запрятал ее вместе с кисетом в карман и проверил, легко ли вынимается охотничий нож из висящих на боку ножен. Затем сказал:

— Погодите! Мы отразим их атаку и уничтожим их всех до единого.

— Они рассыплются цепью, если не забыли

моих уроков.

— Ну и пусть! У нас винтовки. Мы все… прекрасно! Первый выстрел! Получишь добавочную порцию табака, Луи!

Луи из племени крисов заметил высунувшееся из-за дерево плечо и меткой пулей сообщил его владельцу о своем открытии.

— Если бы их вызвать на открытое нападение, — бормотал Фэрфакс. — Если бы их вызвать на открытое нападение…

Вдалеке показалась из-за дерева голова, и одним выстрелом Ван Брант уложил эскимоса. Майкель попал в третьего. Фэрфакс и остальные тоже стали стрелять, целясь в эскимосов и в шевелящиеся заросли кустарников. При переходе через незащищенную ложбину пять эскимосов были убиты, а с левой стороны, где кустарник был редкий, с дюжину их было ранено. Но они относились к потерям с мрачным спокойствием, продвигаясь вперед осторожно, обдуманно, не торопясь и не мешкая.

Десять минут спустя, когда они подошли почти вплотную к отряду, наступление было приостановлено, и в лесу воцарилась зловещая тишина. Видна была лишь золотистая зелень ветвей и трав, колыхаемых слабым дуновением предрас-

светного ветра. Бледное утреннее солнце бросало на землю длинные полосы тени и света. Один из раненых эскимосов поднял голову и старался уползти подальше от ложбинки, а Майкель следил за ним, но не стрелял. По невидимому фронту слева направо пробежал свист, и туча стрел прорезала воздух.

— Готовься! — приказал Ван Брант, и в голосе его послышались металлические ноты. — Есть!

Эскимосы сразу перешли в открытое наступление. Лес ожил. Раздался дикий вой, и винтовки ответили на него лаем выстрелов. Пули поражали эскимосов на бегу, но на смену убитым поднималась новая рокочущая волна. Впереди наступающих неслась с распущенными волосами Том; размахивая руками, она скрывалась за деревьями и перепрыгивала через лежащие на земле стволы. Фэрфакс прицелился и, сначала не узнав ее, чуть не нажал спуск.

— Не стреляйте! Это женщина! — крикнул он. — Глядите, она безоружна!

Крисы не слыхали его, не услышали и Майкель с братом-канадцем, и непрерывно стрелявший Ван Брант. Но Том, целая и невредимая, продвигалась по пятам одетого в шкуры охотника. Фэрфакс уложил эскимосов, бежавших справа и слева

от нее, и приготовился выстрелить в охотника. Тот, видимо, узнал его и неожиданно свернул в сторону, всадив копье в тело Майкеля. В тот же миг Том обвила одной рукой шею своего мужа и, полуобернувшись, голосом и жестом разделила нападавших. С воем пронеслись мимо них эскимосы, и потрясенный Фэрфакс, глядя на нее, на ее смуглую красоту, на мгновение остолбенел. Странные видения — чарующие, бессмертные видения встали перед ним. Обрывки старых философских теорий и новых понятий промелькнули в его мозгу, сменяясь поразительно явственными и туманно-несообразными сценами — эпизоды охоты, темные лесные пространства, молчаливые снежные пустыни, скользящий свет бальных зал, музеи и библиотеки, блеск химических колб и реторт, длинные ряды книжных полок, стук машин и уличный шум, строфа забытой песни, лица дорогих сердцу женщин и старых товарищей, уединенная речка в горах, разбитый челн на каменистом берегу, озаренные луной поля, плодородные долины, запах сена…

Пораженный в голову пулей, охотник рухнул на землю. Фэрфакс пришел в себя. Оставшиеся в живых товарищи были отброшены далеко назад. Он слышал свирепые крики охотников:

— Хья! Хья! — когда им удавалось поразить врага своим костяным оружием. Крики преследуемых поразили его подобно удару. Он понял, что битва кончена и проиграна, но традиция расы и верность товарищам призывали его бороться до конца.

— Муж мой! Муж мой! — восклицала Том. — Ты спасен!

Он попытался вырваться из ее рук, но она, повиснув на нем, мешала ему двинуться.

— Не надо! Они мертвы, а жить хорошо!

Она крепко обхватила его шею и обвилась вокруг него всем телом, пока он не оступился и не пошатнулся; стремительно отступив, чтобы удержаться на ногах, он снова споткнулся и упал на спину. Ударившись головой о корень, он почти потерял сознание и мог только слабо сопротивляться. Падая, Том услышала свист пронесшейся мимо стрелы и, словно щитом, покрыла его своим телом, крепко обняв руками и прижимаясь лицом и губами к его шее.

Тогда из густого кустарника, шагах в двадцати от них, показался Кин. Он осторожно посмотрел по сторонам. Крики замирали вдали. Никто не мог их увидеть. Он приладил стрелу к тетиве и взглянул на лежавших перед ним мужчину и

женщину. Между ее грудью и рукой белело тело Чужестранца. Кин натянул лук и оттянул стрелу к себе. Он проделал это дважды для верности прицела, а затем спокойно послал украшенную стрелу прямо в тело Чужестранца — такое белое в объятиях смуглой Том.

Закон жизни

Старый Коскуш жадно прислушивался. Хотя его зрение давно померкло, слух сохранил былую остроту, и малейшие звуки проникали в сознание, дремлющее за иссохшим лбом. Да! Это Сит-Кум-То-Ха пронзительным голосом проклинает собак и бьет их, стараясь запрячь в сани. Сит-Кум-То-Ха — дочь его дочери, но она слишком занята, чтобы подумать о больном деде, сидевшем одиноко на снегу, забытом и беспомощном. Лагерю пора сниматься. Впереди предстоял долгий путь, а короткий день быстро клонился к закату. Жизнь звала ее, и ее долг — идти, к живым, а не к мертвым. А он уже стоял на пороге смерти.

Эта мысль испугала на мгновение старика, и он протянул дрожащую онемевшую руку и пошарил в лежащей рядом с ним маленькой кучке сухого дерева. Убедившись, что сухие дрова здесь, около него, он спрятал руку под облезшую меховую одежду и снова прислушался. По беспокойному хрусту полузамерзших шкур он понял, что разбирают палатку вождя. Затем шкуры связали, чтобы удобнее было везти. Вождь был его сыном, храбрым и сильным предводителем

племени и могучим охотником. Когда женщины укладывали вещи к отъезду, послышался его голос, бранивший их за медлительность. Старый Коскуш напряг слух. Он в последний раз слышал этот голос. Затем сложили палатку Гихау. Потом палатку Тускены. Семь, восемь, девять, — осталась лишь палатка шамана. Так! Теперь они принялись и за нее. Он слышал ворчание шамана, когда его палатку укладывали на сани. Захныкал ребенок, и мать убаюкала его нежной, тихой песенкой. Малютка Кути — подумал старик — беспокойное, слабое дитя! Вероятно, скоро умрет, и родители выжгут яму в замерзшей тундре и наложат сверху кучу камней, чтобы защитить тело от росомах. Но не все ли равно? В лучшем случае дитя проживет еще несколько лет голодной жизни. А в конце этой жизни всех ждет вечно голодная и вечно ненасытная смерть.

Что это такое? Люди связывали сани, туго затягивая веревки. Он прислушивался — скоро он уже ничего не услышит. Раздался свист хлыста и звуки ударов. Прислушайся, как завыли собаки! Как они ненавидят работу и дорогу! Тронулись! Сани медленно ускользали в молчание. Кончено! Они ушли из его жизни, и он остался наедине со своим последним часом. Но нет! Снег захрустел

под мокасинами, кто-то остановился рядом с ним: на голову мягко опустилась рука. Его сын был добр и пришел с ним проститься. Старик вспомнил других стариков — их сыновья не отставали от племени. Но его сын отстал. Он погрузился в далекое прошлое, голос сына вернул его к действительности.

— Тебе хорошо? — спросил сын.

И старик ответил:

— Да, хорошо.

— Возле тебя дрова, — продолжал молодой человек. — И огонь ярко пылает. Утро пасмурно, и мороз уменьшается. Скоро пойдет снег. Снег уже идет.

— Да, снег уже идет.

— Наши спешат. Вещи тяжелы, а животы впали от недостатка пищи. Путь предстоит далекий, и они едут быстро. Я ухожу. Хорошо?

— Иди. Я как последний осенний лист, который едва держится на стебле. При первом дыхании ветра я упаду. Мой голос похож на голос старой женщины. Мои глаза не указывают больше пути моим ногам, ноги мои тяжелы, и я устал. Иди!

Он опустил голову и прислушивался, пока хруст снега не замер вдали, тогда он понял, что сын его больше не услышит. Он торопливо протянул

руку к дровам. Только они отделяли его от разверзающейся над ним вечности. Теперь мерой его жизни стала вязанка дров. Одно полено за другим должно было уходить на поддержание огня, и с каждым исчезнувшим поленом приближалась смерть. Когда последний кусок дерева отдаст ему свое тепло, мороз начнет крепчать. Сначала закоченеют ноги, затем руки, онемение медленно захватит конечности и распространится по телу. Голова склонится на колени, и он умрет. Это легкая смерть. Все люди должны умереть.

Он не жаловался. Таков путь жизни, и путь этот правилен. Он родился на земле, прожил жизнь, и закон не был для него новым. Это был закон для всего живого. Природа жестока ко всем живущим. Она не считается с отдельной особью. Она заботится лишь о роде. Это были самые глубокие отвлеченные понятия, на какие способен был первобытный ум Коскуша, но зато он их твердо усвоил. Всюду он находил им подтверждение. Весной дерево наполняется соком, распускаются зеленые почки, а осенью опадают пожелтевшие листья — этим все сказано. Природа возложила на каждую особь обязанность. Если обязанность не выполнена, особь умирает. Но выполнив ее, она все равно умирает. Природа равнодушна.

Много есть людей, покорных закону, но живет и не умирает только покорность. Племя Коскуша было очень древним. Мальчиком Коскуш знавал древних стариков, и они вспоминали своих дедов и прадедов. Значит, правда, что племя живет, покоряясь закону всех своих членов, живших в отдаленном прошлом и покоящихся в неведомых могилах. Отдельные люди — не в счет; они приходят и уходят, как облака на летнем небе. Он тоже — лишь облако на небе, и ему пора исчезнуть. Природе до него нет дела. Живые должны выполнить свой долг и подчиниться закону. Долг этот — продолжение рода, а закон — смерть. На здоровую, сильную девушку приятно смотреть: шаги ее легки, глаза блестят. Но ей предстоит выполнить долг. Глаза ее горят, шаги быстры, она то заигрывает с юношами, то робеет, и ее беспокойство передается им. Она становится все красивее и красивее, пока какой-нибудь охотник не теряет сдержанности и не берет девушку в свою палатку, чтобы она варила ему пищу, работала на него и рожала ему детей. С появлением детей красота покидает ее. Ноги волочатся по земле, глаза тускнеют, и лишь маленькие дети охотно ласкают морщинистые щеки сидящей у огня старой скво. Ее долг выполнен. А затем, как

только наступает голод либо пускаясь в далекий путь, ее оставляют, как оставили его, в снегу, с небольшой вязанкой дров. Таков закон!

Он осторожно подложил в костер полено и продолжал размышлять. То же происходит везде, со всеми живыми существами. Москиты исчезают с первым морозом. Белка, чувствуя приближение смерти, уползает подальше. Когда кролик стареет, движения его замедляются, он тяжелеет, у него нет больше сил спасаться от врагов. Даже крупный медведь слепнет, становится неуклюжим и раздражительным, и в конце концов шайке тявкающих собачонок ничего не стоит справиться с ним. Старик вспомнил, как сам покинул своего отца на верхнем течении Клондайка за год до появления миссионера с книжками и ящиками лекарств. Коскуш раньше облизывался при воспоминании об ящике, но теперь его губы оставались сухими. Особенно одно лекарство — «убийца боли» — было приятно на вкус. Но миссионер был дармоедом, он не приносил мяса, а сам ел вволю, и охотники роптали. На перевале через Майо он простудил легкие, а затем собаки разрыли его могилу и перегрызлись из-за его костей.

Коскуш подложил еще одно полено и погру-

зился в далекое прошлое. Это было во времена Великого Голода, когда старики с пустыми желудками подползали к огню и рассказывали старинные предания о тех годах, когда Юкон не замерзал три зимы подряд и покрывался льдом летом. В тот голодный год он потерял свою мать. Лососи не появлялись тем летом, и племя с нетерпением ожидало зимы и появления карибу[16]. Зима пришла, но карибу не было. Такого года не бывало никогда, говорили старики. Олени исчезли, кролики не размножались, и от собак осталась лишь кожа да кости. В долгой зимней тьме плакали и умирали дети, женщины и старики; из десяти не осталось в живых и одного, чтобы встретить солнышко, когда оно вернулось весной. Да, страшный был тогда голод!

Но он видел и другие времена, когда всего было вдосталь, когда мясо портилось, а собаки жирели и становились непригодными к работе, — времена, когда охотники упускали добычу, женщины много рожали, и палатки кишели детьми — будущими мужчинами и женщинами. Тогда мужчины становились заносчивыми и вспоминали старые распри; они переходили че-

---

[16] Примечания: 16
Карибу — канадский северный олень. *(Прим. ред.)*

рез горы к югу, чтобы убивать врагов из племени Пелли, и пробирались к западу, чтобы усесться у погасших очагов тананов. Вспомнил он, как мальчиком, в сытые годы, видел растерзанного волками оленя. Зинг-Ха вместе с ним лежал на снегу и наблюдал, — Зинг-Ха, который стал потом искуснейшим охотником и в конце концов провалился в трещину на Юконе. Месяц спустя они нашли его: он наполовину выкарабкался и крепко примерз ко льду.

А теперь об олене. Зинг-Ха и он пошли в тот день, подражая взрослым, поиграть в охоту. На берегу ручья они наткнулись на свежий след оленя, а рядом виднелись следы волков. «Олень старый, — сказал Зинг-Ха, лучше разбиравшийся в следах. — Олень старый и отстал от стада. Волки отрезали его от братьев, и теперь они его не упустят». Так оно и было. Таков был обычай волков. Днем и ночью, никогда не отдыхая, преследовали они добычу, рыча и подпрыгивая к самому носу жертвы, пока она не выбивалась из сил. Как заиграла кровь в жилах мальчиков! Конец оленя — какое прекрасное зрелище!

Мальчики будто на крыльях пустились по следу, и даже он — Коскуш, неопытный следопыт — мог бы найти этот след с закрытыми глазами,

так отчетливы были отпечатки на снегу. Они шли по горячему следу, читая на каждом шагу знаки мрачной трагедии. Вот они подошли к месту, где олень остановился. Вокруг снег был примят и разбросан. Посередине виднелись глубокие выемки от копыт оленя, а кругом — повсюду легкие отпечатки ног волков. Пока одни волки мучили жертву, другие валялись в снегу и отдыхали. Отпечатки их вытянувшихся тел были настолько отчетливы, словно волки только что убежали отсюда. Защищаясь, обезумевшая жертва ударила одного из волков, и он был затоптан насмерть. Несколько начисто обглоданных косточек служили свидетельством.

Дальше они снова наткнулись на место, где олень остановился. Здесь происходила отчаянная борьба. Волкам дважды удалось повалить оленя, как показывали следы на снегу, и дважды олень сбрасывал с себя врагов. Он давно выполнил свой жизненный долг, но тем не менее жизнь была ему дорога. Зинг-Ха говорил, что очень редко оленю удается подняться, если он упал, но этому оленю удавалось. Шаман, верно, увидит в этом чудесное предзнаменование, когда они ему все расскажут.

И опять они подошли к месту, где олень пытался оставить берег и броситься в лес. Но волки

настигли его, он стал на дыбы и свалился на них, придавив двух. Очевидно, жертва выбивалась из сил, ибо убитые волки лежали нетронутые. Мальчики торопливо миновали еще две остановки: эти остановки отстояли друг от друга недалеко и, судя по следам, были очень непродолжительны. След окрасился кровью, а шаги оленя стали короткими и неровными. Затем до них донеслись первые звуки борьбы — вой преследователей сменился коротким отрывистым лаем, говорившим о том, что победа близка. Зинг-Ха против ветра полз по снегу, а за ним пополз и Коскуш, которому предстояло через несколько лет стать вождем племени. Оба они раздвинули нижние ветви молодой ели и просунули головы. Увидели они уже смерть оленя.

Эта картина, как и все воспоминания юности, ярко запечатлелась в его памяти, и перед потухшим взором вся сцена разыгралась так же живо, как в те давно прошедшие времена. Коскуш удивился, ибо в последующие годы, когда он был вождем племени и старшим в совете, он совершал великие деяния, и его имя было проклято племенем Пелли, не говоря уже о белолицем чужестранце, которого он убил в рукопашном бою.

Долго размышлял он о днях своей юности, пока

огонь не уменьшился и не усилился мороз. Он подложил в костер два полена зараз и ощупью пересчитал, сколько остается поленьев. Если бы Сит-Кум-То-Ха подумала о своем деде и собрала бы больше дров, его часы были бы продлены. Сделать это ей было нетрудно. Но она всегда была беспечной и перестала почитать предков с тех пор, как Бобр, сын сына Зинг-Ха, остановил на ней свой взор. А впрочем, не все ли равно? Разве он поступал иначе в дни своей юности? Он прислушался к тишине. Быть может, сердце его сына смягчилось, и он возвращается со своими собаками, чтобы захватить старого отца в те места, где можно убить много жирных, вкусных оленей.

Он насторожился и перестал напряженно думать. Тихо, ни звука. Он один жил среди Великого Безмолвия. Ему стало тоскливо. Но, чу! Что это? По его телу пробежала дрожь. Знакомый протяжный вой нарушил тишину и раздался почти рядом с ним. Перед его померкшими очами встало видение оленя — старого матерого оленя — его окровавленные бока, спутанная грива, большие развесистые рога — олень, бьющийся до конца. Он увидел серых волков, горящие глаза, высунутые языки и покрытые пеной клыки. Он видел, как суживается роковой круг и стая вол-

ков сбивается в небольшую кучу на полянке, где утоптан снег.

Холодная морда ткнулась в его щеку, и ее прикосновение вернуло его к действительности. Он сунул руку в огонь и вытащил горящее полено. Обуянный инстинктивным страхом перед человеком, зверь отступил, призывая протяжным воем собратьев; раздался ответный вой, и вскоре старик был окружен кольцом подкрадывающихся волков. Он прислушался, угадывая смыкание неумолимого круга, и дико взмахнул головней. Фырканье зверей перешло в рычание, но хищники не разбежались. Вот один из них ползет вперед, вот другой, теперь третий, ни один из них не отступил. Зачем цепляться за жизнь, подумал старик и бросил горящее полено в снег. Оно зашипело и погасло. Волки беспокойно рычали, смыкая круг. А перед ним снова мелькнула последняя остановка старого, матерого оленя, и Коскуш устало уронил голову на колени. В конце концов, не все ли равно? Разве не таков закон жизни?

Нам-Бок лжец

— Байдарка, не правда ли? Глядите! Байдарка, а в ней человек неуклюже гребет веслом!

Старая Баск-Ва-Ван стала на колени и, дрожа от старости и нетерпения, глядела на море.

— Нам-Бок всегда плохо справлялся с веслом, — бормотала она, вспоминая прошлое, и, заслонив глаза от солнца, вглядывалась в серебряную поверхность моря. — Нам-Бок всегда был неуклюжим. Я помню…

Но женщины и дети громко смеялись, и в их смехе звучала легкая насмешка; ее голос умолк, и только губы продолжали беззвучно шептать.

Куга поднял седеющую голову от работы — он резал по кости — и проследил глазами ее взгляд. Рассекая волны, чья-то байдарка направлялась к берегу. Сидевший в байдарке греб изо всех сил, но он был очень неловок, и байдарка приближалась зигзагообразно. Куга снова опустил голову над работой и на зажатом между коленями моржовом клыке вырезал спинной плавник неведомой рыбы — такую нельзя было найти ни в одном из морей.

— Это, конечно, человек из соседнего селе-

ния, — заявил он наконец. — И он едет ко мне посоветоваться, как резать узоры на кости. Но этот человек очень неловок. Он никогда не сумеет резать на кости.

— Это Нам-Бок, — повторяла старая Баск-Ва-Ван. — Неужто я не знаю своего сына! — резким голосом произнесла она. — Снова говорю вам, что это Нам-Бок.

— Ты говорила это каждое лето, — мягко укорила ее одна из женщин. — Как только море освобождалось от льда, ты садилась на берегу и целыми днями ждала, а при виде любого челнока говорила: «Это Нам-Бок». Нам-Бок умер, о Баск-Ва-Ван, а мертвые не возвращаются. Не бывало еще, чтобы мертвый вернулся.

— Нам-Бок! — закричала старуха так громко и резко, что все переполошились и стали на нее смотреть.

Она с трудом стала на ноги, заковыляла по песку и наткнулась на лежавшего на солнышке ребенка, и его мать бросилась унимать его слезы, посылая проклятия вдогонку старухе. Она ни на что не обращала внимания. Ребятишки бежали к берегу, обгоняя ее, и когда гребец подплыл ближе, чуть не перевернув байдарку неловким взмахом весла, женщины последовали за ней. Куга оста-

вил свой моржовый клык и пошел навстречу, тяжело опираясь на посох, а за ним, по двое и по трое, двинулись и мужчины.

Байдарка повернулась боком к берегу, и прибой затопил бы ее, если бы один из голых мальчуганов не вбежал в воду и не вытащил ее на берег. Гребец встал и внимательно оглядел встречавших его людей. Разноцветная фуфайка, изношенная и грязная, висела свободно на его широких плечах, а вокруг шеи был повязан красный бумажный платок, как у матросов. На коротко остриженной голове была надета рыбачья шляпа, а грубые штаны и башмаки дополняли его наряд.

Но он все же показался удивительным явлением этим простодушным рыбакам с великой дельты Юкона. Они всю жизнь глядели на Берингово море и за все время видели всего двух белых людей — статистика и заблудившегося иезуита. Они были бедны, у них не было ни золота, ни ценных мехов, и поэтому белые люди к ним не заглядывали. Тысячелетиями Юкон приносил с собой частицы смытой почвы Аляски, и море настолько обмелело, что крупные суда держались подальше от этих берегов. Поэтому-то этот край с его необозримыми равнинами и болотистыми островками никогда не посещали корабли белых

людей.

Куга, резчик по кости, внезапно отступил, споткнулся о свой посох и упал на землю.

— Нам-Бок, — закричал он, барахтаясь и пытаясь подняться. — Нам-Бок, поглощенный морем, вернулся!

Мужчины и женщины отпрянули назад, и дети бросились к ним, ища защиты. Один Опи-Кван держался спокойно, как приличествовало старшине селения. Он шагнул вперед и долго и внимательно разглядывал пришельца.

— Да, это Нам-Бок, — сказал он наконец. Услышав это, женщины с испуга расплакались и отошли еще дальше.

Губы пришельца нерешительно зашевелились, и видно было, что невысказанные слова душат его.

— Да, да, это Нам-Бок, — хрипло заговорила Баск-Ва-Ван, вглядываясь в его лицо. — Я всегда говорила, что Нам-Бок вернется.

— Да, Нам-Бок вернулся. — На этот раз эти слова были сказаны самим Нам-Боком. Он переступил через борт байдарки и остался стоять одной ногой в байдарке, а другой на песке. Он хотел заговорить снова, с трудом вспоминая забытые слова. Когда же он наконец заговорил, гортанные звуки

с каким-то прищелкиванием слетали с его губ.

— Привет, о братья, — сказал он, — братья прежних дней, когда ветер не унес меня от вас в море.

Он ступил двумя ногами на берег, и Опи-Кван махнул рукой, как бы приказывая ему вернуться в байдарку.

— Ты ведь умер, Нам-Бок, — сказал он.

Нам-Бок рассмеялся:

— Погляди, как я толст.

— Мертвые не бывают толсты, — согласился Опи-Кван. — У тебя прекрасный вид, но это очень странно. Ни один человек не уходил с береговым ветром, чтобы вернуться через много лет.

— Я вернулся, — просто сказал Нам-Бок.

— Может, ты тень, бродячая тень Нам-Бока. Тени возвращаются.

— Я голоден. Тени не едят.

Но Опи-Кван колебался и в смущении потирал лоб. Нам-Бок тоже был смущен и, глядя на стоявших вокруг людей, ни в чьих глазах не встретил привета. Мужчины и женщины тихо перешептывались между собою. Дети робко жались за спинами старших, а собаки подозрительно его обнюхивали.

— Я родила тебя, Нам-Бок, и давала тебе грудь, когда ты был маленьким, — хныкала Баск-Ва-Ван,

подходя ближе, — и тень ты или не тень, я тебе дам поесть.

Нам-Бок двинулся к ней, но возгласы страха и угрозы остановили его. Он произнес на чужом языке что-то, звучавшее как английское «проклятье!», и прибавил:

— Я не тень, я живой человек.

— Кто может проникнуть в мир таинственного? — спросил Опи-Кван, обращаясь отчасти к себе, а отчасти к своим соплеменникам. — Мы существуем — и через мгновение нас нет. Если человек может стать тенью, почему тени не обратиться в человека? Нам-Бок был, но его нет. Это мы знаем, но мы не знаем, Нам-Бок ли это или тень Нам-Бока.

Нам-Бок прочистил глотку и ответил:

— В прежние годы отец твоего отца, Опи-Кван, ушел и вернулся через много лет. Ему не отказали в месте у очага. Говорят… — Он многозначительно помолчал, и все нетерпеливо ожидали продолжения его речи. — Говорят, — повторил он, обдуманно направляя удар в цель, — что Сипсип, его жена, родила двух сыновей после его возвращения.

— Но он уходил не с береговым ветром, — возразил Опи-Кван. — Он ушел в глубь страны, а это

уже так положено, чтобы человек мог сколько ему угодно ходить по суше.

— А также и по морю. Но это неважно… Говорят… отец твоего отца рассказывал удивительные вещи обо всем, что он видел.

— Верно, он рассказывал удивительные вещи.

— Я тоже могу рассказать удивительные вещи, — коварно сказал Нам-Бок. А когда он заметил их колебание, добавил: — Я привез с собой и подарки.

Он взял из байдарки шаль невиданной ткани и окраски и набросил ее на плечи матери. Женщины вскрикнули от восхищения, а старая Баск-Ва-Ван разглаживала нарядную ткань, радуясь подарку, как ребенок.

— Он привез нам интересные рассказы, — бормотал Куга.

— И подарки, — добавила одна из женщин.

Опи-Кван понимал, что все хотят услышать рассказы Нам-Бока, и ему самому до смерти захотелось узнать, что делается на свете. Рыбная ловля была удачна, рассудил он, и у нас жира вдоволь…

— Идем, Нам-Бок, мы будем праздновать твое возвращение.

Двое мужчин подняли байдарку и на плечах

перенесли ее к огню. Нам-Бок шел рядом со старшиной, и все селение следовало за ними. Отстали лишь женщины — они хотели еще полюбоваться шалью и пощупать ее.

За едой говорили мало, и только кое-кто смотрел с любопытством на сына Баск-Ва-Ван. Эти взгляды смущали его — не потому, что он отличался скромностью, нет, но вонь тюленьего жира лишала его аппетита, и ему во что бы то ни стало хотелось скрыть это обстоятельство.

— Ешь, ты ведь голоден, — сказал Опи-Кван, и Нам-Бок, зажмурив глаза, сунул руку в котел с тухлой рыбой.

— Не стесняйся! В этом году было много тюленей, а крупные, сильные мужчины всегда голодны. — И Баск-Ва-Ван обмакнула в жир особенно противный кусок рыбы и любовно протянула его сыну.

Нам-Бок почувствовал, что его желудок не так силен, как в прежние дни, и, в отчаянии набив трубку, закурил. Остальные продолжали шумно есть и глядели на него. Немногие из них могли похвастаться коротким знакомством с драгоценным куревом, хотя время от времени, при меновых сделках с эскимосами, им перепадали небольшие порции отвратительного табака.

Сосед его, Куга, дал понять, что не прочь сделать одну затяжку, и, продолжая жевать, приложился измазанными жиром губами к янтарному мундштуку. Увидев это, Нам-Бок схватился дрожащей рукой за живот и отказался принять трубку обратно. Пусть Куга оставит трубку себе, сказал он, он с самого начала собирался преподнести ее Куга. Окружающие облизывали пальцы и хвалили его щедрость.

Опи-Кван встал.

— А теперь, Нам-Бок, мы поели и хотим послушать рассказ об удивительных вещах, что ты видел.

Рыбаки захлопали в ладоши и, запасшись работой, приготовились слушать. Мужчины отделывали копья или вырезали узоры на кости, а женщины счищали жир с кож волосатых тюленей, разминали их или шили верхнюю одежду нитками из сухожилий. Нам-Бок оглядывался кругом, но не находил той прелести, что рисовалась ему в мечтах о доме. В годы странствований он часто представлял себе эту сцену, а теперь, когда вернулся, испытал разочарование. Жизнь эта жалкая и нищенская, подумал он, и ее нельзя даже сравнивать с той жизнью, к какой он привык. Все же ему хотелось открыть им неведомый для

них мир, и при этой мысли его глаза засверкали.

— Братья, — начал он со снисходительной вежливостью человека, собирающегося рассказать о своих великих деяниях, — ушел я от вас много лет назад поздним летом, и погода была такая же, как теперь. Вы все помните тот день, когда чайки летали низко, а ветер сильно дул с суши, и я не смог вести байдарку против ветра. Я крепко привязал покрышку к байдарке, чтобы вода не могла залить ее, и всю ночь напролет боролся с бурей. А наутро не видно было нигде земли — только вода, и ветер с суши крепко держал меня, унося все дальше от вас. Три ночи сменились зарей, а земли все не было видно, и ветер не хотел отпустить меня на свободу.

Когда наступил рассвет четвертого дня, я почти обезумел. От голода не мог двинуть веслом, а голова моя кружилась от жажды. Но море успокоилось; дул мягкий южный ветер, и когда я оглянулся вокруг, то увидел такое, что подумал, будто я и вправду рехнулся.

Нам-Бок остановился, чтобы вытащить застрявший в зубах кусочек лососины, а все мужчины и женщины, оставив работу, напряженно ждали продолжения рассказа.

— Это была лодка, большая лодка. Если бы из

всех каноэ, что я до тех пор видел, составить одну, то и тогда бы не получилось такой большой лодки.

Раздались возгласы сомнения, и обремененный годами Куга покачал головой.

— Если бы каждая байдарка равнялась песчинке, — с вызовом продолжал Нам-Бок, — и если взять столько байдарок, сколько песчинок на берегу вашей бухты, все же не получится такая большая лодка, как та, что я видел на рассвете четвертого дня. Лодка эта была очень велика и называлась *шхуной.* Я увидел, как это чудо, эта большая шхуна, направлялась ко мне, и на борту были люди.

— Погоди, о Нам-Бок! — прервал его Опи-Кван. — Какие это были люди? Огромного роста?

— Нет, люди такие же, как ты и я.

— А большая лодка шла быстро?

— Да.

— Борта высокие, люди маленькие, — установил Опи-Кван первую посылку силлогизма. — А люди эти гребли длинными веслами?

Нам-Бок ухмыльнулся.

— Весел у них не было, — ответил он.

Все рты раскрылись, и наступило долгое молчание. Опи-Кван взял трубку у Куга и задумчиво

затянулся. Одна из молодых женщин нервно хихикнула, и взоры всех обратились на нее с неудовольствием.

— Итак, весел не было? — мягко спросил Опи-Кван, возвращая трубку.

— Дул южный ветер, — пояснил Нам-Бок.

— Но ведь ветер очень тихо гонит перед собой лодку.

— У шхуны были крылья — вот так! — Он нарисовал на песке схему мачты и парусов, и мужчины столпились вокруг него, разглядывая рисунок. Дул резкий ветер, и он для большей ясности схватил шаль матери за углы и вытянул ее, пока она не надулась, как парус. Баск-Ва-Ван бранилась и отбивалась от него, но ветер отбросил ее шагов на двадцать, и она, запыхавшись, растянулась на куче щепок. Мужчины невнятными звуками показали, что поняли объяснение, но Куга внезапно откинул назад свою седую голову.

— Хо-хо! — расхохотался он. — И дурацкая же штука эта большая лодка! Самая дурацкая на свете. Игрушка ветра! Куда дует ветер, туда и плывет лодка. Ни один человек в лодке не может знать, где он пристанет к берегу, потому что он плывет по воле ветра, а ветер дует, как ему хочется, но никто не может знать его воли.

— Да, это так, — серьезно подтвердил Опи-Кван. — По ветру плыть легко, но против ветра человеку приходится сильно напрягаться, а так как у людей в большой лодке не было весел, они не могли бороться с ветром.

— Им незачем бороться, — сердито воскликнул Нам-Бок. — Шхуна отлично идет против ветра.

— А что же заставляет ш…ш…хуну идти? — спросил Куга, запинаясь, ибо слово это было для него непривычным.

— Ветер, — был нетерпеливый ответ.

— Итак, ветер заставляет ш…ш…хуну идти против ветра? — Старый Куга подмигнул Опи-Квану и при общем смехе продолжал: — Ветер дует с юга и гонит шхуну к югу. Ветер гонит против ветра. Ветер гонит в одну сторону и гонит в другую в одно и то же время. Это очень просто. Мы поняли, Нам-Бок. Мы все поняли.

— Ты глупец.

— Правда слетает с твоих уст, — покорно сказал Куга. — Я слишком долго соображал, а штука была совсем простая.

Но лицо Нам-Бока потемнело, и он быстро произнес какие-то ими никогда не слышанные слова. Мужчины снова принялись за резьбу, а женщины — за очистку тюленьих кож. Нам-Бок

крепко сжал губы и не хотел продолжать, ибо никто ему не верил.

— Эта ш…ш…шхуна, — невозмутимо продолжал свои расспросы Куга, — была сделана из большого дерева?

— Она сделана из многих деревьев, — коротко отрезал Нам-Бок. — Она была очень велика.

Он снова погрузился в угрюмое молчание, и Опи-Кван подтолкнул локтем Куга; тот удивленно покачал головой и произнес:

— Все это очень странно.

Нам-Бок попался на эту удочку.

— Это еще ничего, — сказал он, — вот вы бы на пароход посмотрели. Насколько байдарка больше песчинки, насколько шхуна больше байдарки, — настолько пароход больше шхуны. А кроме того, пароход сделан из железа. Он весь железный.

— Нет, нет, Нам-Бок, — воскликнул старшина, — это не может быть! Железо всегда идет ко дну. Вот я получил в обмен железный нож от старшины соседнего селения, а вчера этот нож выскользнул у меня из рук и упал в море. Над всеми вещами есть закон. Ничто не может идти против закона. Это нам известно. И кроме того, нам известно, что над одинаковыми вещами есть один закон. Над железом есть только один закон.

И потому откажись от своих слов, Нам-Бок, чтобы мы не потеряли уважения к тебе.

— Но это так, — настаивал Нам-Бок. — Пароход весь железный — и все же он не тонет.

— Нет, не может быть!

— Я видел своими глазами.

— Это противоречит тому, что положено.

— Но скажи мне, Нам-Бок, — вмешался Куга, боясь, что спор помешает рассказу. — Каким образом эти люди находят свой путь по морям, если там нет берега, которого можно держаться?

— Солнце указывает путь.

— Как?

— В полдень главный начальник шхуны берет один предмет и глядит через него на солнце, а затем он заставляет солнце спуститься с неба на край земли.

— Но ведь это волшебство! — воскликнул Опи-Кван, пораженный таким святотатством. Мужчины в ужасе всплеснули руками, а женщины застонали. — Это волшебство. Нехорошо отклонять от своего пути великое солнце, прогоняющее ночь и дающее нам тюленей, лососей и тепло.

— Что из того, что волшебство? — свирепо спросил Нам-Бок. — Я тоже смотрел в этот предмет и

заставлял солнце спускаться с неба.

Сидевшие ближе отпрянули от него, а одна из женщин накрыла лицо лежавшего у ее груди ребенка, оберегая его от взгляда Нам-Бока.

— Но наутро четвертого дня, о Нам-Бок, — подсказал Куга, — наутро четвертого дня, когда ш…ш… шхуна приблизилась к тебе?..

— У меня оставалось мало сил, и я не мог двигаться. Они взяли меня на борт, напоили водой и дали мне поесть. Вы, братья, два раза видели белых людей. Люди на шхуне были белолицы, и их было столько, сколько у меня на руках и на ногах пальцев. Когда я увидел, что они ко мне добры, я осмелел и решил запомнить все, что видел. Они научили меня выполнять их работу, давали хорошую пищу и отвели мне место для сна.

День за днем плавали мы по морю, и каждый день начальник заставлял солнце спускаться с неба и указывать, где мы находимся. Когда погода благоприятствовала, мы ловили тюленей, и я очень удивлялся, глядя, как они выбрасывают за борт мясо и жир, оставляя себе только шкуру.

Рот Опи-Квана перекосился, и он готов был обрушиться на такую расточительность, но Куга толкнул его, заставив замолчать.

— После долгих, тяжелых трудов, когда солнце

скрылось, а воздух стал холодным, начальник направил шхуну к югу. Мы держали путь к югу и к западу и плыли день за днем, не видя земли. Проходя мимо селения…

— Откуда вы знали, что оно близко? — спросил Опи-Кван, не в состоянии больше сдерживаться. — Земли же не было видно.

Нам-Бок злобно посмотрел на него:

— Разве я не говорил, что начальник заставил солнце спуститься с неба?

Куга примирил их, и Нам-Бок продолжал:

— Как я уже говорил, когда мы проходили вблизи селения, подул сильный ветер, и мы в полной темноте, беспомощные, не знали, где находимся…

— Ты только что сказал, что начальник знал…

— Помолчи, Опи-Кван! Ты глупец и этого понять не можешь. Итак, мы были беспомощны в темноте, и вдруг я за ревом бури услыхал шум прибоя о берег. В следующий миг мы налетели на скалы, и я очутился в воде и поплыл. Скалистый берег тянулся на много миль, но мне было суждено оказаться на песке и выбраться невредимым из воды. Остальные, очевидно, разбились о скалы, потому что никто больше не был выброшен на берег, кроме начальника, — его можно было

узнать только по кольцу на пальце.

Когда наступил день, от шхуны ничего не осталось, и я повернулся спиной к морю и пошел в глубь страны, чтобы достать пищи и увидеть людей. Я добрался до жилья, и меня пригласили войти и накормили, потому что я научился их языку, а белые люди всегда приветливы. Жилище их было больше, чем все дома, какие строили мы и до нас наши отцы.

— Это был громадный дом, — заметил Куга, маскируя свое недоверие удивлением.

— И немало деревьев пошло на постройку такого дома, — прибавил Опи-Кван, поняв намек.

— Это еще пустяки, — пренебрежительно пожал плечами Нам-Бок. — Наши дома так же малы по сравнению с этим домом, как он мал по сравнению с теми домами, что мне пришлось увидеть впоследствии.

— А люди тоже были высокие?

— Нет, люди были, как ты и я, — отвечал Нам-Бок. — Я срезал себе по пути палку, чтобы легче было идти, и, помня, что должен буду рассказать вам, братья, все, что видел, я делал на палке по зарубке на каждого человека, живущего в том доме. Я прожил там много дней и работал, а они за работу давали мне деньги — вы еще не знаете,

что это такое, но это очень хорошая вещь.

Затем я в один прекрасный день ушел оттуда и пошел дальше в глубь страны. По дороге я встречал множество людей и стал делать зарубки меньшего размера, чтобы хватило места на всех. Вдруг я натолкнулся на странную вещь. На земле передо мной лежала железная полоса шириной в мою руку, а на расстоянии большого шага лежала другая полоса…

— Значит, ты стал богатым человеком, — заметил Опи-Кван. — Ведь железо самая дорогая вещь на свете. Из этих полос можно было сделать много ножей.

— Нет, это железо было не мое.

— Ты нашел его, а находка по закону принадлежит нашедшему.

— Нет, это не так: белые люди положили железные полосы. А кроме того, эти полосы были такой длины, что никто не мог унести их, — я и конца их не видел.

— Это слишком много железа, Нам-Бок, — заметил Опи-Кван.

— Да, я с трудом верил своим глазам, но глаза меня не обманывали. Пока я разглядывал железо, я услыхал… — Он повернулся к старшине. — Опи-Кван, ты слышал, как ревет разгневанный

морской лев. Представь себе рев стольких морских львов, сколько волн в море, и представь себе, что все львы превратились в одно чудовище, — так вот рев этого чудовища походил бы на рев, который я услышал.

Рыбаки громко закричали от удивления, а Опи-Кван так и остался с разинутым ртом.

— На некотором расстоянии я увидел чудовище размером в тысячу китов. У него был всего один глаз, оно извергало дым и невероятно рычало. Я испугался и, спотыкаясь, бросился бежать по тропинке между полосами. Но чудовище мчалось со скоростью ветра, и я прыгнул в сторону через железную полосу, почувствовав на своем лице его горячее дыхание…

Опи-Кван овладел собою и закрыл рот.

— А потом что было, о Нам-Бок?

— Потом оно промчалось мимо меня по железным полосам, не причинив мне никакого вреда; когда я опомнился, оно уже исчезло из виду. Но это очень обыкновенная вещь в той стране. Даже женщины и дети ее не боятся. Белые люди заставляют этих чудовищ работать на себя.

— Как мы заставляем работать наших собак? — спросил Куга с недоверчивым огоньком в глазах.

— Да, как мы заставляем работать наших со-

бак.

— А как они разводят этих… чудовищ? — спросил Опи-Кван.

— Они их не разводят. Они искусно строят их из железа, кормят их камнями и поят водой. Камень превращается в огонь, а вода превращается в пар; пар от воды — дыхание этих чудовищ, а…

— Довольно, довольно, о Нам-Бок, — прервал его Опи-Кван. — Расскажи нам о других чудесах. Нас утомляют эти чудеса, мы их не понимаем.

— Не понимаете? — безнадежно спросил Нам-Бок.

— Нет, не понимаем, — жалобно заныли все мужчины и женщины. — Мы не можем понять.

Нам-Бок подумал о сложных земледельческих машинах, об аппаратах, дающих изображения живых людей, о других аппаратах, передающих голоса людей, и понял, что его народ ничего не поймет в его рассказах.

— Вы мне поверите, если я скажу, что я ездил на этом чудовище? — с горечью спросил он.

Опи-Кван поднял кверху руки, ладонями вперед, открыто выказывая свое недоверие.

— Продолжай, говори, что хочешь. Мы тебя слушаем.

— Итак, я ездил на железном чудовище, запла-

тив за проезд деньги…

— Ты же говорил, что его кормили камнями.

— О, глупец, я говорил еще, что деньги — это такая вещь, о которой вы ничего не знаете. И вот, как я сказал, я проехал на этом чудовище мимо многих селений, пока не доехал до большого селения, стоявшего на морском заливе. Крыши домов здесь достигали звезд, облака отдыхали на этих крышах, и все кругом было затянуто дымом. Шум этого селения был подобен шуму бури на море, а народу было столько, что я бросил прочь палку и перестал думать о сделанных зарубках.

— Если бы ты делал маленькие зарубки, — упрекнул его Куга, — ты мог бы дать нам точный отчет.

Нам-Бок в бешенстве повернулся к нему:

— Если бы я делал маленькие зарубки! Послушай, Куга, — ты, умеющий только царапать по кости! Если бы я стал делать маленькие зарубки, все равно не хватило бы ни моей палки, ни двадцати палок, ни всех принесенных морем палок на берегу между нашим селением и соседним. И если бы всех вас, с женщинами и детьми, было в двадцать раз больше, и у каждого из вас было по двадцать рук, и каждая рука держала бы нож и палку — и тогда бы вам не удалось сделать

столько зарубок, сколько людей я видел в городе — так много их там и так быстро они приходят и уходят.

— Во всем мире не может быть столько людей, — возразил Опи-Кван; он был ошарашен и бессилен представить такое количество.

— Что можешь ты знать о мире и о его размерах? — спросил Нам-Бок.

— Но в одном месте не может находиться столько людей.

— Кто ты такой, чтобы говорить о том, что может быть и чего не может?

— Это само собой понятно, что в одном месте не может находиться столько людей. Их каноэ сплошь покрывали бы море, и никто бы не мог управлять каноэ за недостатком места. Они каждый день вылавливали бы из моря всю рыбу, и на всех не хватило бы и пищи.

— Казалось бы, что так, — закончил Нам-Бок, — но все же это правда. Я видел собственными глазами и бросил прочь свою палку. — Он протяжно зевнул и встал. — Я плыл издалека. День был долог, и я устал. Теперь я пойду спать, а завтра мы поговорим еще о диковинках, которые я видел.

Баск-Ва-Ван заковыляла впереди, гордая и в

то же время напуганная своим удивительным сыном. Она привела его в свою *иглоо* и уложила спать на грязных, вонючих шкурах. Но мужчины остались сидеть у костра и держали совет, тихо перешептываясь и обсуждая что-то вполголоса.

Прошел час и другой; Нам-Бок спал, а беседа все продолжалась. Вечернее солнце склонялось к северо-западу и к одиннадцати часам было на севере. Тогда старшина и резчик по кости отделились от остальных и пошли будить Нам-Бока. Он прищурил на них глаза и повернулся на другой бок, чтобы уснуть. Опи-Кван схватил его за руку и добродушно, но решительно тряс его, пока не привел в чувство.

— Пора, Нам-Бок, вставай! — приказал он. — Время пришло.

— Снова еда? — воскликнул Нам-Бок. — Нет, я не голоден! Ешьте без меня и дайте мне выспаться.

— Время уходить! — загремел Куга.

Но Опи-Кван заговорил более мягко.

— Ты был другом моего детства, — сказал он. — Мы с тобой вместе охотились на тюленей и ловили лососей. И ты спас мне жизнь, Нам-Бок, когда море сомкнуло надо мной свои воды и потянуло вниз к черным скалам. Мы вместе голодали

и мерзли и укрывались одной шкурой, плотно прижимаясь друг к другу. Все это и моя любовь к тебе заставляют меня страдать, что ты вернулся к нам таким удивительным лжецом. Мы ничего не можем понять, и у нас идет кругом голова от всего, что ты рассказал нам. Это нехорошо, и мы долго обсуждали это на совете. Поэтому мы отсылаем тебя обратно — нам надо сохранить разум ясным и сильным и не смущать его несказанными чудесами.

— Ты нам рассказывал о тенях, — подхватил Куга. — Ты принес свои рассказы из мира теней и должен вернуть их в мир теней. Байдарка готова, и все племя ждет. Они не пойдут спать, пока ты не уйдешь.

Нам-Бок был поражен и вслушивался в голос старшины.

— Если ты — Нам-Бок, — говорил Опи-Кван, — то ты бесстыдный и удивительный лжец; если ты — тень Нам-Бока, — значит, ты говорил нам о тенях, а нехорошо, чтобы живые проникали в мир теней. Мы думаем, что большое селение, о котором ты говорил, населено тенями. Там живут души мертвых, ибо мертвых много, а живых мало. Мертвые не возвращаются, мертвые никогда еще не возвращались — вернулся один ты с

твоими удивительными рассказами. Мертвым не следует возвращаться, и если мы это допустим, нам придется вынести много горя.

Нам-Бок хорошо знал свой народ и понимал, что решение совета — окончательное. Итак, он, не сопротивляясь, спустился с ними к берегу, где его посадили в байдарку и дали в руку весло. Одинокая морская птица летела к морю, и прилив слабо и глухо катил на берег свои волны. Густые сумерки окутали землю и небо, а на севере солнце едва вырисовывалось, затемненное грядою кроваво-красных облаков. Чайки летали низко над землей. С суши дул резкий, холодный ветер, и черные массы облаков предвещали непогоду.

— Из моря ты пришел к нам, — нараспев протянул Опи-Кван, — и обратно в море ты уйдешь. Так будет выполнен закон.

Баск-Ва-Ван проковыляла до пенистой границы воды и закричала:

— Благословляю тебя, Нам-Бок, за то, что ты помнил обо мне.

Но Куга, отталкивая байдарку от берега, сорвал с ее плеч шаль и кинул ее в байдарку.

— Холодно в долгие ночи, — заплакала она, — холод больно щипает старые кости.

— Это лишь тень, — отвечал резчик по кости. —

Тени не греют.

Нам-Бок встал, чтобы быть услышанным.

— О Баск-Ва-Ван, что родила меня! — воскликнул он. — Услышь слова твоего сына, Нам-Бока. В байдарке хватит места на двоих, и он хочет взять тебя с собою. Он едет в места, где рыбы и жира вволю. Мороза там нет, жизнь легка, и железные вещи выполняют работу человека. Хочешь, Баск-Ва-Ван?

Она колебалась, а когда челнок начал быстро удаляться, пронзительно закричала старческим дрожащим голосом:

— Я стара, Нам-Бок, и скоро перейду в царство теней. Но я не хочу идти туда до положенного мне срока. Я стара, Нам-Бок, и я боюсь.

Луч света прорезал тьму и залил лодку и человека золотом и пурпуром. Рыбаки замолкли, и слышался только стон ветра да кричали чайки, летавшие низко над морем.

Заклинатель духов

Селение было взволновано. Женщины, собравшись группами, перешептывались. Мужчины были угрюмы и задумчивы, и даже собаки, обеспокоенные волнением людей, уныло бродили вокруг, готовясь бежать в лес при первых враждебных действиях. Воздух был насыщен подозрением. Никто не был уверен в своем соседе, и каждый думал, что сосед подозревает его. Даже дети были подавлены и притихли, а причина всего переполоха — маленький Ди-Иа, которого здорово отколотила его мать Гуниа, а затем и отец Боун — хныкал и уныло глядел на мир из-под опрокинутого на берегу каноэ.

К несчастью, Сканду, шаман, был вне милости, и нельзя было прибегнуть к его познаниям, чтобы найти злодея. Дело в том, что месяц назад Сканду предвещал благоприятный южный ветер на тот день, когда все племя собиралось ехать в Тонкин на потлач[17], — чтобы устроить потлач, Таку-Джим затратил все свои сбережения за двадцать лет, — когда же назначенный день настал,

---

[17] Примечания: 17
Потлач — пиршество. *(Прим. ред.)*

дул свирепый северный ветер, и из первых трех каноэ, рискнувших отправиться в путь, одно опрокинулось, а два были разбиты вдребезги о скалы, причем утонул один ребенок. Сканду объяснил это ошибкой — он взял шнур для гадания не из той сумки. Но никто его не хотел слушать; к его двери больше не приносили ни мяса, ни рыбы, ни мехов; и он угрюмо сидел взаперти, так думали односельчане, горько раскаиваясь и постясь; на самом же деле он прекрасно питался, поедая припрятанные запасы, и размышлял о непостоянстве толпы.

Пропали одеяла Гуниа. Это были прекрасные одеяла, толстые и теплые. Гуниа чрезвычайно гордилась ими, тем более, что они очень дешево ей достались. Один лишь Ти-Кван, из соседнего селения, был настолько глуп, чтобы так легко расстаться с ними. Правда, она не знала, что это были одеяла убитого англичанина и что после этого убийства американский катер долгое время шнырял вдоль берега, а шлюпки обыскивали все укромные бухточки и заливы. Она не знала, что Ти-Кван во что бы то ни стало хотел избавиться от них, чтобы не навлечь на свое селение гнева американского правительства, и спокойно продолжала гордиться своим приобретением.

Зависть остальных женщин только подливала масла в огонь, и ее тщеславие, все увеличиваясь, наполнило собой селение и разлилось по всему побережью Аляски от Голландской гавани до гавани Ст. — Мэри. Все прославляли ее *тотэм*; ее имя было на устах мужчин за рыбной ловлей и за трапезой; повсюду только и было разговора, что об ее одеялах, — о том, какие они толстые и плотные. Их исчезновение было весьма таинственным и странным происшествием.

— Я только разложила их на солнышке у стены хижины, — повествовала в тысячный раз Гуниа своим подругам. — Я только разложила их и вернулась в дом, потому что Ди-Иа, пожиратель сырой муки и теста, сунул голову в большой железный котел, опрокинул его и остался стоять вниз головой, а ноги его качались в воздухе, как ветви деревьев на ветру. Я только вытащила его и два раза ударила головой о дверь, чтобы отучить красть тесто, — и глянь! — одеял уже не было!

— Одеял уже не было! — повторили женщины испуганным шепотом.

— Это большая потеря, — добавила одна из них.

— Никогда здесь не видели таких одеял, — сказала другая.

— Мы очень опечалены твоей потерей, Гуниа, — заговорила третья.

В глубине души каждая из них радовалась, что ненавистные одеяла — предмет зависти и раздора — исчезли.

— Я только разостлала их на солнышке, — начала Гуниа в тысячу первый раз свое повествование.

— Да, да, — заговорил Боун, которому эти разговоры успели надоесть. — К нам никто не приходил из других селений. Очевидно, один из наших односельчан наложил на них свою руку.

— Как же это могло случиться, о Боун? — хором негодовали женщины. — Кто мог это сделать?

— А может быть, здесь замешаны таинственные силы, — продолжал Боун, искоса поглядывая, какое впечатление произвели его слова.

Таинственные силы! При этом страшном слове женщины замолкли и боязливо поглядывали друг на друга.

— Да, это так, — подтвердила Гуниа, и скрытая злобность ее характера нашла себе выход в торжествующем злорадстве. — Клок-Но-Тону послано уже сообщение и крепкие весла. Он, верно, будет здесь с вечерним приливом.

Все разошлись по домам, и над селением на-

вис страх. Из всех несчастий вмешательство таинственных сил было самым ужасным. С неосязаемыми и невидимыми силами мог бороться только шаман, и ни мужчина, ни женщина, ни дитя до момента испытания не могли знать, владеют ли дьяволы их душой или нет. И изо всех шаманов Клок-Но-Тон из соседнего селения был самым страшным. Никто не находил столько злых духов, как он, и никто не подвергал жертв таким жестоким пыткам. Однажды он даже обнаружил злого духа, вселившегося в тело трехмесячного младенца, — духа столь упорного, что изгнать его удалось лишь после того, как младенец неделю пролежал на шипах терновника. После этого его тело было брошено в море, но волны постоянно приносили его обратно на берег, словно угрожая проклятием селению, пока двое сильных мужчин не утащили его во время отлива подальше и не утопили.

И за этим Клок-Но-Тоном послала Гуниа! Было бы гораздо лучше, если бы их собственный шаман Сканду не находился в немилости. Он не так жесток, и известно, что он изгнал двух злых духов из человека, ставшего впоследствии отцом семи здоровых детей. Но Клок-Но-Тон! При одной мысли о нем все содрогались от ужасных пред-

чувствий, и каждый ощущал устремленные на себя обличительные взоры сотоварищей и глядел на них тем же обличительным взором, — каждый, за исключением Сима. А Сим был известный насмешник, и его успехи в жизни не могли поколебать твердой уверенности односельчан в том, что он плохо кончит.

— Хо-хо! — смеялся он. — Дьяволы и Клок-Но-Тон! Да большего дьявола вы по всей стране не сыщете!

— Ты глупец! Теперь он приближается к нам с заклинаниями, попридержи язык, не то тебя постигнет несчастье и сократятся твои дни на земле!

Так говорил Ла-Ла, по прозванию Мошенник, и Сим презрительно расхохотался.

— Я — Сим, я не привык бояться и не пугаюсь тьмы. Я — сильный человек, и мой отец до меня был сильным человеком, и голова моя ясна. Ни вы, ни я не видали своими глазами невидимых злых сил…

— Но Сканду видел, — возразил Ла-Ла. — И Клок-Но-Тон видел. Это всем известно.

— Как же ты узнал об этом, сын глупца? — загремел Сим, и бычья шея его потемнела от гнева.

— Они сами говорили это.

Сим фыркнул:

— Шаман — человек, и только! Разве его слова не могут быть *лживы*, как твои или мои? Тьфу! Тьфу! И еще раз — тьфу! А вот твоему шаману и всем его дьяволам! И вот это! И это!

И, подсмеиваясь, Сим крупными шагами прошел через толпу зрителей, почтительно и испуганно расступившихся перед ним.

— Хороший рыбак, сильный охотник, но дурной человек, — сказал один.

— Однако ему хорошо живется, — заметил другой.

— Ну так и ты будь дурным и процветай, — через плечо возразил Сим. — А если бы все были дурными, тогда и шаманов бы не потребовалось. Полно! Стыдитесь — дети, боящиеся темноты!

Когда с вечерним приливом прибыл Клок-Но-Тон, Сим все так же вызывающе смеялся. Он не удержался и от насмешек над шаманом, когда тот упал на песок при высадке. Клок-Но-Тон сердито поглядел на него и, не здороваясь, прошел через встречавшую его толпу прямо к жилищу Сканду.

О встрече шаманов никто ничего узнать не мог, потому что все толпились на почтительном расстоянии от жилища Сканду и переговаривались шепотом, пока заклинатели духов беседовали.

— Привет тебе, о Сканду! — проворчал Клок-Но-Тон, видимо, колеблясь и не зная, какой его ждет прием.

Он был громадного роста и горой возвышался над маленьким Сканду, голос которого долетал до его ушей, как слабое, отдаленное трещание сверчка.

— Привет, о Клок-Но-Тон! — отвечал тот. — Твой приход — радость моего дня.

— Мне казалось… — начал нерешительно Клок-Но-Тон.

— Да, да… — нетерпеливо перебил его маленький шаман. — Для меня настали тяжелые дни, иначе мне не пришлось бы благодарить тебя за то, что ты выполняешь мою работу.

— Мне очень неприятно, друг Сканду…

— Нет, я очень счастлив, Клок-Но-Тон.

— Я дам тебе половину того, что будет мне заплачено.

— Нет, не надо, друг Клок-Но-Тон, — прошептал Сканду, сопровождая свои слова умоляющим жестом. — Я твой раб, и дни мои полны желанием услужить тебе.

— Как и я…

— Ну да — тем, что сейчас помогаешь мне.

— Итак, это очень скверная история, с этими

одеялами Гуниа?

Большой шаман намеренно протянул свой вопрос, и Сканду усмехнулся бледной, едва заметной усмешкой, ибо умел читать в сердцах людей, и все люди казались ему маленькими и жалкими.

— Искусство твое велико, Клок-Но-Тон, — сказал он. — Несомненно, ты сразу откроешь, кто совершил преступление.

— Да, я найду его, как только увижу. — Клок-Но-Тон снова заколебался. — Приходил сюда кто-нибудь из других селений? — спросил он.

Сканду покачал головой.

— Посмотри, разве это не прекрасный *муклук?*

Он поднял покрывало из тюленьей и моржовой кожи, и посетитель с тайным интересом принялся его разглядывать.

— Я недавно получил его.

Клок-Но-Тон внимательно кивнул головой.

— Я получил его от Ла-Ла. Он замечательный человек, и я часто подумывал…

— Да? — нетерпеливо заметил Клок-Но-Тон.

— Я часто подумывал… — заключил Сканду; голос его упал, и он замолчал. — Сегодня счастливый день, и искусство твое велико, Клок-Но-Тон.

Лицо Клок-Но-Тона прояснилось.

— Ты великий человек, Сканду, ты шаман из шаманов. Я иду. Я всегда буду помнить о тебе. А Ла-Ла, по твоим словам, замечательный человек.

Улыбка Сканду стала как бы призрачной, и он закрыл дверь за посетителем и задвинул все засовы.

Сим занимался починкой своего челнока, когда Клок-Но-Тон спустился на берег, и оторвался от работы лишь затем, чтобы хвастливо зарядить винтовку и положить ее рядом с собой.

Шаман заметил его движение и воскликнул:

— Пусть все соберутся сюда! Таков приказ Клок-Но-Тона, заклинателя злых духов!

Он собирался созвать их у дома Гуниа, ему необходимо было присутствие всех: сомневаясь в послушании Сима, он хотел избежать столкновений. Сима было выгоднее не трогать, рассудил он, так как Сим всякому шаману мог причинить много хлопот.

— Пусть приведут сюда женщину Гуниа, — приказал Клок-Но-Тон, свирепо оглядывая собравшихся вокруг него людей и заставляя содрогаться тех, на ком останавливался его взор.

Приковыляла Гуниа, опустив голову и глядя в сторону.

— Где находились твои одеяла?

— Я только разостлала их на солнышке — и глянь! — их уже не было! — захныкала она.

— Да?

— Все случилось из-за Ди-Иа.

— Да?

— Я его поколотила и буду еще бить за то, что он доставил столько горя нам, беднякам.

— Одеяла! — хрипло заревел Клок-Но-Тон, предвидя ее желание понизить вознаграждение. — Одеяла, женщина! Твое богатство известно всем.

— Я только разостлала их на солнышке, — засопела она, — а мы бедные люди, совсем бедные…

Он вдруг замер, лицо его исказила ужасная судорога, и Гуниа отпрянула от него. Но он так быстро прыгнул вперед со скошенными внутрь глазами и разинутым ртом, что она споткнулась, упала и стала ползать у его ног. Он размахивал руками, дико рассекая воздух, и все тело его извивалось и корчилось, словно от боли. Казалось, что у него эпилептический припадок. На губах показалась пена, и тело содрогалось в конвульсиях.

Женщины жалобно причитали, раскачиваясь взад и вперед, да и мужчины один за другим поддались общему возбуждению, оставался спокойным один Сим. Сидя на своем каноэ, он

насмешливо глядел на все происходящее. Предки, чья кровь была его кровью, заговорили в нем, и он поклялся страшнейшей клятвой не терять присутствия духа. На Клок-Но-Тона страшно было смотреть. Он отбросил свой плащ и сорвал с себя одежду и остался совершенно нагим, лишь на бедрах болталась повязка из орлиных когтей. Дико завывая и крича, с развевающимися длинными черными волосами, он, как одержимый, метался по кругу. В его безумии чувствовался дикий, захватывающий ритм, и когда все поддались его влиянию, раскачиваясь одновременно с ним и вскрикивая в унисон, он внезапно уселся на землю, вытянув вперед руку и длинный, похожий на птичий коготь палец. Тихий стон, словно плач по мертвецу, встретил этот жест, и все, дрожа, съеживались, когда ужасный палец медленно скользил мимо напряженных лиц. Этот палец нес смерть, и тот, мимо кого он прошел, знал, что ему суждено остаться в живых, и, не отрываясь, следил за движением рокового пальца.

В конце концов шаман с диким воплем остановил палец на Ла-Ла. Тот задрожал как осиновый лист, увидя себя мертвым, имущество разделенным и вдову вышедшей замуж за брата. Он пытался заговорить, отрицать это обвинение,

но язык его словно прилип к гортани, а в глотке пересохло. Теперь, когда дело было сделано, Клок-Но-Тон, казалось, наполовину лишился сознания. Но, закрыв глаза, он прислушивался, ожидая, когда, наконец, раздастся дикий, кровожадный вой, знакомый по тысяче прежних волхований, — вой людей, бросающихся, подобно волкам, на дрожащую жертву. Но кругом было тихо, затем — неизвестно, с какой стороны, — раздался подавленный смешок и, распространяясь все дальше и дальше, перешел в громкий хохот.

— Отчего вы хохочете? — воскликнул он.

— Га! Га! — смеялись кругом. — Твое искусство никуда не годится, Клок-Но-Тон.

— Все знают, — запинаясь бормотал Ла-Ла, — что я восемь месяцев провел в трудах, далеко отсюда, охотясь на тюленей с сивашскими охотниками, и вернулся только сегодня, а одеяла Гуниа пропали до моего прихода.

— Это правда! — единодушно воскликнули все. — Одеяла Гуниа пропали до его прихода.

— И ты ничего не получишь за твое искусство — оно ничего не стоит, — заявила Гуниа, вставая на ноги. Она, видимо, страдала от смешного положения, в какое ей пришлось попасть.

Но Клок-Но-Тон видел перед собой только лицо

Сканду, его безжизненную улыбку и слышал отдаленное, еле слышное трещание сверчка. «Я получил ее от Ла-Ла и частенько подумывал…», а затем: «Сегодня счастливый день, и искусство твое велико».

Он промчался мимо Гуниа, и все инстинктивно расступились, чтобы дать ему дорогу. Сим, сидя в своей лодке, посылал ему вдогонку насмешки, женщины смеялись ему в лицо, вслед неслись нелестные замечания и крики, но он, не обращая ни на что внимания, несся к жилищу Сканду. Добежав до него, он стал колотить в дверь кулаками, осыпая Сканду дикими проклятиями. Но из хижины никто не отзывался, и когда Клок-Но-Тон затихал, доносился голос Сканду, произносивший какие-то дикие заклинания. Клок-Но-Тон бесновался как сумасшедший, но когда он попытался взломать дверь с помощью большого камня, послышался ропот всех жителей. И тогда Клок-Но-Тон понял, что он лишился власти и почета в этом чужом селении. Он увидел, как один из рыбаков нагнулся за камнем, а за ним и другой, и его обуял смертельный страх.

— Не трогай Сканду, он великий шаман! — крикнула одна из женщин.

— Возвращайся-ка лучше в свое селение! — по-

советовал угрожающим тоном один из мужчин.

Клок-Но-Тон повернулся и мимо них спустился к берегу с яростью в сердце и с сознанием, что с тылу он совершенно беззащитен. Но ни один камень не был брошен. Ребятишки с насмешками вертелись вокруг него, а в воздухе звучал хохот и издевательства — этим все и ограничилось. И только тогда, когда каноэ далеко отплыло от берега, он вздохнул свободно, встал и послал проклятие селению и его обитателям, не забыв при этом особо упомянуть Сканду, сделавшего из него всеобщее посмешище.

На берегу все громко призывали Сканду, и все жители селения столпились у его двери, умоляя на все голоса о прощении. Тогда он вышел из хижины и поднял руку.

— Вы мои дети, и я вас прощаю, — сказал он. — Но пусть это больше не повторится. В следующий раз ваша глупость получит заслуженное наказание. Я знаю, в чем заключается ваша просьба, и я ее исполню. Ночью, когда луна уйдет, чтобы повидать великих мертвецов, все должны собраться у хижины Гуниа. Тогда откроется, кто совершил это преступление, и злодей понесет заслуженную кару. Я все сказал.

— Наказанием будет смерть! — завопил Бо-

ун. — Он причинил нам много горя и покрыл нас стыдом!

— Да будет так, — ответил Сканду и скрылся в хижине.

— Теперь все станет ясным, и мы снова заживем спокойно, — возвестил Ла-Ла.

— Благодаря маленькому человечку — Сканду, — издевался Сим.

— Благодаря искусству маленького человечка Сканду, — поправил его Ла-Ла.

— Глупцы вы, дети племени Тлинкет! — Сим звучно шлепнул себя по бедру. — Не пойму, как взрослые женщины и сильные мужчины могут пресмыкаться в грязи, восхищаясь сказками!

— Я много странствовал по свету, — отвечал Ла-Ла. — Я ездил по далеким морям и видел чудеса — и знаю, что существуют таинственные силы. Я — Ла-Ла…

— Мошенник…

— Да, так меня прозвали, а следовало бы называть Путешественником.

— Я не странствовал по свету так много, как… — начал Сим.

— Тогда попридержи язык, — прервал его Боун, и они расстались, очень недовольные друг другом.

Когда последний отблеск лунного сияния исчез, в толпе, окружавшей хижину Гуниа, появился Сканду. Он шел быстрым, бодрым шагом, и при свете огня Гуниа видно было, что он пришел с пустыми руками, без трещоток, масок и прочих принадлежностей шамана. Только под мышкой он нес большого заспанного ворона.

— Собраны ли дрова для костра, чтобы все могли увидеть ответ духов? — спросил он.

— Да, — отвечал Боун. — Дров много.

— Теперь слушайте все, ибо слов будет немного. Я принес с собою Джелкса-Ворона, вещуна и отгадчика тайн. Черного ворона помещу я под большим черным котлом Гуниа, в самом темном углу ее хижины. Огонь будет погашен, и вокруг наступит тьма. Один за другим вы будете входить в хижину, класть руки на котел, на время глубокого вздоха, и затем выходить обратно. Джелкс несомненно закричит, почуяв руки злодея. Кто знает, может, он и другим путем обнаружит свою мудрость. Вы готовы?

— Мы готовы, — раздался многоголосый ответ.

— Тогда я начинаю выкликать по очереди имена, пока не вызову всех.

Первым был вызван Ла-Ла, и он без колебания вошел в хижину. Все напрягли слух, и в мертвой

тишине был слышен скрип шагов по расшатанному полу. Но это было все. Джелкс не крикнул и не подал никакого знака. Затем была очередь Боуна, ибо не исключена же возможность, что человек украл собственные одеяла, чтобы навлечь стыд на голову своих соседей! За ним последовала Гуниа, другие женщины и дети, но Джелкс не подавал знака.

— Сим! — выкликнул Сканду. — Сим, — повторил он.

Но Сим не трогался с места.

— Не боишься ли ты темноты? — свирепо спросил Ла-Ла, довольный доказательством своей честности.

Сим усмехнулся:

— Я смеюсь над всем, потому что это вздор. Но я войду туда не потому, что я верю в чудеса, а чтобы показать, что я ничуть не боюсь.

И он смело вошел в хижину и, все еще насмехаясь, вышел из неё.

— Ты когда-нибудь внезапно умрешь, — прошептал в справедливом негодовании Ла-Ла.

— Ничуть в этом не сомневаюсь, — легкомысленно возразил насмешник. — Не многие из нас умирают на своем ложе благодаря шаманам и глубокому морю.

Когда половина жителей благополучно прошла через испытание, общее возбуждение стало мучительно напряженным. А когда испытанию подверглись две трети селения, молодая женщина, ожидавшая в скором времени ребенка, не выдержала и забилась в истерическом припадке.

Наконец пришла очередь последнего, а знака все еще не было. Последним был Ди-Иа. Очевидно, украл одеяла он. Гуниа обратилась с жалобным воплем к звездам, а остальные отшатнулись от несчастного ребенка. Он был еле жив от ужаса, ноги его подгибались, и он споткнулся на пороге и чуть не упал. Сканду толкнул его в хижину и закрыл за ним дверь.

Прошло долгое время, и из хижины доносились лишь рыдания мальчугана. Затем послышался скрип шагов — мальчик медленно приближался к дальнему углу, затем наступила тишина — и снова скрип шагов. Дверь открылась, и он вышел из хижины. Ничего не произошло, а он был последним.

— Разведите огонь, — приказал Сканду.

Яркое пламя взвилось кверху, и при его свете было видно, что страх жителей исчез, но лица их омрачены сомнением.

— Видно, гадание не удалось, — хрипло прошептала Гуниа.

— Да, — согласился Боун. — Сканду старится, и нам надо позаботиться о новом шамане.

— Где же ясновидение Джелкса? — проговорил смеясь Сим на ухо Ла-Ла.

Ла-Ла растерянно провел рукой по лбу и ничего не сказал. Сим вызывающе выпятил грудь и хвастливо заявил маленькому шаману:

— Хо-хо! Я говорил, что ничего не выйдет!

— Посмотрим, посмотрим, — кротко возразил шаман. — Это кажется невероятным всем непосвященным в тайные знания.

— Как, например, тебе? — дерзко спросил Сим.

— Может быть, и мне, — Сканду говорил тихо, и его веки опускались и опускались все ниже и ниже, пока глаза не закрылись. — Я решил дать вам другое испытание. Пусть все — мужчины, и женщины, и дети — сразу поднимут руки высоко над головой!

Приказ был так неожидан и прозвучал настолько повелительно, что все, не рассуждая, повиновались. Все руки были подняты.

— Пусть каждый посмотрит на руки остальных — глядите все! — приказывал Сканду, — чтобы…

Но громкий хохот, в котором звучала ярость,

заглушил его голос. Взоры всех остановились на Симе. Все руки были черны от сажи, лишь его руки не прикасались к закопченному котлу Гуниа.

Камень пролетел в воздухе и попал ему в щеку.

— Это ложь! — завопил он. — Это ложь! Я ничего не знаю об одеялах Гуниа!

Второй камень попал ему в лоб, третий просвистел мимо, раздался дикий, кровожадный вой, и всюду виднелись нагнувшиеся за камнями фигуры людей. Он пошатнулся и медленно опустился на землю.

— Это была шутка! Только шутка! — закричал он. — Я взял их в шутку!

— Куда ты их спрятал? — пронзительный голос Сканду ножом прорезал общий шум.

— В большом тюке со шкурами.

Сканду кивнул головой, и камни полетели со всех сторон. Жена Сима беззвучно рыдала, спрятав голову в коленях, но его маленький сын с криками и смехом бросал камни вместе с остальными.

Приковыляла Гуниа с драгоценными своими одеялами. Сканду остановил ее.

— Мы люди бедные, и у нас ничего нет, — захныкала она. — Не будь к нам жесток, о Сканду!

Рыбаки перестали бросать камни — их нагромоздилась куча — и прислушались.

— Нет, это не в моих привычках, добрая женщина, — отвечая Сканду, протягивая руку за одеялами. — В знак того, что я не жесток, я возьму себе только одеяла. Мудро ли я рассудил, дети мои? — спросил он.

— Ты мудрец, о Сканду! — воскликнули все в один голос. И он скрылся в темноте, накинув на себя одеяла и унося под мышкой сонно качавшего головой Джелкса.

Жители Солнечной Страны

Мэндел — это заброшенное селение на берегу Полярного моря. Оно невелико, и жители его миролюбивы, еще более миролюбивы, чем все соседние племена. В Мэнделе мало мужчин и много женщин; поэтому там в обычае благодетельная полигамия: женщины усердно рожают, и рождение мальчика встречается радостными криками. Там вы встретите Ааб-Ваака, чья голова постоянно свисает на плечо, словно шея его устала и раз навсегда отказалась выполнять свой долг.

Причина всего — и миролюбия, и полигамии, и свисающей головы Ааб-Ваака — отходит в те отдаленные времена, когда шхуна «Искатель» бросила якорь в бухте Мэндел и когда Тайи, старшина селения, задался целью быстро обогатиться. Племя Мэндел — родственное по крови живущему на западе Голодному Племени — по сей день помнит об этом. Понизив голос, жители рассказывают о минувших событиях. Когда заходит о них речь, дети подсаживаются ближе и удивляются безумию людей, которые, не вступи они в борьбу с жителями Солнечной Страны, могли бы иметь потомство и не окончили бы так

печально своей жизни.

Все началось с того, что шесть человек с «Искателя» сошли на берег. Они имели при себе множество вещей, — словно намеревались оставаться в Мэнделе, — и устроились в хижине Нига. Они щедро расплачивались за помещение мукой и сахаром, но Нига был огорчен тем, что его дочь Месахчи решилась вверить свою судьбу и делить стол и ложе с Парнем-Биллем, начальником отряда белых людей.

— Она стоит большого выкупа, — жаловался Нига собравшемуся у костра совету, когда белые пришельцы спали. — Она стоит большого выкупа, потому что у нас больше мужчин, чем женщин, и мужчины дают высокую цену за жен. Охотник Ауненк предлагал мне только что сделанный каяк и ружье, что он выменял у Голодного Племени. Вот что мне было предложено, а теперь она ушла, и я ничего не получу.

— Я тоже предлагал выкуп за Месахчи, — проворчал чей-то голос — нельзя сказать, чтобы он звучал печально, — и у костра показалось широкое, жизнерадостное лицо Пило.

— Да, ты тоже, — подтвердил Нига. — Были еще и другие. Отчего так беспокойны жители Солнечной Страны? — сердито спросил он. — Отчего они

не остаются у себя на родине? Жители Страны Мороза не пробираются в Солнечную Страну.

— Спроси лучше, зачем они приезжают к нам, — крикнул голос из темноты, и к костру пробился Ааб-Ваак.

— Верно! Зачем они приезжают? — воскликнуло множество голосов, и Ааб-Ваак подал рукою знак молчания.

— Люди не станут рыть землю без всякой цели, — начал он. — Я вспоминаю китоловов — они тоже родом из Солнечной Страны — их корабль погиб во льдах. Вы все помните, как они явились к нам в разбитых лодках и на запряженных собаками санях уехали на юг, когда настали морозы и земля покрылась снегом. Вы помните, как, ожидая наступления морозов, один из них начал копать землю, за ним еще двое, затем трое, пока не стали копать все. Вы помните, как они при этом спорили и ссорились. Мы не знаем, что они нашли в земле, потому что они не позволяли нам следить за собой, и мы ничего не могли увидеть. После, когда они уехали, мы искали и ничего не нашли. Но у нас земли много, и всей они не перерыли.

— Ты прав, Ааб-Ваак, ты прав! — кричали все.

— И вот я думаю, — заключил он свою речь, —

что один житель Солнечной Страны рассказал другому, и эти люди, узнав, приехали к нам рыть землю.

— Но как могло случиться, что Парень-Билль говорит на нашем языке? — спросил маленький, иссохший старичок-охотник. — Парень-Билль, которого наши глаза никогда до сих пор не видали?

— Парень-Билль бывал прежде в Стране Мороза, — отвечал Ааб-Ваак. — Иначе он бы не знал языка Племени Медведя, а их речь очень похожа на речь Голодного Племени, а Голодное Племя говорит на том же языке, что мэнделийцы. У Племени Медведя побывало много жителей Солнечной Страны, у Голодного Племени их было мало, а в Мэнделе не было никого, кроме китобоев и тех белых, что спят сейчас в жилище Нига.

— Их сахар очень хорош, — добавил Нига. — И мука тоже.

— У них много богатств, — заметил Ауненк. — Вчера я был на их судне и видел много замечательных железных вещей, ножи, оружие, а также муку, сахар и много-много других удивительных вещей.

— Это правда, братья! — Тайи встал, внутренне торжествуя от сознания, что его племя уважает

и слушается его. — Они очень богаты, эти пришельцы из Солнечной Страны. При этом они очень глупы. Судите сами! Они смело и слепо являются к нам, не задумываясь о своем огромном богатстве. Они спокойно спят, а нас много, и мы не знаем страха.

— Может быть, и они храбрые бойцы и не знают страха? — возразил маленький старичок-охотник.

Тайи мрачно посмотрел на него.

— Нет, не похоже на то. Они живут на юге, в Солнечной Стране и изнежены, как их собаки. Вы помните собаку китобоев? Наши псы сожрали ее на следующий же день, потому что она была изнежена и не могла сопротивляться. Солнце греет, и жизнь в той стороне легка, мужчины похожи на женщин, а женщины на детей.

Слушатели одобрительно закивали, а женщины вытянули шеи, чтобы послушать.

— Говорят, что они хорошо обращаются со своими женщинами и их женщины не работают, — хихикая сказала Ликита, здоровая, крепкая девушка, дочь самого Тайи.

— Не хочешь ли ты пойти по следам Месахчи? — сердито крикнул он. Затем он быстро повернулся к односельчанам. — Вот видите, братья, каков

обычай жителей Солнечной Страны! Им нравятся наши женщины, и они отнимают их у нас одну за другой. Месахчи ушла, лишив Нига выкупа; теперь хочет уйти Ликита, и захотят уйти все, а мы будем обездолены. Я говорил с одним охотником из Племени Медведя и я знаю, что это так. Среди нас находятся мужчины из Голодного Племени; пусть они скажут, правду ли я говорю.

Шестеро охотников из Голодного Племени подтвердили правильность его слов и наперебой начали рассказывать о жителях Солнечной Страны и их обычаях. Молодые люди, искавшие себе жен, роптали; роптали и старики, желавшие получить выкуп за дочерей, и глухой ропот ярости становился все громче и явственнее.

— Они очень богаты, и у них много удивительных железных вещей, много ножей и оружия, — подливал масла в огонь Тайи, и мечта о быстром обогащении начинала казаться близкой к осуществлению.

— Ружье Парня-Билля я возьму себе, — заявил неожиданно Ааб-Ваак.

— Нет, его возьму я! — заорал Нига. — Пусть оно послужит выкупом за Месахчи.

— Тише! О братья! — Тайи жестом руки успокоил собравшихся. — Пусть женщины и дети

удалятся в свои хижины. Это беседа мужей; пусть ее слышат только уши мужчин.

— Ружей хватит на всех, — сказал он, когда женщины нехотя удалились. — Я не сомневаюсь, что каждый получит по два ружья, не говоря уже о муке, сахаре и других вещах. Это очень нетрудно. Шестеро жителей Солнечной Страны будут убиты сегодня в хижине Нига во время сна. Завтра мы мирно поедем на шхуну выменивать товары и, улучив время, перебьем их братьев. А вечером устроим пиршество и будем веселиться и делить богатства. Самый бедный будет иметь больше, чем имел когда-либо богатый. Слова мои мудры, не правда ли, братья?

Ответом было глухое одобрительное ворчание, и начались приготовления к нападению. Шестеро охотников из Голодного Племени, как полагается жителям более богатого селения, были вооружены винтовками и в изобилии снабжены боевыми припасами. Но у жителей Мэндела ружей было мало, да и те в большинстве случаев никуда не годились, а пороха и пуль почти совсем не было. Этот недостаток восполнялся несметным количеством стрел с костяными наконечниками, копий и стальных ножей русской и американской работы.

— Действуйте в полной тишине, — наставлял Тайи, — окружите хижину плотным кольцом, чтобы жители Солнечной Страны не могли через него прорваться. Затем ты, Нига, и шестеро молодых людей вползут тихонько в то помещение, где они спят. Ружей брать с собой не надо — они всегда могут неожиданно выстрелить, но вложите всю силу рук в ножи.

— И пусть ничто дурное не коснется Месахчи — она стоит большого выкупа, — хрипло прошептал Нига.

Отряд ползком приблизился к хижине Нига, а за ними, предвкушая грядущие богатства, пробирались женщины и дети — им хотелось посмотреть на избиение. Короткая августовская ночь сменилась рассветом, и в полумраке едва виднелись подползавшие к хижине шестеро юношей и Нига. Безостановочно передвигаясь на руках и коленях, они вползли в сени. Тайи поднялся и начал потирать руки. Все шло хорошо. Окружавшие хижину один за другим вставали и прислушивались. Каждый по-своему рисовал себе сцену, происходившую внутри, — спящие пришельцы, удары ножей и мгновенная смерть во мраке.

Громкий призыв одного из жителей Солнечной

Страны разорвал нависшую тишину, и раздался выстрел. Затем в хижине поднялся дикий шум. Не размышляя, ожидавшие бросились вперед, в сени. Сидевшие внутри открыли стрельбу из шести винтовок, и стиснутые в узком пространстве сеней мэнделийцы были совершенно беспомощны. Бывшие впереди рвались обратно, стараясь отступить от направленных на них смертоносных дул, а находившиеся сзади бешено напирали, чтобы схватиться врукопашную. Крупнокалиберные пули выводили из строя по шесть человек зараз, и сени, битком набитые взбудораженными, беспомощными людьми, напоминали мясной ряд на рынке. Винтовки стреляли прямо в толпу, разрежая ее. Против смертоносного потока никто не мог устоять.

— Никогда такого не бывало! — задыхаясь, говорил один охотник из Голодного Племени. — Я только заглянул туда — мертвые лежали кучами, словно тюлени на льду после охоты.

— Не говорил ли я вам, что они могут оказаться хорошими бойцами? — пробормотал старик-охотник.

— Этого следовало ожидать, — отвечал Ааб-Ваак. — Мы сражались в западне, которую сами и устроили.

— Вы глупцы! — бранился Тайи. — Сыны глупцов вы! Вы сами полезли туда, никого не спрашивая. Лишь Нига и шести юношам нужно было войти внутрь хижины. Я искуснее в войне, чем жители Солнечной Страны, но вы нарушаете мои приказания, и моя мудрость теряет силу и остроту.

Никто не ответил, и все глаза были устремлены на хижину, казавшуюся таинственной и громадной на фоне рассветного неба. Через отверстие в крыше поднимался медленно дым от выстрелов, растворяясь в неподвижном воздухе, и время от времени проползал со стонами раненый.

— Пусть каждый спрашивает ближайшего о Нига и шести юношах, — приказал Тайя.

Через некоторое время пришел ответ: Нига и шести юношей больше нет.

— И многих других нет! — плакала сзади одна из женщин.

— Больше богатств достанется тем, что остались, — мрачно утешал Тайи и, повернувшись к Ааб-Вааку, прибавил: — Ступай собери побольше тюленьих кож, наполненных жиром. Пусть охотники выльют жир у стены хижины и сеней. И скажи им, чтобы они поторопились разжечь пламя, пока жители Солнечной Страны не проде-

лали в стенах хижин отверстий для ружей.

Не успел он договорить, как в грязи, скрепляющей бревна, появилось отверстие, в него высунулось дуло винтовки, и один из воинов Голодного Племени схватился рукой за бок и высоко подпрыгнул на месте. Второй выстрел пробил ему легкие, и он упал. Тайи и остальные рассыпались во все стороны, спасаясь от винтовки, а Ааб-Ваак торопил людей, несших кожи с жиром. Избегая бойниц, проделанных во всех стенах хижины, они вылили жир на сухие бревна, принесенные рекою Мэндел из лесных областей, лежащих к югу. Ауненк подбежал с горящей головней, и пламя взвилось вверх. Прошло некоторое время, осажденные не подавали никаких признаков жизни, и нападающие держали наготове оружие, следя за работой огня.

Тайи радостно потирал руки, когда огонь перекинулся на постройку и сухое дерево затрещало.

— Теперь мы их поймали, братья! Они в ловушке.

— Никто не посмеет отказать мне в ружье Парня-Билля, — объявил Ааб-Ваак.

— Никто, кроме Парня-Билля, — визгливо заметил старый охотник. — Гляди, вот он!

Защищенный опаленным, почерневшим оде-

ялом, выскочил из пылающего входа человек громадного роста, а за ним по пятам следовали покрытые одеялами Месахчи и пятеро жителей Солнечной Страны. Воины Голодного Племени неудачно пытались остановить их, а мэнделийцы пустили им вслед тучу стрел и копий. Но пришельцы сбросили с себя на бегу горящие одеяла, и преследователи увидели, что каждый из них нес на плече небольшой тюк с боевыми припасами. Из всего имущества было решено спасти только это. Они быстро побежали по заранее выработанному плану, прорвались через кольцо врагов и направились прямо к высокой скале, черневший в полумиле от селения.

Но Тайи встал на одно колено и прицелился в бежавшего позади жителя Солнечной Страны.

Он спустил курок, раздался выстрел, и тот упал лицом вперед, попытался подняться и снова упал. Не обращая внимания на дождь стрел, один из его товарищей побежал обратно, нагнулся над ним и поднял его к себе на плечи. Но мэнделийские копьеносцы были уже близко, и метко брошенное копье пронзило раненого. Он вскрикнул, и когда товарищ опустил его на землю, зашатался и упал. Тем временем Парень-Билль и трое других остановились и осыпали свинцом приближающихся

копьеносцев. Пятый нагнулся над сраженным товарищем, пощупал его сердце, а затем хладнокровно обрезал ремни сумки и встал, держа в руках боевые припасы и винтовку.

— И глупец же он! — воскликнул Тайи, высоко подпрыгнув, и бросился вырывать трепещущее тело из рук воина Голодного Племени.

Его винтовка была засорена, и воспользоваться ею было невозможно, поэтому он кричал, чтобы кто-нибудь бросил копье в убегающего под прикрытие выстрелов жителя Солнечной Страны. Маленький старый охотник прицелился, откинул назад руку и бросил копье.

— Клянусь Волком, это прекрасный удар! — похвалил его Тайи, когда бегущий свалился замертво, а торчавшее меж лопаток копье медленно раскачивалось.

Маленький иссохший старичок закашлялся и сел. Красная струйка показалась на его губах и полилась густой струей изо рта. Он снова кашлянул, и его дыхание сопровождалось странным свистом.

— Они бесстрашны и они хорошие бойцы, — прохрипел он, беспомощно поводя руками по воздуху. — Глядите! Вот идет Парень-Билль!

Тайи поднял глаза. Четверо мэнделийцев и

один из воинов Голодного Племени бросились к упавшему и копьями старались добить пытавшегося подняться на колени пришельца из Солнечной Страны. Тайи видел, как в одно мгновение четверо из них были сражены пулями жителей Солнечной Страны. Пятый, оставшийся до той поры невредимым, схватил обе винтовки, но, поднявшись, завертелся на месте от раны в руку, вторая пуля пригвоздила его к месту, а третья сразила насмерть. Секундой позже Парень-Билль стоял над ним и, срезав сумку с боевыми припасами, подобрал обе винтовки.

Тайи видел это и видел гибель односельчан; им овладело некоторое сомнение, и он решил лежать тихо и наблюдать. По каким-то непонятным причинам Месахчи побежала назад к Парню-Биллю; Тайи увидел, что, прежде чем ей удалось до него добежать, выскочил вперед Пило и обхватил ее руками. Он пытался поднять ее на плечи, но она вцепилась в него, колотя и царапая ему лицо. Затем она подставила ему ногу, и оба тяжело упали на землю. Когда они поднялись, Пило схватил ее одной рукой за горло и стал душить. Спрятав лицо у нее на груди, он подставлял под ее удары густую массу волос и медленно увлекал ее прочь с поля сражения. Тогда-то подоспел к

ним Парень-Билль, возвращавшийся с оружием павших товарищей. Месахчи увидела его и напрягла все силы, чтобы удержать врага на месте. Парень-Билль размахнулся винтовкой и на бегу ударил ею Пило. Тайи видел, как Пило рухнул на землю, словно пораженный падающей звездой, а пришелец из Солнечной Страны и дочь Нига бросились бежать к своему отряду.

Небольшая кучка мэнделийцев под предводительством одного из воинов Голодного Племени бросилась на отступающих, но сразу растаяла под огнем противника.

Тайи подавил вздох и шепнул:

— Как иней на утреннем солнышке.

— Я говорил, что они великие бойцы, — слабо прошептал истекавший кровью старик охотник. — Я знаю. Слышал о них. Они морские пираты и охотники за тюленями; они стреляют быстро и хорошо попадают в цель — таков их обычай и ремесло.

— Как иней на утреннем солнышке, — повторял Тайи, прячась за умирающим стариком и выглядывая из-за него время от времени.

Сражение прекратилось — ни один из мэнделийцев не осмеливался наступать, а положение было таково, что и отступать было поздно —

слишком близко подошли они к противнику. Трое попытались спастись бегством, но один из них упал с перебитой ногой, второй был простре-лен навылет, а третий, корчась и извиваясь, упал на окраине селения. Итак, мэнделийцы прята-лись по ямкам и углублениям в почве, а жители Солнечной Страны обстреливали долину.

— Не двигайся, — просил Тайи, когда Ааб-Ваак ползком подобрался к нему. — Не двигайся, друг Ааб-Ваак, иначе ты навлечешь на нас смерть.

— Смерть ко многим уже пришла, — рассмеял-ся Ааб-Ваак, — ну, значит, каждому достанется больше богатств — ты сам это говорил. Мой отец коротко и часто дышит вот за тем камнем, а за ним скрюченный, словно связанный узлом, ле-жит мой брат. Но их доля будет моей долей, и это очень хорошо.

— Ты говоришь это, друг Ааб-Ваак, то же самое и я говорил прежде; но перед тем как делить, мы должны получить богатства для дележа, а жители Солнечной Страны еще живы.

Пуля ударилась о скалу и с резким свистом пролетела низко над их головой. Тайи дрожа прилег, а Ааб-Ваак усмехнулся и тщетно пытался проследить глазами ее полет.

— Они так быстро летят, что их не видишь, —

заметил он.

— Многие из наших погибли, — продолжал Тайи.

— А многие остались, — прозвучал ответ. — Они припали плотно к земле, ибо на опыте узнали, как нужно вести борьбу. Кроме того, они очень агрессивно настроены против пришельцев. Когда мы убьем на корабле всех пришельцев из Солнечной Страны, здесь, на суше, останутся только четверо. Может быть, пройдет много времени, пока мы их убьем, но в конце концов это совершится.

— Как мы отправимся на корабль, если мы не можем тронуться с места? — спросил Тайи.

— Парень-Билль и его братья заняли очень неудобное место, — пояснил Ааб-Ваак. — Мы можем обойти их с обеих сторон, но это не годится. Они стараются отступить под прикрытие скалы и выждать, пока их братья с корабля не придут им на помощь.

— Никогда их братья не сойдут с корабля на сушу! Я сказал.

Тайи приободрился, и когда пришельцы из Солнечной Страны поступили так, как он предполагал, отступив к скале, он был снова весел, как всегда.

— Нас осталось всего трое! — жаловался один

из воинов Голодного Племени, когда все собрались для совета.

— Поэтому каждый из вас вместо двух получит три винтовки, — гласил ответ Тайи.

— Мы хорошо дрались.

— Да, и если случится, что останутся в живых только двое, то каждый получит по шесть винтовок. Поэтому деритесь хорошо.

— А если ни один из них не останется в живых? — коварно прошептал Ааб-Ваак.

— Тогда получим винтовки мы — ты и я, — шепнул в ответ Тайи.

Чтобы задобрить воинов Голодного Племени, Тайи назначил одного из них начальником отряда, в который вошли две трети взрослых мужчин племени; нагруженные шкурами и другими предметами меновой торговли, они направились к морскому берегу, отстоящему за двенадцать миль от селения. Оставшиеся разместились широким полукругом невдалеке от воздвигаемых Биллем и жителями Солнечной Страны укреплений. Тайи скоро учел положение и сразу послал своих людей рыть узкие траншеи.

— Они не скоро разберутся в случившемся, — объяснял он Ааб-Вааку, — мысли их заняты другим, и они не станут задумываться над смер-

тью близких или бояться за себя. А в темноте ночи они подползут ближе, и наутро жители Солнечной Страны, выглянув из-за укреплений, увидят нас совсем близко.

В полдень люди сделали перерыв в работе и подкрепились принесенной женщинами сухой рыбой и тюленьим жиром. Некоторые требовали пищи пришельцев из Солнечной Страны, оставленной теми в *иглоо* Нига, но Тайи отказался делить ее до возвращения отряда, посланного к кораблю. Все строили догадки насчет исхода экспедиции, но во время обсуждения с моря донесся глухой звук выстрела. Дальнозоркие разглядели на горизонте быстро рассеявшееся густое облако дыма, появившееся, по их уверениям, прямо над местом стоянки корабля жителей Солнечной Страны. Тайи считал, что это выстрел из пушки. Ааб-Ваак ничего не утверждал, но думал, что это какой-то сигнал. Но, как бы там ни было, по его мнению, что-то случилось.

Спустя пять или шесть часов на широкой, спускавшейся к морю равнине показался человек, и все женщины и дети бросились ему навстречу. Это был Ауненк, обнаженный, задыхающийся и израненный. Кровь струилась из раны на лбу. Изуродованная рука беспомощно болталась. Но

самым страшным казался дикий блеск его глаз, что-то предвещавший, но что — женщины не знали.

— Где Пишек? — резко спросила одна старая скво.

— А Олитли? — А Полак? — А Ма-Кук? — раздались крики.

Но он не отвечал, прокладывая себе дорогу среди кричащей толпы, и, шатаясь на ходу, направился прямо к Тайи.

Старуха громко завопила, и женщины одна за другой подхватили ее причитания. Мужчины выползли из траншей и окружили Тайи — даже жители Солнечной Страны взобрались на баррикаду поглядеть, что случилось.

Ауненк остановился, вытер кровь, заливавшую ему глаза, и осмотрелся вокруг. Он пытался заговорить, но его сухие губы слиплись. Ликита подала ему воды, он пробормотал что-то и принялся пить.

— Сражение было? — спросил, наконец, Тайи. — Хорошее сражение?

— Хо-хо-хо! — Ауненк так неожиданно и дико расхохотался, что все замолкли. — Никогда еще не бывало такого сражения! Так говорю я, Ауненк, извечный победитель диких зверей и воинов. Но

я хочу сказать вам мудрые слова, пока не забыл. Сражаясь хорошо, жители Солнечной Страны учат сражаться нас. Если нам придется долго с ними биться, мы станем великими бойцами — такими же, как они, — иначе мы погибли. Хо-хо-хо! Вот была битва!

— Где твои братья? — Тайи тряс его, пока Ауненк не вскрикнул от боли, — тут только он пришел в себя.

— Мои братья? Их нет.

— А Пом-Ли, — вскрикнул один из воинов Голодного Племени, — сын моей матери, Пом-Ли?

— Пом-Ли нет, — монотонно отвечал Ауненк.

— А пришельцы из Солнечной Страны? — послышался голос Ааб-Ваака.

— Пришельцев из Солнечной Страны нет.

— А корабль пришельцев из Солнечной Страны, богатства и оружие? — спрашивал Тайи.

— Нет ни корабля, ни богатств, ни оружия, ни вещей, — был неизменный ответ. — Нет никого. Нет ничего. Остался один я.

— Ты сошел с ума!

— Возможно, — невозмутимо отвечал Ауненк. — То, что я видел, могло лишить меня рассудка.

Тайи придержал язык, и все ждали, когда Ау-

ненк приступит к рассказу о случившемся.

— Мы не брали с собой винтовок, о Тайи, — начал он наконец. — Никаких ружей, братья, — только ножи, охотничьи луки и копья. На каяках, по двое и по трое мы перебрались на корабль. Пришельцы из Солнечной Страны были нам рады, мы разложили наши шкуры, а они вынесли товары для обмена, и все шло хорошо. А Пом-Ли ждал, ждал, пока солнце не стало высоко над головой и они не сели за еду. Тогда он испустил воинственный клич, и мы напали на них. Никогда еще не бывало такой битвы и таких бойцов. Половину мы убили, пока они еще не успели прийти в себя от неожиданности, а остальные обратились в дьяволов. Каждый из них сражался за десятерых, и все они бились, как дьяволы. Трое из них стали спиной к мачте, и пока нам не удалось их убить, они окружили себя кольцом из наших мертвецов. У некоторых были ружья, и они, широко раскрыв глаза, быстро убивали наших братьев. А один из них стрелял из большого ружья, из которого сразу вылетало множество маленьких пуль. Вот, глядите!

Ауненк указал на свое простреленное ухо.

— Но я, Ауненк, сзади всадил копье в его спину. И мы перебили их всех, — всех, кроме начальни-

ка. Мы окружили его — он остался один, но он громко закричал и прорвался через круг; пять или шесть воинов схватили его, он их отбросил и побежал вниз, внутрь корабля. Затем, когда все богатства принадлежали нам и оставался лишь начальник внизу — его мы собирались убить, — тогда раздался такой грохот, словно все ружья на свете выстрелили сразу. Я птицей взлетел на воздух, и все оставшиеся в живых воины-мэнделийцы, все мертвые пришельцы Солнечной Страны, маленькие каяки, большой корабль, ружья и богатство — все взлетело на воздух. Это я, Ауненк, рассказал вам — и только я остался в живых!

Глубокая тишина воцарилась среди собравшихся. Тайи испуганными глазами смотрел на Ааб-Ваака, но ничего не сказал. Даже женщины были слишком потрясены, чтобы оплакивать погибших.

Ауненк горделиво оглянулся вокруг.

— Я один остался, — повторил он.

Но в этот миг с баррикады раздался выстрел, и пуля попала прямо в грудь Ауненку. Он качнулся назад, затем вперед, и на лице его отразилось изумление. Он задыхался, и губы его исказились мучительной усмешкой. Плечи опустились,

колени подгибались. Он встряхнулся, словно просыпаясь, и выпрямился. Но плечи его все опускались, колени подгибались, и он медленно, очень медленно опустился на землю.

От укрепления пришельцев из Солнечной Страны была добрая миля[18], и вот смерть легко прошла это расстояние. Раздался дикий крик — крик кровавой мести и необузданной ярости дикарей. Тайи и Ааб-Ваак старались удержать мэнделийцев, но были отброшены и могли только оставаться на месте и следить за бешеным натиском. Но со стороны укрепления не раздалось ни одного выстрела, и, едва пройдя половину расстояния, многие, напуганные таинственным молчанием врагов, остановились и стали ждать. Более смелые продолжали свой путь и, пройдя еще половину оставшегося расстояния, тщетно ожидали признаков жизни. Не доходя двухсот шагов, они замедлили бег и пошли сплошной массой, а пройдя с сотню шагов, остановились и, заподозрив недоброе, стали совещаться.

Вдруг над баррикадой поднялись клубы дыма, и, словно брошенная горсть камешков, мэнделийцы рассыпались во все стороны. Четверо

---

[18] Примечания: 18
Англ. миля = 1,6 километра. *(Прим. ред.)*

упали, за ними — еще четверо, и они быстро продолжали падать то по одному, то по двое, пока не остался один, да и тот мчался назад, подгоняемый страхом смерти. Это был Нок, молодой охотник, длинноногий и высокий юноша; бежал он, как никогда еще ему не приходилось бегать. Как птица, скользил он по открытой равнине, прыгая, ныряя и извиваясь. Ружья за баррикадой палили беспрерывно, а Нок продолжал прыгать и нырять и оставался невредимым. Наконец пальба замерла, и Нок мало-помалу перестал беречься и кружить и, в конце концов, побежал по прямой линии. Тогда-то с баррикады прозвучал одинокий выстрел. Нок подпрыгнул, упал, подскочил, как мяч, и свалился замертво.

— Что на свете быстрее окрыленного свинца? — размышлял Ааб-Ваак.

Тайи проворчал что-то и отвернулся. Сражение окончилось, и необходимо было заняться более важными делами.

В живых оставались сорок своих воинов и один воин из Голодного Племени. Некоторые из них были ранены. А биться приходилось с четырьмя пришельцами из Солнечной Страны.

— Мы не выпустим их из дыры у скалы, — сказал он, — а когда их проймет хорошенько голод,

мы перебьем их, как детей.

— Но за что нам биться? — спрашивал один из младших воинов, Олуф. — Богатство жителей Солнечной Страны исчезло, остается лишь то, что было в *иглоо* Нига, а этого очень мало.

Он сразу примолк, услышав резкий свист пули, пролетевшей мимо его уха.

Тайи презрительно рассмеялся.

— Пусть это будет ответом. Что же нам делать с этими сумасшедшими, которые не желают умирать?

— Что за безумие! — протестовал Олуф, прислушиваясь к свисту пуль. — Это нехорошо, что они так сражаются, эти пришельцы из Солнечной Страны. Отчего они не желают умирать? Они безумцы, они не хотят понять, что для них все кончено, и только нам они причиняют множество хлопот.

— Прежде мы сражались за богатство, теперь мы сражаемся за жизнь, — кратко обрисовал положение Ааб-Ваак.

Ночью в траншеях была перестрелка, а наутро выяснилось, что из *иглоо* Нига исчезли все вещи жителей Солнечной Страны. За ночь пришельцы их унесли — при дневном свете следы были явственно видны. Олуф взобрался

на вершину скалы, чтобы сбросить на головы врагов большие камни, но скала выдавалась над рвом, и он вместо камней осыпал их ругательствами и оскорблениями, угрожая страшными пытками и мучительной гибелью. Парень-Билль отвечал ему на языке Племени Медведя, а Тайи, поднявший из окопа голову, чтобы насладиться зрелищем перебранки, получил пулю в плечо.

В последовавшие за этим страшные дни и ночи мэнделийцы, подкапываясь все ближе и ближе к скале, постоянно спорили, не лучше ли было бы дать жителям Солнечной Страны спокойно убраться восвояси. Но они боялись пришельцев, а женщины поднимали плач при мысли об освобождении врагов. Довольно для них жителей Солнечной Страны, больше они их видеть не желают. Свист пуль раздавался непрестанно, и непрестанно возрастал список погибших. Утром, на заре, раздавался слабый далекий треск выстрела, и на отдаленном конце деревни женщина, взмахнув руками, замертво падала на землю; в жаркий полдень воины в окопе прислушивались к свисту пуль, ожидая смерти, а в серых вечерних сумерках пули, попадая в землю, вздымали песок и комья глины. По ночам далеко разносились жалобные причитания женщин:

— Уаа-оо-аа-уаа-оо-аа!

Предсказание Тайи исполнилось, и среди пришельцев из Солнечной Страны начался голод. Однажды ночью разыгралась ранняя осенняя буря, и один из пришельцев прокрался мимо окопов и украл много сушеной рыбы. Но вернуться он не успел, и когда взошло солнце, он спрятался где-то в селении. Итак, ему пришлось сражаться одному; окруженный плотным кольцом мэнделийцев, он четверых убил и, прежде чем они успели схватить его, застрелился сам, чтобы не подвергнуться пыткам.

Это событие опечалило всех. Олуф открыто заявил:

— Если один заставил нас так дорого заплатить за свою смерть, сколько же придется заплатить за смерть оставшихся?

Тогда-то на баррикаде показалась Месахчи и подозвала трех собак, близко подошедших к баррикаде, — это была еда, жизнь и отсрочка расплаты. Отчаяние охватило племя мэнделийцев, и на голову Месахчи посыпались проклятия.

Дни текли. Солнце уходило к югу, ночи становились все длиннее, и в воздухе чувствовалось приближение морозов. А жители Солнечной Страны все еще держались за своим прикрытием.

Воины теряли мужество от постоянного напряжения, и Тайи часто погружался в глубокие, мрачные размышления. Он приказал собрать все шкуры и кожи, имеющиеся в селении, велел связать их в высокие цилиндрические тюки и за каждым тюком поместил по воину.

Приказ был дан, когда короткий осенний день клонился к вечеру. Воины с трудом перекатывали большие тюки. Пули врагов ударялись о тюки, но не могли пробить их, и воины завывали от радости. Но наступил вечер, и Тайи, заботясь о том, чтобы план увенчался успехом, отозвал их обратно в траншеи.

Утром — пришельцы за прикрытием были безмолвны — мэнделийцы начали настоящее наступление. Большие промежутки между тюками медленно сокращались, по мере того как круг смыкался. За сто шагов от прикрытия тюки были совсем близко друг от друга, и воины могли шепотом передавать приказ Тайи об остановке. Враги не подавали никаких признаков жизни. Мэнделийцы долго и пристально всматривались в прикрытие, но ничто не шевелилось. Наступление продолжалось, и на расстоянии пятидесяти ярдов маневр был повторен. Ни признака жизни, ни звука. Тайи покачал головой, и даже Ааб-Ваак

заколебался. Но снова был дан приказ продолжать наступление, и они пошли вперед, пока сплошной вал из шкур не окружил со всех сторон прикрытие врагов.

Тайи оглянулся назад и увидел, что женщины и дети угрюмо толпились в оставленных воинами траншеях. Он поглядел вперед — на безмолвное прикрытие врага. Воины нетерпеливо переступали с ноги на ногу, и Тайи приказал каждому второму выступить вперед. Двойная линия тюков подвигалась вперед, пока тюки снова не соприкоснулись друг с другом. Тогда Ааб-Ваак по собственному почину стал продвигать свой тюк вперед. Дойдя вплотную до прикрытия, он остановился и стал ждать. Затем столкнул в ров противника несколько больших камней и, наконец, с великими предосторожностями вышел из-за тюка и заглянул внутрь. Он увидел усеянный пустыми патронами ров, несколько обглоданных собачьих костей и лужу в том месте, где из расщелины капала вода. Это было все. Жители Солнечной Страны ушли.

Раздались робкие голоса, обвинявшие таинственные силы, послышались жалобы, и мрачные взгляды воинов казались Тайи предвещанием грядущих ужасных событий. Он вздохнул свобод-

нее, когда Ааб-Ваак пошел вдоль утеса.

— Пещера! — воскликнул Тайи. — Они предвидели мою хитрость с тюками и удрали в пещеру!

Скала, как улей, была вся прорезана подземными ходами, которые оканчивались общим выходом между рвом и местом, где траншеи подходили к скале. Туда-то мэнделийцы с громкими криками последовали за Ааб-Вааком и, добравшись до выхода, ясно увидели, где именно жители Солнечной Страны взобрались на двадцать футов вверх, чтобы исчезнуть в глубине скалы.

— Теперь дело сделано, — потирая руки, сказал Тайи. — Передайте, чтобы все радовались, потому что теперь они в ловушке, — жители Солнечной Страны в ловушке. Молодые воины взберутся наверх и заложат отверстие камнями — тогда Парень-Билль, его братья и Месахчи обратятся от голода в тени и умрут в темноте с проклятиями на устах.

Его слова были встречены криками восторга и облегчения, и Хауга, последний из воинов Голодного Племени, пополз вверх по крутому склону и, согнувшись, склонился над отверстием в скале. Но в этот миг раздался заглушенный звук выстрела, а когда он в отчаянии ухватился за скользкий

край, раздался второй. Его руки разжались, и он свалился вниз, к ногам Тайи и, содрогнувшись несколько раз, подобно вытащенному на берег морскому чудовищу, затих.

— Откуда я мог знать, что они великие и неустрашимые бойцы? — спросил Тайи — мрачные взгляды и жалобы побуждали его оправдаться перед воинами.

— Нас было много, и мы были счастливы, — смело заявил один из воинов. Другой нетерпеливой рукой ощупывал копье.

Но Олуф прикрикнул на них и заставил умолкнуть.

— Слушайте меня, братья! Есть другой путь. Еще мальчиком я случайно нашел его, играя на скале. Он скрыт в камнях, им никогда не пользовались, и никто о нем, кроме меня, не знает. Ход этот очень узок, и приходится долго ползти на животе, пока доберешься до пещеры. Ночью мы тихонько, без шума поползем по этому ходу и нападем на пришельцев из Солнечной Страны с тыла. Завтра же у нас будет мир, и мы никогда больше не станем ссориться с жителями Солнечной Страны.

— Никогда больше! — хором воскликнули измученные воины. — Никогда больше! — И Тайи

присоединился к общему хору.

Ночью, помня о своих погибших близких и вооружившись камнями, копьями и ножами, толпа женщин и детей собралась у выхода из пещеры. Ни у кого из пришельцев Солнечной Страны не было надежды спуститься невредимым на землю с высоты двадцати с лишним футов. В селении оставались лишь раненые воины, а все боеспособные мужчины — их было тридцать человек — шли за Олуфом к потайному ходу в пещеру. Ход находился на высоте ста футов над землей, и пробираться приходилось с выступа на выступ и по кучам камней, вот-вот готовым развалиться. Опасаясь, чтобы камни от неосторожного прикосновения не посыпались, воины взбирались вверх по одному. Олуф был первым и, взобравшись наверх, тихо позвал следующего и исчез в проходе. За ним последовал воин, затем второй, третий и так далее, пока не остался один Тайи. Он услышал зов последнего воина, но им внезапно овладело сомнение, и он остановился, чтобы подумать. Спустя полчаса он поднялся на скалу и заглянул в проход. Он почувствовал, как узок проход и какой непроглядный в нем мрак. Страх перед поднимавшимися с двух сторон стенами заставил его содрогнуться, и он не мог решиться

пойти дальше. Все погибшие, начиная от Нига, мэнделийца, до Хауга, последнего воина из Голодного Племени, обступили его, но он предпочел остаться с ними, чем спуститься в непроглядную тьму прохода. Он долго просидел неподвижно и вдруг почувствовал на щеке прикосновение чего-то мягкого и холодного — то падал первый снег. Наступил туманный рассвет, затем пришел яркий день, и он услыхал доносившееся из прохода тихое рыдание, которое становилось все явственнее. Он соскользнул с края, опустил ноги на первый выступ и ждал.

Рыдавшее существо медленно подвигалось, после многих остановок добралось до Тайи, и последний понял, что это не был житель Солнечной Страны. Он протянул руку в проход и там, где полагается быть голове, нащупал плечи ползущего на локтях человека. Голову он нашел потом: она свисала, и темя лежало на земле.

— Это ты, Тайи? — сказала голова. — Это я, Ааб-Ваак, я беспомощен и искалечен, как плохо пущенное копье. Моя голова волочится в пыли, и мне без твоей помощи не выбраться отсюда.

Тайи вполз в проход и, прислонившись спиной к стене, вытащил Ааб-Ваака, но голова его все свисала, и он рыдал и жаловался.

— Ай-ооо, ай-ооо! — плакал он. — Олуф забыл, что Месахчи тоже знала этот ход, и она показала его жителям Солнечной Страны, иначе бы они не стали поджидать нас в конце узкого прохода. Поэтому я погибший человек и совсем беспомощен… Ай-ооо, ай-ооо!

— А проклятые пришельцы из Солнечной Страны погибли у узкого выхода из пещеры? — спросил Тайи.

— Как я мог знать, что они поджидают нас? — стонал Ааб-Баак. — Мои братья шли впереди, и из пещеры не доносилось никаких звуков. Как я мог знать, отчего нет звуков борьбы? И прежде чем я это узнал, две руки охватили мою шею так, что я не мог крикнуть и предупредить моих братьев об опасности. Затем еще две руки схватили мою голову, а еще две — схватили за ноги. Так-то меня поймали трое пришельцев из Солнечной Страны. Пока моя голова была зажата, руки, схватившие меня за ноги, быстро повернули мое тело — так, как мы свертываем головы уткам на болоте, была свернута и моя голова.

Но мне не суждено было погибнуть, — продолжал он, и в голосе его послышался горделивый оттенок. — Я один остался. Олуф и все остальные лежат на спине во рву, а головы их повернуты,

и лица у многих находятся там, где должны бы находиться затылки. На них нехорошо смотреть; когда жизнь вернулась ко мне, я увидел их всех при свете факела, оставленного пришельцами из Солнечной Страны, — я лежал во рву вместе со всеми.

— Да, вот как? — повторял Тайи, слишком потрясенный, чтобы говорить.

Он внезапно вздрогнул, услышав донесшийся к нему из прохода голос Парня-Билля.

— Это хорошо, — говорил он. — Я искал человека, ползущего со сломанной шеей, и вот чудо! Встречаю Тайи. Брось вниз ружье, Тайи, чтобы я слышал его стук по камням.

Тайи покорно повиновался, и Парень-Билль выполз из скалы на свет. Тайи с любопытством поглядел на него. Он очень похудел, был измучен и грязен, но глубоко запавшие глаза горели.

— Я голоден, Тайи, — сказал он. — Очень голоден.

— Я пыль у твоих ног, — отвечал Тайи. — Твое слово для меня закон. Я приказывал народу не сопротивляться тебе. Я советовал…

Но Парень-Билль повернулся и крикнул своим товарищам:

— Эй! Чарли! Джим! Берите с собой женщину и

выходите! Мы идем есть, — сказал он, когда его товарищи и Месахчи присоединились к нему.

Тайи заискивающе потер свои руки:

— Наша пища скудна, но все, что мы имеем, твое.

— Затем мы по снегу отправимся на юг, — продолжал Парень-Билль.

— Пусть ничто дурное не коснется вас и путь покажется вам легким.

— Путь долог. Нам понадобятся собаки и много пищи.

— Лучшие наши собаки — твои, а также и вся пища, что они могут везти.

Парень-Билль выскользнул из прохода и приготовился к спуску.

— Но мы вернемся, Тайи. Мы вернемся и проведем много дней в твоей стране.

Итак, они отправились на юг — Парень-Билль, его братья и Месахчи. А на следующий год в бухте Мэндел бросил якорь «Искатель Номер Два». Немногие мэнделийцы — оставшиеся в живых благодаря ранам, не позволившим им ползти в пещеру, — повинуясь жителям Солнечной Страны, стали на работу и принялись копать землю. Они перестали охотиться и ловить рыбу; они получают ежедневно плату за работу и покупают

муку, сахар, миткаль и другие вещи, которые им ежегодно привозит из Солнечных Стран «Искатель Номер Два».

Этот прииск разрабатывается тайно, как и многие другие прииски Северной Страны; ни один белый человек, кроме компании, состоящей из Парня-Билля, Джима и Чарли, не знает местонахождения селения Мэндел на краю Полярного Моря. Ааб-Ваак, со свисающей на плечо головой, стал оракулом и проповедует младшему поколению смирение, за что и получает пенсию от компании. Тайи назначен надсмотрщиком работ. Теперь он разработал новую теорию насчет жителей Солнечной Страны.

— Живущие на пути солнца не становятся изнеженными, — говорит он, покуривая трубку и наблюдая, как день медленно переходит в ночь. — Солнце вливается в их кровь и палит их жарким огнем, пока они не начнут пылать вожделениями и страстями. Они всегда горят и поэтому не чувствуют поражений. Они не знают покоя, в них сидит дьявол, и они разбросаны по всей земле и осуждены вечно трудиться, страдать и бороться. Я знаю. Я — Тайи.

Болезнь Покинутого Вождя

Эту повесть мне рассказали два старика. Была прохладная часть дня, то есть середина белой ночи, и мы сидели в дыму костра, защищавшего нас от москитов. Все время, что длился рассказ, мы ловили и уничтожали маленьких злодеев, впивавшихся в нас, несмотря на окружавшие клубы дыма. Справа от нас спускался крутой берег, и внизу лениво журчали воды Юкона. Слева, над розовым краем низких гор, курилось сонное солнце — ему не пришлось спать в эту ночь и предстояло бодрствовать еще много ночей.

Старики, сидевшие со мной и доблестно сражавшиеся с москитами, — Покинутый Вождь и Мутсак, некогда товарищи по оружию, а теперь хилые хранители былых традиций и сказаний о прошлом. Они были последними представителями своего поколения и не пользовались почетом у молодежи, выросшей на дальней окраине приисковой цивилизации. Кто считался с традициями в эти дни, когда бодрость духа можно было почерпнуть из бутылки, а бутылку — добыть от снисходительных белых людей за несколько часов тяжелой работы или за какую-нибудь пога-

ную шкуру! Какую власть могли иметь страшные обряды и тайны шаманизма, когда воплощенное чудо — пароход ежедневно поднимался и спускался по Юкону, кашляя и изрыгая огонь и дым, наперекор всем законам природы? Какую цену мог иметь родовой почет, когда наибольшим уважением товарищей пользовался парень, что мог больше всех нарубить дров или лучше других управлялся с рулевым колесом, проводя пароход среди лабиринта островов?

И вправду, прожив слишком долго, они дожили до скверных времен — эти два старика — Покинутый Вождь и Мутсак, и при новом порядке не было им ни места, ни почета. Они мрачно ждали смерти, а пока что привязались к странному белому пришельцу, что делил с ними пытку сидения в дыму костра и охотно слушал их рассказы о прежних временах, когда еще не было пароходов.

— Итак, мне выбрали девушку, — говорил Покинутый Вождь. Голос его, пронзительный и писклявый, вдруг падал до хриплого баса и, едва вы начинали привыкать к нему, снова повышался до писка — попеременно слышалось чириканье сверчка и кваканье лягушки.

— Итак, мне выбрали девушку, — повторил он. — Мой отец Каск-Та-Ка, по прозванию Выдра,

сердился, что я не смотрел с вожделением на женщин. Он был стар и был вождем племени. А я из его сыновей был последним, оставшийся в живых, и некому, кроме меня, было передать его кровь дальше — тем, кто еще не родился. Но знай, о Белый Человек, что я был очень болен; ни охота, ни рыбная ловля не радовали меня, и мясо не согревало моего желудка — как мог я глядеть с вожделением на женщин? Как мог я готовиться к брачному пиру или с радостью ожидать лепета и возни детей?

— Да, — перебил его Мутсак. — Разве Покинутый Вождь не боролся, охваченный лапами громадного медведя, пока его голова не треснула и кровь не потекла из ушей?

Покинутый Вождь оживленно мотнул головой.

— Мутсак говорит правду. После той борьбы голова моя поправлялась, но все же не поправилась. Рана зажила, и снаружи ничего не было заметно, но я был очень болен. Когда я ходил, ноги мои подгибались; если я смотрел на свет, глаза мои наполнялись слезами. А когда я открывал глаза, весь мир кружился вокруг меня, и все, что я раньше видел, кружилось у меня в голове. И над глазами лоб так болел, словно на нем лежала тяжесть или его стянули тугой повязкой.

Речь моя текла медленно, и я долго ждал, пока находил нужное слово. А когда я не выжидал, всевозможные слова приходили мне на ум, и язык мой молол вздор. Я был очень болен, и когда отец мой, Выдра, привел мне девушку Кэсан…

— Кэсан была молодая и сильная, она была дочерью моей сестры, — вмешался Мутсак. — У нее были широкие бедра, как полагается будущей матери, сильные ноги и быстрый шаг. Она мастерила мокасины лучше всех молодых девушек, и веревки, что она плела, были самыми крепкими. Ее глаза улыбались, а уста смеялись, она не была строптивой и понимала, что закон дается мужчинами и что женщины обязаны повиноваться.

— Я уже говорил, что был очень болен, — продолжал Покинутый Вождь. — И когда отец мой, Выдра, привел мне девушку Кэсан, я сказал, что пусть они лучше готовятся к моему погребению, чем к свадьбе. Лицо моего отца потемнело от гнева, и он сказал, что я получу все, согласно моему желанию, и хотя живу еще на земле, но для меня сделают все приготовления так, как будто я умер.

— Это не в обычаях нашего племени, о Белый Человек, — заговорил Мутсак. — Знай, что все приготовления, сделанные для Покинутого Во-

ждя по обычаю, делаются лишь для умерших. Но Выдра был очень разгневан.

— Да, — сказал Покинутый Вождь. — Мой отец, Выдра, говорил мало, но делал быстро. Он приказал народу собраться перед жилищем, где я лежал. Когда они собрались, он приказал им оплакивать его умершего сына…

— И они пели перед жилищем песню смерти. О-о-о-о-о-о-а-ааа-аа-ии-клу-кук-ич-клу-кук, — жалобно затянул Мутсак, так превосходно передавая мотив, что у меня по спине забегали мурашки.

— А внутри жилища, — продолжал Покинутый Вождь, — моя мать измазала себе лицо сажей и посыпала голову пеплом и оплакивала меня, словно я умер, — так приказал мой отец. Поэтому моя мать, Окиакута, с великим шумом оплакивала меня, била себя в грудь и рвала на себе волосы; то же делали Гуниак, моя сестра, и Саната, сестра моей матери; их громкие голоса причиняли мне великую боль, и я чувствовал, что теперь уже смерть близка и неминуема.

А старшие в племени собрались вокруг моего ложа и обсуждали путь, предстоящий моей душе. Один говорил о глухих бесконечных лесах, где души с плачем странствуют и где мне тоже придется блуждать, не видя конца своим страда-

ниям. Другой говорил о великих реках, где текут дурные воды и злые духи кричат и высовывают бесформенные руки, стараясь утащить жертву за волосы на дно. Для переправы через эти реки, говорили они, следует дать мне с собою каноэ. Еще один старик говорил о бурях, каких не видел ни один живущий на земле, — о бурях, когда звезды дождем сыплются с неба, а земля разверзается и покрывается трещинами, и находящиеся в недрах земли реки извергаются на поверхность и снова исчезают. Поэтому те, что сидели вокруг меня, вздымали кверху руки и громко стонали, а те, что стояли снаружи, слышали их стоны и громко причитали. Для них я был уже мертв и для себя самого я тоже был мертв. Когда и как я умер, я не знал, но понял, казалось мне, что я мертв!

Моя мать, Окиакута, положила возле меня мою *парку* из беличьих шкурок. Затем она положила *парку* из шкур оленя и дождевой плащ из тюленьих кишок и *муклук*, чтобы душе моей было тепло и чтобы она не страдала от сырости в далеком пути. Потом старики упомянули о крутой горе, поросшей колючками, и мать принесла толстые мокасины, чтобы облегчить моим ногам трудный подъем.

Когда старики заговорили о крупных зверях,

которых мне придется убивать, юноши положили возле моего ложа мой охотничий лук и острые стрелы, копье и нож. А когда старики повели речь о вечной тьме и молчании обширных пространств, которые моя душа должна пройти, моя мать зарыдала еще громче и еще гуще осыпала свою голову пеплом.

И девушка Кэсан скромно и спокойно вошла в жилище и положила на приготовленные для путешествия вещи маленький мешочек. Я знал, что в маленьком мешочке находились кремень, огниво и хорошо высушенный трут, чтобы моя душа могла разводить костер. Были отобраны одеяла, в которые меня должны были завернуть. Были выбраны рабы, которых следовало убить, чтобы душа моя имела спутников. Рабов было семеро, ибо мой отец был богат и могуществен, и мне, его сыну, полагалось устроить подобающие похороны. Этих рабов мы взяли в плен в войне с мукумуками, жившими ниже по Юкону. Поутру Сколка, шаман, убьет их одного за другим, и тогда их души вместе с моей душой будут странствовать в Неведомом. Они понесут мое каноэ, пока мы не дойдем до Великой Реки, быстро катящей свои бурные воды. В каноэ им места не будет, и их работа окончена, — дальше им сопровождать

меня незачем, и они могут остаться и вечно выть во тьме бесконечных лесов.

Я глядел на прекрасные теплые одежды, на одеяла и оружие и при мысли, что семеро рабов будут убиты, возгордился своим погребением и подумал, что многие мне завидуют; и все время отец мой, Выдра, сидел молча и угрюмо. А народ весь день и ночь пел песню смерти и бил в барабан, пока все не уверились, что я уже тысячу раз умер.

Но наутро мой отец встал и заговорил. Всему народу известно, сказал он, что всю жизнь он был храбрым воином. Но народу известно, что почетнее умереть в сражении, чем лежа на мягких шкурах у очага. И раз его сыну предстояло умереть, то лучше уж выступить против мукумуков и быть убитым. Так я завоюю себе почет и место вождя в жилище мертвых, а это возвеличит отца моего, Выдру. И он приказал, чтобы вооруженный отряд был готов спуститься по реке. Когда мы достигнем селения мукумуков, я один должен выступить против них и быть убитым.

— Слушай, о Белый Человек! — воскликнул, не будучи в силах дольше сдерживаться, Мутсак. — Шаман Сколка этой ночью долго нашептывал что-то Выдре, и эта затея — отослать Покинутого

Вождя на гибель к мукумукам была делом его рук. Выдра был уже стар, Покинутый Вождь — последний из его сыновей, а Сколка мечтал стать вождем. Когда народ день и ночь шумел, а Покинутый Вождь все еще был жив, Сколка боялся, что он не умрет. Итак, устами Выдры говорил Сколка, приправивший свою мысль красивыми словами о почестях и доблестных деяниях.

— Да, — подтвердил Покинутый Вождь. — Я хорошо знал, что это дело рук Сколки, но мне было все равно, так сильно я был болен. У меня не было охоты сердиться и не было сил для гневных слов — не все ли равно, как умереть, лишь бы скорее покончить с жизнью. Итак, о Белый Человек, отряд был готов. Опытных бойцов в нем не было, не было и взрослых мужчин, сильных и мудрых, отряд состоял из сотни неопытных в военном деле юношей. Все селение собралось на берегу поглядеть на наш отъезд. Мы тронулись в путь среди всеобщего ликования и хвалебного гимна — это чествовали меня. И ты, о Белый Человек, радовался бы, глядя на юношу, отправляющегося на битву, хотя он и был обречен на смерть.

Итак, мы поехали вниз по течению — сотня юношей и Мутсак, ибо он тоже был молод и неопытен. По приказу отца моего, Выдры, мое

каноэ было привязано с одной стороны к каноэ Мутсака, а с другой — к каноэ Каннакута. Чтобы не устать, я не должен был грести. Несмотря на болезнь, я мог сохранить силы, чтобы достойно погибнуть. Таким-то образом мы спускались вниз по течению реки.

Я не хочу утомлять тебя рассказом о нашей поездке, она была весьма непродолжительна. Недалеко от селения мукумуков мы настигли двух воинов, сидевших в каноэ. Увидев нас, они обратились в бегство. Тогда-то, следуя приказу моего отца, мое каноэ было отвязано от каноэ моих спутников, и я был предоставлен сам себе. Следуя тому же приказу, юноши должны были убедиться в моей гибели, чтобы, вернувшись в наше селение, рассказать о том, как я умер. На этом настаивали и отец мой, Выдра, и шаман Сколка, грозя страшными наказаниями в случае неповиновения.

Я погрузил в воду весло и крикнул слова презрения вслед убегавшим воинам. Моя презрительная брань заставила их повернуть в гневе головы, и они заметили, что юноши отстали и что я один против двоих. Отъехав поэтому на безопасное расстояние, воины поставили свои каноэ так, что я должен был проехать между ними. Каноэ

поравнялись, и я, как они и рассчитывали, попал между ними, с копьем в руке, распевая воинственную песнь своего племени. Каждый из них бросил копье, но я нагнулся, копья просвистали надо мною, и я остался невредим. Затем челноки сблизились, и я бросил копье в воина справа; копье попало ему в горло, и он навзничь упал в воду.

Велико было мое изумление — неужели я убил человека? Я повернулся к другому воину и сильно заработал веслом, чтобы встретить смерть лицом к лицу; но второе копье его, бывшее к тому же последним, только задело мне плечо. Тогда я бросился на него, не кидая копья, но нажимая острием на грудь и обеими руками стараясь пронзить его насквозь. Пока я налегал изо всех сил на копье, он ударил меня по голове — раз и другой — широкой частью весла.

И даже когда копье, пройдя насквозь, вышло из его спины, он еще раз ударил меня по голове. Что-то вспыхнуло перед глазами, словно яркий свет, и я почувствовал, как в голове у меня что-то захлопнулось, словно щелкнула крышка. Тяжесть, что давила на лоб, свалилась, и повязка, туго стягивавшая мне голову, упала. Мною овладела великая радость, и сердце мое возликовало.

Это смерть, подумал я, и еще подумал, что умереть очень приятно. Затем я увидел каноэ и понял, что я не умер, а выздоровел. Удары воина по голове вернули мне здоровье. Я понял, что убил человека, и вид пролитой крови возбудил меня; я погрузил весло в грудь Юкона и направил челнок к селению мукумуков. Юноши, следовавшие за мной, издали громкий клич. Я оглянулся через плечо и увидел, как вода пенилась под их веслами.

— Да, вода пенилась под нашими веслами, — сказал Мутсак. — Мы помнили приказ Выдры и Сколки и должны были собственными глазами увидеть, как погибнет Покинутый Вождь. Юноша из племени мукумуков по дороге к рыболовным сетям заметил приближение Покинутого Вождя и воинов, следовавших за ним. Он поспешил в своем каноэ к селению, чтобы поднять тревогу и приготовиться к защите. Но Покинутый Вождь погнался за ним, а мы погнались за Покинутым Вождем, чтобы видеть его гибель. Только увидев селение, когда юноша выпрыгнул на берег, Покинутый Вождь встал во весь рост в каноэ и мощной рукой бросил ему вслед копье. И копье пронзило тело юноши как раз над бедрами, и он упал прямо перед собой на землю.

Тогда Покинутый Вождь выскочил на берег с боевой дубинкой в руке и боевым кличем на устах и ринулся в селение. Первым он встретил Итвили, вождя мукумуков. Покинутый Вождь ударил его дубинкой по голове, и тот замертво свалился на землю. Из опасения, что нам не удастся увидеть его гибель, мы — сотня юношей — тоже выпрыгнули на берег и поспешили за Покинутым Вождем в селение. Мукумуки не знали наших намерений и считали, что мы пришли воевать; поэтому они натянули тетивы своих луков и осыпали нас дождем стрел. Тогда мы позабыли данное нам поручение и напали на них с копьями и дубинками в руках; они были не подготовлены к нападению, и произошла великая бойня.

— Я собственными руками убил их шамана, — объявил Покинутый Вождь, и его морщинистое лицо оживилось воспоминанием о давно прошедших днях. — Я собственными руками убил его, а он был более могучим шаманом, чем шаман нашего селения, Сколка. Каждый раз, когда я встречался лицом к лицу с врагом, я думал: «Это смерть!» — и каждый раз я убивал врага, а смерть все не приходила. Казалось, что дыхание жизни сильно во мне, и я не могу умереть.

— И мы следовали за Покинутым Вождем до

конца селения и обратно, — продолжал Мутсак. — Мы следовали за ним, как стая волков, во все концы селения, пока не осталось ни одного врага. Тогда мы согнали сотню мужчин-рабов и вдвое больше женщин и бесчисленное количество детей, подожгли селение и уехали. Таков был конец мукумуков.

— Таков был конец мукумуков, — повторил, торжествуя, Покинутый Вождь. — А когда мы подъехали к нашему селению, народ был поражен нашими богатствами и рабами и еще более поразился, увидя меня живым. И отец мой, Выдра, дрожал от радости, узнав о моих подвигах. Он ведь был стариком, а я — последним из его сыновей. К нам явились все испытанные воины, сильные и мудрые, и вскоре вокруг нас собралось все селение. И тогда я встал и голосом, подобным грому, повелел шаману Сколке выступить вперед.

— Воистину, о Белый Человек! — воскликнул Мутсак. — Голосом, подобным грому, который заставил народ содрогнуться и исполниться страха.

— А когда Сколка выступил вперед, — продолжал Покинутый Вождь, — я сказал, что не намереваюсь умирать. Я сказал еще, что нехоро-

шо разочаровывать злых духов, которые ждут в загробном мире. Поэтому я считаю правильным, чтобы душа Сколки отправилась в Неведомое, где она, несомненно, будет вечно выть в темном бесконечном лесу. И я убил его на месте, перед лицом всего народа. Я, Покинутый Вождь, собственными руками убил шамана Сколку перед лицом всего народа. Когда же послышался ропот, я крикнул…

— Голосом, подобным грому, — вставил Мутсак.

— Да, я крикнул голосом, подобным грому: «Слушай, о народ! Я, Покинутый Вождь — убийца Сколки, вероломного шамана. Единственный из людей я прошел через ворота смерти и вернулся к жизни. Мои очи видели невиданные вещи. Мои уши слыхали неслыханные слова. Я могущественнее шамана Сколки. Я могущественнее всех шаманов. И я более могучий вождь, чем мой отец, Выдра. Он всю жизнь воевал с мукумуками, а я уничтожил их в один день. Я уничтожил их — грудь не успела вздохнуть. И так как мой отец, Выдра, состарился, а шаман Сколка убит, я буду одновременно и вождем, и шаманом. Отныне я буду вождем и шаманом для тебя, о мой народ! Если кто-нибудь хочет возразить, пусть выступит

вперед!»

Я ждал, но никто не выступил. Тогда я воскликнул: «Хо! Я вкусил крови! Принесите же мяса, ибо я голоден. Откройте все хранилища, принесите запасы рыбы и устройте великое пиршество. Веселитесь и пойте песни, только не погребальные, а свадебные. Затем приведите сюда девушку Кэсан. Девушку Кэсан, что будет матерью детей Покинутого Вождя».

От моих слов, а также от старости отец мой, Выдра, расплакался, как женщина, и обвил руками мои колени. И с этого дня я стал вождем и шаманом. Я пользовался великим почетом, и люди беспрекословно повиновались мне…

— Пока не появился пароход, — заметил Мутсак.

— Да, — сказал Покинутый Вождь. — Пока не появился пароход.

Киш, сын Киша

— Итак, я дам шесть одеял, двойных и теплых; шесть пил, широких и прочных; шесть ножей с Гудзонова залива, острых и длинных; два каноэ, работы Могума, Великого Мастера; десять собак, неутомимых в запряжке, и три ружья — курок одного из них сломан, но ружье хорошее, и курок может быть починен.

Киш замолчал и обвел глазами напряженные лица. Это было время Великой Рыбной Ловли, и он просил у Ноба его дочь Су-Су. Происходило все это в Миссии св. Георгия, на берегу Юкона, куда собрались разные племена с севера, юга, востока и запада, на много сотен миль в окружности, даже с Тозикаката и дальнего Тана-Нау.

— Кроме того, о Ноб, ты ведь вождь всех тана-нау; а я, Киш, сын Киша — вождь тлунгетов. Поэтому, когда мое потомство возрастет из недр дочери твоей, между нашими племенами возникнет великая дружба, и тана-нау и тлунгеты станут братьями по крови на все грядущие дни. Что я сказал, то и сделаю. А что думаешь ты, о Ноб, об этом?

Ноб степенно кивнул головой, и его шишкова-

тое, морщинистое лицо ничем не выдало того, что таилось у него в душе. Его глаза загорелись, как угольки, в узких щелках опущенных век, и он высоким, надтреснутым голосом пропищал:

— Но этого недостаточно.

— Что еще тебе нужно? — спросил Киш. — Разве я предложил тебе не полную цену? Разве за какую-либо девушку из племени Тана-Нау давали больше? Назови мне ее!

По кругу пробежал смех, и Киш понял, что он осрамил себя перед этими людьми.

— Нет, нет, друг Киш, ты не понял, — сказал Ноб, сопровождая эти слова мягким и ласковым жестом. — Цена прекрасная. Цена очень хорошая. Я не буду даже говорить о сломанном курке. Но этого недостаточно. Как вот насчет мужа?

— Да, как насчет мужа? — загудели все вокруг.

— Говорят, — резкий голос Ноба перешел в писк, — говорят, что Киш не идет по стопам своих отцов. Говорят, что он уклонился с пути во тьму, поклоняется чужим богам и стал трусом.

Лицо Киша потемнело.

— Это ложь, — прогремел он. — Киш никого не боится!

— Говорят, — продолжал тем же тоном Ноб, — что он прислушивался к речам белого человека

из Большого Дома и склонил голову перед богом белого человека, и более того, говорят, что кровь ненавистна богу белого человека.

Киш опустил глаза, и рука его судорожно сжалась. Кругом презрительно смеялись, а Мадуан, шаман, первосвященник и лекарь племени Тана-Нау, шептал что-то на ухо Нобу.

Затем среди едва освещенных светом костра теней шаман разыскал и разбудил какого-то худенького мальчика и подвел его к Кишу; в руку Киша он сунул нож.

Ноб нагнулся вперед.

— Киш! О Киш! Посмеешь ли ты убить человека? Слушай же! Это Киц-Ну — раб. Ударь его. О Киш, ударь его всей силой руки!

Мальчик дрожал и ждал удара. Киш посмотрел на него, и мысль о более высоком нравственном идеале мистера Брауна мелькнула в его мозгу, и он представил себе пламя преисподней. Нож выпал из руки, и мальчик с облегчением вздохнул и дрожащими шагами вышел из круга, очерченного огнем костра. У ног Ноба лежала собака-волкодав; она оскалила зубы и приготовилась прыгнуть вслед мальчику. Но шаман ткнул ее ногой, и это действие подало Нобу новую мысль.

— А что бы ты, о Киш, сделал, если бы с тобой поступили вот так? — с этими словами Ноб протянул кусок лососины Белому Клыку, а когда собака приготовилась схватить его, сильно ударил ее палкой по носу. — А после этого, о Киш, ты поступал бы так? — Белый Клык, пресмыкаясь на животе, раболепно лизал руку Ноба.

— Слушай же! — воскликнул Ноб, опираясь на руку Мадуана. — Я очень стар и потому что я стар, я тебе скажу. Твой отец Киш был могучий человек. Он любил песню летящей стрелы в сражении, и мои глаза видели, как брошенное им копье пронзало человека насквозь. Но ты не таков. С тех пор, как ты покинул Ворона и поклоняешься Волку, ты стал бояться крови и хочешь заставить и свой народ бояться ее. Это нехорошо! Знай, что когда я был мальчиком, не старше Киц-Ну, во всей нашей стране не было ни одного белого человека. Но они пришли один за другим, и теперь их много у нас. Это беспокойное племя — им мало отдыха у очага, с набитым желудком, и они не хотят ждать, чтобы завтрашний день доставил им пищу на завтра. По-видимому, на них тяготеет проклятие, и они смогут снять его только работой и лишениями.

Киш был поражен. Он вспомнил туманную

историю, рассказанную ему мистером Брауном о некоем Адаме, жившем в давние времена, — очевидно, мистер Браун говорил правду.

— Поэтому они накладывают руки на все, что увидят, они рыскают повсюду и все видят. А за ними приходят другие, и если им никто не помешает, они заберут себе всю нашу страну, и в ней не останется больше места для племен Ворона. И потому нам следует с ними биться, пока мы их не перебьем. Тогда мы снова овладеем страной, и, может быть, наши дети или дети наших детей будут процветать и благоденствовать. Предстоит великая борьба, и Ворон сцепится с Волком, но Киш не примет участия в этой борьбе и не допустит до борьбы свой народ. Поэтому нехорошо, чтобы он взял к себе мою дочь. Вот слово Ноба, вождя племени Тана-Нау.

— Но ведь белые люди добры и великодушны, — отвечал Киш. — Они научили нас множеству вещей. Белые люди привезли нам одеяла, ножи и ружья — мы никогда таких не делали и не умели делать. Я помню, как мы жили до их прихода. От моего отца я слышал рассказы о том времени, когда я еще не родился. На охоте нам приходилось подползать так близко к оленю, чтобы можно было поразить его копьем. А теперь мы убиваем

оленей из ружей белых людей с такого расстояния, что нельзя расслышать плач ребенка. Мы ели рыбу, мясо и ягоды — другого ничего у нас не было — и ели все без соли. Сколько найдется среди вас желающих вернуться к рыбе и мясу без соли?

Его слова достигли бы цели, если бы Мадуан вовремя не вскочил на ноги и не заговорил:

— Сначала я задам вопрос тебе, Киш. Белый человек из Большого Дома говорит, что нехорошо убивать. Разве мы не знаем, что белые люди убивают? Неужели мы забыли великую битву на Койокуке? Или великую битву у Нуклукието, где трое белых людей убили двадцать человек из племени Тозикаката? Или ты думаешь, что мы не помним трех братьев из племени Тана-Нау, которых убил белый человек Макльроз? Скажи мне, о Киш, отчего шаман Браун учит тебя, что нехорошо убивать, когда его братья убивают?

— Нет! Нет! Ответа не надо, — пронзительно закричал Ноб, между тем как Киш тщетно старался разобраться в этом противоречии. — Это очень просто. Добрый человек Браун будет крепко держать Ворона, пока его братья выщиплют ему перья. — Он повысил голос. — Но пока жив хоть один мужчина из племени Тана-Нау, чтобы на-

нести удар, или женщина, способная дать жизнь мужчине, до тех пор Ворона не ощиплют. — Ноб повернулся к грубому парню, сидевшему по другую сторону огня. — А что скажешь ты, Макамук, брат Су-Су?

Макамук встал. Длинный рубец проходил по его верхней губе, и благодаря этому шраму на его губах застыла вечная усмешка, противоречащая свирепому взгляду.

— Сегодня, — начал он, казалось бы, без всякой связи с предыдущим, — я проходил мимо хижины торговца Макльроза. В дверях грелся на солнышке смеющийся ребенок. Дитя поглядело на меня глазами торговца Макльроза и испугалось. Тогда прибежала мать и успокоила его. Мать была Зиска, женщина из племени Тлунгетов.

Яростные возгласы заглушили его голос, но он заставил всех замолчать, повернувшись драматически к Кишу. Он вытянул руку и грозно указывал на него пальцем.

— Так-то? Вы отдаете на сторону ваших женщин, тлунгеты, а затем приходите за женщинами к Тана-Нау? Но нам самим нужны наши женщины, Киш; нам нужно народить мужчин, много мужчин к тому дню, когда Ворон сцепится с Волком.

Среди грома одобрений раздался пронзительный голос Ноба:

— А ты, Нассабок, ее любимый брат?

Юноша был строен и гибок, с орлиным носом и красивыми бровями, веко его нервно подергивалось — он словно подмигивал окружающим. И едва он встал, веко дрогнуло, но теперь это не вызвало обычного смеха. Все лица были серьезны.

— Я тоже проходил мимо хижины торговца Макльроза, — заговорил он мягким, почти детским голосом, напоминавшим голос сестры. — И я видел индейцев, со лба их катился градом пот, и ноги подгибались от усталости — говорю вам, я видел индейцев, стонавших под тяжестью бревен, которые они носили для постройки лавки торговца Макльроза. И своими глазами я видел, как они рубили дрова, чтобы отопить Большой Дом шамана Брауна в течение долгих зимних ночей. Это работа женщин. Никогда мужчины племени Тана-Нау не согласятся ее делать. Мы можем быть братьями по крови только мужчинам, но не женщинам, а тлунгеты — женщины.

Наступила полная тишина, и все взоры обратились на Киша. Он медленно оглянулся, внимательно всматриваясь в лицо каждого взрослого мужчины.

— Так, — заметил он бесстрастно. И повторил: — Так. — Затем повернулся и молча исчез в темноте.

Пробираясь среди барахтающихся на земле ребятишек и ощетинившихся собак, он пересек весь лагерь и на краю его набрел на работавшую при свете костра женщину. Из длинных полос коры, срезанных с корней вьющейся лозы, она плела веревки для рыболовных сетей. Некоторое время он молча следил за движениями ловких рук, приводящих в порядок спутанную массу свивающихся волокон. Было приятно глядеть, как ловко справлялась с работой эта сильная девушка с широкой грудью и бедрами, созданными для материнства. Бронзовое лицо ее казалось золотым в отсветах пламени, волосы были черные с синим отливом, глаза сверкали, как черный янтарь.

— О Су-Су, — заговорил он наконец. — Ты ласково глядела на меня в прошедшие дни и помнишь, еще недавно…

— Я глядела на тебя ласково, потому что ты был вождем тлунгетов, — быстро сказала она. — И потому, что ты был большим и сильным.

— Но…

— Но это было в прежние дни, — торопливо прибавила она, — до того, как явился шаман

Браун и научил тебя дурным вещам и повел твои стопы по чужим путям.

— Но я хотел бы рассказать тебе…

Она подняла руку, и этот жест ему напомнил ее отца.

— Не надо, я знаю слова, что скажут твои уста, о Киш, и я отвечу на них сейчас. Так уже повелось, чтобы рыба в воде и звери в лесу рождали себе подобных. И это хорошо. То же и с женщинами. Им полагается производить себе подобных, и девушка — именно потому, что она еще девушка — предчувствует муки родов, боль в груди и маленькие ручки, обвивающие ее шею. Когда это чувство усиливается, тогда каждая девушка отыскивает себе тайно от всех мужчину — мужчину, что может стать отцом ее детей. Так было и со мной. Вот что я чувствовала, когда посмотрела на тебя и увидела, что ты здоров и силен, что ты охотник и победитель зверей и людей и что ты способен добыть мяса, когда мне придется есть за двоих, и охранить меня от всяких бед, когда я буду беспомощна. Но это было до того дня, как шаман Браун появился в нашей стране и научил тебя…

— Но это нехорошо, Су-Су… Мне говорили мудрые люди, что…

— Нехорошо убивать. Я знаю, что ты хочешь

сказать. Тогда производи подобных себе, производи людей, что не хотят убивать, но не приходи искать мать для твоих детей у племени Тана-Нау. Говорят, что в грядущие дни Ворон сцепится с Волком. Это дело мужчин, и я больше ничего не знаю, но я знаю, что мне следует народить к тому времени мужчин.

— Су-Су, — прервал ее Киш. — Выслушай меня…

— Мужчина ударил бы меня палкой и заставил бы меня выслушать его, — издевалась она. — А ты… на тебе! — Она сунула ему в руку связку коры. — Себя я не могу тебе дать, а это — возьми! Тебе это очень подходит. Это работа женщины, а потому — плети дальше!

Он отшвырнул кору, и горячая кровь пробилась через бронзовый загар его щек.

— Слушай дальше, — продолжала она. — Существует старинный обычай, ему подчинялись и твой отец, и мой. Когда воин погибал в сражении, его противник снимал скальп в знак победы. Но ты, отрекшийся от Ворона, ты должен сделать больше. Ты должен принести мне не скальпы, нет, но головы, две головы, и тогда я протяну тебе не кору, а расшитый бисером пояс, ножны и длинный русский нож. Тогда я снова ласково

погляжу на тебя, и все будет хорошо.

— Так, — задумчиво сказал он. — Так. — Затем повернулся и вышел из очерченного костром светлого круга.

— Нет, о Киш! — крикнула она ему вслед. — Не две головы, а три!

Но Киш оставался верным новой религии, жил праведно и заставлял свое племя слушаться Евангелия, проповедуемого его преподобием Джэксоном Брауном. Весь рыболовный сезон он не обращал внимания на людей из племени Тана-Нау и не слушал насмешек и смеха женщин из других племен. По окончании рыбной ловли Ноб и его племя с большими запасами высушенной на солнце и копченной в дыму лососины поехали охотиться к верховьям реки Тана-Нау. Киш следил за их отъездом, но не пропускал ни одной службы в Миссии, молился и своим глубоким басом запевал в хоре.

Его преподобие Джэксон Браун восхищался голосом Киша безупречной красоты — он убеждал его в искренности вновь обращенного. Макльроз оспаривал это убеждение. Он не верил в обращение язычников и не скрывал своего недоверия. Но мистер Браун был человеком широкого кругозора и однажды целую ночь убеждал Макльроза

в своей правоте с таким жаром и последовательностью, что разбил одно за другим все его возражения. Наконец, Макльроз в отчаянии объявил:

— Вышибите мне яблоком мозги, или я сам уверую, если Киш продержится еще два года! — Мистер Браун никогда не упускал благоприятного случая и сейчас же подкрепил сделку мужественным рукопожатием. Отныне от поведения Киша зависела судьба души Макльроза.

Но однажды, когда установился зимний путь, пришли новости. В Миссию св. Георгия явился за боевыми припасами человек из племени Тана-Нау. Он рассказал, что Су-Су остановила благосклонный взор на сильном, молодом охотнике Ни-Ку, предложившем за нее хорошую цену старому Нобу. В этот же день его преподобие Джэксон Браун набрел на Киша на лесной тропинке, ведущей вниз к реке. В сани Киша были впряжены его лучшие собаки, а под веревками просунуты большие, самые лучшие его лыжи.

— Куда идешь ты, о Киш? Охотиться? — спросил мистер Браун, подражая манере индейцев.

Киш пристально посмотрел ему в глаза и тронул собак. Затем снова повернул свой пристальный взор на миссионера и ответил:

— Нет, я иду в ад.

На маленькой прогалине, стараясь зарыться в снег, словно укрываясь от пугающей пустыни, скучились три унылых жилища. Прогалина была окружена густым темным бором. Над головой не было видно синего неба — лишь таинственная, туманная завеса, готовая засыпать снегом всю землю. Здесь не было ни ветра, ни звуков — только снег и тишина. Вокруг стоянки не чувствовалось даже обычного движения жизни; партия охотников напала на стадо оленей, и добыча была богатая. Поэтому после некоторого поста настало время пирования, и теперь они, несмотря на то что был день, крепко спали под покровом из оленьих шкур.

У огня, перед одним из строений, стояло пять пар лыж и сидела Су-Су. Капюшон беличьей *парки* покрывал ее голову и был плотно завязан у шеи; но руки ее были открыты и проворно управлялись с иглой и ниткой из сухожилий, заканчивая фантастический кожаный пояс, отделанный красной материей. Где-то позади залаяла собака, но лай прекратился столь же внезапно, как и начался. Один раз ее отец, спавший в жилище за ее спиной, застонал во сне.

«Он видит дурные сны, — улыбнулась она про

себя. — Он становится стар, и ему такие пиршества не под силу».

Она пришила последнюю бусинку, закрепила нитку и подложила дров в огонь. Долго смотрела в пламя костра и, наконец, подняла голову, услышав хруст снега под чьими-то мокасинами. Рядом с ней стоял Киш, слегка сгибаясь под тяжестью ноши, которую нес на спине. Ноша была завернута в мягко выдубленную оленью шкуру. Он небрежно сбросил ее в снег и сел. Долго и безмолвно они глядели друг на друга.

— Это большой конец, Киш, — сказала она, — большой конец от Миссии св. Георгия по Юкону.

— Да, — отвечал он, не переставая о чем-то думать и устремив глаза на пояс и мысленно примеряя его. — А где же нож? — спросил он.

— Вот он. — Она вынула его из складок своей парки, и лезвие засверкало в отсветах огня. — Это очень хороший нож.

— Дай мне его! — сказал он властно.

— Нет, о Киш, — засмеялась она. — Я думаю, что ты родился не для того, чтобы его носить.

— Дай мне его! — повторял он, не меняя тона. — Я родился для этого.

Но ее глаза, заигрывая, скользнули мимо него к оленьей шкуре, и она увидела, что снег вокруг

нее покраснел.

— Это кровь, Киш? — спросила она.

— Да, это кровь. Но дай мне пояс и длинный русский нож.

Она испугалась и вся содрогнулась, когда он грубо вырвал у нее из рук пояс, содрогнулась от его грубости. Она ласково посмотрела на него и почувствовала боль в груди и маленькие ручки, цеплявшиеся за ее шею.

— Он был сделан для человека поменьше, — угрюмо заметил он, втягивая живот и с трудом застегивая пряжку пояса.

Су-Су улыбнулась, и ее глаза взглянули на него еще нежнее. На него приятно было смотреть, и пояс действительно был ему узок; ведь пояс был сделан для другого, не столь крупного человека, но не все ли равно? Она может сшить и другой пояс.

— Но что это за кровь? — спросила она, побуждаемая все растущей надеждой. — Что за кровь, Киш? Или… может быть… это головы?

— Да.

— Они, верно, только что отрезаны, иначе кровь бы замерзла.

— Да, теперь нехолодно, и головы совсем свежие, только что отрезанные.

— О Киш! — Глаза ее горели, и лицо сияло. — Это для меня?

— Да, для тебя.

Он захватил уголок шкуры, поднял его, и головы покатились на снег.

— Три, — прошептала она, — нет, по крайней мере четыре.

Она сидела, потрясенная. Вот они лежали — нежное лицо Ни-Ку; морщинистое, старое лицо Ноба; Макамук усмехался ей своей приподнятой верхней губой; Нассабок, по старой привычке, опустил ресницы над девичьей щекой, словно подмигивая ей. Вот они лежали, освещенные играющим пламенем костра, и снег вокруг каждой из них окрашивался пурпуром.

Жар костра растопил белую корку снега под головой Ноба, и она, словно живая, покатилась, повернулась и остановилась у ног Су-Су. Но та не двинулась. Киш тоже сидел неподвижно и, не мигая, не сводил с нее пристального взора.

Отягощенная снегом сосна стряхнула с себя груз, и эхо глухо повторило звук по ущелью, но ни один из них не шелохнулся. Короткий день быстро убывал, и темнота начала спускаться над стоянкой, когда Белый Клык направился к огню. Он остановился при виде незнакомца

— его никто не отгонял, и он подошел ближе. Но обоняние быстро отвлекло его внимание от огня, ноздри его зашевелились, и шерсть стала дыбом: не обманывающий инстинкт привел его прямо к голове хозяина. Сначала он ее осторожно обнюхал и лизнул лоб красным языком. Затем сел, поднял нос кверху, к первой, едва блеснувшей звезде и завыл протяжным волчьим воем.

Этот вой привел Су-Су в себя. Она поглядела на Киша, вынувшего из ножен русский нож и напряженно следившего за всеми ее движениями. Его лицо было решительно и твердо, и она прочла на нем закон. Откинув назад капюшон *парки,* она обнажила шею и встала. Окинула долгим взглядом темный лес, окружавший прогалину, далекие звезды на небе, стоянку, лыжи в снегу — последний, прощальный взгляд на жизнь. Легкий ветерок налетел сбоку и приподнял прядь волос. Глубоко вздыхая, она повернула голову, и ветер подул ей прямо в лицо.

Потом она подумала о своих детях, которым не суждено родиться, подошла к Кишу и сказала:

— Я готова.

Смерть Лигуна

Кровь за кровь, род за род.

Закон племени Тлинкет

— Слушай теперь о смерти Лигуна…

Рассказчик остановился, или, вернее, сделал передышку и многозначительно посмотрел на меня. Я поднял перед ним, сидящим у костра, бутылку, отметил пальцем размеры глотка и передал ему, недаром ведь Палитлума прозвали Пьяницей. Много историй рассказал он мне, и я давно уже ждал, чтобы этот хранитель неписаного предания заговорил о временах Лигуна: из всех людей на свете он один хорошо знал те времена.

Он откинул назад голову и забормотал, довольный; скоро послышалось бульканье, и на неровной поверхности находившегося позади утеса заплясала чудовищная тень человеческого туловища под громадной опрокинутой бутылкой. Палитлум оторвался от бутылки, ласково причмокнул и грустно поглядел вверх, на северное сияние, игравшее на бледной синеве летнего неба.

— Удивительный напиток, — сказал он. — Хо-

лодный, как вода, и горячий, как огонь. Пьющему он придает силу и у пьющего отнимает силу. Стариков он превращает в юношей, а юношей в стариков. Усталого он заставляет встать и идти вперед, а бодрого погружает в сон. Мой брат, обладавший сердцем кролика, выпил его и убил четырех врагов. Мой отец был подобен матерому волку, скалящему зубы на всех людей; но когда он напился, то побежал от врага и был убит выстрелом в спину. Очень удивительный напиток.

— Это «Три Звездочки», — да и качество ее лучше, чем та бурда, которой они отравляют свои желудки там, внизу, — ответил я, протягивая руку над зияющей черной бездной и указывая вниз, где далеко на берегу виднелись огни костров — крохотные огоньки, дающие ощущение реальности окружающего мира.

Палитлум вздохнул и покачал головой.

— Поэтому-то я и нахожусь здесь с тобой.

Тут он обласкал бутылку и меня взглядом, красноречивее всяких слов говорившим о его бесстыдной любви к выпивке.

— Нет, — сказал я, пряча бутылку. — Расскажи о Лигуне. О «Трех Звездочках» мы поговорим после.

— Бутылка полна, а я ничуть не устал, — нагло

клянчил он. — Дай, я приложу ее к губам и расскажу тебе о великих подвигах Лигуна и его конце.

— У пьющего он отнимает силу, — передразнил я его, — а бодрого погружает в сон.

— Ты мудр, — ответил он без гнева и обиды. — Ты мудр, как и все твои братья. «Три Звездочки» всегда при тебе, когда ты бодрствуешь и когда ты спишь, но я никогда не видел, чтобы ты был пьян. Вы забираете себе золото, скрытое в наших горах, и рыбу, что плавает в наших морях, а Палитлум и братья Палитлума роют для тебя золото и ловят рыбу и рады, когда ты с высоты своей мудрости соизволяешь им приложиться губами к «Трем Звездочкам».

— Я собрался послушать о Лигуне, — нетерпеливо сказал я. — Ночь коротка, а нам завтра предстоит трудный путь. — Затем я зевнул и сделал вид, будто хочу встать, но Палитлум встревожился и приступил к рассказу.

— В годы старости Лигун хотел, чтобы между племенами царствовал мир. Юношей он был первым среди воинов и вождем над всеми вождями островов и проливов. Все дни его были заполнены войной. Ни у кого на свете не было на теле столько ран, сколько у него; эти раны нанесены были и костяным оружием, и свинцовыми пуля-

ми, и железными ножами. Он имел трех жен и от каждой жены по два сына; но сыновья его, начиная от рожденного первым и кончая родившимся последним, погибли, сражаясь рядом с ним. Беспокойный, как медведь-плешак, он рыскал далеко по всей стране, до Аляски и Мелководья на севере; забирался к югу до островов Королевы Шарлотты и, говорят, прошел с кэйксами до дальнего Пюджет Саунд[19], где убивал твоих братьев в их защищенных домах.

Но, как я уже говорил, в старости он хотел установить мир между племенами. Не потому, что стал трусом или слишком дорожил спокойным местечком у очага и полным котелком пищи. Он убивал людей с кровожадностью и злобой, стягивал живот в голодные дни и вместе с храбрейшими юношами пускался в путь по бурным морям и опасным дорогам. Но в наказание за такие деяния его увезли на военном судне в твою страну, о Волосатое Лицо и Человек из Бостона, и прошло много лет, пока он вернулся, и я уже был тогда не мальчик, но еще не стал мужчиной. И Лигун, оставшийся бездетным на старости лет, привязался ко мне и приобщал меня к своей

[19] Примечания: 19

Большой залив Тихого океана в северо-западной части штата Вашингтон. *(Прим. ред.)*

мудрости.

«Сражаться хорошо, о Палитлум», — говаривал он… Нет, о Волосатое Лицо, в те дни меня не звали Палитлумом, а называли Оло-Вечно-Голодный. Пьяницей я стал после. «Сражаться хорошо, — говорил Лигун, — но это глупо. Я своими глазами видел, что в стране людей из Бостона жители не сражаются друг с другом и все же они очень сильны. Благодаря своей силе они выступают против нас на островах и проливах, и мы рассеиваемся перед их взорами, как дым костра или морской туман. Поэтому я говорю тебе, что сражаться очень хорошо и приятно, но глупо».

Поэтому-то Лигун, бывший прежде среди воинов первым, теперь громче всех заговорил о мире. Он был величайшим из вождей и самым богатым из всех и, достигнув глубокой старости, он задал потлач. Никогда еще на свете не бывало такого пира. У берега выстроилось пятьсот каноэ, а в каждом прибыло не менее десяти мужчин и женщин. На пир явилось восемь племен; приехали все, начиная от дряхлых стариков до новорожденных младенцев. Прослышав о пире Лигуна, прибыли, не побоявшись долгого пути, и мужчины из отдаленных племен. И в течение семи дней все они наполняли себе желудок яствами

и напитками. Он роздал им восемь тысяч одеял. Я хорошо знаю это, ибо кто, как не я, вел счет и распределял их соответственно роду и заслугам каждого. К концу пира Лигун стал бедняком, но его имя было у всех на устах, и другие вожди скрежетали зубами, завидуя его величию и славе.

Слово его было законом, и, пользуясь этим, он проповедовал мир; он ездил на все пиры, празднества и собрания, чтобы говорить о мире. Случилось так, что мы поехали вместе — Лигун и я — на большой пир Ниблака, вождя речного племени Скутов, жившего недалеко от племени Стикин. Жизнь Лигуна подходила к концу, он был уже очень стар и близок к смерти. Он кашлял от холода и от дыма костра, и нередко изо рта у него шла кровь — мы думали, что вот-вот он умрет.

«Нет, — сказал он однажды, когда изо рта показалась кровь, — куда лучше умереть, когда кровь льется из-под ножа и слышится звон стали и запах пороха, а люди громко вскрикивают, пораженные холодной сталью или быстрым свинцом». Итак, ты видишь, о Волосатое Лицо, что сердце его еще жаждало сражений.

Из Чилькэта до скутов путь неблизкий, и мы много дней провели в каноэ. Пока люди склонялись над веслами, я сидел у ног Лигуна и слушал

его поучения. Мне незачем говорить тебе о Законе, Волосатое Лицо, ибо я знаю, что ты в Законе очень сведущ. Я только скажу тебе о Законе — кровь за кровь и род за род. Лигун подробно разъяснил мне его. Вот его слова:

«Знай, о Оло, что не велика честь убить человека, низшего по происхождению. Убивай всегда людей, стоящих выше тебя, и ты заслужишь почет, соответствующий их положению. Если из двух противников ты убьешь менее знатного, то уделом твоим будет позор, и даже женщины будут смеяться при встречах с тобою. Я говорил уже, что хорошо жить в мире, но помни, о Оло, если тебе придется убивать — убивай, сообразуясь с Законом».

— Таков обычай племени Тлинкет, — в виде оправдания заметил Палитлум, а я подумал о разбойниках и убийцах Западных Стран и ничуть не удивился обычаю племени Тлинкет.

— Мы вовремя попали на пир к вождю скутов — Ниблаку, — продолжал Палитлум. — Празднество было почти столь же большое, как потлач Лигуна. Были на нем и наши из Чилькэта, и индейцы из племени Ситка, и стикины, соседи скутов, и гунаа. Были сэндоуны и тихиосы из Порта Юзтока, их соседи оки из Пролива Дугласа,

речное племя Наассов и тонгасы с севера Диксона и, наконец, кэйксы с Острова Купреянова. Затем были сиваши из Ванкувера, касскары с Золотых Гор, теслины и даже стиксы из Страны Юкона.

Это было замечательное празднество. Но первым делом должна была состояться встреча вождей с Ниблаком, и предполагалось утопить все прежние распри в квасе. Мы научились приготовлению кваса у русских, так сказал мне отец, а ему говорил его отец. Но в этот квас Ниблак много чего прибавил — сахара, муки, сушеных яблок и хмеля и получился хороший и крепкий напиток для мужчин. Не такой хороший, как «Три Звездочки», о Волосатое Лицо, но все же очень хороший.

Квас был только для вождей, а вождей собралось человек двадцать. Поскольку Лигун был очень стар и пользовался большим почетом, мне разрешено было войти вместе с ним, чтобы он мог опираться на мое плечо, а я бы ему помогал опускаться на место и вставать. У двери в дом Ниблака — а дом его был сложен из бревен очень больших размеров — каждый вождь по обычаю оставлял свое копье, ружье или нож. Ведь ты знаешь, о Волосатое Лицо, что напитки горячат кровь, старые распри вспыхивают вновь, и го-

лова и рука начинают действовать быстро. Но я заметил, что Лигун взял с собой два ножа и один оставил за дверью, а второй спрятал под одеялом, так что можно было сразу схватиться за рукоятку. Другие вожди поступили так же, и я испугался того, что должно произойти.

Вожди чинно расселись большим кругом. Я стоял рядом с Лигуном. В середине помещался бочонок с квасом, и у бочонка стоял раб, подававший напиток. Сначала Ниблак произнес дружелюбную речь, в ней было много красивых слов. Затем он подал знак, и раб погрузил тыкву в бочонок и подал ее, как полагалось, Лигуну, ибо он был знатнейшим из собравшихся. Лигун выпил все до последней капли, и я помог ему встать, чтобы и он мог произнести речь. Он нашел приятные слова для всех вождей, отметил щедрость Ниблака, устроившего такое пышное торжество, посоветовал, по своему обыкновению, всем жить в мире и в конце сказал, что квас очень хорош.

После него выпил Ниблак, ибо он по старшинству следовал за Лигуном, а за ним, по старшинству и знатности, выпили и остальные вожди. Каждый из них говорил дружелюбные слова и хвалил квас, пока тыква не обошла весь круг и все вожди не выпили.

Все ли я сказал? Нет, не все, о Волосатое Лицо! Последний из них, худощавый, похожий на кошку юнец с быстрыми, дерзкими глазами, мрачно выпил свою долю, затем плюнул на землю и не сказал ни слова.

Не сказать, что квас хорош, — оскорбление; плюнуть на землю — тяжкое оскорбление. И такое-то оскорбление он решился нанести вождям. Было известно, что он — вождь стиксов с Юкона, но больше о нем ничего не знали.

Я уже говорил, что это страшное оскорбление. Но заметь, о Волосатое Лицо, что оскорбление было нанесено не Ниблаку, хозяину пира, но самому знатному из вождей, сидевших в кругу. А самым знатным был Лигун. Никто не шелохнулся. Все глаза были устремлены на него. Он не двинулся. Его высохшие уста не дрогнули, ноздри не раздулись, и веки не опустились. Я видел, что он слаб и печален, как старики в тягостные утра голодных зим, когда женщины плачут, дети хнычут, нет мяса, и нет надежды его получить. И тем же взглядом, каким смотрят на мир эти старики, смотрел сейчас и Лигун.

Настала мертвая тишина. Можно было подумать, что кругом сидят мертвецы, если бы каждый из вождей не ощупывал для верности

нож, спрятанный в складках одеяла, и если бы каждый из них не оглядывал испытующим взглядом своих соседей справа и слева. Я был юношей в то время, но я понял, что такие события случаются лишь раз за всю жизнь.

Вождь стиксов встал — все, не отрываясь, за ним следили — подошел к Лигуну и остановился перед ним.

«Я — Опитса-Нож», — сказал он.

Но Лигун ничего не отвечал и, не глядя на него, не мигая смотрел в землю.

«Ты — Лигун, — сказал Опитса. — Ты убил многих воинов. А я еще жив».

Лигун все еще ничего не говорил, он только подал мне знак и с моей помощью поднялся и выпрямился. Он напоминал старую сосну, обнаженную и седую, но все еще способную противостоять бурям и морозам. Глаза его не мигали, и он, казалось, не слыхал слов Опитса и не видел его лица.

Опитса с ума сходил от ярости и приплясывал перед Лигуном в знак своего презрения. Затем он запел песню о своем величии и о величии своего племени, и песня его была полна нападок на племя Чилькэтов и на Лигуна. Громко распевая и приплясывая, он отбросил от себя свое одеяло

и, вынув нож, стал описывать круги перед лицом Лигуна. И песня, что он пел, была Песнью Ножа.

Раздавалось только пение Опитса; вожди сидели в кругу, как мертвецы, и только сверкание ножа как будто вызывало ответные искры в их глазах. И Лигун тоже не произносил ни слова. Он знал, что его смерть близка, и не боялся ее. А нож, описывая круги, все приближался и приближался к лицу Лигуна, но он смотрел перед собой немигающими глазами и не отклонялся ни вправо, ни влево, ни назад.

И Опитса два раза ударил его ножом по лбу, и кровь брызнула из раны. Тогда-то Лигун подал мне знак поддержать его моей юностью и помочь ему пройти. И он презрительно рассмеялся прямо в лицо Опитса-Ножу. И отбросил его в сторону, как отбрасывают ветку, слишком низко нависшую над дорогой, и прошел мимо.

И я понял, что для Лигуна было бы позором убить Опитса перед лицом более знатных вождей. Я вспомнил Закон и понял, что Лигун собирается убивать по Закону. Но кто же был здесь самым знатным после Лигуна, если не Ниблак? И к Ниблаку он и направился, опираясь о мое плечо. А с другой стороны за него уцепился Опитса, слишком незначительный, чтобы осквернить своей

кровью руки столь великого вождя. И хотя нож Опитса снова и снова вонзался в тело Лигуна, тот на удары и оскорбления не дрогнул бровью. Таким-то образом мы трое прошли через комнату и подошли к завернувшемуся в одеяло испуганному Ниблаку.

Но тут вспыхнула старая вражда и вспомнились забытые раздоры. Брат Ламука, вождя кэйксов, был утоплен в дурных водах Стикина, и племя Стикина не уплатило одеялами за дурные воды, как полагалось по обычаю. Поэтому Ламук вонзил свой длинный нож прямо в сердце Клок-Куца, вождя стикинов. И Катчахук вспомнил ссору своего племени, живущего по реке Наасс, с тонгасами, живущими на севере Диксона, и убил вождя тонгасов выстрелом из пистолета, стрелявшего с большим шумом. Жажда крови охватила всех сидящих в кругу, и вождь убивал вождя. И все они старались ранить ножом или выстрелом Лигуна, ибо тот, кому суждено его убить, заслужит большой почет и покроет себя неувядаемой славой. Они напали на него, как волки на оленя, но их было так много, что они мешали друг другу и не могли его убить. Каждому приходилось убивать, чтобы пробить себе дорогу к Лигуну, и вокруг была страшная свалка.

А Лигун подвигался медленно, не спеша, словно впереди у него еще много лет. Казалось, он уверен, что ему удастся убить, прежде чем сам погибнет. И, как я уже сказал, он подвигался медленно, и ножи вонзались в него, и он был залит кровью. Хотя никто не собирался меня трогать, ибо я был лишь юношей, но ножи все же попадали в меня и горячие пули обжигали. А Лигун все еще опирался на мою молодость, и Опитса вертелся вокруг него, и мы трое двигались вперед. Когда мы остановились перед Ниблаком, Ниблак испугался и накрыл голову одеялом. Племя Скутов всегда отличалось трусостью.

Гулзуг и Кадишан, пожиратель рыбы и охотник, сцепились за честь своих племен. Они яростно боролись и в дикой схватке сбили Опитса, стали топтать его ногами. Брошенный кем-то нож попал прямо в горло Скульпина, вождя племени Ситка — он взмахнул руками, пошатнулся и, падая, увлек меня за собой.

Лежа на земле, я видел, как Лигун склонился над Ниблаком, сорвал с его головы одеяло и повернул его лицо к свету. И Лигун нисколько не торопился. Ослепленный собственной кровью, он протер себе глаза. Убедившись, что повернутое к свету лицо — лицо Ниблака, он провел ножом по

его горлу, как охотник проводит ножом по горлу трепещущей косули. Затем он выпрямился и, слегка раскачиваясь, запел песню смерти. Тогда Скульпин, лежа на земле, выстрелил в него из пистолета. Лигун пошатнулся и упал, как шатается и падает сосна в объятиях ветра.

Палитлум замолчал. Его блестевшие глаза были устремлены в огонь и щеки пылали.

— А ты, Палитлум? — спросил я. — А ты?

— Я? Я помнил Закон и убил Опитса-Ножа, и это было очень хорошо. И я вытащил нож Лигуна из горла Ниблака и убил Скульпина, опрокинувшего меня на землю. Я был еще юношей, и каждый убитый вождь возвеличивал меня. Затем, раз Лигун был мертв, моя молодость никому не была нужна, и я действовал ножом, выбирая самых знатных из оставшихся в живых вождей.

Палитлум порылся в складках своей одежды, достал обшитые бисером ножны и вытащил из них нож. Нож был самодельный, грубо вырезанный из пилы, такие ножи можно найти у стариков в сотне селений на Аляске.

— Нож Лигуна? — спросил я. Палитлум кивнул головой.

— За нож Лигуна я тебе дам десять бутылок с «Тремя Звездочками», — сказал я.

Палитлум медленно перевел на меня свой взгляд.

— Я слаб, как вода, и податлив, как женщина. Я осквернил свой желудок квасом, водкой и «Тремя Звездочками». Мое зрение ослабело, и слух потерял остроту, а сила обратилась в жир. Никто меня не уважает, и зовут меня Палитлум-Пьяница. Но на потлаче у Ниблака, вождя скутов, меня уважали, и память об этом пире и память о Лигуне мне дорога. И если бы ты все море превратил в «Три Звездочки» и дал бы его мне за нож, я бы ножа не отдал. Я — Палитлум-Пьяница, но я был Оло-Вечно-Голодный, поддерживавшим своею молодостью Лигуна.

— Ты великий человек, Палитлум, — сказал я, — и я уважаю тебя.

Палитлум протянул руку.

— Отдай мне «Три Звездочки», которые ты сжимаешь между коленями, за мой рассказ, — сказал он.

И когда я повернулся — на неровной поверхности скалы я увидел чудовищную тень человека под громадной опрокинутой бутылкой.

Красавица Ли-Ван

— Каним, солнце заходит, и дневной жар спал!

Этими словами будила Ли-Ван спящего, чья голова была закрыта одеждой из беличьих шкурок. Голос ее звучал тихо, словно она колебалась между необходимостью разбудить его и страхом перед его пробуждением. Она боялась своего великана-супруга, столь непохожего на всех других мужчин, которых она когда-либо видела.

Оленье мясо жарилось и шипело, и она сдвинула сковороду на край красных головешек. Затем она осторожно оглянулась на двух псов с Гудзонова залива, жадно следивших за каждым ее движением. Эти громадные лохматые чудовища, высунув длинные красные языки, прикорнули с подветренной стороны костра — здесь дым защищал их от тучи москитов. Когда Ли-Ван поглядела вниз, где Клондайк катил среди гор свои мощные воды, одна из собак подползла на животе к костру и ловким, кошачьим движением лапы сбросила кусок горячего мяса со сковороды на землю. Но Ли-Ван краешком глаза следила за ней, и собака с рычанием отпрянула назад, получив удар по носу.

— Не удалось, Оло! — рассмеялась она, завладевая мясом и не спуская глаз с собак. — Ты вечно голоден, и твой нюх постоянно доводит тебя до беды.

Но вторая собака присоединилась к Оло, и обе они вызывающе стали перед женщиной. Шерсть на их спинах вздыбилась, тонкие губы собрались в безобразные морщины, обнажая угрожающие, свирепые клыки. Ноздри их сморщились и дрожали, они рычали по-волчьи и готовились к яростному волчьему прыжку.

— И ты тоже, Бэш, свиреп, как твой хозяин, и не хочешь жить в мире с тем, кто дает тебе пищу! С тобою ведь не ссорились! Так получай же.

С этим криком она бросила в них поленом, но они увернулись и не отступали. Разделившись, они с двух сторон приближались к ней, низко припадая к земле и рыча. Ли-Ван боролась за господство над волкодавами с тех пор, как маленьким ребенком ползала среди тюков со шкурами на полу своей хижины, и поняла, что наступает решительный момент. Бэш остановился, и мускулы его напряглись для прыжка; Оло еще подползал на достаточное для прыжка расстояние.

Схватив за обугленные концы две горящих го-

ловни, она приготовилась встретить нападение. Оло остановился, но Бэш прыгнул, и она бросила в него пылающее полено. Раздался резкий, болезненный вой, и в воздухе запахло паленой шерстью и мясом. Когда пес покатился в пыли, женщина поднесла к его пасти горящую головню. С диким рычанием он увернулся от следующих ударов и в безумном страхе пустился наутек. Оло, со своей стороны, также начал отступление, когда Ли-Ван напомнила о своем превосходстве, метнув ему в бок тяжелое полено. После этого оба пса отступили под дождем сыпавшихся на них поленьев и на краю стоянки, рыча и завывая, зализывали раны.

Ли-Ван сдунула золу с упавшего куска мяса и снова села. Ее сердце билось спокойно, и борьба с собаками отошла в прошлое — такие происшествия были в ее жизни обычными. Несмотря на шум, Каним не шелохнулся — наоборот, захрапел сильнее.

— Вставай, Каним! — будила его она. — Дневной жар спал, и нам пора в путь.

Одежда из беличьих шкур зашевелилась и, наконец, была отброшена бронзовой рукой. Глаза человека приоткрылись, но затем снова сомкнулись.

«Его ноша тяжела, — подумала она, — и он устал после утреннего пути».

Москит ужалил ее в шею, и она замазала непокрытое место глиной: кусок она взяла от кома, всегда находящегося под рукой. Все утро, в тучах москитов поднимаясь на перевал, мужчина и женщина непрерывно мазали лицо липкой грязью, которая, высыхая на солнце, покрыла их лица глиняными масками. Эти маски, кое-где треснувшие вследствие движения лицевых мускулов, должны были постоянно подновляться. Слой глины получился весьма неравномерный по толщине и странный по форме.

Ли-Ван мягко, но настойчиво будила Канима, пока он не проснулся и не сел. Первым делом он посмотрел на солнце и, справившись о времени по небесному хронометру, перебрался к костру и жадно набросился на мясо. Он был крупным индейцем, шести футов ростом, с широкой грудью и прекрасными мускулами. Взгляд его, более проницательный, чем обычно у его соплеменников, свидетельствовал о больших умственных способностях. На его лице читалась огромная сила воли, а эта сила воли в сочетании с непреклонностью и первобытностью говорила о врожденной неукротимости человека, идущего прямо к це-

ли и способного, в случае противодействия, на страшную жестокость.

— Завтра, Ли-Ван, у нас будет праздник. — Он высосал дочиста мозговую кость и бросил ее собакам. — Мы будем есть оладьи, жаренные на свином сале, и сахар — это очень приятно на вкус.

— *Оладьи?* — переспросила она с любопытством произнося незнакомое слово.

— Да, — с чувством превосходства отвечал Каним, — и я научу тебя новым способам стряпни. Ты ничего не знаешь об этих вещах, да и о многих других тоже. Ты провела свою жизнь в глуши и ничего другого не видела. А я, — он выпрямился и горделиво поглядел на нее, — я — великий путешественник и был повсюду, даже в местах, населенных белыми людьми, и я знаю их обычаи и обычаи многих народов. Я — не дерево, рожденное, чтобы всегда стоять на одном месте и не знать о том, что находится за ближайшей горой; я — Каним-Каноэ, созданный, чтобы странствовать и изучать мир вдоль и поперек.

Она смиренно наклонила голову.

— Это правда. Я все дни своей жизни ела рыбу, мясо и ягоды и жила в глуши. Я не знала, что мир так велик, пока ты не похитил меня у моего

народа и я не начала готовить тебе пищу и заботиться о тебе во время бесконечного пути. — Она внезапно поглядела на него. — Скажи, Каним, этот путь когда-нибудь кончится?

— Нет, — отвечал он. — Мой путь подобен миру, — он никогда не кончится. Мой путь — это мир, и я странствую по миру с тех пор, как научился держаться на ногах, и буду странствовать до дня своей смерти. Возможно, мои отец и мать умерли, я давно их не видел, и мне это безразлично. Мое племя подобно твоему племени. Оно живет далеко отсюда, но мне нет дела до моего племени, ибо я — Каним-Каноэ.

— Должна ли я, Ли-Ван, усталая от пути, странствовать с тобой до дня своей смерти?

— Ты, Ли-Ван, — моя жена, а жена странствует по путям своего мужа, куда бы они ни вели его. Таков Закон. А если бы это и не было Законом, то стало бы Законом Канима, который дает Закон себе и своим близким.

Она снова наклонила голову, ибо знала, что по Закону мужчина — господин.

— Не спеши, — удержал ее Каним, когда она принялась собирать в мешок скудные пожитки. — Солнце сильно греет, дорога ведет вниз, и путь не утомителен.

Она покорно оставила работу и снова уселась на землю. Каним оглядел ее внимательным взглядом.

— Ты не сидишь на корточках, как другие женщины, — заметил он.

— Да, — отвечала она. — Мне трудно сидеть на корточках. Это меня утомляет, и я не могу отдохнуть.

— А отчего ты при ходьбе ставишь носки врозь, а не прямо?

— Не знаю, но мои ноги не похожи на ноги других женщин.

В его глазах блеснуло удовлетворение, но он его ничем не выразил.

— Твои волосы черны, как волосы других женщин, но замечала ли ты, что они мягкие и тонкие, — гораздо мягче и тоньше, чем их волосы?

— Замечала, — коротко ответила она, недовольная столь хладнокровным анализом ее женских несовершенств.

— Прошел уже год, как я взял тебя у твоего племени, — продолжал он, — а ты все так же робка и так же чуждаешься меня, как в тот день, когда я тебя впервые увидел. Отчего это?

Ли-Ван покачала головой.

— Я боюсь тебя, Каним, ты такой большой и непонятный. А кроме того, еще прежде, чем ты на меня посмотрел, я боялась всех юношей. Я не знаю… не умею сказать… мне только казалось, словно они мне не подходят, словно…

— Ну! — ободрил он ее, ее заминки выводили его из терпения.

— Словно они люди другой, не моей породы.

— Не твоей породы? — медленно переспросил он. — Какая же твоя порода?

— Я не знаю, я… — Она растерянно покачала головой. — Я не умею выразить словами, что я чувствовала. Я была какая-то странная. Я была не похожа на других девушек, которые тайно искали встреч с юношами. Я не могла вести себя так с ними. Мне бы это казалось очень нехорошим поступком.

— Какое первое воспоминание твоего детства? — резко и без всякой связи с предыдущим спросил Каним.

— Поу-Ва-Каан, моя мать.

— А до Поу-Ва-Каан ты ничего не помнишь?

— Ничего.

Но Каним, глядя ей прямо в глаза, старался проникнуть ей в душу и заметил ее колебание.

— Подумай, подумай хорошенько, Ли-Ван, —

грозно сказал он. В глазах ее отразились страдание и мольба, она забормотала что-то, но его воля покорила ее и вырвала из ее уст признание.

— Это были лишь сны, Каним, дурные сны детства, как бывают видения у собак, спящих на солнышке и воющих во сне.

— Расскажи мне, — приказал он, — о том, что ты помнишь до Поу-Ва-Каан, твоей матери.

— Это забытое воспоминание, — возражала она. — Ребенком я видела сны наяву, и когда я рассказывала о виденных мною удивительных вещах, меня высмеивали, а другие дети пугались и убегали от меня. А когда я говорила об этих вещах Поу-Ва-Каан, она бранила меня и объясняла, что это дурные вещи, она даже била меня. Я думаю, что это была болезнь вроде падучей, что бывает у стариков, а с годами я стала здоровее и больше таких снов не видела. А теперь… я не могу вспомнить, — она смущенно поднесла руку ко лбу, — они где-то здесь, но я не могу найти их, только…

— Только, — повторил, помогая ей, Каним.

— Только одно осталось у меня в памяти. Но ты будешь смеяться, так это невероятно.

— Нет, Ли-Ван. Сны — это сны. Они могут быть воспоминаниями о прежних прожитых нами

жизнях. Я был раньше оленем. Я твердо убежден в том, что был оленем, судя по тем вещам, какие я видел во сне.

Он тщетно пытался скрыть нараставшее волнение, но Ли-Ван, стараясь найти подходящие слова, для передачи своих мечтаний и снов, не замечала его состояния.

— Я вижу утоптанную площадку на снегу, среди деревьев, — начала она, — а на снегу следы мужчины, с трудом пробиравшегося на четвереньках, и я вижу мужчину в снегу, и мне кажется, что я совсем близко от него. Он не похож на настоящих мужчин, у него на лице волосы, много волос, и все волосы, покрывающие его лицо и голову, желты, как летний мех ласки. Его глаза закрыты, но затем открываются и что-то ищут. Они синие, как небо, и, повстречавшись с моими, больше ничего не ищут. Его рука двигается медленно, словно от слабости, и я чувствую…

— Да, — хрипло прошептал Каним, — ты чувствуешь?

— Нет! Нет! — торопливо вскричала она. — Я ничего не чувствую. Разве я сказала «чувствую»? Я не хотела это сказать. Невозможно, чтобы я хотела это сказать. Я гляжу, я только гляжу, и это все, что я вижу, — мужчина на снегу, с глазами,

как небо, и волосами, как летний мех ласки. Я много раз видела этот сон, и всегда он был одинаков — мужчина на снегу…

— А себя ты видишь? — спросил он, подавшись вперед и напряженно вглядываясь в нее. — Ты когда-либо видела себя и мужчину на снегу?

— Как могла я видеть себя? Разве я не живу?

Напряжение его мускулов спало, он откинулся назад и отвел в сторону глаза, чтобы она не увидела в них выражения торжества и удовлетворения.

— Я объясню тебе все, Ли-Ван! — решительно заговорил он. — Ты в прежней жизни была маленькой птичкой: ты видела человека на снегу и теперь, в этой жизни, вспоминаешь. В этом нет ничего удивительного. Я был прежде оленем, а отец моего отца после смерти стал медведем — так сказал шаман, а шаман не может лгать. Так мы переходим от жизни к жизни, и одни только боги знают, что будет с нами дальше. Сны и тени снов лишь воспоминания, больше ничего, и собака, повизгивая во сне, лежа на солнышке, несомненно, видит и вспоминает события из прежней жизни. Например, Бэш был когда-то воином. Я твердо уверен в том, что он был воином. — Каним бросил собаке кость и встал. — Ну,

двинемся в путь. Солнце сильно греет, холоднее уже не будет.

— А эти белые люди, какие они по виду? — осмелилась спросить Ли-Ван.

— Такие же, как ты и я, — отвечал он. — У них только кожа не такая темная. Ты увидишь их еще до захода солнца.

Каним привязал свой спальный мешок к тюку весом в сто пятьдесят фунтов, обмазал лицо сырой глиной и сел отдохнуть, пока Ли-Ван нагружала собак. Оло смирился при виде дубинки в ее руке и без сопротивления дал нагрузить себя тюком в сорок с лишним фунтов. Но Бэш был взбешен и не мог удержаться от визга и рычания, пока она привязывала тюк ему на спину. Шерсть его стала дыбом, и клыки обнажились, когда она затянула потуже ремни, и все коварство пса сказалось во взглядах, какие он на нее бросал. Каним засмеялся и сказал:

— Разве я не говорил тебе, что он был когда-то великим воином?

— Эти меха принесут хорошую прибыль, — заметил он, прилаживая ремень и поднимая тюк с земли. — Хорошую прибыль. Белые люди хорошо платят за такое добро, потому что им некогда охотиться и они плохо переносят холод. Мы скоро

будем так пировать, Ли-Ван, как тебе не приходилось пировать во всех прожитых тобой жизнях.

Она невнятно поблагодарила своего господина и наклонилась над тюком, закрепляя на себе ремни.

— В следующем рождении я буду белым человеком, — прибавил он и двинулся вниз по спускающейся в ущелье тропинке.

Собаки пошли следом за ним, а Ли-Ван замыкала шествие. Но мысли ее были далеко на востоке, за ледяными горами, в том маленьком уголке земли, где были прожиты ее детские годы. Она вспомнила, что еще в детстве на нее смотрели как на странного ребенка, словно пораженного каким-то недугом. Она видела сны наяву, и ее бранили и били за ее удивительные видения, пока она со временем их не забыла. Но не до конца. С тех пор как она стала взрослой женщиной, они больше не смущали ее наяву и являлись ей только во сне, в ночных кошмарах, полных неясных и непонятных, но волнующих призраков. Беседа с Канимом взволновала ее, и, спускаясь по крутому склону ущелья, она вспоминала дразнящие тени своих снов.

— Давай отдохнем, — сказал Каним, когда они прошли полпути над рекой.

Он опустил свой тюк на выступ скалы, снял с плеч ремень и сел. Ли-Ван присоединилась к нему, и собаки, тяжело дыша, растянулись на земле рядом с ними. У их ног бурлил ледяной горный поток, но вода была мутная, загрязненная землей.

— Отчего это? — спросила Ли-Ван.

— Это из-за белых людей, которые работают в земле. Послушай! — Он поднял руку, и они услышали звон кирок и заступов и шум человеческих голосов. — Они сходят с ума при виде *золота* и работают безостановочно, чтобы его найти. *Золото?* Оно желтое, и его находят в земле. Оно очень высоко ценится и служит мерой оплаты.

Но блуждающий взгляд Ли-Ван наткнулся на нечто, отвлекшее ее внимание от мужа. Несколькими ярдами ниже, полускрытая зарослями молодого можжевельника, стояла бревенчатая хижина с нависшей глинобитной крышей. Дрожь пробежала по телу Ли-Ван, и все призраки ее сновидений ожили и окружили ее.

— Каним, — прошептала она, замирая от страха. — Каним, что это такое?

— Жилище белого человека, в котором он ест и спит.

Она внимательно оглядела хижину, сразу оце-

нила ее достоинства и снова содрогнулась от странных ощущений.

— Там, должно быть, в мороз очень тепло, — громко сказала она, чувствуя, что ее губы произнесли какие-то необычные слова.

Что-то заставляло ее громко повторить их, но она удержалась, и в следующий миг Каним сказал:

— Это называется *хижина.*

Ее сердце забилось. Эти звуки! То же слово! Она с ужасом оглянулась вокруг. Как могла она знать это странное слово до того, как его услыхала? Как это объяснить? А затем ее внезапно озарило сознание, что ее сны оказались разумными и правдивыми. Эта мысль явилась ей впервые, и она — наполовину с ужасом, наполовину с восторгом — старалась осознать ее.

«*Хижина,* — повторяла она про себя. — *Хижина, хижина!..*» Несвязный поток грез нахлынул на нее, голова закружилась, и сердце стало сильно биться. Призраки, неясные очертания видений и несообразные сопоставления носились в ее памяти, и сознание ее тщетно пыталось остановить их и удержать. Она чувствовала, что в этом вихре воспоминаний лежит ключ к открытию тайны: лишь бы ей удалось схватить его, и все

сразу станет ясным и простым.

О Каним! О Поу-Ва-Каан! О тени и призраки, что это такое?

Она повернулась к Каниму, безмолвная и трепещущая, обуреваемая безумным потоком нахлынувших грез. Ей стало дурно — она начала терять сознание и могла лишь прислушиваться к восхитительным звукам, доносившимся из хижины.

— Гм, *скрипка,* — снизошел до объяснения Каним.

Но она не слыхала его слов, и в экстазе ей казалось, что теперь все станет ясным. «Сейчас! Сейчас!» — думала она. Слезы полились из глаз. Тайна раскрывалась, но она лишалась сознания. Если бы ей только продержаться еще немного! Если бы… Но вокруг нее все завертелось, горы заплясали на фоне неба, и она вскочила на ноги с криком: «Отец! Отец!». Затем солнце померкло, тьма охватила ее, и она ничком повалилась на скалы.

Каним поглядел, не свернуло ли ей шею тяжелым тюком, удовлетворенно проворчал что-то и плеснул на нее водой из ручья. Она медленно приходила в себя, рыдания душили ее.

— Нехорошо, когда солнце печет голову, — за-

метил он.

И она ответила:

— Да, нехорошо. И тюк очень тяжел.

— Мы рано устроимся на ночлег, ты сможешь хорошенько выспаться и набраться сил, — мягко сказал он. — И чем скорее мы двинемся в путь, тем раньше ляжем спать.

Ли-Ван ничего не ответила, покорно встала и, шатаясь, подняла собак. Она механически пошла в ногу с Канимом и, едва решаясь дышать, прошла мимо хижины. В хижине было тихо, хотя дверь была открыта, и дым вился над дымовой трубой, свернутой из листового железа.

За поворотом ручья они наткнулись на человека с белой кожей и голубыми глазами, и перед Ли-Ван на мгновение возник образ того человека на снегу. Но этот образ был словно в тумане, потому что она была очень слаба и утомлена всем пережитым. Но все же она с любопытством поглядела на золотоискателя и вместе с Канимом остановилась, чтобы посмотреть, как он работает. Он промывал песок в большом тазу, наклоняя его и быстро вращая. При одном из поворотов его руки они увидели, как золото блеснуло в широкой полосе песка на дне таза.

— Здорово богата эта речка, — обратился к ней

Каним, когда они пошли дальше. — Когда-нибудь и я найду такой ручей и тогда стану важным человеком.

Хижины и люди попадались все чаще, и наконец они подошли к месту, где речка широко разлилась по ущелью. Их глазам представилась жуткая картина разрушения. Земля повсюду была разрыта, словно после битвы титанов. Там, где не были нагромождены кучи песка, зияли глубокие ямы и рвы. Бездны разверзались там, где толстый слой земли был снят, обнажая поверхность скалы. Речке некуда было течь; плотина, преграждавшая ей путь, заставляла свернуть в сторону, и она, вздымая головокружительный фонтан водяных брызг и пены, стекала в искусственные желоба и углубления почвы, где громадные гидравлические колеса снова поднимали воду, давая людям возможность ее использовать. Деревья со склонов гор были срублены, и на обнаженных склонах виднелись следы спуска строевого материала и ямы на местах будущих скважин. Повсюду, словно чудовищная порода муравьев, расползлась армия людей — запыленных, грязных и растрепанных. Они вползали в вырытые ими норы и выползали, пробираясь, как гигантские клопы, вдоль жело-

бов, работали у нагроможденных ими куч песка, непрерывно просеивая их и перемывая. Люди были повсюду, насколько хватал глаз — вплоть до вершин окружающих гор, и всюду они рыли, копали и исследовали поверхность земли.

Ли-Ван была потрясена ужасной сутолокой.

— Действительно, эти люди безумны, — сказала она Каниму.

— Неудивительно. Золото, которое они здесь находят, — великая вещь, — отвечал он. — Самая великая вещь на свете.

Часами они шли вдоль этого хаоса, созданного человеческой алчностью. Каним внимательно всматривался во все, а Ли-Ван ослабела и ни на что больше не обращала внимания. Она знала, что была на пороге к раскрытию тайны, и знала, что и сейчас тайна может в любой момент открыться, но пережитое нервное напряжение утомило ее, и она пассивно ожидала надвигающихся неведомых событий. Все новые и новые впечатления вбирала она в себя, и каждое из них давало новый толчок ее измученному воображению. Где-то внутри ее звучали отклики на все впечатления извне, вспоминалось давно забытое; она сознавала, что в ее жизни наступил перелом, душа ее была в смятении, но прими-

тивный ум не в силах был справиться с потоком нахлынувших впечатлений и чувств, разобраться в них и понять. Поэтому она устало плелась за своим господином, терпеливо ожидая, что где-то и как-то случится то, что случиться должно.

Подчиняясь человеку, речка наконец вернулась в свое первоначальное русло, загрязненная от той работы, какую проделали ее воды. Теперь она лениво извивалась среди обширных лугов и лесов расширявшейся долины. Здесь добыча прекращалась, и люди не задерживались — главная приманка этих мест оставалась позади. Здесь-то Ли-Ван, остановившись, чтобы хорошенько проучить палкой Оло, услыхала серебристый смех женщины.

Перед хижиной сидела женщина с очаровательной, розовой, как у ребенка, кожей. Она весело смеялась, слушая другую женщину, стоявшую в дверях, и по временам встряхивала тяжелыми кудрями мокрых черных волос, просушивая их в теплых, ласковых лучах солнца.

На мгновение Ли-Ван остолбенела. Затем ее сознание озарилось ослепительным светом. Женщина, сидящая перед хижиной, исчезла, исчезли и хижина, и высокий ельник, и зубчатая линия горизонта — и Ли-Ван увидела другую женщину,

озаренную лучами другого солнца. Та женщина тоже расчесывала тяжелые черные кудри и пела при этом песню. И Ли-Ван услыхала слова той песни, поняла их и снова стала ребенком. На нее нахлынуло видение, воплотившее все беспокойные грезы ее детства, и все стало ясным, простым и реальным. Картины прошлого мелькнули перед ней — странные события, деревья, цветы и люди; она ясно видела их и узнала.

— Когда ты была маленькой птичкой… — сказал Каним, впиваясь в нее глазами.

— Когда я была маленькой птичкой, — прошептала она так слабо и тихо, что он едва расслышал. Она знала, что солгала, и, склонив голову к ремню, двинулась дальше.

Странно было то, что случилось: все окружающее стало нереальным. Последний переход и приготовления к ночлегу на берегу реки казались ей эпизодом ночного кошмара. Она как во сне сварила мясо, накормила собак и развязала тюки, и лишь когда Каним принялся расписывать свое следующее путешествие, пришла в себя.

— Клондайк впадает в Юкон, — говорил он. — Это большая река, больше чем Маккензи — ты видала Маккензи. Вот так мы и дойдем — ты и я — до Форта Юкона. В зимнее время, на собаках

это займет двадцать дней. Затем мы спустимся по Юкону на запад — сто дней или двести — не знаю. Это очень далеко. И там мы выйдем к морю. Ты ничего не знаешь о море — так вот послушай меня. Что остров по отношению к озеру — то земля по отношению к морю. Все реки впадают в него, и оно не имеет границ. Я видел его в Гудзоновом заливе, теперь мне хочется увидеть его на Аляске. А там мы поедем в большой лодке по морю или пойдем на юг вдоль берега — много-много дней. А после я не знаю, куда мы пойдем, знаю лишь, что я — Каним-Каноэ и что мне суждено странствовать и путешествовать по лицу земли!

Она сидела, прислушиваясь к его словам, и страх овладел ее сердцем, когда она задумалась над грядущими странствованиями по безграничным пустыням мира.

— Это трудный путь, — вот и все, что она сказала, покорно опустив голову на колени.

Затем ее осенила блестящая мысль, и ее бросило в жар от восторга. Она спустилась к реке и смыла с лица засохшую глину. Когда рябь на воде улеглась, она долго вглядывалась в свое отражение: солнце и непогода сделали свое дело, и ее загорелая, огрубевшая кожа не была так нежна, как кожа ребенка. Но та же великолепная

мысль не покидала ее, и румянец все так же пылал на ее щеках, когда она забралась в спальный мешок и улеглась рядом с мужем. Она лежала с открытыми глазами, глядя в бездонную синеву неба и ожидая, чтобы Каним уснул первым, крепким сном. Когда это, наконец, случилось, она медленно и осторожно выбралась из мешка, подоткнула под Канима шкуру и встала. Не успела она сделать и шага, как Бэш свирепо зарычал. Она шепотом успокоила его и поглядела на Канима. Тот спокойно храпел. Тогда она повернулась и неслышными быстрыми шагами пошла обратно по пройденному вечером пути.

Миссис Эвелина Ван Уик готовилась лечь в постель. Светские обязанности надоели ей, и, пользуясь богатством и свободой вдовьего положения, она поехала на Север и поселилась в уютной хижине на краю приисков. Здесь с помощью своей приятельницы и компаньонки Миртль Гиддингс она играла в жизнь, близкую к земле, и с эстетическим увлечением разыгрывала первобытную женщину.

Она пыталась отбросить полученную ею по наследству культуру и светскость и найти утерянную ее предками близость к земле. Она старалась восстановить образ мышления, казавшийся ей

похожим на образ мышления человека каменного века, и как раз в этот момент, причесывая на ночь волосы, мысленно переживала сцены ухаживания в палеолитический период. Обстановкой являлись: пещеры, разгрызанные кости, свирепые хищники, мамонты — и битвы, в которых пускали в ход грубые ножи из кремня; эти мечтания доставляли ей большое наслаждение. И когда Эвелина Ван Уик (в мечтах) бежала через глухие лесные чащи, спасаясь от пылкости своего низколобого обожателя, одетого в звериные шкуры, дверь в хижину открылась без предварительного учтивого стука, и в комнату вошла дикая, одетая в звериные шкуры женщина.

— Господи!

Одним прыжком, который мог сделать честь любой пещерной женщине, мисс Гиддингс очутилась в безопасности, позади стола. Но миссис Ван Уик осталась на том же месте. Она заметила, что незваная посетительница сама находится в состоянии сильнейшего возбуждения, и бросила быстрый взгляд назад, чтобы убедиться, что путь к кровати свободен — там под подушкой лежал кольт крупного калибра.

— Привет, о Женщина-с-Прекрасными-Волосами! — сказала Ли-Ван.

Но она сказала это на своем родном языке, — на языке, понятном лишь в далекой глуши, и женщины ее не поняли.

— Идти за помощью? — дрожащим голосом спросила мисс Гиддингс.

— Я думаю, что это жалкое создание совершенно безобидно, — отвечала м-с Ван Уик. — Поглядите лучше на ее одежду, изодранную и изношенную. Это редкостный экземпляр. Я куплю ее для моей коллекции. Достань мою сумочку, Миртль, и приготовь весы.

Ли-Ван следила за движением ее губ, но слов она разобрать не могла и, остановившись в недоумении, сообразила, что им не суждено понять друг друга.

В отчаянии от своей немоты она широко развела руками и воскликнула:

— О Женщина, ты моя сестра!

Слезы струились по ее щекам, все ее сердце рвалось к ним, и дрожание голоса выдавало скорбь — ту скорбь, какую она не могла выразить словами. Несмотря на это, мисс Гиддингс трепетала от страха, и даже м-с Ван Уик стало не по себе.

— Я буду жить, как вы живете. Твой обычай будет моим обычаем, и у нас будет один обычай. Мой супруг — Каним-Каноэ. Он большой и

странный, и я боюсь его. Его путь идет по всему миру и не имеет конца, а я устала. Моя мать была подобна вам, и ее волосы были подобны твоим, и глаза также. И жизнь была ко мне ласкова, и солнце меня грело.

Она смиренно преклонила колени и склонила голову у ног м-с Ван Уик. Но м-с Ван Уик отпрянула, напуганная ее страстностью.

Ли-Ван встала, задыхаясь от желания сказать им все. Ее немые уста не могли передать овладевшую ею мысль об общности рода.

— Торговля? Ты торгуешь? — спросила м-с Ван Уик, переходя, как все цивилизованные народы, к ломаному языку.

Она дотронулась до изорванной одежды Ли-Ван, указывая на выбранный ею предмет, и насыпала золотой песок на чашечку весов. Соблазняя Ли-Ван блеском золота, она играла им и перебирала пальцами блестящий песок. Но Ли-Ван глядела лишь на ее белые, красивые руки и тонкие, суживающиеся к кончикам пальцы с розовыми, похожими на драгоценные камни ногтями. Она положила рядом свою мозолистую руку, грубую от работы, и заплакала.

М-с Ван Уик ничего не поняла.

— Золото, — поощряла она ее. — Хорошее золо-

то! Торгуешь? Менять, хочешь менять? — И она снова положила руку на одежду Ли-Ван.

— Сколько? Продаешь? Сколько? — настаивала она, проводя рукой против шерсти, чтобы убедиться в том, что швы прошиты сухожилиями.

Но Ли-Ван была глуха к словам этой женщины. Неудача ее предприятия повергла ее в отчаяние. Как ей доказать этим женщинам свое родство с ними? Она знала, что они принадлежат к одному племени, что они сестры по крови перед лицом всех мужчин и женщин, принадлежащих мужчинам. Ее глаза дико блуждали по комнате, останавливаясь на мягких складках драпировки, женских платьях, овальном зеркале и красивых туалетных принадлежностях под ним. Все эти вещи преследовали ее, потому что она видела подобные им вещи раньше; когда она глядела на них, ее губы невольно складывались для звуков, какие ее язык не решался произнести. В ее мозгу мелькнула новая мысль, и она овладела собой. Ей необходимо оставаться спокойной. Ей следует держать себя в руках, теперь уже не должно быть никаких недоразумений, иначе… и она затряслась от потока подавленных слез и вновь овладела собой.

Она положила руку на стол.

— *Стол,* — объявила она ясно и раздельно. И повторила: — *Стол.*

Она поглядела на м-с Ван Уик; та утвердительно кивнула. Ли-Ван торжествовала, но всей силою воли сдержала свои чувства.

— *Печь,* — продолжала она. — *Печь.*

При каждом кивке м-с Ван Уик возбуждение Ли-Ван росло. То запинаясь и останавливаясь, то с лихорадочной поспешностью, смотря по тому — медленно или быстро приходили ей на память забытые слова, она обходила комнату, называя предмет за предметом. Остановившись наконец, она выпрямилась и, закинув голову, торжествовала, выжидая.

— К-о-о-шка! — рассмеялась м-с Ван Уик, растягивая слова на манер руководительницы детского сада. — Я… вижу… ко…шка… поймала… мышь.

Ли-Ван серьезно кивнула. Наконец-то женщины начинали ее понимать. При этой мысли кровь бросилась ей в лицо, румянец пробивался под темным загаром ее щек, она заулыбалась и еще решительнее кивнула.

М-с Ван Уик повернулась к своей компаньонке.

— Я думаю, что она немного обучалась в какой-нибудь Миссии и пришла к нам похвастать

своими знаниями.

— Да, конечно, — посмеивалась мисс Гиддингс. — Вот дурочка! Из-за ее тщеславия мы не можем лечь спать.

— Это неважно, я хочу получить ее куртку. Если она старинная — работа очень хороша, это прекрасный образец. — Она повернулась к посетительнице. — Менять хочешь, менять? Ты! Хочешь менять? Сколько? А? Эй, говори, сколько?

— Может быть, она предпочла бы платье или что-нибудь из одежды? — подала ей новую мысль мисс Гиддингс.

М-с Ван Уик подошла к Ли-Ван и знаками показала, что хочет обменять свой капот на ее куртку. И чтобы ускорить дело, она взяла и положила руку Ли-Ван среди кружев и лент, покрывавших пышную грудь, и провела пальцами Ли-Ван по ткани. Драгоценная бабочка, служившая застежкой, отстегнулась, и капот слегка распахнулся, обнажая упругую белую грудь, не знавшую прикосновения детских губок.

М-с Ван Уик спокойно привела все в порядок, но Ли-Ван громко вскрикнула и начала срывать с себя кожаную куртку, пока не обнажилась ее грудь, такая же упругая и белая, как грудь Эвели-

ны Ван Уик. Бормоча какие-то невнятные слова и дико жестикулируя, она пыталась установить свое родство с ними.

— Полукровка, — заметила м-с Ван Уик. — Я так и думала, судя по ее волосам.

Мисс Гиддингс брезгливо махнула рукой.

— Гордится белой кожей своего отца. Какая гадость! Дай ей что-нибудь, Эвелина, и выпроводи ее.

Но другая женщина вздохнула.

— Несчастное создание! Я бы хотела ей чем-нибудь помочь.

Под чьими-то тяжелыми шагами захрустел снаружи песок. Затем дверь широко распахнулась, и в хижину вошел Каним. Мисс Гиддингс вскрикнула, словно застигнутая смертельной опасностью, но м-с Ван Уик встретила его появление спокойно.

— Что вам нужно? — спросила она.

— Здравствуйте, — вежливо и спокойно отвечал Каним, указывая в то же время на Ли-Ван. — Она — мой жена!

Он направился к ней, но она махнула ему рукой.

— Говори, Каним! Скажи им, что я…

— Дочь Поу-Ва-Каан? Какое им до этого дело? Я

лучше скажу им, что ты плохая жена, способная покинуть ложе своего мужа, когда сон тяжело покоится на его веках.

Он снова направился к ней, но она отпрянула от него и бросилась со страстной мольбой к ногам м-с Ван Уик, стараясь обвить руками ее колени. Но леди отступила и глазами разрешила Каниму взять его жену. Он схватил ее, приподнял с пола и поставил на ноги. Она боролась с ним в безумстве отчаяния, пока он, задыхаясь, не протащил ее до половины комнаты.

— Отпусти меня, Каним, — рыдала она.

Но он сжимал ее руку, пока она не перестала оказывать сопротивление.

— Воспоминания маленькой птички слишком сильны и доставляют много хлопот…

— Я знаю! Я знаю! — прервала она. — Я вижу человека на снегу так ясно, как никогда, и я вижу, как он ползет на руках и коленях. А я — совсем еще маленький ребенок и сижу на его спине. И это было до Поу-Ва-Каан и до того, как я стала жить в далекой глуши.

— Да, ты знаешь, — отвечал он, толкая ее к двери. — Но ты спустишься со мною вдоль Юкона и позабудешь все.

— Никогда я не забуду! Я буду помнить, пока

у меня будет белая кожа! — Она изо всех сил уцепилась за дверной косяк и кинула последний умоляющий взгляд на м-с Эвелину Ван Уик.

— Тогда я заставлю тебя забыть, — я, Каним-Каноэ!

С этими словами он оторвал ее пальцы от косяка и вышел вместе с ней на тропинку.

Лига стариков

В бараках разбиралось дело, которое должно было преступнику стоить жизни. Преступником был старик-туземец с берегов реки Белая Рыба, впадающей в Юкон ниже озера Ле-Бардж. Дело это взволновало не только весь Даусон, но и всех живущих по течению Юкона — на добрую тысячу миль вверх и вниз по реке. Разбойники и пираты — англосаксы — давали побежденным народам свой закон, и часто закон этот был суров. Но в деле Имбера всякий закон казался слишком мягким и слабым. Считаясь с принципом наказания, соответствующего совершенному преступлению, нельзя было подобрать ничего равносильного преступлениям этого человека. Наказание было предопределено заранее, в этом не было ни малейшего сомнения; но хотя по закону ему полагалась смертная казнь, жизнь у него была одна, а лишил он жизни многих.

И в самом деле, руки его были обагрены кровью стольких жертв, что не было возможности сосчитать их. Сидя у дороги, покуривая трубку или отдыхая у печки, люди занимались приблизительным подсчетом жертв. Все эти несчастные

были белыми людьми и перебиты были поодиночке, по двое или небольшими группами. Эти убийства были так бесцельны и бессмысленны, что долгое время оставались загадкой для конной полиции и во времена капитанов, и позже, когда речки стали приносить золото и прибывший губернатор заставил страну платить за процветание.

Но еще более загадочно появление Имбера в Даусоне, его желание отдаться в руки властей. Поздней весной, когда Юкон рычал и рвался из-под ледяной коры, старый индеец с трудом взобрался на берег с дороги, проходившей по льду, и остановился в замешательстве на Главной Улице. Люди, заметившие его появление, утверждали, что он был очень слаб и нетвердо держался на ногах. Он доковылял до кучи бревен, сел и просидел весь день, глядя прямо перед собой на неиссякаемый поток проходящих мимо него белых людей. Немало голов повернулось, чтобы встретиться с его взглядом, и немало замечаний было пущено по адресу старого сиваша, казавшегося таким странным. Множество людей вспоминали потом, что их поразила необыкновенная фигура индейца, и гордились всю жизнь своим чутьем в распознавании необычайного.

Все же героем происшествия был Дикенсен — маленький Дикенсен. Он приехал в эти края с великими мечтами и полным карманом денег, но с исчезновением денег исчезли и мечты, и, чтобы заработать на обратный проезд в Соединенные Штаты, он поступил клерком в маклерскую контору «Холбрук и Мэзон». Куча бревен, на которой сидел Имбер, находилась против окон конторы «Холбрук и Мэзон». Дикенсен поглядел на индейца из окна перед тем, как пошел завтракать; вернувшись после завтрака, он снова посмотрел в окно, а старый сиваш все еще сидел на бревнах.

Дикенсен продолжал выглядывать в окошко — и, как все другие, всю жизнь потом гордился своей проницательностью. Он был романтик, и ему представилось, что неподвижный старый язычник является олицетворением расы сивашей, спокойно взирающим на вторжение саксонцев. Часы шли, но Имбер не переменил позы и не шевельнул ни одним мускулом, и Дикенсен вспомнил человека, сидевшего однажды в санях на кишевшей народом Главной Улице. Все думали, что человек этот отдыхает, но позже, когда до него дотронулись, оказалось, что он закоченел и застыл — замерз насмерть в деловой сутолоке города. Чтобы разогнуть его и положить

в гроб, пришлось труп оттаивать на огне. Дикенсен содрогнулся при этом воспоминании.

Позже Дикенсен вышел на тротуар выкурить сигару и освежиться, а скоро показалась и Эмилия Трэвис. Эмилия Трэвис была очень красива и изнеженна. И в Лондоне, и в Клондайке она одевалась, как полагается дочери горного инженера-миллионера.

Маленький Дикенсен положил сигару на подоконник и приподнял шляпу.

Они болтали минут десять о разных пустяках, как вдруг Эмилия Трэвис, взглянув поверх плеча Дикенсена, удивленно вскрикнула. Дикенсен повернулся, чтобы посмотреть, что ее напугало, и сам тоже испугался. Имбер перешел через улицу и стоял за ним — изможденный, голодный призрак, — не спуская глаз с молодой девушки.

— Что вам надо? — смело спросил дрожащим голосом маленький Дикенсен.

Имбер что-то пробормотал и направился к Эмилии Трэвис. Он внимательно оглядел ее с головы до ног. Особенно интересовали его ее шелковистые русые волосы и румянец, мягко разливавшийся по щекам, покрытым нежным пушком, точно крылья бабочки. Он обошел вокруг нее, рассматривая ее так, словно перед ним

была лошадь либо лодка.

Когда он осматривал ее со всех сторон, случилось, что ее розовое ушко очутилось между его взглядом и заходящим солнцем, и он остановился, созерцая его прозрачность. Затем он снова обратился к ее лицу и долго и напряженно всматривался в ее голубые глаза. Он проворчал что-то и положил свою руку между ее плечом и локтем. Другой рукой он поднял ее предплечье и согнул руку. На его лице отразилось презрение и удивление, и он отбросил ее руку с пренебрежительным ворчанием. Затем он пробормотал несколько гортанных слов, повернулся к ней спиной и обратился к Дикенсену.

Дикенсен не понимал его, и Эмилия Трэвис рассмеялась. Имбер, нахмурившись, обращался то к одному, то к другому, но оба они качали головой. Он был готов отойти от них, когда она воскликнула:

— О Джимми! Идите сюда!

Джимми шел по другой стороне улицы. Это был крупный, неуклюжий индеец, одетый, как одеваются белые, и в мягкой широкополой шляпе. Он медленно, запинаясь начал беседовать с Имбером. Джимми был из племени Ситка и очень поверхностно знал наречия других племен.

— Она человек из племени Белый Рыба, — сказал он Эмилии Трэвис. — Я понимала его язык нехорошо. Она хочет смотреть начальника белый человека.

— Губернатора, — подсказал Дикенсен.

Джимми поговорил еще со старым индейцем, и на лице его отразилось недоумение.

— Я думала, она хочет начальник Александер, — пояснил он. — Она говорит, она убила белый мужчин, белый женщин, белый мальчик, убил много белый человека. Она хочет умереть.

— Помешанный, по всей вероятности, — сказал Дикенсен.

— Что вы говорит? — спросил Джимми.

Дикенсен показал пальцем на голову и затем повертел им в воздухе.

— Может, и так, может, и так, — сказал Джимми, поворачиваясь к Имберу, продолжавшему допытываться, где начальник белых людей.

Конный полисмен (в Клондайке он служил в пешей полиции) подошел к говорившим и услыхал желание Имбера. Это был сильный юноша с широкими плечами, мощной грудью, стройными, крепкими ногами, и как высок Имбер ни был, полисмен на полголовы был выше. Его спокойные серые глаза холодно взирали на мир,

и он держал себя со спокойной уверенностью в своей силе, которая передается по наследству и вырабатывается веками. Его великолепная мужественность подчеркивалась ребячливостью — он был еще подростком — и его нежные щеки вспыхивали румянцем так же легко, как щеки молодой девушки.

Имбера сразу потянуло к нему. Его глаза засверкали при виде рубца от сабельного удара на щеке юноши. Высохшей рукой он провел по его бедру, ласково касаясь вздувшихся мышц, затем ударил по мощной груди, нажимал и надавливал на тугие мускулы, покрывавшие его плечи. К маленькой группе подошли любопытные прохожие: грубые шахтеры, горцы и пограничники — сыны длинноногой и широкоплечей расы. Имбер переводил взгляды с одного на другого, затем громко сказал что-то на языке племени Белая Рыба.

— Что он сказал? — спросил Дикенсен.

— Она сказал: «Все они как одна, как эта полисмен», — перевел Джимми.

Маленький Дикенсен был мал ростом, и ему стало неприятно, что он задал этот вопрос в присутствии мисс Трэвис.

Полисмен пожалел его и вмешался в разговор.

— Кажется, он может сообщить что-то стоящее. Я сведу его к капитану для допроса. Скажите ему, Джимми, чтобы он шел со мной.

Джимми разразился потоком гортанных восклицаний. Имбер пробормотал что-то и, казалось, был вполне удовлетворен.

— Спросите его, Джимми, что он бормотал и что он подумал, когда поднимал мою руку?

Это спросила Эмилия Трэвис, и Джимми перевел вопрос и получил ответ.

— Она говорит, вы не испугался, — сказал Джимми.

Эмилия Трэвис была довольна.

— Она говорит, вы не сильный, вы мягкий, как маленький дитя. Она сломает вас, две рука, в маленький кусочки. Она думает, очень смешно, очень удивительно, как вы может быть мать большой, сильный мужчина, как эта полисмен.

Эмилия Трэвис не опустила глаз и не смутилась, но щеки ее зарделись. Маленький Дикенсен покраснел и был очень смущен. Лицо полисмена пылало.

— Ступай со мной, эй, ты, — грубо сказал он, протискиваясь через толпу.

Таким-то образом Имбер нашел дорогу в бараки, куда он принес полную добровольную

исповедь и откуда он уже больше не вышел.

Имбер казался очень утомленным. На его лице отражалась усталость безнадежности и прожитых лет. Его плечи поникли, и в глазах не было блеска. Его волосы могли бы быть снежно-белыми, но солнце и непогода выжгли их, и они висели безжизненными, бесцветными прядями. Окружающее нисколько его не интересовало. Комната, где происходил суд, была битком набита золотоискателями и охотниками, и в их приглушенных голосах слышалась зловещая нота, звучавшая, как рокот моря.

Он сидел у окна и время от времени безучастно смотрел на унылую улицу. Небо было затянуто облаками, моросил мелкий дождь. Время весеннего разлива. Лед сошел, Юкон выступил из берегов и залил город. По Главной Улице безостановочно двигались в лодках и каноэ люди, не знавшие никогда покоя. Он видел, что лодки часто сворачивали с улицы на залитую водой площадь перед бараками. Иногда лодки пропадали из виду под его окном, и он слышал, как они ударялись о бревенчатые стены здания, и пассажиры влезали в дом через окно. После этого слышался плеск воды, когда люди пробирались по комнатам нижнего этажа и поднимались по лестнице на верхний.

Затем они появлялись в дверях, с непокрытой головой и в мокрых морских сапогах, и присоединялись к ожидавшей толпе.

Они разглядывали его, и в их глазах читалось мрачное удовлетворение: казнь будет назначена. А Имбер глядел на них и размышлял об их обычаях и вечно бодрствующем Законе. Закон был непреложен и в дурные и в хорошие времена, и в голод и в наводнение, и несмотря на печали, горести и смерть, должен был, так ему казалось, неусыпно карать до конца мира.

Сидевший у стола человек резко постучал, и все разговоры затихли. Имбер поглядел на него. Казалось, он был здесь главным лицом, но Имбер догадался, что человек с высоким лбом, сидящий за столом позади того, — это самый старший из всех здесь присутствующих и начальник человека, подавшего знак к молчанию. Другой человек, сидевший за тем же столом, встал и начал громко читать какие-то бумаги. Приступая к новому листу, он прочищал горло, а подходя к концу листа, увлажнял кончики пальцев. Имбер не понимал его слов, но другие понимали, и он видел, что они очень сердились. Иногда они приходили в ярость, и один из них осыпал его резкой односложной бранью, пока человек у стола не призвал того

стуком к порядку.

Человек читал бесконечно долго. Его однообразный, певучий говор убаюкал Имбера, и когда чтение кончилось, Имбер дремал. Кто-то заговорил с ним на его родном наречии, он проснулся и, не удивляясь, посмотрел в лицо молодого парня, своего племянника, который много лет назад ушел, чтобы жить среди белых людей.

— Ты меня не помнишь, — сказал тот в виде приветствия.

— Нет, помню, — отвечал Имбер. — Ты — Хаукэн, что ушел от нас. Твоя мать умерла.

— Она была старой женщиной, — сказал Хаукэн.

Но Имбер не слыхал его слов, и Хаукэн, положив ему руку на плечо, снова разбудил его.

— Я скажу тебе, о чем говорил тот человек, — это рассказ обо всех преступлениях, что ты совершил. Ты, о глупец, рассказал о них капитану Александеру. Слушай хорошенько и скажи, правильно ли все записано или неправильно. Таков приказ.

Хаукэн попал в руки миссионеров, и они выучили его читать и писать. Он держал в руках те листы, которые только что прочитали вслух. Они были заполнены клерком, когда Имбер, при посредничестве Джимми, в первый раз сознался

капитану Александеру. Хаукэн начал читать. Имбер слушал его некоторое время, но скоро на лице его отразилось изумление, и он резко прервал его:

— Это мои слова, Хаукэн. Теперь они исходят из твоих уст, а твои уши не слыхали их.

Хаукэн расплылся от самодовольства. Он пригладил свои волосы, разделенные посредине пробором.

— Нет, эти слова на бумаге, о Имбер. Мои уши никогда не слыхали их. Глаза мои видят их на бумаге и передают голове, а голова посылает их устам, и они доходят до тебя. Вот как это делается!

— Это так делается? Мои слова на бумаге? — Голос Имбера понизился до шепота, и он со страхом потрогал двумя пальцами бумагу, глядя на покрывавшие ее каракули. — Это великое искусство, Хаукэн, и ты великий волшебник.

— Это пустяки, это пустяки, — небрежно и горделиво отвечал молодой человек и прочел взятое наудачу место из документа:

> «В этом году, до вскрытия реки, пришел старик с хромым мальчиком. Я убил и их, причем старик долго боролся и сильно

кричал».

— Это правда, — прервал, задыхаясь, Имбер. — Он очень кричал и долго не хотел умирать. Но как ты об этом узнал, Хаукэн? Может быть, тебе об этом сказал начальник белых людей? Никого не было при этом, и я рассказывал все ему одному.

Хаукэн нетерпеливо покачал головой.

— Разве я не говорил тебе, глупец, что твои слова здесь, на бумаге!

Имбер уставился на покрытую каракулями поверхность.

— Как охотник глядит на следы на снегу и говорит: «Здесь вчера пробежал заяц, а здесь у молодого ивняка он остановился, прислушался, услышал и испугался; вот он вернулся обратно по собственному следу; а вот он бежал во всю прыть, делая большие скачки; а вот еще скорее и еще большими скачками пустилась за ним вдогонку рысь; здесь, где ее когти глубоко врезались в снег, рысь сделала громадный прыжок; а вот она схватила зайца и покатилась с ним в снег; а дальше виднеются следы одной рыси, а следов зайца нет»... Так вот, как охотник, увидев следы на снегу, говорит, как шла охота, так и ты, глядя на бумагу, говоришь, как, когда и где происходи-

ли убийства, совершенные старым Имбером.

— Да, это так, — согласился Хаукэн. — А теперь слушай и держи свой бабий язык за зубами, пока тебя не спросят.

Затем Хаукэн довольно долго читал ему его исповедь, а Имбер молчаливо раздумывал. Когда Хаукэн кончил, он сказал:

— Это мои слова, это все правда, но я состарился, Хаукэн, и забыл многое, что пришло мне на память позже; начальнику следует об этом знать. Сперва пришел к нам человек из-за Ледяных Гор. Он принес с собою искусные железные западни для ловли наших бобров. Я убил его. А затем, очень давно, явились три человека искать в нашей реке золото. Их я тоже убил, а трупы отдал на съедение росомахам. А у Пяти Пальцев я убил человека, у которого был плот и много мяса.

Когда Имбер умолкал, чтобы припомнить, Хаукэн переводил, а клерк записывал его слова. Присутствовавшие тупо вслушивались в эти неприкрашенные трагедии, пока Имбер не рассказал о рыжеволосом человеке с косыми глазами, которого он застрелил с очень далекого расстояния.

— Черт побери! — воскликнул один из сидящих в первом ряду зрителей. Восклицание его

звучало гневом и болью. Волосы у него были рыжие. — Черт побери, — повторил он. — Это мой брат Билль. — И в течение всего дня в зале время от времени слышалось его печальное: — Черт побери! — Товарищи не останавливали его, и человек за столом не призывал его к порядку.

Голова Имбера снова опустилась, и глаза потускнели, словно затянулись пеленой, скрывшей их от всего мира. Он глубоко задумался, как задумывается только старость над тщетой юношеских стремлений.

Позже Хаукэн заставил его очнуться.

— Вставай, о Имбер! Тебе приказано рассказать, почему ты совершил все эти преступления и убил этих людей, а в конце концов прибыл сюда в поисках правосудия.

Имбер с трудом поднялся на ноги и зашатался. Он заговорил тихим, рокочущим голосом, но Хаукэн перебил его.

— Этот человек — сумасшедший, — обратился он по-английски к человеку с высоким лбом. — Он болтает чепуху, его речь подобна лепету младенца.

— Мы хотим услышать его речь, подобную лепету младенца, — сказал человек с высоким лбом. — И мы хотим ее услышать слово за словом,

как она выходит из его уст. Поняли?

Хаукэн понял, и глаза Имбера сверкнули при виде перепалки между сыном его сестры и важным должностным лицом. А затем началась исповедь — эпическая поэма темнокожего патриота, которого следовало бы отлить из бронзы в назидание грядущим поколениям. Толпа затихла, а судья склонил голову на руку, размышляя о себе и о своей расе. Слышался лишь глубокий голос Имбера, сменяющийся резкими звуками голоса переводчика, и время от времени, подобно колоколу, раздавалось недоуменное и задумчивое «черт побери» рыжего человека.

— Я — Имбер из племени Белая Рыба… — начал переводить Хаукэн. Наука миссионеров и привнесенная цивилизация исчезли, и врожденная дикость его племени заговорила в нем, когда он приступил к передаче вольного ритма повести старого Имбера. — Моим отцом был Оутсбаок, сильный воин. Страна была озарена солнцем и благополучием в годы моего детства. Народ не страдал от отсутствия странных, чуждых вещей, не прислушивался к новым голосам; обычаи его отцов были его обычаями. Очи юношей с вожделением взирали на женщин. Младенцы лежали у груди молодых женщин, женщины

рожали детей, и племя увеличивалось. Мужчины были мужчинами в те дни. В мире и довольстве, в войне и голоде — они были мужчинами.

В те времена в реках водилось больше рыбы и в лесах больше дичи, чем теперь. Наши собаки были подобны волкам, покрытым теплым мехом, и не боялись ни бури, ни мороза. Подобно нашим собакам, и мы не боялись ни бури, ни мороза. А когда в нашу страну приходили индейцы из племени Пелли, мы убивали их и умирали, сражаясь с ними. Ибо мы были мужчинами, и отцы наши и отцы отцов боролись с племенем Пелли и установили границы страны.

Я сказал, наши собаки были сильны и выносливы, и мы были сильны и выносливы, как они. И вот однажды к нам впервые пришел белый человек. Он с трудом, на четвереньках тащился по снегу. Кожа его была туго натянута, а кости торчали. Никогда не бывало такого человека, подумали мы и размышляли, к какому он принадлежит племени и из какой он страны. Он был слаб, как малое дитя, мы дали ему место у очага и теплые меха для постели и кормили его, как кормят малых детей.

И с ним была собака, раза в три больше наших собак, она тоже очень ослабла. Шерсть на ней

была короткая и не теплая, а хвост замерз, и кончик хвоста отвалился. И эту странную собаку мы накормили и дали ей место у очага и отбили ее от наших собак — иначе бы ее разорвали. И мясо оленя, и высушенная на солнца лососина пошли на пользу человеку и собаке: они оправились, потолстели и никого не боялись. Человек стал непочтителен и смеялся над стариками и юношами и дерзко смотрел на девушек. А собака дралась с нашими собаками и, несмотря на свою короткую шерсть и изнеженность, загрызла трех из них в один день.

Когда мы спросили человека о его племени, он сказал:

— У меня много братьев, — и рассмеялся нехорошим смехом. А когда он вполне оправился, то ушел, и с ним ушла дочь вождя — Нода. Вскоре после этого одна из наших сук ощенилась. У нас никогда не бывало такой породы собак — большеголовые, большеротые, короткошерстые и беспомощные. Я хорошо помню отца моего, Оутсбаока, сильного воина. Его лицо почернело от гнева при виде такой беспомощности, и он взял камень — вот так и так — и беспомощности не стало. А два лета спустя явилась к нам Нода с маленьким мальчиком под мышкой.

Это было началом. Пришел второй белый человек с короткошерстыми собаками, которых он, уходя, оставил нам. А с собой он взял шесть наших лучших собак; в обмен за них он дал брату моей матери, Коо-Со-Ти, удивительный пистолет, стрелявший шесть раз подряд. И Коо-Со-Ти очень гордился пистолетом и смеялся над нашим луком и стрелами. «Бабьи игрушки» называл он их и пошел с пистолетом на медведя. Теперь мы знаем, что нельзя ходить на медведя с пистолетом, но кто мог подумать? И как мог об этом знать Коо-Со-Ти? Итак, он смело пошел на медведя и выстрелил шесть раз подряд; медведь только зарычал и вскочил ему на грудь, переломав ему кости, словно яичную скорлупу, и мозги Коо-Со-Та вытекли на землю, как мед из улья. Он был хорошим охотником, а теперь некому было доставлять мясо его жене и детям. И нам было очень больно, и мы сказали:

— То, что хорошо для белых людей, для нас нехорошо. — И это так. Белых людей много, и они толсты, но их обычай заставляет нас вымирать и худеть.

Появился третий белый человек с большим запасом всевозможной пищи и удивительных вещей. И на них он выменял двадцать наших

лучших собак. А подарками и обещаниями он заманил с собой десять молодых охотников в далекий путь, в неведомые места. Говорят, что они погибли в снегах Ледяных Гор, где никогда не ступала человеческая нога, или в Горах Молчания, находящихся на краю земли. И племя Белая Рыба никогда больше не видело ни тех собак, ни тех молодых охотников.

С годами приходило много белых людей; подарками они соблазняли молодых мужчин, зазывая следовать за собою. Иногда те возвращались и удивляли рассказами об опасностях и работе в тех землях, что были за землей племени Пелли, а иногда не возвращались вовсе. И мы сказали:

— Если они ничего не боятся, эти белые люди, — значит, у них много людей; но нас, индейцев племени Белая Рыба, мало, и наши юноши не должны больше уходить. — Но юноши все же уходили, и девушки тоже, и мы очень разгневались.

Правда, мы питались мукой, свининой и пили чай, что доставляло нам большое удовольствие; но когда мы не могли достать чаю, нам было очень плохо, и мы становились скупыми на слова и быстро приходили в ярость. Так мы научились стремиться к вещам, которые белые люди привозили нам для обмена. Обмен! Обмен! Все время

обмен! Одну зиму мы отдали наше мясо за часы, которые не хотели показывать время, пилы, которые быстро иступились, и ничего не стоящие пистолеты без патронов. А затем наступил голод, у нас не было мяса, и сорок человек умерли от голода до наступления весны.

— Мы теперь ослабели, — говорили мы, — и племя Пелли может напасть на нас и нарушить границы. — Но то, что произошло с нами, случилось и с пеллийцами, и они были слишком слабы, чтобы выступить против нас.

Мой отец, Оутсбаок, сильный воин, был уже стар и очень мудр, и он заговорил с вождем:

— Посмотри, наши собаки ни на что не годны. Их шерсть не греет, они потеряли силу, не выдерживают мороза и околевают в упряжке. Пойдем и убьем их, оставим только собак волчьей породы; ночью мы их отвяжем, чтобы они могли убежать в лес и случиться с дикими волками. Тогда у нас снова будут сильные собаки с теплой шкурой.

И слово его было услышано, и мы, племя Белая Рыба, прославились нашими собаками, лучшими во всей стране. Но мы прославились силой собак, а не силой наших воинов. Лучшие из юношей и девушек уходили с белыми людьми и пускались странствовать по тропам и рекам в далекие места.

И молодые девушки возвращались постаревшими и сломленными, как Нода, или совсем не возвращались. А юноши возвращались к нашим очагам на время. Они стали дерзкими и говорили дурные слова, пили дурные напитки и играли дни и ночи в карты; сердца их были неспокойны, и когда их звали за собой белые люди, они снова уходили в неведомые страны. Они не знали почтительности и уважения, издевались над старинными обычаями и смеялись в лицо вождю и шаманам.

Я сказал, что наше племя ослабело. Мы продавали наши теплые шкуры и меха за табак, виски и тонкие бумажные ткани, в которых мы мерзли зимой. На нас напал кашель, и мужчины, и женщины кашляли и обливались по ночам потом, а охотники, выходя на охоту, выплевывали в снег кровь. То у одного, то у другого шла горлом кровь, и человек умирал. И женщины рожали мало детей, а те, что родились, были слабы и болезненны. Но мы получили от белых людей и другие болезни — мы таких прежде и не знали и не могли понять их. Оспа, корь — так, я слышал, назывались эти болезни, и мы умирали от них, как умирают в тихих затонах лососи после метания икры, когда их жизнь больше не нужна

следующим поколениям.

И вот в этом-то и заключалось самое удивительное — белые люди приходили к нам подобно дыханию смерти: все их пути вели к смерти, дыхание их ноздрей было смертельно, а сами они не умирали. Они принесли с собою виски, табак и привели собак с короткой шерстью; они принесли болезни, оспу, кашель и кровохарканье; у них белая кожа, и они не переносят бурь и морозов; у них имеются ни к чему не пригодные пистолеты, стреляющие шесть раз подряд. И все же, несмотря на все болезни, они толстеют, преуспевают и накладывают тяжелую лапу на весь мир и подчиняют себе все народы. Их женщины — матери мужчин — нежны, как маленькие дети, хрупки, и все же ничто не может их сломить. И вот изнеженность, болезненность и слабость порождают силу, власть и почет. Они либо дьяволы, либо боги — не знаю. Что я знаю — я, старый Имбер из племени Белая Рыба? Я знаю только то, что не могу понять этих белых людей, бойцов и странников по лицу земли.

Я сказал, дичи в лесу становилось все меньше и меньше. Это верно, что ружье белого человека превосходно стреляет и убивает на большом расстоянии, но какую пользу может принести ружье,

когда нечего убивать? Когда я был мальчиком, в стране Белая Рыба все горы кишели лосями, а зимой прибегали бесчисленные стада северных оленей. А теперь охотник может бродить в течение десяти дней, и ни один лось не порадует его очей, а северный олень совсем не появляется в наших краях. Немногого стоит ружье, стреляющее на большое расстояние, говорю я, когда нет никакой дичи.

И я, Имбер, размышлял об этом, наблюдая, как племя Белая Рыба, племя Пелли и все другие племена вымирают, как вымирает дичь в лесу. Я долго размышлял. Я толковал с шаманами и мудрыми старыми людьми. Я ушел из селения, чтобы голоса людей не отвлекали меня, и не ел мяса, чтобы мой желудок не мешал мне и не лишил остроты мое зрение и слух. Я долго просидел в лесу без сна, широко раскрыв глаза в ожидании знака и напряженно прислушиваясь, не услышу ли нужного слова. И я пробирался в ночной тьме один на берег реки, где завывал ветер и рыдала вода и где я надеялся получить откровение от призраков умерших шаманов, живущих в ветвях деревьев.

И наконец, как в видении, явился ко мне призрак ненавистной короткошерстой собаки,

и все сразу стало ясным. Благодаря мудрости Оутсбаока, моего отца и сильного воина, кровь наших собак осталась чистой, и поэтому их шерсть была тепла, и они были сильны и выносливы. Итак, я вернулся в селение и обратился с речью к мужчинам.

— Эти белые люди принадлежат к большому племени, — сказал я. — В их стране, несомненно, больше нет мяса, и они приходят к нам, чтобы отобрать у нас нашу страну. Они делают нас слабыми, и мы вымираем. Они — ненасытный народ. Они съели почти всю нашу дичь, и если мы хотим жить, нам необходимо поступить с ними так, как мы поступили с их собаками.

Я говорил еще долго, советуя бороться с пришельцами. И мужчины племени Белая Рыба слушали мои слова, и некоторые из них говорили одно, а другие другое, а третьи заговаривали о ненужных, бесполезных вещах, но ни один не повел смелой речи о борьбе и войне. Юноши были испуганы и слабы, как вода, но я заметил, что старики сидели молча и что в их глазах появлялись и исчезали огоньки. И позже, когда все селение спало и никто не видел нас, я увел стариков в лес и говорил с ними. Теперь мы сговорились и вспомнили славные дни нашей юности, свобод-

ную страну, довольство, счастье и солнечный свет; и мы назвали друг друга братьями и поклялись сохранить все в тайне, и затем произнесли страшную клятву очистить страну от дурного племени, нагрянувшего на нее. Я понимаю, что мы были глупцами, но откуда было знать нам — старикам из племени Белая Рыба?

Чтобы поощрить других, я совершил первое убийство. Я сторожил на берегу Юкона, пока не показалось первое каноэ. В нем сидели двое белых мужчин, и когда я встал и поднял руку, они переменили направление и стали грести к берегу. А когда сидевший на носу поднял голову, чтобы спросить, что мне от них нужно, моя стрела, прорезав воздух, попала ему прямо в горло, и он это узнал. Второй человек, сидевший на руле, не успел приложить к плечу винтовку, как брошенное мною копье убило его наповал.

— Это первые, — сказал я, когда старики подошли ко мне. — Позже мы объединим юношей — из тех, что не потеряли еще мужества и силы, и работа пойдет быстрее.

А затем тела убитых белых людей бросили в реку. А каноэ — оно было очень хорошим — мы сожгли и сожгли также вещи, которые нашли в нем. Но сначала мы пересмотрели их — это были

большие кожаные мешки, и мы разрезали их нашими ножами. А внутри мешков было много бумаги, подобной той, что ты читал мне, о Хаукэн, на бумаге были знаки, и мы удивлялись им и не могли их понять. Теперь я стал мудрым, и я из твоих слов знаю, что в этих знаках кроется речь людей.

В комнате послышался шепот и сдержанное движение, когда Хаукэн кончил переводить эпизод с каноэ. Прозвучал чей-то голос:

— Это была потерянная почта № 91. Ее везли Питер Джеме и Деланей. В последний раз их видел Мэтью на озере Ле-Бардж.

Клерк усердно записывал, и к истории Севера прибавилась новая глава.

— Мне немного осталось рассказывать, — медленно продолжал Имбер. — На бумаге записано то, что мы сделали. Мы были старыми людьми, и мы не понимали, что делаем. Даже я, Имбер, до сих пор этого не понимаю. Мы убивали тайно и продолжали убивать, ибо мы были очень сильны для своих лет и знали, что всего скорее идет дело тогда, когда совершается без спешки. Когда белые люди пришли к нам с мрачными взглядами и грубыми словами и увели с собою шесть юношей, заковав их в кандалы, мы поняли, что нам

следует убивать и за пределами нашей страны. И один за другим мы, старики, поднимались вверх по реке и уходили в неведомые страны. Это нелегкая вещь. Мы были стары и бесстрашны, но боязнь новых далеких стран тяжело нависает над старыми людьми.

Итак, мы убивали смело и не спеша. Мы убивали в стране Чилькут и на Дельте, в проливах и на море — всюду, где мы находили стоянки белых людей или где они сбивались с пути. Правда, они умирали, но это нам не помогало. Из-за гор приходили ведь новые и новые, их было все больше и больше, а мы старились, и ряды наши быстро редели. Я помню, у Оленьего Брода была стоянка белого человека. Он был очень мал ростом, и во время сна на него напали трое стариков. А на следующий день я наткнулся на них на всех. Только белый еще дышал, и у него хватило силы хорошенько проклясть меня перед смертью.

Так-то оно было, и то один, то другой старик уходил от нас. Иногда мы узнавали об их смерти спустя долгое время, а иногда и вовсе не узнавали. А старики из других племен были слишком стары, боялись и не хотели присоединиться к нам. И вот, я уже говорил, один за другим они уходили, и я остался один. Я, Имбер из племени Белая Рыба.

Мой отец был Оутсбаок, сильный воин. Племени Белая Рыба больше нет. Я — последний из стариков. Юноши и девушки ушли; некоторые из них — в племя Пелли, другие — в племя Лосося, а большинство ушли к белым людям. Я очень стар и очень устал; я вижу, что борьба с Законом — напрасная борьба, и, как ты сказал, Хаукэн, я пришел, чтобы встретить Закон.

— О Имбер, ты на самом деле глупец, — сказал Хаукэн.

Но Имбер глубоко задумался. Судья с высоким лбом тоже задумался, и перед ним величественным видением прошла история его расы — выкованной из стали, покрытой броней, предписывающей законы и управляющей судьбами других народов. Он увидел, как зарождается заря ее истории среди темных лесов и мрачных морей. Он видел пылающее пурпуровое зарево торжественных полуденных лучей и видел, как по затененным склонам кроваво-красные пески медленно погружались в ночь. А над всем возвышался Закон, безжалостный и мощный, неуклонный и повелительный, более сильный, чем людские толпы, покорные ему или им раздавленные, и более сильный, чем судья, чье сердце просило о снисхождении.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

(сборник)



Сборник рассказов писателя об Аляске. В этом сборнике прослеживается мастерство зрелого автора, которого больше интересуют экстремальные психологические состояния человека, попавшего на Аляску или выросшего там, но столкнувшегося с непонятными ему обычаями, нормами поведения, человеческими типами, культурой, законами...

Любовь к жизни

Потоком времени не все поглощено;
Жизнь прожита, но облик ее вечен.
Пусть золото игры в волнах погребено —
Азарт игры как выигрыш отмечен.

Два путника шли, тяжело хромая, по склону холма. Один из них, шедший впереди, споткнулся о камни и чуть не упал. Двигались они медленно, усталые и слабые, и напряженные их лица выражали ту покорность, какая является результатом долгих страданий и перенесенных лишений. К плечам их были привязаны тяжелые мешки. Головные ремни, проходящие по лбу, придерживали ношу на шее. Каждый путник нес в руках ружье.

Они шли согнувшись, выдвинув вперед плечи, уставившись взглядом в землю.

— Если бы только у нас были два патрона из тех, что мы спрятали в нашей яме, — сказал вто-

рой человек.

Его голос звучал тускло. Он говорил без всякого чувства. Первый, прихрамывая, переходил пенящийся между скал ручей — вода его была мутная, молочно-известкового цвета — и ничего ему не ответил.

Второй путник вошел в воду вслед за первым. Они не сняли обуви, хотя вода была ледяная до такой степени, что их ноги болезненно немели.

В некоторых местах вода доходила до колен, и они оба шатались и теряли равновесие.

Путник, идущий сзади, поскользнулся о камень. Он чуть было не упал, но с большим усилием выпрямился, болезненно вскрикнув. Его голова кружилась, и он выставил правую руку, как бы ища опоры в воздухе.

Удержав равновесие, он двинулся вперед, но зашатался и снова чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего товарища, даже не повернувшего головы.

Он стоял неподвижно в течение минуты, как бы что-то обдумывая. Затем крикнул:

— Послушай, Билл, я вывихнул себе ногу!

Билл шел, шатаясь, по известковой воде. Он не обернулся. Человек, стоявший в ручье, посмотрел вслед уходящему. Его губы немного дрожали, и

видно было, как двигались над ними темно-рыжие усы. Он пытался смочить губы языком.

— Билл! — снова крикнул он.

Это была мольба сильного человека, очутившегося в беде. Но Билл не повернул головы. Человек смотрел, как его спутник уходит шатающейся походкой, нелепо прихрамывая и качаясь взад и вперед. Билл поднимался по отлогому склону низкого холма и подходил к мягкой линии окаймляющего его неба. Говоривший смотрел на уходящего товарища, пока тот не перевалил через вершину и не исчез за холмом. Тогда он перевел взгляд на окружающий ландшафт и медленно охватил взором мир. Только он — этот мир — остался ему теперь после ухода Билла.

Солнце неясно обозначалось вблизи горизонта, почти скрытое за туманом и паром, поднимающимися из долины. Эти туманные облака казались густыми и плотными, но были бесформенны и не имели очертаний.

Путник, опираясь на одну ногу, вынул часы.

Было четыре часа, и так как стоял конец июля или начало августа — точно он не знал числа, — солнце должно было находиться на северо-западе. Он посмотрел на запад: где-то там, за пустынными холмами, лежало Великое Медвежье озеро. Он

знал также, что здесь Полярный круг проходит через проклятую область бесплодных равнин Канады. Ручей, в котором он стоял, был притоком Медной реки, что течет к северу и вливается в заливе Коронации в Северный Ледовитый океан. Он никогда не бывал там, но видел эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова охватил взглядом окружающий пейзаж. Невеселое зрелище. Кругом обрисовывалась мягкая линия неба. Всюду поднимались невысокие холмы. Ни деревьев, ни кустов, ни ограды — ничего, кроме бесконечной и страшной пустыни, вид которой заставил его содрогнуться.

— Билл, — прошептал он несколько раз. — Билл!

Он опустился посреди молочной воды, как будто окружающая ширь теснила его неодолимой и суровой своей властью и сокрушала ужасом своей обыденности. Он задрожал, словно в сильной лихорадке, пока ружье не выпало из его рук и с плеском не ударилось о воду. Это как будто пробудило его. Подавляя свой страх, он стал шарить в воде, пытаясь найти ружье. Он придвинул ношу к левому плечу, чтобы облегчить тяжесть для поврежденной ноги. Затем он начал осторожно и медленно, корчась от боли, продвигаться к

берегу.

Он не остановился. С отчаянием, граничившим с безрассудством, не обращая внимания на боль, он спешил по направлению к холму, за которым исчез его товарищ. Его фигура выглядела еще более нелепой и странной, чем облик ушедшего путника. Снова в нем поднималась волна страха, и преодоление его стоило ему величайших усилий. Но он справился с собой и снова, отодвинув мешок еще дальше к левому плечу, продолжал путь по склону холма.

Дно долины было болотисто. Толстый слой мха, подобно губке, впитывал в себя воду и удерживал ее близко к поверхности. Вода эта проступала из-под ног путника на каждом шагу. Ноги тонули в мокром мху, и он с большим усилием освобождал их из топи. Он выбирал себе дорогу от одного открытого места к другому, стараясь идти по следу того, кто прошел тут раньше. След этот вел через скалистые площадки, подобные островам в этом мшистом море.

Хотя он был один, дороги не терял. Он знал, что придет к месту, где сухой карликовый ельник окаймляет берег маленького озера, называвшегося на языке этой страны «Тичиничили», или «Озеро Низких Стволов». В это озеро втекал

небольшой ручей, вода которого не была молочной, подобно воде других ручьев этой местности. Он помнил хорошо, что вдоль этого ручья рос тростник. Он решал следовать по его течению до того места, где течение раздваивается. Там он перейдет ручей и найдет другой, текущий к западу. Он направится вдоль него, пока не дойдет до реки Дизы, куда впадает этот ручей. Здесь он найдет яму для провизии — в потайном месте, под опрокинутой лодкой, с наваленной на нее грудой камней. В этой яме лежат заряды для его пустого ружья, рыболовные принадлежности, маленькая сетка для лова — одним словом, все приспособления для охоты и добывания пищи. Он найдет там также немного муки, кусок свиного сала и бобы.

Там Билл будет ожидать его, и они вместе отправятся на лодке вниз по Дизе к Великому Медвежьему озеру. Они будут плыть по озеру к югу, все южнее и южнее, пока не достигнут реки Мэккензи. Оттуда они снова двинутся к югу. Таким образом они уйдут от наступающей зимы, от ее льдов и холода. Они дойдут, наконец, до Поста Компании Гудзонова залива, где растут высокие и густые леса и где пищи сколько угодно.

Вот о чем думал путник, продолжая продви-

гаться. Напряжению его тела соответствовало такое же усилие его мысли, пытающейся убедиться в том, что Билл его не оставил, что он, наверно, будет ждать его у ямы. Этой мыслью он должен был себя успокаивать. Иначе — идти было бесцельно и надо было ложиться на землю и умирать. Мысль его усиленно работала. Наблюдая, как неясный шар солнца медленно опускался к северо-западу, он все снова и снова вспоминал малейшие подробности начала его бегства к югу, вместе с Биллом, от настигавшей их зимы. Снова и снова он мысленно перебирал запасы провизии, спрятанной в яме. Вспоминал он все время и запасы Поста Компании Гудзонова залива. Он не ел два дня, а перед этим долго, очень долго недоедал. Часто он наклонялся, срывал бледные ягоды кустарника, клал их в рот, жевал и глотал. Эти ягоды — семя, заключенное в капсуле с безвкусной жидкостью. На вкус это семя очень горько. Человек знал, что ягоды совершенно непитательны, но терпеливо продолжал жевать. В девять часов он ушиб большой палец ноги о каменную глыбу, пошатнулся и свалился на землю от усталости и слабости. Он лежал некоторое время без движения, на боку. Затем высвободился из ремней своего дорожного меш-

ка и с трудом принял сидячее положение. Было еще не совсем темно. В свете длящихся сумерек он ощупью старался отыскать между скалами обрывки сухого мха. Собрав кучу, он зажег огонь — теплящийся, дымный огонь — и поставил на него кипятить котелок.

Он развернул свою поклажу и стал считать спички.

Их было шестьдесят семь. Для верности он три раза их пересчитал. Он разделил их на небольшие пакеты, которые завернул в непромокаемую вощеную бумагу и положил одну пачку в пустой кисет для табака, другую — за подкладку измятой шляпы, третью — под рубашку у тела. Сделав это, он вдруг поддался паническому страху, снова развернул их и пересчитал. И снова насчитал шестьдесят семь.

Он высушил обувь у огня. Его мокасины разлезались на мокрые лоскуты. Шерстяные носки были сплошь в дырках, а ноги — изранены и окровавлены. Лодыжка горела от вывиха. Он осмотрел ее и нашел, что она распухла и стала величиной с колено. Он оторвал длинную полосу от одного из своих двух одеял и туго завязал ногу. Другими полосками он обернул ноги, пытаясь заменить этим мокасины и носки. Затем выпил

кипящую воду из котелка, завел часы и полез под верхнее одеяло. Он спал мертвым сном. Но недолго было темно. Солнце встало на северо-востоке. Вернее, заря забрезжила в этом месте, ибо солнце осталось скрытым за серыми облаками.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он глядел прямо вверх в серое небо и знал, что голоден. Повернувшись на локте, он внезапно вздрогнул от раздавшегося вблизи громкого фырканья и увидел карибу, рассматривающего его с живым любопытством. Животное находилось на расстоянии не более пятидесяти футов от него. Мгновенно и остро он ощутил вкус оленьего филе и увидел его шипящим над огнем. Машинально взял неразряженное ружье, взвел курок и нажал на спуск. Олень фыркнул и отскочил. Его копыта гремели, когда он бежал по скалам.

Путник выругался и отбросил ружье. Он громко застонал, пытаясь встать на ноги. Это была тяжелая и медленная работа. Его суставы напоминали ржавые шарниры. Они двигались с трудом, задерживаемые трением связок. Чтобы согнуть какой-нибудь член, требовалось огромное усилие воли. А после того, как он встал окончательно на ноги, целая минута пошла на то, чтобы выпрямиться.

Он вполз на небольшое возвышение и обозрел местность. Не было ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где изредка выделялись такие же серые скалы, серые озерки и серые ручьи. Не было даже намека на солнце. Он не имел понятия о том, где находится север, и забыл дорогу, по которой накануне вечером пришел в это место. Но он знал, что не потерял пути. Скоро он придет в Страну Низких Стволов. Он чувствовал, что она лежит где-то налево, недалеко — быть может, сейчас же за соседним низким холмом.

Он вернулся, чтобы уложить свою поклажу для путешествия. Затем удостоверился в существовании трех отдельных пачек спичек, хотя не пересчитывал их. Но он колебался, раздумывая при виде плоского мешка из лосиной кожи. Его размеры были невелики, и он мог покрыть его обеими руками. Но он знал, что мешок весит пятнадцать фунтов — столько же, сколько вся остальная поклажа. Это беспокоило его. Он отложил мешок и стал свертывать поклажу. Но скоро взор его вернулся к кожаному мешку, и он снова за него схватился, бросив вызывающий взгляд на окружающую местность, словно упрекая пустыню в желании украсть его добро. Когда же он

встал на ноги, с тем чтобы двинуться дальше, и пошел вперед, тяжело ступая, мешок был включен в ношу на его спине.

Он двигался влево, изредка останавливаясь, чтобы собирать ягоды с кустов. Его нога окоченела, и прихрамывание стало более заметным. Но боль эта была незначительна в сравнении с болью в животе. Голод мучил его с такой остротой, что он не мог удерживать в голове направление, ведущее в Страну Низких Стволов. Ягоды не ослабляли этих мук и в то же время своей едкостью болезненно раздражали полость рта.

Он вышел в долину и вспугнул там несколько птармиганов,[20] сидевших на скалах и на кустах. Они поднялись, хлопая крыльями, издавая звуки «кер-кер-кер». Он бросал в них камни, но попасть не мог. Тогда он положил свою поклажу на землю и начал к ним подкрадываться, подобно тому как кошка подкрадывается к воробью. Острые скалы ранили ноги, и колени его оставляли за собой на земле кровавый след. Но боль эта была несравнима с мучениями голода. Он полз по мокрому мху, и одежда его пропитывалась водой, леденившей члены. Его голод был так мучителен, что он ни-

[20] Примечания: 20

Птицы из породы тетеревов, зимой меняющие свою черную или коричневую окраску на белую.

чего этого не замечал. Но птармиганы удалялись все дальше и дальше, и наконец их крик стал для него словно насмешкой. Он проклинал их и кричал, подражая их «кер-кер-кер».

Наконец он дополз до одной птицы, которая, вероятно, спала. Он не видел ее, пока она не вылетела из своего убежища в скалах и не порхнула мимо его лица. Он пытался схватить ее, и в руке остались три пера из ее хвоста. Глядя вслед улетающей птице, он остро и мучительно ее ненавидел. Затем вернулся к прежнему месту и навьючил на себя мешок.

В течение дня он вышел в долину, где дичи было еще больше. Стадо северных оленей — их было больше двадцати — прошло мимо, дразня его своей близостью. Он ощущал сумасшедшее желание бежать за ними и был почти уверен, что сможет их настигнуть. Чернобурая лисица бежала ему навстречу, неся в зубах птармигана. Путник закричал. Это был страшный крик, и лисица испуганно метнулась в сторону, но птармигана не бросила.

Поздно, после полудня, он шел вдоль ручья, молочного от извести, пробегающего между редкими зарослями тростника. Крепко ухватившись за тростник у самого его корня, он вытащил нечто

вроде молодой луковицы, размером не больше кровельного гвоздя. Она была нежна, и зубы с наслаждением в нее вонзились. Но волокна корня были крепки и пропитаны водой. Как и ягоды, тростник был непитателен. Путник отбросил свою поклажу и на четвереньках вполз в заросли, вырывая луковицы и перетирая их зубами, подобно травоядному животному.

Он очень устал и часто хотел лечь и заснуть. Но его подгонял голод, — гораздо острее, чем желание достичь Страны Низких Стволов. Он искал лягушек в лужах и рыл ногтями землю, отыскивая червей, хотя знал, что так далеко на севере не водятся ни лягушки, ни черви.

Он тщетно искал в каждой луже. Наконец, уже в сумерках, он нашел в одной из луж одинокую рыбу — небольшого пискаря.[21] Он погрузил в воду руку до плеча, но рыба увильнула. Тогда он опустил обе руки и поднял со дна мелоизвестковый ил. В своем возбуждении он упал в лужу и вымок до пояса. Но вода стала слишком мутной, чтобы в ней можно было разглядеть рыбу, и он

---

[21] Примечания: 21

Пискарь (пискун, вьюн) — род рыбы из подсемейства вьюновых. Живет в озерах и реках с илистым дном; при высыхании воды зарывается в ил и может долго просуществовать вне воды. Не следует смешивать пискаря с пескарем, обитателем чистых проточных вод, рыбой из семейства карповых.

вынужден был ждать, пока ил уляжется.

Преследование продолжалось, пока вода снова не стала мутной. Но он не мог ждать. Он отстегнул от своего мешка ведро и стал вычерпывать воду из лужи. Сперва он вычерпывал, яростно плеща на себя водой и выливая ее на такое небольшое расстояние, что она текла обратно в лужу. Тогда он стал работать более внимательно, пытаясь оставаться хладнокровным, хотя сердце его колотилось и руки дрожали. Через полчаса в луже воды не осталось. Но рыбы не было. Он нашел скрытую щель между камнями, через которую она ушла в соседнюю большую лужу… А из этой лужи нельзя было бы вычерпать воду в течение суток. Знай он только об этой щели, он мог бы закрыть ее камнем в самом начале — и поймал бы рыбу.

Так думал он и опустился, съежившись, на мокрую землю. Сперва он плакал вполголоса, а затем громко, словно обращаясь с жалобой к беспощадной пустыне. И долго еще потом он всхлипывал без слез.

Он зажег костер и согрелся тем, что пил горячую воду. Затем, как и накануне, устроил себе ночлег на сухой каменной площадке, осмотрел, сухи ли спички, и завел часы. Одеяла были мокры и

липки. Его нога болезненно ныла. Но он сознавал только, что голоден. Он спал тревожно и видел во сне нескончаемые пиры и празднества, видел тонкие яства.

Проснулся он простуженным и больным. Солнца не было. Серая земля и серое небо еще больше потемнели. Дул сырой ветер, и первые снежинки покрывали белеющим покровом вершины холмов.

Воздух вокруг него сгущался и белел в то время, как он раскладывал костер и кипятил воду. Это был не то снег, не то дождь: хлопья падали большие и мокрые. Сперва они таяли, как только прикасались к почве, но их становилось все больше и больше, белый покров постепенно расстилался кругом. Снег тушил огонь и портил собранный путником запас сухого мха.

Это послужило сигналом для отправки в путь. Он двинулся с поклажей на спине. Он не знал, куда идет. Его больше не заботила мысль о Стране Низких Стволов, и он перестал думать о Билле и о яме под перевернутой лодкой около реки Дизы. Он помнил только одно, и это был глагол «есть». Он сходил с ума от голода. Он не обращал внимания на направление своего пути, стараясь только держаться вдоль дна долины. Он прокладывал

себе путь через мокрый снег к ягодам на кустах и шел, ощупывая тростники и вырывая их корни. Но последние были совсем безвкусны. Он нашел какую-то кислую траву и съел все ее побеги. Но ее почти не было видно, так как это оказалась ползучая поросль, исчезающая под тонким покровом снега.

В этот вечер он не разводил огня и остался без горячей воды. Он лег спать под одеяло и спал беспокойным голодным сном. Снег превратился в холодный дождь. Он несколько раз просыпался и ощущал его капли на своем лице.

Проглянул день — серый день без солнца. Дождь перестал. Острота голода исчезла. Чувствительность, поскольку она вызывала стремление насытиться, была истощена. Осталась тупая, тяжелая боль в желудке, но это не особенно ему мешало. Он стал рассудительней и был снова озабочен мыслью о Стране Низких Стволов и складе у реки Дизы.

Он разорвал остатки одного из своих одеял и обмотал ими израненные ноги. Затем снова перевязал больную ногу и приготовился продолжать путь. Осматривая поклажу, он долго раздумывал над плоским мешком из лосиной кожи, но в конце концов захватил его с собой.

Под действием дождя снег растаял, и только вершины холмов продолжали белеть. Показалось солнце. Ему удалось определить по компасу направление, и он знал теперь, что потерял дорогу. Быть может, в блужданиях последних дней он подался слишком далеко влево. Поэтому он ударился вправо, с тем чтобы уравновесить возможное отклонение от правильного пути.

Хотя муки голода уже потеряли остроту, он был очень слаб и сознавал это. Он вынужден был часто останавливаться для отдыха и в это время жевал ягоды и корни тростника. Язык его был сух и распух, казалось, он покрылся тонким пухом. Во рту было горько. Сердце также причиняло ему много хлопот. Когда он ступал несколько шагов, оно начинало сильно биться, а затем словно прыгало вверх и вниз в мучительных перебоях, от которых ему трудно дышалось и кружилась голова.

В середине дня в большой луже он нашел двух пискарей. Вычерпать воду оказалось нереально, но теперь он был хладнокровнее, и ему удалось поймать их в жестяное ведро. Они были не длиннее мизинца, но он уже не ощущал особенного голода. Тупая боль в животе постепенно стала исчезать. Казалось, что желудок его дремлет. Он

съел рыб сырыми, заботливо разжевывая их, ибо еда теперь была делом простого благоразумия. Есть он не хотел, но знал, что должен есть, чтобы жить.

Вечером он поймал еще трех пискарей. Он съел двух и оставил третьего про запас для завтрака. Солнце высушило клочки мха, и он смог согреться горячей водой. В этот день он сделал не больше десяти миль. За следующий день, двигаясь только тогда, когда ему позволяло сердце, он одолел не более пяти миль. Но желудок не причинял ему ни малейшего беспокойства. Он собрался спать. Страна была неведома.

Все чаще встречались карибу, попадались и волки. Нередко их вой проносился по пустыне, и раз он увидел впереди трех крадущихся волков. Еще одна ночь прошла. Утром, будучи более рассудительным, он развязал ремень, связывавший плоский мешок из лосиной кожи. Из него высыпался золотой песок и выпали слитки. Он разделил золото на две части и спрятал одну из них на выступе скалы, завернув слитки в кусок одеяла. Другую часть он положил обратно в мешок. Оторвав полосы единственного оставшегося одеяла, он обернул ими свои ноги. Он все еще цеплялся за ружье, так как в яме у реки Дизы

находились заряды.

День был туманный. В нем снова проснулся голод. Он был очень слаб, а голова кружилась так сильно, что временами он переставал видеть. Теперь он часто спотыкался и падал. Раз, споткнувшись, он свалился прямо над гнездом птармигана. В гнезде было четыре птенчика, накануне вылупившихся из яйца, — маленькие комочки трепещущей жизни, буквально на один глоток. Он жадно съел их, запихивая живыми в рот и раздавливая зубами, как яичную скорлупу. А мать с криком летала вокруг него. Он тщетно пытался сшибить ее ружьем. Затем стал бросать в нее камнями и случайным ударом перебил крыло. То перепархивая, то волоча разбитое крыло, она пыталась спастись.

Цыплята только обострили его аппетит. Он неловко подпрыгивал на своей больной ноге, бросая в птицу камни и дико крича; затем замолкал, продолжая за ней гнаться, падая и терпеливо поднимаясь или протирая глаза руками, когда голова его слишком кружилась. Охота увлекла его на болотистое место на дне долины, где он увидел на мокром мху следы человека. Это не были его следы — он хорошо это видел. Должно быть, здесь проходил Билл. Но остановиться он

не мог, так как птица убегала все дальше. Он сначала ее поймает, а затем расследует это дело.

Птармигана он загнал. Но и его силы иссякли. Судорожно двигаясь, птица лежала на боку. И он лежал на боку, шагах в десяти от нее, задыхаясь и не имея сил, чтобы подползти к ней. Когда же он оправился, она тоже собралась с силами и упорхнула в то время, когда его жадная рука уже готовилась ее схватить. Долго продолжалось преследование. Но наступила ночь, и птица спаслась. Он споткнулся от слабости и упал лицом вниз, с мешком на спине. Падая, он разрезал себе щеку. Долгое время он не двигался. Затем перевернулся на спину, завел часы и лежал так до утра.

Еще один туманный день. Половина одеяла ушла на обмотки для ног. Он не нашел следов Билла. Впрочем, это не имело значения. Голод гнал его слишком властно. Он только спрашивал себя, не потерялся ли и Билл в этой пустыне. К полудню ему невмоготу стало тащить свою ношу. Снова он разделил золото, высыпав на этот раз половину прямо на землю. Днем он выбросил остальную часть и оставил только половину одеяла, жестяной котелок и ружье.

Начались галлюцинации. Ему казалось, что у него остается один нетронутый заряд: лежит,

случайно не замеченный, в затворе ружья. В то же время он знал, что затвор пуст. Но галлюцинация ежеминутно возобновлялась. Устав бороться с ней, он открыл затвор — и нашел его пустым. Разочарование его было так же велико, как если бы он в самом деле твердо надеялся найти патрон.

Это повторялось много раз, и он то и дело открывал затвор, чтобы убедиться, что в нем нет заряда. Временами его мысль блуждала в еще более фантастических грезах. Он шел, точно автомат, а в это время странные идеи и представления копошились, словно черви, в его мозгу. Впрочем, эти уходы в область нереального длились недолго: снова и снова муки голода возвращали его к действительности. Раз он внезапно пробудился от такого сна наяву и увидел зрелище, которое едва не заставило его упасть в обморок. Перед ним стояла лошадь! Он не верил своим глазам и усиленно стал протирать их, чтобы отогнать густой туман, окутавший его зрение. Постепенно он разобрал, что это не лошадь, а большой бурый медведь. Зверь глядел на него с воинственным любопытством.

Человек инстинктивно поднял ружье на половину расстояния до плеча, и только несколько

секунд спустя к нему вернулась способность соображать. Он опустил ружье и вынул из ножен у бедра охотничий нож, попробовал пальцем его лезвие и убедился, что оно отточено. Он бросится на медведя и убьет его! Но сердце его начало отбивать угрожающее: тук-тук-тук. Затем — ряд перебоев, и он почувствовал, будто железный обруч сжимает его лоб и туман овладевает его мозгом.

Его смелость стала исчезать, сменяясь волной страшного испуга. А что если зверь нападет на него — такого слабого, почти беззащитного?

Он выпрямился и принял возможно более внушительную позу, держа нож и глядя прямо в глаза медведю. Медведь неловко подвинулся на несколько шагов, встал на задние лапы и зарычал. Если бы человек побежал, он бросился бы за ним. Но человек не бежал: его обуяло мужество страха. Он тоже издал яростный крик, и в голове его билась неизбывная любовь к жизни и звучал необоримый страх, столь неразрывно связанный с этой любовью.

Медведь слегка отступил, рыча, но явно боясь этого таинственного существа, стоящего перед ним твердо и бесстрашно. Человек не двигался; он застыл как изваяние, и только когда мед-

ведь скрылся и опасность миновала, им овладел припадок нервной дрожи, и он свалился в изнеможении на мокрый мох.

Но вскоре, собравшись с силами, он двинулся дальше, охваченный новым страхом. Теперь он боялся уже не смерти от недостатка пищи, но был одержим ужасной мыслью, что звери разорвут его раньше, чем голод истощит последнюю частицу его жизненной силы. Вокруг бродили волки. Их вой слышался отовсюду, наполняя воздух угрозой; от этой угрозы, в своем начинающемся безумии, он слабо отмахивался руками, словно отталкивал от себя колеблемый ветром тент палатки.

Волки то и дело приближались по двое и по трое, пересекая путь, каким он шел. Но они все же держались от него на достаточном расстоянии — видимо, их было немного. Они привыкли охотиться за карибу, который оказывает мало сопротивления, и с опаской относились к человеку — странному животному, ступающему на задних ногах и способному, быть может, защищаться когтями и зубами.

К вечеру он дошел до места, где лежали кости, недавно оставленные волками. Их добычей был молодой карибу — час назад он был еще жив.

Путник осмотрел кости, начисто обглоданные и вылизанные, розоватые — клеточная ткань, видимо, еще не отмерла. Неужели и он превратится в эту груду костей до конца дня? Так вот что такое жизнь?! Умереть — разве это не значит уснуть? В смерти — великое успокоение и мир. Так почему же он не хочет умереть?

Но он недолго философствовал. Он присел на мху, высасывая из костей соки, еще сохранившиеся в клетках. Сладкий вкус мяса, тонкий и неуловимый, как воспоминание, выводил его из себя. Ломая зубы, он принялся разгрызать кости, затем стал разбивать их камнем и истолок их в порошок, который проглотил. Второпях он ударял себя по пальцам и порой недоумевал, почему не чувствует боли.

А затем наступили ужасные дни со снегом и дождем. Он уже не знал, когда устраивает стоянку и когда снимается с лагеря. Шел он и по ночам и днем, отдыхал везде, где ему случалось падать; и когда жизнь вновь вспыхивала, полз дальше. Сознательно он уже не боролся. Жизнь — сама жизнь, не желавшая умирать, — гнала его вперед. Он уже больше не страдал. Его нервы притупились, онемели, а в сознании проплывали жуткие видения и сладостные сны.

На ходу он сосал и жевал истолченные кости карибу, которые собрал и унес с собою. Он не переходил больше через холмы и ущелья, но машинально шел вдоль большого потока, протекавшего по дну широкой неглубокой долины. Но он не видел ни воды, ни долины. Он ничего не воспринимал, кроме своих видений. Душа и тело его как будто шли — вернее, ползли рядом, — оставаясь разъединенными и связанными одной тонкой нитью.

Он проснулся в полном сознании, лежа на спине на выступе скалы. Солнце ярко сияло. Неподалеку слышалась поступь карибу. В уме его проносились смутные воспоминания о дожде, ветре и снеге, но он не знал, боролся ли с бурей два дня либо две недели.

Он лежал некоторое время без движения, отогревая на солнце свое изможденное тело. Хороший день, думал он. Может быть, ему удастся определить свое местонахождение? Под ним, внизу, текла широкая и спокойная река. Он не знал ее и удивился. Медленно проследил он взглядом ее течение, вьющееся изгибами между пустынными, голыми холмами; холмы эти выглядели более оголенными и низкими, чем виденные им ранее. Медленно и внимательно,

без возбуждения и даже без обычного интереса он следил за течением этой незнакомой реки и увидел, что она вливается в яркое и блестящее море. Это не произвело на него особенного впечатления. Галлюцинация или мираж, подумал он, вероятнее всего, галлюцинация — следствие его расстроенного душевного состояния! И словно в подтверждение он увидел корабль, стоявший на якоре в открытом море. На мгновение он закрыл глаза и затем снова раскрыл. Странно — видение не исчезало! Но как перед тем он знал, что не могло быть зарядов в пустом затворе ружья, — так и теперь был уверен в призрачности моря: кораблей в сердце пустыни быть не могло. И вдруг он услыхал за собой странное сопение и как бы задыхающийся кашель. Медленно, очень медленно, едва двигаясь от слабости и окоченения, он перевернулся на другую сторону. Вблизи ничего не было видно, но он терпеливо ждал. Снова раздались сопение и кашель, и в нескольких десятках шагов он увидел между двумя скалами серую голову волка. Острые уши его, однако, не стояли приподнятыми вверх, как обычно у волков, глаза выглядели мутными и налились кровью, а голова уныло и безнадежно была опущена. Животное все время мигало на солнечном свете и казалось

больным. В то время как он на него смотрел, оно снова засопело и закашляло.

«Это, по крайней мере, — действительность», — подумал он и повернулся в другую сторону, чтобы убедиться, что галлюцинации уже нет. Но море все еще блестело вдали, и корабль был ясно виден. «Неужели это в самом деле действительность?» Он закрыл глаза и некоторое время размышлял. И вдруг понял. Он шел не на север, а на восток, уходя от реки Дизы и двигаясь в направлении Долины Медных Рудников. Этот широкий и медленный поток — Медная река. Мерцающее море — Ледовитый океан. Корабль — китоловное судно, зашедшее далеко на восток из устья реки Мэккензи. Оно стояло на якоре в заливе Коронации.

Он вспомнил карту, виденную им когда-то в конторе Компании Гудзонова залива, и все стало для него ясным и понятным.

Он обратился к делам, не терпящим отлагательств. Обмотки оказались сношенными, и ноги его превратились в бесформенные куски мяса. Одеяло он уже потерял; ружья и ножа тоже не было. Он потерял где-то шапку с пачкой спичек в подкладке. Но спички на его груди сохранились сухими в табачном кисете и в пакете из вощеной

бумаги. Он посмотрел на часы. Они показывали четыре часа и все еще шли. Очевидно, он их машинально заводил.

Спокойствие и хладнокровие не покидали его. Несмотря на чрезвычайную слабость, боли он не ощущал. И голоден не был. Мысль о еде не особенно его тревожила, и сознания он не терял. Оторвав кусок ткани от брюк снизу до колен, он обмотал его вокруг ног. Каким-то образом ему удалось сохранить жестяной котелок. Он сознавал, что ему предстоит тяжелый путь к кораблю, и решил сперва напиться горячей воды.

Его движения были медленны, и он дрожал, как в лихорадке. Решившись встать, чтобы идти собирать сухой мох, он обнаружил, что не может подняться. Он повторил попытку — так же безуспешно — и затем удовольствовался тем, что пополз на руках и ногах. Пришлось проползти мимо больного волка. Животное неохотно отодвинулось, облизывая губы ослабевшим языком. Он заметил, что язык этот был не красный, как обычно, а желто-бурый и покрыт каким-то сухим налетом.

Выпив котелок горячей воды, путник нашел, что может не только стоять, но даже двигаться — так, впрочем, как мог бы передвигаться и

умирающий. Уже ежеминутно он был вынужден отдыхать. Его поступь была слабой и неверной, а его движения похожи на движения больного волка. Шел он медленно, и когда темнота скрыла мерцающее море, оказалось, что за весь день он прошел только четыре мили.

Ночью он не раз слышал кашель больного волка и мычание оленей.

Он знал, что больной волк тащится по его следу, надеясь, что человек умрет первым. Утром он увидел зверя, наблюдавшего за ним жадным и голодным взглядом. Зверь полулежал-полустоял, с хвостом между ногами, как несчастная, брошенная собака, и дрожал от холода, безжизненно скаля зубы, когда человек обратился к нему хриплым шепотом.

Взошло яркое солнце, и путник, шатаясь и падая, шел все утро к кораблю. Погода была исключительная. То было короткое индейское лето Дальнего Севера. Оно могло длиться неделю и в любой день исчезнуть.

После полудня путник напал на след. Это был след человека, который уже не мог идти, а тащился на четвереньках. Путник сообразил, что это мог быть Билл, но думал об этом без особенного интереса. Он не испытывал любопытства, ибо

давно уже потерял способность ощущать и чувствовать по-настоящему. Он стал нечувствителен к боли. Желудок и нервы его заснули. Но трепетавшая в нем жизнь неустанно гнала его вперед. Он чувствовал себя совершенно изможденным, а жизнь не сдавалась. Подстегиваемый ею, он продолжал есть ягоды, ловить пискарей, пить горячую воду и с опаской следил за идущим по пятам волком. Скоро след тащившегося впереди человека пресекся и он наткнулся на несколько свежеобглоданных человеческих костей. Вокруг них сырой мох сохранил следы волчьей стаи, а на мху лежал плоский мешок из лосиной кожи — точь-в-точь такой же, как и его. Мешок был разорван острыми зубами. Он поднял его, хотя мешок был слишком тяжел. Билл нес его до конца! Ха-ха! Вот когда можно было посмеяться! Он — оставленный позади — выживет и понесет мешок к мерцающему морю! Его смех звучал хрипло и жутко — подобно карканью ворона. Больной волк присоединился к нему унылым воем. Но человек вдруг замолк. Как может он смеяться над Биллом, когда это, лежащее здесь, — Билл? Эти кости розово-белые и чистые — Билл!..

Он отвернулся. Да, конечно, Билл его бросил. Но все же он не возьмет золота и не будет сосать

его костей. Впрочем, подумал он, Билл это сделал бы, случись все наоборот.

Он подошел к луже воды, наклонился над ней, ища пискарей, и вдруг отдернул голову, как будто его ужалили. В воде он увидел свое собственное отражение — такое страшное, что он был потрясен. В луже плескались три пискаря, но она была слишком велика, чтобы можно было вычерпать из нее воду. После нескольких неудачных попыток поймать их котелком он оставил это намерение. Был он так слаб, что боялся упасть в воду и утонуть. Поэтому и не решался довериться реке и продолжать путешествие на каком-нибудь странствующем бревне, выброшенном на песчаный берег.

За этот день расстояние между ним и кораблем уменьшилось приблизительно на три мили. В следующий день — на две, ибо он уже мог только ползти, подобно тому как полз Билл. В конце пятого дня корабль находился еще в семи милях от него, а он не в силах был делать больше одной мили в день. Но индейское лето все еще держалось, и он продолжал ползти, временами падая от слабости и перекатываясь с бока на бок. Все время за собой он слышал кашель и сопение больного волка. Колени человека превратились

— так же, как и его ноги — в сырое мясо, и хотя он завертывал их в куски рубашки, оторванные от ее спины, они оставляли за собой на мху и на камнях красный след. Раз, обернувшись, он увидел, что волк жадно лижет этот кровяной след, и он вдруг понял, что ждет его, если… если он не поймает этого зверя! И тогда разыгралась одна из самых страшных трагедий: больной ползущий человек, больной прихрамывающий волк — два живых существа — тащились, умирающие, через пустыню, охотясь друг на друга.

Если бы волк был здоров — пожалуй, было бы легче. Но мысль о том, что он послужит пищей для этого отвратительного полумертвого существа, была ему противна. Он стал разборчив. Он снова начал галлюцинировать, и проблески сознания становились все реже и короче.

Раз он проснулся от сопения у самого его уха. Волк неловко отпрыгнул, теряя устойчивость и падая от слабости. Это было нелепо, почти смешно, но отнюдь его не забавляло. Впрочем, он не боялся. Ему было уже не до этого. Но мысль его оставалась ясной, и, лежа, он обдумывал положение. Корабль был не более как в четырех милях от него. Он видел его явственно, протерев глаза для того, чтобы смахнуть расстилавшийся туман.

Он видел также парус небольшой лодки, прорезывающей воду блестящего моря. Но ему уже не проползти этих четырех миль! Сознание этого давало ему своего рода спокойствие. Он знал, что не может проползти даже одной мили. И все же он страстно хотел жить. Было бы бессмысленно умереть после всего того, через что он прошел! Он не мог примириться с такой судьбой. Умирая, он отказывался умереть. То было явное безумие: находясь в самих когтях смерти, он бросал ей вызов и вступал с ней в решительную схватку!

Он закрыл глаза и стал тщательно собираться с силами, пытаясь не отдаваться смертельной слабости, постепенно охватывавшей — подобно нарастающему приливу — все его существо. Эта смертельная усталость была в самом деле похожа на морской прилив. Она двигалась, приближалась и постепенно затопляла сознание. Иногда он чувствовал себя почти затопленным ею, и ему удавалось осиливать беспамятство только моментами. В результате какого-то странного душевного процесса воля его напрягалась, и он мог сопротивляться настигающему его забытью.

Терпение волка поражало. Но не менее поразительно было терпение человека. Полдня он лежал без движения, борясь с забытьем. По временам

томление нарастало в нем, и он снова начинал галлюцинировать. Но все время — и бодрствуя и в полузабытьи — он прислушивался к хриплому дыханию вблизи себя.

Вдруг он перестал его слышать. Он медленно очнулся от сна и почувствовал, что чей-то язык лижет его руку. Он ждал. Зубы, схватившие его тело, медленно сжимались; давление их постепенно увеличивалось. Волк напрягал последние силы, чтобы вонзить зубы в добычу, которую он так давно поджидал. Но человек тоже долго ждал, и укушенная рука схватила волка за челюсть. Медленно — волк едва-едва боролся, а рука слабо его держала — другая рука тоже потянулась, чтобы схватить зверя. Через несколько минут человек всем своим весом опрокинулся на зверя. Руки были слишком слабы, чтобы задушить волка, но он прижался лицом к пушистому горлу, и рот его был полон шерсти. Через полчаса человек почувствовал в своем горле какую-то теплую струю. Это не было приятно… Словно растопленный свинец вливался ему в желудок. Он глотал, напрягая всю свою волю. Затем он перевернулся на спину и заснул.

На борту китобойного судна «Бедфорд» находилась научная экспедиция. С палубы кто-то

заметил на берегу странное существо. Оно двигалось по песку к воде. Определить, что это за существо, члены экспедиции не могли и, будучи любознательными, сели в лодку и отправились к берегу. Там они увидели некое существо — правда, еще живое, но которое едва ли можно было назвать человеком. Слепое и без сознания — оно извивалось по земле, точно громадный червяк. Большинство его движений было безрезультатно, но оно все же проявляло большое упорство. Извиваясь и перекатываясь, оно подвигалось вперед со скоростью приблизительно нескольких десятков футов в час.

Три недели спустя человек лежал на постели китобойного судна «Бедфорд» и со слезами, струящимися по исхудалому лицу, рассказывал, кто он и что пережил. Он говорил несвязно о своей матери, о солнечной местности в Южной Калифорнии, о доме среди апельсиновых рощ и цветов.

Через несколько дней он сидел за столом с учеными и офицерами корабля. Он наслаждался видом большого количества поданных блюд, ревниво следя за тем, как исчезала пища. Каждый съедаемый кусок он провожал взглядом, полным глубокого сожаления. Его преследовал

страх, что запасы провизии иссякнут. Он был в здравом уме, но за едой ненавидел этих людей и постоянно расспрашивал повара, юнгу, капитана про запасы провизии. Они его успокаивали бесчисленное число раз. Но он не верил и подглядывал в кладовую, чтобы лично удостовериться в услышанном.

Стало заметно, что человек этот полнеет. Он становился толще с каждым днем. Ученые качали головами и строили теории. Они ограничили его порции за столом, но, несмотря на это, он все полнел, словно распухал под своей одеждой.

Матросы смеялись. Они знали, в чем тут дело. И когда ученые стали за ним следить, они тоже узнали. Они увидели, как он крадется после завтрака и, подобно нищему с протянутой рукой, упрашивает матроса. Матрос смеется и дает ему кусок морского сухаря. Тот жадно его схватывает, любуется им, как скупец золотом, и прячет за пазуху. То же он проделывал и с подачками других матросов.

Ученые не показали виду. Они оставили его в покое, но незаметно осмотрели его постель. Она была кругом обложена сухарями, и в матрасе оказались сухари, каждый уголок и щель были забиты крошками. И при этом он был в здравом

уме. Он только принимал меры против возможного голодания. Он должен выздороветь от этой навязчивой идеи, говорили ученые. И в самом деле, он выздоровел раньше даже, чем якорь «Бедфорда» загремел в бухте Сан-Франциско.

Бурый Волк

Трава была еще покрыта росой, и она несколько задержалась, чтобы надеть калоши. Выйдя из дому, она нашла мужа, погруженного в созерцание распускающегося миндального бутона. Она окинула ищущим взором высокую траву и местность вокруг фруктовых деревьев.

— Где же Волк?

— Он только что был здесь. — Уолт Ирвин мигом оторвался от поэтических и метафизических раздумий, вызванных чудом органического развития цветка, и посмотрел вдаль. — Я видел, как он гнался за кроликом.

— Волк! Волк! Сюда! Волк!.. — закричала Мэдж. Они миновали расчищенную полянку и пошли по лесной тропинке, украшенной восковыми колокольчиками манзаниты.

Ирвин всунул в рот мизинцы обеих рук и помог ей резким свистом.

Закрыв уши ладонями, она сделала гримасу.

— Однако для поэта, нежно настроенного, ты умеешь издавать довольно-таки некрасивые звуки. Мои барабанные перепонки… знаешь, они полопались. Ты свистишь громче, чем…

— Орфей?

— Нет, я хотела сказать, чем уличный бродяга, — заключила она строго.

— Поэзия не мешает быть практичным. Мне, по крайней мере, она не мешает. Я ведь не являюсь тем легкомысленным гением, который не способен продавать свои перлы журналам.

Он принял шутливо-напыщенный вид и продолжал:

— Я не певец чердаков, но и не салонный соловей. Почему? Да потому, что я практичен. Песнями я богат, а их я могу превращать, конечно, обменивая, в домик, увитый цветами, в прекрасный горный луг, в рощицу… Наконец, во фруктовый сад из тридцати семи деревьев, в длинную грядку ежевики да в две короткие грядки земляники, не говоря уже о четверти мили журчащего ручья. Я — торгаш красоты, продавец песен, и о пользе я не забываю. Нет, моя дорогая Мэдж, я не забываю. Я пою песни и, благодаря издателям журналов, превращаю их в дыхание западного ветра, шепчущего в наших рощах, и в журчание струй и ручейков между мшистых камней. И от журчащих струй и дыханий ветерка зарождается песнь: то снова моя песнь возвращается ко мне. Она не та, какую я пел, она другая, но

вместе с тем она та же самая, но только чудесно преображенная…

— О, если бы все твои превращения были так удачны! — засмеялась она.

— Назови хоть одно неудачное.

— Эти два великолепных сонета, которые ты превратил в корову, оказавшуюся потом по дойности худшей в округе.

— Она была прекрасна… — начал он.

— Но она не давала молока, — прервала его Мэдж.

— Но она была красива, не правда ли? — настаивал он.

— Вот тут-то и видно, что не всегда красота приносит пользу. А вот и Волк.

В чаще, покрывающей склон холма, раздался треск сухостоя, и вслед за этим в сорока футах над ними, на краю скалистой стены, показалась волчья голова. Передние лапы Волка сдвинули камешек, и с настороженными ушами и неподвижными глазами он наблюдая падение камня, пока тот не ударился о землю у их ног. Тогда он перевел на них взгляд, оскалил зубы и словно ухмыльнулся.

— Волк! Волк, хороший Волк! — звали его мужчина и женщина.

При звуке их голосов собака прижала уши, и голова ее как будто ластилась под невидимой рукой.

Они смотрели, как она лезла обратно в чащу, и продолжали идти. Несколько минут спустя на повороте дороги, где спуск был не так крут, Волк присоединился к ним. Он сдержанно проявлял свои чувства. После того как мужчина потрепал его около ушей, а женщина приласкала, он вырвался и помчался вперед по тропинке — скоро он был уже далеко. Он бежал без усилий, совсем по-волчьи, скользя по земле.

Сложением и тяжестью он походил на крупного волка. Но окрас говорил, что волком он не был. Окрас выдавал в нем собаку — бурый, темно-коричневый, с красноватым оттенком. Спина и плечи были темно-бурыми, светлея на боках, а живот был темно-желтым. Белые пятна на горле, на лапах и над глазами казались грязноватыми, ибо в них также проглядывал бурый оттенок. Глаза его напоминали топазы.

И женщина, и мужчина одинаково любили эту собаку: быть может, отчасти это было связано с теми усилиями, каких стоило им завоевать ее расположение. Когда собака впервые странным образом попала в их горный домик, приручение

ее оказалось далеко не легким делом. Голодная, с израненными ногами, она прибежала неизвестно откуда и тотчас же изловила кролика под самыми их окнами. Затем она потащилась вниз и заснула у ручья, около кустиков ежевики. Когда Ирвин подошел, чтобы осмотреть гостя, тот на него злобно зарычал; такая же встреча ждала Мэдж, когда она спустилась, чтобы предложить ему, в знак мира, большую тарелку моченого в молоке хлеба.

Гость этот оказался очень необщительной собакой и отвергал все их попытки сближения, не позволяя себя тронуть, всякий раз угрожающе скаля зубы и ощетинивая шерсть И все же собака осталась. Она ночевала у ручья и съедала пищу, которую они ей приносили, предварительно удостоверившись, что они отошли на достаточное расстояние. Очевидно, она оставалась у них только потому, что находилась в необычайно жалком физическом состоянии. Когда же она немного поправилась, то сразу исчезла.

Тем бы все и кончилось, если бы Ирвин вскоре не поехал по делам в северную часть штата. Проезжая в поезде на границе между Калифорнией и Орегоном, он посмотрел случайно в окно и вдруг увидел своего необщительного гостя, бегущего

вдоль дороги подобно бурому волку. Собака бежала, усталая, но неутомимая, покрытая пылью и грязью от двухсотмильного пробега.

Ирвин был очень импульсивен, как настоящий поэт. Он сошел с поезда на следующей станции, купил у мясника мяса и поймал бродягу в окрестностях города. Обратный путь был совершен в багажном вагоне, и таким-то образом Волк вторично вернулся в горный коттедж. Здесь он был на привязи в течение недели и обласкан обоими супругами. Но ласка их оставалась вынужденно осторожной. Далекий и чуждый, как пришелец с другой планеты, Волк отвечал рычанием на их нежные слова. Он никогда не лаял. За все время его пребывания у них они никогда не слышали его лая.

Приручить его было нелегко. Но Ирвин любил такого рода задачи. Он заказал металлическую пластинку с надписью: «Возвратите Уолту Ирвину. Глэн-Эллен, Округ Сонома, Калифорния». Эта пластинка была привинчена к ошейнику, надетому на шею собаки. Затем ее отпустили, после чего она немедленно исчезла. День спустя была получена телеграмма из Мендосинского округа. За двадцать часов собака пробежала сто миль к северу и все еще бежала, когда ее поймали.

Она вернулась со скорым поездом из Уэльс-Фарто, была привязана в течение трех дней; на четвертый ее освободили, и она снова убежала. На этот раз она достигла Южного Орегона раньше, чем ее поймали и вернули. Всегда, как только ей давали свободу, собака убегала, и всегда — в северном направлении. Как будто какая-то навязчивая идея гнала ее к северу. Ирвин назвал это «инстинктом дома», истратив гонорар за целый сонет на уплату за возвращение собаки из Северного Орегона.

В другой раз бурому страннику удалось пробежать всю Калифорнию, Орегон и бóльшую часть Вашингтона, раньше чем его вернули. Путешествовал он с замечательной скоростью. Поев и отдохнув, собака, как только ее освобождали, пускалась изо всех сил бежать через обширные пространства. В первый день она могла пробежать полтораста миль. Затем двигалась с ежедневной скоростью приблизительно в сто миль — и так вплоть до поимки. Она всегда возвращалась и всегда уходила свежей и сильной, пробиваясь на север, гонимая каким-то непонятным влечением.

Но, наконец, после года тщетных попыток к бегству, она примирилась с неизбежностью и

стала жить в коттедже, где в первый день задушила кролика и заснула у ручья. Но даже после этого долгое время прошло, пока она позволила новым своим хозяевам себя погладить. Это было великой победой, ибо они одни могли ее трогать. Ни один из гостей в коттедже подойти к ней не мог. Глухое ворчание раздавалось при приближении каждого незнакомца. Если бы кто-нибудь имел смелость подойти ближе, обнажались зубы, а ворчание превращалось в столь свирепое и злобное рычание, что даже испытанные храбрецы поспешно отступали.

Собаки фермеров боялись ее, ибо знали рычание собак, но никогда еще не слышали рычания волка.

Ничего не известно было хозяевам коттеджа о прошлом этой собаки. Они знали только, что к ним она пришла с юга, но ровно ничего не знали о ее прежнем владельце, от которого она, по-видимому, убежала. Миссис Джонсон — их ближайшая соседка и поставщица молока — уверяла, что эта собака из Клондайка. Ее брат искал золото в этой ледяной стране, и она считала себя авторитетом во всем, что касалось этого вопроса.

Они не спорили с ней. Концы ушей Волка, видимо, были когда-то отморожены, и так сильно,

что вылечить их было уже нельзя. Вместе с тем он походил на снимки с собак Аляски, помещаемые в журналах и газетах. Уолт и Мэдж часто обсуждали его прошлое и старались угадать, руководствуясь тем, что они слышали и читали, какова была его жизнь на Севере. Они знали, что Север все еще его привлекает. Ночью они слышали по временам, как он тихо скулит. Когда же дул северный ветер и ударял легкий морозец, им овладевало сильнейшее беспокойство, и он поднимал жалобный вой, похожий на волчий. Но он никогда не лаял. И никакими способами нельзя было заставить его залаять.

Они долго спорили о том, кому из них принадлежит собака. Каждый предъявлял на нее права, указывая на признаки ее преданности ему. Но мужчина, по-видимому, имел преимущество. Главным образом потому, что он был мужчиной. Было ясно, что Волк не имел никакого опыта общения с женщинами. Он их не понимал и никогда не мог примириться с юбками Мэдж. Их шелест всегда внушал ему беспокойство, а в ветреный день она не могла даже подойти к нему.

Но с другой стороны — именно Мэдж его кормила. В ее распоряжении была кухня, и только по ее милости Волку разрешалось переступить

священные пределы. Это позволило ей заслужить его расположение, несмотря на препятствие, заключавшееся в ее одежде. Но тогда Уолт постарался приучить Волка лежать у его ног, пока он писал; он потратил на ласки и уговаривания немало времени, но в конце концов все-таки игру выиграл. Его победа объяснилась в основном тем, что он был мужчиной. Мэдж, однако, уверяла, что если бы Уолт по-настоящему занимался превращением песен — вместо того чтобы приручать Волка, — они смогли бы приобрести за это время еще четверть мили журчащего ручья.

— Пора бы мне получить известие об этих триолетах, — сказал Уолт после пятиминутного молчания, продолжая идти по тропе. — В почтовом отделении, наверное, будет чек, и мы превратим его в великолепную гречневую муку, в кленовый сироп и в новую пару галош для тебя.

— И в великолепное молоко великолепной коровы миссис Джонсон, — добавила Мэдж. — Ведь завтра первое число.

Уолт слегка нахмурился, но затем его лицо повеселело, и он ударил рукой по боковому карману.

— Ничего, у меня здесь в кармане чудесная новая корова — первая дойная корова Калифорнии.

— Когда ты написал это? — живо спросила она. Но тут же добавила с укором: — И мне даже не показал!

— Я оставил это стихотворение с тем, чтобы прочесть его тебе на пути в почтовое отделение, как раз вот в таком местечке, — отвечал он, указывая на сухое бревно, где можно было усесться.

Небольшой ручеек вытекал из густых папоротниковых зарослей, скользил по мшистому камню и перебегал дорогу у их ног. Из долины поднималась звонкая песня жаворонка. Вокруг путников, порхая из солнечных просторов в тенистые места, мелькали большие желтые бабочки.

Во время чтения рукописи на дороге под ними послышались тяжелые шаги. Уолт только что окончил чтение стихов и обратился за одобрением к жене, когда незнакомец показался на повороте тропинки. Он был без шапки и сильно вспотел. Одной рукой он вытирал себе лицо платком, в другой держал новую шляпу и крахмальный воротничок, снятый с шеи. Был он крепкого сложения, и казалось, что от его мускулов вот-вот треснет его костюм, купленный, видимо, готовым.

— С жарким днем! — приветствовал его Уолт. Он пользовался каждым случаем, чтобы установить

хорошие отношения с сельскими жителями.

Человек остановился и кивнул.

— Я не особенно привык к жаре, — отвечал он, как бы извиняясь. — Скорее больше привык к температуре на нуле.

— Ее вы не найдете в западной стране, — засмеялся Уолт.

— Да, но я ведь не для этого пришел. Я пытаюсь найти свою сестру. Быть может, вы знаете, где она живет. Ее имя Джонсон — миссис Вильямс Джонсон.

— Вы ее брат из Клондайка? — живо воскликнула Мэдж. — Мы о нем так много говорили!

— Да, это я, — ответил он сдержанно. — Мое имя Миллер. Скифф Миллер. Я бы хотел сделать ей сюрприз.

— Вы идете правильно, только свернули на тропинку. — Мэдж встала, чтобы показать ему дорогу, идущую около четверти мили вдоль ущелья. — Вы видите этот хвойный лес? Идите по тропинке, она несколько сворачивает направо. Это приведет вас вскоре прямо к ее дому.

— Благодарю вас, — сказал он. Он хотел тронуться, но, казалось, прирос к земле. Он глядел на Мэдж с восхищением, которое не пытался даже скрыть. Вместе с тем было видно, что это

приводит его в смущение.

— Мы хотели бы, чтобы вы нам рассказали про Клондайк, — сказала Мэдж. — Нельзя ли нам прийти как-нибудь, когда вы будете у вашей сестры? А еще лучше — не придете ли вы с ней к нам пообедать?

— Благодарю вас, — проговорил он как бы машинально. Затем, овладев собою, прибавил: — Я не могу долго оставаться. Я должен снова ехать на Север. Видите ли, я заключил контракт с правительством по доставке почты.

Мэдж выразила сожаление. Он сделал новую тщетную попытку уйти, но не мог оторвать своих глаз от ее лица. В своем восхищении он даже пересилил смущение, и теперь, в свою очередь, Мэдж вспыхнула и почувствовала себя неловко.

И как раз в тот момент, когда Уолт готовился что-нибудь сказать, чтобы помочь выйти из затруднительного положения, Волк вышел из кустов и предстал перед ними.

Рассеянность Скиффа Миллера сразу пропала. Красивая женщина мгновенно исчезла из поля его зрения. Он смотрел только на собаку, и изумление было написано на его лице.

— Черт возьми! — произнес он медленно и значительно. Он уселся на бревно, предоставляя

Мэдж стоять рядом. При звуке его голоса уши Волка отогнулись, и он радостно оскалил зубы. Затем медленно подбежал к незнакомцу, понюхал его руки и стал лизать их.

Скифф Миллер погладил голову собаки и медленно и значительно повторял:

— Черт меня возьми!.. Извините, — тотчас же поправился он, обращаясь к Мэдж. — Я несколько удивлен, вот и все.

— Мы тоже удивлены, — ответила она. — Мы никогда не видели раньше, чтобы Волк подошел к незнакомцу.

— Вы назвали его Волком? — спросил тот.

Мэдж утвердительно кивнула.

— Я не понимаю, однако, его отношения к вам. Может быть, это потому, что вы из Клондайка. Он ведь клондайкская собака.

— Да, — сказал Миллер рассеянно. Он взял Волка за переднюю лапу, поднял ее и осмотрел пальцы. — Что-то мягкие, — заметил он. — Он давно не возил.

— Послушайте, — не удержался Уолт, — замечательно, как он позволяет вам с собой обращаться!

Скифф Миллер поднялся, позабыв свое недавнее смущение при виде Мэдж, и спросил резким

деловым тоном:

— Давно она у вас?

Но как раз в этот момент собака, ластившаяся к Миллеру, залаяла. Это был взрыв лая — короткий и радостный, но несомненный лай.

— Это ново для меня, — заметил Скифф Миллер.

Уолт и Мэдж с удивлением глядели друг на друга. Чудо совершилось — Волк залаял.

— Смотрите, он лает, но это в первый раз, — сказала Мэдж.

— Да, я тоже впервые слышу его лай, — подтвердил Миллер.

Мэдж улыбнулась. Человек этот, очевидно, был шутник.

— Конечно, — сказала она, — ведь вы его видите всего пять минут.

Скифф Миллер быстро на нее взглянул, как бы стараясь угадать, что она хотела этим сказать.

— Я думал, что вы поняли, — сказал он медленно. — Я думал, вы поняли при виде того, как она со мной обходится. Это моя собака. Ее зовут не Волком, а Бурым.

Уолт сразу занял оборонительную позицию.

— Откуда вы знаете, что это ваша собака? — спросил он.

— Потому что она моя, — был ответ.

— Голословное заявление, — резко сказал Уолт.

Скифф Миллер со своей обычной медлительностью посмотрел на него и затем, показывая кивком на Мэдж, спросил:

— Откуда вы знаете, что она ваша жена? Вы можете ответить: «Потому что она моя». И я ведь тоже могу сказать, что это голословно. Собака — моя. Я вырастил и воспитал ее и потому думаю, что могу знать. Я вам это докажу.

Скифф Миллер обратился к собаке:

— Бурый!.. — Его голос прозвучал громко и повелительно, и при этом окрике уши собаки отогнулись, словно от ласки. — Ги! — Собака плавно повернула направо. — Ну, теперь вперед! — И собака сразу приостановила свое круговое движение и пошла прямо, послушно останавливаясь, когда он приказывал.

— Я могу сделать это также и свистом, — сказал Скифф Миллер с гордостью. — Она была у меня вожаком.

— Но вы не возьмете ее с собой? — спросила Мэдж с дрожью в голосе.

Человек утвердительно кивнул.

— Назад, в этот ужасный Клондайк, в этот мир страданий?

Он кивнул и прибавил:

— О, там вовсе не так уж плохо. Посмотрите на меня. Мне кажется, я достаточно здоров.

— Но для собак! — продолжала Мэдж. — Лишения, тяжелый труд, голод, мороз… О, я читала об этом и знаю!

— Я чуть его раз не съел, — мрачно заметил Миллер, — если бы я не убил в тот день лося, был бы ему капут.

— Я умерла бы скорее! — воскликнула Мэдж.

— Ну, здесь-то все обстоит иначе, — объяснил Миллер. — Вы не должны здесь есть собак. Но когда вы попадаете туда, вы начинаете рассуждать иначе. Ведь вы никогда там не были и потому ничего в этом не понимаете.

— Ну, вот именно, в этом-то и дело, — доказывала она, — в Калифорнии не едят собак. Почему бы вам его не оставить здесь? Он счастлив. Он никогда не будет нуждаться в пище, вы это видите. Он никогда не будет страдать от холода и лишений. Здесь его ласкают. Нет дикости ни в людях, ни в природе. Больше он никогда не узнает бича. Что же касается погоды, здесь никогда не бывает снега.

— Зато нестерпимая жара летом, — засмеялся Скифф Миллер.

— Но вы не отвечаете, — продолжала возбужденно Мэдж. — Что вы ему можете предложить в вашей жизни на Севере?

— Пищу, когда она у меня есть.

— А когда нет?

— Когда нет — не едят.

— А работа?

— Работы всегда много! — крикнул Миллер нетерпеливо. — Работа без конца, и голод, и мороз… вот что Бурый получит, когда пойдет со мной. Но он это любит. Он привык к этому. Он знает эту жизнь — родился там и вырос, а вы ничего в этом не понимаете. Вы не знаете, о чем говорите. Собака — из того края и только там будет счастлива.

— Собаку не отдадим, — сказал Уолт решительно. — А потому — что толку в дальнейшем споре…

— Что такое? — спросил Скифф Миллер, нахмурившись и покраснев.

— Я сказал, что не отдам собаки, и дело с концом… Не верю я, что она ваша. Вы, быть может, когда-нибудь и видели Волка, да, пожалуй, ездили на нем вместе с его владельцем. А то, что он подчиняется обычным приказаниям аляскинской возки, вовсе еще не доказывает, что он ваш.

Любая собака с Аляски вас бы слушалась. Но с аляскинской точки зрения, Волк, по-видимому, собака очень ценная, и потому-то вы и хотите заполучить ее в собственность. Во всяком случае вам еще придется доказать, что эта собака ваша.

Скифф Миллер спокойно и хладнокровно оглядел поэта с ног до головы, как бы оценивая его сложение. Только румянец на его лбу еще более обозначился, и громадные мускулы, казалось, напряглись, выпирая из-под черного сукна его платья. Затем лицо клондайкского обитателя приняло презрительное выражение, и он сказал внушительно:

— Я не вижу ничего, что могло бы мне помешать сейчас же взять собаку.

Уолт покраснел, и мускулы его рук также напряглись. Но его жена опасливо вмешалась.

— Быть может, мистер Миллер прав, — сказала она. — Я боюсь, что он прав. Волк как будто в самом деле его знает и во всяком случае отвечает на кличку Бурый. Он сразу с ним подружился, и ты знаешь, что он никогда раньше ни с кем так не обходился. Затем вспомни, как он лаял. Он прямо ликовал от радости. Отчего? Несомненно оттого, что нашел мистера Миллера.

По виду Уолта заметно было, что он также по-

терял надежду.

— Пожалуй, ты права, Мэдж, — сказал он. — По-видимому, Волк — не Волк, а Бурый и должен принадлежать мистеру Миллеру.

— Может быть, мистер Миллер продаст его? — предложила она. — И мы сможем его купить.

Скифф Миллер покачал годовой. Он отбросил свою воинственность и, казалось, готов был в свою очередь проявить великодушие.

— У меня пять собак, — объяснил он, выискивая самый лучший довод, чтобы смягчить свой отказ. — Бурый был их вожаком. Они были лучшей сворой по всей Аляске. Ничто их не брало. В девяносто восьмом году я отказался продать их за пять тысяч долларов. Тогда собаки высоко ценились. Но не это было причиной такой высокой оценки. Уж очень хороша была свора. И Бурый был лучше всех. В ту зиму я отказался взять за него тысячу двести. Я не продал его тогда и не продам сейчас. Кроме того, я очень его люблю. Три года я его искал. Я почти заболел от огорчения, когда узнал, что Бурого украли, — дело не в потере денег, а в том, что дьявольски я к нему привязан, извините за выражение. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел его у вас. Думал, что мне снится. Видите ли, я его выкормил. Каж-

дую ночь я укладывал его спать. Мать-то у него околела, и я поил его сгущенным молоком по два доллара за жестянку, в то время как сам пил кофе без молока. Он никогда не знал другой матери, кроме меня. Он постоянно сосал мой палец, сосал, как маленький дьявол. Вот этот самый палец.

Скифф Миллер был слишком взволнован, чтобы продолжать свою речь. И он выставил палец, приговаривая: «Вот этот самый палец». Казалось, это должно было окончательно доказать его право собственности на собаку и его чувство привязанности к ней.

Он все еще глядел на свой вытянутый палец, когда Мэдж заговорила:

— Но собака… Вы не подумали о собаке!

Скифф Миллер смотрел на нее в недоумении.

— Подумали ли вы о ней? — повторила она.

— Я не понимаю, о чем вы говорите?

— Может быть, и собака имеет право на выбор, — продолжала Мэдж. — Быть может, и у нее есть свои вкусы и желания. Вы не считаетесь с ней. Вы не даете ей выбора. Вы не подумали, что она может предпочесть Калифорнию Аляске. Вы считаетесь только с собственным желанием, а с ней поступаете, как с мешком картофеля или охапкой сена.

Такая постановка вопроса была несколько неожиданной, и она, по-видимому, произвела впечатление на Миллера. Он задумался, и Мэдж воспользовалась его нерешительностью.

— Если вы в самом деле любите ее, вы должны быть счастливы тем, что дает счастье ей.

Скифф Миллер продолжал размышлять про себя, и Мэдж бросила радостный взгляд на мужа. На лице его она прочла горячее одобрение.

— Что же думаете вы? — внезапно спросил житель Клондайка. Она, в свою очередь, не поняла.

— Что вы хотите сказать? — спросила она.

— Думаете ли вы, что Бурый захочет остаться в Калифорнии?

Она утвердительно кивнула головой:

— Я в этом уверена.

Скифф Миллер снова принялся размышлять, но на этот раз вслух, внимательно осматривая при этом живой предмет спора.

— Бурый был хорошим работником. Он много для меня поработал. Он никогда не ленился и великолепно обучал свежие своры. У него голова на плечах. Он все может сделать — только говорить не умеет. Он понимает то, что вы ему говорите. Посмотрите на него сейчас. Он знает, что мы разговариваем о нем.

Собака лежала у ног Скиффа Миллера, положив голову на лапы. Глаза ее, казалось, следили за собеседниками, по мере того как они поочередно говорили.

— Он еще много может поработать. Он будет годен еще много лет. И я действительно привязан к нему. Я люблю его, дьявольски люблю!

Несколько раз вслед за этим Скифф Миллер открывал рот и закрывал, но ничего не говорил. Наконец он сказал:

— Вот что я сделаю. Ваши замечания, — обратился он к Мэдж, — в самом деле справедливы. Собака хорошо работала и, пожалуй, заслужила отдых и имеет право выбирать. Во всяком случае, дадим ей решать. Что бы она ни решила, пусть так и будет. Вы оба оставайтесь сидеть здесь. Я попрощаюсь с вами и пойду. Если она захочет со мной идти, пусть идет. Я не позову ее, и вы не зовите. — Он внезапно с подозрением посмотрел на Мэдж: — Только должна быть честная игра. Без уговариваний, когда я поверну спину.

— Мы будем честны… — начала Мэдж.

— Я знаю манеры женщин, — прервал ее Скифф Миллер. — Их сердца мягки. Когда женщина растрогана, она способна подтасовать карты, подсматривать и лгать как черт, извините, за

выражение. Я говорю о женщинах вообще.

— Я не знаю, как благодарить вас, — произнесла Мэдж с дрожью в голосе.

— Я не вижу пока оснований для благодарности, — ответил он. — Бурый еще не решил. Вам все равно, если я пойду медленно? Это только справедливо, потому что уже за сто ярдов меня не будет видно…

Мэдж согласилась и прибавила:

— Я вам обещаю, что мы ничего не предпримем, чтобы повлиять на него.

— Ну, в таком случае я пошел, — сказал Скифф Миллер тоном уходящего собеседника.

Уловив изменение в его голосе, Волк быстро поднял голову и еще быстрее вскочил. И в то время, как мужчина и женщина обменивались рукопожатием, он поднялся на задние лапы, поставив передние ей на бедро. В то же время он лизал руки Скиффа Миллера. Когда последний подал руку Уолту, Волк повторил то же самое. Он опирался всем телом на Уолта и лизал руки обоих мужчин.

— Это не праздник. Во всяком случае, это не праздник, — были последние слова жителя Клондайка. Он повернулся и медленно пошел вверх по тропинке.

Волк наблюдал за ним на расстоянии двадцати футов, как будто ожидая, что тот повернет обратно. Затем с глухим воем он бросился за ним, нагнал его, поймал его руку зубами и мягко пытался его остановить.

Ничего не добившись, Волк прибежал обратно к месту, где сидел Уолт Ирвин, поймал зубами его рукав и пытался потащить его за уходящим человеком.

Недоумение Волка быстро возрастало. Он хотел быть в двух местах одновременно — со старым и новым хозяином, в то время как расстояние между ними росло. Он возбужденно бросался из стороны в сторону, нервно прыгал, подбегая то к одному, то к другому в мучительной нерешительности, не зная сам, чего хочет, желая сохранить обоих и не будучи в состоянии выбрать. Он резко повизгивал и тяжело дышал.

Внезапно он сел на задние лапы и поднял нос кверху, открывая рот все шире и шире. Вслед за этим из горла его вылетел низкий звук, еле уловимый для человеческого уха. Все это была прелюдия к вою.

Но как раз когда должен был раздаться вой, рот собаки закрылся, и она снова посмотрела внимательно на уходящего человека. Затем Волк

повернул голову и так же внимательно взглянул на Уолта. Вопрошающий взгляд его остался без ответа. Собака не встретила ни одного знака внимания, не услышала ни одного слова, которое могло бы разрешить ее сомнение.

Вид старого хозяина, приближавшегося к повороту, казалось, окончательно смутил Волка. Он вскочил на ноги и завизжал. Затем, словно пораженный новой мыслью, он обратил свое внимание на Мэдж. До этой минуты она для него вроде бы не существовала. Но теперь, когда он, видимо, потерял обоих хозяев-мужчин, у него оставалась будто она одна. Он подошел к ней и положил голову ей на колени, уткнувшись носом в ее руку, — любимый его способ добиться ее расположения. Затем он отбежал от нее и стал игриво вертеться, то поднимаясь на задние лапы, то опуская передние на землю. Весь он был в движении — от умоляющих глаз и прижатых ушей до виляющего хвоста, и этим он как бы хотел выразить мысль, которую иначе не мог высказать.

Но и это пришлось оставить. Он был удручен холодностью этих людей, которые никогда раньше не были так невнимательны к нему. Он не получал от них никакого ответа, ни поддержки. Они не обращали на него внимания. Они как

будто умерли. Волк повернулся и снова молча посмотрел на старого хозяина, уже поворачивающего за угол. Через мгновение он должен был вовсе скрыться из виду. Но Скифф Миллер ни разу не обернулся. Он шел вперед медленно и твердо, будто совершенно не заинтересованный в том, что происходило за его спиной.

Так он дошел до поворота и исчез из виду. Волк ждал, что он снова появится. Он ждал долгое время, молча, неподвижно, как бы обратившись в камень, но камень, словно одухотворенный волей. Он издал короткий лай и затем ждал. Потом он повернулся и побежал к Уолту Ирвину, понюхал его руку и затем тяжело опустился к его ногам, наблюдая пустую тропинку, там, где она вела к повороту.

Маленький ручей, падающий с мшистого камня, журчал все громче. Не было других звуков, кроме пения жаворонков в лугах. Большие желтые бабочки медленно пролетали сквозь полосы солнечного света и терялись в тени. Мэдж с торжеством взглянула на мужа.

Однако через несколько мгновений Волк поднялся на ноги. Решимость и сознание обозначились в каждом его движении. Он не посмотрел ни на мужчину, ни на женщину. Его глаза были

прикованы к тропинке. Он решился, и они это знали. И они знали, что для них испытание только началось.

Он побежал рысью, и Мэдж невольно сжала губы, готовясь его позвать, но удержалась. Она посмотрела на мужа и встретила его строгий взгляд. Затем она разжала губы и громко вздохнула.

Мелкая рысь Волка перешла в быстрый бег. Он бежал все быстрее и быстрее и ни разу не обернулся. Его волчий хвост был выпрямлен. Он круто повернул за угол тропинки — и исчез.

История Киша

Давно-давно, в незапамятное время жил некто Киш у берегов Полярного моря. Был он первым человеком в своей деревне и умер, всеми оплакиваемый. Он жил так давно, что только старики помнят его имя и историю его жизни — историю, которую они слышали от отцов и дедов. Они расскажут ее своим детям, а потом она перейдет к детям их детей и так из века в век. А слушать эту повесть о Кише, о том, как он поднялся к власти и почету из самой бедной хижины в деревне, лучше всего тогда, когда проносятся над ледяными полями северные метели, когда в воздухе кружатся снежные вихри и ни один человек не смеет высунуться из дома.

Живым мальчиком был Киш, так начинается повесть, — здоровым и сильным. Он видел тринадцать солнц, — так считали в деревне. Ибо каждую зиму солнце оставляет землю в темноте, а на будущий год новое солнце возвращается, чтобы снова давать тепло и освещать лица людей. Отец Киша был смелым охотником. Пытаясь в голодное время спасти жизнь своих одноплеменников, он погиб, охотясь на полярного медведя.

Он вступил с медведем в рукопашную, и тот смял его под себя. Зверь был очень жирный, и народ был спасен.

Киш — он был единственным сыном этого охотника — остался один со своей матерью, но люди забывчивы — и скоро из памяти их изгладился подвиг его отца. А затем забыли и Киша с матерью, и они вынуждены были жить нищенски и в жалкой хижине.

Но вот однажды вечером, на совете в большой хижине Клош-Квана, главы племени, Киш показал, какая кровь течет в его жилах. Он показал себя мужчиной. С достоинством взрослого человека он поднялся и ждал, когда прекратится шум.

— Это верно, что нам выдается наша доля мяса, — сказал он. — Но мясо это старое и жесткое и в нем много костей.

Охотники — и седовласые и молодые — были изумлены. Ничего подобного раньше не случалось. Ребенок выступал как взрослый человек и говорил им прямо в лицо такие вещи!

Но Киш продолжал говорить твердо и серьезно:

— Я говорю это, потому что знаю, что мой отец, Бок, был великим охотником. Говорят, что Бок

приносил домой больше мяса, чем любой из охотников, и собственными руками распределял его и смотрел, чтобы последний старик и старуха получили справедливую долю.

Охотники кричали:

— Прогоните ребенка! Пошлите его спать. Не смеет он так разговаривать с мужчинами и стариками!..

Он спокойно ждал, пока волнение улеглось.

— У тебя жена, Уг-Глок, — сказал он, — и ты за нее говоришь. А ты, Муссук, имеешь также мать — и выступаешь за обоих. Моя же мать никого не имеет, кроме меня. Вот почему я за нее и вступаюсь. Я повторяю: Бок умер, так как был слишком храбр. И потому справедливо, чтобы я — его сын — и Икега — моя мать и его жена — не терпели нужды в мясе, пока оно имеется у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал.

Он сел, внимательно прислушиваясь к возмущенным возгласам, вызванным его словами.

— Мальчишка смеет так говорить на совете! — шамкал старый Уг-Глок.

— Могут ли сосунки нас учить? — спросил громко Муссук. — Я — мужчина, и могу ли я быть посмешищем для каждого мальчишки, который просит мяса?

Гнев их дошел до белого каления. Они приказали ему идти спать, пригрозили, что он вовсе будет лишен мяса, и обещали крепко высечь за дерзость. Глаза Киша засверкали, и темный румянец залил его щеки. Он вскочил на ноги.

— Слушайте меня! — крикнул он. — Никогда больше не буду я выступать на совете, никогда, пока вы сами не придете ко мне и не будете упрашивать: «Киш, говори! Мы хотим этого!» Так вот вам мое последнее слово. Бок, мой отец, был великим охотником. Я — его сын — пойду и также стану охотиться, чтобы добыть себе мяса. И пусть знают все: раздел того, что я убью, будет справедлив. И ни вдова, ни слабый старик не будут плакать ночью от голода, в то время как сильные мужчины стонут в великих муках обжорства. И в будущем да будет стыдно сильным мужчинам, которые объедаются! Так сказал я, Киш.

Насмешки и бранные возгласы проводили его до порога хижины. Но на его лице была написана решительность, и он шел вперед, не глядя по сторонам.

На следующий день он пошел вдоль берега. Заметили, что он несет лук и большой запас стрел с костяными наконечниками. Через плечо было перекинуто отцовское охотничье копье. Много

смеялись и говорили по этому поводу. Случай был из ряда вон выходящий. Мальчики в этом возрасте никогда не отправлялись охотиться, в особенности одни. Многие поэтому качали головами и делали зловещие предсказания, а женщины с сожалением глядели на Икегу, лицо которой стало грустным и серьезным.

— Он скоро вернется, — утешали они ее.

— Пусть идет, — говорили охотники. — Это будет для него хорошим уроком. Он скоро вернется, и тогда речь его будет другой — робкой и вежливой.

Но прошел день, а за ним другой. На третий — разразилась сильная буря, а Киш все не появлялся. Икега рвала на себе волосы и покрыла лицо сажей в знак горя и скорби. Женщины осыпали мужчин упреками за то, что они своим дурным обращением послали мальчика на смерть. Мужчины ничего не отвечали, готовясь, когда буря утихнет, идти на поиски за телом.

Но на следующий день, ранним утром, Киш вернулся в деревню. И шел он далеко не смущенный. Он нес на плечах свежее мясо убитого зверя, и поступь его была торжественна, а слова звучали гордо.

— Вы, мужчины, идите с собаками и санями по

моему следу, — сказал он. — Там, через день пути, вы найдете на льду много мяса — медведицу и двух полугодовалых медвежат.

Икега была несказанно обрадована, но он встретил ее радость по-мужски.

— Идем, Икега, дай мне есть. И потом я лягу спать. Я очень устал.

Он прошел в хижину и, поев, заснул. Спал он двадцать часов подряд.

Сперва в деревне было много сомнений и споров. Опасно убить медведя, но трижды — нет, в три раза трижды — опасней убить медведицу с медвежатами. Мужчины поверить не могли, что мальчик Киш — один — совершил такой подвиг. Но женщины рассказывали про свежее мясо, которое он принес на спине, и это должно было убедить сомневающихся. Наконец они пустились в путь. «Даже если он действительно убил этих зверей, — ворчали они, — то уж во всяком случае не позаботился разрезать туши». А на Севере это необходимо сделать немедленно — в противном случае мясо замерзнет так, что его не берет самый острый нож. Положить же на сани трехсотфунтового медведя в замерзшем состоянии и везти его по неровному льду — не легкое дело. Но, придя на место, они, вопреки своим сомнениям, нашли

добычу и увидели также, что Киш вынул внутренности и разрезал туши на четыре части, как образцовый охотник.

С той поры Киш повел себя загадочно, и загадочность эта день ото дня становилась все таинственней. Во вторую свою охоту он убил молодого медведя — почти взрослого, а в следующий раз — громадного самца и медведицу. Он обычно уходил на три или четыре дня, но иногда оставался на льду целую неделю. Он всегда отказывался от спутников, и все не переставали изумляться.

— Как он это делает? — спрашивали они друг друга. — Он никогда не берет с собой собак, а собака на охоте очень нужна…

— Почему ты охотишься только на медведя? — однажды решился спросить его Клош-Кван. Но Киш дал ему надлежащий ответ:

— Всем известно, что на медведе больше мяса.

В деревне поговаривали о волшебстве.

— Он охотится вместе со злыми духами, поэтому-то охота всегда удачна.

— Может быть, это не злые, а добрые духи? — говорили другие. — Отец его был великим охотником. Может быть, с ним охотится отец и обучает его пониманию, терпению и другим

качествам охотника. Кто знает?

Так или иначе, но его успехи продолжались, и менее удачливые охотники были постоянно заняты доставкой его добычи. Что же касается раздела добычи — в этом он всегда был справедлив. Подобно отцу своему, он следил за тем, чтобы последний старик и старуха получили равную со всеми долю. Себе же он оставлял ровно столько, чтобы удовлетворить свои потребности. Вот поэтому, а также и потому, что он был охотником смелым и сильным, Киш стал пользоваться почетом и даже внушать своим соплеменникам страх. Шли разговоры о назначении его главой племени после Клош-Квана. Ввиду же совершенных им подвигов современники хотели видеть его снова на заседаниях совета, но он там не появлялся, а им совестно было просить.

— Я хочу построить себе новую хижину, — сказал однажды Киш Клош-Квану и кое-кому из охотников. — Мне нужна большая иглу,[22] где Икега и я смогли бы удобно расположиться.

— Хорошо, — кивали они головой в знак одобрения.

— Но у меня нет свободного времени. Мое за-

---

[22] Примечания: 22
Индейская хижина.

нятие — охота, и оно отнимает все мое время. Будет справедливо, если мужчины и женщины, которых я кормлю, построят мне иглу.

И хижина была выстроена, а размерами она превосходила даже иглу Клош-Квана. Киш и его мать переехали в нее, и Икега, впервые после смерти Бока, зажила в довольстве. Она не только была материально обеспечена, но, в знак внимания к ее удивительному сыну и положению, какое он ей создал, на нее все стали смотреть как на первую женщину в деревне. Женщины посещали ее, спрашивали ее советов и приводили ее изречения в спорах между собой и со своими мужьями.

Но загадочность чудесной охоты Киша не переставала всех занимать. А раз Уг-Глок даже бросил ему в лицо обвинение в волшебстве.

— Мы думаем, — сказал Уг-Глок многозначительно, — что ты имеешь дело со злыми духами и потому твоя охота удачна.

— Разве мясо нехорошее? — был ответ Киша. — Или кто-нибудь в деревне заболел, поевши его? Знаешь ли ты что-нибудь о моем волшебстве или же просто гадаешь из-за снедающей тебя зависти?

И Уг-Глок отошел посрамленный, а женщины

смеялись ему вслед.

Но однажды вечером на совете, после долгого обсуждения, решили проследить за Кишем, когда он отправится на охоту, чтобы научиться его способам охоты. Поэтому в следующую его экспедицию двое юношей — одни из лучших охотников Бим и Баун — последовали за ним, стараясь идти так, чтобы он их не заметил. Через пять дней они вернулись с расширенными зрачками и языками, дрожащими от нетерпения рассказать то, что увидели. Наскоро был собран совет, и в иглу Клош-Квана Бим приступил к своему рассказу.

— Братья, — начал он, — как было нам приказано, мы шли по следу Киша, шли со всей осторожностью, так что он об этом не знал. В середине первого дня он встретил большого медведя-самца. Это был очень большой медведь.

— Больше не бывает, — поддержал Баун и продолжал рассказ. — Но медведь не хотел драться и, повернувшись, стал уходить по льду. Мы видели это, спрятавшись за скалы на берегу. Медведь шел по направлению к нам, и за ним шел Киш, без всякого страха. Он кричал на медведя, ругал его крепкими словами и махал руками и производил большой шум. Тогда медведь рассердился,

встал на дыбы и зарычал. Но Киш пошел прямо к медведю.

— Да, — продолжал Бим. — Киш прямо шел на медведя. Медведь бросился на него, и Киш побежал. Но, убегая, он уронил на лед маленький шарик. Медведь остановился, понюхал и затем проглотил шарик. Киш же продолжал бежать и ронять маленькие круглые шарики, и медведь продолжал их глотать.

Послышались недоверчивые возгласы, а Уг-Глок открыто заявил, что не верит.

— Мы это видели собственными глазами, — утверждал Бим.

— Да, собственными глазами, — продолжал Баун. — И это длилось, пока медведь вдруг не выпрямился и не стал громко реветь от боли и бешено колотить лапами. Киш же продолжал бежать от него, оставаясь все время на достаточном расстоянии. Но медведь его не замечал, так как сильно страдал от той боли, какую причинили его внутренностям маленькие шарики.

— Да, в его внутренностях была нестерпимая боль, — прервал Бим. — Он царапал себя и прыгал по льду, как игривый щенок; по тому, как он рычал и метался, было ясно, что это не игра. Никогда не видел я такого зрелища.

— Никогда не было такого зрелища, — повторял Баун, — и к тому же это был огромный медведь.

— Волшебство, — сказал Уг-Глок.

— Не знаю, — отвечал Баун. — Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Спустя немного медведь ослабел и утомился, так как был очень тяжел и сильно скакал. Он пошел по береговому льду, качаясь из стороны в сторону, и временами садился и выл. А Киш шел за медведем, а мы за Кишем; и так в течение всего дня и трех других дней. Медведь ослабел и не переставал реветь от боли.

— Это волшебство, — вскричал Уг-Глок. — Несомненно, это волшебство.

— Может быть.

Бим сменил Бауна:

— Медведь блуждал, двигаясь то сюда, то туда, возвращаясь вперед и назад и кружась по своему следу, и в конце концов вернулся к тому месту, где Киш впервые его встретил. Теперь он был так слаб, что едва полз. Тогда Киш подошел к нему и копьем добил его до смерти.

— И тогда? — спросил Клош-Кван.

— Мы оставили Киша в то время, как он снимал с медведя шкуру, и прибежали, чтобы сообщить об этой охоте.

После полудня женщины притащили тушу медведя, а мужчины продолжали заседать в совете. Когда Киш пришел, к нему послали, чтобы позвать на совет. Но он ответил, что устал и голоден, а хижина его достаточно велика и в ней может поместиться много народу.

Любопытство было так сильно, что весь совет, с Клош-Кваном во главе, отправился в иглоо Киша. Он ел, но встретил их с почетом и усадил их соответственно положению каждого. Икега была горда и вместе с тем смущена, но Киш держался совершенно спокойно.

Клош-Кван рассказал про то, что сообщили Бим и Баун, и строго закончил:

— Киш, ты должен объяснить, как ты охотишься. Это волшебство.

Киш посмотрел на них и улыбнулся.

— Нет, Клош-Кван, — сказал он, — не мальчику заниматься чародейством. Я ничего не знаю о колдовстве. Я только придумал средство убивать медведя без труда, вот и все. Это ум, а не волшебство.

— И каждый может сделать то же самое?

— Да, каждый.

Молчали долго. Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.

— И… и… ты нам расскажешь, Киш? — спросил Клош-Кван дрожащим голосом.

— Да, я вам расскажу. — Киш кончил высасывать мозг из кости и встал на ноги. — Дело совсем простое. Смотри!

Он достал тонкий кусок китового уса и показал его. Концы были остры, как иглы. Он свернул ус так, что тот исчез в его руке. Затем разжал ее, и ус с силой выпрямился. Потом он поднял кусок тюленьего жира.

— Вот так, — сказал он. — Ты берешь маленький кусок тюленьего жира и делаешь в нем отверстие. Туда всовываешь китовый ус, туго свернутый, и покрываешь другим куском жира. Затем ты выносишь его на воздух, где он замерзает и превращается в круглый шарик. Медведь проглатывает шарик, жир тает, китовый ус выпрямляется, медведь чувствует боль и начинает метаться взад и вперед. Когда ему делается очень плохо, ты убиваешь его копьем. Это совсем просто.

Уг-Глок сказал: «О!», а Клош-Кван протянул: «А!» — каждый сказал по-своему, и все поняли.

Такова история Киша, жившего давно у края Полярного моря. Не колдовство, а ум помог ему оставить самую жалкую хижину и стать первым

человеком в своей деревне.

Рассказывают, что, пока он жил, племя его благоденствовало; и ни одна вдова, ни одно слабое существо не плакали ночью от голода.

Путь ложных солнц

Ситка Чарлей курил и глядел задумчиво на иллюстрацию, вырезанную из «Полицейской Газеты» и прикрепленную к стене. В течение получаса разглядывал он картину, и в течение всего этого получаса я незаметно за ним наблюдал. Что-то происходило в его уме, и я знал, что, во всяком случае, его мысли заслуживают интереса. Он жил деятельной жизнью и видел многое на своем веку. Он совершил самое большое чудо — отказался от собственного народа и, насколько это вообще возможно для индейца, обратился, по всему своему складу, в белого человека. Сам он, повествуя об этой перемене, говорил, что сел у наших огней и сделался одним из наших. Он никогда не учился читать и писать, но обладал богатым запасом слов. Еще более замечательной была точность, с какой он воспринял взгляды белых людей и отношение их ко всем вещам.

Мы напали на эту покинутую хижину после дня тяжелого пути. Собаки были накормлены; обеденная посуда вымыта; постели приготовлены. Мы наслаждались тем приятным часом, который наступает на аляскинском пути ежедневно, но

лишь раз в течение дня. Это час, когда усталый путник перед тем, как улечься, выкуривает свою вечернюю трубку.

Кто-то из прежних обитателей хижины украсил ее стены иллюстрациями, вырезанными из журналов и газет. Эти-то картины и привлекли внимание Ситки Чарлея с момента нашего прихода, два часа назад.

Он напряженно изучал их, переходя от одной к другой и снова возвращаясь к прежним. Лицо его было озадачено.

— Ну? — прервал я наконец молчание.

Он вынул трубку изо рта и сказал просто:

— Я не понимаю.

Затем снова закурил и снова вынул трубку, чтобы указать ею на картину из «Полицейской Газеты».

— Эта картина… что она значит? Я не понимаю.

Я посмотрел на рисунок. Человек с преувеличенно злым лицом падал навзничь на пол, прижимая руки театральным жестом к сердцу. Над ним, с лицом не то падшего ангела, не то Адониса,[23] стоял другой человек с дымящимся

---

[23] Примечания: 23

Адонис — один из любимцев Венеры, страстный охотник. В переносном смысле — красавец.

после выстрела револьвером в руке.

— Один человек убивает другого, — ответил я, чувствуя, что и я разделяю его недоумение и нуждаюсь в объяснении.

— Почему? — спросил Ситка Чарлей.

— Я не знаю, — признался я.

— В этой картине только конец, — сказал он. — Она не имеет начала.

— Это — жизнь, — сказал я.

— Жизнь имеет начало, — возразил он.

Я не знал, что сказать. В это время его глаза остановились на соседней иллюстрации. Это была репродукция чьей-то картины «Леда и Лебедь».[24]

— Эта картина, — сказал он, — не имеет ни начала, ни конца. Я не понимаю картины.

— Посмотри на ту картину, — сказал я, показывая на третий рисунок. — Она имеет смысл. Скажи мне, что она означает?

Он несколько минут изучал рисунок.

— Маленькая девочка больна, — сказал он наконец. — На нее смотрит доктор. Они всю ночь не ложились, смотри — в лампе нет масла. Первые лучи утреннего света входят в окно. Это очень

---

[24] Примечания: 25

Понтер — в азартной игре — ставящий на карту известную сумму против банкомета.

опасная болезнь, может быть, она умрет. Поэтому доктор смотрит так сурово. Это ее мать. Это очень опасная болезнь, потому что голова матери лежит на столе и она плачет.

— Откуда ты знаешь, что она плачет? — прервал я его. — Ты не видишь ее лица. Может быть, она спит.

Ситка взглянул на меня, словно внезапно удивившись, а затем внимательно посмотрел на картину.

Очевидно было, что он не обдумал своего впечатления.

— Может быть, она спит, — повторил он. Он внимательно изучал изображение. — Нет, она не спит. Плечи показывают, что она не спит. Я видел плечи плачущей женщины. Мать плачет. Это — очень опасная болезнь.

— И ты понимаешь картину? — воскликнул я.

Он покачал головой и спросил:

— Маленькая девочка — она умрет?

В свою очередь я молчал.

— Умрет она? — повторил он. — Ты — художник. Может быть, знаешь.

— Нет, я не знаю, — признался я.

— Это — не жизнь, — категорически заявил он. — В жизни девочка умрет или выздоровеет. В

жизни что-нибудь случится. На картине ничего не случится. Нет, я не понимаю картины.

Он был явно разочарован. Он хотел понять все, что понимают белые люди, и здесь — в этом вопросе — ему это не удавалось. Я чувствовал вместе с тем, что в его вопросах был вызов. Он хотел во что бы то ни стало заставить меня разъяснить ему мудрость картины.

Нужно сказать, что у него были поразительные способности мыслить образами. Он видел жизнь в образах, чувствовал ее в образах, обобщал посредством образов. Но он не понимал образов, выраженных при помощи красок и линий другими людьми.

— Картина — кусок жизни, — сказал я. — Мы рисуем жизнь так, как ее видим. Представь себе, Чарлей, что ты идешь по тропе. Ночь. Ты видишь хижину. Окно освещено. Ты смотришь в окно в течение одной или нескольких секунд, ты видишь что-то и затем продолжаешь путь. Быть может, ты увидел человека, который писал письмо. Ты видел что-то, не имевшее ни начала ни конца. Ничего не случилось. И все же ты видел кусок жизни. Ты запомнил его. Этот кусок жизни — словно картина в твоей памяти. Окно — рамка картины.

Он, видимо, заинтересовался, и я знал, что в то время как я говорил, он представил себе окно и, заглянув, видел человека, пишущего письмо.

— Есть одна картина, которую ты нарисовал. Я ее понимаю, — сказал он. — Это правдивая картина. В ней много смысла. Она в твоем домике в Даусоне. Это стол игры в «фараон». За столом люди играют. Игра идет большая. Играют без ограничения ставки.

— Почему ты знаешь, что играют без ограничения? — спросил я с интересом. Я был рад услышать беспристрастное суждение о моей работе такого человека, который знал только жизнь, а не искусство, и был исключительно художником действительности. К тому же я очень гордился этой картиной. Я назвал ее «Последняя ставка» и считал, что это одно из лучших моих произведений.

— На столе нет золота, — пояснил Ситка Чарлей. — Люди играют на марки. Это значит, что нет ограничений. Один человек играет желтыми марками. Может быть, одна желтая фишка стоит тысячу долларов, а может быть — и две. Другой играет красными. Может быть, каждая из этих — пять тысяч долларов, а может быть — тысячу. Это очень большая игра. Все ставят очень высоко.

Почему я это знаю? Ты нарисовал банкомета с румянцем на лице (я был в восторге). Ты нарисовал понтера[25] [broken link: #note_25] наклоненным к столу. Почему он наклонился вперед? Почему его лицо так напряженно? Почему его глаза так блестят? Почему банкомету жарко — у него на лице румянец? Почему все так молчаливы — и человек с желтыми марками, и человек с белыми марками, и человек с красными? Почему никто не разговаривает? Потому что игра на большие деньги. Потому, что это — последняя ставка.

— Но почему ты думаешь, что это последняя ставка? — спросил я.

— Король вышел, семерка открыта, — отвечал он. — Никто не ставит на другие карты. Все другие карты ушли. Все думают об одном. Все теряют с королем, выигрывают с семеркой. Может быть, банк потеряет двадцать тысяч, может быть — выиграет. Да, я понимаю эту картину.

— И, однако, ты не знаешь окончания! — воскликнул я, торжествуя. — Это последняя ставка, но не все карты открыты. И на картине они никогда не будут открыты. Никто не узнает никогда, кто выиграет и кто проиграет.

— И люди будут сидеть там и молчать, — сказал он с каким-то страхом. — И понтер будет

наклоняться вперед, и румянец будет на лице у банкомета. Это — странная вещь! Всегда будут они там сидеть, всегда! И карты никогда не будут открыты.

— Это картина, — сказал я. — Это жизнь. Ты сам видел нечто подобное.

Он посмотрел на меня в раздумье и затем очень медленно протянул:

— Да, ты говоришь — здесь нет конца. Никто никогда не узнает конца. И, однако, это правда. Я видел это. Это — жизнь.

Долгое время он молча курил, обдумывал смысл и значение картин у белых людей и, проверяя их на жизненных фактах, несколько раз кивал головой и несколько раз кряхтел. Затем высыпал пепел из трубки, заботливо наполнил ее и после некоторого раздумья снова зажег.

— Я тоже видел в жизни много картин, — начал он, — не нарисованные картины, а виденные глазами. Я смотрел на них так же, как через окно на человека, пишущего письмо. Я видел много обрывков жизни, и все эти обрывки были без начала, без конца, без смысла.

Внезапно изменив свое положение, он уставился прямо на меня и стал внимательно разглядывать.

— Скажи, — сказал он, — ты — художник. Как нарисовал бы ты то, что я видел, картину без начала и с непонятным для меня концом? Северное сияние служило ей свечой и Аляска — рамкой.

— Это большое полотно, — заметил я.

Но он не обратил внимания на мои слова. Картина, казалось, была у него перед глазами.

— Много можно дать названий этой картине, — сказал он. — Но я назову ее «Путь Ложных Солнц», так как в ней на небе рядом с настоящим было два ложных солнца. Это было давно, лет семь назад, в конце 1897 года. Тогда я в первый раз увидел эту женщину. У меня была на озере Линдерманн очень хорошая лодка из Петерборо. Я приехал с Чилькутского прохода с двумя тысячами писем для Даусона. Тогда я перевозил почту. В это время все стремились в Клондайк. Много людей путешествовало на собаках. Многие рубили деревья и строили лодки. Скоро река должна была замерзнуть. Было много снега в воздухе, много снега на земле; на озере был лед, на реке — там, где водовороты, — тоже лед. С каждым днем было все больше и больше снега, больше льда. Через день, или через три дня, или через шесть дней можно было ожидать, что река станет. Тогда всем придется передвигаться пешком. А Даусон

находился в ста милях: прогулка, значит, была большая. Лодка же плывет очень быстро. Поэтому все хотели ехать на лодке. Каждый обращался ко мне, говоря: «Чарлей, за двести долларов возьми меня в свою лодку», «Чарлей, я дам четыреста долларов». Я же говорил: «Нет!» Все время говорил: «Нет! Я перевожу почту».

Утром я достиг озера Линдерманн. Я шел всю ночь и очень устал. Я сварил завтрак, поел и затем спал три часа на берегу. Когда я проснулся, было десять часов. Падал снег. Дул ветер, очень сильный ветер. Рядом со мной, на снегу, сидит женщина. Белая женщина, молодая, очень красивая, может быть, двадцати лет, может быть — двадцати пяти. Она смотрит на меня. Я смотрю на нее. Она, вероятно, очень устала. Она не танцовщица. Я это хорошо вижу. Она — порядочная женщина и очень устала.

«Вы — Ситка Чарлей, — говорит она. Я встаю я свертываю одеяла, чтобы снег в них не попал. — Я еду в Даусон, — продолжает она. — Я еду в вашей лодке. Сколько?»

Я не хочу никого брать в свою лодку. Но мне не хочется сказать «нет». Поэтому я говорю: «Тысяча долларов!» Я говорю это в шутку, чтобы женщина не могла со мной поехать. Это лучше, чем сказать

«нет». Она смотрит на меня пристально. Затем спрашивает: «Когда вы едете?» Я говорю ей. Тогда она заявляет, что даст мне тысячу долларов.

Что я могу сказать? Я не хочу брать эту женщину, но я ведь сказал, что она может ехать за тысячу долларов. Я удивлен. Может быть, она тоже шутит? Поэтому я говорю: «Покажите мне тысячу долларов». И тогда эта женщина — эта молодая женщина, совсем одинокая на тропе золотоискателей — вынимает тысячу долларов в зеленых бумажках. Я смотрю на деньги, смотрю на нее. Я говорю: «Нет, моя лодка очень маленькая. В ней нет места для багажа». Она смеется. Она говорит: «Я опытная путешественница. Вот мой багаж!» Она толкает ногой в снег маленький узел. В нем две шубы, зашитые в парусину, и внутри несколько платьев. Я поднимаю поклажу. Она весит, может быть, тридцать пять фунтов. Я очень удивлен. Она берет ее из моих рук и говорит: «Давайте отправляться!» Она несет узел в лодку. Что я могу сказать? Я кладу одеяла в лодку. Мы отправляемся.

Вот так-то я впервые увидел эту женщину. Ветер был попутный. Я поднял маленький парус. Лодка шла очень быстро, летела, как птица, по большим волнам. Женщина очень боялась. «Для

чего вы приехали в Клондайк, если боитесь?» — спрашиваю я. Она смеется резким смехом. Она все еще боится и к тому же очень устала. Я провожу лодку между порогами озера Беннет. Вода очень опасная, и женщина кричит от страха. Мы спускаемся по озеру Беннет. Ветер сильный — совсем буря. Много снега и льда. Но женщина очень устала, она засыпает.

В эту ночь мы разбиваем стоянку у Мыса Ветров. Женщина сидит у огня и ужинает. Я смотрю на нее. Она красива. Она причесывается. У нее много волос коричневого цвета; иногда они делаются золотыми, как огонь костра. Когда она поворачивает голову, они вспыхивают, как пламя. Глаза ее большие и карие, иногда темные, как свеча за занавеской, иногда твердые и блестящие, как расколотый лед, освещаемый солнцем. Когда она смеется — как бы мне это сказать, — я знаю, что в такой момент белому человеку, наверное, хочется ее поцеловать. Она никогда не делает черной работы. Ее руки мягки, как руки ребенка. Она вся мягкая, как маленький ребенок. Она не худая — она круглая, как ребенок; ее руки, ноги, мускулы круглы и мягки, как у ребенка. Ее талия тонкая, и когда она стоит, когда она ходит, — я не знаю, как это выразить, — на нее приятно смот-

реть. Я сказал бы, что она построена правильно, как хорошая лодка. Именно так. Когда она двигается — как будто хорошая лодка скользит по спокойной воде или прыгает по сердитым волнам с белыми хлопьями. Приятно на нее смотреть.

Почему она одна в Клондайке — одна, с такими большими деньгами? Я не знаю. На следующий день я спрашиваю ее. Она смеется и говорит: «Ситка Чарлей, это не твое дело. Я даю тебе тысячу долларов, чтобы привезти меня в Даусон. Это все, что тебя касается». День спустя я спрашиваю, как ее зовут. Она смеется: «Мое имя — Мэри Джонс». Я не знаю ее имени, но я хорошо знаю, что ее имя не Мэри Джонс.

Очень холодно в лодке, и она плохо себя чувствует из-за холода. Иногда ей хорошо, и она поет. Ее голос, как серебряный колокольчик, и я чувствую себя добрым, совсем таким, как тогда, когда иду в церковь в миссии Святого Креста. Когда она поет, я чувствую себя сильным и гребу, как дьявол. Затем она смеется и спрашивает: «Чарлей, думаешь ли ты, что мы доедем до Даусона раньше, чем вода станет?» Иногда она сидит в лодке и думает о чем-то далеком и ее глаза становятся пустыми. Она не видит ни Ситки Чарлея, ни льда, ни снега. Она — далеко. Она очень часто

так задумывается. Иногда, когда она так думает, ее лицо делается нехорошим. Оно похоже на сердитое лицо, на лицо человека, когда он хочет убить другого.

Последний день до Даусона был очень труден. Уже на реке появился лед с берега. Я не мог грести. Лодка примерзла ко льду. Нельзя было выйти на берег. Было очень опасно. Мы все время шли вниз по Юкону среди льдов. Ночью был большой шум ото льда. Затем лед остановился, лодка остановилась, все остановилось. «Сойдем на берег», — говорит женщина. Но я говорю: «Лучше подождать». Скоро все опять понеслось вниз по течению. Много снега. Я не вижу. В одиннадцать часов ночи опять все стало. В час ночи снова все понеслось. В три часа снова все стало. Лодку выбрасывает словно скорлупу, но под ней лед, и она не тонет. Я слышу вой собак. Мы ждем. Мы спим. Мало-помалу наступает утро. Нет больше снега. Все стало, но мы в Даусоне. Лодка остановилась как раз в Даусоне. Ситка Чарлей приехал с двумя тысячами писем, больше никто приехать не мог. Река стала.

Женщина наняла хижину на горе, и целую неделю я ее не видал. Затем, однажды, она приходит ко мне. «Чарлей, — говорит она. — Хочешь

для меня поработать? Ты будешь вести собак, устраивать стоянки, ездить со мной». Я отвечаю, что зарабатываю довольно, перевозя письма. Она говорит: «Чарлей, я дам тебе больше денег». Я объясняю ей, что на приисках чернорабочий получает пятнадцать долларов в день. Она говорит: «Это четыреста пятьдесят в месяц». А я говорю: «Ситка Чарлей — не чернорабочий». Тогда она говорит: «Я понимаю, Чарлей. Я дам тебе семьсот пятьдесят долларов в месяц». Это хорошая цена, и я соглашаюсь для нее работать. Я покупаю для нее собак и сани. Мы едем вверх по Клондайку, по Бонанце и Эльдорадо; переходим к Индейской реке, к Серной Бухте, в Доминиону; возвращаемся к Золотому Дну и к Золотому Изобилию, и затем назад, в Даусон. Все время она что-то ищет, а я не знаю, чего. «Что вы ищете? — спрашиваю я. Она смеется. — Вы ищете золото?» — спрашиваю я. Она смеется и говорит: «Это не твое дело, Чарлей!» После этого я никогда больше не спрашиваю.

Она носит у пояса маленький револьвер. Иногда в пути она учится стрелять. Я смеюсь. «Почему вы смеетесь, Чарлей?» — спрашивает она. «Для чего вы играете с этим, — говорю я, — ведь это детская игрушка». Когда мы возвращаемся в Даусон, она просит меня купить ей хороший револьвер.

Я покупаю «Кольт-44». Он очень тяжелый, но она все время носит его у пояса.

В Даусоне появляется мужчина. Откуда он пришел, я не знаю. Только я знаю, что он — чеча-квас, то, что мы называем неженка. Его руки мягки так же, как ее. Он никогда не выполняет тяжелой работы. Он весь мягкий. Сперва думаю — это ее муж. Но он слишком молод. И на ночь они ставят две кровати. Ему, быть может, двадцать лет. У него глаза голубые, светлые волосы и маленькие белокурые усы. Его зовут Джон Джонс. Может быть, он — ее брат. Я не знаю. Я больше не спрашиваю, только мне кажется, что его имя не Джон Джонс. Некоторые люди называют его мистер Гирван. Я не думаю, чтобы это было его имя. Я не думаю, что ее имя — мисс Гирван, как называют ее некоторые. Я думаю — никто не знает их имен.

Раз, ночью, я сплю в Даусоне. Он будит меня. Он говорит: «Приготовьте собак. Мы отправляемся». Я не спрашиваю ни о чем, впрягаю собак, и мы едем. Мы едем вниз по Юкону. Ноябрьская ночь. Очень холодно — шестьдесят пять градусов ниже нуля. Они — неженки. Мороз кусает. Они устают. Они тихо плачут.

Я предлагаю остановиться и устроить ночлег.

Но они говорят, что поедут дальше. И после этого я три раза советую разбить лагерь и отдохнуть, но они каждый раз отвечают, что едут дальше. Тогда я молчу.

И вот изо дня в день повторяется то же самое. Они оба — неженки. Они коченеют, и им делается больно. Они не понимают, как надо носить мокасины, и ноги их очень болят. Они хромают. Они шатаются, как пьяные. Они тихо плачут. И все время говорят: «Вперед, вперед! Едем дальше!»

Они как будто сошли с ума. Они все время едут дальше и дальше. Почему? Я не знаю. Только они все едут дальше. Что они ищут? Я не знаю. Они здесь не за золотом. Они не больны золотой горячкой. Кроме того, они тратят очень много денег. Но я больше не спрашиваю. Я тоже еду вперед, потому что я силен и привычен к дороге, и мне хорошо платят.

Мы доезжаем до Серкл-Сити. Там нет того, что они ищут. Я думаю — теперь, может быть, мы отдохнем и дадим передохнуть собакам. Но мы не останавливаемся ни на один день. «Едем, — говорит женщина мужчине, — едем дальше». И мы едем дальше. Мы оставляем Юкон. Мы переезжаем водораздел налево и поворачиваем в страну Тана-Нау. Там новые прииски. Но того, что мы

ищем, там нет, и мы возвращаемся в Серкл-Сити.

Путь очень трудный. Декабрь уже кончается, и дни коротки. Холодно, очень холодно. Раз утром термометр показывает семьдесят ниже нуля. «Лучше сегодня не ехать, — говорю я. — Мороз прихватит края наших легких. Мы будем сильно кашлять и будущей весной можем заболеть воспалением легких». Но они — че-ча-квасы. Они не понимают трудностей пути. Они — словно мертвые от усталости, но говорят: «Едем дальше». Мы едем дальше. Мороз кусает их легкие, и они начинают сухо кашлять. Они плачут, и слезы сбегают по их щекам. Когда жарится сало, они должны убегать от огня и полчаса кашлять. Они слегка отмораживают себе щеки, кожа их становится черной и очень болезненной. Мужчина отмораживает себе большой палец так, что кончик едва не отваливается; он должен надеть толстые варежки, чтобы отогреть руку. Когда мороз сильно щиплет и пальцу очень холодно, он снимает варежку и кладет руку между ногами, вплотную к телу, чтобы согреть палец.

Мы насилу добираемся до Серкл-Сити, и даже я, Ситка Чарлей, утомлен. Это — канун Рождества. Я танцую, пью, веселюсь. Завтра — Рождество, и мы отдохнем. Но не тут-то было. Пять часов

утра в день Рождества. Я спал два часа. Мужчина стоит у моей постели. «Идем, Чарлей, — говорит он, — запрягай собак. Мы едем!»

Кажется, я говорил, что уже перестал задавать вопросы. Они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. Они — мои хозяева. Если они скажут мне: «Идем, Чарлей, поедем в ад», — я запрягу собак, щелкну бичом и поеду в ад. Итак, я запрягаю собак, и мы отправляемся вниз по Юкону. Куда мы едем? Они не говорят. Они только говорят: «Дальше! Дальше!..»

Они очень устали. Они проехали сотни миль и совершенно не понимают, как на Севере ездят. К тому же их кашель очень усилился. Этот сухой кашель заставляет сильных мужчин ругаться, а слабых — плакать. Но они едут дальше. Они никогда не дают собакам отдохнуть. Всюду они покупают новых собак. В каждом лагере, на каждой почтовой станции, в каждой индейской деревне они отпускают усталых собак и впрягают свежих. У них много денег, и они тратят их без конца. Они — сумасшедшие? Иногда я так думаю, ибо в них сидит дьявол, который гонит их вперед. Что они стараются найти? Это не золото. Они никогда не копаются в земле. Я долго думаю. И наконец я прихожу к убеждению, что они ищут

человека. Но какого человека? Мы его не видим. Они вроде волков, идущих по следу, чтобы убить. Но они странные волки — слабые волки, волчата, не понимающие, как надо идти по следу. Ночью, во сне, они громко плачут, стонут и жалуются на боль и усталость. А днем они шатаясь идут по тропе и тихо плачут. Они — странные волки.

Мы проезжаем форт Юкон. Мы переезжаем форт Гамильтон. Мы проезжаем Минук. Январь на исходе. Дни очень коротки. В девять часов светает. В три часа темнеет. Очень холодно. И даже я, Ситка Чарлей, утомлен. Неужели они будут так ездить без конца? Я не знаю. И всегда я ищу на тропе то, что они стараются найти. Мало людей на тропе. Иногда мы едем целых сто миль и не встречаем следа жилья. Тишина. Ни одного звука. Иногда идет снег, и мы подобны блуждающим призракам. А иногда ясно, и в полдень солнце на мгновение выглядывает из-за южных холмов. Северное сияние вспыхивает на небе. Солнце, окруженное ложными солнцами. Воздух полон морозной пыли.

Я, Ситка Чарлей, — сильный человек. Я вырос на тропе и провел на ней всю мою жизнь. И все же эти волчата меня утомили. Я худ, как голодная кошка. С радостью ложусь я в постель, а утром

встаю усталый. И все-таки мы всегда выступаем еще задолго до рассвета, и сумерки застают нас всегда в пути.

Что за волчата! Если я худ, как голодная кошка, то они худы как кошки, которые никогда не ели и уже подохли. Их глаза глубоко ушли в глазные впадины. Они блестят иногда лихорадочным огнем, а иногда они мутны и туманны, как глаза мертвеца. Их щеки провалились, словно пещеры в скалах. И кожа на щеках почернела и отморожена. Иногда женщина по утрам шепчет: «Я не могу встать, я не могу двинуться. Дай мне умереть!» Мужчина же стоит рядом с ней и говорит: «Едем дальше!» И они едут дальше. А иногда мужчина не может встать, и женщина говорит: «Едем дальше!» И всегда они отправляются дальше. Вперед и вперед.

На некоторых торговых станциях мужчина и женщина получали письма. Я не знаю, что было в этих письмах. Но это был след, по которому они шли, — эти письма. Раз индеец дал им письмо. Я поговорил с ним незаметно. Он рассказал мне, что получил письмо от человека с одним глазом, который быстро едет вниз по Юкону. Вот и все. Но я узнал, что волчата идут за одноглазым человеком.

Наступил февраль. Мы прошли тысячу пятьсот миль и приближаемся к Берингову морю. Метель. Путь очень труден. Мы прибываем в Анвиг. Я не видел, но убежден, что они получили письмо в Анвиге, потому что очень возбуждены. Они говорят: «Скорей, скорей… едем дальше!» Я отвечаю, что надо купить провизию. Но они хотят ехать быстро и налегке. Они говорят, что мы найдем провиант в хижине Чарли Мак-Кеона. Из этого я узнаю, что они хотят идти широкой боковой тропой, потому что Чарли Мак-Кеон живет у Черной Скалы на этой тропе.

Раньше чем отправиться, я говорю две минуты с анвигским священником. Да, мимо проехал человек с одним глазом, и двигается он очень быстро. И я знаю, что они ищут одноглазого человека. Мы выезжаем из Анвига с маленьким запасом провианта, едем быстро и налегке. Мужчина и женщина словно сошли с ума. По утрам мы выступаем еще раньше, а вечером едем еще дольше. Я иногда ожидаю, что эти два волчонка умрут, но они не умирают. Они едут все дальше и дальше. Когда сухой кашель начинает их душить, они прижимают руки к животу и, сидя в снегу, кашляют, кашляют, кашляют. Они не могут ходить, не могут говорить. Десять минут, а не то так

и целые полчаса они кашляют, затем выпрямляются, с замерзшими от кашля слезами на лицах, и говорят все те же слова: «Едем дальше!»

Даже я, Ситка Чарлей, сильно устал и думаю, что семьсот пятьдесят долларов — очень дешевая плата за такую работу. Мы сворачиваем на боковую тропу, эта тропа не убита. Волчата держат нос по следу и говорят: «Спешим! — все время они говорят: — Спешим! Скорее, скорее!» Собакам тяжело. У нас мало еды; мы не можем их хорошо кормить, и они слабеют. Несмотря на это, они должны везти без передышки. Женщина их жалеет, и часто из-за них слезы навертываются у нее на глазах. Но дьявол сидит в ней и не позволяет ей остановиться и дать отдохнуть собакам.

Скоро мы настигаем человека с одним глазом. Он лежит со сломанной ногой на снегу около тропы. Из-за ноги он не мог разбить настоящей стоянки и три дня лежал на снегу, поддерживая огонь. Когда мы находим его, он ругается. Ругается, как черт. Никогда не слышал я такой ругани. Я рад. Теперь, думаю я, они нашли то, что искали, и мы отдохнем. Но женщина опять говорит: «Едем! Скорее!»

Я удивлен. Но одноглазый человек говорит: «Не обращайте на меня внимания. Дайте мне

вашу провизию. Вы найдете завтра еду в хижине Мак-Кеона. Пошлите Мак-Кеона за мной. Но поезжайте дальше». Вот еще один волк — старый волк, — и он тоже думает только об одном — ехать дальше, все дальше. И мы даем ему нашу провизию, которой остается у нас немного, рубим дрова для костра, берем самых сильных собак и едем. Мы оставляем одноглазого человека лежать, и он умер там на снегу, так как Мак-Кеон за ним не пришел. Я не знаю, кто был этот человек и почему он там очутился. Но я думаю, что мужчина и женщина ему, как и мне, хорошо заплатили, чтобы он для них работал.

В этот день и ночь у нас не было никакой пищи. Весь следующий день мы ехали очень быстро и ослабели от голода. Скоро мы подошли к Черной Скале, которая возвышается на пятьсот футов над тропой. День кончался. Уже сгущалась темнота, и мы не могли найти хижину Мак-Кеона. Мы спали голодные и утром приступили к поискам хижины. Ее там не оказалось, и это было очень странно, так как все знали, что Мак-Кеон живет в хижине у Черной Скалы. Мы были недалеко от морского берега, где ветер дует очень сильно и падает много снега. Всюду были снежные холмы: снег был нанесен ветром. У меня возникла одна

мысль, и я стал разрывать эти холмы. Скоро я нашел стены хижины и открыл дверь. Я вошел и увидел, что Мак-Кеон мертв. Быть может, он умер две или три недели тому назад. Он заболел и не мог оставить хижину. Ветер завалил ее снегом. Чарли съел весь свой провиант и умер. Я искал в его кладовой и еды не нашел.

«Едем дальше!» — воскликнула женщина. Глаза у нее были голодные, и рукой она держалась за сердце, как будто внутри у нее что-то болело. Стоя там, она качалась взад и вперед, как дерево на ветру. «Да, едем дальше», — сказал мужчина. Его голос звучал глухо, как карканье старого ворона, и он, казалось, сошел с ума от голода. Его глаза были, как огненные угли, и тело его раскачивалось из стороны в сторону. Казалось, что и душа его тоже мечется. Я тоже сказал: «Едем дальше». Ибо эти слова, которые хлестали меня тысячу пятьсот миль, въелись, наконец, мне в душу. И я думаю, что я также сошел с ума. К тому же нам оставалось только продвигаться дальше, ведь у нас не было пищи. И мы отправились, не задумываясь о судьбе человека с одним глазом.

По этой боковой тропе мало ездят. Иногда, в течение двух или трех месяцев никто не пройдет по ней. Вся тропа была завалена снегом, и казалось,

что этой дорогой никогда не шли. Целый день дул ветер и падал снег, и целый день мы ехали, пока наши желудки не стали ныть от голода и мы совсем не ослабели. Наконец, женщина начала спотыкаться и падать. Затем и мужчина. Я не падал, но мои ноги отяжелели, и я много раз спотыкался.

Это была последняя ночь февраля. Я убил трех белых птармиганов из револьвера женщины, и мы снова несколько окрепли. Но собаки не были накормлены. Они пытались съесть свою упряжь из оленьей и моржовой кожи, и я должен был отогнать их палкой и повесить упряжь на дерево. Всю ночь они выли и дрались вокруг дерева. Но мы не обращали на это внимания. Мы спали как убитые и утром встали, как мертвые встают из могилы, и пошли по тропе.

В это первое мартовское утро я увидел наконец признаки того, за чем охотились волчата. Была ясная и холодная погода. Солнце дольше оставалось на небе, а ложные солнца сияли по обеим его сторонам. Воздух блестел морозной пылью. Снег перестал падать на тропу, и я увидел свежие следы собак и саней. В санях едет, по-видимому, один человек, и видно, что он слаб. Он тоже не имел достаточно пищи. И волчата замечают

свежий след. Они очень возбуждены. «Спешим! — говорят они и все повторяют: — Спешим! Скорее! Чарлей, скорее!»

Но спешить мы не можем. Мужчина и женщина все время спотыкаются и падают. Когда они пытаются ехать на санях, собаки тоже падают — они слишком слабы. К тому же так холодно, что если волчата сядут на сани, то непременно замерзнут. Очень легко замерзнуть голодному человеку. Когда женщина падает, мужчина помогает ей встать. А иногда женщина поднимает мужчину. Но скоро, падая, они оба не могут встать, и я должен помогать им. Иначе они не встанут и умрут на снегу. Это трудная работа, и я очень устаю. Они совсем выбились из сил и очень тяжелы. К тому же я должен управлять собаками. Наконец, я тоже валюсь в снег, и некому помочь мне встать. Но я встаю сам, помогаю им и понукаю собак двинуться вперед.

В эту ночь я застрелил только одного птармигана, и мы очень голодны. И в эту же ночь мужчина говорит мне: «В котором часу мы завтра отправляемся, Чарлей?» Его голос звучит как голос привидения. Я отвечаю: «Мы все равно отправляемся в пять часов. — Смеюсь и говорю с горечью: — Ведь вы — уже мертвый человек». Но он шеп-

чет: «Завтра мы отправляемся в три часа».

И мы в самом деле пускаемся в путь в три часа, так как я их слуга и исполняю их приказания. Ясно и холодно, нет ветра. Когда светает, мы видим далеко вперед. Очень тихо. Мы ничего не слышим, кроме биения наших сердец. В этой тишине их хорошо слышно. Мы — словно лунатики, бродящие во сне. Мы блуждаем во сне, пока не падаем. Тогда мы знаем, что должны встать, и снова видим тропу и слышим стук своего сердца. Иногда, идя вот так, я вижу странные сны, мне приходят на ум странные мысли. Зачем живет Ситка Чарлей, спрашиваю я себя. Зачем Ситка Чарлей так работает, голодает, мучится? Потому что получает семьсот пятьдесят долларов в месяц — ведь это глупый ответ. И однако — это ответ. Потом я никогда в своей жизни не обращал внимания на деньги. Потому что с этого дня в меня вошла большая мудрость. Словно яркий свет осенил меня, и я ясно увидел, что человек живет не ради денег, но ради счастья, которое не может быть ни подарено, ни куплено, ни продано и стоит дороже золота всего мира.

Утром мы приходим к месту ночной стоянки человека, который едет впереди нас. Вид брошенной стоянки говорит о том, что человек страдает

от голода и слабости. На снегу разбросаны куски одеял и парусины, и я понимаю, что произошло. Его собаки съели свою упряжь, и он сделал новую упряжь из своих одеял. Мужчина и женщина смотрят пристально на эти следы, и я чувствую, глядя на них, что мороз пробирает меня по коже. Их глаза горят нездоровым блеском от утомления и голода. Их лица похожи на лица людей, умерших от голода, а их отмороженные щеки чернеют. «Идем вперед», — говорит мужчина. Но женщина кашляет и падает на снег. Это сухой кашель от мороза, захватившего легкие. Она кашляет долго. Затем, словно выползая из могилы, она с трудом встает на ноги. Слезы замерзли на ее щеках, и она дышит тяжело, со свистом, но говорит: «Идем вперед!»

Мы отправляемся дальше. Мы идем как во сне в этой тишине и не испытываем страданий. Падая, мы как будто пробуждаемся и видим снег и горы и свежий след человека, едущего впереди. И тогда мы снова начинаем страдать. Мы приходим к месту, где перед нами расстилается широкое открытое пространство, и на снегу, впереди, мы видим того, кого ищем. На расстоянии мили от нас по снегу двигаются черные точки. Мои глаза мутны, и я собираюсь с силами, чтобы

рассмотреть. Я вижу одного человека с собаками и санями. Волчата также видят. Они уже не могут говорить и только шепчут: «Вперед, вперед, скорее!»

Они падают, но встают и идут дальше. У человека, едущего впереди, часто рвется упряжь из одеял, и он вынужден останавливаться и чинить ее. Наша упряжь в порядке, так как я вешал ее на деревья каждую ночь. В одиннадцать часов человек находится за четверть мили от нас. Он очень слаб. Мы видим, что он часто падает в снег. Одна из его собак не может идти дальше. Он перерезает упряжь, чтобы освободить ее. Но он не убивает собаки. Когда мы проходим мимо лежащей собаки, я убиваю ее топором; убиваю я также и одну из своих собак, упавших и не способных идти дальше.

Теперь нас разделяет триста ярдов. Мы двигаемся очень медленно. Может быть, со скоростью одной мили в два или три часа. Мы не идем. Мы все время валимся с ног. Мы встаем и делаем шатаясь два или три шага и затем снова падаем. Все время я должен помогать мужчине и женщине. Иногда они поднимаются на колени и падают лицом вниз, несколько раз, раньше чем могут встать на ноги, сделать еще несколько шагов

и снова упасть. Но, стоя на ногах или на коленях, они всегда валятся вперед и таким образом продвигаются по следу дальше на длину их собственного тела.

Иногда они ползут на руках и ногах, как звери. Мы подвигаемся со скоростью улиток, со скоростью умирающих улиток. И все же мы идем быстрее, чем человек, который впереди нас. Он тоже все время падает, и у него нет Ситки Чарлея, чтобы помочь ему встать. Теперь он всего в двухстах ярдах от нас. Наконец, между нами только сто ярдов.

Это — забавное зрелище. Мне хочется громко смеяться, так это забавно. Это — шествие смерти. Гонки мертвых людей и мертвых собак. Это похоже на ночной кошмар, когда стараешься бежать изо всех сил, спасая жизнь, а передвигаешься очень медленно. Мой спутник сошел с ума. Моя спутница сошла с ума. Я сошел с ума. Весь мир сошел с ума, и мне хочется смеяться, так это забавно.

Незнакомец оставляет своих собак и идет один по снегу. Спустя немного мы подходим к его собакам. Они впряжены в сани, и в упряжи из одеял лежат, бессильные, на снегу. Когда мы проходим мимо, они скулят, как голодные дети.

Тогда мы тоже оставляем собак и идем одни по снегу. Мужчина и женщина почти мертвы. Они стонут и плачут, но идут вперед. Я тоже иду вперед. У меня только одна мысль — настигнуть незнакомца. Тогда и только тогда я смогу отдохнуть, и мне кажется, что я лягу и засну и буду спать тысячу лет — так я устал.

Незнакомец в пятидесяти ярдах — один на белом снегу. Он падает и ползет, встает, шатается и снова падает и ползет. Он похож на тяжело раненного зверя, пытающегося убежать от охотника. Теперь он ползет на руках и на коленях. Он больше не встает. Но мужчина и женщина также уже не могут встать. Они тоже ползут за ним на руках и коленях. Но я встаю. Иногда я падаю, но всегда снова поднимаюсь на ноги.

Это — странная картина. Тишина и снег, и по снегу ползут мужчина и женщина, а впереди незнакомец. Около солнца, по одному с каждой стороны, — ложные солнца. На небе, таким образом, три солнца. Морозная пыль похожа на алмазную, и воздух наполнен ею. Женщина кашляет и лежит на снегу, пока припадок проходит. Мужчина смотрит прямо перед собой и должен тереть свои помутневшие глаза, чтобы увидеть незнакомца. Незнакомец смотрит назад через

плечо. А Ситка Чарлей то стоит на ногах, то падает и снова встает.

Но вот через большой промежуток времени видно, что незнакомец перестал ползти. Он медленно становится на ноги, качаясь взад и вперед. Он снимает одну перчатку и ждет с револьвером в руке, сильно раскачиваясь. Лицо его — только кожа и кости и черное от мороза. Это — лицо голодающего. Глаза глубоко впали, а губы приоткрылись — он что-то злобно рычит. Мужчина и женщина также встают на ноги и медленно подвигаются к нему. Вокруг снег и тишина. На небе три солнца, и морозный воздух сверкает алмазной пылью.

Тут увидел я, как волчата настигли свою добычу.

Никто не говорит ни слова. Только незнакомец издает злобное рычание. Он качается взад и вперед, со сгорбленными плечами и согнутыми коленями, широко расставив ноги, чтобы не упасть. Мужчина и женщина останавливаются в пятидесяти шагах от него. Они тоже качаются, и ноги их широко расставлены, чтобы не упасть. Незнакомец очень слаб. Его рука трясется в то время, как он стреляет в мужчину. Пуля попадает в снег. Мужчина не может снять варежку.

Незнакомец снова в него стреляет. Мимо. Тогда мужчина зубами стаскивает варежку. Но его рука замерзла, и он не может держать револьвер, который падает в снег. Я смотрю на женщину. Она сняла варежку. В ее руке большой револьвер Кольта. Она стреляет три раза — раз за разом. Незнакомец все еще издает какие-то звуки, падая лицом вниз — в снег.

Они не смотрят на убитого. «Идем дальше», — говорят они. И мы идем вперед. Но теперь, когда они нашли то, что искали, они — как мертвые. Последние силы их оставили. Они больше не могут стоять на ногах. Они не хотят ползти, они хотят спать. Вблизи я вижу место, пригодное для стоянки. Я ударяю их ногой. Я беру собачий бич и бью их. Они громко кричат, но вынуждены ползти. Так доползают они до лагерного места. Я развожу костер, чтобы они не замерзли. Затем возвращаюсь к саням. Я убиваю собак незнакомца, чтобы было, что есть. Я заворачиваю мужчину и женщину в одеяла, и они спят. Иногда я бужу их и даю им немного поесть. Они дремлют, но принимают пищу. Женщина спит тридцать шесть часов. Затем просыпается и снова засыпает. Мужчина спит два дня, просыпается и снова засыпает. Потом мы спускаемся вместе к побережью. И

когда лед уходит из Берингова моря, мужчина и женщина уезжают на пароходе. Но сперва они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. И дают мне еще подарок — тысячу долларов. Это было в том самом году, когда Ситка Чарлей дал много денег в миссию Святого Креста.

— Но почему они убили этого человека? — спросил я.

Ситка Чарлей медлил ответом, пока не зажег своей трубки. Он взглянул на иллюстрацию «Полицейской Газеты» и кивком головы указал на нее. Затем сказал медленно и вразумительно:

— Я много об этом думал. Я не знаю. Я знаю только, что это случилось. Я помню эту картину. Как будто мы смотрим в окно и видим человека, пишущего письмо. Они вошли в мою жизнь и ушли из моей жизни. Картина эта, как я сказал, не имеет начала. А конец непонятен.

— Ты нарисовал в этом рассказе много картин, — сказал я.

— Да, — кивнул он головой, — но они были без начала и без конца.

— Последняя картина имела конец.

— Да, — ответил он, — но какой конец?

— Это был кусок жизни.

— Да, — согласился он, — это был кусок жизни.

Трус Негор

Одиннадцать дней он шел по следу своего племени. Все племя — мужчины, женщины и дети — убегало от преследования. Спасался бегством и он сам. Он знал, что за ним идут эти ужасные русские. Через болота и крутые овраги двигались они вперед, и целью их было полное уничтожение всего его народа. Он шел налегке. Вся его поклажа состояла из заячьей шубы, ружья центрального боя и нескольких фунтов сушеного лосося. Несмотря на это, он с трудом нагонял свое племя. И это не удивляло его, так как он знал, что страх, внушаемый русскими, способен гнать вперед с неимоверной быстротой целый народ.

Было это в прежние времена, в половине XIX века, когда русские владели Аляской. Наконец, летней ночью Негор настиг беглецов у истока Пилата. В полночь — было светло как днем — он проходил через усталый лагерь. Многие видели его, все знали, но почти никто его не приветствовал.

— Трус Негор, — услышал он слова Иллихи, молодой женщины. Она засмеялась, и вместе с нею смеялась Сон-Ни, дочь его сестры.

Прилив гнева охватил его. Но он не подал виду. Он пробирался между лагерными кострами, пока не дошел до огня, возле которого сидел старик. Молодая женщина умело массировала утомленные мускулы его ног.

Старик поднял свое слепое лицо и внимательно прислушался к шагам Негора, ступающего по сухим веткам.

— Кто идет? — заскрипел его старческий голос.

— Негор, — ответила молодая женщина, не отрываясь от работы.

Лицо Негора было бесстрастно. В течение нескольких минут он стоял и ждал. Старик склонил голову на грудь. Молодая женщина, стоя на коленях, с головой, спрятанной в облаке густых черных волос, продолжала массировать его усталые мускулы. Негор смотрел на ее стройное тело, сгибающееся у талии подобно телу рыси. Она была похожа на тонкий ствол березы, но вместе с тем в ней чувствовалась вся сила молодости. Он смотрел, и весь был охвачен глубокой тоской по ней, почти подобной физическому голоду. Наконец он спросил:

— Разве нет приветливого слова для Негора, который так долго отсутствовал и теперь только вернулся?

Она посмотрела на него холодно. Старик засмеялся.

— Ты моя жена, Уна, — сказал Негор твердо и с тенью угрозы.

Она встала внезапно и мягко — по-кошачьи — выпрямилась. Ее глаза сверкали, ее ноздри трепетали, как у оленя.

— Я должна была быть твоей женой, Негор. Но ты — трус. Дочь Старого Кинуза не может быть женой труса.

Он пытался говорить, но она заставила его замолчать властным жестом.

— Старый Кинуз и я пришли к вам из далекой страны. Ваше племя приняло нас к своим кострам и согрело, не спрашивая, откуда мы и почему странствуем. Они думали, что Старый Кинуз потерял зрение от старости. И ни Старый Кинуз, ни я этого не опровергали. Старый Кинуз был храбрый человек, но он не хвастун. Теперь, когда ты узнаешь, как он ослеп, ты поймешь, что дочь Кинуза не может быть матерью детей такого труса, как ты, Негор.

Она снова не дала ему заговорить.

— Знай, Негор, если сложить все твои переходы в здешней стране, и то ты не дошел бы до Ситки на Великом Соленом озере. Там много русских

людей, и закон их суров. Из этой Ситки бежал Старый Кинуз, который в те дни был молодым Кинузом. Он бежал со мной — маленьким ребенком на руках, вдоль островов, находящихся посреди моря. Моя убитая мать могла бы рассказать об его обиде. Убитый русский, с копьем, пронзившим ему грудь и спину, мог бы рассказать об исполненной мести Кинуза.

Но всюду, куда мы бежали и как бы далеко мы ни уходили, везде мы находили ненавистных русских. Кинуз не боялся их, но видеть не мог. Поэтому мы бежали все дальше и дальше, через озера и реки, пока не пришли к Великому Туманному морю, о котором ты слышал, но которого ты никогда не видел. Мы жили среди разных племен, и я выросла и стала женщиной. Но Кинуз, сделавшись стар, не взял себе другой женщины, и я не взяла себе мужа. Наконец мы пришли в Пэстилик, туда, где Юкон вливается в Великое Туманное море. Здесь мы долго жили на краю моря среди народа, ненавидевшего русских. Но иногда они приходили, эти русские, на больших кораблях и заставляли жителей Пэстилика показывать им дорогу между бесчисленными островами у устья Юкона. И иногда люди, которых они брали с собой, чтобы показать им дорогу, не возвращались.

Наконец народ этого не мог выносить больше и задумал великое дело.

И когда пришел корабль, Старый Кинуз выступил и сказал, что покажет русским путь. Он был тогда уже стариком, и волосы его были седы. Но он был бесстрашен. И он был хитер, ибо повел корабль туда, где море стремится к берегу и где волны бьют белой пеной о гору, называемую Романовой. Море унесло корабль туда, где волны бьют о берег; он был выброшен на берег и разбился о скалы. Тогда пришли люди из Пэстилика (ибо в этом заключался их замысел) с копьями, стрелами и немногими ружьями. Но перед этим русские выкололи глаза Старому Кинузу, чтобы он никогда больше не мог указывать дорогу. И затем началось сражение там, где волны бьют о берег, с людьми из Пэстилика.

Во главе этих русских был Иван. Он сам, своими двумя большими пальцами, выдавил глаза Старого Кинуза. Затем с двумя людьми, оставшимися из всего его отряда, он пробился сквозь ряды противника, прошел через бурные воды и ушел вдоль берега Великого Туманного моря к северу. Кинуз не мог больше видеть и был беспомощен, как ребенок. Он бежал от моря вверх по великому неведомому Юкону до Нулато. И я бежала с ним.

Так поступил старик, мой отец. Но что сделал юноша Негор?

Снова она жестом заставила его молчать.

— Своими собственными глазами я видела в Нулато, перед воротами большой крепости всего несколько дней назад я видела, как тот самый русский Иван, который ослепил моего отца, ударил тебя собачьим кнутом и избил, как собаку. Я видела это и узнала, что ты — трус. Но я тебя не видела в ту ночь, когда все твое племя — да, даже мальчики, не способные к охоте, — напало на русских и всех их перебило.

— Только не Ивана, — сказал спокойно Негор. — И сейчас он гонится за нами и с ним много русских из-за моря.

Уна не пыталась скрыть своего удивления и сожаления, что Иван не убит. Но она продолжала:

— Днем я увидела, что ты трус; ночью, когда все мужчины и даже мальчики сражались, я тебя не видела и вторично убедилась в том, что ты трус.

— Ты закончила? Все сказала? — спросил Негор.

Она кивнула головой и посмотрела на него — как это он может что-нибудь вообще сказать.

— Знай же, что Негор — не трус, — так начал он спокойно и небрежно. — Знай, что когда я

был еще мальчиком, я ходил один к месту, где Юкон вливается в Великое Туманное море. Я доходил до Пэстилика и даже дальше, вдоль края моря. Я сделал это, когда я был мальчиком, и это доказывает, что я не был трусом. И я не был также трусом, когда ходил молодым, совсем один, вдоль Юкона, дальше, чем кто-либо когда-нибудь заходил, — так далеко, что я пришел к другому народу, с белыми лицами, но говорящему на другом, чем русские, языке. Я убил также большого, очень большого медведя в стране Тана-Нау, куда не заходил никто из моего народа. И я сражался с нуклукиетами и калтагами и стиксами в далеких местностях и все один. Об этих делах, о которых ни один человек не знает, я сам рассказываю. Пусть мои соплеменники расскажут о том, что я сделал и что им известно. Они не скажут, что Негор — трус.

Он с гордостью кончил и ждал ответа.

— Это случилось до моего прихода в эту страну, — сказала она, — и я ничего об этих делах не знаю. Я знаю только то, что видела, а я видела, как тебя избивали. Ночью же, когда великая крепость горела и люди убивали и сами умирали, я тебя не видела среди них. И люди твои теперь называют тебя Негор-трус. Это теперь твое имя

— Негор-трус.

— Это нехорошее имя, — проскрипел старик.

— Ты не понимаешь, Кинуз, — Негор говорил незлобиво, — но я объясню тебе. Знай же, что я был на охоте за медведем с Камо-Та, сыном моей матери. И Камо-Та боролся с большим медведем. Мы не имели мяса в течение трех дней, и Камо-Та был недостаточно силен и ловок. Большой медведь сдавил его так, что кости его хрустели, как сухие палки. Я нашел его, больного и стонущего, на земле. И не было мяса, и я не мог ничего убить, что он мог бы есть.

Тогда я сказал: «Я пойду в Нулато и принесу тебе пищу, а также приведу сильных людей, чтобы отнести тебя в стоянку». Но Камо-Та попросил: «Иди в Нулато и принеси пищу, но не говори ни слова о том, что со мной случилось. Когда я поем и буду снова здоров и силен, я убью этого медведя. Тогда я вернусь с честью в Нулато, и никто не будет смеяться и не скажет, что Камо-Та был побежден медведем». Я послушался моего брата и когда вернулся и русский, по имени Иван, ударял меня кнутом, я знал, что не могу сопротивляться. Ибо никто не знал про Камо-Та, больного, стонущего и голодного. Если бы я дрался с Иваном и умер бы, мой брат тоже бы умер. Поэтому-то,

Уна, ты и видела, что меня били, как собаку. В это время я слышал разговор шаманов и вождей о том, что русские разнесли среди наших людей неведомую болезнь, что они убили многих из нас и похитили наших женщин. Говорили, что земля должна быть очищена от этих пришельцев. Я слышал этот разговор и знал, что это добрые речи и что в эту ночь русские должны быть убиты. Но мой брат Камо-Та был болен и не имел пищи. И поэтому я не мог остаться и сражаться вместе с мужчинами и мальчиками, не способными еще к охоте.

Я унес с собой мясо и рыбу и следы от ударов Ивана. Но я увидел, что Камо-Та уже не стонет — он умер. Тогда я вернулся в Нулато, но не было уже Нулато — только пепел чернел, и валялось много трупов в том месте, где стояла великая крепость. И я видел, как русские поднимались вверх по Юкону в лодках. Было много русских, пришедших с моря. И я видел, как Иван выполз из того места, где прятался, и вел с ними разговор. И на следующий день я видел, что Иван ведет их по следу нашего племени. И сейчас они идут по этому следу. Я же здесь, я, Негор. И я — не трус.

— Я слышу этот рассказ, — произнесла Уна, и голос ее звучал мягче, чем прежде. — Но Камо-Та

умер и не может сказать за тебя слова. И я знаю только то, что я видела. Я должна собственными глазами увидеть, что ты не трус.

Негор сделал нетерпеливое движение.

— По-разному можно это сделать, — продолжала она. — Хочешь сделать не менее того, что сделал Старый Кинуз?

Он кивнул головой и ждал.

— Ты сказал, что эти русские и сейчас нас ищут. Негор, покажи им путь так же, как когда-то Старый Кинуз. Пусть придут они, ничего не подозревая, к тому же месту, где мы их будем ждать, — к проходу между скалами. Ты знаешь место, где скалистая стена высока и изломана. Там мы их уничтожим во главе с Иваном. Когда они будут, подобно мухам, цепляться за скалы, наши люди нападут на них с обеих сторон с копьями, стрелами и ружьями. Сверху женщины и дети будут скатывать на них обломки скал. Это будет великий день. Русские погибнут, и страна наша будет очищена. Иван же, тот самый Иван, который ослепил моего отца и избил тебя плетью для собак, будет также убит. Он умрет, как бешеная собака, раздавленный скалами. А когда начнется сражение, ты, Негор, должен тайком уползти, так, чтобы тебя не убили.

— Хорошо, — ответил он. — Негор покажет им дорогу. А потом?

— Тогда я буду твоей женой, Негор, — женой храброго человека. Ты будешь охотиться для меня и Старого Кинуза, и я буду готовить тебе пищу и шить тебе теплое, крепкое платье и сделаю тебе обувь по образцу моего народа — она будет лучше, чем та, которую у вас носят. И я буду с этого дня всегда твоей женой. Я сделаю твою жизнь радостной, так что все твои дни будут полны песнями и смехом, и ты узнаешь, что Уна не похожа на других женщин. Она путешествовала в далеких странах и видела неведомые места, и она стала мудрой — мудрой, как мужчина, такой мудрой, что умеет доставлять им радость. И в старости твоей она будет давать тебе радость. И твои воспоминания о ней, о том, какой была она в дни твоей молодости, будут сладки. Ибо ты будешь знать всегда, что она была для тебя облегчением, миром, отдыхом и была для тебя женой лучшей, чем другие женщины для других мужчин.

— Пусть будет так, — сказал Негор, и страсть по ней съедала его сердце, и объятия его раскрывались для нее — как руки голодного человека тянутся за пищей.

— Только тогда, когда покажешь им дорогу,

Негор… — остановила она его. Но глаза ее были нежны и влажны, и он знал, что она смотрит на него так, как никогда еще женщина на него не смотрела.

— Хорошо, — сказал он и повернулся решительно. — Я пойду сейчас переговорить с вождями. Пусть они знают, что я иду показать дорогу русским.

— О Негор, мой муж! Мой муж! — прошептала она вполголоса, глядя ему вслед. Но она сказала это тихо, — даже Старый Кинуз не услышал, несмотря на то что слух его со времени ослепления стал очень чуток.

Через три дня русские вытащили Негора, как крысу, из ущелья, куда он спрятался. Его привели к Ивану, «Ивану Грозному», как звали его те, кто за ним следовал. Негор был вооружен плохим копьем с костяным наконечником. Он кутался в свой заячий тулуп и дрожал как в лихорадке, несмотря на то что день был жаркий. Он качал головой, показывая, что не понимает слов Ивана, и делал вид, что очень устал и болен и хочет только отдохнуть. Он указывал на свой желудок, объясняя, где у него болит, и продолжал сильно дрожать. Но с Иваном был человек из Пэстилика, говоривший на языке Негора. Они долго тщетно

расспрашивали Негора про его племя, пока, наконец, человек из Пэстилика, по имени Кардук, не сказал:

— Иван приказал, чтобы тебя засекли до смерти, если ты не будешь говорить. И знай, мой незнакомый брат, что слово Ивана — закон. Я — твой друг, а Иван — враг. Ибо я не добровольно покинул свою страну у моря. Но я хочу жить и поэтому подчиняюсь воле моего повелителя. И ты будешь исполнять его приказания, если ты разумен и хочешь жить.

— Незнакомый брат мой, — ответил Негор, — я в самом деле не знаю, куда ушел мой народ, ибо я был болен и мои ноги изменили мне, и я отстал от них.

Негор ждал, пока Кардук говорил с Иваном. Затем он увидел, что лицо русского потемнело, и, по знаку его, двое людей подошли к Негору с двух сторон, щелкая в воздухе тяжелыми плетьми. Тогда он представился сильно испуганным и громко кричал, что он больной человек и ничего не знает, но он скажет то, что знает. И так хорошо он им рассказал, что Иван приказал своим людям двинуться вперед. Рядом же с Негором шли люди с плетьми, чтобы он не мог убежать. И когда он говорил, что ослабел от болезни и отставал от

них, они его секли до тех пор, пока он не кричал от боли и не находил сил идти дальше. Когда же Кардук сказал ему, что все для него изменится к лучшему, как только они догонят его племя, он спросил: «И тогда я смогу отдохнуть и не двигаться?»

Он постоянно повторял этот вопрос: «И тогда мне можно будет отдохнуть и не двигаться?»

В то же время, прикидываясь очень больным и осматриваясь мутными глазами по сторонам, он подсчитывал людей, входивших в отряд. При этом он убедился, что Иван не узнал в нем человека, которого бил перед воротами крепости. Странное сборище представилось его глазам. Здесь были охотники славянского происхождения с белой кожей и могучими мускулами; короткие, коренастые финны со сплющенными носами и круглыми лицами; уроженцы Сибири, чьи носы были похожи на орлиные клювы; были и худые люди с раскосыми глазами, в жилах которых монгольская и татарская кровь смешивалась со славянской. Это все были полудикие искатели приключений из далеких стран за Беринговым морем. Огнем и мечом они завоевывали новые земли и жадно захватывали их богатства — пушнину и кожу. Негор глядел на них

с удовлетворением, мысленно представляя себе, как они лежат, раздавленные и безжизненные, в скалистом проходе. И всегда рядом с этим он видел лицо и облик Уны, ожидающей его наверху в скалах, и постоянно голос ее звучал в его ушах, и он чувствовал на себе теплый и нежный блеск ее глаз. Но вместе с тем он не забывал прикидываться больным и спотыкался там, где путь был труден. И по-прежнему кричал под ударами плети. При этом он все время опасался Кардука, так как знал, что ему доверяться нельзя. У него был фальшивый взгляд и слишком болтливый язык, слишком болтливый и гладкий, думал Негор, не похожий на простую, честную речь.

Весь день они шли. На следующий день, когда Кардук, по приказу Ивана, задал вопрос Негору, последний ответил, что вряд ли они встретят племя раньше завтрашнего дня. Но Иван, с тех пор как он доверился указаниям Старого Кинуза и жестоко за это поплатился, ни во что больше не верил. Поэтому, когда они пришли к проходу среди скал, он остановил своих сорок человек и спросил через Кардука: «Свободна ли дорога?» Негор осмотрел ее покорным взглядом. Это был широкий спуск, ведущий вдоль скалы, и весь он был покрыт кустарником и ползучими рас-

тениями, где могли хорошо спрятаться десятки племен.

Он покачал головой.

— Там ничего нет, — сказал он, — дорога свободна.

Снова Иван переговорил с Кардуком, и последний сказал:

— Знай, незнакомый брат, что если твои указания неправильны, если твой народ загородит путь или нападет на отряд Ивана, ты тотчас же умрешь.

— Я указываю правильно, — сказал Негор, — дорога свободна.

Но Иван не доверял ему и приказал двум из своих охотников подняться на вершину скалы. Двое других стали, по его приказу, по обе стороны Негора. Они приставили свои ружья к его груди и остановились, выжидая. Весь отряд ждал. И Негор знал, что если вылетит хоть одна стрела или копье, он умрет. Два охотника лезли все выше и выше. И когда они дошли до вершины и махнули шапками в знак того, что все в порядке, они казались маленькими черными точками на фоне светлого неба.

Ружья были отведены от груди Негора, и Иван приказал двинуться вперед. Иван молчал, за-

думавшись. Около часа он шел, как бы что-то обдумывая, и тогда, через Кардука, спросил Негора:

— Как ты знал, что дорога свободна, не осмотрев ее?

Негор подумал о птицах, которых он видел, сидящими на скалах и в кустах, и улыбнулся: это было так просто. Но он пожал плечами и ничего не ответил. Он думал о другом проходе в скалах, куда они направились и где птиц уже не будет. И он был рад, что Кардук — уроженец берегов Великого Туманного моря, где нет деревьев и кустов и где люди обучаются морскому искусству, а не искусству равнин и леса.

Три часа спустя, когда солнце было высоко на небе, они пришли ко второму проходу в скалах, и Кардук сказал:

— Смотри во все глаза, незнакомый брат, ибо Иван на этот раз не намерен ждать, пока люди пройдут вперед осмотреть дорогу.

Негор посмотрел, а рядом с ним стояло двое людей с ружьями, приставленными к его груди. Он увидел, что все птицы улетели, и в одном месте он заметил блеск ружейного дула на солнце. И он подумал об Уне и вспомнил ее слова: «Когда сражение начнется, ты должен тайком скрыться,

чтобы не быть убитым».

Два дула упирались в его грудь. Это было не совсем то, на что она рассчитывала. Очевидно, нельзя будет никуда уйти. Он умрет первым, когда начнется сражение. И он сказал твердым голосом, но как бы от болезни продолжая дрожать:

— Дорога свободна.

Иван двинулся вперед со своими сорока людьми из далеких стран за Беринговым морем. За ним шел человек из Пэстилика, Кардук, и Негор, к груди которого приставлены были ружья. Подъем был долгий, и они не могли двигаться быстро. Но Негору казалось, что они очень быстро приближаются к середине прохода, где была засада.

В скалах направо раздался выстрел. Негор услышал боевой клич своего племени и в течение секунды успел увидеть, что скалы и кусты как бы ощетинились выступившими из-за них толпами его одноплеменников.

Затем он почувствовал, что внезапно огненный взрыв словно разрывает его пополам. Он упал, ощущая острую боль: в его изнемогающем теле жизнь боролась со смертью.

Он держался за свою жизнь с жадностью скупого, цепляющегося за свои сокровища. Он все еще дышал, и воздух наполнял его легкие мучитель-

ной сладостью. Смутно до его сознания доходили проблески света и волны звуков. И смутно он видел, как падают, умирая, охотники Ивана и как со всех сторон стекаются к месту избиения его братья, наполняя воздух криками и шумом оружия. А сверху женщины и дети сбрасывают громадные глыбы, которые прыгают, как живые существа, и с грохотом падают вниз.

Солнце плясало над ним в небе; огромные скалы колебались и качались, а он все еще смутно слышал и видел. Когда же грозный Иван упал у его ног, безжизненный, раздавленный упавшей глыбой, он вспомнил слепые глаза Старого Кинуза — и радовался.

Затем звуки замерли, глыбы больше не скатывались рядом с ним, и он видел, как люди его племени подходят все ближе и добивают раненых копьями. Он смутно различал, как рядом с ним могучий русский охотник поднимается в последней схватке за свою жизнь и падает, пронзенный десятками копий.

Затем он увидел над собою лицо Уны и ощутил ее объятия. И на мгновение солнце остановилось и громадные колеблющиеся стены скал застыли.

— Ты храбрый человек, Негор, — услышал он ее голос. — Ты мой муж, Негор.

И в это мгновение он пережил всю ту жизнь радости, какую она ему сулила, и обещанные ею смех и песни. И в то время как в небе медленно исчезало для него солнце и жизнь его постепенно угасала, он был объят сладостным воспоминанием об Уне. И по мере того как память его тускнела и бледнела и проблески ее сменялись нарастающей темнотой, он узнавал в объятиях любимой действительность предвещенного ему отдыха, исполнение предсказанного ему покоя. Когда же черная ночь охватила его, лежащего на ее груди, он ощутил великий мир, проникающий Вселенную, он познал в замирании уходящих сумерек таинственное наступление Тишины.

СИЛА СИЛЬНЫХ

(сборник)



Сборник «разрозненных» и существенно отличающихся один от другого по тематике рассказов, написанных в конце 900-х и в начале 10-х годов XX века и вышедших отдельным сборником в канун Первой мировой войны (1914). Здесь нет единого хронотопа (пространственно-временного единства), но цикл рассказов выглядит крепко сбитым и сцементированным единством проблематики, выраженной не слишком изящным крылатым индейским тавтологическим выражением — «сила сильных». Это также своеобразный бренд, лозунг, призыв к выживанию в нашем противоречивом и небезопасном мире.

Сила сильных

Притчи не лгут, но лжецы любят притчи.

Линг-Кинг

Старик Длиннобородый прервал свой рассказ, облизал жирные пальцы и обтер их о голые бедра, едва прикрытые рваной медвежьей шкурой. Вокруг на корточках уселись три его внука: Быстрый Олень, Желтоголовый и Бегущий-от-Мрака. Они были похожи друг на друга. Шкуры диких зверей едва прикрывали их тощие, костлявые тела. Ноги у них были кривые и тонкие, но грудь широкая и руки громадные, тяжелые. Плечи и грудь, руки и ноги покрыты густыми волосами. На голове разросся целый лес косматых, спутанных волос, ниспадавших на глаза, круглые и блестящие, как у птиц. Глаза были поставлены очень близко друг к другу, а нижняя челюсть и скулы сильно выдавались вперед.

Была ясная, светлая звездная ночь, и можно было разглядеть в стороне ряд холмов, покрытых темным лесом. Вдали трепетало алое зарево горящих вулканов. Позади сидевших чернел

зев пещеры, из которого время от времени дул резкий ветер. Перед ними пылал костер. Немного поодаль лежала наполовину съеденная туша медведя, а еще дальше дремали огромные, похожие на волков, косматые псы. Около каждого из сидевших лежали лук, стрелы и тяжелая дубина. Несколько грубых копий стояли прислоненные к скале у входа в пещеру.

— Вот так-то мы и перебрались из пещеры на дерево, — произнес старик по прозванию Длиннобородый.

Внуки заливались веселым смехом, словно большие дети, наслаждаясь смешной историей. Длиннобородый тоже смеялся, а кость, длиной в пять дюймов, воткнутая в его нос, при этом двигалась во все стороны, что придавало его лицу особо свирепое выражение. Разумеется, Длиннобородый произнес не те слова, которые мы привели, а издал звериные крики, выражавшие приблизительно то же самое.

— Это первое, что я помню о Морской Долине, — продолжал Длиннобородый, — мы были тогда глупым сбродом, мы еще не знали тайны силы, и каждая семья жила отдельно и заботилась только о себе. Нас было тридцать семейств, но мы не складывали наших маленьких сил в одну

большую, мы боялись друг друга и никогда не посещали соседей. На вершине нашего дерева мы построили дом из травы и набрали много камней, предназначенных для голов тех, кто вздумал бы приблизиться к нам. У нас были, кроме того, луки и стрелы. Сами мы никогда не проходили мимо деревьев чужих семейств. Однажды мой брат вздумал пройти под деревом, на котором поселился старый Бу-У, и тот проломил ему камнем голову. Таков был конец моего брата.

Старый Бу-У был очень силен, — говорят, он легко мог оторвать голову любому взрослому человеку, — но я никогда не слыхал, чтобы он действительно сделал это, потому что никто не хотел пожертвовать для пробы своей головой. Отец тоже не хотел. Однажды, когда он ушел на берег моря, Бу-У погнался за моей матерью. Она не могла быстро бежать, потому что накануне, когда она в горах собирала ягоды, медведь ободрал ей ногу. Поэтому Бу-У поймал ее и утащил к себе на дерево. Отец никогда не получил ее обратно, так как слишком боялся. Старый Бу-У строил ему рожи, но отец не обращал на него внимания.

Другим силачом был Сильная Рука, один из лучших рыболовов. Но однажды, вскарабкавшись на скалу за яйцами чайки, он сорвался и

с тех пор уж не был сильным человеком. Он все время кашлял, и плечи его сузились. Тогда мой отец отнял у него жену, а когда тот подходил к нашему дереву и звал ее, отец смеялся над ним и кидал в него камнями. Таков был наш обычай. Тогда мы еще не знали, как соединить свои силы, чтобы стать могучими.

— Что же, и брат отнимал жену у брата? — спросил Быстрый Олень.

— Да, если он уходил жить на другое дерево.

— Теперь мы уже не поступаем так, — заметил Бегущий-от-Мрака.

— Это потому, что я научил ваших отцов жить лучше, — ответил Длиннобородый. При этом он запустил руку в медвежью тушу, оторвал большой кусок сала и принялся задумчиво его сосать. Вытерев пальцы о бедра, он продолжал: — Все это было очень давно; это было тогда, когда мы не знали ничего лучшего.

— Вы, стало быть, были настоящими дураками, если не знали ничего лучшего, — заметил Быстрый Олень.

Желтоголовый одобрительно хрюкнул.

— Да, это верно, но впоследствии, как вы сейчас увидите, мы оказались еще глупее, хотя мы шли как будто к лучшему, и вот как это произошло.

Мы, рыбоеды, еще не умели соединять свои отдельные силы в одну общую. Но мясоеды, жившие по ту сторону Большой Долины, всегда держались вместе — вместе охотились, вместе ловили рыбу, вместе воевали. Однажды они пришли в нашу долину. Каждая наша семья тотчас укрылась на своем дереве. Мясоедов было всего десять, но они воевали вместе, а у нас каждая семья воевала только за себя.

Длиннобородый долго и напряженно считал что-то по пальцам.

— Нас было шестьдесят человек, — объяснял он словами и жестами. — Мы были очень сильны, только не понимали этого. Мы с любопытством смотрели, как десять человек атаковали дерево Бу-У. Бу-У прекрасно сражался, но он был обречен на гибель. Когда несколько мясоедов начали взбираться на дерево, Бу-У вынужден был вылезть из гнезда, чтобы кидать камни; тогда остальные пустили в него стрелы — таков был конец Бу-У.

Затем мясоеды напали на того, кого мы звали Кривой Глаз. Кривой Глаз жил в пещере. Они обложили пещеру хворостом, подожгли и выкурили его, как мы теперь выкуриваем медведя; потом они пошли к дереву, на котором жил Шестипалый; и пока они убивали его и его взрослого

сына, мы все бежали. Они взяли у нас несколько женщин, убили двух стариков, которые не могли быстро бежать, и много детей. Женщин они увели с собой в Большую Долину.

После этого мы все возвратились и, очевидно, под влиянием страха стали толковать о происшедшем. Это был наш первый настоящий совет; на этом совете мы впервые почувствовали себя племенем, так как нас хорошо проучили. Из десяти мясоедов каждый обладал силой всех остальных; они сражались все как один, они передавали друг другу свою силу, а у нас все тридцать семейств и все шестьдесят человек владели силой только одного человека, ибо каждый сражался отдельно.

Это был очень важный и очень трудный разговор, так как мы не находили нужных слов… Впоследствии Жук придумал много новых слов, да и все мы время от времени выдумывали слова. Все-таки мы сговорились наконец, как соединить свои силы на тот случай, если бы мясоеды снова пришли похищать наших женщин. Так образовалось наше племя. Мы поставили на границе двух часовых: один стоял ночью, другой — днем, они должны были следить, не идут ли мясоеды. Это были глаза нашего племени. Кроме того, де-

сять человек были постоянно наготове и днем и ночью, чтобы в случае надобности оказать врагу сопротивление. Прежде, когда кто-нибудь отправлялся ловить рыбу или собирать яйца чаек, он непременно брал с собой оружие и боялся, чтобы кто-нибудь не напал на него. Половина времени тратилась на то, чтобы подстерегать друг друга. Теперь все изменилось. Люди ходили без оружия и все свое время посвящали добыванию пищи. Когда женщины шли в горы собирать корни и ягоды, то пятеро из десяти мужчин непременно сопровождали их как стража. В то же время Глаза Племени день и ночь наблюдали за врагом.

Но вскоре начались смуты — по обыкновению, они начались из-за женщин. Мужчины, не имевшие жен, хотели взять чужих жен, и начались постоянные драки. Они очень часто разбивали друг другу головы и протыкали друг друга копьями. Когда один из сторожей стоял на границе, кто-нибудь похищал его жену, и тот бежал защищать ее; тогда другой сторож убегал, боясь, что похитят его жену; так между мужчинами происходили постоянные стычки. Они сражались пять против пяти и все время преследовали друг друга.

Таким образом, племя оставалось без Глаз и без

охраны. У нас не было силы шестидесяти человек. У нас совсем не было силы. Тогда мы созвали совет и придумали свои первые законы. Я был тогда еще щенком, но все это хорошо помню. Мы постановили: для того, чтобы быть сильными, мы не должны драться между собой, а тот, кто будет убивать человека, сам будет убит племенем. Мы постановили убивать и того, кто похитит у другого жену. Мы решили также, что следует убивать того, кто слишком силен, потому что его сила пугала бы остальных, и племя опять стало бы таким же слабым, каким оно было во время первого нашествия мясоедов, убивших Бу-У.

Костлявый Кулак был сильный человек, чрезвычайно сильный человек, и он не хотел признавать закон, он признавал только свою собственную силу. Не зная, куда девать свою силу, он пошел и похитил жену у того, кого мы звали Три Ракушки. Три Ракушки попытался сопротивляться, но Костлявый Кулак вышиб ему мозг. Костлявый Кулак забыл, что все мы сговорились объединять свои силы для того, чтобы заставить каждого уважать закон, и вот мы убили его у подножия его дерева и повесили его тело на этом дереве в доказательство того, что закон сильнее человека. Мы все, вместе взятые, были законом,

и ни один человек не мог нарушить закон.

Но начались новые смуты, ибо знайте, о Быстрый Олень, Желтоголовый и Бегущий-от-Мрака, что не легко образовать племя. Было много мелочей, совсем незначительных мелочей, которые, однако, поселяли среди нас раздор и принуждали созывать совет. Мы должны были созывать совет утром, днем, вечером, поздно ночью. У нас уже не было времени ходить за добычей, потому что всегда надо было решать какую-нибудь мелочь: то назначать новых сторожей, то определять количество пищи для тех, что дежурили с оружием в руках и не могли сами ходить на охоту.

Нам нужен был вождь, который решал бы все эти мелочи и был бы, так сказать, голосом племени. Таким вождем мы избрали Фиф-Фифа. Он был очень сильный человек и когда злился, издавал носом особый звук «фиф-фиф», словно дикая кошка. Тем десятерым, кто охранял племя, было приказано построить каменную ограду в узкой части долины. Женщины и взрослые дети, так же как и некоторые мужчины, помогали им, пока стена не была готова. Затем все семьи покинули свои пещеры и деревья и построили тростниковые хижины у подножия стены. Эти хижины были гораздо больше и лучше старых. Таким

образом, все выиграли от того, что научились передавать друг другу свою силу и образовали племя. Теперь благодаря стене и стражам у нас оказалось гораздо больше времени для собирания корней и ягод; у нас стало намного больше пищи, и пища эта была гораздо лучше, так что никто не был голоден. Три Ноги, прозванный так потому, что в детстве сломал себе ногу и ходил с палкой, — Три Ноги нашел где-то семена дикой пшеницы и посеял их возле своей хижины. Он пробовал также сажать различные корни, которые собирал на горах и в долинах.

В Морской Долине было вполне безопасно жить, так как она была укреплена стеной и окружена сторожами. В ней было много пищи, ради которой не нужно было сражаться, и очень многие семейства, жившие подобно зверям в горах и лесах, стали перебираться в Морскую Долину. Скоро в Морской Долине поселилось великое множество семейств, но прежде чем это случилось, вся земля, бывшая до этого общим достоянием и никому в отдельности не принадлежавшая, была разделена на участки. Три Ноги первый положил этому начало, посеяв пшеницу. Большинство же из нас мало думали о земле. Мы считали большой глупостью огораживать

участки каменными оградами. Я вспоминаю, как мы с отцом строили такую ограду для Три Ноги, и он нам за это платил пшеницей.

Таким образом, не все воспользовались землей. Но Три Ноги забрал себе самый большой участок. Владевшие землей очень часто отдавали ее в обмен на медвежьи шкуры, на корни, на рыбу, которую земледельцы получали от рыбаков за пшеницу. Вскоре мы заметили, что вся земля уже разобрана.

Примерно в это время умер Фиф-Фиф, и вождем стал его сын Собачий Зуб. Он потребовал, чтобы его сделали вождем просто потому, что вождем был его отец. Себя он считал уже важнее своего отца. Сначала он был хорошим вождем и много работал, так что совету почти не приходилось собираться. Но в это время в Морской Долине прозвучал новый голос — голос Кривой Губы. Раньше никто не замечал его, до тех пор, пока он не стал говорить с душами умерших. Мы прозвали его впоследствии Пузатым, потому что он очень много ел, ничего не делал и становился все круглее и круглее. Однажды он вдруг заявил нам, что владеет тайной смерти и умеет слушать голос бога. Он очень подружился с Собачьим Зубом, и Собачий Зуб приказал нам построить для Пузатого боль-

шую хижину. Пузатый наложил на свою хижину табу и утверждал, что в ней поселился бог. Скоро Собачий Зуб перестал созывать совет. А когда совет заявил, что выберет нового вождя, Пузатый побеседовал с богом и сказал, что этого не следует делать. Таким образом, и Три Ноги, и все другие, владевшие землей, должны были подчиниться Собачьему Зубу. Самым сильным человеком в совете был Морской Лев, и все владельцы земли приносили ему в подарок разные злаки. Морской Лев тоже утверждал, что Пузатому нужно повиноваться, так как он вещает волю божию. Вскоре Морской Лев был назван Голосом Собачьего Зуба и по большей части говорил вместо него.

Среди нас жил еще Дохляк, маленький человечек, до того тощий, что казалось — он никогда не ел вдоволь. Возле самого устья реки, на песчаной отмели, он построил большую западню для рыб. Никто из нас и не мечтал ни о какой западне для рыб, но он работал несколько недель, причем жена и сын ему помогали, а мы смеялись над его работой. Когда западня была готова, он поймал в нее за один день больше рыбы, чем могло бы раньше наловить целое племя в течение недели. Мы все очень обрадовались. На реке было еще одно место, где можно было построить вторую

западню, но когда мой отец, я и еще кое-кто из нашего племени стали ее строить, то явились сторожа из той большой хижины, которую мы построили для Собачьего Зуба. Сторожа кололи нас копьями, гнали и говорили, что Дохляк будет здесь строить вторую западню по приказанию Морского Льва, который был Голосом Собачьего Зуба.

Это вызвало большое неудовольствие, и отец мой созвал совет. Но когда он встал и начал говорить, Морской Лев метнул ему в шею копье, и мой отец умер. Собачий Зуб, Дохляк, Три Ноги и все те, кто владел землей, говорили, что Морской Лев поступил правильно, а Пузатый, кроме того, утверждал, что такова была воля божья. После этого все стали бояться говорить в совете, и совет больше не собирался.

Другой человек, по прозванию Свиная Челюсть, вздумал разводить коз. Он наслышался об этом от мясоедов, и скоро у него уже было небольшое стадо. Другие люди, у которых не было ни земли, ни западни для рыбы и которые были обречены на голодание, охотно работала на Свиную Челюсть, сторожили его коз, охраняя от диких собак и тигров, и гоняли их на горные пастбища. Взамен Свиная Челюсть давал им козье мясо и

козьи шкуры, причем они, в свою очередь, часто выменивали это мясо и эти шкуры на рыбу, пшеницу и корни.

В это же время появились деньги. Морской Лев первый придумал их, сговорившись с Собачьим Зубом и Пузатым.

Из всех нас только эти трое брали себе долю от всей добычи в Морской Долине. Они забирали себе одну из каждых трех корзин пшеницы, одну из каждых трех пойманных рыб, одну из каждых трех коз, за это они кормили сторожей и надсмотрщиков, а то, что оставалось, брали себе. Очень часто, после большого улова, они не знали, что делать со своею долей; поэтому Морской Лев велел женщинам делать из раковин деньги — маленькие гладкие кружочки с дырками посредине. Их нанизывали на нитку, и такая связка называлась «деньги». Каждая связка равнялась по ценности тридцати или сорока рыбам, но женщины, делавшие по одной связке в день, получали за это только по две рыбы из доли Собачьего Зуба, Пузатого и Морского Льва, так как те не могли всего съесть. Таким образом, и деньги стали принадлежать им. Затем они объявили Три Ноги и другим землевладельцам, что те должны платить подать не пшеницей и не

корнями, а деньгами. Дохляку они велели тоже платить подать деньгами, а не рыбой, и Свиная Челюсть теперь вместо коз должен был давать им деньги. Таким образом, человек, который ничего не имел, работал на того, кто имел много, и за это получал деньги. На деньги же он покупал пшеницу, рыбу, мясо и сыр. И все стали платить подати деньгами, а Собачий Зуб, Морской Лев и Пузатый, в свою очередь, деньгами платили сторожам, которые на деньги покупали себе пищу. Поскольку деньги доставались очень дешево, Собачий Зуб нанял себе очень много сторожей. Изготавливать деньги было очень просто, и многие пытались делать их сами. Но сторожа за это протыкали их копьями и осыпали стрелами, говоря, что они хотят разрушить благосостояние племени и произвести раскол, а раскалываться мы не могли, ибо тогда пришли бы мясоеды и убили бы нас всех. Пузатый был голосом бога, но он сделал жрецом Сломанное Ребро, который стал Голосом Пузатого и по большей части говорил за него. У обоих в услужении находилось много других людей. И у Три Ноги, и у Дохляка, и у Свиной Челюсти было также много людей, которые валялись на траве перед их хижинами и оказывали им разные мелкие услуги. Люди все больше и больше старались

увильнуть от работы. И те, кому это не удавалось, вынуждены были работать и за себя, и за других. Казалось, что все только и думали о том, чтобы заставить других работать вместо себя. Косой Глаз нашел такой способ. Он первый научился гнать из пшеницы огненную воду. После того он уже ничего другого не делал, так как тайно сговорился с Собачьим Зубом, что ему одному это будет разрешено. Но даже и этого он не делал сам. Он для этой работы нанял людей и платил им деньгами. Сам он продавал огненную воду тоже за деньги, и все ее покупали. Много, много денег пришлось ему заплатить за это Собачьему Зубу и Морскому Льву.

Когда Собачий Зуб взял себе вторую жену, а потом третью, то Пузатый и Сломанное Ребро защищали его. Они говорили, что Собачий Зуб совсем не то, что остальные люди, что он второй после бога, которого Пузатый держит у себя в хижине. Собачий Зуб подтвердил это и сказал, что никому не советует ворчать на него и считать его жен. Собачий Зуб, кроме того, велел сделать большую лодку и нанял много людей, которые целый день валялись на солнце и были заняты только тогда, когда Собачьему Зубу приходила охота покататься на лодке. Он сделал Тигровую

Морду начальником стражи, так что Тигровая Морда стал его правой рукой и убивал всякого, кто почему-нибудь не нравился Собачьему Зубу. Но удивительнее всего было то, что чем больше мы с течением времени работали, тем меньше нам доставалось пищи.

— А козы, а пшеница, а корни, а рыба, — спросил Бегущий-от-Мрака, — куда же все это делось? Разве нельзя было получить пищу в уплату за работу?

— Это так, — ответил Длиннобородый, — три человека с помощью западни налавливали рыбы больше, чем прежде налавливало все племя. Но я уже говорил вам, что мы были дураками: чем больше пищи мы добывали, тем меньше доставалось на нашу долю.

— Но разве вы не понимали, что вся она шла тем, которые не работали? — спросил Желтоголовый.

Длиннобородый печально покачал головой.

— Собаки Собачьего Зуба объедались мясом, люди, которые валялись на солнце и ничего не делали, заплывали жиром, в это время множество младенцев кричали от голода и умирали.

На Быстрого Оленя очень подействовали слова рассказчика о голоде. Он оторвал от медвежьей

туши большой кусок и начал поджаривать его на угольях, затем он его съел, облизываясь от удовольствия.

Длиннобородый между тем продолжал:

— Когда мы роптали, поднимался Пузатый и заявлял, что бог выбрал мудрых людей для управления племенем и что без этих мудрых людей мы бы ничем не отличались от животных, как не отличались в те дни, когда жили на деревьях.

И еще появился один, который начал петь вождю песни. Мы прозвали его Жуком, потому что он был мал и безобразен и совсем не хотел работать. Но он очень любил жирные мозговые кости, хорошую рыбу, парное козье молоко, пшеницу и уютное местечко возле огня; и вот, начав петь песни вождю, он нашел способ быть сытым и ничего не делать. Когда же народ все больше и больше возмущался и многие кидали камни в хижину вождя, Жук пел песню о том, как хорошо быть рыбоедом. В своих песнях он говорил, что рыбоеды — народ, избранный богом, что рыбоеды — лучшие творения бога. Мясоедов он называл свиньями и пел о том, как хорошо и достойно идти войной на мясоедов и убивать их. Его песни разжигали нас, как огонь, и мы хотели идти воевать с мясоедами; мы даже забывали

про свой голод, забывали свое недовольство и были польщены, когда Тигровая Морда, выбрав некоторых из нас, велел нам пойти убивать мясоедов. Но положение в Морской Долине не стало лучше. Единственным способом добыть пищу было работать на Три Ноги, или на Дохляка, или на Свиную Челюсть, так как не осталось земли, которую человек мог возделать для себя. И очень часто искавших работы было больше, чем требовалось Три Ноги и остальным. Эти люди голодали так же, как их жены, дети и старухи-матери. Тигровая Морда нанимал их в сторожа, они охотно шли, и в их обязанности входило укрощать всех недовольных и понукать ленивых.

А когда мы снова бунтовали, Жук пел новые песни; он пел о том, что Свиная Челюсть и Три Ноги — сильные и великие люди и что поэтому им досталось так много; он говорил, что мы должны радоваться, раз среди нас есть такие великие люди, иначе нас бы давно победили мясоеды. Мы должны радоваться, что дали возможность сильным людям владеть всем тем, чем они владеют. Пузатый, Свиная Челюсть и Тигровая Морда подтверждали, что он говорит правду.

«Хорошо, — сказал Длинный Клык, — буду и я сильным человеком», — и он достал пшеницы,

стал гнать и продавать за деньги огненную воду, а когда Косой Глаз жаловался, то Длинный Клык утверждал, что он сильный человек и, если Косой Глаз будет шуметь, он выбьет из него мозг.

Косой Глаз очень испугался и пошел говорить с Три Ноги и со Свиной Челюстью; после этого все они втроем отправились с жалобой к Собачьему Зубу. Собачий Зуб переговорил с Морским Львом, а Морской Лев оповестил об этом Тигровую Морду. Тогда Тигровая Морда послал своих сторожей, и те подожгли дом Длинного Клыка, и дом сгорел вместе с огненной водой. Сторожа убили его и всю его семью. Пузатый сказал, что это очень хорошо, а Жук сложил новую песню о том, сколь необходимо и полезно блюсти закон и какой чудесный край Морская Долина, и что каждый человек, любящий Морскую Долину, должен защищать ее и убивать мясоедов; и опять его песни воспламенили нас, как огонь, и мы забыли свое недовольство.

И вот что было очень странно. Когда Дохляк вытаскивал так много рыбы, что пришлось бы отдавать большое количество ее за незначительную сумму денег, он выбрасывал в море лишнюю рыбу, а за оставшуюся приходилось платить дороже. Три Ноги тоже очень часто не засеивал

всех своих полей, чтобы поднять цену на пшеницу. А так как женщины делали из раковин монет больше, чем на них можно было купить, то Собачий Зуб велел приостановить изготовление денег. Женщины остались без работы, и многие из них стали служить вместо мужчин. Женский труд был дешевле, мы остались без заработка, и Тигровая Морда предложил нам стать сторожами. Но я хромал на одну ногу и Тигровая Морда забраковал меня. Таких калек, как я, было очень много, и мы могли лишь все время бродить в поисках работы или присматривать за детьми, пока женщины работали.

Желтоголовый также проголодался во время рассказа и теперь поджаривал на углях кусочки мяса.

— Но почему же вы не восстали и не прогнали Пузатого, Свиную Челюсть и всю эту компанию? — спросил Бегущий-от-Мрака.

— Потому что мы до этого не додумались, — ответил Длиннобородый, — у нас было слишком много забот; кроме того, сторожа все время грозили нам копьями, Пузатый толковал про бога, а Жук пел новые песни. Если же кто-нибудь и додумывался до этого, то Тигровая Морда тотчас приказывал привязать его во время отлива к уте-

су так, чтобы он захлебнулся во время прилива.

Удивительная вещь деньги: они вроде песен Жука. Все как будто обстояло благополучно, но на самом деле было не так, и мы постепенно стали это понимать. Собачий Зуб начал копить деньги, он сложил их в большие ящики и велел сторожам охранять их днем и ночью. И чем больше он скапливал денег, тем дороже они становились, так что люди вынуждены были больше работать, чтобы заработать ту же сумму. Кроме того, все время ходили слухи о войне с мясоедами, и Собачий Зуб велел Тигровой Морде наполнить хижины кореньями, сушеной рыбой, копченым козьим мясом и сыром. Однако при таких громадных запасах пищи люди голодали. Что же получалось? Если народ роптал чересчур громко, Жук пел новые песни, Пузатый утверждал, что сам бог велел убивать мясоедов, а Тигровая Морда предлагал нам или убивать, или быть убитыми. И хотя я был слишком плох, чтобы быть сторожем и жиреть, лежа на солнце, на войну Тигровая Морда забрал и меня. Когда мы съели все запасы пищи, сложенные в хижинах, мы прекратили войну и вернулись, чтобы сделать новые запасы.

— Значит, вы были все сумасшедшими, — заметил Быстрый Олень.

— Да, сумасшедшими, — согласился Длиннобородый. — Все это выходило очень удивительно. Среди нас был некто, по прозванию Сломанный Нос; он говорил, что все пошло плохо. Он говорил, что в самом деле мы стали сильнее, объединив свои силы и что мы были совершенно правы, когда, образовав племя, постановили убивать тех, кто слишком выделялся своей силой, и тех, кто нападал на своих братьев и похищал их жен; теперь же, по его словам, племя стало не сильнее, а слабее, потому что возвысились люди, сила которых приносила племени вред. Эти люди обладали силой земли, например, Три Ноги; силой западни для рыб, как Дохляк; силой козьих стад — Свиная Челюсть. «Первым делом, — говорил Сломанный Нос, — нам надо лишить этих людей их проклятой силы и вообще не давать есть тому, кто не трудится». И тогда Жук спел песню в честь Сломанного Носа, воспевая людей, которые хотят вернуться и жить на деревьях. Однако Сломанный Нос отрицал это, он утверждал, что хочет идти не назад, а вперед. Он напомнил, что наше племя стало сильным лишь после того, как мы соединили все наши силы. «Но если бы, — говорил он, — рыбоеды соединили свои силы с мясоедами, то не было бы больше никакой войны, не нужно

было бы ни войны, ни сторожей, а пищи было бы так много, что каждому человеку пришлось бы работать не больше двух часов в день».

Тогда Жук снова запел. Он пел, что Сломанный Нос лентяй. А потом сочинил песню о пчелах. Это были странные песни, и слушавшие их становились безумными, точно перепили огненной воды. В песне рассказывалось, как дружно жили пчелы и как к ним явилась разбойница-оса и стала воровать их мед. Оса была ленива и говорила пчелам, что не стоит работать, а, кроме того, советовала им подружиться с медведями, которые, по ее словам, были не ворами меда, а их хорошими друзьями. Все слова Жука были двусмысленны, и слушавшие его песни понимали, что под роем пчел имелась в виду Морская Долина, что медведи — это мясоеды, а ленивой осой был Сломанный Нос. И когда Жук пел, что рой, послушавшись осы, едва не погиб, все мы ворчали и роптали, а когда он запел, что пчелы в конце концов одумались и убили ленивую осу, то мы схватили камни и насмерть побили ими Сломанный Нос, так что вскоре ничего не осталось, кроме насыпанной над ним груды камней. А ведь среди нас были бедняки, которые тяжко трудились, все время голодая, и они тоже участвовали

в избиении Сломанного Носа.

После смерти Сломанного Носа только один еще человек решился поднять свой голос — это Волосатая Морда.

«Где сила сильных? — говорил он, — все мы вместе очень сильны, и мы куда сильнее и Собачьего Зуба, и Тигровой Морды, и Свиной Челюсти, и всех остальных, которые ничего не делают, а только едят и ослабляют нас своей злой силой. Рабы не могут быть сильными. Если бы человек, который научился первый добывать огонь, захотел использовать свою силу, то мы сделались бы его рабами, как теперь мы рабы Дохляка, который сумел первый построить западню для ловли рыбы, рабы того, кто научился первый засевать землю, разводить коз, делать огненную воду. Раньше, когда мы жили на деревьях, никто не чувствовал себя в безопасности. Но теперь мы уже не воюем друг с другом — мы соединили свои силы. Давайте же объединимся с мясоедами, и мы будем действительно сильными. Тогда мы будем все вместе убивать тигров, львов, волков, диких собак, будем пасти своих коз на лугах, сеять пшеницу в горных долинах. Мы станем такими сильными, что все дикие звери убегут от нас или погибнут, и никто не сможет сопротивляться

нам, так как силы отдельных людей сольются в одну всемирную силу», — так сказал Волосатая Морда… И они убили его, называя дикарем, пожелавшим опять жить на дереве. Это было очень странно: только являлся какой-нибудь человек и призывал идти вперед, его тотчас же обвиняли в желании идти назад и убивали. Бедный безумный народ забивал таких людей камнями. Все мы были безумными, за исключением сытых и тех, кто ничего не делал. Дураков называли мудрецами, а мудрецов забивали камнями. Работавшие почти ничего не ели, а бездельники ели слишком много.

Племя стало терять свою силу. Дети были слабы и хилы. От недоедания у нас развивались разные болезни, и мы умирали как мухи. Тогда мясоеды двинулись на нас. Тигровая Морда раньше не раз водил нас против них в бой, теперь они решили отомстить нам за пролитую кровь. Мы были слишком слабы и не могли отстоять Большую Стену. И они убили почти всех нас, за исключением некоторых женщин, которых взяли с собой. Ускользнули еще Жук и я. Я укрылся в дикой местности, стал охотником и больше не голодал. Затем я похитил у мясоедов одну женщину и ушел жить в горы, где мясоеды не могли

меня найти. У нас родилось три сына и каждый из трех сыновей похитил себе жену у мясоедов. Остальное вы знаете, ибо разве вы не сыновья моих сыновей?

— А Жук, — спросил Быстрый Олень, — что с ним сталось?

— Он пошел жить к мясоедам и стал петь песни их вождю. Он теперь уже совсем старик, но поет все те же старые песни, а когда является человек, призывающий идти вперед, то Жук утверждает, что человек этот хочет жить на деревьях.

Длиннобородый запустил руку в медвежью тушу и, вырвав кусок сала, стал сосать его беззубым ртом.

— Когда-нибудь, — сказал он, вытирая пальцы о бедра, — все дураки умрут, а живые люди захотят идти вперед; они поймут, что такое сила сильных, соединят все свои силы, и им не придется воевать друг с другом, не будет ни воинов, ни сторожей, ни стен. Дикие звери будут убиты, и, как предсказывал Волосатая Морда, на всех лугах будут пастись козы, а все поля будут засеяны пшеницей. Все люди станут братьями, и никто не будет в безделье жиреть на солнце. Это будет тогда, когда умрут все дураки и когда не будет больше певцов, поющих песни из жизни пчел.

Ибо пчелы — не люди.

По ту сторону черты

Старый Сан-Франциско — или, иными словами, Сан-Франциско до землетрясения — был разделен пополам чертой. Этой чертой была железная перекладина, шедшая посредине Базарной улицы. К перекладине был прикреплен бесконечный канат, к которому можно было привязывать повозки и тележки и который перетаскивал их с одного конца улицы на другой. В сущности говоря, было две перекладины, но в обиходе их считали как бы за одну и называли просто перекладиной, или чертой. К северу от черты были театры, гостиницы, роскошные магазины, банки, конторы; по другую сторону черты, к югу, были заводы, мрачные притоны, кабаки, прачечные, ремонтные мастерские и дома, где жили рабочие. Таким образом, перекладина, или черта, приобрела как бы некое символическое значение — она означала разделение общества на два класса, и никто не умел так ловко переходить черту, как Фредди Друммонд. Он приспособился жить в обоих мирах и в обоих мирах чувствовал себя превосходно.

Фредди Друммонд был профессором социоло-

гии в Калифорнийском университете, и в первый раз он перешел черту именно как профессор социологии. Он прожил шесть месяцев в рабочем квартале и написал свой труд под названием «Неопытный рабочий» — книгу, которую всюду отметили как ценный вклад в литературу прогресса и как великолепный отпор литературе недовольства. И в политическом, и в экономическом смысле книга была вполне ортодоксальна. Председатели крупных железнодорожных компаний покупали эту книгу целыми изданиями для раздачи своим служащим. Объединение мануфактурных фабрик купило сразу пятьдесят тысяч экземпляров. В некоторых отношениях книга эта была столь же замечательна, как знаменитые «Послания к Гарсиа», хотя по своей проповеди наживы и сытого довольства напоминала «Миссис Вике и огород с капустой».

Вначале Фредди Друммонд никак не мог приноровиться к рабочим. Он не привык к их способам обращения, а они косились на него. Рабочие относились к нему подозрительно. Фредди Друммонд не имел стажа, ничего не мог рассказать о своей прежней работе и вдобавок подавал для пожатия изнеженную руку. Его необыкновенная вежливость тоже была подозрительна. Когда

он впервые решил разыграть роль рабочего, то вообразил, что всякий независимый американец может заниматься чем ему угодно и ни перед кем не отчитываться. Оказалось, не совсем так. Рабочие сочли его за чудака. Спустя некоторое время, немного освоившись с новым положением, он незаметно для самого себя стал разыгрывать более легкую роль человека, опустившегося случайно и временно.

Он понахватал много интересных фактов, и все это послужило ему материалом для «Неопытного рабочего». Его обобщения были не всегда правильны из-за отсталости, свойственной людям его типа, но он ловко вывернулся, назвав свои выводы «попыткой к обобщению». Первые свои опыты он начал на консервном заводе Уильмакса, где ему было поручено сбивать небольшие ящики. На завод присылали готовые части, и нужно было только сколачивать их тонкими гвоздями с помощью легкого молотка. Работа нехитрая, оплачивалась сдельно. Обыкновенный рабочий вырабатывал полтора доллара в день. Фредди Друммонд заметил, что некоторые рабочие, исполнявшие ту же работу, что и он, даже не работая особенно ретиво, вырабатывали один доллар семьдесят пять центов. На третий

день он стал зарабатывать столько же. Но он был самолюбив, не хотел этим ограничиться и на четвертый день заработал два доллара, а еще через день, работая не покладая рук, он заработал даже два с половиной доллара. Его сотоварищи стали ворчать и злобно над ним насмехаться, а кроме того, болтали что-то между собой на непонятном для него рабочем жаргоне. Они говорили, что необходимо прижимать хозяев и по возможности обуздывать свою прыть. Его очень удивило такое отношение к сдельной работе, и он сделал много выводов относительно врожденной лености и непредприимчивости рабочего класса и на следующий день заработал уже три доллара.

Когда он в тот вечер выходил из завода, к нему подошли его товарищи по работе и стали осыпать его гневными и непонятными упреками. Он старался понять, что же руководило ими. Они ожесточенно спорили. И когда он наотрез отказался работать меньше и напомнил им о свободном договоре, о независимости американского гражданина и о достоинстве труда, они решили собственными средствами умерить его пыл. Завязалась жестокая драка. Друммонд был атлет высокого роста. Но толпа в конце концов осилила его; ему изрядно помяли бока, расква-

сили физиономию, вывихнули пальцы, так что пришлось пролежать неделю в постели, прежде чем он оказался способен приняться за другую работу.

Все это он изложил в своей первой книге, в главе «Тирания труда». Через некоторое время, работая в другом отделении того же завода в качестве распределителя фруктов, он однажды попытался нести два ящика вместо одного, за что его тут же упрекнули товарищи по работе. Ему было совсем не трудно нести два ящика, но он решил, что находится здесь не для того, чтобы внедрять свои правила, а для того, чтобы наблюдать уже заведенное. Поэтому он стал носить по одному ящику и вскоре так хорошо изучил искусство отлынивания от работы, что даже написал об этом специальную главу, в которой пытался делать обобщения.

Шесть месяцев он работал, меняя столько заводов, что стал представлять собой довольно удачную пародию на рабочего. Фредди Друммонд был природным лингвистом, всегда носил при себе записную книжку, делал в ней различные пометки и в конце концов довольно удачно научился говорить на рабочем жаргоне. Этот жаргон помог ему лучше вникнуть в ход мыслей

рабочих, что, в свою очередь, дало ему возможность написать исследование под названием «Синтез психологии рабочего класса».

Перед тем как вынырнуть после этого своего «ныряния» на дно, он сделал вывод, что может быть хорошим актером и вдобавок обладает спокойным и уравновешенным характером. Он сам удивлялся своему таланту. Усвоив жаргон и поняв многие незнакомые прежде выражения, он стал входить во все подробности жизни рабочего класса и чувствовал себя там как дома. В предисловии к своей второй книжке «Рабочий» он говорил о том, что пытался поближе познакомиться с жизнью рабочего класса, а единственным средством для этого было работать вместе с ним, есть ту же пищу, забавляться его забавами и чувствовать его чувствами.

Фредди Друммонд не был глубоким мыслителем, он не верил в новые теории, все его нормы и критерии были условны. Его трактат о французской революции был известен в академических кругах не только как очень кропотливое исследование, но главным образом потому, что ничего более сухого, более мертвого и формального еще не было написано на эту тему. Однако способности у него были большие, и волей он обладал

твердой, как сталь. Друзьями он не мог похвастать, так как был необщителен и сух по природе. У него не было никаких пороков, и казалось, он никогда не подвергался никаким искушениям. Он ненавидел табак, презирал пиво, и никто не видел, чтобы он выпил что-нибудь крепче столового белого вина. Когда он начинал свою карьеру, его более горячие товарищи прозвали его Ледником. По окончании университета он стал известен под кличкою Холодильник. Однако в одной области он был просто Фредди — когда играл в университетской футбольной команде, где проявил себя хорошим бэком. Сокращенное имя за ним закрепилось, и это ему не очень нравилось. Он был Фредди, когда не требовалось выступать в официальной роли, и ему часто снилось по ночам, что жизнь его идет под уклон и весь мир называет его Старый Фредди. Он был молод для доктора социологии, ему было всего двадцать семь лет, а на вид и того меньше. Его скорее можно было принять за великовозрастного студента, гладко выбритого, с элегантными манерами — за простодушного здорового малого, известного своей физической силой, спокойного и хладнокровного, как все люди этого типа. Вне стен университета он не говорил на научные

темы до тех пор, пока не сделался известным ученым, снисходительно читающим рефераты в различных литературных и экономических обществах. Все, что он делал, было правильно, даже слишком правильно. Он был корректен и в одежде, и в общении. При этом его нельзя было назвать дэнди. Это был типичный университетский сотрудник, каких за последнее время немало вышло из высших учебных заведений. Его рукопожатие было крепко, голубые глаза довольно холодны и достаточно откровенны. Его голос звучал твердо и мужественно, произношение у него было безукоризненно правильное и приятное на слух. Единственным недостатком Фредди Друммонда была его необычайная сдержанность. Он никогда не распускался. Даже во время футбольных состязаний чем напряженнее складывалась игра, тем он становился хладнокровнее. Он был хорошим боксером. Его называли автоматом: до такой степени точны были все его расчеты при нападении и при защите. Его редко побеждали, но и сам он побеждал редко. Он был слишком умен и осторожен, чтобы позволить себе лишний риск. На каждое состязание он смотрел просто как на хорошую тренировку.

С течением времени Фредди Друммонд стал все

чаще переходить черту и исчезать южнее Базарной улицы. Здесь он проводил летние и зимние праздники. И всегда считал, что провел время приятно и с пользой. А материала для наблюдения там на самом деле доставало. Его третья книга — «Масса и хозяин» — сделалась своего рода евангелием в американских университетах. А сам он в это время уже сидел над своей четвертой книгой — «Уловка бессильного».

Однако он чувствовал в себе странную раздвоенность. Быть может, это было смутным протестом против полученного им воспитания, условностей и привычек, унаследованных от предков. Как бы то ни было, он находил большое удовольствие в своих скитаниях по рабочему кварталу. В своей среде он слыл Холодильником, но среди рабочих он был Верзила Билль Тоттс, который пил и курил, чертыхался, дрался и видел вокруг дружеские улыбки. Все любили Билля, и многие девушки из работниц ласково поглядывали на него. Вначале он был просто хорошим актером, но потом как бы обрел здесь вторую натуру. Он уже не притворялся, что любит, а действительно любил дешевые сосиски и колбасу, хотя в своем родном кругу не переносил этой пищи.

Начав с осуществления определенной поставленной цели, он в конце концов полюбил эту жизнь, и ему уже стало тяжело и неприятно возвращаться в свой чопорный кабинет ученого. Он заметил, что с нетерпением ожидает того момента, когда можно будет снова перейти черту и опять превратиться в компанейского малого. Он вовсе не был повесой, однако как Верзила Билль Тоттс он проделывал тысячи таких вещей, на которые никогда не решился бы Фредди Друммонд. Фредди Друммонду они бы даже никогда не пришли в голову, — это и было самое удивительное. Фредди Друммонд и Билль Тоттс были совершенно различными людьми. Желания, поступки и настроения одного были диаметрально противоположны поступкам и настроениям другого. Билль Тоттс без всяких угрызений совести лодырничал во время работы, тогда как Фредди Друммонд клеймил лодырничанье как величайшее преступление, недостойное американца, и посвящал этому вопросу громоподобные главы. Фредди Друммонд никогда не помышлял о танцах, а Билль Тоттс не упускал случая поплясать в какой-нибудь «Магнолии» или «Западной Звезде». Он даже получил большой серебряный кубок, в тридцать дюймов высотой, за костюм

на одном из клубных маскарадов союза мясников. Кроме того, Билль Тоттс любил поболтать с девушками, и они не отвергали его, тогда как Фредди Друммонд изображал из себя аскета, ненавидел суфражисток и цинически ядовито осуждал совместное образование.

Фредди Друммонд с удивительной легкостью менял свои манеры вместе с платьем. Он входил в маленькую комнатку, в которой обыкновенно переодевался, прямо и чопорно, плечи его были гордо откинуты назад, выражение лица надменное и холодное. Но одевшись в платье Билля Тоттса, он сразу становился другим человеком. Билль Тоттс не распускался, но его манеры делались простыми и изящными, даже звук его голоса изменялся, смех звучал громко и весело, речь становилась более красочной, а с его уст срывалось подчас крепкое ругательство. Билль Тоттс по вечерам любил засиживаться в кабачках, где среди своих товарищей — рабочих — держал себя добродушно, а иногда воинственно, не уклоняясь от потасовок. Возвращаясь с воскресных пикников, он очень непринужденно обнимал за талию своих спутниц, и видно было, что он ухаживает за ними умело, как и подобает веселому парню из рабочей среды.

Билль Тоттс был настоящим рабочим южной части города и был вполне проникнут самосознанием рабочего класса, а штрейкбрехеров ненавидел сильнее, чем кто-либо из членов союза. Во время большой «водяной забастовки» Фредди Друммонд был настроен весьма критически и хладнокровно мог рассуждать о ней, в то время как Билль Тоттс лодырничал и издевался над штрейкбрехерами. Билль Тоттс был преданным членом своего союза и справедливо негодовал на узурпаторов своих прав. Верзила Билль был такой здоровый и такой ловкий малый, что его пускали вперед во время всяких заворушек. Фредди Друммонд в своей новой роли научился понимать реальные обиды и искренне возмущался; но вернувшись в университетскую атмосферу, он начинал все хладнокровно обсуждать и взвешивать, как подобает ученому социологу. Фредди Друммонд отлично понимал, что у Билля Тоттса ограниченный кругозор, отчего он и не может подняться над уровнем своего класса. Билль Тоттс не знал этого. Когда он видел, что штрейкбрехеры отнимают у него работу, он попросту приходил в ярость. Фредди Друммонд, безукоризненно одетый, сидя на кафедре в социологической аудитории, созерцал Билля Тоттса и

окружавшую его среду и хладнокровно рассуждал о союзах и о штрейкбрехерах, сводя все эти вопросы к общей проблеме процветания Соединенных Штатов. Билль Тоттс ничего не видел дальше второго блюда за обедом или следующего состязания боксеров в атлетическом клубе.

Первое предупреждение о грозящей ему опасности Фредди получил, когда собирал материал для своей новой книги «Женщина и труд». В обоих мирах он пользовался слишком большим успехом. Та двойственность, которую он для себя создал, была слишком необычайна, и однажды, сидя у себя в кабинете за работой, он почувствовал, что не может больше этого выносить. Он дошел до такой точки, когда ему во что бы то ни стало нужно было сделать выбор между двумя мирами. Продолжать жить в обоих он уже больше не мог. Созерцая полки, уставленные книгами, среди которых видное место занимали его труды, начиная с диссертации и заканчивая последней книгой «Женщина и труд», он решил, что это и есть мир, для него предназначенный. Билль Тоттс помогал ему, но его дальнейшее участие начинало становиться опасным. Билль Тоттс должен был исчезнуть.

Главной причиной опасений Фредди Друм-

монда была Мэри Кондон, председательница Международного Союза перчаточниц, № 974. Первый раз он ее увидел с галереи для зрителей на ежегодном конгрессе Северо-Западной Федерации Труда. Увидел глазами Билля Тоттса, и на Билля Тоттса она произвела самое благоприятное впечатление. Но она отнюдь не соответствовала вкусу Фредди Друммонда. Для него не имели значения ни ее статная фигура, ни поразительная гибкость, ни прекрасные черные глаза, вспыхивающие подчас огнем, ни заразительный смех. Он ненавидел женщин со слишком ярко выраженным жизнелюбием и с отсутствием… ну, скажем, самообладания. Фредди Друммонд признавал теорию эволюции, поскольку ее признавали все его университетские коллеги. И он допускал, что человек — просто-напросто верхняя ступень в развитии живых организмов, потомок и высший результат длинной вереницы низших существ. Но он стыдился подобной генеалогии и предпочитал не думать о ней. Потому-то, вероятно, он и развил в себе железное самообладание, требовал того же от других и женщин предпочитал таких же, то есть свободных от всего животного и чувственного и сумевших благодаря своей выдержке перейти через бездну, отделявшую их от существ

низшего порядка.

Биллю Тоттсу были не по плечу подобные размышления, он полюбил Мэри Кондон с первого взгляда и тогда же решил узнать, кто она такая. В следующий раз он встретился с ней совершенно случайно, когда занимался перевозкой вещей, управляя фургоном Пата Морриса. Его послали в гостиницу на Посольской улице, чтобы взять оттуда на хранение сундук. Дочь хозяйки провела его в маленькую комнату, обитательницу которой, перчаточницу по профессии, только что отвезли в больницу. Он взвалил себе на плечи тяжелый сундук и повернулся к выходу, как вдруг его остановил женский голос:

— А вы состоите в союзе?

— А вам какое дело, — ответ был невежлив. — Ну-ка, подвиньтесь немножко, а то мне негде повернуться. Живо!..

В следующее мгновение, несмотря на свой рост и силу, он пошатнулся, так как его сильно толкнули, и сундук стукнулся о стену. Билль хотел выругаться, но, обернувшись, увидал сердитые черные глаза Мэри Кондон.

— Ну, разумеется, я принадлежу к союзу, — сказал он. — Я просто хотел подразнить вас.

— Покажите вашу карточку, — проговорила

она деловым тоном.

— Она у меня в кармане, но я не могу достать ее — этот дьявольский сундук мешает. Пойдемте вниз, я вам покажу карточку.

— Поставьте сундук на пол, — приказала она.

— Какого черта! Сказал же вам — у меня есть карточка.

— Говорят вам, поставьте сундук, я не позволю ни одному штрейкбрехеру его касаться. Как вам не стыдно! Здоровый детина отбивает хлеб у честных людей! Почему бы вам самому не записаться в союз и не стать честным человеком?

Краска залила ее лицо, и по всему было видно, что она вне себя от ярости.

— Этакий верзила изменяет своим же братьям. Вы, небось, мечтаете о том, чтобы поступить в милицию и во время следующей забастовки подстрелить кого-нибудь из товарищей-возчиков, а может, вы тайком уже служите в милиции, я вижу это по вашему лицу.

— Да нет же, черт побери! — воскликнул Билль, с грохотом ставя сундук на пол и вытаскивая из кармана карточку. — Я же вам говорил, что я вас только дразнил. Видите…

Это был действительно членский билет союза в полной исправности.

— Ну, ладно, — смягчилась Мэри Кондон. — В следующий раз не дразните.

Ее лицо прояснилось, когда она увидела, с какой легкостью Билль Тоттс взвалил себе на плечи огромный сундук. Загоревшимися глазами она оглядела его могучую, мужественную фигуру, но Билль этого не заметил — он был занят сундуком.

В следующий раз он увидел Мэри Кондон во время забастовки прачек. Прачки, недавно сорганизовавшиеся, были неопытны в этом деле и просили Мэри Кондон руководить забастовкой. Фредди Друммонд заинтересовался ходом забастовки и откомандировал Билля Тоттса на разведку. Билль работал в прачечной, и в одно утро мужчины были мобилизованы для оказания помощи девушкам. Билль случайно оказался возле двери катального помещения, когда Мэри Кондон хотела туда войти. Управляющий — здоровый и плотный человек — загородил ей дорогу. Он вовсе не желал, чтобы его девушек снимали с работы, и хотел отучить ее вмешиваться в чужие дела. Когда Мэри Кондон все-таки хотела проскользнуть в помещение, он оттолкнул ее своими жирными руками. Она обернулась и увидела Билля.

— А, мистер Тоттс, — обратилась она к нему. — Помогите мне войти туда.

Билль был приятно удивлен, что она запомнила его имя по его членскому билету; в следующее мгновение управляющий отлетел в сторону, а прачечная вскоре опустела. На всем протяжении этой короткой и удачной забастовки Билль сопровождал повсюду Мэри Кондон, словно верный адъютант. Но вернувшись в университет, Фредди Друммонд недоумевал, что он мог найти в этой женщине.

Фредди Друммонд был вне опасности, но Билль Тоттс влюбился по уши — факт, с которым нужно было считаться, и он-то послужил Фредди Друммонду первым предостережением. Работа подходила к концу, стало быть, следовало прекратить авантюру, не было больше никакой надобности переходить черту. В книге «Тактика и стратегия труда» оставалось написать две-три главы, но и для них материала было вполне достаточно.

Другим важным соображением оказывалось следующее: чтобы окончательно утвердиться в роли Фредди Друммонда и встать, наконец, на якорь, ему необходимо было теснее сблизиться с людьми его собственного круга. Он решил, что

пора жениться; к тому же он был уверен, что если не женится Фредди Друммонд, то это не замедлит сделать Билль Тоттс, а последствия такого брака будут весьма и весьма плачевны. Так в его жизнь вошла Катерина ван Ворст. Она окончила университет, а ее отец был членом факультета и деканом философского отделения. Брак этот представлялся разумным со всех точек зрения, и Фредди Друммонд был весьма доволен, когда предложение его приняли и была объявлена помолвка. Холодная и сдержанная, аристократически консервативная Катерина ван Ворст не уступала в самообладании самому Фредди Друммонду.

Все как будто обстояло благополучно, но Фредди Друммонд никак не мог отделаться от желания снова пожить той свободной и безответственной жизнью, с которой познакомился по ту сторону черты. Когда приблизилось время свадьбы, он ясно понял, что в нем крепко засели корешки других привычек, и ему снова захотелось хоть на миг превратиться в того веселого малого, прежде чем окончательно погрузиться в кабинетную науку и в спокойную семейную жизнь. Как раз подвернулся и предлог: оставалась незаконченной последняя глава его нового труда, а для нее

требовались кое-какие материалы, которые он не успел собрать.

Поэтому Фредди Друммонд еще раз превратился в Билля Тоттса, собрал все, что ему было нужно, но, к несчастью, встретил Мэри Кондон. Вернувшись снова в свой кабинет, он с неудовольствием вспомнил об этой встрече. Предупреждение было вдвойне знаменательно. Билль Тоттс вел себя предосудительно — он не только встретил Мэри Кондон в Рабочем Совете, но, провожая ее домой, зашел с ней в ресторанчик и угостил ее устрицами, а у двери ее дома крепко обнял ее и несколько раз поцеловал в губы. Ее последние слова прозвучали в его ушах нежно и ласково: «Билль, милый Билль!»

Вспоминая об этом, Фредди Друммонд содрогался и чувствовал, что у ног его разверзается бездна. Он по природе не был многоженцем, и его не на шутку тревожило создавшееся положение. Надо было положить конец раздвоению. А из этого было два выхода. Либо он должен полностью превратиться в Билля Тоттса и жениться на Мэри Кондон, либо ему следует оставаться только Фредди Друммондом и жить в честном браке с Катериной ван Ворст; иначе его поведение было бы ужасно и недостойно порядочного человека.

В течение следующих месяцев Сан-Франциско сотрясали всяческие забастовки. Союзы рабочих и ассоциации предпринимателей вели ожесточенную борьбу и, по-видимому, твердо решили раз навсегда выяснить положение. Но Фредди Друммонд просматривал свои корректуры, читал лекции и ни во что не вмешивался. Он всецело посвятил себя Катерине ван Ворст и с каждым днем восхищался ею все больше и больше — мало того, он начинал любить ее. Забастовка возчиков взволновала его меньше, чем он думал; к стачке мясников он отнесся совершенно равнодушно. Призрак Билля Тоттса окончательно рассеялся, и Фредди Друммонд с новой энергией уселся за давно обдуманную им брошюру «Уменьшающиеся доходы».

До свадьбы оставалось две недели, и вот однажды Катерина ван Ворст заехала за ним и предложила, воспользовавшись хорошей погодой, поехать осмотреть «Клуб для подростков», устроенный Обществом Рабочих Поселков, в котором она принимала деятельное участие.

Автомобиль принадлежал ее брату, но они ехали вдвоем, если не считать шофера. Базарная улица и Джири-стрит при слиянии образуют острый угол в виде V. Они ехали на автомобиле

по Базарной улице, намереваясь завернуть за угол и поехать по Керни-стрит. Но они не знали, что ожидает их на этой улице. Хотя они читали в газетах о забастовке мясников, Фредди Друммонд, по правде говоря, совершенно забыл о ней. Разве мог он помнить об этом, сидя рядом с Катериной? А кроме того, он с увлечением излагал ей свои взгляды на рабочие поселки — взгляды, которые он без помощи Билля Тоттса не сумел бы так ловко формулировать.

Навстречу им двигались шесть фургонов с мясом; рядом с каждым возчиком сидел полицейский, а спереди и сзади шел отряд из сотни полисменов: возчики были штрейкбрехерами. Вслед за полицейскими шла толпа в довольно стройном порядке, но весьма горластая, запрудившая несколько улиц. Мясной Трест пытался снабдить мясом гостиницы и таким образом сорвать забастовку. Отель Ст. — Фрэнсис был уже снабжен, что обошлось в несколько разбитых окон и голов, и теперь экспедиция отправлялась на выручку Палас-отеля.

Фредди Друммонд, не обращая внимания на толпу, продолжал развивать Катерине свои взгляды, а шофер уже собирался заворачивать за угол, как вдруг с Керни-стрит выехал огромный

фургон, нагруженный углем, и загородил им дорогу. Возчик фургона задержал лошадей, и шофер попытался проскочить наперерез фургону, несмотря на окрики полисмена, напоминавшего ему о правилах езды по городу.

Фредди Друммонд вынужден был прервать свою речь; он так ее больше и не возобновил, ибо события помчались с кинематографической быстротой. Он слышал рев толпы и видел блеск касок полисменов, охранявших повозки. В этот самый миг возчик фургона с углем погнал лошадей наперерез подвигавшимся повозкам с углем, затем резко осадил лошадей и затормозил. После этого он привязал вожжи к ручке тормоза и уселся поудобнее, как человек, которому некуда торопиться. Автомобиль тоже вынужден был остановиться.

Не успел шофер дать задний ход, как сзади на автомобиль налетел другой фургон, управляемый старым ирландцем, в котором Фредди Друммонд сразу узнал Пата Морриса. Фредди Друммонд сам не раз управлял этим фургоном. Подъехали новые фургоны, подошел трамвай, и проехать уже не было никакой возможности. Вагоновожатый неистово звонил в колокольчик, мясные фургоны остановились, полиция попала в ловушку. Рев

толпы все усиливался, и толпа в конце концов стала осаждать полисменов, которые пытались расчистить дорогу для фургонов.

— Вот мы и попались, — спокойно заметил Друммонд.

— Да, — столь же хладнокровно ответила его спутница, — какие они дикари!

Он с восхищением смотрел на нее: да, она была вполне в его вкусе; правда, он не стал бы особенно упрекать ее, если бы она даже вскрикнула и прижалась к нему, но такое спокойствие было поистине великолепно. Среди этого бушующего моря голов она сидела так же спокойно, как при разъезде из театра.

Полиция старалась расчистить дорогу. Возчик фургона с углем, здоровенный малый с засученными рукавами, набил трубку и сидел, спокойно покуривая. Он снисходительно слушал, как полицейский капитан осыпал его ругательствами, и в ответ пренебрежительно пожимал плечами. Издали донеслось характерное «трах-та-ра-рах» — удары дубинками по головам, раздались крики, вой, проклятия и стоны. Все возрастающий шум ясно показывал, что толпа наконец прорвала цепь полисменов и теперь стаскивала с козел штрейкбрехеров-возчиков. Полицейский капи-

тан послал туда отряд, который начал теснить толпу. Между тем одно за другим стали открываться окна контор, расположенных в верхних этажах, и клерки, проникнутые массовым сознанием, стали выкидывать на головы полицейских разные предметы, попадавшиеся под руку. Корзины для бумаги, пресс-папье, чернильницы, пишущие машинки — все это летело на улицу.

Один из полисменов, по приказанию капитана, забрался на угольный фургон, чтобы арестовать возчика. Тот спокойно и лениво поднялся, но затем вдруг схватил и швырнул полисмена прямо на капитана. Возчик был молодой гигант, и когда он взял в обе руки по здоровенному куску каменного угля, полицейский, вторично влезавший на фургон, раздумал нападать на него и спрыгнул на землю. Капитан приказал полдюжине полисменов атаковать фургон, но возчик перебегал из стороны в сторону и швырял в них здоровенные куски угля.

Толпа на тротуарах поощряла возчика громкими криками и с восторгом наблюдала борьбу. Вагоновожатый трамвая, колотивший полицейских тормозной рукояткой, был избит до полусмерти и стащен на мостовую. Полицейский капитан, вне себя от ярости, лично распоряжался

осадой угольного фургона. Целая толпа полицейских осаждала эту своеобразную крепость, но возчик действовал с необыкновенной быстротой и энергией. По временам шесть или семь полицейских скатывались с фургона. Занятый отражением атаки с задней стороны, возчик, внезапно обернувшись, увидел, что капитан взбирался на фургон с передней. Капитан висел еще в воздухе в неустойчивом положении, когда возчик запустил в него тридцатифунтовым куском угля. Он попал капитану прямо в грудь, тот полетел кувырком, ударился о колесо и упал возле автомобиля.

Катерина думала, что он убит, но он поднялся и полез обратно. Она протянула свою затянутую в перчатку руку и погладила одну из испуганных лошадей. Друммонд не заметил ее движения. Он весь был поглощен созерцанием осады фургона, а где-то там, в глубине его сложной психики, возникал и возвращался к жизни некий Билль Тоттс. Друммонд признавал необходимость поддержания существующего порядка и верил в закон. Но сидевший в нем дикарь ничего этого не признавал.

Фредди Друммонд в этот критический миг напряг всю свою железную волю, но в писании

сказано, что дом, треснувший внутри, неминуемо должен пасть. И Фредди Друммонд чувствовал, как он расползался внутри и как сейчас распадется на две части, одна из которых звалась Биллем Тоттсом. Фредди Друммонд сидел в автомобиле совершенно спокойно рядом с Катериной ван Ворст, но из глаз Фредди Друммонда уже выглядывал Билль Тоттс, а сам Друммонд наблюдал словно со стороны, как внутри сражаются за обладание его особой спокойный консервативный социолог и Билль Тоттс, сознательный рабочий, охваченный к тому же воинственным пылом. Билль Тоттс предвидел неизбежный исход битвы на угольном фургоне. Он видел, как на фургон забрался сначала один полисмен, затем второй, третий. Он видел, как они спотыкаются на угле и размахивают своими дубинками. Один удар пришелся возчику по голове, от другого удара тот уклонился, но дубинка хватила его по плечу. Его игра была проиграна. Тогда он внезапно бросился, схватил двух полисменов в свои могучие объятия и вместе с ними, уже как пленник, шлепнулся на мостовую.

Катерина ван Ворст едва не упала в обморок при виде крови и грубой драки, но ее волнение было внезапно прервано самым необычайным

и неожиданным образом. Сидевший рядом с ней человек издал дикий, нелепый крик и вскочил со своего места. Она видела, как этот человек перепрыгнул через переднее сиденье, оперся о низкий круп лошади и в мгновение ока очутился на фургоне. Он появился, точно смерч. Прежде чем капитан, стоявший на верху повозки, мог угадать цель появления этого прекрасно одетого, но необычайно возбужденного джентльмена, он уже полетел на мостовую, сшибленный с фургона страшным ударом. Другой полисмен отправился вслед за ним с разбитой физиономией. Тогда трое других бросились на Билля Тоттса, осыпая его ударами дубинок, так что череп его затрещал, а рубашка, пиджак и жилет разлетелись в клочья. Но все три полисмена полетели на мостовую, а Билль Тоттс, стоя на верху фургона, швырял в них углем.

Капитан доблестно кинулся в атаку, но кусок угля полетел в его голову, и он принял черное угольное крещение. Полиции было необходимо оттеснить блокаду спереди, прежде чем толпа прорвет полицейскую цепь сзади, и Билль Тоттс задался целью удержать полицейских. Таким образом, битва у фургона продолжалась.

Толпа узнала своего чемпиона. Верзила Билль,

как всегда, был впереди всех, и Катерина ван Ворст с недоумением слышала крики: «Билль, эй, Билль!», доносившиеся со всех сторон.

Пат Моррисон в неистовом восторге прыгал и плясал на своем фургоне.

— Так их, Билль, так их, лопай их живьем!

Она слышала, как какая-то женщина на тротуаре закричала:

— Смотри, Билль, они сзади!..

Билль принял во внимание это предостережение и, оглянувшись, очистил с помощью угля эту часть фургона. Катерина ван Ворст, быстро обернувшись, увидала на тротуаре женщину, черные пылающие глаза которой с восторгом смотрели на того, кто только что был Фредди Друммондом.

Из окон контор раздался гром аплодисментов. Стулья, столы и другие предметы посыпались на улицу с новой силой. Толпа с одной стороны уже прорвала фронт, и теперь каждый полисмен был центром сражающейся группы. Штрейкбрехеров сбросили с их сидений, постромки лошадей перерезали, и испуганные животные бросились в бегство. Многие полицейские, спасаясь от опасности, забирались под угольный фургон, а другие, вскочив на лошадей, прочищали себе дорогу к Базарной улице.

Катерина ван Ворст снова услыхала голос той женщины. Женщина кричала:

— Улепетывай, Билль! Улепетывай, пора!

В этот миг полиция была оттиснута. Билль Тоттс воспользовался ее замешательством, прыгнул на мостовую и подошел к женщине, которая, к удивлению Катерины ван Ворст, обняла его и поцеловала в губы. Катерина ван Ворст увидела, как он обнял женщину за талию, и оба они пошли вниз по улице, смеясь и разговаривая, причем у него была такая развязная походка, которой Катерина ван Ворст в нем не знала и никак не предполагала.

Полиция возвратилась и очищала баррикады, ожидая прибытия новых лошадей и возчиков. Толпа, сделав свое дело, расходилась, а Катерина ван Ворст все смотрела вслед тому, кого она привыкла звать Фредди Друммонд. Он был на голову выше всех, его рука продолжала обнимать за талию женщину. Сидя в автомобиле, Катерина ван Ворст видела, как эта веселая пара пересекла Базарную улицу, перешла черту и исчезла в лабиринте рабочего квартала.

В течение следующих лет не слышали лекции Фредди Друммонда в Калифорнийском университете. Книги по экономическим вопросам,

носящие имя Фредерика А. Друммонда, также не появлялись. Зато появился новый рабочий лидер Вилльям Тоттс. Это он женился на Мэри Кондон, председательнице Международного Союза Перчаточниц, № 974. Это он организовал знаменитую забастовку поваров и официантов, которая прошла с таким блистательным успехом и вовлекла в забастовку многие другие союзы, имевшие к Союзу Поваров и Официантов лишь косвенное отношение, например Союз Куроводов и Союз Могильщиков.

Неслыханное нашествие

Раздор между Китаем и остальным миром достиг своей высшей точки в 1976 году. Пришлось из-за этого даже отложить празднование двухсотлетия американской свободы. И в других странах по той же причине спутались, смешались и были отложены на неопределенное время различные начинания.

Мир внезапно очнулся и сразу увидел грозящую ему опасность, а между тем уже в течение по крайней мере семидесяти лет все неприметно вело к этой трагической развязке. Корни события, взволновавшего теперь весь мир, уходили в далекое прошлое, к 1904 году.

В 1904 году была русско-японская война, и все историки тогда же отметили как событие первостепенной важности вступление Японии в число великих держав. Но особенно важно было пробуждение Китая. Это долгожданное событие наконец началось. Западные государства давно уже старались пробудить эту таинственную страну, но это им не удавалось. И в конце концов вследствие своего врожденного оптимизма, а также расового самомнения они решили, что

пробудить Китай — задача невыполнимая.

Но они упустили из виду одно очень важное обстоятельство: у них с Китаем не было общего языка; их процесс мышления был совершенно иной, чем у китайцев. Они никак не могли сговориться. Ум западных людей не мог глубоко проникнуть в психику китайцев и запутывался в ней, как в лабиринте. С другой стороны, и китайский ум не мог вполне постигнуть европейские мысли, натыкаясь на какую-то непроницаемую стену. Стеной был язык. Не было никакой возможности втолковать китайцу западные идеи. Китай продолжал крепко спать. Экономические достижения и прогресс Запада были для Китая закрытой книгой, и Запад не мог ему помочь раскрыть эту книгу.

Где-то в глубине сознания какой-нибудь европейской нации — ну, скажем, англичан — была способность возмущаться краткостью и невыразительностью саксонских слов; так же в глубине сознания китайцев таилась способность возмущаться сложностью иероглифов. Но китайский ум был равнодушен к коротким саксонским словам, так же как английский ум — к китайским иероглифам. Ум тех и других был соткан из совершенно различных материалов; потому-то

экономические достижения и прогресс Запада не могли рассеять сон Китая.

Но явилась Япония и в 1904 году победила Россию. Теперь японская раса стала каким-то парадоксом среди восточных народов. Удивительным образом Япония оказалась необычайно восприимчивой к западной культуре. Япония необыкновенно быстро восприняла западные идеи, переварила их и в несколько лет превратилась в могучую мировую державу. Никак нельзя объяснить, почему Япония так легко усвоила европейскую культуру; объяснить это столь же трудно, как биологический процесс в живом организме.

Разбив Великую Российскую Империю, Япония сама решила стать Великой Империей, она превратила Корею в свою житницу и колонию. Благодаря успешному ведению дипломатических переговоров она монополизировала Маньчжурию. Но Япония все еще была не удовлетворена. Она обратила свой взор на Китай — огромную страну с богатейшими залежами железа и каменного угля — этими основами промышленности и цивилизации. Помимо того, там был и другой великий промышленный фактор — труд.

Население Китая достигало четырехсот милли-

онов — четверти населения всего земного шара. Кроме того, китайцы были отличными рабочими, а фатализм их философии (или, если угодно, религии), их крепкие нервы могли сделать из них великолепных солдат, если только умело с ними обращаться. Нечего и говорить, что Япония прекрасно знала, как с ними следовало обращаться.

Но более всего благоприятствовало расовое родство. Извечная тайна Китая, смущавшая западных людей, отнюдь не могла смутить японцев. Японцы понимали китайцев так, как никогда бы не могли научиться понимать их мы. Процесс их мышления был тот же, что у китайцев. Японцы мыслили теми же символами и пользовались для этого такими же мозговыми извилинами. Японцы с легкостью проникали в самую глубь китайского ума, тогда как мы при этом наталкивались на непреодолимые препятствия. Они обходили эти препятствия по неизвестным нам тропинкам и углублялись в такие дебри китайского ума, куда мы никак не могли следовать за ними. Японцы и китайцы были братьями. Много веков назад один из этих народов воспользовался письменностью, изобретенной другим, и когда-то в несказанно древнее время они отошли от одного общего монгольского корня. В них произо-

шли различные перемены, вызванные отчасти изменившимися условиями жизни, отчасти — примесью чужой крови. Но где-то в глубине своих сердец они продолжали носить общерасовое наследие, которое не могло уничтожить даже время. Итак, японцы решили приняться за Китай. В течение нескольких лет непосредственно после русско-японской войны японские агенты наводнили Китай. Они проникали за тысячи верст дальше всяких миссий под видом странствующих торговцев или буддийских проповедников. Эти шпионы, в основном инженеры, тщательно вычисляли и записывали силу каждого водопада, отмечая места для устройства заводов; они изучали горные высоты и ущелья, определяли стратегические преимущества и недостатки местности, записывали количество скота в деревнях, а также количество людей, которых можно было мобилизовать в данном округе для принудительных работ. Никогда и нигде не было такой переписи, и ни один народ не мог ее произвести, кроме упорных, терпеливых и патриотически настроенных японцев.

В скором времени вся эта работа стала производиться явно. Японские офицеры реорганизовали китайскую пехоту. Инструкторы превратили

средневековых воинов в настоящих солдат двадцатого века, привыкших ко всем новейшим достижениям военной техники и во многом даже превосходивших солдат Запада. Японские инженеры развернули в Китае систему каналов, понастроили заводов, снабдили Империю телеграфами и телефонами и приступили к постройке железных дорог. Благодаря их энергии были открыты нефтяные источники Чупсана, железоносные горы Ван-Синга, медные залежи Чинчи; они же вырыли знаменитый газовый колодец в Воу-Вин, который до сих пор остается самым замечательным резервуаром натурального газа.

В Китайском Государственном Совете заседали японские эмиссары. Китайским государственным людям нашептывали в уши японские дипломаты. Им был обязан Китай своей политической реорганизацией. Они лишили влияния класс ученых, настроенный чрезвычайно реакционно, и на место ученых всюду поставили либеральных чиновников. В каждом китайском городе стали выходить газеты, которыми руководили японские редакторы, получавшие инструкции непосредственно из Токио. Благодаря этим газетам стали развиваться и научились либерально мыслить широкие круги китайского населения.

Китай наконец проснулся. То, что не удалось Западу, удалось Японии. Япония сумела преподнести Китаю западную культуру в форме, доступной его пониманию. Япония недавно сама удивила весь мир своим неожиданным пробуждением, но в ней было тогда всего сорок миллионов жителей. Пробуждение Китая с его четырехсотмиллионным населением произвело потрясающее впечатление. Китай был колоссом среди наций, и его голос вскоре стал уверенно и громко раздаваться во всех странах. Япония создала новый Китай, и гордые западные народы вынуждены были почтительно внимать ему.

Быстрый рост и успех Китая объяснялся, главным образом, необыкновенно высоким качеством труда. Китайцы — превосходные работники. Это их исконное качество. Никакие другие работники не могли сравниться с ними в ловкости. Работа для китайцев — как дыхание. Она была им так же необходима, как другим народам необходимы путешествия, войны и всевозможные авантюры. Свободу они понимали как доступ к орудиям производства. Обрабатывать почву и трудиться не покладая рук, — вот все, чего они требовали от жизни и от своих повелителей. И пробуждение Китая не только

открыло его народу свободный доступ к орудиям производства, но и научило его пользоваться этими орудиями наиболее совершенным образом.

Возродившийся Китай! Это было лишь первым шагом к его владычеству. Он проявил вдруг неожиданную гордость и стремление к самоопределению. Он начал волноваться под покровительством Японии, но волнение продолжалось недолго. По совету Японии, он прежде всего изгнал из Империи всех западных эмиссаров, инженеров, офицеров, коммерсантов и учителей. Затем он начал так же поступать и с представителями Японии. Японских государственных людей осыпали почестями и орденами, но отправили домой. Как некогда Япония разделалась с пробудившим ее Западом, так же теперь разделывался с ней Китай. Исполинский воспитанник поблагодарил Японию за все ее заботы и попечения, а затем вышвырнул ее за борт со всем багажом. Западные народы тихонько посмеивались. Радужные мечты японцев разлетелись как дым; Япония злилась, а Китай издевался над ней. Кровь самураев воспламенилась, засверкали мечи, и Япония начала воевать. Это случилось в 1922 году. В течение семи месяцев шли кровавые бои, после чего Япония, потерпев поражение, должна

была уйти на свои маленькие острова, потеряв Маньчжурию, Корею и Формозу (Тайвань). Япония перестала играть роль в мировой трагедии. После этого она стала заниматься только искусством, и весь мир долго восхищался красотой и изяществом ее художественных произведений.

Вопреки всяким опасениям, Китай не оказался воинственным, у него не было никаких наполеоновских амбиций, и он также стал мирно заниматься искусством. В конце концов все сошлись на том, что Китай опасен не как военное, а как торговое государство. Однако, как оказалось впоследствии, никто не предвидел истинной опасности. В Китае продолжала успешно развиваться машинная цивилизация. Вместо регулярной армии там была организована очень сильная и хорошо обученная милиция. Флот Китая был настолько мал, что служил посмешищем для всего мира, но Китай и не думал о расширении своего флота, его военные суда никогда не заходили в иностранные порты.

Настоящая опасность, которую таил в себе Китай, заключалась в его необыкновенной плодовитости. И тревога по этому поводу была поднята впервые в 1970 году. С некоторого времени все прилегавшие к Китаю земли стали

страдать от китайских переселенцев. Оказалось, что население Китая достигло уже пятисот миллионов; таким образом, со времени его пробуждения население возросло на сто миллионов. Бургальтер отметил чрезвычайно важный факт, что китайцев теперь больше, чем белых. Это можно проверить простым арифметическим расчетом. Он сложил количество населения Соединенных Штатов, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Африки, Англии, Франции, Германии, Италии, Австралии, Европейской России, Скандинавии — в сумме получилось четыреста девяносто пять миллионов, и все-таки пятьсот миллионов населения Китая превосходили эту громадную цифру. Данные, собранные Бургальтером, обошли весь мир. И мир содрогнулся. В течение многих веков население Китая было неизменным. Его территория была насыщена людьми; другими словами, на его территории, принимая во внимание примитивные способы жизни и производства, умещалось предельное количество населения. Но после пробуждения его производственное могущество возросло до грандиозных размеров; теперь на той же самой территории могло вместиться гораздо больше населения. Одновременно деторождение стало

увеличиваться, а смертность — уменьшаться. Прежде, когда прирост населения был больше, чем государство могло выдержать, излишек населения просто вымирал от голода, но теперь, благодаря машинной цивилизации, жизнеспособность Китая чрезвычайно возросла, голод прекратился, и число жителей увеличивалось одновременно с ростом средств к существованию.

В этот переходный период своего развития китайцы не мечтали о завоеваниях. Они отнюдь не были империалистами. Они были трудолюбивы, бережливы и очень мирно настроены. На войну они смотрели как на неприятную необходимость, иногда совершенно неизбежную. И вот, пока западные народы дрались между собой и пускались в разные рискованные предприятия, китайцы спокойно работали возле своих машин и развивали промышленность. Но теперь население начинало переливаться, так сказать, через край и «заливать» прилегающие к Империи территории, причем происходило это с медлительностью и упорством движущегося глетчера.

После шума, поднятого книгой Бургальтера, Франция в 1970 году вздумала оказать сопротивление. Французский Индо-Китай был переполнен эмигрантами. Франция сказала: «Довольно», но

поток не останавливался. Тогда Франция сосредоточила на границе своих владений стотысячную армию. Но Китай выслал свою милицию — огромное войско в миллион штыков. За этой армией шли жены, дети и родственники, везя за собою багаж и образуя как бы вторую армию. Французские солдаты разлетелись как мухи. Китайские милиционеры вместе со своими семьями заняли французский Индо-Китай и расположились там с твердым намерением прожить несколько тысяч лет.

Франция схватилась за оружие. Она послала свои военные суда к берегам Китая. У Китая не было флота, он, как улитка, запрятался в свою раковину. Целый год Франция блокировала Китайское побережье и бомбардировала приморские города и селения, но Китай относился к этому равнодушно; он абсолютно не зависел от других стран и ни в чем не нуждался; он спокойно прислушивался к грохоту французских пушек и продолжал работать. Франция плакала, стонала, ломала в бессилии руки и взывала к другим нациям. Наконец она отправила карательную экспедицию, которая должна была пойти на Пекин. Это было отборное войско в двести пятьдесят тысяч человек — цвет французской армии.

Войско высадилось, не встретив никакого сопротивления, и двинулось в глубь страны. И никто его больше уже не увидел. Линия сообщений была прервана на второй день — ни один из солдат не вернулся, чтобы поведать о случившемся. Войско было проглочено огромной пастью Китая.

В течение следующих пяти лет Китай быстро расширялся по всем направлениям. Сиам сделался частью Империи. Несмотря на протесты Англии, китайцы заняли Бирму и Малайский полуостров. То же происходило и на южной границе Сибири, где китайские орды жестоко теснили Россию. Этот процесс был очень прост. Сначала шли китайские переселенцы (вернее, они уже находились здесь, постепенно перейдя границу Империи). Потом раздавался звон оружия, и всякое сопротивление сметалось огромной армией милиционеров, шедших в сопровождении своих семейств и везших за собой имущество. Они делались колонистами покоренных земель. Никогда еще в мире не было такого странного и в то же время действенного способа завоеваний.

Непал и Бутан также наполнились переселенцами, а вся Северная Индия снесена этим страшным живым наводнением. Бухара и Афганистан были также поглощены. Поток этот

чувствовался и в Персии, и в Туркестане, и в Центральной Азии. Как раз в это время Бургальтер проверил свои данные, и оказалось, что он ошибся. В Китае население должно было равняться семистам-восьмистам — никто не знает скольким — миллионам человек, быть может — даже миллиарду. «На каждого белого приходится два китайца», — заявил Бургальтер, и весь мир задрожал от ужаса. Рост народонаселения Китая начался с 1904 года. С тех пор там ни разу не было голода. Если считать, что население возрастало ежегодно на пять миллионов человек, то в течение семидесяти лет оно должно было возрасти на триста пятьдесят миллионов. Но кто мог это знать точно! Может быть, оно увеличивалось еще быстрее. Никто ничего не ведал об этой новой грозе двадцатого века — о старом Китае, возродившемся и ставшем таким плодовитым и воинственным. В 1975 году в Филадельфии был созван конгресс. Все западные страны и даже некоторые восточные послали на него своих представителей. Однако ничего существенного достигнуто не было. Говорили об установлении премии за деторождение. Но математики осмеяли это предложение, доказав, что китайцы слишком опередили всех в этом направлении.

Невозможно было придумать никаких реальных средств для того, чтобы справиться с Китаем. Державы взывали друг к другу и угрожали Китаю. Это было единственным достижением конгресса в Филадельфии. А китайцы смеялись над конгрессом. Вот что соизволил сказать Ли-Танг-Фунг, действительный владыка, скрывавшийся за троном дракона:

— Какое дело Китаю до Комитета Наций, — сказал Ли-Танг-Фунг, — мы — наиболее древняя, наиболее могучая и наиболее царственная нация. Мы должны исполнить свое предназначение. Очень жалко, что наши стремления идут вразрез со стремлениями всего остального мира, но что же делать! Вы много толковали о царственных расах и о наследии земли; на это мы можем ответить только одно — посмотрим! Вы не можете напасть на нас. Какое нам дело до вашего флота; мы знаем, что наш флот мал, но, видите ли, мы им пользуемся только для полицейских целей. Нам не нужно морей. Вся наша сила заключается в нашем населении, которое скоро достигнет миллиарда. Благодаря вам мы снабжены всем современным военным снаряжением. Посылайте ваш флот — мы даже не заметим его. Посылайте свои карательные экспедиции, но не забывай-

те об опыте Франции. Высадить полмиллиона солдат на нашем берегу для вас равносильно разорению, а наши миллионы проглотят такую армию мгновенно. Посылайте миллион, посылайте пять миллионов — мы все равно их проглотим. Пуф! Это маленький кусочек, о котором не стоит разговаривать. Пусть Соединенные Штаты, как вы угрожаете, уничтожат те десять миллионов кули, которых мы высадили на вашем побережье. Ну, что ж, ведь это едва составляет половину нашего ежегодного прироста.

Так говорил Ли-Танг-Фунг. Весь мир был потрясен его речью. Ли-Танг-Фунг говорил правду. Не было никакого способа приостановить рост китайского населения. Теперь это население достигало миллиарда, но при ежегодном приросте в двадцать миллионов через двадцать пять лет оно должно было достигнуть полутора миллиардов — цифры населения всего земного шара в 1904 году.

И ничего нельзя с этим поделать. Не было такой плотины, которая могла бы остановить этот чудовищный поток. Воевать — бесполезно. Китай смеялся над блокадой. Он приветствовал нашествия. В его огромной пасти могли легко уместиться гости из всех стран мира. А между тем

океан желтой жизни заливал почти всю Азию. Китайцы насмехались, читая в газетах мудрые рассуждения западных ученых.

Но был один ученый, по имени Якоб Ланингдаль, на которого Китай не обратил должного внимания. В сущности говоря, он был ученым в самом широком смысле этого слова. Он был очень образован, но совершенно неизвестен и служил профессором в одной из нью-йоркских лабораторий Министерства здравоохранения.

Голова Якоба Ланингдаля мало чем отличалась от голов других людей, но в ней однажды зародилась гениальная идея. Голова эта оказалась также достаточно благоразумной, чтобы сохранить эту идею в секрете. Он не стал излагать ее в журнальной статье. Вместо этого он взял отпуск и 19 сентября 1975 года уехал в Вашингтон. Несмотря на поздний час, он прямо отправился в Белый дом, где ему была обещана аудиенция у президента. Он просидел у президента несколько часов. Содержание их разговора осталось тайной для всего мира. Но, в конце концов, мир вовсе и не интересовался Якобом Ланингдалем. На следующий день президент созвал Совет. На нем присутствовал и Якоб Ланингдаль. Результаты совещания хранились в строжайшей тайне. В тот

же день Рафус Коудери, государственный секретарь Соединенных Штатов, покинул Вашингтон и на следующий день рано утром отплыл в Англию. Тайна стала постепенно распространяться, но распространялась она только среди правителей. Не более шести человек в каждом государстве были посвящены в эту тайну. Тотчас же вслед за распространением тайны началась усиленная работа в доках, арсеналах и корабельных мастерских. Население Франции и Австрии насторожилось, но правительства так искренно уверяли народ, что готовится просто какое-то не подлежащее оглашению мероприятие, что волнения быстро прекратились.

То было время Великого Мира. Все страны сговорились не воевать между собою. Начались мобилизации армий в России, Германии, Италии, в Австрии, Греции и Турции. Затем началось движение на Восток. Все азиатские железные дороги были забиты поездами. Китай оставался спокойным — вот все, что было известно. Через некоторое время началось Великое Движение на морях. Флотилии военных судов двинулись из всех стран. Один флот следовал за другим, и все они группировались у берегов Китая. Во всех странах опустели порты. Приплыли к берегам Ки-

тая и таможенные суда, и буксирные пароходы, и старые крейсеры, и броненосцы. Не довольствуясь этим, нации мобилизовали и торговый флот. По статистическим данным, в Китай было отправлено 58 640 торговых судов, снабженных прожекторами и скорострельными орудиями.

Китай улыбался и ждал. На его границе стояли миллионы европейских солдат и моряков. Китай мобилизовал армию в пять раз больше. То же самое он сделал и на побережье. Однако Китай вскоре призадумался. После всех этих необычайных подготовительных операций никакого нашествия как будто бы и не предполагалось. Китай не мог понять, в чем дело. На Великой Сибирской границе все было спокойно. И никто не бомбардировал приморских городов и селений. Никогда еще в истории не было такого грозного сборища флотов. У берегов Китая собрались флоты всех наций; бесчисленные суда днем и ночью бороздили воды океана, и тем не менее никто ничего не предпринимал. Неужели европейцы предполагали выгнать Китай из его раковины? — Китай улыбался. Неужели они думают взять его измором? — Китай снова улыбался.

Если бы читатель 1 мая 1976 года попал на улицы Пекина — города с населением в одиннадцать

миллионов человек, — он был бы поражен интересным зрелищем. Он увидел бы толпы желтых людей, наводнившие все улицы, причем каждый человек, задрав голову, смотрел на небо. Высоко в воздухе можно было увидеть движущуюся точку, которая, судя по плавности движений, могла быть только аэропланом. С этого аэроплана, в то время как он летал взад и вперед над городом, падали странные, безобидные на вид снаряды, какие-то стеклянные трубки, которые разбивались на тысячи кусков. Но ничего смертоносного, по-видимому, эти трубки в себе не таили. Ничего особенного не произошло. Не было никаких взрывов. Правда, три китайца были убиты этими трубками, упавшими им на голову с такой огромной высоты. Но разве стоило говорить о трех убитых при ежегодном приросте в двадцать миллионов! Одна из трубочек упала перпендикулярно в фонтан, наполненный водой, и не разбилась. Хозяин дома извлек ее из воды. Сам он не решился ее вскрыть и понес ее начальнику квартала. За ним следовала толпа любопытных. Начальник квартала был храбрый человек. На глазах у всех он разбил трубку ударом своего чубука. Опять-таки ничего не произошло. Правда, те, кто стоял совсем близко, утверждали, будто из

трубки вылетело несколько москитов. Толпа со смехом разошлась.

Весь Китай, подобно Пекину, подвергся бомбардировке стеклянными трубочками. Маленькие аэропланы летали по всем направлениям, причем на аэропланах этих помещалось всего двое летчиков. Один правил машиной, а другой разбрасывал трубки. Если бы читатель снова заглянул в Пекин недель через шесть после описанных событий, он напрасно стал бы искать одиннадцатимиллионное население. Он нашел бы лишь жалкие остатки — всего несколько сот тысяч человек, а трупы остальных он увидел бы валяющимися на улицах, в домах, сваленными в груды на погребальные фургоны. Все остальное население ему пришлось бы искать на дорогах, в окрестностях столицы. Но и тут он повстречал бы лишь ничтожное количество живых людей, зато увидел бы горы трупов, — моровая язва, очевидно, успела нагнать убегавших. То, что случилось в Пекине, произошло и во всех остальных китайских городах. Мор свирепствовал повсюду. Это не была одна или две каких-нибудь болезни — это было множество ужасных эпидемий. Все разновидности смертельных заразных болезней носились по стране. Китайское правительство

слишком поздно оценило всю грандиозность и чудовищность этого предприятия, всю опасность этих маленьких аэропланов и безобидных на вид стеклянных трубочек.

Напрасно правительство выпускало воззвание за воззванием. Ничто не могло удержать от бегства одиннадцатимиллионное население Пекина и жителей других городов, стремившихся спастись от эпидемий и заражавших при этом всю страну. Врачи и санитары доблестно погибали на своем посту. Смерть-победительница издевалась над декретами императора и Ли-Танг-Фунга. Она издевалась уже потому, что сам Ли-Танг-Фунг умер на вторую неделю, а император, укрывшийся в своем дворце, умер на четвертую неделю.

Если бы свирепствовала какая-нибудь одна эпидемия, Китай сумел бы с ней справиться. Но что можно было поделать с целыми полчищами болезней? Тот, кто избегал оспы, умирал от скарлатины. Кого щадила желтая лихорадка, того убивала холера. А если иной железный организм оставался невосприимчивым к этим болезням, то его все равно подкашивала Черная Смерть, как принято называть бубонную чуму. Мириады бактерий и бацилл, культивированных в западных лабораториях и заключенных там в стеклянные

трубочки, теперь носились по Китаю.

Организованной жизни больше не было. Правительство распалось. Всякие декреты и воззвания были бесполезны, ибо люди, подписывавшие их, умирали через минуту. Ничто не могло остановить бегство миллионов обезумевших людей. Они бежали из городов, наводняли страну — и всюду распространяли смерть. Было жаркое лето — Якоб Ланингдаль сумел правильно выбрать время года, — и чума, ликуя, распространялась повсюду. О том, что происходило в Китае, можно было только предполагать, хотя кое-что рассказали немногие очевидцы, пережившие все эти ужасы. Всюду бродили одичавшие люди. Огромные армии, сосредоточенные на границах, быстро таяли. Все фермы были разграблены людьми, искавшими себе пропитания; нивы погибали, ибо некому было убирать их. О новых посевах никто и не думал. Замечательнее всего были попытки прорвать цепь и бежать из пределов Китая. Но огромные армии других народов никому не давали возможности спастись. Избиение обезумевших людей на границах носило массовый характер. Иногда иностранным войскам приходилось отступать на двадцать-тридцать миль, чтобы избежать заразы, распространяемой

миллионами гниющих трупов.

Один раз чума вдруг перекинулась на немецкие и австрийские войска, сосредоточенные на границе Туркестана. Европейцы предвидели такой случай и заранее приняли все возможные меры к скорейшему прекращению эпидемии. Правда, погибло около шестидесяти тысяч солдат, но международный корпус врачей превосходно справился со своей задачей, и эпидемия была приостановлена. Примерно в это время ученые высказали предположение, что от смешения бацилл различных болезней зародилась новая бацилла невиданной еще силы. Первый высказал это предположение Вомберг. Он заразился сам и умер. Бацилла эта, наконец, была открыта и изучена Стевенсом, Хаценфельтом, Норманом и Линдерсом.

Таково было неслыханное нашествие на Китай. Для целого миллиарда людей не оставалось никакой надежды на спасение. Заключенные как бы в огромной покойницкой, наполненной гноящимися и разлагающимися трупами, люди могли только умирать. Некуда было бежать. И со стороны суши, и со стороны моря все выходы тщательно охранялись европейскими армиями. Семьдесят пять тысяч судов крейсировали возле

берегов. Днем их дым застилал весь горизонт, а ночью их прожекторы перебегали с места на место и не пропускали самой маленькой джонки. Попытки флотилии джонок прорвать цепь судов были бесполезны. Новейшие огнестрельные орудия удерживали дезорганизованные китайские массы, а чума вершила свое дело.

Старые способы войны теперь казались просто смешными. Все свелось к патрульной службе. Китай смеялся над войной до тех пор, пока с ней не познакомился. Это была война двадцатого века, война ученых и лабораторий, война Якоба Ланингдаля. Громаднейшие орудия весом в сотни тонн были ничто по сравнению с маленькими стеклянными трубочками, которые, подобно злым гениям, налетели на империю с миллиардным населением.

В течение всего лета 1976 года Китай представлял сущий ад. Нигде нельзя было избежать микроскопических снарядов, проникающих в самые сокровенные места. Миллионы трупов оставались непогребенными, а бактерии все размножались; к тому же в стране начал свирепствовать голод. Организмы, ослабев от голода, окончательно потеряли способность сопротивляться болезням. Люди сходили с ума, убивали и

пожирали друг друга. Так погиб Китай.

Только в феврале, при установившейся холодной погоде, первые экспедиции решились проникнуть в глубь мертвой страны. Экспедиции эти были немногочисленны и состояли лишь из ученых и их телохранителей. Экспедиции вошли в Китай с разных сторон. Несмотря на все меры предосторожности, несколько врачей и солдат погибло. Но это не смутило остальных. Они увидели Китай, превратившийся в огромный пустырь, по которому бродили голодные собаки и чудом уцелевшие шайки разбойников. Их немедленно перебили. Никто не должен был остаться в живых. Затем началось оздоровление Китая. На это ушло пять лет и многомиллионные средства. После этого мир двинулся в Китай, но не по национальным зонам, как предлагал барон Альбрехт, а в смешанном порядке, согласно демократической американской программе. Это было грандиозное и очень успешное смешение разных народностей, начавших заселять Китай в 1987 году, — превосходный опыт перекрестного оплодотворения. Мы теперь уже знаем, к каким великим достижениям в области науки и искусства привел этот опыт.

В 1987 году Великий Мир был нарушен Фран-

цией и Германией, снова начавших свой старый спор об Эльзасе и Лотарингии. Надвигалась военная гроза, и 17 апреля в Копенгагене был созван конгресс. Представители всех наций, присутствовавшие на нем, торжественно поклялись друг другу никогда не прибегать к тем способам уничтожения врага, которые были применены при неслыханном нашествии на Китай.

Извлечено из книги *Уолта Мэрвина* «Этюды по всеобщей истории».

Враг всего мира

Это Сайлэс Бэннерман изловил, наконец, Эмиля Глюка, ученого чародея и архиненавистника человеческого рода. Исповедь Эмиля Глюка, которую он сделал прежде чем сесть на электрический стул, проливает свет на многие таинственные события, волновавшие мир от 1933 до 1941 года. Только после опубликования всех этих замечательных документов мир узнал, что между убийствами португальского короля и королевы и убийствами чинов нью-йоркской полиции существовала самая тесная связь. Несмотря на весь ужас деяний Эмиля Глюка, мы не можем не чувствовать жалости к этому несчастному неудачнику и непризнанному гению. Эта сторона его биографии раньше не была известна, но благодаря его исповеди, а также благодаря ряду обнародованных фактов и документальных материалов можно составить ясное представление о его моральном уровне и понять, под влиянием каких факторов превратился он в конце концов в такое ужасное чудовище.

Эмиль Глюк родился в городе Сиракузах штата Нью-Йорк в 1895 году. Его отец — Иосиф Глюк

— был полисменом и ночным сторожем и умер в 1900 году от внезапного удушья. Его жена — мать Эмиля — была кротким и хрупким созданием, до брака она была модисткой. Смерть мужа нанесла ей удар, от которого она уже не могла оправиться и вскоре последовала за ним. Чувствительность матери по наследству передалась сыну, но его она сделала мрачным и озлобленным.

В 1901 году Эмилю (ему было тогда всего шесть лет) пришлось поселиться у своей тетки Анны Бартель. Будучи сестрой его матери, тетка не питала, однако, никаких нежных чувств к племяннику. Это была бессердечная, сухая женщина. Ее угнетала бедность, а муж ее — отъявленный бездельник — ничего не желал делать. Маленький Эмиль был для Анны Бартель лишней обузой, и она сумела дать ему это почувствовать.

Вот один из примеров того, что приходилось переживать несчастному мальчику.

Через год после того, как он поселился у Анны Бартель, мальчик, лазая по крыше, сломал ногу. Лазить по крыше ему, разумеется, строго запрещалось, но ни один мальчишка никогда не считается с подобными запретами. Нога была сломана в бедре. Эмиль, поддерживаемый своими приятелями, кое-как доковылял до крыльца, где

и потерял сознание. Все соседские дети сильно побаивались свирепой тетушки Эмиля, но ввиду серьезности положения они решились позвонить и сообщили ей о происшедшем. Она даже не взглянула на несчастного ребенка, лежавшего на тротуаре, и, захлопнув дверь, продолжала свою стряпню. Пошел дождь, и Эмиль наконец пришел в себя. Ногой следовало заняться немедленно. Из-за промедления нога воспалилась, и дело приняло серьезный оборот. Часа через два возмущенные соседки стали осыпать Анну Бартель упреками. Тогда она вышла посмотреть на мальчика, толкнула его ногой, в то время как он лежал совершенно беспомощный, и с истерическим плачем объявила, что отрекается от него. Она кричала, что это не ее ребенок и что карету скорой помощи может вызывать кто угодно. После этого она снова ушла в дом.

Одна из соседок — Елизавета Чепстоуп — приняла участие в ребенке и положила его на носилки. Она вызвала врача, оттолкнула Анну Бартель и внесла ребенка в его комнатушку. Когда прибыл врач, Анна Бартель тотчас же объявила, что вовсе не намерена платить ему за визиты. В течение двух долгих месяцев маленький Эмиль пролежал в постели, причем весь первый месяц никто не

позаботился повернуть или оправить его при неподвижном лежании на спине. Он лежал одинокий и заброшенный, если не считать редких визитов перегруженного работой врача. У него не было ни одной игрушки, нечем было разогнать скуку медленно текущего времени. За все это время он не слыхал ни одного слова утешения, не видел ни одного ласкового взгляда. Он слышал только грубые упреки и ругательства, которыми осыпала его Анна Бартель, и бесконечные рассуждения на тему о том, что никто не просил его рождаться. Понятно, что несчастный, всеми забытый ребенок за это время накопил много горечи, и неудивительно, что впоследствии он решился на такие поступки, которые заставили содрогнуться весь мир.

Покажется странным, что Анна Бартель дала возможность Эмилю получить хорошее образование, но объяснялось это весьма просто. Ее никудышный муж бросил ее, отправился на золотые прииски в Неваду и скоро вернулся к ней миллионером. Поскольку Анна Бартель ненавидела мальчика, то она немедленно отправила его за сто миль — в Фаррестэдскую академию. Робкий, чуткий, никому не нужный ребенок чувствовал себя совершенно одиноким и в Фаррестэде. На

праздники и на каникулы он никогда не ездил домой, как другие дети. Он бродил по огромному зданию академии или по саду, подружился с не понимавшими его садовниками и служащими и очень много читал. Он проводил целые дни среди полей или перед камином, уткнувшись носом в книгу. Он испортил себе глаза и вынужден был носить очки, которые потом стали известны всему миру по фотографиям, помещенным в журналах 1941 года.

Уже студентом он обратил на себя всеобщее внимание. Он мог быть, когда хотел, необычайно прилежным, но он не нуждался в прилежании. Ему достаточно было перелистать книгу, чтобы сразу извлечь сущность. В результате в течение полугода он перечитал больше, чем обычный студент перечитывает за шесть лет. К четырнадцати годам он был вполне подготовлен — даже, по выражению одного из профессоров, «слишком хорошо подготовлен» — для поступления в какое-нибудь высшее учебное заведение, вроде например Гарвардского университета. Но он был слишком еще молод и в 1909 году он стал слушателем исторического отделения колледжа в Боудойне. В 1913 году он блестяще окончил курс и с профессором Брэддоу уехал в калифорнийский

город Бэркли. Профессор Брэддоу был единственным другом, которого обрел Эмиль Глюк в течение всей своей жизни. Профессор страдал катаром легких и поэтому принял предложение занять кафедру в Калифорнийском университете, так как климат там был гораздо здоровее. В 1914 году Эмиль Глюк слушал в Бэркли специальный курс. В конце этого года две неожиданные смерти сыграли решающую роль во всех его планах и начинаниях. Смерть профессора Брэдлоу лишила его единственного друга. Смерть Анны Бартель оставила его без всяких средств к существованию. Ненавидя до самой своей смерти бедного юношу, она завещала ему всего сто долларов.

В следующем году двадцатилетний Эмиль Глюк стал преподавателем химии в Калифорнийском университете. Годы текли спокойно. Он работал, получал жалованье и одновременно успел снискать себе с полдюжины разных ученых степеней. Он сделался, между прочим, доктором социологии и философии, хотя впоследствии стал известен всему миру просто как профессор Глюк.

Ему было двадцать семь лет, когда в печати появилась его первая книга — «Пол и прогресс». Книга эта и до сих пор не потеряла своего значения как замечательнейшее сочинение по

истории и философии брака. Это был объемистый труд в семьсот страниц, написанный тщательно и умно и свидетельствующий об огромной эрудиции автора. Книга предназначалась только для ученых, и Эмиль Глюк вовсе не собирался произвести ею сенсацию. Но в последней главе автор высказал предположение о желательности заключения пробных браков. Эти три строчки были подхвачены газетами, и двадцатисемилетний профессор в очках был «разнесен на все корки», как тогда говорили, а фотографии его были, как курьез, помещены в иллюстрированных журналах. Над ним всюду смеялись, обвиняли его в проповеди безнравственных идей. Особенно много толковали о нем в женских клубах. Когда правительство решило взять на себя содержание Калифорнийского университета, съезд, созванный для обсуждения связанных с этим вопросов, постановил исключить Эмиля Глюка из состава преподавателей. Только при этом условии правительство принимало в свое лоно Калифорнийский университет. Никто из его коллег не вступился за него, хотя никто из них не читал его книги. Они считали, что достаточно ознакомились с нею по сенсационным газетным статьям. С этого дня Эмиль Глюк возненавидел журнали-

стов. Благодаря им его огромный шестилетний труд был оплеван, осмеян и смешан с грязью. До самой своей смерти, к глубокому их сожалению, он им не мог этого простить.

Следующее несчастье обрушилось на него тоже по вине газет. В течение пяти лет по напечатании своей книги он хранил молчание, а для одинокого человека молчать крайне вредно. Нельзя не посочувствовать тому ужасному одиночеству, в котором пребывал Эмиль Глюк в стенах шумного и многолюдного университета. У него не было друзей, и он не пользовался ничьим расположением. Единственным его утешением были книги, и он читал неимоверно много. Но в 1927 году он согласился выступить в Эмервилле в «Обществе Человеческих Интересов». Он не доверял своим ораторским способностям; когда мы пишем эти строки, перед нами лежит черновик его речи. Это сухой, чисто научный доклад, можно даже сказать — консервативный доклад. Но в одном месте он поместил следующие слова, которые мы приводим буквально: «В обществе назревает промышленная и социальная революция».

Ловкий журналист вырвал из конспекта слово «революция», объяснил его по-своему и выставил Эмиля Глюка непримиримым анархистом. На

другой же день во всех газетах профессора Глюка не называли иначе как анархистом. В первый раз он пробовал возражать, теперь же молчал. Но горечь продолжала накапливаться в его сердце. Университет потребовал, чтобы он написал опровержение; он угрюмо отказался и предпочел уйти из университета. Надо сказать, что на ректора и проректора было произведено очень сильное политическое давление.

Этот человек, никем не понятый и всеми затравленный, не пытался отомстить за себя. В течение всей своей жизни он ото всех видел обиды, причем сам никого не обижал. Потеряв место и оставшись без заработка, он вынужден был искать себе работу. Он поступил в Союз металлистов в Сан-Франциско, где проявил себя как превосходный чертежник. Там он ознакомился впервые с конструкцией военных судов. Но репортеры и тут не оставили его в покое, начав высмеивать его новое призвание. Он сейчас же перешел на другое место. После того как журналисты заставили его переменить с полдюжины мест, он решил больше не обращать на них внимания. Это произошло в то самое время, когда он открыл в Оклэнде свою гальванопластическую мастерскую. В мастерской работало всего лишь

трое взрослых и два мальчика. Глюк сам работал не покладая рук. Полисмен Кэрью утверждал, что в течение нескольких лет Эмиль Глюк ни разу не покидал мастерской раньше часу или двух ночи. За это время он усовершенствовал газовый мотор, взял на него патент и благодаря этому впоследствии стал богатым человеком.

Он открыл свою гальванопластическую мастерскую весной 1928 года. В это же время он неудачно влюбился в Ирину Тэклей. Теперь трудно себе даже представить, что любовь такого человека, как Эмиль Глюк, могла быть обычной любовью. Не надо забывать, что этот гениальный, одинокий и мрачный человек не имел никакого понятия о женщинах. Все его желания носили необычайный характер; он и ухаживал как-то необыкновенно вследствие своей чрезмерной робости. Ирина Тэклей была красива, молода, но пуста и легкомысленна. В то время она служила продавщицей в маленькой кондитерской, находившейся напротив мастерской Глюка. Он часто заходил в кондитерскую, пил прохладительные напитки, поглядывал на нее. Казалось, девушка не обращала на него никакого внимания. Она и не думала с ним кокетничать. Она называла его «чудным». Потом она стала называть его

«чудаком» и рассказывала, как он смотрел на нее сквозь очки и краснел, потупившись, когда она на него взглядывала, и часто, охваченный смущением, поспешно уходил из кондитерской.

Эмиль Глюк делал ей самые невероятные подарки. Он подарил ей серебряный сервиз, кольцо с брильянтом, меховой воротник, театральный бинокль, многотомную «Историю мира» и, наконец, мотоциклет, посеребренный в его мастерской. Но объявился любовник девушки, остался недоволен всей этой историей и велел ей вернуть подарки. Этот любовник — Вильям Шербурн — был здоровенный, грубый малый из рабочей среды, сделавшийся мелким подрядчиком. Глюк ничего не понимал. Он попытался поговорить с девушкой, когда она возвращалась домой со службы. Она пожаловалась Шербурну, и тот на другой вечер отколотил Глюка. Это было очень жестокое избиение, так как в записях местного отделения Красного Креста помечено, что доставленный со следами побоев Эмиль Глюк пробыл в госпитале неделю.

Глюк по-прежнему ничего не понимал. Он продолжал настойчиво требовать у девушки объяснения. Боясь Шербурна, он попросил у начальника полиции разрешения носить при

себе револьвер. Разрешения ему не дали, но журналисты поспешили использовать этот факт для новой сенсации. И вот Ирина Тэклей была найдена убитой за шесть дней до своей свадьбы с Шербурном. Это случилось в ночь с субботы на воскресенье. Она в этот вечер засиделась в магазине до одиннадцати часов ночи и возвращалась со своим недельным жалованьем в кармане. Она проехала на трамвае всю улицу Сан-Пакю и сошла на Тридцать Четвертой улице. До дому ей оставалось пройти всего три квартала. Больше ее никто не видал живой. На следующий день труп ее был найден на одном из пустырей.

Эмиля Глюка немедленно арестовали. Ему было чрезвычайно трудно оправдаться. Собственно говоря, никаких реальных улик против него не было, но зато было очень много улик, состряпанных оклэндской полицией. Нет никакого сомнения в том, что почти все доказательства виновности Глюка были искусственно подтасованы. Показания капитана Шехэна были просто-напросто клеветой, ибо он не только не проходил мимо пустыря в момент совершения убийства, но даже, как выяснилось долго спустя, находился в эту ночь за городом, в Сан-Леандро. Несчастный Глюк был приговорен к пожизнен-

ному заключению, причем газеты и публика единогласно порицали мягкосердие судей и требовали для него смертной казни.

17 апреля 1929 года Глюк был посажен в Сан-Квентинскую тюрьму. Ему было тридцать четыре года. В течение трех с половиной лет, проведенных в одиночном заключении, он мог на свободе поразмыслить о человеческой несправедливости. За это время в его сердце созрела лютая ненависть к человеческому роду. За это же время он написал свой знаменитый трактат о человеческой морали, превосходную книгу под заглавием «Здоровый преступник», а также выработал свой ужасный и чудовищный план мести. На этот план его натолкнул один случай в его гальванопластической мастерской. Как он потом сам рассказывал, в тюрьме ему удалось обдумать все детали, и немедленно по выходе на свободу он мог приступить к осуществлению своего плана.

Его освобождение произвело настоящую сенсацию. Оно преступно оттягивалось бесконечной канцелярской волокитой.

1 февраля 1932 года некий Тим Хэзуэлл был тяжело ранен во время попытки к ограблению одного из жителей Пьедмонт-Хайтс. Тим Хэзуэлл три дня находился в агонии и за это время

признался в убийстве Ирины Тэклей. Он представил веские доказательства. Бэрт Дэкникер, умирающий от чахотки в Фольсомской тюрьме, был его сообщником. Показания обоих совпали. Теперь мы совершенно не можем себе представить, до какой степени медленно совершалось тогда судопроизводство. В феврале была доказана невиновность Эмиля Глюка, но только в октябре его выпустили на свободу. Восемь месяцев этот человек, несправедливо осужденный, должен был продолжать нести свое наказание. Конечно, это не могло смягчить его сердце, и легко себе представить, до какой степени обострилась за это время его вражда к людям.

Вернувшись в мир осенью 1932 года, он сразу сделался излюбленной темой газетных бумагомарателей. Вместо того, чтобы выразить ему сочувствие по поводу незаслуженного наказания, газеты продолжали прежнюю травлю. Особенно постарался «Вестник Сан-Франциско». Издатель газеты Джэк Хартуэлл разработал сложную теорию по этому поводу, из которой выяснилось, что оба преступника дали ложные показания, а убил Ирину Тэклей все тот же Глюк. Хартуэлл умер. Умер и Шербурн, а полисмен Филиппс был ранен в ногу и должен был бросить службу в полиции.

Смерть Хартуэлла долгое время оставалась загадкой. Он сидел один в редакторском кабинете. Мальчик, дежуривший в конторе, услыхал выстрел и, прибежав, увидал Хартуэлла, сидящего неподвижно в своем кресле. Он был мертв. Он был убит из собственного револьвера, лежавшего в ящике его письменного стола; револьвер этот почему-то выстрелил. Пуля пробила стенку ящика и глубоко проникла в тело Хартуэлла. Мысль о самоубийстве была отвергнута, и все обвинения пали на Общество Бездымного Пороха «Эврика». Полиция решила, что патроны в револьвере взорвались сами собой, и потому химики, их изготовлявшие, были привлечены к ответственности. Но полиция не знала, что в момент смерти Хартуэлла в доме, расположенном через улицу, в комнате № 633 находился не кто иной, как Эмиль Глюк.

В то время смерть Хартуэлла не была поставлена в связь со смертью Шербурна. Шербурн продолжал жить в доме, построенном им для Ирины Тэклей; и вот однажды утром, в январе 1933 года его обнаружили мертвым у себя в комнате. Следствие единогласно установило самоубийство, так как его собственный револьвер, из которого был произведен выстрел, валялся тут

же. В тот же самый день был при таинственных обстоятельствах ранен в ногу полисмен Филиппс, стоявший перед домом Шербурна. Полицейский позвонил в полицию и вызвал скорую помощь. Он заявил, что кто-то выстрелил в него сзади. Пуля была тридцать восьмого калибра, в ране началось заражение, и ногу пришлось ампутировать. Но когда выяснилось, что он был ранен из своего собственного револьвера, то все стали над ним смеяться, и утвердилось предположение, что полисмен был просто пьян. Несмотря на его заверения и утверждения, что револьвер находился в кобуре и что он к нему даже пальцем не прикоснулся, его все-таки уволили со службы. Признание Эмиля Глюка, восемь лет спустя, восстановило репутацию бедного полисмена, и он жив до сих пор, причем получает от городского управления ежегодную пенсию. Расправившись со своими ближайшими врагами, Эмиль Глюк стал расширять поле своей деятельности, причем его ненависть к журналистам и полицейским ни на йоту не ослабевала. Его патент на воспламенитель для газовых моторов принес ему огромные доходы, и теперь он получил возможность путешествовать по всему миру и всюду удовлетворять свою чудовищную жажду мести… он сделался

своего рода маньяком-анархистом, но не анархистом-философом, а анархистом-террористом. Может быть, лучше его было бы назвать нигилистом, или даже архинигилистом, хотя он и не был связан ни с одной террористической группой. Он работал в одиночку, но террор, организованный им, был в тысячу раз губительнее, чем это могли бы сделать все объединившиеся группы и партии анархистов-террористов.

Свой отъезд из Калифорнии он ознаменовал взрывом форта Мэзон. В своих последующих показаниях он назвал это «маленьким упражнением», своего рода «пробой пера». В течение восьми лет он путешествовал по миру, и его сопровождал таинственный террор, производя неслыханные разрушения, причиняя убытки в сотни миллионов долларов и уничтожая бесчисленные жизни. Единственным благоприятным следствием ужасной деятельности Глюка стало разрушение в рядах террористов. После каждого его подвига полиция устраивала облаву на местных террористов, и многие из них были казнены. Семнадцать террористов были казнены в одном только Риме после убийства итальянского короля.

Наиболее сенсационным из деяний Глюка было, пожалуй, убийство португальской коро-

левской четы. Это произошло в день их бракосочетания. Против террористов были приняты все возможные меры: улицы, примыкавшие к собору, оцепили двойной линией войск, а двести вооруженных всадников окружали карету. Внезапно произошло удивительное явление. Автоматические винтовки всадников, так же как и ружья пешей стражи, начали сами собой стрелять. Во время суматохи ружья направлялись во все стороны. Последствия были ужасны. Люди, лошади, сам король и королева были изрешечены пулями. В довершение всего, за линией войск у многих террористов, стоявших в толпе, взорвались в карманах ручные бомбы. Эти бомбы они рассчитывали кинуть в короля, если бы представился удобный случай. Но разве можно было ожидать того, что произошло? Взрыв бомб вызвал полную панику; тогда предполагали, что это тоже входило в план нападения. Единственное, чего никак нельзя было объяснить, это поведение солдат и непроизвольные выстрелы их винтовок. Трудно было предполагать, что солдаты принимали участие в заговоре. Однако от их пуль погибли сотни людей, в том числе король и королева. Кроме того — и это уже окончательно запутывало все дело — около семидесяти про-

центов солдат были убиты и ранены теми же пулями. Говорили, будто солдаты, преданные королю, стреляли в изменников. Впрочем, никто из уцелевших не мог ничего сказать на этот счет, хотя многие были даже подвергнуты пыткам. Все они как один утверждали, что никто из них не стрелял и что винтовки стреляли сами собою. Химики с улыбкой говорили, что, пожалуй, мог взорваться случайно один патрон, но что нелепо было предполагать возможность такого множества самопроизвольных взрывов. И так, в конце концов, этому удивительному факту не было дано никаких мало-мальски вероятных объяснений.

Весь мир сошелся на том, что виновата экспансивность южной толпы, которая, испугавшись взрывов двух бомб, произвела всю эту суматоху. По этому поводу вспомнили даже сражение, происшедшее когда-то между русским военным флотом и английскими рыбачьими судами.

А Эмиль Глюк посмеивался и продолжал свое дело. Он-то знал все! Но как остальной мир мог догадаться? Глюк случайно овладел этой тайной еще во время работ в своей гальванопластической мастерской в Оклэнде. Это случилось в то время, когда рядом с его мастерской была установлена станция радиотелеграфа, принадлежащая

Турстонской Компании. Через несколько дней его гальванопластическая ванна вдруг испортилась. Эмиль Глюк тщательно исследовал ванну и нашел несколько спаек, явившихся следствием коротких замыканий. Но что могло вызвать эти короткие замыкания? Глюк сам очень скоро ответил себе на этот вопрос. До установления радиостанции его ванна работала исправно. После установки возникли спайки и короткие замыкания. Но почему? Он понял и это: если электрический разряд мог действовать на расстоянии трех тысяч верст по ту сторону океана, то ничего удивительного в том, что он оказал воздействие на электрическую проводку, находящуюся на расстоянии каких-нибудь четырехсот футов.

Глюк не стал тогда об этом долго раздумывать. Он исправил ванну и продолжал заниматься своей работой. Но впоследствии, уже сидя в тюрьме, он вспомнил этот случай, и в голове его, как молния, блеснула одна мысль. Там, в одиночестве, он изобрел оружие для борьбы со всем миром. Его великое изобретение, умершее вместе с ним, заключалось в умении направлять электрический разряд. В то время это было неразрешенной проблемой радиотелеграфа. Проблема эта не разрешена и теперь. Только Эмиль Глюк

сумел проникнуть в великую тайну. Проникнув в нее, он стал ею пользоваться. Ему ничего не стоило направить разряд в магазин винтовки, в револьверный барабан или в склад снарядов. Он мог не только взрывать, он мог и поджигать на расстоянии. Им был устроен огромный пожар в Бостоне, правда, совершенно случайно. В своей исповеди он назвал это забавным происшествием и прибавил, что не жалел о случившемся.

Эмиль Глюк был истинным виновником ужасной германо-американской войны, которая унесла около восьмисот тысяч жизней и стоила таких огромных денег. Читатели, вероятно, помнят, что в 1937 году отношения между обоими государствами были очень натянутыми вследствие так называемого пиккардского инцидента. Германия, несмотря на свое недовольство, решила поддержать дружеские отношения и отправила эскадру из семи броненосцев под командой кронпринца с визитом в Соединенные Штаты. В ночь на 15 февраля эти броненосцы стояли в Гудзоновом заливе против Нью-Йорка. В ту же ночь Эмиль Глюк выехал в море на своей моторной лодке. При нем находился и ужасный аппарат. Эту лодку, как было установлено впоследствии, он приобрел у «Росс Тернер

Компании», а составные части своего аппарата — на заводе «Колумбия». Но тогда никто этого не знал. И вот броненосцы начали взлетать через правильные чстырехминутные интервалы. Девяносто процентов команды при этом погибло. Погиб и кронпринц. Когда много лет тому назад в Гавайском порту был взорван американский броненосец «Майне», то немедленно началась война с Испанией, хотя не была точно установлена причина взрыва. Можно ли было объяснить случайностью взрыв семи броненосцев в Гудзоновом заливе, да еще вдобавок через такие правильные интервалы? Германия решила, что взрывы произведены подводными лодками, и немедленно объявила войну. Только через шесть месяцев после признания Эмиля Глюка Германия нашла возможным вернуть Соединенным Штатам и Гавайские, и Филиппинские острова.

Между тем Эмиль Глюк — этот страшный чародей и человеконенавистник — продолжал свою разрушительную деятельность. Он не оставлял никаких следов. Он заметал их за собой по строго выработанным научным правилам. Обычно он снимал где-нибудь комнату и устанавливал свой прибор, который был прост и компактен и занимал очень мало места. Сделав свое страшное

дело, он немедленно убирал аппарат. Он намеревался очень долго, в течение всей своей жизни, заниматься этой ужасной деятельностью.

Эпидемия саморанений среди нью-йоркской полиции в свое время вызвала немалую сенсацию. Тогда это стало одной из таинственнейших загадок. За короткий период больше дюжины полисменов были ранены из их же собственных револьверов. Инспектор Джонс не решил загадки, но все-таки ему первому удалось перехитрить Глюка. По его настоянию полисмены перестали носить револьверы, и ранения прекратились.

Весной 1940 года Эмиль Глюк уничтожил морскую верфь Мэр-Айлэнд. Из комнаты, снятой им в Валехо, он послал электрические разряды в Мэр-Айлэндскую верфь. Прежде всего он направил удар на броненосец «Мэрилэнд», который стоял возле одного из минных складов. На палубе у него находилось около сотни мин. Эти мины были предназначены для защиты Голден Гейта.[26] Каждая из этих мин могла взорвать дюжину броненосцев, а таких мин находилось здесь около сотни. Разрушение произошло ужасающее, но это было только начало. Глюк направил свои

[26] Примечания: 26

Голден Гейт — Золотые Ворота — пролив, ведущий в гавань Сан-Франциско. *(Примеч. ред.).*

огненные стрелы вдоль Мэр-Айлэндского берега, взорвал пять миноносцев и минные склады на восточной стороне острова. Затем, двигаясь в западном направлении, он взорвал и западные склады, и еще пять броненосцев, из которых один стоял в сухом доке. Таким образом, и превосходный док был разрушен.

Катастрофа эта была так ужасна, что паника охватила всю страну. Но и это было ничто в сравнении с тем, что произошло после. Осенью того же года Эмиль Глюк уничтожил все Атлантическое побережье от Мэйна до Флориды. Все было разрушено. Крепости, склады, заводы, минные заграждения — все взлетело на воздух. Через три месяца, зимой, он уничтожил таким же образом северное побережье Средиземного моря от Гибралтара до Дарданелл. Все нации были в ужасе. Ясно было, что все это — дело рук человека. Поскольку все страны страдали одинаково, то, очевидно, нельзя было обвинять в происходящем какое-нибудь одно государство. В такой же мере очевидно, что человеческое существо, производившее все эти разрушения, было равно опасно для всего мира. Ни одно государство не могло считать себя в безопасности. Не было никаких способов защититься от ужасного врага.

Военные приготовления были бесцельны — нет, не только бесцельны, но они-то и были главной опасностью. В продолжение двенадцати месяцев пороховые заводы не работали, армии распались, и все солдаты и матросы распущены. На Гаагской конференции серьезно обсуждался вопрос о всеобщем разоружении.

И вот в это-то время и прославился Сайлэс Бэннерман, агент тайной полиции Соединенных Штатов, вдруг арестовавший Эмиля Глюка. Сначала Бэннермана осмеяли, но ему вскоре удалось тщательно подобрать и сопоставить такие факты, которые убедили в виновности Эмиля Глюка самых отъявленных скептиков. Сайлэс Бэннерман никак не мог, впрочем, объяснить даже самому себе, каким образом у него впервые возникла мысль о виновности Эмиля Глюка. Правда, Бэннерман находился в Валехо во время взрывов на Мэр-Айлэнде, и ему указывали на улице на Эмиля Глюка как на забавного чудака. Но это тогда не произвело на него никакого впечатления. Только много времени спустя, отдыхая на одном из горных курортов и читая в газетах о разрушении Атлантического побережья, Бэннерман вдруг подумал о Глюке. Словно внезапная молния озарила его голову, и он вдруг объединил все эти взрывы

с личностью Эмиля Глюка. Правда, то была лишь гипотеза, но и гипотезы было достаточно. Эта догадка осенила его так же внезапно и без всякой предварительной подготовки, как Ньютона осенила мысль о всемирном тяготении.

Остальное было не так уж трудно. Надо было выяснить, где находился Глюк во время разрушения Атлантического побережья. Этот вопрос больше всего интересовал Бэннермана. Он сам предложил свои услуги по расследованию дела. Ему удалось установить, что осенью 1940 года Глюк путешествовал вдоль Атлантического побережья. Выяснилось также, что Глюк находился в Нью-Йорке во время эпидемии саморанения полицейских. «Где же Глюк теперь?» — спросил себя Бэннерман. И как бы в ответ на этот вопрос пришло известие о взрывах на Средиземном море. Бэннерман знал, что несколько недель назад Глюк уехал в Европу. Бэннерману даже не понадобилось ехать туда самому. По телеграфу он собрал все нужные ему сведения и выяснил, что Глюк ездил вдоль северного побережья Средиземного моря. Он узнал также, что в настоящее время Глюк возвращается в Америку на пароходе «Плутоник», принадлежащем «Грип-Стар-Лайн».

Для Бэннермана дело было вполне ясно. Теперь

оставалось только выяснить некоторые детали. Ему помогал в этом Джордж Броун, телеграфист, работавший на телеграфной станции системы Вуда. Когда «Плутоник» подходил к берегам Америки, Бэннерман выехал ему навстречу на полицейском катере и арестовал Эмиля Глюка. На суде Эмиль Глюк во всем признался. Он только выразил сожаление, что слишком мало успел сделать. По его словам, он никак не подозревал, что его деяния могут быть обнаружены, иначе он вел бы себя осторожнее и действовал бы быстрее, чтобы произвести разрушение в тысячу раз большее. Он унес с собой свою тайну, хотя, говорят, французское правительство предлагало ему за все миллиард франков.

— Что? — сказал в ответ Глюк. — Вы хотите, чтобы я вам продал возможность поработить и мучить бедное человечество?

Все государства пытались открыть его тайну, работали специальные лаборатории, но все оказалось напрасно. 4 декабря 1941 года Эмиль Глюк был казнен на сорок шестом году от рождения. Таким образом, погиб один из несчастнейших гениев, человек огромного ума, великое дарование которого было так извращено, что он сделался страшнейшим преступником вместо того, чтобы

посвятить себя служению человечеству.

Извлечено из книги мистера *А. С. Борнсайда* «Необыкновенные преступники», с любезного разрешения издательства «Холидэй и Уитсэнд».

Морской фермер

— Кажется, карантинный катер, — сказал капитан Мак-Эльрат.

Лоцман бормотал что-то, пока шкипер переводил подзорную трубу с лодки на берег, затем на видневшийся Кингстон, а оттуда на север, ко входу в Хоус-Хэд.

— Ну, что же, прилив хороший, через два часа будем на месте, — заявил лоцман, стараясь казаться веселым.

Шкипер проворчал сердито:

— Гнусный дублинский день!

И еще что-то ворчливо добавил. Он очень устал за эту ночь: ему пришлось не смыкая глаз все время простоять на мостике при сильном ветре, который обычно дует в этой части Ирландского канала. Он вообще очень устал за последнее время. Он мог отсчитать по своему корабельному журналу два года и четыре месяца — восемьсот пятьдесят дней, проведенных в плавании. За все это время он ни разу не был дома.

— Настоящая зимняя погода, — произнес он, помолчав. — Город еле виден. Наверное, весь день будет хлестать дождь!

Капитан Мак-Эльрат был маленького роста, и ему было очень удобно, стоя на мостике, выглядывать из-под брезентового навеса. Лоцман и третий офицер, так же как и рулевой, смотрели через него; рулевой был здоровенный немец, дезертировавший с военного судна, на которое он поступил в Рангуне. Но нехватка нескольких дюймов не мешала капитану быть превосходным моряком. Таково было, по крайней мере, мнение Компании, и, вероятно, так бы думал и сам капитан, если бы ему удалось заглянуть в свой послужной список, хранившийся в секретном архиве. Но Компания никогда даже не намекала капитану на свою уверенность в нем. Это не входило в расчеты Компании, которая очень легко прогоняла своих служащих, но никогда не хвалила и не поощряла их.

В конце концов, капитан Мак-Эльрат был только одним из восьмидесяти шкиперов, обслуживающих восемьдесят транспортных судов Компании, плававших в разных морях.

Внизу два китайца-истопника подавали завтрак на железных ржавых тарелках, которые молчаливо намекали на длинную историю морских испытаний. Один из матросов возился с канатом, тянувшимся к трапу от капитанской

рубки.

— Тяжелое плавание, — подсказал лоцман.

— По временам трепало, но шли не так уж плохо, я терпеть не могу попусту терять время.

Сказав так, капитан Мак-Эльрат повернулся и стал смотреть по сторонам, и лоцман сразу понял немое, но ясное объяснение, на что терялось время.

Дымовая труба, выкрашенная в серую краску, казалась белой от покрывавшего ее слоя морской соли. Узкая труба свистка напоминала кристалл и ярко сверкала на солнце, вдруг выглянувшем из-за туч. Спасательной шлюпки не было, а железные балки, на которых она висела, были заметно согнуты — очевидно, от удара или толчка, который пришелся на долю старого «Триапсика». Отсутствовала шлюпка и на правам борту; ее осколки лежали возле брезентового навеса, заменившего стеклянную крышу над машинным отделением. Дверь в кают-компанию была тоже разбита и наскоро заколочена досками для защиты от страшных волн.

— Я два раза говорил владельцам об этой мерзкой двери, — пожаловался капитан Мак-Эльрат, — они отвечали, что и так сойдет. Но на этот раз разразилась такая бешеная буря, что дверь

слетела с петель и упала прямо нам на обеденный стол, а заодно ветер разбил и каюту механика. Ему было досадно.

— Да, видно, было дело, — сочувственно заметил лоцман.

— Да еще какое! Пришлось нам повозиться. От этого и погиб мой помощник. Я не был вполне уверен в люке номер первый и велел ему осмотреть клинья. Я считал, что надо было поправить люк. В этот миг на нас обрушилась здоровенная волна; даже нам на мостике досталось. Я сначала и не заметил исчезновения помощника, потому что был очень занят снесенной дверью и прилаживанием брезента вместо разбитых стекол над машинным отделением, но затем мы нигде не могли его найти. По словам рулевого, он подошел к трапу в тот самый миг, когда волна покрыла нас. Мы искали его и в каютах, и в машинном отделении, и наконец нашли его труп на нижней палубе. Его разрезало пополам щитом паровой трубы. Он лежал по обе стороны трубы и щита.

Лоцман вздрогнул от ужаса и громко выругался.

— Да, — утомленно продолжал шкипер, — так он и лежал по обеим сторонам трубы, разрезанный, как селедка. Очевидно, волна подхватила

его на верхней палубе, пронесла через машинное отделение и двинула башкой прямо о щит. Он так и разъехался, словно кусок масла. Как раз между глаз и во всю длину, так что одна его рука с потрохами валялась по одну сторону, а другая — по другую. Неприятно было на это смотреть. Мы сложили его, завернули в брезент и бросили в море.

Лоцман снова ругнулся.

— Ничего, — успокоительно сказал Мак-Эльрат, — большой потери нет. Это был никудышный моряк, из него бы вышел хороший свинопас, но зря он полез в море! Туда ему и дорога.

Существует три рода ирландцев: католики, протестанты и северные ирландцы; последние — те же шотландцы, только пересаженные на другую почву. Капитан Мак-Эльрат был родом из Северной Ирландии, и хотя он был в душе настоящим шотландцем, тем не менее всегда приходил в ярость, когда его называли шотландцем. Он родился в Ирландии и намеревался до конца дней оставаться настоящим ирландцем, хотя нередко отзывался о жителях Южной Ирландии так же иронически, как о каких-нибудь гражданах Оранжевой Республики. Он был пресвитерианцем, хотя в той общине, где он жил, в церковь ходили

всего пятеро. Он родился на острове Мак-Джилле, население которого из семи тысяч человек отличалось такой необычайной трезвостью, что на острове был всего лишь один полицейский и совсем не было кабаков.

Капитан Мак-Эльрат не любил моря. Однако ему пришлось всю жизнь зарабатывать себе хлеб морской службой, и море было для него своего рода мастерской, где он честно работал, подобно тому как другие работают на заводе, в лавке или в конторе. Романтика не волновала его своим голосом сирены. Воображение у него отсутствовало, ничего таинственного для него не существовало. Бури, ураганы и шквалы были для него просто препятствиями, которые необходимо преодолеть, больше они для него ничего не значили. Стоя на своем мостике, он чувствовал себя полным хозяином положения. Во время плавания ему встречались разные диковинки и чудеса, но он, в сущности говоря, ничего не видел. Перед ним мелькали яркие красоты тропических морей и ледяные туманы Крайнего Юга и Крайнего Севера, но он вспоминал о них постольку, поскольку они портили ему двери и палубу, и помнил одно: сколько лишнего угля пришлось ему истратить на эти длинные переходы и сколько краски было

смыто неожиданными шквалами и ливнями.

— Я свое дело знаю, — обычно говорил он.

Все, что выходило за пределы его профессии, абсолютно его не интересовало. И хотя его глаза видели очень много чудесного, он все же не подозревал, что это существует на белом свете.

Директора Компании были уверены в том, что он знает свое дело, потому-то они и назначили его, хотя ему было всего сорок лет, капитаном «Триапсика», парохода, зарегистрированного в три тысячи тонн, а фактически грузоподъемностью в девять тысяч, и оцениваемого в пятьдесят тысяч фунтов. Ему пришлось выбрать морскую профессию не потому, что он любил ее, а потому, что был младшим, а не старшим сыном своего отца. Остров Мак-Джилль был очень мал, и пахотной земли хватало только на определенное количество жителей. Излишек населения, а он был довольно значительный, вынужден был добывать себе пропитание морским промыслом. Так было заведено уже несколькими поколениями. Старшие сыновья обычно наследовали землю и ферму, а младшие отправлялись в море и скитались по всему миру. Поэтому Дональд Мак-Эльрат, сын фермера, был оторван от земли, которую любил, и заброшен судьбою в море, ко-

торое он ненавидел и которое стало как бы его фермой. Он обрабатывал его в течение долгих двадцати лет. Трезвый, хладнокровный, прилежный и упорный, он прошел долгий путь от юнги до капитана парусного судна, а затем, перейдя на пароход, служил сперва младшим офицером, потом старшим и наконец капитаном, сначала маленьких судов, а затем постепенно дошел до рубки старого «Триапсика», правда, ветхого, но зато оцениваемого в пятьдесят тысяч фунтов и выдерживающего в бурю девять тысяч тонн груза.

И вот, стоя на мостике «Триапсика», он с этого высокого поста, достигнутого многолетним трудом и усердием, озирал лежавший перед ним Дублинский порт, окутанный туманом город и бесконечные мачты стоящих в гавани судов. Он возвращался домой после двух кругосветных путешествий и множества мелких рейсов, возвращался к своей жене, которую он не видел двадцать восемь месяцев, и к своему ребенку, которого он вовсе не видел, хотя тот уже ходил и говорил.

Внизу выстроились кочегары и палубная прислуга; все они толпились у дверей бака, как кролики в садке, в ожидании вызова доктора для

осмотра. Это были по большей части китайцы, с плоскими, как у сфинксов, лицами и с неуклюжей походкой, словно башмаки были слишком тяжелы для их тощих ног.

Он смотрел на них, совершенно их не замечая, и, держа руки у козырька фуражки, машинально играл прядью своих седых волос. Не видел он их потому, что они представляли лишь задний план сцены, на которой возникали совсем другие, мирные видения; эти картины все время носились перед ним в те долгие теплые ночи, когда старый «Триапсик» рассекал воды океана, заливавшего водой его палубу, гонимый ветрами, окутанный туманом и поливаемый беспрестанными ливнями. Он всегда видел перед собой маленькую ферму — дом с прилегающими к нему крытыми соломой строениями; он видел детей, весело играющих на пороге, и свою добрую жену, которая или доила корову, или кормила кур; он слышал, как в соседней конюшне, принадлежащей его отцу, стучали копытами и ржали лошади, видел кругом поля, тщательно возделанные, простирающиеся до самого горизонта. Это была его любимая греза, его роман, его приключение, венец всех его мечтаний, высшая награда за бесконечные морские скитания, за то, что он

исходил все моря, избороздил все воды своим пароходом-плугом.

Этот человек по своей простоте и по своим природным склонностям был настоящим земледельцем; его отец в свой семьдесят один год за всю свою жизнь ни разу не спал нигде, кроме своего родного дома на острове Мак-Джилле. Для капитана Мак-Эльрата эта жизнь казалась идеалом, и он удивлялся, как могут другие без всякого принуждения, по собственной воле бросать фермы и пускаться в плавание. Сам он так много путешествовал, что весь мир представлялся ему деревней, а сам он чувствовал себя вроде деревенского башмачника, сидящего в своей лавчонке. Перед его мысленным взором расстилались улицы в сотни миль длиной, пожалуй, даже еще длиннее; он видел повороты, огибавшие опасные места или ведущие в тихие заливы и бухты; видел перекрестки, от которых одна дорога вела в страну цветов, в теплые моря, другая — к вечным туманам, страшным бурям, гибельным подводным рифам. Большие освещенные города представлялись ему как бы магазинами на этих улицах — магазинами, где можно было возобновить запас угля, сдать груз, получить привет от лондонских хозяев, направиться еще

куда-нибудь в поисках груза. Но вспоминать все это капитану было очень скучно, и если бы оно не служило для него источником существования, то не представляло бы решительно никакого интереса.

В последний раз капитан виделся со своей женой в Кардифе, двадцать восемь месяцев назад, он тогда отплыл в Вальпараисо с грузом угля в девять тысяч тонн, который и доставил благополучно до места назначения. Из Вальпараисо ему пришлось порожняком плыть в Австралию: шесть тысяч миль при бурной погоде — не шуточное плавание. Оттуда он махнул — опять с углем — в Орегон — семь тысяч миль; потом с разным грузом — в Японию и Китай. Из Китая путь лежал на Яву, где погрузили сахар, предназначавшийся для Марселя. Из Марселя направились на восток и зашли в Черное море; затем с грузом марганца — в Балтимор; по дороге задержали бури, и, чтобы пополнить запас иссякшего угля, понадобилось завернуть на Бермуды; затем — срочный фрахт в Норфолк, Виргинию, где он погрузил тайком контрабандный уголь, после чего отплыл в южную часть Африки под наблюдением германского надсмотрщика, приставленного к нему по каким-то таинственным соображениям. Из Южной Африки

он поплыл на Мадагаскар. При этом надсмотрщик высказал опасение, что русскому флоту может понадобиться уголь, и приказал делать не более четырех узлов в час. Бесконечная путаница, задержки; остановки, дипломатические осложнения и толки во всем мире о контрабанде старого «Триапсика». Затем — в японский военный порт Сасебо; оттуда — снова в Австралию; еще один срочный фрахт и смешанный груз, забранный в Сиднее, Мельбурне для доставки на остров Св. Маврикия, Лорензо-Маркез, Дурбэн, в бухту Алгоа и Капштадт. Оттуда — на Цейлон за распоряжениями, потом — в Рангун за грузом риса для Рио-де-Жанейро. Затем — в Буэнос-Айрес за маисом, который надлежало доставить в Великобританию или на континент, с остановкой в Сан-Висенте, где он получил приказ идти в Дублин. И вот два года и четыре месяца — восемьсот пятьдесят дней согласно корабельному журналу он беспрерывно плавал взад и вперед по бесконечным морским улицам. Теперь он опять приплыл в Дублин. Усталость давала себя знать.

К «Триапсику» подошел маленький катер, и под громкие крики команды старый морской скиталец был введен в порт. Канаты, брошенные с кормы и с носа, шлепнулись на берег. Судно

причалило, и уже группа веселых зевак толпилась на берегу.

— Стоп машина! — скомандовал капитан Мак-Эльрат тихим голосом. Третий помощник передал его команду в машинное отделение.

— Давай сходни! — приказал второй помощник и, когда это было исполнено, произнес: — Готово!

Это «готово» означало роспуск команды — поставить сходни было последней задачей. Путешествие окончилось. Весь экипаж с нетерпением бросился к своему, уже приготовленному багажу. Все люди давно мечтали о твердой земле, как и капитан. Мак-Эльрат простился с лоцманом и направился к своей каюте. На палубе уже стояли таможенные чиновники, инспектор, конторские служащие, полицейские агенты.

— Вы дали знать моей жене? — спросил капитан агента вместо того, чтобы поздороваться.

— Мы послали ей телеграмму, как только узнали о вашем прибытии.

— По всей вероятности, она приехала с утренним поездом, — заключил капитан и вошел в свою каюту, чтобы умыться и переодеться.

Он в последний раз поглядел вокруг, и его взгляд остановился на двух фотографиях — жены

и ребенка, которого он еще не видел. Он заглянул и в кают-компанию, со стенами, украшенными кедровыми панелями, и вспомнил, как во все продолжение этого скучного путешествия он обедал здесь за этим длинным столом, за которым умещались десять человек. За столом никогда не было ни смеха, ни споров, ни оживленных бесед. Капитан обычно ел быстро и молча. Он был еще молчаливее, чем прислуживавшие ему азиаты. Капитану вдруг стало невыносимо жутко при мысли, как одинок он был за эти два года и четыре месяца. Он ни с кем не делился своими тревогами. Его помощники были слишком молоды и легкомысленны, а штурман отличался глупостью. Не с кем было даже посоветоваться. Его единственной спутницей за все это время была ответственность. С ней он сидел рядом за ужином, с ней разгуливал по палубе, с ней ложился спать.

— Ну, — пробормотал он своей страшной компаньонке, — теперь я с тобой разделался! По крайней мере, на некоторое время.

Отпустив на берег матросов, нагруженных мешками, он с обычной своей медлительностью передал все дела в агентстве. От предложения выпить вина он отказался, а попросил себе молока

с содовой водой.

— Я хоть и не член общества трезвости, — заметил он, — но всю жизнь терпеть не мог ни пива, ни виски.

После полудня, выплатив жалованье своей команде, он пошел в частную контору, где, как он знал, ожидала его жена.

Он прежде всего глянул на нее, хотя ему очень хотелось хорошенько рассмотреть сидевшего рядом с ней ребенка. Он крепко обнял ее и поцеловал, а потом долго смотрел ей в лицо, удивляясь, как мало она изменилась за это время. По мнению жены, капитан Мак-Эльрат был очень добр и чуток, хотя офицеры и матросы считали его раздражительным и желчным.

— Ну, Анни, как дела? — спросил он, привлекая ее к себе.

И опять он невольно отстранился от нее, от этой почти незнакомой женщины, которая в течение уже десяти лет была его женой. Она была для него почти чужой — более чужой, чем его китайская прислуга. Его помощники, с которыми он виделся ежедневно в продолжение восьмисот пятидесяти дней, были ему гораздо ближе, чем жена. За десять лет супружества капитан провел с женой всего лишь девять недель. Возвращаясь

домой, он каждый раз как бы заново знакомился с нею. Такова была участь всех людей, призванных вспахивать соленые поля морей. Все они очень мало знали своих жен и почти совсем не знали своих детей. Близорукий Мак-Ферсон, старший механик, рассказывал, как однажды его прогнал из дому собственный четырехлетний сын, ни разу в жизни не видевший отца.

— Вот какой у нас малютка, — произнес капитан, не совсем уверенно протягивая руку, чтобы потрепать ребенка по щеке. Но мальчик отстранился от него и потянулся к матери, как бы ища защиты.

— Ах, — воскликнула она, — он совсем не знает своего папы!

— И я его тоже. Не знаю, сумел бы я узнать его в толпе ребятишек, хотя, мне кажется, у него твой нос.

— И твои глаза, Дональд! Посмотри на них!.. Детка, это твой папа. Ну-ка, поцелуй его как следует!

Но ребенок еще крепче прижался к ней, причем выражение страха и недоверия ясно отражалось на его лице, а когда отец попытался взять его на руки, ребенок чуть не раскричался.

Капитан встал и посмотрел на часы, желая

скрыть свое невольное огорчение.

— Пора ехать, Анни, — сказал он. — Поезд скоро отходит.

Сидя в поезде, он сначала молчал. Он смотрел на жену, державшую на руках дремавшего ребенка, смотрел на засеянные поля и холмы, смутно выделявшиеся сквозь сетку мелкого, частого дождика. Они сидели в отдельном купе, ребенок уснул, мать уложила его и укутала платком. Расспросив жену о здоровье родных, о видах на урожай, о ценах на землю, капитан решил, что пора рассказать ей о себе. Он начал рассказывать, но его рассказ отнюдь не был похож на волшебную сказку о прекрасных цветущих странах или о таинственных восточных городах.

— Что это за остров Ява? — спросила она.

— Сплошные лихорадки. Почти все матросы заболели, невозможно было работать. Все только и делали, что глотали хинин. По утрам всей команде натощак раздавали хину и джин. Ну, конечно, после этого и здоровые притворялись больными.

В другой раз она спросила, хорошо ли в Ньюкасле.

— Уголь и черная пыль, больше ничего. Пакостный городишко! У меня там удрали два китайца-истопника. Владельцам пришлось за-

платить правительству штраф по сто фунтов за каждого. Я потом получил от владельцев письмо в Орегоне. «Мы очень сожалеем, — писали они мне, — что из состава вашей команды бежали двое китайцев. Советуем вам впредь быть внимательнее». Внимательнее! Я и так смотрел за ними в оба. Каждому причиталось по сорок пять фунтов стерлингов жалованья. Я никак не мог подозревать, что они удерут. Это обычная их манера писать: «мы рекомендуем», да «мы советуем», да «нам кажется странным». Проклятая старая лохань! Они воображают, что на ней можно идти, как на какой-нибудь «Лукании», и вдобавок не тратя угля. А потом — сколько крови я себе перепортил с этим проклятым винтом. Старый был железный, погнутый по краям, мы не могли развивать с ним нужную скорость. Поставили новый из бронзы. Он обошелся в девятьсот фунтов, и владельцы решили во что бы то ни стало окупить его. А у меня был этот проклятый рейс, и мы все время ползли, как черепаха. «К нашему крайнему сожалению, мы должны указать вам, что ваш переход из Вальпараисо в Сидней был очень продолжителен, вы шли в день со средней скоростью лишь в сто шестьдесят семь миль. Мы предполагали, что вы сумеете лучше использовать новый

винт. Вы должны были делать по крайней мере двести шестнадцать». А ведь это было в разгар зимы. Дождь лил как из ведра, свирепствовали бури и ураганы, вдобавок у нас не хватило угля, и нам пришлось шесть дней скитаться по ветру с застопоренными машинами. А этот болван штурман не мог по ночам смотреть спокойно на сигнальные огни встречных пароходов и всегда вызывал меня на мостик. Я все это им написал. А они мне в ответ: «Наш консультант по навигации находит, что вы слишком отклонились на юг», и «мы впредь ожидаем от нового винта лучших результатов». Консультант по навигации! Сухопутный лоцман! Подумаешь! Это была самая нормальная скорость для зимнего перехода от Вальпараисо до Сиднея. Затем я отправился в Оклэнд, потому что у нас не хватило угля. Желая возместить убытки, вызванные потерей времени, я решил не нанимать лоцмана и сам ввел судно в порт. Там не было обязательным нанимать лоцмана. Потом отправляюсь в Йокохаму и встречаю там капитана Робинзона с «Диапсика». Мы начали с ним толковать о разных портах по дороге в Австралию, и он вдруг меня спрашивает:

«Скажите, пожалуйста, капитан, вы были когда-нибудь в Оклэнде?»

«Был, — говорю, — и даже очень недавно».

Тогда он посмотрел на меня не особенно дружелюбно.

«Значит, это я вам обязан получением от владельцев этого письма: „Вы поставили нам в счет пятнадцать фунтов за лоцмана в Оклэнде; недавно одно из наших судов заходило в Оклэндский порт, но не производило этого расхода. Считаем долгом вам заметить, что так как в расходе этом не встречалось и не встречается необходимости, то рекомендуем вам не делать таких напрасных трат в будущем“».

А меня они не поблагодарили за то, что я сэкономил для них пятнадцать фунтов. Ни звука. Вместо этого они посылают капитану Робинзону письмо, упрекая его в расточительности, а мне пишут: «Вы ставите в вашем счете: „две гинеи доктору, приглашенному для команды“, будьте любезны объяснить подробнее этот непредвиденный расход».

Я приглашал доктора для двух китайцев, ибо думал, что у них «бери-бери». Через неделю мне пришлось их похоронить в море, а они еще пишут: «будьте любезны объяснить подробнее этот непредвиденный расход». А капитану Робинзону: «так как в расходе этом не встречалось необхо-

димости». А потом, разве я не телеграфировал им из Ньюкасла, что мое старое корыто так прогнило, что его необходимо ввести в сухой док? Просидеть семь месяцев в сухом доке на западном побережье! Поганое место, где легче всего издохнуть. Но у них, изволите ли видеть, был угольный фрахт на Портланд. «Аррата», один из пароходов Вур-Линии, вышел одновременно с нами и тоже отправился в Портланд. Старый «Триапсик» делал шесть узлов, максимум семь. И что же, в Комаксе, где грузили уголь, я получил от владельцев письмо. Оно было подписано главным директором, и в конце он приписал собственноручно: «„Аррата“ обогнала вас на четыре с половиной дня, весьма разочарован». Разочарован! Разве я им не телеграфировал из Ньюкасла? Когда «Триапсик» поставили в портландский сухой док, так у него на днище торчали усы в фут длиной. Он весь был облеплен раковинами величиной с мой кулак и устрицами с тарелку. После него два дня пришлось выгребать из дока всякий мусор. А потом началась эта знаменитая история с колосниками в Ньюкасле. Их сделали тяжелее, чем указано в смете инженера, но завод забыл поставить в счет разницу в весе. И вот, когда я уже собирался покинуть берег, ко мне прибегают

со счетом: «Тут произошла маленькая ошибка, вы должны доплатить шесть фунтов». Они успели побывать на судне и сказали мне, будто Мак-Ферсон пометил на счете: «правильно». Мне это показалось странным, и я не хотел платить.

«Неужели вы сомневаетесь в вашем старшем механике?» — спросили они.

«Я не сомневаюсь, — отвечал я, — но я не могу подписать этот счет. Поезжайте со мной на судно. Лодка вас доставит обратно, и это вам ничего не будет стоить. Мне надо поговорить с Мак-Ферсоном».

Но они не хотели отправляться на судно. Они мне прислали в Портланд счет по почте. Я не обратил на него никакого внимания. В Гонконге я получил письмо от хозяев. Счет был послан им. С Явы я им написал, в чем дело. В Марселе я опять получил от них письмо: «За дополнительные работы по машинному отделению шесть фунтов. Старший механик подписал этот счет, а вы не заплатили. Вы, стало быть, сомневаетесь в его честности». Я написал, что не сомневаюсь, что это был счет за излишний вес колосников и что все это правильно. И что же — они не подумали заплатить, а сказали, что сперва разберут дело. А тут какой-то конторщик заболел. Счет потеряли,

и началась бесконечная переписка. Пришлось завести особое дело по доплате шести фунтов за колосники. Я получал по этому поводу письма и в Балтиморе, и в бухте Делагоа, и в Можи, и в Рангуне, и в Рио, и в Монтевидео. Дело и до сих пор не закончилось. Да, Анни, трудно угодить хозяевам.

Капитан задумался и затем негодующе пробормотал:

— Дело по доплате шести фунтов за колосники.

— Слыхал ли ты что-нибудь о Джимми? — спросила его жена после короткого молчания.

Капитан Мак-Эльрат отрицательно покачал головой.

— Его слизнуло с кормы вместе с тремя матросами.

— Где?

— У мыса Горн. Это случилось на «Торнсби».

— Они уже возвращались домой?

— Да, — сказала она. — Мы получили об этом известие только три дня назад. Его жена в полном отчаянии.

— Джимми был хороший парень, — заметил он, — только иногда любил выпить лишнее. Мы служили с ним вместе на «Абблоне» младшими помощниками. Стало быть, бедный Джимми

погиб.

Наступило молчание, которое опять нарушила жена.

— А ты ничего не слыхал о «Банкшайре»? Мак-Дугель потерпел на нем крушение в Магеллановом проливе. Об этом вчера писали в газетах.

— Магелланов пролив — скверное место, меня там едва не посадил на мель мой помощник, чтобы его черт побрал. Вот был идиот! Вот дурак! Я его потом не пускал на мостик. Когда мы подходили к Нэрро-Рич, был здоровенный туман и валил густой снег. Я сидел у себя в каюте над картой и дал ему измененный курс. Я ему сказал: «Зюйд-ост-ост». — «Зюйд-ост-ост, сэр», — ответил он. Через четверть часа поднимаюсь на мостик.

«Удивительное дело, — говорит мне помощник, — совсем не помню, чтобы при входе в Нэрро-Рич были острова».

Я только посмотрел на острова и заорал рулевому:

«Клади руль на штирборт».

Тут старый «Триапсик» сделал такой поворот, какого он не делал еще ни разу в жизни. Я выждал, пока перестал идти снег, и что же оказалось! Нэрро-Рич был к востоку от нас, а остров

при входе в Ложную Бухту — к югу.

«Какой курс ты держал?» — спросил я рулевого.

«Зюйд-ост, сэр», — ответил он.

Я посмотрел на помощника. Что я мог ему сказать? Удивляюсь, как я не убил его на месте. Разница на четыре пункта! Еще пять минут — и старому «Триапсику» была бы крышка. Когда мы шли обратно на восток, случилось то же самое. Если бы была ясная погода, нам бы потребовалось на переход не более четырех часов, а тут мне пришлось провести на мостике сорок часов подряд. Я дал помощнику курс и указал ему, что Асктарский маяк должен быть все время за кормой и не заходить больше чем до норд-веста. Затем я пошел к себе в каюту и решил вздремнуть. Но я так беспокоился, что никак не мог заснуть. В конце концов, проторчав на мостике сорок часов, можно проторчать и еще четыре, а ведь в эти четыре часа помощник мог погубить судно. Я умылся, выпил чашку крепкого кофе и пошел на мостик. Я чуть не умер от ужаса, взглянув на положение Асктарского маяка, — он был на норд-вест-вест, и старый «Триапсик» почти налез на мель. Ну, не болван ли мой помощник! Можно было уже различить дно сквозь воду. «Триапсик»

едва не погиб! Этот дурак в течение тридцати часов дважды едва не посадил его на мель.

Капитан Мак-Эльрат своими добрыми синими глазами посмотрел на ребенка, а жена, желая его развлечь, спросила:

— Помнишь Джимми Мак-Кауля? Вы вместе ходили в школу, когда были мальчиками, ферма старого Мак-Кауля находится позади дома доктора Хэйторна.

— А что с ним случилось? Он умер?

— Нет, когда ты в последний раз уехал в Вальпараисо, он пришел к твоему отцу и спросил его, бывал ли ты раньше в Вальпараисо. Твой отец ответил, что нет. Джимми очень удивился и сказал:

«А как же он найдет туда дорогу?»

Твой отец ответил на это: «Это очень просто, Джимми: предположи, что ты пошел к кому-нибудь, кто живет в Белфасте. Белфаст большой город, там много улиц, а все-таки ты бы ведь нашел то, что тебе нужно».

«Это другое дело, — сказал Джимми. — Я бы всех спрашивал по дороге».

«Ну, что ж, и тут то же самое, — отвечал твой отец, — так же и Дональд найдет дорогу в Вальпараисо. Он будет спрашивать каждое судно,

которое попадется ему навстречу, до тех пор, пока не повстречает такое, которое успело уже побывать в Вальпараисо. Капитан этого судна и укажет ему дорогу».

Джимми почесал у себя за ухом и нашел, что это в самом деле очень просто.

Капитан расхохотался этой шутке, и его усталые глаза на секунду оживились.

— Этот младший помощник был удивительно странный малый. Он был такой же странный, как мы, когда мы бываем вместе, — заметил он, улыбаясь, но улыбка тотчас же исчезла с его губ, а глаза стали усталыми и тусклыми.

— Вообрази, что он выкинул в Вальпараисо. Выгрузил шестьсот фатомов стального троса, не взяв с приемщика расписки. Я как раз в это время получал документы. Уже когда мы были в море, я стал искать расписку и не нашел ее. «Стало быть, вы не взяли расписки», — сказал я.

«А зачем же брать, — возразил он мне, — ведь трос пошел прямо нашим агентам».

«Вы плаваете по морю столько лет, — воскликнул я, — и до сих пор не знаете, что младший помощник обязан сдавать каждый груз под расписку, в особенности на Западном побережье. А что, если грузчики стянут несколько фатомов?»

Так и случилось, как я сказал. Выгружено было шестьсот фатомов, а наши агенты получили всего четыреста девяносто пять. Грузчики клялись, что больше там и не было. В Портланде я получил по этому поводу письмо от хозяев. Доставалось, разумеется, не моему помощнику, а мне, за то, что я находился на берегу во время разгрузки. Точно я мог бы быть одновременно в двух местах! И хозяева, и агенты до сих пор пишут мне письма.

Да, мой помощник вовсе не был моряком и не годился для настоящей работы. Он хотел пожаловаться на меня торговой инспекции за то, что я взял слишком много груза. Он говорил это боцману и потом отрапортовал мне прямо в глаза, что судно сидит на полдюйма ниже ватерлинии. Это было в Портланде, когда мы брали пресную воду и шли в Комакс за углем. Дело в том, Анни, что я действительно сидел на полдюйма ниже. Но это строго между нами. А эта скотина хотел донести на меня торговой инспекции и все время только и думал об этом, пока его не разрезало пополам на щите паровой трубы.

Он был просто болван! Когда мы уходили из Портланда, мне пришлось взять еще шестьдесят тонн угля, чтобы хватило до Комакса. Платить за

лихтер[27] я не собирался, а места свободного около дока не было. Там стояла французская барка. Капитан ее согласился уступить мне на несколько часов место, после того как он окончит свою дневную работу. Я спросил, сколько он возьмет с меня за это. «Двадцать долларов», — ответил он. Для владельцев это было все-таки выгоднее, чем брать лихтер, и я согласился. В ту же ночь, в темноте, я пристал и взял уголь. Я начал потом отходить под парами, чтобы стать далее на якорь. У нас что-то не ладилось в машине, а приходилось идти кормой вперед. Старый Мак-Ферсон заявил, что двигаться придется ручным ходом и очень тихо. Мы двинулись. Лоцман находился на борту. Навстречу нам было очень сильное течение, а невдалеке стояло на якоре судно; по обе стороны судна находились лихтеры, но на них не было сигнальных огней. Двигать в темноте такое большое судно было очень трудно, да вдобавок еще Мак-Ферсон давал обратный ход. Мы ткнулись в лихтер кормою в тот самый миг, когда я кричал Мак-Ферсону, указывая направление.

«Что это?» — спросил лоцман, когда мы наткнулись на лихтер.

---

[27] Примечания: 27

Лихтер — вспомогательное судно для перевозки грузов. *(Примеч. ред.)*

«Не знаю, — ответил я. — Я сам удивляюсь».

Из этого ты можешь заключить, что лоцман был не очень опытный. Мы пришли к месту стоянки, бросили якорь, и все бы обошлось благополучно, если бы не этот дурак помощник.

«Мы разбили вдребезги тот лихтер», — объявил он, взбираясь на мостик.

«Какой лихтер?» — спросил я.

«Тот, рядом с судном!»

Лоцман, конечно, начал прислушиваться.

«Я не видал никакого лихтера», — сказал я и одновременно крепко наступил ему на ногу.

Когда лоцман ушел, я сказал помощнику:

«Если уж вы ни черта не понимаете, лучше не разевайте пасти».

«Да ведь мы же разбили лихтер».

«Ну и что ж? — сказал я. — Не ваше дело сообщать об этом лоцману, хотя, по-моему, там никакого лихтера и не было».

На следующее утро, не успел я одеться, приходит матрос и докладывает, что какой-то человек желает меня видеть.

«Давай его сюда», — говорю я.

Является этот самый человек.

«Садитесь!» — говорю.

Он садится.

Оказывается, это владелец лихтера. Когда он рассказал мне всю историю, я заявил ему, что не видел никакого лихтера.

«Как! — воскликнул он. — Вы не видели двухсоттонного лихтера у борта того судна? Да ведь он по крайней мере с дом величиной».

«Я руководствовался сигнальными огнями судна, — возразил я. — Судна я не задел, в этом я уверен».

«Да, но вы задели лихтер, — возразил он, — вы его разбили вдребезги. Вы наделали мне убытку на тысячу долларов, и вам придется его возместить».

«Вот что, сударь, — заявил я. — Согласно правилам я по ночам обязан руководствоваться сигнальными огнями. На вашем лихтере их не было, а стало быть, я и не должен был замечать его».

«Но ваш помощник говорит...» — начал он.

«Пошлите к черту моего помощника, — отрезал я. — Вы мне скажите, были на вашем лихтере сигнальные огни?»

«Нет, — ответил он, — но ведь была ясная лунная ночь».

«Я вижу, что вы человек с головой, — сказал я. — Но позвольте вам доложить, что и у меня

есть тут кое-что. Я не обязан замечать лихтеры, на которых нет сигнальных огней. Если вы хотите судиться, сделайте одолжение. Добрый день. Палубный вас проводит...»

К счастью, дело на этом и кончилось. Но видишь, какая стерва был этот помощник! Ей-богу, все капитаны должны благодарить небо за то, что его разрезало пополам у паровой трубы! Его держали только потому, что у него была в конторе протекция.

— Наши агенты сказали мне, — проговорила жена, — что ферма Веслей скоро будет продаваться.

Она украдкой взглянула на него, чтобы посмотреть, какое впечатление произведут на него ее слова.

Глаза капитана радостно блеснули, и он выпрямился, как человек, преисполнившийся внезапной бодрости. Эта ферма была предметом его мечтаний. Она находилась рядом с фермой его отца и на расстоянии полумили от фермы его тестя.

— Ладно, мы ее купим, — сказал он. — Только будем держать это в секрете, пока не выплатим за нее полностью. Я сколотил кое-что за это время, хотя теперь заработок и становится все хуже

и хуже. У нас будет, наконец, свое собственное гнездо. Я поговорю с отцом и оставлю ему деньги, чтобы он мог купить ферму, даже если я в это время буду в море.

Капитан протер запотевшее изнутри окно и стал глядеть на равнины, окутанные непроницаемой пеленой дождя.

— В молодости я всегда боялся, что хозяева прогонят меня. Откровенно говоря, я и до сих пор этого побаиваюсь. Но когда у меня будет своя ферма, я больше не буду этого бояться. Да, быть морским фермером — это трудное занятие. Я работаю на всех морях, подвергаюсь всевозможным опасностям на судне, которое стоит пятьдесят тысяч фунтов, с грузом, который стоит иногда сто тысяч фунтов, — полмиллиона долларов, как говорят янки. И что ж? За всю эту ответственную работу я получаю какие-нибудь двадцать фунтов в месяц. Разве на суше кто-нибудь согласился бы управлять имением, стоящим сотни тысяч, и получать за это двадцать фунтов? А сколько у меня хозяев! И владельцы, и фрахтовщики, и всякие там торговые инспекции. Владельцы требуют быстрых переходов и не желают знать никаких опасностей. Фрахтовщики требуют безопасных переходов и не считаются со временем.

Торговая инспекция взывает к осторожности. А осторожность всегда ведет к разным задержкам. Три хозяина — и все готовы накостылять тебе шею, если ты их не ублажишь.

Почувствовав, что поезд замедляет ход, капитан опять подошел к запотевшему окну. Затем, подняв воротник и застегнув пальто, он неловко взял на руки спавшего ребенка.

— Я передам отцу деньги, — сказал он, — чтобы земля была куплена при первой возможности, на случай, если я буду в это время в плавании. Старик, я знаю, не даст маху. А тогда пусть хозяева прогоняют меня, когда им угодно. Мне будет на это наплевать! Я буду с тобой, Анни, а море может провалиться в тартарары.

При этой мысли лица их прояснились, а перед глазами у обоих одновременно возникло желанное мирное видение. Анни наклонилась к нему, и когда поезд остановился, он нежно поцеловал ее, стараясь не разбудить мирно спавшего младенца.

РОЖДЕННАЯ В НОЧИ

(сборник)



По легенде, люди, родившиеся в темное время суток, обладают необычными качествами в отличие от родившихся днем. Загадочность заглавия «Рожденная в ночи» подтверждается тематикой рассказов, входящих в этот сборник: запредельное психическое состояние, особенность личности, а также реликтовые свойства человеческого характера.

Рожденная в ночи

Все это происходило в Сан-Франциско, в старом клубе Алта-Иньо в один теплый летний вечер. В открытые окна доносился далекий, неясный шум уличного движения. Разговор присутствующих перескакивал с одной темы на другую: говорили и о борьбе со взяточничеством, и об очевидных признаках грозящего городу наводнения преступниками, и, наконец, об испорченности и низости людской, пока кто-то не произнес вскользь имя О'Брайена, подававшего большие надежды молодого боксера, убитого накануне на ринге. В воздухе сразу повеяло чем-то освежающим. О'Брайен был юноша-идеалист. Он не пил, не курил, не сквернословил и был прекрасен, как молодой бог. Он не расставался с молитвенником даже во время борьбы. Этот молитвенник был найден в кармане его пальто уже после…

Это была сама юность, чистая, здоровая, ничем не запятнанная, предмет восхищения и удивления людей, утративших свежесть души и тела. Эта тема так увлекала нас в мир романтики, что мы прекратили разговоры о шумном городе и его делах. Дальнейший ход беседы изменил Бардуэл,

который процитировал выдержку из поэзии Торо[28]. Цитату подхватил лысый обрюзгший Трифден, не умолкавший целый час. Вначале мы думали, что в нем говорит не в меру выпитый за обедом виски, но позже совершенного забыли об этом.

— Это произошло в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, когда мне было только тридцать пять лет, — сказал он. — Ага, я вижу, вы в уме вычисляете... Да, правда, мне теперь сорок семь, но я выгляжу старше. А доктора говорят... да ну их к черту!

Он медленно стал отпивать из стакана, чтобы немного успокоиться.

— Да, в то время я был молод. Двенадцать лет тому назад у меня еще были волосы на голове, а живот был, как у скорохода. Я не знал тогда усталости. Самый долгий день был для меня коротким. Вы помните, Мильнер? Мы ведь с вами тогда уже были знакомы. Правду я говорю?

Мильнер кивнул в знак согласия. Он, как и Трифден, был горным инженером и так же, как

---

[28] Примечания: 28

Торо (1817–1862) — североамериканский писатель. Темой его произведений является почти исключительно природа. В 1845 году он удалился в лес, построил хижину и прожил в ней два с половиной года, занимаясь физической работой, писанием своих произведений и созерцанием природы.

тот, сколотил себе порядочное состояние в Клондайке.

— Правда твоя, старина, — сказал Мильнер. — Я никогда не забуду, как ты ловко справился с лесопильщиками компании «М. и М.» в тот вечер, когда какой-то мелкий газетчик затеял скандал. Надо вам сказать, — обратился он к нам, — что Слэвин в это время находился в деревне и его управляющий натравил своих людей на Трифдена.

— Вот полюбуйтесь, что со мной сделала золотая горячка, — с горечью продолжал Трифден. — Богу известно, сколько я спустил миллионов, а душа опустела совсем, и крови в жилах почти не осталось. Горячая алая кровь исчезла. Я теперь медуза — огромная колышащаяся масса грубой протоплазмы, я…

Он запнулся и отхлебнул из стакана.

— Женщины заглядывались на меня в ту пору и оборачивались, чтобы еще раз взглянуть на меня. Странно, что я не женился. Но это из-за девушки… вот о ней-то я и хочу вам рассказать! Я встретил ее больше чем за тысячу миль от человеческого жилья. И она-то процитировала мне то самое место из Торо, которое только что привел Бардуэл: о богах, рожденных ночью, и

богах, рожденных днем.

Это было после того, как я сделал заявку на разработку на реке Гольстед, не подозревая даже, какие там таятся сокровища. Я направлялся на восток через Скалистые Горы к Большому Невольничьему озеру. К северу Скалистые Горы переходят в неприступную твердыню, через которую нет прохода. Только бродячие охотники отваживались на этот подвиг, но не многим удавалось благополучно пройти, а большинство погибало в пути. Успешным переходом этого места можно было тогда прославиться. Я и теперь еще горжусь этим больше, чем всем другим, сделанным в жизни.

Это совершенно неизвестная страна. Громадные пространства ее не были еще исследованы. Там были большие долины, куда не ступала нога белого человека, и индейские племена, живущие первобытно, почти как десять тысяч лет тому назад, — почти, потому что они имели кое-какие дела с белыми. Некоторые племена вступали иногда в торговые сношения с ними. Но даже Компания Гудзонова залива не смогла их разыскать и наладить контакт.

А теперь о девушке. Я поднимался по течению ручья — вы это в Калифорнии называете рекой, —

ручья, нигде не обозначенного и безымянного. Это была прекрасная долина, проходившая то между отвесными, высокими стенами ущелья, то расстилавшаяся вширь и вдаль. В глубине ее росла высокая, по плечи, трава, тянулись луга, усеянные цветами, высились кроны великолепных девственных сосен. Собаки, с навьюченным на спинах багажом, с израненными ногами, совершенно выбились из сил. Я же все время был поглощен поисками какой-нибудь стоянки индейцев, у которых можно было бы добыть нарты и погонщиков, чтобы продолжать путь с первым снегом.

Хотя в то время стояла уже поздняя осень, к величайшему моему изумлению, пышно цвели цветы. По моим предположениям, я был высоко в Скалистых Горах, в далекой субарктической Америке, а между тем передо мной расстилались целые цветочные ковры. Когда-нибудь белые поселенцы появятся в тех местах и будут сеять там пшеницу.

Наконец я увидел дымок и услышал лай собак — индейских собак — и направился к становищу. Тут находилось, по меньшей мере, пятьсот индейцев, и по количеству шестов, на которых коптилась дичь, было видно, что осенняя охота

была удачной. И здесь-то я встретил ее — Люси. Это ее имя. Мы объяснялись с индейцами жестами — это был единственный способ беседы между нами, — пока они не привели меня к большому шатру, напоминавшему палатку и открытому с той стороны, где горел бивуачный костер. Шатер был весь из прокуренных, темно-золотистых шкур американского оленя. Внутри было чисто и опрятно, чего никогда не бывает у индейцев. Постель была постлана на свежих еловых ветвях. На них лежали груды мехов, а поверх всего одеяло из лебяжьего пуха. На нем сидела, скрестив ноги, Люси. Вся она была светло-коричневая. Я назвал ее девушкой. Нет, это неверно. Это была смуглая женщина-амазонка — полная, царственно зрелая. Глаза у нее были голубые.

Эти-то глаза сразу меня и поразили. Они были голубые, но не цвета китайской лазури, а темно-голубые, как смешанный цвет неба и моря, и притом очень умные. Кроме того, в них сверкал смех — теплый солнечный смех и вместе с тем в них было что-то очень человеческое, и… это были глаза настоящей женщины. Вам это понятно? Что еще сказать вам? В этих голубых глазах отражались одновременно беспокойство, неугомонный порыв и абсолютная невозмутимость, нечто вро-

де мудрого философского спокойствия.

Трифден вдруг умолк.

— Мне кажется, друзья, вы думаете, что я не совсем трезв. Но это не так. С обеда я пью всего пятый стакан. Я не только чертовски трезв, а даже торжественно настроен. Я сижу сейчас рядом со своей священной юностью. С вами говорит не «старый Трифден», а моя юность, и моя юность говорит вам, что это были удивительнейшие глаза — невозмутимые и спокойные, мудрые и пытливые, зрелые и молодые, удовлетворенные и жаждущие чего-то. Нет, друзья, я не в силах описать их. Вы сами все поймете по моим рассказам!

Она не двинулась с места, но протянула мне руку.

«Добро пожаловать, незнакомец, очень вам рада!»

Вы представляете себе этот резкий звук западного говора? Вообразите мои ощущения! Это была женщина, белая женщина, и с таким говором! Было что-то невероятное в том, чтобы белая женщина находилась здесь, на краю света, а тут еще этот говор! Меня он кольнул, как грубый диссонанс. А между тем, смею вас уверить, что эта женщина была натурой поэтической, — вы в

этом убедитесь позже.

Она приказала индейцам удалиться, и, клянусь Юпитером, они ей беспрекословно повиновались. Они слушались ее приказаний и слепо подчинялись ей. Она была их вождем, их hi-yu-skookum. Она приказала мужчинам устроить меня и позаботиться о моих собаках. И они это исполнили и не взяли себе из моих вещей ничего, даже шнурка от моих мокасин. Это была именно Та-Которой-Надлежало-Повиноваться. Сказать вам по правде, мне стало жутко, и холодные струйки пробежали по моей спине при одной мысли о том, что за тысячи миль от цивилизованного мира белая женщина стоит во главе племени дикарей.

«Незнакомец, — сказала она, — по-моему, вы первый белый, чья нога ступила в эту долину. Садитесь, мы побеседуем, а потом чего-нибудь поедим. Откуда вы пришли?»

И опять меня покоробил ее говор. Но лучше забудем об этом на все время моего рассказа. Уверяю вас, я и сам забыл о нем, сидя на уголке лебяжьего одеяла, слушая эту единственную в своем роде женщину, словно сошедшую с описываемых поэтом Торо или кем-нибудь другим страниц.

Я оставался там целую неделю. Она сама при-

гласила меня остаться. Она обещала снабдить меня нартами и собаками и дать в провожатые индейцев, с которыми я пройду самым удобным путем Скалистые Горы. Ее палатка стояла на отлете, особняком от прочих, на высоком берегу реки. Несколько индейских девушек стряпали для нее и выполняли домашнюю работу. А мы беседовали, беседовали, пока пошел первый снег, и он падал до тех пор, пока не установился удобный санный путь.

Люси родилась в семье пограничных жителей, бедных поселенцев, а вы представляете себе, что это значит: работа и работа — вечная работа, работа, которой нет конца. Вот что рассказала она мне:

«Мне незнакома радость бытия. У меня для этого не было времени. Я знала, что вне нашего жилища везде очень хорошо, но воспользоваться этим благом мешали дела вроде печения хлеба, уборки и всякой работы, которую никогда всю не переделаешь. Иногда я испытывала душевную боль от жадного желания увидеть простор, особенно весной, когда птицы пели свои весенние песни. У меня появлялось желание побежать по высокой росистой траве, промочить ноги, прыгать через изгородь и ходить по лесу дале-

ко-далеко, до самого перевала, чтобы окинуть взглядом весь мир! Мне хотелось бродить по каньонам, перекатываться из пруда в пруд, подружиться с выдрами и пятнистыми форелями; подкрасться и исподтишка наблюдать белок, кроликов и мелких пташек, разузнать все их маленькие дела и тайны. Мне казалось, что, будь у меня время, я подползла бы к цветам и подслушала их перешептывание — то, как они делятся друг с другом умными и добрыми мыслями, которые людям совсем не знакомы».

Трифден остановился и молчал, пока ему не наполнили стакана.

— В другой раз она сказала:

«У меня возникло желание обнаженной бегать по ночам, при лунном свете, под звездами, погружаться в прохладный бархат мрака и так бежать без конца. Однажды вечером, после очень неудачного дня — тесто не всходило, масло не сбивалось, — я окончательно выбилась из сил. И я призналась отцу в моем желании убежать. Он с любопытством и некоторым опасением взглянул на меня и дал мне две пилюли, которые я проглотила. Он велел мне лечь в постель, постараться выспаться и уверял, что к утру вся дурь у меня пройдет. С тех пор я ему больше ни в чем

не признавалась».

Хозяйство их пришло в полный упадок — думаю, голод был тому причиной, — и они переселились на жительство в Сиэтл. Тут она поступила на фабрику, где, как вам известно, рабочий день очень утомителен и тянется без конца. А еще через год она поступила на службу в дешевый ресторан — харчевню, как она его называла, — в качестве официантки.

«Мне кажется, — сказала она мне однажды, — меня сильно влекло к романтике. Но где же взяться романтике среди кухонной утвари, на фабрике и в харчевне?»

Когда ей минуло восемнадцать лет, она вышла замуж за человека, который собирался открыть ресторан в Джуно. Он успел скопить немного долларов, его считали зажиточным. Она его не любила — на этот счет у нее не было никаких сомнений. Но ее утомила каторжная жизнь, от которой она хотела уйти во что бы то ни стало. Кроме того, Джуно находился на Аляске, и что-то влекло ее в этот край чудес. Но она мало видела его. Муж открыл ресторан, очень дешевый, и вскоре она убедилась, что он женился на ней, чтобы иметь даровую прислугу. В конце концов на нее свалилась вся работа, начиная с прислу-

живания посетителям и кончая мытьем посуды; кроме того, ей же приходилось и стряпать. Все это тянулось целых четыре года!

Вы только представьте себе это дикое лесное существо с первобытными инстинктами, жаждущее свободы, втиснутым в грязную маленькую харчевню и обреченным нести каторгу целых четыре года!

«Все это было так бессмысленно, — говорила она. — К чему все это? Зачем я родилась? Неужели весь смысл существования заключается в том, чтобы без конца работать и вечно быть усталой? Ложиться спать усталой, вставать усталой… И так изо дня в день, без всякой надежды на лучшее, а скорее ожидая худшего».

Она слышала от церковных мошенников о бессмертии, но сильно сомневалась в том, чтобы ее настоящая жизнь вела ее к бессмертию.

Между тем мечты о другой жизни не оставляли ее, хотя посещали реже прежнего. Она прочла несколько книг, вероятно, из серии «Дорожная Библиотека», и даже они давали пищу ее фантазии.

«Иногда, когда я чувствовала себя одуревшей от кухонного чада и мне казалось, что я упаду в обморок, если не глотну свежего воздуха, я

высовывалась из кухонного окна, закрывала глаза, и мне мерещились чудесные вещи. Мне, например, казалось, что я иду по дороге, кругом тишь и чистота — ни пыли, ни грязи. По мягким лугам текут ручейки, барашки играют, ветер разносит аромат цветов, и все это залито солнечным светом. Коровы лениво бродят по лугам, по колено в воде; в реке купаются молодые стройные девушки, такие беленькие, хорошенькие, — мне казалось, что я в Аркадии. Я читала когда-то об этой стране в одной книге. А вдруг, думала я, на повороте покажется рыцарь в сверкающих на солнце доспехах или дама на белоснежной лошади, а издали замаячат башни замка. То мне вдруг казалось, что за следующим поворотом дороги я увижу воздушный белый волшебный дворец с бьющими в садах фонтанами, с павлинами на лужайках… А потом я открывала глаза, — и кухонный чад обдавал мне лицо, и я слышала голос Джека, моего мужа: «Почему ты не подаешь бобов? Что же, дожидаться весь день?..» Романтика! По-моему, я ближе всего была к ней тогда, когда напившийся водки повар-армянин чуть не перерезал мне горло ножом для чистки картофеля и я обожгла себе руку о горячую плиту, отбиваясь от него тяжелой ступкой.

Я мечтала о приятной жизни, красивых вещах, о романтике и прочем. Но мне не везло — я, видно, родилась на свет, чтобы быть стряпухой и посудомойкой. Это было время бурной и разгульной жизни в Джуно; я видела, как жили другие женщины, но меня это не соблазняло. Мне кажется, я хотела остаться честной, не знаю почему, но это так. А в сущности не все ли равно, как умереть — за мытьем ли посуды или так, как умирали эти женщины?..»

Трифден прервал свое повествование, словно для того, чтобы собраться с мыслями.

— И эту женщину я встретил в полярных краях: она была вождем племени диких индейцев и владела охотничьей территорией в несколько тысяч квадратных миль! И случилось это так просто, хотя ей как будто суждено было закончить жизнь среди горшков и кастрюль. Но «пришло дуновение, и явилось видение». Это все, чего она желала, — и она достигла этого… «Наступил день моего пробуждения, — рассказывала она. — Я наткнулась на обрывок газеты со словами, которые до сих пор помню», — и она процитировала строки из произведения Торо «Вопль человека»:

— «Молодые сосны, вырастающие на хлебных полях из года в год, — явление для меня очень

отрадное. Мы много говорили о цивилизации индейцев, но вряд ли это благо для них. Благодаря своей независимости и уединению, жизни в лесу индеец как бы поддерживает связь со своими богами — и время от времени в общении с природой. Ему близки звезды, а в наших «салунах» не может сформироваться человек. Свет его гения кажется тусклым из-за расстояния, как прекрасное отдаленное сверкание звезд при ярком, но недолговечном пламени свечи. Уроженцы островов Товарищества имеют богов, рожденных днем, но они не считались такими же древними, как боги, рожденные в ночи…»

— Все это она повторила слово в слово, и я забыл ее неприятный говор, потому что это звучало торжественно — это было исповедание веры, пожалуй, языческой, но облеченной в живописную форму.

«Это все, — остальное было оторвано, — сказала она тихо. — Ведь это был только клочок газеты! Но этот Торо мудрый человек. Мне хотелось бы больше знать о нем».

Она с минуту помолчала, а потом — с проникновенным лицом, в чем я готов поклясться, — прибавила: «Я была бы ему хорошей женой!»

И она продолжала:

«Вот тут я все разгадала! Я — рожденная в ночи! Да, я, всю жизнь прожившая с рожденными днем, рождена в ночи. Вот почему меня всегда тяготила простая домашняя работа, почему меня тянуло бегать обнаженной при лунном свете. Мне стало понятно, что мне не место в этой грязной маленькой харчевне в Джуно. И я твердо решила уйти. Я немедля запаковала свой немногочисленный скарб и собралась. Джек пытался меня удержать:

— Что ты делаешь? — спросил он меня.

— Я покидаю тебя и ухожу в лес, где моя родина, — ответила я.

— Нет, ты не уйдешь, — и он схватил меня, чтобы удержать. — Я знаю, тебе опротивела стряпня, но прежде чем уйти, ты должна меня выслушать.

Я показала ему револьвер Кольта, калибра 44:

— Вот тебе мой ответ! — И я ушла…»

Трифден опорожнил свой стакан и заказал новый.

— Знаете ли вы, что сделала эта девушка? Ведь ей было двадцать два года! Она всю жизнь провела среди кастрюль, и мир ей был так же мало известен, как мне четвертое или пятое измерение. Ей были открыты все пути, однако ее не потянуло в кафе-шантан. Она прямо направилась

к берегу реки, так как знала, что на Аляске лучше всего путешествовать по воде. В это время как раз отплывала в Дайю индейская пирога — это, как вам известно, лодка, выдолбленная из цельного ствола, узкая и глубокая, длиной в шестьдесят футов. Она заплатила индейцам пару долларов, и ее взяли в пирогу.

«Я жаждала романтики, — сказала она мне. — И романтика началась с первой же минуты. В лодке помещалось три семейства, и она была так переполнена, что невозможно было повернуться. Всюду вертелись собаки и дети, у всех были весла, и все гребли. Нас окружали величественные горы, над нами клубились облака, и над всем этим разливалось солнечное сияние. А это безмолвие, великое чудесное безмолвие! Вдали изредка показывался над деревьями дымок охотничьего привала. Это было не путешествие, а настоящий пикник — грандиозный пикник, и мне казалось, что мои мечты уже сбываются, я ждала еще чего-то. И это случилось…

А первый привал на острове! Мальчишки занялись рыбной ловлей в бухте, а взрослые охотились на ланей. Все было усыпано цветами, а дальше от берега трава — густая, сочная, высотой по самые плечи. Несколько девушек

пошли вместе со мной бродить, мы взбирались на холмы, собирали ягоды и вкусные кисловатые коренья. В одном месте мы набрели на большого медведя, который ужинал ягодами. Он прорычал «уфф!» и убежал, испуганный не меньше нас. А потом этот бивуак, бивуачный дым, запах жарящейся свежей дичи! Как дивно хорошо это было! Наконец-то я была с рожденными в ночи и чувствовала, что мое место рядом с ними. Когда я ложилась спать, укрывшись холщовым одеялом, из-под отвернутого уголка которого я любовалась звездами, сверкавшими за темными выступами горы, прислушивалась к ночным шумам, я впервые в моей жизни почувствовала себя счастливой и знала, что так будет и завтра, и дальше, и всегда… ибо я решила не возвращаться. И я не вернулась.

Романтика! Я испытала ее на следующий день. Нам предстояло переплыть большой рукав океана шириной приблизительно от двенадцати до пятнадцати миль. На середине нашего пути подул сильный ветер … В эту ночь меня выбросило на берег, где я очутилась одна, в обществе волкодава, единственная из всех оставшаяся в живых…»

— Представьте себе! — прервал свое повество-

вание Трифден. — Лодка разбилась и потонула, все находившиеся в ней разбились о скалы. Одна Люси достигла берега, уцепившись за хвост собаки, благополучно миновала подводные камни и очутилась на крохотном песчаном взморье, единственном на протяжении многих сотен миль.

«К счастью, это был материк, — продолжала она. — Я пошла вглубь через леса и горы, куда глаза глядят, точно предчувствуя, что найду свое! Я не испытывала страха. Ведь я — рожденная в ночи, и лес не мог меня убить. На другой день я нашла: на небольшой прогалине стояла полуразвалившаяся хижина. Видно было, что она необитаема уже много лет. Крыша провалилась. В ящиках лежали сгнившие одеяла; на очаге стояли кастрюли и сковороды. Но самое интересное было впереди. Вы не можете себе представить, на что я набрела на опушке леса! Там оказалось восемь скелетов лошадей когда-то привязанных к деревьям! Они, по всей вероятности, умерли с голоду, оставив после себя разбросанные кучи костей. У каждой лошади на спине была поклажа. Среди костей валялись холщовые мешки, в этих мешках были еще мешки из кожи мускусного быка, а внутри этих — как бы вы думали, что?»

Она остановилась, протянула руку к углу посте-

ли и из груды еловых ветвей вытащила кожаный мешок. Она развязала его, и в мои руки полился целый поток золота, какого я никогда до того не видел, крупнозернистого, самородного золота, в песчинках и слитках, чистого, почти без следов промывки!

«Ведь вы горный инженер, — сказала она, — и вам знакомы здешние места. Не знаете ли вы, как называется тот ручей, где добывается такое золото?»

Но я не мог назвать ручья. Золото было чистое, без всякой примеси серебра. Я ей это сказал.

«Неужели? — воскликнула она. — Я продаю его по девятнадцати долларов за унцию. Золото Эльдорадо нельзя сбыть дороже семнадцати долларов за унцию, а минукское идет по семнадцати с чем-то.

Итак, среди лошадиных скелетов я нашла восемь лошадиных вьюков, по сто пятьдесят фунтов в каждом».

— Четверть миллиона долларов! — воскликнул я.

«Я приблизительно так и рассчитала, — проговорила она. — Толкуйте теперь о романтике! Сколько лет была закабалена работой, но стоило мне стряхнуть с себя рабство и уйти, как через

три дня вот что случилось! Что произошло с людьми, которые добыли все это золото? Я очень часто об этом думаю, они оставили своих навьюченных лошадей, привязав их на время, а сами бесследно исчезли с лица земли. Никто о них ни разу не вспомнил. Никому не известна их участь. Как рожденная в ночи, я считала себя их наследницей».

Трифден помолчал, закуривая сигару.

— Знаете, что сделала эта женщина? Она спрятала все золото, кроме тридцати фунтов, с которыми направилась на берег. Мимо проплывала пирога, она подала ей сигнал. Эта пирога доставила ее на торговый пост Пэта Хили в Дайе; там она накупила разного снаряжения и переправилась через Чилкутский перевал. Это было в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году, за восемь лет до открытия Клондайкских золотых россыпей, когда пространство вдоль реки Юкон еще представляло собой дикую пустыню. Она боялась мужчин-индейцев, но взяла с собой двух скво — молодых индейских женщин, переплыла с ними озеро и спустилась вниз по реке. Там она присоединилась к первым бивуакам, на нижнем Юконе. Несколько лет странствовала она по этим местам, а затем пробралась туда, где я ее встре-

тил. Здесь ей понравилось, по ее собственному выражению, «следить за огромным самцом-оленем, стоящим в долине по колено в радужных цветах». Она осталась жить с индейцами, лечила их, завоевала их доверие и постепенно приобрела над ними власть. Она только один раз покинула этот рай, когда с группой молодых индейцев перевалила Чилкут, вырыла свое спрятанное золото и привезла его сюда.

«Вот здесь я живу, незнакомец, — закончила она свое повествование. — А вот то, чем я дорожу больше всего на свете».

Она выдернула маленькую кожаную сумочку, висевшую у нее на шее вместо медальона, и открыла ее. Внутри, завернутый в пропитанный маслом шелк, пожелтевший от времени, замусоленный и истертый, лежал тот самый обрывок газеты, где напечатана была выдержка из Торо.

— И вы счастливы? Довольны? — спросил я ее. — В Штатах с вашей четвертью миллиона долларов вам не нужно было бы работать. Вам ведь, наверное, здесь многого не хватает!

«Не так уж много, — ответила она. — Я никогда не променяла бы свою жизнь на жизнь женщины в Штатах. Я живу среди своего народа, к которому привязана всей душой. Но бывают минуты, — и

в ее глазах зажегся голодный огонек, о котором я уже упоминал, — когда я призываю на голову Торо всякие беды!»

— За что? — спросил я.

«За то, что не могу выйти за него замуж. По временам я чувствую себя страшно одинокой. Я ведь женщина, самая настоящая женщина. Я слыхала о женщинах, которые искали для себя новые пути, как и я, и немало чудили: поступали в армию солдатами и матросами на корабли. Но это же просто взбалмошные бабы. Это скорее мужчины, чем женщины, они и похожи больше на мужчин, и у них нет обычных женских желаний. Они не мечтают о любви, не желают иметь детей, прижимать их к сердцу и сажать их к себе на колени. Я совсем иного склада. Отдаюсь на ваш суд, незнакомец: похожа ли я на мужчину?»

Нет, она не была похожа на мужчину. Она была настоящая женщина — прекрасная смуглая женщина, с пышным, здоровым, крепким телом и прекрасными темно-голубыми глазами.

«Разве я не женщина? — спрашивала она. — Нет, я само воплощение женщины. Курьезнее всего то, что хотя я во всех отношениях рожденная в ночи, в супружестве мне как-то не везет. Я думаю, что такого рода люди ищут себе подобных.

Так по крайней мере происходит со мной во все эти годы».

— Вы хотите сказать?.. — начал я.

«Никогда, — сказала она, взглянув на меня своими правдивыми глазами. — У меня был всего один муж — я его называла Волом. Полагаю, он до сих пор живет в Джуно и хозяйничает в своей харчевне. Если вам случится там побывать, найдите его и тогда вы увидите, что это прозвище подходит ему».

И я таки разыскал его — через два года. Он вполне соответствовал данному ему описанию. Это был коренастый тупой вол. Он шнырял между столиками своей харчевни, прислуживая посетителям.

— Вам нужно бы помощницу, жену, — сказал я ему.

— У меня была жена.

— Вы овдовели?

— Она бросила меня. Она все жаловалась на кухонный жар — и он таки довел ее до безумия. В один прекрасный день она направила на меня револьвер и убежала с несколькими сивашами-индейцами в пироге. Они потом все утонули у самого берега.

Трифден занялся своим стаканом и умолк.

— Ну, и что же с женщиной? — напомнил ему Мильнер. — Вы остановились как раз на самом интересном месте, когда дело дошло до нежностей.

— Так оно и есть, — ответил Трифден. — Как она сама говорила, она во всех отношениях была дикаркой, кроме того, что касалось брака: мужем она хотела иметь человека своей расы. Она очень деликатно, но прямо приступила к делу. Она предложила мне себя в жены.

«Незнакомец, вы мне очень нужны, — сказала она. — Я вижу, что вам нравится здешняя жизнь, иначе вы не были бы у нас и не стремились бы перейти через Скалистые Горы сырой осенью. Это чудесный уголок, лучше его не найти. Почему бы вам не поселиться здесь? Я была бы хорошей женой».

Я почувствовал себя припертым к стене. А она ждала! Должен сознаться, что соблазн был велик. Я почти влюбился в нее. Вы знаете, что я никогда не был женат. Оглядываясь на прошлое, я теперь могу откровенно признаться, что это была единственная женщина, которая произвела на меня сильное впечатление. Но ее предложение меня огорошило, и я солгал — по-джентльменски: я сказал ей, что женат.

— Жена ждет тебя? — спросила она.

— Да.

— Она тебя любит?

— Да.

Это был конец.

Она больше не касалась этой темы… только один раз показав, что и в ней есть огонь.

«Мне стоит произнести одно слово, и ты останешься со мной и никуда не уйдешь отсюда… Но я не произнесу его. Я не хочу тебя, если сам ты не хочешь быть желанным и не желаешь меня».

Она вышла и распорядилась, чтобы меня снарядили в дорогу.

«Мне стыдно сознаться, чужестранец, — сказала она на прощание. — Ты мне нравишься, я полюбила тебя. Если ты когда-нибудь одумаешься — возвращайся».

У меня в ту минуту было одно сильное желание: мне хотелось поцеловать ее на прощание. Но я не знал, как высказать это и как она это примет. Но она сама пришла мне на помощь.

«Поцелуй меня, — сказала она, — это все, что у меня останется на память о тебе».

И мы поцеловались на снегу, в долине у Скалистых Гор. Я покинул ее тут же и последовал за своими собаками. Целые шесть недель ушло

на путешествие через перевал, и, наконец, я спустился к первому посту Невольничьего озера…

Уличный гул доносился к нам, как отдаленный прибой. Слуга бесшумно вошел и принес новые сифоны, и в наступившей тишине голос Трифдена прозвучал, как погребальный звон.

— Для меня было бы лучше остаться!.. Посмотрите на меня!

Мы взглянули на его седеющие усы, на его лысину, на мешки под глазами, отвислые щеки, отяжелевший подбородок. Опустившийся, усталый, совершенная развалина — этот когда-то крепкий и сильный мужчина, которого убила слишком легкая, разгульная жизнь.

— Быть может, еще не поздно, — нерешительно прошептал Бардуэл.

— О Господи, почему я был тогда так малодушен! — воскликнул Трифден. — Я мог еще вернуться к ней. Она и сейчас там. Оставаться здесь — это самоубийство. Но я старик, мне сорок семь лет… Беда в том, — сказал он, подняв стакан и глядя на него, — что это очень легкий способ самоубийства. Я — изнеженный, избалованный человек. Мне страшна самая мысль о продолжительной езде на собаках. Страшны утренние морозы, замерзшие ремни саней пугают меня.

Непроизвольно он поднес стакан к губам. Охваченный внезапной яростью, он чуть не разбил его об пол, но словно одумался: стакан поднялся до уровня его губ и замер. Он хрипло, горько засмеялся и вымолвил торжественным голосом:

— Ну, выпьем за Рожденную в Ночи. Она была настоящим чудом!

Безумие Джона Харнеда

— То, что я рассказываю, — факт. Это случилось во время боя быков в Кито. Я сидел в одной ложе с Джоном Харнедом, Марией Валенсуэлой и Луи Сервальосом. Я видел, как это случилось: все происходило на моих глазах — от начала до конца. Я ехал на пароходе «Эквадор» из Панамы в Гуаякиль. Мария Валенсуэла — моя кузина. Я ее знаю с детства; она очень хороша собой. Я испанец, из Эквадора, разумеется, но я потомок Педро Патино, одного из капитанов Писарро. Это были храбрые люди. Это были герои! Не Писарро ли повел триста пятьдесят испанских кабальеро и четыре тысячи индейцев в далекие Кордильеры за сокровищами? И не погибли ли все четыре тысячи индейцев и триста храбрейших кабальеро при своей тщетной попытке? Но Педро Патино не погиб. Он остался в живых и стал родоначальником Патино. У меня много поместий-гациенд и десять тысяч индейцев-рабов, хотя по закону они свободные люди и работают по добровольному найму. Забавная штука — эти законы! Мы, эквадорцы, смеемся над ними, над нашими законами, мы сами делаем законы для себя. Я — Мануэль

де Хесус Патино. Запомните это имя! Оно будет вписано когда-нибудь в историю! В Эквадоре перевороты случаются часто — мы называем их перевыборами. Славная штука, не правда ли? Не это ли вы называете «игрой слов»?

Джон Харнед был американец. Я встретился с ним впервые в отеле «Тиволи» в Париже. Я слышал, что у него было много денег. Он ехал в Лиму, но в отеле «Тиволи» встретился с Марией Валенсуэлой. Мария Валенсуэла, как я уже говорил, — моя кузина, и она красавица! Воистину, она самая красивая женщина в Эквадоре! Но она первая красавица и в любой стране, в любой столице — в Париже, в Мадриде, в Нью-Йорке, в Вене. Мужчины везде заглядывались на нее, и Джон Харнед тоже не сводил с нее глаз в Панаме. Он влюбился в нее, это я знаю наверное. Она эквадорка, правда, но она — гражданка всех стран, всего света! Она владела многими языками. Пела она, как настоящая артистка! Улыбка у нее была восхитительная, божественная! Ее глаза… — я видел, как мужчины заглядывались на ее глаза! Это были, как вы, англичане, называете, изумительные глаза: они сулили райское блаженство. Мужчины безвозвратно тонули в этих глазах.

Мария Валенсуэла была богата, богаче меня,

хотя я считаюсь в Эквадоре очень богатым человеком. Но Джон Харнед не думал о деньгах. У него было сердце — глупое сердце! Глупец, он не поехал в Лиму; он оставил пароход в Гуаякиле и поехал за ней в Кито! Она возвращалась домой из Европы. Не знаю, что она нашла в Джоне, но она полюбила его. Это факт, иначе он не поехал бы за ней в Кито: она сама пригласила его с собой! Я хорошо помню, как это было. Она сказала:

— Едемте в Кито, я покажу вам бой быков — бесстрашный, ловкий, великолепный!

— Но я еду в Лимо, а не в Кито, — ответил он, — у меня билет до Лимы.

— Разве вы путешествуете не для своего удовольствия? — спросила Мария Валенсуэла и посмотрела на него так, как только она умела смотреть; в ее глазах затеплилось обещание…

И он поехал: но не ради боя быков, он поехал ради того, что увидел в глазах Марии. Такие женщины, как Мария Валенсуэла, рождаются раз в сто лет. Они вне времени и пространства! Они, как у нас говорится, — всемирны, им принадлежит вселенная. Это богиня, и люди падают ниц к их ногам. Они играют мужчинами и пропускают их между своих прелестных пальчиков, как песок. Говорят, Клеопатра была такой женщиной,

и такова была Цирцея. Она превращала людей в свиней. Ха-ха! Очень ловко — не правда ли?

Все это произошло потому, что Мария Валенсуэла произнесла:

— Вы англичане, как бы сказать… дикари, что ли? Вы любите бокс. Двое наносят друг другу удары, пока не ослепнут или не разобьют друг другу носов… Отвратительно! А зрители — они смотрят и гогочут от восторга. Ну, не варварство ли это, скажите по совести?

— Но они — мужчины, — возразил Джон Харнед, — и дерутся по собственному желанию. Никто их не заставляет; они дерутся потому, что им этого хочется больше всего на свете!

Мария Валенсуэла с презрительной улыбкой продолжала:

— И они часто убивают друг друга, не правда ли? Я читала об этом в газетах.

— Ну, а быки? — говорил Джон Харнед. — Быков убивают не раз в течение боя, и бык не по своей охоте выходит на арену. Это нечестно по отношению к быку: его принуждают к бою; человек же — о нет! — его никто не заставляет драться!

— Тем более он животное, — отвечала Мария Валенсуэла, — он дикарь; он первобытен; он зверь! Он дерется лапами, как какой-нибудь

пещерный медведь, и он свиреп. Бой же быков — о! — вы не видели боя быков, нет? Тореадор ловок; он должен быть ловок; это — современность; это — романтика! Человек, мягкий и нежный, в бою сталкивается с диким быком! И убивает он шпагой, тонкой и гибкой, одним ударом вонзая ее в сердце огромного животного. Это очаровательно! При взгляде на это зрелище сердце начинает биться усиленно: маленький человек, громадный зверь, песок ровной, широкой арены, тысячи зрителей замерли, затаив дыхание! Громадный зверь бросается в атаку, маленький человек стоит, как изваяние; он не движется; он не боится, а в его руках тонкий меч сверкает, как серебро на солнце; ближе и ближе животное с острыми рогами, человек все недвижим, а затем — вот так! — меч сверкнул, удар нанесен прямо в сердце, по самую рукоятку, бык замертво падает на песок, а человек невредим! Это бесстрашно, это великолепно! Ах! Я могла бы полюбить тореадора! А боксер — да ведь это животное, человек-зверь, первобытный дикарь, маньяк, который получает удар за ударом по своей глупой физиономии и радуется! Едемте в Кито, и я покажу вам настоящий спорт — спорт людей: тореадор против быка!

Но Джон Харнед поехал в Кито не ради боя

быков — он поехал ради Марии Валенсуэлы. Это был крупный человек, шире в плечах, чем мы, эквадорцы, высокого роста, крепкого сложения. Собственно, он был крупнее даже многих своих соотечественников. У него были голубые глаза, хотя — я видел — они делались, как холодная сталь. Черты лица у него были крупные, даже слишком, не такие нежные, как у нас, челюсть тяжелая. Лицо он брил, как священник. С чего бы мужчине стыдиться волос на лице? Разве не Бог насадил их там? Да, я верую в Бога! Я не язычник, как многие из вас, англичан. Бог добр, он сотворил меня эквадорцем с девятью тысячами рабов. И когда я умру, я пойду к Богу. Да, священники правы!

Но вернемся к Джону Харнеду. Это был степенный человек! Говорил он всегда тихо и никогда не размахивал руками. Можно было подумать, что сердце у него изо льда; но, видно, и в его крови была теплая струйка, раз он поехал за Марией Валенсуэлой в Кито. И все же, несмотря на то что он говорил тихим голосом и не размахивал руками, это был зверь, как вы увидите, — первобытное животное, глупый, свирепый дикарь времен, когда человек носил звериные шкуры и жил в пещерах, в соседстве с медведями и волками.

Луис Сервальос — мой друг, лучший из эквадорцев. Ему принадлежат три плантации какао в Наранхито и Чобо. В Милагро у него сахарная плантация. У него большие гациенды в Амбато и Латакунге, и он состоит пайщиком Компании нефтяных приисков побережья. Он просадил также немало денег на разведении каучуковых деревьев. Он современен, как янки, и, как янки, весь в делах. У него много денег, но они в разных предприятиях, и всегда ему нужны деньги для новых дел и для поддержания старых. Он везде побывал и все видел. Молодым человеком он был в американской военной академии, которую вы называете «Вест Пойнт». Там вышло недоразумение, и ему пришлось уйти. Он не любил американцев, но он любил Марию Валенсуэлу, она была его соотечественница. Кроме того, ему нужны были ее деньги для новых дел и для золотых копей в Восточном Эквадоре, на родине раскрашенных индейцев. Я был его другом, и мне хотелось, чтобы он женился на Марии Валенсуэле. К тому же я довольно много денег вложил в его дела, особенно в золотые прииски; они сулили большой барыш, но предварительно надо было вложить туда немало денег. Если бы Луис Сервальос женился на Марии Валенсуэле, я сразу

получил бы много денег, вам и не снилось такое количество.

Но Джон Харнед поехал за Марией Валенсуэлой в Кито, — и нам, мне и Луису Сервальосу, скоро стало ясно, что она всерьез увлечена Джоном Харнедом. Говорят, женщина любит настоять на своем, но в этот раз было не так. Мария Валенсуэла не настояла на своем с Джоном Харнедом. Возможно, что все произошло бы совершенно так же, если бы я и Луис Сервальос не сидели в тот день в ложе на бое быков в Кито, но мы там сидели.

И я расскажу вам, что случилось.

Мы сидели вчетвером в одной ложе как гости Луиса Сервальоса. Я сидел скраю, рядом с ложей президента. С другой стороны была ложа генерала Хозе Салазара. С ним были Хоакин Эндара и Урсисино Кастильо, оба генералы, полковник Хасинто Фьерро и капитан Бальтазар де Эчеверрия. Только при влиятельном положении Луиса Сервальоса можно было получить ложу рядом с президентом! Я знаю, что президент сам выразил дирекции желание, чтобы Луису Сервальосу отдали эту ложу.

Оркестр закончил исполнять национальный эквадорский гимн. Прошла процессия тореадо-

ров. Президент кивнул — начинать. Протрубил рог, и выбежал бык, — вы знаете, как это бывает: злой, ошалелый, с дротиками[29] в плечах, которые жгут, как огонь, он ищет, на кого бы броситься. Тореадоры ждали, спрятавшись за прикрытием. Вот они вбежали, сразу пятеро кападоров[30] с каждой стороны, с широко развевающимися цветными плащами. Бык остановился перед таким множеством врагов, не зная, на кого устремиться. Один из кападоров пошел быку навстречу. Бык разъярился. Передними копытами он взрывал песок на арене, так что пыль поднялась столбом. Потом он ринулся, опустив голову, прямо на кападора.

Первый натиск первого быка всегда интересен! Потом, естественно, все устают, и игра теряет свою остроту. Но эта первая атака первого быка! Джон Харнед не мог скрыть своего возбуждения, он видел это впервые: человека, вооруженного только клочком материи, и быка, мчащегося на него по песку с широко расставленными острыми рогами.

---

[29] Примечания: 29

Дротик — короткое четырехгранное метательное копье.

[30] Примечания: 30

Кападоры — участники боя быков, раздражающие быка и отвлекающие в нужный момент его внимание развевающимися яркими плащами.

— Смотрите! — воскликнула Валенсуэла. — Разве это не великолепно?

Джон Харнед кивнул, не глядя на нее. Его глаза сверкали и не отрывались от быка. Кападор шагнул в сторону, отмахнувшись плащом от быка и накинув его на плечи.

— Как вы находите? — спросила Мария Валенсуэла. — Не то ли это, что вы называете «настоящим спортом»?

— Именно так, — отвечал Джон Харнед. — Очень ловко устроено, блестящий номер…

В экстазе она хлопала в ладоши. У нее были очень маленькие ручки. Публика хлопала тоже. Бык повернулся и пошел назад. Снова кападор увернулся, накрывшись плащом, и опять публика захлопала. Это повторилось три раза. Кападор был великолепен! Наконец он удалился, и другие кападоры продолжали ту же игру, всаживая быку бандерильи[31] в плечи, по каждую сторону хребта по две сразу. Затем выступил Ордоньес, главный матадор, с длинной шпагой и в красном плаще. Трубы загудели во всю мочь. Он не так хорош, как Матестини, но все же он прекрасен, — одним ударом воткнул он меч в самое сердце

[31] Примечания: 31

Бандерилья — копье, иногда с цветными бумажными украшениями и лентами, употребляемое при бое быков.

быка, у быка подкосились ноги, он упал и умер. Это был чудесный удар, чистый и верный! Загремели аплодисменты, и многие в восторге бросали шляпы на арену. Мария Валенсуэла рукоплескала, как и все, — и Джон Харнед, холодное сердце которого осталось спокойным при виде этого зрелища, с любопытством посмотрел на нее.

— Вам это нравится? — спросил он.

— Всегда! — ответила она, продолжая хлопать.

— С детских лет, — вмешался Луис Сервальос. — Я помню ее на первом бое быков; ей было четыре года, она сидела с матерью и так же хлопала ручками, как сейчас. Она — настоящая испанка!

— Вы теперь видели, — обратилась Мария Валенсуэла к Джону Харнеду, в то время как к мертвому быку припрягли мулов, чтобы убрать его с арены, — вы видели бой быков, и он вам понравился, не правда ли? Что вы думаете об этом?

— Я думаю, что у быка не было шансов, — отвечал он. — Бык заранее обречен, исход не оставляет сомнений, — еще до выхода быка на арену всем известно, что он погибнет. Для спорта необходимо сомнение в благополучном исходе! И это был глупый бык, никогда не дравшийся с человеком, а на него выпустили пятерых мужчин, не раз дравшихся с быками! Не честнее ли было

бы выпустить одного человека на одного быка?

— Или одного человека на пятерых быков, — сказала Мария Валенсуэла, и все мы расхохотались, а громче всех Луи Сервальос.

— Да, — продолжал Джон Харнед, — на пятерых быков; и человека, который, подобно быкам, раньше не бывал на арене, — человека вроде вас, сеньор Сервальос!

— И все же мы, испанцы, любим бой быков, — отозвался Луис Сервальос. (Я готов поклясться, что сам дьявол шепнул ему на ухо поступить так, как он поступил!)

— Вкус к этому нужно выработать в себе, — произнес Джон Харнед. — Вот мы в Чикаго убиваем ежедневно тысячи быков, но никто не платит денег за это зрелище.

— Там бойня, — возразил я, — здесь же… о, это искусство! Тонкое, изящное, редкое!

— Не всегда, — вмешался Луис Сервальос. — Я видел неловких матадоров и должен сказать, что это зрелище не из красивых.

Он вздрогнул, и на лице его появилось то, что вы называете отвращением. Я уверен, что в эту минуту дьявол что-то нашептывал ему и что он играл заранее обдуманную роль!

— Сеньор Харнед, может быть, я прав, — про-

должал он. — Возможно, что это и нечестно по отношению к быку. Разве мы все не знаем, что быку не дают воды целые сутки перед боем, и только перед выходом на арену дают пить сколько влезет?

— И он выходит на арену полный воды? — быстро спросил Джон Харнед, и взгляд у него стал серый, острый и холодный.

— Это необходимо для спорта, — объяснил Луис Сервальос. — Что же, вы хотели бы, чтобы бык был полон сил и убил тореадора?

— Мне хотелось бы, чтобы и у быка был шанс, — ответил Джон Харнед, глядя на арену, где появился второй бык.

Это был плохонький, трусливый бык. Он заметался по арене, ища, куда убежать. Кападоры вышли вперед и стали размахивать плащами, но бык уклонялся от нападения.

— Ну и глупый бык! — воскликнула Мария Валенсуэла.

— Простите, — возразил Джон Харнед, — но я нахожу его умным! Он знает, что не должен драться с человеком. Смотрите, он почуял смерть на арене!

И правда, бык, остановившись на том месте, где упал мертвым первый, зафыркал, стал нюхать

мокрый песок и опять забегал по арене, подняв голову и заглядывая в физиономии тысячи людей, которые свистели, бросали в быка апельсинные корки и всячески ругали его. Запах крови заставил быка решиться, и он напал на кападора так неожиданно, что тот едва увернулся. Кападор набросил на быка свой плащ и спрятался за прикрытие; бык с треском ударился в стенку арены. Джон Харнед тихим голосом, как бы говоря сам с собой, произнес:

— Я пожертвую тысячу сукрэ на богадельню в Кито, если бык убьет сегодня человека…

— Вы любите быков? — улыбнувшись, спросила Мария Валенсуэла.

— Еще меньше я люблю таких людей, — ответил Джон Харнед. — Тореадор совсем не храбр, да он и не может быть храбрым. Смотрите, у быка уже высунулся язык, он измучен, а бой еще не начался!

— Это вода, — произнес Луис Сервальос.

— Да, это от воды, — подтвердил Джон Харнед. — Не лучше ли было бы подрезать быку поджилки перед тем, как выпустить?

Насмешка, прозвучавшая в словах Джона Харнеда, разозлила Марию Валенсуэлу. Но Луис Сервальос улыбнулся (так, что только я заметил

это), и в ту минуту я окончательно понял, какую игру он затеял. Я и он были бандерильеры, а в ложе с нами сидел большой американский бык. Нам предстояло колоть его дротиками, пока он не придет в ярость, и тогда, пожалуй, не состоится его брак с Марией Валенсуэлой. Это была интересная игра, а в нас ведь текла кровь любителей боя быков!

Бык теперь окончательно рассвирепел, и кападорам пришлось немало повозиться с ним. Он быстро поворачивался, порою так неожиданно, что оступался задними ногами, взрывая копытами песок, но все время попадал на развевающийся плащ и не причинял людям вреда.

— У него нет шансов, — твердил Джон Харнед, — он сражается с ветром.

— Ему кажется, что враг — это плащ, — объяснила Мария Валенсуэла, — смотрите, как умно кападор дурачит его!

— В этом его природа — бывать одураченным, — отвечал Джон Харнед. — Поэтому-то он и обречен сражаться с ветром. Тореадоры знают это, публика знает, вы знаете, я знаю — мы все заранее знаем, что он вынужден сражаться с ветром. Он один не знает этого по своей глупости. У него нет шансов!

— Очень просто, — произнес Луис Сервальос. — Нападая, бык закрывает глаза, и поэтому…

— Человек отскакивает в сторону, а бык пробегает мимо? — перебил Джон Харнед.

— Да, — подтвердил Луи Сервальос, — именно так. Бык закрывает глаза, и человек знает это.

— А вот коровы не закрывают глаз, — сообщил Джон Харнед. — У нас дома есть джерсейская корова, — простая молочная корова; она хорошо расправилась бы с этой компанией.

— Но тореадоры не дерутся с коровами! — возразил я.

— Коров они боятся, — продолжал Джон Харнед.

— Да, — сказал Луис Сервальос, — они опасаются драться с коровами. Какая же была бы забава, если бы убивали тореадоров?

— Нет, было бы забавно, — ответил Джон Харнед, — если бы время от времени убивали тореадора. Когда я буду стариком и, пожалуй, калекой, и мне придется зарабатывать на жизнь, а тяжелым трудом я не могу заниматься, тогда я сделаюсь тореадором! Это легкое занятие для стариков и инвалидов!

— Да смотрите же! — воскликнула Мария Валенсуэла, наблюдая, как бык ловко бросился на

кападора и тот отразил нападение, взмахнув плащом. — Для этого требуется большое искусство!

— Верно, — согласился Джон Харнед, — но, поверьте, надо быть тысячекратно искуснее, чтобы отразить многочисленные и быстрые удары боксера, у которого глаза открыты и который наносит удары с умом! Притом же — бык совсем не хочет драться, он убегает!

Это был плохой бык: он опять закружился по арене, ища спасения.

— Вот такие быки иногда бывают очень опасны, — заметил Луис Сервальос. — Никогда не знаешь, что они сделают в следующую минуту. Они умны, такие быки, они наполовину коровы. Тореадоры не любят их. Смотрите, он снова повернулся!

Бык, обозленный стеной, которая не выпускала его, проворно кинулся на своих врагов.

— У него уже язык висит! — воскликнул Джон Харнед. — Сперва его поят водой, а потом дразнят — то один, то другой, заставляя сражаться с ветром. Пока одни изматывают его, другие отдыхают, быку же не дают передышки, и когда он вконец измучен и еле двигается, матадор пронзает его своей шпагой.

Между тем наступила очередь бандерильеров.

Три раза один из них пытался воткнуть быку бандерилью — и все три раза безуспешно: он только слегка поранил быка и привел его в ярость. Бандерильи (дротики) должны, как вы знаете, входить в тело по две сразу: у плеч, по обе стороны позвоночника и поближе к нему. Когда всажена только одна, это — неудача, толпа начала шикать, требовать Ордоньеса. И Ордоньес отличился на славу: он выбегал четыре раза — и все четыре раза с одного маху втыкал бандерильи, так что на спине быка их сразу выросло восемь штук. Толпа обезумела от восторга, и на арену посыпались градом шляпы.

И в это мгновение бык неожиданно устремился на матадора; человек поскользнулся и растерялся. Бык подхватил его — к счастью, человек очутился между его раскинутыми рогами. И в то время как публика, затаив дыхание, молча смотрела на это зрелище, Джон Харнед поднялся и радостно заревел. Один среди общего безмолвия Джон Харнед ревел! Он радовался за быка! Вы сами видите, Джону Харнеду хотелось, чтобы был убит человек! Зверь сидел в его сердце. Его поведение возмутило сидевших в ложе генерала Салазара, и они начали кричать на Джона Харнеда. А Урсисино Кастильо стал обзывать его прямо

в лицо собакой-гринго и другими обидными кличками. Однако они говорили по-испански, и Джон Харнед ничего не понял. Он стоял и вопил, может быть, десять секунд, пока быка не отвлекли на себя другие кападоры и упавший не поднялся невредимым.

— У быка ни единого шанса, — тоскливо проговорил Джон Харнед, садясь на место. — Человек остался невредим; они обманом отвлекли быка от врага! — Он повернулся к Марии Валенсуэле и произнес: — Простите, я погорячился!

Она улыбнулась и в знак укоризны хлопнула его веером по руке.

— Вы ведь в первый раз смотрите бой быков, — сказала она. — Когда вы посмотрите еще несколько раз, вы не станете радоваться смерти человека… Я вижу, вы, американцы, жестче нас. А все из-за вашего бокса! Мы ходим только смотреть, как убивают быка.

— Но мне хотелось бы, чтобы и у быка был шанс! — ответил он. — Вероятно, со временем меня перестанут возмущать люди, околпачивающие быка…

Опять раздались звуки труб. Ордоньес выступил вперед со шпагой и красным плащом; но бык, очевидно, раздумал и уже не хотел драться.

Ордоньес топнул ногой, крикнул и взмахнул своим красным плащом; бык бросился на него, но довольно вяло, без всякого воодушевления. Ордоньес неудачно ударил, шпага встретила кость и погнулась. Ордоньес взял новую шпагу. Бык, вновь вынуждаемый к бою, бросился на противника. Пять раз Ордоньес пытался нанести удар, но каждый раз шпага проникала неглубоко или натыкалась на кость; в шестой раз шпага вошла по рукоятку — и опять неудачно: она миновала сердце и насквозь прошла между ребер, высунувшись на пол-ярда из другого бока животного. Публика освистала матадора. Я посмотрел на Джона Харнеда: он сидел молча, без движения; но я видел, что зубы его крепко стиснуты, а руки впились в край ложи.

Бык потерял весь свой задор; удар был не смертелен, и он бегал прихрамывая: ему мешала шпага, торчавшая из тела. Он удирал от матадора и кападоров и кружился по арене, глядя на публику.

— Он говорит: «Ради Бога, выпустите меня отсюда; я не хочу драться!» — заметил Джон Харнед.

И все! Больше он ничего не сказал, а только смотрел на арену, временами косясь на Марию Валенсуэлу: как, мол, это ей нравится! А Марию

возмущал матадор: он был неловок, а ей хотелось интересного зрелища!

Бык совсем выбился из сил и ослабел от потери крови, но все не умирал. Он медленно ходил по арене, ища выхода. Он не хотел больше драться, довольно с него! Но его нужно было убить. На шее быка, за рогами, есть место, где позвоночник не защищен, и его можно мгновенно убить легким ударом в это место. Ордоньес подошел к быку и спустил свой красный плащ до земли. Бык не тронулся с места. Он тихо стоял и обнюхивал плащ, нагнув голову, и в это время Ордоньес ударил его в незащищенное место на шее; но бык поднял голову, и шпага миновала цель. Бык стал следить за шпагой. Когда же Ордоньес спустил плащ на землю, бык забыл о шпаге и, нагнув голову, стал обнюхивать плащ. Опять Ордоньес ударил — и опять неудачно. Он попытался снова и снова — это просто делалось глупо! Джон Харнед безмолвствовал. Наконец удар попал в цель, бык повалился и умер; привязали мулов и потащили его с арены.

— Гринго находят этот спорт жестоким, не так ли? — спросил Луис Сервальос. — Это бесчеловечно, нехорошо для быка, да?

— Нет, — ответил Джон Харнед, — не в быке

дело. Нехорошо для тех, кто смотрит, это унизительно для них. Это учит их радоваться мучениям животного. Только трусы могут впятером нападать на одного глупого быка. И те, кто смотрит, научаются трусости. Бык умирает, но зрители остаются и получают урок трусости. Храбрость мужей никогда не воспитывается сценами трусости!

Мария Валенсуэла не произнесла ни слова. Она даже не взглянула на Джона. Но она слышала каждое слово и побледнела от гнева. Она смотрела на арену и обмахивалась веером. Но я видел, как дрожала ее рука. И Джон Харнед не смотрел на нее; он продолжал свое, как будто ее здесь не было. Он также был зол, холодно зол.

— Это трусливая забава трусливого народа! — проговорил он.

— А... — тихо спросил Сервальос, — вам кажется, что вы понимаете нас?

— Я понимаю теперь испанскую инквизицию, — ответил Джон Харнед. — Наверное, она была приятнее боя быков!

Луис Сервальос улыбнулся, но промолчал. Он посмотрел на Марию Валенсуэлу и понял, что бой быков в ложе выигран. Больше не будет она иметь дело с гринго, который произнес такие

слова! Но ни я, ни Луи Сервальос не ожидали того, что произошло в этот день. Я боюсь, мы не понимаем гринго! Как могли мы знать, что Джон Харнед, который все время был холодно зол, вдруг сойдет с ума? А он действительно сошел с ума, как вы увидите: не в быке было дело — он сам так сказал. Но почему же дело в лошади? Этого я понять не могу! Джон Харнед лишен был логики. Вот единственное объяснение…

— В Кито не принято выводить лошадей на бой быков, — проговорил Луис Сервальос, отводя глаза от афиши. — В Испании лошади всегда выступают в боях. Но сегодня, по особому разрешению, мы их увидим. Когда появится следующий бык, выедут и пикадоры на конях — знаете, всадники с копьями, верхом на лошадях[32].

— Бык заранее обречен, — сказал Джон Харнед, — и лошади также обречены!

— Им завязывают глаза, чтобы они не видели быка, — объяснил Луис Сервальос. — Сколько их было убито на моих глазах! Превосходное зрелище!

— Я видел, как убивают быка, — произнес Джон Харнед. — Теперь я увижу, как будут убивать

---

[32] Примечания: 32
Обычно в Испании пикадоры начинают бой.

лошадей, и вполне могу оценить все тонкости этого благородного спорта…

— Это же старые лошади! — продолжал объяснять Луис Сервальос. — Они ни на что другое не годятся!

— Я понимаю, — ответил Джон Харнед.

Появился третий бык и немедленно был окружен кападорами и пикадорами. Один пикадор стал как раз под нами. Действительно, лошадь под ним была старая и худая — мешок костей, покрытый шелудивой кожей.

— Удивительно, как бедное животное выдерживает тяжесть своего седока! — произнес Джон Харнед. — А какое же оружие у лошади, раз она дерется с быком?

— Лошадь не дерется с быком, — ответил Луис Сервальос.

— О, — воскликнул Джон Харнед, — так лошадь здесь присутствует только для того, чтобы бык ее забодал?.. Так вот почему у нее завязаны глаза: чтобы она не видела быка, когда он подойдет бодать ее!

— Не совсем так, — сказал я. — Копье пикадора не даст быку забодать лошадь.

— Так что лошади редко гибнут? — нетерпеливо допытывался Джон Харнед.

— О нет, — ответил Луи Сервальос. — Раз на моих глазах в Севилье было убито восемнадцать лошадей в один день, публика шумела и требовала еще и еще!

— И они тоже были с завязанными глазами, как эта лошадь?

Луис Сервальос ответил утвердительно. Мы перестали разговаривать и устремили глаза на арену. Джон Харнед постепенно сходил с ума, а мы этого не замечали! Бык отказывался драться с лошадью, лошадь же стояла совершенно спокойно, она не видела, что кападоры натравляют на нее быка. Кападоры дразнили быка своими плащами, когда же он бросался на них, они прятались за лошадь и за прикрытия. Наконец бык достаточно рассвирепел и увидел перед собою лошадь.

— Лошадь не знает, лошадь не знает! — шептал Джон Харнед про себя, не замечая, что говорит вслух.

Бык бросился; лошадь, конечно, не знала ничего до тех пор, пока пикадор не промахнулся и она не очутилась на рогах у быка. Бык был необычайно силен, и зрелище получилось великолепное! Он высоко поднял лошадь на воздух, и когда она рухнула боком наземь, пикадор соскочил с нее

и убежал, а другие пикадоры отвлекли быка от лошади. Внутренности вывалились из ее брюха, но она с визгом поднялась на ноги. Этот визг лошади переполнил чащу; он окончательно свел с ума Джона Харнеда, заставив и его подняться на ноги! Я слышал, как он чуть слышно, но скверно выругался. Он не спускал глаз с лошади, которая, не переставая визжать, пыталась побежать, но свалилась и начала кататься на спине, лягая ногами воздух. И бык опять ударил ее и бодал до тех пор, пока она не издохла.

Джон Харнед выпрямился во весь свой рост; глаза его не были больше холодны, как сталь. В них пылал голубой огонь! Он смотрел на Марию Валенсуэлу, она на него — и на лице его было глубокое отвращение. Безумие овладело им! Все смотрели теперь на ложу, так как лошадь была уже мертва, а Джон Харнед был крупный человек, заметный издали.

— Сядьте, — произнес Луис Сервальос, — вы делаетесь посмешищем!

Джон Харнед ничего не ответил, он только сжал кулак и ударил Луиса Сервальоса по лицу так, что тот, как мертвый, упал на стулья и не поднялся больше. Он не видел дальнейшего — зато я видел много: Урсисино Кастильо перегнулся из своей

ложи и ударил палкой Джона Харнеда прямо по лицу, а Джон Харнед хватил его кулаком с такой силой, что тот, падая, опрокинул генерала Салазара! Джон Харнед был теперь в настоящем исступлении. Первобытный зверь, спавший в нем, вырвался на свободу и ревел — первобытный пещерный дикарь отдаленных веков.

— Вы пришли на бой быков? — услыхал я. — Так, клянусь Богом, покажу же я вам бой людей!

И был бой! Солдаты, охранявшие президентскую ложу, перескочили через барьер, но Джон Харнед выхватил у одного из них винтовку и начал колотить их по головам! Из другой ложи полковник Хасинто Фьерро стал палить в него из револьвера. Первый выстрел убил солдата; это я хорошо увидел. Второй попал Джону Харнеду в бок. Он выругался и всадил штык в полковника Хасинто Фьерро. Жуткое зрелище! Американцы и англичане зверски жестоки. Они высмеивают наш бой быков, а сами находят удовольствие в пролитии крови! Много людей было убито в тот день из-за Джона Харнеда, гораздо больше, чем за все время существования боя быков в Кито, в Гуаякиле и даже во всем Эквадоре!

И все это наделал визг раненой лошади! Почему Джон Харнед не сошел с ума, когда убили бы-

ка? Животное — только животное, будь это бык или лошадь. Джон Харнед сошел с ума, другого объяснения нет. Он был сумасшедший, он был зверь. Судите сами, что хуже: то, что бык забодал лошадь, или что Джон Харнед штыком заколол полковника Хасинто Фьерро? Джон Харнед заколол и других. Бес в него вселился. Пронизанный пулями, он продолжал драться, и не легко удалось убить его. Мария Валенсуэла проявила мужество. Она не вскрикнула и не упала в обморок, как сделала бы другая женщина. Она спокойно сидела в ложе и смотрела на арену. Лицо ее побелело, она обмахивалась веером, но не оглядывалась.

Со всех сторон бежали солдаты, офицеры и просто публика, чтобы схватить обезумевшего гринго. Это правда: из толпы слышались возгласы, требовавшие перебить всех гринго! Это старый клич в Латинской Америке, где не любят гринго и их непонятные нравы. Такой крик действительно раздался! Но храбрые эквадорцы убили одного Джона Харнеда, а он убил семерых, не считая множества раненых! Я много раз бывал на бое быков, но никогда не видел более отвратительного зрелища, чем наши ложи после побоища. Словно участок поля сражения! Везде лежали убитые, раненые стонали, плакали, неко-

торые тут же умирали. Один человек, которого Джон Харнед ранил в живот, уцепился в себя обеими руками и кричал. И говорю вам: этот крик был страшнее визга тысячи лошадей!

Нет, Мария Валенсуэла не вышла замуж за Луиса Сервальоса. Я очень жалею об этом: он был мой друг, и немалую часть денег вложил я в его предприятия. Только через пять недель врачи сняли повязку с его лица! И по сей день на его щеке под глазом красуется рубец, хотя Джон Харнед ударил его всего лишь кулаком, и то один раз. Мария Валенсуэла теперь в Австрии; говорят, она собирается замуж за эрцгерцога или что-то в этом роде, не знаю. Я думаю, она любила Джона Харнеда в то время, когда он ехал за ней в Кито на бой быков. Но почему лошадь? Вот что я хотел бы знать! Почему, глядя на быка, Харнед говорил, что не в быке дело, а потом внезапно и так страшно сошел с ума только от визга лошади? Не поймешь этих гринго. Просто варвары!

Когда мир был юным

1

Он был спокойный, хорошо владеющий собой человек. Сидя высоко на стене, он вслушивался в тишину окружающего мрака, как бы таившего в себе опасность. Но, кроме ветра среди невидимых деревьев и шелеста листьев на качающихся ветвях, до его слуха ничего не доносилось. Тяжелый туман клубился, подгоняемый ветром, и хотя он не мог видеть тумана, но влага ощущалась на лице и на стене, где сидел человек.

Он легко и беззвучно взобрался на стену со стороны дороги и так же легко спрыгнул на землю по другую сторону. Он вынул из кармана электрический фонарик, но не решился зажечь его, хотя кругом царил глубокий мрак. И этот мрак был ему приятнее света. Держа палец на кнопке фонарика, он пробирался вперед среди мрака. Земля под его ногами была бархатная, упругая благодаря покрывавшему ее густому слою сухой хвои и листьев; по ней, вероятно, уже много лет никто не ходил. Он по пути задевал ветви и сучья, но в такой тьме это было неизбежно.

Пришлось поэтому продвигаться с протянутой вперед рукой, которая то и дело натыкалась на толстые и массивные стволы огромных деревьев. Деревья теснились кругом, он чувствовал всюду их туманные очертания… У него было странное ощущение микроскопического ничтожества среди готовых раздавить человека громад. Он знал, что за деревьями находится дом, и думал набрести на ведущую к нему тропинку.

В одном месте ему показалось, что он попал в западню: куда бы он ни направлялся, всюду оказывались деревья и сучья, густая чаща кустарника; казалось, не было никакого выхода. Пришлось зажечь фонарик; медленно и осторожно наводил он белую полоску света на все препятствия, мешавшие продвигаться вперед. Он заметил между огромными стволами проход и, погасив свет, двинулся по направлению к нему, ступая по сухой тропинке, защищенной от влаги тумана навесом густых ветвей. Он чувствовал, что идет по верному направлению к дому.

И тут началось то необычайное и странное, чего он никак не мог предвидеть и вообразить. Он наступил ногой на что-то живое и мягкое, вскочившее с криком под тяжестью его тела. Он отскочил в сторону и притаился, ожидая нападе-

ния неизвестного врага.

Прошло несколько минут мучительного напряжения. Он был в полном недоумении относительно существа, которое выскочило из-под его ног и которое теперь, очевидно, где-нибудь скорчившись, неподвижно притаилось подобно ему. Напряжение стало нестерпимым. Он нажал кнопку фонарика, осветил пространство впереди себя и вскрикнул от ужаса. Он готов был увидеть все, что угодно, начиная от испуганного теленка или лани до свирепого льва; но то, что он увидел, было для него полной неожиданностью.

Яркий белый свет его маленького фонаря осветил перед ним то, чего он не мог бы забыть и за тысячу лет. Он увидел рыжебородого и рыжеволосого гиганта, совершенно нагого, если не считать мягких мокасинов и козьей шкуры вокруг бедер. Его руки и ноги были голы так же, как плечи и грудь. Под его гладкой и безволосой кожей вздувались, как жирные змеи, крепкие мускулы.

Но не это заставило его вскрикнуть. Что его привело в ужас — так это страшно свирепое лицо с диким, чисто звериным блеском голубых глаз, почти ослепленных светом фонарика, с запутавшимися в волосах и бороде сосновыми иглами — и вообще все огромное тело, приготовившееся

для нападения. Не успел он прийти в себя, как человек этот прыгнул. Он запустил в него фонариком, а сам припал к земле. Он почувствовал, как чьи-то ноги и бедра ударились об его ребра, и отскочил в сторону в то время, как перепрыгнувшая через него масса тяжело грохнулась в кусты.

Когда шум падения затих, он опустился на четвереньки и стал выжидать. Он слышал, как человек шарил вокруг, ища его, и решил не двигаться, чтобы не обнаружить своего присутствия. Он был уверен, что шорох в кустах выдаст его и он подвергнется преследованию. Он было вынул револьвер, но тут же отказался от своего намерения. К нему вернулось самообладание, он надеялся уйти без шума. Он слышал, как незнакомец бросался в чащу, ища его, временами останавливался и прислушивался. Опираясь одной рукой о кусок гнилого дерева, он вдруг поймал себя на одной мысли. Осторожно ощупав пространство вокруг себя и убедившись в том, что может размахнуться, он взял этот кусок и швырнул его со всего размаху. Кусок был небольшой и потому упал далеко, произведя шум в кустах. Незнакомец бросился туда же, а он поспешил уползти с этого места и до тех пор полз на четвереньках, пока не почувствовал под собой влажного чернозема.

Тут он прислушался: кроме воя ветра и шума падающих капель, ничего не было слышно. Он осторожно поднялся, подошел к каменной стене, перелез через нее и спрыгнул на дорогу.

Он вытащил из кустов свой велосипед и готовился уже сесть на него. Оставалось только двинуть машину, чтобы поймать ногой педаль, как вдруг он услышал, что кто-то легко соскочил вниз, очевидно, упав прямо на ноги. Не теряя времени, он побежал, держась за руль велосипеда, вскочил, наконец, в седло, поймал педаль и пустился полным ходом по дороге. Он слышал за собой быстрый топот ног по пыльной дороге, но он прибавил ходу и ушел от погони.

На беду он свернул в сторону от дороги в город и заехал в горы. Он знал, что здесь нет перекрестных дорог, а если вернуться назад, то надо было опять проезжать мимо того ужаса, на что он никак не решался. Дорога становилась все круче, и через полчаса ему пришлось слезть с велосипеда. Для большей безопасности он оставил велосипед при дороге, а сам перепрыгнул через изгородь. Он очутился на выгоне, разостлал газету на землю и уселся.

— Фу ты, черт! — проговорил он, отирая пот с лица. — Фу ты, черт! — повторил он, свертывая

папиросу и задавая себе мысленно вопрос, как ему вернуться домой. Но он не делал попыток вернуться. Он решил переждать здесь до рассвета, а пока что задремал, опустив голову на колени.

Сколько времени так прошло, он не знал: его разбудил лай молодого койота. Он огляделся и заметил койота на вершине холма, тянувшегося позади. За это время вокруг все изменилось. Туман рассеялся, звезды сверкали, луна светила, даже ветер утих. Стояла благоухающая калифорнийская летняя ночь. Он пытался вновь задремать, но лай койота ему мешал. Сквозь сон он услышал дикое, страшное пение. Взглянув, он увидел, что с горы быстро и молча мчится койот, а за ним во всю прыть, тоже молча, гонится голое создание, которое он видел в саду. Койот был молодой, и погоня, наверное, настигла его, когда они оба скрылись из виду. Человек весь дрожал от страха. Он вскочил на ноги, перепрыгнул через изгородь и сел на велосипед. Он решил воспользоваться моментом, когда между ним и Мельничной Долиной не было этого ужаса.

Сломя голову помчался он с горы, но внизу, на повороте, попал в яму, перекувырнулся через руль и растянулся на земле.

— Не везет мне нынче, — пробормотал он, раз-

глядывая поломанную часть велосипеда.

Вскинув на плечи бесполезную теперь машину, он потащился с ней вперед. Добравшись до каменной стены, он решил проверить случившееся с ним и стал искать следы на дороге. Действительно, в пыли виднелись следы широких мокасин, с глубоко вдавленными носками. Он все еще рассматривал их, наклонившись, когда опять услышал звуки жуткой песни. Он был свидетелем погони чудовища за койотом и знал, что ему, в случае чего, не уйти. Он и не пытался это сделать и только спрятался в тени, вправо от дороги.

И опять он увидел существо, похожее на голого человека, легко бегающего и поющего на ходу. Добежав до того места, где человек спрятался, существо остановилось, и сердце у человека замерло. Но вместо того, чтобы направиться к своему врагу, существо подскочило, ухватилось за сук придорожного дерева и стало легко взбираться на вершину его, перепрыгивая с сука на сук, как обезьяна. Оно перескочило через стену на высоте двенадцати футов над нею, перепрыгнуло на ветки другого дерева и исчезло, соскочив на землю. Человек подождал еще несколько минут, а потом двинулся в путь.

2

Дэйв Слоттер с решительным видом склонился над письменным столом, заграждавшим доступ в кабинет Джеймса Уорда, главного компаньона фирмы «Уорд, Ноулз и Ко». Дэйв злился. Все, находившиеся в этой комнате, подозрительно его оглядывали, особенно недоверчиво смотрел на него стоявший перед ним секретарь.

— Передайте мистеру Уорду, что я пришел к нему по очень важному делу, — настаивал он.

— Говорят же вам, — он диктует, и нельзя ему мешать, — ответил тот. — Приходите завтра.

— Завтра будет слишком поздно. Скажите мистеру Уорду, что дело идет о жизни и смерти!

Секретарь был в нерешительности, и Дйэв воспользовался этим.

— Скажите ему, что я прошлой ночью был в Мельничной Долине и что мне надо его предостеречь.

— Ваше имя!

— Дело не в имени, он меня все равно не знает!

Воинственное настроение Дэйва, в котором он не переставал пребывать, сразу с него слетело, когда он вошел в кабинет и увидел перед собой рослого рыжеволосого человека, который повер-

нулся к нему на вращающемся кресле, перестав диктовать стенографистке. Дэйв сам недоумевал, почему его настроение переменилось, и втайне был недоволен собой.

— Вы мистер Уорд? — задал он глупый вопрос, что вышло совсем неожиданно для него самого; и это обстоятельство еще больше разозлило его.

— Да, а вы кто?

— Гарри Бэнкрофт, — солгал Дэйв. — Вы все равно меня не знаете.

— Вы просили передать мне, что прошлой ночью были в Мельничной Долине?

— Ведь вы там, кажется, живете? — спросил Дэйв, подозрительно оглядываясь на стенографистку.

— Да. Что вам нужно от меня? Я очень занят.

— Мне нужно нечто сообщить вам с глазу на глаз, сэр.

Мистер Уорд бросил на него быстрый оценивающий взгляд и не сразу решился:

— Пожалуйста, мисс Потер, оставьте нас на несколько минут!

Девушка собрала свои заметки и удалилась. Дэйв смотрел на Джемса Уорда во все глаза, пока этот джентльмен не прервал течение его мыслей.

— Я вас слушаю.

— Прошлой ночью я был в Мельничной Долине, — нерешительно начал Дэйв.

— Я уже об этом слышал. Дальше!

Дэйв почувствовал, что в душе его уверенно растет какое-то совершенно необъяснимое предположение.

— Я был возле вашего дома или, во всяком случае, в ваших владениях.

— Что вы там делали?

— Я собирался вломиться к вам, чтобы обворовать вас, — откровенно признался Дэйв. — Я слышал, что вы живете там только с поваром-китайцем, и это меня привлекло. Но я не выполнил своего намерения, так как случилось нечто, помешавшее мне и из-за чего я нахожусь здесь. В ваших владениях я наткнулся на дикаря, бегающего на свободе, — настоящего дьявола! Он в состоянии растерзать на части малого вроде меня! Мне пришлось удирать от него. Он почти совершенно голый, по деревьям лазает, как обезьяна, а бегает не хуже оленя. Я видел, как он гнался за койотом, и готов поклясться, что он его догнал…

Дэйв умолк и следил за впечатлением, произведенным его рассказом, но был очень разочарован.

Лицо Джеймса Уорда выражало лишь спокойное любопытство.

— Очень, очень интересно. Так вы говорите — дикарь? А зачем мне нужно об этом знать?

— Чтобы предупредить вас об угрожающей вам опасности. Я сам человек не очень мягкий, в какой-то мере опасный, но не сторонник убийства людей… конечно, беспочвенного убийства. По-моему, вам угрожает опасность, и я решил вас предупредить. Могу вас уверить, что говорю правду. Конечно, если вам угодно будет вознаградить меня за беспокойство, я не откажусь. Я и об этом подумал. Но для меня и это не так уж важно; важно то, что вы предупреждены, и я исполнил свой долг.

Мистер Уорд задумчиво барабанил пальцами по столу. Дэйв отметил, что руки у него большие, сильные и хотя сильно загорелые, но выхоленные. Еще раньше он заметил на его лбу, над глазом, тонкую полоску липкого пластыря телесного цвета. В голове его промелькнула совершенно невероятная мысль.

Мистер Уорд достал из внутреннего кармана бумажник, вынул из него зеленую кредитку и протянул ее Дэйву, который спрятал ее в карман, успев заметить мимоходом, что это двадцать

долларов.

— Благодарю вас, — сказал мистер Уорд, давая понять, что свидание окончено. — Надо будет принять меры. Дикарь, бегающий на свободе, действительно опасен.

Невозмутимое спокойствие мистера Уорда придало смелости Дэйву, тем более, что у него в голове мелькнуло новое предположение. По-видимому, этот дикарь был братом мистера Уорда, может, быть, помешанный, которого прячут от людей. Он слыхал о таких случаях. Может быть, мистер Уорд хотел купить его молчание двадцатью долларами?

— Позвольте, — начал он. — Я сейчас припоминаю, что этот дикарь очень похож на вас…

Не успел Дэйв сказать это, как у него на глазах произошла необычайная метаморфоза: перед ним оказалось лицо с теми самыми свирепыми глазами, какие он видел ночью, те же когтеобразные скрюченные пальцы, то же гигантское тело, готовое прыгнуть. Но теперь у него не было фонаря, который можно было бросить в нападающего, и Дэйв ощутил оба свои бицепса в таких страшных тисках, что застонал от боли, он видел перед собой крупные белые зубы, оскаленные, как у собаки, готовой вцепиться. Борода мисте-

ра Уорда коснулась лица Дэйва, и зубы готовы были перекусить горло… Но этого не случилось. Дэйв почувствовал, что тело противника вдруг оцепенело, сдержанное усилием железной воли, а затем его отбросили без всякого усилия, но так стремительно, что он с размаху ударился об стенку и без сил рухнул на пол.

— Ты что это, вздумал заниматься вымогательством? Отдай назад деньги!

Дэйв беспрекословно вернул кредитку.

— Я думал, ты явился с добрыми намерениями. Теперь я тебя понял! Вон отсюда, чтобы духу твоего здесь не было, не то попадешь в тюрьму, где на самом деле тебе место. Понял?

— Да, сэр, — пробормотал Дэйв.

— Убирайся!

Дэйв молча двинулся к выходу, с отчаянной болью в обоих бицепсах после страшных тисков. Когда он взялся за дверную ручку, его остановили.

— Ты счастливо отделался, — сказал ему мистер Уорд, и Дэйв заметил, что в его лице и глазах сверкнул огонек злобного торжества. — Да, ты счастливо отделался. Я мог бы вырвать твои руки и выбросить их в эту корзину!

— Да, сэр, — ответил Дэйв, нисколько не сомне-

ваясь в справедливости сказанного.

Он распахнул дверь и вышел. Секретарь вопросительно посмотрел на него.

— Черт побери! — только и мог сказать Дэйв, покидая контору и дом.

3

Джемс Уорд был сорокалетний мужчина, очень удачливый делец, но глубоко несчастный человек. Сорок лет старался он разрешить загадку, кем же он являлся на самом деле, которая с годами становилась для него все мучительнее. Он воплощал в себе двух людей, хронологически разделенных между собой несколькими тысячелетиями. Без сомнения, он глубже изучил вопрос раздвоения личности, чем полдюжины выдающихся специалистов в этой загадочной и сложной психологической области. Сам он представлял собою совершенно исключительный тип, отличающийся от всего, что было известно до последнего времени. Самый фантастический полет писательского воображения не мог выдумать такого случая. Он не был похож на доктора Джекилла или мистера Хайда; ни на несчастного юношу из «Самой великой истории на свете» Киплинга. Его оба «я» были так тесно связаны

между собой, что каждое всегда чувствовало присутствие другого.

Одно существо, жившее в нем, было человеком современного воспитания, человеком конца девятнадцатого века и первого десятилетия двадцатого. Другое существо — дикарь и варвар первобытного мира, каким он был несколько тысячелетий назад. Но какое из двух «я» было его настоящим, он сам не знал, потому что оба «я» жили в нем одновременно. В редких случаях одно «я» не сознавало, что делает другое. У него никогда не было никаких видений и воспоминаний из той эпохи, когда жило его древнее «я»; оно жило в настоящем, но в то же время стремилось жить жизнью отдаленного прошлого.

В детстве своем он был загадкой для своих родителей и домашних врачей. Никто из них не приблизился к разгадке его необычайного поведения. Им, например, совершенно непонятна была его необычайная сонливость по утрам и такая же подвижность по ночам. Когда его увидели блуждающим ночью по коридорам или карабкающимся на высокие крыши или бегающим по горам, его посчитали лунатиком. В действительности же он совсем не спал, а просто бродил, движимый импульсом своего древнего «я». Когда

он однажды признался во всем одному настойчиво допрашивавшему его врачу, этот бездарный тупица назвал все «бреднями».

Как только наступали сумерки и вечер, он будто просыпался. Стены дома давили его, и он чувствовал себя как бы в тюрьме. Он слышал тысячи голосов из тьмы. Ночь звала его, ибо в этот период суток он превращался в ночного бродягу. Но никто из окружающих не мог этого понять, и сам он больше не пытался никому объяснять свое состояние. Все решили, что он лунатик, и принимали соответствующие меры, которые в большинстве случаев ни к чему не приводили. С годами он становился хитрее и умудрялся проводить большую часть ночей под открытым небом, удовлетворяя этим потребность своего второго «я», а отсыпался по утрам до полудня. Школа и утренние занятия в ней были ему невыносимы, и пришлось прибегнуть к послеобеденным занятиям у частных преподавателей, чтобы научить его хоть чему-нибудь. Только при этих условиях могло развиться и получить образование его второе «я».

Да, в детстве он представлял собой загадку. Это был настоящий маленький демон, бессмысленно жестокий и свирепый. Домашние врачи в глу-

бине души считали его нравственным уродом и дегенератом. Немногие его товарищи преклонялись перед ним как перед чудом, хотя все боялись его. В лазанье, плавании, беге никто не мог его перещеголять; вступать с ним в драку никто не отваживался — он был слишком силен и слишком свиреп.

Десяти лет отроду он бежал в горы, где целые семь недель наслаждался бродячей ночной жизнью, пока его не разыскали и не доставили домой. Каким чудом ему удалось прожить это время, сохранив жизнь и здоровье, оставалось для всех загадкой. Он никому не говорил о том, что убивал кроликов и ловил молодых и старых перепелов, которых пожирал сырыми, и о своих налетах на фермерские птичники. Никто также не знал о его пещерной берлоге, которую он устлал сухими листьями и травой и где в тепле и с комфортом спал до полудня в течение всего этого времени.

В колледже он отличался вялой сонливостью и тупостью в утренние часы и блестящими успехами в послеобеденное время. Благодаря тому, что параллельно со школьным учением он занимался сам по конспектам товарищей, ему кое-как удавалось преодолеть трудности утренних занятий, зато в послеобеденные часы он пожинал

лавры.

В футболе он был титан и наводил ужас на партнеров, во всех атлетических состязаниях был непобедим. Ему всегда можно было довериться, если им не овладевал припадок дикой, слепой ярости. Товарищи боялись вступать с ним в борьбу, особенно после того, как он однажды, торжествуя победу над противником, впился зубами ему в плечо.

Когда он, наконец, окончил колледж, отец послал его на ранчо в Вайоминг к своим скотоводам. Через три месяца удалые молодцы-ковбои телеграфировали отцу, чтобы он приехал и забрал сына: им стало невмоготу его присутствие. Когда отец прибыл, пастухи признались ему, что они предпочли бы иметь дело с каннибалами, с сумасшедшим, с гориллой, с серым медведем, с тигром-людоедом, чем с этим окончившим колледж молодым джентльменом с прямым пробором на голове. Была одна вещь, которая прорывалась у него временами, несмотря на полное забвение прошлой жизни его «я», — это язык. По какой-то игре атавизма у него остались в памяти обрывки языка, на котором его «я» говорило в давно прошедшие времена. В минуты радости, возбуждения или борьбы он вдруг начинал петь

какие-то варварские песни. Благодаря этому можно было определить время и место жизни второй половины его существа, жившей за несколько тысячелетий до нашего времени. Однажды он специально пропел несколько таких песен в присутствии профессора Верца, известного филолога, преподававшего древнесаксонский язык. При первых звуках этой песни профессор живо заинтересовался «этой помесью древнегерманских наречий». После второй песни профессор заволновался. Джемс Уорд закончил свой цикл песней, которая всегда неудержимо рвалась из его уст во время борьбы и драки. После этого профессор Верц заявил, что это древнегерманский, или древнетевтонский язык древнейшей эпохи, неизвестный ни одному ученому, который он не решался сам точно определить, но в реальном существовании которого нисколько не сомневался, ибо находил в нем общие корни с теми языками, которые он знал. Он осведомился у Уорда об источнике его песен и просил одолжить ему драгоценную книгу, в которой они приведены. Он к тому же спросил Уорда, почему тот разыгрывал невежду по части немецкого языка. Уорд, понятно, не мог ни уверить его в своем незнакомстве с языком, ни дать ему книгу. В результате после

нескольких недель тщательных просьб и переговоров профессор Верц охладел к Уорду, считая его лгуном и эгоистом, не желающим доставить ему великую радость проникновения в чудесный мир древнейшего языка, не известного ни одному ученому-филологу.

Несчастного юношу мало утешало то, что он наполовину был современным американцем, а наполовину — древним тевтонцем. Поскольку его американская половина почти не уступала в силе древнетевтонской, ему пришлось войти в компромисс с обеими половинами своего «я»; его первобытное «я» отсыпалось по утрам, после чего его второе, культурное и утонченное «я», жаждавшее любви и нормальной жизни, занималось делами наравне с другими людьми. Послеобеденное время и вечер посвящались одному «я», а часть ночи другому. Вторую половину ночи и утро он высыпался за обоих.

Утром он спал в постели, как всякий цивилизованный человек. Ночью он спал, как дикое животное, как и в ту ночь, когда Дэйв Слоттер наткнулся на него в лесу.

Добившись того, чтобы отец выделил ему часть своего капитала, он успешно и ловко повел свои дела, посвящая им все послеобеденное время. Его

компаньон занимался делами по утрам. Начало вечера он проводил в обществе других людей, но по мере приближения к девяти-десяти часам им начинало овладевать такое беспокойство, что он покидал общество до следующего дня. Его друзья и знакомые решили, что он отдает много времени спорту. Отчасти они не ошибались, хотя были бы немало удивлены, узнав, какого рода этот спорт, даже если бы им удалось увидеть его ночные погони за койотами в Мельничной Долине. Не верили и капитанам шхун, рассказывавшим, что они видели холодным зимним утром человека, плавающего в бурных водометах Пролива Енота или в водоворотах между Козьим Островом и Островом Ангела, в нескольких милях от берега.

В своем бунгало в Мельничной Долине он жил одиноко, в обществе только Ли Синга, повара-китайца, доверенного лица, знавшего многое о странностях своего хозяина, но не болтавшего об этом, так как его молчание хорошо оплачивалось. После ночных удовольствий, утреннего сна и завтрака, приготовленного Ли Сингом, Джемс Уорд переправлялся на пароме через залив в Сан-Франциско и отправлялся в клуб или в свою контору, как всякий нормальный коммерсант этого города. Но к концу вечера ночь начинала его звать.

Все его чувства необычайно обострялись. Слух становился более чутким: мириады ночных звуков нашептывали ему соблазнительные вещи. Если он в это время был один, он начинал бегать по комнате, как дикий зверь в клетке.

Однажды он решился влюбиться. Но больше он не позволял себе этого удовольствия, так как боялся себя. Молодая женщина, благосклонно принявшая его ухаживания, много дней носила на руках, плечах и кистях рук следы его ласк в ночные часы. Он сделал большую ошибку. Если бы он ухаживал в послеобеденное время, все прошло бы благополучно, как у нормального человека, ночью же он превращался в необузданного умыкателя женщин, древнего жителя дремучих тевтонских лесов. Этот опыт показал ему, что дневное ухаживание было бы успешнее, но в то же время убедился, что брак для него немыслим. Он с ужасом думал о том, что ему пришлось бы оставаться вместе с женой после наступления темноты.

Он решил прекратить всякие ухаживания, урегулировал свою двойную жизнь, занялся усерднее делами, на которых заработал миллион, избегал предприимчивых маменек, ловящих женихов для дочек, а также блестящих и увле-

кательных женщин всех возрастов, встречался с Лилиан Джерсдейл, стараясь не видеться с ней после восьми часов вечера. По ночам он гонялся за койотами и тщательно скрывал это от всех, исключая Ли Синга, а теперь еще Дэйва Слоттера. Его очень страшило то, что этот последний проник в тайну его двойного существования. Хотя тот получил от него здоровую встрепку, все же он мог разболтать. В конце концов это не могло долго оставаться тайной ни для кого.

Джемс Уорд решил повести решительную борьбу с сидевшим в нем тевтонским варваром и предпринял для этого целый ряд героических усилий. Он не отступал от своего плана встречаться с Лилиан только днем и ранним вечером. И вот наступил момент, когда она согласилась стать его подругой жизни на радость и горе, причем он про себя молил судьбу, чтобы горя не было. С этого времени он усердно принялся за тренирование своего «я» к предстоящему укрощению сидевшего в нем дикаря, и ни один борец не мог бы сравниться с ним в энергии и настойчивости. В числе его мероприятий было старание утомить себя в течение дня настолько, чтобы быть глухим к призывам ночи. Случалось, что среди дня он оставлял дела в конторе и отправлялся на охоту за

оленями в самые неприступные места. К ночи он утомлялся и оставался у себя. Дома он поставил десятка два приборов для гимнастики, и каждое упражнение проделывал сотни раз, в десять раз быстрее, чем всякий нормальный человек. Сделав уступку своей потребности в свежем воздухе, во втором этаже своего дома он устроил себе для спанья нишу с двойными решетками, которые не давали ему возможности убежать в лес. Ежедневно вечером Ли Синг запирал его там, а утром выпускал.

Наконец в августе он нанял в помощь Ли Сингу нескольких слуг и решился пригласить к себе в Мельничную Долину гостей. Его гостями были Лилиан с матерью и братом и еще с полдюжины общих друзей. Первые двое суток все шло гладко. На третий день в одиннадцать часов вечера, когда он заигрался в бридж, он имел полное право гордиться собой. Он ловко скрывал свое беспокойное состояние, но, к его несчастью, противницей с правой стороны была Лилиан Джерсдейл. Она была хрупкая, как нежный цветок, и в его специфически ночном настроении ее хрупкость разжигала его. Он не любил ее меньше, но у него возникла какая-то неодолимая потребность схватить ее, стиснуть и смять, — особенно, когда она

выигрывала.

Он подозвал одну из своих охотничьих собак, и в те минуты, когда его состояние становилось невмоготу, он гладил собаку и это приносило ему облегчение. Прикосновение пушистой шерсти животного давало ему минутное успокоение, и он мог довести партию до конца. Никто из окружающих не подозревал, какую борьбу с собой вел хозяин дома, он так беспечно смеялся и так небрежно и умело играл!

Когда расходились ко сну, он нарочно простился с Лилиан в присутствии других. Как только он остался один, запертый на ключ в своем ночном убежище, он удвоил, утроил и даже учетверил свои ежедневные упражнения, пока окончательно не обессилел, улегся на кушетку, чтобы уснуть и вместе с тем обдумать две вещи, не дававшие ему покоя. Одна касалась его упражнений. Получалась полная нелепость. Чем больше он упражнялся, тем сильнее он становился. Правда, этим он достигал того, что доводил свое ночное, тевтонское «я» до изнеможения, но это отодвигало роковой день, когда собственная сила станет ему бременем и он станет еще страшнее прежнего. Другая проблема касалась его предстоящего брака и тех мер, к которым ему придется прибе-

гать, чтобы не встречаться с женой после сумерек. С этими безнадежными мыслями он уснул.

Откуда появился в эту ночь огромный серый медведь — долго оставалось загадкой, пока не стало известно, что владельцы цирка «Братья Спрингс» из Сосалито долго и безуспешно искали Большого Бена, «величайшего гризли в неволе», который из тысячи имевшихся в его распоряжении окрестных бунгало удостоил своим посещением как раз Джемса Уорда. Мистер Уорд, очнувшись, увидал себя на ногах; его била лихорадка нетерпения, из уст его неудержимо рвался древний боевой клич. Снаружи доносился неистовый вой и лай собак. И среди этой массы звуков он отчетливо расслышал предсмертный вопль собаки, его собаки.

Не подумав надеть туфли, в одной пижаме он проломил запертую Ли Сингом дверь и бросился вниз по лестнице в окружающую тьму. Босыми ногами коснувшись песчаной дорожки подъезда, он вдруг остановился, направился к потайному местечку под лестницей, ему одному известному, и вытащил оттуда большую узловатую дубинку, без которой не обходилось ни одно из его похождений в горах. Между тем звуки борьбы и собачьего воя приближались, и он бросился

навстречу, размахивая тяжелой дубинкой.

Все население дома проснулось, и все собрались на широкой веранде. Кто-то зажег электричество, но, кроме испуганных лиц, ничего не было видно. За ярко освещенной дорогой подъезда деревья образовали черную стену непроницаемого мрака, но где-то в глубине его слышна была отчаянная борьба. Слышался адский вопль животных, страшное рычание и рев, звуки борьбы и наносимых ударов и треск и шуршание кустарника под тяжестью тел.

Огромный клубок борющихся тел выкатился из-за деревьев на дорогу перед зрителями. При виде этого зрелища миссис Джерсдейл вскрикнула и без сознания упала на руки сына. Лилиан стиснула в судороге перила, так что у ней надолго остались следы ссадин на концах пальцев; она со страхом всматривалась в рыжеволосого гиганта с диким взглядом, в котором она узнала своего жениха. Он размахивал в воздухе огромной дубиной и свирепо, но хладнокровно боролся с косматым чудовищем, крупнейшим экземпляром медвежьей породы. Одним взмахом своей огромной лапы зверь сорвал с Уорда пижаму и исцарапал его когтями до крови.

Лилиан Джерсдейл, конечно, испугалась за лю-

бимого человека, но и сам этот человек внушал ей своим видом немалый — и вполне понятный — страх.

Она никак не воображала, что всякие условности и приличный костюм с крахмальной сорочкой могут скрывать под собой такой великолепный экземпляр свирепого дикаря в лице ее жениха. Она и представления не имела о такого рода борьбе. Это было нечто несовременное, как был несовременным и этот человек, хотя она не сознавала этого. Это, бесспорно, не был мистер Джемс Уорд, один из крупных дельцов Сан-Франциско, — перед ней был неизвестный безымянный дикарь, свирепый и неотесанный, капризом случая возникший из бездны трех тысячелетий.

Собаки не переставали лаять и выть, не отставали ни на шаг от сражающихся, то нападая на медведя, то отвлекая его внимание на себя. Когда зверь, отбиваясь, поворачивался к ним, человек наскакивал на него и ударял его дубиной. Разъяренный зверь кидался на него, но человек, отскакивая и вертясь во все стороны, стараясь не мешать собакам, либо пятился, либо кружил то вправо, то влево. Собаки же, пользуясь удобным случаем, опять бросались к зверю и отвлекали

его внимание.

Конец наступил сразу. Повернувшись, гризли с маху ударил лапой собаку, перешиб ей два ребра и сломал спину, отшвырнув ее на двадцать футов в сторону, где она забилась на земле. Тут человек-зверь вконец рассвирепел. С пеной у рта и с диким нечленораздельным воплем схватил он дубину обеими руками и со всего размаха ударил по голове ставшего на дыбы медведя. Удар был такой страшной силы, что череп медведя не выдержал его, зверь рухнул на землю, и собаки бросились на него. Человек перескочил через них на тело убитого зверя, оперся на свою дубину и, освещенный белым светом электричества, запел дикую победную песнь на совершенно неведомом языке, столь древнем, что профессор Верц отдал бы за него десять лет своей жизни.

Гости, окликая его, бросились к бойцу, и из глаз древнего тевтона вдруг выглянул Джемс Уорт: он увидел прекрасную нежную девушку двадцатого века, которую он любил, и почувствовал, что что-то в нем оборвалось… Обессиленный, он, шатаясь, направился к ней, выронил дубину и чуть не упал. С ним творилось неладное. В мозгу его болезненно сверлило. Душа, казалось, разрывалась на части. Следуя за взорами окружающих,

он обернулся и увидел мертвую тушу медведя. Он пришел в ужас, дико вскрикнул и хотел убежать, но его окружили и увели в дом.

Джемс Уорд все еще является главой фирмы «Уорд, Ноулз и Ко». Но он уже не живет в деревне и не гоняется в лунные ночи за койотами. Древний тевтон умер в нем в ночь битвы с медведем в Мельничной Долине. Джемс Уорд теперь только Джемс Уорд; он не делит своего «я» с бродячим анахронизмом древнего мира. Он сделался настолько современным человеком, что познал всю горечь проклятия страха цивилизованных людей — он боится темноты, а о том, чтобы провести ночь в лесу, он без содрогания не может и думать.

В его городском доме образцовый порядок и всякие усовершенствования, и он проявляет большой интерес к разным приборам, оберегающим от воров. Дом опутан электрической проволокой, всяческими сигнализациями, так что ночью его гостям вздохнуть нельзя, чтобы не поднять тревоги. Он сам изобрел довольно сложный дверной замок без ключа, который можно носить с собой в кармане и мгновенно применять в нужных случаях. Несмотря на все это, жена не считает его трусом. Она знает, в чем дело, а он,

как всякий герой, избрал покой и почивает на лаврах. В его храбрости не сомневается никто из тех, кто стал свидетелями происшествия в Мельничной Долине.

Польза сомнения

1

Картер Уотсон, со свежим номером журнала под мышкой, медленно брел по улице, с любопытством озираясь кругом. Двадцать лет прошло с тех пор, как он был на этой самой улице, и изменения, которым она подверглась, были велики и поразительны. В ту пору, когда он, будучи мальчиком, постоянно шатался по улицам этого западного города, насчитывающего ныне триста тысяч душ, тот населяло всего лишь тридцать тысяч жителей. В те дни улица, на которой он сейчас находился, была мирным обиталищем, улицей благопристойного рабочего квартала. В этот же вечер он увидел, что она погрязает в пороке. На каждом шагу встречались лавчонки и притоны китайцев и японцев, вперемежку с притонами для белой «черни», и кабаки. Спокойная улица его юных лет превратилась в самый буйный квартал города.

Он посмотрел на часы. Половина шестого. В эти часы дня в таком районе все погружалось в сон, но ему хотелось еще понаблюдать. В течение

двух десятков лет, посвященных скитаниям и изучению социальных условий всех стран земного шара, родной город неизменно представлялся в его памяти приятным и здоровым уголком. Теперь же он стал свидетелем поразительной метаморфозы. Он обязательно продлит свою прогулку, чтобы убедиться, до какого позора мог пасть его город.

Еще одно обстоятельство: Картер Уотсон был наделен чуткой гражданской совестью. Будучи человеком независимым и состоятельным, он не был расположен расточать свою энергию на званые чаепития и затейливые обеды в светском обществе; он был равнодушен к актрисам, скаковым лошадям и другим подобного рода развлечениям. Он был немножко помешан на морали; он считал себя реформатором отнюдь не мелкого калибра, хотя деятельность его заключалась преимущественно в том, что он сотрудничал в толстых журналах и ежемесячниках и писал блестящие, умные труды о рабочем вопросе и обитателях трущоб.

Среди двадцати семи книг, вышедших под его фамилией, встречались такого рода заглавия: «Если бы Христос явился в Новый Орлеан», «Истощенный рабочий», «Жилищная рефор-

ма в Берлине», «Сельские трущобы в Англии», «Население Восточной Стороны», «Реформа в противовес революции», «Университетская организация как теплица радикализма», «Пещерные люди цивилизации».

Однако Картер Уотсон не был ни помешанный, ни фанатик. Он не терял головы, наталкиваясь на ужасы, которые он подвергал изучению и описывал. Не было в нем и ребяческого энтузиазма. Его выручал природный юмор, приобретенный им обширный опыт и консервативный философский темперамент. Он отнюдь не симпатизировал и молниеносным преобразованиям. Он полагал, что общество может совершенствоваться лишь путем мучительно долгих и болезненно тяжких процессов эволюции. Здесь не бывает ни резких остановок, ни мгновенных возрождений. Совершенствование человечества достигается ценой отчаянной борьбы и страданий, совершенно так же, как и все прошлые успехи в области социальных улучшений.

Но в этот летний вечер Картер Уотсон был полон любопытства. Продолжая свою прогулку, он остановился перед баром кричащего вида. Над ним красовалась вывеска «Вандом». Здесь было два входа. Одна дверь вела, очевидно, к буфетной

стойке. Этого входа Картер не стал исследовать. Другой ход вел в узкий коридор. Пройдя его, он очутился в огромной комнате, заставленной столиками и стульями. При тусклом освещении он различил в дальнем углу пианино. Заметив себе мысленно, что сюда нужно будет вернуться и поизучать категорию людей, выпивающих за этими многочисленными столиками, он стал обходить помещение.

Небольшой коридор из комнаты вел в миниатюрную кухню, где за столом сидел в одиночестве Пэтси Хоран, владелец «Вандома», торопясь проглотить свой ужин до наплыва вечерних дел. Пэтси Хоран был зол на весь мир. Утром он встал не с той ноги, и в течение всего дня все у него не ладилось. Если бы спросить его работников, они охарактеризовали бы его душевное состояние как хандру. Но Картеру Уотсону это было неизвестно. Когда он шел по коридорчику, угрюмый взгляд Пэтси Хорана случайно упал на журнал, который тот держал под мышкой. Пэтси не знал Картера Уотсона, не знал и того, что под мышкой у него иллюстрированный журнал. Удрученный хандрой, Пэтси решил, что незнакомец принадлежит к разряду тех назойливых субъектов, которые уродуют стены его заведения, заклеивая их ре-

кламами. Ярко раскрашенная обложка журнала показалась ему подобного рода рекламой. С этого и началась история. С ножом и вилкой в руках Пэтси набросился на Картера Уотсона.

— Убирайся прочь! — заревел Пэтси. — Знаю я ваши штучки!

Картер Уотсон оторопел. Человек вырос перед ним, как чертик из табакерки.

— Стены мои пачкать? — кричал Пэтси, изрыгнув ряд ярких и мерзких ругательств.

— Если я вас чем-нибудь неумышленно обидел…

Большего, однако, не удалось выговорить посетителю. Пэтси перебил его.

— Убирайся прочь! Заткни свою глотку! — изрек Пэтси, для большей выразительности сопроводив приглашение взмахами ножа и вилки.

В воображении Картера Уотсона на мгновение промелькнул образ вилки, воткнутой меж его ребрами; он понял, что поступит опрометчиво, если не «заткнет свою глотку», и быстро повернулся к выходу. Вид его покорного отступления, должно быть, еще более разъярил Пэтси Хорана, ибо этот достойный субъект, выронив из рук столовые принадлежности, ринулся на него.

Пэтси Хоран весил сто восемьдесят фунтов,

столько же весил и Уотсон. В этом отношении они были равны. Но Пэтси был напористый, грубый и неотесанный трактирный забияка, тогда как Уотсон был боксер. В этом заключалось преимущество последнего: сильно размахнувшись своей ручищей, Пэтси попал в пустоту. Уотсону следовало бы ударить слева наотмашь и бежать. Но Уотсон обладал и другим преимуществом: боксерский и другой опыт, приобретенные при изучении трущоб и гетто чуть не всего мира, научили его сдержанности. Он повернулся налево кругом и вместо того, чтобы нанести удар, нагнулся, избежав удара противника, и схватил последнего. Но на стороне Пэтси, нападавшего, как бык, была инерция, сообщенная разбегом, тогда как Уотсон, повернувшийся ему навстречу, не имел разгона. В результате оба всей тяжестью своих трехсот шестидесяти фунтов с грохотом треснулись об пол, причем Уотсон очутился под противником. Голова его касалась задней стены большой комнаты. Улица находилась в ста пятидесяти футах отсюда — надо было что-нибудь придумать. Прежде всего нужно было постараться избежать шума. У Картера не было желания попасть в газеты этого города — города его детства, где еще жили многие из родных и друзей

его семьи.

Он сомкнул свои руки вокруг тела лежавшего на нем человека, плотно сжал его и стал ждать помощи, которая должна была явиться в ответ на шум, вызванный падением. Помощь явилась: шестеро мужчин выбежали из-за стойки и полукругом выстроились около них.

— Уберите его, ребята, — сказал Уотсон. — Я его не трогал и не желаю вступать в драку.

Но полукруг хранил молчание. Уотсон держал противника и ждал. После ряда неудачных покушений причинить боль Пэтси предложил противнику:

— Пусти меня, и я от тебя отстану.

Уотсон отпустил его, но Пэтси, встав на ноги и наклонившись над своим лежачим недругом, приготовился драться.

— Вставай! — приказал Пэтси.

Голос его звучал грозно и неумолимо, подобно гласу божьему в день страшного суда, и Уотсон понял, что тут не приходится ждать пощады.

— Отойдите, и я встану, — ответил он.

— Вставай, джентльмен! — проговорил Пэтси; бледно-голубые глаза его зажглись гневом, и кулак сжался для сокрушительного удара.

В тот же миг он откинул ногу назад с наме-

рением ударить противника в лицо. Скрестив руки, Уотсон загородил лицо от удара и вскочил на ноги с такой быстротой, что успел схватить противника прежде, чем последний изловчился для удара. Держа его, он обратился к свидетелям:

— Уберите его от меня, ребята. Вы видите, что я не бью его. Я не хочу драться. Я хочу выбраться отсюда.

Круг оставался недвижим и безмолвен. Молчание принимало зловещий характер, и у Уотсона захолонуло сердце. Пэтси сделал попытку повалить его, кончившуюся тем, что Уотсон опрокинул Пэтси на спину. Вырвавшись, Уотсон вскочил на ноги и устремился к дверям. Однако круг людей стал стеной на его пути. Он обратил внимание на их лица — белые, как бы вылепленные из теста, лица людей, которые никогда не видят солнца, и понял, что люди, загородившие ему дорогу, — это ночные грабители, хищники городских дебрей. Его оттиснули назад к Пэтси, опять ринувшемуся на него с опущенной головой. Снова он обхватил врага и, пользуясь минутной передышкой, обратился к кучке людей. И опять его обращение не было услышано. И тогда он ощутил страх. Ему было известно много случаев подобного рода, когда в таких притонах одиночки

подвергались физическому насилию, — им ломали ребра, расшибали физиономии, избивали до смерти. Он понял также, что если хочет спастись, он не должен наносить ударов ни нападающему, ни его пособникам.

Справедливым негодованием запылала его душа. Семеро против одного — ни при каких обстоятельствах этого нельзя было бы назвать честной игрой. Он уже злился, в нем начал просыпаться дремлющий в душе всякого человека зверь, жаждущий боя. Но он вспомнил о своей жене и детях, о своей незаконченной книге, о десятке тысяч акров своего ранчо — горного пастбища, которое он так любил. Мимолетным видением сверкнуло перед ним голубое небо, золотое солнце, льющее свет на усеянные цветами луга, ленивый скот, по колено бродящий в ручьях, и плеск форелей в водяных струях. Жизнь была хороша — слишком хороша, чтобы рисковать ею под влиянием минутной вспышки звериной ярости. Короче говоря, Картер Уотсон несколько струсил и скоро остыл.

Его противник, мастерски взятый в тиски, силился сбросить его. Уотсон вновь положил его на пол, отскочил и был оттеснен расположившимися вокруг людьми с тестовидными

физиономиями; нагнув голову, он увернулся от кулаков Пэтси и принужден был снова обхватить его. Это повторилось несколько раз. Уотсон становился все спокойнее и увереннее, тогда как озадаченный Пэтси, бессильный справиться с врагом, все больше распалялся дикой яростью. Зажатый в тиски, он стал колотиться головой о противника. Для начала ударился лбом в нос Уотсона. В последовавших за этим схватках Уотсон прижимался лицом к груди Пэтси. Разъяренный Пэтси стал колотиться об его темя и таким образом подбил себе собственный глаз, нос и щеку. И чем больше изъянов причинял себе Пэтси, тем ожесточеннее колотился он о голову Уотсона.

Это одностороннее побоище продолжалось двенадцать-пятнадцать минут. Уотсон не нанес ни единого удара и лишь старался увертываться. Если он в минуты передышки, вертясь между столами, делал попытки приблизиться к выходу, люди с тестовидными лицами хватали его за полы и отбрасывали назад, под размахнувшиеся кулаки Пэтси. Время от времени — и это повторялось бесконечное число раз — он обхватывал Пэтси и клал его на лопатки, опять начинал кружить его и подталкивать к двери; в направлении этой цели он подвигался всякий раз на длину

упавшего тела.

В конце концов, потеряв шапку, с растрепанными волосами, окровавленным носом и подбитым глазом, Уотсон выскочил на тротуар и попал в руки полисмена.

— Арестуйте этого человека, — задыхаясь вымолвил Уотсон.

— Алло, Пэтси, — сказал полисмен, — из-за чего перепалка?

— Алло, Чарли, — был ответ. — Этот парень ходит…

— Арестуйте этого человека, полицейский, — повторил Уотсон.

— Пошел! Проваливай! — сказал Пэтси.

— Проваливай, — добавил полисмен. — Если не уйдешь, я тебя арестую.

— Не уйду, пока не арестуете этого человека. Он совершил на меня нападение, учинил ничем не вызванное насилие.

— Так ли было дело, Пэтси? — спросил полицейский.

— Нет. Я все расскажу тебе, Чарли, и, клянусь Богом, у меня есть на это свидетели. Сижу я это в своей кухне за миской супа, как вдруг входит этот парень и начинает шутки шутить. Сроду я его не видел раньше! Он был пьян…

— Поглядите на меня, полицейский, — протестовал возмущенный социолог. — Разве я пьян?

Полицейский окинул его грозно-враждебным взглядом и кивнул Пэтси головой в знак того, что тот может продолжать рассказ.

— Этот парнюга начинает со мной шутки шутить. «Я Тим Мак-Грэт, — говорит он, — и могу сделать с тобой все, что мне вздумается. Руки вверх!» Я улыбнулся, а он-то хвать — двинул меня раз и другой и пролил мой суп. Посмотрите на мой глаз. Я чуть живой!

— Как вы поступите, полицейский? — спросил Уотсон.

— Ступай, убирайся, — послышалось в ответ, — не то я наверняка арестую тебя.

В Уотсоне заговорили возмущенные гражданские чувства.

— Господин полицейский, я протестую…

В тот же миг полисмен схватил его, дернув за руку так свирепо, что чуть не опрокинул его на землю.

— Пойдем, ты арестован!

— Арестуйте же и его! — потребовал Уотсон.

— Как бы не так! — был ответ. — Ты зачем напал на него, когда он мирно ел свой суп?

2

Картер Уотсон был в бешенстве. Он не только подвергся беспричинному нападению, сильным побоям и аресту — все без исключения утренние газеты мрачно повествовали о его пьяной ссоре с владельцем пресловутого «Вандома». Ни одна печатная строка не сообщила правды и не соответствовала действительности. Пэтси Хоран и его приятели описали драку со всеми подробностями. Неоспорим был лишь тот факт, что Картер Уотсон был пьян. Трижды выбрасывали его вон в канаву — и три раза возвращался он назад, дыша гневом и яростью и грозясь разнести заведение вчистую.

«Выдающийся социолог арестован в пьяном виде» — гласил первый попавшийся ему на глаза заголовок на первой странице газеты; тут же красовался его собственный большого размера портрет. Другие заголовки гласили:

«Картер Уотсон домогается звания чемпиона!»

«Картер Уотсон получил по заслугам!»

«Известный социолог покушается на

разгром кафе сомнительной репутации!»

«Картер Уотсон побит Пэтси Хораном в три раунда!»

Выпущенный на поруки, Картер Уотсон на следующее же утро явился в полицейский суд в качестве ответчика в тяжбе: «народ против Картера Уотсона, обвиняемого в нападении на некоего Пэтси Хорана и избиении его». Но прежде чем приступить к делу, прокурор, которому платили за обвинение обидчиков народа, отвел Уотсона в сторону и завел с ним приватный разговор.

— Отчего бы не прекратить дело? — сказал прокурор. — Я дал бы вам такой совет, мистер Уотсон: обменяйтесь рукопожатием с мистером Хораном и покончите с вашей ссорой; мы же со своей стороны прекратим дело. Одно слово судье — и возбужденное против вас дело будет прекращено.

— Но я не желаю прекращать его, — последовал ответ. — Ваша обязанность как будто заключается в том, чтобы вести против меня обвинение, а отнюдь не в том, чтобы предлагать мне помириться с этим… этим субъектом.

— О, я буду обвинять вас по всем правилам! — резко возразил прокурор.

— Вам предстоит также вести обвинение и против этого Пэтси Хорана, — предупредил его Уотсон, — я хочу добиться, чтобы и его арестовали за учиненное на меня нападение и побои.

— Лучше бы вам обменяться рукопожатием и помириться, — повторил прокурор, и на этот раз в голосе его прозвучала едва ли не угроза.

Оба дела были назначены к слушанию через неделю у полицейского судьи Уитберга.

— У тебя нет шансов выиграть дело, — сказал Уотсону старый друг его детства, бывший издатель самой большой газеты города. — Каждому известно, что этот человек напал на тебя. Он пользуется самой дурной репутацией. Но последнее обстоятельство нисколько тебе не поможет. Оба дела будут замяты. Это потому, что ты — это ты, а не кто-нибудь другой. Обыкновенный человек на твоем месте получил бы обвинительный приговор.

— Но я не понимаю, — возражал сбитый с толку социолог. — Без всякого предупреждения этот человек напал на меня и жестоко избил. Я не нанес ему ни единого удара. Я…

— Это к делу не относится, — оборвал его собеседник.

— Что же в таком случае относится к делу?

— Я объясню тебе. В данный момент ты восстал против местной полиции и ловко слаженной политической машины. Кто ты такой? Этот город — не постоянное твое местожительство. Ты живешь в деревне. Здесь у тебя нет избирательного ценза. Еще меньше у тебя влияния среди избирателей. А владелец этого кабака командует многими избирателями в своем околотке — у него этих голосов, как бус на нитке.

— Этим самым ты хочешь сказать, что судья Уитберг способен нарушить святость своего звания и своей присяги, отпустив на волю это животное? — спросил Уотсон.

— Увидишь сам, — последовал суровый ответ. — О, он сделает все честь честью. Он вынесет архизаконное, архиюридическое решение, изобилующее всеми встречающимися в нашем лексиконе синонимами о праве и справедливости.

— Но существуют же газеты? — вскричал Уотсон.

— В настоящее время они не ссорятся с администрацией. От них тебе придется круто. Ты, надеюсь, видел, что они уже успели наделать тебе.

— Стало быть, эти молодчики не напишут прав-

ды в протоколе?

— Они напишут что-нибудь настолько приближающееся к истине, что публика им поверит. Знаешь ли ты, что они составляют отчеты по приказу свыше? Им прикажут изменить или подкрасить — и от тебя мало что останется, когда они сделают свое дело. Лучше теперь же ликвидировать все дело. Ты влопался в скверную историю.

— Но ведь дело назначено к слушанию?

— Скажи лишь слово — и они замнут его. Человек не может бороться с машиной, если он сам не опирается на машину.

3

Тем не менее Картер Уотсон оставался непреклонным. Он был убежден, что машина раздавит его, но он всю жизнь искал переживаний социального характера, а в данном случае перед ним было нечто совсем новое.

В утро судебного разбирательства прокурор вторично попытался уладить дело.

— Раз вы в таком настроении, мне придется пригласить юриста, который бы вел обвинение, — заявил Уотсон.

— В этом нет надобности, — сказал прокурор. — Народ платит мне за то, чтобы я вел обвинение,

и я буду его вести. Но позвольте разъяснить вам дело. У вас нет никаких шансов на выигрыш. Мы соединим оба дела в одно, и вам надо быть начеку.

Судья Уитберг произвел на Уотсона приятное впечатление. Довольно молодой, невысокий, в меру дородный, гладко выбритый, с умным лицом — он действительно казался весьма приятным человеком. Это благоприятное впечатление создавали улыбающиеся губы и морщинки смеха в уголках его черных глаз. Глядя на него и изучая его внешность, Уотсон был почти убежден в том, что его старый друг заблуждается.

Но Уотсон скоро разочаровался. Пэтси Хоран и два его приспешника дали под присягой целую кучу ложных показаний. Уотсон не поверил бы в возможность этого, если бы сам не стал очевидцам. Они отрицали самое существование остальных четырех свидетелей. Из двух свидетелей один заявил, что находился в кухне и наблюдал оттуда ничем не вызванное нападение Уотсона на Пэтси, тогда как другой, оставаясь за стойкой, был очевидцем второго и третьего вторжения Уотсона в кабак с целью добить ни в чем не повинного Пэтси. Ругань, которую они приписывали Уотсону, была так разнообразна

и невыразимо гнусна, что Уотсон почувствовал, как они этим портят свое собственное дело. Было так невероятно, чтобы он мог произносить подобные слова. Когда же они стали описывать зверские удары, которыми он осыпал физиономию бедного Пэтси, и стул, сокрушенный им во время тщетных попыток сразить последнего, Уотсону стало просто смешно, но вместе с тем и грустно. Судебное разбирательство превратилось в фарс, и он с грустью думал: сколько еще нужно человечеству подниматься, чтобы выбраться из этой грязи.

Уотсон не узнавал себя в человеке, каким его изобразили, да и худший враг его не признал бы его в забияке и драчуне, на которого давались свидетельские показания. Впрочем, как и во всех случаях запутанных лжесвидетельств, в отдельных версиях рассказа встречались пробелы и противоречия. Судья каким-то образом совсем не замечал их, а прокурор и поверенный Пэтси ловко их обходили. Уотсон не позаботился запастись собственным адвокатом, и теперь был рад, что не сделал этого.

Подойдя к пюпитру и собираясь приступить к изложению дела, он еще не утратил окончательно доверия к судье Уитбергу.

— Я случайно гулял по улице, ваша милость, — начал Уотсон, но судья перебил его:

— Мы собрались здесь не для того, чтобы рассматривать ваши предшествующие поступку действия! — закричал он. — Кто первый нанес удар?

— Ваша милость, — настаивал Уотсон, — у меня нет свидетелей этого столкновения, и удостовериться в правдивости моего рассказа вы сможете лишь в том случае, если я все расскажу до конца.

— Мы не собираемся издавать здесь журналов! — загремел судья Уитберг, взглянув на него с таким свирепым недоброжелательством, что Уотсон с трудом заставил себя поверить, что это тот самый человек, внешность которого он изучал несколько минут тому назад.

— Кто нанес первый удар? — спросил поверенный Пэтси.

Тут вмешался прокурор, потребовавший, чтобы ему объяснили, какое из двух дел, соединенных в одно, сейчас рассматривается и по какому праву адвокат Пэтси в этой стадии производства стал допрашивать свидетеля. Поверенный Пэтси отразил удар. Судья Уитберг заявил, что ему неизвестно о существовании двух дел, соединенных в одно. Все это потребовало выяснения. Разгоре-

лось генеральное сражение, закончившееся тем, что оба поверенных извинились перед судом и друг перед другом. Так развивалось дело, и Уотсону казалось, что он видит перед собой кучку карманных воришек, шныряющих вокруг честного человека и тормошащих его, пока другие вытаскивают кошелек. Машина была пущена в ход — вот и все.

— Зачем вы зашли в это место, пользующееся неблаговидной репутацией? — спросили его.

— За целый ряд лет, изучая экономику и социологию, я завел обыкновение знакомиться…

Только это Уотсон и успел вымолвить.

— Нам нет дела до ваших «ологий», — зарычал судья Уитберг. — Вопрос ясен. Дайте на него ясный ответ. Правда или нет, что вы были пьяны? В этом вся суть вопроса.

Когда Уотсон начал рассказывать, как Пэтси расшиб себе лицо, колотясь головой, Уотсона подняли на смех, и судья Уитберг снова насел на него.

— Понимаете ли вы значение присяги, которую вы принесли, торжественно обещав говорить на этом свидетельском месте только правду? — спросил судья. — Вы нам рассказываете какую-то сказку. Было бы чистым безумием, если бы че-

ловек нанес себе повреждение и продолжал наносить их себе, колотясь чувствительными частями своего лица о вашу голову. Вы — здравомыслящий человек. Ведь это противно здравому смыслу, не правда ли?

— В гневе люди теряют благоразумие, — мягко ответил Уотсон.

И от этого судья Уитберг почувствовал себя глубоко оскорбленным и воспылал справедливым гневом.

— Какое вы имеете право говорить это! — закричал он. — Ваше утверждение голословно. Это не имеет никакого отношения к делу. Здесь, сэр, вы лишь свидетель происшествий, обнаруженных судом. Суду нет никакого дела до ваших мнений о чем бы то ни было.

— Я лишь ответил на ваш вопрос, ваша милость, — смиренно протестовал Уотсон.

— Ничего подобного! — раздалось в ответ. — И позвольте мне предостеречь вас, сэр, позвольте мне предупредить вас, что подобная дерзость может быть истолкована как неуважение к суду. И да будет вам ведомо, что мы умеем соблюдать закон и правила вежливости в этой маленькой судебной камере. Мне стыдно за вас.

И пока длился начавшийся вслед за этим ме-

лочной юридический спор между поверенными, прервавший повествование Уотсона о событиях в «Вандоме», Картер без горечи, с веселым любопытством, но с некоторой печалью наблюдал, как перед ним вырастала во всем своем масштабе и во всех деталях машина, управлявшая страной, видел безнаказанное и бесстыдное взяточничество в тысячах городов, учиняемое паукообразными гадами, состоящими при этой машине. И здесь она перед ним в образе этой судебной камеры и судьи, угодливо склонившегося под давлением машины перед этим кабатчиком, располагающим массой голосов. Несмотря на свое ничтожество и подлость, это все же была одна из граней многоликого механизма, которая высилась колоссальной громадой во всех городах и штатах, бросая на страну тень от тысячи своих воплощений.

В ушах его звучала знакомая фраза: «Это, наконец, смешно!» В самый разгар спора он не мог как-то удержаться от короткого смешка, в ответ на что судья Уитберг поднял на него сердитый взгляд. Он пришел к убеждению, что эти жуликоватые адвокаты и буянящий судья в миллионы раз хуже лихих штурманов на третьеразрядных торговых судах: эти последние умели не только

задирать, но и защищаться. С другой стороны, эти мелкие жулики искали защиты под сенью закона. Сами они нападали, но не давали возможности отражать их удары, прячась за тюремные камеры и дубинки тупых полисменов — профессиональных бойцов и драчунов на жалованье. Но озлобления он не испытывал. Уродливость и карикатурность процедуры заставляла его забывать ее бесстыдство и грязь, к тому же он не был лишен спасительного чувства юмора.

Несмотря на всю травлю и мытарства, ему удалось в конце концов дать ясное и правдивое описание схватки, и, несмотря на явно пристрастный характер перекрестного допроса, ни одна мелочь его не была опровергнута. Совсем другой характер носил крикливый рассказ Пэтси и двух его свидетелей, полный явных лжесвидетельств.

Как защитник Пэтси, так и прокурор поддерживали обвинение, не представляя со своей стороны возражений. Уотсон протестовал против этой системы, но прокурор заткнул ему рот, заявив, что он общественный обвинитель и знает свое дело.

— Пэтси Хоран показал, что жизни его угрожала опасность, и он вынужден был прибегнуть к обороне, — гласило начало вердикта, вынесенного судьей Уитбергом. — Аналогичное показание

о себе дано и мистером Уотсоном. Каждый из них под присягой свидетельствует, что первый удар был нанесен противником; каждый клянется, что подвергся ничем не вызванному нападению со стороны противника. Одна из аксиом права гласит, что сомнение толкуется в пользу ответчика. В данном случае существует весьма основательное сомнение. Поэтому в деле «Народ против Картера Уотсона» сомнение толкуется в пользу вышеназванного Картера Уотсона, который тем самым освобождается от наказания. Аналогичные доводы приложимы к делу «Народ против Пэтси Хорана». Сомнение толкуется в его пользу, и он освобождается от наказания. Я рекомендую обоим ответчикам обменяться рукопожатием и помириться.

Первый заголовок на страницах вечерних газет, бросившийся в глаза Уотсону, гласил:

«Картер Уотсон оправдан!»

Во второй газете значилось:

«Картер Уотсон избежал штрафа».

Но венцом всего были следующие строки:

«Картер Уотсон — славный малый!»

В заметке говорилось, что судья Уитберг посоветовал обоим драчунам обменяться рукопожатием, что они и поспешили выполнить. Далее он прочел следующее:

«Что ж, дерябнем по маленькой по сему случаю? — промолвил Пэтси Хоран.

— Идет, — ответил Картер Уотсон.

И рука об руку они зашагали в ближайший бар».

4

Приключение в целом не оставило никакой горечи в душе Картера Уотсона. Оно свелось к социальному переживанию нового порядка, и в результате Картером была написана еще одна книга, озаглавленная: «Полицейское судопроизводство. Опыт анализа».

Год спустя в одно летнее утро, находясь на своем ранчо, Картер слез с лошади и стал пробираться через небольшое ущелье с намерением посмотреть группу горных папоротников, посаженных им там предыдущей зимой. Достигнув вершины ущелья, он выбрался на одну из принадлежавших

ему усеянных цветами лужаек, очаровательный уединенный уголок, отгороженный от остального мира низкими холмами и группами деревьев. Тут он застал человека, по-видимому, вышедшего на прогулку из летней гостиницы, находившейся в маленьком городке на расстоянии мили. Они столкнулись лицом к лицу и узнали друг друга. Это был судья Уитберг. Налицо был явный факт нарушения границ чужого владения, ибо Уотсон, правда, не придававший этому значения, выставил на рубеже своих владений межевые знаки.

Судья Уитберг протянул ему руку, но Уотсон сделал вид, что этого не заметил.

— Политика — грязное дело, не правда ли, судья? — сказал он. — О да, я вижу вашу руку, но мне что-то не хочется пожать ее. Газеты сообщили, что после суда я обменялся рукопожатием с Пэтси Хораном. Вы знаете, что я этого не сделал, но позвольте мне сказать вам, что я в тысячу раз охотнее пожал бы руку ему и подлой свите его приспешников, нежели вам.

Судья Уитберг испытывал тягостное замешательство. Покуда он, откашливаясь и запинаясь, силился заговорить, Уотсона, следившего за ним, осенила внезапная причуда, и он решился на веселую, хотя и злую проделку.

— Не думал я, что встречу злопамятство в человеке столь просвещенном и знающем свет! — начал судья.

— Злопамятство? — возразил Уотсон. — Вот уж нет! Моей натуре несвойственно такое чувство. В доказательство этого разрешите мне показать вам нечто весьма любопытное, чего вы никогда не видели. — Пошарив на земле, Уотсон поднял камень с шероховатой поверхностью, величиной с его кулак. — Видите это? Смотрите на меня.

И с этими словами Картер Уотсон нанес себе сильный удар по щеке. Камень рассек щеку до кости, и кровь брызнула струей.

— Камень слишком остер, — пояснил он изумленному полицейскому судье, решившему, что тот сошел с ума.

— Я разотру малость. В таких делах главное — реализм.

Отыскав гладкий камень, Картер Уотсон несколько раз аккуратно ударил им себя по щеке.

— Ага, — бормотал он, — через несколько часов щека приобретает великолепную зелено-черную окраску.

— Вы не в своем уме, — пролепетал судья Уитберг.

— Не ругайтесь, — сказал Уотсон, — вы видите мое расшибленное и окровавленное лицо? Это вы сделали вашей правой рукой. Два раза вы ударили меня — бац! бац! Это зверское, ничем не вызванное нападение. Моя жизнь в опасности. Я вынужден защищаться.

Перед грозными кулаками противника судья Уитберг попятился.

— Только ударьте меня, и я прикажу вас арестовать, — пригрозил судья Уитберг.

— Это самое и я говорил Пэтси, — последовал ответ. — И знаете, что он сделал, услышав это?

— Нет.

— Вот что!

И в то же мгновение правый кулак Уотсона обрушился на нос судьи Уитберга, и этот джентльмен навзничь упал на траву.

— Вставайте, вставайте! — приказывал Уотсон. — Если вы джентльмен, вставайте! Вот что говорил мне Пэтси; вы это знаете.

Судья Уитберг отказался встать, но Уотсон поднял его за воротник пальто, поставил на ноги — лишь для того, чтобы подбить ему глаз и снова опрокинуть его на спину. После этого началось избиение по методам краснокожих индейцев. Судью Уитберга избивали не жалеючи, по всем

правилам мордобойной науки: били по щекам, давали затрещины, возили лицом по траве. В течение всего этого времени Уотсон демонстрировал, как это с ним самим проделывал Пэтси Хоран. Иногда, но с большой осторожностью, расшалившийся социолог наносил удар, оставлявший настоящие кровоподтеки, и раз, поставив бедного судью на ноги, он умышленно ударился своим носом о голову этого джентльмена. Из носа пошла кровь.

— Смотрите! — вскричал Уотсон, отступая на шаг и искусно размазывая кровь по всей манишке. — Вы это сделали. Вы это сделали своим кулаком. Это ужасно. Я избит до полусмерти. Я вынужден вновь защищаться.

И еще раз судья Уитберг натолкнулся своим лицом на кулак и был брошен на траву.

— Я арестую вас, — всхлипнул он на траве.

— Вот то же самое говорил я Пэтси.

— Зверское… хны-хны… и ничем не вызванное… хны-хны… нападение.

— Это самое говорил я Пэтси.

— Я вас арестую, не сомневайтесь.

— Скорее всего — нет, хоть я и побил вас!

С этими словами Картер Уотсон спустился в ущелье, вскочил на свою лошадь и отправился

в город.

Когда час спустя судья Уитберг, прихрамывая, добрался до своей гостиницы, он был арестован деревенским констеблем по обвинению в нападении и побоях по жалобе, поданной Картером Уотсоном.

5

— Ваша милость, — говорил на следующий день Уотсон деревенскому судье, зажиточному фермеру, получившему тридцать лет тому назад ученую степень в институте садоводства. — Ввиду того, что вслед за предъявленными мной обвинениями в учинении надо мной побоев этому Солю Уитбергу пришла фантазия обвинить меня в избиении его, я предложил бы, чтобы оба дела слушались вместе: свидетельские показания и факты в обоих случаях совершенно одинаковы.

Судья согласился, и оба дела разбирались одновременно. В качестве свидетеля обвинения Уотсон выступил первым и так излагал происшествие.

— Я рвал цветы, — показывал он, — свои цветы на моей собственной земле и не помышлял ни о какой опасности. Вдруг этот человек ринулся на меня из-за деревьев. «Я Додо, — говорил он, — и

могу исколотить тебя в пух и прах. Руки вверх!» Я улыбнулся, но тут он — бац! бац! — как хватит меня — сшиб меня с ног и рассыпал мои цветы. И ругался он — страх! Это — ничем не вызванное зверское нападение. Смотрите на мою щеку, смотрите, какой у меня нос. Все совершенно непонятно. Должно быть, он был пьян. Не успел я прийти в себя от изумления, как он начал меня избивать. Жизни моей грозила опасность, и я вынужден был защищаться. Вот и все, ваша милость; хотя должен сказать, что я до сих пор еще нахожусь в недоумении. Почему он назвал себя «Додо»? Почему он без какой-либо причины напал на меня?

Таким образом Солю Уитбергу был дан полновесный урок лжесвидетельства. С высоты своего кресла ему часто приходилось снисходительно выслушивать лжесвидетельства в подстроенных полицией делах; но впервые лжесвидетельство оказалось направленным против него самого, причем он уже не председательствовал на суде, имея за собой судебных приставов, полицейские дубинки и тюремные камеры.

— Ваша милость, — возопил он, — никогда еще мне не доводилось слышать подобного количества лжи, нагороженной таким бесстыдным

вруном!

Тут Уотсон вскочил на ноги.

— Ваша милость, я протестую! Дело вашей милости решить, где правда и где ложь. Свидетель, в свою очередь, должен давать показания о тех событиях, которые имели место в действительности. Его личное мнение об общем положении вещей или обо мне не имеет никакого отношения к делу.

Судья почесал себе голову и флегматически принял негодующий вид.

— Совершенно верно, — решил он. — Меня изумляет, мистер Уитберг, то, что вы, претендуя на звание судьи и будучи искушенным в юридической практике, все же провинились в таких незаконных поступках. Ваши повадки, сэр, и ваш образ действия выдают в вас сутягу. Перед нами простой случай нападения и побоев. Нам надо решить, кто нанес первый удар, и нам нет никакого дела до той оценки личных свойств мистера Уотсона, которую вы даете. Продолжайте.

Судья Уитберг с досады прикусил бы свою ушибленную и распухшую губу, если бы она и без того не болела. Но он сдержал себя и изложил дело ясно, правдиво и верно.

— Ваша милость, — сказал Уотсон, — я пред-

ложил бы вам спросить его, что он делал в моих владениях.

— Разумный вопрос. Что вы делали, сэр, во владениях мистера Уотсона?

— Я не знал, что это его владения.

— Это было нарушение чужих границ, ваша милость, — вскричал Уотсон. — Знаки выставлены на видном месте.

— Я не видел знаков, — сказал Соль Уитберг.

— Я сам видел их! — резко возразил судья. — Они бросаются в глаза. Должен предупредить вас, сэр, что если вы в таких мелочах будете уклоняться от правды, то вызовете подозрение по главным пунктам ваших показаний. Почему вы ударили мистера Уотсона?

— Ваша милость, как я уже говорил, я не нанес ему ни одного удара.

Судья посмотрел на расшибленное и распухшее лицо Картера Уотсона и устремил грозный взгляд на Соля Уитберга.

— Посмотрите на щеку этого человека! — загремел он. — Если вы не нанесли ему ни одного удара, то почему он так обезображен и изранен?

— Как я уже говорил…

— Будьте осторожны, — предостерег его судья.

— Я буду осторожен, сэр, я буду говорить только

правду. Он сам ударил себя камнем. Он ударил себя двумя разными камнями.

— Разумно ли, чтобы человек — любой человек, если он только не душевнобольной, — нанес себе такие повреждения и продолжал наносить их, расшибая камнем чувствительные части своего лица? — спросил Картер Уотсон.

— Это звучит, как волшебная сказка, — заметил судья. — Мистер Уитберг, вы тогда выпили?

— Нет, сэр.

— Разве вы никогда не выпиваете?

— При случае.

Приняв утонченно-глубокомысленный вид, судья задумался над этим ответом.

Уотсон воспользовался моментом, чтобы подмигнуть Солю Уитбергу, но, претерпев столько оскорблений, этот джентльмен не видел ничего смешного в своем положении.

— Крайне странный случай, весьма странный случай, — объявил судья, приступая к чтению приговора. — Показания обеих сторон совершенно противоречивы. Кроме главных лиц, нет иных свидетелей. Каждый из них утверждает, что нападение совершил другой, и у меня нет формальной возможности установить истину. Но у меня создалось свое личное мнение, мистер

Уитберг, и я посоветовал бы вам не приближаться к владениям мистера Уотсона и уехать подальше из этой части страны.

— Это возмутительно! — брякнул Соль Уитберг.

— Остановитесь, сэр! — приказал громовым голосом судья. — Если вы еще раз перебьете судью таким манером, я оштрафую вас за неуважение к суду. И предупреждаю — сильно оштрафую! Сами будучи судьей, вы должны уметь блюсти достоинство суда. Сейчас я прочту приговор.

Одна из статей закона гласит, что сомнение толкуется в пользу ответчика. Как я уже говорил — и повторяю — у меня нет формальных способов установить, кто нанес первый удар. Поэтому, к моему великому сожалению, — тут он сделал паузу и грозно посмотрел на Соля Уитберга, — по каждому из этих дел я вынужден толковать сомнения в пользу ответчика… Джентльмены, вы оба свободны.

— Что ж, может, выпьем по сему случаю? — обратился Уотсон к Уитбергу, когда они вышли из суда, но этот оскорбленный субъект отказался обменяться рукопожатием и пойти в ближайший кабак.

Крылатый шантаж

Питер Уинн, с комфортом развалившись в библиотечном кресле и закрыв глаза, погрузился в размышления о плане кампании, в которой он намеревался разгромить в ближайшем будущем своих финансовых противников. Основная мысль возникла у него еще прошлой ночью, а теперь он упивался уточнением мельчайших деталей. Захватив в свои руки надзор за одним провинциальным банком, двумя оптовыми складами и несколькими лесосплавными предприятиями, он мог еще получить в свое ведение большую водно-силовую установку. Идея была настолько проста, что он чуть не расхохотался, когда она пришла ему в голову. Неудивительно, что его старинные, чересчур хитрые недруги не додумались до простой штуки!

Дверь библиотеки раскрылась: вошел тощий, средних лет мужчина. Он был близорук и носил очки. В руках у него был конверт и распечатанное письмо. Как секретарь Питера Уинна, он обязан был распечатывать, сортировать и распределять корреспонденцию своего хозяина.

— Пришло с утренней почтой, — извиняясь

и слегка хихикая, произнес он. — Понятно, это чепуха; но мне казалось, что вам интересно будет взглянуть.

— Читайте, — приказал Питер Уинн, не открывая глаз.

Секретарь прокашлялся.

— Датировано семнадцатым июля, но без адреса. Почтовый штемпель Сан-Франциско. Написано совершенно безграмотно, орфография невероятная. Вот что в письме:

> Мистеру Питеру Уинну.
>
> Сер, почтительно пасылаю вам пантового голубя, каторый стоит больших денег. Это лу-лу.

— Что такое «лу-лу»? — прервал Питер Уинн.

Секретарь хихикнул.

— Не имею представления. Должно быть, превосходная степень чего-то. Вот что написано дальше:

> Не Аткажити нагрузить ево парой кредитных билетов по тыще долларов — И атпустите Ежели вы это зделаете, я никогда больше ни побезпокою вас в противном случае — вы пожилеите.

— Вот и все, и без подписи. Я думал, это вас позабавит.

— А голубь здесь? — спросил Питер Уинн.

— Я не догадался спросить.

— Так узнайте!

Через пять минут секретарь вернулся.

— Да, сударь, голубь прилетел этим утром.

— Принесите его!

Секретарь готов был обратить происшествие в шутку, но Питер Уинн, осмотрев голубя, пришел к иному выводу.

— Посмотрите на него, — говорил он, гладя и лаская голубя. — Какое длинное туловище и продолговатая шея. Настоящий почтовый голубь! Кажется, я лучших и не видывал. Какие мощные крылья и мускулы! Правильно пишет наш анонимный корреспондент, что он лу-лу. Хочется даже задержать его!

Секретарь хихикнул.

— Почему нет? Не отпустите же вы его обратно к автору письма?

Питер Уинн отрицательно покачал головой.

— Я отвечу. Я никому не позволю угрожать мне, будь то анонимно или в шутку!

На клочке бумаги он написал краткий, но выразительный ответ: «Убирайтесь к черту!»,

подписался и положил бумажку в специальное приспособление, которым голубя предусмотрительно снабдили.

— А теперь отпустим его. Где мой сын? Я бы хотел, чтобы он проследил полет голубя.

— Он в мастерской. Он провел в ней всю ночь и просил утром прислать туда завтрак.

— Сломает он себе шею! — проворчал Питер Уинн раздраженно, но с некоторой гордостью и вышел на террасу.

Став наверху широкой лестницы, он подбросил красавца-голубя вверх. Голубь взмахнул крыльями, с минуту трепетал на месте в нерешимости, затем взлетел.

В вышине он как бы заколебался, потом, найдя, как видно, направление, полетел на восток, через дубовые рощицы.

— Великолепно, великолепно! — шептал Питер Уинн. — Я почти жалею, что отпустил его.

Но Питер Уинн был очень занятой человек; в его голове роилось множество планов, а в руках было столько вожжей, что он скоро позабыл инцидент. Через три дня левый флигель его дачи был взорван. Взрыв был не очень силен, никто из людей не пострадал, но флигель разнесло. С первым же пароходом утром примчалось с пол-

дюжины сыщиков из Сан-Франциско, а спустя несколько часов секретарь в сильном возбуждении ворвался к Питеру Уинну.

— Он опять здесь! — пролепетал он, задыхаясь, выпучив под очками глаза и обливаясь потом.

— Кто здесь? — спросил Питер Уинн.

— Он… он… голубь «лу-лу»!

Финансист понял.

— Вы уже разобрали почту?

— Только начал, сударь.

— Так продолжайте, — может быть, найдете второе письмо от нашего таинственного друга-голубятника!

И письмо оказалось! В нем было:

Мистеру Питеру Уинну

Уважаимый сер, бросьти глупить! Ежели бы вы исполнили Мою просьбу сразу, ваш Хлигел не был бы взорван. Пачтительно извищаю вас, что опять посылаю голубя. Обращайтись с ним Асторожно, зарании благодарю вас Привижите к ему пять тысяч долларовых билетов и Атпустите. Не кормити ево. Не пытайтесь приследовать ево. Голубь теперь Харашо знаит дорогу — и политить, не теряя

время. Ежели не послушайтесь, — берегитесь.

Питер Уинн искренно возмутился. На этот раз он не послал записки с голубем. Вместо этого он созвал сыщиков и, по их совету, нагрузил голубя дробью. Поскольку в первый раз голубь полетел на восток, к заливу, то отряжена была самая быстроходная моторная лодка в Тибурне следить за птицей, если она полетит через залив.

Но дроби переложили, и голубь устал, прежде чем долетел до берега. Теперь сделали другую ошибку: положили слишком мало дроби, и он взвился высоко в воздух, взял направление и полетел на восток, через залив Сан-Франциско. Он направился через остров Ангела, и здесь моторная лодка потеряла его из виду, так как ей пришлось объезжать остров кругом.

В эту ночь вооруженные патрули оберегали имение. Но взрыва не было. Зато рано утром Питер Уинн был извещен по телефону, что дом его сестры в Аламеде сгорел дотла. Через два дня голубь опять явился; на этот раз он прибыл в товарном вагоне, в бочке из-под картофеля. С ним пришло письмо:

Мистеру Питеру Уинну.

Уважаимый сер, эта я сжег дом вашей сестры. Вы сами вызвали всю эту сумятицу. Пришлите теперь десить тысич.

Буду павышать все время. Не привязывайте слишком чижолый груз птице. Все равно вы не выследит ее Зачем мучить животных.

Питер Уинн почти готов был признать себя побежденным, сыщики были бессильны, и Питер не знал, откуда грянет следующий удар, может быть, смертельный для кого-нибудь из близких и дорогих ему. Он даже затребовал по телефону десять тысяч долларов билетами крупных купюр. Но у Питера был сын Питер Уинн Младший, с такой же, как у отца, крепкой челюстью и с такой же непреклонной волей во взгляде. Ему было двадцать шесть лет, это был вполне зрелый человек, постоянный источник тайных страхов и восторгов финансиста, у которого восхищение авиационными открытиями сына сменялось страхом за его жизнь.

— Подожди еще, отец, не посылай денег, — настаивал Питер Младший. — Номер Восьмой готов, я добился возможности регулировать размах крыльев. Приспособление действует, оно

внесет переворот в авиацию. Скорость — вот что самое главное, также и широкие несущие поверхности для подъема и набирания высоты. Я достиг того и другого! Поднявшись вверх, я могу расширить крылья, уменьшить их поверхность. Вот так! Чем меньше несущая поверхность, тем больше скорость. Это закон, открытый Ланглеем, и я его применил! Я могу подниматься и в тихую погоду, когда воздух полон ям, и в бурю; скорость аэроплана в моих руках, я могу развить ее как хочу, особенно с этим новым мотором Сэнгстер-Энгольма.

— Ты свернешь себе шею на этих днях, — поощрительно заметил отец.

— Нет, папа, говорю тебе, я могу развивать скорость в девяносто миль в час, право! И даже все сто! Послушай только! Я думал предпринять пробный полет завтра, но могу сделать его сегодня часа через два. Я поднимусь после полудня. Спрячь пока деньги! Дай мне голубя, и я прослежу его до самого дома, где бы этот дом ни находился. Подожди, я только переговорю с механиком!

Войдя в мастерскую, он начал распоряжаться таким решительным и уверенным тоном, что растрогал старика. Да, его единственный сын был подлинный отпрыск старого дерева, цену

которому Питер Уинн хорошо знал!

Ровно через два часа молодой человек был готов к полету. В кобуре лежал большой заряженный револьвер. Тщательно осмотрев аэроплан в последний раз, он занял свое место. Он включил мотор, и прекрасная машина с жужжанием и пыхтением устремилась вверх. Поворачивая на лету к западу, он кружил и маневрировал, готовясь к принятию надлежащего направления.

Направление зависело от голубя. Питер Младший держал птицу в руках. К ней не подвесили на этот раз дроби, а вместо того привязали к ноге кусок яркой ленты, чтобы за ней легче было следить. Питер Младший выпустил птицу, и она легко поднялась в воздух, не смущаясь лентой. Голубь летел вполне уверенно. Он уже в третий раз проделывал этот путь, хорошо зная дорогу.

На высоте нескольких сот футов голубь полетел прямо на восток. Аэроплан также изменил курс и полетел в том же направлении. Гонка началась. Питер Уинн, взглянув вверх, увидел, что голубь обгоняет. Но он видел и другое: аэроплан мгновенно уменьшился в размерах; крылья были расширены, и теперь обнаружилась вся его быстроходность. Вместо огромного аэроплана, который на широких крыльях поднялся вверх,

теперь в воздухе качался на длинных, невероятно узких крыльях миниатюрный, похожий на ястреба моноплан.

Когда Питер Уинн быстро расширил крылья аэроплана, он был приятно поражен результатом. Это было первое испытание его изобретения, и хотя он и ожидал увеличения скорости, но не был готов к столь поразительному ее увеличению. Результат превзошел самые смелые его мечты! Он не успел опомниться, как уже стал догонять голубя. Бедная птица, испуганная исполинским ястребом, какого ей никогда не приходилось видеть, взмыла еще выше, как это всегда делают голуби, норовящие подняться выше врага.

Большими зигзагами взвился моноплан вверх, все выше и выше в синеву неба. Трудно было снизу следить за голубем, но молодой Уинн не спускал с него глаз. Он еще расширил крылья, чтобы подниматься быстрее. Выше и выше поднимались они, пока голубь, верный своему инстинкту, не упал на спину воображаемого ястреба. Удара о скользкую безжизненную поверхность машины было достаточно, чтобы голубь перестал подниматься вверх и взял первоначальное направление на восток.

Почтовый голубь, возвращаясь с поручением,

может развить необычайную скорость, и Уинну пришлось еще раз сузить крылья, и опять, к полному своему удовлетворению, он увидел, что догоняет голубя. Теперь он даже немного увеличил площадь крыльев и на время замедлил полет. Он видел, что инициатива в его руках, и затянул песенку, которая время от времени бессознательно срывалась с его уст. Он пел:

— Идет, идет, не говорил ли я? Идет!..

Но лететь было не так легко. В лучшем случае воздух — очень неустойчивая среда, и аэроплан внезапно скользнул под острым углом в воздушный поток, в некий воздушный Гольфстрим, вытекавший из устья Золотых Ворот. Правое крыло первым почувствовало его, — внезапный острый толчок едва не опрокинул моноплан. Но он спустился по «вольной кривой», быстро (но без лишней спешки) изменил наклон крыльев, опустил конец горизонтального руля и направил машину против ветра, переместив задний отвесный руль. Моноплан выровнялся; летчика подхватило невидимое воздушное течение, он выровнял кончики крыльев, еще больше уменьшил плоскость и понесся, догоняя голубя, порядочно обогнавшего его в те секунды, которые отняла у летчика борьба с воздушной стихией.

Голубь летел прямо к берегам графства Аламеды, и у самого берега Уинн пережил другое приключение: он попал в воздушную яму. Не раз случалось ему во время прежних полетов попадать в воздушные ямы, но такой глубокой, как эта, он еще не встречал! Он не спускал глаз с ленты, привязанной к голубю, и по развевающемуся цветному лоскуту отмечал глубину своего падения. Все ниже падал он, испытывая в желудке то самое ощущение, какое бывало у него, когда он еще мальчиком быстро спускался на лифте. Но Уинн, среди прочих тайн авиации, знал и то, что иногда для подъема полезно бывает спуститься. Воздух отказывался держать его! Вместо бесплодной и опасной борьбы с ним он решил подчиниться. Твердой рукой, с полным сознанием предпринимаемого шага, он надавил передний горизонтальный руль — слегка, ни на йоту больше, чем нужно, — и моноплан быстро, носом вниз стал падать в пустоту. Он врезывался в пространство, как острый клинок. С каждым мгновением скорость падения возрастала. Так летчик набирал момент силы, который мог спасти его. В несколько секунд, быстро ворочая рулями вперед и назад, он поднялся вверх и выскочил из ямы.

На высоте пятисот футов голубь направился через город Беркли к горам Контра-Коста. Поднимаясь за голубем, молодой Уинн рассмотрел дворы и постройки Калифорнийского университета — его университета!

На этих горах Контра-Коста его чуть не постигла новая беда. Голубь летел теперь низко, и в том месте, где густые эвкалипты преграждали дорогу ветру, птица вдруг затрепетала крыльями и взлетела вверх футов на сто. Уинн тотчас же догадался, в чем дело. Птица попала в восходящий воздушный поток, поднимавшийся вверх на сотни футов над тем местом, где в крепкую стену рощи ударял свежий западный ветер. Он быстро сузил до предела крылья, в то же время изменив угол полета, чтобы выдержать встречную волну. Несмотря на это, моноплан качало из стороны в сторону на протяжении почти трехсот футов, пока опасность не осталась позади.

Еще две линии холмов пересек голубь и опустился на расчищенный косогор, где стояла небольшая хижина. Уинну сама судьба послала эту поляну. На нее не только удобно было спуститься, но благодаря крутизне косогора и подняться с нее было легко.

Человек, читавший газету, поднялся при виде

подлетевшего голубя; вдруг он услышал жужжание пропеллера и увидел громадный моноплан с раздвинутыми крыльями, спускавшийся с неба. Моноплан внезапно остановился на воздушной подушке, образованной поворотом горизонтальных рулей, скользнул на несколько ярдов, пробежал по земле и остановился за пару шагов от него. Увидев молодого незнакомца, который, спокойно сидя в кабинке, направлял на него револьвер, человек бросился бежать. Но он не добежал до угла хижины: пуля, попав ему в ногу, заставила его шлепнуться наземь.

— Что вам нужно? — угрюмо спросил он, когда молодой человек подошел к нему.

— Хочу, чтобы вы прокатились на моей новой машине, — ответил Уинн. — Могу вас уверить, она лу-лу.

Хозяин не спорил — у странного гостя были убедительные приемы. По его указаниям, подкрепляемым все время револьвером, он сымпровизировал бинт и перевязал раненую ногу. Уинн помог ему сесть в машину, затем направился к голубятне и взял голубя с привязанной к ноге лентой.

Незнакомец оказался очень смирным пленником. Поднятый в воздух, он замер в ужасе.

Поклонник воздушного шантажа, он сам не был склонен к воздушному передвижению. Глядя на мелькавшие внизу леса и воды, он даже не пытался напасть на своего похитителя, теперь беззащитного, так как обе его руки были заняты.

Он только старался усесться как можно крепче.

Питер Уинн Старший, всматриваясь в небо через сильные стекла, увидел аэроплан, который быстро увеличивался в размерах, проносясь над горами острова Ангела. Спустя несколько минут он крикнул ожидавшим сыщикам, что на машине есть пассажир. Замедлив ход, моноплан плавно спустился на землю.

— Зарифляющее приспособление оказалось очень удачным! — воскликнул молодой Уинн, вылезая. — Вы видели, как я летел? Я почти что обогнал голубя! Идет, идет, отец! Что я говорил? Идет! Идет!

— Кто это с тобой? — поинтересовался отец.

Молодой человек оглянулся на пленника и вспомнил.

— А это любитель голубей! О нем, вероятно, позаботится полиция, — ответил он.

Питер Уинн молча пожал руку сына, лаская голубя, которого тот передал ему. И, продолжая

ласкать драгоценную птицу, он промолвил:

— Первый бы ей приз на народной выставке!

Горсти костяшек

На яхте «Сэмосет» шли последние приготовления к празднованию Рождества. Корабль не заглядывал в порты цивилизованных стран уже много месяцев, и кладовая не могла похвалиться обилием деликатесов. Минни Дункан удалось, однако, подготовить настоящий банкет для бака и кают-компании.

— Послушай, Бойд, — говорила она мужу. — Вот какое меню для кают-компании — сырая макрель в туземном стиле, черепаховый суп, омлет «*a la* Сэмосет»…

— Что за чушь! — прервал ее Бойд Дункан.

— Видишь ли, я откопала банки с грибами и пакет яичного порошка, которые завалились за ящик, и еще кое-что. Но ты не перебивай меня! Вареный ямс, жареный таро, груша-авокадо — ах, ты совсем запутал меня! А еще я нашла полфунта чудесной сушеной каракатицы. Подадим печеные бобы по-мексикански, если мне удастся вколотить в башку Тойямы рецепт их приготовления — печеную дыню-папайю с медом с Маркизских островов и наконец — дивный пирог, секрет которого Тойяма отказывается выдать.

— Хотел бы знать, можно ли состряпать пунш или коктейль из купленного на рынке рома, — мрачно пробурчал Дункан.

— Ах, я и забыла! Пойдем!

Жена схватила мужа за руку и повела его через дверцу в свою крохотную каютку. Не выпуская его руки, она порылась в недрах шляпной коробки и извлекла литровую бутылку шампанского.

— Обед хоть куда! — воскликнул он.

— Погоди!

Она опять порылась, и труды ее были вознаграждены бутылкой виски в серебряной обертке. Она подержала ее на свету иллюминатора, жидкости оказалось немного, всего четверть содержимого.

— Уж сколько недель я берегу ее! — объяснила она. — Тут хватит и для тебя, и для капитана Детмара.

— На пару ужасно маленьких глотков! — жалобно проговорил Дункан.

— Было больше, но я поила Лоренцо, когда он болел.

— Могла поить его ромом! — шутливо зарычал на жену Дункан.

— Этакую гадость? Больному-то? Не жадничай, Бойд! Я даже рада, что больше виски нет, — ра-

да за капитана Детмара. Во хмелю он всегда раздражается. Теперь слушай, какой обед для экипажа: крендельки на соде, сладкие пирожки, леденцы…

— Питательно, нечего сказать!

— Молчи! Рис с коринкой, ямс, таро, макрель; разумеется, огромный пирог, который испечет Тойяма, затем молодой поросенок…

— Это уж слишком! — запротестовал он.

— Что ты, Бойд! Через три дня мы будем в Ату-Ату. И ведь это же мой поросенок. Старый вождь — как, бишь, его! — определенно преподнес его мне! Ты сам был свидетелем! Кроме того, две банки консервированных устриц. Это их обед. Теперь насчет подарков. Будем ждать до завтра или раздадим нынче вечером?

— Как хочешь, полагается в сочельник. Созовем «все руки» наверх по восьмой склянке; я поднесу им всем по капле рому, а ты раздашь презенты… Пойдем на палубу. Тут душно! Надеюсь, Лоренцо теперь больше повезет у динамо; без вентиляторов спать в эту ночь не удастся, если придется лечь внизу!

Они прошли через небольшую кают-компанию, поднялись по крутому трапу и вышли на палубу. Солнце садилось, погода обещала ясную

тропическую ночь. «Сэмосет», слегка распустив паруса, лениво скользил — со скоростью четырех узлов — по ровной глади моря. Из люка машинного отделения доносились удары молотка. Они прошли на корму, где капитан Детмар, упершись ногой в перила борта, смазывал механизм патентованного лага. За штурвалом стоял рослый туземец островов Южного океана, облаченный в белую рубаху и алый запон[33].

Бойд Дункан был чудак — по крайней мере, так полагали его приятели. Обладая приличным состоянием и имея полную возможность жить припеваючи, он предпочел странствовать по белу свету самым некомфортабельным образом. Между прочим, у него были свои взгляды на образование коралловых рифов, сильно расходившиеся со взглядами Дарвина, и Бойд изложил их в нескольких монографиях и одном объемистом труде. Теперь он опять оседлал своего конька, шатаясь по Южным морям на крохотной яхточке в тридцать тонн водоизмещением и изучая коралловые формации.

Жену его, Минни Дункан, также считали оригиналкой, так как она радостно делила с ним его

---

[33] Примечания: 33
Запон — набедренная повязка.

бродяжничество. В числе прочего, она за шесть волнующих лет их брака поднималась с мужем на Чимборазо, прошла три тысячи миль в глухую зиму по Аляске на санях, запряженных собаками, проехала верхом на лошади из Канады в Мексику, избороздила Средиземное море на десятитонном ялике и проехала в челноке из Германии в Черное море через самое сердце Европы. Это была царственная пара бродяг: рослый, широкоплечий мужчина и миниатюрная брюнетка, счастливая женщина, стопятнадцатифунтовое тело которой было закалено и выносливо, и вдобавок — прекрасно.

В то время, когда Дункан купил ее в Сан-Франциско, «Сэмосет» была торговой шхуной. Он перестроил ее изнутри заново, так что трюм ее превратился в кают-компанию и пассажирские каюты, за мидшипом[34] к корме были поставлены двигатели, динамо-машина, изготовляющая лед машина, электрические аккумуляторы, а в самой корме — резервуары с бензином. Естественно, что экипаж ее был малочислен: Бойд, Минни и капитан — единственные белые на ее борту, хотя Лоренц, малорослый, засаленный машинист,

[34] Примечания: 34
Средняя часть палубы.

претендовал на принадлежность к белой расе, будучи наполовину португальцем. Поваром был японец, «боем» — лакеем при каютах — китаец. Первоначально экипаж бака составляли четверо белокожих, но они один за другим поддались чарам поросших пальмами островов Южного океана и были заменены туземцами этих островов. Один из этих чернокожих матросов был родом с острова Пасхи, второй — с Каролинских островов, третий — с Паумоту, четвертый же был исполинского роста самоанец. В море Бойд Дункан, сам будучи отменным моряком, выстаивал штурманские вахты с капитаном Детмаром, и оба время от времени брались за штурвал или лазили на мачту нести дозорную службу. В случае надобности и Минни сумела бы постоять у штурвала, и в таких экстренных случаях она оказывалась надежнее по части управления судном, чем матросы-туземцы.

По восьмой склянке «все руки» собрались у штурвала, показался Бойд Дункан с бутылкой и кружкой в руках. Ром он раздавал самолично — по полкружке на человека. Они глотали напиток с гримасами восторга на физиономиях, одобрительно причмокивая, хотя ром был грубый и едкий и жег слизистую оболочку. Пили все,

кроме Ли Гума, воздержанного каютного «боя». Выполнив этот обряд, матросы стали дожидаться другого — раздачи подарков. Эти стройные, с красивыми чертами полинезийцы, рослые и мускулистые, как дети, весело смеясь, радовались получаемым вещицам, и их черные глаза сверкали в свете фонарей, когда их большие тела мерно покачивались в такт качки корабля.

Выкликая каждого по имени, Минни раздавала подарки, сопровождая свои действия веселыми замечаниями, поднимающими настроение. Тут были дешевые часики, складные ножи, изумительные ассортименты рыболовных крючков в пакетиках, прессованный табак, спички и роскошные полотнища бумазеи для запонов — набедренных повязок. Взрывы смеха, которыми туземцы приветствовали малейшую шутку Бойда Дункана, показывали, что они любили хозяина.

Капитан Детмар, белый как мел, улыбавшийся только, когда хозяину случалось взглянуть на него, стоял прислонившись к штурвальному ящику и созерцал происходившее. Он дважды отделялся от этой группы и спускался вниз, оставаясь там каждый раз не больше минуты. Позднее, в кают-компании, когда Лоренцо, Ли Гум и Тойяма получили свои подарки, он опять два-

жды скрывался в свою каюту. Дремавший в душе капитана Детмара дьявол избрал почему-то как раз этот момент для своего пробуждения. Может быть, вина лежала и не целиком на нечистом, ибо капитан Детмар, прятавший кварту виски в течение многих недель, выбрал сочельник для того, чтобы начать ее.

Вечер только начался — как раз пробило две склянки, — когда Дункан с женой стали у трапа в кают-компанию, вглядываясь в ночную темень — туда, откуда дул ветер, и начали обсуждать вопрос о возможности стелить постели на палубе. Медленно формировавшееся на горизонте черное облачко таило в себе угрозу дождевого шквала, и об этом спорили супруги, когда капитан Детмар, приблизившийся с кормы и собиравшийся спуститься вниз, взглянул на них с внезапным подозрением. Он остановился, и лицо его исказилось судорогой. Он произнес:

— Вы говорите обо мне!

В хриплом голосе его слышалась дрожь возбуждения. Минни Дункан вздрогнула, взглянула на неподвижное лицо мужа, поняла намек и промолчала.

Детмар сжал кулаки.

— Повторяю, вы говорили обо мне! — опять

произнес он, теперь уже со злобным рычанием.

Детмар не пошатывался и ничем не выдавал своего опьянения, если не считать судорожных подергиваний лица.

— Минни, ты бы лучше сошла вниз, — тихо проговорил Дункан. — Скажи Ли Гуму, что мы ночуем внизу. Очень скоро налетит шквал и начнется ливень.

Жена, поняв, в чем дело, ушла, задержавшись лишь настолько, чтобы успеть окинуть тревожным взглядом туманные лица обоих мужчин.

Дункан попыхивал сигарой и выжидал до тех пор, пока голос его жены, заговорившей с «боем», не донесся к нему через открытый колпак над трапом.

— Ну? — негромко, но резко спросил Дункан.

— Я сказал, что вы говорили обо мне. Я повторяю это. О, я не ослеп! День за днем вижу я, что вы толкуете обо мне. Почему не прийти и не сказать мне прямо в лицо? Я знаю, что вам известно. И знаю, что вы решили уволить меня в Ату-Ату.

— Мне жаль, что вы из-за всего поднимаете шум, — спокойно ответил Дункан.

Но капитан Детмар был настроен на ссору.

— Вы-то знаете, что собираетесь рассчитать меня. Вы слишком деликатны, чтобы водиться с

подобными мне, — вы с вашей супругой!

— Будьте любезны не касаться этого, — предостерегающе заметил Дункан. — Чего вы хотите?

— Я хочу знать, что вы собираетесь предпринять.

— После всего этого — уволить вас в Ату-Ату.

— Вы это затеваете все время.

— Неправда! К этому меня вынуждает ваше теперешнее поведение.

— Вы не можете разговаривать со мной в таком духе!

— Я не могу держать капитана, называющего меня лжецом!

На мгновение капитан Детмар опешил. Лицо и губы его исказились судорогой, но он не смог вымолвить ни слова. Дункан спокойно курил свою сигару и глядел через корму на приближающееся грозовое облако.

— В Таити Ли Гум принес на борт почту, — начал капитан Детмар. — В то время мы поднимали якорь, отплывая в море. Вы даже не взглянули на письма, пока мы не вышли в открытое море, а потом уже было поздно. Вот почему вы не уволили меня в Таити. О, я знаю! Я заметил длинный конверт, когда Ли Гум перемахивал через борт. Он был от калифорнийского губерна-

тора, это было видно по штампу в углу конверта. Вы действовали за моей спиной. Какой-нибудь портовый бродяга в Гонолулу нашептал вам, а вы обратились к губернатору за справками. Вот какой ответ принес вам Ли Гум! Почему вы не пришли ко мне как мужчина? Но вы действовали исподтишка, зная, что это место — единственный мой шанс встать на ноги. И как только вы прочли письмо губернатора, вы в душе приняли решение избавиться от меня. Я читал это решение на вашем лице все эти месяцы. Я видел, что вы оба чертовски вежливы со мной — и в то же время прячетесь по углам и толкуете обо мне и об этой истории в Фриско.

— Вы закончили? — спросил Дункан напряженным, но негромким голосом. — Совсем закончили?

Капитан Детмар не ответил.

— Ну, так я вам скажу кое-что. Именно благодаря этой истории в Фриско я не уволил вас в Таити! Богу известно, что вы достаточно провоцировали меня к этому. Я считал, что если кто-либо нуждается в возможности реабилитировать себя — так это вы. Не будь на вас этого черного пятна, я уволил бы вас, узнав, как вы обкрадываете меня!

Капитан Детмар изобразил на лице изумление,

хотел было перебить Дункана, но раздумал.

— Например, дело с конопачением палубы, бронзовыми оковками для руля, переделка машины, новый грот, новые шлюпбалки, ремонт вельбота. Вы подтвердили неверный счет дока — на четыре тысячи сто двадцать два франка. По правильным ставкам он не мог быть ни сантимом выше двух тысяч пятисот франков…

— Если вы верите этим береговым акулам, а не мне… — начал хрипло Детмар.

— Не трудитесь отягощать ложь новой ложью, — холодно перебил его Дункан. — Я заставил привести Флобина к самому губернатору, и старый плут признался, что написал лишних тысячу шестьсот. Тысяча двести пошло вам, а ему достались четыреста и работа… Не прерывайте! У меня есть его письменное признание. Вот когда я оставил бы вас на берегу, если бы не нависшая над вами туча! Нужно было дать вам этот единственный шанс оправдаться — или провалиться в преисподнюю. Я дал вам этот шанс. Что вы можете сказать на это?

— Что сказал губернатор? — злобно спросил капитан Детмар.

— Какой губернатор?

— Калифорнийский. Солгал ли вам и он, как

все прочие?

— Я скажу вам, что он сообщил. Он сказал, что вы были осуждены на основании косвенных улик, почему и получили пожизненную тюрьму вместо веревки на шею; что вы всегда упорно настаивали на своей невиновности, что вы были уродом в семье мэрилэндских Детмаров; что они подняли все на ноги, чтобы исхлопотать вам помилование; что вы вели себя в тюрьме самым примерным образом; что он был прокурором-обвинителем, когда вас судили; что когда вы отбыли семь лет заключения, он внял мольбам вашей семьи и отпустил вас на свободу; и что лично он сомневается, что вы убили Максуина.

Наступила пауза; Дункан всматривался в надвигавшийся шквал; по лицу капитана Детмара пробегали страшные судороги.

— Что ж, губернатор ошибся! — объявил он с коротким смешком. — Я убил Максуина. В ту ночь я напоил сторожа. Я забил Максуина насмерть на его койке. Я действовал железным шкворнем, который фигурировал в качестве улики. Максуин даже не защищался. Я превратил его в студень. Хотите знать подробности?

Дункан посмотрел на него с любопытством, как смотрят на чудовище, но ничего не ответил.

— О, я не боюсь рассказать вам! — с бахвальством продолжал капитан Детмар. — Свидетелей нет. К тому же теперь я свободный человек! Я помилован, и они не могут опять посадить меня в эту яму. Я раздробил Максуину челюсть первым же ударом. Он спал, лежа на спине. Он проговорил: «Боже мой, Джим, Боже мой!» Забавно было смотреть, как у него болталась при этом разбитая челюсть. Потом я размозжил ему… я спрашиваю, хотите ли вы знать детали?

— Это все, что вы можете сказать? — спросил Дункан.

— Разве этого недостаточно? — возразил капитан Детмар.

— Достаточно!

— Что вы думаете сделать после этого?

— Спустить вас на берег в Ату-Ату.

— А до тех пор?

— До тех пор… — Дункан молчал. Поднявшийся ветерок заиграл его волосами. Звезд уже не видно было на небе, «Сэмосет» отклонился от своего курса на четыре пункта румба под нерадивой рукой рулевого. — До тех пор бросьте фалы на палубу и посматривайте за штурвалом! Я вызову людей.

Через мгновение налетел шквал. Капитан Детмар, спрыгнув на корму, поднял свернутые фалы

грота и швырнул их на палубу. Трое островитян выбежали из крохотного бака, двое побежали к фалам и подхватили их, а третий, захлопнув дверцу трапа в машинное отделение, закрыл вентиляторы.

Внизу Ли Гум и Тойяма спускали крышки фонарей и задраивали люки. Дункан потянул и задраил люк кают-компании и стоял, принимая на лицо град дождевых капель; «Сэмосет» бешено мчался вперед, валясь то направо, то налево под давлением порывов ветра.

Все ждали, что будет дальше. Но спускать паруса не пришлось. Ветер потерял силу, и тропический дождь потоком низвергнулся на корабль. Только теперь, когда опасность миновала и канаки начали снова наворачивать фалы, Бонд Дункан пошел вниз.

— Все благополучно! — весело крикнул он жене. — Только раз пыхнуло!

— А капитан Детмар? — спросила она.

— Напился — вот и все. Я сплавлю его в Ату-Ату.

Но прежде чем лечь на свою койку, Дункан опоясался под пижамой кожаным ремнем с пристегнутым к нему тяжелым браунингом.

Одаренный способностью целиком отдаваться

отдыху, он уснул почти мгновенно. Он работал всем организмом, как работают дикари; но как только необходимость исчезала, он ослабевал душой и телом. Так и теперь — он крепко спал, в то время как дождь продолжал заливать палубу, а яхта ныряла и переваливалась на коротких, но высоких волнах.

Проснулся он с чувством удушья и тяжести в голове. Вентиляторы перестали работать, воздух был тяжелый и спертый. Мысленно проклиная всех Лоренцо и аккумуляторные батареи, он слышал, как его жена повозилась в смежной каюте и вышла в кают-компанию.

«Должно быть, на палубу подышать свежим воздухом», — подумал он и решил, что не мешает последовать хорошему примеру. Нацепив туфли и взяв под мышку подушку и одеяло, он пошел вслед за ней. Когда он находился у самого выхода из трапа кают-компании, начали бить часы в каюте, и он остановился послушать. Пробило четыре склянки. Это значило — два часа ночи. Снаружи доносилось скрипение гафелей, трущихся о мачту. «Сэмосет» покачнулся и выпрямился на волне и в налетевшем легком бризе гулко заполоскался.

Дункан ставил ногу на мокрую палубу, когда

услышал, как крикнула жена. Это был испуганный, отчаянный крик, и за бортом послышался всплеск. Дункан побежал на корму. В бледном свете звезд ему удалось различить голову и плечи жены, исчезавшие за кормой в следе шхуны.

— Что случилось? — спросил капитан Детмар, стоявший у штурвала.

— Миссис Дункан, — ответил Дункан, срывая спасательный круг с крючка и бросая его за корму. — Держите к штирборту, ставьте к ветру! — скомандовал он.

И вслед за тем Бойд Дункан допустил оплошность: он прыгнул за борт.

Вынырнув, он завидел синий огонек на буйке, вспыхнувший автоматически, как только круг коснулся воды. Он поплыл к нему и увидел, что Минни первая добралась до него.

— Алло! — промолвил он. — Прохлаждаешься?

— О Бойд, — ее мокрая рука протянулась и коснулась его руки.

Синий огонек отчего-то погас. Когда их подняло на гладкий гребень волны, Дункан обернулся посмотреть в сторону «Сэмосета», маячившего во тьме смутным пятном. Огней не было видно, но слышался какой-то шум. Голос капитана Детмара покрывал все остальные крики.

— Должен сказать, что он не торопится, — проворчал Дункан. — Почему он не переносит паруса? Вот яхта и уходит.

До них донесся скрип блоков и рев, и хлопанье паруса.

— Это был грот, — бормотал Дункан. — Перенес налево, когда я приказал ему — вправо.

Опять их подняло волной и еще несколько раз, пока они разглядели зеленый огонек штирборта «Сэмосета». Но вместо того, чтобы оставаться на месте в знак того, что яхта движется к ним, огонек начал перемещаться поперек их поля зрения.

Дункан выругался.

— Что там делает этот тюлень? — спросил он себя. — Ведь у него есть компас. Он знает наше направление.

Но зеленый огонь — это было все, что они могли видеть, и то лишь с гребня волны, — неуклонно удалялся от них. Он направлялся к ветру и все больше тускнел. Дункан громко и часто кричал, и каждый раз в минуты тишины они различала слабый голос капитана Детмара, выкрикивавшего приказы.

— Как он может расслышать меня в этаком гаме! — пожаловался Дункан.

— Он нарочно делает так, чтобы экипаж не

услышал твоего голоса… — промолвила Минни.

В спокойном голосе ее слышалась нотка, мгновенно заставившая ее мужа насторожиться.

— Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что он и не пытается подобрать нас, — ответила она тем же невозмутимым тоном. — Он бросил меня за борт!

— Ты не ошибаешься?

— Как можно! Я стояла у снастей грота и всматривалась в темноту, не собирается ли снова дождь. Должно быть, он оставил штурвал и подкрался ко мне сзади. Одной рукой я держалась за поручни. Он оторвал мою руку и бросил меня за борт. Беда в том, что ты этого не знал — иначе ты бы остался на борту!

Дункан простонал, затем несколько минут безмолвствовал. Зеленый огонек переменил направление.

— Яхта повернула, — доложил он. — Ты права.

Он умышленно объезжает нас кругом и держит к ветру. Против ветра они ни за что не расслышат меня. Но все же попробуем!

Он долго кричал, делая минутные интервалы. Зеленый огонек исчез, сменившись красным, — это значило, что яхта опять повернула.

— Минни, — проговорил он наконец, — мне

больно признаться, но ты вышла замуж за олуха. Только такой олух мог прыгнуть за борт.

— Какие у нас шансы быть подобранными… каким-нибудь судном, хочу я сказать? — спросила она.

— Один на десять тысяч, или на десять тысяч миллионов. Эту часть океана не пересекают ни пароходные линии, ни линии купеческих парусников. Китоловные суда тоже не заглядывают в Южные моря. Разве какая-нибудь заблудшая торговая шхуна из Тутуванга. Но случайно мне стало известно, что этот остров посещается раз в год. Наши шансы — один на миллион…

— А мы поборемся и за такой шанс! — стойко возразила она.

— Да ты — одна радость! — он поднес ее руку к своим губам. — А тетя Элизабет все удивлялась — что я такого нашел в тебе! Понятно, мы будем бороться и за этот шанс. И выиграем обязательно! Немыслимо, чтобы вышло иначе. Идет?

Он отстегнул от пояса тяжелый браунинг и пустил его на дно. Пояс, однако, он оставил на себе.

— А теперь заберись в круг и поспи. Поднырни снизу!

Она нырнула и выплыла в середине пробкового спасательного круга. Он пристегнул ее ремнями,

потом пристегнул и себя к буйку снаружи — за плечо, при помощи ремешка от револьвера.

— Мы устроены на весь завтрашний день, — проговорил он. — Слава Богу, что вода теплая! Первые двадцать четыре часа во всяком случае не будет трудно; а если нас не подберут до вечера, придется повисеть на круге еще денек, вот и все!

В течение получаса они хранили молчание. Дункан, положив голову на руку, пристегнутую к кругу, казалось, спал.

— Бойд! — тихо произнесла Минни.

— Я думал, ты спишь, — буркнул он.

— Бойд, если мы не вывернемся…

— Заткни глотку! — невежливо посоветовал он. — Разумеется, мы вывернемся! В этом нет ни малейшего сомнения! Где-нибудь в этом океане существует корабль, идущий прямо на нас. Вот подожди — и увидишь! Жаль, конечно, что мой мозг не оборудован коротковолновой радиостанцией. А теперь я буду спать, если ты не хочешь!

Но сон не шел к нему. Час спустя он услышал, что Минни пошевеливается внутри круга, и понял, что она не спит.

— Знаешь, о чем я думала? — спросила она.

— Нет, а о чем?

— Что я еще не поздравила тебя с Рождеством.

— Батюшки, и я об этом забыл! Да, наступило Рождество. Нам еще не раз придется праздновать его! А знаешь, о чем я думал? Какая подлость, что нас лишили нашего рождественского обеда. Подожди, пока я наложу руки на Детмара! Я ему покажу! И уж ни шкворнем, ни еще чем-нибудь. Просто двумя горстями голых костяшек — только всего!

Несмотря на шутливое настроение, Бойд Дункан в душе питал мало надежды. Он хорошо понимал, что значит шанс — один на миллион, и спокойно сознавал, что они с женой доживают последние часы своей жизни, — часы, неизбежно связанные с трагическими, страшными мучениями.

Тропическое солнце взошло на безоблачном небе. На горизонте ни пятнышка. «Сэмосет» скрылся за краем горизонта. Когда солнце поднялось выше, Дункан разодрал пополам нижнюю часть своей пижамы и смастерил два грубых тюрбана. Намоченные в морской воде, они защищали голову от палящих лучей.

— Когда я начинаю думать об этом обеде, я прихожу в настоящую ярость, — проговорил он, заметив, что на лице жены появляется выражение тревоги. — Я хочу, чтобы ты присутствовала

при моей расправе с Детмаром! Я всегда протестовал против присутствия женщин при кровавых сценах, но это — другое дело. Это будет лупка! Надеюсь, мне не придется совсем разбить о него свои кулаки, — добавил он помолчав.

Полдень прошел, а они все плавали в центре необъятной окружности горизонта. Легкое дыхание замирающего пассата обвевало их, и они монотонно поднимались и опускались на легкой зыби совершенно гладкого летнего моря. Раз только их завидела морская птица, с полчаса описывавшая над ними величественные круги. В другой раз огромный скат, имевший несколько футов между концами плавников, проплыл в нескольких ярдах от них.

На закате солнца Минни начала бредить, тихо лепеча, как ребенок. Дункан бледнел, наблюдая и слушая ее, и напряженно думал, как сократить наступающие часы агонии. С такими мыслями, поднявшись случайно на очень высокой волне, он обвел глазами горизонт и увидел нечто, заставившее его громко вскрикнуть.

— Минни! — Она не ответила, и ему пришлось несколько раз покричать ей в ухо самым громким голосом, на который он еще был способен. Она раскрыла глаза — наполовину в сознании,

наполовину в бреду. Он хлопал ее по кистям и ладоням, пока боль не привела ее в чувство.

— Вот он — шанс из миллиона! — вскричал он. — Целый пароход — и идет прямо на нас. Клянусь богами, это крейсер! Он самый — «Аннаполис», возвращающийся с астрономами из Тутуванги!

* * *

Консул Соединенных Штатов Лингфорд был суетливый пожилой джентльмен; за два года его службы в Ату-Ату никогда ему не приходилось иметь дело с казусом, подобным тому, о котором рассказал ему Бойд Дункан. Этот последний вместе со своей женой высадился здесь с «Аннаполиса», немедленно отбывшего со своим грузом астрономов на Фиджи.

— Это хладнокровное, обдуманное покушение на убийство, — говорил консул Лингфорд. — Правосудие пойдет своим чередом. Не знаю, как, собственно, следует поступить с этим капитаном Детмаром, но если он явится в Ату-Ату, — поверьте, с ним поступят… кхм… гм… с ним поступят! Пока что я освежу в своей памяти законы. А вам с вашей милой супругой не угодно ли будет отзавтракать у меня?

Покуда Дункан выражал свое согласие, Минни, глядевшая на гавань из окна, вдруг высунулась вперед и тронула мужа за рукав. Обернувшись, он увидел «Сэмосет» с приспущенным до половины мачты флагом, поворачивавшийся и бросавший якорь меньше чем в сотне ярдов расстояния.

— А вот и мой корабль! — объявил Дункан консулу. — Вот спущена шлюпка, и в нее садится капитан Детмар. Если я не ошибаюсь, он едет докладывать вам о нашей гибели.

Шлюпка пристала к белому взморью; капитан Детмар, оставив Лоренцо возиться с двигателем, зашагал по берегу и направился по дорожке, ведущей в консульство.

— Пусть делает свой доклад! — промолвил Дункан. — Мы выйдем в соседнюю комнату и послушаем.

И через полуприкрытую дверь супруги слушали капитана Детмара, который со слезами в голосе описывал исчезновение своих хозяев.

— Я перенес парус и пошел назад по тому же самому месту, — закончил он. — Ни следа! Я кричал, кричал, но не получил ответа. Два добрых часа колесил я по этому месту, потом лег в дрейф до утра и весь день напролет ездил взад и вперед, держа двух дозорных наверху мачты. Ужасно!

Душа разрывается! Мистер Дункан был чудесный человек, и я никогда больше…

Но он не закончил фразы, ибо в это мгновение его чудесный хозяин двинулся прямо на него, оставив Минни на пороге дверей. Бледное лицо капитана Детмара побелело еще больше.

— Я сделал все, что мог, чтоб подобрать вас, сэр, — начал он.

Бойд Дункан облек свой ответ в термины горстей костяшек — двух горстей, обрушившихся справа и слева на физиономию капитана Детмара. Капитан Детмар отшатнулся, овладел собой и кинулся, размахивая руками, на своего хозяина, но успел в одном — получить удар прямо между глаз. На этот раз капитан Детмар рухнул на пол, увлекши в своем падении пишущую машинку.

— Это не дозволено! — засуетился консул Лингфорд. — Прошу вас, прошу вас, перестаньте!

— Я заплачу за убытки, причиненные конторской мебели, — отвечал Дункан, одновременно отпечатывая горсти костяшек на носу и на глазах Детмара.

Консул Лингфорд прыгал в этой сумятице, как мокрая курица; конторская мебель его шла прахом. Раз ему удалось схватить Дункана за руку, но он в ту же минуту отлетел, задыхаясь, на полдли-

ны комнаты в сторону. В другой раз он обратился с мольбой к Минни:

— Миссис Дункан, прошу вас, пожалуйста, укротите вашего супруга!

Но бледная, дрожавшая Минни решительно мотнула головой и жадно наблюдала схватку.

— Да это безобразие! — кричал консул Лингфорд, метаясь между сталкивающимися телами бойцов. — Это оскорбление правительству, правительству Соединенных Штатов! Предупреждаю вас, это не пройдет даром! О, прошу вас, перестаньте, мистер Дункан! Вы убьете этого человека. Я прошу вас! Прошу вас, прошу…

С грохотом упавшая ваза с алыми цветами гибиска заставила его оцепенеть в безмолвии.

К этому времени капитан Детмар не мог уже подняться на ноги. Он приподнялся на руках и коленях, попытался встать совсем, но смяк окончательно. Дункан потрогал стонущую развалину ногой.

— Он готов! — объявил он. — Я только вернул ему то, чем он угощал многих матросов, да еще почище этого!

— Великий Боже, сэр! — вскричал консул Лингфорд, с ужасом глядя на человека, которого он пригласил на завтрак. Дункан невольно усмех-

нулся, но взял себя в руки.

— Я прошу извинения, мистер Лингфорд! Боюсь, что я дал себя немножко увлечь своим чувствам…

Консул Лингфорд задыхался и молча ловил воздух руками.

— Немножко, сэр? Немножко? — выдавил он наконец из себя.

— Бойд! — тихонько окликнула Минни из дверей.

Он обернулся.

— Ты — ты моя радость! — проговорила она.

— А теперь, мистер Лингфорд, мое дело с ним кончено, — сказал Дункан. — Что осталось — вручаю вам и закону.

— Это? — с ужасом в голосе спросил консул Лингфорд.

— Это самое! — ответил Бойд Дункан, с сожалением осматривая свои побитые костяшки.

Война

1

Это был молодой человек, не старше двадцати четырех-двадцати пяти лет; он сидел бы на своем коне с беззаботной грацией юности, если бы не эта нервная настороженность и напряжение. Его черные глаза бегали по сторонам, ловя каждое движение ветвей и сучьев, по которым прыгали мелкие пташки; он тщательно осматривал изменчивые перспективы деревьев и кустов, то и дело возвращаясь к низкой, густой заросли по сторонам дороги. Он чутко прислушивался, хотя кругом была полная тишь, если не считать отдаленного буханья пушек, доносившегося откуда-то с запада. Он слышал его уже не первый час, и только прекращение этого звука пробудило бы в нем тревогу. Теперь же он занят был более важным делом. Через луку его седла был перекинут карабин.

Нервы его были так напряжены, что внезапно вспорхнувший под самым носом коня выводок куропаток страшно испугал седока и он машинально натянул поводья и вскинул карабин к

плечу. Впрочем, тотчас же опомнившись, он конфузливо улыбнулся и поехал дальше. Он до того весь ушел в предстоящее ему дело, что не отирал пота, едко щипавшего глаза, катившегося беспрепятственно по носу и капавшего на седло. Даже лента его кавалерийской шляпы промокла от пота. Гнедая лошадь под ним тоже была вся в поту. Стоял полдень жаркого безветренного дня. Даже птицы и белки не решались показаться на солнце и прятались в тенистых местах под защиту деревьев.

И человек, и лошадь были покрыты листьями и желтой пыльцой цветов; на открытое место они выезжали лишь в случае крайней необходимости. Они пробирались сквозь кусты и деревья; и если приходилось пересечь поляну или высохший участок горного пастбища, всадник немедленно останавливался и хорошенько осматривался. Он подвигался к северу, хотя и очень извилистой дорогой, и, как видно, с севера грозила ему опасность, навстречу которой он направлялся. Он не был трусом, но, обладая мужеством обыкновенного цивилизованного человека, искал не смерти, а жизни.

Поднимаясь по узкой пастушьей тропе на невысокий бугор, он попал в такую густую чащу

кустов, что ему пришлось спешиться и повести лошадь под уздцы. Но когда тропинка повернула на запад, он сошел с нее и снова направился к северу по вершине поросшего дубняком горного хребта. Этот горный хребет кончался крутым спуском, настолько крутым, что всаднику пришлось спускаться зигзагами, скользя и спотыкаясь, среди мертвой листвы и спутанных лоз и не отрывая взгляда от лошади, которая ежеминутно могла свалиться на него. Пот катился с его лица, едкая цветочная пыльца, наполнявшая его рот и ноздри, усиливала жажду. Как ни старался он, спуск все-таки не был бесшумным, и он часто останавливался, задыхаясь в сухом зное и прислушиваясь к малейшему шуму снизу.

Внизу он очутился на равнине, так густо заросшей лесом, что он не мог определить ее размеров. Характер леса здесь был иной, и он мог сесть на лошадь. Вместо искривленных горных дубов здесь из жирной сырой земли поднимались высокие, прямые деревья с толстыми стволами. Там и сям попадались чащи, которые легко было объезжать, как и встречавшиеся поляны — былые пастбища скота до войны. Теперь, находясь в долине, он двигался быстрее — и через полчаса остановился у старого забора на краю лужайки.

Открытый характер местности не понравился ему, но надо было пересечь ее, чтобы добраться до рощи у реки. По открытому месту ехать пришлось бы всего с четверть мили, но самая мысль об этом была неприятна. Один карабин, два десятка, тысяча карабинов могли таиться в этой чаще у реки!

Дважды пытался он выехать — и оба раза останавливался. Его пугало собственное одиночество. Пульс войны, бившийся на западе, означал тысячи сражающихся: здесь же была тишина, да одинокий всадник, да еще, пожалуй, смертоносные пули, таящиеся в засаде. Но ведь он должен был выполнить задание — найти то, чего боялся искать! Он должен ехать все дальше и дальше, пока где-нибудь, когда-нибудь не встретит другого человека или нескольких людей из неприятельского лагеря, посланных, как и он, на разведку, чтобы сообщить, как и он, о соприкосновении с неприятелем…

Он передумал, вернулся в лес и вскоре опять выглянул. Теперь он разглядел в середине поляны небольшую ферму. В ней не было признаков жизни. Дым не вился из трубы, не было слышно гама домашней птицы. Кухонная дверь была настежь раскрыта, и он так долго, не отрываясь,

смотрел в зияющую раму, что казалось, будто сейчас должна выйти жена фермера.

Он слизнул цветочную пыльцу и дорожную пыль с сухих губ и, закоченев телом и душой, выехал на солнечный припек. Нигде никакого движения! Он проехал мимо дома и приблизился к чаще высоких деревьев на берегу реки. Одна неотвязная мысль сводила его с ума — мысль о пуле, молниеносно пронизывающей тело. Эта мысль делала его каким-то слабым и беззащитным, и он все ниже склонялся к своем седлу.

Привязав лошадь у опушки леса, он пешком прошел расстояние футов в сто и приблизился к реке, шириной не более двадцати футов. Течения не было заметно; прохладная вода манила измученного жаждой путника. Но он ждал, спрятавшись за стеной деревьев и не отрывая глаз от чащи на противоположном берегу. Чтобы не так трудно было ждать, он сел, положив карабин на колени. Минута проходила за минутой, понемногу его напряжение слабело. Наконец он решил, что никакой опасности нет; но только он собрался раздвинуть кусты и наклониться к воде, как движение в кустах на противоположном берегу заставило его насторожиться. Это могла быть и птица. Но он ждал. Опять кусты задвигались,

и вдруг — так внезапно, что он чуть не вскрикнул, — кусты раздвинулись, и из них выглянуло лицо! Не бритое несколько недель, обросшее бородой имбирного цвета. Голубые широко расставленные глаза были окружены морщинками смеха, странно противоречившими усталому и тревожному выражению всего лица.

Все это он видел отчетливо, как под микроскопом, — ведь расстояние между ними было не больше двадцати футов. И разглядел он все это в то краткое мгновение, в которое поднимал карабин на плечо. Он смотрел на мушку и знал, что видит перед собой человека, обреченного на смерть. Невозможно было не попасть в такую близкую цель!

Но он не выстрелил. Тихо опустил карабин и решил подождать. Высунулась рука, крепко сжимавшая бутылку, и имбирная борода наклонилась к воде. Он мог даже расслышать бульканье воды в бутылке. Затем рука, бутылка и имбирная борода исчезли в сомкнувшихся кустах. Он долго ждал; наконец, все-таки не решившись напиться, пополз к своему коню, медленно выехал на залитую солнцем поляну и скрылся в чаще леса.

2

Другой день — жаркий и безветренный. Покинутая ферма, большая, со множеством построек и фруктовым садом, стоит на поляне. Из леса, на гнедой лошади, с карабином через седло выехал молодой человек с быстрыми черными глазами. Подъехав к дому, он вздохнул с облегчением. Всюду виднелись следы недавнего сражения. На земле валялись пустые гильзы от патронов, успевшие покрыться зеленью; еще сырая земля была изрыта лошадиными копытами. За огородом были свежие могилы с пронумерованными дощечками. Возле кухонной двери на дубе висели тела двух мужчин в грязных лохмотьях. Сморщенные, обезображенные лица потеряли человеческий облик. Лошадь захрапела при виде покойников, и всадник, гладя и лаская коня, привязал его подальше от дуба.

Войдя в дом, он увидел картину разгрома. Переходя из комнаты в комнату и наступая на пустые патроны, он не забывал выглядывать из окон. Очевидно, здесь был привал, и люди спали повсюду, а на полу одной комнаты остались пятна, ясно показывавшие, что здесь лежали раненые.

Выйдя из дома, он повел лошадь вокруг сарая и

вошел в сад. С дюжину деревьев были покрыты спелыми яблоками. Он наполнил ими карманы, на ходу набивая рот. Вдруг его осенила какая-то мысль, и он, глядя на солнце, стал соображать, успеет ли он вернуться в лагерь. Он сдернул с себя рубашку и, завязав рукава, сделал нечто вроде мешка, который и начал набивать яблоками.

Он собирался уже сесть на коня, как вдруг конь насторожил уши. Человек тоже прислушался — и услышал топот копыт по сырой земле. Он отполз за угол сарая и стал выглядывать. Дюжина всадников, врассыпную приближаясь с противоположной стороны поляны, была не более чем в ста шагах от него. Они подъезжали к дому. Некоторые сошли с лошадей, другие остались, словно собираясь скоро ехать дальше. По-видимому, они держали совет — до него доносился их возбужденный разговор на ненавистном языке иноземных завоевателей. Время шло, а они, видно, все не могли сговориться. Он вложил карабин в чехол, сел на лошадь и нетерпеливо ждал, покачивая мешок с яблоками на седле.

Вдруг он услышал приближавшиеся шаги и с такой силой вонзил в бока лошади шпоры, что гнедой, застонав, бросился вперед. На углу сарая он увидел юношу девятнадцати-двадцати лет в

мундире, быстро отскочившего, чтобы не попасть под лошадь. В то же мгновение гнедой бросился в сторону, и всадник разглядел группу встревоженных людей возле дома. Несколько человек соскочили с коней и взяли карабины на плечо. Он проехал мимо кухонной двери и покойников, раскачивавшихся в тени, и тем вынудил своих врагов обогнуть дом с фасада. Раздался выстрел, другой, но он быстро помчался, низко склонясь к седлу, одной рукой держа рубашку с яблоками, а другой — поводья.

Ограда была не менее четырех футов вышины, но всадник знал своего гнедого — и на всем скаку перемахнул через ограду под аккомпанемент нескольких разрозненных выстрелов. Лес был в восьмистах ярдах, и гнедой широкими скачками приближался к нему. Теперь все стреляли, с такой быстротой выпуская заряды, что он перестал различать отдельные выстрелы. Пуля пробила его шляпу, но он не заметил этого, а заметил другую пулю, попавшую в мешок с яблоками. Он нахмурился и еще ниже нагнулся, когда третья пуля ударилась в камень между ногами его лошади и, отлетев рикошетом в воздух, засвистела и зажужжала, как какое-нибудь небывалое насекомое.

Выстрелы затихали по мере того, как иссякали

обоймы, и наконец совсем прекратились. Молодой человек ликовал: он остался невредим после такого обстрела. Он оглянулся. Верно, они выпустили все заряды. Он увидел, как одни заряжали карабины, другие побежали к дому за лошадьми, а двое уже верхом показались из-за угла, быстро погоняя лошадей. И в то же самое время он увидел человека с имбирной бородой, стоявшего на коленях в траве; он поднял карабин и спокойно начал целиться.

Молодой человек всадил шпоры в коня, еще ниже пригнулся и бросился в сторону, чтобы сбить с направления целившегося. И все еще не было выстрела! С каждым скачком коня лес приближался. Оставалось каких-нибудь две сотни ярдов, а тот все медлил с выстрелом.

Но вот он услышал его — последнее, что он услышал в жизни, ибо он умер прежде, чем его тело с шумом сползло с седла на землю. И те, кто наблюдал у дома, видели, как он упал, — видели, как его тело подпрыгнуло, ударившись оземь, видели, как посыпались из мешка и покатились во все стороны краснощекие яблоки. Они расхохотались неожиданному извержению яблок и наградили аплодисментами человека с имбирной бородой за меткий выстрел.

Под палубным тентом

— Может ли мужчина — джентльмен, я хочу сказать — назвать женщину свиньей?

Бросив этот вопрос целой группе попутчиков, маленький человечек с вызывающим видом откинулся назад в палубном кресле и потянул лимонад из стакана. Никто не ответил. Все привыкли к этому человечку и его гневным вспышкам.

— Повторяю, в моем присутствии он назвал одну даму, имени которой вы не знаете, свиньей! Он даже не сказал «свинство», он просто сказал: свинья! А я уверяю, что ни один мужчина, считающий себя джентльменом, не может выразиться так ни о какой женщине!

Доктор Доусон невозмутимо попыхивал своей черной трубкой; Метьюз, подняв колени и обхватив их руками, сосредоточенно следил за полетом морской птицы. Суит, допив виски с содовой, искал глазами стюарда.

— Я спрашиваю вас, мистер Трелор, может ли мужчина назвать женщину свиньей?

Трелор, случайно сидевший возле маленького человечка, вздрогнул от неожиданного обраще-

ния и удивился, на каком основании тот считает, что он способен назвать женщину свиньей.

— Я бы сказал, — нерешительно проговорил он, — что это… ммм… зависит… ммм… от женщины.

Человечек остолбенел.

— Вы говорите?.. — пролепетал он.

— Я говорю, что видел особ женского пола столь же отвратительных, как свинья, и даже хуже…

Наступило продолжительное, тягостное молчание. Маленький человечек словно увял от грубовато-резкого ответа. На его лице были написаны невыразимая боль и огорчение.

— Вы говорили о мужчине, который сделал не очень лестное замечание, и охарактеризовали его, — продолжал Трелор холодным ровным тоном. — А теперь я расскажу вам о женщине, — простите — о леди, и когда я кончу, будьте добры охарактеризовать ее! Я буду называть ее мисс Кэрьюферз, главным образом потому, что это не настоящее ее имя. Дело происходило на пароходе Восточной компании несколько лет тому назад.

Мисс Кэрьюферз была очаровательна. Нет, не то! Она была изумительна! Это была молодая женщина из высшего общества. Отец ее занимал видный пост. Его фамилия, если бы я назвал ее,

оказалась бы всем вам известной. В то время она жила с матерью и двумя горничными и ехала к отцу, который путешествовал где-то на Востоке.

Она, простите за повторение, была изумительна! Это единственное подходящее слово. Даже самые незначительные прилагательные к ней должны применяться в превосходной степени. Все, что она ни делала, выходило у нее лучше, чем у всякой другой женщины и большинства мужчин. Петь, играть? Ба! Как сказал некто, соперничество бежало от нее! Плавать? Она могла бы сделать себе состояние и имя на публичных гонках! Она была из тех редких женщин, которые могут снять с себя все, и в купальном костюме казаться еще прекраснее. Одеваться? В этом она была художница!

И какой же она была пловец! Физически она была совершенна — вы понимаете, что я имею в виду: не грубой мускульной силой акробата, но тонкостью линий, хрупкостью своего сложения и форм. И с этим соединялась сила. Да, плавала она прекрасно. Скажите, ведома ли вам красота женской руки у предплечья, где округлый бицепс нежно переходит через крохотный локоть в твердую припухлость у кисти маленькой, невероятно маленькой ручки, круглой и сильной? Такова

была ее рука. И смотреть, как она плавала быстрыми английскими саженками, было…

Да, я разбираюсь в анатомии и атлетике — и все же для меня было загадкой, как это ей давалось!

Она могла оставаться под водой целых две минуты. Я следил по часам. Никто на борту, кроме Деннитсона, не мог достать со дна в один раз столько монет, сколько она. В передней части верхней палубы был устроен большой полотняный бассейн шести футов глубиной. Мы забавлялись, бросая в него мелкие монеты. Я видел, как она ныряла с палубного мостика — немало ловкости требовалось уже для этого! — в шестифутовую глубину и подбирала зараз не меньше сорока семи монет, разбросанных по всему дну бассейна. Деннитсон, спокойный молодой англичанин, не мог превзойти ее, всегда стараясь хотя бы идти с ней наравне.

Поистине это была дочь моря, но не менее искусна была она и в спорте на суше и на воде — словом, это была… универсальная женщина. Видя ее, нежную, в легком платье, окруженную полудюжиной пылких молодых людей, с которыми она обращалась небрежно и томно, порой осыпая и пронизывая их стрелами своего остроумия и веселья, вы бы подумали, что она ни на

что другое не способна. В такие минуты я заставлял себя вспомнить, как она, ныряя, доставала сорок семь монет со дна бассейна. Но такова уж была она — извечное чудо женственности!

Она очаровала положительно всех мужчин, окружавших ее. Даже меня — я не стыжусь признаться в этом — привязала к себе вместе с другими. Молодые щенки и старые седые псы, которым полагалось бы быть рассудительнее — о, все увивались за ней, пресмыкались у ее ног, визжали и виляли хвостом, как только она, бывало, свистнет. Все в этом были грешны: и молодой Ардмор, розовый херувим лет девятнадцати, который ехал служить по консульской части, и старик-капитан Бентли, поседевший на море и бесстрастный на вид, как китайский идол. Был тут и средних лет славный малый Перкинс, который, кажется, забывал, что с ним на пароходе жена, пока мисс Кэрьюферз не отвадила его, указав ему его настоящее место.

В ее руках люди были, как воск. Она расплавляла их, отливала в формы или испепеляла — по минутному капризу. Не было ни одного стюарда, даже из самых степенных и суровых, который — только прикажи она — задумался бы запустить тарелкой супа в своего капитана. Вы все знаете

таких женщин — они служат магнитом для всех мужчин. Как покорительница сердец она была совершенно неотразима. Это был меч, жало, пламень, искра электричества! Но, знаете ли, иногда на эту красавицу нападало такое дикое своенравие, что обаяние красоты пропадало, и ее жертву охватывал самый идиотский страх…

И, заметьте, она была страшно горда, как вы увидите из дальнейшего. Гордость породы, сословия, гордость пола и власти — у нее была эта гордость, странная, властная, страшная.

Она забрала в руки весь пароход, направляла его курс, командовала всеми — и больше всего Деннитсоном. Что он всех опередил в этой гонке — было ясно всем нам, даже самым недогадливым. Он ей нравился, в этом не было сомнения, и чувство ее к нему все росло. Я уверен, что она посматривала на него благосклоннее, чем когда-либо на какого бы то ни было мужчину. Мы же боготворили ее и постоянно околачивались поблизости, ожидая, когда она свистнет, хотя отлично знали, что Деннитсон в этом отношении даст нам много очков вперед. Чем бы это все кончилось, мы не знаем, но мы приехали в Коломбо, а там случилось нечто совсем неожиданное.

Вы знаете Коломбо и, наверное, видели, как

туземные мальчики ныряют там за монетами на дно бухты, кишащей акулами. Понятно, они осмеливаются на это только тогда, когда в бухту заходят так называемые рыбные акулы. У этих мальчишек почти сверхъестественное чутье, которым они узнают настоящих акул, заблаговременно угадывая приближение акулы-людоеда — тигровой акулы, например, или серой няньки, приплывающей из австралийских вод. Как только появится такая акула, все пострелята, спасая жизни, в диком страхе выскакивают из воды прежде, чем пассажиры сообразят, что же произошло.

Дело происходило после второго завтрака. У мисс Кэрьюферз был обычный прием под палубным тентом. Старого капитана Бентли позвали наверх, и он разрешил ей то, чего ни раньше, ни после никому не разрешал — созвать на палубу портовых мальчишек. Как вы уже знаете, мисс Кэрьюферз была хорошим пловцом; она заинтересовалась этими маленькими пловцами. Забрав у нас всю мелочь, она бросала ее за борт то по одной монете, то пригоршнями, объявляла условия состязания, журила малоискусных, выдавала особые награды наиболее ловким — словом, заправляла всем этим представлением.

Ее особенно восхищали их прыжки. Вы знаете, как трудно, прыгнув с высоты ногами вперед, сохранить вертикальное положение тела в воздухе. Центр тяжести у человека расположен высоко, и тело при прыжке стремится перевернуться. Но эти маленькие бездельники изобрели прием, который, по словам мисс Кэрьюферз, был ей неизвестен, и ей хотелось научиться ему. Прыгнув со шлюпбалок[35] спасательной лодки, они бросались вниз, наклонив голову и плечи и глядя в воду. И только в последний момент они быстро выпрямляли корпус и вертикально врезывались в воду.

Красивая была картина! Не все ныряли одинаково хорошо, но один выделялся в нырянии, как и во всем прочем. Какой-нибудь белый, вероятно, учил его, потому что он нырял «ласточкой» и так красиво проделывал это! Вы знаете, что, ныряя вниз головой с большой высоты, нужно врезаться в воду под правильным углом. Ошибитесь — и вы получите вывих позвоночника и останетесь калекой на всю жизнь. Для малоопытных же это — верная смерть. Но этот мальчик умел нырять: он делал прыжок в семьдесят футов, считая от

[35] Примечания: 35

Шлюпбалки — деревянные или железные брусья по бортам судна, служащие для подъема и спуска гребных судов.

такелажа; прижав к груди руки, откинув назад голову, он летел, как птица, распластав тело в воздухе; и если бы в таком положении ударился в воду, его разрезало бы пополам, как селедку. Но перед тем как коснуться воды, он наклонял голову вперед, вытягивал руки, округляя их дугой впереди головы, и, грациозно изогнув тело, врезывался в воду по правилам.

Мальчик проделывал это не один раз к общему нашему восторгу; но больше всех восторгалась мисс Кэрьюферз. Мальчишка был не старше двенадцати-тринадцати лет, а он был ловчее всех в своей компании. Он был любимцем своей компании и ее главой. В ней были мальчишки и постарше его, но они признавали его главенство. Это был красивый мальчик, стройный, как молодой Бог, как одушевленная бронза, с широко расставленными глазами, умный и смелый, — яркая прекрасная искра, блестка жизни! Он вызывал в вашем воображении какое-нибудь стройное животное — коня, леопарда, неукротимое, горячее, неугомонное, с гладкими мускулами и грациозными движениями. Жизнь била ключом в этом мальчике. Кожа его пылала жизнью, жизнь горела в его глазах. Мне кажется, я даже слышал, как она поскрипывает в нем! Так

он был свеж, так необузданно дик, так искрился жизнью, что глядеть на него — дух захватывало, как от свежего ветра. Вот каков был этот мальчик! И он первый поднял тревогу в самый разгар состязания. Мальчишки поплыли, беспорядочно смешавшись, к пароходным мосткам, широко забирая руками, брызгая и барахтаясь, и физиономии их были искажены страхом; толкаясь, но поддерживая друг друга, они повыскакивали из воды и, выстроившись в ряд на мостках, стали глядеть в воду.

— Что случилось? — спросила мисс Кэрьюферз.

— Акула, я думаю, — отвечал капитан Бентли. — Повезло же этим попрошайкам, что ни один из них не попался!

— Разве они боятся акул? — спросила она.

— А вы? — ответил он вопросом.

Она вздрогнула, посмотрела через перила в воду и сделала гримасу отвращения.

— Ни за что на свете не пошла бы я в воду, зная, что там акула! — произнесла она, снова вздрогнув. — Они отвратительны! Отвратительны!

Мальчишки пробрались на верхнюю палубу и с обожанием смотрели на мисс Кэрьюферз, которая так щедро бросала им целые пригоршни монет. Представление кончилось, и капитан

Бентли приказал им убираться восвояси. Но мисс Кэрьюферз остановила его.

— Одну минуту, капитан, пожалуйста! Я всегда была убеждена, что туземцы не боятся акул.

Она поманила к себе мальчика, нырявшего «ласточкой», и знаком предложила ему нырнуть. Тот покачал головой и со всей своей компанией, толпившейся сзади, засмеялся, словно услышал веселую шутку.

— Акула, — проговорил он, указывая на воду.

— Нет, — возразила она, — там нет акулы.

Но он уверенно мотнул головой, и стоявшие сзади мальчишки закивали с такой же решительностью.

— Нет! Нет! Нет! — восклицала она. И обратилась к нам: — Кто ссудит мне полкроны и соверен?

Тотчас же полдюжины рук потянулись к ней с полукронами и соверенами, и она взяла две монеты у молодого Ардмора.

Она подняла полукрону вверх и показала мальчишкам. Но никто из них не ринулся к борту, чтобы броситься в воду. Они стояли, глупо улыбаясь. Она предлагала монету каждому в отдельности, и каждый, когда подходила его очередь, только почесывал ногой икру другой ноги,

качал головой и улыбался. Тогда она бросила монету за борт. Пристально, с сожалением на лице следили они за серебристым полетом монеты в воздухе, но ни один не кинулся ей вслед.

— Не делайте этого с совереном, — тихо сказал ей Деннитсон.

Она пропустила это мимо ушей и поднесла монету к глазам мальчика, нырявшего «ласточкой».

— Перестаньте! — обратился к ней капитан Бентли. — Я не бросил бы и больной кошки за борт, зная, что там акула!

Но она смеялась, настаивая на своем, и продолжала соблазнять мальчика монетой.

— Не искушайте его, — настаивал Деннитсон. — Для него это целое состояние, и он может кинуться в воду.

— А вы не кинулись бы? — и она обожгла его взглядом. — Если бы я бросила? — тише добавила она.

Деннитсон покачал головой.

— Высоко вы себя цените, — проговорила она. — За сколько же соверенов вы бросились бы в воду?

— Еще столько не начеканено, чтобы мне прыгнуть за борт, — был ответ.

Она размышляла с минуту, забыв мальчика в препирательстве с Деннитсоном.

— Для меня? — повторила она с большой нежностью в голосе.

— Для спасения вашей жизни — да; но ни для чего больше!

Она повернулась к мальчику. Опять поднесла она монету к его глазам, искушая ее большой ценностью. Потом она сделала вид, что бросает монету, — и он непроизвольно двинулся к перилам, но громкие укоризненные крики товарищей остановили его. В их голосе звучало негодование.

— Я знаю, что это только шутка, — обратился к ней Деннитсон. — Продолжайте шутить сколько угодно, но, ради неба, не бросайте монеты!

Овладел ли ею бес непостижимого своеволия, или же она сомневалась в возможности переубедить мальчика, — кто может сказать? Произошло нечто для всех неожиданное. Из тени тента вылетела монета, блеснула в солнечных лучах и полетела в море сверкающей дугой. Прежде чем кто-нибудь мог удержать его, мальчик перемахнул через борт и описал изящную дугу вслед за монетой. Оба мелькали в воздухе одновременно. Зрелище получилось красивое. Соверен резко

рассек воду — и в том же самом месте, почти в тот же миг мальчик с легким всплеском тоже врезался в воду.

Быстроглазые черные мальчишки испустили дикий вопль. Мы все бросились к борту. Не пытайтесь уверить меня, что акула, прежде чем напасть, должна перевернуться на спину. Эта не перевернулась! В прозрачной воде с высоты, на которой мы находились, нам все было хорошо видно. Акула — громадное животное, и она сразу перекусила мальчика пополам.

Среди нас начался ропот — кто начал, не знаю: может быть, и я. Затем наступило молчание. Первая заговорила мисс Кэрьюферз. Ее лицо было мертвенно бледно.

— Я… не могла и представить себе… — произнесла она, засмеявшись коротким истерическим смехом.

Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы овладеть собой. Она с трудом перевела взгляд на Деннитсона, затем поочередно на всех нас. В глазах ее была написана страшная мука, и губы дрожали. Мы были скоты — о, я понимаю это теперь, оглядываясь назад! Но мы не тронулись с места.

— Мистер Деннитсон, — проговорила она. —

Том, не проводите ли вы меня вниз?

Он не переменил даже направления своего взгляда — самого мрачного, какой я когда-либо видел на человеческом лице, и даже ресницей не шевельнул. Он вынул папиросу из портсигара и закурил. У капитана Бентли заколотило в горле, и он сплюнул за борт. И это было все; потом — молчание.

Она повернулась и твердо зашагала по палубе. Но, пройдя футов двадцать, она зашаталась и рукой ухватилась за стену, чтобы не упасть. Так она шла, держась за стенки каюты и очень медленно подвигаясь вперед…

Трелор смолк. Он повернул голову и почтил маленького человечка холодным вопросительным взглядом.

— Ну-с, каково ваше мнение о ней? — произнес он наконец.

Маленький человечек поперхнулся.

— Мне нечего сказать вам, — проговорил он, — положительно нечего!

Убить человека

Несмотря на то, что фонари тускло горели, она свободно двигалась по большим комнатам и громадным залам, безуспешно разыскивая недочитанную книгу стихов, которую положила не на место и только теперь вспомнила куда. Зажженный в гостиной свет озарил молодую женщину в легком неглиже из бледно-розовой ткани, с шеей и плечами, покрытыми кружевами. На руках ее красовались кольца, а на голове — массивный желтый шиньон, который она еще не успела снять. Это была грациозная и изящная женщина, с нежным овальным лицом, алыми губами, с легким румянцем на щеках и с голубыми глазами, изменчивыми, как хамелеон: они могли по желанию широко раскрываться с выражением девической невинности, становиться жесткими, серыми и блестяще-холодными или зажигаться своенравно и властно.

Она погасила свет и прошла через зал в другую комнату. У входа она остановилась и прислушалась. Издали послышался не шум, а как бы легкое движение. Она могла бы поклясться, что ничего не слышала, и все-таки что-то было. Ноч-

ной покой был нарушен. «Кто бы это из слуг мог бродить по дому?» — недоумевала она. Понятно, не дворецкий, который всегда ложился рано, исключая экстренные случаи. Это не могла быть и ее горничная, которой она разрешила уйти на весь вечер.

Проходя в столовую, она нашла дверь закрытой. Почему она отворила ее и вошла, она сама не знала — разве по безотчетному чувству, что здесь таится причина, нарушившая ночной покой. В комнате было темно, она ощупью добралась до выключателя и повернула его. Когда вспыхнул яркий свет, она отпрянула назад и вскрикнула. Это был, впрочем, не крик, а лишь негромкое:

— Ох!

Перед ней, возле выключателя, у самой стены, стоял человек. В его руке был направленный на нее револьвер. Несмотря на испуг, она заметила, что револьвер черный, с необыкновенно длинным дулом. Она узнала систему Кольта. Человек был среднего роста, дурно одетый, с темными глазами, смуглый от загара. По-видимому, он вполне владел собой. Револьвер в его руке не дрожал и был направлен ей прямо в живот, но не от вытянутой руки, а от бедра, в который упирался локоть.

— Ох! — проговорила она. — Прошу прощения. Вы испугали меня! Что вам нужно?

— Думаю, что мне нужно выйти отсюда, — ответил он, комически поджав губы. — Я вроде как заблудился в этой келье, и если вы будете так добры и покажете мне выход, я не причиню вам никакого беспокойства и, право, уйду.

— Но что вы тут делаете? — спросила она, и голос ее стал резким, как у человека, привыкшего повелевать.

— Просто пришел ограбить вас, мисс, больше ничего. Я искал, чего бы тут пощипать. Я думал, что вас нет дома, ведь вы садились в машину с вашим стариком. Стало быть, это был ваш «па», а вы мисс Сетлиф?

Миссис Сетлиф заметила его ошибку, одобрила его наивный комплимент, но решила не разуверять его.

— Откуда вы знаете, что я мисс Сетлиф? — спросила она.

— Разве это не дом старого Сетлифа?

Она кивнула.

— Я не знал, что у него есть дочь: полагаю, это вы? Так вот, если это вам не в тягость, покажите мне выход, за что я буду вам очень благодарен!

— Но зачем мне делать это? Ведь вы вор, гра-

битель!

— Если бы мне это дело не было внове, я бы сорвал кольца с ваших пальцев вместо того, чтобы деликатничать с вами, — возразил он. — Я пришел пощипать старого Сетлифа, а вовсе не грабить женщин. Если вы отойдете в сторону, я и сам сумею отыскать выход!

Миссис Сетлиф была умная женщина и сразу поняла, что такого человека нечего опасаться. Что он не заправский злодей, в этом она была уверена. По его говору она поняла, что он не городской житель, и на нее даже как будто пахнуло свежим воздухом степных просторов.

— А если я крикну? — с любопытством спросила она. — Если позову на помощь? Неужели вы решитесь стрелять в меня? В женщину?..

Она уловила минутную растерянность в его глазах. И он ответил медленно и раздумчиво, как бы решая сложную задачу:

— Думаю, что в таком случае мне пришлось бы придушить вас и порядком изувечить.

— Женщину?

— Уверен, что пришлось бы так сделать, — повторил он, и она увидела, как мрачно сжались его губы. — Вы-то, положим, слабая женщина, но видите ли, мисс, я не могу позволить себе сесть

в тюрьму. Нет, мисс, никак не могу! У меня товарищ на Западе, он ждет меня. Он сидит в яме, и я должен вызволить его. — Он еще мрачнее сжал губы. — Мне кажется, я мог бы задушить вас, не сделав вам вот настолечко больно!

В ее глазах появилось выражение младенческого недоверия.

— Я до сих пор никогда не видела грабителей, — объясняла она, — и не могу вам передать, как это интересно!

— Я не грабитель, мисс. Не настоящий, значит, — торопливо добавил он, заметив ее недоверчивую усмешку. — Оно похоже на то, раз я нахожусь у вас в доме. Но это я в первый раз взялся за такую работу. Мне нужны деньги — до зарезу! Кроме того, я вроде как собираю то, что мне причитается.

— Не понимаю, — улыбнулась она поощрительно. — Вы пришли сюда грабить, а грабить — значит брать то, что не ваше.

— И да и нет в настоящем случае. Но я думаю, мне лучше уйти!

Он направился к дверям столовой, но она преградила ему путь — и какая же это была очаровательная преграда! Он протянул было левую руку, чтобы схватить ее, но остановился в

нерешительности. Было очевидно, что на него подействовало нежное очарование женственности.

— Видите? — воскликнула она торжествующе. — Я знала, что вы не тронете меня!

Человек пришел в замешательство.

— Я никогда не обижал женщин, — объяснил он, — это не так легко. Но если вы закричите, я непременно уйму вас!

— Не побудете ли вы со мной несколько минут, потолкуем, что ли? — уговаривала она. — Это так занятно! Вы бы мне объяснили, почему красть — значит собирать то, что причитается вам!

Он с восхищением посмотрел на нее.

— Я всегда думал, что женщины боятся воров, — признался он. — Но вы как будто не из таких!

Она весело рассмеялась.

— Вор вору рознь, как вы знаете. Я не боюсь вас, потому что уверена — вы не из тех людей, которые могут обидеть женщину. Право, поговорите со мной немножко! Нам никто не помешает, я одна дома. Мой… мой отец уехал с ночным поездом в Нью-Йорк, слуги все спят. Мне хочется накормить вас — ведь женщины всегда готовят полуночный ужин для пойманных воров — так по крайней мере они поступают в рассказах, которые печатаются в журналах. Но я не знаю,

где искать еду. Может, вы хотите чего-нибудь выпить?

Видимо, колеблясь, он не ответил, но она видела по его глазам, как растет его восхищение ею.

— Не боитесь ли вы? — спрашивала она. — Я не отравлю вас, даю слово. Я сама выпью с вами, чтобы вы были спокойны.

— Вы славная девчонка! — воскликнул он, впервые опуская руку с оружием. — Никто меня теперь не убедит в том, что городские женщины — трусихи. Вы ведь что? Мягкая пушинка, не больше. А в вас есть-таки смелость! И вы доверчивы к тому же. Немного найдется женщин и даже мужчин, которые так бы встретили вооруженного человека, как вы меня!

На этот комплимент она ответила приятной улыбкой и продолжала самым серьезным тоном:

— Это потому, что вы мне понравились. С виду вы слишком порядочный человек, чтобы грабить. Вы не должны этим заниматься. Если вам не повезло, беритесь за работу. Полно, бросьте этот противный револьвер и давайте потолкуем. Главное, что вам нужно, — это работа!

— Только не в этом городишке, — с горечью ответил он. — Я на два дюйма стер себе ноги, ища работы. Честное слово, я был не последний

человек… До того, как начал искать работу.

Веселый смех, которым она встретила это заявление, явно польстил ему; она это заметила и решила использовать благоприятный момент. Она смело двинулась от двери к буфету.

— Послушайте, вы должны мне все рассказать, пока я найду для вас ужин. Чего вам? Виски?

— Да, мэ-эм, — ответил он, идя за нею, но продолжая в то же время прижимать рукой огромный револьвер и подозрительно оглядываться на оставленную настежь дверь.

Она налила ему стакан у буфета.

— Я обещала выпить с вами, — нерешительно проговорила она. — Но я не люблю виски. Я… я предпочитаю херес.

Она нерешительно подняла бутылку хереса, как бы спрашивая его согласия.

— Понятно, — кивнул он в ответ. — Виски — напиток для мужчин. Я не люблю, когда женщины пьют виски; вино им больше подходит.

Она потянулась стаканом к его стакану, взглянув на него с теплым участием.

— За хорошую работу!

Она остановилась, увидя на его лице гримасу отвращения. Он отдернул стакан, едва прикоснувшись к нему губами.

— В чем дело? — с тревогой спросила она. — Вам это не нравится? Я, может быть, ошиблась?

— Что за чудной виски. Словно его жгли и обкуривали при выделке…

— О! Я сглупила! Я дала вам шотландский! Разумеется, вы не привыкли к ржаному. Дайте, я переменю! — И она чуть не с материнской заботливостью достала другой стакан, нашла и откупорила нужную бутылку.

— Этот лучше? — спросила она.

— Да, сударыня. Не отдает дымом. Это правильный, хороший напиток! У меня капли во рту не было целую неделю. Да, виски гладкий, маслянистый, этакий, видать, не на химической фабрике сделан!

— Вы много пьете?

Это был полувопрос, полувызов.

— Нет, мэ-эм, не так чтобы очень. Оно, правда, случалось хватить, только не часто. Но порой бывает, что добрая рюмка приходится в самую точку, и вот сейчас как раз такой случай. Ну-с, мэ-эм, благодарим за доброту и угощение, мне самое время двинуть!

Но миссис Сетлиф не хотелось расстаться со «своим грабителем». В жизни этой слишком рассудочной женщины не хватало романтики,

в настоящей же ситуации было что-то острое, захватывающее, необычное. Кроме того, она видела, что опасности нет. Человек, несмотря на свою тяжелую челюсть и мрачный взгляд темных глаз, был чрезвычайно покладист. И где-то в глубине ее сознания шевелилась мысль о восторженной аудитории приятелей. Было бы просто глупо упустить такой случай блеснуть!

— Вы мне еще не объяснили, почему быть грабителем теперь — значит просто отобрать то, что вам причитается, — проговорила она. — Присядьте вот сюда, за стол, и расскажите мне об этом!

Она придвинула стул для себя и усадила его напротив. Он не ослабил своей бдительности — это она видела, — и глаза его быстро блуждали вокруг, неизменно возвращаясь к ней все с тем же невольным восхищением, но не задерживаясь надолго. Она видела также, что, разговаривая с ней, он чутко прислушивался ко всем другим звукам. Не оставлял он без внимания и свой револьвер, который лежал на углу стола между ними, рукояткой к его правой руке.

Ведь он находился в новом, незнакомом ему месте. Этот сын Запада, хорошо знавший лесное дело и полевые работы, всегда с зорким глазом и чутким ухом, настороженный и подозрительный,

не знал, что под столом, у самой ее ноги, находится кнопка электрического звонка. Он никогда не слыхал и не мог даже вообразить существования такой штучки, и вся его осторожность и чуткость здесь оказались бессильными.

— Дело в том, мисс, — начал он в ответ на ее настойчивую просьбу, — что старый Сетлиф однажды объегорил меня в одном дельце. Штука была грязная, но сошла. Все получается правильно, по закону, когда за плечами имеешь несколько сот миллионов! Но я не стану хныкать и обижаться на вашего «па». Он ведь не знает меня и, верно, даже не подозревает, что объегорил меня! Он чересчур крупный делец, думает и действует миллионами и, наверное, даже не слышал о такой мелкой сошке, как я! Ведь он воротила! У него целая армия разных экспертов, которая думает за него, создает и разрабатывает планы, и я слышал — некоторые из них получают больше жалованья, чем президент Соединенных Штатов. Я — один из тысячи, разоренных вашим «па», — и только!

У меня, мэм, была яма в земле, шахта то есть, совсем махонькая, об одной лошаденке, с водяной турбинкой. Когда «Сетлиф и Ко» разорили Айдахо, реорганизовали литейный трест и, захва-

тив всю землю, завели большие гидравлические установки у Туин Пайнс, я прогорел дотла, даже собственных денег не выручил. И меня вычеркнули из списка еще до первых торгов. И вот в эту ночь, зная, что я нужен моему другу и не имея ни гроша, я решил заглянуть сюда и пообчистить немного вашего «па». Находясь в такой нужде, я считал, что мне оно вроде как следует!

— Предположим, что все это так, — ответила миссис Сетлиф, — все-таки грабительство остается грабительством, и это не послужило бы вам оправданием на суде.

— Я это знаю, — смиренно согласился он. — То, что правильно, не всегда законно! Оттого-то я не совсем спокойно сижу здесь и растабарываю с вами. Не то что мне не по душе ваша компания — мне с вами очень приятно, но только я никак не могу допустить, чтобы меня поймали! Я знаю, как со мной поступят в этом городе. Только на прошлой неделе одного молодца осудили на пять лет тюрьмы за то лишь, что он остановил на улице человека и отнял у него два доллара и восемьдесят пять центов! Я читал об этом в газете. Когда времена плохие и работы нет, люди становятся отчаянными. А люди, у которых есть что пограбить, тоже приходят в отчаяние и вы-

мещают зло на ком попало. Попадись я теперь, я получил бы никак не меньше десяти лет отсидки! Вот почему мне охота уйти поскорей…

— Нет, подождите. — Она подняла руку, словно желая удержать его, и одновременно сняла ногу с кнопки, которую нажимала почти непрерывно. — Вы мне еще не сказали своего имени.

Он заколебался.

— Зовите меня Дэйвом.

— Итак, Дэйв… — и она засмеялась, мило сконфузившись. — Нужно что-нибудь сделать для вас! Вы еще молоды, только-только вступили на дурной путь. Если вы начнете самовольно собирать то, что вам причитается, по-вашему, вы кончите тем, что станете брать и то, что вам заведомо не причитается! И вы знаете, какой будет конец. Вместо этого мы поищем для вас какой-нибудь честный труд.

— Мне нужны деньги, и сию минуту, — угрюмо ответил он. — Они нужны мне не для себя, а для друга, как я уже говорил вам. Он в большой беде, и его нужно вызволить теперь или никогда.

— Я могу найти вам место, — быстро проговорила она, — и… вот еще что! Я ссужу вас деньгами, которые вам нужно отослать вашему другу. Вы мне вернете их из вашего жалованья…

— Долларов триста будет довольно, — медленно выговорил он. — Триста долларов вполне устроят его. Я готов натирать себе мозоли целый год только за содержание и за несколько центов на табак…

— Ах, вы курите! Я и не подумала об этом…

Она протянула руку над револьвером к его руке и указала на предательские желтые следы на его пальцах. В то же время она измерила глазами расстояние от револьвера до его руки и до своей собственной. Ей так хотелось схватить оружие одним быстрым движением. Она была уверена, что это легко, — и все же колебалась. В конце концов она сдержалась и отдернула руку.

— Вам хочется курить? — спросила она.

— Смерть хочется!

— Что ж, курите, пожалуйста! Мне это не мешает, я даже люблю это — папиросы, конечно.

Левой рукой он полез в задний карман, вытащил оттуда листок мятой папиросной бумаги и положил его в свою правую руку возле револьвера. Он вторично порылся в кармане и к бумаге прибавил щепотку бурого скомканного табаку. Положив обе руки на револьвер, он стал сворачивать папиросу.

— По тому, как вы не спускаете глаз с этого

противного оружия, можно подумать, что вы боитесь меня! — задорно произнесла она.

— Я, собственно, не боюсь вас, мэм, но в данных обстоятельствах как-то боязно…

— Я же не побоялась вас!

— Вам нечего было терять.

— Мою жизнь, — возразила она.

— Вы правы! — тотчас же согласился он. — И вы не испугались меня! Может, я чересчур осторожен…

— Я бы не сделала вам зла, — и тут же она нащупала туфлей кнопку звонка и нажала ее. В это самое время в глазах ее светилось искреннее и серьезное выражение. — Я вижу, вы разбираетесь в людях. И в женщинах. И если я попытаюсь удержать вас от преступной жизни и найти вам честную работу… а?

Он был смущен.

— Прошу прощения, мэм, — проговорил он. — Полагаю, мое волнение мало похвально.

Сказав это, он снял свою правую руку со стола, закурил папиросу и опустил руку вниз.

— Спасибо за доверие! — произнесла она тихо и мягко, решительно отводя глаза от револьвера и крепче нажимая кнопку звонка.

— Насчет этих трехсот долларов, — начал он, —

я могу отправить их на Запад по телеграфу нынче же. И согласен отрабатывать их целый год только за содержание…

— Вы заработаете больше. Я могу обещать вам семьдесят пять долларов в месяц. Вы умеете ухаживать за лошадьми?

Он просиял, и глаза его засверкали.

— Так вот, поступайте на службу ко мне или, вернее, к моему отцу, хотя обычно я нанимаю всех служащих. Мне нужен второй кучер…

— И носить ливрею? — резко прервал он ее, и презрение свободного сына Запада прозвучало в его голосе и выразилось в гримасе.

Она снисходительно улыбнулась.

— Стало быть, не подойдет. Дайте подумать. Да, вот что! Умеете ли вы обуздывать и объезжать жеребцов?

Он утвердительно кивнул.

— У нас племенной завод, и всегда есть место для такого человека, как вы. Вы согласны?

— Согласен ли я, мэм? — и в голосе его послышалась горячая признательность. — Скажите, где это! Я поеду хоть завтра! И одно я вам обещаю, мэм; вы никогда не пожалеете, что протянули в беде руку Хьюги Люку!..

— Мне помнится, вы назвали себя Дэйвом? —

снисходительно упрекнула она.

— Да, мэм, так я назвал себя, — верно; прошу прощения — я соврал! Мое настоящее имя — Хьюги Люк. Дайте мне адрес вашего конного завода и на билет — и я завтра же утром отправлюсь туда!

В течение разговора она не прекращала попыток дозвониться. Она нажимала кнопку всячески: три коротких звонка и один продолжительный, два и один и пять подряд. Она дала целый ряд коротких звонков, а однажды держала ногу на кнопке целых три минуты. И то мысленно корила глупого заспавшегося дворецкого, то начинала сомневаться в исправности ли звонок.

— Я так рада, — продолжала она, — что вы согласились. Особенных хлопот у вас не будет. Но прежде вам придется позволить мне сходить наверх за кошельком. — Она заметила недоверие, мгновенно вспыхнувшее в его глазах, и поспешно прибавила: — Поймите, ведь я доверяю вам триста долларов?

— Я верю вам, мэм, — галантно ответил он. — Хотя никак не могу совладать со своими нервами…

— Итак, я могу пойти за ними?

Он еще не успел выразить своего согласия, как

до нее донесся отдаленный глухой скрип. Она узнала скрип двери из каморки дворецкого. Но звук был очень слаб — скорее намек на звук, и она не услыхала бы его, если бы не прислушивалась так напряженно все время. Человек тоже услышал его. Он вздрогнул и сразу насторожился.

— Что это такое?

В ответ она левой рукой стремительно потянула револьвер к себе. Она знала, что он испугается, и ей это было нужно; в следующую же минуту он протянул руку к пустому месту, где должен был лежать револьвер.

— Сядьте! — резко приказала она новым для него голосом. — Не шевелитесь! Руки на стол!

Она использовала урок, который он ей дал. Вместо того, чтобы держать тяжелое оружие в вытянутой руке, она положила револьвер на стол рукояткой и направила дуло не в его голову, а в грудь. А он, спокойно повинуясь ее приказаниям, хорошо понимал, что надеяться на отдачу оружия и в результате на промах не приходится. Видел он также, что револьвер неподвижен, и рука у нее не дрожит, и хорошо представлял себе дыры, пробиваемые пулями с мягким кончиком. Он следил не за ней, а за курком, который приподнялся от нажатия ее указательного пальца на собачку.

— Полагаю, вас нужно предупредить, что тут чертовски тонкий механизм. Не надавливайте слишком сильно, не то во мне будет дыра величиной с грецкий орех…

Она немного ослабила спуск.

— Этак лучше, — сказал он. — А самое лучшее — опустите дуло совсем. Вы видите, как легко действует спуск. Если вам понадобится, так от легкого нажатия курок поднимется и упадет и расплещет хорошую кашу на вашем чистеньком полу!

Дверь позади открылась, и кто-то вошел в комнату. Но он не повернул головы. Он смотрел на нее и видел перед собой другое лицо — жесткое, холодное, безжалостное, но все же ослепительно прекрасное. Глаза ее тоже стали жесткие и горели холодным огнем.

— Томас! — приказала она. — Пойдите к телефону и вызовите полицию! Почему вы так долго не приходили?

— Я пришел сейчас же, как услышал звонок, сударыня, — был ответ.

Грабитель не сводил с нее своих глаз, и она смотрела на него в упор, но она заметила, что при упоминании о звонке в его глазах выразилось недоумение.

— Прошу прощения, — говорил в это время дворецкий за его спиной, — не лучше ли будет поднять слуг?

— Нет, позвоните в полицию! Я задержу этого человека. Идите да живее!

Дворецкий выскользнул из комнаты, и мужчина с женщиной остались одни, не сводя друг с друга глаз. Для нее это было новое переживание, полное острого наслаждения; она уже представляла себе разговоры друзей, видела заметку в еженедельной хронике о «прекрасной молодой миссис Сетлиф, задержавшей вооруженного грабителя». Сенсация будет большая, в этом она была уверена.

— Когда вам вынесут приговор, о котором вы говорили, — холодно начала она, — у вас будет время подумать о том, как глупо было с вашей стороны брать чужое имущество и угрожать женщине револьвером. У вас хватит досуга запомнить урок! А теперь скажите мне правду. У вас нет никакого друга в беде? Все, что вы мне рассказывали, — ложь?

Он не отвечал. Хотя глаза его не отрывались от нее, они казались пустыми. И действительно, на мгновение женщину как бы задернуло пеленой, а он увидел перед собой обширные

сожженные солнцем степи Запада, где мужчины и женщины были лучше гнилых горожан, какие ему встречались в трижды прогнивших городах американского Востока.

— Говорите же! Почему вы молчите? Почему не продолжаете лгать? Почему не просите отпустить вас?

— Я попросил бы, — ответил он, облизывая свои сухие губы, — попросил бы отпустить меня, если бы…

— Если бы что? — решительно спросила она, когда он запнулся.

— Я все думаю о словечке, о котором вы мне напомнили. Да, я попросил бы вас, если бы вы были порядочная женщина.

Краска сбежала с ее лица.

— Будьте осторожнее! — предупредила она.

— Вы не посмеете убить меня! — с презрением произнес он. — Свет — довольно паршивое место, если по нему шатаются люди вроде вас; но, я думаю, все-таки он не так плох, чтобы позволить вам пробить во мне дырку. Вы очень злы, но штука в том, что вы слабы в самой этой злобности. Не так уж трудно убить человека, но у вас не хватит духу. Вот где вы прогадали!

— Выражайтесь осторожнее! — повторила

она. — Не то, предупреждаю вас, вам плохо придется. Можно сделать ваш приговор и суровым и легким!

— И что это с Богом случилось, — продолжал он как будто не к месту, — что он оставляет вас на свободе? Понять не могу, зачем он шутит такие шутки с бедным человечеством. Уж если бы я был Богом…

Он не окончил, остановленный приходом дворецкого.

— Телефон неисправен, сударыня, — доложил он. — Провода перерезаны или другая причина, — но я не могу дозвониться на центральную.

— Идите, позовите кого-нибудь из слуг! — приказала она. — Пошлите его за полицией и приходите сюда.

Снова вдвоем.

— Не будете ли добры, мэм, ответить мне на один вопрос? — произнес вор. — Слуга говорил что-то о звонке. Я следил за вами, как кошка, и не видел, чтобы вы звонили.

— Звонок под столом, несчастный дурак! Я нажимала звонок ногой.

— Благодарю вас, сударыня! Мне и раньше казалось, что я уже встречал людей вроде вас, а теперь я уверен в этом. Я открыл перед вами свою

душу, доверился вам и был откровенен, а вы все время подло лгали мне!

Она ехидно засмеялась.

— Продолжайте! Говорите, что вам хочется. Это очень занятно!

— Вы делали мне глазки, притворяясь нежной и доброй, все ссылаясь на то, что на вас юбка, а не штаны, и в то же время не снимали ноги с кнопки под столом. Что же, и в этом есть утешение! Лучше быть бедным Хьюги Люком, отбывающим свои десять лет, чем быть на вашем месте. Сударыня, преисподняя полна таких женщин, как вы!

В наступившем молчании мужчина не спускал глаз с женщины, видимо, на что-то решаясь.

— Продолжайте! — настаивала она. — Скажите еще что-нибудь!

— Не беспокойтесь, мэм, я скажу «еще что-нибудь». Наверняка скажу! Знаете вы, что я сделаю? Я просто встану с этого стула и выйду через эту дверь. Я отнял бы у вас револьвер, но вы можете сдуру спустить курок. Лучше оставьте его себе — это хороший револьвер. Повторяю, я пойду прямо через эту дверь! И вы не посмеете спустить курок. Чтобы застрелить человека, нужно духу побольше, а у вас — душонка! Ну, приготовьтесь, посмотрим, можете ли вы спустить курок. Я не

причиню вам вреда. Я выйду через эту вот дверь. Я начинаю!

Не спуская с нее глаз, он отодвинул стол, стул и не спеша встал. Курок поднялся наполовину. Она наблюдала за ним, он — за ней.

— Нажимайте крепче, — советовал он, — курок еще и наполовину не взведен. Ну, продолжайте, спустите его — и убейте человека! Разбрызгайте его мозги по полу или пробейте в нем дыру величиной с ваш кулак. Вот что значит убить человека!

Курок толчками, но тихо поднимался. Человек повернулся и медленно пошел к двери. Она повернула револьвер, направив дуло в его спину. Дважды поднимала она до половины курок и нерешительно опускала.

Перед самой дверью человек на мгновение обернулся. Презрительная гримаса скривила его губы. И тихим голосом, почти шепотом он произнес непередаваемо гнусное ругательство, в которое вложил все свое презрение к ней.

Мексиканец

1

Никто не знал его прошлого — и члены Хунты[36] меньше всего. Он был их «маленькой тайной», их «великим патриотом» и по-своему так же ревностно трудился для грядущей мексиканской революции, как они сами. Они поздно поняли это, ибо никто из членов Хунты не любил его. В тот день, когда он в первый раз заглянул в их людные шумные комнаты, все они заподозрили в нем шпиона — одно из продажных орудий тайной полиции Диаса[37]. Слишком уж много товарищей сидело в гражданских и военных тюрьмах, рассеянных по территории Соединенных Штатов. Некоторых, закованных в кандалы, даже перевели через границу, чтобы поставить к стенке и расстрелять.

---

[36] Примечания: 36

Хунта — в Испании — комиссия, созванная для решения каких-либо важных государственных дел. В Мексике — тайная революционная организация.

[37] Примечания: 37

Порфирио Диас, избранный впервые президентом Мексики в 1877 г., в 1884 г. добился изменения конституции и постепенно превращал Мексиканскую Республику в монархию.

Наружность мальчика не производила благоприятного впечатления. Это именно был мальчик — не больше восемнадцати лет, и не слишком высокого роста для этих лет. Он назвал себя Фелипе Ривера и заявил, что желает работать на революцию. Только и всего, — ни одного лишнего слова, никаких пояснений. Он молча стоял и ждал. Ни улыбки на губах, ни привета в глазах. Рослый, франтоватый Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Перед ним было нечто отталкивающее, страшное, непостижимое. Было в черных глазах мальчика что-то ядовитое, змеиное. Они горели холодным огнем сосредоточенного безграничного ожесточения. Он быстро переводил глаза с лиц революционеров на пишущую машинку, за которой усердно работала миссис Сэтби. Глаза его остановились на ней лишь на мгновение; случайно она обернулась — и тоже испытала неопределенное чувство, заставившее ее прекратить работу. Чтобы возобновить прерванную нить письма, ей пришлось перечесть текст.

Паулино Вэра вопросительно поглядел на Ареллано и Рамоса, а те, в свою очередь, переглянулись между собой. Нерешительность, сомнение видны были в их глазах. Этот худощавый мальчик был сама Неизвестность, полная

угрозы Неизвестность. Он был непостижим, не похож на обыкновенного честного революционера, у которых самая непримиримая ненависть к Диасу и его тирании в конце концов была лишь ненавистью честного и сильного патриота. Тут перед ними было нечто другое — что именно, они не могли бы сказать. Впрочем, Вэра, самый порывистый из них, действовавший быстро и решительно, не стал задумываться.

— Ну, хорошо, — холодно промолвил он. — Ты говоришь, что хочешь работать на революцию. Сними пальто, повесь его вон там. Я покажу тебе, где ведра и тряпки. Смотри, какой грязный пол. Начни с того, что вымой его и вымой полы в других комнатах. Нужно почистить плевательницы. Потом окна.

— Это на революцию? — спросил мальчик.

— Это на революцию, — ответил Вэра.

Ривера бросил на него подозрительный, холодный взгляд и начал снимать пальто.

— Хорошо, — сказал он.

И больше ни слова.

Каждый день он являлся на работу — подметал, скреб, мыл, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку и топил печи прежде, чем самые усердные из революционеров подхо-

дили к своему столу.

— А ночевать тут можно? — спросил он как-то.

Ага! Вот оно! Вот где показались когти Диаса. Спать в комнате Хунты — значило иметь доступ ко всем ее секретам, к списку фамилий, к адресам товарищей, находящихся в Мексике. Ему отказали, и Ривера больше не поднимал этого вопроса. Где он ночевал, они не знали, не знали и того, где он питается и чем. Однажды Ареллано предложил ему пару долларов. Покачав головой, Ривера отказался от денег:

— Я работаю на революцию.

Организация современной революции требует денег, и Хунта всегда в них нуждалась. Члены Хунты голодали и трудились, как волы, не считаясь с тем, что их рабочий день был самым долгим, — и все-таки порой казалось, что судьба революции зависит от каких-нибудь нескольких долларов. Однажды — это было в первый раз, когда квартирная плата была просрочена за два месяца и хозяин угрожал выселением, — поломойка Фелипе Ривера, в убогом, дешевом костюме, поношенном и рваном, выложил шестьдесят долларов золотом на письменный стол миссис Сэтби. Это случалось не раз. Триста писем, отбитых на машинке (просьбы о помощи, воззвания к организованным

рабочим группам, воззвания к редакторам газет, протесты против возмутительного обращения с революционерами в судах Соединенных Штатов), лежали неотправленными в ожидании марок. У Вэры исчезли часы — старинные золотые часы с репетиром, принадлежавшие его отцу. Исчезло также простое золотое колечко с пальца руки миссис Сэтби. Положение было отчаянное. Вэра и Ареллано растерянно покручивали свои длинные усы. Письма надо было отправить во что бы то ни стало, а почта не дает кредита покупателям марок. Однажды Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу марок по два цента.

— А если это золото проклятого Диаса? — сказал Вэра товарищам.

Те подняли брови, но ничего не ответили. И Фелипе Ривера, поломойка для революции, продолжал, как только становилось необходимо, выкладывать золото и серебро на нужды Хунты. И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали его. У него были совершенно иные, чем у них, повадки. Он не откровенничал, не давал себя прощупать. И хотя он был очень молод, они ни разу не могли заставить себя учинить ему допрос.

— Может быть, великая, одинокая душа, не знаю, не знаю… — беспомощно говорил Арелланo.

— Он не от мира сего, — говорил Рамос.

— У него опустошенная душа, — сказала Мэй Сэтби. — В ней выжжены смех и веселье. Он как мертвый — и все же он жив каким-то страшным образом.

— Наверное, прошел огонь и воду и медные трубы, — высказался Вэра. — Только человек, прошедший огонь и воду и медные трубы, может быть таким, а ведь он еще мальчик.

Но полюбить его они не могли. Он никогда ни о чем не заговаривал, не расспрашивал, не высказывал своего мнения. Обычно он стоял и слушал без всякого выражения на лице, как мертвец, если не считать его глаз, горевших холодным огнем, — и это во время самых пылких споров о революции. Глаза его перебегали с лица на лицо говоривших и пронизывали, как стрелы искрящегося льда, смущая и волнуя.

— Он не шпион, — заявил Вэра Мэй Сэтби. — И он патриот, запомните мои слова, — величайший патриот из всех нас. Я это знаю, я это чувствую — сердцем и умом чувствую это. Но все же я его не знаю.

— У него дурной характер, — говорила Мэй Сэтби.

— Я знаю, — вздрогнув, сказал Вэра. — Он както посмотрел на меня своими удивительными глазами. В них нет любви, в них — угроза; они свирепы, как у дикого тигра. Я знаю, что если бы я изменил нашему делу, он бы убил меня. У него нет сердца. Он безжалостен, тверд, как сталь, холоден и жесток, как мороз. Он — как лунное сияние в зимнюю ночь, когда человек замерзает на дикой горной вершине. Я не боюсь Диаса и всех его убийц. Но этого мальчика — его я боюсь. Говорю вам правду — боюсь. От него веет дыханием смерти.

И все же именно Вэра уговорил остальных оказать ему первый знак доверия. Между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией была прервана связь. Троих товарищей заставили вырыть себе могилу и расстреляли над нею. Двух других власти Соединенных Штатов посадили в тюрьму в Лос-Анджелесе. Командир войск Федерации — Хуан Альварадо — был чудовищем. Он расстроил все их планы. Они не могли теперь связаться ни со старыми, ни с новыми революционерами в Нижней Калифорнии.

Юному Ривере надавали инструкций и от-

правили на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо мертв. Его нашли в постели — с кинжалом, по рукоятку воткнутым в грудь. Это уже выходило за рамки полученных Риверой инструкций, но члены Хунты знали каждый его шаг. Они не стали задавать ему вопросов. Сам же он не рассказал ничего. Но переглянувшись, они обо всем догадались.

— Ведь я говорил вам, — сказал Вэра. — Этого юноши Диас должен больше бояться, чем кого бы то ни было. Он неумолим. Он — десница божия.

«Дурной характер», о котором упоминала Мэй Сэтби и который видели все они, проявился наглядным образом. Мальчик приходил то с рассеченной губой, то с синяком на щеке, то с распухшим ухом. Ясно было, что он дрался где-то на стороне, где он ел и спал, зарабатывал деньги и ходил по путям, неведомым Хунте. С течением времени его приставили набирать материал для маленького революционного листка, который они выпускали еженедельно. Бывали времена, когда он не в состоянии был набирать — когда пальцы его рук были расшиблены вдребезги, та или другая рука беспомощно висела на боку, а лицо искажено от мучительной боли.

— Бродяга, — говорил Ареллано.

— Завсегдатай грязных притонов, — добавлял Рамос.

— Но где же он достает деньги? — спрашивал Вэра. — Не далее как нынче, сию минуту, я узнал, что он оплатил счет за белую бумагу — сто сорок долларов.

— А эти его отлучки, — подключилась к разговору Мэй Сэтби. — Он ведь никогда не объясняет их.

— А что, если его выследить? — предложил Рамос.

— Я не хотел бы этим заняться, — сказал Вэра. — Боюсь, вы бы меня больше не увидели, разве для того, чтобы похоронить. У него страстная натура. Даже Богу он не позволил бы стать между собой и предметом своей страсти.

— Я чувствую себя перед ним ребенком, — признался Рамос.

— Для меня он сила — нечто первобытное, дикий волк, гремучая змея, жалящая многоножка, — говорил Ареллано.

— Он — воплощение революции, — сказал Вэра. — Он — ее дух и пламя, неутолимый вопль о мщении, которое не кричит, а убивает бесшумно. Он — ангел разрушения, проносящийся в ночной тишине.

— А мне хочется плакать, когда я думаю о нем, — говорила Мэй Сэтби. — Он никого близко к себе не подпускает. Он всех ненавидит. Нас он терпит, ибо мы — путь к его цели. Он один… одинок… — Голос ее прервался, она всхлипнула, глаза затуманились.

Дела Риверы были воистину таинственны; бывало, он не показывался неделю кряду. Однажды он отсутствовал целый месяц. После таких отлучек он в конце концов возвращался и, не сказав ни слова, выкладывал золотые монеты на конторку Мэй Сэтби. И опять многие дни и недели проводил все свое время в Хунте. А потом, через неопределенные промежутки, исчезал на целые дни, с раннего утра до позднего вечера. После этого он приходил утром и оставался позже всех вечером. Иногда Ареллано заставал его в полночь набирающим материал свежеизбитыми пальцами или же с рассеченной, еще окровавленной губой.

2

Приближался кризис. Будет ли революция или нет — зависело от Хунты. А Хунта обнищала. Деньги нужны были больше, чем когда бы то ни было раньше, а добывать их становилось все

труднее. Патриоты отдали свои последние центы и больше не могли дать ничего. Батраки — беглые пеоны из Мексики — отдавали половину своего скудного заработка. Но требовалось куда больше. Надрывная, тайная, кропотливая работа многих лет должна была принести плоды. Время пришло. Революция висела на волоске. Один толчок, одно последнее героическое усилие — и чаша весов наклонится в сторону победы. Они знали свою Мексику. Раз начавшись, революция сама о себе позаботится. Вся машина Диаса рассыплется, как карточный домик. На границе все было готово к восстанию. Какой-то янки с сотней товарищей из организации «Индустриальные рабочие мира» ждал только приказа, чтобы перейти границу и начать завоевание Нижней Калифорнии. Но ему нужно было оружие. А дальше, вплоть до Атлантического океана, поддерживая контакт с Хунтой и нуждаясь в оружии, находились авантюристы, искатели приключений, бандиты, сломленные бурей невзгод члены американских профессиональных союзов, социалисты, анархисты, головорезы, мексиканские беженцы, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные шахтеры из копей Кер д'Ален и Колорадо, жаждавшие сразиться, — вся «накипь» неукротимых душ на

безумно сложном современном мире.

Один вечный и непрестанный вопль слышался оттуда — ружей и снарядов!

Стоило только бросить эту разнородную, жаждущую мести массу через границу — и революция начнется. Таможня, северные порты были бы захвачены. Диас не смог бы сопротивляться. Он не посмел бы бросить главную массу своих армий на революцию, ибо ему нужно было сдерживать Юг. А на Юге все же вспыхнуло бы пламя. Народ поднялся бы. Город за городом падал бы. Штат за штатом рассыпался бы. Наконец, со всех сторон победоносные армии революции устремились бы на самый Мехико — последний оплот Диаса.

Но где взять денег? Люди были — нетерпеливые, умевшие владеть оружием. Они знали торговцев, готовых продать и доставить его. Подготовка революции истощила все средства Хунты. Был истрачен последний доллар, последние ресурсы; последний голодающий патриот очищен, как липка, а весы великого дела все еще колебались. Ружей и снарядов! Оборванные батальоны нужно одеть и вооружить. А как? Рамос пожалел о своих конфискованных поместьях. Ареллано проклял мотовство своей юности. Мэй Сэтби допытывалась: было бы иначе, если бы Хунта в прошлом

была экономнее?..

— И подумать, что свобода Мексики может погибнуть из-за нескольких жалких тысяч долларов, — проговорил Паулино Вэра.

Отчаяние было написано на всех лицах; Хосе Амарильо, их последняя надежда, недавно обращенный революционер, обещавший деньги, был арестован на своей гасиенде в Чиуауа и расстрелян у стены собственной конюшни. Известие об этом только что получено.

Ривера, ползавший на коленях и мывший пол, с щеткой на весу, с мылом на голых руках, по которым текла грязная вода, поднял голову.

— Довольно ли будет пяти тысяч? — спросил он.

На него посмотрели с изумлением. Вэра кивнул головой и подавился слюной. Он не мог проговорить ни слова, но в одно мгновение зажегся безграничной верой.

— Заказывайте ружья, — промолвил Ривера, а затем произнес самую длинную речь, какую они когда-либо слышали из его уст. — Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Так будет хорошо. Погода будет теплее, бойцам станет легче. Больше я ничего не могу сделать.

Вэра засомневался. Ведь это было невероятно.

Слишком много заветных надежд рассеялось прахом с той поры, как он начал играть в эту революционную игру. Теперь он верил этому поломойке революции — и не смел верить.

— Ты сошел с ума, — промолвил он.

— Через три недели, — отвечал Ривера. — Заказывайте ружья.

Он встал, откатил рукава и надел пальто.

— Заказывайте ружья, — повторил он. — Я ухожу.

3

После беготни, непрерывных телефонных звонков и страшной брани в конторе Келли состоялось наконец ночное заседание. На Келли свалилась масса хлопот; кроме того, у него случилось несчастье. Он привез из Нью-Йорка Дэнни Уорда, организовал для него бокс с Биллом Карти, — все это было улажено еще три недели тому назад; и вот уже двое суток серьезно травмированный Карти лежал в постели и прятался от репортеров. Заменить его было некем. Келли слал без конца телеграммы в восточные города, разыскивая подходящего боксера легкого веса, но все были связаны контрактами и сроками. Теперь в нем слабо затеплилась надежда.

— Ты дьявольски решителен, — обратился Келли к Ривере после первого же взгляда, как только они сошлись.

Злобная ненависть горела в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Я могу побить Уорда, — только и сказал он.

— Да почем ты знаешь? Разве ты видел, как он дерется?

Ривера покачал головой.

— Он положит тебя одной рукой с закрытыми глазами.

Ривера пожал плечами.

— Что ж ты не отвечаешь? — прорычал антрепренер.

— Я могу побить его.

— Да с кем же ты дрался? — спросил Майкл Келли. Майкл был братом антрепренера; он держал иеллоустоунский тотализатор, где недурно зарабатывал на боксерах.

Ривера окинул его ожесточенным, неприязненным взглядом. Секретарь антрепренера, весьма веселый молодой человек, громко прыснул.

— Ну ты знаешь Робертса, — прервал Келли враждебное молчание. — Он должен уже быть здесь, я послал за ним. Сядь и подожди, хотя, на мой взгляд, у тебя нет шансов. Я ведь не могу

показать публике фальшивый бокс; места у самой арены продаются по пятнадцать долларов, имей в виду.

Робертс явился немного под хмельком, что было заметно. Это был высокий, худощавый, развинченный субъект, походка его, как и речь, была невыразимо ленивая, тягучая, почти расслабленная.

Келли сразу приступил к делу.

— Послушай, Робертс, ты хвастался тем, что открыл этого маленького мексиканца. Ты знаешь, что Карти сломал руку. Вот этот желторотый малыш нашел в себе дерзость явиться ко мне и объявить, что он заменит Карти. Что ты скажешь на это?

— Все в порядке, Келли, — медленно процедил тот. — Он может выдержать драку.

— Еще немного, и он скажет, что он сможет победить Уорда, — фыркнул Келли.

Робертс подумал.

— Нет, этого я не скажу. Уорд — первосортный боец и генерал боксерского ринга. Но ему не расшибить этого Риверу в два счета. Я знаю Риверу. Он никого не боится. Сколько я его знаю — у него нет нервов. И дерется он по всем правилам. Он кого угодно может помучить.

— Дело не в этом. Как он покажется публике? Ты всю жизнь занимаешься тем, что готовишь и тренируешь боксеров. Перед твоим мнением я снимаю шапку. Может он показать публике настоящее зрелище за ее деньги?

— Без сомнения, может, и вдобавок наделает Уорду немало хлопот. Ты не знаешь этого мальчика, а я знаю. Я его открыл. Он ничего не боится. Он — сущий дьявол. Он выступит против Уорда как провинциальный самородок и всех вас удивит. Не скажу, чтобы он побил Уорда, но он покажет себя, и всем будет интересно.

— Ну, ладно. — И Келли обернулся к своему секретарю. — Позвоните Уорду. Я предупредил его, что устрою примерный бой, если найду что-то подходящее. Он сейчас находится в «Иеллоустоуне», поднимает тяжести и создает себе популярность. — И Келли опять обратился к тренеру: — Выпьешь?

Робертс отхлебнул из своего стакана и начал рассказывать.

— Я еще не говорил тебе, как я открыл этого малыша. Он появился в наших местах года два тому назад. Я тренировал Прэйна для бокса с Дилэни. Прэйн — злая скотина. В нем ни капли жалости. Он избивает своих партнеров вдрызг,

и я не мог найти охотника поработать с ним. Положение мое было отчаянное — и тут я заметил этого дохлого мексиканца: видимо, голодный, он околачивался вокруг. Я сцапал его, натянул на него перчатки и пустил в драку. Он был упрямей сыромятной кожи, но только слаб силенками. В боксе ничего он не смыслил. Прэйн измочалил его в тряпку. Но он стойко выдержал два страшных раунда, после чего упал в обморок. От голода, понятно. Избили его так, что его узнать нельзя было. Я царски накормил его и дал ему полдоллара. Надо было видеть, как он глотал обед. Видно, у него во рту не было маковой росинки два дня по меньшей мере. «Ну, с ним дело конченое», — подумал я. И что же! На другой день он опять пришел, готовый получить новые полдоллара и обед. И с течением времени он поправился. Он — природный боец, а выносливость невероятно. Словно у него не сердце, а ледышка в груди. И сколько я его знаю, он не в состоянии сказать подряд и десятка слов. Знай себе, пилит дрова и делает свое дело.

— Я видел его, — вставил секретарь. — Он много поработал на вас.

— Все известные боксеры попробовали на нем свои кулаки, — отвечал Робертс. — И Ривера мно-

гому у них научился. Я знаю таких, кого он может побить. Но душа его к этому не лежит — мне кажется, он никогда не любил бокса. Он дерется по каким-то личным соображениям.

— В последние несколько месяцев он дрался в мелких клубах, — проговорил Келли.

— Верно. И не знаю, что с ним случилось: вдруг он потянулся к боксу. Однажды он развернулся и расшиб всех мелких местных боксеров одного за другим. Должно быть, ему нужны были деньги — и он заработал неплохо, хотя по его одежде этого не видно. Вообще странный малый. Никто не знает, чем он занимается. Никто не знает, как он проводит время. И даже когда он дерется, он вдруг исчезает на весь остальной день, едва дело сделано. Иногда он пропадает на несколько недель кряду. А советов не слушает. Тот, кто сумел бы обломать его, нажил бы состояние, но мальчик об этом не думает. И ты увидишь, он выдержит все, что будет нужно, за свои деньги. Ты только договорись с ним.

В этот момент вошел Дэнни Уорд. Это был видный малый. Он явился со своим антрепренером и тренером и принес с собой атмосферу веселья, добродушия и неотразимости. Направо и налево полетели приветствия — тому шутка, тому

остроты и для всех — улыбка или смешок. Это его манера, лишь отчасти искренняя. Он превосходный актер и считал добродушие весьма ценным орудием в борьбе за положение в свете. В глубине же души он был холодный боец и бизнесмен. Все остальное — маска. Знавшие его или имевшие с ним дело говорили, что когда доходит до схватки, он — «Дэнни на своем месте». Он непременно присутствовал при всех деловых переговорах, и некоторые утверждали, что его антрепренер — ширма, рупор Дэнни.

Совсем другой тип — Ривера. В его жилах текла индейская и испанская кровь. Он сидел в уголке неподвижно и безмолвно, и только черные глаза его перебегали с одного лица на другое и все подмечали.

— Так вот он, паренек, — проговорил Дэнни, бросив одобрительный взгляд на своего будущего противника. — Как поживаешь, старина?

Глаза Риверы слабо вспыхнули, и он даже не кивнул. Он ненавидел всех гринго, но этого возненавидел с внезапностью, необычайной даже для него.

— Боже, — шутливо запротестовал Дэнни, обращаясь к тренеру, — неужели вы думаете, что я буду драться с глухонемым? — И когда смех

стих, он отпустил новую шутку: — Должно быть, Лос-Анджелес обеднел, если лучше этого вы не нашли. Из какого ты детского сада?

— Он славный малый, Дэнни, поверь мне, — вступился Робертс. — С ним не так легко справиться, как тебе кажется, уверяю тебя!

— И половина билетов уже продана, — взмолился Келли. — Придется взять его, Дэнни. Лучшего мы не могли добыть.

Дэнни снова окинул Риверу беззаботным и не слишком доброжелательным взглядом и вздохнул.

— Придется быть с ним полегче, я думаю. Только бы он не сдрейфил.

Робертс фыркнул.

— Потише, — остановил он Дэнни. — Когда не знаешь противника, можно неожиданно и влипнуть в неприятность.

— Хорошо, учтем, — Дэнни усмехнулся. — Я сначала поиграю с ним, поразвлекаю публику. Может, раундов пятнадцать, Келли? А потом — нокаут!

— Неплохо бы. Но публика не должна уловить фальши.

— Ну, тогда о деле. — Дэнни что-то посчитал в уме. — Давайте шестьдесят пять процентов

сбора, как с Карти. Но только от этой суммы мне восемьдесят процентов. Идет?

Келли согласился.

— Ясно? — спросил он у Риверы.

Ривера покачал головой.

— Объясняю, — сказал Келли. — Вся сумма от сбора составит шестьдесят пять процентов. Ты — новичок, никому не известный. Поэтому Дэнни получит восемьдесят процентов, а ты — двадцать. Так будет справедливо. Правда, Робертс?

— Конечно, Ривера, — подтвердил Робертс. — Тебя пока никто не знает.

— А сколько это — шестьдесят пять процентов со сбора? — спросил Ривера.

— Может, пять тысяч, а может, даже восемь, — вмешался Дэнни. — Около того. Тебе достанется от тысячи до тысячи шестисот долларов. Неплохо за то, что тебя победит боксер с таким именем, как у меня. Как тебе?

Но Ривера привел их в шок.

— Победитель получит все! — твердо заявил он.

Все замерли в молчании.

— Да уж, — пробормотал секундант Уорда.

Дэнни покачал головой.

— Я не вчера родился, — заявил он. — Ни су-

дью, ни других я не подозреваю в нечестности. Только мне это не подходит. Я играю наверняка. Но вдруг я получаю серьезную травму? Или мне подсунут выпить что-то? — Он обвел всех уверенным взглядом. — Победителем ли я буду, побежденным ли — мне восемьдесят процентов. Что скажешь, мексиканец?

Ривера отрицательно покачал головой.

Дэнни вспыхнул и сорвался:

— Погоди же, мексиканская собака! Теперь я уж точно размозжу тебе башку!

Робертс медленно поднялся и подошел, чтобы стать между ними.

— Победитель получит все, — упрямо повторил Ривера.

— Почему ты так этого хочешь? — спросил Дэнни.

— Я вас побью.

Дэни начал раздеваться. Все поняли, что он делает вид разгневанного. Он, действительно, будто бы разрешил успокоить себя. Все были за него. Ривера же оставался один.

— Слушай, глупец, — обратился к нему Келли. — Ты кто? Да, ты победил нескольких боксеров. А Дэнни — профессионал. Он скоро будет бороться за звание чемпиона. Тебя никто не знает.

— Еще узнают после этой встречи.

— Ты и вправду думаешь, что сможешь меня одолеть? — вышел из себя Дэнни.

Ривера кивнул.

— Ты задумайся, — уговаривал его Келли. — Это ведь для тебя такая реклама!

— Мне нужны деньги, — ответил Ривера.

— Ты и за тысячу лет не победишь меня, — заявил ему Дэнни.

— Так почему вы против? — спросил Ривера. — Деньги сами идут к вам, а вы их не хотите взять.

— Все, я согласен! — вдруг решительно крикнул Дэнни. — Я из тебя все вытрясу на ринге, дорогой! Со мной шутки плохи. Келли, запишите: победитель получает всю сумму. Об этом сообщите в газетах и добавьте, что это личные счеты. Я еще покажу этому юнцу!

Секретарь Келли уже писал условия, когда Дэнни прервал его.

— Постой! — Он обратился к Ривере. — Когда взвешиваться?

— Перед выходом, — ответил тот.

— Нет и нет, наглец! Раз победитель получит все, взвесимся в десять утра.

— И тогда победитель получит все? — Ривера повторил вопрос.

Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг как положено.

— Взвеситься в десять, — сказал Ривера. Секретарь продолжал скрипеть пером.

— Это равносильно потере пяти фунтов, — жалобно заметил Робертс Ривере. — Ты слишком много уступил. Тут-то ты и проиграл бой. Дэнни будет силен, как бык. Ты дурак. Он наверняка отдубасит тебя. У тебя ни капли шанса.

Единственным ответом, который он получил от Риверы, был взгляд, полный сосредоточенной злобы. Даже этого гринго он презирал, а ведь его он считал лучшим из них.

4

Риверу едва заметили, когда он вышел на ринг. Слабые, чуть слышные аплодисменты приветствовали его. Публика не верила в него. В ее глазах это был агнец, приведенный на заклание от руки великого Дэнни. Кроме того, публика вообще была разочарована. Она настроилась на ожидание сокрушительного боя между Дэнни Уордом и Биллом Карти, а теперь ей приходилось довольствоваться этим жалким маленьким новичком. Это свое недовольство переменой она выразила тем, что стала держать за Дэнни пари

в пропорции двух и даже трех против одного шанса. А сердце публики там, где деньги, поставленные на пари.

Молодой мексиканец сел в угол и ждал. Минуты тянулись медленно. Дэнни заставил его ждать. Это был старый трюк, но всегда он действовал на новичков. Одиноко сидя со своими страхами перед враждебной, утопающей в облаках дыма публикой, они начинали пугаться. Но на этот раз штука не удалась. Робертс был прав — у Риверы не было ни капли страху. Более тонкий по натуре, более нервный, чем все они, он не знал этого чувства. Атмосфера предрешенного поражения, царившая в его углу, не оказывала на него ни малейшего влияния. Секундантами его были гринго и незнакомцы. Это были подонки — грязные отбросы этой игры, бесчестные и недалекие. Они также не сомневались, что их боец проиграет.

— Ну, теперь будь начеку, — предостерег его Спайдер Хэгерти. Спайдер был его главным секундантом. — Держись, пока можешь, — вот какие инструкции получил я от Келли. Если ты не выдержишь, газеты поднимут шум, что это фальшивый матч, и растрезвонят об этом на весь Лос-Анджелес.

Все это не обнадеживало. Но Ривера не обра-

щал внимания — он презирал бокс. Это была ненавистная забава ненавистных гринго. Он принимал в боксе участие в качестве чего-то вроде плахи для рубки мяса в школах кулачной тренировки — только потому, что умирал с голоду.

То обстоятельство, что он как бы создан для бокса, не играло в этом никакой роли. Он ненавидел бокс. И до того, как он попал в Хунту, он не дрался за деньги, а когда начал драться, убедился, что эти деньги даются легко. Не первый он добился удачи в этой презренной профессии.

Впрочем, он не очень раздумывал. Он знал только одно: он должен победить в этом бою. Другого выхода не было. Ибо за ним, укрепляя его в этой вере, действовали неизмеримо более могучие силы, чем те, какие представляла себе собравшаяся публика. Дэнни Уорд дрался за деньги — за легкую жизнь, покупаемую на деньги. То же, за что дрался Ривера, огнем горело в его мозгу ослепительным страшным видением: одиноко сидя в своем углу с широко раскрытыми глазами и дожидаясь своего плутоватого противника, он так отчетливо видел все, словно сам присутствовал там.

Он видел перед собой белые стены огромных фабрик Рио-Бланко с их водно-силовыми уста-

новками. И шесть тысяч рабочих, голодных и отощалых, и их маленьких семи-восьмилетних детей, отрабатывающих долгие смены за десять центов в сутки. Он видел перед собой эти ходячие трупы, эти страшные маски смерти — людей, работавших в красильнях. Он вспомнил, как однажды его отец назвал эти красильни «камерами самоубийства», ибо один год работы здесь означал верную смерть. Он видел маленькое патио — внутренний дворик, видел свою мать, возившуюся по хозяйству и стряпавшую простой обед и находившую при этом время любить и ласкать его. И отца своего видел — крупного мужчину со впалой грудью и длинными усами, бесконечно доброго человека, любившего всех людей и имевшего такое обширное сердце, что в нем еще оставался избыток любви для матери и маленького мучачо — мальчика, игравшего в углу патио. В те дни его звали не Фелипе Ривера; отец и мать его носили фамилию Фернандес. Его они звали Хуаном. Впоследствии он сам переменил имя, убедившись, что самое имя Фернандес невыносимо для политических префектов, *jefes politicos u rurales*[38].

---

[38] Примечания: 38
Тайная сельская полиция *(фр.)*.

Славный, славный Хоакин Фернандес много места занимал в видениях Риверы. В ту пору он ничего не понимал; теперь, оглядываясь на прошлое, он понимал все. Мысленно он представлял, как отец набирает шрифт в крохотной типографии или терпеливыми, нервными движениями выводит бесконечные строчки, склонившись над закапанным письменным столом. Вспоминались ему и необычные вечера, когда рабочие, прокрадываясь впотьмах, как какие-нибудь злоумышленники, встречались с его отцом и беседовали с ним долгие часы, в то время как он, мучачо, не смыкая глаз, лежал в углу комнаты.

И словно издалека донесся до него голос Хэгерти, говорившего:

— Не смей ложиться на пол в самом начале. Таковы инструкции. Получи трепку и честно отрабатывай свое.

Прошло десять минут, а он все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался — очевидно, он решил довести свой фокус до последнего предела.

И новые видения запылали перед мысленным взором Риверы. Он увидел стачку — или, вернее, локаут, объявленный за то, что рабочие Рио-Бланко помогли своим бастующим братьям в Пуэбло.

Перед ним прошла голодовка, хождение в горы за ягодами, корешками и травами, от которых у всех болели животы. Потом — ночной кошмар: пустыри перед лавками Компании, тысячи голодающих рабочих; генерал Росальо Мартинес и солдаты Порфирио Диаса. И винтовки, неустанно изрыгавшие смерть и смывавшие требования рабочих их собственной кровью. О, эта ночь! Он видел перед собой платформы, доверху набитые телами убитых, отправляемых в Вера-Крус на съедение акулам этого залива. Вот он ползает по этим страшным кучам, ищет — и, наконец, находит изувеченных и раздетых донага отца и мать. Особенно хорошо он запомнил мать — виднелось только ее лицо, тело скрывалось под массой других тел. И опять затрещали винтовки Порфирио Диаса, и опять он скатился на землю и уполз прочь, как затравленный горный койот…

Но вот до его слуха донесся рев, как отдаленный гул моря, — и он увидел Дэнни Уорда, который пробирался по центральному проходу со своей свитой тренеров и секундантов. Публика бесновалась, завидя популярного героя, победа которого была предрешена. Все вызывали его. Все были за него. Даже секунданты Риверы как будто повеселели, когда Дэнни легко нырнул под канаты и

вышел на ринг. Лицо его расплылось миллионом улыбок, а когда Дэнни улыбался, он улыбался каждой черточкой своего лица, вплоть до морщинок в уголках глаз и до самого дна глаз. Казалось, такого добродушного боксера никогда еще не видела публика. Лицо его было как ходячая реклама отличного самочувствия и благодушия. Он знал всех решительно. Он шутил, смеялся и через канаты бросал приветствия своим друзьям. Те, что сидели подальше, не будучи в силах подавить свой восторг, громко кричали: «О Дэнни!»

На Риверу не обращали внимания. Для публики он, казалось, не существовал. Пухлая физиономия Спайдера Хэгерти вплотную придвинулась к его лицу.

— Не пугайся! Помни инструкции. Ты должен выдержать. Не смей ложиться; если ты ляжешь, мы получили инструкцию избить тебя в раздевальне. Понял, Ривера? Ты должен драться.

Публика начала аплодировать. Дэнни поклонился, схватил правую руку Риверы обеими руками и с порывистой сердечностью потряс ее. Лицо Дэнни, искаженное улыбкой, близко подвинулось к его лицу, и публика просто завыла при этом благодушии Дэнни. Он приветствовал своего противника, как любимого брата. Губы

Дэнни зашевелились, и публика, приняв нерасслышанные ею слова за сердечное приветствие, опять взвыла. Только Ривера расслышал тихо сказанные слова.

— Ты, мексиканский крысенок, — прошипел сквозь улыбающиеся губы Дэнни. — Я из тебя вышибу дух.

Ривера не шевельнулся. Он не встал. Его ненависть отражали глаза.

— Вставай, собака! — заревел кто-то с места.

Публика начала шипеть и освистывать Риверу за его неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Зато новый ураган аплодисментов приветствовал Дэнни, когда тот пошел обратно по кругу.

Когда Дэнни разделся, послышались вновь восторженные охи и ахи. Перед публикой было совершенное тело, гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа была белая, как у женщины, и такая же гладкая. Это была сплошная грация, упругость и сила. Дэнни доказал это в десятках сражений. Его фотографии печатались во всех спортивных журналах.

Словно стон раздался, когда Спайдер Хэгерти стащил через голову Риверы его свитер. Тело его казалось более худощавым, чем было на самом де-

ле, из-за смуглой кожи. Его мускулы были далеко не такие видные, как у его противника, и публика совсем не заметила его широкой груди. Не могла она также угадать упругости каждой жилки его тела, колоссальной клеточной энергии мускулов и тонких нервов, превращавших его в великолепный боевой механизм. Публика видела перед собой просто смуглого юношу лет восемнадцати с мальчишеским, как ей казалось, телом. Совсем другое дело Дэнни. Дэнни был мужчина двадцати четырех лет, и его тело было телом мужчины. Контраст показался еще более разительным, когда они стали рядом в центре ринга выслушать последние инструкции рефери.

Ривера заметил Робертса, сидевшего сразу же за газетными репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его соответственно была еще медлительнее.

— Не смущайся, Ривера, — тянул Робертс, — помни, он не может убить тебя. Он бросится на тебя сначала, но ты не пугайся, только закройся, стой и держись. Он не может слишком избить тебя. Ты только представь себе, что он лупит тебя в тренировочной школе.

Ривера не подал виду, что расслышал его.

— Хмурый чертенок, — пробормотал Робертс,

обращаясь к своему соседу. — Всегда такой.

Теперь в глазах Риверы даже не было обычного ожесточения. Взгляд его застилала другая картина — бесконечные ряды винтовок. Каждое лицо в зале, насколько он мог окинуть глазами, до верхних мест ценой в доллар, превратилось в винтовку. Он видел перед собой и бесконечную мексиканскую границу, залитую солнцем и высохшую, и вдоль нее — оборванные толпы, готовые взять в руки оружие.

Став в угол, он ждал. Его секунданты перелезли через канаты, забрав с собой брезентовую скамеечку. Из другого угла ринга, по диагонали, Дэнни смотрел на него. Ударили в гонг, и сражение началось. Публика взвыла от восторга. Никогда еще на ее глазах бой не начинался с такими предсказуемыми перспективами. Газеты были правы — тут были личные счеты. Дэнни покрыл уже быстрым бегом три четверти разделявшего противников расстояния, и намерение съесть живьем мексиканца ясно было написано на его лице. Он обрушился на него не с одним, не с двумя, не с дюжиной ударов — это был какой-то волчок тумаков, какой-то ураган истребления. Риверу не видно было; он исчез, был погребен под лавиной ударов, сыпавшихся со всех углов и

со всех позиций от опытного мастера. Он отшатнулся, ударился спиной о канаты, рефери разнял сцепившихся, и опять его отбросило на канаты.

Это была не борьба — это было избиение, побоище. Всякая публика, за исключением публики боксерских боев, изжила бы все свои волнения в эту первую минуту. Дэнни, без сомнения, показал, на что он способен. Уверенность публики была так очевидна, ее возбуждение и преклонение перед фаворитом столь велики, что она даже не заметила, что мексиканец стоит на ногах. Она забыла о Ривере. Она едва видела его, так он был окружен со всех сторон сокрушительным натиском Дэнни. Прошла минута или две. Потом, когда противников разняли, она отчетливо увидела мексиканца. Губа у него была рассечена, из носа лила кровь. Когда он повернулся и двинулся на противника, на его спине полосами обозначалась кровь в тех местах, где она касалась канатов. Но вот чего не заметила публика: грудь его не волновалась, его глаза по-прежнему горели холодным огнем. Слишком много таких атак он испытал на себе со стороны тренирующихся чемпионов. Он научился выдерживать это за плату от полудоллара за сеанс до пятнадцати долларов в неделю. Это была трудная школа, но она его закалила.

И тут случилось нечто необъяснимое. Ураган ударов, в котором ничего нельзя было разобрать, вдруг улегся. Ривера стоял на ринге один. Дэнни, грозный Дэнни, лежал на спине. Тело его затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. Он не зашатался и не упал — он опустился на землю медленно и постепенно. Правый кулак Риверы поразил его с внезапностью смерти. Рефери отпихнул Риверу рукой и наклонился над павшим гладиатором, считая секунды. Во время боксерских состязаний публика обычно приветствует громкими криками последний, окончательный удар. Но эта публика не приветствовала Риверу. Удар был слишком неожиданным. Она в напряженном молчании слушала счет секунд, и в этом молчании раздался ликующий голос Робертса:

— Я говорил вам, что он боец хоть куда.

На пятой секунде Дэнни перевернулся ничком; на седьмой секунде он поднялся на одно колено, готовый встать после девятой — прежде, чем будет произнесено «десять». Если при счете «десять» его колено будет касаться пола, он будет считаться побежденным и, стало быть, выбывшим из боя. Но с того момента, как колено отделится от пола, он уже считается «вставшим»,

и в это мгновение Ривера имел право попытаться опять уложить его. Ривера не стал испытывать судьбу. В минуту, когда колено отделится от пола, он готов был ударить. Он обошел противника, но рефери вклинился между ними, и Ривера видел, что он слишком медленно считает секунды. Все гринго против него, даже рефери.

При счете «десять» рефери резко отпихнул Риверу назад. Это было нечестно, но зато давало возможность Дэнни встать на ноги с улыбкой на губах. Согнувшись, прикрыв лицо и живот руками, он ловко обхватил противника. По всем правилам, рефери должен был прекратить это, но он этого не сделал. Дэнни прилип к противнику, как разбитая прибоем ракушка, и с каждым мгновением восстанавливал силы. Последняя минута раунда быстро подходила к концу. Если он выдержит до конца, то получит целую минуту на отдых в своем углу. И он выдержал до конца, все время улыбаясь, несмотря на отчаянное положение.

— А улыбка все не сходит с лица, — взвыл кто-то, и вся публика облегченно расхохоталась.

— Удар у этого мексиканца ужасный, — прошептал Дэнни в углу своему тренеру, в то время как секунданты бешено работали, массируя его.

Второй и третий раунды закончились вничью.

Дэнни, умелый и плутоватый король ринга, только увиливал, думая лишь об одном, как бы оправиться после первого ошеломительного удара. В четвертом раунде он окончательно пришел в себя. Правда, он был разбит и потрясен, но все же сила вернулась к нему. Теперь он уже отказался от своей свирепой тактики. Мексиканец оказался камнем для его косы. Теперь Дэнни стал применять свои настоящие бойцовские качества. Опытный и осторожный, великий мастер, он не нанес ни одного решительного удара, но продолжал методически изводить противника. На один удар Риверы он отвечал тремя, но это были не смертельные, а карающие удары. Смертельная опасность заключалась в общей сумме ударов. Он уходил от острых моментов, почтительно стал относиться к опасному противнику, способному молниеносно наносить «короткие удары обеими руками».

Защищаясь, Ривера смущал своего противника приемом «левой наотмашь». Раз за разом он отбивался от него этим приемом, все более грозя носу и губам Дэнни. Но Дэнни был словно Протей[39]. Оттого его и прочили в чемпионы. Он

[39] Примечания: 39

Протей — в греческой мифологии морской бог, который мог произвольно менять свой образ.

умел на ходу менять стиль боя. Теперь он ловко уклонялся от «левой наотмашь» противника. Этим он несколько раз приводил в бурный восторг публику и закончил свои приемы ударом, от которого мексиканец взвился на воздух и упал на циновку. Ривера встал на одно колено, прислушиваясь к счету, и внутренне чувствовал, что рефери слишком быстро отсчитывает секунды.

В седьмом раунде Дэнни опять нанес два сатанинских удара снизу. Ему удалось лишь заставить Риверу зашататься, но в следующий момент, когда противник не успел защититься, он бросил его новым ударом через канаты. Ривера шлепнулся на головы стоявших внизу репортеров, а те оттолкнули его к краю платформы за канаты. Здесь он оперся на одно колено, а рефери отсчитывал секунды. За канатом, под который он должен был подползти, чтобы попасть на площадку, Дэнни уже ждал его. Рефери не вмешивался и не оттолкнул Дэнни. Публика была вне себя от восторга.

— Избей его до смерти, Дэнни, избей! — послышался крик.

Сотни голосов подхватили его, точно завыла стая волков.

Дэнни ждал, но Ривера при счете восемь вместо девятой секунды неожиданно пролез под кана-

том и схватился с противником. Опять рефери заработал, поворачивая Риверу так, чтобы его можно было ударить, и предоставив Дэнни все преимущества, какие только мог дать бесчестный судья.

Но Ривера был жив, и туман в его голове понемногу рассеивался. Это было все то же. Это ненавистные гринго, и все они бесчестны. И опять перед ним пронеслось знакомое видение — длинная вереница железнодорожных вагонов, бегущих по пустыне; мексиканская сельская полиция и американские полисмены; тюрьмы и каталажки, бродяги у водокачек — вся страшная и грязная панорама его одиссеи после Рио-Бланко и забастовки. И по всей стране — великая, блестящая и славная красная Революция! Ружья были тут, перед ним! Каждое ненавистное лицо было ружьем. Он сам — ружье, он сам — Революция! Он дрался за Мексику!

Ривера вывел, наконец, из терпения публику. Почему он не принимает трепки, уготованной ему? Разумеется, он будет побит, но почему же он так упрямится? Очень немногие интересовались им, хотя известный процент сомневающихся имеется во всякой ставящей на кого-то толпе. Уверенные, что победит Дэнни, они поставили на

мексиканца в пропорции четыре к десяти и один к трем. Вопрос был лишь в том, сколько раундов выдержит Ривера. Многие, не задумываясь, ставили какие угодно суммы, утверждая, что он не выдержит и семи, даже шести раундов. Выигравшие в этом пари, благополучно миновав риск, теперь присоединились к общим приветствиям фавориту.

Ривера решительно отказывался быть побитым. Во время восьмого раунда его противник тщетно старался повторить удар снизу. В девятом Ривера опять изумил публику. Быстрым ловким движением он вырвался из объятий врага, и в узком промежутке между их телами его правая рука метнулась от пояса. Дэнни грохнулся на пол, уповая на спасительный счет. Толпа замерла. Дэнни стал жертвой собственного приема. Ривера не сделал попытки схватить его, когда он поднялся при счете «девять». Рефери открыто не допустил этого, хотя отходил в сторону, когда ситуация была противоположной и подняться должен был Ривера.

В десятом раунде Ривера дважды нанес удар «правой снизу», от пояса к подбородку противника. Дэнни пришел в отчаяние. Улыбка не сходила с его лица, но он опять возобновил свой бешеный

натиск. Однако как он ни вертелся, ему не удалось сокрушить Риверу. Ривера же сквозь весь этот ураган три раза подряд бросал его на спину. На этот раз Дэнни не мог уже так быстро оправиться, и в десятом раунде находился в серьезной опасности. Зато дальше, вплоть до четырнадцатого раунда, он показал свои лучшие бойцовые качества. Он дрался осторожно, можно сказать — скупо, и ему удалось набраться сил. Дрался он, к тому же, так нечестно, как только умеют опытные боксеры. Не было обмана и подвоха, к которому бы он ни прибегал. То охватывал противника, словно падая наземь, зажимая перчатку Риверы между своей рукой и телом, то зажимал перчаткой рот Ривере, чтобы не дать ему вздохнуть. И часто во время объятия он сквозь свои рассеченные, но улыбающиеся губы рычал Ривере в ухо невыразимо гнусные ругательства. Все, решительно все, — от рефери до публики — были на стороне Дэнни и помогали ему, зная, что он затевает.

Неожиданно перехитрил его вертлявый незнакомец — и он готовил ему один-единственный решающий удар. Он подставлял себя под удары, притворялся, что падал, ожидая все время момента, который позволил бы ему нанести удар

изо всей силы и повернуть колесо фортуны. Ему нужно было сделать то, что однажды до него сделал другой известный боксер, — ударить справа и слева — в солнечное сплетение и в челюсть. Он мог это сделать — он славился силой своего удара, сосредоточившейся в руках, пока он держался на ногах. Секунданты Риверы почти не заботились о нем в промежутках между схватками. Для виду они махали полотенцами, но очень мало подавали воздуху его задыхающимся легким. Спайдер Хэгерти давал ему советы, но Ривера понимал, что эти советы неправильные. Все были против него. Он был окружен предательством. В четырнадцатом раунде он опять положил Дэнни, а сам стоял, опустив руки, пока рефери считал секунды. В другом углу, как заметил Ривера, шли какие-то подозрительные перешептывания. Он увидел, что Майкл Келли направился к Робертсу, нагнулся к нему и что-то зашептал. У Риверы был слух, как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. Ему хотелось услышать больше, и когда противник встал, он сманеврировал так, что схватился с ним над канатами.

— Придется, — услышал он слова Майкла Келли, в то время как Робертс кивнул ему. — Дэнни должен победить, иначе я теряю деньги, целый

монетный двор, мои собственные денежки. Если он выдержит пятнадцатый, я пропал и ты тоже. Помешай как-нибудь.

После этого все видения перед взором Риверы растаяли. Они замышляли надуть его! Опять он повалил Дэнни и стоял, опустив руки. Робертс поднялся.

— Это конец, — сказал он. — Ступай в свой угол.

Он сказал это властным тоном, каким не раз обращался к Ривере во время тренировок. Но Ривера бросил на него взгляд, полный ненависти, и ждал, когда встанет Дэнни. В последовавший минутный интервал в его угол пробрался секундант Келли и заговорил с Риверой.

— Брось это дело, чертенок, — хрипло проворчал он вполголоса. — Ты должен упасть, Ривера. Оставайся со мной — и я обеспечу твое будущее. Я позволю тебе побить Дэнни в следующий раз.

Ривера показал глазами, что расслышал, но в его взгляде не было ни утверждения, ни отрицания.

— Почему ты не отвечаешь? — злобно спросил Келли.

— Ты во всяком случае проиграешь, — добавил Спайдер Хэгерти. — Рефери лишит тебя победы.

Послушайся Келли и ложись....

— Ложись, малыш, — умолял Келли, — и я помогу тебе стать чемпионом.

Ривера ничего не ответил.

— Помогу, будь я проклят.

В последовавшем ударе гонга Ривера почувствовал нечто зловещее. Публика — та ничего не заметила. К Дэнни вернулась его былая уверенность. И эта уверенность испугала Риверу. Ему готовили какую-то пакость. Дэнни кинулся на него, но Ривера уклонился от встречи. Он отошел в сторону, а тому нужно было схватиться с ним, это каким-то образом было необходимо для задуманного. Ривера попятился к краю, но он знал, что рано или поздно и объятия, и подвох последуют. И он в отчаянии решил принять «игру». Когда Дэнни кинулся на него снова, он сделал вид, что не против схватиться. Но вместо этого в последнее мгновение, когда тела их должны были соприкоснуться, Ривера ловко отшатнулся назад. И в это же самое время сторонники Дэнни подняли вой:

— Нечестно!

Ривера обманул их надежды. Рефери стоял в нерешительности. Но слова, готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, ибо с галерки

донесся пронзительный мальчишеский голос:

— Грязные штуки!

Дэнни вслух выругал Риверу и пошел на него. Ривера стал пятиться. Он мысленно решил больше не наносить ударов в туловище. Этим он наполовину сокращал свои шансы на победу, но знал, что если ему суждено победить, то только с дальней дистанции. По малейшему поводу они начнут теперь кричать «нечестно». Дэнни же забыл всякую осторожность. Два раунда подряд он кидался на юношу, который не смел схватиться с ним тело к телу. Ривера принимал удары дюжинами, лишь бы избежать опасного объятия. Во время этого последнего натиска Дэнни публика вскочила на ноги и точно сошла с ума. Она ничего не понимала. Она видела только одно: ее любимец в конце концов побеждает.

— Почему ты не дерешься? — яростно орала толпа. — Желтомордая обезьяна! Ж.... желтомордая... Раскройся, щенок!

— Прикончи его, Дэнни! Прикончи!

Среди всех этих людей один Ривера сохранил полное хладнокровие. По темпераменту и крови это была здесь самая страстная натура, но он пережил неизмеримо большие волнения, чем эта коллективная страсть десяти тысяч глоток,

поднимавшаяся волнами, и для него она была, как мягкие, прохладные летние сумерки.

На семнадцатом раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились, он отступил шатаясь. Дэнни решил, что его момент наступил: мальчишка был в его власти. Так Ривера притворным маневром обманул его бдительность и нанес ему классический апперкот. Когда Дэнни поднялся, Ривера скосил его новым ударом правой руки по шее и челюсти. Три раза повторил он этот удар. Никакой рефери не посмел бы назвать это неправильным.

— О Билл, Билл! — умоляюще кричал Келли, обращаясь к рефери.

— Ничего не могу, — жалобно отвечал последний. — Он не дает ему шанса.

Дэнни, разбитый, но все же не сдавшийся, поднимался снова. Келли и прочие, стоявшие у раунда, начали требовать вмешательства полиции, хотя секунданты Дэнни отказывались бросить полотенца. Ривера видел, как толстый полицейский капитан неуклюже лезет через канаты, и не понимал, что это значит. У этих гринго столько способов надуть человека. Дэнни, стоя на ногах, беспомощно топтался и шатался перед

ним. Рефери и капитан одновременно добежали до Риверы, когда он нанес последний удар. Прекращать драку не было надобности, ибо Дэнни уже не поднялся.

— Считай! — хрипло крикнул Ривера, обращаясь к судье.

И когда счет был окончен, секунданты Дэнни подобрали его и потащили в угол.

— Кто победил? — спросил Ривера.

Рефери неохотно схватил его руку в перчатке и высоко поднял ее.

Никто не поздравлял Риверу. Он без посторонней помощи прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него скамейки. Он оперся спиной о канаты и с ненавистью смотрел на них, переводя свой взгляд все дальше и дальше, пока не включил в свою ненависть все десять тысяч гринго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в изнеможении. Перед его глазами с тошнотворной быстротой кружились ненавистные лица. Потом он вспомнил, что это — ружья! Эти ружья принадлежали ему! Революция могла продолжаться!

Сэмюэл

Маргарет Хэнен была особой весьма замечательной во всех отношениях, но особенно она поразила меня, когда я увидал ее в первый раз. Она взвалила себе на плечи стофунтовый мешок зерна и несла его как ни в чем не бывало от телеги к сараю, остановившись лишь на одно мгновение передохнуть, прежде чем подниматься по лестнице, ведущей к закромам. Всех ступенек было четыре, и она поднималась по ним так спокойно и уверенно, что не оставалось никаких сомнений в том, что она донесет мешок, хотя ее тощее тело все изогнулось под тяжестью. Видно было, что она очень стара. Потому-то я и задержался у телеги, наблюдая за ней.

Шесть раз прошла она расстояние между телегой и сараем, каждый раз с полным мешком на плечах; и хотя я стоял на виду, она не обращала на меня никакого внимания. Когда телега опустела, она полезла за спичками и закурила коротенькую глиняную трубочку, прижимая табак заскорузлым и, по-видимому, онемелым пальцем. У нее были замечательные руки — широкие, костлявые, обезображенные работой мозолистые руки

с тупыми, поломанными ногтями, покрытые заживающими и свежими царапинами; такие руки обычно бывают у людей, занятых тяжелым физическим трудом. О ее возрасте можно было судить по сильно выступавшим на руках синим венам. Не верилось, что эти руки принадлежали женщине, которая некогда считалась первой красавицей острова Мак-Гилл. Впрочем, об этом я узнал лишь много времени спустя. Тогда я не знал ни ее самой, ни ее биографии.

Большие, грубые мужские сапоги, надетые на босу ногу, при ходьбе болтались и били ее по тощим икрам. На ней была мужская рубаха и рваная юбка из некогда красной фланели. Фигура у нее была бесформенная, но особенно поразило меня ее морщинистое изнуренное лицо, обрамленное шапкой косматых волос. Ни эти косматые волосы, ни темные морщины не могли скрыть ее прекрасного высокого лба.

Впалые щеки и горбатый нос мало соответствовали ее блестящим голубым глазам. Несмотря на множество морщин вокруг, глаза эти были ясны, как у молодой девушки, а их острый, пронизывающий взгляд мог хоть кого привести в замешательство. Глаза у Маргарет были при этом очень своеобразно поставлены. Обычно

расстояние между глазами бывает не больше длины глаза, а у нее это расстояние было чуть ли не в полтора раза больше. Но особенность эта вследствие поразительной симметричности лица отнюдь не производила неприятного впечатления. Случайный наблюдатель мог вполне не заметить этого. Ее беззубый рот, с опущенными углами сухих и тонких губ, не отвисал, как это часто бывает у старух. Ее губы можно было бы принять за губы мумии, если бы не присущее им выражение страшного упорства. Они не были безжизненными, напротив, в них было какое-то напряжение, одухотворенная решимость. В этих глазах и губах таился ключ той уверенности, с которой она втаскивала тяжелые мешки по крутым ступенькам, не оступаясь и не теряя равновесия.

— Вы старая женщина и так работаете, — решился сказать я.

Она взглянула на меня пристальным, странным взглядом, думая и говоря с характерной для нее медлительностью, словно она была уверена в своей вечности и вовсе не считала нужным торопиться. Снова меня поразила ее безмерная уверенность в себе. Ее твердая походка была, казалось, тоже результатом этой самоуверенности. В своей духовной жизни она, по-видимому, так

же мало рисковала оступиться, как когда таскала стофунтовые мешки с зерном. Она производила на меня жутковатое впечатление.

Как ни мало я знал ее, я уже понимал, что у меня не может с ней быть ничего общего. Чем ближе я узнавал ее в течение последующих недель, тем сильнее чувствовал свою отчужденность от нее. Она представлялась мне гостьей с другой планеты, и ни я, ни кто-либо из моих земляков не могли проникнуть в мир ее душевных переживаний, не могли понять, каким образом она стала такой.

— Через две недели после великой пятницы мне исполнится семьдесят два года, — сказала она в ответ на мое замечание.

— Я и говорю, что вы слишком стары для такой работы, — повторил я. — Ведь это работа мужчины, да еще здорового мужчины.

Но она уже погрузилась в созерцание вечности, и это было так странно, что я не удивился бы, если бы мне сказали, что прошло сто лет или еще больше, прежде чем я услышал ее ответ:

— Ведь надо же делать эту работу. А помочь мне некому.

— Неужели у вас нет детей или родных?

— О, их у меня хоть пруд пруди, да разве они станут мне помогать!

Она на секунду вынула изо рта трубку и сказала, кивнув на дом:

— Я живу сама по себе.

Я поглядел на крепкий дом, крытый соломой, на большие амбары и на обширные поля, принадлежавшие этой же ферме.

— Разве можно одной обрабатывать такой большой участок?

— Да, участок большой — семьдесят акров. Мой старик много повозился с ним. Ему помогали сын да наемный работник, да поденщики во время уборки, да девка, исполнявшая домашнюю работу.

Взобравшись на телегу, она взяла вожжи и спросила, кинув на меня проницательный взгляд:

— Вы, наверное, с той стороны океана?

— Да, я американец, — ответил я.

— Вы, небось, в Америке ни разу не встречали ни одного жителя Мак-Гилла?

— Никогда не встречал.

Она кивнула головой.

— Они домоседы, хотя нельзя сказать, чтобы они были не способны путешествовать. Всех их, однако, тянет домой, и они всегда возвращаются восвояси, конечно, если не погибают где-нибудь на чужбине от лихорадки.

— Значит, ваши сыновья были моряками и вернулись домой?

— Да, все, кроме Сэмюэла, — Сэмюэл утонул.

Я готов поклясться, что при упоминании имени Сэмюэла глаза у нее блеснули, и я почувствовал острое чувство соболезнования. Мне почудилось, что тут лежит ключ ко всем ее тайнам и объяснение всех ее странностей. Мне показалось, что между нами пробежал некий ток, и я заглянул ей в душу. Я хотел уже расспросить ее, но она вдруг причмокнула губами, хлестнула лошадь и, крикнув мне «Добрый день!», уехала.

Жители Мак-Гилла — простой и славный народ, и я думаю, что во всем мире нет более трезвых и трудолюбивых людей. Если встретить их за границей (только на море, ибо они смесь моряков и фермеров), то их нельзя принять за ирландцев. Сами они считают себя ирландцами, с гордостью говорят об Ирландии и подшучивают над своими братьями-шотландцами. Тем не менее они несомненно шотландцы — правда, переселившиеся много лет назад, но все же шотландцы, со всеми их характерными чертами, не говоря уже об особенности их мягкого произношения, которое лучше всего доказывает их шотландское происхождение.

Узкая полоса воды в полмили шириной отделяет остров Мак-Гилл от Ирландии. Но стоит только переехать оттуда на Мак-Гилл, чтобы почувствовать, что ты очутился в совершенно другой стране. Шотландское влияние ощущается очень сильно: все жители Мак-Гилла пресвитериане. Население настолько трезво, что на всем острове нет ни одного кабака, хотя живет там семь тысяч человек. Живут они по старинке: общественное мнение для них — высший закон; духовенство пользуется неоспоримым влиянием; родителям повинуются и уважают их так, как нигде. Всякое ухаживание прекращается в десять часов вечера, и без согласия родителей ни одна девушка не решится даже пойти гулять со своим возлюбленным.

Молодые люди часто отправляются в море, разгульная портовая жизнь засоряет их души; однако, возвращаясь после своих путешествий, они снова ведут строгую, воздержанную жизнь, ухаживают до десяти часов вечера, каждое воскресенье бывают в церкви и слушают проповедника, а дома выслушивают знакомые с детства строгие наставления. Эти моряки-скитальцы знавали за морем немало женщин, однако никто из них никогда не привозил себе жен из-за границы.

Единственным исключением был школьный учитель, осрамившийся тем, что взял себе жену за полмили, по ту сторону «воды». Ему этого так и не простили до самой смерти. Когда он умер, жена его вернулась к своим родным, жившим на том берегу, — и пятно на гербе острова Мак-Гилл таким образом было смыто. Обычно кончалось тем, что моряки женились на девушках своего родного острова, начинали вести строгую и честную жизнь и становились образцами тех добродетелей, которыми славился остров.

Остров Мак-Гилл не имел истории. Он не мог похвастаться ни одним происшествием, которое было бы достойно попасть на страницы истории. На острове никогда не было ни революционных выступлений, ни заговоров, ни аграрных беспорядков. Там был только один случай лишения владения, и то чисто формальный — просто опыт, произведенный владельцем по совету адвоката.

У острова Мак-Гилл не было летописи. История шла мимо него. Он исправно платил подати, признавал своих коронованных повелителей и держался в стороне от всего мира; взамен он требовал только одного: чтобы и мир оставил его в покое. Вселенная делилась на две части — на остров Мак-Гилл и на весь остальной мир. Все,

что не было островом Мак-Гилл, было чуждым и даже варварским; все жители это знали, да и не могли не знать. Их соотечественники-мореходы достаточно хорошо изучили другие безбожные страны.

В первый раз в жизни я услышал об острове Мак-Гилл от шкипера пароходика из Глазго, на котором я ехал в качестве пассажира из Коломбо в Рангун; этот же шкипер снабдил меня письмом к некоей миссис Росс, вдове капитана, жившей с дочерью и двумя сыновьями — тоже капитанами, бывшими в то время на море. Миссис Росс не сдавала комнат, но благодаря письму шкипера мне удалось у нее поселиться. Однажды вечером, после моей встречи с Маргарет Хэнен, я заговорил о ней с миссис Росс и сразу понял, что напал на нечто действительно весьма таинственное.

Миссис Росс, подобно всем остальным жителям острова, сначала не хотела говорить со мной о Маргарет Хэнен. Однако она все же сообщила мне, что Маргарет Хэнен была некогда первой красавицей на острове. Будучи дочерью весьма зажиточного фермера, она вышла замуж за некоего Томаса Хэнена, человека вполне обеспеченного и независимого. Ей совсем не приходилось исполнять тяжелую работу. Кроме

домашнего хозяйства, она ничем не занималась и, не в пример своим соотечественницам, никогда не работала в поле.

— А что случилось с ее детьми? — спросил я.

— Двое ее сыновей — Джэми и Тимоти — женаты и плавают в море. Джэми принадлежит большой дом рядом с почтой. Незамужние дочери живут вместе с ними.

— А остальные умерли?

— Сэмюэлы? — спросила Клара с оттенком иронии в голосе.

Клара была дочерью миссис Росс. Это была молодая красивая женщина с превосходной фигурой и чудесными черными глазами.

— Ты чего усмехаешься? — с упреком сказала мать.

— Почему Сэмюэлы? — спросил я. — Я не понимаю.

— Так звали четырех ее умерших сыновей.

— Как! Их всех звали Сэмюэлами?

— Да.

— Странно! — заметил я при всеобщем молчании.

— Да, очень странно, — подтвердила миссис Росс, продолжая вязать шерстяную фуфайку, лежавшую у нее на коленях. Она постоянно вязала

эти фуфайки для своих сыновей-шкиперов.

— Так неужели только Сэмюэлы умерли? — продолжал я, пытаясь поддержать этот разговор.

— Остальные живы до сих пор, — отвечала она. — Отличное семейство. Лучшего не найти на всем острове. И моряков таких никогда не было на острове. Пастор всегда ставил их всем в пример. Да и о девушках нельзя сказать ничего дурного.

— Но как же они решились покинуть ее одну на старости лет? — заметил я. — Как же ее родные дети не позаботятся о ней? Она живет совсем одна. Неужели они не могут помочь ей в работе?

— Нет. И это продолжается уже двадцать один год. Но она сама в этом виновата. Она всех их выгнала из дому, а старого Томаса Хэнена, который был ее мужем, вогнала в гроб.

— Пила? — рискнул я спросить.

Миссис Росс с презрением покачала головой: такая слабость не была знакома жителям острова.

Наступило молчание, в продолжение которого миссис Росс упорно вязала и оторвалась на миг от вязанья лишь для того, чтобы кивком разрешить молодому штурману парусной шхуны, жениху Клары, пойти погулять с ее дочерью. Я в это время рассматривал страусовые яйца, висевшие в

углу подобно гигантским плодам. На каждом был грубо намалеван морской пейзаж — бурное море, по которому плыли суда с надутыми парусами, причем отсутствие перспективы искупалось точным соблюдением разных технических подробностей. На камине стояли две огромные раковины с резьбой, исполненной терпеливыми руками преступников из Новой Каледонии. Посередине каминной полки помещалось чучело райской птицы, а по всей комнате были разбросаны огромные раковины Южных морей; хрупкие кораллы особой породы «пи-пи» хранились под стеклом; тут были каменные топоры из Новой Гвинеи, большие вышитые кисеты из Аляски с изображением всевозможных геральдических рисунков, бумеранги из Австралии, модели судов в стеклянных банках, чашка для «Кай-кай» людоедов с Маркизских островов, резные китайские и индийские шкатулки с перламутровыми и деревянными инкрустациями.

Глядя на эти трофеи, привезенные сыновьями-моряками, я размышлял о тайне Маргарет Хэнен, вогнавшей в гроб своего мужа и покинутой собственными детьми. Она не пила. В чем же дело? Может быть, причиной была жестокость или какая-нибудь неслыханная измена? Или, может

быть, страшное преступление — из тех, которые подчас случаются в деревнях?

Я по очереди высказал свои догадки, но миссис Росс отрицательно качала головой.

— Не в том дело, — сказала она. — Маргарет была честной женой и хорошей матерью. Я уверена, что она никогда и мухи не обидела. Она отлично воспитала своих детей и держала их в страхе божием. Вся беда в том, что она свихнулась — стала форменной дурой, — и миссис Росс многозначительно постучала себе по лбу.

— Но я разговаривал с ней сегодня утром, — заметил я, — по-моему, напротив, она очень не глупая женщина, а для своих лет замечательно толковая.

— Все это так, — спокойно подтвердила она, — я про это и не говорю. Я говорю о ее диком, преступном упрямстве. Более упрямой женщины еще не видел свет. И все это из-за Сэмюэла. Так звали ее младшего и, говорят, любимого брата, покончившего с собой из-за ошибки пастора, не зарегистрировавшего в Дублине новой церкви. Ясно было, что имя это приносит несчастье, но она и слышать об этом не хотела. Сколько было об этом толков, когда она назвала Сэмюэлом своего старшего ребенка, того самого, который

умер от крупа. И что же! Когда родился второй, она опять назвала его Сэмюэлом. Трех лет отроду он свалился в кипящий котел и сварился. И все это из-за ее проклятого упрямства! Она во что бы то ни стало хотела иметь сына Сэмюэла. В результате у нее умерло четыре сына. После смерти первого ее мать валялась у нее в ногах и умоляла больше не называть мальчиков Сэмюэлами. Но ее невозможно было уговорить. Когда дело касалось Сэмюэлов, Маргарет Хэнен всегда поступала по-своему.

Она была помешана на этом имени. Все ее друзья и родные демонстративно ушли из ее дома, когда крестили второго сына — того, который сварился. Они удалились в ту минуту, когда пастор спросил, какое имя дать ребенку, и она ответила: «Сэмюэл». Они все встали и вышли из дому. Тетка Фанни, сестра ее матери, уходя, обернулась и сказала так, что все слышали: «Зачем она хочет погубить невинного малютку?» Пастор это слышал и тоже был недоволен, но, как он потом говорил моему Ларри, ничего не мог поделать. Она этого хотела, а нет закона, запрещающего матери называть сына по своему желанию.

И третьего сына она опять назвала Сэмюэлом. А когда он погиб в океане, она пошла против всех

законов природы и родила четвертого! Вы только подумайте! Ей было сорок семь лет. Родить в сорок семь лет! Вот был скандал!

На следующее утро Клара рассказала мне историю любимого брата Маргарет; в течение недели из разных расспросов я наконец восстановил трагическую историю Маргарет Хэнен. Сэмюэл Данди был ее младшим братом, и, по словам Клары, Маргарет не чаяла в нем души. Он был уже капитаном одного из парусников, когда ему вздумалось жениться на Агнес Хьюит, хрупкой и болезненной девушке, очень нежной и очень чувствительной. Их свадьба была первой в новой церкви; по прошествии двух недель Сэмюэлу пришлось распрощаться со своей молодой женой и отплыть в море на большой четырехмачтовой шхуне «Лохбэнк».

Роковая ошибка пастора произошла именно из-за этой новой церкви. Правда, один из старшин впоследствии объяснил, что это не было, собственно, его ошибкой, что виновата была консистория, управлявшая пятнадцатью церквами острова Мак-Гилл. Старая церковь совсем развалилась, ее нельзя было даже отремонтировать, а потому ее сломали и на старом фундаменте построили новую. Глядя на ее фундамент, имевший

форму корабельного киля, пастор, да и никто другой, не мог и вообразить, что новая церковь будет менее законной, чем старая.

— В течение первой недели, — рассказала мне Клара, — в новой церкви были обвенчаны три пары. Первыми обвенчались Сэмюэл Данди и Агнес Хьюит; потом Альберт Махан и Минни Дункан; в конце недели — Эдди Трой и Фло Мэкинтош, все молодые мужья — моряки.

Последний из них отправился в плавание через шесть недель, и никто не подозревал, какое несчастье готовит им судьба.

Очевидно, сам дьявол впутался в это дело. И то сказать — ему это было на руку. Свадьбы отпраздновали в мае, а через три месяца, как полагается, пастор представил дублинским властям свой отчет за треть года. Но в ответ пришло извещение, что церковь не утверждена законом, ибо не была своевременно зарегистрирована. Церковь сейчас же была узаконена путем регистрации, но не так просто было узаконить браки. Все три мужа плавали в море, а их жены… их жены-то вовсе не были их женами.

Священник не хотел смущать народ, продолжала Клара, и созвал совет, на котором было решено дождаться возвращения молодых людей.

И вот однажды, когда пастор крестил кого-то на дальнем конце острова, внезапно вернулся Альберт Махан, судно которого прибыло в Дублин. Священник узнал об этом в девять часов вечера, когда уже надевал свои ночные туфли и собирался ложиться спать. Он тотчас вскочил, велел заложить лошадь и помчался прямо к Альберту. Альберт ложился спать и уже стаскивал сапоги.

«Ступайте за мною, — кричит им пастор, — оба ступайте».

«С какой стати, — возражает Альберт, — я устал до смерти и хочу спать».

«Вам нужно законно обвенчаться», — говорит пастор.

Альберт мрачно посмотрел на него и говорит:

«Знаете что, пастор, я не люблю этаких шуток!» — а про себя думает: «Как это пастора угораздило так нализаться!»

«Разве мы не повенчаны?» — спрашивает Минни.

Пастор отрицательно качает головой.

«Разве я не миссис Махан?»

«Нет, — отвечает он, — вы только мисс Дункан».

«Да ведь вы же сами нас повенчали», — говорит она.

«И да и нет», — отвечает пастор.

Когда он, наконец, рассказал им, в чем дело, Альберт надел сапоги, и они отправились вместе с пастором, чтобы законно обвенчаться. Альберт Махан частенько говорил потом, что каждому доводилось два раза венчаться на острове Мак-Гилл.

Через шесть месяцев вернулся домой Эдди Трой, и его тоже обвенчали вторично. Но Сэмюэл Данди отправился в плавание на три года, и его судно не вернулось в срок. Как на грех у его жены на руках был двухлетний ребенок, ожидавший возвращения отца. Шли месяцы, бедная жена худела и страшно беспокоилась.

«Я думаю не о себе, — бывало, говорила она, — а об этом бедном малютке без отца. Кем он будет, если что-нибудь случится с Сэмюэлом».

Ллойд занес «Лохбэнк» в список погибших судов и перестал выплачивать его жене половину жалованья. Вопрос о законности ребенка так ее мучил, что когда была потеряна всякая надежда на возвращение Сэмюэла, она вместе с ребенком утопилась в озере. Но вот тут-то и начинается самое главное несчастье. «Лохбэнк» вовсе не погиб. Вследствие всяких неудач и бесконечных задержек он сделал такой крюк, какой приходит-

ся делать судам, быть может, раз в пятьдесят лет. Вот, вероятно, радовался при этом дьявол! Когда Сэмюэл вернулся и узнал ужасную новость, у него что-то случилось в мозгу и в сердце. На следующее утро его нашли на могиле жены и ребенка, где он пытался покончить жизнь самоубийством. Никто еще никогда так страшно не умирал на острове Мак-Гилл. Он плевал пастору в лицо, ругался и так кощунствовал перед смертью, что все окружающие дрожали от ужаса.

И все-таки, несмотря на это, Маргарет Хэнен назвала своего первого сына Сэмюэлом.

Ничем нельзя объяснить упрямство этой женщины. У нее была какая-то болезненная потребность назвать ребенка Сэмюэлом. Ее третий ребенок был, к счастью, девочкой, которую она назвала своим именем, но четвертый ребенок был опять мальчиком. Несмотря на все эти несчастья, она непременно решила назвать ребенка Сэмюэлом в честь рокового брата. Теперь все стали ее избегать даже в церкви. Мать Маргарет прямо сказала, что если та назовет ребенка этим проклятым именем, она никогда не будет с ней разговаривать. И старуха сдержала слово, хотя прожила еще тридцать лет. Пастор согласился окрестить ребенка каким угодно именем, кроме

Сэмюэла. Все другие пасторы на острове Мак-Гилл говорили то же самое. Маргарет Хэнен хотела даже подавать на них в суд, но потом взяла и отвезла ребенка в Белфаст; там его и окрестили Сэмюэлом.

Ничего плохого не случилось. Весь остров был поражен. Мальчишка рос и чувствовал себя превосходно. Учитель не мог им нахвалиться. К всеобщему удивлению, ребенок даже не хворал никакими детскими болезнями. У него не было ни кори, ни свинки, ни скарлатины. Он был абсолютно невосприимчив к болезням. У него никогда не болела голова, никогда не стреляло в ушах, у него на коже не было никогда ни одного чирья или прыщика. Он всех превзошел в учении и в атлетике. Он и ростом был выше всех своих сверстников.

Маргарет Хэнен торжествовала. Этот удивительный мальчик был ее сыном и вдобавок носил ее любимое имя. Все родные и знакомые, за исключением ее матери, помирились с ней и признали, что они ошибались, хотя некоторые старухи продолжали упорствовать и мрачно шушукались между собой за чашкой чая. Мальчик был слишком необыкновенный, чтобы долго жить, а кроме того, проклятие, несомненно, тя-

готело над ним. Молодежь стояла за Маргарет и смеялась над суевериями; но старые вороны продолжали каркать.

После этого родились другие дети. Пятым ребенком был опять мальчик, которого Маргарет назвала Джэми, а затем одна за другой родились три девочки — Элис, Сара, Нора; затем мальчик Тимоти и еще две девочки — Флоренс и Кэти. Кэти была одиннадцатой и последней. Маргарет Хэнен в тридцать пять лет на этом решила остановиться. Нужно сказать, что она верой и правдой послужила острову. У нее было девять здоровых детей. Все они быстро развивались. Маргарет казалось, что рок вполне удовлетворился гибелью двух ее мальчиков. У нее было девять детей, но один из них носил имя Сэмюэл.

Джэми решил стать моряком, не по своей, правда, воле, а потому, что на острове установился обычай отправлять младших сыновей в плавание, а старших — сажать на землю. Тимоти последовал примеру Джэми, и когда тот в первый раз принял командование пароходом, вышедшим из Кардиффа, Тимоти был младшим помощником на большом парусном судне. Но Сэмюэл не имел особенной склонности к оседлой жизни. Ферма мало его привлекала. Его братья стали

моряками не по склонности, а потому что это был единственный способ прокормить себя и семью; он же, который в этом не нуждался, завидовал им, когда они возвращались из плавания и, сидя у очага, рассказывали о своих приключениях и о чудесах далеких стран.

Сэмюэл сделался учителем, что вовсе не нравилось его отцу, и даже получил какую-то ученую степень, сдав экзамен в Белфасте. Когда старый учитель вышел в отставку, Сэмюэл занял его место. Тайком он продолжал изучать мореплавание, и старая Маргарет любила слушать, как он сбивал в теоретических навигационных вопросах своих братьев, хотя они уже достигли звания штурманов. Том Хэнен пришел в страшную ярость, когда Сэмюэл — школьный учитель, джентльмен и вдобавок наследник фермы — взял и отправился в плавание простым матросом на парусном судне. Маргарет твердо верила в счастливую звезду своего сына и в то, что все, что он ни делает, к лучшему. И в самом деле, Сэмюэл, бывший исключительным человеком во всех областях, и тут проявил себя в полном блеске: на свете не было еще моряка, который бы повышался на службе так быстро, как Сэмюэл. Проведя в море всего два года в качестве матроса, он был уже временно

произведен в младшие помощники. Это назначение он получил в одном из портов Западного побережья, славящегося своими лихорадками, и комиссия из шкиперов, экзаменовавшая его, должна была признать, что он знал по навигации больше, чем знали они сами. Через два года он отбыл из Ливерпуля штурманом на «Стэрри Грэйс», имея в кармане капитанский диплом. И вот тогда-то и произошло то событие, о котором уже в течение многих лет каркали старые вороны.

Его рассказал мне Гэвин Мак-Нэб, уроженец Мак-Гилла, служивший боцманом на «Стэрри Грэйс».

— Я очень хорошо все это помню, — говорил он. — Мы шли на восток, и разразилась ужасная буря. Сэмюэл Хэнен был превосходным моряком, другого такого я не видел в своей жизни. Я отлично помню выражение его лица в тот роковой день. Море бушевало, швыряя нашу шхуну, а капитан уже несколько дней пьянствовал у себя в каюте. В семь часов Хэнен поставил шхуну к ветру, не рискуя больше бороться с ураганом. В восемь часов, после утреннего чая, он снова вышел на мостик, а через полчаса туда же явился и капитан, вылупив глаза и еле держась на ногах.

Буря свирепствовала как никогда, а он стоял,

шатаясь, икая и разговаривая сам с собой.

«Клади руль!» — крикнул он вдруг рулевому.

«Помилуй вас Бог», — воскликнул младший помощник, стоявший рядом с ним. Но капитан продолжал бормотать что-то себе под нос. Вдруг он опять гаркнул рулевому во все горло:

«Клади руль, черт тебя дери! Оглох ты, что ли? Клади руль!»

Очевидно, пьяным везет, потому что иначе ничем нельзя объяснить, каким образом «Стэрри Грэйс» шел при такой погоде, не зачерпнув ни одного ведра воды, хотя нужно сказать, что помощники старались вовсю, а матросы носились как сумасшедшие. Капитан самодовольно хихикнул и отправился в каюту, чтобы хлопнуть еще виски. Он, очевидно, решил всех нас этим поразить, ибо самое большое судно не могло бы идти при такой буре. Я в жизни не видел ничего подобного. Нельзя даже вообразить, что творилось на море, а я ведь плаваю уже сорок лет, начав еще мальчишкой. Ей-богу, это было нечто неслыханное.

Младший помощник побледнел как смерть. Простояв на мостике полчаса, он спустился вниз и послал себе на смену Сэмюэла. Ах, какой моряк был этот Сэмюэл! Но даже он с трудом

выдерживал. Он глядел по сторонам и думал, что предпринять, и ничего не мог придумать. Прежде чем судно могло бы взять правильный курс, с него смыло бы всю команду и его разбило бы вдрызг. Ничего не оставалось, как продолжать идти дальше. Мы все равно знали, что всем нам пришла крышка и что если ветер усилится, всех нас смоет в море.

Я, кажется, сказал, что Бог послал эту бурю. Нет! Скорее ее накликал на нас сам дьявол. Я видал виды на своем веку, смею вас уверить, но я бы не хотел вторично пережить такую бурю. Никто не решался оставаться в каюте. На палубе тоже никого не осталось. Все матросы столпились на мостике и наблюдали, держась за что попало. Трое помощников стояли на корме, и только эта пьяная скотина капитан валялся внизу в каюте.

Вдруг я вижу, что на расстоянии мили от нас поднимается такая огромная волна, какой я никогда в жизни не видал. Трое помощников, стоявшие рядом со мной, тоже заметили ее приближение, и все мы начали молиться, чтобы она не обрушилась на нас. Но, очевидно, не так было угодно Богу. Перед самым носом судна волна вдруг взвилась чуть ли не до неба, подобно огромной горе, причем штурманы бросились в

разные стороны, второй и третий помощники полезли на бизань-мачту, но старший помощник — Сэмюэл Хэнен — ах, какой был храбрый человек! — кинулся к рулевым, чтобы помочь им. Он думал не о себе, а только о спасении судна.

Двое рулевых были привязаны к штурвалу, но он хотел заменить их на тот случай, если бы они погибли. И вот тут-то волна и обрушилась на нас. Мы, стоя на мостике, не могли видеть кормы, масса воды в тысячу тонн залила ее. Эта волна начисто смыла все и утащила всех за собой — и двух помощников, которые полезли на бизань-мачту, и Сэмюэла Хэнена, и двух рулевых у штурвала, и сам штурвал. Мы больше никогда не видели их. Судно наше стало кружиться волчком, утонули еще два матроса, бывшие с нами на мостике. Потом на корме мы нашли труп плотника, превращенного в какой-то кисель. У него не осталось ни одной целой косточки.

Тут-то и начинается самое удивительное, что свидетельствует о своеобразном героизме этой женщины. Маргарет Хэнен было сорок семь лет, когда она узнала о гибели Сэмюэла. И вот через некоторое время по острову Мак-Гилл распространился невероятный слух. Это было невероятно! Никто не хотел верить. Доктор Холл

фыркал, и все смеялись, словно это была просто-напросто остроумная шутка. Узнали, что сплетня исходит от Сары Дэк — служанки Хэнен, жившей в их доме. Все тотчас решили, что Сара Дэк просто врет, хотя сама она клялась и божилась, что все это правда. Кто-то решился даже спросить однажды самого Тома Хэнена, но тот только ругался и чертыхался в ответ.

Сплетня затихла на то время, когда весь остров был занят обсуждением гибели «Гренобля» в Китайском море. На «Гренобле» погибли все офицеры и весь экипаж, половина которого состояла из уроженцев Мак-Гилла. Но потом сплетня снова воскресла. Сара Дэк продолжала настаивать. Том Хэнен начал смотреть все мрачнее и мрачнее, и даже доктор Холл, побывав у Хэненов, перестал фыркать. Ну, тут уже весь остров встрепенулся, и у всех стали чесаться языки. Это было против всех законов божеских и человеческих. Никогда еще не было ничего подобного. Когда наступил срок и нельзя было уже сомневаться в правдивости показаний Сары Дэк, все в один голос решили, подобно боцману «Стэрри Грэйс», что тут не обошлось без черта. Сара Дэк рассказывала, между прочим, что Маргарет Хэнен была убеждена в том, что у нее родится мальчик.

«Я родила одиннадцать детей, — говорила она, — шестерых девочек и пятерых мальчиков. Во всем должен быть ровный счет. Шесть мальчиков и шесть девочек — вот вам и ровный счет. Я уверена, что у меня будет мальчик. Это так же несомненно, как то, что солнце встает каждое утро».

И действительно, родился мальчик, и притом какой-то удивительный. Доктор Холл восхищался его крепким и здоровым сложением и даже поместил статью в «Дублинском Медицинском Обозрении», где указывал, что это был самый интересный случай в его практике за последние несколько лет. Сара Дэк всем рассказывала о невероятном весе ребенка, и опять ей никто не верил, и все говорили, что она привирает. Но когда ее слова были подтверждены доктором Холлом, который сам взвешивал и осматривал ребенка, то жители Мак-Гилла поневоле прикусили язык и должны были уже верить всем слухам, которые распространяла Сара Дэк о росте и аппетите ребенка. И однажды Маргарет Хэнен снесла мальчика в Белфаст и назвала его при крещении Сэмюэлом.

— Это был не ребенок, а золото, — говорила мне Сара Дэк.

Я познакомился с Сарой Дэк, когда она была уже почтенной старушкой, лет шестидесяти, причем за ней закрепилась такая трагическая и необыкновенная репутация, что если бы ее язык болтал еще десятки лет, то и тогда она продолжала бы оставаться героиней всех местных кумушек.

— Да, не ребенок, а золото, — повторяла Сара Дэк. — Он никогда не капризничал, а сидел себе спокойно на солнышке, пока, бывало, не проголодается. А какой он был сильный! Он сжимал ручки, как взрослый мужчина. Через несколько часов после рождения он так схватил меня, что я закричала от боли. А какое у него было превосходное здоровье! Он спал, ел, рос и никому не мешал. Он ни разу никого не разбудил ночью, даже когда у него прорезывались зубки. А Маргарет носила его на руках и все говорила, что второго такого красавца нет во всем Соединенном Королевстве.

А как он рос! Как быстро он рос и как много ел! В год он был ростом с иного двухлетнего. Только в ходьбе и в разговоре он почему-то отставал. Ползал на четвереньках, издавал горлом какие-то звуки — и больше ничего. Это, конечно, можно было объяснить его чересчур быстрым ростом. А он все рос и становился все здоровее. Сам старый Хэнен удивлялся его силе и говорил,

что в Великобритании не найти другого такого мальчугана. Доктор Холл первый высказал одно подозрение, но тогда, помню, я и не подумала, чем это может кончиться. Я припоминаю, как он показывал маленькому Сэмми какие-то вещицы, производившие шум. Он подносил их ему к ушам, потом показывал издалека. Кончив свое исследование, доктор ушел, хмуря лоб и недовольно качая головой, словно ребенок был болен. Но я готова была поклясться, что он здоров; об этом свидетельствовали его быстрый рост и хороший аппетит. Доктор Холл не сказал Маргарет ни слова, и я никак не могла понять, что его огорчает.

Я хорошо помню, как маленький Сэмми в первый раз заговорил. Ему было всего два года, но ростом он был с пятилетнего ребенка и все ползал на четвереньках, никому не мешая и всегда довольный, если его часто кормили. Я как раз развешивала белье, вдруг он вылез на четвереньках, болтая головой и моргая от яркого солнца. И вот тут он заговорил. Я так испугалась, что едва не умерла; я сразу поняла, почему доктор Холл печально качал головой. Да, он заговорил. Смею вас уверить, что еще ни один ребенок на острове Мак-Гилл не говорил так громко. Я так и задрожала от ужаса. Маленький Сэмми вопил, он

выл, как осел, — да, именно, как осел. Он ревел так громко, весело и долго, что, казалось, у него лопнут легкие.

Сэмми был идиотом — ужасным, чудовищным идиотом, и доктор Холл сказал об этом Маргарет, после того как мальчик заговорил. Но мать не хотела ему верить. Она утверждала, что это обойдется, и приписывала все слишком быстрому росту.

— Подождите, — говорила она, — вы увидите.

Но старый Том Хэнен понял, в чем дело, и с тех пор его трудно было узнать. Он ненавидел это существо, не хотел даже касаться его, хотя когда-то любовался им целыми часами. Я часто видела, как он с ужасом смотрел на него из-за угла. А когда мальчик начинал реветь, старый Том затыкал себе уши и на него страшно и жалко было смотреть.

Как мальчуган ревел! Больше он ни на что не был способен, разве только на то, чтобы расти. Когда он был голоден, он начинал завывать и унять его можно было только пищей. Каждое утро он на четвереньках вылезал из дома, грелся на солнце и ревел. Из-за этого-то рева он и погиб в конце концов.

Я очень хорошо все это помню. Ему было всего

три года, хотя на вид ему можно было свободно дать все десять. А старый Том чувствовал себя хуже и хуже: ходит в поле за плугом и все разговаривает сам с собой, бормочет…

Я помню, как он сидел в тот день на скамейке у кухонной двери и прилаживал новую рукоятку к своему заступу. Вдруг выполз его ужасный сын и начал реветь, по обыкновению жмурясь от солнца. Я видела, как старый Том выпучил глаза и смотрел на чудовище, ревевшее перед ним, точно осел. Том не мог этого выдержать, и что-то стряслось с ним. Он вдруг вскочил и изо всех сил хватил чудовище рукояткой заступа по голове, и все бил и бил, словно это была бешеная собака. Затем он прямо отправился в конюшню и повесился там на перекладине. Ну, после этого я уже не могла оставаться у них и перешла к своей сестре, которая вышла за Джона Мартина и отлично живет.

Сидя на скамейке возле кухни, я поглядывал на Маргарет Хэнен, которая в это время прижимала табак в трубке заскорузлым пальцем и смотрела на поля, подернутые вечерним сумраком. На этой скамейке сидел и Том Хэнен в тот ужасный день его жизни. А Маргарет сидела на тех самых ступеньках, где грелся на солнце, мотал головой

и ревел страшный идиот. Мы беседовали с ней около часу, и она все время говорила с той медлительностью, которая так шла к ней: она словно созерцала вечность.

Я никак не мог понять, какими мотивами руководствовалось в своем упорстве это удивительное существо. Хотела ли она пострадать за правду? Или она втайне поклонялась какому-то неизвестному божеству? Может быть, она думала, что служит отвлеченной правде — высшей цели человека — в тот далекий день, когда назвала своего первенца Самуэлем. Или это было просто ослиное упрямство? Упорство кобылы с норовом? Тупое упрямство крестьянского ума? Или это было капризом? Фантазией? Была ли она безумной только в этой части своего рассудка, или, напротив, в ней жил дух Бруно[40]? Была ли она убеждена в своей логической последовательности? Хотела ли она воспротивиться глупому суеверию своих сограждан, или, наоборот, ею самой руководило суеверие, особого рода фатализм, альфой и омегой которого было старинное имя — Сэмюэл.

— Скажите, — говорила она мне, — неужели,

---

[40] Примечания: 40

Джордано Бруно — сожжен инквизицией в Риме за свои философские взгляды. *(Прим. ред.).*

если бы я назвала второго Сэмюэла Лэрри, он не сварился бы в котле с кипятком? Скажите, сэр, это останется между нами, — вы как будто образованный человек, — неужели имя играет какую-нибудь роль? Неужели я бы не стирала в тот день, если бы он был Лэрри или Майкл? Неужели кипяток не был бы кипятком, и неужели он не ошпарил бы ребенка, если бы его звали не Сэмюэлом, а иначе?

Я подтвердил правильность ее рассуждений, и она продолжала:

— Неужели имя может изменить предначертания Господа? Значит, мир управляется кем-то другим, а Бог — просто слабое капризное существо, которое решается изменять вечный ход вещей только потому, что какой-то червь — Маргарет Хэнен — назвала своего ребенка Сэмюэлом. Вот, например, мой сын Джэми не взял в свою команду какого-то Рушэн-Фэнна, говоря, что тот накличет на них бурю. Что это, по-вашему? Неужели Бог, создавший мир, будет слушаться какого-то вонючего Рушэн-Фэнна, сидящего где-то на борту грязной шхуны?

Я сказал, что она безусловно права, но она продолжала развивать свою мысль.

— Неужели Бог, который управляет движением

небесных светил и для могучих ног которого весь мир только подставка, — неужели вы думаете, что он может назло Маргарет Хэнен послать огромную волну, которая бы смыла ее сына у мыса Доброй Надежды только потому, что она назвала его Сэмюэлом?

— Но почему именно Сэмюэл?

— Не знаю. Так мне захотелось.

— Но почему вам этого хотелось?

— Да как же я могу вам на это ответить? Я думаю, никто в мире этого не знает. Разве можно ответить, почему или отчего? Мой Джэми, например, так любит сливки, что когда их нет, он, по его собственному выражению, готов проглотить язык. А Тимоти сливок в рот не берет. Я вот люблю слушать, как гремит гром, а моя Кэти во время грозы залезает под перину. Только Бог может знать, почему или отчего. Мы, смертные, этого не знаем. Довольно с нас того, что нам нравится или не нравится. Мне нравится — вот и все. А почему нравится, этого никто не может знать. Мне вот нравится имя Сэмюэл. Это чудесное имя, и в самом звуке есть что-то непостижимое и чарующее.

Сумерки сгущались, и я молча смотрел на прекрасный, пощаженный временем лоб Марга-

рет, на ее широко расставленные глаза, ясные и пронизывающие. Она встала, как бы давая мне понять, что пора уходить.

— Вам будет темно возвращаться, — сказала она. — Пожалуй, будет дождь.

— А что, Маргарет, — спросил я вдруг без всякой задней мысли, — вы никогда ни о чем не сожалеете?

Она посмотрела на меня внимательно.

— Мне жаль, что я не родила еще одного сына.

— И вы бы… — начал я.

— Да, конечно, — перебила она, — я бы дала ему то же имя.

Возвращаясь домой по темной дороге меж ивовых плетней, я думал о всех этих «почему» и повторял то громко, то тихо: «Сэмюэл». Я вслушивался в это сочетание звуков, бывшее причиной стольких трагедий в жизни Маргарет Хэнен. В этом звучании, в этом имени было что-то чарующее. Да, было!

Неслыханное нашествие

Раздор между Китаем и остальным миром достиг своей высшей точки в 1976 году. Пришлось из-за этого даже отложить празднование двухсотлетия американской свободы. И в других странах по той же причине спутались, смешались и были отложены на неопределенное время различные начинания.

Мир внезапно очнулся и сразу увидел грозящую ему опасность, а между тем уже в течение по крайней мере семидесяти лет все неприметно вело к этой трагической развязке. Корни события, взволновавшего теперь весь мир, уходили в далекое прошлое, к 1904 году.

В 1904 году была русско-японская война, и все историки тогда же отметили как событие первостепенной важности вступление Японии в число великих держав. Но особенно важно было пробуждение Китая. Это долгожданное событие наконец началось. Западные государства давно уже старались пробудить эту таинственную страну, но это им не удавалось. И в конце концов вследствие своего врожденного оптимизма, а также расового самомнения они решили, что

пробудить Китай — задача невыполнимая.

Но они упустили из виду одно очень важное обстоятельство: у них с Китаем не было общего языка; их процесс мышления был совершенно иной, чем у китайцев. Они никак не могли сговориться. Ум западных людей не мог глубоко проникнуть в психику китайцев и запутывался в ней, как в лабиринте. С другой стороны, и китайский ум не мог вполне постигнуть европейские мысли, натыкаясь на какую-то непроницаемую стену. Стеной был язык. Не было никакой возможности втолковать китайцу западные идеи. Китай продолжал крепко спать. Экономические достижения и прогресс Запада были для Китая закрытой книгой, и Запад не мог ему помочь раскрыть эту книгу.

Где-то в глубине сознания какой-нибудь европейской нации, — ну, скажем, англичан, — была способность возмущаться краткостью и невыразительностью саксонских слов; так же в глубине сознания китайцев таилась способность возмущаться сложностью иероглифов. Но китайский ум был равнодушен к коротким саксонским словам, так же как английский ум — к китайским иероглифам. Ум тех и других был соткан из совершенно различных материалов; потому-то

экономические достижения и прогресс Запада не могли рассеять сон Китая.

Но явилась Япония и в 1904 году победила Россию. Теперь японская раса стала каким-то парадоксом среди восточных народов. Удивительным образом Япония оказалась необычайно восприимчивой к западной культуре. Япония необыкновенно быстро восприняла западные идеи, переварила их и в несколько лет превратилась в могучую мировую державу. Никак нельзя объяснить, почему Япония так легко усвоила европейскую культуру; объяснить это столь же трудно, как биологический процесс в живом организме.

Разбив Великую Российскую Империю, Япония сама решила стать Великой Империей, она превратила Корею в свою житницу и колонию. Благодаря успешному ведению дипломатических переговоров она монополизировала Маньчжурию. Но Япония все еще была не удовлетворена. Она обратила свой взор на Китай — огромную страну с богатейшими залежами железа и каменного угля — этими основами промышленности и цивилизации. Помимо того, там был и другой великий промышленный фактор — труд.

Население Китая достигало четырехсот милли-

онов — четверти населения всего земного шара. Кроме того, китайцы были отличными рабочими, а фатализм их философии (или, если угодно, религии), их крепкие нервы могли сделать из них великолепных солдат, если только умело с ними обращаться. Нечего и говорить, что Япония прекрасно знала, как с ними следовало обращаться.

Но более всего благоприятствовало расовое родство. Извечная тайна Китая, смущавшая западных людей, отнюдь не могла смутить японцев. Японцы понимали китайцев так, как никогда бы не могли научиться понимать их мы. Процесс их мышления был тот же, что у китайцев. Японцы мыслили теми же символами и пользовались для этого такими же мозговыми извилинами. Японцы с легкостью проникали в самую глубь китайского ума, тогда как мы при этом наталкивались на непреодолимые препятствия. Они обходили эти препятствия по неизвестным нам тропинкам и углублялись в такие дебри китайского ума, куда мы никак не могли следовать за ними. Японцы и китайцы были братьями. Много веков назад один из этих народов воспользовался письменностью, изобретенной другим, и когда-то в несказанно древнее время они отошли от одного общего монгольского корня. В них произо-

шли различные перемены, вызванные отчасти изменившимися условиями жизни, отчасти — примесью чужой крови. Но где-то в глубине своих сердец они продолжали носить общерасовое наследие, которое не могло уничтожить даже время. Итак, японцы решили приняться за Китай. В течение нескольких лет непосредственно после русско-японской войны японские агенты наводнили Китай. Они проникали за тысячи верст дальше всяких миссий под видом странствующих торговцев или буддийских проповедников. Эти шпионы, в основном инженеры, тщательно вычисляли и записывали силу каждого водопада, отмечая места для устройства заводов; они изучали горные высоты и ущелья, определяли стратегические преимущества и недостатки местности, записывали количество скота в деревнях, а также количество людей, которых можно было мобилизовать в данном округе для принудительных работ. Никогда и нигде не было такой переписи, и ни один народ не мог ее произвести, кроме упорных, терпеливых и патриотически настроенных японцев.

В скором времени вся эта работа стала производиться явно. Японские офицеры реорганизовали китайскую пехоту. Инструкторы превратили

средневековых воинов в настоящих солдат двадцатого века, привыкших ко всем новейшим достижениям военной техники и во многом даже превосходивших солдат Запада. Японские инженеры развернули в Китае систему каналов, понастроили заводов, снабдили Империю телеграфами и телефонами и приступили к постройке железных дорог. Благодаря их энергии были открыты нефтяные источники Чупсана, железоносные горы Ван-Синга, медные залежи Чинчи; они же вырыли знаменитый газовый колодец в Воу-Вин, который до сих пор остается самым замечательным резервуаром натурального газа.

В Китайском Государственном Совете заседали японские эмиссары. Китайским государственным людям нашептывали в уши японские дипломаты. Им был обязан Китай своей политической реорганизацией. Они лишили влияния класс ученых, настроенный чрезвычайно реакционно, и на место ученых всюду поставили либеральных чиновников. В каждом китайском городе стали выходить газеты, которыми руководили японские редакторы, получавшие инструкции непосредственно из Токио. Благодаря этим газетам стали развиваться и научились либерально мыслить широкие круги китайского населения.

Китай наконец проснулся. То, что не удалось Западу, удалось Японии. Япония сумела преподнести Китаю западную культуру в форме, доступной его пониманию. Япония недавно сама удивила весь мир своим неожиданным пробуждением, но в ней было тогда всего сорок миллионов жителей. Пробуждение Китая с его четырехсотмиллионным населением произвело потрясающее впечатление. Китай был колоссом среди наций, и его голос вскоре стал уверенно и громко раздаваться во всех странах. Япония создала новый Китай, и гордые западные народы вынуждены были почтительно внимать ему.

Быстрый рост и успех Китая объяснялся, главным образом, необыкновенно высоким качеством труда. Китайцы — превосходные работники. Это их исконное качество. Никакие другие работники не могли сравниться с ними в ловкости. Работа для китайцев — как дыхание. Она была им так же необходима, как другим народам необходимы путешествия, войны и всевозможные авантюры. Свободу они понимали как доступ к орудиям производства. Обрабатывать почву и трудиться не покладая рук, — вот все, чего они требовали от жизни и от своих повелителей. И пробуждение Китая не только

открыло его народу свободный доступ к орудиям производства, но и научило его пользоваться этими орудиями наиболее совершенным образом.

Возродившийся Китай! Это было лишь первым шагом к его владычеству. Он проявил вдруг неожиданную гордость и стремление к самоопределению. Он начал волноваться под покровительством Японии, но волнение продолжалось недолго. По совету Японии, он прежде всего изгнал из Империи всех западных эмиссаров, инженеров, офицеров, коммерсантов и учителей. Затем он начал так же поступать и с представителями Японии. Японских государственных людей осыпали почестями и орденами, но отправили домой. Как некогда Япония разделалась с пробудившим ее Западом, так же теперь разделывался с ней Китай. Исполинский воспитанник поблагодарил Японию за все ее заботы и попечения, а затем вышвырнул ее за борт со всем багажом. Западные народы тихонько посмеивались. Радужные мечты японцев разлетелись как дым; Япония злилась, а Китай издевался над ней. Кровь самураев воспламенилась, засверкали мечи, и Япония начала воевать. Это случилось в 1922 году. В течение семи месяцев шли кровавые бои, после чего Япония, потерпев поражение,

должна была уйти на свои маленькие острова, потеряв Маньчжурию, Корею и Формозу. Япония перестала играть роль в мировой трагедии. После этого она стала заниматься только искусством, и весь мир долго восхищался красотой и изяществом ее художественных произведений.

Вопреки всяким опасениям, Китай не оказался воинственным, у него не было никаких наполеоновских амбиций, и он также стал мирно заниматься искусством. В конце концов все сошлись на том, что Китай опасен не как военное, а как торговое государство. Однако, как оказалось впоследствии, никто не предвидел истинной опасности. В Китае продолжала успешно развиваться машинная цивилизация. Вместо регулярной армии там была организована очень сильная и хорошо обученная милиция. Флот Китая был настолько мал, что служил посмешищем для всего мира, но Китай и не думал о расширении своего флота, его военные суда никогда не заходили в иностранные порты.

Настоящая опасность, которую таил в себе Китай, заключалась в его необыкновенной плодовитости. И тревога по этому поводу была поднята впервые в 1970 году. С некоторого времени все прилегавшие к Китаю земли стали

страдать от китайских переселенцев. Оказалось, что население Китая достигло уже пятисот миллионов; таким образом, со времени его пробуждения население возросло на сто миллионов. Бургальтер отметил чрезвычайно важный факт, что китайцев теперь больше, чем белых. Это можно проверить простым арифметическим расчетом. Он сложил количество населения Соединенных Штатов, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Африки, Англии, Франции, Германии, Италии, Австралии, Европейской России, Скандинавии — в сумме получилось четыреста девяносто пять миллионов, и все-таки пятьсот миллионов населения Китая превосходили эту громадную цифру. Данные, собранные Бургальтером, обошли весь мир. И мир содрогнулся. В течение многих веков население Китая было неизменным. Его территория была насыщена людьми; другими словами, на его территории, принимая во внимание примитивные способы жизни и производства, умещалось предельное количество населения. Но после пробуждения его производственное могущество возросло до грандиозных размеров; теперь на той же самой территории могло вместиться гораздо больше населения. Одновременно деторождение стало

увеличиваться, а смертность — уменьшаться. Прежде, когда прирост населения был больше, чем государство могло выдержать, излишек населения просто вымирал от голода, но теперь, благодаря машинной цивилизации, жизнеспособность Китая чрезвычайно возросла, голод прекратился, и число жителей увеличивалось одновременно с ростом средств к существованию.

В этот переходный период своего развития китайцы не мечтали о завоеваниях. Они отнюдь не были империалистами. Они были трудолюбивы, бережливы и очень мирно настроены. На войну они смотрели как на неприятную необходимость, иногда совершенно неизбежную. И вот, пока западные народы дрались между собой и пускались в разные рискованные предприятия, китайцы спокойно работали возле своих машин и развивали промышленность. Но теперь население начинало переливаться, так сказать, через край и «заливать» прилегающие к Империи территории, причем происходило это с медлительностью и упорством движущегося глетчера.

После шума, поднятого книгой Бургальтера, Франция в 1970 году вздумала оказать сопротивление. Французский Индо-Китай был переполнен эмигрантами. Франция сказала: «Довольно», но

поток не останавливался. Тогда Франция сосредоточила на границе своих владений стотысячную армию. Но Китай выслал свою милицию — огромное войско в миллион штыков. За этой армией шли жены, дети и родственники, везя за собою багаж и образуя как бы вторую армию. Французские солдаты разлетелись как мухи. Китайские милиционеры вместе со своими семьями заняли французский Индо-Китай и расположились там с твердым намерением прожить несколько тысяч лет.

Франция схватилась за оружие. Она послала свои военные суда к берегам Китая. У Китая не было флота, он, как улитка, запрятался в свою раковину. Целый год Франция блокировала Китайское побережье и бомбардировала приморские города и селения, но Китай относился к этому равнодушно; он абсолютно не зависел от других стран и ни в чем не нуждался; он спокойно прислушивался к грохоту французских пушек и продолжал работать. Франция плакала, стонала, ломала в бессилии руки и взывала к другим нациям. Наконец она отправила карательную экспедицию, которая должна была пойти на Пекин. Это было отборное войско в двести пятьдесят тысяч человек — цвет французской армии.

Войско высадилось, не встретив никакого сопротивления, и двинулось в глубь страны. И никто его больше уже не увидел. Линия сообщений была прервана на второй день — ни один из солдат не вернулся, чтобы поведать о случившемся. Войско было проглочено огромной пастью Китая.

В течение следующих пяти лет Китай быстро расширялся по всем направлениям. Сиам сделался частью Империи. Несмотря на протесты Англии, китайцы заняли Бирму и Малайский полуостров. То же происходило и на южной границе Сибири, где китайские орды жестоко теснили Россию. Этот процесс был очень прост. Сначала шли китайские переселенцы (вернее, они уже находились здесь, постепенно перейдя границу Империи). Потом раздавался звон оружия, и всякое сопротивление сметалось огромной армией милиционеров, шедших в сопровождении своих семейств и везших за собой имущество. Они делались колонистами покоренных земель. Никогда еще в мире не было такого странного и в то же время действенного способа завоеваний.

Непал и Бутан также наполнились переселенцами, а вся Северная Индия снесена этим страшным живым наводнением. Бухара и Афганистан были также поглощены. Поток этот чувствовался

и в Персии, и в Туркестане, и в Центральной Азии. Как раз в это время Бургальтер проверил свои данные, и оказалось, что он ошибся. В Китае население должно было равняться семистам — восьмистам — никто не знает скольким — миллионам человек, быть может — даже миллиарду. «На каждого белого приходится два китайца», — заявил Бургальтер, и весь мир задрожал от ужаса. Рост народонаселения Китая начался с 1904 года. С тех пор там ни разу не было голода. Если считать, что население возрастало ежегодно на пять миллионов человек, то в течение семидесяти лет оно должно было возрасти на триста пятьдесят миллионов. Но кто мог это знать точно! Может быть, оно увеличивалось еще быстрее. Никто ничего не ведал об этой новой грозе двадцатого века — о старом Китае, возродившемся и ставшем таким плодовитым и воинственным. В 1975 году в Филадельфии был созван конгресс. Все западные страны и даже некоторые восточные послали на него своих представителей. Однако ничего существенного достигнуто не было. Говорили об установлении премии за деторождение. Но математики осмеяли это предложение, доказав, что китайцы слишком опередили всех в этом направлении. Невозможно было придумать никаких

реальных средств для того, чтобы справиться с Китаем. Державы взывали друг к другу и угрожали Китаю. Это было единственным достижением конгресса в Филадельфии. А китайцы смеялись над конгрессом. Вот что соизволил сказать Ли Тангфунг, действительный владыка, скрывавшийся за троном дракона:

— Какое дело Китаю до Комитета Наций, — сказал Ли Тангфунг, — мы — наиболее древняя, наиболее могучая и наиболее царственная нация. Мы должны исполнить свое предназначение. Очень жалко, что наши стремления идут вразрез со стремлениями всего остального мира, но что же делать! Вы много толковали о царственных расах и о наследии земли; на это мы можем ответить только одно — посмотрим! Вы не можете напасть на нас. Какое нам дело до вашего флота; мы знаем, что наш флот мал, но, видите ли, мы им пользуемся только для полицейских целей. Нам не нужно морей. Вся наша сила заключается в нашем населении, которое скоро достигнет миллиарда. Благодаря вам мы снабжены всем современным военным снаряжением. Посылайте ваш флот — мы даже не заметим его. Посылайте свои карательные экспедиции, но не забывайте об опыте Франции. Высадить полмиллиона

солдат на нашем берегу для вас равносильно разорению, а наши миллионы проглотят такую армию мгновенно. Посылайте миллион, посылайте пять миллионов — мы все равно их проглотим. Пуф! Это маленький кусочек, о котором не стоит разговаривать. Пусть Соединенные Штаты, как вы угрожаете, уничтожат те десять миллионов кули, которых мы высадили на вашем побережье. Ну, что ж, ведь это едва составляет половину нашего ежегодного прироста.

Так говорил Ли Тангфунг. Весь мир был потрясен его речью. Ли Тангфунг говорил правду. Не было никакого способа приостановить рост китайского населения. Теперь это население достигало миллиарда, но при ежегодном приросте в двадцать миллионов через двадцать пять лет оно должно было достигнуть полутора миллиардов — цифры населения всего земного шара в 1904 году.

И ничего нельзя с этим поделать. Не было такой плотины, которая могла бы остановить этот чудовищный поток. Воевать — бесполезно. Китай смеялся над блокадой. Он приветствовал нашествия. В его огромной пасти могли легко уместиться гости из всех стран мира. А между тем океан желтой жизни заливал почти всю Азию.

Китайцы насмехались, читая в газетах мудрые рассуждения западных ученых.

Но был один ученый, по имени Якоб Ланингдаль, на которого Китай не обратил должного внимания. В сущности говоря, он был ученым в самом широком смысле этого слова. Он был очень образован, но совершенно неизвестен и служил профессором в одной из нью-йоркских лабораторий Министерства здравоохранения.

Голова Якоба Ланингдаля мало чем отличалась от голов других людей, но в ней однажды зародилась гениальная идея. Голова эта оказалась также достаточно благоразумной, чтобы сохранить эту идею в секрете. Он не стал излагать ее в журнальной статье. Вместо этого он взял отпуск и 19 сентября 1975 года уехал в Вашингтон. Несмотря на поздний час, он прямо отправился в Белый дом, где ему была обещана аудиенция у президента. Он просидел у президента несколько часов. Содержание их разговора осталось тайной для всего мира. Но, в конце концов, мир вовсе и не интересовался Якобом Ланингдалем. На следующий день президент созвал Совет. На нем присутствовал и Якоб Ланингдаль. Результаты совещания хранились в строжайшей тайне. В тот же день Рафус Коудери, государственный секре-

тарь Соединенных Штатов, покинул Вашингтон и на следующий день рано утром отплыл в Англию. Тайна стала постепенно распространяться, но распространялась она только среди правителей. Не более шести человек в каждом государстве были посвящены в эту тайну. Тотчас же вслед за распространением тайны началась усиленная работа в доках, арсеналах и корабельных мастерских. Население Франции и Австрии насторожилось, но правительства так искренно уверяли народ, что готовится просто какое-то не подлежащее оглашению мероприятие, что волнения быстро прекратились.

То было время Великого Мира. Все страны сговорились не воевать между собою. Начались мобилизации армий в России, Германии, Италии, в Австрии, Греции и Турции. Затем началось движение на Восток. Все азиатские железные дороги были забиты поездами. Китай оставался спокойным — вот все, что было известно. Через некоторое время началось Великое Движение на морях. Флотилии военных судов двинулись из всех стран. Один флот следовал за другим, и все они группировались у берегов Китая. Во всех странах опустели порты. Приплыли к берегам Китая и таможенные суда, и буксирные пароходы,

и старые крейсеры, и броненосцы. Не довольствуясь этим, нации мобилизовали и торговый флот. По статистическим данным, в Китай было отправлено 58 640 торговых судов, снабженных прожекторами и скорострельными орудиями.

Китай улыбался и ждал. На его границе стояли миллионы европейских солдат и моряков. Китай мобилизовал армию в пять раз больше. То же самое он сделал и на побережье. Однако Китай вскоре призадумался. После всех этих необычайных подготовительных операций никакого нашествия как будто бы и не предполагалось. Китай не мог понять, в чем дело. На Великой Сибирской границе все было спокойно. И никто не бомбардировал приморских городов и селений. Никогда еще в истории не было такого грозного сборища флотов. У берегов Китая собрались флоты всех наций; бесчисленные суда днем и ночью бороздили воды океана, и тем не менее никто ничего не предпринимал. Неужели европейцы предполагали выгнать Китай из его раковины? — Китай улыбался. Неужели они думают взять его измором? — Китай снова улыбался.

Если бы читатель 1 мая 1976 года попал на улицы Пекина — города с населением в одиннадцать миллионов человек, — он был бы поражен инте-

ресным зрелищем. Он увидел бы толпы желтых людей, наводнившие все улицы, причем каждый человек, задрав голову, смотрел на небо. Высоко в воздухе можно было увидеть движущуюся точку, которая, судя по плавности движений, могла быть только аэропланом. С этого аэроплана, в то время как он летал взад и вперед над городом, падали странные, безобидные на вид снаряды, какие-то стеклянные трубки, которые разбивались на тысячи кусков. Но ничего смертоносного, по-видимому, эти трубки в себе не таили. Ничего особенного не произошло. Не было никаких взрывов. Правда, три китайца были убиты этими трубками, упавшими им на голову с такой огромной высоты. Но разве стоило говорить о трех убитых при ежегодном приросте в двадцать миллионов! Одна из трубочек упала перпендикулярно в фонтан, наполненный водой, и не разбилась. Хозяин дома извлек ее из воды. Сам он не решился ее вскрыть и понес ее начальнику квартала. За ним следовала толпа любопытных. Начальник квартала был храбрый человек. На глазах у всех он разбил трубку ударом своего чубука. Опять-таки ничего не произошло. Правда, те, кто стоял совсем близко, утверждали, будто из трубки вылетело несколько москитов. Толпа со

смехом разошлась.

Весь Китай, подобно Пекину, подвергся бомбардировке стеклянными трубочками. Маленькие аэропланы летали по всем направлениям, причем на аэропланах этих помещалось всего двое летчиков. Один правил машиной, а другой разбрасывал трубки. Если бы читатель снова заглянул в Пекин недель через шесть после описанных событий, он напрасно стал бы искать одиннадцатимиллионное население. Он нашел бы лишь жалкие остатки — всего несколько сот тысяч человек, а трупы остальных он увидел бы валяющимися на улицах, в домах, сваленными в груды на погребальные фургоны. Все остальное население ему пришлось бы искать на дорогах, в окрестностях столицы. Но и тут он повстречал бы лишь ничтожное количество живых людей, зато увидел бы горы трупов, — моровая язва, очевидно, успела нагнать убегавших. То, что случилось в Пекине, произошло и во всех остальных китайских городах. Мор свирепствовал повсюду. Это не была одна или две каких-нибудь болезни — это было множество ужасных эпидемий. Все разновидности смертельных заразных болезней носились по стране. Китайское правительство слишком поздно оценило всю грандиозность и

чудовищность этого предприятия, всю опасность этих маленьких аэропланов и безобидных на вид стеклянных трубочек.

Напрасно правительство выпускало воззвание за воззванием. Ничто не могло удержать от бегства одиннадцатимиллионное население Пекина и жителей других городов, стремившихся спастись от эпидемий и заражавших при этом всю страну. Врачи и санитары доблестно погибали на своем посту. Смерть-победительница издевалась над декретами императора и Ли Тангфунга. Она издевалась уже потому, что сам Ли Тангфунг умер на вторую неделю, а император, укрывшийся в своем дворце, умер на четвертую неделю.

Если бы свирепствовала какая-нибудь одна эпидемия, Китай сумел бы с ней справиться. Но что можно было поделать с целыми полчищами болезней? Тот, кто избегал оспы, умирал от скарлатины. Кого щадила желтая лихорадка, того убивала холера. А если иной железный организм оставался невосприимчивым к этим болезням, то его все равно подкашивала Черная Смерть, как принято называть бубонную чуму. Мириады бактерий и бацилл, культивированных в западных лабораториях и заключенных там в стеклянные трубочки, теперь носились по Китаю.

Организованной жизни больше не было. Правительство распалось. Всякие декреты и воззвания были бесполезны, ибо люди, подписывавшие их, умирали через минуту. Ничто не могло остановить бегство миллионов обезумевших людей. Они бежали из городов, наводняли страну — и всюду приносили смерть. Было жаркое лето — Якоб Ланингдаль сумел правильно выбрать время года, — и чума, ликуя, распространялась повсюду. О том, что происходило в Китае, можно было только предполагать, хотя кое-что рассказали немногие очевидцы, пережившие все эти ужасы. Всюду бродили одичавшие люди. Огромные армии, сосредоточенные на границах, быстро таяли. Все фермы были разграблены людьми, искавшими себе пропитания; нивы погибали, ибо некому было убирать их. О новых посевах никто и не думал. Замечательнее всего были попытки прорвать цепь и бежать из пределов Китая. Но огромные армии других народов никому не давали возможности спастись. Избиение обезумевших людей на границах носило массовый характер. Иногда иностранным войскам приходилось отступать на двадцать-тридцать миль, чтобы избежать заразы, распространяемой миллионами гниющих трупов.

Один раз чума вдруг перекинулась на немецкие и австрийские войска, сосредоточенные на границе Туркестана. Европейцы предвидели такой случай и заранее приняли все возможные меры к скорейшему прекращению эпидемии. Правда, погибло около шестидесяти тысяч солдат, но международный корпус врачей превосходно справился со своей задачей, и эпидемия была приостановлена. Примерно в это время ученые высказали предположение, что от смешения бацилл различных болезней зародилась новая бацилла невиданной еще силы. Первый высказал это предположение Вомберг. Он заразился сам и умер. Бацилла эта, наконец, была открыта и изучена Стевенсом, Хаценфельтом, Норманом и Линдерсом.

Таково было неслыханное нашествие на Китай. Для целого миллиарда людей не оставалось никакой надежды на спасение. Заключенные как бы в огромной покойницкой, наполненной гноящимися и разлагающимися трупами, люди могли только умирать. Некуда было бежать. И со стороны суши, и со стороны моря все выходы тщательно охранялись европейскими армиями. Семьдесят пять тысяч судов крейсировали возле берегов. Днем их дым застилал весь горизонт,

а ночью их прожекторы перебегали с места на место и не пропускали самой маленькой джонки. Попытки флотилии джонок прорвать цепь судов были бесполезны. Новейшие огнестрельные орудия удерживали дезорганизованные китайские массы, а чума вершила свое дело.

Старые способы войны теперь казались просто смешными. Все свелось к патрульной службе. Китай смеялся над войной до тех пор, пока с ней не познакомился. Это была война двадцатого века, война ученых и лабораторий, война Якоба Ланингдаля. Громаднейшие орудия весом в сотни тонн были ничто по сравнению с маленькими стеклянными трубочками, которые, подобно злым гениям, налетели на империю с миллиардным населением.

В течение всего лета 1976 года Китай представлял сущий ад. Нигде нельзя было избежать микроскопических снарядов, проникающих в самые сокровенные места. Миллионы трупов оставались непогребенными, а бактерии все размножались; к тому же в стране начал свирепствовать голод. Организмы, ослабев от голода, окончательно потеряли способность сопротивляться болезням. Люди сходили с ума, убивали и пожирали друг друга. Так погиб Китай.

Только в феврале, при установившейся холодной погоде, первые экспедиции решились проникнуть в глубь мертвой страны. Экспедиции эти были немногочисленны и состояли лишь из ученых и их телохранителей. Экспедиции вошли в Китай с разных сторон. Несмотря на все меры предосторожности, несколько врачей и солдат погибло. Но это не смутило остальных. Они увидели Китай, превратившийся в огромный пустырь, по которому бродили голодные собаки и чудом уцелевшие шайки разбойников. Их немедленно перебили. Никто не должен был остаться в живых. Затем началось оздоровление Китая. На это ушло пять лет и многомиллионные средства. После этого мир двинулся в Китай, но не по национальным зонам, как предлагал барон Альбрехт, а в смешанном порядке, согласно демократической американской программе. Это было грандиозное и очень успешное смешение разных народностей, начавших заселять Китай в 1987 году, — превосходный опыт перекрестного оплодотворения. Мы теперь уже знаем, к каким великим достижениям в области науки и искусства привел этот опыт.

В 1987 году Великий Мир был нарушен Францией и Германией, снова начавших свой старый спор об Эльзасе и Лотарингии. Надвигалась военная гроза, и 17 апреля в Копенгагене был созван конгресс. Представители всех наций, присутствовавшие на нем, торжественно поклялись друг другу никогда не прибегать к тем способам уничтожения врага, которые были применены при неслыханном нашествии на Китай.

Извлечено из книги Уолта Мэрвина «Этюды по всеобщей истории».

Встреча в хижине

Наплыв людей был невероятный — никогда я такого не видел. Тысяча собачьих упряжек неслась по льду. Их не было видно за дымом. Двое белых и один швед замерзли в ту ночь, и человек двенадцать застудили легкие. Но разве не видел я собственными глазами дна ямы? Оно было желто от золота, словно покрыто горчичным пластырем. Вот почему я сделал заявку на Юконе, и вот чем вызван был такой наплыв. А потом ничего из этого не вышло. Говорю вам — ничего. И я все еще не могу найти разгадку.

Рассказ Шорти.

Ухватившись одной рукой за шест, управляющий движением собак Джон Месснер удерживал сани на тропе. Другой рукой он тер себе щеки и нос; временами, когда их онемение чувствовалось сильнее, он тер еще чаще и крепче. На лоб его был надвинут козырек меховой шапки со спущенными наушниками. Остальная часть его лица была защищена густой бородой, по природе

своей темно-рыжей с золотыми отливами, а в настоящее время белой от инея.

Перед ним плелась свора из пяти собак, впряженная в тяжело нагруженные юконские сани. Постромки саней то и дело терлись о ноги Месснера, и на поворотах он вынужден был через них переступать. Делал он это очень неловко, — он слишком устал; то и дело задевал за веревки и спотыкался, а сани наезжали на него сзади.

Когда они наконец добрались до места, где тропа шла без изгибов и сани могли двигаться некоторое время без его помощи, он оставил шест висеть на привязи и онемевшей правой рукой стал усиленно о него колотить.

Надо было поддерживать кровообращение в этой руке, но вместе с тем не забывать носа и щек.

— Пожалуй, для езды слишком холодно, — сказал он. Говорил он громко, как люди, привыкшие к одиночеству. — Только безумец может ездить при такой температуре. Если сейчас не восемьдесят градусов ниже нуля, то уж наверное семьдесят девять.

Он достал часы и затем с трудом положил их обратно в карман толстой шерстяной куртки. Потом посмотрел на небо и окинул взглядом белую

полосу горизонта к югу.

— Двенадцать часов, — пробормотал он. — Чистое небо, и нет солнца.

Он шел молча около десяти минут, после чего прибавил, словно продолжая:

— Я проехал очень мало. И вообще слишком холодно, чтобы ездить.

Внезапно он заревел на собак: «Уоа!» и остановился. Его охватил панический страх за правую руку, и он начал снова усиленно колотить ею по шесту.

— Бедные вы, черти, — обратился он к собакам, которые грустно легли на лед, чтобы отдохнуть. Он говорил нескладно и прерывисто, продолжая бить по шесту онемевшей рукой. — Чем это вы провинились, что другое животное завладело вами, впрягло в упряжь, сломило ваши естественные наклонности и превратило во вьючных животных?

Он тер нос уже не задумчиво, а неистово, чтобы усилить кровообращение; затем снова погнал собак. Сани ехали по замерзшей поверхности большой реки. Она тянулась за ними широкой лентой, расстилавшейся на много миль и уходящей вдаль — в фантастическое нагромождение молчаливых снежных гор. Впереди река разделя-

лась на множество рукавов, которые окаймляли острова, вырастающие в ее русле. Острова были белы и молчаливы. Ни одно животное или насекомое не нарушало молчания. Ни одна птица не пролетела в замерзшем воздухе. Не слышно было никаких звуков и не видно признаков жилья.

Мир спал, и казалось, что это — сон смерти.

Мало-помалу Джон Месснер как будто сам начал приобщаться к равнодушию всего, что его окружало. Мороз все больше и больше подавлял его. Он шел с опущенной головой, апатичный, машинально потирая нос и щеки и изредка, когда можно было оставить сани без управления, ударяя рукой по шесту.

Но чуткость собак не дремала. Внезапно они остановились, обернувшись, и с серьезным вопрошающим видом уставились на хозяина. Их ресницы и морды были покрыты инеем, и сами они выглядели дряхлыми от усталости и холода.

Человек хотел было снова заставить их двинуться, но воздержался и, сделав усилие, посмотрел вокруг. Собаки остановились у проруби. Это была не естественная трещина во льду, а отверстие, старательно прорубленное сквозь три с половиной фута льда топором человека. Толстый ледяной слой показывал, что прорубью

уже долгое время никто не пользовался. Месснер продолжал оглядываться. Собаки показывали дорогу, повернувшись своим заиндевелым телом в сторону неясной тропинки в снегу, идущей от главного речного тракта к одному из островов.

— Хорошо, я знаю, что ноги у вас болят, — сказал он. — Я выясню. Не меньше вашего я хочу отдохнуть.

Он влез на берег и исчез. Собаки не ложились: держась на ногах, они напряженно ждали его возвращения. Он вернулся и впрягся в сани посредством особой веревки с ремнем, который перекинул себе через плечи. Он двинул собак направо и погнал их бегом вверх на берег. Тянуть было очень тяжело, но усталость как будто исчезла.

В своем усердии вынести сани они напрягали последние силы, пригибаясь к земле и издавая радостный визг. Когда какая-нибудь собака скользила или останавливалась, идущая за нею кусала ей зад. Человек же поощрял их и грозил и также напрягал силы, чтобы вывезти тяжелую ношу.

Они стремительно поднялись на берег, повернули направо и подъехали к маленькой бревенчатой хижине. Это был домик в одну комнату, размером в восемь на десять футов.

Он, по-видимому, был покинут обитателями. Месснер выпряг собак, разгрузил сани и занялся освоением хижины. Последний случайный ее житель оставил запас дров. Месснер поставил свою небольшую железную печь и зажег огонь. Он положил пять кусков сушеной сёмги для собак в печь для того, чтобы рыба оттаяла, а затем наполнил кофейник и котелок водой из проруби.

Выжидая, когда закипит вода, он наклонился над печью. Влага от его дыхания смерзлась в его бороде в сплошной кусок льда, который начал таять. Капли стекали на печь, шипели и превращались в пар. Он очищал бороду руками, извлекая мелкие куски льда и бросая их на пол, и был погружен в это занятие, когда на улице раздался громкий лай его собак, сопровождаемый рычанием и лаем чужой своры и звуком голосов. Вскоре в дверь постучали.

— Войдите, — глухо пробормотал Месснер, обсасывая лед со своих усов.

Дверь отворилась, и он увидел за облаками пара мужчину и женщину, остановившихся на пороге.

— Войдите, — повторил он кратко, — и закройте дверь.

Завеса из пара мешала ему разглядеть вошед-

ших. Нос, щеки и голова женщины были так плотно прикрыты, что виднелись только ее два черных глаза. Мужчина был гладко выбрит, за исключением усов, покрытых инеем до такой степени, что его рот не был виден.

— Мы хотели бы знать, нет ли здесь другой хижины, — сказал он, оглядывая голую комнату. — Мы думали, что эта пустая.

— Хижина это не моя, — ответил Месснер, — я набрел на нее только несколько минут назад. Входите, устраивайте ваш ночлег. Места хватит, и вам не нужно будет ставить вашу печь.

При звуке его голоса женщина быстро взглянула на него.

— Снимай шубу, — обратился к ней спутник. — Я разгружу сани и принесу воды, чтобы приготовить еду.

Месснер вынес оттаявшую сёмгу и покормил собак. Он должен был отделить их от своры чужих собак. Возвратившись в хижину, он увидел, что незнакомец уже разгрузил свои сани и принес воду. Котелок кипел. Он насыпал в него кофе, разбавил чашкой холодной воды и снял с печи. Затем положил оттаивать в печь несколько бисквитов из кислого теста и согрел горшок с бобами, который сварил накануне и вез целое

утро в мерзлом виде.

Сняв свою посуду с печи, чтобы пришельцы могли приступить к варке пищи, он, усевшись на своем постельном свертке, принялся за обед, разложенный на ящике с провизией. Между глотками он вел разговор о езде и собаках с незнакомцем, который наклонил голову над печкой и освобождал свои усы от засевшего в них льда. В хижине были две лежанки. Окончив прочищать свои усы, незнакомец бросил на одну из них свои постельные принадлежности.

— Мы будем спать здесь, — сказал он. — Если только вы не хотите занять эту лежанку. Вы пришли первый, значит, вам и выбирать.

— Занимайте, какую хотите, — ответил Месснер. — Обе лежанки одинаковы.

Он разложил свои постельные вещи на другой лежанке и сел на краю. Незнакомец сунул маленький складной ящик с медицинскими принадлежностями под одеяло так, чтобы тот мог служить подушкой.

— Вы врач? — спросил Месснер.

— Да, — был ответ. — Только могу вас уверить, что приехал я в Клондайк не для практики.

Женщина занялась варкой обеда, в то время как мужчина резал сало и подкладывал дрова в

печку. Внутренность хижины была слабо освещена, ибо свет проглядывал лишь через небольшое окно, сделанное из просаленной бумаги, и Джон Месснер не мог разглядеть женщину.

Впрочем, Месснер не особенно и старался это сделать. Казалось, он не интересуется ею. Но она изредка с любопытством посматривала в темный угол, где он сидел.

— О, это замечательная жизнь, — с восторгом сказал доктор, останавливаясь, чтобы поточить нож о печную трубу. — Больше всего мне нравится в ней эта борьба, этот физический труд. Все это так первобытно и так реально.

— Температура достаточно реальна, — засмеялся Месснер.

— Знаете ли вы точно, сколько сейчас градусов? — спросил доктор.

Тот покачал головой.

— Я скажу вам. Спиртовой термометр на санях показывает семьдесят четыре ниже нуля.

— Слишком холодно для езды, не правда ли?

— Это подлинное самоубийство, — вынес приговор врач. — Вы напрягаетесь, вы тяжело дышите, вбирая в легкие ледяной воздух. Легкие охлаждаются, и верхушки их замерзают. Ткани отмирают и вы начинаете кашлять сухим кашлем. В сле-

дующее лето вы умираете от воспаления легких, удивляясь, откуда оно могло взяться. Я останусь в этой хижине неделю, если только температура не поднимется по крайней мере до пятидесяти ниже нуля.

— Скажи-ка, Тэсс, — заговорил он минуту спустя, — не думаешь ты, что кофе достаточно уже прокипел?

Услышав женское имя, Джон Месснер внезапно насторожился. Он быстро на нее взглянул, и по лицу его мелькнула тень, как бы воскресший призрак давно забытой печали. Но тотчас же усилием воли он отогнал призрак. Его лицо было так же спокойно, как и раньше, хотя он оставался настороже и внутренне досадовал на слабое освещение, не позволявшее разглядеть лицо женщины.

Она машинально отставила кофейник, затем взглянула на Месснера. Тот уже овладел собой. Она увидела только человека, сидящего на краю лежанки и изучающего без особенного внимания носки своей обуви. В тот момент, когда она снова повернулась, чтобы заняться приготовлением пищи, он бросил на нее другой быстрый взгляд.

Глаза их на мгновение встретились, но он перевел взор на доктора, разглядывая его с еле

заметной усмешкой.

Она вынула свечу из ящика с провизией и зажгла. Для Месснера было достаточно одного взгляда на ее освещенное лицо. Хижина была мала, и в следующее мгновение она была рядом с ним. Она медленно подняла свечку к его лицу и пристально на него посмотрела, как будто боялась и вместе с тем хотела его узнать. Он спокойно улыбался.

— Что ты ищешь, Тэсс? — крикнул доктор.

— Шпильки, — ответила она, проходя мимо Месснера и делая вид, что отыскивает что-то в платяном мешке.

Они разложили обед на своем ящике и уселись на ящик Месснера — прямо против него. А Месснер растянулся на своей лежанке, подперев голову рукою. Было так тесно, что казалось, будто все трое сидят вместе за столом.

— Откуда вы едете? — спросил Месснер.

— Из Сан-Франциско, — ответил доктор. — Но я здесь уже два года.

— Я сам из Калифорнии, — сказал Месснер.

Женщина посмотрела на него умоляюще, но он улыбнулся и продолжал:

— Из Берклиевското университета, знаете?

— Да, вы похожи на ученого, — сказал доктор.

— Жалею об этом, — засмеялся Месснер в ответ, — я предпочел бы, чтобы меня приняли, например, за золотоискателя или погонщика собак.

— Он не более похож на профессора, чем ты на доктора, — заметила женщина.

— Благодарю вас, — сказал Месснер. Затем, обратившись к ее спутнику, спросил: — Между прочим, могу ли я узнать ваше имя?

— Хейторн, если вы мне поверите на слово. Я оставил визитные карточки вместе с цивилизацией.

— А это миссис Хейторн? — улыбнулся Месснер, слегка кланяясь ей.

Хейторн хотел спросить имя собеседника. Он уже раскрыл рот для вопроса, но Месснер продолжал:

— Кстати, доктор, быть может, вы сумеете удовлетворить мое любопытство. В академических кругах, года два-три назад, произошел скандал. Жена одного из профессоров английского языка, — простите мне этот легкомысленный рассказ, миссис Хейторн, — исчезла с каким-то доктором из Сан-Франциско, хотя я не помню его имени. Помните ли вы этот инцидент?

Хейторн кивнул головой:

— Да, в свое время это произвело большой шум. Его имя было Уомбл — Грехэм Уомбл. У него была громадная практика. Я был с ним немного знаком.

— Очень хотел бы знать, что с ними сталось? Быть может, вы что-нибудь слышали? Они не оставили никаких следов.

— Они очень ловко скрыли все следы. — Хейторн откашлялся. — Был слух, что они отправились в Южные моря и там погибли на торговом судне во время тайфуна.

— В первый раз об этом слышу, — сказал Месснер. — Вы помните этот случай, миссис Хейторн?

— Отлично, — отвечала она, и спокойный ее тон совершенно не вязался с лицом, искаженным гневом. Она отвернулась, чтобы Хейторн не заметил.

Тот снова хотел было спросить имя Месснера, но последний продолжал:

— Я слышал, что этот доктор Уомбл был очень красив и имел большой успех у женщин.

— Ну, во всяком случае эта история прикончила его, — проворчал Хейторн.

— А женщина была, кажется, очень сварлива. Я слышал в Беркли, что жизнь ее мужа была не

из приятных.

— Я ничего об этом не слышал, — возразил Хейторн. — В Сан-Франциско говорили совершенно другое.

— Женщина-мученица? Распятая на кресте замужества?..

Доктор утвердительно кивнул. Серые глаза Месснера казались сдержанно-любопытными. Он продолжал:

— Как и следовало ожидать, были две точки зрения. Живя в Беркли, я знал только одну сторону дела…

— Пожалуйста, еще кофе, — сказал Хейторн своей спутнице. Женщина наполнила его чашку и рассмеялась легким смехом.

— Вы сплетничаете, как две старые дамы.

— Это очень интересно, — улыбнулся ей Месснер и продолжал разговор с доктором.

— Муж, по-видимому, имел неважную репутацию в Сан-Франциско.

— Наоборот, он был педантичен, — выпалил Хейторн с несколько излишней горячностью, — маленький ученый сухарь, без единой капли красной крови в теле.

— Вы его знали?

— Нет, я никогда его не видел. Я не вращался в

университетских кругах.

— И опять одностороннее мнение, — заметил Месснер. — Хоть внешне он и не представлял собой ничего особенного, все-таки едва ли был так уж плох. Он принимал деятельное участие в студенческом спорте. И не лишен был некоторого таланта. Он написал однажды пьесу, имевшую крупный местный успех. А потом я слышал, что его должны были назначить заведующим секцией английского языка. Но произошел этот казус, и он вынужден был уехать. Это разрушило его карьеру — так по крайней мере казалось. Во всяком случае, мы считали, что он окончательно выбит из строя. Думали также, что он очень любит свою жену.

Хейторн закончил пить и, зажигая трубку, неясно пробормотал, что все это его мало интересует.

— Хорошо, что у них не было детей, — продолжал Месснер.

Хейторн взглянул на печь и сказал, надевая шапку и перчатки:

— Я пойду за дровами. Тогда можно будет снять обувь и расположиться поудобнее.

Дверь с шумом затворилась за ним. Целую минуту длилось молчание. Мужчина оставался в том же положении на кровати. Женщина сидела

на ящике, лицом к нему.

— Что вы собираетесь делать? — резко спросила она.

Месснер посмотрел на нее как будто с ленивой нерешительностью.

— Как вы думаете, что я должен сделать? Ничего театрального, надеюсь? Видите ли, я устал и окоченел от дороги, а эта лежанка очень удобна для отдыха.

Она кусала свою нижнюю губу, и видно было, что ей стоит большого труда сдержаться.

— Но… — начала она возбужденно, затем сжала кулаки и остановилась.

— Я надеюсь, вы не хотите, чтобы я убил мистера Хейторна? — сказал он мягко, почти умоляюще. — Это было бы очень грустно и, уверяю вас, совершенно не нужно.

— Но вы должны что-нибудь сделать! — воскликнула она.

— Наоборот, можно себе представить, что я ничего не должен сделать.

— Вы останетесь здесь?

Он кивнул.

Она взглянула с отчаянием вокруг и остановила взор на неразвернутом постельном свертке.

— Ночь приближается. Вы не можете здесь

остаться. Вы не можете! Я говорю вам: вы не можете!..

— Конечно, могу. Я мог бы вам напомнить, что первый нашел эту хижину — и вы мои гости.

Снова ее глаза оглядели комнату и остановились на второй кровати.

— Тогда мы должны уйти, — заявила она решительно.

— Это невозможно. У вас сухой, прерывистый кашель, — мистер Хейторн так профессионально его описал. Вы уже отчасти простудили себе легкие. Он — доктор и никогда не допустит этого.

— Тогда что же вы намереваетесь сделать? — тихо спросила она. В ее тоне была такая напряженность, что казалось, следует ждать незамедлительного взрыва.

Месснер смотрел на нее почти по-отечески: так много было в его взгляде сострадания.

— Дорогая Тереза, я уже сказал вам, что не знаю. Я еще об этом не думал.

— О! Вы сводите меня с ума! — Она вскочила на ноги в бессильном гневе. — Вы никогда не были таким!..

— Я весь был — мягкость и нежность, — согласился он. — Не поэтому ли вы меня оставили?

— Вы так изменились, вы так ужасно спокойны.

Вы пугаете меня. Я чувствую, что вы задумали что-то ужасное. Но что бы вы ни сделали, не делайте ничего безрассудного. Не выходите из себя.

— Я никогда больше не волнуюсь, — прервал он ее. — С тех пор, как вы ушли.

— Вы стали гораздо лучше, — ответила она.

Он усмехнулся.

— Пока я обдумываю, что должен сделать я, слушайте, что должны сделать вы. Вы должны сказать мистеру… Хейторну, кто я. От этого наше пребывание в хижине может стать более приятным, я бы сказал.

— Зачем вы последовали за мной в эту ужасную страну? — спросила она неожиданно.

— Не думайте, Тереза, что я приехал сюда искать вас. Подобными предположениями ваше самолюбие не должно обольщаться. Наша встреча — чистая случайность. Я бросил академическую жизнь и должен был куда-нибудь поехать. Откровенно говоря, я очутился в Клондайке, так как меньше всего рассчитывал здесь встретить вас.

В дверях раздался шум у замка, затем дверь открылась, и Хейторн вошел, неся охапку дров. При первом же звуке за дверью Тереза принялась убирать посуду. Хейторн снова вышел, чтобы

принести еще дров.

— Почему вы нас не представили друг другу? — спросил Месснер.

— Я скажу ему, — она гордо откинула голову. — Не думайте, что я боюсь.

— Я не помню случая, чтобы вы чего-нибудь боялись.

— И я не боюсь признаться в своей вине, — добавила она. И голос, и лицо ее стали мягче.

— Боюсь только, что исповедь ваша едва ли не будет преследовать корыстные цели.

— Я не хочу спорить, — сказала она с недовольным видом, но почти нежно. — Я скажу только, что не боюсь просить у вас прощения.

— Нечего прощать, Тереза. Я должен был бы вас благодарить. Правда, вначале я страдал. А затем вдруг понял, что счастлив, очень счастлив. Это было изумительнейшее открытие.

— Но что, если я вернусь к вам? — спросила она.

— Я был бы, — он посмотрел на нее с легкой усмешкой, — очень этим озадачен.

— Я — ваша жена. Вы не позаботились о разводе.

— Да, — сказал он задумчиво. — Я упустил это из виду. Это одно из первых дел, какие я должен

сделать.

Она подошла к нему и положила руку ему на плечо.

— Ты не хочешь меня, Джон? — Ее голос был мягок и ласков, и прикосновение ее руки обожгло его. — Если бы я сказала тебе, что сделала ошибку? Если бы я сказала, что очень несчастна? Да, я несчастна, я сделала ошибку.

Понемногу Месснером стал овладевать страх. Он чувствовал, что колеблется под этой легкой рукой, лежащей на его плече. Казалось, он терял почву, и все его прекрасное спокойствие исчезло. Она глядела на него влажными глазами, а он, казалось, тоже как будто таял. Он почувствовал, что стоит на краю пропасти и не может противиться силе, влекущей его в бездну.

— Я возвращаюсь к тебе, Джон. Я возвращаюсь сегодня, сейчас.

Как в кошмаре, он метался под ее рукой. Она говорила, и ему казалось, что он слышит нежные переливы песни Лорелей. Словно где-то заиграло фортепиано…

Она пыталась обнять его, но вдруг он вскочил, оттолкнул ее и отступил к двери. Он весь дрожал.

— Я не ручаюсь за себя! — крикнул он.

— Я говорила вам — не выходите из себя! — Она рассмеялась и приступила со спокойным видом к мытью посуды. — Успокойтесь. Вы мне не нужны. Я только играла вами. Я гораздо счастливее там, где сейчас нахожусь.

Но Месснер не поверил. Он вспомнил, с какой легкостью она меняет свое настроение. Он хорошо знает, что на самом деле она несчастна с тем — другим. И она признает свою ошибку! Эта мысль доставила ему удовлетворение. И вместе с тем он не хотел возвращения жены. Его рука опустилась на дверную ручку.

— Не убегайте, — смеялась она. — Я вас не укушу!

— Я не убегаю, — отвечал он с некоторым вызовом. Он натянул свои перчатки. — Я только иду за водой.

Он собрал пустые ведра и посуду и, открыв дверь, обернулся:

— Не забудьте, что вы должны сказать мистеру… Хейторну, кто я.

Месснер пробил лед, образовавшийся на проруби, и наполнил ведра. Но он медлил возвращаться в хижину. Оставив ведра на тропе, он начал шагать по ней. Шел быстро, чтобы не замерзнуть.

Мороз щипал и жег, словно огнем. Борода Мес-

снера была уже белой от инея, когда наконец нахмуренные его брови расправились и выражение решимости появилось у него на лице. Он обдумал свой план действий и не мог удержаться от улыбки при мысли об этом плане.

Ведра были уже подернуты легкой пленкой льда, когда он поднял их и пошел по направлению к хижине. Войдя, он увидел, что спутник Терезы ждет его, стоя у печи. Во всем его облике была какая-то нерешительность и неловкость. Месснер поставил на пол ведра с водой.

— Очень рад встретиться с вами, Грехэм Уомбл, — сказал он вежливо, как бы отвечая на представление.

Месснер не подал руки. Вомблю было очень не по себе. Он ощущал неловкость создавшегося положения и вместе с тем чувствовал к собеседнику ту ненависть, которую обычно обидчик питает к своей жертве.

— Так это вы — тот самый человек, — сказал Месснер вежливо, удивленным тоном. — Ну, хорошо. Видите ли, я действительно рад вас встретить. Мне было несколько любопытно знать, что Тереза в вас нашла — чем, так сказать, вы были привлекательны. Ну-ну!..

И он обмерил своего соперника с ног до головы,

как осматривают при покупке лошадь.

— Я представляю себе, что вы должны ко мне питать… — начал Уомбл.

— Не стоит упоминать об этом, — прервал его Месснер с преувеличенной любезностью. — Мне хочется знать, как вы нашли ее? Оказалась ли она такая, какой вы ее ждали встретить? Была ли ваша жизнь с тех пор счастливым сном?

— Нельзя ли без глупостей? — вмешалась Тереза.

— Я не могу не быть естественным.

— Но вы все-таки можете не тянуть, — резко сказал Уомбл. — Мы хотим знать, что вы хотите делать.

Месснер притворился беспомощным.

— Я положительно не знаю. Это одно из тех невозможных положений, из которых нет выхода.

— Мы трое не можем остаться на ночь в этой хижине.

Месснер кивнул утвердительно.

— Тогда кто-нибудь должен уйти, — продолжал Уомбл.

— Это тоже неопровержимо, — согласился Месснер. — Поскольку три тела не могут одновременно занимать одно и то же пространство,

кто-то должен уйти.

— И это будете вы, — угрожающе заявил Уомбл. — До ближайшего лагеря десять миль, но вы можете их сделать.

— Вот тут-то вы, пожалуй, и ошибаетесь, — возразил Месснер. — Почему же непременно я должен уйти? Ведь я первый нашел эту хижину.

— Но Тэсс не может выйти, — объяснил Уомбл. — Ее легкие простужены.

— Я согласен с вами. Она не может пройти десять миль по морозу. Она во всяком случае должна остаться.

— Тогда дело обстоит именно так, как я сказал, — заявил Уомбл.

Месснер кашлянул.

— Ваши легкие здоровы? Не правда ли? — спросил он.

— Да, но что же из этого?

Снова Месснер откашлялся и сказал, выговаривая слова с особой надуманной медлительностью:

— А из этого только то, что, как вы сами изволили рассуждать, нет никаких препятствий для вашего ухода и прогулки в десять миль по морозу.

Уомбл взглянул на Терезу и уловил в ее глазах

что-то вроде удовольствия.

— Ну? — спросил он ее.

Она колебалась, и он весь покраснел от ярости. Затем обратился к Месснеру.

— Довольно! Вы не можете здесь остаться!

— Нет, могу и останусь!

— Я не позволю вам. — Уомбл выпрямился.

— Все-таки я останусь.

— Я вас выброшу!

— Я вернусь!

Уомбл остановился на минуту.

— Имейте в виду, Месснер, если вы не уйдете, я вас побью. Здесь не Калифорния. Я вас изобью.

Месснер пожал плечами.

— Если вы это сделаете, я созову золотоискателей, и вас повесят на первом дереве. Вы сказали правильно, что здесь не Калифорния. Они простые люди — эти золотоискатели, и мне довольно будет показать им следы ваших ударов и заявить притязание на свою жену.

Женщина пыталась что-то сказать, но Уомбл в бешенстве повернулся к ней.

— Ты не вмешивайся.

Месснер, наоборот, обратился к ней с изысканной вежливостью:

— Пожалуйста, Тереза, не вмешивайтесь.

Но гнев и необходимость сдерживаться оказали свое действие. Она начала кашлять сухим, прерывистым кашлем; с налитым кровью лицом и рукой, прижатой к груди, она ждала, чтобы припадок прошел.

Уомбл мрачно посмотрел на нее, как бы измеряя степень ее болезни.

— Что-нибудь надо сделать, — сказал он. — Ее легкие не выдержат путешествия. Она не может двинуться, пока температура не поднимется. Но я ее не уступлю.

Месснер снова кашлянул, невнятно что-то пробурчал и затем сказал, как бы наполовину извиняясь:

— Я нуждаюсь в деньгах.

Лицо Уомбла тотчас же выразило презрение. Наконец-то его противник оказался подлее его!

— У вас полный мешок золотого песка, — продолжал Месснер. — Я видел, как вы снимали его с саней.

— Сколько вам надо? — спросил Уомбл презрительно.

— Я оценил бы ваш мешок в двадцать фунтов. Что бы вы сказали о четырех тысячах?

— Но это все, что у меня есть! — вырвалось у Уомбла.

— Вы имеете ее, — ответил Месснер, как бы утешая его. — Она должна этого стоить. Подумайте, что я отдаю. Это — разумная цена.

— Хорошо! — Уомбл бросился через комнату за мешком. — Хоть бы поскорее с вами развязаться, подлый змееныш!

— Ну, в этом вы ошибаетесь, — ответил Месснер с улыбкой. — С точки зрения этики, человек, который дает взятку, так же виновен, как тот, кто ее получает. Укрыватель так же дурен, как вор. Поэтому вам не следует в этом маленьком эпизоде воображать, что вы имеете какое-то моральное преимущество.

— К черту вашу этику! — крикнул Уомбл. — Идите сюда и проверьте вес золота. Я могу вас надуть.

И женщина, в бессильной ярости опираясь о лежанку, вынуждена была присутствовать при том, как ее самое — в желтых слитках и песке — взвешивали на весах. Последние были небольшого размера, и поэтому потребовалось несколько операций. Месснер с особой тщательностью проверял каждую кладку.

— В нем слишком много серебра, — заметил он, завязывая мешок с золотом. — Думаю, дадут не больше шестнадцати за унцию. Для вас сделка

очень выгодна, Уомбл!

Он любовно ощупал мешок и, как бы проявляя особое внимание к его ценности, отнес его в свои сани. Вернувшись, он собрал свою посуду и завернул постель. Когда сани были нагружены и визжащие собаки впряжены, он вернулся в хижину за перчатками.

— Прощайте, Тэсс, — сказал он, стоя в открытой двери.

Она повернулась к нему, пылая гневом, пытаясь что-то сказать, но не способная говорить от душившей ее злобы.

— Прощайте, Тэсс, — нежно повторил он.

— Негодяй! — удалось ей выговорить. Она отвернулась и бросилась на постель лицом вниз, рыдая и повторяя: — Негодяй! Негодяй!..

Джон Месснер тихо закрыл за собой дверь и, понукая собак, облегченно бросил последний взгляд на хижину. Он остановил сани у берега, около проруби. Там он вынул мешок с золотом и понес его к проруби. Он разбил лед кулаком и, развязав ремни зубами, высыпал содержимое мешка в воду. Река была неглубока в этом месте, и в свете сумерек он мог видеть желтое дно на глубине двух футов от поверхности. Сделав свое дело, он плюнул в воду.

Он направил собак по Юконской тропе. Визжа и пыхтя, они шли неохотно. Месснер шел за ними, держась за шест правой рукой и потирая левой щеки и нос. Изредка, на поворотах, он задевал о постромки и переступал веревку.

— Вперед, мои бедные, усталые звери! — кричал он. — Вперед!

Путь белого человека

Войдя в хижину старого Эббитса, я обратился к нему с обычным заявлением:

— Я пришел варить на твоем огне и спать эту ночь под твоей крышей.

Эббитс посмотрел на меня мутными и пустыми глазами; Зилла же встретила меня довольно кисло и презрительно ворча. Зилла была его женой и считалась самой злой и ядовитой старухой на всем Юконе.

Я бы ни за что у них не остановился, если бы мои собаки не так устали и будь только остальная часть деревни заселена. Но обитателей я нашел только в этой хижине и потому был вынужден именно в ней искать убежища.

Старый Эббитс то и дело словно пробуждался от своей умственной спячки. Тогда в его глазах зажигались проблески понимания. Несколько раз, даже во время приготовления моего ужина, он пытался гостеприимно узнать о моем здоровье, о числе и состоянии моих собак и о расстоянии, пройденном мною в этот день. Зилла же все более и более хмурилась и еще презрительней ворчала.

Нужно признаться, что у них не могло быть особенных оснований для веселья. Они лежали, скорчившись, у огня, и в этом положении, по-видимому, должны были оставаться до конца своей жизни. Они были дряхлы и беспомощны, страдали от ревматизма и голода. С завистью вдыхали они аромат жарившегося мяса. Они качались вперед и назад медленно и безнадежно, и через каждые пять минут Эббитс испускал тихий стон. Это был не столько стон страдания, сколько усталости от страдания. Он был подавлен бременем и мучительностью того, что называется жизнью, а еще больше подавлял его страх смерти. Он переживал вечную трагедию старости, потерявшей радость жизни и не приобретшей еще успокоения смерти.

Когда мое жаркое из лося зашипело на сковороде, я заметил, что ноздри старого Эббитса стали дрожать и раздуваться, по мере того как он ловил запах еды. Он перестал раскачиваться и стонать, и лицо его сделалось осмысленнее.

Наоборот, Зилла качалась все быстрее, и страдание ее прорвалось в ряде коротких резких возгласов. Мне пришло на ум, что их образ действия напоминает поведение голодных собак, и я не удивился бы, если бы у Зиллы вдруг появился

хвост и она стала бы им бить по полу — по-собачьи. Изредка Эббитс переставал раскачиваться, для того чтобы нагнуться вперед и приблизить свой трепещущий нос к источнику вкусового возбуждения.

Когда же я подал каждому из них тарелку жареного мяса, они стали жадно есть его, производя ртом громкие звуки; они чавкали изношенными зубами, не переставая бормотать. После этого я дал им по чашке горячего чая, и чавканье прекратилось. Стянутый рот Зиллы расправился, и она удовлетворенно вздохнула. Больше они уже не раскачивались и как будто впали в состояние тихой задумчивости. Глаза Эббитса увлажнились: знак сострадания к самому себе.

Они долго искали свои трубки, и это служило доказательством того, что они уже давно не имели табаку. Старик так сильно хотел курить, что впал в состояние беспомощности, и я должен был зажечь его трубку.

— Почему вы одни в деревне? — спросил я. — Поумирали остальные, что ли? Или у вас была повальная болезнь и вы одни остались в живых?

Старый Эббитс покачал головой:

— Нет, болезни не было. Деревня ушла на охоту. А мы слишком стары, наши ноги недостаточно

сильны, и мы не можем носить на спине поклажу. Вот мы и остаемся здесь и ждем, чтобы те, кто помоложе, вернулись с мясом.

— Что ж из того, если они вернутся с мясом? — резко спросила Зилла.

— Они могут принести много мяса, — проговорил он с надеждой.

— Хорошо, пусть будет много мяса, — продолжала она еще более резко. — Но разве это для нас? Нам, беззубым от старости, дадут грызть несколько костей. А жир, почки, языки — все это попадет в другие рты.

Эббитс опустил свою голову и тихо всхлипнул.

— Нет никого, кто охотился бы для нас, — крикнула она с ожесточением, обращаясь ко мне.

В ее словах как будто было обвинение, и я пожал плечами в знак того, что не виновен в этом неведомом, приписываемом мне преступлении.

— Знай же, белый человек, что это из-за твоего рода, из-за всех белых людей мой муж и я не имеем в старости мяса и сидим без табаку и в холоде!

— Нет, — возразил Эббитс серьезно, как бы желая восстановить справедливость. — Верно, что нас обидели, но белый человек не хотел нам зла.

— А где Моклан? — спросила она. — Где твой

сильный сын Моклан и рыба, которую он постоянно тебе приносил?

Старик покачал головой.

— И где Бидаршик, твой крепкий сын? Он был всегда могучим охотником и всегда приносил тебе добрый спинной жир и сладкие сушеные языки лося и карибу. Я не вижу теперь жира и сладких сушеных языков. Твой желудок целыми днями пуст, и тебя накормил человек дурного и лживого племени.

— Нет, — вмешался Эббитс, желая быть мне приятным. — Племя белого человека не лживое. Белый человек говорит правду. Белый человек всегда говорит правду. — Он остановился, подбирая слова, чтобы облечь свое мнение в более мягкую форму. — Но белый человек говорит правду по-разному. Сегодня — одну правду; завтра — говорит другую… Потому и нельзя понять его…

— Сегодня говорить одну правду, а завтра — другую — это значит лгать, — таков был приговор Зиллы.

— Никак нельзя понять белого человека, — настаивал Эббитс. Еда, чай и табак как будто вернули его к жизни, и он крепко цеплялся за мысли, проносящиеся в его мозгу, за ширмой

мутных от старости глаз. Он как-то даже выпрямился, перестал всхлипывать и голос его окреп.

Он обратился ко мне уже с достоинством и говорил, как равный с равным.

— Глаза белого человека открыты, — начал он, — белый человек все видит и много думает, и поэтому он очень умен. Но белый человек сегодня не похож на белого человека завтра, и потому никак нельзя его понять. И он поступает всегда по-разному. Индеец всегда поступает одинаково. Когда наступает зима, лось всегда спускается с высоких гор. Лосось появляется весной, когда лед уходит с реки. Всегда все совершается одинаково, и потому индеец знает и понимает. Но белый человек поступает по-разному, и индеец не знает и не понимает.

Табак очень хорошая вещь. Это то же, что пища для голодного. Сильного он делает сильней, и того, кто рассердился, заставляет забыть свой гнев. И потому табак имеет цену. Цена его очень большая. Индеец дает большого лосося за лист табаку и жует табак долгое время. Вкусен сок табака. Когда он течет в глотку человеку — хорошо. Что же делает белый человек? Что делает он, когда рот его полон табачного сока? Он выплевывает его на снег и этот сок пропадает! Любит

ли белый человек табак? Я не знаю. Но если он любит табак, почему он выплевывает его в снег? Это очень неразумно.

Он замолк, потянул трубку и, увидя, что она тухнет, передал Зилле. Ее губы, застывшие в насмешливой улыбке по адресу белого человека, плотно зажали трубку.

Не окончив рассказа, Эббитс, казалось, снова одряхлел. Я спросил:

— Что же твои сыновья Моклан и Бидаршик? Почему ты и твоя старуха остаетесь в старости без мяса?

Он очнулся как бы от сна и с усилием выпрямился.

— Нехорошо красть, — сказал он. — Когда собака крадет твое мясо, ты бьешь ее палкой. Таков закон. Человек установил его для собаки, и собака должна так жить, иначе палка причиняет боль. Когда человек берет твое мясо, или твою лодку, или твою жену, ты убиваешь того человека. Это закон, хороший закон. Нехорошо красть, и потому по закону укравший должен умереть. Всякий, кто нарушает закон, должен нести кару. Величайшая же кара — смерть.

— Но если ты убиваешь человека, то почему не убить собаку? — спросил я.

Старый Эббитс посмотрел на меня с ребяческим удивлением, а Зилла, словно отвечая на мой глупый вопрос, усмехнулась.

— Вот взгляд белого человека, — пробормотал Эббитс, как бы примиряясь с моим неразумением.

— Это безрассудство белого человека, — огрызнулась Зилла.

— Пусть в таком случае старый Эббитс научит белого человека разуму, — сказал я кротко.

— Собаку не убивают, потому что она должна тащить сани человека. Ни один человек не везет саней другого. Поэтому человека убивают.

— А! — заметил я.

— Это — закон, — продолжал старый Эббитс. — Теперь слушай, белый человек, я тебе расскажу про большую глупость. Есть один индеец, по имени Мобитс. Он украл у белого человека два фунта муки. Что же делает белый человек? Бьет ли он Мобитса? Нет. Убивает ли он его? Нет. Что же делает он с Мобитсом? Я скажу тебе, белый человек. У него есть дом. Он сажает туда Мобитса. Крыша дома хорошая. Стены толстые. Он зажигает огонь, чтобы Мобитсу было тепло. Он дает Мобитсу много пищи. И пища хорошая. Никогда за всю свою жизнь Мобитс не ел такой пищи. Дают свиное

сало, хлеб и бобы. И Мобитсу очень хорошо.

На двери большой замок, чтобы Мобитс не убежал. Это тоже глупость. Мобитс не убежит. Здесь отличная пища, теплые одеяла, жаркий огонь. Очень глупо бежать. Мобитс не глуп. Он остается в этом месте три месяца. Он украл два фунта муки. За это белый человек хорошо о нем позаботился. Мобитс съел много фунтов муки, много фунтов сахара, свиного сала, бобов. Мобитс пил много чаю. Через три месяца белый человек открывает дверь и говорит Мобитсу, что он должен уйти. Мобитс не хочет уходить. Он — как собака, которую долго кормили в одном месте. Он хочет там остаться, и белый человек должен его прогнать. После этого Мобитс вернулся в деревню и с тех пор очень растолстел. Вот что делает белый человек, и нельзя его понять. Это глупость, большая глупость.

— Но твои сыновья? — настаивал я. — Они сильные, а ты стар и голодаешь.

— Был Моклан, — начал Эббитс.

— Он был сильный человек, — прервала мать. — Он мог грести целый день и потом всю ночь без отдыха и пищи. Он знал все о ловле лососей.

— Был Моклан, — повторил Эббитс, не обращая

внимания на ее слова. — Весной он спустился с юношами по Юкону, чтобы торговать в форте Кэмбел. Там есть пост, где много товаров белых людей, и там есть торговец, по имени Джонс. Там же есть белый знахарь — тот, кого вы называете миссионером. Но около форта Кэмбел — опасная вода в том месте, где Юкон суживается, и вода течет быстро, и течение разделяется и снова соединяется. Там есть водоворот, и все время течение меняется. Моклан — мой сын, и потому он храбрый человек.

— Разве мой отец не был храбрым? — спросила Зилла.

— Твой отец был храбрым, — согласился Эббитс с таким видом, словно во что бы то ни стало хотел сохранять семейный мир. — Моклан — мой сын и твой сын и потому он храбрый. Может, из-за храбрости твоего отца Моклан был слишком смел. Когда много воды налито в котел, она переливается через край. И в Моклане слишком много было смелости, и она переливалась через край.

Юноши боятся опасного места у форта Кэмбел. Но Моклан не боится. Он громко смеется и пускается в самые опасные места. Но там, где сталкиваются встречные течения, лодка опрокидывается. Водоворот затягивает Моклана,

крутит его, тянет вниз, еще вниз — и больше его не видно.

— Ай-ай!.. — заплакала Зилла. — Он был ловок и умен, мой первенец.

— Я — отец Моклана, — сказал Эббитс, терпеливо выждав, пока женщина успокоится. — Я сажусь в лодку и еду в форт Кэмбел, чтобы получить долг.

— Долг? — прервал я. — Какой долг?

— У Джонса, главного торговца, — был ответ. — Таков закон, когда попадаешь в чужую страну.

Я покачал головой в знак непонимания, и Эббитс посмотрел на меня с сожалением. Зилла же, как всегда, презрительно фыркнула.

— Слушай, белый человек. В твоем лагере собака, которая кусается. Когда собака кусает человека, ты даешь этому человеку подарок, потому что ты сожалеешь и потому что это твоя собака. Так же, если в твоей стране опасная охота или опасная вода. Ты должен платить. Это справедливо. Это закон. Брат моего отца отправился в страну Танана и был там убит медведем. И разве племя Танана не заплатило моему отцу, не подарило ему много одеял и дорогих мехов? Это было справедливо. Это была дурная охота, и люди племени Танана заплатили.

Вот я, Эббитс, отправился к форту Кэмбел, чтобы получить долг. Джонс, главный торговец, посмотрел на меня и засмеялся. Он много смеялся и не хотел платить. Тогда я пошел к тому, которого вы называете миссионером, и рассказал ему про дурную воду и про долг. Но миссионер говорил о другом. Он говорил о том, куда ушел Моклан после своей смерти. Там большие костры, и если миссионер говорил правду, Моклану никогда больше не будет холодно. А потом миссионер говорил о том, куда я отправлюсь после смерти. И он говорил неправильные вещи. Он сказал, что я слеп. Это — ложь. Он сказал также, что я в великой темноте. Это — ложь. И я ответил: день и ночь приходят одинаково для всех, и в моей деревне нет больше темноты, чем в форте Кэмбел. Я также сказал, что темнота, свет и место, куда мы отправимся после смерти, — это одно; а уплатить за дурную воду — совсем другое. Тогда миссионер сильно рассердился и назвал меня нехорошими, темными именами и велел мне уйти. И я вернулся из форта Кэмбел, не получив платы. Моклан же умер, и в старости я остался без рыбы и мяса.

— Из-за белого человека, — сказала Зилла.

— Из-за белого человека, — согласился Эббитс. — Из-за белого человека вот что еще случи-

лось. У меня был сын Бидаршик. Белый человек с ним поступил совсем не так, как с Ямиканом. И прежде всего должен я тебе рассказать про Ямикана. Это был юноша нашей деревни, и ему случилось убить белого человека. Нехорошее дело — убить человека другого племени. Тогда всегда бывает беда. Но Ямикан убил белого человека не по своей вине. Ямикан всегда говорил мягкие слова и убегал от ссоры, как собака от палки. Но этот белый человек выпил много виски и ночью пришел в дом Ямикана и дрался с ним. Ямикан не мог убежать, и белый человек хотел его убить. Ямикан не хотел умереть и сам убил белого человека.

Тогда деревня наша очутилась в большой беде. Мы очень боялись, что придется много платить племени белого человека, и спрятали одеяла, и меха, и все наше имущество, как будто мы бедные люди и не можем много платить. Прошло много времени, и пришли белые люди. Это были солдаты, они взяли Ямикана с собою. Его мать громко кричала и сыпала себе пепел на голову. Она знала, что Ямикан умер, и вся деревня это знала и радовалась, что не нужно платить.

Это было весной, когда лед сошел с реки. Один год проходит, два года проходят. Снова вернулась

весна, и снова лед сошел с реки. И тогда Ямикан, который умер, вернулся к нам. Он был жив и очень растолстел, и мы узнаем, что он спал в тепле и имел много пищи. У него хорошая одежда, и он словно белый человек. Он стал мудрым и скоро сделался первым человеком деревни.

И он рассказал странные вещи про белых людей, о том, как он долго был с ними и совершил большое путешествие в их страну. Сперва белые солдаты везли его долгое время вниз по реке. Всю дорогу, до конца реки, везли они его, до того, где река впадает в большое озеро, — больше, чем земля, и широкое, как небо. Я не знал, что Юкон такая большая река, но Ямикан видел своими глазами. Я не думаю, что есть озеро больше, чем земля, и широкое, как небо, но Ямикан его видел. Он говорил также, что вода в озере соленая. Это удивительно и непонятно.

Но белый человек, наверное, сам знает про все эти чудеса, и я не буду утомлять его рассказом о них. Я только расскажу ему то, что случилось с Ямиканом. Белые люди очень хорошо кормили Ямикана. Ямикан все время ест и все время дают ему пищу. Белый человек живет в стране под солнцем, рассказывает Ямикан, где много тепла и на зверях только волосы, а не мех. И растут

большие зеленые растения, и становятся они мукой, бобами и картофелем. И там, под солнцем, никогда не бывает голода. Там всегда много пищи. Я про это не знаю. Так говорил Ямикан.

И странно то, что случилось с Ямиканом. Ни один белый человек не сделал ему зла. Они дали ему теплую постель на ночь и много хорошей пищи. Они повезли его через Соленое озеро, величиной с небо. Он ехал на огненной лодке белых, которую вы называете пароходом. Только лодка эта в двадцать раз больше, чем пароход на Юконе. Лодка эта сделана из железа — и все-таки не тонет. Я этого не понимаю, но Ямикан сказал: «Я ехал на железной лодке и смотри — я все еще жив». Это была военная лодка белых людей, и на ней было много белых солдат.

Долго они плыли, и наконец Ямикан приехал в страну, где нет снега. Я не могу поверить этому. Не может же быть, чтобы зимой не было снега. Но Ямикан видел. Я расспрашивал и белых людей, и они сказали: «Да, в этой стране нет снега!» Но я не могу поверить и спрашиваю тебя, бывает ли когда-нибудь снег в этой стране? И я хотел бы узнать, как зовут эту страну. Я уже слышал ее имя, но хотел бы снова его услышать. Так я узнаю, правда то была или ложь.

Старый Эббитс посмотрел на меня вопросительно. Он хотел знать правду во что бы то ни стало. Он добивался правды, хотя ему и хотелось сохранить веру в чудо.

— Да, — ответил я. — Ты слышал истину. В этой стране нет снега, и она называется Калифорния.

— Ка-ли-фор-ни-я-я, — пробормотал он два или три раза, внимательно прислушиваясь к каждому слогу. Он кивнул головой в знак подтверждения. — Да, это та самая страна, о которой говорил Ямикан.

Я догадался, что случай с Ямиканом мог легко произойти в те дни, когда Аляска только-только перешла к Соединенным Штатам. За такое убийство в те времена, когда не было еще территориального закона и должностных лиц, могли судить в Соединенных Штатах — в Федеральном суде.

— Когда Ямикан прибыл в эту страну, где нет снега, — продолжал старый Эббитс, — его повели в большой дом. Там было много людей. Они долго разговаривали и задавали много вопросов Ямикану. Затем они заявили Ямикану, что ему не будут больше делать плохого. Ямикан не понимал, так как ему вообще не делали плохого. Они все время давали ему теплую постель и много еды.

Но после этого они дали ему еще лучшую пищу, дали ему денег и повели его в разные места в стране белых людей. Там он видел много чудес, которых не понять Эббитсу, — ведь он старик и никогда далеко не ездил. Через два года Ямикан вернулся в эту деревню и был в ней первым человеком и был мудрым, пока не умер.

Но прежде чем он умер, он часто сидел у моего костра и рассказывал про странные вещи, какие он видел, и мой сын Бидаршик сидел также у огня и слушал.

Раз ночью, после ухода Ямикана, Бидаршик встает во весь рост и, ударив себя в грудь кулаком, говорит: «Когда я буду мужчиной, я поеду в далекие места, в эту землю, где нет снега, и увижу все это собственными глазами».

— Бидаршик всегда путешествовал по далеким местам, — прервала его Зилла с гордостью.

— Это правда, — с серьезным видом согласился Эббитс. — И он всегда возвращался, чтобы сидеть у костра и мечтать о других, еще более неизвестных, далеких местах.

— Он всегда помнил Соленое озеро величиной с небо и страну под солнцем, где нет снега, — вставила Зилла.

— И он всегда говорил: «Когда у меня будет

сила взрослого мужчины, я пойду сам, чтобы убедиться в правде рассказов Ямикана», — сказал Эббитс.

— Но не было способа дойти до земли белых людей, — вставила Зилла.

— А разве не дошел он до Соленого озера величиной с небо? — спросил Эббитс.

— Но не было способа перейти через Соленое озеро, — ответила Зилла.

— Кроме как на железном пароходе белых людей, большем, чем двадцать пароходов на Юконе, — продолжал Эббитс и, нахмурившись, посмотрел на Зиллу, пытавшуюся снова что-то сказать, и заставил ее замолкнуть. — Но белые люди не позволили ему переехать Соленое озеро на пароходе, и он вернулся домой и продолжал сидеть у костра и по-прежнему томился тоской по стране под солнцем, где совсем нет снега.

— Но все же на Соленом озере он видел железный пароход, который не тонет, — не удержалась Зилла.

— Да, — подтвердил Эббитс. — И он увидел, что Ямикан рассказал правду. Не мог никак Бидаршик поехать в страну белых людей под солнцем, и он заболел и сделался дряхлым, как старик, и не уходил от костра.

— И он не касался больше мяса, поставленного перед ним, — заметила Зилла, — он качал головой и говорил: «Я хочу есть только пищу белых людей и растолстеть, как Ямикан».

— Да, он не ел мяса, — продолжал Эббитс. — И болезнь его становилась все сильнее и сильнее, и я боялся, чтобы он не умер. Это не тело его болело, а голова. Я, Эббитс, его отец, стал раздумывать. У меня нет больше сыновей, и я не хочу, чтобы Бидаршик умер. Это болит у него голова, и есть одно только средство вылечить ее. Бидаршик должен поехать через озеро величиной с небо в ту землю, где нет снега. Иначе он умрет. Я очень много думал и наконец придумал, как Бидаршику туда отправиться.

И вот раз вечером, когда он сидел у костра, в унынии, с опущенной головой, я сказал: «Мой сын, я уже знаю, как тебе можно отправиться в землю белых людей!» Он посмотрел на меня с радостным лицом. «Поезжай, — сказал я, — так же, как поехал Ямикан!» Но Бидаршик не понимает и снова уныл. «Пойди, — говорю я ему, — найди белого человека и так же, как Ямикан, убей его! Тогда придут белые солдаты и возьмут тебя, как они взяли Ямикана, и повезут тебя через Соленое озеро в землю белых людей. И так же, как Ями-

кан, ты вернешься очень толстый, мудрый и с глазами, полными удивительных вещей, какие ты там увидел».

И Бидаршик быстро поднялся и протянул руку за ружьем. «Куда идешь?» — спросил я. «Я иду убить белого человека», — ответил он. И я увидел, что слова мои достигли ушей Бидаршика и что он наконец выздоровеет. И я знал, что слова мои были хороши и разумны.

В это время в деревне находился белый человек. Он не искал золота в земле или мехов в лесу. Он все время искал букашек и мух. Почему он искал букашек и мух, раз он их не ел? Я не знаю. Я знаю только, что это был забавный белый человек. И он искал также птичьи яйца, но не ел этих яиц. Он вынимал все, что было внутри, и сохранял только одну скорлупу. Но скорлупу нельзя есть. И он не ел скорлупы, но клал ее в мягкие коробки, чтобы она не разбилась. Он ловил много маленьких птиц. Но он не ел и птиц. Он брал их кожу и клал в коробки. Любил он также и кости. Костей не едят. Этот странный человек больше всего любил очень старые кости, которые он выкапывал из земли.

Но он был не свирепый белый человек, и я знал, что он умрет очень спокойно. Поэтому я

сказал Бидаршику: «Мой сын, вот белый человек, которого ты можешь убить!»

Бидаршик же ответил, что мои слова мудры. Он пошел к месту, где были кости в земле. Он вырыл много таких костей и принес их в палатку странного белого человека. Белый человек был очень рад. Его лицо сияло, как солнце, и он улыбался, радостно глядя на кости. Он наклонился, чтобы хорошо их осмотреть, и в это время Бидаршик сильно ударил его топором по голове — р-раз! — и странный человек задергал ногами и умер. «Теперь, — сказал я Бидаршику, — придут белые солдаты и увезут тебя в землю под солнцем, где не бывает снега. Там ты будешь много есть и растолстеешь». И Бидаршик был счастлив. Его болезнь уже оставила его, и он сидел у костра и ждал прихода белых солдат.

— Как мог я знать, что белые люди поступают по-разному? — спросил старик, с яростью поворачиваясь ко мне. — Как знал я о том, что белый человек сегодня поступает не так, как вчера, а завтра не так, как сегодня? — Эббитс грустно наклонил голову. — Невозможно понять белого человека. Вчера он увез Ямикана в страну под солнцем и кормил его до отвала хорошей пищей. Сегодня он берет Бидаршика, и что же он с ним де-

лает? Позволь мне рассказать тебе, что он делает с Бидаршиком. Я, отец его, Эббитс, расскажу тебе. Он берет Бидаршика в форт Кэмбел и обвязывает веревку вокруг его шеи. И когда ноги его уже не касаются земли — Бидаршик умирает!

— А-а-а, — плакала Зилла. — И никогда не перешел он озера величиной с небо и не увидел земли под солнцем, где не бывает снега.

— И потому, — продолжал Эббитс с достоинством, — нет никого, кто бы охотился за мясом для меня, когда я стал стар. И я сижу голодный у моего костра и рассказываю это все белому человеку, который дал мне еду и крепкий чай и табак для моей трубки.

— Это все из-за лживого и дурного белого племени, — объявила Зилла.

— Нет, — ответил старик тихо, но твердо. — Это все из-за того, что белый человек поступает всегда по-разному и понять его нельзя.

Неожиданное

Замечать то, что очевидно, и не совершать неожиданных поступков — дело простое. Жизнь каждого отдельного человека — понятие скорее статическое, чем динамическое, и такая тенденция жизни индивида укрепляется и развивается цивилизацией. В последней преобладает обыденное, а необычайное случается редко. Когда же происходит неожиданное — а особенно если оно значительно, — существа неприспособленные погибают. Они не видят того, что не является обычным; поступать непривычным образом они не способны и не могут приладить свою жизнь к другим, новым условиям. Жизнь таких людей течет как бы по определенному руслу, и, достигнув его предела, они погибают.

И наоборот, есть люди, способные выжить во всех условиях. Это те, кто умеет приспособляться, уйти из-под власти обыденщины и приспособиться к любым необычным условиям, в каких, случайно или вынужденно, они могут очутиться. Такой была Эдит Витлси. Она родилась в сельской местности в Англии, где жизнь подчиняется заранее установленным правилам и все необычайное

настолько неожиданно, что представляется безнравственным. Она рано начала работать по найму и еще молодой женщиной поступила на должность горничной.

Цивилизация механизирует и всю окружающую жизнь. То, что нежелательно, устраняется, а неизбежное всегда бывает заранее известно. Можно защитить себя и от дождя и от мороза. Смерть же, вместо того чтобы быть явлением страшным и случайным, принимает характер заранее установленной церемонии, продвигая свои жертвы, словно по хорошо убитой колее, к семейному склепу. Металлические части последнего тщательно очищаются от ржавчины, и пыль вокруг заботливо сметается.

Такова была обстановка, окружавшая Эдит Витлси. Событий не было. Едва ли можно было счесть событием ее поездку. Ей было тогда двадцать пять лет, и ехала она, сопровождая свою хозяйку в Соединенные Штаты. Но это было просто изменением направления колеи — не больше, а колея все же оставалась и была по-прежнему хорошо укатана. Атлантический океан не имел возможности проявить себя каким-нибудь неожиданным образом, и пароход, на котором совершалось путешествие, был не

судном, брошенным в морские просторы, а громадным удобным отелем. Благодаря огромным размерам парохода двигались быстро и спокойно — океан словно превратился в тихий пруд. А там, при выходе на берег, опять их ждала хорошо укатанная колея, приводящая в пути к отелям на колесах, а на остановках — к комфортабельным гостиницам.

По приезде в Чикаго, в то время как ее хозяйке раскрывалась одна сторона жизни, Эдит Витлси узнавала другие ее стороны. И когда наконец она покинула свою службу и превратилась в Эдит Нелсон, она стала обнаруживать — правда, в слабой еще степени — свою способность бороться с необычайными явлениями жизни и выходить из борьбы победительницей. Ганс Нелсон, ее муж, швед по происхождению, был эмигрантом, столяром по профессии. Он проявлял то беспокойство тевтонской расы, которое гонит ее на Запад в поисках приключений. Это был крепкий мужчина с сильно развитыми мускулами; воображением обладал небольшим, зато инициативой — в избытке. Два его качества — честность и верность — были столь же ярко выражены, сколь и его огромная физическая сила.

— Когда я хорошенько поработаю и буду иметь

кое-какие сбережения, я поеду в Колорадо, — сказал он Эдит на следующий день после свадьбы.

Год спустя они очутились в Колорадо, где Ганс Нелсон впервые познакомился с работой на приисках и заболел горячкой золотоискателей. В погоне за золотом он проехал страну Дакотов, Айдахо и Восточный Орегон. Оттуда он пошел в горы Британской Колумбии. Эдит Нелсон все время была с ним — и в пути и на стоянках, — разделяя его удачу, его труды и лишения. Свои мелкие шажки женщины, воспитанной в городе, она променяла на уверенную походку горной жительницы. Она научилась смотреть в лицо опасности ясными глазами и с полным хладнокровием. Она перестала ощущать панический страх, порожденный незнанием и овладевающий в известные минуты городскими жителями. Страх этот делает людей столь же неразумными, как неразумны животные, которые, оцепенев от ужаса, ждут удара судьбы, вместо того чтобы бороться, либо слепо спасаются бегством.

Эдит Нелсон сталкивалась с неожиданностями на каждом шагу трудного пути золотоискателя. Она воспитала свое зрение так, чтобы видеть в окружающем не только то, что очевидно, но также и то, что скрыто от поверхностного взгляда.

Раньше она не имела понятия об искусстве приготовлять пищу и, несмотря на это, научилась делать хлеб без дрожжей и хмеля и умела печь его на сковороде над костром. Когда же исчезала последняя горсть муки и последний ломтик свиного сала, она оставалась на высоте положения и умела из мягких кусков кожи мокасин или дорожного мешка приготовить какое-то подобие пищи, годной, пожалуй, для того, чтобы обмануть желудок голодающего путника и поддержать его неровные шаги. Она научилась самому трудному искусству, недоступному городскому жителю, — искусству навьючивать лошадь и справлялась с любой поклажей. В проливной дождь она могла разжечь костер из сырых поленьев и сохранить хорошее расположение духа. Короче, она с честью выходила из всех неожиданных положений. Но Великое Неожиданное было для нее еще впереди — ей предстояло еще большое и решительное испытание.

Поток золотоискателей двигался в северном направлении. Ганс Нелсон и его жена были захвачены этим течением и увлечены в Клондайк. Конец 1897 года застал их в Дайе, но они не имели еще достаточно средств, чтобы приобрести нужное снаряжение и провезти его через Чиль-

кутский проход, а затем водой в Доусон. Поэтому Ганс Нелсон целую зиму работал плотником на сооружении городка золотоискателей в Скагуэй. Все это время в его душе звучал волнующий призыв Аляски. Больше всего привлекал его Лэтуйский залив. Наконец летом 1898 года он вместе с женой очутился в пути вдоль изломанной береговой линии. Они плыли в больших сивашских челнах. С ними было трое индейцев и три других золотоискателя. Индейцы высадили их, вместе со снаряжением и запасами, в пустынной местности, приблизительно в ста милях за Латуйским заливом, и вернулись в Скагуэ; три золотоискателя остались, ибо все вместе они составляли организованную партию. Каждый из них вложил долю в покупку снаряжения, и добычу предполагалось разделить поровну. А так как Эдит Нелсон приняла на себя приготовление пищи для всей партии, то ей также полагалась мужская доля добычи.

Прежде всего были срублены ели, и из них построили хижину в три комнаты. На Эдит было возложено ведение хозяйства. Искать золото — такова была задача мужчин. Правда, крупной добычи здесь не было. Долгие часы упорной работы давали каждому из участников в среднем

от пятнадцати до двадцати долларов в день. Короткое аляскинское лето длилось в этом году дольше, чем обычно, и они пользовались этим, откладывая свое возвращение в Скагуэ до последней минуты. И в конце концов они опоздали. Предполагалось отправиться вместе с местными индейцами во время их — последней в этом году — торговой поездки на лодках к берегу моря. Индейцы-сиваши ждали белых людей до последней возможности и затем отправились одни.

Теперь партии золотоискателей оставалось ждать какой-нибудь оказии. А пока занялись очисткой своего участка и заготовкой дров к предстоящим холодам.

Все еще не кончалось индейское лето, а затем внезапно, как бы по трубному сигналу, наступила зима. Она пришла сразу, в одну ночь, и золотоискатели, проснувшись утром, увидели снежную, ревущую метель. Неистовый ветер дул порывами, изредка наступала тишина, нарушаемая только плеском волн на пустынном берегу, где соленые брызги ложились на песке, точно зимний снег.

В хижине все было благополучно. Золота добыли приблизительно на восемь тысяч долларов, и это не могло не давать им удовлетворения. Мужчины соорудили себе лыжи, ходили на охоту и

добывали свежее мясо для стола. А долгие вечера они проводили за бесконечной игрой в вист и в педро. И так как работа по добыванию золота кончилась, то Эдит Нелсон передала мужчинам заботу о топке печей и мытье посуды и занялась штопаньем их носков и починкой платья.

Не было ни недовольства, ни ссор в маленькой хижине, и обитатели ее часто выражали свою радость по поводу счастливой совместной жизни. Ганс Нелсон отличался добродушием. Он безгранично восхищался способностью Эдит ладить с людьми. Харки, длинный и худой американец из Техаса, был очень миролюбив, несмотря на свою природную угрюмость. Он был прекрасным товарищем, если только не возражали против его любимой теории, что золото обладает способностью расти. Четвертый член компании, Майкл Деннин, оживлял общество своим ирландским остроумием. Это был крупный мужчина, могучего сложения, вспыльчивый по пустякам, но способный переносить большие невзгоды с неизменно веселым расположением духа. Пятый и последний участник, Дэтчи, веселил всю компанию. Для поддержания общего веселья он даже не прочь был самого себя выставить в смешном виде. Казалось, что он поставил целью своей жиз-

ни вызывать смех. Итак, ни одна серьезная ссора не омрачала спокойствия обитателей хижины; теперь, когда каждый из участников заработал в течение короткого лета тысячу шестьсот долларов, казалось, все они должны были быть довольны и настроены миролюбиво.

И вот тогда-то и случилось Неожиданное. Они только что уселись за стол для утреннего завтрака. И хотя было уже восемь часов — завтракали утром поздно, так как работа закончилась, — свеча, воткнутая в бутылку, еще освещала стол. Эдит и Ганс сидели друг против друга. С одной стороны, спиной к дверям, расположились Харки и Дэтчи. Место с другой оставалось незанятым. Деннина не было.

Ганс Нелсон посмотрел на пустое место, медленно покачал годовой и произнес с потугами на остроумие:

— Он всегда первый за столом. Это странно. Может быть, он болен?

— Где Майкл? — спросила Эдит.

— Он встал немного раньше нас и вышел, — ответил Харки.

Лицо Дэтчи сияло лукавой улыбкой. Он сделал вид, что знает причину отсутствия Деннина, и принял таинственный вид, в то время как его то-

варищи продолжали удивляться. Ганс посмотрел на Эдит, и она покачала головой.

— Он никогда раньше не опаздывал к столу, — заметила она.

— Ничего не понимаю, — сказал Ганс. — У него всегда был лошадиный аппетит.

— Очень жалко, — сказал Дэтчи, грустно кивнув.

Они стали шутить по поводу отсутствия товарища.

— Почему жалко? — спросили они хором.

— Бедный Майкл, — был печальный ответ.

— Разве что-нибудь случилось? — спросил Харки.

— Он уже не голоден, — простонал Дэтчи. — Он потерял аппетит. Эта еда ему больше не нравится.

— Что-то незаметно, когда он с головой уходит в тарелку, — заметил Харки.

— Он это делает исключительно из вежливости по отношению к миссис Нелсон, — живо возразил Дэтчи, — я знаю, я знаю, и мне его очень жалко. Почему его здесь нет? Потому что он вышел. Почему он вышел? Для того, чтобы нагулять себе аппетит. Чем он нагуливает себе аппетит? Тем, что ходит босиком по снегу. Разве я не знаю? Бога-

тые люди всегда таким образом гонятся за своим аппетитом, в то время как он от них убегает. У Майкла тысяча шестьсот долларов. Он — богатый человек. Он потерял аппетит. Поэтому он за ним гонится. Откройте дверь, и вы увидите его, идущего босиком по снегу. В этом вся его беда. Но когда он увидит свой аппетит, он его поймает и придет завтракать.

Всеобщим громким смехом прореагировали на болтовню Дэтчи. Звуки его еще не замерли, когда вошел Деннин. Все обернулись, чтобы посмотреть на него. В руках у него было охотничье ружье. Внезапно он прицелился и выстрелил два раза. После первого выстрела Дэтчи тяжело опустился на стол, опрокидывая чашку с кофе. Головой он попал в тарелку и поднял ее почти под прямым углом. Харки вскочил на ноги при звуке второго выстрела и упал лицом на пол с криком «Боже!», замирающим в его хрипящем горле.

Так разразилось Неожиданное. Ганс и Эдит остолбенели. Они сидели за столом, напряженные, с глазами, пригвожденными к убийце. Они смутно видели его сквозь пороховой дым, и в тишине ничего не было слышно, кроме капанья пролитого на пол кофе Дэтчи. Деннин открыл затвор ружья, выбрасывая пустые патроны. Держа

ружье одной рукой, он сунул другую в карман, чтобы достать свежие заряды.

Он всовывал патроны в ружье, когда Эдит поняла, что надо действовать.

Было очевидно, что теперь он намерен убить Ганса и ее. Три секунды она была совершенно парализована, ошеломленная непредвиденной формой, в которой ворвалось к ним Неожиданное. Затем она пришла в себя и начала бороться за жизнь Ганса и свою. Это действительно была борьба, ибо она прыгнула, подобно кошке, на убийцу и вцепилась в его воротник обеими руками. Он пошатнулся и пытался отбросить ее и удержать в руках ружье. Но это было трудно, так как ее крепкое тело приобрело кошачью силу и ловкость. Она всем корпусом откинулась назад и, цепляясь за его горло, чуть не повалила его на пол. Он выпрямился и быстро повернулся, увлекая ее за собой; ноги ее оторвались от пола, но она не разжала рук, вцепившихся в воротник. Не рассчитав движения, он наткнулся на стул и грохнулся вместе с женщиной на пол.

Ганс Нелсон реагировал на полсекунды позже жены. Его нервные и умственные процессы протекали несколько медленнее, чем ее. Его организм был грубее, и понадобилось на полсекунды

больше для того, чтобы он понял, решил и приступил к действию. Она уже налетела на Деннина и схватила его за горло, когда Ганс вскочил на ноги. Но он не обладал ее хладнокровием и не владел собой от бешенства. Вскочив со стула, он издал какой-то странный звук — не то заревел, не то зарычал. И затем бросился к Эдит и Деннину. Он настиг их, когда они упали на пол, и обрушил свои кулаки на распростертого человека. Удары были жестокие — словно удары молотом, — и скоро Эдит почувствовала, что тело Деннина слабеет и перестает двигаться. Тогда она отпустила его воротник и слегка отодвинулась. Она лежала на полу, тяжело дыша и широко раскрыв глаза. Страшные удары все еще сыпались на лежащего убийцу. Деннин как будто их не замечал. Он не двигался. Тогда она сообразила, что он потерял сознание. Она крикнула Гансу, чтобы тот остановился, — раз и второй. Но он ее не слышал. Тогда она схватила его за руку, но это только замедлило его удары, которые все еще продолжали сыпаться на Деннина.

Эдит пыталась удержать мужа отнюдь не сознательно. Говорило в ней не чувство жалости и не воспоминание религиозной заповеди «Не убий». Скорее всего — смутное чувство законности, эти-

ческое наследие ее расы и окружающей среды, заставило ее встать между мужем и беспомощным убийцей. И только тогда, когда Ганс понял, что бьет свою жену, он перестал сыпать удары. Он позволил ей оттащить себя, приблизительно так, как рассерженная, но послушная собака позволяет своему хозяину себя отвести. Но ярость его еще не утихла и выражалась в каких-то нечленораздельных звуках, вырывающихся из горла.

Все дальше и дальше отталкивала Эдит своего мужа. Она никогда еще не видела его в таком состоянии и теперь боялась его почти больше, чем Деннина в разгар их схватки. Она не могла поверить, что этот бешеный зверь — ее Ганс. Ей казалось, что он может вцепиться в ее руку зубами, подобно дикому зверю. В течение нескольких секунд, не желая делать ей больно, но упорно пытаясь продолжать избиение, Ганс тянулся к лежащему человеку. Но она решительно становилась между ними, пока к нему не вернулся первый проблеск рассудка и он не пришел в себя.

Оба стояли у тела Деннина. Ганс, пошатываясь, с судорожно искривленным лицом, прислонился к стене. Наступила реакция. Ломая руки, Эдит стояла посреди хижины. Она тяжело дышала, ее

всю трясло.

Ганс уставился в одну точку, а глаза Эдит дико блуждали, изучая подробности того, что случилось.

Деннин лежал без движения. Опрокинутый стул, брошенный на пол во время отчаянной борьбы, лежал рядом с ним. Из-под тела убийцы виднелось ружье с приоткрытым замком. Из его правой руки выпали два патрона, которые он не успел вложить в затвор.

Харки лежал на полу, лицом вниз — там, где свалился. Дэтчи по-прежнему наклонялся над столом, а его желтые волосы были прикрыты наполовину тарелкой, все еще приподнятой под углом в девяносто градусов. Эдит не могла оторвать глаз от этой тарелки. Почему она не падала? Это было нелепо. Разве нормально, чтобы тарелка стояла на столе вертикально, даже если при этом произошло убийство!

Она взглянула снова на Деннина, но ее глаза вернулись к приподнятой тарелке. Это было в самом деле нелепо. Ей хотелось истерически хохотать. Затем она ощутила жуть мертвой тишины, и ей остро захотелось, чтобы что-нибудь случилось. Однообразное капанье кофе на пол только подчеркивало тишину. Почему Ганс ни-

чего не делал? Почему он ничего не говорил? Она смотрела на него и пыталась что-то сказать, но язык отказывался повиноваться. У нее как-то особенно болело горло, и во рту было сухо и терпко. Она могла только смотреть на Ганса, который, в свою очередь, смотрел на нее.

Вдруг острый металлический звон нарушил тишину. Женщина вскрикнула и глянула на стол. Упала тарелка. Ганс вздохнул, будто просыпаясь после сна. Звон тарелки присудил их к жизни в новом мире. Вся хижина очутилась в этом новом мире — отныне единственном для них существующем. Старая хижина исчезла навсегда. Жизнь стала новой и неведомой. Неожиданное окутало волшебной дымкой все, меняя перспективу, спутывая ценности, переплетая реальное с нереальным.

— Боже мой! Ганс, — были первые слова Эдит.

Он не ответил, но в ужасе смотрел на нее. Его глаза медленно ощупали комнату, впервые схватывая все детали случившегося. Он надел шапку и направился к двери.

— Куда ты идешь? — спросила Эдит, охваченная страхом.

Его рука была на дверной ручке. Он повернулся вполоборота.

— Рыть могилы.

— Не оставляй меня, Ганс…

— Все равно придется рыть могилы, — сказал он.

— Но ты не знаешь, сколько нужно могил, — возразила она в отчаянии. Она заметила его колебание и прибавила. — Я пойду с тобой и помогу.

Ганс вернулся к столу и машинально оправил свечу. Затем приступили к осмотру. Харки и Дэтчи — оба были мертвы, и поскольку стреляли с близкого расстояния, вид их был ужасен.

Ганс отказался подойти к Деннину, и Эдит вынуждена была одна осмотреть его.

— Он не умер! — крикнула она Гансу. Тот подошел и взглянул на убийцу.

— Что ты сказал? — спросила Эдит, услышав нечленораздельные звуки.

— Я говорю: дьявольски жалко, что он не умер, — ответил он.

Эдит наклонилась над телом.

— Оставь его, — приказал Ганс резко; голос его звучал странно. Она взглянула на него в внезапном страхе. Он поднял ружье, брошенное Деннином, и вкладывал в него патроны.

— Что ты хочешь сделать? — крикнула она,

быстро приподнимаясь.

Ганс не ответил, но она увидела, что он прикладывает ружье к плечу. Она схватила дуло и отвела его.

— Оставь меня в покое! — крикнул он глухо.

Он пытался вырвать у нее ружье, но она подошла к мужу и охватила его руками.

— Ганс, Ганс! Очнись, — кричала она. — Не будь сумасшедшим.

— Он убил Дэтчи и Харки! И я убью его!

— Но так нельзя. Есть закон.

Он выразил сомнение в реальной силе закона здесь — в этой глуши, и продолжал твердить бесстрастно и упорно:

— Он убил Дэтчи и Харки.

Она долго убеждала его, но он только повторял: «Он убил Дэтчи и Харки». В ней сказалось ее воспитание и кровь. Она унаследовала сознание законности. Ей казалось невозможным оправдать новое убийство, как и преступление Деннина. Два нарушения закона не создадут права. Существует только один способ наказать Деннина: посредством легальных мер, установленных обществом. Наконец Ганс сдался.

— Хорошо, — сказал он. — Пусть будет по-твоему. Но завтра или послезавтра он убьет нас.

Она покачала головой и протянула руку, чтобы взять ружье. Он было хотел отдать его, но снова заколебался.

— Лучше позволь мне застрелить его, — молил он. Она опять покачала головой, и опять он сделал движение, чтобы передать ей ружье. В это время дверь отворилась и вошел индеец — без стука. Порыв ветра и снежный вихрь ворвались за ним в хижину… Они обернулись к нему. Ганс все еще держал в руке ружье. Посетитель сразу, не вздрогнув, охватил всю сцену. И тут же увидел убитых и раненого. Он не выказал ни изумления, ни даже любопытства. Харки лежал у его ног. Но он не обратил на него ни малейшего внимания.

— Очень ветрено, — заметил индеец в виде приветствия. — Все хорошо. Очень хорошо.

Ганс, все еще держа в руках ружье, был уверен, что индеец считает его убийцей. Он посмотрел с немой мольбой на жену.

— Доброе утро, Негук, — сказала она, делая над собой страшное усилие. — Нет, не очень хорошо. Большая беда.

— До свидания, я теперь ухожу. Нужно спешить, — сказал индеец. Не торопясь, хладнокровно обойдя красную лужу на полу, он открыл дверь и вышел.

Мужчина и женщина посмотрели друг на друга.

— Он думает, что это сделали мы, — воскликнул Ганс, — что это сделал я!

Эдит молчала несколько секунд. Затем сказала кратко, деловым тоном:

— Безразлично, что он думает. Об этом после. Теперь мы должны копать могилы. Но прежде всего мы должны привязать Деннина так, чтобы он не убежал.

Ганс отказался дотронуться до Деннина, и Эдит связала крепко его руки и ноги. После этого они вышли. Почва замерзла и не поддавалась ударам лома. Они собрали дров, соскребли снег с земли и на мерзлом грунте зажгли костер. Целый час пылал он, прежде чем оттаяло небольшое пространство. Они вырыли яму и затем рядом разложили новый костер. Таким образом яма увеличивалась медленно — на два-три дюйма в час.

Работа была тяжелая и невеселая. Снег мешал костру разгореться. Холодный ветер пронизывал их. Подавленные ужасом совершившейся трагедии, они почти не разговаривали — мешал ветер, — обмениваясь лишь возгласами удивления по поводу того, что могло привести Деннина к убийству. В час Ганс заявил, что он голоден.

— Нет, только не сейчас, Ганс. Я не могу вернуться в хижину — такую, какой она осталась, и готовить там обед.

В два часа Ганс предложил пойти вместе с ней. Но она настаивала на том, чтобы продолжать работу, и в четыре часа могилы были готовы.

Они были неглубоки — не больше двух футов глубиной, но этого было достаточно. Наступила ночь. Ганс достал санки, и трупы были доставлены к их морозным могилам. Похоронное шествие не имело парадного вида. Полозья глубоко врезывались в сугробы, и санки тащили с трудом. Оба — мужчина и женщина — ничего не ели со вчерашнего дня и ослабели от голода и усталости. Они не имели силы противостоять ветру, и его порывы чуть не валили их с ног. Несколько раз санки переворачивались, и они снова водворяли на них печальную поклажу. Последние сто футов до могил вели вверх по крутому склону, и здесь они двигались на четвереньках, подобно собакам, впряженным в сани. Хотя они и цеплялись руками за снег, но сани своей тяжестью дважды увлекали их назад, и дважды они скатились с горы все вместе — живые и мертвые.

— Завтра я поставлю столбы с их именами, — сказал Ганс, когда могилы были зарыты.

Эдит плакала навзрыд. Она произнесла несколько несвязных фраз — это заменяло надгробную службу, — и теперь муж вынужден был почти отнести ее обратно в хижину.

Деннин пришел в сознание и катался по полу в тщетных попытках освободиться. Он смотрел на Ганса и Эдит блестящими глазами, но не пробовал заговорить. Ганс все еще отказывался дотронуться до убийцы и тупо смотрел на Эдит в то время, как она тащила Деннина по полу в мужскую спальню. Но, несмотря на все ее усилия, она не могла поднять его с пола на лежанку.

— Позволь мне его застрелить, у нас не будет больше возни с ним, — наконец проговорил Ганс.

Эдит снова отрицательно покачала головой и продолжала свою работу. Вскоре Ганс одумался и помог ей. Затем они приступили к чистке кухни. Но с пола не исчезали следы трагедии, пока Ганс не сострогал поверхности досок. Стружки он сжег в печке.

Дни приходили и уходили. Вокруг обитателей хижины царила тьма и тишина, нарушаемая только метелями и шумом моря, разбивающегося о ледяной берег. Ганс послушно исполнял малейшие приказания Эдит. Куда девалась его

необыкновенная инициативность… Она настояла на своем способе обращения с Деннином, и потому он предоставил ведение дела всецело ей.

Убийца оставался для них постоянной угрозой. Каждую минуту можно было ожидать, что он освободится от связывающих его веревок. Поэтому мужчина и женщина были вынуждены сторожить его днем и ночью. Один из них всегда сидел с ним рядом, держа в руках заряженное ружье. Сперва они испробовали восьмичасовые дежурства, но напряжение было слишком велико, и впоследствии Эдит и Ганс сменяли друг друга каждые четыре часа. Так как спать было необходимо, а дежурства продолжались и ночью, — все время они тратили на то, чтобы сторожить Деннина, — они едва успевали готовить пищу и добывать дрова.

После несвоевременного посещения Негука индейцы избегали хижину. Эдит послала Ганса в их деревню просить увезти Деннина в лодке до ближайшего поселка или торговой станции белых людей, но индейцы отказались. Эдит сама пошла, чтобы просить Негука. Он — старшина маленькой деревушки — был преисполнен ответственности и в нескольких словах объяснил свою точку зрения:

— Это — беда белых людей, — сказал он, — не беда сивашей. Мы поможем, и тогда это станет бедой сивашей. Когда соединятся беда белого человека и беда сивашей, будет большая беда. Мои люди ничего не сделали плохого. Почему же им помогать и попасть в беду?

Итак, Эдит вернулась в страшную хижину, с ее бесконечными перемежающимися четырехчасовыми сменами. Иногда, когда наступала ее очередь и она сидела рядом с Деннином, с заряженным ружьем на коленях, ее глаза невольно слипались и она начинала дремать. Затем внезапно пробуждалась, хваталась за ружье и быстро оглядывала пленника. То были периодические нервные потрясения, и ничего хорошего они не сулили. Она так боялась этого человека, что даже в состоянии полного бодрствования — если только он двигался под одеялом — не могла удержаться от дрожи и быстро хватала ружье.

Ей грозило нервное переутомление, и она это знала. Сперва она ощущала дрожь в глазах, заставлявшую ее закрывать веки, затем не могла уже справиться с нервным миганием век. Вдобавок она никак не могла забыть происшедшую трагедию. Она ощущала весь ее ужас почти так же остро, как в то утро, когда Неожиданное во-

рвалось в их хижину.

Ганс был тоже подавлен, но по-иному. У него была навязчивая идея, что его долг — убить Деннина; и всегда, когда он что-нибудь делал для связанного человека или наблюдал за ним, Эдит боялась, что кровавый список жертв пополнится еще одним именем. Он постоянно яростно проклинал Деннина и обращался с ним очень резко. Ганс пытался скрыть свою жажду убить и иногда говорил жене: «Когда-нибудь ты захочешь, чтобы я его убил, а тогда я не смогу». Но не раз, входя украдкой в комнату в свободное от дежурства время, она находила обоих мужчин, обменивающихся свирепыми взглядами — подобно двум диким зверям: на лице Ганса было написано желание убить, на лице Деннина — ярость пойманной крысы. «Ганс! — кричала она в таких случаях. — Очнись!» — и он смущенно приходил в себя; однако лицо его совсем не выражало раскаяния.

Таким образом, Эдит, призванная разрешить проблему Неожиданного, должна была учитывать и состояние Ганса. Вначале эта задача сводилась к правильному поведению по отношению к Деннину; нужно было задержать его до передачи властям. Но теперь возникал вопрос о

Гансе, и она видела, что умственное равновесие и спасение также были поставлены на карту. И вместе с тем она скоро обнаружила, что ее собственная сила сопротивления имеет пределы. Ее левая рука нервно подергивалась. Она расплескивала ложку с супом и уже не могла полностью рассчитывать на больную руку. Вероятно, думала она, это нечто вроде пляски святого Витта[41] и боялась развития этой болезни. Что будет, если она не выдержит? И картина будущего — хижина с Деннином и Гансом и без нее — наполняла ее ужасом.

На четвертый день Деннин заговорил. Его первый вопрос был: «Что вы со мной сделаете?» И он повторял этот вопрос много раз в течение дня, и всегда Эдит отвечала, что с ним поступят по закону. В свою очередь, она ежедневно его допрашивала: «Почему вы это сделали?» На это он не давал ответа, а вопрос этот вызывал в нем припадок ярости. Он метался, пытаясь разорвать связывавшие его кожаные ремни, и угрожал ей расправой — вот только он освободится, а ведь

[41] Примечания: 41

Пляска святого Витта — нервная болезнь, выражающаяся в судорожных движениях головы, рук и ног при полном сознании. Названа по имени святого, к которому в старину суеверные люди обращались на Западе с молитвой об исцелении этой болезни.

это — рано или поздно — должно случиться. В такие минуты она взводила оба курка и готовилась встретить его свинцом, если ему удастся вырваться. При этом она все время была охвачена дрожью, и у нее кружилась голова от напряженности нервного возбуждения.

Но понемногу Деннин сделался более сговорчивым. Она увидела, что вечное пребывание в лежачем положении его сильно утомляет. Он стал умолять, чтобы его освободили. Он давал сумасшедшие обещания. Он не причинит им вреда. Он сам спустится по берегу и передаст себя властям. Свою часть золота он им отдаст, уйдет в дикую глушь и никогда больше не появится перед лицом цивилизации. Он покончит самоубийством — только бы она его освободила. Его мольбы всегда кончались почти бессознательным бредом — казалось, что у него припадок. В ответ она всегда отрицательно качала головой и отказывала ему в свободе, которой он добивался с такой страстью.

Недели шли, и он становился все более и более сговорчивым. И вместе с тем все больше и больше сказывалась его усталость. «Я так устал, я так устал», — шептал он, вертясь, на лежанке, как капризный ребенок. Немного позже он стал

выражать желание умереть, умоляя убить его, освободить от мучений, чтобы он мог наконец отдохнуть.

Положение становилось невыносимым. Нервность Эдит возросла, и она знала, что катастрофа с ней может наступить в любой момент. Она не могла даже выспаться по-настоящему, так как ее преследовал страх, что Ганс поддастся своей мании и убьет Деннина во время ее сна. Хотя был уже январь, — много месяцев должно было пройти раньше, чем какое-нибудь коммерческое судно могло заглянуть в бухту. А ко всему тому они стали ощущать недостаток пищи, ведь они не рассчитывали провести всю зиму в хижине. При этом Ганс не мог поддерживать запасы охотой. Они были привязаны к хижине из-за необходимости сторожить пленника.

Следовало на что-то решиться. Она это сознавала. Она заставила себя вновь продумать все в деталях. Она не могла заглушить в себе присущее ей с рождения чувство законности. Она знала, что все, что сделает, должно соответствовать этому инстинкту права. В долгие часы бдения, с ружьем на коленях, — рядом метался убийца, а за окном ревела буря, — она проделала самостоятельное социологическое исследование и выработала

свою точку зрения на зарождение и эволюцию закона. Ей пришло на ум, что закон есть не что иное, как воля группы людей. Размеры группы не имеют значения. Есть маленькие группы, рассуждала она, как, например Швейцария, и большие, как Соединенные Штаты. И совсем не важно, если группа очень мала. В стране могло быть всего десять тысяч человек, и тем не менее их коллективная воля будет правом этой страны. Но тогда почему тысяча человек не могут составить группу? А если так, то почему не сто? Почему не пятьдесят? Почему не двое?..

Она испугалась собственного вывода и переговорила об этом с Гансом. Сперва он не понял. Когда же понял, то добавил еще кое-какие соображения, которые как будто разрешали вопрос. Он говорил о собраниях золотоискателей; на этих собраниях все обитатели той или иной местности объединялись, обсуждая законы, и приводили их в исполнение. Могло быть всего десять или пятнадцать человек, и тем не менее воля большинства становилась законом для всех десяти или пятнадцати человек, и всякий, кто нарушал эту волю, нес соответственную кару.

Наконец Эдит все стало ясно. Деннин должен быть повешен. Ганс согласился с нею. Они состав-

ляли вдвоем большинство данной социальной группы. Воля этой группы была направлена на то, чтобы Деннина повесили. Проявляя эту волю, Эдит усиленно старалась соблюдать установленные формы. Но группа была так мала, что Ганс и она одновременно должны были являться свидетелями, присяжными, судьями и исполнителями приговора. Она предъявила Деннину формальное обвинение в убийстве Дэтчи и Харки. Пленник лежал на своей лежанке и слушал показания свидетелей — сначала Ганса, потом Эдит. Он отказался отвечать на вопрос о своей виновности или невиновности и молчал, когда она спросила его, имеет ли он что сказать в свое оправдание. Она и Ганс, не вставая с места, вынесли вердикт присяжных: да, виновен. Затем, уже как судья, она определила меру наказания. Ее голос дрожал, ее веки нервно мигали, ее левая рука судорожно дергалась, но она выполнила то, что было необходимо.

— Майкл Деннин, через три дня вы будете повешены.

Таков был приговор. У него вырвался как бы невольный вздох облегчения. Затем он засмеялся и сказал:

— Тогда, по крайней мере, эта проклятая ле-

жанка не будет больше давить мне спину. Это все-таки утешение.

После произнесения приговора они все как будто почувствовали облегчение. Это особенно было заметно в настроении Деннина. Вся его суровость и вызывающий тон исчезли. Он говорил вполне приветливо со своими тюремщиками и даже проявлял порой свое привычное остроумие. Он выражал большое удовлетворение, когда Эдит читала ему вслух Библию. Она читала выдержки из Нового Завета, и он больше всего интересовался рассказами о блудном сыне и о разбойнике на кресте.

Накануне дня казни, когда Эдит задала ему обычный вопрос: «Почему вы это сделали?», Деннин ответил: «Очень просто. Я думал…»

Но Эдит прервала его, просила его подождать и поспешила к лежанке Ганса.

Это было время его отдыха после дежурства, и он проснулся, протирая глаза и ворча.

— Иди, — сказала она ему, — и приведи Негука и еще одного индейца. Майкл признается во всем. Заставь их прийти. Возьми ружье, и если нужно, приведи их силой.

Полчаса спустя Негук и его дядя Хэдикван вошли в комнату приговоренного. Они шли

неохотно, понукаемые вооруженным Гансом.

— Негук, — сказала Эдит, — не будет никакой беды для тебя и твоего народа. Вы должны сесть и ничего не делать, только слушать и понимать.

Тогда Майкл Деннин, приговоренный к смерти, исповедался в своем преступлении. Пока он говорил, Эдит записывала его рассказ, в то время как индейцы слушали, а Ганс сторожил у двери из боязни, что свидетели убегут.

Деннин объяснил, что он не был на родине в течение пятнадцати лет. В его намерение всегда входило вернуться с большой суммой денег домой и обеспечить свою старую мать в последние годы ее жизни.

— Как же мог я это сделать с тысячью шестьюстами долларов? — спросил он. — Мне нужно было все золото, все восемь тысяч. Тогда я мог вернуться в достойном виде. Я подумал, что ничего не будет легче, как убить вас всех, донести в Скегуэй, что это сделали индейцы, и отправиться в Ирландию. Я и попробовал вас всех убить, но, согласно поговорке, я отрезал слишком большой кусок и не мог его проглотить. Вот мое признание. Я исполнил свой долг перед дьяволом, и теперь, если позволит Господь, я исполню свой долг перед Богом.

— Негук и Хэдикван, — обратилась Эдит к индейцам. — Вы слышали слова белого человека? Его слова здесь на бумаге, и вы должны на этой же бумаге поставить знаки, чтобы белые люди, которые потом придут, знали, что вы это слышали.

Индейцы поставили кресты против своих имен и получили приглашение явиться на следующий день со всем своим племенем для засвидетельствования того, что должно произойти. После этого им позволили уйти. Ремни на руках Деннина были ослаблены, и он подписал документ. После этого в комнате наступило молчание. Гансу было не по себе, и Эдит тоже нервничала. Деннин лежал на спине и глядел вверх, на крышу с щелями, забитыми мхом.

— А теперь я исполню свой долг перед Богом, — шептал он. Он повернул голову по направлению к Эдит.

— Прочтите мне, — продолжал он, — из той книги. Может быть, — прибавил он полушутливо, — это поможет мне забыть про лежанку.

День казни выдался ясным и холодным. Термометр показывал 25 градусов ниже пуля. Холодный ветер пронизывал до костей. Впервые после многих недель Деннин стоял на ногах. Его мускулы так долго не работали, а он так давно не прини-

мал стоячего положения, что едва мог стоять. Он качнулся вперед и назад, пошатнулся и схватил Эдит связанными руками, чтобы не упасть.

— У меня как будто кружится голова, — засмеялся он слабо.

Минуту спустя он сказал:

— И рад же я, что все это кончено. Эта проклятая лежанка меня все равно бы уморила.

Когда же Эдит надела ему на голову меховую шапку и начала натягивать на уши наушники, он засмеялся и сказал:

— Для чего вы это делаете?

— На улице мороз, — ответила она.

— Да, но через десять минут не безразлично ли будет бедному Майклу Деннину отморозить ухо? — спросил он.

Она напрягла все свои слабые силы для последнего испытания. Но его замечание нарушило ее самообладание. До сих пор все казалось призрачным, как бы сном, а суровая правда его слов внезапно и мучительно открыла ей глаза на реальность того, что происходило.

Ирландец заметил ее отчаяние.

— Я жалею, что расстроил вас своим глупым разговором, — произнес он с сожалением. — Я не хотел ничего этим сказать. Это великий день для

Майкла Деннина, и он весел, как жаворонок.

Он звонко засвистел, но свист его скоро стал унылым и замер.

— Хотелось, чтобы был священник, — грустно сказал он, а затем быстро добавил: — Но Майкл Деннин слишком привык к походу, чтобы нуждаться в роскоши, отправляясь в путь.

Он был так слаб, что, выйдя, чуть не упал от порыва ветра. Эдит и Ганс шли рядом с ним и поддерживали его с двух сторон. Все время он шутил и старался их приободрить. Свою долю золота он просил послать его матери в Ирландию.

Они взобрались на высокий холм, вышли на открытую поляну, окруженную деревьями. Здесь, у бочки на снегу, торжественно стояли Негук и Хэдикван во главе сивашей. Они привели всю деревню — вплоть до грудных младенцев и собак, чтобы увидеть исполнение закона белых людей. Вблизи была открытая могила, которую Ганс, предварительно оттаяв почву, вырыл в мерзлой земле.

Деннин деловито осмотрел приготовления, оглядел могилу, бочку, веревку и сук, через который она была перекинута.

— Я бы сам не мог лучше сделать, Ганс, если бы это было для тебя.

Он громко рассмеялся собственной остроте, но лицо Ганса замерло в угрюмом оцепенении, которое ничто, казалось, не могло нарушить — разве только трубный глас последнего суда. Ганс чувствовал себя больным. Он совершенно не осознавал, насколько тяжко отправить на тот свет другого человека. Зато Эдит действовала в полном сознании. Но это ей не облегчало задачи. Она сомневалась, удастся ли ей держать себя в руках, чтобы довести дело до конца. Она чувствовала нарастающую потребность кричать, упасть в снег, закрыть руками глаза или убежать в лес, куда-нибудь, только — вон отсюда. С величайшим напряжением удавалось ей держаться прямо и делать то, что она должна была сделать. И она была признательна Деннину за то, что он старается ей помочь.

— Дай мне руку, — сказал он Гансу, влезая с его помощью на бочку.

Он нагнулся так, что Эдит могла накинуть веревку ему на шею. Затем выпрямился, в то время как Ганс подтянул веревку через сук над его головой.

— Майкл Деннин, имеете ли вы что сказать? — спросила Эдит. Голос ее, несмотря на всю ее волю, дрожал.

Деннин смотрел с бочки вниз застенчиво, как человек, который произносит свою первую речь. Он откашлялся.

— Я рад, что это кончено, — сказал он, — вы обращались со мной как с христианином, и я сердечно благодарю вас за всю вашу доброту.

— Да примет тебя, кающегося грешника, Господь, — сказала она.

— Да, — прозвучал в ответ его низкий бас. — Да примет меня Господь, кающегося грешника.

— Прощай, Майкл, — крикнула она, и в голосе ее прозвучало отчаяние.

Она навалилась всей своей тяжестью на бочку, но не могла ее сдвинуть.

— Ганс! Скорее! Помоги мне, — слабо крикнула она.

Она чувствовала, что последние силы оставляют ее, а бочка не двигалась.

Ганс поспешил к ней, и бочка вылетела из-под ног Майкла Деннина.

Она повернулась к нему спиной, затыкая уши пальцами. Затем начала смеяться резким, металлическим смехом. И Ганс был этим потрясен больше, чем всей трагедией.

Кризис наступил. Даже в своем истерическом состоянии она это понимала и была рада, что

сумела выдержать до того момента, когда все было кончено. Внезапно она покачнулась…

— Отведи меня в хижину, Ганс, — с трудом выговорила Эдит. — И дай мне отдохнуть… отдохнуть…

Ганс повел ее — совсем беспомощную — по снегу, поддерживая за талию.

Индейцы оставались, чинно наблюдая за тем, как действует закон белых людей, заставляющий человека плясать в воздухе.

Мечта Дебса

Я проснулся по крайней мере на час раньше обычного. Это само по себе было уже очень странно, и, размышляя об этом, я пролежал в постели около часа. Я не знал, в чем дело, но чувствовал, что не все обстоит благополучно. Меня томило ожидание чего-то ужасного, что уже произошло или должно было произойти. Но что же это было? Я старался дать себе отчет в своих ощущениях. Я вспоминал, что после землетрясения 1906 года многие рассказывали, как они проснулись за несколько минут до первого толчка с чувством безотчетного ужаса. Неужели опять Сан-Франциско постигнет такая же страшная катастрофа?

Я пролежал в ожидании несколько секунд, но не было слышно ни ударов, ни толчков, ни грохота падающих стен. Все было спокойно. И вдруг я понял. Тишина! Вот что томило меня. Я не слышал шума огромного города. В этот час трамваи проходили под моим окном каждые три минуты. Но вот прошло несколько минут, а трамваев не было слышно. Не началась ли в городе забастовка трамвайных служащих, подумал я, или, может быть, на электрической станции произошла

какая-нибудь катастрофа? Но нет! Тишина была абсолютная. Не слышно было ни грохота повозок, ни цоканья копыт по гладкой мостовой.

Я нажал кнопку электрического звонка. Я, конечно, не мог услыхать звонок: он находился тремя этажами ниже. Но звонок, очевидно, действовал, так как через несколько минут вошел Браун с подносом и газетой в руках. Лицо его было, по обыкновению, бесстрастно, но в глазах на этот раз сквозило какое-то беспокойство. Я заметил также, что на подносе не было сливок.

— Сливок сегодня не привезли, сэр, — сказал он, — и булок также.

Я снова поглядел на поднос и увидел, что на нем вместо обычных свежих и румяных хлебцев лежали черствые куски, оставшиеся от вчерашнего хлеба, вдобавок еще черного и неприглядного.

— Сегодня утром, сэр, ничего не было доставлено, — начал он, но я перебил его:

— А газета?

— Газета доставлена, но в последний раз, сэр. В газете написано, что завтра не будет уже никаких газет. Не прикажете ли купить сгущенного молока?

Я отрицательно покачал головой, сел пить кофе и развернул газету. С первых же строк я узнал,

в чем дело. Я узнал даже больше, чем было в действительности, ибо газета была до глупости пессимистически настроена. В Соединенных Штатах разразилась всеобщая забастовка; высказывалось опасение за большие города, так как они могли оказаться без продовольствия.

Я бегло просматривал газету, вникая лишь в сущность дела и припоминая историю рабочих движений.

Всеобщая забастовка была мечтой целого ряда поколений, причем мечта эта впервые возникла в голове у некоего Дебса, одного из виднейших рабочих лидеров, лет тридцать назад. Я вспомнил, что, еще будучи в университете, я написал для одного из журналов статью под заглавием «Мечта Дебса». С идеей этой я обошелся очень деликатно, вполне академически, считая ее мечтой и ничем больше. Мир продолжал развиваться: Гомперс сошел со сцены так же, как и Американская федерация труда. Умер и Дебс со своими дикими мечтами, но его идея не умерла, и вот она осуществилась. Читая газету, я смеялся. Я знал, как обычно проваливаются все забастовки благодаря различным внутренним конфликтам. Вопрос шел о двух-трех днях. Правительство, несомненно, в несколько дней ликвидирует эту

забастовку.

Я отшвырнул газету и начал одеваться. Мне хотелось побродить по улицам Сан-Франциско. Вероятно, любопытное зрелище должны были представлять эти улицы без единого экипажа, трамвая или автомобиля.

— Простите, сэр, — проговорил Браун, подавая мне портсигар, — но мистер Хармед желает переговорить с вами.

Хармед был мой дворецкий. Я заметил, что он был очень взволнован. Он сразу приступил к делу.

— Что мне делать, сэр? Нам нужно запастись провизией, а все поставщики забастовали. Электричество тоже не горит, по всей вероятности, и там забастовали.

— А магазины открыты? — спросил я.

— Только мелочные лавки, сэр. Приказчики не явились на работу, но хозяева с семьями пока что справляются.

— Сейчас же берите автомобиль и поезжайте за покупками. Купите все, что нам может понадобиться. Купите ящик свечей или даже лучше полдюжины ящиков. А когда вы все сделаете, скажите Гаррисону, чтобы он заехал за мной в клуб к одиннадцати часам, никак не позже.

Хармед покачал головой.

— Мистер Гаррисон забастовал, по постановлению Союза шоферов. А я не умею управлять автомобилем.

— Ха-ха, он забастовал, — воскликнул я, — ну, хорошо, когда вы увидите «мистера» Гаррисона, скажите ему, чтобы он искал себе другое место.

— Слушаюсь, сэр.

— А вы, Хармед, случайно не принадлежите к Союзу дворецких?

— Нет, сэр, — ответил он, — и если бы даже я и принадлежал к этому союзу, я бы не покинул своего хозяина в такой критический момент.

— Благодарю вас, — сказал я, — все-таки собирайтесь: я сам буду управлять автомобилем, и мы сделаем достаточный запас провизии, чтобы выдержать осаду.

Был превосходный первомайский день. На небе ни облачка. Веял теплый ветерок. Сады благоухали. По улицам сновали автомобили, управляли ими сами хозяева. Толпы народа бродили взад и вперед, но все было совершенно спокойно. Рабочие, одетые в лучшее праздничное платье, мирно гуляли, наблюдая, какое впечатление производит забастовка. Все было так необычайно и вместе с тем так спокойно, что я почувствовал невольное

восхищение. Мои нервы приятно взвинтились. Это было какое-то мирное приключение. Я встретил мисс Чикеринг, она сама управляла своим маленьким автомобилем. Она повернула руль, догнала меня на углу и воскликнула:

— О мистер Корф! Вы не знаете, где можно купить свечей? Я объехала по крайней мере дюжину магазинов, но свечи повсюду распроданы. Это ужасно, не правда ли?

Но ее сверкающие глаза не соответствовали словам. Ей, по-видимому, все это доставляло большое удовольствие. Покупать свечи — ведь это было целое приключение! Мы объехали весь город и только тогда догадались поехать в южную часть, в рабочий квартал. Там в одной мелочной лавке еще не все свечи были распроданы. Мисс Чикеринг полагала, что одного ящика вполне достаточно, но я уговорил ее купить четыре. Сам я взял дюжину ящиков, так как автомобиль мой был достаточно вместителен. Нельзя было предвидеть, сколько времени продлится забастовка. Поэтому я нагрузил автомобиль мукой, консервами, сухими дрожжами и всякими предметами первой необходимости, на которые мне указывал Хармед, прыгавший и кудахтавший вокруг покупок, как старая наседка.

Интересно отметить, что в первый день никто не отдавал себе отчета, насколько серьезно все происходящее. Заявление рабочих организаций, что они могут продержаться месяц и даже больше, было встречено всеобщим смехом. Но вскоре пришлось убедиться, что рабочие не принимают никакого участия в покупках и не делают никаких запасов; это было вполне понятно, — за несколько месяцев рабочие сделали себе огромные запасы всего необходимого, потому-то они и позволяли нам покупать провизию даже в своем квартале.

Только приехав в клуб и увидев царившее там смятение, я почувствовал тревогу. Для коктейля кое-чего не хватало, а сервировка была ниже всякой критики. Почти все посетители были не в духе и очень волновались. Меня встретил гул голосов. Генерал Фолсом сидел около окна в курительной комнате и отмахивался от шести-восьми возбужденных джентльменов, которые просили его что-нибудь предпринять.

— Что же я могу сделать, у меня нет никаких инструкций из Вашингтона; если вам, господа, удастся наладить телеграфное сообщение, я готов буду сделать все, что мне прикажут. Но я не знаю, что тут можно сделать. Как только я узнал о заба-

стовке, я немедленно поставил отряды солдат у всех общественных зданий, у банков, у почтовых контор и у Монетного двора, но ведь в городе нет никаких беспорядков. Забастовка протекает в полном спокойствии. Или вы хотите, чтобы я начал стрелять в рабочих, гуляющих с женами и детьми по улицам?

— Интересно, что делается на Уолл-стрит? — с беспокойством спросил Джимми Уомболд, когда я проходил мимо.

Я понял, почему он так волнуется: он был заинтересован в одном крупном консолидированном западном предприятии.

— Скажите, Корф, — остановил меня Аткинсон, — ваша машина в порядке?

— Да, — отвечал я, — а что случилось с вашей?

— Сломалась, а все гаражи закрыты. Моя жена около Трукки, и я боюсь, что она отрезана от суши. Я предлагал за телеграмму бешеные деньги, но ее все-таки не отправили. Жена должна была вернуться сегодня вечером. Я боюсь, что она умерла с голоду. Вы мне не дадите вашей машины?

— Вы все равно не можете переехать через залив, — заметил Холлстэд. — Пароходы не ходят. Но вот что вы можете сделать. Попросите Роллинсона… Роллинсон, подите сюда на ми-

нутку! Аткинсон хочет перевезти через залив машину, — его жена застряла где-то около Траки, нельзя ли перевезти машину на вашей «Ларлетте»? — «Ларлетта» была двухсоттонная океанская яхта.

Роллинсон пожал плечами.

— Вы не найдете ни одного портового рабочего, чтобы погрузить машину. Да если бы ее и погрузили, то и это бесполезно, потому что все мои матросы состоят в союзе и тоже бастуют.

— Но ведь моя жена умрет от голода, — жалобно произнес Аткинсон.

В другом конце курительной комнаты я увидел группу людей, которые оживленно и сердито толковали о чем-то, окружив Берти Мессенера. Берти доводил их до бешенства своими хладнокровными циническими рассуждениями. Его не слишком беспокоила забастовка. Его вообще мало что беспокоило. Он был необычайно самоуверен, по крайней мере во всех обычных житейских делах. Все низменное и обыденное не производило на него никакого впечатления. Он обладал капиталом в двадцать миллионов, вдобавок прекрасно помещенным, и никогда в жизни не занимался каким-либо производительным трудом, так как деньги достались ему по наслед-

ству от отца и двух дядей. Он побывал всюду, все испытал, кроме разве женитьбы. Он тщательно охранял свою свободу, несмотря на атаку сотен корыстолюбивых мамаш. В течение нескольких лет он был самой желанной добычей, но всегда ловко увертывался от своих преследовательниц. Он был, бесспорно, лучшим женихом. При всем своем богатстве он был еще к тому же красив, молод и весьма благовоспитан. Превосходный атлет, сложенный, как молодой бог, он все делал с поразительным совершенством, кроме женитьбы. Он ни о чем не беспокоился, у него не было честолюбия, не было пылких страстей, не было даже желания сделать что-нибудь лучше других.

— Но ведь это восстание! — воскликнул кто-то. Другой назвал это революцией, а третий — анархией.

— Я этого не нахожу, — сказал Берти, — мне пришлось пробыть все утро на улице. Везде полнейший порядок, я в жизни не видел такой организованной толпы. По-моему, напрасно вы произносите все эти громкие слова. Это просто настоящая общая забастовка, как это и было объявлено в газетах. Теперь, господа, ваше дело отыгрываться.

— Мы и отыграемся! — воскликнул Гарфилд,

один из крупнейших миллионеров. — Мы покажем этим мерзавцам их настоящее место. Дайте только правительству взяться за это дело.

— А где сейчас ваше правительство? — поинтересовался Берти. — Поскольку дело касается нас, оно могло бы с таким же успехом находиться сейчас на дне океана. Ведь вы же не знаете, что происходит в Вашингтоне! Вы даже не знаете, существует правительство или нет.

— О, не беспокойтесь! — проворчал Гарфилд.

— Уверяю вас, что я нисколько об этом не беспокоюсь, — произнес Берти, улыбаясь, — но нам пока лучше обращать внимание на самих себя. Посмотрите-ка в зеркало, Гарфилд!

Гарфилд не стал смотреть в зеркало, но если бы посмотрел, то увидел бы очень возбужденного джентльмена с красным лицом, с прилипшими ко лбу седыми волосами, кривым и злым ртом и сверкающими глазами.

— Уверяю вас, что это не так, — сказал маленький Гановер; видно было, что он уже много раз произносил эти слова.

— Нет, Гановер, теперь это уже зашло слишком далеко, — возразил Берти. — Вы, господа, утомляете меня вашими спорами. Вы все стоите за свободную торговлю. Вы прожужжали всем уши

своими бесконечными рассуждениями об этой самой свободной торговле и о праве человека распоряжаться своим трудом. Несколько лет вы только об этом и говорили. Ничего нет дурного в том, что все рабочие примкнули к этой забастовке. Тут не попраны пока никакие законы — ни божеские, ни человеческие. Согласитесь со мной, Гановер. Вы сами всегда разглагольствовали о Богом данном праве работать или не работать. Вам этой предпосылки не избежать. Конечно, все это весьма неприятно, но и только. Вы все время ездили на спинах рабочих, а теперь, когда рабочие сбросили вас, вы все запищали.

Все с негодованием стали утверждать, что никто никогда и не думал ездить на спинах рабочих.

— Нет, сэр, — вскричал Гарфилд, — мы все делали для рабочих! Мы не на спинах их ездили, а давали им возможность жить. Мы создавали для них работу. Куда делись бы рабочие, если бы не мы?

— Куча благодеяний! — усмехнулся Берти. — Вы ездили на спинах рабочих тогда, когда представлялся случай, и очень часто для того, чтобы этот случай представился, вы отклонялись от прямой дороги.

— Неправда! — раздались голоса.

— А помните, в Сан-Франциско была забастовка возчиков? — невозмутимо продолжал Берти. — Эту забастовку подстроила Ассоциация хозяев. Вы прекрасно это знаете… Я посвящен в подробности этого дела, ибо в этих же стенах оно возникло и обсуждалось. Сначала вы вызвали забастовку, а потом, сговорившись с городским головой и с начальником полиции, вы ее сорвали. Трогательно было видеть, как вы, филантропы, подбивали возчиков на забастовку, а потом сели им на шею. Позвольте, я еще не закончил. Помните, в прошлом году в Колорадо голосами рабочих был поддержан на выборах кандидат? Он не был утвержден! Вы знаете, почему! Вы прекрасно знаете, каким образом добились этого ваши братья, филантропы и капиталисты Колорадо. Это была опять-таки возможность поприжать рабочих. В течение трех лет вы продержали в тюрьме председателя Союза горняков, подстроив обвинение в убийстве, и добились того, что союз распался. Разве это не значит ездить на спинах рабочих? А троекратное отклонение прогрессивного подоходного налога? Вы утверждали, что это не соответствует конституции. А закон о восьмичасовом рабочем дне, который вы так блестяще

провалили на последнем конгрессе? Но самым вопиющим из всех ваших поступков была борьба с профсоюзами. Вы ведь отлично знаете, как велась эта борьба! Вы подкупили Фарберга — последнего председателя Американской федерации труда. Он был вашим ставленником — ставленником всех трестов и ассоциаций хозяев, ибо всех их объединяла одна цель. Фарберг оказался предателем и сорвал забастовку. Вы добились того, что старая Американская федерация труда развалилась. Вы уничтожали федерацию, но — чудаки — этим самым уничтожили и себя, ибо на смену федерации возник М. Р. С. (Международный рабочий союз) — самая большая и прочная рабочая организация Соединенных Штатов. Вы виноваты в ее возникновении, а стало быть, вы виноваты и в сегодняшней забастовке. Вы вынудили рабочих вместо Федерации организовать М. Р. С., а М. Р. С. устроил эту забастовку. И вы еще будете утверждать, что никогда не прижимали рабочих! Ха-ха!..

На этот раз никто ничего не возразил. Один только Гарфилд пробормотал в свою защиту:

— Нас вынуждали обстоятельства. Приходилось отстаивать себя.

— Этого вопроса я не касаюсь, — ответил Бер-

ти, — меня только возмущает, зачем вы стонете теперь, испробовав вкус лекарства, приготовленного вами же. Вы уже не раз срывали забастовки, чтобы подчинить себе рабочих. Теперь рабочие выработали план, чтобы, в свою очередь, подчинить себе вас. Они желают, чтобы на службу принимали только членов профсоюзов, и если вы на это не согласитесь, вам придется умирать с голоду.

— Я полагаю, что вы сами пользовались всеми теми способами скрутить рабочих, о которых изволили только что упомянуть, — саркастически заметил Брентвуд, один из самых хитрых и желчных адвокатов. — Сообщники не лучше вора! Вы лично не прижимали рабочих, однако свою долю добычи все-таки получали.

— Ну, это к делу не относится, — протянул Берти. — Вы рассуждаете не лучше Гановера, когда ссылаетесь на моральный элемент. Я ведь не говорю, что хорошо, что плохо. Все это просто отвратительная игра; меня возмущает не то, что вы прижимали рабочих, а то, что вы теперь стонете и охаете! Совершенно верно, я пользовался всеми благами, полученными от эксплуатации рабочих, — спасибо вам, джентльмены, — сам при этом не ударяя палец о палец. Вы это сделали

за меня, а сам я этим не занимался вовсе не потому, что я добродетельнее вас. Просто мой отец и его почтенные братья оставили мне столько денег, что я мог без труда заплатить вам за эту грязную работу.

— Если вы хотите этим сказать… — воскликнул с горячностью Брентвуд.

— Тише, тише! — дерзко оборвал его Берти. — Нам нечего играть в невинность в этом воровском притоне. Это годится для газетных статей, для юношеских клубов и воскресных школ. Но, ради Бога, не будем ломаться друг перед другом! Вы прекрасно знаете, и я знаю; и вы знаете, что я знаю, кто организовывал и срывал прошлой осенью забастовку строительных рабочих, кто за это получал деньги и кто наживался. (Брентвуд густо покраснел). Все мы слеплены из одного теста, а поэтому отставим в сторону вашу мораль. Я опять повторяю — делайте свое дело, делайте его до конца, но только не нойте, когда вам приходится туго!

Когда я отошел от этой группы, Берти все еще продолжал их мучить, указывая на серьезность создавшегося положения и спрашивая их, каким образом они думают пополнить запасы продуктов, недостаток которых начинал уже

чувствоваться. Встретив его позже в передней, я предложил ему доехать до дому в моем автомобиле.

— Да, жестокий удар — эта всеобщая забастовка, — говорил он, когда мы пробирались сквозь толпу, весьма многочисленную, но сохранявшую полный порядок. — Это удар по нашему телу. Рабочие подстерегли нас, пока мы спали, и ударили по самому чувствительному месту — по желудку. Я хочу уехать из Сан-Франциско, Корф, и вам советую сделать то же самое. Отправляйтесь куда-нибудь в деревню, безразлично куда. Накупите съестных припасов и поселитесь в какой-нибудь хижине или шалаше. Уверяю вас, что скоро нам тут ничего не останется, как только подыхать с голоду.

Я никак не предполагал, что предсказания Берти Мессенера исполнятся с такой точностью. Тогда я просто решил, что он человек, склонный поддаваться панике. Мне, напротив, казалось очень интересным остаться в Сан-Франциско и наблюдать за суматохой. Расставшись с ним, я, перед тем как ехать домой, решил еще купить кое-какой провизии. К моему удивлению, оказалось, что те мелочные лавки, где мы покупали сегодня утром, распродали весь свой товар. Я

отправился в Потреро, и там мне удалось купить еще один ящик свечей, два пуда белой муки, десять пудов ржаной (для прислуги), ящик мясных консервов и два ящика томатов. Предполагая, что в течение некоторого времени будет ощущаться острый недостаток в съестных припасах, я очень радовался, любуясь своими мешками и ящиками.

На следующее утро я выпил кофе, по обыкновению, в постели. Не только сливок, но на этот раз не было и газеты. Абсолютное неведение того, что происходит в мире, показалось мне самым тяжелым испытанием. В клубе я узнал кое-какие новости. Райдер приехал из Окленда в своей моторной лодке, а Холстед ездил в Сан-Хосе на автомобиле. Они сообщили, что положение там было не лучше, чем в Сан-Франциско. Всякая деятельность остановилась в результате забастовки. Все мелочные лавки были целиком скуплены богатыми людьми. Всюду царил полный порядок. Но что происходило в других крупных центрах? В Чикаго? В Нью-Йорке? По всей вероятности, то же самое. Однако тот факт, что мы ничего не могли узнать точно, приводил нас в бешенство.

Кое-какие новости мог сообщить генерал Фолсом. В телеграфных конторах были поставлены на

работу военные телеграфисты. Однако провода оказались перерезанными по всем направлениям. Это был первый незаконный поступок рабочих. Генералу удалось снестись по радио с Бенишией. Телеграфная линия до Сакраменто охранялась патрулями солдат. На несколько минут удалось соединиться с Сакраменто, но затем провода были перерезаны. Генерал Фолсом полагал, что подобные попытки делались и другими городами, но вряд ли можно было рассчитывать наладить связь. Его больше всего беспокоило повсеместное повреждение проводов; очевидно, это был план, заранее обдуманный рабочими и теперь регулярно приводимый в исполнение. Он так же очень сожалел, что правительству не удалось еще наладить сеть радиостанций, как это давно предполагалось.

Дни проходили, и пока что было очень скучно. Ничего особенного не происходило. Интерес к событиям слегка притупился. Улицы опустели. Рабочие не появлялись больше в городе, чтобы посмотреть, как мы переживаем забастовку; количество автомобилей на улицах сократилось: мастерские и гаражи были закрыты, и если какая-нибудь машина портилась, то она окончательно выходила из строя. Мой автомобиль

тоже сломался, и ни за какие деньги нельзя было его починить. Теперь и мне пришлось пешком бродить по улицам. Сан-Франциско казался мертвым городом, и мы по-прежнему не знали, что происходит в других городах. Но по собственному примеру мы могли заключить, что и другие города были столь же мертвы. Иногда по городу разбрасывались прокламации М. Р. С., отпечатанные, по-видимому, несколько месяцев назад. Это было лишнее доказательство того, как тщательно готовились к забастовке рабочие организации. Все детали были разработаны. До сих пор не произошло никаких эксцессов, если не считать расстрела солдатами лиц, уличенных в порче проводов. Но в бедных кварталах люди начали голодать и волноваться.

Деловые люди, миллионеры и люди свободных профессий устраивали заседания и выносили резолюции, но не было никакой возможности обнародовать эти резолюции, их даже нельзя было напечатать. Единственным конкретным результатом совещаний было то, что генерал Фолсом занял отрядами войск все оптовые склады муки, зерна и другого продовольствия; это было сделано как раз вовремя, так как недостаток провианта начал уже ощущаться даже в наибо-

лее богатых домах.

Мои слуги ходили с вытянутыми физиономиями и опустошали мои запасы. Как я впоследствии узнал, они без всякого стеснения обворовывали меня, ибо каждый хотел сделать себе лишний запас провианта.

С образованием хлебных очередей начались новые волнения. Имевшегося в Сан-Франциско запаса муки не могло хватить надолго. У сорганизовавшихся рабочих были особые склады. Тем не менее все рабочие присоединились к хлебным очередям. В результате склады, захваченные генералом Фолсомом, стали пустеть с катастрофической быстротой. Как могли солдаты различать среди толпы среднего горожанина, члена М. Р. С. и простого обывателя? Первые и третьи должны были получить муку, но солдаты не могли знать в лицо всех членов М. Р. С., а тем более их жен, дочерей и сыновей. Хозяева помогали в распознавании рабочих, и некоторые из забастовщиков, опознанные ими, были выгнаны из очередей, но это мало изменило положение. Дело приняло еще худший оборот, когда правительственные буксирные пароходы должны были прекратить доставку хлеба из военных складов, расположенных на островах, вследствие истощения запасов.

Солдаты теперь получали в первую очередь пайки из конфискованных продуктов.

Несомненно, скоро должно было наступить начало конца. Насилие стало показывать свою рожу. Законы и правила были вдруг забыты, и забыты, нужно сознаться, не только низшими, но и высшими слоями населения. Только организованные рабочие продолжали соблюдать порядок. Это было понятно — у них было чем питаться. Мне помнится, как в одно прекрасное утро, придя в клуб, я увидал Холстеда и Брентвуда, которые о чем-то шептались между собой. Они посвятили меня в свой план. Автомобиль Брентвуда был еще в полной исправности, и они собрались ехать воровать коров. У Холстеда был большой поварской нож и резак.

Мы поехали в предместье. Там и сям паслись коровы, но обычно владельцы их находились тут же. Продолжая свои поиски, мы выехали за город, и тут на одном пустыре нашли корову, охраняемую маленькой девочкой. Рядом с коровой пасся теленок. Мы не стали попусту тратить время. Девочка с плачем убежала, а мы принялись резать корову. Я пропускаю различные подробности, потому что они слишком противны. Мы не привыкли к такой работе и исполняли

ее очень плохо.

В самый разгар осуществления нашей затеи мы услыхали крики и увидели нескольких человек, которые бежали к нам. Мы тотчас же бросили корову и пустились в бегство. К нашему удивлению, они и не думали нас преследовать. Оглянувшись, мы увидели, что все они набросились на корову, — они, оказывается, прибежали сюда с теми же намерениями, что и мы. Нам стало досадно, и мы решили вернуться. Произошедшая затем сцена едва поддается описанию. Мы дрались из-за коровы, как дикари. Брентвуд совершенно озверел. Он рычал, размахивал ножом и грозил убить того, кто отнимет его долю.

И мы получили бы нашу долю, если бы не произошло еще более неприятного инцидента. Внезапно появился отряд членов М. Р. С. Его привела маленькая девочка. Рабочих было очень много, и они были вооружены кнутами и дубинками. Девочка плакала от злости и кричала, обливаясь слезами:

— Задайте им хорошенько! Вот этому негодяю в очках, это он все наделал. Разбейте ему морду, разбейте ему морду!

«Негодяй в очках» — это был я, и мне, действительно, разбили морду, хотя у меня хватило

присутствия духа снять поскорее очки. Ах, нас здорово избили! Брентвуд, Холстед и я кинулись удирать к автомобилю. У Брентвуда был в кровь разбит нос, Холстеду раскровавили подбородок.

Убежав от преследователей и подойдя к автомобилю, мы увидели, что за ним спрятался испуганный теленок. Брентвуд велел нам смотреть, не идет ли кто, а сам бросился на теленка подобно тигру или волку. Нож и резак остались на поле битвы, но у Брентвуда были здоровые руки, и он катался с теленком по траве до тех нор, пока не задушил его. Мы положили тушу в автомобиль, накрыли ее своими пальто и поехали домой. Но случилось новое несчастье. У нас лопнула шина. Не было никакой возможности ее починить, и нам пришлось бросить машину. Брентвуд взвалил себе на плечо теленка, накрытого пальто, и понес его, кряхтя и ругаясь. Мы по очереди несли теленка и чуть не умерли от усталости. Вдобавок мы сбились с дороги. После целого часа скитаний мы наткнулись на шайку оборванцев. Они не были членами М. Р. С., но, к несчастью, были так же голодны, как и мы. Во всяком случае, им достался теленок, а нам затрещины. Брентвуд по дороге домой бесновался, как сумасшедший. В разорванном костюме, с разби-

тым носом и подбитым глазом он производил жуткое впечатление.

После этого мы не пытались воровать коров. Генерал Фолсом приказал своим солдатам конфисковать всех коров, и теперь солдаты, так же как и полицейские, главным образом питались мясом. Генерала Фолсома нельзя было обвинять. Поддержание правового порядка было его основной обязанностью, а поддерживали порядок войска — стало быть, их и нужно было кормить в первую очередь.

Приблизительно в это время началась страшная паника. Богатые люди первые обратились в бегство, а их примеру последовали и низшие классы. Население толпами покидало город. Генерал Фолсом был очень доволен. По подсчету, двести тысяч человек бежали из Сан-Франциско, а это значительно облегчало продовольственное положение. Я хорошо помню этот день. Утром я съел черствую корку хлеба. В полдень я пошел и встал в хлебную очередь. Вечером я вернулся домой, усталый и разбитый, получив порцию риса и кусок свиной грудинки. Браун встретил меня у дверей. Вид у него был печальный и испуганный. Он сообщил мне, что вся прислуга сбежала. Он остался в одиночестве. Тронутый его

преданностью, я поделился с ним своей порцией, узнав, что он весь день ничего не ел. Мы сварили рис и грудинку, причем съели только половину, а остальное оставили на завтра. Я лег в постель голодный и провел бессонную ночь. Утром оказалось, что и Браун покинул меня, вдобавок украв остатки риса и грудинки.

Общество, собравшееся в этот день в клубе, было весьма печально настроено. Прислуги не осталось. Она разбежалась. Пропало все серебро, и я узнал, что оно было украдено не прислугой, а самими членами клуба. Оказалось, что в рабочем квартале, к югу от Базарной улицы, на квартирах членов М. Р. С. можно было получить обед в обмен на серебро. Я тотчас же побежал домой. Увы, все мое серебро было украдено, за исключением массивного кубка! Я взял кубок и помчался в рабочий квартал.

Подкрепившись обедом, я снова отправился в клуб, чтобы узнать, нет ли чего-нибудь новенького. В дверях я столкнулся с Гановером, Коллинзом и Дейконом, которые как раз собирались уходить. Больше в клубе никого не оставалось. Они собирались покинуть город, воспользовавшись для этого лошадьми Дейкона. У Дейкона было четыре прекрасных лошади, которых он хотел

спасти, ибо генерал Фолсом предупредил его, что на следующий день все находящиеся в городе лошади будут конфискованы на мясо.

Лошадей в городе оставалось не очень много, так как десятки тысяч их были выгнаны за черту города, как только появилась первая трава. Мне помнится, что Бердэл, имевший крупное ломовое предприятие, выпустил на свободу около трехсот лошадей. При средней стоимости каждой лошади в пятьсот долларов это составляет сумму в сто пятьдесят тысяч. Он рассчитывал получить обратно хоть часть лошадей по окончании забастовки, но на самом деле он, разумеется, потерял всех своих лошадей. Их съели люди, бежавшие из Сан-Франциско. Для этой же цели стали убивать лошадей и мулов, принадлежавших воинским частям.

К счастью, у Дейкона был большой запас овса и сена. Мы раздобыли четыре седла и оседлали лошадей, хотя до сих пор они ходили только в упряжке. Когда мы проезжали по улицам, мне вспомнился Сан-Франциско во время великого землетрясения, но, несомненно, теперь город представлял еще более печальное зрелище. Стихийное бедствие причинило меньше ущерба, чем тирания рабочих союзов. Мы проскакали мимо

театров, гостиниц, пустых и заброшенных магазинов. Улицы были пустынны. Там и сям стояли автомобили, покинутые владельцами вследствие порчи мотора или отсутствия бензина. Не было никаких признаков жизни, виднелись лишь фигуры солдат и полицейских, охраняющих банки и общественные здания. Нам повстречался один из членов М. Р. С., расклеивающий новые прокламации. Мы остановились и стали читать.

«До сих пор нам удалось сохранить полный порядок, — говорилось в прокламации, — и мы сохраним его до конца. Конец наступит тогда, когда будут удовлетворены наши требования; а требования наши будут удовлетворены, когда предприниматели будут вынуждены к этому голодом, подобно тому как голод до сих пор заставлял нас уступать им».

— Это то, что предсказывал Берти, — сказал Коллинз, — и, честное слово, я бы с радостью уступил им; но боюсь, они не дадут мне этой возможности. Я даже не помню, когда я был сыт. Интересно знать, какой вкус у лошадиного мяса?

Мы остановились и стали читать другую прокламацию.

«Когда мы узнаем, что наши хозяева готовы уступить, мы восстановим телеграфную связь

между всеми крупными центрами, но мы будем передавать только известия, касающиеся условий примирения».

Мы проехали Базарную улицу и очутились в рабочем квартале. Улицы здесь не были пустынны, у дверей и у ворот сидели члены М. Р. С., оживленно беседуя между собой. Тут же играли веселые, сытые дети, а дородные хозяйки сидели на ступеньках и сплетничали. Все с усмешкой глядели на нас. Дети бежали за нами и кричали:

— Эй, мистер, не голодны ли вы?

Какая-то женщина, кормившая ребенка, крикнула Дейкону:

— Эй, толстяк, хочешь я угощу тебя картошкой, жареным мясом и чашкой кофе с белым хлебом?

— Вы обратили внимание, — сказал Гановер, обращаясь ко мне, — что на улицах совершенно не видно собак?

В самом деле, я до сих пор не обращал на это внимания; очевидно, мы уезжали как раз вовремя. Нам, наконец, удалось выехать на дорогу в Сан-Бруно, по которой мы и направились на юг. У меня была дача близ Менло, и до нее-то мы решили добраться. Но скоро оказалось, что за городом было гораздо хуже и опаснее, чем в городе. Там, по крайней мере, порядок охранялся солдатами и

членами М. Р. С. Здесь же царила полная анархия. Двести тысяч человек бежали из Сан-Франциско — они прошли, уничтожив за собой все, подобно саранче. Кругом было пусто. Везде были видны следы грабежей и разбоя; там и сям валялись трупы, постоянно встречались обуглившиеся развалины ферм. Все изгороди были разломаны, посевы вытоптаны, огороды опустошены. Домашняя птица и скот съедены голодными ордами. Так обстояло дело на большой дороге, ведущей из Сан-Франциско. Кое-где в стороне от дороги фермеры были вооружены ружьями и револьверами, а потому они еще сохранили свое имущество. Они издали махали нам руками и отказывались с нами разговаривать. Во всем этом разрушении были одинаково виноваты и высшие, и низшие слои общества. Только члены М. Р. С. спокойно сидели по домам с кладовыми, набитыми продуктами.

В самом начале нашего путешествия мы могли убедиться, до какой степени печально общее положение. Вдруг в стороне от дороги раздались крики и выстрелы. Несколько пуль просвистело около нас. В кустах послышался треск, и на дорогу выскочила и понеслась превосходная ломовая лошадь. Мы успели заметить, что она была вся в

крови и сильно хромала. За ней бежали три солдата. Они бежали за деревьями по левую сторону дороги. Солдаты перекликались между собой. Четвертый вышел на дорогу и, сев на землю, стал обтирать лицо.

— Милиция, — прошептал Дейкон, — дезертиры…

Солдат усмехнулся и попросил спичек. На вопрос Дейкона, в чем дело, он ответил, что милиция дезертировала.

— Нечего жрать, — сказал он, — кормят только регулярное войско.

От него мы узнали, что арестанты из Элкотраза распущены, так как их нечем было кормить. Я никогда не забуду открывшегося нам зрелища сразу за поворотом дороги. Кругом стояли развесистые деревья. Солнечные лучи пробивались сквозь густую листву. Бабочки летали над травой, а в вышине раздавалось пение жаворонков. Тут же стоял большой автомобиль, вокруг него валялись трупы. Нетрудно было догадаться, что здесь произошло. Хозяева автомобиля пытались уехать из города и были перебиты бандитами. Это случилось, по-видимому, не более суток назад. Пустые банки из-под консервов объясняли причину убийства. Дейкон осмотрел тела.

— Я так и думал, — сказал он, — я когда-то ездил в этом автомобиле; это — Перритон и все его семейство… Как бы нас не постигла такая же участь!

— Но ведь у нас нет с собою провианта, — заметил я.

Дейкон молча указал на лошадей. Мы поняли, в чем дело, и помчались во весь дух.

Рано утром лошадь Дейкона потеряла подкову. Нежное копыто треснуло, и животное сильно хромало. Дакон не хотел бросать лошадь, но и не мог продолжать ехать на ней верхом. По его просьбе мы продолжали путь одни. Он решил вести лошадь в поводу и встретиться с нами на моей даче. Больше мы его не видели, и никто не знает, как он погиб.

Около часа мы приехали в Менло — вернее, на то место, где был некогда Менло. От городка остались одни развалины, и всюду валялись трупы. Торговая часть города представляла сплошное пожарище. Почти все дачи были уничтожены огнем. К уцелевшим нельзя было подойти. Когда мы приближались, в нас стреляли. Мы встретили одну женщину, которая разыскивала развалины своей дачи. Она рассказала нам, как голодная толпа грабила магазины и с яростью нападала

на местных горожан. Миллионеры и бедняки с одинаковым рвением сражались из-за пищи, а потом отнимали ее друг у друга. Мы узнали, что Пало-Альто и Стэнфордский университет были разрушены при таких же обстоятельствах. Перед нами лежала разоренная, пустынная страна. Мы решили, что благоразумнее всего будет доехать до моей дачи. Она находилась в трех милях от Мэнло к западу, среди холмов.

Но отправившись дальше, мы сразу увидели, что разрушение не ограничилось большой дорогой. Волна беглецов захлестнула на своем пути и маленькие поселки. Все было уничтожено, и местность представляла огромный пустырь. Моя дача была построена из камня, а потому уцелела от пожара. Однако внутри все было опустошено. Мы нашли в саду труп садовника, вокруг которого валялись расстрелянные ружейные патроны. Очевидно, он упорно защищался. Но двое моих рабочих-итальянцев, так же как и управляющий с женой, пропали бесследно. Все хозяйство было разгромлено. Не осталось ни жеребят, ни телят, ни домашней птицы.

Кухня, в которой беглецы, по-видимому, готовили себе пищу, представляла в высшей степени плачевное зрелище. В саду остались следы от ко-

стров. То, что люди не могли съесть, они унесли с собой. Мы не могли найти ни одной корки хлеба.

Остаток ночи мы провели, тщетно дожидаясь Дейкона, а утром вынуждены были с револьверами в руках отражать нападение шести-семи мародеров. Затем мы убили одну из Дейконовских лошадей. Часть мяса мы съели, а остальное приберегли. В полдень Коллинз пошел погулять и не возвратился. Это было ужасным ударом для Гановера; он решил немедленно бежать, и я с трудом уговорил его остаться до утра. Что касается меня, то я был уверен в скором окончании забастовки и решил возвратиться в Сан-Франциско.

Утром мы отправились в дорогу, причем Гановер с пятьюдесятью фунтами конины, привязанной к седлу, поехал на юг, а я с таким же вьюком — на север. Маленький Гановер остался жив, и я уверен, что до конца жизни он будет всем надоедать рассказами о своих приключениях.

Я доехал только до Белмонта, когда трое полицейских отняли у меня мой провиант; они сообщили, что положение становилось все хуже и хуже, что у М. Р. С. огромный запас провизии и они могут продержаться еще несколько месяцев. Я поехал дальше, но возле Бадена на меня напали двенадцать человек и отняли лошадь. Двое

из них были полисменами из Сан-Франциско, а остальные десять кадровыми солдатами. Это было дурным признаком. Очевидно, положение действительно ухудшилось, если даже солдаты начали дезертировать. Я отправился дальше пешком, а они разложили костер и прирезали последнюю из Дейконовских лошадей. В довершение всего я вывихнул себе ногу и с трудом добрался до южной части Сан-Франциско. Всю ночь я пролежал в каком-то сарае, дрожа от холода и сильнейшей лихорадки. В этом сарае я провалялся двое суток, после чего, опираясь на самодельный костыль, кое-как добрался до города.

Я не ел трое суток и очень ослабел. Мне помнится как во сне, что мимо все время проходили отряды регулярных войск и полицейские с семьями, шедшие для безопасности большими партиями. Придя в город, я вспомнил вдруг тот дом, в котором жила семья рабочего, накормившего меня обедом за серебряный кубок. Мучимый голодом, я направился туда; уже стемнело, когда я начал с трудом взбираться по лестнице. У меня закружилась голова, но я успел постучать костылем в дверь, после чего, должно быть, потерял сознание. Я очнулся в кухне, кто-то обтирал мне лицо мокрым полотенцем и вливал в рот виски.

Я стонал, задыхался и бормотал, что у меня нет больше серебряных кубков, но что я им впоследствии заплачу, если они меня накормят. Хозяйка перебила меня.

— Ах вы бедняга, — сказала она, — разве вы не слыхали, что забастовка прекращена сегодня утром? Конечно, мы вас сейчас накормим.

Она начала хлопотать. Достала копченой ветчины, собиралась ее поджарить.

— Дайте мне скорее хоть один кусочек, — попросил я.

И с наслаждением уплетая ветчину, я слушал рассказ ее мужа о том, что все требования М. Р. С. удовлетворены. Телеграфное сообщение было уже восстановлено, и ассоциации хозяев всюду пошли на уступки. Поскольку в Сан-Франциско не оставалось больше предпринимателей, то за них поручился генерал Фолсом. С завтрашнего дня должны были начать ходить пароходы и поезда; жизнь восстанавливалась.

Так закончилась всеобщая забастовка. Мне бы не хотелось пережить ее вторично. Это куда хуже войны! Всеобщая забастовка — жестокое и безнравственное дело. И человеческий ум должен был бы научиться управлять промышленностью более достойным образом.

Гаррисон продолжает служить у меня шофером. М. Р. С. потребовал, чтобы все служащие заняли свои прежние места. Браун ко мне не возвратился, но остальная прислуга вернулась и работает до сих пор. Я не мог сердиться на них за пропажу серебра и провианта — в конце концов, несчастные спасали свою жизнь.

Я тогда не решился отказать им, а теперь уже не могу этого сделать, ибо все они — члены М. Р. С.

Тирания организованного труда превышает меру человеческого терпения. Нужно что-то предпринять!

СМОК БЕЛЛЬЮ

(сборник)



В рассказах этого сборника раскрывается психология американского воинствующего предпринимателя, а в целом так называемый пресловутый американский характер. Чтобы получить представление о таком характере, надо знать законы, по каким разрешается поступать здесь людям, по каким — нет. Это своеобразное, нередко весьма остроумное, пособие по страноведению — от Джека Лондона.

Вкус мяса

1

Вначале он был Христофором Беллью. Со временем в колледже его переделали в Криса Беллью. Позднее богема Сан-Франциско прозвала его Кит Беллью. А под конец никто не называл его иначе, как Смок Беллью. И эта история эволюции его имени тесно связана с историей его собственной эволюции. Но ничего подобного не случилось бы, если бы судьба не послала ему нежной матери и железного дяди, а также если бы он не получил письма от Джиллета Беллами.

«Я только что видел номер „Волны“, — писал Джиллет из Парижа. — О'Хара, несомненно, добьется успеха. Однако я заметил кое-какие пробелы (тут следовали подробные указания относительно того, какие улучшения необходимо произвести в новом еженедельнике). Отправься к нему и укажи на все эти недочеты. Внуши ему, однако, что все эти соображения исходят лично от тебя. Не упоминай обо мне ни словом, ни намеком. Если он узнает, что в этом деле замешан я, он непременно сделает меня своим парижским

корреспондентом. А я ни в коем случае не могу согласиться на это, ибо получаю за свои статьи наличными в толстых журналах. Главное — не забудь сказать ему, чтобы он выставил поскорее осла, которому поручил музыкальную и художественную критику. Укажи ему также, что у Сан-Франциско всегда был свой собственный литературный стиль, который, однако, пришел за последнее время в упадок. Пусть О'Хара порыщет кругом и откопает какого-нибудь не совсем бездарного писаку, который мог бы регулярно снабжать „Волну“ рассказами; необходимо, чтобы в них нашли отражение подлинная романтика, блеск и колорит Сан-Франциско».

И Кит Беллью отправился в редакцию «Волны» и добросовестно выполнил возложенное на него поручение. О'Хара выслушал. О'Хара поспорил. О'Хара согласился. О'Хара выставил осла, который писал критические статьи. Наконец, О'Хара прибег к приемам, которых так опасался Джиллет в далеком Париже. Дело в том, что когда О'Хара чего-нибудь желал, ни один человек не мог ему отказать. Он действовал мягко, но так настойчиво, что сокрушал всякое сопротивление. Прежде чем Кит выбрался из редакции, он оказался его соредактором и обещал заполнять еженедельно

несколько столбцов критического отдела, пока О'Хара не подыщет другого сотрудника. Кроме того, Кит обязался давать для каждого номера фельетон в десять тысяч слов — и все это без всякого вознаграждения.

— В настоящее время «Волна» не в состоянии платить своим сотрудникам, — объяснил О'Хара и тут же с неотразимой убедительностью заявил, что в Сан-Франциско имеется только один талантливый человек, настоящий фельетонист по призванию, и что человек этот — Кит Беллью.

— Черт побери! Выходит, что осел-то я! — горестно простонал Кит, спускаясь по узкой лестнице.

И с этого момента началось его рабское служение О'Хара и ненасытным столбцам «Волны». Он почти не выходил из редакции, сражался с кредиторами, ругался с типографскими рабочими и поставлял еженедельно двадцать пять тысяч слов на самые разнообразные темы. Но время шло, а облегчения не наступало. «Волна» была честолюбива. Она решила, что не может обойтись без иллюстраций. Иллюстрации — вещь дорогая. Журнал был не в состоянии оплачивать даже Кита Беллью и уж, конечно, не мог позволить себе никакого расширения штата.

— Вот что значит быть покладистым, — проворчал однажды Кит.

— В таком случае мы должны воздать хвалу небесам за то, что они посылают нам покладистых, — со слезами на глазах воскликнул О'Хара, пожимая Киту руку. — Вы спасли меня, Кит! Не будь вас, я вылетел бы в трубу. Потерпите еще чуточку, старина, и вы увидите, как все наладится.

— Никогда этого не будет, — жалобно простонал Кит. — Я ясно вижу свою судьбу. Мне суждено торчать здесь до конца моих дней.

Скоро ему показалось, что он нашел выход. Дождавшись удобного момента, он в присутствии О'Хара споткнулся о стул. Через несколько минут он ударился об угол стола и опрокинул дрожащими пальцами баночку с клеем.

— Кутнули вчера? — осведомился О'Хара.

Кит протер глаза обеими руками и, прежде чем ответить, бросил на него испуганный взгляд.

— Нет, дело не в этом. У меня что-то неладно с глазами. Словно туман какой-то. Не пойму, с чего бы это?

В течение нескольких дней он продолжал натыкаться на все предметы конторской обстановки. Но сердце О'Хара не смягчалось.

— Послушайтесь меня, Кит, — сказал он од-

нажды, — пойдите к окулисту. Тут есть некий доктор Хасдэпл. Собаку съел на этом деле. И лечение ни гроша не будет вам стоить. Мы заплатим ему объявлениями. Я сам переговорю с ним.

— Ваши глаза в полном порядке, — заявил доктор после внимательного осмотра. — Сказать правду, мне редко приходилось встречать такие здоровые глаза — одна пара на миллион.

— Только не говорите этого О'Хара, — взмолился Кит. — И пропишите мне темные очки.

В результате О'Хара выразил Киту сочувствие и снова с жаром стал распространяться о том времени, когда «Волна» станет на ноги.

К счастью для Кита, у него были кое-какие доходы, правда, довольно скромные, но все же они давали ему возможность состоять членом нескольких клубов и снимать мастерскую в Латинском квартале. С того времени, как он сделался соредактором «Волны», расходы его сильно сократились. У него попросту не хватало времени на то, чтобы тратить деньги. Он не переступал больше порога мастерской и перестал устраивать свои знаменитые, приготовленные на жаровне ужины, которыми он угощал прежде местную богему. Однако это не мешало ему теперь вечно сидеть без гроша, ибо «Волна», постоянно

садившаяся на мель, поглощала вместе с его духовными силами и всю его наличность. Для этого имелись иллюстраторы, которые периодически отказывались давать иллюстрации, наборщики, время от времени отказывавшиеся набирать, и мальчишки-рассыльные неоднократно прекращали выполнять свои обязанности. Во всех этих случаях О'Хара умоляюще смотрел на Кита — и тот все оплачивал.

Когда пароход «Эксцельсиор» прибыл из Аляски и привез весть о клондайкских россыпях, вся страна точно обезумела, а Кит сделал своему издателю чрезвычайно легкомысленное предложение.

— Послушайте, О'Хара, — сказал он. — Эта золотая лихорадка примет, несомненно, грандиозные размеры — должно быть, снова повторятся дни сорок девятого года. Не отправиться ли мне в Клондайк в качестве корреспондента «Волны»? Издержки я возьму на себя.

О'Хара покачал головой.

— Я не могу отпустить вас, Кит. Подумайте, что станется с рассказами? Кроме того, около часа назад я встретил Джексона. Он уезжает завтра в Клондайк и дал согласие еженедельно присылать нам оттуда корреспонденции и снимки. Я

не отпускал его до тех пор, пока он не пообещал мне; главное же, что это нам ни гроша не будет стоить.

В тот же день Кит снова услышал о Клондайке — от своего дяди, с которым встретился в библиотечном зале клуба.

— Здорово, дядюшка! — приветствовал он его, опускаясь в кожаное кресло и с наслаждением вытягивая ноги. — Не хотите ли составить мне компанию?

Он заказал себе коктейль, а дядя удовольствовался своим излюбленным жиденьким красным вином местного производства. Он то и дело переводил неодобрительные, раздраженные взгляды с коктейля на лицо племянника, и Кит чувствовал, что над ним висит угроза неминуемой морали.

— У меня только одна минута, — поспешно заявил он. — Нужно побывать на выставке Кейта в галерее Эллери и написать полстолбца.

— Что это с тобой? — спросил дядюшка. — Лицо бледное, вид измученный…

Кит только простонал в ответ.

— Я, кажется, буду иметь удовольствие похоронить тебя. Это ясно как день.

Кит грустно покачал головой.

— Благодарю вас. Я не охотник до червей. Со-

жгите меня в крематории.

Джон Беллью принадлежал к тому старому, крепкому и энергичному поколению, которое в пятидесятых годах пересекло прерию в фургонах, запряженных волами. В нем была железная закваска, заложенная в детстве, которое прошло в пору освоения новой земли.

— Ты ведешь недостойную жизнь, Кристоф. Мне стыдно за тебя.

— Куч**у**? Так, что ли? — усмехнулся Кит.

Старик пожал плечами.

— Перестаньте так жестоко скорбеть о моих грехах, дядюшка. Я сам был бы рад, если бы я кутил. Но с этим все давно покончено. У меня на это не хватает времени.

— Тогда что же?

— Переутомление.

Джон Беллью разразился отрывистым, недоверчивым смехом.

— В самом деле? — Новый приступ смеха.

— Человек есть продукт окружающей среды, — заявил Кит, указывая на дядюшкин стакан. — Ваше веселье такое же терпкое и жидкое, как и ваш напиток.

— Переутомление! — насмехался дядюшка. — Да ведь ты за всю жизнь и цента еще не

заработал.

— Вы сильно ошибаетесь. Заработал я немало, только мне не удается получить то, что я зарабатываю. Как раз теперь я зарабатываю до пятисот долларов в неделю и работаю за четверых.

— Малюешь картины, которых никто не покупает? Или занимаешься еще какой-нибудь ерундой в том же роде?.. Ты умеешь плавать?

— Когда-то умел.

— Ездить верхом?

— Пробовал и это в свое время.

Джон Беллью фыркнул с отвращением.

— Я рад, что твой отец умер и не может видеть тебя во всем блеске твоего ничтожества, — сказал он. — Это был настоящий мужчина, до кончиков ногтей. Понимаешь? — Мужчина! Думается мне, что он живо выколотил бы из тебя все эти музыкальные и артистические бредни.

— Увы! В наши упадочные дни… — вздохнул Кит.

— Я понял бы тебя и, может быть, даже примирился со всей этой белибердой, если бы ты добился хоть в чем-нибудь успеха. Но ты не заработал в жизни ни единого цента и не сделал ничего мало-мальски путного.

— Гравюры, картины, веера, — признался Кит.

— Ты просто мазилка, да еще и неудачник к тому же. Что ты называешь картинами, хотел бы я знать? Бесцветные акварели да ужасные плакаты? Ведь тебе никогда не удавалось пристроить ничего из этой мазни на выставку хотя бы даже здесь, в Сан-Франциско.

— Ага, вот вы и забыли! Ведь одна из моих картин висит в этом самом клубе.

— Нелепейшая штука! А музыка? Твоя милейшая, но недалекая мамаша выбрасывала на твои уроки сотни долларов. Но ты и тут оказался бездарностью и неудачником. Ты ни разу не заработал хотя бы пяти долларов, проаккомпанировав кому-нибудь в концерте. А твои песенки! Жалкие пустячки, которых никто не желает издавать. Их распевают только твои же товарищи, прикидывающиеся богемой.

— Я выпустил книгу… сонеты, помните?

— А что это тебе стоило?

— Всего двести долларов.

— Чем ты еще можешь похвастаться?

— Я поставил пьесу в летнем театре.

— А что она дала тебе?

— Славу.

— А ведь ты когда-то плавал и пробовал ездить верхом!.. — Джон Беллью энергично опустил ста-

кан на стол. — На что же ты все-таки годен, черт возьми? Ведь ты всегда был здоровым малым, а между тем я не помню, чтобы ты даже в университете увлекался футболом. Ты не греб. Ты не…

— Я занимался боксом и фехтовал… немного.

— Когда ты боксировал в последний раз?

— Да давно уже, в университетские времена. Считали, что у меня превосходный глазомер и чувство дистанции… только я… как бы это сказать…

— Ну, что?

— Товарищи, видите ли, находили, что я рассеян…

— Ты хочешь сказать — ленив?

— Мне самому казалось, что это то же самое.

— Мой отец, сэр, а ваш дедушка, Исаак Беллью, убил человека ударом кулака, когда ему было шестьдесят девять лет.

— Кому, убитому?

— Твоему дедушке, поганец. Но ты в шестьдесят девять и комара не убьешь.

— Времена изменились, дорогой дядюшка! Теперь за убийство сажают в тюрьму.

— Твой отец проскакал однажды сто восемьдесят миль верхом, ни на минуту не сомкнув глаз, и загнал трех лошадей.

— Если бы он жил в наши дни, он спокойно прохрапел бы всю дорогу в пульмановском вагоне.

Дядюшка чуть не задохнулся от негодования. Овладев собой, он с трудом выговорил:

— Сколько тебе лет?

— У меня есть основание думать…

— Я знаю. Двадцать семь. Когда ты окончил университет, тебе было двадцать два. Целых пять лет ты только и делал, что малевал, бренчал и фанфаронил. Ну, сознайся же перед Богом и людьми — на что ты теперь годен? В твоем возрасте у меня была одна-единственная смена белья. Я был объездчиком в Колузе. Я был крепок как камень и мог спать на голом камне. Питался я солониной и медвежатиной. И вот даже теперь физически я намного крепче, чем ты. В тебе, должно быть, около ста шестидесяти пяти фунтов весу, а я хоть сейчас могу повалить тебя и превратить в лепешку вот этими кулаками.

— Что же! Для того, чтобы поглощать коктейли и жидкий чай, не требуется богатырской силы, — смиренно согласился Кит. — Разве вы не видите, дядюшка, что времена изменились. Кроме того, меня воспитывали не так, как следовало. Моя милейшая, но бестолковая мама…

Джон Беллью сердито поморщился.

— …как вы сами охарактеризовали ее, была слишком добра ко мне; она, что называется, держала меня в вате и воспитывала, как девочку. Вот видите, если бы я принимал участие в тех героических эскападах, которые вам так по душе… кстати — почему вы никогда не брали меня с собой? Ведь захватили же вы Холла и Робби, когда отправились в Сьерру и Мексику?

— Мне казалось, что ты слишком нежен.

— Это ваша вина, драгоценный дядюшка, — ваша и моей милейшей, гм… мамаши. Скажите на милость, — как же я мог закалить себя? Ведь я был всего-навсего ребенком. Что мне оставалось в жизни, кроме гравюр и вееров? Разве я виноват в том, что мне никогда не пришлось как следует попотеть?

Старик с нескрываемым презрением посмотрел на своего племянника. С него было достаточно всей этой болтовни.

— Ну, хорошо, я как раз собираюсь предпринять одну из тех эскапад, которые ты называешь героическими. Что, если бы я позвал тебя на этот раз?

— Немного поздновато, нужно признать. Куда это?

— Холл и Робби едут в Клондайк, и я собираюсь проводить их через перевал до озер. Оттуда я

поверну обратно…

Он не кончил фразы: Кит вскочил на ноги и схватил его за руку.

— Спаситель мой!

Джон Беллью окинул его недоверчивым взглядом. Ему и в голову не приходило, что Кит примет его приглашение.

— Ты шутишь! — сказал он.

— Когда мы едем?

— Это тяжелое путешествие. Ты станешь обузой для нас.

— Не стану. Я буду работать. Я научился работать, поступив в «Волну».

— Каждый должен взять с собой припасов на целый год. Туда нахлынет такая уйма народу, что индейцы не справятся с переноской багажа. Мальчикам придется самим перетаскивать свое снаряжение через перевал. Вот я и хочу помочь им в этом деле. Если ты поедешь с нами, тебе придется делать то же самое.

— Я еду с вами.

— Но ведь ты не сможешь переносить тяжести, — возразил Джон Беллью.

— Когда мы отправляемся?

— Завтра.

— Не думайте, пожалуйста, что на меня так

подействовала ваша проповедь, — сказал Кит на прощание. — Мне просто необходимо скрыться куда-нибудь от О'Хара.

— Кто этот О'Хара? Япошка?

— Нет. Он ирландец, рабовладелец и к тому же один из моих лучших друзей. Это издатель, собственник и величайший тиран «Волны». Все повинуется ему. Он мог бы, если бы захотел, командовать привидениями.

В этот же вечер Кит Беллью написал О'Хара записку.

«Я беру отпуск на несколько недель, — объяснял он. — Подыщите на это время кого-нибудь, кто мог бы закончить мой последний рассказ. Мне очень жаль, старина, но дело в моем здоровье. Вернувшись, я возьмусь за работу с удвоенной энергией».

2

Среди безумной суматохи Кит Беллью высадился на берег Дайи, заваленный тысячепудовым багажом тысяч людей. Эти огромные массы снаряжения и продовольствия, которые пароходы целыми грудами выбрасывали на берег, только теперь начинали понемногу переправлять вверх по долине Дайи и через Чилкут. Совершить этот

переход в двадцать восемь миль можно было только на собственных ногах, перенося тяжести на спине. Индейцы-носильщики были нарасхват, несмотря на то, что цена за переноску фунта багажа подскочила с восьми центов до сорока, и всем было ясно, что наступающая зима застигнет б***о***льшую часть путешественников по эту сторону перевала.

Самым неприспособленным из всех неженок, высадившихся с парохода, был Кит. Подобно множеству других новичков он надел пояс с патронами, на котором болтался огромный револьвер. Дядя его, переполненный воспоминаниями о прежних опасных странствованиях, был также повинен в этом грехе. Но Кит Беллью, кроме того, был романтиком. Его пленяла игра и блеск золотой лихорадки, и он наблюдал за движением бурного людского потока глазами художника. Все это путешествие казалось ему чем-то вроде веселой экскурсии, и он еще на пароходе заявил, что не собирается похоронить себя на Севере. Он просто хотел использовать свой отпуск для того, чтобы «заглянуть» через перевал, а затем снова вернуться в лоно цивилизации.

Оставив своих спутников следить за выгрузкой багажа, Кит направился вверх по песчаному

берегу к старой фактории. Сам он шел твердой поступью и с удивлением заметил, что другие, увешанные такими же револьверами, путешественники спотыкались на ходу. Его обогнал статный индеец шести футов ростом, с огромным тюком за плечами. Кит пошел за ним следом, любуясь великолепными икрами этого малого, а также грацией и непринужденностью, с которой он двигался, несмотря на тяжесть поклажи. Индеец опустил свой тюк на весы перед факторией, и Кит присоединился к толпе восхищенных зрителей, окруживших носильщика. Тюк весил сто двадцать фунтов, и эта цифра благоговейным шепотом передавалась из уст в уста.

— Не шутка! — решил Кит и тут же задал себе вопрос, сможет ли он поднять такую тяжесть да еще пойти с ней.

— На озеро Линдерман, приятель? — спросил он.

Индеец с гордым видом пробормотал что-то утвердительное.

— Сколько вы берете за такой тюк?

— Пятьдесят долларов.

Но на этом разговор оборвался. Внимание Кита привлекла девушка, стоявшая на пороге. Не в пример другим женщинам, высадившимся с

парохода, она была в юбке нормальной длины и без спортивных брюк. В общем, она была одета так, как обычно одеваются женщины в дорогу. Но больше всего Кита поразила непринужденность, с которой она держала себя в этой обстановке. Он сразу почувствовал, что она здесь своя и все окружающее — родная ей стихия. К тому же она была молода и красива. Сияющая красота и прелесть ее овального лица приковали его взгляд, и он долго не отрывал его, до тех пор, пока она не почувствовала, что на нее смотрят. Ее темные, осененные длинными ресницами глаза встретились с его глазами. С лица Кита она перевела насмешливый взгляд на большой револьвер, болтавшийся у его бедра. Затем с нескрываемым презрением она снова посмотрела на него. Этот взгляд подействовал на него, как удар хлыста. Девушка обернулась и указала на Кита своему спутнику. Тот в свою очередь взглянул на Беллью, и на его лице тоже появилась презрительная усмешка.

— Чечако, — сказала девушка.

Спутник ее, похожий на бродягу в своих дешевых брюках и разодранной шерстяной куртке, сухо усмехнулся, и Кит, сам не зная почему, почувствовал себя оскорбленным. Но что бы там ни было, а она необыкновенно красивая девушка,

решил он, когда те стали уходить. Он обратил внимание на ее походку и постарался запечатлеть ее в памяти, чтобы узнать девушку хотя бы через тысячу лет.

— Приметили вы этого человека с девушкой, — с жаром осведомился у Кита его сосед, — знаете, кто это?

Кит покачал головой.

— Карибу Чарли. Мне только что указали на него. Ему здорово повезло в Клондайке. Он — старожил, сидит на Юконе уже лет десять. Теперь он уезжал на время.

— Что значит чечако? — спросил в свою очередь Кит.

— Вот вы как раз и будете чечако, да и я тоже, — последовал ответ.

— Может быть, и так, но я все же не понимаю, что это значит.

— Это значит новичок, неженка.

Возвращаясь обратно на берег, Кит не переставал повторять про себя это слово. Не очень-то приятно мужчине, когда молоденькая хрупкая женщина называет его неженкой.

Зайдя за гору тюков, Кит, все еще полный воспоминаний о могучем индейце-носильщике, решил тут же испытать свои силы. Он выбрал

мешок муки, в котором, как он знал, было сто фунтов весу, широко расставил ноги, нагнулся и попробовал взвалить его себе на плечи. Первой его мыслью было, что сто фунтов — порядочная тяжесть. Второй — что спина его не достаточно крепка. И наконец после пяти минут бесплодных усилий он со стоном свалился под тяжестью груза, который старался поднять. Кит вытер со лба пот и в ту же минуту увидел над грудой мешков с продовольствием лицо своего дядюшки Джона Беллью, с нескрываемой насмешкой следившего за ним.

— Подумать только, — возгласил этот апостол мужества, — что от нас произошло такое жалкое потомство! Когда мне было шестнадцать лет, я играючи справлялся с такими пустяками.

— Но вы забываете, дядюшка, — возразил Кит, — что меня-то не кормили с детства медвежатиной.

— И играючи справлюсь с ними, когда мне стукнет шестьдесят.

— Я не прочь бы взглянуть на это.

И Джон Беллью показал ему. Дядюшке было сорок восемь лет, но он нагнулся над мешком, схватил его твердой рукой, немного раскачал и быстрым движением выпрямился, перекинув

стофунтовый груз через плечо.

— Сноровка, мой мальчик, сноровка и крепкая спина!

Кит почтительно снял шляпу.

— Вы чудо, дядюшка, поразительное чудо! Как вы думаете, сумею ли я приобрести такую сноровку?

Джон Беллью пожал плечами.

— Ты запросишься домой прежде, чем мы тронемся в путь.

— Ну, нет, этого не случится, — пробурчал Кит. — Там меня ждет О'Хара, рыкающий лев, и я не вернусь к нему, пока будет хоть какая-нибудь возможность оставаться здесь.

3

Первое испытание Кита прошло успешно. Им удалось подрядить до Финниганского брода индейцев, которые взялись перенести две тысячи пятьсот фунтов снаряжения. Начиная с этого места, путешественникам предстояло нести поклажу самим. Они решили проходить ежедневно по одной миле. Это очень легко… на словах. Джон Беллью должен был оставаться на стоянках и стряпать, поэтому он лишь изредка мог помогать в переноске груза. Таким образом, каждому из

трех молодых людей нужно было ежедневно перетаскивать на одну милю восемьсот фунтов. Поднимая по пятидесяти фунтов зараз, каждый из них должен был бы сделать в день шестнадцать миль с поклажей и пятнадцать налегке. «Потому что в последний раз нам ведь не придется возвращаться!» — сделал приятное открытие Кит. Увеличив поклажу до восьмидесяти фунтов, они сократили бы свой переход до девятнадцати, а навьючивая на себя по сто фунтов — до пятнадцати миль в день.

— Я не большой любитель моциона, — заметил Кит. — Поэтому я буду перетаскивать по сто фунтов сразу. — Он подметил недоверчивую усмешку на лице дяди и поспешно добавил: — Конечно, мне придется потренироваться сначала. Всякое дело требует некоторой сноровки и навыка. Я начну с пятидесяти фунтов.

Он так и сделал и, взвалив на себя тюк, бодро двинулся в путь. Пройдя милю, он сбросил груз и легким шагом вернулся обратно. Это оказалось легче, чем он думал. Но две мили порядком утомили его непривычные мускулы. Второй его тюк весил шестьдесят пять фунтов. Это было уже значительно труднее, и Кит утратил свою первоначальную прыть. Несколько раз за время

перехода он, по примеру всех остальных носильщиков, присаживался на землю и прислонял груз, не сбрасывая его с плеч, к камню или пню. Когда дело дошло до третьего тюка, Кит окончательно возгордился. Он прикрепил к ремням мешок бобов в девяносто пять фунтов и двинулся в путь. К концу первых ста шагов он почувствовал, что силы покидают его. Он присел и вытер с лица пот.

— Короткие переходы и короткие привалы, — пробормотал он, — в этом весь фокус.

Иногда Киту не удавалось сделать даже полных ста шагов, и всякий раз, как он, передохнув, снова поднимался на ноги, ноша казалась ему все тяжелее и тяжелее. Он с трудом переводил дыхание и весь обливался потом. Не пройдя и четверти мили, он снял свою шерстяную фуфайку и повесил ее на дерево. Немного погодя он сбросил шляпу. К концу первой полумили Кит почувствовал, что должен сдаться. Никогда в жизни он не испытывал такой мучительной усталости: он был уверен в этот момент, что окончательно надорвал свои силы. Он опустился на землю, стараясь отдышаться, как вдруг взгляд его упал на огромный револьвер и тяжелый пояс с патронами.

— Десять фунтов лишку, — ухмыльнулся он, отстегивая пояс.

Он даже не потрудился повесить его на дерево, а просто швырнул в придорожный кустарник. Наблюдая за потоком навьюченных людей, тащившихся мимо него вверх и вниз, Кит увидел, что и другие новички отстегивали свое оружие. Кит все больше и больше сокращал свои и без того короткие переходы. Подчас он с трудом, спотыкаясь, проходил шагов сто и, совершенно обессиленный, опускался на землю. Сердце его зловеще колотилось, кровь стучала в висках и барабанных перепонках, а колени предательски дрожали. Остановки же, наоборот, с каждым разом становились все длиннее. Однако мозг его не переставал работать. Перед ним лежало еще двадцать восемь миль пути, то есть двадцать восемь дней такого труда, причем самое трудное ожидало его, несомненно, впереди.

— Вот доберемся до Чилкута, — говорили ему спутники, останавливаясь, чтобы поболтать и передохнуть, — так вы еще не то запоете: придется карабкаться на четвереньках.

— Никакого Чилкута я не увижу, — отвечал он. — Мне ни за что не добраться туда. Задолго до Чилкута я спокойно улягусь в маленькой уютной могилке у дороги.

Раз он поскользнулся и сделал отчаянное

усилие, чтобы удержаться. Это маленькое приключение сильно напугало его. Ему почудилось, будто у него все внутри оборвалось.

— Если я свалюсь когда-нибудь с этим грузом за спиной, пиши пропало, — поделился он с одним из своих спутников.

— Это что! — ответил тот. — Вот когда мы доберемся до Большого Ущелья, узнаете, то ли еще бывает. Вам придется перебираться через бешеный поток по сосновому стволу в шестьдесят футов длины. Никаких поручней, никаких веревок — ничегошеньки! А вода под вами брызжет, пенится, переливается через ствол и захлестывает вас до колен. Если вы свалитесь с мешком на спине, не останется никакой возможности освободиться от ремней. Тогда прощайтесь с жизнью и спокойно погружайтесь на дно.

— По-моему, это не так уж плохо, — отозвался Кит; безумная усталость вынуждала его почти мечтать о таком конце.

— Там ежедневно тонет три-четыре человека, — продолжал его собеседник. — Я помог раз выудить оттуда одного немца, на нем нашли четыре тысячи долларов.

— Весело, нечего сказать, — произнес Кит, с трудом поднимаясь на ноги и снова пускаясь в путь.

Кит Беллью и его мешок с бобами слились в какую-то ходячую неразрешимую трагедию. Сам Кит мысленно сравнивал себя с Синдбадом-мореходом, обреченным таскать на плечах морского старца. «Так вот она, работа, достойная мужчины, — размышлял он. — Да по сравнению с ней рабство у О'Хара — блаженство». По временам он готов был поддаться искушению — швырнуть мешок с бобами в кусты, обогнуть крадучись стоянку, помчаться к берегу и сесть на первый попавшийся пароход, который вернул бы его в цивилизованный мир.

Однако он не сделал этого. Где-то в глубине его существа таилось влечение ко всему сильному и мужественному, и он беспрестанно твердил про себя, что раз это проделывают другие, то, следовательно, может проделать и он. Эта мысль навязчиво преследовала его, точно в кошмаре, и он делился ею со всеми, кого встречал по пути. Иногда, в минуты отдыха, он с завистью рассматривал крепких быстроногих индейцев, которые проходили мимо, нагруженные несравненно большими тяжестями. Они, по-видимому, никогда не отдыхали и двигались с твердостью и уверенностью, которая казалась ему почти чудесной.

Кит сидел и бранился (на ходу у него не хватало на это дыхания), борясь с искушением удрать обратно в Сан-Франциско. Но прежде чем кончилась миля, он перестал браниться и принялся плакать. Эти слезы были вызваны усталостью и отвращением к самому себе. Существовал ли когда-нибудь на свете более слабый, более жалкий человек! Когда вдали показался лагерь, он сделал последнее отчаянное усилие, добрался до стоянки и повалился ничком на землю, так и не сняв со спины мешка с бобами. Он не умер, но пролежал минут пятнадцать, прежде чем собрался с силами, чтобы освободиться от ремней. Чувствуя себя смертельно разбитым и больным, он так и остался лежать в полной прострации. В этом состоянии его нашел Робби, самочувствие которого было отнюдь не лучше, чем у кузена. Но как ни странно, состояние Робби вернуло Киту утраченное мужество.

— То, что могут делать другие, можем сделать и мы, — сказал ему Кит, хотя в глубине души у него шевелилось сомнение, не пустое ли это бахвальство с его стороны.

4

— Мне двадцать семь лет, и я мужчина, — неоднократно повторял он в следующие дни. — И я должен стать сильным.

За первую неделю, в течение которой он ежедневно переносил восемьсот фунтов груза на милю вперед, Кит потерял пятнадцать фунтов собственного веса. Лицо его вытянулось и приобрело страдальческое выражение. И тело, и мозг утратили всякую упругость. Он уже не ходил, а тащился, и на обратных переходах, идя налегке, волочил ноги почти с таким же трудом, как и под тяжестью стофунтовой ноши.

Кит окончательно превратился во вьючное животное. Он засыпал над едой, и сон его сделался тяжелым и крепким, как у измученного животного. Просыпаясь, он вскрикивал от мучительных судорог, которые сводили его ноги; все тело болезненно ныло. Ступни покрылись сплошными волдырями, но это было ничто по сравнению с ужасными ранами, которые появились на них в долине Дайи. В этой местности путь на протяжении двух миль был покрыт сглаженными водой камнями, которые сдирали кожу и разрезали тело до самых костей. А ведь эти две

мили означали тридцать восемь миль ходьбы с грузом туда и обратно. Он мыл лицо только раз в день, а ногти свои, сломанные, изуродованные и обросшие заусенцами, никогда не чистил. Боль в плечах и руках от глубоко врезавшихся ремней заставила его в первый раз задуматься над ощущениями лошадей, которых он столько раз видел на городских улицах.

Еда была для него вначале сущей пыткой и чуть не извела его вконец. Огромная физическая работа требовала усиленного питания, а желудок его не был приспособлен к непомерным порциям свинины и тяжелых коричневых бобов. В результате желудок отказался работать, и в течение нескольких дней боли и раздражение, вызываемые голодовкой и расстройством, едва не сломили Кита окончательно. Но настал, наконец, радостный день, когда он оказался в состоянии есть как прожорливое животное и с жадными волчьими глазами требовать еще и еще.

Благополучно переправив у входа в ущелье весь груз через поток по мосткам из неочищенных стволов, путники изменили свой план. Из-за перевала дошли слухи, что в окрестностях озера Линдерман не осталось ни одного дерева, пригодного для постройки лодки. Тогда оба кузена,

нагрузив на себя инструменты, пилы, одеяла и запасы продовольствия, двинулись вперед, оставив Кита с дядей перетаскивать остальной багаж. Теперь Джон Беллью стряпал вместе с Китом и помогал ему переносить поклажу. Время летело быстро, и вскоре на вершинах выпал первый снег. Если бы зима застигла их по эту сторону перевала, они потеряли бы целый год. Поэтому дядюшка подставил свою железную спину под стофунтовую тяжесть. Кит почувствовал вначале некоторое смущение, но затем стиснул зубы и прикрепил к своим ремням такой же груз. Это было тяжело, но он успел уже порядком приспособиться, и тело его, окрепшее и избавившееся от лишнего жира, начинало покрываться броней твердых и гибких мускулов. К тому же он умел наблюдать и не был лишен изобретательности. Он сразу обратил внимание на приспособление из ремней, которое индейцы носили на голове, и смастерил себе такое же, чтобы пользоваться им одновременно со спинными ремнями. Это значительно облегчало дело и давало ему возможность класть на тюк еще какой-нибудь добавочный, не тяжелый, но громоздкий груз. Таким образом, он научился переносить по сто фунтов на ремнях и одновременно какой-нибудь пятнадцати-двадца-

тифунтовый предмет, который свободно лежал на тюке, упираясь в его затылок. Не довольствуясь этим, он брал в одну руку топор или пару весел, а в другую — вложенные друг в друга походные котелки.

Но как ни старались дядюшка и племянник, а работы с каждым днем все прибывало и прибывало. Дорога становилась все хуже и запущеннее, тюки все тяжелее, а снежная линия на горах с каждым днем опускалась все ниже. При этом плата за переноску багажа подскочила до шестидесяти центов за фунт. От кузенов не доходило никаких вестей; из этого они заключили, что Холл и Роберт все еще заняты рубкой и распилкой леса. Джон Беллью начинал не на шутку тревожиться. Встретив на пути нескольких индейцев, возвращавшихся с озера Линдерман, он уговорил их взяться за переноску груза. Они потребовали по тридцати центов за фунт, чтобы донести поклажу до вершины Чилкута. Делать было нечего, пришлось согласиться, хотя деньги у них были на исходе. Но, несмотря на помощь носильщиков, около четырехсот фунтов груза — одежда и лагерное снаряжение — все же осталось на месте, и Джон Беллью взялся перенести их собственными силами вслед за Китом и индейцами, которые

ушли вперед. Они сговорились на том, что Кит, добравшись до Чилкута, станет понемногу переносить груз дальше, поджидая дядюшку, который должен был нагнать его со своими четырьмястами фунтами.

5

Кит шагал по дороге с носильщиками-индейцами. Сообразив, что до вершины Чилкута расстояние немалое, он сократил свой груз до восьмидесяти фунтов. Индейцы кряхтели под своими вьюками, но шли быстрее, чем привык ходить Кит. Однако теперь это его не пугало: он уже считал себя почти таким же выносливым, как индейцы.

Через четверть мили у него появилось желание передохнуть. Но индейцы еще не чувствовали в этом никакой потребности, и Кит пошел дальше вместе с ними. Пройдя еще полмили, он решил, что не в силах сделать больше ни единого шага. Тем не менее он стиснул зубы и продолжал путь, а к концу мили с удивлением убедился, что все еще жив. Затем, как это ни странно, вторая миля показалась ему немного легче первой; зато третья миля чуть не убила Кита. Но, теряя сознание от усталости и боли, он все же не позволял себе

издать стон или вздох, и в ту минуту, когда он почувствовал, что теряет сознание, индейцы сделали привал. Вместо того, чтобы опуститься на землю вместо с грузом, как это делали обычно белые, индейцы освободились от плечевых и головных ремней и растянулись на земле, куря и болтая в свое удовольствие. Прошло около получаса, прежде чем они снова двинулись в путь. Кит с большим удивлением почувствовал себя совершенно посвежевшим и с этой минуты сделал своим правилом: «долгие переходы и долгие отдыхи».

Чилкут вполне оправдал те отзывы, которые Киту довелось о нем слышать, и он немало поработал руками и ногами, чтобы добраться до его вершины. Тем не менее он все же проделал это наравне с индейцами в жестокую снежную метель и в глубине души почувствовал большую гордость оттого, что ни разу за все время пути не отстал от них и ничем не проявил своей слабости. Теперь у него появилась новая, честолюбивая мечта — стать таким же выносливым и сильным, как индейцы.

Расплатившись с носильщиками и отпустив их, он остался один среди наступающей темноты, на вершине хребта, на тысячу футов выше

лесной полосы. Промокший до пояса, голодный и измученный, Кит с удовольствием отдал бы в эту минуту весь свой годовой доход за то, чтобы погреться у огня и выпить чашку кофе. Но вместо этого он съел несколько холодных оладий и зарылся в полуразвернутую палатку. Перед сном он успел только со злорадством представить себе, как Джон Беллью станет карабкаться на вершину Чилкута со своими четырьмястами фунтами. Задача Кита была теперь куда легче и проще, несмотря на его две тысячи фунтов багажа: ведь его-то путь лежал под гору!

Утром, с трудом размяв онемевшие от работы и окоченевшие от холода члены, он выполз из палатки, уничтожил фунта два сырого бекона, привязал к ремням стофунтовый тюк и начал спускаться по скалистой тропинке. На несколько сот ярдов ниже тропа пересекала небольшой ледник и сбегала дальше к озеру Кратер. Какие-то люди переправлялись через ледник, перенося на себе часть груза. Однако Кит не последовал их примеру. Весь этот день он складывал свои тюки у верхнего края ледника, и незначительность расстояния позволяла ему переносить по сто пятьдесят фунтов зараз. Выполняя эту работу, он с трудом верил в свой успех и не переставал

дивиться своей выносливости. За два доллара он купил у индейца три окаменевших морских сухаря и съел их в течение дня с огромным количеством сырого бекона.

Не умывшись и не согревшись, он свалился в промокшей от пота одежде и проспал, завернувшись в палатку, вторую ночь.

Рано утром Кит разостлал на льду брезент и погрузил на него три четверти тонны. Затем он потащил его по скользкой поверхности. В том месте, где спуск ледника становился круче, груз Кита стал развивать все большую скорость и, наконец, обогнал его. Тогда остроумный изобретатель вскочил на груду тюков и помчался вниз с быстротой пули.

Сотни нагруженных поклажей носильщиков останавливались, чтобы взглянуть на Кита, восседавшего на верхушке своей поклажи. Он кричал во все горло, предостерегая тех, кто находился на его пути, и зазевавшиеся люди, спотыкаясь, отскакивали в сторону, очищая перед ним дорогу. У нижнего края ледника стояла маленькая палатка; она с такой быстротой вырастала перед Китом, как будто приближалась к нему прыжками. Он свернул с проезжей тропы в том месте, где она отклонялась влево, и понесся по нетронутому

снегу. Целое облако морозной пыли окружило его, замедляя скорость движения. Он увидел палатку только в ту минуту, когда врезался в нее, сорвав боковые колышки. И в тот же миг, прорвав лицевое полотнище, Кит, сидя на своем брезенте среди груды мешков с продовольствием, влетел внутрь палатки. Палатка закачалась, как пьяная, и в облаке морозной пыли Кит вдруг увидел перед собой изумленное лицо молодой женщины. Она сидела, завернувшись в одеяла, и он тотчас же узнал в ней ту самую девушку, которая назвала его в Дайе чечако.

— Видели вы, какой я поднял дым? — весело осведомился он.

Девушка окинула его неодобрительным взглядом.

— Рассказывайте после этого о коврах-самолетах, — продолжал Кит.

— Не потрудитесь ли вы убрать с моей ноги этот мешок? — холодно спросила она.

Он осмотрелся и быстро привстал.

— Это не мешок, а мой локоть. Простите.

Эта поправка, однако, нисколько не смягчила девушку, и она произнесла все с той же вызывающей холодностью:

— Спасибо хоть за то, что вы не перевернули

печку.

Он проследил за ее взглядом и увидел железную печурку и гревшийся на ней кофейник, за которым присматривала молодая индианка. Кит с наслаждением втянул в себя аромат кофе и снова перевел взгляд на девушку.

— Ведь я чечако, — сказал он.

По презрению, отразившемуся на ее лице, он понял, что это для нее ясно и без его слов, но Кит нисколько не смутился.

— Я бросил по дороге свой револьвер, — прибавил он.

Только тут она узнала его, и взгляд ее смягчился.

— Не думала, что вы заберетесь так далеко, — сказала она.

Он снова с жадностью втянул воздух.

— Даю голову на отсечение, что это кофе! — Он повернулся к девушке и прямо обратился к ней: — Я отдам свой мизинец — можете отрубить его сейчас же, я сделаю все, что вы прикажете, я стану вашим рабом на один год и один день или на сколько вы пожелаете, и все это за одну чашку кофе!

И, прихлебывая горячий кофе, он назвал ей свое имя и услышал, что ее зовут Джой Гастелл.

Он узнал также, что она уже давно живет здесь. Джой Гастелл родилась на одной из факторий у Большого Невольничьего озера и, еще ребенком переправившись с отцом через Скалистые Горы, спустилась в бассейн Юкона. Девушка объяснила, что путешествует в этот момент со своим отцом. Сначала дела задержали его в Сиэтле, а затем он потерпел крушение на злополучном «Чантере» и был доставлен обратно в пролив Пьюджет-Саунд подоспевшим на помощь пароходом.

Поскольку девушка продолжала сидеть закутанная в одеяло, Кит не стал затягивать разговора и, героически отказавшись от второй чашки, извлек из палатки вместе с собственной персоной три четверти тонны своего груза. Сверх того он вынес с собой оттуда еще много впечатлений, а именно — что у нее прелестное имя и прелестные глаза, что лет ей, наверное, двадцать, самое большее двадцать два года; что отец ее, должно быть, француз, и что она женщина с характером и темпераментом, а воспитание получила, несомненно, где угодно, только не здесь.

6

Тропа проходила по обледенелым скалам над полосой леса и, обогнув озеро Кратер, спускалась

по скалистому ущелью к Счастливому Лагерю и первым жалким тощим соснам. Нужно было потратить немало сил и времени, чтобы переправить этим путем тяжелое снаряжение. На озере стояла парусная лодка, которой пользовались для перевозки грузов. «Достаточно будет двух рейсов, которые займут не больше двух часов времени, — рассудил Кит, — чтобы переправить на ту сторону меня самого и тонну багажа». Но Кит был разорен дочиста, а лодочник просил сорок долларов за тонну.

— Для вас, мой друг, эта жалкая лодка настоящая золотая россыпь, — сказал ему Кит. — Не хотите ли приобрести еще одну такую же?

— Покажите! — заявил лодочник.

— Я покажу вам ее, если вы согласитесь переправить за это мой багаж. Идея превосходная, и патент на нее еще не выдан, так что вы сможете взяться за дело, как только я объясню вам, в чем заключается фокус. Идет?

Лодочник согласился; лицо его внушало Киту доверие, и он тут же изложил ему свой проект:

— Прекрасно. Видите вон тот ледник? Берите кирку и отправляйтесь туда. За один день вы прорубите прекрасный желоб сверху донизу. Смекаете, в чем дело? Чилкутское и Кратеровское

Консолидированное Транспортное Общество с ограниченной ответственностью. Вы можете брать по пятьдесят центов за сто фунтов и переправлять по сотне тонн в день. А весь ваш труд будет заключаться только в том, чтобы собирать монеты.

Через два часа Кит со своим грузом находился на противоположном берегу, выиграв таким образом целых три дня. Поэтому, когда Джон Беллью нагнал племянника, тот был уже вблизи Глубокого озера — другой вулканической впадины, заполненной ледяной водой.

7

Последний переход от Долгого озера до озера Линдерман равнялся трем милям, и тропа — если только это можно было назвать тропой — взбиралась кверху, переваливала через тысячефутовый хребет и сбегала вниз по скользким скалам, пересекая по пути широкую полосу болот. Увидев, что Кит привязал за спину стофунтовый тюк и положил на него дополнительный груз — пятидесятифунтовый мешок муки, который должен был упираться в его затылок, — Джон Беллью попробовал запротестовать.

— Будет вам, поклонник выносливости, —

огрызнулся Кит. — Вспомните свою медвежатину и единственную смену белья!

Но Джон Беллью покачал головой.

— Боюсь, что я начинаю стареть, Кристоф.

— Вам всего сорок восемь лет. Разве вы забыли, что мой дедушка, а ваш отец, старый Исаак Беллью, в шестьдесят девять лет одним ударом кулака уложил человека?

Джон Беллью, ухмыльнувшись, проглотил пилюлю.

— Между прочим, дядюшка, я должен сообщить вам чрезвычайно важную новость. Несмотря на то, что меня воспитывали, как недотрогу и неженку, я могу в любой момент перещеголять вас в выносливости и ходьбе, а также уложить вас на обе лопатки или обработать вот этими кулаками.

Джон Беллью протянул племяннику руку и торжественно произнес:

— Кристоф, мой мальчик, я уверен, что ты говоришь истинную правду. Я убежден, что тебе не понадобится даже снять для этого тюк со спины. Ты изменился к лучшему, мальчик, и так сильно, что я никогда не поверил бы этому, если бы не видел этой перемены собственными старыми глазами.

За последний переход Кит за день прошел четыре раза в оба конца, а это значило, что он за один день одолел двадцать четыре мили, карабкаясь по горам, а из них двенадцать — со стопятидесятифунтовой поклажей на спине. Он был исполнен гордости, бодр и, несмотря на усталость, физически чувствовал себя прекрасно. Он ел и спал, как никогда еще не ел и не спал в своей жизни, и видя, что работа приближается к концу, почти жалел об этом.

Одно только тревожило Кита. Он знал, что уцелеет, если свалится со стофунтовым грузом за спиной, но его мучила мысль о добавочных пятидесяти фунтах, которые, как ему казалось, должны непременно сломать ему при падении шею. Все тропинки, пересекавшие болото, очень быстро и бесследно затаптывались тысячами путников, и людям приходилось беспрестанно прокладывать все новые. Прокладывая однажды такую новую тропу, Кит разрешил свою проблему о добавочных пятидесяти фунтах.

Мягкая топкая поверхность подалась под ним; он пошатнулся и упал ничком. Груз в пятьдесят фунтов вдавил его голову в грязь и шлепнулся в болото, не причинив Киту никакого вреда. Он поднялся на четвереньки со своей стофунтовой

поклажей за спиной, но дальше этого дело не пошло. Одна рука его тотчас же погрузилась по плечо в трясину, заставив Кита прикоснуться щекой к грязи. Когда он вытащил эту руку — моментально погрузилась по плечо другая. Это лишало Кита возможности освободиться от ремней, а стофунтовая поклажа не давала ему подняться на ноги. Он сделал попытку подползти на четвереньках к тому месту, куда свалился мешок с мукой, но руки его поочередно увязали в топкой грязи, и скоро он выбился из сил, не подвинувшись ни на шаг. При этом топкий травянистый покров прорвался, и в опасном соседстве с его носом и ртом начала образовываться крошечная лужица. Кит попробовал перевернуться на спину так, чтобы тюк оказался под ним, но от этого движения обе руки его погрузились по плечи, и он почувствовал, что тонет. С изумительным терпением он медленно вытащил сначала одну, потом другую руку и положил их плашмя на поверхность болота, чтобы создать опору для подбородка. Затем он начал звать на помощь. Через некоторое время он услышал звук шагов, чавкавших по болоту, и догадался, что кто-то приближается к нему сзади.

— Эй, приятель, помогите! — крикнул он. —

Бросьте мне веревку или что-нибудь в этом роде.

В ответ он услышал женский голос и тотчас же узнал его.

— Если вы развяжете мои ремни, я смогу сам подняться на ноги.

Стофунтовый груз, громко чавкнув, шлепнулся в грязь, и Кит медленно, с трудом поднялся на ноги.

— Ну и вид у вас! — расхохоталась мисс Гастелл, увидев его покрытое грязью лицо.

— Совсем не плохой, — возразил он весело. — Это мое любимое гимнастическое упражнение. Попробуйте как-нибудь — замечательно укрепляет грудную клетку и позвоночник.

Он вытер лицо и бодрым движением стряхнул с руки грязь.

— О! — воскликнула она, только теперь узнав Кита. — Да ведь это мистер… мистер… Смок Беллью?

— Премного благодарен вам за своевременную помощь и за это имя, — ответил Кит. — Я получил второе крещение. Отныне я потребую, чтобы меня всегда называли Смок[42] Беллью. Это славное имя, и я вижу в нем глубокий смысл.

---

[42] Примечания: 42
Смок (smoke) — здесь: прокопченный.

Он остановился, затем заговорил вдруг с неожиданной силой.

— Знаете, что я намерен сделать? — спросил он. — Я вернусь в Штаты, женюсь там и обзаведусь многочисленной семьей. А затем как-нибудь вечерком я соберу вокруг себя детей и расскажу им про те мытарства и испытания, через которые я прошел на этом Чилкутском пути. И если они не заревут, — я повторяю, если они не заревут, я вышибу из них дух.

8

Арктическая зима быстро надвигалась. Выпавший снег лежал шестидюймовым слоем, и спокойные горные озера постепенно затягивались льдом, несмотря на неистово дувшие ветры. Раз в сумерки, под завывание метели, Кит и Джон Беллью помогли кузенам нагрузить лодку и долго следили потом, как она исчезала в снежном вихре.

— А теперь нужно как следует выспаться и завтра встать пораньше, — сказал Джон Беллью. — Если вьюга не задержит нас на перевале, мы придем в Дайе завтра к вечеру. А если нам посчастливится застать какой-нибудь пароход, то через неделю мы будем в Сан-Франциско.

— Вы довольны своей прогулкой? — рассеянно спросил Кит.

Их стоянка в эту последнюю ночь у озера Линдерман имела грустный вид. Все более или менее пригодное для употребления было увезено кузенами. Дырявый брезент, натянутый для защиты от ветра, лишь местами прикрывал их от метели. Ужин они сварили на костре, использовав для этого несколько поломанных и разрозненных лагерных принадлежностей. У них оставались только одеяла да запас пищи на несколько дней.

Проводив лодку, Кит стал рассеянным и задумчивым. Дядя заметил в нем эту перемену и приписал ее реакции на сильное напряжение. За ужином Кит произнес только одну фразу.

— Дядюшка, — сказал он вдруг ни с того ни с сего, — я хочу, чтобы отныне вы называли меня Смоком. Я, кажется, порядочно прокоптился за это путешествие, не так ли?

Через несколько минут он вышел и направился к палаткам золотоискателей, занятых снаряжением или постройкой лодок. Кит пропадал несколько часов, и когда он вернулся и лег под одеяло, Джон Беллью давно уже спал.

В темноте ветреного утра Кит выполз, отогрел на огне свои промерзшие сапоги, сварил кофе

и поджарил бекон. Это был скудный завтрак, остывший прежде, чем они успели съесть его. Покончив с едой, дядя и племянник связали свои одеяла. Но в тот момент, когда Джон Беллью повернулся, чтобы пуститься в обратный путь по Чилкутской дороге, Кит протянул ему руку.

— До свиданья, дядюшка, — сказал он.

Джон Беллью посмотрел на него и выругался от неожиданности.

— Не забывайте, что меня зовут Смок, — поддразнил его Кит.

— Да что ты задумал?

Кит сделал неопределенный жест в сторону севера, где бушевало озеро.

— Какой смысл возвращаться назад после того, как я уже забрался так далеко? — спросил он. — Я отведал медвежатины, и она пришлась мне по вкусу. Я иду дальше.

— Но ведь у тебя нет ни денег, ни снаряжения, — возразил Джон Беллью.

— Я нашел работу. Ну, порадуйтесь: ваш племянник Кристоф Смок Беллью наконец нашел себе работу! Теперь он будет прислуживать джентльмену и получать за это сто пятьдесят долларов в месяц и продовольствие. Он отправляется в Доусон с двумя господами и еще одним слугой —

в качестве походного повара, лодочника и всего такого прочего. А что касается О'Хара и «Волны» — пусть провалятся к черту! До свидания!

Джон Беллью был так поражен, что мог пробормотать только одно:

— Ничего не понимаю.

— Говорят, в бассейне Юкона водится много медведей, — объяснил Кит. — А у меня, видите ли, всего одна смена белья, и я отправляюсь за медвежатиной. Вот и все.

Мясо

1

Ветер то и дело налетал неистовым ураганом, и Смок Беллью с трудом пробирался вдоль берега. В сером предутреннем свете десятки лодок нагружались драгоценным снаряжением, которое люди с таким трудом переносили через Чилкут. Это были неуклюжие, самодельные лодки, сколоченные неумелыми руками. Золотоискатели собственноручно рубили и распиливали молодые сосны на доски, а затем мастерили из них свои незатейливые суда. Одна лодка, нагруженная доверху, как раз отчаливала от берега, и Кит остановился на минуту, чтобы поглядеть на нее.

На озере было довольно тихо, но зато у берега бушевал неистовый ураган, подхлестывавший мелкие злобные волны. Люди с отъезжавшей лодки, обутые в высокие непромокаемые сапоги, вошли в воду, чтобы столкнуть лодку в более глубокое место. Им пришлось проделать это дважды: как только они садились в лодку и брались за весла, ветер снова относил ее назад к берегу. Кит заметил, что брызги на бортах лодки быстро

превращались в лед. В третий раз они добились некоторого успеха. Последние два пассажира, влезшие в лодку, были мокры по пояс, но зато лодка тронулась с места. Они изо всех сил налегли на тяжелые весла и стали медленно удаляться от берега. Ободренные успехом, они поставили парус, сшитый из одеял, но лишь только ветер надул его, лодку в третий раз отнесло к замерзающему берегу.

Кит ухмыльнулся про себя и пошел дальше. Вот с чем ему придется столкнуться в новой роли слуги: ведь ему предстояло не далее как сегодня отплыть в такой же лодке.

На берегу кипела работа; люди трудились не покладая рук, выбиваясь из сил, ибо все понимали, что зима воцарится не сегодня — завтра, и никто не знал, успеет ли он пробраться через цепь озер до ледостава. Тем не менее, когда Кит подошел к палатке мистеров Спрага и Стайна, он не заметил там никаких признаков суеты.

У огня, под защитой брезента, сидел, поджав ноги, коротенький толстый человек, куривший самокрутку из коричневой бумаги.

— Алло, — сказал он. — Так вы, значит, новый слуга мистера Спрага?

Кит утвердительно кивнул. Ему показалось,

будто толстяк сделал ударение на словах мистер и слуга, и он готов был поклясться, что маленький человечек при этом подмигнул ему.

— Так, так! Ну, а я слуга доктора Стайна, — продолжал он. — Во мне пять футов и два дюйма росту, и меня зовут Джеком Малышом, для краткости — Малышом, а иногда величают и Джонни-на-все-руки.

Кит протянул руку и обменялся со своим новым коллегой рукопожатием.

— Выросли, небось, на медвежатине? — осведомился он.

— Разумеется, — ответил тот, — хотя, насколько я помню, в раннем детстве меня кормили больше молоком буйволицы. Присядьте и закусите со мной. Хозяева еще не прочухались.

Кит уселся под брезентом и, несмотря на то, что утром уже позавтракал, с утроенным аппетитом уничтожил все, что предложил ему Малыш. Изнуренный тяжелым трудом в последнее время, он приобрел желудок и аппетит волка. Он мог есть что угодно и в каком угодно количестве, нисколько не заботясь о своем пищеварении. Малыш показался ему разговорчивым, но пессимистично настроенным человеком. Кит получил от него весьма любопытные сведения о хозяевах и

выслушал мрачные предсказания относительно предстоящего путешествия. Томас Стэнли Спраг, новоиспеченный горный инженер, был сыном миллионера. Родители доктора Адольфа Стайна были также очень состоятельные люди.

— Денег у них куры не клюют, уж это я вам говорю, — продолжал Малыш. — Когда они высадились на берег в Дайе, индейцев было очень мало, и они драли по семьдесят центов за фунт. Случилась там как раз одна компания из Восточного Орегона — настоящие старатели[43], скажу вам, не нашим чета; сложились это они вместе и наняли несколько индейцев по семьдесят центов за фунт. Индейцы взялись уже за ремни, чтобы забрать снаряжение — около трех тысяч фунтов, — как вдруг появляются Спраг и Стайн. Они предложили восемьдесят центов, затем девяносто и, наконец, доллар за фунт. Ну, индейцы, разумеется, послали орегонцев к черту и побросали поклажу. И вот Спраг и Стайн добрались сюда. Плевать, что это влетело им в три тысячи! А орегонская компания, извольте видеть, до сих пор сидит на берегу. Теперь им не выбраться оттуда до будущего года.

---

[43] Примечания: 43

Рабочие на золотых приисках, работающие не по найму, а за свой счет.

— О, это парни хоть куда — наши с вами хозяева, когда дело касается того, чтобы обойти человека или попросту наплевать ему в лицо. Знаете ли, что они сделали, как только добрались до озера Линдерман? Плотники на берегу как раз вколачивали последние гвозди в лодку, которую они должны были сдать одной компании из Сан-Франциско за шестьсот долларов. Спраг и Стайн отвалили им тысячу, и те, не задумываясь, нарушили договор. Лодка славная, что и говорить, но это сильно подвело тех молодцов. Они перетащили сюда все свое снаряжение, а лодки-то и нет. Хочешь не хочешь, а уж придется застрять здесь до будущего года. Выпейте-ка еще чашку кофе. Поверьте, я не связался бы с этими франтами, если бы меня чертовски не тянуло в этот Клондайк. Что и говорить — подлые люди. Если им понадобится, они вытряхнут мертвого из гроба. Вы подписали с ними какой-нибудь контракт?

Кит отрицательно покачал головой.

— В таком случае, друг, мне очень жаль вас. В этой местности продовольствие ценится на вес золота, и они отправят вас на все четыре стороны, как только доберутся до Доусона. Немало народу в эту зиму перемрет там с голоду.

— Они обещали… — начал Кит.

— На словах, — резко оборвал его Малыш. — На ваши слова они ответят словами — вот и все. Ну да ладно, не так страшен черт... А как вас звать, дружище?

— Зовите меня Смок, — сказал Кит.

— Ну, Смок, вам придется здорово попотеть, несмотря на то, что у вас только словесный договор. Теперь уже ясно, что нам предстоит. Они умеют сорить направо и налево своими проклятыми деньгами, но не способны ни работать, ни хотя бы даже рано вставать с постели. Нам уже час назад следовало закончить погрузку и отчалить, а они еще и глаз не продрали. Вся тяжелая работа ляжет на нас с вами. Не беспокойтесь, скоро вы услышите, как они начнут ругаться и требовать кофе — подумайте только: эти взрослые бугаи пьют кофе в постели! Вы имеете какое-нибудь представление о лодке? Я ковбой и старатель, но на воде ни черта не стою, а они уже само собой ни аза не смыслят в этом. Ну-ка, выкладывайте, что вы знаете.

— Да не больше вашего, — ответил Кит, плотнее прижимаясь к брезенту, чтобы укрыться от бурного порыва ветра. — Последний раз я катался на лодке, когда был еще мальчишкой. Но мне думается, что мы справимся.

Ветер сорвал угол брезента и насыпал снегу за ворот Малышу.

— Да уж справишься тут поневоле, — сердито проворчал он. — Велика премудрость, подумаешь. Ребенок и тот одолеет. Но я готов отдать голову на отсечение, что мы не двинемся сегодня с места.

Было уже восемь часов, когда из палатки потребовали кофе. И прошел битый час, прежде чем хозяева выползли оттуда.

— Алло, — сказал Спраг, краснощекий, упитанный молодой человек лет двадцати пяти. — Пожалуй, уже время двигаться, Малыш. Вы с… — тут он вопросительно взглянул на Кита. — Я не разобрал вчера как следует вашего имени.

— Смок.

— Так вот, Малыш, вы с мистером Смоком можете начать грузить лодку.

— Просто Смок, без всякого мистера, — поправил Смок.

Спраг кивнул и зашагал, лавируя между палатками, в сопровождении доктора Стайна, стройного бледного молодого человека. Малыш бросил красноречивый взгляд на своего товарища.

— Там полторы с лишним тонны продоволь-

ствия, а эти лоботрясы и не подумают помочь нам. Вот увидите.

— Это потому, что они платят нам за работу, — весело заметил Кит. — Я уверен, что мы отлично справимся сами.

Перенести три тысячи фунтов на сотню ярдов — дело не легкое, но проделать это в метель, шагая по снежным сугробам, в тяжелых непромокаемых сапогах — занятие чрезвычайно утомительное и требующее немалой выносливости. Кроме того, нужно было еще свернуть палатку и уложить всякую походную мелочь. Затем началась погрузка. По мере того как лодка оседала под тяжестью снаряжения, Кит и Малыш все дальше и дальше отталкивали ее от берега, увеличивая таким образом расстояние, которое приходилось проходить по воде. К двум часам все было закончено, и Кит, несмотря на два завтрака, почувствовал, что едва держится на ногах от голода. Малыш, испытывая то же, принялся шарить по горшкам и кастрюлям и с торжеством извлек порядочный котелок холодных вареных бобов, между которыми виднелись большие ломти солонины. В их распоряжении была только одна ложка с длинной ручкой, и они по очереди погружали ее в горшок. Кит готов был поклясться, что никогда

за всю свою жизнь не ел ничего вкуснее.

— Господи, — бормотал он в редкие промежутки, когда рот его освобождался от пищи. — Только здесь, в пути, и понял, что такое аппетит.

В самый разгар пиршества к ним подошли Спраг и Стайн.

— Чего мы ждем? — недовольно осведомился Спраг. — Ведь нам давно уже пора двинуться.

Малыш — это была его очередь — зачерпнул бобы ложкой, а затем передал ее Киту, и никто из них не произнес ни единого слова, пока горшок не был очищен до дна.

— Ясно, мы тут отдыхали, — сказал Малыш, вытирая рукой рот. — Вот и выходит, что мы сидели сложа руки, а вам нечем теперь закусить. Разумеется, это непростительная небрежность с нашей стороны.

— Ничего, ничего, — быстро вставил Стайн, — мы уже поели в одной из палаток у наших друзей.

— Я так и думал, — проворчал Малыш.

— Ну, а теперь, когда вы наелись, пора трогаться, — торопил Спраг.

— Лодка уже нагружена, — сказал Малыш. — А только интересно, как вы думаете взяться за нее, чтобы отчалить?

— Да просто перелезем через борт и оттолкнем ее. Ну, идем.

Все пошли по воде. Хозяева сели в лодку, а Малыш и Смок начали отталкивать ее от берега. Когда волны стали переливаться через верхушки их сапог, они влезли тоже. Но хозяева не подумали о том, чтобы вовремя взяться за весла, и лодку снова отнесло к берегу. Так повторялось несколько раз, и каждая попытка требовала огромных затрат энергии.

Малыш, придя в полное уныние, уселся на корме, взял щепотку табаку и погрузился в мировую скорбь, в то время как Кит вычерпывал из лодки воду, а хозяева обменивались не совсем любезными замечаниями.

— Если вы исполните в точности мое приказание, мы сдвинем ее с места, — сказал Спраг.

План был недурен, но прежде чем молодой человек успел взобраться в лодку, его окатило до пояса водой.

— Придется высадиться и развести огонь, — сказал он, когда лодку снова отнесло к берегу. — Я совсем замерз.

— Теперь не время бояться насморка, — язвительно усмехнулся Стайн. — Другие же отчалили сегодня, хотя, наверное, промокли побольше ва-

шего. Теперь я займусь лодкой, и вот вы увидите, что мы сдвинем ее.

На этот раз промок Стайн и, стуча зубами, заявил, что необходимо высадиться и развести огонь.

— Чепуха, — мстительно возразил Спраг, — из-за такой ерунды не стоит задерживаться.

— Малыш, — приказал Стайн, — вытащите мой чемодан с вещами и разведите огонь.

— Малыш, я запрещаю вам делать это! — воскликнул Спраг.

Малыш переводил глаза с одного на другого, выжидая, чем кончится спор, и не двигался с места.

— Я нанял его для себя, и он должен исполнять мои приказания, — возразил Стайн. — Малыш, берите чемодан и высаживайтесь на берег.

Малыш повиновался, а Спраг, дрожа от холода, остался в лодке. Кит, не получив никаких распоряжений, спокойно наблюдал за ними, радуясь отдыху.

— Лодка, на которой царит раздор, далеко не уедет, — пробормотал он, рассуждая сам с собой.

— Что такое? — зарычал на него Спраг.

— У меня привычка разговаривать вслух с самим собой, — ответил Кит.

Хозяин бросил на него злобный взгляд и еще

несколько минут продолжал смотреть волком. Наконец он сдался.

— Вынесите мой чемодан, Смок, — приказал он, — и помогите развести огонь. Мы никуда не тронемся до завтрашнего утра.

2

На следующий день вьюга не унималась. Озеро Линдерман представляло собой не что иное, как узкое горное ущелье, заполненное водой. По этой воронке проносился порывистый, дувший с гор ветер, который то вздымал в ней огромные волны, то почти затихал.

— Если вы столкнете лодку с места, я, пожалуй, сумею отвести ее от берега, — заявил Кит, когда все было готово.

— Что вы смыслите в этом? — огрызнулся Стайн.

— Ну, как знаете, — ответил Кит и умолк.

Ему в первый раз приходилось работать по найму, но он быстро усваивал правила дисциплины. Он покорно и весело принял участие в нескольких безрезультатных попытках сдвинуть лодку.

— Что же вы собираетесь делать? — спросил его наконец Спраг, задыхаясь и чуть не плача от отчаяния.

— Сядьте все в лодку и отдыхайте, пока не настанет минута затишья, а тогда отталкивайтесь от берега что хватит сил.

Как ни была проста эта мысль, все же она пришла в голову только Киту. С первого же раза все пошло как по маслу; они прикрепили к мачте взамен паруса одеяло и понеслись по озеру. Стайн и Спраг тотчас же повеселели. Малыш, несмотря на свой беспросветный пессимизм, никогда не утрачивал бодрости, а что до Кита, то он был слишком заинтересован всем происходящим, чтобы упасть духом. Спраг около четверти часа мучился с рулем, затем бросил умоляющий взгляд на Кита, и тот сейчас же сменил его.

— Я чуть не вывихнул себе руки от напряжения, — пробормотал Спраг в оправдание.

— Ведь вы никогда не ели медвежатины, не правда ли? — сочувственно осведомился Кит.

— Что вы хотите этим сказать?

— О, ничего. Мне просто было интересно узнать.

Но когда хозяин повернулся к ним спиной, Кит увидел одобрительную усмешку на лице Малыша, отлично понявшего смысл его слов. Все время, пока они плыли по озеру, Кит с таким искусством управлял лодкой, что молодые люди, с тугими

кошельками и отвращением к труду, удостоили его звания опытного рулевого. Малышу это тоже было на руку, и он охотно предоставил заботу о лодке товарищу, взяв на себя хлопоты по кухне.

Озеро Линдерман отделялось от озера Беннет небольшим рукавом. Разгруженную лодку ввели в узкий, но бурный проток, соединявший оба бассейна, и тут Киту пришлось немало потрудиться. Зато он многому научился. Когда дело дошло до переноски груза, Спраг и Стайн куда-то исчезли, а слуги два дня работали как каторжные, чтобы переправить багаж. Та же история повторялась всякий раз, когда они попадали в затруднительное положение, — Кит и Малыш выбивались из сил, а хозяева их ровно ничего не делали и требовали ухода за собой.

Однако безжалостная полярная зима все приближалась, а путников то и дело задерживали в пути самые разнообразные препятствия. В Рукаве Ветров Стайну вдруг вздумалось сменить Кита у руля, и менее чем через час лодку выбросило на бурный подветренный берег. Они потратили целых два дня, чтобы устранить повреждения, и когда на третье утро все четверо спустились к берегу, чтобы двинуться дальше, по борту лодки от носа до кормы тянулась нацарапанная углем

надпись: Чечако.

Кит ухмыльнулся, ибо никогда еще это ненавистное слово не казалось ему более уместным.

— Еще чего, — возразил Малыш, когда Стайн заподозрил в этом деле его. — Я, конечно, грамотный, умею читать по складам и знаю, что чечако значит белоручка, а только не такой уж я ученый, чтобы написать эдакое трудное слово.

Оба хозяина в упор уставились на Кита; их жестоко оскорбила эта насмешка; но тот, конечно, и не заикнулся, что накануне вечером Малыш попросил его написать на бумажке это самое слово.

— Это задело их еще почище твоей медвежатины, — поделился с ним позднее Малыш.

Кит насмешливо фыркнул. По мере того как росла его уверенность в собственных силах, он все сильнее проникался презрением к хозяевам. Это была даже не неприязнь, а скорее отвращение. Кит попробовал медвежатины, и она пришлась ему по вкусу. Они же продемонстрировали, к чему ведет отказ от этой пищи, и благодарил Бога, что не создан по их подобию. Его раздражала не столько их придирчивость, сколько полная беспомощность и неспособность к работе. В нем, помимо воли, все больше проявлялись наследственные черты, переданные ему старым

Исааком и другими мужественными Беллью.

— Знаешь, Малыш, — сказал он однажды товарищу во время обычной суеты перед отъездом. — Я с удовольствием проломил бы им веслом головы и сбросил бы обоих в реку.

— Руку, приятель, — одобрил Малыш. — Эти молодчики не охотники до медвежатины. Они больше насчет той самой рыбки, которая водится в мутной воде. Я уверен, что внутри у них одна гниль.

3

Они подошли к порогам. Прежде всего им предстояло одолеть ущелье, прозванное Ящичным, а затем пороги Белой Лошади. Ущелье Ящичное вполне заслуживало свое название. Это был настоящий ящик-западня. Раз попав в него, нужно было пройти все его до конца: другого выхода не было. С обеих сторон поднимались стены неприступных скал. Река в этом месте сильно суживалась и с ревом прорывалась через мрачный коридор. Она мчалась с такой бешеной быстротой, что посредине вздымалась гребнем футов на восемь выше, чем у скалистых берегов. Этот гребень был увенчан злобными крутыми волнами, которые со стороны казались неподвижными,

несмотря на седые шапки пены. Это ущелье справедливо пользовалось дурной славой. И немало золотоискателей, пытавшихся пробраться через него, сложили там свои головы.

Пристав к берегу немного повыше ущелья, в том месте, где уже находилось несколько причаливших лодок, все четверо отправились пешком на разведку. Они подползли к самому краю скалы и заглянули вниз на бурлящую воду. Спраг с содроганием отшатнулся.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Никакой пловец не справится с этим течением.

Малыш многозначительно подтолкнул Кита локтем и шепнул ему:

— Животики со страху подвело. Чтоб мне провалиться, если у них хватит духу пробраться через этот Ящик.

Кит едва слышал слова товарища. С самого начала путешествия на лодке он с изумлением приглядывался к необузданной, непостижимой злобе стихий, и картина, увиденная внизу, подействовала на него как вызов.

— Надо будет во что бы то ни стало держаться гребня, — сказал он, — если мы скатимся с него, то неминуемо налетим на скалы…

— И даже не узнаем, обо что разбились, — фило-

софски изрек Малыш. — Умеешь плавать, Смок?

— Уж лучше бы не умел, если нам суждено перевернуться.

— Вот и я так же думаю, — мрачно заметил какой-то человек, заглядывая рядом с ними в ущелье. — Дорого бы я дал, чтобы оказаться уже по ту сторону.

— А я ни за что не отказался бы от попытки переправиться через эти пороги, — отозвался Кит. Он говорил искренно, но при этом хотел хоть немного подбодрить незнакомца. Он встал и направился к лодке.

— Вы собираетесь провести лодку через этот ад? — спросил незнакомец.

Кит кивнул головой.

— Хотел бы я обладать таким мужеством, — признался тот. — Я уже несколько часов торчу здесь и чем больше смотрю вниз, тем сильнее боюсь отважиться на это. Я моряк липовый, никогда не занимался этим делом, а со мной только племянник, совсем еще мальчик, да жена. Не возьметесь ли вы провести мою лодку, если вам удастся благополучно переправить свою?

Кит посмотрел на Малыша, который медлил с ответом.

— Не забудь, что с ним жена, — напомнил Кит,

успевший хорошо изучить своего товарища.

— Правильно, — заявил тот. — Над этим-то я как раз и думал. Чувствую, что есть какая-то причина, чтобы согласиться, а в чем она — хоть убей, сообразить не могу.

Они снова повернулись, чтобы идти, но Спраг и Стайн не двинулись с места.

— Желаю вам удачи, Смок, — крикнул ему вслед Спраг. — Я… э… — он запнулся. — Я постою здесь и посмотрю, как вы справитесь.

— Нужно, чтобы в лодке было трое: двое на веслах и один на руле, — спокойно сказал Кит. Спраг и Стайн переглянулись.

— Будь я проклят, если сделаю это, — заявил Стайн. — Раз вашей храбрости хватает только на то, чтобы смотреть со скалы, то и я не желаю рисковать большим.

— Уж кто бы говорил о храбрости… — вызывающе заметил Спраг.

Стайн ответил в том же тоне, и слуги оставили их в самый разгар перепалки.

— Справимся и без них, — сказал Кит товарищу. — Ты станешь с веслом на носу, а я сяду на руль. Главное, старайся держаться прямой линии. Когда мы тронемся, ты уже не сможешь слышать меня, так вот запомни: держись прямо,

середины.

Они спустили лодку и вышли на середину реки. Навстречу им из ущелья доносился грозный рев, становившийся все сильнее по мере того, как они приближались к ужасной щели западни. Река вливалась в ущелье гладкой упругой струей, напоминавшей расплавленное стекло, и тут-то, под нависшими мрачными скалами, Малыш положил в рот щепотку табаку и налег на весла. Лодка взлетела на первый гребень хребта, и их тотчас же оглушил рев бушующих волн, который гулко отражали близко надвинувшиеся стены скал. Брызги и пена заливали их с головы до ног. По временам облака распыленной воды скрывали от Кита сидевшего на носу товарища. Все путешествие заняло не более двух минут. За это время они успели сделать по хребту три четверти мили и, благополучно выйдя из ущелья, пристали к песчаному берегу.

Малыш выпустил струю табачного сока — от волнения он забыл своевременно сплюнуть его — и с восторгом воскликнул:

— Вот уж медвежатина, так медвежатина! Послушай, Смок, а ведь мы и в самом деле молодцы хоть куда. Я должен сказать тебе, дружище, по секрету, что, перед тем как двинуться в путь, я

трусил не меньше самого паршивого трусишки по эту сторону Скалистых Гор. А теперь, брат, я за медвежатину. Ну, идем, мы протащим и вторую лодку.

Возвращаясь назад пешком, они встретили на полпути своих хозяев.

— А вот идут мозгляки, — сказал Малыш. — Держись от этого запаха наветренной стороны!

4

Кит и Малыш благополучно проделали путь во второй раз и, пристав к берегу, познакомились с женой хозяина лодки — его звали Брэк — стройной молодой женщиной; она со слезами на глазах поблагодарила их за помощь. Брэк попробовал всунуть Киту пятьдесят долларов и, получив отпор, попытался проделать это с Малышом.

— Послушайте, приятель, — возразил тот. — Я забрался в эту страну, чтобы выкачивать деньги из земли, а не из себе подобных.

Брэк порылся в своей лодке и вытащил оттуда полбутылки виски. Малыш протянул было к ней руку, но тотчас же отдернул ее. Он покачал головой.

— Там впереди нас ждет еще проклятая Белая Лошадь, а она, говорят, будет еще похуже этого

Ящика. Пожалуй, лучше воздержаться пока от горячего.

Пройдя несколько миль по течению, они высадились на берег и отправились посмотреть на Белую Лошадь. Изобиловавшая порогами река отклонялась в этом месте к правому берегу, так как слева ей преграждал путь скалистый риф. Вся масса воды бешено устремлялась в узкий проход и, грозно ускоряя свой бег, вставала на дыбы злобными пенящимися волнами. Это и была ужасная грива Белой Лошади, где смерть пожинала еще большую жатву, чем в западне Ящика. По одну сторону гривы был пенящийся засасывающий водоворот, а с другой — быстрины, и, чтобы благополучно миновать то и другое, нужно было одолеть самую гриву.

— Да, эта штука почище Ящика, — решил Малыш.

Как раз в то время, когда они разглядывали гриву, у начала порогов показалась лодка. Это было судно футов тридцати в длину, нагруженное несколькими тоннами снаряжения и управляемое шестью мужчинами. Приближаясь к гриве, оно то взлетало, то ныряло и подчас совсем скрывалось из виду в облаках пены и брызг.

Малыш искоса многозначительно взглянул

на Кита:

— Гляди, как здорово треплет, а ведь главное-то еще впереди. Они убрали весла. Вот теперь в гриве! Господи! Погибла! Нет, плывет!..

Несмотря на свои внушительные размеры, лодка совершенно скрылась из виду в вихре водяной пыли между пенистыми гребнями. Но в следующий момент она качалась уже на верхушке волны в самой гуще гривы. К своему удивлению, Кит увидел вдруг как на ладони все дно лодки; на какую-то долю секунды она повисла в воздухе, но все бывшие в ней люди остались спокойно сидеть на своих местах, кроме одного, стоявшего у руля на корме. Затем лодка нырнула вниз под гребень и снова скрылась из виду. Трижды она взлетала и ныряла таким образом. Как вдруг, в тот самый момент, когда лодка слетала с гривы, наблюдавшие с берега люди увидели, что нос ее погрузился в водоворот. Рулевой напрасно старался помешать этому, налегая всей своей тяжестью на руль; убедившись, что делу не поможешь, он сдался и дал лодке завертеться на месте.

Судно трижды описало круг, всякий раз проносясь так близко от скал, что Кит и Малыш легко могли бы перепрыгнуть в него с берега. Рулевой, мужчина с рыжеватой недавно отпущенной бо-

родкой, помахал им рукой. Единственный путь из водоворота вел через гриву, и лодка, сделав еще один круг, косо врезалась в верхний конец ее. Рулевой, опасаясь, как бы лодку не затянуло в водоворот, замешкался и недостаточно быстро выпрямил ее. Когда он это сделал, было уже слишком поздно. Лодка взлетела вверх и зарылась носом; затем, вонзившись в гриву, она перевалила через крутую стену водоворота и отлетела на другую сторону реки. На сто футов ниже всплыли ящики и тюки, затем показалось дно лодки и в воде замелькали головы людей. Двоим из них удалось выбраться на берег. Остальных затянуло в водоворот, и вскоре быстрые воды скрыли из виду все следы крушения. Наступило долгое молчание. Первым заговорил Малыш.

— Пойдем, — сказал он. — Мы достаточно насмотрелись. Можно попробовать хоть сейчас. Если мы останемся здесь дольше, я никогда не решусь на эдакий фокус.

— Что ж, придется и нам обкуриться! — усмехнулся в ответ Кит.

— И я уверен, что ты вполне оправдаешь свое имя, — заявил Малыш. — Идемте, — обратился он к хозяевам.

Быть может, рев воды помешал им расслышать

это приглашение.

Малыш и Кит побрели по колено в снегу к началу порогов и спустили лодку. Кит боролся между двумя настроениями. С одной стороны, он разделял страх своего товарища, а с другой — его подстегивало сознание, что Исаак Беллью и все остальные представители его рода не раз совершали такие подвиги в своем победоносном наступлении на Запад. То, что делали они, может сделать и он! Это было мясо — жесткое мясо, и Кит хорошо знал теперь, что по зубам оно только сильным людям.

— Теперь твой черед держаться верхушки хребта, — крикнул Малыш, запихивая в рот табачную жвачку, когда лодка, подхваченная стремительным течением, подошла к порогам.

Кит кивнул, налег всей тяжестью на руль и направил лодку на гребень волны.

Несколько минут спустя, лежа на песчаной отмели ниже Белой Лошади, Малыш выпустил струю табачного сока и пожал Киту руку.

— Мясо, мясо, — напевал он. — Мы едим его сырым! Мы едим его живым!

На берегу они встретили Брэка. Его жена стояла немного поодаль. Кит пожал ему руку.

— Боюсь, ваша лодка не справится тут. Она

много меньше нашей и не очень-то устойчива.

Вместо ответа тот вытащил пачку кредиток.

— Я заплачу каждому из вас по сто долларов, если вы переправите ее.

Кит поглядел на вздымающуюся гриву Белой Лошади. Серые сумерки медленно окутывали берег, стало холоднее, и вся местность сразу приобрела дикий и мрачный вид.

— Дело не в этом, — сказал Малыш, — не нужно нам ваших денег. Мы до них и не дотронемся. Но мой товарищ дока насчет лодок, и если уж он говорит, что ваша не безопасна, значит, так оно и есть.

Кит подтвердил это кивком головы, но в этот момент он случайно посмотрел на миссис Брэк. Взгляд ее выражал такую мольбу, какой ему еще ни разу не приходилось читать в глазах женщины. Малыш проследил за его глазами и увидел то же самое. Оба приятеля смущенно переглянулись и не произнесли ни слова. Побуждаемые одним и тем же чувством, они подали друг другу знак и направились по тропинке, которая вела к началу порогов. Не успели они пройти и ста ярдов, как навстречу им попались Спраг и Стайн, спускавшиеся вниз.

— Вы куда? — спросил Стайн.

— Переправить еще одну лодку, — ответил Малыш.

— Оставьте ваши глупости. Уже темнеет, и вы оба должны приготовить нам все для ночлега.

Возмущение Кита было так велико, что он даже не удостоил их ответом.

— С ним жена, — сказал Малыш.

— Это его дело, — возразил Стайн.

— А также мое и Смока, — заявил Малыш.

— Я запрещаю вам, — грубо крикнул Спраг. — Смок, если вы сделаете еще один шаг, я рассчитаю вас.

— А я вас, Малыш, — добавил Стайн.

— И отправитесь без нас ко всем чертям, — ответил Малыш. — Как вы доставите свою лодку, будь она проклята, в Доусон? Кто будет подавать вам в постель кофе и помогать вам чистить ноготки? Идем, Смок! Они не осмелятся рассчитать нас. Кроме того, у нас есть договор, и если они попробуют сделать это, мы заставим их кормить нас до весны.

Не успели они выплыть на середину течения, как волны начали захлестывать лодку Брэка. Правда, волны были невелики, но они служили предвестником того, что ожидало их впереди. Малыш бросил насмешливый взгляд назад и

принялся за свою неизменную жвачку, а Кит почувствовал, как в душе его закипает горячая нежность к этому толстому маленькому человечку, который, не умея даже плавать, все же не желал отступать перед грозящей опасностью.

Пороги становились все круче, и вокруг них уже появилась пена. В сгущающихся сумерках Кит увидел впереди гриву и изогнутую линию устремлявшегося в нее течения. В это течение Кит направил лодку и почувствовал удовлетворение, когда нос ее врезался в самую середину гривы. Затем все смешалось в бесконечных взлетах и нырянии под ударами злобных хлестких волн. Кит вынес из этого хаоса лишь одно воспоминание: он налег всей своей тяжестью на руль и пожалел, что дядя не может увидеть его в этот момент. Они выплыли, едва переводя дух, промокшие до костей и затопленные почти до планшира. Более легкая часть груза плавала на поверхности скопившейся в лодке воды. Несколькими осторожными взмахами весла Малыш отвел лодку от водоворота, и течение мягко пригнало ее к берегу. Миссис Брэк следила за ними сверху. Слезы градом катились по ее щекам…

— Вы должны взять деньги, ребята! — крикнул им вниз Брэк.

Малыш попробовал подняться на ноги, но поскользнулся и шлепнулся в воду. Лодка сразу сильно накренилась и зачерпнула боком, но через минуту снова выпрямилась.

— К чертям деньги! — воскликнул Малыш. — Доставайте-ка лучше виски. Теперь, когда все это позади, я чувствую, что продрог до костей. Боюсь, что насморка не миновать.

5

Утром они, как всегда, оказались в самом хвосте отправлявшихся лодок. Брэк, несмотря на неисправность своей посудины и на то, что команда его состояла только из жены и племянника, снялся со стоянки, нагрузил лодку и отчалил при первых проблесках зари. Но Стайн и Спраг не торопились; эти молодчики, казалось, не понимали, что река может стать каждую минуту. Они фокусничали, притворялись больными и всячески мешали Киту и Малышу, вдвое затрудняя их работу.

— Честное слово, я начинаю терять уважение к природе, когда смотрю на эти два недоразумения в человеческом образе, — так выразил Малыш свое отвращение к хозяевам.

— Ну, зато ты самый настоящий человек, —

усмехнулся в ответ Кит. — Чем больше я присматриваюсь к тебе, тем сильнее становится мое уважение к природе.

— Пожалуй, в этом случае она, действительно, справилась недурно, — сказал Малыш, стараясь под остротой скрыть удовольствие, которое доставил ему комплимент товарища.

Путь теперь лежал через озеро Ле-Барж, раскинувшееся перед ними на целых сорок миль. Там не было быстрых течений, и это расстояние им предстояло пройти на веслах: время попутного бриза миновало, и навстречу дул ледяной северный ветер. Он поднимал большие волны, которые затрудняли движение вперед. В довершение всех бед поднялась снежная метель, и весла стали так быстро покрываться ледяной коркой, что одному из путников пришлось взяться за топорик и специально заняться скалыванием ледяных сосулек. Когда пришла очередь сесть на весла Спрагу и Стайну, они покорились своей участи, но стали грести кое-как. Кит знал, что значит налегать всей тяжестью на весла, и хотя хозяева его делали вид, будто трудятся изо всех сил, он прекрасно понимал, что они едва задевают воду.

Проработав таким образом около трех часов, Спраг поднял свое весло и заявил, что им

необходимо вернуться обратно в устье реки и отдохнуть. Стайн поддержал его, и пройденные с таким трудом мили пропали даром. Такие же безрезультатные попытки повторились на второй и на третий день. В устье реки скопилось множество лодок, беспрерывно прибывавших со стороны Белой Лошади, и из них образовалась целая флотилия в двести с лишним судов. Каждый день к ней присоединялось еще сорок или пятьдесят новых лодок, но только две или три из них добрались до северо-западного берега озера и не вернулись обратно. Озеро начало постепенно покрываться льдом, который тонким пластом тянулся от одного водоворота к другому, образуя хрупкую ледяную цепь. Со дня на день можно было ждать полного ледостава.

— Мы, несомненно, добрались бы сегодня до того берега, будь с нами настоящие люди, а не эти лоботрясы, — сказал Кит товарищу на третий день вечером, когда они сушили у огня свои мокасины, — надо же им было поворачивать обратно. Еще час — другой, и мы пристали бы к западному берегу. Это… это просто слюнявые младенцы, право.

— Верно, — согласился Малыш. Он протянул к огню свой мокасин и погрузился в короткое

раздумье. — Послушай, Смок! До Доусона еще несколько сот миль. Нужно придумать что-нибудь, если мы не хотим замерзнуть тут. Что ты скажешь?

Но Кит только выжидательно смотрел на него.

— В сущности, эти слюнтяи в наших руках, — продолжал Малыш. — Они, правда, могут приказывать нам и сорить деньгами, но все же они, действительно, не больше чем сопляки. Если мы хотим добраться до Доусона, нужно самим позаботиться об этом.

Они обменялись многозначительным взглядом.

— Идет, — сказал Кит, скрепляя договор пожатием руки.

Под утро, задолго до восхода, Малыш подал сигнал к действию.

— Вставайте! — завопил он. — Шевелитесь вы, сони! Вот ваш кофе. Живо глотайте его! Мы сейчас трогаемся в путь.

Как ни ворчали и ни плакались Спраг и Стайн, их все же заставили сесть в лодку на два часа раньше обычного. Ветер дул еще сильнее, чем накануне, и лица путников вскоре покрылись изморозью, а весла отяжелели от льда. Целых три часа все четверо выбивались из сил — один рубил

лед, другой управлял рулем, а двое гребли. Через определенные промежутки они сменяли друг друга. Северо-западный берег казался уже совсем близко, но ледяной ветер задул еще сильнее, и Спраг положил весло в знак того, что сдается. Малыш подскочил к нему, хотя отдых его еще только начался.

— Рубите лед, — сказал он, протягивая Спрагу топорик.

— Но к чему это? — заскулил Спраг. — Все равно ничего не выйдет. Нам придется вернуться.

— Нет, этого не будет, — ответил Малыш. — Мы пойдем вперед. Рубите лед, а когда вы почувствуете себя лучше, можете выругать меня.

Они прошли через адские муки холода и усталости, но все же добрались до берега; однако он оказался сплошь загроможденным обломками скал и утесами, так что пристать не было никакой возможности.

— Говорил я вам, что так будет, — захныкал Спраг.

— И словом не заикались, — возразил Малыш.

— Нужно вернуться.

Никто не произнес ни слова, и Кит направил лодку вдоль негостеприимного берега. Они подвигались вперед очень медленно, а временами

два или три удара весел только-только давали им возможность удержаться на месте. Кит прилагал все усилия, чтобы вдохнуть бодрость в малодушных молодых людей. Он напоминал им, что лодки, добравшиеся до этого берега, не вернулись назад. Значит, они пристали где-нибудь повыше. Таким образом они проработали еще несколько часов.

— Если вы приложите к веслам хоть часть той энергии, с которой набрасываетесь по утрам на свой кофе, дело будет в шляпе, — подбодрял их Малыш. — Ведь вы только возите весла по воде, а чтобы приналечь — так ни-ни.

Через несколько минут Спраг вытащил свое весло.

— Я больше не могу, — сказал он со слезами в голосе.

— Нам тоже не легко, — ответил Кит; он сам был близок к тому, чтобы заплакать или убить кого-нибудь. — Но мы все же будем работать, пока не доберемся до берега.

— Мы возвращаемся. Поверните лодку.

— Малыш, если он не хочет грести, возьми у него весло, — приказал Кит.

— Есть, — отозвался тот, — пусть рубит лед.

Но Спраг отказался передать ему весло. Стайн

тоже перестал грести, и лодку начало относить назад.

— Поворачивайте, Смок, — приказал Спраг.

И Кит, ни разу в жизни никого не обругавший, сам удивился своему азарту.

— Вы сперва отправитесь в ад ко всем чертям, — ответил он. — Ну, живо, берите весло и гребите.

В минуту полного упадка сил люди обычно сбрасывают с себя все навыки цивилизации. Такой именно момент наступил для всех четверых. Каждый из находившихся в лодке чувствовал, что дошел до последней крайности. Спраг сдернул рукавицу, вытащил револьвер и направил его на рулевого. Для Кита это было совершенно новое ощущение. На него никогда еще не поднимали оружия, и теперь он к своему удивлению убедился, что вид смертоносного дула нисколько не действует на него, точно это была самая обыкновенная вещь в мире.

— Если вы не уберете револьвер, — сказал он, — я отниму его у вас и изобью вас этим самым револьвером.

— Если вы не повернете лодку, я застрелю вас, — пригрозил Спраг.

Тут вмешался в дело Малыш. Он перестал рубить лед и стал позади Спрага.

— А ну-ка, попробуйте, — сказал Малыш, помахивая топориком. — У меня давно уже руки чешутся проломить вашу дурацкую башку. Ну, валяйте же, открывайте представление.

— Но это настоящий бунт! — вмешался Стайн. — Вас наняли, чтобы вы исполняли наши приказания.

Малыш повернулся к нему.

— А с вами я разделаюсь, когда покончу с вашим товарищем, свинячья курица!

— Спраг, — сказал Кит, — даю вам ровно полминуты, чтобы убрать револьвер и взяться за весло.

Спраг заколебался, затем с истерическим смешком вложил револьвер в кобуру и согнулся над веслом.

В течение двух часов, отвоевывая дюйм за дюймом, они пробирались вдоль покрытых пеною скал, и Кита начинало уже мучить сомнение, не ошибся ли он. Но в ту минуту, когда он готов был признать себя побежденным и повернуть обратно, сбоку показался узкий проливчик — вход в защищенную бухту, где самые свирепые ветры вызывали лишь легкую рябь. Это и была та гавань, в которой укрылись лодки, отправившиеся раньше. Кит направил лодку к пологому берегу и вместе с Малышом вытащил ее на песок,

в то время как их хозяева в полной прострации лежали на дне ее. Затем оба приятеля развернули палатку, развели огонь и принялись за стряпню.

— Что значит «свинячья курица», Малыш? — спросил Кит.

— А будь я проклят, если я знаю, — последовал ответ. — Но к нему это очень подходит.

Метель постепенно стихала и ночью улеглась совсем. Морозный воздух был неподвижен; небо ясно и холодно. Чашка кофе, которую отставили, чтобы дать ей простыть, через несколько минут покрылась слоем льда в полдюйма толщиной. В восемь часов, когда Спраг и Стайн уже спали мертвым сном, завернувшись в свои одеяла, Кит отправился взглянуть на лодку.

— Ледостав в полном ходу, — заявил он, вернувшись к стоянке. — Почти весь заливчик уже затянулся ледяной корой.

— Что же нам делать?

— Выход только один. Первым, разумеется, замерзает озеро. Благодаря быстрому течению река еще несколько дней будет судоходной. Всем лодкам, которые останутся до завтра на озере Ле-Барж, придется зимовать здесь.

— Ты хочешь сказать, что нам нужно сегодня же ночью двинуться дальше? Сейчас?

Кит утвердительно кивнул головой.

— Эй вы, сони, шевелитесь, — загремел в ответ Малыш и, не долго думая, принялся срывать веревки, которыми палатка прикреплялась к колышкам.

Те проснулись, ворча и жалуясь на боль в затекших членах. Им мучительно хотелось спать, и они едва раздирали слипавшиеся глаза.

— Который час? — спросил Стайн.

— Половина девятого.

— Но ведь совсем темно, — возразил тот.

Малыш сорвал еще несколько веревок, и палатка начала оседать.

— Да не утра, а вечера, — сказал он. — Теперь вечер. Живо вставайте. Озеро замерзает. Нам нужно переправиться через него.

Стайн решительно сел. Лицо его перекосилось от раздражения.

— И пусть его замерзает. Мы не двинемся отсюда.

— Как хотите, — заявил Малыш. — В таком случае мы уедем на вашей лодке.

— Мы наняли вас…

— Чтобы доставить вас в Доусон, — прервал его Малыш. — Что же, разве мы не стараемся исполнить то, за что взялись?

Он подкрепил свой ядовитый вопрос тем, что сорвал половину палатки, приходившуюся как раз над головами хозяев.

Они проложили себе путь по тонкому льду и, выйдя из маленькой гавани, очутились в озере, где тяжелая и холодная вода замерзала на веслах при каждом взмахе. Скоро вся водная гладь покрылась салом, которое сильно затрудняло работу, и блестящие капли воды, срывавшиеся при взмахах весел, еще в воздухе превращались в сверкающие льдинки. Затем поверхность озера затянулась тонкой коркой, и лодка двигалась все медленнее и медленнее.

Впоследствии, когда Кит старался восстановить в памяти эту ночь и перед ним проходили отрывочные кошмарные воспоминания, он представлял себе, что должны были испытывать тогда Стайн и Спраг, совершенно не приспособленные к таким жестоким испытаниям! О себе он помнил только одно: он боролся с жестоким холодом и безмерной усталостью, боролся бесконечно долго, целое тысячелетие, а может быть, и дольше.

Утро застало их на середине озера; лодка стояла неподвижно. Стайн жаловался на отмороженные пальцы, Спраг — на отмороженный нос; а боль в щеках и носу убеждала Кита, что и он

пострадал не на шутку. По мере того как заря разгоралась, взор их охватывал все большее пространство, и повсюду они видели только одно — беспредельную ледяную гладь. В ста ярдах от них вырисовывался северный берег. Малыш уверял, что видит там устье реки и текущую воду. Только он и Кит были еще в состоянии работать. Они разбивали веслами лед и с трудом двигали лодку вперед. И в тот момент, когда силы готовы были изменить им, лодка вошла в быстрое течение реки. Оглянувшись, они увидели несколько лодок, всю ночь пробивавшихся по льду вслед за ними и теперь безнадежно застрявших на озере. Их же подхватило течение, и они понеслись вперед со скоростью шести миль в час.

6

День за днем плыли они по быстрой реке, и день за днем полоса льда у берегов становилась все шире, приближаясь к середине реки. Устраиваясь на ночь, они вырубали во льду полынью для лодки и переносили все необходимое для стоянки на берег, который отделяли теперь от воды несколько сот ярдов льда. Утром же они прорубали лед, образовавшийся за ночь вокруг лодки, и снова направлялись по течению. Малыш

ухитрился поставить в лодке железную печурку, и Стайн и Спраг не отрывались от нее в продолжение долгих томительных часов плавания. Они смирились, перестали отдавать приказания и мечтали только об одном — поскорее добраться до Доусона. Малыш, настроенный как всегда пессимистично, но неутомимый и бодрый, постоянно мурлыкал первый куплет песни, продолжение которой он позабыл. И чем холоднее становилось, тем чаще он напевал:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,
И мы бредем, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном…

Проходя мимо устьев реки Хуталинквы и рек Большого и Малого Лососей, они увидели, что и эти несут в Юкон ледяное сало. Оно скоплялось вокруг лодки и налипало на весла. Теперь им приходилось прорубать лед по вечерам, чтобы выйти из течения, и наутро снова скалывать его, чтобы вывести лодку на середину реки.

В последнюю ночь они устроили стоянку между реками Белой и Стюарт. Проснувшись рано утром, они увидели, что широкий, в полмили, Юкон превратился в узкую белую ленту между

обросшими льдом берегами. Малыш проклял вселенную — на этот раз без обычной изысканности — и посмотрел на Кита.

— Наша лодка, несомненно, будет последней из тех, что придут в Доусон, — сказал Кит.

— Но ведь воды совсем не видно, Смок.

— Что ж, придется проламывать лед. Идем!

Стайн и Спраг тщетно пытались протестовать — их безжалостно водворили в лодку. В продолжение получаса Кит и Малыш, работая топорами, старались прорубить путь к быстрому, но надежному течению. Когда им удалось, наконец, выбраться из прибрежного льда, плавучие льдины прогнали лодку на несколько сот ярдов вдоль берега, сорвав при этом половину одного из планширов и нанеся еще кое-какие повреждения. У нижнего края излучины они попали, наконец, в течение, которое понесло их к середине реки. Сало к тому времени успело уже смениться крепкими льдинами и сохранилось только в промежутках между отдельными глыбами льда. Однако и там оно быстро твердело, превращаясь на глазах в крепкую массу. Отталкивая льдины веслами и иногда вылезая на них, чтобы провести лодку, путники, проработав добрый час, вывели свое судно на середину реки. И через пять минут

после этого лодка примерзла ко льду. Вся река останавливалась на ходу. Льдина примерзала к льдине, и лодка, застряв посреди огромной глыбы, поплыла вместе с ней. Подчас они шли боком, подчас их поворачивало кормой вперед, и тогда льдины расступались перед ними только для того, чтобы через минуту сомкнуться еще более плотной массой. Проходили томительные часы, а Малыш поддерживал в печке огонь, варил еду и мурлыкал свою неизменную боевую песенку.

Настала ночь. После долгих тщетных попыток они отказались от мысли привести лодку к берегу и, в состоянии полной беспомощности, отдались на волю реки, подвигаясь вперед в полной темноте.

— А что если мы проскочим мимо Доусона? — спросил Малыш.

— Что же, вернемся обратно, — ответил Кит, — если только нас не сотрет до тех пор в порошок.

Небо было чистое, и при свете холодных мигающих звезд они улавливали мрачные очертания гор, поднимавшихся с обеих сторон. В одиннадцать часов снизу донесся глухой скрипучий звук. Лодка стала постепенно замедлять ход, и льдины начали с треском налезать друг на друга, все теснее окружая ее. Река замерзла. Одна из льдин

взгромоздилась на глыбу, в которой застряла их лодка, и снесла один из бортов. Судно не потонуло только потому, что его тут же задержали другие льдины, но на мгновение они все же увидели под собой, на расстоянии какого-нибудь фута, черную полосу воды. Однако через полчаса река снова собралась с силами и тронулась. Целый час она мужественно сопротивлялась грозной мощи полярного холода и, обессилев, остановилась во второй раз. Затем еще раз ей удалось вырваться из оков льда, и она с неистовым грохотом и треском понеслась вперед в диком стремительном беге. На этот раз они увидели огни на берегу, и в тот же момент река сдалась окончательно и стала на шесть месяцев.

В Доусоне на берегу собралось несколько любопытных, чтобы посмотреть, как замерзает река, и из темноты к ним донесся воинственный напев Малыша:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,
И мы бредем, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном.

7

Три дня Кит и Малыш перетаскивали на берег полторы тонны снаряжения. Они складывали его в деревянной хижине, которую их хозяева купили на склоне горы, поднимавшейся над Доусоном. К вечеру третьего дня, когда работа была закончена, Спраг, сидя в теплой хижине, подозвал к себе Кита. Снаружи градусник показывал шестьдесят пять ниже нуля.

— Ваш месяц еще не кончился, Смок, — сказал хозяин. — Но вот вам полностью ваше месячное жалованье. Желаю вам удачи.

— А как же наше условие? — спросил Кит. — Вы знаете, что здесь теперь голод. Человек, у которого нет своего продовольствия, не может получить работы даже на приисках. Ведь мы условились…

— Ни о каких условиях и речи не было, — перебил его Спраг. — Не правда ли, Стайн? Мы наняли вас помесячно. Вот ваше жалованье. Напишите расписку в получении.

Руки Кита невольно сжались в кулаки, и кровь прилила к голове. Оба хозяина отскочили от него. До этой минуты Кит никогда не поднимал руки на человека, но тут он почувствовал, что способен превратить Спрага в лепешку, и эта уверенность

удержала его.

Малыш заметил волнение товарища и поспешил вмешаться.

— Послушай, Смок, я тоже не желаю больше путешествовать с таким поганым грузом. Теперь самое время бросить этих молодчиков. Давай работать вместе. Идет? Ну, забирай свои одеяла и валяй в «Элькгорн». Жди меня там. Я должен привести здесь в порядок свои дела: получить то, что мне причитается, и отдать то, что им причитается. На воде я мало чего стою, но когда под ногами твердая почва, Малыш в грязь лицом не ударит.

Через полчаса Малыш явился в «Элькгорн». По его окровавленным пальцам и расцарапанной щеке можно было смело заключить, что он отдал Спрагу и Стайну то, что им причиталось.

— Эх, посмотрел бы ты теперь, что творится в их хижине, — с торжеством рассказывал он, стоя с Китом у стойки бара. — Мало сказать, что там все вверх ногами. Пари держу, что ни один из них целую неделю не высунет на улицу носа. Наше дело теперь ясное. Продовольствие в среднем стоит сейчас полтора доллара фунт. Никакой работы нам не дадут, пока мы не обзаведемся собственным продовольствием. Лосиное мясо продается на рынке по два доллара за фунт, да и то его не

достать. У нас достаточно денег, чтобы прокормиться месяц и приобрести все необходимое для охоты — давай-ка заберемся поглубже в бассейн Клондайка. Если нам не удастся встретить лосей, мы пристанем к индейцам и проживем зиму с ними. Но если через шесть недель у нас не будет пяти тысяч фунтов лосятины, я готов вернуться к нашим хозяевам и извиниться перед ними. Идет?

Они пожали друг другу руку. Но тут Кит замялся.

— Я ни черта не смыслю в охоте, — сказал он.

Малыш поднял свой стакан.

— Зато ты знаешь толк в медвежатине; а всему остальному я тебя научу.

На Бабий ручей

1

Спустя два месяца Смок Беллью и Малыш, вернувшись с охоты на лосей, снова очутились в салуне «Элькгорн» в Доусоне. Охота была закончена, мясо доставлено в город и продано по два с половиной доллара за фунт; оба приятеля, таким образом, оказались обладателями трех тысяч долларов золотым песком и славной упряжки собак. Им очень повезло. Несмотря на то, что толпы золотоискателей загнали дичь за сотню миль в горы, им удалось на полпути от города подстрелить в узком ущелье четырех лосей.

Появление лосей в такой близости от жилья было так же удивительно, как и счастье наших охотников, ибо в тот же самый день Смок и Малыш встретили на пути четыре голодные индейские семьи, которым уже три дня не попадалось никакой дичи. Друзья дали им мяса за полумертвых от голода собак и в продолжение недели откармливали животных; затем запрягли их и повезли мясо на изголодавшийся рынок Доусона.

Теперь задача заключалась в том, чтобы превратить золотой песок в продовольствие. Фунт муки или бобов стоил на рынке полтора доллара, но и за эту цену трудно было найти желающего продать их. В Доусоне царил настоящий голод. Сотни людей, с деньгами, но без продовольствия, покидали страну. Многие отправились вниз по реке перед самым ледоставом, а еще больше золотоискателей, обладавших кое-какими жалкими запасами, прошли шестьсот миль по льду в Дайю.

В жарко натопленном салуне Смок встретил Малыша. Тот ликовал.

— Жизнь ни черта не стоит без виски и сахара! — с таким приветствием встретил товарища Малыш, срывая с подтаявших усов ледяные сосульки и бросая их на пол. — А я как раз раздобыл целых восемнадцать фунтов сахара. Дуралей продавец спросил всего по три доллара за фунт. А как твои дела?

— Я тоже не зевал, — гордо ответил Смок. — Мне удалось купить пятьдесят фунтов муки. А один человек с Адамова ручья пообещал доставить мне завтра еще пятьдесят.

— Славно! Теперь мы несомненно продержимся до тех пор, пока вскроется река. Послушай,

Смок, наши-то псы, оказывается, просто клад. Скупщик собак предложил мне тысячу долларов за пять штук, по двести за каждую. Я сказал ему, что дело не пойдет. А все-таки сердце болит, когда скармливаешь псам пищу по два с половиной доллара за фунт. Ну-ка выпьем, товарищ. Я хочу вспрыснуть эти восемнадцать фунтов сахара.

Через несколько минут, когда отвешивали на весах из его мешка золотой песок за выпитое, Малыш вдруг хлопнул себя по лбу.

— Совсем из головы вон, что у меня назначено в «Тиволи» свидание с одним человеком. У него есть испорченная свинина, которую он собирается продать мне по полтора доллара за фунт. Мы сможем кормить ею собак и сэкономим таким образом по доллару в день на каждой кормежке. Ну, до свидания, до скорого.

— До скорого, — ответил Смок. — Я загляну в хижину и вернусь сюда.

Не успел Малыш выйти, как в салун вошел закутанный в меха человек. Лицо его просияло при виде Смока, это был Брэк, тот самый золотоискатель, чью лодку они переправили через Ящичное ущелье и пороги Белой Лошади.

— Мне сказали, что вы в городе, — торопливо заговорил Брэк, пожимая Смоку руку. — Я уже

полчаса ищу вас повсюду. Выйдем на улицу, мне нужно поговорить с вами.

Смок кинул грустный взгляд на гудящую, раскаленную докрасна печь.

— А нельзя ли здесь?

— Нет. Это чрезвычайно важно. Идемте.

Когда они вышли, Смок снял одну из своих рукавиц, зажег спичку и посмотрел на градусник, висевший снаружи на дверях. Он поспешно сунул в варежку обнаженную руку, словно мороз обжег ее. Над головой пламенело северное сияние, а со всех концов Доусона доносился мрачный вой тысяч голодных собак.

— Сколько он показывает? — спросил Брэк.

— Шестьдесят ниже нуля[44]. — Кит плюнул для проверки, и слюна тотчас же замерзла в воздухе. — А ртуть и не думает останавливаться. Она падает все ниже и ниже. Час назад термометр показывал пятьдесят два. Если разговор будет о том, чтобы двинуться на новые прииски, то об этом лучше не говорить.

— Вот именно об этом, — прошептал Брэк, боязливо оглядываясь, чтобы кто-нибудь не подслушал их. — Вы слыхали о Бабьем ручье? Он

---

[44] Примечания: 44
По Фаренгейту.

вливается в Юкон по ту сторону, на тридцать миль выше.

— Там нечего делать, — заявил Смок. — Его весь перерыли уже много лет назад.

— Но ведь то же самое было и с другими богатейшими ручьями. Поверьте мне. Это замечательное дело. Россыпи всего на глубине от восьми до двадцати футов. Там нет такого участка, в котором лежало бы меньше полумиллиона. Это величайшая тайна. Два близких друга посвятили меня в это дело. Я сказал жене, что должен непременно разыскать вас, прежде чем двинуться в путь. Ну, до свиданья. Мое снаряжение спрятано на берегу. Дело в том, что друзья взяли с меня слово не трогаться в путь, пока весь Доусон не заснет крепким сном. Ведь вы знаете, что произойдет, если кто-нибудь увидит вас со снаряжением. Возьмите своего товарища и следуйте за нами. Можете занять четвертый или пятый участок от Пробного. Не забудьте же: Бабий ручей, это третий после Шведского ручья.

2

Войдя в маленькую хижину на склоне горы, Смок услышал громкий знакомый храп.

— Л-у-у — ложись-ка, брат, спать, — пробормо-

тал Малыш, когда товарищ начал трясти его за плечо. — Я сегодня не дежурный, — заявил он через минуту. — Обратись к буфетчику в баре.

— Живо напяливай свой мундир, — сказал Смок, — мы отправляемся сейчас же; нужно занять два участка.

Малыш сел и начал ругаться. Смок прикрыл ему рот рукой.

— Шш… — предостерег он, — это замечательное дело. Не буди соседей. Весь Доусон спит.

— Да уж, разумеется. Разве бывают не замечательные дела! И, конечно, смертельная тайна. Удивительно, право, как все попадаются на одну и ту же удочку!

— Бабий ручей, — прошептал Смок. — Дело верное. Мне сообщил о нем Брэк. Очень мелкое ложе. Золото залегает чуть не под ногами. Ну, шевелись же. Мы соберемся налегке и двинемся в путь.

Глаза Малыша закрылись, и он снова захрапел. В следующий момент Смок сдернул с него одеяло и бросил его на пол.

— Если ты не желаешь поддержать компанию, я ухожу один, — заявил он.

Малыш последовал за одеялом и начал одеваться.

— Собак возьмем? — спросил он.

— Нет. Дорога к ручью не протоптана, и мы быстрее справимся без них.

— В таком случае я задам им корму, чтобы хватило до нашего возвращения. Не забудь захватить с собой березовой коры и свечку.

Малыш открыл дверь и, почувствовав жало мороза, отскочил назад, поспешно опуская наушники и натягивая рукавицы.

Через пять минут он вернулся, изо всех сил растирая нос.

— Смок, я решительно против этой прогулки. На улице холоднее, чем было в преисподней за тысячу лет до того, как там развели первый огонь. Кроме того, сегодня пятница и тринадцатое число — все данные за то, что мы останемся с носом.

Привязав за спину легкие походные мешки, они закрыли за собой дверь и стали спускаться с холма. Северное сияние уже не играло на потемневшем небе, и только звезды мигали в застывшем воздухе, сбивая с пути своим неверным светом. Малыш свернул с тропинки, провалился в глубокий снег и начал громко ругаться, проклиная число, день, месяц и год, когда он родился.

— Перестань, пожалуйста, и оставь календарь в покое. Ты поднимешь на ноги весь Доусон и направишь его по нашим следам.

— Гм! А видишь свет вон в той хижине, и в той, и там дальше? А слышишь, как хлопнула дверь? О, разумеется, Доусон спит. Огни? Просто люди хоронят своих покойников. Они и не думают отправляться за золотом, совсем забыли о нем.

Когда они спустились к подножию холма и вошли в самый город, во всех хижинах уже мелькали огни, повсюду хлопали двери, а сзади слышался скрип множества мокасинов по плотно утоптанному снегу. Малыш снова пустился в рассуждения:

— Чертовски много покойников в этом городе.

Они прошли мимо человека, стоявшего у края дороги. Он тревожно звал кого-то вполголоса:

— Чарли, а Чарли? Да шевелись же ты!

— Заметил мешок у него на спине, Смок? Кладбище-то, должно быть, здорово далеко, если провожающим приходится брать с собой одеяла.

Когда они вышли на главную улицу, за ними тянулся уже хвост в несколько сот человек, и, пробираясь при неверном свете звезд к берегу, они слышали со всех сторон топот человеческих ног, спешивших вслед за ними. Малыш поскользнулся и слетел с высоты тридцати футов в рыхлый снег. Смок последовал за ним, сбив его снова в тот момент, когда тот поднимался на ноги.

— Я нашел первый, — фыркнул Малыш, снимая свои рукавицы, чтобы отряхнуть с них снег.

А через минуту они делали отчаянные усилия, чтобы выкарабкаться из-под груды тел, посыпавшихся на них сверху. Во время ледостава в этом месте образовался затор, и нагроможденные друг на друга льдины были теперь коварно прикрыты слоем снега. Перекувыркнувшись несколько раз, Смок зажег свечу. Люди, шедшие позади, приветствовали свет громкими криками. Свеча ярко горела в неподвижном воздухе, и путники пошли быстрее.

— Это несомненно поход за золотом, — решил Малыш, — если только все они не лунатики.

— Во всяком случае, мы во главе шествия, — ответил Смок.

— Ну, как знать? Вон там впереди, кажется, светлячок. А может, это все светлячки — вон там, и там, и там. Погляди-ка! Нет, уж поверь мне, дружище: впереди немало таких же умных, как мы.

Чтобы перебраться на западный берег Юкона, нужно было пройти целую милю по нагроможденным льдинам, и свечки мигающей цепью тянулись во всю длину извилистой тропинки. А позади, до самой вершины горы, с которой они только что спустились, мерцали такие же путе-

водные огоньки.

— Послушай, Смок, это уже настоящий «исход». Впереди нас, должно быть, добрая тысяча, а позади никак не меньше десяти. Послушай разок своего дядюшку, дружок, нюх у меня на этот счет замечательный. Уж если я почую неладное, так оно и будет. Мы напрасно впутались в эту историю. Повернем-ка домой и завалимся на боковую.

— Ты бы лучше поберег свои легкие, если собираешься дойти до конца, — грубо оборвал его Смок.

— Не беспокойся. Хотя ноги у меня короткие, но ходок я заправский и не боюсь никакой усталости. Будь уверен, что ни один из этих молодцов не обгонит меня на льду.

И Смок знал, что это правда; он успел убедиться в феноменальной выносливости своего товарища.

— А я нарочно стараюсь идти медленнее, чтобы ты не отстал, — поддразнил он Малыша.

— Вот потому-то я и наступаю тебе на пятки, — огрызнулся тот. — Если ты не можешь идти быстрее, так пусти меня вперед, я, пожалуй, поучу тебя, как это делается.

Смок ускорил шаг и вскоре поровнялся с кучкой

золотоискателей.

— Ну-ка, Смок, разведи пары, — поощрял его товарищ. — Обгони-ка этих непогребенных покойников. Тут тебе, брат, не похороны. Живо! Чтобы в ушах засвистело!

Смок насчитал в этой группе восемь мужчин и двух женщин; не успели товарищи перебраться через нагроможденные льдины, как обогнали другую партию — двадцать рослых мужчин. На расстоянии нескольких футов от западного берега тропа сворачивала к югу и тянулась дальше по гладкому ледяному полю. Лед, однако, был покрыт слоем снега в несколько футов толщиной. Этот великолепный санный путь перерезала узкая лента утоптанной пешеходами тропинки шириной в два фута. По обеим сторонам ее поднимались снежные сугробы, в которых люди тонули по колено, а то и выше. Пешеходы, которые шли впереди, очень неохотно уступали дорогу, и Смоку с товарищем часто приходилось сворачивать в глубокий снег и с величайшим трудом обходить их.

Настроение Малыша оставалось мрачным и непримиримым. Когда золотоискатели бранились, не желая пропускать их вперед, он отвечал им в том же духе.

— Куда это вы торопитесь? — спросил один из них.

— Туда же, куда и вы, — ответил Малыш. — Только не везет вам. Вчера туда прошла целая орава золотоискателей с Индейской реки. Они доберутся раньше вашего и не оставят вам ни одного свободного участка.

— Если так, то чего же вы порете горячку?

— Кто? Я? Я не золотоискатель. Я по казенному делу, правительство послало, вот и тащусь на этот проклятый Бабий ручей, чтобы произвести перепись.

Другой весело приветствовал Малыша:

— Эй, малютка, куда собрался? Неужели ты и впрямь надеешься занять участок?

— Я? — ответил Малыш. — Я-то и открыл Бабий ручей. Теперь я сделал заявку и возвращаюсь обратно, чтобы какой-нибудь проклятый чечако не зажилил мой участок.

В среднем, идя по ровному месту, золотоискатели проходили в час три с половиной мили. Но Смок и Малыш делали по четыре с половиной, а временами пускались бегом и продвигались еще быстрее.

— Я решил совсем загнать тебя, Малыш, — подразнивал товарища Смок.

— Что же, посмотрим — кто кого. Боюсь, как бы твои мокасины не протерлись раньше времени. Хотя, сказать правду, торопиться-то не для чего. Я вот все думаю. Каждая заявка на ручье должна иметь не меньше пятисот футов. Скажем, по десять участков на милю. Впереди нас тысячи золотоискателей, а речонка не длиннее ста миль. Кому-нибудь придется получить шиш, и мне почему-то кажется, что это будем мы с тобой.

Прежде чем ответить, Смок вдруг прибавил шагу и опередил Малыша на десяток футов.

— Если бы ты поберег дыхание и перестал скулить, мы, пожалуй, обогнали бы кое-кого из этой тысячи, — заявил он.

— Кому ты это говоришь? Мне? Да если бы ты пустил меня вперед, я давно показал бы тебе, что значит настоящая ходьба.

Смок рассмеялся и снова опередил товарища. Все это приключение представлялось ему теперь в совершенно ином свете. В голове его вертелась фраза безумного философа: «переоценка ценностей». В сущности, его не столько интересовал в этот момент вопрос о богатстве, сколько желание во что бы то ни стало победить Малыша в ходьбе. «В общем, — рассуждал он, — не так привлекателен выигрыш, как сам процесс игры». Его мозг,

мускулы, выдержка, его душа принимали участие в этом состязании с Малышом — человеком, который никогда не заглядывал в книгу, не мог отличить оперы от легкой салонной пьесы или эпоса от газетного фельетона.

— Берегись, Малыш, не сдобровать тебе. С тех пор, как я высадился на берег в Дайе, все клеточки моего организма просто переродились. Теперь мои мускулы гибки, как ремни бича, коварны и жестоки, как жало гремучей змеи. Всего несколько месяцев назад я с удовольствием написал бы эти слова, но тогда они не пришли бы мне в голову. Для этого нужно было сначала вжиться в них; а теперь, когда они сделались реальностью, я не чувствую никакой потребности изображать их на бумаге. Теперь я настоящий человек, закаленный, прожженный до мозга костей. Пусть-ка попробует кто-нибудь из этих чертовых горцев задеть меня — я ему вдвое насыплю. Ну а теперь — ступай-ка ты вперед на полчасика и покажи свою прыть, а когда настанет мой черед, я покажу тебе, что значит идти быстро.

— Послушай-ка его, — весело усмехнулся Малыш. — С кем ты состязаться-то вздумал? Ну-ка, пропусти своего папашу, сынок, — он покажет тебе, как ходят мужчины.

Через каждые полчаса они сменяли друг друга, по очереди устанавливая рекорд скорости. Говорили они мало. Быстрота движения согревала их, хотя дыхание замерзало на лицах, покрывая инеем губы и подбородок. Мороз был так силен, что им почти беспрерывно приходилось растирать рукавицами нос и щеки. Как только они опускали руки, открытые части лица тотчас же немели и требовалась удвоенная энергия, чтобы вызвать острое покалывание — признак восстанавливающегося кровообращения.

Часто приятелям казалось, что впереди уже никого нет, но всякий раз они натыкались на новые партии золотоискателей, вышедших из Доусона значительно раньше. Случалось, что некоторые из них делали попытку идти в ногу со Смоком и его товарищем, но, пройдя одну-две мили, неизменно отставали и исчезали в темноте.

— Мы с тобой немало пространствовали нынешней зимой, а эти неженки отлежали себе все бока в теплых хижинах да туда же — думают угнаться за нами. Если бы еще это были настоящие мужчины! Ведь настоящий мужчина прежде всего должен быть силен в ходьбе.

Раз как-то Смок зажег спичку и взглянул на часы. Больше он не повторял этого; как ни быстро

было движение его обнаженных рук, прошло целых полчаса, прежде чем ему удалось привести их в нормальное состояние.

— Четыре часа, — сказал он, натягивая рукавицу, — а мы обогнали уже человек триста.

— Триста тридцать восемь, — поправил Малыш. — Я считал все время. Эй, приятель, пропусти-ка. Дай пройти тому, кто смыслит в этом деле побольше твоего.

Человек, к которому относились эти слова, был, по-видимому, измучен до крайности и, спотыкаясь, тащился по дороге, загораживая им путь. Этот да еще один такой же путник были единственными неудачниками, которые попались им на пути; теперь они были очень близко от головной части потока золотоискателей. Только спустя много дней они узнали о всех ужасах этой ночи. Выбившиеся из сил люди присаживались отдохнуть на краю дороги и уже больше не вставали. Семеро замерзли насмерть, а нескольким десяткам выживших ампутировали в Доусоновской больнице пальцы, ступни и руки. Ночь великого похода на Бабий ручей была одной из самых холодных в ту зиму. Перед рассветом спиртовые градусники в Доусоне показывали семьдесят ниже нуля, а люди, участвовавшие в «походе»,

были, за малыми исключениями, новички, не привыкшие к таким холодам.

Второго выбывшего из строя человека они заметили несколько минут спустя, при вспышке северного сияния, которое, подобно прожектору, прорезало по временам небо от горизонта до зенита. Человек этот сидел у дороги на глыбе льда.

— Эй, тетка, вставай! — весело окликнул его Малыш. — Ну-ка, поживее! Если будешь эдак присаживаться, мороз живо скрутит тебя.

Человек ничего не ответил, и они остановились, чтобы узнать, что с ним.

— Тверд, как кочерга, — заявил Малыш. — Если уронить его — разобьется вдребезги.

— Посмотри, дышит ли он? — сказал Смок, стараясь в то же время прощупать сквозь мех и шерстяные фуфайки сердце несчастного.

Малыш поднял один из наушников и приложил ухо к заледеневшим губам.

— Не дышит, — доложил он.

— И сердце не бьется, — сказал Смок.

Он надел рукавицы и начал с ожесточением бить одну руку о другую. Согрев руки, он опять снял рукавицу и зажег спичку. Перед ними был старик, без всякого сомнения, мертвый. В тот момент, когда спичка вспыхнула, они увидели

длинную седую бороду, покрытую до самого носа ледяными сосульками, побелевшие щеки и плотно закрытые глаза с бахромой инея на месте ресниц. Спичка погасла.

— Ну, идем, — сказал Малыш, растирая ухо. — Мы ничего не можем сделать для старика. А я, кажется, отморозил себе ухо. Теперь вся кожа, чтоб ей провалиться, начнет слезать, и целую неделю будет чертовская боль.

Через несколько минут, когда пылающая лента северного сияния залила огнем все небо, они увидели впереди себя на расстоянии четверти мили две человеческие фигуры. Дальше на целую милю не было заметно никакого движения.

— Эти впереди всех, — сказал Малыш, когда снова воцарилась темнота. — Ну-ка, брат, догоним их.

Но прошло полчаса, а фигуры все еще были впереди. Малыш пустился бегом.

— Если мы и догоним их, то перегнать уж во всяком случае не удастся, — задыхаясь произнес он. — Ну, и жарят же, черт бы их побрал. Голову дам на отрез, что это не чечако. Будь уверен, что это самые настоящие старожилы.

Когда они, наконец, нагнали их, Смок оказался как раз впереди и с удовольствием пошел с ними

в ногу. Почти сразу у него явилась уверенность, что человек, идущий рядом с ним, — женщина. Он сам не мог бы сказать, откуда взялась у него эта уверенность. Закутанная в меха, темная фигура ничем не отличалась от всех других; однако Смоку почудилось в ней что-то знакомое. Он подождал следующей вспышки сияния и при свете его разглядел маленькие, обутые в мокасины ноги. Но он увидел еще больше — походку. И тотчас же узнал ту самую походку, которую решил однажды никогда не забывать.

— Ну и шагает же, — хриплым голосом произнес Малыш. — Держу пари, что это индианка.

— Как поживаете, мисс Гастелл? — спросил Смок.

— Благодарю вас, — ответила она, быстро повернув голову и окидывая его недоумевающим взглядом. — Слишком темно, я ничего не вижу. Кто вы?

— Смок.

Она рассмеялась на морозном воздухе, и он тотчас же решил, что никогда не слышал такого очаровательного смеха.

— Ну, что же, женились вы, как обещали мне тогда? Много ли успели наплодить ребят?

Но прежде чем он собрался ответить, она спро-

сила:

— Сколько там чечако позади нас?

— Должно быть, несколько тысяч. Мы обогнали больше трехсот, и они здорово торопились.

— Старая история, — ответила она с горечью. — Новички забирают себе богатейшие участки, а старожилы, которые явились в эту страну первыми, страдали здесь и мучились, остаются ни с чем. Это старожилы открыли Бабий ручей (как пронюхали об этом чечако, совершенно непонятно!) и сейчас же дали знать старожилам с Львиного озера. Но озеро это находится в десяти милях от Доусона, и пока те доберутся до ручья, все будет уже занято доусоновскими чечако. Это несправедливо возмутительно!

— Да, это очень плохо, — посочувствовал ей Смок. — Но будь я проклят, если знаю, как вы можете помешать этому. Кто первый пришел, тот первый и взял.

— Я была бы счастлива, если бы могла что-либо изменить, — горячо отозвалась мисс Гастелл. — Пусть бы они все замерзли в дороге! О, как бы я хотела, чтобы их задержало какое-нибудь ужасное происшествие, пока старожилы с Львиного озера не доберутся до ручья!

— Вы, видно, очень не любите нас? — рассме-

ялся Смок.

— Не в этом дело, — быстро ответила она. — Я знаю каждого из обитателей Львиного озера и могу сказать, что это настоящие мужчины. Они голодали в этом краю и титанически работали, чтобы сделать жизнь здесь мало-мальски сносной. Я пережила вместе с ними тяжелые дни на Коюкуке, когда была еще девочкой; пережила голодовку на Березовом ручье и на Сороковой Миле. Это настоящие герои, и они имеют право на награду, а между тем тысячи зеленых молокососов оказываются теперь на много миль впереди них. Ну, я умолкаю. Нужно беречь дыхание, потому что вы и ваша компания того и гляди обгоните отца и меня.

В течение часа Джой и Смок не обменялись ни единым словом. Девушка о чем-то вполголоса переговаривалась с отцом.

— Теперь я узнал их, — сказал Малыш Смоку. — Это старый Льюис Гастелл, молодчина хоть куда. А девушка, должно быть, его дочка. Он пришел сюда так давно, что никто и не помнит точно, когда это было, и привез с собой девочку, тогда еще совсем крошку. Они с Битлсом работали вместе и пустили первый маленький пароходишко по Коюкуку.

— Знаешь что, не стоит обгонять их, — сказал Смок, — мы и так впереди всех, а нас только четверо.

Малыш согласился, и они час быстро подвигались вперед в полном молчании. В семь часов северное сияние в последний раз прорезало темноту, и они увидели на западе широкий проход между покрытыми снегом горами.

— Бабий ручей! — воскликнула Джой.

— Ну и молодцы же мы, — ликовал Малыш. — По моему расчету, нам по крайней мере нужно было идти еще добрых полчаса. Здорово, видно, я растянул себе ноги.

Как раз в этом месте дорога из Дайи, заваленная нагромоздившимися друг на друга льдинами, круто сворачивала через Юкон к восточному берегу, и с хорошо укатанной главной тропы они перебрались через затор льдин на узкую, едва заметную тропинку, идущую вдоль западного берега.

Льюис Гастелл, указывавший путь, споткнулся в темноте о льдину и опустился на снег, ухватившись обеими руками за лодыжку. Он с трудом поднялся на ноги и попробовал двинуться дальше, но шаг его сильно замедлился, и он стал заметно прихрамывать. Через несколько минут

он остановился.

— Все равно ничего не выйдет, — сказал он дочери. — Я растянул себе сухожилие. Иди вперед и займи участки для себя и для меня.

— Не можем ли мы чем-нибудь помочь вам? — спросил Смок.

Льюис Гастелл покачал головой.

— Ей все равно, сделать ли одну заявку или две. А я доползу до берега, разведу огонь и перевяжу лодыжку. Не беспокойтесь обо мне. Иди, Джой. Займи для нас участки повыше Пробного. Чем выше по реке, тем богаче россыпи.

— Вот вам немного березовой коры, — сказал Смок, разделив свой запас поровну. — Мы позаботимся о вашей дочери.

Льюис Гастелл рассмеялся хриплым смехом.

— Благодарю вас, — сказал он. — Но она и сама может позаботиться о себе. Идите за ней следом и не упускайте ее из виду.

— Вы ничего не будете иметь против, если я пойду вперед? — спросила она Смока. — Ведь я знаю эту местность лучше вас.

— Ведите, — галантно ответил Смок. — Хотя я совершенно согласен с вами, что нам, чечако, не следовало бы обгонять компанию с Львиного озера. Это просто возмутительно. Нельзя ли нам

как-нибудь отделаться от этих доусоновских молодцов?

Она покачала головой.

— Не можем же мы скрыть свои следы, — сказала девушка, — а они обязательно пойдут за нами, как стадо баранов.

Пройдя с четверть мили, Джой вдруг круто повернула на запад, и Смок заметил, что они идут по девственному снегу. Однако ни он, ни Малыш не обратили внимания на то, что узкая тропинка, по которой они шли до сих пор, вела дальше к югу. Если бы они могли видеть, что делал в этот момент Льюис Гастелл, история Клондайка, пожалуй, была бы написана иначе: они увидели бы, как этот старожил, сразу перестав хромать, побежал следом за ними, точно гончая собака; увидели бы, как он принялся расширять и утаптывать тропинку, которую они проложили, свернув на запад, и наконец помчался дальше по прежней узкой тропинке, направлявшейся к югу. Но ничего этого они не видели, а потому продолжали спокойно идти следом за Джой. Тропинка к ручью была едва намечена, и путники то и дело теряли ее в темноте. После четверти часа блуждания по снегу Джой Гастелл выразила желание идти сзади и предоставила мужчинам прокла-

дывать дорогу. Задержка передовых позволила всей остальной массе золотоискателей нагнать их, и когда часам к девяти рассвело, они увидели за собой, насколько хватал глаз, бесконечную вереницу людей. При этом зрелище темные глаза Джой засверкали.

— Сколько времени прошло с тех пор, как мы пробираемся к ручью? — спросила она.

— Не меньше двух часов, — ответил Смок.

— Да два часа назад, вот вам и все четыре, — рассмеялась она. — Мои друзья с Львиного озера спасены.

Смутное подозрение пронеслось в голове Смока. Он остановился и посмотрел ей прямо в лицо.

— Я не понимаю, — сказал он.

— Не понимаете? Ну, так я объясню вам. Это Норвежский ручей. Бабий ручей дальше, к югу.

Смок на минуту онемел.

— Вы сделали это нарочно? — спросил Малыш.

— Я сделала это, чтобы выручить старожилов.

Она рассмеялась. Мужчины поглядели друг на друга и подошли к девушке.

— Знаете, я с удовольствием перегнул бы вас, как ребенка, через колено да хорошенько нашлепал, — заявил Малыш, — если б здесь, в этом чертовом краю, не были так редки женщины!

— Значит, ваш отец не растянул себе сухожилия, а просто подождал, чтобы мы скрылись из виду, и двинулся дальше? — спросил Смок.

Она утвердительно кивнула.

— А вы сыграли роль приманки?

Она снова кивнула, и на этот раз смех Смока прозвучал вполне искренно и звонко. Это был неудержимый смех мужчины, откровенно признающего себя побежденным.

— Почему вы не сердитесь на меня? — жалобно спросила она. — Или… или… почему вы не побьете меня?

— Ну-с, надо, значит, поворачивать обратно, — сказал Малыш. — Этак того и гляди ноги отморозишь.

Смок покачал головой.

— Идти обратно — значит потерять четыре часа. Мы, должно быть, прошли восемь миль по этому ручью, а он сильно уклоняется к югу. Мы пойдем вдоль Норвежского ручья, затем переберемся через водораздел и выйдем на Бабий ручей где-нибудь повыше Пробного участка. — Он взглянул на Джой. — Не хотите ли пойти с нами? Я обещал вашему отцу присмотреть за вами.

— Я… — она колебалась, — я могу пойти с вами, если вы ничего не имеете против. — Она смот-

рела прямо в глаза Смоку, и на лице ее уже не было прежнего выражения вызова и насмешки. — Право, мистер Смок, я почти жалею о том, что сделала. Но нужно же было кому-нибудь выручить старожилов.

— Мне кажется, что золотоискательство — своего рода спорт.

— А мне кажется, что вы прекрасные спортсмены, — сказала она; затем прибавила с легким вздохом: — Как жаль, что вы не старожилы!

Два часа они пробирались вдоль замерзшего ложа Норвежского ручья, затем свернули в узкий извилистый его приток, сворачивавший к югу. В полдень они начали подниматься в гору, чтобы перебраться через водораздел. Позади себя они видели длинную темную линию золотоискателей, направлявшихся по их следам. Там и сям поднимались тонкие струйки дыма, указывавшие на то, что усталые путники делают привал.

Для них путь был особенно тяжел. Они то и дело проваливались по пояс в снег и очень часто останавливались, чтобы перевести дух. Малыш первый взмолился об отдыхе.

— Мы уже двенадцать часов в пути, Смок, — сказал он, — и я должен признаться, что здорово устал, да и ты тоже, я уверен. Но если мы с то-

бой еще и можем кое-как ползти дальше, то эта бедная девушка несомненно свалится с ног, если не подкрепится чем-нибудь. Давайте разложим здесь костер. Что вы на это скажете?

Они быстро, ловко и умело разбили лагерь, и Джой, следившая за ними недоверчивым взглядом, должна была признаться в душе, что старожилы не могли бы сделать этого лучше. Смок и Малыш натянули одеяла на сосновые ветви и соорудили шалаш, в котором можно было отдохнуть и приготовить еду. Однако сами они старались держаться подальше от огня, пока не растерли основательно свои щеки и носы. Смок плюнул в воздух, и тотчас же вслед за этим раздался отчетливый и звонкий стук упавшей льдинки.

— Должен признаться, — сказал Смок, покачав головой, — что никогда еще не видел такого мороза.

— Однажды зимой на Коюкуке мороз дошел до восьмидесяти шести градусов, — ответила Джой. — Теперь, должно быть, не меньше семидесяти или семидесяти пяти, и я чувствую, что отморозила себе щеки. Они горят, как в огне.

На крутом спуске горы совсем не было льда; поэтому они положили в таз для промывки золо-

та немного твердого чистого кристаллического снега, напоминавшего сахар-рафинад, и растопили его на огне, раздобыв таким образом воду для кофе. Смок поджаривал грудинку и грел сухари у огня, Малыш подбрасывал в огонь ветки, а Джой расставляла приборы; из мешка появились две тарелки, две кружки, две ложки, жестянка, в которой были смешаны соль и перец, и жестянка с сахаром. Третьего прибора не было, и она села рядом со Смоком. Они ели из одной тарелки и пили из одной кружки.

Было почти два часа, когда они перевалили, наконец, через хребет и начали спускаться к Бабьему ручью. Еще раньше, зимой, какой-то охотник на лосей проложил тропу по узкому ущелью — отправляясь на охоту и возвращаясь обратно, он, по-видимому, всегда ступал по своим же следам. В результате под слоем выпавшего позднее снега образовалась линия неровных бугров. Всякий раз, как ноги их попадали между буграми, они проваливались в снег и нередко падали. К несчастью, охотник на лосей обладал, по-видимому, необыкновенно длинными ногами, и им было нелегко идти по его следам. Джой, которая горячо желала теперь помочь своим спутникам и боялась, что они нарочно

замедляют ход, не желая слишком утомлять ее, пошла впереди. Быстрота и ловкость, с которой она ловила коварные следы охотника, вызвали неподдельный восторг Малыша.

— Посмотри-ка на нее! — воскликнул он. — Ну и молодчина! Уж она наверное ела медвежатину. Посмотри, как скользят ее мокасины. Это тебе не высокие каблуки. Ноги ей хорошо служат. Вот настоящая жена для охотника на медведей.

Она обернулась и посмотрела на него с улыбкой, которая предназначалась отчасти и для Смока: улыбка была простая, товарищеская, но Смок ясно почувствовал, что в ней было и много женского.

Дойдя до Бабьего ручья, они оглянулись и увидели длинную прерывистую линию золотоискателей, которые с трудом спускались по склону. Джой Гастелл и ее спутники спустились к ложу ручья, промерзшего до самого дна. Ручей — двадцати-тридцати футов ширины — тянулся между илистыми наносными берегами от шести до восьми футов вышины. Ничья нога не ступала еще по девственному снегу, который покрывал его лед, и они сообразили, что вышли немного выше Пробного участка и заявок, занятых старожилами с Львиного озера.

— Берегитесь родников, — предостерегающе крикнула Джой, когда Смок повел их вниз по ручью. — При семидесятиградусном морозе вы останетесь без ног, если провалитесь в один из них.

Такие родники часто встречаются в клондайкских реках и никогда не замерзают. Вода стекает с берегов и скопляется небольшими лужицами, которые защищаются от холода замерзшей поверхностью ручья и выпавшим снегом. Вот почему человек, ступающий по сухому снегу, может легко продавить кору льда в полдюйма толщины и провалиться по колено в воду. Если в течение пяти минут он не стащит промокшие мокасины, то останется без ног.

Было три часа пополудни, но долгие серые полярные сумерки уже начали окутывать землю. Путники искали глазами на берегах дерева с отметкой, которая указала бы им, где сделана последняя заявка. Джой, искавшая ее с особенным волнением, первая заметила зарубку. Она бросилась вперед и крикнула Смоку:

— Кто-то уже был здесь. Поглядите на снег! Посмотрите на зарубку! Вот она! Вот на этой сосне!

И в этот момент она по пояс провалилась в

снег.

— Вот я и попалась! — жалобно произнесла она. Затем воскликнула: — Не подходите ко мне, я сама выберусь.

Шаг за шагом, то и дело проваливаясь через тонкий лед, скрытый под сухим снегом, она прокладывала себе путь к твердой почве. Смок не стал ждать. Он бросился к берегу, где лежали сухие ветви и сучья, вынесенные на берег во время весенних разливов. Это был готовый костер, который только ждал спички. К тому времени, как Джой добралась до него, первые языки пламени уже поднимались в воздух.

— Садитесь, — приказал Смок.

Она послушно опустилась на снег. Он сбросил со спины свой мешок и разостлал под ее ногами одеяло.

Сверху раздавались голоса искателей, следовавших за ними.

— Пусть Малыш сделает заявку, — торопила Джой.

— Иди, Малыш, — сказал Смок, принимаясь за ее мокасины, уже покрывшиеся льдом. — Отмерь тысячу футов и поставь в центре два заявочных столба. Угловые мы поставим позже.

Смок разрезал ножом шнурки и кожу мокаси-

нов. Они успели так сильно промерзнуть, что визжали и скрипели под ножом. Сивашские носки и толстые шерстяные чулки превратились в ледяную кору. Казалось, будто ступни и икры девушки вложены в железный футляр.

— Ну, как ноги? — спросил он, продолжая работать.

— Совсем онемели. Я не чувствую пальцев и не могу шевельнуть ими. Но все сойдет прекрасно. Огонь великолепный. Смотрите, как бы вы еще не отморозили себе руки. Судя по вашим движениям, мне кажется, что они уже онемели.

Он натянул рукавицы и в течение нескольких минут с ожесточением хлопал себя по бедрам. Почувствовав, что кровообращение восстановилось, он снова снял рукавицы и принялся резать, рвать и пилить промерзшую обувь. Наконец показалась белая кожа одной ноги, затем другой, и обе они были выставлены теперь на семидесятиградусный мороз.

Затем Смок принялся растирать ей ноги снегом с таким неистовым усердием, что Джой скоро зашевелила пальцами и радостно пожаловалась на боль.

Он дотащил ее до огня и положил ее ноги на одеяла, как можно ближе к спасительному теплу.

— Теперь вам придется самой заняться ими на минутку, — сказал он.

Она сняла рукавицы и начала растирать ноги, следя за тем, чтобы огонь лишь постепенно согревал ее замерзшее тело. Тем временем Смок занялся собственными руками; снег уже не таял на них, и его светлые кристаллы рассыпались по коже, точно песок. Очень медленно восстанавливалось в замерзшем теле кровообращение. Согрев, наконец, руки, Смок поправил огонь, снял легкую котомку со спины Джой и достал оттуда запасную обувь.

Малыш вернулся по ложу ручья и поднялся к ним по крутому берегу.

— Будьте спокойны, я отмерил полных тысячу футов, — заявил он. — Номер двадцать седьмой и двадцать восьмой. Хотя, нужно вам сказать, не успел я еще забить верхний столбик двадцать седьмого номера, как столкнулся с первым молодцом из тех, что шли сзади. Он заявил мне, что он не даст мне занять двадцать восьмой номер. Тогда я сказал ему…

— Ну, ну, — воскликнула Джой. — Что же вы ему сказали?

— Я так прямо и заявил ему, что если он не уберется сейчас же на все пятьсот футов, то я

превращу его обмороженный нос в сливочное мороженое и шоколадные эклеры. Он предпочел уйти, и я поставил заявочные столбы на двух полных, честно отмеренных участках вдоль ручья, по пятьсот футов каждый. Он занял следующий участок, и я полагаю, что теперь эта компания уже разделала Бабий ручей до устья и даже тот берег. Но наше дело верное. Сейчас слишком темно, а завтра утром мы сможем поставить угловые столбы.

3

Проснувшись, они убедились, что за ночь сильно потеплело. Малыш и Смок, еще не вылезая из-под своего общего одеяла, определили температуру в двадцать градусов ниже нуля. Мороз сдал. На их одеялах лежал слой снежных кристаллов в шесть дюймов толщины.

— С добрым утром! Как ваша нога? — спросил Смок, глядя через остатки костра на Джой Гастелл, которая, сидя в своем спальном мешке, стряхивала с себя снег.

Малыш развел костер и принес лед с ручья, а Смок принялся готовить завтрак. Когда они покончили с едой, взошло солнце.

— Пойди-ка поставь угловые столбы, Смок, —

сказал Малыш. — В том месте, где я нарубил льда, есть песок, и я хочу растопить в нашем тазу воды и промыть, на счастье, немного песку.

Смок отправился, захватив топор, чтобы вырубить колышки. Начав с нижнего (по течению) центрального столба на участке «номер двадцать семь», он направился под прямым углом по узкой долине к краю участка. Он проделывал все это методически, почти машинально: мысли его были полны воспоминаний об истекшей ночи, ему почему-то казалось, что он приобрел власть над нежными линиями и твердыми мускулами этих ножек, которые он растирал снегом, и эта власть как будто распространялась и на всю женщину. Чувство обладания наполняло его каким-то неясным сладостным ощущением. Ему казалось, что теперь остается только подойти к Джой Гастелл, взять ее за руку и сказать: «Идем!»

И вдруг он наткнулся на нечто, заставившее его забыть о власти над белыми ножками. Он не поставил углового столба у края долины. Он даже не дошел до ее края, ибо наткнулся на другой ручей. Смок приметил сломанную иву и большую, бросающуюся в глаза одинокую сосну. Затем снова вернулся к ручью, где стояли центральные заявочные столбы. Он пошел берегом

ручья, изогнутого в виде лошадиной подковы, и убедился в том, что тут не два ручья, а один. Затем он дважды пробрался по снегу от одного края долины до другого, в первый раз начав от нижнего столба «номера двадцать седьмого», а во второй раз от верхнего столба «номера двадцать восьмого», и убедился окончательно, что *верхний столб последнего участка находится ниже нижнего столба первого.* В сумеречной полутьме Малыш занял оба участка на излучине ручья в виде подковы, врезывающейся глубоко в долину.

Смок уныло побрел обратно к маленькой стоянке. Малыш, кончивший промывку песка, встретил его восторженными восклицаниями.

— Вот оно! — крикнул он, протягивая товарищу таз. — Вот, посмотри. Золото, чистое золото. Здесь двести долларов, ни на цент меньше. Оно так и валяется на самой поверхности. Я видел кое-что на своем веку, но никогда в жизни не встречал еще такого богатства.

Смок бросил равнодушный взгляд на золото, налил себе чашку кофе и присел у огня. Джой почувствовала что-то недоброе и посмотрела на него нетерпеливым, беспокойным взглядом. А Малыш почувствовал себя оскорбленным равнодушием товарища.

— Что это ты как будто не радуешься? — спросил он. — Ведь это настоящее счастье. Может быть, ты так богат, что плюешь на двести долларов?

Прежде чем ответить, Смок отхлебнул кофе.

— Скажи мне, Малыш, чем наши участки похожи на Панамский канал?

— Это еще что за новость?

— Видишь ли, восточный вход в Панамский канал находится западнее его западного входа. Вот и все.

— Валяй дальше, — сказал Малыш. — Я еще не раскусил, в чем дело.

— Короче говоря, Малыш, ты занял наши два участка на большой луке, напоминающей лошадиную подкову.

Малыш опустил таз на снег и вскочил на ноги.

— Дальше, дальше, — повторил он.

— Верхний столб двадцать восьмого на десять футов ниже нижнего столба двадцать седьмого.

— Ты хочешь сказать, что у нас ничего нет, Смок?

— Хуже того. У нас на десять футов меньше, чем ничего.

Малыш бегом пустился к берегу. Через пять минут он вернулся. В ответ на вопросительный

взгляд Джой маленький человечек печально кивнул. Не говоря ни слова, он подошел к поваленному дереву и, опустившись на него, стал пристально разглядывать снег, покрывавший его мокасины.

— Ну, что ж, снимемся с лагеря и марш обратно в Доусон, — сказал Смок, начиная складывать одеяла.

— Мне очень жаль, Смок, — прошептала Джой, — все это моя вина.

— Пустяки, — ответил он, — все придет в свое время.

— Но это моя вина, только моя, — настаивала она. — Отец сделает для меня заявку там, около Пробного участка, и я отдам ее вам.

Смок отрицательно покачал головой.

— Малыш! — взмолилась девушка.

Малыш в свою очередь покачал головой и вдруг разразился неистовым смехом. Это был неудержимый, гомерический хохот. Маленький человечек то задыхался, то грохотал.

— Это не истерика, — объяснил он. — У меня бывают иногда такие припадки веселости.

Взгляд его упал случайно на таз с золотом. Он подошел к нему и величественным движением отшвырнул ногой, рассыпав вокруг намытое

золото.

— Это не наше, — сказал он. — Оно принадлежит тому малому, которого я прогнал давеча на пятьсот футов. И меня больше всего злит то, что четыреста девяносто из них — форменное богатство… его богатство. Ну, идем, Смок, вернемся в Доусон. Впрочем, если у тебя есть желание убить меня, я и пальцем не пошевельну, чтобы защищаться.

Малыш видит сны

1

— Странно, однако, что ты никогда не играешь, — сказал Малыш однажды ночью Смоку в «Элькгорне». — В крови этого у тебя нет, что ли?

— Как же, есть, — отвечал Смок. — Но в голове у меня статистика. Я предпочитаю равные шансы во время игры.

Вокруг них в огромном помещении бара слышалась трескотня, стук, звон: это за двенадцатью игорными столами пробовали свое счастье люди в мехах и мокасинах. Смок широким жестом как бы охватил всех их.

— Взгляни на них, — сказал он, — ясно, как дважды два четыре, что проигрыш за сегодняшнюю ночь будет больше, чем выигрыш. Большинство из них сейчас уже проиграли.

— Ты, конечно, здорово силен в цифрах, — с восхищением пробормотал Малыш, — и в общем ты прав. Но только факты остаются фактами. И один из таких фактов — это полоса счастья. Выпадает полоса, когда всякий дурак выигрывает, это мне хорошо известно; я принимал участие в

такой игре, и на моих глазах срывали банк. Чтобы выиграть в азартной игре, надо выждать, пока на тебя накатит такая полоса счастья, и потом уже играть вовсю.

— Как просто, — скептически заметил Смок. — Так просто, что прямо кажется непонятным, каким образом люди могут проигрывать.

— Вся беда в том, — возразил Малыш, — что большинство людей ошибаются, думая, что им начинает везти. И я тоже давал маху на своем веку. Надо пробовать, нащупывать.

Смок покачал головой.

— И это тоже ясно, как дважды два четыре, Малыш. Большинство игроков ошибаются в своих предчувствиях.

— Неужели у тебя никогда не бывало такого чувства, что ты должен поставить деньги и обязательно выиграть? И больше от тебя ничего не требуется.

Смок засмеялся.

— Я слишком боюсь, что статистика будет против меня. Но вот что я хочу сказать тебе, Малыш. Кину-ка я сейчас один доллар на высшую карту, и посмотрим — заработаем ли мы с тобой хоть на стаканчик.

Смок направился было к столу, за которым

играли в «фаро», как вдруг Малыш схватил его за руку.

— Постой! На меня как раз накатило предчувствие. Ставь этот доллар на рулетку!

Они подошли к столу с рулеткой, стоявшему у самого бара.

— Подожди ставить, пока я не скажу тебе, — проговорил Малыш.

— Какой номер? — спросил Смок.

— Выбирай сам. Но только погоди, пока я не скажу тебе, что пора начинать.

— Уж не считаешь ли ты, что у меня за этим столом шансов больше? — заметил Смок.

— Столько же, сколько у каждого игрока.

— Но все-таки не столько, как у крупье?

— Подожди, увидишь, — стоял на своем Малыш. — Ну! Теперь начинай!

Крупье как раз в эту минуту бросил шарик из слоновой кости; шарик, кружась, покатился по гладкому борту вращающегося колеса. Смок на нижнем конце стола потянулся через какого-то игрока и, не глядя, бросил доллар. Он покатился по гладкому зеленому сукну и остановился на номере «34».

Шарик остановился, и крупье объявил:

— Тридцать четвертый выиграл!

Крупье сгреб со стола деньги и к доллару Смока придвинул тридцать четыре доллара. Смок забрал деньги, и Малыш хлопнул его по плечу.

— Вот это и есть то самое, что называется счастьем, Смок. Откуда я это узнал? Да я и сам не знаю. Я просто почувствовал, что ты должен выиграть. И если бы твой доллар упал на какой-нибудь другой номер, ты все равно выиграл бы. Раз предчувствие у тебя верное, ты должен выиграть во что бы то ни стало.

— Ну, а предположи, что вышло бы двойное зеро? — сказал Смок, когда они направлялись в бар.

— Тогда твой доллар остановился бы на двойном зеро, — отвечал Малыш. — Тут уж ничего не поделаешь. Повезет — так повезет. Вот оно как. Пойдем-ка назад к столу. После того как я дал тебе возможность выиграть, мне кажется, что и я сорву несколько номеров.

— Ты играешь по системе? — спросил Смок через десять минут, после того как его компаньон проиграл сто долларов.

Малыш с негодованием покачал головой; он расставил свои марки на «3», «11», «17» и бросил одну марку на «зеленое».

— Ад и так набит дураками, играющими по

системе, — объявил он.

Занятый наблюдениями, Смок стоял точно загипнотизированный и внимательно следил за подробностями игры, начиная с того момента, когда бросали шарик, и кончая ставками и уплатой выигрышей. Он не играл и довольствовался только наблюдением. И он так увлекся, что Малышу, закончившему игру, с трудом удалось оторвать Смока от стола.

Крупье вернул Малышу его мешок с золотым песком, который находился у крупье в виде залога, и выдал Малышу вместе с мешком клочок бумажки, где было нацарапано: «Взять триста пятьдесят долларов». Малыш направился через всю комнату к весовщику, сидевшему за большими весами для взвешивания золота. Весовщик отсыпал из мешка Малыша на триста пятьдесят долларов песку и всыпал его в свой ящик.

— Твое счастье также можно отнести под ту же рубрику статистики, — подтрунил над Малышом Смок.

— Мне надо было сыграть, чтобы убедиться в этом, не так ли? — отрапортовал Малыш. — И я пострадал только из-за желания доказать тебе, что полоса счастья существует.

— Ничего, Малыш, — засмеялся Смок. — А вот

на меня сейчас нашло наитие…

Глаза у Малыша засверкали, и он крикнул:

— Ну так в чем же дело? Валяй! Ставь!

— Нет, Малыш, это не то. Мое наитие говорит мне, что я в один прекрасный день выработаю систему, которая в пух и прах разобьет этот стол.

— Система! — завопил Малыш, с сожалением глядя на своего товарища. — Смок, послушайся доброго совета и брось ты систему. Система — это верный проигрыш. При системе не бывает наития.

— Вот за это самое я и люблю систему, — отвечал Смок. — В системе есть расчет. Если ты нападешь на верную систему, ты не можешь проиграть. В этом-то и заключается разница между системой и счастьем. Ты не знаешь, когда твое предчувствие обманет тебя.

— Но зато я знаю целый ряд систем, которые обманывали, и мне никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь выигрывал по системе. — Малыш помолчал и со вздохом добавил: — Знаешь, что я тебе скажу, Смок? Если ты собираешься ломать себе голову над системами, то тебе здесь не место и нам лучше отправиться в путь-дорогу.

2

В течение нескольких ближайших недель во взглядах и намерениях двух товарищей отмечалось некоторое расхождение. Смок был расположен проводить все время в наблюдениях за игрой в рулетку в «Элькгорне», а Малыш настаивал на том, чтобы двинуться в путь. Когда же началось движение золотоискателей на Юкон, — пронесся слух, что в двухстах милях вниз по реке открылось золото, — Смок решительно отказался принять участие в этом предприятии.

— Вот что, Малыш, — сказал он, — я не пойду. Эта история займет десять дней, а к тому времени я надеюсь окончательно выработать свою систему. Я и сейчас мог бы уже выигрывать, играя по ней. С какой стати ты будешь зря таскать меня повсюду?

— Смок, я должен заботиться о твоем благе, — отвечал Малыш. — Ты свихнешься. Я готов тащить тебя к черту на рога или на Северный полюс, лишь бы мне оторвать тебя от игорного стола.

— Все это прекрасно, Малыш. Но не забывай, что я взрослый и вполне зрелый мужчина, и опять же не забудь про медвежатину. Если тебе

придется что-нибудь тащить, так это только золотой песок, который я буду выигрывать при помощи моей системы, и на это тебе понадобится целая собачья упряжка.

В ответ на это Малыш только вздохнул.

— И я не хочу, чтобы ты играл за свой счет, — продолжал Смок. — Мы будем делить выигрыш пополам, и мне для начала понадобятся все наши деньги. Система эта еще молода, и очень может быть, что я вначале допущу несколько промахов.

3

В конце концов, после долгих часов и дней, проведенных в наблюдениях за игорным столом, настал вечер, когда Смок объявил, что он готов. Малыш, мрачный и печальный, с видом человека, присутствующего на похоронах, отправился вместе со своим товарищем в «Элькгорн». Смок купил стопочку марок и занял место в конце стола, возле крупье. Десятки раз вертелся шарик; другие игроки выигрывали и проигрывали, а Смок все не решался поставить хотя бы одну марку. Малыш начал уже терять терпение.

— Да ставь же, ставь! — торопил он его. — Кончай скорей эту погребальную церемонию. В чем дело? Или ты струсил?

Смок покачал головой. Он выжидал. Двенадцать раз уже крупье пускал рулетку, когда Смок вдруг поставил десять однодолларовых фишек на номер «26». Номер выиграл, и Смоку было выплачено триста пятьдесят долларов. Затем прошло еще двенадцать, двадцать, тридцать туров, прежде чем Смок снова поставил десять долларов на «32». И опять он выиграл триста пятьдесят долларов.

— Вот это называется везет! — громким шепотом сказал ему на ухо Малыш. — Ставь дальше!

Прошло полчаса, в продолжение которых Смок воздерживался от игры, после чего он поставил десять долларов на номер «34» и выиграл.

— Ну и везет! — прошептал Малыш. — Вот так полоса!

— Совсем не то, — шепотом же отвечал ему Смок. — Это моя система. Что, хороша, не правда ли?

— Ладно, рассказывай, — возразил Малыш. — Просто полоса такая, а ты воображаешь, что это система! А она тут ни при чем. Систем вообще нет и не может быть.

Смок переменил игру. Он ставил теперь чаще, одиночными марками, и чаще проигрывал, чем выигрывал.

— Кончай, — посоветовал ему Малыш. — Забирай деньги. Ты три раза поймал номер, и у тебя уже около тысячи. Полоса твоя кончилась.

В эту минуту шарик завертелся, и Смок поставил десять марок на номер «26». Шарик остановился на «26», и крупье выплатил ему триста пятьдесят долларов.

— Раз уж тебе так чертовски везет, ставь высшую ставку, — сказал Малыш. — Поставь следующий раз двадцать пять!

Прошло четверть часа, в течение которых Смок выигрывал и проигрывал мелкие ставки. Потом решительным жестом он поставил двадцать пять долларов на «двойное зеро», и крупье заплатил ему восемьсот семьдесят пять долларов.

— Разбуди меня, Смок, я вижу сон! — взмолился Малыш.

Смок улыбнулся, заглянул в свою записную книжку и углубился в какие-то вычисления. Он то и дело вынимал из кармана записную книжку и записывал в нее разные цифры.

Около стола собралась большая толпа, и игроки старались ставить на те же номера, что и Смок. И вот тут-то в его игре произошел перелом. Десять раз подряд он ставил по десять долларов на «18» и проигрывал. Тут уже и самые отважные его

последователи отступились от него. Он переменил номер и выиграл еще триста пятьдесят долларов. Сейчас же игроки вернулись к нему, и им пришлось снова бросить его после целого ряда проигрышей.

— Кончай, Смок, кончай! — просил его Малыш. — И самая длинная полоса счастья не бесконечна. А твоя уже кончилась. Крупных выигрышей больше не жди.

— А я собираюсь взять еще один, — отвечал Смок.

Некоторое время он делал с переменным счастьем мелкие ставки на разные номера, потом бросил двадцать пять долларов на «двойное зеро».

— А теперь рассчитаемся, — сказал он крупье, выиграв и на этот раз.

— Незачем показывать мне счет, — сказал Малыш, когда они направлялись к весовщику. — Я все время следил. Тебе причитается что-то около трех тысяч шестисот. Верно?

— Три тысячи шестьсот тридцать, — отвечал Смок. — А теперь тебе придется тащить домой песок. Ведь мы так условились!

4

— Не испытывай своего счастья, — сказал Малыш на следующий день вечером, когда Смок собрался идти в «Элькгорн». — Твоя полоса была очень длинной, но ты доиграл ее до конца. Если ты опять начнешь играть, ты наверняка спустишь все.

— Но я же сказал тебе, Малыш, что тут нет никакой полосы счастья. Это статистика. Система! Я и при желании не могу проиграть.

— Провались она к черту, эта система! Нет никаких систем. Раз как-то я выиграл в железку семнадцать раз подряд. Что же это было, по-твоему, система? Просто бешеное счастье. Но только я струсил тогда. Если бы я не снялся после семнадцатой карты, я выиграл бы больше тридцати тысяч на два доллара!

— Что бы там ни было, Малыш, а у меня настоящая система.

— Гм! Так покажи мне ее!

— Я уже показывал тебе. Пойдем со мной, и я покажу еще раз.

Когда они пришли в «Элькгорн», все взоры обратились на Смока. Стоявшие возле стола игроки расступились, когда он направился на свое

прежнее место возле крупье. На этот раз игра его совершенно не походила на игру, которую он вел в прошлый раз. В течение полутора часов он поставил только четыре ставки, но каждая была по двадцать пять долларов и каждая выиграла. Он забрал три тысячи пятьсот долларов, и Малыш доставил золото в хижину.

— Теперь самая пора бросить игру, — советовал Малыш, сидя на краю своей койки и снимая мокасины. — Ты забрал семь тысяч. Надо быть дураком, чтобы еще дольше испытывать свое счастье!

— Малыш, только сумасшедший бросит на середине такую систему, как у меня.

— Смок, ты парень хоть куда. Ты обучался в колледже. Ты в одну минуту можешь узнать больше, чем я в сорок тысяч лет. И все-таки ты ошибаешься, здорово ошибаешься, называя свою полосу счастья системой. Я помотался по свету и видел всякие виды — и должен сказать прямо, начистоту, что нет такой системы, которая могла бы победить в азартной игре.

— Однако я показал тебе именно такую систему.

— Нет, Смок, ты ошибаешься. Это сон. Я сплю. Сейчас я проснусь, разведу костер и стану гото-

вить завтрак.

— В таком случае, мой недоверчивый друг, вот тебе песок. Пощупай его.

С этими словами Смок бросил на колени товарищу увесистый мешок с золотом. Он весил тридцать пять фунтов, и Малыш почувствовал значительную тяжесть.

— Самый что ни на есть реальный, — сказал Смок.

— Гм! В свое время я видывал самые разные сны. Во сне все возможно. А в жизни система невозможна. Конечно, я не был в колледже, но только я прав, считая всю эту нашу азартную оргию сном.

— «Закон бережливости» Гамильтона? — засмеялся Смок.

— Я что-то ничего не слыхал об этом старикашке, но он, должно быть, прав. Я вижу сон, Смок, и в этом сне ты все время преследуешь и мучишь меня своей системой. Если ты меня любишь, если ты действительно меня любишь, то ты сейчас крикнешь: «Малыш! Проснись!» И я проснусь и начну готовить завтрак.

5

На третий вечер, когда Смок поставил первую ставку, крупье вернул ему пятнадцать долларов.

— Вы можете ставить только десять, — сказал он. — Ставка понижена.

— Обеднели? — проговорил с насмешкой Малыш.

— Кто не хочет, пусть не играет, — ответил крупье. — Я прямо скажу при всем честном народе, что нам было бы приятнее, если бы ваш товарищ вовсе не играл за нашим столом.

— Испугались его системы, а? — вызывающе спросил Малыш, когда крупье выплачивал Смоку триста пятьдесят долларов.

— Я не говорю, что верю в его систему; я не верю ни в какие системы. Не было еще такой системы на свете, которая могла бы побить рулетку или другую какую-нибудь азартную игру. Но все-таки мне приходится наблюдать непонятную полосу счастья, и я не могу допустить, чтобы банк потерпел крах; я должен предупредить это.

— Струсили?

— Азартная игра — такое же дело, как и всякое другое, мой друг. Мы не филантропы.

Вечер за вечером Смок продолжал выигрывать.

Он разнообразил свои методы игры. Среди толпы, осаждавшей стол, знатоки рулетки записывали его ставки и номера, тщетно пытаясь разгадать его систему. Они приходили в отчаяние оттого, что не могли уловить нити, и клялись, что это просто полоса счастья, — правда, счастья необыкновенного, такого, какого им до сих пор никогда не приходилось видеть.

Их сбивало с толку разнообразие его игры. По временам он изучал свою записную книжку, иногда углублялся в длинные вычисления, и проходил целый час, в течение которого он не делал ни одной ставки. А иногда он ставил три максимальных ставки и выигрывал по тысяче долларов в пять или десять минут. Или же его тактика сводилась к тому, что он, ко всеобщему удивлению, разбрасывал по всему столу щедрой рукой отдельные фишки. Это продолжалось от десяти до тридцати минут, потом вдруг, неожиданно, когда шарик, вертясь, делал свой последний круг, он ставил высшую ставку на колонну, цвет и номер и брал все три выигрыша. Однажды, чтобы сбить с толку тех, кто пытался разгадать его тайну, он проиграл подряд сорок высших ставок на номера; но каждый вечер, как бы Смок ни разнообразил свою игру, Малыш приносил домой три тысячи

пятьсот долларов.

— Это вовсе не система, — разглагольствовал Малыш во время одной из бесед перед сном. — Я все время слежу за тобой и никак не могу разобраться во всем этом. Ты никогда не играешь два раза подряд одинаково. И вся твоя игра заключается в том, что ты выигрываешь, когда хочешь; а когда не хочешь, то не выигрываешь.

— Может быть, ты ближе к истине, чем думаешь, Малыш. Иногда мне нужно проигрывать. Это входит в мою систему.

— Система, черт бы ее побрал! Я говорил со всеми игроками в городе, и все до последнего согласны с тем, что систем не существует.

— И несмотря на это, я им все время демонстрирую систему.

— Послушай, Смок, — Малыш замер над свечкой, собираясь погасить ее. — Меня это страшно волнует. Может быть, ты думаешь, что это свечка? Нет, это не свечка! И я — не я. Я нахожусь где-то в пути, лежу на спине, с открытым ртом, завернувшись в одеяла, и вижу все это во сне. И со мной разговариваешь не ты, точно так же, как эта свечка — не свечка.

— Странно, каким же образом и я вижу те же сны? — настаивал Смок.

— Нет, это не ты. Ты часть моего сна — вот и все. В моих снах разговаривает много народу, и я их слышу. Вот что я хочу сказать тебе, Смок. Я скоро свихнусь окончательно, я сойду с ума. Если этот сон будет еще продолжаться, то я перекушу себе жилы и завою не своим голосом.

6

На шестую ночь игры в «Элькгорне» ставку понизили до пяти долларов.

— Прекрасно, — сказал Смок крупье. — Мне, как всегда, требуется сегодня три тысячи пятьсот, и вы только заставите меня дольше играть. Мне придется угадать вдвое больше номеров, вот и все.

— Почему вы не хотите перейти к какому-нибудь другому столу? — злобно спросил крупье.

— Потому что мне нравится именно этот. — Смок покосился на гудевшую печку в нескольких футах от него. — Потому что здесь нет сквозняков, здесь тепло и уютно.

На девятую ночь, когда Малыш принес домой песок, он едва не сошел с ума.

— Больше я не могу, Смок! Больше не могу! — начал он. — Я дошел до точки. Это не сон. Я не сплю. Системы не существует, но в то же время у

тебя система! Тройного правила нет. Календаря не существует. Все перевернулось вверх дном. Законов природы не осталось больше и в помине. Таблица умножения полетела к черту. Два — это восемь, девять, одиннадцать, а дважды два это будет восемьсот сорок шесть с половиной. Кое-что — это все, ничего — это все; а дважды все — чепуха на молоке и коленкоровые лошади. Ты придумал систему. Цифры побивают цифры. То, чего нет, есть; чего не может быть — будет. Солнце встает на западе; луна — золотой блин; звезды — банки из-под консервов; цинга — благословение Божие, и тот, кто умирает, снова воскресает. Скалы плавают, вода — это газ, я — не я, ты — кто-то другой, и может быть — мы близнецы, если мы вообще не картофель, жаренный в свинцовых белилах. Разбуди меня! Разбудите меня кто-нибудь! О! Разбудите же меня!

7

На следующее утро в хижину к ним явился посетитель. Смок знал его. Это был Гарвей Моран из «Тиволи», где ему принадлежали все игорные столы. В его низком грубом голосе звучали умоляющие нотки, когда он начал излагать свою просьбу.

— Дело вот в чем, Смок, — начал он. — Вы всем нам задали задачу. Я пришел от имени девяти владельцев салунов в нашем городе. Мы решительно ничего не понимаем. Мы знаем, что в рулетке не существует системы. И все математические головы в колледжах говорили нам то же самое. Они говорили, что рулетка сама по себе уже является системой, единственной системой, и что поэтому никакая другая система не может победить ее. Иначе вся арифметика полетела бы к черту.

Малыш энергично закивал головой.

— Если система может победить систему, то в таком случае системы нет, — продолжал гость. — И тогда все возможно: одна и та же вещь может быть в двух местах одновременно, или две вещи — в одном и том же месте, где может поместиться только одна.

— Что же, вы видели мою игру, — вызывающе сказал Смок. — Если вы считаете, что это только счастье, то из-за чего же вам беспокоиться?

— В том-то и беда, что мы не можем не беспокоиться. У вас система, и вместе с тем мы знаем, что ее быть не может. Я следил за вами пять вечеров подряд, и все, что я мог уловить, это то, что вы отдаете предпочтение нескольким номерам, и на

них вы и выигрываете. И вот мы, десять владельцев салунов, сговорились и хотим сделать вам одно предложение. Мы хотим устроить рулетку в задней комнате «Элькгорна», заложить банк и предложить вам играть против нас. Все это будет сделано негласно. Только Малыш, вы да мы. Что вы на это скажете?

— А я скажу вот что, — отвечал Смок. — Приходите вы ко мне. Я буду играть сегодня в «Элькгорне», в помещении бара. Если желаете, можете прийти туда смотреть мою игру.

8

В этот вечер, когда Смок занял свое обычное место за столом, крупье прекратил игру.

— Игра прекращается, — сказал он. — Так приказал хозяин.

Но не так-то легко было запугать собравшихся в баре других владельцев салунов. Через несколько минут они открыли игру, вложив каждый по тысяче, и заняли стол.

— Ну, пожалуйте! — предложил Смоку Гарвей Моран, когда крупье пустил шарик по кругу.

— Дайте мне предельную ставку двадцать пять, — попросил Смок.

— Отлично, идет.

Смок сейчас же поставил двадцать пять фишек на «двойное зеро» и выиграл.

Моран вытер пот со лба.

— Продолжайте, — сказал он, — в банке у нас десять тысяч.

Через полтора часа десять тысяч перешли к Смоку.

— Банк сорван! — объявил крупье.

— Довольно с вас? — спросил Смок.

Владельцы игорных столов переглянулись. Они были преисполнены благоговейного ужаса. Они, эти разжиревшие любимцы закона, управляющего слепым счастьем, были побиты. Перед ними стоял человек, который был ближе к этим силам, либо которому удалось вызвать какие-то еще более могучие, неведомые силы.

— Мы закончили, — заявил Моран. — Не так ли, Бэрк?

Большой Бэрк, которому принадлежала рулетка, в салунах М и Г, кивнул в знак согласия.

— Невозможное случилось, — сказал он. — Этот самый Смок, которого вы видите перед собой, придумал систему. Если мы позволим ему продолжать, то мы все обанкротимся. На мой взгляд, единственное, что нам остается, чтобы сохранить наше дело, это понизить ставку до одного

доллара или до десяти центов, а то и до одного цента. С такими ставками он не очень-то много выиграет за ночь.

Все посмотрели на Смока. Он пожал плечами.

— В таком случае, господа, мне придется нанять целую артель людей, которые будут играть за всеми вашими столами. Я буду платить им по десять долларов за четырехчасовую смену и заработаю свой выигрыш.

— Тогда нам придется прикрыть свое дело, — проговорил Большой Бэрк, — если только… — Он в нерешительности замолчал и окинул взглядом своих товарищей, как бы желая убедиться в том, что они согласны с ним. — …если только вы не согласитесь на одну комбинацию. За сколько вы согласны были бы продать вашу систему?

— За тридцать тысяч долларов, — отвечал Смок. — Это выйдет по три тысячи на человека.

Они посовещались и согласились.

— И вы откроете нам вашу систему?

— Да, конечно.

— И вы обещаете никогда больше не играть в рулетку в Доусоне?

— Нет, этого я не обещаю, — решительно отвечал Смок, — я обещаю только не играть больше по этой системе.

— Боже мой! — воскликнул Моран. — Надеюсь, у вас нет в запасе еще и другой системы?

— Стойте! — крикнул Малыш. — Мне надо поговорить с моим товарищем. Отойдем в сторонку, Смок.

Смок последовал за ним в отдаленный угол комнаты, между тем как сотни глаз с любопытством устремились на него и на Малыша.

— Послушай-ка, Смок, — хриплым голосом зашептал Малыш, — может быть, это и не сон, и в таком случае ты очень продешевил. Ведь это дело миллионами пахнет. Поприжми-ка их хорошенько.

— Ну, а если это сон? — тихо спросил Смок.

— Тогда во имя этого самого сна и нагрей их, голубчиков, как следует! Какая же радость от сна, если он не приводит тебя к верному и приятному концу?

— К счастью, это не сон, Малыш.

— В таком случае я тебе никогда не прощу, если ты продашь свой секрет за тридцать тысяч.

— Если я продам его за тридцать тысяч, ты бросишься мне на шею, проснешься и убедишься в том, что ты вовсе не спал. Это не сон, Малыш. Через две минуты ты увидишь, что ты все время бодрствовал. Имей в виду, что если я продаю, то,

значит, необходимо продать.

Вернувшись к столу, Смок объявил, что его предложение остается в силе. Хозяева салунов протянули ему расписки, каждый на три тысячи.

— Требуй лучше песок, — предупредил его Малыш.

— Должен сказать вам, что мне хотелось бы иметь эти деньги в песке, — сказал Смок.

Владелец «Элькгорна» взял расписки и отсыпал Малышу на тридцать тысяч долларов золотого песку.

— Ну, вот, теперь мне и просыпаться не надо! — воскликнул он, взвешивая на руке драгоценные мешки. — Если подсчитать, то в общем сон этот принес нам семьдесят тысяч. И теперь мне было бы чертовски невыгодно раскрывать глаза, вылезать из-под одеял и приниматься за приготовление завтрака.

— Какова же ваша система? — спросил Большой Бэрк. — Мы заплатили и желаем знать.

Смок направился к столу.

— Теперь, господа, слушайте внимательно. Эта система не простая. Она едва ли может называться законной, но в ней есть одно большое достоинство: она дает хорошие результаты. У меня явились некоторые подозрения, но пока я еще

ничего не скажу. Следите за мной. Пожалуйста, пустите шарик! Видите, я собираюсь выиграть на «26». Я ставлю на этот номер. Приготовьтесь, крупье… Пустите!

Шарик завертелся.

— Вы обратили внимание, — продолжал Смок, — что номер «9» был как раз напротив?

Шарик остановился на «26».

Большой Бэрк выругался где-то в недрах своей груди, и все ждали, что будет дальше.

— Для того, чтобы выиграть на «двойном зеро», необходимо, чтобы «11» было напротив. Попробуйте сами, и вы увидите.

— Ну, хорошо. А система? — нетерпеливо спросил Моран. — Мы знаем, что вы мастер забирать деньги и угадывать номера. Но как вы это делаете?

— Путем наблюдения за последовательностью выигрышей. Совершенно случайно я два раза заметил, что шарик был брошен, когда «9» находилось напротив. И оба раза выиграло «26». Затем я обратил внимание, что это повторилось еще раз. Тогда я стал искать случаи других совпадений и нашел их. «Двойное зеро» напротив дает выигрыш на «32», а «11» дает выигрыш на «двойном зеро». Это бывает не всегда, но обычно

удается. Вы обратили внимание, я сказал — обычно? Как я уже говорил вам, у меня есть кое-какие подозрения, но пока что я молчу.

Большой Бэрк, которого внезапно осенило вдохновение, вскочил, остановил колесо и внимательно стал его осматривать. Головы девяти остальных компаньонов наклонились вперед, и все присоединились к изучению колеса. Большой Бэрк выпрямился и покосился на печку.

— Черт возьми, — произнес он, — да тут и не было вовсе никакой системы! Стол стоит возле самой печки, и это проклятое колесо от нагревания затирает. Мы попали впросак. Немудрено, что он так полюбил этот стол. За другим столом он не выиграл бы даже и кислых яблок.

Гарвей Моран облегченно вздохнул и вытер лоб.

— Что же, прекрасно, — сказал он, — в конце концов, нам дешево обошлось открытие, что тут и не существует никакой системы. — Лицо его повеселело, он расхохотался и хлопнул Смока по плечу. — Ну, и поводили же вы нас за нос, Смок! А мы-то из кожи лезли, чтобы сплавить вас! Вот что, я получил настоящее шампанское. Идемте все в «Тиволи», и я его откупорю.

Позже, у себя в хижине, Малыш молча разби-

рал и взвешивал туго набитые мешки с золотым песком. Наконец он сложил их все на столе и, усевшись на край скамьи, начал снимать мокасины.

— Семьдесят тысяч, — повторил он. — Они весят триста пятьдесят фунтов. И все это благодаря нагреванию какого-то колеса и зоркому глазу. Смок, ты слопал их сырыми, ты слопал их живьем, ты чуть ли не под водой колдуешь, ты довел меня до белой горячки — и все-таки, я уверен, что это сон! Только во сне бывают такие приятные вещи. Мне страсть как не хочется просыпаться. И я надеюсь, что никогда не проснусь.

— Успокойся, — сказал Смок. — Ты и не проснешься. Существует кучка философов, которые уверяют, будто люди всю жизнь проводят в сонных грезах. Ты попал в прекрасное общество.

Малыш встал, подошел к столу, выбрал самый тяжелый мешок и прижал его к своей груди, точно маленького ребенка.

— Пускай я буду лунатиком, — заявил он, — но ты правду сказал, я действительно нахожусь в самом лучшем обществе.

Человек на другом берегу

1

Это произошло прежде, чем Смок Беллью занял анекдотический городской участок возле Тру-ля-ля, проделал историческую спекуляцию с яйцами, которая чуть не съела целиком банковского счета Билла с Быстрых Вод, и вышел победителем из состязания на собаках вниз по Юкону на приз в миллион долларов. Он и Малыш расстались в Верхнем Клондайке. Малыш должен был спуститься по Клондайку в Доусон, чтобы там сделать заявку на несколько участков, которые они заняли.

Смок с упряжкой отправился на юг — разыскивать Нежданное озеро и мифические Два Сруба. Его путь лежал через водоем Индейской реки и через неведомую местность, по горам, к реке Стюарт. Там, по слухам, должно было находиться окруженное зубчатыми горами и ледниками Нежданное озеро, дно которого было выложено чистым золотом. Как говорила молва, золотоискатели-старожилы, имена которых давно были преданы забвению, ныряли в ледяную воду Неж-

данного озера и выносили оттуда на поверхность золотые самородки. В различные времена отдельные партии золотоискателей проникали за неприступную твердыню и обирали золотое дно озера. Но вода в озере была ледяная. Многие умирали в воде, и их вытаскивали уже бездыханными. Другие умирали от чахотки. Оставшиеся в живых предполагали вернуться еще раз сюда, чтобы осушить озеро, но никто из них не выполнил этого намерения. С ними происходили всевозможные несчастья. Один попал в полынью на Юконе ниже Сороковой Мили; другого растерзали и съели его собственные собаки; третьего раздавило упавшее дерево. Так передавала молва. Нежданное озеро превратилось в место, населенное нечистой силой; никто больше не помнил, как можно пройти к нему, и золото по-прежнему покрывало его неосушенное дно.

Местонахождение Двух Срубов — не менее мифических — указывалось несколько точнее. На расстоянии «пяти ночлегов» от реки Стюарт, вверх по реке Мак-Квещен, стояли два старых сруба. Они были такие ветхие, что, должно быть, их поставили еще до того, как первый золотоискатель появился в бассейне Юкона. Странствующие охотники за лосями, с которыми Смок встречался

в пути и разговаривал, уверяли, будто они набрели на эти две хижины несколько лет назад, но напрасно искали те золотые россыпи, которые, по слухам, разрабатывали там прежние искатели приключений.

— Мне хотелось бы, чтобы ты отправился со мной, — задумчиво произнес Малыш, когда они расставались. — Из-за того только, что у тебя в ногах зуд, не стоит ввязываться в разные неприятности. Их не оберешься в этом проклятом месте. А что тут орудует нечистая сила, так это верно, судя по тому, что мы с тобой слышали.

— Хорошо, Малыш. Я немножко проедусь и вернусь обратно в Доусон не позже чем через шесть недель. Путь по Юкону гладок, и первые сто миль или около того по Стюарту тоже, вероятно, укатаны. Старожилы с Гендерсона говорили мне, что несколько саней отправились туда осенью после ледостава. Если я нападу на их след, я буду делать по сорок, а то и по пятьдесят миль в день. Я наверное через месяц уже буду здесь, только бы мне добраться!

— Только бы добраться! Вот это и беспокоит меня. Ну, пока до свидания, Смок. Держи ухо востро насчет нечистой силы — это главное. И не смущайся, если тебе придется вернуться без

«медвежатины».

2

Неделю спустя Смок очутился среди беспорядочно нагроможденных горных цепей южнее Индейской реки. На хребте между этой рекой и Клондайком он бросил сани и нагрузил своих собак. Шесть громадных собак понесли каждая по пятьдесят фунтов, и на спине Смока была точно такая же ноша. Он шел впереди по рыхлому снегу, утаптывая его лыжами, а за ним вереницей пробирались собаки.

Он полюбил эту жизнь, эту суровую полярную зиму, молчаливую пустыню и беспредельные снежные пространства, по которым еще не ступала нога человека. Кругом возвышались ледяные вершины гор, безымянных, не нанесенных на карты. Его глаз ни разу не уловил и следов дымка, поднимающегося в неподвижном воздухе долин от охотничьего лагеря. Он шел один среди задумчивого покоя нетронутой пустыни, и одиночество не тяготило его. Он любил все это — и тяготы трудового дня, и грызню собак, и приготовления к ночлегу в долгие сумерки, и мерцание звезд над головой, и пышное зрелище северного сияния.

В особенности же он любил свой лагерь к концу

дня; в нем он видел картину, которую мечтал когда-нибудь написать и которую, он знал, никогда не забудет — утоптанная площадка в снегу с разведенным костром; несколько одеял из заячьих шкурок, брошенные на только что срубленные ветви; натянутый кусок парусины, задерживающий и отбрасывающий назад тепло от костра; почерневший кофейник и котелок на длинном шесте; мокасины, развешанные на жердях для просушки, лыжи в снегу острием вверх, и сквозь пламя костра — собаки, льнущие к теплу, голодные и алчные, лохматые, покрытые инеем, с пушистыми хвостами, которыми они заботливо прикрывают себе лапы. А кругом — оттесненная назад стена сплошного мрака.

В такие минуты Сан-Франциско, «Волна» и О'Хара казались бесконечно далекими, затерявшимися в незапамятном прошлом тенями несбывшихся снов. Ему с трудом верилось, что он когда-то знал иную жизнь; и еще труднее ему было примириться с мыслью, что он когда-то прозябал и болтался среди богемы в городской суете. Один, среди снегов он много размышлял, и мысли его стали глубже и проще. Его приводила в ужас никчемность городской жизни, дешевая философия книг и школ, рассудочный цинизм

артистических студий и редакций, лицемерие дельцов в их клубах. Все люди, живущие в городской суете, не знали как следует ни вкуса пищи, ни настоящего сна, ни ощущения здоровья; им не были знакомы ни томления настоящего аппетита, ни чувство здоровой усталости, ни бушевание кипучей сильной крови, пощипывающей после работы все тело, точно вино.

Этот чудесный разумный спартанский Север существовал во все времена, и он не знал этого. Он не мог понять, каким образом он, обладающий внутренним чутьем, ни разу не слыхал его призывного шепота, не отправился на его поиски.

— Понимаешь, Рыжий, я все-таки вырвался на свободу.

Собака, которую он позвал, подняла сначала одну переднюю лапу, потом другую — быстрым, точно успокаивающим движением снова закрыла их своим пушистым хвостом и усмехнулась ему сквозь пламя костра.

— Герберту Спенсеру было около сорока лет, когда он понял вдруг, чего он хочет и где цель его жизни. Я не так тяжел на подъем. Я не стал ждать и тридцати, чтобы понять себя. Здесь как раз я нашел свою цель и свое призвание. Мне почти хотелось бы, Рыжий, родиться волчонком и быть

братом тебе и тебе подобным.

Несколько дней он пробирался среди хаоса ущелий и гор, которые невозможно было подчинить какому-либо топографическому плану. Казалось, их набросал сюда какой-то космический проказник. Напрасно Смок искал речки или ручьи, которые должны были течь по направлению к югу, к рекам Мак-Квещен и Стюарт. И вдруг разразилась буря в горах, налетел снежный ураган, поднявший настоящий ад в глубоких пустынных ущельях. Находясь выше полосы леса, Смок два дня бродил ощупью без огня и искал спуска. На второй день он добрался до края высокой каменной стены. Снег был так густ, что Смок не мог разглядеть основание этой стены; начать спускаться было бы слишком рискованно. Он завернулся в свои одеяла, и собаки окружили его, тесно прижавшись друг к другу в глубине снежного сугроба. Но заснуть он боялся.

Наутро буря стихла, и он выполз из-под одеял, отправившись на разведку. На расстоянии четверти мили ниже его, вне всякого сомнения, лежало замерзшее озеро, занесенное снегом. Кругом со всех сторон возвышались зубчатые горы. Все соответствовало описанию. Смок нечаянно нашел Нежданное озеро.

— Удачное название, — пробормотал он час спустя, выходя на берег. Деревьев, кроме небольшой группы вековых сосен, здесь не было. Спускаясь к озеру, он наткнулся на три могилы, занесенные снегом, которые можно было узнать по грубо высеченным столбам, стоявшим в головах, с неразборчивыми надписями. Около сосен виднелась небольшая ветхая хижина. Он поднял щеколду и вошел. В углу, на том, что некогда было постелью из сосновых ветвей, лежал скелет, завернутый в грязные меха, превратившиеся теперь в груду лохмотьев. «Последний посетитель Нежданного озера», — подумал Смок, поднимая кусок золота величиной в два кулака. Рядом с этим куском стояла банка из-под перца, наполненная самородками величиной с грецкий орех, с шероховатой поверхностью, без следов промывки.

Смок без всяких колебаний решил — настолько сильна была его вера в рассказы про озеро, — что золото это добыто со дна озера. Под слоем льда в несколько футов толщиной оно было недоступно, и ему теперь нечего было здесь делать. В полдень он бросил прощальный взгляд с края скалистой стены на открытое им озеро.

— Все в порядке, мой друг Озеро, — проговорил он. — Ты прекрасно сделаешь, если останешься

на своем старом месте. Я вернусь сюда, чтобы осушить тебя, если только не попадусь в лапы нечистой силе. Не пойму, как я попал сюда, но я узнаю это по тому, как выберусь отсюда.

3

В небольшой долине на берегу замерзшего ручья, под благодетельной защитой нескольких сосен Смок четыре дня спустя развел костер. Где-то там, в белом хаосе, который он оставил позади, должно было находиться Нежданное озеро — где-то, но он не мог уже сказать — где, потому что четверо суток, в течение которых он пробирался вперед, борясь с густым, слепящим глаза снегом, скрыли путь к нему, и Смок не знал, в каком направлении оно находилось. У него было такое чувство, точно он только что пришел в себя после кошмара. Он не отдавал себе отчета в том, прошло ли четыре дня или целая неделя. Он спал вместе с собаками, пробирался через бесчисленное множество мелких перевалов, следовал за извилинами страшных ущелий, оканчивающихся тупиками, причем ему только два раза удалось развести костер и отогреть мороженую оленину. И вот теперь он был сыт и прекрасно отдохнул. Буря прошла, было ясно и холодно. Местность

снова приняла свой обычный вид. Речка, на которой он оказался, была самая обыкновенная и направлялась, как оно и должно было быть, на юго-запад. Но Нежданное озеро было потеряно для него точно так же, как оно было потеряно для всех исследователей в далеком прошлом.

Полдня пути вниз по речке привели его в долину большой реки, которая, по его расчетам, и была Мак-Квещен. Здесь он застрелил лося, и собаки опять понесли на себе по пятьдесят фунтов мяса. Спустившись по Мак-Квещен, он набрел на санный путь. Недавно выпавший снег слегка запорошил его сверху, но снизу он был прекрасно укатан. Смок решил, что на Мак-Квещен были расположены два лагеря и что этот путь соединял их. Очевидно, Два Сруба были открыты, и он отправился вниз по течению.

Было сорок градусов ниже нуля, когда он расположился на ночлег, и он заснул, раздумывая над тем, кто были люди, открывшие Два Сруба, и найдет ли он их на следующий день. С первыми проблесками рассвета он пустился в путь, без особого труда следуя по полузанесенной дороге и утаптывая недавно выпавший снег лыжами, чтобы собаки не проваливались.

И тут-то произошло нечто неожиданное —

неожиданность эта подкарауливала его на повороте реки. Ему казалось, что он услышал и почувствовал одновременно. Гул ружейного выстрела раздался справа, и пуля, прорвав плечо его парки[45] и шерстяной куртки, силой удара заставила его повернуться вокруг своей оси. Он зашатался на своих лыжах, пытаясь восстановить равновесие, и услыхал второй выстрел. На этот раз стрелявший промахнулся. Смок не стал дольше ждать и бросился ползком по снегу под защиту деревьев, растущих на берегу в ста футах. Еще и еще раз прогремел выстрел, и Смок сделал неприятное открытие, что по спине у него струится теплая жидкость.

Он вскарабкался на берег, собаки за ним и углубился в чащу деревьев и кустарников. Сойдя с лыж, он пополз по снегу и осторожно выглянул. Ничего не было видно. Тот, кто в него стрелял, вероятно, спокойно лежал в засаде между деревьями на противоположном берегу.

— Если в ближайшие минуты не случится что-нибудь, — пробормотал Смок через полчаса, — то придется выбраться отсюда и развести огонь, а не то я отморожу себе ноги. Рыжий, как бы ты

---

[45] Примечания: 45

Парка — широкая верхняя одежда из меха, которую обычно носят эскимосы и другие жители полярных стран.

поступил на моем месте, если бы ты лежал на морозе с застывающей в жилах кровью, а перед тобой был бы человек, который во что бы то ни стало хотел бы пустить в тебя пулю?

Он отполз на несколько ярдов назад, утоптал снег, проплясал джигу, от которой кровь снова прилила к его ногам, и устроился так, чтобы выдержать еще полчаса. И вдруг с реки до него донесся звон бубенчиков на собаках. Выглянув, он увидел сани, выехавшие из-за поворота реки. У рулевого шеста бежал человек. Это появление произвело на Смока потрясающее впечатление: это было первое человеческое существо, которое он увидел с тех пор, как расстался с Малышом три недели назад. Вторая его мысль была о человеке, стрелявшем из засады на другом берегу.

Смок предостерегающе свистнул. Человек не слышал его и продолжал бежать. Смок свистнул еще раз, громче. Человек гикнул на собак, остановился и обернулся к Смоку лицом в ту самую минуту, когда грянул выстрел. В следующее мгновение Смок выстрелил по направлению деревьев на звук выстрела. Человек на реке был сражен первым же выстрелом. Сила удара пули была так велика, что он пошатнулся. Его сильно качнуло к саням, он наполовину упал и вытащил

из-под упряжи ружье. В то время как он пытался поднести его к плечу, он скорчился, бессильно опустился и принял сидячее положение, прислонившись к саням. Потом внезапно, после того как ружье выстрелило в небо, он опрокинулся назад в угол саней, так что Смоку были видны только его ноги и живот.

С низовьев реки послышался звон новых бубенчиков. Человек не шевелился. Из-за поворота показалось трое саней в сопровождении шести человек. Смок предостерегающе крикнул им, но они уже видели, что с первыми санями случилось что-то неладное, и бросились к ним. На другом берегу выстрелы прекратились, и Смок вышел из засады, позвав собак. Среди новоприбывших раздались возгласы, и двое из них, сбросив с правой руки рукавицы, направили в него свои ружья.

— Поди сюда ты, убийца! — крикнул один из них, человек с черной бородой. — И сейчас же брось ружье в снег!

Смок в нерешительности колебался, потом бросил ружье и пошел к ним.

— Обыщи его, Луи, да отбери у него оружие, — скомандовал чернобородый.

Луи, канадский француз, как решил Смок, выполнил приказание. Он нашел у Смока только

охотничий нож, который и был отобран.

— Ну, что вы можете сказать в свое оправдание, незнакомец, пока я не пристрелил вас? — спросил чернобородый.

— Что вы ошибаетесь, думая, будто я убил этого человека, — отвечал Смок.

В эту минуту раздались возгласы. Один из новоприбывших, осматривая дорогу, нашел следы, оставленные Смоком на снегу, когда он свернул к деревьям на берегу реки. Человек по-своему объяснил происхождение этих следов.

— Почему вы убили Джо Кинэда? — спросил человек с черной бородой.

— Я уже сказал вам, что это не я… — начал было Смок.

— Нечего зря болтать. Мы поймали вас на месте преступления. Вот здесь вы сошли с дороги, когда услыхали, что он едет. Вы залегли среди деревьев, устроили засаду; вы стреляли в упор. Промаха быть не могло. Пьер, принеси-ка ружье, которое он бросил.

— Дайте мне рассказать, как все произошло, — проговорил Смок.

— Замолчите, — рявкнул на него чернобородый, — ваше ружье расскажет нам все.

Все принялись рассматривать ружье Смока,

вынули и пересчитали патроны и внимательно исследовали дуло и магазин.

— Один выстрел, — решил чернобородый.

Пьер, у которого ноздри раздувались и дрожали, как у животного, понюхал магазин.

— Один выстрел и совсем свежий, — сказал он.

— Пуля попала ему в спину, — заметил Смок. — Он стоял обернувшись ко мне лицом, когда в него выстрелили. Вам не ясно, что стреляли с другого берега?

Одно мгновение чернобородый взвешивал это предположение, потом покачал головой.

— Нет. Не годится. Поверните его лицом к тому берегу. Вот как вы угодили ему в спину. Кто-нибудь из вас, ребята, пробегитесь-ка по дороге и посмотрите, нет ли следов к тому берегу.

Рапорт гласил, что на той стороне снег был нетронут. Даже заячьего следа и то не было. Чернобородый нагнулся над убитым и выпрямился, держа в руках мохнатый шерстистый пыж. Разрезав его, он нашел в самой середине пулю, которая пронзила тело убитого. Передний конец ее расплющился и был величиной с полдоллара, а другой конец, покрытый сталью, был невредим. Он сравнил ее с патроном, вынутым из патронташа Смока.

— Дело ясное, незнакомец, — слепой и тот поймет. Нос у нее мягкий, конец стальной; и у вашей нос мягкий и конец стальной. Калибр ее тридцать три, и у вашей тридцать три. Фирма Оружейной Компании Г. и Т., и ваша изготовлена Оружейной Компанией Г. и Т. Пойдемте-ка вместе с нами на берег и посмотрим, как вы все это проделали.

— На меня самого напали из засады, — проговорил Смок. — Взгляните на дыру в моей парке.

Пока чернобородый исследовал парку Смока, один из его спутников раскрыл магазин ружья убитого. Судя по всему, из него был сделан один выстрел. Пустой патрон был налицо.

— Досадно, черт побери, что бедняга Джо не попал в вас, — произнес с горечью чернобородый. — И все-таки недурной выстрел с такой-то дырой в теле, как у него. Ну, пошли!

— Обыщите сначала тот берег, — настаивал Смок.

— Довольно разговаривать, идемте, и пусть факты сами говорят за себя.

Они сошли с дороги в том самом месте, где сошел Смок, и пошли по его следам к берегу, в чащу деревьев.

— Он плясайт тут и согревайт нога, — указал Луи. — Тут он ползать на живот. Тут он поставит

локоть и стреляйт…

— Клянусь богом! Вот и пустой патрон! — сделал новое открытие чернобородый. — Ребята, нам остается только одно…

— Прежде спросите меня, почему я сделал этот единственный выстрел, — прервал его Смок.

— Я вобью тебе зубы в самую глотку, если ты будешь мешаться не в свое дело. Ты будешь отвечать, когда тебя будут спрашивать. Вот что, ребята, все мы люди порядочные и уважаем закон, и мы будем действовать по закону, как полагается. Далеко мы, по-твоему, отъехали, Пьер?

— Миль двадцать будет.

— Прекрасно. Мы припрячем наши пожитки и повезем его и беднягу Джо обратно в поселок Два Сруба. Я думаю, что мы достаточно видели, и наших показаний будет довольно, чтобы его вздернули.

4

Три часа спустя после наступления темноты Смок и захватившие его золотоискатели вместе с телом убитого товарища подъехали к Двум Срубам. При свете звезд Смоку удалось рассмотреть около дюжины недавно построенных хижин, ютившихся возле старого дома, который был

больше других и стоял на самом берегу реки. Смока втолкнули в этот дом, и он увидел молодого гиганта с женой и слепым стариком. Жена, которую муж называл Люси, была статная женщина того типа, который часто встречается на границе. Старик, как потом узнал Смок, был долгие годы охотником на реке Стюарт и ослеп прошлой зимой. Поселок Два Сруба, как тоже впоследствии узнал Смок, был разбит прошлой осенью двенадцатью золотоискателями, приехавшими сюда на шести лодках, нагруженных припасами. Здесь они нашли слепого охотника и вокруг его дома выстроили свои собственные. Более поздние пришельцы, прибывшие по льду на собаках, утроили население. Мяса здесь было достаточно, кроме того, здесь оказался золотоносный пласт, который прибывшие и принялись разрабатывать.

Через пять минут все мужчины Двух Срубов набились в комнату. Смок, затиснутый в самый угол, среди чужих, неприязненно настроенных людей, со связанными руками и ногами, занимался наблюдениями. Он насчитал тридцать восемь человек — дикая, страшная шайка — все выходцы из ближайших штатов или искатели приключений из Верхней Канады. Схватившие его люди рассказывали, каждый в отдельности,

его историю и составляли центр возбужденной и враждебной Смоку группы. Раздавались восклицания:

— Линчевать его, и дело с концом, чего еще ждать!

А одного громадного детину, ирландца, едва удержали: он хотел броситься на беспомощного пленника и избить его.

Пересчитывая собравшихся, Смок вдруг увидел знакомое лицо. Это был Брэк, тот самый Брэк, лодку которого Смок переправил через пороги. Он недоумевал, почему тот не подойдет к нему и не заговорит, но сам он и виду не показывал, что узнал его. Потом, когда Брэк исподтишка сделал ему знак, Смок понял.

Чернобородый, которого звали Эли Гардинг, прекратил споры о том, линчевать ли немедленно пленника.

— Стойте! — прогремел Гардинг. — Не торопитесь! Этот человек принадлежит мне. Я поймал и доставил его сюда. Уж не воображаете ли вы, что я притащил его сюда только для того, чтобы линчевать? Вовсе нет. Это я мог сделать и сам, когда он попался мне в руки. Я привез его сюда для справедливого и правильного суда, и, клянусь Богом, суд будет правильный и справедливый.

Мы доставили его целым и невредимым. Бросьте его на койку до утра, а завтра мы устроим суд.

5

Смок проснулся. Ледяная струя воздуха сверлила ему плечо в то время, как он лежал на боку, повернутый лицом к стене. Когда его бросили сюда, этой струи не было, а теперь холодный воздух снаружи, проникающий в разгоряченную атмосферу хижины с силой давления в 50° ниже нуля, служил явным доказательством того, что кто-то снаружи вытащил мох, забитый между бревнами. Смок подвинулся, насколько ему позволяли его узы, вытягивая шею до тех пор, пока ему не удалось приблизить губы к щели между бревнами.

— Кто там? — шепотом спросил он.

— Брэк, — услыхал он в ответ. — Осторожно, не шумите. Сейчас я просуну вам нож.

— Не стоит, — проговорил Смок. — Ни к чему. Руки у меня связаны сзади и привязаны к ножке койки. Кроме того, вам не просунуть ножа через эту щель. Но что-нибудь нужно сделать. Эти парни, кажется, ничего не имеют против того, чтобы меня повесить, а ведь я не убивал этого человека.

— Вы напрасно мне это говорите, Смок. А если вы и убили, то, значит, у вас были на то основания. Не в этом дело. Мне хотелось бы вас выручить. Здешние люди — народ упрямый. Вы сами видели. Отрезанные от мира, они сочиняют и навязывают всем свои собственные законы — через собрания золотоискателей. Они расправились недавно с двумя: оба провинились в краже припасов. Одного они выгнали из поселка без единой унции пищи и без спичек. Он сделал около сорока миль и через два-три дня замерз. Две недели назад они прогнали еще одного. Ему был предоставлен выбор: или уйти совсем без пищи, или получить по десяти ударов плети за дневное пропитание. Он выдержал только сорок ударов. Теперь вы попались к ним в лапы, и они все до последнего уверены, что Кинэда убили вы.

— Человек, убивший Кинэда, стрелял также и в меня. Его пуля задела мне плечо. Попробуйте уговорить их отложить суд до тех пор, пока кто-нибудь из них не исследует берег, где скрывался убийца.

— Бесполезно. Они верят Гардингу и пяти французам, которые были с ним. К тому же они давно никого не вешали, и у них руки чешутся. Надо сказать, что жизнь здесь крайне однообразна. Им

не удалось напасть на что-нибудь интересное, а искать Нежданное озеро им уже надоело. В самом начале зимы они устраивали состязания на заявки, но теперь и это бросили. Среди них появилась цинга, и они жаждут сильных ощущений.

— И, по-видимому, мне суждено дать им это ощущение? — заметил Смок. — Скажите мне, Брэк, как вы попали в компанию этой проклятой шайки?

— После того как я занял заявки на Бабьем ручье и поставил там на работу нескольких человек, я забрел сюда в поисках Двух Срубов и попал к ним в лапы. Они заставили меня подняться выше по Стюарту. Вернулся я только вчера, потому что у меня кончились припасы.

— Нашли что-нибудь?

— Мало. Но у меня есть один проект гидравлического сооружения, от которого я жду многого, когда вскроются реки. Или этот проект, или же золоточерпалка.

— Подождите, — прервал его Смок. — Одну минутку. Дайте сообразить.

Он внимательно прислушивался к храпению спящих, обдумывая мысль, мелькнувшую у него в голове.

— Скажите, Брэк, они открыли тюки с мясом,

которые были на собаках?

— Некоторые — да. Это было при мне. Они сложили их в кладовой Гардинга.

— Что там было?

— Мясо.

— Отлично. Разверните тюк, завернутый в коричневую парусину, заплатанную лосиной шкурой. Там вы найдете несколько фунтов золота в самородках. Вы никогда не видели здесь такого золота, да и никто не видел. Вот что вам придется сделать. Выслушайте меня!

Четверть часа спустя, снабженный инструкциями и жалуясь на отмороженные пальцы на ногах, Брэк ушел. Смок, чувствуя, что его собственный нос и одна щека застыли от близости щели, целых полчаса тер свое лицо об одеяло, пока щеки у него не загорелись и их не закололо, точно иголками.

6

— Мое убеждение непоколебимо. Нет никакого сомнения в том, что именно он убил Кинэда. Мы слышали всю историю еще вчера вечером. Стоит ли повторять ее сначала? Я голосую: виновен!

Так начался суд над Смоком. Оратор, нескладный и упрямый, малый из Колорадо, проявил

недовольство и негодование, когда Гардинг остановил его, требуя, чтобы все было сделано по правилам, и предложил одного из присутствующих, Шэнка Вильсона, в судьи и председатели собрания. Население Двух Срубов изображало собой присяжных, а женщина, Люси, после краткого совещания была лишена права голоса.

Между тем Смок, прижатый в угол, подслушал разговор, который шепотом вели между собой Брэк и один золотоискатель.

— Не продадите ли вы мне пятьдесят фунтов муки? — спросил Брэк.

— У вас не хватит песку, чтобы заплатить мне, — был ответ.

— Я дам двести.

Золотоискатель покачал головой.

— Триста! Ну, триста пятьдесят!

Когда Брэк дошел до четырехсот, золотоискатель кивнул головой в знак согласия:

— Пойдемте ко мне в хижину и отвесим песок.

Оба направились к двери и вышли. Через несколько минут Брэк вернулся один.

Гардинг как раз давал свои показания, когда Смок заметил, что дверь слегка приотворилась и в щелку заглянуло лицо того самого золотоискателя, который продал муку. Он гримасничал и

усиленно делал знаки кому-то в комнате, пока, наконец, золотоискатель, сидевший у печки, не встал и не пошел к двери.

— Ты куда, Сэм? — спросил Шэнк Вильсон.

— Я сейчас вернусь, — отвечал Сэм. — Мне нужно выйти.

Смоку разрешили задавать вопросы свидетелям, и он только что увлекся перекрестным огнем с Гардингом, как вдруг со двора донесся визг собак и скрип полозьев. Кто-то из сидящих у двери выглянул.

— Это Сэм с товарищем. Они точно сумасшедшие несутся по дороге к Стюарту, — сообщил он.

С полминуты никто не произносил ни слова, все многозначительно переглядывались, и в переполненной комнате чувствовалось всеобщее волнение. Уголком глаза Смок видел Брэка, Люси и ее мужа, которые о чем-то перешептывались.

— Послушайте-ка, вы, — грубо обратился Шэнк Вильсон к Смоку. — Сократите ваши вопросы. Мы отлично понимаем, на что вы напираете, — что тот берег не обыскан. Свидетель это допускает. Мы допускаем это. В этом нет необходимости. К тому берегу не вело никаких следов. Снег был нетронутый.

— Но на том берегу все-таки был человек, — на-

стаивал Смок.

— Не слишком увлекайтесь, молодой человек. Нас не так уж много на Мак-Квещен, и мы всех знаем наперечет.

— Кто был тот человек, которого вы выгнали две недели тому назад? — спросил Смок.

— Алонсо Мирамар. Мексиканец. Какое отношение имеет к вам этот воришка?

— Никакого решительно. Разве только, что его вы не приняли в расчет, господин судья.

— Он пошел вниз по реке, а не вверх.

— Откуда вы знаете, куда он пошел?

— Я видел, когда он уходил.

— И это все, что вы знаете о его судьбе?

— Нет, не все, молодой человек. Я знаю, да и все мы знаем, что пищи у него было с собой на четыре дня и что у него не было ружья, чтобы стрелять дичь. Если он не пошел в поселок на Юконе, он давно умер с голоду.

— По-видимому, в этой местности у вас все ружья сосчитаны? — ядовито заметил Смок.

Шэнк Вильсон вышел из себя.

— Можно подумать, что обвиняемый я, так вы засыпаете меня вопросами. Следующий свидетель! Куда же делся француз Луи?

Пока француз Луи пробирался вперед, Люси

отворила дверь.

— Куда вы? — спросил Шэнк Вильсон.

— А зачем мне здесь сидеть? — отвечала она вызывающе. — Голосовать мне нельзя, а кроме того, моя хижина так набита народом, что в ней дышать трудно.

Через несколько минут муж последовал за ней. Когда дверь со стуком затворилась, судья заметил, что кто-то вышел.

— Кто это? — спросил он, прерывая показания Пьера.

— Билл Пибоди, — ответил кто-то. — Он сказал, что ему нужно спросить о чем-то жену и что он скоро вернется.

Вместо Билла вернулась Люси, сняла меховую шубу и уселась на свое место возле печки.

— Я думаю, нам незачем выслушивать показания остальных свидетелей, — решил Шэнк Вильсон, когда Пьер кончил. — Мы знаем, что они подтвердят те же факты, которые нам и так известны. Слушай, Соренсон, пойди и позови Билла Пибоди. Мы сейчас вынесем приговор. Теперь, незнакомец, можете сказать все, что вы хотите. А мы, чтобы не терять попусту времени, пустим по рукам два ружья, патроны и пулю, которой было совершено убийство.

Во время рассказа Смока о том, как он попал в эти края, и в самый разгар описания нападения на него из засады и бегства на берег его прервал негодующий голос Шэнка Вильсона:

— Молодой человек, какой смысл в этом вашем рассказе? Вы только зря отнимаете драгоценное время. Понятно, вы имеете право лгать для спасения своей шкуры, но только мы не такие дураки, за каких вы нас принимаете. Ружье, патроны, пуля, которой был убит Джо Кинэд, — все говорит против вас… Что там такое? Отворите дверь!

Морозное облако ворвалось в комнату; оно приняло определенную форму и субстанцию в жаркой атмосфере, и в отворенную дверь донесся визг собак, который скоро замер вдали.

— Это Соренсон и Пибоди! — крикнул кто-то. — Они погнали собак вниз по реке.

— Какого черта… — Шэнк Вильсон так и остался с раскрытым ртом и посмотрел на Люси. — Надеюсь, вы объясните нам, миссис Пибоди?

Она покачала головой и сжала губы. Подозрительный и негодующий взгляд Шэнка Вильсона перешел на Брэка.

— И я думаю, что тот новичок, с которым вы перешептывались, тоже мог бы объяснить нам кое-что, если бы захотел.

Положение Брэка было не из приятных; все взоры устремились на него.

— Сэм сговаривался с ним о чем-то, прежде чем уйти, — заявил кто-то.

— Послушайте, мистер Брэк, — продолжал Шэнк Вильсон, — вы прервали наше заседание и поэтому извольте объяснить, в чем дело. О чем вы шептались?

Брэк нерешительно откашлялся и отвечал:

— Я хотел купить немного муки.

— На что?

— Понятно, на песок.

— Откуда он у вас взялся?

Брэк молчал.

— Он вынюхивал что-то в верховьях Стюарта, — ответил за него какой-то старатель. — Я наткнулся на его стоянку с неделю тому назад, когда охотился. И должен вам сказать, что он имел очень таинственный вид.

— Песок не оттуда, — сказал Брэк. — Там у меня только проект одного гидравлического сооружения.

— Выкладывайте ваш мешок и показывайте песок! — скомандовал Вильсон.

— Уверяю вас, песок не оттуда.

— Все равно покажите его.

Брэк собирался было ослушаться, но со всех сторон его окружали угрожающие лица. Неохотно он начал рыться в своем кармане. В то время как он вытаскивал банку из-под перца, она стукнула о что-то твердое.

— Выкладывайте все! — прогремел Уильсон.

И тут появился на свет самородок величиною в два кулака и такой желтизны, какой никогда еще не видел ни один из присутствующих. Шэнк Вильсон раскрыл рот от изумления. С полдюжины золотоискателей при виде его кинулись к двери; ругаясь и толкаясь, протискивались они сквозь узкую дверь. Судья высыпал содержимое банки из-под перца на стол, и при виде кусков золота еще шесть человек бросились к двери.

— Куда ты? — спросил Гардинг, когда Шэнк приготовился последовать их примеру.

— За собаками, ясно.

— А вешать его?

— Это отнимет слишком много времени. Подождет, когда мы вернемся. Будем считать, что суд отложен. Сейчас нельзя терять времени.

Гардинг стоял в нерешительности. Он бросил свирепый взгляд на Смока, увидел Пьера, который из-за двери делал знаки Луи, кинул последний взгляд на самородки на столе и окон-

чательно решился.

— Не воображайте, что вам удастся улизнуть! — кинул он через плечо Смоку. — Впрочем, я заберу ваших собак.

— Что случилось? Опять какая-нибудь проклятая заявка? — спросил слепой охотник странным фальцетом, когда в хижину ворвались голоса людей, лай собак и скрип саней.

— Наверное, — отвечала Люси. — Я никогда не видела такого золота. Возьмите его в руку, дедушка.

Она положила самородок старику в руку. Но он не проявил ни малейшего интереса.

— Какая это была чудесная пушная страна, — сказал он жалобно, — пока не появились эти проклятые золотоискатели и не испортили ее.

Отворилась дверь, и вошел Брэк.

— Ну, вот, — сказал он, — от всего лагеря остались только мы четверо. До Стюарта сорок миль по тому пути, который я проложил, и самые прытки вернутся не раньше чем через пять-шесть дней. Собирайтесь, Смок, и притом как можно скорее!

Брэк перерезал охотничьим ножом ремни, связывавшие Смока, и взглянул на женщину.

— Надеюсь, вы ничего не имеете против? —

спросил он с изысканной любезностью.

— Если тут собираются стрелять, — прервал его слепой старик, — то пусть сначала кто-нибудь отведет меня в другую хижину.

— Делайте свое дело и не обращайте на меня внимания, — сказала Люси. — Если я недостаточно хороша для того, чтобы повесить человека, то, вероятно, я не гожусь также и для того, чтобы задержать его.

Смок встал, потирая себе руки в тех местах, где ремни нарушили кровообращение.

— Я приготовил для вас кое-что, — сказал Брэк, — провиант на десять дней, одеяла, спички, табак, топор и ружье.

— Отправляйтесь, незнакомец, — прибавила Люси, — и старайтесь держаться холмов. Поезжайте как можно скорее.

— Перед дорогой мне хотелось бы подкрепиться как следует, — проговорил Смок. — А если я поеду, то поеду я вверх по Мак-Квещен, а не вниз. Я хотел бы, чтобы и вы отправились со мной, Брэк. Мы поищем на том берегу человека, который действительно совершил убийство.

— Если вы послушаетесь меня, то вы поедете вниз по Стюарту и по Юкону, — заметил Брэк. — Когда эта шайка вернется обратно с моей

гидравлической установки, к ней лучше не подступайся.

Смок засмеялся и покачал головой.

— Я не могу бежать отсюда, Брэк, у меня тут дела. Мне нужно остаться и все выяснить. Не знаю, поверите вы мне или нет, только я нашел Нежданное озеро. Это золото оттуда. К тому же они угнали моих собак, и я должен дождаться их возвращения. Я знаю, что говорю. На том берегу прятался человек. И он был достаточно близко, чтобы стрелять в меня почти в упор.

Полчаса спустя, сидя перед тарелкой с кусками жареного лося и поднося ко рту большую кружку кофе, Смок вдруг приподнялся со своего места. Он первый услыхал шум. Люси отворила дверь.

— Здорово, Спайк! Здорово, Методи! — приветствовала она двух запушенных инеем мужчин, наклонившихся над поклажей в санях.

— Мы из Верхнего Лагеря, — проговорил один из них. Они осторожно входили в комнату, внося какой-то завернутый в меха предмет, с которым обращались необыкновенно бережно. — Вот что мы нашли на дороге. Надеюсь, он в сохранности.

— Положите его на скамью, — сказала Люси.

Она наклонилась и откинула меха, открыв лицо, на котором, казалось, не было ничего, кроме

огромных, широко раскрытых черных глаз.

— Да ведь это Алонсо! — воскликнула она. — Ах он, несчастный, он умирает с голоду!

— Это и есть человек с другого берега, — сказал вполголоса Смок Брэку.

— Мы нашли его, когда он обчищал тайник, оставленный, должно быть, Гардингом, — пояснил один из прибывших. — Он ел сырую муку и мороженое сало, и когда мы его забирали, он визжал и кричал, словно ястреб. Взгляните на него. Он изголодался вконец, ноги и руки у него отморожены. Того и гляди помрет.

Полчаса спустя, когда меха закрыли лицо неподвижной человеческой фигуры на скамье, Смок обратился к Люси:

— Если вы ничего не имеете против, миссис Пибоди, я съел бы еще кусок жаркого. Только потолще и не слишком прожаренный.

Состязание на первенство

1

— Гм! Облачаешься в праздничное одеяние?

Малыш наблюдал за своим товарищем с напускным неодобрением, а Смок злился, тщетно пытаясь расправить складки на только что надетых брюках.

— Они тебе, наверное, узки, не на тебя ведь сшиты! — продолжал Малыш. — Сколько заплатил?

— Сто пятьдесят за весь костюм, — ответил Смок. — Он был почти с меня ростом, тот человек. Мне показалось, что это весьма сходная цена. Чего ты ворчишь?

— Кто? Я? И не думаю! Я как раз размышлял о том, что и повезло же некоему любителю медвежатины, который явился в Доусон верхом на льдине, без припасов, с одной только сменой белья, с одной парой изношенных мокасинов и верхним платьем, выглядевшим так, будто выдержало несколько кораблекрушений. А теперь! Прекрасный вид, дружище! Превосходно! Скажи-ка мне…

— Что тебе еще нужно? — недовольно спросил

Смок.

— Как ее зовут?

— Да тут вовсе и нет никакой ее, мой друг. Я приглашен на обед к полковнику Бови, если тебе непременно нужно знать. Я понимаю, в чем дело, Малыш! Ты завидуешь, что я приглашен в высшее общество, а ты нет.

— Ты не опоздаешь? — заботливо спросил Малыш.

— Не понимаю, о чем ты говоришь?

— К обеду. Они уже, наверное, будут сидеть за ужином, когда ты до них доберешься.

Смок хотел было ответить с преувеличенным сарказмом, но вдруг заметил особый блеск в глазах собеседника. Он продолжал одеваться, завязывая пальцами, утратившими прежнюю ловкость, галстук виндзорским узлом у ворота своей мягкой бумажной рубашки.

— Экая досада, что я отправил все свое крахмальное белье в прачечную, — сочувственно пробормотал Малыш, — а то я нарядил бы тебя.

В эту минуту Смок старался натянуть на ноги ботинки. Шерстяные носки были чересчур толсты, и он с умоляющим видом посмотрел на Малыша, но тот лишь покачал головой.

— Нет. Если бы у меня и нашлись тонкие носки,

я ни за что не дал бы их тебе. Полезай обратно в мокасины. Ты наверняка отморозишь себе пальцы в этаких тонких штуках.

— Я заплатил за них пятнадцать долларов, за подержанные, — жалобно произнес Смок.

— Мне сдается, что там не будет ни одной души не в мокасинах, — сказал Малыш.

— Но там будут женщины, Малыш! Я буду сидеть и есть рядом с настоящими живыми женщинами. С миссис Бови и с другими, так мне сказал полковник.

— Ну и что, мокасины не испортят им аппетита, — решил Малыш. — Хотелось бы мне знать, зачем ты понадобился полковнику?

— Право, не знаю. Может быть, он слышал, что я открыл Нежданное озеро. Чтобы осушить его, потребуется целое состояние, а Гуггенгеймы ищут, куда бы пристроить свои капиталы.

— Пожалуй, так и есть. Говорю тебе, иди в мокасинах. Ну! Пиджак у тебя морщит и чуточку узковат. Будь поосторожнее насчет еды. Если будешь много лопать, то он, чего доброго, треснет. И если кто-нибудь из этих самых женщин невзначай уронит платок, пусть себе лежит на полу. Не вздумай поднимать. Что бы там ни было, не наклоняйся!

2

Как подобает специалисту, получающему высокий оклад, и представителю крупной фирмы Гуггенгеймов, полковник Бови занимал одно из лучших зданий в Доусоне. Выстроенное из четырехугольных, грубо обтесанных бревен, в два этажа, оно отличалось такими необыкновенными размерами, что могло похвастать просторной парадной комнатой, предназначенной исключительно для гостей.

На грубом дощатом полу были разложены медвежьи шкуры, на стенах висели рога лосей и оленей. Здесь гудел открытый камин и красовалась отапливаемая дровами печь. И здесь-то Смок встретился с избранным обществом Доусона — не с какими-нибудь миллионерами от лопаты, а с суперсливками города золотоискателей, население которого было собрано со всего света: с мужчинами вроде Уорбэртона Джонса, исследователя и писателя; капитана Консадайна из конной полиции; Хаскелла, комиссара по золотым делам Северо-Западной Территории, и, наконец, барона фон Шредера, любимца императора, с международной репутацией дуэлянта.

Здесь же он встретился с Джой Гастелл, осле-

пительной в вечернем туалете, с которой он до сих пор встречался только в пути, когда она была закутана в меха и обута в мокасины. За обедом он оказался рядом с ней.

— Я чувствую себя, как рыба, вытащенная из воды, — признался он. — Все здесь так великолепно. Мне и во сне не снилось, что в Клондайке может существовать такая восточная роскошь. Взгляните, например, на фон Шредера: он в смокинге, а у Консадайна накрахмаленная рубашка. Я заметил, правда, что он в мокасинах. А как вам нравится моя экипировка?

И Смок повел плечами, как бы охорашиваясь перед Джой.

— Вы производите такое впечатление, будто растолстели с тех пор, как перевалили через Чилкут, — ответила она со смехом.

— Нет, не угадали. Угадывайте дальше.

— С чужого плеча?

— Отгадали. Я купил его у одного из клерков акционерной компании.

— Какой позор, что у клерков такие узкие плечи, — проговорила она. — Но вы еще ничего не сказали, как вам нравится моя одежда?

— Слов нет! — сказал он. — Я потрясен. Я слишком долго прожил в снегах. Такого рода наряды

сражают меня, точно ударом. Я почти забыл, что у женщин есть руки и плечи. Завтра утром, подобно моему другу Малышу, я проснусь в полной уверенности, что это был сон. В последний раз, когда я встретился с вами на Бабьем ручье…

— Я была настоящей бабой? — закончила она.

— Нет, я не то хотел сказать. Я вспомнил, что на Бабьем ручье я сделал открытие, что у вас есть ноги.

— И я никогда не забуду, что вы спасли мне их, — проговорила она. — С тех пор мне хотелось увидеться с вами, чтобы поблагодарить вас… — Он с умоляющим видом пожал плечами. — И вот почему вы сегодня здесь…

— Вы попросили полковника пригласить меня?

— Нет, не его, а миссис Бови. И я попросила ее посадить вас рядом со мной. И это вышло очень удачно. Все заняты разговором. Слушайте меня и не прерывайте. Вы знаете речку Моно?

— Да.

— Оказывается, там скрыты богатства, огромные богатства. Каждая заявка оценивается в миллион долларов и больше. Участки были заняты только на днях.

— Как же, помню — все ринулись туда.

— Да, речка вся была истыкана столбами и притоки также. И оказывается, что на участок номер три, ниже Пробного, заявки еще не сделано. Речка находится так далеко от Доусона, что комиссар установил шестидесятидневный срок для подачи заявки. На все участки заявки сделаны, кроме номера три. Он был занят каким-то Сайрусом Джонсоном. Потом этот Сайрус Джонсон исчез. Умер ли он, отправился ли вверх или вниз по реке — этого никто не знает. Как бы там ни было, а через шесть дней наступает срок подачи заявки, и тот, кто займет этот участок и первым придет в Доусон и сделает заявку, получит его в собственность.

— Миллион долларов! — пробормотал Смок.

— Гилкрайст, которому принадлежит соседний участок, пониже, промыл золото на шестьсот долларов в одном тазу. А участок с другой стороны еще богаче. Я знаю.

— Но почему же не все знают об этом? — недоверчиво спросил Смок.

— Понемногу все узнают. Тайна этого участка долго сохранялась и только теперь выходит наружу. За хорошую упряжку через какие-нибудь двадцать четыре часа будут платить безумные деньги. Вот что я вам скажу: вы должны уйти,

как только кончится обед. Я это устроила. За вами придет индеец с письмом. Вы прочитаете его, сделаете вид, будто у вас есть какое-то дело, извинитесь и уйдете.

— Я… гм… я… нет, я не уйду.

— Глупости! — воскликнула она, понижая голос. — Вы сегодня же ночью должны позаботиться о собаках. Я знаю две упряжки. Упряжка Гансона — семь больших гудзоновских собак — он просит по четыреста долларов за каждую. Сегодня это высокая цена, но завтра она упадет. И еще у Ситки Чарли есть восемь мейлемотов, за которых он просит три тысячи пятьсот. Завтра он рассмеется, если ему предложат пять тысяч. Кроме того, у вас есть ваши собственные собаки. Придется вам купить еще несколько упряжек. И все это надо сделать сегодня же ночью. Постарайтесь раздобыть самые лучшие. Исход этого состязания в одинаковой мере зависит как от собак, так и от людей. Всего сто десять миль, и собак надо будет менять как можно чаще.

— О, я вижу, вы хотите впутать меня в эту гонку, — протянул Смок.

— Если у вас нет денег на собак, то я…

Она запнулась, но прежде чем она успела договорить, Смок сказал:

— Нет, я могу купить собак. Но, гм… вы не боитесь, что это предприятие рискованное?

— После ваших подвигов в «Элькгорне», — возразила она, — мне кажется, вам нечего бояться. Это своего рода спорт, состязание на приз в миллион долларов и притом с лучшими гонщиками. Сейчас они еще не ваши соперники, но завтра в это время они уже будут ими, и собаки будут стоить дороже, чем может заплатить за них самый богатый человек. Большой Олаф уже в городе. Он приехал сюда из Серкл-сити месяц назад. Это один из самых замечательных гонщиков собак во всей стране, и если он примет участие в состязании, то будет вашим самым опасным соперником. Затем еще Билл из Аризона. Он долгие годы был профессионалом-перевозчиком и почтовым курьером. Если и он будет состязаться, то весь интерес будет сосредоточен на нем и на Большом Олафе.

— И вы хотите выпустить меня в качестве никому не известной темной лошадки?

— Вот именно. В этом и заключается ваше преимущество. Никому в голову не придет заподозрить в вас серьезного соперника. В конце концов за вами до сих пор еще сохранилась репутация чечако. Вы не прожили здесь и года. Никто не обратит на вас никакого внимания до той

минуты, пока вы не станете обгонять соперников на обратном пути.

— И вот тут-то темной лошадке и придется показать себя, не так ли?

Она утвердительно кивнула головой и продолжала серьезно:

— Имейте в виду, что я не прощу себе того, что сделала с вами на Бабьем ручье, если вы не выиграете этой заявки на Моно. И если вообще кто-нибудь может выйти победителем в состязании со старожилами, так это только вы!

Все дело было в том, каким тоном она это произнесла. Смок почувствовал, как горячая волна прилила к его сердцу и к голове. Он кинул на нее быстрый пытливый взгляд, и когда взоры их встретились, ему казалось, что он прочел в ее глазах нечто гораздо более важное, чем известие о том, что Сайрус Джонсон не сделал заявки на свой участок.

— Хорошо, — сказал он, — я приду первым!

Радостный блеск в ее глазах, казалось, сулил ему б***о***льшие богатства, чем все золото на Моно. Он уловил движение ее руки, лежавшей у нее на коленях, под покровом скатерти протянул свою и ощутил крепкое пожатие женской руки. От этого по его телу пробежала новая горячая волна.

«Что-то скажет на это Малыш?» — неожиданно мелькнуло у него в голове, когда он выпустил ее руку. Он ревнивым взглядом скользнул по лицам фон Шредера и Джонсона и втайне подивился, как это они не разгадали до сих пор, какая замечательная и необыкновенная девушка сидит возле него.

Он пришел в себя при звуках ее голоса и сообразил, что она ему что-то говорит.

— Дело в том, что Билл из Аризона — белый индеец, — говорила она. — А Большой Олаф, этот охотник на медведей и король снегов, настоящий дикарь. Он может забить любого индейца своей выдержкой и выносливостью, он не знает никакой другой жизни, кроме этой жизни среди пустыни и холода.

— О ком это вы говорите? — вмешался в разговор капитан Консадайн с другого конца стола.

— О Большом Олафе, — отвечала она. — Я рассказывала мистеру Беллью про его замечательную выносливость в пути.

— Да, вы правы, — загудел голос капитана, — Большой Олаф — это самый замечательный ходок на Юконе. Я готов ставить за него против самого нечистого, когда дело касается продвижения среди снегов и льдов. В тысяча восемьсот девяносто

пятом году он доставил казенную почту после того, как два курьера замерзли на Чилкуте, а третий утонул у Тридцатой Мили.

3

Смок не торопясь ехал на ручей Моно, чтобы не утомить собак перед состязанием. Кроме того, он знакомился с каждой милей пути и с расположением подстав. Набралось так много желающих принять участие в состязании, что сто десять миль представляли собой сплошь населенную местность. Повсюду вдоль дороги были расставлены подставы. У фон Шредера, участвующего в состязании исключительно ради спорта, было не менее одиннадцати упряжек — по свежей смене на каждые десять миль. Билль из Аризона удовольствовался восемью. У Большого Олафа было семь — столько же, сколько у Смока. В общем участников состязания было свыше сорока человек. Не каждый день даже на золотоносном Севере миллион долларов выставлялся призом на собачьих бегах. Страна лишилась всех своих собак. Ни одно животное, отличавшееся скоростью бега и выносливостью, не миновало зубьев частого гребня, который расчесал все ущелья и равнины, выискивая собак, и цены на них

выросли вдвое, даже вчетверо во время этой ожесточенной спекуляции.

Участок номер три, ниже Пробного, находился в десяти милях от устья Моно. Остальные сто миль нужно было проехать по замерзшему руслу Юкона. На номере три было раскинуто пятьдесят палаток и стояло свыше трехсот собак. Старые столбы, вбитые шестьдесят дней тому назад Сайрусом Джонсоном, все еще были на своих местах, и каждый из участников то и дело переходил на территорию заявки, потому что состязанию на собаках должно было предшествовать состязание в беге с препятствиями. Каждый должен был сам поставить свои заявочные столбы — два посередине, четыре — по углам и дважды пересечь речку, после чего он мог отправиться в Доусон на собаках.

Кроме того, не должно было быть «выскочек». К занятию участка полагалось приступить в ночь на пятницу. Первый столб полагалось вбить только тогда, когда пробьет полночь. Таково было распоряжение комиссара по золотым делам в Доусоне, и капитан Консадайн выслал отряд конной полиции для наблюдения за исполнением этого распоряжения. Возник спор по вопросу о различии между временем по солнцу и по

полицейским часам, но капитан Консадайн распорядился принять полицейское время, именно по часам лейтенанта Поллока.

Дорога вдоль ровного русла Моно была менее двух футов ширины и напоминала желоб. По бокам возвышались снежные сугробы, нанесенные в течение многих месяцев. Вопрос о том, каким образом сорок с лишним саней и триста собак уместятся в этом узком желобе, занимал все умы.

— Знаешь что, — сказал Малыш, — тут заварится такая дьявольская каша, какой свет еще не видывал. По-моему, Смок, остается только одно: пустить в ход силу и кулаки и пробиваться вперед. Если бы вся речка была покрыта чистым льдом, то на ней не хватило бы места и дюжине упряжек в ряд. И мне только что пришло в голову, что тут возникнет немалая давка, прежде чем сани вытянутся в ряд. Если и мы попадем в эту давку, то позволь мне расправиться с ними и пустить в ход кулаки.

Смок расправил плечи и засмеялся, уклонившись от ответа.

— Нет, нет! — крикнул Малыш в сильном волнении. — Что бы ни случилось, ты не должен вмешиваться. Ты не сможешь целых сто миль

править собаками сломанной рукой, а это случится, если ты заедешь кому-нибудь в челюсть.

Смок кивнул.

— Ты прав, Малыш. Рисковать нельзя.

— И еще запомни, — продолжал Малыш, — что я буду пробивать тебе путь первые десять миль, а ты сиди спокойно и не волнуйся. Я доставлю тебя на Юкон, будь покоен. А там уж дело за тобой и за собаками. Знаешь, что придумал Шредер? Первая упряжка будет стоять у него за четверть мили вниз по речке и он узнает ее по зеленому фонарю. Но мы его перехитрим. Я всегда предпочитал красный цвет.

4

Днем было ясно и холодно, но облачная завеса задернула небо, и ночь спустилась теплая и темная, предвещая снег. Термометр показывал пятнадцать градусов ниже нуля, а для зимы в Клондайке пятнадцать градусов — это очень тепло.

За несколько минут до полуночи Смок оставил Малыша с собаками в пятистах ярдах вниз по речке и присоединился к остальным участникам состязания на номере три. Сорок пять человек ожидали начала состязания на приз в милли-

он долларов, которые Сайрус Джонсон оставил нетронутыми в мерзлой земле. У каждого из участников было по шесть столбов и по деревянному молотку. Одеты они были в напоминающие рубашку парки, но не из меха, а из грубой домотканой материи.

Лейтенант Поллок в тяжелой медвежьей шубе смотрел на часы при свете костра. До полуночи оставалась одна минута.

— Готовься! — скомандовал он, поднимая в правой руке револьвер и следя за секундной стрелкой.

Сорок пять капюшонов были отброшены назад. Сорок пять пар рук сбросили рукавицы, и сорок пять пар мокасинов крепко уперлись в утоптанный снег. Потом сорок пять столбов опустились в снег и такое же количество молотков были подняты в воздух.

Грянули выстрелы, и молотки ударили. Право Сайруса Джонсона на миллион было утеряно. Чтобы избегнуть сутолоки, лейтенант Поллок настоял на том, чтобы сначала был вбит нижний центральный столб, потом юго-западный и так далее по всем углам, и затем уж под конец — верхний центральный столб возле самого пути.

Смок вбил свой столб и побежал в числе первых

двенадцати человек. По углам горели костры, и у каждого костра стоял полисмен со списком в руке, отмечая имена состязающихся. Каждый из участников должен был назвать свое имя и показать полисмену свое лицо. Это делалось для того, чтобы столбы не вбивались подставными лицами, в то время как настоящие участники мчались вниз по реке.

В первом углу, возле столба Смока фон Шредер вбил свой. Их молотки ударили одновременно. Когда столбы были вбиты, сзади подоспели другие участники, и они бежали с такой беспорядочной стремительностью, точно нарочно хотели помешать друг другу и создать драку и толкотню. Пробившись среди давки и назвав свое имя полисмену, Смок увидел, как один из участников налетел на барона, сбил его с ног, и тот повалился в снег. Но Смок не остановился. Впереди него были еще другие. При свете гаснущего костра ему показалось, что он видит неясные очертания спины Большого Олафа, и в юго-западном углу он и Большой Олаф вбили свои столбы рядом.

Этот предварительный бег с препятствиями был нелегким делом. Границы участка в общем составляли около мили, и большая часть его представляла собой неровную поверхность,

покрытую снегом. Кругом со всех сторон люди спотыкались и падали, и несколько раз Смок сам падал вперед на руки и на колени. Однажды впереди него Большой Олаф упал так близко, что Смок повалился на него.

Нижний центральный столб был вбит у самого спуска к берегу, и золотоискатели бросились вниз по замерзшему руслу речки на противоположный берег. Здесь, когда Смок карабкался вверх, чья-то рука схватила его за ногу и сбросила вниз. При мерцающем свете отдаленного костра не было никакой возможности увидеть, кто сыграл с ним такую штуку. Но Билл из Аризона, которого постигла та же судьба, поднялся на ноги и ударил обидчика прямо в лицо кулаком так, что раздался хруст. Смок видел и слышал это, поднимаясь на ноги. Однако, прежде чем он успел двинуться к берегу, новый удар кулака повалил его в снег, наполовину оглушив. Он шатаясь встал, нашел того человека и размахнулся, чтобы треснуть его по челюсти, потом вспомнил наставление Малыша и удержался. В следующее мгновение чье-то падающее тело ударило его по коленям, и он снова скатился вниз.

Все это было как бы прелюдией того, что должно было произойти после, когда люди доберутся

до своих упряжек. Люди потоком устремлялись на противоположный берег и смешивались в кучу. Они кучками карабкались на берег и кучками же стаскивались вниз своими нетерпеливыми товарищами. Сыпались удары, проклятия вырывались из тяжело дышащих грудей тех, кто еще мог дышать, и Смок, перед глазами которого стояло лицо Джой Гастелл, думал только о том, чтобы не были пущены в ход деревянные молотки. Сбиваемый с ног, попадая под ноги другим, роясь в снегу в поисках своих столбиков, он в конце концов выбрался из этой давки и вскарабкался на берег немного в стороне. Другие проделали то же самое, и, на счастье Смока, несколько человек бежали впереди него, направляясь к северо-западному углу.

На полдороге к четвертому углу он споткнулся и, падая, уронил свой последний столбик. Целых пять минут он шарил в темноте, прежде чем нашел его, и все время мимо него, тяжело дыша, пробегали люди. На пути от последнего угла к речке он начал обгонять тех, для кого пробег в одну милю был не по силам. Внизу на речке царил настоящий бедлам. Около дюжины саней были сбиты в кучу и опрокинуты, и около сотни собак сцепились в ожесточенной драке. Среди них суе-

тились люди, стараясь разнять вцепившихся друг в друга животных, осыпая их ударами дубинок. Мельком увидев это зрелище, Смок задал себе вопрос, есть ли среди гротесков Доре что-нибудь подобное.

Спускаясь прыжками с берега в стороне от скользкого спуска, он выбрался на утоптанный санный путь и благодаря этому выиграл время. Здесь на утоптанных стоянках по сторонам узкой дороги сани и люди стояли в ожидании отставших гонщиков. Вдруг сзади послышался визг и лай собак. Смок едва успел отскочить в глубокий снег. Мимо пронеслись сани, и он разглядел человека, стоявшего в них на коленях и дико кричавшего. Но, не успев промелькнуть, сани остановились со страшным треском. Разъяренные собаки на одной из стоянок, почуяв пробегавшую мимо упряжку, вырвались и набросились на нее.

Смок пробрался вперед. Он увидел зеленый фонарь фон Шредера и пониже его, рядом, красный огонь, который указывал на место стоянки его собственной упряжки. Двое охраняли собак фон Шредера; они стояли с короткими дубинками в руках между ними и дорогой.

— Смок, сюда! Сюда, Смок! — услыхал он взвол-

нованный голос Малыша.

— Иду! — крикнул он.

При свете красного фонаря он увидел, что снег весь изрыт и истоптан, и по тяжелому дыханию товарища понял, что тут произошла драка. Он бросился к саням и мгновенно очутился в них. Малыш взмахнул бичом и крикнул:

— Пошли! Эй вы, дьяволы! Живо!

Собаки натянули постромки, и сани бешено сорвались с места и понеслись. Это были крупные животные — гудзоновская призовая упряжка Гансона, — и Смок выбрал ее для первого перегона: десять миль по речке Моно, трудный переход через отмель возле устья и, наконец, первые десять миль по Юкону.

— Сколько впереди? — спросил он.

— Молчи и береги дыхание, — отвечал Малыш. — Го! Эй вы, черти! Пошевеливайтесь! Вперед, вперед!

Он бежал за санями, держась за короткую веревку. Смок не мог видеть его; не видел он также и саней, в которых лежал, растянувшись во весь рост. Огни остались позади, и они неслись, прорывая стену мрака со скоростью, на какую только были способны собаки. Окружающий мрак был почти осязаем и производил впечатление чего-то

плотного и вещественного.

Смок почувствовал, как сани, делая невидимый поворот, наехали на что-то впереди, и вслед за тем послышалось рычание собак, проклятия и ругань. Это место впоследствии было известно под названием «Свалка Барнса — Слокума». Здесь их упряжки столкнулись, и в них на полном бегу врезались семь огромных собак Смока. Возбуждение этой ночи довело этих полуприрученных волков до состояния исступления. Клондайкские собаки, которыми правят без вожжей, останавливаются обычно только окриком, и сейчас не было никакой возможности прекратить грызню, завязавшуюся на узкой дороге. А сзади одни сани налетали на другие, врезаясь в свалку. На людей, которым уже почти удалось освободить свои упряжки, катилась лавина новых собак, хорошо накормленных, отдохнувших и рвавшихся в бой.

— Ну, теперь пора приниматься за дело и пробиваться вперед! — прокричал Малыш на ухо товарищу. — Смотри, береги свои кулаки! Лежи спокойно, я расправлюсь один.

Того, что случилось в следующие полчаса, Смок так никогда и не смог вспомнить. Но в конце концов он выбрался из всего этого, совершенно обессиленный, задыхающийся, с разбитой

челюстью, с болью в плече от удара дубинкой, чувствуя, как по одной ноге у него струится теплая кровь из раны, нанесенной собачьим клыком; оба рукава его парки были изодраны в клочья. Точно во сне, в то время как позади них еще бушевало сражение, он стал помогать Малышу перепрягать собак. Одну, умирающую, они вырезали из упряжки и в темноте ощупью исправили поврежденную упряжь.

— Теперь ляг и отдышись хорошенько! — скомандовал Малыш.

И собаки понеслись в темноту — вниз по Моно, пересекли устье и выбежали на Юкон. Здесь, при слиянии Моно с великой рекой, кто-то развел костер, и тут Малыш распрощался со Смоком. При свете костра, когда сани понеслись, увлекаемые мчавшимися собаками, Смок запечатлел в своей памяти вторую незабываемую картину Севера: это Малыш, который шел, шатаясь и прихрамывая, по снегу и посылал Смоку вдогонку бодрящее напутствие; один глаз у него почернел и закрылся, из руки, изодранной собачьими клыками, лилась кровь.

5

— Сколько человек впереди? — спросил Смок, бросая своих усталых гудзоновских собак и перескакивая в ожидавшие его сани на первой остановке.

— Кажется, одиннадцать, — крикнули ему вдогонку, потому что он уже пронесся дальше на своих новых собаках.

Они должны были везти его пятнадцать миль, до следующей смены, которая в свою очередь доставит его до Белой реки. Собак было девять, но эта была его самая слабая упряжка. Двадцать пять миль между Белой рекой и Шестидесятой Милей были разделены на два перегона из-за заторов льда, и тут его ждали две самые сильные, выносливые упряжки.

Он лежал ничком в санях, вытянувшись во весь рост, держась обеими руками за сани. Когда собаки замедляли свой стремительный бег, он поднимался на колени и, крича и гикая, слегка придерживаясь одной рукой, бил их бичом. И как ни плоха была его упряжка, ему удалось обогнать двое саней до Белой реки. Здесь во время ледостава глыбы льда образовали барьер, оставивший на протяжении мили незамерзшее пространство

воды, которое потом покрылось гладким льдом. Эта ровная поверхность давала возможность состязающимся менять собак на ходу, и здесь вдоль всего пути стояли наготове свежие смены собак.

Переехав барьер и спустившись на гладкую поверхность, Смок полетел во весь опор и громко крикнул:

— Билли! Билли!

Билли услыхал его и ответил. А при свете нескольких костров на льду Смок увидел сани, которые вынырнули со стороны и понеслись к нему. Собаки были свежие и нагнали его. Когда сани поравнялись с ним, он перепрыгнул в них, а Билли в его санях быстро отъехал.

— Где Большой Олаф? — крикнул Смок.

— Первый! — ответил Билли, и костры остались позади, и Смок снова летел вперед сквозь непроницаемую стену мрака.

Среди ледяных заторов на этом перегоне, где путь шел через хаос навороченных ледяных глыб, Смок соскочил с саней и, ухватившись за конец веревки, бежал за коренником. Таким образом он обогнал трое саней. По-видимому, случились какие-то несчастья, и он слышал, как люди вырезали из упряжек собак и исправляли упряжь.

На следующем коротком перегоне, ведущем к

Шестидесятой Миле, он обогнал еще две упряжки. И как бы для того, чтобы дать ему понять, как им невыносимо трудно, его собственная собака вывихнула себе плечо и, не в силах удержаться на ногах, запуталась в сбруе. Ее товарищи, разозлившись, набросились на нее, пустив в ход свои клыки, и Смок вынужден был усмирить их тяжелой рукояткой своего бича. Когда он вырезал из упряжки искалеченное животное, он услыхал позади себя лай собак и человеческий голос, который показался ему знакомым. Это был фон Шредер. Смок крикнул, чтобы предупредить столкновение, и барон, гикнув на своих собак и размахивая шестом, объехал его на расстоянии каких-нибудь двенадцати футов. Мрак был так непроницаем, что Смок слышал, как тот обогнал его, но ничего не видел.

На гладкой поверхности льда возле фактории у Шестидесятой Мили Смок нагнал еще двое саней. Все только что переменили собак и в течение пяти минут неслись бок о бок. Люди стояли на коленях, осыпая обезумевших животных криками и ударами бича. Смок основательно изучил эту часть пути и вовремя заметил большую сосну на берегу, которая едва виднелась при свете нескольких костров. У подножия этой сосны не

только царил мрак, тут внезапно обрывалась и гладкая ледяная поверхность. В этом месте, он знал, дорога суживалась до ширины одних саней. Нагнувшись вперед, он схватился за веревку и на бегу притянул сани к кореннику. Затем он ухватил животное за задние ноги и потащил его к себе. С яростным рычанием собака пыталась вонзить в него свои клыки, но была увлечена вперед остальными собаками. Ее тело сыграло роль тормоза, и две другие упряжки, которые все еще шли рядом, ринулись вперед, в темноту узкого прохода.

Смок услыхал оглушительный треск и грохот столкновения, выпустил коренника, схватил шест и погнал свою упряжку вправо, в рыхлый снег, где собаки проваливались по самое горло. Это было страшно мучительно, но зато он обогнал столкнувшиеся две упряжки и благополучно выбрался на укатанный путь.

6

На Шестидесятой Миле Смок получил опять слабую упряжку, тем не менее ему удалось сократить этот перегон до пятнадцати миль. Две последние упряжки должны были доставить его в Доусон к заявочной конторе, и Смок выбрал для

этих последних двух перегонов лучших своих животных.

Ситка Чарлей ожидал его с восемью собаками, которые должны были перебросить Смока на двадцать миль вперед, а для финиша, с перегоном в пятнадцать миль, была предназначена его собственная упряжка — упряжка, с которой он не расставался всю зиму и ходил на поиски Нежданного озера.

Те двое, которые столкнулись у Шестидесятой Мили, так и не нагнали его, но, с другой стороны, и его собственная упряжка не перегнала ни одной из трех, шедших впереди. Его собаки старались из всех сил, хотя им недоставало выдержки и быстроты, но почти не было необходимости понукать их, чтобы они шли полным ходом. Смоку оставалось только лежать ничком и держаться за сани. Время от времени он вылетал из темноты в кольцо света около пылающего костра, где успевал заметить закутанных в меха людей, стоявших возле запряженных и выжидающих собак, и снова погружался в темноту. Миля за милей он мчался вперед, и в его ушах раздавался только визг и лай собак. Почти машинально он удерживался в санях, когда они ныряли и поднимались вверх или раскатывались на поворотах реки.

Три лица, одно за другим, по очереди, без всякой видимой связи и последовательности, вставали в его воображении: лицо Джой Гастелл, улыбающееся и вызывающее; лицо Малыша, изувеченного и измученного в драке на Моно; и, наконец, лицо Джона Беллью, покрытое морщинами, суровое, точно вылитое из стали — так неумолима была его суровость. Временами Смоку хотелось громко закричать и затянуть песнь ликующего торжества, когда он вспоминал редакцию «Волны», свои рассказы из жизни Сан-Франциско, которые так и остались неоконченными, и всю никчёмность той пустой, бессодержательной жизни.

Брезжил серый утренний рассвет, когда он сменил своих усталых собак на восемь свежих. Они были легче гудзоновских, могли развить еще большую скорость и неслись с неутомимостью истых волков. Ситка Чарлей назвал ему по порядку имена шедших впереди: Большой Олаф во главе, вторым Билл из Аризона и третьим фон Шредер. Это были лучшие гонщики во всей стране. Еще до отъезда Смока из Доусона общественное мнение при заключении пари ставило их именно в этом порядке. Они состязались на один миллион, а пари на них заключались на полмиллиона. Ни один человек не поставил на Смока, который,

несмотря на несколько всем известных подвигов, все-таки считался еще чечако, которому нужно многому поучиться.

Когда рассвело, Смок заметил впереди сани, и через какие-нибудь полчаса его упряжка нагнала их. И лишь тогда, когда человек в санях обернулся, чтобы обменяться приветствиями, Смок узнал в нем Билла из Аризона. Очевидно, фон Шредер обогнал его. Хорошо укатанная дорога была чересчур узка, по бокам лежал рыхлый снег, и Смоку пришлось еще с полчаса ехать позади. Потом они достигли ледяного затора, за которым начиналось ровное пространство с целым рядом стоянок, где снег был утоптан на довольно большое расстояние. Вскочив на колени, размахивая бичом и громко крича на собак, Смок выехал вперед. Он заметил, что правая рука Билла из Аризоны висела точно плеть и он держал бич в левой руке. У него не было третьей руки, которой он мог бы держаться, и ему постоянно приходилось бросать бич и хвататься за сани, чтобы не вылететь из них. Смок вспомнил драку на участке номер три, ниже Пробного, и все понял. Малыш дал ему прекрасный совет избегать потасовок.

— Что такое с вами? — спросил Смок, обгоняя Билла из Аризона.

— Право, не знаю, — отвечал тот. — Должно быть, я вывихнул себе плечо в драке.

Он постепенно начал отставать, и когда впереди показалась следующая подстава, он отстал на целых полмили. Дальше, впереди, виднелись рядом Большой Олаф и фон Шредер. Снова Смок поднялся на колени и развил в своих замученных собаках резвость, какую способен был развить лишь человек, обладающий чутьем настоящего погонщика собак. Он подъехал вплотную к задку саней фон Шредера, и в таком порядке трое саней выехали на гладкую поверхность ниже затора, где стояли в ожидании люди с собаками. Доусон был в пятнадцати милях.

Фон Шредер с его десятимильными подставами сменил собак за пять миль отсюда и должен был переменить собак в следующий раз через новых пять миль. Он несся вперед, погоняя своих псов, полным ходом. Большой Олаф и Смок на ходу переменили свои упряжки, и их свежие собаки сейчас же обогнали барона. Большой Олаф шел впереди, Смок следовал за ним по узкому пути.

Хорошо, но не так уж хорошо, про себя перефразировал Смок Спенсера.

Фон Шредер, который теперь шел позади, не был ему страшен. Но впереди шел лучший погон-

щик собак во всей стране, и обогнать его казалось невозможным. Снова и снова, несколько раз подряд, Смок подгонял своего вожака, и каждый раз Олаф преграждал ему дорогу и уходил. Смок удовольствовался тем, что не отставал и мрачно следовал за ним. Состязание еще не проиграно — на протяжении пятнадцати миль многое может случиться.

За три мили до Доусона действительно случилось нечто. К великому удивлению Смока, Большой Олаф встал, стараясь выжать проклятиями и ударами бича последнюю унцию сил из своих собак. Это была мера, которая обычно приберегалась на последние сто ярдов и никогда не практиковалась за три мили до финиша. Несмотря на то, что это была явная гибель для собак, Смок последовал его примеру. Его собственная упряжка была прямо великолепна. Ни одна упряжка на Юконе не была так хорошо тренирована и не содержалась в лучших условиях. Смок работал вместе с ними, ел и спал вместе с ними, хорошо знал индивидуальность каждой собаки, знал, как лучше использовать ум каждой из них и как лучше вытянуть из них последний запас сил.

Они поднялись на новый ледяной затор и затем спустились на ледяную поверхность. Большой

Олаф шел впереди на расстоянии каких-нибудь пятидесяти футов. Вдруг сбоку показались сани и направились прямо к нему, и тут Смок понял причину крутой меры Олафа. Он хотел выйти вперед до новой смены собак. Эта свежая подстава, которая должна была доставить его в Доусон, была своего рода сюрпризом для всех. Даже люди, ставившие на него, и те ничего не знали о ней.

Смок напряг все свои силы, чтобы опередить противника, пока тот менял собак. Пустив своих собак во всю мочь, он покрыл отделявшие их друг от друга пятьдесят футов. Взмахами и ударами бича он заставил их взять в сторону, и его вожак поровнялся с коренником Большого Олафа и побежал рядом. С другой стороны, вровень с ними, шли сани для смены. При той скорости, с какой они шли, Большой Олаф не решался перескочить на ходу. Если бы он промахнулся и упал, Смок вышел бы вперед и состязание было бы проиграно.

Большой Олаф сделал еще одно усилие, чтобы выдвинуться, и великолепно выбросил своих собак вперед, однако вожак Смока продолжал идти вровень с его коренником. С полмили трое саней неслись рядом. Гладкое пространство подходило к концу, когда Большой Олаф решился, наконец, попытать счастья. Когда сани на полном ходу

приблизились друг к другу, он прыгнул и очутился на коленях, гиканьем и взмахами бича погоняя свежую упряжку. Открытое пространство переходило в узкую дорогу, и, погнав своих собак, он въехал на этот путь, опередив своего соперника на какой-нибудь ярд.

«Человек не считается побежденным, пока он не побежден», — решил Смок, и как ни старался Большой Олаф, он так и не мог оторваться от Смока. Ни одна из упряжек, которыми в эту ночь управлял Смок, не могла бы выдержать бешеной резвости, которую развила свежая смена собак, — ни одна упряжка, кроме его собственной. И, тем не менее, эта скорость в конце концов доконала и ее, и когда он огибал утес возле Клондайк-сити, он почувствовал, что последние силы оставляют его собак. Незаметно они стали отставать, и фут за футом Большой Олаф стал уходить вперед, пока не ушел на целых двадцать ярдов.

Население Клондайк-сити, собравшееся на льду, встретило их восторженными криками. В этом месте Клондайк впадает в Юкон, и в полумиле отсюда на северном берегу находился Доусон. Снова послышался взрыв громких криков, и Смок заметил сани, которые летели прямо к нему. Он узнал великолепных собак: это были собаки

Джой Гастелл. И сама Джой Гастелл правила ими. Капюшон ее кожаной парки был откинут назад, и овал ее лица, напоминающий камею, вырисовывался на фоне густой массы волос. Она сняла рукавицы и обнаженными руками сжимала бич и край саней.

— Прыгайте! — крикнула она, когда ее вожак поравнялся с вожаком Смока.

Смок прыгнул в сани позади нее. Сани покачнулись от тяжести его тела, но она устояла на коленях, размахивая бичом.

— Эй, вы! Пошевеливайтесь! Чук! Чук! — кричала она, и собаки визжали и лаяли, горя желанием обогнать Большого Олафа.

А потом, когда ее вожак поравнялся с санями Большого Олафа и ярд за ярдом выдвигался вперед, огромная толпа народа на берегу Доусона окончательно обезумела. Толпа и в самом деле была огромная, потому что все золотоискатели побросали свои инструменты на берегах речек и явились сюда, чтобы присутствовать при исходе состязания.

— Когда вы выйдете вперед, я соскочу! — крикнула Джой через плечо Смоку.

Смок попытался было протестовать.

— И не забывайте крутого поворота! — преду-

предила она его.

Обе упряжки бежали теперь рядом, отделенные шестью-семью футами. Большому Олафу удалось подогнать свою упряжку бичом и криками. Но постепенно, по дюйму, вожак Джой стал выдвигаться вперед.

— Готовьтесь! — крикнула она Смоку. — Сейчас я оставлю вас! Берите бич!

И в тот самый момент, когда он менял руку, чтобы взять бич, раздался предостерегающий крик Большого Олафа. Но было уже поздно. Его вожак, разъяренный тем, что его перегоняют, ринулся в атаку и вонзил свои клыки в бок вожаку Джой. Затем все собаки вцепились друг другу в горло. Сани наехали на дерущихся собак и опрокинулись. Смок с трудом поднялся на ноги и бросился поднимать Джой, но она оттолкнула его, крикнув:

— Бегите!

Впереди на расстоянии пятидесяти футов уже бежал Большой Олаф, твердо решивший выйти победителем из состязания. Смок повиновался, и когда оба противника добрались до начала подъема на Доусон, Смок настиг своего соперника. Поднимаясь на крутой берег, Большой Олаф сделал усилие, рванулся вперед и выиграл около

двенадцати футов.

За пять кварталов по главной улице находилась заявочная контора. Улица была запружена народом, точно на параде. Не так-то легко было Смоку нагнать своего гиганта-соперника, а когда он его нагнал, то опередить его было уже невозможно. Бок о бок бежали они по узкому проходу среди плотных стен закутанных в меха людей, испускающих возгласы и крики. То один из них, то другой большим судорожным прыжком выдвигался вперед на какой-нибудь дюйм лишь для того, чтобы сейчас же потерять его.

Если та скорость, с которой они неслись раньше, была убийственна для собак, то скорость, которую они развили теперь, была не менее убийственна для них самих. Но ведь тут дело шло о миллионе долларов и о великом почете на Юконе. Единственное внешнее впечатление, воспринятое Смоком во время последнего бешеного бега, было чувство удивления, что в Клондайке так много народу. До сих пор ему никогда не приходилось видеть всех зараз.

Невольно он замедлил бег, и Большой Олаф рванулся вперед. Смоку казалось, что у него сейчас лопнет сердце, и он уже совершенно не чувствовал под собой ног. Он знал только одно,

что ноги летят под ним, но он не отдавал себе отчета, каким образом он заставляет их лететь и как ему удалось сделать над собой усилие воли и заставить их донести себя до своего гиганта-соперника.

Впереди показалась открытая дверь заявочной конторы. Оба соперника сделали последнее, ничтожное и напрасное усилие. Ни один из них не мог опередить другого, и бок о бок они подбежали к двери, столкнулись друг с другом и растянулись на полу конторы.

Они сели, но встать были не в силах. Большой Олаф, обливаясь потом, тяжело дышал, ловя воздух раскрытым ртом и тщетно стараясь выговорить что-то. Затем он протянул руку; в значении этого движения нельзя было ошибиться. Смок протянул свою руку, и противники соединились в крепком рукопожатии.

— Ну и задали же вы жару! — услыхал Смок слова комиссара по золотым делам, но это было точно во сне, и голос был какой-то слабый и далекий. — И я могу сказать только одно: вы оба выиграли. Придется вам поделить участок пополам. Вы компаньоны!

Две руки поднялись вверх, потом опустились в знак того, что это решение утверждено. Большой

Олаф весьма выразительно закивал головой и забормотал что-то. Наконец, ему удалось проговорить:

— Проклятый вы чечако! — прошептал он, но в этих словах звучало восхищение. — Не знаю, как вы это сделали, но все же вы это сделали.

Перед конторой на улице гудела огромная толпа, и помещение конторы было битком набито людьми. Смок и Большой Олаф сделали попытку встать и помогли друг другу. Смок чувствовал в ногах страшную слабость и зашатался, точно пьяный. Большой Олаф тоже нетвердо стоял на ногах.

— Мне очень жаль, что мои собаки набросились на ваших.

— Что же вы могли сделать, — ответил Смок. — Я слышал, как вы крикнули, предупреждая меня.

— Послушайте, — продолжал Большой Олаф, и глаза у него заблестели, — славная она — эта девушка, чертовски славная. Не правда ли?

— Да, чертовски славная девушка! — согласился Смок.

СМОК И МАЛЫШ

(сборник)



В сборнике рассказов «Смок и Малыш» воссоздается страсть американского обывателя к наживе. Помешательство на деньгах захватывает и духовную часть американского общества. Обычные грешные и непритязательные люди — такие как Малыш — оказываются от природы добрее, честнее, привлекательнее, чем всяческие экзотические святоши. И религия, и медицина, и наука давно превратились в способ частного обогащения узкого круга «посвященных», делающих деньги на наивности своих ближних и дальних.

Повесть о маленьком человеке

1

— Не нравится мне твое упрямство, — проворчал Малыш. — На этот ледник и смотреть страшно. По доброй воле никто на него не полезет.

Смок беспечно рассмеялся и взглянул на сверкающую поверхность ледника, запиравшего вход в долину.

— Сейчас август. Уже два месяца, как дни становятся короче, — заметил он, как бы определяя положение дел. — Ты знаток по части золота, а я этим похвалиться не могу. Я, пожалуй, займусь доставкой продовольствия, пока ты будешь искать главную жилу. Ну, будь здоров... Я вернусь завтра к вечеру.

Он повернулся и пошел.

— Ох, чувствую я, — стрясется беда! — жалобно крикнул ему вдогонку Малыш.

Но Смок только громко расхохотался в ответ. Он спускался в узкую долину, поминутно отирая пот со лба и топча спелую горную малину и хрупкий папоротник, росший у краев льдин, не тронутых

солнцем.

Ранней весной они с Малышом поднялись вверх по реке Стюарт и проникли в страну, где царил первозданный хаос и где, по слухам, находилось Нежданное озеро. Всю весну и половину лета они провели в бесплодных поисках озера и, наконец, когда решили уже махнуть рукой на эту затею, перед ними замерцала полоска воды — то самое устланное золотом озеро, которое соблазняло и обманывало целое поколение золотоискателей. Они расположились в старой хижине, найденной Смоком еще в первое его посещение, и убедились в трех вещах: во-первых — что дно озера было устлано толстым слоем крупных золотых самородков; во-вторых — что в мелких местах можно было нырнуть за этим золотом, но температура воды была убийственна для человека; и в-третьих — что осушить озеро — совершенно непосильный труд для двоих, тем более, что прошло уже больше половины короткого северного лета. Но Смок и Малыш не пали духом и, убедившись по внешнему виду золота, что оно едва ли совершило продолжительное путешествие, двинулись на поиски главной жилы. Они пересекли большой ледник, хмурившийся на южной окраине озера, и углубились в голо-

вокружительный лабиринт крошечных долин и ущелий.

Долина, по которой шел теперь Смок, постепенно расширялась, как и подобает всякой долине; но в нижнем конце она внезапно суживалась в тесный проход между двумя высокими отвесными скалами и упиралась в поперечную стену. У основания этой стены ручей исчезал под грудой развороченных скал и, невидимый, прокладывал себе путь под землей. Смок вскарабкался на скалу и с ее вершины увидел озеро, лежащее у его ног. В отличие от всех горных озер, которые ему приходилось видеть, оно не было голубым. Оно было изумрудно-зеленым, и этот цвет свидетельствовал о том, что оно неглуб***о***ко, а следовательно, его возможно осушить. Вокруг озера громоздились горы причудливых форм, с обледенелыми пиками и снежными шапками: все кругом было хаотично и мрачно, как кошмар в гравюрах Доре. Трудно было поверить, что это реальный кусок земной поверхности, а не мрачная фантазия какого-нибудь художника: Смоку показалось все это какой-то космической шуткой. Ущелья были заполнены ледниками — по большей части небольшими, и как раз в ту минуту, когда Смок смотрел на них, один — самый крупный, на север-

ном берегу — с грохотом раскололся и разлетелся вдребезги. На другом берегу озера, на глаз — не далее, чем в полумиле, а на самом деле (он знал это) милях в пяти, виднелась группа сосен и хижина. Смок еще раз взглянул в том направлении, чтобы окончательно убедиться в правильности своих расчетов, и вдруг заметил струйку дыма, вившуюся над хижиной. Кто-то устроил ему и Малышу тоже «неожиданность», перехватив у них Нежданное озеро, подумал Смок, приступая к подъему на южную стену ледника.

С вершины этой стены он спустился в маленькую долину, покрытую цветами; повсюду слышалось ленивое гудение пчел; долина вела себя, можно сказать, как всякая разумная долина, и, как и полагалось, спускалась к озеру. Единственно, что было в ней неразумного, это — ее длина, не превышавшая ста ярдов; заканчивалась она крутым обрывом в тысячу футов, с которого низвергался окутанный пенным туманом поток.

Отсюда он увидел еще отчетливее дым, лениво подымавшийся из-за выступа скалы и колыхавшийся в теплом воздухе. Завернув за выступ, он услышал позвякивание металла и веселый свист в такт ударам, а затем увидел человека, сидевшего с зажатым между коленями башма-

ком; башмак был перевернут, и человек вбивал в подошву шипы.

— Алло! — приветствовал его незнакомец, и сердце Смока немедленно открылось ему навстречу. — Как раз поспели к завтраку! Вот кофе, холодные лепешки и немного вяленого мяса.

— Воспользуюсь, с вашего разрешения, — сказал Смок, присаживаясь. — В последнее время я не слишком баловал себя едой. Зато в хижине продовольствия сколько угодно.

— На той стороне озера? Там, куда я метил!

— Окрестности Нежданного озера, по-видимому, заселяются, — прибавил Смок, опоражнивая кофейник.

— Подите вы! Шутите небось! — изумленно ответил незнакомец.

Смок рассмеялся.

— Вот так бывает со всеми! Видите вон те высокие хребты на другой стороне, к северо-востоку? Оттуда я увидел его впервые. Без всякого предупреждения. Оно открылось мне все сразу. Тогда, когда я перестал уже искать его.

— То же было и со мной здесь, — подтвердил незнакомец. — Я уже повернул назад и собирался вчера вечером добраться до Стюарта, как вдруг увидал озеро. Но если это Нежданное озеро, то где

же река Стюарт? И где я бродил все время? И как вы попали сюда? И как вас зовут?

— Беллью. Кит Беллью.

— О! Я вас знаю. — Радостная улыбка заиграла на лице и в глазах незнакомца. — Я много слышал о вас.

— Читаете полицейскую хронику, — скромно заметил Смок.

— Нет. — Незнакомец рассмеялся и покачал головой. — Просто новейшую историю Клондайка. Я бы немедленно узнал вас, если бы вы не обросли бородой. Я следил за вами, когда вы обрабатывали рулетку в «Элькгорне». Меня зовут Карсон — Энди Карсон. Я, право, не могу высказать, как рад встрече с вами.

Карсон был маленький, но крепкий, жилистый человечек с быстрыми черными глазами; от него исходило какое-то магнетическое дружелюбие.

— Так, стало быть, это и есть Нежданное озеро? — недоверчиво пробормотал он.

— Оно самое.

— И на дне у него золото?

— Да. Вот вам образчик! — Смок сунул руку в карман куртки и достал с полдюжины зерен. — Вот оно какое. Все, что от вас требуется, это нырнуть на дно, хотя бы вслепую, и набрать

полную горсть таких орехов, а потом пробежать с полмили, чтобы восстановить кровообращение.

— Здорово! Лопни мои глаза, если вы не убедили меня! — Карсон говорил шутливым тоном, но разочарование явно слышалось в его голосе. — А я-то думал, что вычерпаю себе кучу золота. Но все-таки было забавно побывать здесь.

— Забавно? — воскликнул Смок. — Да если мы с вами доберемся до дна озера, то Рокфеллер по сравнению с нами будет нищим!

— Но оно ведь ваше, — заметил Карсон.

— Что вы, приятель! Поймите, подобной заявки не было за всю историю золотоискательства. Здесь хватит и вам, и мне, и моему компаньону, и всем нашим друзьям. Если свалить Бонанзе и Эльдорадо в одну кучу, то они будут не богаче, чем здешние пол-акра. Задача в том, как осушить озеро. Это будет стоить миллионы. Одного я боюсь. Здесь так много золота, что если мы не будем регулировать выпуск его на мировой рынок, оно окончательно обесценится… демонетизируется, как говорят…

— И вы говорите мне… — Карсон онемел от изумления.

— Я рад, что встретил вас. Понадобится года два и все наши деньги, чтобы осушить озеро. Это

осуществимо. Но для этого потребуется поставить на работу все население страны, всех, кто захочет работать, как рабочий, за плату. Нам нужна армия рабочих, и как раз сейчас мы нуждаемся в подходящих людях для начала дела. Согласны войти в нашу группу?

— Согласен ли я? А вы разве не видите? Я уже до такой степени чувствую себя миллионером, что начинаю побаиваться перехода через этот ледник. Было бы весьма некстати сломать теперь себе шею. Хотел бы я иметь побольше таких шипов! Я как раз вколотил последний из моего запаса, когда вы подошли. А ваши как? Покажите-ка!

Смок поднял ногу.

— Подошва гладкая, как каток! — воскликнул Карсон. — Вы, верно, здорово побродили. Подождите минутку, я выдеру для вас несколько штук моих шипов.

Но Смок воспротивился.

— Сойдет и так, — сказал он, — у подножия ледника у меня припрятано около сорока футов веревки. Мы с приятелем уже однажды пользовались ею при переходе через ледяной мост. Переход нетрудный.

2

Однако подъем был мучительно тяжел. Солнце ослепительно сверкало на поверхности льда, и путники карабкались вверх, обливаясь потом, задыхаясь и выбиваясь из сил. Попадались места, изрезанные вдоль и поперек бесчисленными расщелинами, и после часа мучительного и опасного карабканья они продвигались вперед не более чем на сто ярдов. К двум часам пополудни они добрались до большой лужи посреди льда, и Смок предложил сделать привал.

— Приложимся-ка к этому вяленому мясу, — сказал он. — Я все время был на голодном пайке, у меня дрожат колени. Самое худшее уже позади, мы можем отдохнуть. Через триста ярдов мы доберемся до скал — путь довольно легкий, если не считать двух подлых небольших расщелин и одной большой, по которой мы спустимся. Там есть скверненький ледяной мост, но мы с Малышом все-таки справились с ним.

Уничтожая вяленое мясо, спутники знакомились друг с другом; Энди Карсон разоткровенничался, и Смок узнал историю всей его жизни.

— Я знал, что найду Нежданное озеро, — говорил Карсон с набитым ртом. — Я должен был

найти его. Я проворонил Французскую Гору, Большой Скукум и Монте-Кристо, так что мне оставалось — либо Нежданное озеро, либо полный провал. Поэтому я здесь. Моя жена знала, что я доберусь. Она — молодец, огонь, завоевательница с головы до ног, единственная для меня женщина; чистая голубая кровь и никаких примесей. Никогда не вешает носа, хватка у нее мертвая и все такое. Взгляните-ка.

Он открыл часы; на внутренней их крышке была наклеена маленькая фотография, изображавшая белокурую женщину, по обеим сторонам которой улыбались две детские рожицы.

— Мальчики? — спросил Смок.

— Мальчик и девочка, — гордо ответил Карсон. — Мальчишка старше на полтора года. — Он вздохнул. — Они могли бы быть постарше, да нам пришлось ждать. Жена, видите ли, была больна. Легкие. Но она ни за что не хотела сдаваться болезни. Разве мы имеем понятие об этих штуках? Когда мы поженились, я был конторщиком на Чикагской железной дороге. Вся ее родня была больна чахоткой. В те времена врачи знали не бог весть как много. Говорили, что это наследственность. Передавалось, дескать, из поколения в поколение. А просто заражались друг от друга,

сами того не зная. Думали, что родились с этим. Судьба. Первые два года мы жили вместе с ее родными. Я не боялся. В моей семье отроду не бывало чахотки. Вот и схватил ее. Тогда я призадумался. Стало быть, заразительно. Я схватил ее оттого, что дышал одним с ними воздухом.

Поговорил я с женой, турнул домашнего врача и пошел к опытному специалисту. И тот сказал мне то, до чего я и сам додумался, и прибавил, что самое подходящее для нас место — это Аризона. Мы снялись и покатили — ни денег, ничего. Нанялся я в пастухи — овец пасти, — а ее оставил в городе — в «легочном» городе. Битком набит был легочными.

День и ночь находясь на чистом свежем воздухе, я стал поправляться. Иногда я проводил в степи целые месяцы. И каждый раз, когда возвращался в город, находил ее все в худшем состоянии. Никак не могла она выкрутиться. Но мы уже кое-чему научились. Я вытащил ее из этого города, и она отправилась пасти овец вместе со мной. Четыре года подряд, летом и зимой, в холод и жару, в дождь, снег, мороз и прочее такое — мы ни разу не спали под крышей и все время кочевали с места на место. Вы бы посмотрели на нас тогда — коричневые, как жареные кофейные зерна,

тощие, как индейцы, заскорузлые, как недубленая кожа. Потом мы решили, что выздоровели, и махнули в Сан-Франциско. Оказывается, поторопились. На второй месяц мы опять харкали кровью. Полетели обратно в Аризону, к овцам. Еще два года такой жизни. Полное излечение. А семья ее вся вымерла. Не хотела слушаться нас.

Тогда мы окончательно распрощались с городской жизнью. Болтались по тихоокеанскому побережью. Приглянулся нам Южный Орегон. Поселились в долине реки Игруньи, — посадили яблоневый сад. Огромная будущность за этими яблоками, только никто об этом не знает. Добыл я себе там кусок земли — в рассрочку, конечно, — по сорок долларов за акр. Через десять лет будет стоить пятьсот.

Оказывается, опять поторопились. Нужны деньги, а у нас, знаете ли, ни цента, чтобы начать, а тут надо строить дом и амбар, покупать лошадей, плуги и все такое. Она два года проработала учительницей в школе. Потом родился мальчик. Вы бы посмотрели на яблони, которые мы посадили, — сто акров засадили ими, теперь это уже крупные деревья. Но доходу мало; все шло на уплату по закладной. Вот я и попал сюда. Жена тоже отправилась бы, если бы не ребята и

деревья. Она работает там, а я тут — первоклассный миллионер в будущем.

Он посмотрел блаженным взглядом, через искрящийся на солнце лед, на зеленую полоску воды у далекого берега озера, в последний раз взглянул на фотографию и пробормотал:

— Она — замечательная маленькая женщина. Удивительно цепкая! Ни за что не хотела умирать, хоть от нее остались кожа да кости, когда она отправилась пасти овец. О, она и сейчас худенькая! Никогда не будет толстой. Но это ей идет, милее женщины мне никогда не приходилось видеть, и когда я вернусь, и деревья начнут приносить плоды, а ребята станут ходить в школу, мы с ней отправимся в Париж. Я-то не бог весть какого мнения об этом городе, но она мечтает о нем всю жизнь.

— Ну и чудесно! Вот вам и золото на расходы, — уверенно сказал Смок. — Надо только достать его со дна озера.

Карсон кивнул. Глаза его сияли.

— Я вам говорю, эта наша ферма — прелестнейший уголок на всем тихоокеанском побережье. И климат божественный. Уж там наши легкие никогда больше не заболеют. Бывшим легочным надо, знаете, беречься. И если вы вздумаете где-то

осесть, то, прежде чем решить что-либо, загляните в нашу долину. А рыбная ловля! Скажите-ка, приходилось вам вытягивать шестиунцевой удочкой тридцатипятифунтового лосося?

3

— Я легче вас на сорок фунтов, — сказал Карсон. — Пустите меня вперед.

Они стояли на краю огромной старой расщелины футов в сто шириной, с покатыми (а не острыми, как это обыкновенно бывает) краями, отполированными временем. Через расщелину вел мост, образовавшийся из огромной глыбы затвердевшего снега, наполовину превратившегося в лед. Нижний край этого моста не был им виден; не видели они и дна пропасти. Мост постепенно крошился, подтаивал и ежесекундно грозил обвалиться. Судя по свежим следам, некоторые части его уже сорвались вниз перед самым их приходом, да и теперь, в то время как они молча созерцали его, глыба в полтонны сорвалась и полетела в пропасть.

— Н-да, вид неутешительный, — заметил Карсон, многозначительно качая головой. — Если бы я не был миллионером, он бы меня не так пугал.

— И все же мы должны рискнуть, — сказал

Смок. — Мы уже почти перебрались. Мы не можем вернуться и не можем ночевать на льду, а другого пути нет. Мы с Малышом исследовали всю местность на милю кругом. Правда, мост был в лучшем состоянии, когда мы проходили через него.

— Ну ладно! Двинемся по одному. Я вперед. — Карсон взял у Смока часть смотанной веревки. — Вы будете постепенно развертывать ее. Кирку я возьму с собой. Дайте мне вашу руку — мне легче будет соскользнуть вниз.

Медленно и осторожно он сделал несколько шагов по направлению к мосту и остановился, чтобы как следует приготовиться к рискованному переходу. Мешок с запасами висел у него за плечами. Веревку он обмотал свободно вокруг шеи, прикрепив один ее конец к поясу.

— Я бы сейчас с радостью отдал добрую половину моих миллионов за артель рабочих, строящих мост, — сказал он, веселой усмешкой опровергая значение своих слов. — Все в порядке, — прибавил он. — Я ведь, как кошка.

Подражая канатным плясунам, он горизонтально вытянул кирку и палку, которой пользовался как альпенштоком. Потом попробовал выставить одну ногу, но тотчас же отдернул ее и замер, му-

чительно борясь с собой.

— Хотел бы я быть каменотесом, — усмехнулся он. — Если я когда-нибудь перестану быть миллионером, то уж вторично ни за что не стану им. Хлопотливое занятие!

— Не беда, — подбодрил его Смок. — Я уже перебирался через эту штуку. Пустите-ка лучше меня вперед.

— А ваши сорок фунтов? — возразил маленький человек. — Через минуту я буду в порядке. Я уже в порядке. — И действительно, нервы его, по-видимому, успокоились. — Ну, на карту поставлены ферма и яблони! — сказал он и выдвинул ногу. На этот раз он не только не отдернул ее, но и ступил другой. Очень медленно и осторожно он продолжал идти вперед, пока не были пройдены две трети пути. Вдруг он остановился, чтобы рассмотреть лежавшее перед ним углубление, на дне которого виднелась свежая трещина. Смок, не сводивший с него глаз, увидел, что он отвел взгляд в сторону, потом посмотрел вниз, в пропасть, и покачнулся.

— Глядите кверху! — резко скомандовал Смок. — Ну! Вперед!

Маленький человек повиновался и уже без остановок совершил остальную часть пути. Слов-

но источенный солнцем, противоположный скат расщелины был скользким, но не очень крутым. Он взобрался на него, повернулся и сел.

— Ваша очередь, — крикнул он Смоку. — Только идите не останавливаясь и не смотрите вниз. Да поторапливайтесь! Вся эта штука висит на волоске.

Балансируя палкой, Смок двинулся вперед. Было ясно, что мост вот-вот обвалится. Он почувствовал, что у него под ногами что-то скрипит все громче и громче и что вся глыба слегка колеблется. Затем раздался страшный треск. Он понял, что за его спиной что-то случилось. Ему не нужно было оборачиваться — достаточно было видеть напряженное, перекошенное лицо Карсона. Снизу доносилось слабое журчание воды; глаза Смока на мгновение невольно обратились к сверкающей бездне, но он тотчас же заставил себя смотреть прямо перед собой. Две трети пути были пройдены. Он дошел до впадины. Острые края пересекавшей ее трещины, едва тронутые солнцем, свидетельствовали о том, что она совсем недавнего происхождения. Он уже занес ногу, собираясь идти дальше, как вдруг трещина начала медленно расширяться, в то же время раздался угрожающий треск. Смок заторопился и

сделал прыжок, но стертые гвозди сапог скользнули по краю впадины. Он упал ничком и тотчас же соскользнул вниз, в самую расщелину. Его ноги болтались в воздухе; он повис грудью на палке, которую ему удалось при падении перекинуть поперек расщелины.

Первым его ощущением была тошнота, вызванная перебоем пульса; первой мыслью — удивление, что он не упал глубже. Позади него слышался треск. Снизу, из сердца ледника, донесся мягкий и глухой грохот — сорвавшиеся глыбы достигли дна. И все же мост, оторвавшийся от одного берега и провалившийся посередине, продолжал держаться у другого берега, хотя та часть его, которую только что прошел Смок, свисала под углом в двадцать градусов. Он видел Карсона, который сидел над обрывом и, упираясь ногами в талый лед, быстро сматывал веревку с шеи на руку.

— Подождите! — крикнул он. — Не двигайтесь, а то рухнет вся глыба!

Быстрым взглядом он смерил расстояние, сорвал с шеи шарф, привязал его к концу веревки, потом вынул из кармана еще один шарф и привязал к первому шарфу.

Веревка, сплетенная из санных ремней и корот-

ких кусков сырой кожи, отличалась крепостью и легкостью. Первый бросок оказался, к счастью, удачным — Смок пальцами поймал конец веревки и хотел сделать попытку выбраться из расщелины. Но Карсон, обвязавший веревку вокруг своей талии, остановил его.

— Сначала обвяжитесь как следует, — сказал он.

— Если я сорвусь, я сдерну и вас, — возразил Смок.

Внезапно гнев охватил маленького человека.

— Молчите, черт вас возьми! — крикнул он. — Одного звука вашего голоса достаточно, чтобы вся глыба обрушилась.

— Если я сорвусь… — начал Смок.

— Молчите! Вам незачем срываться. Делайте, что вам велят. Так — под плечи. Покрепче! Ну! Трогайтесь! Легче! Легче! Я буду принимать конец. Вы только ползите. Вот так! Легче! Легче!

Смок был на расстоянии двенадцати футов от цели, когда началось окончательное крушение моста. Бесшумно он все ниже сползал в бездну.

— Живо! — крикнул Карсон, поспешно сматывая конец веревки по мере приближения Смока.

Когда раздался грохот, пальцы Смока уже впивались в твердую поверхность расщелины, в то

время как тело его падало вниз вместе с рушившимся мостом. Карсон сидел, упираясь широко расставленными ногами в лед, и изо всех сил тянул веревку. Ему удалось отбросить Смока к боковой стене, но одновременно он сам вылетел из своей впадины. Он перевернулся, как кошка, судорожно цепляясь за лед и скользя вниз. А сорока футами ниже, держась за туго натянутую веревку, судорожно карабкался Смок. И прежде чем донесшийся снизу грохот известил их о том, что мост достиг дна пропасти, оба уже нашли точку опоры. Первым нашел ее Карсон. Он из последних сил потянул веревку и остановил падение Смока.

Теперь каждый из них лежал в небольшом углублении, причем углубление Смока было настолько незначительно, что он неминуемо соскользнул бы вниз, если бы его не поддерживала веревка.

Прямо перед ним вздымался ледяной выступ, заслонявший от него Карсона. Прошло несколько минут, в течение которых оба более или менее освоились с положением и изучили искусство цепляться за мокрый и скользкий лед. Первым заговорил маленький человек.

— Проклятие! — сказал он, а минутой позже:

— Если вы сможете на мгновение удержаться сами по себе и отпустить веревку, то я перевернусь. Ну-ка, попробуйте.

Смок попробовал, потом снова уцепился за веревку.

— Кажется, могу, — ответил он. — Скажите, когда будете готовы. Только поскорей.

— Тремя футами ниже у меня есть во что упереться, — сказал Карсон. — Я справлюсь в одно мгновение. Готовы?

Соскользнуть на ярд вниз, перевернуться и сесть было нелегким делом; но еще труднее было Смоку распластаться на льду и удерживаться в положении, которое с каждой секундой требовало от него все большего напряжения мышц. Он почувствовал, что начинает еле заметно скользить вниз, когда веревка снова натянулась. Смок поднял глаза и посмотрел на своего спутника: мертвенно-желтая бледность разливалась по обожженному солнцем лицу Карсона. Смок подумал: «А на кого похож я сам в эту минуту?» Вдруг он заметил, что Карсон трясущимися руками ищет нож, и решил, что час его пробил: Карсон поддался панике и собирается перерезать веревку.

— В-в-в-вы не думайте, — лепетал он. — Я не боюсь. Это только мои нервы, будь они прокляты!

Ч-ч-через минуту я буду в порядке.

Смок видел, как он перегнулся и, прижав плечи к коленям, охваченный страшной дрожью, придерживал одной рукой конец веревки, а другой вырубал и сверлил во льду дыру для ног.

Сердце Смока дрогнуло от нежности.

— Слушайте, Карсон. Все, что вам остается, это перерезать веревку. Вы все равно не сможете втащить меня, а пропадать нам обоим нет смысла. Возьмите нож и положите этому конец.

— Да замолчите вы! — возмущенно крикнул тот. — К чему молоть вздор?

И Смок убедился, что гнев оказался прекрасным успокоительным средством для нервов его спутника. Что касается его собственных, то они были напряжены до последней степени; он лежал распластавшись на льду и думал только об одном — как бы удержаться подольше.

Стон и короткий возглас: — Держитесь! — предупредили его об опасности. Припав лицом ко льду, он сделал чудовищное усилие, чтобы удержаться, почувствовал, что веревка ослабла, и понял, что Карсон скользит к нему. Он не решался поднять глаза до тех пор, пока не почувствовал, что веревка снова натягивается, и не понял, что Карсон опять нашел точку опоры.

— Ну и была потеха, — пролепетал последний. — Я сполз на целый ярд. А теперь подождите. Мне надо выковырять новые дыры. Не будь лед таким талым, все было бы в порядке.

Придерживая левой рукой веревку, маленький человек начал правой скрести и долбить лед. Так прошло минут десять.

— Теперь я скажу вам, что я сделал, — крикнул он вниз. — Я вырубил вам отверстия для рук и ног рядом со мной. Я буду потихоньку и полегоньку подтягивать веревку, а вы ползите наверх, только не слишком быстро. Подождите — еще два слова. Я буду подтягивать вас на веревке, а вы избавьтесь от вашего тюка. Поняли?

Смок кивнул и, стараясь двигать рукой как можно осторожнее, развязал ремни тюка; потом движением плеч сбросил его. Карсон увидел, как тюк перелетел через ледяной выступ и скрылся из виду.

— Так, теперь я вырублю дыры для себя самого, — крикнул он Смоку. — Устройтесь поудобнее и ждите.

Пять минут спустя началась борьба за подъем. Смок вытер руки о подкладку рукавов, вцепился в лед и, извиваясь и припадая, пополз наверх, подтягиваемый веревкой. Без веревки он не про-

двинулся бы ни на шаг. Несмотря на всю силу своих мускулов, он не мог, подобно Карсону, держаться на весу — лишних сорок фунтов мешали ему. Преодолев треть пути и добравшись до места, где склон был круче, а лед значительно крепче, он почувствовал, что веревка ослабла. Он двигался все медленней и медленней. А между тем тут ни в коем случае нельзя было останавливаться. И все же самые отчаянные его усилия не смогли предотвратить неизбежное, и он почувствовал, что снова начинает скользить вниз.

— Я сползаю! — крикнул он наверх.

— Я тоже, — сквозь стиснутые зубы прохрипел Карсон.

— Отпустите тогда.

Смок почувствовал, что веревка натягивается в последнем тщетном усилии, потом скорость падения увеличилась, и скользя мимо своей прежней позиции и через выступ вниз по скату, он успел увидеть, что Карсон перевернулся и отчаянным движением рук и ног силится преодолеть тянущую его книзу тяжесть. К удивлению Смока, он не ощутил резкого падения, когда миновал ледяной выступ. Веревка удерживала его; он только скользил по крутому скату. Наконец он застрял в новой впадине перед другим выступом.

Карсон окончательно скрылся из виду — теперь он находился на том самом месте, где раньше был Смок.

— Фу! — услыхал Смок его дрожащий голос. Настало молчание; затем Смок почувствовал, что веревка затрепетала.

— Что вы делаете? — крикнул он.

— Вырубаю новые ямы для рук и ног, — прерывистым голосом ответил Карсон. — Подождите немного. Я в один миг втащу вас сюда. Не обращайте внимания на мой тон. Я возбужден. А вообще я в полном порядке. Подождите! Сами увидите!

— Вы держите меня на весу, — возразил Смок. — Рано или поздно, как только начнет таять снег, вы сползете вниз вслед за мной. Единственное ваше спасение — перерезать веревку. Послушайте, зачем гибнуть обоим? Вы — самый замечательный маленький человек на свете, но вы сделали все, что могли. Режьте, говорю я вам!

— А я вам говорю — молчите! Я выдолблю такие дырки, что смогу втащить сюда лошадь с телегой.

— Довольно вы втаскивали меня, — настаивал Смок. — Пустите!

— Когда я втаскивал вас? — послышался суро-

вый вопрос.

— Много раз, слишком много. И оттого все время сами сползали вниз.

— А в это время я многому научился. Я буду держать вас, пока мы оба не выберемся отсюда. Поняли? Создавая меня легковесом, Бог, надо думать, знал, что делает. Ну, молчите! Я занят.

Несколько минут прошло в молчании. Смок слышал звенящие удары ножа; время от времени из-за выступа к нему долетали осколки льда. Изнывая от жажды, цепляясь руками и ногами за скользкую поверхность склона, он ловил ртом кусочки льда, ждал, пока они растают, и глотал их.

Вдруг он услышал вздох, перешедший в безнадежный стон, почувствовал, что веревка ослабла, и немедленно опять вцепился в лед. Но веревка снова натянулась. С трудом подняв голову, он увидел, что прямо на него по крутому скату скользит, острием вперед, нож. Он подставил ему щеку, прижал его ко льду, содрогнулся от боли, прижал еще крепче и почувствовал, что нож задержался.

— Я — осёл! — послышался жалобный вопль.

— Ничего, я поймал его, — ответил Смок.

— Да ну? Постойте, у меня в кармане длинная веревка. Я брошу ее вам, а вы пошлите мне наверх нож.

Смок не отвечал. Он боролся с обуревавшими его мыслями.

— Эй, вы! Идет веревка! Скажите, когда поймаете!

Маленький перочинный нож, привязанный к концу веревки в виде груза, скользил по льду. Смок поймал его, открыл большое лезвие зубами и одной рукой и удостоверился в его остроте. Потом привязал большой нож к концу веревки.

— Тяните! — крикнул он.

Напряженным взором следил он за исчезновением ножа. И тут он увидел еще кое-что. Он увидел маленького человека, испуганного, но непоколебимого, дрожавшего, стучавшего зубами, терявшего сознание и все же преодолевавшего все свои страхи, все свое отчаяние: он увидел героя. С тех пор, как повстречался с Малышом, он никогда еще так быстро не привязывался к человеку.

— Вот и хорошо! — донесся к нему голос из-за ледяного выступа. — Теперь мы в два счета выберемся отсюда.

Чудовищное усилие сохранить бодрость и надежду, трепетавшее в голосе Карсона, заставило Смока решиться.

— Слушайте меня, — твердо сказал он, тщетно

силясь отогнать от себя образ Джой Гастелл. — Я послал вам нож, чтобы дать вам возможность выбраться. Я перережу веревку маленьким ножом. Выхода нет. Лучше спастись одному, чем погибнуть обоим. Поняли?

— Спастись обоим или никому, — последовал резкий ответ, но в то же время в нем слышалось какое-то колебание. — Если вы продержитесь еще минуту…

— Я и так уже держался слишком долго. Я холост. Меня никто не ждет: ни прелестная худенькая жена, ни ребятишки, ни яблони. Ну, ползите наверх — и дело с концом!

— Подождите! Ради Бога, подождите! — взвизгнул Карсон. — Вы не смеете! Дайте мне возможность вытащить вас! Будьте хладнокровны! Мы все устроим, вот увидите. Я вырою такие ямы, что можно будет втащить целый дом с амбаром.

Смок не отвечал. Медленно и осторожно, не отрывая зачарованного взгляда от веревки, он пилил ее ножом, пока не лопнул один из трех ремней, из которых она была свита.

— Что вы делаете? — отчаянно закричал Карсон. — Если вы разрежете, то я никогда не прощу вам этого, никогда! Я вам говорю — оба или никто! Мы выберемся! Подождите! Ради Бога!

И Смок, глядя на перерезанную в пяти дюймах от его глаз веревку, узнал, что такое страх. Он не хотел умирать; он вспомнил о сверкающей под ним пропасти, и его сознание, охваченное паническим ужасом, молило об отсрочке. Страх толкнул его на компромисс.

— Ладно, — крикнул он. — Я подожду. Делайте, что можете. Но говорю вам, Карсон, если мы снова начнем скользить, то я перережу веревку.

— Фу! И думать не смейте об этом! Если мы вообще тронемся с места, так только наверх. Я ведь, как липкий пластырь. Будь тут вдвое круче, я бы все равно прилепился. Для одной ноги дыра уже готова — и основательная. Ну, тише, дайте мне работать!

Медленно ползли минуты. Смок сосредоточил все свои мысли на оборванном ногте указательного пальца, который причинял ему ноющую боль. Его следовало обрезать еще утром, он тогда уже болел, подумал Смок, и решил обрезать его немедленно, как только выберется из пропасти. Потом мысли его внезапно приняли другой оборот, и он посмотрел на ноготь и на пальцы с каким-то новым чувством. Через минуту, в лучшем случае через несколько минут, этот палец, так искусно соединенный с ногтем, такой ловкий

и подвижный, будет, быть может, частью исковерканного трупа на дне пропасти. Он сознавал, что его мучит страх, и ненавидел себя за это. Люди, которые едят медвежатину, сделаны из материала покрепче. Охваченный возмущением против самого себя, он чуть было не перерезал веревки.

Крик, сменившийся стоном, и дрожание ослабевшей веревки заставили его опомниться. Он начал скользить, но скользить очень медленно. Веревка была натянута — и все же он продолжал скользить. Карсон не мог больше держать его и скользил сам. Вытянутая нога Смока встретила пустоту, и он понял, что сейчас начнется стремительное падение. А он знал, что в следующий за этим момент его падающее тело увлечет за собой Карсона.

В слепом отчаянии, побеждая безумную вспышку животного страха и любви к жизни силой воли и сознанием долга, он ударил ножом по веревке, увидел, как лопаются ремни, почувствовал, что скользит все быстрее и быстрее, и наконец упал.

Что было потом, он не мог понять. Он не потерял сознания, но все произошло слишком быстро и неожиданно. Вместо того чтобы разбиться насмерть, он почти в то же мгновение коснулся

ногами воды, а потом со всего размаха сел в воду, обдавшую его лицо холодными брызгами.

— Зачем вы это сделали? — услышал он сверху жалобный стон.

— Слушайте! — крикнул он. — Я в полной безопасности — сижу в луже по самое горло. Здесь оба наших тюка. Сейчас усядусь на них. Здесь хватит места еще для полдюжины людей. Если вы скользите, то цепляйтесь покрепче — выберетесь! Идите в хижину! Там кто-то есть. Я видел дым. Достаньте веревку или что-нибудь в этом роде, возвращайтесь и вытаскивайте меня.

— Честно? — недоверчиво спросил Карсон.

— Клянусь! Ну, пошевеливайтесь, а то я умру от простуды.

Смок согревался, прорывая каблуком сапога спуск для воды по краю лужи. К тому моменту, когда вода вылилась из углубления, в котором он находился, Карсон криком известил его, что добрался до вершины.

Тогда Смок занялся просушкой одежды. Греясь в теплых лучах вечернего солнца, он выжал ее и разложил вокруг себя. При нем была непромокаемая спичечница; он высушил при помощи спичек щепотку табаку и кусочек рисовой бумаги, чтобы сделать папиросу.

Спустя два часа, сидя нагишом на тюках и покуривая, он услышал сверху голос: мог ли он не узнать его!

— Эй, Смок! Смок!

— Алло, Джой Гастелл, — крикнул он в ответ. — Откуда вы свалились?

— Вы ранены?

— Вовсе нет.

— Отец спускает веревку. Вы ее видите?

— Да, и даже уже поймал, — ответил он, — теперь, пожалуйста, подождите минуты две-три.

— В чем дело? — тревожно спросила она через несколько минут. — О, я знаю, вы ранены!

— Да нет же! Я одеваюсь.

— Одеваетесь?

— Ну да! Я купался. Ну, готовы? Тяните!

Сначала он послал наверх оба тюка, получил за это от Джой Гастелл соответствующий выговор и наконец поднялся сам.

Джой Гастелл смотрела на него горящими глазами, пока ее отец и Карсон деловито сматывали веревку.

— Как же это вы перерезали ее? — воскликнула она. — Это было… Право же, это было изумительно!

Смок презрительно отмахнулся от компли-

мента.

— Я все знаю, — настаивала она. — Карсон рассказал мне. Вы решили пожертвовать собой ради него.

— И не думал ничем жертвовать, — соврал Смок. — Я все время видел под собой эту мелкую лужу для купания.

Как вешали Калтуса Джорджа

1

Дорога круто поднималась по глубокому, рыхлому, нетронутому снегу. Смок возглавлял шествие, утаптывая хрупкие кристаллики своими широкими, короткими лыжами. Работа эта требовала богатырских легких и железных мускулов: ему приходилось напрягать все силы. Позади, по утоптанной им тропе, тянулась упряжка из шести собак. Клубы пара, вылетавшие из открытых пастей животных, свидетельствовали об их тяжелой работе и о низкой температуре воздуха. Малыш помогал тянуть, расположившись между коренником и санями и распределяя свои силы между шестом и тягой. Каждые полчаса он и Смок менялись местами: утаптывание снега было еще более утомительным занятием, чем работа шестом.

Все снаряжение было новым и прочным. На их долю выпал тяжелый труд — проложить зимний путь через горный хребет, и они добросовестно выполняли его. Напрягая все свои силы, они могли прокладывать в день самое большее де-

сять миль дороги; это считалось у них хорошим результатом. Они держались изо всех сил, но каждый вечер заползали в свои спальные мешки совершенно разбитыми. Шесть дней прошло с тех пор, как они покинули многолюдный лагерь Муклук на Юконе. Пятьдесят миль наезженной дороги по Лосиному ручью они покрыли с нагруженными санями в два дня. А потом началась борьба с четырехфутовым девственным снегом, который в сущности был даже не снегом, а кристаллическим льдом — таким рыхлым, что от удара рассыпался, как сахарный песок. В три дня они прошли тридцать миль вверх по ручью Колюшки и пересекли ряд хребтов, разделявших несколько потоков, которые текли на юг и впадали в реку Сиваш. Теперь они должны были перебраться через горы за Лысыми Холмами и спуститься по руслу ручья Дикобраза к середине Молочной реки. Носились упорные слухи, что в верховьях реки Молочной находятся залежи меди. Туда-то они и стремились — к горе из чистой меди, в полумиле направо и вверх по первому ручью, за тем местом, где река Молочная выбивается из глубокой котловины на поросшую густым лесом равнину. Они узнали бы это место с первого взгляда. Одноглазый Маккарти описал его

во всех подробностях. Ошибка была невозможна — если только Маккарти не лгал.

Смок шел впереди. Одинокие низкорослые сосенки попадались на их пути все реже, как вдруг он увидел перед собой одно деревце, совершенно высохшее и голое. Слова были излишни; он взглянул на Малыша, и тот ответил громовым: — Хо! Собаки немедленно остановились и не двигались все время, пока Малыш развязывал постромки, а Смок обрабатывал сухую сосну топором; потом собаки бросились в снег и свернулись комочком, прикрывая хвостом косматые ноги и заиндевевшую морду.

Путники работали с быстротой, свидетельствовавшей о многолетнем опыте. Скоро в тазу для промывки золота, в кофейнике и в кастрюле уже таял снег — его надо было превратить в воду. Смок достал из саней замороженные бобы, сваренные вместе с хорошей порцией свиного сала и ветчины: в этом виде их легко было перевозить. Смок топором разрубил бобы на несколько кусков и бросил их на сковороду, чтобы они оттаяли. Точно так же поступил он и с замерзшими лепешками из кислого теста. Через двадцать минут с момента остановки обед был готов.

— Больше сорока, — промолвил Малыш, набив

рот бобами. — Надеюсь, холоднее не будет, да и теплей тоже. Самая подходящая погода для путешествия.

Смок ничего не ответил. У него рот был тоже набит бобами и челюсти усердно работали. Случайно его взгляд упал на собаку-вожака, лежавшую шагах в шести от него. Иззябший серый волкодав смотрел на него с тем бесконечным томлением, с той дикой жадностью, которая так часто вспыхивает в глазах северных собак. Смоку давно уже был знаком этот взгляд, и все же он никак не мог привыкнуть к его неизъяснимой таинственности. Словно желая стряхнуть гипноз, он отодвинул тарелку и чашку, подошел к саням и стал развязывать мешок с сушеной рыбой.

— Эй! — окликнул его Малыш. — Что ты делаешь?

— Нарушаю все путевые законы, обычаи и правила, — ответил Смок. — Собираюсь кормить собак в неурочное время — только один-единственный раз. Они много потрудились, и им предстоит взобраться еще на один хребет. Кроме того, Брайт сейчас беседовал со мной и сказал мне глазами много такого, чего не скажешь никакими словами.

Малыш скептически рассмеялся.

— Ну что ж, балуй их! Скоро ты им когти маникюрить будешь. Рекомендую кольдкрем и электрический массаж — полезнейшая штука для упряжных псов. Не помешает им иногда и турецкая баня.

— Прежде я никогда этого не делал, — защищался Смок. — Да и впредь не буду. Но на этот раз я их накормлю. Пусть это будет моя прихоть.

— Что ж, если это у тебя примета такая, то валяй. — Голос Малыша тут же смягчился. — С приметами надо считаться.

— Это не примета, Малыш. Просто Брайт каким-то образом подействовал на мое воображение. Он в одну минуту сказал мне глазами больше, чем я мог бы вычитать из книг за тысячу лет. Все тайны жизни светились в его глазах. И представь себе, я почти понял их, а потом снова все забыл. Теперь я знаю не больше, чем знал раньше, а был совсем близко к разгадке всех тайн. Не могу тебе объяснить, в чем тут дело, но глаза этого пса поведали мне, что такое жизнь, и эволюция, и звездная пыль, и космическая сила и все такое — все вообще.

— То есть, говоря на человеческом языке, ты суеверен, — настаивал Малыш.

Смок раздал собакам по одной сушеной рыбе и

покачал головой.

— А я говорю тебе — это так, — повторил Малыш. — И это серьезная примета, Смок. Еще до конца дня что-то случится. Вот увидишь. И сушеная рыба сыграет свою роль.

— Объясни, что же это может быть? — начал Смок.

— Ничего я тебе объяснять не буду. Все придет само собой. Слушай, что я тебе скажу. Твое суеверие — для меня тоже примета. Ставлю одиннадцать унций золота против трех зубочисток, что я прав. Я не боюсь смотреть приметам прямо в лицо.

— Ты уж лучше ставь зубочистки, а я поставлю золото, — ответил Смок.

— Нет, это будет неприкрытый грабеж. Я играю наверняка. Мне ничего не стоит разгадать примету. Еще до конца дня что-то случится, и сушеная рыба сыграет свою роль.

— Ерунда, — сказал Смок, обрывая спор.

— И случится что-то пакостное, — продолжал Малыш. — Принимаю еще три зубочистки на прежних условиях, что дело будет препротивное.

— Состоялось, — сказал Смок.

— И я выиграю, — возликовал Малыш. — Заработаю зубочистки из цыплячьих перышек!

2

Спустя час они перевалили через хребет и узким ущельем вышли за Лысыми Холмами на крутой открытый склон, сползавший к ручью Дикобраза. Шедший впереди Малыш внезапно остановился, и Смок немедленно остановил собак. Под ними по склону горы взбиралась наверх какая-то странная процессия, растянувшаяся чуть не на четверть мили.

— Ползут, словно на похоронах, — заметил Малыш.

— У них нет собак, — сказал Смок.

— Да. Вон двое тащат сани.

— Ты видишь, — один упал? Что-то случилось. Их тут человек двести.

— Смотри, — они шатаются, как пьяные. Вон и второй упал.

— Да тут целое племя! И дети!

— Смок, я выиграл! — провозгласил Малыш. — Примета есть примета, тут уж ничего не поделаешь. Посмотри на них — они ползут сюда словно загробные тени.

При виде путников индейцы издали дикий радостный вопль и ускорили шаг.

— Однако их здорово потрепало, — заметил

Малыш. — Смотри-ка, они валятся, как чурбаны.

— Посмотри, какое лицо у первого, впереди всех, — сказал Смок. — Это голод. Вот в чем разгадка. Они съели своих собак.

— Что мы будем делать? Удерем?

— И оставим сани и собак? — с упреком спросил Смок.

— Они съедят нас, если мы не удерем. Такой у них вид! Эй, ребята, что с вами стряслось? Не смотрите так на наших псов! Им еще рано на сковородку — поняли?

Индейцы подошли ближе и столпились вокруг путников, воя и причитая на каком-то непонятном наречии. Ужасом повеяло на Смока от этого зрелища. Это был несомненный голод. Лица индейцев со впалыми щеками и кожей, точно присохшей к костям, казались мертвыми. Толпа все росла и росла, пока Смок и Малыш не затерялись в ней окончательно.

— Прочь с дороги! Проваливайте! — заорал Малыш по-английски, после нескольких бесплодных попыток столковаться с ними при помощи тех немногих индейских слов, которые он знал.

Мужчины, женщины и дети продолжали топтаться на месте, дрожа и шатаясь на подгибающихся ногах. Толпа становилась все больше

и больше. В безумных глазах вспыхивала жадность. Какая-то женщина, спотыкаясь и кряхтя, зашла в тыл Малышу и повалилась на сани, широко растопырив руки. За ней последовал старик; пыхтя и задыхаясь, он пытался развязать ремни и добраться до лежащих на дне саней мешков с продовольствием. Какой-то юноша ринулся вперед с ножом в руках, но был отброшен Смоком. Толпа напирала на них со всех сторон; разгорелся настоящий бой.

Сначала Смок и Малыш только отталкивали нападающих, но потом пустили в ход рукоятки бичей и кулаки и начали избивать толпу, обезумевшую при виде пищи. Со всех сторон неслись рыдания и стоны женщин и детей. Там и сям, во многих местах санные ремни были уже перерезаны. Мужчины подползали на животах и, не обращая внимания на град ударов и толчков, пытались вытащить из саней продовольствие. Их приходилось отрывать от земли и отбрасывать в сторону. Они были так слабы, что валились наземь от первого же толчка. Никто из них не сделал ни одной попытки напасть на людей, оборонявших сани.

Только страшная слабость индейцев и спасла Смока и Малыша от поражения. Через пять

минут стена напиравших индейцев была сокрушена и превратилась в груду корчившихся и ползавших по снегу тел. Несчастные выли и стонали, судорожно раздували ноздри и с пеной у рта, остекленевшими, затуманенными глазами впивались в мешки с продовольствием, обозначавшим для них жизнь. И надо всем царил страшный вой женщин и детей.

— Замолчите, замолчите! — орал Малыш, затыкая уши; он задыхался от усталости. — Ах, вот ты как! — взревел он вдруг и, ринувшись вперед, выбил нож из рук человека, подползшего к саням и пытавшегося вонзить нож в горло собаки-вожака.

— Какой ужас! — пробормотал Смок.

— Фу, запарился! — ответил Малыш, отходя от спасенного Брайта. — Что нам делать с этой инвалидной командой?

Смок покачал головой, но тут задача разрешилась сама собой. Какой-то индеец выполз из кучи валявшихся тел и выпучил свой единственный глаз не на сани, а на Смока: в этом страшном взгляде Смок прочел бешеное усилие овладеть собой. Малыш вспомнил, что он только что хватил этого старика по тому глазу, который теперь закрылся и запух. Индеец приподнялся на локте

и заговорил:

— Моя Карлук. Моя хороший сиваш. Моя знает много белый человек. Моя много голодный. Все много голодный. Все не знает белый. Моя знает. Моя теперь ест пища. Все теперь ест пища. Мы купит пища. Мы много золота. Нет пища. Лето лосось не ходил Молочная река. Зима карибу не ходил. Нет пища. Моя говорит весь народ. Моя говорит — много белый человек ходит Юкон. Белый человек — много пища. Белый человек любит золото. Мы берет золото, ходит Юкон, белый человек дает пища. Много золота. Я знает — белый человек любит золото.

Дрожащими пальцами он начал шарить в мешке, который вытащил из-за пояса.

— Слишком много делать шума, — рассеянно перебил его Малыш. — Ты сказать скво[46], ты сказать папуз[47] заткнуть глотки.

Карлук повернулся и обратился с речью к воющим женщинам. Остальные мужчины прислушались и, властно возвысив голоса, мало-помалу заставили успокоиться женщин и сгрудившихся около них детей. Карлук перестал

---

[46] Примечания: 46
Скво — женщина.

[47] Примечания: 47
Папуз — ребенок.

шарить в мешке и несколько раз поднял руку с растопыренными пальцами.

— Столько людей сделать мертвый, — сказал он.

Следя за счетом, Смок понял, что семьдесят пять человек из племени умерло от голода.

— Моя купит пища, — сказал Карлук, раскрыв мешок, и вытащил из него большой, тяжелый кусок металла. Остальные последовали его примеру, и со всех сторон появились точно такие же куски. Малыш выпучил глаза.

— Батюшки! — воскликнул он. — Медь! Сырая красная медь! А они думают, что это золото!

— Это золото, — заверил их Карлук, уловив смысл восклицания Малыша.

— Бедняги! Это была их последняя ставка! — пробормотал Смок. — Посмотри-ка! Этот кусок весит сорок фунтов. У них есть сотни фунтов меди, и они все время тащили ее с собою, а сил не было и себя-то тащить. Послушай, Малыш, мы должны накормить их.

— Легко сказать. А как насчет статистики? У нас с тобой продовольствия на месяц, то есть шесть порций, помноженных на тридцать, стало быть, сто восемьдесят порций. А тут двести индейцев — и аппетит у них изрядный. Мы не можем на-

кормить их даже один раз.

— Есть еще собачий корм, — ответил Смок. — Двести фунтов сушеной лососины нас выручат. Мы должны помочь им. Они свято верят в белых, помни это.

— Верно. И разочаровывать их не годится, — согласился Малыш. — Каждому из нас выпало на долю по скверному делу, одно хуже другого. Одному придется пробежаться в Муклук за подмогой, а другой останется здесь, займется этой богадельней и, вероятнее всего, будет съеден. Не забудь, что нам понадобилось шесть дней, чтобы добраться сюда. Даже налегке быстрее чем в три дня не обернуться.

Смок задумался, взвесил количество миль и переложил их на единицы времени, измеряемого его выносливостью.

— Я могу быть там завтра вечером, — заявил он.

— Хорошо, — подхватил Малыш. — А я останусь, и меня слопают.

— Но я возьму по рыбине на каждую собаку, — прибавил Смок. — И порцию еды для себя.

— Конечно, тебе надо будет проглотить что-нибудь, если ты собираешься быть в Муклуке завтра вечером.

Через Карлука Смок изложил индейцам свой план.

— Зажигать огни, длинные огни, много огни, — закончил он. — Много белый человек жить Муклук. Белый человек много хороший. Белый человек много пища. Пять снов моя прийти обратно много пища. Этот человек, его имя Малыш, много хороший друг мне. Он остаться тут. Он большой начальник, поняли?

Карлук кивнул головой и перевел его речь.

— Вся пища остаться здесь. Малыш дать пища. Он начальник, поняли?

Карлук перевел и это. Мужчины закивали головами и разразились гортанными криками одобрения.

Смок оставался в лагере до тех пор, пока не была налажена работа. Те, у кого еще были силы, ползали или ковыляли, собирая топливо. Были разложены длинные индейские костры. Малыш с дюжиной помощников занялся стряпней, время от времени давая короткой дубинкой по тянувшимся к нему со всех сторон жадным рукам. Женщины стали греть на огне снег, которым наполнили всю имевшуюся под рукой посуду. В первую очередь все получили по тонкому ломтю ветчины, а потом по ложке сахару, надо было

хоть как-нибудь притупить их острый голод. Скоро на кострах, кольцом окружавших Малыша, зашипели горшки с бобами, а сам Малыш жарил и раздавал тончайшие оладьи, пронзая «жуликов» гневным взором.

— Я займусь стряпней, — говорил он Смоку, прощаясь с ним. — А ты лети во весь дух. Всю дорогу туда рысью, а обратно галопом. Сегодня и завтра ты будешь в пути, так что раньше чем через три дня не сможешь вернуться. Завтра они съедят последнюю из собачьих рыб и останутся без крошки пищи на целых три дня. Тебе придется поторопиться, Смок. Тебе придется очень поторопиться.

3

Несмотря на то что сани были нагружены только шестью сушеными рыбинами, двумя-тремя фунтами мороженых бобов с салом и меховым мешком для спанья, Смок двигался довольно медленно. Вместо того чтобы сидеть в санях и подгонять собак, ему приходилось возиться с шестом, бежать рядом с собаками. Кроме того, он много работал в течение дня и чувствовал себя очень усталым. Устали и собаки. Долгие полярные сумерки настигли его, едва только

он перебрался через хребет и оставил за собой Лысые Холмы.

Путь под гору был уже значительно легче. Время от времени Смок мог позволить себе роскошь вскочить в сани и на протяжении шести миль ограничиться понуканием измученных собак. Ночь застала его в широком русле какого-то безымянного ручья. Ручей вился по долине подковообразными изгибами, и, чтобы выиграть время, Смок решил выбраться из русла и ехать напрямик. Вскоре он сбился с пути и снова вернулся в русло. В течение часа он тщетно пытался взять верное направление и, убедившись наконец в бесполезности дальнейших блужданий, развел костер, дал каждой собаке по половине рыбы и разделил на две части свой собственный паек. Потом закутался в спальный мешок и, прежде чем сон сморил его, успел сообразить, где находится. Последняя пройденная им долина лежала у разветвления ручья. Он отдалился от правильного пути на целую милю. В данный момент он находился в основном русле, ниже того места, где проложенный им с Малышом путь пересекал долину и вел через маленький ручеек на низкий холм, находившийся на другом берегу ручейка.

Как только забрезжил рассвет, он собрался

в путь натощак и поднялся вверх по руслу на милю. Без завтрака и не накормив собак, он ехал восемь часов не отдыхая, пересекая мелкие ручьи, низкие перевалы и спускаясь вниз по ручью Колюшки. К четырем часам пополудни он в сгущающихся сумерках выехал на хорошо наезженную дорогу вдоль Лосиного ручья. До конца путешествия ему оставалось еще пятьдесят миль. Он сделал привал, развел костер, дал собакам по полрыбы и съел свой фунт бобов. Потом вскочил в сани, крикнул «пошел!» и погнал собак.

— Приналягте, псы! — кричал он. — Вперед за жратвой! До Муклука ни крошки! Гоните, волки! Гоните!

4

Он подъехал к салуну «Энни-Майн» в четверть первого пополудни. Главный зал был переполнен, в огромных печах трещали дрова, и в помещении царила удушливая жара: вентиляции здесь не существовало. Треск фишек и шум за карточными столами сливались в монотонный аккомпанемент монотонному журчанию голосов. Люди беседовали стоя и сидя, по двое и по трое. Весовщики ни на минуту не покидали своих весов, ибо ходовой разменной монетой был

золотой песок, которым приходилось оплачивать даже выпивку у стойки, стоившую какой-нибудь шиллинг.

Стены комнаты были сколочены из бревен, покрытых корой и проконопаченных полярным мхом. Из открытой двери танцевального зала доносились бравурные звуки рояля и скрипки. Только что состоялся розыгрыш «китайской лотереи», и счастливчик, которому достался главный выигрыш, пропивал его в обществе полудюжины приятелей-собутыльников. За столами для игры в фаро и рулетку царило деловитое спокойствие. Точно так же спокойно было за столами для покера, вокруг которых собралось множество зрителей. Еще за одним столом шла серьезная, сосредоточенная игра в Черного Джека. Только со стола для игры в кости доносился шум, так как один из игроков швырял кости на зеленое сукно стола со всего размаха, точно преследуя ускользающее от него счастье.

— Эй, четверка! — вопил он. — Да ну, иди же! Где же ты, четверочка? Иди! Иди! Ну, тащи домой закуску!

Калтус Джордж, рослый, коренастый индеец из Серкл-сити, неподвижно стоял в стороне, прислонившись к бревенчатой стене. Он был

цивилизованным индейцем, если только жить, как живут белые, значит быть цивилизованным. Он чувствовал себя смертельно обиженным, хотя обида эта была очень давнишняя. В течение многих лет он делал все, что делают белые, работал бок о бок с ними и зачастую даже лучше, чем они. Он носил такие же брюки, как они, такие же шерстяные толстые рубахи. У него были такие же часы, как у них, он так же, как и они, расчесывал свои короткие волосы на боковой пробор и ел ту же пищу, что они, — бобы, сало и муку. И все же ему было отказано в величайшей награде белых — в виски. Калтус Джордж зарабатывал большие деньги. Он находил заявки, продавал и покупал заявки. Сейчас он был погонщиком собак и носильщиком и брал по два шиллинга с фунта за зимний пробег от Шестидесятой Мили до Муклука, а за сало, как это было принято, — три. Его кошель был туго набит золотым песком. Он мог заплатить за сотню выпивок. И все же ни один буфетчик не отпускал ему виски. Горячее, живительное виски — лучшее благо цивилизации — было не для него. Только из-под полы, таясь и дрожа, по непомерно высокой цене мог он добыть себе выпивку. И он ненавидел эту проклятую межу, отделявшую его от белых, ненавидел

глубоко, много лет. А как раз сегодня он особенно изнывал от жажды, бесился и больше чем когда бы то ни было ненавидел белых, которым так упорно подражал. Белые милостиво разрешали ему проигрывать добытое им золото за их карточными столами, но ни за какие деньги он не мог получить спиртного за их стойками. Поэтому он был очень трезв, очень логичен — и поэтому же необычайно мрачен.

В соседней комнате танцы закончились диким топотом, который не произвел ни малейшего впечатления на трех пьяниц, храпевших под роялем.

— Все пары — к стойке! — раздалась последняя команда распорядителя, когда музыка смолкла. И пары проследовали в главный зал — мужчины в мехах и мокасинах, женщины в теплых платьях, шелковых чулках и бальных туфельках. Вдруг распахнулась двойная наружная дверь, и в комнату тяжело ввалился Смок Беллью.

— Что случилось, Смок? — спросил Мэтсон, владелец «Энни-Майн».

Смок с усилием разжал рот:

— За дверью мои собаки, загнаны до полусмерти. Пусть кто-нибудь займется ими, а я тем временем расскажу, в чем дело.

Очень коротко он обрисовал положение. Игрок в кости, который все еще сидел за столом, разложив перед собой деньги, и никак не мог поймать свою четверку, встал, подошел к Смоку и заговорил первым.

— Мы должны что-то сделать. Это ясно. Но что именно? У вас было достаточно времени на размышление. Каков ваш план?

— Вот что я придумал, — ответил Смок. — Нам надо будет пустить сани совсем налегке. Скажем, по сто фунтов продовольствия на каждую запряжку. Еда для погонщика и для собак — примерно еще фунтов пятьдесят. Тогда они поедут быстро. Сию минуту выедут, скажем, пять-шесть саней — лучшие беговые запряжки, лучшие погонщики — пожиратели пространства. Выехать надо всем сразу. Как бы мы ни гнали собак, мы приедем на место тогда, когда индейцы будут уже третий день сидеть без единой крошки пищи. А после того, как мы отправим легкие сани, пустим вслед им сани потяжелее. Считайте сами. Два фунта в день на человека — это самое меньшее, что им нужно, чтобы тронуться в путь. Значит, четыреста фунтов в день, а со стариками и детьми мы сможем доставить их в Муклук не раньше чем через шесть дней. Ну, что же вы решили?

— Устроим сбор и купим продовольствие, — сказал игрок в кости.

— Продовольствие я беру на себя, — нетерпеливо начал Смок.

— Нет, — перебил его тот. — Мы все пойдем в долю. Давайте сюда таз. Мы справимся в минуту. Вот вам почин.

Он вытащил из кармана тяжелый мешок с золотом, развязал его и направил в подставленный таз струю неочищенного песку и самородков. Стоявший рядом с ним мужчина с проклятием отпихнул его и поднял кверху отверстие мешка — золотой поток прекратился. Около шести-восьми унций успело перейти в таз.

— Не хвалитесь! — крикнул он. — Не у вас одного есть золото. Пустите-ка и меня!

— Хо! — фыркнул игрок в кости. — Можно подумать, что тут гонятся за заявкой, — уж больно вы разгорячились.

Толпа сгрудилась: каждый хотел участвовать в сборе, и когда, наконец, все внесли свою долю, Смок приподнял тяжелый таз обеими руками и ухмыльнулся.

— Хватит на прокорм всего племени до самой весны, — сказал он. — Теперь о собаках. Нужно пять легких упряжек с хорошим ходом.

Немедленно была предложена дюжина запряжек; тут же был выбран комитет, который приступил к обсуждению их достоинств. Как только выбор падал на какую-либо упряжку, владелец ее с полудюжиной подручных отправлялся запрягать, чтобы быть наготове и пуститься в путь по первому сигналу.

Одна упряжка была забракована, потому что только накануне прибыла из утомительного путешествия. Один из присутствующих предложил свою, но со сконфуженным видом показал на свою забинтованную щиколотку, не позволявшую ему принять участие в походе. Его упряжку взял Смок, не обращая внимания на протестующие крики, что он слишком утомлен и должен остаться.

Долговязый Билл заявил, что хотя запряжка у Толстого Олсена отличная, но сам Олсен — настоящий слон. Двести сорок фунтов человеколюбия Толстого Олсена вознегодовали. Слезы гнева выступили у него на глазах, и поток его красноречия прекратился только тогда, когда его зачислили в тяжелый отряд. Игрок в кости воспользовался случаем и перехватил легкую упряжку Олсена.

Наконец пять упряжек были выбраны, и их начали нагружать. Но пока только четыре погон-

щика удовлетворяли требованиям комитета.

— А Калтус Джордж? — крикнул кто-то. — Он пожирает пространство, как никто другой, да и силы у него свежие.

Все взоры устремились на индейца. Но тот молчал, и лицо его было по-прежнему бесстрастно.

— Возьмете упряжку? — обратился к нему Смок.

Но рослый индеец не отвечал. Словно электрический ток пробежал по толпе; все почувствовали, что ожидается нечто непредвиденное. Люди заволновались, и вскоре вокруг Смока и Калтуса Джорджа, стоявших друг против друга, образовалось кольцо встревоженных зрителей. Смок понял, что с общего согласия он выступает в роли представителя своих товарищей в том, что совершалось, и в том, что должно было совершиться. Он был зол. Он не понимал, как может найтись хоть одно живое существо, не увлеченное общим порывом и отказывающееся принять участие в задуманном деле. Ему и в голову не приходило, что индеец отказывается по причине, не имеющей ничего общего с корыстолюбием и эгоизмом.

— Вы, конечно, возьмете упряжку? — повторил Смок.

— Сколько? — спросил Калтус Джордж.

Лица золотоискателей исказились, и страшный рев разнесся по комнате.

— Постойте, ребята! — крикнул Смок. — Может, он не понимает. Дайте-ка я объясню ему. Слушайте, Джордж. Разве вы не видите, что тут никто никого не нанимает? Мы отдаем все, что у нас есть, чтобы спасти двести индейцев от голодной смерти.

— Сколько? — повторил Калтус Джордж.

— Да постойте же, ребята! Слушайте, Джордж. Мы хотим, чтобы вы нас поняли. Голодают ваши же сородичи. Они из другого племени, но они тоже индейцы. Вы видите, что делают белые люди? Они отдают свой песок, своих собак, свои сани, наперебой предлагают свои услуги, просят взять их с собой. С первыми санями могут ехать только избранные. Посмотрите на Толстого Олсена. Он готов был полезть в драку, когда ему не позволили ехать. Вы должны гордиться тем, что вас считают первоклассным гонщиком. Тут дело не в «сколько», а в «как скоро».

— Сколько? — еще раз сказал Калтус Джордж.

— Убить его! — Прошибить ему череп! — Дегтя и перьев! — слышалось в сплошной кутерьме, поднявшейся вслед за его словами. Дух чело-

веколюбия и товарищеской спайки мгновенно превратился в дикое исступление.

А в центре урагана неподвижно стоял Калтус Джордж. Смок отпихнул самого яростного из золотоискателей и крикнул:

— Стойте! К чему кричать? — Крики стихли. — Принесите веревку, — спокойно закончил он.

Калтус Джордж пожал плечами; мрачная, недоверчивая усмешка исказила его лицо. Он знал белых. Достаточно долго путешествовал он с ними, достаточно много бобов, сала и муки съел с ними, чтобы не знать их. Они поклонялись закону. Он прекрасно знал это. Они наказывали человека, нарушающего закон. Но он не нарушил закона. Он знал их законы. Он жил по ним. Он никого не убил, ничего не украл и не солгал. Закон белых людей не запрещал запрашивать цену и торговаться. Они все запрашивали цену и торговались. А он ничего другого не сделал, этому они сами научили его. И кроме того, если он не был достоин пить с ними, то он, конечно, не был достоин заниматься вместе с ними и благотворительностью и принимать участие в прочих их нелепых развлечениях.

Принесли веревку. Долговязый Билл Хаскел, Толстый Олсен и игрок в кости очень неловко,

дрожащими от гнева руками накинули индейцу на шею петлю и перебросили другой конец веревки через перекладину под потолком. Человек двенадцать зашли на другую сторону и стали сзади, готовясь тянуть.

Калтус Джордж не сопротивлялся. Он знал, что это блеф. Насчет блефа белые — мастера. Не покер ли их излюбленная игра? Не блеф ли все их дела — купля, продажа, торговля?

— Стойте! — скомандовал Смок. — Свяжите ему руки. А то он будет цепляться.

«Опять блеф», — решил Калтус Джордж и безропотно позволил связать себе руки за спиной.

— Ваш последний шанс, Джордж, — сказал Смок. — Берете вы упряжку?

— Сколько? — повторил Калтус Джордж.

Удивляясь самому себе, своей способности совершить подобную вещь, в то же время возмущенный чудовищным корыстолюбием индейца, Смок подал знак. Не менее изумлен был и Калтус Джордж, когда почувствовал, что петля у него на шее затягивается и отрывает его от пола. В то же мгновение его упорство было сломлено. По его лицу пробежала быстрая смена переживаний — удивления, испуга и боли.

Смок с тревогой следил за ним. Сам он никогда

не подвергался повешению, а потому чувствовал себя новичком в этом деле. Тело индейца судорожно корчилось, руки силились разорвать путы, из горла вырывались хрипы. Смок поднял руку.

— Отпустите! — приказал он.

Те, что тянули веревку, были, по-видимому, недовольны краткостью экзекуции — они заворчали, но все же опустили Калтуса Джорджа на пол. Глаза у него вылезли из орбит, ноги подкашивались, он шатался из стороны в сторону и все еще судорожно шевелил руками. Смок понял, в чем дело; резким движением просунул он палец между веревкой и шеей индейца и, рванув веревку, ослабил петлю. Калтус Джордж вздохнул полной грудью.

— Возьмете упряжку? — спросил Смок.

Калтус Джордж ничего не ответил. Он был занят: он дышал.

— Да, мы, белые, свиньи, — заговорил Смок, проклиная роль, которую ему пришлось играть. — Мы готовы душу продать за золото и тому подобное. Но приходит и такая минута, когда мы забываем о золоте, обо всем другом и делаем нечто, не помышляя о том, сколько мы заработаем. И когда мы делаем это, берегитесь, Калтус Джордж. Так! А теперь мы желаем знать:

возьмете вы упряжку или нет?

Калтус Джордж боролся с собой. Он не был трусом. Быть может, блеф как раз достиг предела и сдаваться было глупо. А в то время как он боролся с собой, Смока грыз тайный страх, что этот упрямый индеец во что бы то ни стало захочет быть повешенным.

— Сколько? — сказал Калтус Джордж.

Смок поднял было руку.

— Иду, — быстро сказал Калтус Джордж, прежде чем петля успела затянуться.

5

— Когда спасательная экспедиция нашла меня, — рассказывал Малыш в «Энни-Майн», — этот самый индейский идол Калтус Джордж явился первым, побив Смока на три часа. А вы не забывайте, что Смок пришел вторым. Так вот, когда я услышал, что Калтус Джордж орет с верхушки холма на своих псов, это было как раз вовремя, потому что эти чертовы сиваши слопали мои мокасины, рукавицы, кожаные ремни, футляр от ножа, а некоторые из них уже начали поглядывать на меня эдакими голодными глазами, — я, знаете ли, был чуть пожирнее их.

А Смок? Ну, он был, как покойник. Он начал

помогать мне стряпать обед для двухсот страждущих сивашей, да так и заснул на корточках у ведра, в которое накладывал снег. Я разостлал свой спальный мешок, и пусть меня повесят, если мне не пришлось укладывать его, как ребенка, — до того он измаялся. Да, а зубочистки-то я выиграл. Разве псам не пришлись кстати те шесть рыбин, что Смок скормил им за обедом?

Ошибка мироздания

1

— Хо! — прикрикнул Смок на собак, откидываясь всем телом на шест, чтобы остановить сани.

— Ну, что случилось? — пробурчал Малыш. — Вода подо льдом, что ли?

— Вода не вода, а ты взгляни на эту тропу направо, — ответил Смок. — Я-то думал, что в этих местах никто не зимует.

Остановившись, собаки легли в снег и начали выгрызать кусочки льда, застрявшие у них между пальцами. Пять минут назад лед этот был водой. Животные провалились сквозь пленку запорошенного снегом льда, затянувшего весеннюю воду, которая просочилась с берега и выступила на поверхности трехфутовой ледяной коры, сковывавшей реку Нордбеска.

— Первый раз слышу, что в верховьях Нордбески есть люди, — сказал Малыш, уставившись на еле видный под двухфутовой снеговой пеленой след, который пересекал русло реки и терялся в устье небольшого ручья, впадавшего в нее с левой стороны. — Может, тут проходили охотники

со своей добычей?

Смок разбросал руками, не снимая рукавиц, легкий снег, остановился, подумал, посмотрел, снова принялся за очистку следа и снова остановился.

— Нет, — решительно произнес он. — Тут ходили вверх и вниз по ручью, но последний раз определенно вверх. Эти люди, кто бы они ни были, и сейчас еще находятся здесь, вблизи, но по тропе уже несколько недель никто не проходил. Но что их тут держит? Вот что я хотел бы знать.

— А я бы хотел знать, где мы сегодня будем ночевать, — сказал Малыш, с тоской глядя на юго-запад, где вечерние сумерки постепенно начинали сгущаться в ночь.

— Давай поднимемся вверх по ручью, по этому следу, — предложил Смок. — Там много хворосту. Мы можем сделать привал.

— Привал, конечно, сделать можно, но если мы не хотим умереть с голоду, то должны идти, насколько хватит сил, скорее и не сбиваться в сторону.

— Мы найдем что-нибудь на этом ручье, — настаивал Смок.

— Но посмотри на наши запасы! Посмотри на собак! — воскликнул Малыш. — Посмотри на…

Ну, да ладно, к черту! Все равно ты сделаешь по-своему.

— Мы и дня на этом не потеряем, — сказал Смок. — Пройдем лишнюю милю, не больше.

— Люди погибали и из-за одной мили, — возразил Малыш, с мрачным и покорным видом качая головой. — Ну что ж, поедем искать беды. Вставайте вы, бедняги колченогие, — ну, вставайте! Хо! Брайт! Хо!

Вожак повиновался, и вся упряжка лениво поплелась по рыхлому снегу.

— Стой! — крикнул Малыш. — Надо утоптать дорогу.

Смок достал из саней лыжи, прикрепил их к своим мокасинам и вышел вперед, чтобы расчистить и утоптать собакам путь.

Работа была не из легких. И люди и собаки уже много дней были на голодном пайке, а потому запас энергии у них был не велик. Шли они по руслу реки, но русло было так круто, что они с величайшим трудом преодолевали подъем, точно карабкались на высокую гору. Скоро высокие прибрежные скалы сдвинулись до такой степени, что путники оказались как бы на дне узкой котловины, в которой благодаря высоким отвесным утесам царил полумрак.

— Настоящая ловушка, — сказал Малыш. — Все вместе очень гнусно. Тут что-то неладно. Наверняка наживем беду.

Смок ничего не ответил, и в течение получаса они прокладывали себе путь в полном молчании. Наконец Малыш не вытерпел:

— Ну и дела! Сплошная мерзость! И если ты хочешь выслушать меня, я скажу тебе, что из всего этого получится.

— Говори, — сказал Смок.

— Так вот, мое предчувствие подсказывает мне, что мы не выберемся из этой дыры много-много дней. Мы наживем себе беду и надолго застрянем здесь.

— Ну, а что говорит предчувствие насчет еды? — мрачно спросил Смок. — Ведь продовольствия-то у нас припасено значительно меньше, чем на «много-много дней».

— Насчет продовольствия не знаю. Думаю, что обойдемся. Но одно я скажу тебе, Смок, прямо и открыто: я съем любую собаку из нашей упряжки, кроме Брайта. На Брайте я остановлюсь.

— Не вешай носа, — ухмыльнулся Смок. — Мне везет, и мое счастье работает и сверхурочно. Собак есть не придется — я в этом уверен. Будут ли это олени, или лоси, или жареные перепела, но

только мы даже разжиреем.

Малыш фыркнул, не скрывая негодования. И еще на четверть часа воцарилось молчание.

— Ну вот, кажется, начинаются неприятности, — заметил Смок, останавливаясь и пристально вглядываясь в какой-то предмет, лежащий в стороне от заметенного снегом следа.

Малыш оставил шест, присоединился к Смоку, и через минуту оба с недоумением смотрели на человеческое тело, лежащее около тропинки.

— Упитанный, — промолвил Смок.

— Посмотри на его губы, — сказал Малыш.

— Тверд, как кочерга, — сказал Смок. Он поднял руку трупа — та не согнулась и потащила за собой все тело.

— Если потрясти его, он рассыплется на кусочки, — заметил Малыш. Окоченелый труп лежал на боку. Так как он не был засыпан снегом, то, видимо, лежит он тут недолго.

— Сильный снег шел три дня тому назад, — прибавил Малыш.

Смок кивнул, склонился над трупом и, перевернув его лицом кверху, указал на огнестрельную рану в виске. Потом посмотрел по сторонам и кивнул в сторону валявшегося в снегу револьвера.

Пройдя сто ярдов, они наткнулись на второй

труп, лежащий ничком на дороге.

— Две вещи ясны для меня, — сказал Смок. — Оба покойника — толстые. Значит, голода не было. А в то же время им сильно не повезло, иначе они бы не покончили с собой.

— Если только они покончили с собой, — заметил Малыш.

— В этом я не сомневаюсь. Тут нет ничьих следов, кроме их собственных, и притом оба обожжены порохом. — Смок оттащил труп в сторону и носком мокасина вырыл из снега револьвер, вдавленный в него тяжестью тела. — Вот чье это дело! Говорил я тебе, что мы найдем что-нибудь!

— Пока что мы еще не много узнали. И с чего это два таких жирных молодца покончили с собой?

— Знай мы это, для нас было бы ясно и все остальное, — ответил Смок. — Едем дальше, смеркается.

Было уже совсем темно, когда Смок задел лыжами еще один труп и тотчас же упал поперек саней, на которых лежал второй. Вытряхнув снег из-за ворота, он зажег спичку, и они увидели третий труп, завернутый в одеяло и лежавший на краю наполовину вырытой могилы. Прежде чем спичка погасла, они увидели еще с полдюжины могил.

— Бррр! — содрогнулся Малыш. — Лагерь самоубийц. И каких упитанных! По-моему, тут все до одного перемерли.

— Нет, взгляни-ка вон туда. — Смок показал на мерцающий вдали огонек. — А вон еще один и еще. Идем! Да поскорее!

Больше трупов не было, и через несколько минут они добрались по хорошо утоптанной дороге до лагеря.

— Да это прямо поселок, — прошептал Малыш. — Тут не меньше двадцати хижин. И ни одной собаки. Странно!

— В этом-то и разгадка, — возбужденным шепотом ответил Смок. — Это экспедиция Лоры Сибли. Помнишь, они прошлой осенью поднялись вверх по Юкону на «Порт-Таунсенде». Они прошли мимо Доусона без остановки. Пароход высадил их, по-видимому, у ручья.

— Вспоминаю. Это были мормоны.

— Нет, вегетарианцы! — Смок усмехнулся в темноте. — Они не едят мяса и не ездят на собаках.

— Что мормоны, что вегетарианцы — все едино. А на золото и их потянуло. Лора Сибли обещала доставить их прямехонько на то место, где все до одного станут миллионерами.

— Верно. Она у них ясновидящая, у нее были

разные видения и все такое. А я думал, что они поднялись по Норденсджолду.

— Ой! Послушай-ка!

Малыш испуганным жестом схватил Смока за руку, и оба стали прислушиваться к хриплому, протяжному стону, доносившемуся из какой-то хижины. Едва он стал затихать, как его подхватили в другой, потом третьей, — этот вопль производил чудовищное, кошмарное впечатление.

— Бррр! — содрогнулся Малыш. — Меня положительно воротит от этого воя. Зайдем, посмотрим, в чем тут дело.

Смок постучался в дверь первой освещенной хижины. Услышав голос со стоном «Войдите», они шагнули с Малышом через порог. Это была простая бревенчатая хижина со стенами, законопаченными мхом, и земляным полом, посыпанным опилками и стружками. Свет керосиновой лампы позволил им разглядеть четыре койки; три из них были заняты людьми, которые перестали стонать и уставились на вошедших.

— Что с вами? — обратился Смок к одному из них, забившемуся под одеяло, которое не могло скрыть его широких плеч и мощной мускулатуры, странно противоречивших измученному

выражению глаз и впавшим щекам. — Оспа, что ли?

В ответ человек показал на свой рот и с трудом разжал черные, распухшие губы. Смок невольно отшатнулся.

— Цинга, — шепнул он Малышу. Человек на койке кивком подтвердил этот диагноз.

— Еды много? — спросил Малыш.

— Да, — раздался голос с другой койки. — Угощайтесь! Еды сколько угодно. В хижине напротив никого нет. Склад дальше, все прямо. Ступайте туда.

2

Во всех хижинах, в которых Смок и Малыш побывали за ночь, они увидели то же самое. Цинга поразила весь лагерь. В экспедиции принимали участие двенадцать женщин, но Смоку и Малышу удалось увидеть только некоторых из них. В лагере сначала было всего девяносто три человека — мужчин и женщин. Десять из них умерли, а двое недавно исчезли. Смок сообщил о своей находке и выразил изумление по поводу того, что никто из участников экспедиции не потрудился пройти это ничтожное расстояние и найти их. Больше всего его и Малыша поразила беспомощ-

ность этих людей. Их хижины были загажены до последней степени. На грубо сколоченных столах стояли немытые тарелки. Никто не помогал друг другу. Все невзгоды одной какой-нибудь хижины касались только ее обитателей. Они даже перестали хоронить покойников.

— Прямо гнусность, — сказал Смок Малышу. — Видел я лодырей и бродяг, но никогда не встречал их сразу в таком количестве. Ты слышал, что они говорят? Они за все время ни разу и пальцем не шевельнули. Держу пари, что они ни разу даже не помылись. Неудивительно, что они схватили цингу.

— Но ведь вегетарианцы как будто не подвержены заболеванию цингой, — заметил Малыш. — Говорят, только питающиеся соленым мясом заболевают ею. А они не едят мяса — ни соленого, ни свежего, ни сырого, ни вареного — словом, никакого.

Смок покачал головой.

— Знаю. Цингу именно и лечат вегетарианской диетой. Никакие другие лекарства не помогают. Овощи, особенно картофель, — вот единственное противоядие. Но не забывай одного, Малыш, мы имеем дело не с теорией, а с жизнью. Факт налицо — эти травоядные схватили цингу.

— Должно быть, заразная штука?

— Нет, это доктора твердо знают. Микробов цинги нет. Ею нельзя заразиться. Насколько я понимаю, она вызывается изменением состава крови. Дело не в том, что они ели, а в том, чего они не ели. Человек заболевает цингой от недостатка какого-то химического вещества в крови, и вещество это добывается не из порошков и микстур, а из овощей.

— Но ведь эти люди ничего не едят, кроме зелени, — пробурчал Малыш. — А травы-то у них по уши. Стало быть, ты ошибаешься, Смок. Ты строишь теории, а жизнь начисто опровергает их. Цинга заразна, и они схватили ее все до одного, и притом основательно. И мы с тобой тоже схватим ее, если застрянем здесь. Бррр! Я положительно чувствую, как эта дрянь заползает в меня.

Смок скептически рассмеялся и постучал в дверь следующей хижины.

— По-моему, тут та же история, — сказал он. — Зайдем. Надо все выяснить.

— Что вам надо? — послышался резкий женский голос.

— Видеть вас, — ответил Смок.

— Кто вы такие?

— Два врача из Доусона, — не задумываясь

выпалил Малыш, за что и был наказан сильным толчком в бок, нанесенным ему локтем Смока.

— Нам не нужны врачи, — заявила женщина прерывистым голосом, в котором слышались боль и раздражение. — Идите себе своей дорогой. Спокойной ночи. Мы не верим врачам.

Смок сбил засов, распахнул дверь и, войдя, поднял фитиль в тусклой керосиновой лампе, чтобы лучше видеть. Четыре женщины, лежавшие на четырех койках, перестали стонать и уставились на вошедшего. Две из них были молодые, с тонкими чертами лица; третья — пожилая и очень полная. А четвертая — та, что, по-видимому, говорила со Смоком, была самым худым и хрупким образцом человеческой породы, какой ему когда-либо приходилось видеть. Он тотчас же сообразил, что это и есть Лора Сибли, пророчица и ясновидящая, организовавшая экспедицию в Лос-Анджелесе и приведшая ее в этот лагерь смерти, на Нордбеску. Явно неприязненно отвечала она на расспросы Смока. Лора Сибли не верила в медицину. В дополнение ко всем ее мукам она почти перестала верить и в самое себя.

— Почему вы не послали за помощью? — поинтересовался Смок, когда она замолчала, утомленная своей первой тирадой. — На реке

Стюарт есть лагерь. А до Доусона всего восемнадцать дней пути.

— А Эймос Уэнтворт почему не пошел? — спросила она с яростью, граничившей с истерикой.

— Я не знаю этого джентльмена, — ответил Смок. — А чем он занимается?

— Ничем. Но он один не схватил цинги. А почему не заболел? Я скажу вам. Нет, не скажу… — Она сжала губы, такие тонкие и прозрачные, что Смоку показалось, будто он видит за ними зубы и десны. — Да и пойди он даже, какой был бы толк? Я-то ведь знаю. Я не дура. Наши склады набиты фруктовым вареньем и консервами из овощей. Мы защищены от цинги лучше любого лагеря в Аляске. Нет таких консервированных овощей, нет таких фруктов, которых бы у нас не было, и притом в громадном количестве.

— Вот ты и попался, Смок, — возликовал Малыш. — Вот тебе факты, а не теория. Ты говоришь — лечение овощами. Овощи налицо, а где лечение?

— Сам ничего не понимаю, — признался Смок. — А между тем во всей Аляске не найти подобного лагеря. Я видел цингу, сколько угодно отдельных случаев; но мне в жизни не приходилось видеть, чтобы целый лагерь болел ею, и

притом в такой тяжелой форме. Так или иначе, мы должны помочь этим людям всем, чем можем. Но сперва нам надо устроиться и позаботиться о собаках. Утром увидимся, э-э… миссис Сибли.

— Мисс Сибли, — отрезала она. — И вот что, молодой человек. Если вы вздумаете соваться к нам в хижину с какими-нибудь лекарскими снадобьями, я накормлю вас дробью.

— Приятная дамочка — эта божественная прорицательница, — рассмеялся Смок, пробираясь вместе с Малышом в темноте к пустой хижине, рядом с той, которую они посетили первой.

Вероятно, в ней еще недавно жили два человека — быть может, те самые самоубийцы, которых они нашли на дороге. Они перерыли склад и нашли баснословное количество всевозможных продуктов в консервированном, сушеном, печеном, сгущенном и стерилизованном виде.

— И как это им только вздумалось болеть цингой? — спрашивал Малыш, тыча пальцем в пакеты с яичным порошком и сухими грибами. — Взгляни-ка сюда! А вот это! — Он вытащил несколько жестянок с томатами, с различной крупой, банки с оливками. — И божественная следопытка тоже подхватила цингу. Что ты на это скажешь?

— Психопатка, а не следопытка, — поправил Смок.

— Следопытка, — повторил Малыш, — разве не привела она сюда, в этот ад, всю свою экспедицию? Она же нашла путь сюда.

3

Встав на следующее утро с рассветом, Смок встретил человека, тащившего нагруженные дровами сани. То был маленький, чистенький, подвижный человек, двигавшийся очень быстро, несмотря на тяжелый груз. Смок сразу же почувствовал к нему антипатию.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего, — ответил человек.

— Я знаю, что ничего, — сказал Смок. — Потому-то я и спрашиваю. Вы — Эймос Уэнтворт. Почему, скажите на милость, вы единственный не заболели цингой?

— Потому что я работал, — последовал быстрый ответ. — Никто из них не заболел бы цингой, если бы они дышали свежим воздухом и хоть чем-нибудь занимались. А они что делали? Ворчали, жаловались на холод и долгие ночи, тяжелую работу, болезни и вообще на все на свете. Они валялись на кроватях до тех пор, пока не распухли

так, что теперь уж и встать не могут. Вот вам и все. Посмотрите на меня. Я работал. Идемте ко мне в хижину.

Смок последовал за ним.

— А ну, посмотрите. Чистенько, а? Попробуйте подкопаться. Как стеклышко! Если бы я не боялся упустить тепло, я бы не держал на полу этих опилок и стружек, но зато уж они чистые, будьте уверены. А вы бы посмотрели на полы в их берлогах! Хлев, да и только! А я ни разу не ел с немытой тарелки. Нет-с, сударь! Работать надо было, и я работал — и у меня нет цинги. Вот вам и вся премудрость, зарубите это себе на носу.

— Да, можно сказать, вы попали в точку, — подтвердил Смок. — Но я вижу только одну койку. Отчего такая необщительность?

— Так мне больше нравится. Легче прибирать за одним, чем за двумя, — вот и все. Лентяи и лодыри! Неудивительно, что у них началась цинга.

Все, что он говорил, было вполне резонно, и все-таки Смок не мог отделаться от чувства неприязни к этому человеку.

— А что против вас имеет Лора Сибли? — внезапно спросил он.

Эймос Уэнтворт быстро взглянул на него.

— Она помешанная, — ответил он. — Впрочем,

мы все помешанные. Но да избавит меня Небо от помешанных, которые не хотят мыть тарелки и едят на грязных. А такова вся эта банда.

Несколько минут спустя Смок беседовал с Лорой Сибли, которая с помощью двух палок умудрилась доползти до его хижины.

— Почему вы сердиты на Уэнтворта? — спросил он, неожиданно переменив тему разговора. Вопрос этот застал ее врасплох.

Ярость вспыхнула в ее зеленых глазах, исхудалое лицо на мгновение исказилось, а искусанные губы дрогнули, словно она собиралась заговорить. Но только какое-то невнятное бормотание, какое-то всхлипывание сорвалось с ее губ; чудовищным усилием воли она сдержалась.

— Потому что он здоров, — прохрипела она. — Потому что у него нет цинги. Потому что он эгоистичен до последней степени. Потому что он пальцем не пошевелит, чтобы помочь кому-нибудь, и спокойно даст нам сгнить и умереть. Он это делает и сейчас. Ему и в голову не придет принести нам ведро воды или вязанку дров. Вот какой это зверь! Но пусть он будет осторожен! Вот и все. Пусть будет осторожен!

Все еще задыхаясь и всхлипывая, она заковыляла обратно, а когда пятью минутами позже Смок

вышел из хижины покормить собак, он увидел, что она входит в хижину Эймоса Уэнтворта.

— Здесь что-то неладно, Малыш, что-то неладно, — многозначительно качая головой, сказал он своему товарищу, когда тот появился на пороге с помойным ведром в руках.

— Верно! — весело откликнулся Малыш. — И мы с тобой оба схватим эту штуку. Вот увидишь.

— Да я не о цинге говорю.

— А, так ты о божественной следопытке? Настоящий скелет. В жизни не видал я такой тощей женщины.

4

— Работа сохранила нам с тобой здоровье, Малыш. Она сохранила здоровье Уэнтворту. А ты видел, во что превратило безделье остальных? Стало быть, мы должны прописать этим больным клячам работу. Назначаю тебя старшей сестрой.

— Кого? Меня? — крикнул Малыш. — Отказываюсь!

— Нет, ты не откажешься. Я буду тебе хорошим помощником, потому что нам предстоит нелегкое дело. Мы должны заставить их попотеть. Первым делом они похоронят покойников. Самых крепких — в похоронную команду. Тех, что чуть

послабее, пошлем за дровами — они валяются на койках, чтобы сэкономить топливо, и так далее, по состоянию здоровья. А потом — хвойный чай. Они, вероятно, и не слыхали о нем.

— Ну, кончено наше дело, — осклабился Малыш. — Не успеем мы и рта раскрыть, как в нас всадят хороший заряд свинца.

— С этого-то мы и начнем, — сказал Смок. — Идем!

За час они обошли все двадцать с лишком хижин. Все патроны, все винтовки, ружья и револьверы были конфискованы.

— Эй вы, калеки! — приговаривал Малыш. — Давайте сюда ваши самострелы! Они нам нужны.

— Кто это говорит? — осведомились в первой хижине.

— Врачи из Доусона, — ответил Малыш. — Наше слово — закон. Ну, живо! И патроны тоже давайте.

— Зачем они вам?

— Чтобы отбить вооруженный отряд мясных консервов, наступающий со стороны ущелья. Кстати, заблаговременно предупреждаю вас о предстоящем вторжении соснового чая. Пошли дальше!

Это было только начало. Уговорами, угрозами,

а подчас и просто силой Смок и Малыш согнали всех мужчин с коек и заставили их одеться. Смок отобрал самых крепких и сформировал из них похоронную команду. Другой команде было предписано набрать хворосту, чтобы в промерзшей земле можно было выкопать могилы. Еще одна команда получила задание заготовить топливо и аккуратно снабжать им отдельные хижины. Тем, кому состояние здоровья не позволяло работать на воздухе, было предложено прибрать в своих хижинах и выстирать белье. Одна команда заготовила множество сосновых веток, и все печи были заняты под варку хвойного чая.

Но как Смок и Малыш ни бодрились, положение было, в сущности, чрезвычайно серьезное. По меньшей мере тридцать совершенно безнадежных больных никак не удавалось поднять с постели, — Смок и Малыш с отвращением и ужасом это констатировали. В хижине Лоры Сибли умерла женщина. Требовались решительные меры.

— Я не любитель избивать больных, — говорил Малыш, угрожающе стискивая кулаки. — Но если это принесет пользу, то я способен размозжить им черепа. И в чем вы все нуждаетесь, проклятые лодыри, так это в основательной взбучке! Ну, вы-

лезайте и напяливайте вашу сбрую! Да поживей, а не-то я прогуляюсь по вашим физиономиям!

Больные роптали, вздыхали и ныли: слезы струились и замерзали у них на щеках во время работы.

Когда к полудню работники вернулись, их уже ожидал вкусный обед, состряпанный наиболее слабыми обитателями хижин под наблюдением и из-под палки Смока и Малыша.

— Будет, — сказал Смок в три часа дня. — Отчаливайте! Марш по койкам! Может, вы и чувствуете себя теперь погано, но это ничего — завтра будет лучше. Лечение — вещь неприятная, но я вас вылечу.

— Слишком поздно, — ухмылялся Эймос Уэнтворт, наблюдая за усилиями Смока. — За них надо было приняться прошлой осенью.

— А ну-ка, пойдемте со мной, — ответил Смок. — Берите эти два ведра. Вы ведь не больны.

Они начали втроем ходить из хижины в хижину и вливали в каждого мужчину и в каждую женщину по пинте хвойного чая. Это оказалось нелегким делом.

— Вам бы следовало заметить с самого начала, что мы сюда пришли не шутки шутить, — заявил Смок первому же больному, пытавшемуся

воспротивиться и стонавшему сквозь стиснутые зубы. — Подсоби-ка, Малыш. — Смок схватил одной рукой пациента за нос, а другой стукнул его под ложечкой так, что у него немедленно открылся рот.

— Ну, Малыш! Пошло!

И действительно пошло — под аккомпанемент воплей, плевков и фырканья.

— В следующий раз будет легче, — утешил Смок жертву, принимаясь за очередной нос.

— Я бы охотнее выпил касторки, — по секрету признался Малыш, готовясь проглотить собственную порцию. — Великий Мафусаил! — заявил он во всеуслышание и в назидание слушателям, проглотив горькое пойло. — Всего-то одна пинта, а крепости в ней на целую бочку!

— Мы совершаем обход с хвойным чаем четыре раза в день и каждый раз поим восемьдесят человек, — заявил Смок Лоре Сибли. — Так что вам от нас не спрятаться. Будете вы пить, или мне придется взять вас за нос? — Его большой и указательный пальцы красноречиво повисли над ее лицом. — Это штука растительная, так что угрызений совести у вас не будет.

— Угрызений совести? — фыркнул Малыш. — Вот еще! Из-за такой-то прелести?

Лора Сибли колебалась.

— Ну? — решительно спросил Смок.

— Я… я… выпью, — сказала она дрожащим голосом. — Только поскорей.

Вечером Смок и Малыш растянулись на своих койках разбитые, как после долгой и утомительной дороги.

— Я чувствую себя совершенно больным, — признался Смок. — Они ужасно страдают. Но работа — это единственное средство, которое я мог придумать. И надо испробовать его до конца. Вот если бы хоть один мешок сырого картофеля…

— Спаркинс больше не может мыть посуду, — сказал Малыш. — Его корчит от боли. Он был так слаб, что мне пришлось уложить его обратно в постель.

— Эх, если б у нас был сырой картофель! — опять начал Смок. — В этой консервированной дребедени не хватает чего-то существенного, чего-то главного. Из нее выпарена вся жизнь.

— И еще я готов держать пари, что парнишка Джонс из хижины Браунлоу не дотянет до утра.

— Да перестань! Не скули ты! — взмолился Смок.

— Ведь нам же придется хоронить его, а? —

послышалось негодующее фырканье. — Я тебе говорю, этот мальчишка совсем плох.

— Замолчи! — сказал Смок.

С соседней койки раздалось еще более негодующее фырканье, сменившееся скоро храпом, — Малыш заснул.

5

Утром не только Джонс был мертв. Повесился один из самых крепких мужчин, работавший в топливной команде. Потянулась вереница кошмарных дней. Целую неделю Смок, напрягая все силы, заставлял своих пациентов работать и пить хвойный чай. И все же ему приходилось освобождать их от работы то по одному, то по двое, а то и по трое. Он понял, что работа для больных цингой — плохое лекарство. Похоронная команда таяла с каждым днем, но работала не покладая рук — на всякий случай было заготовлено около полудюжины могил.

— Худшего места для лагеря вы не могли найти? — спросил Смок Лору Сибли. — Посмотрите, как он расположен! На дне узкой котловины, выходящей на запад и восток. Даже в полдень солнце не поднимается выше скал. У вас, наверное, несколько месяцев не было солнца.

— Откуда я могла это знать?

Он пожал плечами.

— Вы должны были знать! Сумели же вы увести за собой сотню сумасшедших на золотые россыпи.

Она злобно посмотрела на него и заковыляла прочь. Возвращаясь через несколько минут после посещения команды, с оханьем и стонами собиравшей сосновые ветки, Смок увидел, что «прорицательница» входит в хижину Эймоса Уэнтворта, и последовал за нею. Подойдя к двери, он услышал ее стонущий и умоляющий голос.

— Только мне одной! — клянчила она в тот момент, когда он вошел в хижину. — Я никому не скажу.

Оба испуганно и виновато посмотрели на вошедшего. Смок почувствовал, что наскочил на какую-то тайну — на какую именно, он не мог понять, и проклинал себя за то, что не догадался подслушать у двери.

— Выкладывайте! — резко скомандовал он.

— Что «выкладывайте»? — мрачно переспросил Эймос Уэнтворт.

А что «выкладывать», Смок-то и не мог объяснить.

6

Положение становилось все страшней и страшней. В темной дыре ущелья, куда не проникало солнце, жуткий список покойников все увеличивался. Изо дня в день Смок и Малыш с дрожью в сердце осматривали друг другу рты и искали первых признаков болезни — белого налета на деснах и на слизистой оболочке.

— С меня довольно, — возвестил Малыш в один прекрасный вечер. — Я как следует поразмыслил и решил, что с меня довольно. Надсмотрщиком за рабами я бы еще мог быть, но надсмотрщиком за калеками — это мне не по нутру. Им с каждым днем становится все хуже. Двадцать человек — больше я не могу выгнать на работу. Сегодня вечером я позволил Джексону остаться в постели. Он готов был покончить с собой. Я видел — это ему засело в голову. От работы никакой пользы.

— Я тоже так решил, — ответил Смок. — Мы отпустим всех, за исключением двенадцати человек. А хвойный чай продолжать?

— Никакого толку.

— Я готов согласиться и с этим. Но ведь во всяком случае он и не вредит им.

— Еще самоубийство, — возвестил Малыш на

следующее утро. — На этот раз Филипс. Я уже несколько дней ждал этого.

— Мы работаем впустую, — пробормотал Смок. — А что бы ты предложил, Малыш?

— Кто? Я? У меня нет никаких предложений. Пусть все идет как идет.

— Но ведь это значит, что они все перемрут! — запротестовал Смок.

— Кроме Уэнтворта, — буркнул Малыш, который уже давно разделял антипатию своего товарища к этому человечку.

Необъяснимый иммунитет Уэнтворта ставил Смока в тупик. Каким образом он один из всех избежал цинги? Почему Лора Сибли ненавидит его? И вместе с тем юлит перед ним, что-то выпрашивает? Что? Чего он не хотел дать ей?

Смок неоднократно делал попытки застигнуть Уэнтворта врасплох во время обеда. Единственное, что он заметил подозрительного, — это подозрительное отношение самого Уэнтворта к нему. Тогда он взялся за Лору Сибли.

— Сырой картофель излечил бы всех, — сказал он как-то прорицательнице. — Я знаю. Я видел, как он действует.

По ее глазам, загоревшимся сначала верой, а потом ненавистью, он понял, что напал на вер-

ный след.

— Почему вы не захватили на пароход хоть сколько-нибудь картофеля?

— Был у нас картофель. Но, поднявшись по реке, мы продали его в форте Юкон очень выгодно. У нас осталось много сушеной картошки — мы знали, что сушеная дольше держится.

— И вы весь свежий продали? — спросил Смок.

— Да. Откуда мы могли знать?

— А не осталось ли двух-трех мешков? Не завалились ли они где-нибудь на пароходе случайно?

Она покачала головой, не совсем решительно, как ему показалось.

— А может быть — все-таки где-нибудь? — настаивал он.

— Откуда я знаю? — раздраженно ответила она. — Я не заведовала провиантом.

— Стало быть, им заведовал Эймос Уэнтворт, — тут же догадался Смок. — Очень хорошо. Ну, а как по-вашему — так, между нами? Не думаете ли вы, что у Уэнтворта где-нибудь припрятан сырой картофель?

— Нет, безусловно, нет. Как бы он мог это сделать?

— А может быть?

Она только пожала плечами.

7

— Уэнтворт — свинья, — был приговор Малыша, когда Смок поделился с ним своими подозрениями.

— И Лора Сибли тоже, — прибавил Смок. — Она убеждена, что у него есть картофель, но скрывает это от других, уговаривая его поделиться с нею.

— А он не дает, а? — Малыш обрушил на человеческую подлость серию изысканнейших проклятий и остановился, чтобы перевести дух.

Вечером, когда в лагере стонали и спали, или стонали и не спали, Смок зашел в неосвещенную хижину Уэнтворта.

— Выслушайте меня, Уэнтворт, — сказал он. — Вот в этом мешке у меня золотого песку на тысячу долларов. Я считаюсь в этой стране богачом и могу себе позволить подобную роскошь. Меня, кажется, тоже начинает пробирать. Суньте мне в руку сырую картофелину — и песок ваш. Получайте!

И Смок вздрогнул, когда Эймос Уэнтворт протянул в темноте руку и схватил золото. Смок услышал, как он рылся под одеялом, и почувствовал, что в руку ему сунули самую настоящую

картофелину.

Смок не стал ждать утра. В лагере было двое безнадежно больных, с минуты на минуту ждали их смерти. Смок и Малыш направились в их хижину. Там они раздавили и растерли в чашке тысячедолларовую картофелину вместе с кожурой и приставшей к ней землей — получилась густая жидкость, и они вливали ее, по нескольку капель на прием, в жуткие черные дыры, бывшие когда-то ртами. Всю долгую ночь они сменяли друг друга, давая больным по каплям картофельный сок.

К вечеру следующего дня в состоянии обоих больных произошла чудесная, просто невероятная перемена. А когда через сорок восемь часов картофельный сок закончился, опасность уже миновала, хотя до полного излечения было еще далеко.

— Слушайте, что я намерен сделать, — сказал Смок Уэнтворту. — У меня есть кое-какое имущество в этой стране, и моя расписка ходит здесь как наличные деньги. Я дам вам по пятьсот долларов за картофелину, на общую сумму до пятидесяти тысяч долларов. Это выходит сто картофелин.

— А золотого песку у вас больше нет? — осведомился Уэнтворт.

— Мы с Малышом наскребли все, что у нас было. Но, говоря откровенно, мы с ним стоим по меньшей мере два миллиона.

— У меня нет картофеля, — сказал наконец Уэнтворт. — Очень бы я хотел, чтобы он у меня был. Та картофелина, что я вам дал, была у меня единственная. Я берег ее всю зиму на тот случай, если схвачу цингу. Я продал ее только для того, чтобы выбраться из этих краев.

Несмотря на отсутствие картофельного сока, оба больные, которых им лечили, продолжали поправляться. Положение же остальных все ухудшалось. На четвертое утро пришлось хоронить три страшных тела. Малыш молча выполнил ужасную работу, которую считал хуже всякой пытки, а потом заявил Смоку:

— До сих пор ты все делал по-своему. Теперь мой черед.

Он ринулся прямо в хижину Уэнтворта. О том, что там происходило, Малыш никогда не распространялся. Когда он вышел оттуда, с его ободранных кулаков сочилась кровь, но зато лицо Уэнтворта долго носило следы основательного избиения, а голова бессильно свисала набок на полупарализованной шее. Последнее находило свое объяснение в черных и синих отпечатках

четырех пальцев на одной стороне его горла и одного сине-черного пятна на другой.

Затем Смок и Малыш вместе вторглись в хижину Уэнтворта и, вышвырнув его в снег, перевернули там все вверх дном. Лора Сибли лихорадочно помогала им искать.

— Вы-то, положим, ничего не получите, старуха, хотя бы мы нашли целую тонну, — успокоил ее Малыш.

Но их постигло не меньшее разочарование, чем прорицательницу. Они ничего не нашли, хоть и разрыли весь пол.

— По-моему, его нужно поджаривать на медленном огне, пока он не заговорит, — предложил Малыш.

Смок неодобрительно покачал головой.

— Это убийство, — продолжал Малыш. — Он убивает этих бедняг так же, как если бы он попросту пробил им черепа.

Прошел еще день, посвященный бдительному наблюдению за каждым движением Уэнтворта. Несколько раз, когда он с ведром в руках направлялся к ручью, они как бы случайно приближались к его хижине, и он каждый раз бежал обратно, не набрав воды.

— Картофель спрятан в хижине, — сказал

Малыш. — Это так же верно, как то, что Уэнтворт — свинья. Но где? Ведь мы же перерыли ее всю. — Он встал и натянул рукавицы. — Я найду картофель, хотя бы мне пришлось снести всю эту лачугу.

Он взглянул на Смока. Смок сидел с застывшим, отсутствующим взглядом и не слушал его.

— Что с тобой? — гневно спросил Малыш. — Только не говори мне, что ты схватил цингу!

— Стараюсь вспомнить что-то.

— Что?

— Не знаю. В том-то и беда. Во всяком случае, что-то важное… Если бы только вспомнить!

— Слушай, Смок, не раскисай, пожалуйста, — взмолился Малыш. — Подумай обо мне. Плюнь ты на свои размышления. Идем, помоги мне свернуть эту лачугу. Я бы поджег ее, если бы не боялся изжарить нашу картошку.

— Есть! — взревел Смок, вскакивая на ноги. — Как раз это я и старался вспомнить. Где жестянка с керосином? Я с тобой, Малыш! Картофель наш!

— Что я должен делать?

— Смотреть, что буду делать я, больше ничего, — самодовольно усмехнулся Смок.

Через несколько минут, при слабом зеленоватом мерцании северного сияния, приятели

крались к хижине Эймоса Уэнтворта. Осторожно и бесшумно облили они керосином балки, обратив особое внимание на дверную и оконную рамы. Потом чиркнули спичкой и стали наблюдать, как разгорается пламя.

Они увидели, как Уэнтворт выскочил из хижины, дико уставился на пламя и нырнул обратно.

Не прошло и минуты, как он появился вновь, — на этот раз медленно, согнувшись пополам под тяжестью мешка, вид которого не оставлял сомнений относительно своего содержимого. Как два голодных волка, кинулись на него Смок и Малыш. Слева и справа обрушились на него два удара. Он упал под тяжестью своего мешка, который Смок тотчас же схватил обеими руками. В то же мгновение Уэнтворт обвил его колени и поднял к нему бледное, перекошенное лицо.

— Дайте мне дюжину, только дюжину! — взвыл он. — Полдюжины — берите себе остальное! — Он оскалил зубы и, охваченный слепой яростью, нагнул голову, чтобы укусить Смока за ногу, но тут же передумал и снова начал молить. — Только полдюжины! — скулил он. — Только полдюжины! Я собирался отдать его вам завтра. Да, завтра! Так я решил. В них — жизнь! Жизнь! Только несколько штук!

— Где другой мешок? — рявкнул Смок.

— Я все съел, — честно признался Уэнтворт. — Этот мешок — все, что осталось. Дайте мне хоть несколько штук. Можете взять остальное.

— Сожрал! — взвизгнул Малыш. — Целый мешок! А те бедняги подыхали без картофеля! Вот тебе! И еще! И еще! И еще! Свинья! Боров!

После первого же удара Уэнтворт оторвался от колен Смока. Второй удар опрокинул его в снег. Но Малыш продолжал бить его ногами.

— Ногти на пальцах обломаешь, — заметил Смок. Это было все, что он нашел нужным сказать.

— Я работаю пяткой, — ответил Малыш. — Обрати внимание. Я вгоню ему ребра в брюхо. Ну-ка получай! Жалко, что на мне мокасины, а не сапоги. Ах ты, боров!

8

В ту ночь в лагере никто не спал. Смок и Малыш обходили хижины, вливая чудотворный картофельный сок, по четверть ложки на прием, в жалкие, изуродованные рты больных. Они продолжали работать весь следующий день, сменяя друг друга.

Больше не было умирающих. Самые безнадеж-

ные больные начали быстро поправляться. На третий день люди, неделями не вставшие с коек, выползли с костылями на свежий воздух. В тот день солнце, уже два месяца клонившееся к северу, в первый раз приветливо улыбнулось над хребтом ущелья.

— Ни одной штуки! — говорил Малыш скулящему Уэнтворту. — Цинга вас даже не коснулась. Вы съели целый мешок и застраховали себя от цинги на добрых двадцать лет. Познакомившись с вами, я начал понимать Бога. Я всегда удивлялся, почему он позволяет жить сатане. Теперь я понимаю. Он позволяет ему жить точно так же, как я позволяю жить вам. И все-таки это вопиющая несправедливость!

— И вот мой совет, — сказал Смок Уэнтворту. — Эти люди быстро поправляются. Через неделю мы с Малышом тронемся в путь, так что защищать вас будет некому, когда они примутся за вас. Снимайтесь отсюда. До Доусона восемнадцать дней пути.

— Собирай пожитки, Эймос, — прибавил Малыш. — Не то моя расправа покажется тебе безделицей рядом с тем, что сделают с тобой эти выздоравливающие.

— Джентльмены, выслушайте меня, молю

вас, — хныкал Уэнтворт. — Я чужой в этих краях. Я не знаю здешних дорог. Я заблужусь. Позвольте мне ехать с вами. Я дам вам тысячу долларов, если вы позволите мне ехать с вами.

— Ладно, — злорадно ухмыльнулся Смок. — Если Малыш согласится.

— Кто? Я? — Малыш выпрямился с величайшим усилием. — Я — ничтожество. Я — червяк, гусеница, брат головастика, мухин сын. Я не боюсь и не стыжусь ничего, что ползает и копошится на земле. Но путешествовать с этой ошибкой мироздания? Отойди, человек! Меня тошнит.

И Эймос Уэнтворт удалился, один как перст, волоча сани с продовольствием, рассчитанным до Доусона. Не успел он пройти милю, как его нагнал Малыш.

— Эй, ты, пойди сюда, — приветствовал он Эймоса. — Поближе! Так. Вытряхивай!

— Я не понимаю… — пискнул Уэнтворт, содрогаясь при воспоминании о двух затрещинах, полученных им от Малыша.

— А тысячу долларов, это ты понимаешь? Тысячу долларов, которую Смок заплатил тебе за ту картофелину? Ну, пошевеливайся!

Уэнтворт молча передал ему мешок.

— Я надеюсь, что тебя укусит хорек, и ты сдох-

нешь от водобоязни, — было напутственное слово Малыша.

Яичная афера

1

Морозным зимним утром Люсиль Эрол вошла в доусонский магазин A. C. Company и подозвала Смока Беллью к прилавку с галантерейными товарами. Приказчик в это время открыл дверь в склад, и, несмотря на то что большая печка была раскалена докрасна, Люсиль поспешно надела снятые было рукавицы.

Смок тотчас же повиновался ее зову. Во всем Доусоне не было мужчины, которому не польстило бы внимание Люсиль Эрол, эстрадной певицы в маленькой труппе, дававшей вечерние представления в оперном театре «Палас».

— Умереть можно со скуки, — пожаловалась она кокетливо-капризным тоном, как только они обменялись рукопожатием. — Целую неделю нечего делать. Маскарад, который собирался устроить Скиф Митчел, отложен. Ни крупицы золотого песка в обращении. Фойе в театре пусты. Из Штатов уже две недели нет почты. Все забрались в свои берлоги и завалились спать. Надо что-нибудь предпринять. Необходимо оживить

город — и мы с вами можем это сделать. Если кто-нибудь вообще может расшевелить наших горожан, так это только мы с вами. Знаете, я порвала с Уайльдом Уотером.

Два видения почти одновременно возникли перед мысленным взором Смока. Одним из них была Джой Гастелл; другим — он сам, распростертый на пустынной снежной дороге, под холодной полярной луной, чисто и со знанием дела подстреленный упомянутым Уайльдом Уотером. Явное нежелание Смока заняться встряской Доусона в компании с Люсиль Эрол не укрылось от внимания певицы.

— Пожалуйста! Мне безразлично, что вы об этом думаете! — сказала она и надула губки. — Если я вешаюсь вам на шею, то вам бы следовало выказать больше внимания ко мне.

— У некоторых людей от неожиданной радости бывал разрыв сердца, — пробормотал Смок, неумело изображая восторг.

— Лжец, — кокетливо отпарировала она. — Вы больше всего на свете боитесь этого. Так вот, мистер Смок Беллью, я не намерена влюбляться в вас, а если вы вздумаете влюбиться в меня, то вам придется иметь дело с Уайльдом Уотером. Вы ведь знаете его. Кроме того я… я, в сущности,

вовсе и не порывала с ним.

— Продолжайте ваши шарады. Может быть, я и догадаюсь, что вы задумали.

— Тут нечего догадываться, Смок. Я прямо скажу вам, в чем дело. Уайльд Уотер думает, что я порвала с ним, понимаете?

— Так что же — порвали вы с ним или нет?

— Да нет же, конечно! Но пусть это останется между нами. Он думает, что я порвала с ним, — я подняла такой шум, словно в самом деле бросаю его навсегда. Впрочем, он только этого и заслуживает.

— А при чем тут я? — осведомился Смок.

— То есть как при чем? Вы загребаете кучу денег, мы поднимем Уайльда Уотера на смех, мы встряхнем Доусон, а самое главное, самое существенное — Уайльд Уотер чуточку притихнет. Ему это необходимо. Он… как бы это сказать… он слишком буйный. А все потому, что он огромный детина, и у него столько заявок, что он им счет потерял.

— И потому, что он помолвлен с очаровательнейшей женщиной во всей Аляске, — вставил Смок.

— Да, и поэтому тоже. Но ведь это еще не причина беситься. Вчера его снова прорвало. Усеял

пол бара «М и М» золотым песком. Не меньше чем на тысячу долларов. Взял, развязал мешок и начал швырять золото под ноги танцорам. Вы, конечно, уже слышали?

— Да, сегодня утром. Хотел бы я быть уборщиком в этом учреждении. И все-таки я ничего не понимаю. При чем тут я?

— Послушайте, он чересчур необуздан. Я расторгла нашу помолвку, и теперь он ходит и шумит, словно у него и вправду разбито сердце. Вот тут и завязка истории. Я люблю яйца.

— Их больше нет! — в отчаянии воскликнул Смок. — Что делать? Что делать?

— Подождите.

— Но что значат яйца и аппетит для вашей истории? — спросил он.

— Все, если вы только будете слушать.

— Слушаю, слушаю, — пропел он.

— Так слушайте же, ради Бога! Я люблю яйца. В Доусоне они — редкость.

— Верно. Это я тоже знаю. Больше всего их в ресторане Славовича. Порция ветчины с одним яйцом — три доллара. Порция ветчины с двумя яйцами — пять долларов. Иначе говоря — два доллара яйцо в розницу. Только богачи, Эролы и Уайльды Уотеры могут позволить себе такую

роскошь.

— Он тоже любит яйца, — продолжала она. — Но не в этом дело. Их люблю и я. Я завтракаю ежедневно в одиннадцать утра у Славовича. И постоянно съедаю два яйца. — Она выразительно помолчала. — Предположите, только предположите, что кто-нибудь скупает все яйца.

Она замолчала. Смок посмотрел на нее восхищенным взглядом и в глубине души одобрял выбор Уайльда Уотера.

— Вы не слушаете, — сказала она.

— Продолжайте, — ответил он. — Я сдаюсь. Так что же будет?

— Вот глупый! Вы ведь знаете Уайльда Уотера. Как только он увидит, что я тоскую по яйцам, — а я читаю в его душе, как в открытой книге, и умею делать тоскующий вид, — что он, по-вашему, сделает?

— Говорите, говорите!

— Он, разумеется, побежит к тому, кто скупил яйца. Он скупит всю партию, сколько бы она ни стоила. Картина: я прихожу в одиннадцать часов к Славовичу. За соседним столом сидит Уайльд Уотер. Он будет ходить туда, как на службу. «Два яйца в мешочке», — говорю я официанту. «К сожалению, мисс Эрол, яиц больше нет», — от-

вечает лакей. Тогда начинает говорить Уайльд Уотер медвежьим своим голосищем: «Официант, шесть яиц всмятку». И тот отвечает: «Слушаюсь, сэр» и несет яйца. Картина: Уайльд Уотер искоса поглядывает на меня, а я становлюсь похожей на негодующую ледяную сосульку и начинаю пробирать официанта. «К сожалению, мисс Эрол, это — собственность мистера Уайльда Уотера. Он скупил все яйца, мисс». И вот вам картина: Уайльд Уотер торжествует и старается изо всех сил сделать невинное лицо, съедая свои шесть яиц.

И еще картина: сам Славович приносит мне два яйца в мешочке и говорит: «Привет от мистера Уайльда Уотера, мисс». Что же мне остается делать? Мне остается только улыбнуться Уайльду Уотеру, и тогда, разумеется, все начинается сначала. И в результате он будет думать, что сделал чрезвычайно выгодное дело, скупив всю партию яиц хотя бы по десять долларов за штуку.

— Дальше, дальше! — настаивал Смок. — При чем же тут я?

— Глупенький! Вы-то и скупите яйца! Вы начнете скупать их сегодня же, сейчас же. Вы можете купить все яйца в Доусоне по три доллара за штуку и продать их Уайльду Уотеру по любой цене.

Потом мы расскажем правду. Весь город будет смеяться над Уайльдом Уотером. И он, пожалуй, умерит свой пыл. Мы же с вами поделим славу. Вы заработаете кучу денег, а Доусон будет покатываться со смеху. Конечно, если эта спекуляция кажется вам рискованной, то я могу дать вам денег на покупку яиц.

Этого Смок не мог вынести. Будучи простым смертным, да еще уроженцем Запада, со своеобразными понятиями насчет денег и женщин, он с негодованием отверг предложенный ею песок.

2

— Эй, Малыш! — окликнул Смок своего компаньона, быстро шагавшего по другой стороне главной улицы, с бутылкой, в которой была какая-то замерзшая жидкость. — Где ты пропадаешь все утро? — прибавил он, подойдя к Малышу.

— У доктора, — ответил тот, показывая бутылку. — С Салли что-то неладно. Я осматривал ее вчера за вечерней кормежкой. У нее вылезли все волосы на морде и на боках. Доктор говорит…

— Это неважно, — нетерпеливо перебил его Смок. — Дело в следующем…

— Какая муха тебя укусила? — с негодованием спросил Малыш. — Ты хочешь, чтобы Салли хо-

дила облезлой по такой мерзкой погоде?

— Салли может подождать. Послушай-ка…

— Не может она ждать, говорю я тебе! Ты становишься жестоким к животным! Салли замерзнет! Чего ради ты в такой горячке?

— Сейчас все расскажу, Малыш. Но только сделай мне одно одолжение.

— Пожалуйста, — галантно сказал немедленно успокоившийся Малыш. — В чем дело? К черту Салли! Весь к твоим услугам.

— Я хочу, чтобы ты купил мне яйца.

— Ну, конечно, и одеколон, и рисовую пудру, и что еще? А несчастная Салли пусть облезает, как черт знает что? Послушай, Смок, если тебе так хочется вести светский образ жизни, так ты уж покупай себе яйца сам.

— Я и буду покупать их. Только я хочу, чтобы ты мне помогал. Молчи и слушай, Малыш. Слово предоставляется мне. Иди прямо к Славовичу. Плати ему до трех долларов за штуку и купи у него все яйца, какие есть.

— Три доллара? — застонал Малыш. — А я только вчера слышал, что у него на складе лежит семьсот штук яиц. Две тысячи сто долларов за куриный помет! Слушай, Смок, что я тебе скажу. Немедленно беги к врачу. Он займется тобой. Он

вкатит тебе на первый раз всего-навсего унцию чего-нибудь такого — и дело с концом. А я тем временем отнесу домой бутылку.

Но Смок схватил приятеля за плечо.

— Смок, я для тебя готов на все, — серьезно запротестовал Малыш. — Если бы ты застудил себе голову и переломил себе обе руки, то я бы дни и ночи дежурил у твоей постели и утирал бы тебе нос. Но будь я проклят во веки веков, если я выброшу две тысячи сто хороших звонких долларов на куриный помет!

— Доллары не твои, а мои, Малыш. Я хочу сделать дело. Я намерен скупить все яйца в Доусоне, в Клондайке и Юконе. И ты должен помочь мне. У меня нет времени рассказывать тебе суть дела — отложим это пока. Но если хочешь, можешь войти в долю, твоя половина. Факт тот, что нужно купить яйца. Лети к Славовичу и покупай.

— А что я скажу ему? Он ведь поймет, что я не собираюсь их съесть.

— Не говори ничего. Пусть скажут деньги. Он продает яйца в вареном виде по два доллара за штуку. Предложи ему по три доллара за сырое яйцо. Если он начнет расспрашивать, скажи ему, что ты собираешься разводить кур. Словом, мне нужны яйца. Принимайся за дело; разнюхай и

скупи все яйца, какие есть в Доусоне. Валяй! И не забудь, что у маленькой женщины с лесопилки — у той, что шьет мокасины, тоже имеется дюжины две.

— Ладно, Смок, пусть будет так, как ты говоришь. Но больше всего, кажется, у Славовича?

— Да. Лети! Вечером посвящу тебя в подробности.

Но Малыш потряс бутылкой.

— Сперва я отнесу домой лекарство для Салли. Яйца могут подождать. Если их еще не съели, то их и не съедят, пока я займусь бедной хворой собакой, которая неоднократно спасала жизнь и тебе и мне.

3

Никогда еще ни один товар не скупался с такой быстротой. В три дня все яйца в Доусоне, за исключением нескольких дюжин, перешли в руки Смока и Малыша. Смок оказался более сговорчивым покупателем. Он не краснея признался, что купил у некоего старика из Клондайк-сити двадцать два яйца по шесть долларов за штуку. Большинство же яиц скупил Малыш, причем немилосердно торговался. Женщине, шьющей мокасины, он заплатил всего по два доллара за

штуку и хвастался тем, что надул Славовича, забрав у него всю партию в семьсот пятьдесят яиц по весьма умеренной цене — два с половиной доллара за штуку. Зато он жаловался на маленький ресторанчик по ту сторону улицы, который умудрился содрать с него по два доллара семьдесят пять центов за жалкие сто тридцать четыре яйца.

Несколько дюжин, которые им еще не удалось купить, находились у двоих. С женщиной-индианкой, жившей в хижине за госпиталем, вел переговоры Малыш.

— Сегодня я покончу с ней, — заявил он на четвертый день. — Вымой посуду, Смок. Я буду дома через несколько минут, если не рассыплюсь от ее болтовни. Эх, если бы это был мужчина, с ним бы я столковался! Но проклятые женщины — прямо ужасно, как они умеют выматывать душу из покупателя!

Смок вернулся домой после обеда и нашел Малыша растянувшимся на полу и растирающим хвост Салли какой-то мазью, причем лицо его выражало подозрительное безразличие.

— Как дела? — беззаботно спросил Малыш.

— Никак, — ответил Смок. — А что у тебя слышно?

Малыш торжествующе кивнул в сторону небольшой корзинки с яйцами, стоявшей на столе.

— Семь долларов штучка! — прибавил он, после того как минуту втирал мазь.

— А я под конец дошел до десяти, — сказал Смок, — и тогда парень признался мне, что уже продал все, что у него было. Это очень скверно, Малыш. Очевидно, впутался еще кто-то. Эти двадцать восемь яиц могут доставить нам массу неприятностей. Видишь ли, весь успех дела зависит от того, сумеем ли мы забрать все яйца до единого…

Вдруг Смок замолчал и уставился на своего компаньона. С Малышом произошла поразительная перемена: под маской равнодушия в нем бурлило страшное возбуждение. Он закрыл банку с мазью, медленно и тщательно вытер руки о шерсть Салли, прошел в угол комнаты, взглянул на градусник, вернулся обратно и заговорил тихим, ровным и сверхвежливым тоном:

— Пожалуйста, будь добр, повтори, сколько яиц тот человек отказался продать тебе?

— Двадцать восемь штук.

— Гм, — пробормотал Малыш и небрежным кивком выразил свою признательность. Затем со

смутным беспокойством посмотрел на плиту. — Кажется, нам придется поставить новую плиту, Смок. В этой так нелепо устроена духовка, что лепешки вечно подгорают.

— Оставь духовку в покое, — рассердился Смок, — и скажи мне, в чем дело.

— Дело? Ах, вы хотите знать, в чем дело? В таком случае, покорнейше прошу вас обратить ваши дивные глаза на сию корзину, помещающуюся на столе. Изволите видеть?

Смок кивнул.

— Так, а теперь я скажу вам одну вещь, всего только одну вещь. В этой корзине лежат считанные, проверенные, не более и не менее как двадцать восемь яиц, стоящие, каждое в отдельности, ровно семь больших, толстых, круглых долларов. Если вы жаждете дальнейшей, подробной информации, то я с радостью и полной готовностью пойду вам навстречу.

— Продолжай, — сказал Смок.

— Так вот, тот дядя, с которым ты торговался, — жирный тупой индеец, не так ли?

Смок кивнул и продолжал кивать при каждом дальнейшем вопросе.

— У него недостает полщеки на одной стороне лица — там, где его цапнул медведь. Прав я? Он

торгует собаками, да? Зовут его Джим Рваная Щека? Не так ли? Ну, что?

— Ты хочешь сказать, что мы натолкнулись…

— Друг на друга. Вот именно. Эта женщина — его жена, и живут они на холме за госпиталем. Я мог бы получить эти яйца по два доллара за штуку, если бы ты не сунулся.

— И я тоже, — рассмеялся Смок, — если бы не ты. Но это пустяки. По крайней мере мы знаем, что скупили весь товар. А это самое главное.

В течение следующего часа Малыш выводил что-то огрызком карандаша на полях газеты трехлетней свежести. И чем бесконечней и неразборчивей становились его иероглифы, тем большей радостью озарялось его лицо.

— Вот оно где! — сказал он наконец. — Недурно, ей-богу. Дай-ка, я скажу тебе итог. В нашем распоряжении в данный момент находится ровно девятьсот семьдесят три яйца. Обошлись они нам ровно в две тысячи семьсот шестьдесят долларов, считая золотой песок по шестнадцать долларов за унцию и не учитывая потраченного времени. А теперь слушай. Если мы спустим яйца Уайльду Уотеру по десять долларов за штуку, то заработаем, за всеми вычетами и прочим, чистых шесть тысяч девятьсот семьдесят долларов. Это прямо

как на скачках! Мы с тобой вроде букмекеров[48]. И я участвую в половине. Давай ее сюда, Смок.

4

В одиннадцать часов вечера Смока разбудил Малыш. От его меховой парки валил пар, свидетельствовавший о крепком морозе, а руки его были холодны как лед, когда он прикоснулся к щеке Смока.

— Что еще? — проворчал Смок. — У Салли вылезла последняя шерсть?

— Нет, не то. Я просто хочу сообщить тебе приятные новости. Я говорил со Славовичем. Вернее, Славович говорил со мной, потому что он начал. Он сказал мне: «Малыш, я хочу поговорить с вами насчет яиц. Я держал всю эту историю в секрете. Никто не знает, что я вам их продал. Но если вы задумали спекуляцию, то я могу предоставить вам блестящую возможность». И он не соврал, Смок. Как бы ты думал, что он предложил мне?

— Ну, ну, дальше!

— Так вот. Может быть, это звучит неправдоподобно, но блестящая возможность — это Уайльд Уотер Чарли. Он ищет яйца. Он является к Славо-

---

[48] Примечания: 48
Букмекер — агент при тотализаторе на скачках.

вичу, предлагает ему по пять долларов за яйцо и, прежде чем тот успевает рот раскрыть, набавляет до восьми. А у Славовича ни одного яйца. Слово за слово, Уайльд Уотер заявляет Славовичу, что если он узнает, что Славович припрятал их где-нибудь, то он раскроит ему череп. Славовичу приходится сказать, что он продал яйца, но что покупатель пожелал остаться неизвестным. Теперь Славович просит, чтобы мы позволили ему сказать Уайльду Уотеру, кто купил яйца. «Малыш, — говорит он мне, — Уайльд Уотер зарвался, вы можете содрать с него по восьми долларов». — «Восемь долларов, — нет, бабушка! — кричу я ему. — Он будет молить меня, чтобы я уступил их ему по десять». Словом, я сказал Славовичу, что ночью подумаю и наутро дам ответ. Разумеется, мы позволим ему сказать Уайльду Уотеру, кто купил яйца. Так?

— Так, Малыш. Утром первым делом беги к Славовичу. Пускай говорит Уайльду Уотеру, что дело сработали мы.

Через пять минут Малыш снова разбудил Смока:

— Смок! А Смок!

— Да?

— Ни центом меньше десяти?

— Ну конечно, о чем говорить! — сонно отве-

тил Смок.

Утром Смок снова встретил в магазине Люсиль Эрол.

— Дело идет, — сообщил он ей ликующим тоном. — Уайльд Уотер был у Славовича и пытался купить яйца либо вырвать их у него силой. А Славович сказал ему, что все яйца купили мы с Малышом.

Глаза Люсиль Эрол загорелись восторгом.

— Иду завтракать! — воскликнула она. — Попрошу официанта подать яйца, а когда их не окажется, сделаю такую жалобную мину, что камень — и тот смягчится. А вы-то ведь знаете, что у Уайльда Уотера сердце из чего угодно, только не из камня. Он купит всю партию, если даже она обойдется ему в один из его рудников. Я знаю его. Но вы не спускайте ни полцента. Только десять долларов могут удовлетворить меня. И если вы уступите ему, Смок, то я никогда не прощу вам этого.

Когда Смок вечером пришел в хижину, Малыш поставил на стол миску с бобами, кофейник, кислые лепешки, масло, жестянку сгущенных сливок, блюдо с копченой олениной и ветчиной, миску компота из сушеных персиков и крикнул:

— Обед на столе! Только посмотри сначала, что

делает Салли.

Смок отложил в сторону сбрую, которую чинил, открыл дверь и увидел, что Салли и Брайт мужественно отбивают нападение шайки соседских собак, прибежавших чего-нибудь раздобыть. Увидел он и еще кое-что, заставившее его поспешно прикрыть дверь и броситься к плите. Он поставил горячую сковородку, на которой только что жарилось мясо, снова на плиту, бросил на нее изрядную порцию масла, достал яйцо, разбил его и выпустил на сковородку. Когда он потянулся за вторым яйцом, к нему подскочил Малыш и судорожно вцепился в его руку.

— Эй, ты! Что ты делаешь? — крикнул он.

— Яичницу, — объяснил Смок, разбивая второе яйцо и стряхивая с себя руку Малыша. — Что с тобой?

— Может, тебе нездоровится? — робко осведомился Малыш, когда Смок разбил третье яйцо и нетерпеливо отпихнул товарища локтем. — Ты уже загубил яиц на тридцать долларов.

— И собираюсь загубить на шестьдесят, — был ответ Смока, хладнокровно разбивавшего яйцо. — Отойди, Малыш. Сюда поднимается Уайльд Уотер. Он будет здесь через пять минут.

Малыш издал глубокий вздох облегчения, сви-

детельствовавший также и о том, что он проник в замысел Смока, и сел за стол. К тому времени, когда раздался долгожданный стук в дверь, Смок уже сидел за столом против Малыша. Перед каждым из них стояла тарелка с яичницей из трех яиц.

— Войдите! — крикнул Смок.

Уайльд Уотер Чарли, стройный молодой силач, без малого шести футов роста и ста девяноста фунтов чистого весу, вошел в комнату и пожал руки хозяевам.

— Присаживайтесь и угощайтесь, Уайльд Уотер, — пригласил его Малыш. — Смок, состряпай ему яичницу. Бьюсь об заклад, что он сто лет не ел яичницы.

Смок выпустил на горячую сковородку еще три яйца и через несколько минут поставил ее перед гостем. Тот посмотрел на нее таким напряженным и странным взглядом, что Малыш, как он сам впоследствии признавался, не на шутку испугался, как бы Уайльд Уотер не спрятал яичницу в карман и не удрал бы с ней.

— Вы не находите, что мы в отношении еды перещеголяли всех богачей из Штатов? — ухмыльнулся Малыш. — К примеру, вы, я и Смок — мы в данный момент едим на девяносто долла-

ров яиц, и хоть бы кто из нас глазом моргнул.

Уайльд Уотер смотрел на быстро исчезавшие яйца и казался окаменевшим.

— Ну что же вы? Налегайте! — подбодрил его Смок.

— Они… яйца не стоят десяти долларов, — медленно произнес Уайльд Уотер.

Малыш принял вызов.

— Всякая вещь стоит того, что вы можете получить за нее, не так ли? — сказал он.

— Да, но…

— Без всяких «но». Я скажу вам, сколько мы можем получить за них. По десять долларов за штуку. Смок и я, мы — яичный трест, прошу не забывать! — Он вытер свою тарелку куском лепешки. — Я без труда мог бы съесть еще штучки две, — вздохнул он, принимаясь за бобы.

— Вы не можете так есть яйца, — вымолвил Уайльд Уотер. — Это… это несправедливо.

— Мы со Смоком прямо влюблены в яйца, — извинился Малыш.

Уайльд Уотер мрачно расправился со своей яичницей и вопросительно посмотрел на хозяев.

— Послушайте-ка, не можете ли вы сделать мне одно большое одолжение? — испытующе начал он. — Продайте мне, либо одолжите, либо просто

подарите дюжину яиц.

— С удовольствием, — ответил Смок. — Я по себе знаю, как можно стосковаться по яйцам. Но мы не такие уж нищие, чтобы продавать наше гостеприимство. Они вам не будут стоить ни гроша. — Тут сильный удар под столом дал ему понять, что Малыш начинает нервничать. — Дюжину, — говорите вы, Уайльд Уотер?

Тот кивнул.

— А ну-ка, Малыш, — продолжал Смок, — свари яйца. Я ему сочувствую. Было времечко, когда я сам мог съесть дюжину, не сходя с места.

Но Уайльд Уотер удержал рукой расторопного Малыша и пояснил:

— Я имел в виду не вареные яйца. Я хочу получить их сырыми, в скорлупе.

— Чтобы взять их с собой?

— Вот именно.

— Это уже не гостеприимство, — заметил Малыш. — Это сделка.

Смок поддержал его:

— Совсем другое дело, Уайльд Уотер. Я думал, что вы попросту хотите съесть их. Мы, видите ли, купили их на предмет спекуляции.

Синие глаза Уайльда Уотера потемнели, и что-то грозное зажглось в них.

— Я заплачу вам, — резко сказал он. — Сколько?

— О, но только не за дюжину, — ответил Смок. — Мы дюжинами не продаем. Мы не розничные торговцы. Мы не можем своими собственными руками испортить себе рынок. Нам надо держаться крепко.

— Сколько у вас всего яиц, и что вы за них хотите?

— Сколько их у нас, Малыш? — осведомился Смок.

Малыш прочистил глотку и занялся устным счетом:

— Сейчас скажу. Девятьсот семьдесят три, минус девять — это выходит девятьсот шестьдесят два. Стало быть, вся история будет стоить — по десять долларов за удар — ровно девять тысяч шестьсот двадцать долларов. Разумеется, мы ведем чистую игру, Уайльд Уотер, и за каждое тухлое яйцо возвращаем деньги. Впрочем, здесь нет тухлых. Чего я никогда в жизни не видал в Клондайке, так это тухлых яиц. Нет такого дурака, который решился бы привезти сюда тухлые яйца.

— Это верно, — подтвердил Смок. — За тухлые яйца деньги обратно, Уайльд Уотер. Словом, вот

вам наше предложение — девять тысяч шестьсот двадцать долларов за все яйца Клондайка.

— Вы можете догнать их до двадцати за штуку и заработать сто на сто, — вставил Малыш.

Уайльд Уотер досадливо покачал головой и принялся за бобы.

— Больно дорого выходит, Малыш. Да мне столько и не нужно. Я возьму у вас две дюжины по десять долларов за штуку.

— Все или ничего, — был ультиматум Смока.

— Слушайте, друзья, — произнес Уайльд Уотер в припадке доверчивости. — Я буду говорить с вами как на духу, только вы не болтайте. Вы ведь знаете, что я был помолвлен с мисс Эрол. Так вот. Она порвала со мной. Это вы тоже знаете. Это знает всякий. Для нее-то мне и нужны яйца.

— Ага! — рявкнул Малыш. — Теперь я понимаю, почему они нужны вам в скорлупе. Только никогда бы я про вас этого не подумал.

— Чего?

— Что вы способны на подобную низость, — горячо продолжал Малыш с видом оскорбленной добродетели. — Я бы нисколько не удивился, если бы кто-нибудь угостил вас за это хорошей порцией свинца. Ничего другого вы не заслуживаете.

Уайльд Уотер загорелся гневом, грозившим

перейти в один из его пресловутых припадков ярости. Он стиснул кулаки так, что зажатая в одном из них дешевая вилка погнулась; его синие глаза вспыхнули.

— Послушайте, Малыш, что вы этим хотите сказать? Если вы чего-нибудь не договариваете…

— Хочу сказать то, что говорю, — отрезал Малыш. — Вы можете поручиться вашей драгоценной головой, что я все договариваю. Только открыто и честно, иначе ничего не получится. Вы не смеете швыряться.

— Чем швыряться?

— Яйцами, сливами, мячами, всем, чем угодно! Послушайте, Уайльд Уотер, вы совершаете большую ошибку. Еще не бывало в оперном театре публики, которая позволила бы вам это. А что она актриса — так это еще не основание, чтобы публично швырять в нее куриный помет.

На мгновение можно было подумать, что Уайльд Уотер вот-вот лопнет или что его хватит апоплексический удар. Он отхлебнул горячего кофе и мало-помалу пришел в себя.

— Вы ошибаетесь, Малыш, — произнес он холодно. — Я не собираюсь швырять в нее яйца. Черт побери, — крикнул он, внезапно возбуждаясь. — Я хочу преподнести ей эти яйца на тарелке,

в мешочке, она любит в мешочке.

— Я так и думал, что это недоразумение, — великодушно воскликнул Малыш. — Я знал, что вы не способны на такую низость.

— Ну ладно, Малыш, — примиряюще сказал Уайльд Уотер. — Перейдем к делу. Теперь вы понимаете, зачем мне нужны яйца.

— Покупаете за девять тысяч шестьсот двадцать долларов? — осведомился Малыш.

— Это издевательство, вот что это такое! — объявил взбешенный Уайльд Уотер.

— Это — дело, — отпарировал Смок. — Уж не думаете ли вы, что мы скупаем яйца для собственного потребления?

— Слушайте, опомнитесь, — взмолился Уайльд Уотер. — Мне нужно всего две дюжины. Я дам вам по двадцать долларов за штуку. Что я буду делать с такой кучей яиц?

— Зачем кипятиться? — перебил его Малыш. — Не хотите, так не берите. Мы вам их не навязываем.

— Но они мне нужны, — жалобно сказал Уайльд Уотер.

— Так вы же знаете, что они стоят девять тысяч шестьсот двадцать долларов. Если я неправильно сосчитал, то мы после сквитаемся.

— А может, они уже не помогут? — заметил Уайльд Уотер. — Может, мисс Эрол тем временем уже разлюбила яйца?

— Я бы сказал, что мисс Эрол все равно стоит этих денег, — спокойно вставил Смок.

— Стоит ли! — Уайльд Уотер вскочил в пылу красноречия. — Она стоит миллион долларов! Она стоит всего моего состояния. Она стоит всего золотого песка в Клондайке! — Он сел и продолжал более спокойным тоном: — И все-таки это не резон выбрасывать десять тысяч долларов за один ее завтрак. Вот вам мое предложение. Дайте мне две дюжины яиц. Я передам их Славовичу. Он преподнесет их ей с приветом от меня. Она сто лет не улыбалась мне. Если яйца вызовут у нее улыбку, я возьму у вас всю партию.

— Угодно вам подписать соответствующий контракт? — быстро спросил Смок, ибо он знал, что Люсиль Эрол улыбнется.

Уайльд Уотер перевел дыхание.

— У вас тут чертовски быстро делаются дела.

— Мы только принимаем ваше предложение, — ответил Смок.

— Ладно. Тащите бумагу, пишите договор, твердый и нерушимый! — воскликнул Уайльд Уотер.

Смок составил бумагу, согласно которой Уайльд

Уотер изъявлял согласие принять любое количество поставленных ему яиц по десять долларов за штуку, при условии, если полученные им авансом две дюжины яиц помогут ему помириться с Люсиль Эрол.

Уайльд Уотер уже взялся за перо, чтобы расписаться на контракте, но вдруг остановился.

— Постойте, — сказал он. — Я покупаю только хорошие яйца.

— В Клондайке нет тухлых яиц, — фыркнул Малыш.

— Все равно, если я найду тухлое яйцо, вы вернете мне десять долларов, которые я вам за него заплатил.

— Ладно, — согласился Смок.

— И я съем все тухлые яйца, которые вы вернете, — прибавил Малыш.

Смок вставил в контракт слово «хорошие». Уайльд Уотер мрачно расписался, получил обусловленный аванс — две дюжины яиц, натянул рукавицы и открыл дверь.

— До свидания, бандиты, — прорычал он и хлопнул дверью.

5

На следующее утро Смок был свидетелем сцены, разыгравшейся у Славовича. Он сидел в качестве гостя за столиком Уайльда Уотера, рядом со столиком Люсиль Эрол. Все разыгралось буквально так, как она предсказывала.

— Еще не достали яиц? — жалобно спросила Люсиль официанта.

— Никак нет, мэм, — ответил тот. — Говорят, кто-то скупил все яйца в Доусоне. Мистер Славович пытался купить хоть несколько штук, специально для вас, но тот, кто скупил их, не уступает ни одной штуки.

Таково было положение дел, когда Уайльд Уотер кивком подозвал хозяина и, положив ему руку на плечо, заставил его нагнуться.

— Слушайте, Славович, — прошептал он хрипло. — Вчера вечером я послал вам две дюжины яиц. Где они?

— В погребе, за исключением шести штук, которые я держу для вас наготове.

— Они мне нужны не для себя, — прохрипел Уайльд Уотер, еще больше понижая голос. — Сварите их и поднесите мисс Эрол.

— Я лично займусь этим, — ответил Славович.

— И не забудьте — с приветом от меня, — закончил Уайльд Уотер, выпуская из тисков плечо ресторатора.

Очаровательная Люсиль Эрол все еще растерянно смотрела на ломтики ветчины с картофельным пюре, лежавшие перед ней на тарелке, когда к ней подошел Славович и поставил на стол два яйца в мешочке.

— Привет от мистера Уайльда Уотера, — донеслось до соседнего столика.

Смок не мог не признаться, что сцена была разыграна ею замечательно: радостная краска, молниеносно вспыхнувшая на ее лице, естественный поворот головы, невольная улыбка, с трудом подавленная чувством собственного достоинства, и затем снова решительный поворот головы в сторону ресторатора.

Смок почувствовал, как обутая в мокасин нога Уайльда Уотера лягнула его под столом.

— Будет ли она есть? Вот в чем вопрос! Будет ли она есть их? — шептал гигант в смертельной тоске.

Скосив глаза, они увидели, что Люсиль Эрол с минуту поколебалась, чуть было не отодвинула тарелки, но наконец поддалась искушению.

— Я беру яйца, — сказал Уайльд Уотер Смоку. —

Договор будет выполнен. Видели вы ее? Видели? Она почти улыбнулась. Я знаю ее. Дело сделано! Еще два яйца завтра — и она простит меня и вернется. Не будь ее здесь, я бы пожал вам руку, Смок, — так я вам благодарен! Вы не бандит, вы — филантроп.

6

Смок, ликуя, вернулся к себе в хижину на холме; к вящему своему изумлению, он застал дома Малыша в черном отчаянии, за пасьянсом «пустынник»; Смок давно уже заметил — когда товарищ его раскладывал «пустынника», это означало, что мир поколебался в своих основах.

— Молчи! Не разговаривай со мной! — были первые слова, которыми он встретил Смока.

Впрочем, он скоро немного отошел и разразился потоком слов.

— Все пропало! — выкрикнул он. — Дело лопнуло! Завтра во всех распивочных будет продаваться херес с яйцами по доллару за стакан. Во всем Доусоне не найдется ни одной голодающей сиротки, которая не будет валяться брюхом на яйцах. Как бы ты думал, на кого я наскочил? На человека с тремя тысячами яиц — понял? С тремя тысячами яиц, привезенными из Сороковой

Мили.

— Басни, — усомнился Смок.

— Хороши басни! Я видел яйца. Человека зовут Готеро — длинный такой голубоглазый верзила, француз из Канады. Сначала он спросил тебя, а потом отвел меня в сторону и нанес мне удар прямо в сердце. Он, оказывается, узнал о нашей афере с яйцами и заволновался. Он знал, что на Сороковой Миле имеется три тысячи яиц, немедленно отправился туда и купил их. «Покажите мне их», — сказал я ему. И он показал. Его сани и два индейца-погонщика стояли внизу у дамбы — на том самом месте, где они остановились по приезде из Сороковой Мили. А на санях лежали ящики из-под мыла — небольшие деревянные ящики из-под мыла.

Мы вытащили один из них на ледяную гору посередине реки и вскрыли его. Яйца! Полным-полно яиц, переложенных опилками! Смок, мы пропали! Нас обыграли. Знаешь, что он имел бесстыдство сказать мне? Что он отдает их нам по десяти долларов за штуку. Знаешь, что он делал, когда я уходил от него? Писал объявление о продаже яиц. Он сказал, что первую очередь уступает нам, по десятке, до двух часов дня, и если мы к этому времени не придем, то он вздует рынок

выше небес. И еще сказал, что, вообще говоря, он не делец, но тут сразу понял, что это выгодно, как только увидел… меня и тебя, насколько я понимаю.

— Ладно, — бодро сказал Смок. — Надень рубашку и дай мне минутку подумать. Все, что в настоящий момент требуется, это — быстрота и натиск. Я заполучу сюда к двум часам Уайльда Уотера на предмет приемки яиц. А ты тем временем купи у Готеро его яйца. Попробуй поторговаться. Впрочем, если ты заплатишь по десять долларов за штуку, Уайльд Уотер должен будет принять их от нас по той же цене. Если ты сможешь купить их дешевле — тем лучше, тогда мы еще заработаем. Ну, беги! Доставь их сюда не позднее чем к двум часам. Возьми у полковника Бови собак и запряги в наши сани. Помни — ровно к двум!

— Послушай, Смок, — крикнул Малыш Смоку, спускавшемуся с холма. — Не взять ли тебе зонтик с собой? Я не буду удивлен, если к твоему приходу начнется яичный дождь.

Смок нашел Уайльда Уотера в салуне.

— Должен предупредить вас, что мы набрали еще некоторое количество яиц, — сказал Смок после того, как Уайльд Уотер изъявил согласие прийти к нему в два часа с золотым песком и

учинить расчет.

— Вам больше везет на яйца, чем мне, — признался Уайльд Уотер. — Ну-с, так сколько же у вас теперь яиц? И сколько золотого песку я должен притащить к вам?

Смок справился со своей записной книжкой.

— Согласно вычислениям Малыша, у нас в данный момент имеется три тысячи девятьсот шестьдесят два яйца. Помножьте на десять…

— Сорок тысяч долларов! — взревел Уайльд Уотер. — Вы говорили, что там что-то около девятисот штук. Это — убийство! Я не пойду на это.

Смок вытащил из кармана договор и указал на «платеж по приемке».

— Никаких указаний насчет количества яиц тут нет. Вы изъявили согласие платить по десять долларов за каждое сдаваемое нами яйцо. Что ж, мы достали еще яиц, а договор есть договор. Хотя, по правде сказать, Уайльд Уотер, мы до сего дня понятия не имели об этих трех тысячах яиц. Нам пришлось купить их для укомплектования партии.

В течение долгих пяти минут напряженного молчания Уайльд Уотер боролся с собой и, наконец, нехотя сдался.

— Я влопался, — коротко сказал он. — Яйца

так на меня и сыплются. Чем скорее я выберусь из этой истории, тем лучше. А то дело кончится яичным обвалом. Я буду у вас в два часа. Но сорок тысяч долларов!

— Всего только тридцать девять тысяч шестьсот двадцать, — поправил его Смок.

— Это двести фунтов золотого песку, — продолжал неистовствовать Уайльд Уотер. — Мне придется взять упряжку.

— Мы дадим вам нашу, чтобы забрать яйца, — великодушно предложил Смок.

— А куда я их помещу? Куда я их дену? Ну ладно! Я буду у вас. Но пока я жив, я в рот не возьму яйца.

В половине второго с яйцами Готеро прибыл Малыш, увеличивший из-за крутого подъема в два раза количество собак.

— Мы заработаем почти вдвое больше, — сказал он Смоку, когда они устанавливали ящики внутри хижины. — Я предложил ему по восемь долларов, и он, выругавшись по-французски, согласился. Стало быть, по два доллара чистой прибыли на каждом яйце, а всего их три тысячи. Я заплатил ему сполна. Вот расписка.

Пока Смок вытаскивал весы для золотого песка и делал прочие приготовления, Малыш занимал-

ся вычислениями.

— Вот она, предусмотрительность! — торжествующе воскликнул он. — У нас прибыли двенадцать тысяч девятьсот семьдесят долларов. И притом без всякого ущерба для Уайльда Уотера. Он получает мисс Эрол. И, кроме того, все яйца. Необыкновенно выгодное дело! Никто не в накладе.

— Даже Готеро заработал двадцать четыре тысячи, — рассмеялся Смок, — конечно, за вычетом себестоимости яиц и перевозки. А если Уайльд Уотер захочет продолжать дело, то он тоже заработает.

Ровно в два часа стоявший на страже Малыш увидел поднимающегося на холм Уайльда Уотера. Уотер вошел в хижину с хмурым и деловитым видом.

— Давайте сюда яйца, пираты, — начал он. — И, начиная с этого дня, никогда не упоминайте при мне о яйцах, если вам дорога жизнь.

Все трое начали тщательно подсчитывать первую, смешанную партию. Отсчитав две сотни, Уайльд Уотер неожиданно разбил одно яйцо о край стола.

— Эй! Бросьте! — заметил Малыш.

— Мое это яйцо или нет? — зарычал Уайльд

Уотер. — Плачу я за него десять долларов или нет? Я не намерен покупать кота в мешке. Когда я выкладываю по десять кругляшек за яйцо, то я хочу знать, что я покупаю.

— Я могу съесть его, если вы хотите, — ехидно предложил Малыш.

Уайльд Уотер посмотрел на яйцо, понюхал его и покачал головой.

— Нет, Малыш, не стоит. Яйцо прекрасное. Дайте-ка мне чашку. Я сам съем его за ужином.

И еще три раза Уайльд Уотер разбивал для проверки яйца и клал их в стоявшую подле него чашку.

— На две штуки больше, чем вышло у вас, Малыш, — сказал он, когда подсчет был закончен. — Девятьсот шестьдесят четыре, а не шестьдесят два.

— Ошибся, стало быть, — добродушно согласился Малыш. — Мы засчитаем их для ровного счета.

— Могли бы и уступить, — злобно заметил Уайльд Уотер. — Давайте их сюда. Девять тысяч шестьсот двадцать долларов. Сейчас я заплачу. Пишите расписку, Смок.

— Отчего не сосчитать остальные, — сказал Смок, — и не заплатить за все сразу?

Уайльд Уотер покачал головой.

— Я не мастер считать. Лучше уж каждую партию отдельно, чтобы не было недоразумений.

Он подошел к своей шубе и вытащил из ее боковых карманов два мешка с золотым песком, напоминавшие своей длиной и округлостью болонские колбасы. Когда платеж за первую партию был окончен, в мешках осталось песку не больше чем на несколько сот долларов.

На стол был взгроможден первый ящик из-под мыла, и начался новый счет. Отсчитав сотню, Уайльд Уотер сильно стукнул яйцо о край стола. Оно не треснуло.

— Здорово замерзло, — заметил он, ударяя еще сильнее.

Он поднял яйцо, и двое остальных увидели, что там, где оно ударилось об стол, скорлупа его обсыпалась мельчайшими осколками.

— Гм, — сказал Малыш. — Я думаю, оно должно было замерзнуть, раз его тащили сюда с Сороковой Мили. Его не разобьешь и топором.

— Я все-таки за топор, — сказал Уайльд Уотер.

Смок принес топор. Уайльд Уотер нацелился и искусным ударом опытного дровосека расколол яйцо пополам. Внутренность яйца едва ли можно было назвать удовлетворительной. Вещая дрожь

пробежала по телу Смока. Малыш оказался более храбрым. Он поднес половинку яйца к носу.

— Запах вполне хороший, — сказал он.

— Но вид зато скверный, — ответил Уайльд Уотер. — Да и как оно вообще может пахнуть, когда запах его давно уже замерз вместе со всем остальным. Подождите минутку.

Он положил обе половинки на сковородку и поставил последнюю на горячую плиту. Воцарилось молчание. Все трое ждали, расширив ноздри и напряженно втягивая воздух. Мало-помалу по комнате начало распространяться явственное зловоние. Уайльд Уотер не считал нужным разговаривать. Молчал, несмотря на всю свою самоуверенность, и Малыш.

— Выкиньте его! — крикнул Смок, задыхаясь.

— К чему? — спросил Уайльд Уотер. — Придется проверить всю партию.

— Только не здесь, — прохрипел Смок, преодолевая тошноту. — Разрубите их, — достаточно будет взглянуть, на них. Выбрось его, Малыш! Выбрось его! Фу!

Ящик за ящиком вскрывались; яйцо за яйцом выхватывалось наудачу и рубилось надвое. И яйцо за яйцом свидетельствовало о том же безнадежном, непоправимом гниении.

— Я не стану требовать, чтобы вы съели их, Малыш, — осклабился Уайльд Уотер. — Ну-с, что касается меня, я отсюда моментально убираюсь. Договор на хорошие яйца. Если вы дадите мне собак и сани, я увезу эти, пока они тоже не испортились.

Смок помог ему нагрузить сани. Малыш сел за стол и начал раскладывать «пустынника».

— Скажите-ка, сколько времени вы держали эту партию? — были прощальные слова Уайльда Уотера.

Смок ничего не ответил и, кинув один-единственный взгляд на погруженного в «пустынника» Малыша, стал выбрасывать ящик за ящиком в снег.

— Скажи-ка, Малыш, — промолвил он кротко, — сколько ты заплатил за эти три тысячи?

— По восемь долларов. Молчи! Не разговаривай со мной. Я умею считать не хуже тебя. Мы потеряли на этом деле семнадцать тысяч долларов — так и запомни, если тебя будут спрашивать. Я подсчитал, пока жарилось первое вонючее яйцо.

Смок несколько минут соображал что-то, потом снова нарушил молчание.

— Послушай, Малыш. Сорок тысяч долларов весят двести фунтов. Уайльд Уотер взял наши са-

ни и наших собак, чтобы увезти яйца. Он явился сюда без саней. Те два мешка с золотым песком, что он вытащил из кармана, весили фунтов по двадцать каждый. Договор предусматривал наличный расчет за всю партию. Он принес ровно столько песку, сколько требовалось, чтобы заплатить за хорошие яйца. Он ни одной минуты не рассчитывал платить за эти три тысячи. Он знал, что они тухлые. Но откуда он мог знать, что они тухлые? Что ты на это скажешь?

Малыш собрал карты, перетасовал их и отложил в сторону.

— Ха! Что может быть проще! Ребенок — и тот ответит тебе. Мы потеряли семнадцать тысяч. Яйца, которые я купил у Готеро, принадлежали Уайльду Уотеру. Тебе еще что-нибудь угодно знать?

— Да. Почему, во имя здравого смысла, ты не выяснил до платежа, хорошие ли ты покупаешь яйца?

— И на это не трудно ответить. Уайльд Уотер рассчитал игру по секундам. У меня не было времени проверять яйца. Я должен был бешено торопиться, чтобы доставить их сюда к моменту сдачи. А теперь, Смок, позволь мне тоже задать тебе один скромный вопрос. Кто вбил тебе в голо-

ву эту гнусную идею о скупке яиц?

Малыш успел разложить шестнадцатого по счету «пустынника», а Смок уже начал готовить ужин, когда раздался стук в дверь. В комнату вошел полковник Бови, молча вручил Смоку письмо и удалился.

— Ты видел его лицо? — взревел Малыш. — Он прямо лопался со смеху. Весь город издевается над нами, Смок! Кончено! Нам нельзя больше носа на улицу высунуть.

Письмо было подписано Уайльдом Уотером. Смок прочел его вслух.

Дорогие Смок и Малыш! Свидетельствуя вам глубокое мое почтение, прошу вас не отказать отужинать со мной сегодня вечером в ресторане Славовича. Будет мисс Эрол, а также Готеро. Мы с ним были компаньонами в Серкл-сити лет пять назад. Он славный парень. Кстати, насчет яиц. Они прибыли в Аляску четыре года назад и тогда уже были тухлыми. Они были тухлыми, когда отбыли из Калифорнии. Они всегда были тухлыми. Они пролежали зиму в Карлуке и зиму в Нутлике и еще зиму на Сороковой Миле, где их продали как лежалые. А нынешнюю зиму они, по-моему, проведут в Доусоне. Не держите их в теплом месте. Люсиль просит передать вам, что мы все вместе хорошо встряхнули Доусон. А за выпивку, по-моему, должны платить вы.

С совершенным почтением ваш друг
У. У.

— Ну-с? Что ты скажешь? — поинтересовался Смок. — Мы, разумеется, примем приглашение.

— Одно я скажу, — ответил Малыш. — Уайльд Уотер не пропадет, если разорится. Он чудесный

актер — чертовски хороший актер. И еще скажу — моя арифметика никуда не годится. Уайльд Уотер заработал не только свои семнадцать тысяч, но и еще кое-что почище. Мы с тобой подарили ему все хорошие яйца в Клондайке — девятьсот шестьдесят две штуки, да еще два для ровного счета. При этом у него еще хватило нахальства забрать и те, что лежали в чашке. Но вот что я скажу тебе напоследок: мы с тобой опытные и старые золотоискатели. Но когда дело доходит до финансовых операций, тут мы самые жалкие караси, когда-либо попадавшиеся на приманку быстрого обогащения. После этого нам только и остается, что уйти в пустыню; и если ты когда-нибудь заговоришь при мне о яйцах, я тебе больше не компаньон. Понял?

Ферма Тру-Ля-Ля

1

Смок и Малыш встретились на углу у салуна «Элькгорн». Лицо Смока было довольное, и шел он бодрой походной. Малыш же плелся с самым подавленным видом.

— Куда? — приветствовал его Смок.

— Будь я проклят, если знаю, — последовал мрачный ответ. — Сам очень хотел бы знать. Совершенно некуда деться. Два часа резался в карты, как очумелый, — и хоть бы что! Никакого ощущения. Остался при своих. Сыграл партию в криббедж со Скифом Митчелом на выпивку, и вдруг так захотелось заняться чем-нибудь, что вот выполз на улицу и слоняюсь — может быть, наскочу на собачью грызню, на побоище или что-нибудь в этом роде.

— А у меня есть в запасе кое-что получше, — заметил Смок. — Потому-то я тебя и ищу. Идем.

— Сейчас?

— Немедленно.

— Куда?

— Через реку, проведать старика Дуайта Сэн-

дерсона.

— Это еще кто такой? — угрюмо спросил Малыш. — Мне что-то не приходилось слышать, что на той стороне реки живет кто-нибудь. И чего ради он там поселился? Уж не полоумный ли он?

— Он кое-что продает, — рассмеялся Смок.

— Собак? Золотые копи? Табак?

Смок на каждый вопрос только качал головой.

— Идем со мной — увидишь. Я собираюсь скупить у него его товар и устроить одно дельце. Если хочешь, могу взять и тебя в долю.

— Только не яйца! — возопил Малыш, скорчив тревожную и в то же время саркастическую мину.

— Идем, идем, — успокоил его Смок. — Ты еще успеешь поломать себе голову, пока мы будем перебираться через лед.

Они спустились с высокой дамбы в конце улицы и вышли на покрытый льдом Юкон. Прямо против них, на расстоянии трех четвертей мили, крутыми уступами вздымался противоположный берег. Кое-как протоптанная дорога вела к этим уступам, извиваясь между развороченными и нагроможденными друг на друга глыбами льда. Малыш плелся вслед за Смоком, развлекаясь догадками относительно коммерческих операций

Дуайта Сэндерсона.

— Олени? Медные копи? Кирпичный завод? Медвежьи шкуры? Вообще шкуры? Лотерейные билеты? Огород?

— Близко, — подбодрил его Смок.

— Два огорода? Сыроварня? Торфяные разработки?

— Не так плохо, Малыш. Не дальше, чем на тысячу миль.

— Каменоломня?

— Приблизительно так же близко, как торфяные разработки и огород.

— Постой! Дай подумать. Кажется, я начинаю догадываться.

Минут десять царило молчание.

— Слушай, Смок, мне не нравится моя последняя догадка. Если эта штука, которую ты собираешься купить, похожа на огород, на торфяные разработки или на каменоломню, то я больше не играю. Я не войду в дело, пока не увижу собственными глазами и не ощупаю его.

— Не беспокойся, скоро все карты будут открыты. Взгляни-ка вон туда. Видишь дымок над хижиной? Там и живет Дуайт Сэндерсон. У него там земельные участки.

— А еще что?

— Больше ничего, — рассмеялся Смок, — кроме ревматизма. Я слышал, что его страшно мучит ревматизм.

— Слушай! — Малыш протянул руку и, вцепившись в плечо своего спутника, заставил его остановиться. — Уж не хочешь ли ты сказать мне, что собираешься купить в этой гнусной трущобе земельный участок?

— Это твоя десятая догадка. И на этот раз ты угадал. Идем!

— Подожди минуту, — взмолился Малыш. — Посмотри кругом. Ведь тут нет ничего, кроме уступов и обрывов. Где же тут строиться?

— А я почем знаю?

— Стало быть, ты покупаешь землю не под ферму?

— Но Дуайт Сэндерсон ни подо что другое не продает ее, — ухмыльнулся Смок. — Идем. Нам придется вскарабкаться на этот обрыв.

Обрыв был очень крутой; узкая тропинка вилась по нему зигзагами, как огромная лестница Иакова. Малыш хныкал, причитал и возмущался из-за острых уступов и крутых ступеней.

— Придумал тоже уголок для фермы! Да тут не найдется ровного места даже для почтовой марки! И к тому же берег не годится. Все грузы

идут по другой стороне. Посмотри-ка на Доусон. Там еще для сорока тысяч жителей хватит места. Слушай, Смок, я знаю: ты покупаешь эту землю не под ферму. Но скажи мне, ради Бога, для чего ты ее покупаешь?

— Чтобы продать, разумеется.

— Но ведь не все же такие сумасшедшие, как ты и старик Сэндерсон.

— Все — сумасшедшие по-своему, Малыш. Словом, я намерен купить эту землю, разбить ее на участки и продать множеству нормальных людей, проживающих в Доусоне.

— Ой! И так уж весь Доусон смеется над нами из-за яиц. Ты хочешь, чтобы он смеялся еще больше, а?

— Вот именно!

— Но это чертовски дорого стоит, Смок! Я помог тебе развеселить людей яичной историей, и моя доля смеха обошлась мне приблизительно в девять тысяч долларов.

— Чудесно! Можешь не входить в долю. Я положу себе всю прибыль в карман, но тебе все равно придется помогать мне.

— Разумеется! Помогать я буду. Пусть надо мной посмеются еще раз. Но денег я не дам ни копейки. Сколько старик Сэндерсон хочет за свой

товар? Сотни две?

— Десять тысяч. Надо сторговаться за пять.

— Хотел бы я быть пастором, — вздохнул Малыш.

— Чего ради?

— Я бы произнес красноречивую проповедь на небезызвестную тебе тему: глупому сыну не в помощь богатство.

— Войдите, — послышался раздраженный возглас Дуайта Сэндерсона, когда они постучались в дверь хижины.

Они вошли. Старик сидел на корточках у каменного очага и толок кофейные зерна, завернутые в кусок грубой холстины.

— Что нужно? — спросил он резко, высыпая потолченный кофе в стоявший на угольях кофейник.

— Поговорить о деле, — ответил Смок. — Насколько я знаю, вам принадлежит здесь кусок земли. Что вы за него хотите?

— Десять тысяч долларов, — был ответ. — А теперь можете смеяться и убираться вон. Вот дверь.

— Не имею ни малейшего желания смеяться. Я видал вещи посмешней, чем ваши скалы. Я хочу купить вашу землю.

— Хотите купить? Вот как? Ну что ж, рад слышать разумные речи. — Сэндерсон подошел и уселся перед посетителями, положив руки на стол и не спуская глаз с кофейника. — Я сказал вам свою цену, и мне нисколько не стыдно повторить се. Десять тысяч. Можете смеяться, можете покупать — мне все равно.

Чтобы показать свое равнодушие, он принялся барабанить костяшками пальцев по столу, устремив взгляд на кофейник. Минуту спустя он затянул монотонное «тра-ла-ла — тра-ла-ли — тра-ла-ли — тра-ла-ла».

— Послушайте, м-р Сэндерсон, — сказал Смок. — Этот участок не стоит десяти тысяч. Если бы он стоил десять тысяч, то он с таким же успехом мог бы стоить сто тысяч. А если он не стоит ста тысяч, — а что он их не стоит, вы знаете сам, — то он не стоит и десяти медяков.

Сэндерсон барабанил по столу и бубнил свое «тра-ла-ла — тра-ла-ли», пока не закипел кофе. Вылив в него полчашки холодной воды, он вновь сел на свой стул.

— Сколько вы даете? — спросил он Смока.

— Пять тысяч.

Малыш застонал.

Опять раздался продолжительный стук по

столу.

— Вы не дурак, — объявил Сэндерсон. — Вы сказали, что если моя земля не стоит ста тысяч, то она не стоит и десяти медяков. А между тем даете за нее пять тысяч. Значит, она стоит сто тысяч. Я повышаю мою цену до двадцати тысяч.

— Вы не получите за нее ни одного шиллинга, — в сердцах крикнул Смок, — хотя бы вам пришлось сгнить здесь.

— Нет, получу. И именно от вас.

— Ни гроша не получите!

— Ну что ж, тогда буду гнить здесь, — ответил Сэндерсон, давая понять, что говорить больше не о чем.

Он перестал обращать внимание на гостей и погрузился в свои кулинарные дела с таким видом, словно был один в комнате. Подогрев горшок бобов и лепешки из кислого теста, он поставил на стол один прибор и принялся за еду.

— Нет, спасибо, — пробормотал Малыш, — мы совсем не голодны.

— Покажите ваши бумаги, — не вытерпел наконец Смок.

Сэндерсон порылся под подушкой на своей койке и вытащил связку бумаг.

— Все связано и подобрано, — сказал он. — Вот

эта длинная бумага с большими печатями пришла прямым путем из Оттавы. Здешние власти не имеют ко мне никакого отношения. Само канадское правительство защищает мои права на владение этой землей.

— Сколько участков продали вы за те два года, что владеете этой землей? — осведомился Малыш.

— Не ваше дело! — огрызнулся Сэндерсон. — Нет такого закона, который запрещал бы человеку жить в одиночестве на своей земле, если ему этого хочется.

— Я дам вам пять тысяч, — сказал Смок.

— Не знаю, кто из вас глупее, — жалобно заметил Малыш. — Выйдем на минутку, Смок. Я хочу сказать тебе два слова по секрету.

Смок неохотно последовал за товарищем.

— Скажи, пожалуйста, — умолял Малыш, когда они вышли на покрытую снегом площадку перед хижиной, — тебе не приходило в голову, что по обе стороны этого идиотского участка на десять миль тянутся скалы, и что они никому не принадлежат, и что ты можешь сделать на них любое количество заявок?

— Они не годятся, — ответил Смок.

— Почему не годятся?

— Тебя интересует, для чего я покупаю именно этот участок, когда кругом тянутся десятки миль такой же земли, не так ли?

— Вот именно, — подтвердил Малыш.

— В этом-то вся суть, — торжествующим тоном продолжал Смок. — Если это интересует тебя, то заинтересует и других. А когда это их заинтересует, они прибегут сюда со всех ног. Ты можешь судить по себе, насколько правилен мой расчет на человеческую психологию. Слушай, Малыш. Я намерен сыграть с Доусоном шутку, которая отобьет у него охоту гоготать над нашим яичным конфузом. Идем в хижину.

— Опять вы? — сказал Сэндерсон, когда они вошли. — А я уже думал, что больше не увижу вас.

— Ну, говорите, какова ваша последняя цена?

— Двадцать тысяч.

— Я даю десять тысяч.

— Ладно, отдаю за десять. Я ведь сначала больше и не хотел. Когда вы заплатите?

— Завтра, в Северо-западном банке. Но за эти десять тысяч вы должны сделать еще две вещи. Во-первых, когда вы получите деньги, вы отправитесь вниз по реке до Сороковой Мили и останетесь там до конца зимы.

— Это нетрудно. Что еще?

— Я заплачу вам двадцать пять тысяч, и вы вернете мне пятнадцать.

— Согласен. — Сэндерсон повернулся к Малышу. — Меня называли дураком, когда я перебрался на этот берег, — ухмыльнулся он. — Ну что ж, я теперь дурак с десятью тысячами в кармане.

— Клондайк полон дураков, — только и мог ответить Малыш, — а раз их так много, то должно же хоть одному из них повезти. Как по-вашему?

2

На следующее утро состоялась официальная передача земли Дуайта Сэндерсона, «именуемой отныне поселком Тру-ля-ля» согласно поправке, внесенной Смоком в контракт. В тот же день кассир Северо-западного банка отвесил двадцать пять тысяч золотым песком из вклада Смока; с полдюжины досужих зрителей заметили вес, сумму и личность получателя.

В лагерях золотоискателей люди крайне подозрительны. Любой непредвиденный и не сразу объяснимый поступок наводит на мысль о находке новой золотоносной жилы — будь то невиннейшая охота на оленя или ночная прогулка человека, захотевшего полюбоваться северным сиянием. И как только стало известно,

что такая заметная личность, как Смок Беллью, выплатил старику Дуайту Сэндерсону двадцать пять тысяч долларов, Доусону нестерпимо захотелось узнать, за что именно заплачены эти деньги. Какое имущество, стоящее двадцать пять тысяч, могло быть припрятано у Дуайта Сэндерсона, умиравшего от голода на своем заброшенном участке. Не находя ответа, Доусон имел все основания интересоваться Смоком.

К полудню весь город уже знал, что множество доусонских жителей заготовили легкие походные тюки и припрятали их в различных салунах на Главной улице. Куда бы Смок ни шел, множество взглядов повсюду провожали его. О том, как серьезно относятся все к нему, свидетельствовало то обстоятельство, что никто из многочисленных знакомых не позволил себе расспрашивать его о сделке с Дуайтом Сэндерсоном. С другой стороны, никто не упоминал и о яйцах. Таким же дружеским, деликатным вниманием был окружен и Малыш.

— У меня такое чувство, точно я убил кого-нибудь или болен оспой. Они смотрят на меня во все глаза и боятся заговорить, — признался Малыш, случайно встретившись со Смоком у дверей «Элькгорна». — Взгляни-ка на Билла Солтмена…

Вот он идет по той стороне улицы. Он прямо умирает от желания посмотреть на нас, а заставляет себя смотреть вниз. Поглядишь на него, так скажешь, будто он вовсе нас и не знает. А я вот готов держать пари на выпивку, что если мы с тобой завернем за угол и сделаем вид, словно спешим куда-нибудь, а потом вынырнем из-за следующего угла, то мы столкнемся с ним нос к носу — он побежит за нами, как помешанный.

Они проделали этот опыт и, выйдя из-за следующего угла, столкнулись с Солтменом, мчавшимся во весь опор.

— Алло, Билл, — приветствовал его Смок, — куда путь держите?

— Алло. Так себе — гуляю, — ответил Солтмен. — Погодка, знаете ли, чудесная.

— Ха-ха! — закатился Малыш. — Если вы это называете «гулять», то что же вы называете «бежать сломя голову»?

Когда Малыш в этот вечер кормил собак, он твердо знал, что из окружающей его тьмы дюжина глаз следит за каждым его движением. А когда он привязал собак, вместо того чтобы отпустить их на ночную прогулку, он почувствовал, что окончательно разжег любопытство Доусона.

Согласно программе Смок поужинал в городе,

а потом предался невинным развлечениям. Куда бы он ни заходил, повсюду был центром внимания; поэтому Смок нарочно появлялся во всех людных местах. Стоило ему зайти в какой-нибудь салун, как там немедленно собиралась толпа, а с его уходом салун тотчас же пустел. Смок покупал пригоршню фишек, садился за пустующий стол с рулеткой, и не проходило пяти минут, как вокруг него толпились уже десятки игроков. Он до некоторой степени расквитался с Люсиль Эрол, зайдя в зал оперного театра и с шумом выйдя из него как раз в тот момент, когда она запела свою популярнейшую песенку. В три минуты две трети зрителей улетучились из театра вслед за Смоком.

В час ночи он появился на необычно оживленной Главной улице и направился к холму, на котором стояла его хижина. Остановившись у подножия холма, он услышал у себя за спиной топот множества мокасинов.

В течение часа хижина была погружена в темноту; потом он зажег свечу и, прождав ровно столько времени, сколько нужно человеку для того, чтобы одеться, вместе с Малышом вышел и стал запрягать собак. Как только луч света, вырвавшийся из хижины, упал на них, где-то

поблизости раздался тихий свист. Точно такой же свист донесся и от подножия холма.

— Слушай, слушай! — хихикнул Смок. — Они оцепили нас и теперь сигнализируют. Я готов держать пари, что сейчас в Доусоне не менее сорока человек вылезают из-под одеял.

— С ума они спятили, что ли? — задохнулся Малыш от смеха. — Слушай, Смок, ведь тут нет никакого жульничества. Работать теперь своими руками да ломать спину было бы совсем глупо. Мир доверху набит дураками, и каждый дурак до смерти хочет, чтобы его избавили от его золота. Вот что: пока мы не тронулись, я хочу заявить тебе, что если ты ничего не имеешь против, я вхожу в половинную долю.

Сани были нагружены необходимыми спальными принадлежностями и продовольствием. Из-под мешков с продовольствием с самым невинным видом выглядывал небольшой моток стальной проволоки, а на дне саней лежал наполовину прикрытый заступ.

Малыш погладил проволоку рукой в рукавице и нежно прикоснулся к заступу.

— Да, — прошептал он. — Я бы и сам, пожалуй, призадумался, если бы увидел темной ночью в чьих-нибудь санях эти штучки.

Они погнали собак вниз по холму, сохраняя полное молчание; спустившись на равнину, они свернули на север, выехали на Главную улицу, миновали деловую часть города и направились к лесопилке, принимая тысячи мер предосторожности. Никто не встретился им на пути, и все же, как только они переменили направление, за их спиной раздался свист. Проехав с большой скоростью мимо лесопилки и госпиталя, они около четверти мили ехали прямо. Потом повернули и двинулись обратно тем же самым путем. Проехав сто ярдов, они чуть было не налетели на пятерых людей, бежавших им навстречу. Все пятеро были нагружены походными мешками. Один из них остановил собаку-вожака в упряжке Смока, остальные тотчас же оцепили сани.

— Вам навстречу не попадались сани? — раздался вопрос.

— Нет, — ответил Смок, — это вы, Билл?

— О черт! Будь я проклят, если это не Смок! — воскликнул Билл Солтмен с самым неподдельным изумлением.

— Что вы тут делаете ночью? — поинтересовался Смок. — Гуляете?

Прежде чем Билл Солтмен ответил, к ним подбежали еще два человека, за ними еще несколько,

а топот ног по снегу возвестил о приближении целой толпы.

— Кто это с вами? — спросил Смок.

Не отвечая на вопрос, Солтмен закурил трубку, которая навряд ли могла доставить ему удовольствие после такого стремительного бега. Было совершенно очевидно, что он нарочно зажег спичку, чтобы разглядеть содержимое саней. Смок заметил, что глаза всех присутствующих устремились на моток проволоки и на заступ. А потом спичка погасла.

— Дошли до меня слухи, знаете ли… Так себе — слухи и ничего больше, — промямлил Солтмен с сосредоточенным и таинственным видом.

— Может, вы поделитесь со мной и Малышом? — спросил Смок.

Раздался чей-то саркастический смешок.

— Куда вы держите путь? — спросил Солтмен.

— А вы кто такие? — отпарировал Смок. — Комитет безопасности?

— Мы так только… интересуемся, — сказал Солтмен.

— Разумеется, мы интересуемся, — раздался из тьмы еще чей-то голос.

— Послушайте, — вмешался Малыш, — мне страшно хочется знать, кто тут самый сумасшед-

ший.

Все нервно засмеялись.

— Поехали, Малыш! Нам некогда, — сказал Смок, подстегивая собак.

Толпа сомкнулась за санями и двинулась вслед за ними.

— Послушайте, а не ошибаетесь ли вы? — поддразнил Малыш. — Когда мы повстречались с вами, вы все куда-то шли, а теперь возвращаетесь, нигде не побывав. Может, вы путеводитель потеряли?

— Идите вы к черту, — любезно предложил Солтмен. — Мы идем, куда нам нравится. И нам не нужны путеводители.

И сани Смока с Малышом у шеста выехали на Главную улицу под конвоем шестидесяти человек, нагруженных походными мешками. Произошло это в три часа ночи, так что одни ночные гуляки видели процессию и смогли поведать о ней на следующий день Доусону.

Спустя полчаса сани взобрались на холм. Собак распрягли у дверей хижины на глазах у шестидесяти свидетелей, сумрачно ожидавших продолжения.

— Спокойной ночи, ребята, — крикнул Смок, закрывая дверь.

Через шесть минут свеча погасла, а еще через полчаса Смок и Малыш тихонько выскользнули из хижины и, не зажигая света, стали запрягать собак.

— Алло, Смок! — сказал Солтмен, подойдя к ним так близко, что они могли разглядеть его силуэт.

— Простите, Билл, не могу пожать вам руку, — любезно ответил Смок. — Где же ваши друзья?

— Пошли промочить горло. А меня оставили присматривать за вами, Смок, что я и намерен делать. Ну так как же, Смок? Что вы задумали? Допустим, что вы не можете пожать нам руку, но почему бы вам не посвятить нас в дело? Ведь мы — ваши друзья. Вы это знаете.

— Иной раз можно посвящать друзей в свои дела, а иной раз и нельзя, — увильнул Смок. — В данном случае как раз нельзя, Билл. Идите-ка лучше спать. Спокойной ночи.

— О спокойной ночи и речи быть не может, Смок. Вы плохо знаете нас. Мы люди цепкие.

Смок вздохнул.

— Ну что ж, Билл, если уж вы уперлись, то, я знаю, вас не переубедишь. Трогай, Малыш, довольно копаться.

Как только сани тронулись, Солтмен пронзительно свистнул и бросился за ними вслед. От

подножия холма и по всей равнине раздался ответный свист. Малыш правил санями, а Смок и Солтмен шли подле, бок о бок.

— Слушайте, Билл, — сказал Смок. — Я хочу предложить вам кое-что. Хотите один принять участие в деле?

Солтмен не колебался ни одной секунды.

— И предать товарищей? Нет, сударь. Все примут участие.

— Тогда начнем с вас! — крикнул Смок. Он быстро согнулся, обхватил Солтмена и бросил его в глубокий придорожный снег.

Малыш прикрикнул на собак и погнал упряжку на юг, по дороге, которая вела от разбросанных по пологому склону хижин к окраине Доусона. Смок и Солтмен катались по снегу, вцепившись друг в друга. Смок думал, что все шансы на его стороне, но у Солтмена оказалось на пятьдесят фунтов больше хорошо тренированных мускулов. Раз за разом опрокидывал он Смока на спину, и каждый раз Смок не делал никаких попыток встать и лежал спокойно. Но как только Солтмен пытался оторваться от него и уйти, Смок хватался за него и начиналась новая свалка.

— Вы свое дело знаете, — признался Солтмен минут через десять. Он сидел верхом на Смоке

и тяжело дышал. — Но я все-таки каждый раз укладываю вас.

— А я вас держу, — задыхаясь, ответил Смок. — Мне больше ничего и не надо, лишь бы удержать вас. Как вы думаете, куда отправился Малыш?

Солтмен сделал отчаянную, но безрезультатную попытку освободиться. Смок схватил его за лодыжку, и он вновь растянулся во весь рост. От подножия холма донеслись тревожные, вопросительные свистки. Солтмен приподнялся и ответил пронзительным свистом, но Смок тотчас же схватил его, ткнул лицом в снег и уселся на него верхом, придерживая за плечи и не давая поднять голову. В этой позе их застали золотоискатели. Смок расхохотался и встал.

— Спокойной ночи, ребята, — сказал он и стал спускаться с холма, преследуемый шестьюдесятью доведенными до белого каления золотоискателями.

Он повернул на север, миновал лесопилку и госпиталь и дошел по руслу реки вдоль отвесных скал до подножия Лосиной Горы. Обойдя индейский поселок, он остановился у устья Лосиного ручья, повернулся и оказался лицом к лицу с преследователями.

— Вы мне надоели, — сказал он, делая вид, что

рассвирепел.

— Мы вам не навязываемся, — вежливо пробормотал Солтмен.

— Нет, нисколько, — прорычал Смок, еще лучше имитируя гнев, и вернулся под усиленным конвоем в Доусон.

Два раза пытался он свернуть на девственную пелену снега, покрывавшего реку, и оба раза принужден был отказываться от своей затеи и возвращаться на тропинку, которая вела к берегу Доусона. Он вышел на Главную улицу, прошел ее всю, перебрался по льду, сковывавшему реку Клондайк, в Клондайк-сити и вновь вернулся в Доусон. В восемь часов, когда уже забрезжил рассвет, он усталой походкой направился в ресторан Славовича, где столики брались с бою.

— Спокойной ночи, ребята, — сказал он, заплатив по счету и уходя.

То же самое пожелание он повторил, взобравшись на холм. Был уже день, и никто больше не преследовал его; толпа проводила его взглядами до дверей хижины и разошлась.

3

Два дня Смок слонялся по городу, окруженный неусыпным наблюдением. Малыш исчез вместе

с санями и собаками. Его не было видно ни на Юконе, ни на Бонанзе, ни в Эльдорадо, ни во всем Клондайке. Оставался один Смок, который рано или поздно неизбежно должен был сделать попытку связаться со своим пропавшим компаньоном; и на Смоке сосредоточилось всеобщее внимание. Вечером второго дня он заперся в своей хижине, в девять часов потушил свет и завел будильник на два часа утра. Часовой, стоявший у дверей хижины, услышал звон будильника, и когда, получасом позже, Смок вышел из хижины, его поджидали уже не шестьдесят, а человек триста. Яркое северное сияние освещало дикообразную сцену: Смок под усиленным конвоем спустился в город и проследовал в «Элькгорн». Салун тотчас же наполнился возбужденной, сгорающей от любопытства толпой, которая четыре томительных часа смотрела, как Смок играет в криббедж со своим старинным приятелем Брэком. В начале седьмого Смок покинул «Элькгорн» и с выражением одновременно презрения и насмешки на лице, ни на кого не глядя, никого не узнавая, пошел вверх по Главной улице; толпа в триста человек последовала за ним, сбившись в кучу и завывая:

— Хромоногий! Колченогий! Улю-лю-лю!

— Спокойной ночи, ребята, — сказал он, дойдя до дамбы, где начиналась тропа через скованный льдом Юкон. — Я иду завтракать, а потом завалюсь спать.

Триста глоток ответили ему, выразив свою готовность следовать за ним; толпа спустилась на лед и, предводительствуемая Смоком, направилась к Тру-ля-ля. В семь часов утра они взобрались на извилистую тропинку, миновали крутые утесы и подошли к хижине Дуайта Сэндерсона. В окно, заклеенное пергаментом, пробивалось мерцание свечи, а из трубы вился дымок. Малыш широко распахнул дверь.

— Заходи, Смок, — приветствовал он товарища. — Завтрак готов. А это что за люди?

Смок обернулся на пороге.

— Ну, спокойной ночи, ребята. Надеюсь, прогулка доставила вам удовольствие.

— Подождите минутку, Смок, — крикнул Билл Солтмен голосом, в котором звучало разочарование. — Я хочу сказать вам два слова.

— Жарьте, — приветливо ответил Смок.

— За что вы заплатили старику Сэндерсону двадцать пять тысяч? Можете сказать?

— Вы меня огорчаете, Билл, — ответил Смок. — Я перебрался сюда, так сказать, на летние кани-

кулы, а вы являетесь ко мне с целой бандой и пытаетесь устроить мне перекрестный допрос, когда я только и думаю о тишине, спокойствии и завтраке.

— Вы не отвечаете на вопрос, — возразил Солтмен.

— И не отвечу, Билл. То, о чем вы меня спрашиваете, — мое частное дело с Дуайтом Сэндерсоном. Еще какие-нибудь вопросы?

— А зачем понадобились заступ и стальная проволока, которые лежали в ваших санях?

— Не ваше дело, почтеннейший и дражайший Билл. Впрочем, если Малыш хочет, он может ответить вам.

— Это я-то? — воскликнул Малыш, выскочив из хижины. Он раскрыл рот, потом задумался и повернулся к своему компаньону. — Между нами говоря, Смок, я не думаю, чтобы это было их дело. Идем в хижину. А то из кофе вся душа выкипит.

Дверь захлопнулась, и толпа в триста человек разбилась на растерянные, ропщущие кучки.

— Знаешь, Солтмен, — раздался чей-то, голос, — я думал, что ты откроешь нам секрет.

— Никогда я не обещал этого, — яростно ответил Солтмен. — Я говорил, что это сделает Смок.

— Ну, и…

— Вы знаете столько же, сколько я. Все мы знаем, что Смок здесь что-то выискал. Иначе — с какой радости стал бы он платить Сэндерсону двадцать пять тысяч? Уж во всяком случае не за этот поганый участок!

Дружный крик поддержал Солтмена.

— Ну, хорошо, а что теперь нам делать?

— Я, например, пойду завтракать, — беззаботно сказал Уайльд Уотер Чарли. — Вы завели нас в тупик, Билл.

— А я при чем тут? — огрызнулся Солтмен. — Во всем виноват Смок. Да и не в этом дело. А вот как насчет двадцати пяти тысяч?

4

В половине девятого, когда уже окончательно рассвело, Малыш приоткрыл дверь и выглянул наружу.

— Ого! — воскликнул он. — Все до одного вернулись в Доусон. А я думал, что они тут разобьют лагерь.

— Не беспокойся — приползут обратно, — заверил его Смок. — Будь я не я, если ты не увидишь здесь половину доусонских жителей прежде, чем мы управимся. Ну, а теперь иди сюда и помоги мне. Надо будет работать.

— Ради Бога, дай отдышаться! — взмолился Малыш через час, созерцая плоды их работы — стоящий в углу хижины ворот с приводным ремнем, обвивающим вал.

Смог слегка налег на ворот — ремень скользнул и заскрипел.

— Выйди из хижины, Малыш, и скажи, на что похож этот звук.

Стоя у закрытой двери, Малыш услышал скрипение ворота, поднимающего груз, и поймал себя на том, что невольно определяет глубину ямы, из которой этот груз извлекается. Затем последовала остановка, и он мысленно представил себе ведро, раскачивающееся под самым воротом. Потом зашуршала быстро разматываемая веревка, и наконец раздался глухой удар ведра о дно ямы. Он распахнул дверь и ворвался в хижину с сияющим лицом.

— Замечательный звук! — воскликнул он. — Я чуть было сам не поверил. Ну, а что дальше?

Дальше в хижину втащили с десяток мешков, набитых камнями. А в течение дня, посвященного лихорадочной работе, последовало еще множество «дальше».

— Сегодня же вечером ты переправишься на собаках в Доусон, — напутствовал Смок Малыша

после ужина. — Собак оставишь у Брэка; он о них позаботится. Там будут следить за каждым твоим шагом, так что ты никуда сам не ходи, а пошли Брэка в магазин А. С. Company купить весь динамит, который там есть, — двести-триста фунтов. И пусть Брэк закажет у кузнеца штук шесть сверл для твердого камня. Брэк — парень с головой; он объяснит кузнецу в общих словах, какой товар нужен. Дай Брэку точное описание участка, чтобы он мог зарегистрировать его завтра у приискового инспектора. А в десять часов будь на Главной улице и прислушивайся. Запомни — я не хочу, чтобы взрывы были слишком громкими: Доусон должен услышать их, но не больше чем услышать. Я устрою три взрыва, с разным количеством динамита, а ты заметь себе, который из них будет больше всего похож на настоящий.

В десять часов вечера Малыш бродил по Главной улице, чувствуя на себе сотни любопытных взглядов, и прислушивался. И вот он услышал очень слабый и отдаленный звук взрыва. Через полминуты раздался второй, достаточно громкий, чтобы привлечь к себе внимание прохожих. А потом последовал и третий — такой сильный, что все обитатели Доусона высыпали на улицу.

— Ну и дал же ты им встряску! — задыхаясь,

воскликнул Малыш часом позже, когда добрался до хижины на Тру-ля-ля. Он схватил Смока за руку. — Посмотрел бы ты на них! Случалось тебе когда-нибудь наступить на муравейник? Так точно выглядел Доусон! Главная улица кишела народом, когда я проходил по ней. Завтра тут яблоку негде будет упасть. Если и сейчас кто-нибудь не ползет сюда, то я не знаю, что такое золотоискатель.

Смок усмехнулся, подошел к самодельному вороту и раза два повернул его — ворот заскрипел. Малыш вытащил мох из щелей между бревнами, из которых были сколочены стены, и устроил два глазка по обе стороны хижины. Потом потушил свечу.

— Начинай, — шепнул он через полчаса.

Смок несколько минут медленно вращал ворот, потом остановился, достал оцинкованное ведро, наполненное землей, и с треском опустил его на кучу камней, доставленных в хижину накануне. Потом он закурил, прикрывая огонек спички рукой.

— Их трое, — прошептал Малыш. — Эх, если бы ты их видел! Знаешь, когда ты загрохотал ведром, они прямо-таки затряслись. А теперь один из них стоит у окна и пытается заглянуть внутрь.

Смок раскурил сигарету и взглянул на часы.

— Надо делать это регулярно, — шепнул он. — Мы будем поднимать каждые четверть часа по ведру. А тем временем…

Он тщательно завернул камень в холстину и ударил по нему долотом.

— Великолепно! — застонал Малыш, умирая от восторга. Он бесшумно отполз от глазка. — Все трое, голова к голове — я почти вижу, как они разговаривают.

И с этого момента до четырех часов утра они каждые четверть часа поднимали по пустому ведру при помощи ворота, который скрипел, вращался вокруг своей оси и не поднимал ничего. Потом ночные гости удалились, и Смок с Малышом легли спать.

Когда рассвело, Малыш осмотрел следы мокасинов.

— Один из них был верзила Билл Солтмен, — решил он.

Смок кинул взгляд на реку.

— Принимай гостей! Два человека идут по льду.

— Вот-вот! А ты посмотри, что будет в девять часов, когда Брэк зарегистрирует нашу заявку. Сюда набьется не меньше двух тысяч человек.

Малыш взобрался на верхушку крутого утеса и взглядом знатока окинул ряд установленных ими заявочных столбов.

— Самая настоящая жила, комар носу не подточит, — сказал он. — Человек опытный, пожалуй, мог бы даже указать ее направление под снегом. Собьет с толку кого угодно. Спереди она скрыта скалой, а вон сбоку разветвляется. Ну, впрямь жила, с той только разницей, что она не настоящая.

Когда те двое, что перешли реку, взобрались по извилистой тропинке на откос, они нашли хижину запертой. Билл Солтмен, шедший впереди, на цыпочках подошел к двери, прислушался, потом поманил Уайльда Уотера. Изнутри доносились скрип и скрежет ворота, поднимающего тяжелый груз. Они дождались остановки, а затем услышали, как веревка размоталась обратно и как ведро вновь стукнулось о камни. Четыре раза в течение часа слышали они этот звук. И, наконец, Уайльд Уотер постучал в дверь. Изнутри донесся какой-то приглушенный шум, потом наступило молчание, затем снова что-то зашумело, и через пять минут Смок, тяжело переводя дыхание, приотворил дверь не более чем на вершок и выглянул наружу. Его лицо и рубаха были осыпаны каменной пылью. Он приветствовал посетителей

с подозрительным радушием и прибавил:

— Подождите минутку, сейчас я к вам выйду.

Он натянул рукавицы, протиснулся в дверь и подошел к посетителям. Зоркие глаза последних заметили, что рубаха его вылиняла и запылилась на плечах и что на коленях брюк видны следы наспех очищенной грязи.

— Рановато вы явились с визитом, — заметил он. — Ну, что хорошего на том берегу?

— Ну, Смок, — сказал Уайльд Уотер конфиденциальным тоном, — будьте откровенны. У вас тут что-то есть.

— Если вы насчет яиц… — начал Смок.

— Ах, да забудьте вы про яйца! Мы пришли по делу.

— Стало быть, вы хотите купить участок земли? — затараторил Смок. — Тут есть замечательные места для построек. Но мы, знаете ли, пока не можем приступить к продаже. Мы еще не произвели разбивки. Наведайтесь на той неделе, Уайльд Уотер, и я покажу вам чудесный, в смысле тишины и спокойствия, участок, если вы серьезно задумали перебраться сюда. На той неделе разбивка наверное будет кончена. Будьте здоровы. Жаль, что я не могу пригласить вас в хижину, но Малыш… вы ведь знаете его, — он

ужасный чудак. Затвердил себе, что живет здесь ради тишины и спокойствия. Теперь он спит, и мне бы очень не хотелось будить его.

С этими словами Смок горячо пожал им руки. Не переставая болтать, он шагнул через порог и запер дверь.

Посетители посмотрели друг на друга и покачали головой.

— Штаны видел? — хрипло прошептал Солтмен.

— Видел. И плечи тоже. Он копался в яме. — Уайльд Уотер окинул взглядом занесенное снегом ущелье и вдруг увидел нечто такое, что заставило его присвистнуть.

— Ну-ка, взгляни туда, Билл! Вон туда, куда я показываю пальцем. Ведь это же разведочная шахта! А по сторонам-то… видишь там, где на снегу следы от их ног. Если это не подпорки, то я вообще не знаю, что такое подпорки. Это жила, теперь все ясно!

— А ты посмотри, какая она огромная! — воскликнул Солтмен. — Они наскочили на жилу, бьюсь об заклад!

— Обрати внимание на откос. Скалы-то какие! Все сползают в расщелины. Все ущелье — сплошная залежь!

— А ты взгляни на реку, на тропинку, — вздохнул Солтмен. — Похоже, что сюда прет весь Доусон, как по-твоему?

Уайльд Уотер увидел, что вся дорога вплоть до дамбы в Доусоне усеяна людьми. На самой дамбе тоже кишел народ.

— Как тебе будет угодно, а я пойду, взгляну на эту разведочную шахту, прежде чем соберется народ, — сказал он и, повернувшись, побежал к ущелью.

Но тут распахнулась дверь хижины, и на пороге появились оба хозяина.

— Эй, вы! — крикнул Смок. — Куда вы идете?

— Выбрать себе участок, — откликнулся Уайльд Уотер. — Посмотрите на реку. Весь Доусон бежит покупать участки, и мы хотим перебить у них лакомый кусочек. Так, Билл?

— Вот именно, — подтвердил Солтмен. — Тут есть все данные для постройки прекрасного поселка. И населения в нем будет, по-видимому, чертовски много.

— Все это так, но мы не продаем участков в том районе, куда вы идете, — ответил Смок. — Участки под застройку направо и вверх по скалам. А этот кусок, от реки до ущелья, мы покамест придержим. Поворачивайте!

— А мы облюбовали как раз эту землю, — вызывающе сказал Солтмен.

— Она не для вас, говорю я вам, — резко ответил Смок.

— И против прогулки вы тоже возражаете? — настаивал Солтмен.

— Решительно! Ваши прогулки начинают надоедать мне. Идите обратно!

— А я полагаю, что мы все-таки прогуляемся туда, — бросил Солтмен. — Идем, Уайльд Уотер!

— Предупреждаю вас, вы нарушаете закон! — сказал Смок резким тоном.

— Нет, мы просто гуляем, — беспечно крикнул Солтмен и, повернувшись, двинулся дальше.

— Эй, остановитесь, Билл, не то я продырявлю вам шкуру! — прогремел Малыш, выхватывая два мрачного вида 44-калибровых револьвера и взводя курки. — Сделайте-ка еще один шаг, и я просверлю ваш проклятый костяк в одиннадцати местах. Поняли?

Солтмен остановился, пораженный.

— Кажется, начинает понимать, — шепнул Малыш Смоку. — Но если он не послушается, то я здорово влопался. Не могу же я стрелять! Что делать?

— Слушайте, Малыш, будьте благоразумны, —

взмолился Солтмен.

— Идите сюда, и мы потолкуем, как благоразумные люди, — ответил Малыш.

Когда первые участники похода осилили извилистую тропинку и взобрались на скалу, они все еще толковали, как благоразумные люди.

— Нельзя называть человека нарушителем закона только за то, что он хочет выбрать себе участок, — доказывал Уайльд Уотер, а Малыш возражал:

— Но эта земля — частная собственность, и этот участок — тоже частная собственность, вот и все. Он не продается, говорю я вам…

5

— Ну, надо кончать. Самое время, — шепнул Смок Малышу. — Если у них лопнет терпение…

— У тебя, по-видимому, железные нервы, если ты надеешься удержать их, — шепотом ответил Малыш. — Их тут две тысячи, и народ все прибывает. Они ежесекундно могут прорвать линию.

Демаркационная линия пролегала по краю ущелья; она образовалась благодаря тому, что Малыш задержал первых прибывших как раз на этом месте и преградил им дальнейший путь. В толпе находилось человек шесть из северо-запад-

ной полиции во главе с лейтенантом, с которым Смок стал совещаться вполголоса.

— Из Доусона все еще идет народ, — сказал он. — Скоро тут будет тысяч пять. Больше всего я боюсь того момента, когда они бросятся ставить заявочные столбы. Ведь тут только пять участков. Это значит, что на каждый участок придется по тысяче человек. И, кроме того, четыре тысячи из пяти бросятся на ближайший. Все это совершенно недопустимо; если начнется драка, трупов будет больше, чем за все время существования Аляски. К тому же эти пять заявок зарегистрированы только сегодня утром, так что брать их еще нельзя. Короче говоря, драка недопустима.

— Совершенно верно, — сказал лейтенант. — Я соберу и расставлю своих людей. Мы не хотим беспорядка и не допустим его. А еще лучше будет, если вы поговорите с ними.

— По-видимому, произошла какая-то ошибка, братцы, — громогласно начал Смок. — Мы еще не все приготовили для продажи участков. Улицы еще не разбиты. Продажа начнется на той неделе.

Вопли нетерпения и негодования прервали его речь.

— На черта нам земельные участки? — рявкнул

какой-то юный старатель. — Мы пришли за тем, что под землей!

— Откуда же мы можем знать, что у нас под землей? — ответил Смок. — Мы знаем только, что купили чудесную землю на вершине холма.

— Вот именно, — подтвердил Малыш. — Замечательно живописный и спокойный уголок.

Снова раздались нетерпеливые крики. Солтмен выступил вперед.

— Мы пришли застолбить участки, — начал он. — Мы знаем, что вы сделали. Вы поймали кварцевую жилу и застолбили пять участков лентой, вроде как бы для застройки. Только вы промахнулись. Две из ваших заявок фальшивые. Кто такой Сэт Талбот? Никто никогда не слыхал о нем. А между тем вы сегодня утром сделали заявку на его имя. И еще одну вы сделали на имя Гарри Максуэлла. А Гарри Максуэлл сейчас в Ситле. Стало быть, и он отпадает. Две заявки свободны — их можно брать.

— А может, у меня есть от него доверенность, — возразил Смок.

— Никакой доверенности у вас нет, — ответил Солтмен. — А если есть, то покажите нам ее. Так или иначе — мы будем брать эти участки.

Солтмен перешагнул демаркационную линию

и обернулся к толпе, чтобы увлечь ее за собой.

— Стойте! Вы не смеете! — крикнул лейтенант.

— Я поступаю по закону. Вы не согласны? — грозно спросил Солтмен.

— Может, вы и правы, — ответил лейтенант. — Но я не могу позволить и не позволю, чтобы пять тысяч человек бросились на две заявки. Это грозит катастрофой. В этих местах есть один закон — закон северо-западной полиции. Кто осмелится перешагнуть эту черту, будет убит. Вернитесь, Билл Солтмен!

Солтмен неохотно повиновался, но по сгрудившейся толпе пробежал трепет, не предвещавший ничего хорошего.

— Черт побери! — шепнул лейтенант Смоку. — Посмотрите, как они облепили тот утес — точно мухи.

Смок содрогнулся, но все же заставил себя выйти вперед.

— Я буду играть начистоту, ребята. Если вы настаиваете на участках, я, так и быть, продам их вам, по сто долларов за штуку. Можете брать их, как только будет снят план. — Толпа заволновалась, но он повелительным жестом заставил ее успокоиться. — Ни с места! Если вы тронетесь, то погибнут сотни людей.

— Все равно, вы не можете принудить нас, — раздался чей-то голос. — Мы хотим застолбить участки.

— Но ведь тут всего-навсего две спорных заявки, — сказал Смок. — Что останется остальным, когда они будут заняты?

Он вытер лоб рукавом рубашки.

— Пусть все участвуют поровну! — крикнул кто-то.

Толпа громким ревом поддержала это предложение. И никто не догадывался, что сделано оно было человеком Смока, который только и дожидался условного знака.

— Валите все в общий котел! Мы войдем в долю! Вся земля и все, что в ней, будут общими, — продолжал тот же голос. — И ископаемые тоже!

— Да тут нет никаких ископаемых! — заметил Смок.

— Тем более, в общий котел! Мы уж посмотрим!

— Это насилие, братцы! — сказал Смок. — Уж лучше бы вы оставались в Доусоне.

В его голосе звучала такая нерешительность, что толпа бешеным ревом вырвала у него согласие. Солтмен и еще несколько человек в первых рядах пытались протестовать.

— Билл Солтмен и Уайльд Уотер не хотят, чтобы вы входили в долю! — крикнул Смок.

И с этого момента Солтмен и Уайльд Уотер стали самыми непопулярными людьми в Доусоне.

— А как же мы все это устроим? — спросил Смок. — Нам с Малышом контрольный пакет! Мы открыли участок.

— Правильно! — раздался крик.

— Три пятых нам, — предложил Смок, — а на вашу долю, ребята, две пятых. И вам придется заплатить за ваши паи.

— По десять центов за доллар! — раздались крики.

— И чтобы председатель компании лично обходил всех и подносил каждому в отдельности дивиденд на серебряном подносе? — усмехнулся Смок. — Нет, дудки! Вы покупаете две пятых всего пакета, сто долларов номинальных за акцию, — выпускная цена десять долларов. Вот все, что я могу сделать для вас.

— Без крупных капиталов! — крикнул кто-то. Этот возглас выразил общее мнение всех собравшихся.

— Вас тут около пяти тысяч человек; значит, акций будет пять тысяч, — начал вслух высчитывать Смок. — Пять тысяч — это две пятых

от двенадцати тысяч пятисот. Итак, Компания Земельных Участков Тру-ля-ля учреждается с основным капиталом в миллион двести тысяч долларов, распределенным на двенадцать тысяч пятьсот акций по сто долларов номинальных, причем вы, ребята, покупаете пять тысяч акций по выпускной цене, то есть по десять долларов штука. Соглашайтесь или нет — мне безразлично!

Толпа была довольна. Смока-то ведь поймали с поличным — две подложных заявки! Тут же был выбран комитет.

Так была образована Компания Земельных Участков Тру-ля-ля. Комитет отверг предложение о распределении акций в Доусоне на следующий день на том основании, что граждане, не принимавшие участие в походе, стали бы требовать своей доли; и у костра, разведенного на льду у подножия скалы, каждому участнику похода в отдельности была выдана расписка в получении десяти долларов золотым песком, отвешенным надлежащим образом.

В сумерки работа была закончена, и поселок Тру-ля-ля опустел. Остались только Смок и Малыш, которые уселись ужинать и, хихикая, ощупывали мешки с золотом и просматривали

списки пайщиков — в количестве четырех тысяч восьмисот семидесяти четырех человек.

— Подожди! Это еще не все, — заметил Малыш.

— Он придет, — убежденно ответил Смок. — Он — прирожденный игрок, и когда Брэк шепнет ему два-три теплых слова, то его не удержит и разрыв сердца.

Через час раздался стук в дверь, и в хижину вошел Уайльд Уотер в сопровождении Билла Солтмена. Их глаза жадно забегали по хижине.

— Но предположите, что я хочу подписаться на тысячу двести акций, — говорил Уайльд Уотер часом позже. — С остальными пятью тысячами, расписанными сегодня, это составит всего-навсего шесть тысяч двести акций. Так что на вас с Малышом придется шесть тысяч триста. Контрольный пакет останется за вами.

— Но ведь и Биллю тоже кое-что нужно. А мы не хотим отдавать больше, чем пятьсот акций.

— Сколько денег ты хочешь вложить в это дело? — обратился Уайльд Уотер к Солтмену.

— Тысяч пять, скажем.

— Уайльд Уотер, — промолвил Смок, — если бы я не знал вас так хорошо, то я бы не продал вам и одной самой захудалой акции. Как бы там ни было, мы с Малышом больше пятисот штук

не отдадим, и они обойдутся вам по пятьдесят долларов за штуку. Это мое последнее слово. Билл может удовольствоваться сотней, тогда вам останется четыреста штук.

6

На следующий день Доусон смеялся. Начал он смеяться рано утром, когда Смок подошел к щиту для объявлений, висевшему на стене магазина A. C. Company и прибил лист бумаги. Он еще не успел вколоть последнюю кнопку, как за его спиной уже собрался народ и, читая объявление, надрывался от смеха. Вскоре у щита образовалась толпа в несколько сот человек, и так как не все могли прочесть написанное, то тут же открытым голосованием был избран чтец. В течение дня чтецы сменялись неоднократно, и каждый из них громким голосом читал записку, вывешенную Смоком Беллью. Были люди, которые весь день топтались в снегу и в сотый раз слушали чтение, чтобы хорошенько запомнить во всех подробностях следующий документ:

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУ-ЛЯ-ЛЯ

Каждый пайщик, не желающий пожертвовать десять долларов в пользу Центрального Госпиталя города Доусона, может получить свои деньги лично у Уайльда Уотера Чарли; в случае же отказа последнего от уплаты деньги будут немедленно возвращены Смоком Беллью.

ПРИХОД И РАСХОД

За 4874 акции по 10 долларов 48 740 дол.

Дуайту Сэндерсону за участок Тру-ля-ля 10 000 дол.

На единовременные расходы: динамит, сверла, ворот, регистрация у приискового инспектора и пр. 1000 дол.

Центральному Госпиталю гор. Доусона 37 740 дол.

Итого 48 740 дол.

От Билла Солтмена за 100 акций, приобретенных частным путем по 50 дол. 5000 дол.

От Уайльда Уотера Чарли за 400 акций, приобретенных частным путем по 50 дол. 20 000 дол.

Вознаграждение Биллу Солтмену за его

деятельность в качестве добровольного организатора похода на Тру-ля-ля 3000 дол.

Центральному Госпиталю гор. Доусона 5000 дол.

Смоку Беллью и Джеку Малышу — в полный расчет по сделке с яйцами и в виде возмещения морального ущерба 17 000 дол.

Итого 25 000 дол.

Имеется остаток акций на сумму 7126 долларов. Эти акции, принадлежащие Смоку Беллью и Джеку Малышу, не стоят ничего и могут быть приобретены бесплатно, по первому требованию, любым жителем Доусона, желающим переменить местожительство и насладиться тишиной и уединением в поселке Труля-ля.

Примечание. Тишина и уединение гарантируются в поселке Тру-ля-ля на вечные времена.

Подписи: Смок Беллью, председатель
Джек Малыш, секретарь.

Тайна женской души

1

— А все-таки, я вижу, ты не очень-то спешишь жениться, — заметил Малыш, возобновляя разговор, оборвавшийся несколько минут назад.

Смок не ответил; сидя на краешке мехового одеяла, он опрокинул в снег ворчащую собаку и внимательно обследовал ее лапы. А Малыш, поворачивая перед огнем надетый на палку мокасин, от которого валил пар, пристально всматривался в лицо компаньона.

— Погляди-ка на северное сияние, — продолжал Малыш. — Экое непостоянство! Совсем, как женщина: то она так, то этак, и не поймет, чего ей надо. У самой лучшей женщины ветер в голове, если уж она не совсем дура. И все они настоящие кошки — что большие, что маленькие, красавицы и уродины. А если какая увяжется за мужчиной — ну, считай, за тобой охотится голодный лев или гиена.

И снова красноречие Малыша иссякло. Смок ударил собаку, которая чуть не укусила его за руку, и продолжал осматривать ее израненные,

кровоточащие лапы.

— Фу ты! — опять заговорил Малыш. — Да неужто я не женился бы, если б захотел? А может, меня бы и против моей воли окрутили, но только я всегда удирал, как заяц. Знаешь, Смок, что меня спасало? Хорошее дыхание. Я просто бегу что есть духу. Хотел бы я посмотреть на ту юбку, которая способна меня загонять.

Смок отпустил собаку и тоже повернул перед огнем свои мокрые мокасины, насаженные на палки.

— Придется нам завтра сидеть на месте и шить для собак мокасины, — сказал он наконец. — Этот битый лед совсем искалечил им лапы.

— Нам нельзя оставаться на месте, — возразил Малыш. — На обратный путь у нас не хватит продовольствия, и если мы в самом ближайшем времени не встретим стадо карибу или белых индейцев, то нам придется есть собак. Ну а кто видел этих белых индейцев? Слухи — и ничего больше. Да и как индеец может быть белым? Это все равно что белый чернокожий. Завтра надо непременно двинуться в путь, Смок. Вся местность кругом вымерла. Вот уже неделя как мы даже зайца не видали. Мы должны перебраться из этой мертвой полосы в такое место, где водится дичь.

— Они гораздо лучше побегут, если мы дадим им денек отдохнуть и наденем на них мокасины, — сказал Смок. — Попробуй-ка завтра взобраться на какой-нибудь холм и как следует осмотреться. Мы, по-видимому, скоро выберемся на открытое место. Об этом-то и говорил Лаперль.

— Гм! Лаперль, по собственным его словам, проходил здесь лет десять назад; притом он так обалдел от голода, что едва ли соображал, что кругом него делается. Вспомни, что он рассказывал об огромных флагах, развевающихся на вершинах гор. Понимаешь, до чего он обалдел? Да он и сам признавался, что ни разу не видал белых индейцев. Белых индейцев придумал Энтон. А Энтон протянул ноги за два года до того, как мы с тобой попали в Аляску. Ну что ж, все равно, завтра погляжу. Может, и оленя удастся подстрелить. Как ты насчет того, чтобы соснуть?

2

Все следующее утро Смок провел в лагере, занимаясь шитьем мокасинов для собак и починкой сбруи. В полдень он приготовил обед на двоих, съел свою порцию и стал поджидать Малыша. Через час он надел лыжи и отправился по следам товарища. Дорога вела вверх по руслу ручья,

через узкую котловину, которая вдруг расширялась в оленье пастбище. Впрочем, олени сюда не заглядывали с первого снегопада прошлой осени. Следы Малыша пересекали пастбище и поднимались по пологому склону невысокого холма. Смок поднялся на его вершину и остановился. Следы спускались по другому склону. Первые сосны, росшие на берегу ручья, находились на расстоянии мили. По всей видимости, Малыш миновал их и пошел дальше.

Смок взглянул на часы, вспомнил о надвигающихся сумерках, о собаках и лагере и решил воздержаться от дальнейшего путешествия. Но прежде чем двинуться обратно, он еще раз внимательно осмотрел местность. Весь восточный небосклон был загромождeн зубчатыми, обледенелыми вершинами Скалистых Гор. Вся горная гряда как бы наступала, цепь за цепью, на северо-запад, замыкая вход в равнину, о которой рассказывал Лаперль. Казалось, эти горы сговорились отбросить путника обратно на запад, на Юкон.

До полуночи Смок поддерживал большой костер, чтобы помочь Малышу найти дорогу. А поутру свернул стоянку, запряг собак и, дождавшись полного рассвета, пустился на поиски. В

узком коридоре ущелья собака-вожак, бежавшая впереди, насторожила уши и заскулила, а затем Смок наткнулся на шестерых индейцев, двигавшихся ему навстречу. Они шли налегке, без собак, неся на спине по маленькому тюку с самым необходимым снаряжением. Они окружили Смока и сильно удивили его своим поведением: было очевидно, что индейцы искали именно его. Говорили они на каком-то совершенно непонятном Смоку индейском наречии. Они не были белыми индейцами, но превосходили ростом и весом представителей любого племени, населяющего Юконский бассейн. Пятеро из них были вооружены старинными долгоствольными мушкетами, а в руках у шестого Смок увидел винчестер, в котором тотчас же признал собственность Малыша.

Индейцы, без дальних проволочек, взяли его в плен. Он был безоружен, и ему оставалось только подчиниться. Содержимое его саней было тут же размещено по их тюкам, а ему самому был дан тюк, состоявший из спальных мешков его и Малыша. Собаки были распряжены, и когда Смок запротестовал, один из индейцев знаками пояснил ему, что по этому пути саням не проехать. Смок подчинился неизбежному, зарыл сани в снег на берегу ручья и поплелся вслед за своими

победителями. Они шли через гребень водораздела на север, по направлению к соснам, которые Смок видел накануне вечером.

Первую ночь они провели в покинутом лагере, в котором индейцы стояли, по-видимому, несколько дней назад. Здесь было спрятано немного сушеной лососины и вяленого мяса вроде пеммикана[49]. Все это индейцы уложили в свои мешки. От лагеря тянулись бесчисленные следы лыж; вероятно, их оставили индейцы, захватившие Малыша, решил Смок.

Еще до наступления темноты ему удалось отыскать следы, оставленные более узкими лыжами самого Малыша. Он стал знаками расспрашивать индейцев, и те, утвердительно кивнув, указали на север.

На север показывали они и все последующие дни; на север пролегал их путь, извивавшийся среди лабиринта зубчатых горных вершин. Снежный покров был тут гораздо толще, чем в долине; его приходилось на каждом шагу утаптывать лыжами. Индейцы — сплошь молодые люди — шли легко и быстро, и Смок не мог подавить щекочущее чувство гордости, заметив, что он без

[49] Примечания: 49

Вяленое на солнце мясо, нарезанное узкими и длинными полосками. Способ сохранять мясо, принятый у североамериканских индейцев.

труда поспевает за ними.

Через шесть дней они достигли центрального перевала и осилили его. По сравнению с обступившими его скалами он был не высок, но тем не менее переход через него представлял огромные трудности, а для нагруженных саней был и вовсе немыслим. После пяти дней бесконечных блужданий по лабиринту, опускавшемуся террасами все ниже и ниже, они вышли на открытую холмистую равнину, которую десять лет тому назад нашел Лаперль. Смок понял это с первого взгляда. Был холодный, ветреный день; термометр показывал сорок градусов ниже нуля, и воздух был так прозрачен, что Смок мог видеть на сотню миль вдаль. Куда он ни обращал взгляд, повсюду перед ним расстилалась волнистая равнина. Далеко на востоке Скалистые Горы все еще вздымали к небу свои снежные шапки. На юг и на запад тянулись зубчатые гряды только что пройденных ими отрогов. А в громадной впадине лежала открытая Лаперлем страна — занесенная снеговым покровом, но все же изобилующая в определенное время года дичью и пышно расцветающая летом.

К полудню они спустились по руслу широкого горного потока, миновали погребенные в снегах

ивы и голые осины и, пройдя сосновую рощу, наткнулись на остатки большого, недавно покинутого лагеря. Бросив на него беглый взгляд, Смок решил, что костров в лагере было не меньше четырех-пяти сотен и что, стало быть, здесь стояло племя, насчитывающее несколько тысяч человек. Дорога была так хорошо утоптана недавно прошедшими по ней толпами, что Смок и его стража сняли лыжи и, оставшись в одних мокасинах, ускорили шаг.

Все чаще и чаще сказывалось присутствие дичи. Об этом можно было судить по множеству следов, оставленных волками и рысями, которые не могли бы здесь жить без мяса. Как-то раз один из индейцев издал радостный возглас, указав на открытое снежное поле, сплошь усеянное начисто обглоданными костями карибу; снег был истоптан и взрыт так, словно тут сражалось целое войско. Смок понял, что охотники здесь перебили немало дичи совсем недавно: снег еще не успел засыпать следов пиршества.

Наступили долгие сумерки, но индейцы не проявляли ни малейшего желания сделать привал. Они упорно шли вперед, в сгущающуюся тьму; небосвод был ярко освещен огромными мерцающими звездами, плававшими в зеленоватой

пелене трепетного северного сияния. Первыми почуяли близость жилья собаки Смока. Охваченные смутным волнением, они насторожили уши и заскулили. Вслед за ними и люди услышали дальний рокот, приглушенный расстоянием. Но в рокоте этом не звучала та тихая, мягкая грусть, которая обычно свойственна звукам, доносящимся издалека. Нет, то был какой-то дикий шум, прерывистая смена все более и более резких звуков — протяжный волчий вой волкодавов — вопль тревоги и муки, в котором слышались отчаяние и мятеж. Смок вынул из своих часов стекло и, нащупав пальцами стрелки, установил время: одиннадцать часов. Его спутники ускорили шаг. После томительного двенадцатичасового пути они нашли в себе силы идти еще быстрее, чуть ли не бежать. Пройдя темную сосновую рощу, они внезапно вступили в резко очерченную полосу света, лившегося от множества костров. Теперь шум стал еще сильнее. Перед ними раскинулся огромный лагерь.

Они шли по извилистым тропинкам охотничьего стана, и волна оглушительного шума вставала им навстречу и смыкалась за их спиной: крики, приветствия, вопросы и ответы, шутки, встреченные шутками же, рычание и

щелканье клыков волкодавов, которые ринулись косматыми, яростными шерстяными комками на незнакомых собак Смока, женская брань, смех, детский плач, писк грудных младенцев, стоны больных, разбуженных для новых мук, — весь лагерный пандемониум[50] первобытного, не имеющего представления о нервах народа.

Палками и прикладами ружей спутники Смока отогнали нападавших псов, в то время как его собственные собаки, испуганные таким количеством врагов, рыча и щелкая зубами, жались к ногам своих покровителей.

Они остановились у большого костра, вокруг которого был утоптан снег. Малыш и двое юношей-индейцев сидели перед ним на корточках и жарили куски мяса карибу. Трое других таких же юных индейца вскочили с циновок из сосновых веток, на которых они лежали, закутавшись в меха. Малыш поглядел через костер на своего товарища, но лицо его при этом не дрогнуло и осталось таким же бесстрастным, как у его сотрапезников-индейцев. Он не проронил ни звука и продолжал жарить мясо.

— В чем дело? — несколько раздраженно спро-

---

[50] Примечания: 50

Пандемониум — собрание всех злых духов; храм, посвященный всем демонам.

сил Смок. — Говорить разучился, что ли?

Старая, знакомая усмешка скользнула по лицу Малыша.

— Нисколько, — ответил он. — Я индеец. Учусь ничему не удивляться. Когда они поймали тебя?

— На другой день после того, как ты ушел.

— Гм! — сказал Малыш, и насмешливый огонек вспыхнул в его глазах. — А вот я себя чувствую прекрасно и бесконечно благодарен тебе. Ты видишь перед собою лагерь холостяков. — Он широким жестом обратил внимание Смока на великолепие обстановки, состоявшей из костра, сосновых циновок, положенных прямо на снег, палаток, сшитых из шкур карибу, и щитов от ветра, сплетенных из сосновых и ивовых ветвей. — А вот и сами холостяки. — Он указал на юношей и издал несколько гортанных звуков на их наречии: индейцы одобрительно сверкнули зубами и белками.

— Они рады познакомиться с тобой, садись и суши твои мокасины, а я тем временем приготовлю чего-нибудь поесть. А здорово я научился болтать по-ихнему, правда? Тебе тоже придется научиться, потому что, как видно, мы проживем здесь довольно долго. Кроме нас, тут есть еще один белый. Ирландец. Они поймали его лет

шесть назад на Большом Невольничьем озере. Зовут его Дэнни Мак-Кен. Устроился здесь, взял себе жену. У них уже двое ребят, но тем не менее он хочет улизнуть, как только представится удобный случай. Видишь вон тот небольшой костер направо? Это его стоянка.

По-видимому, костер Малыша был назначен Смоку как постоянное место жительства, так как конвой покинул его и собак и удалился в глубь лагеря.

Пока Смок приводил в порядок свою обувь и поглощал куски горячего мяса, Малыш не переставал стряпать и болтать.

— Мы здорово влопались, Смок, уж ты мне поверь! И нам надо как следует поднатужиться, чтобы выбраться отсюда. Эти парни — самые что ни на есть доподлинные дикие индейцы. Сами-то они не белые, зато вождь у них белый. Он говорит так, словно рот у него набит горячей кашей, и если он не чистокровный шотландец, то на свете вообще не существует тех, кого именуют шотландцами. Он — верховный вождь всей оравы. Слово его — закон. Это ты должен запомнить с самого начала. Дэнни Мак-Кен вот уже шесть лет пытается удрать от него. Дэнни — парень не промах и все-таки никак не может обмануть его.

Дэнни знает лазейку — нашел ее как-то на охоте — к западу от той дороги, по которой пришли мы с тобой. Но у него не хватает храбрости удрать в одиночку. Втроем мы, пожалуй, могли бы рискнуть. Бородач сколочен из крепкого дерева, но у него голова не совсем в порядке.

— Кто такой Бородач? — осведомился Смок, на минуту переставая есть.

— Бородач? Главный заправила. Это тот самый шотландец. Он становится стар и сейчас, наверное, уже спит. Но завтра он непременно придет посмотреть на тебя и доказать тебе, как по писаному, какой ты жалкий, ползучий червь по сравнению с ним. Вся эта земля принадлежит ему. Это ты должен как следует зарубить себе на носу. Ее никто никогда не исследовал, никто о ней понятия не имеет, словом — она его. И уж он не даст тебе забыть об этом. Около двадцати тысяч квадратных миль принадлежат ему. Они-то и есть белые индейцы — он и бабенка. Фу! Не гляди ты на меня такими глазами. Подожди, сам увидишь ее. Красотка, и притом совершенно белая, как и ее отец, то есть Бородач. А карибу, я тебе доложу! Собственными глазами видел их. Стадо идет на восток, и теперь мы день за днем будем преследовать его. Мясо мы едим, а оставшееся

коптим и вялим, чтобы хватило до тех пор, пока не начнется лов лосося. Чего Бородач не знает о лососях и карибу, того не знает никто на свете, — это ты запомни!

3

— Вон он идет, Бородач. Делает вид, будто идет куда-то по делу, — шепнул Малыш.

Было раннее утро. Холостяки завтракали, сидя на корточках; они жарили мясо карибу на костре и тут же поедали его. Смок поднял глаза и увидел невысокого худощавого человека, закутанного в шкуры наподобие дикаря, но несомненно белого. Следом за ним тянулась упряжка, сопровождаемая дюжиной индейцев. Смок разгрыз горячую кость и, высасывая дымящийся мозг, посмотрел на вновь прибывшего. Пушистая желтовато-седая, прокопченная лагерным дымом борода скрывала большую часть его лица. Все же под ней ясно обрисовывались худые, впалые щеки. Но то была здоровая худоба, решил Смок, заметив раздувающиеся ноздри и широкую грудь старика.

— Как поживаете? — спросил последний, сняв рукавицу и протягивая руку. — Меня зовут Снасс, — прибавил он, пожав Смоку руку.

— А меня Беллью, — ответил Смок, чувствуя

себя как-то неловко под пристальным взором острых черных глаз.

— Еды у вас достаточно, я вижу.

Смок кивнул и вновь принялся за свою кость. Мурлыкающее шотландское произношение Снасса странно ласкало его слух.

— Грубоватая пища. Зато мы почти не знаем голода. Да она и гораздо естественней, чем городская еда.

— Вы, я вижу, не любите города, — улыбаясь, заметил Смок, чтобы хоть что-нибудь сказать; и тотчас же был глубоко поражен переменой, произошедшей в Снассе.

Все тело старика содрогнулось и скорчилось, подобно чувствительному растению. А затем все его переживания, напряженные и дикие, сосредоточились в глазах, в которых вспыхнула ненависть, кричащая о безмерной муке. Он порывисто отвернулся и, взяв себя в руки, заметил как бы случайно:

— Я еще зайду к вам, мистер Беллью. Карибу идут на восток, и я должен пойти распределить места стоянок. Завтра двинутся все.

— Каков Бородач, а? — буркнул Малыш, когда Снасс во главе своего отряда двинулся дальше.

4

Несколько позже Смок пошел прогуляться по лагерю, погрузившемуся в свои несложные заботы. Только что с охоты вернулся большой отряд, и мужчины расходились к своим кострам. Женщины и дети уводили запряженных собак и вместе с ними тащили тяжелые сани, нагруженные только что освежеванными и уже замерзшими тушами. Стоял холодный весенний день — все эти сцены первобытной жизни происходили при температуре в тридцать градусов ниже нуля. Тканей ни на ком не было видно. Все были одеты в меха и мягкую дубленую кожу. В руках у проходивших мальчиков были луки и колчаны, полные стрел с костяными наконечниками; за поясами и в чехлах, висевших у них на шее, Смок увидел костяные и каменные ножи. У костров копошились женщины, коптившие мясо. На спинах у них сидели грудные дети, таращили круглые глазенки и сосали кусочки сала. Собаки — близкая родня волкам — кидались на Смока и, несмотря на занесенную над ними дубинку, обнюхивали незнакомца, с присутствием которого им приходилось мириться из-за этой самой дубинки.

В самом центре лагеря Смок набрел на стоянку, принадлежавшую, по-видимому, Снассу. Стоянка, хотя и временная, сооружена была солидно и занимала большую площадь. На высоком помосте, недоступном для собак, были навалены груды шкур и всевозможное снаряжение. Широкий холщовый занавес, почти шатер, скрывал спальню и жилое помещение. В стороне стояла шелковая палатка, столь излюбленная путешественниками-исследователями и охотниками за крупной дичью. Смок никогда еще не видел такой палатки; он подошел ближе. И когда он стоял, погруженный в созерцание, полотнища палатки раздвинулись и из нее вышла молодая женщина. Ее движения были так быстры и появилась она так внезапно, что Смоку показалось, будто он видит перед собою призрак. Такое же точно впечатление произвел, по-видимому, и он на нее, ибо они несколько секунд молча смотрели друг на друга.

Она была вся закутана в меха — такого великолепия, какое и не снилось Смоку. Ее парка с откинутым капюшоном была из какого-то странного, бледно-серебристого меха. Мокасины на моржовой подошве были сшиты из серебристых рысьих лапок. Длинные рукавицы, кисточки

на мокасинах и различные меха, из которых состоял ее костюм, были того же бледно-серебристого цвета, мерцавшего на зимнем солнце; и из этого серебряного мерцания поднималась гибкая, нежная шейка, увенчанная головкой с розовым лицом, синими глазами, маленькими ушками, подобными двум розоватым раковинам, и пышными светло-каштановыми волосами, запорошенными инеем и усеянными кристаллами снега.

Все это Смок увидел как во сне; лишь через некоторое время он пришел в себя и рука его потянулась к шапке. В тот же миг изумление, написанное на лице девушки, сменилось улыбкой; быстрым, уверенным движением она сняла рукавицу и протянула ему руку.

— Здравствуйте, — важно промолвила она со странным, очаровательным акцентом. Ее голос, серебристый, как и облекавшие ее меха, поразил слух Смока, приученный к хриплым голосам туземных женщин.

Смок пролепетал несколько фраз, оставшихся в его памяти от далеких времен светской жизни.

— Рада познакомиться с вами, — продолжала она, медленно подбирая слова и сияя улыбкой. — Прошу снисхождения к моему английскому

языку. Я говорю не очень хорошо. Я такая же англичанка, как вы, — заверила она серьезным тоном. — Мой отец шотландец. Мать моя умерла. Она была наполовину француженкой, наполовину англичанкой, а также и немного индианкой. Ее отец был большим человеком в Компании Гудзонова Залива. Бррр! Холодно! — Она натянула рукавицу и потерла уши, которые из розовых стали белыми. — Пойдем к костру, поболтаем. Меня зовут Лабискви. А вас?

Так Смок познакомился с Лабискви, дочерью Снасса, которую Снасс называл Маргерит.

— Имя моего отца вовсе не Снасс, — сообщила она Смоку. — Снасс — это только его индейское прозвище.

Смок много узнал в тот день и в последующие дни, когда все население лагеря двинулось по следам карибу. Его спутники были настоящими дикими индейцами — теми самыми индейцами, к которым много лет назад попал Энтон и от которых ему удалось ускользнуть. В данный момент они кочевали по восточной окраине своих владений; летом же они обычно уходили на север, в тундры на берегу Ледовитого океана и на восток до Лусквы. Какая река называлась у них Лусквой, Смоку так и не удалось выяснить;

не могли объяснить ему это ни Лабискви, ни Мак-Кен. Иногда Снасс ходил с отрядом опытных охотников на восток, через Скалистые Горы, за озера, за Маккензи, в глубь Баррен-Граундз. В одном из этих походов и была найдена шелковая палатка, в которой теперь жила Лабискви.

— Она принадлежала экспедиции Миллисента и Эдбери, — сообщил Снасс Смоку.

— А! Припоминаю. Они охотились на мускусных быков. Спасательная экспедиция так и не нашла их.

— Зато я нашел их, — сказал Снасс. — Но оба уже были мертвы.

— А у нас еще никто об этом не знает. Не было никаких известий от них.

— Известий отсюда не бывает никогда, — любезно заверил его Снасс.

— Вы хотите сказать, что если бы даже они были живы, когда вы наткнулись на них…

Снасс кивнул.

— Они остались бы со мной и с моим народом.

— Однако Энтону удалось выбраться, — подзадорил его Смок.

— Не припомню такого имени. Как давно это было?

— Лет четырнадцать-пятнадцать назад, — ска-

зал Смок.

— А, да-да! Значит, в конце концов он все-таки пробился! Вы знаете, я за него боялся. Мы прозвали его Длинный Зуб. Сильный был человек!

— Был тут и Лаперль, лет десять назад.

Снасс покачал головой.

— Он нашел следы ваших стоянок. Дело было летом.

— Ну да, тогда все ясно! Летом мы уходим на сто миль к северу.

Но как ни старался Смок, ему так и не удалось найти ключ к биографии Снасса до того момента, когда этот шотландец поселился в далекой северной пустыне. Он был человеком образованным, но за последние годы не прочел ни одной книги, ни одной газеты. Он понятия не имел о том, что творится на белом свете, и не проявлял ни малейшего желания знать это. Он слыхал о юконских золотоискателях и о клондайкской горячке. Но на его территории золотоискатели не показывались, чему он был очень рад. Внешний мир не существовал для него. Он не выносил даже упоминания о нем.

Лабискви тоже ничем не могла помочь Смоку в его изысканиях. Она родилась в охотничьем лагере. Ее мать умерла, когда ей было шесть лет.

Мать была очень красива, — единственная белая женщина, которую Лабискви когда-либо видела. Все это она рассказала ему с грустью — с той же грустью она всячески давала ему понять, что ей известно о существовании огромного внешнего мира, ворота которого были замкнуты ее отцом. Но она скрывала, что знает об этом мире. Она давно поняла, что одно упоминание о нем приводит отца в бешенство.

Энтон как-то сказал одной женщине-индианке, что мать Лабискви была дочерью видного служащего Компании Гудзонова Залива. Впоследствии это было передано Лабискви. Но имени своей матери она так и не узнала.

Мак-Кен также никуда не годился в качестве справочника… Он не любил авантюр. Дикая жизнь была для него ужасом, а между тем ему пришлось прожить так девять лет. Он был завербован в Сан-Франциско на китобойное судно, но, доехав на нем до мыса Барроу, дезертировал вместе с тремя товарищами… Двое из них умерли, а третий бросил его во время жуткого перехода на юг. Два года прожил он у эскимосов, прежде чем набрался храбрости отправиться на юг, — и вот в нескольких днях пути от поста Гудзоновой Компании попал в руки Снассовых индейцев…

Дэнни Мак-Кен был маленький, тупой человек с больными глазами. Он мечтал только об одном и только об одном мог говорить — о возвращении в дорогое его сердцу Сан-Франциско, к благословенному ремеслу каменщика.

5

— Вы первый интеллигентный человек, попавший к нам, — сказал Снасс Смоку, беседуя с ним как-то вечером у костра, — кроме старика Четырехглазого. Так его прозвали индейцы за его очки. Он был профессором зоологии, умер год назад. Мои ребята подобрали его на верховьях Поркьюпайны — он отбился от экспедиции. Четырехглазый был интеллигентным человеком — да, но и сумасшедшим тоже. Он был чертовски рассеян, но хорошо знал географию и обработку металлов. На Лускве — там есть уголь — устроил несколько очень приличных кузниц, а также чинил нам ружья и обучил этому искусству нашу молодежь. Умер он в прошлом году, и мы очень жалели о нем. Заблудился, конечно, по своему обыкновению, и замерз на расстоянии мили от лагеря.

В тот же вечер Снасс сказал Смоку:

— Вам бы следовало найти себе жену и устро-

ить собственный очаг. Это гораздо удобнее, чем жить с молодежью. Девичьи костры — нечто вроде праздника девственницы — будут зажжены только в середине лета, когда пойдет лосось. Но если вы хотите, я могу устроить их и раньше.

Смок рассмеялся и покачал головой.

— Прошу помнить, — спокойно закончил Снасс, — что уйти удалось одному Энтону. Ему повезло, необыкновенно повезло.

— У моего отца железная воля, — говорила Лабискви Смоку. — Четырехглазый обычно называл его Ледяным Пиратом — не знаю, что это значит, — или Владыкой Мороза, Пещерным Медведем, Первобытным Зверем, Царем Карибу, Бородатым Леопардом и еще по-разному. Четырехглазый любил такие слова. Он-то, главным образом, и научил меня говорить по-английски. Он вечно шутил. С ним невозможно было говорить. А когда я сердилась, называл меня своим гепардом. Что это такое?

Она щебетала с увлечением и детской наивностью, которую Смок никак не мог увязать со зрелой женственностью ее фигуры и лица.

Да, ее отец был строг. Все боялись его. В гневе он был страшен. Вот, например, племя Дикобразов. Через них и через племя Луксва Снасс продавал

свои шкуры на компанейские посты и пополнял свои запасы снаряжения и табака. Он всегда был честен, а вождь Дикобразов начал его обманывать. И Снасс, после двух предостережений, сжег его поселок; затем в бою было убито около двадцати человек из его племени. Зато обмана больше не было. Однажды, когда она была еще совсем маленькой, был убит один белый, пытавшийся бежать. Нет, отец сам не убивал его, он отдал приказание молодежи. Ни один индеец не смел ослушаться ее отца.

И чем больше Смок слушал ее, тем загадочнее становилась для него фигура Снасса.

— А вот скажите мне еще, — спрашивала его девушка: — Правда ли, что существовали мужчина и женщина по имени Паоло и Франческа и что они очень любили друг друга?

Смок кивнул.

— Мне говорил об этом Четырехглазый, — просияла она. — Но он не рассказывал подробностей, и я не была уверена. Я спросила отца, о, как он рассердился! Индейцы говорили мне, что он потом ужасно отругал Четырехглазого. И еще Тристан и Изольда — две Изольды. Очень грустная история! И все-таки я хотела бы так любить. Неужели все молодые мужчины и женщины так любят? У нас

— нет. У нас просто женятся. У наших как будто не хватает на это времени. Я — англичанка, и я никогда не выйду замуж за индейца. А вы? Поэтому-то я и не зажигаю своего девичьего костра. Многие из наших юношей пристают к отцу, чтобы он приказал мне зажечь костер. Либаш например. Он великий охотник. А Махкук все бродит кругом и поет песни. Он смешной. Подойдите сегодня вечером к моей палатке — услышите, как он поет, стоя на морозе. Но отец говорит, что я вольна поступать, как я хочу, — вот я и не зажигаю костра. Понимаете, когда девушка хочет выйти замуж, она таким образом оповещает о своем намерении всех молодых людей. Четырехглазый всегда говорил, что это прекрасный обычай. Но я заметила, что сам он никого не взял себе в жены. Может, он был слишком стар. У него было очень мало волос, но я все-таки думаю, что он был не так уж стар. А как вы узнаете, что вы влюблены? Как Паоло и Франческа? Да?

Смок смутился под ясным взглядом ее синих глаз.

— Они говорят друг другу, — пролепетал он, — те, кто влюблены, говорят… что любовь дороже жизни. Когда замечаешь, что любишь кого-нибудь больше всех на свете, — ну вот тогда, значит,

ты влюблен. Вот так и бывает. Только объяснить это ужасно трудно. Просто узнаешь, вот и все.

Она посмотрела вдаль, за лагерный дым, вздохнула и снова углубилась в шитье меховой рукавицы.

— Так вот, — заявила она решительно, — я никогда не выйду замуж.

6

— Если только мы выберемся отсюда, нам придется бежать изо всех сил, — угрюмо сказал Малыш.

— Вся эта местность — огромная ловушка, — откликнулся Смок. Стоя на вершине голого холма, они обозревали снежные владения Снасса. На востоке, западе и юге владения эти были замкнуты высокими пиками и извилистыми горными цепями. На север тянулась равнина, казавшаяся бесконечной; но они знали, что даже и в этом направлении она была перерезана несколькими горными цепями.

— В это время года можно выиграть только три дня, — сказал Снасс Смоку в тот вечер. — Вы все равно не скроете ваших следов. В этом все дело. Энтон удрал уже после того, как стаял снег. Моя молодежь может потягаться с лучшим из белых

бегунов, и кроме того, вы проложите для нее дорогу. А когда стает снег, я позабочусь о том, чтобы вам не представился случай, как Энтону. У нас здесь чудесная жизнь. А тот мир, где мы жили, скоро забывается. Я всегда удивлялся, как легко можно обойтись без него.

— Что меня смущает, так это Дэнни Мак-Кен, — поведал Малыш Смоку. — Он плохой ходок. Но он клянется, что знает на западе лазейку. И нам придется отправиться вместе с ним, Смок, а то уж больно крепко влопаешься.

— Мы все одной веревкой связаны, — ответил Смок.

— Ну, нет! До тебя добираются самым определенным образом.

— Что это значит?

— Разве ты не слышал новости?

Смок покачал головой.

— Мне говорили холостяки. Они уже кое-что прослышали. Сегодня вечером начинается — за много месяцев до срока.

Смок пожал плечами.

— Тебе не интересно? — подзадорил его Малыш.

— Я слушаю.

— Так вот, жена Дэнни сказала холостякам… —

Малыш сделал многозначительную паузу. — А холостяки, в свою очередь, сказали мне, что сегодня вечером будут зажжены девичьи костры. Вот и все. Как тебе это нравится?

— Не понимаю, что ты этим хочешь сказать, Малыш.

— Не понимаешь, вот как? Да ведь это же ясно как день! На тебя охотится девчонка, и девчонка эта собирается зажечь костер, и зовут ее Лабискви. О, я видел, как она смотрит на тебя, когда ты этого не видишь. Она еще ни разу не зажигала костра. Говорит, что не хочет выходить замуж за индейца. Так что если она зажжет его, то, очевидно, только ради моего бедного старого друга Смока.

— Это логично, — сказал Смок. Сердце у него упало, и он стал мысленно разбирать все поступки Лабискви за последние несколько дней.

— Скажи лучше — это так и есть, — возразил Малыш. — Ведь вот всегда так: только мы приготовимся удрать, как является эдакая штучка и путает все наши карты. Не везет нам... Ого! Послушай-ка!

Три старухи остановились между лагерем холостяков и стоянкой Мак-Кена, и самая старшая из них начала что-то декламировать пронзитель-

ным фальцетом.

Смок кое-как разобрал имена, но большинство слов остались для него непонятными. Малыш начал переводить самым меланхолическим тоном:

— Лабискви, дочь Снасса, Заклинателя Дождя, Великого Вождя, зажигает свой первый девичий костер сегодня вечером. Мака, дочь Оуитса, Победителя Волков…

Затем последовало около дюжины девичьих имен, и три глашатая поплелись к следующему костру объявлять ту же новость.

Юные холостяки, давшие обет никогда не разговаривать с девушками, были мало заинтересованы предстоящей церемонией и, чтобы выказать свое презрение, немедленно начали собираться в поход, хотя по приказу Снасса должны были отправиться только на следующее утро. Вопреки мнению старых охотников, Снасс решил, что стадо карибу разбилось на две части. Холостякам было поручено произвести разведку в северном и западном направлениях и найти след второй половины огромного стада.

Смок, смущенный намерением Лабискви зажечь костер, заявил, что хочет сопровождать холостяков. Но сначала он потолковал с Малышом и Мак-Кеном.

— Ты будешь там на третий день, Смок, — сказал Малыш. — Мы приготовим упряжку и собак.

— Но помни, — предостерег Смок, — если тебе почему-либо не удастся встретиться со мной, то иди дальше прямо на Юкон. Это совершенно необходимо. Если тебе удастся выбраться, ты можешь явиться за мной летом. Если же мне представится удобный случай, я удеру и вернусь за тобой.

Мак-Кен, стоя у своего костра, указал глазами на огромную скалу, вздымавшуюся на западе, где высокая горная цепь сползала на открытую равнину.

— Эта самая, — сказал он. — С южной стороны — небольшой ручей. Мы поднимемся по его руслу. На третий день вы встретите нас. В каком бы месте вы ни вышли на этот ручей, вы найдете нас либо наши следы.

7

Случая на третий день, однако, не представилось. Холостяки изменили направление разведки, и в то время как Малыш и Мак-Кен пробирались вместе с собаками вверх по ручью, Смок с холостяками выслеживал в шестидесяти милях к северо-востоку второе стадо карибу.

Несколько дней спустя они вернулись в главный лагерь. Снег падал тяжелой пеленой. Какая-то женщина, причитавшая у костра, сорвалась с места и бросилась к Смоку. В глазах ее горела смертельная ненависть, и голос ее срывался. Она осыпала Смока хриплыми проклятиями, тыча пальцем в какой-то неподвижный, завернутый в меха предмет, лежавший в санях, которые только что прибыли в лагерь.

Смок мог только догадываться о том, что случилось, и, подходя к костру Мак-Кена, готовился встретить второй поток проклятий. Вместо этого он увидел самого Мак-Кена, усиленно жевавшего мясо карибу.

— Я не гожусь в бой, — плаксиво пояснил Мак-Кен. — Но Малыш удрал, хотя они все еще гонятся за ним. Он наверное будет драться с ними. Все равно они его поймают. У него нет никаких шансов уйти далеко. Он ранил двух молодых индейцев — скоро об этом узнает весь лагерь. А одного убил.

— Знаю, — ответил Смок. — Я только что встретил вдову.

— Старик Снасс хочет видеть вас, — добавил Мак-Кен. — Он приказал, чтобы вы явились к нему, как только вернетесь. Я не проболтался. Вы

ничего не знаете. Помните это. Малыш удрал со мной по собственному почину.

У костра Снасса Смок нашел Лабискви. Она встретила его таким нежным и любящим взглядом, что он испугался.

— Я рада, что вы не пытались бежать, — сказала она. — Видите ли, я… — Она заколебалась, но не опустила глаз; их сияние не оставляло места сомнениям. — Я зажгла костер и сделала это ради вас. Свершилось! Я люблю вас больше всего на свете… больше отца… больше, чем тысячу Либашей и Махкуков. Я люблю, это очень странно. Я люблю, как любила Франческа, как любила Изольда. Старик Четырехглазый сказал правду. Индейцы так не любят. Но у меня синие глаза, и я белая. Мы оба белые — вы и я.

Смоку никогда в жизни не делали предложения — он совершенно не представлял себе, как следует поступать в таких случаях. А что еще хуже — это даже не было предложением. Его согласие было предрешено. Лабискви была так уверена в успехе своего предприятия, глаза ее сияли таким теплым светом, что ему оставалось только удивляться, почему она не обнимает его и не припадает головой к его плечу. Потом он сообразил, что, несмотря на всю чистоту ее чувства,

ей неведомы красивые проявления любви. Такие вещи не в ходу у первобытных дикарей. Ей не у кого было научиться им.

Она щебетала, воспевая счастливое время любви, а он боролся с собой, принуждая себя каким-нибудь образом сказать ей убийственную правду. Ведь это был на редкость удобный случай.

— Но послушайте, Лабискви, — начал он. — Вы уверены, что Четырехглазый рассказал вам всю историю любви Паоло и Франчески?

Она всплеснула руками и, непоколебимо уверенная в своем счастье, залилась радостным смехом:

— О! А разве есть продолжение? Я так и думала, что там будет еще больше любви. Я очень много думала с тех пор, как зажгла костер. Я…

Тут сквозь пелену падающего снега у костра показался Снасс, и Смок упустил случай.

— Добрый вечер, — угрюмо буркнул Снасс. — Ваш товарищ заварил кашу. Я рад, что у вас оказалось больше здравого смысла.

— Может быть, вы скажете мне, что случилось? — обратился к нему Смок.

Белые зубы старика сверкнули из-под седых усов в усмешке, которую вряд ли можно было

назвать любезной.

— Пожалуйста! Ваш товарищ убил одного из моих людей. Этот слюнявый карапуз Мак-Кен удрал при первом выстреле. Он-то уж больше не сбежит. Но мои охотники гонятся в горах за вашим товарищем и в конце концов поймают его. Он никогда не доберется до Юконского бассейна. Что же касается вас, то отныне вы будете спать у моего костра. И конец разведкам с молодежью! Я буду присматривать за вами сам.

8

Переселение в стоянку Снасса было для Смока очень тягостно. Он встречался с Лабискви чаще, чем раньше. Что-то жуткое было для него в ее чувстве — откровенном, невинном и нежном. В ее глазах сияла любовь, и каждый взгляд ее был лаской. Десятки раз он собирался рассказать ей про Джой Гастелл и десятки раз убеждался в том, что он трус. Самое неприятное было то, что Лабискви была прелестна. Он любовался ею. Несмотря на то что каждая секунда, проведенная в ее обществе, заставляла его презирать самого себя, он чувствовал в то же время, что каждая такая секунда доставляет ему наслаждение. В первый раз в жизни он по-настоящему узнал

женщину, а душа Лабискви была так чиста, так привлекательна в своей искренности, в своем неведении, что он не мог ошибиться ни в одном движении ее. В Лабискви была сосредоточена вся первородная чистота ее пола, не исковерканная условностями культуры и ханжеством самозащиты. Он вспомнил Шопенгауэра и решил, что мрачный философ ошибался. Узнать женщину так, как Смок узнал Лабискви, значило понять, что все женоненавистники — больные люди. Лабискви была очаровательна. И все же рядом с ней в его душе не меркла память о Джой Гастелл. Джой была сдержанна и умела контролировать себя, над ней тяготели все запреты, накладываемые на женщину цивилизацией, и все же его угодливое воображение наделяло ее теми же качествами, какие были у Лабискви. Одна давала ему возможность оценить другую, и все женщины мира получали надлежащую оценку благодаря тому, что Смоку в снежной стране, у костра Снасса открылась душа Лабискви.

Смоку многое открылось и в его собственной душе. Он оглянулся назад, вспомнил все, что знал о Джой Гастелл, и понял, что любит ее. Но и Лабискви доставляла ему много радости. А чем было это чувство радости, как не любовью?

Каким другим именем мог он назвать его? Да, то была любовь. То должна была быть любовь. И он был потрясен до глубины души, обнаружив в себе эту склонность к полигамии. В салонах Сан-Франциско ему приходилось слышать утверждения, будто мужчина может одновременно любить двух или даже трех женщин. Но он не верил этому. Да и как мог он поверить, не убедившись на собственном опыте? Теперь было не то. Теперь Смок действительно любил двух женщин сразу, и хотя он чаще был убежден, что любит Джой Гастелл сильнее, у него все же бывали минуты, когда он с равной уверенностью мог сказать, что сильнее любит Лабискви.

— В мире, наверное, очень много женщин, — сказала она как-то. — И женщины любят мужчин. Должно быть, вас любило много женщин. Правда?

Он не ответил.

— Ну, скажите же, — настаивала она. — Разве это не так?

— Я никогда не был женат, — уклонился он от прямого ответа.

— И другой у вас нет?.. Другой Изольды — там, за горами?

И вот тогда-то Смок понял, что он трус. Он

солгал. Он это сделал против воли — и все же солгал. С мягкой, снисходительной улыбкой он покачал головой, и когда увидел, что Лабискви мгновенно преобразилась от радости, его лицо отразило такую любовь, какой он даже и не подозревал в себе.

Он пытался оправдаться перед самим собой. Все его доводы отличались совершенно очевидным иезуитством, и все же он не был настолько спартанцем, чтобы нанести этой женщине-ребенку роковой удар в самое сердце.

Снасс тоже усложнял возникшую перед Смоком проблему.

— Никому не приятно видеть свою дочь замужем, — говорил он Смоку. — Особенно человеку впечатлительному. Это причиняет боль. Одна мысль об этом ранит. И все-таки Маргерит должна выйти замуж — таков закон жизни.

Я суровый, жестокий человек, — продолжал он. — Но закон есть закон, и я справедлив. Более того: здесь, среди этого первобытного народа, я сам — закон и судья.

К чему клонился этот монолог, Смок так и не узнал, ибо он был прерван взрывом серебристого смеха, донесшимся из палатки Лабискви. Лицо Спасса исказилось от боли.

— Я перенесу это, — мрачно прошептал он. — Маргерит должна выйти замуж. И это большое счастье для меня и для нее, что вы здесь.

Тут Лабискви вышла из своей палатки и подошла к костру, держа на руках волчонка; словно магнитом тянуло ее взглянуть на любимого. В глазах ее светилась любовь, которую никто не научил ее скрывать.

9

— Слушайте, — говорил Мак-Кен. — Наступила весенняя оттепель, на снегу образуется наст. Если бы не снеговые бури в горах, то нет лучшего времени, чтобы отправиться в путь. Я знаю эти бури. Я готов бежать, но только с таким человеком, как вы.

— Вы не можете бежать, — возражал Смок. — Не равняйте себя с мужчиной. Ваш хребет стал гибким, как оттаявшее сало. Если уж я убегу, то убегу один. Впрочем, мир быстро забывается, и я, быть может, не убегу отсюда вовсе. Мясо карибу — чудная вещь, а скоро придет лето, и с ним — лососина.

Снасс говорил:

— Ваш товарищ умер. Мои охотники не убили его. Они нашли его тело — он замерз в горах

в первую же весеннюю бурю. Убежать отсюда немыслимо. Когда мы отпразднуем вашу свадьбу?

Лабискви говорила:

— Я наблюдаю за вами. В ваших глазах, на вашем лице тревога. О, я знаю ваше лицо. У вас на шее есть маленький шрам под самым ухом. Когда вы радуетесь, уголки вашего рта поднимаются кверху. Когда вас посещают грустные мысли, они опускаются. Когда вы улыбаетесь, от ваших глаз бегут три-четыре морщинки. Когда вы смеетесь — их шесть, а иногда я насчитывала даже семь. А теперь я не могу отыскать ни одной. Я никогда не читала книг. Я не умею читать. Но Четырехглазый многому меня научил. Я правильно говорю по-английски. Он научил меня. И в его глазах я тоже видела тревогу и тоску по внешнему миру. А ведь тут было хорошее мясо, и много рыбы, и ягоды, и коренья, и нередко мука, которую давали нам за меха через племена Дикобразов и Лусква. И все-таки он был голоден, он тосковал по миру. Неужели мир так хорош, что вы томитесь по нем? У Четырехглазого не было ничего. А у вас есть я. — Она вздохнула и покачала головой. — Четырехглазый так и умер тоскующим по миру. А если вы останетесь здесь навсегда, неужели

вы тоже умрете от тоски по миру? Вероятно, я не представляю себе, что такое мир. Вам хочется бежать туда?

Смок не мог произнести ни слова, но, взглянув на уголки его губ, она поняла все.

На несколько минут воцарилось молчание. Она, видимо, боролась с собой, а Смок проклинал себя за неожиданно проявленную им слабость; она заставила его выдать свою тоску по миру и в то же время лишила его дара речи, когда он был готов признаться в любви к другой.

Лабискви снова вздохнула.

— Хорошо. Я люблю вас так сильно, что не боюсь гнева моего отца. А он в гневе страшнее, чем буря в горах. Вы объяснили мне, что такое любовь. Вот вам доказательство любви. Я помогу вам вернуться в мир.

10

Смок проснулся и лежал не двигаясь. Теплые тоненькие пальцы коснулись его щеки и скользнули на губы, нежно закрыв их. Потом он почувствовал легкое прикосновение заиндевевшего меха и услышал одно-единственное слово, сказанное шепотом:

— Идем!

Он осторожно приподнялся и прислушался. Сотни лагерных волкодавов тянули свою ночную песню, но сквозь их завывание, совсем близко он мог расслышать легкое, ровное дыхание Снасса.

Лабискви слегка потянула Смока за рукав. Он все понял — она хотела, чтобы он следовал за ней. Он взял в руки мокасины и шерстяные носки и выполз на снег в спальных мокасинах. В багровом свете догорающих костров она знаком велела ему надеть обувь и, пока он исполнял ее приказание, ушла в палатку, где спал Снасс.

Нащупав стрелки часов, Смок установил время — час ночи. Было совсем тепло — градусов десять ниже нуля, решил он. Лабискви вышла из палатки и повела его узкими тропинками по спавшему лагерю. Они старались ступать как можно легче, но снег все же скрипел под их мокасинами. Звук этот, однако, тонул в вое собак.

— Теперь поговорим, — сказала она, когда они отошли на полмили от крайнего костра.

При свете звезд Лабискви посмотрела ему в лицо. Тут Смок впервые заметил, что она держит что-то в руках, и, дотронувшись до ее ноши, убедился, что это его лыжи, два пояса с патронами и спальные меха.

— Я все приготовила, — сказала она с тихим,

счастливым смехом. — Я два дня прятала мясо, муку, спички и приготовила самые удобные для ходьбы по насту лыжи; если они даже начнут проваливаться, то их задержат перепонки. О, я умею ходить по снегу. Мы пойдем быстро, любимый.

Смок едва удержался от восклицания. Достаточно неожиданно было уже то, что она устроила ему побег; а к тому, что она решила бежать вместе с ним, он совсем не был подготовлен. Не зная, что предпринять, как действовать, он осторожно, одну за другой, отнял у нее все вещи. Потом обнял ее, прижал к себе и все же никак не мог определить свое дальнейшее поведение.

— Бог добр, — прошептала она. — Он послал мне любимого.

У Смока хватило мужества не проронить ни слова о своем намерении бежать одному. И прежде чем он заговорил, все воспоминания о светлом, далеком мире и о солнечных странах поблёкли и померкли в его душе.

— Пойдем назад, Лабискви, — сказал он. — Вы будете моей женой, и мы навсегда останемся жить с народом Карибу.

— Нет! Нет! — Она покачала головой, и все ее тело, трепетавшее в кольце его рук, воспротивилось этому предложению. — Я знаю. Я много

думала. Тоска по миру охватит вас и долгими ночами будет терзать ваше сердце. Четырехглазый умер от тоски по миру. И вы тоже умрете. Все люди, пришедшие из мира, томятся по нем. А я не хочу, чтобы вы умерли. Мы переберемся через снежные горы южным проходом.

— Послушайте меня, дорогая, — настаивал он. — Мы должны вернуться.

Она прижала руку в рукавице к его губам, не давая ему говорить дальше.

— Вы любите меня? Скажите, что вы любите меня.

— Я люблю вас, Лабискви. Вы — мое счастье, моя радость!

И снова рукавица нежным прикосновением помешала ему продолжать.

— Мы пойдем к тайнику, — решительно сказала Лабискви. — Он находится в трех милях отсюда. Идем.

Он упирался; она тянула его за руку, но не могла сдвинуть с места. Он испытывал сильное искушение рассказать ей о другой женщине, жившей по ту сторону южного прохода.

— Ради вас мы не должны возвращаться, — сказала она. — Я… я только дикая девушка, и я боюсь мира; но еще больше я боюсь за вас. Вы

видите — все случилось так, как вы говорили мне. Я люблю вас больше всего на свете, я люблю вас больше себя. Мечты моего сердца, светлые и бесчисленные, как звезды, — как мне выразить их? Есть ли слова для них? Вот они — смотрите.

С этими словами она сняла с него рукавицы и, просунув его руку за пазуху своей парки, положила ее к себе на сердце. Она прижимала ее все сильней и сильней. И в долгом молчании он почувствовал биение — биение ее сердца, и понял, что каждый трепет его — любовь. А потом медленно, почти незаметно, все продолжая держать его руку, она отстранилась от него и пошла к тайнику. Он не мог противиться. Ему казалось, что его влечет ее сердце, лежавшее под его ладонью.

11

Наст, который за ночь затянул оттаявший накануне снег, был так крепок, что они скользили на своих лыжах с большой быстротой.

— Вот тут, за деревьями, тайник, — сказала Лабискви Смоку.

В следующее же мгновение она схватила его за руку, вздрогнув от неожиданности. Перед ними весело плясало пламя небольшого костра, а у костра на корточках сидел Мак-Кен. Лабискви

пробормотала что-то по-индейски, и звук ее слов был так похож на щелканье бича, что Смок вспомнил прозвище, данное ей Четырехглазым, — гепард!

— Я боялся, что вы убежите без меня, — пояснил Мак-Кен, когда они подошли ближе. В его маленьких зорких глазах мерцало лукавство. — Поэтому я все время следил за девушкой и, когда увидел, что она прячет лыжи и продовольствие, снялся с места. Костер? Никакой опасности! Весь лагерь спит и храпит, а ждать было порядком холодно. Ну что ж? Двинемся?

Лабискви растерянно взглянула на Смока, но тотчас же овладела собой и заговорила. И хотя она была еще ребенком во всем, что касалось любви, в словах ее звучала холодная решимость человека, умеющего стойко переносить любые невзгоды.

— Мак-Кен, вы — пес, — прошептала она и в глазах ее вспыхнула дикая ярость. — Я знаю, вы задумали поднять на ноги весь лагерь, если мы не возьмем вас с собой. Ладно, мы вынуждены взять вас. Но вы знаете моего отца. Я такая же, как он. Вы будете исполнять вашу долю работы. Вы будете повиноваться. И если вы вздумаете играть нечисто, вы пожалеете о том, что бежали.

Рассвет настиг их среди холмов, лежавших между равниной и горами. Мак-Кен предложил позавтракать, но они продолжали идти. Привал решено было сделать только тогда, когда полуденное солнце растопит наст и бежать на лыжах будет невозможно.

Лабискви рассказала Смоку все, что знала о местности, и объяснила, каким образом намерена обмануть погоню. Равнина имеет только два выхода — один на западе, другой — на юге. Снасс немедленно пошлет отряды молодежи запереть и тот и другой. Но на юге есть еще один проход. Правда, он доходит только до половины гор, а потом сворачивает на запад и, пересекая три холма, соединяется с обычным путем. Но, не найдя их следов на обычном пути, преследователи повернут назад, решив, что беглецы направились к западному проходу. Они никогда не догадаются, что беглецы рискнули пойти самой длинной дорогой. Оглянувшись на тащившегося в хвосте Мак-Кена, Лабискви вполголоса сказала Смоку:

— Он ест. Это нехорошо.

Смок обернулся. Ирландец потихоньку грыз вяленое мясо карибу, вынутое им из мешка, который он нес.

— В неурочное время не есть, Мак-Кен! — ско-

мандовал Смок. — В этой местности нет дичи. Все наше продовольствие с самого начала должно быть разделено на равные порции.

К часу дня наст настолько подтаял, что беговые лыжи начали проваливаться, а к двум стали проваливаться и канадские. Сделали привал и в первый раз поели. Смок осмотрел припасы. Мешок Мак-Кена сильно разочаровал его. Ирландец набил его таким количеством серебристых лисьих шкур, что для мяса в нем осталось очень мало места.

— Ей-богу, я не знал, что их так много, — оправдывался он. — Я укладывался в темноте. Но они стоят больших денег. У нас ведь есть оружие, и мы можем настрелять дичи в свое удовольствие.

— Волки сожрут вас в свое удовольствие, — только и нашелся ответить Смок; в глазах Лабискви вспыхнул гнев.

Пищи хватит на месяц при экономном хозяйничанье и умеренном аппетите, решили Смок и Лабискви. Смок точно распределил тюки по весу и размеру и, после долгих споров уступив настояниям Лабискви, дал и ей часть поклажи.

На следующий день русло ручья привело их в широкую горную долину. Они уже начали окончательно проваливаться сквозь наст, когда

им удалось выбраться на более крепкий склон водораздела.

— Еще десять минут — и мы не смогли бы перейти через равнину, — сказал Смок, когда они остановились передохнуть на голой вершине холма. — Здесь мы по меньшей мере на тысячу футов выше.

Лабискви, не говоря ни слова, указала вниз на открытую равнину. В центре ее, среди редких деревьев, виднелось пять темных разбросанных пятен, медленно двигавшихся вперед.

— Индейцы, — сказала Лабискви.

— Они проваливаются по пояс, — ответил Смок. — Сегодня им уже не удастся выбраться на твердую почву. У нас есть в распоряжении несколько часов. Эй, Мак-Кен, пошевеливайтесь! Мы не будем есть, пока у нас хватит сил идти.

Мак-Кен заворчал, но в его мешке не было мяса карибу, и он угрюмо поплелся за Смоком и Лабискви. Долина, по которой они шли теперь, была расположена несколько выше; тут наст не проламывался до трех часов пополудни, и за это время им удалось добраться до тенистого леса, где наст успел подмерзнуть. Только один раз остановились они, чтобы достать конфискованное у Мак-Кена мясо, которое они решили съесть на

ходу. Мясо сильно промерзло, и есть его можно было, только отогрев предварительно на огне. Но оно крошилось во рту и до известной степени успокоило их судорожно сжимавшиеся желудки.

После долгих сумерек, к девяти часам спустилась непроницаемая тьма. Небо было обложено тучами. Они сделали привал в роще карликовых сосен. Мак-Кен беспомощно скулил. Правда, дневной переход был очень утомителен, но, помимо этого, он, несмотря на свой девятилетний опыт полярного путешественника, поел снегу и теперь страшно мучился от сухости и жжения во рту.

Лабискви была неутомима: Смок не мог надивиться выносливости ее тела и непоколебимости духа. Бодрость ее не была искусственной. Она постоянно находила для него улыбку или смех, и если ее рука случайно прикасалась к его руке, она медлила отнять ее, чтобы хоть как-нибудь его приласкать.

Ночью подул сильный ветер и выпал снег; им пришлось идти вслепую сквозь вьюгу.

В результате они пропустили поворот в пути, который вел вверх по небольшому ручью и пересекал водораздел в западном направлении. Они блуждали еще два дня, пересекая один холм за другим — все не те, которые им были нужны. За

эти два дня весна осталась позади, и они вступили в царство зимы.

— Индейцы потеряли наш след. Отдохнем денек, — ныл Мак-Кен.

Но об отдыхе не могло быть и речи. Смок и Лабисквы сознавали всю опасность положения. Они заблудились в горах, где не было дичи; им не попадались даже ее следы. День за днем прокладывали они себе путь среди мрачных скал, по лабиринтам ущелий и долин, редко-редко выводивших их на запад. Попав в такое ущелье, они уже не могли изменить направление и должны были идти туда, куда оно их вело, ибо ледяные вершины и высокие горные террасы, вздымавшиеся с обеих сторон, были неприступны и недосягаемы. Отчаянная борьба и холод пожирали их энергию, и все же они урезали свои и без того скудные пайки.

Однажды ночью Смок проснулся от какого-то странного шума. Из угла, где спал Мак-Кен, до него донесся прерывистый хрип. Он поспешно раздул костер и при свете его увидел, что Лабисквы держит ирландца за горло и заставляет его выплюнуть кусок наполовину разжеванного мяса. Как раз в тот момент, когда Смок увидел это, ее рука скользнула к поясу, и через секунду в

ней сверкнул нож.

— Лабискви! — повелительным тоном крикнул Смок.

Ее рука повисла в воздухе.

— Не делайте этого, — сказал он, подойдя к ней.

Она вся дрожала от гнева, но, поколебавшись еще секунду, неохотно вложила нож в ножны. Как бы боясь, что у нее не хватит сил сдержаться, она отошла к костру и стала подбрасывать в него хворост. Мак-Кен сел, хныкая и причитая. Страх и ярость боролись в нем, и он бормотал какие-то нечленораздельные объяснения.

— Откуда вы достали мясо? — спросил Смок.

— Обыщите его, — сказала Лабискви.

Это были первые сказанные ею слова; ее голос прерывался от гнева.

Мак-Кен пытался воспротивиться, но Смок скрутил его и, обыскав, вытащил у него из-под мышки кусок мяса карибу, оттаявшего от соприкосновения с теплым телом. Резкий возглас Лабискви привлек внимание Смока. Она бросилась к мешку Мак-Кена и развязала его. Вместо мяса из него посыпались сосновые иглы, мох, щепки — всевозможные легкие отбросы, заменявшие мясо и придававшие тюку надлежащий

внешний вид.

Снова руки Лабискви скользнули к поясу, и девушка ринулась на виновного, но Смок перехватил ее, и она припала к его груди, всхлипывая от бессильной ярости.

— Любимый, я не из-за пищи! — задыхалась она. — Из-за тебя, из-за твоей жизни! Собака! Тебя он ест! Тебя!

— Ничего, выживем, — утешил ее Смок. — Теперь он будет нести на себе муку. Он не сможет есть ее в сыром виде. Если он сделает это, я сам убью его. А то он съест не только мою жизнь, но и твою.

Он крепко обнял ее.

— Дорогая моя, убийство — мужское занятие. Женщины не убивают.

— Ты перестал бы любить меня, если бы я убила этого пса? — удивленно спросила она.

— Любил бы меньше, — мягко ответил Смок.

Она покорно вздохнула.

— Хорошо, — сказала она. — Я не убью его.

12

Преследование не прекращалось. Отчасти по наитию, отчасти же руководствуясь топографией местности, индейцы правильно угадали путь,

избранный беглецами, и найдя заметенный вьюгой след, пустились по нему. Когда выпадал снег, Смок и Лабискви нарочно шли самым нелепым путем: они поворачивали на восток, когда гораздо удобнее было идти на юг или на запад, карабкались на высокие холмы, обходя низкие. Все равно они потеряли верный путь и уже никак не могли обмануть преследователей. Иногда им удавалось выиграть несколько дней, но в конце концов индейцы неизменно появлялись снова.

Смок потерял счет времени, дням и ночам, бурям и привалам. В какой-то бесконечной, безумной фантасмагории страданий и борьбы пробивался он по черным ущельям, склоны которых были так отвесны, что на них даже не оседал снег; беглецы шли по ледяным равнинам, где на каждом шагу попадались замерзшие озера; они делали привалы над линией лесов и не зажигали костра, согревая мороженое мясо теплотой своего тела. И все же бодрость не покидала Лабискви; только глядя на Мак-Кена, она становилась мрачной. А любовь ее к Смоку делалась все более красноречивой.

Как кошка, следила она за распределением скудного пайка. Смок видел, какую ненависть вызывало в ней каждое движение челюстей

Мак-Кена. Как-то раз они распределяли порции, и вдруг Смок услышал яростный протест ирландца. Выяснилось, что не только ему, но и себе самой она выделяла значительно меньшую долю, чем Смоку. С тех пор Смок делил мясо сам. Однажды утром, после вьюжной ночи, их настигла небольшая лавина, сбросившая их на сотню ярдов вниз по склону горы. Они выбрались полузадохнувшиеся, но невредимые. Мак-Кен потерял свой мешок, в котором находилась вся их мука. Вторая большая лавина окончательно погребла мешок. И хотя Мак-Кен был тут не повинен, Лабискви с тех пор перестала смотреть на него. Смок понял причину, — она не смела…

13

Было тихое, безветренное утро. По небу разливалась невозмутимая синева, а на снегу ослепительно играло солнце. Широкий склон был покрыт настом. Они шли по нему, точно истомленные призраки в царстве мертвых. Ничто не нарушало окружавшего их жесткого, застывшего покоя. Далекие пики Скалистых Гор, вздымавшиеся на расстоянии сотни миль, казалось, придвинулись до пяти миль.

— Что-то надвигается, — прошептала Лабиск-

ви. — Неужели ты не чувствуешь, — здесь, там, повсюду? Все так странно…

— Меня знобит. Но это не от холода, — ответил Смок. — И не от голода.

— Дрожь в голове и в сердце, правда? — возбужденно подхватила она. — У меня тоже.

— Нет, это не внутри, — ответил Смок. — Я чувствую, как меня обдает ледяным холодом, нервы мои стынут.

Через четверть часа они остановились передохнуть.

— Я больше не вижу вершин, — воскликнул Смок.

— Воздух становится густым и тяжелым, — сказала Лабискви. — Трудно дышать.

— Три солнца! — хрипло крикнул Мак-Кен, шатаясь и судорожно цепляясь за свою палку.

С каждой стороны солнца горело по ложному солнцу.

— Их пять, — сказала Лабискви.

И пока они смотрели, все новые и новые пылающие солнца возникали перед их глазами.

— Смотрите, на небе бесчисленные солнца! — в ужасе крикнул Мак-Кен.

И действительно, куда они ни обращали взор, повсюду на небосклоне сверкали и искрились все

новые и новые солнца.

Вдруг Мак-Кен издал дикий вопль ужаса и боли.

— Меня укусило что-то! — крикнул он.

Потом вскрикнула Лабискви; Смок тоже почувствовал щекочущий укол в щеку, холодный и жгучий, как кислота. Это напомнило ему ощущение, которое испытываешь, когда купаешься в море и вдруг натыкаешься на жалящие ядовитые нити, выпускаемые моллюском «португальский броненосец». Оба ощущения были так схожи, что он невольно потер щеку, чтобы удалить ядовитое вещество, которого не было.

А потом раздался до странности глухой выстрел. У подножия горы стояли лыжники-индейцы и один за другим открывали огонь.

— Разойдитесь! — крикнул Смок. — И скорее наверх! Мы почти на самой вершине. Они на четверть мили ниже. Мы можем выиграть несколько миль — мы ведь будем идти под гору.

Испытывая неприятный зуд и жар на щеках от невидимых воздушных уколов, трое беглецов рассыпались по снежному склону и стали карабкаться наверх. Глухие раскаты выстрелов терзали их слух.

— Какое счастье, что у четырех из наших пре-

следователей старые мушкеты и только у одного винчестер, — крикнул Лабискви Смок. — И к тому же эти солнца мешают им целиться.

— Теперь ты понимаешь, каков нрав у моего отца? — спросила она. — Он приказал им убить нас.

— Как ты странно говоришь, — сказал Смок. — Твой голос звучит откуда-то издалека.

— Закрой рот, — внезапно крикнула Лабискви, — и молчи! Я знаю, что это такое. Закрой рот рукавом!

Мак-Кен упал первым и с трудом встал на ноги. И прежде чем они добрались до вершины, все они падали по нескольку раз. Мышцы не повиновались — они сами не знали почему, и тела их как бы окоченели, а конечности налились свинцом. Взобравшись на хребет и оглянувшись, они увидели, что ползущие по склону индейцы спотыкаются и падают.

— Они никогда не поднимутся сюда, — сказала Лабискви. — Это белая смерть. Я знаю, хотя никогда не видала ее. Мне рассказывали о ней старики. Скоро опустится туман, не похожий ни на один туман, ни на один иней, ни на один ледяной пар. Немногие из видевших его оставались в живых.

Мак-Кен хрипел и задыхался.

— Закройте рот, — приказал Смок.

Беглое мерцание света, лившееся на них со всех сторон, заставило Смока посмотреть на ложные солнца. Они мерцали и туманились. Воздух был полон каких-то микроскопических искр. Жуткий туман затянул ближайшие пики; молодые индейцы, все еще пытавшиеся ползти наверх, были поглощены им. Мак-Кен сидел на корточках, поджав под себя лыжи и закрывая рот и глаза руками.

— Идем! Поднимайтесь! — приказал ему Смок.

— Не могу, — простонал Мак-Кен.

Его скорченное тело содрогалось. Смок медленно подошел к Мак-Кену, с трудом заставляя себя преодолевать сковывавшую его летаргию. Он заметил, что мысли его ясны. Только тело было парализовано.

— Оставь его, — пробормотала Лабискви.

Но Смок заставил ирландца встать на ноги и повернул его лицом к пологому откосу, по которому им предстояло спуститься. Потом он слегка подтолкнул Мак-Кена, и тот, тормозя и правя палкой, нырнул в мерцание алмазной пыли и исчез.

Смок посмотрел на Лабискви. Она улыбалась и напрягала все силы, чтобы не упасть.

Кивком он приказал ей начать спуск, но она подошла к нему, и на расстоянии футов десяти друг от друга они понеслись вниз — в жалящую гущу холодного огня.

Как Смок ни старался тормозить, его тяжелое тело быстро стремилось вперед, и он понесся под откос со страшной быстротой, обгоняя Лабискви. Только когда он достиг обледеневшего ровного плато, скорость эта начала уменьшаться. Наконец ему удалось задержаться, к нему присоединилась Лабискви, и они вместе двинулись дальше, все медленней и медленней, пока не остановились. Летаргия сковывала их все сильнее. Самые бешеные усилия воли не могли заставить их двигаться быстрее улитки. Они проползли мимо Мак-Кена, скрючившегося на своих лыжах. Смок палкой заставил его встать.

— Мы должны сделать привал, — с мучительным трудом прошептала Лабискви. — А то мы умрем. Мы должны укрыться — так говорили старики.

Не тратя времени на развязывание узлов, она перерезала ремни своих тюков. Смок сделал то же самое, и, в последний раз взглянув на огненный смертоносный туман и на ложные солнца, они закутались в свои спальные мешки и крепко

прижались друг к другу.

Они почувствовали, что на них валится какое-то тело, потом услышали слабый стон и проклятия, прерванные страшным приступом кашля, и поняли, что это Мак-Кен. Ирландец прижался к ним, кутаясь в свои меха.

Они начали задыхаться. Сухой кашель, судорожный и беспрерывный, терзал им грудь. Смок заметил, что у него поднимается температура. С Лабискви происходило то же самое. Приступы кашля все учащались и усиливались, к вечеру они достигли предельной силы. Потом, мало-помалу, кашель утих, и они задремали, терзаемые последними его приступами, окончательно обессиленные.

Мак-Кен, однако, продолжал кашлять все сильнее и сильнее, и по его стонам и воплям они поняли, что он бредит. Один раз Смок сделал попытку откинуть меха. Но Лабискви крепко вцепилась в него.

— Нет! — взмолилась она. — Открыться сейчас — значит умереть. Прижмись лицом к моей парке, дыши как можно спокойней и не разговаривай.

Так они дремали, окутанные мраком, будя друг друга постепенно ослабевающим кашлем. После

полуночи, так решил Смок, Мак-Кен закашлялся в последний раз.

Смок проснулся от прикосновения чьих-то губ к его губам. Он лежал в объятиях Лабискви; его голова покоилась у нее на груди. Ее голос был весел и звучал как обычно. Глухой звук его исчез.

— Уже день, — сказала она, приподнимая край спальных мехов. — Смотри, любимый, уже день. И мы живы и не кашляем больше. Надо идти дальше, хотя я с радостью осталась бы здесь навсегда. Последний час был сладок. Я не спала и любила тебя.

— Не слышно Мак-Кена, — заметил Смок. — А что случилось с индейцами? Почему они не настигли нас?

Он откинул меха и увидел в небе обычное одинокое солнце. Дул мягкий, прохладный ветерок, предвещавший наступление теплых дней. Весь мир снова стал естественным. Мак-Кен лежал на спине; его немытое, закопченное дымом костров лицо было твердо, как мрамор. Это зрелище нисколько не огорчило Лабискви.

— Смотри! — воскликнула она. — Зимородок! Хорошая примета. Индейцы пропали бесследно.

14

Пищи было так мало, что они не решались съедать и десятую долю того, что им было необходимо, и сотую долю того, чего им хотелось. В последующие дни скитаний по пустынным горам все их восприятия притупились, и они брели как во сне. Время от времени Смок приходил в сознание и ловил себя на том, что тупо смотрит на бесконечные, ненавистные снежные вершины, а в ушах его еще звучит собственная бессмысленная болтовня. А потом проходили, казалось, века, и он снова чувствовал, что просыпается от своего же бормотания. Лабискви шла по большей части тоже бессознательно. Почти все их движения были бессознательны и автоматичны. И все время они пытались пробиться на запад, и все время снежные громады обманывали их и отбрасывали на север и юг.

— На юг пути нет, — говорила Лабискви. — Старики знают. Выход на западе, только на западе.

Вдруг стало холодно. Падал густой снег; это был даже не снег, а ледяные кристаллы, каждый величиной с песчинку. Весь день и всю ночь падали эти кристаллы и продолжали падать три дня и три ночи. Идти дальше было немыс-

лимо; надо было подождать, пока под лучами весеннего солнца эти кристаллы не превратятся в сплошную массу. Смок и Лабискви лежали, закутанные в свои меха, и отдыхали и оттого, что не двигались, ели меньше. Порции, которые они назначали себе, были так малы, что голод, исходивший не столько от желудка, сколько от мозга, не утихал ни на одну минуту. И Лабискви в каком-то бреду, обезумев от вкуса жалкого кусочка мяса, всхлипывая и задыхаясь, издавая резкие, животные крики радости, набрасывалась на завтрашнюю порцию и жадно поглощала ее.

И тогда глазам Смока представлялось удивительное зрелище. Вкус пищи приводил ее в сознание. Она выплевывала мясо и в страшном гневе била себя кулаками по греховному рту.

И еще много удивительного пришлось увидеть Смоку в последние дни. После долгого снегопада подул сильный ветер, вздымавший сухие и легкие ледяные кристаллы, словно в песчаном смерче. Всю ночь напролет крутился ледяной песок, и при ярком свете ясного ветреного дня Смок, у которого темнело в глазах и кружилась голова, увидел картину, которую он сначала принял за галлюцинацию. Вокруг него громоздились высокие и низкие пики, одинокие часовые, сон-

мы могучих титанов. И с вершины каждого пика, колыхаясь, трепеща, расстилаясь по лазурному небу, веяли исполинские снежные знамена, длиною в целые мили, молочные и серебристые. В них сплетались свет и тени, золотистые солнечные блики пробегали по ним.

— Поразительное зрелище! — воскликнул Смок, глядя на эти тучи снега, спеленутые ветром в небесные знамена цвета серебристого шелка.

Он все смотрел, и знамена не исчезали, и ему казалось, что он грезит, пока Лабискви не встала на ноги.

— Я грежу, Лабискви, — сказал он. — Смотри! Неужели ты тоже мой сон?

— Это не сон, — ответила она. — Старики рассказывали мне об этом. Теперь подуют теплые ветры, и мы останемся живы и сможем отдохнуть.

15

Смок подстрелил зимородка, и они поделили его. А в какой-то долине, где из-под снега начинали пробиваться цветы, он застрелил полярного зайца. В другой раз он добыл тощего белого хорька. И это было все мясо, которое им удалось найти.

Лицо у Лабисквы исхудало, но яркие большие глаза ее стали еще больше и ярче, и когда она смотрела на него, ее лицо озарялось какой-то дикой, неземной красотой.

Дни становились все длиннее. Снег начинал оседать. Каждый день наст таял, и каждый день замерзал снова. Они шли утром и вечером, а в полуденные часы, когда наступала оттепель и наст не мог выдержать их тяжесть, им приходилось останавливаться и отдыхать. Когда блеск снега ослеплял Смока, Лабисквы тащила его на ремне, привязанном к ее поясу. А когда этот блеск ослеплял ее, она шла позади, держась за ремень, привязанный к поясу Смока. Изнемогая от голода, в постоянном бреду, они блуждали по пробуждавшейся земле, на которой не было другой жизни, кроме их собственной.

Несмотря на истощение, Смок дошел до того, что начал бояться сна — так ужасны, так мучительны были сновидения в этой безумной сумеречной стране. Ему все время снилась пища, и все время коварная прихоть сна вырывала ее у него изо рта. Он давал обеды своим старым товарищам в Сан-Франциско и, изнемогая от голода, сам руководил приготовлениями и украшал стол гирляндами пурпурных листьев осеннего вино-

града. Его гости опаздывали. Здороваясь с ними и смеясь над их остротами, он сгорал от бешеного желания поскорее сесть за стол. Он исподтишка подкрадывался к нему, тайком хватал горсть черных, спелых маслин и тотчас же поворачивался, чтобы поздороваться с новым гостем. Гости окружали его, хохоча и перебрасываясь остротами, а он стоял и, как безумный, сжимал в руке горсть спелых маслин.

Он давал много таких обедов, и все они кончались ничем. Он присутствовал на пиршествах, достойных самого Гаргантюа[51], где толпы гостей ели бесчисленных зажаренных целиком телят, вытаскивая их из горячих печей и отрезая острыми ножами огромные куски мяса от дымящихся туш. Он стоял с разинутым ртом перед длинными рядами индеек, которых продавали лавочники в белых передниках. Их покупали все, кроме Смока; а он все стоял, разинув рот, прикованный к земле какой-то свинцовой тяжестью. Он снова был мальчиком и сидел с занесенной ложкой над огромной чашкой молока, в котором плавали куски хлеба. Он гнался по горным

[51] Примечания: 51
Гаргантюа — главный герой знаменитого произведения Рабле под тем же названием. Это имя стало прозвищем жадного и обжорливого человека.

пастбищам за пугливыми коровами; проходили века, а он тщетно пытался напиться их молока и изнемогал от голода. В омерзительных тюрьмах он сражался с крысами за падаль и отбросы. Не было такой пищи, вид которой не доводил бы его до исступления.

Только раз ему приснился приятный сон. Изнемогая от голода, не то потерпев кораблекрушение, не то высаженный на необитаемый остров, он боролся с волнами Тихого океана за прилипшие к прибрежным скалам раковины и таскал их через дюны к сухим водорослям, выброшенным на берег прибоем. Из этих водорослей он развел костер и положил свою драгоценную находку на угли. Он смотрел, как от раковин валит пар, как устрицы раскрываются, обнажая розоватое мясо. Сейчас они будут готовы — он знал это; и теперь уже ничье неожиданное вмешательство не отнимет у него еды. Наконец-то сбудется мечта, подумал он во сне. Наконец-то он поест. И все же, несмотря на свою уверенность, он сомневался и подготовлял себя к неминуемому крушению грезы, пока розовое мясо, горячее и вкусное, не оказалось, наконец, у него во рту. Он впился в него зубами. Он ел. Чудо свершилось. Потрясение разбудило его. Он проснулся — было темно, он лежал на

спине и издавал радостное свиное хрюканье. Его челюсти двигались, он молол зубами мясо.

Он остался лежать недвижимо; и вот тонкие пальчики коснулись его губ и вложили ему в рот кусочек мяса. На этот раз он не съел его. Он рассердился, а Лабискви заплакала и, всхлипывая, заснула в его объятиях. А он лежал и не спал, дивясь любви, дивясь подвигу, на который способна женщина.

И вот настал день, когда все их запасы истощились. Зубчатые скалы отодвинулись, хребты стали ниже, им открылась дорога на желанный запад. Но к этому времени их покинули последние силы, пищи больше не было, и вот они вечером легли спать, а наутро не встали. Смок кое-как поднялся, упал и, ползая на четвереньках, стал раскладывать костер. Лабискви тоже сделала несколько попыток подняться, но каждый раз падала, окончательно обессиленная. Смок опустился рядом с нею; слабая улыбка дрогнула на его лице. Он смеялся над бессознательной привычкой, которая заставила его биться над никому не нужным костром. Жарить было нечего, а день стоял теплый. Легкий ветерок вздыхал в соснах, и повсюду из-под тающего снега журчала музыка невидимых ручейков.

Лабискви лежала в оцепенении. Ее грудь вздымалась так незаметно, что временами Смок думал, что она уже мертва. В полдень его разбудил далекий крик белки. Волоча тяжелое ружье, он поплелся по насту, уже покрытому водой. Он полз на четвереньках, вставал, падал ничком, снова полз — полз туда, где была белка, дразнившая его яростным стрекотанием и медленно, как бы издеваясь, уходившая от него. Выстрелить сразу у него не хватало сил, а белка все не останавливалась. Порой он падал в мокрую снежную кашицу и плакал от слабости. Порой свеча его жизни начинала гаснуть, и его окутывал мрак. Он упал в обморок и лежал — он сам не знал, как долго. Вечерний холод привел его в себя: его мокрая одежда примерзла ко вновь образовавшемуся насту. Белка исчезла, и после мучительной борьбы он дополз до Лабискви. Он был так слаб и измучен, что всю ночь напролет пролежал как мертвый и ни на минуту не заснул.

Солнце стояло высоко в небе, и та же самая белка стрекотала в деревьях, когда рука Лабискви прикоснулась к щеке Смока и разбудила его.

— Положи мне руку на сердце, любимый, — сказала она ясным, но слабым, звучащим откуда-то издалека голосом. — Мое сердце — моя любовь.

Возьми ее в руки.

Казалось, прошли века, прежде чем она заговорила вновь.

— Помни, на юг пути нет. Народ карибу знает это хорошо. Выход на запад… Ты уже почти пришел… Ты достигнешь его…

Смок погрузился в оцепенение, подобное смерти, но она опять разбудила его.

— Прижмись к моим губам твоими губами, — сказала она. — Так я хочу умереть.

— Мы умрем вместе, счастье мое, — ответил он.

— Нет. — Дрожащей рукой она остановила его. Ее голос был так слаб, что Смок с трудом слышал его, и все же он разобрал каждое ее слово. Ее рука начала шарить в капюшоне парки; она достала какой-то мешочек и вложила его в руку Смока. — Теперь губы, любимый. Твои губы к моим и руку на мое сердце.

И в этом долгом поцелуе его снова окутал мрак. И когда к нему вернулось сознание, он понял, что он один и что он должен умереть. И он радовался приближению смерти.

Он почувствовал, что рука его лежит на мешочке. Мысленно улыбаясь любопытству, заставившему его дернуть шнурок, он развязал мешочек.

Жиденький поток пищи пролился из него. В нем не было ни крошки, которой бы он не узнал. Все это Лабискви украла у Лабискви — огрызки хлеба, припрятанные давным-давно, еще до того, как Мак-Кен потерял муку, наполовину разжеванные кусочки мяса карибу, крошки вяленого мяса, нетронутая задняя нога кролика, задняя нога и часть передней ноги белого хорька, крыло и ножка зимородка, на которых еще виднелся оттиск ее зубов, — жалкие объедки, трагическое самоотречение, самораспятие жизни, крохи, украденные ее невероятной любовью у чудовищного голода.

Смок с безумным смехом высыпал все это на затвердевший наст и снова погрузился во мрак.

Он видел сон. Юкон высох. Он шел по его руслу среди тинистых луж, обледенелых утесов и подбирал крупные золотые зерна. Их тяжесть клонила его к земле, но вдруг он открыл, что их можно есть. И он с жадностью начал пожирать их. Отчего же, в конце концов, люди ценят золото, как не оттого, что его можно есть?

Он проснулся. Снова взошло солнце. Его мысли странно путались. Но зрение его уже не меркло. Дрожь, терзавшая все его тело, исчезла. Его плоть, казалось, пела, точно напоенная весной. Бесконечное блаженство охватило его. Он повернулся,

чтобы разбудить Лабискви, — и вспомнил все. Посмотрел туда, куда он накануне бросил пищу. Ее не было. И он понял, что эти сухие корки и объедки и были золотыми зернами его бредового сна. В бредовом сне он вернул себе жизнь, принял жертву Лабискви, положившей свое сердце в его ладонь и открывшей ему глаза на женщину и на чудо.

Он поразился легкости своих движений, поразился тому, что смог дотащить ее тело, завернутое в меха, до песчаной полосы, оттаявшей под лучами солнца. Там он вырыл яму и похоронил Лабискви.

Три дня шел он на запад — без крошки пищи. На третий день он упал под одинокой сосной на берегу широкого вскрывшегося потока. Он понял, что это Клондайк. Прежде чем мрак окутал его, он развязал свой тюк, сказал последнее «прости» ослепительному миру и завернулся в свои меха.

Веселое чириканье разбудило его. Смеркалось. В ветвях сосны над его головой копошилось несколько куропаток. Голод заставил его действовать, но его движения были бесконечно медленны.

Прошло пять минут, прежде чем он приложил ружье к плечу, и еще пять минут, прежде

чем осмелился спустить курок, лежа на спине и целясь прямо вверх. Он промахнулся. Ни одна птица не свалилась на землю, но и ни одна не улетела. Они продолжали свою глупую, неуклюжую возню. У него болело плечо. Второй выстрел тоже оказался неудачным, так как пальцы его невольно дрогнули, когда он спускал курок.

Куропатки не улетели. Он вчетверо сложил мех, которым только что покрывался, и засунул его между боком и правой рукой. Упираясь в него прикладом, он выстрелил еще раз, и одна птица упала. Он жадно схватил ее и увидел, что с нее сорвано почти все мясо. Пуля крупного калибра оставила только комок испачканных кровью перьев. Но птицы все еще не улетали, и он решил, что нужно целиться только им в головы. Так он и сделал. Снова и снова он заряжал винтовку, давал промахи, попадал. А глупые куропатки, слишком ленивые, чтобы улететь, падали на него, как манна небесная, отдавая свои жизни для того, чтобы продлить его жизнь.

Первую он съел сырой. Потом лег и спал, пока в его жизни растворялась чужая жизнь. Он проснулся в темноте. Почувствовал, что голоден, и нашел в себе достаточно сил, чтобы развести костер. И до самого рассвета жарил и ел, жарил и

ел, размалывая кости в порошок своими отвыкшими от пищи зубами. Потом заснул, проснулся — снова была ночь — снова заснул и спал до следующей зари.

Он очень удивился, увидев, что костер весело трещит, а сбоку на груде углей дымится закопченный кофейник. У огня — можно было дотронуться рукой — сидел Малыш, курил коричневую папиросу и внимательно смотрел на него. Губы Смока зашевелились, но гортань его была как бы скована, а грудь сотрясалась от подступавших рыданий. Он протянул руку, схватил папиросу и жадно затянулся.

— Я давно не курил, — сказал он, наконец, тихим, спокойным голосом. — Очень давно.

— Да и не ел тоже, как видно, — ворчливо отозвался Малыш.

Смок кивнул и указал рукой на валявшиеся вокруг него перья куропаток.

— До вчерашнего вечера, — сказал он. — Знаешь, я бы выпил кофе. Странный у него будет вкус. И у блинчиков… и у сала…

— И у бобов, — соблазнял его Малыш.

— Небесная пища! Кажется, я опять проголодался.

Пока один из них стряпал, а другой ел, они

вкратце рассказали друг другу все, что случилось с ними за время разлуки.

— Клондайк вскрылся, — закончил Малыш свою повесть, — и нам пришлось ждать, пока пройдет лед. Две плоскодонки, шесть человек — ты их знаешь, все ребята ходовые, — ну и всякое снаряжение! Шли мы быстро — баграми, на канате и волоком. А потом застряли на неделю у порогов. Тут я оставил их. Мне, конечно, хотелось идти как можно скорее. Словом, я набил мешок продовольствием и тронулся в путь. Я знал, что найду тебя где-нибудь бредущим и окончательно раскисшим.

Смок кивнул и молча протянул ему руку.

— Идем! — сказал он.

— Но ты слаб, как грудной младенец! Ты не можешь идти. Куда нам торопиться?

— Малыш, я иду за самым великим, что только есть в Клондайке. Я не могу ждать, вот и все. Укладывайся! Это величайшая вещь во всем мире. Это больше, чем золотые озера и золотые горы, больше, чем приключения, медвежатина и охота на медведей.

Малыш сидел и таращил глаза.

— Нет, я в полном уме. Быть может, человеку надо перестать есть, чтобы у него открылись гла-

за. Так или иначе, я видел вещи, которые мне и не снились. Я знаю, что такое женщина… теперь.

У Малыша открылся рот, и в уголках губ и в глазах заиграла улыбка.

— Пожалуйста, не надо, — мягко сказал Смок. — Ты не знаешь, а я знаю.

Малыш тяжело вздохнул и дал своим мыслям иное направление.

— Гм! Я и без посторонней помощи назову тебе ее имя. Все прочие отправились сушить Нежданное озеро, а Джой Гастелл сказала, что не пойдет. Она бродит вокруг Доусона и все ждет, не приволоку ли я тебя. Эта девушка клянется, что если я вернусь без тебя, она продаст все свои заявки, наймет армию стрелков, отправится в Страну Карибу и вышибет всю начинку из башки старика Снасса и его банды. И если ты на две минуты придержишь своих коней, то я, кажется, успею упаковаться, снарядиться и отправиться в путь-дорогу вместе с тобой.

ПРИНЦЕССА

(сборник)



Центральным, а в других изданиях и титульным произведением этого небольшого сборника является рассказ «Принцесса». Здесь речь идет о персонажах, «бывших когда-то людьми». В повествовании эксплуатируется потребность постаревшего или опустившегося до предела человека вспомнить о своей прошлой — благополучной, цивилизованной — жизни и особенно о прекрасной женщине, любившей его до беспамятства. Неплохо, чтобы эта женщина была еще и знатной леди, а лучше всего принцессой.

Принцесса в рассказах «толкучки» - воплощение всех добродетелей и символ красивой жизни. Таких рассказов писатель наслушался в полную меру, то путешествуя со своей «толкучкой» по товарным вагонам-холодильникам как хобо, то направляясь с «армией Келли» как борец за социальную справедливость на Вашингтон…

Принцесса

В джунглях ярко пылал костер, около которого, небрежно развалясь, лежал какой-то человек, веселый на вид и страшный. Заросли этой узкой лесной полосы между железной дорогой и берегом реки были любимым приютом бродяг. Но лежавший не был настоящим бродягой. Он так низко погряз в общественной клоаке, что настоящий бродяга ни за что не сел бы с ним у одного костра. Новичок, недавно вышедший на «дорогу», мог бы еще присесть к его огню, но остался бы в его обществе только до тех пор, пока не распознал бы соседа. Даже самые низкие жулики и отъявленные мошенники прошли бы мимо такого человека. Настоящий бродяга, два-три проходимца или шайка молодых воришек, может быть, пошарили бы в его лохмотьях в тщетной надежде найти пару завалявшихся монет и затем разделались бы с ним, дав затрещину. Даже последний пропойца поставил бы себя намного выше его. Ибо этот человек был хуже всякого бродяги — опустившимся пьяницей, превратившимся в самого последнего пройдоху, который не способен даже «вскипеть», обозлившись. У

него не осталось и крупицы гордости, и он мог подбирать объедки из помойки. Действительно, вид этого человека был ужасен. Ему можно было дать лет шестьдесят и больше; на его лохмотья не взглянул бы и тряпичник.

Лежавший около него узелок заключал в себе изорванный пиджак, прокопченную жестянку из-под томатов, пустую погнутую жестянку из-под сгущенного молока, кусок жилистого, самого дешевого мяса, каким кормят собак, завернутый в оберточную бумагу, выпрошенный, вероятно, у какого-нибудь мясника, морковь, раздавленную тяжелым колесом на улице, три прелых картофелины и сдобный обгрызанный хлебец, покрытый засохшей грязью, очевидно, подобранный на улице.

Лицо бродяги обросло густой бородой: грязно-серая, давно не подстригавшаяся, она торчала свалявшимися комьями. Борода, вероятно, была белого цвета, но дожди еще не успели смыть с нее грязь. Лицо этого человека выглядело так, точно оно когда-то было изуродовано ручной гранатой: сломанный нос без переносицы; одна ноздря, величиной с горошину, обращена вниз, другая же, с воробьиное яйцо, направлена кверху. Один глаз — обычной величины, темно-карий и мутный,

словно заплаканный от старости, чуть не выскакивал из орбиты. Другой же, чуть больше глаза белки и такой же, как у этого зверка, блестящий, косо смотрел кверху на волосатый шрам около брови. У бродяги была только одна рука.

Однако он был весел. Его изуродованное лицо излучало благодушие. Он вяло почесывал себе бок единственной рукой. Разложив остатки пищи, он из внутреннего кармана пиджака вытащил двенадцатиунцовую аптекарскую склянку с какой-то бесцветной жидкостью. Увидев склянку, маленький глаз забегал быстрее. Взяв жестянку из-под томатов, человек встал, спустился к речке и принес мутной воды. В жестянке из-под сгущенного молока он составил смесь из воды и жидкости из бутылки. Бесцветная жидкость была спиртом, который на жаргоне бродяг носит название «алки» (от слова алкоголь).

Чьи-то медленные шаги по железнодорожной насыпи заставили его насторожиться, и он не успел выпить свою смесь. Осторожно поставив банку между ног на землю, он накрыл ее шляпой и беспокойно ждал.

Из темноты выступил человек, такой же грязный и оборванный, как он. Пришедший, по виду лет пятидесяти-шестидесяти, был комично толст.

Все его тело состояло из выпуклостей. Толстый нос был величиной с репу. Его веки едва прикрывали нелепо вытаращенные выпуклые глаза. Одежда лопалась на выпуклостях его тела. Икры сливались со ступнями, так как разлезшиеся гетры не могли сдержать жира. У него была одна рука. На плече висел небольшой узел, покрытый засохшей грязью: следы последней стоянки.

Толстый бродяга шел с привычной осторожностью; удостоверившись, что человек у костра ему не опасен, он окликнул его:

— Здорово, дед! — но тотчас же остановился, пристально уставившись на его огромную зияющую ноздрю.

— Скажи, пожалуйста, Бородач, как ты ухитрился уберечь свою ноздрю от дождя?

Бородач проворчал что-то и плюнул в огонь в знак того, что вопрос этот ему не особенно приятен.

— Нет, в самом деле, — давился смехом толстяк. — Ведь выйдешь когда-нибудь в дождик без зонтика, как раз потонешь — не так ли?

— Будет, Толстяк, будет, — устало пробормотал Бородач. — Все равно ничего нового не скажешь. Я уже это слышал. Каждый дурак мне это говорит.

— Но пить-то все-таки можешь, надеюсь?

Успокоившись, толстяк стал ловко развязывать одной рукой свой сверток.

Он вытащил из него бутылку спирта в двенадцатиунцовой склянке. Чьи-то шаги, послышавшиеся на железнодорожной насыпи, встревожили его, и, поставив бутылку между ног, он накрыл ее шляпой.

Вновь пришедший принадлежал к тому же разряду людей, что и они, и тоже был однорукий. Вид его был так неприветлив, что даже приветствие казалось ворчанием. Высокий, широкоплечий, худой как скелет, с головой, точно мертвый череп, он был отвратителен, как один из кошмарных образов старости, созданных Доре.

Под его большим горбатым носом, который почти соприкасался с подбородком и был похож на клюв хищной птицы, беззубый рот его с тонкими губами казался шрамом. Единственная рука, худая и изогнутая, напоминала коготь. Маленькие серые глазки, неподвижные, немигающие, были жестоки и беспощадны, как смерть.

В нем было что-то жуткое, а потому Бородач и Толстяк инстинктивно прижались друг к другу для совместной защиты против чего-то непонятного и угрожающего, что было в нем. Следя за ним

исподтишка, Бородач взял на всякий случай в руку большой, в несколько фунтов весом камень. Толстяк занял оборонительную позицию.

Затем оба, облизывая губы, сели виновато и неловко, а страшный человек смотрел пронзительно своими немигающими глазами то на одного, то на другого, то на приготовленный камень.

— Аа! — произнес страшный с такой свирепой угрозой, что заставил Бородача и Толстяка невольно взяться за их оружие пещерного человека.

— Аа! — повторил он, быстро и ловко опуская свой коготь в боковой карман. — Куда вам к черту, двум мелким пройдохам, со мной сравняться!

Коготь появился снова с шестифунтовым железным кистенем.

— Мы вовсе не хотим заводить ссоры, Тощий, — сказал Толстяк.

— А кто ты такой, что смеешь звать меня Тощим? — крикнул тот в ответ.

— Я, я — Толстяк… И так как я тебя раньше никогда не видел…

— А то Бородач, верно, с таким большим и ярким фонарем под бровью и с таким, прости Господи, милым, разъехавшимся по всему лицу

носом.

— Ладно, ладно, — пробормотал недовольно Бородач. — В наши годы всякая рожа хороша. Все это для меня не новость. И что зонтик мне нужен, когда идет дождь, чтобы не утонуть, и все прочее.

— Я не привык к обществу. Не люблю его, — проворчал Тощий. — А поэтому, если вы хотите иметь со мной дело, то будьте потише. Вот и все.

Он вытащил из своего кармана окурок сигары, очевидно, подобранный где-то на улице, и приготовился засунуть его в рот, но передумал, свирепо оглядел своих товарищей и развернул узел. В его руке появилась аптекарская двенадцатиунцовая склянка со спиртом.

— Что ж, — пробормотал он, — придется и вас угостить, хотя у меня самого мало, чтоб хорошо выпить.

Какой-то необычно мягкий свет озарил его увядшее лицо, когда он увидел, как два других гордо подняли свои шляпы и показали собственные запасы.

— Вот вода для разбавки, — сказал Бородач, придвигая ему жестянку из-под томатов, наполненную грязной водой. — Там выше пасется скот… — прибавил он, извиняясь. — Но говорят…

— А! — отрезал Тощий, смешивая питье. — В свое время я пивал похуже этого…

Но когда все было готово и каждый взял свою жестянку со спиртом, три существа, трое бывших людей, по старой привычке остановились, почувствовав некоторую неловкость.

Бородач первый прервал смущенное молчание.

— А я пивал и более тонкие напитки, — похвалился он.

— Из оловянного ковша, — ухмыльнулся Тощий.

— Из серебряного кубка, — поправил Бородач.

Тощий испытующе-вопросительно уставился на Толстяка.

Толстяк кивнул.

— Ниже солонки[52], — сказал Тощий.

— Выше, — поправил Толстяк. — Я знатного рода и никогда не ездил во втором классе. Или первый класс, или трюм, но не второй.

— А ты? — спросил Бородач Тощего.

— Бил бокалы в честь королевы, дай Бог ей здоровья, — ответил Тощий серьезно, без тени

---

[52] Примечания: 52

В рыцарские времена солонка ставилась посредине стола; по одну сторону, т. е. «выше», сидели хозяева и почетные гости; «ниже» — сидела свита и менее почетные гости.

усмешки.

— В буфетной! — поддразнил Толстяк.

Тощий потянулся к своему железному кистеню, а Бородач и Толстяк схватились за камни.

— Ну, не будем горячиться, — сказал Толстяк, опуская свое оружие. — Мы не какой-нибудь сброд. Мы джентльмены. Выпьем, как настоящие джентльмены.

— По-настоящему, — весело сказал Бородач.

— До бесчувствия, — согласился Тощий. — Да, много спирту утекло с тех пор, как мы были джентльменами. Но забудем длинный путь, который мы прошли, и чокнемся как следует. Выпьем, как пили джентльмены на сон грядущий в дни нашей юности!

— Мой отец, — начал Толстяк, и речь его вдруг изменилась и стала более правильной, из нее исчезли словечки босяцкого жаргона.

Двое других кивнули в знак того, что и они происходили от таких же отцов, и подняли свои жестянки со спиртом.

Когда они осушили до капли свои склянки со спиртом, они вытащили из лохмотьев новые склянки. Головы бродяг стали приятно кружиться, хотя не настолько, чтобы они открыли друг другу свои настоящие имена. Они оставили

босяцкий жаргон и говорили на правильном английском языке.

— Таков мой организм, — вещал Бородач. — Мало людей, которые могли бы выдержать то, что выдержал я. Я никогда не берегся. Если бы моралисты и физиологи говорили правду, я давно должен был бы умереть. Да и вы оба так же выносливы. Посмотреть только на вас! В наши преклонные годы пьем мы так, как не пьют молодые, спим на голой земле, не защищенные от мороза, дождя и ветра, не боимся воспаления легких или ревматизма, который и молодежь укладывает в госпиталь.

Он стал приготовлять себе вторую порцию спирта с водой, а Толстяк кивнул в знак согласия и прибавил:

— И повеселиться мы умели, — похвалился он, — и «нежные слова шептали возлюбленной»... — процитировал он Киплинга. — И шатались всюду, и белый свет видели...

— В свое время, — закончил Тощий его речь.

— Верно, верно, — подтвердил Толстяк. — И принцессы любили нас... по крайней мере — меня...

— Расскажи-ка об этом, — попросил Бородач. — Целая ночь впереди, почему бы нам не вспомнить

о королевских чертогах.

Толстяк не возражал, откашлялся и задумался.

— Нужно сказать, что я происхожу из хорошей семьи… Персиваль Дэланей, скажем… Да, скажем… Персиваль Дэланей; он был небезызвестен в Оксфорде когда-то… известен, конечно, не своей ученостью, откровенно признаюсь в этом, но любая веселая молодая собака, любившая покутить, если жива хоть одна из них, помнит это…

— Мои предки пришли вместе с Вильгельмом Завоевателем, — прервал Бородач, протягивая Толстяку руку.

— А как звали ваших предков? — спросил Толстяк. — Я что-то не расслышал.

— Делярауз, Чонсей Делярауз… то есть, скажем, так…

Они пожали друг другу руки и взглянули на Тощего.

— О да, теперь мы желали бы…

— Брюс Кадоган Кавэндиш, — угрюмо проворчал Тощий. — Ну, Персиваль, рассказывай о своих принцессах и о королевских чертогах.

— Да, в молодости я был настоящим чертом, — сказал Персиваль, — я сорил деньгами, занимался спортом, рыскал по всему свету. Я был мужчиной приятной наружности, пока не стал таким, как

теперь… Поло, скачки с препятствиями, бокс, борьба, плавание… Я получал медали за прыжки. Я охотился в Австралии и взял там несколько призов за плавание на расстояние более четверти мили. Женщины заглядывались на меня, когда я появлялся на улице. Женщины! Дай Бог им здоровья!

И Толстяк, он же Персиваль Дэланей, это курьезное подобие человека, прижал свои пальцы к толстым губам и послал звездному небу воздушный поцелуй.

— А принцесса… — задумчиво сказал он, послав звездам еще один поцелуй. — Она была таким же прекрасным экземпляром женщины, как я мужчины… отважна, весела, безудержна и чертовски смела! Боже, Боже! В волнах морских она была сирена, богиня моря! А что до ее происхождения, то рядом с ней я был «парвеню» — выскочка. Ее царственное происхождение терялось во мраке древности. Она не принадлежала к племени светлокожих. Она была смугло-золотая, с золотисто-карими глазами, с волосами, падающими до колен, иссиня-черными и прямыми; они только слегка завивались на концах, что придает особенную прелесть волосам женщины. Она была полинезийка — пылкая, золотистая, нежная,

милая, царственная полинезийка!

Он остановился, чтобы в память ее поцеловать кончики пальцев, а Тощий, он же Брюс Кадоган Кавэндиш, не преминул воскликнуть:

— Да, если ты и не успевал в науках, то все-таки вынес из Оксфорда недурной лексикон.

— Я обогатил свой словарь в южных морях, — там я усвоил много слов из лексикона любви, — живо откликнулся Персиваль на замечание Тощего.

— Это произошло на острове Талофе, — продолжал он, — это был ее остров, Остров Любви. Ее отец, король, был стар; он сидел неподвижно на циновках — у него были парализованы ноги — и пил джин день и ночь от тоски, от острой тоски. Она, моя принцесса, была его единственной дочерью; брат ее погиб на своей двойной пироге во время урагана, плывя в Самоа. У полинезийцев царевны имеют равное право на царство с мужчинами. Полинезийцы ведут свой род по женской линии.

При этом Чонсей Деларауз и Брюс Кадоган Кавэндиш кивнули в знак подтверждения.

— А! — сказал Персиваль. — Я вижу, что вы знаете южные моря, и думаю, что вы уже оценили чары моей принцессы. Принцессы Туи-Нуии с

острова Талофы, принцессы Острова Любви.

Он еще раз поцеловал в честь ее кончики пальцев, хлебнул из своей жестянки хороший глоток спирта и еще раз послал воздушный поцелуй.

— Но она была скромна и застенчива и не подходила ко мне близко. Когда я хотел обнять ее, ее уже не было. Я изведал как никогда ни прежде, ни после тысячу нежных и сладостных любовных томлений, манящих, угасавших и вновь возникавших по воле самой Богини Любви.

— Ну и лексикон! — пробормотал Брюс Кадоган Кавэндиш в сторону Чонсея Деляравза. Но Персиваль Дэланей пропустил это замечание мимо ушей; послал ночи воздушный поцелуй и продолжал:

— Сквозь все сладостные муки Дантова ада вела меня моя принцесса. Ах, эти дурманящие тропические ночи под пальмами, этот отдаленный шум прибоя, словно томный шепот огромной морской раковины, и моя принцесса, которая, казалось, готова была растаять в огне моей страсти, но проходила минута… и вдруг раздавался ее смех, подобный ропоту серебряных труб, и это превращало мой любовный пыл в безумие.

Моя борьба с чемпионами острова Талофы — вот первое, что заинтересовало ее. Своими

успехами в плавании я пробудил ее чувства. А после одного своего подвига я получил от нее нечто поважнее, чем кокетливую улыбку и застенчиво-робкие намеки на тайное свидание.

В тот день мы ловили осьминогов на приманку в коралловых рифах, — вы, разумеется, знаете, как это делается. Мы ныряли со скалы на пять, на десять саженей, словом, на подходящую глубину, и засовывали палку с приманкой в отверстия и углубления кораллового рифа, куда может забраться осьминог. Палку, заостренную на обоих концах и имевшую около фута длины, нужно было держать с приманкой перед норой осьминога до тех пор, пока осьминог не опутает своими щупальцами и палку, и руку. Затем всплывали на поверхность и били по голове осьминога, которая находится как раз в середине его тела, и сбрасывали осьминога в пирогу... И подумайте, я проделывал все это!

Персиваль Дэланей остановился на минуту, словно удивляясь при воспоминании величественной картины дней своей юности.

— Однажды я вытащил осьминога со щупальцами длиной в восемь футов, достав его на глубине пятидесяти футов. Я мог оставаться под водой четыре минуты. Я опускался на сто десять футов

глубины, чтобы вытащить зацепившийся якорь. Я мог нырять спиной, перекувырнувшись на лету, мог бросаться в воду с высоты восьмидесяти футов!

— Оставь, брось, перестань! — недовольна ворчал Чонсей Делярауз. — Рассказывай лучше о принцессе, о том, что волнует старую кровь. Я так и вижу ее. Она была очень хороша?

Персиваль Дэланей, не находя слов, стал целовать кончики пальцев.

— Я ведь сказал уже, что это была сирена. Да, действительно, сирена! Когда ее шхуна потерпела крушение, она пробыла в воде тридцать шесть часов, прежде чем ее подобрали. Я видел, как она ныряла на девяносто футов и поднималась, держа в обеих руках по жемчужине. Да, она была необыкновенна! Как женщина она была восхитительна. Я сказал, что это была богиня моря. Да! О, Фидий или Пракситель, изваяв ее дивное тело, создали бы бессмертное чудо!

Вот в тот же день, после ловли осьминогов, я был почти болен от любви к ней. Безумен… Я знаю, что я стал из-за нее безумцем. Мы спускались через борт большой пироги и ныряли рядом в прохладу изумрудных волн. Она смотрела на меня, когда мы плыли, и я испытывал Танталовы

муки, безумствовал под ее взором. И наконец там, под водой, на большой глубине, я потерял над собою контроль и схватил ее. Она увернулась, как сирена, и я увидел ее смеющееся лицо, когда она нырнула. Она опускалась все глубже, но я знал, что она не уйдет от меня, потому что я был между нею и поверхностью моря; но на дне она вдруг стала взрывать своей палкой мелкий коралловый песок, который мутил воду. Этот старый прием употреблялся, когда спасались от акулы. Принцесса пустила его в ход против меня. Я потерял из виду мою сирену. А когда я поднялся на поверхность воды, сирена цеплялась за борт пироги и смеялась.

Все же я не был отвергнут. Она взяла меня за руку и сказала: «Мы должны начать состязание: кто из нас достанет больше осьминогов и кому достанется самый большой и самый маленький осьминог». Поскольку призом служили поцелуи, то вы поймете, в каком состоянии я бросился в воду. Но я не поймал ни одного осьминога и никогда с тех пор не ловил их. Вот что случилось, когда мы на глубине тридцати футов искали осьминогов в щелях кораллового рифа. Я увидел подходящее отверстие и едва убедился, что оно пусто, как вдруг ощутил близость чего-то страш-

ного. Я повернулся. Около меня была огромная акула футов шести в длину. Глаз ее горел, как у кошки, сверкал, как звезда. Я понял, что это самая свирепая тигровая акула.

Справа от меня, на расстоянии не более десяти футов, принцесса ощупывала своей палкой коралловую ветвь; акула стремительно бросилась к ней. У меня была только одна мысль: во что бы то ни стало отвлечь страшного хищника. Разве я не был безумно влюбленным, который с радостью готов биться на жизнь и на смерть, — или, лучше сказать, биться за жизнь и за счастье — за свою возлюбленную? Не забывайте, что она была женщиной необыкновенной и что я пылал к ней страстью.

Вполне понимая опасность своего поступка, я ударил острием моей палки акулу в бок. Этот толчок для акулы был прикосновением легкой ветки. Но хищница повернулась ко мне. Вы знаете южные моря, знаете, что тигровая акула, как лысоголовый медведь Аляски, не отступает никогда. В морской глубине началась борьба, если можно назвать это борьбой: ведь все преимущества были на одной стороне.

Ничего не подозревая, принцесса схватила осьминога и поднялась на поверхность моря. Акула

бросилась на меня. Я ударил ее обеими руками по носу над зубастой открытой пастью, а она опрокинула меня на острый отросток кораллового рифа. У меня на спине и теперь еще виден рубец. При каждой моей попытке встать она бросалась на меня. Я не мог оставаться под водой без воздуха. Как только она кидалась на меня, я бил ее по носу руками. Я вырвался бы от нее невредимым, если бы не соскользнула моя правая рука прямо в пасть акулы. Она сжала челюсти чуть пониже моего локтя. Вы знаете, что такое зубы акулы. Раз сомкнувшись, они уже более не разомкнутся, пока не покончат со своей добычей. Я пытался вырвать руку, а потому акула дочиста содрала мясо с моей руки от локтя до самой кисти, где ее зубы сжались еще крепче, и моя правая рука стала для акулы возбуждающей аппетит закуской.

Но пока она грызла мою руку, я всунул палец левой руки ей в глаз и вырвал его. Однако она не унялась. Человеческое мясо раздразнило ее. Она старалась поймать окровавленную культышку моей правой руки. Несколько раз я отбивался от нее свободной левой рукой. Затем ей снова удалось схватить мою бедную правую руку, и, сжав челюсти, она содрала все мясо от плеча до локтя и проглотила. Но в ту же минуту моей здоровой

рукой я выдавил ей второй глаз.

Персиваль Дэланей вздрогнул и продолжал:

— С пироги все это видели и удивлялись мне. На острове до сих пор поют обо мне песнь и рассказывают легенду. О принцессе тоже.

Он сделал краткую, но многозначительную паузу.

— Принцесса вышла за меня замуж… О, эти дни успеха и неудач, этот круговорот судьбы и времени, превратность счастья, деревянные башмаки и лакированные ботинки, французская канонерка, завоеванное королевство Океании, до сего дня управляемое грубым, безграмотным колониальным жандармом, и…

Он оборвал свой рассказ, схватил свою жестянку из-под сгущенного молока и стал жадно пить обжигающий напиток.

После соответствующей паузы начал свой рассказ Чонсей Делярауз, он же Бородач.

— Не буду хвастаться местом своего рождения и рассказывать, как я опустился до того, что сижу здесь, у этого костра с… кем придется. Могу сказать, однако, что и я тоже был когда-то не совсем заурядным человеком. Прибавлю к этому, что лошади, а также не слишком добросердечные родители заставили меня повидать белый свет.

Я попользовался своей свободой как следует, — быстро говорил Бородач, — на меня ничто не действовало при моем железном здоровье. Мне перевалило за пятьдесят, и на пройденном длинном пути я похоронил многих более молодых, не выдержавших скитальческой жизни. Я видел горе, когда был молод. Я вижу много горя теперь, когда я стар. Но было время, увы, слишком короткое время, когда я видел много радости.

Я тоже посылаю воздушный поцелуй в честь принцессы моего сердца! Она действительно была принцесса полинезийка. Она жила на тысячу с лишком миль на восток от Острова Любви Дэланея. Туземцы, живущие в этой части южных морей, называют остров, на котором она жила, Веселым Островом. Но точный перевод названия, данного ему самими его жителями: «Остров Тихого Смеха». На карте вы найдете неправильное его название, данное старыми мореплавателями, — Манотомана. Образованные моряки, совершавшие плавание вокруг него, называют его «Эдемом, лишенным Адама», а миссионеры — «Свидетелем Божиим», так как туземцы охотно принимали христианскую веру. Для меня же он был и вечно будет «Раем».

То был мой рай, ибо там жила моя принцес-

са. Королем там был Джон Азибели Тунги. Он был природным туземцем, происходившим от старшей и самой знатной ветви вождей, которая восходила до Ману, древнего родоначальника его расы. Короля называли Джоном Вероотступником. Он прожил долгую жизнь и часто менял веру. Сперва он принял католичество, сверг своих идолов, нарушил табу, изгнал туземных жрецов, казнил наиболее упорных из них и заставил всех подданных посещать церковь. Затем его обратили в свою веру купцы-протестанты, которые обнаружили в нем большую склонность к шампанскому. Он сплавил католических жрецов в Новую Зеландию. Большая часть его подданных всегда шла за ним, не исповедуя никакой религии, и миссионеры стали называть в своих проповедях остров короля Джона Новым Вавилоном.

Но шампанское, которым купцы слишком обильно угощали короля, весьма расстроило его желудок, и он спустя несколько лет присоединился к методистам: опять послал свой народ в церковь, запретил купцам курить трубки на улице по воскресеньям и оштрафовал одного из главных купцов на сто золотых соверенов за мытье палубы на шхуне в воскресное утро.

То было время жестоких религиозных законов, которое, должно быть, показалось слишком жестоким и самому королю Джону.

В один прекрасный день он разогнал методистов, отправил несколько сот своих подданных в Самоа за приверженность методизму и, в конце концов, придумал свою собственную религию, заставив поклоняться себе, как Богу. В этом ему была оказана помощь и поддержка со стороны одного ренегата с островов Фиджи. Так продолжалось пять лет. Может быть, королю надоело быть божеством, а может быть, повлияло и то, что его фаворит скрылся с шестью тысячами из королевской казны. Но, во всяком случае, реформированное веслейанство[53] вторично завладело им, и все его царство приняло веслейанство. Миссионера веслейанства он сделал первым министром; в отношении же купцов на этот раз проявил осторожность. Но все же купцы занесли остров короля Джона на черную доску и объявили ему бойкот, что свело доходы острова к нулю. Народ обнищал, и король Джон не мог нигде занять ни одного шиллинга.

---

[53] Примечания: 53

Веслейанство — по имени основателя секты Джона Веслея (1703–1791); обычно этих сектантов называют методистами.

Между тем король старился, он стал философом, и в душе его пробудилась старая атавистическая терпимость. Он призвал из Самоа своих изгнанных подданных, дал свободу купцам, учредил праздник любви, провозгласил религиозную свободу и высокий тариф; сам же вернулся к почитанию предков, отрыл из земли идолов, восстановил в сане немногих восьмидесятилетних жрецов и стал соблюдать табу. Все это было очень приятно купцам; всюду царило благоденствие. Конечно, большинство его подданных пошли за ним точно так же и в восстановлении языческого культа. Однако последователи католиков, протестантов и веслейан остались верны христианству, устроив себе несколько маленьких храмов. Король Джон не обращал на это никакого внимания, как и на кутежи и веселое времяпрепровождение купцов на берегу. Все шло хорошо, пока платились налоги. Даже когда его жена, королева Мамара, решила сделаться баптисткой и позвала к себе маленького, худого, слабого, опирающегося на палку миссионера, король Джон не препятствовал этому. Он настаивал только на том, чтобы эти странствующие представители разных религий жили на свои средства и не брали денег из царских сундуков.

Теперь все нити моего рассказа сплетаются в изысканный узор, именуемый… моей принцессой.

Бородач остановился, осторожно поставил на землю свою наполовину наполненную жестянку из-под сгущенного молока, про которую забыл, увлекшись рассказом, и звонко поцеловал кончики пальцев.

— Она была дочерью королевы Мамары. Необыкновенная женщина. Тип полинезийской Дианы. Она была чиста, скромна и застенчива, как фиалка; хрупка и нежна, как лилия. Ее глаза, сияющие и нежные, были подобны золотому цветку на газоне неба. Вся она была цветок, огонь и роса. В ней была сладость горной розы, нежность голубки. Она была соткана из добра и красоты, была набожна, исповедуя веру своей матери, принявшей веру Эбенезара Найсмита, баптистского миссионера. Но она была не только кроткой душой, кроткой небесной девой. Нет, она была женщиной, женщиной во всем, до последнего трепетного атома своего существа.

А я был выброшенным на берег обломком. Самый дикий не был так дик, как я. Я был самым развращенным из всей дикой и отпетой торговой банды. Я не знал удержу в картежной игре.

Я лучше всех играл в покер. Я был единственным из смертных — белых, смуглых и черных, осмелившимся ночью переплыть через проход Купи-Купи. Я проплыл через него ночью во время бури. Но все же у меня была скверная репутация. Я был беспокоен и опасен. Капитаны торговых судов привозили самые ужасные напитки в замечательных фляжках из самых диких стран Тихого океана, чтобы испытывать их действие на мне, и поили меня до зеленого змия. Я помню одного прожженного шотландца с Новогебридских островов. Это был отчаянный пьяница. Он умер от пьянства, и мы положили его в бочку из-под рома, запаковали и отправили на родину. Вот образец, прекрасный образец наших проделок на берегу Манотоманы.

Но из всего непостижимого, что я проделывал, самым непостижимым было то, что однажды я влюбился в принцессу с первого взгляда. Вот это была штука! Я был безумен, как заяц в марте. Я принял новую веру. Подумайте только! Подумайте, что может сделать эфирное создание с самым отчаянным повесой! Клянусь чертом, что это правда. Я принял новую веру. Я пошел в церковь. Я очистил свою душу перед Богом и старался держать подальше руки — у меня тогда еще были

обе руки — от подлой береговой банды, которая издевалась над моей последней проделкой и осыпала меня вопросами, в чем смысл моей затеи.

Говорю вам, что я принял новую веру и со всем пылом и искренностью отдался религиозному чувству, которое сделало меня с тех пор терпимым ко всякой религии. Я уволил моего самого лучшего капитана за безнравственность. То же я сделал с моим поваром, лучше которого не было на всей Манотомане. По той же причине я разделался с моим главным клерком. И в первый раз за все время моей торговли мои шхуны повезли на Запад Библию. Я построил на окраине города небольшое бунгало, на улице, усаженной манговыми деревьями, недалеко от маленького домика, занимаемого Эбенезаром Найсмитом. Я сделал его своим другом и товарищем, найдя в нем сосуд, переполненный сладостью мудрости и добра. И вместе с тем он был мужчиной, настоящим мужчиной. Он долго жил, и я рассказал бы вам о нем, если бы только история эта не была так длинна. Но ответственность за то, что я свое благочестие претворял в дела, падала больше на принцессу, а не на миссионера. И построил новую церковь — церковь королевы-матери.

«Наша бедная церковь, — сказала мне прин-

цесса как-то вечером, после одного собрания верующих (я тогда исповедовал новую веру всего каких-нибудь две недели), — так мала, что число прихожан не может расти. И крыша протекает. А король, мой жестокосердый отец, не дает нам ни одного пенни, хотя дела его казны поправляются. Манотомана не бедна. Много денег купцы безумно расточают. Я знаю это. Ходят слухи о безобразиях на берегу. Не прошло еще месяца с тех пор, как вы проиграли в одну ночь в карты больше, чем мы тратим на содержание нашей бедной церкви в год».

Я сказал ей, что это правда, но что это случилось раньше, чем я прозрел; сказал, что теперь я уже не пью вина и не играю в карты, сказал, что она может сейчас же приказать плотникам-христианам нашей общины починить крышу. Но принцесса была полна мыслью о торжественном богослужении в большом храме, где Эбенезар Найсмит мог бы проповедовать.

«Вы богаты, — обратилась она ко мне, — у вас много шхун, ваши купцы торгуют на далеких островах, и я слышала, что вы заключили договор на большие подряды для немецких плантаций в Уполю. Говорят, что после Швейцера вы здесь самый богатый купец. Я желала бы, чтобы вы

употребили часть ваших денег во славу Бога. Это было бы благое дело, и я гордилась бы знакомством с человеком, который сделал бы это».

«Хорошо, — сказал я, — мы построим большую церковь».

«Такую же большую, как католическая церковь?» — спросила она.

Это был большой разрушенный собор, построенный в то время, когда все население было обращено в католичество, и принцесса требовала от меня очень многого, но я, охваченный любовью, заявил, что церковь, которую я построю, будет больше собора.

«Но она будет стоить дорого, — объяснил я, — и нужно много времени, чтобы собрать, деньги».

«У вас их так много, — возразила она, — говорят, что у вас денег больше, чем у моего отца, короля».

«И я могу еще занять, — прибавил я. — Но вы не знаете, что такое деньги. Чтобы иметь кредит, нужно иметь деньги. Я буду работать, чтобы добыть деньги, и церковь будет построена».

Работать! Я не узнавал себя! Удивительно, как много времени остается в распоряжении человека, когда он отказывается от кутежей, игр и развлечений. Я не тратил ни секунды даром,

начав новую жизнь; работал сверх меры, работал за десятерых. Мои суда, совершая рейсы быстрее, чем прежде, давали мне большую прибыль. Дела мои шли хорошо. Но мне было нелегко. Работать! Я возделывал сахарный тростник — и первый раз на Манотомане я насадил сахарные плантации с коммерческой целью. Я плавал с грузом лохматых туземцев с острова Малаиты (одного из Соломоновых островов), пока на моих плантациях не оказалось более тысячи черных. Затем я послал шхуну на Сандвичевы острова за разобранными машинами и техником-немцем, умевшим, по его словам, очищать сахар из сахарного тростника. По приезде он назначил себе жалованье триста долларов в месяц. Я собрал машины и поставил завод сам, с помощью нескольких механиков, которых я привез с собой из Квинсленда.

Конечно, у меня нашелся соперник. Его звали Мотомо. Это был человек очень высокого происхождения, родственник короля Джона, очень красивый мужчина, который умел ярко выражать свои чувства. Само собой разумеется, он не очень дружелюбно смотрел на меня, когда я стал бродить вокруг дворца. Он занялся моим прошлым и стал распускать обо мне самые гнусные слухи. К несчастью для меня, в этих слухах было

много правды. Мотомо съездил даже в Апию, чтобы и там разузнать обо мне, словно мало ему было сплетен на побережье Манотоманы. Он злился на меня за мою религию и за хождения на собрания верующих, а главное — за сахарные плантации. Он вызвал меня драться, но я отказался. Я узнал, что он замышляет проломить мне голову. Вы понимаете, что и он тоже хотел получить принцессу, но я хотел этого более пылко.

Она умела играть на фортепьяно. Я тоже играл когда-то. Но я никогда не говорил ей об этом, после того как услышал ее игру в первый раз. А она-то воображала, что играет превосходно, — милая, ослепленная девушка! Знаете, это ученическое бренчание, раз-два-три, тум-тум-тум. Но я расскажу вам сейчас нечто еще более забавное. Ее игра казалась мне чудесной. Врата небесные открывались, когда она играла. Я и теперь вижу себя, как я, усталый и измученный, точно собака, после длинного рабочего дня, лежу на циновках на веранде дворца, созерцая ее у фортепьяно. Я был в состоянии совершенного идиотизма и верил тому, во что она верила. Да, только это ее заблуждение — уверенность, что она играет прекрасно, было единственной чертой, нарушавшей ее совершенство, и я любил ее за это. Она становилась

для меня доступнее, ближе. И когда она играла свое раз-два-три, тум-тум-тум, я был на седьмом небе. Моя усталость пропадала. Я любил ее, и моя любовь к ней была чиста, как пламя, чиста, как моя любовь к творцу. И знаете, в моем безумном воображении постоянно возникала мысль, что Бог во всех путях своих подобен ей.

…Это правда, Брюс Кадоган Кавэндиш, смейтесь, сколько хотите. Но я скажу вам, что моя любовь была именно такой любовью, как я ее изображаю. Истинная любовь всегда чиста. Я испытывал такую любовь…

Бородач сверкал своим крошечным, беличьим глазом из-под изуродованной брови — глазом, похожим на раскаленный уголек бивуачного костра. Он прервал рассказ, чтобы опорожнить свою жестянку из-под сгущенного молока и приготовить новую порцию смеси.

— Сахарный тростник, — продолжал он, вытирая ладонью густые слипшиеся усы, — в том климате созревает раз в шестнадцать месяцев, и я устроил завод для выработки сахара.

Вначале у меня было много хлопот. Работа на заводе не ладилась. На четвертый день Фергюссон, мой инженер, исправил все недочеты. Меня беспокоил мельничный привод. После

того как негры, подававшие в машину сахарный тростник, очистили вальцы, я отослал их на плантацию и остался один. В тот момент, когда я возился с вальцами, вошел Мотомо.

Он остановился возле меня — на нем была норфолкская куртка, башмаки из свиной кожи, словом, полный щегольской костюм. Он с усмешкой оглядел меня, сплошь покрытого грязью и жиром, подобно чернорабочему. Осматривая вальцы, я заметил, в чем заключалась неправильность: одна сторона брала тростник хорошо, другая же была немного согнута. Я засунул пальцы с этой стороны. Большие зубчатые колеса на вальцах не касались моих пальцев. Но вдруг они опустились. Точно десять тысяч дьяволов схватили мои пальцы, втянули внутрь и превратили их… в какое-то месиво. Я подвергся участи тростникового стебля. Меня начало втягивать в машину. Кисть, рука, плечо, голова, грудь, все тело должно было попасть в машину.

Мне не было больно. Боль была так велика, что я не чувствовал ее. Я видел, как колесо медленно, но верно втягивало мою руку, — сначала суставы пальцев, потом кисть, потом самую руку. О инженер, взорванный собственной петардой! О плантатор, раздавленный колесом своей соб-

ственной мельницы!

Мотомо невольно прыгнул вперед, и злорадная улыбка на его лице сменилась выражением беспокойства. Но затем при виде столь приятной картины он весь просиял и оскалил зубы. Нет, мне нечего было ждать от него. Разве он не хотел проломить мне голову? Да и как он мог помочь мне? Он ведь понятия не имел о машинах.

Я закричал изо всех сил Фергюссону, чтобы тот остановил машину, но шум колес заглушил мой голос. Машина уже забрала мою руку по локоть. Боль была нестерпимая. Но я помню, что был очень удивлен тем, что боль не становилась сильнее.

Мотомо сделал движение, которое привлекло мое внимание. В то же самое время он проговорил громким голосом, как бы злясь на самого себя: «Какой я дурак!» Он схватил нож, которым срезают сахарный тростник — особый, понимаете ли, нож, большой, тяжелый, как палаш. Я уже благодарил его за то, что он решил освободить меня от мук. Бессмысленно было ждать, когда машина медленно втянет меня и раздавит мне голову, — моя рука была измята от локтя до плеча, а машина все продолжала тянуть меня. И потому я с благодарностью склонил голову для удара.

«Подними голову, идиот!» — закричал он на меня.

Я понял и повиновался. Ему пришлось сделать два удара ножом, чтобы отсечь мне руку: он отсек ее как раз у самого плеча, оттащил меня прочь и уложил на тростник.

Да, большую плату заплатил я… за сахар. Я построил принцессе церковь для ее святых мечтаний, и… она вышла за меня замуж.

Он выпил несколько глотков и закончил свою речь.

— Боже мой! Такая жизнь, такие злоключения, и в конце концов такая несокрушимость, такой луженый желудок, для которого приятен только алкоголь. Но я еще живу. Целую руку в честь дорогого праха моей принцессы, которая давно уже спит в большом мавзолее короля Джона, глядящем через долину Манотоманы на бунгало британского правительства с развевающимся флагом.

Толстяк предложил тост за здоровье Бородача и выпил все содержимое своей жестянки. Брюс Кадоган Кавэндиш свирепо смотрел на огонь. Он предпочитал пить без всяких тостов. Толстяк уловил на его тонких губах, имевших вид шрама, что-то похожее на усмешку. Убедившись, что

камень близко, Толстяк спросил вызывающе:

— Ну, а как вы, Брюс Кадоган Кавэндиш? Теперь ваша очередь!

Тот поднял свои жуткие белые глаза на Толстяка и смотрел на него до тех пор, пока тот не почувствовал неловкости.

— Я прожил тяжелую жизнь, — сказал Тощий хриплым, скрипучим голосом. — Что я могу знать о любовных историях?

— Не может быть, чтобы их не было у мужчины такой наружности и такого сложения, — польстил Толстяк.

— А что из того? — проворчал Тощий. — Хвастаться любовными победами не подобает джентльмену.

— А все-таки расскажи, будь другом, — настаивал Толстяк. — До зари еще далеко. У нас есть еще что выпить. Мы с Делярузом отдадим тебе свою долю. Судьба не так-то часто сводит трех таких людей и дает им возможность побеседовать. Во всяком случае, хоть одна любовная история у тебя имеется, и ты не стыдись ее рассказать…

Брюс Кадоган Кавэндиш вытащил свой железный кистень и, казалось, задумался, не стукнуть ли кого-нибудь из этих двух. Он вздохнул и спрятал кистень.

— Что ж, расскажу, если хотите, — согласился он с явной неохотой. — Так же, как и у вас, у меня было замечательное здоровье. И даже теперь, раз уж речь зашла о луженом желудке, я скажу, что по части выпивки я мог бы заткнуть вас за пояс и тогда, когда вы были в самом расцвете сил. То, что я отмечен печатью благородства, об этом не может быть ни малейшего спора; если же вы захотите возразить…

Он засунул руку в карман и ощупал кистень. Ни один из его слушателей не усомнился в искренности его угрозы.

— Это было в тысячах милях от Манотоманы, на острове Тагалаги, — продолжал он отрывисто, с видом мрачного разочарования в том, что не возникло никакого спора. — Но сначала я должен рассказать вам, как я попал на этот остров. По некоторым соображениям, я не буду говорить о своей юности, а начну с того момента, когда стал хозяином шхуны, которая до сих пор так памятна всем, что не стоит называть ее. Я забирал чернокожих рабочих в западной части Южного Тихого океана и Кораллового моря и перевозил их на плантации Сандвичевых островов и на селитряные рудники Чили…

— Так это вы очистили население!.. — восклик-

нул Толстяк.

Брюс Кадоган Кавэндиш мгновенно опустил руку в карман, вытащил кистень и приготовился пустить его в ход.

— Рассказывай, — вздохнул Толстяк. — Я… я совсем забыл, что я хотел сказать.

— Чертовски забавная история… — совсем спокойно начал рассказчик. — Вы читали о Морском Волке… который…

— Так ведь не ты Морской Волк, — прервал его Бородач.

— Нет, сэр, — был злобный ответ. — Морской Волк умер недавно, не так ли? А я пока еще жив, да?

— Конечно, конечно, — согласился Бородач. — Года два назад он захлебнулся в грязи где-то в Виктории, работая на верфях.

— Когда я говорю… я не люблю, чтобы меня перебивали, — продолжал Брюс Кадоган Кавэндиш. — Дьявольски забавно в тех краях. Я был на Таки-Тики, низменном острове, который принадлежит к Соломоновым островам политически, но не геологически, так как Соломоновы острова — высокие. Этнографически же он принадлежит к Полинезии, Меланезии, Микронезии, потому что все племена Тихого океана тяготели к нему,

переправлялись на него на лодках и, смешиваясь, вырождались, — и вся эта накипь, поднятая из глубины человеческой бездны, выражаясь биологически, осела на Таки-Тики. Я знаю дно, о котором говорю.

Было страшно веселое время, когда я добывал раковины и трепанга, продавал железные крючки и топоры в обмен на копру и каменные орехи. Да, тогда даже на Фиджи было трудно жить: туземные вожди все еще ели человечину. На западе, на Соломоновых островах, маленькие черные люди с мохнатыми головами все до последнего были людоедами.

Все они охотились за головами. Головы, особенно белых, были в цене. За голову давали горшок с золотом и драгоценностями. Каждая деревня хранила такой горшок. Кто приносил голову белого человека, получал горшок. Если никто не приносил голов долгое время, то содержимое горшка увеличивалось до ужасающих размеров. Дьявольски забавно, не правда ли? Я сам получил такой горшок. У меня на шхуне умер от болотной лихорадки голландец штурман. Это случилось таким образом. Мы находились тогда на Ланго-Луи. Устроил дело не я сам, а Джонни, мой рулевой, дикарь из Мересби. Джонни отрубил

голову умершему штурману и снес ее ночью на берег, между тем как я стрелял в него из ружья, словно хотел убить. Джонни получил горшок за голову штурмана. Конечно, я послал за ним на берег людей под прикрытием двух лодок и взял его на борт вместе с добычей.

— А как велик был этот горшок? — спросил Бородач. — Я слышал, что на Ории попался горшок, в котором было восемьдесят соверенов.

— Прежде всего, — ответил Тощий, — там было сорок жирных свиней. Каждая из них оценивалась в сажень туземной монеты из ракушек, а сажень таких ракушек-монет стоит соверен. Вот вам уже двести долларов. Потом еще девяносто восемь сажен туземных монет-ракушек, что равняется почти пятистам долларам. Да еще двадцать два золотых соверена. Я разделил добычу на четыре части. Четверть дал Джонни, четверть судовой команде, четверть взял себе как собственник судна и четверть как шкипер. Джонни не возражал. У него никогда в жизни не было таких денег сразу. Кроме того, я дал ему две старых рубашки штурмана. А голова штурмана, должно быть, и до сих пор красуется в сарае для пирог.

— Не совсем христианские похороны для христианина, — заметил Бородач.

— Зато доходные похороны, — сострил Тощий. — Мне пришлось уступить акулам задаром его обезглавленное тело. Подумайте только — отдать акулам голову, стоящую восемьсот долларов! Это было бы безумием, преступлением.

Да, дьявольски забавно в тех краях! Я не стану рассказывать историю, в которую попал я в Таки-Тики. Отплыл я оттуда с двумя сотнями чернокожих для работы в Квинсленде. За тот способ, каким я их вербовал, два британских судна гонялись за мной по Тихому океану, так что я переменил свой курс и поплыл к западу, рассчитывая сдать всю партию на испанских плантациях на Бангаре.

Начался период бурь. Мы попали в тайфун. Шхуна наша носила название «Веселая Мгла». Пока она не попала в тайфун, мне казалось, что она несокрушима. Никогда не видел я таких волн. Они стерли это несокрушимое судно в порошок, буквально в порошок. Они выворачивали бревна, разбили в щепки шканцы, сорвали железные перила и, что самое худшее, разрушили обшивку. Нам едва удалось кое-как починить одну уцелевшую лодку и удержать на воде шхуну до тех пор, пока море немного успокоилось. Я быстро снарядил лодку, и мы с плотником последние

спрыгнули в нее. Шхуна пошла ко дну. Нас было четверо…

— А негры? — спросил Бородач.

— Кое-кто из них плыл некоторое время, — ответил Тощий. — Но вряд ли они достигли берега. Мы добрались до него через десять дней. Почти все время дул сильный ветер. А как вы думаете, что было у нас в лодке? Ящики с джином и ящики с динамитом. Смешно, не правда ли? Потом было еще забавнее. С нами был небольшой бочонок пресной воды, немного солонины и сухарей — всего этого могло хватить до Тагалаги.

Тагалаги — самый унылый остров, который я когда-либо видел. Вулканический конус, выброшенный из морской глубины, с глубоким кратером. В этот кратер есть доступ с моря. Получилась прекрасно защищенная гавань. Вот и все. Жизни там нет никакой. Стороны кратера — как внешняя, так и внутренняя — слишком круты. В одном месте на берегу растет около тысячи кокосовых пальм. Кроме двух-трех пород насекомых, ничего нет. Ни одного четвероногого, даже крысы. И как это смешно, что столько кокосовых пальм, и ни одного краба. Единственной живностью гавани были головли, плавающие стайками, — самые жирные, самые большие,

самые красивые, каких я когда-либо видел.

И вот мы четверо высаживаемся на таком берегу и раскладываем среди кокосовых пальм свое хозяйство, состоящее из ящиков с динамитом и джином. Неужто это не смешно? Смешно, говорю вам! Голландский джин и кокосовые орехи, и ничего больше. С того времени я не могу смотреть без отвращения на сласти, выставленные в витринах кондитерских. Я не так хорошо знаком с религиозными вопросами, как Чонсей Деляруз, но все же имею о них кое-какие примитивные представления. И когда думаю об аде, то он всегда представляется мне безграничной плантацией кокосовых пальм с разбросанными по ней ящиками с джином, населенной моряками, потерпевшими кораблекрушение. Смешно? Сам дьявол взвыл бы при виде этого!

Вы знаете, что чистый кокосовый орех земледельцы называют пищей, которая не дает равновесия, и действительно — он вывел из равновесия наши желудки. А потому, когда голод особенно сильно впускал в нас свои зубы, мы принимались за джин. Недели через две нашего матроса Олафа осенила некая мысль. Она пришла ему в голову, когда он был переполнен джином, и мы, будучи в том же состоянии, только наблю-

дали за тем, как он приготовил короткий фитиль и динамит, а затем зашагал к лодке.

Мне стало ясно, что он пошел бить рыбу. Солнце жгло нестерпимо, и я разлегся отдохнуть в надежде, что Олафа ждет удача.

Час спустя после его ухода мы услышали взрыв. Но Олаф не возвращался. Мы подождали до наступления вечерней прохлады, и тогда нашли на берегу то, что от него осталось. Лодка была цела, ветер ее прибил к берегу, но Олафа в ней не было. Ему уже не придется лакомиться кокосовыми орехами! Мы вернулись еще более удрученными и снова хватили джину.

На следующий день повар заявил нам, что он предпочитает попытать счастья с динамитом, чем поддерживать свое существование кокосовыми орехами. Мы дали ему патрон, вложили фитиль, нашли хорошую головешку, и он хватил на дорогу добрую порцию джина…

Программа была та же, что и вчера. Через некоторое время мы услышали взрыв, а в сумерки спустились на берег и вытащили из лодки останки повара, чтобы похоронить.

Мы с плотником крепились два дня. Затем бросили жребий: очередь была за ним. Расстались мы не очень-то по-доброму: он хотел взять с

собою джина, но я восстал против такого неумеренного расходования спиртного. Кроме того, он уже выпил гораздо больше того, чем следовало, и, уходя, выписывал вензеля и шатался из стороны в сторону.

Случилось то же самое. Только на этот раз мне пришлось похоронить целое тело, потому что повар пустил в дело половину динамитного патрона. Я терпел до следующего дня. А затем, подбодрив себя надлежащим образом, приготовил динамит для взрыва. Взял я только треть палочки — понимаете, короткую палочку с расщепленным концом, в который можно было вставить безопасную спичку. Таким образом, я усовершенствовал метод моих предшественников — они не употребляли спички, им приходилось иметь дело с большим фитилем. Следовательно, когда они замечали стайку головлей и зажигали фитиль, им надо было держать динамитную палочку в руках до тех пор, пока фитиль не доходил до самого динамита. Если они бросали палочку слишком рано, то она не взрывалась в тот момент, когда ударялась об воду, и плеск распугивал головлей. Забавная штука динамит! Во всяком случае, я настаиваю на том, что мой метод безопаснее.

Не проплыв и пяти минут, я выследил стайку

головлей. Рыба была большая, жирная, я уже чувствовал, какой у нее будет запах, когда я поджарю ее на огне. Когда я встал, держа спичку в одной руке, а динамитную палочку в другой, у меня затряслись колени. Может быть, это произошло от джина, а может быть, от волнения, слабости или голода, но во всяком случае я весь дрожал. Я дважды хотел зажечь спичку и не мог. Затем я зажег спичку головней.

Я не знаю, что случилось с другими, но знаю, что было со мной. Я растерялся. Случалось ли вам когда-либо, сорвав стебелек земляники, бросить ягоду, а стебелек машинально сунуть в рот? То же самое произошло со мной. Головешку я бросил в воду, палочку же динамита продолжал держать в руке. И моя рука отлетела вместе с палочкой, когда та…

Тощий поглядел, есть ли в жестянке от томатов вода для составления смеси, но воды в ней не оказалось. Он встал.

— Так-то, — зевнул он и пошел к речке.

Спустя несколько минут он вернулся, смешал должное количество грязной воды со спиртом и, медленно выпив смесь, стал мрачно и презрительно смотреть на огонь.

— Да… Но… — сказал Толстяк. — А что же было

дальше?

— Гм! — сказал Тощий. — Принцесса, конечно, вышла за меня замуж.

— Но ведь ты остался один и никакой принцессы не было… — отрывисто воскликнул Бородач, но, спохватившись, погрузился в неловкое молчание.

Тощий пристально, немигающим взором смотрел на огонь. Персиваль Дэланей и Чонсей Деларауз переглянулись. В торжественном молчании каждый своей единственной рукой свернул и завязал свой узелок. И молча, подняв узелки на плечи, оба они вышли из освещенного круга костра. Они молчали, пока не взобрались на железнодорожную насыпь.

— Ни один джентльмен не поступил бы так, — сказал Бородач.

— Ни один джентльмен не поступил бы так, — согласился Толстяк.

Красное божество

Чу! Опять густой звенящий звук! Проверяя по часам промежутки, через которые повторялся этот звук, Бэссет сравнивал его с трубой архангела. Стены городов, думал он, могли бы рухнуть от этого мощного, властного призыва. В тысячный раз он тщетно пытался определить природу и происхождение этого чудовищного раската, наполнявшего окрестности деревушки дикарей. Горное ущелье, из которого исходил грохот, звенело от громоподобных ударов; звуки росли, пока не заполонили собою все, не затопили землю, небо, воздух… Расстроенному, больному воображению Бэссета эти звуки казались могучим криком какого-то титана первозданного мира, воплем ярости и скорби. Выше и выше поднимался звук, повелительный, молящий, с такой силой и глубиной, что, казалось, он предназначался для чьего-то слуха за тесными пределами Солнечной системы. Слышался в нем и вопль протеста, и жалоба на то, что не было такого существа, чье ухо могло бы внимать этому призыву и понимать его.

Так казалось воображению больного человека, анализировавшего это явление. Звук был грозен,

как гром, нежен, как золотой колокол, сладостен и чист, как туго натянутая серебряная нить… Нет! Все не то! На языке Бэссета не было таких сравнений, таких слов, какими можно было бы передать характер этого звука.

Время шло. Минуты сливались в часы, а звуки не прекращались: они только меняли свою силу. Но вот, не получив нового толчка, звуки стали замирать — так же величественно, как возникали. Медленно, рыдание за рыданием, угасали они в огромной груди, которая породила их, — умирали с глухими стонами, точно пытаясь рассказать какую-то космическую тайну, сообщить что-то бесконечно важное и ценное. Они упали до намека на звук, утратили свой грозный характер и наконец прекратились. Но что-то трепетало в сознании больного человека, точно бился какой-то пульс в течение нескольких минут. Когда Бэссет уже ничего больше не слышал, он снова взглянул на часы.

Значит, тогда вдали была его темная башня, размышлял Бэссет, вспоминая свои скитания и глядя на свои изможденные лихорадкой руки. Месяцы или годы, спросил он себя, прошли с тех пор, как он услышал этот таинственный зов на берегу Рингману? Каким образом Бэссет спасся,

он сам не мог бы сказать теперь. Болезнь терзала его давно. Он знал, что прошло много месяцев, но не мог определить точно, как долго были периоды бреда и оцепенения. А что же случилось с Бэтменом, капитаном негритянского судна «Мари»? И умер ли, наконец, пьяный помощник капитана от белой горячки?

От этих бесплодных размышлений Бэссет перешел к восстановлению в своей памяти всего, что случилось с того дня, когда он впервые услышал звук и пошел по направлению к нему в джунгли. Сагава не пускал его. Он как сейчас видит перед собой это странное обезьянье личико, выражающее ужас, спину мальчика, обремененную различными вещами, свой сачок для ловли бабочек в его руке и охотничье ружье. Помнит, как Сагава бормотал на ужасном английском языке: «Там мой боится, там лес. Там много сидит плохой человек».

Бэссет грустно улыбнулся при этом воспоминании. Мальчик из Нового Ганновера боялся, но проявил большую преданность своему хозяину: без всякого колебания последовал за ним в чащу в поисках причины удивительного звука. Нет, это не выжженный древесный ствол, в который трубят при объявлении войны в глубине

джунглей, подумал тогда Бэссет. Однако его предположение, что источник или причина звука находятся не дальше часа ходьбы и что можно будет без труда вернуться к полудню, чтобы сесть на китобойную шхуну «Мари», оказалось ошибочным. «Этот большой шум нехорошо; там все черный, там будет плохо», — прибавил Сагава. И он был прав. Разве не отсекли ему головы в тот же день, содрогнулся Бэссет. Сагава, конечно, был съеден… Бэссет представил себе Сагаву таким, как видел его в последний раз, — без ружья и без всех припасов его хозяина. Сагава лежал на узкой дорожке, где он только что был обезглавлен. Да, все случилось в одно мгновение. За минуту перед тем, оглянувшись, Бэссет видел его терпеливо шагающим под своей ношей. Но и самому Бэссету пришлось плохо: он взглянул на безобразно залеченные обрубки первого и второго пальцев левой руки, а затем потер осторожно шрам на затылке. Так же стремительно, как был стремителен взмах томагавка с длинной ручкой, Бэссет отдернул тогда голову и отклонил удар поднятой вверх рукой. Два отрубленных пальца и глубокая рана на черепе были той ценой, которой он купил свою жизнь. Одним зарядом он убил дикаря, который чуть было не схватил его; затем

выстрелил в дикарей, наклонившихся над телом Сагавы, и увидел с радостью, что большая часть заряда попала в того, который отскочил с головой мальчика. Все разбежались; остались только он, Бэссет, убитый дикарь да останки Сагавы на узкой кабаньей тропе. Из темных джунглей не доносилось ни шороха, ни звука. Бэссет испытывал мучительное волнение: первый раз в жизни он убил человека; его мутило, когда он смотрел на свою жертву.

Затем началась охота. Бэссет отступал по кабаньей тропе, преследуемый охотящимися на него дикарями, не пропускавшими его к берегу. Сколько было преследователей, он не знал. Может быть, трое-четверо, а может быть — сто. Некоторые из них взобрались на деревья и шли по их вершинам, в этом он был уверен. Но он ничего не видел, кроме мелькания каких-то теней; не слышно было жужжания тетивы лука, а между тем каждую минуту, неведомо откуда, мимо него летели со свистом стрелы, ударялись в стволы деревьев, вонзались возле него в землю. Они были снабжены костяными наконечниками, оперены перышками колибри, переливавшимися, как драгоценные камни.

Однажды — даже теперь, после долгих дней,

минувших с тех пор, он засмеялся от радости при этом воспоминании — он заметил у себя над головой чью-то тень, которая мгновенно притаилась, как только он обратил на нее свой взгляд. Он ничего не мог разобрать, но, решив попытать счастья, выстрелил наугад крупной дробью. Мяукая, как разъяренная кошка, тень заметалась на ветвях деревьев, переплетенных вьющимися растениями, и грохнулась на землю у ног Бэссета, продолжая визжать от боли и ярости. Тень, оказавшаяся человеком, вонзила свои зубы в кожу крепкого дорожного сапога Бэссета. Но и он, в свою очередь, не стал выжидать и сделал другой ногой то, что прекратило мяуканье. С тех пор Бэссет так привык к жестокости, что снова засмеялся, вспомнив это.

Какая ужасная ночь последовала за этим страшным днем! Не удивительно, что он схватил такую злокачественную лихорадку, думал Бэссет, вспоминая бессонную мучительную ночь, когда боль от множества ран казалась пустяком по сравнению с укусами москитов, тучами носившихся над ним. Скрыться от них было некуда, зажечь огонь он боялся. Москиты напоили его тело ядом до такой степени, что при наступлении утра, когда он, спотыкаясь, побрел, как слепой (глаза

его почти закрылись от опухоли), он равнодушно соображал, скоро ли ему отрубят голову и, как Сагаву, зажарят. Двадцать четыре часа превратили его в развалину — развалину духом и телом. Он почти терял сознание от чудовищной дозы яда, которую он получил, но все же несколько раз метко стрелял из ружья в тени, преследовавшие его. Днем комары и другие насекомые увеличивали муки; его кровоточащие раны привлекали тучи отвратительных мух, они липли к телу, и он давил их десятками.

Однажды, когда Бэссет снова услышал дивный звук, он показался Бэссету более далеким, хотя и заглушал раздававшийся вблизи в кустах бой военных барабанов дикарей. Здесь-то Бэссет и допустил ошибку. Думая, что он сделал круг и что, следовательно, источник звука находится между ним и берегом Рингману, Бэссет пошел назад, по направлению к звуку, полагая, что он приближается к берегу. В действительности он все глубже и глубже забирался в таинственные дебри неведомого острова. В ту же ночь, приютившись среди переплетенных корней банана, он заснул от истощения, отдав себя в полное распоряжение москитов.

Следующие дни и ночи смутно мелькали в

его сознании как кошмар. Одна картина ярко запечатлелась в памяти. Он вспомнил ее теперь. Он внезапно очнулся в лесной деревне и увидал убегавших в джунгли стариков и детей, испуганных его появлением. Убежали все, кроме одного. Чей-то стон, похожий на стон раненого или испуганного зверя, послышавшийся вблизи, поразил его. Взглянув вверх, он увидел ее… девушку или юную женщину, висевшую на дереве под палящим солнцем. Женщина была привязана к ветке за одну руку. Может быть, она висела так уже несколько дней. Ее высунутый, распухший язык был доказательством, что так, вероятно, и было на самом деле. Она смотрела на него глазами, полными ужаса. Помощь невозможна, подумал он, когда заметил опухоли на ее ногах: очевидно, ноги были переломаны в нескольких местах. Он решил застрелить ее… и на этом видение обрывалось. Он не мог вспомнить, выстрелил ли он в девушку или нет, так же как не мог вспомнить, каким образом попал он в ту деревню и как из нее выбрался.

Много картин возникало и исчезало в сознании Бэссета, когда он вспоминал этот период ужасных странствований. Вспомнил он «захваченную» им другую деревню, состоявшую из двенадцати

домов. Все жители деревни убежали от его выстрела, кроме одного старика, ноги которого уже не могли двигаться. Старик плевал на Бэссета, хныкал и рычал, когда Бэссет разрывал земляную печь и вытаскивал оттуда жареного поросенка, завернутого в зеленые листья, от которых шел пленительный запах. Именно здесь, в этой деревушке, его охватила необузданная жестокость. Окончив пир и готовясь уйти с поросячьим окороком в руке, он поджег камышовую крышу дома зажигательным стеклом.

Но ярче всего запечатлелись в памяти Бэссета зловещие и мрачные джунгли. Они были точно насыщены каким-то злом. Там всегда царил сумрак. Солнечный луч редко проникал сквозь ветви деревьев в густую зелень лиан, переплетавших ветви; все это — ветви, лианы, другие вьющиеся растения — образовывало крышу, находившуюся на высоте ста футов над головой. А над этой крышей была еще воздушная пелена растительности, чудовищная бахрома из растений-паразитов, питающихся соками деревьев. И он шел среди этого зеленого сумрака все дальше и дальше, вечно преследуемый мелькающими тенями людоедов, духов зла, которые не смели вступить с ним в открытый бой, но хорошо знали,

что рано или поздно они съедят его. Бэссет помнил, что по временам, в минуты просветления, он сравнивал себя с раненым быком, которого преследуют степные волки, слишком хитрые, чтобы вступать с ним в открытую борьбу, и вместе с тем уверенные в его неизбежном конце, когда они смогут спокойно насытиться его мясом. Как рога и твердые копыта быка страшили волков, так и его ружье не позволяло мрачным дикарям острова Гвадалканара (одного из Соломоновых островов) приблизиться к нему.

Наступил день, когда Бэссет достиг равнин, покрытых травой. Джунгли резко обрывались, точно отсеченные мечом какого-то божества. Отвесная черная стена джунглей поднималась ввысь на сто футов. И тотчас же за этой стеной, у самой опушки, росла трава, — мягкая, нежная трава, которая усладила бы глаз землепашца и его стад, расстилалась зеленым бархатным ковром на много-много миль вдаль, до самого горного кряжа, вскинутого вверх какой-то древней катаклизмой. Но что это была за трава! Бэссет прополз по ней шагов двенадцать, спрятал в нее лицо, вдыхал ее аромат и, наконец, разразился рыданиями. И в то время как он плакал, дивный гром загремел опять, если только словом «гром»

можно дать понятие о таком огромном и вместе с тем мягком, тающем звуке. Он был нежен, как ни один звук из когда-либо слышанных Бэссетом, и был так силен, звучен и могуч, что можно было подумать, будто он исходит из бронзовой груди какого-то чудовища. И все же он через пространство безбрежных саванн приносил благословение страждущей, измученной душе Бэссета.

Бэссет вспоминал теперь, как он лежал в траве с мокрым от слез лицом, прислушивался к странному звуку и удивлялся тому, что он мог услышать его на берегу Рингману. Какая-то прихоть воздушных давлений и течений, рассуждал он, сделала возможным то, что звук залетал так далеко. Такие благоприятные условия могли не повториться в течение тысячи или даже десяти тысяч дней. И как раз в тот день, когда он вышел на берег с негритянской шхуны «Мари», звук был слышен в течение нескольких часов сряду. Бэссет был занят поисками знаменитой гигантской тропической бабочки, распростертые крылья которой равнялись одному футу, бархатной и сумрачной, как сами джунгли. Бабочка имела обыкновение садиться на вершинах деревьев, и ее можно было достать, только выстрелив в нее дробью. Для этого Сагава и нес за Бэссетом

ружье.

Два дня и две ночи Бэссет полз через равнину, покрытую травой. Он испытывал большие страдания, хотя преследование кончилось на границе джунглей. Он умер бы от жажды, если бы проливной дождь не напоил его на второй день.

А потом явилась Баллата. В первом тенистом месте, там, где саванна переходит в густые нагорные джунгли, он упал, чтобы умереть. Сначала Баллата завизжала от радости при виде его беспомощности и приготовилась размозжить ему череп крепким суком. Но, может быть, эта же беспомощность тронула ее, а может быть, ее руку задержало человеческое любопытство. Во всяком случае, открыв глаза в ожидании неизбежного удара, Бэссет увидел, что женщина пристально его рассматривает. Особенно поразили ее его голубые глаза и белая кожа. Она спокойно села, поджав под себя ноги, плюнула ему на ладонь и стала соскребать с его руки ногтями грязь — грязь джунглей, от которой почернела его кожа.

Все в этой женщине поражало Бэссета. Он тихо засмеялся при воспоминании о ней — по части одежды она была так же невинна, как Ева перед тем, как закрылась фиговым листом. Худая и в то же время коренастая, с непропорционально

развитыми членами, с мускулами, похожими на канаты, с детства измазанная грязью, которая смывалась только случайными ливнями, она была самым безобразным прообразом женщины, какую он когда-либо видел как ученый, изучавший различные дикие племена. Ее грудь свидетельствовала о ее зрелости; единственным ее украшением — это была дань ее полу — был свиной хвостик, продетый в мочку уха. Хвостик был отрублен недавно и еще не успел засохнуть, из него сочилась кровь, которая, капая, застывала на плече женщины, как капли стеарина, падающие со свечки. А ее лицо! Увядшие, обезьяньи черты, приплюснутый, монгольский нос, рот, точно спрятанный под огромной верхней губой, срезанный подбородок, злые косые глаза, мигающие, как у обезьяны в клетке!

Даже вода, которую она принесла ему в древесном листе, даже кусок испорченной свинины не могли смягчить ее обезьянье безобразие. Выпив воду и проглотив несколько кусков мяса, Бэссет закрыл глаза, чтобы не видеть ее, хотя она насильно раздвигала ему веки и любовалась его синими глазами. Затем опять послышался звук. Бэссет понял, что теперь источник звука ближе, гораздо ближе, чем был раньше; но вместе с тем

он хорошо знал, что до него нужно было идти еще много часов. На Баллату звук произвел большое впечатление. Она вся съежилась и застонала; зубы ее стучали от страха. После того как звук затих, прозвучав полным тоном целый час, Бэссет закрыл глаза и заснул, а Баллата отгоняла от него мух.

Когда он проснулся, была ночь, и Баллаты не было. Чувствуя в себе прилив новых сил — он был искусан москитами так сильно, что уже перестал воспринимать их яд, — он закрыл глаза и проспал крепким сном до восхода солнца. Вскоре после его пробуждения явилась Баллата с несколькими женщинами, которые, хотя и были некрасивы, все же были красивее ее. По всему поведению Баллаты было видно, что она считает Бэссета своим найденышем, своей собственностью, и та гордость, с которой она показывала его своим подругам, была бы забавна, если бы положение Бэссета не было так отчаянно.

Позднее, когда он после перехода, показавшегося ему чрезвычайно тяжелым и продолжительным, упал перед священной хижиной, под сенью хлебного дерева, Баллата проявила много изобретательности, настаивая на своем праве распоряжаться своей находкой. Нгурн, которо-

го Бэссет должен был узнать впоследствии как хозяина священной хижины, знахаря и жреца, требовал его головы. Прочие же обезьяны-люди, скалящие зубы, все такие же голые и звероподобные, как Баллата, требовали себе Бэссета, чтобы зажарить его на очаге. В то время Бэссет не понимал еще их языка, если можно назвать языком те однообразные звуки, которые издавали дикари, чтобы выразить свои мысли. Но Бэссет отлично понял суть их спора, особенно тогда, когда эти люди стали тыкать в него палками и щупать его, точно он был товаром на прилавке мясника.

Баллата, видимо, не могла отстоять свою добычу, но вдруг случилось следующее происшествие. Один из дикарей, с любопытством разглядывая ружье Бэссета, взвел курок и дернул собачку. Ружье отдало, и дикарь получил удар в живот, но это было не все: заряд дроби попал в голову одного из крикунов, стоящего на расстоянии ярда от хижины.

Даже Баллата обратилась в бегство вместе с прочими, а прежде чем дикари вернулись, Бэссет схватил свое ружье, хотя сознание его уже мутилось от начинавшегося приступа лихорадки. Когда дикари снова собрались около Бэссета, он, несмотря на то что зубы его стучали от озноба,

глаза застилались слезами, усилием воли сохранил сознание, пока ему не удалось навести страх на дикарей простыми чарами своего компаса, часов, зажигательного стекла и спичек. Наконец, убив выстрелом из ружья поросенка, Бэссет потерял сознание.

Бэссет напряг мускулы руки, желая узнать, сохранилась ли в них хоть крупица силы, и медленно и вяло поднялся на ноги. Он был до ужаса худ и истощен. Но все же за эти долгие месяцы болезни, с короткими промежутками, похожими на выздоровление, ни разу в нем не было такого подъема сил, как сейчас. Он боялся, как бы за этим не последовал полный упадок, такой, какие он уже не раз испытывал. Без всяких лекарств, даже без хины, он все же еще боролся с жестокими приступами злокачественной болотной лихорадки. Но хватит ли у него сил бороться с ними дальше? Таков был его вечный вопрос. Ему, как истинному ученому, тяжело было бы умереть, не открыв тайны странных звуков. Опираясь на палку, он сделал несколько шагов к священной хижине, где царствовали во мраке смерть и Нгурн. По мнению Бэссета, хижина Нгурна была почти так же темна, зловеща и зловонна, как сами джунгли. Но в ней всегда можно было найти приветливого,

словоохотливого старого друга Нгурна, готового поболтать и поспорить, сидя среди пепла смерти и умело поворачивая в дыму человеческие головы, висевшие на балках. В краткие промежутки между приступами болезни, когда сознание возвращалось к нему, Бэссет преодолел трудности языка дикарей и постиг несложную душу племени Нгурна, Баллаты и Вгнгна, молодого вождя с яйцевидной головой, который находился в подчинении у Нгурна и который — так гласила молва — был сыном Нгурна.

— Будет ли Красный говорить сегодня? — спросил Бэссет, настолько привыкший к ужасному занятию старика, что не проявлял уже ни малейшего интереса к копчению голов.

Глазами знатока Нгурн рассматривал голову, над которой работал.

— Десять дней пройдет, пока я смогу сказать «кончено», — пробормотал он. — Никогда ни один человек не коптил еще таких голов.

Бэссет усмехнулся про себя, видя нежелание старика говорить с ним о Красном. Так было всегда. Никогда, ни при каких обстоятельствах ни сам Нгурн, ни какой-либо дикарь из этого племени не давали ответов на вопросы о физических свойствах Красного божества. Чтобы

издавать свои удивительные звуки, божество это должно было обладать физическими свойствами. Хотя его все называли «Красным», Бэссет не был вполне уверен, что словом «Красный» обозначался именно его цвет. Но кроваво-красными были деяния, о которых Бэссета уже хорошо осведомили. Как сообщил ему Нгурн, Красный был не только более жесток, чем боги соседних племен, и вечно жаждал красной крови живых человеческих жертв, но даже и сами эти боги подвергались мукам и приносились ему в жертву. Он был богом двенадцати союзных деревень, а деревня, где жил Нгурн, являлась центром и местопребыванием главной власти всех племен. По воле Красного божества много чужих деревень было опустошено и стерто с лица земли, а пленники принесены Красному божеству в жертву. Таковы были деяния Красного в наши дни, но то же было и раньше; рассказы о прежних жестокостях передавались изустно от поколения к поколению. Нгурн был совсем молодым, когда племена, жившие за лугами, внезапно напали на его деревню. В ответном нападении Нгурн и его воины захватили много пленных. Одних детей истекло кровью перед Красным более ста, мужчин же и женщин много-много больше.

«Гремящий» было другое имя, которым Нгурн называл таинственное божество. Иногда же его называли — Громко-Кричащий, Поющий-как-птица, Колибри, Поющий-как-солнце, Рожденный Звездами.

Почему — Рожденный Звездами? Напрасно Бэссет расспрашивал об этом Нгурна. По словам страшного старого знахаря, Красный всегда был там, где он находится теперь, вечно выражая пением и громом свою власть над людьми. Но отец Нгурна, еще и сейчас висящий на закопченной балке священной хижины, завернутый в циновку из сухой травы, думал в свое время иначе. Этот мудрец полагал, что Красный родился от звездной ночи, иначе зачем бы — таково было его доказательство — жившие прежде, забытые люди стали называть его Рожденным Звездами? Бэссет не мог не признать известной убедительности за таким доказательством. Но Нгурн утверждал, что за свою долгую жизнь он наблюдал немало звездных ночей, но никогда не находил он звезды — ни в степях, ни в джунглях, — похожей на Красного, хотя и искал такую. Правда, он видел падающие звезды, — это он сказал на возражение Бэссета, — но в темные ночи он замечал также свечение гнилых пней и тухлого мяса, яркий

блеск светлячков и пламя костров. Куда же исчезал огонь, блеск и сияние, после того как они потухали? Ответ: о них оставалось воспоминание как о вещах, переставших существовать, подобно воспоминаниям о бывших любовных наслаждениях, о прежних пирах, о желаниях, ставших отзвуками прежних желаний, но не воплощенных в предметы.

Нет, Красное божество не было звездой, упавшей с неба, говорил Нгурн. За всю долгую жизнь Нгурна ночное звездное небо не изменилось, ни разу он не заметил, чтобы хоть одна звезда исчезла со своего места; кроме того, звезды были огнем. Красный же не был огнем. Эта последняя невольная обмолвка, однако, ничего не разъяснила Бэссету.

— Красный будет говорить завтра? — допытывался Бэссет.

Нгурн пожал плечами.

— А послезавтра?.. А после послезавтра? — настаивал Бэссет.

— Мне хотелось бы прокоптить твою голову, — переменил предмет разговора Нгурн. — Она не похожа на другие головы. Ни один знахарь еще не коптил такой головы. Я прокоптил бы ее как можно лучше. Я употребил бы на это мно-

го месяцев. Луны приходили бы и уходили бы, дым поднимался бы медленно-медленно; я сам собирал бы травы для обкуривания. На коже не появилось бы ни одной морщинки. Она осталась бы такой же гладкой, как и теперь.

Он встал и снял с одной из темных балок, почерневших от дыма, обкуривавшего бесчисленные головы, мешок из циновки и открыл его.

— Вот голова, похожая на твою, — сказал он, — но она плохо прокопчена.

Бэссет насторожился при этих словах: быть может, голова принадлежала белому человеку. Он давно пришел к заключению, что обитатели джунглей, живущие в середине большого острова, никогда не вступали в сношения с белыми. Они понятия не имели даже о том исковерканном английском языке, на котором говорят жители Юго-Западного Тихого океана. Они не знали, что такое табак и порох. Их немногочисленные ножи, которыми они очень дорожили, сделанные из железного обруча, и еще более ценные для них томагавки, отточенные дешевые топоры, по его догадкам, были отняты дикарями во время войны у бушменов, живущих в джунглях за лугами, а те в свою очередь получили их тем же путем от жителей кораллового побережья, имевших

изредка сношения с белыми.

— Люди, которые живут далеко-далеко, не умеют коптить головы, — объяснил старый Нгурн, вынимая из грязной циновки и подавая Бэссету то, что, безусловно, было головой белого. Об этом свидетельствовали, прежде всего, русые волосы. Бэссет готов был поклясться, что голова принадлежала англичанину, и притом англичанину прошлого столетия: доказательство — серьги из тяжелого золота, все еще висевшие на мочках высохших ушей.

— А вот твоя голова… — начал знахарь разговор на излюбленную тему.

— Вот что, — перебил Бэссет, пораженный новой мыслью. — Когда я умру, возьми себе на сохранение мою голову, но зато дай мне прежде посмотреть на Красного.

— Когда ты умрешь, я все равно возьму твою голову, — сказал Нгурн. Затем прибавил с жестокой откровенностью дикаря:

— Ты не проживешь долго. Ты уже и сейчас почти мертвец. Ты скоро совсем ослабеешь. Немного месяцев пройдет, и твоя голова будет вертеться здесь, в этом дыму. Я буду ее поворачивать и поворачивать. Приятно в долгие дни сидеть и перевертывать в дыму голову того, кого хорошо

знал, как я знаю тебя. И тогда я буду беседовать с тобой, поведаю тебе много тайн, о которых ты меня расспрашивал. Тогда это не будет опасно — ты будешь мертв.

— Нгурн, — угрожающе сказал Бэссет, охваченный внезапным гневом. — Тебе известен громобойный младенец (так называли дикари страшное охотничье ружье Бэссета)? Я могу убить тебя в любую минуту — и тогда ты не получишь моей головы!

— Все равно, ее получит тогда Вгнгн или кто-нибудь другой из моего племени, — невозмутимо ответил Нгурн. — Все равно она будет поворачиваться здесь, в этой хижине, в дыму; чем скорее ты убьешь меня твоим громобойным младенцем, тем скорее голова твоя будет вертеться здесь в дыму.

И Бэссет понял, что в этом споре он побежден.

Но что же такое это Красное божество, в тысячный раз спрашивал себя Бэссет в течение следующей недели, когда он, как ему казалось, продолжал поправляться. И откуда рождались эти звуки? Кем и чем было оно, таинственное божество, это Поющее Солнце, которому поклонялись чернокожие, жестковолосые, звероподобные люди и чей нежно-серебристый голос

Бэссет так часто слышал почти рядом с хижиной Нгурна?

Ему не удалось подкупить Нгурна: тот уверен, что все равно получит его голову, как только он умрет. На Вгнгна рассчитывать нечего — он глуп, совершенно бессилен и находится в полном подчинении у Нгурна. Оставалась Баллата; с того времени, как она нашла Бэссета и увидела его голубые глаза, она всячески выказывала ему свое обожание. Она была женщиной, и Бэссет знал, что единственный способ проникнуть в тайну Красного божества — это подействовать на сердце женщины: тогда женщина изменит своему племени. Но Бэссет был брезглив. Он не мог отделаться от чувства отвращения, вызванного в нем безобразием Баллаты при первом же взгляде на нее. Даже в Англии он никогда не подпадал под власть женских чар. Но теперь с решимостью, на какую способен только мужчина, готовый на всякие муки, ради научного открытия подавляя в себе свое отвращение, Бэссет стал покорно выносить внимание отвратительной дикарки.

Пересиливая тошноту, он обнимал заскорузлые от грязи плечи Баллаты, но когда он почувствовал однажды прикосновение к своему лицу ее толстых, как веревки, маслянисто-курчавых волос,

то чуть не вскрикнул от гадливости. Баллата при малейшей ласке его гримасничала, бормотала что-то невнятное, издавала странные звуки, похожие на хрюканье, выражающие блаженство. Это было невыносимо! И следующее, что он решил сделать в виде особого расположения к ней, — это повести ее в ручей и как следует выкупать.

С этого дня он посвятил себя ей. Точно верный возлюбленный, он подолгу оставался с ней, пока хватало силы воли превозмочь чувство отвращения. Но от бракосочетания, которое она желала совершить по всем обрядам своего племени, он все-таки уклонялся.

К счастью, обычай табу твердо соблюдался этим племенем. Нгурн не должен был прикасаться к костям, мясу или коже крокодила. Это было ему запрещено при самом рождении. Вгнгну — было запрещено прикасаться к женщине. Если бы такое осквернение случилось, оно могло бы быть смыто лишь смертью женщины, осквернившей вождя своим прикосновением. Однажды — это было уже при Бэссете — девятилетняя девочка, играя, поскользнулась и упала на священного вождя. Никто не видел с тех пор этой девочки. Баллата шепотом рассказывала Бэссету, что три дня и три ночи девочка умирала перед Красным

божеством. Для Баллаты под запретом были плоды хлебного дерева, чему Бэссет искренно был рад. Что, если бы ей была запрещена вода!

Бэссет выдумал запрет и для себя: он сказал, что может жениться только тогда, когда созвездие Южного Креста достигнет высшей точки на небе. Зная астрономию, он высчитал, что таким образом получал отсрочку почти на девять месяцев. Бэссет был уверен, что за это время он или умрет или сумеет убежать из плена, узнав все о Красном божестве и о его удивительном голосе.

Сперва Бэссет думал, что Красный — это гигантская статуя, вроде колосса Мемнона, издающая звуки при известном состоянии атмосферы и при солнечном свете. Но он отказался от этой гипотезы, когда, после одного военного набега под предводительством Вгнгна, была приведена партия пленных в дождливую ночь и немедленно принесена в жертву Красному божеству, пение которого слышалось громче обычного.

В обществе Баллаты, а иногда и с другими мужчинами и женщинами, ему дозволялось свободно бродить по джунглям. Но та часть леса, где находилось жилище Красного божества, была для него запретной. Он все больше и больше ухаживал за Баллатой, следя за тем, чтобы она как можно

чаще купалась. Она была истинной женщиной, готовой на все ради любви. И хотя вид ее вызывал в нем чувство омерзения, а прикосновение ее приводило в отчаяние, хотя ее безобразный образ преследовал его в кошмарных сновидениях, он все же чувствовал в ней ту вечную женственность, ту силу, которая воодушевляла ее и делала для нее собственную ее жизнь менее ценной, чем счастье ее возлюбленного, с которым она надеялась соединиться. Джульетта и Баллата? Была ли, в сущности, разница между ними? Нежный, утонченный продукт западной цивилизации и грубый прототип Джульетты, живший за сто тысяч лет до нее? Различия между ними не было.

Бэссет был прежде всего ученым и для науки мог забыть о гуманности. В самом сердце джунглей, на острове Гвадалканаре, он наблюдал Баллату так, точно производил какой-нибудь химический опыт в своей лаборатории. Он усиливал проявления своей притворной страсти к дикарке и этим все больше и больше подчинял ее себе. Наконец он потребовал, чтобы она исполнила его желание: показала бы ему путь к Красному божеству. Это старая история, рассуждал он, расплачиваться всегда должна женщина. Требование было высказано, когда они ловили в

реке какую-то безымянную мелкую черную рыбку с золотисто-оранжевой икрой (рыбка эта редко заплывала в пресные воды и считалась тонким кушаньем). Баллата, бросившись на грязную землю, обняла его ноги и стала целовать их, издавая мурлыкающие звуки, от которых у Бэссета стыла кровь в жилах, — Баллата просила убить ее, но не требовать от нее такой большой платы за любовь. Она рассказала ему, что того, кто нарушит запрет и увидит Красное божество, ждет страшная кара — неделя пыток, подробности о которых она, плача, рассказывала ему, уткнув лицо в грязь. Он понял, что является новичком в науке о том, как страшно может человек истязать человека.

Однако Бэссет настоял, чтобы его воля — воля мужчины — была выполнена, несмотря на всю опасность этого выполнения для женщины. Баллата должна помочь ему узнать тайну Красного божества, хотя бы ей грозила медленная, страшная, мучительная смерть. И Баллата, будучи только женщиной, уступила. Она повела его в запретную область.

Крутая гора уступами спускалась с севера навстречу другой такой же горе; между горами лежало глубокое, мрачное ущелье. Дорога около мили шла по ущелью, а затем круто поднималась

в гору. Они подошли к отложению известняка, привлекшего к себе внимание Бэссета как геолога. Карабкаясь дальше, с частыми остановками из-за слабости Бэссета, они взобрались на лесистую вершину, затем вышли на голое плоскогорье. Бэссет увидал, что оно покрыто черным вулканическим песком; он знал, что пластинкой магнита, лежавшей у него в кармане, можно притянуть несколько зерен песку, по которому он шел.

Взяв Баллату за руку, он повел ее вперед — к той страшной бездне, очевидно созданной искусственно, которая находилась посередине плоскогорья. Древняя история плавания по южным морям, десятки дат и событий быстро пронеслись у него в голове. Мэндана, открывший эти острова и назвавший их «Соломоновыми», полагал, что именно здесь находились знаменитые копи царя Соломона. Над детской доверчивостью старого мореплавателя смеялись. И вот теперь он сам, Бэссет, стоит здесь на краю пропасти, которая очень похожа на алмазные копи Южной Африки.

Но то, что он увидел там, в этой пропасти, не было алмазом, скорее это была жемчужина с радужным отливом. Однако жемчужины всего

мира и всех времен, слитые в одну, не могли бы сравниться с этой по величине. Да и цвет ее не вполне был похож на цвет жемчуга или какого-либо драгоценного камня — это был совершенно особый цвет, цвет Красного божества. Бэссет понял, что пред ним само Красное божество. Он увидел шар футов двухсот в диаметре; верхний полюс его находился футов на сто ниже края обрыва. Бэссету поверхность шара напомнила полировку. Он даже решил, что шар покрыт лаком, наведенным человеческой рукой, но лаком столь чудесно-сложным, что, конечно, не бушмены изготовили его. Это был красный лак, ярчайший, вишнево-красного оттенка; казалось, будто один красный слой наложен на другой. Шар горел и переливался на солнце всеми цветами радуги, точно из-под бесчисленных красных покровов исходило сияние…

Напрасно Баллата упрашивала Бэссета не спускаться в пропасть. Она падала ниц в грязь, умоляя его остановиться. Но когда он все же пошел вниз по дорожке, извивавшейся по стенам огромного оврага, она последовала за ним, рыдая и дрожа всем телом.

Красный шар был вырыт из земли, как драгоценность, — это было очевидно. Принимая во

внимание малочисленность жителей, составлявших союз деревень, и примитивность их орудий, Бэссет понимал, что только трудом бесчисленных поколений могла быть вырыта эта глубокая яма, в которой лежал шар.

Он увидел, что дно ее устлано человеческими костями; тут же валялись каменные и деревянные идолы, обезображенные и изуродованные. Некоторые из них были вырезаны из стволов деревьев сорока и пятидесяти футов длиной и покрыты непристойными рисунками. Он заметил отсутствие изображений акулы и черепахи, весьма часто встречающихся на различных предметах у жителей прибрежных деревень этого острова, и был крайне изумлен, увидя изображение шлема. Откуда могли знать о шлемах эти дикари? Здесь, в мрачных недрах Гвадалканара… Носили ли шлемы воины Мэнданы, проникшие сюда столетие назад? И если нет, то откуда дикие племена заимствовали изображение шлема?

Идя по разбитым и изуродованным идолам и костям, Баллата рыдала, следуя за Бэссетом по пятам. Бэссет вошел в тень Красного божества и приблизился к нему настолько, что мог дотронуться до его поверхности кончиками пальцев. Нет, это не был лак. Поверхность не была такой

гладкой, какой была бы, будь она отполирована. Наоборот, она была морщиниста, на ней были борозды и углубления; там и сям виднелись пятна, свидетельствовавшие о плавке. Значит, шар был сделан из металла, не похожего ни на один металл или сплав металлов, известных Бэссету. Что касается до его окраски, то, по мнению Бэссета, она не была искусственной — это был цвет, присущий самому металлу.

Бэссет провел кончиками пальцев по поверхности шара и почувствовал, что громадный шар вдруг зазвучал, затрясся, задрожал, как живой. Невероятно! От легчайшего прикосновения звучит такая огромная масса! Шар трепетал под лаской его пальцев ритмическими вибрациями, и вибрации эти превращались в шепот, вздохи, тихие звуки. Этот звук совсем не походил на прежние — он был так тонок, что казался мерцающим; так нежен и головокружительно сладостен, как будто прозвучал отдаленный рожок лесных эльфов; он был подобен, решил Бэссет, звону небесных колоколов, который достиг земли, пронесясь через межпланетное пространство.

Бэссет вопросительно взглянул на Баллату; голос Красного божества заставил ее упасть со стенанием среди костей. Бэссет снова погрузился

в созерцание чуда. Шар пуст внутри и сделан из неизвестного нам металла, заключил он. В старые времена шар справедливо называли Рожденным Звездами. Только от звезд мог он сойти сюда. Он был созданием высокого искусства и знания. Такое совершенство формы не могло быть результатом простой случайности. Несомненно, он был детищем каких-то умов, работавших над металлами. Бэссет, потрясенный, смотрел на шар и готов был принять его за чудесное светило, блуждавшее сначала среди звезд, зарывшееся затем в недра земли и открытое благодаря труду людоедов. Не произошел ли его цвет от действия огня на какой-нибудь металл? Бэссет тронул поверхность шара кончиком своего перочинного ножа, чтобы узнать состав материала. Мгновенно весь шар зазвучал могучим ропотом, полным глубокого протеста, зазвенел почти золотым звоном, — если только ропот можно уподобить звону, — который, поднимаясь и опускаясь двумя волнами звуков, грозил сомкнуть круг и слиться в оглушительный гром, так часто слышанный Бэссетом. Забывая о том, что он рискует жизнью, охваченный чувством удивления перед непонятным и непостижимым, Бэссет поднял нож, чтобы ударить по поверхности шара изо всей силы, но

Баллата помешала ему. Она бросилась на колени, умоляя его не делать этого, и в порыве безумия, желая как-нибудь подействовать на него, схватила свою руку зубами и прокусила ее до кости.

Он почти не обратил внимания на ее поступок, но все-таки отодвинулся от шара и спрятал нож. Перед этим знаменем высшей жизни из далеких звездных миров человеческая жизнь казалась ему ничтожной. Толчком ноги, точно это была собака, он заставил безобразную маленькую дикарку встать и идти с ним дальше вокруг шара. Пройдя часть пути, он увидел нечто страшное. Среди многих человеческих останков он узнал высохший на солнце труп девятилетней девочки, случайно нарушившей табу вождя Вгнгна.

Продолжая идти вокруг шара по костям и изображениям богов и людей, Бэссет наткнулся на сооружение, посредством которого Красное божество посылало свой громкий клич через джунгли и равнины к отдаленным берегам Рингману. Это сооружение было настолько же просто и первобытно, насколько сложно и совершенно было строение Красного божества. Огромная балка, длиной футов в полтораста, в течение веков охраняемая суеверным культом, украшенная изображениями богов в шлемах, висела на

веревках, сплетенных из вьющихся растений, спускающихся от верхушки треножника. Этот треножник был сделан из трех огромных древесных стволов, которые тоже были украшены скалящими зубы изображениями божков. По сторонам балки-тарана свисали веревки, посредством которых таран можно было раскачивать и ударять им огромный, отливающий цветами радуги шар.

Здесь Нгурн совершал богослужение для двенадцати деревень. Бэссет вдруг засмеялся почти безумным смехом при мысли, что этот чудесный глашатай других миров попал в селение дикарей и что его обожали обезьяноподобные существа, употреблявшие в пищу человеческое мясо и охотившиеся за человеческими головами…

Медленно текли недели. Ночи Бэссет проводил в доме жреца, на усыпанном пеплом полу, под вечно качающимися в дыму головами. Бэссет выбрал это место для ночевок потому, что на доме жреца лежало табу для женщин, а следовательно, дом этот являлся для Бэссета убежищем от Баллаты — она становилась все настойчивее и опаснее по мере того, как Южный Крест поднимался на небе, а значит, приближался день свадьбы. Днем же Бэссет качался в гамаке, под тенью большого

хлебного дерева перед хижиной жреца.

Такой порядок жизни Бэссета соблюдался не всегда, так как во время изнурительных приступов лихорадки он дни и ночи лежал в доме жреца. Он пытался превозмочь лихорадку, хотел жить, набраться сил к тому дню, когда ему придется совершить переход через равнину и через джунгли, чтобы достигнуть берега и поступить рабочим на какое-нибудь невольничье судно и вернуться в цивилизованный мир. Он расскажет там о вестнике иных миров, который лежит в самом сердце черного Гвадалканара, у звероподобных людей.

Иногда Бэссет проводил ночи, лежа под хлебным деревом и наблюдая, как медленно опускаются западные звезды за черную стену джунглей, в том месте, где была поляна, расчищенная для деревни. Он когда-то изучал астрономию и любил теперь давать волю своей болезненной фантазии, размышляя о жителях неведомых миров, о далеких, невероятно далеких солнцах… Он не мог представить себе границ для времени и для пространства. Никакие теории о радиоактивности не поколебали его твердого убеждения в том, что энергия неисчерпаема, а материя — неразрушима. Вечно были и вечно будут звезды на небе.

И несомненно, в этом космическом брожении все должно быть относительно однородно, иметь приблизительно одну субстанцию или субстанции. Все должно подчиняться одним и тем же законам, которые проходят ненарушимо сквозь весь опыт человека. Следовательно, — приводил он доводы и соглашался с ними, — жизнь должна быть достоянием всех Солнечных систем.

Он пытливо смотрел на звезды, лежа под хлебным деревом, и, очевидно, так же смотрели на звезды рассеянные по всей вселенной бесчисленные глаза, подобные его глазам. И так же, как его ум, другие бесчисленные умы искали объяснения строению вселенной. Размышляя так, он чувствовал, что его душа вступает в родство с безграничной, величественной вселенной, с тем множеством живых существ, глаза которых вечно смотрят на одну и ту же картину бесконечности.

Кто эти далекие высшие существа, которые послали с неба радужно-красного гиганта-вестника с его громоподобным голосом? Конечно, много времени прошло с тех пор, когда и они — эти высшие существа — проходили по той же тропе, на которую человек, живший на земле, — по календарю мироздания, — вступил так недавно.

И для того, чтобы быть в состоянии послать через бездны пространства своего вестника, они должны были уже достигнуть тех высот, к которым человек, в слезах и кровавом поту, во мраке заблуждений, медленно поднимается. И каковы эти существа на своих высотах? Достигли ли они блаженного братства? Или они признали, что закон любви только налагает проклятие слабости? Был ли беспощадный закон естественного подбора законом всего мира? И что было прежде всего и важнее всего? Не была ли их издревле приобретенная мудрость заключена в огромном металлическом сердце Красного божества, и сумеет ли человек на земле разгадать эту мудрость? В одном был уверен Бэссет: звучащий шар не был каплей красной росы, случайно упавшей с львиной гривы какого-нибудь далекого солнца. Этим чудесным шаром желали достигнуть какой-то цели: в нем был язык и мудрость звезд. Какие там, на звездах, таятся укрощенные стихии, какая мудрость, какие тайны? Этот таинственный огромный шар должен содержать в себе обширную историю глубоких исследований, выходящих за пределы самых смелых человеческих догадок. Если будут разгаданы таящиеся в нем законы и формулы, то, может быть, жизнь человеческая

на земле — индивидуальная и коллективная — вознесется на непостижимую высоту. Красное божество — это величайший дар времени слепому, неудовлетворенному, жаждущему неба человечеству. И для него, Бэссета, был уготован высокий удел — быть первым человеком, разгадавшим эту весть, прилетевшую от межзвездных его братьев.

Ни один белый, ни один туземец, не принадлежавший к племени Нгурна, никогда не видел Красного божества. Таков был закон, о котором Нгурн рассказывал Бэссету. Только человек, родившийся в их племени, мог увидеть Красное божество и остаться жить. А Бэссет видел…

Тайна Бэссета была известна только Баллате. Но она, разумеется, не выдаст его из страха, что и ее принесут в жертву Красному божеству. Бэссету нужно было только одно: избавиться от ужасной лихорадки, которая изнуряла его и мешала ему бежать из плена. Если бы он мог добраться до цивилизованных людей, он привел бы сюда экспедицию, и, хотя бы пришлось истребить все население Гвадалканара, он вырвал бы из сердца Красного божества весть других миров.

Но силы Бэссета таяли: все чаще и чаще повторялись изнуряющие пароксизмы лихорадки,

периоды спячки становились все продолжительнее, и он пришел к убеждению, несмотря на оптимизм, присущий его бурной натуре, что он никогда уже не проберется через равнины, не пройдет через джунгли и не достигнет моря. Он угасал по мере того, как поднимался Южный Крест; даже Баллата знала теперь, что он умрет до наступления дня свадьбы. Нгурн самолично собирал травы для предстоящего копчения головы Бэссета и с гордостью показал ему высокое совершенство своего нового изобретения, которое будет применено к Бэссету, когда он умрет. Бэссет относился равнодушно к мысли о смерти. Жизнь так долго и так медленно угасала в нем, что он уже не чувствовал страха перед неизбежным исчезновением. Но жизнь в нем все еще теплилась. Периоды беспамятства чередовались с периодами полусознания, и он спрашивал себя тогда, действительно ли он видел Красное божество или оно пригрезилось ему во время кошмара.

Но наступил день, когда мрак и туман рассеялись в голове Бэссета, и он почувствовал, что ум его ясен, как звон колокола, а тело необычайно слабо — он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Он почти не ощущал своего тела: оно едва цеплялось за его дух, а дух в краткие мгновения проясне-

ния сознавал, что мрак небытия близок. Бэссет понял, что конец неизбежен; он достоверно знал теперь, что видел Красное божество наяву, — видел этого вестника других миров, — и сознавал, что он умрет и не принесет миру вести — вести о Красном божестве, которое, может быть, ждало тысячи лет в недрах Гвадалканара, чтобы о нем узнали все люди на земле… Бэссет позвал к себе Нгурна и стал обсуждать со старым жрецом условия и способы выполнения его последнего желания, его последнего приключения на земле.

— Я знаю закон, Нгурн, — закончил Бэссет. — Тот, кто не принадлежит к племени, не может увидеть Красное божество и остаться жить. Но я и не останусь жить. Пусть твои юноши отнесут меня к Красному; я взгляну на него, услышу его голос и потом умру под твоей рукой, Нгурн. Тогда будет удовлетворено и мое желание, и закон, и твоя жажда как можно скорее получить мою голову, для копчения которой ты уже все подготовил.

На это Нгурн согласился:

— Да, так будет лучше. Неразумно больному человеку, который не может выздороветь, стараться продлить жизнь на какие-нибудь минуты. И для живущих лучше без такого больного. Ты в последнее время всем мешаешь. Конечно, мне

было приятно говорить с таким мудрецом, как ты. Но вот уже много лун, как мы мало говорим. А между тем ты в хижине голов занимаешь место, хрипишь, как издыхающая свинья, или говоришь много и громко на своем языке, которого я не понимаю. Этим ты меня смущаешь, а я люблю думать в тишине о великих вещах света и тьмы, когда поворачиваю головы в дыму. Ты нарушаешь мои размышления и мешаешь мне достигнуть последней мудрости, которую я должен понять, прежде чем умру. А тебе, на которого уже спустился мрак, лучше умереть скорее. Я обещал тебе, что в те долгие дни, когда я буду поворачивать твою голову в дыму, ни один человек из племени не придет мешать нам. И я поведаю тебе много тайн, ибо я стар и очень мудр, и я буду прибавлять мудрость к мудрости, когда буду поворачивать твою голову в дыму.

Были сделаны носилки, и Бэссета понесли шесть дикарей к его последнему маленькому приключению, которое должно было завершить собой большое приключение, именуемое жизнью. Он почти не ощущал своего тела, и даже боль прекратилась. Его ум стал ясным, мысль была остра, и его охватило состояние тихого экстаза. Он лежал на носилках и прощался с землей: в

последний раз он увидел хлебное дерево перед домом жреца, сумрачный день под густой крышей джунглей, мрачное ущелье среди горных теснин, плоскогорье, покрытое черным вулканическим песком. Его несли вниз по спиральной тропе, туда, где находилось Красное божество. Огромный шар, блестя и сияя, казалось, готов был каждую минуту претворить в звуки свой цвет и блеск. По костям истлевших жертв, по обрубкам идолов, мимо страшных останков людей, недавно принесенных в жертву Красному божеству, его несли к треножнику и огромному висячему тарану.

Здесь Бэссет, с помощью Нгурна и Баллаты, с трудом сел, слабо покачиваясь на носилках, и ясным, твердым, все отмечающим взором пристально посмотрел на Красное божество.

— Только раз, о Нгурн, — сказал он, не отводя глаз от сияющей, колеблющейся поверхности, на которой непрестанно играли вишнево-красные тени: они переходили в звук, порождали шелковистый шелест, серебристый шепот, золотистый звон струн, бархатистый свист эльфа, тающий отдаленный гром.

— Я жду, — проговорил Нгурн после долгой паузы, незаметно взяв томагавк с длинной рукояткой.

— Только раз, о Нгурн, — повторил Бэссет, — пусть Красное божество заговорит, чтобы я мог видеть, каким образом оно говорит. А когда я подниму руку и наклоню голову, ты ударишь меня томагавком по шее. Но, о Нгурн, уходя навеки в ночь, я хотел бы, чтобы дивный голос Красного усладил мой слух.

— Обещаю тебе, что никогда ничья голова не будет так хорошо прокопчена, как твоя, — заявил Нгурн, подав знак стоящим у столба людям взяться за веревки и раскачивать бревно. — Твоя голова будет самой большой платой за мой труд по копчению голов.

Бэссет улыбнулся в ответ на слова старика. В эту минуту огромный таран, отодвинутый назад на сорок футов, был вытолкнут вперед. В следующий момент Бэссета охватил восторг от грома, пронесшегося над ним. Но что это был за гром! Он был нежен, как звон драгоценнейшего металла; голоса ангелов слышались в нем; он был прекраснее всех звуков — это была весть с других планет, других Солнечных систем, это был голос Бога, пленительный и повелительный. И… О чудо межзвездного металла! Бэссет своими собственными глазами видел, как цвет и краска превращаются в звуки, как вся видимая поверх-

ность огромного шара содрогается, вспыхивает и струится не то красками, не то звуками… Он познал в этот момент слияние силы и материи.

Время шло. Наконец Бэссет был выведен из своего восторга нетерпеливым движением Нгурна. Он совсем забыл о старом жреце. Неожиданно у него мелькнула мысль, и он усмехнулся. Ружье лежало возле него на носилках. Достаточно было спустить курок, и Нгурн был бы мертв… Но зачем обманывать, — была следующая мысль Бэссета. Нгурн был людоедом, звероподобным, похожим на обезьяну существом, но старый Нгурн по-своему был честен; Нгурн был предтечей морали и гуманности. «Нет, — решил Бэссет, — было бы подло обмануть старика в последнюю минуту; моя голова принадлежит Нгурну, и Нгурн должен ее получить».

И Бэссет, подняв руку, наклонил голову вперед, как было условлено. Он совсем забыл Баллату, которая была только женщиной, и притом не желанной. Он, не глядя, почувствовал, как взвился остро наточенный топор позади него. На Бэссета легла тень неведомого… И пока падал топор, пока не впилась еще сталь в нервы и мышцы, ему показалось, что он видит чистый лик Медузы — Истины. А когда сталь коснулась, мрак затопил его, и в мгновенной вспышке сознания увидел он свою голову, которая медленно вращалась в черном дыму, в священной хижине под хлебным деревом.

Ванкики, Гонолулу

Как аргонавты в старину

Было это летом 1897 года, когда в семье Таруотеров снова стало неладно. После мирного десятилетия приличной и тихой жизни дедушку Таруотера вдруг снова понесло. Заболел он на этот раз «клондайкской горячкой». Первым и неизменным признаком болезни было пение. И всегда он пел одну и ту же песню, хотя помнил только один куплет, да и из него только четыре строчки. Вся семья уже знала, что ноги у него зудят, а в мозгу бушует старое безумие, как только в доме раздавался его разбитый, некогда густой, а ныне перешедший в фальцет голос:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,
И мы плывем, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном.

Десять лет назад он распевал эту же песенку, когда его обуяла золотая горячка, увлекшая его в Патагонию. Многочисленному семейству удалось в тот раз укротить его, но не без труда. После того как все средства пошатнуть его решение

потерпели неудачу, родные пригрозили ему, что они обратятся к адвокату, учредят над ним опеку, а затем засадят в дом умалишенных. Это было вполне возможно, когда вопрос шел о человеке, расточившем четверть века назад в спекуляциях родовое имущество в Калифорнии, за исключением жалких десяти акров, и не проявившем с тех пор никаких способностей в делах.

Адвокаты для Джона Таруотера были вроде горчичника. Им он приписывал потерю своих обширных поместий. Вот почему в дни патагонской горячки одного упоминания о них оказалось достаточным, чтобы излечить его. Он быстро доказал, что не сумасшедший: справился со своей горячкой и отказался от поездки в Патагонию.

Но вскоре, однако, все убедились, что он действительно помешался. Он добровольно отдал своей семье в полную собственность и десять акров на Таруотерской равнине, и дом, и сарай, и службы, и воду. Кроме того, перевел на имя детей хранившиеся в банке восемьсот долларов, остаток погибшего состояния. Впрочем, домашние не говорили при этом о заключении старика в лечебницу, так как его распоряжения оказались бы тогда недействительными.

— Дедушка, конечно, рехнулся, — объявила его

старшая дочь Мэри, сама уже бабушка, когда отец ее отдал все детям и для сокращения расходов бросил курить.

Старик оставил себе только упряжку старых лошадей, горную тележку и единственную комнату в большом доме. Мало того, он объявил, что ничем и никому не хочет быть обязанным и договорился возить два раза в неделю почту Соединенных Штатов из Кельтервила через Таруотерскую гору в Старый Альмаден — ртутный рудник в горной местности. Его старые клячи с трудом делали две поездки в неделю.

За десять лет он не пропустил ни одного рейса ни зимой, ни летом. Ни разу также не запоздал уплатить Мэри за стол, аккуратно внося деньги по субботам. На этой плате он сам настоял в те дни, когда оправлялся от патагонской горячки, хотя для этого ему пришлось отказаться от табака.

— Ладно! — делился он своими мыслями с изломанным колесом старой Таруотерской мельницы, которую когда-то сам выстроил и которая молола пшеницу для первых колонистов. — Ладно! Пока я сам себя содержу, меня не смогут отправить в богадельню. А раз в банке на мое имя не положено ни единого гроша, то и пройдохам адвокатам незачем ко мне соваться.

Между тем именно за эти вполне разумные поступки Джон Таруотер и прослыл страдающим тихим помешательством.

Первый раз он запел свою песню «Как аргонавты в старину» в 1849 году, когда, двадцати лет от роду, в остром припадке калифорнийской горячки, обменял двести сорок акров в Мичигане — из них сорок уже расчищенных — на четыре пары быков и один фургон и пустился в путь через прерии.

— И повернули мы у Форта Холл, откуда орегонские эмигранты пошли на север, а мы на юг в Калифорнию, — обычно заключал он свое повествование об этом тягостном пути. — Я и Билл Пинг ловили арканом медведей в зарослях в долине Сакраменто.

Затем последовали годы упорного труда в копях, на Мерседских приисках, и Джон Таруотер смог, наконец, удовлетворить свою страсть к земле, свойственную его расе и его поколению, и пустил корни в Сономском округе.

Десять лет старик возил почту через Таруотерскую городскую землю (вверх по Таруотерской долине и через Таруотерскую гору, по земле, большая часть которой была когда-то его собственностью), и все это время мечтал о том, как

бы вернуть себе эту землю перед смертью. И вот теперь огромная худощавая фигура его выпрямилась, как не выпрямлялась уже много лет, и в небольших впалых глазах сверкали синие искры, когда он пел свою старинную песню.

— Начинается. Слышите? — заметил Уильям Таруотер.

— Не все дома, — усмехнулся Хэррис Топпинг, женатый на Энни Таруотер, отец ее девятерых детей.

Дверь кухни отворилась, и вошел старик, уходивший кормить лошадей. Пение умолкло, но Мэри была раздражена тем, что обожгла себе руку, и тем, что желудок одного из ее внуков отказывался переваривать разбавленное по всем правилам коровье молоко.

— Нечего, отец, заводить старую погудку, — сварливо сказала она. — Прошла пора шататься в такие места, как Клондайк, а на свои песни ты ничего себе не купишь.

— А я готов биться об заклад, — возразил старик невозмутимо, — что я мог бы еще пробраться в этот самый Клондайк и набрать достаточно золота, чтобы выкупить таруотерскую землю.

— Старый дурак! — пробормотала Энни.

— Выкупить ее можно не меньше как за триста

тысяч, да еще нужно дать кое-что в придачу, — произнес Уильям, внося свою лепту в общую попытку образумить отца.

— Ну, что же, я и набрал бы триста тысяч, да еще кое-что в придачу, если бы попал туда, — спокойно ответил старик.

— Хорошо, что туда не дойти пешком, не то только бы мы тебя и видели, — крикнула Мэри. — А на переезд морем нужна уйма денег.

— Когда-то были у меня деньги, — смиренно заметил ее отец.

— Ну, а раз у тебя их больше нет, то позабудь о них, — посоветовал Уильям. — Прошли те времена, когда ты ловил медведей с Биллом Пингом. Медведей больше нет.

— А все-таки…

Но Мэри перебила его. Схватив с кухонного стола газету, она яростно потрясла ею перед носом престарелого родителя…

— Ну, что пишут сами клондайкцы? Тут вот черным по белому написано: только молодые да сильные переносят Клондайк. Там хуже, чем на Северном полюсе. Да и молодых немало там погибло. Посмотри на их портреты. Ведь ты на сорок лет старше самого старого из них.

Джон Таруотер посмотрел, но взгляд его оста-

новился на других фотографиях, помещенных на первой странице.

— А посмотри-ка на снимки самородков, которые они привезли, — сказал он. — Я толк в золоте знаю. Недаром выгреб двадцать тысяч из Мерседских приисков.

— Совсем рехнулся, — поделился своим мнением Уильям с остальными весьма явственным презрительным шепотом.

— Похвально ли так говорить об отце, — мягко упрекнул его старик Таруотер. — Мой отец выбил бы из меня дурь тележным вальком, вздумай я этак поговорить с ним.

— Но ведь ты же вправду рехнулся, отец… — начал Уильям.

— Сдается мне, что ты прав, сынок. Ну, а мой отец был в полном рассудке, и он бы так и сделал…

— Начитался дедушка журнальной дребедени о тех, кто разбогател после сорока лет, — продолжала насмехаться Энни.

— А почему бы и нет, дочка? — спросил он. — И почему бы человеку не добиться счастья даже после семидесяти лет? Мне только в этом году исполнилось семьдесят. Пожалуй, и мне бы повезло, только бы добраться до Клондайка…

— Никогда ты туда не доберешься, — отрезала Мэри.

— Ну, коли так, — вздохнул он, — пойду-ка я лучше в постель.

Старик встал с места, высокий, сухопарый, костистый и корявый — прекрасная развалина когда-то могучего мужчины. Косматые волосы и усы были не седы, а белы как снег; пучки белых волос торчали на костлявых пальцах. Он двинулся к двери, отворил ее, вздохнул и остановился, глядя через плечо на детей.

— А все-таки, — жалобно пробормотал он, — до чего зудят у меня пятки, сил моих нет!

На следующее утро, задолго до того как проснулись его домашние, старик Таруотер при свете фонаря накормил и запряг лошадей, приготовил и съел свой завтрак и был уже далеко в Таруотерской долине по пути к Кельтервил, когда в доме началась жизнь. Были две необычные особенности в этой обычной поездке, которую он проделал тысячу и сорок раз с тех пор, как заключил договор с почтой. Во-первых, он не продолжал пути на Кельтервил, а свернул по большой дороге на юг, к Санта-Роза. Во-вторых, еще замечательнее было то, что в ногах у него лежало что-то, завернутое в бумагу. Это была его

единственная приличная черная пара, которую, по намекам Мэри, он давно должен был бы перестать носить, — не потому, что она поношена, а потому — как он догадывался, — что в ней вполне прилично будет похоронить его.

В Санта-Роза он тотчас же продал эту пару в лавке подержанного платья за два с половиной доллара. От того же обходительного лавочника он получил четыре доллара за обручальное кольцо покойной жены. Лошади с фургоном пошли за семьдесят пять долларов, хотя наличными он получил всего двадцать пять. Случайно повстречавшись на улице с Алтоном Грэнджером, которому он никогда не напоминал о десяти долларах, данных тому в долг в семьдесят четвертом году, теперь намекнул ему о долге, и тот мигом заплатил. Оказалось также, что местный пьяница, которого Таруотер много раз угощал в лучшие дни, каким-то невероятным чудом оказался при деньгах и дал ему взаймы доллар. И старик отбыл с вечерним поездом в Сан-Франциско.

Дней двенадцать спустя с парусиновым мешком с одеялами и старым платьем он высадился на берег Дайи в самый разгар клондайкской горячки. Берег был похож на сумасшедший дом. Грудами был навален багаж, около десяти тысяч

тонн, и тысяч двадцать человек растаскивали его и спорили из-за него. Доставка багажа индейцами-носильщиками через Чилкут к озеру Линдерман поднялась с шестнадцати центов до тридцати за фунт, что равнялось шестистам долларам за тонну. Суровая зима была не за горами. Все это знали, и все знали, что из двадцати тысяч человек очень немногие проберутся через ущелье; большинство останется зимовать и дожидаться весенней оттепели.

Таков был берег, к которому причалил старый Джон Таруотер. Через отмель и вверх по дороге пустился он к Чилкуту, мурлыкая свою старую песенку, как старый дедушка Эзоп. Никаких забот о багаже он не знал, так как никакого багажа у него не было. Ночь он провел на равнине, в пяти милях выше Дайи, в том месте, откуда начинается переправа на челноках. Река Дайя — бурный горный поток — вырывалась из темного ущелья.

И здесь-то рано утром случилось Таруотеру увидеть маленького человека, весом фунтов в сто, ковыляющего по бревенчатым мосткам с привязанным к спине мешком муки фунтов в сто, а может быть, и больше. Таруотер увидел, как этот человек сорвался с бревна и упал вниз головой в маленький водоворот глубиной фута

в два, где преспокойно принялся тонуть. Не то чтобы ему была охота умирать, но мука на спине весила столько же, сколько он сам, и не давала ему подняться.

— Спасибо, старик, — сказал он Таруотеру, когда тот вытащил его из воды на берег.

В то время как человек расшнуровывал обувь и выливал воду, они разговорились. А потом малыш вытащил золотой в десять долларов и предложил своему спасителю.

Старик Таруотер отрицательно покачал головой и повел плечами от холода, так как промок, стоя по колено в ледяной воде.

— Но я не отказался бы перекусить с вами по-приятельски.

— Не завтракали? — спросил с любопытством человек, который сказал, что его зовут Энсоном и что ему сорок лет.

— Ничего еще во рту не было, — ответил Джон Таруотер.

— А снаряжение где? Послали вперед?

— Нет снаряжения.

— Думаете закупить провизию на той стороне?

— У меня нет ни одного доллара на покупку, дружище. Да это не важно, а вот выпить бы чего-нибудь горячего!

В Энсоновском лагере, в четверти мили дальше, Таруотер увидел стройного рыжего малого лет тридцати, изрыгавшего проклятия над костром из сырого ивняка. Его представили Таруотеру под именем Чарльза, и он тотчас же перенес всю свою злобу и хмурые взгляды на старика; но тот добродушно стал разводить огонь, воспользовавшись резким утренним ветерком, чтобы усилить тягу, и вскоре вместо густого дыма запылал огонь. Тут подоспел третий член компании, Билл Уильсон, или, как они его звали, Большой Билл, с грузом в сто сорок фунтов, и Чарльз подал товарищам весьма жалкий, по мнению Таруотера, завтрак. Маисовая каша оказалась наполовину сырой и подгоревшей, сало превратилось в уголь, а кофе похож был на что угодно, но не на кофе.

Наскоро покончив с завтраком, трое компаньонов взяли пустые мешки и отправились вниз по тропе за остатками своего багажа, на место последней стоянки, за милю отсюда. А старику Таруотеру нашлась работа. Он перемыл посуду, натаскал сухого хворосту, починил разорванный мешок, отточил кухонный нож и топор, упаковал кирки и лопаты в удобный для пути сверток.

Во время завтрака он был поражен тем особенным уважением, которое Энсон и Большой Билл

оказывали Чарльзу. Воспользовавшись удобной минутой, когда Энсон отдыхал, притащив еще сотню фунтов, Таруотер осторожно спросил о причине такого отношения.

— Видите ли, в чем дело, — пояснил Энсон. — Мы разделили обязанности. У каждого из нас своя специальность. Я, например, плотник. Когда мы дойдем до озера Линдерман, срубим деревья и распилим их на доски, я буду заведовать постройкой лодки. Большой Билл — дровосек и рудокоп, — стало быть, ему придется распоряжаться рубкой леса и работами на приисках. Большая часть нашего багажа впереди. Мы совсем было разорились на индейцев-носильщиков, чтобы доставить багаж на вершину Чилкута. Наш товарищ уже там. Он переправляет багаж вниз на ту сторону. Его зовут Ливерпул. Он моряк. Когда лодка будет готова, он будет управлять ею во время переправы через озеро и через пороги до самого Клондайка.

— А Чарльз? Какая у него специализация? — осведомился Таруотер.

— Он по деловой части. Когда дойдет до организации и всего прочего, то хозяином будет он.

— Гм, — размышлял Таруотер. — Хорошо, что у вас так подобрались специалисты!

— Больше чем хорошо, — поддакнул Энсон. — Кроме того, все вышло случайно. Мы все отправились поодиночке. Встретились на пароходе по пути в Сан-Франциско и составили артель. Ну, пора мне отправляться. Чарльз сердится, что я ношу меньше других. Но нельзя же требовать, чтобы стофунтовый человек осилил столько же, сколько детина весом в сто шестьдесят фунтов.

— Побудьте здесь и приготовьте нам что-нибудь к обеду, — сказал Чарльз, когда пришел со следующей частью груза и заметил результаты распорядительности старика.

И Таруотер приготовил обед, и это был настоящий обед. Потом вымыл посуду. К ужину подал свинину с бобами и хлеб, поджаренный на сковородке. Настолько было все вкусно, что трое компаньонов чуть не объелись. Перемыв тарелки после ужина, старик наколол лучин для быстрой растопки огня утром, научил Энсона одному ухищрению, очень ценному при его работе, спел свое «Как аргонавты в старину» и рассказал им о великом переселении через равнины в сорок девятом году.

— Надо правду сказать, ни разу не было у нас такой веселой, уютной стоянки, — заметил Большой Билл, выколачивая трубку и стаскивая

сапоги на ночь.

— Не подсобить ли вам немного, ребята? — добродушно спросил Таруотер.

Все кивнули в знак согласия.

— Тогда у меня к вам предложение. Можете согласиться или отказать, только выслушайте меня. Вам надо поскорее добраться на место до морозов. Один из вас тратит на кухню половину того времени, что пошло бы на переноску багажа. Если я буду для вас готовить, вы сбережете время. И стряпня будет вкуснее, и работа пойдет лучше при хорошей пище. Кроме того, я и сам могу кое-что перетащить между делом — немного, самую чуточку.

Большой Билл и Энсон одобрительно закивали головой, но Чарльз остановил их.

— Чего вы хотите от нас взамен? — спросил он у старика.

— Пускай ребята сами решают.

— Так дела не делаются, — резко заметил Чарльз. — Вы внесли предложение. Договаривайте до конца.

— Я бы так думал…

— Вы рассчитываете на то, что мы прокормим вас всю зиму? — перебил Чарльз.

— Ни в коем случае. Если вы меня доставите

на своей лодке в Клондайк, больше мне от вас ничего и не надо.

— У вас нет харчей, старина, вы там помрете с голоду.

— Кормился же до сих пор, — возразил с веселой искоркой в глазах старик Таруотер. — Мне семьдесят лет, и я еще не умер с голоду.

— Согласны вы подписать бумагу, что перейдете на свое иждивение, как только мы прибудем в Доусон? — деловито продолжал Чарльз.

— Ну, конечно, — был ответ.

Снова Чарльз прервал двух компаньонов, выражавших удовлетворение по поводу достигнутого соглашения.

— Еще одно, старина. У нас компания из четырех человек, и все мы имеем право голоса. Молодой Ливерпул ушел вперед с главным багажом. Мы не знаем, что он скажет.

— А что он за птица? — осведомился Таруотер.

— Грубый матрос, и нрав у него дрянной, запальчивый.

— Немножко буйный, — добавил Энсон.

— А уж как сквернословит! Прямо жутко становится, — подтвердил Большой Билл. — Зато малый справедливый, — добавил он, и Энсон с готовностью закивал, подтверждая похвалу.

— Вот что, ребята, — заключил Таруотер, — когда-то давно я решил отправиться в Калифорнию и добрался до нее. А теперь попаду и в Клондайк. Нет! Ничто не остановит меня! Да вдобавок мне надо там выколотить из земли триста тысяч. И выколочу, ничто не помешает мне. Нужны мне эти деньги, и все тут. Буйный нрав еще не беда, раз малый справедливый. Была не была, иду с вами, пока не догоним его. Если же он скажет «нет», ну что же, — стало быть, я проиграл. Но мне почему-то сдается, что он не скажет «нет». Уж очень близко будет к морозам, как же он бросит меня. А главное, надо мне попасть в Клондайк во что бы то ни стало; думаю, не откажет он мне.

Старый Джон Таруотер сделался заметной фигурой среди толпы, идущей в Клондайк, вообще-то богатой колоритными личностями. Эти тысячи людей, таскавшие по полтонны багажа на спине и проделывавшие каждую милю пути раз по двадцати, мало-помалу перезнакомились со стариком и стали называть его «Дедушкой Морозом». И все время, пока дедушка работал, раздавался его дребезжащий фальцет, распевающий старинную песенку. Ни один из его компаньонов не мог на него пожаловаться. Правда, суставы его были недостаточно гибки — он не отрицал, что слегка

подвержен ревматизму, — двигался он медленно и как бы поскрипывал, похрустывал, однако не переставал двигаться. Последним забирался он вечером под одеяло, а утром был первым на ногах, чтобы напоить трех товарищей горячим кофе перед первой партией багажа, которую они обычно приносили до завтрака. Между завтраком и обедом, а затем между обедом и ужином он ухитрялся и сам перетащить несколько мешков. Впрочем, шестьдесят фунтов были крайним пределом для его сил. Он мог поднять и семьдесят пять, но не выдерживал до конца. Раз как-то ему вздумалось нагрузить на себя девяносто — тут он совсем надорвался и два дня был сам не свой.

Труд! На этой дороге, где люди труда впервые узнали, что такое настоящая работа, ни один не трудился усерднее старика Таруотера. Подгоняемые угрозой близкой зимы и безумной мечтой о золоте, иные расходовали свои силы до последней крупицы и падали в пути. Другие, когда неудача становилась несомненной, пускали себе пулю в лоб. Третьи сходили с ума, а четвертые, под гнетом непосильного напряжения, расторгали всякие соглашения и порывали дружеские узы с людьми, которые были ничуть не хуже их самих и так же, как и они, страдали от безумной

усталости и от страсти к золоту.

Труд! Старик Таруотер мог всех их заткнуть за пояс, несмотря на свой скрип и хруст и привязавшийся к нему скверный лающий кашель. Утром и вечером, на дороге или в лагере он вечно был на виду, вечно чем-нибудь занят, вечно готов откликнуться на зов «Дедушка Мороз». Иной раз усталые носильщики опускали свою поклажу на бревно или камень рядом с его поклажей и говорили ему: «А ну-ка, папаша, спойте свою песенку о сорок девятом годе». После того как он хрипло исполнял свою песенку, они вставали со своими тюками и снова пускались в путь, приговаривая, что «стало как будто легче на душе».

— Если кто вполне отработал свою дорогу и заслужил ее, так это наш старик, — говорил Большой Билл двум своим компаньонам.

— Нечего там! — перебил Чарльз Крейтон. — Как только доберемся до Доусона, все дела с ним будут окончены. Если мы оставим его, нам же придется и хоронить его. Кроме того, неминуем голод, и каждая унция еды будет на счету. Помните, что мы всю дорогу кормим его. И если в будущем году нам нечего будет есть, пеняйте на себя. Пароходы не могут доставить продукты в Доусон раньше июня, а до июня еще девять

месяцев.

— Что ж, ты вложил денег и продуктов столько же, сколько каждый из нас, — согласился Большой Билл, — поэтому имеешь право сказать свое слово.

— И скажу, — продолжал Чарльз с возрастающей раздражительностью. — Ваше счастье, что при вашей дурацкой чувствительности еще есть кому раскинуть за вас мозгами, не то все вы поколели бы с голоду. Говорю вам — надвигается голод. Я по всему это вижу. Мука будет по два доллара фунт, если не по десять, и не у кого будет ее покупать. Попомните мое слово.

На плоскогорьях, среди темных ущелий, среди нависших грозных ледников, на крутых склонах, покрытых ледяным настом, где приходилось ползти на четвереньках, старик Таруотер неизменно стряпал, таскал поклажу и пел. При первой осенней метели перевалил он через Чилкутский перевал выше линии леса. Те, кто сидел внизу без топлива на бесплодном берегу озера, услыхали из надвигавшейся темноты странный голос, распевавший:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,

И мы плывем, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном.

Из снежного вихря выступила сухопарая фигура, белая борода развевалась по ветру, а спина согнулась под тюком, содержавшим шестьдесят фунтов топлива.

— Дедушка Мороз! — пронесся клич. — Трижды ура Дедушке Морозу!

В двух милях от озера находился Счастливый Лагерь, прозванный так потому, что здесь начиналась линия леса, люди могли развести огонь и отогреться. Едва ли, впрочем, можно было назвать это лесом, так как вся растительность состояла из карликовых горных сосен, верхние побеги которых никогда не возвышались более одного фута над мхом, а корни извивались под мшистым покровом. На тропе, ведущей к Счастливому Лагерю, в солнечных лучах, озаривших его впервые за последние несколько дней, старик Таруотер прислонил свою поклажу к камню и перевел дыхание. Тропа огибала этот камень, и мимо шли люди, медленно плетясь вперед с тяжелым грузом и проворно шагая обратно с пустыми мешками. Дважды старик Таруотер пытался встать и продолжать свой путь, и каждый раз

слабость заставляла его опускаться на камень. Из-за камня слышались приветственные голоса. Он узнал голос Чарльза Крейтона и понял, что компаньоны, наконец, встретились с молодым Ливерпулом. Чарльз, не теряя времени, заговорил о деле, и Таруотер отчетливо слышал каждое слово весьма нелестной своей характеристики и того предложения, на основании которого взялись доставить его в Доусон.

— Глупее ничего нельзя было придумать! — таков был приговор Ливерпула, когда Чарльз кончил свой рассказ. — Старый семидесятилетний дед! Если он едва таскает ноги, то на кой же черт вы с ним связались? Случись голод — а к тому идет — нам дорога будет каждая крупинка хлеба! Мы запасались на четверых, а не на пятерых!

— Все это наладится, — доносилось до Таруотера увещание Чарльза, — не выходи из себя. Старичина обещал подчиниться твоему решению. Стоит тебе только заявить свое право и сказать «нет».

— Ты хочешь сказать, что я должен вышвырнуть старика, после того как вы подали ему надежду и пользовались его трудом от самой Дайи?

— Дорога тяжелая, и только самый крепкий ее осилит, — оправдывался Чарльз.

— И на меня взвалили решать это грязное дело? — упрекал Ливерпул. Сердце у Таруотера упало, когда он услышал эти слова.

— Да, похоже на это, — согласился Чарльз. — Ты должен решить.

Но тут старик Таруотер повеселел. Воздух огласился сквернословием, в котором выделялись отдельные фразы вроде следующих: «Негодяи!.. Да провались вы все в тартарары!.. Черт вас побери!.. Хоть бы вы все в огне сгорели! Старик идет с нами на Юкон, так и знайте, милые мои!.. Тяжело? Подождите, я вам покажу, что значит тяжело… Попробуйте только выжить его, я все ваши пожитки отправлю к черту, и следов не найдете!.. Только попробуйте его коснуться! Вам покажется, что настал день Страшного Суда и что все проклятия Неба свалились на вашу голову!»

Ободряющее действие красноречия Ливерпула было так сильно, что старик легко поднялся со своей ношей и двинулся к Счастливому Лагерю.

На всем пути от Счастливого Лагеря до Долгого озера вверх через горный хребет и вниз к озеру Линдерман убийственная борьба человека со стужей не прекращалась. Люди надрывали свои

силы, плакали на краю дороги от изнеможения. Под неистовым ветром, под проливными дождями, под все чаще налетавшими метелями Таруотер и принявшая его компания свалили, наконец, последнюю партию своего багажа на берегу.

Отдыха не было. По ту сторону озера, на милю выше ревущего потока, они разыскали сосновую поросль и вырыли яму для пилки досок. Плохонькой ручной пилой они распиливали деревья на доски. Трижды во время ночной смены внизу в яме старик Таруотер падал в обморок. Днем он по-прежнему готовил еду, а в промежутках помогал Энсону строить лодку на берегу потока, по мере того как успевали приготовлять свежие доски.

Дни становились короче. Ветер задул с севера. По утрам усталые товарищи выползали из-под одеял и, сидя в носках, согревали промерзшую обувь у огня, непрерывно поддерживаемого Таруотером. Толки о голоде росли. Последние продовольственные пароходы из Берингова моря задержались из-за мелководья на сотни миль к северу от Доусона. Говоря точнее, они стояли у старого поста Компании Гудзонова залива, у Форта Юкон, по ту сторону Полярного круга. Мука в Доусоне дошла до двух долларов за фунт, но

никто не продавал ее. Богачи в Бонанзе и Эльдорадо, с карманами, полными денег, уезжали, потому что не могли купить продуктов. Приисковые комитеты конфисковали все съестные припасы и перевели население на пайки. Если кто-нибудь пытался продавать что-либо съестное, его расстреливали. Человек двадцать было уже расстреляно.

И под напором напряжения, сломившего немало молодых и сильных людей, старик Таруотер начал подаваться. Кашель его принял угрожающий характер, и если бы его измученные товарищи не спали как убитые, он не давал бы им покоя и по ночам. Кроме того, его знобило, и он стал тепло одеваться на ночь. По окончании ночного туалета в его дорожном мешке не оставалось ни единого лоскута. Все было обмотано вокруг его худого старого тела.

— Эге! — говорил Большой Билл. — Если он уже навьючивает на себя все пожитки теперь, когда не бывает больше двадцати градусов выше нуля[54], то что он будет делать, когда дойдет до пятидесяти и шестидесяти ниже нуля?

Они спустили грубо сколоченную лодку вниз

---

[54] Примечания: 54
По Фаренгейту.

по горному потоку, едва не потеряв ее при этом, и переправились на веслах через южный конец озера Линдерман в самый разгар осенней непогоды. Решено было на следующее утро двинуться прямо в пасть северному ветру; нужно было совершить опасный пятисотмильный переезд по озерам, порогам, тесным ущельям. Но перед тем, как лечь спать, молодой Ливерпул прошелся по лагерю. Возвратившись, он застал всех спящими. Ливерпул разбудил старика Таруотера и начал толковать с ним вполголоса.

— Послушайте, папаша, — сказал он. — За вами место в нашей лодке; уж если кто заработал право на переправу, так это вы. Но вы сами хорошо знаете, что годы ваши уже не те, что были, а здоровье не из блестящих. Если вы отправитесь с нами дальше, то протянете ноги как пить дать. Нет, вы сперва выслушайте, папаша! Плата за переправу подскочила до пятисот долларов. Я поразведал там и сям и выудил пассажира. Он чиновник коммерческого банка из Аляски, и ему до зарезу нужно вернуться туда. Он готов заплатить шестьсот долларов, лишь бы попасть в нашу лодку. Вот вы и продайте ему ваше место, шесть сотен в карман, и марш на юг, в Калифорнию, пока еще возможно проехать. Через два дня будете в Дайе,

а недельку спустя и в Калифорнии. Что скажете?

Таруотер долгое время кашлял, прежде чем ему удалось перевести дыхание для ответа.

— Сыночек, — начал он, — скажу я тебе только одно. Гнал я свои четыре упряжки быков через равнины в сорок девятом году и ни единой не потерял. Прогнал я их до Калифорнии. А теперь я иду в Клондайк. И ничто не остановит меня. Я поеду на лодке вместе с тобой прямо до Клондайка и вытрясу там триста тысяч из-под мхов. А раз я хочу этого, глупо было бы продавать мое место. Но все же благодарю тебя, сынок, сердечно благодарю.

Ливерпул порывисто и крепко стиснул руку старика.

— Клянусь честью, папаша, — крикнул он, — быть тебе там, коли так! Ты, старик, молодец. — Он с нескрываемым презрением поглядел на то место, где храпел Чарльз Крейтон. — Таких, как ты, больше не родится, папаша.

Компаньоны отвоевывали дорогу на север шаг за шагом, хотя обратные путники, старожилы, качали головой и пророчили, что их затрет льдами на озерах. То, что реки могут стать в любой день, было очевидно, и об осторожности никто не думал. Ливерпул решил спуститься с полным

грузом по быстрой речонке, соединяющей Линдерман с озером Беннет. Обычно здесь лодки шли порожняком, а груз переправляя волоком. Но и при этом многие лодки все же терпели крушение.

— Вылезай, папаша, — скомандовал Ливерпул, готовясь отчалить от берега и пустить лодку по быстринам.

Старик Таруотер тряхнул седой головой.

— Я состою при грузе, — объявил он. — Иначе не дойдешь до места. Видишь ли, сынок, мне надо попасть в Клондайк. Если я не буду расставаться с лодкой, я доберусь до Клондайка. А если вылезу, может случиться — пропадет и лодка.

— Однако нечего и перегружать ее, — объявил Чарльз, выскакивая на берег в момент отплытия.

— В другой раз дожидаться команды! — крикнул ему Ливерпул, в то время как течение подхватило лодку. — Что за прогулки вокруг порогов! А потом придется подбирать тебя по пути.

Чарльзу потребовалось полчаса, чтобы пройти тот путь, который они совершили в десять минут по реке. Дожидаясь его на берегу озера Беннет, они выслушали различные вести от многочисленных неудачников, отправлявшихся в обратный путь. Слухи о голоде были грознее, чем когда-либо.

Северо-западная конная полиция дежурила у озера Марш, там, где золотоискатели вступают на территорию Канады, и не пропускала никого, у кого было меньше семидесяти фунтов продуктов. В городе Доусоне тысячи человек с собачьими упряжками ожидали морозов, чтобы двинуться обратно по льду. Торговые общества не могли выполнить договоры по снабжению съестными припасами, а члены товариществ метали жребий, чтобы решить, кому возвращаться и кому оставаться разрабатывать участки.

— Ну, теперь все ясно, — объявил Чарльз, услыхав о действиях пограничной конной полиции. — Старик, лучше тебе тотчас же отправиться восвояси.

— Полезай в лодку! — скомандовал Ливерпул. — Мы едем в Клондайк, и старый папаша едет с нами.

Ветер, подув к югу, стал попутным. Через озеро Беннет они переправились под большим парусом, сшитым Ливерпулом. Он вел лодку, как подобает смелому матросу, когда дорога каждая минута. Новая перемена ветра на юго-запад подоспела как раз кстати, когда они выплыли к реке Северного Оленя и домчались до озер Тагиш и Марш. Опасная переправа через Большой рукав

ветров была выполнена во время бури, в сумерки, причем на их глазах опрокинулись и потонули две лодки золотоискателей с грузом.

Чарльз хотел причалить к берегу, но Ливерпул продолжал плыть по течению, отыскивая верный путь по шуму прибоя на отмелях и случайным береговым кострам, разведенных потерпевшими крушение или нерешительными золотоискателями. В четыре часа утра он разбудил Чарльза. Старик Таруотер, дрожавший рядом без сна, услышал, как Ливерпул приказал Крейтону сесть рядом с ним у руля, и слышал весь их разговор.

— Слушай, друг Чарльз, и держи язык за зубами, — говорил Ливерпул. — Я хочу, чтобы одно попало тебе в башку и там осталось: дед пройдет мимо полиции. Понимаешь? Пройдет. Когда будут осматривать наши запасы, пятая доля принадлежит деду. Понимаешь? Правда, выйдет у нас немного меньше, чем полагается, — ну да смелость города берет. Смотри же, помни это!

— Если ты думаешь, что я способен донести на старика… — с негодованием начал Чарльз.

— Ты об этом подумал, — перебил Ливерпул, — а я и не заикнулся. Пойми меня и пойми как следует: мне дела нет до того, что ты думал раньше. Важно то, что ты теперь будешь думать. В

течение сегодняшнего дня, рано или поздно, мы наткнемся на полицейский пост, и нам надо одурачить его, — надо, чтобы прошло все без задоринки. Понятно? Умному ведь свистни, а он уже смыслит!

— Если ты думаешь, что у меня на уме было… — снова затянул Чарльз.

— Слушай-ка, — перебил его Ливерпул. — Я не знаю, что у тебя на уме было. Пусть только случится что-нибудь, пусть только полиция вернет деда обратно, тогда мы с тобой выберем первый подходящий уголок мирного пейзажа и высадимся на берег. Тут я отделаю тебя за первый сорт. Исколочу не как-нибудь, но как полагается здоровому мужчине о двух ногах и двух кулаках. Убить тебя едва ли убью, но, черт возьми, изобью до полусмерти.

— Что ж я могу сделать? — чуть не захныкал Чарльз.

— Только одно, — было заключительное слово Ливерпула, — молись, чтобы старик проскочил мимо полиции. Вот и все. А теперь полезай под одеяло.

Когда они приблизились к озеру Ле-Барж, земля покрылась снегом, и надолго, не меньше чем на полгода. Причалить к берегу было невозможно,

так как у кромки уже образовался лед. В устье реки, при впадении в озеро Ле-Барж, они застали сотню лодок таких же золотоискателей, как они, задержанных ветром. С севера через все большое озеро неслась снежная вьюга. Три утра искатели снимались с места и боролись с ветром и вздымающимися валами, которые захлестывали лодку и покрывали ее льдом. В то время как остальные надрывались над веслами, старик Таруотер поддерживал необходимое для жизни кровообращение тем, что скалывал лед и выбрасывал его за борт.

Каждый раз, в течение трех суток, выбившись из сил, они поворачивали назад и бежали с поля битвы под прикрытие реки. К четвертому дню сто лодок успели превратиться в триста и две тысячи золотоискателей знали, что великая вьюга является предвестником ледостава на озере Ле-Барж. По ту сторону его быстрые реки будут продолжать свой бег еще много дней, но как перебраться туда? Если им это не удастся, то придется прожить среди льдов шесть месяцев.

— Сегодня переправимся, — объявил Ливерпул. — Что бы ни случилось, возвращаться не станем. А если кто умрет на веслах, придется ему воскреснуть и снова взяться за весла.

Сказано — сделано. Половину пути осилили к сумеркам; всю ночь гребцы продолжали работать при затихающем ветре, временами засыпая на веслах и просыпаясь от толчка Ливерпула; ночь тянулась, точно вечный кошмар; звезды заблестели на небе, и поверхность озера оделась тонким покровом льда, который разбивался под ударами весел, звеня, как стекло.

Вставала заря, холодная и ясная, в то время как они входили в реку, подгоняемые льдами. Ливерпул осмотрел престарелого пассажира и убедился, что он совсем обессилел и чуть не умирает. Когда он подвел лодку к берегу с целью развести костер и отогреть Таруотера, Чарльз запротестовал против подобной траты времени.

— Не твоего ума дело, не суйся, — возразил Ливерпул. — В плавании я командир. А ты, не долго думая, полезай на берег и собери топлива, да побольше. Я присмотрю за папашей. Ты, Энсон, разведи костер на берегу. А ты, Билл, пристрой юконскую печку на лодке. Дедушка не так молод, как мы, и надо сделать так, чтобы ему было где погреться на борту.

Все это было в точности исполнено; и, словно речной пароход с двумя дымящими трубами, лодка то неслась по течению, то садилась на

мель; то замирала на скрещении двух противных течений, то переползала через пороги, врезаясь все глубже в полуночную страну. Большой и Малый Лосось выбрасывали по пути массу льда в реку, а со дна поднимались мелкие льдинки. День и ночь полоса берегового льда росла и росла, доходя до сотни ярдов в тихих местах. А старик Таруотер, закутавшись во все свои тряпки, сидел у печки и поддерживал огонь. Днем и ночью, боясь остановиться, чтобы не быть затертыми льдами, они плыли дальше, а вокруг все ближе надвигались льды.

— Эй, старый приятель! — время от времени окликал старика Ливерпул.

— Здесь, — научился отвечать старик Таруотер. — Чем я могу отплатить тебе, сынок? — говорил он иногда, мешая в печке уголья, в то время как Ливерпул стучал по борту лодки то одной, то другой рукой, так как руки замерзали на обледеневшем руле.

— Подавай нам свою песенку, — была неизменная просьба.

И Таруотер пел свою песенку. Запел он ее и тогда, когда лодка, пробираясь среди теснящихся льдин, причалила наконец к берегу в Доусоне и все бывшие на берегу насторожили уши, прислу-

шиваясь к ликующему гимну:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,
И мы плывем, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном.

А Чарльз все же донес, но сделал он это так осторожно, что никто из его спутников не догадался, даже Ливерпул. Чарльз увидел две больших открытых баржи, полных народа, и ему сказали, что это комитет спасения ловит тех, у кого нет продуктов, и отправляет их вниз по Юкону. Баржи пойдут на буксире с последним уцелевшим в Доусоне пароходиком, и вся надежда была на то, что им удастся достигнуть Форта Юкон, где задержались прочие пароходы, раньше чем станет река. Во всяком случае, какая бы судьба ни постигла этих людей, Доусон избавится от их присутствия и спасет часть продуктов. Чарльз отправился в комитет спасения и шепнул там кому следует о безденежье и отсутствии продуктов у старого Таруотера. Старик был забран одним из последних, и молодой Ливерпул, возвращаясь к своей лодке, успел только увидеть с берега, как баржи исчезают на повороте за Лосиной Горой.

Продвигаясь среди льдин и много раз рискуя

быть затертыми, баржи прокладывали свой путь к северу на сотни миль и стали наконец бок о бок с продовольственным флотом. Здесь, внутри Полярного круга, старик Таруотер устроился на зимовку. Он принялся колоть дрова для пароходов и за несколько часов работы зарабатывал себе на пропитание. Остальное время приходилось коротать без дела в бревенчатой хижине.

Тепло, покой, обильная пища излечили его от утомительного кашля и настолько восстановили его физические силы, насколько это возможно в его годы. Между тем еще до Рождества от недостатка овощей разразилась цинга, и искатели приключений один за другим укладывались на койку, униженно слагая оружие перед этим несчастьем. Но Таруотер не был в их числе. Не дожидаясь первых симптомов болезни, он пустил в ход лучшее свое лечение — моцион. На посту оказалось множество ржавых капканов, которые он отчистил и починил, а у одного из пароходных капитанов он взял на время винтовку.

Снарядившись таким образом, он принялся теперь зарабатывать не только на одно пропитание. Даже когда цинга добралась и до него, он не пал духом, а продолжал расставлять капканы и распевать свою песенку. И никакие убеждения

пессимистов не могли пошатнуть его уверенность, что он выкопает на триста тысяч золота из-под мхов у корней деревьев.

— Но здесь ведь земля без золота! — твердили ему.

— Золото там, где его находишь, сынок; мне ли этого не знать, когда я искал золото до вашего рождения. Это было в сорок девятом году, — был ответ. — Чем была Бонанза, как не пастбищем для лосей? Ни один золотоискатель и смотреть на нее не хотел; а там намывали золота потом на пятьсот долларов за один раз и взяли оттуда пятьдесят миллионов. То же было и на Эльдорадо. Почем знать, может быть, под этой самой хижиной или по ту сторону вон того холма притаились миллионы, которые только того и ждут, чтобы какой-нибудь счастливец вроде меня вытащил их на свет.

Однако в конце января с Таруотером стряслась беда. Какой-то крупный зверь, — как он полагал, рысь, — попался в один из небольших капканов и ухитрился убежать. Старик бросился за ним. Внезапно выпавший густой снег положил конец погоне, засыпав след. Старик сбился с пути. Короткий дневной свет перед наступлением двадцатичасовой темноты угасал; пытаясь разыс-

кать дорогу среди серых сумерек и беспрерывно сыпавшегося снега, старик окончательно заблудился. К счастью, на севере, когда выпадает снег, температура повышается — вместо обычных сорока, пятидесяти и даже шестидесяти градусов ниже нуля она держится на пятнадцати. Старик был тепло одет, и с ним была полная коробка спичек. На пятый день он застрелил раненого лося в полтонны весом. Расположившись рядом с убитым лосем на сосновом пне, старик приготовился перезимовать здесь, если только до тех пор его не разыщут.

Прошло две недели, но никаких признаков, чтобы кто-либо его разыскивал, не было. Цинга же несомненно усилилась; устроив изгородь из сосновых сучьев, он проводил долгие часы, прикорнув у костра, — долгие часы сна и долгие часы бодрствования. Но часы бодрствования сокращались, превращаясь в зимнюю спячку. Медленно гасла искра сознания, и личность, именуемая Джоном Таруотером, погружалась все глубже и глубже в полусознательное бытие, в кошмары, наполненные чудовищами его собственных подавленных желаний.

Подобно тому как больной горячкой временами приходит в себя, так и старик Таруотер

просыпался, жарил лосиное мясо и подкидывал топлива в огонь; но все больше и больше времени он проводил в состоянии оцепенения, уже не отличая дневных грез от сонных видений.

И здесь, в тайниках ненаписанной истории человека, поднимались, точно видения кошмаров или призраки безумия, чудовища, созданные первобытной нравственностью и вечно с тех пор принуждавшие человека изощрять фантазию, чтобы избегать их или воевать с ними.

Короче говоря, старик Таруотер, под гнетом своих семидесяти лет и безмолвного одиночества Севера, подобно человеку под влиянием наркоза или одуряющего зелья, возвратился к ребяческому мировоззрению первобытного человека. Та изгородь, под которой Таруотер сидел, прикорнув у костра, была крыльями смерти, и здесь он, уподобляясь своему дальнему предку, человеку-ребенку, создавал мифы и обоготворял солнце, сам являясь одновременно и творцом героев, и самим героем, вышедшим на поиски трудно достигаемого сокровища. Одно из двух: или он добудет это сокровище, — говорила его мысль, борясь с туманом забытья, — или же он погрузится во всепоглощающее море, во мрак — истребитель света, проглатывающий каждый

вечер солнце… то солнце, которое постоянно возрождалось на следующее утро на востоке и сделалось для человека первым символом его собственного бессмертия путем возрождения. Все это в недрах его существа (туманной стране заходящего солнца) близилось к сумеркам смерти, в которые он медленно погружался.

Но как спастись от чудовища тьмы? Он чересчур уже глубоко погрузился в его владения, чтобы мечтать о спасении или чувствовать побуждение вырваться на волю. Действительность для него перестала существовать. Слишком тяжелым гнетом лежало на нем бремя лет; чересчур глубоко было оцепенение от холода и безмолвия. Только извне могла воздействовать на него действительность и разбудить в нем сознание. Он погружался все больше и глубже, сквозь туманы бессознательного, в последний мрак уничтожения.

И вот пришел, наконец, голос действительности из внешнего мира. Точно взрывом был потрясен слух старика громким фырканьем. В продолжение двадцати дней воздух был неподвижен: не было ни малейшего ветерка, и ни один звук не нарушал молчания. Подобно тому как курильщик опиума, лежа на своем ложе, приходя в сознание, силится сузить свой кругозор

до жалких пределов своей тесной каморки, так и старик Таруотер бессмысленно уставился поверх гаснущего костра на огромного лося, который, в свою очередь, в изумлении глядел на него. Лось волочил раненую ногу; крайне изнуренный, он тоже слепо бродил в царстве теней и пробудился к действительности, когда чуть не наступил на костер Таруотера. Старик с трудом стащил с правой руки рукавицу. Палец одеревенел и не мог спустить курка. Медленно, в продолжение долгих минут старик просовывал голую руку под одеяло, потом под меховую куртку, потом под рубашку в тепловатую левую подмышку. Прошло много минут, прежде чем палец получил возможность двигаться… Тогда с той же осторожной медлительностью старик поднял винтовку и выстрелил поверх костра в большого зверя.

Когда выстрел грянул, один из двух скитальцев туманного царства ринулся вниз в темноту, а другой выбрался вверх к свету, пошатываясь, как пьяный, на изъеденных цингою ногах, дрожа от холода, протирая затуманенные глаза дрожащими пальцами и глядя с удивлением на окружавший его внешний мир, вновь обретенный им с мучительной внезапностью. Он отряхнулся и понял, что в продолжение долгого

времени — как долго, он и сам не знал — его баюкали объятия смерти. Он плюнул и, услыхав, как звякнула замерзшая слюна, определил, что, должно быть, теперь больше шестидесяти градусов. И точно, в этот день спиртовой термометр Форта Юкон отметил семьдесят пять градусов ниже нуля, а так как точка замерзания в термометре Фаренгейта на тридцать два градуса выше нуля, то, следовательно, было сто семь градусов холода.

Медленно мозг Таруотера возвращался к жизни. Здесь, в широкой пустыне, обитает смерть. Сюда явились два раненых лося. Поскольку небо прояснилось при наступлении больших морозов, он сообразил, что оба лося прибрели к нему с востока. Стало быть, на востоке есть люди — белые или индейцы, неизвестно, — но так или иначе способные помочь ему. Он двигался медленно, но все же побеждал слабость и сон. Нагрузил на себя винтовку, одеяла и фунтов двадцать лосиного мяса. Затем, как возрожденный Язон, хотя и спотыкающийся, он двинулся туда, где восходит солнце, к возрождающему востоку…

Через много дней, — через сколько именно, ему не узнать никогда, — все еще созерцая видения и мурлыкая свою песенку сорок девятого года о зо-

лоте, подобно тому как утопающий напрягает все силы и сознание, чтобы удержаться над поглощающей бездной, он вышел наконец на снежный склон над ущельем и увидел внизу дым и людей, бросивших работу, чтобы посмотреть на него. Шатаясь, он спустился с холма, не переставая петь; и когда умолк от недостатка дыхания, люди приветствовали его на все лады: Санта Клаус, Усач, Последний из могикан и Дедушка Мороз. А он стоял перед ними очень тихо, без слов, и крупные слезы выступили у него на глазах. Он плакал долго, а потом, как бы спохватившись, сел на снег, но, не сохранив равновесия, покачнулся, упал на бок и лишился чувств.

Не прошло недели, как старик Таруотер оправился и хлопотал по хозяйству, стряпая для пятерых обитателей ущелья. То были подлинные старые пионеры, закаленные и стойкие; они так далеко зашли на север за Полярный круг, что ничего не знали о клондайкском лагере. Впервые они услыхали о нем от старика. Питались они лосиной, олениной и копченой лососиной, с приправой из диких кореньев, запасенных с лета. Они забыли вкус кофе, разводили огонь посредством зажигательного стекла, носили с собой горящие факелы при передвижении и

курили сухие листья, от которых щипало язык и жгло в ноздрях.

Три года назад они вели разведку с верховьев Коюкука к северу, к устью Маккензи на Северном Ледовитом океане. Здесь на китобойных судах они в последний раз видели белых людей и запаслись солью и табаком. Двигаясь затем на юго-запад по длинному пути к месту слияния Юкона и Поркюпайна у Форта Юкон, они напали на золото в речонке и остались здесь. Золотоискатели приветствовали Таруотера с восторгом, без скуки слушали его рассказы о сорок девятом годе и называли его Старым Героем. Мало того, с помощью настойки из хвои и ивового лыка с горькими и кислыми кореньями и клубнями они вылечили его от цинги. Он перестал хромать, его кости стали обрастать плотью. А главное, они не видели никакой причины, почему бы ему не извлечь золотого клада из земли.

— Как будет насчет трехсот тысяч, неизвестно, — сказали они ему однажды за завтраком перед уходом на работу, — ну а что скажешь о сотне тысяч, Старый Герой? Мы подсчитали, что каждый участок даст около этого, так как золотоносных жил в почве много, и твой участок уже отмечен кольями.

— Покорно благодарю, ребята, — отозвался старый Таруотер, — могу только сказать, что сто тысяч весьма приличная сумма для начинающего. А все же я не успокоюсь, пока не получу полностью своих трехсот тысяч. Я ведь за этим приехал.

Товарищи смеялись и одобряли его честолюбивые надежды, но полагали, что им придется разыскать для него более богатый прииск. А Старый Герой говорил, что с наступлением весны, когда он станет бодрее, придется ему самому приняться за дело и пойти на разведку.

— Почем знать, — заметил он, указывая на склон холма, — может быть, там, под снегом, корни мха сплошь в золотых самородках.

Больше он ничего не добавил; но по мере того как солнце поднималось выше, а дни становились длиннее и теплее, старик все чаще поглядывал через ручей на уступ, отчетливо выделявшийся на середине склона. И в один прекрасный день, когда оттепель была в полном разгаре, старик перебрался через ручей и поднялся на противоположный берег. На открытых местах земля кое-где уже оттаяла на дюйм. В одном таком месте старик остановился, захватил пучок мха корявыми руками и вытащил его с

корнем. Солнце вспыхнуло на тусклом отблеске золота. Он тряхнул мох, и грубые самородки посыпались на землю. То было золотое руно, ожидавшее, чтобы кто-нибудь нашел его.

В летописях Аляски еще не забыта летняя тяга 1898 года из Форта Юкон на прииски Таруотерского холма. А после того как Таруотер продал свою долю компании Боуди за полмиллиона долларов, он выехал отсюда на муле по новой дороге с приличными постоялыми дворами по сторонам прямо до парохода, высадившего его у Форта Юкон.

Первый раз, когда он сел за стол на океанском пароходе по отбытии из Сент-Майкла, ему подавал седой официант с измученным лицом и согнувшимся от цинги туловищем. Старику Таруотеру пришлось раза два оглядеть его, прежде чем он узнал Чарльза Крейтона.

— Плохо пришлось, сынок? — спросил Таруотер.

— Не повезло мне, и все тут, — начал сетовать Чарльз, после того как они оба узнали друг друга и обменялись приветствиями. — Ни к кому из всей компании не привязалась цинга, только ко мне. Я пережил сущий ад. Остальные трое здоровы и при деле, налаживают снаряжение для

изысканий вверх по Белой реке будущей зимой. Энсон зарабатывает двадцать пять долларов в день плотничной работой, Ливерпул — двадцать как дровосек при лесопильне, а Большой Билл — сорок, он старший пильщик. Я делал, что мог, и если бы не цинга…

— Верно, сынок, ты делал, что мог, а это, по правде сказать, немного; ты черств и раздражителен от чрезмерных деловых способностей. А теперь вот что я тебе скажу. Куда тебе, убогому, работать? Я уплачу капитану за твой проезд в память того, что вы когда-то меня провезли; отлеживайся и отдыхай. А что ты думаешь делать, когда высадишься в Сан-Франциско?

Чарльз Крейтон пожал плечами.

— Вот что я скажу тебе, — продолжал Таруотер, — найдется для тебя дело у меня на ранчо; поправишься и вернешься к своим занятиям.

— Я мог бы управлять вашими делами… — с готовностью начал Чарльз.

— Нет, мой друг, — решительно отрезал Таруотер. — Но ты сможешь копать ямы или дрова пилить, а климат у нас славный.

Таруотер вернулся домой как настоящий блудный дедушка: родные его закололи и приготовили упитанного тельца. Однако прежде

чем сесть за стол, он пожелал прогуляться по окрестностям. Сыновья и дочери, невестки и зятья повалили за ним, униженно глядя на корявые старые руки, распоряжающиеся полумиллионным состоянием. Старик выступал впереди всех и не без лукавства высказывал мнение, одно другого нелепее и бессмысленнее, но ни одно из них не вызвало возражения со стороны его свиты. Остановившись у разоренной мельницы, построенной им когда-то, он оглядел с сияющим лицом всю простирающуюся перед ним Таруотерскую долину и дальние высоты, вплоть до вершины Таруотерской горы, — все это теперь снова становилось его собственностью.

Вдруг у него блеснула мысль, заставившая его отвернуться и высморкаться, чтобы скрыть сверкнувшую в глазах искорку. Все еще в сопровождении всего своего семейства он направился к обветшалому сараю. Здесь он поднял с земли старый валек.

— Уильям, — начал он. — Помнишь наш разговор перед тем, как я уехал в Клондайк? Неужели не помнишь? Ты мне сказал, что я сошел с ума, а я говорил, что мой отец выбил бы из меня дурь вальком, если бы я посмел так разговаривать с ним.

— Ну, это были шутки, — оправдывался Уильям.

Уильям был мужчиной сорока пяти лет, уже с сединой. Жена его и взрослые сыновья стояли тут же и с любопытством наблюдали, как дедушка Таруотер снял с себя куртку и подал ее Мэри подержать.

— Уильям, пойди сюда, — властно приказал он.

Волей-неволей пришлось Уильяму подойти.

— Хоть чуточку отведай, сыночек Уильям, того, что частенько мне приходилось получать от отца, — ворчал старик Таруотер, работая вальком по спине и плечам сына. — Заметь, я не бью по голове. А у отца плохой был нрав, — он не разбирал, голова это или спина… Да не дергай локтями. Чего доброго, еще подставишь невзначай. И скажи мне, сыночек Уильям, как тебе кажется, сошел я с ума или нет?

— Да нет же! — взвизгнул Уильям, корчась от боли. — Не сошел, отец, разумеется, нет! Нисколько!

— А раньше говорил, — поучительно произнес старик Таруотер, откинув валек и надевая куртку. — Ну, теперь идемте обедать.

Золотой самородок

Бывают истории, которым сразу веришь, настолько они естественны. И есть люди, с первого слова внушающие доверие. Таким человеком был Джулиан Джонс. И все же я сомневаюсь, поверит ли читатель этой истории, которую рассказал мне Джулиан Джонс. Но я верю ему. Я даже настолько убежден в правдивости его рассказа, что хочу, нет, жажду истратить все свои деньги и отплыть на пароходе в ту далекую страну.

Я встретился с Джонсом в австралийском павильоне на Панамской Тихоокеанской выставке. Я стоял перед изображениями самородков, найденных на золотоносных полях. Трудно было поверить, что эти бесформенные и массивные самородки не настоящее золото, и еще труднее верилось в истинность приложенных к ним статистических данных об их весе и ценности.

— Так вот что эти охотники на кенгуру называют самородком! — громко сказал кто-то возле моего плеча.

Я обернулся и посмотрел в мутно-голубые глаза Джулиана Джонса. Я посмотрел вверх, потому что стоявший возле меня человек был ростом

шести футов и четырех дюймов. Его волнистые волосы песочно-желтого цвета казались такими же мутными и бесцветными, как и его глаза. Может быть, его обесцветило солнце — по крайней мере, лицо его носило следы сильного давнего загара. Когда Джулиан Джонс отвел глаза от самородка и посмотрел на меня, я заметил в них странное выражение — как будто он тщетно силился вспомнить какое-то событие величайшей важности.

— Что же вас не удовлетворяет в этом самородке? — спросил я. Какое-то затаенное чувство мелькнуло в его глазах, когда он сказал:

— Величина!

— Он кажется очень большим, — сказал я. — Но, несомненно, он подлинный. Австралийское правительство вряд ли решилось бы…

— Большим!.. — прервал он меня, осклабясь и фыркнув.

— Самый большой из когда-либо найденных, — продолжал я.

— Самый большой! — Его тусклые глаза загорелись, как угли. — Вы полагаете, что каждый найденный кусок золота попадает в газеты и энциклопедии?

— Да, — ответил я рассудительно, — о тех,

которые не попали, мы не можем судить. Если какой-либо большой самородок или искатель самородков предпочитает скромно краснеть в тени…

— Не в этом дело, — быстро прервал он меня. — Я видел его своими собственными глазами. А покраснеть я не могу, — я слишком загорел, чтобы краска была заметна на моем лице… Я железнодорожник, мне часто приходилось бывать под тропиками. У меня и так цвет лица, как красное дерево… самое настоящее красное дерево, и меня не раз принимали за синеглазого испанца…

Наступила моя очередь перебить его.

— Тот самородок, который вы видели, был больше этих, мистер… мис…

— Джонс. Меня зовут Джулианом Джонсом.

Он порылся у себя в кармане и достал оттуда конверт, адресованный Джулиану Джонсу, до востребования, Сан-Франциско. Я, в свою очередь, дал ему визитную карточку.

— Очень приятно познакомиться, — сказал он, протягивая мне руку. Голос его гудел при этом так, что я решил: очевидно, ему приходилось кричать при сильном шуме.

— Конечно, я слышал про вас, видел ваш портрет в газетах, и хотя мне не нужно было бы

говорить это, все же я скажу — мне совсем не нравятся ваши статьи о Мексике. Вы не правы, совсем не правы. Вы делаете ошибку всех англичан, считая, что мексиканец — белый. Это не так: ни испанцы, ни итальянцы, ни вся остальная сволочь — не белые. Да, сэр, они совсем не так чувствуют, как мы с вами, не так мыслят, не так действуют. Даже таблица умножения у них другая. Вы думаете, что семью семь — сорок девять, а у них получается не то. Они пользуются ею по-своему. И белое для них не белое. Позвольте мне привести вам один пример. Допустим, вы покупаете кофе для хозяйства пакетами в один или десять фунтов…

— А как же велик был тот самородок, о котором вы говорили? — твердо спросил я. — Так же велик, как самый большой из этих?

— Больше, — сказал он спокойно. — Больше, чем все другие самородки вместе взятые. — Он остановился и посмотрел на меня упрямым взглядом. — Я не вижу причины, почему бы мне не рассказать вам все это дело. У вас репутация, на которую можно положиться, вы видали виды в заморских странах… Я все глаза просмотрел, ища человека, который принял бы мое предложение.

— Мне вы можете вполне довериться, — сказал

я. И вот я описываю здесь подробно всю историю, которую он тогда рассказал мне на скамье перед Дворцом Изящных Искусств, под крики чаек, носящихся над лагуной. А затем мы условились с ним встретиться в назначенном месте. Почему он не сдержал своего слова?.. Но я забегаю вперед.

Когда мы собирались покинуть павильон, чтобы поискать скамью, где можно было бы сесть, какая-то маленькая женщина, лет тридцати, с поблёклым лицом фермерши, подбежала к нему и схватила его за руку быстро и решительно.

— Ты уже уходишь! — воскликнула она. — Так скоро и даже не предупреждаешь меня.

Я был ей представлен: было ясно, что она никогда не слыхала обо мне. Она искоса взглянула на меня своими черными, острыми, близко поставленными глазками, беспокойными и маленькими, как у птички.

— Не собираешься ли ты рассказать ему об этой шлюхе? — спросила она.

— Полно, Сара, ведь это нужно для дела, ты же знаешь, — жалобно пробормотал Джонс. — Я давно ищу такого человека и теперь имею право рассказать ему все, как было.

Маленькая женщина не ответила, плотно сжав свои тонкие губы. Она стала пристально смот-

реть перед собой на Башню Драгоценных Камней с таким суровым выражением, точно никакой солнечный луч не мог ее развлечь. Мы медленно дошли до лагуны, сели на скамью и, освободив измученные ноги от тяжести наших тел, облегченно вздохнули.

— Смертельно устала, — сказала женщина почти вызывающе.

Два лебедя подплыли к нам по зеркальной воде и смотрели на нас. Когда они убедились в нашей скупости и в том, что у нас нет гороха, они поплыли дальше, а Джонс, повернувшись спиной к супруге, рассказал мне свою историю.

— Вы бывали в Эквадоре? Так послушайтесь меня — не ездите туда. Впрочем, беру свои слова назад, потому что, может быть, мы с вами отправимся туда вместе, если вы поверите мне и найдете в себе достаточно силы для подобного предприятия. Да, не очень много времени прошло с тех пор, как я прикатил туда из Австралии на грязном, старом, ржавом, дырявом угольщике, пробыв в плавании сорок три дня. Угольщик делал семь узлов в час при самой благоприятной погоде. Мне пришлось выдержать двухнедельный шторм к северу от Новой Зеландии и чинить машину в течение двух дней на острове Пиктерн.

Я не был моряком, я машинист. Но в Ньюкестле я подружился со шкипером судна и в качестве гостя шкипера доплыл до самого Гваякиля. Видите ли, я слышал о больших окладах, которые платят на американской железной дороге, идущей от Анди до Квито. Теперь Гваякиль…

— Заразная дыра, — вставил я.

Джулиан Джонс кивнул.

— Томас Нэст умер от лихорадки через месяц по приезде туда. Он был лучшим американским карикатуристом, — прибавил я.

— Я его не знал, — кратко сказал Джулиан Джонс. — Но я знаю, что он не первый и не последний из тех, кто погибает там. Теперь вы послушайте, что я нашел в Гваякиле. Лоцманская зона тянется на протяжении шестидесяти миль вниз по течению реки. «А как лихорадка?» — спросил я у лоцмана, который рано утром явился к нам на пароход. — «Видите эту гамбургскую лодку, — сказал он, указывая на довольно большое судно, стоящее на якоре. — Капитан и четырнадцать матросов уже умерли, а повар и двое матросов умирают. Они последние, больше там никого нет».

И, клянусь вам, он сказал правду. Действительно, тогда умирало по сорок человек в день в Гвая-

киле от Желтого Джека[55]. Но потом я узнал, что были болезни и пострашнее. Там свирепствовали бубонная чума и оспа, а дизентерия и воспаление легких быстро сокращали численность населения. Но больше всего свирепствовала железная дорога. Для тех, кому непременно нужно было ехать по ней, она была более опасна, чем все болезни вместе взятые.

Когда мы бросили якорь у Гваякиля, полдюжины шкиперов с других пароходов явились к нам на борт предупредить нашего шкипера, чтобы он не пускал никого на берег, кроме тех, кому надо было там остаться. Из Дюрана, крошечной железнодорожной станции, за мной прислали шлюпку. Дюран — конечный пункт железной дороги. Из шлюпки выскочил человек и в три прыжка поднялся по трапу. Как только он очутился на палубе, он, не сказав никому ни слова, перегнулся через борт и погрозил кулаком в направлении Дюрана.

«Будь ты проклята! Будь ты проклята!» — закричал он.

«Кого ты проклинаешь, дружище?» — спросил я.

«Железную дорогу, — ответил он, расстегнув

---

[55] Примечания: 55
Желтая лихорадка.

ремень и вынув большой револьвер, висевший у него на поясе. — Я ждал три месяца, как было условлено, и не получил ни одного гроша. Я был кондуктором».

И это была железная дорога, на которой я должен был работать. Но все это было пустяками по сравнению с тем, что он рассказал мне в следующую минуту. Дорога от Дюрана поднималась вверх на двенадцать тысяч футов на Чимборазо и оттуда шла вниз на десять тысяч футов в Квито, который находится на другой стороне горы. Дорога здесь так опасна, что поезда не ходят ночью. Дальние пассажиры выходили вечером из вагонов и ночевали в городе.

Каждый поезд сопровождала охрана из эквадорских солдат, которые были опаснее всяких бандитов. Их назначение заключалось в том, чтобы охранять состав, но всякий раз, как начиналась какая-нибудь тревога, они, схватив ружья, присоединялись к толпе. Понимаете, как только с поездом случалось какое-нибудь несчастье, первый крик испанцев был: «Бей англичан!». Они всегда поступали так и прежде всего убивали команду поезда, а затем и пассажиров-англичан, если тем не удавалось спастись бегством. Вот какие были там порядки. Черт бы их побрал!

В тот же день я убедился, что экс-кондуктор не лгал. Это случилось в Дюране. Мне нужно было ехать в Квито, и я должен был отправиться туда на следующее утро с единственным прямым поездом, отходящим раз в сутки. В день моего приезда около четырех часов произошел взрыв котлов на пароходе «Командир Ганкок» и он затонул на шестидесяти футах глубины возле доков. Это было большое судно, которое перевозило железнодорожных пассажиров через реку Гваякиль. Это несчастье повлекло за собой ряд несчастий гораздо худших. К половине пятого начали прибывать перегруженные пассажирами поезда. День был праздничный, была устроена экскурсия из Гваякиля в горы, и публика теперь возвращалась.

Толпа тысяч в пять требовала, чтобы ее переправили на ту сторону реки, а пароход был на дне, в чем мы нисколько не были виноваты. Но, по логике испанцев, выходило, что виноваты мы. «Бей англичан!» — крикнул один из них. И заварилась каша. Большинство из нас еле-еле унесли ноги. Я бежал за главным механиком, неся на руках одного из его детей, к локомотиву, который был под парами. Понимаете, когда подобная история случается в таких захолустьях, первым

делом стараются спасти паровозы, потому что без них какая же железная дорога! Полдюжины американок и столько же детей взобрались на платформу вместе с нами, и мы тронулись. А эквадорские солдаты, обязанные охранять нашу жизнь и наше имущество, принялись по нас же стрелять и выпустили до тысячи зарядов, прежде чем мы очутились за линией обстрела.

Мы переночевали в лесу и вернулись на следующий день, чтобы все привести в порядок. Ну и было же у нас работы! Толпа все разгромила. Дрезины и вагоны были сброшены в воду, на затонувший пароход «Командир Ганкок», паровозное депо, ремонтные мастерские и угольные склады сожжены. Троих из наших товарищей убили.

Джулиан Джонс остановился и посмотрел через плечо на злое лицо жены.

— Я не забыл о самородке, — сказал он.

— Ты не забыл о шлюхе, — колко вставила маленькая женщина, видимо, обращаясь к болотным курочкам, плавающим на поверхности лагуны.

— Я начинаю теперь о самородке…

— Тебе не было никакой нужды оставаться в этой опасной стране, — сказала жена.

— Но, Сара, — воскликнул он. — Я все время

работал для тебя.

И он пояснил мне:

— Риск был велик, но и жалованье было велико. Иногда я зарабатывал в месяц до пятисот золотых долларов. А Сара ждала меня в Небраске…

— И нам, обрученным уже два года… — жаловалась она Башне Драгоценных Камней.

— Что ж поделаешь, когда была забастовка, и я попал в черный список, потом заболел тифом, — продолжал он. — Но счастье сопутствовало мне на этой железной дороге… Да, я видел людей, приезжавших сюда и погибавших, прослужив всего неделю, или от болезней, или от крушений, или от испанцев. Но у меня была другая судьба: я съехал с паровозом с размытой насыпи в сорок футов высоты. Я потерял своего кочегара, а кондуктору и инспектору (который ехал в Дюран, чтобы встретить там свою невесту) испанцы отрезали головы и носили их на палках. Но я лежал зарывшись, как жук, в кучу каменного угля; испанцы думали, что я убежал в лес. Лежал я день и ночь, пока все не прекратилось. Да, мне посчастливилось.

— Самое худшее, что со мной тогда случилось, это, во-первых, насморк, а во-вторых — карбункул. Но другие… Они умирали, как мухи, то от

желтой лихорадки, то от воспаления легких, то от бандитов, то от железной дороги. Досадно, бывало, — не успеешь с ними подружиться, как их уже нет. Я хорошо устроился со своей работой и жил в Квито в глинобитном доме с выложенной большими испанскими черепицами крышей. Я снял его в аренду. И мне никогда не приходилось много страдать от испанцев, потому что я катал их даром на тендере. Сбрасывать их? Никогда! Это раз сделал Джек Гаррис, и я сейчас же попал к нему на похороны, muy pronto.

— Говори по-английски, — сказала маленькая женщина.

— Сара не переносит, когда я говорю по-испански! — извинился он. — Это действует ей на нервы, и я обещал не делать этого. Да, все шло как по маслу, и я откладывал деньги, чтобы ехать на север в Небраску и жениться на Саре, но вдруг встретил Вану.

— Шлюха, — прошипела жена.

— Полно, Сара, — умоляюще прошептал ее гигант-муж, — я только хотел сказать о ней два слова, иначе я не могу перейти к самородку.

Как-то раз ночью пришлось мне ехать на паровозе без вагонов вниз в Амато, который находился в тридцати милях от Квито. Кочегаром был у

меня Сэт Менерс. Я готовил его в машинисты и поэтому позволил ему управлять паровозом, а сам сидел на его месте и предавался мечтам о Саре. Я только что получил от нее письмо, в котором она, как обычно, просила меня приехать и, как обычно, намекала на опасности, которые грозят холостому человеку в стране, где всюду синьориты и фанданго. Боже! Если бы только она могла увидеть их! Эти синьориты — прямо ужас! Лица намазанные, белые, как у трупа, красные рты — как у тех несчастных, которых я вытаскивал из-под обломков вагонов при крушении.

Была дивная апрельская ночь, тихая и теплая. Огромная луна сияла над Чимборазо. Ну и гора же — Чимборазо! Железная дорога поднимается по ней на двенадцать тысяч футов над уровнем моря, а вершина ее возвышается над дорогой еще на десять тысяч футов.

Может быть, я и задремал… Управлял паровозом Сэт и так внезапно затормозил, что я чуть не вылетел из окна. «Какого черта!» — чуть не закричал я. — «Какой ужас!» — сказал Сэт, когда мы оба посмотрели на рельсы. Я согласился с ним. Там была девушка индианка… поверьте мне, индейцы совсем не испанцы, они не имеют с ними ничего общего. Сэту удалось затормозить

паровоз в двадцати футах от нее, когда мы стремглав неслись под уклон. Но индианка… она…

Я видел, как вздрогнула и выпрямилась миссис Джонс, но продолжала смотреть на птиц, нырявших в лагуне.

— Шлюха, — прошипела она.

Джонс остановился при этом слове, но тотчас продолжил.

— Девушка была, понимаете, высокая, тонкая, стройная, с длинными черными распущенными волосами; она стояла спокойно, по-видимому, ничего не боясь, и руки ее были подняты, точно она хотела остановить паровоз. Она была закутана в меха мексиканской кошки, мягкой, пестрой, шелковистой. Вот и все, что было на…

— Шлюха этакая! — прошипела миссис Джонс.

Но мистер Джонс продолжал рассказывать, точно не слышал ее замечания.

— «Чертовский способ останавливать паровоз», — проворчал я Сэту, слезая на правую сторону пути. Я обошел паровоз и подошел к девушке. Как вы думаете, что я увидел? Ее глаза были плотно закрыты. Она дрожала так сильно, что это было заметно даже при лунном свете. Ноги ее были босы…

— «Что с тобой?» — спросил я ее не очень-то

ласково.

Она вздрогнула, как бы выходя из состояния транса, и открыла глаза… Да! открыла глаза, большие, черные, красивые! Поверьте мне, она была красивее…

— Шлюха! — прошипела миссис Джонс с такой силой, что испуганные лебеди быстро отплыли от берега на несколько футов.

Но Джонс взял себя в руки и даже глазом не моргнул.

— «Зачем ты остановила поезд?» — спросил я ее по-испански. Ни звука. Она посмотрела на меня, затем на пыхтящий паровоз и вдруг расплакалась. Вы понимаете, для индианки это совсем странно.

— «Если ты думаешь, что таким образом тебе удастся прокатиться, — сказал я ей по-испански (язык, на котором говорят там, несколько отличается от настоящего испанского языка), — то должен тебя предупредить, чтобы ты в другой раз не делала этого: сетка впереди паровоза могла бы перерезать тебя, и пришлось бы Сэту счищать тебя с сетки».

Мой мексиканско-испанский язык не особенно вразумителен, однако я видел, что индианка поняла меня, хотя только покачала головой и

ничего не ответила. Клянусь пророком Моисеем, она была очень хороша!

Я испуганно взглянул на миссис Джонс, которая, вероятно, поймала мой взгляд, так как пробормотала:

— Если бы она не была хороша, разве он взял бы ее к себе в дом, как вы думаете?

— Ну, перестань же, Сара, — запротестовал муж. — Это нечестно! Ведь я рассказываю, а не ты... Затем Сэт сказал: «Что же нам стоять здесь всю ночь, что ли?»

«Едем! — сказал я девушке. — Лезь на паровоз! Но в следующий раз, когда захочешь покататься, не останавливай паровоз среди дороги».

Она пошла за мной, но когда я поднялся на ступеньки и повернулся, чтобы дать ей руку, ее уже не было. Я пошел ее искать. Нигде нет ее. Вверху и внизу отвесные скалы, и на рельсах не было никого. И вдруг я увидел ее перед паровозом, под сеткой; она лежала там скорчившись. Если бы мы пустили паровоз, то мгновенно раздавили бы ее. Все это было нелепо — я не мог понять ее поступка. Может быть, она хотела покончить самоубийством. Я схватил ее за руку и, дернув не очень-то вежливо, поднял на ноги. Она встала и пошла. Женщины знают, когда мужчина говорит

всерьез.

Взглянув на этого Голиафа, я перевел глаза на его маленькую жену с птичьими глазками и спросил себя, пробовал ли он когда-нибудь говорить с ней всерьез.

— Сэт сперва противился, но я втащил ее на паровоз и заставил сесть возле меня.

— А Сэт, должно быть, был занят в это время паровозом, — заметила миссис Джонс.

— Да ведь я же готовил его в машинисты! — воскликнул мистер Джонс. — Так мы приехали в Амато. Она ни разу не открыла рта и, как только поезд остановился, спрыгнула на землю и исчезла. И только всего. Даже не поблагодарила.

Но на другое утро, когда мы готовились отправиться в Квито с дюжиной товарных платформ, нагруженных рельсами, она уже сидела в паровозной будке, ожидая нас. Тут я увидел, что днем она была еще красивее, чем ночью.

«Смотрите! Она не хочет оставлять вас», — смеялся Сэт. И действительно, у нее был такой вид. Девушка стояла и смотрела на меня… на нас… как собака, которую приласкали, которую приманили колбасой и которая знает, что вы не поднимете на нее руки. «Пошла отсюда прочь!» — сказал я ей pronto. (Миссис Джонс передернулась при испан-

ском слове). Видишь, Сара, она мне совершенно не была нужна даже в самом начале.

Миссис Джонс сдержалась. Ее губы шевелились беззвучно, но я знал, какое слово она шептала.

— Хуже всего то, что Сэт стал издеваться надо мной. «Ты так легко от нее не отделаешься, — сказал он. — Ты спас ей жизнь». — «Я не спасал, — резко ответил я. — Это ты спас ее». — «Но она считает, что ты, а это все равно, — возразил он. — И теперь она принадлежит тебе. Таков обычай старины, как тебе известно».

— Языческий, — сказала миссис Джонс; и хотя она не спускала глаз с Башни Драгоценных Камней, я знал, что это замечание относилось не к архитектуре башни.

«Она будет вести ваше хозяйство», — потешался Сэт. Я молчал, ничего не отвечал на его насмешки, но заставил его подбрасывать уголь, и ему некогда было болтать языком. Когда мы доехали до того места, где накануне подобрали девушку, я остановил поезд, чтобы ссадить ее. Но она упала на колени передо мной, обняла мои ноги и облила слезами мои сапоги. Что мне было делать!

Едва уловимым движением, которое я все же заметил, миссис Джонс показала, как поступила бы она.

— Как только мы приехали в Квито, она соскочила с паровоза и исчезла. Сара не верит мне, когда я говорю, как легко стало у меня на душе, когда она ушла. Я думал, что отвязался от нее. Но не так-то было на самом деле. Вернулся я к себе; меня ждал великолепный обед, который приготовила для меня моя кухарка. Она была на три четверти испанка и на одну треть индианка, а звали ее Палома.

Ну, Сара, ведь я же говорил тебе, что она была старше бабушки и больше походила на коршуна, чем на голубя. Я не мог есть, когда смотрел на нее; но по хозяйству она была молодец и покупала все очень дешево.

Войдя в кухню после сиесты[56], кого я увидел там… как вы думаете, кого? Мою проклятую индианку, и сидела она там, как у себя дома. Старая Палома присела у ног девушки на корточки и растирала ее ноги и колени, точно та была больна ревматизмом (которого у девушки не было, судя по ее походке), и нараспев причитала какое-то заклинание… Я пришел в бешенство. Сара знает, что я не выношу женщин у себя в доме, — молодых, незамужних, конечно. Но я ничего не

---

[56] Примечания: 56
Послеобеденный отдых.

мог сделать. Старая Палома стала на сторону индианки и сказала, что если я не оставлю у себя девушки, то и она, Палома, тоже уйдет. И она называла меня дураком в самых разнообразных выражениях, каких не найдешь в английском языке. Тебе бы, Сара, понравился испанский язык в таких случаях, да и старая Палома понравилась бы. Она была добрая женщина, хотя у нее не было ни одного зуба и ее лицо могло бы отбить самый сильный аппетит у самого здорового мужчины.

Я уступил, делать было нечего. Палома так и не открыла мне, почему она заступилась за девушку; она сказала только, что нуждается в ее помощи по дому. Но это была явная выдумка. Во всяком случае Вана была тихая девушка и никогда никому не мешала. Она сидела на пороге, тихо болтая с Паломой, и помогала ей в кое-каких легких работах. Но я вскоре заметил, что она чего-то боится. Когда входил ко мне кто-нибудь из приятелей распить бутылку вина и сыграть партию в «педро», она так испуганно вздрагивала, что больно было смотреть на нее.

Я старался разузнать у Паломы, чего боялась Вана, но старуха ничего не говорила, лишь качала головой; при этом у нее появлялось такое торжественное выражение на лице, точно она

ждала посещения всех дьяволов из ада.

Однажды к индианке явился гость. Я только что возвратился из поездки и сидел с ней в комнате, — должен же я был обращаться с нею учтиво, хотя она и навязалась мне против моей воли и жила у меня в доме на моем иждивении, — как вдруг я заметил какое-то странное выражение в ее глазах. На пороге стоял индейский мальчик. Он был похож на нее, но моложе и тоньше. Она повела его в кухню, где у них, должно быть, произошел крупный разговор; мальчик ушел, когда уже совсем стемнело. Через неделю он заходил опять, но я не увидел его. Когда я пришел домой, Палома подала мне большой золотой самородок, который весил два фунта и стоил более пятисот долларов. Она объяснила мне, что Вана посылала за этим золотом и просила меня взять самородок за расходы по ее содержанию… И мне пришлось взять самородок, чтобы восстановить в доме мир и тишину.

Затем через некоторое время пришел другой гость… Мы сидели у огня.

— Он и шлюха, — вставила миссис Джонс.

— И Палома, — быстро добавил он.

— Он, его кухарка и его экономка сидели у огня, — поправилась она.

— Ну, я не отрицаю, что Вана действительно сильно любила меня, — сказал он, — сильнее, чем следовало, потому что я не был к ней расположен.

Да, повторяю, явился к ней другой гость. Это был худой, седовласый старец — индеец, с носом, похожим на орлиный клюв. Он вошел не постучав. Вана вскрикнула — ее крик был похож и на стон и на прерывистое дыхание — и упала передо мной на колени, умоляя меня и его жалобными глазами лани, которую хотят убить и которая просит, чтобы ее пощадили. Затем с минуту, которая показалась мне вечностью, она и старик смотрели друг на друга. Первая заговорила Палома на языке старика. Но как дрожали перед ним обе женщины! Старые колени Паломы тряслись, и она пресмыкалась перед ним. И все это делалось в моем доме! Я вышвырнул бы его вон, если бы он не был так стар.

А может быть, слова, которые он говорил индианке, были так же страшны, как его взгляд. Он просто шипел от злобы. Но Палома все время вмешивалась в разговор и наконец сказала ему что-то такое, от чего лицо его смягчилось. Он даже снизошел до того, что один раз окинул меня взглядом и задал Ване какой-то язвительный

вопрос. Та опустила голову, покраснела, а затем ответила одним словом, отрицательно тряхнув при этом головой. Он повернулся и вышел. Я понял, что она сказала «нет».

В течение некоторого времени после этого Вана всякий раз краснела при встрече со мной. Она старалась сидеть в кухне, избегая меня. Но спустя некоторое время начала снова заглядывать в большую комнату. Она все еще дичилась, но ее большие глаза неотступно следили за всеми моими движениями.

— Шлюха! — услышал я. Но Джулиан Джонс и я успели уже привыкнуть к этому слову.

— Не скрою от вас, что я стал интересоваться ею. О, не так, как думает Сара! Двуфунтовый самородок — вот что задело меня за живое. Если бы Вана навела меня на след, сообщила, откуда он, я мог бы сказать «прости» железной дороге и вернуться в Небраску к Саре.

Но потом все случилось так… само собой. Я получил письмо из Висконсина. Моя тетка Элиза скоропостижно умерла, оставив мне большую ферму. Я вскрикнул от радости, когда читал это письмо, но я мог бы не спешить радоваться, ибо у меня потом все отобрали и высосали все мои деньги суды и адвокаты — ни одного цента я не

получил и до сих пор расплачиваюсь с адвокатами.

Но тогда я не знал этого и собрался ехать в ту обетованную страну. Палома слегла в постель, а Вана стала плакать. «Не уезжайте, не уезжайте», — умоляла она. Но у меня засела мысль о ферме — и я написал письмо сюда Саре. Правда, Сара?

В тот же вечер, сидя у огня, печальная, как на похоронах, Вана в первый раз разоткровенничалась.

«Не уезжай, — говорила она мне, а старая Палома кивала в знак согласия. — Я покажу тебе то место, где мой брат достал самородок». — «Слишком поздно», — ответил я. И сказал ей, почему.

— Ты сказал ей, что я зову тебя в Небраску? — заметила миссис Джонс холодным, бесстрастным тоном.

— Полно, Сара! Зачем бы я стал ранить сердце индейской девушки! Конечно, я не сказал ей этого.

Да, она и Палома поговорили по-индейски, и затем Вана сказала мне: «Если ты останешься, я покажу тебе самый большой самородок, — отца всех самородков». — «А как он велик, — спросил я, — будет с меня?» — Она засмеялась. «Больше

тебя, — говорит она, — много, много больше». — «Ну, таких не бывает», — сказал я, но Вана стала уверять, что сама видела его, и Палома подтвердила ее слова. Послушать их, так выходило, что в одном этом самородке были заключены миллионы. Палома никогда не видела его сама, но слышала о нем. Это была тайна племени, недоступная ей, потому что сама она была наполовину индианка.

Джулиан Джонс остановился и вздохнул.

— И они уговаривали меня до тех пор, пока я не соблазнился…

— Шлюхой, — тотчас же прощебетала миссис Джонс.

— Нет, самородком. Правда, благодаря ферме тетки Элизы я был достаточно богат, чтобы перестать трепаться по железной дороге, но все же недостаточно богат, чтобы отказаться от больших денег… Я поверил этим двум женщинам. «Да, я могу стать вторым Вандербильтом или Морганом», — думал я. И я начал выпытывать тайну у Ваны, но она не хотела указать место. «Пойдем со мной, — говорила она. — Мы вернемся сюда через две недели и принесем столько золота, сколько сможем взять с собой». — «Мы возьмем с собой осла или нескольких ослов», — предлагал я. Но она

была против этого, да и Палома поддерживала ее. Это было опасно, индейцы могли захватить нас.

Мы пустились в путь вдвоем в лунную ночь. Шли только по ночам, а днем прятались в лесах. Вана не позволяла зажигать костер, и я ужасно тосковал по кофе. Мы взобрались на высокий хребет Андов, покрытый снегом, и снег очень затруднял ходьбу. Хотя девушка хорошо знала дорогу, нам пришлось потратить на переход целую неделю. Я знаю общее направление нашего пути, потому что у меня был карманный компас; я нашел бы и теперь дорогу туда. Мы все время шли к одной вершине, которую нельзя не узнать. Ошибиться невозможно. Другой такой вершины нет во всем мире. Если мы с вами поедем в Квито, я оттуда прямо проведу вас к ней.

Но подняться на нее было нелегко, и нет такого человека, который влез бы на нее ночью. И мы должны были взбираться днем, но не дошли до вершины, как солнце село. Я мог бы несколько часов подряд рассказывать вам об этом последнем подъеме, но не стоит. Самая вершина была плоская, как бильярдный стол, величиной в полакра, и на ней почти не было снега. Вана сказала мне, что сильные ветры сдувают снег.

Мы выбились из сил, у меня началось голово-

кружение — горная болезнь, и я вынужден был прилечь. Когда взошла луна, я обошел вершину. Нигде я не заметил и признаков золота. Когда я спросил Вану, где же золото, она засмеялась, захлопала в ладоши. А у меня опять сделался приступ горной болезни, и я сел, чтобы прийти в себя.

«Ну, пойдем, — сказал я, когда почувствовал себя лучше, — перестань дурачиться и скажи, где этот самородок». — «Он ближе к тебе, чем я сейчас, — ответила она, причем ее большие глаза стали задумчивы. — Все англичане одинаковы. Золото — твоя любовь, а не женщина».

Я ничего не ответил. Не рассказывать же про Сару. Но Вана, казалось, сбросила с себя уныние и начала смеяться и дразнить меня. «Ну, как он тебе нравится?» — спросила она. — «Кто нравится?» — «Самородок, на котором ты сидишь».

Я подпрыгнул, точно это была докрасна раскаленная плита. Вонзился взглядом: простая скала. Я почувствовал, что сердце мое упало. Или она помешалась, или устроила все это ради шутки. Она дала мне топорик и велела ударить по скале. Я начал стучать топором, и вдруг полетели желтые осколки от каждого удара. Клянусь Моисеем, это было золото!

Джонс внезапно поднялся во весь рост и протянул длинные руки к югу. Это движение вселило ужас в сердце лебедя, который подошел к нам с дружелюбными намерениями. В своем быстром отступлении он столкнулся с толстой старой дамой, которая, вскрикнув, уронила свой мешок с горохом. Джонс сел и продолжал:

— Золото, говорю вам, такое чистое и мягкое, что я мог отсекать от скалы его куски. Оно было покрыто чем-то вроде краски или лака, сделанного из асфальта или чего-то в этом роде. Не было ничего удивительного в том, что я принял его за простую скалу. Самородок равнялся десяти футам в ширину и суживался к концам, как яйцо. Вот, взгляните.

Он достал из кармана кожаный футляр и вынул из него какой-то предмет, завернутый в папиросную бумагу. Развернув, он подал мне кусок мягкого золота величиной с монету в десять долларов. Я мог разглядеть сероватое вещество, которым он был покрыт с одной стороны.

— Я отколол это от одного конца скалы, — продолжал Джонс, завертывая кусок золота в бумагу и пряча его в кожаный футляр.

Я только что положил его в карман, как сзади меня послышался громкий голос, более похожий

на треск, чем на голос. Я обернулся и увидел того худого старика с орлиным клювом, который как-то раз приходил к Ване. С ним было около тридцати индейцев — все молодые и сильные.

Вана упала на колени и начала стонать, но я сказал ей: «Встань и помирись с ними ради меня». — «Нет! нет! — закричала она. — Это смерть. Прощай, amigo»…

Здесь миссис Джонс вздрогнула, а ее муж резко сократил свой рассказ.

— Ну, коли так, будем драться с ними, — сказал я ей.

Вана послушно встала. Она дралась, как фурия, кусая, царапая, работая и зубами, и когтями, как настоящая кошка. Я же не терял времени и работал вовсю топориком и своими длинными руками. Но индейцев было слишком много, а я не мог даже прислониться к какой-нибудь стене спиной. Когда я очнулся после удара по голове… вот пощупайте-ка это!

Сдвинув шляпу, Джулиан Джонс провел моей рукой по своим желтоватым волосам, по тому месту, где чувствовалась впадина дюймов трех в длину, уходившая в самую кость черепа.

— Когда я очнулся, то увидел Вану, распростертую на скале, и старика с орлиным клювом,

который бормотал что-то, точно совершал религиозный обряд. В руке он держал каменный нож, тонкий, острый, из какого-то похожего на агат камня, — индейцы делают из него наконечники для своих стрел. Я не мог шевельнуться — меня держали индейцы, да и слаб я был… И… словом, они убили ее этим каменным ножом, а меня не удостоили этой чести, не хотели убивать «белого» на священной вершине. Они сбросили меня ногой, как падаль.

А все же я не достался хищным птицам! Как сейчас вижу перед собой освещенные луной снежные горные цепи, когда я летел вниз. Да, сэр, лететь мне пришлось бы футов пятьдесят, но я задержался на пути, попав в снежный сугроб в расщелине горы. Когда я очнулся (спустя много часов, так как был уже день), то увидел, что нахожусь в настоящей снеговой пещере, или тоннеле, промытом водою тающих снегов. В том месте, где я упал, выдвигалась скала. Немного в ту или другую сторону — и я бы погиб. Я спасся каким-то чудом.

Но я дорого заплатил за спасение. Прошло больше двух лет, пока ко мне вернулась память. Я помнил только, что я Джулиан Джонс, что я был занесен в черный список во время большой заба-

стовки и что я должен жениться на Саре. Больше я не помнил ничего, и когда Сара пыталась расспрашивать, у меня начинала болеть голова. В голове у меня было неладно — я сознавал это сам. Но однажды, когда я сидел на крыльце домика отца Сары в Небраске, в лунный вечер, Сара вышла ко мне и подала этот кусок золота. Кажется, она только что нашла его в порванной подкладке чемодана, который я привез с собой из Эквадора… А я уже два года не помнил, что был когда-то в Эквадоре. Я смотрел на этот кусок при лунном свете, вертел его в руках и старался вспомнить, откуда он мог попасть ко мне. И вдруг точно кто стукнул меня по голове — и память вернулась ко мне… Вана, распростертая на большой золотой скале, старик с орлиным клювом, размахивающий каменным ножом, и все… все, что случилось с того времени, как я оставил Небраску, и до того момента, когда я полз по снегу, выбираясь из трещины в горе. А что было потом, не помнил совершенно. Когда Сара сказала, что я ее муж, я не хотел ее слушать. Пришлось призвать всю семью и священника, который венчал нас, чтобы убедить меня в этом.

Позднее я написал Сэту Менерсу — его тогда еще не убила железная дорога, — он заполнил

много пробелов в моей памяти. Я покажу вам его письма. Однажды, писал он, совершая свою очередную поездку, он увидел меня ползущим у линии железной дороги. Я не мог стоять, а только полз. Сначала он принял меня за теленка или большую собаку. Во мне не было ничего человеческого, писал он, я не узнал его и ничего не понимал. Насколько я могу сообразить, Сэт подобрал меня дней через десять после истории на горной вершине. Чем я питался в эти дни, я не знаю. Может быть, я не ел совсем.

В Квито я попал к докторам и Палома ухаживала за мной (это она, вероятно, положила золото в мой чемодан), пока все не убедились, что я лишился рассудка; тогда меня отправили в Небраску. Во всяком случае так Сэт пишет мне об этом. Я же ничего не знаю о себе самом. Но Сара знает. Она переписывалась с железнодорожными властями, прежде чем меня отправили на пароходе.

Миссис Джонс кивнула утвердительно. Затем она вздохнула и проявила явные признаки того, что хочет идти.

— Я не могу работать с тех пор, — продолжал ее муж. — И не могу придумать, как мне добраться до того самого самородка. У Сары есть деньги, но

она не дает мне из них ни одного пенни.

— Он никогда не поедет в ту сторону… — сказала она.

— Но, Сара, ведь Вана умерла… ты знаешь это, — воскликнул Джулиан Джонс.

— Я об этом ничего не знаю, — ответила она решительно, — знаю только, что там не место женатому человеку.

Она плотно сжала губы и пристально посмотрела невидящим взором туда, где вечернее солнце начинало пылать перед закатом. Я с минуту смотрел на ее личико — беленькое, пухленькое и упрямое — и признал ее безнадежной.

— Но как же вы объясните, что там оказалась такая масса золота? — спросил я Джулиана Джонса. — Золотой метеор, что ли, упал с неба?

— Нисколько, — покачал он головой. — Туда принесли его индейцы.

— На такую высоту? И такой огромный самородок? — возразил я.

— Совсем не огромный, — улыбнулся он. — Я сам не раз ломал голову над этим вопросом, после того как ко мне вернулась память. Когда я, наконец, догадался, я почувствовал себя безнадежным идиотом, так все это было просто.

Он подумал немного и сказал:

— Им не пришлось тащить туда самородок.

— Но ведь вы только что сказали, что его туда втащили.

— И да и нет, — ответил он загадочно. — Конечно, никогда не поднимали они на вершину этот чудовищный самородок, но они носили туда золото постепенно, по частям.

Он подождал, пока не увидел по моему лицу, что я понял.

— А потом, конечно, сплавили золото в одно целое. Вы знаете, что первые испанцы, основавшиеся в Эквадоре, были под предводительством вождя своего Пизарро шайкой разбойников и головорезов. Они прошли по чужой стране, как чума, убивали индейцев, как скотину. Вы знаете, что у индейцев было золото. Так вот то, что испанцы не отняли у них, они и спрятали в виде того огромного слитка на вершине горы, и золото ждет там меня... и вас, если только вы захотите поехать туда со мной.

Но здесь, у лагуны Дворца Изящных Искусств, так и оборвалось мое знакомство с Джулианом Джонсом. На мое согласие финансировать предприятие он обещал прийти ко мне в отель на другой день, захватив с собой письма Сэта Менерса и письма администрации той железной дороги.

Мы должны были выработать план действий. Но он не пришел. В тот же вечер я позвонил по телефону в его отель и узнал, что Джулиан Джонс и его жена уехали днем, взяв с собой свой багаж.

Может быть, миссис Джонс увезла его насильно и спрятала в Небраске? Я помню, когда мы прощались, на ее лице промелькнула улыбка, напомнившая мне хищную, лукавую улыбку Моны Лизы.

КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ

(сборник)



Никому еще не удавалось обыграть богов. Хотя Каркинес, герой одноименного рассказа этого сборника повстречал людей, которым это почти удалось, но кара богов настигла в конце и их...

Когда боги смеются

Да, сонм богов нас победил!
Им служит время! Им под ноги
Мы стелемся. Как дым кадил,
Для них моленья и тревоги —
На то они и боги.

Наконец Каркинес расслабился. Он скользнул взором по дребезжащим окнам, глянул вверх на бревенчатую крышу и на мгновение прислушался к дикому завыванию юго-восточного ветра, словно схватившего наше бунгало в свою пасть. Затем он приподнял стакан и, глядя сквозь золотистое вино на огонь камина, весело засмеялся.

— Оно великолепно, оно слаще сладкого! Это вино, созданное для женщин, для уст святителей в серых ризах!

— Мы возделываем виноград для него на наших холмах, — отвечал я с вполне простительной для калифорнийца гордостью. — Вы вчера проезжали как раз мимо тех виноградников, где он произрастает.

Не так-то легко было заставить Каркинеса расслабиться. Ведь он не станет самим собой, пока не почувствует, как ласковая теплота виноградной струи поет в его жилах. Правда, он был художником, художником всегда и во всем. Но как-то так выходило, что в трезвости вдохновение покидало его, и он мог стать смертельно скучным, как английское воскресенье, — правда, не совсем таким, как другие скучные люди, но все же скучным по сравнению с тем бойким малым, каким бывал Каркинес, став самим собой.

Однако из всего этого не следует заключать, будто Каркинес — мой дорогой друг и товарищ — был дураком. Вовсе нет! Он очень редко заблуждался. Как сказано, он был художником. Он знал свою меру; а мерой ему служило душевное равновесие, — то равновесие, которое свойственно нам с вами, когда мы трезвы.

В природе его было нечто эллинское. И все же он был весьма далек от эллина. «Я — ацтек, я — инка, я — испанец», — говаривал он мне. В самом деле, его смуглая кожа и асимметричные, резкие черты лица напоминали об этих таинственных и древних племенах. Глаза его под массивными арками бровей были широко расставлены и варварски черны, а на них постоянно

свисала большая прядь черных волос, сквозь которую он глядел на мир, точно плутоватый сатир сквозь чащу кустов. Он постоянно носил мягкую фланелевую рубашку, бархатную куртку и красный галстук. Последний заменял красное знамя (Каркинес в Париже водился с социалистами) и символизировал кровь и братство людей. И никто не видел на его голове ничего, кроме сомбреро с кожаной лентой. Поговаривали даже, будто он так и родился в этом странном головном уборе. Я-то знаю, какое забавное зрелище представляло это мексиканское сомбреро в кебе на Пиккадилли или в толпе на остановке городской железной дороги Нью-Йорка.

Как сказано, Каркинес оживлялся от вина, как глина от дыхания жизни, — по его собственному выражению. Я должен сказать, что с Богом он состоял в кощунственно-задушевных отношениях, и тем не менее кощунства в нем не было. Он всегда был честен, но — весь полный парадоксов — зачастую груб, как дикарь, порой — нежен, как девушка, или вкрадчив, как испанец. Итак, разве он не был ацтеком, инкой, испанцем?

Теперь я должен извиниться за то, что уделил ему так много места (он мой друг, и я его люблю).

Он подвинулся поближе к огню и улыбнулся,

глядя на него сквозь стакан с вином; а дом сотрясался от порывов ветра. Каркинес бросил на меня взгляд, и по блеску его глаз я убедился, что он в своей тарелке.

— Итак, вы думаете, что обыграли богов? — спросил он.

— Почему же богов?

— Разве не они заставили людей познать пресыщение?

— А откуда же во мне желание избежать пресыщения? — с торжеством в голосе поинтересовался я.

— Опять-таки от богов, — рассмеялся он. — Мы играем в их игру. Они сдают, они же тасуют… и загребают ставки. Не думайте, что, убежав из сумасшедших городов, вы ускользнули от богов, — вы, с вашими холмами, одетыми в виноградники, с вашими восходами и закатами, с вашим домашним столом и простым обиходом. Я наблюдал за вами с самого своего приезда. Вы не выиграли игру, вы сдались. Вы вошли в соглашение с неприятелем. Вы сознались в своем утомлении. Вы выбросили белый флаг усталости. Вы вывесили извещение о банкротстве ваших жизненных сил. Вы убежали от жизни. Вы сплутовали — и весьма некрасиво. Вы забастовали, не

кончив игры. Вы отказались играть. Вы бросили карты на стол и улизнули сюда, чтобы укрыться среди своих холмов.

Он убрал со лба густые волосы, скрывавшие его сверкающие глаза, и на мгновение прервал речь, чтобы свернуть длинную коричневую мексиканскую папиросу.

— Но боги это знают. Это — старый приемчик. Каждое поколение людей прибегало к нему… и все проигрывали. Боги знают, как расправляться с такими, как вы. Стремиться к чему-нибудь — значит обладать, а обладать — значит пресытиться. И вот вы, по мудрости своей, отказались от всякого стремления. Вы предпочли успокоиться. Ладно! Вы пресытитесь этим самым покоем. Вы говорите, что избежали пресыщения. Нет, вы только променяли его на старческую слабость. А старческая слабость есть лишь другое название того же пресыщения. Она — маска пресыщения. Так-с!

— Но поглядите на меня! — вскричал я.

Каркинес был настоящим демоном, умеющим вытянуть из кого-нибудь душу и разорвать ее в клочья. Он смерил меня с ног до головы убийственным взглядом.

— Нет никаких внешних признаков старо-

сти, — бодрился я.

— Упадок настигнет вас внезапно, — возразил он. — Вы уже перезрели и скоро начнете гнить.

Я рассмеялся и простил этого задиру. Но он от прощения отказался.

— Разве я не знаю? — сказал он. — Боги всегда выигрывают. Я следил за некоторыми людьми, которые год за годом как будто выигрывали, а под конец все-таки продувались в пух и прах.

— Не ошибались ли вы иногда? — спросил я.

Прежде чем ответить, он задумчиво выпустил несколько колец дыма.

— Да, однажды меня чуть-чуть не одурачили. Хотите, я вам расскажу? Был тут такой Марвин Фиск. Вы его, верно, помните? С лицом Данте и душой поэта! Все распевал гимны плоти. Истинный жрец любви. И была такая Этель Бейрд, которую вы, по всей вероятности, тоже помните.

— Святая женщина, — сказал я.

— Вот именно! Святая, как любовь, — нет, даже нежней любви! Поистине, женщина, созданная для любви, и все же — как бы это сказать — насквозь пропитанная святостью, как ваш здешний воздух пропитан ароматом цветов. Так вот, они поженились. Сыграли партию с богами…

— И выиграли, блестяще выиграли! — прервал

я его.

Каркинес поглядел на меня с жалостью, и голос его прозвучал как погребальный звон.

— Они проиграли. Они проиграли все.

— Но люди думают иначе, — промолвил я холодно.

— Люди строят догадки. Люди видят только лицевую сторону вещей. А я — я знаю. Приходило вам когда-нибудь в голову спросить себя, почему она постриглась в монахини, почему похоронила себя в этой скорбной обители живых мертвецов?

— Потому что она сильно его любила, а когда он умер…

Я осекся, увидев усмешку Каркинеса.

— Ответ стандартный, — проговорил он, — как на фабрике отштампованный. Мнение общества! Что знает об этом общество? Она, как и вы, бежала от жизни. Она была разбита. Она выбросила белый флаг усталости. И ни один осажденный город никогда еще не выбрасывал этот флаг с такой горечью и со столькими слезами.

Теперь я расскажу вам все, а вы должны мне поверить, ибо я все это знаю. Марвин Фиск и Этель размышляли о проблеме пресыщения. Они любили любовь. Они знали цену любви с точностью до одного фартинга. Они любили ее так крепко,

что хотели сохранить ее навеки в своих сердцах — навеки живой и горячей. Они приветствовали ее появление и боялись ее ухода.

Они думали: любовь есть желание, сладостная мука. Она вечно ищет удовлетворения и, найдя его, умирает. Любовь отвергнутая — это любовь живая; любовь вознагражденная — мертвая любовь. Следите ли вы за моей мыслью? Они знали, что жизнь, по самой природе своей, не может жаждать того, чем она уже обладает. Есть и оставаться голодным — этой задачи не разрешил еще ни один человек. Это — проблема пресыщения. Обладать и в то же время непрестанно оттачивать острое лезвие голода до степени наивысшего томления — вот в чем была их задача, ибо они любили любовь. Часто обсуждали они этот вопрос, и сладостные огоньки любви вспыхивали в их глазах; ее алая кровь заливала их щеки; ее голос звенел в их голосах, то дрожа у них в горле неслышным тремоло, то звуча невыразимой нежностью, лишь ей одной ведомой. Вы спросите: откуда мне все это известно? Многое я видел. Еще больше узнал из ее дневника. Вот какую цитату из Феоны Маклауда нашел я в нем: «Истинно говорю вам, что этот прерывистый голос, сумеречный шепот, росистое сладкое дыха-

ние, этот огненнокрылый Кифаред, что предстает перед людьми лишь на мгновение в мерцании радуги радости и во внезапной вспышке молнии страсти, та изысканная тайна, что зовется Эросом, — является лишь немногим восторженным ясновидцам, и не с той песней на устах, которую слышат все, не с веселыми скрипками публичной музыки, а со звуками, рожденными экстазом, с немым красноречием желаний».

Как удержать огненнокрылого Кифареда с немым красноречием желаний? Остановить его — значит потерять его! Их любовь друг к другу была великой любовью. Их житницы ломились от изобилия; и все же они хотели сохранять в целости острое лезвие любовного голода.

Притом они не были неоперившимися, худосочными птенцами, разводящими теории на пороге любви. Это были сильные, сложившиеся души. Им уже доводилось испытывать любовь и раньше. И тогда они душили любовь ласками, и убивали ее поцелуями, и погребали ее в могиле пресыщения. Ни он, ни она не были холодными призраками: это были человеческие существа с горячей кровью, без капли саксонской трезвости: их кровь была окрашена румянцем заката, которым они пламенели. В их темпераменте

была французская радость плоти. Они были идеалистами, но идеализм их был галльский. Он не разбавлялся прохладной и темной жидкостью, которая служит кровью англичанам. В них не было ни тени стоицизма. Они были американцами, потомками англичан, и все же не знали обуздывающего английского самоанализа.

Они были такими, как я сказал, — созданными для радости. Но… у них появилась некая идея (черт побери все идеи!). Они вели игру по всем правилам логики, и логика их была такова…

Но прежде позвольте мне рассказать вам о разговоре, который произошел у нас однажды вечером. Речь шла о «Мадмуазель де Мопэн» Теофиля Готье. Помните ли вы эту героиню? Она поцеловала мужчину один раз — только один раз в жизни — и больше не хотела поцелуев. Не то чтобы поцелуи показались ей не сладкими, но она боялась, что, часто целуясь, она пресытится ими. Опять пресыщение! Она вздумала играть с богами, не ставя ничего на карту. А это противоречит правилам игры, установленным самими богами. Только… правила эти не вывешены над столом. Смертные должны усваивать их во время самой игры.

Итак, вернемся к логике. Марвин Фиск и Этель

Бейрд рассуждали так: а зачем вообще нужен этот один поцелуй? Если поцеловаться только один раз — мудрость, то не мудрее ли будет вовсе не целоваться? Так они сумеют поддерживать вечную жизнь любви. Воздержание навсегда привьет ее к их сердцам.

Быть может, осуществляя это святотатственное решение, они действовали под влиянием наследственности. Порода всегда сказывается, и часто самым фантастическим образом. Вот и в их душах проклятая кровь Альбиона, может быть, взрастила расчетливого развратника и холоднорассудительную кокетку. Этого я не могу знать. Но одно я знаю: они отказались от наслаждения из-за чрезмерной любви к наслаждению.

Он говорил (я потом прочел это в одном из его писем к ней): «Сжимать тебя в объятиях крепко — и все же не крепко; тосковать по тебе и никогда тобой не обладать — и тем не менее обладать тобой вечно». А она: «Ты всегда должен быть для меня недосягаем. Всегда настигать тебя — и никогда не настигнуть; и так жить вечно, будучи свежим и новым, с румянцем юности на щеках». Они выражали это не так. Из моих уст их любовная философия выходит в искаженном виде. Да и кто я такой, чтобы копаться в их душах?

Я — лягушка на мокром краю великого мрака, выпученными глазами глядящая на тайну и с изумлением созерцающая их пламенные души.

И они были правы — до известной степени. Всякая вещь хороша… пока мы ею не обладаем. Пресыщение и обладание — это кони Смерти, запряженные парой.

А время учит только сохранять

В золе привычки тепленькую страсть.

Они прочитали это у Альфреда Остина, в сонете под названием «Мудрость любви». Это — все тот же единственный поцелуй Мадлены де Мопэн. Как это там сказано?

Целуй! Прощай! — Вот в чем благая часть.

Да, лучше смерть, чем с неба наземь пасть,

Чем мощь свою на слабость променять.

Но они были мудры: они не хотели целоваться — и расстаться. Они хотели вовсе обойтись без поцелуев и мечтали взобраться на высочайшую вершину любви. Они поженились. Вы в то время были в Англии. Такого брака еще никогда не бы-

ло. Они хранили свою тайну от всех. Я тогда еще ничего не знал. Огонь их порывов не остывал. Любовь их сияла все усиливавшимся светом. Это было нечто бесподобное. Проходило время — месяцы, годы, а огненнокрылый Кифаред становился все лучезарней. Все изумлялись. Они прослыли сказочными любовниками, и многие им завидовали. Иногда женщины жалели ее, потому что она была бездетной: в такой форме выражается зависть у этих созданий.

А я не знал их секрет. Я думал и изумлялся! Сначала я все ожидал (как кажется, подсознательно), что любовь их пройдет. Затем я убедился, что проходит время, а любовь остается. Тогда во мне проснулось любопытство. В чем был их секрет? Что это за магические цепи, которыми они привязали к себе любовь? Чем удерживают они капризную фею? Уж не выпили ли они эликсир вечной любви, как когда-то Тристан и Изольда? И чья рука смешала для них волшебное зелье?

Как сказано, я был любопытен, я наблюдал за ними. Они любили безумно. Жизнь их была нескончаемым пиршеством любви. Они окружали ее церемониалом. Они упивались искусством, поэзией любви. Нет, они не были невропатами. Они были нормальными и здоровыми людьми,

художниками по натуре. Но они совершили невозможное. Они создали бессмертное желание.

А я? Я часто созерцал их и непреходящее чудо их любви. Я недоумевал и удивлялся, и вот однажды…

Каркинес резко оборвал свой рассказ и спросил:

— Читали ли вы когда-нибудь «Время ожидания любви»?

Я покачал головой.

— Это написал Пейдж… кажется, так: Куртис Хидден Пейдж. Вот эти-то стишки и дали мне ключ к разгадке. Однажды на стуле у окна, возле большого рояля… Вы помните, как она умела играть? Она иногда смеялась и спрашивала, прихожу ли я ради них или ради музыки. Она называла меня «музыкальным психопатом», а однажды назвала «звуковым кутилой». Какой у нее был голос! Когда она пела, я начинал верить в бессмертие. Мое почтение к богам принимало оттенок покровительства, и я принимался измышлять пути и способы, какими я мог бы безошибочно перехитрить их со всеми их уловками.

Они представляли зрелище, достойное богов, —

эти двое супругов, годы прожившие в браке и все еще поющие любовные песни, девственно-свежие, как сама новорожденная Любовь, — эти супруги, полные такого зрелого, богатого и горячего чувства, о котором молодые влюбленные не имеют понятия. Молодые влюбленные были бледны и малокровны по сравнению с этой давно повенчанной парой. Стоило поглядеть на них, когда они — воплощенные пламя и нежность — в трепетном отдалении друг от друга непрестанно расточали ласки взглядом и голосом, в то время как любовь толкала их друг к другу, а они противились, как порхающие мотыльки; один для другого — зажженная свеча, один облетает другого, в безумном вихре кружась по орбите! Казалось, будто подчиняясь какому-то великому закону природы, более мощному и тонкому, чем тяготение, они должны были физически слиться и растаять друг в друге тут же, на моих глазах. Неудивительно, что их звали сказочными любовниками. Итак, я недоумевал. Теперь вернемся к разгадке. Однажды на стуле у окна я обнаружил книгу стихов. Она раскрылась сама на «Времени ожидания любви», очевидно, много раз читанном. Страницы были измяты — их слишком часто переворачивали. И вот я прочитал:

Какая сладость в отдаленьи быть,
Друг друга знать, и весь восторг
Касаний нежных сохранить в душе.
О, не сейчас… Храни, храни любовь
Завернутой в покров священных тайн,
Какие нам грядущее несет…
Но не сейчас… с годами… не сейчас…

О, дай любви немного возрасти!
Она, расцветши, может умереть…
Питай ее мечтой о поцелуе —
Пусть в отреченьи дремлет краткий миг…
О, только миг… о, только краткий миг…

Я заложил страницу пальцем и долго сидел молчаливо и неподвижно. Я был потрясен ясностью видения, которое вызвали во мне эти стихи. Это было просветление. Это был точно луч молнии в темной яме. Они хотели удержать любовь, летучий призрак, предтечу юной жизни, — юной жизни, требующей рождения!

Я мысленно пробежал строки стихов: «Но не сейчас… с годами… не сейчас»… «Питай ее мечтой

о поцелуе — пусть в отреченьи дремлет»... И я громко расхохотался. Ха-ха! Я увидал в светлом видении их непорочные души. Они были детьми. Они не понимали. Они играли с огнем Природы и клали между собою на ложе обнаженный меч. Они смеялись над богами. Они хотели остановить подрывную работу Космоса. Они изобрели систему, и с нею подошли к игорному столу жизни в надежде на выигрыш.

«Берегитесь! — вскричал я. — Позади стола стоят боги. Они выдумывают новые правила всякий раз, когда изобретается новая Система. У вас нет шансов выиграть!»

Но на самом деле я им этого не крикнул. Я ждал. Я думал, они осознают негодность своей системы и бросят ее; они удовлетворятся долей счастья, отпущенной им богами, и не будут стремиться к большему. Я наблюдал. Я ничего не говорил. Месяцы все приходили и уходили, а лезвие их любовного голода все оттачивалось. Никогда не притупляли они его объятиями. Они правили и точили его на оселке самоотречения, и оно становилось все острее и острее. Это продолжалось до тех пор, пока даже я не усомнился. «Неужели боги спят? — изумлялся я. — Или они умерли?» Я высмеивал самого себя. Эти двое совершили чудо.

Они перехитрили богов. Они посрамили плоть и очернили лик доброй Матери-Земли. Они играли с ее огнем — и не обожглись. Они сами были богами; познали добро и зло, и не вкушали ни от того, ни от другого. «Не этим ли путем возникли боги?» — спрашивал я себя. «Я — лягушка», — говорил я себе. Если бы мои веки не были залеплены тиной, я был бы ослеплен сиянием чуда, которому стал свидетелем. Я бахвалился своим знанием людей — и осмелился судить о богах.

И все же, даже в этой последней своей мудрости — я ошибался. Они не были богами. Они были мужчиной и женщиной — горстками праха, вздыхающими и трепещущими, насквозь пронизанными желаниями и подверженными странным слабостям, которых не знают боги.

Каркинес прервал рассказ, чтобы свернуть новую папироску, и резко рассмеялся. Это был неприятный смех. Он напоминал хохот дьявола и прозвучал громче рева непогоды, который глухим гулом доносился извне до наших ушей.

— Я — лягушка, — повторил он, как бы извиняясь. — Как могли они это понимать? Они были художниками, а не биологами. Они знали глину своей мастерской, но не знали той глины, из которой сами сделаны. Но одно я должен сказать:

они вели крупную игру. Никогда еще такой игры не было и, думается, никогда не будет.

Никогда экстаз влюбленных не доходил до такой степени. Они не убили любовь поцелуями. Они оживили ее отречением. Отречением они довели ее до того, что она готова была разорваться от желания. А огненнокрылый Кифаред обвевал их своими теплыми крыльями, доводя их до экстаза. Это был настоящий экстаз любви, и тянулся он днями и неделями, не уменьшаясь, а только разгораясь. Они тосковали и томились в муках, в сладостной, упоительной агонии, какой не переживали влюбленные ни до, ни после них.

И вот однажды сонные боги перестали кивать головами. Они посмотрели на мужчину и женщину, которые подняли их на смех. И как-то утром мужчина и женщина поглядели друг другу в очи и поняли, что что-то ушло. Ушел тот — с огненными крылами, он выпорхнул ночью неслышно из их отшельнической кельи.

Они поглядели друг другу в очи — и поняли, что им все равно. Желание умерло. Понимаете? Умерло желание. А они ни разу не поцеловались. Ни разу. Любовь ушла. Они больше не будут ни пламенеть, ни томиться. Им не осталось ничего: не будет ни дрожи, ни порхания, ни сладостных

мук; не будет ни трепета, ни звуков, ни песен. Желание умерло. Оно умерло за одну ночь, на ложе холодном и неуютном; а они и не заметили его ухода. Они сразу прочитали это друг у друга в глазах.

Боги, может быть, и не добры, но нередко сострадательны. Они бросили маленький костяной шарик и сгребли ставки со стола. Остались только мужчина и женщина, глядящие друг другу в холодные глаза. Тогда он умер; в этом проявилось сострадание богов. Через неделю Марвин Фиск был мертв. Вы, вероятно, помните… несчастный случай. А в ее дневнике, в записях, сделанных в те дни, я прочитал, спустя много времени, стихи Митчелла Кеннерли:

Ни часу не прошло, чтоб мы

Могли лобзать — и не лобзали…

— О, какая ирония! — воскликнул я.

А Каркинес, освещенный пламенем камина, настоящий Мефистофель в бархатной куртке, пронизывал меня своими черными глазами.

— И вы говорите: «они выиграли»!.. Мнение общества! Я рассказал вам то, что я знаю. Они выиграли так же, как выигрываете вы, сидя здесь среди своих холмов.

— А вы, — спросил я с горячностью, — вы, с вашим буйством чувств, живущие в безумных городах и в еще более безумных страстях, считаете вы, что выигрываете?

Он медленно покачал головой:

— То, что вы со своим размеренным, буколическим образом жизни обречены на проигрыш, еще не значит, что я должен выиграть. Мы никогда не выигрываем. Иногда нам кажется, что выигрываем, но это лишь шутка богов.

Отступник

— Если не встанешь сейчас, Джонни, завтрак не получишь!

Угроза не произвела на мальчика никакого впечатления. Он упорно не желал просыпаться, отстаивая свое забытье, как мечтатель отстаивает свою мечту. Руки мальчика сжались в кулаки и принялись наносить бессильные и порывистые удары в воздух. Удары эти предназначались матери, но она уклонялась от них — обнаружив при этом ловкость, выработанную долгой практикой, — и грубо потрясла его за плечо.

— Отвяжись!

Этот возглас прозвучал сначала глухо из глубин сна, затем быстро усилился до страстного воинственного вопля, и наконец замер в нечленораздельном хныканье. То был животный крик истязуемой души, полный безмерного протеста и муки.

Но она не обратила на это внимания. Это была женщина с грустными глазами и измученным лицом; она успела привыкнуть к этой ежедневной обязанности. Она схватилась за одеяло и попыталась стащить его. Но мальчик перестал

драться и отчаянно вцепился в одеяло. Теперь он лежал поперек кровати, но все еще оставался под ним. Тогда она стала стаскивать на пол матрац. Мальчик сопротивлялся. Она напрягла все силы. Перевес был на ее стороне, и матрас стал поддаваться, причем мальчик инстинктивно следовал за постелью, чтобы укрыться от холода, щипавшего его тело.

Он повис на краю кровати, и казалось, что он вот-вот упадет на пол. Но в нем вспыхнуло сознание. Он выпрямился и одно мгновение балансировал в опасном положении. Наконец он коснулся пола ногами. В тот же миг мать схватила его за плечи и потрясла. Кулак его снова разрезал воздух, на сей раз с большей силой и уверенностью. Одновременно он открыл глаза. Она выпустила его. Он проснулся.

— Ладно, — пробормотал он.

Она схватила лампу и поспешно вышла из комнаты, оставляя его в темноте.

— Оштрафуют тебя, — пригрозила она ему, уходя.

Темнота ему не мешала. Он натянул одежду и вышел на кухню. Походка его была слишком тяжелой для такого худенького и легкого мальчика. Ноги его тяжело волочились и были неестествен-

но сухощавыми. Он придвинул к столу стул с продавленным сиденьем.

— Джонни! — резко позвала его мать. Он так же резко встал со стула и без единого слова подошел к раковине — грязной и засоренной. Из сточного отверстия поднималось зловоние. Он не замечал этого. Раковина дурно пахла, а мыло было испачкано помоями и едва мылилось, но это казалось ему нормальным. Впрочем, он и не очень старался взбить пену на грязном куске. Плеснул на себя раз-другой из открытого крана — и дело кончено. Зубы он не чистил — он никогда и не видал зубной щетки, даже не знал о существовании тех, кто виновен в таком сумасбродстве, как чистка зубов.

— Ты бы хоть разок умылся без напоминания, — жаловалась мать.

Придерживая отломанную крышку на кофейнике, мать налила кофе в две чашки. Он ничего не возразил, ибо это было предметом постоянного спора между ними, и в этом вопросе мать была тверда, как алмаз: хоть раз в день он должен был умыть лицо. Он вытерся засаленным полотенцем — мокрым, грязным и рваным, отчего лицо его покрылось мелкими волокнами ткани.

— Хотелось бы мне, чтобы мы жили поближе, —

сказала она, садясь. — Уж я стараюсь, как могу. Сам знаешь. Но долларом меньше за квартиру… все-таки — экономия. Да здесь нам и просторнее… Сам знаешь.

Он почти не слушал ее. Все это он уже слыхал не один раз. Круг ее мыслей был ограничен, и она все время возвращалась к трудностям, которые они испытывали, живя далеко от фабрики.

— Лишний доллар — лишние харчи, — заметил он рассудительно. — Лучше уж я прогуляюсь, да зато побольше съем.

Он ел торопливо, почти не жуя хлеб, так что кофе смывало ему в желудок большие куски. Они называли «кофеем» горячую и мутную жижицу. Но Джонни думал, что это был кофе — отличный кофе. Это была одна из немногих оставшихся у него жизненных иллюзий. Он никогда в жизни не пробовал настоящего кофе.

В придачу к хлебу ему полагался кусок холодной свинины. Мать снова наполнила его чашку. Доедая хлеб, он стал искать глазами, не дадут ли еще чего. Мать поймала его вопросительный взгляд.

— Не будь обжорой, Джонни, — заметила она. — Ты получил свою долю. У тебя есть еще младшие братья и сестры.

Он ничего не ответил на этот выговор. Он вообще был не особенно словоохотлив. И голодные взгляды, просящие добавки, он тоже перестал бросать. Он не умел жаловаться, полный терпения — столь же страшного, как и та школа, в которой он ему выучился. Он допил свой кофе, широким жестом обтер рот рукой и приготовился вставать.

— Погоди секундочку, — поспешно сказала она. — Мне кажется, от буханки можно отрезать еще кусочек… тоненький.

Тут она проделала старый фокус: отрезав кусок от буханки, она сунула и этот кусок, и буханку обратно в ящик, а ему отдала один из своих двух кусочков. Она думала, что обманула его, но он заметил ее хитрость. Тем не менее он не стыдясь взял хлеб. У него была на этот счет своя философия: он думал, что мать из-за того, что постоянно чувствует недомогание, все равно не отличается большим аппетитом. Увидев, как он жует сухой хлеб, она перегнулась через стол и перелила свой кофе в его чашку.

— Что-то он мне нынче на желудок нехорошо ложится, — пояснила она.

Отдаленный гудок, перешедший в долгий пронзительный визг, заставил обоих вскочить

на ноги. Она бросила взгляд на жестяной будильник, висевший на стене. Стрелки показывали половину шестого. Большинство рабочих только еще просыпались. Она накинула на плечи шаль, а на голову надела потертую шляпу, ветхую и бесформенную.

— Придется бежать бегом, — сказала она, гася лампу.

Они выбрались наружу и спустились по лестнице. Было ясно и холодно, и Джонни вздрогнул на свежем воздухе. Звезды на небе еще не начали меркнуть, и город лежал во мраке. И Джонни, и мать волочили ноги. Их мышцы были не в состоянии резко оторвать ступни от земли.

Минут через пятнадцать мать свернула направо.

— Не опоздай, — прозвучало ее последнее напутствие из поглотившей ее темноты.

Он не ответил и безостановочно продолжал свой путь. В фабричном квартале повсюду открывались двери, и скоро он слился с людским потоком, пролагавшим себе путь во мраке. Когда он входил в ворота фабрики, вновь прозвучал гудок. Он бросил взгляд на восток. На небо из-за рваной линии крыш начал выползать бледный свет. Только этот дневной свет он видел за весь

день. Он повернулся к нему спиной и присоединился к своей артели.

Он занял свое место у станка — одного из многих в рядах машин. Перед ним над ящиком, наполненным маленькими шпульками, быстро вращались большие веретена. На эти последние он наматывал джутовую нитку с маленьких шпулек. Работа была несложная. Не требовалось ничего, кроме скорости. Маленькие шпульки разматывались так быстро и столько было веретен, что не оставалось ни одного свободного мгновения.

Он работал механически. Когда шпулька разматывалась, он левой рукой придерживал веретено и тотчас же большим и указательным пальцами ловил конец убегавшей нитки, а правой рукой хватал свободный конец другой маленькой шпульки. Все эти действия совершались быстро и одновременно обеими руками. Затем он молниеносным движением завязывал ткацкий узел и отпускал веретено. Ничего сложного в ткацких узлах не было. Он однажды хвастался, что может вязать их во сне. И действительно, иногда он это и проделывал, сплетая бесконечные вереницы ткацких узлов.

Некоторые из мальчиков отлынивали от дела

— не заменяли шпульки, когда они разматывались, из-за чего машины простаивали. Чтобы воспрепятствовать этому, за ними приглядывал надсмотрщик. Он поймал соседа Джонни на такой проделке и надрал ему уши.

— Погляди-ка на Джонни! Почему ты не такой, как он? — сердито спрашивал надсмотрщик.

Веретена у Джонни крутились полным ходом, но он даже не вздрогнул от этой похвалы. Было время, когда… но то было давно, очень давно. Теперь его апатичное лицо ничего не выражало, когда его ставили в пример другим. Он был идеальным работником. Он это знал. Ему говорили это не один раз. Это стало общеизвестно. Из идеального рабочего он превратился в идеальную машину. Если дело у него не спорилось, то виноват был (как и при работе машины) негодный материал. Ошибиться он не мог — как не может усовершенствованный станок нарезать негодные гвозди.

И неудивительно, ведь сколько он себя помнил, он всегда находился возле машин. Машинная работа как бы вросла в него; во всяком случае, он среди них вырос. Двенадцать лет тому назад в ткацком отделении этой же самой фабрики произошел небольшой переполох: мать Джонни

упала в обморок. Ее уложили на пол посреди скрипящих станков; двух пожилых женщин отозвали от работы, десятник помогал им… И через несколько минут в ткацкой стало на одну душу больше, чем вошло в дверь. То был Джонни, родившийся под дробный стук ткацких станков и с первым вдохом вобравший в себя теплый влажный воздух, густой от летающих льняных хлопьев. Он прокашлял весь первый день жизни, очищая легкие ото льна, и по той же причине он и после не переставал кашлять.

Мальчик, работавший рядом с Джонни, хныкал и сопел. Лицо его было искажено злобой на надсмотрщика, грозно следившего за ним издали, но пустых шпулек уже не было. Мальчик изрыгал страшные проклятия в адрес вертевшихся перед ним шпулек; но уже в нескольких шагах от него не было слышно ни звука: шум, стоявший в помещении, не пропускал и задерживал звуки, как стена.

Ничего этого Джонни не замечал. У него был свой особый способ восприятия явлений. Кроме того, явления становились однообразными от частого повторения; в частности, описанное происшествие он наблюдал уже не раз. Ему казалось столь же бесполезным противодействовать

надсмотрщику, как противиться воле машины. Машины построены для того, чтобы вращаться в определенном направлении и совершать определенную работу. Точно так же обстоит дело и с надсмотрщиком.

Но в одиннадцать часов отделение заволновалось. Какими-то таинственными путями возбуждение сразу распространилось повсюду. Одноногий мальчик, работавший по другую сторону от Джонни, быстро проковылял на другой конец помещения, к вагонетке, стоявшей в то время порожней. Он нырнул туда и исчез из виду вместе с костылем. Появился управляющий фабрикой в сопровождении молодого человека. Этот последний был хорошо одет и носил туго накрахмаленную рубашку — словом, «джентльмен», по классификации Джонни, и, кроме того, «инспектор».

Проходя, он строго посмотрел на мальчиков. Порой он останавливался и задавал вопросы. Ему приходилось кричать во все горло, чтобы быть услышанным, и в такие моменты его лицо смешно искажалось от напряжения. Его острый взгляд заметил пустой станок рядом с Джонни, но он ничего не сказал. Джонни тоже привлек к себе его внимание, и он сразу остановился. Он

взял Джонни за руку и отвел его на шаг от станка, но с возгласом изумления выпустил его руку.

— Довольно-таки худосочен, — тревожно усмехнулся управляющий.

— Не ноги, а трубочки, — был ответ, — взгляните на эти ноги. У мальчика — рахит… в начальной стадии, но несомненный рахит. Если в конце концов его не хватит эпилепсия, то только потому, что прежде съест туберкулез.

Джонни слушал, но не понимал. Да его и не интересовали будущие болезни. В настоящий момент ему грозило скорое и гораздо более серьезное зло в лице инспектора.

— Ну, мой мальчик, ты должен сказать мне правду, — проговорил, вернее, прокричал инспектор, наклонившись к самому уху мальчика, чтобы тот мог его слышать. — Сколько тебе лет?

— Четырнадцать, — солгал Джонни, солгал изо всех сил своих легких. Он солгал так громко, что это вызвало у него сухой, частый кашель, который отрыгивал хлопья льна, облепившие его легкие за нынешнее утро.

— Выглядит по меньшей мере шестнадцатилетним, — сказал управляющий.

— Или шестидесятилетним, — крикнул инспектор.

— Он всегда так выглядел.

— Давно ли? — быстро спросил инспектор.

— Много лет. Нисколько не стареет.

— Я бы сказал: не молодеет. Несомненно, он все эти годы работал здесь?

— Бессменно… но это было до того, как прошел новый закон, — поспешил прибавить управляющий.

— Станок пустует? — спросил инспектор, указывая на машину рядом с Джонни, на которой пустые веретена крутились как бешеные.

— Кажется, так. — Управляющий поманил к себе мастера, крикнул ему что-то в ухо и указал на станок. — Станок пустует, — передал он инспектору.

Они прошли мимо, а Джонни вернулся к своей работе, чувствуя облегчение от того, что опасность миновала. Но одноногий мальчик был не так удачлив. Зоркий инспектор вытащил его за руку из вагонетки. Губы мальчика дрожали, и он выглядел так, точно на него обрушилось страшное и непоправимое бедствие. Мастер казался изумленным, словно он первый раз увидел мальчишку в глаза, в то время как лицо управляющего выражало возмущение и недовольство.

— Я его знаю, — сказал инспектор. — Ему двена-

дцать лет. За этот год я снял его с работы на трех фабриках. Это — четвертая. — Он повернулся к одноногому мальчику. — Ты дал мне честное слово, что будешь ходить в школу.

Одноногий мальчик ударился в слезы:

— Пожалуйста… мистер инспектор… двое малышей у нас умерло… в доме такая нужда…

— А отчего ты так кашляешь? — спросил инспектор, как будто обвинял его в преступлении.

И, как бы оправдываясь, одноногий мальчик ответил:

— Это ничего. Я только простудился на прошлой неделе, мистер инспектор, больше ничего.

В конце концов одноногий мальчик вышел из отделения вместе с инспектором, которого сопровождал встревоженный и оправдывающийся управляющий. После этого все вошло в обычную колею. Долгое утро и еще более долгий день промелькнули, и гудок возвестил о прекращении работы. Уже совсем стемнело, когда Джонни вышел за фабричные ворота. За это время солнце успело подняться в небо по золотой лестнице, залить землю ласковым теплом, а затем кануть вниз и скрыться на западе за рваной линией крыш.

Ужин являлся единственной семейной тра-

пезой за весь день — единственной, за которой Джонни встречался со своими младшими братьями и сестрами. Для него это носило характер столкновения — ибо он был стар, а они — очень молоды. Он не мог терпеливо выносить их чрезмерную, изумительную юность. Он не понимал ее. Его собственное детство осталось слишком далеко позади. Он напоминал раздражительного старика, раздосадованного кипучей энергией их юных душ, которая казалась ему отъявленной глупостью. Он, молчаливо насупившись, склонялся над едой, находя мысленно удовлетворение в том, что и они вскоре должны будут пойти на работу. Это посбавит им прыти и сделает их степенными и полными достоинства… такими, как он сам. Таким образом Джонни, как и все люди, мерил на свой аршин всю вселенную.

Во время еды мать объясняла на разные лады и с бесконечными повторениями, как она старается сделать все, что может. Поэтому, когда скудная трапеза подходила к концу, Джонни с облегчением отодвигал стул и вставал. Он колебался на мгновение между постелью и наружной дверью и, наконец, выходил через последнюю. Далеко он не отходил. Он садился на крыльцо с поднятыми коленями, согнув узкие плечи, и, опершись лок-

тями на колени, подпирал ладонями лицо. Сидя там, он ни о чем не думал. Он именно отдыхал. Поскольку дело касалось его души, он спал. Его братья и сестры выскакивали и шумно возились вокруг него с другими детьми. Электрический фонарь на углу освещал их проказы. Джонни был ворчлив и раздражителен, это они знали. Но дух приключений побуждал их дразнить его. Они становились перед ним, взявшись за руки, и, раскачиваясь в такт всем телом, орали ему в лицо несуразные и нелестные песенки. Сначала он огрызался на них с проклятиями, которым научился у мастеров. Но, убедившись в бесполезности этого и вспомнив о своем достоинстве, он снова погружался в угрюмое молчание.

Брат его Вилли, следующий за ним по возрасту, которому только что минуло десять лет, был заводилой. Джонни не испытывал по отношению к нему особенных чувств: его жизнь уже много лет была отравлена постоянными уступками и поблажками Вилли. Ему казалось, что Вилли ему многим обязан и неблагодарен. В дни, когда он сам еще играл, — эти дни далеко ушли в туманное прошлое, — он лишался значительной части драгоценного свободного времени, будучи вынужден следить за Вилли. Вилли был тогда

совсем крошечным, а мать, как и теперь, проводила дни на фабрике. На долю Джонни выпадала роль родителя.

Вилли служил как бы иллюстрацией пользы уступок и поблажек. Он был хорошо сложен, в достаточной мере груб, одного роста со старшим братом и весил даже больше, чем тот. Казалось, что жизненная сила одного перешла к другому. То же было и в духовном отношении. Джонни был измученным, апатичным, вялым, в то время как младший брат, казалось, должен был вот-вот лопнуть от избытка сил.

Насмешливое пение раздавалось все громче и громче. Вилли, танцуя, наклонился к нему совсем близко и высунул язык. Левая рука Джонни мелькнула в воздухе и обвилась вокруг шеи Вилли. В то же мгновение он костлявым кулаком хватил Вилли по носу. Это был жалкий кулак; но бил он больно, о чем свидетельствовал отчаянный визг Вилли. Остальные дети испуганно закричали, а Дженни, сестра Джонни, бросилась в дом. Он оттолкнул Вилли, свирепо шлепнул его по заду, затем снова поймал его и повалил ничком в грязь. Он не выпустил его, пока несколько раз не окунул в грязь лицом. В это время подоспела мать — анемичный вихрь заботливости и

материнского гнева.

— Почему он не оставляет меня в покое? — отвечал Джонни на ее упреки. — Разве он не видит, что я устал?

— Я такой же большой, как и ты, — бешено визжал Вилли в объятиях матери, в то время как его лицо представляло сплошную массу из слез, грязи и крови. — Я такой же большой, как и ты, а буду еще больше. И уж тогда я тебя вздую… вот увидишь!

— Тебе, дылде, на работу пора, — огрызнулся Джонни. — Вот что тебе нужно. Пора на работу. И мама должна была бы приставить тебя к делу.

— Но он слишком мал, — протестовала она. — Он еще маленький мальчик.

— Я был моложе его, когда стал работать.

Он хотел было продолжить, но внезапно повернулся на каблуках и гордо вошел в дом, а затем в спальню. Дверь его комнаты оставалась открытой, чтобы впустить тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он мог слышать разговор матери с вошедшей соседкой. Мать плакала, и речь ее прерывалась всхлипываниями.

— Не могу понять, что творится с Джонни, — доносились до него ее слова. — Он раньше не был таким. Он был терпелив, как ангелочек… Но он

хороший мальчик, — спешила она тут же защитить его. — Он всегда трудился добросовестно и слишком рано стал работать. Но это не моя вина. Я-то, уж конечно, делаю, что могу.

Из кухни слышатся долгие всхлипывания, и Джонни бормочет про себя, в то время как его веки смыкаются: «Да, черт возьми, я работал добросовестно...»

На следующее утро мать вырвала его из объятий сна. Затем последовал скудный завтрак, путешествие пешком сквозь мрак и бледная вспышка дневного света из-за крыш, к которой он повернулся спиной, входя в ворота фабрики. Еще один день, похожий на другие, и все дни были одинаковы. Однако в его жизни было некоторое разнообразие, когда он менял работу или заболевал. В шесть лет он был родителем Вилли и других младших детей. Семи лет от роду он поступил на фабрику мотальщиком. Когда ему минуло восемь, он получил работу на другой фабрике. Его новая работа отличалась поразительной легкостью. Все его дело заключалось в том, чтобы сидеть с маленькой палочкой в руке и направлять протекавший мимо него поток ткани. Этот поток вырывался из пасти машины, проходил по горячему валику и плыл своей доро-

гой куда-то дальше. Но Джонни сидел все время на одном месте, недосягаемый для дневного света, освещаемый сверху газовым рожком, сам — часть механизма.

Он был очень доволен этой работой, несмотря на влажность и жару, ибо он был еще молод и полон мечтаний и иллюзий. И дивные сны снились ему, пока он следил за тканью, пробегавшей перед ним бесконечным потоком. Но эта работа не нуждалась в умениях, не предъявляла никаких требований к его умственным способностям, и он начал мечтать все меньше и меньше, и ум его становился неподвижным и сонным. Тем не менее он зарабатывал два доллара в неделю, а два доллара — это уже не голодная смерть, а хроническое недоедание.

Но когда ему стукнуло девять лет, он потерял это место. Причиной была корь. Выздоровев, он получил работу на стекольном заводе. Заработок был выше, и здесь требовались умения. Оплата была сдельная, и от его ловкости зависело, сколько он получит. Тут был стимул. И под давлением этого стимула он стал замечательным работником.

Это было несложное дело — привязывать стеклянные пробки к горлышкам маленьких

пузырьков. К поясу у него был прикреплен моток ниток. Бутылочку он зажимал между коленями, чтобы работать обеими руками. В этом сидячем положении, когда он склонялся над собственными коленями, узкие плечи его сутулились, и все десять часов ежедневно он не мог разогнуться. Это было вредно для легких, но зато он привязывал триста дюжин пробок в день.

Управляющий очень им гордился и приглашал посетителей взглянуть на него. В течение десяти часов через его руки проходило триста дюжин бутылок. Это означало, что он достиг совершенства машины, максимальной производительности труда. Каждый поворот его худых рук, каждое движение его тонких пальцев было быстрым и точным. Он работал с большим напряжением и в результате весь извелся. Ночью, во время сна, его мышцы сводила судорога, а днем он не мог остановиться и отдохнуть: он был как заведенный, и мускулы его не переставали напрягаться. Он пожелтел, и его кашель ухудшился. Вскоре он заболел воспалением легких и лишился работы на стекольном заводе.

Затем он вернулся на ткацкую фабрику, где впервые начал работать мотальщиком. Но теперь его ожидало повышение. Он был хорошим

работником. Скоро он должен был перейти в крахмальное отделение, а затем — в ткацкую. После этого ему уже не оставалось ничего, кроме повышения продуктивности.

Станок работал быстрее, чем тогда, когда он впервые поступил на фабрику; а мозги его работали медленнее. Он уже совсем не мечтал, тогда как ранние его годы были полны мечтаний. Однажды он влюбился. Это было в те дни, когда он только приступил к работе с тканью, пробегавшей по горячему валу; а она была дочерью управляющего, уже взрослой девушкой, гораздо старше его, и он видел ее — издали — не больше полудюжины раз. Но это было неважно. На поверхности ткани, струившейся мимо него, он рисовал блестящие картины будущего, в которых он совершал чудеса производительности, изобретал волшебные машины, становился хозяином фабрики и наконец заключал девушку в объятия и скромно целовал в лоб.

Но все это было давным-давно — до того, как он стал слишком усталым и старым для любви. Она вышла замуж и увяла, а его разум уснул. И все-таки это было чудесным переживанием, и он часто оглядывался назад — подобно тому как другие мужчины и женщины оглядываются на

те дни, когда они верили в волшебные сказки. Он никогда не верил ни в фей, ни в Санта-Клауса, но слепо верил в светлое будущее, которое рисовало ему воображение на поверхности пробегающей ткани.

Он очень рано стал мужчиной. Его отрочество началось в семь лет, когда он получил первое жалованье. Некое чувство независимости поднялось в нем, и отношения между ним и матерью изменились. Теперь он был ей ровней — как человек, зарабатывающий свой хлеб и делающий в этом мире собственное дело. Мужчиной — вполне взрослым мужчиной — он стал в одиннадцать лет, когда на шесть месяцев нанялся работать в ночную смену. Ни один ребенок, работающий в ночной смене, не остается ребенком.

В жизни его было несколько знаменательных событий. Первое произошло, когда мать однажды купила калифорнийские сливы. Остальные два — это те два раза, когда она испекла омлет. Это были события! Он вспоминал о них с нежностью. Тогда же мать рассказала об изумительном кушанье: когда-нибудь она приготовит «плавучий остров»; она говорила, что это вкуснее омлета. Годами ждал он того мгновения, когда сядет за стол, а перед ним будет стоять «плавучий остров», — пока

не перевел и эту мечту в разряд недостижимых.

Однажды он нашел на тротуаре серебряную монету в двадцать пять центов. Это тоже было большим событием в его жизни, хотя и трагическим. Он понял свой долг, как только серебро блеснуло перед его глазами — раньше даже, чем он его поднял. Дома, как обычно, не хватало еды, и домой ему следовало отнести находку, как делал он каждую субботу со своей получкой. Было совершенно ясно, как следует поступить в данном случае; но он еще никогда не тратил своих денег на себя и, кроме того, очень хотел сладостей. Он бредил конфетами, которыми ему случалось лакомиться только в дни, отмеченные в календарях красными цифрами.

Он даже не пытался обманывать себя. Он знал, что это был грех, и сознательно согрешил, позволив себе растранжирить пятнадцать центов на конфеты. Десять центов он сберег на другую такую же оргию; но не имея привычки носить с собой деньги, потерял эти десять центов. Это случилось в те дни, когда он мучился всеми муками нечистой совести, и потеря показалась ему возмездием свыше.

В памяти он всегда воскрешал это событие как единственное великое преступление в своей

жизни и при воспоминании о нем всякий раз испытывал угрызения совести. Совершенный поступок вызывал в нем раскаяние. Он был недоволен тем, как он потратил двадцать пять центов: он мог бы использовать их лучше, и знай он заранее, как Бог быстро действует, он провел бы Бога, спустив весь четвертак за один присест. Мысленно он тратил монету тысячи раз, и всякий раз с большей выгодой.

Было еще одно воспоминание из прошлого, туманное и поблекшее, но навсегда вбитое в его душу тяжелыми ступнями его отца. Это было не столько воспоминание о чем-то конкретном, сколько кошмар — что-то вроде атавистической памяти, когда людям снится, как они падают, как их далекие предки, лазавшие по деревьям.

Это странное воспоминание никогда не посещало Джонни наяву, при ясном дневном свете. Приходило оно ночью, в постели — в момент, когда его сознание ослабевало и освобождалось во сне. Воспоминание всегда заставляло его испуганно просыпаться, и при первом болезненном содрогании ему казалось, что он лежит поперек кровати. И на ней же — искаженные силуэты отца и матери. Он не помнил, как выглядел его отец. Об отце у него было только одно представле-

ние, а именно что у него тяжелые, безжалостные ступни.

У него были воспоминания о далеком прошлом, но недавних воспоминаний у него не было. Все дни были одинаковы. «Вчера» или «в прошлом году» — это было то же самое, что и «тысячу лет назад» или «за минуту перед тем». Никогда ничего не случалось. Не было никаких событий, отмечавших ход времени. И время не шло. Оно всегда стояло на месте. Двигались одни крутящиеся машины, да в сущности, и они стояли на месте.

Когда ему исполнилось четырнадцать лет, он перешел на работу в крахмальное отделение. Это было колоссальным событием. Наконец-то случилось нечто, что можно было помнить дольше, чем ночной сон или недельную получку. Это знаменовало начало новой эры. Это была машинная олимпиада, с которой можно было начинать летосчисление. «В те времена, когда я перешел в крахмальную» или «после того, как я перешел в крахмальную», — эти выражения часто слетали с его уст.

Он отпраздновал шестнадцатый день рождения тем, что перешел в ткацкую и стал за станок. Работа была сдельная, и он отличался, ибо фаб-

рика превратила его в идеальную машину. Через три месяца он работал на двух станках, а позже — на трех и четырех.

К концу второго года работы в ткацкой он вырабатывал больше любого ткача и, пожалуй, вдвое больше среднего рабочего. Дома наступили лучшие дни. Нельзя сказать, чтобы усиленный заработок превышал потребности. Дети росли. Они больше ели. Они ходили в школу, а учебники стоят денег. И как-то выходило так, что чем быстрее он работал — тем быстрее росли цены. Даже квартирная плата повысилась, хотя дом давно не ремонтировали и он грозил развалиться. Сам он вырос и стал казаться еще худощавее. К тому же он стал более взвинченным. Росли его брюзгливость и раздражительность. Дети, после нескольких горьких уроков, научились его сторониться. Мать уважала его за трудолюбие, но ее уважение носило словно бы отпечаток страха.

Для него не существовало радостей. Он никогда не замечал течения дней. На ночь он словно впадал в забытье. Остальное время он работал, и его сознание было механическим. У него не было ни одного идеала и только одна иллюзия, а именно что он пил великолепный кофе. Он был рабочей скотиной. Он не знал никакой духовной жизни.

Только где-то глубоко, в недрах его сознания, без его ведома, взвешивались и распределялись часы работы, движения рук, судороги мускулов — и готовилось нечто такое, что должно было изумить его самого и весь его маленький мирок.

Однажды, поздней весной, он вернулся вечером с работы и почувствовал необычайную усталость. Воздух был заряжен напряженным ожиданием, когда он садился за стол, но он этого не замечал. В течение всей трапезы он хранил угрюмое молчание, машинально поедая то, что ему дали. Дети чавкали и покрякивали от удовольствия. Но он был глух ко всему.

— Да знаешь ли ты, что ты ешь? — спросила наконец мать с отчаянием в голосе.

Он безучастно взглянул на блюдо, стоявшее перед ним, и затем столь же безучастно — на нее.

— «Плавучий остров»! — воскликнула она с торжеством.

— О! — сказал он.

— «Плавучий остров»! — подхватили дети громким хором.

— О! — сказал он и после двух-трех глотков прибавил: — Мне кажется, я сегодня не голоден.

Он уронил ложку, отодвинул стул и тяжело поднялся.

— Я, пожалуй, спать пойду.

Ноги его волочились тяжелее обыкновенного, когда он проходил через кухню. Раздевание казалось ему титаническим трудом, чудовищно-огромным пустяком, и он заплакал от слабости, когда лег на кровать — все еще в одном башмаке. Он чувствовал, как в голове у него поднимается и набухает нечто, делающее его мозг густым и вязким. Его тонкие пальцы опухли, как и вся кисть, а их кончики онемели. Поясница нестерпимо болела. Болели все кости. Болело везде. А в голове его затрещали, застучали, загрохотали миллионы ткацких станков. Все пространство казалось заполненным мелькающими челноками. Они сновали взад и вперед, среди звезд. Сам он управлял тысячей станков, и они вертелись все быстрее и быстрее; а мозги его так же быстро разматывались и превращались в пряжу, питавшую тысячи снующих челноков.

На другое утро он не пошел на фабрику. Он был слишком занят, совершая колоссальную работу на тысяче станков, кружившихся у него в голове. Мать отправилась на работу, но сначала послала за доктором. Тот сказал, что это острый приступ гриппа. Дженни несла обязанности сестры милосердия и выполняла инструкции доктора. Это

был весьма тяжелый приступ, и прошла неделя, пока Джонни смог одеться и с трудом ходить по комнате. Еще через неделю доктор сказал, что он сумеет вернуться на работу. Мастер из ткацкой посетил его в воскресенье после обеда, в первый день его выздоровления.

— Лучший ткач на фабрике, — сказал матери мастер. — Место останется за ним. С понедельника он может выйти на работу.

— Что же ты не благодаришь его, Джонни? — спросила мать с беспокойством. — Он был сильно болен и все еще не в себе, — извиняясь, объяснила она гостю.

Джонни сидел сгорбившись и не отрывал взгляда от пола. В этом положении он оставался еще долго после ухода мастера. На дворе было жарко, и после обеда он присел на крыльцо. Порой губы его шевелились. Он, казалось, был погружен в бесконечные вычисления.

На следующий день, когда наступила жара, он опять занял свое место на крыльце. На этот раз у него были карандаш и бумага для вычислений, и он мучительно продолжал что-то высчитывать.

— Что идет после миллионов? — спросил он в полдень вернувшегося из школы Вилли. — И как это пишется?

В тот день закончилась его работа. Ежедневно, только уже без карандаша и бумаги, он возвращался на крыльцо. Он был глубоко погружен в созерцание единственного дерева, росшего по ту сторону улицы. Он изучал его много часов подряд и необычайно интересовался тем, как ветер колебал его ветви и заставлял трепетать листья. В течение всей недели он, казалось, углублялся в великое общение с самим собой. В воскресенье, сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся, к немалому смущению матери, которая уже много лет не видела его смеющимся.

На следующее утро, до рассвета, она подошла к постели и разбудила его. Он за неделю выспался и открыл глаза без труда, не оказывая сопротивления и не делая попыток уцепиться за одеяло. Он лежал спокойно и говорил спокойно:

— Это бесполезно, мама.

— Ты опоздаешь, — сказала она, думая, что он все еще не проснулся и плохо соображает.

— Я не сплю, мама, и говорю тебе, что это бесполезно. Лучше не трогай меня. Я не собираюсь вставать.

— Но ты лишишься работы! — воскликнула она.

— Я не собираюсь вставать, — ответил он чу-

жим, бесстрастным голосом.

В тот день она сама не пошла на работу. Эта болезнь была хуже всех болезней, какие она до сих пор видела. Лихорадку и бред она могла понять: но это было безумие. Она накинула на него одеяло и послала Дженни за доктором.

Когда тот пришел, Джонни мирно спал, мирно проснулся и позволил пощупать свой пульс.

— С ним все в порядке, — заявил доктор. — Очень изнурен, вот и все. Слишком худ.

— Он всегда был такой, — вставила мать.

— Теперь уйди, мама, и дай мне всхрапнуть.

Джонни говорил мягко и спокойно, и так же мягко и спокойно он повернулся на бок и заснул.

В одиннадцать он проснулся, оделся и прошел на кухню, где застал испуганную мать.

— Я ухожу, мама, — объявил он, — и пришел проститься.

Она закрыла лицо фартуком, опустилась на стул и заплакала. Он спокойно ждал.

— Я так и знала! — рыдала она. — Куда? — спросила она наконец, опустив фартук и глядя на него испуганным взглядом, в котором сквозило некоторое любопытство.

— Не знаю. Куда-нибудь.

Пока он говорил это, дерево на той стороне ули-

цы с ослепительной ясностью предстало перед его внутренним взором. Оно, казалось, притаилось как раз под его веками, и он мог видеть его, когда хотел.

— А твоя работа? — пролепетала она.

— Я никогда больше не буду работать.

— Господи! Джонни! — проскулила мать. — Не говори так.

То, что он сказал, было для нее кощунством. Она была потрясена его словами — словно он восставал против Бога.

— Да что же это такое с тобой стряслось? — спросила она, изо всех сил стараясь говорить строго.

— Цифры, — отвечал он. — Да, цифры. Я порядком над ними попотел всю эту неделю, и вышло очень удивительно.

— Я не понимаю, при чем тут это, — всхлипнула она.

Джонни снисходительно улыбнулся, и мать явственно ощутила неловкость оттого, что исчезла былая его раздражительность.

— Я тебе объясню, — сказал он. — Я вконец измучен. Что меня измучило? Движения. Я все время двигался, с самого рождения. Я устал от движения и никогда больше не намерен двигаться. Помнишь, как я работал на стекольном заводе?

Я вырабатывал триста дюжин бутылок в день. Теперь я высчитал, что совершал над каждой бутылкой около десяти различных движений; это будет тридцать шесть тысяч движений в день; в месяц — миллион восемьдесят тысяч движений. Скостим восемьдесят тысяч, — он говорил приветливым тоном филантропа, — скостим восемьдесят тысяч; остается миллион движений в месяц, двенадцать миллионов движений в год. У ткацких станков я двигаюсь вдвое больше. Выходят двадцать пять миллионов движений в год, и мне кажется, что я двигался таким манером больше миллиона лет. Ну, на этой неделе я вовсе не двигался. Я целыми часами не шевелился. Знатно было, скажу я тебе, сидеть этак час за часом и ничего не делать. Никогда до сих пор я не был счастлив. У меня никогда не было времени. Я все время двигался. Таким манером нельзя стать счастливым. Так вот, кончено. Я буду сидеть и сидеть, отдыхать и отдыхать, а после опять отдыхать.

— Но что будет с Вилли и с детьми? — спросила она с отчаянием.

— Вот то-то и оно: Вилли и дети, — повторил он.

Но в голосе его не было горечи. Он знал о часто-

любивых мечтах матери относительно младшего сына, но мысль об этом его больше не грызла. Ему все было безразлично, и это — тоже.

— Я знаю, мама, что ты думала, когда отдавала Вилли учиться: ты хотела, чтобы он стал бухгалтером. Из этого ничего не выйдет. С меня хватит. Пусть работает он.

— Я не так тебя воспитывала, — заплакала она, собираясь опять спрятать лицо в фартуке, но затем передумав.

— Ты никак меня не воспитывала, — ответил он с печальной нежностью. — Я сам себя воспитал, мама, и я же воспитал Вилли. Он больше меня, и толще, и выше. Когда я был малышом, меня, вероятно, не кормили вдоволь. Когда он появился, я работал и зарабатывал ему на еду. Но теперь этому конец. Вилли может пойти на работу, как я, или пойти к черту — мне все равно. Я устал. Я ухожу. Хочешь, простимся?

Она не отвечала. Фартук опять взвился над ее головой. Она плакала. Он на минуту остановился на пороге.

— Уж, кажется, я делала все, что могла, — рыдала она.

Он вышел из дома и пошел вниз по улице. Тусклая радость вспыхнула на его лице при виде

одинокого дерева.

— Не может ничего не делать, — сказал он себе вполголоса, как бы напевая. Он задумчиво поглядел на небо, но яркое солнце сверкало и ослепляло его.

Он прошел большой путь медленным шагом. Он прошел мимо ткацкой фабрики. Приглушенный гул донесся до его ушей, и он улыбнулся. Он никого не ненавидел — даже стучащие и скрипящие машины. В душе его не было горечи, не было ничего, кроме непомерной жажды покоя.

Дома и фабрики постепенно редели, и пустыри попадались все чаще, по мере того как он продвигался к окраине. Наконец город остался позади, и он шел по зеленой тропинке вдоль полотна железной дороги. Он шел не так, как все люди. И он ни на кого из людей не походил. Это было какое-то подобие человеческого существа. Это был искалеченный, хилый кусок жизни, тащившийся, как больная обезьяна, с болтающимися руками, сутулыми плечами, узкой грудью — причудливый и страшный.

Он прошел мимо маленькой железнодорожной станции и улегся на траве под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, причем мышцы его судорожно сжимались во сне.

Проснувшись, он лежал без движения, следя за птицами или глядя на небо сквозь нависавшие над ним ветки дерева. Раз или два он громко рассмеялся, но без всякого отношения к тому, что он видел или чувствовал.

Когда сумерки скрылись в вечерней тьме, у станции с грохотом остановился товарный поезд. Пока паровоз отводил несколько вагонов на запасный путь, Джонни подполз к поезду. Он открыл боковую дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом вскарабкался внутрь. Затем задвинул дверь. Свисток. Джонни лежал и в темноте улыбался.

Гадкая женщина

Лоретта отправилась в Санта-Клару, потому что рассталась с Билли. А Билли не мог этого понять. Сестра его рассказывала, что он всю ночь ходил взад и вперед по комнате и плакал. Лоретта тоже не спала всю ночь и большую часть ее проплакала. Дэйзи это знала доподлинно, ибо на ее груди Лоретта выплакала свое горе. Знал это и муж Дэйзи, капитан Китт: слезы Лоретты и утешения Дэйзи отчасти и его лишили сна.

А капитан Китт не любил жертвовать сном. Кроме того, он вовсе не хотел, чтобы Лоретта выходила замуж — за Билли или кого-нибудь другого — безразлично. Капитан Китт считал, что Дэйзи нуждается в помощи младшей сестры по хозяйству. Но вслух он этого не высказывал. Вместо этого он настаивал на том, что Лоретта еще слишком молода, чтобы думать о замужестве. Поэтому-то капитану Китту и пришла в голову мысль отправить Лоретту погостить к миссис Хемингуэй. Там уж не будет никакого Билли.

Лоретта не успела прожить и недели в Санта-Кларе, когда убедилась, что идея капитана Китта была хорошей идеей.

Во-первых — хотя Билли и отказывался в это верить, — она не собиралась выходить замуж за него, а во-вторых — хотя капитан Китт и отказывался этому верить, — она не собиралась покидать Дэйзи.

Прожив две недели в Санта-Кларе, она окончательно уверилась в том, что не хочет выходить за Билли; но была далеко не так уверена в том, что не желает покидать Дэйзи. Не то чтобы она стала меньше любить Дэйзи, но… у нее появились сомнения.

В день приезда Лоретты в мозгу миссис Хемингуэй начал слагаться неясный план. На второй день она сказала своему мужу, Джеку Хемингуэю, что Лоретта невероятно невинное юное создание и что если бы не ее милое простодушие, то ее положительно можно было бы назвать дурой. В доказательство этого миссис Хемингуэй рассказала своему супругу несколько случаев, которые его заставили разразиться хохотом. На третий день план миссис Хемингуэй принял определенные очертания. Тогда-то она написала письмо, обозначив на конверте: «М-ру Эдварду Бешфорду, Афинский Клуб, Сан-Франциско».

«Дорогой Нед» — так начиналось письмо. Когда-то, до ее замужества, он безумно был влюблен

в нее в течение трех недель. Она же связала себя с Джеком Хемингуэем, претендентом более ранним, да к тому же владевшим ее сердцем; но это не очень огорчило философски настроенного Неда Бешфорда. Он только прибавил этот опыт к обширному фонду собранных таким же путем данных, из которых сфабриковал свою философию. В плане художественного вкуса и темперамента он был эллином — усталым эллином. Он любил приводить цитаты из Ницше в знак того, что он тоже пережил долгую болезнь, следующую за пламенными поисками истины, и вышел из нее слишком опытным, слишком мудрым, слишком глубоким, чтобы когда-нибудь снова впасть в безумие юношей с их любовью к истине. «Поклоняться видимости, — часто цитировал он, — верить в формы, в оттенки, в слова, в целый сонм видимостей!» Эту оригинальную цитату он всегда заканчивал словами: «Эти греки были поверхностны… *в силу самой своей глубины*!»

Он был довольно молодым эллином, усталым и разочарованным. Женщины вероломны и лживы, думал он… в минуты рецидивов, когда он спускался до пессимизма с идеальных высот философского спокойствия. Он не верил в женскую

правдивость; но, верный своему германскому учителю, он не срывал с них воздушного флера, прикрывавшего их вероломство. Он довольствовался тем, что воспринимал их как «видимости», и извлекал из этого все возможные удовольствия. Он был поверхностен… *в силу самой своей глубины*!

«Джек от души приглашает Вас погостить, — писала миссис Хемингуэй, — а также рекомендует захватить с собой рыболовные снасти». Миссис Хемингуэй написала еще многое другое. Она сообщала ему, что наконец в состоянии показать ему абсолютно правдивую, чистую и невинную женщину. «Еще никогда ни один более прямодушный, незапятнанный, женственный бутон не алел на этой планете» — такова была одна из тех многочисленных фраз, в которые она облекла свое приглашение. А мужу она заявила с торжеством:

— Если я на этот раз не женю Неда… — не разглашая страшную альтернативу, которую она отказывалась выразить и даже вообразить.

Вопреки всем предположениям, Лоретта не чувствовала себя в Санта-Кларе очень несчастной. Правда, Билли писал ей ежедневно, но его письма приводили ее в меньшее отчаяние, чем

его присутствие.

Кроме того, жертва — разлука с Дэйзи — оказалась менее тяжкой, чем она ожидала. Впервые в жизни ее не затмевала блестящая и зрелая красота Дэйзи. При столь благоприятных обстоятельствах Лоретта быстро выдвинулась на передний план, в то время как миссис Хемингуэй скромно отошла в глубину сцены.

Лоретта начала убеждаться, что она не является лишь бледной звездой, сияющей отраженным светом. Совершенно неосознанно она стала центром небольшого круга событий. Когда она садилась за рояль — всегда кто-нибудь переворачивал страницы нот и выказывал предпочтение тем или иным песням. Если она роняла платок — всегда находился кто-либо, чтобы его поднять. Ее всегда сопровождали во время прогулки. Кроме того, она научилась закидывать крючок с мухой в тихие прудки и под коряги и не запутывать в кустарнике шелковую лесу.

Джек Хемингуэй не очень любил обучать новичков и ловил рыбу больше особняком, либо вовсе не ловил; таким образом, он предоставил Неду Бешфорду достаточно времени, чтобы воспринять Лоретту как видимость. Как таковая, она удовлетворяла всем требованиям философии

Неда. Ее голубые глаза глядели по-мальчишески прямо, и он любовался ими, забывая содрогнуться перед коварством, которое, согласно его философии, таилось в их глубине. Она обладала грацией стройного цветка, нежностью красок и линий тонкого фарфора, и всем этим он наслаждался вполне, не думая о Жизненной Силе, клокочущей под всем этим, и забыв про Бернарда Шоу, в которого верил.

Лоретта расцветала. Она быстро развивала свою индивидуальность. Она открыла в себе собственную волю, собственные желания, не связанные на вечные времена с волей и желаниями Дэйзи. Джек Хемингуэй ее баловал, Алиса Хемингуэй лелеяла, Нед Бешфорд преданно ей служил. Они потворствовали ее прихотям, смеялись ее проказам, в то время как она развивала в себе милые замашки тирана, скрытые во всякой красивой и изнеженной женщине. Окружающие действовали как снотворное средство на ее прежнее желание всегда жить при Дэйзи. Это желание теперь уже не мучило ее, как во дни ее дружбы с Билли. Чем чаще она видела Билли — тем больше убеждалась, что не может жить вдали от Дэйзи. Чем чаще она видела Неда Бешфорда — тем больше забывала свою настоятельную потребность

в Дэйзи.

Нед Бешфорд, со своей стороны, тоже кое о чем забывал. Он смешивал поверхностность с глубиной, спутывал видимость с реальностью, пока не слил их воедино. Лоретта была не похожа на других женщин. В ней не было ничего замаскированного. Она была реальна. Все это он высказал миссис Хемингуэй, которая с ним согласилась и в то же время заметила, как веки ее мужа на мгновение сомкнулись в недвусмысленном подмигивании.

В эти дни Лоретта получила от Билли письмо, несколько отличающееся от остальных. В сущности, оно — как и все его письма — было патологическим. Это был длинный перечень симптомов и страданий: нервность, бессонница, сердечные перебои. Затем следовали упреки, такие, каких он ей до сих пор никогда не делал. Они были достаточно резки, чтобы заставить ее расплакаться, и достаточно справедливы, чтобы вызвать на ее лице трагическое выражение. С трагическим лицом она и спустилась к первому завтраку. Это заставило Джека и миссис Хемингуэй призадуматься и обеспокоило Неда. Супруги взглядами искали у него объяснения, но он покачал головой.

— Я выясню это сегодня вечером, — сказала миссис Хемингуэй своему мужу.

Но Нед застал Лоретту после полудня в большой гостиной. Она попыталась отвернуться. Он поймал ее руки, и она взглянула на него; ресницы ее были влажными, а губы дрожали. Он поглядел на нее молчаливо и нежно. Ресницы ее стали еще влажнее.

— Ну-ну, не плачьте, крошка, — сказал он ласково.

Он покровительственно обнял ее за плечи. И она прижалась к его плечу, как усталый ребенок. Он затрепетал — трепетом, необычным для эллина, преодолевшего долгую болезнь поисков истины.

— О Нед, — рыдала она на его плече. — Если бы вы только знали, какая я гадкая!

Он снисходительно усмехнулся и глубоко вдохнул воздух, пропитанный ароматом ее волос. Он подумал о своем светском знании женщин и вдохнул еще раз. Казалось, будто она излучает идеальную нежность детства, — «дуновение светлой души», как выразился он мысленно.

Тогда он заметил, что ее рыдания усиливаются.

— Что случилось, крошка? — спросил он лас-

ково и совсем по-отечески. — Не обидел ли вас Джек? Или горячо любимая сестрица не написала вовремя?

Она молчала, и он почувствовал, что непременно должен поцеловать ее волосы и что он ни за что не отвечает, если такое положение вещей будет продолжаться дальше.

— Расскажите мне все, — проговорил он мягко, — и посмотрим, что можно сделать.

— Я не могу. Вы будете меня презирать. О Нед, мне так стыдно!

Он недоверчиво рассмеялся и легко коснулся губами ее волос — так легко, что она не заметила.

— Дорогая крошка, забудем все, что бы там ни было. Я хочу сказать вам, как я люблю…

Она испустила громкий крик, весь исполненный радости, но затем простонала:

— Слишком поздно!

— Слишком поздно? — повторил он с изумлением.

— О, зачем я это сделала? Зачем я это сделала? — стонала она.

Он ощутил быстрый холодок, пробежавший по спине.

— Что такое? — спросил он.

— О… я… он… Билли… Я такая гадкая женщина,

Нед. Я знаю, вы навсегда перестанете со мной разговаривать.

— Этот… хм… этот Билли, — начал он запинаясь. — Это ваш брат?

— Нет… он… я не знала. Я была так молода. Я ничего не могла сделать. О, я с ума сойду! Я с ума сойду!

Тут Лоретта почувствовала движение его плеча, а обнимающая рука вдруг обмякла. Он мягко отстранился от нее и столь же мягко усадил ее в глубокое кресло, где она спрятала лицо в ладонях и снова зарыдала. Он свирепо щипал ус, потом придвинул другое кресло и сел.

— Я… я не понимаю, — сказал он.

— Я так несчастна, — всхлипывала она.

— Почему несчастны?

— Потому что… он… он хочет, чтобы я вышла за него замуж.

Лицо его вмиг прояснилось, и он, успокаивая, коснулся своей рукой ее руки.

— Это не может ни одну девушку сделать несчастной, — заметил он мудро. — То, что вы его не любите, еще не причина… вы, разумеется, его не любите?

Лоретта потрясла головой и плечами, бурно изображая отрицание.

— Что? — Бешфорду хотелось добиться полной уверенности.

— Нет! — воскликнула она горячо. — Я не люблю Билли! Я не хочу любить Билли!

— Итак, если вы его не любите, — резюмировал Бешфорд уверенно, — то у вас нет основания быть несчастной, оттого только, что он сделал вам предложение.

Она вновь зарыдала и сквозь рыдания крикнула:

— В том-то и дело! Я хотела бы полюбить его! О, я хотела бы быть мертвой!

— Но, дорогое дитя, вы волнуетесь из-за пустяков. — Другая его рука тоже улеглась на ее руку. — Женщины поступают так каждый день. Оттого, что вы переменили мнение или не знали своего мнения… оттого, что вы — простите мне слишком резкое выражение — пококетничали с мужчиной…

— Кокетничала! — Она подняла голову и поглядела на него затуманенными от слез глазами. — О Нед, если бы это было все!

— Как? — спросил он глухим голосом, а руки его медленно сползли с ее рук. Он собрался было продолжать, но замолчал.

— Но я не хочу выходить за него, — протесто-

вала Лоретта.

— Ну не выходите, — посоветовал он.

— Но я должна выйти за него.

— *Должны* выйти?

Она кивнула головой.

— Это сильно сказано.

— Я это знаю, — согласилась она, стараясь приобрести власть над своими дрожащими губами. Затем она заговорила спокойнее. — Я гадкая женщина, ужасно гадкая женщина. Никто не знает, какая я гадкая… кроме Билли.

Наступила пауза. Лицо Бешфорда было серьезно, и он странно поглядел на Лоретту.

— Он… Билли… знает? — спросил он наконец. Несмелый кивок и загоревшиеся щеки послужили ответом.

Он некоторое время советовался с собой, словно пловец, готовящийся нырнуть.

— Расскажите мне. — Он сказал это очень твердо. — Вы должны рассказать мне все.

— А сумеете ли вы… когда-нибудь… простить меня? — спросила она его тихим, слабым голосом.

Он поколебался, глубоко вздохнул и… вошел в воду.

— Да, — оказал он с отчаянием. — Я прощу.

Начинайте.

— Некому было мне сказать, — начала она. — Мы так часто бывали вместе. Я тогда не знала ничего о жизни.

Она остановилась, чтобы обдумать. Бешфорд нетерпеливо кусал губы.

— Если бы я только знала…

Она снова остановилась.

— Хорошо. Продолжайте… — торопил он.

— Мы бывали вместе почти каждый вечер.

— С Билли? — спросил он с яростью, которая заставила ее вздрогнуть.

— Да, разумеется, с Билли. Мы так часто бывали вместе… Если бы я только знала… Некому было мне сказать… Я была так молода…

Ее губы раскрылись, как бы для того, чтобы продолжать, и она с беспокойством взглянула на него.

— Подлец!

С этим возгласом Нед Бешфорд вскочил на ноги — отнюдь не как утомленный эллин, а как разгневанный юнец.

— Билли не подлец, он хороший человек, — защищала его Лоретта с твердостью в голосе, поразившей Бешфорда.

— Не собираетесь ли вы сказать мне, что вина

всецело лежит на вас? — произнес он саркастически.

Она кивнула.

— Что?!! — заорал он.

— Я виновата во всем, — упрямо повторила она. — Я не должна была ему позволить. Я заслуживаю наказания.

Бешфорд перестал шагать взад и вперед, и когда он заговорил, голос его прозвучал покорно.

— Хорошо, — сказал он. — Я не порицаю вас, Лоретта. Вы поступили весьма честно. Но Билли прав, а вы не правы. Вы должны выйти замуж.

— За Билли? — спросила она приглушенным, далеким голосом.

— Да, за Билли. Я возьму это на себя. Где он живет? Я заставлю его.

— Но я не хочу выходить за Билли! — воскликнула она с отчаянием. — О Нед, вы этого не сделаете!

— Сделаю, — отвечал он непреклонно. — Вы должны. И Билли должен. Вы понимаете?

Лоретта спрятала лицо в мягкую спинку кресла и разразилась бурным потоком рыданий.

Сначала Бешфорд, как он ни прислушивался, мог уловить только:

— Но я не хочу покидать Дэйзи! Я не хочу по-

кидать Дэйзи!

Он сердито зашагал взад и вперед, но потом остановился, прислушиваясь с любопытством.

— Как я могла знать? У-у… у-у… — плакала Лоретта. — Он мне не сказал. А никто другой никогда не целовал меня. Мне и не снилось, что поцелуй — это что-то такое ужасное… пока… у-у… он не написал мне. Я только сегодня получила письмо.

Его лицо просияло. Казалось, будто заря на нем взошла.

— Так вы плачете об этом?

— Н-нет…

Его сердце упало.

— Так о чем же вы плачете? — спросил он безнадежным голосом.

— Потому что вы сказали, что я должна выйти за Билли. А я не хочу выходить за Билли. Я не хочу расставаться с Дэйзи. Я не знаю, чего я хочу. Я хочу умереть.

Он напрягся для последнего усилия.

— Послушайте, Лоретта, будьте благоразумны. Так что насчет поцелуев? Вы мне не все рассказали.

— Я… я не хочу рассказывать вам все.

Во время наступившего молчания она глядела

на него умоляюще.

— Должна я рассказать? — пролепетала она наконец.

— Вы должны, — сказал он повелительно. — Вы должны рассказать мне все.

— Ну хорошо… так я должна?

— Вы должны.

— Он… я… мы… — начала она, путаясь, и вдруг выпалила: — Я позволила ему, и он меня поцеловал.

— Продолжайте, — в отчаянии приказал Бешфорд.

— Это все, — отвечала она.

— Все? — Бесконечное недоверие прозвучало в его голосе.

— Все? — В ее голосе звучал не менее бесконечный вопрос.

— Я… хотел сказать… хм… ничего хуже этого не случилось? — Он чувствовал себя подавленным собственной неуклюжестью.

— Хуже этого? — Она откровенно недоумевала. — Точно может быть что-нибудь хуже! Билли сказал…

— Когда он сказал это? — отрывисто спросил Бешфорд.

— В письме, которое я получила сегодня утром.

Билли говорит, что мои… что наши… наши поцелуи — это нечто ужасное, если мы не поженимся.

У Бешфорда закружилась голова.

— Что еще говорит Билли? — спросил он.

— Он говорит, что если женщина позволила мужчине поцеловать ее, то она всегда выходит за него замуж. А если она этого не делает, то это ужасно. Таков обычай, говорит он. А я говорю, что это скверный, гадкий обычай, и мне он не нравится. Я знаю, что я отвратительна, — прибавила она, — но я ничего не могу поделать.

Бешфорд рассеянно вынул сигару.

— Позволите мне закурить? — спросил он, чиркая спичкой.

Затем он пришел в себя.

— Простите, — воскликнул он, бросая спичку и папиросу. — Я не хочу курить. Я совсем не то хотел сказать. Я хотел сказать…

Он склонился над Лореттой, взял ее руки в свои, затем уселся на ручку кресла и нежно обнял ее.

— Лоретта, я дурак. Это я хотел сказать. И еще кое-что. Прошу вас, будьте моей женой.

Наступило молчание. Он тревожно ждал.

— Ответьте же мне, — торопил он.

— Я согласна… если…

— Так продолжайте же. Если… что?

— Если я не должна буду выйти за Билли.

— Вы же не можете выйти за нас обоих! — почти закричал он.

— И нет такого обычая… как… как говорит Билли?

— Нет, нет такого обычая. Итак, Лоретта, хотите вы быть моей женой?

— Не сердитесь на меня. — Она притворно надула губки.

Он заключил ее в свои объятия и поцеловал.

— О, я хотела бы, чтобы такой обычай существовал, — говорила она слабым голосом между двумя поцелуями, — потому что тогда я должна была бы выйти за вас, Нед… дорогой… правда?

Просто мясо

Он добрался до угла и поглядел вправо и влево по поперечной улице, но не увидел ничего, кроме оазисов света, отбрасываемого уличными фонарями на перекрестках. Затем он побрел назад по той же дороге, по какой пришел. Он был тенью человека, бесшумно скользившей сквозь полумрак, не совершая ни одного лишнего движения. К тому же он был чрезвычайно ловок — как дикий зверь в джунглях, — зорко наблюдателен и впечатлителен. Он не смог бы заметить в этой темноте только самое мельчайшее и призрачное движение.

Вдобавок к постоянным сигналам, которые ему посылали чувства, у него был еще более тонкий способ восприятия — как бы *чутье* окружавшей его атмосферы. Он знал, что в доме, перед которым он на минуту остановился, были дети. Это знание сообщалось ему без сознательного усилия. И поэтому он даже не отдавал себе отчета в своем знании — настолько впечатление было бессознательным. И все же, если бы нужно было что-то в этом доме сделать, — он поступил бы, исходя из того, что там есть дети. Он не сознавал всего, что

было ему известно об окружающей обстановке.

В силу того же свойства он — неведомо как — почувствовал, что ему не грозит никакой опасности от шагов, приближавшихся к нему с другой стороны улицы. Раньше, чем он увидал идущего, он распознал в нем запоздалого пешехода, торопившегося домой. Прохожий показался на перекрестке и исчез в глубине улицы. Наблюдавший человек заметил свет, мелькнувший в окне углового дома, и, когда свет исчез, сообразил, что потухла спичка. Это было сознательное определение привычного явления, и в мозгу его мелькнула мысль: «Интересно знать, который час». В другом доме одна комната была освещена. Свет был неярким, и он почуял, что это — комната больного.

Он особенно интересовался одним домом напротив — как раз посредине квартала. На этот дом он обращал особое внимание. Куда бы он ни глядел, куда бы ни шел, — все равно его шаги и взгляды неизменно возвращались к этому дому. За исключением открытого окна прямо над парадной дверью, в доме не было ничего необыкновенного. Никто не входил и не выходил. Ничего не происходило. Окна не были освещены, более того, в них даже не мелькал свет. И тем не

менее этот дом был центральным пунктом его наблюдений. Он возвращался к нему всякий раз после какого-нибудь откровения о состоянии соседних домов.

Несмотря на свое чутье, он не был самоуверен. Он в высшей степени сознавал непрочность своего положения. Хотя его и не смутили шаги случайного прохожего, все же он был возбужден, впечатлителен и подвержен страху, как пугливый олень. Он признавал возможность существования других сознаний, рыщущих в темноте, — сознаний, равных его собственному по остроте, впечатлительности и прозорливости.

Далеко, в конце улицы он усмотрел какую-то движущуюся фигуру и понял, что это не запоздалый прохожий, спешащий домой, а угроза и опасность. Он дважды свистнул в сторону дома напротив, затем скользнул, как тень, к углу и за угол. Здесь он остановился и тщательно огляделся. Успокоившись, он вернулся обратно и стал всматриваться в приближавшуюся фигуру. Он правильно угадал: то был полисмен.

Человек спустился по переулку к ближайшей подворотне, под прикрытием которой он принялся наблюдать только что покинутый угол. Он увидел, как полисмен прошел мимо, направляясь

прямо вверх по улице. Он двинулся параллельно полисмену и из следующей подворотни опять убедился, что тот прошел мимо; затем он вернулся той же дорогой.

Он один раз свистнул в сторону дома напротив, а немного погодя свистнул еще раз. В этом свистке был отбой тревоги, точно так же, как первоначальный двойной свисток был предостережением.

Он увидел, как что-то темное показалось на козырьке крыльца и медленно стало съезжать по столбу. Затем оно спустилось вниз по лестнице, миновало узенькую железную калитку и, выйдя на тротуар, приняло форму человека. Прежний наблюдатель остался на своей стороне улицы и двинулся прямо к углу, где перешел на другую сторону и присоединился к появившемуся. Он казался совсем маленьким рядом с тем, к кому подошел.

— Хорошо поработал, Мэтт? — спросил он.

Другой промычал что-то неопределенное и молча прошел несколько шагов.

— Кажется, выгрузил товар, — сказал он.

Джим хихикнул в темноте и ждал дальнейших сведений. Они все шли и шли, и он становился нетерпеливее.

— Ну, так что же с этим товаром? — спросил он. — Какого рода улов? Ну?

— Я был слишком занят, чтобы считать, но, должно быть, жирный. Ничего больше не могу сказать, Джим, — жирный. Подожди, пока вернемся в комнату.

Джим зорко взглянул на него при свете фонаря на ближайшем перекрестке и увидел, что лицо его хмуро и он как-то странно держит левую руку.

— Что с твоей рукой? — спросил он.

— Парень укусил меня. Надеюсь, у меня не начнется водобоязнь. Правда, что иногда можно взбеситься от человеческого укуса?

— Пришлось с ним побороться? А? — спросил Джим, подзадоривая.

Тот что-то промычал.

— Легче из ада что-нибудь вытянуть, чем из тебя, — вспыхнул Джим. — Расскажи, как было. Рассказ-то ведь денег не стоит.

— Я, кажется, слегка пристукнул его, — послышался ответ. Затем — в виде объяснения: — Он проснулся, когда я вошел.

— Ты это чисто сработал. Я ни звука не слыхал.

— Джим, — сказал тот серьезно. — Дело пахнет виселицей. Я уложил его. Пришлось. Он проснул-

ся. Нам с тобой придется на время спрятаться.

Джим понимающе присвистнул.

— Слышал ты, как я свистел? — спросил он внезапно.

— Разумеется. Я уже был совсем готов. Как раз собирался вылезать.

— Это был легавый. Но он ни черта не заметил. Прошел мимо и шел все прямо, пока не скрылся из виду. Тут я вернулся и дал свисток. Почему ты и после того так долго не выходил?

— Ждал для верности, — объяснил Мэтт. — Я здорово обрадовался, когда услышал твой второй свист. Тяжелое это дело — ждать. Я все сидел и все думал, думал… о разных вещах. Чудно! О чем только человек не думает! Да, кроме того, еще кошка треклятая все ходила по дому и беспокоила меня своим шумом.

— А улов-то жирный! — воскликнул Джим некстати и с радостью.

— Уверенно говорю тебе, Джим, жирный. Я жду не дождусь взглянуть еще раз.

Оба бессознательно ускорили шаг. И все же осторожность не покидала их. Два раза меняли они направление, чтобы избежать полисменов, и только окончательно уверившись, что за ними не следят, нырнули в темный подъезд дома

с дешевыми меблированными комнатами на окраине города.

Так они и шли в темноте до своей комнаты под самой крышей. Пока Джим зажигал лампу, Мэтт запер дверь и задвинул засов. Обернувшись, он увидел, что его товарищ напряженно ждет. Мэтт про себя улыбнулся его нетерпению.

— Светилка-то в порядке, — сказал он, вынимая маленький карманный электрический фонарик и рассматривая его. — Но нам надо приобрести новую батарею. Эта работает совсем слабо. Раз или два я думал, что она оставит меня в потемках. Странное устройство в этом доме. Я едва не заблудился. Его комната оказалась налево, и это меня чуточку сбило.

— Я говорил тебе, что она слева, — прервал Джим.

— Ты говорил, что она справа, — продолжал Мэтт. — Я, думается, помню, что ты говорил. А вот и план, который ты нарисовал.

Порывшись в жилетном кармане, он вытащил сложенный кусок бумаги. Когда он его развернул, Джим наклонился и принялся разглядывать.

— Я ошибся, — произнес он.

— Вот именно. Потому-то мне пришлось сначала действовать наудачу.

— Но теперь-то уже все равно, — воскликнул Джим. — Дай взглянуть, что тебе досталось.

— Нет, не все равно, — возразил Мэтт, — совсем не все равно… для меня. Мне пришлось нести весь риск. Я сунул голову в ловушку, пока ты стоял на улице. Ты должен взять себя в руки и работать лучше. Ну да ладно. Сейчас покажу.

Он небрежно запустил руку в карман и вытащил пригоршню мелких бриллиантов. Он высыпал их блестящим потоком на засаленный стол. Джим крепко выругался.

— Это пустяки, — сказал Мэтт с торжествующим самодовольством. — Я еще и не начинал.

Он продолжал вынимать добычу из всех карманов. Тут было много бриллиантов, завернутых в замшу, — и все они были крупнее, чем те, что в первой пригоршне. Из одного кармана он вытащил горсть совсем мелких камней.

— Солнечная пыль, — заметил он, сложив их отдельно на столе.

Джим стал их разглядывать.

— Как раз такие, какие продаются в розницу за пару долларов каждый, — сказал он. — Это все?

— Разве не довольно? — спросил тот раздосадованным тоном.

— Разумеется, довольно, — отвечал Джим с без-

условным одобрением. — Лучше, чем я ожидал. Я не возьму меньше десяти тысяч долларов за всю партию — ни центом меньше.

— Десять тысяч, — осклабился Мэтт. — Они стоят вдвое или я ничего не понимаю в камнях. Погляди-ка на этого крепыша!

Он вытащил его из сверкающей груды и поднес к лампе с видом знатока.

— Стоит тысячу, — быстрее его определил Джим.

— Тысячу за твою бабушку, — прозвучал гневный ответ Мэтта. — Такого и за три не купишь.

— Разбуди меня! Я вижу сон! — Блеск камней отражался в глазах Джима, и он принялся отбирать крупные камни и рассматривать их. — Мы — богатые люди, Мэтт. Мы будем настоящими буржуями.

— Понадобится несколько лет, чтобы избавиться от них, — рассудительно заметил Мэтт.

Глаза его сверкали — хотя и мрачно, — но все сильнее, по мере того как пробуждалась его флегматичная натура.

— Я говорил тебе: мне и в голову не приходило, что выйдет так жирно, — пробормотал он тихо.

— Какой улов! Какой улов! — воскликнул Джим еще восторженнее.

— Я едва не забыл, — сказал Мэтт, запуская руку во внутренний карман пиджака.

Нитка крупного жемчуга вынырнула из папиросной бумаги и замшевой обертки. Джим еле взглянул на нее.

— Она стоит денег, — сказал он и возвратился к брильянтам.

Молчание воцарилось между ними. Джим играл камнями, пропуская их между пальцев, разделяя на кучки или широко раскладывая по столу.

Это был стройный худой человек, нервный, раздражительный, анемичный и всегда напряженный — типичное дитя улицы, с некрасивыми, измятыми чертами лица, узкими глазами, с постоянно голодным ртом — похожий на зверя из кошачьей породы, насквозь прожженный клеймом вырождения.

Мэтт не перебирал бриллианты. Он сидел, опершись локтями на стол, положив подбородок на ладони, и глядел тяжелым взглядом на сверкающие россыпи. Во всех отношениях он был полной противоположностью своему товарищу. Он не был взращен городом. Мускулистый и волосатый, своей силой и обликом он походил на гориллу. Для него не существовало незримого мира. Глаза

его были чуть навыкате и широко расставлены, и в них как бы светилось что-то вроде живого человеческого чувства. Они внушали доверие. Но, всмотревшись, можно было обнаружить, что его глаза слишком уж выпуклые, слишком широко расставлены. В них было что-то ненормальное, и то же можно было сказать о его характере.

— Вся партия стоит пятьдесят тысяч, — заметил вдруг Джим.

— Сто тысяч, — сказал Мэтт.

Опять наступило молчание и продолжалось долго, пока Джим снова его не нарушил.

— Какого черта он делал со всем этим в своей квартире? Вот что хочу я знать. Я думал, что он держит их в несгораемом шкафу внизу, в магазине.

Мэтту как раз в этот момент представился образ задушенного им человека — каким он видел его, оглянувшись напоследок, при слабом свете электрического фонарика. Но он не вздрогнул при упоминании о нем.

— Что тут говорить? — ответил он. — Может быть, он готовился объегорить своего компаньона. Может быть, он наутро улепетнул бы в неведомые страны, если бы мы не подвернулись вовремя. Я думаю, что среди честных людей

ровно столько же воров, сколько среди воров. О таких вещах постоянно читаешь в газетах, Джим. Компаньоны всегда надувают друг друга.

Глаза Джима странно вспыхнули. Мэтт ничем не выдал, что заметил это, но сказал:

— О чем ты подумал, Джим?

Джим на мгновение слегка смутился.

— Ни о чем, — ответил он. — Я только подумал, как это странно: все эти камни у него в квартире. Почему ты спрашиваешь?

— Так… Мне просто хотелось знать, вот и все.

Воцарилось молчание, изредка прерываемое тихим и нервным хихиканьем Джима. Он был потрясен грудой драгоценных камней. Не то чтобы он чувствовал их красоту. Он не замечал, что они прекрасны сами по себе. Но в камнях его острое воображение видело радости, которые могли быть на них куплены, и все страсти и аппетиты его нездорового ума и хилого тела пробудились к жизни. Он строил чудесные замки, а в них видел нескончаемые оргии, и устрашился своих видений. Тогда он хихикнул. Все это было слишком невозможным, чтобы стать реальным, и все-таки… вот они сверкали перед ним на столе, обвевая его пламенем вожделения. И он снова хихикнул.

— Я думаю, нам лучше сосчитать их, — неожиданно сказал Мэтт, отрываясь от своих собственных видений. — Ты следи за мной и смотри, чтобы было по совести, потому что ты и я, Джим, — мы должны действовать по совести… Понял?

Джиму это не понравилось, и он выдал себя взглядом; а Мэтту не понравилось то, что он прочел в глазах компаньона.

— Понял? — повторил Мэтт почти с угрозой.

— Разве мы когда-нибудь не по совести поступали? — отвечал тот, насторожившись, ибо уже ощутил в себе неясный шепот вероломства.

— Ничего не стоит быть честным в тяжелые времена, — возразил Мэтт. — Быть честным, когда повезет — вот что ценится. Когда у нас ничего нет, мы поневоле честны. Теперь мы разжились и становимся деловыми людьми — честными деловыми людьми… Понял?

— Правильно сказано, — одобрил Джим, но далеко — в самой глубине его жалкой душонки — против его воли беззаконные мысли бились на привязи, как пленные звери.

Мэтт шагнул к полкам, висевшим за двухфитильной керосинкой. Он высыпал из одной картонной коробки чай, а из другой — немного красного перца. Возвратившись с коробками

к столу, он положил в них обе кучки мелких брильянтов, затем пересчитал крупные камни и завернул их в папиросную бумагу и замшу.

— Сто сорок семь камней приличных размеров, двадцать крупных, два здоровенных, один великан и пара пригоршней мелочи. — Он взглянул на Джима.

— Верно, — был ответ.

Он записал это на листке блокнота, снял копию и отдал один листок компаньону, а другой оставил себе.

— Только для справки, — сказал он.

Снова он подошел к полкам, с которых снял и опорожнил от сахара большую картонную коробку. В эту последнюю он сложил все брильянты — крупные и мелкие, — завернул ее в ситцевый носовой платок и спрятал под свою подушку. Затем он присел на край постели и снял башмаки.

— И ты думаешь, они стоят сотню тысяч? — спросил Джим, перестав развязывать свои ботинки и взглянув на него.

— Разумеется, — был ответ. — Я видел однажды танцовщицу, там, в Аризоне. На ней — на этой танцовщице — было несколько больших блестяшек. Они были ненастоящие. Будь они настоящие, говорила она, так она бы не плясала.

Они бы стоили до пятидесяти тысяч, а у нее всех-то их было меньше дюжины.

— Кому охота работать за пропитание? — с торжеством спросил Джим. — Киркой да лопатой! — Он презрительно усмехнулся. — Работай всю жизнь, как собака, сберегай всякую получку — и все-таки не скопишь и половины того, что нам в одну ночь досталось.

— Посуду мыть — это тебе под стать. А этим не заработаешь больше двадцатки в месяц и харчи. Цифры твои никуда не годятся, но мысль попадает в точку. Пусть работает тот, кому охота. Я был ковбоем за тридцать долларов в месяц, когда был молод и глуп. Ну-с, теперь я стал старше — и уже не хочу быть ковбоем.

Он улегся в постель в одном углу комнаты. Джим потушил свет и сделал то же в другом углу.

— Как твоя рука? — любезно осведомился Джим.

Такое внимание было необычным, Мэтт это подметил и ответил:

— Кажется, симптомов водобоязни нет. Зачем ты спрашиваешь?

Джим почувствовал смутное сознание вины и мысленно проклял манеру товарища задавать

неприятные вопросы, но вслух ответил:

— Да так, просто. Только ты сначала как будто беспокоился об этом. Что ты собираешься делать со своей долей, Мэтт?

— Купить ранчо со скотом в Аризоне, сидеть смирно и нанимать других людей, чтобы они работали у меня ковбоями. Есть там несколько таких, которых я с радостью увидел бы вымаливающими у меня работу, черт их побери! Ну, заткни фонтан, Джим. Немало времени пройдет, пока я куплю это ранчо. А теперь я хочу спать.

Но Джим долго лежал с открытыми глазами, нервно подергиваясь, беспокойно ворочаясь, и этим будил себя каждый раз, когда начинал задремывать. Бриллианты все еще сверкали перед глазами — сверкали так, что глазам больно было. Мэтт, несмотря на грубость своей натуры, спал чутко, всегда начеку во время сна — как дикое животное; и Джим заметил, что при каждом его движении тело товарища тоже шевелилось. И потому Джим часто не знал, проснулся тот или нет. Один раз Мэтт сказал ему, словно был в полном сознании:

— Да спи же, Джим. Не беспокойся об этих камнях. Целы будут. — И Джим подумал, что именно в этот момент Мэтт безусловно спал.

Поздно утром Мэтт проснулся от первого движения Джима; а потом они прохлаждались до полудня, после чего одновременно встали и начали одеваться.

— Я иду купить газеты и немного хлеба, — сказал Мэтт. — А ты свари кофе.

Джим слушал, а взгляд его бессознательно оторвался от Мэтта и блуждал по подушке, под которой хранилась коробка, завернутая в ситцевый носовой платок. В то же мгновение лицо Мэтта исказилось от звериной ярости.

— Смотри, Джим, — прорычал он. — Ты должен играть честно. Если будешь мне гадить, — прикончу. Понял? Я сломаю тебя, Джим. Так и знай. Перегрызу тебе горло и съем, как кусок бифштекса.

Его загорелая кожа почернела от прилива крови, а рычащий рот обнажил зубы, пожелтевшие от табака. Джим вздрогнул и невольно съежился. Человек, на которого он глядел, нес смерть. Не далее как прошлой ночью этот смуглый человек своими руками убил другого, и это не помешало ему спокойно спать. И в собственном своем сердце Джим ощутил вину и замыслы, за которые он заслуживал все то, чем ему грозили.

Мэтт вышел, оставив его еще дрожащим. То-

гда гнев исказил лицо Джима, и он неслышно пробурчал свирепое проклятие в сторону двери. Он вспомнил о камнях и поспешил к кровати. Он тщательно прощупал под подушкой платок, чтобы убедиться, что бриллианты все еще там. Уверившись в их сохранности, он виновато поглядел на керосинку. Затем поспешно зажег ее, доверху наполнил кофейник и поставил его на огонь.

Кофе кипел, когда Мэтт вернулся, и пока этот последний резал хлеб и выкладывал на стол масло, Джим разливал кофе. Только усевшись за стол и хлебнув кофе, Мэтт вытащил из кармана утреннюю газету.

— Мы здорово обсчитались, — сказал он. — Я говорил тебе, что я никак не мог вычислить, какой жирный кусок мы отхватили.

Он указал на заголовки первой страницы.

«*Немезида настигла Буянова мгновенно,* — прочли они. — *Его убили во сне, после того как он обокрал своего компаньона*».

— Вот видишь! — воскликнул Мэтт. — Он обокрал своего компаньона, обокрал, как грязный вор.

— «Пропало на полмиллиона драгоценных камней», — вслух прочитал Джим. Он положил

газету на стол и уставился на Мэтта.

— Что я тебе говорил? — сказал тот. — Черта лысого мы понимаем в камнях! Полмиллиона! А я-то не мог насчитать больше ста тысяч. Ну-ка, прочти остальное.

Они продолжали читать молча, голова к голове; а нетронутый кофе стал остывать, и поминутно то тот, то другой выкрикивал какой-нибудь сенсационный факт.

— Я бы хотел видеть рожу Метцнера, когда он сегодня утром открыл сейф в магазине! — Джим пожирал газету глазами.

— Он догадался, что добыча ушла на квартиру к Буянову, — пояснил Мэтт. — Читай дальше!

— «Должен был вчера вечером отплыть на «Саджоде» в Индийский океан… Отъезд задержался из-за непредвиденной погрузки…»

— Потому-то мы и застали его в постели, — прервал его Мэтт. — Вот уж действительно повезло. Все равно что выиграть в лотерею при одном шансе на пятьдесят билетов.

— «Саджода» отчалила сегодня утром в шесть…

— Он не успел к отплытию, — сказал Мэтт. — Я видел, что его будильник был поставлен на пять часов. Потому-то у него было еще много времени впереди… Но пришел я и сказал его времени

«стоп!». Продолжай.

— «Адольф Метцнер в отчаянии… Знаменитое Хейторнское жемчужное ожерелье… великолепно подобранные жемчужины… оценено экспертами в пятьдесят — семьдесят тысяч».

Джим остановился, чтобы торжественно произнести очень скверное проклятие, закончив его так:

— …что эти проклятые пасхальные яйца стоят таких деньжищ! — Он облизал губы и прибавил: — Ну, да ведь и красота-то какая!..

— «Крупный бразильский камень, — продолжал он читать, — восемьдесят тысяч долларов… много ценных камней чистой воды… несколько тысяч мелких брильянтов, стоящих, по меньшей мере, сорок тысяч».

— Очень полезные сведения, — благодушно улыбнулся Мэтт.

— «Как считают сыщики, — читал Джим, — грабители, несомненно, знали… Ловко следили за тем, что делал Буянов… проведали о его плане и шли за ним до самого его дома, вместе с награбленной добычей»…

— Ловко… черт! — вырвалось у Мэтта. — Так составляются репутации… по газетам. Как могли мы знать, что он собирается обокрасть компа-

ньона?

— Как бы то ни было, а товар достался нам, — осклабился Джим. — Поглядим-ка на него еще раз.

Он удостоверился, что дверь заперта на засов, а Мэтт вынул из-под подушки ситцевый узелок и развернул его на столе.

— Ну, разве не красота! — воскликнул Джим при виде жемчужного ожерелья и некоторое время только на него и смотрел. — Согласно экспертизе, стоит от пятидесяти до семидесяти тысяч.

— А женщины любят такие штучки, — комментировал Мэтт. — Что угодно они готовы сделать, чтобы их получить: продать себя, совершить убийство — словом, все!

— Совсем как мы с тобой.

— Вот уж нет, — возразил Мэтт. — Я совершил убийство, но не ради этих штучек, а ради того, что они мне принесут. В этом — разница. Женщины хотят камней для камней. А я хочу камней для женщин и всего, что они мне доставят.

— Счастье, что мужчины и женщины не хотят одних и тех же вещей, — заметил Джим.

— На том и зиждется торговля, — согласился Мэтт, — что люди хотят разного.

После полудня Джим вышел, чтобы закупить еды. Во время его отсутствия Мэтт очистил стол от камней, снова завернул их в платок и положил под подушку. Затем он зажег керосинку, чтобы вскипятить воду для кофе. Через несколько минут Джим вернулся.

— Удивительно! — заметил он. — Улицы, магазины, люди — все, как и всегда. Ничто не изменилось. А я хожу среди них — я, миллионер. И никто на меня не поглядел и не догадался.

Мэтт промычал что-то недружелюбно. Он не понимал легких причуд и капризов фантазии своего компаньона.

— Мясо купил? — спросил он.

— Еще бы, в дюйм толщиной. Настоящий персик. Посмотри на него.

Он развернул бумагу и показал купленный кусок мяса Мэтту. Затем сварил кофе и накрыл на стол, пока Мэтт жарил мясо.

— Не клади туда слишком много красного перца, — предупредил Джим. — Я не привык к твоей мексиканской стряпне. Ты всегда переперчиваешь.

Мэтт что-то насмешливо пробормотал и продолжал готовить. Джим разлил кофе, но перед тем всыпал в надтреснутую фарфоровую чашку

порошок, завернутый в папиросную бумагу; порошок он достал из своего жилетного кармана. В этот момент он стоял спиной к своему компаньону, но не решался на него оглянуться. Мэтт расстелил на столе газету, а на газету поставил горячую сковороду; он разрезал мясо пополам и положил Джиму и себе.

— Ешь, пока горячее, — посоветовал он и сам подал пример, вооружившись ножом и вилкой.

— Объедение, — оценил Джим, проглотив первый кусок. — Но одно я тебе скажу напрямик: я не приеду к тебе в гости на твое ранчо в Аризоне, можешь не просить.

— В чем дело? — спросил Мэтт.

— Да в том, что мексиканская стряпня на твоем ранчо — не для меня. Меня и так ждет ад после смерти, зачем же я буду терзать свои внутренности, пока я жив. Проклятый перец!

Он улыбнулся, с силой выдохнул, чтобы охладить горящий рот, выпил кофе и продолжал есть мясо.

— Что ты думаешь о загробной жизни вообще, Мэтт? — спросил он немного погодя, втайне удивляясь, почему тот не притрагивается к своему кофе.

— Нет никакой загробной жизни, — отвечал

Мэтт, отрываясь от трапезы, чтобы выпить первый глоток кофе. — Ни неба, ни ада — ничего. Все, что следует, человек получает на земле.

— А после? — допытывался Джим со свойственным ему болезненным любопытством, ибо знал, что смотрит на человека, который скоро умрет. — А после? — повторил он.

— Видел ты когда-нибудь труп двухнедельной давности? — спросил Мэтт.

Джим покачал головой.

— Ну а я видел. Он походил на этот бифштекс, который мы с тобой едим. Раньше это был бык, бегавший на воле. А теперь это *только мясо. Только мясо* — вот и все. Вот чем станем и ты, и я, и все люди — мясо!

Мэтт допил кофе и налил еще.

— А ты боишься умереть? — спросил он.

Джим покачал головой.

— Нечего бояться. Я все равно не умру. Я исчезну и появлюсь снова…

— Чтобы красть, лгать и хныкать в течение еще одной жизни и продолжать так без конца, без конца, без конца? — презрительно ухмылялся Мэтт.

— Я, может быть, исправлюсь, — предположил Джим тоном, полным надежды. — Может

быть, в будущей жизни не будет необходимости красть…

Он вдруг осекся и уставился прямо перед собой с выражением испуга на лице.

— В чем дело? — спросил Мэтт.

— Ни в чем. Я только подумал… — Джим сделал над собой усилие и пришел в себя. — О смерти подумал, вот и все.

Но он не мог стряхнуть с себя сковывавший его ужас. Казалось, что-то невидимое и мглистое прошло мимо него, отбрасывая неуловимую тень своего присутствия. Он ясно ощутил предчувствие беды. Что-то зловещее должно было произойти. Несчастье повисло в воздухе. Он пристально посмотрел через стол на другого человека. Он ничего не понимал. Неужели он ошибся и отравился сам? Нет! Надтреснутая чашка стояла перед Мэттом, а он, несомненно, высыпал яд в надтреснутую чашку.

Это только воображение, подумал он в следующий миг. Оно и раньше играло с ним разные шутки. Дурак! Ну разумеется! Разумеется, что-то должно случиться — случиться с Мэттом. Разве Мэтт не выпил весь свой кофе?

Джим просиял и доел свою порцию, а потом куском хлеба подобрал и соус.

— Когда я был мальчишкой… — начал он, но вдруг осекся. Снова пролетело незримое мглистое существо, полное грозных предостережений о грядущих бедствиях. Он почувствовал разрушительную силу, действующую в его теле и во всех его мышцах; казалось, вот-вот его пронзит судорога.

Он внезапно откинулся назад и столь же внезапно наклонился вперед и уперся локтями в стол. Неясная дрожь пробежала по мышцам его тела. Это было похоже на первое трепетание листьев перед порывом ветра. Он заскрежетал зубами. Вновь повторилось судорожное сокращение мышц. Он испугался до паники, чувствуя, что теряет контроль над своим телом. Снова они судорожно сократились, вопреки его воле, ибо он хотел, чтобы они не сокращались. Это была революция в нем самом, это была анархия. И ужас бессилия охватил его, когда его, казалось, сжала его собственная плоть. Мурашки забегали по спине, а на лбу выступил пот. Он оглядел комнату, и все подробности обстановки показались ему странно близкими и привычными — точно он только что вернулся из долгого путешествия. Он взглянул через стол на своего компаньона. Мэтт наблюдал за ним и улыбался. Выражение

ужаса разлилось по лицу Джима.

— Господи, Мэтт! — завизжал он. — Ты что, отравил меня?!

Мэтт еще шире улыбнулся и продолжал наблюдать за ним. Во время последовавшего затем приступа сильных судорог Джим не потерял сознания. Мускулы его сокращались, сжимались, скручивались, терзая и ломая его в своих свирепых объятиях. Но несмотря на эти муки, он заметил, что Мэтт ведет себя странно. С ним происходило то же. Улыбка сползла с его лица, и на нем осталось внимательное выражение, точно он прислушивался к каким-то словам внутри себя и старался угадать их смысл. Мэтт встал, прошелся по комнате туда и назад, затем сел снова.

— Это твоих рук дело, Джим, — спокойно сказал он.

— Но я не думал, что ты захочешь прикончить *меня*, — отвечал Джим укоризненно.

— О, я уже прикончил тебя, — сказал Мэтт, сжав зубы и содрогаясь всем телом. — Что ты дал мне?

— Стрихнин.

— Так же, как и я тебе, — признался Мэтт. — Это чертовская штука, не правда ли?

— Ты врешь, Мэтт, — умоляюще сказал Джим. — Ты не отравил меня. Правда?

— Я уверен, что — да, Джим, я не переборщил. Я насыпал как раз столько, сколько тебе нужно, в твою порцию… Стой? Куда ты?

Джим скользнул к двери и хотел отодвинуть засовы. Мэтт вскочил, загородил ему дорогу и оттолкнул его.

— Аптека, — скулил Джим, — аптека…

— Нет, ты не пойдешь. Ты останешься здесь. Нечего выбегать и устраивать комедию с отравлением на улице… да еще имея все эти камни под подушкой. Спастись? Даже если ты не умрешь, так попадешь в руки полиции, а потом иди — объясняйся с ней. Рвотное — вот что нужно при отравлении. Я в таком же скверном положении, как и ты, и собираюсь принять рвотное. Все равно ничего другого тебе не дадут и в аптекарском магазине.

Он толкнул Джима обратно на середину комнаты и опять задвинул засовы. Пройдя через комнату к посудной полке, он провел рукой по лбу и смахнул выступивший пот. Джим, в агонии, наблюдал, как Мэтт взял банку с горчицей и чашку и подбежал к крану. Он наполнил чашку водой, всыпал горчицы и выпил. Джим последовал за ним и дрожащей рукой потянулся за пустой чашкой. Снова Мэтт оттолкнул его прочь.

Наливая вторую чашку, он спросил:

— Думаешь, мне хватит одной чашки? Подожди, когда я закончу.

Джим попытался дотащиться до двери, но Мэтт удержал его.

— Если ты не прекратишь свои обезьяньи штучки с дверью, я тебе шею сверну. Спастись? Можешь принять свою дозу, после меня. А если это тебе поможет, я все равно сверну тебе шею. Ни так, ни этак у тебя нет шансов. Я много раз говорил тебе, что тебя ждет, если будешь мне гадить.

— Но ведь и ты мне подгадил, — с трудом выговорил Джим.

Мэтт пил вторую чашку и не отвечал. Пот заливал Джиму глаза, и он с трудом видел стол, с которого взял чашку для себя. Но Мэтт, делая себе третью порцию, опять оттолкнул его.

— Я же велел тебе ждать, — прорычал Мэтт. — Убирайся с дороги.

Джим, подергиваясь всем телом и цепляясь за раковину, чтобы не упасть, тоскливо глядел на желтоватую смесь, в которой была жизнь. Только страшное напряжение воли помогало ему стоять на ногах.

Мэтт выпил третью чашку, с трудом подошел к стулу и сел. Его первый приступ проходил.

Терзавшие его судороги ослабевали. Он приписал это воде с горчицей. Как бы то ни было, он спасся. Он стер пот с лица и поглядел на своего компаньона.

Судорога выбила банку с горчицей из рук Джима, и содержимое просыпалось на пол. Он наклонился, чтобы набрать немного горчицы в чашку, но следующий спазм заставил его скорчиться на полу. Мэтт улыбнулся.

— Не упусти, — подзадоривал он. — Это то, что нужно. Меня оно поставило на ноги.

Джим услышал его и обратил к нему лицо, искаженное болью и мольбой. Теперь судороги следовали одна за другой, пока он не начал кататься по полу в конвульсиях, пачкая в горчице лицо и волосы.

Мэтт при виде этого хрипло засмеялся, но смех его вдруг оборвался. Дрожь пробежала по его телу. Начинался новый приступ. Он встал и поплелся через комнату к раковине и там, всунув указательный палец в рот, тщетно попытался ускорить действие рвотного. В конце концов он вцепился в раковину, как только что цеплялся Джим.

У Джима же приступ прошел, и он сидел на полу, усталый и изнемогающий, слишком сла-

бый, чтобы встать на ноги, с испариной на лбу и с губами, покрытыми пеной, пожелтевшей от горчицы, в которой он вымазался. Он пальцами протирал глаза, и стоны, похожие на плач, исходили из его горла.

— О чем хнычешь? — спросил Мэтт среди агонии. — Ведь ты только умрешь… А умрешь — так будешь мертвым.

— Я… не… хнычу… Это… горчица… щиплет… мне глаза, — скулил Джим медленно и с трудом.

Это была его последняя попытка говорить. После этого он стал бессвязно бормотать, ударяя по воздуху руками, пока новая конвульсия не растянула его на полу.

Мэтт снова дотащился до стула и скрючился на нем, обхватив колени руками. Приступ закончился, он чувствовал холод и слабость. Он взглянул на Джима, чтобы узнать, что с ним. Тот лежал неподвижно.

Он попробовал говорить сам с собой, пошутить, урвать у жизни последний свирепый смех, но губы его издавали только бессвязные звуки. Ему пришла мысль, что рвотное не подействовало и остается только аптека. Он поглядел в сторону двери и заставил себя встать на ноги. Ухватившись за стул, он удержался от падения.

Начался новый приступ. И эта конвульсия, казалось, разрывала и скручивала его тело. Он уцепился за стул и стал толкать его перед собой по полу. Воля его иссякла, когда он добрался до двери. Он повернул ключ и отодвинул один засов. Затем нащупал второй, но открыть его ему не удалось. Тогда он всей своей тяжестью налег на дверь и мягко соскользнул по ней на пол.

Китаеза

Коралл растет, пальма растет, а человек — умирает.

Таитянская пословица

А Чжо не понимал по-французски. Он сидел в переполненном зале суда, испытывая страшную усталость и скуку и слушая бесконечные взрывы французской речи, исходившие из уст то одного, то другого чиновника. А Чжо все это казалось пустой болтовней, и он изумлялся глупости французов, которые потратили столько времени на поиск убийцы Чун Ха и все-таки его не нашли. Все пятьсот кули на плантации знали, что убийство совершил А Сан, а А Сан стоял тут, и никто его не арестовывал. Правда, кули втайне сговорились не свидетельствовать друг против друга; однако дело было таким простым, что французы не могли не выяснить, что виновником был А Сан. Дураки эти французы.

А Чжо нечего было бояться: он не принимал участия в убийстве. Правда, он при нем присутствовал, и Шеммер — надсмотрщик на плантации, — вломившийся в бараки сразу после

убийства, застал его там с четырьмя или пятью другими китайцами. Но что из того? Чун Ха получил только две раны. Было ясно, что пять или шесть человек не могли нанести две ножевые раны. В крайнем случае, даже если каждый ударил по разу, дело было сделано не более чем двумя людьми.

Так рассуждал А Чжо, после того как он, вместе со своими четырьмя товарищами, дал ложное показание, а затем повторил его снова и снова. Они, мол, слышали шум и, так же, как и Шеммер, побежали к месту преступления. Они прибежали раньше Шеммера — вот и все. Правда, Шеммер показал, что, когда он проходил мимо и услышал шум, возле бараков никого не было, а войдя, он застал подсудимых уже на месте; следовательно, они не могли зайти незадолго перед тем, ибо он стоял у единственной двери, ведущей в барак. Но что из того? А Чжо и его товарищи вместе показали, что Шеммер ошибся.

В конце концов, их отпустят. Все они были в этом уверены. Нельзя отсечь голову пятерым из-за двух ножевых ран. Кроме того, ни один иноземный дьявол не видел убийства. Да и французы — такие дураки. В Китае — это А Чжо хорошо знал — чиновники повелели бы их всех пытать

и узнали бы истину. Истину чрезвычайно легко выведать под пыткой. Но эти французы не пытали: отчаянное дурачье! Поэтому-то они никогда и не узнают, кто убил Чун Ха.

Но А Чжо понимал не все. Английская компания, которой принадлежали плантации, сильно потратилась на то, чтобы привезти на Таити пятьсот кули. Акционеры настойчиво требовали дивидендов, а компания до сих пор еще таковых не платила; поэтому-то она и не желала, чтобы ее дорогостоящие наемные рабочие усвоили привычку убивать друг друга. Кроме того, тут были французы, страстно желавшие продемонстрировать «китаезам» достоинства и превосходство французских законов. Не было лучшего средства, как показать пример один раз — и надолго. Да и зачем существовала Новая Каледония, как не затем, чтобы посылать туда людей мучиться, доживая свой век, в наказание за человеческие слабости?

А Чжо всего этого не понимал. Он сидел в зале суда и ждал решения обманутого судьи, который, конечно, освободит его вместе с товарищами и вернет их на плантацию. Скоро это решение будет объявлено. Процесс подходил к концу. Это было ясно. Свидетелей уже допросили, и бол-

тология кончилась. Французские черти тоже, очевидно, устали и ждали приговора. Ожидая, он вспоминал то время, когда подписал контракт и отплыл на корабле к Таити. В его приморской деревне настало тяжелое время, и он считал себя счастливчиком, когда нанялся на пять лет работать в Тихом океане за пятьдесят мексиканских центов в день. В его деревне были мужчины, работавшие за десять мексиканских долларов в год, и женщины, которые круглый год плели сети за пять долларов; а в домах лавочников были девушки-служанки, получавшие четыре доллара за год службы. А тут ему должны были платить по пятьдесят центов в день. За один день, за один только день ему предстояло получать эту княжескую сумму! Что из того, что работа будет трудной? Зато по истечении пяти лет он вернется домой — так гласил контракт, — он вернется домой, и ему больше никогда не придется работать. Он станет богатым человеком, у него будет жена и собственный дом, появятся дети, которые станут почитать его, когда вырастут. А позади дома у него будет маленький садик — место для размышления и отдыха — с золотыми рыбками в крошечном бассейне и воздушными колокольчиками, звенящими в листве деревьев, а вокруг

он построит стену, чтобы размышлениям его и отдыху никто не мешал.

Так вот, из этих пяти лет он отработал три. Теперь он уже был зажиточным человеком (по меркам своей родины) благодаря своему заработку, и еще только два года — и с хлопковой плантации на Таити он уйдет к отдыху и размышлениям. Но в настоящий момент он терял деньги из-за несчастного случая, из-за того, что на его глазах убили Чун Ха. Три недели он провалялся в тюрьме, и в каждый из этих дней он потерял по пятьдесят центов. Но теперь скоро огласят приговор, и он вернется на работу.

А Чжо было двадцать два года. У него был веселый добродушный характер, он охотно улыбался. Тело его было, как у многих азиатов, стройным, а лицо — круглым, как луна, и светилось оно мягким дружелюбием, необычайным среди его соотечественников. Притом внешний вид его не был обманчив. Он никогда не бывал зачинщиком ссор, не участвовал в драках. В карты не играл. Душа его была недостаточно груба, чтобы быть душой игрока. Он довольствовался малым, и любимые его развлечения были очень примитивны. Тишина и покой после трудной работы на хлопковом поле доставляли ему бес-

конечное удовлетворение. Он мог сидеть часами, созерцая одинокий цветок и философствуя по поводу тайн и загадок бытия. Голубая цапля на узкой излучине песчаного берега, серебристые всплески убегающей рыбы, жемчужно-розовый закат, встающий над лагуной, — все это помогало ему забыть и бесконечную тяжелую работу, и тяжелый бич Шеммера.

Шеммер — Карл Шеммер — был скотиной, скотиной из скотин. Но он честно зарабатывал свое жалованье. Он выжимал последнюю каплю силы из пяти сотен рабов, ибо до окончания срока службы они были рабами. Шеммер работал вовсю, чтобы выжать силу из этих пятисот потеющих тел и превратить ее в тюки пушистого хлопка, готовые к экспорту. Именно его начальственная, непроницаемая как броня, примитивно-скотская грубость и давала ему возможность осуществить это превращение. Кроме того, он пользовался толстым кожаным бичом шириной в три дюйма, а длиной в один ярд; с бичом он ездил всегда, и бич, при случае, мог опуститься на голую спину смиренного кули с щелканьем, подобным пистолетному выстрелу. Это щелканье можно было слышать весьма часто, когда Шеммер ехал вдоль перепаханных полей.

Однажды, в начале первого года контракта, он убил одного кули ударом кулака. Не то чтобы он расшиб ему голову, как яичную скорлупу, но удар был достаточно силен, чтобы испортить все, что было в голове, и, проболев с неделю, человек умер. Но китайцы не пожаловались французским дьяволам, которые правили на Таити.

У них имелась на то своя точка зрения. Шеммер для них был проблемой. Они должны были избегать его гнева, как избегали яда сороконожек, подстерегавших их в траве или заползавших дождливой ночью в спальные бараки. «Чинки», как называли их беспечные коричневые островитяне, старались не вызывать у Шеммера слишком большое недовольство. А это означало — достичь наивысшей производительности труда. Упомянутый выше удар Шеммерова кулака принес компании тысячи долларов, и Шеммер не имел от этого никаких неприятностей.

Французы, не обладающие способностями к колонизации, любящие помечтать о развитии производительных сил на острове, были чрезвычайно рады успеху английской компании. Какое им дело до Шеммера и его грозного кулака? Умерший китаец? Но ведь это был только «китаеза»! Кроме того, он умер от солнечного удара,

как подтверждало свидетельство врача. Правда, во всей истории Таити никто не умирал от солнечного удара, но именно это и сделало смерть избитого китайца единственной и последней: доктор в своем отчете предупредил компанию. Он был чрезвычайно добродушен. Надо ведь было платить дивиденды, а не то новое банкротство добавилось бы к длинной серии таитянских банкротств.

Невозможно было понять этих белых дьяволов. А Чжо размышлял о неисповедимости их природы, сидя в зале суда в ожидании приговора. Никак нельзя было понять, что происходит в глубине их сознания. Он видел уже многих белых дьяволов. Все они были одинаковы: офицеры и матросы на корабле, французские чиновники, различные белые люди на плантации, включая и Шеммера. Их мысли работали по каким-то таинственным законам, которые невозможно было постичь. Они сердились без видимой причины, и гнев их всегда был опасен. В такие моменты они походили на диких зверей. Они хлопотали о ничтожных вещах, и при случае могли работать даже больше китайца. Умеренности они совсем не знали: были обжорами — невоздержанными в еде и еще более в напитках. Китаец никогда не мог угадать,

понравится ли им какой-нибудь поступок или вызовет бурю гнева. Что один раз нравилось — то другой раз вызывало вспышку негодования. За их зрачками была какая-то завеса, скрывавшая их мысли от взора китайцев. А над всем этим возвышалась ужасающая продуктивность белых дьяволов, их уменье делать любые вещи, пускать их в ход, добиваться нужных результатов, и даже стихии — и те подчинять своей воле.

Да, белые люди были необычайны и удивительны; они были дьяволами. Взгляните хоть на Шеммера.

А Чжо удивлялся, почему приговор так долго не выносят. Ни один из подследственных не коснулся Чун Ха, А Сан один убил его. А Сан сделал это так: одной рукой ухватив Чун Ха за косу, он оттянул его голову назад, а затем сзади, перекинув другую руку через его плечо, всадил нож в тело. Два раза он всадил нож. Здесь, в зале суда, А Чжо, закрыв глаза, воссоздавал картину убийства — перебранку, злобные слова, которыми обменивались они оба, позор и поношение, падавшие на голову почтенных предков, проклятия, посылаемые незачатым еще потомкам. Видел он прыжок А Сана, захват косы Чун Ха, нож, дважды погрузившийся в тело, с шумом открывшуюся дверь,

ворвавшегося Шеммера и бегство А Сана; взвившийся бич Шеммера, загнавший остальных в угол, и слышал револьверный выстрел — сигнал, призывавший к Шеммеру подкрепление. Переживая все это вновь, А Чжо содрогнулся. Один удар бича полоснул его по щеке, отхватив кусок кожи. Шеммер указал на рубец, когда опознал А Чжо при опросе свидетелей. Только теперь след стал незаметен. Вот это был удар: на полдюйма ближе к носу, и он вышиб бы ему глаз! Затем А Чжо позабыл обо всем происшествии, погрузившись в мысленное созерцание сада покоя и размышления, который станет его собственностью по возвращении на родину.

Он сидел с невозмутимым лицом, пока судья читал приговор. Равно невозмутимыми оставались и лица его четырех товарищей. Невозмутимыми они остались и тогда, когда переводчик объяснил, что все пятеро признаны виновными в убийстве Чун Ха — и что А Чжоу отрубят голову, а А Чжо отработает двадцать лет на каторге в Новой Каледонии, Вон Ли — двенадцать лет, А Тон — десять. Бесполезно было волноваться по этому поводу. Даже А Чжоу не выказал никаких признаков волнения — словно мумия, хотя голова, которую собирались отсечь, принадлежала ему. Судья

добавил несколько слов, а переводчик объяснил, что лицо А Чжоу, наиболее сильно пострадавшее от бича Шеммера, позволило совершенно безошибочно его опознать, и раз уж кто-нибудь один должен умереть, то лучше всего, чтобы это был он. Равным образом и то, что лицо А Чжо тоже пострадало, также доказывало его присутствие во время убийства и несомненное соучастие, за что он и заслужил двадцать лет каторжных работ. Так были объяснены мотивы всех приговоров, вплоть до десятилетнего заключения А Тона. Пусть китайцы примут к сведению этот урок, под конец добавил судья, ибо они должны понять, что закон будет исполняться на Таити, даже если обрушатся небеса.

Пятерых китайцев отвели обратно в тюрьму. Они не были ни потрясены, ни опечалены. Неожиданный приговор вполне соответствовал тому, к чему они привыкли, имея дело с белыми дьяволами. Китаец редко ждал от них чего-нибудь, кроме неожиданностей. Тяжкое наказание за преступление, которого они не совершали, было отнюдь не более странным, чем бесчисленные странные поступки белых дьяволов.

В последующие недели А Чжо часто созерцал А Чжоу с нежным любопытством. Ему долж-

ны были отсечь голову на гильотине, которую воздвигали на плантации; для него не будет ни быстротекущих лет, ни садов успокоения. А Чжо философствовал и размышлял о жизни и смерти. Относительно себя он не беспокоился. Двадцать лет — это только двадцать лет. Ровно настолько его сад отдалялся от него — вот и все. Он был молод, и азиатское терпение укоренилось у него в костях. Он мог ждать эти двадцать лет; а за это время жар в его крови потухнет, и он станет более достойным сада спокойной радости. Он придумал имя для него: Сад Утреннего Покоя. Он весь день был счастлив от этой мысли и вдохновился настолько, что сочинил притчу о благодетельной силе терпения, каковая притча была весьма утешительна, в особенности для Вон Ли и А Тона. А Чжоу, однако, не обратил на нее внимания: его голове предстояло отделиться от тела через столь короткий срок, что ему не требовалось терпения, чтобы дождаться этого события. Он хорошо ел, хорошо спал, хорошо курил и не заботился о медленном течении времени.

Жандарма звали Крюшо. Он двадцать лет отслужил в колониях, от Нигера и Сенегала до Тихого океана, но эта двадцатилетняя служба нимало не прояснила его туманный рассудок. Он остался

таким же тугодумом и тупицей, каким был во дни своей работы на полях южной Франции. Он знал дисциплину и страх перед начальством; для него между Богом и другими чинами, вплоть до сержанта жандармерии, разница была только в степени рабского послушания, которое он им оказывал. Фактически же сержант в его представлении был много важнее Бога, — за исключением воскресений, когда ходатаи перед Богом могли замолвить за него слово. Бог обычно был очень далек, в то время как сержант был тут же — под боком.

Этому-то Крюшо и вручили приказ председателя суда начальнику тюрьмы. В приказе предписывалось выдать преступника А Чжоу жандарму Крюшо. Случилось, однако, что председатель суда накануне угощал обедом капитана и офицеров французского крейсера. Рука его дрожала, когда он писал приказ, а глаза так ужасно болели, что он не перечитал написанного. Все равно — ведь он подписывал смертный приговор какому-то «китаезе». Так он и не заметил, что пропустил последнюю букву имени А Чжоу. В приказе стояло: «А Чжо», и когда Крюшо предъявил его, то начальник тюрьмы и вручил ему особу А Чжо. Крюшо посадил означенную особу

рядом с собой на скамейку повозки, запряженной двумя мулами, и поехал.

А Чжо был рад, что очутился на солнце. Он сидел подле жандарма и сиял. Он засиял еще ярче, когда заметил, что мулы сворачивают на юг к Антимаоно. Несомненно, Шеммер послал за ним, чтобы его привезли обратно. Шеммер хотел, чтобы он работал. Очень хорошо. Он будет превосходно работать. У Шеммера никогда не появится повод жаловаться.

День был жаркий. Они остановились. Мулы вспотели, Крюшо вспотел, и А Чжо вспотел. Но легче всех жару переносил А Чжо. Три года он проработал под этим солнцем на плантации. Он сиял, и сиял так радостно, что даже тугодум Крюшо пришел в изумление.

— Забавный ты человек, — сказал он наконец.

В противоположность судьям, Крюшо говорил с ним на языке канаков; а это наречие А Чжо понимал, так же как все китайцы и белые дьяволы.

— Ты слишком много смеешься, — пожурил его Крюшо. — Сердце человека в такой день должно обливаться слезами.

— Я рад, что вышел из тюрьмы.

— И это все? — Жандарм пожал плечами.

— Разве этого мало? — был ответ.

— Но ведь не радуешься же ты тому, что тебе отрубят голову?

А Чжо поглядел на него с внезапным изумлением и сказал:

— Как? Ведь я еду в Антимаоно, чтобы работать на плантации у Шеммера. Разве вы не везете меня в Антимаоно?

Крюшо в раздумье потянул себя за длинный ус.

— Так… так, — сказал он наконец, ударив бичом одного из мулов. — Значит, ты не знаешь?

— Чего не знаю? — А Чжо начинал ощущать смутное беспокойство. — Разве Шеммер больше не позволит мне работать?

— Только не после сегодняшнего дня, — от души рассмеялся Крюшо. Это была хорошая шутка. — Видишь ли, после сегодняшнего дня ты уже не в состоянии будешь работать. Человек с отрубленной головой не может работать, хе-хе…

Он дал китайцу пинок в ребро и затрясся от хохота.

А Чжо хранил молчание в течение одной мили пути. Затем он заговорил:

— Неужели Шеммер хочет отрубить мне голову?

Крюшо кивнул головой и осклабился.

— Это ошибка, — сказал серьезно А Чжо. — Я не тот китаец, которому должны отрубить голову, я — А Чжо. Достопочтенный судья постановил, что я должен пробыть двадцать лет в Новой Каледонии.

Жандарм рассмеялся. Это была хорошая шутка: этот смешной китаец пытался обмануть гильотину. Мулы миновали кокосовую рощу; и когда они ехали вдоль сверкающего моря, А Чжо снова заговорил:

— Повторяю, я не А Чжоу. Достопочтенный судья не сказал, что мою голову надо отрубить.

— Не пугайся, — сказал Крюшо с гуманным намерением ободрить арестанта. — Умереть таким образом совсем не больно. — Он прищелкнул пальцами. — Это делается быстро, вот так! Это не то, что висеть на конце каната, барахтаться и корчить рожи целых пять минут. Все равно что убить цыпленка тесаком. Отрубаешь ему голову — и все тут. То же и с человеком. Пуф! — и готово. Совсем не больно. Ты даже не думаешь, что больно. Ты вообще не думаешь. Твоя голова слетела — так что думать ты не можешь. Очень хорошо. Вот так бы я хотел умереть: быстро-быстро. Тебе повезло, что ты умрешь таким образом. Ты бы мог схватить проказу и медленно распадаться на

части — палец за пальцем. Я знал одного человека, который ошпарился кипятком. Он умирал целых два дня. За километр слышно было, как он кричал. А тебе что? Легко! Чик! — нож отрезает тебе голову. Вот так. И кончено. Возможно даже, что нож щекотный. Кто знает? Никто из умерших не возвращался назад, чтобы рассказать.

Эту последнюю шутку он счел дьявольски удачной и позволил себе сотрясаться от смеха целых полминуты. Веселость его после этого поубавилась, но он считал своим долгом поднять настроение китайца.

— Но я же вам говорю, что я А Чжо, — настаивал тот. — Я не хочу, чтобы мне отрубили голову.

Крюшо нахмурился. Шутка зашла слишком далеко.

— Я не А Чжоу… — начал А Чжо.

— Ну, довольно, — перебил его жандарм. Он надул щеки и старался казаться сердитым.

— Я говорю вам, что я не… — снова начал А Чжо.

— Заткнись! — заорал Крюшо.

После этого они поехали дальше в молчании. От Папеэтэ до Антимаоно было двадцать миль, и они проехали половину пути, когда китаец снова заговорил.

— Я видел вас в зале суда, когда достопочтенный судья разбирался в нашей вине, — начал он. — Хорошо. Так вот, помните ли вы, что А Чжоу — тот, которому должны отрубить голову, — помните ли вы, что он, А Чжоу, был высокий человек? Взгляните на меня!

Он неожиданно встал, и Крюшо увидел, что он был маленького роста. И так же неожиданно перед Крюшо мелькнула фигура А Чжоу: да, кажется, А Чжоу был высоким. Для жандарма все китайцы были на одно лицо. Но между высоким и низким ростом он чувствовал разницу и понял, что рядом с ним на скамейке сидит не тот человек. Он резко остановил мулов, так что дышло дернулось вперед и потянуло за собой хомуты.

— Вы видите, это была ошибка, — сказал А Чжо улыбаясь.

Но Крюшо размышлял. Он уже жалел, что остановил повозку. Он не знал, что председатель суда ошибся, и догадаться об этом не мог; но он знал, что ему вручили этого китайца, чтобы отвезти его в Антимаоно. И знал, что он обязан отвезти его в Антимаоно. А что, если у него не тот человек и голову отрубят не тому, кому следует? Но, в конце концов, это был только «китаеза»! А что такое, в сущности, «китаеза»? Да к тому же, быть может,

и ошибки не было. Ведь ему ничего не было известно о намерениях начальства. Они там лучше знали свое дело. Кто он такой, чтобы думать за них? Однажды, давным-давно, он было пытался подумать за них, но сержант сказал ему: «Крюшо, ты дурак! Чем раньше ты это поймешь, тем лучше для тебя. Не твое дело думать: твое дело слушаться и предоставить думать тем, кто поблагороднее». Он страдал от этого воспоминания. К тому же, если он вернется в Папеэтэ, то задержит казнь в Антимаоно, и если он без достаточного основания повернет назад — то получит выговор от сержанта, ожидающего преступника. Кроме того, он и в Папеэтэ тоже получил бы выговор.

Он хлестнул мулов бичом и покатил дальше. Затем взглянул на часы. Уже сейчас он опаздывал на полчаса, и сержант непременно рассердится. Он погнал мулов быстрее. Чем больше А Чжо настаивал, тем упрямее становился Крюшо. Уверенность, что с ним едет не тот «китаеза», не улучшила его настроения; уверенность же, что это произошло не по его вине, утверждала его во мнении, что он поступает правильно. Чтобы избежать недовольства сержанта, он охотно помог бы казнить десять невинных китайцев.

Что же касается А Чжо, то, после того как жан-

дарм хватил его по голове рукояткой бича и сердито приказал заткнуться, ему больше ничего не оставалось, как именно заткнуться. А Чжо размышлял о странных поступках белых чертей. Для них нельзя было придумать никакого объяснения. То, что они с ним делали, — было так похоже на все то, что они вообще делали. Сначала они осудили пять невинных людей, а теперь хотят отрубить голову человеку, которого сами же считали заслуживающим не более двадцати лет каторги. Тут он ничего не мог поделать. Он только мог сидеть смирно и принять все, что эти господа жизни ему уготовили. На одну минуту он впал в панический страх и покрылся холодным потом; но он справился с этим. Он старался примириться со своей участью, вспоминая и повторяя некоторые места из «Трактата о Спокойствии»; но вместо того он все время видел перед собой свой воображаемый сад размышления и покоя. Это тревожило его до тех пор, пока он не отдался этой мечте и не очутился в своем саду, слушая перезвоны колокольчиков в ветвях деревьев. И вот, сидя так, погруженный в свою мечту, он уже был в состоянии вспомнить некоторые отрывки из «Трактата о Спокойствии».

Так приятно проходило время, пока они не

достигли Антимаоно и мулы не подъехали к самому подножию эшафота, у которого стоял нетерпеливый сержант. А Чжо втолкнули вверх по лестнице на эшафот. Позади него он увидел всех кули плантаций, которых согнали туда. Шеммер решил, что это событие — прекрасный наглядный урок, и поэтому согнал кули с полей и заставил их присутствовать при казни. Увидев А Чжо, они стали перешептываться между собой. Они поняли, что произошла ошибка, но хранили это при себе. Непонятные белые дьяволы, без сомнения, изменили решение. Вместо того чтобы лишить жизни одного невинного человека, они убивали другого невинного. А Чжо или А Чжоу, не все ли равно — кто? Они никогда не могли понять белых собак — так же как белые собаки не могли понять их. А Чжо отрубят голову, но они — через два года рабства — вернутся в Китай.

Шеммер сам соорудил гильотину. Он был человек умелый, и хотя никогда раньше гильотины не видал, но французские власти объяснили ему устройство. По его предложению они назначили казнь в Антимаоно, а не в Папеэтэ. Лучше всего, доказывал Шеммер, наказывать именно там, где было совершено преступление; вдобавок это окажет благодетельное влияние на пятьсот

китайцев, работающих на плантациях. Шеммер предложил также свои услуги в качестве палача и, как таковой, стоял теперь на помосте, испытывая построенное им орудие. Ствол бананового дерева, равного по диаметру и по упругости человеческой шее, лежал на гильотине. А Чжо смотрел на него завороженно. Немец, поворачивая рукоятку небольшого вала, поднял лезвие к верху сооруженных им маленьких козел. Дернув толстый канат, он освободил нож, и тот, сверкнув в воздухе, чисто рассек пополам банановый ствол.

— Как работает? — Этот вопрос задал сержант, поднявшийся на помост.

— Великолепно! — с восторгом отвечал Шеммер. — Давайте я вам покажу!

Он снова стал вращать рукоятку, поднимавшую нож, потянул за веревку и с шумом опустил нож на мягкое дерево. Но на этот раз он врезался не глубже чем на две трети. Сержант нахмурился.

— Это не годится!

Шеммер отер пот со лба.

— Нужен больший противовес, — объявил он.

Подойдя к краю помоста, он приказал кузнецу принести кусок железа в двадцать пять фунтов. Когда он отошел, чтобы привязать железо к ту-

пому концу ножа, А Чжо поглядел на сержанта и понял, что может воспользоваться случаем.

— Достопочтенный судья сказал, что нужно отрубить голову А Чжоу, — начал он.

Сержант нетерпеливо кивнул головой. Он думал о том, что ему после обеда придется проскакать пятнадцать миль до наветренной стороны острова, думал и о метиске Берте — хорошенькой дочери торговца жемчугом Лафьера, — ожидавшей его в конце этого пути.

— Так вот, я не А Чжоу, я — А Чжо. Достопочтенный тюремщик допустил ошибку. А Чжоу — высокий человек, а я, как видите, маленький.

Сержант быстро взглянул на него и увидел ошибку.

— Шеммер! — властно позвал он. — Подойдите сюда.

Немец проворчал что-то в ответ, но оставался на месте, склонившись над своей работой, до тех пор, пока не привязал железную болванку так, как ему хотелось.

— Готов ваш «китаеза»? — спросил он.

— Поглядите на него, — был ответ. — Тот ли это китаец?

Шеммер удивился. Он сочно ругался в течение нескольких секунд и с сожалением покосился на

дело рук своих, которое ему не терпелось увидеть в работе.

— Видите ли, — сказал он наконец, — мы не можем отложить это дело. Эти пятьсот кули и так три часа не работали. Я не могу больше терять времени из-за всей этой истории. Давайте совершим всю процедуру сейчас, ведь это только «китаезы».

Сержант вспомнил предстоящую ему длинную поездку, дочку торговца жемчугом и стал рассуждать сам с собой.

— Они накажут Крюшо, если дело откроется, — подзадоривал немец. — Только мало шансов, чтобы оно открылось. А Чжоу во всяком случае не выдаст.

— Вина все равно не падет на Крюшо, — сказал сержант. — Это, наверное, ошибка тюремщика.

— В таком случае, приступим. Они не могут к нам придраться. Кто может отличить одного «китаезу» от другого? Мы можем сказать, что только выполнили приговор над тем китайцем, которого нам привели. Кроме того, я, право, не могу вторично оторвать всех этих кули от работы.

Они говорили по-французски, но А Чжо, ни слова не понимавший, все же знал, что решается его судьба. Он знал также, что решение зависит

от сержанта, и не сводил взгляда с его губ.

— Ладно, — объявил сержант. — Валяйте! Ведь это только «китаеза».

— Я хочу еще раз попробовать для верности.

Шеммер подвинул банановый ствол вперед под нож, который подтянул до верха козел.

А Чжо пытался вспомнить изречения из «Трактата о Спокойствии». «Живите в согласии», вспомнилось ему, но это не подходило: ему не придется жить, ему придется умереть. Итак, это не подходило. «Прощай злобу»... Да, но здесь не было злобы. Шеммер и остальные совершали все это без злобы. Для них это было просто работой, которую нужно было сделать, — совсем как корчевка зарослей, рытье канав и посадка хлопка. Шеммер потянул за веревку, и А Чжо позабыл «Трактат о Спокойствии». Нож со стуком упал и чисто разрезал дерево.

— Великолепно, — воскликнул сержант, закуривая папиросу, — великолепно, мой друг!

Шеммеру очень польстила похвала.

— Подойди, А Чжоу, — сказал он по-таитянски.

— Но я не А Чжоу, — начал А Чжо.

— Молчать! — услышал он. — Если ты еще раз откроешь рот, я разобью тебе голову.

Надсмотрщик погрозил ему сжатым кулаком, и

он замолчал. Какой смысл протестовать? У этих иноземных дьяволов на все был свой ответ. Он позволил привязать себя к вертикальной доске, по длине равнявшейся его телу. Шеммер завязал узлы крепко, так крепко, что веревка болезненно врезалась в его плоть. Но он не жаловался. Боль не будет долго продолжаться. Он почувствовал, как доска, повернувшись в воздухе, приняла горизонтальное положение, и закрыл глаза. В этот момент ему в последний раз привиделся сад покоя и размышления. Ему казалось, что он сидит в этом саду. Веял прохладный ветер, и колокольчики в листве тихо звенели. И птицы тихим щебетанием навевали сон, и из-за высокой стены раздавался приглушенный шум деревенской жизни. Затем он ощутил, что доска перестала вращаться, и по напряжению мускулов понял, что лежит на спине. Он открыл глаза. Прямо над собой он увидел подвешенный нож. Ему бросился в глаза добавочный груз, и он заметил, что один из Шеммеровых узлов развязался. Затем он услышал команду сержанта. А Чжо поспешно закрыл глаза. Он не хотел видеть, как падает нож. Но он почувствовал это в одно мимолетное мгновение. И в этот момент он вспомнил Крюшо и то, что Крюшо сказал. Но Крюшо ошибался. Нож вовсе

не щекотал. Это он ясно понял перед тем, как вообще перестал что бы то ни было понимать.

Держи на запад

Что бы ни случилось — держи на запад!.. Держи на запад!

Лоция для мыса Горн

Семь недель «Мэри Роджерс» болталась между пятидесятым градусом южной широты в Атлантическом океане и пятидесятым градусом южной широты в Тихом океане, а это значит, что в течение семи недель она выбивалась из сил, чтобы обогнуть мыс Горн.

Целых семь недель она боролась со штормом или уходила от шторма, кроме одного случая, когда после тяжелых шести дней нашла прибежище у грозных берегов Огненной Земли, да и то едва не села на мель во время внезапно наступившего штиля. Семь недель она боролась с бурунами мыса Горн и получала от них в отместку толчки и пощечины. Она была деревянным судном, и непрерывные усилия ослабили сшивку, так что два раза в день команда вставала к насосам.

«Мэри Роджерс» устала, команда устала, и Дэн Келлен, шкипер, тоже устал. Быть может, он устал больше всех, ибо на нем лежала ответственность

за эту титаническую борьбу. Спал он по большей части одетым, да и вообще ему редко приходилось спать. Он то и дело возникал на палубе, как большое, грузное, коренастое привидение, почерневший от загара за тридцать лет жизни на море и волосатый, как орангутанг. А в голове у него непрерывно крутилась строка из лоции для капитанов, плавающих у мыса Горн: «Что бы ни случилось — держи на запад! Держи на запад!» Это было наваждение.

Ничто иное ему не приходило в голову, кроме, пожалуй, одного: проклинать Бога, пославшего такую мерзкую погоду.

«Держи на запад!» Он огибал Горн и раз двенадцать ложился в дрейф, так что железный мыс оказывался на двадцать миль к северо-востоку; и каждый раз западный ветер относил его назад, и он невольно возвращался на восток. Он с боем отступал при каждом порыве ветра на юг, до шестьдесят четвертого градуса, в самую гущу антарктических плавучих льдов, и готов был продать свою бессмертную душу за то, чтобы хоть немного продвинуться к западу.

Напрасно. Его относило к востоку. В отчаянии он сделал попытку пройти через пролив Ле Мера. Не прошли и половины пути, как ветер подул

— северо-западный ветер, барометр упал до 28,88 дюйма и пришлось, повернув назад, убегать от бешеного циклона, который едва-едва не посадил «Мэри Роджерс» на чернозубые скалы. Два раза он сворачивал к западу, к скалам Диего Рамирес; во время одной из этих попыток он спасся лишь благодаря тому, что в промежутке между двумя снежными шквалами вовремя увидел кладбище кораблей прямо перед собой, на расстоянии четверти мили.

Ну и ветер был! Капитан Дэн Келлен перебрал в памяти все тридцать лет своей морской службы и понял, что такого ветра никогда он прежде не видывал. «Мэри Роджерс» дрейфовала в тот момент, когда он думал об этом, и, как бы в подтверждение его слов, через полчаса она погрузилась в воду до самых люков. Ее новый грот и новехонький спенкер были сорваны, как папиросная бумага, и пять парусов, свернутых и укрепленных под двойными ревантами, ветер размотал и сорвал с рей. До наступления зари «Мэри Роджерс» погрузилась еще два раза, и пришлось прорубить отверстия в фальшборте, чтобы хоть немного освободить палубу от массы воды, придавливавший корабль ко дну.

Приблизительно раз в неделю капитан Дэн

Келлен урывками видел солнце. Однажды в полдень солнце сияло целых десять минут, а еще через десять минут уже завывала новая буря, обе вахты убавляли паруса, и все вокруг погрузилось во мрак продолжительного снежного шквала. В течение трех недель капитан Дэн Келлен не мог заниматься вычислениями. Редко когда он знал свое местоположение с точностью больше чем полградуса, если не находился в виду берега, ибо солнце и звезды оставались скрытыми за облаками, и было так темно, что наблюдения были почти невозможны. Серая мгла заволокла мир: серые тучи и огромное, волнующееся, свинцово-серое море; пенистые волны казались серым взбитым маслом; пролетали серые альбатросы, и даже хлопья снега были серыми под серым покровом туч.

Жизнь на «Мэри Роджерс» тоже была серой — серой и сумрачной. Лица моряков приняли темно-серый оттенок; все они были покрыты ранами и волдырями и невыносимо страдали. То были не люди, а тени. Семь недель их одежда не просыхала, ни одной вахты они не спали спокойно, каждый раз слыша: «Все на палубу!» Они ловили обрывки беспокойного сна, спали в своих клеенчатых одеждах, всегда готовые броситься на

зов. Они смертельно устали и измучились, и требовалось две вахты, чтобы сделать работу одной. И ни одна из этих человеческих теней не могла увильнуть от своих обязанностей. Человек должен был, по меньшей мере, сломать ногу, чтобы освободиться от работы; двое были опрокинуты и искалечены ринувшимся на палубу валом.

Одной из таких человеческих теней был Джордж Дорти — единственный пассажир на борту; он был другом владельца судна и решил совершить путешествие для поправки здоровья. Но семь недель, проведенных у мыса Горн, не поправили его здоровья. Он вздыхал и охал на своей койке во время долгих бурных ночей. А выходя на палубу, так кутался, что напоминал лавку старьевщика. В полдень, обедая в кают-компании (было так темно, что приходилось зажигать висячие лампы), он выглядел таким же иссиня-серым, как самый больной и измученный матрос на нижней рее фок-мачты. Вид капитана Дэна Келлена тоже не мог его ободрить. Капитан Дэн Келлен жевал, хмурился и хранил молчание. Хмурился он на Бога, и с каждым глотком повторял про себя единственную мысль, овладевшую всем его существом: «Держи на запад!» Он был большой волосатой скотиной, и вид его не воз-

буждал аппетита у сотрапезника. Он считал, что именно из-за Джорджа Дорти, как из-за библейского Ионы, начались все его беды, и повторял ему это каждый раз за трапезой, все хмурясь, то ли из-за Господа Бога, то ли из-за пассажира.

Старший помощник тоже не мог прибавить ему аппетита. Звали его Джошуа Хиггинс. Моряк по профессии и по необходимости, судомойка по призванию, он был расхлябанным, гнусавым созданием. Бессердечный, бездушный, эгоистичный и трусливый, дрожащий за свою шкуру перед Дэном Келленом и грубый с матросами, знавшими, что за спиной помощника стоит капитан Келлен. Пока длились эти бури на южном краю земли, Джошуа Хиггинс не умывался. Его чумазая физиономия обычно лишала Джорджа Дорти последних остатков с трудом накопленного аппетита. В другое время эта небрежность в отношении умывания заставила бы поупражняться язык капитана Келлена; но в настоящий момент капитан помнил только «держи на запад!» — и больше ничего. После, когда они достигнут пятидесятого градуса южной широты в Тихом океане, Джошуа Хиггинс сразу же умоется. А до тех пор в кают-компании, где серые сумерки разбавлял ламповый свет, Джордж Дорти сидел

между этих двух людей — между тигром и гиеной — и удивлялся, зачем Господь создал их. Второй помощник — Мэтью Тернер — был подлинным моряком и настоящим человеком; но Джордж Дорти был лишен возможности найти утешение в его обществе, ибо тот ел отдельно, в одиночестве, по окончании обеда.

В субботу утром, 24 июля, Джордж Дорти проснулся и почувствовал, что корабль ожил и стремительно движется вперед. Взойдя на палубу, он увидел, что «Мэри Роджерс» мчится, подгоняемая воющим юго-восточным ветром. Парусов, кроме нижних марселей и фокселя, не было. Только их она и могла нести, и все же делала четырнадцать узлов (это мистер Тернер крикнул Дорти в ухо, когда тот вышел на палубу), держа курс на запад.

Наконец-то она обогнет Горн… если ветер не спадет. Мистер Тернер казался счастливым. Скоро конец борьбе. Но капитан Келлен счастливым не казался. Проходя мимо Дорти, он бросил на него мрачный взгляд. Капитан Келлен не хотел, чтобы Бог знал, что он доволен ветром. Бога он представлял существом весьма злокозненным и в глубине души был уверен: знай только Бог, что этот ветер ему желателен, и он быстро его пре-

кратит и пошлет шторм с запада. Так раздумывал он не спеша перед лицом Господа, скрывая свою радость под хмурыми взглядами и негромкими проклятиями, надувая таким образом Бога, ибо Бог был единственным в мире существом, которого Дэн Келлен боялся.

В течение всей субботы и ночи на воскресенье «Мэри Роджерс» неслась на запад. Неукоснительно она отмеряла свои четырнадцать узлов, так что к утру воскресенья покрыла триста пятьдесят миль. Если ветер будет держаться, она обогнет мыс. Если же нет, если ветер подует с северо-запада или севера, — она будет отброшена обратно и очутится в таком же положении, как и семь недель назад. И вот в воскресенье утром ветер стал спадать. Море улеглось и мягко колебалось. Обе вахты были на палубе и ставили парус за парусом. А капитан Келлен теперь разгуливал перед лицом Господа, весь сияя, куря огромную сигару и восторженно улыбаясь, точно спадающий ветер его радовал, в то время как в глубине души злился на Бога за то, что тот отнимал жизнь у благодатного ветра. «Держи на запад!» Он бы и держал, если бы только Бог оставил его в покое. Втайне он снова посулил свою душу силам мрака, если они позволят ему держать на запад. Он

закладывал себя с легкой душой, ибо не верил в силы мрака.

На самом деле он верил только в Бога, хотя и не знал об этом. Но в его извращенном религиозном представлении Бог был некем иным, как князем тьмы. Капитан Келлен был дьяволопоклонником; только дьявола он звал другим именем — вот и все.

В полдень, после восьми склянок, капитал Келлен скомандовал:

— Поднять бом-брамсели! — Люди вскарабкались наверх быстрее, чем когда-либо за все эти недели. И не только из-за курса на запад, но и потому, что сияло благодатное солнце, согревая их окостеневшие тела.

Джордж Дорти стоял на корме возле капитана Келлена, менее укутанный, чем обыкновенно, впитывая ласковое тепло и наблюдая за происходящим. Это случилось быстро и неожиданно. Раздался крик с бом-брам-реи:

— Человек за бортом!

Кто-то бросил через борт спасательный круг, и в тот же миг раздался взволнованный голос второго помощника:

— Держи против ветра!

Рулевой не повернул штурвал. Он знал, что де-

лал, ибо бок о бок с ним стоял капитан Келлен. О, он бы и рад был повернуть штурвал ради товарища, тонувшего в море. Он посмотрел на капитана Дэна Келлена, но тот не подал знак.

— Держи против ветра! — кричал второй помощник, вскакивая на корму.

Но он остановился, увидев Дэна Келлена у штурвала. А капитан попыхивал сигарой и молчал. За кормой еще был виден матрос, но он отставал все больше. Он поймал спасательный круг и вцепился в него. Все молчали. Никто не двигался. Люди на мачтах припали к брам-реям и наблюдали с застывшими от ужаса лицами. А «Мэри Роджерс» неслась вперед, держа курс на запад. В молчании прошла долгая минута.

— Кто это был? — спросил капитан Келлен.

— Монс, сэр, — поспешно ответил рулевой.

Монс уже почти скрылся в волнах.

Волны были большие, но это были не буруны. Шлюпка могла бы свободно плыть по такому морю. И «Мэри Роджерс» могла бы подойти к бедняге. Но нельзя было одновременно и подойти к нему, и держать курс на запад.

И первый раз в своей жизни Джордж Дорти видел настоящую драму жизни и смерти — драму, где на чашах весов колебались неизвестный

матрос по имени Монс и несколько миль долготы. Сначала он наблюдал за человеком позади корабля, но теперь следил за Дэном Келленом — черным и волосатым, облеченным властью над жизнью и смертью и курившим сигару.

Капитан Келлен продолжал курить в течение еще одной долгой минуты. Тогда он вынул сигару изо рта. Он поглядел вверх, на стеньги «Мэри Роджерс», а затем — через борт, на море.

— Натянуть бом-брамсели! — крикнул он.

Спустя четверть часа они сидели в кают-компании за накрытым столом. По одну сторону от Джорджа Дорти сидел Дэн Келлен — тигр, по другую — Джошуа Хиггинс, гиена. Все молчали. Наверху матросы натягивали верхние паруса, и Джордж Дорти мог слышать их крики. И неотступно его преследовало видение: человек по имени Монс, живой и здоровый, вцепившийся в спасательный круг, на много миль позади корабля, в пустынном океане. Он взглянул на капитана Келлена, и его затошнило: этот человек ел с большим аппетитом, перемалывая пищу зубами.

— Капитан Келлен, — сказал Дорти, — вы — командир судна, и мне не пристало критиковать ваши действия. Но одно я хочу сказать: загробная жизнь есть, и вам будет там очень жарко.

Капитан Келлен даже не нахмурился и сказал с сожалением:

— Дул сильный ветер. Невозможно было спасти человека!

— Он упал с брам-реи, — сказал Дорти, — вы в это время поднимали бом-брамсели. Через пятнадцать минут вы подняли верхние паруса.

— Дул сильный ветер, не правда ли, мистер Хиггинс? — сказал капитан Келлен, обращаясь к помощнику.

— Если бы вы подвели ее к матросу, ветер сбил бы все мачты, — ответил помощник. — Вы правильно поступили, капитан Келлен.

Джордж Дорти не ответил, и до конца обеда все молчали. После этого Дорти стали подавать еду в каюту. Капитан Келлен больше не хмурился на него, хотя с того момента они не сказали друг другу ни слова. А «Мэри Роджерс» все спешила на север — к более теплым широтам. В конце недели Дэн Келлен остановил Дорти на палубе.

— Что вы собираетесь делать, когда мы приедем в Фриско? — спросил он напрямик.

— Я собираюсь добиваться приказа о вашем аресте, — спокойно ответил Дорти. — Я собираюсь обвинить вас в убийстве и хочу посмотреть, как вас будут вешать.

— А вы очень уверены в себе, — презрительно усмехнулся капитан Келлен, поворачиваясь на каблуках.

Прошла еще неделя. Однажды Джордж Дорти стоял на входе в кают-компанию и обозревал палубу. «Мэри Роджерс» шла без крена, при свежем ветерке. Все паруса были подняты, включая и стаксели. Капитан Келлен шел к носу, вдоль кормы. Он шел беззаботно, краем ока поглядывая на пассажира. Дорти смотрел в другую сторону, высунув из каюты голову и плечи, так что можно было видеть только его затылок. Капитан Келлен быстрым взглядом окинул грот-стакселя и голову пассажира, определяя расстояние. Он огляделся вокруг. Никто на него не смотрел. Позади Джошуа Хиггинс, прохаживавшийся взад и вперед, как раз в этот момент повернулся спиной и пошел в обратную сторону. Капитан Келлен неожиданно перегнулся и снял край стакселя со шпинька. Тяжелый блок, раскачиваясь, промелькнул в воздухе, раздробил голову Дорти, как яичную скорлупу, и продолжал раскачиваться взад и вперед, в то время как стаксель болтался по ветру.

Джошуа Хиггинс обернулся, чтобы посмотреть, что оборвалось, и получил от капитана залп смачных ругательств.

— Я сам укрепил шкот, — проскулил помощник, дождавшись первой передышки, — и специально проверял. Я ясно помню.

— Укрепил? — орал в ответ капитан в назидание команде, старавшейся поймать развевающийся парус, прежде чем он будет разорван в клочки. — Вы не смогли бы укрепить своей бабушке — вы — негодный дьявольский поваренок! Если вы укрепили этот шкот, да еще и проверяли — какого же черта он не держится? Вот что я хотел бы знать. Да, какого черта он не держится?

Помощник нечленораздельно скулил.

— Заткнитесь! — закончил свою речь капитан Келлен.

Через полчаса, когда труп Джорджа Дорти нашли на полу кают-компании, он был удивлен не менее других. После обеда, один в своей каюте, он занес в судовой журнал:

«Матрос Карл Монс, — писал он, — в шторм свалился через борт с брам-реи. Шли полным ходом, и ради безопасности корабля я не решился повернуть при таком ветре. И шлюпки нельзя было спустить на воду из-за волнения».

На другой странице он написал:

«Часто предупреждал мистера Дорти об опасности, которой он подвергался из-за своей

неосторожности на палубе. Однажды я сказал ему, что когда-нибудь блок размозжит ему голову. Небрежно укрепленный шкот был причиной несчастного случая, о чем глубоко сожалею, так как мистер Дорти был у нас общим любимцем».

Капитан Келлен с восхищением перечитал свое литературное упражнение, промокнул страницу и закрыл журнал. Затем зажег сигару и посмотрел прямо перед собой. Он почувствовал, как «Мэри Роджерс» поднялась, накренилась и понеслась вперед, и знал, что она делает девять узлов.

Улыбка удовлетворения медленно разгоралась на его черном, волосатом лице.

Что бы там ни случилось, он все время держал на запад — и надул Бога.

«Френсис Спейт»
Рассказ об истинном происшествии

«Френсис Спейт» шел под одним только крюйселем, когда все это произошло. Причиной катастрофы была не столько небрежность, сколько недисциплинированность матросов и то обстоятельство, что они были, по меньшей мере, равнодушны к морской службе. В частности, рулевой, уроженец Лимерика, не имел никакого морского опыта, если не считать сплав леса по Шаннону от квебекских судов до берега устья. Он пугался гигантских волн, которые поднимались из мрака за кормой и обрушивались на нее, и чаще пытался спрятаться от них, вместо того чтобы держать штурвал в руках, направляя бег корабля им навстречу.

Было около трех часов утра, когда его поведение, недостойное моряка, вызвало катастрофу. При виде вала более высокого, чем все остальные, он струсил и выпустил из рук штурвал. «Френсис Спейт» повернулся, его корма поднялась над водой и приняла на себя всю мощь удара волн. В следующее мгновение он очутился в яме между

двумя валами, причем его палуба оказалась погребена под водой, так что вода была на высоте люков, и волна за волной перемахивали через наветренные перила и заливали все, что осталось на палубе, ледяными потоками.

Матросы совершенно растерялись. В своей беспомощности они отупели от страха и держались только одного твердого решения — не исполнять приказаний. Одни хныкали, другие молча цеплялись за наветренные ванты, а третьи бормотали молитвы или изрыгали гнусные проклятия; ни капитан, ни помощник не могли заставить их приложить руку к насосам или поставить паруса, чтобы корабль мог противостать волнам и ветру.

В течение часа судно лежало на боку, а трусливые лентяи ползали по нему и цеплялись за снасти. Когда оно опрокинулось, помощник захлебнулся в кают-компании, равно как и два матроса, искавшие убежища на баке.

Помощник был самым дельным человеком на судне, и капитан был теперь почти столь же беспомощен, как и матросы. Он ничего не делал, а только проклинал их за тунеядство. Один матрос по имени Маэни, родом из Белфаста, и юнга О'Брайен из Лимерика догадались срубить

фок-мачту и грот-мачту. Совершили они это с риском для жизни на перпендикулярно стоящей палубе опрокинутого корабля, перебросив крюйс-стеньгу через борт. «Френсис Спейт» выпрямился. Хорошо, что он был нагружен строевым лесом, иначе он пошел бы ко дну, так как зачерпнул уже много воды. Грот-мачта, все еще державшаяся на вантах, била, как громовой молот, по борту корабля, и каждый удар вызывал у матросов стоны.

Заря взошла над бушующим океаном, и в холодном сером свете над водой виднелись только корма корабля, сломанная бизань-мачта и изуродованные фальшборты. Стояла самая середина зимы на севере Атлантического океана, и несчастные люди замерзали. Но не было места, где они могли бы укрыться. Волны перекатывались через разбитое судно, смывая с их тел налипшую соль и покрывая их новым налетом соли. Кают-компания была полна воды до колен; но здесь, по крайней мере, можно было найти убежище от ледяного ветра, и здесь сгрудились оставшиеся в живых, стоя на ногах, держась за мебель и опираясь друг на друга.

Тщетно Маэни пытался установить смену вахтенных, чтобы с бизань-мачты не пропустить случайного корабля. Ледяной ветер был им

невыносим, и они предпочитали убежище в кают-компании. О'Брайен, юнга всего пятнадцати лет от роду, сменял Маэни на обледенелой рее. Этот-то мальчик и закричал в три часа пополудни, что завидел парус. Крик выманил их из кают-компании, и они облепили перила кормы и наветренные ванты бизани, глядя на чужой корабль. Но он проходил недостаточно близко, и когда исчез за горизонтом, они, дрожа от холода, вернулись в кают-компанию, и ни один из них не предложил вахтенному сменить его на верхушке мачты.

Но под конец второго дня Маэни и О'Брайен отказались от своих попыток, и после этого судно стало носиться по ветру без всякого управления и без вахты. В живых осталось тринадцать человек, и в течение семидесяти двух часов они стояли в кают-компании по колено в хлюпающей воде, замерзшие, голодные, с тремя бутылками вина, которые они кое-как поделили между собой. Вся провизия и пресная вода находились внизу, и никак нельзя было добраться до них, ибо судно было почти все залито водой. Дни проходили, а во рту у них не было ни куска пищи. Пресную воду они могли добывать, поставив суповую миску у подножия бизань-мачты. Но дождь шел редко,

и им приходилось тяжко. Когда шел дождь, они смачивали носовые платки и затем выжимали их себе в рот и в башмаки. Когда ветер и волнение несколько улеглись, они могли собирать пресную воду с палубы, теперь не заливаемой волнами. Но все же у них не было ни пищи, ни какой-либо надежды ее достать, хотя морские птицы беспрестанно пролетали над судном.

В тихую погоду они шли по ветру. Простояв на ногах девяносто шесть часов, они смогли найти в кают-компании сухие доски и улечься на них. Но от соленой воды на их ногах появились язвы, чрезвычайно болезненные. Малейшее прикосновение или трение вызывало острую боль, а в каюте было так тесно, что они постоянно друг друга толкали. Никто не мог пошевелиться без того, чтобы не вызвать поток ругательств, проклятий и стонов. Так велики были их мучения, что сильные стали сталкивать слабых с сухих досок, предоставляя им устраиваться, как знают, в сырости и холоде. Особенно скверно обращались с юнгой О'Брайеном. Хотя на корабле было еще трое юнг, на долю О'Брайена выпадало наибольшее количество оскорблений. Это можно было объяснить только тем, что по натуре он был более независимым, чем другие юнги, и упорнее отста-

ивал свои права, острее чувствуя мелкие обиды. Всякий раз, когда О'Брайен подходил к матросам в надежде устроиться на сухом местечке, чтобы выспаться, его толкали и били. В ответ он ругал их за хамское себялюбие, и толчки, удары, ругательства сыпались на него градом. Несчастный, как и все они, он становился еще несчастнее. И только горевший в нем с необычайной силой огонь жизни помогал ему не сломиться.

Дни шли, и матросы все слабели. Усиливалась их раздражительность, и все хуже они обращались с О'Брайеном. На шестнадцатый день все уже совершенно изнемогали от голода и стали перешептываться, изредка поглядывая на О'Брайена. Около полудня собрался совет. Капитан был председателем. Все сошлись на корме.

— Ребята, — начал капитан, — мы уже долго сидим без еды: две недели и два дня, но нам они кажутся двумя годами и двумя месяцами. Мы дольше не сможем выдержать. Это выше человеческих сил — голодать так долго. Серьезного рассмотрения заслуживает следующий вопрос: лучше ли умереть одному или всем? Мы стоим одной ногой в могиле. Если один из нас умрет, остальные смогут выжить, пока не покажется какой-нибудь корабль. Что скажете?

Майкл Биэйн, матрос, стоявший у руля во время крушения «Френсиса Спейта», крикнул, что это правильная мысль. Остальные присоединились к нему.

— Пусть это будет юнга! — крикнул Сэлливен, уроженец Тарберта, многозначительно взглянув при этом на О'Брайена.

— Я думаю, — продолжал капитан, — что доброе дело совершит тот, кто умрет для общего блага.

— Доброе дело! Доброе дело! — закричали матросы.

— И думаю я, лучше всего умереть кому-нибудь из юнг. Им не надо кормить семью. У нас ведь есть жены и дети.

— Это верно. Совершенно верно. Так и надо поступить, — перешептывались матросы.

Но юнги громко восстали против такой несправедливости.

— Наши жизни так же дороги нам, как и ваши — вам, — протестовал О'Брайен. — А что до жен и до детей — так кто, кроме меня, позаботится о моей старой матери, вдове? Ты это хорошо знаешь, Майкл Биэйн, ведь ты из Лимерика. Это бесчестно! Давайте все бросим жребий, и матросы, и юнги.

Маэни был единственным, кто подал голос в

защиту мальчиков, заявляя, что, по совести, все должны быть в одинаковом положении. Сэлливен и капитан настаивали на том, чтобы жребий бросали только юнги. Началась перебранка. И внезапно Сэлливен набросился на О'Брайена.

— Давно пора избавиться от тебя, ты этого стоишь. Это будет тебе по заслугам, и по заслугам мы с тобой и поступим.

Он шагнул к О'Брайену с намерением схватить его и тут же с ним расправиться. Стали на него напирать и другие. Он попятился от них, крича, что согласен на то, чтобы жребий тянули только юнги.

Капитан сделал четыре палочки разной длины и вручил их Сэлливену.

— Ты, может, думаешь, что жеребьевка будет нечестной, — закричал тот О'Брайену. — Хорошо, ты сам будешь назначать жребий.

На это О'Брайен согласился. На глаза ему надели повязку, так что он ничего не видел, и он стал на колени на палубе, спиной к Сэлливену.

— Умрет тот, кому ты назначишь самую короткую щепку, — сказал капитан.

Сэлливен поднял одну из палочек. Остальные были зажаты в его руке, так что никто не мог видеть, какой длины эта палка.

— Чья будет эта? — спросил Сэлливен.

— Маленького Джонни Шихена, — ответил О'Брайен.

Сэлливен отложил палочку в сторону. Зрителям не было видно, жребий это или нет. Сэлливен поднял вторую.

— А это чья будет?

— Джорджа Бернса, — был ответ.

Палочка легла рядом с первой, и Сэлливен поднял третью.

— А это чья?

— Моя, — сказал О'Брайен.

Быстрым движением Сэлливен перемешал палочки. Никто этого не заметил.

— Ты сам выбрал жребий, — объявил Сэлливен.

— Доброе дело, — пробормотали некоторые.

О'Брайен был очень спокоен. Он встал на ноги, снял повязку и огляделся.

— Где она? — спросил он. — Короткая палочка, та, что для меня.

Капитан указал на четыре щепки, лежавшие на палубе.

— Откуда вы знаете, что эта палка — моя? — спросил О'Брайен. — Видел ли ты, Джонни Шихен?

Джонни Шихен, самый младший юнга, ничего не ответил.

— А ты видел? — спросил затем О'Брайен у Маэни.

— Нет, я не видел!

Матросы стали роптать.

— Жеребьевка была честной, — крикнул Сэлливен. — У тебя был шанс, но ты проиграл — вот и все.

— Да, честная жеребьевка, — прибавил капитан. — Я сам видел. Палка была твоя, О'Брайен. Давай, готовься. Где кок? Подойди, Гормен. Эй, кто-нибудь! Возьмите миску. Гормен, исполни свой долг, как мужчина.

— Но как мне это сделать? — спросил кок. Это был нерешительный человек с усталыми глазами.

— Это подлое убийство! — крикнул О'Брайен.

— Я не притронусь к нему, — заявил Маэни. — Ни одного куска в рот не возьму.

— Тогда твоя доля достанется кому-нибудь получше тебя, — огрызнулся Сэлливен. — Делай, что должен, кок!

— Не мое дело — убивать мальчиков, — нерешительно запротестовал кок.

— Если ты не приготовишь нам мясо, мы сде-

лаем отбивную из тебя самого, — пригрозил Биэйн. — Кто-нибудь должен умереть. Так не все ли равно: ты или другой.

Джонни Шихен заплакал. О'Брайен слушал с замиранием сердца. Лицо его было бледным, губы дрожали, все тело его временами вздрагивало.

— Я нанимался на должность кока, — заявил Гормен, — и стряпать я согласен, хоть гром греми. Но я не совершу убийство. Этого нет в контракте. Я кок...

— Ты останешься им не больше минуты! — зарычал Сэлливен. В то же мгновение он обхватил кока сзади за шею. — Где твой нож, Майк? Давай его сюда!

Почувствовав прикосновение стали, Гормен захныкал:

— Я сделаю это, если вы будете держать мальчишку!

Жалкий вид кока вселил некоторое мужество в О'Брайена.

— Ладно, Гормен, — сказал он. — Валяй. Я и сам вижу, что ты это делаешь не по своей воле. Хорошо, сэр, — обратился он к капитану, который тяжелой рукой удерживал его за плечо. — Отпустите меня, сэр. Я буду стоять смирно.

— Прекрати хныкать и сходи за миской, — ско-

мандовал Биэйн Джонни Шихену, отвесив ему крепкий подзатыльник.

Юнга — почти ребенок — принес миску. Он шатался и падал, пробираясь по палубе — так он ослабел от голода. Слезы все еще текли по его щекам. Биэйн взял из его рук миску и тут же дал ему еще один подзатыльник.

О'Брайен снял куртку и обнажил правую руку. Нижняя губа его все еще дрожала, но он держал себя в руках. Раскрыли складной нож капитана и вручили Гормену.

— Маэни, расскажи моей матери, что со мной случилось, если вернешься, — попросил О'Брайен.

Маэни кивнул.

— Это подлое убийство, подлое и низкое, — сказал он. — Мясо мальчика никому из вас не пойдет на пользу. Помяните мое слово. Никому из вас оно не пойдет на пользу… никому…

— Приготовься, — приказал капитал. — Ты, Сэлливен, держи миску. Вот так. Совсем близко. Не пролей ни капли. Это — ценная вещь!

Гормен сделал над собой усилие. Нож был тупой. Сам он был слаб. Кроме того, его рука так сильно дрожала, что он едва не выронил нож. Трое юнг, плача, сбились в кучку. Все, за

исключением Маэни, столпились вокруг жертвы, вытягивая головы, чтобы лучше видеть происходящее.

— Будь мужчиной, Гормен, — подбодрял его капитан.

Несчастный кок решился. Он стал пилить ножом кисть руки О'Брайена. Вены были вскрыты. Сэлливен держал миску под самой раной. Вскрытые вены широко зияли, но кровь не показалась. Ее вовсе не было. Вены были пустыми и сухими. Все молчали. Мрачные и безмолвные фигуры раскачивались на палубе корабля. Глаза их были прикованы к невероятному, чудовищному явлению: к сухим венам живого существа.

— Это знак, — крикнул Маэни. — Отпустите мальчика. Помяните мое слово. Его смерть никому из вас не принесет пользы.

— Попробуй у локтя, у левого локтя... он — ближе к сердцу, — наконец сказал капитан приглушенным и хриплым голосом.

— Дай нож, — резко сказал О'Брайен, выхватывая нож из рук кока. — Я не могу смотреть на то, как вы меня кромсаете.

Совершенно хладнокровно он вскрыл вену у левого локтя, но снова не показалось ни капли крови.

— Все это бесполезно, — сказал Сэлливен. — Лучше всего избавить его от мук и пустить ему кровь горлом.

Это уже было чересчур для мальчика.

— Не делайте этого, — кричал он. — В горле у меня тоже не будет крови. Дайте мне немного времени. Погода холодная, и я слаб. Дайте мне лечь и чуточку поспать. Тогда я согреюсь, и кровь потечет.

— Это бесполезно, — возразил Сэлливен. — Разве ты заснешь сейчас! Ты не уснешь и не согреешься. Погляди на себя. Ты в лихорадке.

— Однажды ночью в Лимерике я заболел, — торопливо говорил О'Брайен, — и доктор не мог пустить мне кровь. Но после того как я выспался и согрелся в постели, кровь потекла свободно. То, что я говорю вам, — истинная правда! Не убивайте меня!

— Его вены вскрыты, — сказал капитан. — Нет смысла его долго мучить. Сделайте это поскорее, и пусть ему придет конец!

Они шагнули к О'Брайену, чтобы схватить его, но он отступил.

— Тут вам и смерть! — взвизгнул он. — Прочь руки от меня, Сэлливен! Я вернусь! Я буду преследовать тебя! Во сне и наяву я буду преследовать

тебя до самой смерти!

— Это безобразие! — кричал Биэйн. — Если бы я вытащил короткую палку, я позволил бы товарищам отрезать мне голову — и был бы счастлив!

Сэлливен подскочил и поймал несчастного юнгу за волосы. Остальные помогали ему. О'Брайен отчаянно отбивался руками и ногами. Маленький Джонни Шихен дико завопил, но никто не обратил на него внимания. О'Брайена растянули на палубе лицом вверх, а миску положили ему под голову. Гормена вытолкнули вперед. Кто-то сунул ему в руку большой кухонный нож.

— Исполняй свой долг! Исполняй свой долг! — кричали матросы. Кок наклонился, но встретил взгляд мальчика и замялся.

— Если ты не хочешь, так я своими руками тебя убью! — заорал Биэйн.

Со всех сторон на кока хлынул поток ругательств и угроз. Все-таки он колебался.

— Может быть, в его жилах будет больше крови, чем у О'Брайена, — многозначительно заметил Сэлливен.

Биэйн схватил Гормена за волосы и запрокинул ему голову назад, в то время как Сэлливен попытался завладеть кухонным ножом. Но Гормен отчаянно сжимал его в руке.

— Пустите. Я сделаю! — визжал он, обезумев. — Не режьте мне горло! Я сделаю это! Я сделаю!

— Ну, смотри же, сделай, — грозил ему капитан.

Гормен позволил вытолкнуть себя вперед. Он поглядел на мальчика, зажмурил глаза и пробормотал молитву. Затем, не открывая глаз, он взмахнул ножом. О'Брайен испустил вопль, быстро перешедший в гортанное всхлипывание. Люди держали его, пока не прекратились судороги, после чего его положили на палубу. Они были жадными и нетерпеливыми, и с проклятиями и угрозами требовали, чтобы Гормен поторапливался со стряпней.

— Отступитесь вы, кровавые мясники, — спокойно сказал Маэни. — Отступитесь, говорю вам. Вам ни куска не понадобится. Все будет, как я сказал: кровь мальчика не пойдет вам на пользу. Выплесни ее за борт, Биэйн. Выплесни за борт!

Биэйн, все еще державший в обеих руках миску, взглянул на подветренную сторону. Он подошел к перилам и вылил содержимое миски в море. Хорошо оснащенный корабль шел к ним и был уже на расстоянии мили. Они были так поглощены убийством, что раньше никому не пришло в голову оглянуться. Все глаза впились в корабль.

Ярко сверкающий медью форштевень рассекал воду, как золотой нож, верхние паруса — обвисшие и пустые — болтались, когда волна опускала корабль, а надутые нижние — словно кланялись при каждом величавом колебании волн. Никто не произнес ни слова.

Когда он приблизился на один кабельтов, капитан «Френсиса Спейта» опомнился и приказал накрыть брезентом труп О'Брайена. С чужого судна спустили шлюпку, и она стала к ним приближаться. Джон Гормен засмеялся. Сначала он смеялся тихо, затем, с каждым взмахом весла на шлюпке, стал хохотать громче и громче.

Этот безумный смех встретил спасательную лодку, когда она подошла к борту и старший офицер взобрался на палубу.

Любопытный отрывок

«Капиталист, или, вернее, олигарх-промышленник, Роджер Вандеруотер, о котором пойдет речь в этом повествовании, является, как известно, девятым из рода Вандеруотеров, заправлявших хлопчатобумажной промышленностью в Южных Штатах в течение нескольких сотен лет.

Этот Роджер Вандеруотер процветал в последние десятилетия двадцать шестого века от Рождества Христова, т. е. в пятый век ужасающей олигархии промышленников, созданной на развалинах прежней Республики.

У нас достаточно данных утверждать, что нижеследующий текст не был создан ранее двадцать девятого столетия. Не только закон запрещал писать или печатать подобные вещи до этого времени, но и рабочий класс был настолько неграмотен, что лишь немногие его представители умели читать и писать. То было мрачное царство главного надсмотрщика, на языке которого огромное большинство людей носило кличку «стадо». На грамотность косились и старались искоренять ее. В уложениях того времени был страшный закон, который приравнивал к

уголовному преступлению обучение рабочего хотя бы азбуке. Такое узкое сосредоточение просвещения в одном только правящем классе было необходимо, чтобы этот класс мог оставаться у власти.

Одним из следствий такого положения вещей было возникновение типа профессионального сказителя. Этим сказателям платили олигархи, и рассказываемые ими сказки были легендарного, мифического, романтического — словом, безобидного содержания. Но дух свободы никогда иссякнуть не мог, и агитаторы под видом сказителей проповедовали восстание в среде рабов. Нижеследующая повесть была запрещена олигархами. Доказательством служит протокол уголовного полицейского суда в Эшбери. Из этого протокола мы видим, что 27 ноября 2734 года некто Джон Терни, признанный виновным в том, что рассказывал эту историю в рабочем трактире, был осужден на пять лет каторжных работ в рудниках Аризонской Пустыни». — *Примечание издателя*.

Послушайте, братья, я расскажу вам историю о руке. То была рука Тома Диксона, а Том Диксон был первоклассным ткачом на фабрике этого адского пса, хозяина Роджера Вандеруотера. Эта

фабрика называлась Дно Ада… среди тех, кто на ней трудился; и я думаю, они знали, о чем говорили. Фабрика была расположена в Кингсбери, на окраине города, противоположной той, где высился летний дворец Вандеруотера. Вы не знаете, где находится Кингсбери? Много есть вещей, о братья, которых вы не знаете, и это очень грустно.

Вы — рабы именно потому, что не знаете. Когда я расскажу вам эту историю, я охотно организую для вас курсы обучения грамоте. Наши хозяева читают и пишут; у них много книг. Вот почему они — наши хозяева, живут во дворцах и не работают. Когда рабочие — все рабочие — научатся читать и писать, они станут сильными. Тогда они используют свои силы для того, чтобы разорвать оковы, и не будет больше ни господ, ни рабов.

Кингсбери, братья мои, находится в древнем штате Алабама. В течение трехсот лет Вандеруотеры владеют Кингсбери, его загонами для рабов и фабриками, а также загонами для рабов и фабриками во многих других городах Штатов. Вы слышали о Вандеруотерах. Кто о них не слышал? Но позвольте мне рассказать вам вещи, о которых вы ничего не знаете. Первый Вандеруотер был рабом, как мы с вами. Понимаете? Он был рабом;

это было более трехсот лет тому назад. Его отец был машинистом в загоне Александра Бюрелла, а мать его была прачкой в том же загоне. Это несомненный факт. Я говорю вам правду. Это — история. Она напечатана в исторических книгах наших хозяев, которых вы не можете прочесть, ибо хозяева запрещают вам учиться читать. Вы легко можете понять, почему они не позволяют вам учиться читать, раз в книгах написаны такие вещи. Они это знают; они очень мудры. Если бы вы читали такие вещи, вы ведь могли бы потерять уважение к вашим господам, а это было бы очень опасно… для них. Но я это знаю, ибо я умею читать; и вот я рассказываю вам то, что я собственными глазами прочел в исторических книгах наших хозяев.

Первого Вандеруотера на самом деле звали Вэндж, Билл Вэндж, он был сыном Джерри Вэнджа, машиниста, и Лауры Карнли, прачки. Молодой Билл Вэндж был очень силен. Он мог бы сохранить верность рабам и вывести их на свободу. Вместо этого он служил хозяевам и получал хорошее вознаграждение. Он начал свою службу еще маленьким ребенком — в качестве шпиона в своем родном загоне. Известно, что он донес на собственного отца за крамольные речи.

Это — факт. Я собственными глазами читал это в протоколах. Он был слишком хорошим рабом для рабского загона. Александр Бюрелл взял его оттуда, и он обучился читать и писать. Его обучили многим вещам, и он поступил в тайную полицию. Разумеется, он уже не носил рабскую одежду, кроме тех случаев, когда переодевался, чтобы выведать секреты и заговоры рабов. Это он — всего восемнадцати лет от роду — предал великого героя и товарища Ральфа Джейкобса, которого потом судили и казнили на электрическом стуле. Конечно, все вы слышали священное имя Ральфа Джейкобса, все вы знаете о его казни на электрическом стуле, — но для вас является новостью, что погубил его первый Вандеруотер, которого звали Вэндж. Я знаю. Я читал это в книгах. В книгах есть много таких интересных вещей.

И вот, после того как Ральф Джейкобс умер позорной смертью, и начал Билл Вэндж менять свои имена. Его теперь знали повсюду под кличкой Пройдоха Вэндж. Он сильно выдвинулся на секретной службе, и его щедро награждали; но все же он еще не был членом класса господ. Мужчины были за, но женщины господствующего класса отказались принять Пройдоху Вэнджа в свой круг. Пройдоха Вэндж хорошо служил своим

господам. Он сам был рабом и знал тайны рабов. Надуть его было невозможно. В те дни рабы были храбрее, чем теперь, и все время боролись за свою свободу.

Пройдоха Вэндж поспевал всюду, проникал во все их замыслы и планы, доводя эти замыслы и планы до провала, а вождей до электрического стула. В 2255 году его снова стали называть иначе. Это был год Великого Восстания. В местности, лежащей к западу от Скалистых гор, семнадцать миллионов рабов храбро сражались, чтобы свергнуть своих господ. Кто знает, если бы не Пройдоха Вэндж, они бы, может быть, восторжествовали. Но, увы, Пройдоха Вэндж погубил их. Хозяева поручили ему командование. В течение восьми месяцев борьбы было убито миллион триста пятнадцать тысяч рабов. Вэндж, Билл Вэндж, Пройдоха Вэндж убил их и сломил Великое Восстание. Его щедро вознаградили, и руки его были так красны от крови рабов, что с тех пор его стали называть Кровавым Вэнджем.

Вы видите, братья мои, какие интересные вещи можно отыскать в книгах, когда умеешь читать. И вот вам честное слово — в книгах есть еще гораздо более интересные вещи. И если только вы захотите у меня поучиться, то через год вы

сумеете сами прочесть эти книги. Да что там! Уже через шесть месяцев некоторые из вас научатся читать.

Кровавый Вэндж дожил до преклонного возраста и все время — до самого конца своих дней — он участвовал в Совете господ, но его самого господином не сделали; он, видите ли, увидел свет в рабском загоне. Но как хорошо его вознаградили! Он стал владельцем дюжины дворцов. Не будучи господином, он владел тысячами рабов. У него была на море яхта — настоящий плавучий дворец, ему принадлежал целый остров, где десять тысяч рабов трудились на его кофейной плантации. Но в старости он оказался одинок — ненавидимый своими братьями-рабами и презираемый теми, кому он служил, и никто не хотел иметь с ним дела. Господа презирали его, ибо он родился рабом. Он умер несказанно богатым; он умер в муках совести, сожалея обо всем, что сделал, о кровавом пятне на своем имени.

Но иначе обстояло дело с его детьми. Они не родились в рабском загоне и специальным приказом Верховного Олигарха были причислены к государственному классу. И тогда-то имя Вэндж исчезло со страниц истории. Они превратились в Вандеруотеров, а Джейсон Вэндж, сын Кровавого

Вэнджа, — в Джейсона Вандеруотера, основателя рода Вандеруотеров. Но это было триста лет тому назад, и теперешние Вандеруотеры забывают о своем происхождении и воображают, что тела их сделаны из какого-то другого материала, чем мое и ваше, и тела всех рабов. А я вас спрашиваю: почему раб может стать господином другого раба? И почему сын раба может стать господином над рабами? Я предлагаю вам самим ответить на этот вопрос, но не забывайте, что первоначально Вандеруотеры были рабами.

А теперь, братья, я возвращаюсь к началу своего рассказа — к истории о руке Тома Диксона. Фабрика Роджера Вандеруотера в Кингсбери по заслугам была названа Дном Ада, но люди, там работавшие, были, как вы сейчас увидите, настоящими людьми. Там же работали женщины и дети — маленькие дети. Все работавшие там имели установленные законом права, но… только на словах, ибо многих из этих прав лишали их двое надсмотрщиков Дна Ада — Джозеф Кленси и Адольф Мюнстер.

Это длинная история, но я не стану рассказывать ее вам целиком. Я расскажу только о руке. Было такое правило, что часть нищенской оплаты рабов ежемесячно удерживалась и отчислялась

в некий фонд. Этот фонд предназначался для помощи тем, кто пострадал от несчастных случаев или заболел. Как вы сами знаете, такие фонды находятся в ведении надсмотрщиков. Таков закон. Потому-то фонд в Дне Ада находился в ведении этих двух, проклятой памяти, надсмотрщиков.

Так вот, Кленси и Мюнстер пользовались этим фондом для личных надобностей. Когда с отдельными рабочими случались несчастья, их товарищи постановляли выдать им субсидии из фонда; но надсмотрщики отказывались выплачивать эти субсидии. Что могли поделать рабы? У них были права — по закону; но доступа к закону не было. Тех, кто жаловался на надсмотрщиков, наказывали. Вы знаете сами, в какую форму облекается такое наказание: штраф за некачественную работу, которая на самом деле — качественная; попытки завалить отчетностью; плохое обращение с женой и детьми рабочего; назначение его к плохим станкам, за которыми — работай, не работай — все равно умрешь с голоду.

Однажды рабы Дна выдвинули протест Вандеруотеру. Это было в то время года, когда он проводил несколько месяцев в Кингсбери. Один из рабов умел писать, его мать была грамотной

— случайно, и она втайне его обучила, так же, как ее мать обучила ее. Итак, этот раб написал коллективное заявление, содержавшее все их жалобы, и все рабы подписались знаками. Снабдив конверт подобающими печатями, они отправили его Вандеруотеру. А Роджер Вандеруотер взял да и передал заявление обоим надсмотрщикам. Кленси и Мюнстер взбесились. Ночью они впустили охранников в загон. Охранники были вооружены рукоятками от заступов. И на следующий день только половина рабов была в состоянии выйти на рабочие места. Их здорово избили. Раба, умевшего писать, так отделали, что он прожил только три месяца после этого. Но перед смертью он написал еще раз, и вы сейчас услышите, с какой целью.

Четыре или пять недель спустя некоему рабу по имени Том Диксон оторвало на фабрике руку приводным ремнем. Его товарищи, по обыкновению, постановили дать ему субсидию из средств фонда, а Кленси и Мюнстер — тоже по обыкновению — отказались ее выплатить. Раб, знавший грамоту, находившийся тогда как раз при смерти, снова составил перечень их жалоб. Этот документ вложили в пальцы руки, оторванной от тела Тома Диксона.

Случилось так, что Роджер Вандеруотер лежал больной в своем дворце на противоположном конце Кингсбери. Это была не та безжалостная болезнь, которая сбивает с ног нас с вами, братья мои, а просто маленькое разлитие желчи или, может быть, сильная головная боль от того, что он слишком плотно поел или выпил лишнее. Но для него этого было достаточно, ибо он был нежен и мягкотел. Такие люди, всю жизнь завернутые в вату, чрезвычайно нежны и мягкотелы. Верьте мне, братья, Роджер Вандеруотер так же страдал — или думал, что страдал — от головной боли, как Том Диксон из-за своей руки, оторванной у самого плеча.

Роджер Вандеруотер был большим любителем сельского хозяйства, и на своей ферме, в трех милях от Кингсбери, ему удалось вырастить новый вид клубники. Он очень гордился этой своей новой клубникой и охотно поехал бы посмотреть на нее и сорвать первые зрелые ягоды, но ему мешала болезнь. Поэтому он приказал старому рабу с фермы принести ему первую корзину с ягодами. Об этом сообщил дворцовый поваренок, каждую ночь спавший в загоне. Ягоды должен был доставить надсмотрщик огорода, но он лежал в постели с переломом ноги, после того как

упал с жеребца. Поваренок принес свое известие вечером, и все знали, что на следующий день ягоды должны прибыть. И рабы в загоне Дна Ада, будучи мужчинами, а не трусами, стали держать совет.

Раб, знавший грамоту, бывший почти при смерти, сказал, что он понесет руку Тома Диксона. Он сказал также, что все равно должен умереть и неважно, если он умрет немного раньше.

Итак, пятеро рабов в ту ночь выбрались из загона после последнего обхода охраны. Одним из них был тот, что умел писать. Они пролежали в валежнике на краю проезжей дороги до самого утра, пока старый раб с фермы не подъехал в повозке, везя драгоценные ягоды для своего хозяина. Так как раб с фермы был стар и страдал ревматизмом, а раб, умевший писать, был искалечен побоями, то походка их была почти одинаковой. Раб, знавший грамоту, переоделся в платье старика, надвинул на глаза его широкополую шляпу и поехал в город. Старого раба с фермы продержали связанным в кустах целый день до вечера; только вечером они его освободили и вернулись в загон, чтобы понести наказание за самовольную отлучку.

Тем временем Роджер Вандеруотер лежал,

в ожидании ягод, в своей великолепной опочивальне. Там были такие чудеса, которые, наверное, ослепили бы глаза вам или мне, никогда ничего подобного не видавшим. Раб, умевший писать, после рассказывал, что это было нечто вроде райского видения. Почему бы и не так? Труд и жизнь десяти тысяч рабов были отданы для создания этой спальни, в то время как сами они валялись в гнусных логовах, как дикие звери. Раб, умевший писать, принес туда ягоды на серебряном подносе. Роджер Вандеруотер хотел, видите ли, лично поговорить с ним о клубнике.

Раб, знавший грамоту, протащил свое умирающее тело через чудесную комнату и опустился на колени у ложа Вандеруотера, держа перед собой поднос. Большие зеленые листья сверху покрывали поднос, и камердинер, стоявший рядом, снял их, чтобы Вандеруотер мог видеть свою клубнику.

И Роджер Вандеруотер, приподнявшись на локте, увидел. Он увидел свежие, дивные ягоды, лежавшие подобно драгоценным камням, а среди них покоилась рука Тома Диксона, такая же, какой она была оторвана от тела, но, разумеется, братья мои, хорошо вымытая и резко отличавшаяся белизной от кроваво-красных ягод. И тут

же он увидел зажатое в окостенелых мертвых пальцах прошение своих рабов, трудившихся на Дне Ада.

— Возьмите и прочтите, — сказал раб, умевший писать. Но в тот же миг, когда хозяин взял прошение, камердинер, застывший вначале от изумления, ударил коленопреклоненного раба кулаком в зубы.

Рабу все равно мало оставалось жить, ему было безразлично. Он не издал ни звука и, упав на бок, лежал спокойно, а кровь от удара сочилась у него изо рта. Врач, побежавший за дворцовой стражей, вернулся вместе с ней, и раба насильно поставили на ноги. Но когда они его поднимали, он схватил с пола упавшую руку Тома Диксона.

— Бросьте его живьем на съедение собакам! — кричал камердинер в великом гневе. — Живьем на съедение собакам!

Но Роджер Вандеруотер, забыв про головную боль, приказал всем замолчать и продолжал читать прошение. И пока он читал, царило молчание; все стояли на ногах — сердитый камердинер, врач, дворцовая стража и среди них раб с окровавленным ртом, все еще державший руку Тома Диксона. А когда Роджер Вандеруотер дочитал, он повернулся к рабу со словами:

— Если в этой бумаге есть хоть крупица лжи — ты пожалеешь о том, что родился на свет.

А раб сказал:

— Я всю свою жизнь жалел, что родился на свет.

Роджер Вандеруотер поглядел на него пристально, и раб сказал:

— Вы сделали со мной самое худшее, что могли сделать. Я умираю. Через неделю я буду мертв. Поэтому мне все равно — убьете вы меня теперь или нет…

— Куда ты денешь это? — спросил хозяин, указывая на руку, а раб ответил:

— Я отнесу ее назад в загон, чтобы предать погребению. Том Диксон был мне другом. Мы работали бок о бок у станков.

Мне немного осталось рассказать вам, братья. Раб и рука были отвезены на телеге обратно в загон. Никто из рабов не был наказан за то, что они сделали. Напротив, Роджер Вандеруотер приказал произвести расследование и покарал обоих надсмотрщиков — Джозефа Кленси и Адольфа Мюнстера. Их имущество было конфисковано, обоим выжгли клейма на лбу, отрезали правые руки и выпустили на большую дорогу, чтобы они до смерти скитались, прося подаяние.

После этого фонд некоторое время функционировал… только некоторое время, братья мои. Ибо после Роджера Вандеруотера воцарился его сын Альберт, который был жестоким хозяином и наполовину сумасшедшим.

Братья! Раб, доставивший руку господину, — мой отец. Он был храбрым человеком. И точно так же, как его мать втайне обучала его чтению, так и он обучал меня. Он вскоре умер от побоев рукоятками от заступов, и Роджер Вандеруотер взял меня из загона и попытался сделать из меня кое-что получше. Я мог бы стать надсмотрщиком на Дне Ада, но предпочел стать сказителем, странствующим по земле и всегда близким моим братьям — рабам. И я рассказываю вам истории вроде этой, рассказываю тайно, зная, что вы меня не предадите. Ибо если вы это сделаете, то — вы знаете это не хуже меня — мне вырвут язык, и я уже никогда не буду ничего рассказывать.

А весть, которую я несу вам, братья, заключается в том, что близятся времена, когда все на свете будет хорошо и не будет ни господ, ни рабов. И вы должны приготовиться к этим хорошим временам — выучиться читать. Есть сила в печатном слове. И я здесь, чтобы научить вас читать, а когда я пойду своей дорогой — найдутся другие,

которые позаботятся о том, чтобы вы получали книги — исторические книги. Из них вы узнаете все о своих господах и научитесь быть сильными, как они.

Примечание издателя. «Извлечено из «Исторических фрагментов и очерков», впервые изданных в 15 томах в 4427 г. и теперь, по истечении двухсот лет, ввиду исторической ценности переизданных Национальным комитетом исторических изысканий».

Кусок мяса

Последним кусочком хлеба Том Кинг вытер дочиста мучной соус со своей тарелки и жевал этот кусок медленно и задумчиво. Встав из-за стола, он почувствовал, что голоден, — несомненно голоден. А ведь только один он и поел. Двоих детей рано уложили спать в соседней комнате, чтобы они во сне забыли о том, что остались без ужина; жена его ни к чему не притронулась и сидела молча, озабоченно наблюдая за ним. Это была худая, изможденная женщина, дочь рабочего, и с лица ее еще не исчезли следы былой красоты. Муку для соуса она заняла у соседки напротив. Последние два полпенни ушли на хлеб.

Он уселся у окна на расшатанном стуле, который гнулся под тяжестью его тела. Совершенно машинально он сунул в рот трубку и пошарил в боковом кармане куртки. Отсутствие табака заставило его отказаться от намерения покурить, и, рассердившись на собственную забывчивость, он отложил трубку. Движения его были медленными и тяжелыми, точно он сгибался под тяжким грузом своих мускулов. Это был крепко сложенный человек с тупым выражением

лица. Его наружность не отличалась излишней привлекательностью. Простая одежда его была поношенной и неряшливой. Башмаки его продырявились и разошлись по швам. А на его бумажной рубашке — дешевой двухшиллинговой тряпке — красовалось несколько невыводимых пятен от краски, и воротничок был потерт.

Но по лицу Тома Кинга сразу можно было безошибочно угадать, кто он такой. Это было типичное лицо боксера — человека, который много лет провел на ринге и поэтому развил в себе все бойцовские животные инстинкты. Выражение лица было определенно хмурым и — как бы для того, чтобы ни одна черта не ускользнула от наблюдателя, — лицо это было гладко выбрито. Губы были настолько бесформенными, что казались шрамами на лице. Челюсти были тяжелыми, массивными. Глаза с тяжелыми веками, медленно движущиеся под косматыми, насупившимися бровями, почти ничего не выражали. Он был настоящим животным, и самой животной чертой его были глаза — сонные, как у льва; глаза животного, готового к драке. Низкий лоб был покат, а коротко остриженные волосы не скрывали ни одной шишки на безобразной голове. Нос, дважды переломанный и исковерканный

бесчисленными ударами; ухо, похожее на кочан цветной капусты, вечно вспухшее и вдвое больше обычного, тоже его отнюдь не красили, а свежая щетина делала щеки синевато-черными.

Словом, это было лицо, которое страшно было бы увидеть в темной аллее или в пустынном месте. Все же Том Кинг не был преступником и никогда в жизни ничего преступного не совершил. За исключением поединков, являвшихся его профессией, он никому не причинял зла. Никто не видел, чтобы он когда-либо затеял ссору. Он был профессионалом, и вся его животная воинственность нужна была только для профессиональных выступлений. Вне арены это был человек медлительный, покладистый, а в молодые годы — когда денег было вдоволь — слишком щедрый в ущерб себе. Ни к кому он не питал злобы, и врагов почти не имел. Драка была для него только работой. На арене он бил до боли, бил до увечья, бил до смерти, но злой воли во всем этом не было: чисто деловое отношение. Публика собиралась и платила за то, чтобы один побил другого. Победителю доставался толстый кошелек. Когда Том Кинг двадцать лет тому назад выступил против Улумулу Гуджера, он знал, что челюсть Гуджера всего четыре месяца

назад зажила после перелома во время поединка в Ньюкасле. И он рассчитывал на эту челюсть и вторично ее сломал на девятом раунде — не потому что он питал вражду к Гуджеру, а потому что это был наиболее верный способ вывести Гуджера из строя и заполучить толстый кошелек. И Гуджер не озлобился на него за это. Это была игра: оба знали ее правила.

Том Кинг никогда не был разговорчив, и сейчас он сидел у окна в суровом молчании, уставившись на свои руки. Сосуды на них были набухшими и толстыми, а бесформенные суставы свидетельствовали о том, в каких переделках им довелось побывать. Он никогда не слыхал о том, что жизнь человека зависит от его артерий, но он хорошо знал, что означают эти большие, вздувшиеся сосуды: сердце его качало по ним слишком много крови, под слишком высоким давлением. Они отказывались дольше служить. Они расширились до пределов их эластичности, а с их растяжением исчезла его выносливость. Теперь он стал быстро уставать. Он уже не выдерживал двадцать раундов, один за другим; не мог биться, биться, биться от гонга до гонга — бешеный напор против такого же напора, — прижатый к веревке или прижимающий к ней противника, напирая все яростнее и

яростнее под самый конец, на двадцатом раунде, пока весь зал у его ног сотрясается от крика, а сам он наступает, бьет, уклоняется, обрушивает удары один за другим и получает в ответ такой же ливень ударов, а надежное сердце все качает бурлящую кровь в исправно работающие вены. В былое время надувшиеся жилы снова сжимались, однако с каждым разом они становились чуть-чуть шире. Он глядел на них и на свои сплющенные суставы, и на мгновение он вспомнил, какой совершенной была в юности форма этих рук, до перелома первого сустава о голову Бенни Джонса, более известного под кличкой Валлийский Ужас.

Чувство голода опять дало себя знать.

— Черт возьми, неужели нельзя достать кусочек говядины? — вслух пробормотал он, сжимая свои огромные кулаки и изрыгая приглушенное проклятие.

— Я пробовала и у Берка, и у Соула, — сказала жена, как бы извиняясь.

— И они отказали? — спросил он.

— Ни полпенни, Берк сказал… — она осеклась.

— Ну! Что он сказал?

— Сказал, что, по его мнению, Сэндл побьет тебя нынче вечером, и что твой-де счет уж и без

того достаточно велик.

Том Кинг заворчал, но ничего не возразил. Он стал думать о бультерьере, который был у него в молодости и которому он скармливал несчетные куски говядины. Берк тогда дал бы ему в кредит тысячу отбивных. Но времена изменились. Том Кинг старел, а старый человек, дерущийся во второразрядном клубе, не мог рассчитывать на большой кредит у торговцев.

Он проснулся утром с тоской о куске говядины, и эта тоска не уменьшилась. Он не смог хорошо потренироваться перед предстоящим поединком. В этом году в Австралии была засуха, времена наступили тяжелые, и даже временную работу трудно было найти. У него не было тренера, и питался он очень плохо. Время от времени он, когда ему удавалось, работал землекопом, а по утрам совершал большие прогулки пешком вокруг усадьбы, чтобы держать ноги в «форме». Но нелегко было тренироваться без тренера, да еще с женой и детьми, которых нужно было кормить. Кредит у торговцев почти не вырос, когда был объявлен его матч с Сэндлом. Секретарь «Клуба Увеселений» дал ему аванс в три фунта — долю побежденного — и отказался повысить эту сумму. От случая к случаю он одалживал по нескольку

шиллингов у старых товарищей, которые дали бы ему и больше, не случись засухи и не окажись они сами в почти таком же положении. Нет — не имело смысла скрывать от себя этот факт — подготовлен он был плохо. Пищи должно было быть больше, а неприятностей меньше. Кроме того, человеку в сорок лет труднее приспособиться к обстоятельствам, чем в двадцать.

— Который час, Луиза? — спросил он.

Жена его пошла к соседям справиться и вернулась.

— Без четверти восемь.

— Первый бой начнется через несколько минут, — сказал он. — Это только разминка. Затем бой в четыре раунда, между Диллером Уэлсом и Гридли, затем десять раундов между Сторлайтом и каким-то чурбаном-матросом. Мне выходить не раньше чем через час.

Он помолчал еще минут десять и затем встал.

— Что правда, то правда, Луиза. Я не тренировался толком!

Он потянулся за шляпой и направился к двери. Он не предложил ей поцеловать ее — он никогда не делал этого перед уходом, — но в этот вечер она осмелилась поцеловать его, обняв его за шею и заставив склониться к ее лицу. Рядом с огромной

фигурой мужа она выглядела совсем маленькой.

— Ни пуха ни пера, Том, — сказала она. — Ты должен его побить.

— Да, я должен его побить, — повторил он. — В этом все дело. Я должен его побить.

Он деланно засмеялся, а она прижималась к нему все теснее. Он окинул взглядом пустую комнату за ее спиной. Это было все, что у него осталось на свете (причем он давно задолжал за аренду квартиры), да еще жена и малыши.

И он покидал этот дом и выходил в ночь, чтобы раздобыть мяса для своей самки и детенышей, — но не так, как современный рабочий, отправляющийся к своему станку, а старым, примитивным, царственным, животным способом — добыть мясо в бою.

— Я должен его побить, — повторил он, и на этот раз отчаяние прозвучало в его голосе. — Если побью — получу не меньше тридцати соверенов. Тогда смогу вернуть все долги, и еще куча денег останется. Если проиграю игру, то не получу ничего, ни одного пенни, чтобы доехать домой на трамвае. Секретарь уже выдал мне все, что полагается проигравшему. Прощай, старуха. В случае удачи вернусь прямо домой.

— Я буду ждать, — крикнула она ему вслед.

До клуба было полных две мили, и на ходу он вспоминал, как в дни своей славы — он был чемпионом-тяжеловесом Нового Южного Уэльса — ездил на поединок в экипаже, а какой-нибудь второразрядный тяжеловес платил извозчику только за то, чтобы сидеть с ним, самим Кингом, рядом. Теперь короли — Томми Бернс и еще этот американский негр: они ездят на автомобилях. А он идет пешком! Всем известно, что две мили пешком — неважная прелюдия к боксерскому поединку. Он — старик, а мир не очень-то считается со стариками. Он теперь ни на что не годен, кроме земляных работ, но и тут ему вредили сплющенный нос и распухшее ухо. Он теперь сожалел, что в свое время не научился какому-нибудь ремеслу. В конце концов, так было бы лучше. Но никто ему не посоветовал, а в самой глубине души он сознавал, что и не послушался бы советов. Это было так легко. Много денег, жаркие, славные бои, периоды отдыха и безделья в промежутках между боями, свита усердных льстецов, похлопывание по спине, рукопожатия, парни, готовые угостить его рюмочкой только лишь за то, что он с ними пять минут поболтает; а затем… слава, неистовствующая публика… вихрь утихает… объявление: «Кинг победил!»… И на следующий

день — его имя в столбцах спортивных газет.

Вот это было время! Но теперь-то он понимал — по своему обыкновению, медленно, как бы постепенно развивая мысль, — что он в то время оттирал стариков. Он был восходящая Юность, они — уходящая Старость.

Немудрено, что победы давались ему легко: у них были вздутые вены, перебитые суставы и кости, ставшие хрупкими после множества боев. Он вспомнил, как победил Стоушера Билла в Раш-Каттерс-Бей в одиннадцатом раунде, а старый Билл потом плакал в раздевалке, как ребенок. Быть может, старый Билл просрочил плату за квартиру; быть может, дома его ждали жена и пара малышей, а в самый день боя Билл был голоден и мечтал о куске говядины. Билл проиграл бой, Том здорово его отделал. Но теперь-то он видел, что в тот вечер, двадцать лет назад, Стоушер Билл поставил бóльшую ставку, чем молодой Том Кинг, бившийся ради славы и легкой наживы. Неудивительно, что Стоушер Билл плакал потом в уборной.

Да, каждому отпущено сил на определенное число поединков. Таков железный закон игры. Один победит в сотне, другой — только в двадцати; каждому, в зависимости от его сложения

и мастерства, отпущено свое время, и потом он конченый человек.

Что ж! Ему, Тому Кингу, было отпущено даже больше, чем многим другим, и на его долю пришлось гораздо больше, чем полагалось, жестоких, страшных боев — боев, которые едва не заставили его сердце и легкие лопнуть, боев, лишивших его артерии эластичности, превративших молодые, гладкие, гибкие мышцы в твердые комки, исчерпавших его душевные и физические силы, истощивших его тело и мозг чрезмерным напряжением. Да, он работал лучше их всех. Из его старых противников никого уже не осталось. Он был последним из старой гвардии. Он видел, как все они сошли со сцены, и сам был подчас виновником их ухода.

Его тренировали на стариках, и он приканчивал их одного за другим и смеялся, когда они, как старый Стоушер Билл, плакали в уборной. А теперь он сам был стариком, и на нем тренировали мальчишек. Вот, например, этот сопляк Сэндл. Он приехал из Новой Зеландии, где успел прославиться. Но в Австралии никто не слышал о нем, поэтому его выпустили против старого Тома Кинга. Если Сэндл покажет себя, то ему дадут лучших противников, посулят более высокий

приз. Поэтому он будет отчаянно драться. Он мог выиграть все — деньги, славу, карьеру. А Том Кинг был старым серым чурбаном для рубки мяса, преграждавшим дорогу к славе и богатству. Он ничего не мог выиграть, кроме тридцати соверенов, чтобы заплатить домовладельцу и лавочникам. И пока Том Кинг размышлял об этом, в его неповоротливом мозгу возник образ Юности — сияющей Юности, радостной и непобедимой, с гибкими мышцами, с шелковистой кожей, со здоровыми, не знающими усталости сердцем и легкими, Юности, со смехом преодолевающей непреодолимое.

Да, Юность — это возмездие. Она сметала стариков с дороги и не беспокоилась о том, что, в сущности, уничтожает сама себя. Ее вены вздуются, суставы сплющатся, и ее, в свою очередь, побьет другая Юность. Ибо молодость всегда молода, только старость стареет.

На Кэслри-стрит он свернул налево и, миновав три квартала, добрался до клуба. Молодые зеваки, столпившиеся перед входом, почтительно расступились перед ним, и он слышал, как один сказал другому:

— Это он! Это Том Кинг!

Внутри, по дороге в раздевалку, он встретил

секретаря, остроглазого и язвительного молодого человека.

— Как вы чувствуете себя, Том? — спросил тот здороваясь.

— Настроен, как скрипка, — ответил Кинг, хотя знал, что лжет и будь у него соверен, он отдал бы его весь за хороший кусок говядины.

Когда он вышел из раздевалки в сопровождении своих секундантов и стал спускаться вдоль зрительских сидений к рингу в центре зала, он услышал бурю аплодисментов. Он видел, как его приветствовали со всех сторон, хотя не знал почти никого из них.

По большей части это были молокососы, которых еще не было на свете в те дни, когда он завоевывал первые лавры на арене. Он легко вскочил на площадку, пролез под канатами к своему углу и присел там на складной стул. Джек Болл, судья, подошел к нему и пожал руку. Болл, боксер-ветеран, уже больше десяти лет не дрался на ринге. Кинг был рад, что судьей назначили Болла. Оба они были стариками. Если он станет драться не по правилам, когда Сэндл начнет одолевать, судья наверняка посмотрит на это сквозь пальцы.

Молодые тяжеловесы, делавшие карьеру, один

за другим поднимались на площадку, и судья представлял их публике. Он также объявлял суммы ставок.

— Молодой Пронто, — объявил Болл, — из Северного Сиднея, вызывает победителя, ставка пятьдесят фунтов.

Публика аплодировала. Аплодисментами встретили и Сэндла, перескочившего через канаты и присевшего в своем углу. Том Кинг с любопытством посмотрел на него с другой стороны площадки: еще несколько минут — и они сойдутся в бою. Но он почти ничего не мог рассмотреть, ибо Сэндл, как и сам он, надел свитер и брюки поверх спортивного костюма. Его лицо было мужественным и красивым под курчавой шапкой светлых волос, а толстая мускулистая шея говорила о большой физической силе.

Молодой Пронто прошел в один угол, затем в другой, пожал руку участникам матча и спустился с арены. Вызовы продолжались. Через канат непрерывно перескакивали юнцы — ненасытная молодежь, заявляющая перед всем человечеством, что она готова помериться с прежними победителями силой и мастерством.

Несколько лет назад, на пике своей карьеры, Том Кинг только посмеивался и откровенно

скучал, глядя на них. Но теперь он сидел в оцепенении, не в силах прогнать образ Юности. Эти парни, перепрыгивающие через канаты и выкрикивающие свой вызов, постоянно в этой игре выигрывали, а старики непременно перед ними пасовали. На пути к успеху они переступали через тела стариков. А они все шли, один за другим, ибо Юность непобедима, и все время они оттирали стариков, а затем сами становились стариками и катились по той же наклонной плоскости, в то время как за их спиной, без устали напирая на них, снова поднималась вечная Юность — возмужавшие младенцы, сокрушающие старших, а позади их — новые младенцы, и так до скончания веков — Юность, настаивающая на своем и никогда не умирающая.

Кинг бросил взгляд на ложу прессы, кивнул Моргану из «Спортсмена» и Корбетту из «Арбитра». Затем он протянул руки вперед, чтобы Сид Сэлливен и Чарли Бейтс, его секунданты, натянули на него рукавицы и крепко их зашнуровали под пристальным взглядом одного из секундантов Сэндла, который еще прежде критическим взором оглядел повязки на костяшках Кинга. Один из его собственных секундантов находился в углу Сэндла, выполняя ту же обязанность. С

Сэндла стянули брюки, а когда он встал, стащили с него свитер через голову. И Том Кинг, взглянув на него, увидал воплощенную Юность, широкогрудую, с тяжелыми мышцами, с мускулами, скользившими и переливавшимися, как живые существа, под белой шелковистой кожей. Все тело было насыщено свежестью, и Том Кинг знал, что из него еще не начала сочиться по капле жизнь через все поры после долгих схваток; в этих схватках Юность платила свою дань и выходила из них слегка постаревшей.

Оба боксера выступили друг другу навстречу, и когда прозвучал гонг и секунданты ушли с ринга, унося складные стулья, они пожали друг другу руки и немедленно встали в стойку. И тотчас же, как стальная пружина из часов, Сэндл сделал выпад, отступил, левой нанес удар в лицо, правой — под ребра, наклонился, легко отскочил назад и снова прыгнул. Он был проворен и искусен. Это был блестящий дебют. Публика криками выражала одобрение. Но Кинг не был ослеплен: он участвовал в стольких поединках против стольких юнцов, он видел эти удары такими, какими они были на самом деле, то есть слишком быстрыми и легкими и не представляющими никакой опасности. Очевидно, Сэндл намеревался

задать быстрый темп. Этого и следовало ожидать. Таков был обычай Юности, расточающей свой блеск и свое превосходство в диком наскоке, в бешеных атаках, ломая сопротивление мощью своей неограниченной силы и воли.

Сэндл нападал, отступал — легконогий и страстный, живое чудо сверкающего белизной тела и разящих мускулов; как челнок, снующий в станке, он блестяще атаковал, скользил, прыгал, делая тысячи движений, цель которых была одна — смести с пути Тома Кинга, стоявшего между ним и карьерой. А Том Кинг терпеливо сносил удары. Он знал свое дело и знал Юность, с тех пор как утратил ее. Не следует ничего предпринимать, пока противник хоть немного не выдохнется, думалось ему; и он ухмылялся про себя, умышленно наклоняясь так, чтобы получить тяжелый удар по темени. Это был подлый трюк, хотя и не запрещенный, так как предполагалось, что человек сам будет беречь свои суставы, но если он упорно бьет противника по темени, то пусть пеняет сам на себя. Кинг мог бы пригнуться пониже и позволить удару просвистеть мимо без всякого вреда для себя; но он помнил свои первые поединки и то, как он расплющил первый сустав об голову Валлийского Ужаса. Он только играл

в ту же игру. И Сэндл ничего не понял! Он явно собирался продолжать наносить удары с той же силой в течение всей схватки, горделивый и беззаботный, а после, когда частые поединки начнут сказываться, он пожалеет об этом суставе и вспомнит, как раздробил его об голову Тома Кинга.

В первом раунде преимущество было на стороне Сэндла, и весь зал приветствовал скорость его вихревых атак. Сэндл осыпал Кинга лавинами ударов, а Кинг ничего не делал. Он ни разу его не ударил, а только прикрывался, прижимался, нагибался, уклонялся, чтобы избежать кулаков противника. Порой он делал финт, качал головой, получая увесистый тычок, передвигался неуклюже, не прыгал, не скакал и не терял ни одной капли силы зря. Пусть из Сэндла испарится пена Юности, прежде чем осмотрительная Старость решится на противодействие. Все движения Кинга были неспешными и методичными, а его глаза с тяжелыми веками и застывший взгляд придавали ему вид полусонный и осоловелый. Однако эти глаза видели все, приучились замечать все за двадцать с лишком лет, проведенных на ринге. Эти глаза не мигали рефлекторно под угрозой удара, но смотрели холодно, измеряя дистанцию.

В перерыве после первого раунда, сидя на своем стуле, он вытянул ноги и откинулся назад, положив руки на канаты, дыша глубоко и свободно тем воздухом, что навевали на него полотенца секундантов. С закрытыми глазами прислушивался он к голосам из толпы.

— Почему не дерешься, Том? — кричали некоторые. — Ведь ты же не боишься его, не правда ли?

— Мускулы задеревенели, — услышал он пояснение какого-то человека на передних скамьях. — Он не может двигаться быстрее. Два соверена против одного за Сэндла.

Гонг зазвучал, и бойцы вышли из своих углов. Сэндл сделал прыжок на три четверти площадки в страстном желании возобновить бой; Кинг ограничился двумя-тремя шагами. Это отвечало его намерению экономить силы. Он не тренировался и слишком мало ел, так что каждый шаг имел значение. Кроме того, он только что прошагал две мили до места боя.

Второй раунд был повторением первого, причем Сэндл нападал как вихрь, а публика с возмущением спрашивала, почему Кинг не дерется. Кроме нескольких финтов и пары вялых и неэффективных ударов, он так и не сделал ничего, а только защищался и ускользал. Сэндл хотел

навязать ему быстрый темп, а Кинг, используя свой опыт, умело уклонялся. Он уклонялся с мудрым величием испытанной в боях выдержки и продолжал экономить силы со скупостью, на которую способна только Старость. А Сэндл играл своей силой с щедрой беззаботностью Юности.

Кинг обладал мудростью генерала ринга, опытом, воспитанным в долгих жестоких боях. Он наблюдал с холодным умом и холодным взглядом, медленно перемещаясь и ожидая, когда из Сэндла выйдет вся пена. Большинству зрителей казалось, будто Кинг потерял свой класс, и они громко выражали это мнение, ставя три против одного за Сэндла. Но были и мудрые — знавшие прежнего Кинга, — и они принимали ставки, считая, что это верные деньги.

Третий раунд начался, как и прежние, с того, что Сэндл сразу перехватил инициативу. Полминуты уже прошло, когда Сэндл, слишком понадеявшись на себя, слегка раскрылся. Глаза и правая рука Кинга сверкнули в один и тот же момент. То был его первый настоящий удар — хук напряженной рукой, согнутой в форме арки (чтобы придать ей твердости), усиленный всей тяжестью тела, описавшего полукруг. Казалось, что лев, притворявшийся сонным, вдруг молние-

носно взмахнул лапой. Удар пришелся Сэндлу в челюсть сбоку, и он был сбит с ног, как теленок. Публика разинула рты и благоговейным шепотом выразила одобрение. Итак, у этого человека отнюдь не задеревенели мускулы, — он мог наносить удары, как кузнечный молот.

Сэндл был потрясен. Он откатился и попытался встать, но резкий оклик секунданта, потребовавшего, чтобы он выдержал время счета, остановил его. Он встал на одно колено, готовый подняться, и ждал, пока судья громко отсчитывал секунды над его ухом. На девятой он вскочил и встал в стойку, а Том Кинг, взглянув на него, пожалел, что его удар не пришелся на дюйм ближе к краю челюсти. Это нокаутировало бы противника, и он уже бы нес тридцать соверенов своей жене и детям.

Раунд продолжался, причем Сэндл впервые почувствовал уважение к сопернику, а Кинг, как и прежде, двигался медленно, с сонным взглядом. Когда раунд подходил к концу, Кинг, видя, что секунданты присели, чтобы перепрыгнуть через веревки, перевел бой в свой угол и, как только ударил гонг, немедленно присел на ожидавший его стул, в то время как Сэндлу пришлось еще пройти все расстояние до своего угла по диагона-

ли квадрата. Это была мелочь, но именно сумма мелочей и шла в счет.

Сэндл был вынужден сделать несколько лишних шагов, чтобы потерять несколько мгновений отдыха. В начале каждого раунда Кинг медленно выступал из своего угла, вынуждая противника пройти большее расстояние. В конце каждого раунда Кинг искусно направлял схватку так, чтобы переместиться ближе к своему углу и немедленно сесть после удара гонга.

Прошло еще два раунда, и снова Кинг был скуп на движения, а Сэндл растрачивал силы. Попытки последнего перейти на быстрый темп причиняли Кингу большое неудобство, потому что порядочное количество сыпавшихся на него ударов попадало в цель. Тем не менее Кинг упорствовал в своей угрюмой медлительности, наперекор горячим головам, кричавшим, чтобы он, наконец, начал драться. В шестом раунде Сэндл снова допустил промах, снова грозная правая рука Кинга промелькнула в воздухе, и снова Сэндл, сраженный ударом в челюсть, ждал, когда судья отсчитает девять секунд.

В седьмом раунде преимущество Сэндла сошло на нет, и он понял, что ввязался в самый тяжелый бой за время своей карьеры боксера. Том

Кинг был стариком, но с таким стариком ему еще не приходилось встречаться. Он никогда не терял голову, был чрезвычайно искусен в защите, и удары этого старика были похожи на удары узловатой дубины. Тем не менее Том Кинг не решался бить часто. Он никогда не забывал о своих поврежденных суставах и знал, что каждый удар должен быть тщательно рассчитан, если он хочет выдержать до конца матча. Сидя в углу и поглядывая на своего противника, он подумал, что его опыт в сочетании с молодостью Сэндла дал бы миру чемпиона. Но вот в чем беда: Сэндл никогда не будет чемпионом мира — ему не хватает опыта, а получить его он может только ценой своей юности; когда же он наконец будет обладать мудростью, вся его юность будет истрачена на эту покупку.

Кинг воспользовался всеми доступными ему преимуществами. Он никогда не упускал случая перейти в клинч, и при этом его плечо обычно сильно давило на ребра противника. В философии ринга плечо было ничем не хуже кулака, поскольку речь шла о нанесении ущерба — пожалуй, даже много лучше в плане экономии сил. Кроме того, во время клинчей Кинг наваливался всей тяжестью на противника и не отлипал от

него, пока его не оттаскивал судья, которому помогал Сэндл, до сих пор еще не научившийся ценить отдых. Он не мог удержаться от того, чтобы не пускать в ход своих стремительно взлетающих рук, своих играющих мускулов, и когда Кинг наваливался плечом на его ребра, пряча голову под левую руку Сэндла, последний почти всегда заносил правую руку за спину и бил ею в склоненное лицо противника. Это был ловкий удар, вызывавший сильное восхищение публики, но он не был опасен, а потому являлся только излишней потерей силы. Но Сэндл был словно неутомим, а Кинг ухмылялся и сохранял свою выдержку.

Наконец Сэндл нанес свирепый хук правой рукой ему в грудь, так что казалось, будто Кинг получил толчок невероятной силы; но только старые боксеры оценили искусное прикосновение левой перчатки Кинга к бицепсу противника как раз перед попаданием удара. Да, каждый удар Сэндла достигал цели, но каждый раз это прикосновение к бицепсу лишало его силы. В девятом раунде правая рука Кинга, согнутая в локте, в течение одной минуты три раза ударила Сэндла в челюсть, и трижды тело Сэндла со всей тяжестью падало на циновку. Каждый раз он пользовался

предоставленными ему девятью секундами и поднимался потрясенный и оглушенный, но все еще сильный. Он заметно потерял в скорости и тратил меньше сил. Он сражался свирепо, но продолжал рассчитывать на свой главный козырь — на молодость. Главным же козырем Кинга был опыт. Так как жизненная энергия в нем ослабла и мощь уменьшилась, он заменил их хитростью, знанием, почерпнутым в долгих боях, а также тщательной экономией сил. Он умел не только не делать лишних движений, но и провоцировать противника на бесполезную трату сил. Вновь и вновь при помощи обманных движений рук, ног и корпуса он заставлял Сэндла отскакивать назад, наклоняться и парировать. Кинг отдыхал, но никогда не позволял отдыхать Сэндлу. Такова была стратегия Старости.

Уже с самого начала десятого раунда Кинг начал останавливать атаки противника прямыми хуками в лицо, а Сэндл, ставший осмотрительным, отвечал тем, что заносил левую руку, затем опускал ее, а правой наносил сбоку кривой удар в голову. Удар приходился слишком высоко, чтобы иметь серьезные последствия, но когда он впервые был нанесен, Кинг испытал знакомое чувство, точно черное покрывало опускается на

его сознание. На мгновение — вернее, на ничтожную долю мгновения — Кинг словно уснул. В этот миг он увидел, что противник исчез из его поля зрения, как и фон зрительного зала. В следующий миг он опять увидел и противника, и зал. Казалось, будто он проспал некоторое время и только что вновь открыл глаза. Но миг забвения был так ничтожно краток, что Кинг не успел даже упасть. Публика видела, как он зашатался, как колени его подогнулись, и как он затем ниже опустил подбородок, прикрыв его левым плечом.

Несколько раз Сэндл повторил этот удар, держа Кинга в состоянии частичного отупения; но затем тот выработал способ защиты, который одновременно был контратакой. Делая финт левой рукой, он отступал на полшага назад, одновременно со всей силой нанося удар правой рукой вверх. Первый выпад был так аккуратно рассчитан, что попал прямо в лицо Сэндла в самый момент наклона, и того подбросило вверх; он упал назад и ударился о циновку головой и плечами. Кинг повторил это два раза, затем участил удары и прижал противника к канату. Он не давал Сэндлу продохнуть, нанося удар за ударом, пока вся публика не встала с мест, и воздух наполнился несмолкающей бурей аплодисментов. Но сила и

выносливость Сэндла были великолепны, и он продолжал стоять на ногах. Нокаут казался неизбежным, и полицейский пристав, испуганный этим ужасным избиением, поднялся на ринг, чтобы прекратить бой. Гонг возвестил о конце раунда, и Сэндл, шатаясь, дотащился до своего места, уверяя пристава, что он здоров и полон сил. Чтобы доказать это, он два раза прыгнул, и пристав смягчился.

Том Кинг, развалившийся в своем углу и тяжело дышавший, был разочарован. Если бы поединок был прекращен, то судья, может быть, присудил бы победу ему. В отличие от Сэндла, он бился не ради славы и карьеры, а ради тридцати соверенов. Теперь же Сэндл получил возможность прийти в себя.

«Юность возьмет свое», — пронеслось в голове Кинга, и ему вспомнилось, что впервые он услышал эти слова в тот вечер, когда сокрушил Стоушера Билла. Поклонник, который угостил его рюмкой и похлопал по плечу после боя, употребил это выражение. Юность возьмет свое. Поклонник был прав. В тот давний вечер он представлял Юность. Теперь же Юность сидит в противоположном углу. Что же касается его, Тома Кинга, он ведь дрался уже в течение получаса,

а он — старик. Если бы он дрался, как Сэндл, его бы не хватило и на пять минут. Но все дело было в том, что он не мог восстановиться. Набухшие вены и истощенное сердце не позволяли ему накопить силу в перерывах между раундами. Да и с самого начала у него не было нужной силы. Ноги его отяжелели, по ним пробегали судороги. Не надо было идти эти две мили пешком! А тут еще это мясо, о котором он тосковал все утро. В нем поднималась страшная ненависть к мясникам, отказавшим ему в кредите. Тяжело старому человеку идти на бой, не поев вволю. А кусок говядины — это такая мелочь, всего несколько пенни, а для него — это тридцать соверенов.

При звуке гонга, возвещавшем начало одиннадцатого раунда, Сэндл бросился в атаку, показывая бодрость, которой у него на деле не было. Кинг знал этому цену: блеф, старый, как сама игра. Защищаясь, он вошел в клинч, затем оторвался и позволил Сэндлу сделать стойку. Кингу только этого и надо было. Он сделал обманное движение левой рукой, заставив противника нырнуть, вызвал на себя боковой удар снизу вверх, затем отступил на полшага и нанес прямой хук Сэндлу в лицо, и тот, скорчившись, упал на циновку. После этого он уже не давал ему никакого отдыха,

сам получал удары, но наносил их куда больше; прижимая Сэндла к канатам, он безостановочно осыпал его ударами, отпрыгивая или отбрасывая его при попытках войти в клинч, и каждый раз, когда Сэндл готов был упасть, он подхватывал его одной рукой, а другой опять прижимал к канату, где он упасть не мог.

Тогда публика обезумела; все были на его стороне и почти все орали:

— Валяй, Том!.. Лупи его, Том!.. Лупи его!.. Твоя взяла, Том! Твоя взяла!.. — Намечался бурный финал, и именно за это зрелище публика и платила деньги.

А Том Кинг, который полчаса копил силу, теперь щедро расточал ее в единственном великом усилии, на которое он еще считал себя способным. Мощь его быстро иссякала, и вся его надежда заключалась в том, что прежде чем последняя капля силы его покинет, он отправит противника в нокаут. Продолжая бить, холодно оценивая тяжесть ударов и степень наносимых повреждений, он понял, как трудно нокаутировать такого человека, как Сэндл. Запас жизненных сил и выносливости у него был неисчерпаем: то были сила и выносливость Юности. Сэндл, без сомнения, — парень с будущим. В нем были нужные

задатки. Только из такого крепкого материала и получались прекрасные боксеры.

Сэндл качался и шатался, но ноги Кинга подгибались, а суставы как будто отказывались служить. И все-таки он крепился, чтобы наносить жестокие удары, из которых каждый причинял боль его искалеченным рукам. Хотя ему сейчас почти не доставалось, он утомлялся так же быстро, как и его противник. Его удары попадали в цель, но в них не было прежней увесистости, и каждый был лишь результатом огромного усилия воли. Он заметно волочил ноги, точно они были свинцовые; в это время сторонники Сэндла, обрадованные этими признаками усталости Кинга, начали криками ободрять своего кумира.

Это подхлестнуло Кинга и заставило собраться с силами. Он ударил два раза подряд: левой — в солнечное сплетение, чуть-чуть выше, чем следовало; правой — в челюсть. Это были легкие удары, но Сэндл уже так ослаб и выдохся, что упал, содрогаясь. Судья стоял над ним и громко отсчитывал роковые секунды. Если на десятой он не встанет, то проиграет бой. Зал застыл в безмолвии. Кинг стоял на дрожащих ногах. Он чувствовал смертельное головокружение, а перед его глазами море лиц опускалось и поднималось,

а до ушей его, точно издалека, доносился счет судьи. И все же он считал, что победа за ним. Невозможно, чтобы человек, настолько избитый, мог встать на ноги.

Только Юность могла встать, и Сэндл встал. На четвертой секунде он перевернулся на живот и стал вслепую хвататься за канат. На седьмой секунде он поднялся на одно колено и остался в этой позе; голова его качалась на плечах, как у пьяного. Когда арбитр крикнул: «Девять!», Сэндл уже был на ногах, в стойке, левой рукой прикрывая лицо, а правой — живот. Защитив таким образом все уязвимые места, он наклонился вперед к Кингу, надеясь войти в клинч и выиграть время.

Не успел он встать, как Кинг бросился на него, однако оба его удара попали в защиту. В следующий миг Сэндл вошел в клинч и отчаянно сопротивлялся, когда судья пытался разнять противников. Кинг же помогал судье освободить его. Он знал, с какой быстротой восстанавливается Юность, и знал также, что Сэндл проиграет, если ему удастся помешать этому. Один крепкий толчок может решить дело. Сэндл отшатнулся назад и колебался, точно на волоске, между поражением и победой. Один хороший удар мог сбить его с ног и нокаутировать. И Том Кинг с внезапным

чувством горечи вспомнил о куске говядины и пожалел, что не подкрепился им для этого последнего необходимого толчка. Он собрался с силами, но его удар не оказался ни достаточно увесистым, ни достаточно быстрым. Сэндл покачнулся, но не упал, шатаясь, отступил к канатам и оперся на них. Кинг, тоже покачиваясь, двинулся за ним и с отчаянной тоской на душе отвесил еще удар. Но тело изменило ему. Все, что в нем оставалось — это боевая смекалка, затуманенная усталостью. Удар, направленный в скулу, попал не выше плеча. Он хотел ударить выше, но утомленные мышцы не повиновались. И Том Кинг сам едва не упал от собственного удара. Он сделал еще одну попытку. На этот раз удар прошел совсем мимо, и он, совершенно ослабев, вошел в клинч, чтобы самому не рухнуть на пол.

Кинг не пытался оторваться. Он выпустил последний заряд. Он проиграл. Юность взяла свое. Войдя в клинч, он почувствовал, как Сэндл восстанавливается. Когда судья разнял их, он своими глазами увидел, как возрождается Юность. Сэндл набирал силу с каждым мгновением. Его удары, вначале слабые и не достигавшие цели, становились все крепче и точнее. В тускнеющих глазах Кинга мелькнул кулак в перчатке, направленный

в его челюсть, и он хотел парировать, подставив руку. Он видел опасность, хотел действовать, но его рука была слишком тяжела. Казалось, она нагружена сотней фунтов свинца. Она не хотела подняться, а он пытался поднять ее силами своей души. И тут кулак попал в цель. Он услышал острый треск, как от электрического разряда, и немедленно черное покрывало заволокло его.

Когда он открыл глаза снова, он сидел в своем углу и слышал рев публики, подобный прибою у Бонди-бич. Ко лбу ему прикладывали мокрую губку, а Сид Сэлливен брызгал ему на грудь и лицо освежающе холодной водой. С него уже сняли перчатки, и Сэндл, склонившись к нему, пожимал ему руку. Он не злился на своего победителя и ответил на рукопожатие так сердечно, что его разбитые пальцы запротестовали. Потом Сэндл вышел на середину ринга, и публика прекратила свой адский шум, когда он заявил, что принимает вызов молодого Пронто, и предложил увеличить заклад до ста фунтов. Кинг глядел апатично, пока секунданты обтирали ручьями текущую с него воду, осушали его лицо и готовили к уходу с арены. Он чувствовал голод. Это было не обычное грызущее ощущение, но великое бессилие, дрожание в полости живота, передававшееся всему

телу. Он вспомнил тот момент схватки, когда Сэндл был на волосок от поражения.

Да, кусок говядины довершил бы дело! Только этого не хватало для решительного удара, и потому он проиграл. Все произошло только из-за кусочка говядины.

Секунданты почти несли его, помогая ему перелезть через канат. Он вырвался из их рук, пролез под канатом без их помощи, тяжело спрыгнул на пол и пошел следом за секундантами, которые прокладывали ему дорогу через толпу, собравшуюся в центре зала. Когда он выходил из раздевалки на улицу, с ним заговорил какой-то молодой парень.

— Почему вы не подналегли и не свалили его, когда он был в ваших руках?

— Пошел ты к черту! — рявкнул Том Кинг и спустился по ступенькам на тротуар.

Двери кабачка на углу широко распахнулись, и он увидел свет и улыбающихся кельнерш, услышал гул голосов, обсуждавших поединок, и благодатный звон монет о прилавок. Кто-то позвал его выпить рюмку. Он заметно поколебался, но затем отклонил приглашение и пошел своей дорогой.

У него в кармане не было ни одного медяка, и

две мили, которые ему нужно было пройти до дома, казались ему очень длинными. Без сомнения, он постарел. Проходя через предместье, он вдруг сел на скамейку, совершенно расстроенный из-за мыслей о жене, которая не спит, дожидаясь его, чтобы узнать об исходе поединка.

Это было тяжелее всякого поражения, и ему показалось невозможным встретиться с ней лицом к лицу.

Он почувствовал себя слабым и больным, и боль в раздробленных суставах пальцев предупреждала его, что если даже ему удастся найти работу землекопа, то пройдет не меньше недели, пока он сумеет взяться за кирку или лопату.

Голодная дрожь в желудке вызывала тошноту.

Несчастье подавило его, и глаза его наполнились непривычной влагой. Он закрыл голову руками и, заплакав, вспомнил Стоушера Билла и то, как он обошелся с ним в тот давний вечер. Бедный старый Стоушер Билл! Теперь он мог понять, почему Билл плакал в раздевалке.

ХРАМ ГОРДЫНИ

(сборник)



Это цикл гавайских рассказов, локально привязанный к сравнительно небольшой экзотической территории, имеющей свою историю и специфику. Речь идет о Гавайях, в ту пору еще не бывшими настоящим штатом Северной Америки, но уже прочно «прихваченными» своим могучим соседом.

Рассказ «Храм гордыни», давший название одноименному сборнику, высмеивает необыкновенную спесь белого человека — сына проповедника-пастора из Новой Англии.

У Джека Лондона картина Гавайев нарисована широкими мазками. Своеобразие этого острова представлено с разных сторон. От проказы, завезенной сюда колонизаторами, до пронизывающей все человеческое существо песни о вечной любви. Лондон не раз гордился реалистичностью своих произведений, и цикл гавайских рассказов это подтверждает.

Храм гордыни

Персиваль Форд недоумевал, зачем он сюда пришел. Он не танцевал. Военных недолюбливал. Однако знал их всех — скользивших и кружившихся на широкой террасе у морского берега, — знал офицеров в свеженакрахмаленных белых кителях, штатских в белом и черном, женщин с обнаженными плечами и руками. После двухлетнего пребывания в Гонолулу двадцатый полк отправлялся на Аляску на новую стоянку, и Персиваль Форд, как важная особа на островах, не мог не знать офицеров и их жен.

Но широкая пропасть отделяет знакомство от симпатии. Полковые дамы чуточку его пугали. Они так не походили на женщин, которые ему нравились, — на пожилых матрон, старых дев и девиц в очках и серьезных особ всех возрастов. Этих представительниц женского пола он встречал в церкви, в библиотеке и в детских комитетах, где они робко обращались к нему за советом или пожертвованием. В их кругу он пользовался авторитетом благодаря своему умственному превосходству, большому состоянию и высокому положению, какое занимал в ком-

мерческом мире на Гавайских островах. Этих женщин он ничуть не боялся. У них пол не бросался в глаза. Да, в этом-то и заключалось дело. Было в них что-то иное, заслоняющее грубую, навязчивую сторону жизни. Он был брезглив и сам это сознавал, а полковые дамы с обнаженными плечами и руками, смело смотревшие прямо в глаза, жизнерадостные, вызывающе женственные, оскорбляли его чувства.

Не лучше относился он и к военным, которые легко принимали жизнь, пили, курили, ругались и выставляли напоказ грубую чувственность с не меньшим бесстыдством, чем их жены. В обществе офицеров ему было не по себе. Казалось, и они испытывали какую-то неловкость. Он знал, что за его спиной они смеются над ним, либо жалеют его и едва терпят его присутствие. К тому же одно общение с ними словно подчеркивало то, что было в них и чего не хватало ему. Впрочем, Персиваль Форд всегда благодарил Бога за то, что не было в нем этого «чего-то». Да, эти мужчины нимало не отличались от своих жен!

По правде сказать, у женщин Персиваль Форд пользовался не большим успехом, чем у мужчин. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять причину. Здоровья он был прекрасного, не

знал ни болезни, ни даже легкого недомогания; но был в нем какой-то недостаток жизненных сил. Если можно так выразиться, он был организмом негативным[57]. Это длинное и узкое лицо, тонкие губы, впалые щеки и маленькие глазки исключали всякую мысль о буйной и горячей крови. Волосы — пепельные, прямые и жидкие — свидетельствовали о скудной почве, так же, как и нос — тонкий, изящно очерченный, чуть-чуть крючковатый. Бледная кровь многого лишила его в жизни, разрешая крайность лишь в одном — в справедливости. Над вопросом, как поступить, он размышлял долго и мучительно, и поступать правильно было для него так же необходимо, как любить и быть любимым для простых смертных.

Он сидел под альгаробовыми деревьями, между террасой и берегом. Оглядев танцующих, он отвернулся и стал смотреть на море — туда, где мягко рокотал прибой и Южный Крест низко горел над горизонтом. Его раздражали обнаженные плечи и руки женщин. Будь у него дочь, он никогда бы ей этого не разрешил. Но его гипотеза являлась чистейшей абстракцией. Этой мысли не сопутствовал образ дочери. Никакой дочери с

[57] Примечания: 57
Негативный — обратный, противоположный.

плечами и руками он себе не представил. Вместо этого он только с улыбкой подумал об отдаленной возможности брака. Ему было тридцать пять лет, и, не испытав любви, он видел в ней только животную сторону, но отнюдь не романтическую. Жениться мог каждый. Женятся японские и китайские кули, работающие на сахарных плантациях и рисовых полях, женятся при первом же удобном случае. Он объяснял это тем, что они занимали одну из низших ступеней жизни. Ничего иного им не оставалось делать. Они походили на военных и их жен. Но в его жизни было нечто иное, более возвышенное. Он отличался от них — всех этих людей. Он гордился тем, как появился на свет, а появился он не от какого-нибудь жалкого брака по любви. Он был рожден на свет благодаря высокому представлению о долге и преданности делу. Его отец женился не по любви. Безумие любви ни разу не нарушило равновесия Айзека Форда. Он и не помышлял о женитьбе, когда откликнулся на призыв идти с проповедью к язычникам. В этом отношении они были похожи — отец и сын. Но Совет миссий руководствовался правилами экономии. С американской расчетливостью он все взвесил, обдумал и решил, что женатые миссионеры стоят

дешевле и лучше исполняют свои обязанности. И поэтому-то Совет предписал Айзеку жениться. Более того, он наметил ему жену — такую же ревностную душу, не помышлявшую о браке и горевшую желанием делать Божье дело среди язычников. Впервые они друг друга увидели в Бостоне. Совет их свел, уладил все дела, и к концу недели они поженились и отправились в долгое путешествие вокруг мыса Горн.

Персиваль Форд гордился тем, что родился от такого брака. Происхождение его было высокое, и себя он считал аристократом духа. Гордился он и своим отцом. Это чувство граничило со страстью. Образ прямого, сурового Айзека Форда словно наложил огненную печать на его гордость. На письменном столе его стояла миниатюра этого воина Господня. В спальне висел портрет Айзека Форда, нарисованный в то время, когда он был премьер-министром при монархии. Айзек Форд не гнался за высоким положением и богатством, но, как премьер-министр, а впоследствии банкир, он мог оказать большие услуги миссионерскому делу. Немцы, англичане и весь торговый мир высмеивали Айзека Форда: коммерсант — и спаситель душ!

Но он, Персиваль Форд, его сын, знал иное.

Когда туземцы, резко оторванные от своей феодальной системы и ни малейшего представления не имевшие о природе и значении земельной собственности, лишались своих владений, Айзек Форд оттеснил толпу торговцев от их добычи и завладел плодородными, обширными полями. Не удивительно, что в торговом мире его недолюбливали. Он же никогда не считал эти огромные богатства своею собственностью. На себя он смотрел как на слугу Господа. Доходы шли на постройку школ, больниц и церквей. Не по его вине сахар, упавший было в цене, поднялся на сорок процентов; банк, основанный им, расцвел благодаря операциям с железнодорожными акциями, и, помимо всего прочего, пятьдесят тысяч акров пастбищной земли на Оаху, купленные им по доллару за акр, каждые восемнадцать месяцев приносили восемь тонн сахару с акра. Да, поистине Айзек Форд был героической фигурой, достойной, по мнению Персиваля Форда, стоять рядом со статуей Камехамеха[58] перед зданием суда.

Айзек Форд умер, но он — его сын — продолжал начатое им благое дело, если и не столь энер-

---

[58] Примечания: 58
Камехамех I — король Гавайских островов.

гично, то во всяком случае столь же, как отец, неуклонно.

Он снова посмотрел на террасу. Какая разница, спрашивал он себя, между бесстыдными танцами опоясанных травой туземок и танцами декольтированных женщин его расы? Есть ли тут какое-либо существенное отличие? Или разница лишь в степени? Пока он размышлял над этой проблемой, чья-то рука легла на его плечо.

— Алло, Форд! Что вы тут поделываете? Не правда ли, праздничная обстановка?

— Стараюсь относиться снисходительно к тому, что вижу, доктор Кеннеди, — серьезно ответил Персиваль Форд. — Не хотите ли присесть?

Доктор Кеннеди сел и громко хлопнул в ладоши. На зов немедленно явился одетый в белое слуга-японец.

Кеннеди заказал шотландского виски с содовой и, повернувшись к Форду, сказал:

— Вам я, конечно, не предлагаю.

— Нет, я тоже выпью, — решительно заявил Форд. Доктор удивленно взглянул на него; слуга ждал. — Бой, пожалуйста, лимонаду.

Тут доктор от души расхохотался, усмотрев в этом шутку, а затем поглядел на музыкантов, расположившихся под деревом хау.

— Как! Да ведь это оркестр Алоха! — воскликнул он. — А я думал, они по вторникам играют в Гавайском отеле. Должно быть, там не поладили.

Глаза его остановились на том, кто играл на гитаре и пел гавайскую песню под аккомпанемент оркестра. Пока он глядел на певца, лицо его стало серьезным; сумрачный, он повернулся к своему собеседнику.

— Слушайте, Форд, не пора ли вам оставить в покое Джо Гарленда? Я слышал, вы восстаете против предложения благотворительного комитета отправить его в Штаты; я искал случая поговорить с вами на эту тему. Казалось бы, вы должны радоваться возможности убрать его отсюда. Вам представляется прекрасный способ прекратить ваши гонения.

— Гонения? — Персиваль Форд вопросительно поднял брови.

— Называйте как хотите, — продолжал Кеннеди. — Вы много лет преследовали беднягу. Ведь это не его вина. Даже вы с этим согласитесь.

— Не его вина? — Тонкие губы Персиваля Форда на секунду сжались. — Джо Гарленд распущен и ленив. Он всегда был лодырем и повесой.

— Но это еще не основание, чтобы его так преследовать. Я следил за вами с самого начала.

Когда вы вернулись из колледжа и застали Джо работающим батраком на плантации, вы первым делом выгнали его — это при ваших-то миллионах и его шестидесяти долларах в месяц.

— Отнюдь не первым делом, — рассудительно возразил Персиваль Форд; таким тоном он привык говорить на собраниях комитета. — Я его предостерег. Старший надсмотрщик говорил, что он способный парень. С этой стороны я ни в чем не мог его упрекнуть. Но как он проводил свободное время? Он разрушал дело моей жизни быстрее, чем я мог его созидать. Что толку было в вечерних и воскресных школах и в классах шитья, если по вечерам являлся Джо Гарленд, вечно бренькающий на своей проклятой гитаре и укулеле, сильно подвыпивший и отплясывающий хюла? Никогда не забуду, как после первого предостережения я наткнулся на него внизу, у хижин. Был вечер. Еще издали я услышал песни хюла, а когда подошел ближе, глазам моим представилось такое зрелище: девушки бесстыдно танцевали, залитые лунным светом, — те самые девушки, которых я с таким трудом приучал к честной и порядочной жизни. Помню, трое из них только что окончили миссионерскую школу. Конечно, я уволил Джо Гарленда. То же самое

произошло и в Хило. Говорили, что я суюсь не в свое дело, убеждая Мэсона и Фитча дать ему расчет. Но об этом меня просили миссионеры. Дурным примером он губил их дело.

— А затем, когда он поступил на железную дорогу — вашу дорогу, его уволили без всякой причины, — с вызовом произнес Кеннеди.

— Это неверно, — последовал быстрый ответ. — Я вызвал его к себе в контору и говорил с ним около получаса.

— Вы уволили его за непригодность?

— Ошибаетесь. За безнравственный образ жизни.

Доктор Кеннеди презрительно захохотал.

— Кто, черт возьми, дал вам право быть судьей и присяжным? Разве владение землей дает вам право контроля над бессмертными душами тех, что на вас работают? Я — ваш врач. Быть может, завтра я получу указ, предписывающий мне бросить пить шотландское виски с содовой под страхом лишить меня вашего покровительства? Ба! Форд, вы слишком серьезно относитесь к жизни. А помните, когда Джо впутался в то контрабандное дело (тогда он у вас не служил) и черкнул вам словечко, прося уплатить за него штраф, вы палец о палец не ударили, и он отра-

ботал свои шесть месяцев на рифе. Не забудьте, тогда вы не помогли Джо Гарленду. Вы его унизили. А я помню, как вы в первый раз пришли в школу, — мы были пансионерами, а вы — приходящим, — и вам полагалось пройти через посвящение. Помните, каждого новичка три раза окунали в бассейне. А вы струсили. Уверяли, что не умеете плавать. Испугались, хныкали…

— Да, помню, — медленно произнес Персиваль Форд. — Я испугался и солгал. Ведь плавать я умел…

— А помните, кто за вас вступился? Кто за вас лгал еще убедительнее, чем вы, и клялся, что плавать вы не умеете? А когда вы в первый раз нырнули, кто прыгнул в бассейн и вытащил вас? За это его чуть не утопили мальчишки, обнаружившие к тому времени, что плавать-то вы умеете?

— Конечно, помню, — холодно ответил Форд. — Но великодушный поступок мальчика не оправдывает его развратной жизни в дальнейшем.

— Он никакого вреда вам не причинил? Я имею в виду — лично, непосредственно.

— Нет, — ответил Персиваль Форд. — Именно этот факт и делает меня неуязвимым. Личной вражды к нему у меня нет. Он плохой человек,

вот и все. И живет он скверно…

— Иными словами, он расходится с вами во взглядах на образ жизни, — перебил доктор.

— Дело не в словах. Это не существенно. Он лентяй…

— Потому что, — снова перебил тот, — если вспомнить, сколько раз вы его лишали работы…

— Безнравственный человек…

— Ах, замолчите, Форд! Бросьте этот вечный припев. Вы — новоангличанин; Джо Гарленд — наполовину канак. У вас кровь холодная, у него — горячая. Для вас жизнь — одно, для него — другое. Он проходит сквозь жизнь смеясь, танцуя, распевая песни, — непосредственный, добрый, похожий на ребенка; каждый ему друг. А вы похожи на вращающееся молитвенное колесо; ваши друзья — добродетельные люди, а добродетельным вы считаете тех, кто соглашается с вашим представлением о добродетели. А по существу, что мы знаем? Вы живете, словно анахорет. А Джо Гарленд живет как добрый малый. Кто больше получает от жизни? Нам, знаете ли, за жизнь платят. Когда жалованье скудное, мы бросаем работу: вот, поверьте, причина всех обдуманных самоубийств. Джо Гарленд изголодался бы на том жалованье, какое вы получаете от жизни. Он,

видите ли, скроен иначе. А вы умерли бы с голоду, получая его жалованье — песни, любовь…

— Простите, похоть, — перебил Персиваль Форд.

Доктор Кеннеди улыбнулся.

— Для вас любовь — слово, состоящее из шести букв, а определение этого слова вы извлекли из словаря. Но любви — подлинной любви, трепещущей и нежной — вы не знаете. Уж если говорить о том, что Бог создал вас и меня, мужчин и женщин, то он создал и любовь. Но вернемся к началу нашего разговора. Пора вам прекратить гонения на Джо Гарленда. Это недостойно и подло. Вы должны протянуть ему руку помощи.

— Почему я, а не вы? — возразил Форд. — Почему вы ему не помогаете?

— Помогаю. И в данный момент помогаю — стараюсь уговорить вас не проваливать предложения благотворительного комитета. Я раздобыл ему работу в Хило у Мэсона и Фитча. Шесть раз я находил ему место, и каждый раз вы его выгоняли. Не будем больше говорить об этом, но не забудьте одного — чуточку откровенности вам не повредит: нечестно взваливать на Джо Гарленда вину другого человека. И вы знаете, что вам меньше, чем кому бы то ни было, пристало это

делать. Послушайте, старина, ведь это некрасиво и просто неприлично.

— Я перестаю вас понимать, — заявил Перси-валь Форд. — Вы строите какую-то туманную научную теорию наследственности и личной без-ответственности. Но какая теория может снять ответственность с Джо Гарленда за его дурные по-ступки и в то же время сделать ответственным за них меня — более ответственным, чем кто-либо иной, включая и Джо Гарленда? Это выше моего понимания.

— Полагаю, что деликатность мешает вам понять меня, — сказал доктор Кеннеди. — Ра-ди общества можно молчаливо пренебрегать некоторыми обстоятельствами, но вы заходите слишком далеко.

— Скажите, пожалуйста, чем же я пренебре-гаю?

Доктор Кеннеди был рассержен. Выпитый им виски с содовой не мог бы так окрасить его щеки таким густым румянцем. Он ответил:

— Сыном вашего отца.

— Что вы этим хотите сказать?

— Черт возьми, не можете же вы настаивать на более ясном объяснении. Что же, ладно, если вы хотите: сыном Айзека Форда. Джо Гарлендом…

вашим братом.

Персиваль Форд не пошевельнулся. Казалось, он был поражен и раздосадован. Кеннеди с любопытством глядел на него. Медленно тянулись минуты; кончилось тем, что доктор смутился и испугался.

— Боже мой! — воскликнул он. — Не хотите же вы мне сказать, что не знали об этом?

Словно в ответ на его слова щеки Персиваля Форда приняли землистую окраску.

— Это страшная шутка, — сказал он. — Страшная шутка.

Доктор взял себя в руки.

— Всем это известно, — сказал он. — Я думал, что и вы знаете. А если нет, то пора вам знать, и я рад, что представился случай раскрыть вам глаза. Джо Гарленд и вы — братья, единокровные братья.

— Ложь! — крикнул Форд. — Вы заблуждаетесь. Мать Джо Гарленда — Элиза Кунильо. (Доктор Кеннеди кивнул.) Я прекрасно ее помню. У нее был утиный садок и участок земли, засаженный таро. Его отец — Джозеф Гарленд, здешний колонист. (Доктор Кеннеди отрицательно покачал головой.) Он умер всего два-три года назад. Частенько напивался. Этим объясняется

распущенность Джо. Вот вам и пример наследственности.

— И никто вам не сказал об этом? — помолчав, произнес удивленный Кеннеди.

— Доктор Кеннеди, ваше заявление ужасно. Я не могу его пропустить мимо ушей. Вы должны привести мне доказательства или… или…

— Убедитесь сами. Повернитесь и поглядите на него. Вы видите его в профиль. Посмотрите на его нос. Это нос Айзека Форда. А ваш нос является более слабой копией. Так. Смотрите все. Черты все налицо, только очерчены резче.

Персиваль Форд смотрел на канакского полукровку, игравшего под деревом хау, и ему казалось, что он смотрит на призрак самого себя. Черта за чертой вырисовывали несомненное сходство. Или, вернее, он сам был призраком того, другого — мускулистого, крепко сложенного человека. И его лицо, и лицо того человека напоминали Айзека Форда. И никто ему не сказал! Он знал каждую черточку, каждую линию лица Айзека Форда. Мысленно он представлял себе все миниатюры, портреты, фотографии отца и снова улавливал в лице игравшего под деревом человека то отчетливое, то смутно намечавшееся сходство. Лишь дьявол мог воспроизвести

суровые черты Айзека Форда на распутном и чувственном лице музыканта. Один раз тот обернулся, и на секунду Персивалю Форду почудилось, что вместо Джо Гарленда он видит перед собой своего покойного отца — Айзека Форда.

— Это пустяки, — с трудом расслышал он голос Кеннеди. — В былые годы здесь все было перемешано. Сами знаете. Вам всю жизнь приходилось это наблюдать. Моряки женились на королевах и производили на свет принцесс. Это было обычным явлением на островах.

— Да, но мой отец… — перебил Персиваль Форд.

— Вы опять за свое. — Кеннеди пожал плечами. — Космическая тяга и жизненный угар. Старый Айзек Форд был суров, и никаких объяснений я не знаю, а он знал и того меньше и понимал не лучше, чем понимаете вы. Угар жизни — вот и все. И помните одно, Форд: в старом Айзеке Форде была капля горячей крови, и Джо Гарленд унаследовал ее весь целиком — унаследовал и жизненный угар, и космическую тягу, тогда как вам досталась аскетическая кровь старого Айзека. И вы не можете злиться на Джо Гарленда только потому, что вы холодны, умеренны и дисциплинированны. Если Джо Гарленд разрушает

дело ваших рук, помните — это лишь Айзек Форд, одной рукой стирающий то, что создает другой. Скажем, вы — правая рука Айзека Форда, а Джо Гарленд — его левая рука.

Персиваль Форд ничего не ответил, и доктор Кеннеди молча допил виски с содовой. Издали донесся настойчивый гудок автомобиля.

— Вот и автомобиль, — сказал, вставая, доктор Кеннеди. — Пора в путь. Мне жаль, что я расстроил вас, и в то же время я этому рад. Не забудьте одного: капля горячей крови Айзека Форда была удивительно мала, и Джо Гарленд унаследовал ее целиком. И помните: если левая рука отца вас оскорбляет, не отсекайте ее. К тому же Джо — славный парень. Откровенно говоря, если бы я должен был выбирать себе для жизни на необитаемом острове вас или его, мой выбор пал бы на Джо.

Дети с голыми ножками играли и бегали вокруг, но Персиваль Форд не видел их. Он смотрел лишь на певца, сидевшего под деревом хау. Он даже пересел ближе. Мимо прошел, прихрамывая и волоча от старости ноги, один из местных клерков. Сорок лет он прожил на островах. Персиваль Форд подозвал его, и клерк почтительно приблизился, удивляясь, что Персиваль Форд

обратил на него внимание.

— Джон, — сказал Форд, — я хочу получить от вас кое-какие сведения. Присядьте.

Клерк неловко опустился на стул, ошеломленный столь неожиданной честью. Мигая, он глядел на Форда и бормотал:

— Да, сэр. Благодарю вас.

— Джон, кто такой Джо Гарленд?

Клерк вытаращил глаза, моргнул, откашлялся и ничего не сказал.

— Говорите, — приказал Персиваль Форд. — Кто он такой?

— Вы смеетесь надо мной, сэр, — с трудом выговорил тот.

— Я говорю совершенно серьезно.

Клерк отодвинулся от него подальше.

— Да неужели вы не знаете? — спросил он, и в этом вопросе уже был ответ.

— Я хочу знать.

— Как, да ведь он… — Джон запнулся и беспомощно огляделся по сторонам. — Не лучше ли вам спросить кого-нибудь другого? Все думали, что вы знаете. Мы всегда думали…

— Да продолжайте!

— Мы всегда думали, что вы потому и невзлюбили его.

Фотографии и миниатюры Айзека Форда теснились в мозгу его сына, а призраки его, казалось, кружились в воздухе.

— Спокойной ночи, сэр, — расслышал он голос клерка, и старик заковылял прочь.

— Джон! — отрывисто крикнул Форд.

Джон вернулся и остановился подле него, моргая и нервно облизывая губы.

— А ведь вы мне еще ничего не сказали.

— О Джо Гарленде?

— Да, о Джо Гарленде. Кто он такой?

— Не прогневайтесь, сэр, он — ваш брат.

— Благодарю вас, Джон. Спокойной ночи.

— А вы не знали? — осведомился старик; теперь, когда самое страшное осталось позади, он не прочь был помешкать.

— Благодарю вас, Джон. Спокойной ночи, — раздалось в ответ.

— Да, сэр. Благодарю вас, сэр. Как будто похоже на дождь. Спокойной ночи, сэр.

С чистого неба, усеянного звездами и залитого лунным светом, падал дождь такой мелкий и редкий, что скорее походил на пар. Никто не обращал на него внимания; дети по-прежнему играли, бегали по траве, прыгали по песку. Через несколько минут дождь прекратился. На юго-во-

стоке на фоне звезд черным пятном вырисовался резко очерченный силуэт Даймонд-Хед — горы, по форме своей напоминавшей кратер. Сонный прибой периодически перебрасывал пену через песок на траву, а вдали виднелись черные точки — пловцы, купающиеся при лунном свете. Замерли голоса певцов, напевавших вальс, и в тишине откуда-то из-за деревьев донесся смех женщины, прозвучавший словно зов любви. Персиваль Форд вздрогнул и вспомнил слова доктора Кеннеди. Внизу, возле вытащенных на песок лодок, лежали в томных позах пожирателей лотоса канаки; женщины были в белых холоку, а на плече одной из них покоилась темная голова лодочника. Вдали, там, где песчаная полоса расширялась при входе в лагуну, показались шедшие рядом мужчина и женщина. Когда они приблизились к освещенной террасе, он увидел, как рука женщины отстранила руку, обвившую ее талию. Они поровнялись с ним, и Персиваль Форд поклонился знакомому капитану и дочери майора. Угар жизни — вот в чем было дело; эта формула охватывала всех. И снова под альгаробовыми деревьями прозвучал смех женщины — зов любви. Няня-японка провела мимо стула Форда малыша с голыми ножками, ворча и уговаривая

его идти домой спать. Голоса певцов мягко и нежно затянули гавайскую любовную песню, а офицеры и женщины, сплетая руки, скользили и кружились на террасе. И снова рассмеялась женщина под альгаробовыми деревьями.

А Персиваль Форд все это осуждал. Его раздражал тихий любовный смех женщины; голова лодочника, покоившаяся на белой холоку; гулявшие парочки, отплясывавшие офицеры и женщины; голоса певцов, певших о любви, и его брат, распевавший вместе с ними там, под деревом хау. Больше всего досаждала ему смеющаяся женщина. Мысли его приняли любопытный уклон. Он был сыном Айзека Форда, и то, что случилось с Айзеком Фордом, могло случиться и с ним. Слабый румянец окрасил его щеки, и он почувствовал острые уколы стыда. Он был устрашен тем, что обнаружил в своей крови. Казалось, он внезапно узнал, что его отец был прокаженным и его собственная кровь отравлена этой ужасной болезнью. Айзек Форд, суровый воин Господень, — старый лицемер! В чем заключается разница между ним и любым поселенцем?

Храм гордыни, воздвигнутый Персивалем Фордом, рушился на его глазах.

Время шло, военные смеялись и танцевали,

туземный оркестр продолжал играть, а Персиваль Форд мучительно бился над неожиданной ошеломляющей проблемой, придавившей его. Он тихо молился, опершись локтем о стол, а голову склонив на руки, словно усталый зритель. В промежутках между танцами военные, женщины и штатские подходили к нему с условно любезными фразами, а когда они возвращались на террасу, он поднимал оборванную нить размышлений.

Он начал «склеивать» разбитый идеал Айзека Форда, а цементом ему служила хитрая и тонкая логика. Такого рода цемент изготовляется в мозговых лабораториях эгоистов, и в данном случае он сослужил службу. Несомненно, Айзек Форд был создан из иного, лучшего материала, чем те, кто его окружал; но все же старый Айзек находился в процессе развития, тогда как он, Персиваль Форд, этот процесс завершил. И в доказательство сего он реабилитировал своего отца и в то же время превознес себя. Его жалкое маленькое «я» выросло до колоссальных размеров. Он был достаточно велик, чтобы простить. Он весь пылал при этой мысли. Айзек Форд был велик, но он, Персиваль, возвышается над своим отцом, ибо может простить Айзека Форда и даже вернуть

ему место в святая святых своей памяти, хотя это место уже не столь свято, как раньше. И он хвалил Айзека Форда за то, что тот игнорировал последствия своего единственного отклонения с прямого пути. Отлично! Он, Персиваль Форд, также будет это игнорировать.

Танцы прекратились. Музыканты перестали играть «Алоха Оэ» и стали расходиться по домам. Персиваль Форд хлопнул в ладоши, подзывая слугу-японца.

— Скажи этому человеку, что я желаю его видеть, — сказал он, указывая на Джо Гарленда. — Пусть он сейчас же сюда придет.

Джо Гарленд подошел и почтительно остановился в нескольких шагах, нервно теребя гитару. Персиваль Форд не предложил ему сесть.

— Вы — мой брат, — сказал он.

— Да ведь все это знают, — с недоумением отозвался тот.

— Да, так мне сообщили, — сухо заявил Персиваль Форд. — Но до сегодняшнего вечера я этого не знал.

Последовало молчание. Единокровный брат ждал, чувствуя себя очень неловко, а Персиваль Форд хладнокровно обдумывал следующую свою фразу.

— Помните, как я в первый раз пришел в школу и мальчишки окунули меня в бассейн? — спросил он. — Почему вы за меня заступились?

Брат смущенно улыбнулся.

— Потому что вы знали?

— Да, поэтому.

— Но я не знал, — тем же сухим тоном произнес Персиваль Форд.

— Да, — отозвался тот.

И снова наступило молчание. Слуги начали тушить огни на террасе.

— Теперь… вы знаете, — просто сказал брат.

Персиваль Форд нахмурился. Затем задумчиво на него посмотрел.

— Сколько вы возьмете за то, чтобы уехать с островов и никогда сюда не возвращаться? — спросил он.

— И никогда не возвращаться? — запинаясь, выговорил Джо Гарленд. — Я только и знаю, что острова. В других странах холодно, и я их не знаю. Здесь у меня много друзей. В другой стране ни один человек не скажет мне: «Алоха, Джо, дружище!»

— Я сказал: никогда не возвращаться, — повторил Персиваль Форд. — «Аламеда» отходит завтра в Сан-Франциско.

Джо Гарленд был сбит с толку.

— Но зачем же это? — спросил он. — Ведь вы теперь знаете, что мы братья.

— Как раз поэтому, — последовал ответ. — Как вы сами сказали, все это знают. Поверьте, что вам не придется раскаиваться в своем согласии.

Джо Гарленд позабыл о своей неловкости и смущении. Разница в происхождении и положении стерлась.

— Вы хотите, чтобы я уехал? — спросил он.

— Я хочу, чтобы вы уехали и никогда не возвращались, — ответил Персиваль Форд.

И на одно молниеносное мгновение ему дано было увидеть своего брата возвышающимся над ним, словно гора, а себя самого он увидел съежившимся и уменьшившимся до микроскопических размеров. Но не годится человеку видеть себя в истинном свете, и невозможно глядеть на себя и долго остаться в живых. Лишь на одно молниеносное мгновение увидел Персиваль Форд подлинное лицо свое и своего брата. Через секунду жалкое и ненасытное его «я» одержало верх.

— Как я уже сказал, раскаиваться вам не придется. Вы не пострадаете. Я хорошо вам заплачу.

— Ладно, — сказал Джо Гарленд. — Я уеду.

Он повернулся и отошел.

— Джо! — окликнул его тот. — Завтра утром зайдите к моему поверенному. Пятьсот вы получите на руки, и ежемесячно вам будут высылать двести.

— Вы очень добры, — мягко ответил Джо Гарленд. — Слишком добры. Но, пожалуй, денег ваших мне не нужно. Завтра я еду на «Аламеде».

Он ушел, не попрощавшись.

Персиваль Форд хлопнул в ладоши.

— Бой, — сказал он японцу, — лимонаду!

И, сидя над стаканом лимонада, он улыбался долго и самодовольно.

— Потому что мы больны, они лишают нас свободы. Мы повиновались законам. Мы ничего дурного не сделали. И все-таки они хотят посадить нас в тюрьму. Молокаи — тюрьма. Вам это известно. Вы видите Ниули? Семь лет назад его сестру услали на Молокаи. С тех пор он ее не видел. И не увидит. Она должна оставаться там до самой смерти. Не по своей воле. И не по воле Ниули. А по воле белых, которые управляют страной. Но кто они — эти белые?

Мы знаем. Знаем от наших отцов и дедов. Они пришли сюда, кроткие, как овечки, и повели ласковые речи. Да, им приходилось говорить ласковые слова, ибо мы были многочисленны и сильны, и все острова принадлежали нам. Как я сказал, они пришли с ласковыми речами. Сами же они делились. Одни просили у нас разрешения, милостивого разрешения проповедовать слово Божие. Другие просили разрешения, милостивого разрешения торговать с нами. С этого началось. Теперь все острова принадлежат им, вся земля, весь скот — все принадлежит им. Те, что проповедовали слово Божие, и те, что

проповедовали ром, объединились и сделались великими вождями. Они, словно короли, живут в домах со многими комнатами, и за ними ухаживают толпы слуг. Тот, у кого не было ничего, получил все, и если вы, или я, или любой канак голодает, они издеваются и говорят: «Что ж ты не работаешь? Ступай на плантации».

Кулау умолк. Он поднял руку с узловатыми, скрюченными пальцами и снял огненный венок гибиска, украшавший его черные волосы. Все вокруг купалось в серебристом лунном свете. То была ночь мира, но те, что сидели и слушали Кулау, напоминали калек, вернувшихся с поля битвы. Их лица напоминали львиные морды. У одного вместо носа зияла дыра, у другого сгнившая рука превратилась в обрубок. Их было тридцать человек — мужчин и женщин, находившихся за чертой жизни, ибо на всех лежала печать зверя.

Они сидели, увитые гирляндами цветов, окутанные ароматами лучезарной ночи, а с губ их срывались старые, хриплые звуки, выражающие одобрение словам Кулау. Эти создания некогда были мужчинами и женщинами. Теперь они были уже не люди. То были чудовища; их лица и фигуры казались страшной карикатурой на

человека. Они были отвратительно искалечены и обезображены, словно в течение многих тысячелетий их терзали в аду. Их руки, если таковые имелись, походили на когти гарпий; лица, как будто неудавшиеся и недоделанные, были сплюснуты и раздавлены каким-то безумным богом, играющим с машиной жизни. На многих лицах безумный бог наполовину стер отдельные черты, а у одной женщины горючие слезы лились из двух ужасных дыр, где некогда были глаза. Кое-кто стонал от боли, иные кашляли, и этот кашель напоминал звук разрываемой ткани. Тут были два идиота, похожие на огромных изуродованных обезьян, и по сравнению с ними обезьяна показалась бы ангелом. Залитые лунным светом, увенчанные ниспадающими золотистыми цветами, они гримасничали и лопотали что-то невнятное. Один из них, с раздувшейся мочкой уха, веером спускающейся к его плечу, сорвал пышный оранжево-красный цветок и украсил им свое чудовищное ухо, болтавшееся при каждом его движении.

И этими существами правил Кулау. То было его царство — это ущелье, задушенное цветами, с нависшими утесами и скалами, откуда доносилось блеяние диких коз. С трех сторон вздымались

мрачные стены, причудливо задрапированные тропической зеленью, прорезанные входами в пещеры, — скалистые логовища подданных Кулау. С четвертой стороны земля осыпалась, открывая чудовищную пропасть, и там, внизу, виднелись вершины меньших скал и утесов, а у подножия их пенился и грохотал прибой. В хорошую погоду лодка могла пристать к скалистому берегу у входа в долину Калалау, но только в хорошую погоду. А смелый горец мог с берега пробраться в долину Калалау — это ущелье, окруженное скалами, где правил Кулау. Но такой горец нуждается в большом хладнокровии и умении различать тропы диких коз. Удивительно, как удалось кучке жалких и беспомощных калек, составлявших народ Кулау, пробраться по головокружительным козьим тропам в это неприступное ущелье.

— Братья! — заговорил Кулау.

Но один из гримасничавших обезьяноподобных ублюдков испустил дикий вопль безумия, и Кулау ждал, пока пронзительный хохот метался среди скалистых стен и дальним эхом прорезал немую ночь.

— Братья, не стыдно ли это? Земля была наша, а теперь, смотрите, она не наша. Что дали нам за землю эти проповедники слова Божия и ро-

ма? Получил ли кто-нибудь из вас хотя бы один доллар? Однако земля принадлежит теперь им, и они говорят, чтобы мы шли и работали на их земле, а плоды наших трудов достанутся им. А ведь в былые годы работать нам не приходилось. И теперь, когда мы больны, они отнимают у нас свободу.

— Кто занес сюда болезнь, Кулау? — спросил Килолиана, тощий жилистый человек с лицом смеющегося фавна. Казалось, у него, как у фавна, должны быть раздвоенные копыта; и действительно, ступни его ног были раздвоены от страшных язв и багровых нагноений. Однако этот самый Килолиана был первым ползуном по скалам; зная все козьи тропы, он привел Кулау и его жалких подданных в ущелье Калалау.

— Славный вопрос, — сказал Кулау. — Мы не хотели работать на сахарных плантациях, где некогда пасли своих лошадей, и тогда они привезли из-за морей китайских рабов. А с ними пришла китайская болезнь — та самая, которой мы теперь больны. Из-за нее они хотят посадить вас в тюрьму на Молокаи. Мы родились на Кауаи. Мы посещали и другие острова — Оаху, Мауи, Гавайи, Гонолулу. Но всегда мы возвращались на Кауаи. А почему мы возвращались? Должна же

быть причина. Потому, что мы любим Кауаи. Мы здесь родились. Здесь жили. И здесь мы умрем… если… если среди нас нет малодушных. Они нам не нужны. Им место на Молокаи. И если есть среди нас такие, пусть они уйдут. Завтра солдаты высадятся на берег. Пусть малодушные спустятся к ним. Их немедленно переправят на Молокаи. Мы же останемся и будем сражаться. Но знайте, что мы не умрем. У нас есть ружья. Вы помните узкие тропинки, где людям приходится ползти гуськом. Я, Кулау, некогда бывший ковбоем на Ниихау, один против тысячи сумею защитить эту тропу. С нами Капалеи, когда-то он был судьей и все его почитали, а теперь он — затравленная крыса, как и мы с вами. Слушайте его. Он мудр!

Капалеи встал. Некогда он был судьей. Окончил колледж в Пунахоу. Обедал с лордами, начальниками и знатными представителями иностранных держав, защищавшими интересы торговцев и миссионеров. Таков был некогда Капалеи. Но теперь, по словам Кулау, он был затравленной крысой, существом вне закона, погрязшим в тине человеческого ужаса так глубоко, что стоял не только ниже, но и выше закона. Черты его лица были стерты, зияли лишь глазные впадины да глаза без век горели из-под облезших бровей.

— Не будем поднимать смуту, — заговорил он. — Мы просим оставить нас в покое. Если же они нас в покое не оставят, значит, смуту заводят они, и за это их постигнет кара. Пальцев у меня, как видите, нет. — Он поднял обрубки рук, чтобы всем было видно. — Однако сустав одного большого пальца уцелел и может взводить курок не хуже, чем делал это в былые дни его сгнивший сосед. Мы любим Кауаи. И будем жить здесь или умрем, но не допустим, чтобы нас отослали в тюрьму Молокаи. Болезнь не наша. Мы не согрешили. Те, что проповедовали слово Божие и ром, привезли сюда эту болезнь вместе с кули-рабами, которые обрабатывают краденую землю. Я был судьей. Я знаю законы и правосудие и говорю вам: нечестно красть у человека землю, заражать его китайской болезнью, а затем на всю жизнь сажать в тюрьму.

— Жизнь коротка, а дни исполнены страданиями, — сказал Кулау. — Давайте же пить, плясать и будем счастливы по мере сил.

Из скалистого логовища притащили тыквенные бутылки и пустили вкруговую. Бутылки были наполнены жгучей настойкой корня растения ти; и когда жидкий огонь пробежал по жилам и проник в мозг, прокаженные позабыли

о том, что лишь некогда были мужчинами и женщинами: теперь они снова превратились в людей. Женщина, у которой горячие слезы лились из глазных впадин, снова стала трепещущей жизнью женщиной: пощипывая струны гитары, она затянула варварскую любовную песню, — казалось, эта песня неслась из темной лесной чащи первобытного мира. Воздух трепетал от ее голоса — мягкого, властного, манящего. На циновке, под ритм женского пения, плясал Килолиана. Да, ошибки быть не могло: то был танец любви. Рядом с ним на циновке плясала женщина с крутыми бедрами и пышной грудью, лживо противоречившими ее лицу, обезображенному болезнью. Это был танец живых мертвецов, ибо в их разлагающихся телах жизнь еще томилась и любила. А женщина с вытекшими, источающими слезы глазами все пела свою любовную песнь; в теплой ночи не прекращалась любовная пляска, и тыквенные бутылки ходили по рукам, пока не закопошились в мозгу людей черви воспоминаний и желаний. И вместе с женщиной плясала на циновке стройная девушка с прекрасным, не обезображенным лицом, но ее плавно поднимающиеся руки были скрючены и заклеймены печатью болезни. А два идиота, что-то лопоча и

издавая странные звуки, танцевали в сторонке, жутко, фантастически пародируя любовь, и сами — пародия на человека.

Внезапно оборвалась любовная песня женщины, опустились тыквенные бутылки, прекратилась пляска, и все посмотрели вниз, в пропасть над морем, где, прорезая залитый лунным светом воздух, вспыхнула ракета.

— Это солдаты, — сказал Кулау. — Завтра будет бой. Нужно выспаться и быть наготове.

Прокаженные повиновались и уползли в свои логовища в скале. Остался один Кулау. Он сидел неподвижно в лунном сиянии, держа на коленях ружье, и глядел вниз — туда, где лодки приставали к берегу.

Далекая вершина долины Калалау была удачным убежищем. За исключением Килолиана, который знал заднюю тропу, ведущую вверх по отвесным скалам, ни один человек не мог добраться до ущелья, не миновав узкого, как лезвие ножа, хребта. Этот проход тянулся на сто ярдов в длину, а в ширину едва достигал двенадцати дюймов. По обе стороны его зияла пропасть. Стоило поскользнуться — и человек летел направо или налево, навстречу смерти. Но, пройдя благополучно по хребту, он вступал в земной рай.

Ущелье словно купалось в зеленой растительности, перекидывающей свои зеленые волны со скалы на скалу, длинными лозами ниспадающей с каменных стен и разбрасывающей брызги папоротника по многочисленным расщелинам. В течение многих месяцев правления Кулау он и его подданные сражались с этим морем растений и оттеснили пышно цветущие джунгли, мешавшие раньше росту диких бананов, апельсинных и манговых деревьев. На маленьких просеках рос дикий арроурут[59]; на каменных террасах, покрытых тонким слоем плодородной почвы, виднелись участки, поросшие таро и дынями; а там, куда проникал солнечный луч, росли деревья папайя, обремененные плодами.

Кулау загнали в это убежище с нижней долины у берега. А если бы его стали теснить и отсюда, он знал ущелья, скрытые среди надвигающихся друг на друга скал внутренней крепости, куда он мог уйти со своими подданными и где можно было прожить. Теперь он лежал, держа под рукой ружье, и сквозь спутанную завесу листвы глядел на солдат, копошившихся на берегу. Он заметил, что с ними были большие пушки, словно

---

[59] Примечания: 59
Арроурут — тропическое растение, индийский крахмал.

зеркала, отражавшие солнечные лучи. Острый, как лезвие ножа, проход тянулся как раз перед ним. Он разглядел крохотные точки — людей, карабкавшихся вверх по тропе. Он знал, что это были пока не солдаты, а полицейские.

Скрюченной рукой он любовно провел по дулу ружья и убедился, что оно вычищено. Стрелять он научился еще на острове Ниихау, когда охотился за диким скотом и там еще не угасла его слава меткого стрелка. По мере того как приближались и росли крохотные фигурки карабкающихся людей, он определял расстояние с поправкой на ветер, дувший под прямым углом к линии полета пули, учитывал возможность промаха по мишени, находившейся гораздо ниже его уровня. Но не стрелял! Лишь когда они подошли к началу прохода, он дал знать о своем присутствии. Скрываясь за кустами, он заговорил.

— Что вам нужно? — спросил он.

— Мы ищем Кулау-прокаженного, — ответил голубоглазый американец, который вел туземцев-полицейских.

— Ступайте назад, — сказал Кулау.

Он знал этого человека, выборного шерифа, который вытеснил его из Ниихау на остров Кауаи, загнал в долину Калалау и дальше, в это ущелье.

— Кто ты такой? — спросил шериф.

— Я — Кулау-прокаженный, — раздался ответ.

— Выходи. Тебя-то нам и нужно, живого или мертвого. Твоя голова оценена в тысячу долларов. Тебе не спастись.

Кулау громко захохотал в кустах.

— Выходи! — скомандовал шериф.

Ответом ему было молчание.

Он посоветовался с полицейскими, и Кулау понял, что они готовятся к атаке.

— Кулау, — крикнул шериф, — Кулау, я перейду по этому хребту и доберусь до тебя.

— Раньше оглядись хорошенько по сторонам; посмотри на солнце, море и небо, ибо ты видишь их в последний раз.

— Ладно, ладно, Кулау, — успокоительным тоном заговорил шериф. — Я знаю, ты меткий стрелок. Но в меня ты стрелять не будешь. Я никогда не причинял тебе вреда.

Кулау проворчал что-то в кустах.

— Послушай, разве я причинял тебе когда-нибудь вред? — настаивал шериф.

— Ты причиняешь мне вред, когда стараешься засадить меня в тюрьму, — последовал ответ. — И когда охотишься за моей головой, чтобы получить тысячу долларов. Если жизнь тебе дорога,

ни шагу дальше.

— Я должен войти в ущелье и забрать тебя. Как ни печально, но это мой долг.

— Ты умрешь раньше, чем доберешься до ущелья.

Шериф был не трус, но все же колебался. Заглянул в пропасть по обеим сторонам, смерил взглядом острый хребет, по которому ему предстояло пройти. Затем принял решение.

— Кулау! — крикнул он.

Но кустарник безмолвствовал.

— Кулау, не стреляй! Я иду.

Шериф повернулся, отдал какие-то распоряжения полицейским, затем вступил на опасную тропу. Он продвигался медленно, словно шагал по натянутому канату. Опорой ему служил только воздух. Окаменевшая лава осыпалась под его ногами, и отломавшиеся куски скатывались по обе стороны в бездну. Солнце жгло, и пот струился по его лицу. Все же он продвигался вперед и прошел половину пути.

— Стой — скомандовал из-за кустов Кулау. — Еще один шаг — и я стреляю.

Шериф остановился и, чтобы не потерять равновесия, раскачивался над бездной. Лицо его было бледно, но взгляд решительный. Он облизал

сухие губы, потом заговорил:

— Кулау, ты не пристрелишь меня. Знаю, что не пристрелишь.

И снова тронулся в путь. Пуля заставила его описать полукруг. Лицо у него было жалкое и удивленное, когда он кружился, теряя равновесие. Он попытался спастись и лег поперек узкого хребта, но в этот момент познал смерть. Еще секунда — и «лезвие ножа» опустело. Тогда пять полицейских, превосходно сохраняя равновесие, гуськом побежали по проходу. И в то же мгновение остальные открыли огонь по зарослям кустарника. То было безумие. Пять раз Кулау спускал курок с такой быстротой, что выстрелы его сливались в сплошную трескотню. Меняя положение и припадая к земле под пулями, со свистом прорывающими листву, Кулау выглянул из-за кустов. Четверо последовали за шерифом. Пятый, еще живой, лежал поперек прохода. На противоположной стороне, уже не стреляя, стояли оставшиеся в живых. На голой скале им не на что было надеяться. Кулау мог пристрелить их всех, пока они будут спускаться вниз. Но Кулау не стрелял, и после краткого совещания один из полицейских снял с себя белую рубаху и замахал ею, словно флагом. В сопровождении товари-

ща он добрался до раненого. Кулау, не подавая признаков жизни, следил, как они медленно отступали и, спустившись наконец в нижнюю долину, превратились в крохотные точки.

Два часа спустя из-за другого кустарника Кулау следил, как отряд полицейских пытался подняться с противоположной стороны равнины. Дикие козы разбегались, по мере того как те поднимались все выше и выше, и наконец Кулау, усомнившись в своих расчетах, послал за Килолианой. Тот подполз к нему.

— Там нет пути, — сказал Килолиана.

— А козы? — спросил Кулау.

— Козы приходят из соседней долины, но сюда пробраться не могут. Там нет дороги. Эти люди не умнее коз. Они упадут и разобьются насмерть. Будем наблюдать за ними.

— Они — храбрые люди, — сказал Кулау. — Будем наблюдать.

В ярком свете тропического утра они лежали бок о бок, а желтые цветы хау падали на них сверху. Они следили за маленькими людьми, с трудом карабкавшимися вверх, пока не случилось то, что должно было случиться: трое поскользнулись, скатились со скалы и с высоты пятисот футов полетели в бездну. Килолиана хихикнул.

— Больше не будут нам надоедать, — сказал он.

— У них есть пушки, — ответил Кулау. — Солдаты еще не принялись за работу.

После полудня большинство прокаженных отдыхало в скалистых логовищах. Кулау, держа на коленях вычищенное и заряженное ружье, дремал у входа в свою пещеру. Девушка со скрюченными руками лежала в кустарнике, на страже у острого, как лезвие ножа, хребта. Вдруг Кулау вздрогнул и проснулся: его разбудил взрыв на берегу. Через секунду воздух заколебался. Страшный шум испугал Кулау. Казалось, боги, ухватившись руками за небосвод, раздирали его пополам, как раздирает женщина полотнище бумажной ткани. Звуки нарастали, близились. Кулау боязливо поглядел на небо, словно ожидая там что-то увидеть. Затем высоко на скале разорвался снаряд фонтаном черного дыма. Скала была раздроблена, и обломки упали к подножию.

Кулау отер рукой потный лоб. Он был страшно потрясен. О гранатах он не имел ни малейшего представления, и ужас этого обстрела превзошел все его ожидания.

— Раз, — сказал Капалеи, внезапно вздумавший

вести счет гранатам.

Второй и третий снаряды визжа перелетели через каменную стену и разорвались за ней. Капалеи методично считал. Прокаженные столпились на площадке перед пещерами. Сначала они испугались, но снаряды по-прежнему пролетали над их головами, и народ Кулау успокоился и стал любоваться любопытным зрелищем. Два идиота взвизгивали от восторга и делали нелепые прыжки всякий раз, как снаряд, рассекая воздух, пролетал мимо. Кулау вернул утраченное равновесие. Никаких повреждений нанесено не было. Видимо, на таком большом расстоянии солдаты не могли стрелять из пушек так же метко, как из ружей.

Но вскоре положение изменилось. Снаряды начали падать ближе. Один разорвался в кустарнике неподалеку от узкого прохода. Кулау, вспомнив о девушке, караулившей у входа в ущелье, побежал вниз взглянуть на нее. Когда он подполз к тому месту, дым все еще поднимался над кустами. Кулау был поражен. Кругом валялись расщепленные, поломанные ветки. Там, где раньше лежала девушка, образовалась яма. От девушки остались одни клочья. Граната разорвалась как раз над ней.

Кулау высунул голову из-за кустов и, убедившись, что солдаты не пытаются пройти в ущелье, бегом пустился к пещерам. Все время стонали и визжали гранаты, и грохочущее эхо отзывалось на взрывы. Приблизившись к пещерам, он увидел двух идиотов, которые кружились и подпрыгивали, уцепившись друг за друга обрубками пальцев. И пока он бежал, клубы черного дыма поднялись с земли неподалеку от идиотов. Взрыв отшвырнул их друг от друга. Один лежал неподвижно, другой ползком, перебирая руками, потащился к пещере. Ноги беспомощно волочились за ним, а кровь текла ручьем. Он словно выкупался в крови, но продолжал ползти, завывая, как собачонка. Остальные прокаженные, за исключением Капалеи, скрылись в пещерах.

— Семнадцать, — сказал Капалеи. И затем добавил: — Восемнадцать.

Эта последняя граната влетела прямо в одну из пещер. После взрыва все пещеры опустели, но из той, куда попал снаряд, никто не вышел. Кулау прополз туда сквозь удушливый едкий дым и увидел четыре страшно изуродованных трупа. Один из них был труп слепой женщины, до сей поры не переставшей лить слезы.

Выбравшись наружу, Кулау увидел, что его на-

род охвачен паникой. Прокаженные уже начали взбираться вверх по козьей тропе, которая вела прочь из ущелья, к нагроможденным друг на друга скалам и зияющим безднам. Раненый идиот, слабо повизгивая, тащился на руках, стараясь не отстать от товарищей. Но на первом же подъеме он беспомощно скатился вниз.

— Лучше его прикончить, — сказал Кулау, обращаясь к Капалеи, который не сдвинулся с места.

— Двадцать два, — ответил Капалеи. — Да, разумнее всего будет его прикончить. Двадцать три… Двадцать четыре…

Идиот пронзительно взвизгнул, когда увидел направленное на него ружье. Кулау заколебался, затем опустил ружье.

— Нелегкое это дело, — сказал он.

— Ты дурак, — отозвался Капалеи. — Двадцать шесть, двадцать семь. Вот я тебе покажу.

Он встал и, подняв тяжелый обломок скалы, подошел к раненому. В тот момент, когда он занес руку, над ним разорвалась граната. Избавив его от необходимости действовать, она вместе с тем положила конец его подсчетам.

Кулау один остался в ущелье. Он смотрел, как последние его подданные ползли по тропе и, перетащив свои искалеченные тела через горный

хребет, исчезли из виду. Потом он повернулся и спустился к кустарнику, где была убита девушка. Обстрел продолжался, но Кулау не уходил, ибо видел, что солдаты начали карабкаться наверх. Граната разорвалась на расстоянии двадцати футов. Припав к земле, он слышал шум падающих осколков. Дождем посыпались на него цветы хау. Он поднял голову, поглядел вниз и вздохнул. Он был сильно испуган. Ружейные пули не смутили бы его, но снаряды показались ужасными. Всякий раз, когда с визгом пролетала граната, он вздрагивал и припадал к земле и все же снова поднимал голову, чтобы поглядеть на тропу.

Наконец обстрел прекратился. Кулау объяснял это тем, что солдаты приближались. Они ползли гуськом по тропе, а он попробовал пересчитать их, пока не сбился со счета. Во всяком случае, их было около сотни и все они пришли за ним — за Кулау-прокаженным. На секунду он почувствовал гордость. Солдаты и полицейские шли на него с ружьями и пушками, а он — один, и к тому же жалкий калека. За него, живого или мертвого, обещали тысячу долларов. Никогда не было у него столько денег. Он подумал об этом с горечью… Капалеи был прав. Он, Кулау, ничего плохого не делал. Белокожие нуждались в ра-

бочих руках, которые возделывали бы для них краденую землю; для этого привезли они китайских кули, а с ними пришла болезнь. И теперь, когда он заразился, его оценили в тысячу долларов. Оценили не его самого, а ничего не стоящее его тело, изъеденное болезнью или растерзанное разорвавшейся гранатой.

Когда солдаты подошли к узкому проходу, ему захотелось предупредить их об опасности, но тут взгляд упал на тело убитой девушки, и он промолчал. Когда шесть человек вступили на «лезвие ножа», он открыл огонь и не прекращал стрельбы, пока тропинка не опустела. Расстрелял все заряды, зарядил ружье и опять стрелял. Все перенесенные им обиды жгли его мозг, и он отдался бешенству мщения. Внизу, на козьей тропе, солдаты стреляли в него, и хотя они лежали плашмя, стараясь укрыться за неровностями почвы, но для Кулау являлись прекрасной мишенью. Пули жужжали вокруг и свистели, отскакивая рикошетом. Одна оцарапала ему голову, другая, не разорвав кожи, обожгла плечо.

То была бойня, а убивал один человек. Солдаты начали отступать, унося с собой раненых. Кулау, не прекращая обстрела, внезапно почувствовал запах горелого мяса. Сначала он огляделся во-

круг, потом обнаружил, что нагревшееся ружье припалило ему руки. Проказа уничтожила в них большую часть нервов. Хотя мясо горело и чувствовался запах, но боли он не ощущал.

Улыбаясь, лежал он в кустах, затем вспомнил о пушках. Несомненно, они снова откроют по нему огонь, а мишенью им будет служить тот самый кустарник, откуда он стрелял. Едва успел он перебраться в уголок за небольшим выступом скалы, куда — он это заметил — еще не попадали снаряды, как бомбардировка возобновилась. Он начал считать снаряды. В ущелье пущено было еще шестьдесят гранат, и только тогда прекратился грохот пушек. Крохотное пространство между скалами было изрыто взрывами, и невозможным казалось, чтобы кто-нибудь уцелел. Очевидно, так порешили солдаты, ибо снова полезли по козьей тропе под палящими лучами солнца. И снова был очищен узкий, как лезвие ножа, проход, и снова отступили они к берегу.

Еще два дня Кулау сторожил у входа в ущелье, хотя солдаты довольствовались тем, что засыпали снарядами его убежище. Затем Пахау, прокаженный мальчик, поднялся на вершину каменной стены, ограждавшей ущелье, и крикнул сверху, что Килолиана, охотясь на коз, упал и

разбился насмерть, а женщины перепуганы и не знают, что им делать. Кулау велел мальчику спуститься вниз и ушел, оставив ему запасное ружье, чтобы охранять проход. Народ Кулау впал в уныние. Большинство было слишком беспомощно, чтобы при данных условиях добывать себе пищу, и все умирали с голоду. Он выбрал двух женщин и одного мужчину, которых проказа изувечила не слишком сильно, и послал их назад в ущелье за съестными припасами и циновками. Остальных он ободрил и утешил, и, наконец, даже самые слабые принялись устраивать себе убежища.

Но посланные за едой не возвращались, и Кулау сам отправился в ущелье. Когда он поднялся на вершину горного хребта, началась ружейная стрельба. Одна пуля прострелила ему мышцы у плеча, другая ударилась о скалу, и отщепившийся камень оцарапал ему щеку. На это потребовалось не больше секунды. Отскакивая назад, Кулау видел, что ущелье кишит солдатами. Он был предан своим же народом. Орудийный обстрел устрашил его подданных, и они предпочли тюрьму на Молокаи.

Кулау отступил и снял один из своих тяжелых патронташей. Притаившись среди скал, он ждал, пока не показались голова и плечи первого сол-

дата, и тогда спустил курок. Это повторилось дважды. Затем, немного погодя, вместо головы и плеч над краем скалы появился белый флаг.

— Что вам нужно? — спросил он.

— Мне нужен ты, если ты — Кулау-прокаженный.

Кулау позабыл, где он, позабыл все на свете и, лежа под прикрытием скалы, дивился странной настойчивости этих белых, которые добиваются своего, хотя бы на них рушилось небо. Да, своей воле они подчиняют все и всех, даже если им придется заплатить за это жизнью. И он невольно восхищался ими, их силой воли, которая была сильнее жизни и заставляла все перед собой склоняться. Он убедился в безнадежности борьбы. Что можно было противопоставить страшной воле белых? Убей он тысячу — они размножатся, как песок морской, и снова пойдут на него. Они никогда не признавали своего поражения. В этом была их ошибка и их мощь. Вот чего не хватало его народу. Теперь он понял, почему горсточка проповедников Бога и рома завоевала страну. Сила этих пришельцев объяснялась тем…

— Ну, что ж ты мне скажешь? Пойдешь со мной?

То был голос невидимого человека, выки-

нувшего белый флаг. Как и всякий белый, он решительно шел к цели.

— Давай побеседуем, — сказал Кулау.

Показались голова и плечи, затем все туловище. То был бритый голубоглазый молодой человек лет двадцати пяти, стройный и изящный в своем капитанском мундире. Он приблизился на несколько шагов, потом сел на расстоянии двенадцати футов.

— Ты храбрый человек, — с изумлением сказал Кулау. — Я мог раздавить тебя, как муху.

— Нет, не мог, — последовал ответ.

— Почему?

— Потому что ты человек, Кулау, хотя и скверный человек. Я знаю твою историю. Ты не убиваешь из-за угла.

Кулау что-то проворчал, но втайне был польщен.

— Что ты сделал с моими людьми? — спросил он. — Где мальчик, две женщины и мужчина?

— Они сдались. Это я и тебе предлагаю сделать.

Кулау недоверчиво засмеялся.

— Я — свободный человек, — заявил он. — Я ничего плохого не делал. Прошу только оставить меня в покое. Жил свободным и умру свободным. Я никогда не сдамся.

— Значит, твой народ умнее тебя, — ответил молодой капитан. — Смотри! Вот они идут!

Кулау обернулся и стал смотреть, как приближались те, что остались в живых. То была жалкая процессия. Со стонами и вздохами они волочили свои жалкие тела. Кулау дано было пережить еще худшее огорчение: проходя мимо, они выкрикивали ему в лицо ругательства и оскорбления. А задыхающаяся старая карга, замыкавшая шествие, остановилась, вытянула костлявые, словно когти гарпии, руки и, покачивая мертвенной головой с оскаленными зубами, прокляла его.

Один за другим они исчезали за горным хребтом и сдавались спрятавшимся в ущелье солдатам.

— Теперь ступай, — сказал Кулау капитану. — Я никогда не сдамся. Вот мое последнее слово. Прощай.

Капитан соскользнул со скалы к своим солдатам. Через секунду, отбросив флаг перемирия, он поднял на ножнах свою фуражку, и Кулау прострелил ее. После полудня они обстреливали его снарядами с берега; Кулау отступал в дальние недоступные котловины, а солдаты следовали за ним.

Шесть недель гоняли они его по котловинам, вулканическим вершинам и козьим тропам.

Когда он спрятался в зарослях лантана, они оцепили это место и, как кролика, гнали его сквозь джунгли и кусты гуявы. Но всякий раз он увертывался, заметал следы и ускользал от облавы.

Невозможным казалось загнать его в тупик. Когда они подходили слишком близко, он метким выстрелами вынуждал их отступать, и, унося своих раненых, они спускались по козьим тропам к берегу. Случалось, что они стреляли, когда его смуглое тело мелькало в кустах. Однажды пятеро солдат настигли его на открытой тропе между котловинами. Они расстреляли все заряды, пока он прыгал и полз на головокружительной высоте. После они нашли кровавые пятна и поняли, что он ранен. По прошествии шести недель они отказались от преследования. Солдаты и полицейские вернулись в Гонолулу, и долина Калалау была предоставлена в его распоряжение. Лишь время от времени охотники, на свою гибель, отваживались за ним гоняться.

Спустя два года Кулау в последний раз дополз до кустарника и улегся среди листьев и цветов дикого имбиря. Свободным он жил — свободным умирал. Моросил дождь, и Кулау натянул рваное одеяло на изуродованное свое тело. На нем была клеенчатая куртка. На грудь он положил свой

маузер и любовно стер с дула дождевые капли. Рука, вытиравшая ружье, была без пальцев, и нечем было ему спускать курок.

Он закрыл глаза. Головокружение и слабость во всем теле предупредили его о близости конца. Как дикий зверь, он приполз умирать в укромное местечко. В полусознании, отдаваясь бреду, он вновь переживал свою молодость на Ниихау. Угасала жизнь, и все слабее становился шум дождя, а Кулау чудилось, будто он снова объезжает лошадей; дикие жеребцы, брыкаясь, вздымаются на дыбы, а стремена его связаны вместе под брюхом лошади. Вот он бешено мчится в загоне, а помогающие ему ковбои рассыпаются во все стороны и перескакивают через изгородь. Через секунду он уже преследует диких быков на горных пастбищах, стреноживает их и ведет вниз, в долину. И в загоне, где клеймят скот, он чувствует, как пот и пыль слепят ему глаза, разъедают ноздри.

Снова переживал он свою здоровую, буйную молодость, пока острая боль в разлагающемся теле не вернула к действительности.

Он поднял свои чудовищные руки и с изумлением поглядел на них. Как же это? Почему? Во что превратилась его здоровая дикая юность? Потом он вспомнил — и снова, на секунду, стал Кулау-

прокаженным. Веки его устало опустились, ухо не улавливало больше шума дождя. Дрожь долго сотрясала его тело. Потом и дрожь утихла. Он приподнял голову, но она откинулась назад. Тогда глаза его раскрылись и больше не закрылись. Последняя его мысль была о маузере: руками, лишенными пальцев, он прижал его к груди.

Прощай, Джек

Гавайи — чудная страна. В социальном отношении здесь все, если можно так выразиться, перевернуто шиворот-навыворот. Не то чтобы здесь все было просто непристойно, нет, скорее, наоборот. Здесь слишком пристойно, но как-то вверх дном. Самые привилегированные — это миссионеры. Не без удивления узнаешь, что на Гавайях неизвестный, жаждущий мученичества миссионер восседает на первом месте за столом денежного аристократа. Тем не менее, это факт. Смиренные новоангличане, появившиеся здесь в тридцатых годах девятнадцатого века, пришли с весьма возвышенной целью — обучить канаков истинной религии и поклонению единому истинному и вездесущему Богу. В этом они так преуспели и так глубоко внедрили в канаков цивилизацию, что последние во втором или третьем поколении вымерли. То были плоды посева слова Божия; плодом же посева миссионеров (их сыновей и внуков) явился переход в их собственность островов — земли, портов, городов и сахарных плантаций. Миссионеры, которые пришли с пищей духовной, остались для того,

чтобы насладиться языческими лакомствами.

Но не эту гавайскую странность я имел в виду, когда начал свой рассказ. Впрочем, нельзя говорить о положении на Гавайях, не упомянув о миссионерах. Возьмем хотя бы Джека Керсдейла, о котором я хотел рассказать. Со стороны бабушки он происходит из миссионерского рода. Дед его, старый Бенджэмен Керсдейл, янки-торговец, в былые дни сколотил свой первый миллион продажей дешевого виски и сногсшибательного джина. Вот вам еще одна странность. Старые миссионеры и старые торговцы были смертельными врагами, но дети их между собой поладили — переженились и поделили острова.

Жизнь на Гавайях — песня. Вот как говорит об этом Стоддард в своих «Гавайях»:

> *Твоя жизнь — музыка, звуков нет чудесней!*
>
> *Каждый остров — стих, а все вместе — песня.*

И он прав. Кожа у людей там золотая. Туземные женщины — на солнце созревшие юноны, туземные мужчины — бронзовые аполлоны. Они поют и пляшут, увитые гирляндами, увенчанные цветами. А за пределами сурового миссионерского

круга белые мужчины поддаются влиянию климата и солнца и — как бы ни были заняты — тоже склонны плясать и петь и носить за ушами и в волосах цветы. Таков был и Джек Керсдейл, один из самых деловых людей, каких мне когда-либо приходилось встречать, — сверхмиллионер, сахарный король, владелец кофейных плантаций, каучуковый пионер, скотовод и покровитель почти всех новых предприятий на островах. Он был светским человеком, клубменом, владельцем яхты, холостяком и вдобавок одним из тех красивых мужчин, каких отлавливают мамаши для своих незамужних дочерей. Случилось так, что образование он получил в Йеле, и голова его была набита самыми необходимыми статистическими и научными данными о Гавайях; таких сведений не имел ни один из знакомых мне островитян. Он работал свыше головы, но пел, плясал и украшал волосы цветами не хуже любого бездельника.

Он был храбр и дважды дрался на дуэли — оба раза из политических соображений, — когда еще был зеленым юнцом, едва вступившим на политическую арену. В последнюю революцию, когда была свергнута туземная династия, он несомненно сыграл роль похвальную и мужественную, а в то время ему было не более шестнадцати лет.

Он не был трусом, я это подчеркиваю для того, чтобы вы могли оценить дальнейшие события. Я видел его на ранчо Халеакала, когда он объезжал четырехлетнего жеребца, который два года водил за нос ковбоев Фон Темпского. Следует рассказать еще об одном случае. Дело происходило в Коне, или, вернее, над Коной, ибо местные жители не желают селиться ниже чем на высоте тысячи футов. Все мы сидели на террасе бунгало доктора Гудхью. Я разговаривал с Дотти Фэрчайлд, когда огромная сороконожка — потом мы ее смерили, и она оказалась в семь дюймов длиной — упала с балок прямо на ее прическу. Признаюсь, вид этой гадины парализовал меня. Я не в силах был пошевельнуться. Мой мозг отказывался работать. На расстоянии двух футов от меня омерзительное ядовитое насекомое извивалось в ее волосах. Каждую секунду оно могло упасть на ее обнаженные плечи — мы перед этим только что встали из-за обеденного стола.

— Что такое? — спросила Дотти, поднимая руку.

— Не троньте! — крикнул я. — Не троньте!

— Но в чем же дело? — настаивала она, испуганная моими остановившимися и трясущимися губами.

Мой крик привлек внимание Керсдейла. Он небрежно посмотрел в нашу сторону, сразу все понял и не спеша подошел к нам.

— Пожалуйста, не шевелитесь, Дотти, — спокойно попросил он.

Он ни секунды не колебался, но не спешил и потому не промахнулся.

— Разрешите, — сказал он.

Одной рукой он взял ее шарф и плотно обернул ей плечи, чтобы сороконожка не могла упасть за корсаж. Другую руку — правую — он запустил в ее волосы, схватил отвратительную гадину ближе к голове и, крепко сжав указательным и большим пальцем, вытащил из волос. Это было самое страшное и героическое зрелище, какое только можно себе представить. У меня мурашки забегали по спине. Семидюймовая сороконожка, подергивая конечностями, корчилась и извивалась в его руке; тело ее обвилось вокруг его пальцев; насекомое, пытаясь освободиться, царапало ему кожу. Дважды оно его укусило — я это видел, — хотя он и уверял дам, что все обошлось. Он бросил гадину на усыпанную гравием дорожку и растоптал. А пять минут спустя я застал его в операционной, где доктор Гудхью надрезал ему раны и впрыскивал марганцевый калий. На

следующее утро рука Керсдейла раздулась, как бочка, и опухоль держалась три недели.

Все это никакого отношения к моему рассказу не имеет, но я должен был упомянуть о случае с сороконожкой в доказательство того, что Джек Керсдейл отнюдь не был трусом. В тот раз он проявил редкую отвагу, какую мне еще не приходилось видеть. Он глазом не моргнул и все время улыбался. Он запустил большой и указательный палец в волосы Дотти Фэрчайлд так весело, словно перед ним стояла коробка с соленым миндалем. Однако этого самого человека мне суждено было увидеть во власти страха в тысячу раз отвратительнее того, какой испытал я, когда мерзкая гадина извивалась в волосах Дотти Фэрчайлд, над ее глазами и открытым корсажем.

Я интересовался проказой, и по этому вопросу, как и по всем вопросам, касавшимся островов, Керсдейл обладал энциклопедическими познаниями. По правде сказать, проказа была одним из его коньков. Он был пламенным защитником колонии на Молокаи, куда отправляли с островов всех прокаженных. Среди туземного населения ходили слухи, раздуваемые демагогами, о жестокостях, творимых на Молокаи, где мужчины и женщины, оторванные от друзей и семьи, обре-

чены были до самой смерти жить в заточении. Ни смягчения, ни отсрочки в исполнении приговора быть не могло. «Оставь надежду!»[60] было написано на воротах Молокаи.

— Уверяю вас, они там счастливы, — настаивал Керсдейл. — Им куда лучше, чем их друзьям и родственникам, людям совершенно здоровым. Все эти толки об ужасах на Молокаи — ерунда. Я могу показать вам больницы или трущобы в любом из больших городов, где вы увидите кое-что пострашнее. Живые мертвецы! Существа, некогда бывшие людьми! Вздор! Следовало бы вам посмотреть, какие скачки устраивают эти живые мертвецы четвертого июля. У некоторых есть лодки. Один обзавелся даже моторной. Делать им нечего, могут все время веселиться. Пища, кров, одежда, врачебная помощь — все это им предоставлено. Они — подопечные всей страны. Климат там лучше, чем в Гонолулу, местоположение прекрасное. Я лично ничего не имел бы против того, чтобы провести там остаток своих дней. Славное местечко!

Так рассуждал Керсдейл о счастливых прока-

[60] Примечания: 60

«Оставь надежду всяк, сюда входящий» — надпись над адскими воротами (в поэме Данте «Божественная комедия»).

женных. Он не боялся проказы, но добавлял, что у него, как и у кого бы то ни было из белых, для заражения не было и одного шанса на миллион. Впрочем, впоследствии он признался, что один из его школьных товарищей, Альфред Стартер, заразился, уехал на Молокаи и там умер.

— Вы знаете, в прошлом, — объяснял Керсдейл, — неоспоримые признаки проказы не были известны. Достаточно было какого-нибудь необычного или ненормального явления, чтобы отправить парня на Молокаи. В результате десятки людей, сосланных туда, были такие же прокаженные, как вы или я. Но теперь подобные ошибки невозможны. Исследования Врачебного управления непогрешимы. Любопытно, когда врачи, научившись распознавать эту болезнь, отправились на Молокаи и произвели исследование, среди прокаженных оказалось немало здоровых людей. Их немедленно удалили с Молокаи. Рады ли они были уехать? Они выли громче, чем в Гонолулу, когда их отправляли на Молокаи. Иные отказались ехать, и пришлось увезти их насильно. Один был даже женат на прокаженной в последней стадии болезни и впоследствии писал патетические письма во Врачебное управление, протестуя против своего изгнания на том основа-

нии, что никто не сможет так ухаживать за его бедной старой женой, как это делал он.

— Что же это за непогрешимый способ распознавать болезнь? — осведомился я.

— Бактериологическое исследование. Тут ошибка исключается. Доктор Герви — наш эксперт, как вам известно, первый применил этот метод. Он — чародей. О проказе он знает больше, чем кто бы то ни было на свете, а если способы лечения существуют, вы увидите, откроет их он. Удалось выделить bacillus leprae[61] и изучить ее. Теперь ее узнают сразу. Нужно только срезать у подозреваемого кусочек кожи и подвергнуть его бактериологическому исследованию. Человек без всяких наружных признаков проказы может быть битком набит бациллами.

— Значит, вы или я, сами того не ведая, быть может, переполнены ими, — заметил я.

Керсдейл пожал плечами и рассмеялся.

— Как знать? Инкубационный[62] период длится семь лет. Если же вы сомневаетесь, ступайте к доктору Герви. Он срежет у вас кусочек кожи и мигом вам сообщит, больны вы или нет.

---

[61] Примечания: 61
Bacillus leprae (по-латыни) — «бациллус лепре» — бацилла проказы.

[62] Примечания: 62
Инкубационный — скрытый.

Позже он меня познакомил с доктором Герви, который вручил мне отчеты Врачебного управления и научные доклады о проказе и повез меня в Калихи, приемный пункт на Гонолулу, где осматривали подозрительных больных и содержали прокаженных до отправки на Молокаи. Такие отправки происходили раз в месяц, когда прокаженных, навеки распрощавшихся с друзьями, сажали на борт маленького парохода «Носау» и отвозили в колонию.

Однажды в клуб, где я писал письма, заглянул Джек Керсдейл.

— Вас-то мне и нужно, — приветствовал он меня. — Я покажу вам самую печальную сторону трагедии — рыдания прокаженных перед отплытием на Молокаи. Через несколько минут «Носау» примет их на борт. Но предупреждаю — держите себя в руках. Как ни безутешно их горе, но через год они бы подняли и не такой вой, если бы Врачебное управление попыталось увезти их с Молокаи. Мы еще успеем пропустить виски с содовой. Меня ждет экипаж. И пяти минут не пройдет, как мы спустимся к пристани.

И мы отправились на пристань. Около сорока несчастных сидели на корточках среди своих циновок, одеял и всевозможных пожитков. «Но-

сау» подходил к плашкоуту, отделявшему его от пристани. Мистер Маквей, старший надзиратель колонии, следил за посадкой. Меня представили ему, а также доктору Джорджесу — одному из врачей Врачебного управления, с которым я уже встречался в Калихи. Прокаженные были убиты горем. Почти у всех лица были отвратительные — слишком страшные, чтобы я мог их описать. Но кое-где попадались лица довольно привлекательные, без следов проказы. Я обратил внимание на маленькую белую девочку лет двенадцати, с голубыми глазами и золотистыми волосами; одна ее щека была обезображена зловещей опухолью. На мое замечание, какой одинокой она себя почувствует среди темнокожих больных, доктор Джорджес ответил:

— Сомневаюсь. Это — счастливый день в ее жизни. Она из Кауаи. Отец ее — скотина. Теперь, заболев проказой, она едет к матери в колонию. Мать попала туда три года назад — очень тяжелый случай.

— Не всегда можно судить по внешности, — сказал мистер Маквей. — Видите вон того крупного парня, такого на вид здорового и цветущего? Случайно я узнал, что у него открытая язва на ноге и такая же на плече. Есть и другие… Посмот-

рите на руку девушки, которая курит сигарету. Пальцы у нее искривлены и онемели. Вы можете их отрезать тупым ножом или растереть теркой для мускатного ореха, а она решительно ничего не почувствует.

— Да, но неужели вон та красивая женщина тоже заражена? — воскликнул я. — Такая цветущая и очаровательная.

— Печальный случай, — бросил через плечо мистер Маквей, поворачиваясь, чтобы прогуляться с Керсдейлом по набережной.

Это была красивая женщина — чистокровная полинезийка. Несмотря на мои скудные познания об этой расе и ее типах, я не мог не вывести заключения, что она происходит из старинного рода вождей. Ей было не больше двадцати трех — двадцати четырех лет. Фигура ее была безупречна, лишь слегка намечались первые признаки полноты, свойственной женщинам ее расы.

— Это был удар для всех нас, — заговорил доктор Джорджес. — Она добровольно заявила о своей болезни. Никто и не подозревал. Но каким-то образом она подцепила проказу. Уверяю вас, мы все были потрясены. Добились того, чтобы в газеты это не попало. Кроме нас и ее семьи, ни-

кто не знает, что с ней случилось. Кого бы вы ни спросили в Гонолулу, любой вам скажет, что она, по-видимому, уехала в Европу. По ее просьбе мы постарались избежать огласки. Бедная девушка — такая гордая…

— А кто она? — спросил я. — Судя по тому, что вы о ней говорите, она — личность незаурядная.

— Слыхали что-нибудь о Люси Мокуную? — спросил он.

— Люси Мокуную? — повторил я, силясь припомнить; потом покачал головой. — Как будто слыхал это имя, но не могу вспомнить.

— Не слыхали о Люси Мокуную? Гавайском соловье? Виноват, ведь вы — малахини[63]; откуда же вам знать. Да, Люси Мокуную была любимицей Гонолулу — нет, всего острова!

— Вы говорите — была? — перебил я.

— Вот именно. Теперь она — конченый человек. — Он сочувственно пожал плечами. — Двенадцать хаолес, виноват — белокожих, были не на шутку в нее влюблены. Обычных поклонников я не считаю. Эти двенадцать были люди с положением и весом. Стоило ей пожелать, и она могла бы выйти замуж за сына верховного судьи.

---

[63] Примечания: 63
Приезжий.

Вы говорите, она красива? А послушали б вы, как она поет! Лучшая туземная певица на Гавайях. Горло у нее — из чистого серебра и солнечных лучей. Мы ее обожали. Сначала она сделала турне по Америке с королевским гавайским оркестром. Затем два раза ездила одна — давала концерты.

— А! — воскликнул я. — Припоминаю. Два года назад я слышал ее в Бостоне. Так это она! Теперь я ее узнал.

И гнетущая тоска захлестнула меня. Жизнь в лучшем случае — бессмысленна. Прошло каких-нибудь два года, и это великолепное создание, стоявшее на вершине успеха, очутилось среди прокаженных, ждавших отправки на Молокаи. Мне вспомнились две строчки Генли:

Жалкий бродяга старые язвы свои открывает,

И позорной ошибкой мне кажется жизнь.

Я содрогнулся при мысли о своем будущем. Если такая страшная судьба постигла Люси Мокуную, так что же выпадет на мою долю? Или на чью-то из нас? Я прекрасно знал, что в жизни нас подстерегает смерть, но… жить среди живых мертвецов, умереть и не быть мертвым, стать од-

ним из тех жалких созданий, какие были некогда мужчинами и женщинами, похожими, быть может, на Люси Мокунуи, воплощавшую все чары Полинезии, на нее — артистку и покорительницу мужчин… Боюсь, что мне не удалось скрыть волнения, так как доктор Джорджес поспешил меня заверить, что прокаженным живется хорошо в колонии.

Все это было чудовищно. Я не в силах был смотреть на нее. На некотором расстоянии от нас, за протянутой веревкой, которую охранял полисмен, столпились родственники и друзья прокаженных. Им не разрешалось подходить близко. Не было ни объятий, ни прощальных поцелуев. Они перекликались, выкрикивали последние поручения, последние слова любви, последние наставления. А те, что стояли за веревкой, смотрели жутко напряженно. В последний раз они глядели на лица своих любимых — те были живыми мертвецами, и на погребальном корабле их отправляли на кладбище Молокаи.

Доктор Джорджес распорядился, и жалкие создания с трудом поднялись на ноги и, шатаясь под тяжестью своей поклажи, побрели через плашкоут на борт парохода. То была погребальная процессия. Оставшиеся за веревкой сразу подня-

ли вой. Кровь стыла в жилах, сердце сжималось от жалости. Таких рыданий я еще не слыхал и, надеюсь, никогда больше не услышу. Керсдейл и Маквей все еще стояли в стороне, очень серьезно разговаривая, — о политике, конечно, ибо оба с головой ушли в эту игру. Когда Люси Мокунуи проходила мимо меня, я украдкой взглянул на нее. Да, она была красива — красива даже с нашей точки зрения — один из тех редких цветов, какие расцветают раз в столетие. И она — первая среди всех женщин — обречена была на тюрьму Молокаи. Словно королева, она прошла по плашкоуту прямо на борт и на корму — туда, где на открытой палубе столпились у перил прокаженные и, рыдая, смотрели на своих близких на берегу.

Канаты были отданы, и «Носау» стал медленно отчаливать от пристани. Рыдания усилились. Сколько горя и отчаяния! Не успел я принять решения никогда больше не присутствовать при отплытии «Носау», как вернулись Маквей и Керсдейл. У Керсдейла глаза блестели, а губы невольно складывались в веселую улыбку. Видимо, разговор о политике доставил ему удовольствие. Веревку отцепили, и рыдающие родственники столпились на пристани, там же, где стояли мы.

— Вот ее мать, — шепнул доктор Джорджес, указывая на старуху, стоявшую подле меня. Она раскачивалась взад и вперед и распухшими от слез глазами глядела на пароход. Я заметил, что Люси Мокуную тоже плачет. Но вдруг рыдания ее прекратились — она взглянула на Керсдейла. Простерла руки — этот очаровательный чувственный, словно обнимающий аудиторию жест я видел у Ольги Нетерсоль — и крикнула:

— Прощай, Джек! Прощай!

Он услышал и оглянулся. Я никогда не видел человека, охваченного таким страхом. Он зашатался, побелел до корней волос, как будто осел и съежился. Всплеснул руками и простонал: «Боже мой, Боже мой!», затем страшным усилием воли сдержал себя и крикнул:

— Прощай, Люси! Прощай!

Он стоял на пристани и махал ей руками, пока не увеличилось расстояние, отделявшее его от парохода, и не стерлись лица людей, столпившихся у перил.

— Я думал, вы знаете, — сказал Маквей, поглядевший на него с любопытством. — Кому-кому, а уж вам следовало бы знать. Я думал, вы потому и пришли сюда.

— Теперь знаю, — очень серьезно ответил Кер-

сдейл. — Где экипаж?

Быстро, почти бегом он двинулся к экипажу. Чтобы не отстать, я тоже должен был чуть ли не бежать.

— К доктору Герви, — сказал он кучеру. — Поезжай как можно скорее.

Запыхавшись, он опустился на сиденье. Бледность все увеличивалась. Губы его были плотно сжаты, пот выступил на лбу и верхней губе. Казалось, он испытывает страшные муки.

— Ради Бога, гони лошадей, Мартин! — крикнул он вдруг. — Полосни их кнутом! Слышишь? Хлестни хорошенько!

— Они понесут, сэр, — возразил кучер.

— Ну и пусть, — ответил Керсдейл. — Я заплачу за тебя штраф и улажу дело с полицией. Гони их! Вот так. Быстрей, быстрей!

— А я и не знал, не знал, — бормотал он, снова опускаясь на сиденье и дрожащими руками вытирая пот.

Экипаж подпрыгивал, раскачивался, кренился на поворотах, и разговаривать было совершенно невозможно. Да и не о чем было говорить. Но я слышал, как он все время бормотал:

— А я и не знал, не знал…

«Алоха Оэ»

Нигде не провожают так пароходы, как в гавани Гонолулу. Большой транспорт стоял под парами, готовый к отплытию. Около тысячи человек толпились на палубе, и пять тысяч — на набережной. По длинному шкафуту проходили взад и вперед туземные принцы и принцессы, сахарные короли и высокопоставленные лица страны. Позади длинными вереницами выстроились, по приказанию туземной полиции, экипажи и автомобили аристократии Гонолулу. На пристани королевский гавайский оркестр играл «Алоха Оэ», а когда он умолк, струнный оркестр туземных музыкантов на борту транспорта подхватил те же рыдающие звуки, и голос туземной певицы взлетел над рыданием инструментов и суматохой прощания. То была серебряная свирель, чистой нотой прорезавшая воздух.

На носу, на нижней палубе, у перил выстроились в шесть рядов молодые люди в хаки; их бронзовые лица свидетельствовали о трехлетнем пребывании под тропическим солнцем. Но не в честь их устроены были проводы и не в честь одетого в белое капитана на мостике, далекого,

как звезды, и глядевшего вниз на сутолоку под ним. Не имели отношения к проводам и молодые офицеры, возвращавшиеся с Филиппинских островов, и их бледные истощенные климатом жены, стоявшие рядом. На палубе, сейчас же за шкафутом, стояли сенаторы Соединенных Штатов — их было человек двадцать — с женами и дочерьми. То была развлекающаяся сенаторская компания, которую в течение месяца пичкали обедами и винами, угощали статистикой, таскали на вулканическую гору и вниз, в долину, залитую лавой, показывая все красоты и богатства Гавайев. Для этой веселой компании был вызван в Гонолулу транспорт, и с ней прощался Гонолулу.

Сенаторы были увиты гирляндами и украшены цветами. На толстой шее и мощной груди сенатора Джереми Сэмбрука красовалась дюжина венков. Из этой массы цветов выглядывало его потное лицо, покрытое свежим загаром. О цветах он думал с отвращением, а толпу на набережной рассматривал с точки зрения статистика, который не воспринимает красоты, а видит рабочую силу, фабрики, железные дороги, плантации, лежащие там, позади толпы, и ею олицетворенные. Он видел богатства, думал об их развитии

и слишком был занят грезами о материальных достижениях и власти, чтобы обратить внимание на дочь, которая стояла подле него, разговаривая с молодым человеком в изящном летнем костюме и соломенной шляпе. Этот молодой человек видел, казалось, только ее одну и не сводил горящих глаз с ее лица. Если бы сенатор Джереми поглядел внимательно на свою дочь, он понял бы, что вместо молоденькой пятнадцатилетней девочки, которую он всего месяц назад привез в Гавайи, с ним уезжает теперь женщина.

Климат Гавайев способствует созреванию, а Дороти Сэмбрук подвергалась его действию при особо благоприятных условиях. Стройная, бледная, с голубыми глазами, слегка утомленными долгим сидением над страницами книг и попыткой разобраться в тайнах жизни, — такой она была месяц назад. Но теперь глаза смотрели ясно, а не устало, щеки были тронуты поцелуями солнца, а в фигуре намечались первые закругленные линии. Этот месяц она не прикасалась к книгам, ибо в чтении книг жизни познала радость бóльшую. Она ездила верхом, карабкалась на вулканы, училась плавать в прибой. Тропики зажгли ей кровь, она полюбила тепло, яркие краски и солнечный свет. И этот месяц она провела

в обществе мужчины — Стивена Найта, атлета, морского наездника, бронзового бога морей, который укрощал грохочущие волны, вскакивал на их хребты и пригонял к берегу.

Дороти Сэмбрук не подозревала о происшедшей перемене. Ее сознание оставалось сознанием девочки-подростка, и она была удивлена и взволнована поведением Стива в час разлуки. Она смотрела на него как на товарища по играм, и в течение месяца он действительно был ее товарищем, но теперь прощался с ней не как товарищ. Он говорил возбужденно и бессвязно, умолкал, снова говорил. Иногда он не слушал, что говорит она, или отвечал как-то необычно. Ее приводил в смущение его взгляд. Раньше она не замечала, что у него такие горящие глаза. Было в них что-то страшное. Она не могла выдержать этого взгляда и то и дело опускала ресницы. Но было в нем что-то манящее, и она снова и снова поднимала глаза, чтобы уловить то пламенное, властное, тоскующее, что еще ни разу не приходилось ей видеть в глазах мужчины. Ее охватило странное волнение и тревога.

Пароход дал оглушительный свисток, и увенчанная цветами толпа ближе придвинулась к борту. Дороти Сэмбрук зажала уши пальцами,

сделала гримасу, недовольная этим пронзительным свистком, и снова заметила в глазах Стива властный беспокойный огонек. Он смотрел не на нее, а на ее уши, нежно-розовые и прозрачные в косых лучах заходящего солнца. Удивленная и зачарованная, она вглядывалась в его глаза, пока он не понял, что выдал себя. Она заметила, что он густо покраснел и забормотал что-то бессвязное. Он был смущен так же, как и она. Пароходная прислуга взволнованно шныряла по палубе, предлагая провожающим сойти на берег. Стив протянул руку.

Почувствовав теперь пожатие его пальцев, тысячу раз сжимавших ее руку во время плавания на досках в прибой и прогулок в долине, залитой лавой, она по-новому поняла слова рыдающей песни, которая лилась из серебряного горла гавайской женщины:

Ко халйа ко алоха кай хики маи,
Ке хоне аэ ней ку-у манава.
О оэ но ка у алоха
О локо е хана ней.

Стив ее выучил мелодии и словам — по крайней мере, до этой минуты ей казалось, что она понимает значение слов; но теперь, в момент по-

следнего рукопожатия и теплого прикосновения его ладони, она впервые поняла истинный смысл песни. Она едва заметила его уход и не могла найти его в толпе на сходнях, так как углубилась в лабиринт воспоминаний, переживая только что прошедшие четыре недели, перебирая события, озарившиеся новым светом.

Когда месяц назад сенаторская компания сошла на берег, был немедленно организован комитет увеселений, куда входил Стив. Он первый демонстрировал им плавание во время прибоя на берегу Ваикики. Сидя на узкой доске, он плыл навстречу морю, пока не превратился в крохотную точку; затем появился снова, возвышаясь, как морской бог, над волнующейся, бурлящей пеной; он поднимался все выше и выше, и постепенно обнажались его плечи, грудь и бедра. Наконец он показался весь на хребте могучего длинного вала, и только ступни его ног были зарыты в брызгах взлетающей пены. Он мчался со скоростью экспресса, и на глазах ошеломленных зрителей спокойно ступил на берег. Так она впервые увидела Стива. В комитете он был самым молодым — двадцатилетний юноша. Он не развлекал гостей речами и не блистал во время приемов. Свою долю в увеселительную программу он вносил в

волнах прибоя на Ваикики, на пастбищах Мауна Кеа, где гонял диких быков, и на ранчо Халеакала — в загоне, где объезжали лошадей.

Ее не занимали вечная статистика и нескончаемые речи остальных членов комитета. Не интересовался этим и Стив. И со Стивом она потихоньку убежала с праздничного пикника в Хамакуа и от Эба Луиссона, кофейного плантатора, который в течение двух смертельно скучных часов говорил о кофе и только о кофе. Тогда-то они ездили верхом среди папоротниковых деревьев, и Стив обучил ее словам «Алоха Оэ», песни, которую пели знатным гостям в каждой деревне, в каждом ранчо и на каждой плантации.

Стив и она с первого же дня много времени проводили вместе. Он был товарищем ее игр. Она завладела им в то время, как ее отец занимался статистикой островов. Слишком кроткая, чтобы тиранить своего товарища, она тем не менее всецело его подчинила, и только во время катания на лодке, верхом или на доске по волнам прибоя власть переходила к нему, а она безоговорочно повиновалась. И теперь, когда сбросили канаты и большой транспорт стал медленно отделяться от пристани, Дороти, в последний раз слушая песню, поняла, что Стив был для нее не только

товарищем.

Пять тысяч голосов пели «Алоха Оэ», — «моя любовь с тобой, пока мы не встретимся снова», — и в это первое мгновение осознанной любви она поняла, что ее отрывают от Стива. Встретятся ли они когда-нибудь? Он сам ее выучил этим словам. Она вспомнила, как он пел их снова и снова под деревом хау в Ваикики. Было ли это предсказанием? А она восхищалась его пением, говорила ему, что он поет очень выразительно. При этом воспоминании она истерически рассмеялась. «Выразительно!» — когда он изливал в песне свое сердце. Теперь она знала, но было слишком поздно. Почему он ей не сказал? Тут она вспомнила, что девушки в ее возрасте замуж не выходят, но тотчас же подумала: «Нет, на Гавайях выходят». В Гавайях она созрела — в Гавайях, где кожа золотистая, а женщины созревают под поцелуями солнца.

Тщетно всматривалась она в толпу людей на набережной. Куда же он делся? Она готова была отдать все на свете, чтобы еще разок взглянуть на него, и почти надеялась, что какая-нибудь смертельная болезнь поразит капитана, одиноко стоящего на мостике, и отъезд будет отложен. В первый раз в жизни она недоверчиво поглядела

на отца, всмотрелась в его упрямое, энергичное лицо — и испугалась. Как страшно было бы противоречить ему. И какие у нее шансы победить в этой борьбе? Но почему Стив ничего не сказал? Теперь уже слишком поздно. Почему он не заговорил тогда, под деревом хау в Ваикики?

Тут сердце у нее сжалось — она поняла, почему он молчал. Что такое она слышала на днях? Ах да, это было за чаем у миссис Стертон, в тот день, когда дамы из миссионерского общества принимали жен и дочерей сенаторов. Вопрос задала миссис Ходжкинс, высокая блондинка. Дороти отчетливо вспоминала все — широкую террасу, тропические цветы, бесшумно снующих слуг-азиатов, жужжание женских голосов — и вопрос, какой задала миссис Ходжкинс, разговаривавшая неподалеку от нее. Миссис Ходжкинс провела несколько лет на материке и теперь, видимо, осведомлялась об островитянках, друзьях своей молодости.

— Как поживает Сюзи Мэйдуэлл? — вот вопрос, который она задала.

— О, мы с ней больше не встречаемся; она вышла замуж за Вилли Кьюпеля, — ответила другая островитянка.

А жена сенатора Берида расхохоталась и пожe-

лала узнать, почему замужество Сюзи Мэйдуэлл оттолкнуло от нее друзей.

— Он — хапа-хаоле, — последовал ответ, — полукровка, а мы, жители островов, должны думать о наших детях.

Дороти повернулась к отцу, решив его испытать.

— Папа, если Стив приедет когда-нибудь в Соединенные Штаты, может он навестить нас?

— Кто? Стив?

— Да, Стив Найт, ты его знаешь. Еще и пяти минут не прошло, как ты с ним попрощался. Можно ему навестить нас, если он когда-нибудь приедет в Соединенные Штаты?

— Конечно, нет, — отрезал Джереми Сэмбрук. — Стивен Найт — хапа-хаоле, а ты знаешь, что это значит.

— О! — чуть слышно сказала Дороти, и немое отчаяние сдавило ей сердце.

Она не сомневалась, что Стив не был хапа-хаоле, но не знала, что в его крови была капелька, согретая тропическим солнцем, и этого достаточно, чтобы отпал вопрос о браке. Странный мир! Вот, например, почтенный Клегхорн женился на темнокожей принцессе из рода Камехамеха, однако все почитают за честь знакомство

с ним, и самые аристократические женщины из ультра-аристократического миссионерского общества заходят к нему на чашку чая. А вот Стив... Никто не возражал против того, чтобы он учил ее плавать во время прибоя и помогал ей пробираться по опасным тропинкам на кратере Килауэ. Он мог обедать с ней и с ее отцом, мог с ней танцевать и быть членом увеселительного комитета, но жениться на ней не мог, ибо в его жилах струилось тропическое солнце.

Это не бросалось в глаза. Внешний вид не указывал на его происхождение. Он был так красив! Его образ запечатлелся в ее памяти, и бессознательно она с удовольствием вспоминала его грациозное великолепное тело, могучие плечи, силу, с какой он подсаживал ее в седло, нес по грохочущим валам прибоя или втаскивал за конец альпийской палки на хребет застывшей лавы, — на горе, называемой Храмом Солнца. Вспоминалось и еще что-то — более неуловимое и таинственное, только теперь осознанное ею, — вспоминалось то ощущение близости мужского существа, мужчины — настоящего мужчины, какое она испытывала в его присутствии. Она пришла в себя, смущенная, стыдясь своих мыслей. Горячая кровь окрасила ее щеки и быстро

отхлынула к сердцу: Дороти побледнела, вспомнив о том, что никогда больше его не увидит. Нос парохода уже повернулся к морю, и палуба поравнялась с концом набережной.

— Вон Стив, — сказал отец. — Помаши ему рукой, Дороти.

Стив смотрел на нее горящими глазами и в ее лице увидел то, чего не видал раньше. Он весь светился радостью; теперь она знала, что он понял. В воздухе дрожала песня:

Тебе — моя любовь,

Моя любовь с тобой, пока мы не встретимся снова.

Не нужно было слов, чтобы понять друг друга. Стоявшие вокруг нее пассажиры бросали свои гирлянды друзьям на набережной. Стив поднял руки, и глаза его молили. Она сняла через голову свою гирлянду, но цветы переплелись с ниткой восточного жемчуга, которую Мервин, старый сахарный король, надел ей на шею, когда вез ее с отцом на пристань.

Она дергала жемчуг, перепутавшийся с цветами. Пароход неуклонно шел вперед. Она как раз поравнялась со Стивом. Нужно было решиться. Еще секунда — и он останется позади. Она

всхлипнула, и Джереми Сэмбрук вопросительно взглянул на нее.

— Дороти! — крикнул он резко.

Она решительно рванула нитку — жемчужины и цветы дождем посыпались на ожидавшего возлюбленного. Она смотрела на него, пока слезы не затуманили ее глаз, потом спрятала лицо на плече Джереми Сэмбрука, который позабыл о своей любимой статистике, удивляясь тому, что малышки так хотят стать взрослыми.

Толпа продолжала петь. Песня, все отдаляясь, звучала слабее, но по-прежнему в ней трепетала чувственная, любовная нега Гавайев. Слова, словно кислота, жгли сердце Дороти, ибо в них была ложь:

Алоха оэ, Алоха оэ, е ке о наона но хо ик липо,

Нежные объятия, ахои аэ ау, пока мы не встретимся снова.

Чун А-чун

Ничего замечательного не было в наружности Чун А-чуна. Как большинство китайцев, он был невысок, узок в плечах и худощав. Любой турист, взглянув на него случайно на улицах Гонолулу, решил бы, что видит добродушного маленького китайца — по-видимому, владельца преуспевающей прачечной или портняжной мастерской. Что касается добродушия и преуспевания, заключение было бы правильным, но оценка была неполной: добродушие Чун А-чуна равнялось его богатству, а ни один человек не знал и десятой доли размеров его богатства. Всем было известно, что он чудовищно богат, но в данном случае «чудовищно» являлось лишь символом неизвестного.

У Чун А-чуна были острые черные глазки бусинками, такие маленькие, что казались пробуравленными дырочками. Но они были широко расставлены и ютились подо лбом, который был лбом мыслителя. Ибо Чун А-чун занимался своими проблемами, занимался ими всю жизнь. Нельзя сказать, что они его тревожили. И в бытность свою кули, и теперь, когда он стал

архимиллионером, распоряжавшимся судьбой многих людей, он всегда был настроен одинаково: всегда пребывал в состоянии возвышенного равновесия и душевного покоя, а удачи и невзгоды на него не влияли. Он принимал все — удары надсмотрщика на сахарной плантации и понижение цен на сахар, когда самые плантации стали его собственностью. Стоя на незыблемой скале спокойного довольствия, он овладевал проблемами, с какими редко кто сталкивался, а реже всех — китайский крестьянин.

А-чун же был китайским крестьянином, рожденным всю жизнь трудиться, как животное, на полях, но волею судьбы ускользнувший от этих полей, словно принц в сказке. А-чун не помнил своего отца, мелкого фермера, жившего неподалеку от Кантона; не помнил он и матери, которая умерла, когда ему было шесть лет. Зато он прекрасно помнил своего уважаемого дядю А Ку, на которого работал с шести до двадцати четырех лет. Вот тут-то он и улизнул, заключив на три года контракт, по которому обязывался работать в качестве кули на большой сахарной плантации в Шаваи за поденную плату в пятьдесят центов.

А-чун был очень наблюдателен. Он подмечал такие мелочи, каких не заметил бы и один из ты-

сячи. Три года работал он на полях, а к концу этого срока знал об обработке сахарного тростника больше, чем надсмотрщики и даже сам главный надзиратель; последний подивился бы знаниям тощего маленького кули, изучившего все приемы обработки сахара на заводе. Но А-чун изучал не только обработку сахара; он старался уяснить себе, каким образом люди делаются владельцами сахарных заводов и плантаций. Один вывод он сделал рано: люди не богатеют от работы своими руками. Это он знал, ибо сам трудился около двадцати лет. Богатеет тот, кто пользуется руками других людей, и чем больше его же собратьев на него работают, тем он богаче.

Вот почему, по прошествии трех лет, А-чун поместил свои сбережения в маленькую импортную фирму, вступив в компанию с китайцем А-янгом. Впоследствии фирма превратилась в крупное предприятие «А-чун и А-янг» и торговала всем, начиная с индийского шелка и женьшеня и кончая вербовочными бумагами и целыми островами с гуано. В то же время А-чун нанялся работать поваром. Он был мастером своего дела и через три года получал больше, чем остальные повара Гонолулу. Карьера его была обеспечена, и Дантен, его хозяин, заявил ему, что он дурак, если

бросает такое дело. Но А-чун свою выгоду понимал, за что хозяин обозвал его круглым дураком и сверх жалованья подарил пятьдесят долларов.

Фирма «А-чун и А-янг» процветала, и А-чуну не нужно было работать поваром. То была пора расцвета для Гавайев. Усиленно разводили сахарный тростник, и ощущался недостаток в рабочих руках. А-чуну представился благоприятный случай, он не упустил его и занялся импортом рабочих. Он привез из Гавайев тысячи китайских кули, и богатство его возросло. Он начал пускать в оборот свой капитал. Его черные глазки-бусинки усматривали выгоду там, где ждали банкротства. За гроши он купил рыбный садок, впоследствии давший ему пятьсот процентов барыша, и тем положил начало монополизации рыбного рынка Гонолулу. Речей для газет он не произносил, политикой не занимался, не играл в революцию, но в предугадывании событий был дальновиднее и зорче чем те, кто эти самые события фабриковал. Мысленно он представлял себе Гонолулу современным городом, залитым электрическим светом, а в те времена Гонолулу был лишь расползавшимся, неопрятным песчаным местечком на бесплодном рифе высокой скалы. А-чун стал покупать землю. Он покупал ее

у торговцев, нуждавшихся в наличных деньгах, у неимущих туземцев, у купеческих сынков-кутил, у вдов, сирот и прокаженных, отправлявшихся на Молокаи. И вышло так, что по истечении нескольких лет купленные им участки понадобились под склады, амбары или отели. Он отдавал в аренду, покупал, продавал и снова покупал.

Подворачивались и другие дела. Он доверил свои деньги некоему Паркинсону, дезертиру-капитану, которому никто не доверял. А Паркинсон на маленькой «Веге» отправился в таинственное путешествие. О Паркинсоне он заботился, пока тот не умер, а много лет спустя Гонолулу был поражен вестью о том, что Дрейк и Экорн, острова с гуано, проданы Британскому фосфатному тресту за три четверти миллиона. Когда же наступили изобильные, хмельные дни правления короля Калакауа, А-чун заплатил триста тысяч долларов за право торговать опиумом. Хотя ему и пришлось уплатить за монополию треть миллиона, но деньги были помещены хорошо, ибо доходы позволили ему купить плантацию Калалау, которая в течение семнадцати лет приносила ему тридцать процентов прибыли и была продана за полтора миллиона.

Задолго до этого, при династии Камехамехов,

он служил своей родине как китайский консул — должность, не лишенная кое-каких выгод; а при Камехамехе IV переменил подданство и стал гражданином Гавайев, чтобы жениться на Стелле Аллендейл, которая была подданной темнокожего царька, хотя в жилах ее текло больше англосаксонской, чем полинезийской, крови. Самые разнообразные примеси были в ее крови, некоторые из них в пропорции — один к восьми и один к шестнадцати. В этой последней пропорции влилась в нее, например, кровь прабабки ее — Паа-ао — принцессы Паа-ао из рода царей. Прадед Стеллы Аллендейл, некий капитан Блант, английский авантюрист, служил при Камехамехе I и удостоился звания вождя. Ее дед был капитаном китобойного судна из Нью-Бедфорда, а в отце смешалась кровь итальянцев и португальцев с чистой английской кровью. Супруга А-чуна, гавайская подданная, скорее принадлежала к одной из этих трех национальностей.

И в это смешение рас А-чун внес монгольскую кровь. Таким образом, его дети от миссис А-чун были на одну тридцать вторую — полинезийцы, на одну шестнадцатую — итальянцы, на одну шестнадцатую — португальцы, наполовину — китайцы и на одиннадцать тридцать вторых

— англичане и американцы. Очень возможно, что А-чун воздержался бы от брака, если бы мог предвидеть, какое удивительное потомство произойдет от этого союза, а удивительным оно было во многих отношениях. Прежде всего, по количеству. А-чун стал отцом пятнадцати сыновей и дочерей, преимущественно дочерей. Сначала появились на свет сыновья — три сына, затем, в нерушимой последовательности, дюжина дочерей. Результат скрещивания рас оказался превосходным. Потомство было не только многочисленным, но и здоровым, без малейшего изъяна, и поражало своей красотой. Все девушки были красивы — нежные, эфирные красавицы. Закругленные линии мамаши А-чун словно сгладили угловатость тощего папаши А-чуна, и дочери вышли стройные, но не сухопарые; полные, но не толстые. В каждом лице что-то смутно напоминало Азию, но на всех лежал отпечаток Старой и Новой Англии и Южной Европы. Ни один наблюдатель, предварительно не осведомленный, не сумел бы подметить в их жилах значительную примесь китайской крови, тогда как наблюдатель осведомленный тотчас же уловил бы ее отпечаток.

В красоте дочерей А-чуна было что-то новое, до

сей поры невиданное. Они удивительно походили друг на друга, и в то же время красота их была резко индивидуальна. Невозможно было спутать одну с другой. И тем не менее — Мод, голубоглазая и белокурая, тотчас же заставляла вспоминать Генриетту, оливковую брюнетку с большими темными и томными глазами и черными, синевой отливающими волосами. Сходство, примиряющее все различия, было лептой А-чуна. Он заложил фундамент, на который наложили отпечаток все расы. Он дал тонкокостный китайский скелет, который саксонская, латинская и полинезийская плоть облекла нежным покровом.

У миссис А-чун были свои взгляды на жизнь, и А-чун считался с ними, поскольку они не нарушали его философского спокойствия. Она привыкла жить на европейский лад. Прекрасно! А-чун подарил ей европейский дом. Позже, когда сыновья и дочери подросли и могли ему советовать, он построил огромный бунгало, столь же непретенциозный, сколь великолепный. С течением времени на горе Танталус вырос дом, в котором семья могла спасаться, когда дул с юга «дурной ветер». А в Ваикики он построил на берегу дачу и так удачно выбрал для этой цели большой участок земли, что впоследствии, когда прави-

тельство Соединенных Штатов постановило возвести здесь крепость, отчуждение принесло А-чуну огромную сумму денег. Во всех его домах имелись бильярдные, курительные и многочисленные комнаты для гостей, ибо изумительное потомство А-чуна склонно было жить на широкую ногу. Обстановка была до экстравагантности проста. Благодаря утонченным вкусам потомства огромные суммы тратились не напоказ.

На воспитание детей А-чун не скупился. «О расходах не думайте, — говорил он в былые дни Паркинсону, когда этот ленивый моряк не видел нужды совершенствовать «Вегу». — Ваше дело — управлять шхуной, мое — платить по счетам». Так же он относился и к воспитанию своих сыновей и дочерей. Им следовало получить образование, а не думать о расходах. Гарольд, старший, побывал в Гарварде и Оксфорде; Альберт и Чарльз учились в Иэйле, а дочери, от старшей и до младшей, обучались в калифорнийской семинарии Миллз, а оттуда переходили в Вассар, Уэллсли или Брин Маур. Некоторые пожелали закончить образование в Европе. И со всех концов света сыновья и дочери возвращались к А-чуну и давали ему советы по украшению скромных в своем великолепии резиденций. Сам А-чун предпочитал

восточную роскошь и блеск, но, будучи философом, прекрасно понимал, что вкус его детей соответствует стандартам Запада.

Конечно, его дети не были известны как дети А-чуна. Подобно тому как он сам из кули превратился в мультимиллионера, так и эволюционизировало его имя. Мамаша А-чун писала свою фамилию — «А'Чун», а более мудрые ее отпрыски выбросили апостроф и стали писать — «Ачун». А-чун не протестовал. Правописание его имени нимало не нарушало его благоденствия и философского спокойствия. Кроме того, он не был горд. Но когда дети его поднялись на высоту крахмальных рубашек, твердых воротничков и сюртуков, пострадали и его благоденствие, и его спокойствие. А-чун и слышать об этом не хотел. Он предпочитал свободную китайскую одежду, и ни лаской, ни угрозами они ничего не могли от него добиться. Они применяли оба метода, но последний оказался особенно неудачным. Недаром побывали они в Америке, где познали силу бойкота, которым пользуются организованные рабочие. Теперь с помощью мамаши А'Чун они стали бойкотировать своего отца, Чун А-чуна в его же собственном доме. Но А-чун, хотя и не искушенный в западной культуре,

был знаком с постановкой рабочего вопроса на Западе. Тотчас же он объявил локаут[64] своему мятежному потомству и заблуждавшейся жене. Рассчитал многочисленных слуг, запер дома и конюшни и переехал в Королевский гавайский отель, главным пайщиком которого он являлся. Переполошившаяся семья гостила у друзей, а А-чун спокойно занимался своими многочисленными делами, курил свою длиннейшую трубку с крохотной серебряной чашечкой на конце и размышлял над проблемой своего удивительного потомства.

Эта проблема не нарушала его покоя. Он рассудил по-философски, что сумеет разобраться в ней, когда она созреет. Тем временем он внедрял в детей сознание того, что, несмотря на всю свою сговорчивость, он тем не менее остается абсолютным диктатором семейства. Семья держалась неделю, затем вернулась в бунгало вместе с А-чуном и многочисленными слугами. И с тех пор никто не возражал, когда А-чун в голубом шелковом халате, ватных туфлях и черной шел-

[64] Примечания: 64

Локаут — массовое увольнение рабочих и закрытие фабрик, практикуемое предпринимателями по взаимному соглашению для борьбы с рабочими, с целью заставить их отказаться от выставляемых ими экономических требований.

ковой шапочке с красной пуговкой на макушке появлялся в своей блестящей гостиной или же курил на широкой веранде или в курительной свою тонкую трубку с серебряной чашечкой в обществе офицеров и штатских, куривших папиросы и сигары.

А-чун занимал исключительное положение в Гонолулу. Никогда не появляясь в обществе, он, однако, всюду был принят. За исключением китайских торговцев, никого не посещал, но многих принимал у себя дома и занимал центральное место, сидя во главе стола. Он, китайский крестьянин, главенствовал над самыми культурными и утонченными людьми островов. И не нашлось на островах ни одного человека, слишком гордого для того, чтобы не переступить порог его дома и не принимать его гостеприимства. Объяснялось это, во-первых, тем, что дом А-чуна был поставлен на аристократическую ногу; во-вторых, сам А-чун был лицом очень влиятельным. И, наконец, все знали его, как безупречно нравственного человека и честного дельца. Своей суровой, неподкупной честностью А-чун затмил всех дельцов Гонолулу, хотя по сравнению с жителями материков они были людьми честными. Вошло в поговорку, что его слово стоит расписки. Он чув-

ствовал себя связанным и без расписки и слову своему никогда не изменял. Через двадцать лет после смерти Хотчкиса, главы фирмы «Хотчкис и Мортерсон», среди старых бумаг нашли запись о ссуде А-чуну тридцати тысяч долларов. Эту сумму А-чун получил в бытность свою тайным советником при Камехамехе II. В те угарные годы расцвета и погони за наживой А-чун совершенно позабыл об этом деле. Никакой расписки не оказалось, и нельзя было предъявить ему иск, но А-чун расплатился сполна с фирмой Хотчкис, добровольно уплатив сложные проценты, значительно превышавшие капитал. И еще один пример: когда самые большие пессимисты считали излишним какие бы то ни было поручительства за выполнение обязательств по проведению канала Какику, он, А-чун, поручился за это злополучное предприятие словом; и вот каков был доклад секретаря лопнувшего предприятия, секретаря, которого послали разузнать намерения А-чуна, хотя на благоприятный исход не было никакой надежды: «Джентльмены, он и глазом не моргнул — сразу подписал чек на двести тысяч». И много можно привести подобных примеров, свидетельствующих о нерушимости его слова, но этого мало: вряд ли на островах нашелся бы хоть один

человек с положением, которому А-чун не оказал бы финансовой помощи.

Вот почему весь Гонолулу внимательно следил, как его семейные отношения превратились в сложную проблему, и втайне ему сочувствовал, ибо никто не мог себе представить, как поступит в данном случае А-чун. Но А-чун разбирался в проблеме лучше, чем они. Ему одному было известно, до какой степени он чужд своей семье. Даже его собственная семья этого не подозревала. Он знал, что ему нет места среди удивительных отпрысков, и, думая о надвигающейся старости, понимал, что с годами еще дальше отойдет от семьи. Детей своих он не понимал. Они говорили о том, что его не интересовало и чего он не знал. Культура Запада прошла мимо него. Он был азиатом до мозга костей, иными словами — язычником, и христианство казалось ему бессмыслицей. Однако он готов был игнорировать это как что-то чуждое и к делу не относящееся, если бы только мог понять своих детей. Когда Мод говорила ему, что на расходы по хозяйству требуется тридцать тысяч в месяц, он это понимал, как понимал и просьбу Альберта дать ему пять тысяч, чтобы купить двухмачтовую яхту «Мюриэль» и стать членом яхт-клуба. Но более

сложные желания и мысли детей сбивали его с толку и вскоре он понял, что духовная жизнь всех его сыновей и дочерей является запутанным лабиринтом, в котором ему никогда не разобраться. Он вечно наталкивался на стену непонимания.

По мере того как шли годы, его все сильнее влекло к людям его расы. Дым и чад китайского квартала казались ему благовониями. Проходя по улице, он с наслаждением принюхивался к ним, ибо они напоминали ему узкие извилистые переулки Кантона с их сутолокой и движением. Он с сожалением вспоминал о своей косе, которую отрезал в угоду Стелле Аллендейл в дни жениховства, и серьезно размышлял, не выбрить ли макушку и не отрастить ли новую косу. Кушанья, которые изготовлял для него дорогой повар, не доставляли ему такого удовольствия, как жуткие месива, подаваемые в душном ресторане китайского квартала. Гораздо приятнее было ему покурить и поболтать с полчасика со своими приятелями-китайцами, чем председательствовать за роскошными и изысканными обедами, какими славился его бунгало, где собиралось самое избранное общество. Американцы и европейцы сидели за длинным столом, причем мужчины и женщины были на равных правах. В затененном

свете ламп сверкали бриллианты на белых шеях и руках женщин; мужчины являлись в вечерних костюмах. Все болтали и смеялись неинтересным для него остротам.

Но не только его отчужденность и желание вернуться к родной китайской кухне составляли ядро проблемы. Сюда входило также и его богатство. Он жил надеждой на мирную старость. Много поработав на своем веку, он ждал в награду мира и отдыха. Однако он знал, что с его огромным состоянием невозможно надеяться на мир и отдых. Замечались уже кое-какие зловещие признаки. Нечто подобное приходилось ему наблюдать и раньше. У его бывшего хозяина Дантена дети, затеяв процесс, вырвали из рук управление имуществом, и суд назначил над ним опеку. А-чун прекрасно знал, что, будь Дантен бедняком, суд нашел бы его способным вести дела. А у старика Дантена было всего лишь трое детей и полмиллиона, тогда как у него — А-чуна — пятнадцать отпрысков, а сколько миллионов, про то знал лишь он один.

— Наши дочери — красивые девушки, — сказал он как-то вечером своей жене. — Молодых людей много. Дом полон ими. Мои счета за сигары очень велики. Почему же они не выходят замуж?

Мамаша А'Чун пожала плечами.

— Женщина — всегда женщина, а мужчина — мужчина. Странно, что они не выходят замуж. Может быть, молодым людям наши дочери не нравятся?

— Ах, нравиться-то нравятся, — отвечала мамаша А'Чун, — но видите ли, они не могут забыть, что ты их отец.

— Однако ты ведь забыла, кто был моим отцом, — серьезно сказал А-чун. — Ты только попросила меня отрезать косу.

— Должно быть, молодые люди требовательнее, чем была я.

— Что вы почитаете самым великим на свете? — неожиданно спросил А-чун.

Мамаша А'Чун минутку подумала и ответила:

— Бога.

Он кивнул:

— Боги бывают разные — и бумажные, и деревянные, и бронзовые. Мне в конторе один маленький божок служит как пресс-папье.

— Но есть только один Бог, — решительно заявила она.

А-чун подметил признаки опасности и уклонился.

— Что же в таком случае сильнее Бога? — спро-

сил он. — Могу вам сказать: деньги. В свое время я имел дело с евреями и христианами, магометанами и буддистами и маленькими черными людьми с Соломоновых островов и Новой Гвинеи, которые заворачивали своих богов в промасленную бумагу и с ними не расставались. Боги у них были разные, но все эти люди поклонялись деньгам. У нас бывает капитан Хиггинсон. Ему как будто нравится Генриетта.

— Он никогда на ней не женится, — возразила мамаша А'Чун. — Он станет адмиралом.

— Контр-адмиралом, — перебил А-чун. — Знаю. Они все уходят в отставку контр-адмиралами.

— Его семья в Соединенных Штатах занимает высокое положение. Им не понравится, если... если он женится не на американке.

А-чун вытряхнул пепел из трубки, наполнил серебряную чашечку табаком, затем зажег трубку, затянулся и тогда только заговорил:

— Генриетта — старшая. В день свадьбы я дам ей триста тысяч долларов. На эту удочку пойдет и капитан Хиггинсон и вся его знатная родня. Предоставляю тебе довести это до его сведения.

А-чун сидел и курил, а в завитках дыма вырисовывались перед ним лицо и фигура Той Шей, служанки в доме его дяди в кантонской деревне; у

нее всегда было полно работы, и за такую работу она получала один доллар в год. В завитках дыма он увидел и самого себя, юношу, восемнадцать лет возделывавшего за такую же примерно плату поля своего дяди. А теперь он, А-чун, крестьянин, дает в приданое своей дочери триста тысяч лет такого труда. А ведь она — лишь одна из дюжины дочерей. При этой мысли он не возгордился. Ему пришло в голову, что он живет в забавном, причудливом мире, и он громко захихикал и испугал мамашу А'Чун, предавшуюся грезам; эти грезы, как он знал, скрывались в тайниках ее сердца, куда ему не было доступа.

Но слова А-чуна достигли своей цели, и капитан Хиггинсон, позабыв о контр-адмиральстве и знатной семье, взял в жены триста тысяч долларов и утонченную, образованную девушку, которая была на одну тридцать вторую полинезийкой, на одну шестнадцатую итальянкой, на одну шестнадцатую португалкой, на одиннадцать тридцать вторых англичанкой и американкой и наполовину китаянкой.

Щедрость А-чуна возымела свое действие. Все его дочери вдруг сделались желанными невестами. За Генриеттой последовала Клара, но когда секретарь Территории формально сделал ей

предложение, А-чун уведомил его, что ему придется подождать своей очереди, ибо Мод старше и должна выйти замуж раньше сестры. То была тонкая политика. Вся семья не на шутку заинтересовалась замужеством Мод, и через три месяца Мод вышла замуж за Неда Гемфриса, комиссара Соединенных Штатов по эмиграции. И он и Мод были недовольны, получив в приданое только двести тысяч. А-чун объяснил свою первоначальную щедрость желанием пробить лед.

За Мод последовала Клара, а затем в течение двух лет в бунгало справляли свадьбу за свадьбой. А-чун тем временем не зевал: вынимал помещенные им капиталы, продавал свои паи во многих предприятиях и постепенно, шаг за шагом, стараясь не вызывать падения цен на рынке, распродал свои огромные поместья. Под конец он заторопился, вызвал падение цен и продал себе в убыток. Такая спешка объяснялась грозовыми тучами, подмеченными им на горизонте. Когда выходила замуж Люсиль, эхо раздоров достигло его слуха. Атмосфера стала сгущаться от проектов и контрпроектов, имевших целью снискать его расположение или восстановить против того или другого либо всех его зятьев, кроме одного. Все это не способствовало покою и отдыху, которые

так нужны ему были на склоне лет.

Он постарался ускорить дело. Давно уже он состоял в переписке с главными банками в Шанхае и Макао. В течение нескольких лет с каждым пароходом досылались в депозит этих дальневосточных банков векселя на имя некоего Чун А-чуна. Теперь векселя подписывались на более крупные суммы. Две его младшие дочери еще не вышли замуж. Ждать он не стал, а внес в Гавайский банк по сто тысяч на имя каждой дочери с тем, чтобы до их замужества нарастали проценты. Альберт принял дела фирмы «А-чун и А-янг». Гарольд, старший, предпочел взять четверть миллиона и переехать на жительство в Англию, а Чарльз, младший, получил сто тысяч и опекуна и уехал заканчивать образование в Келу. Мамаше А'Чун был преподнесен в дар бунгало, дом на горе Танталус и приморская вилла, заменившая ту, которую А-чун продал правительству. Кроме того, мамаша А'Чун получила полмиллиона долларов, надежно помещенных.

Теперь А-чун приготовился разгрызть ядро проблемы. В одно прекрасное утро, когда вся семья собралась завтракать, — А-чун позаботился о том, чтобы при этом присутствовали все его зятья и их жены, — он объявил, что возвращает-

ся на родину своих предков. В краткой, удачно составленной речи он объяснил, что щедро обеспечил всю семью, а затем дал им наставления, следуя которым, они, по его мнению, будут жить в мире и согласии. Далее он снабдил деловыми советами своих зятьев, поговорил на тему о выгодах умеренной жизни и надежного помещения капитала и поделился своими энциклопедическими познаниями в области промышленности и торговли Гавайев. Затем потребовал экипаж и в сопровождении плачущей мамаши А'Чун поехал на тихоокеанский пароход. В бунгало началась паника. Исступленный капитан Хиггинсон хотел его задержать. Дочери заливались слезами. Один из мужей, бывший федеральный судья, усомнился в здравом уме А-чуна и поспешил к соответствующим властям, чтобы получить на этот счет сведения. Вернувшись, он сообщил, что А-чун побывал накануне в комиссии, потребовал освидетельствования и блестяще выдержал испытание.

Делать было нечего, и все отправились на пристань попрощаться с маленьким старичком, который, стоя на палубе, махал им рукой, пока огромный пароход пробирался среди коралловых рифов.

Но маленький старичок ехал не в Кантон. Слишком хорошо знал он свою родину и гнет мандаринов, чтобы явиться туда с оставшимся у него солидным состоянием. Он держал путь на Макао. А-чун долго пользовался властью, равной королевской, и привык повелевать, как король. Когда по прибытии в Макао он явился в контору самого большого европейского отеля, клерк перед самым его носом захлопнул книгу. Китайцам доступ был воспрещен. А-чун вызвал управляющего и встретил столь же дерзкий прием. Он уехал, чтобы вернуться через два часа. Призвал клерка и управляющего, дал им месячное жалованье и уволил. Он сделался владельцем отеля и проживал в лучших комнатах в течение многих месяцев, пока строился для него роскошный пригородный дворец. С никогда не изменившим ему умением он поднял за это время доходность своего большого отеля с трех до тридцати процентов.

Дрязги, от которых бежал А-чун, не замедлили последовать. Одни зятья неудачно поместили свои капиталы, другие сорили деньгами, проживая приданое своих жен. По уходе А-чуна они обратили взоры на мамашу А'Чун и ее полмиллиона, что не способствовало нежным чувствам. Адвокаты жирели от всей этой процедуры по

утверждению раздела. Иски и встречные иски затопляли гавайские суды. Не обошлось и без привлечения к уголовной ответственности. Происходили бурные столкновения, сопровождавшиеся обменом увесистыми словами и еще более увесистыми ударами. Бывало и так, что швырялись цветочными горшками, подкреплявшими крылатое словечко. Возбуждались иски по обвинению в клевете и проходили через все инстанции, а свидетельские показания возбуждали живейшее любопытство во всем Гонолулу.

В своем дворце, окруженный всей роскошью Востока, А-чун мирно курит свою трубку и прислушивается к смятению за морями. С каждым почтовым пароходом отправляется из Макао в Гонолулу письмо, написанное на безупречном английском языке и отпечатанное на американской машинке. В этих письмах А-чун преподает своей семье благие советы и наставления, как жить в мире и согласии. Сам же он стоит в стороне от всех этих дел и чувствует себя прекрасно. Он добился спокойствия и отдыха. Иногда он хихикает и потирает руки, а черные раскосые его глазки весело поблескивают при мысли об этом забавном мире. Ибо от всей его жизни и философии остается у него одно только убеждение

— этот мир очень забавен.

Шериф Коны

— Поневоле полюбишь этот климат, — сказал Кадуорт в ответ на мой восторженный отзыв о береге Коны. — Я приехал сюда восемнадцать лет назад совсем юношей, только что окончившим колледж. И с этих пор не уезжал, разве что изредка заглядывал на родину. Предупреждаю вас: если дорого вам какое-либо местечко на земле, не мешкайте здесь слишком долго, а то этот уголок земного шара покажется вам всего дороже.

Мы только что отобедали на широкой террасе, единственной, обращенной на север, хотя при исключительном климате Коны это обстоятельство никакого значения не имеет.

Потушили свечи, и гибкий, одетый в белое слуга-японец, словно привидение, скользнул в серебристом лунном сиянии, подал нам сигары и растаял во мраке бунгало. Сквозь листву банановых пальм и деревьев легуа я смотрел вниз, туда, где за зарослями гуавы раскинулось спокойное море: наш бунгало возвышался на тысячу футов над его уровнем. Целую неделю, с тех пор как я сошел на берег с крохотного каботажного пароходика, я жил у Кадуорта, и за все это вре-

мя ветер не волновал безмятежной глади моря. Правда, дули легкие бризы, но это были самые нежные зефиры, когда-либо веявшие летом над островами. Их нельзя было назвать ветрами: то были вздохи — протяжные, легкие благовонные вздохи отдыхающего мира.

— Страна лотоса, — сказал я.

— Где один день похож на другой и каждый день исполнен райского блаженства, — отозвался он. — Никогда ничего не случается. Не слишком жарко. Не слишком холодно. Все в меру. Вы обратили внимание, как дышат по очереди земля и море?

Действительно, я подметил это упоительное, ритмическое дыхание. Каждое утро я наблюдал, как морской ветерок, поднимаясь у берега, обвевал землю нежной струей озона и медленно уходил к морю. Играя над морем, он слегка затемнял его поверхность, и всюду виднелись длинные полосы глади, изменчивые, переливчатые, струящиеся под капризными поцелуями ветра. А каждый вечер я видел, как замирало в небесном покое дыхание моря и сквозь листву кофейных деревьев и баобабов слышалось слабое дыхание земли.

— Это страна вечного штиля, — сказал я. — Дует

здесь когда-нибудь ветер? Дует ли по-настоящему? Вы понимаете, о чем я говорю.

Кадуорт покачал головой и указал на восток.

— Как может он дуть, когда его останавливает такой барьер?

Высоко вздымались громады гор Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, как будто заслоняя половину звездного неба. На высоте двух с половиной миль над нашими головами они возносили свои вершины, покрытые белым снегом, и тропическое солнце бессильно было его растопить.

— Бьюсь об заклад, что в тридцати милях отсюда ветер в данный момент дует со скоростью сорока миль в час.

Я недоверчиво улыбнулся.

Кадуорт подошел к телефону на террасе. Он вызвал сначала Уаймею, потом Кохалу и Гамакуа. По обрывкам разговоров я понял, что ветер дует: «Налетает и сбивает с ног, да?.. И давно?.. Всего неделю?.. Алло, Эйб, это вы?.. Да, да… А вы все-таки разводите кофе на берегу Гамакуа… К черту ваши щиты! Вы бы посмотрели на мои деревья!»

— Ураган, — сказал он, повесив трубку и оборачиваясь ко мне. — Я всегда вышучиваю Эйба и его кофе. Его плантации тянутся на пятьсот акров, и он творит чудеса со своими щитами от

ветра, но все же я не понимаю, каким образом он удерживает корни в земле. Дует ли там ветер? Да, со стороны Гамакуа всегда дует ветер. Кохала говорит, что шхуна под двойными рифами пробивается вверх по каналу между Гавайей и Мауи и ей трудно приходится.

— Как-то не представляешь себе этого, — неуверенно сказал я. — Неужели как-нибудь в обход сюда не может проникнуть хотя бы дуновение того ветра?

— Ни вздоха. Наш береговой ветер никакого отношения к нему не имеет, ибо начинается по эту сторону Мауна-Кеа и Мауна-Лоа. Видите ли, земля излучает тепло быстрее, чем море, и ночью обвевает море своим дыханием. А днем земля нагревается сильнее, и тогда дышит море… Слушайте! Вот поднимается дыхание земли, горный ветер.

Я слышал, как, приближаясь, он мягко шелестел в кофейных деревьях, шевелил листву баобабов и вздыхал в сахарном тростнике. На террасе все еще было тихо. Затем донеслось первое дуновение горного ветра, слабо ароматное, душистое, пряное и прохладное, упоительно прохладное. То была ласкающая, хмельная прохлада, свойственная одному только горному ветру Коны.

— Вы теперь не удивляетесь, что я восемнадцать лет назад влюбился в Кону? — спросил Кадуорт. — Теперь я не мог бы отсюда уехать. Думаю, я бы умер. Во всяком случае, это было бы ужасно. Был и еще один человек, который любил Кону так же, как и я. Пожалуй, он любил ее еще больше, так как родился здесь, на этом побережье. Он был великий человек, лучший мой друг, больше, чем брат мне. Но он уехал — и не умер.

— Любовь? — осведомился я. — Женщина?

Кадуорт отрицательно покачал головой.

— И никогда он не вернется, хотя сердце его останется здесь до самой смерти.

Он замолчал и посмотрел вниз, на береговые огни Каула. Я молча курил и ждал.

— Он уже был влюблен… в свою жену. Трое детей у него было, и он их любил. Они живут теперь в Гонолулу. Мальчик поступает в колледж.

— Какой-нибудь опрометчивый поступок? — нетерпеливо спросил я.

Он снова покачал головой.

— Ни в чем преступном он не был виновен, и ни в чем его не обвиняли. Он был шерифом Коны.

— Вы хотите быть парадоксальным, — сказал я.

— Пожалуй, мои слова похожи на парадокс, —

согласился он. — Это сущее проклятие.

Секунду он смотрел на меня испытующе, затем неожиданно начал рассказ.

— Он был прокаженный. Нет, он не родился с проказой; никто с ней не рождается. Болезнь настигла его. Этот человек… Э, да не все ли равно? Его звали Лайт Грегори. Всякий камаина знает эту историю. Родом он был американец, а сложен, как вожди старой Гавайи, ростом в шесть футов три дюйма. Чистого веса в нем было двести двадцать фунтов — все мускулы да кости, и ни на одну унцию жира. Он был самым сильным человеком, какого я когда-либо знал, — великан, атлет, бог. И мой друг. А сердце и душа его были так же прекрасны, как и тело.

Интересно, что бы вы делали, если бы увидели своего друга, брата, на скользком краю пропасти. Он скользит, скользит — и вы не в состоянии ему помочь. Вот так и было. Я ничего не мог поделать. Я видел, что оно надвигается, и был бессилен помочь. Боже мой, что я мог сделать? Болезнь наложила знак зловещий и неопровержимый на его лоб. Никто не видел этого знака. Думаю, видел я один, потому что так его любил. Я не верил своим глазам. Слишком это было чудовищно. Однако знак на нем был — на лбу, на ушах. Я

замечал, как припухли мочки ушей — чуть-чуть, совсем немного. Месяцами я наблюдал, надеялся, вопреки всему. Затем потемнела кожа над бровями — такое слабое появилось пятнышко, словно легкий налет загара. Я бы и принял его за загар, но только оно иногда как-то отсвечивало, словно блеснет на секунду и угаснет. Я старался убедить себя, что это загар, но мне это уже не удавалось. Я знал, что это значит. Никто не видел, кроме меня. Никто не подметил, кроме Стивена Калюны, но я тогда об этом не знал. Я видел, что оно надвигается — проклятие, несказанный ужас, но думать о будущем отказывался. Я боялся. Не в силах был думать. И по ночам плакал.

Он был моим другом. Вместе мы ловили акул на Ниихау. Гонялись за дикими животными на Мауна-Кеа и Мауна-Лоа. На ранчо Картера объезжали лошадей и клеймили быков. Охотились на коз в Халеакала. Он учил меня нырять и плавать в прибой, и наконец я почти сравнялся с ним в ловкости, а он был искуснее любого канака. Я видел, как он нырял на глубину тридцать ярдов и две минуты оставался под водой. В воде он чувствовал себя, как амфибия, а по горам лазил, как настоящий горец, взбираясь по тем тропинкам, где бродили дикие козы. Ничего он не боялся. Он

находился на борту «Люги», потерпевшей крушение, и проплыл тридцать миль в тридцать шесть часов при сильном шторме. Самые страшные волны, которые нас с вами превратили бы в кашу, были ему нипочем. Он был великим человеком — человек-бог. Вместе мы пережили революцию, и оба были верноподданными романтиками. Дважды он был ранен. Его приговорили к смерти, но не посмели убить такого великого человека. А он только смеялся. Впоследствии ему воздали по заслугам и назначили шерифом Коны. Он был человек простой — мальчик, который так и не сделался взрослым. И мыслительные его процессы протекали просто, без всяких вывертов. Он шел прямо к цели, а цель его всегда была проста.

Он был сангвиник. Никогда я не встречал таких доверчивых, довольных и счастливых людей. От жизни он ничего не требовал, так как ему нечего было желать. За жизнью у него не числилось недоимок. Авансом он получил наличными все сполна. Чего еще было ему желать, раз он получил такое великолепное тело, железное здоровье, иммунитет против всех обычных болезней и смиренную, чистую душу? Физически он был совершенством. Ни разу в своей жизни не болел. Понятия не имел о том, что такое головная боль.

Когда у меня болела голова, он глядел на меня с недоумением, а я невольно смеялся над его неуклюжими попытками мне посочувствовать. Головной боли он не понимал. Не мог понять. Сангвиник? Неудивительно. Мог ли он — наделенный такой чудовищной жизненной силой и невероятным здоровьем — быть иным?

Приведу один пример, чтобы показать вам, как он верил в свою звезду и как оправдалась эта вера… Он был еще юнцом — мы только что встретились, — когда сел играть в покер в Уайлуку. Среди игроков был один здоровенный немец, по фамилии Шульц, игравший заносчиво и грубо. Ему везло, и он стал совершенно невыносим, когда Лайт Грегори начал играть. Первым объявил игру Шульц, Лайт принял, как и все остальные, а Шульц заставил спасовать всех — всех, кроме Лайта. Лайту не понравился тон немца, и он в свою очередь объявил игру. Шульц повысил, Лайт отвечал ему тем же. Так они и повышали — кто кого. Ставки были весьма высокие.

А знаете, какие карты были у Лайта? Два короля и три маленьких трефы. То был не покер. Лайт не в покер играл. Он играл в свой оптимизм. Он не знал, какие карты на руках у Шульца, но все повышал, пока Шульц не взвыл, а у него было на

руках три туза. Подумайте только! Человек с парой королей заставляет трех тузов брать прикуп.

Да, Шульц прикупил две карты; сдавал другой немец, к тому же друг Шульца. Тут Лайт уже знал, что играет против трех одинаковых карт. Что же он сделал? Что бы вы сделали? Конечно, прикупили бы три карты, оставив двух королей. Но Лайт поступил иначе. Сбросил королей, оставил три маленькие трефы и прикупил две карты. Он даже не поглядел на них, а смотрел на Шульца и ждал, чтобы тот объявил игру. И Шульц объявил крупную игру. Раз у него было три туза, он знал, что победит Лайта, так как если Лайт и держал три одинаковых карты, то во всяком случае они были меньше тузов. Бедняга Шульц! Все его предпосылки были совершенно правильны. Ошибочным было лишь его заключение, что Лайт играет в покер. В продолжение пяти минут они повышали ставки, и наконец уверенность Шульца начала испаряться. А Лайт до сих пор не взглянул на свой прикуп, и Шульц это знал. Я видел, как он задумался, затем оживился и снова повысил ставку. И не выдержал напряжения.

— Стойте, Грегори, — сказал он наконец. — Я обыграл вас с самого начала. Не нужно мне ваших денег. У меня на руках…

— Все равно, что бы у вас там ни было, — перебил Лайт. — Вы не знаете, что у меня. Пожалуй, я посмотрю.

Он посмотрел и повысил ставку еще на сто долларов. Опять они стали повышать по очереди, Шульц ослабел, спасовал и открыл свои три туза. Лайт выложил свои пять карт — все одной масти: в прикупе были еще две трефы. А знаете, ведь он испортил Шульца. Тот уже не мог по-прежнему играть в покер — смелости не стало, он начал нервничать, колебаться.

— Как ты это сделал? — спрашивал я Лайта позже. — Ведь когда он прикупил две карты, ты знал, что проиграешь. А на свой прикуп ты даже не взглянул.

— И нечего было смотреть, — ответил Лайт. — Я знал, что там две трефы. Так и должно быть. Неужели ты думал, что я сдамся этому толстому немцу? Не мог он меня обыграть. Мне битым не бывать. Я должен был выиграть. Знаешь, ведь я больше всех бы удивился, не окажись у меня трефы.

Вот каков был Лайт. Быть может, этот пример даст вам возможность оценить его безграничный оптимизм. По его мнению, ему так и полагалось — преуспевать, процветать и благоденствовать.

И в данном случае, как и в десятке тысяч других, уверенность его была оправдана. В том-то и дело, что он преуспевал и благоденствовал. Вот почему он ничего не боялся. Ничего не могло с ним случиться. Он это знал, ибо никогда и ничего с ним не случалось. Когда погибла «Люга», он проплыл тридцать миль и в воде провел две ночи и день. И за это время ни на минуту не потерял надежды, ни на минуту не усомнился в спасении. Он знал, что выберется на сушу. Так он мне сам сказал, и я знаю, что это правда.

Да, таков был Лайт Грегори, человек иной породы, возвышавшийся над простыми, хилыми смертными, не ведавший болезней и невзгод. Он получал все, чего хотел. Жену — красавицу из семьи Кэрузер — он отбил у дюжины соперников. Она ему была хорошей женой, второй такой и не сыщешь. Он хотел иметь сына — и родился сын. Пожелал дочь и второго сына — тоже получил. И дети вышли крепкие, без всяких физических недостатков — грудные клетки словно маленькие бочонки; они унаследовали его здоровье и силу.

Вот тогда-то и пришла беда. На него было наложено клеймо зверя. Целый год я наблюдал. Сердце у меня надрывалось. Но он не знал, да и никто не догадывался, кроме этого проклятого

хапа-хаоле, Стивена Калюны. Тот знал, но я и не подозревал этого. Знал еще один человек — доктор Строубридж. Он был окружным врачом и зорко подмечал малейшие признаки проказы. Видите ли, в его обязанности входило освидетельствование подозрительных больных и отправка их на приемочную станцию в Гонолулу. Да и у Стивена Калюны глаз был наметан на проказу. Болезнь свирепствовала в его семье, и четверо или пятеро его родственников были уже отправлены на Молокаи.

Все началось из-за сестры Стивена Калюны; когда на нее упали подозрения, брат спровадил ее в укромное местечко, раньше чем она попала в руки доктора Строубриджа. Лайт, как шериф Коны, обязан был ее разыскивать.

В тот вечер все мы собрались в Хило, в баре Неда Остина. Когда мы вошли, Стивен Калюна был уже там. Он слегка подвыпил и настроен был сварливо. Лайт смеялся над какой-то шуткой — здоровый, счастливый смех мальчика-великана. Калюна презрительно сплюнул. Лайт, как и все остальные, заметил это, но решил не обращать внимания. Калюна искал ссоры. Личным оскорблением он считал старание Лайта разыскать его сестру. Всячески проявлял он свое неудоволь-

ствие по поводу присутствия Лайта, но тот его игнорировал. Должно быть, Лайту было чуточку его жалко, ибо самой тяжкой обязанностью шерифа был арест прокаженных. Не очень-то приятно было врываться в дом и уводить отца, мать или ребенка, ни в чем не провинившихся, а затем отправлять их в вечную ссылку на Молокаи. Конечно, это было необходимо для охраны общественного здоровья, и, думаю, Лайт первый арестовал бы родного отца, если бы возникли подозрения.

Наконец Калюна не выдержал и крикнул:

— Слушайте, Грегори, вы думаете, что вам удастся разыскать Каланивео? Ошибаетесь!

Каланивео — так звали его сестру. Лайт, услышав свое имя, взглянул на него, но ничего не ответил. Калюна взбесился. Все время он себя взвинчивал.

— Знаете, что я вам скажу? — закричал он. — Вы сами попадете на Молокаи раньше, чем вам удастся затащить туда Каланивео. Я вам скажу, кто вы такой. Вы не имеете права сидеть в компании честных людей. Очень уж вы разболтались о своем долге. Много прокаженных вы отправили на Молокаи, все время зная, что ваше место там.

Не раз видел я Лайта в гневе, но такой ярости

еще не видывал. Как вам известно, проказой у нас не шутят. Лайт одним прыжком очутился подле Калюны, вцепился ему в шею, стащил со стула и с бешенством начал его трясти, так что у полукровки зубы застучали.

— Ты что хотел сказать? — кричал Лайт. — Выплевывай живей, а то я из тебя вытряхну правду.

Как вам известно, на Западе есть одна фраза, которую следует произносить с улыбкой. Так и у нас на островах, но только наша фраза касается проказы. Калюна, может, и дурной человек, но отнюдь не трус. Как только Лайт слегка разжал руку, Калюна ответил:

— Я скажу тебе правду: ты сам — прокаженный!

Тут Лайт швырнул полукровку на стул, не причинив ему вреда, и от всей души расхохотался. Но смеялся он один. Заметив это, он оглядел нас всех. Я подошел к нему и старался его увести, но он не обращал на меня ни малейшего внимания. Он, словно зачарованный, смотрел на Калюну, который торопливо, нервно тер себе шею, как будто пытаясь смахнуть заразу, оставленную душившими его пальцами. Это были движения непроизвольные, искренние.

Лайт снова оглядел всех, медленно переводя

взгляд с одного лица на другое.

— О Боже мой, ребята! О Боже мой! — сказал он.

Он едва выговорил эти слова хриплым, испуганным шепотом. Страх сдавил ему горло, а доселе, я думаю, он не ведал, что такое страх.

Наконец его безграничный оптимизм одержал верх, и он снова рассмеялся.

— Славная шутка, кто бы ее ни придумал, — сказал он. — Выпивка за мой счет. На секунду я струхнул. Только, ребята, не повторяйте этого ни с кем. Слишком это серьезно. Уверяю вас, за одну секунду я словно тысячу раз умирал. Подумал о жене, о детях и…

Голос его оборвался, а полукровка, все еще потиравший себе шею, отвел глаза. Лайт был смущен и расстроен.

— Джон, — сказал он, поворачиваясь ко мне.

Его веселый, громкий голос звучал в моих ушах, а я не в силах был ему ответить. Слезы душили меня, к тому же я знал, что по моему лицу он может догадаться.

— Джон, — повторил он, подходя ко мне.

Он окликнул меня робко; что могло быть ужаснее робости, дрожавшей в голосе Лайта Грегори?

— Джон, Джон, что это значит? — сказал он,

а голос его звучал еще неувереннее. — Ведь это шутка, да? Джон, вот моя рука. Разве я протянул бы тебе руку, если бы был прокаженный? Разве я прокаженный, Джон?

Он протянул мне руку — и, черт возьми, чего мне было бояться? Он был моим другом. Я взял его руку, хотя сердце у меня сжалось, когда я увидел, как просветлело его лицо.

— Это была шутка, Лайт, — сказал я. — Нам вздумалось над тобой подшутить. Но ты прав. Такими вещами не шутят. И больше это не повторится.

На этот раз он не рассмеялся, а только улыбнулся, как человек, очнувшийся от страшного сна и еще не отделавшийся от тяжелого впечатления.

— Ну, ладно, — сказал он. — Не повторяйте, а я позабочусь о выпивке. Должен признаться, ребята, что вы меня на минутку опустили в самое пекло. Посмотрите, как я вспотел.

Он вздохнул, вытер потный лоб и двинулся к стойке.

— Это не шутка, — резко сказал Калюна.

Я бросил на него убийственный взгляд и готов был пристукнуть его на месте. Но не посмел ни заговорить, ни ударить. Это только ускорило бы катастрофу, а я еще лелеял безумную надежду как-нибудь ее предотвратить.

— Да, не шутка, — повторил Калюна. — Лайт Грегори, вы — прокаженный и не имеете права прикасаться к телу честных людей… к чистому телу честных людей.

Тут Грегори вскипел.

— Шутка зашла слишком далеко! Перестань, Калюна! Говорю тебе, перестань, а не то я тебя приколочу.

— Сделайте бактериологическое исследование, — отвечал Калюна, — а тогда уже бейте меня до смерти, если пожелаете. Да вы бы хоть в зеркало на себя поглядели. Сами увидите, как любой из нас… У вас делается львиное лицо. Смотрите, как потемнела кожа над глазами.

Лайт вглядывался в зеркало, и я заметил, как дрожали у него руки.

— Ничего не вижу, — сказал он наконец; затем повернулся к хапа-хаоле. — У тебя черное сердце, Калюна. И я не стыжусь сознаться, что ты испугал меня так, как ни один человек не имеет права пугать другого. Я ловлю тебя на слове: немедленно пойду и решу этот вопрос. Пойду прямо к доктору Строубриджу. А когда вернусь, берегись!

Не глядя на нас, он направился к двери.

— Подожди здесь, Джон, — сказал он, когда я вызвался его проводить.

Мы застыли на месте, словно призраки.

— Это правда, — сказал Калюна. — Сами можете увидеть.

Все поглядели на меня, а я кивнул головой. Гарри Барнли поднес было стакан к губам, но тотчас же опустил его. Половину он расплескал на стойку. Губы у него дрожали, как у ребенка, готового расплакаться. Нед Остин рылся, доставая что-то из холодильника. В действительности же ничего там не искал и вряд ли сознавал, что делает. Все молчали. Губы Гарри Барнли задрожали еще сильнее. Вдруг он рассвирепел и злобно ударил Калюну кулаком по лицу. Тот в долгу не остался. Мы не пытались их разнять. Какое нам было дело? Пусть убивает полукровку. Колотил он его изрядно. Нас это не интересовало. Я даже не помню, когда Барнли отпустил беднягу и разрешил ему уползти. Мы все были слишком потрясены.

Впоследствии доктор Строубридж рассказал мне, как это произошло. Он засиделся до позднего вечера над докладом, и в это время Лайт вошел в его кабинет. Лайт уже обрел свой оптимизм: вошел, раскачиваясь, в комнату, и хотя сердился чуточку на Калюну, но в себе был совершенно уверен. «Что мне было делать? — спросил меня доктор. — Я знал, что он болен. Несколько меся-

цев следил, как развивалась болезнь. Но ответить ему я не мог. Не в силах был сказать да. Признаться, я не выдержал и расплакался. А он молил меня сделать бактериологическое исследование. “Срежьте кусочек кожи, доктор, — повторил он снова. — Срежьте кусочек и сделайте исследование”».

Должно быть, слезы доктора Строубриджа убедили Лайта. На следующее утро «Клодина» отходила в Гонолулу. Мы поймали его уже по дороге на пристань. Видите ли, он отправлялся в Гонолулу, чтобы явиться во Врачебное управление. Мы ничего не могли с ним поделать. Слишком многих отослал он на Молокаи, чтобы самому теперь увиливать. Мы убеждали его ехать в Японию, но он и слушать не хотел.

— Должен принимать свое лекарство, ребята, — вот все, что он нам сказал. И повторял это снова и снова. Он был одержим этой одной мыслью.

Он покончил со всеми своими делами и с приемочной станции Гонолулу отправился на Молокаи. Там он чувствовал себя неважно. Врач, проживающий на Молокаи, писал нам, что Лайт превратился в ходячую тень. Видите ли, он тосковал по жене и детям… Он знал, что мы о них заботимся, но все-таки ему было горько. Месяцев

через шесть я отправился на Молокаи. Я сидел по одну сторону зеркального окна, а он — по другую. Мы смотрели друг на друга через стекло и переговаривались с помощью так называемой разговорной трубы. Но я так ничего и не добился. Он твердо решил остаться. Битых четыре часа я его уговаривал и под конец выбился из сил, да и пароход мой давал гудки.

Но примириться с этим мы не могли. Спустя три месяца мы зафрахтовали шхуну «Алкион», контрабандой провозившую опиум. Под парусами она летела, как птица. Хозяин ее, отчаянный сорвиголова, за деньги готов был на все, а мы предложили ему хорошую сумму за рейс в Китай. Он отплыл из Сан-Франциско, а через несколько дней мы вышли в море на шлюпке. То было маленькое суденышко вместимостью в пять тонн, но мы неслись на северо-восток, против ветра, со скоростью десяти миль в час. Морская болезнь? Никогда еще мне не приходилось так сильно от нее страдать. Потеряв из виду землю, мы встретили «Алкион», и мы с Барнли перебрались на шхуну.

Около одиннадцати вечера мы подошли к Молокаи. Шхуна легла в дрейф, а мы на вельботе пристали во время прибоя в Калауэо; знаете это

местечко — там умер отец Дамьен. Этот сорвиголова был храбрецом: захватив пару револьверов, он отправился с нами. Мы пересекли полуостров, пройдя около двух миль до Калаупапы. Представьте себе: глухая ночь и эти поиски в поселке среди тысячи прокаженных. Вы понимаете — если бы поднялась тревога, нас бы прикончили. Местность незнакомая, тьма — хоть глаза выколи. Выскочили собаки прокаженных, стали на нас лаять, а мы, спотыкаясь, бродили вокруг, пока не заблудились.

Сорвиголова спас положение. Он направился к первому дому, стоящему особняком. Мы заперли дверь и зажгли свет. Там было шесть прокаженных. Мы разбудили их, и я обратился к ним на их языке. Мне нужен был кокуа. Кокуа в буквальном переводе означает — помощник, туземец, не зараженный проказой, который живет в поселке и получает жалованье от Врачебного управления; в его обязанности входит уход за прокаженными, перевязка язв и тому подобное. Мы остались в доме, чтобы не упускать из виду его обитателей, а сорвиголова, прихватив одного из прокаженных, отправился разыскивать кокуа. Он нашел его и под дулом револьвера заставил идти с собой. Но кокуа оказался молодцом. Сорвиголова остался

сторожить дом, а Барнли и меня кокуа повел к Лайту. Лайт жил один.

— Я так и думал, ребята, что вы приедете, — сказал Лайт. — Не прикасайтесь ко мне, Джон. Ну что, как Нед, Чарли и вся наша компания? Ладно, после расскажете. Теперь я готов за вами идти. Девять месяцев я здесь прожил. Где лодка?

Мы пустились в обратный путь, а по дороге зашли за сорвиголовой. Тем временем поднялась тревога. В домах зажигались огни, хлопали двери. Мы условились стрелять лишь в случае крайней необходимости, и когда нас задержали, мы пустили в ход кулаки и ручки револьверов. Я сцепился с каким-то огромным парнем и никак не мог его отогнать, хотя дважды ударил его кулаком по лицу. Мы вступили в рукопашный бой, упали и катались по земле, не выпуская друг друга. Он начал меня одолевать, как вдруг кто-то подбежал с фонарем. Тут я увидал его лицо. Как выразить словами этот ужас? То было не лицо, а какая-то стертая или стиравшаяся маска — заживо разлагающаяся плоть, — маска без носа, без губ, с распухшим уродливым ухом, свисающим на плечо. Я обезумел. А он так близко прижал меня к себе, что его ухо коснулось моего лица. Тут я потерял голову. Слишком это было ужасно.

Я стал бить его револьвером. Не знаю, как это случилось, но едва я от него освободился, как он вцепился в меня зубами. Этот безгубый рот впился, присосался к моей руке. Тогда я ударил его ручкой револьвера по переносице, и зубы его разжались.

Кадуорт протянул руку, и при свете луны я мог разглядеть шрамы. Казалось, рука была искусана собакой.

— Вы испугались? — спросил я.

— Испугался. Семь лет я ждал. Как вам известно, инкубационный период длится семь лет. Ждал здесь, в Коне, — и не заболел. Но в течение этих семи лет не было ни одного дня, ни одной ночи, когда бы я не думал… не думал обо всем этом… — Голос его рвался; он обвел взглядом купающееся в лунном свете море и снежные вершины гор. — Невыносима была мысль потерять все это, никогда больше не увидеть Коны. Семь лет! Проказа меня не тронула. Но вот почему я остался холостяком. У меня была невеста. Жениться я не смел, пока не рассеялись опасения. Она не поняла. Уехала в Соединенные Штаты и вышла замуж. С тех пор я ее не видел… Едва я разделался с прокаженным, как послышался стук копыт, словно при кавалерийской атаке. То

мчался сорвиголова. Он испугался переполоха и заставил прокаженных, сторож которых жил в доме, оседлать четырех лошадей. Мы готовы были следовать за ним. Лайт расправился с тремя кокуа, а затем мы вместе освободили Барнли от парочки наседавших на него людей. К тому времени весь поселок был на ногах, а когда мы обратились в бегство, кто-то начал стрелять в нас из винчестера. Должно быть, это был Джек Маквей, старший надсмотрщик на Молокаи.

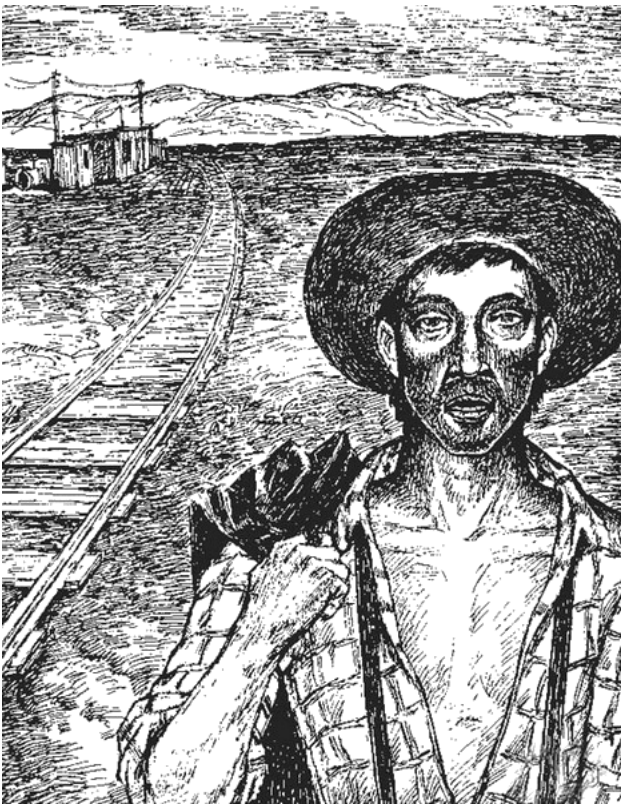
Ну и скачка же была! Прокаженные лошади, прокаженные седла, прокаженные поводья, тьма — хоть глаза выколи, да и дорога не из лучших! А сорвиголова ездить верхом не умел, и вместо лошади у него был мул. Все-таки мы добрались до вельбота и, отчаливая, слышали, как лошади из Калаупапы спускались с холма…

Вы едете в Шанхай. Загляните к Лайту Грегори. Он состоит на службе у одной немецкой фирмы. Угостите его обедом. Закажите вино. Дайте ему все самое лучшее, но пусть он ни за что не платит. Счет пришлите мне. Его жена и дети живут в Гонолулу, и деньги ему нужны для них. Я это знаю. Большую часть жалованья он посылает им, а сам живет отшельником. И расскажите ему о Коне. Здесь он оставил свое сердце. Расскажите

ему все, что знаете о Коне.

ДОРОГА

(сборник)



Сборник очерков и рассказов о дороге – длинной дороге жизни бродяг. Жизнь их полна авантюризма и романтики приключений. Вот приходится наблюдать избиение жизни, а вот ты уже играешь в карты в кругу таких же бродяг. Но это всего лишь картинки, которыми постоянно сменяется жизнь...

Признание

В штате Невада живет женщина, которой я однажды бесстыдно лгал несколько часов подряд. Я не намерен извиняться перед нею. Я далек от этого, но хотел бы объясниться. К несчастью, я не знаю ни ее имени, ни, тем более, ее теперешнего адреса. Если ей случайно попадутся на глаза эти строки, она мне, надеюсь, напишет.

Это было в Рено, в Неваде, летом тысяча восемьсот девяносто второго года. Время было ярмарочное, и город кишмя кишел мелкими жуликами и прощелыгами, не говоря уже об орде голодных бродяг. Голодные бродяги и превратили город в «голодный».

«Тут не раздобудешь жратвы!» — говорили об этом городе бродяги в подобный сезон. Я, по крайней мере, много раз оставался без обеда, хотя мастерски умел «стрелять», «обивать калитки», «набиваться на посиделки» в кухне, «клянчить монетку» на улице. Однажды мне пришлось так круто в этом городе, что я, прошмыгнув под носом носильщика, вскочил в частный вагон некоего путешествующего миллионера. Поезд тронулся в тот момент, когда я прыгнул на площадку, и я на-

ткнулся на хозяина вагона, миллионера, как раз тогда, когда кондуктор одним прыжком нагнал меня. Оба мы достигли каждый своей цели в одно и то же мгновение. Времени для формальностей не оставалось.

— Четвертак на жратву! — гаркнул я.

Клянусь жизнью — миллионер полез в карман и дал мне… ровно… ну, ровнёхонько… двадцать пять центов! Полагаю, он так был ошеломлен, что повиновался машинально, и я потом страшно жалел, что не потребовал доллар. Я уверен, что получил бы его! Я соскочил с площадки вагона, причем кондуктор едва не стукнул меня ногой в физию. Он промахнулся! Очень это опасная затея — соскакивать с нижней ступеньки вагона, в то время как разъяренный эфиоп норовит с площадки тяпнуть тебя по физиономии. Но я получил четверть доллара! Все же получил!

Вернемся, однако, к женщине, которой я беззастенчиво солгал. Это было в последний день моего пребывания в Рено. Я был на ипподроме, на бегах пони, и проворонил обед (или, вернее, полдник). Я был голоден; вдобавок только что был образован комитет общественной безопасности в целях избавления города от голодных бродяг, подобных мне. «Дядя Закон» уже зачерп-

нул охапку моих собратьев-бродяг, и солнечные долины Калифорнии настойчиво звали меня перемахнуть через холодные гребни Сиерры. Перед тем как отряхнуть с ног прах города Рено, мне оставалось сделать два дела: во-первых, забраться на тормозную площадку багажного вагона в поезде, отходившем на запад ночью; во-вторых, предварительно раздобыть провиант. Пуститься в далекий ночной путь на наружной площадке поезда, с бешеной скоростью несущегося через выемки, туннели и вечные снега поднебесных вершин, и проделать это на пустой желудок — перед этим спасует и сильный юноша. Но «раздобыть провиант» оказалось трудной задачей. Меня выпроводили из доброй дюжины домов. В некоторых из них по моему адресу отпускали обидные замечания и намеки на некоторое помещение за решеткой, которое было бы моим уделом, получи я причитающееся мне по заслугам. И хуже всего то, что эти замечания не слишком далеки были от истины. Вот почему в этот вечер я удирал на запад. «Дядя Закон» гулял по городу, тщательно выискивая голодных и бездомных — для них-то и содержатся заведения за решеткой.

В других домах перед самым моим носом захло-

пывали дверь, обрывая мои учтивые и скромные просьбы пожертвовать на хлеб. В одном доме мне даже не открыли! Я стоял на крыльце и стучал, а хозяева глядели на меня из окошка. Они даже подняли к окну толстого мальчугана, который через плечи старших рассматривал бродягу, желающего поесть.

Похоже было, что придется обратиться за милостыней в кварталы бедняков. Бедняки — последнее верное прибежище голодного бродяги. На бедняка всегда можно рассчитывать: он никогда не прогонит голодного! Сколько раз в Соединенных Штатах мне отказывали в куске хлеба в богатых домах на высоком холме и всегда давали поесть у ручья или болота, в маленьких лачужках с разбитыми окнами, заткнутыми тряпьем, откуда выходила хозяйка с изможденным от работы лицом! О филантропы! Идите, поучитесь у бедняков; только бедняки милосердны! Они подают и отказывают не от избытка. У них нет избытка! Они подают то, в чем сами нуждаются, и порой жестоко нуждаются! Они никогда не отказывают. Кость, брошенная собаке, — не милосердие. Милосердие — это кость, разделенная с собакой, когда дающий так же голоден, как собака!

Мне особенно запомнился один дом, из кото-

рого меня выпроводили в тот вечер. На крыльцо выходили окна столовой, сквозь стекла я увидел человека, уплетавшего пирог — большой кусок пирога с мясом. Я стоял в раскрытых дверях, и он, разговаривая со мной, продолжал есть. Он пребывал в полном благополучии, и это благополучие вызвало в нем презрение к менее благополучным ближним.

Он оборвал мою просьбу дать мне хлеба, фыркнув:

— Не верю, что ты хочешь работать!

Это было ни к селу ни к городу. Я ведь ни словом не заикнулся о работе! Речь шла о «хлебе». Я и в самом деле не собирался работать. Мне нужно было уехать с ночным поездом на запад.

— Ты же не будешь работать, даже если бы работа нашлась! — дразнил он меня.

Я взглянул на его жену — женщину с кротким лицом — и понял, что если бы не присутствие этого цербера, я получил бы кусок пирога. Но цербер весь зарылся в пирог; я видел, что его нужно умилостивить, иначе я не получу ни крохи. Вздохнув, я решил стерпеть его проповедь о работе.

— Конечно, я хочу работать! — солгал я.

— Не верю! — хрипел он.

— А вы испытайте меня! — продолжал я лгать.

— Ладно, — ответил он. — Приходи на угол такой-то и такой-то улицы (я уж забыл, какой именно) завтра поутру. Знаешь, там, где развалины сгоревшего дома, — я поставлю тебя разбирать кирпичи!

— Хорошо, сэр, завтра буду на месте!

Хрюкнув в ответ, он продолжал есть. Я ждал. Через несколько минут он поднял на меня глаза, в которых было отчетливо написано: «А я думал, ты уже убрался!», и спросил:

— Ну?..

— Я... Я жду чего-нибудь поесть! — смиренно вымолвил я.

— Я так и знал, что ты не хочешь работать! — проревел он.

Он был прав, разумеется; к этому правильному выводу он пришел, должно быть, путем чтения мыслей, ибо логически он ни из чего не вытекал. Но нищий у дверей должен вести себя смиренно, и я принял его логику, как раньше проглотил его нравоучение.

— Видите ли, я уже сейчас голоден, — кротко ответил я. — Завтра утром я буду еще голоднее! Подумайте, как же я буду голоден после целого дня работы с кирпичами! Если вы дадите мне чего-нибудь поесть сегодня, то я завтра буду таскать

кирпичи во как!

Он спокойно взвешивал мои доводы, не переставая уплетать пирог; жене явно хотелось замолвить за меня словечко, но она сдержалась.

— Знаешь, что я сделаю? — сказал он между глотками. — Ты приходи завтра утром на работу, и в полдень я выдам тебе аванс, достаточный, чтобы ты пообедал. Вот и станет понятно, действительно ли ты намерен работать.

— Пока что… — начал было я, но он перебил меня:

— Если я тебя сейчас накормлю, только я тебя и видел! Знаю я вашего брата. Ты посмотри на меня. Я никому не должен. Я никогда не унижался до того, чтобы просить хлеба. Я всегда зарабатывал на свое пропитание! Вся твоя беда в том, что ты ленив и распущен. Я вижу это по твоему носу. Я честно трудился, я сделал из себя то, что ты видишь. И ты добьешься того же, если будешь честно трудиться.

— Как вы? — спросил я.

Увы, мрачная, заскорузлая душа этого человека была чужда юмору.

— Да, как я, — ответил он.

— И это вы посоветуете любому?

— Да, любому и каждому, — уверенно ответил

он.

— Но если все станут такими, как вы, — сказал я, — то позвольте заметить вам, что некому будет бросать для вас кирпичи.

Готов поклясться, что в глазах его жены мелькнула искорка смеха! Что до него, то он испугался, но чего? Страшной ли перспективы жить среди исправившихся людей, когда не останется никого, чтобы таскать кирпичи, или же моей наглости — этого мне так и не довелось никогда узнать.

— Некогда мне болтать с тобой! — рявкнул он. — Пошел прочь, неблагодарный щенок!

Я переступил с ноги на ногу в знак готовности убираться и спросил:

— Стало быть, мне не дадут поесть?

Он вдруг вскочил. Это был крупный мужчина. Я был в чужом краю, и «Дядя Закон» разыскивал меня. Я поспешно убрался. «Но почему я неблагодарный? — спрашивал я себя, захлопывая калитку. — Какого черта он назвал меня неблагодарным?» Я оглянулся: он еще виднелся в окне и… уплетал пирог.

Тут я, признаться, пал духом. Я миновал много дверей, не решаясь постучать. У всех домов был одинаковый вид: ни один не выглядел приветливо. Пройдя с полдюжины кварталов, я стряхнул

с себя уныние и собрал все свое мужество. Ведь попрошайничество было для меня игрой, и, если мне не нравятся карты, я могу сдать снова. Я решил постучаться в первый же дом. Приблизившись к нему в сгустившихся сумерках, я обошел кругом, ища кухонной двери.

Я легонько постучал, и, когда увидел доброе лицо женщины средних лет, вышедшей на мой стук, меня словно осенило: в голову пришла «история», которую ей следовало рассказать. Надобно вам знать, что успех попрошайки зависит от его умения рассказать хорошую «историю». Первым делом в первое же мгновение попрошайка «примеривается» к избранной жертве. Затем — рассказывает «историю», способную подействовать на ее ум и темперамент. Здесь-то и кроется главная трудность: в момент «примеривания» к жертве он *уже должен начать* рассказывать свою повесть. У него нет ни минуты на подготовку: с молниеносной быстротой раскусив жертву, он должен придумать сказку, которая бы безотказно подействовала. Удачливому бродяге надо быть артистом. Ему следует творить легко и молниеносно, притом тему почерпнуть не из запасов своего воображения, а прочитать ее на лице особы, открывшей дверь, будь то муж-

чина, женщина или дитя, человек ласковый или хмурый, щедрый или скупой, добродушный или сварливый, иудей или варвар, чернокожий или белый, настроенный братски или с расовыми предрассудками, провинциал или столичный житель, или еще кто-нибудь... Мне не раз приходило в голову, что своим успехом писателя я в значительной мере обязан школе, которую прошел в дни своего бродяжничества. Чтобы добывать хлеб насущный, я вынужден был сочинять правдоподобные рассказы. У черного хода, под давлением неумолимой нужды, развивается та убедительность и искренность, которые требуются от короткой новеллы. Я думаю, что и реалистом меня сделала моя бродяжническая выучка. Реализм — единственный товар, который можно обменять у кухонных дверей на кусок хлеба!

Искусство в конце концов есть лишь усовершенствованное лукавство, а лукавство часто делает ненужной «историю». Помню, как однажды я лгал в полицейском участке в Виннипеге, в Манитобе. Я ехал на запад по Канадско-Тихоокеанской дороге. Разумеется, полиции нужна была моя «история», и я рассказал ее им с места в карьер. Это были сухопутные крысы, из самых

недр материка. Что в данном случае могло быть лучше «морской истории»? На морской сказке они никак не могли бы поймать меня! Вот я и рассказал жуткую повесть моей жизни на дьявольской посудине «Гленмор». (Я как-то видел корабль «Гленмор», стоявший на якоре в заливе Сан-Франциско.)

Я выдал себя за англичанина, отданного на корабль «в науку». Мне ответили, что выговор у меня не английский. В ту же секунду нужно было выкрутиться, и я сказал, что родился и воспитывался в Соединенных Штатах. После смерти родителей я был отправлен в Англию, к дедушке и бабушке. Они-то и отдали меня «в науку» на «Гленмор». Хочу надеяться, что капитан «Гленмора» простит меня за аттестацию, которую я дал ему в тот вечер в полицейском участке Виннипега: жестокий человек, зверь, сатанинская изобретательность в пытках… Неудивительно, что я сбежал с «Гленмора» в Монреале…

Но как же я очутился в центре Канады, по дороге на запад, раз мои дедушка и бабушка живут в Англии? Я мгновенно сочинил себе замужнюю сестру, живущую в Калифорнии; она позаботится обо мне! Я пространно стал расписывать эту «любящую душу». Но жестокосердные полицейские

не оставили меня в покое! Я сел на «Гленмор» в Англии; где был и что делал корабль в эти два года, до моего дезертирства в Монреале? И я взял этих сухопутных крыс с собою в кругосветное путешествие. Среди грозных волн, обдаваемые брызгами пены, они перенесли со мной тайфун на высоте Японии! Они грузили и выгружали со мной товары во всех портах Семи Морей! Я таскал их в Индию, в Рангун, в Китай, заставил их рубить вместе со мной льды вокруг мыса Горн и, наконец, ошвартоваться в Монреале!

Они попросили меня подождать минутку. Один из полицейских вышел куда-то в ночную тьму, в то время как я грелся у печки, ломая себе голову над вопросом: какую еще ловушку они мне подстроят?

Увидев *«его»*, входящего вместе с полицейским, я испустил мысленный стон: не комедией были вдетые в его уши золотые сережки; не степные ветры превратили эту кожу в морщинистый пергамент; не снежные метели, не шатание по горным склонам сообщили ему эту походку, напоминавшую качку судна! В глазах же, устремленных на меня, я сразу увидел, что он разгадает меня. Вот так загвоздка! А тут еще за мной наблюдают полдесятка полицейских, а я ведь никогда

не плавал в китайских морях, не огибал Горна, не видел ни Индии, ни Рангуна!

Положение было отчаянное. Катастрофа была неизбежна; она воплотилась для меня в образ этого обветренного, с золотыми серьгами в ушах сына моря! Кто он? Что он собой представляет? Я должен разгадать его прежде, чем он разгадает меня! Я должен твердо определиться, иначе все эти злые полицейские переправят меня в тюремную камеру, в полицейский суд. Если он спросит меня первый, раньше, чем я раскушу его, я пропал!

Вы думаете, я выдал свое отчаянное положение зоркоглазым блюстителям общественного порядка в Виннипеге? Нет, сто раз нет! Я встретил пожилого матроса с улыбкой и радостью в глазах, с облегченным видом утопающего, вдруг ощутившего в слабеющей руке спасательный круг. Вот человек, который поймет и сможет подтвердить мой правдивый рассказ этим ищейкам, ничего не смыслящим в морском деле! Так, по крайней мере, я старался себя держать. Я накинулся на него, засыпал его вопросами о нем самом. Мне нужно было выяснить личность моего спасителя раньше, чем он начнет спасать меня.

Он оказался добродушным матросом, «легкой

мишенью». Я долго расспрашивал его, и полицейские начали терять терпение. Наконец один приказал мне замолчать; я замолчал, но мысленно сочинял сценарий следующего акта. Я достаточно узнал для начала! Он француз. Он плавал только на французских судах, если не считать одного плавания на английском корабле. А главное — о, радость! — он уже двадцать лет не был на море!

Полицейский предложил ему проэкзаменовать меня.

— Ты останавливался в Рангуне? — спросил он.

Я утвердительно кивнул.

— Мы там ссадили нашего третьего штурмана. Горячка!

Если бы он спросил меня, какая горячка, я собирался ответить «энтерическая»; убейте меня, если я знаю, что это такое! Но он не задал этого вопроса. Вместо того он поинтересовался:

— А как было в Рангуне?

— Ничего. Дождь лил все время, пока мы там стояли.

— На берег отпускали?

— Понятно! — ответил я. — Мы, трое юнг, ездили на берег.

— Храм видели?

— Какой храм? — уточнил я.

— Большой, с широкой лестницей.

Знай я, что там есть храм, я сумел бы описать его. Пропасть разверзлась передо мной.

Я покачал годовой.

— Его видно отовсюду в порту, — заметил он. — Чтобы увидеть этот храм, нет надобности сходить на берег!

Никогда еще в своей жизни я не ощущал такой ненависти к храмам. Всю ее я сосредоточил на этом рангунском храме.

— Его не видно из порта, — стал я возражать. — Его не видно из города. Его не видно и с вершины лестницы. Потому что… — и я сделал паузу, чтобы усилить эффект, — потому что там вовсе нет храма.

— Но ведь я видел его своими глазами! — воскликнул он.

— Это было… — спросил я.

— В семьдесят первом.

— Храм разрушен великим землетрясением тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года! — объяснил я. — Он был такой ветхий…

Наступило молчание. Перед своим мысленным взором он, наверное, старательно восстанавливал свое юношеское видение — образ храма у

моря.

— Но лестница еще существует, — утешил я его. — Ее видно отовсюду в порту. А помните островок справа от входа в порт? — Видимо, был такой островок (я приготовился уже передвинуть его влево), потому что он кивнул. — Исчез! — добавил я. — На том месте теперь семисаженная глубина!

Я перевел дух. Покуда он размышлял о превратностях времени, я подготавливал заключительные штрихи своей истории.

— А помните таможню в Бомбее?

Он помнил ее.

— Сгорела дотла! — объявил я.

— А ты помнишь Джима Уоэна? — задал он мне вопрос в свою очередь.

— Помер, — сказал я, не имея ни малейшего понятия, кто такой Джим Уоэн.

Опять подо мной затрещал лед!

— Помните Билли Харпера из Шанхая? — быстро спросил я.

Пожилой моряк добросовестно старался вспомнить, но сочиненный мною Билли Харпер оказался не по силам его ослабевшей памяти.

— Да вы, наверное, помните Билли Харпера, — настаивал я. — Его все знают! Он жил там сорок

лет. Так вот, он все еще там!

И тут свершилось чудо! Матрос вспомнил Билли Харпера! Может быть, существовал какой-нибудь Билли Харпер; может быть, он жил в Шанхае сорок лет кряду и все еще находился там; но для меня это было совершенной новостью.

Еще добрых полчаса беседовали мы с матросом на такой манер. В конце концов он сказал полицейским, что я тот, за кого себя выдаю; переночевав у них и позавтракав, я был отпущен на волю и мог продолжать путешествие к моей замужней сестре в Сан-Франциско.

Но вернемся к женщине из Рено, которая открыла мне дверь в сумерках. Первый же взгляд на ее доброе лицо надоумил меня, как себя вести. Я превратился в смирного, невинного, несчастного паренька… Я не мог даже заговорить. Я раскрыл рот и снова закрыл его. Никогда еще в жизни я не попрошайничал. Растерянность моя была так тягостна, так очевидна! Я просто сгорал от стыда. Я, считавший попрошайничество приятным озорством, превратился в истого сына миссис Грэнди, классической мещанки, зараженного всеми ее буржуазными предрассудками. Только острые муки голода могли, мол, толкнуть меня на такое унизительное и гнусное дело, как протягивание

руки за куском… И я постарался изобразить на лице всю нерешительность изголодавшегося и простодушного юноши, не привыкшего просить милостыню.

— Ты голоден, бедный мальчик? — спросила она.

Я заставил ее заговорить раньше меня.

Я кивнул и всхлипнул.

— Я первый раз в жизни… прошу, — пролепетал я.

— Ну, входи! — Дверь распахнулась. — Мы уже кончили обедать, но печь еще топится, и я приготовлю тебе чего-нибудь…

Повернув меня к свету, она внимательно осмотрела меня.

— Если бы мой мальчик был так же здоров и силен! — проговорила она. — Но он слабенький. Иногда падает… Да вот нынче вечером он упал и сильно расшибся, бедняжка…

Голос ее был так ласков, и такая в нем была нежность, что мне захотелось стать поближе к ней. Я взглянул на ее мальчика. Он сидел за столом, худой и бледный, с забинтованной головой. Он не шевелился, но глаза его, блестевшие при свете лампы, были устремлены на меня с выражением застывшего удивления.

— Совершенно, как мой бедный папа! — сказал я. — У папы была падучая. Какое-то там головокружение. Доктора становились в тупик! Никак не могли определить, что с ним такое…

— Он умер? — осторожно спросила она, кладя передо мною штук пять яиц, сваренных всмятку.

— Умер, — всхлипнул я. — Две недели тому назад. Я был при нем в это время. Мы переходили улицу. Он упал и не пришел больше в сознание. Его отнесли в аптеку. Там он скончался…

Я стал размазывать жалостную историю моего отца: как мы с ним после смерти моей мамы отправились в Сан-Франциско с нашего ранчо; как мы прожили его пенсию (он, видите ли, был отставной военный) и небольшие деньжонки, которые у него были в запасе, и как он пробовал стать агентом по распространению книг. Я расписал также свои бедствия в первые несколько дней после его смерти, когда я скитался, одинокий и бездомный, по улицам Сан-Франциско.

Покуда добрая женщина поджаривала для меня хлеб и сало и варила новую порцию яиц, я зорко следил за всем окружающим, все учитывая, и размалевывал образ сочиненного мною сиротки, дополняя его новыми деталями. Я впрямь сделался этим «бедным мальчиком». Я поверил в него

так же живо, как поверил в чудесные яйца, которые уплетал. Я чуть не плакал над самим собой. Помню, временами в моем голосе слышались неподдельные слезы. И это действовало.

И после каждого штриха, который я прибавлял к картине, добрая душа подносила мне еще чего-нибудь. Она приготовила мне завтрак — в дорогу. Она положила мне в узелок вареных яиц, соли и перцу, хлеба и большое яблоко. Она снабдила меня тремя парами толстых красных шерстяных носков, надавала мне чистых носовых платков и других вещей — я уж и забыл, чего именно. И все время стряпала и стряпала, а я ел да ел! Я обжирался, как дикарь. Но ведь мне предстояло совершить далекий путь через Сиерру на площадке багажного вагона, и кто знает, где мне доведется поесть в следующий раз? И все это время, как фигура смерти на пиршестве, безмолвный и неподвижный, сидел и глазел на меня через стол ее собственный несчастный мальчик. Полагаю, я воплощал для него тайну, романтику, приключение — все, чего был лишен он, эта слабо тлевшая искорка жизни. Раз или два я поймал себя на мысли: а не видит ли он меня насквозь, до самого дна моей лживой душонки?

— Куда же ты направляешься? — спросила

меня женщина.

— В Солт-Лейк-Сити — город Соленого Озера, — ответил я. — У меня там живет замужняя сестра. (Я подумал: не превратить ли ее в мормонку, но решил, что не стоит). Муж ее водопроводчик — занимается подрядными работами…

Я хорошо знал, что подрядчики водопроводных работ зашибают уйму денег. Но слово уже вылетело — надо было теперь как-то закрепить сказанное.

— Они бы мне прислали денег на дорогу, если бы я попросил, — продолжал я, — но они болели, а тут еще и деловые неприятности! Компаньон надул его! Так я и не стал просить у них ничего. Я рассчитывал как-нибудь добраться своими силами. Они и решили, что у меня хватит денег добраться до Солт-Лейк-Сити. Сестра моя — хорошая, добрая женщина. Она всегда была ласкова со мной. Придется, видно, поступить мне в мастерскую и изучить это дело! У нее две дочки, помоложе меня. Одна совсем малютка…

Из всех моих замужних сестер, которых я разбросал по всем городам Соединенных Штатов, эта сестра из Солт-Лейка — самая любимая. Это рослая матрона, чуть полноватая, из тех, знаете, женщин, что вечно стряпают вкусные вещи и

никогда не раздражаются. Она брюнетка. Муж ее — степенный, покладистый человек. Иногда мне начинает казаться, что мы с ним хорошо знакомы. И кто знает, не встречу ли я его когда-нибудь? Если тот пожилой матрос мог вспомнить Билли Харпера, я не вижу причин, почему бы и мне не встретить когда-нибудь мужа моей сестры, живущей в Солт-Лейк-Сити!

С другой стороны, я уверен, что никогда не встречу во плоти моих многочисленных родителей и прародителей — ведь я неизменно отправлял их на тот свет. Разрыв сердца — излюбленный способ, которым я избавлялся от матери; впрочем, иногда я расправлялся с ней при помощи чахотки, воспаления легких и тифа. Правда, в Англии у меня были дед и бабка, что могут подтвердить виннипегские полисмены; но это было давно, и весьма вероятно, что сейчас их уже нет в живых. Во всяком случае, они мне ни разу не писали.

Хочу надеяться, что женщина из Рено прочтет эти строки и простит мне мое бесчувствие и лживость! Я не приношу извинений, ибо мне не стыдно. Молодость, вкус к жизни и жажда приключений привели меня к ее порогу. Эта ложь принесла мне пользу. Она позволила мне обнару-

жить врожденную доброту человеческой натуры. Надеюсь, что и она ничего не потеряла. Во всяком случае, она может теперь от души посмеяться над прошлым, узнав правду.

Для нее моя басня была правдой. Она поверила и в меня, и в мою семью, ее озаботило предстоявшее мне опасное путешествие в Солт-Лейк-Сити. Эта заботливость чуть не накликала на меня беды. Когда я уже уходил, нагруженный едой, с карманами, оттопырившимися от шерстяных носков, она вдруг вспомнила какого-то не то племянника, не то дядю — словом, родича, служившего на перевозках почты; в этот вечер он должен был ехать с тем самым поездом, на котором я собирался пристроиться зайцем. Как удачно сложилось! Она проводит меня в депо, расскажет ему мою историю, и он спрячет меня в почтовом вагоне. И я без всяких хлопот и риска доеду до самого Огдена, а оттуда всего несколько миль до Солт-Лейк-Сити… У меня сердце упало. Развивая этот план, она все больше одушевлялась, и я скрепя сердце вынужден был симулировать необузданный восторг, радоваться этому выходу из моих затруднений.

Выход? Черт возьми, мне надо было ехать на запад, а тут извольте отправляться на восток! Я

попал в настоящий капкан, и у меня не хватило духу признаться ей, что я самым гнусным образом наврал. Итак, разыгрывая восторг, я напряженно ломал себе голову, как бы вывернуться? Но выхода не было. Женщина объявила, что непременно самолично посадит меня в почтовый вагон и этот ее почтовый родич отвезет меня в Огден. Оттуда мне пришлось бы проделать обратно все эти сотни миль лишнего пути!

Но счастье сопутствовало мне в этот вечер. Уже собравшись нацепить шляпу с тем, чтобы пойти провожать меня, она спохватилась, что ошиблась. Ее родич не должен был проезжать в этот вечер. Расписание изменилось. Он должен был появиться только через два дня. Я был спасен, ибо, конечно, по молодости невозможно отложить свои планы на двое суток. Я оптимистически стал уверять ее, что доберусь до Солт-Лейк-Сити скоро, если отправлюсь немедленно, и ушел, осыпанный ее благословениями и добрыми пожеланиями, еще долго звучавшими в моих ушах.

Но ее шерстяные носки были бесподобны! Говорю это с полным знанием дела. На мне была пара ее носков в этот вечер: я ехал на багажной площадке прямого поезда, и этот поезд мчался на запад…

Держись!

Если исключить несчастные случаи, то сильный бродяга, молодой и ловкий, может удержаться на поезде, несмотря на все усилия поездной бригады «спихнуть» его: разумеется, существенным условием такого успеха является ночная пора. Когда бродяга в подобных условиях скажет себе, что должен удержаться на поезде, то либо он удержится, либо… поезд его не удержит. Нет такой меры, исключая, может быть, прямое убийство, перед которой остановилась бы поездная бригада в стараниях «спихнуть» бродягу. Что кондуктора не останавливаются ни перед чем, кроме убийства, в этом все бродяги мира твердо уверены. Не пережив такого опыта в моей личной бродяжнической жизни, я не могу поручиться за это.

Но вот что я слыхал о «дурных» дорогах. Если бродяга заберется под вагон на перекладины и поезд тронется, то, кажется, нет никаких способов выгнать его оттуда, пока поезд не остановится. Уютно пристроившись под товарным вагоном на брусьях, окруженный четырьмя колесами и целой сетью скреплений, бродяга может плевать

на бригаду — по крайней мере, так он думает, пока в один прекрасный день не попадет на «дурную» дорогу. Дурная дорога — это такая железная дорога, на которой бродягами были убиты один или несколько железнодорожников. Да смилуется Небо над бродягой, попавшим под вагон на такой дороге, — его поймают, хотя бы поезд делал шестьдесят миль в час.

Тормозной кондуктор берет болт для сцепки вагонов и веревку на платформу перед тем товарным вагоном, под которым едет бродяга. Кондуктор привязывает этот болт к веревке и спускает ее между вагонами, ослабляя понемногу. Болт ударяется о шпалы между рельсами, отскакивает, ударяется о дно вагона и опять ударяется о шпалы. Кондуктор водит веревку взад и вперед, переносит ее то вправо, то влево, то отпустит веревку, то подтянет снова, дает возможность своему оружию отскакивать во всех направлениях. Каждый удар этого пляшущего болта несет верную смерть, а при скорости в шестьдесят миль в час он выбивает по нижней части вагона настоящую барабанную дробь смерти! На другой день останки бродяги подбирают на полотне и в местной газете этому происшествию посвящается одна строчка — говорится о «неизвестном, веро-

ятно, — бродяге, вероятно, — пьяном, который, как видно, расположился спать на рельсах».

Чтобы привести пример выносливости способного бродяги, я расскажу следующий случай. Я находился в Оттаве, и я собирался ехать на запад по Канадско-Тихоокеанской дороге. Передо мной простиралось три тысячи миль этой дороги; дело было осенью, и мне нужно было пересечь Манитобу и Скалистые Горы. Я имел все основания ожидать ненастья, и каждая минута отсрочки усиливала вероятные тяготы путешествия. Кроме того, я был в отвратительном настроении. Расстояние между Монреалем и Оттавой составляет сто двадцать миль. Я должен был бы это знать, ибо только что исходил пешком этот участок, что отняло у меня шесть суток. Но по оплошности я пропустил магистральную линию и вышел на малую объездную ветку, по которой ходили лишь два местных поезда в сутки. Все эти шесть дней я питался сухими корками, да и их было мало, а выпрашивал я их у окрестных французов-крестьян.

Мое дурное настроение еще больше усилилось после проведенного в Оттаве дня в тщетных попытках раздобыть одежду для предстоящего далекого путешествия. Позвольте заметить, что Оттава, за одним исключением, самый жестоко-

сердный город в Соединенных Штатах и Канаде по части выпрашивания платья; исключением является Вашингтон в округе Колумбия. Этот город — предел всего! Здесь я провел как-то две недели, напрасно выпрашивая пару башмаков; я получил их только тогда, когда перешел в Джерси-Сити.

Но вернемся к Оттаве. В восемь утра я вышел на охоту за одеждой. Я энергично работал весь день. Готов поклясться, что я прошел сорок миль. Я опросил хозяек чуть ли не тысячи домов. Я даже не отказывался от работы только за обед! И вот к шести часам вечера, после десятичасового неослабного и изнурительного труда, у меня не было еще рубашки, а штаны, которые мне удалось выклянчить, были тесны и, кроме того, обнаруживали признаки преждевременного распада.

В шесть часов я бросил работу и направился к железнодорожной станции, рассчитывая по пути добыть какую-нибудь пищу. Но неудача преследовала меня. Я обходил дом за домом, везде получая отказ. Наконец я получил подачку. Я воспрянул духом: это была крупнейшая подачка, какую я когда-либо видел за свою продолжительную и разнообразную практику. Пакет, завернутый в газету, большой, как чемодан! Я поспешил в

укромное местечко и развернул его. Первым делом я увидел пирожное, потом еще пирожное, всевозможные сорта и виды пирожного и печенья. И это досталось мне, больше всего на свете ненавидевшему пирожное! В другом веке и в другом климате я, может быть, сидел бы и плакал на реках вавилонских. А теперь сидел на пустыре гордой столицы Канады и плакал… над грудой пирожных! Как человек смотрит на лицо мертвого сына, так и я смотрел на эту разбросанную кондитерскую; должно быть, я неблагодарный бродяга, ведь я отказался насладиться щедротами дома, в котором накануне была вечеринка! Вероятно, и гостям пирожные пришлись не по вкусу.

Эти пирожные были кризисом в моей судьбе. Хуже этого ничего не могло быть — значит, дела должны пойти на поправку! Так оно и вышло. Уже в следующем доме меня пригласили «посидеть». «Посидеть» — верх блаженства для бродяги. Вас вводят в комнату, очень часто дают возможность помыться, а потом усаживают за стол. Бродяги очень любят вытянуть ноги под столом. Дом, куда меня пригласили, был большой и уютный, стоял посреди широкого двора и чудесных деревьев, довольно далеко от улицы. Домочадцы только что окончили обед, но меня привели прямо к

столу. Это уже само по себе было удивительное событие; обычно бродяга, которому выпадает счастье получить приглашение «посидеть», счастье это вкушает в кухне. Приветливый седоватый англичанин, его степенная жена и хорошенькая молодая француженка беседовали со мной, пока я ел.

Интересно знать, помнит ли эта хорошенькая молодая француженка, каким смехом она залилась тогда, когда я на варварски изуродованном «французском» языке попросил у нее «монетку». «Что такое?» — переспросила она. Я повторил. Она залилась неудержимым серебристым смехом…

Придя на станцию, я, к большому моему огорчению, застал там десятка два бродяг, тоже поджидавших случая вскочить на тормозную площадку тихоокеанского поезда. Двое-трое бродяг на тормозной площадке — ничего. Они незаметны. Но два десятка! Это грозило осложнениями. Никакая поездная бригада не позволит проехать всем!

Теперь я вам объясню, что такое тормозная площадка. Некоторые почтовые вагоны строятся без дверей на концах — это так называемые «слепые» вагоны. В почтовых же вагонах, снабженных на конце дверями, эти двери всегда заперты.

Представьте себе, что поезд тронулся и бродяга вскочил на площадку одного из таких «слепых» вагонов. Двери нет или дверь заперта. Ни кондуктор, ни смазчик тормозов не могут добраться до бродяги, чтобы потребовать от него билет или «спихнуть» его. Ясно, что бродяга находится в безопасности до первой остановки поезда. Там он должен спрыгнуть, побежать вперед впотьмах и, когда поезд тронется, опять вскочить на площадку. Но это, как вы увидите, не так-то легко.

Когда поезд тронулся, двадцать бродяг всей оравой ринулись на три площадки. Они взобрались на них еще прежде, чем поезд успел отойти на длину вагона. Это были неуклюжие олухи — и я стал свидетелем их бесславного конца. Разумеется, поездная бригада все видела, и на первой же остановке пошла потеха. Я соскочил с площадки и побежал вперед по полотну. Я заметил, что за мной следует несколько бродяг. Они, видно, знали свое дело. Кто хочет ехать на поезде прямого сообщения, тот всегда должен держаться на остановках впереди поезда. Я побежал вперед, да так быстро, что следовавшие за мной поотставали один за другим. Это была проверка мастерства и самообладания при атаке поезда.

Вот как это происходит: когда поезд трогается,

кондуктор обычно стоит на одной из «слепых» площадок. Он не может попасть в поезд иначе, как соскочив со «слепой» площадки и вскочив на такую, где есть дверь в вагон. Если поезд идет с такой скоростью, что кондуктор отваживается рискнуть, он соскакивает с площадки на платформу, пропускает несколько вагонов и вновь вскакивает на поезд. И вот бродяга должен забежать вперед настолько, чтобы, прежде чем с ним поравняется площадка, кондуктор уже соскочил с нее.

Я оставил за собой последнего бродягу приблизительно в пятидесяти футах и стал ждать. Поезд тронулся. Я заметил фонарь кондуктора на первой тормозной площадке. Он ехал на ней. И видел олухов, беспомощно стоявших у рельсов, когда площадка прошла мимо. Они и не пытались вскочить на нее. Они в самом начале проиграли из-за собственного невежества. После них показались бродяги, немножко знавшие толк в игре. Они пропустили первую площадку, занятую кондуктором, и вскочили на вторую и третью. Разумеется, кондуктор соскочил с первой площадки, вскочил на вторую, когда она прошла мимо, и «спихнул» стоявших на ней. Я же находился так далеко впереди, что, когда первая

площадка поравнялась со мной, кондуктора уже не было на ней — он возился с бродягами на второй площадке. С полдюжины более искушенных бродяг, забежавших достаточно далеко вперед, также вскочили на первую площадку.

На следующей остановке, когда мы побежали по полотну вперед, я насчитал пятнадцать человек. Пятерых уже не было в поезде. Опять начался процесс «выпалывания», и он продолжался на каждой станции. Нас осталось четырнадцать, потом двенадцать, потом одиннадцать, потом девять, потом восемь. Это напомнило мне детскую песенку о десяти негритятах. Я решил, твердо решил, быть последним негритенком! Почему бы нет? Разве судьба не наделила меня силой, ловкостью и молодостью? (Мне исполнилось восемнадцать, и я был совершенно здоров.) Разве у меня не было выдержки? Я был король среди бродяг. А все другие бродяги разве не были дубины, олухи, дилетанты по сравнению со мной? Если я не останусь на поезде последним, так лучше мне сразу бросить игру и поступить на какую-нибудь ферму разводить клевер!

К тому времени, когда нас осталось только четверо, вся кондукторская бригада заинтересовалась игрой. С этой минуты началось настоящее

состязание в уме и ловкости, причем все шансы были на стороне бригады. Один за другим трое бродяг отстали — и я остался один. Как я гордился собой! Кажется, никакой Крез не гордился так своим первым миллионом. Я удержался на поезде, несмотря на двух смазчиков, одного кондуктора, кочегара и машиниста.

Вот как я добивался этого. Я бегу впотьмах вперед — так далеко вперед, что кондуктор, стоящий на первой площадке, обязательно должен соскочить с нее прежде, чем она поравняется со мной. Отлично — я спокоен до ближайшей станции. Когда эта станция достигнута, я опять бросаюсь вперед, чтобы повторить маневр. Поезд трогается. Я наблюдаю его приближение. На площадке не видно фонаря. Неужели бригада отказалась от борьбы? Не знаю. Никогда нельзя этого знать — и всегда нужно быть готовым ко всему! Когда моя площадка поравнялась со мной, я бегу рядом, напрягая зрение, чтобы разглядеть кондуктора на площадке. Насколько я понимаю, он должен быть здесь с потушенным фонарем, и в то мгновение, когда я вскочу на ступеньку, этот фонарь может треснуть меня по голове. Я знаю это: раза два-три меня дубасили фонарями.

Нет. На первой площадке пусто. Поезд ускоряет

ход. Я в безопасности до следующей станции… Но так ли это? Я чувствую, что поезд замедляет ход. Мгновенно я настораживаюсь. Против меня задуман какой-то маневр — и я не знаю, в чем он состоит. Я озираюсь направо и налево, не забывая в то же время тендера, находящегося передо мной. Я могу подвергнуться атаке с любого из этих трех направлений или разом со всех трех.

А, вот оно что! Кондуктор был на паровозе. Первое предостережение я получил, когда его ноги застучали по ступенькам с правой стороны площадки. С быстротой молнии я соскочил с площадки налево и побежал вперед, обгоняя паровоз. Положение такое же, каким оно было с первой минуты, когда поезд вышел из Оттавы. Я впереди, и поезд должен пройти мимо меня. У меня хорошие шансы вскочить.

Я напряженно жду. Вижу, что к паровозу приближается фонарь, но не вижу, чтобы он удалялся от паровоза, стало быть, он все еще на паровозе, и можно предположить, что к ручке этого фонаря приделан кондуктор. Кондуктор ленивый, иначе он потушил бы фонарь, вместо того чтобы закрывать его рукой, приближаясь. Поезд начинает двигаться. Первая площадка не занята, и я вскакиваю на нее. По-прежнему поезд замедляет

ход, кондуктор с паровоза перескакивает на площадку с одной стороны, а я соскакиваю с другой и бегу вперед.

Поджидая поезд во тьме, я испытываю прилив неподдельной гордости. Скорый поезд дважды останавливался из-за меня, из-за меня, бедного бродяги! Я дважды останавливал скорый поезд со множеством пассажиров и вагонов, с почтой, с двумя тысячами паровых сил, сосредоточенных в паровозе! А ведь и весу-то во мне всего сто шестьдесят фунтов, и в кармане у меня нет и пяти центов.

Опять я вижу, что фонарь приближается к паровозу. Но на этот раз он приближается демонстративно. Слишком демонстративно для моих интересов, и я недоумеваю, в чем дело. Во всяком случае, теперь мне надо бояться не столько кондуктора с паровоза, сколько чего-то другого. Поезд трогается. Вовремя не успев сделать прыжка, я разглядел темную фигуру кондуктора без фонаря на первой площадке. Я пропускаю ее и готовлюсь вскочить на вторую. Но кондуктор соскочил с первой площадки и бежит за мной по пятам. Бегло замечаю фонарь кондуктора, выехавшего на паровозе. Он соскочил, и теперь оба кондуктора бегут за мной. В следующее мгновение проно-

сится вторая площадка, и я на нее вскакиваю. Но я не задерживаюсь на ней. Я рассчитал свой контрманевр. Перебегая через площадку, я слышу тяжелый удар сапог кондуктора по ступенькам, соскакиваю по другую сторону и бегу вперед вместе с поездом. Мой план заключается в том, чтобы забежать вперед и вскочить на первую площадку. Это рискованный шаг, ибо поезд ускоряет ход. Кроме того, по пятам за мной бежит кондуктор. Должно быть, я хороший бегун: я вскакиваю на первую площадку! Я стою на ступеньках и жду преследователя. Он отстал приблизительно на десять футов и бежит очень быстро, но поезд уже достиг своей нормальной скорости, и кондуктор кажется мне стоящим на месте. Я поощряю кондуктора, протягиваю ему руку, но он разражается скверным ругательством, отказывается от погони и вскакивает на поезд, пропустив несколько вагонов.

Поезд мчится вперед, я хохочу про себя, и вдруг, без предупреждения, меня окачивает струя воды! Кочегар направил на меня пожарный рукав с паровоза! Я перехожу с площадки вагона на заднюю часть тендера, где меня защищает навес. Вода безвредно бьет через мою голову. У меня руки чешутся взобраться на тендер и ошарашить

кочегара глыбой угля; но я знаю, что если я это сделаю, то они с машинистом убьют меня, и потому воздерживаюсь.

На следующей остановке я соскакиваю и бегу вперед в темноте. На этот раз, когда поезд трогается, оба кондуктора находятся на первой площадке. Я разгадываю их план: они отрезали путь к повторению моей первой штуки! Я не могу опять вскочить на вторую площадку, перебежать ее и вскочить на первую. И когда первая площадка проходит мимо и я не вскакиваю на нее, они соскакивают с поезда в обе стороны. Я бросаюсь на первую площадку, зная, что через мгновение оба кондуктора одновременно вскочат на площадку справа и слева. Это ловушка. Оба пути заграждены. Но есть еще один путь — путь вверх!

Я не жду приближения преследователей. Я взбираюсь по отвесному переплету площадки и становлюсь на колесо ручного тормоза. Это отнимает некоторое время; я слышу стук кондукторских сапог по обе стороны площадки. Я не останавливаюсь взглянуть на кондукторов. Я вытягиваю руки вверх и касаюсь загнутых концов крыши двух вагонов. Одна рука на краю крыши одного вагона, другая — на крыше другого вагона.

К этому времени оба кондуктора поднимаются по ступенькам. Я знаю это, но мне некогда посмотреть на них. Все это совершается в несколько секунд. Я подбираю ноги и подтягиваюсь. И когда я уже подобрал ноги, кондуктора протягивают руки и хватают… пустоту! Я знаю это: я гляжу вниз, вижу их, слышу их ругательства.

Положение мое теперь довольно шатко: я держусь за концы покатых крыш двух вагонов. Быстрым, отчаянным движением я переношу обе ноги на загнутый кверху край одной крыши, а руки — на край другой. Затем переползаю наверх, на крышу, где могу передохнуть, ухватившись за вентилятор, возвышающийся над крышей. Теперь я наверху поезда, я «накрыл его», как говорят бродяги. Должен сказать вам теперь же, что только молодой и сильный бродяга может «накрыть» пассажирский поезд, да и этому молодому и сильному бродяге нужно обладать большим присутствием духа!

Поезд ускоряет ход, и я знаю, что нахожусь в безопасности до следующей остановки, но только до остановки. Если я останусь на крыше после остановки поезда, кондуктора забросают меня камнями. Здоровый кондуктор может метнуть на крышу вагона восемь здоровых кусков угля

весом этак от пяти до двадцати фунтов. С другой стороны, весьма вероятно, что на остановке кондуктора будут ждать моего спуска в том месте, где я поднимался наверх. Стало быть, надо перебраться на какую-нибудь другую площадку.

Мысленно горячо помолившись, чтобы на следующей полумиле не попались туннели, я встаю и прохожу по крышам пяти-шести вагонов. И позвольте сказать вам, что, совершая такой поход, надо забыть, что такое страх. Крыши пассажирских вагонов не созданы для ночных прогулок. Если некто полагает иначе, то пусть он сам испробует это. Пусть он погуляет по крыше качающегося и подпрыгивающего вагона, держась за черную пустоту, а когда дойдет до загибающегося конца крыши, мокрого и скользкого от росы, пусть ускорит шаг, пусть переступит на следующую крышу, мокрую и скользкую! Поверьте мне, он узнает наверняка, крепкое ли у него сердце и не подвержен ли он головокружениям?..

Когда поезд замедлил ход, я спустился вагонов за шесть от того места, где «накрыл» поезд. На площадке никого! Поезд останавливается, и я соскакиваю наземь. Впереди между мной и паровозом движутся два фонаря. Кондуктора ищут меня на крышах вагонов! Я замечаю, что вагон,

у которого я стою, четырехколесный: это значит, что у него только четыре колеса на каждой тележке. (Когда едете под вагоном, избегайте «шестиколесных»: это верная гибель!)

Я ныряю под поезд, сажусь под вагоном на брусья и, могу вам сказать, отчаянно рад тому, что поезд еще стоит. Я впервые нахожусь под вагоном Канадско-Тихоокеанской дороги, и внутреннее устройство его мне незнакомо. Пытаюсь перелезть через верх тележки, между тележкой и дном вагона. Но пространство узко, и мне не протиснуться. Это новость. В других местах Соединенных Штатов я привык ездить под быстро мчащимися поездами: раскачиваясь, я, бывало, цепляюсь ногами за тормозной брус, оттуда перелезаю на верх тележки и внутри этой тележки усаживаюсь на перекладине.

Ощупав руками тележку, я убеждаюсь, что между тормозным брусом и землей есть пространство. С трудом, но протискиваюсь. Очутившись внутри тележки, я усаживаюсь на перекладины, посмеиваюсь: что-то думают обо мне кондуктора, куда я исчез? Поезд начинает двигаться. Они, наверное, махнули на меня рукой.

Но так ли это? На следующей остановке я вижу, что под соседнюю со мной тележку под другим

концом вагона просовывается фонарь. Они ищут под тележками! Нужно скорее убираться! Я проползаю на животе под тормозным брусом. Они увидели меня, устремились за мной, но я переползаю на четвереньках через рельсы на противоположную сторону и вскакиваю на ноги. Потом во всю мочь бегу вдоль поезда и, пробежав мимо паровоза, прячусь в спасательную тьму. Первоначальное положение восстановлено! Я впереди поезда, и поезд должен пройти *мимо* меня!

Поезд трогается. На первой площадке фонарь. Я сижу на земле и вижу кондуктора, всматривающегося во тьму. Но и на второй площадке тоже фонарь! Этот кондуктор увидел меня и окликает кондуктора, стоящего на первой площадке. Оба соскакивают. Не беда, я вскочу на третью площадку и «накрою» поезд. Но, о Небо, на третьей площадке фонарь! Там пассажирский кондуктор! Я пропускаю вагон. Во всяком случае теперь впереди будет вся поездная бригада. Я поворачиваюсь и бегу в сторону, противоположную движению поезда. Оглядываюсь через плечо. Все три фонаря на земле, покачиваясь, догоняют меня. Я усиливаю бег. Прошла половина вагонов, и, когда я вскакиваю да площадку, поезд идет уже

довольно быстро. Я знаю, что еще две секунды — и оба кондуктора вместе со старшим, как разъяренные звери, настигнут меня. Я вскакиваю на колесо ручного тормоза, хватаю закругленный край крыши и подтягиваюсь на руках, а мои разочарованные преследователи, сгрудившись подо мной на площадке, как собаки, упустившие кошку, кинувшуюся на дерево, осыпают меня проклятиями, непочтительно отзываясь о моих родителях и прародителях.

Но что за беда? Их пятеро против одного, включая машиниста и кочегара, за ними все величие закона и сила огромной корпорации, а я их всех перехитрил! Я забрался чуть не в конец поезда и, пробежав вперед по крышам вагонов, останавливаюсь над пятой или шестой площадкой от паровоза. Осторожно заглядываю вниз: на этой площадке кондуктор. Я знаю, он увидел меня, ибо кидается внутрь вагона; я знаю также, что он притаился за дверью и бросится на меня, когда я стану слезать. Но я делаю вид, что ничего не подозреваю, я остаюсь на месте, чтобы утвердить кондуктора в его заблуждении. Я не вижу его, но знаю, что он приотворил дверь и выглянул: тут ли я?

Поезд замедляет ход перед станцией. Я про-

бую спустить ноги. Поезд останавливается, мои ноги болтаются в воздухе. Я гляжу, как дверь тихонько отворяется… «Он» приготовился… Но я мгновенно вскакиваю на ноги и бегу вперед по крыше — над его головой, над дверью, где он притаился. Поезд все еще стоит; ночь тихая, и я стараюсь производить как можно больше шума ногами по металлической крыше. Не знаю точно, но полагаю, что теперь кондуктор бежит вперед, чтобы схватить меня, когда я буду спускаться на следующей площадке. Но здесь я и не думаю спускаться. На половине крыши я поворачиваю, тихонько иду назад и быстро спускаюсь на площадку, которую только что оставили и я, и кондуктор. Атмосфера очистилась: я стою на полотне по правую сторону поезда и прячусь во тьме. Ни одна душа не видела меня.

Я подхожу к забору, который тянется вдоль полотна, и наблюдаю. Ага! Что это? Вижу фонарь на крыше поезда, движущийся от головы к хвосту. Они думают, что я не сошел, и ищут меня на крышах. Мало того — на земле по каждую сторону поезда в уровень с фонарем движутся два других фонаря. Настоящая облава на зайца, и этот заяц — я! Когда кондуктор на крыше найдет меня, остальные два сцапают! Я свертываю папиросу и

наблюдаю, как процессия проходит мимо. Раз они прошли, я могу свободно бежать к голове поезда. Поезд трогается, и я беспрепятственно вскакиваю на первую площадку. Но не успел поезд пойти как следует, не успел я закурить папироску, как замечаю кочегара, который перелез через уголь в задний конец тендера и смотрит на меня. Страх охватывает меня. С этого места он может превратить меня в студень, забросав глыбами угля! Но он обращается ко мне с речью, и я с облегчением слышу похвалу в его голосе.

— Ну и сукин же ты сын! — говорит он.

Это — отменный комплимент, и я трепещу, как школьник, получивший награду.

— Послушай, — говорю я ему, — не обливай меня больше из рукава!

— Ладно! — отвечает он. И отправляется восвояси.

Итак, я подружился с кочегаром, но кондуктора все еще ищут меня! На следующей остановке они сидят на всех трех площадках, я по-прежнему пропускаю их и «накрываю» середину поезда. Бригада проявила верх своей изобретательности — поезд останавливается! Кондуктора твердо решили либо «скинуть» меня, либо узнать, почему им это не удается. Три раза останавливался из-за

меня континентальный скорый поезд, и каждый раз я удирал от кондукторов и «накрывал» поезд. Но теперь положение безнадежно, они, наконец, поняли, в чем дело. Я доказал им, что они бессильны отрезать от меня поезд. Им надо придумать что-нибудь другое.

И они придумали! Когда поезд останавливается в третий раз, они бегом кидаются за мной. А, понимаю их замысел. Они намерены извести меня гонкой. Первым делом они гонят меня в хвост поезда. Я понимаю всю опасность своего положения. Если я окажусь в хвосте поезда, он отойдет, оставив меня на бобах. Я поворачиваюсь, виляю, ныряю под мышками у моих преследователей и добираюсь до головы поезда. Один кондуктор не отстает! Ладно, я покажу ему гонку — у меня крепкие легкие! Я бегу вперед по полотну. Все равно. Хоть бы он гнался за мной на протяжении десяти миль, ему все же придется вскочить на поезд, а я могу вскочить на поезд при любой скорости, если она по зубам кондуктору.

Итак, я бегу, держась впереди и напрягая зрение, чтобы во мраке не наткнуться на проволоку или не споткнуться о стрелку. Увы! Я слишком высоко задрал голову, зацепился ногами, не знаю, за что именно, растянулся на земле. Через секун-

ду я опять на ногах. Но кондуктор уже схватил меня за ворот. Я не отбиваюсь, только глубоко перевожу дыхание и приглядываюсь к нему. Это узкоплечий субъект, и во мне по меньшей мере на тридцать фунтов весу больше, чем в нем. Кроме того, он измучен не меньше меня, и, если он попробует ударить меня, я дам ему сдачи.

Но он не пытается ударить меня — и с этой стороны вопрос решен. Он тянет меня к поезду, и тут возникает новая проблема.

Я вижу фонарь и другого кондуктора и второго смазчика. Мы приближаемся к ним. Но не зря я изучил повадки нью-йоркской полиции! Не зря в товарных вагонах, у водоемов, в тюремных камерах наслушался страшных рассказов о том, как изувечивают людей. Что, если эти трое так же собираются расправиться со мной? Увы, у них много причин желать этого. Мозг мой быстро работает. Кондуктора все ближе. Я измеряю глазом живот и челюсть моего противника и решаю дать ему «вправо и влево наотмашь» при первой же тревоге.

Фи! Я могу сыграть с ним другую штуку и почти жалею, что не сделал этого в первый момент, когда он схватил меня. Хоть он и держит меня за шиворот, мне нетрудно вырваться. Пальцы

его крепко впились в мой воротник. Пальто мое плотно застегнуто. Видали ли вы когда-нибудь «турникет»? Вот это что такое: мне остается только нырнуть слева под его руку и завертеться. Вертеться быстро, очень быстро. Я знаю, как это делается. Вывернуться сильным рывком, нырнуть головой под его руку, и так несколько раз. Он не успеет опомниться, как пальцы его разожмутся. Он не сможет удержать их. Это будет, как нажим сильнейшего рычага. Через двадцать секунд после того, как я заверчусь, кровь брызнет у него из-под кончиков пальцев, нежные связки порвутся, все его мускулы и нервы превратятся в раздавленную, кровоточащую массу. Испытайте это на ком-нибудь, кто схватит вас за шиворот. Но проделайте это быстро, молниеносно. И, вертясь, не забудьте закрыться — закройте лицо левой рукой, а живот прикройте правой. Ведь противник может попробовать остановить вас ударом свободной руки. Не забудьте также, что вращаться лучше всего в сторону от этой свободной руки, чем по направлению к ней. Получить удар, удаляясь, не так опасно, как получить его, приближаясь.

Но этому смазчику таки не суждено было узнать, какой страшной опасности он подвергал-

ся. Спасло его только то, что в планы кондукторов не входило изувечить меня. Когда кондуктора были уже близко, он закричал, что привел меня; они дали сигнал машинисту подойти ближе. Мимо нас проходил паровоз и три тормозных площадки. После этого кондуктор и другой смазчик бросаются на поезд, один смазчик продолжает держать меня. Я понимаю его план — он будет держать меня, пока не пройдет хвост поезда, тогда он вскочит в вагон, а я останусь позади.

Но поезд сильно дернул с места, машинист старается наверстать потерянное время. Да и длинный же поезд! Идет он быстро, и я знаю, что смазчик со страхом измеряет его скорость.

— Ты думаешь, тебе это удастся? — невинно спрашиваю я.

Он выпускает мой ворот, быстро бежит и вскакивает на площадку. Еще несколько пассажирских вагонов должно пройти мимо. Он знает это, становится на ступеньки и ищет меня глазами, вытянув голову. В этот момент у меня рождается план такого маневра. Я вскочу на последнюю площадку. Я знаю, что поезд все прибавляет ходу, но если я и сорвусь, то упаду в грязь — и мне помогает мой молодой оптимизм. Я не сдамся! Я стою, понурив голову и втянув плечи,

ясно показывая всем своим видом, что оставил всякую надежду и в то же время ощупываю ногами песчаный грунт. Отлично можно упереться. Не перестаю следить и за вытянутой головой смазчика. Я вижу, он убрал ее. Он уверен, что поезд идет слишком быстро и мне не вскочить!

И быстро же в самом деле идет поезд — при такой скорости я еще не брал его на абордаж! Когда проходит последний вагон, я пускаюсь бежать в одном направлении с ним. Бег — короткий и быстрый! Я не могу поравняться с поездом, но могу довести разницу в наших скоростях до минимума и, стало быть, уменьшить силу толчка, когда вскочу на поезд. Во тьме я не вижу железных перил на последней площадке, да и времени нет вглядываться. Я бросаюсь туда, где, по моим предположениям, она должна находиться, и в тот же момент ноги мои отделяются от земли. Все слилось в один толчок. Через секунду я могу покатиться наземь со сломанными ребрами, руками, с разбитой головой. Но пальцы мои крепко хватаются за поручень, сильный толчок слегка вывихивает мне плечи, но ноги попадают на ступеньки вагона.

Я сажусь на ступеньку в неописуемой гордости! За все время моего бродяжничества это шедевр

посадки в поезд на ходу! Я знаю, что глубокой ночью можно безопасно проехать несколько станций подряд на последней площадке, но боюсь опасностей последнего вагона. На первой же остановке я бегу вперед по правую сторону поезда, пробегаю пульмановские вагоны, ныряю под поезд и помещаюсь на перекладинах под пассажирским вагоном. На следующей остановке опять бегу вперед и сажусь под другой вагон.

Теперь я нахожусь в относительной безопасности. Бригада воображает, что отделалась от меня. Долгий день и томительная ночь начинают давать знать о себе. Кроме того, под вагоном не так чувствуется ветер и холод: я начинаю дремать. А этого нельзя: заснуть под вагоном — верная смерть, и потому на следующей станции я вылезаю и иду ко второй тормозной площадке. Здесь я могу полежать и поспать, и я засыпаю. Как долго я спал, не знаю, ибо проснулся от света фонаря, поднесенного к самому моему лицу. Два кондуктора уставились на меня! Я поднимаюсь, принимаю оборонительную позу, соображая, кто из них ударит первый. Но бить меня, по-видимому, не входит в их намерения.

— А я думал, мы отделались от тебя! — говорит кондуктор, державший меня за шиворот.

— Если бы ты не отпустил меня, остался бы без поезда вместе со мной, — отвечаю я.

— Каким образом? — спрашивает он.

— Я не пустил бы тебя, только и всего!

Они устраивают совещание и выносят краткий вердикт:

— Ну, я думаю, ты можешь ехать. От тебя не отделаешься!

И они уходят прочь, оставив меня в покое до смены бригад.

Я рассказал все это как пример того, что значит «удержаться на поезде». Разумеется, я выбрал удачную ночь из архива моих шатаний и ничего не рассказал о ночах — а их было много! — когда меня сбрасывали с поезда.

В заключение расскажу вам, что со мной было, когда мы доехали до места смены бригад. На одноколейных трансконтинентальных линиях товарные поезда ожидают на тех станциях, где происходит смена бригад, и отходят после того, как пройдут пассажирские. Когда мы доехали до одной такой станции, я оставил поезд и стал искать товарного, отходящего следом за скорым. Разыскав товарный поезд, я отошел на запасный путь и стал ждать. Залезши в товарный вагон с углем, я лег и мгновенно заснул.

Проснулся я от скрипа отодвигаемой двери. День занимался, холодный и серый, а поезд еще не трогался с места. В дверную щель просунулась голова кондуктора.

— Вон отсюда, распросукин-пересукин-сукин сын! — заревел он.

Я вылез и стал следить за ним: он обходил поезд, обследуя каждый вагон. Когда он скрылся из виду, я решил: ему никогда не придет в голову, что у меня хватит дерзости залезть в тот самый вагон, из которого меня выгнали! Я полез обратно и снова улегся.

Но, видно, этот кондуктор рассуждал точь-в-точь, как я: он подумал именно то, что подумалось мне. Он вернулся и вышвырнул меня.

«Ну, теперь, — рассуждал я, — он, наверное, не подумает, что я могу полезть в третий раз!» И я пробрался к тому же вагону. На сей раз я решил устроиться основательно. В этом вагоне отодвигалась только одна боковая дверь. Вторая была забита гвоздями. Вскарабкавшись на вершину угольной кучи, я вырыл канавку вдоль этой двери и улегся в ней. Опять отворилась дверь. Кондуктор влез в вагон и осмотрел кучу угля. Он не мог видеть меня, но громко крикнул, приглашая убраться. Я надеялся перехитрить его

и молчал. Однако, когда он начал забрасывать меня углем, я сдался, и в третий раз был изгнан. В самых теплых выражениях он предупредил, что если поймает меня еще раз, то мне будет худо.

Тогда я переменил тактику. Когда человек рассуждает точь-в-точь, как вы, сбейте его со следа. Прервите вашу линию рассуждения и перейдите на другую. Так я и сделал! Я спрятался между вагоном и соседним запасным путем и стал ждать. И действительно, кондуктор опять подошел к этому же вагону. Он отодвинул дверь, влез в вагон, кричал, бросал уголь в вырытую мной яму — все безрезультатно. Это успокоило его. Через пять минут товарный поезд тронулся, а кондуктор не показывался. Я побежал рядом с вагоном, отодвинул дверь и залез в вагон. Никто не осматривал больше вагона, и я проехал в нем тысячу двадцать две мили, причем большую часть времени проспал, а на сменах, где товарные поезда обычно останавливаются на час или на два, вылезал «пострелять» на пропитание. В самом конце этих тысячи двадцати двух миль я проворонил этот вагон благодаря счастливой случайности. Меня пригласили в один дом «посидеть», а нет еще на свете бродяги, который не променял бы поезд на отдых за чистым столом в уютной кухне!

Картинки

Быть может, величайшее очарование бродяжнической жизни заключается в отсутствии однообразия. В Царстве Бродяг лицо жизни, как Протей — вечно изменчивая фантасмагория, где возможно невозможное, где неожиданность выскакивает из-за куста на каждом повороте дороги! Бродяга никогда не знает, что будет с ним в следующее мгновение; он живет только настоящей минутой. Он познал тщету всяких планов и прелесть скитания по капризу случая.

Часто размышляю я над днями своего бродяжничества и всегда изумляюсь быстрой смене картин, возникающих в моей памяти. Безразлично, с чего ни начать вспоминать; любой из этих дней был особенным, у каждого — своя собственная смена впечатлений. Так, вспоминаю я солнечное летнее утро в Харрисбурге, в Пенсильвании, и тотчас же в моей памяти встает чудесное начало этого дня. Я был «приглашен» в гости двумя старыми девами, и они посадили меня не на кухне, а в своей столовой, сев по обе стороны от меня. Мы ели яйца из специальных рюмочек — в первый раз я тогда увидел рюмочки

для яиц и услышал о них. Должен сознаться, что вначале я был неловок, не зная, как обращаться с рюмочками, но я был голоден и у меня все получалось. Быстро привык к рюмочке и ел яйца так мастерски, что обе старые девы сидели и только диву давались, глядя на меня.

Сами они ели, как канарейки, по каплям выбирая яйцо и чуть покусывая хлебные гренки. Слабо теплилась жизнь в их теле; в их жилах текла жидкая кровь; ночь они проводили в тепле. А я всю ночь провел под открытым небом, потратил свою жизненную энергию на согревание тела — я пришел из базарного местечка в северной части штата. Хлебные гренки исчезли мгновенно. Гренка едва хватало на один глоток — да что там, на полглотка! Скучно брать по одному гренку, когда можно сразу сцапать их дюжину.

Когда я был маленьким мальчиком, у меня была собачка, которую звали Пуншем. Кормил я ее сам. Кто-то у нас дома настрелял уток, и у нас был чудесный обед. После обеда я приготовил еду для Пунша — большую тарелку костей и потрохов. Я вышел покормить собаку во двор. Тут из соседнего ранчо приехал гость, и с ним огромный ньюфаундленд, ростом с теленка. Я поставил тарелку на землю, и Пунш, завиляв хвостом, при-

нялся за еду. Ему предстояло по меньшей мере полчаса блаженства, как вдруг что-то зашумело, Пунша отмело в сторону, как соломинку ураганом, — это ньюфаундленд накинулся на тарелку. У него была здоровенная пасть, и он, очевидно, был приучен к быстрой еде; в то короткое мгновение, когда я приготовился дать ему пинок, он проглотил все содержимое тарелки. Очистил дотла, одним мазком языка слизнул последние пятнышки сала.

Так вот, как этот огромный ньюфаундленд вел себя над тарелкой моего Пунша, так и я вел себя за столом этих старых дев в Харрисбурге! Я буквально опустошил стол. Я ничего не разбил, но съел все яйца, весь хлеб и выпил кофе. Служанка приносила и приносила, но я все требовал и требовал добавить. Кофе был восхитителен, но зачем подавать его в крохотных чашечках? Могло ли у меня оставаться времени на еду, когда так много времени уходило на наполнение многочисленных чашечек кофе в приличный глоток?

Но я находил время упражнять свой язык. Эти две старые девы, с бело-розовыми лицами и серыми кудряшками, еще никогда не видели перед собой сияющего лика приключения, авантюры. Как выразился бы «Король бродяг», они всю свою

жизнь «просидели на одном стуле». В атмосферу сладких ароматов, в тесные пределы их существования, лишенного событий, я внес воздух вольного мира, отягченный крепкими запахами пота и борьбы, ароматами чужих стран и земли. Я исцарапал их нежные ладони мозолями моих ладоней — толстыми, в полдюйма мозолями, образующимися от постоянного держания за канаты, от крепких пожатий лопаты и кирки. Это я сделал не только из молодого удальства, но чтобы доказать свое право на их милосердие, купленное ценой тяжелого труда.

Как сейчас вижу их, этих милых, славных старых девиц; сейчас вижу себя сидящим за их столом, а тому добрых двенадцать лет! Я разглагольствую о своих скитаниях по белу свету, решительно отвергаю их добрые советы и пленяю их, привожу в трепет рассказами не только о своих авантюрах, но и авантюрах всех бродяг, с которыми мне случалось встречаться и откровенничать. Я присвоил себе авантюры их всех. Конечно, не будь старые девы так доверчивы и наивны, они сразу бы заметили, как я путаюсь в хронологии. Ну и что же? Это был честный обмен. За их чашки кофе, яйца и гренки я отплатил полной мерой, ведь я доставил им своими расска-

зами необычайное развлечение. А мое сидение за чайным столом было огромным приключением их жизни. А настоящее приключение бесценно!

Расставшись со старыми девами и выйдя на улицу, я подобрал газету с порога какого-то уснувшего буржуа и отправился в парк полежать на траве и ознакомиться с событиями, происшедшими на земле за последние двадцать четыре часа. Здесь же, в парке, я встретил другого бродягу — собрата по скитаниям, который рассказал мне историю своей жизни и стал уговаривать меня поступить в армию Соединенных Штатов. Он дал вербовщикам уговорить себя, готовился идти в солдаты, так почему бы и мне не присоединиться к нему? За несколько лет до этого он участвовал с армией Кокси в походе на Вашингтон и, должно быть, почувствовал вкус к воинской жизни. Я тоже был ветераном: я служил рядовым в роте «Л», Второй дивизии рабочей армии Келли. Наша рота «Л» больше известна под названием «Невадская босая команда». Но мой армейский опыт оказал на меня прямо противоположное влияние; поэтому я послал этого бродягу ко всем псам войны, а сам отправился «стрелять» себе на обед.

Сделав дело, я направился по мосту через Сасквеханну на западный берег. Не помню, как

называется железная дорога, проходившая с той стороны, но пока я лежал в траве этим утром, меня осенила мысль отправиться в Балтимор. И вот я пошел в Балтимор по этой дороге, названия которой я не знал. День был теплый; пройдя немного по мосту, я наткнулся на группу молодых людей, купавшихся около одного из мостовых быков. Сбросив одежду, кинулся в воду и я. Вода была чудесная, но когда я вышел и стал одеваться, то убедился, что меня ограбили. Кто-то успел обшарить мои карманы. Судите сами, не довольно ли этого приключения для одного дня? Я знаю людей, которых только раз в жизни ограбили, и они до конца жизни не переставали говорить об этом. Правда, вор, рывшийся в моих карманах, не много получил: какие-нибудь тридцать-сорок центов мелочью да немного табаку, но это было все мое добро. Это меньше, чем можно украсть у большинства людей, ибо у каждого есть что-нибудь дома, а у меня не было больше ничего! Видно, тут собралась купаться теплая компания. Я не стал поднимать шума, а только попросил закурить — и готов поклясться, что бумага, полученная мной на закурку, была та же самая, в которую я заворачивал табак!

Я перешел через мост на западный берег. Здесь

пролегала железная дорога. Станции не было видно. И передо мной встала задача: как вскочить на товарный поезд, не добираясь до станции? Я заметил, что полотно идет по крутому подъему, кончающемуся именно там, куда я вышел. Я сообразил, что тяжело нагруженный товарный поезд не может идти здесь с большой скоростью. Но все же с какой? За полотном поднималась высокая насыпь. На краю ее, из-за травы высовывалась голова человека. Может, он знает, с какой скоростью идут поезда по этому подъему и когда пройдет на юг ближайший товарный? Я прокричал ему этот вопрос, а он поманил меня к себе.

Я повиновался; добравшись до вершины насыпи, я увидел, что рядом с ним лежат в траве еще четверо. Осмотревшись, я понял, кто они такие: это были американские цыгане. На открытой лужайке, начинавшейся у деревьев, росших на краю насыпи, стояли необычного вида телеги. Оборванные полуголые ребятишки кишели по всему табору, и я заметил, что они стараются не подходить близко к лежавшим мужчинам, не беспокоить их. Несколько тощих, уродливых, изнуренных работой женщин возились с лагерной утварью; одна сидела одиноко на телеге, понурив голову, упершись подбородком в колени и об-

хватив их руками. Вид у нее был пренесчастный. Казалось, ничто ее не занимало, но в этом я ошибся, ибо впоследствии убедился, что к кое-чему она была далеко не равнодушна. На ее лице были написаны все страдания человеческого рода и его трагическое выражение говорило о том, что настал уже предел ее мук. Казалось, больше ничто уже не могло огорчить ее; но в этом я ошибся.

Итак, я лежал в траве, на краю насыпи, и беседовал с мужчинами. Мы были сродни — братья: я — американский бродяга, они — американские цыгане. Я достаточно знал их жаргон для поддержания беседы, они достаточно знали мой язык. Еще двое мужчин отправились за реку в Харрисбург «мушевать». «Мушер» — бродячий мелкий ремесленник. Официальным занятием этих двух «мушеров», отправившихся за реку, была починка зонтов; но чем они занимались на самом деле, мне не сказали, да и неудобно было спрашивать.

День был чудесный — ни малейшего ветерка. Мы беззаботно грелись под лучами солнца. Отовсюду доносилось убаюкивающее жужжание насекомых, воздух был наполнен ароматами теплой земли и зелени. Мы лениво перебрасывались отрывочными фразами. И вдруг совершенно

неожиданно весь этот мир и покой был разбит человеком.

Двое босоногих мальчишек, лет восьми-девяти, каким-то образом нарушили бивуачные законы, какие именно, не знаю. Мужчина, лежавший возле меня, вдруг вскочил и окликнул их. Это был глава племени, человек с узким лбом и узко прорезанными глазами. Достаточно было взглянуть на его тонкие губы, на сардонически искаженные черты, чтобы понять, почему мальчишки подпрыгнули, как испуганные лани, при первом же звуке его голоса. Страх был написан на их лицах, и в панике они пустились было бежать. Однако он позвал их, и один мальчик с неохотой остановился; все его худенькая фигурка отражала происходившую в нем борьбу между страхом и благоразумием. Он хотел вернуться. Разум и опыт говорили ему, что вернуться будет меньшим злом, чем бежать; но это меньшее зло все же было достаточно велико, чтобы сильно испугать его и заставлять бежать.

Он медлил, колебался и, наконец, остановился под сенью деревьев. Вождь племени не гнался за ним. Он побрел к одной из телег и взял тяжелый бич. Потом вернулся на поляну и остановился. Он не сказал ни слова, не делал никаких движений.

Он воплощал закон, беспощадный и всемогущий. Он просто стоял и ждал. И я знал, и все знали, и мальчик в тени деревьев знал, чего он ждет.

Мальчик медленно пошел назад. Лицо его выражало трепетную решимость. Он больше не колебался, он решил понести заслуженное наказание. И заметьте, наказание полагалось не за первоначальную вину, а за то, что он побежал. Вождь вел себя совершенно так же, как вело себя цивилизованное общество, в котором мы живем. Мы же наказываем наших преступников, а когда они убегают, мы ловим их и увеличиваем им наказание.

Мальчик подошел прямо к вождю и остановился на таком расстоянии, чтобы его мог достать кнут. Кнут просвистел в воздухе — и я вздрогнул, определив тяжесть удара. Худенькие ножки были так тонки, так малы! Кожа побелела в том месте, где, закружившись, укусил ее бич. А затем на месте белой полоски вскочил рубец и там, где лопнула кожа, выступили багровые капли. Опять просвистел бич — мальчик съежился всем телом в ожидании удара, но не тронулся с места. Он держался! Вскочил второй рубец и третий. И только после четвертого раза мальчик вскрикнул. Теперь он уже не мог стоять на месте и после

этого с каждым ударом подплясывал с дикими криками, но убежать не пытался! Если в своем непроизвольном танце он отскакивал за пределы досягаемости кнута, то сам же и возвращался обратно. И когда все было кончено — двенадцать розог, он, плача и повизгивая, спрятался между телегами.

Вожак стоял и ждал. Из-под деревьев вышел второй мальчик. Но этот не пошел прямо. Он подкрадывался, как струсившая собачка, поворачивался и отбегал в сторону, но всякий раз возвращался обратно, описывая круги все ближе и ближе к вожаку, рыдая, издавая животные, нечленораздельные звуки. Я видел, что он не смотрит на цыгана. Глаза его были устремлены на кнут, и в этих глазах был написан такой ужас, от которого мне чуть не сделалось дурно, безумный ужас неизвестно за что терзаемого ребенка! Я был на поле сражения, видел, как справа и слева от меня падали крепкие люди, корчась в предсмертных муках. Видел, как их десятками взрывали гранаты, а тела разлетались в клочки; поверьте мне, это зрелище было пустяком по сравнению с тем, как на меня подействовал вид бедного ребенка.

Началась порка. Избиение первого мальчика

было шуткой по сравнению с этим. В одно мгновение кровь побежала по тонким ножкам. Он плясал, извивался, ежился, напоминал чудовищную марионетку, дергаемую за ниточку. Но его крики разрушали эту иллюзию. Крик был тонкий, пронзительный, ни одной хриплой нотки, тонкий, невинный детский голос. Мальчик, наконец, не мог больше терпеть. Рассудок умолк, и он пытался убежать. Вожак погнался за ним, отрезая ему дорогу, и ударами вернул на прежнее место.

Внезапно что-то прервалось. Я услышал дикий, сдавленный крик. Женщина, сидевшая в телеге, соскочила и побежала, чтобы заступиться за мальчика. Она стала между мужчиной и ребенком.

«И ты хочешь? — буркнул человек с кнутом. — Ладно!» — и он опустил на нее кнут. На ней были длинные юбки, поэтому он не целился в ноги. Он направил удар ей в лицо, которое она закрыла, как могла, руками и локтями, втянув голову между тощими плечами, — и на эти тощие плечи и руки посыпались удары. Героическая мать! Она знала, что делала! Мальчик с воем и криком побежал укрыться к телегам.

Все это время четверо мужчин, лежавших возле меня, наблюдали за происходящим и не

трогались с места. Не пошевельнулся и я. И я говорю это без стыда, хотя рассудок мой отчаянно боролся с естественным желанием вскочить и вмешаться. Но я знал жизнь. Какая польза была бы женщине или мне от того, что меня бы избили до смерти пятеро мужчин на этом берегу Сасквеханны? Однажды я видел, как вешали человека, и хотя вся моя душа возмущенно протестовала, я не вымолвил ни слова. Крикни я, мне, по всей вероятности, раздробили бы череп рукояткой револьвера: Закон требовал казни этого человека. Здесь, в этой группе цыган, царил Закон, по которому непокорную женщину нужно было отхлестать.

Но в обоих случаях я не вмешался не столько потому, что это был Закон, сколько потому, что Закон был сильнее меня. Если бы не четверо мужчин, лежавших рядом со мной в траве, я, конечно, с величайшей охотой кинулся бы на человека с кнутом. Возможно, женщины табора ударили бы меня ножом или дубиной, но я убежден, что избил бы его. Но возле меня лежало четверо мужчин! Значит, их Закон оказался сильнее меня.

О, поверьте мне, я настрадался немало. Я не раз и прежде видел, как бьют женщин, но такого избиения еще не видел. Платье на ее плечах

изорвалось в клочья. Один удар, от которого она не убереглась, оставил кровавый рубец на щеке до подбородка, и не один удар, не два, не десяток, не два десятка, нет — бесконечно, несчетно кнут крутился над ней и обрушивался на нее. Пот катил с меня градом, я дышал с трудом, стиснув траву руками и выдергивая ее с корнями. И все это время рассудок шептал мне: «Дурак, дурак!» Этот рубец на ее лице чуть не погубил меня. Я привстал было, но рука человека, лежавшего рядом со мной, легла на мое плечо и пригнула меня к земле.

— Легче, приятель, легче! — вполголоса предупредил он меня.

Я посмотрел на него, и он не мигая уставился на меня. Это был крупный, широкоплечий, мускулистый мужчина; лицо у него было ленивое, флегматичное, бесстрастное, впрочем, добродушное, без оживления и совершенно бездушное — это была какая-то мутная, беззлобная, но и без всякого представления о морали упрямая бычачья душа. Это было животное с самыми слабыми проблесками разума, добродушная скотина с умственным горизонтом гориллы. Рука его тяжко легла на меня, и я почувствовал в ней страшную силу мышц. Я взглянул на других людей-зверей:

один из них хранил полную невозмутимость, другой, видимо, наслаждался зрелищем; благоразумие вернулось ко мне, мускулы мои обмякли, и я вытянулся в траве.

Мне вспомнились две старые девы, у которых я завтракал в это утро. Меньше двух миль по прямой линии отделяло их от этой сцены. Здесь, в безветренный день, под благодатным солнцем, их сестру избивал мой брат! Вот страница жизни, которой они никогда не могли увидеть, и это к лучшему, хотя, не увидев ее, они никогда не могли бы понять ни того, что это их сестра, ни самих себя, ни того, что они сделаны из одной глины. Женщине, живущей в тесных комнатах, пахнущих духами, не дано чувствовать себя сестрой всего мира.

Порка окончилась, и женщина, перестав кричать, отправилась на свое место в телеге. Другие женщины не подошли к ней сразу. Они боялись. Подошли потом, когда прошел приличный промежуток времени. Вожак отложил свой кнут и присоединился к нам, сев на траву рядом со мной. Он тяжело дышал от утомления. Вытерев рукавом пот с лица, он с вызовом взглянул на меня. Я равнодушно встретил его взгляд; какое мне было до него дело! Я не сразу ушел. Я подождал еще с

полчаса, в данном случае этого требовал такт и этикет. Я скрутил папироску из табака, взятого у цыган, и спустился по насыпи к полотну дороги, получив необходимые указания относительно того, как поймать ближайший товарный поезд, идущий на юг.

Ну, и что же?

Страничка жизни, вот и все! Я немало видел страниц похуже, много хуже. Я утверждал иногда (слушатели мои думали, будто я шучу), что главное различие между человеком и животным заключается в том, что человек — единственное животное, дурно обращающееся со своей самкой. Вот уж на что никакой волк, никакой трусливый койот не способен! Этого не делает даже собака, уже прирученная человеком и живущая в обществе человека. Собака сохранила в этом отношении свои древние инстинкты, человек же утратил почти все свои дикие инстинкты — по крайней мере, лучшие из них. Вы хотите худших страниц жизни, чем описанная мной? Почитайте отчеты о детском труде в Соединенных Штатах — на востоке, на западе, на юге, на севере, безразлично где — и знайте, что все мы эксплуататоры, все мы наборщики и печатники неизмеримо худших страниц жизни, чем эта страница об

избиении женщины на Сасквеханне.

Я прошел по насыпи сотню ярдов до того места, где земля у полотна была плотно утрамбована. Здесь можно было вскочить на поезд, медленно поднимающийся в гору, и здесь я застал человек шесть бродяг, также дожидавшихся поезда. Некоторые играли в трынку старыми картами. Я принял участие в игре. Один из бродяг, негр, начал сдавать. Это был толстый парень, молодой, с круглым, как луна, лицом. Он весь светился добродушием: оно чуть не сочилось из него. Сдав мне первую карту, он помедлил и произнес:

— Скажи, не видел ли я тебя раньше?

— Наверно, видел! — отвечал я. — И тогда на тебе была другая одежда.

Негр был озадачен.

— Помнишь Буффало? — спросил я.

Тут он узнал меня и со смехом и восторженно приветствовал меня, как старого товарища, ибо в Буффало, где он отбывал срок в исправительном арестантском доме графства Эри, он носил полосатый арестантский наряд, как и я, отбывая там тюремное заключение одновременно с ним.

Игра продолжалась, и вот какая была ставка в этой игре. По насыпи к реке спускалась узкая и крутая тропинка, приводившая к ручью, который

протекал в двадцати пяти футах ниже. Играли мы на краю насыпи. Проигравший должен был взять банку из-под сгущенного молока и этой банкой носить воду выигравшим.

Сыграли партию — и негр проиграл.

Он взял банку, полез вниз, а мы сверху дразнили его. Пили мы, как рыбы! Четыре раза пришлось ему ходить за водой для меня одного, другие были столь же расточительны в утолении своей жажды. Тропинка была очень крута, иногда он соскальзывал вниз, пройдя половину пути, проливал воду и должен был возвращаться к ручью. Но он не сердился. Он заливался таким же веселым смехом, как и мы, поэтому и оступался так часто. Он только уверял нас, что выпьет чертову уйму воды, когда проиграет кто-нибудь другой.

Утолив жажду, мы начали вторую партию. Опять негр проиграл, и опять мы напились до отвала. Третья и четвертая партии окончились тем же, и каждый раз этот луноликий негр чуть не лопался от смеха! И мы чуть не лопнули с ним вместе. Смеялись мы, как беспечные дети, как боги! Я столько хохотал, что мне казалось — вот-вот у меня отвалится голова, и пил из банки столько, что больше уж некуда было пить. Встал серьезный вопрос, сможем ли мы вскочить на

поезд, когда он подойдет — так мы отяжелели от выпитой воды. Этот подход к делу чуть не доконал негра. Он должен был минут на пять прервать свое хождение за водой: лежал на земле и катался со смеху.

Тени становились длиннее, сгущались прохладные сумерки, а мы все пили воду, и наш черный водочерпий все носил да носил ее. Я забыл о женщине, избитой на моих глазах час тому назад. Это была прочитанная и перевернутая страница; теперь я всецело был поглощен новой страницей; когда паровоз засвистит под горой, страница будет окончена и начнется другая; так и идет книга жизни, страница за страницей, и страницам этим нет конца, пока мы молоды! Но вот выпала партия, в которой негр не проиграл! Жертвой оказался тощий, геморроидального вида бродяга, он как раз смеялся гораздо меньше других. Мы объявили, что не хотим больше пить. И это была правда: все богатства Ормуза и Инда и даже нагнетательный насос не могли бы теперь втиснуть и капли в наши переполненные утробы. Негр явно был разочарован, но он вышел из положения, заявив, что хочет пить. И хочет не на шутку. Он напился воды, еще раз напился и опять напился. Меланхолический бродяга то и

дело спускался и поднимался по насыпи, а негр требовал воды. Сумерки перешли в ночь, высыпали звезды, а негр продолжал пить. Я думаю, если бы не раздался свисток паровоза, он и до сих пор сидел бы там, упиваясь водой и местью, а унылый бродяга все ходил бы вверх и вниз.

Но паровоз засвистел. Страница окончилась. Мы вскочили и выстроились шеренгой вдоль линии. Вот он подошел, отплевываясь и кашляя на уклоне; его фонари превратили ночь в яркий день, выделив наши резкие силуэты. Паровоз миновал нас, мы побежали рядом с поездом; одни вскакивали на боковые лесенки, другие отодвигали двери пустых товарных вагонов и забирались внутрь. Я поймал платформу, груженную лесом, и устроил себе на ней удобный уголок. Растянувшись на спине, я подложил под голову газету вместо подушки. Надо мной в вышине мигали и колебались эскадроны звезд, и, наблюдая их, я заснул. Прошел день — один из многих моих дней. Предстоял новый день, а я еще был молод…

«Сцапали»

Я подъехал к Ниагарскому водопаду в «пульмановском вагоне с боковой дверью», иначе говоря, в товарном вагоне. Среди бродяжьей братии товарная платформа известна под названием «гондолы». Но вернемся к рассказу. Я прибыл под вечер и прямо с товарного поезда направился к водопаду. При виде этого чудесного зрелища низвергающегося моря воды я растерялся. Я не мог оторваться от него, хотя пора было «пострелять» к ужину. Даже приглашение «посидеть» не могло бы оторвать меня от этой картины. Наступила ночь — чудесная лунная ночь, а я все стоял у водопада, и так до двенадцатого часа. Но надо было подумать о местечке для спанья.

Я убедился, что город у Ниагарского водопада, называющийся тоже «Ниагарский Водопад», «плохой» город для бродяг, и вышел в поле. Я перелез через забор и заснул на черном поле. Я льстил себя надеждой, что «Джон-Закон» не найдет меня здесь. Я лег навзничь в траву и заснул, как младенец. Воздух был так тёпл и ароматен, что я ни разу не проснулся за всю ночь. Но как только занялся день, глаза мои открылись, и я

вспомнил изумительный водопад. Я перелез через забор и пошел по дороге — еще раз взглянуть на водопад. Час был ранний, не больше пяти утра, и до восьми часов нечего было и думать о завтраке. Я мог провести у реки добрых три часа. Увы, мне не суждено было больше увидеть ни реки, ни водопада.

Город спал, когда я вошел в него. Шагая по затихшей улице, я увидел, что навстречу мне направляются по тротуару три человека. Шли они рядом. Бродяги, решил я, вставшие, как и я, в ранний час. Но я ошибся. Я угадал только на шестьдесят шесть и две трети процента. Люди по бокам действительно были бродяги, но человек посередине не был бродяга. Я отступил к краю тротуара, чтобы пропустить мимо себя это трио. Но трио не прошло мимо; по слову, сказанному человеком, находившимся в центре, все трое остановились, и он же обратился ко мне.

В мгновение я увидел опасность. Это был «фараон», а двое бродяг — его арестанты. «Джон-Закон» проснулся и искал раннего червячка. Червячком этим оказался я. Будь у меня богаче опыт и зная, что ожидает меня в предстоящие месяцы, я повернулся бы и побежал, как вихрь. Он, вероятно, выстрелил бы, но, чтобы поймать меня, ему

пришлось бы подстрелить человека. Ни в каком случае он не побежал бы за мной, ибо двое бродяг в руках лучше, чем один на бегу. Но я болван болваном остановился, когда он окликнул меня. Разговор у нас получился короткий.

— В каком отеле остановился? — спросил он.

Он знал свое дело. Я не остановился ни в каком отеле и, не зная ни одного отеля в этом городе, не мог и сослаться хоть на какой-нибудь. К тому же я слишком рано появился на улице. Все говорило не в мою пользу.

— Я только что приехал! — объявил я.

— Ну так повернись и иди впереди меня, да не очень далеко забегай вперед! Тебя кое-кто хочет видеть.

Меня «сцапали»! Я хорошо знал, кто хочет видеть меня. С этим «фараоном» и двумя бродягами по пятам я пошел прямёхонько к городской тюрьме. Там нас обыскали и записали наши имена. Не помню теперь, под каким именем я был записан. Я назвал себя Джеком Дрэйком, но, обыскивая меня, они нашли письма, адресованные Джеку Лондону; это вызвало трудности и потребовало объяснений — подробности я уже забыл и до сего дня не знаю, сцапали ли меня как Джека Дрэйка или как Джека Лондона. Во всяком случае, то

или другое имя до сих пор красуется в тюремных списках Ниагарского Водопада. По справке это легко выяснить. Дело происходило во второй половине июня 1894 года. Через несколько дней после моего ареста началась крупная железнодорожная забастовка.

Из конторы нас повели в «Хобо» и заперли. «Хобо» — часть тюрьмы, где содержат мелких преступников в огромной железной клетке. Так как бродяги, то есть «хобо», составляют главную массу мелких преступников, то эту железную клетку и назвали «Хобо». Здесь мы встретили нескольких бродяг, арестованных в это самое утро; чуть не каждую минуту дверь отворялась и к нам впихивали еще двух-трех человек. Наконец, когда набралось шестнадцать хобо, нас повели наверх, в судебный зал. Я добросовестно опишу, что происходило в этом судебном зале; здесь мой патриотизм американского гражданина получил удар, от которого он никогда не мог вполне оправиться.

В судебном зале находилось шестнадцать арестантов, судья и два судебных пристава. По-видимому, судья исполнял и обязанности секретаря. Свидетелей не было. Не было граждан города, которые поинтересовались бы взглянуть,

как отправляется правосудие в их общине. Судья взглянул на список, лежавший перед ним, и назвал фамилию. Один из бродяг встал. Судья поглядел на пристава.

— Бродяга, ваша милость, — проговорил пристав.

— Тридцать дней! — сказал его милость.

Бродяга сел, судья назвал другое имя, и другой бродяга поднялся на ноги.

Суд над этим бродягой занял ровно пятнадцать секунд. Следующего бродягу судили с такой же быстротой. Пристав произносил: «Бродяга, ваша милость», а его милость говорил: «Тридцать дней». Так оно и шло, как заведенные часы; на каждого бродягу пятнадцать секунд и тридцать дней ареста.

«Какая смирная скотинка! — думал я про себя. — Вот погодите! Дойдет моя очередь, я покажу его милости штуку!» В течение этой процедуры «его милость», очевидно, побуждаемый каким-то капризом, дал одному из нас возможность заговорить. И, как на грех, это оказался не настоящий бродяга. Он ничем не напоминал профессионального бродягу. Подойди он к нам в то время, когда мы ждали у водокачки товарного поезда, мы без колебания отнесли бы его к числу новичков.

Этот новичок был довольно стар — я думаю, лет сорока пяти, несколько сутулый, с обветренным и морщинистым лицом.

Судя по его рассказу, он много лет был возчиком в какой-то фирме в Локпорте, в штате Нью-Йорк (если память мне не изменяет). Дела фирмы пошатнулись, и в тяжелый 1893 год она ликвидировала дело. Его держали до последних дней, хотя к концу его служба носила крайне нерегулярный характер. Он рассказывал, как ему трудно было устроиться на работу (безработных было полно) в последующие месяцы. Наконец, решив, что легче будет найти работу на Озерах, он отправился в Буффало. Его сцапали и привели сюда — вот и всё.

— Тридцать дней! — проговорил его милость и вызвал другого бродягу.

Означенный бродяга поднялся.

— Бродяга, ваша милость! — проговорил пристав, и его милость сказал:

— Тридцать дней!

Так оно и шло, пятнадцать секунд — и тридцать дней на бродягу. Колесо правосудия гладко вертелось. Весьма вероятно, что, принимая во внимание ранний час утра, его милость еще не завтракал и поэтому торопился.

Но моя американская кровь так и кипела. За мной стояли многие поколения моих американских предков. Одной из привилегий, за которые сражались и умирали эти мои предки, было право на суд с присяжными. Это было мое право, освященное их кровью, и я чувствовал себя обязанным защищать его. «Ладно, — погрозился я про себя, — пусть только очередь дойдет до меня!»

Она дошла до меня. Мое имя, не помню какое, было названо, и я встал. Пристав произнес:

— Бродяга, ваша милость!

И я заговорил. Но в тот же момент заговорил и судья; он произнес:

— Тридцать дней!

Я запротестовал, но в это мгновение его милость, уже называя фамилию следующего по списку, остановился ровно настолько, чтобы сказать мне: «Закрой пасть!» Пристав заставил меня сесть на место. И в следующий момент новый бродяга получил свои тридцать дней, а следующий за ним бродяга встал получить столько же.

Когда с нами расправились, дав по тридцать дней на бродягу, его милость, уже собираясь отпустить нас, вдруг повернулся к возчику из Локпорта — единственному человеку, которому

он позволил говорить.

— Зачем ты бросил работу? — спросил судья.

Возчик уже объяснял, что работа бросила его, и смутился при новом вопросе.

— Ваша милость, — сконфуженно начал он. — Какой вы странный вопрос задаете…

— Еще тридцать дней за то, что бросил работу! — проговорил его милость и закрыл судебное заседание. В итоге возчик получил в общем шестьдесят, а мы все — по тридцать дней.

Нас свели вниз, заперли и дали позавтракать. Для тюремных завтраков это была довольно неплохая еда — лучшая, на какую я только мог рассчитывать в предстоящем месяце.

Я был ошеломлен! Я осужден после какой-то пародии на суд, в котором мне отказали не только в моем праве судиться с присяжными, но и признать или не признать себя виновным! Еще одно право, за которое дрались мои отцы, вспомнилось мне — право на неприкосновенность личности. Я им покажу! Но когда я потребовал адвоката, меня подняли на смех. Право существовало честь честью, но какой прок в нем, если я не могу сноситься ни с кем вне тюрьмы? Но я им покажу! Они не смогут держать меня вечно в тюрьме! Подождем, пока я выйду! Я им задам! Я

имею представление о законе и о своих правах и выведу их на чистую воду! Когда тюремщики пришли и повели нас в главную контору, я уже представлял себе, как подам иски за убытки и какие сенсационные заголовки появятся после этого в газетах.

Полисмен надел наручник на мою правую руку.

«Ага! — подумал я. — Новое насилие! Только дайте мне выйти!» На левую руку негра он надел вторую половину этого наручника. Негр был очень высок, наверное, больше шести футов — когда мы стали рядом, то рука его, скованная с моей, немножко потянула ее вверх. Это был самый оборванный и самый веселый негр, каких я только когда-либо видел!

Так нас всех сковали попарно. По окончании этой операции принесли блестящую цепь из никелированной стали, пропустили ее через звенья всех наручников и заперли в конце и в начале цепи. Теперь мы представляли собой «кандальную шеренгу». Отдали приказ двинуться, и мы пошли по улице под охраной двух полицейских. Высокому негру и мне досталось почетное место — мы шли во главе процессии.

После могильного мрака темницы солнечный

свет ослепил меня. Никогда он еще не казался мне таким приятным, как теперь узнику в звенящих кандалах; я знал, что вижу его в последний раз перед тем, как меня запрут на тридцать дней.

Мы шли по улицам городка к железнодорожной станции, сопровождаемые любопытными взглядами прохожих, особенно группами туристов, вышедших на веранду отеля, мимо которого мы проходили.

Цепь была довольно свободная, и мы со звоном и лязгом расселись попарно в вагоне для курящих. Как я ни пылал негодованием на оскорбление, нанесенное мне и моим праотцам, все же я был слишком практичен, чтобы потерять голову. Для меня все было ново! Мне предстояло тридцать таинственных дней, и я оглядывался, ища глазами человека, имеющего уже такой опыт. Я уже знал, что меня везут не в маленькую тюрьму с какой-нибудь сотней арестантов, а в настоящие арестантские роты с двумя тысячами узников, отбывающих от десяти дней до десяти лет заключения.

На скамейке за мной, прикованный к цепи за руку, сидел коренастый, плотный, мускулистый мужчина. На вид ему было лет тридцать пять — сорок. Я присмотрелся к нему. В уголках его

глаз я заметил юмор и добродушие. В остальном же он походил на животное, похоже, был абсолютно аморален, со всеми инстинктами и силой зверя. Спасали его и делали для меня приемлемым именно эти уголки глаз: юмор и добродушие зверя, когда его покой не нарушен.

Он мне «приглянулся». Я «приглянулся» ему. И пока мой товарищ по кандалам, длинный негр, шутил и похохатывал, оплакивая какое-то белье, которого он мог лишиться из-за ареста, и покуда поезд катился к Буффало, я разговорился с человеком, сидевшим за моей спиной. Его трубка была пуста. Я наполнил ее моим драгоценным табаком — таким количеством, что его хватило бы на дюжину папирос. Да и чем больше мы с ним беседовали, тем больше я убеждался, что мы сойдемся, — и я разделил с ним весь мой табак.

Надо вам сказать, что я довольно покладистый малый, достаточно любящий жизнь, чтобы всюду приспособиться. Я поставил себе целью приспособиться к этому человеку, не подозревая даже, до чего удачным оказался мой выбор. Он никогда не бывал в «исправилке», куда нас везли, но успел посидеть год, два и три в других тюрьмах и был напичкан арестантской мудростью. Мы почти подружились, и мое сердце подпрыгнуло

от радости, когда он посоветовал мне во всем следовать его примеру. Он называл меня «Джеком», и я называл его так же.

Поезд остановился на станции в пяти милях от Буффало, и нас, арестантов, вывели. Не помню, как называлась эта станция, но уверен, что она носила одно из следующих названий: Роклин, Роквуд, Блэкрок, Роккасль или Ньюкасль. Но как бы она ни называлась, сначала нас повели пешком на небольшое расстояние от станции, а затем посадили в «линейку». Это был старомодный дилижанс с сиденьями по обе стороны во всю длину экипажа. Всех пассажиров, сидевших на одной стороне, попросили перейти на другую, и мы с громким лязгом цепей заняли наши места. Я помню, мы сидели против пассажиров, помню выражение ужаса на лице одной женщины, которая, без сомнения, приняла нас за приговоренных к каторге убийц и банковых громил. Я напустил на себя самый свирепый вид, но мой компаньон по наручникам, веселый негр, не переставал вращать глазами и смеяться.

Мы вышли из дилижанса, прошли немного пешком и попали в контору исправительной тюрьмы — «исправилки». Здесь нас зарегистрировали, и в этом списке вы можете найти одну

из двух моих фамилий. Нам объявили также, что мы должны оставить в конторе все наши ценности: деньги, табак, спички, карманные ножи и прочее.

Мой новый приятель, взглянув на меня, отрицательно покачал головой.

— Если вы не оставите вещей ваших здесь, их конфискуют в тюрьме! — предупредил чиновник.

Но мой приятель продолжал мотать головой. Он делал какие-то движения руками, пряча их за спиной других арестантов (наручники с нас уже сняли). Я наблюдал за ним и последовал его примеру, связав в носовой платок все, что хотел взять с собой. Эти узелки мы засунули себе за рубашки. Я заметил, что прочие арестанты, за исключением одного или двух, обладавших часами, не отдали своих пожитков чиновнику в конторе. Они решили во что бы то ни стало пронести их контрабандой, доверившись случаю; но они оказались глупее моего приятеля и меня: они не связали своих пожитков в узелки.

Наша первая стража собрала наручники и цепи и уехала, а мы под охраной новой стражи пошли в тюрьму. Пока мы находились в конторе, к нам прибавилось несколько отрядов вновь

прибывших арестантов, так что теперь мы шли процессией в сорок — пятьдесят человек.

Знайте же вы, не сидевшие в тюрьме, что передвижение в большой тюрьме так же стеснено, как была стеснена торговля в Средние века. Попав в исправительный дом, вы уже не можете двигаться в нем по своей воле. На каждом шагу вы встречаете огромные стальные двери или всегда запертые ворота. Нам нужно было пойти в парикмахерскую, но пришлось ждать, пока отпирали двери. Таким образом, мы задержались в первом же огромном зале, куда нас ввели. Представьте себе продолговатый куб, построенный из кирпичей, высотой в шесть этажей, и в каждом этаже ряды камер, скажем, по пятьдесят камер в ряд; лучше вообразите себе огромный пчелиный сот в виде куба. Поставьте этот куб на землю, окружите его стенами и покройте крышей — такой куб и окружающая его постройка и составляют «зал» в исправительной тюрьме в Эри, куда нас перевезли. Для полноты картины представьте себе узенькую галерею-балкон с железными перилами, проходящую по всей длине каждого ряда камер, а в концах этого продолговатого куба все эти галереи с обеих сторон соединяются на случай пожара системой узеньких стальных лестниц.

Мы остановились в первом зале, ожидая, пока сторожа отопрут дверь. Там и сям двигались каторжники с низко остриженными затылками и бритыми лицами, в полосатой тюремной одежде. Одного такого каторжника я заметил над нами на галерее третьего ряда камер. Он стоял, наклонившись вперед, опираясь о перила, и словно не замечал нашего присутствия. Глядел он куда-то в пространство. Мой новый приятель издал тихий шипящий звук. Каторжник глянул вниз. Они обменялись какими-то сигналами. Затем взвился вверх узелок моего приятеля. Каторжник молниеносно поймал его и спрятал в своей рубашке, опять безучастно уставившись в пространство. Приятель сказал мне, чтобы я последовал его примеру. Я улучил минуту, когда сторож повернулся ко мне спиной, и мой узелок полетел вверх и попал в рубаху каторжника.

Через минуту дверь отперли и нас ввели в парикмахерскую. Здесь находились люди в полосатой одежде каторжников — тюремные брадобреи. Были тут и ванны, и горячая вода, и мыло, и щетки. Нам приказали раздеться и выкупаться, потерев друг другу спину. Эта обязательная ванна была излишней предосторожностью, ибо тюрьма кишела насекомыми. После ванны каждому дали

по холщовому мешку для одежды.

— Кладите все своё платье в мешок! — сказал сторож. — Не пытайтесь пронести что-нибудь запрещенное! Вам придется построиться голыми для осмотра. Те, у кого срок тридцать дней и меньше, могут оставить при себе башмаки и подтяжки; у кого больше тридцати дней, — не оставляйте ничего.

Это привело всех в замешательство. Как может голый человек пронести что-нибудь запрещенное? Только мой приятель и я были спокойны. Каторжные цирюльники приступили к работе. Они обходили новичков, любезно предлагая взять на свое попечение их драгоценные пожитки и обещая вернуть их. По словам этих цирюльников, они были настоящие филантропы. Кажется, нигде еще людей так быстро не разгружали. Спички, табак, папиросная бумага, трубки, ножи, деньги — решительно все попало в объемистые рубахи цирюльников. Они так и пузырились от добычи, а сторожа делали вид, что ничего не замечают. Короче говоря, не вернули ничего. Цирюльники и не собирались ничего возвращать. Они считали взятое добро своим законным достоянием. Это была добыча цирюльни. В этой тюрьме, как я впоследствии убедился, брались самые разно-

образные поборы. Мне суждено было это узнать благодаря моему новому приятелю.

В цирюльне стояло несколько стульев, и брадобреи работали быстро. Я никогда не видел, чтобы людей так быстро брили и стригли! Арестанты намыливались сами, и цирюльники брили их со средней скоростью — один человек в минуту. Стрижка головы занимала чуть побольше времени. В три минуты с моего лица исчез пушок восемнадцатилетнего юнца, и моя голова стала гладкой, как бильярдный шар, осталась лишь поросль щетинок. Бороды и усы исчезли, как и наша одежда с ценностями. Можете поверить: когда нас отделали, мы имели вид форменных злодеев. Трудно и вообразить себе, до чего мы отвратительно выглядели!

Потом мы выстроились в шеренгу — человек сорок или пятьдесят — нагие, как герои Киплинга, штурмующие Лунгтунпен. Обыскивать нас было легко, на нас были только башмаки. У двух или трех неосторожных молодчиков, не поверивших цирюльникам, нашли их добро, а именно: табак, трубки, спички, мелкую монету — и в то же мгновение конфисковали. После этой операции нам принесли новое одеяние: толстые тюремные рубашки и куртки со штанами, все полосатое.

Я прежде думал, что полосатое каторжное платье надевается лишь на людей, совершивших тяжкое уголовное преступление. Впрочем, я не стал предаваться размышлениям, надел на себя эту позорную одежду и затем впервые испытал маршировку «гуськом».

Выстроившись тесной вереницей друг другу в затылок, причем задний держал руки на спине переднего, мы перешли в другой большой «зал». Здесь нас выстроили длинной шеренгой у стенки, приказав обнажить левую руку. Молодой студент-медик, практиковавшийся на животных вроде нас, обходил ряды. Он делал прививку вчетверо проворней, чем цирюльники нас брили. Расставив всех так, чтобы мы не стерли лимфы, коснувшись рукой чего-нибудь, и дав крови засохнуть так, чтобы получился струп, нас развели по камерам. Здесь мы с моим новым приятелем разлучились, но он успел шепнуть мне: «Высоси!»

Как только меня заперли, я начисто высосал ранку. Впоследствии я видел людей, не сделавших этого: у них на руках образовались страшные язвы, в которые свободно вошел бы кулак! Сами виноваты! Могли ведь высосать…

В моей камере находился еще один заключенный. Это был молодой, на вид сильный парень,

не разговорчивый, но очень ловкий и самый хороший товарищ, какого только можно встретить, — хотя он только что отбыл двухлетний срок в исправилке штата Огайо.

Не прошло и получаса, как по галерее прошел арестант, заглядывая в окошечки камер. Это был мой приятель. Как он объяснил, он имел право свободно расхаживать по «залу». Его камеру отпирали в шесть часов утра и не запирали до девяти вечера. У него здесь был приятель, и его уже назначили старостой, так называемым «коридорным». Человек, назначавший его, тоже был арестант и староста и назывался «первый коридорный». В нашем корпусе полагалось тринадцать коридорных — на каждый из десяти коридоров по одному, а над ними начальствовали первый, второй и третий коридорные.

Нам, новоприбывшим, придется остаться в камерах на весь остаток дня, чтобы «принялась» прививка, как объяснил мой приятель. Утром нас выведут на принудительные работы в тюремный двор.

— Но я избавлю тебя от работы, как только смогу! — пообещал он. — Я добьюсь увольнения одного из коридорных, чтобы тебя назначили на его место.

Засунув руку в рубашку, он вытащил оттуда платок с моими драгоценными пожитками, просунул мне его сквозь решетку и ушел по галерее дальше.

Я развязал узелок. Все оказалось на месте! Не пропало даже ни единой спички. Я поделился остатком папироски с моим товарищем по заключению. Когда я хотел зажечь спичку, он остановил меня. На наших койках лежало по тонкому грязному одеялу. Он оторвал узенькую полоску ткани, плотно скрутил ее и вытянул в длинный тонкий цилиндр. Этот цилиндр он зажег драгоценной спичкой. Цилиндр из плотно свернутой бумажной ткани не воспламенился, только кончик его обуглился и начал тлеть. Медленное тление могло длиться несколько часов; товарищ называл это «трутом». Когда трут догорал, стоило только сделать новый трут, приложить его к старому, подуть — и огонек воскресал. Как видите, мы могли дать Прометею сто очков вперед по части хранения огня!

В двенадцать часов подали обед. В двери нашей клетки внизу было небольшое отверстие, вроде тех, что делают в курятниках. В это отверстие нам просунули два ломтя сухого хлеба и две мисочки «супа». Порция «супа» заключалась при-

близительно в кварте кипятку, на поверхности которого одиноко плавала капля жиру. Было в этой воде и немного соли.

Мы выпили суп, но не тронули хлеба. Не то чтобы мы не были голодны или хлеб не съедобен, — хлеб был сносный, — но у нас были свои соображения. Мой товарищ обнаружил, что наша камера кишит клопами. Во всех щелях и промежутках между кирпичами, где выпала штукатурка, притаились огромные колонии клопов. Они дерзали показываться даже среди бела дня. У моего товарища уже был опыт по этой части. Как некий Роланд, он бесстрашно поднес рог к своим губам и объявил клопам войну. Началась небывалая битва. Она длилась часами, она была беспощадна. И когда последние из уцелевших врагов бежали в свои кирпичные и штукатурные крепости, дело наше было сделано только наполовину. Мы жевали хлеб, превращая его в известково-подобную массу, и как только бегущий воин скрывался в расселину между кирпичами, мы тотчас же залепляли ее прожеванным хлебом. Трудились мы до тех пор, пока не стало смеркаться и все отверстия, щели и трещины не оказались закупорены. С ужасом думаю о сценах голодной смерти и каннибализма, которые

должны были разыграться за этими стенами из жеваного хлеба!

Мы бросились на койки, измученные и голодные, и стали ждать ужина. Для одного дня работы было достаточно. В следующие дни мы по крайней мере не будем страдать от полчищ насекомых! Мы отказались от обеда, спасая свою шкуру за счет желудков; но мы были довольны. Увы, сколь тщетны человеческие усилия! Едва был окончен наш долгий труд, как сторож отпер дверь: последовало перераспределение арестантов, нас перевели в другую камеру и заперли двумя галереями выше.

На другой день рано утром наши камеры отперли и внизу несколько сотен узников выстроились гуськом и пошли на тюремный двор работать. Канал Эри протекал у заднего двора исправительной тюрьмы. Работа наша заключалась в разгрузке приплывавших по каналу судов и в перетаскивании огромных, как шпалы, нарезных болтов в тюрьму. Работая, я примерялся к обстановке и исследовал возможность удрать. На это не было и тени надежды. По стенам расхаживала стража, вооруженная автоматическими ружьями, и, кроме того, сказали мне, в сторожевых башнях стояли пулеметы.

Я, впрочем, не огорчился. Тридцать дней не так уж много! Я потерплю, у меня только прибавится материала, который я использую, как только выйду на свободу, против этих гарпий правосудия. Я покажу, что может сделать американский юноша, когда его права и привилегии растоптаны, как были растоптаны мои! Мне отказали в праве предстать перед судом присяжных; мне отказали в праве признать себя виновным или не признать; мне даже отказали в суде (ибо не мог же я считать то, что происходило в Ниагарском Водопаде, судом!); мне не дали возможности снестись с адвокатом или с кем бы то ни было и, стало быть, отказали в праве жаловаться на нарушение моего habeas corpus; мне выбрили лицо, остригли волосы, надели на меня полосатую одежду каторжника; заставили выполнять каторжную работу за хлеб и воду и ходить «гуськом» под охраной вооруженной стражи. И за что это все? Что я сделал? Какое преступление я совершил? Чем я оскорбил граждан города Ниагарский Водопад? Я даже не нарушил правила, запрещающего ночевать на улице. Я спал не на улице, а в поле! Я даже не просил хлеба и не «клянчил монетки» на их улицах! Все, что я сделал, заключалось в том, что я прошелся по их тротуару и поглядел на их

грошовый водопад. Какое же это преступление? Юридически я не провинился ни в каком проступке. Ладно же, я им покажу, дайте срок!

На следующий день я обратился к надзирателю. Я потребовал адвоката. Надзиратель высмеял меня. Высмеяли меня и другие. Я был отрезан от внешнего мира! Я пытался написать письмо, но узнал, что письма читаются, подвергаются цензуре или конфискуются тюремными властями и что «краткосрочникам» вообще не позволяют писать писем. После этого я пытался посылать письма через освобождаемых арестантов, но узнал, что их обыскали, письма нашли и уничтожили. Ладно, все это отягчит обвинение, которое я предъявлю, выйдя на свободу!

Но по мере того, как тянулись тюремные дни, я становился рассудительнее. Я наслушался невероятных, чудовищных рассказов о полицейских, полицейских судах и адвокатах. Арестанты рассказывали мне о личных столкновениях с полицией, рассказывали вещи, наводящие ужас. Еще страшнее были рассказы о людях, которые погибли от рук полиции и поэтому не могли рассказать о себе. Много лет спустя в докладах «Комиссии Лексоу» мне пришлось читать правдивые и еще более страшные повести, чем те,

каких я наслушался. В первые дни моего сидения в тюрьме я смеялся над всем, что мне рассказывали.

Но дни проходили, и я начал верить. Я собственными глазами увидел в этой тюрьме вещи невероятные и чудовищные.

Возмущение мое испарялось, в меня начал закрадываться страх. Я отчетливо понял наконец, против чего я восстал. Я присмирел, утихомирился. С каждым днем я все более укреплялся в решении не поднимать шуму, когда меня выпустят. Единственное, чего я ждал, это возможности уйти из этих мест. Именно это я и сделал, когда меня освободили. Я придержал язык, ушел тихоней и благоразумно стал пробираться в штат Пенсильвания.

Исправилка

Два дня я работал на тюремном дворе. Работа была тяжелая, и хотя я и отлынивал при всяком удобном случае, я скоро совсем извелся. Причиной было скудное питание. На такой кормежке никто не мог хорошо работать. Хлеб и вода — вот все, что нам давали. Раз в неделю полагалось мясо, но мясо это не всегда доходило до нас, и так как из него предварительно вываривались все питательные элементы для приготовления «супа», то уже было все равно: пробовать раз в неделю это мясо или не пробовать совсем.

Кроме того, в нашей хлебно-водяной диете был один существенный дефект. Получая в изобилии воду, мы не получали достаточно хлеба. Хлебный паек был размером с два мужицких кулака, и каждому заключенному выдавалось три таких пайка на день. Должен сказать, у воды было одно хорошее качество — она была горячая. Утром она называлась «кофе», в полдень ее величали «супом», а вечером она выдавалась как «чай». Но это была все та же вода. Арестанты называли ее «заколдованной водичкой». Утром она была черной оттого, что ее кипятили с горелыми корками

хлеба. В полдень ее подавали бесцветной с солью и каплей жиру. Вечером она приобретала пурпурно-каштановый цвет, не поддающийся никакому определению; чай был из рук вон дрянной, но вода была отменно горяча.

Очень голодная публика сидела в исправительной тюрьме округа Эри! Только «долгосрочники» знали, что значит поесть. Дело в том, что они довольно скоро научились кормиться пайками, выдававшимися «краткосрочникам». Я знаю, что долгосрочники получали более сытную еду; их было много в нижнем этаже нашего корпуса, и в бытность свою старостой я воровал у них провиант при раздаче. Человек не может жить одним хлебом, да еще получаемым в недостаточном количестве!

Мой приятель был источником земных благ: он выполнил свое обещание. После двух дней работы во дворе меня вывели из моей камеры и сделали старостой — «коридорным». Утром и вечером старосты разносили хлеб заключенным в их камеры. Но в полдень применялся другой прием. Заключенные возвращались с работы длинной вереницей. Войдя в дверь нашего корпуса, они разрывали цепь и снимали руки с плеч товарищей, шедших впереди. Сразу же за дверью стояли

лотки с хлебом, и здесь же находился первый коридорный и два его помощника. Я был одним из них. Нашей задачей было держать лотки с хлебом, пока не пройдет шеренга заключенных. Как только лоток, скажем, мой, опорожнялся, мое место занимал другой коридорный с новым полным лотком. Когда опорожнялся этот, я занимал его место. Так мимо нас непрерывно проходили ряды заключенных, и каждый протягивал правую руку и брал хлебный паек с лотка.

Другую работу выполнял первый коридорный. При нем была дубинка. Он стоял возле лотка и наблюдал. Несчастные голодные арестанты не всегда могли отделаться от иллюзии, что когда-нибудь можно сцапать с лотка лишний кусок хлеба. Но на моей памяти им это ни разу не удалось! Дубинка первого коридорного с молниеносной быстротой выбрасывалась вперед и с проворством лапы тигра опускалась на дерзновенную руку. У первого коридорного был отличный глаз, и он набил этой дубинкой столько рук, что не мог промахнуться. Промахов и не было, обычно он наказывал провинившегося заключенного тем, что отбирал у него законный паек и отправлял в камеру обедать горячей водой.

Не раз случалось, что в то время, как все эти

люди лежали голодные в своих камерах, я видел сотню и более пайков, припрятанных в камерах коридорных! Казалось, нелепо было удерживать чужой хлеб! Но это был наш доход! В нашем корпусе мы были хозяева и проделывали приблизительно то же, что позволяли себе хозяева государственного масштаба. Мы заведовали снабжением населения продовольствием и совершенно так же, как наши собратья, бандиты с «воли», заставляли публику дорого платить за это. Мы торговали этим хлебом. Раз в неделю люди, работавшие во дворе, получали кусочек прессованного табака для жевания стоимостью в пять центов. Этот жевательный табак был денежной единицей нашего царства. Обычно мы выменивали два-три пайка хлеба за кусочек табака, и заключенные покупали его у нас не потому, что меньше любили табак, но потому, что больше любили хлеб. О, я знаю, это было то же самое, что отнимать конфетку у ребенка, но что вы хотите, надо было жить! Инициатива и предприимчивость должны же быть вознаграждены! Кроме того, мы лишь подражали примеру людей за стенами тюрьмы, которые в более широком масштабе и под более почетной маской купцов, банкиров и промышленников делали то же, что

и мы. Что сталось бы с этими беднягами без нас, я даже не мог себе представить. Небу известно, что мы пускали хлеб в народное обращение по тюрьме. Да еще поощряли бережливость и экономию… у бедняг, отказывавшихся от табака. Мы подавали им пример! В сердце каждого арестанта мы насаждали честолюбивое стремление уподобиться нам и тоже заняться коммерцией. Мы были спасителями общества — так, думаю я, надо понимать это дело.

Вот голодный человек без табака. Может, он мот и все израсходовал на себя. Отлично — у него пара подтяжек. Я предлагаю за них полдюжины пайков хлеба или дюжину пайков, если подтяжки окажутся очень хорошего качества. Нужно вам сказать, что я не ношу подтяжек, но это неважно. За углом живет «долгосрочник», отбывающий десять лет заключения за убийство. Он носит подтяжки, и ему понадобилась одна пара. Я могу поменять ему подтяжки на имеющееся у него мясо. А мне хочется мяса. А может, у него найдется какой-нибудь потрепанный роман в бумажной обложке. Это находка! Я могу его прочесть, а потом сбыть пекарям за пирожное или поварам за мясо и овощи, или истопнику за приличный кофе, или еще кому-нибудь за газеты, которые

иногда просачивались в тюрьму, один Аллах ведает, какими путями. Все эти повара, пекари и истопники были такими же арестантами, как и я, и жили в нашем корпусе, в первом ряду камер над нами.

Короче говоря, в нашей «исправилке» царила высоко развитая система товарообмена. Были в обращении и деньги. Эти деньги попадали контрабандой через краткосрочников, а чаще всего — из цирюльни, где обирали новичков; главная же масса денег шла из камер долгосрочников — как они их добывали, не могу понять.

Кроме своего видного положения, первый коридорный слыл еще и богачом. Помимо других источников дохода, он обирал и нас. Мы эксплуатировали бедственное положение арестантов, а первый коридорный был генерал-эксплуататор над всеми нами. Свои личные доходы мы получали с его разрешения и за это разрешение должны были платить ему. Как я уже говорил, его считали богатым человеком, но мы не видели его денег, и жил он в своей камере в блестящем одиночестве.

У меня есть прямые доказательства того, что деньги в тюрьме имелись — в течение некоторого времени я сидел в одной камере с третьим коридорным. У него было больше шестнадцати

долларов. Обычно он пересчитывал их каждый вечер после девяти часов, когда нас запирали. И каждый вечер он рассказывал мне, что со мной сделает, если я выдам его другим коридорным. Он, видите ли, боялся, что его ограбят, а эта опасность угрожала ему с трех разных сторон. Со стороны охраны: несколько охранников могли наброситься на него, задать ему трепку за мнимое неповиновение и посадить в «одиночку» (карцер), а в суматохе улетучились бы его шестнадцать долларов. Далее, первый коридорный мог отнять у него все деньги под угрозой уволить и отправить обратно на тяжелые работы в тюремном дворе. И, наконец, оставалось еще десять человек простых коридорных. Пронюхай мы о его богатстве, легко могло бы случиться, что в один прекрасный день вся наша банда загнала бы его в угол и ограбила. О, мы были волки, поверьте мне, совершенно как те господа, которые делают бизнес на Уолл-стрит.

У него были все основания бояться нас, и, стало быть, мне надо было бояться его. Это было огромное невежественное животное, отбывшее пять лет в тюрьме Синг-Синг, и притом животное плотоядное. Он ловил силками воробьев, залетавших в наш зал сквозь прутья решеток. Поймав

жертву, он уходил с ней в свою камеру, и я видел, как он пожирал ее живьем, хрустя косточками и выплевывая перья! О нет, я не выдавал его другим коридорным! Вы, читатель, первый, которому я рассказываю об этих шестнадцати долларах.

Тем не менее я умудрялся эксплуатировать его. Он был влюблен в одну заключенную из «женского отделения». Он не умел ни читать, ни писать, и я читал ее письма к нему и писал за него ответы. И за это заставлял платить мне! Зато я писал отличные письма! Я очень старался, выискивал самые лучшие выражения, и, мало того, я покорил ее для него, хотя, думаю, что она влюбилась не в него, а в скромного автора писем. Повторяю, письма были первый сорт!..

Другим видом наших доходов была «передача трута». Мы были небесные посланцы, носители огня в этом железном мире замков и решеток. Когда люди возвращались с работы к вечеру и их запирали в камеры, им смертельно хотелось курить. Тогда-то мы разжигали божественную искру и обегали коридоры, от камеры к камере, с нашим тлеющим трутом. Те, кто был поумнее или с которыми мы уже имели дело, держали свои труты наготове. Однако не каждый получал божественную искру. Арестант, отказывавшийся

раскошелиться, ложился спать без искры и без курева! Но что нам было до этого? Преимущество было на нашей стороне; и если он начинал протестовать, двое-трое из нас бросались на него и задавали ему трепку.

У коридорных была своя философия. Нас было тринадцать коридорных. В нашем коридоре размещалось около пятисот заключенных. Предполагалось, что мы работаем для поддержания порядка. Последнее входило в обязанности надзирателей, а те перепоручали его нам. Стало быть, мы должны были поддерживать порядок; если мы этого не сделаем, нас погонят на тяжелые работы, по всей вероятности, предварительно отправив в карцер. Но пока мы поддерживаем порядок, мы можем обделывать свои делишки.

Теперь вдумайтесь хорошенько. Нас было тринадцать животных на пятьсот других. Наша тюрьма — это сущий ад, и тринадцать человек должны были им править. Править с помощью доброты было немыслимо, принимая во внимание характер этих животных. И мы управляли с помощью террора. Разумеется, мы опирались на охрану. В крайних случаях мы призывали их на помощь; но если бы мы стали тревожить их слишком часто, это бы им надоело и они нашли

бы на наше место более надежных старост. Но мы обращались к ним редко, только тогда, когда, например, нужно было отпереть камеру, чтобы подойти к непослушному арестанту. В подобных случаях надзирателю оставалось только отпереть дверь и уйти, чтобы не видеть, как с полдюжины коридорных вваливаются в камеру и начинают избивать заключенных.

О подробностях такого избиения я ничего не скажу. В конце концов избиения были лишь меньшим из непередаваемых ужасов, происходивших в нашей тюрьме. Я говорю «непередаваемых», а по справедливости должен был бы сказать «невообразимых». Они были невообразимы для меня, пока я не увидел их, а я хорошо знал и жизнь, и жуткие бездны человеческого падения. Понадобился бы длинный лот, чтобы измерить глубину этой тюрьмы. Я здесь только слегка и шутливо задеваю поверхность явлений, которых я там насмотрелся…

Временами, например, по утрам, когда арестанты спускались вниз умываться, мы, тринадцать человек, буквально тонули в их массе, и самый последний из заключенных понимал это. Тринадцать против пятисот! Но мы управляли страхом. Мы не могли допустить ни малейшего нарушения

правил, ни малейшей дерзости по отношению к себе. Позволить это значило погибнуть. У нас было правилом: ударить человека, едва он раскроет рот, ударить сильно, бить чем попало. Весьма отрезвляющее действие производила ручка метлы, если ткнуть ею прямо в лицо. Но это еще было не все! Такой ослушавшийся должен был послужить примером другим; поэтому вторым правилом было погнаться за ним в толпе. Разумеется, наверняка знали, что каждый коридорный, увидев погоню, примет участие в наказании строптивого, — и это было правилом. Когда у коридорного случался конфликт с заключенным, то обязанностью другого коридорного, оказавшегося поблизости, было пустить в ход свои кулаки. В чем бы ни было дело, следовало бросаться и бить чем попало, сбить нарушителя с ног.

Помню красивого молодого мулата лет двадцати, которому пришла в голову безумная мысль отстаивать свои права. Он был прав, но это ему мало помогло. Жил он на самом верхнем этаже. Восемь коридорных выбили из него спесь ровно за полторы минуты, ибо как раз столько времени требовалось, чтобы протащить его через весь коридор и стальные ступени с пятого этажа донизу. Этот путь он проделал всеми частями своего

тела, за исключением ног, и восемь коридорных не тратили времени попусту. Мулат грохнулся о каменный пол возле меня. Он встал на ноги и с минуту стоял прямо. Потом широко раскинул руки и испустил страшный вопль ужаса и боли. В то же мгновение, словно в какой-нибудь фантасмагории, с него свалились лохмотья толстой тюремной одежды, оставив его совершенно нагим; из каждой поры его тела лилась кровь. Он упал без чувств, безжизненным мешком. Он получил урок, и все каторжники, находившиеся в тюрьме и слышавшие его крик, зарубили этот урок себе на носу. Зарубил себе на носу и я! Жутко видеть человека, приведенного в подобное состояние за какие-нибудь полторы минуты…

А вот как мы обделывали делишки по торговле трутом. В наши камеры привели новичков. Вы проходите с вашим трутом мимо решетки. «Дай огоньку!» — кричит вам кто-нибудь. Это значит, что у человека есть табак. Вы просовываете трут и идете дальше. Немного спустя вы возвращаетесь и как бы случайно прислоняетесь к решетке. «Не дашь ли ты нам табачку?» — говорите вы. Если он не имеет опыта, то, весьма возможно, он торжественно станет клясться, что у него больше нет табаку. Отлично! Вы сочувствуете ему

и идете своей дорогой. Но вы знаете, что трута ему хватит только до конца дня. На другой день вы проходите мимо, и он опять просит: «Эй, дай огоньку!» А вы отвечаете: «У тебя нет табаку, и тебе не нужен огонек!» И вы не даете ему «огоньку». Через полчаса или через час, или два, три часа вы опять проходите мимо, и он окликнет вас, значительно поубавив тону: «Подойдите-ка сюда, бо!» Вы подходите, просовываете руку сквозь прутья решетки, и вам насыпают в нее драгоценного табаку. После этого вы даете ему «огоньку».

Иногда приходит новичок, на котором ничего нельзя заработать. По тюрьме пускается таинственное предписание, что с ним надо обращаться «по-божески». Откуда берется этот слух, я не знаю; ясно только, что у человека есть протекция. Может быть, в лице одного из старших коридорных; может быть, охранник в другой части тюрьмы; может быть, хорошее отношение куплено у кого-то повыше; как бы там ни было, мы знаем, что с ним надо хорошо обращаться, если мы хотим избежать неприятностей.

Мы, коридорные, были в тюрьме посредниками и почтальонами. Мы устраивали сделки между арестантами, заключенными в разных частях тюрьмы, и производили товарообмен. Мы

выполняли всякие поручения, и иной предмет, подлежавший обмену, проходил по меньшей мере через руки десятка посредников, из которых каждый брал свою долю или получал ту или иную плату за свои услуги.

Иногда я оказывался в долгу за услуги, иногда мне были должны другие. Так, в тюрьму я вошел должником арестанта, который контрабандой спас мои вещи. Где-то через неделю один из истопников сунул мне в руки письмо, которое ему вручил цирюльник. Цирюльник получил его от заключенного, который помог мне пронести вещи. Так как я был перед ним в долгу, то обязан был передать письмо дальше. Но письмо было не от него. Автором письма был долгосрочник из его коридора. Письмо предназначалось заключенной, сидевшей в женском отделении. Но адресовалось ли оно именно ей или она в свою очередь служила лишь одним из звеньев цепи посредников, мне было неизвестно. Мне только указали ее приметы, и я должен был передать письмо ей.

Прошло два дня, в течение которых я носил письмо при себе; наконец, представился удобный случай. Женщины занимались починкой белья арестантов. Нескольких коридорных посылали в

женское отделение с большими узлами белья. Я уговорил первого коридорного отрядить меня туда. Дверь за дверью отпиралась перед нами, и мы прошли через всю тюрьму на женскую половину. Нас ввели в огромную комнату, где женщины сидели за починкой белья. Я начал искать глазами женщину по данному мне описанию и, отыскав ее, стал пробираться к ней. За женщинами следили две матроны с ястребиными глазами. Я держал письмо зажатым в ладони и многозначительно посмотрел на ту женщину, которой должен был передать письмо. Она поняла, что у меня есть к ней дело; должно быть, она ждала передачи, а с первой минуты, как мы вошли, пыталась угадать, кто посыльный. Но в двух футах от нее торчала одна из надзирательниц, коридорные уже начали собирать узлы с бельем, которое мы должны были унести. Минуты бежали! Я возился над своим узлом, делая вид, будто он плохо увязан. Неужели надзирательница не отвернется? Или моя затея сорвется? Но как раз в это мгновение другая женщина начала заигрывать с одним из коридорных: шутя ударила его или ущипнула, не знаю, что именно она сделала. Надзирательница глянула в ее сторону и стала ругать. Не знаю, было ли это все нарочно подстроено, чтобы от-

влечь внимание надзирательницы, но я понял, что нужно использовать это мгновение. Рука женщины, ожидавшей письмо, небрежно скользнула с колена на пол. Я нагнулся поднять узел и, нагибаясь, сунул ей в руку письмо, получив взамен другое. В следующее мгновение узел был у меня на спине; надзирательница остановила на мне взгляд, так как я задержался, и я поспешил догнать моих товарищей. Полученное от женщины письмо я передал истопнику, оно прошло через руки цирюльника, затем заключенного, пронесшего мои вещи, и, наконец, попало в руки долгосрочника на другом конце тюрьмы.

Мы часто передавали письма таким сложным путем, что не знали ни отправителя, ни получателя. Мы были лишь звеньями в цепи. Какой-нибудь арестант тыкал мне в руки письмо с просьбой передать следующему. За все такие услуги впоследствии полагалась плата: сталкиваясь непосредственно с главным агентом по передаче писем, я получал ее. Вся тюрьма была покрыта сетью такой связи. Разумеется, мы, заведовавшие этой системой сообщения, взимали дань с наших клиентов по точному образцу капиталистического общества. Это была услуга только ради выгоды, хотя иногда мы не отказывались

делать одолжение не в службу, а в дружбу.

Во все время пребывания в исправилке я старался ладить с моим товарищем. Он много сделал для меня и того же ожидал взамен. По выходе на волю мы должны были вместе «бродяжничать» и, нечего и говорить, вместе «варганить дела». Мой товарищ был уголовный преступник, правда, не первого класса, а просто мелкий преступник, готовый украсть, ограбить, разгромить квартиру и, если его накроют, не остановиться перед убийством. Много мирных часов мы с ним просидели и долго толковали. На ближайшее будущее у него было намечено два или три дельца, в которых мне отводилась определенная роль, и я принимал участие в разработке этих планов. Я знал многих преступников, и мой новый приятель не подозревал, что я только дурачил, морочил ему голову в течение тридцати дней. Он принимал меня за «настоящий товар», и я нравился ему за то, что был неглуп; может быть, он даже привязался ко мне. Разумеется, я не имел ни малейшего намерения связывать с ним свою дальнейшую жизнь и участвовать в грязных мелких преступлениях; но я был бы идиотом, если бы отверг все выгоды от дружбы с ним. Когда ходишь по горячим плитам преисподней, не приходится выбирать дорожек.

Следовало быть заодно с «компанией» или нести каторжную работу за хлеб и за воду; чтобы быть заодно с «компанией», я должен был ладить с моим новым приятелем.

Нельзя сказать, чтобы жизнь в тюрьме отличалась монотонностью. Каждый день что-нибудь случалось: у арестантов случались истерики, кто-то сходил с ума, происходили драки или напивались коридорные. Нашей главной звездой в этом отношении был Скиталец Джек, один из младших коридорных. Это был профессиональный, заядлый бродяга и поэтому пользовался благоволением надсмотрщиков. Джо Питсбург, второй коридорный, обычно присоединялся к Скитальцу Джеку в его затеях; любимым афоризмом этой парочки была поговорка, что наша исправилка — единственное место, где можно напиться и не попасть под арест. Лично я не видел, но мне рассказывали, что они опьянялись бромистым калием, который неведомыми способами добывали из лазарета. Но каковы бы ни были источники хмельного, я знаю, что они его добывали и время от времени напивались.

Наш корпус был настоящим притоном. Наполненный подонками общества и потомственными бездельниками, дегенератами, калеками, ума-

лишенными, свихнувшимися, эпилептиками, чудовищами, он был воплощением кошмара человеческого отребья. Поэтому у нас нередко бывали припадки истерики. Эти припадки, кажется, были заразительны. Один человек начинал метаться — другие следовали его примеру. Я видел по семи человек, одновременно бившихся в припадке; они оглашали воздух пронзительными криками, а столько же других помешанных бормотало и неистовствовало вокруг них. Припадочным не оказывалось никакой помощи, если не считать того, что их обливали холодной водой. Посылать за студентом-медиком или за врачом было бесполезно. Они не любили беспокоить себя по такому незначительному поводу.

Был у нас молодой голландец, мальчик лет восемнадцати, с которым чаще всего случались такие припадки, обычно по припадку в день. По этой причине мы и держали его на нижнем этаже, подальше от коридора, в котором жили сами. После того как с ним случилось несколько припадков в тюремном дворе, охрана перестала беспокоиться о нем, и он целый день сидел взаперти с одним англичанином, посаженным к нему за компанию. Нельзя сказать, чтобы эта «компания» была ему чем-нибудь полезна. Когда

на голландца накатывало, англичанин только смотрел на него, замирая в состоянии шока.

Голландец не знал ни слова по-английски. Он был сыном фермера и отбывал девяносто дней тюрьмы за то, что ввязался в какую-то драку. Припадки его начинались с воя — настоящего волчьего воя. Переживал он свою падучую стоя; это было весьма неудобно для него, ибо припадки всегда оканчивались тем, что он навзничь летел на пол. Заслышав волчий вой, я хватал метлу и бежал к его камере. Старостам не доверяли ключей от камер, стало быть, я не мог войти к нему. Он стоял посреди своей тесной камеры, судорожно вздрагивая и закатив глаза так, что виднелись одни белки, и дико выл. Сколько я ни пытался, я никак не мог убедить англичанина оказать больному помощь. Тот стоял и выл, а англичанин, скрючившись, трясся на своей верхней койке, устремив застывший в ужасе взгляд на страшную, дико завывавшую фигуру с закатившимися белками. Ему, этому бедняге англичанину, тоже было несладко. У него самого с мозгами не все было в порядке. Нужно только удивляться тому, как он не сошел с ума!

Самое большее, что я мог сделать, это действовать метлой. Я просовывал ее сквозь решетку,

упирал в грудь голландца и ждал. По мере приближения кризиса он начинал раскачиваться взад и вперед. Я следовал ручкой метлы за его движениями, ибо трудно было сказать, когда именно он рухнет. И когда происходило это страшное падение, я был с метлой тут как тут, подхватывая его и полегоньку опуская на пол. Но сколько я ни старался, он часто падал с размаху, и лицо его вечно было покрыто ссадинами от ударов о каменный пол. Когда он падал и начинал извиваться в конвульсиях, я выливал на него ведро воды. Не знаю, нужно ли было лить холодную воду, но таков был обычай в нашей исправительной тюрьме! Больше ему не оказывали никакой помощи; так он лежал час или два, а потом залезал на свою койку. Я никогда не обращался за помощью к охране. Да и чем можно помочь припадочному?

В соседней камере жил странный субъект — человек, отбывавший шестьдесят дней за то, что он поел помоев из ушата в цирке; по крайней мере так утверждал он. Он был не совсем «в себе», но первое время вел себя очень смирно. Все происходило именно так, как он рассказывал. Однажды, забредя в цирк, терзаемый голодом, он пробрался к ушату, в который бросали остатки

еды циркачей. «Там был хороший хлеб, — уверял он меня, — а мяса ни крошки...» Его застал за этим делом полисмен, арестовал, а судья отправил его в тюрьму.

Однажды я проходил мимо его камеры с кусочком упругой и тонкой проволоки в руке. Он так настойчиво стал выпрашивать ее, что я сунул ему проволоку сквозь решетку. Быстро, без всякого орудия, кроме собственных пальцев, он разломал проволоку на несколько кусочков и согнул из них полдюжины неплохих английских булавок. Кончики он заострил о каменный пол. После этого я завел торговлю английскими булавками. Я поставлял ему сырье и продавал готовый продукт, изготовленный им. В виде заработной платы я выдавал ему добавочный паек хлеба и время от времени жаловал ломтик мяса или суповую мозговую кость.

Но тюремный плен стал плохо сказываться на нем, и он с каждым днем становился все более буйным. Коридорные любили дразнить его. Они вызывали бурю в его слабом мозгу рассказами о большом состоянии, якобы завещанном ему. Его арестовали и посадили в тюрьму будто бы для того, чтобы лишить наследства. Разумеется (и он это знал), закона, запрещающего есть из ушата, не

существует. Стало быть, его посадили незаконно! Все это заговор с целью лишить его состояния.

Мне это рассказали, когда я однажды остановился узнать, почему хохочут коридорные: они потешались над ним. Вскоре он пригласил меня на серьезное совещание, рассказал о своих миллионах и о заговоре и назначил меня своим сыщиком. Я всячески старался помаленьку разубедить его, туманно намекал на ошибку, на то, что существует однофамилец — настоящий законный наследник. Мне удалось значительно охладить его, но я не мог запретить развлекаться коридорным, а те продолжали дразнить его пуще прежнего. Кончилось тем, что после дикой сцены он прогнал меня, лишил мандата частного сыщика и объявил забастовку. Пришлось мне прекратить торговлю английскими булавками. Он отказался делать их и колол меня «сырым материалом» сквозь решетку своей камеры, когда я проходил мимо. Помириться с ним мне так и не удалось. Коридорные рассказали ему, что я поступил в сыщики к его врагам, и доводили его до безумия своими россказнями. Он в конце концов превратился в опасного помешанного, способного на убийство. Охранники отказывались слушать его повествования об украденных

миллионах, и он обвинял их в том, что они участвуют в заговоре. Однажды он ошпарил охранника из кружки горячим чаем, и тогда его дело расследовали. Явился надзиратель, поговорил с ним через решетку. Затем его подвергли длительному обследованию. Больше он не возвращался, и я часто думаю: в могиле ли он или продолжает бормотать о своих миллионах в каком-нибудь сумасшедшем доме?

Наконец, наступил великий день — день моего освобождения. Это был и день освобождения третьего коридорного. Девушка-краткосрочница, сердце которой я завоевал для него своими письмами, ожидала его за стенами тюрьмы. Счастливые, они ушли. Мы с моим товарищем вышли вместе и вместе направились в Буффало. Разве мы не решили быть вечно вместе? Вместе мы выпросили на большой дороге несколько монеток и все, что «настреляли», потратили на «банки» пива — по три цента каждая. Все это время я искал случая улизнуть. У встретившегося на дороге бродяги я узнал, что в такой-то час отходит товарный поезд. В соответствии с этим я распределил свое время. Когда наступил момент, мы с товарищем находились в трактире. Перед нами пенились две «банки» пива. Мне хотелось попро-

щаться с ним. Он хорошо относился ко мне… Но я не посмел. Я вышел через заднюю дверь трактира и перелез через забор. Побег совершился быстро, и спустя несколько минут я уже стоял на площадке товарного поезда и мчался на юг по Западной железной дороге Нью-Йорк — Пенсильвания.

Бродяги, проходящие ночью

В дни своих скитаний я встречал сотни бродяг, которых я окликал или которые меня окликали, с которыми я проводил время у водокачки, кипятил воду, варил немудреную пищу, попрошайничал по дорогам и в домах и ловил поезда, — они проходили, и я их больше не видел. Но были бродяги, проходившие и вновь возвращавшиеся поразительно часто, и наконец были такие, которые проходили мимо, как привидения, почти невидимые.

За одним таким бродягой я гнался однажды на протяжении трех тысяч слишком миль железной дороги — и мне ни разу не удалось взглянуть ему в лицо. Его кличка была «Парусный Джек». В первый раз я встретил это имя в Монреале. Это был вырезанный складным ножом парус корабля. Работа была мастерская! Под рисунком виднелась надпись: «Парусный Джек», а повыше пометка: «Н. З. 10–15 — 94». Это значило, что он миновал Монреаль, проехав в западном направлении 15 октября 1894 года. Он только на сутки обогнал меня! Моей же кличкой в то время было «Матрос Джек»; я тотчас же вырезал ее рядом с

его именем, с указанием числа и месяца и того, что также направляюсь на запад.

К сожалению, я пропустил следующие сто миль и только через восемь дней опять напал на след Парусного Джека в трехстах милях западнее Оттавы. Вот он, этот герб, вырезанный на водокачке! По дате я видел, что и он задержался. Он только на два дня обогнал меня! Я был «кометой», царственным бродягой, как и Парусный Джек; и догнать его для меня было вопросом чести и репутации. Я ехал по железной дороге день и ночь и обогнал его; потом он, в свою очередь, перегнал меня. От бродяг, направлявшихся на восток, я иногда узнавал кое-что о нем; от них же я узнал, что он заинтересовался Матросом Джеком и расспрашивал обо мне.

Если бы мы встретились, мы составили бы отменную парочку, думаю я; но нам никак не удавалось встретиться! Всю Манитобу я прошел впереди него. Но он обогнал меня в Альберте; и в одно отвратительное серое утро в конце линии, восточнее перевала Брыкливой Лошади, я узнал, что его видели накануне вечером между перевалом Брыкливой Лошади и перевалом Роджера. Любопытно, как я узнал об этом: всю ночь я ехал в «пульмановском вагоне с боковой дверью»

(попросту в товарном вагоне) и чуть не подох от холода, когда вылез на станции «пострелять» поесть. Земля была окутана морозным туманом, и я обратился к нескольким кочегарам, которых застал в паровозном депо. Они поделились со мной остатками своего завтрака; кроме того, я выудил у них чуть не кварту божественной «Явы» (кофе). Я разогрел кофе и только сел поесть, как с запада подошел товарный поезд. В одном вагоне отодвинулась дверь и из него вылез бродяга. Он, прихрамывая, направился ко мне. Видно было, что он закоченел от холода, губы у него посинели. Я разделил с ним кофе и пищу, разузнал о Парусном Джеке, спросил, кто он сам. Вообразите, он был из моего родного города Окленда, в Калифорнии, и числился членом знаменитой шайки Боу, в которую я время от времени попадал! С полчаса мы толковали с ним, уплетая мой провиант. Потом мой поезд тронулся, и я, вскочив на площадку, поехал дальше на запад по следам Парусного Джека.

Между горными перевалами я задержался, ходил два дня без еды, на третий день прошел пешком одиннадцать миль, пока раздобыл еду, и все же мне удалось перегнать Парусного Джека на реке Фрезер, в Британской Колумбии. В ту

пору я ездил на «пассажирах» — на пассажирских поездах — и нагонял время. Но, должно быть, и он ездил на «пассажирах» и, вероятно, искуснее меня, ибо попал в Мишн раньше меня.

Мишн — узловая станция в сорока милях к востоку от Ванкувера. От этой станции можно проехать на юг через Вашингтон и Орегон по Северо-Тихоокеанской дороге. Меня занимала мысль: какой путь изберет Парусный Джек? Я думал, что обгоняю его. Лично я все еще направлялся на запад, к Ванкуверу. Я пошел к водокачке оставить о себе памятку и здесь нашел отметину Парусного Джека с указанием числа. Я поспешил в Ванкувер. Но он уже исчез. Он немедленно сел на корабль и теперь летел на запад, продолжая свою авантюру. Поистине, Парусный Джек, ты был царственный бродяга, и под стать тебе только «ветер, облетающий мир!». Снимаю перед тобой шляпу! Ты настоящий, чистокровный бродяга! Через неделю я также сел на корабль и на борту парохода «Уматилла», на баке, поплыл в Сан-Франциско. О Парусный Джек и Матрос Джек, встретитесь ли вы когда-нибудь?

Железнодорожная водокачка — адрес-календарь бродяг. Не зря вырезывают бродяги на них свои прозвища, даты и маршруты. Сколько раз

я встречал бродяг, которые серьезнейшим образом расспрашивали меня, не встречал ли я где-нибудь такого-то и такого-то бродягу или его герба. Я столько раз имел возможность назвать последний герб, водокачку и направление странствий бродяги! Получив эти сведения, спрашивающий устремлялся по следам разыскиваемого товарища. Я встречал бродяг, которые в погоне за товарищем дважды проезжали весь американский материк, в прямом и обратном направлении, и все же не бросали поисков.

Гербы (клички) — это железнодорожные псевдонимы, которые бродяги сами выдумывают или которые им дают их товарищи. Так, например, Трусоватый Джек был труслив, поэтому товарищи и дали ему это прозвище. Ни один уважающий себя бродяга не избрал бы себе в товарищи Бума-Помойку! Весьма немногие бродяги любят вспоминать такие гнусные моменты своей жизни, когда им приходилось работать; поэтому гербы, основанные на профессиях, встречаются редко, хотя я помню кое-кого: Модельщика Блэкки, Рыжего Красильщика, Жестянщика Ши, Котельщика, Моряка и Печатника. Ши — так бродяги называют Чикаго.

Очень любят бродяги придумывать себе клички

по названию местностей, откуда они родом: Нью-Йоркский Томми, Тихоокеанский Слим, Смит из Буффало, Тим Контонский, Джо из Питтсбурга, Сиракузский Глянец, Троянский Мики, Коннектикутский Джимми. А были и такие: «Тощий Джим с Уксусной Горки, которому труды всегда были горьки». «Глянец» — всегда негр; кличка, по-видимому, заимствована от бликов света на негритянских физиономиях. Тихоокеанский Глянец или Толедский Глянец — кличка означает место рождения и национальность.

Из кличек, отражающих национальность, я вспоминаю следующие: Еврейчик из Фриско, Нью-Йоркский Ирландец, Мичиганский Француз, Джек-Англичанин, Козел-Лондонец и Голландец из Мильвоки. Другие, по-видимому, берут свои клички отчасти по цвету кожи, как-то: Май-Беляночка, Красный из Нью-Джерси, Черномазый из Бостона, Шоколад из Сиэттла, Желтый Дик и Желтобрюхий — последний был креолом с Миссисипи, которому, я думаю, навязали эту кличку.

Много воображения понадобилось бродягам, принявшим такие имена: Царственный Техасец, Счастливый Джо, Буян Конорс, Дородный Бо, Ураган Чумазый и Мак-Кол Касатель. Другие, с более скудной фантазией, берут прозвища при-

менительно к своим физическим особенностям, как-то: Ванкуверская Чахотка, Коротышка из Детройта, Пузан из Огайо, Длинный Джек, Большой Джим, Джо Мелкота, Нью-Йоркский Мигало, Носач из Ши и Бен-Перебитый-Хребет.

Особняком стоят «дорожные мальцы», или «хваты» (особая разновидность бродяг), клички которых отличаются бесконечным разнообразием. Вот, например, какие встречались мне: Олений Хват, Слепой Хват, Хват-Букашка, Священный Хват, Хват-Нетопырь, Быстроногий Хват, Хват-Поваренок, Хват-Обезьяна, Хват из Айовы, Плисовый Хват, Хват-Оратор и Хват-Наглец (уж можете быть уверены, что он был наглец!).

Лет двенадцать тому назад на водокачке станции Сан-Марсиал, в Новой Мексике, красовался такой путеводитель для бродяг:

1. Главная дорога — лафа.
2. «Быки» — не жлобы.
3. Паровозное депо — годится поспать.
4. Поезда на север не годятся.
5. В частные не заходи.
6. Рестораны хороши только для поваров.
7. Вокзал хорош только для ночной работы.

Номер первый означает, что можно просить милостыню на главной улице; номер второй —

что полиция не беспокоит бродяг; номер третий — что можно поспать в паровозном депо; номер четвертый имеет двойной смысл: либо на поезда, идущие на север, не следует вскакивать, либо же в них не следует «стрелять»; номер пятый означает, что в частные дома попрошайке лучше не заглядывать, а номер шестой значит, что только бывшие повара могут получить кормежку в ресторанах. Номер седьмой мне самому не ясен; не могу понять: годится ли вокзал для того, чтобы попрошайничать в нем ночью, или же он годится в этом смысле только для бродяг-поваров; либо же бродяга, повар он или нет, может помочь поварам вокзала в черной работе и за это получить что-нибудь съестное.

Но вернемся к бродягам, проходящим ночью. Помню одного, встреченного мной в Калифорнии. Это был швед, так долго живший в Соединенных Штатах, что трудно было угадать его национальность. Его привезли в Соединенные Штаты маленьким ребенком. Впервые я столкнулся с ним в горном городе Тракки.

— Куда направляешься, Бо? — взаимно приветствовали мы друг друга, и каждый из нас дал один и тот же ответ:

— На запад!

На поезд прямого сообщения в эту ночь кинулась целая куча бродяг, и в такой свалке я потерял шведа из виду. Потерял я и поезд.

В Рено, в Неваде, я приехал в товарном вагоне, который очень скоро отвели на запасный путь. Это было в воскресенье утром, и я, раздобыв себе завтрак, пошел в лагерь Пиут наблюдать, как индейцы играют в карты. И тут я встретил моего шведа, который с чрезвычайным интересом присматривался к игре. Разумеется, мы «прилипли» друг к другу. Он был моим единственным знакомым во всей этой округе, а я был единственным человеком, знакомым ему. Вместе мы бродили, как двое отшельников, вместе проводили день, клянча на обед, а позднее, вечером, вместе же осаждали один и тот же товарный поезд. Но его «спихнули», и я выехал один со станции, впрочем, только для того, чтобы самому оказаться выброшенным на пустырь в двадцати милях от города.

Из всех захолустных мест, в каких я бывал, полустанок, на котором меня «спихнули», был самым пустынным. Маленькая «флажная станция» (где поезд останавливается только по сигналу флагом) состояла из камышового шалаша, стоявшего прямо на песке. Дул холодный ветер,

надвигалась ночь, и одинокий телеграфист, живший в этом шалаше, меня боялся. Я знал, что у него не разжиться ни едой, ни ночлегом. Он так явно меня боялся, что я не поверил его словам, будто поезда, направляющиеся на восток, здесь не останавливаются; к тому же меня ведь всего за пять минут до этого сбросили с поезда, идущего на восток! Он уверял меня, что поезд остановился по особому распоряжению, что может пройти год, прежде чем остановится какой-нибудь другой поезд. Уверял, что осталось всего десять — двенадцать миль до Вадсворта и что мне лучше всего идти туда пешком. Но я предпочел подождать и имел удовольствие видеть два товарных поезда, прошедших без остановки на запад, и один товарный поезд — на восток. Не в этом ли поезде ехал швед? Мне ничего не оставалось, как пойти по шпалам в Вадсворт, и я пошел, к великому облегчению телеграфиста, ибо я пренебрег возможностью сжечь его хибарку и убить ее жильца. Телеграфистам вообще нужна такая добродетель, как благодарность! Пройдя миль шесть, я сошел со шпал и пропустил пассажирский поезд, шедший на восток. Он мчался быстро, но на первой «слепой» площадке я разглядел туманную фигуру, очень похожую на шведа!

После этого я долго не видел его. Я прошел возвышенную часть пустыни штата Невада, тянущейся на сто миль; по ночам ехал на пассажирских поездах для скорости, а днем — в товарных вагонах, где отсыпался. Было начало года; на горных пастбищах свирепствовал холод. Кое-где на равнине еще лежал снег, горы были окутаны белым саваном, и по ночам с них дул противный холодный ветер. В этом краю не стоило задерживаться. Не забывайте, деликатный читатель, что бродяга проходит такой край без крова, без денег, попрошайничая по дороге и ночи проводя без одеял. Что значит это последнее, вы бы поняли только из опыта…

Однажды под вечер я подошел к железнодорожному депо в Огдене. Пассажирский поезд Трансконтинентальной Тихоокеанской дороги отходил на восток, и я собирался отправиться в нем. Запутавшись в сетке путей перед паровозом, я встретил фигуру, медленно двигавшуюся в сумраке. Это был швед! Мы пожали друг другу руки, как давно не видавшиеся братья, и я увидел, что мы оба в перчатках.

— Где ты их стибрил? — спросил я.

— Из кабинки машиниста, — ответил он. — А где ты достал свои?

— Они принадлежали кочегару, — объяснил я, — он зазевался.

Мы вскочили на «слепую» площадку, как только тронулся поезд. Ну и холодно же было на ней! Путь пролегал в узком ущелье между горами, покрытыми снегом. Мы дрожали, тряслись и обменивались впечатлениями о том, как прошли расстояние между Рено и Огденом. В предыдущую ночь я спал не больше часа, а на этой площадке не было места, чтобы растянуться и вздремнуть. На остановке я пошел вперед, к паровозу. Поскольку поезд поднимался в гору, то к нему прицепили два паровоза.

Я знал, что на предохранительной решетке первого паровоза будет холодно. Поэтому я остановился на решетке второго паровоза, укрытой от ветра тендером первого. Я полез на эту решетку и убедился, что она уже занята. В темноте я нащупал тело мальчика. Он крепко спал. Потеснившись, можно было устроиться вдвоем, и я, заставив мальчика потесниться, прикорнул около него. Ночь была «хорошая»: кондуктор не тревожил нас, и мы отлично спали. Время от времени я просыпался от толчков паровоза или от падавшей сверху горячей золы, потом тесней прижимался к мальчику и засыпал под шум и

скрип колес.

Поезд направлялся в Эванстон, в штате Вайоминг, и дальше не пошел. Неожиданно дорогу нам преградили обломки крушения. Вынесли мертвого машиниста. Убило во время крушения и какого-то «зайца», но его труп оставили. Я разговорился с мальчиком. Ему было тринадцать лет. Он убежал от родных из местечка в Орегоне и теперь направлялся на восток к своей бабушке. Он рассказал мне весьма правдоподобную повесть невероятных издевательств, которым подвергался дома; впрочем, ему не было надобности лгать мне, безымянному бродяге на дороге!

Этот мальчик очень торопился. Под ним точно земля горела! Когда начальство станции решило отправить пассажирский поезд обратно по той же дороге, затем перевести его по поперечной ветке на сокращенную Орегонскую линию и оттуда — на смычку с Трансконтинентальной Тихоокеанской железной дорогой по другую сторону потерпевшего крушение поезда, мальчик вернулся на решетку и объявил, что он останется на поезде. Но для меня и моего шведа это было слишком. Это значило ехать всю холодную ночь только для того, чтобы выгадать каких-нибудь десять миль! Мы решили подождать, пока

расчистят путь, а тем временем постараться выспаться.

Не очень приятно оказаться в чужом городе в полночь, в холодную пору и искать место для ночлега. У шведа не было ни гроша. Мои же капиталы состояли из двух монет по десяти центов и никелевой монетки в пять центов. У городских ребят мы узнали, что пиво стоит пять центов и что трактиры открыты всю ночь. Вот это дело! Два стакана пива нам обойдутся в десять центов, в трактирах есть печки и стулья, и мы сможем поспать до утра. Мы быстро пошли на огонек кабака, снег скрипел у нас под ногами, холодный ветер продувал нас насквозь.

Увы, я плохо понял городских ребят. Пиво стоило пять центов стакан только в одном кабаке всего городишки, и как раз в этот кабак мы не попали. Но и в том, куда мы попали, было хорошо. Раскаленная добела печь весело гудела; кругом стояли уютные кресла с плетеными сиденьями, но зато весьма неприветливый хозяин подозрительно осмотрел нас, когда мы вошли. Трудно человеку сохранить приличный вид, когда он дни и ночи не снимает с себя одежду, скачет по поездам, осыпаемый сажей и пеплом, и спит где попало. Наша внешность говорила не в нашу

пользу, но что за беда? Монетки побрякивали в моих карманах!

— Два пива! — небрежно сказал я хозяину, и пока он цедил пиво, мы со шведом, прислонясь к стойке, с вожделением поглядывали на уютные кресла у печки.

Хозяин поставил перед нами два пенящихся стакана, и я с гордостью выложил десять центов. Нужно вам сказать, что я люблю пустить пыль в глаза! Заметив ошибку в цене, я выложил бы и другие десять центов, неважно, что при этом у меня оставалась только одна монетка в чужом краю. Я бы заплатил, что следовало. Но хозяин не дал мне возможности сделать это. Разглядев, какую монету я положил, он схватил по стакану в каждую руку и вылил пиво в отлив за стойкой. В то же время, свирепо оглядев нас, он проговорил:

— У тебя короста на носу. У тебя короста на носу. Смотри!

Коросты у меня не было, как не было ее и у шведа. Носы у нас были в полном порядке! Что он этим хотел сказать, я так и не понял. Но главная мысль была ясна: мы ему не понравились. И пиво, очевидно, стоило десять центов стакан.

Я порылся в кармане и выложил на стойку еще

десять центов, небрежно заметив:

— О, я думал, что эти стаканы по пять центов!

— Твои деньги здесь не в ходу! — ответил он, швырнув мне обе монетки.

Я с грустью опустил их в карман, с грустью поглядели мы в последний раз на благословенную печку и кресла и грустно вышли за дверь, в морозную тьму…

Когда мы выходили из двери, хозяин, сверкая глазами, крикнул нам вслед:

— У вас короста на носу, смотрите!

Я после этого много шатался по свету, путешествовал в чужих краях, среди чужих народов, читал немало книжек, сидел в разных аудиториях, но по сей день, хотя размышляю упорно и долго, не могу разгадать смысла таинственной фразы, брошенной тем хозяином в Эванстоне, в штате Вайоминг. Носы у нас, право, были чистые!

Эту ночь мы спали *над котлами* на электрической станции. Не помню, как мы открыли этот ночлег. Должно быть, инстинктивно набрели на него, как лошадь идет к водопою или почтовый голубь направляется к своей голубятне. Но я надолго запомнил эту ужасную ночь. До нас на котлах устроилось уже двенадцать бродяг, и

всем там было слишком жарко. В довершение всех наших бедствий машинист не позволил нам стоять у котлов внизу. Он предоставил на выбор: над котлами или на снегу.

— Ты говоришь, тебе хочется спать? Так спи же, черт тебя подери! — сказал он мне, когда я, обезумев от жары, сошел вниз, в котельную.

— Воды! — прошептал я, вытирая с глаз пот. — Воды!

Он указал мне на дверь, заверив, что где-то там в темноте я разыщу реку. Я отправился к реке, заблудился во тьме, попал в две или три лужи, оставил поиски и, полузамерзший, вернулся к котлам. Когда я оттаял, мне захотелось пить пуще прежнего. Вокруг меня стонали, вздыхали, всхлипывали, задыхались, катались, толкались бродяги. Мы были, точно погибшие грешные души, поджаривающиеся на плитах преисподней, а машинист — воплощение сатаны — предоставлял нам только один выход: мерзнуть на дворе. Швед сидел и страстно проклинал инстинкт бродяжничества, который послал его на скитания и муки, вроде теперешней.

— Дай мне только добраться до Чикаго, — клялся он, — я найду себе работу и так прилеплюсь к ней, что чертям станет жарко! А потом опять

пойду бродяжничать!

По злой иронии судьбы на другой день, когда очистили путь от обломков крушения, мы со шведом выехали из Эванстона в вагонах-холодильниках поезда, предназначенного для перевозки апельсинов; это был товарный поезд, груженный фруктами из солнечной Калифорнии. Разумеется, в ящиках было пусто по случаю холодной погоды, но от этого они не показались нам теплее. Мы проникли в эти вагоны через люки наверху; вагоны эти строятся из оцинкованного железа, и в этот собачий холод к ним очень неприятно притрагиваться. Тут мы лежали, тряслись и стучали зубами и держали совет, решив, что проведем в этих ледяных ящиках весь день и всю ночь, пока не покинем негостеприимного плоскогорья и не приедем в долину Миссисипи.

Но нужно было есть, и мы решили, что на следующей остановке выпросим хлеба и вернемся в ледник. Перед вечером мы приехали в город Грин Ривер, но слишком рано для ужина. Наименее подходящее время околачиваться у кухонных дверей — это время перед трапезами; но мы набрались духу, отодвинули боковые двери, когда товарный поезд отвели на запасный путь, и побежали к домам. Мы скоро расстались,

условившись встретиться у вагона. Вначале мне не везло; но, наконец, получив две подачки и засунув их за рубаху, я кинулся к поезду. Он уже тронулся. Вагон-ледник, в котором мы условились встретиться со шведом, прошел мимо. Я вскочил на поезд, пропустив с полдюжины вагонов, поднялся на крышу, торопливо пробежал по ней и спустился в ледник.

Но меня, к сожалению, заметил кондуктор, и на следующей же остановке, всего через несколько миль, в Рок Спрингсе, он сунул свою голову в вагон и крикнул:

— Пошел вон, жабий сын! Пошел вон!

Он схватил меня за пятки и вытащил из вагона. Апельсиновый поезд вместе со шведом поехал дальше без меня.

Пошел снег. Предстояла холодная ночь. Я стал бродить по железнодорожным путям, пока не нашел пустого вагона-ледника, и залез уже не в самый ледник, а в вагон. Я задвинул тяжелые двери, и края их, обшитые полосками резины, плотно захлопнулись. Стены вагона были толсты. Холод не мог проникнуть снаружи, но внутри было так же холодно, как на дворе. Как поднять температуру? По таким делам я был «профессор». Я разыскал в карманах три или четыре газеты.

Сложив их на полу вагона, я их зажег! Дым ушел под потолок. Ни капли тепла не могло уйти наружу, и я провел в тепле чудесную ночь. Ни разу не проснулся!

Утром снег продолжал идти. Выискивая завтрак, я проворонил товарный поезд восточного направления. Позже в этот день я два раза вскакивал на поезда, и с обоих поездов меня «спихивали». До вечера не прошло ни одного поезда на восток. Снег продолжал валить густыми хлопьями; в сумерках мне удалось выехать на первой площадке пассажирского поезда. Когда я вскочил на площадку с одной стороны, какая-то фигура вскочила на нее с другой: это был мальчик, убежавший из Орегона!

Нужно вам сказать, что первая площадка скорого поезда в сильную вьюгу — весьма невеселый приют. Ветер пронизывает вас насквозь, ударяется в стенку вагона и бьет вас рикошетом. На первой же остановке, как только стемнело, я подошел к голове поезда и вступил в переговоры с кочегаром. Я предложил ему подавать уголь до конца его смены — это было перед станцией Роулинс, и мое предложение было принято. Работать мне пришлось на тендере, в снегу; работа заключалась в том, что я откалывал лопатой

глыбы угля и подавал в будку паровоза. Но так как это приходилось делать не все время, то я мог залезать в будку и время от времени согреваться.

— Послушай, — сказал я кочегару в первый перерыв, — на первой площадке едет малыш. Он совсем замерз.

Будки паровозов Тихоокеанской дороги довольно вместительны, и мы устроили мальчика в теплом углу перед высоким стулом кочегара, где он быстро заснул. В полночь мы приехали в Роулинс. Снег повалил еще гуще. Здесь паровоз должны были отвести в депо, а на его место прицепить новый. Когда поезд остановился, я соскочил со ступенек паровоза прямо в объятия огромного мужчины в широком пальто. Он начал задавать мне вопросы; я быстро спросил его, кто он такой. Он также быстро ответил мне, что он шериф. Я притих, слушал и отвечал.

Он начал описывать приметы малыша, спавшего в будке. Мозг мой быстро работал. Очевидно, семья разыскивала этого мальчика, и шериф получил телеграфные инструкции из Орегона. Да, я видел этого мальчика в Огдене. Дата, которую я назвал, совпадала со сведениями шерифа. Но я объяснил, что мальчик, вероятно, застрял где-нибудь в дороге, так как его ссадили с этого самого

пассажирского поезда в ту ночь, когда я выехал из Рок Спрингса. Все это время я мысленно молил судьбу, чтобы малыш не проснулся, не вышел из будки и не выдал себя самого…

Шериф оставил меня, чтобы расспросить кондуктора, но, уходя, сказал:

— Этот город не для тебя. Понял? Ты поезжай на этом поезде и не задерживайся. Если я поймаю тебя после отхода…

Я стал уверять, что попал в его город не по своей воле, — исключительно потому, что поезд здесь остановился и что он больше меня не увидит, только бы мне выбраться из этого проклятого города…

Пока он беседовал с кондукторами, я вернулся в будку паровоза. Мальчик проснулся и протирал глаза. Я рассказал ему новости и посоветовал проехаться с паровозом в депо. Короче говоря, он выехал с тем же пассажирским поездом на предохранительной решетке. Я посоветовал ему обратиться с просьбой к кочегару на первой же остановке разрешить перелезть в кабину. А меня снова «спихнули». Новый кочегар был человек молодой, еще не привыкший нарушать правила железнодорожных компаний, воспрещающие пускать бродяг на паровоз; он отверг мое пред-

ложение подавать уголь. Надеюсь, мальчишке удалось с ним поладить — ночь, проведенная на предохранительной решетке в такую страшную метель, означала верную смерть.

Странное дело, я теперь не могу припомнить, как меня сбросили в Роулинсе! Я помню только, что поезд мгновенно был поглощен снежной бурей, а я направился в трактир погреться. Здесь был свет, было тепло. Натопленные печки гудели, дверцы их были открыты настежь. За столиками для игры в фаро, рулетку и покер теснился народ, несколько кутивших скотоводов веселились вовсю. Мне удалось побрататься с ними, и я уже пропустил первый глоток за их счет, как чья-то рука опустилась на мое плечо. Я оглянулся и вздохнул: это был шериф.

Не промолвив ни слова, он вывел меня вон, на снег.

— На путях стоит «специальный апельсиновый поезд», — сказал он.

— Ночь чертовски холодная! — пытался я возражать.

— Он отправляется через десять минут, — добавил он.

И все. Спорить было не о чем. И когда этот «специальный апельсиновый поезд» выехал,

я находился в нем — в леднике. Мне казалось, что до утра у меня отмерзнут ноги, и последние двадцать миль перед станцией Ларами я стоял, высунувшись из люка, и бешено приплясывал. Снег был слишком густой, чтобы кондуктора могли меня разглядеть, да мне теперь было все равно!

На свои центы я съел горячий завтрак в Ларами и сейчас же вскочил на площадку багажного вагона пассажирского поезда, взбиравшегося на откос к ущелью в самом сердце Скалистых гор. В дневное время нельзя ездить на площадках багажных вагонов, но я сомневался, чтобы в эту метель, на вершине Скалистых гор, у кондукторов хватило духу выбросить меня. И они меня не тронули. Мало того, на каждой остановке они подходили к моей площадке смотреть, не замерз ли я. У памятника Амесу на вершине Скалистых гор, — забыл, на какой это высоте, — кондуктор прошел мимо меня в последний раз.

— Послушай, Бо, — сказал он. — Видишь товарный поезд, отведенный на запасный путь, чтобы пропустить нас?

Я видел его. Он стоял на соседней колее в шести футах от меня. Стой он несколькими футами дальше, в такую вьюгу я не разглядел бы его.

— Так вот, в одном из этих вагонов отставшие из армии Келли. Под ними добрых два фута соломы, и их так много, что в вагоне тепло.

Совет был хороший, и я ему последовал, приготовившись, однако, на случай, если кондуктор обманул меня, вскочить на площадку пассажирского, как только он отойдет. Но он сказал правду. Я нашел вагон — огромный ледник, дверь которого была открыта настежь для вентиляции. Я полез в вагон, наступил на чью-то ногу, потом на чью-то руку. Освещение было скудное, я мог разглядеть только руки, ноги и тела, невероятно перепутавшиеся между собой. Никогда я еще не видел подобного человеческого месива! Все они лежали в соломе друг над другом, друг под другом, друг вокруг друга. Нужно много места, чтобы восемьдесят четыре бродяги разместились на полу врастяжку. Люди, по которым я шагал, чертыхались. Тела их колыхались подо мной, как морские волны, и невольно толкали меня вперед. Я не мог найти свободной соломинки, чтобы поставить на нее ногу, и поэтому наступал на людей. Негодование возросло, возрастала и скорость моего движения. Оступившись, я с размаху сел на что-то. К несчастью, это оказалась голова человека; в то же мгновение он приподнялся

на четвереньки, и я полетел в воздух! Предмет, летящий вверх, обязательно должен опуститься вниз, и я опустился на голову другого человека.

Я смутно помню то, что произошло после этого. Мне казалось, я попал в молотилку. Меня швыряли из одного конца вагона в другой. Эти восемь десятков бродяг молотили меня до тех пор, пока мои жалкие останки каким-то чудом не нашли клочка соломы и на нем не успокоились. Получив это крещение, я был принят в веселую компанию бродяг. Весь этот день мы ехали сквозь мглу и вьюгу и, чтобы скоротать время, решили, что каждый расскажет какую-нибудь историю. История должна быть интересная, кроме того, такая, которой никто не слышал раньше! Не выполнившего это условие ждала молотилка. Все с честью выполнили его. Должен тут же сказать, что еще никогда в жизни я не слыхал таких изумительных рассказчиков! Тут собрались восемьдесят четыре человека со всех концов света — я был восемьдесят пятым; и каждый рассказал шедевр! Ему ничего другого не оставалось, ибо альтернатива была такова: шедевр или молотилка!

Поздно вечером мы прибыли в Шайени. Вьюга достигла своего апогея, и хотя последней нашей трапезой был жалкий завтрак, никто не решился

выйти искать ужин. Всю эту ночь мы мчались по рельсам сквозь туман и вьюгу, и следующий день застал меня на славных равнинах Небраски все еще в поезде. Мы вышли из гор и из царства вьюги! Благословенное солнце озаряло улыбающийся край. Мы согрелись, но были голодны; двадцать четыре часа ничего не ели. Известно было, что товарный поезд к полудню остановится в городе — если я не ошибаюсь, это был Гранд Айленд.

Мы устроили складчину и послали телеграмму властям этого города. В телеграмме говорилось, что восемьдесят пять здоровых и голодных бродяг прибудут около двенадцати и хорошо было бы приготовить для них обед! У властей Гранд Айленда было два выхода: они могли нас накормить или посадить в тюрьму. В последнем случае они все равно вынуждены были бы кормить нас, и потому они благоразумно решили, что обед обойдется дешевле.

Когда товарный поезд подкатил в полдень к вокзалу Гранд Айленда, мы сидели на крышах вагонов, залитые солнечным светом, и весело болтали ногами. Вся полиция местечка вошла в состав комитета встречи. Нас построили отрядами и развели по разным отелям и ресторанам, где был приготовлен обед. Тридцать шесть часов

мы ничего не ели, и учить нас, что делать, было излишне. После обеда мы промаршировали обратно на железнодорожную станцию. Полиция благоразумно заставила товарный поезд подождать нас. Поезд медленно тронулся, и все мы, восемь с половиной десятков, выстроенных вдоль пути, повскакивали на боковые лесенки. Мы «захватили» поезд!

В этот вечер мы не ужинали, по крайней мере, «команда», кроме меня. Как раз ко времени ужина, когда товарный поезд выехал из городка, некий субъект залез в вагон, где я играл в педро с тремя бродягами. Рубаха незнакомца подозрительно отдувалась. В руках он держал побитую жестянку, от которой поднимался пар. Носом я зачуял «Яву». Я передал свои карты одному из бродяг и извинился. И в другом конце вагона, преследуемый завистливыми взглядами, я присел с незнакомцем и разделил с ним его «Яву» и все, что распирало его рубашку. Это был швед!

Около десяти часов вечера мы прибыли в Омаху.

— Давай бросим команду! — предложил швед.

— Идет! — согласился я.

Когда поезд подходил к Омахе, мы приготовились сойти с него. Но и жители Омахи тоже

приготовились. Мы со шведом висели на боковых лесенках, готовясь соскочить. Но поезд не остановился. Мало того, длинный ряд полисменов, поблёскивая в электрическом свете пуговицами и значками, выстроился по обе стороны рельсов. Мы со шведом понимали, что будет, если мы соскочим в их объятия. Мы остались на боковых лесенках, и поезд повез нас через реку Миссури в Каунсил Блафс.

«Генерал» Келли с армией в две тысячи бродяг расположился лагерем в парке Шатокуа в нескольких милях отсюда. Банда, с которой мы ехали, составляла арьергард «генерала» Келли и, сойдя с поезда в Каунсил Блафс, она приготовилась маршировать к лагерю. Ночью похолодало. Сильные шквалы, сопровождаемые дождем, заморозили нас и промочили насквозь. Масса полиции сторожила нас и направляла к лагерю. Мы со шведом улучили удобную минутку в этой суматохе и улизнули.

Дождь лил потоками, и во мраке, таком густом, что не видно было руки перед носом, мы, как двое слепых, ощупью искали кров. Инстинкт помог нам, ибо очень скоро мы натолкнулись на убежище — не на трактир, открытый и «делающий дела», даже не на кабак, запирающийся на ночь, и

не на кабак с постоянным адресом, но на кабачок, поставленный на большие бревна с роликами внизу, передвигаемый с места на место. Дверь была на запоре. Нас обдавало дождем и ветром. Мы не колебались: выломали дверь и вошли внутрь.

Немало я пережил трудных ночей в своей жизни, скитался в сатанинских столицах, ночевал в лужах воды, спал в снегу под двумя одеялами, когда спиртовой термометр показывал семьдесят четыре градуса Фаренгейта ниже нуля (что соответствует ста шести градусам мороза!); но должен сказать, что никогда у меня не было более отвратительной ночи, чем эта, проведенная со шведом в передвижном кабаке в Каунсил Блафс. Во-первых, постройка, как бы подвешенная в воздухе, имела в полу массу отверстий, через которые свободно проходил ветер. Во-вторых, у стойки было пусто, хотя бы бутылка огненной воды, чтобы согреть тело и забыться. Одеял с нами не было, мы пытались спать в мокрой одежде. Я залез под стойку, а швед — под стол. Оставаться там было совершенно невозможно из-за бесчисленных щелей и дырок в полу, и через полчаса я полез на стойку. Спустя некоторое время и швед полез на стол!

Так мы дрожали, дожидаясь рассвета. Я, напри-

мер, знаю, что я дрожал так, что больше уже не мог трястись: мускулы мои обессилели и только страшно болели. Швед стонал и кряхтел и каждую минуту, стуча зубами, бормотал: «Больше никогда, больше никогда!» Он повторял эту фразу непрерывно, неустанно, тысячи раз, и даже когда задремал, продолжал бормотать во сне.

С первым серым лучом рассвета мы покинули нашу юдоль мучений и вышли наружу, в густой и холодный туман. Мы плелись вперед, пока не дошли до полотна железной дороги. Я решил направиться обратно в Омаху стрельнуть себе завтрак, мой товарищ собрался в Чикаго. Наступил момент расставания. Мы протянули друг другу онемевшие руки. Оба мы отчаянно тряслись и когда пытались заговорить, то могли только постучать зубами и снова закрыть рот. Так стояли мы, одинокие, отрезанные от всего мира; взорам нашим доступен был лишь небольшая часть рельсовой колеи, концы которой терялись во мраке тумана.

Мы тупо глядели друг на друга, сочувственно пожимая трясущиеся руки. У шведа лицо посинело от холода; такое же, я думаю, было и у меня.

— Никогда больше, а? — сумел я наконец выговорить.

Слова застряли в глотке у шведа; и слабым шепотом, исходившим, казалось, из самого дна его замерзшей души, он произнес:

— Никогда больше бродяжничать…

Он помолчал и продолжал уже окрепшим голосом, и в хрипе его слышалась воля:

— Никогда больше не буду бродягой. Я поищу работу. Лучше и тебе сделать то же. От таких ночей, как эта, только наживешь ревматизм.

Он встряхнул мою руку.

— Прощай! — сказал он.

— Прощай! — ответил я.

И через минуту мы скрылись друг от друга в тумане. Это была наша последняя встреча. Привет тебе, швед, где бы ты ни был! Надеюсь, ты нашел работу…

Бродяги и хваты

Время от времени в газетах, журналах и биографических словарях я натыкаюсь на очерки моей жизни, из которых, деликатно выражаясь, узнаю, что я стал бродягой ради изучения социологии. Это очень мило и внимательно со стороны биографов, но совершенно неверно. Я стал бродягой… ну, потому, что жизнь кипела во мне, в крови моей была жажда скитаний, не дававшая покоя. Социология пришла как чисто случайный элемент; она являлась следствием, совершенно так же, как мокрая кожа появляется при погружении в воду. Я вышел на «Дорогу» потому, что не мог жить без нее; потому, что в кармане у меня не было денег на покупку железнодорожных билетов; потому, что был создан так, что не мог всю свою жизнь «работать на одной и той же смене»; потому… ну, потому, что мне легче было бродяжничать, чем не бродяжничать!

Началось это в моем родном городе, в Окленде, когда мне было шестнадцать лет. В эту пору я пользовался головокружительной репутацией в моем избранном кругу авантюристов, давших мне кличку «Принц устричных пиратов». Правда,

люди, находившиеся за пределами этого круга, как, например, честные матросы бухты, портовые рабочие, лодочники и законные владельцы устриц, называли меня буяном, головорезом, вором, грабителем и другими мало лестными словами, но все это было для меня комплиментом и подчеркивало головокружительную высоту места, на котором я восседал. В ту пору я еще не читал «Потерянный рай», и впоследствии, прочтя у Мильтона, что «Лучше царствовать в преисподней, чем прислуживать на небесах», я убедился, что великие умы сходятся в мыслях.

В эту пору случайное сцепление обстоятельств отправило меня в мою первую авантюру на «Дороге». Случилось так, что на устрицах в это время заработать было нельзя, что в Бенишии находилось несколько одеял, которые мне нужно было взять, и что в Порт-Коста, в нескольких милях от Бенишии, стояла на якоре украденная лодка под надзором полицейского констебля. Эта лодка принадлежала одному из моих друзей — Динни Мак-Кри. Украл ее и бросил в Порт-Коста Виски Боб, другой мой приятель. (Бедный Виски Боб! Не далее как прошлой зимой он был найден на берегу убитым неизвестно кем.) Незадолго до этого я прибыл с верхнего течения реки и доложил

Мак-Кри о местонахождении его лодки; Динни Мак-Кри тотчас же предложил мне десять долларов, если я приведу ее к нему в Окленд!

Свободного времени у меня в ту пору было сколько угодно. Я сидел на пристани и обмозговывал это дело с Никки-Греком, другим признанным и праздным устричным пиратом.

— Давай поедем! — предложил я, и Никки согласился.

Он сидел тогда на мели. У меня было пятьдесят центов и маленький ялик. Центы я пустил в оборот и погрузил их в форме сухарей, мясных консервов и десятицентовой банки французской горчицы (в то время мы были помешаны на французской горчице), затем перед вечером мы подняли наш маленький парус и отправились в путь. Мы плыли всю ночь и к утру с первым же роскошным приливом и с попутным ветром торжественно миновали пролив Каркинеза, направляясь в Порт-Коста. И сразу увидели украденную лодку, привязанную в каких-нибудь двадцати пяти футах от пристани! Мы причалили и спустили свой маленький парус. Я отправил Никки на нос поднять якорь, а сам начал спускать малый парус.

На пристань выбежал человек и окликнул нас.

Это был констебль. Мне вдруг пришло в голову, что я забыл запастись письменным полномочием от Динни Мак-Кри на принятие для доставки его лодки. Кроме того, я знал, что констебль желает получить по меньшей мере двадцать пять долларов награды за то, что отобрал лодку у Виски Боба и затем стерег ее. Мои последние пятьдесят центов были истрачены на мясные консервы и французскую горчицу, награда же моя составляла всего десять долларов. Я быстро переглянулся с Никки, хлопотавшим на носу. Он дергал якорь, опускал и поднимал цепь.

— Вытащи вон! — крикнул я ему, затем повернулся и прокричал ответ констеблю. Получилось, что мы с констеблем говорили в одно и то же время, и наши слова, сталкиваясь на половине пути, смешались в неразборчивый гвалт.

В голосе констебля послышались повелительные ноты — и мне поневоле пришлось слушать. Никки так усердно тянул якорь, что, казалось, у него вот-вот лопнут жилы! Когда констебль высыпал все свои угрозы и предостережения, я спросил его, кто он такой. Время, которое он потратил на ответ, дало Никки возможность выдернуть якорь. Я мысленно произвел быстрый расчет. У ног констебля была лестница, сбегав-

шая к воде, а к лестнице привязан ялик. В ялике лежали весла. Но цепь была заперта на замок. Все зависело от этого замка. Я чувствовал свежий бриз на своих щеках, видел вздохи прилива, поглядел на оставшиеся реванты, ограничивавшие парус, перевел глаза на блоки и понял, что все готово; после этого я перестал притворяться.

— Валяй! — крикнул я Никки, бросился к вантам, распустил их, мысленно возблагодарив свою судьбу за то, что Виски Боб завязал их простым, а не морским узлом.

Констебль тем временем сбежал с лестницы и возился с ключом у замка. Наш якорь был поднят на борт, и последний ревант распущен в тот самый миг, как констебль освободил ялик и бросился к веслам.

— Бизань-фалы! — скомандовал я своему экипажу, в то же самое время бросившись к гафель-фалам. Паруса взвились. Я закрепил снасти и перешел на корму, к рулю.

— Вытягивай! — крикнул я Никки.

Констебль был уже за нашей кармой. Сильный ветер подхватил нас, и мы помчались стрелой. Это было великолепно! Будь у меня черный флаг, я бы его выкинул с триумфом. Констебль стоял в своем ялике и в самых отборных выражениях

осквернял божественный день. Он яростно клял себя за то, что не захватил оружия. Как видите, мне и в этом отношении повезло!

Во всяком случае, мы не крали лодки. Она не принадлежала констеблю. Мы только украли его награду, составлявшую особую форму взятки. И награду эту мы украли не для себя ведь: мы украли ее для нашего друга Динни Мак-Кри!

К Бенишии мы долетели в несколько минут, а еще через несколько минут мои одеяла уже лежали на дне лодки. Я перевел лодку на дальний конец пароходной пристани, и с этого удобного пункта мы могли видеть, не гонится ли кто за нами. Кто знает, может быть, констебль Порта-Косты позвонил констеблю в Бенишию! Мы с Никки устроили военный совет. Мы лежали на палубе под теплым солнцем, свежий ветерок обвевал наши щеки, волны прилива, подергиваемые рябью, катились мимо. Немыслимо было отправиться обратно в Окленд до вечера, до отлива. Но мы сообразили, что констебль будет подстерегать нас с начала отлива в проливе Каркинеза, и нам ничего не оставалось, как подождать следующего отлива, около двух часов ночи, и попытаться прошмыгнуть мимо цербера в темноте.

Итак, мы лежали на палубе, курили и радо-

вались тому, что живы. Я плевал через борт и определял скорость течения.

— При таком ветре мы могли бы пройти по этой реке до Рио-Виста! — сказал я.

— А на реке теперь как раз фруктовый сезон! — добавил Никки.

— Низкая вода, — закончил я, — лучшее время года для поездки в Сакраменто.

Мы сели и посмотрели друг на друга. Чудесный западный ветер опьянял нас, как вино. Одновременно мы сплюнули за борт и посмотрели, каково течение. Категорически утверждаю, что во всем виноваты этот прилив и ветер. Они пробудили в нас морские инстинкты. Если бы не они, цепь событий, швырнувших меня на «Дорогу», была бы порвана.

Мы не сказали ни слова, но подняли якорь и паруса. Наши приключения на реке Сакраменто не войдут в этот рассказ. Мы прибыли в город Сакраменто и пришвартовались у пристани. Вода была чудесная, и мы почти все время купались и плавали. На отмели, повыше железнодорожного моста, мы наткнулись на группу мальчишек, также купавшихся и плававших. В промежутках между купаниями мы лежали на мели и беседовали. Они разговаривали иначе, чем ребята, с

которыми я до сей поры водился. Это был какой-то новый жаргон. Это были «дорожные мальцы», или «хваты», и с каждым словом, которое они произносили, дорожная тяга охватывала меня все с большей силой.

«Когда я был в Алабаме», — начинал, бывало, один хват, а другой: «перейдя с К на А, с К на С». На что третий хват отвечал: «О, на К и на А нет лесенок к слепым площадкам!» Я молча сидел на песке и слушал. «Было это в маленьком городишке в Огайо, на дороге Озернобережная — Мичиган»; другой подхватывал: «А ездил ты когда-нибудь на «пушечном ядре» по Уобашскому участку?» И кто-нибудь отвечал: «Нет, но я выезжал на белом почтовом из Чикаго». «А что до железной дороги, так ты погоди, пока не попадешь в Пенсильванию: четыре колеи, никакой водокачки, воду набирают на ходу, вот это фунт!», «Северная Тихоокеанская совсем стала дрянь», «Салинас начеку», «к быкам и не подступайся». «Меня сцапали в Эль-Пазо вместе с Хват-Моуком». «А насчет того, чтобы «пострелять», так ты погоди, пока не попадешь во Французский край, за Монреалем, — ни черта не понимают по-английски. Говоришь, бывало: «Манже, мадам, манже, не парле французски!» Прикинешься голоднень-

ким, потрешь себе живот — она и подаст тебе кусок сала и ломоть сухого хлеба».

А я все лежал на песке и слушал. По сравнению с этими проходимцами мое устричное пиратство казалось совсем жалким занятием. Целый заманчивый мир открывался мне в каждом слове, произнесенном ими: мир вагонных тележек и буферов, «слепых площадок» и «пульманов с боковой дверью», «быков» и кондукторов, кусочков и подачек, «цапанья» и задавания стречка «крепких на руки и вольготных бродяг, новичков и специалистов». От всего веяло приключением! Отлично, я войду в этот новый мир! Я пристал к этим дорожным хватам. Я был силен, как любой из них, так же проворен, и мозг мой работал не хуже ихнего.

После купания, к вечеру, они оделись и пошли в город. Я пошел с ними. Хваты начали «клянчить монеты» на главной улице. Я ни разу еще не просил милостыни, и это мне показалось самым трудным делом, когда я вышел на «Дорогу». У меня было нелепое представление о попрошайничестве. В ту пору моя философия заключалась в том, что лучше украсть, чем просить милостыню; грабить — еще лучше, ибо тут и риск, и наказание пропорционально значительнее. Как

устричный пират, я уже нахватал приговоров из рук правосудия, которые, вздумай я отбывать их, потребовали бы по меньшей мере тысячи лет государственной тюрьмы! Грабить — мужественное дело; попрошайничать — грязное, презренное занятие.

С течением времени я научился смотреть на попрошайничество как на веселую забаву, как на игру, требующую ума и хладнокровия. Но в эту первую ночь я не оказался на высоте положения; в результате, когда хваты готовы уже были пойти в ресторан и поесть, мне было не на что это сделать. Я был без гроша! Минни-Хват — так, кажется, его звали — ссудил мне сумму на обед, и мы вместе поужинали. Во время еды я размышлял. Говорят, притонодержатель не лучше вора; Минни-Хват просил милостыню, а я пользовался ее плодами. Я решил, что притонодержатель много хуже вора и что больше этого не будет. Я сдержал свое слово: на следующий день я вышел и так же хорошо «стрелял», как и прочие.

У Никки Грека не хватило честолюбия пойти на «Дорогу». Ему не везло в «стрельбе», и в одну ночь он залез на баржу и поплыл по реке в Фриско. Я встретил его через некоторое время на боксе. Он сделал большие успехи. Он сидел на почетном

месте у ринга. Теперь он был антрепренером боксеров на приз и очень этим гордился. В известной степени в области местного спорта он теперь настоящее светило.

«Из мальца не будет дорожного хвата, пока он не перейдет через “горку”» — таков был завет «Дороги», исповедуемый в Сакраменто. Ладно, я перейду через «горку» и получу аттестат. «Горкой», заметьте себе, назывался хребет Сиерра-Невады. Вся наша банда шла на прогулку через «горку», и, разумеется, я отправился с ней. Эта было первое приключение Француза-Хвата в дороге. Он только что убежал от родных из Сан-Франциско. Мне и ему нужно было показать себя. Мимоходом замечу, что мой прежний титул — «Принц» — исчез. Я получил свою кличку. Я был теперь «Матрос-Хват», позднее известный под прозвищем «Фриско-Хват» — это когда между мной и моим родным штатом пролегли Скалистые горы.

В десять часов двадцать минут вечера от станции Сакраменто отошел на восток пассажирский поезд Трансконтинентальной Тихоокеанской дороги — этот момент неизгладимо запечатлелся в моей памяти. В нашей компании было около двенадцати человек, и мы выстроились шеренгой

в темноте впереди поезда, готовые «полонить» его. Все известные нам местные дорожные хваты вышли провожать нас — и ссадить, если можно будет. По их представлениям, это была милая шутка, и вышло их на эту потеху человек сорок. Возглавлял их испытанный «дорожный хват» по имени Боб. Сакраменто был его родной город, но, впрочем, он себя чувствовал, как дома, в любом месте страны. Он отвел Француза и меня в сторону и дал нам приблизительно такой совет:

— Мы хотим ссадить нашу банду, понимаете? Вы оба хилые. Другие могут постоять за себя. Так вот, как только вскочите на площадку, «накройте» вагон и оставайтесь на крыше, пока не проедете Роузвилского узла; в этом местечке фараоны неласковы и сбрасывают всех, кто попадется им на глаза!

Паровоз свистнул, и поезд тронулся. В поезде было три слепых площадки — достаточно места для всех. Дюжина бродяг, отправлявшихся в странствие, предпочитала вскочить на поезд потихоньку; но наши сорок приятелей толклись тут же с изумительной и бесстыдной демонстративностью. Следуя совету Боба, я тотчас же «накрыл» поезд, то есть залез на крышу одного из почтовых вагонов. Здесь я и лежал с сильно бьющимся

сердцем, прислушиваясь к происходившей внизу потехе. Вся кондукторская бригада бросилась к нам, и «сбрасывание» с поезда совершалось быстро и яростно. Пройдя с полмили, поезд остановился, бригада опять побежала вперед и «сбросила» уцелевших. Один я остался на поезде!

А на станции, в депо, окруженный двумя или тремя членами банды, свидетелями несчастного случая, лежал Француз-Хват с отрезанными ногами! Он оступился или поскользнулся — и этого было достаточно, колеса сделали все остальное. Так я получил свое дорожное крещение. Только два года спустя я встретил Француза-Хвата и осмотрел его культяпки. Это был акт вежливости. Калеки любят показывать свои увечья! Одно из занимательнейших зрелищ во время бродяжничества — присутствовать при встрече двух калек. Их общее несчастье служит неистощимым источником беседы; они рассказывают, как произошло несчастье, описывают процедуру ампутации, обмениваются критическими замечаниями по поводу своих и чужих хирургов и кончают тем, что отходят в сторону, снимают повязки и обертки и сравнивают свои увечья.

Но узнал я об этой печальной судьбе Француза-Хвата только несколько дней спустя, в Неваде,

когда банда присоединилась ко мне. Банда сама прибыла в тяжелом состоянии. При крушении поезда ее протащило по снеговым щитам; Счастливый Джо ходил на костылях — ему помяло обе ноги, остальные отделались ссадинами и ушибами.

Тем временем я лежал на крыше почтового вагона, силясь вспомнить — на первой или второй остановке будет Роузвилский узел, насчет которого Боб предостерегал меня. Для большей верности я не сходил на площадку вагона, пока мы не миновали второй остановки. Только тогда я сошел. Я был непривычен к этой новой игре и чувствовал себя в большей безопасности там, где находился. Но я не рассказывал банде, что пролежал на крыше всю ночь, проехал перевалы Сиерры, снеговые щиты и туннели, и так до Трэки, по другую сторону хребта, куда я прибыл в семь часов утра. Рассказав правду, я сделался бы всеобщим посмешищем. Я только теперь в первый раз рассказываю всю правду об этой первой поездке за горы! Банда же полагала, что у меня все в порядке, и назад, в Сакраменто, я вернулся уже вполне оперившимся «дорожным хватом».

Мне пришлось многому поучиться. Боб был моим ментором, а он был молодец. Помню один

вечер (это было в Сакраменто, мы шатались по ярмарке и жили припеваючи), когда я потерял в драке свою шапку. Я ходил простоволосый по улице, и Боб пришел ко мне на выручку. Он отвел меня в сторону от банды и сказал, что надо делать. Услышав его совет, я немного струсил. Я только что вышел из тюрьмы, где сидел три дня, и знал, что если полиция опять меня поймает, то меня жестоко проучат. С другой стороны, я не смел показать свою трусость. Я побывал за «горкой» и вполне оперившимся бродягой вернулся к банде — стало быть, я должен держать себя молодцом! Я принял поэтому совет Боба, и он пошел со мной наблюдать, чтобы я сделал дело как следует.

Мы заняли позицию на улице, на углу, мне помнится, Пятой. Вечер был в самом начале, на улице было людно. Боб изучал головные уборы всех китайцев, проходивших мимо. Я всегда дивился, как дорожные хваты умудряются носить пятидолларовые стэтсоны с твердыми полями. Теперь я уже знаю как. Они снимают их с китайцев, как я снял свою! Я нервничал — кругом было столько народу; но Боб был хладнокровен, как айсберг. Несколько раз, когда я кидался к китайцу в нервной лихорадке, Боб оттаскивал меня назад. Ему нужно было, чтобы я снял хоро-

шую шляпу и притом своего размера! Одна такая шляпа попалась, но она была не новая; после дюжины неподходящих шляп проходила новая шляпа, но не моего размера. Если же попадалась шляпа и новая, и нужного размера, то поля были или слишком широки, или слишком узки. Боб привередничал! Я так разнервничался, что готов был сорвать любой головной убор.

Наконец, показалась шляпа — единственная во всем Сакраменто, подходившая мне! При первом взгляде на нее я понял, что эта она. Я глянул на Боба. Он обшарил глазами толпу, ища полицию, потом кивнул мне. Я снял шляпу с головы китайца и нахлобучил на собственную. Шляпа подошла идеально! Потом я вздрогнул. Я услыхал крик Боба и мельком заметил, что он загородил дорогу какому-то рассвирепевшему монголу и двинул его кулаком. Я побежал, повернул за угол, а затем еще раз повернул. Эта улица была не так людна, и я спокойно пошел по тротуару, переводя дыхание и поздравляя себя с новой шляпой и с удачным бегством.

И вдруг из-за угла за моей спиной показался простоволосый китаец! С ним были еще несколько китайцев, а за ними по пятам следовала дюжина взрослых мужчин и мальчишек. Я кинулся к сле-

дующему углу, пересек улицу и опять завернул за угол. Я решил, что, наверное, обогнал китайца, и пошел спокойно. Но из-за угла по пятам за мной опять показался настойчивый монгол. Это была старая сказка про зайца и черепаху! Он не мог бежать так же быстро, как я, и оставался на месте, делая вид, что бежит, и бранился на чем свет стоит. Он призывал весь Сакраменто в свидетели бесчестия, учиненного ему, и добрая часть Сакраменто слышала это и шла за ним. А я бежал, как заяц, и каждый раз этот упрямый монгол с непрерывно возраставшей толпой нагонял меня. Наконец, когда в его свите показался полицейский, я побежал, как безумный. Я сворачивал, вилял и готов поклясться, что пробежал не меньше двадцати кварталов по прямой линии! Я больше не встречал китайца. Шляпа была щегольской, новехонький с иголочки стэтсон, только из магазина — предмет зависти всей банды! Она была символом того, что я показал себя молодцом; я носил ее больше года.

Дорожные хваты — славные малые, когда вы их встречаете в одиночку и они рассказывают вам, «как это случилось». Но, верьте моему слову, их надо остерегаться, когда они ходят стаей. Тогда это волки и, как волки, могут сожрать самого

сильного человека. В эти моменты они не трусы. Они бросаются на человека и хватают его со всей силой своих тощих мышц, пока не опрокинут. Я не раз наблюдал это и знаю, о чем говорю. Обычный их мотив — ограбить. И берегитесь «крепкой руки»! В той банде, с которой я странствовал, каждый хват был большим мастером в этом приеме. Даже Француз-Хват знал его — это было до того, как он лишился ног.

Мне хорошо вспоминается видение, представившееся однажды моим глазам у «ив». Ивы — это купа деревьев на большом пустыре возле железнодорожного депо, всего в пяти минутах ходьбы от центра Сакраменто. Время ночное, картина освещена скудным светом звезд. Я вижу дородного рабочего в куче дорожных хватов. Он рассвирепел и ругает их, ни капельки никого не боясь и уверенный в своей силе. В нем весу около ста восьмидесяти фунтов, мускулы у него твердые; но он не знает, с кем имеет дело. Хваты рычат. Картина неприятная. Они бросаются на него со всех сторон, а он вертится на месте. Возле меня стоит Хват-Цирюльник. Когда человек завертелся, Хват-Цирюльник прыгает вперед и прибегает к особой уловке. Он толкает человека кулаком в спину и в то же время нажимает дру-

гой рукой на сонную артерию врага, схватив его сзади за шею. У противника захватывает дыхание. Это и называется «мертвая хватка».

Человек сопротивляется, но фактически он уже обессилен. Дорожные хваты наседают на него со всех сторон, цепляются за его руки, ноги, за туловище, а Хват-Цирюльник, как волк, впившийся в горло волу, висит на нем и оттягивает его назад. Человек падает навзничь под кучей врагов. Хват-Цирюльник меняет положение своего тела, но не отпускает противника. И в то время, как хваты разделывают жертву под орех, другие держат ее ноги, чтобы она не могла брыкаться. «Для легкости» они стаскивают башмаки жертвы. Что касается жертвы, то она сдалась, она побита. Кроме того, рука стискивает ей горло и перехватывает дыхание. Жертва тяжело хрипит, а хваты торопятся. Убивать они не хотят! Все уже сделано, и по данному сигналу все разом оставляют жертву, и хваты разбегаются во все стороны, причем один из них с башмаками жертвы — он знает, где за них ему дадут полдоллара. Жертва сидит, ошеломленная и беспомощная, и начинает оглядываться. Если бы даже он хотел преследовать врагов, то босиком, в темноте это было бы бесполезно. Я стою и наблюдаю за ним.

Он щупает свое горло, издает сухие икотные звуки и как-то странно мотает головой, словно хочет убедиться, не вывихнута ли у него шея. Тогда я пускаюсь догонять банду, и больше этого человека я никогда не увижу. Но мысленно я всегда буду видеть эту фигуру, сидящую в слабом свете звезд, немножко ошеломленную и делающую странные конвульсивные движения головой и шеей.

Пьяницы — излюбленная добыча дорожных хватов. Ограбить пьяницу у них называется «покатать человечка»; и где бы они ни находились, они всегда высматривают пьяниц. Пьяницы — их специальное блюдо, как муха — специальное блюдо паука. «Покатать человечка» иногда очень забавно, особенно когда человечек беспомощен и сдачи дать не может. При первом натиске деньги и драгоценности человечка исчезают. Затем хваты садятся вокруг своей жертвы на манер военного совета. У какого-нибудь хвата появляется охота поживиться галстуком жертвы. Галстук слетает! Другому хвату понадобилось нижнее белье. Его сдергивают и ножом укорачивают рукава и штанины. Бывает так, что зовут какого-нибудь приятеля-бродягу взять куртку и кальсоны, слишком широкие для грабителей. И в конце концов они уходят, оставив побитому кучу

своего тряпья.

Еще одна картина встает перед моим мысленным взором. Темная ночь; моя банда шагает по тротуарам предместий. Впереди нас в электрическом свете человек переходит улицу по диагонали. В его походке какая-то неуверенность. Хваты мгновенно учуяли добычу. Человек этот пьян. Он переходит на противоположный тротуар и пропадает во тьме, избирая краткий путь через пустырь. Охотничьего клича не раздается, но вся банда бросается вперед. В середине пустыря она догоняет жертву. Но что это? Между стаей и ее добычей вырастают странные рычащие фигуры, маленькие, тусклые и угрожающие. Это другая стая дорожных хватов. И в наступившей враждебной паузе мы узнаем, что это — их добыча, что они выслеживают ее вот уже десять кварталов и больше и что нам лучше уйти. Но это мир первобытных инстинктов. Эти волки — младенцы. (Я думаю, среди них ни одного не было старше двенадцати или тринадцати лет; кое-кого из них я встретил впоследствии и узнал, что они в этот день только что «перешли горку» и что родина их — Солт-Лейк-Сити.) Наша стая бросается вперед. Волчата-младенцы пищат, визжат и дерутся, как чертенята. Вокруг пьяницы

кипит ожесточенная борьба за обладание им. В гуще этой свалки он падает, и битва бушует над ним наподобие того, как греки и троянцы дрались над телом и доспехами павшего героя. С криками, слезами и взвизгиваниями молодые волчата разбегаются, а моя стая начинает «катать жертву». И вот мне вспоминается изумленный и ошарашенный вид бедной жертвы в момент неожиданно завязавшегося сражения на пустыре. Я точно сейчас вижу, как он, глупо топчась, добродушно пытается разыграть миротворца в этой свалке, смысла которой он не понимает, и вижу оскорбленное выражение на его лице, когда его хватают множество рук и начинают дубасить.

«Узелковый бродяга» — также любимая добыча дорожных хватов. Узелковый бродяга — странствующий рабочий. Эту кличку он получил от связки одеял, которую он носит с собой и которую называют «узелком». Поскольку он работает, то обычно у узелкового бродяги бывает кое-какая мелочь — и вот за этой-то мелочью дорожные хваты и охотятся. Излюбленными местами охоты на узелкового бродягу являются сараи, риги, лесные дворы, железнодорожные пути и т. п. на окраине города, а наилучшим временем охоты считается ночь, когда узелковый бродяга разыс-

кивает эти местечки, чтобы завернуться в свои одеяла и заснуть.

«Веселые коты» также нередко попадаются в руки дорожных хватов. У «веселых котов» есть более фамильярные клички: «Короткорогие», «Чечако», «Однокашники» или «Новички». «Веселые коты» — это новички «Дороги», не достигшие зрелого возраста или, по крайней мере, законченной юности. С другой стороны, мальчик «Дороги», каким бы он ни был новичком, никогда не называется «веселым котом»; он «дорожный хват» или «трут», а если он скитается со специалистом-профессионалом, то его называют прилагательным именем «Прусский». Я никогда не был «Прусским» — я был сперва «дорожным хватом», а потом «профессионалом». Так как я начал смолоду, то фактически перескочил через годы ученичества; одно время, когда я менял свою кличку «Фриско-Хвата» на кличку «Матроса-Джека», во мне подозревали «веселого кота». Но при более близком знакомстве со мной они отказались от этого подозрения — я в короткое время приобрел безошибочный вид и приметы завзятого бродяги-профессионала, аристократа «Дороги»! Эти бродяги — хозяева и владыки, захватчики, первобытные дворяне — столь из-

любленная Ницше «белокурая бестия».

Когда я вернулся «через горку» из Невады, то обнаружил, что какой-то речной пират украл лодку Динни Мак-Кри. (Я до сего дня не могу припомнить, куда девался ялик, в котором мы с Греком Никки отплыли из Окленда в Порт-Коста. Я знаю, что констеблю он не достался, а больше ничего не помню.) Потеряв лодку Денни Мак-Кри, я тем самым обрек себя «Дороге». И когда мне надоел Сакраменто, я попрощался с бандой (которая на свой дружественный лад попыталась «спихнуть» меня с товарного поезда, когда я уезжал) и поехал по долине Сан-Хоакин. «Дорога» крепко схватила меня и не хотела отпускать; впоследствии, когда я постранствовал по миру и наделал кое-каких дел, я вернулся на «Дорогу» для более продолжительных скитаний, сделался «кометой» и окунулся в социологию, пропитавшую меня до костей.

Две тысячи бродяг

Однажды мне посчастливилось побродяжить несколько недель с бандой, насчитывавшей две тысячи бродяг. Она была известна как «Армия Келли». По всему дикому и лохматому Западу, от самой Калифорнии, «генерал» Келли и его герои захватывали поезда, но были разбиты, когда пересекли Миссури и натолкнулись на цивилизованный Восток. Восток не имел ни малейших намерений предоставлять свободный транспорт двум тысячам бродяг. «Армия Келли» беспомощно стояла некоторое время в Каунсил Блафс. В день, когда я присоединился к ней, она, придя в отчаяние от задержек, двинулась маршем захватывать поезд.

Зрелище было поистине внушительное. «Генерал» Келли сидел на великолепном черном коне, и с развевающимися знаменами, под воинственную музыку флейтистов и барабанщиков, рота за ротой, двумя дивизиями эти две тысячи бродяг двинулись вперед и вышли на проселочную дорогу к местечку Уэстону. Будучи последним из рекрутов, я находился в последней роте последнего полка Второй дивизии, мало того, в последнем

ряду арьергарда. «Армия» расположилась лагерем в Уэстоне возле железнодорожного полотна, вернее, полотен, ибо здесь проходили две дороги: Чикаго — Милуоки и Сент-Пол и дорога на Рок-Айленд.

Мы намеревались атаковать первый поезд, но железнодорожные чиновники разгадали наш план и перехитрили нас. Первого поезда не оказалось! Они перекрыли обе линии и прекратили движение. Тем временем, пока мы стояли у замерших путей, бродяги Омахи и Каунсил Блафс приняли меры. Они замыслили организовать толпу, захватить поезд в Каунсил Блафс, привести его и преподнести нам в дар. Железнодорожные чиновники поломали и этот план. Они не стали ждать, пока соберется толпа. Рано утром на другой день паровоз с одним пассажирским вагоном прибыл на станцию, на запасный путь. При этих признаках жизни на мертвых путях вся армия выстроилась у полотна.

Никогда, кажется, жизнь так чудовищно не возрождалась на мертвых железных дорогах, как тогда на этих двух! С запада донесся свисток локомотива. Он шел в нашем направлении, к востоку. Нам также нужно было на восток. По рядам прошла тревога. Свисток свистел ярост-

но, не умолкая, и поезд прогремел мимо нас с максимальной скоростью. Нет такого бродяги в мире, который мог бы вскочить на такой поезд. Просвистел другой паровоз — и промчался другой поезд, потом третий, четвертый, поезд за поездом, поезд за поездом; наконец проскочил последний, составленный из пассажирских и товарных вагонов, товарных платформ, мертвых паровозов, цистерн, почтовых вагонов и всякой дряни — негодного подвижного состава, накопляющегося на путях больших железных дорог. Когда пути станции Каунсил Блафс были основательно очищены, частный вагон с паровозом ушел на восток, и пути замерли окончательно.

Прошел день, еще день — никакого движения. А тем временем две тысячи бродяг под дождем, градом и изморозью лежали у полотна. Но в эту ночь бродяги Каунсил Блафс перехитрили железнодорожных чиновников. Организованная в Каунсил Блафс толпа перешла через реку в Омаху и соединилась с другой толпой, направлявшейся на пути Тихоокеанской железной дороги. Первым делом они захватили паровоз, потом сколотили поезд, затем влезли на него, пересекли Миссури и поехали прямо по Рок-Айлендской ветке, чтобы передать поезд нам. Железнодорожные

чины попытались расстроить и этот план, но не успели, к ужасу начальника участка и одного из железнодорожных чинов в Уэстоне. Эта парочка по секретному телеграфному приказанию попыталась устроить крушение поезда с нашими спасителями, разобрав рельсы. Однако мы оказались бдительны и расставили свои патрули. Пойманные на месте преступления за подготовкой крушения поезда и окруженные двумя тысячами разъяренных бродяг, начальник участка и его помощник уже приготовились к смерти. Не помню, что их спасло, кажется, прибытие поезда.

Наступила наша очередь провалиться, и мы провалились позорным образом. Второпях обе толпы не составили достаточно длинного поезда! На нем не оказалось места для двух тысяч бродяг. И вот толпа и бродяги посовещались, побратались, попели песни и расстались; спасители отправились на своем захваченном поезде в Омаху, а бродяги на следующее утро двинулись в стосорокамильный поход к Де-Мойну. Перейдя Миссури, армия Келли начала свой пеший поход, и после этого ей уже не пришлось ездить по железной дороге. Это влетело железным дорогам в копеечку, но они не отступали от своих принци-

пов и победили.

Андервуд, Лола, Менден, Авока, Уолнат, Марно, Атлантик, Вайото, Анита, Адэр, Адам, Кейзи, Стюарт, Декстер, Карлхем, Де-Сото, Ван-Метер, Буневиль, Коммерс, Валли-Джанкшен — названия городов встают передо мной, когда я смотрю на карту и вспоминаю наш путь по плодородному краю Айовы. А гостеприимные айовские фермеры! Они выезжали со своими фургонами и везли наш багаж; кормили нас горячими завтраками в полдень у края дороги; мэры уютных городишек произносили приветственные речи и помогали нам двигаться дальше; делегации маленьких девочек и девушек выходили нам навстречу, добрые граждане высыпали сотнями, образовывали цепь и шли с нами по своим главным улицам. Когда мы прибывали в город, создавалось впечатление, будто приезжал цирк, каждый день был для нас цирковым праздником, ведь на пути у нас было много городов.

По вечерам в наш лагерь набивалось местное население. Каждая рота раскладывала свой костер, и у каждого костра что-нибудь происходило. Повара моей роты «Л» были мастера петь и плясать и устраивали нам спектакли. В другой части лагеря собирался певчий клуб — одной из звезд

его был «Дантист», заимствованный из роты «Л», и мы очень гордились им. Он, кроме того, рвал зубы всей армии, и так как это обыкновенно происходило во время трапезы, то разнообразные инциденты способствовали нашему пищеварению. У «Дантиста» не было анестезирующих средств, но всегда находились под рукой два-три бродяги, готовые подержать пациента. Помимо этих развлечений и певческого клуба, обычно отправлялись богослужения при участии местных священников, и всегда произносилось много политических речей. И все это происходило тут же, рядом, непрерывно — настоящая ярмарка! Среди двух тысяч бродяг немало можно откопать талантов. Я помню, мы собрали девятку для игры в бейсбол и по воскресеньям выставляли ее против всех местных команд. Иногда в воскресенье состоялись даже две игры.

В прошлом году, приглашенный читать лекции, я приехал в Де-Мойн в пульмановском вагоне — не в «пульмане с боковой дверью», а уже в настоящем. На окраине города я увидел развалины кирпичного завода, и у меня замерло сердце. Здесь, у этих развалин, лет двенадцать тому назад остановилась армия бродяг и дала клятву, что дальше не сделает ни шага пешком!

Мы завладели заводом и объявили Де-Мойну, что мы тут останемся, что мы вошли в город, но будь мы прокляты, если уйдем. Де-Мойн был гостеприимный город, но для него это оказалось слишком. Произведите мысленный подсчет, любезный читатель! Две тысячи бродяг, съедающих три трапезы в день, составят шесть тысяч трапез в сутки, сорок две тысячи трапез в неделю или сто шестьдесят восемь тысяч трапез в самый короткий месяц в календаре. Это не мало! А денег у нас не было. Платить должен был Де-Мойн!

Де-Мойн пришел в отчаяние. Мы разбили лагерь, произносили политические речи, устраивали духовные концерты, дергали зубы, играли в бейсбол и в семерку и съедали наши шесть тысяч обедов в сутки, а Де-Мойн платил за все. Де-Мойн обращался к железным дорогам, но те упорствовали; они решили, что мы не поедем — и делу конец. Позволить нам поехать — значило допустить прецедент, а никаких прецедентов быть не должно. А мы продолжали питаться! Это было самое ужасное в данной ситуации. Нам нужно было ехать в Вашингтон, и Де-Мойну пришлось бы выпустить муниципальный заем, чтобы оплатить наш проезд даже по пониженным тарифам; если же мы останемся здесь, то ему придется

выпустить заем, чтобы прокормить нас.

И вот какой-то местный гений разрешил проблему. Мы не хотим идти? Отлично, мы поплывем. Из Де-Мойна в Кеокук, который стоит на реке Миссисипи, текла река Де-Мойн длиной триста миль. Мы можем проплыть по ней, решил наш местный гений; если нас снабдить плавучими средствами, то мы можем спуститься по Миссисипи до Огайо, а оттуда — вверх по Огайо и через короткий водораздел — в Вашингтон.

Де-Мойн организовал подписку. Сознательные жители собрали несколько тысяч долларов. Лес, канаты, гвозди и пакля, чтобы конопатить щели, были закуплены в огромном количестве, и на берегах Де-Мойна открылась грандиозная эра судостроения. Нужно сказать, что Де-Мойн — крохотная речонка, но по заслугам величаемая «рекой». В наших обширных западных краях ее назвали бы ручьем. Старожилы местечка покачивали головами и говорили, что у нас ничего не получится — в реке не хватит воды, чтобы поднять нас! Но Де-Мойн это мало беспокоило, лишь бы избавиться от нас, а мы были такими оптимистами, что тоже ни о чем не беспокоились.

В среду, 9 мая 1894 года, мы снарядились в путь, начав наш колоссальный пикник. Де-Мойн де-

шево отделался от нас и, без сомнения, обязан поставить бронзовый памятник местному гению, который вывел город из затруднения. Правда, Де-Мойну пришлось оплатить наши суда; мы съели шестьдесят шесть тысяч обедов и взяли с собой в дорогу двенадцать тысяч добавочных обеденных порций, чтобы не умереть от голода в пустыне. Но подумайте, что было бы, если бы мы остались в Де-Мойне и прожили там одиннадцать месяцев вместо одиннадцати дней? При расставании мы обещали Де-Мойну вернуться, если река откажется нести нас.

Очень приятно было иметь двенадцать тысяч обедов в провиантской лодке, и, без сомнения, «провиантские молодцы» воспользовались этим, ибо провиантская лодка очень скоро исчезла, и моя лодка, например, так и не увидела ее. Наша рота расклеилась за время речной поездки; в каждом отряде всегда найдется известный процент симулянтов, простых смертных, лентяев и дельцов. В моей лодке было десять человек, и это были сливки роты «Л». Каждый был дельцом. Меня включили в этот десяток по двум причинам. Во-первых, я так же ловко умел «кидать ножки», то есть попрошайничать по дорогам, как всякий другой бродяга; а кроме того, я был

«Матрос Джек». Я знал лодки и морское дело! Мы, десятеро, мгновенно забыли об остальных сорока человек роты «Л» и, когда не получили первого обеда, тотчас забыли о провиантской лодке. Мы были самостоятельны. Мы поплыли вниз по реке на собственный страх и риск, сами клянчили для себя пищу, обогнали все лодки нашего флота и — должен сознаться, увы! — иногда крали запасы, собранные фермерами для всей армии!

На протяжении значительной части трехсотмильного пути мы были впереди армии на сутки или полсуток. Нам удалось раздобыть несколько американских флагов. Приближаясь к маленькому городку или завидя группу фермеров, собравшихся на берегу, мы поднимали наши флаги, называли себя «авангардной» лодкой и выясняли, какой провиант может быть собран для армии. Разумеется, мы были представителями армии, и провиант передавался нам. Но мы действовали умно. Мы никогда не брали больше, чем могли взять с собой. Зато мы снимали сливки со всего. Так, например, если какой-нибудь человеколюбивый фермер преподносил на несколько долларов табаку, мы его забирали. Забирали мы также масло и сахар, кофе и консервы. Когда же провиант заключался в мешках с бобами и мукой

и двух-трех воловьих тушах, мы решительно отказывались и отправлялись своей дорогой, оставив приказ передать провиант провиантским лодкам, следующим за нами.

Славно мы пожили в этой богатой стране! Генерал Келли долгое время тщетно пытался догнать нас. Он выслал двух гребцов в легком челноке, чтобы настичь нас и положить конец нашей пиратской деятельности. Они догнали нас честь честью, но их было двое, а нас — десять! Генерал Келли уполномочил их арестовать нас, что они и объявили нам. Когда мы выразили нежелание пойти под арест, они поспешили в ближний городок и обратились за содействием к властям. Мы тотчас же высадились на берег, приготовили ранний ужин, а потом под покровом темноты обошли город и его власти.

Я вел дневник, описывая эту часть нашего путешествия. Теперь, перечитывая, я вижу то и дело повторяющуюся фразу: «Живется знатно». Мы, действительно, пожили знатно! Мы даже стали пренебрегать кофе, сваренным на воде. Мы варили кофе на молоке, и этот чудесный напиток, как мне помнится, называли «бледным кофе по-венски».

Между тем, пока мы плыли впереди, сни-

мая сливки, а провиантская лодка безнадежно отстала от главной армии, главная армия, находившаяся в середине, голодала. Это было жестоко по отношению к армии, я согласен, но ведь мы, десятеро, были индивидуалистами! Мы были инициативны и предприимчивы и твердо верили, что еда достается тому, кто первый берет ее и что кофе «по-венски» — удел сильных. На одном участке армия плыла сорок восемь часов без крошки во рту; наконец она прибыла к деревушке из трехсот жителей, названия которой я твердо не помню — кажется, Ред Рок. Этот городок, следуя обычаю всех городов, мимо которых проплывала армия, выбрал комитет общественного спасения. Если считать семью состоящей в среднем из пяти человек, то в Ред Роке было шестьдесят хозяйств. Комитет общественного спасения пришел в ужас при виде двух тысяч голодных бродяг, выстроивших свои ладьи у речного берега двумя или тремя рядами. Генерал Келли был человек честный, он не хотел налагать непосильный груз на деревню. Он не предполагал, что шестьдесят хозяйств могут приготовить две тысячи обедов. Кроме того, у армии была своя казна.

Но комитет общественного спасения потерял голову. «Никаких поблажек налетчикам!» — та-

кова была их программа, и когда генерал Келли пожелал купить провианту, комитет прогнал его. Да и продавать им было нечего: деньги генерала Келли «не годились» в этой деревушке. И тогда генерал Келли приступил к действиям. Затрубили трубы. Армия побросала лодки и выстроилась в боевом порядке на берегу. Комитет был приглашен полюбоваться. Разговор генерала Келли был короток.

— Ребята! — проговорил он. — Когда вы последний раз ели?

— Позавчера! — проревели они в ответ.

— Вы голодны?

Общее подтверждение из двух тысяч глоток потрясло атмосферу. Тогда генерал Келли обратился к комитету спасения:

— Джентльмены, вы видите, какое положение. Мои люди ничего не ели двое суток. Если я выпущу их на ваш город, то не отвечаю за последствия. Они отчаянные. Я хотел купить для них провизию, но вы отказались продать. Теперь я беру свое предложение обратно. Теперь я требую. Даю вам пять минут сроку. Либо убейте мне шесть волов и предоставьте четыре тысячи пайков, либо я выпущу на свободу своих людей. Пять минут, джентльмены.

Пораженный ужасом комитет спасения поглядел на две тысячи голодных бродяг и съежился. Он не стал дожидаться пяти минут. Он не стал рисковать. Немедленно начался убой волов и сбор контрибуции — и армия пообедала.

А десять наглых индивидуалистов продолжали нестись вперед и забирать все, что им попадалось на глаза. Но генерал Келли все же усложнил наш путь. Вдоль обоих берегов он послал верховых, которые предупреждали о нас всех фермеров и горожан. Они отлично справились со своей задачей. Первые же гостеприимные фермеры встретили нас с ледяным равнодушием. Мало того, когда мы привязали лодку у берега, они позвали констеблей и спустили на нас собак. Две собаки схватили меня в промежутке за изгородью из колючей проволоки, отделявшей реку. Я как раз нес два ведра молока для кофе по-венски. Я, конечно, не переживал по поводу ограды, но мы пили плебейский кофе на обыкновенной воде, и мне пришлось выклянчить пару штанов. Не знаю, любезный читатель, пробовали ли вы когда-нибудь быстро взбираться на забор из колючей проволоки с ведром молока в каждой руке. С этого дня у меня сохранилось какое-то предубеждение против колючей проволоки.

Потеряв возможность вести честную жизнь при наличии двух верховых генерала Келли впереди себя, мы вернулись к армии и подняли восстание. Дело было маленькое, но оно разложило роту «Л» Второй дивизии. Капитан роты «Л» отказался признать нас, назвал нас дезертирами, предателями, прохвостами и, получив пайки из провианта для роты «Л», не дал нам ни шиша. Этот капитан недооценил нас, иначе не отказал бы нам в еде. Мы тотчас же завели интригу с первым лейтенантом; он примкнул к нам с десятью рядовыми своей лодки — и мы избрали его капитаном роты «М». Капитан роты «Л» поднял шум, на нас набросились генерал Келли, полковник Спид и полковник Бейнер. Но мы, числом в два десятка, твердо стояли на своем, и наша рота «М» получила признание.

Мы не связывались с провиантскими комиссарами. Наши молодцы добывали у фермеров намного лучшие продукты. Однако наш новый капитан нам не доверял. Он не знал, увидит ли опять свою «десятку», когда мы тронемся утром, и позвал кузнеца. На корме нашей лодки, с каждой стороны, было прибито два тяжелых железных болта с ушками. Соответственно на носу его лодки было прикреплено два больших железных

кольца. Лодки притянули одну к другой, кольца вогнали в ушки, и нас приковали. Теперь мы не могли уйти от этого капитана. Но справиться с нами было трудно. Из нашего капкана мы создали себе непобедимое приспособление, позволившее обогнать все лодки нашего флота.

Как и все великие изобретения, наше открытие было случайным. Мы его сделали, когда в первый раз, плывя по стремнине, натолкнулись на подводную корягу. Передняя лодка повисла на ней и застряла, а задняя была подхвачена течением и повернулась, повернув и переднюю. Я находился на корме задней лодки, правя веслом. Тщетно старались мы оттолкнуться! Тогда я приказал пассажирам передней лодки перейти на заднюю. Тотчас же передняя лодка всплыла, и пассажиры вернулись на нее. После этого подводные рифы, камни, отмели и другие заграждения уже не пугали нас. Как только передняя лодка застревала, ее пассажиры перепрыгивали на заднюю. Разумеется, передняя лодка тотчас же всплывала над препятствием, и тогда садилась задняя. Двадцать человек, сидевшие в задней лодке, как автоматы, перепрыгивали в переднюю, а задняя освобождалась и всплывала.

Все лодки армии были совершенно одинаковы,

их делали по одному образцу и сколотили очень грубо. Это были плоскодонки не овальной, а четырехугольной формы. Каждая лодка имела в ширину шесть футов, в длину десять и в высоту полтора фута. Таким образом, когда наши лодки были скреплены вместе, я управлял с кормы судном в двадцать футов длины, на котором находилось два десятка коренастых бродяг, сменявших друг друга на веслах и на руле, а в виде груза — одеяла, кухонные принадлежности и наш частный провиантский склад.

Все же мы причинили много хлопот генералу Келли. Он отозвал с берега своих стражей и заменил их тремя полицейскими лодками, которые плыли в авангарде и не давали ни одной лодке обогнать их. В полицейских лодках густо сидели солдаты роты «М». Мы легко могли обогнать их, но это было бы против правил, поэтому мы держались на почтительном расстоянии сзади и ждали. Мы знали, что впереди девственная крестьянская страна, еще не «обстрелянная» и щедрая, но мы ждали. Мы знали, чего мы дожидались; и когда обогнули излучину и показались пороги, мы поняли, что момент наступил. Трах! Полицейская лодка номер один натолкнулась на камень и застряла. Трах! Полицейская лодка номер два по-

следовала ее примеру. Трах! Полицейскую лодку номер три постигла та же участь. Разумеется, то же случилось и с нашей лодкой; но наши люди — раз, два, три! — выскочили из передней и бросились в заднюю; раз, два, три! — они выскочили из задней и бросились в переднюю; и — раз, два, три! — люди из задней лодки вернулись в нее, и мы всплыли.

— Стоп! Сукины, распросукины дети! — раздался крик с полицейской лодки.

— Как мы можем остановиться? Эта проклятая река, попробуй! — жалобно взвыли мы, проносясь мимо, подхваченные неумолимым течением, которое скоро унесло нас от посторонних глаз в гостеприимный крестьянский край, снабдивший наш частный провиантский магазин сливками из своих запасов. Опять мы начали попивать кофе по-венски, убедившись, что жратва остается за тем, кто ее хватает.

Бедный генерал Келли! Он придумал другой план. Весь флот отправился впереди нас. Рота «М» Второй дивизии заняла свое надлежащее место в линии, то есть последнее. И мне понадобился только один союзник, чтобы расстроить и этот план. Перед нами простиралось двадцать пять миль очень трудного речного пути — пороги,

стремнины, отмели, камни. На этом участке реки древние обитатели Де-Мойна сложили когда-то свои буйные головы. Впереди нас плыло около двухсот лодок, и они нагромоздились самым причудливым образом. А мы проплыли между этим потерпевшим крушение флотом, как вода сквозь пальцы! Обойти эти камни, отмели и подводные стволы можно было, только выйдя на берег. Но мы не обходили их. Мы просто перескакивали через них: раз, два, три, передняя лодка, задняя лодка; передняя лодка, задняя лодка; прыг назад, прыг вперед, прыг назад! Этой ночью мы стали на привал в одиночестве и своевольничали весь следующий день, покуда они чинили свои разбитые посудины и догоняли нас.

Конца не было нашему озорству. Мы поставили мачту, подняли паруса (одеяла) и без труда подвигались вперед, тогда как им приходилось работать сверхурочно, чтобы не потерять нас из виду. Тогда генерал Келли решил прибегнуть к дипломатии. Ни одна лодка не могла догнать нас прямым путем. Мы, без сомнения, представляли самую проворную банду, когда-либо плававшую по Де-Мойну. Полицейские лодки были отменены. Полковник Спид был переправлен к нам на борт, и с этим отменным офицером мы имели

честь прибыть первыми в Кеокук на реке Миссисипи. И здесь я хочу протянуть генералу Келли и полковнику Спиду мою руку. Ибо вы были героями, вы были мужчинами! Я сожалею, по крайней мере, о десяти процентах хлопот, которые вам задала головная лодка роты «М».

В Кеокуке весь флот был связан в огромный плот, и, когда мы проплыли сутки под ветром, пароход взял нас на буксир и потянул по Миссисипи, в Куинси, штат Иллинойс, где мы разбили лагерь в центре реки на Гусином острове. Здесь мы разъединили наш плот, связали лодки группами по четыре и перекрыли их досками. Мне кто-то говорил, что Куинси — богатейший город в штате. Когда я услышал это, мною овладело неудержимое желание «пострелять». Ни один заправский бродяга не может пройти мимо столь многообещающего города. Я переплыл через реку в Куинси в маленькой лодчонке; вернулся же в большой лодке, до бортов нагруженной плодами моей «стрельбы». Разумеется, я оставил себе все настрелянные деньги, расплатившись, правда, с лодочником; кроме того, я взял свою долю поношенной одежды, рубах, носков, штанов и т. п. И когда рота «М» забрала все, что ей было нужно, то осталась еще порядочная куча для роты «Л». Увы,

я был молод и расточителен в те дни! Я рассказал тысячи сказок добрым жителям города Куинси, и каждая была шедевром; когда я начал писать для журналов, я не раз жалел о богатейшем запасе беллетристики, расточительно пролитом в тот день в Куинси, штат Иллинойс.

Десять «непобедимых» неожиданно рассыпались в Ганнибале, штат Миссури. Мы просто поплыли в разные стороны. Я и Котельщик сбежали тайно. В тот же день Скотти и Дэви быстро улизнули на Иллинойский берег; сбежали также Мак-Авой и Фиш. Это шестеро из десяти; что сталось с остальными четырьмя, я не знаю. Чтобы дать представление, какую жизнь мы вели, привожу следующую выписку из моего дневника, который я вел в течение нескольких дней после бегства.

«Пятница, 25 мая. Котельщик и я покинули лагерь на острове. Мы переплыли на иллинойскую сторону в ялике и прошли шесть миль по дороге к Фелл-Крику. Шесть миль мы прошли пешком, а потом подсели на телегу и проехали шесть миль в Халл на Уобаше. Здесь мы встретили Мак-Авоя, Фиша, Скотти и Дэви, также убежавших из армии».

«Суббота, 26 мая. В 2 ч. 11 мин. ночи мы сели на

«пушечное ядро», замедлившее ход на скрещении линий. Скотти и Дэви ссадили. Нас четверых ссадили в Блафсе через сорок миль. Перед вечером Фиш и Мак-Авой сели на товарный поезд, в то время как мы с Котельщиком добывали жратву».

«Воскресенье, 27 мая. В 3 ч. 21 мин. мы захватили «пушечное ядро» и нашли на площадке Скотти и Дэви. На рассвете нас всех согнали в Джексонвилл. Здесь проходит дорога К и А. И мы по ней отправимся. Котельщик ушел и не вернулся. Я думаю, он попал на товарный».

«Понедельник, 28 мая. Котельщик не показывается. Скотти и Дэви ушли куда-то поспать и не вернулись к пассажирскому поезду К. С., уходящему в 3 ч. 30 мин. ночи. Я сел на него и ехал до вечера, когда прибыл в Мейсон-Сити, 25 000 жителей. Сел в поезд для перевозки скота и ехал всю ночь».

Много лет спустя, в Китае, я с огорчением узнал, что способ, примененный нами для плавания по порогам Де-Мойна, — раз, два, три! передняя лодка, задняя лодка, — изобретен не нами. Я узнал, что китайские лодочники уже много тысяч лет пользуются подобным же приемом для плавания по трудной воде. Во всяком случае, это ловкая штука, хоть и не нам за это слава. Она вполне

отвечает оставленному доктором Джорданом критерию истины: «Пойдет ли это на пользу? Посвятите ли вы этому свою жизнь?»

«Быки»

Если бы в Соединенных Штатах вдруг исчезли бродяги, то это повлекло бы за собой катастрофу во многих семействах. Бродяги дают возможность тысячам людей зарабатывать честный хлеб, учить детей и воспитывать их в страхе Божием и в труде. Я знаю это наверняка. Одно время мой отец был констеблем и охотился за бродягами, добывая этим пропитание. Община платила ему по столько-то с головы за каждого бродягу, которого ему удавалось изловить; кроме того, я думаю, он получал премиальные. Добывание средств всегда было главной задачей в нашем хозяйстве, и количество мяса на столе, новых пар башмаков, платья или учебников для школы зависело от удачи моего отца на охоте. Я очень хорошо помню подавленное любопытство и напряжение, с каким я ждал каждое утро сообщений о результатах ночной работы — сколько бродяг удалось поймать отцу и каковы шансы на то, что их осудят. И много позднее, когда мне, бродяге, случалось увернуться от какого-нибудь хищного констебля, я искренно жалел маленьких мальчиков и девочек, обитающих в доме этого

констебля, — мне казалось, что я лишаю этих малюток радостей жизни!

Но с этим ничего не поделаешь. Бродяга бросает вызов обществу, а сторожевые псы общества кормятся им. Некоторые бродяги даже любят прислуживаться сторожевым псам, особенно зимой. Разумеется, такие бродяги выбирают общины, где тюрьмы «хорошие», то есть где не заставляют работать, а кормят неплохо. Кроме того, существовали, вероятно, и сейчас существуют констебли, делящие заработок с бродягами, которых они арестовывают. Такому констеблю не приходится охотиться. Он только свистнет — и добыча сама идет к нему в руки. Удивительно, какие деньги можно вытянуть из безденежного бродяги! По всему югу — по крайней мере, так было в дни моего бродяжничества — разбросаны лагери и плантации, где время осужденных бродяг покупается фермерами и где бродягам просто-напросто приходится работать. При этом есть такие местечки, как каменоломня в Ретленде, штат Вермонт, где бродягу эксплуатируют, и все, что он накопил «стрельбой на дорогах», извлекается в интересах той или иной общины.

Я не имею понятия о каменоломнях в Ретленде, штат Вермонт. И очень рад этому, хотя помню, что

раз чуть не попал туда. Бродяги распространяли о них слухи, и я впервые узнал об этих каменоломнях в штате Индиана. Попав в Новую Англию, я то и дело слышал о них — и всегда эти сообщения сопровождались тревожными сигналами. «В каменоломнях нужны рабочие, — говорил проходящий бродяга. — И бродяге там никогда не дают меньше девяноста дней». К приходу в Новый Хемпшир я хорошо был осведомлен об этих каменоломнях и всячески избегал железнодорожных крючков — «быков» и констеблей — как никогда раньше.

Однажды я вышел к железнодорожным путям станции Конкорд и увидел товарный поезд. Я выбрал пустой товарный вагон, отодвинул боковую дверь и залез в него. Надеялся к утру добраться к Уайт-Риверу; это значило попасть в штат Вермонт и очутиться не больше чем в тысяче миль от Ретленда; но после этого чем дальше на север, тем больше увеличивалось бы расстояние между мной и опасным пунктом. В вагоне я застал бродягу, так и затрясшегося при моем появлении. Он принял меня за кондуктора и, когда узнал, что я тоже бродяга, начал рассказывать о каменоломнях в Ретленде — их он и испугался, увидев меня. Это был молодой деревенский парень, шатав-

шийся только по местным дорогам.

Поезд двинулся, мы легли в углу вагона и заснули. Через два-три часа на остановке я был разбужен шумом двери справа от меня. Бродяга продолжал спать. Я не шевелился, только сощурил глаза так, чтобы можно было видеть, что делается. В дверь просунулся фонарь, за ним голова кондуктора. Он увидел нас и с минуту глядел на нас. Я готовился услышать от него отчаянную ругань или обычное: «Вылезай на полотно, жабий сын!». Вместо этого он потихоньку убрал фонарь и очень тихо задвинул дверь. Это мне показалось необычным и крайне подозрительным. Я прислушался и услышал, как скобка опустилась в петлю. Дверь заперли снаружи! Мы не могли открыть ее изнутри. Выход из этого вагона перекрыт. Дело плохо. Я подождал несколько секунд, затем подполз к противоположной двери и попробовал ее открыть. Она еще не была заперта. Я открыл ее, выскочил и закрыл за собой. Затем перешел по буферам на другую сторону поезда. Я отпер дверь, запертую кондуктором, влез в вагон и задвинул ее за собой. Теперь оба выхода были свободны. А бродяга продолжал спать!

Поезд тронулся. Он подошел к следующей остановке. Я услышал шаги на полотне. Затем левая

дверь с шумом распахнулась. Бродяга проснулся. Я тоже сделал вид, что проснулся. Мы сидели и таращили глаза на кондуктора и его фонарь. Он не стал тратить времени и сразу приступил к делу.

— Мне нужно три доллара! — объявил он.

Мы вскочили на ноги и подошли к нему ближе, договориться. Мы выразили горячее, безоговорочное желание дать ему три доллара, но объяснили свое бедственное положение, вынуждавшее нас оставить это желание без удовлетворения. Кондуктор не поверил. Он стал торговаться с нами и согласился на два доллара. Мы с сожалением сослались на свою нищету. Он наговорил нам много нелестных вещей, называл нас жабьими сынами, ругал на все корки. Потом начал угрожать. Он объяснил, что если мы не раскошелимся, то он запрет нас и привезет в Уайт-Ривер, а там передаст властям. Он рассказал нам о Ретлендских каменоломнях.

Этот кондуктор воображал, что поймал нас в ловушку. Не стоял ли он у одной двери и не запер ли другую всего несколько минут назад? Когда он заговорил о каменоломнях, испуганный бродяга начал бочком пробираться к двери. Кондуктор громко захохотал.

— Не торопись! — сказал он. — Я запер эту дверь

снаружи на последней остановке. — И он говорил с такой уверенностью, что слова его убедили! Бродяга поверил ему и пришел в полное отчаяние.

Кондуктор объявил нам ультиматум: либо мы дадим ему два доллара, либо он запрет нас и передаст констеблю в Уайт-Ривер, а это значит девяносто дней тюрьмы и каменоломни. Теперь представьте себе, любезный читатель, что вторая дверь была бы заперта. Как превратна человеческая жизнь! Из-за какого-нибудь доллара мне пришлось бы попасть в каменоломни и отслужить три месяца каторжных работ. То же самое случилось бы и с бродягой. Ну, ладно я безнадежен, но подумайте о бродяге. После этих девяносто дней он вышел бы настоящим преступником! И впоследствии мог бы проломить вам череп — даже ваш череп — дубинкой, стремясь завладеть вашими деньгами, а если не ваш череп, так череп какого-нибудь другого невинного человека.

Но дверь была отперта, и я один это знал. Мы с бродягой взмолились о пощаде. Думаю, что я присоединился к его просьбам и нытью просто из озорства. Но я вовсю старался. Я рассказал кондуктору «историю», которая растопила бы сердце любого новичка, но не смягчила сердца этого

скаредного взяточника. Когда он убедился, что у нас денег нет, он задвинул дверь, накинул засов и подождал минутку: авось мы его обманули и теперь предложим ему два доллара.

Тут я послал ему вдогонку несколько крепких слов. Я назвал его жабьим сыном. Вернул ему все клички, которыми он меня наградил, и добавил кое-что от себя! Я родом с Запада, где люди умеют ругаться, и не позволю какому-нибудь шелудивому кондуктору на паршивой новоанглийской ветке превзойти меня в силе и выразительности брани. Вначале кондуктор отвечал мне смехом. Потом он допустил ошибку, попробовав отвечать, и я осыпал его тучей отборных ругательств, разделал его что называется под орех. И делал я это вовсе не по литературному капризу — я действительно был возмущен этой гнусной тварью, из-за какого-нибудь доллара готовой обречь меня на трехмесячное рабство. Кроме того, у меня было подозрение, что он делился прибылью с констеблем. Но я задел его за живое. Я ущемил его чувства и гордость на много долларов. Он попробовал пугнуть меня, пригрозив, что войдет в вагон и «выбьет из меня начинку». В ответ я пообещал ткнуть его в рожу, если он попробует полезть в вагон. Я занимал более выгодную позицию — и

он это видел. Поэтому он закрыл дверь и позвал на помощь бригаду. Я слышал, как кондуктора откликнулись и по насыпи заскрипели их шаги. И все это время вторая дверь была не заперта, а они этого не знали, и все это время бедный бродяга помирал от страха.

О, я был герой, приготовивший себе путь к отступлению. Я ругал кондуктора и его приятелей до тех пор, пока они не распахнули дверь и не показали свои разъяренные физиономии в свете фонарей. Им все казалось очень простым: они заперли нас в вагоне, сейчас влезут и изобьют нас. Они влезли! Но я никого не хватил по лицу. Я просто распахнул противоположную дверь, и мы с бродягой улизнули. Бригада бросилась за нами.

Мы перескочили, если я правильно помню, через каменный забор. Но не помню, куда именно мы попали. В темноте я очень скоро наткнулся на могильный камень и полетел. Бродяга растянулся на втором. Потом мы пустились бежать по кладбищу. Вероятно, покойникам никогда не приходилось видеть такой гонки. То же самое и поездной бригаде, ибо когда мы выбежали с кладбища и пустились по дороге в темный лес, кондуктора прекратили погоню и вернулись к поезду.

Немного спустя мы с бродягой очутились у колодца какой-то фермы. Нам хотелось пить; мы заметили, что с одной стороны колодца тянется веревка. Мы вытащили ее — и на конце веревки нашли привязанную большую крынку сливок! Вот когда я был близок к Ретлендским каменоломням.

Когда бродяги пускают слух о каком-нибудь городе, что там «быки неласковы», обойдите этот город или, если можете, пройдите его потихоньку. Есть города, через которые всегда надо проходить тихонько. Таков город Шейен на Тихоокеанской дороге. Он пользуется национальной репутацией «неласковости», и все это благодаря стараниям некоего Джеффа Карра (если я правильно вспоминаю это имя). Джефф Карр обладал талантом мгновенно узнавать любого бродягу. Он не вступал в дискуссию. Первую секунду он измерял бродягу взглядом, а в следующую ударял его обоими кулаками, дубиной или чем попало. Избив бродягу, он выводил его из города с обещанием расправиться энергичней, если тот еще раз попадется ему на глаза. Джефф Карр знал свое дело. На север, на юг, на восток и на запад, до крайних пределов Соединенных Штатов (включая Канаду и Мексику) избитые бродяги разносили весть,

что Шейен «неласков». К счастью, мне ни разу не случилось встретиться с Джеффом Карром. Я прошел Шейен в метель. Со мной в то время были восемьдесят четыре человека. В таком составе мы могли никого не бояться, даже Джеффа Карра. Но имя «Джефф Карр» поражало наше воображение, приводило в оцепенение, и вся наша банда смертельно боялась встречи с ним.

Редко бывает, чтобы стоило вступать в объяснения с «быком», когда он «неласков». Поскорее убираться — вот что надо делать. Я не сразу усвоил эту истину. Окончательно меня в ней убедил некий «бык» в Нью-Йорке. С той поры бросаться в бегство при виде направляющегося ко мне полисмена стало у меня вполне автоматическим действием. Это автоматическое действие сделалось главной пружиной моего поведения, пружиной, заведенной и в любой момент готовой размотаться. Этого я никогда не смогу в себе побороть. Даже если мне минет восемьдесят лет и я буду ковылять по улице на костылях, а ко мне вдруг направится полисмен, я знаю, что брошу костыли и побегу быстрее лани.

Последний штрих моего образования по «бычачьей части» я получил в жаркий летний вечер в Нью-Йорке. Стояла неделя невыносимой жары. Я

завел обыкновение «стрелять» по утрам, а послеобеденное время проводить в маленьком парке, расположенном у газетного ряда и городской ратуши. Здесь я покупал с лотка на колесах новейшие книги (попорченные во время печатания или в переплетной) за несколько центов. В парке находилась будочка, где за пенни можно было купить чудесного, холодного, как лед, стерилизованного молока или простокваши. Каждый вечер я садился на скамейку, читал и предавался молочному разгулу. Я выпивал от пяти до десяти стаканов за вечер. Жара была страшная!

Так я посиживал этаким смиренным книголюбом на молочной диете, и смотрите, что вышло. Однажды вечером прихожу я в парк со свеженькой книжкой под мышкой и огромной жаждой под ложечкой. Посредине улицы перед ратушей я заметил, пробираясь к молочной будке, собравшуюся толпу. Она преградила мне дорогу через улицу, и я остановился посмотреть, по какому случаю столпотворение. Вначале я ничего не мог разглядеть. Затем по раздавшемуся стуку и возгласам я понял, что кучка уличных мальчишек играет в «камушки». Играть в «камушки» запрещено на улицах Нью-Йорка. Я этого еще не знал, но не замедлил узнать. Простоял я каких-нибудь

тридцать секунд, в течение которых понял причину сборища, и вдруг услышал крик одного из мальчишек: «Быки!». Мальчишки знали свое дело, они побежали, а я своего дела не знал…

Толпа немедленно рассыпалась и хлынула на оба тротуара. Я направился к тротуару со стороны парка. Там было человек пятьдесят, первоначально находившихся в толпе, а теперь двигавшихся в одном направлении со мной. Мы шли рассеянным строем. Я увидел «быка» — щеголеватого полисмена в сером мундире. Он шел посредине улицы, не торопясь, небрежно раскачиваясь. Я заметил, что он переменил направление и наискось направился к тому самому тротуару, к которому шел я. Он продолжал идти небрежной походкой, расталкивая остатки толпы, и я видел, что его и мой путь должны неизбежно скреститься. Я до такой степени не видел за собой ничего дурного, что, несмотря на свое знакомство с «быками» и их повадками, не испытывал ни малейшего страха. Мне даже и в голову не приходило, что «бык» направляется ко мне. Из уважения к закону я готов был в любой момент остановиться и дать ему пройти. Я действительно остановился, но не по своей воле, и не столько остановился, сколько отшатнулся назад. Без предупреждения «бык»

внезапно двинул меня в грудь обоими кулаками! И буквально в ту же секунду обругал меня ублюдком, заодно крайне непочтительно отозвавшись о моих предках.

Кровь свободного американца так и закипела во мне. Все мои свободолюбивые предки разом завопили!

— Что вам нужно? — спросил я.

Мне, как видите, понадобилось объяснение. И я получил его. Трах! Дубинка опустилась мне на макушку, и я покатился по земле, как оступившийся пьяница; любопытные физиономии зрителей запрыгали перед моими глазами, как волны на море, драгоценная книга вывалилась из рук прямо в грязь, а «бык» уже приготовил дубинку для второго удара. И в этот головокружительный момент мне представилась картина: дубинка многократно опускается на мою голову; вот я, избитый, окровавленный, обезображенный, стою в полицейском суде, слышу обвинение в непристойном поведении, в богохульной брани, в сопротивлении чиновнику и во многом другом — все это читает секретарь; и я вижу себя в Блэкуэллайленде. О, я все понял! Я утратил всякий интерес к объяснениям! Я не стал подбирать моей драгоценной, еще не прочитанной

книги. Я повернулся и побежал. Я был еле жив, но бежал. И буду бегать до смертного часа, всегда буду бегать, когда «бык» начнет объясняться со мною дубинкой…

Через много лет после моих скитаний, когда я был студентом Калифорнийского университета, я однажды вечером пошел в цирк. После спектакля и концерта я остался посмотреть, как действует транспортная машина большого цирка. Цирк в эту ночь уезжал. У костра я натолкнулся на группу мальчишек. Их было десятка два, и из их слов я узнал, что они собираются убежать с цирком. Циркачам не хотелось возиться с этой кучей ребят, и телефонный звонок в полицейский участок расстроил всю затею. Взвод в десять полисменов был отряжен на место действия арестовать мальчуганов за нахождение на улице позже установленного часа. Полисмены окружили костер и в темноте тихо поползли к нему. По сигналу они кинулись вперед, запустив руки в кучу мальчишек, как в корзинку с кишащими угрями.

Я ничего не знал о вызове полиции, и, когда вдруг со всех сторон высыпали «быки» в шлемах с медными пуговицами и каждый протянул вперед руки, я потерял душевное равновесие — остался только автоматический процесс бе-

га. И я побежал! Я даже не сознавал, что бегу. Я ничего вообще не сознавал, все это произошло чисто автоматически. Я не был бродягой. Я был гражданин этой общины. Это был мой город, здесь был мой дом. Я ни в чем не провинился. Я был студент университета. Мое имя даже печаталось в газетах. Я носил приличный костюм, в котором ни разу не спал. И все же я побежал — слепо, безумно, как вспугнутая лань. И бежал целый квартал. Когда я пришел в себя, я заметил, что все еще бегу. Мне потребовалось серьезное напряжение воли, чтобы остановить свои ноги.

Нет. К этому я никогда не привыкну. Это сильнее меня. Когда «бык» приближается — я бегу! Кроме того, у меня несчастный дар вечно попадать в тюрьму. С той поры, когда я перестал быть бродягой, я чаще попадал в тюрьму, чем во время скитаний. В одно воскресное утро я поехал с одной молодой девицей покататься на велосипеде. Не успели мы выехать за город, как нас арестовали за то, что мы обогнали какого-то пешехода на тротуаре. Я решаю впредь быть осторожнее. В следующий раз я выехал на велосипеде ночью — и у меня закапризничал ацетиленовый фонарь. Я ласково лелею умирающий огонек, памятуя об обязательном постановлении. Я тороплюсь, но

еду шагом улитки, чтобы не загасить умирающее пламя. Я достиг границы города; я за пределами юрисдикции обязательных постановлений; я начинаю гнать вовсю, наверстывая потерянное время. Спустя полмили меня сцапал «бык», и на следующее утро я уже вношу залог в полицейский суд. Город вероломно раздвинул свои границы на добрую милю, я этого не знал, только и всего. Памятуя свое неотъемлемое право мирно собираться и свободно произносить речи, я стал однажды на ящик из-под мыла с намерением развить свои экономические взгляды перед собравшейся публикой — и вот «бык» стаскивает меня с ящика и отводит в городскую тюрьму, откуда меня выпускают на поруки. В Корее меня арестовывали чуть не каждый день. То же самое и в Маньчжурии. В последнюю свою поездку в Японию я попал в тюрьму по подозрению, будто я русский шпион. В действительности этого не было, но в тюрьме я все-таки посидел. Я безнадежен. Очевидно, мне еще суждено сыграть роль Шильонского узника. Это фатально!

Однажды я загипнотизировал «быка» на Бостонском Выгоне. Дело было за полночь, и он разделал меня под орех. Но перед тем как отпустить, он вытащил серебряную монетку в

четверть доллара и дал мне адрес ресторана, открытого всю ночь. Потом, помню, попался мне «бык» в Бристоле, штат Нью-Джерси; он поймал меня и отпустил, а у него было достаточно поводов посадить меня в тюрьму. Я нанес ему такой удар, каких он не получал, вероятно, за всю свою жизнь. Случилось это так. Около полуночи я сел на товарный поезд, выехавший из Филадельфии. Кондуктор согнал меня. Поезд медленно полз в лабиринте путей и стрелок товарного двора. Я опять сел на поезд и опять был сброшен. Должен вам сказать, что на этом поезде приходилось сидеть «снаружи», ибо это был товарный поезд прямого сообщения и двери всех вагонов были заперты и запломбированы. Ссадив меня во второй раз, кондуктор прочел мне нотацию. Он объявил мне, что я рискую жизнью, ибо это скорый поезд и идет очень быстро. Я ответил, что привык к быстрой езде, но это не помогло делу. Он объявил, что не позволит мне совершить самоубийство, и я слез на полотно. Но я сел на поезд в третий раз, поместившись между буферами. Это были самые скаредные буфера, какие я видел в жизни — я имею в виду не настоящие буфера, — парные железные тарелки, соединенные брусом, ударяющиеся и трущиеся друг о друга, — я имею в виду

выступы, торчащие на концах товарных вагонов над буферами. Бродяга, едущий на буферах, стоит на таких выступах, ногой на каждом из них, а буфера находятся под его ногами.

Но выступы, на которых я в этот раз очутился, были не те удобные, широкие выступы, какие в ту пору обычно устраивались на концах товарных вагонов. Эти, напротив, были очень узкие — шириной не больше полутора дюймов. Их не хватало и на половину моей подошвы. При этом не за что было ухватиться руками. Правда, имелись концы двух товарных вагонов, но концы — это плоские перпендикулярные поверхности, гладкие стенки вагонов. Ни выступа, ни ручки! Я мог только упереться ладонями в стенки. Это было бы ничего, если бы выступы под моими ногами имели приличную ширину.

Выйдя со станции в Филадельфии, поезд начал ускорять ход, и теперь я понял, почему кондуктор говорил о самоубийстве. Поезд шел все быстрее и быстрее. Это был товарный поезд прямого сообщения, и ничто не могло остановить его. На этом участке Пенсильванской дороги рядом бегут четыре колеи, и моему восточному поезду не нужно было скрещиваться с западными поездами или бояться, что его нагонит восточный экспресс. Ему

была отведена особая колея. Положение мое было крайне опасным. Я стоял на узеньких выступах, отчаянно упираясь ладонями рук в плоскости перпендикулярных стенок двух вагонов. А вагоны эти двигались, и двигались индивидуально — дерг вверх, дерг вниз, дерг вперед, дерг назад! Видели ли вы когда-нибудь циркового наездника, когда он стоит на двух бегущих лошадях, ногой на каждой лошади? Вот это самое проделывал и я, но только с некоторыми различиями. Цирковой наездник держится за поводья, у меня в руках не было ничего; он опирается всей широкой подошвой своих ног, а я стоял на кончиках пальцев. Он сгибает ноги и тело, приобретая устойчивость свода и пользуясь низким положением центра тяжести, тогда как я должен был стоять отвесно и держать ноги вытянутыми; он едет лицом вперед, тогда как мне приходилось держать голову повернутой в сторону. И, наконец, упав, он может только покатиться по мягким опилкам, тогда как я был бы размолот в кашу колесами.

А поезд летел с ревом и визгом, бешено качаясь на закруглениях, с грохотом пробегая мосты; конец одного вагона подпрыгивал вверх, в то время как другой дергался вниз, или вправо в то время, как другой дергался влево. А я все время молил

Небо, чтобы поезд наконец остановился! Но он не останавливался. Ему не нужно было останавливаться! В первый, последний и единственный раз на «Дороге» я получил что мне следовало. Я оставил буфера и кое-как умудрился перебраться на вагонную лесенку. Это была трудная работа, ибо никогда я еще не встречал таких скаредных вагонов, вагонов до такой степени лишенных какой бы то ни было опоры для рук и ног.

Засвистел паровоз — и я почувствовал, что скорость уменьшается. Я знал, что поезд не остановится, но решил соскочить, если ход достаточно замедлится. В этом месте полотно закруглялось, пересекая мост над каналом, и проходило через город Бристоль. Совокупность этих обстоятельств вынуждала машиниста к медленному ходу. Я уцепился за боковую лесенку и ждал. Я не знал, что мы приближаемся к Бристолю, не знал, чем было вызвано замедление хода. Я знал только, что мне нужно соскочить! Напрягая глаза, я искал в темноте перекрестка, на котором можно было бы спрыгнуть. Я довольно низко висел на лесенке. Прежде чем мой вагон попал в город, паровоз уже прошел станцию, и я почувствовал, что он ускорил ход.

Показалась улица. Было слишком темно, нель-

зя было ни определить ее ширину, ни разглядеть, что находится на другой стороне. Мне требовалось только одно: остаться на ногах после того, как я соскочу. Я соскочил влево. Но это только легко говорится. «Соскочил» значит вот что: прежде всего, держась за боковую лесенку, я выкинул свое тело вперед, насколько мог, в направлении хода поезда — это, чтобы как можно больше откинуться назад при соскакивании. Затем я стал откидываться назад, назад изо всей мочи, отпустив поезд, и перестал держаться, запрокинувшись назад, словно хотел удариться затылком оземь. Все это для того, чтобы как можно больше нейтрализовать инерцию, сообщенную поездом моему телу. В момент, когда мои ноги коснулись земли, тело мое висело в воздухе под углом в сорок пять градусов к горизонту. До некоторой степени я уменьшил свою инерцию, ибо когда ноги мои ударились оземь, я не треснулся тотчас же ничком; вместо этого мое тело поднялось, заняв отвесное положение, и начало наклоняться вперед. Туловище мое в сущности еще сохраняло инерцию, ноги же, прикоснувшись к земле, потеряли ее. Эту утраченную инерцию ног мне пришлось восстановить, поднимая их как можно быстрее и мчась вперед, дабы они оставались под

моим летящим вперед туловищем. В результате мои ноги отбивали быструю и мелкую дробь по мостовой. Я не смел остановить их. Если бы я остановил их, я стремглав полетел бы ничком наземь. Я должен был продолжать бег.

Я представлял собою живой снаряд, озабоченный тем, что находится на другой стороне улицы, и ласкал себя надеждой, что там не окажется стены или телеграфного столба. И вот я на что-то наткнулся. С ужасом я узнал этот предмет за мгновение до катастрофы — представьте себе, «бык» вырос передо мной в темноте! Оба мы полетели на землю, перевернувшись несколько раз; и такова была автоматичность этого несчастного создания, что в момент столкновения он протянул руку, сцапал меня и не отпускал. Оба мы сильно расшиблись, и он, придя в себя, держал в руках бродягу, кроткого, как агнец.

Если бы у этого «быка» было воображение, он должен был принять меня за выходца с другой планеты, за человека с Марса, только что прилетевшего; в темноте он не видел, что я соскочил с поезда. И в самом деле первые его слова были:

— Откуда тебя черт принес? — А следующие (хотя я еще и не успел ответить и на первые): — Тебя надо запереть в каталажку!

Последнее, я убежден, он также сказал машинально. В сущности, это был добрый «бык», ибо, когда я ему рассказал мою «басню» и помог почиститься, он дал мне отсрочку до следующего товарного поезда, чтобы я мог убраться из города. Я поставил два условия: во-первых, чтобы этот товарный поезд направлялся на восток, и, во-вторых, чтобы это не был товарный поезд с запертыми и запломбированными дверьми. На это он согласился. Таким образом, по условиям «Бристольского» договора, я избежал каталажки.

Помню другую ночь в этой части страны, когда я счастливо миновал другого «быка». Вот как это произошло. Я жил в общественных конюшнях в Вашингтоне. В моем распоряжении находилось стойло и бесчисленное множество попон. За мою роскошную квартиру я обязан был чистить каждое утро нескольких лошадей. Если бы не «быки», я и сейчас находился бы в этой чудесной должности.

Однажды вечером, около девяти часов, я вернулся в конюшню, собираясь лечь спать, и застал игру в крап в полном разгаре. День был базарный, все негры были при деньгах. Нужно вам объяснить обычаи края. Конюшня выходила на две улицы. Я вошел с фасада, прошел через

контору и вышел в проулок между двумя рядами стойл, тянувшихся во всю длину строения и открывавшихся проходом на другую улицу. Приблизительно посередине этого проулка, под газовой горелкой, между рядами лошадей, собралось десятка четыре негров. Я пристал к ним в качестве зрителя. У меня не было ни гроша, и я не мог играть. Один из негров метал банк. Ему везло, и после каждой сдачи он удваивал ставку. На полу лежали деньги самых разнообразных наименований. Зрелище было восхитительное! После каждого «банка» все возрастали шансы следующих банкометов. Всеобщее возбуждение достигло крайних пределов. И как раз в это мгновение раздался грубый удар в огромные двери, открывавшиеся на заднюю улицу.

Несколько негров кинулось в противоположную сторону. Я тоже кинулся бежать, но на минуту приостановился и сгреб все деньги, валявшиеся на полу. Это не было воровство — просто обычай. Всякий, кто не бежал, брал деньги. Дверь с треском распахнулась, и в помещение ворвался отряд «быков». Мы кинулись в другую сторону. Кругом царила тьма, узкая дверь не хотела выпустить на улицу всех разом. Образовался затор. Один негр прорвался в окно, сорвав с собой подоконник, за

ним последовали другие. Между тем в тылу у нас «быки» хватали отставших. Я и огромный негр одновременно бросились к дверям. Он был сильнее, без труда оттолкнул меня и выбежал первый. В следующее же мгновение дубинка обрушилась ему на голову, и он упал, как вол. Снаружи нас поджидал другой отряд полицейских. Они знали, что им не остановить бурного натиска бегущих, и пустили в ход дубинки. Я споткнулся об упавшего негра, который оттолкнул меня у дверей, увернулся от удара дубинки, нырнул между ногами «быка» и очутился на свободе. Ну и бежал же я! Впереди меня мчался сухопарый мулат, и я последовал за ним. Он лучше меня знал город, и я понимал, что в той стороне, куда он бежит, лежит спасение. Он же принял меня за «быка». Он даже не оглядывался. Он просто бежал. Легкие у меня были крепкие, я не отставал от него и едва не уморил его бегом. Наконец он споткнулся, упал на камни и сдался мне. И когда он узнал, что я не «бык», то меня спасло только то, что он выбился из последних сил.

Вот почему я убрался из Вашингтона — не из-за этого мулата, а из-за «быков». Я отправился на станцию и вскочил на первую площадку экспресса Пенсильванской железной дороги. Когда

поезд развил скорость, во мне зашевелились мрачные предчувствия. Это была четырехколейная железная дорога, и паровозы на ней брали воду на ходу. Бродяги неизменно предупреждали меня никогда не садиться на слепые площадки поездов, паровозы которых берут воду на ходу. Позвольте объяснить вам, в чем дело. Между рельсами бегут неглубокие металлические желоба. Когда паровоз на полном ходу пробегает над этими желобами, вниз опускается шланг, по которому вода из желоба по этому наклонному шлангу идет в тендер.

Между Вашингтоном и Балтимором, сидя на «слепой» площадке вагона, я заметил тонкую струю воды, поднявшуюся в воздух. Она была довольно безвредна. Ага, подумал я, это выдумка, будто забирание воды на ходу опасно для бродяги, находящегося на первой площадке! Как может быть опасна эта маленькая струйка? Я начал восхищаться. Вот это железная дорога! Куда годятся жалкие, первобытные дороги запада? Тут тендер наполнился, даже не добежав до конца желоба. И вдруг целый водопад перелился через котел тендера прямо на меня! Я промок до нитки, точно упал за борт в море.

Поезд подкатил к Балтимору. Как это часто бы-

вает в больших городах американского востока, железная дорога проходила ниже уровня мостовой, на дне огромной выемки. Когда поезд начал подходить к освещенному депо, я скорчился и съежился как только мог на своей площадке. Но железнодорожный «бык» увидел меня и пустился за мной в погоню. К нему присоединились два других. Я пробежал депо, выскочил на полотно и попал в какую-то западню. По обе стороны вздымались высокие стены выемки, и если бы я, попробовав подняться по откосу, сорвался, то обязательно попал бы в тесные объятия «быков». Я продолжал бежать, осматривая стены выемки и ища удобного местечка, чтобы выбраться. Наконец, такое местечко мне попалось, когда я миновал мост, соединявший две верхних улицы. Цепляясь руками и ногами, я стал подниматься по крутому скату. Три железнодорожных «быка» тем же путем следовали за мной. Наверху я увидел, что нахожусь на пустыре. С одной стороны его тянулась низкая стенка, отделявшая пустырь от улицы. Времени изучать положение не оставалось — «быки» гнались за мной по пятам! Я побежал к стенке и вскочил на нее. И здесь меня ожидал величайший сюрприз. Мы привыкли думать, что одна сторона стены такой

же высоты, как и другая. Но с этой стеной дело обстояло иначе. Видите ли, пустырь находился на значительно более высоком уровне, чем улица. На моей стороне стена была низкая, но на другой стороне… словом, когда я соскочил со стены, мне показалось, что я лечу в бездну. И как раз подо мной на тротуаре, в свете уличного фонаря, красовался «бык». Я думаю, до тротуара было не больше девяти или десяти футов; но мне, пораженному ужасом, это расстояние показалось, по меньшей мере, вдвое больше.

Выпрямившись в воздухе, я стал на землю. В первый момент мне казалось, что я лечу на «быка». Я мазнул его своим пиджаком, и ноги мои с треском ударились о тротуар. Удивительно, как он не упал замертво — он не видел и не слышал меня! Я должен был показаться ему человеком с Марса! Он подскочил и шарахнулся от меня, как лошадь от автомобиля, но сейчас же бросился за мной. Я не стал останавливаться для объяснений. Я предоставил это моим преследователям, довольно неуклюже спрыгивавшим со стены. Погоня возобновилась. Я пробежал одну улицу, потом другую, шмыгнул в переулок и наконец улизнул.

Истратив часть денег, попавших в мой карман

в карточной сумятице, и убив часок в кабачке, я вернулся к железнодорожной выемке за фонарями депо и стал ждать поезда. Я успел остыть и в своем насквозь промокшем платье отчаянно дрожал. Но вот к станции подошел поезд. Я спрятался в темноте и успешно вскочил на него, когда он тронулся, на этот раз благоразумно избрав вторую площадку. Теперь я мог не бояться водопада. Поезд пробежал сорок миль до первой остановки. Я соскочил у освещенной станции, которая показалась мне странно знакомой: оказалось, я вернулся в Вашингтон! Каким-то образом в пылу балтиморской гонки, бегая по незнакомым улицам, виляя, изворачиваясь и лавируя, я спутал направления и сел в обратный поезд. Я провел бессонную ночь, промок до нитки, бегал от погони, как безумный, и за все свои труды прибыл обратно в то место, откуда выехал. О нет, жизнь на «Дороге» не сплошная масленица. Но я не стал возвращаться в конюшню. Я довольно недурно поживился и не имел желания отчитываться перед неграми. Поэтому я «поймал» следующий поезд и завтракал уже в Балтиморе.

Там, где расходятся дороги

Ах, значит, я должен уехать отсюда,
А ты, любовь моя, останешься здесь!

Народная песня

Лицо певца поражало своим невинным, ясным выражением. Глаза его смотрели открыто и весело. Он подался вперед, добавил воды в котелок с варившимися бобами, затем взял горящую головню из костра и стал ею отгонять собак, теснившихся вокруг ящика со съестными припасами. У него были голубые глаза, длинные золотистого оттенка волосы и привлекательное лицо.

Сгрудившиеся сосны словно снеговыми шапками окружали стоянку и отделяли ее от всего остального мира. Над соснами поднимался молодой месяц, и едва-едва намечался его рог. В небе было ясно, и звезды переливались многоцветными огнями. Зеленовато-белые полосы возвещали скорый расцвет северного сияния на юго-востоке.

На медвежьей шкуре, заменявшей постель, лежали двое мужчин. Сосновые ветки отделяли мех от снега. Одеяла были скатаны. Для защиты от ветра и холода за спинами людей между двумя деревьями под углом к земле в 45 градусов был натянут кусок полотна. Кроме того, что навес защищал от ветра, он задерживал еще тепло костра и отбрасывал его вниз, на медвежью шкуру. Третий мужчина, почти вплотную придвинувшись к огню и к свету, сидел на санях и чинил мокасины. Куча мерзлого песка справа указывала на то место, где люди работали ежедневно с утра до вечера в поисках золотой жилы. Слева стояли четыре пары лыж, говоривших о способе передвижения, которым пользовались золотоискатели.

Как-то странно и вместе с тем трогательно звучала песня под студеным северным небом. Однако она не повышала настроения людей, смертельно уставших за целый день и присевших отдохнуть к огню. Напротив, она вселяла тоску в сердца, вызывая какое-то особое ноющее чувство, несколько напоминающее физический голод. И это чувство уносило их беспокойные мысли далеко на юг через безграничное снежное пространство, туда, где всегда так много тепла

и света.

— Зигмунд, да перестаньте вы петь! — взмолился один из его товарищей.

Он судорожно, со страдальческим видом сжал руки, но никто не видел этого, так как он скрыл их в складках медвежьей шкуры.

— А почему, Дэйв Верц, мне не петь? — спросил Зигмунд. — Почему мне не петь, раз мне весело?

— Какое там веселье! У вас нет для этого ровно никакого повода, так что и петь не стоит. Господи боже мой, да оглянитесь вокруг себя, подумайте о той отвратительной пище, которой мы уже целый год засоряем наши желудки. Подумайте о том, что мы живем, как скоты, и работаем, как скоты.

Золотоволосый Зигмунд умолк, оглянулся вокруг и увидел заиндевевших собак и морозный пар, выдыхаемый людьми и животными.

— А все-таки не понимаю, почему мне не может быть весело! — он рассмеялся. — Тут все хорошо; мне нравится. Что же до пищи… — Он с видимым удовольствием пощупал свои напрягшиеся мускулы. — Может быть, и правда, что мы и живем и работаем, как скоты, но зато мы зарабатываем по-царски. Ведь каждое ведерко дает нам не меньше двадцати долларов. Чем здесь не Клондайк?

И вы это прекрасно знаете. Это знает и Джим Хоз, знает и молчит. Молчит и Хичкок. Точно старуха, чинит он мокасины и терпеливо ждет своего времени. Только вы бунтуете и никак не можете дождаться весны. Вот постойте: придет весна, и все мы будем богаче иного короля. Ну чего торопиться? Конечно, вам хочется как можно скорее вернуться в Штаты, а разве мне этого не хочется? И мне хочется, и вам хочется, и всем нам хочется, да только надо выждать, а ждать не трудно, когда видишь, как с каждым днем у тебя все больше золота, — золото желтое и светлое, как масло. Вы, Дэйв, положительно, как ребенок! По-моему, надо ждать, а пока что — петь. Я и пою:

Только год промчится, и лоза созреет,
Я вернусь, любовь моя, сюда.
Если верным твое сердце будет,
Ты моею станешь навсегда.
Только год промчится, и минует время,
Я вернусь, красавица, домой.
Если и тогда ты верной будешь,
Мы сыграем свадебку с тобой.

Волкоподобные собаки, ощетинив шерсть,

рыча и воя, все ближе придвигались к теплу. Послышался шум, будто кто-то просеивал мелкий сахар. Зигмунд, поняв, что кто-то подходит на лыжах, оборвал песню и снова бросил в собак горящей головней.

В полосе света, отбрасываемой костром, появилась индианка, закутанная в мех. Она отбросила лыжи, откинула капюшон из беличьих шкурок, расстегнула парку и подошла ближе к огню. Зигмунд и остальные тепло приветствовали ее, а Хичкок немного подвинулся и предложил девушке сесть рядом.

— Что слышно, Сипсу? — спросил он на чинукском наречии. — Я слышал, будто у вас голодают. А что говорит шаман? Чем он объясняет плохую охоту и отсутствие оленей?

— Да, охота в этом году плохая, скоро придется кормиться собаками. Наш шаман нашел причину несчастья и завтра принесет очистительную жертву.

— А кого же он принесет в жертву? Вероятно, младенца или какого-нибудь выжившего из ума старика, который живет в тягость и себе, и всем вам?

— Нет, на этот раз ты ошибся. Нужда у нас большая, — жертва нужна большая. Шаман решил

принести в жертву не кого иного, как дочь вождя — меня.

— Господи! — с усилием воскликнул Хичкок. Видно было по всему, что сообщение девушки чрезвычайно поразило его.

— Мы с вами теперь там, где расходятся дороги, — спокойно произнесла девушка. — Мы живем очень близко друг от друга, и вот я пришла в последний раз взглянуть на вас.

Она была первобытным существом, и сообразно этому были примитивны ее взгляды и привычки. Она смотрела очень просто на жизнь, и в ее глазах приношение в жертву человека было в порядке вещей. Силы — те силы, которые управляют светом и тьмой, теплом и холодом, расцветом и увяданием, — разгневались. Их нужно умилостивить. Об этом желании богов говорило многое: и смерть в воде под подломившимся льдом, и гибель в лапах у медведя, и смертельная болезнь, постигавшая человека в его жилище. Сначала появлялся сухой, частый кашель, а затем жизнь из легких уходила через рот и нос. Вот каким образом боги выражали свой гнев, а через шаманов давали знать о своей воле. Шаманы же мудры и никогда не ошибаются. Все на свете просто и понятно. В конце концов — смерть! Все дело лишь

в том, что смерть эта не всегда приходит одним и тем же путем. Но происходит смерть от одного и того же — от всесильного и непостижимого.

Но Хичкок был более культурным человеком, чем Сипсу; он не признавал подавляющей силы авторитета и потому сказал:

— Нет, Сипсу, это никуда не годится. Ты молода и еще не жила. Ваш шаман глуп, если он мог сделать такой ужасный выбор. Этого не будет!

Девушка спокойно улыбнулась и так же спокойно ответила:

— Жизнь многим нехороша. Плоха она тем, что одних людей она создала белыми, а других — красными. Не хороша и тем, что скрестила наши пути, поставила нас рядом, а теперь снова разделяет. Что мы можем поделать? Раньше, бывало, вот в такие самые голодные дни, как теперь, к нам заходили ваши братья — белые, их было три человека, и они подобно вам говорили, что этого не будет. Пока они были, этого не было. Но они умерли, и все у нас пошло по-прежнему.

Хичкок покачал головой, повернулся к товарищам и сказал:

— Вы слышали, господа, что рассказала Сипсу? Ведь индейцы собираются принести ее в жертву. Что вы скажете?

Верц и Хоз взглянули друг на друга, но ничего не сказали. Зигмунд сидел, склонив голову, и ласкал собаку, прилегшую у его ног; он привез эту собаку издалека, очень любил ее и уделял ей много внимания. Та девушка, о которой он часто думал и часто вспоминал, портрет которой висел на его груди и любовь которой давала ему силы в самые тяжелые минуты, подарила ему эту собаку — ее последнее прости — перед отъездом его на Далекий Север.

— Ну, что скажете? — повторил Хичкок.

— Может быть, это не совсем так, — задумчиво произнес Хоз. — Очень может быть, что это басня — ничего больше!

— Оставьте!

Такое явное равнодушие к судьбе человека стало выводить его из себя.

— Но что вы намерены делать, если это окажется не басней, а действительностью?

— Я лично не вижу никакого повода для нашего вмешательства, — сказал Верц. — Раз они решили, они и сделают по-своему. У них этот обычай существовал еще до нас, и, может быть, на этом основана вся их религиозная жизнь. Нас это нисколько не касается. У нас одно дело: добывать золото, добыть его в нужном количестве, а затем

уехать из этой Богом проклятой страны. Кроме зверей, здесь никто жить не может — кроме зверей и этих дьяволов. Но чем эти дьяволы лучше зверей? Помните, господа, что самая опасная штука на свете — глупость!

— Вот с этим я вполне согласен! — воскликнул Хоз. — Здесь нас только четверо, и мы находимся на расстоянии трехсот миль от Юкона, то есть от наших. Что мы можем поделать с полусотней дикарей? Наши убеждения не помогут. Если мы затеем ссору, они укокошат нас. И чего ради нам беспокоиться? Золото здесь есть, собирать его можно — и слава Богу! Я вполне согласен с Дэйвом.

— Ну, конечно! — сказал Дэйв Верц.

Хичкок с возмущенным видом повернулся к Зигмунду, который продолжал тихонько напевать:

Только год промчится, и лоза созреет,
Я вернусь, любовь моя, сюда.

— Что ж, Хичкок, — произнес он наконец, — я согласен с ними. Что мы можем поделать, если на нас нападут пятьдесят дьяволов? Один дружный натиск с их стороны — и нам конец! Какая польза от этого? Девушке все равно не миновать смерти.

Я понимаю, бороться с ними, если вы чувствуете за собой силу… А так!..

— Сила есть! — прервал его Хичкок. — Четверо белых во сто раз сильнее четырехсот красных. Подумайте же о девушке.

Зигмунд продолжал гладить собаку.

— Вот именно, я и думаю о девушке. У этой девушки голубые, как летнее небо, глаза. Ее смех звучит, как летняя волна; у нее такие же золотые волосы, как и у меня, а косы толщиной с мою руку. Она живет очень далеко отсюда, в теплой, мягкой стране — и ждет меня. Она ждет так долго, что я не имею права бросить работу теперь, когда набрал уже так много золота.

— А вот мне было бы страшно и стыдно смотреть в голубые глаза, раз я знаю, что из-за меня погибли черные глаза.

Хичкок произнес это с явной насмешкой. Он всегда был способен к подвигу, любил дело ради дела, независимо от того, какую пользу он лично извлечет из него.

Зигмунд с суровым выражением покачал головой.

— Напрасно, Хичкок, вы стали бы убеждать меня. Я еще не сошел с ума. Следует считаться и с совестью, и с фактами. Факты таковы, что я не

попусту приехал в эту варварскую страну. С другой же стороны, я считаю, что не стоит затевать скандал. Конечно, жаль девушку, но необходимо также считаться с их традициями. Мы чисто случайно попали сюда именно в это время. Поймите же, что они точно так же приносили в жертву людей много тысяч лет тому назад, теперь так поступают и вряд ли когда-либо откажутся от этого. Я не понимаю, зачем вам волноваться, раз у нас с ними разные расы. Вы извините, Хичкок, но я вполне согласен с Верцом и Хозом.

Собаки насторожились и зарычали. Зигмунд замолчал и стал прислушиваться.

Один за другим появлялись индейцы — высокие, страшные, безмолвные и похожие на тени в мехах. Вдруг послышались резкие, гортанные звуки: это шаман заговорил с Сипсу. Его лицо было причудливо раскрашено, а с плеч свисала волчья шкура с оскаленными клыками и свирепой мордой.

Между белыми и красными еще не было произнесено ни слова. Обе стороны, видимо, старались сохранить мир. Сипсу незаметно подошла к своим лыжам.

— Прощайте, Хичкок, — сказала девушка, но тот молчал и даже не кивнул головой.

В отличие от всех белых, приезжавших на Север, Хичкок никогда не стремился к любовным утехам у местных женщин. Сипсу? Да, он с большим удовольствием встречался с нею, болтал у костра, но делал это не как мужчина, который ясно сознает, что он — мужчина, а она женщина. Точно так взрослый болтает с ребенком. Подобно ему поступил бы всякий другой человек, пожелавший рассеять однообразие унылого, серого существования. Это было все или почти все, ибо сюда примешивались и чисто рыцарские побуждения. Правда, он был американец, но при всем том его душа возмущалась против той участи, которая ожидала невинную индианку.

Он сидел молча, подавшись вперед, и мгновениями казался живым олицетворением стихийной силы — такой же великой, как и его раса. Он прислушивался к тому, что происходит в нем.

Верц и Хоз время от времени с виноватым выражением поглядывали на него. Та же видимая неловкость чувствовалась в поведении Зигмунда. Хичкок производил впечатление большой непоколебимой силы, и в существовании этой силы его товарищи неоднократно убеждались во многих случаях их совместной жизни. Вот почему они с известным любопытством и с нескрывае-

мым беспокойством следили за ним.

Напряженное молчание продолжалось очень долго. Уже почти потух костер, когда Верц зевнул, стал потягиваться и, наконец, заявил, что пора спать. Тут Хичкок встал.

— Вы — трусы, и я не хочу больше знать вас. — Он говорил очень тихо, почти спокойно, но в каждом его слове звучала сила.

— Я предлагаю делиться! — продолжал он. — Сделаем это так, как будет наиболее выгодно для вас. Согласно нашим условиям, я имею право на четвертую часть, значит, на мою долю приходится 25–30 унций золота. Дайте весы, и мы сейчас же займемся дележкой. Зигмунд тем временем отмерит мне четвертую часть провизии. Кроме того, на мою долю приходится четыре собаки, но мне мало будет четырех, и я предлагаю вам часть своих рабочих принадлежностей за лишних собак. Если вы хотите, то, кроме этого, могу дать вам шесть-семь унций золота. Согласны?

Зигмунд, Верц и Хоз отошли в сторону и стали совещаться. Через некоторое время выступил Зигмунд:

— Хичкок, раздел мы произведем вполне правильно и честно; нас здесь четверо, и каждый из нас имеет право на четвертую часть, ни больше

ни меньше. Конечно, это зависит от вас — взять свое или оставить. Опять же, больше четырех собак мы не можем дать, так как сами очень нуждаемся в них. Если вы хотите оставить здесь ваши рудничные принадлежности, оставляйте. Одним словом, поступайте так, как хотите.

— Правильно, и комар носа не подточит, — с усмешкой произнес Хичкок. — Ну что ж, пусть будет так. Согласен. Я очень тороплюсь и не намерен тащить с собой всякую дрянь.

Тут же на месте и без дальнейших слов приступили к дележу, после чего Хичкок уложил все свои скудные пожитки, прикрепил их к задку саней и запряг своих четырех собак. К своим рабочим инструментам он не прикасался, но вместо этого с несколько вызывающим видом бросил в сани с полдюжины постромков. Однако товарищи не воспротивились этому, они лишь пожали плечами и следили за Хичкоком до тех пор, пока он не скрылся из виду.

Человек полз по снегу на четвереньках. По обе стороны неясно вырисовывались очертания хижин. Время от времени доносился жалобный вой собак. Вдруг к ползущему человеку совсем близко подошла собака, но, казалось, он не обратил на нее никакого внимания. Тогда собака подошла

еще ближе и потянула воздух. Лишь тогда, когда она коснулась мордой человека, последний подался вперед и схватил собаку за горло. Та замертво упала на землю, а Хичкок пополз дальше.

Таким образом добравшись до вигвама вождя, Хичкок долго лежал, чутко прислушиваясь ко всему тому, что происходит внутри, и старался определить, где находится Сипсу. Судя по шуму и возбужденным голосам, там собралось много народу.

Услышав, наконец, знакомый голос девушки, Хичкок по-прежнему бесшумно пополз дальше и остановился там, где как раз напротив него, за оленьей шкурой находилась Сипсу. Выждав некоторое время, он стал рыть яму в снегу и после того просунул голову внутрь палатки. Как только внутреннее тепло коснулось его лица, он замер.

Большая часть его тела осталась снаружи; он не решался поднять голову, ничего не видел и только по запаху мог определить, что где-то близко находится груда кож. Желая убедиться в этом, он протянул вперед руку и нащупал кожи. С другой стороны он почувствовал прикосновение меховой одежды.

«Вероятно, это Сипсу».

Он решился на риск. Несколько поодаль горячо

спорили вождь и шаман, а еще дальше, в углу, жалобно хныкал голодный ребенок. Хичкок медленно и осторожно поднял голову и слегка коснулся меховой одежды. Он стал прислушиваться к дыханию и тотчас же определил, что дышит женщина. Тогда он осторожно, но довольно сильно нажал на мех и почувствовал, как под его прикосновением вздрогнуло женское тело. Он выждал, пока трепетная рука скользнула вниз и коснулась его волос. Спустя мгновение женская рука уже проводила по его лицу — и его глаза встретились с глазами Сипсу.

Она ни на секунду ни переставала владеть собой; словно случайно переменив позу, она облокотилась на груду шкур и стала приводить в порядок свою парку. Таким образом она незаметно скрыла его. Несколько выждав, она опять, будто случайно, склонилась над ним, и ухо ее слегка прижалось к губам Хичкока. Он шепнул:

— Воспользуйся первой удобной минутой, выйди из дому и иди по снегу до той группы сосен, которая стоит на изгибе реки. Там я буду ждать тебя; там стоят мои сани. Сегодня ночью мы уедем на Юкон. Постарайся захватить с собой собак.

Сипсу, словно не веря всему тому, что должно было случиться, несколько раз отрицательно

покачала головой, но при этом ее глаза радостно заблестели. Она гордилась тем вниманием, которое ей выражал белый человек. Дочь своего племени, она не знала, как можно ослушаться мужчину, и вот почему, когда Хичкок повелительным тоном повторил: «Я буду ждать тебя», она ничего не сказала, но Хичкок знал, что она исполнит его приказание.

— Не забудь же про собак, — сказал он в последнюю минуту. — Я жду тебя. Старайся не терять лишнего времени. Мрак скоро сменится светом, а ради тебя заря завтра не задержится.

Спустя полчаса Хичкок ждал Сипсу возле саней и, желая согреться, топал ногами и размахивал во все стороны руками. Вдруг он увидел Сипсу, которая вела с собой двух собак. Завидя чужих, его собаки ощетинились, зарычали, и Хичкоку нелегко было успокоить их.

Его сани стояли довольно близко к индейскому лагерю, к тому же на наветренной стороне, и можно было опасаться, что ветер доносит в лагерь каждый звук.

— Запрягай собак, — совсем тихо приказал Хичкок. — Ставь их в хвосте, впереди пойдут мои.

Едва только она принялась выполнять его приказ, как собаки Хичкока с прежним остерве-

нением набросились на чужаков. Несмотря на то что Хичкок с поднятым ружьем метался во все стороны, неугомонный собачий вой разносился по всему полю.

— Ну, теперь у нас будет даже слишком много собак, — мрачно сказал Хичкок и вооружился топором. — Как только я брошу тебе собаку, ты немедленно запрягай ее.

Он сделал несколько шагов вперед и остановился, выжидая, между двумя соснами. Он знал, что индейские собаки, встревоженные поднявшимся шумом, не замедлят явиться сюда. Он не ошибся. На снегу вскоре обозначилось темное, быстро растущее пятно — это была первая собака, которая с волчьим воем неслась впереди остальных собак и указывала им направление.

Хичкок стоял за деревьями в тени. Когда собака оказалась на расстоянии нескольких футов от него, он подался вперед, схватил ее за передние лапы, бросил на землю, ударил меж ушей и тотчас же швырнул в сторону Сипсу. В то время как девушка запрягала собак, Хичкок с топором в руках защищал проход между деревьями. Казалось, свирепые индейские собаки наступали со всех сторон, ибо отовсюду сверкали глаза и оскаленные белые клыки. Сипсу работала ловко

и быстро, но не успела она припрячь первую индейскую собаку, как Хичкок оглушил уже вторую и точно так же швырнул Сипсу. Он повторял это до тех пор, пока в его упряжке не оказалось десять рассвирепевших собак. Только тогда он крикнул:

— Теперь хватит!

Но именно в это мгновение появился молодой индеец, который с удивительным проворством и ловкостью стал расталкивать собак, намереваясь подойти к саням. Хичкок ударил его прикладом, и тот упал сперва на колени, а затем на бок. Свидетелем этой сцены был бегущий вслед за ним шаман.

Хичкок приказал Сипсу гнать собак. Девушка гикнула, и собаки, точно сорвавшись с цепи, помчались вперед. Сипсу стоило больших усилий удержаться на высоко подскакивавших санях.

Наверное, боги разгневались на шамана, ибо поставили его на пути саней Хичкока. Передняя собака, задев лыжи шамана, сбросила его на землю, а остальные девять собак подмяли его под себя и протащили над ним сани. Однако он тотчас же вскочил на ноги, и неизвестно, на чьей стороне оказалась бы победа, если бы Сипсу не догадалась несколько раз ударить его тяжелым бичом по глазам. На помощь ей подоспел Хич-

кок и ударил его с такой силой, что несчастный индеец отлетел на несколько футов. После этого шаман вернулся в лагерь, умудренный опытом относительно силы кулака белого.

Рассказывая о случившемся вождю и совету старейшин, шаман испытывал большую ненависть ко всем белым людям.

— Ну, вставайте, лентяи, вставайте, довольно спать. Завтрак будет готов еще до того, как вы оденетесь.

Дэв Верц сбросил с себя меховое одеяло, приподнялся и зевнул.

Хоз потянулся и, обнажив худые руки, стал лениво потирать их.

— А любопытно знать, где провел эту ночь Хичкок? — спросил он, потянувшись за мокасинами.

Мокасины за ночь промерзли, и Хоз в носках, на цыпочках, подошел к огню, чтобы отогреть их.

— Он хорошо сделал, что уехал, — продолжал он. — Хотя, с другой стороны, он прекрасный и выносливый работник.

— Это правда. Только уж слишком любит командовать. Это его самый главный недостаток. Сипсу вряд ли легко будет с ним. Что-то он чересчур сильно заботится о ней. Подозрительно!

— Ну, ерунда! Ничего серьезного нет; Хичкок

часто поступает из принципа. На его взгляд, индейцы поступают неправильно. Нельзя спорить: конечно, это неправильно, но при всем том мы не имеем никакого основания вмешиваться в их дела. Пусть себе делают, что хотят. Напрасно Хичкок поторопился с дележом.

— Принципы — вещь хорошая, но в свое время и на своем месте. А кто едет на Аляску, тому лучше на время оставить принципы дома.

Верц подошел к товарищу и вместе с ним стал отогревать мокасины.

— А может быть, ему стоило помочь?

Зигмунд отрицательно покачал головой. Ему надо было следить за бурно кипящим кофе, во-первых, а во-вторых — поджарить мясо. При всем том он не мог отделаться от мысли о девушке с глазами, как летнее море. А думая о ней, он не мог не петь.

Его товарищи, перебросившись еще несколькими словами, умолкли. Уже было семь часов утра, но до рассвета оставалось еще добрых три часа. Погасло северное сияние, и среди глубокой темноты палатка была единственным оазисом света. На темном фоне резко и четко вырисовывались фигуры людей. Воспользовавшись гробовым молчанием, Зигмунд повысил голос

и очень громко запел последнюю строку своей любимой песенки:

Только год промчится, и лоза созреет…

Вдруг раздался стонущий залп ружейных выстрелов.

Хоз сгорбился, сделал мучительное усилие выпрямиться, но тотчас же замертво свалился на землю. Голова Верца свесилась на грудь, и он весь стал медленно опускаться; вдруг заметался, и на губах его показалась пена. А золотоволосый Зигмунд взмахнул руками и свалился поперек костра. Так и чудилось, что сейчас снова зазвучит его неоконченная песня…

Глаза шамана были так подбиты, что превратились в сплошное темное пятно. Он поссорился с вождем из-за ружья Верца. Кроме того, он позволил себе набрать бобов больше, чем следовало. Но главным образом ссора возникла из-за того, что он присвоил себе медвежью шкуру. Все вместе взятое явилось причиной очень дурного расположения духа шамана. Его настроение еще больше испортилось, когда, желая убить собаку Зигмунда, он погнался за ней, но по дороге споткнулся, упал в яму и вывихнул себе плечо.

Разграбив лагерь белых, индейцы вернулись

домой, и тогда среди женщин началось великое ликование.

Вскоре в соседний лес забрело стадо оленей, которое целиком было перебито индейскими охотниками; индейцы решили, что боги смилостивились, и с тех пор стали относиться к шаману, ставленнику богов, с еще большим уважением.

Спустя некоторое время после случившегося, собака, подарок золотоволосой девушки, пробралась в опустевший лагерь и всю ночь и весь день выла над своим мертвым господином. Затем она исчезла, а через несколько лет индейские охотники стали замечать странную перемену в породе волков. Перемена главным образом выразилась в оттенках шерсти, каких раньше ни у одного волка не замечалось.

На конце радуги

1

По двум причинам Малыш из Монтаны снял свою «форму» и мексиканские шпоры и отряхнул со своих ног пыль холмов Идахо. Во-первых, натиск крепкой, трезвой и серьезной цивилизации совершенно разрушил примитивные правила жизни западных скотоводов, а новое, утонченное общество отнеслось весьма и весьма недружелюбно к Малышу и ему подобным. Во-вторых, наступил один из тех моментов, когда вся раса поднялась и отодвинула свои границы на несколько тысяч миль назад. Таким образом, достигшее полной зрелости общество дало простор подрастающему поколению даже не имея этого в виду. Правду сказать, новая территория в значительной своей части была совершенно бесплодна; но все же несколько сот тысяч квадратных миль полярной земли явились райским откровением для тех, кто до сих пор задыхался у себя на родине.

К числу этих людей принадлежал Малыш из Монтаны. Отправившись на морской берег с

поспешностью, которую могла вызвать только погоня нескольких шерифов, он удачно сел на пароход, вышедший из Пюже-Саунда, и с грехом пополам перенес в третьем классе морскую болезнь и морское питание. Он высадился в Дайе в один из ранних весенних дней и ступил на берег желтый и истощенный, но с самоуверенным и энергичным выражением лица. Ознакомившись с ценами на собак, съестные припасы и снаряжение, а также узнав про пошлины, установленные двумя конкурирующими правительствами, он очень скоро понял, что это местечко ни в коем случае не может считаться Меккой для бедного человека.

Вот почему, не откладывая дела в долгий ящик, он живо принялся за жатву в том месте, где ничего не сеял. Между берегом и холмами скопилось несколько тысяч нервных пилигримов, и вот за этих-то пилигримов и взялся наш Малыш. Первым делом он открыл «фаро» в деревянном игорном доме, но ряд неприятностей вынудил его бросить это дело и отправиться дальше. Здесь он занялся продажей подковных гвоздей, которые продавал за доллар четыре штуки до тех пор, пока неожиданный «десант» из сотни бочек с такими же гвоздями не прервал этой выгодной торговли

и не заставил Малыша продать остаток ниже своей цены. Вскоре он поселился в Шип-Кэмп, организовал артель профессиональных грузчиков и сразу, в первый же день, поднял фрахт на десять центов за фунт.

В благодарность за это грузчики весьма благосклонно относились к его «фаро» и сквозь пальцы смотрели на некоторые неблаговидные приемы, благодаря которым значительная часть их заработка переходила в его руки. Но коммерческие повадки Малыша были слишком грязны для того, чтобы их долго терпеть, — вот почему грузчики однажды ночью напали на него, сожгли его хижину, разделили банк и отправили подальше с пустыми карманами.

Незадачливость почти всегда сопутствовала ему. Он вошел кое с кем в соглашение, договорившись переправлять через границу виски, причем заранее знал, что ему придется пользоваться для этого самыми подозрительными средствами, но по дороге растерял своих проводников-индейцев, и уже первая партия была конфискована конной полицией. Еще много других крайне неудачных попыток так обозлили его, что в продолжение двадцати страшных часов он терроризировал население озера Беннет, куда прибыл после своей

сделки. Конец его художествам на озере Беннет положила компания золотоискателей, которая приказала ему как можно скорее убраться подальше. Вообще говоря, Малыш всю жизнь относился с большим уважением к подобным приказам и на сей раз так спешно оставил поселок, что «случайно» оказался на санях с чужой запряжкой. Этот поступок был равносилен конокрадству в странах с более умеренным климатом. Малыш знал это и поэтому проехал мимо поселков между Беннетом и Тэгишем и остановился лишь за сто миль к северу.

Но должно же было так случиться, что наступала весна, и большинство наиболее богатых обитателей Доусона решили с последним льдом двинуться на юг. Он встретился с ними, много беседовал, запомнил их фамилии и поехал дальше. У него была прекрасная память и пылкое воображение. Что же касается правдивости, то этой чертой характера он никак не мог похвастать.

2

Жители Доусона, всегда жадные до новостей, издали увидели сани Малыша на Юконе и вышли навстречу гостю.

Нет, он не привез с собой газет. И не знал, был

ли повешен Дюрран. Не мог он ничего сообщить и о том человеке, который выиграл приз в День Благодарения. Он ровно ничего не слышал об американо-испанской войне, не знал, кто такой Дрейфус, но что касается О'Бриена… Как, разве они ничего не слышали об О'Бриене? Он утонул в Белом Коне. Единственный спасшийся был Ситка Чарлей. Джо Ледью? Ну, тот отморозил себе ноги, которые ему ампутировали в Пяти Пальцах. А Джек Дальтон? Погиб на «Морском Льве» вместе со всеми остальными. А Бэттлс? Погиб на «Картаджине» в Сеймурском Проходе, где из трехсот человек в живых осталось только двадцать. А Билл с Быстрых Вод? Провалился сквозь рыхлый лед вместе с шестью оперными артистками, которые сопровождали его. Губернатор Уэлш? Пропал вместе со всеми остальными на восьми парах саней близ Тридцатой Мили. Деверо? А кто это Деверо? Ах, почтальон! Застрелен индейцами около озера Марш.

И так далее.

Новости, привезенные Малышом, живо распространились по всему поселку. Множество людей толпились вокруг него, желая навести у него справки относительно своих друзей и попутчиков. Одни толкали других и в свою оче-

редь выталкивались из круга третьими; причем их удивление было столь велико, что они даже забывали должным образом выругаться. К тому времени, как Малыш из Монтаны достиг берега, вокруг него собралась толпа в несколько сот человек, одетых в меха. Близ Бараков он по-прежнему был в центре процессии, но наибольшее столпотворение случилось у здания Оперы, где произошла настоящая давка, и чуть ли не началась драка из-за желания поскорее узнать последние новости. Малыш со всех сторон слышал приглашения выпить с ним. Еще никогда до сих пор на Клондайке не принимали так радушно новичка, или, как их там называли, «ча-ча-квас'а». Весь Доусон переполнился всевозможными и разнообразными слухами. Еще ни разу на него не сваливалась подобная лавина несчастий. Его история не знала такого шквала бедствий. По словам Малыша, все искатели, отправившиеся весной на юг, погибли.

В поселке опустели буквально все дома и хижины. Все выбежали на улицу, горя страстным желанием найти и увидеть человека, который привез такое множество потрясающих новостей. Жена Беттлса, русская полукровка, в непередаваемом отчаянии уселась у своей печи и, качаясь

взад и вперед и из стороны в сторону, посыпала белоснежным пеплом свои волосы цвета воронова крыла. На Бараках до половины был спущен национальный флаг. Доусон глубоко и мрачно оплакивал своих покойников.

Собственно говоря, трудно было бы объяснить, чего ради Малыш затеял все это. Трудно найти хоть мало-мальски разумную или же хотя бы понятную причину. Можно лишь допустить, что в данном случае сыграло роль то обстоятельство, что этому человеку была органически чужда правда. Но, так или иначе, пять долгих дней вся округа была повергнута из-за него в ужас и горе, и в продолжение пяти дней он был единственным человеком, на котором сосредоточивалось всеобщее внимание. Поселок предоставил в его распоряжение лучший кров и обильную пищу. Салуны приглашали его распоряжаться их помещениями на полное его усмотрение. Охота за ним продолжалась с прежней настойчивостью. Лица, занимавшие самое высокое официальное положение, определенно заискивали перед ним, ожидая от него как можно больше исчерпывающих сведений, и дошло даже до того, что его чествовали в Бараках сам Константайн со своими ближайшими помощниками.

Так продолжалось вплоть до тех пор, пока в одно прекрасное утро в Доусон не прибыл Деверо, правительственный курьер, и не остановил своих утомленных собак у конторы Золотопромышленного Общества.

Он умер? Кто это сказал? Пусть ему перво-наперво дадут здоровый кусок жареной оленины, и он покажет всем, как он умер! Что такое? Губернатор Уэлш в настоящее время находится в Маленьком Лососе, а что касается О'Бриена, то он прибудет сюда с первой же водой! Умер? Пусть ему дадут кусок оленины, и он покажет им всем!

Тут Доусон снова весь загудел, как пчелиный улей. Национальный флаг над Бараками вновь поднялся до самой верхушки флаг-мачты. Жена Беттлса немедленно умылась и надела чистое платье. Все население выразило единодушное желание, чтобы малопочтенный Малыш из Монтаны как можно скорее скрылся с горизонта. И Малыш скрылся, как всегда, «случайно» оказавшись в санях с чужой запряжкой. Доусон огласился радостными криками при виде того, как Малыш пустился по Юкону, и от души пожелал твердокаменному грешнику быстрой езды и счастливого достижения крайней цели поездки. А вскоре после того хозяин запряжки хватился

своих собак, не нашел их, сделал об этом заявление Константайну и получил в помощь одного полисмена.

3

Наметив себе конечной целью Серкл-Сити и несясь по льду, который уже подавался под полозьями саней, Малыш из Монтаны пользовался тем, что дни стали гораздо длиннее, и гнал собак с раннего утра до позднего вечера. Он нисколько не сомневался в том, что владелец собак пустится за ним в погоню, и поэтому желал достигнуть американской территории еще до того, как вскроется вся река. Но уже к концу третьего дня он окончательно убедился, что ему ни в коем случае не обогнать весны. Юкон гудел и рычал под своими зимними оковами. Поневоле приходилось делать большие объезды, потому что санный путь проваливался чуть ли не на каждом шагу, а лед, находившийся в непрестанном движении, с громоподобным треском исчезал в образующихся ямах. Вода, проникая через бесчисленные полыньи, начала разливаться по всей поверхности льда, и к тому времени как Малыш достиг хижины дровосеков, которая стояла на самой стрелке, собаки уже начали спотыкаться и скорее плыли

по воде, нежели бежали по льду. Новый гость был весьма угрюмо принят двумя обитателями хижины, но, не обратив на это никакого внимания, тот начал распрягать собак и готовить себе пищу.

Доналд и Дэви представляли собой характернейшие образцы пограничных неудачников. Уроженцы Канады, всю свою жизнь проведшие в городе, они в один несчастный для них день решили реализовать все свое имущество — и отправились на Клондайк. И только теперь они почувствовали, до чего они не подходят для сих мест. Вечно голодные, неизменно грустные, страдая от невыносимой тоски по родине, они поступили на службу к Компании в качестве пильщиков дров для проезжающих судов, причем поставили условие, чтобы при первой возможности их отправили домой. Совершенно не считаясь с возможностями, которые всегда таятся в ледоходе, они открыто продемонстрировали свою полную беспомощность, выбрав своим постоянным жильем хижину на этом острове. Хотя Малыш был очень мало знаком с ледоходом на большой реке, тем не менее он с сомнением стал озираться вокруг и бросал весьма завистливые взгляды на противоположный берег, возвышающиеся скалы которого обещали надежную

защиту против льдов всего Северного океана.

Накормив собак и сам поев, он зажег трубку и начал бродить взад и вперед по берегу, желая найти какой-нибудь выход из создавшегося положения. Этот остров, подобно всем остальным вокруг, повышался по мере приближения к верхнему берегу. Именно тут Доналд и Дэви построили свою хижину и нарубили огромное количество дров. Далекий берег находился на расстоянии доброй мили, а между островом и ближайшим берегом залег канал шириной около ста ярдов. При первом взгляде на все это Малыш почувствовал непреодолимое желание немедленно запрячь собак и переправиться на другую сторону, но при более детальном рассмотрении местности он увидел быстрое течение воды, уже вылившейся на лед. Несколько ниже река делала крутой поворот на запад, и на этом месте легко можно было увидеть целый лабиринт маленьких островков.

«Вот где будет полный затор!», — заметил Малыш про себя.

С полдюжины саней, по всем данным, идущих на Доусон, неслись теперь по ледяной воде, направляясь к острову. Переправа по реке из опасной превратилась уже в просто невозмож-

ную, и путники с неимоверным трудом достигли твердой земли и подъехали по тропе к хижине дровосеков. Один из них, совершенно ослепленный солнцем, с беспомощным видом волочился позади саней. Все они были молодые, сильные парни, в грубой одежде, утомленные до последней степени. Несмотря на то что Малыш никогда до сих пор не встречался с ними, он сразу понял, что это не его поля ягоды.

— Эй! Что слышно на доусонской дороге? — спросил передовой, переводя глаза с Доналда на Дэви и остановив их на Малыше.

Первые встречи в диких странах никогда не отличаются излишними церемониями. Разговор в самое короткое время сделался общим, причем новости о Верхней и Нижней странах чередовались с равномерностью, которая была вполне понятна при данных условиях. Но запас новостей у вновь прибывших очень скоро иссяк ввиду того, что они приехали из Минука, находившегося на расстоянии тысячи миль пониже этого места. А Малыш из Монтаны обладал более свежими сведениями, и его засыпали вопросами. В то время как путники разбивали лагерь, он должен был сообщить все новости за последние двенадцать месяцев.

Вдруг всеобщее внимание было привлечено резким криком, поднявшимся над оглушающим грохотом реки. Все повернулись к берегу. Вода с прежней силой продолжала заливать ледяную поверхность, а лед, взятый сверху и снизу в могучие тиски, с трудом удерживался в своих берегах. Полыньи образовывались со всех сторон, по всем направлениям, у всех на глазах, и воздух наполнился отчаянным шумом и треском, напоминавшими звуки стрельбы в ясный день.

Двое мужчин, находившихся на реке, гнали в их сторону собачью запряжку вдоль еще не покрытой водой полосы льда. Внезапно оба человека провалились в воду и, спотыкаясь на каждом шагу, стали пробираться вперед. А за ними, на том самом месте, где мгновение назад ступали их ноги, провалился лед, и льдины перевернулись вверх дном. Открытая вода поглотила смельчаков до самого пояса, в то же время похоронила сани и собак, которые на миг поднялись под прямым углом к поверхности. Но мужчины остановились, решив во что бы то ни стало спасти животных. Несмотря на невыносимо холодную воду, они начали шарить под льдинами своими складными ножами и срезать постромки. И только после того, как им удалось добиться своего, они сквозь

пенящуюся воду и визжавшие льдины стали пробираться к берегу, к которому, в свою очередь, бросились все находившиеся на суше, во главе с Малышом, искусно скакавшим по отдельным, дрожавшим под ним льдинам.

— Провались я тут же на месте, если это не Малыш из Монтаны собственной персоной! — воскликнул один из мужчин, которому Малыш только что помог выкарабкаться на берег. Он носил красный мундир конного полицейского и с комическим видом помахал правой рукой в виде приветствия.

— Малыш, — продолжал он, — я имею специальное предписание арестовать вас! — И с этими словами он вынул из своего бокового кармана насквозь промокшую бумагу. — Я надеюсь, что вы подчинитесь мне вполне спокойно и мирно.

Малыш бросил взор на хаотическое состояние реки и пожал плечами, а полицейский, проследивший за его взглядом, улыбнулся.

— Где собаки? — спросил его компаньон.

— Джентльмены! — перебил его полицейский. — Этот человек, который сейчас приехал со мной, Джек Сэзерлэнд, собственник № 22 на Эльдорадо…

— Уж не Сэзерлэнд ли 1892 года?

Этот вопрос задал ослепший от солнца человек, который, спотыкаясь, подошел поближе.

— Он самый и есть! — ответил тот и схватил руку слепого. — А вы кто будете?

— О, я пришел туда гораздо позже вашего, но помню вас, когда был совсем зеленый. Товарищи! — обратился он к остальным. — Это — Сэзерлэнд, Джек Сэзерлэнд, который с отличием и первый окончил университет. А ну-ка, золотоискатели, пожалуйте поближе и приветствуйте его! Сэзерлэнд, это — Гринвич, который два года назад выиграл приз…

— Да, да, помню. Мне пришлось читать об этой игре! — ответил Сэзерлэнд, обменявшись рукопожатием с новым знакомым. — И я помню еще, как много шума вызвал ваш первый удар.

Гринвич густо покраснел под своим темным загаром и неловко отступил назад, чтобы уступить место другим.

— А вот это — Мэтью из Берклея. У нас здесь еще несколько человек с востока. Пожалуйте сюда, кто из Принстона. Ну, живо! Ведь это же Сэзерлэнд, Джек Сэзерлэнд.

Тут все они набросились на Сэзерлэнда, подняли его на руки и понесли в лагерь, где надели на него сухое платье и напоили бесчисленным

количеством черного чаю.

Доналд и Дэви, всеми забытые, убрались восвояси, где занялись еженощной игрой в криб[65]. Малыш из Монтаны последовал за ними вместе с полицейским.

— Послушайте, — обратился он к своему стражу, — прежде всего вам необходимо переодеться во все более сухое! — И он предложил ему одежду из своих скудных запасов. — Надо полагать, вам придется разделить со мной и ложе, потому что вам некуда больше деться.

— А знаете, милый мой, что я вам скажу! — заявил полисмен. — Оказывается, вы — довольно славный парень! — И он начал натягивать на ноги чулки Малыша. — Мне ужасно неприятно, что придется доставить вас обратно в Доусон, но я надеюсь, что они ничего дурного вам не сделают.

— Ну, не торопитесь! — И Малыш загадочно улыбнулся при этих словах. — Ведь до этого еще не дошло. Если мне придется двинуться отсюда, то я пойду вниз по течению, и у меня такое впечатление, что и вы отправитесь вместе со мной.

— Да ничего подобного!

— Ну, вот выйдем наружу, и я вам покажу.

---

[65] Примечания: 65
Криб — своеобразная карточная игра.

Видите, эти два олуха, — и он указал толстым пальцем через плечо, — здорово влопались, когда выбрали этот остров для жилья. Но… прежде всего набейте трубку. Табак у меня превосходный, и удовольствие вы получите отменное, имейте в виду, что вам не очень-то много доведется курить в будущем.

Полисмен, не скрывая удивления, вышел вместе с Малышом, а Доналд и Дэви побросали карты и последовали за ними. Люди из Минука обратили внимание на то, что Малыш, стоя на берегу реки, показывает пальцем то вверх, то вниз, и подошли ближе.

— В чем дело? — спросил Сэзерлэнд.

— Ничего особенного!

Надо сказать, что Малышу очень шло, когда он старался выразить полное равнодушие.

— Ничего особенного, если, конечно, не считать того, что скоро восстанет весь ад и ринется на нас. Вы видите вон тот изгиб реки? Так вот там и будет главный затор, в котором скопится несколько миллионов тонн льда. Столько же миллионов тонн льду соберется и выше. Верхний затор разрешится раньше, а нижний немного задержится и не пустит его. Пу-у-у-ф!

Драматическим жестом руки он смахнул ост-

ров с лица земли и прибавил:

— Шутка ли сказать: миллионы тонн!

Он повторил свой уничтожающий жест, а Дэви завыл:

— Мы работали столько месяцев! Я не хочу этого! Не может этого быть, не может быть! Я думаю, вы шутите. Скажите, что вы шутите, — взмолился он.

Но когда Малыш резко рассмеялся и повернулся к нему спиной, он бросился к своим штабелям дров и начал отбрасывать дрова подальше от берега.

— Да помоги же мне, Доналд, — вскричал он. — Чего ты стоишь сложа руки! Неужели же пропадет вся наша работа и мы так и не вернемся домой!

Доналд схватил его за руку и начал трясти, но тот немедленно вырвался.

— Разве же ты не слышишь, что тебе говорят? — воскликнул он. — На нас надвигаются целые миллионы тонн воды, которые зальют весь остров.

— Да приди ты в себя, дурак ты этакий! — продолжал урезонивать его Доналд. — Ты что, совсем рехнулся?

Но слова его нисколько не подействовали на

Дэви, который продолжал с прежним упорством убирать дрова. А Доналд направился к хижине, вошел в нее, взял свои и Дэви деньги, спрятал их в поясе и отправился на самую возвышенную часть острова, где выше всех остальных деревьев вытянулась огромная сосна.

Люди, стоявшие у хижины, услышали стук его топора и усмехнулись. Гринвич вернулся с разведки с донесением, что все они попали в ловушку, из которой невозможно выбраться, и думать нечего о том, чтобы как-нибудь перебраться на ту сторону канала, — и тогда слепец из Минука затянул песню, которую мигом поддержали все остальные:

Это правда? Это правда?
Что ты думаешь о ней?
Мне же кажется — он лжет.
Но почем я знаю?

— Да ведь это просто грешно! — заявил со вздохом Дэви, глядя на то, как все стали танцевать в косых лучах заходящего солнца. — Ах, какая досада, что пропадут такие замечательные дрова!

В ответ на его жалобу донесся припев:

Но почем я знаю?

Внезапно грохот, доносившийся с реки, прекратился. Великое и странное молчание разлилось вокруг. Лед вырвался из береговых тисков и вздулся над поверхностью реки, которая в свою очередь поднялась очень высоко. Медленно и тихо вода вздыбилась на двадцать футов и продолжала подниматься до тех пор, пока громадные льдины не начали мягко толкаться о берег. Конец острова, как более низменный, уже был залит, и белый поток без какого-либо усилия стал подниматься вверх по склону. Вместе с напором воды стал расти и шум, и в самом скором времени весь остров затрясся и завизжал от ударов страшных льдин. Под все увеличивающимся давлением могучие ледяные горы весом в сотни тонн взлетали в воздух с легкостью горошин. Полярный хаос разрастался с каждым мгновением, и для того, чтобы услышать друг друга, люди должны были наклоняться к самым устам говорившего. Время от времени треск льда в канале возвышался над общим грохотом. Вдруг весь остров судорожно задрожал от рухнувшей на его конец грандиозной льдины, которая вырвала десятка два сосен вместе с корнями, плотно окружила их, понеслась дальше, подняла мутный ил со дна реки и, бросив его на хижину, срезала ее и окружавшие

ее деревья словно гигантским ножом. В первую минуту могло показаться, что она едва-едва коснулась основания хижины, но мигом стоймя, точно спички, поднялись балки, и вся постройка рухнула, как жалкий игрушечный домик.

— Целые месяцы работы пропали ни за что! Целые месяцы работы! А как же теперь будет с нашим возвращением домой?

Дэви выл до тех пор, пока Малыш с помощью полисмена не оттащил его подальше от дров.

— Хватит у вас еще времени думать о том, как вернуться домой! — сказал полисмен, дав ему хороший подзатыльник и толкнув на более безопасное место.

Доналд с верхушки своей сосны видел, как разрушительная льдина снесла все дрова и исчезла вниз по течению. Словно удовлетворившись нанесенными разрушениями, ледяной поток на время вернулся в свои берега и застыл. Одновременно уменьшился и шум, и стоявшие внизу могли услышать голос Доналда, который предлагал им взглянуть на реку. Как и предсказывал Малыш, главный затор образовался на самом повороте реки, где лед создал громадный барьер, залегший от одного берега до другого. Река замерла, и вода, не находя естественного выхода,

начала снова подниматься, причем уровень ее через пару минут оказался уже так высоко, что покрыл людей по колени, а собак заставил с беспомощным видом плавать вокруг хижины. И вдруг подъем воды остановился, не выражая тенденции ни подниматься, ни падать.

Малыш из Монтаны покачал головой.

— Наверху образовался затор, вот почему воды сейчас не прибавляется.

— Сейчас весь вопрос в том, какой затор двинется первый! — прибавил Сэзерлэнд.

— Совершенно верно! — подтвердил Малыш. — Если раньше двинется верхний затор, то нам не будет никакого спасения. Тогда нам не устоять!

Люди из Минука молча повернулись от берега и запели «Rumsky Но», вслед за которым в спокойном воздухе зазвучал: «The Black and The Orange».

Хор певцов немного раздался и включил в свой состав Малыша и полисмена, которые живо усвоили мотив и стали петь вместе со всеми остальными.

— О Доналд, неужели же ты так и бросишь меня на произвол судьбы? — завыл Дэви, подойдя к дереву, на верхушке которого продолжал сидеть его товарищ. — Доналд, Доналд, помоги же мне! — Он взвыл, как малый ребенок, тщетно стараясь

охватить окровавленными руками скользкий ствол дерева.

Но Доналд не отрывал взора от реки, и вдруг послышался его голос, полный невыразимого отчаяния и ужаса:

— Господь всемогущий! Идет… идет… на нас идет!

Стоя по-прежнему по колени в воде, люди из Минука, Малыш из Монтаны и полисмен воздали руки к небу и звучнее прежнего запели страшный «Боевой Гимн Республики», но голоса их скоро потонули в надвинувшемся на них грохоте.

И тут Доналд стал свидетелем того, чего не может видеть человек — и остаться затем в живых. Великая белая стена поднялась в воздух и всей своей тяжестью упала на остров. Деревья, собаки, люди были снесены так, словно рука Господа Бога вытерла пыль с чистого лица земли. Это Доналд еще успел увидеть, а через мгновение он покачнулся на своем воздушном насесте и провалился в ледяной ад.

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

Джек Лондон — знаковая фигура американской и мировой литературы на рубеже XIX и XX веков. Напечатав свой первый рассказ в 1893 году, писатель очень быстро стал едва ли не самым лучшим и популярным писателем Америки. В 1910-е годы его слава быстро распространилась по всему миру. Переводы произведений Лондона появились и в России. Даже во времена постреволюционной разрухи его издавали у нас немыслимыми для той поры тиражами. Интерес к творчеству этого самобытного автора не угасает и в наши дни.

Чем же и каким образом простой американец, рубаха-парень, заслужил такую славу?

Как потом будут острить литераторы, известность Джек Лондон приобрел еще до рождения. Правда, на этом этапе скандальная «популярность» связана даже не с ним, а с его экстравагантными родителями. Мать писателя Флора Уэллман, дочь предпринимателя из штата Огайо, приехала в Сан-Франциско (штат Калифорния) зарабатывать уроками музыки и, главное, модным в ту пору спиритизмом. Неуравновешенная,

эксцентричная любительница эзотерики познакомилась с известным в стране профессором магии (сведущим, впрочем, и в других науках, в том числе математике и литературе) неким У. Г. Чени (Чани), с которым некоторое время состояла в гражданском браке.

Почувствовав охлаждение к ней профессора, Флора, ожидавшая в то время ребенка, организовала публичный скандал, симулировав попытку самоубийства с помощью старого заржавленного револьвера. Прибывшим на место событий журналистам она сообщила, что Чени настаивал на избавлении от ребенка, чем и довел ее до полного отчаяния. С ее слов эта версия появилась в падкой на сенсации местной газете «Кроникл».

Ославленный в печати профессор-прорицатель и астролог-литератор в июне 1875 года навсегда покинул Сан-Франциско и впоследствии ни разу не встретился со своим сыном, который все же попытался с ним связаться. У. Г. Чени ушел из жизни в самом конце XIX века, так и не прочитав ни одного произведения Джека Лондона.

12 января 1876 года у Флоры, жившей в ту пору в пригороде Сан-Франциско Эллен Хилле, родился сын, которого назвали Джоном Гриффитом, в быту — Джеком.

Однако под «отцовской» фамилией мальчику суждено было прожить всего восемь месяцев. Флора по-прежнему вела светский образ жизни, а кормилицей и нянькой Джека стала медицинская сестра негритянка Дженни Принстер.

Род матери Джека происходил из Уэллса.

Валлийцы не меньше ирландцев (У. Г. Чени — ирландец) гордятся своим происхождением и предприимчивостью, считая себя также костяком американской нации.

В свое время, по семейным преданиям, бабушка Флоры миссис Джоэль, вдова валлийского пастора, в 1800 году отправилась в Новый Свет одна с четырьмя детьми в поисках счастья. Один из них — отец Флоры Маршалл Уэллман (дед писателя) поселился в городе Мэслон (штат Огайо) и прославился своими изобретениями, одно из которых — угольная топка — названо его именем. Там же жила тетка Джека Мери Эвергард с сыновьями.

Флора, получившая неплохое гуманитарное и музыкальное образование, в 16 лет ушла из дому, поселилась в предместье Сан-Франциско и стала самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Джек появился на свет, когда его матери было уже 30 лет.

От своих публичных выступлений и увлечения

спиритизмом Флора не отказалась даже в связи с рождением сына. Вскоре к ней обратился за «психологической помощью» некто Джон Лондон, потерявший не так давно любимую жену и сына. Джон оказался отцом десятерых детей и прекрасным человеком. Он любил своего приемного сына не меньше, чем оставшихся от первого брака двух несовершеннолетних дочерей и сына младшей из них Джонни Миллера, впоследствии усыновленного Флорой. Но главное то, что мальчик Джек так никогда и не почувствовал себя пасынком в семье Джона, что чрезвычайно важно для его развития и становления характера.

Старшая из сестер Элиза, заменившая мальчику няньку, хотя была старше его всего на восемь лет, стала его преданным другом на всю жизнь.

В поисках лучшей жизни семья то и дело переезжала и останавливалась в маленьких провинциальных городках, разбросанных у залива Сан-Франциско (Окленд, Аламеда, Левермор), а порою и в их окрестностях, где отец занимался фермерством и перепробовал немало других профессий. Джон Лондон не обладал крепким здоровьем — он был ранен еще на Гражданской войне 1861–1865 годов, где воевал на стороне северян. Его приемный сын рос в атмосфере

трудовых будней и многое научился делать собственными руками. Впоследствии юноша мог самостоятельно связать плот, построить лодку или хижину из стволов деревьев, что ему потом очень пригодилось в Клондайке. С десяти лет Джеку приходилось зарабатывать себе на жизнь: вставая за два часа до уроков, доставлять газеты подписчикам, подвозить лед на рынке по субботам, устанавливать кегли в местном кегельбане по воскресеньям и др. Семья нередко терпела нужду — чаще всего по вине взбалмошной и склонной к невероятным фантазиям матери. Отец не раз был на грани банкротства, особенно когда Флоре приходила в голову какая-то нелепая мысль.

Часто семейство, казалось бы, достигшее сносного материального положения, в очередной раз оказывалось на мели. Случалось, что пожар уничтожал сооруженные с таким трудом семейные и пансионатные постройки. Приходилось все начинать с нуля, менять местожительство, чтобы не платить по счетам.

Джон Лондон стойко переносил все невзгоды. В последние годы он занимался мелкой розничной торговлей, зарабатывая гроши. В 1891 году глава семьи попал под поезд и был сильно искалечен.

В 1892 году Джек окончил начальную школу и начал работать на консервном заводе. За 10-часовой, а иногда и 12-часовой изнурительный труд ему платили всего доллар.

Хотя подросток и оставил надежду на получение сносного образования, он был одним из самых уважаемых мальчишек — читателей библиотеки в Окленде.

Его круг чтения стала контролировать и тактично корректировать поэтесса и очеркистка мисс Айна Кулбрит, лауреат литературной премии местного значения. К этой доброжелательной и образованной женщине Джек сохранил на всю жизнь самые теплые чувства. Здесь же несколько позже начал работать штатным библиотекарем и такой замечательный человек, как Фред Джекобс, который оказал на будущего писателя очень большое влияние.

Однажды Джек, заняв триста долларов у своей кормилицы, решил одним махом покончить с нищетой и «скотской жизнью». Они с приятелем купили шхуну «Рэззл-Дэззл» — «Пирушка» (прообраз «Ослепительного»). Шестнадцатилетний хозяин шхуны собрал команду «опытных пиратов». У каждого из этих подростков была своя лодчонка. Набив руку в управлении такими

суденышками, «устричные пираты» пошли на «дело».

Их задача — забраться в чужие садки, наловить устриц в заливе, на отмелях, взятых в аренду предпринимателями, в основном, служащими железнодорожных компаний, набить ходким товаром мешки и под прикрытием темноты доставить его к рассвету перекупщикам на рынок или хозяевам мелких салунов в Сан-Франциско. При этом надо было еще ускользнуть от сторожей и хозяев, а также не попасться в руки речного патруля. Такой промысел считался самым неблаговидным делом. Но на нем удавалось заработать больше, чем на фабрике, хотя при этом можно было нарваться на разъяренных «владельцев отмелей», лишиться шхуны, а то и жизни. Иногда «устричные пираты» дерзко нападали на китайские джонки, часто тоже пиратские, чтобы продемонстрировать удаль и превосходство людей белой расы.

Практически вся территория США была в свое время частично захвачена у различных индейских племен, а частично куплена у испанской короны. Поэтому в приверженцах теории расового превосходства в Сан-Франциско, южном форпосте страны, не было недостатка. Молодость

и жажда риска брали свое, моральные проблемы не слишком волновали юношей. Доблесть их выражалась в кровопролитных драках, в умении постоять за себя, а главное — перепить противника на спор в салуне «Шанс первый и последний». Тут Джек, молодой красивый парнишка, выиграл однажды пари у самого известного в тех местах горького пьяницы Джонни Хейнголта. Отчаянный боец из юношеской команды — Джордж Сатана Нельсон, дравшийся особенно дерзко и в кровь раздиравший лицо противника, сначала получил под ребра нож, а через два года был убит выстрелом в голову. Такая же участь постигла всех остальных приятелей Джека. Судьба хранила его одного.

Отчаянные пираты, как и их Устричный Король — «капитан Джек», смогли залатать кое-какие дыры в семейном бюджете, а сам Джек даже полностью расплатился с няней Дженни, чего она вряд ли от него ожидала. Но в какой-то момент устричный промысел оказался просто невозможным, поскольку за пиратов хорошенько взялись.

Джек на своем шлюпе совершил путешествие в городок Сакраменто, расположенный также в одном из заливов Тихого океана. Там на пляже он познакомился с шайкой «отбросов», или бо-

сяков, которые приняли его в свою «толкучку», а некто по имени Боб даже взял под свое покровительство. Отсюда и очередная кличка Джека — Морячок («Сейлер Кид»). Юноша увлекся босяцкой романтикой и готов был отправиться с ними в «Дорогу» (у американцев это нечто вроде путешествия бомжей), лишь тяжелое положение семьи удержало его от продолжения безумных странствий, где он приобрел уже немалый жизненный опыт. Здесь же Джек получил высшую квалификацию бродяги — «Хобо», или «Человек дороги». Однако пришлось вернуться домой и снова заняться устричным пиратством. Но тут случилось несчастье — шхуну Джека угнали и «разбомбили» так, что когда ее удалось отыскать в океане, пришлось продать то, что от нее осталось, всего за 20 долларов.

Ловкость, отвага Джека и его друзей не остались незамеченными в Сан-Франциско. Его уже начали здесь величать Морским Принцем или Устричным Королем. А один из пожилых работников речной охраны, таможенник, предложил юноше поступить на службу в речной патруль, где и внештатные сотрудники находились под охраной закона. Тут также не раз приходилось рисковать, увертываясь от ножа или пули. Это

хорошо описано в рассказе «Абордаж отбит» и в сборнике «Рассказы рыбачьего патруля» (1905). Основной нерв в «Рассказах рыбачьего патруля» — преследование браконьеров, причем не менее интересен их душевный мир — дерзость и коварство, состязание в хитрости и изобретательности. Такое занятие не исключало и применение оружия в безвыходном положении, хотя те и другие участники «соревнований» старались этого избежать.

Море и тяжелая, поистине собачья служба закалили характер Джека. Но были и явные издержки. На такой должности опять надо было работать как следует, драться до крови и много пить, подтверждая репутацию пока еще начинающего Морского Волка, или Морского Принца.

Только книги спасали юношу от отчаяния, рассказывали о другой жизни. И хотя Джек рано прочел Гёте, Смоллета, Бальзака, Толстого, Тургенева, Золя, эти книги едва ли стали его художественным ориентиром. Юношу больше влекли занимательные морские приключения Р. Стивенсона, а также профессионального моряка Г. Мелвилла — «Тайпи» и «Моби Дик», «Белый Бушлат». Но самым любимым автором оказался Р. Киплинг, совместивший яркую художествен-

ную изобразительность с «революционной» для того времени философией ницшеанства — новыми суждениями о сверхчеловеке и превосходстве белой расы. В книгах этого самого популярного в англоязычном мире автора Джек находил духовную поддержку. Приобретя некоторый опыт коротких радиальных переходов в окрестностях залива Сан-Франциско, а нередко выходя и в открытый океан, пылкий и красивый юноша решил испытать себя в настоящих морских походах и приключениях. В январе 1893 года семнадцатилетний Джек отправляется на шхуне «Софи Сазерленд» к берегам Японского моря. Записался он матросом первого класса, что давало ему право стоять за штурвалом и получать высшую для моряка зарплату. Бывалые морские волки отнеслись к такому вызывающему поведению недоверчиво, но капитан Пит Холд, увидев его на вахте за штурвалом во время шторма, лишь одобрительно махнул рукой.

Уважение матросов Джек завоевал в кровавой схватке со шведом — гигантом Рыжим Джоном, который хотел на правах старшего заставить Морячка себе прислуживать. Однако тот, вскочив ему на спину, едва не выдавил наглому противнику глаза — по примеру своего друга Сатаны.

Джека любили многие. Он отличался веселым, неунывающим нравом, великолепным чувством юмора, мастерством рассказчика, что особенно ценилось в трудных и опасных морских походах. Шхуна была по существу пиратским суденышком, которое охотилось на морских котиков в русских и японских территориальных водах. Убив и вытащив на палубу обитателей прибрежных вод, котиков обдирали прямо тут же и, выбросив шкурки на просушку, отдавали тушку на растерзание морским хищникам — акулам, следовавшим за шхуной. Работа грязная, мужская — палуба залита кровью и жиром, в воздухе — запах освежеванного мяса и жира, но Джек воспринимал эту бойню с неизменной белозубой улыбкой. Поистине мужская работа. Платили за такой адский труд не так уж много — сорок долларов в месяц. А связан он был также с немалым риском. Можно было сесть на мель, затонуть во время шторма, попасть в руки русского пограничного патруля, как в рассказе «Исчезнувший браконьер», где похожий на автора несовершеннолетний герой, взятый русскими в качестве заложника, перерезает буксирный канат, спасая от тюрьмы и потери добычи команду своей шхуны.

Вернувшись в августе 1893 года с берегов Берингова моря в Окленд, Джек Лондон, желая побыть какое-то время на суше и поддержать семью, поступает на джутовую фабрику. Изнурительный труд по 10–12 часов, потогонная, по сути конвейерная система приносили жалкую зарплату — 10 центов в час, или один доллар в день. Было над чем серьезно задуматься. Заметив грустное выражение на лице уставшего кормильца-сына, его мать Флора посоветовала ему поработать головой — «пораскинуть мозгами». Ведь его отец и дед были интеллектуалами, выжившими на Диком Западе исключительно благодаря своим умственным способностям. Но у Джека не было необходимого образования. И тогда мать предложила ему заняться литературным творчеством, услужливо подсунув местную газетку «Морнинг колл», объявившую конкурс на литературное произведение. Кстати, художественными рассказами зарабатывал иногда на жизнь и его отец У. Г. Чени.

И Джек Лондон попытался рассказать читателям о своей работе на зверобойной шхуне «Софи Сазерленд» у берегов Японии и России. Его рассказ «Тайфун у берегов Японии» (2000 слов) не был выдающимся, остросоциальным произведе-

нием — он поведал людям о борьбе с беспощадной дикой стихией моря и об умении моряков противостоять этой стихии. Рассказ отвезла в редакцию сама Флора. 12 ноября 1893 года он был опубликован. Жюри отметило «масштабность, глубину проникновения и выразительность, которые отличают молодого художника». Автор занял первое место на конкурсе, опередив двух студентов-гуманитариев Калифорнийского и Стенфордского университетов, и получил первый литературный гонорар — премию в 25 долларов. Остальные морские рассказы не были приняты ни этой газетой, ни другими изданиями. Любопытно, что Джек Лондон, прежде чем стать популярным автором, получил 650 отказов от различных редакций.

1893 год — время финансового кризиса, через два года захватившего и Россию. Этот период исторической жизни известен и тем, что во всем мире резко увеличилось число безработных и босяков.

Отчаявшиеся люди искали выход. Верхи, как всегда, были безразличны к их бедам и страданиям. Однако в Англии, несколькими годами раньше, чем в Америке, нашелся «боевой генерал» В. Бут, провозгласивший создание Армии

Спасения. «Генерал» призывал бедняков не к борьбе с властями, а к принятию неотложных мер по улучшению быта рабочих, прежде всего тех, кто остался без работы и скатился на дно. Это были пока еще пресловутые экономические требования, слабо связанные с идеями марксизма и социализма, но те и другие явления имели общие корни. Армия Спасения сотрудничала с властями.

Подобная организация возникла и в Америке. Сразу два американских «генерала» — Кокси и Келли объявили о создании Рабочей Армии (из числа безработных) и о походе на Вашингтон с целью использовать всю эту массу людей как трудармию на строительстве железных дорог. Оба лидера собирались добиться в Конгрессе выделения пяти миллионов долларов на рабочие нужды.

Джек Лондон, без гроша в кармане, постепенно проникаясь идеями социализма, решил присоединиться к участникам марша, подговорив поехать с собой и своего друга Фрэнка Дэвиса.

Армия «генерала» Келли тронулась в путь 6 апреля 1894 года. Однако Джек и его друг опоздали к отправлению товарного поезда и решили догнать остальных по дороге на Восток. Добравшись до

Сакраменто «зайцами» в «слепом» товарном вагоне, друзья узнали, что «генеральский экспресс» уже отправился дальше. Фрэнк вернулся в Окленд, а неугомонный Джек со своей записной книжкой решил продолжать «индивидуальный поход» обычным для бродяг способом.

У него уже был опыт дорожного странника, полученный пару лет назад. Сдавшим экзамен на настоящего Рыцаря Дороги считался тот, кто пересечет гряду Сьерра-Невада на площадке или внутри «слепого» вагона.

Армию Келли Джеку удалось нагнать, когда он окончательно замерз после преодоления знаменитых Скалистых гор, находясь во время бурана на открытой площадке вагона. В товарном вагоне, где разместились 84 «борца за права рабочих», нельзя было протолкнуться. 85-й пассажир — Джек, наступив кому-то на руку, попал в «молотилку». Его долго швыряли на чьи-то головы и ноги, награждая увесистыми тумаками, пока в темноте он не обнаружил крохотное свободное пространство, где можно было кое-как устроиться на соломе.

В подобных сообществах ценились «хорошие парни» и смышленые, а порой и действительно одаренные рассказчики душещипательных исто-

рий из жизни. При этом разоблаченное вранье, как и косноязычие, каралось чаще всего побоями — той же «молотилкой».

И Джек не раз признавался потом, что такого количества великолепных историй ему не доводилось больше слышать никогда в жизни. Элемент авантюризма, таившийся в его индивидуалистической натуре, время от времени вспыхивал, как тлеющий уголек.

В штате Айова жители восторженно встречали участников похода. Трудармейцы разбили палаточный городок, разделившись по примеру военных на отделения, взводы и роты. Джек попал в арьергардное подразделение. Но тут возникли трудности.

Железнодорожные боссы, предупрежденные властями, перестали поставлять поезда для марша на Вашингтон. Пришлось обзаводиться лодками и плотами, чтобы из городка Де Мойн отправиться вплавь по течению знаменитой реки Миссисипи — по родным местам Тома Сойера. И тут Морячок проявил себя наилучшим образом. Выбившись со своим плотом и командой из девяти человек в авангард флотилии, он ухитрялся подчищать продуктовые запасы, приготовленные для всей Армии. Лучшая обувь и

одежда также доставалась этой десятке. Джек со своими напарниками стал истинным зачинателем великой идеи «автопробега» Остапа Бендера, с той лишь разницей, что орудовали «борцы за справедливость» на реке, а не на дорогах. Джек засыпал жителей прибрежных местечек невероятным количеством «правдивых историй», а пожертвованных слушателями продуктов, одежды и обуви хватило бы на целую роту. Дух авантюризма вновь захватил юношу.

В связи с ухудшением материальных условий бесшабашная армия Келли вскоре стала разваливаться и разбредаться кто куда. Это был уже июнь 1894 года. Нельзя сказать, что пребывание в рядах Рабочей Армии оказалось столь уж бесполезным. Джек услышал здесь немало интересных ораторов и собеседников — социалистов, а также претендентов на «генеральскую должность» Келли, пытавшихся его сместить, что всегда характерно для таких вождей и движений.

Покинув Рабочую Армию, Джек взял курс на Канаду — ему хотелось увидеть знаменитый Ниагарский водопад. Когда остатки трудармейцев в июле того же года прибыли к месту условленной встречи в пригороде Вашингтона, для слияния с армией Д. Кокси, того уже успели арестовать: за

вытоптанные цветы на газоне у Белого дома.

Марш на столицу США провалился. Не лучше обстояли дела и у дезертировавшего из Армии Джека. В конце концов его арестовали в пограничном городишке Ниагара-Фоллс и посадили на тридцать дней в окружную тюрьму округа Эри. Это тоже была своеобразная школа жизни. По рекомендации тертого уголовника Приятеля его вскоре избавили от тяжелой работы — разгрузки пароходов в порту. Благодаря собственным связям с «бывалыми людьми» Джек стал коридорным, что позволило ему неплохо питаться и изучать нравы обитателей тюрьмы — от долгосрочных заключенных, в том числе и женщин, до сурового обслуживающего персонала.

Познакомившись с жизнью этих людей, будущий писатель уверился в том, что никакой справедливости добиться здесь невозможно. Однако короткое знакомство с жизнью люмпенов подкинуло ему немало увлекательных историй, а когда он стал их записывать, ему грех было жаловаться на отсутствие тем или сюжетов. Заинтересовавший Джека устный рассказ бывалого человека оставалось только «отделать», довести до литературного блеска.

Привычным для себя способом — в холодных

вагонах-рефрижераторах, в товарняках, груженных углем, Лондон преодолел тысячу миль по Канаде и добрался до порта Ванкувер. Там он устроился кочегаром на пароход «Уматилла» и благополучно вернулся в Сан-Франциско.

У него осталась записная книжка — своеобразный дневник на 73 страницах, с карандашными записями. Этого материала хватило на сборник очерковых рассказов «Дорога», напечатанных журналом «Космополитен мэгэзин» в 1907–1908 годах. Произведения, основанные на реальных происшествиях, окрашены не только оригинальными жаргонизмами. В них пробивается своеобразный юмор автора, не уступающий шуткам в рассказах О'Генри или в сценариях Чарли Чаплина. Дорога стала для писателя подлинной школой народной жизни.

Вернувшись домой после своих скитаний, 19-летний автор пока еще одного газетного рассказа пытается продолжить учебу в средней школе, где ему приходится общаться с четырнадцати — пятнадцатилетними юнцами и барышнями из приличных семейств, которые не выносят его развязных манер и предельно вульгарной, с их точки зрения, речи.

Джек Лондон и сам понимал, что ему надо

как-то повышать свою культуру. Он публикует ряд очерковых рассказов в школьном журнале «Эгида», в том числе «Фриско Кид» и «Острова Бонин». В них ощущается огромный жизненный опыт, который и не снился его одноклассникам. Усиленно занимаясь самообразованием, этот практически взрослый школьник берет книги едва ли не на все шесть абонементов — он записал в библиотеку всех членов своей семьи. Тут ему пригодился как никто другой его давний знакомый, библиотекарь Фред Джекобс.

Днем приходится подрабатывать — убирать в той же школе, что еще больше отдаляет школьных приятелей, и особенно приятельниц, от бывшего матроса и бродяги. Самообразованием Джек занимается по ночам, в ущерб сну. Его настроения той поры описаны в «Мартине Идене». Автору этой книги, как и его герою, катастрофически не хватало тепла и человеческого участия.

Однако в городе существует клуб интеллигентных людей — клуб имени Генри Клея, где обсуждаются самые острые вопросы жизни. Там Джек Лондон не только привлек к себе внимание как оратор и мыслящий человек, но и сошелся с хорошими друзьями — студентом Эдвардом Эпплгартом и его сестрой Мэйбл, готовившейся

поступать на филологическое отделение Калифорнийского университета. Семья эта выведена в романе «Мартин Иден» под фамилией Морз.

Джек в ту пору стал известен выступлениями в школе и на общественном митинге как оратор социалистического толка. В полицейском участке его обвинили в произнесении речи на «несанкционированном митинге», арестовали и продержали в камере три дня, после чего ему пришлось уйти из школы, где он проучился полтора года.

Оставив школу, Джек поступил на подготовительные курсы в Аламеде и очень скоро добился немалых успехов. Привычка и умение работать самостоятельно, в основном по ночам, сделали свое дело. Двухгодичные курсы он закончил в пятинедельный срок, и руководитель заведения даже вернул ему деньги, полученные от сестры Элизы. Три месяца Джек потратил на самостоятельное образование, работая уже по университетской программе и используя освоенную на курсах методику высшей школы. В пригороде Сан-Франциско Беркли он без труда сдал вступительные экзамены в Калифорнийский университет и, получив напрокат лодку у начальника рыбачьего патруля, помчался в

Сасунский залив промышлять лосося и отмечать с друзьями свою будущую победу, не став дожидаться официального зачисления.

Общение с природой укрепило его здоровье, и вскоре этот белокурый красавец и почти джентльмен, правда, с выбитыми в очередной потасовке передними зубами, появился во дворе университета. Знавшие его по оклендской школе однокашники увидели перед собой другого человека — с привлекательной внешностью, вполне приличными манерами, с правильной речью и искрометным юмором. Сказывалось, очевидно, и влияние Мэйбл Эпплгарт, с которой они теперь нередко уединялись на окрестных холмах, совершая загородные велосипедные прогулки.

Джек умел ориентироваться в обстановке и постоянно работать над собой. Отец Мэйбл был вовсе не ограниченным чиновником-буржуа, как родитель Руфи Морз, а геологом — начальником геологической экспедиции, человеком трудной профессии. Скорее всего он и стал прототипом инженера Д. Скотта в повести «Белый Клык».

…Достойно выдержав экзамены за первый семестр и втянувшись в учебу, Джек с огорчением почувствовал, что с университетом придется расстаться: Джон Лондон теперь не мог прокор-

мить даже Флору, не говоря уж о взрослом сыне. Поначалу автор увлекательных рассказов надеялся на литературные гонорары, но журналы не хотели его печатать. Пришлось оставить университет и зарабатывать на жизнь в прачечной Бельмондской военной академии, переглаживая бесконечные горы белья. Здесь не нужно было платить за жилье и квартиру, поэтому весь свой заработок Джек отдавал матери.

…Именно в эту пору в Штатах началась золотая лихорадка. На купленной Америкой у России Аляске (1867) было обнаружено золото (1896), особенно большие запасы — в Клондайке. Стремление к наживе захватило разные общественные слои Америки. Однако за доставку туда нужно было заплатить немалые деньги, а при высадке на Аляску пройти своеобразный таможенный контроль и подтвердить свою платежеспособность, имея не менее пятисот долларов в кармане. Таких денег у Джека не было. Но тут ему вновь пришла на помощь сестра Элиза, заложившая собственный дом и отправившая в качестве компаньона на Аляску собственного престарелого мужа Джеймса Шепарда. Помимо всего прочего, понадобилось еще запастись продуктами, снаряжением, теплой одеждой. По иронии судь-

бы друзья отправились в дальнее путешествие на «Уматилле», где Джек в свое время работал кочегаром, возвращаясь из Ванкувера в Сан-Франциско. Отплыли они 25 июля 1897 года.

Для путешествия в суровых краях Джек решил сколотить собственную группу. Надежную компанию ему составили Фред Томпсон, шахтер Джим Гудман и плотник Слоупер. Высадившись в городе Джуно, они добрались на шлюпках до реки Дайи. Отсюда группе предстояло штурмовать Чилкутский перевал — самый крутой переход в этих местах.

Признав, что переход через Чилкут с грузом ему не по силам, Д. Шепард, как и многие другие слабосильные старатели, отправился в обратный путь на той же «Уматилле».

Джек остался со своими новыми друзьями. Через Чилкутский перевал он несколько раз пронес на плечах по сто пятьдесят фунтов груза, обгоняя при этом индейцев-носильщиков. Тут встретилось новое препятствие — озеро Линдерман. Для всех золотоискателей не хватило лодок, и снова люди разбрелись или повернули обратно. Но не такой оказалась четверка Джека. Срубив и распилив несколько сосен, они взялись за постройку двух плоскодонных лодок. Умение

плотника Слоупера дополнили представления о надежных судах Джека Морячка, который руководил постройкой. Из брезента им удалось даже сшить паруса. Лодки были названы «Юконская красавица» и «Красавица Юкона».

Озеро друзья благополучно преодолели за несколько часов. Но у верховьев Юкона, в центре золотоискательства, Аппер-Айленде, их ждало новое испытание. Там скопилась целая флотилия застрявших у порогов лодок. Пороги под названием «Белая лошадь» для многих гребцов оказались непреодолимым препятствием. Лодки разносило в щепки на этих каменных глыбах. Однако навыки вождения судов помогли Джеку не только успешно переправить свои лодки, но и помочь какой-то супружеской паре справиться с порогами. Друзья заработали на переправе 3000 долларов. От других многочисленных предложений и рискованного заработка пришлось отказаться. Нужно было до наступления морозов попасть в столицу Клондайка Доусон, но свирепая зима застигла их в устье реки Стюард. К счастью, двигаясь в авангарде искателей золота и приключений, Джек и его товарищи успели занять брошенную кем-то из старожилов бревенчатую хижину и, приведя ее в жилой вид, поселились

там на зиму.

Стоявшая на пути в Доусон хижина оказалась желанным приютом для многих горе-путешественников. Кто тут только ни побывал — и полисмены, и индейцы, и охотники, и полузамерзшие странники, даже старожилы-соседи заглядывали на огонек… Все это будущие персонажи «Белого безмолвия» и других рассказов писателя.

Ни одного грамма золота «великолепной четверке» добыть не удалось. Это вовсе не значит, что друзья бездельничали. Помимо чисто бытовых забот, они еще спускали плоты на продажу, вылавливали плавающие в реке деревья, выручая за них какие-то деньги. Не удавалось добыть лишь золото. Для этого вместо кустарной лопаты и лотка требовалось современное техническое оборудование. Золотая лихорадка оказалась красивой американской мечтой, очередной всеобщей авантюрой.

Но зато Джеку посчастливилось добыть другое — бесценный материал для литературного творчества, определивший оригинальную тематику и проблематику писательского труда, его тональность, что и помогло автору застолбить свое место не на Юконе, а в мировой литературе.

И все это было получено из первых рук, не понаслышке. Писатель поистине нашел свою тропу в жизни и в литературе.

К 1900 году Джеку Лондону удалось не только пристроить свои очерки об Аляске, но и опубликовать сборник рассказов «Сын Волка».

Помимо мощной художественной энергетики, подпитываемой реальными процессами американской жизни, начиная с деяний первопроходцев, Джек Лондон увидел в Клондайке конфликт двух разорванных тысячелетиями цивилизаций — столкновение понятий и представлений «каменного века» с «веком железным». В отличие от своего любимого Киплинга, Дж. Лондон усмотрел в «консерватизме» индейцев, живущих преданиями и первобытными ощущениями, убедительную и своеобразную логику, правоту исторических и духовных ценностей, уже недоступных современному человеку. Бесспорна правота одних, имеют какой-то резон и доводы других, но конкретные люди, переходя в противоположный лагерь или возвращаясь в свой собственный мир, нередко разрываются между трагическими противоречиями разных веков и культур. В этом сила повествования Джека Лондона, масштабность его художественного и

общечеловеческого мышления. Да, у него немало острых сюжетов, без которых не было бы ощущения суровой романтики, снежного безмолвия, риска и азарта золотоискательства, предельного выражения человеческой индивидуальности на грани существования. Однако нравственно-психологическая и философская составляющие в этих конфликтах то и дело дают о себе знать, совмещая жизненную конкретику с поисками высокого смысла человеческой жизни.

...Пережив трудную полярную зиму, друзья спустились на плоту вниз, к Доусону, где попали в гущу золотоискательской цивилизации. В Доусоне, тогда еще полупалаточном городке, уже были церковь, салуны, где устраивались на зиму хозяева с детьми и скарбом. Джеку и его друзьям довелось тут увидеть преуспевших золотопромышленников-старателей с волевыми подбородками и преступными наклонностями. Были здесь для контраста и аляскинские старожилы разных наций, пришедшие в эти края еще до золотой лихорадки и скептически относившиеся к новым пришельцам. Мир непредсказуемо менялся на глазах, менялись и его обитатели. Джеку Лондону были по душе такие переломные моменты в жизни.

Но любоваться всей этой экзотикой и наслаждаться доусоновской цивилизацией пришлось недолго. Джека замучила цинга. Короткое лето пришлось провести в католической больнице, где его подлечили за умеренную плату. Джек не мог не удивляться религиозной благотворительности монахов в этих суровых краях. Оказывается, были еще люди, думающие о Всевышнем, а не о золоте!

Как только искатель приключений стал на ноги и немного окреп, он с двумя новыми друзьями — Джоном Торнсоном и Чарли Тейлором пустился в очередную авантюру — дальний и опасный путь в тысячу девятьсот миль на утлой ненадежной лодке вниз по Юкону. Так путешественники вошли в холодное Берингово море, стараясь далеко не отрываться от побережья.

Через девятнадцать дней после отплытия отважные гребцы-первопроходцы вышли к форту Святого Михаила. Здесь Джек устроился на пароход кочегаром и отправился сначала в портовую Британскую Колумбию, потом поездом до Сиэтла (штат Вашингтон) в вагоне четвертого класса, а оттуда «зайцем» на товарняках до Окленда: у «золотоискателя» закончились последние деньги. Домой он прибыл веселым и полным надежд, но

без гроша в кармане. Здесь ему сообщили печальную весть — ушел из жизни отчим Джон Лондон, человек, сделавший немало для самого Джека и для его матери. Снова жизнь ставила будущего писателя перед вечной проблемой — как прокормить осиротевшую семью.

Лондона считают одним из самых реалистических рассказчиков в литературе морских приключений, да, пожалуй, и во всей американской литературе. Этому мастерству художественной речи он учился в кубрике, в арестантской камере, на привалах, в забитых до отказа товарных вагонах, где бродяги выдавали себя за политических борцов.

Прозаик Лондон, сохраняя повествовательный колорит, учитывающий особенности речи и психологию личности, судьбу героя, тончайшие детали событий и обстановки, стремился к лаконичному, интеллигентному комментарию, возвышающему сказанное персонажем (или их группой) до социально значимых проблем современной жизни. Неслучайно, чтобы быть на уровне своего века, автор штудировал Бэкона, Бабёфа, Прудона, Спенсера, Маркса, Дарвина, Фрейда. И его рассуждения, кстати, приведшие его к социалистической идее, выглядели отнюдь

не тривиально или банально, несмотря на то что социализм, как и научный прогресс, многим казался универсальной отмычкой или золотым ключиком ко всем проблемам жизни, что великолепно продемонстрировала Америка в своей золотой лихорадке. Умение трудиться писатель всегда выдвигал на первое место как лучшее человеческое качество — в сочетании со здоровьем, искренностью и философской концепцией жизни. Не так уж прост был этот увлекательный и занимательный автор!

Имитация писателем речи индейцев и чернокожих граждан Америки, насыщенная племенным фольклором с его особым характером восприятия мира, убеждает читателей в нравственно-мифологических ценностях уходящего «каменного века». Все это придает его прозе неповторимый колорит.

В не меньшей степени Лондона интересовали социальные особенности характеров и речи людей. Это хорошо выражено в рассказах, где героями выступают священники, — «По праву священника» и «Бог его отцов».

Есть в его произведениях люди из образованного общества — чиновники, адвокаты, офицеры. В одних случаях это просто беспомощные слюн-

тяи — «Мудрость снежной тропы», «В далеком краю», в других же — предприимчивые, отчаянные, а порой и безжалостно-бездушные белые люди — «За тех, кто в пути», «Жена Короля» и др. Последних смертельно ненавидят индейцы, как исключительно безнравственных завоевателей, — «Северная Одиссея», «Лига стариков» и др. Первобытная культура «каменного века» выступает на фоне современной «железной», беспощадной и порабощающей первобытные народы цивилизации. Одни духовные ценности сталкиваются с другими. И далеко не всегда «новое» побеждает в нравственно-духовном смысле старое.

Сами белые люди, американцы-старатели, часто проявляют худшие свои качества — жадность к наживе, готовность убить конкурента за крупинку золота. Эти отрицательные черты в чем-то смыкаются с первобытными инстинктами индейцев, но мотивы поведения коренных обитателей Аляски выглядят несравненно более возвышенными и благородными, хотя они тоже высоко ценят оружие и готовы отдать за него своих дочерей. Так происходит сближение противоположных полюсов, взаимодействие разных времен и культур.

Такое противостояние придает рассказам писателя не только заостренность конфликта и соревновательность персонажей, но и подчеркивает разное по своей природе умение бороться за жизнь, демонстрирует духовную самобытность и привлекательность героев. Разнонаправленность современного мира была предугадана Джеком Лондоном задолго до того, как о ней заговорили современные политики и литераторы.

Общаясь с аборигенами и старателями-соотечественниками, писатель услышал немало увлекательных историй. Нередко такой рассказ был крепко сбит и сюжетно закручен, но в основе его лежала не первобытная борьба за обладание золотом или женщиной, а проблема утверждения полноценной человеческой личности, жизненные принципы которой дороже жизни. И такие незыблемые принципы часто демонстрировали индейские мужчины и женщины, а не физически слабые и коварные белые люди. Таким образом, психологический рисунок и внутренний сюжет повествования, выстраиваемый на почве человеческих отношений, постепенно отодвигают на второй план занимательность рассказа и остроту ситуации. Идеи в литературе тех лет нередко становятся важнее сюжета или стилево-

го мастерства автора. Однако нельзя отрицать и установку Джека Лондона на занимательность повествования, на неукротимый фабульный бег его произведений.

В конце XIX — начале XX века Джек Лондон был одним из самых динамичных писателей в мире. Он хорошо уяснил и применил на практике изобразительные возможности зарождающегося немого кино. Если до него американская проза была преимущественно фантастико-романтической, то Лондон густо насытил ее реализмом, а порой и серьезной социальной проблематикой.

…Но пока XIX столетие подходит к концу. Джек Лондон снова весь в поисках работы. Ему удается пройти конкурс на должность почтальона с твердой ставкой 65 долларов в месяц. Однако когда такая возможность представилась, запротестовала самолюбивая Флора, велевшая сыну продолжать свои литературные опыты. Семь месяцев напряженного труда дали неплохие результаты. Во-первых, был первоначально обработан выигрышный северный материал; во-вторых, рассказ «За тех, кто в пути!» опубликовал журнал «Трансконтинентальный ежемесячник» («Оверленд мансли» в январе 1899 г.), пообещавший платить семь с половиной долларов за каждое принятое

к печати произведение. В феврале того же года в этом журнале появляется «Белое безмолвие». Однако обещанных гонораров не присылают. Положение семьи остается катастрофическим.

Разъяренный писатель-моряк является в редакцию журнала (благо она тут же в Окленде) и вытряхивает заработанные им гроши, буквально взяв за горло издателей. Эта сцена красочно описана в «Мартине Идене».

Тяжелое финансовое положение нарушало личные планы самого Джека. Он хотел обзавестись семьей, жениться на Мэйбл Эпплгарт. Ему нравилась Мэйбл — изящная, умненькая и мягкая по характеру девушка из приличной семьи.

В отличие от Руфи Морз, Мейбл не была высокомерной неженкой, презирающей малокультурного Морячка. Она вложила в него уже немало. Им удалось, наконец, обручиться. Но ее мамаша сначала потребовала от будущего зятя материального обеспечения (к тому времени умер ее муж), а затем поставила условием обязательное совместное проживание с дочерью. Таких условий самолюбивый Джек никак не мог принять. Слабохарактерная же и послушная дочь не могла постоять за свое счастье.

В декабре 1899 года произошло чудо. Высоко-

мерный ирландский журнал «Атлантический ежемесячник», выходивший в Бостоне и противопоставлявший «ирландскую культуру доброй старой Англии» полудикому и необразованному американскому Западу, вдруг согласился напечатать «Северную Одиссею». Мало того, он заключил с западным автором договор и тут же заплатил за короткую повесть 125 долларов гонорара, пообещав всячески поддерживать необычного для себя и чуждого для собственного направления писателя. Но весь гонорар был тут же растрачен Флорой, и Джеку пришлось занимать у друзей пять долларов, чтобы как-то отпраздновать успех и встретиться с отдаляющейся от него Мэйбл.

В это время случилось несчастье. Его друг времен учебы в университете, библиотекарь Фред Джекобс, пожелавший принять участие в испано-американской войне, погиб, и отнюдь не геройски — в армии он отравился мясными консервами.

После похорон Мэйбл попросила Джека утешить ее подружку Бэсси Маддерн — невесту покойного Фреда. Та неожиданно понравилась ему, хотя они были знакомы и раньше. Бэсси выглядела физически здоровой и «простой» в общении, вовсе не жеманной, скорее флегматич-

но-деловой, а главное — не выдвигала никаких раздражающих требований. Закончив женский колледж, она давала уроки математики, занимаясь с отстающими школьниками и готовя абитуриентов в университет.

Джек решил, что такая жена не только не будет его раздражать, но у них могут быть здоровые полноценные дети. Правда, каждый из супругов пока еще любил другого, но об этом старались не вспоминать, не лукавить и не дразнить друг друга. Что поделать, если Мэйбл не может «бросить маму», которая оказалась несусветной эгоисткой, по оценке даже ее собственного сына Эдварда? Судьба уготовила возлюбленной Джека участь старой девы.

В 1900 году нью-йоркский издатель С. Мак-Клюр опубликовал рассказ «Сын Волка» и попытался наложить лапу на творчество перспективного молодого литератора. Передавая его произведения другим издателям, если сам не был в них заинтересован, он предложил ежемесячно платить автору по 100, а затем и по 125 долларов в счет будущего романа («Дочь снегов»). Теперь Джек Лондон завален предложениями, и это стимулирует его активность.

В том же 1900 году выходит первый сборник

рассказов Джека Лондона «Сын Волка» (Бостон), в 1901 — второй — «Бог его отцов» (Чикаго). Однако, к своему удивлению, счастливый автор узнает, что сидит все же на мели. Все его заработки быстро растрачиваются женой и матерью. Между ними постоянно происходят бесконечные ссоры за влияние на сына и мужа. К тому же Джек стал отцом — в 1901 году родилась его дочь Джоан. В знак протеста против рождения девочки Джек порезал себе палец ножом — ему нужен только наследник.

Он чувствует, что заработался и устал до крайности — и от литературных трудов, и от издательских манипуляций, и от семейного климата. К тому же роман «Дочь снегов» не удовлетворил С. Мак-Клюра, и он передал его другому издателю, а тот потребовал существенных купюр и переделок. Мать Флора то и дело скандалит с невесткой Бэсси, не понимая, что писательский труд требует по крайней мере тишины и спокойствия.

Надо куда-то уехать, развеяться, обрести прежнюю форму. И вот при содействии «Американской ассоциации писателей» Лондон получает приглашение отправиться на англо-бурскую войну.

Предполагалось, что поначалу ему нужно будет взять интервью у британских генера-

лов, чтобы запастись хоть какими-то фактами, стратегическими сведениями и прогнозами (о будущем Трансвааля). Однако пока Джек оформлял нужные документы и добирался до Лондона, война неожиданно закончилась, и он оказался в огромном европейском городе как писатель социалистического направления, как гражданин Америки и, в конце концов, как турист. Такими возможностями грех было бы не воспользоваться.

И Джек Лондон в 1902 году неожиданно принимает умопомрачительное и дерзкое решение. Прежде всего, он намерен снять жалкое жилье в самой «непрестижной» части города — Ист-Энде, населенной бродягами, бездомными, пьяницами и проститутками. Товарищи журналисты отговаривают его от столь безумной затеи, предупреждают, что тут могут зарезать как ягненка в собственной постели. В ответ — лишь белозубая улыбка Джека.

Но и этого мало. В лавке старьевщика на Петтикот-лейн писатель приобрел «маскарадный» костюм — пиджак с одной пуговицей, грубые ботинки и, войдя в роль отставшего от своего корабля матроса-бича, начал вживаться в мир печально знаменитых английских трущоб. Над

легендой ему особенно трудиться не пришлось. В Лондоне полно матросов («бичей»), в том числе и американских, нанятых на один рейс до столицы Великобритании. Здесь эти здоровые, физически полноценные люди без гражданства либо слонялись без дела, либо нанимались на самую низкооплачиваемую и грязную работу. Джек Лондон избрал для своей книги оригинальный способ знакомства с материалом — попытался сам, хотя бы временно, влезть в шкуру лондонского бедняка-изгоя.

Собрав огромный, исключительно ценный материал, писатель вернулся в родные пенаты, где жена «порадовала» его рождением второй дочери — Бэсс (1902). Джек безнадежно махнул рукой, но пальцы уже не резал.

В то же время ему удалось договориться в Нью-Йорке с солидным издательством «Макмиллан» о ежемесячном пособии в 150 долларов в счет будущих своих произведений. Оставалось только не спеша оформить собранный для «Людей Бездны» социально острый материал, который и был впервые опубликован в 1903 году.

В своей книге «Люди Бездны» автор рисует удручающую картину лондонской «бездны», или «преисподней», но это — по понятиям того

времени. Людей, живущих за чертой бедности, в столице Великобритании насчитывалось 450 тысяч человек, из них бездомных — 123 тысячи, 17 тысяч пребывали в благотворительных заведениях, 19 тысяч получали от государства какое-либо пособие (типа нынешней субсидии). Общее число нуждающихся в английской столице составляло 7 %. Очевидно, любой мегаполис мира с более чем двухмиллионным населением мог бы сейчас гордиться такими показателями. 5–7 % нищих во всем мире теперь, во времена научно-технического прогресса, считается нормой.

Как видим, писатель-социалист подошел к проблеме системно и научно, используя статистику, почерпнутую из официальных источников и архивов Великобритании, в том числе и опубликованную Армией Спасения. Последняя пыталась что-то делать для бедных — хотя бы раз в день накормить всех желающих горячей пищей. Правда, порой за это благо им приходилось мести улицы, убирать мусор или снег. Но самым чудовищным автору показалось то, что в благодарность за пищу и тепло несчастные должны еще выслушивать многочасовые религиозные проповеди. Экое лицемерие благодетелей! Это даже хуже, чем в родной Америке.

Вывод автора суров и однозначен: «Негодная система управления. Цивилизация несет с собой многочисленные блага, но рядовой англичанин не получает своей доли… Цивилизацию нужно заставить служить интересам простого человека». Такой лозунг в наши дни не менее актуален, чем сто с лишним лет назад.

Нечто подобное происходило и во многих других странах, в том числе в России. В один год с «Людьми Бездны» была написана и поставлена горьковская пьеса «На дне» (1902), получившая мировую известность. Кстати, в русском переводе сочинение Лондона «Люди Бездны» появилось под названием «На дне» (1906).

Конечно, Джек Лондон поставил перед обществом жгучую социальную проблему, нарисовал безысходную картину народной жизни в одной из самых развитых стран Старого Света. И не его упрекать в том, что он не учел каких-то наследственных, генетических факторов, порочной антисоциальной или даже уголовной ориентации некоторой части обитателей бездны, хотя речь идет об алкоголизме, анемичности и психических отклонениях. Наука той поры еще не могла глубже проникнуть в мир проблем трущоб. Не было и горького опыта реального социализма.

Однако надо признать, что система субсидий и страхования, существующая сейчас в развитых странах, в немалой степени облегчает участь бедняков.

Социалистический идеал, как его понимал Джек Лондон, был тогда весьма современен и прогрессивен. Во многом он определил сферу изображения, стиль, а нередко и пафос литературного творчества автора, порой далекого от воссозданной им городской среды. Джек Лондон решительно вышел за пределы Клондайка и морских приключений, проникся судьбой маленького человека и заставил правителей всерьез задуматься над перспективой грядущей революции.

Неслучайно его книга пользовалась огромной популярностью. Ее издавали не только социалистические партии, но и самые престижные издательства Европы и Америки. Считали, что писатель сделал ощутимый прорыв в своем творчестве и «Бездна» обессмертила его имя. И когда в России началась революция 1905 года, Лондон искренне ее приветствовал и оправдывал ее негативные стороны, что вызвало возмущение так называемых «простых американцев» — среднего класса, одобряющего правопорядок и особенно

конституцию.

Еще в 1903 году, прекрасно понимая, что он уже достиг определенных вершин в рассказах об Аляске и золотой лихорадке, Джек Лондон старался художественно освоить новые сферы социальной жизни, что не сводилось к автоматическому переключению писательского регистра.

Клондайкские рассказы за несколько лет также изменили свою форму. Они стали отличаться не столько остротой сюжета, сколько постижением психологии персонажей, выходом повествования на новый морально-этический и социально-философский уровень. Поэтому критерии оценки изображаемого становятся со временем многообразными, а форма повествования — полифоничной, многосоставной. В какой-то мере писателя уже не удовлетворял жанр небольшой новеллы. Он чувствовал себя в силах претендовать на более солидный жанр — такой, как роман.

Назрела необходимость в освоении жанров повести и романа при сохранении гедонизма[1000] [broken link: #n_1000] художественного мироощущения и своеобразной эстетики слога, которую читатели так высоко оценили в сочинениях Джека Лондона. Тут ему повезло. Один из самых влиятельных, популярных и высокоопла-

чиваемых журналов — «Сатердей ивнинг пост» неожиданно не вернул присланную по почте рукопись, а согласился печатать повесть «Зов предков» (1903), прислав в качестве аванса чек на 750 долларов. Эта повесть также о Клондайке. Но события увидены здесь глазами собаки, помеси сенбернара с шотландской овчаркой — сильного и от природы доброго пса, которого продали в настоящее рабство. Возненавидев своих мучителей и разделавшись со многими из них, Бак становится вожаком волчьей стаи. Его возвращение к предкам — волкам более чем символично. В этом произведении писатель не только освоил новый пласт «собачьей жизни», развивая известную с античности тему — жизнь животных, но и уловил некую общую логику развития современного мира, захватившего в свой индустриальный водоворот практически все, что окружает человека, стоящего в центре мировой цивилизации. Такова концепция жизни и разнообразные формы протеста против существующего миропорядка любого живого существа.

В ту пору Джек Лондон уже жил в дачной местности — пригороде Сан-Франциско Пьедмонте. К нему часто приезжала разведенная теперь сестра Элиза Шепард, чтобы улаживать отношения меж-

ду Бэсси и Флорой, гасить семейные скандалы. Обстановка в доме становилась все более невыносимой. Джек, общаясь в это время с давней своей знакомой (с 1899 года), эмигранткой из России социалисткой Анной Струнской, гостившей у них по приглашению Бэсси, с женами и подругами своих бывших товарищей по университету, понимал, что и без того суховатая жена стала непогрешимой матроной, человеком, с которым он не мог свободно обмениваться мыслями. А писателю хотелось вернуться к морской теме, обновить в памяти полузабытые впечатления мятежной юности. Он покупает яхту «Спрей» («Морская пена») и переезжает в родной свой городок — местечко Глен Эллен, поселившись с семьей на даче в Лунной долине, чтобы разлучить наконец жену и мать.

Теперь предстояло с головой окунуться в работу. Джек выходит на собственной яхте со своим другом Джорджем Стерлингом (местный «богемный» поэт) в залив Сан-Франциско, где до обеда упорно трудится над «Морским волком», потом друзья стреляют уток, ловят рыбу, готовят ужин. По воскресеньям берут с собой на морскую прогулку Элизу с сыном, Бэсси с дочерьми и целую ораву детей из окрестных дач.

«Морской волк» основан на воспоминаниях времен плавания на «Софи Сазерленд». Там часто говорили о легендарном капитане Алексе Маклине, который не верил ни в Бога, ни в черта, но был необыкновенной личностью — отважным моряком, выходившим победителем из самых трудных переделок. Эту морскую легенду автор невольно связал с представлениями о сверхчеловеке, хорошо известными из сочинений Ф. Ницше и Р. Киплинга.

Новый индивидуальный стиль писателя, дающий о себе знать в этой повести, создавался во взаимодействии с великим традиционным стилем морской приключенческой литературы.

Запас своих морских впечатлений Лондону удалось существенно обновить — 7 января 1904 года в качестве американского корреспондента он отправляется в Токио, чтобы успеть к началу русско-японской войны. Однако хитрые японцы никого на фронт не собирались пускать. Они устроили для корреспондентов нечто вроде базы отдыха — с баром и развлечениями, пичкая «акул пера» лишь официальными цензурованными сообщениями.

Джек Лондон решил вырваться из этой информационной блокады. Он хотел отправиться

сначала в Нагасаки, оттуда попасть на Корейское побережье и по Желтому морю добраться до линии фронта в Чемульпо. С этой целью писатель купил джонку, нанял команду из трех корейцев и кое-как в течение шести суток, преодолевая штормы и стужу (это была довольно суровая зима), простуженный и обмороженный прибыл к месту назначения. И как на грех начал еще что-то фотографировать в Пхеньяне. Его тут же арестовали и отправили в сеульскую военную тюрьму, как русского шпиона и разбойника. К тому же он еще накануне избил обокравшего его местного вора. В лучшем случае новоиспеченному журналисту грозил многолетний срок тяжелого заключения. В худшем — военный трибунал и смертная казнь.

К счастью, друзья журналисты вовремя забили тревогу. Один из них, Р. Дэвис, связался с Белым домом, и после прямого вмешательства президента США Теодора Рузвельта Джек Лондон был освобожден, а в июне того же года благополучно доплыл до Сан-Франциско.

Как утверждали газеты, 19 корреспонденций, отправленных раньше, а затем корейские фотографии стали едва ли не единственным ценным репортерским материалом, добытым на этой

бесславной для России войне.

Поездка на Восток оживила писательские впечатления. В Японии и Корее автор «Белого безмолвия» встретился с людьми, похожими на индейцев Аляски, с теми же трудностями морского плавания и пешего перехода по скалистым тропам, с тем же хамством и бестолковостью военных властей.

По прибытии домой его ждала неприятная новость — Бэсси подала на развод, а все его банковские счета оказались замороженными. Виновницей семейной распри оказалась Чармиан Киттредж, которая обладала литературными способностями и мечтала стать единомышленницей и другом писателя. Правда, Чармиан была старше Джека на пять лет.

Теперь писатель вынужден был построить в Пьедмонте дом для бывшей жены и девочек, а сам в ноябре 1905 года после развода с Бэсси перебрался с новой женой Чармиан в родной для него Глен Эллен, где купил сначала живописное ранчо, а несколько позже и 800 акров виноградника. Этот свой уголок он назвал «Ранчо красоты».

Планов у Лондона было немало, но главным занятием оставалась литература, помимо пропаганды социалистических идей в Калифорний-

ском университете, где он вызвал целую бурю своим выступлением.

Особенно громкий успех ждал его в Йельском университете (штат Нью-Йорк) в 1906 году. Студенты и рабочие восторженно встретили оратора (тема его лекции — «Революция», присутствовало на ней более 3000 человек). Недаром Социалистическая партия Америки выдвинула писателя кандидатом не только в мэры Окленда (1901, 1905), но и в Президенты США. Откровенная поддержка любой революции, прежде всего русской, вызвала горячий энтузиазм одних и ярую ненависть других. Двери ряда солидных издательств для Джека Лондона были закрыты, а его книги изымались из американских школ и библиотек.

Однако Джек был далеко не самый «праведный» социалист: он считал, что каждый может жить достойно и даже богато, но этого благополучия надо добиваться упорным трудом, а не отнимать и делить чужое. Писатель не представлял себе американский тип социализма без сметки и предприимчивости своих соотечественников, без постоянного преобразующего жизнь труда.

Работа над повестью «Белый Клык», «Рассказами рыбачьего патруля» и почти одновременно — над «Дорогой» стала свидетельством необы-

чайного синтеза различных впечатлений его жизни и тематики творчества.

К тому времени в Америке появилось множество подражателей мэтру, некоторые из них выдавали себя за Джека Лондона. Немало мистификаций проникло и в Россию.

Рассказы же, написанные по модели его произведений, стали неотъемлемой частью литературной жизни Америки. Это снижало их цену, подрывало финансовую базу самого основоположника жанра. Приходилось постоянно двигаться вперед, осваивать новые творческие материки.

Джек Лондон — человек кипучей энергии, жаждущий перемен и приключений. Реальную жизнь, полную риска и неожиданностей, он ставил выше собственного творчества. Таким писатель проявил себя во всем. Желая привести в порядок фермерское хозяйство на «Ранчо красоты», он по примеру Л. Толстого поставил перед собой задачу обновить выродившиеся породы калифорнийских лошадей (в первую очередь его интересовали мощные тяжеловозы-першероны), закупить породистых йоркширских свиней, ангорских коз и овец, культивировать лучшие, элитные сорта зерновых и винограда, чтобы

поднять уровень всего сельского хозяйства края. Каждому работнику своей фермы Джек старался платить достойную зарплату и, помимо дома, выделить по сто акров земли.

Не успев достроить даже собственный дом и поселившись в слегка подремонтированной летней даче, Джек загорается новой идеей: построить шхуну и совершить на ней кругосветное путешествие — начать с Дальнего Востока, затем, повернув на запад, пересечь Атлантику, попасть в Старый Свет, объехать все европейское побережье и посетить русскую столицу Петербург. Путешествие, рассчитанное на семь лет, должно было дать Лондону свежие впечатления, в которых он остро нуждался.

Вместительная шхуна была названа «Снарк» — в честь одного из мистических животных «Охоты на Снарка».

Строился «Снарк» по собственным чертежам Лондона, лично руководившего строительством и принимавшего непосредственное участие в плотничьих работах. В то же время писатель лихорадочно трудился, чтобы покрыть непредвиденные финансовые расходы. Один из лучших циклов его рассказов «Любовь к жизни» написан именно в этот период строительной лихорадки.

Создан был и острый социальный роман «Железная пята», где писатель предвидел будущую фашизацию Европы.

2 апреля 1907 года «капитан» Лондон предпринимает первую попытку проверить надежность судна — сначала в южных морях. Вместе с ним отправляется в поход и Чармиан — «помощник капитана», как шутливо называет ее муж. Шхуна сразу же застревает при спуске на воду, едва не переворачивается, затем дает течь, но опытный шкипер мужественно устраняет все неполадки. Выходят в открытое море, скорее даже — в открытый океан через Золотые Ворота, но увы! — без мощного мотора и со сломанным начисто брашпилем. Команда корабля на 90 процентов состоит из новичков, имеющих весьма слабое представление о морском деле.

Первая половина дня уходит на литературную работу, вторая — на ловлю рыбы, приготовление обеда. Затем обед, фотографирование необычных мест, вечерние развлечения. Во время шторма хозяину судна приходится выполнять обязанности рулевого и капитана одновременно. Неожиданно к нему на помощь пришла жена Чармиан. Она оказалась смышленой и мужественной женщиной, часами выстаивая в штормовую погоду у

штурвала. Прозвище «капитан» теперь закрепилось за ней всерьез. У писателя грандиозные литературные планы.

Так началась южная одиссея Джека Лондона.

Помимо путевых очерков, главное его многочасовое занятие — работа над романом «Мартин Иден».

Первую остановку судно делает в печально прославившемся впоследствии гавайском порту Пирл-Харбор. После Гавайских островов следуют Маркизские, весной 1908 года — Таити, затем — Фиджи, Новые Гебриды, Соломоновы острова и др. Джек Лондон сумел впервые в мореплавании преодолеть в тяжелейший шторм расстояние от Гавайев до Маркизских островов на судне такого типа, как «Снарк».

Впечатления, полученные во время путешествия, составили содержание цикла «Рассказы южных морей» и романа «Приключение», а также тома очерков «Путешествие на „Снарке“». Плавание оказалось не из легких. Команда страдала от тропической лихорадки, у членов экипажа и у жены Чармиан вздувались огромные волдыри на теле, превращавшиеся в язвы. Сам Джек держался молодцом, как умел, даже лечил заболевших. Оставив судно на попечение пьяницы капитана

Роско, он вынужден был возвратиться домой, чтобы уладить свои запутанные финансовые дела. Падкие до сенсаций журналисты объявили, что столь несовершенное судно вместе с его взбалмошным хозяином-авантюристом нашло вечный покой в южных морях, а банки, воспользовавшись ситуацией, закрыли на время почти все его счета.

По возвращении на «Снарк» Джек оставил свою яхту в какой-то гавани, поскольку вся команда страдала от малярии, а сам устроился на судно, вербующее туземцев-бушменов на работу в Штаты. Тут он попал под обстрел отравленными стрелами туземцев-людоедов, затем жил две недели вместе с Чармиан на острове прокаженных и совершил немало других авантюр, следуя причудам своего непредсказуемого характера. Его замечательный рассказ «Кулау-прокаженный», а также главы очерковой книги «Путешествие на „Снарке“», где рассказывается о вырождении сильных и гордых туземцев, вкусивших плоды современной цивилизации, дают представление о занятиях писателя.

Наконец «Снарк» берет курс на австралийское побережье. Но в сентябре 1908 года Лондон свалился сам, пораженный какой-то неизвестной

болезнью. Обязанности капитана взял на себя некий Уоррен, отсидевший пять лет в тюрьме Орегона за убийство.

Увы, Джеку сейчас не до яхты: у него чудовищно распухли руки и ноги. В мае 1909 года врачи сделали ему операцию в Сиднее, вырезав какую-то застарелую язву-свищ, но точный диагноз так и не был поставлен.

Писатель еще не подозревает, что пережитые им испытания и изнуряющий режим работы в течение многих лет подорвали его здоровье. «Снарк», стоивший ему 40 000 долларов, пришлось продать в Сиднее всего за три с половиной тысячи.

После более чем двухлетних скитаний путешественник возвращается морем в свой несравненный Сан-Франциско на «Ранчо красоты». Дома он начал строительство большого каменного здания, которое назвал «Домом Волка» — в честь своего знаменитого произведения, а также потому, что индейцы Аляски именуют Волком любого белого человека. К тому же ему самому нравилось прозвище «Морской волк», которым иногда называл его экипаж «Снарка».

Самым большим литературным достижением писателя в то время — неким итогом его путе-

шествия стал роман «Мартин Иден». В романе отразилось все пережитое самим автором и воплощенное в его герое, выходце из социальных низов.

Возвратившись на «Ранчо красоты», Джек Лондон поправился и снова стал похож на пышущего здоровьем преуспевающего американца. Правда, это лишь внешняя оболочка, далеко не всегда отражающая его внутреннее состояние. Писатель полностью посвящает себя фермерскому хозяйству и литературному творчеству. И хотя Джек не упускает случая выйти на своем новом суденышке «Ромер» («Скиталец») в залив Сан-Франциско или добраться до самого Нью-Йорка, большую часть времени он проводит в седле, объезжая на племенном жеребце Ошо Бане свои новые владения. Он постоянно раздумывает над тем, как улучшить истощенную калифорнийскую землю, варварски эксплуатируемую со времен ухода испанцев. Его проекты восстановления прежней природы, улучшения быта рабочих вызывают насмешки местных фермеров и забулдыг. К писателю присосались сотни прилипал, которые уверены, что деньги ему достаются даром. Из пятидесяти тысяч долларов, отданных в долг, ему возвратили в трудную минуту лишь 50. Джек

Лондон заботился об интересах рабочих, занятых на постройке великолепного Дома Волка. Но ему, как и всякому человеку, взявшемуся не за свое дело, фатально не везло. Получив за литературный труд более миллиона долларов, он нередко оставался без гроша в кармане, задолжав огромные суммы кредиторам.

«Моряк в седле», как думал назвать писатель одну из своих книг, не случайно терпел в жизни одно поражение за другим. Породистые коровы и свиньи то и дело «падали» от «современного» американского содержания на цементных полах. Особенно потрясла Джека гибель жеребца Ошо Бана, за которого было выложено немало денег, как и пристреленной кем-то в поле породистой жеребой кобылы. Никому не нужными становились и выносливые тяжеловозы-першероны — наступала эпоха тракторов и автомобильного бума… Прогулки с Чармиан в фаэтоне на хорошей четверке лошадей были шиком вчерашнего дня. Такая мода уже не производила впечатления на окружающих. Оставалась идиллическая надежда — соорудить двадцатикомнатный Дом Волка, куда Джек собирался пригласить всех своих друзей. Однако и ей не суждено было сбыться.

21 августа 1913 года строительство дворца было

окончательно завершено. Оставалось только подключить электричество и убрать строительный мусор. И тут произошло невероятное. «Замок», в котором, по утверждению недоброжелателей Лондона, не подобало жить социалисту, среди ночи вдруг вспыхнул как свеча. Скорее всего это был кем-то организованный поджог.

Четыре дня хозяин пролежал в нервном расстройстве. А едва встав на ноги, пошел осматривать собственные «Руины» — новое наименование того, что осталось от «замка». Утешение Джек Лондон находит в работе. Помимо уже опубликованных рассказов и очерков о тропических приключениях (почти все они вышли в 1911 году), писатель пишет цикл повестей «Лютый зверь», роман «Лунная долина» (1913), где речь идет о высоком смысле жизни и предназначении человека.

Ему вновь захотелось встряхнуться и отправиться военным корреспондентом на войну с Мексикой, куда уже прибыли корабли США (1914). Однако снова подвело здоровье. Заболевший дизентерией корреспондент отказался от контракта с журналом «Кольерс» и возвратился на родину. Войны, впрочем, удалось избежать — все закончилось мирно. Как память об этой

поездке остался впечатляющий рассказ «Их дело — жить».

Джек не дает себя сломить болезням, он не сдается. Писатель работает над экранизацией «Морского волка» и пишет киносценарный роман «Сердца трех», а в феврале 1915 года отправляется с Чармиан на Гавайские острова, чтобы обновить прежние впечатления и закончить повесть «Джерри-островитянин». Тут автор повести выступает прямым предшественником Хемингуэя и других американских литераторов.

Только в мае Джек Лондон возвратился в Глен Эллен. Но в июле его опять тянет на Гавайи — задумано продолжение повести «Майкл, брат Джерри». Однако чувствует он себя все хуже и хуже. У него уже нет сил и желания не только что-либо строить, но и участвовать в работе Социалистической партии, которой он отдал пятнадцать лет жизни. Разочаровавшись в социалистическом движении, писатель вместе с женой Чармиан выходит из рядов партии.

Теперь автор «Мартина Идена» страдает от ревматизма и уремии. Он то и дело впадает в депрессию, порой, вопреки своим твердым принципам, прикладывается к рюмке.

Больной писатель все же собирается в Нью-

Йорк, чтобы в очередной раз встряхнуться и подышать воздухом Атлантики, но в день предполагаемого отъезда — 22 ноября 1916 года его находят в постели без сознания: Джек принял большую дозу снотворного.

На его столе нашли расчеты этой «дозы». Усилия врачей оказались напрасными. На следующий день Джека Лондона кремировали, и после панихиды в Окленде прах его был погребен на великолепном холме «Ранчо красоты», под отполированным ледником красным камнем, которому не нашлось места при строительстве Дома Волка. Но на самом камне словно бы лежит печать вечности.

Так в 40 лет оборвалась жизнь этого красивого и необыкновенно талантливого человека, бунтаря, мастера слова, определившего пути развития американской и мировой литературы XX века, особенно в малом жанре и приключенческой повести. За кажущейся простотой его слога и занимательностью повествования стоит упорный труд писателя-самоучки, достигшего в своем деле немыслимых литературных вершин, совместившего красоту словесно-эстетического выражения со стремлением осмыслить все происходящее в свете самых серьезных научно-философских

идей XX века.

Интересные факты о Джеке Лондоне

Он освещал события русско-японской войны, однозначно осуждая методы Японии. Когда в Мексике вспыхнула гражданская война, он опять стал писать на передовой.

Он пошел в кругосветное плавание. Парусник «Снарк» построили по его чертежам.

Он выступал в защиту животных от жестокого обращения.

Фильмы по Джеку Лондону с 1910 по 2010 год составили громадную цифру — 136.

Озеро Джека Лондона есть в России, в Магаданской области.

Он — первый писатель, труд которого принес миллион долларов.